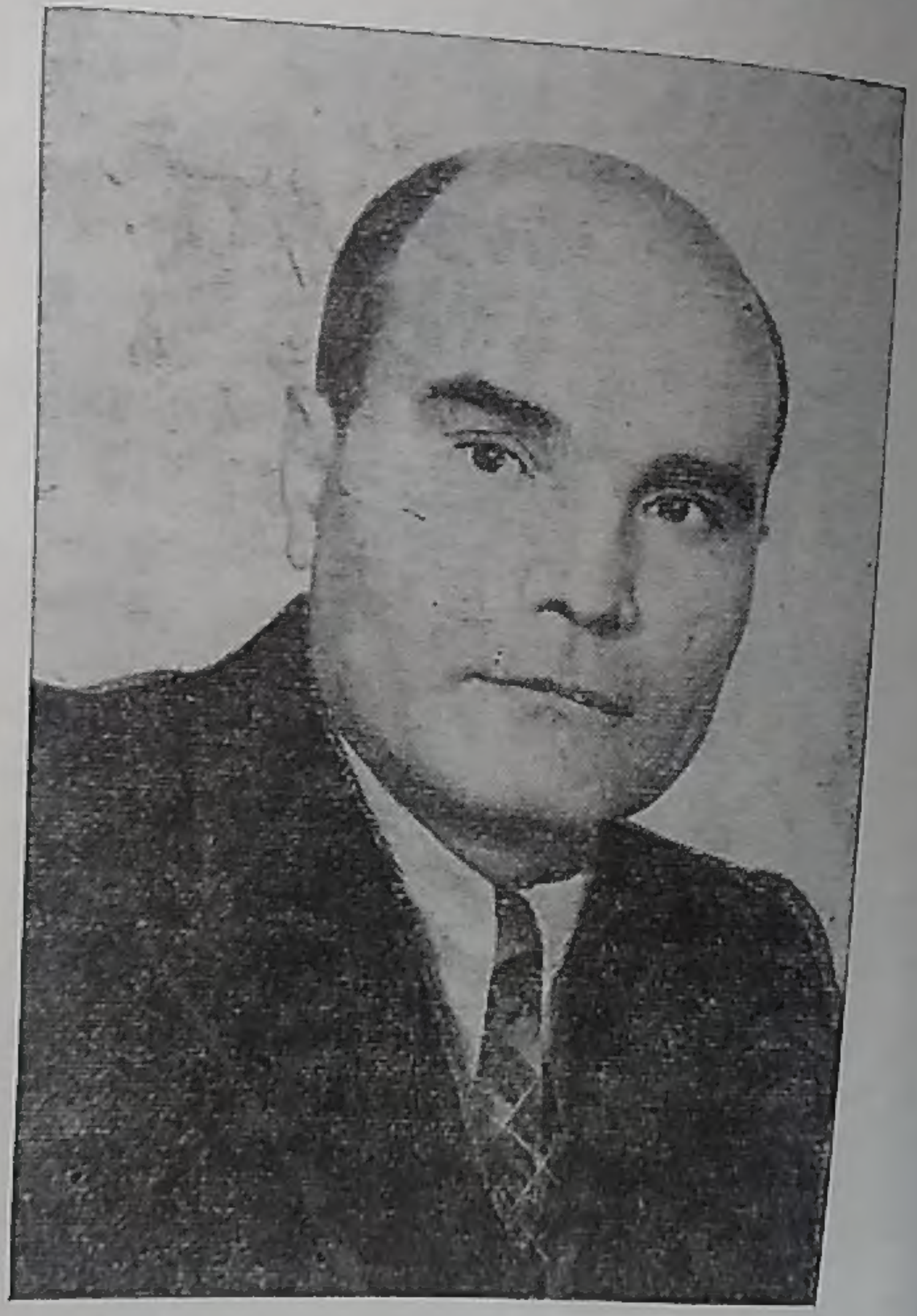
PHOTOS BY ANDREY AKA DONUT190

Михаил Петров

Старый Мултан

Удмуртский государственный университет. Библиотека удмуртского романа "Гылымас"



БИБЛИОТЕКА УДМУРТСКОГО РОМАНА "ИТАЛМАС"

Михаил Петров

Старый Мултан

РОМАН

Перевод с удмуртского
автора и А. Дмитриевой

УСТИНОВ
"УДМУРТИЯ"
1985

ББК 84.Удм
П30

Редакционная коллегия

А. Н. Уваров — председатель

Э. В. Волков
Л. П. Емельянов
А. А. Ермолаев
Н. П. Кралина
С. А. Самсонов
А. Г. Шкляев

Петров М. П.

П30 Старый Мултан. Роман/ Перевод с удмуртского автора и А. Дмитриевой. Предисловие Ф. Ермакова.— «Библиотека удмуртского романа «Италмас».— Устинов: Удмуртия, 1985.— 368 с.

Роман «Старый Мултан» известного удмуртского писателя М. Петрова рассказывает о росте революционного самосознания в крестьянской среде в конце XIX века. В центре повествования исторический процесс — «мултанское дело»,— в котором видную роль сыграл русский писатель В. Г. Короленко.

П $\frac{4702550000-010}{M134(03)-85}$ 27—85 ББК 84.Удм.

© Издательство «Удмуртия», 1985, предисловие, оформление.

ОБ АВТОРЕ РОМАНА «СТАРЫЙ МУЛТАН»

Одни писатели всю жизнь бывают верны прозе, поэзии или драматургии, другие пробуют свои силы в разных родах и жанрах художественного творчества. Последнее было особенно характерным явлением для литератур малых народов, писатели которых стремились быстрее поднять национальную культуру. Многогранно и творческое наследие талантливого удмуртского писателя Михаила Петровича Петрова (1905—1955).

Родился он в деревне Вандэмо (Монашево) ныне Татарской АССР 8 (21) ноября 1905 г. в бедной семье, с 3-х лет лишился отца, а с 12 лет и — матери. Но свершившаяся в 1917 г. Великая Октябрьская революция помогла мальчику-сироте окончить начальную школу, в стенах которой он понял красоту родного слова, полюбил стихи русских классиков и впервые перевел на родной язык стихотворение Н. А. Некрасова «Школьник». Затем он учился в областной партшколе, в училище командного состава, работал регистратором в Можгинском укоме партии, был командиром взвода и роты в системе ОГПУ, заместителем редактора республиканской газеты «Удмурт коммуна», участвовал в Великой Отечественной войне — был помощником командира полка. После войны М. Петров в разные годы возглавлял издательство «Удкнига», Союз писателей УАССР и редакцию журнала «Молот».

Первые его шаги в художественном творчестве относятся к годам работы в Можгинском укоме партии, когда он сочинял для агитбригад злободневные частушки, близкие устному народному творчеству. Фольклор стал основой многих поэтических произведений М. Петрова, поэтому его лучшие стихотворения живут в народе как песни; такова судьба его стихов «Под окном», «Кажется, влюбился», «Вдоль рощи», «Как весело», «Голубой цветок», «Ноч-

ные огни», «Я открыла окно». В стихотворениях 30-х гг., проникнутых гражданским пафосом, М. Петров сумел ярко и полно отразить расцвет новой жизни в годы Советской власти. А в суровую пору Великой Отечественной войны в короткие перерывы между боями поэт писал стихи, в которых воспел героические дела советских солдат и показал страшную картину разрушений и бесчинств немецких фашистов. Одно из лучших стихотворений того периода — «Друзьям», о дружбе народов, бок о бок сражавшихся на фронте.

В истории удмуртской поэзии значительное место занимают и поэмы М. Петрова. В первой из них под названием «Былое», опираясь на автобиографический материал, писатель показал путь становления юноши-удмурта, воспел радость счастья, обретенного народом в годы Советской власти. В патетической поэме «Слово к родному народу» выразительными красками воспроизведена история страданий и борьбы удмуртов в годы царизма. В поэме «Песня не умрет» отражены события Великой Отечественной войны, она посвящена удмуртскому поэту Ф. Кедрову, погибшему в дни сражений с фашистами. Тепло принятые читателями поэмы «Наташа» и «Италмас» стали настоящим гимном высокому чувству — любви. Поэма «Италмас» послужила основой первого удмуртского балета композитора Г. Корепанова-Камского.

С первых же лет творческой работы М. Петров пишет и небольшие драматические произведения — сценки, скетчи, а во второй половине 20-х гг. создает и многоактные пьесы. Его драма «Батрак» ставилась в 1929 г. в Удмуртском клубе и в 1931 г. была включена в репертуар только что созданного Удмуртского драматического театра; в центре внимания автора — чувства и переживания батрака Олёша, постепенно уходящего из-под влияния хитрого, коварного кулака Лаврентия. В драме «Сквозь огонь» отражены события периода гражданской войны, ярко показана интернациональная солидарность разных народов, выступающих против белогвардейцев.

С 1934 г. М. Петров внимательно изучает историю «мултанского дела». На основе материалов суда и этнографических исследований он написал музыкальную драму «Иго содрогается», одновременно работая над крупным прозаическим произведением на ту же тему. В 1936 г. пьеса была поставлена на сцене театра и очень хорошо встречена зрителями. Эта и другие пьесы М. Петрова сыграли значительную роль в развитии удмуртского театрального искусства.

К прозе М. Петров пришел позже, уже имея литературный опыт. В первый сборник «Зуб за зуб», вышедший в 1931 г., вошли рассказы о классовой борьбе в деревне в годы коллективизации. В рассказах и очерках 30-х гг. писатель чаще показывает героев в

условиях расцвета колхозной деревни. В годы Великой Отечественной войны он создает произведения малых жанров прозы, рисующие подвиги советских солдат на фронте. Образы тружеников послевоенной удмуртской деревни и проблемы сельской жизни того периода раскрыты в рассказах и очерках конца 40-х — начала 50-х гг.

В 1949 г. М. Петров завершил повесть «Перед рассветом», рассказывающую о жизни удмуртского села в последний год войны и первый послевоенный год. Она вызвала живой отклик читателей и критики, потому что на ее страницах были подняты исключительно острые вопросы жизни удмуртской деревни. Главный герой повести Тимофей Бобров, офицер-инвалид, вернувшись домой, становится руководителем отсталого колхоза. Бобров ищет пути выхода из трудностей, стремится поднять экономику колхоза. В претворении в жизнь задуманных планов ему помогают лучшие люди деревни.

Во время одной из командировок в начале 1934 г. писатель встретился с главным обвиняемым по «мултанскому делу» Д. С. Зориным; факты, рассказанные им, потрясли М. Петрова. Он задумал написать крупное произведение об этом трагическом периоде жизни удмуртов, о «мултанском деле», названном А. М. Горьким «идиотским мракобесием самодержавной власти»[1]. Это дело было раздуто полицией в 1892 г. в ответ на волнения в Вятской губернии, где проживала основная масса удмуртов. Крупные крестьянские беспорядки в конце 80-х гг. XIX в. всколыхнули всю губернию. Так, недалеко от села Старый Мултан в Узинской волости в марте 1888 г. население 68 селений, в том числе и удмуртских, отказалось платить недоимки. Царское правительство решило отвлечь народ от справедливых требований и направить волну недовольства на раздувание межнациональной вражды. Полиция распространила версию, что удмурты один раз в 40 лет, в наиболее трудные годы, приносят в жертву своим божествам человека, притом русского. 1891 г. был тяжелым, голодным, поэтому полиция решила устроить инсценировку жертвоприношения в мае следующего, 1892 г. Недалеко от села Старый Мултан был найден обезглавленный труп русского нищего Матюшина, и сразу же полицейские стали обвинять удмуртов в ритуальном жертвоприношении. Более двух лет готовилось это дело, использовались изощренные приемы пыток, типа «медвежьей присяги», в качестве свидетелей выступали полицейские, чиновники, духовенство, кулаки, и в декабре 1894 г. десяти мултанским удмуртам был вынесен обвинительный приговор. Стараниями защитника М. И. Дрягина приговор суда был

---

[1] Горький А. М. О литературе. М.: Советский писатель, 1955, с. 411.

отменен и назначен другой суд в другом составе. Защитник М. И. Дрягин и вятский журналист А. Н. Баранов обратились к В. Г. Короленко, он живо откликнулся и приехал на второе судебное разбирательство в 1895 г. в Елабугу, но ему не дали слова, тогда он вместе с журналистами А. Н. Барановым и В. И. Суходоевым застенографировал судебный процесс, издал отдельной книгой, заинтересовал широкие круги общественности не только России, но и других стран. К третьему суду, состоявшемуся в мае 1896 г., В. Г. Короленко привлек известных этнографов, защитника Н. П. Карабчевского. Благодаря усилиям и блестящей речи великого гуманиста В. Г. Короленко суд присяжных вынес оправдательный приговор подсудимым, невинно просидевшим 4 года в тюрьме. Так был снят навет с удмуртского народа, и в этом большая заслуга лучших сынов русского и других народов, принявших деятельное участие в защите оклеветанных мултанцев.

М. П. Петров внимательно изучил материалы судебного дела, статьи и переписку В. Г. Короленко, произведения этнографов П. Н. Луппова, Г. Е. Верещагина, Н. Г. Первухина и других. В первом варианте романа под названием «Закованные в цепи» много внимания уделялось этнографическим деталям и мало страниц отводилось самому «мултанскому делу», второй вариант по существу стал романом о жизни В. Г. Короленко, «мултанское дело» оказалось лишь небольшим эпизодом. Третий, окончательный вариант был завершен автором в 1952 г., в 1954 г. вышел на удмуртском, в 1956 г.— на русском языках. Роман получил восторженные отклики читателей, привлек внимание критиков и историков, выдержал несколько массовых изданий на русском языке. Племянница великого русского мастера слова Л. Н. Толстого В. В. Толстая, полвека проработавшая в школах Удмуртии, писала: «Хорошо, правдиво пишет Петров. Труд солидный, много, видимо, он поработал над документальными данными. Вот только теперь мне понятно, почему надо мной до 17-го года был негласный надзор».

В романе автор верно отразил социально-экономические отношения того времени, процесс классового расслоения в удмуртской деревне, показал вражду русских и удмуртских богатеев, передал общность интересов удмуртской и русской бедноты, раскрыл многие стороны жизни удмуртского села конца XIX в. Недаром известный венгерский исследователь литератур финно-угорских народов П. Домокош назвал роман «действительной энциклопедией удмуртской дореволюционной жизни» [1].

В романе действуют жители русских и удмуртских деревень —

---

[1] Congressus Internationales Fenno-ugrestarum. Budapest, 1963, c. 486.

состоятельные и бедняки, он знакомит с народными обычаями и обрядами, которые создают правдивую картину деревенского быта. Произведение отличает столь широкий охват реальной жизни: читатель из роскошных кабинетов попадает и деревенскую избу, посещает суетные палаты и молельные шалаши, деревенские сходки и гостиные камеры. На его страницах фигурируют герои самого различного социального плана — министры и чиновники, полицейские, попы, кулаки, клевещущие на мултанских удмуртов, и честные люди, защищающие их от злого навета.

Сквозным героем романа является Григорий Дмитриев, обвиняемый как главный жрец одного из мултанских родов. Бедность и унижения были уделом его с юных лет, все мечты его в то время были нацелены на приобретение лошади, даже восемнадцатилетним юношей он еще мало задумывался над причинами тяжелой крестьянской доли. Работа среди сплавщиков и бурлаков на Волге раскрыла глаза на многое, он уже не боится выступить в защиту своего достоинства. А на последнем процессе Григорий, вынесший четыре года тюрьмы и издевательств, приходит к верной оценке событий: «Наши защитники правильно говорили, как делали урядники и становые. Одно не говорили: зачем становые мучают нас? А я хорошо знаю, это надо, чтобы русские и удмурты друг друга ругали, чтобы вместе против царя бунт не делали...»

Прототипами Григория Дмитриева явились обвиняемые — мясник Кузьма Самсонов и Дмитрий Зорин, главный жрец мултанского рода Учур. Писатель свел черты двух людей в одном образе, и ему удалось полнее выявить типические черты удмуртского крестьянина.

Антон Камаев, друг Григория, имеет иную судьбу. Мултанская трагедия надломила его, он потерял веру в справедливость. Прототипом его считается один из обвиняемых — Василий Кондратьев. Представитель старшего поколения Акмар — Андрей Григорьев — фигурирует под своим настоящим именем. За всю свою долгую жизнь он никому не причинил вреда, был уважаемым человеком, отличался трудолюбием и гуманностью. Вначале Акмар призывал к терпению, затем пришел к осуждению всех полицейских и чиновников, в его словах уже звучат гневные нотки.

Лишь на основе скудных сведений об одном из обвиняемых Василии Кузнецове как о церковном старосте и торговце, имеющем гильдейские права, М. Петров нарисовал картину жизни двух поколений удмуртских богатеев — Семена и Федора. Имея реальных прототипов и Быков, русский богатей, способный на все ради наживы, он оказался исполнителем воли Раевского, главного обвинителя на мултанском процессе. Основной опорой обвинения выступал мултанский житель, русский крестьянин Д. Мурин, а убийцей инока Матюшина оказался состоятельный житель деревни Анык Ти-

мофей Васюкин, и характерные черты этих людей послужили основой для создания образа Быкова.

Силою своего таланта М. Петров создал яркие, запоминающиеся образы каждого героя, имеющего прототипом какого-либо реального участника процесса. Когда же автор меньше обращается к вымыслу, то сохраняет подлинные имена и фамилии людей, которые были причастны к этому делу. Так нарисован весь полицейский и чиновничий мир. Так же поступил М. Петров с образами В. Г. Короленко, А. Ф. Кони, П. П. Карабчевского, А. Н. Баранова и других представителей интеллигенции, принявших деятельное участие в защите удмуртов от позорного обвинения.

С большой теплотой создан образ В. Г. Короленко, что высоко оценила всесоюзная критика. М. Петров подчеркнул гражданское мужество В. Г. Короленко, с каким он отстаивал невиновных удмуртов, вместе с тем показал душевную мягкость и сердечную теплоту в обращении с простым народом. Короленко предстает перед читателем как цельный, стойкий, мужественный, в то же время мягкий, добродушный, чистый сердцем человек.

М. Петров не модернизировал историю, не улучшал ее, а воспроизвел жизнь правдиво в ее революционном развитии, показал истинного двигателя истории — народ, отразил его чаяния, передал историю как историю классовой борьбы. Поэтому роман получил высокую оценку у всесоюзной критики. Так, профессор Л. Терекпян писал: «Недаром же такие вещи, как «Абай» М. Ауэзова или «Старый Мултан» М. Петрова, стали подлинно этапными для казахской и удмуртской прозы»[1].

Ф. Ермаков.

---

[1] Дружба народов, 1967, № 5, с. 270.

СТАРЫЙ МУЛТАН

I

На возвышенности, окруженной лесами, раскинулось село Старый Мултан. Куда ни поглядишь — лес и лес.

У самого села, под горой,— речка Мултанка. Лес начинается прямо у берега, потом отступает все дальше и дальше от речки, открывая простор мултанским лугам.

Хороши здесь луга весной. Сколько купав! Глядишь издали — и луга кажутся золотыми. А вдоль речки пенится белоснежная черемуха.

Чудесна здесь и осень. В золотую ее пору не оторвать глаз от леса: среди сосен и елей, словно объятые пламенем, стоят березы, рябины, багряным огнем пылает вяз. Войдешь в чащу — и остановишься, очарованный прелестью осени. Прислушаешься — тишина.

В такую вот осень однажды под вечер появился в лесу у самой речки молодой человек с топором на плече. Срубил две тонкие сухие елочки, всадил топор в пенек и стоит, о чем-то задумавшись. О чем? Да мало ли какие думы одолевают молодого Григория! Жизнь еще ни разу не приласкала его. И кто знает, что ждет впереди — радость ли светлая, горе ли беспросветное... Возле самых ног, шурша опавшими листьями, пробежала ящерица. А вон дятел усердно долбит большое дерево. Григорий не слышит — он поглощен своими тяжкими мыслями.

Далеко в лесу, словно пугая кого-то, гукнул лесной голубь: уг-гу, уг-гу...

Григорий глубоко вздохнул, подошел к рябине, пригнул огненно-красную ветку, сорвал две большие кисти, завязал

ух и фырук, потом взвалил на плечо срубленные елки, взял топор и направился к берегу.

По гнущимся жердочкам Григорий перебрался через речку и остановился у низенькой, черной от копоти баньки. Наколол дров, растопил в бане каменку и от дыма выбежал.

Поблизости от бани, возле одинокой ветлы, из земли бил родник. Около него образовался довольно большой водоем. Чтобы скотина не замутила в нем воду, его обнесли срубом.

Григорий и не заметил, как к роднику подошла девушка с коромыслом. И вдруг он услышал тихую, как вечер, песню:

К роднику, что под горой,
За водицей я пришла.
Ой, в родниковой глубине
Подсмотреть бы счастье мне[1].

Григорий видит лишь платок с мелкими зелеными цветочками по кайме. Девушка ополаскивает ведра и поет, будто ведет разговор с родником:

У родника на ветке ивы
Соловей поет.
Ой, зачем же с тою песней
Дева слезы льет...

Поет Дуняша, а сама украдкой поглядывает на Григория. Нравится ей этот статный парень с вьющимися русыми волосами, в войлочной старой шляпе и домотканой залатанной рубахе. Больно сжимается сердце Дуняши, когда она вспоминает, в какой бедности живет Гриша. Почему люди не все одинаково живут? Ох, как она ненавидит богачей!.. Забыть бы Гришу, не думать о нем. Это только сказать легко, а думается все о нем и о нем. Ляжет спать, а он и во сне снится. Может, это не любовь, может, это просто жалость?

Неведомы Григорию девичьи думы. Чужое сердце не ларец, не откроешь и не узнаешь, что там есть и чего там нет. Когда девушка наполнила ведра чистой родниковой водой и подняла коромысло на плечо, Григорий ласково окликнул ее:

— Дуняша!.. Помогла бы. Завернула бы сюда да занесла ведерко водицы.

Девушка остановилась.

— Завернешь — да еще угодишь куда не следует...

Григорий не понял и снова попросил:

---

[1] Перевод песен в романе — автора.

— Заходи, Дуня. Угощу,— и показал ей большую кисть сочной, красной рябины.

— Этакой кислятиной? Парни девок конфетами угощают, а ты рябиной. Побереги свой гостинец для невесты.

Она громко рассмеялась и, покачивая на коромысле голубые ведра, пошла в гору.

Долго смотрел Григорий ей вслед. Ему казалось, что Дуня смеется над его бедностью. Горько обиженный, он с силой швырнул гроздья под ноги, и красные бусинки рассыпались по земле. «Посмешищем стал! Не только для богачей, но и для таких, как Дуня».

Сидел Григорий на толстом чурбаке перед баней, перебирая в памяти безрадостные дни своей жизни. Вспомнил смерть отца. Было это шесть лет назад, и осень была такой же ясной. В Мултан тогда приехал новый учитель, Илья Фомич. Заколоченные двери школы снова открылись. Двенадцатилетний Гриша пошел в третий класс.

Горячо полюбил он нового учителя. Но учиться Грише не довелось. Однажды в большую перемену ребята шумной ватагой высыпали на улицу и сразу притихли. С криком выбежал замешкавшийся в классе Гриша, но на него тотчас зашикали: «Чего шумишь?.. Не видишь?.. Вон...»

У нового двухэтажного дома богача Буграша собралась толпа. Женщины стояли, понурив головы, концами платков утирая слезы. Кто-то горько рыдал. Грише показалось, что это его мать плачет, и он опрометью бросился туда. Сжалось у Гриши сердечко, онемели ноги, холодный пот выступил на лбу: на обломках кирпичей перед домом Буграша лежал отец. Русая борода в крови, войлочная шляпа в стороне валяется...

Сидит Григорий перед баней и вспоминает, что было дальше, долго ли он плакал, кто увел его домой.

Вдруг он почувствовал на своем плече чью-то руку.

— Что ж ты голову повесил, молодец?

Узнав голос учителя, парень быстро встал.

— Здравствуйте, Илья Фомич!

Словно угадав его мысли, учитель сказал:

— Ты, друг милый, грустные мысли гони от себя, поддашься им — жизнь тебя растопчет. Меня она тоже не раз пыталась растоптать, а я вот все еще на ногах стою.

— Под вами земля покрепче, Илья Фомич,— улыбнулся Григорий.

— Земля под нами, Григорий, одинаково зыбкая — того гляди не устоишь...

Илья Фомич ростом с Григория, но худощав и потому кажется выше. Бледное, с правильными чертами лицо, большие голубые глаза смотрят пристально. Перед таким взглядом трудно, наверно, говорить неправду.

— Ходил я в волость насчет школы...— с обидой в голосе заговорил Илья Фомич и присел возле Григория.— Знаешь, что сказал старшина? Крестьянским ребятам, говорит, все равно в приказчиках не бывать, научатся до ста считать — и довольно. Вот такому человеку доверена забота о детях, о школе! Сколько детей не видят букваря! А что им, этим мироедам. Удмурты, говорит, землепашцы; за сохой ходить — большой грамоты не нужно. Вы, говорит, больше закону божьему учите; пусть с малолетства к молитвам приучаются.

Илья Фомич помолчал, потом снова заговорил, словно думая вслух:

— Да, боятся они народ учить. Если даже кто и пробьет себе дорогу, то уж не дальше учителя. Да и то, если повезет.

— А как вы учителем стали, Илья Фомич? — спросил Григорий.— Долго, наверно, учились?

— Как тебе сказать?..— Илья Фомич снял серый картуз, повертел его в руках, потом, откинув назад золотистый чуб, с упреком посмотрел на Григория.— Вот ты, наверное, смотришь на меня и думаешь: «Счастлив сей человек — хорошо одет, не пашет, не сеет, о еде не думает. Одним словом, барин». Мне еще и тридцати нет, а сколько пережить пришлось! Отец мой лесником был. Восьми лет я остался без матери. Вскоре появилась мачеха... Избушка наша стояла в дремучем лесу. Четыре зимы ходил я в школу лесом, одна, часто голодный. Потом умер отец. Из дома я ушел. Приютил меня тогда учитель, он же устроил в Вятскую духовную семинарию. Учился я там всего два года, больше не пришлось — учителя сослали на каторгу. Два года скитался по разным местам, брался за любую работу. Как-то нанялся в Малмыже к купцу. Думал: может, до приказчиков дослужусь. Проходит месяц, два, три, а я все свиней пасу, дрова пилю. Надоело! Сел на пароход и подался в Казань. Нанялся кучером в университет. Там один профессор, которого я возил, помог мне... Да, замечательный был старик. Многому научил меня, а главное — научил народ свой любить. Словно и сейчас стоит он предо мной и, подняв палец, говорит: «Народ не забывай, Илюша!»

Опустив голову на ладони, Илья Фомич заметил как бы про себя:

— Народ свой я не забывал, но и помочь ему пока что ничем не помог.— Потом быстро поднял голову и спросил Григория: — Ты думал когда-нибудь о том, кто повинен в горе народном? Думал ли когда-нибудь, почему одни живут богато, а у других и хлеба не бывает досыта? Почему вот, например, ты живешь в такой бедности? Почему Букин батрачит? Вчера я к Антону Камаеву заходил. Разве это жизнь? Горе, а не жизнь! Вы же не сидите сложа руки, вы работаете в десять раз больше Буграша и других богачей, а живете в сто раз хуже. Почему? Ты когда-нибудь подумай об этом, Григорий. Крепко подумай!

Илья Фомич встал и снова положил руку на плечо Григорию:

— А голову не вешай...

— Нужда заставляет, Илья Фомич.

— Да-а... нужда... Нужда, она многим шею гнет, а говорят, на согнутую шею и сесть легче. Ничего, Григорий, появятся еще Пугачевы, поднимут народ.— И, уже простившись с Григорием, Илья Фомич добавил:— Ты в свободное время заходи ко мне. Посидим, поговорим...

Григорий был крайне удивлен словами учителя. Он долго смотрел вслед Илье Фомичу, поднимавшемуся в гору тропинкой, вьющейся между слями.

С чего это он так разговорился? Правда, учитель ■ раньше никогда не проходил мимо, чтобы не сказать ласкового слова, но вот чтобы душу раскрыть — так еще не бывало. Чего он ищет? Чем томится? Скучно, наверно, жить в деревне, в город бы ему...

Истопив баню, Григорий направился домой, но вдруг остановился. У родника, подняв обе руки, стоял пьяный дьякон. Перед ним застыла чья-то огромная черная собака. Она не рычала, не лаяла, а, подняв морду, смотрела на дьякона: что, мол, это за чудак человек? Сухой как вобла, дьякон и в самом деле был смешон в своей островерхой камилавке из черного плиса, не прикрывавшей его нечесаных волос.

— Изыди, сатана!.. Сгинь!..— кричал он, но собака не трогалась с места.

Дьякон попятился от нее и, то ли зацепился за корни ивы, то ли запутался в своем длинном, полинявшем подряснике, но только он потерял равновесие и, перевалившись через сруб, упал в родник вниз головой. А собака, казалось, поняв, что случилось что-то неладное, убежала прочь, пугливо озираясь.

Григорий бросился к роднику. Он долго возился, прежде чем ему удалось вытащить дьякона, но было уже поздно: широко раскрытые, словно удивленные глаза его были безжизненны.

Григорий тотчас побежал к старосте сообщить о случившемся. На дороге ему встретился дед Дуняшн, старик Акмар. Григорий рассказал ему о беде.

Акмар тревожно осмотрелся и шепотом предупредил:

— Ты об этом молчи, Гриша. Никому ни слова. Затаскают по судам, не такое это веселое дело. Ни за что ни про что беду наживешь.

И Григорий послушался старика. Хоть и смутно было на душе, но о несчастье не сказал даже матери.

А на другой день прибыл урядник и, приказав убрать труп в пожарный сарай, приступил к допросу. Вскоре он установил, что Григорий Дмитриев незадолго до происшествия топил баню и разговаривал с учителем, что тут-то пьяный дьякон и проходил мимо бани.

На съезжую вызвали и Григория. Услышав от десятского зловещее слово «урядник», Григорий обмер. На съезжую он пришел сам не свой. Войдя в избу, встал у порога, со страхом ожидая, что будет. Урядник сидел за столом и что-то писал. Черные усищи делали его похожим на страшного зверя. Он медленно поднял голову.

— Григорий Дмитриев? Поди сюда,— поманил он пальцем.

Григорий подошел ближе к столу и невольно съежился. На столе лежала большущая, обросшая черными волосами рука урядника.

— Скажи, Григорий Дмитриев: как ты утопил дьякона? — Урядник в упор посмотрел на Григория и шевельнул усами.— За что толкнул его в родник?

— Не толкал я, ваше благородие, сам упал, пьяный крепко.

— Не ври! — погрозил урядник пальцем.— Скажи: зачем убил?

— Не убил, ваше благородие. Зачем убивать?

Не думал Григорий, что дело примет такой оборот. С каждым новым вопросом ему казалось, что урядник все крепче душит его своей огромной рукой.

— Если ты действительно вытащил дьякона, то почему тотчас не сказал старосте или священнику?

— Испугался, господин урядник.

— Испугался, говоришь? Гм... А утопить не испугался? Так. А скажи мне: о чем говорил с тобой учитель?

— Говорил, как сиротой стал, как потом учителем стал, больше ничего не говорил.

— А что про царя говорил?

— Про царя нет, ваше благородие. Про Пугача говорил, это было.

— А что он говорил про Пугача?

— Плохо ничего не говорил. Был, говорит, Пугач.

Обрадованный таким сообщением, урядник встал из-за стола и подошел к Григорию.

— Расскажи по порядку, что говорил учитель о Пугачеве. Урядников, мол, вешал, попов, бояр. На место царя сам хотел сесть. Так? — подробно расспрашивал урядник, полагая, очевидно, что Григорий плохо его понимает.

Но Григорий уже понял, что зря обмолвился о Пугаче. О нем он и раньше слыхал Когда-то на мельнице помольцы целый вечер говорили о Пугаче — как он с товарищами жил в лесах, грабил купцов, а награбленное раздавал бедноте. Но о том, что Пугач восставал против царя, Григорий впервые слышал от урядника.

— Илья Фомич сначала ушел, потом дьякон пришел, ваше благородие. Он ничего не виноват.

— Ты что, дурачком прикидываешься? — рявкнул урядник.— Я тебя не о дьяконе спрашиваю, это дело для меня ясное. Ты о Пугачеве расскажи. Что говорил о нем учитель? С чего у вас зашел разговор о Пугачеве? Ну?

— Тут сидит Илья Фомич, а там, в лесу, кто-то кричит. Илья Фомич говорит: «Ох, как кричит, прямо пугач». Только и было. Плохо не говорил.

— Вот ты, оказывается, какой, Григорий Дмитриев! — Со зла урядник сжал свой огромный кулак.

Понял он, что зря погорячился. Надо было издалека начать, а он прямо в лоб. Урядник попытался было запутать Григория, но обмануть его было уже трудно. Григорий твердил свое:

— Ничего плохо не говорил, ваше благородие.

— Молчать! — заорал в бешенстве урядник.— В тюрьме сгною! В Трык пойдешь, в каталажку. Там я тебя научу правду говорить!

В сопровождении двух понятых — Никифора и длинного, худого Степана, по прозвищу Журавль,— урядник отправил Григория в волость, в селение Трык.

Шел парень по Мултану и земли под ногами не чувство-

вал от стыда. «Лишь бы Дуню не встретить»,— думал он, пряча глаза от односельчан, а те расспрашивали у понятых, куда и зачем его ведут.

Случилось то, чего больше всего боялся Григорий. Спускаясь под гору, он издали увидел Дуню. Она шла ему навстречу. Девушка сразу почувствовала неладное. Все говорило о беде: и мрачный вид Никифора и Степана, и поникшая голова Григория. Дуня побледнела. Стараясь не выказать тревоги, она спросила:

— Куда это вы, дядя Никифор?

Высокий, слегка сутуловатый Никифор вынул изо рта самодельную трубку в медной оправе и чубуком указал на Григория:

— Вот, убийцу нашли. Они пьяные будут тонуть, а наш брат отвечай...— И Никифор зло сплюнул.

Понял, что Григорию хочется поговорить с Дуняшей, он позвал второго понятого.

— Пойдем, Степан, потихонечку, а они пусть тут...

— Прощай, Дуня,— Григорий протянул Дуне руку.— Может, больше не увидимся. Все мои думы были о тебе, а теперь...— Он не договорил, чувствуя, что слезы вот-вот брызнут из глаз, и торопливо попрощался.

— Куда же тебя?— с отчаянием спросила Дуня, но Григорий только махнул рукой.

Остановилась Дуня на склоне горы, не в силах двинуться с места. Григорий и понятые уже через речку перебрались, а она все стояла и смотрела им вслед.

Пришла Дуня домой с тяжелым сердцем, бросилась на постель и, уткнувшись в подушку, горько зарыдала.

Мрачно было на душе у Никифора.

— И за что только нас таскают! Если и дальше так будет, обозлится народ, крепко обозлится и, как при Пугаче, за вилы и топоры возьмется.

Григорий насторожился и, выждав паузу в разговоре, спросил:

— Дядя Никифор, а кто такой Пугач?

Собираясь, видно, рассказать о Пугачеве подробно, Никифор снова вынул трубку изо рта.

— За крестьян он стоял, за таких, как мы, бедняков, вот кто такой был Пугач. Против бояр и против самого царя шел. Много перевешал он разных богачей. Отбирал добро и леса у бар и раздавал бедным. Там, на Урале,— указал

трубкой на восток Никифор,— все заводы были уже в его руках. И в Сибири много захватил, по Волге до Царицына дошел. Лес мы туда сплавляли однажды, доплывал я туда на плотах. Далеко!.. Только больших городов три или четыре проехали, а поменьше — и не счесть. Сначала Казань, потом Симбирск, за ним Самара. Останавливались мы в этой самой Самаре, целый день стояли. Как раз на ярмарку угодили. Удивишься, Степан, такого я еще не видывал. Чего только там не было! А народу — какого только нет! Очень уж по-смешному одеты были какие-то из бухарских краев. Со смеху умрешь — не то баба, не то мужик, сразу и не поймешь...

Никифор говорит и говорит. А Григорию не терпится больше узнать о Пугаче. Наконец он не выдержал и прервал Никифора:

— А что сталось потом с Пугачом, дядя Никифор?

— Потом-то? — Никифор не спеша высек огонь, раскурил потухшую трубку и только тогда продолжил: — С Пугачом дело нескладно кончилось. Помню, в Казани к нам на плот попросился какой-то человек, сразу видать — бывалый мужик. Много чего порассказал он тогда о Пугаче. Дело-то, выходит, вот как было. Катерина, жена тогдашнего царя, захотела вместо него на трон сесть, ну, взяла да и убила мужа.

— Сама? — удивился Степан.

— Зачем сама, разве мало было у нее всяких там... Баба-то она, видать, непутевая была. Стала царицей и пошла пировать. А царские-то гуляния не рублями пахнут, тысячи летели. А где их взять? Известное дело — у нашего брата. Возросли поборы, и еще тяжелее стало народу, дыхнуть нечем. Брось искру — вспыхнет. Видит Пугач, конец нашему брату — и давай поднимать народ. А до этого у него так получилось. Забрали его в солдаты, а он взял да и убег, бегом заделался, и ходит по белу свету, глядит, как народ живет. Ну, выследили его, схватили и посадили в каталажку. У дверей солдата с ружьем поставили караулить, значит. Пугач солдату и говорит: «Ты знаешь, кого караулишь? Я — царь, муж царицы Катерины. Она нарочно слух пустила, что я умер, хотела народ обмануть». Одним словом, солдат поверил Пугачу и выпустил его, а вместе с ним и сам сбежал. Пугач сразу же на Урал подался. Поднял там заводской люд, а потом башкир и удмуртов поднял. Испугалась царица и послала против него большое войско. Не сложил Пугач. Как ни говори, в его войске был наш брат крестьянин, вое-

вать мы не обучены, да и оружие, видно, было такое — то поры да вилы; а у царицы настоящие войска с пушками. Да и год-то голодный пришелся. Чтобы легче было прокормить свой народ, Пугач ударился вниз по Волге. На свою, видать, беду пошел. Где-то под Царицыном схватили его богатые казаки и передали царским войскам. Посадили его, словно зверя какого, в железную клетку и на телеге повезли к царице. А уж что там было, один бог ведает.

— Убили? — тревожно спросил Григорий.

— Кто его знает. Говорят, сбежал. А чтобы обмануть народ, вместо него будто другого убили.

Долго еще рассказывал Никифор о Пугачеве, и в его рассказе быль мешалась с небылицей.

— Теперь вот нет такого человека,— закончил он, выколачивая трубку о ноготь большого пальца,— поэтому нас и гнут в три дуги.

Понял теперь Григорий, почему урядник так настойчиво расспрашивал его о Пугачеве.

В Трыке Никифор и Степан дотемна прождали урядника. Вернулся он из Мултана пьяный. Отпустив понятых, тотчас вызвал к себе Григория и снова учинил допрос. Обозленный тем, что Григорий не признавался в убийстве дьякона и ничего толком не говорил об учителе, он схватил беднягу за грудь и начал бить его головой об стену, а потом вытолкал за дверь и приказал посадить под замок.

Холодно было ночью в каменной каталажке с выбитыми стеклами в двух маленьких оконцах. Чтобы согреться, Григорий не раз поднимался с нар и подолгу прыгал на месте. Согревшись, снова ложился, но заснуть не мог. Долго думал о никогда не виданной им каторге: одетые в тряпье, оборванные, изможденные люди, звеня кандалами, тащат на плечах огромные камни... Потом вспомнились мать, Дуня, и еще тяжелее стало на сердце. Какая она красивая, Дуня, в своем коричневом кашемировом платке. Прямо как наяву стоит перед ним, смеется, а глаза лукавые, черные. Никогда Григорий больше не увидит ее, свою любимую. За что? За что его так мучают?

Не один он горевал в эту ночь; старая Ульяна ходила из избы в избу и со слезами на глазах спрашивала соседей:

— За что увели моего сына, может, вы, дорогие, скажете мне?

Облокотившись на стол, до поздней ночи сидел задумавшись старый Акмар. «Какого я человека погубил! — сокрушался старик.— Собственными руками в тюрьму отправил. Если бы сообщил он старосте, может, ничего и не было бы. Зачем я отговорил его?»

А ведь Акмар давно подумывал выдать за Григория свою внучку Дуняшу. Не судьба, видно.

В Старом Мултане в тот день, когда увели Григория, все разговоры были только о нем. Никто не верил, что он мог толкнуть дьякона в родник, но и помочь ему никто не мог.

На следующее утро к старосте пришел односельчанин, русский Степан Лосев. Староста выкладывал камнями тропку перед крыльцом.

— Я насчет Григория, Трофимыч,— сказал Лосев по-удмуртски.

Бектэмыр удивленно посмотрел на него: с какой стати русский человек печется об удмурте?

— Дьякон сам упал в родник. Моя дочка видела. Просвирнина дочка тоже видела, они как раз там, у речки, играли,— рассказал Лосев.— Сходи, Трофимыч, в Трык. Выручать надо Гришу, ни за что человек в тюрьму угодит.

Бектэмыр первый год ходил в старостах, потому за любое дело принимался с оглядкой и осторожностью. А дело, с которым пришел Лосев, такое, что и думать тут нечего. Не хватало еще, чтобы он, староста, из-за какого-то Гришки таскался в волость. «Нашел тоже дурака»,— подумал он и маленькими острыми глазками зло посмотрел на Лосева.

— Кто же это поверит девчонкам? — буркнул он, хлопая рукавицей о рукавицу.— И потом — почему это обязательно мне нужно идти в Трык? Говоришь, твоя дочка видела, так ты и сходи, расскажи урядинку как и что.

— Но ты же староста.

— Девчонки будут болтать, а староста, значит, ходи за семь верст киселя хлебать? Умно придумал.

Степан в упор посмотрел на старосту, словно хотел разглядеть, что же у этого человека вместо сердца.

— Григорий же наш деревенский,— сказал он с гневом.— Был бы жулик какой, тогда другое дело, а ведь он... ты сам знаешь, какой он. Жалко парня, ни за что в тюрьму посадят.

— Если жалко, сам сходи, объясни урядинку. Разве я тебя держу?..

— Ну и человек же ты!

Это сплюнув, Степан пошел домой, но по дороге заг... нул в школу к Илье Фомичу. Там шел урок. Степан реш... дожаться перемены.

После урока Илья Фомич отпустил учеников и вместе с Лосевым пошел к нему, чтобы поговорить с его дочкой.

Разузнав все подробно, учитель направился в Трык.

Его приход урядник расценил по-своему: «Ага, они, кажется, одной веревочкой связаны!»

— Хорошо, поверим девчонкам,— сказал он учителю, насупив лохматые брови.— Ну, а если бы они с[illegible] кона утопил сам учитель? Тогда как?

— Говорить напрасно они не будут, Агафон Демьяныч. Дети вообще не умеют врать.

Урядник захохотал.

— Вам, учителю, пора бы знать, что они врут, даже не понимая того, что врут.

— А вы же посадили мужика из Асинера, поверив мальчишке? Почему не подумали тогда, что он мог вам соврать?

— Вы что, учить меня пришли? — неожиданно взъелся урядник.— Верю, не верю — это мое дело. И потом — нельзя ли узнать, почему это вы так заботитесь об арестованном? Что он вам, родня, что ли?

— Зря посадили его, Агафон Демьяныч. Я верю девчонкам, я обо всем расспрашивал их.

Урядник встал из-за стола, подошел к Илье Фомичу, молча постоял перед ним, сверля его глазами, и наконец заговорил:

— Понимаю ваше беспокойство, господин учитель. Однако малость опоздали... Дмитриев уже успел кое-что рассказать о вас. Скоро мы с вами встретимся. Тогда уж не вы мне, а я вам буду задавать вопросы.

— Пугаете? — вспылил Илья Фомич и надел картуз.— Дать вам волю, вы бы пересажали весь народ. Но у вас, господин урядник, руки коротки. А что касается Григория Дмитриева, то это чисто уголовное дело — и последнее слово будет за следователем.

Урядник обрадовался, что сумел вывести из себя учителя, и, злорадно улыбаясь, сказал:

— Говорите, значит, за следователем последнее слово? А вы знаете, есть такая пословица: «Пути в разные стороны смотрят, а шагают в одну». Ха-ха-ха! Хорошо сказано? Есть и еще в этом роде: «Собака собаку не съест». Слыхали, наверно? Понятно? Ну, а теперь — вон бог, а вон и порог, Мария!

Наглость урядника была настолько откровенной, что Илья Фомич не нашелся даже что сказать. Он с омерзением посмотрел в ненавистное лицо и направился к выходу.

Больше недели просидел Григорий в каталажке. Домой он вернулся ночью. Не дал матери даже чай вскипятить, поел картошки с кислой капустой и забрался на полати. Заснул не скоро, перед глазами чередой проходили события последних дней. В голову назойливо лезли воспоминания, и Григорий ворочался с боку на бок.

Скрипят под ним доски полатей.

Ульяна лежит на больших нарах и тоже не спит. Сердцем чует, что сыну тяжело.

— Сынок, чего не спишь? — тихо спрашивает мать.

Григорий, глядя на полосу лунного света, протянувшуюся по полу, ответил не сразу.

— Думаю, мама. Илью Фомича жалко. Загубят они его, в острог упрячут. Урядник зол, видать, на него. Да и поп тоже недолюбливает.

— О ком это ты, сынок?

— Об учителе. Плюнул бы он лучше на них, не связывался бы.

— Он, поди, сам знает, что к чему. Ума не занимать. А урядник тебя не шибко пугал? Для них ведь — что собаки, что мы. Бил, поди?

— Им я не нужен, мама. Теперь я все понял: они просто через меня хотели зацепиться за учителя.

— За что ж они так невзлюбили его? Другую, видно, песню поет?

— Вот, вот. Правильно, мама. Другую песню поет. Он за нас, за народ стоит. А это им не по шерсти.

— Спи-ка, сынок, спи. Такой умный человек, как наш учитель, не поддастся им. Это они нашего брата гнут, как хотят. Темные мы, не знаем ничего.

— Кулак урядника одинаков для всех — и для ученых, и для нашего брата. Подстеречь бы его где-нибудь в лесу и огреть по голове колом.

— Что ты такое говоришь, сынок? — Ульяна от страха даже привстала.

— Вот именно, говорить-то говорим, а дела не делаем.

На другой день, когда стемнело, к Григорию пришел Степан Лосев и позвал его к себе.

— Илья Фомич у меня сидит, тебя повидать хочет.

Григорий был обрадован и смущен. Он быстро оделся. Когда они пришли к Лосеву, Илья Фомич, сидевший с Петрованом, крестьянином из соседней деревни Лиды, поднялся навстречу Григорию.

— Ну вот, новый кум урядника явился.

Поздоровавшись с Григорием, он поднял его ближе к с... ию и, посмотрев в глаза, спросил:

— Говори прямо: здорово бил?

— Порядком надавал...— улыбнулся Григорий.

— Ну, коль смеешься, значит, ребра целы.

Все рассмеялись.

— Ты на меня не сердись, Григорий,— Илья Фомич тепло смотрел на Григория.— Чувствует сердце — из-за ... ло тебе от урядника. Так ведь?

— Откуда знаете, Илья Фомич?

— Чтобы знать это, вовсе не надо быть гадалкой. Не любят они меня, хотят поскорее в тюрьму упрятать. Пожалуй, меня они могут посадить хоть сейчас, а вот правду им не упрятать за решетку.

На огонек зашел и батрак торговца Мухина, Игнат Букин. Коренастый, с легким чубом русых волос, он своей смелостью не раз удивлял мултанцев.

Учитель сел за стол, сцепив пальцы рук, и с горечью сказал:

— Староста — палкой, урядник — плеткой... Весело живет, брат. Когда же мы избавимся от такой жизни, Григорий? Как думаешь?

Поняв, куда клонится разговор, Григорий сказал напрямик:

— Коль не поднимется новый Пугач, всегда будет так.

Все удивленно посмотрели на него. И учитель был удивлен не менее остальных.

— Правильно, Григорий! Только вот не находится, видать, второго такого, как Пугачев. О бунте говорят много, а на деле никто ничего не делает. Поднять бы сразу всю Россию, весь народ! А то все спорят меж собой: одни говорят — надо царя и генералов перебить, другие говорят — не в том дело.

Услышав такие страшные слова, Григорий замер. Илья Фомич заметил его испуг.

— Опасные разговоры, а, Григорий? — улыбнулся он. — Да, жизнь так легко не изменишь. Вот недавно мы тут сидели и говорили о крепостном праве. Вам, молодежи, не мешает знать прошлое. Да, собственно, с того времени, когда

был план манифест об освобождении крестьян, не так-то много лет прошло. А еще есть такие, которые думают, что царь, мол, издал манифест, жалеючи народ.

— Пожалел волк ягненка,— буркнул Степан.

— Дело, конечно, не в жалости,— продолжал учитель.— Жизнь становилась из года в год тяжелее, среди крестьян рос-ло недовольство, повсюду начались бунты: крестьяне стали жечь помещичьи усадьбы, убивать помещиков, делить их зем-лю. Царь жестоко расправлялся с восставшими. Но народ не переставал бороться, волнения перекидывались, как лес-ной пожар,— в одном месте потушат, а уже горит в другом. Того и гляди вся Россия вспыхнет. Вот потому-то и издал царь свой манифест. Что же дал крестьянам царский мани-фест? Недавно мне урядник, знаете, что сказал? «Собака, говорит, собаку не съест». То же самое и тут получилось. Сам царь — один из самых крупных помещиков. Так станет ли он обижать других помещиков? Манифест, конечно, кое-что дал. Помещики теперь не могут менять крестьян на со-бак. При крепостном праве помещик делал со своими крестья-нами что хотел: вздумал — продал, вздумал — в карты про-играл. А после манифеста крестьяне освободились от поме-щика, но вместе с тем их освободили и от земли. Если не-чем выкупить землю, нанимайся работать на помещика или иди куда глаза глядят.

— Я что-то не пойму, Илья Фомич,— сказал Игнат Бу-кин, устроившийся на скамейке возле печи.— Если крестьяне освободились от помещика, тогда зачем им платить за зем-лю?

— Вот тут-то и скрыта оборотная сторона дела. Крепост-ной-то вместе с землей был собственностью помещика. После манифеста мужик вынужден был выкупить свою же землю у того же помещика. Вот, например, по нашей Вятской гу-бернии крепостным крестьянам за выкупаемую землю при-шлось платить помещику по двадцать пять рублей шесть-десят две копейки за десятину, а пуд хлеба стоил тогда двадцать копеек. Это за десятину. А если надел в три деся-тины? Это — семьдесят шесть рублей восемьдесят шесть копеек, около четырехсот пудов хлеба. Откуда взять такие деньги? Тогда-то вот и поняли крестьяне, что это за царский манифест. На первый взгляд крепостной как бы освободился, сам себе хозяином стал, а землю выкупить не на что. Тыся-чи крестьян остались без земли. И пошли они в батраки или подались на заводы и фабрики, а земля их осталась в руках помещиков.

— Вот тебе и манифест! — вздохнул Степан, облокотившись на край стола.

— Да, Степан Авдеич, таков был царский манифест. У нас тут нет помещиков, но манифест и по нашим крестьянам крепко ударил. Вы сами видите, как из года в год растут разные подати. Возьмем, например, нынешний год. Знаете, сколько по нашей губернии накопилось крестьянского долга казне? Больше шестнадцати миллионов рублей. А сколько хлеба собирает губерния за год? Считая по базарной цене, на три миллиона семьсот тысяч рублей. Понимаете, что получается? Если крестьяне будут платить казне свои долги, не оставляя себе даже горстки зерна, то им придется отдать урожай четырех лет.

Цифры ошеломили слушателей. Григорий машинально крутил пуговицу на своей серой холщовой рубахе. А Петрован пошевелил белесыми усами и недоверчиво покачал головой.

— А вы не напутали чего, Илья Фомич? — прищурился он.

— Что, не верится? — спросил учитель, коснувшись руки Петрована.— Ну-ка, садись ближе, я тебе покажу.— И он вынул из-за пазухи журнал «Северный вестник».— Вот тут прямо говорится, что в этом году по Вятской губернии на каждого работающего человека приходится в среднем по тридцать пять рублей подати и недоимки.

Петрован медленно поднял голову и, посмотрев на Лосева, спросил.

— Слышал, Авдеич? Чем будем платить?

Лосев потер ладонью щеку, вынул кисет, ловко скрутил «козью ножку» и угрюмо заговорил:

— Чем и как платить, не наша с тобой забота, Петрован. Они сами найдут. Есть лошадь — лошадь уведут, нет лошади — корову уведут или овец. Того не хватит — последнюю одежонку заберут. Разговор у них на этот счет короткий. Нам ведь не впервой.

— А что я буду делать без лошади? К Быкову или к вашему Буграшу в батраки? Так, что ли?

— А ты думаешь, эта дорога тебе заказана? — невесело рассмеялся Лосев.— Не одному же Игнату ходить в батраках.

Игнат встал и подошел к столу.

— Подниматься надо, вот что! — сказал он, до боли сжав плечо Петрована.— Долго будем так жить?

— Кого же ты думаешь поднимать, Игнатий? — тихо

спросил учитель.— Ты с народом говорил? Знаешь, люди какую думу тянт? Нового манифеста ждут. Узнает, дескать, царь про наше тяжёлое житье и выпустит новый манифест. Сейчас надо глаза народу открыть. Это потруднее, чем размахивать кулаками.

Илья Фомич некоторое время сидел молча, потом, заикрыл журнал, спросил:

— Вы когда-нибудь думали о том, почему между мултанцами и аныкпами уже больше двадцати лет идет тяжба за землю? Разве в наших краях мало земли? Да и помещиков нет. Тут же у нас, куда ни глянь, кругом леса, конца и края им нет Корчуй и паши, сей, сколько тебе надо.

— Пожалуй, накорчуешь! — бросил Степан.— По малину и то не пускают.

— Вот тут-то и есть загвоздка,— продолжал учитель.— У нас здесь еще до манифеста об отмене крепостного права проведено так называемое межевание. Крепко ударило оно по крестьянам: все леса тогда были закреплены за казной, а часть из них отрезана Ушковым, Львовским и прочим лесным богатеям...

До полночи затянулась тогда в избе Степана Лосева беседа о беспросветной крестьянской нужде.

2

Быстро прошла золотая пора осени, наступили ненастные дни. Небо заволокли тяжелые облака. Как сквозь мелкое сито беспрерывно льют холодные дожди. Почернели деревья. Наступили темные ночи — хоть глаз выколи. В редкие дни, когда не бывало дожля, холодный ветер срывал с деревьев последние листья и, кружа их высоко над постройками, уносил за огороды.

Короток осенний день. Неожиданно наступают сумерки. Ночами воет ветер, точно запоздалый путник, стучится в ворота, в окна.

В такие вот осенние ночи мать Григория, старая Ульяна, прядя исполу шерсть жене кулака Буграша. Временами она переставала прясть и, подперев рукой голову, подолгу думала. Воет, завывает ветер за окном, и кажется Ульяне, что там, во мраке осенней ночи, кто-то плачет, жалуясь на свою судьбу. Думает Ульяна, и перед глазами проходит вся жизнь, год за годом, и нет в ней светлого дня, такого, чтобы, вспом-

…ня, можно было счастливо улыбнуться. Правда, были и…
…ие редкие минуты радости, но горе глушило их, и гасли …
…ак падающие звезды в ночной тьме.

Вспомнила Ульяна смерть мужа, вспомнила, как она пла…
…сте с маленьким Гришей не раз плакала тогда на пал…
…разве перебрать в памяти все страдания, невзгоды, обиды …
слезы? После смерти мужа Григорий стал единственной …
радой и утешением в ее жизни. Она мечтала лишь об о…
вырастить сына, поставить его на ноги — и для этого не …
лела ни сил, ни здоровья. Не напрасными оказались т…
Пришла пора невестку в дом ввести.

Но опять же забота матери: на что справить свадьбу, …
какую невесту бог пошлет? Она бы дать сыну …
на, но избушка покосилась, стыдно в такой …
звать. Перебрать бы избу, да где денег возьмешь? Григорий …
с утра до темной ночи работает на людей, а ни в доме, …
во дворе не видать прибытка: что ни заработает — все идет …
на расплату за долги. Недавно староста ругал Григория за …
недоимку. Девять рублей, говорит, накопилось. Где их взять, …
такие большие деньги? Была бы телка, продали и расплатились бы, но из хлева тетки Ульяны давным-давно уже …
доносилось мычания, и вся ее забота свелась к тому, чтобы …
хоть как-нибудь сохранить захудалую лошаденку. Стара у…
лошадка, пора бы и сменить, да где возьмешь на придачу? …
Ульяна тяжко вздыхает и снова начинает прясть. И мотает, и …
мотает она на веретено свои бесконечные думы. Вместе с думами рождается грустная песня.

Ой, с деревьев буйный ветер листья рвет,
Горе злое, не жалея, мое сердце рвет...

Слова песни рождаются сами собой, но Ульяне кажется, что она эту песню где-то когда-то слышала, а сейчас слу…
но вспомнила.

Не дойти мне до конца пути-дороженьки,
Не видать конца мне злой кручинушки...

Поет она, поет, и не понять — что тут из песни и что свое.

В сенях постучали. Вернулся Григорий.

— Что это так долго? — спросила она, входя вслед за сыном в избу.— О чем говорили?

— Известно о чем, о податях.

— И когда только конец этим податям придет! Умрешь — и то плати. Как же мы будем свадьбу справлять, сынок?

— Какую свадьбу? — удивился Григорий.

— Все о невестке думаю я, Гриша. Доколь мы будем так жить? Скучно, в избу заходить не охота. Хоть бы услышать под старость детский голосок!

— Кого же ты надумала в невестки? — усмехнулся Григорий.

— Поговорю вот с сестрой Аленой — может, у нее кто на примете есть.

— А если ее выбор не по душе мне придется?

— Не говори такое, сынок. Ты еще молод, жизни не знаешь. Все на красоту смотришь, а то невдомек, что из красоты скирды не складывать.

— Ну, ну, не сердись, мама. Тяжело тебе одной, без помощницы, вижу я.

Ласковые слова сына наполнили сердце матери радостью. Кончиком платка Ульяна украдкой смахнула слезу.

Выпал первый снег. Кругом так бело, что глазам больно. Ребята с визгом и смехом весело катаются с гор.

Остывшая земля долго ждала белого покрова, теперь уже наверняка снег не растает. Мултанский кулак Бураш решил по первопутку ехать с хлебным обозом в Елабугу, к купцу Стахееву. Он предупредил Григория, чтобы тот был готов отправиться в извоз. Что поделаешь, не ехать нельзя, в лавке Бураша Григорий уже не раз брал в долг кое-что по мелочи. Да потом, как знать, возможно, весной снова придется идти к Бурашу просить семян.

С жалостью смотрит Ульяна через окно на сына, который во дворе прилаживает к саням новые оглобли. Только что вернулся из казенного леса, больше недели возил дрова казне, не успел отдохнуть — и снова в извоз. Матери очень хочется накормить сына на дорогу чем-нибудь вкусным — но что она может дать ему, кроме картошки?

Скрипнула калитка — во двор кто-то вошел.

Это Алена, младшая сестра Ульяны. С чего бы это она чуть не бегом бросилась к Григорию?

— Урядник к вам идет, Гриша!

— Урядник? — Григорий побледнел. Стараясь скрыть свое волнение, спокойно спросил: — А что ему у нас надо?

— Подати собирает и недоимки. Иван Красный сказал. У Антона Камаева последнюю телку увели. Боюсь, как бы нашу лошадь не отобрали. Ну, что ты стоишь, как столб? Живо веди ее на водопой, а там ищи ветра в поле. Понял? Где-нибудь в лесу переждешь.

А если он и завтра явится? И послезавтра? Так и будет каждый день прятать лошадь? От них ничего не скроешь.

— Что же ты думаешь делать? — растерянно спросила Алена.

— Эх, садануть бы ему по башке вот этим топором! — с ненавистью произнес Григорий и с силой пнул ногой порог амбара.

— Что ты мелешь? — накинулась на него Алена.— Не вздумай тут бушевать, а не то головы тебе не сносить.

— Не бойся. Сам понимаю: одного убьешь, а на его место десять других собак появится.

— Вот и пожаловали! — сказала Алена, испуганно глядя в сторону ворот.

Во двор вошли урядник, староста и двое понятых — Иван Красный и Степан Журавль. Алена схватила топор и вбежала в дом.

Ульяна собирала на стол. Увидев испуганную сестру, она мигом оказалась у окна.

— Батюшки! Никак, урядник к нам!

Ульяна отошла от окна и нечаянно смахнула со стола солонку, затейливо сплетенную из бересты.

— Ой, господи!.. Вот и соль просыпала. Не к добру это. Что они ходят тут, зачем пришли?

— Кажется, насчет подати,— чтобы не напугать сестру, как можно спокойнее ответила Алена.

Но оказалось, у Ульяны были свои причины бояться урядника. Ни слова не сказав Алене, она спустилась в подпол и под передником вынесла оттуда маленький бочонок с самогоном.

— Это, знаешь, с каких пор стоит? — шепотом призналась она сестре.— Помнишь, весной жена Прохора исполу гнала? Для свадьбы все берегла. Куда же мне теперь спрятать?

— А зачем вынесла оттуда? — рассердилась Алена.— Дай сюда...

Она взяла из рук растерявшейся сестры бочонок и быстро спустилась в подпол.

Ульяна снова подошла к окну. Зачем это вывели лошадь? Уж не продать ли вздумал ее Григорий? Нет, не похоже. Урядник ткнул кулаком в бок лошади и погрозил Григорию пальцем. Куда они понесли ее? А Григорий стоит один посреди двора, понурив голову. Теперь Ульяна поняла, что произошло, и, рыдая, выбежала из дома.

— А лошадь они зачем?

— Увели... за недоимку... — махнул рукой сын.

Ульяна с диким криком бросилась на улицу и схватила лошадь за повод.

— Не дам! Хоть убейте, не дам! За что обижаете, проклятые?

Тут выбежал Григорий, а вслед за ним и Алена. Степан покорно опустил повод и смотрел на Ульяну, не зная что делать.

— Убрать эту сумасшедшую! — гаркнул урядник на всю улицу.

Но не так-то легко было вырвать у Ульяны повод.

— Не дам, хоть убейте!..

Григорий с теткой уговаривали ее, но она, исступленно крича, всех гнала прочь. Урядник, видя, что никто не может справиться с женщиной, подскочил к ней. Григорию показалось, что урядник хочет ударить мать. Он быстро загородил ее и умоляюще сказал:

— Не бейте, господин урядник, уведем ее.

Урядник схватился за повод и так дернул, что чуть было не свалил лошадь вместе с Ульяной. Однако Ульяна не выпустила повода.

— Не дам тебе лошадь, проклятый ты богом человек! И сердца-то, видно, нет у тебя, камень вместо сердца. Бектэмыр, не давай ему лошадь, скажи, окаянному, чтоб оставил.

Урядник, махнув плеткой, закричал:

— Пусти, говорят тебе, скотина!

Григорий испугался, что урядник вот-вот ударит мать. Через голову тетки, стоящей рядом с матерью, он сдернул узду с лошади. Испуганная лошадь бросилась в сторону.

Женщины и ребятишки, наблюдавшие всю эту сцену из окон домов, радостно засмеялись, им казалось, что урядник теперь не поймает лошадь.

Старик Акмар стоял у ворот дома своего зятя Ивана Красного. Больно ему было смотреть, как убивается Ульяна. Когда понятые поймали убегавшую лошадь, Акмар еще некоторое время постоял в раздумье и вдруг зашагал к съезжей избе, куда пошли урядник и староста...

Вскоре мултанцы снова стояли у окон, теряясь в догадках. Понятой Иван Красный вел Григорьеву лошадь обратно. Когда он ввел ее во двор, навстречу выбежали Григорий и Алена.

— Ты что это, дядя Иван? — спросил его Григорий.

— Лошадь обратно привел тебе, Гриша,— улыбнулся

Гостю моему, Акмару, спасибо скажи: уплатил за ...ня полностью.

Ничего не понимая, Григорий растерянно п... ...с Ивана на тетку Алену.

— Должен он был тебе, что ли? — спросила та, нах...

— Нашла тоже богачей. Где я возьму в долг ...
А дед Акмар про это не сказывал, дядя Иван?

— Как не сказывал. Отцу Григория, говорит, должа... тался. А там, кто его знает. Другой, если бы даже и дол... был, думаешь, вернул бы такой долг? Держи карман ш... Умер, мол, человек — и делу конец.

Вечером, когда в избах зажглись огни, Григорий с ...терью отправились к старому Акмару. Семья Акмара ...нала; сам старик сидел на стуле, а Николай, Дуня ... мать — на скамье за столом.

Увидев вошедших, Дуня вся зарделась. Зачем в т... необычное время пожаловал Григорий, да еще с мат... Уж не свататься ли? Но сам жених, кажется, не ходит ...таться, так делают только вдовцы. А может, и ходит ... вушка до того смутилась, что собралась было выбежать ... стола и спрятаться за кухонную перегородку, пусть ... договариваются, как хотят. Но не успела она подняться, ... Ульяна подошла к делу, упала перед ним на колени и ...клонилась в ноги.

— Спасибо тебе, дядя Акмар. До самой смерти с... не забуду твою доброту. А расплатиться мы расплат... дай срок. Гриша,— обратилась она к сыну,— благодари ... Акмара.

Акмарова невестка, мать Дуни, вышла из-за ст... стала поднимать стоявшую на коленях Ульяну.

— Зачем ты, Ульяна! Нехорошо так, встань. Сади... лучше за стол, как раз к ужину угодили. Говорят, к ... тому столу заходят люди с добрым сердцем. Садись, ... дись. Гриша, и ты садись. Дуня, неси-ка ложки.

Когда Дуня вышла за ложками, Григорий тоже ... было опуститься перед Акмаром на колени, но старик ... жал его:

— Не надо, не надо, сынок. Все мы должны по... друг другу. Кто знает, что будет завтра — может, и т... придется помочь нам. Жизнь наша такая: сегодня ... дугу согнет, а завтра меня. Давай-ка садись лучше за ... Чем богаты, тем и рады.

Один лишь Николай, брат Дуни, хромой и умом не...

прокутый,— в детстве он упал с полатей,— вопрошающе
смотрел то на деда, то на Григория.

— Что случилось, дедушка? — шепотом спросил он Ак-
кира.

— Ничего не случилось, Николай. Просто горе приводит
людей друг к другу.

3

После масленицы в село прибыл новый дьякон. Узнав, что его предшественник утонул, он в тот же вечер пошел к родничку.

Дуня как раз полоскала на речке белье. Увидев дьякона, она обомлела, ей показалось, что у родника стоит не человек, а леший, о котором так много говорится в сказках,— огромного роста, в длинной черной рясе, на голове островерхая черная камилавка, лицо узкое, длинное, рыжая борода клинышком. Дьякон с минуту постоял у родника и, трижды перекрестившись, ушел.

Новый дьяк в первую же службу удивил прихожан своим громовым голосом.

— Господи боже мой, и откуда это у него берется?! — шептались бабы в церкви.

Не только голосом, но и утробой своей удивил он мултанцев: пил дьякон без счета и без меры. Как-то заболел один из первых богачей Мултана — Семен Буграш. Когда ему стало совсем худо, сын Семена, Федор, пошел за священником, а того как раз в селе не оказалось. Ну и пришлось исповедовать больного дьякону. Он читал так, что дребезжали оконные стекла. После исповеди, как водится, пригласили его к столу. И вот уже третью бутылку ставит перед ним хозяйка, а дьякон только багровеет.

— Где это нашли такого пьяницу? — шепчет хозяйка своей дочери.— Старый дьякон, бывало, выпьет три рюмки — и веселый, а этому и бочонка не хватит. Вон и гуся уже кончает. Дернула же меня нелегкая гусем угощать, ему бы лучше сварить чугун картошки.

Думая, что дьякон понимает по-удмуртски, Федор до ушей покраснел. До чего же мать скупа и негостеприимна. Но дьякон, как оказалось, по-удмуртски ни слова не понимал. Не обращая никакого внимания на разговоры хозяев, он обеими руками раздирал гуся, облизывая жирные пальцы и то и дело с завистью поглядывая на Федора: какое же богатст-

во останется после смерти отца этому тихоне! А то, забыв вдруг про вино и закуску, дьякон подолгу обшаривал глазами избу. Пол, полати, нары — все окрашено. Вон огромный кованый сундук, покрытый узорным ковром. На вешалке возле входной двери висит большой тулуп и покрыт он настоящим фабричным черным сукном. Вон сборчатые новые шубы, а вон еще черный дубленый полушубок Федора. Куда ни глянь — все крепкое, добротное. На полатях, у печи, сложены две пары еще не пошепных кукморских валенок. Ох и красивые, расшиты красными узорами!

Сидел дьякон так долго, что вконец извел хозяев. Уходя, он остановился у ворот и еще раз окинул взглядом богатые постройки. Ворота на кирпичных столбах, с одной стороны — двухэтажный дом, с другой — длинный одноэтажный, а дальше амбары, кондовые конюшни, теплые хлевы. По всему двору разносится басовитый лай большого пса, посаженного на цепь перед хлебным амбаром.

Федор решил, что дьякон намеревается что-то попросить, и его даже передернуло. И в самом деле оправдалась догадка Федора: дьякон снял у него с головы шапку из черной мерлушки, повертел ее в руках, любуясь красивыми завитками.

— Хороша шапка! Не сумеешь ли и мне достать такую, Федор Семенович? — спросил дьякон, с завистью оглядывая и новенький полушубок Федора.

Такой мелкий завиток бывает только у ягнят-выкидышей, поэтому суеверный Федор промолчал: сказать «достану» — значит напророчить мертвых ягнят. Его молчание дьякон понял по-своему и, все еще рассматривая шапку, добавил:

— Я уплачу, ты не сомневайся.

— Такая шкурка от ягненка-выкидыша бывает, отец дьякон.

— Эх, хороши шкурки! Если будут выкидыши, не забудь про меня,— сказал дьякон, неохотно возвращая шапку.

«Гнпун тебе на язык»,— подумал Федор.

Из-за лесов, с полуденной стороны, дохнуло теплыми ветрами. На солнышке уже тает, по краям крыш, под окошками наличниками висят сосульки. Ночи стоят чистые, звонкие. Звезды большие, яркие — все небо переливается, горит. Искрится тонкая ледяная корочка на снегу.

По субботам в теплых банях собирается молодежь на игры. Сегодня девушки и парни собрались в большой бане

что недалеко от моста через Мултанку. Оттуда едва доносится, будто приглушенная песня, звуки гармошки. Изредка, когда кто-нибудь приоткроет дверь, шум веселья вырывается на волю, но дверь тут же снова захлопывается, поглощая звуки.

Но вот в бане и в самом деле стало тихо: все слушают Антона Камаева, закадычного друга Григория, такого же бедняка, как и он. Однако ненадолго установилась тишина — рассказ Антона прерывается громким хохотом. Сегодня больше всех достается Федору Бугрошу и его семье.

— Вот так-то,— говорит Антон, откидывая со лба льняной чуб.— В нашем селе первым купил самовар дедушка Федора — Лазарь Буграш. Привез он этот самый самовар и объяснил жене, куда воду наливать, куда уголь засыпать. Лазариха уже трижды в тот день ставила самовар. Перед тем как ему вскипеть в третий раз, она вышла в амбар насеять муки для блинов, а уходя, наказала Фединой матери, тетке Матрене: «Сношенька, ты за самоваром-то посматривай, как бы не убежал. Когда вскипит, заглуши».— «А как я узнаю, вскипел он или не вскипел?» — «А когда вскипит, вот в эту дыру пойдет пар»,— показала Лазариха на отверстие в крышке.

Мать Федора, тетка Матрена, сидит себе и вяжет носки. А Лазариха в амбаре муку сеет.

Не успела тетка Матрена ряда два связать, как самовар вскипел. Посмотрела она и обомлела: самовар бурлит, даже крышка прыгает. Подбежала к самовару и давай кружиться вокруг него, не знает, что делать. А кипяток уже бежит через край. «Господи, что же делать?.. Бежит... весь выбежит... Ма-ма-ша! — кричит она свекровке.— Самовар бежит!.. Вскипел... Мамаша!..»

А свекровь не слышит. Напевает себе какую-то песенку и досеивает последнее решето. Самовар же словно взбесился. Тетка Матрена окончательно растерялась, взяла да и заткнула пальцем отверстие в крышке и тут же дико взвизгнула: «Ой-ой-ой! О господи, чтоб тебе провалиться!» Заткнула другим пальцем — тоже обожгла. И кричит на всю избу: «Ой, пальчики мои, ой, бедненькие.. Шайтан, что ли, сидит в тебе!»

У тетки Матрены слезы ручьем, а сама все еще затыкает отверстие то одним, то другим пальцем. В суматохе совсем забыла, бедная, про покрышку. Все пальцы обварила, целых два месяца лежали потом носки недовязанными... Что ж поделаешь, коли богом обижена...

Все хохотали, один лишь Федор Буграш сидел, словно в рот воды набрал. Насупив густые черные брови, он то и дело хмуро поглядывал на Антона, хотелось и ему уколоть балагура, поднять его на смех, но страшновато — у Антона язык злой. Да и большинство ребят на стороне Антона, Федор это видит: вон как радуются, что сына богача осмеяли. И Федор молчал, затаив в душе злобу. «Погоди, я тебя проучу! — думал он.— Теперь ты у меня ни копейки в долг не получишь».

И вот снова ходуном заходила недавно выстроенная баня. Вовсю веселилась молодежь.

Только Дуня одиноко грустила в дальнем углу. Сердцем чувствовала она, что Гриша стал каким-то другим, будто не осталось у него больше теплых, ласковых слов для нее. «Кто же сделал его таким? — с тоской думала она.— Которая из девушек встала мне поперек дороги?»

Григорий и в самом деле был пасмурным, задумчивым. Но причины тому были другие. С тех пор как он начал бывать на беседах учителя, жизнь ему стала казаться еще более тяжкой, еще более невыносимой. Григорий понял, что такое человеческое достоинство, и еще он понял, что может быть другая, счастливая жизнь. Но как достичь ее? Вот они собираются, разговаривают... Учитель рассказывает им о революции, о новой жизни... Но когда поднимется народ? Кто его поднимет?

В разгар пляски к нему подошла Дунина подруга, Вера, и, в шутку обняв, спросила:

— Что это ты, голубчик, такой скучный? — Потом шепнула на ухо: — Зачем терзаешь Дуню, бессердечный.

— Хоть бы ты надо мной не смеялась, Вера,— недоверчиво глядя на девушку, проговорил Григорий.— Не каждому дано богатым быть.

— Что ты, Гриша! Тебе от души говорят, а ты плетешь незнамо что. Любовь в сундук с добром не смотрит. Разве умная девка променяет тебя, к примеру, на Федора со всем его богатством? Ну, да хватит тебе всякую чепуху выдумывать. Пошли!

Она стащила его с полка и усадила рядом с Дуней.

— Ну-ка, посмотрите друг на друга: такую пару во всей округе не сыскать.

— Пара пара розь. Ворота вот тоже все воротами называются, но у Дуни они тесовые, а у нас из жердей: Там — «звяк, бряк», а у нас — «скрип, скрип».

— Сам ты много скрипишь. Глядн, а то свое счастье проскрипишь, пожалуй...

Вера не договорила, потому что ее утащил плясать Антон. Устал, видать, гармонист: уже не перебирает лихо лады, играет на одних басах. А девушки поют все с тем же задором:

Я гуляла бы, плясала —
Мама не велит.
Я любовь бы разыскала —
Братец мой сердит.

Григорий несмело придвинулся к Дуне и взял ее за руку.
— Смотрю я на тебя, Дуня, и думаю: какому счастливцу ты достанешься?

Дуня вначале подумала, что Григорий смеется над ней. Но посмотрела в его карие задумчивые глаза и увидела в них глубокую тоску и немую просьбу. Она смутилась и опустила длинные черные ресницы. Огромным счастьем наполнилось ее сердце.

Как раз в это время пляска оборвалась. На минуту стало тихо. Дуне показалось, что все смотрят на них. Она быстро поднялась и, не сказав ни слова, пошла к подругам.

Ее уход Григорий понял по-своему: обиделась. А он тоже хорош — лезет не в свой огород.

Душно в бане. Да и накурено так, что дым волной колышется.

К Григорию подсел Антон. По его веснушчатому лицу струился пот, льняные волосы прилипли ко лбу.

— Ты что невеселый сидишь? — спросил он Григория.

— Голова болит. От дыма, что ли?

— Эй, ребята, откройте двери! — крикнул Антон.

В дверь кто-то пнул ногой, и в баню ворвался холодный свежий воздух, неся с собой запахи приближающейся весны. Григорий вздохнул полной грудью.

— Веселье дымом задушено, а жизнь — нуждой.

Антон удивленно посмотрел на друга. Говорит-то Григорий, будто видавший виды мужик. Пока Антон плясал, он был в другом мире, в мире беспечности и веселья. А теперь слова друга вроде бы погасили это веселье в душной бане. Он вспомнил свою покосившуюся старую избушку в проулке, двор, огороженный жердями. Мать, наверно, сидит сейчас у прялки и, забыв про веретено, сетует на свою горькую долю.

— Мама моя, похоже, ослепнет...— сказал он с тоской в голосе.— Ей бы не плакать, а она все плачет.

Григорий промолчал. Да и что он мог сказать, чем утешить товарища, как помочь?

А утром он встретил Дуню. Она шла по воду в ладном синтом сборчатом зипуне из домоткаиого черного сукна. Поравнявшись с ней, Григорий остановился.

- Ты, Дуня, вчера, кажется, обиделась на меня,— решился он высказать все.— Конечно, не пара я тебе, но знай, Дуня, давно люблю тебя и уж никого больше так не полюблю. Не сердись, что прямо говорю.

Дуня испыхнула и растерянно проговорила:

— О чем это ты, Гриша? Я ничего не понимаю.

— Скажи, не таясь: вчера, когда мы сидели там, зачем ты ушла? Стыдно было сидеть со мной рядом, да?

Щеки Дуни запылали еще жарче. Она склонила голову и тихо сказала:

— Эх, кабы и девка могла, вот как ты, прямо сказать все, что у нее на сердце!.. Не знаешь ты, Гриша, моих дум. А стыдиться мне тебя нечего...— И тут же пошла.

Понял Григорий: любит его Дуня. Радостной была их встреча в следующую субботу. И о чем только не говорили они в тот вечер!

Но счастье их неожиданно оборвалось. В последние дни пасхи, когда молодежь гуляла, переходя из дома в дом, Дуню вдруг схватили и заперли в летний амбар богача Прохора, родного брата Бектэмыра, метко прозванного на селе Барсуком.

Дуня знала об этом страшном обычае — умыкании невесты — и безутешно рыдала в темном амбаре. Как она будет жить с этим противным, ненавистным ей рыжим Гаврюшей, сыном Прохора? Больше всего ненавидела его Дуня за походку. Низкорослый, как и отец, с рыжим чубом из-под фуражки, надетой набекрень, Гаврюша обычно шел по улице с таким видом, будто он один здесь человек, а все прочие — так, мразь. Летом он поверх рубахи навыпуск надевал жилет с серебряной цепочкой, только часов у него не было. Из-под жилета свисали концы витого шелкового пояса с огромными красными кистями. Ох, до чего же противен он Дуне! Все в нем ненавистно ей, даже сапоги гармошкой на коротких ногах.

Как птица в клетке, металась Дуня по амбару, все искала, нельзя ли где выбраться. Встав на нары, она пыталась приподнять потолочную доску, но та не поддавалась — крепок амбар у богача.

Но что это за возня во дворе? Шум. Крики. Неужели друзья Григория пришли ее выручать? Чем-то тяжелым сбивают замок.

— Не лезь, убью!

Это Антон Камаев. Его оттащили от дверей, и сразу что-то загрохотало по ступенькам пеньковой лесенки амбара. Где-то со звоном разбилось стекло. Потом драка перешла на улицу и стала постепенно удаляться. Вскоре все смолкло.

Вот опять чьи-то шаги. Щелкнул замок, и в амбар вошли две снахи. Уверившись, что Луня рада попасть в богатый дом, сни подошли к невесте, но та опрометью бросилась вон, чуть не сбив с ног дородную жену Семена Бугрина.

Бугринха схватилась за косяк и в беспамятстве смотрела на Луню, торопливо отряхивающую калитку.

— Ни стыда, ни совести! — вопила она. — От счастья бежит. И куда бежит, куда? Кто теперь ее замуж возьмет?

А вторая сноха, сестра жениха, всплескивая руками, сокрушалась:

— На все село ославила нас, бесстыжая!

А Луня тем временем спряталась у Веры. Та сейчас же дала знать об этом друзьям Григория, и Луню в тот же вечер заперли в его покосившемся амбаре.

Мать Григория ушам своим не поверила, услышав эту новость. Но, вернувшись домой, Ульяна убедилась, что это были не шутки.

— Что же ты делаешь, сын? На какие деньги думаешь свадьбу справлять?

— А мы без свадьбы, мама. Свадьба нам счастья не прибавит.

— Опомнись, Григорий! Где это слыхано, чтобы женились без свадьбы? Ты что, бродяга какой, что ли? Пойду к Алене, может, что присоветует. Ума не приложу, что и делать. Как снег на голову...

У Алены она застала старика Акмара. Он встал навстречу Ульяне, поздоровался с ней за руку и назвал ее сватьей. Ульяна обрадовалась встрече, даже прослезилась и снова вспомнила о своей бедности.

— Не знаю, что и делать,— сокрушалась она,— на что свадьбу справить?

Старик Акмар подсел к ней.

— О свадьбе ты, сватья, не печалься. Сам справлю. На такой случай я кое-что в запасе держал. Слава богу, двадцать семь медведей убил за свою жизнь. Найдем на свадьбу. Если бы пришлось породниться с тем Барсуком, упаси бог, ломаного гроша не дал бы, всю их породу ненавижу. А сейчас дело обернулось так, что мне, старику, это большая радость. Григория твоего я люблю, как родного сына. Пусть будут счастливы. Свадьбу справим без самогона, кабацкого

вина куплю, пусть Прохор лопнет от злости. Хорошо, что пришла сюда, а то хотел вот через Алену передать... — Он порылся в кошельке и вынул оттуда золотую монету.— Держи, сватья. Это — на свадьбу. От души даю!

— Что ты, сват! — изумилась Ульяна.— Тут же на целую корову.

— Это, сватья, деньги, завещанные мною внучке. На старости лет у меня была одна отрада — Дуня, внучка моя. Хвалить ее перед тобой мне вроде и не к лицу, пока сама узнаешь, но дай бог, чтобы у всех были такие внуч...

Свадьба вышла веселая, да и весна была на редкость теплой и солнечной. На обряд омовения невесты вслед за свахами и подружками к речке пошли все — и стар, и мал, и удмурты, и русские. Даже старухи с посошками и те поспешили: надо-де посмотреть, умеет ли невеста держать на плечах коромысло, не расплескивает ли воду, когда поднимается в гору.

Невеста шла, покрытая большой шалью. Ни одна капля не выплеснулась из ведер, так ровно и плавно она их несла. Поднимаясь за ней в гору, девушки пели:

Ой, останутся, останутся
Следы у бережка.
Ой, останется колечко
У любимого дружка...

Далеко окрест разносился шум свадебного пира.

— Счастье вашему дому! — закричали гости, когда мать Григория и невеста появились с вином.

В руках невесты был маленький дубовый бочонок, искусно сделанный еще отцом Григория. Она обносила гостей вином и, прежде чем подать рюмку, вставала на колени. Гость выпивал вино и бросал в рюмку монету.

Подвыпивший староста, бродя по селу из избы в избу, угодил и на свадьбу. Спьяна ради хвастовства он кинул в рюмку невесты золотой.

— Вот смотрите, люди добрые! — крикнул он визгливым бабьим голосом.— Пусть счастье невесты сверкает, как это золото.

— На что он, совсем очумел?! — зашептались бабы — кто-то удивленно, другие с завистью.

Весть о том, что староста бросил в рюмку невесты золотой, дошла и до старостихи. Мужа она нашла в доме Никифора. И досталось же ему! Крепко таскала его жена за волосы да все приговаривала:

— Это ты ей за то, что она брата твоего осрамила?! Где не надо, нос задираешь, а тут сам посмешищем стать захотел. Другой бы на твоем месте за позор счел ходить туда. А ты... на тебе — золотой... Дурак набитый!

Разъяренная Бектэмыриха в тот же вечер отправилась к Григорию и учинила там скандал.

— Стыда у вас нет! — кричала она, потрясая кулаками.— Пьяный куражится, а вы рады. На чужом добре думаете разбогатеть?..

Слегка хмельной Григорий с наслаждением хлебал крепкий капустный рассол. Когда вошла Бектэмыриха, он отложил ложку и с удивлением посмотрел на старостиху. А у той внутри все кипело, словно там черти плясали. Потрясая кулаками, она наступала на пятившуюся Ульяну и выкрикивала:

— Если сама не знаешь, невестку свою спроси. У нее, видать, до чужого добра руки не коротки. Уж и сейчас видно, что из нее будет.

Дуне это показалось оскорбительно, из глаз у нее брызнули слезы. Она ушла за печку, приложила к глазам концы платка. Будь золотой у нее, она сейчас вернула бы монету этой ненавистной кулачке и выгнала бы из избы.

Будто угадав мысли жены, Григорий встал из-за стола. Оправляя бордовую самотканую рубаху, он медленно подошел к Бектэмырихе и, протянув ей что-то завернутое в конфетную бумажку, сказал:

— На, тетка Парасковья... возьми...

Бектэмыриха с недоверием развернула бумажку, но, убедившись, что это золотой, быстро спрятала монету под фартук. Григорий, еле сдерживая гнев, указал ей на дверь:

— А теперь вон отсюда! Полаяла — и хватит!..

— Уж не гонишь ли меня? — удивилась Парасковья. Ее, жену богача Бектэмира, выгоняют из избы? Где это видано! Ошеломленная, она стояла, выпучив на Григория черные злые глаза.

— Что я тебе сказал? Вон! — повторил Григорий, до боли сжав кулак.

— Господи боже мой, уже не бить ли собираешься? — поднялась перепуганная Парасковья.

Так, причитая, пятилась она до самой двери, спиной открыла ее и опрометью выбежала из избы.

Дуня с благодарностью посмотрела на мужа. Только матери не понравилось поведение Григория.

— Нехорошо делаешь, сынок! Они-то к нам не приехали, им нечего у нас занимать, а вот нас нужда к ним привела.

Григорию стало душно, он расстегнул ворот рубахи и с негодованием проговорил:

— Возьмешь три пуда, а вернешь пять. Такие «доброжелатели» и кроме Бектэмыра найдутся. А хулить себя не позволю. Я им пока что не батрак.

Омрачила Бектэмыриха радость молодоженов. Но неприятности на этом не кончились. Утром пришла Алена и принесла еще более оскорбительную весть. Она вызвала Григория в сени и испуганно прошептала:

— Ты еще ничего не знаешь, Гриша? У Дуни-то ворота дегтем вымазали. И за что это? Все знают, Дуня наша — скромница. Это кто-нибудь со зла.

Григорий слушал, опустив голову. У него все бушевало внутри. Не на Дуню гневался он, а на тех, кто старался отравить им веселье.

— Знать бы, кто...— он сжал кулаки.— Раздавил бы гадину! А что до Дуни, я сам знаю, тетя, какая она. Пойдем в избу. Плевать на них.

В этот день гости собрались в доме невесты. Под вечер пришел туда и Григорий со своими друзьями. Дуня с подругами стояла у крыльца. Как идет ей бордовое в клетку платье и зеленый кашемировый платок с белыми цветочками по кайме! Как переливается серебром монисто на груди! Как ловко перекинут через плечо пояс с тремя рядами серебряных монет!

Григорий ласково обнял молодую жену и повел ее в избу. Старик Акмар торжественно подошел к зятю.

— Сын мой,— заговорил он, протягивая чашу.— Выпей это за мою любовь к вам обоим. Пусть ваше счастье будет так же полно, как эта чаша.

Григорий выпил, потом, всем на удивление, высоко поднял Дуню и крикнул так, что даже изрядно пьяные притихли:

— Эй, честной народ! Вот смотрите на мое золото, на мою драгоценность! Кто еще сумеет отыскать такое счастье!

Дуня вырвалась из рук мужа, убежала за кухонную перегородку и, обливаясь слезами, бросилась на грудь матери. Не сдержал слез и старый Акмар. Он взял руку Григория, прижал ее к своей груди и с благодарностью сказал:

— Спасибо тебе, зятек... Хоть и надругались над нами злые люди, но зато ты не обидел меня, старика. Век не забуду.

Еще веселее и шумнее стал свадебный пир. Штоф за штофом вина и медовухи подносили гостям Дуня с матерью, щедро угощали их.

— Счастье нашему дому!..— кричали гости, протягивая хозяйке ломтик хлеба, и она, по обычаю, отщипывала кусочек и клала себе в рот, чтобы угощение вернулось в дом сторицей.

Пусть не богато, но зато весело прошла свадьба.

Через год у Дуни родилась дочь. Священник уже с неделю болел, и скоро ли поправится, никто не знал, а ребенок жил некрещеный. Боясь неприятностей, Григорий решил обратиться к дьякону. Тот только что вернулся с похорон и был навеселе, однако Григорий не хотел откладывать.

— Дочь родилась у меня, отец дьякон.

— А почему дочь? Зачем она тебе? Какой прок от дочери? И земли не дадут на нее. Будешь ты ее кормить, растить, а придет время, она улетит. То-то вот... Сына бы надо, а не дочь,— бормотал дьякон, бередя больное место Григория.

— Что же поделаешь,— дочь родилась. Я-то, конечно, и сам хотел сына... Отец дьякон, я насчет крещения. Батюшка, кажется, болен.

— Гм... батюшка... Сейчас я — батюшка. Иди найди куму и неси дочь. Кумом я сам буду.

Григорий позвал тетку Алену.

Дуня вытащила из лубяного сундука шерстяное одеяло с затейливыми узорами и, завернув в него ребенка, передала Алене.

— Первенькому хоть хорошее имя дайте, тетя, потом уж не до имени будет,— сказала Дуня и, нагнувшись к тетке, шепотом добавила: — Григорий обижается за девочку.

— Нашла о чем печалиться,— нарочито громко проговорила Алена.— Ты, Гриша, хоть обижайся, хоть не обижайся на дочь, а меня проводи.

— Пойду, конечно, почему не пойти. Только надо бы с собой захватить маленько... Мама, не найдешь ли ты там чего-нибудь такого?

Тетка Ульяна из-под больших нар вытащила бутылку первача.

— Это я для крестин приберегла было, сынок. Ладно уж, угости его, пусть хорошее имя даст. Любит он выпить.

Прежде чем выйти из избы, Григорий, как перед отъездом в дальний путь, присел на стул и, вставая, сказал жене:

— Ты, Дуняша, чего-нибудь приготовь на крестины. Много народу не будем приглашать, близкую родню позовем — и хватит.— И, чуть не забыв, трижды перекрестился у самого порога и широко раскрыл дверь, давая дорогу Алене с ребенком.

Придя к дьякону, Григорий вынул из кармана бутылку и поставил ее на стол.

— Это в честь крестин, отец дьякон.

— Сам буду крестным отцом твоей дочери, кумом меня зови! То-то...

— Гриша, ты попроси его, пусть хорошее имя выберет,— зашептала Алена.

Дьякон, крепко подвыпивший на похоронах, шатаясь, подошел к Алене. Опершись рукой о плечо будущей кумы, он, словно колодезный журавль, склонился над ребенком.

— Ах ты, каналья!.. Значит, мы тебе сейчас того... имя дадим. То-то... Ах ты, егоза... Носик морщит, сердится, значит.

Долго еще бормотал дьякон над ничего не понимающим ребенком. Потом усадил Алену на стул посреди избы и начал читать молитву:

— Крещается раба божия Соломея...— читал он заплетающимся языком, еле выговаривая слова.

Делая круги вокруг табуретки, он споткнулся и чуть было не упал.

— Да ты, кажется, и в самом деле носом клюешь? Как же ты крестить-то будешь? — сказала осмелевшая Алена по-удмуртски.

А дьякон, не закончив молитвы, вынул из небольшой шкатулки бумагу, чернила и уселся за стол.

— Раба божия Соломея... Со-ло-мея, дочь Григория.— бормотал он, что-то записывая.

Григорий остолбенел. Ему казалось, что дьякон издевается над ним, давая его дочери такое имя.

— Не давай ему писать, Гриша,— зашептала Алена.— Как же это он без церкви имя дает?

— Пусть,— махнул Григорий с каким-то безразличием.— Лишь бы записано было. Ходят же по избам с молебнами, стало быть, и крестить дома можно. В церкви хуже могло быть, сунет еще с пьяных глаз в холодную воду... Только имя вот не нравится мне.

— А ты скажи,

.. Григорий шагнул к столу и, словно прося взаймы, начал:
— Имя бы другое надо, отец дьякон. Не нравится мне, да и не выговоришь.

Обтерев о свои рыжие волосы перо, дьякон сунул ручку за ухо и, точно столб, вытянулся перед Григорием.

— Имя не нравится? Не понимаешь ты, кум. Дочери твоей я уже дал громовое имя: Со-ло-ме-я! Есть еще Птолотея — это уже совсем не того... Вот если бы сын, я бы своего крестника нарек Соломоном. Со-ло-мон! Мудрец! То-то вот...

Ребенок заплакал, будто ему надоела вся эта канитель.

— Ну, ну, не плачь, мой золотой комочек. Скоро домой, к маме,— приговаривала над девочкой Алена.— А летом мы с тобой на луга пойдем за цветами, я тебе веночек сплету из колокольчиков, из купав, много-много цветочков соберем.

Но девочка не унималась, плакала, искала грудь.

— Опять плакать. Ой, какая ты! Не плачь, моя куколка, не плачь, дыды [1].

Эта теплая ласка тетки Алены глубоко тронула Григория.

— Тетя,— сказал он, когда они вышли от дьякона,— хорошо бы ее звать Дыды. А то, что записано, пусть на бумаге останется.

— И в самом деле красиво,— обрадовалась Алена.— А этот долговязый, и откуда только выкопал он такое имя, словно назло. Назовем Дыды, так и Дуне скажем, пусть она и не знает, что ее по-другому записали.

Но ребенок, только что появившийся на свет, должен был пройти еще одно испытание. Дня через три священник встал с постели. За время его болезни у попадьи накопилось много новостей для мужа, но она не хотела тревожить его. А вот о самоуправстве дьякона рассказала, не вытерпела.

Священник заставил Григория снова крестить ребенка. На этот раз крестили в церкви, и священник дал девочке такое имя, что и не выговоришь,— Неонила. Крестным отцом на этот раз был Антон Камаев. Выйдя из церкви, он остановился у раскрытых железных ворот церковной ограды и растерянно спросил куму:

— Алена, а ведь имя-то я забыл. Ты-то помнишь?

— Сказал, тоже, помнишь! Будь это мой ребенок, и то бы не запомнила. Да и зачем нам помнить? Есть у нее имя — и все!

Так вступила в жизнь первая дочь Григория — Дыды.

---

[1] Дыды — голубка.

4

Перед масленицей в Мултан прибыл урядник. Взяв с собой старосту и понятых, он прошел через село из конца в конец. У недоимщиков отобрали все, что, на взгляд старосты, можно было продать с торгов. К обеду три подводы стояли посреди улицы, нагруженные шубами, овчинами, холстом, перинами, подушками.

После обеда подводы тронулись в Трык. Впереди небольшого обоза ехал в легкой кошевке сам урядник, закутавшись в черный дубленый тулуп с огромным воротником. За последней подводой тащились коровы и телки, за ними овцы, отобранные у недоимщиков.

С ненавистью смотрел народ вслед удаляющейся кошевке урядника. Но тут, наполнив улицу веселым звоном и песнями, в Мултан вихрем въехал свадебный поезд на шести лошадях, с бубенцами, с развевающимися лентами в гривах. Впереди вороной жеребец, весь в белой пене,— это едет невеста сына торговца Мухина. До боли в руках натягивал Игнат Букин ременные вожжи, сдерживая горячего коня. Урядника он узнал издали по красной дуге.

— Э-э-гей, дорогу! — крикнул Игнат.

Но урядников ямщик и внимания не обратил на крик, он знал, кого везет. Не было еще такого, чтобы мужикам давать дорогу. Зло взяло Игната, но еще больше обозлился он, когда понял, какие подводы тянутся за урядниковой кошевкой. Гикнул Игнат и помчался вперед. Разгоряченный вороной наскочил на встречную лошадь, зацепился оглоблей.

Урядник спрыгнул с кошевки, выхватил у ямщика кнут и хлестнул Игната изо всех сил по лицу. Но ему, видимо, этого показалось мало, и он принялся яростно бить Игната кнутовищем по голове.

Игнат не выдержал, размахнулся и с силой ударил урядника.

— Зарублю, разбойник! — закричал урядник, хватаясь за шашку.

Гулявшие на свадьбе крепкие, здоровые, как на подбор, русские парни окружили его.

Почувствовав за спиной силу, Игнат схватил урядника за грудь.

— За что бьешь, собака? За что?

— А ну, разойдись! — урядник выхватил из кобуры револьвер.

Невеста бросилась наутек. Толпа подалась немного назад,

но те, кто посмелее, подошли еще ближе, образовав плотный круг.

— Оружием пугаешь? А ну, попробуй, выстрели! — кричал Игнат.

На скандал со всех концов бежал народ: ребятишки, мужики, русские и удмурты.

— Урядника бьют!..

— Эй, кол прихвати, кол!

А женщины про свое кричали, у них свои заботы:

— Андрюша! Овчины возьми. Вон наши на средней подводе.

Стон, крики, ругань, суета. Блеяли овцы, мычали телки. С дубинами бежали мужики к месту свалки. Кто-то размахивал топором.

— Изрубить их на куски!

Прибежал и Григорий. Снова вскипела у него обида на урядника. Он с ожесточением стал сбрасывать с саней вещи.

— Так их, Гриша, так! — кричали все вокруг.

Подводы быстро опустели. Женщины тащили свои холсты, подушки, овчины, перины.

Урядник выстрелил в воздух. Он хотел напугать людей, а толпа, наоборот, еще больше разъярилась.

— А-а, стрелять?

— Убьем!

— Колом его по башке!

Десятки рук схватили урядника. Его били, пинали ногами. Игнат уцепился за накинутый петлей на шею шнур, на котором висел револьвер, и стал душить урядника. У того в смертельном страхе еще больше выпучились глаза.

Староста, остромордый, как крыса, метался в толпе и кричал:

— Игнат!.. Гриша!.. Мужики!.. Погубите вы меня. Ох, не сносить мне теперь головы. Опомнитесь!..

Бектэмыра кто-то ударил по затылку, и он уткнулся носом в снег. Раздался дружный хохот.

— А ты не вертись под ногами!

В тот день Степан Лосев возил к фельдшеру больного учителя. Теперь они возвращались из Трыка. Илья Фомич, закутавшись в тулуп, молча лежал в розвальнях, устланных сеном. Услышав шум, Степан подхлестнул лошадь. На горе он остановился, всматриваясь в черневшую внизу толпу.

— Что это за шум? — спросил учитель, приподняв голову.

— Кажется, драка...

— Гони, гони, Степан Авдеич! — попросил учитель.

Степан стегнул лошадь и осадил ее только у самого сбо рища.

Все шумели, не разобрать было толком, кто кого бьет.

— Повесить его, проклятого! — донеслось из толпы.

— Убить!

Степан соскочил с саней и спросил стоявшего в сто крестьянина:

— Что тут такое?

— Урядника бьют... За недоимки все из домов повыт Илья Фомич, лежавший в жару, с трудом поднялся и крикнул Лосеву:

— Степан Авдеич, Игната и Григория сюда!

В толпе заметили учителя, и шум постепенно стал ут хать. Уряднику выдался удобный момент улизнуть. Он ла бучил на голову папаху, прыгнул в кошевку и приказал я щику:

— Гони!

Ямщик с силой стеганул коня ременным кнутом. Откор ленный гнедой рванул и концом оглобли сшиб с ног Анто Камаева. От толчка с головы урядника слетела красноверхая высокая папаха. Вслед за удирающим урядником с крика и свистом побежали люди.

— Держи его, держи!

— Ха-ха-ха!.. Ай до урядник!.. Ату его!..

— Стой!.. Шапку возьми!..

И многие уже бросились к саням, чтобы пуститься в погоню.

Но тут Илья Фомич скинул с себя тулуп и, шатаясь, ви шел на середину дороги.

— Мужики! — крикнул он что было силы.

Народ сразу умолк. Все как один обернулись к учителю До сих пор никто не думал, что у Ильи Фомича такой зв ный голос. И на вид он казался сейчас бесстрашным и силь ным, так гневно сверкали его голубые глаза.

— Что он вам дался? Думаете, разделаетесь с ним, так с вас и недоимки не потребуют? Сегодня один урядник по жаловал, завтра десяток прискачет. Надо всем в Трык идт мужики!

Сноза заволновался народ. Трудно было разобрать, кт что кричит.

— В Трык! Верно!

— Бить их, проклятых! Всех перебить!

— Гони, Степан! В Трык!

«Что они будут делать в волости?» — подумал Степан. Но тут к нему в сани прыгнул Букин.

— Мужики! — крикнул он.— Долго мы будем терпеть? Доколе они будут измываться над нами? В Трык, мужики! Все сокрушим вдребезги!

Илья Фомич обратился к товарищам:

— Надо поднять ближайшие деревни. Ты, Григорий, скачи в Аныk к Петровану, расскажи ему, что тут случилось. Пусть ведет аныкских. Ты, Степан Авдеич, веди кузнерских. А я — в Трык.

— А там что делать будем? — недоумевал Степан.

Илья Фомич немного подумал и уверенно ответил:

— Что-нибудь да сделаем. Главное, чтобы народ почувствовал свою силу. Уничтожим все списки на подати и недоимки. Сожжем их прямо на улице, чтобы люди видели. А потом, имейте в виду, надо уничтожить списки, имеющиеся у старост. Ну, командуй, Игнат. Поехали!

— Мужики! — Игнат поднял руку.— Все в Трык! Спалим там бумаги. А ну, запрягай! Хватай вилы и топоры! Э-эй! Кто на лошадях, за мной!

Шесть кошевок и четверо саней, битком набитые мужиками, с шумом и гиканьем помчались в сторону Трыка.

А в Старом Мултане волнение не затихало. Многие запрягали лошадей и теперь догоняли уехавших. Другие шли пешком.

Волостной писарь сочинял какую-то бумагу для кузнерского богача, владельца мельницы Санникова. Тот развалясь сидел спиной к окну и рассказывал смешную историю. Писарь то и дело поднимал прилизанную голову, щурился, словно кот, и визгливо посмеивался.

— Ой, уморил, Тимофей Власыч! Подожди, дай дописать!

Вдруг на улице перед волостным правлением послышался шум. Писарь глянул в окно и побелел.

— Что это? Откуда столько народу?

Грузный Санников медленно обернулся к окну и застыл в страхе.

— Никак, правление громить идут.

Из кабинета быстро вышел волостной старшина. На лице его пока не было испуга, но в голосе чувствовалась тревога.

— Что это за люди, Фадеич? — спросил он писаря.

Не успел писарь ответить, как народ уже повалил в правление. Где-то в коридоре звякнуло разбитое стекло. Через минуту в большие, просторные комнаты волостного правле-

ния народу набилось битком. Илья Фомич и Букин сразу направились к писарю.

— Господин писарь,— твердо заговорил Игнат.— Выкладывайте на стол списки недоимщиков, по податям — тоже. Все, со всей волости.

Писарь так испугался, что слова не мог вымолвить. Он стоял и ошеломленно смотрел на Букина.

— Ты что, оглох? Живее! — скомандовал Букин.

— Вы что, бунтовать вздумали! — по привычке грозно крикнул старшина.

Илья Фомич быстро повернулся к нему:

— Если уж вам так хочется знать, господин волостной старшина, именно бунтовать, так это и называется.

— Вон отсюда! Сейчас же!.. Ну?! — зыкнул старшина, потрясая кулаком в воздухе, и с яростью ткнул в грудь оказавшегося перед ним Никифора.

От неожиданности Никифор еле устоял на ногах.

— Ты что, кровосос, драться? А ну-ка, мужики, покажем ему как надо бить! — И он первый со всего размаху ударил старшину в заплывшее лицо.

Началась свалка.

— Бей его в жирную морду!

— На двор его!

— На суд!.. пусть народ судит!

— Пусть ответ дает народу, с чего разбогател!

Старшину вытолкали из правления. Народ ринулся за ними, но со двора уже вливался другой поток людей. Здание волостного правления гудело, точно огромный улей.

Писарь дрожащими руками вытаскивал из шкафа папки. Мужики стояли вокруг, с горячим любопытством глядя через головы впереди стоящих, словно писарь извлекал из утробы большого шкафа не списки, а невиданные ценности и собирался раздавать их. Илья Фомич просматривал папки. Те, которые подлежали уничтожению, он складывал на стул. Писарь вытащил с десяток папок и подал последнюю:

— Все.

— Выноси, Игнат Андреич,— сказал Илья Фомич, кивнув

на груду папок, сложенных на стуле.— Жечь подальше от построек.

— Что вы... опомнитесь! — понял, что хотят делать с папками, пролепетал писарь.— Да меня за это... повесят... ей-богу, повесят! Вы бы хоть расписку дали.

— Расписку? — Игнат поднес кулак к носу писаря. Вот тебе расписка. Понял? — Захватив папки под мышки и снова шагнув к писарю, съежившемуся, как сморчок, он твердо предупредил: — Смотри, Фадеич, коли на допросах про нас хоть слово вымолвишь, заказывай панихиду!

Игнат вышел. За ним гурьбой двинулся народ. А он остановился на крыльце, обвел взглядом столпившихся на улице людей и громко сказал:

— Мужики! Вот здесь, в этих бумагах, все ваши подати и недоимки. Сейчас мы все это сожжем, а пепел развеем по ветру.

По толпе прошел гул одобрения. Давая Игнату дорогу, народ расступился.

— Посторонись!..

— Дай дорогу!..

Кто-то уже успел принести целую охапку соломы.

— Игнат, сюда, сюда!

Игнат бросил папки на солому и поджег ее. Солома медленно разгоралась, а потом вспыхнула высоким пламенем. Люди облегченно вздохнули, словно вместе с казенными бумагами уносились дымом их страдания, их горе.

Илья Фомич стоял на высоком крыльце волостного правления. В его сознании этот маленький бунт вырастал в широкое народное восстание. Вот уже горят по всей России помещичьи усадьбы. По дорогам бесконечной вереницей движется народ с вилами, топорами, ружьями... Илья Фомич посмотрел в сторону усадьбы лесовладельца Львовского, мечтая увидеть его дом охваченным пламенем. На крыльцо вбежал Степан Лосев. Он едва переводил дыхание, и вид у него был встревоженный.

— Что случилось? — торопливо спросил учитель.

— Ищут урядника. Убить хотят. В избе у него такое натворили — все вверх дном перевернули, окна все до единого повыбивали.

Илья Фомич на мгновение задумался, потом резко поднял голову.

— Лес рубят — щепки летят, Степан Лукич. Если люди перестали бояться урядника и волостного старшину, значит, силу свою почувствовали. Видишь, что творится?

Никогда еще в окрестных деревнях масленица не проходила так весело. Многие верили, что с уничтожением казенных бумаг они, наконец, освободились от податей.

— Ныи теперь, кому сколько платить.

Но тот, кто трезво мыслил, со дня на день ожидал нашествия властей. Так оно и случилось.

Сразу после масленой в Трык приехал становой пристав с пятью урядниками. Вслед за ним прибыл малмыжский исправник с отрядом солдат человек в двадцать. Урядники тотчас разъехались по селам производить допросы.

В Старый Мултан выехал сам трыкский урядник. Он думал больше о мести за личную обиду, чем о крестьянских волнениях. В тот злосчастный день урядник был так напуган, что не мог, конечно, помнить тех, кто его избивал, да и слишком много их было. Поэтому по прибытии в Старый Мултан он первым долгом вызвал на съезжую старосту.

Бектэмыр со всеми подробностями рассказал ему, кто участвовал в избиении начальства, стараясь побольше наговорить на Игната и Григория.

— Вы их маленько проучите, ваше благородие, мутят они мужиков. И драку они же затеяли. Григорий Дмитриев вас в лицо пинал.

— А кто поднял народ, чтобы в Трык идти?

— Это уж, известное дело, учитель наш, Илья Фомич, да Лосев Степан Авдеич, да мухинский батрак Букин, тот самый, что вас шнуром душил.

— Хорошо! Всех их скручу в бараний рог! — И он в ярости поднял свой волосатый кулак.— А ты давай неси списки податей и недоимщиков.

Острые маленькие глазки Бектэмыра часто-часто заморгали.

— Ты чего? — спросил урядник недоуменно.

— Сожгли... Все бумаги сожгли, ваше благородие...— еле выговорил испуганный Бектэмыр.

— Сожгли? — переспросил урядник.— Кто?

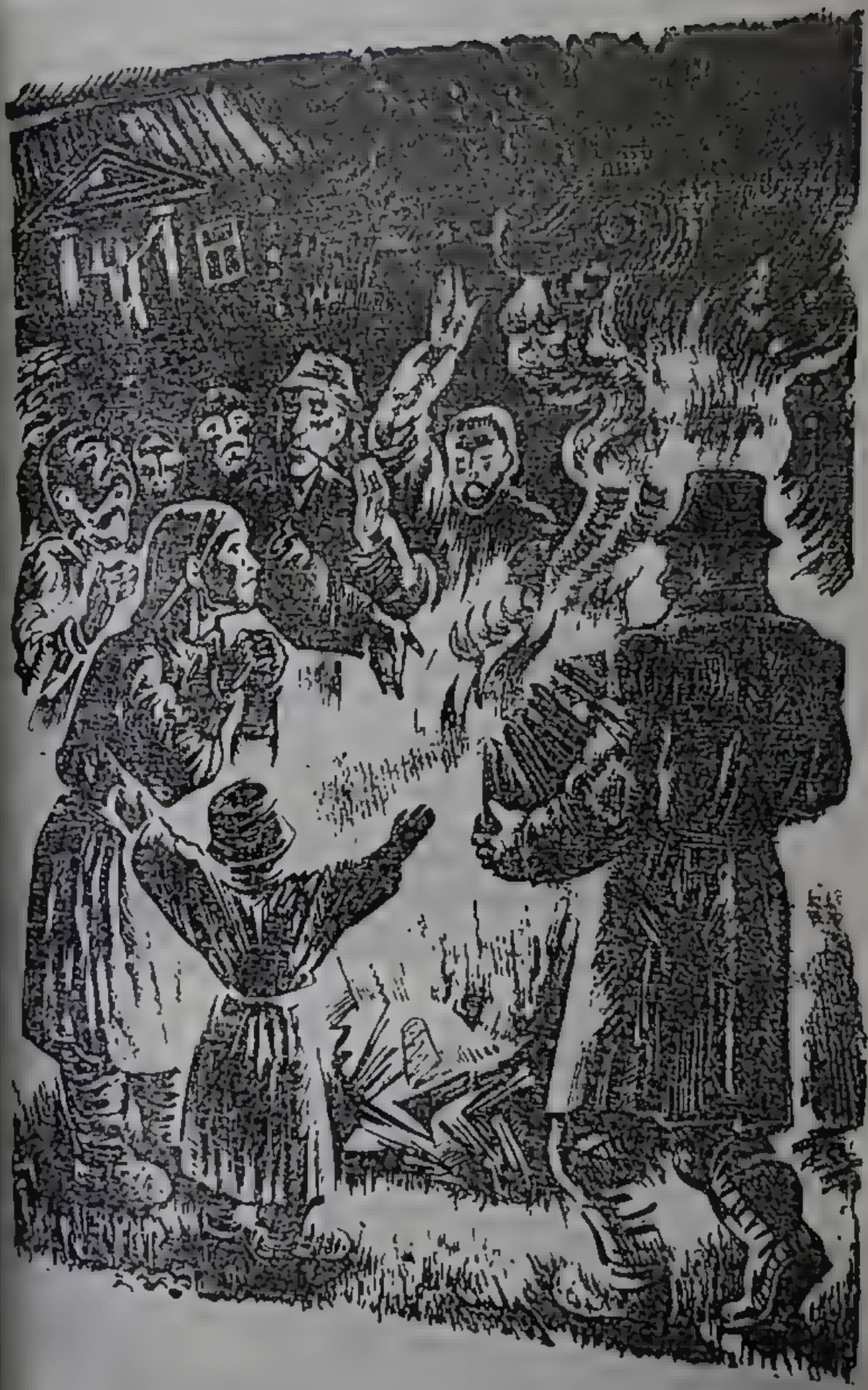
— Как вернулись из волости, так сразу же человек двадцать ко мне нагрянуло. «Пали, говорят, бумаги, а не то убьем». Своими руками все в печь бросил.

Урядник молча ударил Бектэмыра по лицу и выгнал его вон.

Потом он приказал вызвать Григория.

Когда Григорий вошел, урядник грозно поднялся из-за стола и, засучивая рукава, медленно пошел ему навстречу:

— А ну, расскажи, как это ты пинал меня ногами,— про-



изнес он хриплым, пропитым голосом.— Ложись, подлец!— и тяжелым кулаком ударил Григория по уху.

Григорий устоял. Он шел сюда, зная, что урядник будет его бить. Но зачем он велит ему лечь?

— Ложись! — заорал урядник и рукояткой плетки с силой ударил Григория по голове. Потом еще раз и еще...

У Григория потемнело в глазах. Отборную ругань урядника он теперь слышал как во сне. А тот остервенел. Со всего размаху снова ударил парня по лицу. Григорий пошатнулся. Урядник в бешенстве топтал его большими подшитыми валенками.

Со съезжей Григорий вышел обезображенным. Игнат Букин как раз возвращался с мельницы и, увидев друга, остановил. Григорий стоял у ворот Лосева и плевал кровью. Остановив лошадь посреди улицы, Игнат подбежал к нему.

— Гриша, что с тобой? Кто это тебя так?

— Урядник.

— За что?

— Приехал счеты с нами свести. А за что, сам знаешь.

— А чего же ты дался? Дурак! — разозлился Игнат.

— Как же не даться-то? Он бы хуже замучил, пришлось бы из села бежать.

— Ну и бежал бы. Что тебе, свет мал? Нашему брату везде одинаково. Не все ли равно, где гнуть спину.

— Тебе хорошо так говорить, а у меня тут дом, семья.

— Эх! — тяжело вздохнул Игнат.— Бьют нашего брата, а ума у нас не прибавляется.— И, махнув рукой, вернулся к саням.

С тяжелым чувством таскал Игнат мешки с мукой в амбар своего хозяина Мухина. А ведь как хорошо рассказывал недавно учитель о новой жизни! Слушаешь его, и сердце наполняется верой в силу народную. А вот на деле выходит не так.

— Игнат, тебя урядник зовет! — услышал он за спиной чей-то голос и оглянулся.

У воза стоял десятский. Игнат медленно опустил полученный мешок, сразу догадавшись о причине вызова.

Изобьет, как Гришку, а может, хуже того — изуродует. Куда он тогда, калека?

Игнат Букин был не здешний. Пятнадцати лет он остался сиротой: мать и отец умерли в один месяц от тифа. Игнат поступил на Кокшанский завод. Работа была вредная. Люди часто болели. Ведь никто не интересовался не только их здо-

рольем, но и жизнью. Какое дело хозяину, что заболел или даже умер какой-то там рабочий.

Вредная работа быстро сказалась и на здоровье Игната. Плотный, коренастый, он через пять лет стал изжелта-бледным и, думая, что у него желтуха, пошел к заводскому врачу.

— В деревню, на чистый воздух надо тебе, парень,— покачал головой врач.— Если хочешь жить, сейчас же уезжай.

Игнат послушался врача и покинул завод. Первое время он работал в ближайших от завода деревнях: косил, жал, пахал. А зимой, перебираясь в поисках работы из деревни в деревню, добрался до Мултана и нанялся в батраки к торговцу Мухину. Совет врача помог Игнату, и его теперь нельзя было узнать: на широком скуластом лице появился румянец, он одной рукой поднимал трехпудовый мешок.

И вот его вызывает урядник. Зачем — известно. В тяжелом раздумье Игнат стоял у неразгруженных саней: идти или не ходить?

Он вспомнил, как собрал их учитель после бунта. Горячо говорил тогда Илья Фомич, учил не бояться ни пыток, ни каторги, не жалеть жизни за народ. Вот, кажется, и пришло первое испытание. Одного лишь не понимал Игнат: как это он, живой человек, даст себя избивать? Нет, он не позволит, не сможет покорно стоять перед урядником, как Григорий. А потом? Потом урядник взбесится, заставит связать его и, конечно, искалечит. Спросить бы Илью Фомича — идти или не ходить на съезжую? Но, как назло, учителя нет, его вызвали в Трык, очевидно, тоже на допрос.

«Пойду, но что бы там ни было, бить себя не дам».

Подумав так, Игнат направился в свое жилище, в водогрейку, находившуюся в глубине двора. На покосившемся столе поблескивал большой нож, которым обычно резали скот. Игнат сунул его в рукав и решительно зашагал на съезжую.

Когда Букин вошел к уряднику, тот некоторое время сидел за столом, внимательно разглядывая Игната, потом медленно поднялся.

— Ну вот, Букин, теперь мы встретились с тобой с глазу на глаз! — и он грузно шагнул к Игнату.

— Господин урядник, я бить себя не дам!

— Что?.. Что ты сказал? — пораженный урядник остановился посреди избы.— А ну-ка, повтори, что ты сказал, подлец!

— Бить себя не дам! — еще решительнее произнес Игнат.— Садитесь за стол и спрашивайте, что вам надо!

Взбешенный урядник, сжав кулак и с перекошенным от злости лицом, пошел на Букина.

— Не подходить! — крикнул Игнат и быстро вытащил нож.

Урядник оцепенел.

— Ах, ты так! — произнес он с трудом.— Хорошо... Я тебя, подлеца, иначе... я тебя все равно в бараний рог согну!.. Вон отсюда!

Игнат был крайне удивлен, что все обошлось так просто. А нет ли там, за дверью, какой ловушки? Не оглушат ли его ударом по голове? Он даже несколько замешкался в дверях.

— Пшел вон! — снова гаркнул урядник.

Он и сам не думал, что так обернется дело. Будь с ним хоть один солдат, тогда-то уж он показал бы себя. «Струсил, побоялся остаться без солдат, старый черт!» — мысленно выругал он исправника.

В деревнях уже знали о том, что в Трык прибыли солдаты. Вот почему, вернувшись от урядника и продолжая таскать в амбар мешки, Игнат не мог избавиться от тревоги. Сейчас-то он легко отделался. А если придут солдаты?.. Игнат быстро распряг лошадь и пошел к учителю.

Ильи Фомича все еще не было. Букин вернулся домой и долго сидел в глубоком раздумье, облокотившись на стол. Эх, поднять бы опять народ, как тогда.

К нему в водогрейку ворвался взбешенный Мухин.

— Наделал делов! — крикнул он, еще не успев закрыть за собой дверь.

Его только что вызывал урядник. Видно, крепко досталось Мухину. Глаза округлились испуганно, руки дрожали.

— Веселую ты мне свадьбу устроил, бродяга! Теперь за меня по миру пустит. Зачем, говорит, дал свадебных лошадей бунтовщикам? Иди, скажи ему, ироду проклятому, спрашивал ты меня тогда?! — Мухин дрожащей рукой вынул из кармана кошелек, порылся в нем, положил на стол деньги и буркнул:— Убирайся куда глаза глядят! Даю больше, чем ты заработал. Не дал бы ни копейки, да кто знает, что у тебя, у бродяги, в дурной голове... Смотри, не вздумай с огнем дурить, Игнат! Я ведь тебе ничего плохого не сделал.

— Я не разбойник, хозяин. Но себя в обиду не дам.— Игнат взял со стола деньги, пересчитал их и лишний полтинник вернул Мухину:— На, возьми, мне подачки не нужны, я не нищий.

Пока они препирались, во дворе появился староста, а за ним трое понятых. Почуяв что-то неладное, Мухин быстро вышел к ним навстречу

— Что случилось, Трофимыч? — с тревогой спросил он у старосты.

— Где Игнат?

— Здесь он. Игнатий! — крикнул Мухин.

Собравшийся в путь Игнат вышел с котомкой в руках.

— Игнат, пойдешь и Трык! — начальственным тоном заявил староста.— Урядник приказал. Не пойдешь — свяжу.

— Верю, что свяжешь. Если прикажут, ты и брата родного свяжешь. А меня связать — руки коротки. Понял?

— Слышали, как он разговаривает? — обернулся староста к понятым.—Стало быть, ты против закона? Я, по-твоему, кто? Это что? — угрожающе говорил он, тыча пальцем в большую бляху, висевшую у него на груди.— Ты думаешь, я с тобой шутки шутить пришел?

— Хоть и староста ты, Трофимыч, а дурак. Плевал я на твою бляху! Понял?

Бектэмыр испуганно отпрянул, будто его ударили кулаком по лбу. Словно ища помощи, юркими крысиными глазками смотрел он то на Мухина, то на понятых. А Мухин стоял, злорадно улыбаясь: выставили, мол, тебя дураком перед понятыми. От Бектэмыра не ускользнула улыбка Мухина, он еще больше рассвирепел и, указав пальцем на Игната, приказал понятым:

— Вяжите!

— А зачем ты их заставляешь? — Игнат подошел к старосте.— На, вяжи! Ну?.. Эх ты... хомяк! Сегодня они меня будут вязать, а завтра их самих свяжут. Так, что ли? А не много ли будет связанных?

Игнат перекинул котомку через плечо, за руку попрощался с понятыми и пошел.

— Дементий, чего отпускаешь? — накинулся староста.— В ответе будешь за него, так и знай.

— Ты староста, ты и держи,— усмехнулся Мухин.— По мне, хоть целуйся с ним. Урядник приказал мне прогнать его, я и прогнал. А тебе, выходит, задержать приказал? Ты и держи.

— Ну чего стоите? — набросился староста на понятых.— Сейчас же задержать его. Ну, быстрей!

— Тебя не послушался, а нас и подавно,— спокойно ответил Никифор.

Староста плюнул и бегом бросился к уряднику.

Что было там, на съезжей, неизвестно, но Бекмирзин вышел оттуда бледный как полотно. У каждого встречного обалдело спрашивал:

Игната не видел? Ушел? Куда? Не знаешь? Скрылся, наверно, паршивец...— И бежал дальше.

А встречные удивленно разводили руками, глядя вслед старосте: что, дескать, случилось с ним, не тронулся ли человек?

Игнат миновал поле и остановился на перекрестке. Нетленную радость испытал он в дни бунта! Никогда раньше не думал, что может сделать что-нибудь для народа. Вспомнилось, как у волостного правления мужики один за другим жали ему руку. А теперь он один, никому до него нет дела, никому не нужен. От горького одиночества больно сжалось сердце. Снежный комок в руке давно превратился в ледок, сквозь пальцы падали капли, а Игнат все стоял. Куда идти? В деревнях зимой работу не скоро найдешь. Не махнуть ли обратно на завод? Но только не в Кокшан.

И Игнат зашагал по дороге, ведущей в сторону Казани.

Тяжело пострадал народ за трыкское восстание. Исправник созвал в волость всех старост, сообщил им, сколько с каждого села приходилось податей и недоимок, и приказал:

— Собрать все до копейки! Как вы там распределять по дворам будете, дело не мое. На новые списки даю сутки.

Кто знает, чем бы все это кончилось,— вероятно, для многих побоями или даже далекой Сибирью. Но только на третий день урядник спешно уехал из Мултана в Трык. По тому, как он торопился, было понятно, что случилось нечто важное. Так же спешно покинули Трык исправник и становой пристав, а за ними строем ушли встревоженные солдаты.

А к вечеру до Мултана донеслась весть: убили царя.

Вскоре после этой вести в одну из темных весенних ночей к Илье Фомичу прибыли становой и урядник. Когда учитель засветил лампу, становой степенно опустился на стул. Сначала он сидел, важно вытянувшись, точно аршин проглотил, но, помолчав некоторое время, презрительно скривил губы и высокомерно произнес:

— Ну-с, господин учитель, вероятно, догадываетесь о причине нашего визита?

— Ваш брат обычно захаживает к нам не с добром,— сказал Илья Фомич, ставя на стол лампу.

— Раз все понимаете, нам не придется долго разговаривать. А что вы скажете насчет убийства царя?

— Скажу, что это глупость.

— Любопытно! А мне до сих пор казалось, что революционеры против царя.

— Революционер я или нет, об этом пока рановато говорить, господин пристав,— спокойно отозвался Илья Фомич.

— Следовательно, вы осуждаете убийство царя?

— Ничего хорошего в этом не вижу. Сегодня одного убьют, а завтра на его место другой сядет. Но будет ли от этого легче народу, это еще неизвестно. Поживем — увидим.

— Так, так ..— становой встал и нагнувшейся жердью остановился перед учителем.— Ну-с, положим, вы не одобряете убийство царя. Но позвольте узнать: с какой целью вы тут устраивали собрания? Что это за тайные сборища? Не намеревались же вы убить Агафона Демьяныча?

— Слишком много чести для обыкновенного урядника.

Слова Ильи Фомича, кажется, понравились приставу.

— Слышишь, Агафон Демьяныч? — громко смеясь, обратился он к уряднику, который рылся в книгах Ильи Фомича.— Большая, говорит, честь — убить тебя. Каково, а? Ха-ха-ха...

— Глупые разговоры, ваше благородие,— буркнул обозленный урядник.— Полюбуйтесь вот, сколько у него книг. Человек читает ученые книги, а жизни не понимает. Сколько ни читай, а выше закона не прыгнешь. Закон есть закон!

Пристав подошел к полке и нарочито небрежно стал перебирать книги, уже просмотренные урядником. Взял одну из книг, перелистал ее и, повернувшись к Илье Фомичу, вскинул глаза.

— Так, так, господин учитель, Чернышевского читаете?..

— Книги печатают для того, чтобы их читали, господин пристав.

Пристав строго посмотрел на урядника и сам стал перебирать все книги.

— Да, но почему-то иные читают тайком.

Урядник покраснел, он понял, что попал впросак. Откуда же ему было знать, что книги какого-то Чернышевского запрещены? Мало ли кем написана эта уйма книг. И, по правде говоря, он на фамилии не обращал внимания, он искал в книгах что-нибудь вроде писем или тайных записок. Вот сейчас у него в руках Некрасов. Кто он такой? Можно ли его читать? Не зная, как быть с Некрасовым, урядник долго листал книгу.

В квартире учителя полицейские перерыли все. Выехали они из Мултана далеко за полночь, забрав с собою Илью Фомича и Степана Лосева.

Но дело этим не кончилось. Не прошло и недели, снова приехал урядник и два дня пробыл в Мултане. Вызывал к себе то одного, то другого, то третьего.

Пришел десятский и за Григорием. Григорий хотя и давно ждал вызова, но на съезжую пошел сам не свой — знал он, что это добром не кончится. Но странно, на сей раз урядник не бил его, не арестовал, а только допросил и уехал.

Дело о трыкском восстании исправник поручил новому приставу Шмелеву, только что прибывшему в Малмыж.

Новый пристав до полуночи просидел над протоколами урядников. Чем больше он читал их, тем больше хмурился и все чаще и чаще хватался за лихо закрученный колечком черный ус. Если судить только по протоколам, то в таком серьезном деле виноватых оказывалось всего лишь трое: Парамонов Илья Фомич, Лосев Степан Авдеич и еще Букин. Но этот неизвестно где.

А о беседах учителя урядник понаписал столько нелепостей, что Шмелев хватался обеими руками за голову. Тут не только вопросы урядника нелепы, но и в ответах-то разобраться невозможно: урядник записывал все, что говорили мужики. Однако хитрый, как показалось Шмелеву, ответ Антона Камаева привлек его внимание. На вопрос: «Зачем собирались?» — Камаев отвечал: «Как же мужикам не ходить друг к дружке? Если в деревне зимними вечерами не собираться послушать сказки, покурить трубочку, поговорить о том о сем, с ума сойдешь или повесишься со скуки».

— Врешь! — вслух произнес Шмелев, хлопнув рукой по лежащим перед ним бумагам.— К мужикам учитель зря не пойдет. Сказки... Знаем мы эти сказки.

Он подошел к окну и долго смотрел на огромный темный силуэт тюрьмы. Кто ведает, какие коварные мысли ворочались в голове станового пристава.

Однажды, когда арестованных выводили на прогулку, Илья Фомич, проходя по тюремному коридору, почти лицом к лицу столкнулся со Степаном Лосевым, выходившим из следственной камеры. Учитель остановился и участливо спросил:

— Ты что, Степан, заболел?

— Бьют меня... Помогите, Илья Фомич, искалечат...

— Не разговаривать! Шагай! — и надзиратель толкнул Степана в спину.

— Кто бьет?

— Становой Шмелев... Кровью харкаю, все нутро отбил...

Илья Фомич в тот же день написал жалобу на имя вятского губернатора, а утром запечатал ее и выбросил конверт в окно.

В те дни заключенных малмыжской тюрьмы водили на пристань грузить баржи. Арестованные собирались обычно во дворе, под окном камеры, в которой сидел Илья Фомич. Окно было расположено высоко, почти под потолком, поэтому Илья Фомич не мог увидеть, подняли его конверт или нет. А если даже и подняли, сумеют ли отправить? Мучимый таким сомнением, Илья Фомич написал вторую жалобу и вместе с рублевой ассигнацией сунул конверт в руку надзирателю.

Жалобы Ильи Фомича, поступившие одна за другой, заставили губернатора призадуматься. Его нисколько не волновало, что становой пристав в следственной камере малмыжской тюрьмы истязает заключенных. В молодости губернатор и сам не раз расправлялся с крестьянами-бунтовщиками. Выстроит, бывало, их в один ряд, скомандует: «Шапки долой!» — и давай хлестать плетью по головам. Или просто укажет на толпу пальцем и подаст команду: «Огонь!» А когда пришлось усмирять восстание на Украине, тут уж губернатор собственноручно рубил шашкой, не разбирая, кто перед ним — мужик, баба или дряхлый старик. Недаром же он дослужился до чина губернатора и призван любыми мерами подавлять не только революционное движение, но и самую мысль о свободе. И, конечно, не удивить его какому-то там Шмелеву.

Губернатор был обеспокоен другим. Напишет еще, чего доброго, такой прохвост в какую-нибудь газету — и дело о трыкском восстании может дойди до царя. А каков он будет, новый царь, кто его знает. «Ага, скажет, в Вятской губернии волнения! А чего смотрит губернатор? Кто там губернатором? Разжаловать!.. Посадить!..» При этой мысли губернатора бросило в дрожь. Он изорвал жалобу Ильи Фомича, швырнул клочья в корзину и решил: «Освобожу пока, а там видно будет, никуда они от меня не денутся».

Илья Фомич и Степан Лосев вернулись в первые дни весеннего сева.

Григорий пахал полосу возле ближнего леса и еще изла-

ли узнал идущих полевой дорогой путников. Он остановил лошадь на опушке и побежал навстречу. Его поразил вид болезненно бледного, осунувшегося Степана. Григорий хотел спросить, что с ним, чем он болен, но постеснялся: известно ведь, что в тюрьме — не в гостях. Все трое подошли к Григорьевой лошади и уселись под низкой развесистой липой.

— Ну, Григорий, рассказывай: как живете? — спросил учитель, поудобнее прислонившись спиной к стволу корявой липы и с удовольствием вытянув натруженные ноги.— Говорят, новый учитель приехал?

— Учительница,— уточнил Григорий.— Вчера я ее первый раз как следует разглядел. На сходке была, учиться велит,— рассмеялся он.

— Чего же тут смешного? — удивился Илья Фомич.

— Так она же мужиков заставляет учиться.

— Мужиков? — переспросил Илья Фомич.— Ну, ну, рассказывай по порядку.

Григорий снял с головы войлочную шляпу, положил ее рядом с собой и начал рассказывать о новой учительнице.

— Сходка вчера шумная была. Аныкский Быков Михайла просит общество разрешить ему переселиться в Мултан. Видно, он накануне самых крикунов подпоил, так они за него чуть в драку не лезут. То ли узнала, о чем речь на сходке, то ли просто так, это уж не могу достоверно сказать, только смотрим, а учительница мимо дома Буграша прямо к нам идет. Народ сразу и притих.

— А что в ней такого, что даже крикуны притихли? — спросил Степан.

— А как же, Степан Авдеич, конечно, всем диво: девчонка, а смелая такая... Была бы хоть сильная, здоровая, а то как былиночка.

— А, вон оно что...— неопределенно протянул Степан.

— Ну, а дальше? — нетерпеливо спросил Илья Фомич.

— Ну, значит, пришла. Из себя красивая такая, черняво-вая, глаза уж очень бойкие, а сама худенькая, того и гляди ветром сломит. Подошла она к сходке и поздоровалась, поклонилась, значит, всем сразу. Народ стоит и молчит, все будто застеснялись чего-то. И она стоит молчит. Вот так и стоим и смотрим друг на дружку.

— Веселенькая встреча! — рассмеялся Илья Фомич.

Улыбнулся и Степан.

— И долго так стояли? — спросил он, поглаживая щекообросшую колючей бородой.

— Кто его знает, сколько бы простояли, да Мухин вдру-

чил. Он, оказывается, учительницу знал уже по имени и отчеству. Вы, говорит, Вера Сергеевна, хотите что-нибудь сказать народу? Что она ответила ему, я, правда, не расслышал. Но народ тут расступился, а она, значит, направилась прямо к столу в дверях пожарного сарая. И пошла говорить, и пошла! Откуда только слова берутся? И слова-то какие! За душу хватают. Слушаешь и думаешь: «Почему же это мы не живем так, как она говорит?» Ох, и красиво же говорит! — восхищенно закончил Григорий свой рассказ.

— Разговор, Григорий, ценится не по тому, красив он или нет,— заметил учитель.— Ты вот скажи, что она говорила. Умные ли вещи говорила?

Рука Григория невольно потянулась к затылку.

— Многого я не понял, Илья Фомич. Слова-то уж больно мудреные. Мухин переводил, да иной раз старался учительницу на смех поднять. Одним словом, она говорила, что учиться надо. Мол, не только детей учить, а и самим тоже. Не понять, говорит, вам, почему так тяжко живете и как надо жить, пока грамоте не научитесь. А в книгах, говорит, все сказано, где надо народу свое счастье искать и кого винить в такой нужде. Там, мол, прямо сказано, кто народ грабит.

— Да, оно, конечно, так...— неопределенно заметил учитель.

Ему хотелось объяснить Григорию, что главное — жизнь изменить, отобрать у богатых землю, скот, а тогда, пожалуй, и за грамоту легче будет браться. Но его опередил Степан:

— А народ что говорил?

— Разве на сходках народ говорит? — махнул рукой Григорий.— У русских — Мухин и Быков, а у нас, удмуртов,— Бектэмыр и Прохор. После того как Мухин перевел слова учительницы, староста взбеленился: «Это кто же кого грабит?» — заорал он. А она как сверкнет на него глазами да как скажет: «Вообще-то, кто кого грабит, долго рассказывать, господин староста, а что касается деревни — дело ясное: деревню грабят не только те, кто высоко сидит, но и свои деревенские, богачи».

— Это она молодец, хорошо сказала. А староста что? — Илья Фомич даже привстал от любопытства.

— Староста, известное дело, окрысился и стал издеваться над ней. «Может, говорит, бросим, мужики, сеять — и айда все в школу. Глядишь, и вправду грамотеями станем, жен своих побросаем. Вот мои все стонет, поясницей мается. Если новая учительница такая сердобольная, пусть за меня замуж

выходит, я живо грамотным стану и не только землю, но и постройку любую бедноте отдам». Весь сход грохнул, даже в лесу отдалось. А учительница не понимает, о чем говорят и староста, смотрит и удивляется: чего это мужики смеются? Ну, Мухин объяснил ей по-русски. Я думал, она от стыда и обиды сбежит. Но она, видать, не из таких. Так это, знаете, колюче глянула на старосту — а у того рот до ушей, смеется вовсю — и сердито сказала: мол, по словам человека судят, умен он или глуп, господин староста. «Вот я и не пойму,— это уже она нам,— смотришь на вас, и кажется: народ вы умный, рассудительный. Так как же это вы выбрали себе такого старосту? Ему же место в огороде». Мухину, видно, понравилось, что учительница при всех так осрамила Бектэмира. «Поняли, говорит, мужики, что сказала учительница? Сами вы народ умный, а в старосты себе выбрали огородное чучело». Тут уж такое началось! Хохочут все, за животы держатся. Да и как тут не смеяться, когда самого старосту чучелом назвали?!

— Ну, а Бектэмыр что? — спросил, улыбаясь, Илья Фомич.

— Я, говорит, покажу тебе, как со старостой разговаривать! Сибирский тракт тут недалеко, живо в Сибири окажешься.

Степан вдруг надсадно закашлял.

— Хворает? — тихо спросил Григорий учителя, мотнув головой на Степана.

— Это его за правду, Григорий,— сказал учитель и поднялся.

Встал и Григорий. Густые волосы Ильи Фомича, зачесанные назад, казались на солнце золотистыми, светлые голубые глаза смотрели вдаль, словно он хотел разглядеть что-то там, за бесконечными лесами, или заглянуть в будущее, на десятки лет вперед.

А день-то какой! В чистом небе звенят жаворонки. Будто тут же на глазах раскрываются листья, поднимается трава, распускаются цветы. Ожила мошкара. Захлопотали муравьи! На ветку села бабочка. Кажется, в такое ли время думать о смерти, но Григорию вдруг вспомнилась смерть отца: у него Степана на прошлогодних листьях липы он увидел кровь...

У верхнего конца Старого Мултана лес перешагнул речушку и подступил к самым огородам. А вдоль огородов на опушке протянулась изгородь. В конце школьного огорода росла большая, раскидистая черемуха. Сейчас она вся в цве-

Здесь-то, под черемухой, Илья Фомич ладил дощатый ...л. Вдруг его кто-то тихо окликнул.

Учитель оглянулся. За изгородью под огромной елью стоял ...ловек в синей рубахе с расстегнутым воротом. Он облокотился обеими руками на изгородь и, улыбаясь, обнажил белые зубы.

— Игнат! — учитель бросил маленький топорик на стол и побежал к Букину.

Легко перепрыгнув через изгородь, Илья Фомич крепко обнял друга. Потом посмотрел кругом, нет ли посторонних, и негромко сказал:

— Если уж ты заходишь ко мне не с улицы, значит...

— Значит, положено мне ходить задворками,— досказал Игнат, широко улыбаясь.

— Тогда пойдем куда-нибудь в укромное местечко.

Илья Фомич взял Игната под руку. Они спустились к речке и сели там под густую ольху.

— Ну, рассказывай: где был, что делал, как очутился здесь?

— Где и что делал, пожалуй, по порядку не расскажешь. В последнее время работал грузчиком на пристани, да пришлось бросить. Почему? Вот разгружали мы соль. Тяжелая работа, пот так ручьем и бежит. Ну, решил я немного освежиться. Подошел к берегу, умылся, окатил голову, поднимаюсь, а рядом со мной идет человек в белом мундире. «Букин,— остановил он меня,— вы арестованы». Я сразу понял, что берут меня за трыкское дело. Приказал он мне вывернуть карманы, отобрал все, что было, и повел, наверно, в участок .. Ну, а я, значит... здесь вот очутился...

— Сбежал?

— Ага.

— А дальше как?

— Держу путь в Нижний. Поступлю на завод. Только вот бумаги мои все у того усатого остались. Напишите мне удостоверение, Илья Фомич.

— Удостоверение? — повторил учитель.— А печать?

— Староста поставит.

— Не знаю...— покачал головой Илья Фомич.— А впрочем, ладно, увидим... Тогда пойдем ко мне. Хотелось бы мне познакомить тебя с учительницей новой. Увидел бы, какие женщины бывают на белом свете. Сам царь ей нипочем, и полицией ее не напугаешь... Правда, жизнь она малового знает. Для нее главное — мужиков грамоте учить, без этого, говорит, ничего в жизни не изменишь.

— Мужиков? — удивился Игнат.

— Удивляться тут нечему,— немного сурово сказал Илья Фомич.— Я и сам подумывал о вечерних школах. А она, понимаешь, с этого начала, да еще во время сева.

Игнат, не мигая, смотрел на учителя широко раскрытыми глазами.

— Да, да,— улыбнулся Илья Фомич.— Ну, никто, конечно, учиться не стал. Тогда она на сходку пошла и такое там про богачей да про царя наговорила, что урядник теперь на всех в оба глядит. И все-таки она многого еще не понимает. Надо, говорит, попытаться растолковать Буграшам и Мухиным, что так народ жить больше не может.

— Поработала бы она с годок у любого из них, тогда бы другие песни запела.

— Ну, ты, кажется, всерьез рассердился. Пойдем...

Глухая ночь.

В наружные двери Бектэмырова дома кто-то постучался. Чтобы не будить мужа, Бектэмыриха вышла в сени сама.

— Кто там?

— Это я, открой, тетка Парасковья.

— Что-то не узнаю по голосу,— заворчала Бэктэмириха, отодвигая засов. Она думала, что уже светает, а когда отворила двери и увидела, что на дворе совсем темно, разворчалась еще пуще.— Что это по ночам бродишь? Урядник приехал, что ли? — спросила она, не зная даже, кого впустила. Войдя в избу, она долго шарила в печурке, искала спички.— Просто напасть какая-то, спичек не напасешься! — Под руку ей, видимо, попалась трубка.— Возьму да выброшу эту погань. Егор, куда спички девал?

— В зипуне, в кармане посмотри,— сонным голосом отозвался Бектэмыр.

Найдя спички, Парасковья зажгла лучину и только тогда посмотрела на дверь, но там была полутьма, и она не могла разобрать, кто пришел.

— Егор, встань. Вон к тебе пришли...— сказала она, зажигая на шестке от лучины небольшую коптилку.

Бектэмыр сел на край нар, почесываясь, сунул ноги в глубокие катанки, взял коптилку, поставил ее на стол и спросил у пришельца:

— Урядник, что ли, приехал?

— За печатью я, Егор Трофимыч,— сказал Игнат, шагнув к столу.

У Бектэмыра подкосились ноги. Он стоял в длинной рубахе, с растрепанными волосами и со страхом смотрел на Игната. Ему казалось, что Букин вытащит сейчас большой нож и пойдет на него. А тот спокойно стоял и улыбался: уж очень смешно выглядел насмерть перепуганный староста.

А Парасковья, не заметив, как оробел муж, зло причитала:

— Ни днем ни ночью не дают покоя. Будто утром нельзя прийти за печатью...

С полатей свесилась рыжая детская голова.

— Мама, уже утро, да?

— Сии! Тресну вот по башке! — огрызнулась Парасковья, и голова тотчас исчезла.

— Нельзя ли побыстрее, Трофимыч, тороплюсь я.

Бектэмыр полез куда-то за стол, порылся в железном ящичке, достал печать и стал коптить ее над колеблющимся пламенем светильника. А рука его так и дрожала над коптилкой, так и дрожала.

— Чего ты так перепугался? За разбойника, что ли, принял меня? — спросил Игнат, положив на стол удостоверение, написанное четким почерком.

Прежде чем поставить печать, Бектэмыр повертел в руках бумажку и умоляющим голосом спросил:

— Что это за бумага, Игнат? Ничего плохого не будет мне за это?

— Да нет же, Трофимыч. Это обыкновенное удостоверение. Законом же установлено, чтобы каждый, кто уходит на сторону, имел при себе удостоверение.

— Эта так,— согласился староста. Он не торопясь поставил на удостоверение печать и протянул его Игнату.— Где же прожимаешь сейчас, Игнат?

— Не найдешь, Трофимыч...— улыбнулся Букин.— Ну, всего хорошего. Спасибо за печать.

Бектэмыр не ответил. Он стоял у стола как пришибленный. Только после того как звякнула щеколда калитки, он прижался лбом к стеклу, видно, желая убедиться, что Игнат действительно ушел, и тяжело опустился на табуретку.

— Слава богу...— вздохнул Бектэмыр.— Кажется, пронесло... Так и думал — перережет всех. Запри дверь!..

Далеко позади остался Мултан, а Игнат все шел и думал: куда податься? Дорога вела на пристань Вятские Поляны. Река Вятка открывала перед Игнатом пути-дороги во

все стороны. Но он, наверно, пройдет еще полсотни верст и так ничего и не надумает. Спуститься ли вниз по Волге в Саратов или Астрахань, подняться ли вверх до Нижнего Новгорода, или махнуть по Каме на уральские заводы? Нет, пожалуй, все-таки в Нижний.

А впереди ночь, темень и редкие-редкие звезды. Ивану кажется, что он должен идти и идти, пока не доберется до этих далеких звезд.

Вдруг вспомнилась Казань. Пристань, такая же ночь и тихий плеск Волги. Грузчики, ожидая прибытия парохода или баржи, сидели на берегу, и кто-нибудь из бывалых рассказывал о шумных нижегородских ярмарках, о буйствах пьяных купцов, как они старались перещеголять один другого. Букин и сам был однажды очевидцем дикой выходки разбушевавшегося купчины.

Это было незадолго до его побега из Казани. Грузчики таскали ящики с содой, мылом и другими товарами в трюм большого товаро-пассажирского парохода, зафрахтованного богатым купцом. Закончив погрузку, усталые, измученные, они медленно сходили на берег, лениво сбрасывая наплечники, снимали пропахшие потом грязные рубахи, сшитые из мешковины, или рваные пиджаки, надетые на голое тело, и садились в тени огромных тюков, сложенных у пристани длинными штабелями, а некоторые спускались к воде освежить разгоряченное лицо. Им было безразлично, что они грузили, куда и зачем повезут тот груз, их не интересовал и пароход, на который они перетащили столько добра.

Игнат и здоровенный Исхак умывались поодаль от пристани. Отфыркиваясь, они плескали воду на лицо, на плечи и на грудь. Казалось, вода была для них величайшим наслаждением, какое только может испытывать человек. Они ничего не замечали вокруг.

Отчаливший от пристани пароход уже дал три коротких прощальных гудка, как вдруг с палубы сквозь шумный плеск колес донесся душераздирающий крик. Игнат поднял голову и увидел, как пьяный купец высоко поднял женщину и сбросил ее за борт. Вслед за ней над водой медленно летела соломенная шляпа с черным бантом.

Игнат рванулся было на помощь женщине, но стоявший рядом Исхак схватил его за руку и сердито сказал:

— Она купцом гулять хотел, верна? Теперь пусть на Волге погуляет.

Женщина плыла к берегу, ее широко раскрытые глаза

звали о помощи. А на палубе парохода, держась обеими руками за поручни, дико хохотал пьяный купец.

— Маринка, курва! Куда? Плыви назад! Маринка, по гроб любить буду.

Позади купца толпились зеваки. От берега быстро отчалила лодка. Два татарина в одинаковых черных тюбетейках и старых вельветовых жилетах поверх белых рубах быстро гребли к обессилевшей женщине.

С пристани кто-то кричал купцу:

— Сво-о-о-лочь!.. Погоди, и на тебя найдется управа!

— Утопить бы гада...— процедил сквозь зубы Игнат, с ненавистью глядя на холеного купца.

Исхак многозначительно посмотрел на него и уверенно сказал:

— Придет время, топить будем.

Ночью Игнат лежал на берегу притихшей Волги у рыбачьего костра, а перед глазами неотступно стояла хохочущая рожа купца. Давно уснули рыбаки, едва искрились угольки затухающего костра, а Игнат все думал и думал о силе богатых, о людском неравенстве, о бесправии народа.

Игнату нравились эти ночные ожидания погрузки у рыбачьих костров, но еще больше нравились ему вечера, когда предзакатное солнце золотило Волгу и где-то далеко-далеко слышались то сормовские, то саратовские напевы. Любил он слушать рассказы о тех временах, когда над Волгой раздавался призывный клич Разина и Пугачева.

Как-то под вечер к товарной пристани пришвартовалась большая баржа. Ее разгружали всю ночь. А под утро, сидя на берегу за чаркой, грузчики с баржи возбужденно рассказывали казанцам о стачке сормовичей...

Шагая теперь в сторону Вятских Полян, Игнат, наконец, понял, что его решение ехать в Нижний имеет прямую связь с тем давним рассказом о сормовичах.

Добравшись до Нижнего, Букин тотчас отправился в Сормово.

Игната поразило величие завода, он долго стоял перед главными воротами, прислушиваясь к его мощному дыханию. И вдруг, сотрясая все вокруг, где-то совсем близко заревел гудок. Сразу настежь распахнулись ворота, и с заводского двора бесконечным потоком хлынула толпа. Люди спешили, словно боялись, что гудок вот-вот оборвется и огромные ворота снова захлопнутся.

Игнат не успел опомниться, как оказался подхваченным этим живым потоком. Он шел быстро, не думая, куда и за-

чем идет. Ему казалось, что эту людскую массу никто не в силах остановить, и — впервые в жизни — Игнат почувствовал себя поистине сильным.

Растекаясь по улицам и переулкам, мощный поток раздробился на отдельные группы. Игнат остановился на углу какой-то улицы. Он был разочарован: чем больше редел людской поток, тем сильнее ощущал он свое одиночество, чувствовал себя в стороне от этой сильной, многотысячной массы людей.

Над самым ухом кто-то звонко крикнул:

— Эй ты, деревня, лапти потеряешь...

Игнат машинально посмотрел на свои ноги, обутые в лапти. Раздался дружный смех. К Игнату подошел человек.

— Ты что, вместо столба тут, что ли? — хрипло произнес он.

Игнат не успел отойти, как на его плечо опустилась чья-то рука. Обернувшись, он увидел перед собой большие усы и скуластое бритое лицо.

— Плохо, брат, а? — участливо спросил усач и сам же ответил оторопевшему Игнату: — В лесу заблудиться не мудрено, а вот когда человек на улице, да среди бела дня не знает, куда идти, это уж совсем худо. Из деревни? — спросил он с мягкой улыбкой, которая никак не вязалась с этими большими суровыми усами.

— Из деревни,— ответил Игнат и тоже улыбнулся.

— На завод или так?

— Хотелось бы. Только вот народ тут...

— Злой...— подхватил усач и в каком-то раздумье продолжал: — Да, пожалуй, это верно: нашему брату не до смеха. Жизнь сурова, ну и люди суровые. А вообще рабочие — народ хороший. Хмурые они или веселые, а в обиду товарища не дадут...

— А можно устроиться на работу? — спросил Игнат, прервав усача.

— На работу? — переспросил тот, наверно, все еще занятый своими мыслями.— Терпела бы спина, работы на всех хватит. Знакомые-то есть на заводе?

— Нет.

— Это плохо. В мастерские трудно будет попасть. Как же быть с тобой? — сказал усач и задумался, видно, всерьез озабоченный судьбой случайно встретившегося человека.— Ты вот что,— произнес он, испытующе поглядев на Игната.— Вон видишь двухэтажный дом с зеленой крышей? Наш мастер живет там. Думаю, он тебя устроит на работу, ему такие, как

ты, квартирант ему нужен. Только проись сначала на квартиру, а не на работу. В батраках не бывал? — спросил он неожиданно.

— Был, да сбежал... вернее, прогнали,— опять улыбнулся Игнат.

— Ну, значит, не привыкать. Нашего брата отовсюду гонят. А кто дома — отец, мать?

В этом незнакомом человеке все подкупало — и открытый взгляд, и мягкая улыбка, даже большие прокуренные усы и те теперь, казалось, подчеркивали отзывчивый характер. Наверно, поэтому Игнату захотелось рассказать ему о себе и обо всем, что произошло с ним за последнее время.

Незнакомец слушал молча, покуривая дешевую папироску, и только изредка задавал вопросы. Когда Игнат рассказал о стычке с урядником, рабочий искренне похвалил:

— Молодец! Не дал себя в обиду. Видать, ты в жизни кое-что успел уже хлебнуть. Значит, как-нибудь постарайся устроиться на завод. Жизнь поглубже поймешь. Теперь вот что: если с мастером не поладите, приходи ко мне. Ночевать, поди, негде? Я тут недалеко живу, вон на той улице, третий дом с угла, под окном сирень. Фамилия моя — Рябов, зовут Алексеем Ивановичем. Когда будешь говорить с мастером, меня не упоминай, а то может все разладиться. Меня, брат, он, того, недолюбливает. Вот так. Ну, счастливо! Если, значит, не сговоритесь, приходи.

— Спасибо.

«Есть же такие люди»,— думал Игнат, шагая к большому дому с зеленой крышей.

Мастера он застал за чаепитием. Тот сидел в переднем углу под множеством икон со слабо мерцающей лампадой. В комнате, как в небольшой церквушке, был полумрак.

Увидев Игната, нерешительно топтавшегося в дверях, мастер медленно поставил на край стола блюдце с недопитым чаем, нацелил на Игната колючие, точно булавки, глаза и, помолчав, спросил:

— Ты что, татарин?

— Нет,— ответил Игнат.

— Не татарин, а лик божий не видишь! — длинной рукой он указал на иконы.

Понял, в чем дело, Игнат небрежно перекрестился. Мастеру это не понравилось, и он коротко спросил:

— Чего надо?

— Квартиру ищу.

Жена мастера, разливавшая чай, толстая, рыхлая, слоп-

по из теста, оценивающим взглядом окинула Игната и, задержавшись на его ногах, обутых в лапти, презрительно сказала:

— Угол, поди, нужен тебе, а не квартира.

Мастер усмехнулся.

— Где уж нам, Карповна, разбираться — что дом, а что терем...

Он вылез из-за стола, подергивая свою реденькую, слегка выщипанную бороденку, повернулся к иконам и начал читать вслух «Отче наш». При этом он нелепо размахивал длинной рукой, а временами совсем по-женски низко кланялся. Покончив с молитвой, мастер подошел к Игнату, молча осмотрел его сквозь щелки прищуренных глаз, постоял, пощипывая бородку, и только тогда спросил:

— Где работаешь?

— Пока нигде. Думаю устроиться на завод,— ответил Игнат, еле сдерживая себя, чтобы не плюнуть в прищуренные глазки, в которых смешалось все — лукавство и притворная елейность, зло и хитрость, угодливость и презрение. А когда тот снова стал пощипывать бороденку, Игнату показалось, что не только его редкие волосы смазаны лампадным маслом, издающим приторный запах, но и весь он вымазан им.

— Не работаешь? — переспросил он, щуря серые глазки.— Кто же тебя такого пустит на квартиру? Откуда я знаю, кто ты есть? Может, ты разбойник какой.

У Игната все внутри клокотало. Но он знал, что даже ценой унижения надо устроиться за завод. Он быстро вынул удостоверение и протянул его мастеру. Тот улыбнулся, заметив, как мелко дрожала рука Игната. Он читал удостоверение, держа его обеими руками далеко от глаз. А когда прочитал, не отдавая бумагу Игнату, обратился к жене:

— Как, Карповна, найдется у нас место?

Та снова оглядела Игната, словно выбирала товар.

— Место — почему бы не найтись, только кто знает, что он за человек...

Поняв, что дело идет на лад, Игнат облегченно вздохнул.

— Пьешь? — спросил мастер.

— Только по праздникам,— ответил Игнат, чувствуя, как краска стыда заливает ему щеки. Как провинившийся школьник, вынужден он отвечать этому гаду. До озноба ненавидя отвращение к мастеру, Игнат ждал, что тот сейчас заговорит елейным голосом о вине в образе змия, но, к его удивлению, мастер рассмеялся.

— Вот это ты правду говоришь. А сказал бы «не пью»,

не поверил бы. В праздники не грех, праздники — они для веселья. А пьяниц не люблю. Драку затевают, друг дружку ножами тычут. Зачем это? Все грехи от пьянства. Значит, не пьешь? Это хорошо, если не врешь. А косить умеешь? — неожиданно спросил он.

— Умею,— ответил Игнат, не понимая, какую связь имеет разговор о вине с умением косить.

А мастер, весь преобразившись, продолжал:

— Веселое дело — косьба. На заводе — дым, копоть. За зиму так надышишься, что внутри все закоптит. А летом — на луга. Хорошо! Сущий рай. Отпуск я тебе к лету приурочу. Будем ездить на сенокос. Река там, рощица, смородина — раздолье. Жить ты будешь у меня внизу, товарищи там для тебя есть, шесть нахлебников. Обед им Карповна варит, моя хозяйка, вот она самая,— кивнул он на жену.—И тебе бы лучше у нас обедать; по чайным ходить — добра не жди, к вину потянет. Карповна,— обратился он к жене,— дай ему матрасик, с получки отдаст...

Из шести квартирантов, проживающих в нижнем этаже дома мастера Суслова, Игнат крепко сдружился с Аркадием Митиным, щуплым, но бойким парнем лет восемнадцати. В первый же воскресный день он повел Игната осматривать город и всю дорогу рассказывал об их прижимистом хозяине.

— Он нас заездил,— жаловался Аркадий.— На заводе устанешь, да и дома все мы делаем — и за лошадью ходим, и за коровой. Хозяйка молоком торгует, ну а мы нагрузимся бутылями и провожаем ее на базар. Воду таскаем скотину поить, конюшню и хлевы чистим. На огороде работаем. А еще у него в лесу пчельник, большой участок. Летом мы там луга косим. Такой сквалыга, не приведи бог. Прошлым летом мало показалось ему своего сена, целых четыре дня косили исполу. И куда ему столько сена? По первопутку нас же заставит возить. Нынче собирается во дворе колодец рыть. Сруб уже готов, в огороде стоит. Не видал? Тоже наших рук дело.

— Дураки! — возмутился Игнат.— Какого же черта вы на него спину гнете?

Аркадий остановился и, взглянув на своего наивного друга, рассмеялся.

— Посмотрим на тебя, на умника! Попробуй откажись от работы, назавтра же вылетишь и с завода и с квартиры.

— Ну и что же? Разве нельзя другую квартиру найти?

— Да пойми ты, чудак человек, ведь я у него под нача-

лом в мастерской работаю. А он там полный хозяин. Если уйду с квартиры, думаешь, он меня на работе оставит? Как бы не так!

— Выходит, как в тисках?

— Ни туда ни сюда. Не продохнешь,— безнадежно махнул рукой Аркадий.— Я только здесь понял, почему мой отец часто говорил: «С сильным не борись, с богатым не тянись». Хорошо, хоть сейчас не так уж прижимают штрафами. Как-никак, а стачки испугались. А бывало, за что только не штрафовали. Пойдешь за получкой, глядишь — больше половины удержали.

На обратном пути Игнат расспрашивал Аркадия о его товарищах. Он старался намеками разузнать о тайных делах на заводе, но после двух-трех вопросов убедился, что тот не только ничего не знает, но даже и не понимает, о чем спрашивает его Игнат.

До поступления на завод Игнату думалось, что он в первые же дни сблизится с революционно настроенными рабочими и будет посещать их тайные сходки. На деле же получилось совсем иначе. Проходила неделя, другая, вот уже и лето на исходе, но сколько ни приглядывался Игнат к своим новым товарищам, не замечал, чтобы люди где-нибудь собирались.

Он ждал, что вот-вот случится что-то такое, что все взбудоражит, нарушит привычный распорядок жизни на заводе, тревожно призывая, загудят гудки, и на заводском дворе, у главных ворот, соберется огромная толпа рабочих... Все это Игнат явственно представлял себе из рассказов Аркадия о прошедшей стачке. Но дни проходили за днями, ничем не отличаясь один от другого, сегодня было, как вчера, как неделю, как месяц назад.

Каждое утро к заводу тянулась бесконечная черная лента людей, и в этой многотысячной толпе шагали Игнат с Аркадием и остальные квартиранты Суслова.

Их мастерская представляла собой мрачное сооружение из гофрированных железных листов. Закопченная до черноты, она с утра до вечера в течение десяти часов была наполнена оглушающим стуком и грохотом. Сотрясая все вокруг, ухал паровой молот; он стоял посреди мастерской, точно огромный слон. Будто дивясь его чудовищной силе, вокруг разноголосо перестукивались сотни молотков. Мириады искр освещали этот ад. Тут всегда было душно и жарко.

Обеденный гудок каждый раз, как из пекла, выбрасывал

из мастерских чумазых молотобойцев. Они усаживались на балансиры, на старые формы, валявшиеся на заводском дворе, и принимались за свой скудный обед.

В один из таких обеденных перерывов Игнат подсел к Рябову. Когда Рябов, допив из бутылки молоко, стал неторопливо и тщательно вытирать усы, Игнат, озираясь по сторонам, тихо спросил его:

— Алексей Иванович, разве здесь совсем не бывает тайных сборов?

Рябов был так удивлен, что даже оставил в покое усы и медленно опустил руку.

— Это что еще за тайные сборы? — спросил он, делая вид, что не понимает, о чем говорит Игнат.

— Как это что за сборы? А революционеры? Не может быть, чтобы на таком заводе их не было.

Алексей Иванович быстро глянул по сторонам и сердито процедил:

— Ты что, в тюрьму захотел? Чтобы я этого больше не слышал! Понял?

Игнат с неприязнью посмотрел на Рябова и медленно побрел в мастерскую. До сих пор ему казалось, что Алексей Иванович добрейший человек, который в трудную минуту поможет не только словом, но и делом. До этого Рябов частенько беседовал с Игнатом, расспрашивал его о жизни в деревне и мрачнел, когда Игнат рассказывал, в какой страшной нужде живут бедняки вроде Антона Камаева, как наезжают власти выколачивать подати и недоимки, как пажи-ваются кулаки, пользуясь безвыходным положением бедняков. Игнат не раз замечал, что во время этих рассказов Рябов до хруста в пальцах сжимал кулаки. А тут вдруг... Вот и пойми человека!

После этой короткой размолвки Игнат старался не встречаться с Рябовым. Однако неприязнь к старому рабочему боролась в нем с тем хорошим чувством, которое еще сохранилось от их первой встречи.

Однажды, возвращаясь с работы, Игнат медленно брел домой, думая о своем. Вдруг его кто-то хлопнул по плечу.

— Ну, чего призадумался, молодец?

Игнат, увидев Алексея Ивановича, растерялся и не знал, как держать себя. А тот, ни о чем не догадываясь и ничего не замечая, весело продолжал:

— Поедем завтра рыбачить, а? Только рыба рано просыпается, приходи ко мне до зорьки. Э-э, да ты, брат, что-то

...— сказал он, заметив, что Игнат не в себе.— А ну-ка выкладывай — что стряслось?

Неожиданно для Рябова Игнат зло сверкнул глазами и с ожесточением заговорил:

— Дураки мы все, вот что я скажу! Сами хребет подставляем: на, мол, садись и погоняй. Бить их надо, а не спины гнуть перед ними.

— Кого это? — изумился Рябов.

— Всех, кто из нас жилы тянет.

— Ого, вон ты какой!.. А ты не слышал, заяц тоже похорохорился, а его взяли да подстрелили.

— Это вы к чему? — спросил Игнат.

— А к тому: думать — думай, это полезно, однако всегда помни поговорку: язык мой — враг мой. В общем, завтра поговорим. Смотри, не обмани, Игнатий Андреевич, утром ждать буду.— И, прощаясь, Алексей Иванович до боли стиснул руку Игната в своей большой и жесткой ладони.

Утром, еще до зорьки, они уже плыли по тихому заливу на ту сторону Волги. А когда все шесть удочек были насажены, Алексей Иванович, усевшись поудобнее, закурил и лукаво улыбаясь, спросил:

— А скажи-ка мне, Игнат: о каких таких тайных сборищах расспрашивал ты меня денька три назад?

Игнат с минуту помолчал, наблюдая за поплавками, и, доверчиво посмотрев на доброе лицо Рябова, стал выкладывать все, что у него было на душе. Он возмущенно говорил, что больше терпеть нельзя, что они, мол, тоже люди и им жить хочется по-человечески, почему же они молчат, почему спины гнут, ведь народ — это огромная сила, перед которой ничто не устоит.

— Ай, как доверчив ты, Игнат,— укоризненно покачал головой Алексей Иванович.— Впору схватить тебя за шиворот — и в участок. Наговорил такого, что пух летит. А откуда тебе известно, что я за человек?

Игнат вспыхнул от смущения и стал оправдываться:

— Чувствую я, Алексей Иванович, какой вы человек.

— «Чувствую»...— передразнил его Рябов.— Ты думаешь, у тех, кто продался жандармам, на лбу написано, кто они?

Алексей Иванович долго рассказывал Игнату о провокаторах. Игнат слушал и так возмущался, что забыл даже о поплавках.

А в следующую субботу они на дачном пароходе отправились на Оку. Клев был на славу. Рыбачили дотемна, пока возможно было разглядеть поплавки. Потом развели костер и

стали варить уху. И вот тогда-то Алексей Иванович затеял с Игнатом странный разговор. Повесив над костром закопченное ведерко, он подсел к Игнату, чистившему картошку, и, осмотревшись кругом, шепотом спросил:

— Ты, Игнат, хорошо знаешь Сухова?

— Какого это Сухова?

— К большой печи болванки носит.

— Что-то не знаю я такого, Алексей Иванович.

— Да знаешь. Как его не знать! Так это косо на людей поглядывает, пригибает еще голову к плечу.

— А, теперь вспомнил,— улыбнулся Игнат.— Когда я его вижу, мне почему-то всегда кажется, что он не просто идет, а крадется, как вор.

— Вот именно — вор. Только особенный... Ты с ним ухо востро держи. И не плохо бы походить за ним с недельку, узнать, куда он ходит. Очень уж подозрительный тип.

— Понимаю, Алексей Иванович, я его как миленького выслежу.

— Ничего ты не понимаешь,— оборвал его Рябов.— Это кажется только, что легко человека выследить. Имей в виду, если заметит — погибнешь. Понял? А ты — «как миленького». Ну-ка, вываливай картошку, потом поговорим, как с этим делом справиться.

Уже и вода в ведерке закипела, а Алексей Иванович все еще наставлял Игната. Игнат понимал, что ему дается задание, и неспроста, а вроде как для проверки. Он был рад, но и обижен недоверием. Однако так увлекся, что готов был хоть сейчас отправиться на ту улицу, где жил Сухов, выждать, когда тот, оглядываясь, выйдет из дома, и терпеливо идти и идти за ним...

Когда Алексей Иванович стал опускать в кипящую воду рыбу, Игнат с ехидцей спросил:

— А как же вы, Алексей Иванович, доверяете мне такое дело? Откуда вы знаете, что я за человек? У меня же на лбу ничего не написано.

Алексей Иванович лукаво прищурил глаза и улыбнулся.

— Чувствую.

Тут уж оба рассмеялись.

Не знал Игнат, что провокатор Сухов был уже разоблачен. Слежку за ним Рябов поручил ему лишь для того, чтобы с первых же шагов научить Игната распознавать повадки провокаторов и приучить его к осторожности. В течение трех дней после работы Игнат глаз не сводил с Сухова, следил за ним, а на четвертый узнал, что Сухов утонул на

рыбалке, а его товарища спасли рыбаки. На вопрос Игнат о Сухове Рябов коротко сказал:

— Плохо, когда человек живет у реки и не умеет плавать.

Вечером, лежа на скрипучем топчане, Игнат долго размышлял о том, что случилось с Суховым. А не умышленно ли опрокинул лодку тот человек, что был с ним на рыбалке? «Именно так»,— решил Игнат и даже обиделся, что не ему поручили это дело.

На заводе тогда еще не было организованных революционных кружков, но передовые рабочие часто собирались тайком, чтобы обсудить наболевшие вопросы, а в случае необходимости избирался и комитет для организации забастовки. Собирались обычно по воскресным дням, чаще всего на берегу Оки. Всюду горели костры, звенели под гармонь песни, с лодок доносился смех,— поди узнай, где тут тайные разговоры. А у одного из костров собравшиеся в кружок рабочие говорили о штрафах, о низком заработке и о том, как бы добиться более высокой оплаты труда женщин и подростков.

Однажды на такой гулянке очень толково говорил один из рабочих. Худощавый, в неуклюже висящем на узких плечах пиджаке, с горящими глазами на бледном лице, он говорил о том, что если экономические требования рабочих иногда и удовлетворяются, то это делается только для обмана, для того чтобы немного успокоить народ, а потом все идет по-старому; мало того, хозяева всякими способами вдвойне возмещают убытки, а многие передовые рабочие оказываются выброшенными с завода с волчьими паспортами.

— Мы хозяева жизни, а не они,— сказал он, отбросив со лба мягкие волосы.

— Это мой зять... В ссылке был... — шепнул на ухо Игнату Алексей Иванович.

А Игнат будто во сне услышал голос Рябова, настолько его захватили слова рабочего.

Расцвели васильки, от клейких листьев лип исходит медовый запах, повернули к солнцу свои желтые головы подсолнухи, чернеют ягоды черемухи, с каждым днем желтеют и становятся нивы.

Пришла пора жатвы, и на золотисто-желтых полях стали появляться плешины, сначала на ближних полосах, а вскоре и весь бугор возле Старого Мултана был уже выжат.

В воскресенье на рассвете у пожарного сарая собрались женщины и девушки трех деревень, всего человек сто. Они пришли наниматься на работу. Один — чтобы хоть немного сколотить деньжонок на оплату подати либо на мелкие хозяйственные нужды, на мыло, спички, керосин и прочее, другие — чтобы приодеться как-нибудь. Молодухам нужны были базарные нитки на основу, девушкам — платки либо ленты на платья и фартуки. А где взять им денег, кроме как на жатве у кулаков?

В ожидании хозяев девушки сидели кучками на зеленой лужайке у спуска под гору, а женщины, кому копейка требовалась на самое необходимое, боясь остаться ненанятыми, стояли возле самого пожарного сарая.

Вероятно, потому, что жниц пришло очень много, богачи не торопились, они, видно, норовили нанять попозже да подешевле.

Федор Буграш, конечно, не стал бы ждать, но он среди собравшихся кулаков оказался самым молодым, и ему неудобно было показывать себя выскочкой. Да, кроме того, нанимал он жниц впервые, и ему хотелось посмотреть, как это будут делать люди опытные в таких делах. А те сидели себе, покуривали, словно и не собирались подряжать. Федор часто с беспокойством поглядывал в сторону ржаного поля, там над дальним лесом уже брызнули первые лучи восходящего солнца.

— Что ж мы, до обеда будем так сидеть? — обратился он к Бектэмыру.

Тот выколотил пепел из трубки и оглядел Федора с ног до головы.

— В таких делах ты, кажется, зелен еще, Федор,— сказал Бектэмыр, пряча трубку в карман синих холщовых штанов.— Куда это ты спешишь? Мы же не поденно нанимаем. Подольше посидят — полешепле запросят. Какое мне дело, когда она сожнет сто снопов — к обеду или к полуночи. А если уж тебе очень некогда, иди договаривайся. Мне всего-то человек десять потребуется.

У Федора не хватило терпения. Он встал и направился к девушкам. Женщины, стоявшие у пожарного сарая, гурьбой двинулись за ним. Федор разоделся, точно в какой-нибудь праздник: голубая сатиновая рубаха, черные брюки, сапоги со скрипом, суконный картуз с блестящим лаковым козырьком. А сам идет и смотрит себе под ноги: наверно, неудобно все-таки перед народом, что так вырядился в страдную пору.

— Ну, девки, кто пойдет ко мне жать? — вперше от смотрел на девушек хозяйским глазом, не выбирая, которая из них красивей. Сегодня ему нужны были жницы.

— А сколько положишь, Федор? — спросила одна из женщин, выйдя вперед.

— Цена известная, тетка Алена. Буду платить, как платил в прошлом году,— пятналтынный за сотню.

— Пятналтынный так пятналтынный, только чтоби, как прошлым летом, за водой самим не пришлось бегать.

— Воду на лошади подвезут. Ну, коль согласны, пошли.

Все женщины, сколько их тут было, двинулись за Федором. Бектэмыр разозлился и подбежал к молодому Бугрышу.

— Ты что это делаешь, Федор? Думаешь, только тебе нужно жать?

— Так разве я держу тебя, дядя Егор? Нанимай. Я тут при чем? Ты же сам послал меня вперед.

— Как же я найму, коли ты уже их нанял? Тьфу! — зло плюнул Бектэмыр.— Видать, ты почище отца своего.

Поступок Буграша возмутил и Мухина. Он вышел вперед и, подняв руку, остановил шумную толпу женщин.

— Стойте! — крикнул Мухин.— Я даю семнадцать копеек.

Толпа притихла, все смотрели на Федора: что скажет он?

— Федор, тебя ждем,— напомнила ему бойкая Алена.— Две копейки на земле не валяются.

Федор нахмурился, его густые черные брови сошлись на переносице. Он до боли прикусил нижнюю губу. Если бы такое случилось с его отцом, тот бы, конечно, как и Бектэмыр, плюнул и махнул рукой. Но Федор другого пошиба, он человек с гонором, топтать всенародно свою честь не позволит, дороги не уступит. Он вышел вперед и громко объявил:

— Двадцать копеек!

Рассерженный Федор даже не подумал, что скажет на это отец, станет он платить жницам эту цену или нет. От обиды на Мухина у него даже губы дрожали. «Я ему покажу, как издеваться над удмуртом»,— зло подумал Бугрыш, но, обращаясь к Мухину, все-таки сумел себя сдержать и спокойно сказал:

— Дементий Иваныч, люди ждут. Будешь прибавлять или нет?

— Обещать можно и целковый,— огрызнулся Мухин.— Посмотрим, как рассчитается потом с тобой твой папаша — палкой или кнутом.

Федор за всю свою жизнь не был так оскорблен и рассержен. Перед столькими людьми, перед простыми бабами Му-

хин разговаривал с ним, как с мальчишкой. Федор быстро вынул из кармана кошелек и показал женщинам:

— Вот, глядите... Не бойтесь, к отцу моему вам ходить не придется, сам расплачусь! Пошли!

Шутка ли — лишние пять копеек за каждую сотню снопов! Обрадованные женщины с песнями пошли за Федором.

Богачи поняли: в лице молодого Буграша на их пути встала новая сила.

— Вот тебе Федор, вот тебе тихоня...— проговорил Бектэмыр, глядя на своего брата Прохора, стоявшего в немом удивлении.

В этот день с рассвета Григорий со своей небольшой семьей жал рожь на широкой полосе Буграша, спускающейся к лугам по отлогому склону. Маленькая Дыды лежала в люльке под липой, стараясь ручонками ухватиться за листья, шелестевшие над ней от легкого ветерка. А мухи так и лезли к ребенку. Не умея отбиться от них, Дыды заплакала.

— Дуня, не слышишь, что ли, дочка плачет,— сказал Григорий жене.

— Или жать, или за каждой ее слезинкой бегать.

— Иди, невестушка, иди,— вмешалась Ульяна.— Первенькую хоть по-человечески вырастить надо, а дальше, кто знает, что будет. Нам, видно, уже добра не нажить. Чужое будем жать, а свое осыплется.

У Григория больно сжалось сердце, ему показалось, что мать упрекает его.

— Напрасно коришь меня, мама,— сказал он с обидой в голосе.— Когда я брал взаймы на семена, насчет жатвы он ни слова не говорил.

— Я тебя не корю, сынок.— Ульяна прижала коленом сноп, закручивая свясло.— Не над тобой первым они измываются. Бог все видит, все знает, да толку что.

Отец Федора, Семен Буграш, ссужая Григорию овес на семена, ни словом не обмолвился о том, что ему за услугу придется жать. И только перед жатвой, встретив однажды Григория, сказал ему об этом.

— За семена придется тебе, Григорий, одну мою полосу сжать.

— Я овсом верну, дядя Семен,— попросил тогда Григорий.

— Ишь ты, какой умник нашелся! Ты думаешь, семена

я тебе за красивые глаза дал, что ли? Добра не пом... Клади пореже, поклонц отбивается, а после, вместо спасибо, злитесь. Там, у малых лугов, мою полосу с... видишь? Ну вот, ее и будешь жать. Снопы не в суслоны, а... копны кладите. А за овсом не заставляй меня ходить, ... только выжнешь, сразу же долг верни.

За взятые взаймы восемь пудов овса Григорий ... рой день жал Буграшу всей семьей, а до конца ... было еще далеко: завтра едва ли к обеду управятся. И ... что взял, верни, да еще работай столько. Если бы Бу... нанял жнецов на эту полосу, ему пришлось бы ... самое меньшее три рубля. Ведь это пятнадцать пудов ... За что же жнет ему Григорий? Он долго стоял, держа ... ке связанный сноп, и думал о том, почему он должен ... вращать Буграшу втройне. Потом швырнул сноп и с ... вистью произнес:

— Кровь нашу сосут, проклятые!

— Что ты, Гриша? — Ульяна удивленно посмотрела ... сына.

— Брось, мама, не будем жать. Хватит! И за это ... спасибо скажет. Нашел тоже дураков!

Григорий поднял брошенный сноп, положил его в ... с остальными и направился к липе.

— Гриша, что ты делаешь? — Ульяна стояла в нер... пии, держа на серпе сжатую горсть ржи.— Не дури, ск...

А Григорий и слышать ничего не желал. Ульяна ... жила горсть на только что начатый сноп и торопливо за... менила за сыном.

У липы Григорий остановился. Дуня меняла пелен... Она сразу же догадалась, что между мужем и свек... что-то произошло, но спросить постеснялась.

— Так нельзя, сынок,— уговаривала Ульяна сына, ж... пьющего из берестяного бурака ставшую совсем теп... ключевую воду.— Столько нажали — и вдруг бросать. Тог... не надо было приниматься. Нам ли так делать. Вот та... Бектэмыриху выгнал из дому, а теперь к ним и носа не ма... жешь. Если так со всеми перессоришься, к кому пойдеш... случае нужды? Нам, видно, суждено терпеть. Обидят ... больно ли сделают — терпи. Эхма, говорят, терпение дуб... не сломит. Если б так, не болело бы мое бедное сердце...

Ульяна концом платка утерла слезы и посмотрела в с... рону села. Все, что она пережила и перестрадала за с... долгую жизнь, все обиды, которые ей пришлось испыта... сейчас больно сдавили ей сердце. Она смотрела на вы...

...лом кр ..., крыш Бугрина, и вспомнилась ей смерть ...ла. Жгучая ненависть загорелась в черных глазах Ульяны. Бугрин и тот бы испугался ее вида.

— Пусть все наше горе, все наши слезы обрушатся на ваши головы, изверги!..— прошептала она.

Где-то далеко-далеко за лесами глухо прогремел гром. А Ульяна и грома не слышала, она все шептала проклятия. Сверкнула молния. Небо как будто полоснули тонким огненным ножом. Вскоре и над лесом, дробя небо на тысячи осколков, прокатился гром. Дуня похолодела, ей казалось, что страшные слова свекрови даром не пройдут, и, прижимая к груди ребенка, она в немом страхе ждала, что вот-вот всех их поразит громом. И Григорий, удивленный резкой переменой в настроении матери, стоял, опустив руки. Но вдруг мать повернулась к снохе:

— Дуня, дай мне Дады, я сама понесу ее. А ты люльку возьми.

— Куда это, мама? — спросила Дуня, все еще не понимая, что происходит.

— Домой. Их работу нам не переделать... Нет больше терпения, слишком уж измываются они над нашим братом. Ни стыда у них, ни совести. Ну-ка дай ее сюда, мою голубушку.

Ульяна взяла из рук Дуни ребенка и, бормоча ласковые слова, пошла по жнивью к дороге.

— Что это она? — спросила Дуня мужа.

— Бунт подняла против Бугрина... Пойдем и мы.

Вскоре они догнали мать и до самого села шли молча, думая каждый свою тяжелую думу. Проходя мимо школы, они встретили дочку Степана Авдеича Лосева. Анюта, горько плача, шла к школе. Почувствовав несчастье, Григорий остановил ее.

— Чего плачешь, Анюта?

Но девочка только мотала головой, ее душили слезы. Наконец, всхлипывая, она проговорила:

— Папа... умер...

Григорию стало душно. Он снял шляпу и, будто не веря тому, что услышал, внимательно посмотрел на Анюту. Потом отдал жене серп и молча зашагал к дому Степана Лосева.

— Опять горе! — вздохнула Ульяна.— Какой был человек! Сгубили, проклятые. Говорят, били его в тюрьме сильно. Ох, и живем мы — хуже собак!

После тяжелой болезни Семена Буграша, когда ему не хватало даже непосредственно, прошло уже девять лет. В последнем смерти старый Буграш, поднялся и разок да съездил вместе с сыном в Казань за товаром. Но болезнь снова свалила его, и на сей раз окончательно. Перед смертью он позвал к себе Федора, своего единственного сына, и сказал ему:

— Чую, сынок, больше я не жилец. Слава богу, прожил восемьдесят пять годов. Повидал на своем веку и плохого и хорошее. Дай бог прожить тебе столько же. Живи, сынок, с умом. Люди всякие есть, а завистников нашему добру не перечесть. Аныкские Быковы хотели меня по миру пустить, не вышло. А кривой-то Савватеев сын, говорят, куда хуже отца. Берегись его. Если доведется к начальникам с поклоном идти, не скупись, денег не жалей. Пожалеешь рубль, потеряешь сотню. Взаймы давать остерегайся, недаром говорят: «Что дал руками, будешь искать ногами». В жизни всяко бывает — сегодня ты богач, завтра нищий. Потому копи деньги, прячь понемногу, пусть лежат, хлеба не просят, а на черный день пригодятся, не будешь людям кланяться. Честь рода нашего береги, сынок. У нас на роду не было такого, чтобы мы кому поклоны отбивали... Дед мой рассказывал, хочу тебе передать...

Федор подсел ближе к отцу.

Старый Буграш лежал на спине, смотрел куда-то в потолок и долго молчал, потом медленно повернул лицо к сыну.

— Деревня наша давно обосновалась здесь,— медленно начал он.— Из Учура пришли мы. Тяжелая была тогда жизнь. Царицей была какая-то Анна, а правил Россией ее полюбовник, злой Бирон[1]. Чиновники ташили у удмуртов все — и скот, и мед, и меха... Однажды осенью учурцы собрались на сход. Мой прадед был тогда старшим жрецом. Тогда не было таких имен, как сейчас, звали прадеда Буграш. От него и начинается наш род Бугрышей. На сходе он и сказал: «Надо перекочевать, скрыться с глаз начальства». Взял он с собой пятнадцатилетнего сына Лазаря, это, значит, деда моего, и пошел искать место для поселения. Целую неделю плутали они по лесам. На седьмой день подошли к речке, что бежала среди дремучих лесов, и нашли на берегу большую выжженную поляну. Встали тут наши на ко-

[1] Бирон — гибель. Здесь имеется в виду Бирон.

ли, помолились, забили колья по углам поляны... Сейчас на том месте церковь стоит, а когда-то там была наша земля. Так вот из года в год вырубали и расчищали пришельцы ближние леса, клочок за клочком обживали землю. Отсюда начался Мултан. А потом вдруг слышим — по нашим полям прокладывают Сибирский тракт. В селе стали строить церковь. Большой колокол для церкви привезли из Вятских Полян, человек тридцать мужиков тянули те сани с колоколом целых пятьдесят верст. Вскоре в Мултан стали собираться базары. Дед мой Лазарь открыл небольшую лавчонку. От него и пошла наша торговля.

Много добра оставляю я тебе, сын мой, помни, это труды твоих дедов и прадедов. Счастье, оно в богатстве, в деньгах. А деньги, они слепые, им все равно, в чьих руках быть, из чьих уплывать. Вот ты и старайся держать их покрепче... Устал я. Потом уж... после поговорим...— Старик снова поднял глаза к потолку и глубоко вздохнул, то ли вспомнив, что ему скоро умирать, то ли жалея богатство, которое останется после него.

Наутро он снова позвал сына и снова поучал его, как надо копить богатство. К вечеру ему стало совсем плохо. Федор опустился на колени перед умирающим отцом, прося благословения. Старик посмотрел на него тусклым, бессмысленным взглядом и еле выговорил последние слова.

— Счастье твое под березой... в огороде...

Умер старый Буграш. Долго стоял Федор возле отца, такой же высокий, с густыми черными бровями, с короткой черной бородкой клинышком. Стоял Федор и думал: «Что же он хотел сказать про огород?» И вдруг его осенила догадка: «Золото! Много ли золота оставил отец?»

Тайком от домашних, особенно от сестры, которой пора уже было замуж, Федор ночью принялся копать под березой в огороде. Вскоре он извлек из ямы глиняный горшок с деньгами. С трудом дыша от волнения, он отнес его в амбар, заперся там, зажег огарок свечки, снял с перекладины рубаху, разложил ее на полу, высыпал на нее золото и стал считать.

Пересчитал, спрятал горшок с золотом в какие-то лохмотья и потом, сидя на высоком крыльце двухэтажного амбара, долго думал да соображал. Его мучил лишь один вопрос: почему отец, казалось бы, умный и дельный человек, столько денег держал в земле, почему не пустил их в оборот? Если б делать оборот рубль на рубль, и то полтысячи в год чистой прибыли. Полтысячи! Это же самое мень-

шее шесть скирд хлеба надо продать. Осудив отца, он задумался над тем, как поступить с золотом ему, Федору.

Торговля на селе его никак теперь не удовлетворяла. Еще год назад, собираясь открыть магазин хотя бы в Выдумских Полянах, Федор сунулся было в банк за крупной ссудой — и тогда только понял, что значит не иметь купеческих прав. Вот куда пойдет отцовское золото!

Как только исполнилось полгода после смерти отца, Федор Буграш уплатил за купеческие права четыреста пятьдесят рублей чистым золотом. Будь жив отец, он бы не решился. А теперь Федор сам себе хозяин — купец первой гильдии с громкой фамилией Буграш.

Широко размахнулся Федор. Он не стал, как отец, держать золото мертвым капиталом в земле. Каменный низ своего двухэтажного дома отвел под небольшую лавку. Створки железных дверей и оконные рамы выкрасил в зеленый цвет, а обитый тесом верхний этаж дома — в ярко-голубой. Старую отцовскую лавку приспособил под склад. В одноэтажном деревянном флигеле по другую сторону ворот поселил батраков.

Решил Федор построить и маслобойку. Но на дворе места уже не нашлось, и он поставил ее в нижнем конце села, за полевыми воротами. Надобность в маслобойке едва ли была, скорее всего, он хотел ее завести назло аныкскому богатею Быкову. Стараясь подорвать репутацию Быкова, Федор за работу брал гораздо меньше.

Быков разъярился. За что ни возьмись, везде Федор подставляет ножку. Метил Быков в церковные старосты, а выбрали Федора. Славился Быков маслобойкой, но теперь из окрестных деревень народ стал ездить не к нему, а в Мултан к Бугрaшу.

Горела душа у Быкова от злобы, и он, все чаще напиваясь, бил кулаком себя в грудь, крича пьяные угрозы, или сидел, взявшись за голову, и о чем-то думал. Когда мысли заходили в тупик, Быков вымещал зло на жене и на батраках.

— Мар-р-рья-а-а! Вотяк Буграш — и вдруг купец! А я что? Почему я не купец? — Со звоном летели на пол тарелки и чашки.

— Миша, чего тебе не хватает? — ласково говорила бестолковая чахоточная жена Быкова.— Постройки — слава богу! Скотины полон двор. Маслобойка... Детей у нас нет. Кому тебе копить?

— Молчи, Марья-а! Убью! — подавшись широкими пле-

чами вперед и подняв кулаки, он как медведь надвигался на бедную женщину.— На вот тебе за маслобойку!

— А а-ай! Карау-ул!..

— А-а, «карау-ул»? На вот тебе за «карау-ул»! — и, окончательно остервенев, он смертным боем бил жену, уже второй год харкавшую кровью.

Давно у Быкова зародилась черная мысль — сжить со свету Марью и жениться на сестре волостного старшины, оставшейся старой девой. А жена, словно назло, жила и жила.

И детей нет, и не будет. Кто унаследует быковское добро? А добра у него немало. Ведь Михаил Быков совершенно неожиданно остался единственным наследником всего отцовского состояния.

Вот как это вышло. Богато жил отец Михаила. Но у богача глаза завидущие. Чем больше богател сосед, тем жаднее становился старик Быков. Разъезжая по торговым делам, он где-то в городе научился делать порох. А потом и сыновей своих — Ефима и Михаила — научил. Прибыльное было это дело, охотники за фунт пороха давали шкурку лисицы.

На следующий год в рождественские праздники старик Быков возвращался пьяный от лесопромышленника Львовского. В дороге его застигла пурга, и он, пьяный, замерз.

Не прошло и месяца после этого события, сушили как-то Ефим и Михаил в бане на каменке порох. Что у них там получилось, кто знает? Одно лишь известно — порох вспыхнул. Старшего брата Ефима обожгло и бросило в дальний угол бани. А Михаилу выжгло глаза. Он-то из бани выскочил, а Ефим сгорел. Говорят, что мог бы Михаил спасти брата, да у каждого были свои затаенные думы: делить ли отцовское добро на двоих или оно достанется одному — разница большая.

Целый месяц таскали Михаила по допросам. Пришлось ему продать жеребца. Наконец, старшая его сестра Марина, вышедшая замуж за мултанского попа, пригласила урядника в гости. С того дня перестали Михаила преследовать по делу о взрыве. Но Быков глубоко затаил злобу на мултанцев, полагая, что от них-то урядник и узнал обо всем, тем более что и понятые были из Мултана.

После мытарств по допросам Быков прежде всего прогнал из дома жену брата. Он выделил ей сруб, поставленный для новой бани, и двух овец. Забрав с собой трех ребятишек, жена Ефима ушла в Кузнерку, к своей старшей сестре, тоже вдове. Долго носила Ефимиха горькую обиду

на деверя — но что могла поделать одинокая ж... Двухэтажный дом, маслобойка, через дорогу широ... мянное здание лавки, две лошади, жеребец — хозяи... го этого добра стал Мишка кривой.

Быков, не в пример другим богатеям, был ... широкой натуры. Верхний этаж дома он оборудовал ... мер гостиной. На окна купил тюлевые занавески, к ... привесил лампу-молнию, привез из Малмыжа мягкую ме... бель, большое трюмо и украсил стену картиной в ... ченной раме, на которой изображалась батальная сцена ... мен Суворова.

Злобствуют богатеи, мстят друг другу, не дает ... ство покоя ни днем ни ночью. И с ненасытной жадностью умножают они с каждым годом свое состояние.

А Григория по-прежнему одолевала нужда. Где т... он не работал, какую только работу не выполнял — все ... но добра не прибывало. Изба с поросшей зеленым мхом крышей заметно покосилась и, казалось, кланялась ... улице. Даже у черемухи, что росла перед окном, сло... ветром самую большую ветку. Намереваясь заменить ... и три нижних венца, Григорий заготовил лес, хотел ... ти его по первому снегу. Но первую же партию ... пришлось сбросить на поле: не годилась больше старая ... шадь для тяжелой работы.

Хорошо еще, что Григорий все-таки сумел продать ... кобылку, хоть и по дешевке. Надеясь приработать к ... деньгам и купить хорошую лошадь, он и жена дни и ... гнули спины на чужих людей. Но все получалось не так, ... они зачышляли.

Поздней осенью прибыло волостное начальство ... ломками. Описывали все, что годилось на продажу с ... Делать было нечего, почти половину денег, вырученных ... продажи кобылы, пришлось Григорию отдать. О покупке ... шали сейчас нечего было и думать. А без лошади ... к зимнему!

В этот год Федор Буграш взял большой подряд ... леса по Вятке и Волге.

— Не пойти ли и мне? — спросил Григорий ... Может, на годовалого жеребенка сумею заработать ... таем мы с тобой здесь до упаду, а толку нет, еле на ... хватает. Говорят, до Самары будем сплавлять.

— Это же, наверно, очень далеко, Гриша? А если к ... не вернешься, нам тут одним не управиться.

— К севу? Что ты, Дуня. Не раньше сенокоса. Но ...

без лошади мне здесь все равно нечего делать. Землю полу отдадим.

Когда отшумели вешние воды и реки стали входить в русло, Григорий отправился на сплав. Долго плыли сплавщики — сначала по Вятке, потом по Каме и Волге. Обратно из Самары до Мамадыша Григорий плыл на пароходе, а от Мамадыша решил идти пешком вверх по Вятке и на приставших кое-что подзаработать. Очень уж хотелось ему обзавестись лошадью. А на сплаве он заработал так мало, что не только жеребенка, но и телку не купить.

Работал Григорий, не щадя себя, голодал, жалея потратить так тяжело доставшиеся деньги даже на фунт хлеба.

Уже недалеко от родных мест Григорий решил заночевать в большом селе. Посреди села стоял трактир. Григорий зашел выпить чайку. Хозяин расспросил его, откуда и куда идет.

— Ночуй у меня, места хватит,— сказал трактирщик.— Васька! — крикнул он сыну.— Принеси соломы, устрой человека на ночлег. На дворе, похоже, дождь собирается.

Усталый Григорий заснул как убитый. Проснувшись утром, он первым делом вспомнил о деньгах, и рука его машинально потянулась к холщовому кошельку, висевшему на груди под рубашкой. Не нащупав кошелька, он вскочил как ужаленный и стал разбрасывать солому, обшаривая все вокруг. Но кошелька нигде не было. Убедившись, что его обокрали, Григорий тяжело опустился на солому, обхватил руками голову и горько заплакал.

Согнула Григория жизнь, но сломить не сломила. Добравшись домой без копейки, он нанялся в подручные к валяльщику. Два года валял валенки и войлочные шляпы и, накопив деньжат, купил все-таки себе клячу.

Однажды вечером, перед рождеством, Григорий сидел и подшивал валенок. В избу кто-то вошел. Думая, что это вернулась от соседей жена, Григорий оглянулся только тогда, когда протянул насквозь дратву. У дверей стоял учитель. Бросив валенок под скамейку, Григорий быстро встал.

— Илья Фомич! Прибыли? А я уж думал, не случилась ли какая беда. Волков нынче много.

— Это верно, волков много. Того и гляди сцапают.

— Как там дела, Илья Фомич? — вполголоса спросил Григорий.— Слух дошел сюда, будто в уезде большой бунт был.

Илья Фомич все зимние каникулы провел в Узях. Григорий догадывался, что узинское восстание прошло не без участия Ильи Фомича.

— Узинские так тряхнули, Григорий, что сам губернатор струхнул!.. Только, прежде чем рассказывать, мне надо бы, пожалуй, сесть,— улыбнулся учитель.

— И в самом деле! — спохватился Григорий.— Раздевайтесь, Илья Фомич. Садитесь. Сейчас я чай вскипячу. Озябли, поди. Последние дни что-то морозно стало.

Григорий быстро сбегал за дровами, растопил железную печурку, стоявшую посреди избы, и в чугунке поставил воду.

— У нас самовар не как у богатых, мигом вскипит,— пошутил он, улыбаясь, а потом хмуро добавил:— Знаете, что про нас богачи говорят? Работайте, дескать, тогда и вы разбогатеете. Если бы они работали столько, сколько работаем мы, давно бы им на четвереньках ползать, спину бы не разогнули. К слову сказать, Федор Буграш серпа в руках никогда не держал. И как только у них язык поворачивается называть нас лодырями? Да разве у них совесть есть? — махнул Григорий рукой.— Взаймы дадут, потом втридорога сдерут и тебя же упрекают: добра, дескать, не понимаешь.

Илья Фомич снял шарф, повесил его на большой деревянный гвоздь и, грея над печуркой руки, сказал:

— Поэтому их и называют пауками. Кстати, о пауках я как-то любопытную вещь читал. Встретились однажды паук и пчела. «Что это ты нам пути-дорожки паутиной опутываешь?» — спрашивает паука пчела. А он отвечает: «Это я строю такую беседку, чтобы могли там отдохнуть мухи, бабочки и прочие насекомые». Хорош отдых! — весело рассмеялся учитель.

— Вот и мы точь-в-точь как те мухи. Попадаем к пауку — и уж никак не вырваться, хоть караул кричи.

— А вот в Узях сам исправник караул кричал,— рассказал Илья Фомич.— Пятерых урядников, станового пристава, исправника — всех в каталажку заперли. Народу собралось больше тысячи человек, из шестидесяти восьми деревень люди на зов пришли. А ты говоришь — мухи. Есть там такой Столбов. Вот это молодец! А ведь такой же удмурт, как и ты, правда, пограмотнее да с военной службы вернулся, узнал, как там в армии нашего брата по морде бьют. И сказать умеет. Чем гнуть шею, говорит, лучше умереть с поднятой головой.

— А с чего у них началось?

— Помнишь, в прошлом году на сходке читали новый

указа царя о податях? По тому закону лесные и оброчные по-
шли были включены в земельную подать. На первый взгляд,
вот как было ничего особенного нет, так или иначе пла-
тай — все равно надо платить. Но все дело в том, что по новому
закону общая сумма податей возросла на сорок процентов,
то есть если ты раньше за год платил всего десять рублей,
то по новому закону придется платить четырнадцать.

— Не придется, а уже платим, Илья Фомич. Мы этот закон уже на собственной шее чувствуем. Дыхнуть не дают. Убил бы кто и этого царя-кровопийцу!

Илья Фомич укоризненно посмотрел на Григория и, покачав головой, сказал:

— Говорили, говорили мы об этом, а ты, похоже, ничего не понял, Григорий.

— Понимаю я, Илья Фомич, хорошо понимаю: убивать — это, конечно, одна глупость. Но терпения нет! Вот здесь горит,— обеими руками схватился Григорий за грудь, будто собираясь разодрать рубашку.

В избу вошла Дуня. На руках она держала ребенка, закутанного в теплое одеяльце. Вслед за матерью, держась за руку, вошли Дыды и Ани; старшей минуло семь, а младшей, Ани, шел пятый годок. Бойкая Дыды на ходу скинула зипунишко, бросила его на нары и подбежала к отцу.

— У нас гость, а мы по соседям ходим,— сказала Дуня, укладывая ребенка в люльку.— Что ж ты, хоть чаем бы угостил,— упрекнула она мужа.

— Поставил, Дуня, да забыли мы про чай, заговорились вот. Илья Фомич, садитесь за стол.

— Погоди, Григорий, я сначала поговорю с подрастающим поколением.— Из кармана шубы учитель вытащил длинные конфеты с золотыми витками поверх обертки и отдал их девочкам.— А когда ты в школу пойдешь? — ласково погладил Дыды по головке.

— Тетя Алена для меня сумку сшила, а мама в школу не пустила,— бойкой скороговоркой ответила Дыды, вертя в руках конфету.

— А почему не пустила мама?

— Говорит, люльку качать некому. У нас вон маленький Ванюша есть. Потом я маме помогаю нитки мотать, пол подметаю. Мало ли дел у баб!

Последнюю фразу Дыды произнесла таким серьезным тоном, что все взрослые рассмеялись.

— Видали, какая она у меня? — похвастался Григорий, похлопав дочку по спине.

С приходом Дуни в избе как будто стало светлее и теплее. Она достала медовуху, приготовленную к рождеству, принесла кислой капусты, быстро поджарила яичницу. Немного, правда, было на столе, но, как говорят, не дорог обед, а дорог привет.

Беседа продолжалась и за столом. Рассказывая подробности узинского восстания, Илья Фомич стал расспрашивать про жизнь в Мултане.

— Постойте-ка, Илья Фомич! — вдруг спохватился Григорий.— Я же совсем забыл вам сказать: Игнат здесь.

— Игнат? — обрадовался учитель.

— Вчера заходил, вас спрашивал. Долго сидел у меня, все объяснял, что царя могут скинуть только рабочие вместе с крестьянами, а мы, дескать, одни ничего не сможем сделать. И в самом деле, пока мы соберемся, пока раскачаемся, солдаты из самого Петербурга успеют прийти.

— А где он сейчас, Игнат? — нетерпеливо спросил Илья Фомич.

— В Аныке, у Петрована. Вам теперь Игната не узнать, Илья Фомич, усы отпустил.

Илья Фомич поблагодарил за хлеб-соль и стал торопливо собираться.

— Вы не туда ли думаете? — обеспокоенно спросил Григорий.— Поздно уже, Илья Фомич и морозно. Если решили идти в Анык, я вас на лошади подвезу.

— Нет, нет, Григорий. Я уже сегодня не вернусь. А идти надо. Завтра последний день каникул, потом начнутся занятия. Вдруг он уедет, и я с ним не повидаюсь.

— Он, наверно, не скоро соберется.

— Это почему же? — спросил Илья Фомич, надевая шубу.

— Вчера я между прочим завел с ним разговор о его семейных делах. О женитьбе, говорит, до сих пор всерьез не думал, все ждал, что вот-вот поймают. А сейчас, когда о женитьбе и думать нечего, взял да и вбил себе в голову. И счастье, говорит, не хочется упускать, и девку жалко: ничего хорошего, кроме страданий, она со мной не увидит.

— О ком это он так?

— Сестра Петрована ему по душе пришлась.

— А-а...— улыбнулся Илья Фомич.— Вот он, оказывается, какой, наш Игнат! Ну что ж, хорошая будет пара!

— Разница у них большая, почти на десять лет старше она,— покачал головой Григорий.

— Ничего. Зато с Игнатом настоящую жизнь поймет.

Морозная ночь. Скрипит снег под ногами. На чистом небе — серебряный диск луны, а вокруг — россыпь золотых звезд. В поле светло, точно днем. Далеко впереди темнеет казенный лес.

Когда Илья Фомич подходил к лесу, откуда-то издалека, со стороны реки Шурдо, донесся вой волков. «Кажется, я и в самом деле напрасно пустился в путь ночью»,— подумал Илья Фомич, прибавив шагу. По лесу он пошел еще быстрее. А волки все выли.

Пройдя лес, Илья Фомич облегченно вздохнул — до деревни было уже недалеко. Он осмотрелся. Глухомань.

Зачем только он здесь, в этой никому не известной деревушке, затерявшейся среди бесконечных лесов? Нет, это чужой голос, и Илья Фомич гонит прочь минутные сомнения. Илья Фомич знает, зачем он здесь! Он должен помочь людям разобраться в их жизни, должен разъяснить им причины их бед. Но как порой трудно бывает, когда видишь, что многие безразличны и равнодушны к своей собственной судьбе. А вот людей решительных, смелых, готовых грудью встать за народ,— единицы: это покойный Степан, Игнат, Григорий...

Трудно раскрыть людям глаза еще и потому, что в этих краях нет помещиков. И крестьяне, даже бедняки, считают, что все зло в палатях, что это, мол, местные власти виноваты, а царь об этом не знает. Сказал же однажды Антон Камаев: «Видно, недаром говорится: с сильным не борись, с богатым не судись. Впустую все наши разговоры, Илья Фомич. Вот дознается урядник и отправит всех в острог...»

А после трыкского бунта Антон вообще стал избегать учителя. Илья Фомич как-то попытался снова вовлечь его в беседы, но Антон прямо заявил: «Семью жаль, Илья Фомич, пропадут они без меня».

Тяжело было слышать Илье Фомичу такое от Антона. Если уж он, человек, который больше всех должен ненавидеть эту проклятую жизнь, на все махнул рукой, то чего же ждать от других?

В такие минуты у Ильи Фомича действительно опускались руки. Он мучительно думал о том — как, какая сила может поднять десятки тысяч деревень, разбросанных по необъятной Руси? Ну, а Разин, а Пугачев, какая у них была сила?

Ночи напролет читал Илья Фомич все, что находил о крестьянских восстаниях, часами сидел задумавшись, терпеливо искал причины поражений, обвинял руководителей

восстания в нерешительности, в неумении объединить в одно мощное костер все очаги бунта.

Временами ему казалось, что все эти споры с самим собой он ведет только для того, чтобы окончательно рухнула его собственная вера в то, что крестьянство когда-нибудь поднимется против самодержавия. Где же в самом деле сила, способная свергнуть царскую власть? Уже и до него доходили слухи о забастовках рабочих. Какое-то шестое чувство подсказывало Илье Фомичу, что на арену выступила новая сила. Но когда он мысленно представлял себе немногочисленный рабочий класс и сопоставлял его с многомиллионным крестьянством, то новая сила тотчас блекла в его глазах. Где же правильный путь?

Он часто говорил об этом с Верой Сергеевной, которая увлеклась «Историческими письмами» Лаврова.

— Ваш учитель, Вера Сергеевна, едва ли похвалил бы вас, если б знал, как вы разговаривали со старостой.

— Не понимаю, что вы хотите этим сказать?

— Ваш учитель Лавров о деревне говорит как о крестьянской общине, где все равны. Для него все — мужики. А вы, насколько я знаю, на сходке говорили о каких-то грабителях.

— Не о каких-то, а о таких, как Буграш и Бектэмыр. Вам бы давно пора знать о них лучше, чем мне.

— Но Лавров же говорит о крестьянах вообще? — улыбнулся Илья Фомич.

— Ну и что же? — вспыхнула Вера Сергеевна.— Значит, он недостаточно хорошо знает деревню, только и всего. Я выросла в деревне и с детства знаю, что значит деревенский богач-мироед.

— Значит, Лавров не прав, говоря о крестьянах как об однородной массе?

— Если даже и не прав в данном вопросе, то это ничего не меняет. Дело в самой сути его учения.

— Вот именно! Как, по-вашему, такие, как Буграш и Бектэмыр, поднялись бы против царя?

— Это уж, знаете, казуистика! — в глазах Веры Сергеевны сверкнули злые искорки.— Буграши — единицы. И что они могут помешать миллионам восставших крестьян?

— Вот когда они свяжут вам руки и поведут к уряднику или приставу, тогда поймете.

— Ну, знаете ли, я не из пугливых,— рассмеялась Вера Сергеевна и, захлопнув книгу, собралась уходить.

— Нет, постойте,— остановил ее Илья Фомич, перешагнув

... я за руку.— Извольте ответить еще на один вопрос.

— Пожалуйста,— пожала плечами Вера Сергеевна.

— Вот ваш Лавров считает, что задача интеллигенции — просвещать народ, особенно молодежь, чтобы воспитать побольше критически мыслящих людей. Хорошо. Но ответьте мне, пожалуйста: много ли было «критически мыслящих личностей», иначе говоря — грамотных людей, в отрядах Пугачева?

Упрямо поджав губы, Вера Сергеевна с минуту стояла молча, потом быстро повернулась к Илье Фомичу и с жаром стала доказывать, что безграмотность восставших, возможно, и была одной из причин поражения Пугачева. Да это и понятно, темные люди не видели ясной цели, не было у них вдохновляющей идеи.

— Ну, положим, у них цель была очень ясная, и они прекрасно знали, за что боролись.

Этот разговор происходил в школе еще в самом начале их знакомства.

Вера Сергеевна не догадывалась, что Илья Фомич частенько специально затевает споры, чтобы просто подольше побыть с ней вместе, смотреть в ее чистые карие глаза, разглядывать маленькую родинку на подбородке.

Как все это теперь далеко, и как одиноко ему без Веры. А как хорошо было вместе и как легко!.. Нет, не легко, порой и трудно. Ну и что же, что трудно? Все равно это было счастье. Настоящая дружба, настоящая любовь.

Однажды Илья Фомич сидел с книгой у речки. Потом пришла туда Вера, села рядом, обвила колени руками и долго молчала, о чем-то задумавшись.

— Что с тобой, Вера? — обеспокоенно спросил Илья Фомич.

— Уезжаю я, Илья.

— Как уезжаешь?! — Илья Фомич быстро захлопнул книжку, забыв даже заложить страницу.

— Могу сообщить тебе приятную весть,— сказала Вера Сергеевна — Тебе снова доверили школу. Ах, как это хорошо! Я очень, очень рада за тебя, Илья.

— Спасибо за хорошие вести, Вера...— Илья Фомич опустил голову и с тоской спросил: — А куда тебя? Далеко?

— В Копки.

— В Копки? — он подпер книгой подбородок и тяжко вздохнул: — А я так мечтал, что мы будем вместе, совсем вместе — и в горе, и в радости.— Он положил обе руки на худенькие плечи Веры Сергеевны и долгим любящим взгля-

дом посмотрел в ее большие карие глаза.— Ты поняла меня, Вера? Я еще раз прошу тебя...

Она покачала головой.

— Нет, Илья, и делать мне тут теперь нечего, да и кто знает, что с нами будет завтра. Ты был для меня самым близким другом, самым дорогим человеком. Я тебя не забуду, никогда не забуду... Постой, что это за разговоры у нас, словно меня в Сибирь отправляют,— весело рассмеялась Вера.— И вообще, говорят, в разлуке любовь бывает гораздо красивей. Или еще так: любовь версты не меряет. А до Коптяков всего лишь восемь верст.

Вера вскочила, взяла за руки Илью Фомича и так посмотрела на него, что он никогда не забудет этого взгляда. А потом вдруг запела:

Отвяжись, тоска,
Пылью поразвейся!
Что за грусть, коли жив,—
И сквозь слезы смейся!

Когда Вера Сергеевна переехала в Копки, ее подозрительно часто стал посещать новый урядник Соковиков. «Боится, что убегу»,— думала Вера Сергеевна. Но причина частых посещений урядника оказалась иной. Однажды он без обиняков высказал цель своих визитов. Мало того, он держался настолько развязно, что Вера Сергеевна просто выгнала его вон.

— Уходите!.. Сию же минуту!

— Потише, госпожа Гроиская,— угрожающе предупредил ее урядник и, закручивая тонкий ус, очень похожий на мышиный хвост, продолжал.— Мне стоит только захотеть, и я вас в дугу согну Но я вам желаю добра Со мной вы будете жить, как под теплым крылышком.— Потом он подошел к Вере Сергеевне и, противно улыбаясь, сказал: — Всякая девушка, Вера Сергеевна, хочет показать себя ангелом безгрешным. Но мне же этого не нужно. Я вовсе не спрашиваю, сколько у вас было..

— Вон отсюда! Хам!..— перебила урядника Вера Сергеевна и с силой хлестнула его по щеке.

Соковиков, держась за эфес шашки, с минуту постоял, словно стараясь понять, с какой стороны пришелся удар, потом с резким стуком опустил шашку в ножны, круто повернулся и пошел к выходу. Но у дверей он остановился и с яростью прокричал:

— Скоро я вам укорочу руки, госпожа Гроиская! За ваши

с заворчики с мужиками я вас загоню туда, где и трава не растет! — Он хлопнул дверью и вышел.

Вера Сергеевна поняла,— урядник теперь ей жизни не даст. Что делать? Написать исправнику? Нет, ворон ворону глаз не выклюет. Есть только один выход — выйти замуж за Илью. Но как же она теперь скажет ему об этом? Ведь он столько раз просил... Не дождавшись воскресенья, она на другой же день пошла в Мултан и рассказала Илье Фомичу все, как было.

— Боюсь я, Илья,— жаловалась она.— Чует сердце — разлучит он нас, навеки разлучит, понимаешь!

— Ничего не случится, Вера,— успокоил ее Илья Фомич.— Не надо только бояться. Перед теми, кто их боится, они сразу усы начинают закручивать. Пойми меня правильно. И знаешь, что бы я тебе сказал...

— Что, Илья? — с надеждой посмотрела на него Вера.

— Хочешь, в это же воскресенье обвенчаемся? Но знай, что как бы ты ни ответила, ты можешь всегда считать меня своим другом. Очень прошу тебя, давай доведем этот разговор до конца... Ну, я жду, Вера. И, пожалуйста, не бойся меня обидеть. Не нужно лишних слов. Просто — да или нет?

— А если совсем без слов? Поймешь?

— Если я не пойму, сердцем почувствую.

Вера долго смотрела в его светлые голубые глаза. Потом, словно устыдившись чего-то, опустила ресницы и робко кивнула.

— Это правда, Вера?

— Да...— тихо ответила она, не поднимая смущенного взгляда.

Илья Фомич бережно привлек ее к себе и в долгом поцелуе, казалось, хотел передать ей все, что было у него на душе чистого, искреннего, все, что берег он для нее годами.

Какой это был день! Он проводил Веру до самых Копков. Они долго стояли на опушке леса, недалеко от школы, вот так просто стояли и смотрели друг другу в глаза и молчали. Они были счастливы.

Но счастье их было недолгим. На другой же день в Копки приехал урядник, арестовал Веру Сергеевну и увез в Трык.

Илья Фомич узнал об этом только в воскресенье, когда Веры Сергеевны в Трыке уже не было. Все его попытки установить, куда она отправлена, оказались тщетными. А пока он метался между Вавожем и Малмыжем, Веру Сергеевну отправили в Вятку на душной и грязной арестантской барже.

Медленно плыла мрачная баржа вверх по Вятке, с ост... ми простаивала на пристанях, принимая новые партии ар... стованных.

В женском отделении, расположенном в носовой части трюма, было уже человек пятьдесят, и среди них человек де... сять из тех, кого тяжелая судьба бросила на дно жизни. Эти женщины держались обособленно, на интеллигентных людей смотрели с ненавистью и искали повода, чтобы лиш... ний раз подчеркнуть свое презрение к ним. Они часто ссо... рились между собой, и площадная брань чередовалась у них с драками и душераздирающими криками.

В первые дни, наблюдая эти сцены, Вера Сергеевна не находила себе места. Ей казалось, что эти женщины, поте... рявшие честь и совесть, ничем в сущности не отличаются от дикарей, ведь они в любую минуту способны убить, растер... зать друг друга. Но однажды после очередного скандала и драки Вера Сергеевна услышала, как утешали девушки избитую подругу. Это были такие ласковые, такие трога... тельные слова, которые только в детстве можно услышать от матери.

Вера Сергеевна начала понемногу сближаться с некото... рыми из своих попутчиц, и жизнь каждой из них открывала перед ней страшную истину, способную довести человека до полного отчаяния.

Она с особенным интересом присматривалась к одной смуглой девушке. Завитушки на висках придавали ее кр... сивому лицу оттенок вульгарности. На вид ей можно было дать не больше девятнадцати лет. Звали ее Фросей. Ещ... в первые дни Вера Сергеевна заметила, что и бойкость Фр... си, и ее манеры, и развязная походка — все это напускное, что она просто подражает подругам и делает это совсем неумело. Но вот Фрося не на шутку загрустила. Все напус... ное с нее как ветром сдуло. Вера Сергеевна решила пого... рить с ней. И каково же было ее удивление, когда она у... нала, что эта красивая смуглянка из Мултана. Вера Сергее... на искренне обрадовалась, но в то же время, вспомнив, что девушку уже раза три вызывали к начальству, насторожи... лась. Не выдавая себя, она стала расспрашивать Фросю о ее родном селе, о ее жизни. Та рассказывала с охотой и сразу стала простой и естественной, такой, какой хотела ее видеть Вера Сергеевна.

— Чего же говорить-то о себе,— с грустью произнесла она, подперев рукой щеку.— Отца нет, мамы тоже. Вско... после смерти мамы сестра вышла замуж за мултанского

торгопца Мухина и взяла меня к себе. Не скажу, чтоб обижал, но все-таки было тяжело, ой, как тяжело. А потом вдруг сестра приревновала. Тут мне свет стал не мил, впору камень на шею. Взяла да и сбежала. Поступила в прислуги к малмыжскому купцу. И как же каялась потом! Началось с того, что я разбила у него вазу. Так он велел кучеру связать меня и выпороть... Господи, это разве люди, хуже зверей.

И Фрося умолкла, едва сдерживая рыдания. Немного успокоившись, она, все еще всхлипывая, продолжала:

— Сбежала я от купца и поступила на пароход, судомойкой в буфет. Да и там оказалось не лучше. Куда бы я ни пошла, всюду одно и то же, словно я богом проклятая. На пароходе капитан пристал, рыжий, худущий, длинный, будто палку проглотил. А злющий, не приведи бог. И вдруг меня переводят в официантки. Повар наш и говорит мне: «Ну, Фрося, рыжий, видать, что-то надумал. Держись, девка!» В тот же день в Вятских Полянах на пароход сел его друг, становой пристав — не то Хмелев, не то Шмелев, точно не знаю, пьянчужка, каких свет не видел. Кончили они пировать далеко за полночь. Пришла я в каюту капитана убрать посуду. И пока убирала со стола, он запер дверь... Стала я драться с ним. Никогда в жизни, наверное, не была я такой злой. Руку ему чуть насквозь не прокусила. Это было как раз перед Малмыжем. Как только пароход причалил к пристани, становой повел меня на вашу баржу, пошептался с начальником конвоя, и вот я здесь. Теперь-то я знаю, чего они шептались,— начальник конвоя каждый вечер меня к себе вызывает. Накося, выкусн! — протянула Фрося кукиш куда-то вверх. Потом решительно заявила:— Теперь не пойду, пусть хоть сто раз вызывают.

Вера Сергеевна возмутилась и резко встала.

— Сейчас я пойду и потребую, чтобы он вас немедленно выпустил.

— Не надо,— удержала ее Фрося.— Я хочу еще с вами побыть и вот с ними,— она кивнула в сторону арестанток.— Мне бы только до Вятки доехать. Там вас по списку будут принимать, я это уже узнала, а меня, пожалуй, раньше отпустят. Он, наверно, меня еще до Вятки вытурит, знает, что со мной можно беды нажить. Спросят же его, откуда и зачем я тут. А мне бы до Вятки добраться. Может, работу нашла бы там. Эх, горемыка я горемычная! — Фрося сжала голову руками и с глубокой тоской добавила:— Еще и двух лет нет, как из дому убежала, а сколько уж повидала.

А что еще впереди? Вот сейчас высадят меня на каком-нибудь пристани. Ну куда мне без гроша деваться, где голову приткнуть? — И Фрося снова залилась слезами. Но вдруг глаза ее загорелись лютой ненавистью, и она ожесточенно выдохнула: — Я их найду! Они у меня еще в ногах будут ползать.

Предположения Фроси сбылись: ее ссадили за две остановки до Вятки.

Страшная тоска охватила Веру Сергеевну, ей показалось, что с уходом Фроси обрывается последняя нить, связывающая ее с Мултаном и с любимым человеком. Уже в последнюю минуту она с волнением сказала девушке:

— Фросенька, если будешь в Мултане, передай учителю Илье Фомичу, что ты видела меня.

Фрося быстро схватила ее за руки.

— Так, значит, вы...— в ее голосе была и радость, и страшная догадка о судьбе Веры Сергеевны. Она с силой сжала руки Веры Сергеевны.— Куда же вас? И чего вы до сих пор молчали о нем? Расскажу ему, Вера Сергеевна...

Конвойный не дал ей договорить. Черная просмоленная крышка глухо захлопнулась. Вера Сергеевна в глубокой задумчивости стояла у трапа. Казалось, что перед ней опустился огромный черный занавес, за которым осталось все хорошее, все счастливое. Она не чувствовала, что по ее щекам бегут слезы, не видела, как смотрели на нее десятки удивленных глаз.

Лишь через два года рассказала Фрося учителю о своей встрече с Верой Сергеевной. Илья Фомич долго расспрашивал ее обо всем, но короткая история обрывалась глухим стуком черной крышки над темным трюмом большой баржи.

Все, все вспомнил сейчас Илья Фомич — от рассказа Григория о новой учительнице до последнего привета, привезенного Фросей. И сколько ни старался он представить себе дальнейшую судьбу Веры Сергеевны, перед его глазами неотвязно стояла черная баржа, медленно плывущая по реке, точно тень огромного горя народного.

Уже показались крайние избы Аныка. Возможно, вид этой деревни перенес мысли Ильи Фомича в другую глухую деревню, затерявшуюся в далеких лесах. Где-то там, в занесенной снегом избушке, сидит Вера у мигающей коптилки и, как бывало, подперев кулачками подбородок, читает или просто сидит и думает.

Илья Фомич рисовал себе картину, очень близкую к действительности. Из Вятки Веру Сергеевну отправили в даль-

лый Кай, на крайний север Вятской губернии. В первый же месяц она добилась разрешения отправить письмо в Мултан. Потом еще и еще раз. Но ответа не было. И чего она только не передумала, сколько бессонных ночей провела.

Жила она на краю села, у бедной вдовы. Ночами, лежа на душистом сене, сквозь просвечивающую крышу ветхого сарая Вера Сергеевна подолгу смотрела на далекие звезды и строила разные предположения. Что могло случиться с ним? Когда она ловила взглядом далекую одинокую звезду, ей представлялась Сибирь, каторжный рудник и закованный в кандалы, оборванный Илья. Безысходная тоска овладевала ею в такие минуты. Она тихо произносила его имя и, уткнувшись лицом в колючее сено, долго и безутешно плакала.

Весной Вера Сергеевна решила бежать. Во что бы то ни стало бежать. И вот однажды, переодевшись крестьянкой, она глухими лесами прошла верст тридцать вниз по Каме. Под вечер, пробираясь к селению, которое, по рассказам местных жителей, должно было находиться уже недалеко, Вера Сергеевна заметила костер на берегу и женщину, сидевшую у огня. Она решила подойти и расспросить дорогу на ближайший хутор.

Пожилая женщина встретила Веру Сергеевну приветливо, откинула свободную полу легкого зипуна, на котором сама сидела, и предложила ей сесть. Женщина оказалась словоохотливой. Не переставая чистить картошку и изредка подбрасывая в костер щепки, она не задала Вере Сергеевне ни одного вопроса, а сама сразу поведала ей свои думки-заботы:

— Девка вот у меня на плот просится: «Хочу, говорит, вольный свет повидать». А я боюсь, милая: дорога дальняя— хоть бы посуху, а то по воде. Плавала я в молодости, знаю, иной раз по бревнышкам раскидает плот-то. Вот и боюсь, мало ли что может случиться, а она у меня одна.

Где-то невдалеке слышались голоса и гул скатываемых в воду бревен. Заметив, что Вера Сергеевна смотрит в ту сторону, женщина пояснила:

— Плоты вяжут. Мой-то на самом большом старшим поплывет. Сынки у меня молоденькие еще, а то бы и сама поплыла. В лесу оно сиднишь-сиднишь да и надоест. Свету хочется...— Потом, нагнувшись к Вере Сергеевне, она таинственно сообщила:— Девка-то моя не зря просится...

Женщина не успела договорить, как подошла ее дочь. Низко поклонившись Вере Сергеевне и не глядя на мать, она сухо спросила:

— Папаня не приходил?

Женщина посмотрела на дочь, и в глазах ее сверкнула лукавая искорка.

— Ты чо это, Граня, бука какая, и на людей не смотришь?

Граня не ответила. Она стояла и смотрела в ту сторону, откуда доносились голоса. В ее больших голубых глазах светилась скрытая радость, она вся была устремлена туда, словно там ее ждало счастье. Щеки ее пылали, видимо, она шла быстро, белокурые волосы выбились из-под серого клетчатого платка, подчеркивая неброскую, но навсегда запоминающуюся северную красоту. Она повернулась к матери и требовательно спросила:

— Пустишь, мам?

Женщина, тихонько подтолкнув Веру Сергеевну локтем, лукаво подмигнула: что, мол, я вам говорила? И как будто с большой неохотой ответила дочери:

— Ладно, поезжай.

Вера Сергеевна думала, что Граня бросится к матери на шею и начнет ее целовать. Но ничего подобного не случилось. Лишь при очень внимательном взгляде можно было заметить промелькнувшую на лице девушки улыбку. Скрывая свою радость, она ровным голосом сказала:

— Тогда я пойду собираться.

— Иди,— кивнула мать.— Только теплое не забудь, Граняшка. Ночами на воде просквозить может.

Граня ушла. И вдруг у Веры Сергеевны мелькнула мысль: а не поплыть ли и ей на плотах, хотя бы до Перми? С первых же минут проникнувшись доверием к этой доброй женщине, она откровенно рассказала ей, кто она, и попросила замолвить за нее словечко перед мужем.

— Да неужто же нет! — воскликнула женщина и куда-то заторопилась.— Разве можно человека в беде оставить? Не вы первая. Знаем, правду ищете.— И, вздохнув, добавила.— Только далекопько, видать, она запрятана.

Она высыпала картошку в ведро, висевшее над костром, поставила у огня плоскую деревянную чашку с тремя ручками-ушками и наказала Вере Сергеевне:

— Приглядите тут. Когда картошка сварится, снимите с огня. А я пока схожу мужа кликну. Картошке-то очень развариваться не давайте,— еще раз наказала она.

Вернулась женщина скоро. Вместе с ней пришел черный, как жук, высокий бородач. Он поздоровался, чуть приподняв старую шапку-ушанку, и обратился к Вере Сергеевне, как к давней знакомой:

— Значит, плыть надумали?

— Я-то надумала, но не все делается, что думается. А вообще, я очень прошу вас.

— Простынете вы так,— сказал бородач, показав на легкую одежду Веры Сергеевны. Потом повернулся к жене, опускавшей рыбу в ведро:— Придется, мать, старую шубейку твою захватить. А Грано ты пусти, девка ревет.

— Лук-то в ведро бросить или в чашку будешь крошить? — спросила жена, не ответив на слова о дочери.

Когда уха была готова, отец Грани снял ведро, притушил костер и пригласил Веру Сергеевну:

— Пойдемте с нами уху хлебать. Мы тут недалеко живем.— Он закрыл ведро круглой дощечкой и, рукавицами берясь за дужку, пояснил:— Это мать у нас чудит — за семь верст киселя хлебать ходит. Как уху варить, так уж обязательно здесь. Любит реку.

Вечерело. На Каму, пошрокую в этих местах, солнце бросало последние лучи. Вскоре за лесом вспыхнул пожар заката, и через окно избы казалось, что загорелся весь левый берег. После ужина усталая Вера Сергеевна, бережно укрытая Граней, сладко заснула. И снилась ей величаво широкая река, и будто она плывет в лодке по этой реке. Вдруг поднялся шквальный ветер, огромные волны бросали утлое суденышко, как щепку. Вот ее подняло на гребень большой волны, вот-вот бросит в пучину. Вера Сергеевна в ужасе схватилась за борт и... проснулась. Возле нее стояла улыбающаяся Граня и застенчиво говорила:

— Жалко было будить вас. Скоро отчалят.

На плотах Вера Сергеевна плыла до Перми, а там пересела на пароход. Добравшись до Соколок, она пересела на другой пароход, идущий вверх по Вятке.

Скоро уже Мамадыш, потом Вятские Поляны, а там недалеко и до Мултана. Но увидит ли она Илью? Может быть, его там нет, может быть, он давно уже где-нибудь в Сибири или в тюрьме? Вера Сергеевна стояла на носу парохода и тревожно вглядывалась в даль. На крутом высоком берегу показался Мамадыш. Вдруг над самым ее ухом кто-то произнес:

— Барышня, будьте любезны, ваше удостоверение.

Вера Сергеевна обернулась и остолбенела: позле нее с каменным выражением лица стоял щеголевато одетый пристав в белом кителе с короткими светлыми усами и тонким носом. Он держался высокомерно и, казалось, ни на что не глядел: все, мол, тут настолько ничтожно, что недостойно нашего внимания. Однако это только казалось, его зелено-

[illegible] внимательно следили за каждым движением Веры Сергеевны. И когда Вера Сергеевна, с большим трудом сдерживая волнение, подала ему свои бумаги, пристав, сощурив глаза, язвительно заметил:

— А ручки у вас не по одежке, музыкальные [illegible]. Впрочем, люблю музыку.

Вера Сергеевна готова была разрыдаться от досады, что по тому, что пристав не вернул ей удостоверение, а положил его себе в карман, она поняла, что встреча, о которой она так много думала, не состоится. Не зная, как выказать свое презрение к этому холеному, равнодушному человеку, Вера Сергеевна демонстративно отвернулась и облокотилась о перила. Как сквозь сон, она слышала противно вежливый голос пристава:

— Прошу вас, барышня, сходить. Это — Мамадыш.

Вера Сергеевна быстро обернулась, ей хотелось сказать приставу что-нибудь дерзкое, но, сдержав себя, она только душно проговорила:

— Мне там, кажется, нечего делать. Верните мои документы.

Пристав ехидно улыбнулся. Пароход дал два коротких оглушительных гудка.

Илья Фомич шел все медленнее и медленнее, тяжелые воспоминания, казалось, сдерживали шаг. Не знал он, где сейчас его Вера, куда попала она с той мрачной баржи. Не знал он и того, что встреча их была так близка.

Вот и Петрованов дом, третий с конца. Он чуть не до самой крыши занесен сугробами, три окошка глядят на улицу будто из ямы. Вспомнив про предстоящую встречу с Петрованом, Илья Фомич улыбнулся.

Игнат с Петрованом сидели на скамеечке возле печи и тихо разговаривали. В избе было темно. Топилась железная печурка, от которой на пол падал неяркий свет, что придавало некоторую таинственность. Жена Петрована качала зыбку. Временами она переставала качать и прислушивалась к разговору мужчин.

А сестра Петрована, Анюта, вязала варежку при свете печурки. Она очень пугалась, когда Игнат заводил разговор о том, что пора свергнуть царя. В такие минуты она забывала про вязанье и подолгу сидела, уставившись в темноту.

Анюта думала о своей судьбе, о том, что ждет ее с Игнатом. Ой, неодобровать ему за такие речи! Что же делать, как быть? Ведь Игнат приехал за ней. Вчера он высказал ей все... Анюта верит, что он ее любит, и любит горячо. Но что же делать? Как она покинет родные места?

И она снова слышит его приглушенный голос:

— Рабочие— это сила, Петро. Ты вот не бывал на заводе, а потому думаешь, что там люди живут так же, как и здесь, в деревне. Нет, повидал бы ты хоть одну забастовку. Тут понимать надо: нас, простого люда, крестьян и рабочих,— миллионы, а их— кучка. Ну, возьмем, к примеру, Мултан. Сколько их тут всего-то? Буграш, Бектэмыр, Прохор да Мухин. А вас сколько, которые на них спину гнут? Так и в городе. На одного заводчика работают тысячи людей! Ох-хо-хо! А ты говоришь...— глубоко вздохнул Игнат.— Оружия бы нам.

Анюта слушала Игната, затаив дыхание. Какой он смелый и какой сильный. Нет, с ним не страшно. Анюта знает, какой ответ она даст ему завтра. Тут и решать-то нечего. Но как бы ей хотелось перетянуть его сюда и никуда не уезжать!

Свет печурки падал на концы ее золотистых кос, а когда Анюта подкладывала в огонь дрова, Игнат видел ее разрумянившееся лицо, ее большие задумчивые глаза. Почему она печалится? Этот вопрос так тревожил Игната, что он дорой терял нить разговора и невпопад отвечал Петровану.

— Ты мне вот что скажи,— допытывался Петрован.— Ну, допустим, скинули мы царя. А кто будет всем управлять? Где ты найдешь среди нашего брата таких грамотеев, чтобы хоть уездом-то править?

— Не такие уж умники правят нами, как ты думаешь. Знаешь, среди рабочих какие люди есть! Да они в десять раз умнее наших правителей будут. А грамотные, ты думаешь, все за царя, что ли?

Стук в сенях заставил всех насторожиться.

— Кто бы это мог? — встревожился Петрован.

Анюта выронила спицы. Вот сейчас ворвутся урядники и схватят Игната. В зыбке заплакал ребенок. Игнат мгновение постоял, что-то обдумывая, потом быстро накинул полушубок, зачем-то глянул в окно и спокойно сказал Петровану:

— Пока ты отпорять будешь, я постою в сенях за дверью. Ежели незваные гости, узнаешь у Григория, где меня искать.

— Кто там? — спросил Петрован, выйдя вслед за Ил... том в сени.

— Это я, Петр Иванович.

Петрован сразу узнал голос Ильи Фомича и шумно с... двинул задвижку. Едва успел учитель переступить по... как Игнат схватил его в объятия.

— Соскучился я, Илья Фомич, очень соскучился,— ... знался Игнат, помогая учителю раздеться.— Пришел в... в Мултан, а вас нет. Такая досада взяла, хоть плачь.

— Мы тут тоже соскучились, Игнатий, а кое-кто т... просто по тебе сохнет,— добродушно сказал Илья Фо... разглядев в полумраке Анюту.

Анюта смущенно опустила голову. Слава богу, что т... темно и не видно, как загорелись у нее щеки.

Петрован засветил коптилку, и Анюта стала собирать ... стол.

Начались расспросы. Игната интересовало узинское ... стание. Илья Фомич хотел побольше узнать о жизни и деле... рабочих. Он с радостью и даже с завистью слушал Игнат... Какой молодец, какая убежденность в суждениях! Да, Иль... Фомич должен признать, что Игнат во многом опередил ...

Учитель положил руку на плечо старого друга, внимател... но посмотрел в его мужественное лицо с непривычно корот... кими усами и искренне сказал:

— Молодчина ты, Игнатий!

А за окном уже синел рассвет.

6

Весной знойным утром загорелся казенный лес. Все бли... лие деревни заволокло горьким дымом. По раскаленному ... небу, будто куда-то спеша, быстро проплывали редкие обл... ка.

Озими на полях стали желтеть и поникли к сухой, по... трескавшейся земле. Не успев подняться, завяли травы ... лугах.

По дорогам потянулись бесконечные вереницы нищих. В деревнях вспыхнула эпидемия тифа.

Кто поможет? У кого просить поддержки?

Осенью, незадолго до покрова, в Старый Мултан приехал земский начальник лесовладелец Львовский. Его вороные остановились против пожарного сарая, где собрались крестья...

не на словах. Все от мала до велика в окрестных деревнях
...ли от грозы Ф... Л... Это он прошлым летом из-
бил кнутовищем с... Н... Г...ева.

«Ваше благородие, за что?» — осмелился спросить тогда Иван. «В следующий раз спросишь пораньше, когда я еще к вам из Кузнеры выезжать буду». И Львовский указал кнутовищем на полевые ворота.

Углов хитрого, сын чиновного умыл. Богач, как по команде, тотчас сняли собольие шляпы, а остальные обнажили головы поторопливо, вразнобой. Григорий ближе всех стоял к массивному рессорному экипажу земского и, залюбовавшись сытыми конями, забыл снять шляпу. Возможно, Львовский и не заметил бы его, но Григорий, видя, что земский не выходит из экипажа и того гляди уедет, торопливо подошел ближе и сказал:

— Ссуду бы дали, ваше благородие, лебеду едим...

— Шляпу! — крикнул Львовский, ткнув на Григория пальцем.— Не почитаете начальников, самим государем пожалованных, бога не почитаете, поэтому и неурожай. Староста!

Бектэмыр выпрыгнул из толпы, словно хомяк, высмотрев добычу.

— Я тут, ваше благородие.

— Смотри, чтобы у меня голодных не было. Вон сколько старых скирд стоит, а вы — ссуду. В других деревнях зернышка не сыщешь. Если жалобы будут, шкуру спущу. Найти хлеб, раздать тем, у кого нет. Пошел! — ткнул он ямщика в спину.

Вороные с места взяли галопом и, взбивая пыль, помчали по большой улице вниз, в сторону села Вавож.

— Бить бы тебя и плакать не давать! — набросился староста на Григория, как только скрылся из виду экипаж земского начальника.— Сунешь свой нос, когда не спрашивают. Теперь вот иди в волость и проси там ссуду.— Потом, обратившись к Бурапу, он уже другим тоном сказал:— Слыхал, земский-то какой прыткий? Старые скирды, говорит. Найти хлеб, раздать!.. Ишь какой... Пусть-ка попробует свой хлеб раздать.

По перепутку одну за другой увозили с поля старые скирды, почерневшие от времени. Днем и ночью шла молотьба на гумнах Бектэмыра, Бурапа и других сельских богачей. Ранним утром, когда еще ни одно ведро не скрипело на улице, из Мултана выезжали десятки возов с зерном.

Богачи спешили нажиться на хлебе. Последнюю скатерть, последнюю оцелюку продавала деревенская беднота, чтоб прокормиться.

Земские начальники и волостные старшины Вятской губернии в начале осени писали в земскую управу, губернатору, в губернскую статистическую управу о том, что «у крестьян хлеба хватит и опасности голода нет». Но еще до нового года вся губерния оказалась наводненной нищими и мешочниками. Особенно большой наплыв был из смежной Нижегородской губернии.

Дошло до того, что вятский губернатор Анастасьин расставил на границе Нижегородской губернии усиленные караулы, чтобы предотвратить вывоз хлеба в другую губернию.

...Трескучими морозными ночами, когда голодным волком выла вьюга на полях, на границе стояли мужики с дубинами, вилами, ружьями. А крестьяне тайком увозили хлеб на санках по лесам, по оврагам, через «границу», хлеб, из-за которого они продали последнюю скотину. Свободно проезжали бесконечные обозы купцов, скупающих хлеб у кулаков.

Под новый год снежная буря принесла голод и в Старый Мултан. Разбрасывая соломенные крыши, гуляла она по селу, со стоном и воем носилась по огородам, по оврагам, врывалась в ветхие скотные дворы. Костлявой нищенкой прокрадывался в избы тиф.

Первой умерла старая Ульяна. Вскоре после нового года умер сынишка Григория.

Не зажила еще рана большого горя, как нагрянула новая беда — в один день заболели жена и младшая дочь Лиза. Первой умерла дочь, а через неделю Григорий похоронил жену. А у дверей на деревянной кровати металась в горячке старшая Дыды.

Убитый горем, бессильный хоть чем-нибудь помочь дочери, сидел Григорий на старом стуле, сделанном еще отцом. По лицу его бежали слезы.

— Доченька... Дыды моя... Неужели и ты оставишь меня?

По селу и окрестностям разносился заунывный звон колоколов. К церковной ограде на розвальнях подвозили все новые и новые гробы, занесенные снегом.

Стонет вьюга, оголтело носится по улицам ветер, бросая горсти снега в окна низких избенок бедняков. А под горой, за речкой Мултанкой, над брошенной падалью кричат вороны: кра-кра... Ночами сюда приходят волки и, не решаясь подобраться к жилью, стоят в отдалении и дико воют.

Года за два до голода Антон Камаев по дешевке купил ружьишко у старика Акмара. Вконец измотанный работой на людей, доведший до отчаяния, Антон решил испытать еще одно средство, чтобы заработать семье кусок хлеба.

Говорят, после первого подстреленного зайца ружья уже ничем не бросить, если даже за вторым зайцем придется год ходить. Так и случилось с Антоном. Обзавелся он ружьем и забыл обо всем на свете. В первую же зиму больше недели гонялся за огненно-рыжей лисой. А лиса, казалось, дразнила его. Уведет за несколько верст, а там попетляет по полям и перелескам, чтобы потом внезапно скрыться из глаз и снова очутиться на мултанском поле. Уставший до изнеможения Антон брел домой ни с чем.

Корила его слепая мать, слезно просила жена бросить охоту, притихли оборванные ребятишки. Понимал Антон, что и мать и жена говорят ему горькую правду, но ведь уже сколько хожено за лисой. «Завтра еще разок попытаюсь, а потом плюну»,— каждый раз решал он и наутро снова вставал на лыжи.

И вот Антон снова увидел лису. Решив наверняка подкараулить ее, он спрятался за березу, одиноко стоящую в поле. До лисы было по меньшей мере с полверсты. Играя огненным хвостом, она мышковала. Затаив дыхание, лежал Антон, поджидая добычу. Невдалеке от него, слегка занесенная снегом, темнела охапка сена. Пискнула мышь. Лиса насторожилась и направилась прямо на Антона. «Неужели так далеко она услышала мышь?» — удивился Антон. От радости он даже не чувствовал, что промерз до костей, и торопливо стал целиться. Но тут лиса остановилась. Постояла, послушала и повернула обратно. Кажется, Антон действовал очень осторожно, да и до лисы было не меньше двухсот шагов, однако она услышала шорох.

Словом, лису Антону так и не удалось подстрелить. Белок и зайцев бил он порядочно — но много ли заработаешь на их шкурках? Да, и по правде говоря, о деньгах он думал только дома, а на охоте обо всем забывал.

Весной Антон впервые отправился на глухариный ток. На рассвете, когда на фоне неба стали отчетливо выделяться верхушки деревьев, он первый раз в жизни услышал глухариную песню. Да разве можно в это время думать о каких-то деньгах! Антон забыл даже, что он охотник, и, как зачарованный, слушал, опустив ружье...

А осенью он встретил лося. На небольшую лесную поляну лось вышел совершенно неожиданно. Остановился у кус-

ла ярко-красной рябины и стоит себе, красивый, словно вы-
точенный. Антон залюбовался, но, спохватившись, быстро
прицелился и хотел было уже нажать на спусковой крючок,
ла вспомнил, что ружье у него заряжено мелкой дробью. Он
медленно опустил ствол. Лось вздрогнул и, роняя красные
кисти рябины, скрылся в чаще.

Антон рукавом вытер пот со лба.

— Эхма...— только и вымолвил он.

В голодный год в конце зимы Григорий возвращался из соседней деревни. Он шел на лыжах прямиком через лес и случайно обнаружил медвежью берлогу. Добравшись до села, не заходя домой, он завернул к Антону. Григорий уже заранее прикидывал, сколько могут дать за медвежье чучело, если его продать в Малмыже.

— Пойдем сейчас же,— торопил он Антона.

Ему казалось, что пока они собираются, медведь уйдет, и они останутся без добычи, так легко подвернувшейся под руки. Но Антон не только не торопился, но и вовсе не собирался идти.

— Ты, Григорий,— говорил он, посмеиваясь,— хотя и силен, но медведь наверняка сильнее тебя. Очень уж легко ты собираешься добыть медведя. Это тебе не корова. Вон с дедом Акмаром, знаешь, что мишка натворил? Смотри, без наживешь. Давай-ка я сначала схожу к Акмару, посоветуюсь с ним.

— Так у тебя же ружье,— удивился Григорий.

— А откуда я знаю — убью я его или нет с первого выстрела? Если только ранишь, тогда прощайся с белым светом. Вот если бы двустволку иметь, как у господ, тогда другое дело, я бы и один пошел. А с моим ли ружьем ходить на медведя?

Не поняв осторожности Антона, Григорий махнул рукой.

К Акмару Антон пошел под вечер. Старик плел лапти. На стук он повернул седую голову к двери и, увидев Антона, лукаво спросил:

— Не на медведя ли, случаем, напал, Антон? Проходи сюда, садись.— Старик убрал со скамейки заготовленные лыки и, кряхтя, встал с небольшой кадушки, дно которой было обшито холстом.— Сколько лет прошло, а все болит,— сказал он, держась за поясницу.— Крепко помял меня, лохматый черт. Однако скучаю я по охоте, Антон. Правду, видно, говорят: с ружьем и жену забудешь.

Щуплый старичок совсем не похож был на отважного человека, который ходил когда-то на медведей. Но Антон знал, что дед Акмар за свою жизнь убил их не меньше трех десятков. Лишь на последней охоте потерпел старик неудачу.

— Ну, какие вести принес, Антон? — продолжал Акмар, очистив скамейку.— Да ты садись, в ногах правды нет.

— Придется, пожалуй, разговор у меня длинный.

— Что такое? — насторожился Акмар, усаживаясь рядом с Антоном.

— Зять твой, Григорий, медведя в берлоге нашел. Вот я и пришел посоветоваться.

— В берлоге, говоришь? Выходит, я не зря спросил про медведя. Ну так что ж, выгурить его оттуда! — оживился старик, и в его глазах засверкали огоньки.— Где нашел-то?

Антон подробно рассказал, где и как нашел Григорий берлогу.

— Жаль, не могу сам пойти...— опечалился Акмар.— Как же вам поступить с ним: выгнать или выждать, пока сам выйдет? Выгонять из берлоги надо умеючи, это дело опасное. Вот, к примеру, не будь у меня при себе ножа, пропал бы я ни за понюшку табаку.

— Как же это вы тогда оплошали, дед Акмар? — спросил Антон.

— И не говори,— отмахнулся старик.

Он высек кресалом огонь, раскурил потухшую трубку и начал рассказывать.

— В казенном лесу возле глубокого оврага старую сосну знаешь? Так вот, шел я на лыжах мимо той сосны, вижу — куча хвороста лежит. В лесу хворост не диво, но на этой куче снег закуржавел. Стой-ка, думаю, тут, должно, косолапый устроился. Осмотрел кругом — не иначе он. Пришел домой, наладил ружье, припасы, и с зятьком, Иваном Красным, пошли мы в лес. Притоптали снег перед берлогой и приступили к делу. Я встал шагах в двадцати от берлоги и держу ружье наготове, а Иван длинной жердиной травит медведя. Жду, вот сейчас выйдет. В таких случаях медведь обыкновенно вылезает с ленцой, а этот как шальной выскочил. Снег столбом! Ничего не видать — ни Ивана, ни медведя. Коль уж получилось такое дело, мне бы, дураку, не надо стрелять, а я — бах! Медведь как взревет, встал на дыбы — и прямо на меня. «Отец, беги!» — кричит Иван. А куда, спрашивается, бежать, снегу по пояс. Не успел я ничего и придумать, а медведь уж сцапал меня. Схватил когтями за зипун — даже треск пошел по лесу — и вдруг как поднимет!

Ну, думаю, пропал. Но Иван опомнился да как шарахнет ему жердиной по голове. Медведь отпустил меня, встал на задние лапы, трясет головой и ревет жутко. И что ты думаешь, на этот раз пошел прямо на Ивана. Пропал парень, мелькнуло у меня в голове. И сам не помню, как я в несколько прыжков достиг медведя, выхватил нож и с размаху всадил в него. Как раз против сердца угодил. Пырнуть-то я его пырнул, а отскочить не успел, тут он и подмял меня. Напоследок здорово спину мне наломал, а все же, видишь, жив остался. Иван сбегал в деревню за лошадью. Уложил меня рядом с убитым медведем и повез. Доехали мы до села, и, не поверишь, на околице столько народу собралось, словно в большой праздник. Едем это по улице, а по бокам — толпа. Вдруг впереди звон колокольчиков. Ребятишек сразу как метлой смело, да и взрослые поотстали от наших саней, в стороны подались. Что такое? — думаю. А это, оказывается, Львовский куда-то ехал, а кони его учуяли медведя — и враз на дыбы, и понесли, и понесли, чуть народ не покалечили. Ну, ничего, все обошлось. Стоим мы с Иваном и ждем, что будет. Подходит это к нам Львовский, весь в снегу, злой. «Где убили?» Иван рассказал ему: так и так, мол, ваше благородие. А тот давай кричать: «Как вы смели? Кто позволил? Я, говорит, эту берлогу давно на примете держу. Всю, говорит, мою охоту испортили...» И как он только не ругал нас! Даже очки с носа уронил; они у него почему-то без проволоки, и как он их только носит, не знаю. Поднял это очки, тычет ими в сторону Бектэмырова двора и кричит: «Сворачивайте к старосте!» Так и отобрал медведя, будь он проклят. Издеваются они над нами как хотят. Живем — дрожим и, умирая, видно, будем дрожать,— закончил свой рассказ Акмар.

Трубка у него потухла. Долго чиркал он кресалом, пытаясь высечь огонь, да, видно, руки дрожали, так разволновался старик. Кое-как раскурив наконец трубку, он махнул рукой и с обидой в голосе заключил:

— Бог накажет его, Антон. Бог, он все видит...

Видно, уверенный в этом, он успокоился и снова начал рассуждать, как лучше поступить с медведем. Потом помолчал, покурил и решительно заявил:

— А лучше не замайте его, плюньте. Вылезет из берлоги, тогда и убьете.

— Так он же уйдет! — забеспокоился Антон.

— Никуда он не уйдет. Ты узнай-ка, Антон, не задрал ли он осенью чью корову или телочку. Выйдет из берлоги,

обязательно пойдет на то место, где осенью лакомился. Вот на то самое место и надо вам идти, тут вы его и ухлопаете. А если не было того, тогда бросьте какую-нибудь падаль на лесной полянке. Но полянку надо выбрать умеючи. Как только сойдет снег, ты походи в тех местах, возле берлоги, и присмотрись, где он больше всего бродит, по следам ты это быстро поймешь. Падаль надо бросить на краю поляны, поближе к той елке, где вы будете поджидать его.

А знаешь, в какую историю попал я однажды, не зная его повадок? — оживился старик, вспомнив забавный случай из своей охотничьей жизни.— Бросил это я на лесную поляну падаль, забрался на большую ель и жду. Кто не знает, тот думает, что когда медведь по лесу идет, так все кругом трещит. Поверь мне — ни одного звука не услышишь. Как он может так ходить, ума не приложу. Сижу это я и даже не заметил, когда он прибрел, смотрю, а он уж тут как тут. Ну, думаю, раз пришел, не скоро уйдет,— знал я по рассказам, что жрет он не спеша, подолгу. Жду, когда он ко мне боком повернется, чтобы выстрелить в голову. А он, знаешь, что начудил? — хитро улыбнулся старик.— Обманул меня, лохматый черт: схватил тушу за шею и поволок ее в лес. Так и остался я с раскрытым ртом. Ладно, думаю, в другой раз не обманешь. В эти дни как раз пала телка у Ефима Глухого. Повез я тушу на то же место, положил и забил кол сквозь шею в землю. Лошадь отправил с женой, а сам остался поджидать. На этот раз долго пришлось ждать, почти всю ночь. Заявился он только под утро. Как и в прошлый раз, схватил тушу за шею и собрался уже тащить, да не тут-то было. Думал я, уйдет он, ан нет, стал драть. А стрелять нельзя, еще темно. Пришлось до рассвета сидеть. Здоровый был медведь. Чучело за сорок рублей продал малмыжскому купцу. Пьян был купец, трезвый бы, конечно, не отвалил столько.

Казалось, Акмар все разъяснил как нельзя лучше, однако Антон и Григорий чуть не погибли. Подготовились они к охоте точь-в-точь как советовал старик. На большой ели еще по снегу устроили лабаз, а как сошел снег, отвезли на поляну тушу павшей коровы и закрепили ее колом. Перед тем как отправиться в засаду, ноги обули в чистые портянки и повытряхивали из карманов табак. Антон взял ружье, а Григорий вооружился топором. Ушли они в лес под вечер. Устроились в лабазе и сидят, молчат, точно немые. Недолго пришлось им сидеть, голодный медведь пришел еще засветло и без всякой предосторожности принялся за еду.

Раздался выстрел. Вслед за глухим эхом страшно в... медведь, поднялся на дыбы, но тотчас же грохнулся на...

— Попал, Антон! — радостно крикнул Григорий.

Антон не успел оглянуться, как Григорий уже спрыг... с ели и побежал к медведю.

— Григорий, куда? Давай назад! — звал его испуга... Антон. Но было уже поздно. Пока Григорий бежал об... к дереву, медведь поднялся и пошел на него. Григорий растерялся. Он быстро вытащил топор из-за пояса и вце... за ель, ту самую, на которой был устроен лабаз. Мед... подошел, мотая окровавленной головой, и, пытаясь ла... достать Григория, остервенело царапнул дерево, раздир... когтями толстую кору.

— Беги! Пропадешь! — с отчаянием крикнул Антон с ла... база.

То ли крик Антона привлек внимание медведя, то ли с... нестерпимой боли, он, как бешеный, стал карабкаться наверх.

Плохо пришлось бы Антону, но Григорий и на этот раз не растерялся: увесистым острым топором со всего размаху рубанул по лапе медведя, потом по второй... Медведь дико взвыл и рухнул наземь. Больше он не поднимался.

Антон слез с лабаза. Он был бледнее полотна. Постоял некоторое время молча, потом успокоился и, рассматривая окровавленные лапы огромного зверя, сокрушенно сказал:

— Кто же теперь купит у нас шкуру?

— Дурак! — не выдержал Григорий.— Спасибо скажи, что сами целы остались, а ты о шкуре печешься.

Прошла зима, отгуляли злые вьюги и шальные ветр... Шумно побежали ручьи с мултанских полей, вливаясь в бур... лящие потоками овраги.

В глубоких омутах медленно кружились льдины, ударяясь о берег, ломая молодой ольшаник и прибрежные кусты ра... няка. Там, где течение было небыстрое, лед еще стоял, уже горбился, трескался с глухим звуком выстрела, пер... зывающимся окрест.

В последние дни апреля на лесной опушке расцвел под... снежник. А вскоре, словно рассыпанные щедрой рукой, за... пестрели анютины глазки.

Над полями звонко запели жаворонки. На деревне, за... луга дохнула весна; все зазеленело, все зацвело.

Но мало радовала весна изголодавшихся людей. По... сидели мужики на завалинках, тяжелые речи вели между...

бой. Поглядывая на небо, наблюдали, как садится солнце, и по вековым приметам старались угадать: быть дождю или не быть. Немногословны были их разговоры, лишь изредка кто-нибудь проронит слово, точно камень в воду бросит.

— Не дай бог как в прошлом году — все с голоду пропадем.

Старик Акмар и Григорий вышли за полевые ворота, на ощупь попробовали землю, посмотрели, как проросли озимые.

Тихо в Старом Мултане. Вечерами не слышно, как бывало, задорных девичьих песен, не радует слух гармонь...

Высоко-высоко над селом пролетели дикие гуси. Непонятной тоской был наполнен их редкий, еле доносящийся крик: га-гак... га-гак.

7

Настали пасхальные дни. В русской деревне Аныk священник и дьякон ходили из дома в дом, совершая пасхальный молебен. В каждой избе длинный дьякон, едва переступив порог, гаркал, словно иерихонская труба: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...» Даже дети постарше прятались за печки, а те, что были на руках испуганных матерей, начинали реветь. Собаки, забиваясь под столы, рычали и лаяли на дьякона, будто на какое-то чудовище.

Не будь голода, дьякон давно бы уже пошатывался под хмельком, а ныне во всем Аныке одну лишь рюмку поднесли. Сердился дьякон, неистово размахивал кадилом, торопливо читал молитву и, подхватив рукой длинный подол подрясника, быстро уходил, оставляя в недоумении не только хозяев, но и самого священника.

Закончив обход, поп завернул к Быкову, а дьякона послал в Чулью.

У Быкова в его обшитом тесом двухэтажном доме наверху сидели гости: мултанский священник, зять Быкова, и попадья, старшая сестра Марина Савватеевна, такая же тучная, как и муж. В черном вязаном чепце, в черном тяжелом платье, она выглядела столь важно, что была похожа на ожиревшую игуменью.

Сам хозяин суетился вокруг стола, усердно угощая гостей.

— Прими-ка, батюшка... Чай пусть бабы пьют.

— Не будет ли, Савватеич? Что через меру — то во вред вводит.

— Ничего, батюшка. Что сказано в заповеди? «Люби ближнего, как самого себя». Как же я еще могу выказать тебе свое уважение? Вот, смотри, за тебя пью. Христос тоже своих апостолов потчевал. Ну-ка! — и высокие хрустальные рюмки звонко зазвенели.

А жена Быкова, как чужая, сидела в конце стола. Изредка она подставляла попадье угощение и равнодушно говорила:

— Кушайте, матушка, не стесняйтесь, не у чужих небось.

Ее красивая племянница, чульнинская Даша, часто гостившая у тетки, стояла у печки, ожидая приказаний хозяина.

С улицы донесся далекий звон колокольчиков. Хозяин прислушался — колокольчики звенели все ближе и ближе.

— Видать, начальники едут? — испуганно произнес Быков и дрожащей рукой поставил рюмку возле самовара, на большой медный поднос.

Да и было чего бояться Быкову: только на днях купил он за бесценок коня без документов, заведомо зная, что конь краденый. Хороший конь — и мастью и повадками, чистый огонь! «Наверно, какому-нибудь начальнику принадлежал»,— подумал Быков, в смятении поглядывая в окно.

У ворот остановился новый рессорный тарантас, запряженный парой вороных. Из тарантаса важно вылез высокий стройный господин в черном пальто с плисовым воротником.

Тут же подкатили два урядника. Их гнедой был весь в пене. У ворот один из урядников быстро соскочил на землю и бегом вбежал во двор. Это урядник Соковников. Быков его хорошо знал. Соковников уже вошел в избу, а Быков все еще стоял у окна. У него так дрожали ноги, что ему потребовались немалые усилия, чтобы двинуться с места.

— Михаил Савватеич, прокурор... встречай...— почему-то полушепотом сообщил урядник.

— Прокурор?..

«Пропал»,— подумал Быков и своим единственным глазом бессмысленно и дико уставился на урядника.

— Ты что, Савватеич? — улыбнулся урядник.

От этой улыбки, казалось, свалилась с плеч Быкова огромная глыба, которая давила и не давала дышать. Чтобы скрыть свой испуг, он прикрикнул на жену:

— Ну, чего рот разинула?! Убирай со стола, прячь бутылки!

Урядник жестом остановил хозяйку:

— Не надо убирать. От вина никто носа не воротит. Не мешало бы еще кислой капусты или огурчиков соленых, его высокоблагородие уважают острое. А вы, матушка, куда? — обратился он к попадье, неловко вылезавшей из-за стола.— Сидите, ему места хватит. Человек он большой, но кажется, не гордый, со мной, например, запросто... Лошадям сена бы, Михаил Савватеич. Пусть отдохнут с часок.

— Марья, иди брось сена, да побольше,— приказал Быков жене. А потом крикнул племяннице:— Даша, а ты сбегай за капустой, рассолу побольше налей.

Даша схватила большую глиняную миску, выскочила в сени, побежала вниз по крашеной лестнице и лицом к лицу столкнулась с прокурором. От неожиданности она остановилась и, опустив глаза, хотела обойти его. Но прокурор молча взял ее за подбородок и посмотрел в лицо. Он был, видимо, изумлен красотой девушки.

— Вот ты какая! — воскликнул он, оглядываясь, не видит ли кто.

Он хотел еще что-то сказать, но Даша, точно ящерица, выскользнула и убежала. Прокурор посмотрел ей вслед, зачем-то ударил ладонью по перилам крыльца и важно стал подниматься по лестнице. Дверь перед ним раскрылась, он быстрым взглядом обвел богато обставленную комнату. «Ого, мужик, а со вкусом живет»,— подумал он. Заметив за столом священника, прокурор подошел к нему и представился.

— Раевский, прокурор Малмыжского уезда.

— Знаю, батюшка, знаю. Хоть и в глуши живем, но про больших людей и до нас слух доходит,— сказал поп, с нескрываемым восхищением разглядывая статную фигуру и правильные черты лица Раевского.

Здороваясь с попадьей, прокурор назвал себя по имени и отчеству:

— Николай Иванович.

Попадья в свою очередь тоже назвалась и подала новому гостю руку. Раевский, элегантно расклаживаясь, попросил извинения:

— Кажется, помешал вам, матушка Марина Савватеевна? Покорнейше прошу извинить.

— Что вы, Николай Иванович,— жеманничала попадья,— для нас большая честь сидеть с вами за одним столом. Проши вас, садитесь. Большие люди редко наведываются в наши края. Когда я услышала от урядника слово «прокурор»,

представила себе человека высокого роста, с большим, ким хищным носом, а вы... и вас любая царевна взор
— Это уж вы, матушка, чересчур...— жеманно улыб
Раевский, польщенный похвалой попадьи.

А поп сидел и волновался за свою болтливую жен
даже несколько раз ущипнул ее, давая понять, что она
теряла всякую меру и болтает бог знает что. Но та не об
щала внимания на мужа и продолжала трещать без умо

— Глушь у нас здесь, Николай Иванович. Живем, слов
медведи в берлогах. Из мултанского прихода мы. Если бы в
селе русские были, еще бы ничего...

— А что, там удмурты?

— Есть и русские, но мало. Да их и не отличишь теперь
от удмуртов. Они между собой по-удмуртски разговаривают
В гости к удмуртам ходят. Мало того, есть такие, что на уд-
муртках женятся. А в прошлом году русская вышла за уд-
мурта. Стыд-то какой!

— А почему, матушка, русскому парню нельзя жениться
на удмуртке? — спросил Раевский после первой стопки, под-
задоривая попадью.— Говорят, любовь слепа, вы, наверно
тоже слышали про это. Если бы, к примеру, я полюбил, то
не стал бы разбираться, кто она: удмуртка, марийка или та-
тарка.

— Истинно, истинно...— поддакивал захмелевший поп.

Попадья с укором посмотрела на мужа и повернулась к Раевскому:

— Что вы такое говорите, Николай Иванович? Удмурты же язычники!

— Как язычники? — спросил Раевский, делая вид, что об удмуртах ничего не знает.

— В церковь-то они ходят, но у них и свои моления есть И еще в жертву приносят домашнюю скотину. А поговаривают, Николай Иванович,— перешла попадья на таинственный шепот,— будто они и людей приносят в жертву.

— Любопытно...— насторожился Раевский.— Расскажите же, матушка, хоть один такой случай. Ну, прошу вас. Это же очень, очень интересно!

Попадья поджала губы и стала припоминать.

— Давно это слышала я. Кажется, в тот самый год, как ста отец дьякон утонул. Верно, лет пятнадцать прошло уже, отец? — обратилась она к мужу.

— Не то четырнадцать, не то пятнадцать,— сказал поп.

— Странница одна рассказала мне,— продолжала попадья.— В Ключах это дело было...— и попадья, пугливо

стала рассказывать о том, как удмурты якобы хотели отнять сына у богача Устина из деревни Большие Ключи. Тот, засидевшись в гостях, возвращался домой через удмуртскую деревню. Ну, и напали на него.

Прокурор слушал внимательно, потом спросил священника:

— А вы что думаете об этом, отец Иоанн?

Священник почему-то отодвинул от себя рюмку, посмотрел на жену — дескать, можно или нельзя говорить? — и когда попадья легонько кивнула, начал тоном человека, который в данном вопросе разбирается лучше всех:

— Мне самому приходилось бывать у них на молениях. Матушка правду говорит: домашний скот приносят они в жертву. А делают они это так: у жертвы отрезают голову, жгут ее на костре, а череп закапывают в землю возле костра. При мне однажды резали быка, так вот кровь собрали в корыто, а сердце, легкие... да нет, кажется, и кровь тоже — все в огонь.

— Гм... Любопытно. А правда, что они и человека в жертву приносят?

— Как вам сказать? Достоверно знать не могу. Слухи только. Однако, как говорится, дыма без огня не бывает.

Постукивая длинными пальцами по столу, прокурор некоторое время что-то обдумывал, потом обратился к Быкову:

— А вы, хозяин, слышали что-нибудь такое об удмуртах?

— Первый раз слышу, ваше благородие.

— Правда это или неправда, а правосудию пора бы уже за них покрепче взяться,— вставил священник.— Одни мы ничего с ними не сделаем. Вот, к примеру, в Старом Мултане уже больше ста лет церковь стоит, а удмурты, как древние язычники, занимаются жертвоприношением. Это же стыд для нашей православной церкви.

— А вы, отец Иоанн, почаще читайте им проповеди.

— А чего они смыслят в проповедях? Молитвы для них читать, проповеди — все равно что об стенку горох... От языческих молений одной проповедью их не отучишь. Прошлым летом священник Пазялжикьинского прихода посетил удмуртское моление и стал там читать проповедь против языческих. И что вы думаете? Чуть не убили. Вот, голубчик, каким почетом и уважением пользуемся мы, духовные лица, у этих язычников. Без помощи закона нам ничего не сделать. По православным церквам недавно было разослано письмо обер-прокурора святейшего синода Победоносцева. И знаете, голубчик, что он пишет? Всякий-де может исполнять свою

веру, но когда это необходимо, надо силою заставить в православную церковь. А какою силой может заставить священник? Вот мы говорим о человеческих жертвоприношениях. Откуда мне знать, есть у них такой обычай или бабьи сплетни? Ведь я не урядник, мне не дозволено делать допросы. Мне ведомо лишь одно — с древних пор они язычники. Если уж на то пошло, прямо скажу, я с детства ненавижу их! — И, понизив голос, поп со скорбью добавил: Деда моего повесили они. Служил он в Куракове священником. Покойный отец мой много рассказывал о бесчинствах удмуртов при Пугачеве. И когда только прозрят они и узнают о всевышнем? Господи!..

А Раевский все старался перевести разговор на удмуртские моления. Его вопросы относительно местных религиозных обрядов и обычаев сыпались один за другим. Батюшка был явно удивлен.

— Вы, голубчик Николай Иванович, уж не думаете ли принять на себя сан удмуртского жреца? — принужденно рассмеявшись, спросил он наконец.

Служителю церкви, наивному в вопросах правосудия, не понять было истинной причины заинтересованности прокурора в удмуртских молениях и в человеческих жертвоприношениях. Да и откуда ему было знать, что в сторону Вавожа, в районы, густо населенные удмуртами, прокурор Раевский выехал не случайно, а выполняя поручение свыше.

До службы в Малмыже Раевский был помощником сарапульского окружного прокурора. После смерти шефа, мечтая занять освободившееся место, Раевский отправился в Петербург. Один из родственников его матери был близок с самим Победоносцевым. Заручившись рекомендательным письмом от столь влиятельного лица, Раевский быстро добился приема у министра. Тот принял его весьма благосклонно. И надо сказать, что этому способствовала не только рекомендация. Учтивый тон и хорошие манеры человека из далекой провинции, никогда не вращавшегося в высших кругах, да и незаурядный ум Раевского привлекли внимание министра. «Вот вместо некоторых здешних болванов таких бы людей нам!» — думал министр, невольно любуясь красивым молодым человеком. После разговоров о разного рода служебных делах министр спросил Раевского:

— Каково настроение среди мужиков? Не бунтуют они у нас там?

— Год тому назад три крупных бунта было, ваше высокопревосходительство. Самым крупным было волнение крестьян Узинской волости Малмыжского уезда.

— Причина?

— Из-за податей, ваше высокопревосходительство.

— И много народу участвовало?

— Более тысячи человек, ваше высокопревосходительство.

— Русские?!

— И русские и удмурты.

Министр положил пухлые руки на стол, сцепил их короткими, толстыми пальцами, нахмурился и как бы про себя сказал:

— Один взвод, самое большее одну роту... А вот на заводах, когда бастуют сразу десятки тысяч, тут уже другое дело. Да, с каждым днем становится все неспокойнее на Руси. Растут фабрики и заводы, но вместе с тем растут и волнения. Казалось бы, людям работу дают, спасают их от голода и нищенства. Ан нет... не понимают... Видно, усмирять забастовки и бунты разные нужно не только штыками, тут необходимо что-то другое... Впрочем, эти самые киргизы, башкиры и ваши там, как их... удмурты в качестве бунтовщиков известны еще со времен Пугачева... Не пора ли переселить их куда-нибудь в Сибирь?

— Это прекрасная мысль, ваше высокопревосходительство! — польстил начальству Раевский.

— Но...— министр расцепил руки и слегка приподнял указательный палец,— чтобы переселить целую народность, нужно уличить хотя бы несколько человек в тяжелом, тягчайшем преступлении, за которое отвечали бы все соплеменники виновных...— Министр умолк. Он сидел, полуприкрыв веки, о чем-то размышляя, и вдруг уставился на Раевского.— Знаете, что я вспомнил? — начал он, заметно оживившись.— Не так давно, изучая архивные материалы по одному делу, я натолкнулся на закон, по которому удмуртам запрещается хоронить покойника без разрешения полицейских властей. Насколько мне помнится, это связано с тем, что их подозревают в человеческом жертвоприношении. Вы, наверно, изучали их обычаи?

— Разговоры подобного рода до меня доходили, ваше высокопревосходительство. Заводились и дела, но, как правило, заканчивались они оправданием обвиняемых. Хотя должен заметить, что, судя по рассказам, в жертву они приносят только русских,— добавил Раевский, уяснив, куда клонит начальство.

Министр даже моргать перестал, настолько приятной была новость.

— А кто из инородцев живет близко к удмуртам?

— Рядом с удмуртами — марийцы, ваше высокопревосходительство. Есть еще чуваши, но те подальше, к Волге.

— Проблема человеческих жертвоприношений — серьезная и чрезвычайно интересная. Кстати, обер-прокурор синода не раз интересовался поведением язычников. Такого рода дел, об удмуртах найдет с его стороны всяческое поощрение. Ну, а поскольку факт подтвердится хотя бы в одном случае, то и другие народности языческой веры, естественно, не смогут остаться в стороне. Вы, вероятно, еще не представляете себе масштаб такого дела и ваши личные перспективы...

Раевский встал и поблагодарил, отвесив низкий поклон.

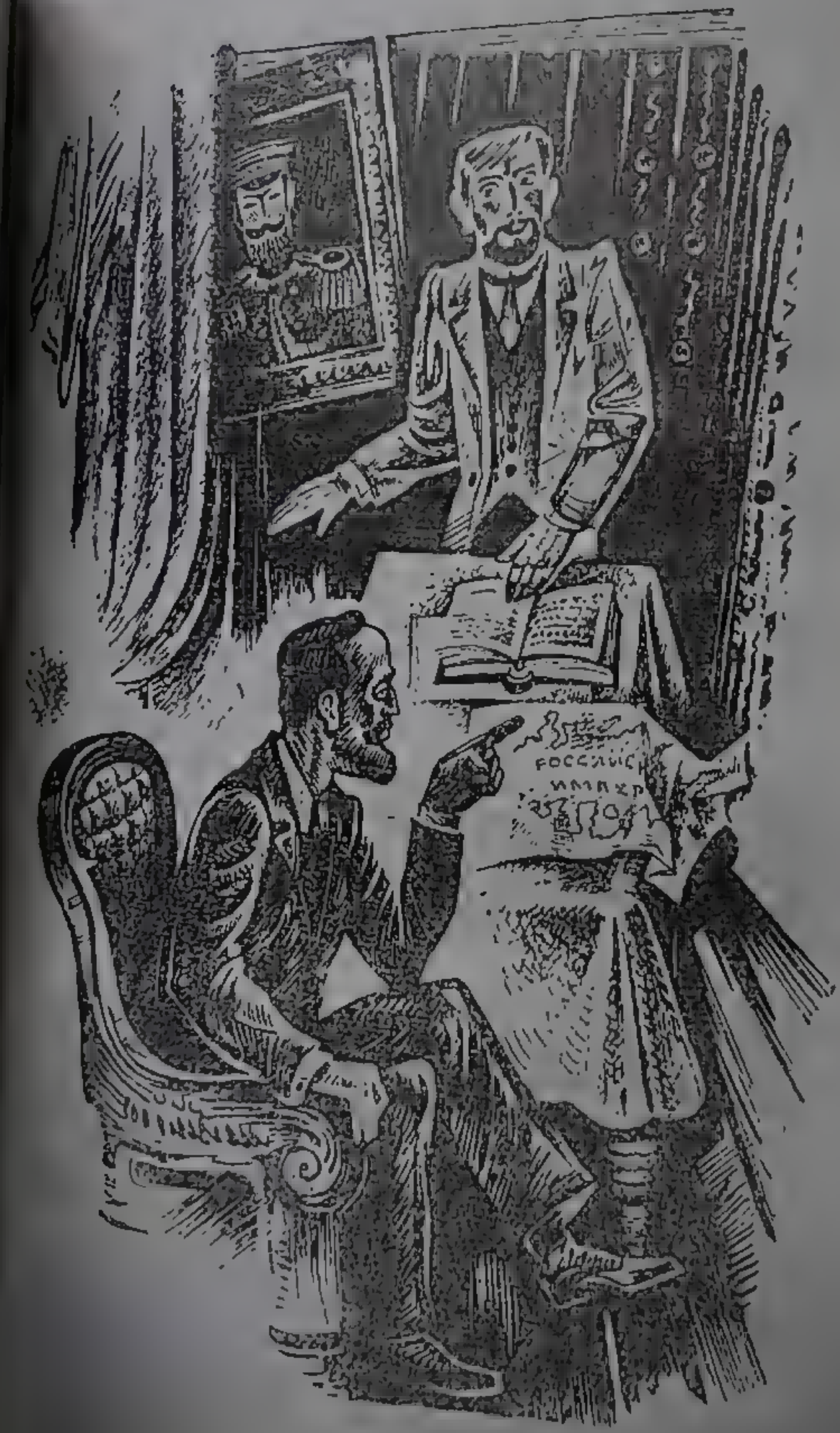
— Я весь в вашей власти, ваше высокопревосходительство, а ваш прозорливый ум порукой тому, что я сумею выполнить вашу волю.

— По приезде на место тотчас займетесь делом о человеческих жертвоприношениях. Ищите, добывайте факты... А вашу просьбу мы здесь постараемся не забыть. О человеке, сударь, судят по его делам...

В беседе с Раевским министр умолчал лишь о том, что за последнее время Победоносцев уже дважды вел с ним разговор о язычниках, а в последний раз открыто высказал свое недовольство тем, что ни полиция, ни чиновники юстиции не могут доказать факта человеческого жертвоприношения. При этом Победоносцев показал министру одно из архивных дел о каннибализме, на папке которого неровным почерком Александра Второго была наложена резолюция: «А все-таки человеческое жертвоприношение среди инородцев существует».

Приезд Раевского как нельзя более совпал с интересами министра. С помощью этого провинциального прокурора можно будет возбудить дело о человеческом жертвоприношении и тем самым выполнить волю Победоносцева.

Несмотря на поощрительный тон министра, Раевского вскоре после его возвращения в Сарапул неожиданно перевели в Малмыжский уезд. Раевский был возмущен до глубины души, ему казалось, что над ним издеваются, и он на время позабыл даже о полученных в Петербурге указаниях. Но потом, трезво поразмыслив, Раевский понял, что министр, собственно, вовсе и не обещал ему сразу должность окружного


РОССІЙСК
ИМПЕР

прокурора, а, наоборот, сказал, что о человеке судят по с... делам. Значит, от него ждут только результатов. И, возмож... но, он переведен сюда в уезд, более густо населенный удмур... тами, по указанию самого министра.

Взвесив все обстоятельства, Раевский отбросил обиду и выехал в Большесучинскую волость. Он встречался там с ра... нами, псаломщиками, просвирнями, со всеми подолгу бесед... вал, выспрашивая у церковников, что им известно о чел... веческих жертвоприношениях среди удмуртов. Разговари... он и с удмуртскими жрецами, выдавая себя за ученого-эт... графа. Он собирал слухи и, желая добраться до истины, как одержимый, метался из села в село. Но все было тщетно, ра... слышанное походило на сказки, невесть кем придуманные.

«Ищите, добывайте факты...» — весьма внятно сказал ему тогда министр. Ах, если бы Раевский сразу понял смысл этих слов, ему незачем было бы мотаться по деревням, за... терянным в бескопечных лесах. Лишь теперь дошло до его сознания, что он совершенно напрасно тратил время на разъ... езды. Коли нет факта, значит, надо его создать. Не все ли равно министру, как возникло дело, важно, чтобы оно было.

И недавно, на пути из Вавожа в Старый Мултан, ему пришла в голову злодейская мысль: подбросить в удмуртский молельный шалаш чей-нибудь труп. Но кому доверить это дело? Раевский стал приглядываться к сопровождавшему его уряднику Соковикову. Он заводил с урядником разговори, стараясь при этом держаться как можно проще, доходя да... же до фамильярностей. Раевскому казалось, что урядник Со... ковиков, судя по его пустым глазам, способен на любое гряз... ное дело.

И вот беседа в доме Быкова пошла по нужному руслу. Разговор настолько заинтересовал Раевского, что, казалось, он забыл об отъезде. Давно уже отдохнули кони, и урядник успели вздремнуть, а он все еще продолжал расспросы.

— Значит, они человека приносят в жертву только в тя... желые годы? — спрашивал Раевский попа.

— Я не говорил, что они приносят в жертву и людей, я передал вам, почтенный Николай Иванович, только слухи. А там бог их знает, дело темное.

— А эти молельные шалаши в каждом дворе имеются?

— Нет, не в каждом. Они собираются молиться целым родом, что ли, и у каждого рода есть свой шалаш.

— Так, так...— прокурор постучал своими длинными паль...

нами о край стола, внезапно поднялся и стал прощаться:— Ну-с, большое спасибо за гостеприимство. А вам, Марина Савватеевна, за теплую беседу.

— Если случится проездом быть у нас в Старом Мултане, покорнейше просим, Николай Иванович.

Быков вышел во двор провожать прокурора. Оба урядника, ямщики и быковский батрак стояли перед раскрытой дверью конюшни. За двумя толстыми перекладинами виднелась голова огненно-рыжего жеребца. Увидев прокурора, ямщики побежали к своим лошадям. Быков пошел отворять ворота.

К Раевскому, собравшемуся уже сесть в тарантас, подошел урядник Соковиков и тихонько сказал:

— Ваше благородие, обменяйте одного из ваших коней на хозяйского жеребца. Быков побоится отказать вам. Вы бы посмотрели, какой конь, ваше благородие! Огонь! Как дыхнет, так, кажется, вот-вот пламя из ноздрей вылетит.

— Где? — спросил прокурор с азартом заядлого менялы.

— Вон там, в конюшне.

Раевский быстро зашагал к конюшне. Снова все собрались у ее раскрытых дверей.

Быков заметил, как урядник что-то шептал прокурору, и понял это по-своему. «Попался»,— мелькнуло опять в голове. Еле передвигая слабеющие ноги, он медленно направился к собравшимся. Урядник нетерпеливо поманил его рукой.

— Савватеич, тебя ждем.

— Где достал коня? — словно на допросе, в упор спросил у Быкова прокурор.

— Курил, ваше благородие, недавно.

— Сколько ему лет?

— Пять.

— Что ты, Михаил Савватеич, ему, видать, еще и четырех нет,— возразил Соковиков.

Другой урядник утверждал, что коню больше, чем пять лет. Кучер Соковикова стал на защиту своего начальника. Между урядниками и ямщиками разгорелся спор.

— А вы как думаете, ваше благородие? — подобострастно спросил Соковиков прокурора.

— Возраст коня помечен в бумагах, об этом не мешало бы вам знать,— сухо отрезал прокурор.— Ну, покажи-ка бумаги,— сказал он Быкову.

Быков замялся, покраснел и еле выговорил:

— Бумаг нет, ваше благородие.

— То есть, как это нет? — насторожился прокурор.

Быков хотел сказать, что потерял, но, вероятно от ис... ляпнул:

— Без бумаг купил, ваше благородие.

— Без бумаг? Так, так.

Все многозначительно переглянулись, будто догадываясь в чем дело.

— Ну-с, по местам! — кивнул прокурор кучерам.

Урядники, поняв, что это относится и к ним, тоже ото... Оставшись у конюшни вдвоем с Быковым, прокурор, ука... пальцем на коня, спросил:

— Украл?

— Что вы, ваше благородие! Сохрани бог! Зачем вр... вать? Сами видите; живу в достатке.

— В нижней половине у тебя кто-нибудь есть? — спро... прокурор, не слушая оправданий растерявшегося хозя... Ему вдруг пришла мысль поручить задуманное дело Бык...

— Нет, ваше благородие.

— Пошли!

Войдя в дом, прокурор подошел к столу, отодвинул ст... сел и стал медленно стягивать с рук черные лайковые перча... ки. Повертев перчатки перед носом, он положил их на ст... и, посмотрев на Быкова долгим пронизывающим взглядом, раздельно, словно учитель, объясняющий школьнику ур..., произнес:

— Ну-с, Михаил Савватеевич, теперь ты со своим кон... вот где у меня сидишь! — он крепко зажал перчатку в пр... вом кулаке.— Стоит мне захотеть, и через неделю ты стан... нищим.

— Ваше благородие, помилуйте, я же не украл, как пер... богом говорю. Не губите, ваше благородие, все отдам, берите коня, хотите, и своего отдам, свои у меня вороной масти, как раз под стать вашим. Черт дернул меня, дурака, на такое дело. Пожадничал, за дешевкой погнался.

А прокурор сидел как каменный идол. Он даже не слыша... слов Быкова, они доносились до него, как назойливые зву... мешающие сосредоточиться на чем-то определенном. «Раз... ывается, будет гораздо лучше, если Соковиков и прочие ур... ники останутся в полном неведении»,— думал Раевский. Но оправдает ли его надежды этот кривой?

На рукаве своего пальто прокурор заметил пушинку. О... задумчиво снял ее двумя пальцами, с минуту подержал, п... том поднес ко рту и, откинув голову, дунул. Пушинка покру... лась в воздухе и опустилась на взлохмаченную голову Бы... кова.

— Садись,— приказал он Быкову.

Тот сел. Прокурор вместе со стулом придвинулся к нему. Левой рукой он держался за стол, а правую положил на колено Быкова и тихо, но с явной угрозой заговорил:

— И кража и купля краденого — преступления суть одинаковые. Ты это понимаешь? — он заметил на волосах Быкова пушинку, осторожно снял ее, снова дунул и, в упор глядя на Быкова, продолжал: — Если я захочу, то сдуну тебя вместе со всем твоим добром, как эту пушинку!

— Ваше благородие, не губите. Если конь не нужен, я и деньгами могу.

Прокурор громко расхохотался: уж очень смешон был Быков. Вид у него был ну точь-в-точь как у человека, собравшегося повеситься или утопиться.

— Чудак ты, Михаил Савватеевич! Ты думаешь, я из тебя взятку вытягиваю? Да я тебя не грабить хочу, хочу купцом сделать. Хочешь быть купцом?

Быков недоуменно уставился на Раевского.

— Не пойму я, о чем вы, ваше благородие?

— Не понимаешь? Слушай внимательно — поймешь. Твоя сестра Марина Савватеевна только что рассказывала нам об удмуртах, о том, что они совершают человеческие жертвоприношения. Это все правда, Михаил Савватеевич, но... это еще нужно доказать. А для того, чтобы доказать, нужен факт. Вот, к примеру, не спроси я у тебя удостоверение на коня, так и уехал бы, ничего не узнав. То же самое и с человеческим жертвоприношением. Для того чтобы заставить удмуртов признаться в этом, нужно за что-то ухватиться, иначе говоря — припереть их к стенке. Нынче тяжелый год, голод. По дорогам нищих без числа. Одного из таких надо отнести ночью в удмуртский шалаш...

Прокурор не сказал «отнести мертвого», но Быков и без того понял, а потому побледнел, словно пойманный на месте преступления.

— Это же... страшное дело, ваше благородие!

Нервно перебирая пальцами невидимые клавиши, прокурор долго думал, потом уточнил:

— В шалаш нельзя, это я, пожалуй, необдуманно сказал. Следы преступления, то есть тело, они, конечно, в шалаше не оставят. Следовательно, надо бросить труп где-то около деревни — в овраге, на гумне, в небольшом лесочке, короче говоря, тебе самому будет виднее.

Приступив к практическому осуществлению своих черных замыслов, казалось уже всесторонне продуманных, прокурор

с черных глаз палача несколько растерялся: «Ну-с, [illegible] ли убил одного из иных и бросит труп, скажем, [illegible] в овраге... А дальше что? Положим, урядники найдут. А как обвинить удмуртов?» Он еще долго обдумывал, [illegible] не осуществить преступление, и вдруг его осенила [illegible] мысль: «Голова! Вот где кричинал». И, словно боясь [illegible] путать последовательность действий замышляемого [illegible] ления, он поспешил изложить свой план Быкову.

— Голову убитого отсечь, ну, отрубить и забросить [illegible] да-нибудь подальше. Понимаешь? Труп должен быть [illegible] ловы, обязательно без головы.

— Освободите меня... В тюрьме сгноят за это...— умоляюще просил Быков.

— За это ты в тюрьму не попадешь, а вот за кол в тюрьму не миновать. Уж как-нибудь я сумею упрятать [illegible] за решетку.

— Когда нужно-то? — спросил Быков обреченно.

— Чем быстрее, тем лучше. Во всяком случае дай [illegible] не больше недели.— Прокурор извлек из внутреннего кармана бумажник, вынул оттуда новенькую хрустящую «катеньку» и положил ее на стол перед Быковым: — Возьми на [illegible] ходы...

Бледный как полотно вышел Быков вслед за прокурором. Дрожащими руками держался он за кованые железом [illegible] та, ожидая, когда пара вороных коней вынесет с его двора этого страшного человека.

Резвые кони мчались вдоль зеленеющих полей. Покачиваясь в тарантасе, обвеваемый весенним теплом, подъезжающий прокурор думал о том, как долетит слава о нем до самого государя. «За всю историю христианства я первый докажу, что существует человеческое жертвоприношение. Известные журналисты и этнографы будут писать обо мне в газетах и журналах. Вся Россия узнает мое имя». Расчувствовался, что его вызовут на службу в Петербург. Мысленно передумал он за долгий путь. Вспомнил и свое прошлое.

Окончив медицинский факультет при Казанском университете, он приехал в село Каракулино Сарапульского уезда на должность земского врача. Но избранная профессия в первый же год работы в сельской больнице оказалась ему не по душе. Не для того он родился, чтобы возиться с грязными мужиками! Пусть дураки работают врачами. И на другой же год Раевский круто изменил свой жизненный путь: он поступ-

ел на должность секретаря прокурора Сарапульского округа и стал готовиться сдать экстерном экзамены за юридический факультет.

Необычайно доволен был окружной прокурор своим новым секретарем. Прокурорский стол в его кабинете вскоре превратился в небольшую аптечку: коробочки и пузырьки различной формы и величины, порошки и таблетки заполнили не только ящики, но и заняли все свободное место на столе.

— Николай Иванович, милок,— скажет, бывало, старик Шухов своему секретарю,— опять что-то в боку заколодо. Эх, старость не радость! Видать, последние денечки подходят... Старуха смерть стучится в двери...

— Что вы, ваше высокородие! Разве в пятьдесят лет умирают? Вам лет тридцать жить еще, никак не меньше. Таким, как вы, нельзя умирать. Таких практиков по пальцам пересчитаешь. Вы, ваше высокородие, честь правосудия. А болезнь — это чепуха, против болезней есть лекарства. Нуте-с, потрудитесь-ка показать — где у вас покалывает?

Вскоре Шухов возвел своего секретаря в должность следователя, а получив диплом, Раевский ходил уже в чине помощника окружного прокурора, продолжая в то же время выполнять миссию домашнего врача своего шефа.

Однако, сколь усердно ни лечил Раевский своего начальника, глаза прокурора за это время ввалились еще глубже.

— Никола, милок, плохи, брат, дела,— жаловался Шухов.— Чую, скоро придется тебе заказывать для меня гроб. Али лучше самому заранее заказать?

— Ничего, ваше высокородие. Это — кризис. Вот пройдет кризис, и все будет хорошо.

Раевский старался. Что ни день, придумывал для больного все новые и новые лекарства. «Скоро я тебя вылечу, старый хрыч»,— думал он, прикидывая в уме, когда же наступит конец.

И вот — это было ранней осенью — Шухов умер. Горячую речь произнес Раевский у его могилы. Не только женщины, но даже мужчины украдкой утирали слезы.

Раевский сразу после похорон помчался в Петербург. Встреча с министром. Радужные надежды. И вдруг перевод в Малмыж на должность участкового прокурора.

В первые же дни по приезде в Малмыж Раевского стали наперебой приглашать по все богатые дома. Скучающие купеческие дочки гадали на картах, ссорились, ревнуя Раевского друг к другу.

Побывал он и в доме уездного исправника. После его

гнила дочь исправника Соня, окончившая гимназию. Раевский снял с этажерки «Чайльд Гарольда» и, раскрыв книгу, показал отцу портрет Байрона.

— Отгадай, папа, на кого похож?

Исправник Лобовиков, с пышными, тронутыми сединой усами, прежде чем взять в руки книгу, нацепил на нос пенсне. Внимательно рассмотрев портрет Байрона, он с удивлением произнес:

— А ведь и в самом деле, как две капли воды.

— Смотри, папа, и волосы точь в-точь как у него, такие же вьющиеся, и глаза такие же большие.

— Только разве нос не тот,— заметил исправник.

Раевский и сам знал, что он красив. Еще в университете он пользовался большим успехом у курсисток. Студентом Раевский мечтал о большой служебной карьере, а по окончании университета его сунули в медвежий угол. Когда он жил в Каракулино, его частенько грызла тоска. Чтобы хоть немного забыться, он начал баловаться спиртным, а потом стал основательно выпивать. С годами это вошло в привычку. Чем выше поднимался он по служебной лестнице, тем больше почему-то тянуло его к спиртному. И вполне понятно, что в Малмыже слава о нем, как о завидном женихе, вскоре померкла. В купеческих семьях ему стали отказывать.

Душно стало Раевскому в провинциальном городишке, и он зачастил к исправнику.

Жена исправника умерла. Единственным утешением его на старости лет была двадцатидвухлетняя Соня, хотя она и доставляла отцу немало беспокойства и стоила многих бессонных ночей. Томилась дочка. Замуж пора. А где взять жениха? Исправник, слава богу, имел большой жизненный опыт, и ему ли было не знать, что для этого нужен капитал. Недаром пословица говорит: «Всяк сверчок знай свой шесток». Нельзя сказать, чтобы Соню совсем не сватали. Сватали. И за сына начальника земской управы сватали, и за сына лесничего, но Соня и слушать о них не хотела.

— Пусть дурочки выходят за малмыжских замуж,— заявила она отцу.

Частые посещения Раевского встревожили исправника, но в то же время и обрадовали: кто знает, быть может, тут и есть счастье дочери. И старик закрыл на все глаза, дав дочери полную волю.

Красива была Соня. Длинные золотистые косы покоились на груди. Тонкая и гибкая, она быстро и ловко двигалась

А как она была мила, когда, полузакрыв свои большие голубые глаза, играла на гитаре.

Под Новый год исправник пригласил гостей, в том числе и Раевского. Все пили, катались на санях, потом опять пили. Хозяин настолько был пьян, что не смог даже проводить гостей. Соня и Раевский на руках отнесли его в спальню. Потом Соня пригласила Раевского в свою комнату. Пьяный Раевский сидел, облокотившись на письменный столик, и, противно икая, бессмысленно смотрел на девичьи безделушки, аккуратно расставленные на комоде. Ему казалось, что и коробочка из-под духов, обтянутая коричневым шелком, и голубая лента, перекинутая через зеркало, и разные баночки и статуэтки строят ему рожи, прыгают и кривляются. Он уже намеревался встать, сбросить все это на пол и безжалостно растоптать, но в это время услышал Сонин голос:

— Ну, пойте же! Ведь неприлично так: я играю ради вас, а вы...

Соня сидела на кушетке и, тревожа и без того невеселые думы Раевского, под аккомпанемент гитары пела грустную песню:

Что затуманилась, зоренька ясная,
Пала на землю росой?
Что ты задумалась, девушка красная,
Очи блеснули слезой?

Голос у Сони был чистый, мягкий, только временами едва заметно дрожал, словно ослабевшая струна.

Пока она пела, Раевский сидел, уставившись на нее. А когда с последними словами песни резко оборвался звон гитары, Раевский, шатаясь, подошел к Соне и, опустившись перед ней на колени, стал целовать ее ноги. Соня вначале удивленно посмотрела на него, потом отложила гитару и, взявшись обеими руками за голову Раевского, спросила:

— Вы всерьез или это вино?

Раевский неуклюже потянулся к ней и дохнул в лицо девушки винным перегаром. Дзинькнув, упала с кушетки гитара...

Наступили весенние дни — дни Сониного счастья. Как-то вечером, сидя у раскрытого окна и положив голову на плечо Раевского, она со светлой девичьей радостью говорила:

— Вот когда я с тобой, Николенька, мне кажется, что мир создан для меня одной. Один ты мне нужен, только ты! Я такая: что мне понравилось — возьму, хоть на час, а возьму, чего бы это ни стоило. Живем-то только раз.— И вдруг,

зло насупив брови, заключила: — И знай, Николенька, с
бросишь, не жить тебе, ну и мне, конечно. А сбежишь —
краю света найду! Ты у меня первый и будешь единст..
мурашки побежали по телу. «Убьет»,— подумал он, не
поглядывая на Соню. Как ненавистна стала она ему те..
Прошли дни первых поцелуев, не вернуться им, так же
не зацвести вновь увядшим цветам.

А потом Соня сообщила ему, что скоро станет матерью.
И на масленицу они повенчались...

Ровно бегут кони по малмыжским полям. Сладко дремлет Раевский, мягко покачиваясь на рессорах. И снится ему бал, множество девиц. Похожие на белых бабочек, кружатся они в легком танце; браслеты, ожерелья — все переливается, го-рит, сверкает драгоценными камнями; играет оркестр, и в музыке отчетливо выделяется звон колокольчиков

— Николай Иванович, уже Малмыж! — воскликнул кучер, указав кнутовищем вперед. Он по-детски обрадовался, увидев впереди свой родной городишко

Прокурор открыл глаза, и, вместо сказочного мира, перед ним открылся вид на захудалый городок, а там — нелюбимая жена, с обезображенной фигурой, вся усыпанная веснушками.

— А ну, веселее! — крикнул кучер, натянув вожжи.

8

Бедно жила русская деревня Аныk. А когда пришел голодный год, она совсем захирела. Соломенные крыши многих сараев и конюшен пошли на корм скоту, и оголенные стропила их походили на огромные скелеты. Только построенных Быковых и Дроздовых, крытые тесом, свидетельствовали о том, что в деревне еще живут, что она не заброшена.

Даже в урожайные годы в Аныке многие не сводили концы с концами. Земли мало, да и та — сплошной песок, вдоль лога леса, большая часть из них принадлежит известному елабужскому заводчику Ушкову, а остальное — земскому начальнику Львовскому.

Все хорошие земли в Аныке прибрали к своим рукам богатеи Быковы да Дроздовы. После объявления манифеста об

свобождении крестьян аныкцы долго жлали перемен в жи-
ни, но так и не дождались. Так же как и раньше, они стара-
лись хоть одну борозду соседского надела запахать себе. Из-
за этого на поле возникали шумные ссоры, а то и драки.
И каждую весну перед севом у пожарного сарая люди кри-
чали, спорили, хватались за грудки, да все без толку.

А вот в этом году — тишина в Аныке. Даже на первой весенней сходке не было крику: многим не нужна стала зем-ля. К чему, когда семян нет? Кое кто из бедноты шел за семенами на поклон к Быкову. Шесть дворов снабдил аныкский богач семенами, исполу отдал — это значит, не ударив палец о палец, он получит за семена от своих должников по-ловину снятого ими урожая.

На другой же день после отъезда прокурора многие аныкцы выехали на сев — кто рано утром, кто после обеда. А поздно вечером к Быкову пришел безлошадный Иван Конев, по прозвищу Самара. Прозвали его так, очевидно, потому, что, выпивши, он пел всегда одну и ту же песню, вернее, одну строку какой-то песни, без конца повторяя ее: «Ах, Самара, качай воду, золотистый, золотой...» Из года в год он гнул спину на Быкова только за то, что тот давал ему на несколько дней лошадь в дни пахоты.

На этот раз, к великому удивлению Ивана, Быков не только обещал дать лошадь, но даже усадил его за стол и стал угощать настоящей водкой, и не то что в рюмке подносил, а прямо в чайной чашке.

— Пей, Иван. Добро Быкова от этого не оскудеет,— бахвалился кривой, потчуя Конева.— Не будь меня, многим пришлось бы побираться.

От первой же чашки Иван захмелел, а Быков налил ему вторую.

— Пей, Иван. Забудь свое горе. Живешь ты — жалко смотреть. Чем так жить, лучше петлю на шею. Не жизнь, а каторга. А почему так? Земли мало, земля нужна тебе. Но ты и не думай получить ее в нашем обществе, не дадим. Земля в Мултане. В Старом Мултане. Слышишь? — И, нагнувшись к уху Ивана, Быков заговорил шепотом: — Надо что-нибудь такое придумать, чтобы с десяток наших, удмуртских дворов, а может, и весь Мултан выселить, тогда и земля и постройки по дешевке достанутся нам. Плюнули бы мы на свой Анык — и айда в Мултан. Там уже русских дворов с десяток есть. А ежели сие и мы переберемся, сила будет в наших руках. Бери тогда, Иван, землю, сколько душе угодно.

После второй чашки в глазах у Ивана стало троиться.

Он удивленно, не моргая, смотрел на Быкова, но, кроме ... ной кожаной повязки на его глазу, ничего не видел. Жел... пьян был Иван, но соображения не утратил. Выслушав Бы... кова, он медленно поднялся, высокий, сутулый, широкий в ... плечах. Помолчав немного, Иван слегка нагнулся к хозяи... и угрожающе спросил:

— На черное дело подбиваешь? А я не пойму, с чего эт... меня тут как гостя потчуют.— Потом он протянул Быко... свою широкую ладонь: — Вот, гляди, руки мои в мозолях — не от воровства, а от работы. Чужого мне не нужно, даже в иголке чужой я не грешен перед богом. Ты мне лошадь да... пахать буду, себе вспашу и тебе вспашу. А вы, сволочи, с живого готовы шкуру содрать. На чем вы богатеете? На нашем поту, на слезах наших жен и детей. Возьмешь лошадь на день, а работай неделю, возьмешь хлеба пуд, а отдавай три. Сколько я отработал на тебя и твоего отца за свою жизнь! А что заработал? Жрать нечего, дети голодные. А из-за кого? Отвечай! — и он грохнул кулаком по столу так, что чашка, стоявшая с краю, подпрыгнула, упала на пол и вдребезги разбилась.

— Ну, ну, успокойся, Иван,— увещевал его Быков.— Эк ... ты горячий. Ты думаешь, я о себе пекусь? Не нужно мне ... земли, ни добра не нужно. Мне и того, что есть, не прожить. Детей нет. На кой леший мне добро? За таких, как ты, серд... це болит. Лошадь нужна тебе? Бери, паши. Муки нужно? Приходи, дам, безвозмездно дам. Вот ты, кажись, обозлился на меня за то, что я тебе же добра желаю. А помнишь, что сделал с тобой Буграш в Самаре? Разве такую обиду забудешь? А ты, видно, забыл? Эх ты!..

Давно минувшее напомнил Быков подвыпившему Ивану. В тот самый год, когда Григорий ходил на сплаи, был там и Конев. Большие денежки заколотил тогда мултанский куп... чец Федор Буграш, а со сплавщиками рассчитался только наполовину.

«Сплошной убыток у меня,— жаловался он тогда сплав... щикам,— верьте не верьте, рассчитываться нечем. Придется уж дома кое-что распродать, тогда и рассчитаюсь с вами сполна».

На другой день чулымские и аныкские сплавщики сидели в чайной у пристани. Туда, запыхавшись, прибежал откуда-то Иван Конев. «Буграш на пристани товар грузит. Обманул он нас».

Сплавщики гурьбой двинулись на пристань. Уже вечерело. На пристани, над тихой Волгой, разразился скандал. Высо...

ный, сильный Конев схватил Буграша за грудь: «Обманул нас! На наши денежки товару накупил? Отдавай заработанное!» — «В Волгу его!»

Боясь, что и в самом деле его бросят в Волгу или прибьют, Буграш выдал сплавщикам еще по толике, лишь Ивану Коневу не дал ни копейки.

Тем летом Иван раз десять ходил в Мултан к Буграшу за деньгами и каждый раз возвращался с пустыми руками: то денег нет, то хозяина нет. Наконец Буграш рассчитался: отвесил ему три фунта сахару, налил три большие мерки керосину и дал еще деньгами два рубля. Все это Буграш делал не спеша, молча, ни одним движением не выказывая, что он мстит. Взвешивая сахар, он взял один кусок обратно и разломил его пополам — мол, перевесил. Конев возмутился: «И это все за мои труды?» А тот совершенно спокойно ответил: «Я же не силком, я же не навязываю тебе, Иван. Не хочешь, не бери».— «Так ты же мне должен семь рублей, а даешь вместе с товаром только на три»,— еще больше возмутился Иван. А Буграш так же спокойно заметил: «По столько будешь зарабатывать, скоро разбогатеешь».

Плюнул Иван в лицо Буграшу и ушел. А Федор хоть бы что, утерся белым холщовым фартуком, вышел из лавки, посмотрел вслед широко шагавшему Коневу, еле заметно улыбнулся и сказал про себя: «Вперед умнее будешь. Знай, с кем тягаться, голодранец».

Сейчас Быков бередил давнюю рану.

— Так ведь было? — спрашивает он у все более хмелеющего Ивана.— Такую обиду до самой смерти не забудешь. Он тебя не пожалел, и ты не жалей. Землю добудь себе, тогда и ты будешь настоящим хозяином. Жизнь, брат, один раз человеку дается, потому ты зубами вцепись в нее. А сейчас ты разве живешь? Разве это жизнь?

В самом деле, вся жизнь Ивана — это ежедневная, ежечасная забота о хлебе. Четверо детей, мал мала меньше. Правда, сам он слыл за силача, но тяжелая работа на кулаков надорвала его здоровье. И сейчас он походил на сломленный ветром дуб.

Каждый год, когда начинало вокруг зеленеть, у Ивана появлялись новые надежды на лучшую жизнь. День и ночь гнул он спину, думая достичь своей мечты, но потом снова наступала осень, а с ней слякоть, холод. Глядишь, а у Ивана даже на зиму дров не запасено — все некогда было, на чужих работал.

Точно червь, точил его душу Быков. Земля! Вот она, вспа-

хлиная широкими пластами, жирная земля! Вот они, с
шие сполы, вот они, склонившиеся под тяжестью з
лосья!

Кружится хмельная голова Ивана, и перед глаз
него, застилая все остальное, стоит один тучный ржа

Земля!..

На другой день Быков и Даша пошли в амбар раз
в мешки семенное зерно. Когда наполнили мешка
Быков высыпал из лоток с пуд муки и сказал Даше:

— Ты отнеси это матери. Без хлеба, поди, сидит. И з
надо бы помочь... Вот кончу свое, пошлю батрака,
и рам. Ты там долго не задерживайся, сама видишь, т
уже не работница. Чем батрачку брать, живи у нас,
жу, не чужая.

«Чего это он юлит? — подумала Даша, ссыпая в
чек муку с лотка.

Еще больше удивил Быков своих батраков: одного
пахать Дашиной матери, а другому разрешил дня два пах
свою землю и даже дал лошадь.

Так под разными предлогами Быков спровадил из
лишних людей. Оно лучше, когда меньше глаз.

Под вечер пришел Иван Конев еще раз договари
пасчет лошади. Быков завел его в хлебный амбар и,
на мешок с мукой, сказал:

— Бери. Унесешь на себе?

— Это взаймы, Савватеич, или за отработку? — сп
Иван.

— Там видно будет. Пока дают — бери. А ну, если
работяга ты, за тобой не пропадет. А позднее прих
ня к тебе разговор есть...

Пришел Иван. И снова Быков понес ему чушь
Теперь он прямо сказал, зачем пожаловал ему целый
муки.

— Вот ты что надумал, Савватеич! — медленно п
ясь, сказал Иван.

— Ну, ты садись, не кипятись. Не камни горочать
ляю. А не хочешь, дело твое, неволить не буду, да и
ник я, чтобы неволить. Я тебя жалеючи... А сесть
понимаешь, как хочешь. Живо обратно неси муку. На
дело я любого за пуд муки найду.

Стоит Иван, словно воришка, пойманный на месте
нести бы обратно этот злополучный мешок муки и
ечу посреди двора, да жена из этой муки уже
тесто. А потом — что сказать дома, как объяснить?

— Эх, Савватеич! — вздохнул он.— Вот, оказывается, какой ты... Сволочь ты, вот кто!

Вавешенный Быков вскочил со стула, но быстро взял себя в руки и тихо, но угрожающе произнес:

— Это так ты меня за мою доброту? — голос его дрожал от гнева.— Кипятишься, Иван, не помнишь, что говоришь. Еще раз повторяю: я тебя не неволю.

— Неволь не неволь, а жизнь наша есть неволя,— вздохнул Иван.— Попадешь к вам в лапы, все равно что муха в паутину: бейся не бейся, не выберешься...

В этот же день Быков переселил жену на верхний этаж.

«Водит кого-нибудь, кривой черт»,— думала Марья, не зная истинной причины уединения мужа. И не ревновала она, нет, а боялась, что муж прогонит ее. Куда пойдет она, если муж прогонит? Останется только с сумой пойти. Но и с сумой надо много ходить, особенно в такой тяжелый год, а сил-то нет. И жила Марья, как собака, привыкшая к хозяину,— бьют ее, пинками выгоняют из избы, а она опять ласкается к хозяину, трется у его ног, жалобно смотрит ему в глаза.

Не могла она заснуть, тревожные думы роились в голове.

Не спал и Быков, оставшийся ночевать внизу. Лежа на спине, он смотрел в темноту и думал. Не о человеческом взаимоотношении думал, а о том, как бы разорить мултанского купца Бугрина. Верный путь — это подкинуть труп в маслобойку Бугрина, тем более что она у него на отшибе, и ближе села, на поле. Быков в уме подсчитал купеческое добро, которое может ему достаться за бесценок.

«Ах, если бы все это было в моих руках! Я бы вплотную занялся капиталом. У меня, как у елабужского купца Стахеева, свои бы пароходы ходили по Каме». С такими радужными мечтами он заснул.

Полночь.

— Тук-тук-тук...— стучат в окно нижнего этажа.

«Так и есть, чуяло мое сердце». Марья на цыпочках подошла к окну.

Дин-дин-дин...— звенит окно.

Марья, переборов страх перед мужем, по внутренней лесенке спустилась вниз.

— Миша, кто-то стучится к нам.

Кривой не слышал, он крепко спал, и снилось ему, будто стоит он на палубе большого красного парохода. Быстро идет пароход. На берегу живописно раскинулись пристани, леса, села. Вот он, прогуливаясь по палубе, встретился с красивой девицей. Сначала она была похожа на сестру волостного

старшины, а потом вдруг обратилась в большую черную со-
баку и прыгнула в воду. Быков посмотрел за борт, но собаки
уже не было, а вместо нее увидел впереди большой пло-
Он все ближе, вот-вот столкнется с пароходом. На пароход
пробили склянки: дин-дин-дин...

— Миша, умер ты, что ли?

— А? Что?

— Стучат, говорю. Того и гляди окно разобьют. И какой
это леший ночью бродит?

— А-а... да, да... Иди. Иди. Кто тебя сюда просил? Везде
нос свой сунешь.

— Оно, конечно... сделал меня никудышной, теперь не
нужна. Спасибо тебе!

— Иди! — прикрикнул он на жену и пошел отворять.

Вошел Иван.

— Ну что? — встретил его Быков.

— Не вышло, Михайла Савватеич. У казенного леса ка-
раулил. Вернулся уже совсем в темноте. Под вечер они про-
ходили там, сначала двое, а потом втроем. Котомки у всех
почти пустые, видно, плохо подают.

— Я у тебя не про котомки спрашиваю,— скрипя зубами,
Быков схватил в темноте Ивана за грудь.— Ты что... Дура-
чить меня вздумал? Не выйдет, Иван! Верни муку! Четыре
пуда... завтра же... Не вернешь, дом разнесу, все до бре-
нышка продам.— Потом, немного успокоившись, примиритель-
но сказал: — Если один не можешь, найду тебе помощника.
Пойдешь с Яшкой. Я сам с ним поговорю. Завтра под вечер
идите к мельнице, они обычно заходят туда, а оттуда идут
лесом в Чулью. Труп отнесите в маслобойку Бугрыша.

— Завтра воскресенье, Савватеич, грех большой...

— Все дни божьи, Иван, и будни, и праздники. Ну ла-
но, завтра видно будет. Если надумаю, Яшка придет к тебе.

Ярко светило весеннее солнце. Переливаясь золотом, го-
рели кресты на мултанской церкви. Далеко разносился звон
колоколов. По дорогам в Мултан шли и ехали люди из бли-
жних деревень — в церковь и на базар. Но базар в этом году
был не тот, что прежде: не было лишне торговцев из-за Вят-
ки с калмыжской стороны, не было конского торга с цыганами.
Мало народу собралось на базаре. Зато в церкви было бит-
ком набито: народ, напуганный неурожаем, молил бога об
урожае.

Лучше показалось Федору Бугрышу в церкви. Он вышел

дорогу, поднял несколько камешков, бросил их за железную решетку церкви и отряды и сел на знакомый с детства дубовый пень. Сидит и подсчитывает, сколько останется выручки от продажи свечей. Не так давно Буграш привез две тысячи штук. Каждая свечка обошлась ему в полкопейки, а продает он по копейке. За месяц — всего десять рублей барыша. Напрасная трата времени. Не пустить ли по две копейки? Пожалуй, слишком дорого. Разговоры пойдут. Свечи в церкви сгорают только наполовину. Огарки Буграш отдает просвирне на выделку новых свечей. Положим, из них она сделает шестьсот штук. Значит, шесть рублей. Рубль просвирне за труды. Остается пять рублей. В месяц пятнадцать рублей барыша, а если считать за год, близко к ста восьмидесяти целковым. Пуд муки двадцать копеек. Сколько же пудов получается? Долго считал Буграш и наконец нашел верный ответ: девятьсот пудов муки. Да ему еще, как церковному старосте, кое-что перепадает от пожертвований. По мере того как цифры росли, в настроении Федора происходил заметный перелом. Оказывается, и грошовая свечка не шутка.

Сидел Буграш, подсчитывал, а прихожане шли в церковь и снимали перед ним шапки.

Звонкое ржанье прервало его подсчеты. У коновязи, бренча наборной упряжью, остановил своего огненно-рыжего жеребца Быков. В легком тарантасе рядом с ним, опустив ноги на подножку, сидел староста Бектэмыр. Он был в зипуне, сшитом из тонкого домоткаиого сукна, воротник и рукава отороченьг черной кожей, фуражка тоже кожаная. Бектэмыр снял фуражку, трижды перекрестился и вошел в церковь. Быков, привязав жеребца прочной цепью к коновязи, направился было за Бектэмыром, но заметил Федора и остановился.

— А, Федор Семеныч! Подышать свежим воздухом вышел? Хорошие деньки стоят! Ну, как живем-можем?

— Не так хорошо, Михайла.

— Это почему же?

— Жена больна. Не то сеять, не то с ней возиться. На сев двух человек нанять нужно. Сам хотел за товаром, да нельзя, видно. Сына бы послать за товаром, но молод, несмышлен в торговле, а старший, видно, ученым хочет быть, учится,— не спеша говорил Буграш.

Быков громко рассмеялся.

— Послушать тебя, так и в самом деле подумаешь: мало, мол, человека. Сколько же у тебя сейчас батраков? Пятеро?

— Работы много, не поспевают. Сегодня вот с утра работать надо. А грех-то не их, а мой. И сегодня снова ночью в дозор выходить надо. Везде самому надо. Нет, никак нет.

— Ох, и скряга же ты, Семеныч! Что, тебе трешницы жаль караульщика нанять? — укорил его Быков.

— Не деньги жалко. Люблю в ночной караул ходить. Все спит, везде тихо, один не спишь, ходишь, думать можно.

— Чудной ты, Семеныч,— засмеялся Быков.

А сам подумал: «Вот удобный случай. В маслобойке Бугрина обнаруживают убитого человека в ту самую ночь, когда в ночном карауле был сам Бугрин». А потом его вдруг осенила простая догадка: «А если маслобойка не работает? Ведь тогда бог знает сколько времени не обнаружат труп». И чтобы узнать точнее, он спросил:

— А что это у тебя, Семеныч, маслобойка-то, кажется, стоит?

— Сеять надо, маслобойка стоит, Савватеич. Толку от нее никакого. Пойдем в церковь. Народ богу молится, а мы тут...

Войдя в церковь, Быков купил дорогую свечу, обвитую серебряной нитью, прошел вперед, к алтарю, и на виду у всех поставил ее перед Николаем-чудотворцем. Молился Быков, вместе со всеми усердно отбивая поклоны, а в голове неотступно сверлило: «Не работает маслобойка. Так и через месяц не обнаружат. Или сам же найдет да потихоньку ночью куда-нибудь забросит. Ага, вот что: на другой день пошлю в Мултан Якику с собакой. Он объявит старосте, скажет, что собака учуяла». Найдя наконец выход, Быков облегченно вздохнул. Вскоре он вышел из церкви. Чтобы не заметен был его поспешный отъезд, немного походил по базару, потом торопливо отвязал коня и поехал домой.

Иван Конев, хоть и было воскресенье, с самого утра чинил изгородь. Северной стороной его огород примыкал к проезжей дороге. Здесь прясла приходилось обновлять каждый год: заедают осями. Вот и сейчас Быков, проезжая на сытом сумасшедшем рыжем жеребце, выворотил из земли только что поставленную новую подпору. Остановив разгоряченного коня, он окликнул Конева:

— Иван, приходи-ка ко мне, да поживее! Не задерживайся, буду ждать.

Жеребец, скосив огненные глаза, рванул в сторону и

...ресс за угловым домом. Давно уже не слышно было стука ...лес, а Иван все еще стоял, погруженный в глубокую думу. Ни...е поднимется у него рука на убийство. Но чем он вер...ет долг Быкову?.. Тяжело опустив голову, зашагал он к ...тому ненавистному человеку, и вдруг его обожгла мысль, что на этого негодяя поднялась бы у него рука, даже не дрогнула бы!

Вернувшись домой, Иван не находил себе места. То в огород выйдет, то у ворот постоит, то в дом войдет. Чувствовала жена, что творится с мужем неладное, хотелось ей как-нибудь подбодрить его.

— Что это ты как потерянный ходишь, Иван? Слава богу, дети теперь сыты. Вот доживем до нового урожая и как-нибудь расплатимся.

— Убирайся с глаз долой! — крикнул он на жену.— Наплодила полную избу... Теперь вот корми вас...

Первый раз в жизни попрекнул Иван свою жену детьми. Если бы такие упреки бывали и раньше, может, не так обидно показалось бы Анне. А то жили, жили... и... вдруг такое! В горле комом застряла обида, слова не могла она вымолвить, тяжело опустилась на большой камень перед амбаром и горько заплакала.

— Господи, почему ты не видишь нашу бедность?! — причитала Анна, сетуя на свою судьбу.

Вечером, в сумерки, к Ивану пришел Яшка Дроздов. По задворкам, по выгону, потом по лугам пошли они в сторону казенного леса, к мельнице, спрятавшейся на опушке, в густом ольшанике.

Жуткая тишина стояла в темном лесу. Казалось, позади крадется за ними какое-то черное чудовище, вот-вот схватит и начнет душить, оскалив длинные зубы.

И вдруг тишину леса нарушил леденящий душу крик филина: о-хо-хо-хой! Долго звучало еще эхо.

8

В воскресенье Даша поднялась рано, достала из старого сундука белое ситцевое платье в синий горошек. Очень шло ей это платье, но Даше не нравилось, как оно сшито. Она вышла в сенцы, думала вместо зеркала глянуть на себя в ведро с водой, но ничего не увидела. Снова вошла в избу и, встав на стул, стала смотреться в потемневшее от времени стекло шкафа. Хотя стекло снизу и разбито, все же Даша

увидела себя почти до пояса. Нет, не нравится ей это платье, очень уж обвисли плечи. Другое бы надеть, но нет у нее другого, и этого не было бы, если бы не подарила тетя.

Пока Даша разглядывала себя, вошла мать. Посмотрела на дочь, и вспомнились ей девичьи годы. Теплой улыбкой озарилось ее лицо, но она напустила на себя строгость и начала ругать Дашу:

— Опять, как сорока, вертишь хвостом! И все бы тебе наряды. И в кого ты только такая? Мы в домотканых ходили, но честь свою знали. Я вот весь свой век на сухом хлебе прожила, зато, слава богу, не мочила хлеб слезами. Тетя хоть за богатого вышла — а как живет? Глаза не высыхают. А была такая же красавица, как и ты. Ей только нынче осенью тридцать исполнится, а на кого похожа! Одной ногой в могиле. Все нутро отбил ей кривой лиходей. Сердце, видно, у него каменное.

Даша стыдливо слезла со стула. А мать села к столу, подперев ладонью щеку, и грустным голосом продолжала:

— Ох, дочка, дочка! Живем мы... Чем так жить, лучше умереть. Придется, видно, заколотить окна и пойти просить Христа ради. Хоть бы ты не заставляла меня печалиться. Вон как красуешься, не любо мне это, Дашенька. Смотри, не докрутись, как бы пояс наставлять не пришлось...

— Что ты, мама!

— Я тебя не худому учу, дочка. У тебя еще ум — что платок на ветру. Не верь парням. Они тебе золотые горы и обещают. А который полюбит, подождет венца. Дочерей богатеев и с позором берут, а у нас не на что польститься. Да, чуть не запамятовала, доченька, не забудь попросить у тети семян льна. Если и льна не посеем, совсем голыми останемся... Снимай платье-то, хватит, налюбовалась.

— Я же к тетке иду, мама.

— Завтра пойдешь. Пока ты дома, хоть в церковь схожу, а то больше месяца не была, скоро и бога забуду.

На другой день Даша рано вышла из дому, огорченная тем, что мать не дала ей надеть платье в горошек. Но обида быстро прошла, молодость переборола и горечь и обиду. Да и весна радовала своей яркой зеленью и первыми цветами.

Идет Даша по полю, широко размахивая руками. Как легко и вольно дышится! В голубой вышине звонко поют жаворонки. Волосы ласкает ветер, и таким же легким ветерком носятся Дашины мысли, не зная куда пристать.

Этой весной Даше исполнилось семнадцать. Вместе с вешними потоками весны, вместе с первыми цветами без

спроса, без стука вошла в сердце не то радость, не то печаль, заставляя ночами беспричинно плакать. А о ком, она и сама толком не знает. Много парней и в своей деревне, и в Аныке, но ни один не по душе Даше: то ростом мал, то рыжий, то курносый.

По тропинке от Чульи до Аныка всего четыре версты. Сначала чульинскими лугами, потом мултанским Новым полем, вклинившимся в чульинские земли, а там лесом. Нешироко он здесь — до мельницы всего с полверсты, но места тут болотистые и почти до самой мельницы тянется гать. А там, за мельницей, на взгорье уже виден Анык.

Даша шла чульинскими лугами.

В стороне от тропинки стоит старая кудрявая береза. Летом девушки плетут под ней венки из купав, водят хороводы, стараясь встать рядышком с любимым парнем. А Даша?

Прошлой весной на мултанском базаре аныкский Яшка Дроздов угостил Дашу разноцветными пряниками. Яшка — красивый! Черные волосы непослушными кольцами выбиваются из-под картуза. Широкие, размашистые брови...

Живет он при отце, не знает ни нужды, ни горя. В праздники носит суконные шаровары, атласную рубаху, сапоги гармошкой. Наденет набекрень картуз с блестящим лаковым козырьком, идет по улице, задрав голову, небрежно лущит семечки, словно красивее его нет на свете парня.

Он-то знает, что многие девушки тайком вздыхают по нем, тайком ревнуют его друг к другу, а потом тайком же где-нибудь в сарае, уткнувшись в душистое сено, горько оплакивают свой позор. Избаловали они его. На что ему девушки из своей деревни! Есть у него на примете одна чульинская, глаза, точно васильки... «Не ускользнет и эта»,— думал он про Дашу.

Лишь одна забота есть у Яшки — гармонь. А купить — денег нет.

«Разобью! В щепы растопчу!» — кричит отец, когда Яшка заикается о гармошке.

Ну, теперь-то уж он не будет просить у отца: в хлебном амбаре под большим ларем денег у него спрятано побольше, чем на гармонь,— это Быков так расщедрился...

В думе о Яшке Дроздове Даша и не заметила, как дошла до леса. Босых ног коснулся холод. Тонут под ее ногами

тонкие, короткие бревнышки, а из под них выступала ... ная болотная вода.

Шагов триста прошла Даша по лесу и чуть не на ... на лежащего поперек гати человека. Она отшатнулась: ... ловек лежал вверх лицом, голова свесилась в болото, ... странно вытянулась, каштановая бородка торчала вверх. Даше показалось, что человек хочет крикнуть. И как раз в это время где-то вблизи глухо закричал лесной голубь: у... гу... уг-гу...

— Дядя, дядя! — испуганно позвала Даша, думая, ... на человека хворь напала. Но тут же поняла, что он мертв, и отскочила назад.— Мертвец!

Вернуться обратно? Но позади лес, страшно. Идти вперед — надо перешагнуть через труп. Зато впереди видна уже крыша мельницы, там — люди, а обратно до деревни около трех верст. С минуту постояв, Даша подняла подол платья и, холодея от страха, перешагнула через тело.

Бежит Даша, ног под собой не чуя, а холодная ржавая вода хлещет ее по икрам. Вот и Яшк, вот и теткин дом.

Внизу никого не оказалось. Даша поднялась наверх. Быков суетился у самовара. За столом возле тетки Марьи сидела Яшкина мать. До чего же она высокая, можно подумать, что стоит за столом, а не сидит. Даша смутилась, покраснела, ей почему-то показалось, что та пожаловала сюда не иначе, как с расспросами о ней. А она в старом платье, да еще забрызганном грязью, и босиком.

Когда вошла Даша, Быков вздрогнул. Последнее время он вздрагивал при каждом стуке, при каждом скрипе двери, ему все чудилось, что вот-вот войдет сам становой и спросит: «Кто здесь Быков?» Да и жена будто стала смотреть на него с подозрением, словно хотела спросить: «Чего это ты, Миша, так боишься?» В такие минуты она становилась ему еще ненавистнее. Хотя на преступление толкнул его сам прокурор, однако тревожно было на сердце у Быкова, он ждал неминуемой беды, и чтобы заглушить страх, часто наполнял рюмку. Надо же, в самом деле, успокоить душу. И сейчас шкал... уймет дрожи, вызванной приходом Даши.

— Ну, чего стоишь, как столб? — бросил он ей.— Иди садись чай пить.

На забрызганное платье Даши прежде всего обратила внимание тетка. Она подошла к ней и всплеснула руками:

— Ты что это, милая, в грязи, что ли, валялась?

— Ой, тетя, страх-то какой! — еле выдохнула Даша —

Там, за мельницей, мертвец... На болоте... Страшно! Я и сейчас не т дрожу.

— Пойдем вниз, смени платье. Коли умер, значит, смерть пришла.

— Ты, Даша, об этом молчи,— наставительно сказал Быков.— Видела не видела, не наше это дело. А кому надо будет, без нас увидят.

— А то начнут по допросам таскать,— вступила в разговор Яшкина мать.— Труп-то хоть сюда не возили бы. Страх как боюсь мертвецов.

— Ты, кума, тоже об этом помалкивай,— предупредил се Быков.— Затаскают, а уж больше всего того, кто первым увидел и услышал.

— Да, да, Михайла, твоя правда. И не видели и не знаем. Прощевайте пока.

10

Огород Быкова на задах полого спускается к речке. В конце огорода — сад, собственно даже не сад, а несколько больших старых ив, а вдоль изгороди до самых сараев разрослась черемуха. Когда черемуха в цвету, во всю длину огорода тянется белая стена.

Поздно вечером Даша укрывала ящики с капустной рассадой. Чего доброго, ударит мороз — и не оберешься беды. Она уже трудилась над вторым ящиком, когда кто-то схватил ее сзади за плечи. Дрогнуло девичье сердце, догадалась она, кто это мог быть.

— Не узнала? — спросил Яшка, осторожно поворачивая Дашу к себе.

Даша так смутилась, что даже слова не смогла вымолвить. Ведь первый раз встретилась она с любимым вдали от людских глаз — и теперь сама не могла понять, отчего так растерялась: от стыда или от радости. А Яшке к таким встречам не привыкать. Он взял Дашину руку и ласково произнес:

— Видно, правду говорят, что счастье на дороге не валяется. Вот и я тебя не то что на дороге, в огороде нашел!

— А чего же ты ходишь по бездорожью? — застенчиво спросила Даша, впервые посмотрев парню в глаза.

— Давно искал я, Даша, такой встречи. Пойдем посидим.

Они сели на старый улей, валявшийся под черемухой.

— Какой вечер! — вздохнул Яшка, видно, не зная с чего начать разговор.

Вечер и в самом деле был хорош. Пряный запах зелени смешался с терпким, пьянящим ароматом распускающейся черемухи. На верхушках старых ив заливались скворцы; казалось, среди них какой-то озорник нарочно каждый раз завершает пение продолжительным свистом.

— После той встречи в Мултане я все время думал о тебе. Вот и сбылась мечта. Эх, сидеть бы вот так всю ночь, до рассвета.

Даша молчала. Да и о чем она могла говорить? Не привыкла она к таким разговорам.

— Даша, ты чего такая скучная?

— Боюсь я здесь, пойдем отсюда.

— Боишься? Медведи, что ли, здесь? — засмеялся Яшка.

— Темно... мертвец тот все перед глазами...

— Какой мертвец?

— У верхней мельницы. Сегодня, когда сюда шла, видела. Ой, как страшно.

— Так мертвец-то ведь не здесь. Умер, ну и пусть лежит. Да ты и в самом деле дрожишь. Придвинься поближе ко мне.

Яшке и самому неприятен был разговор о мертвеце, его тоже охватил озноб. Он прижал к себе Дашу, и они долго сидели молча.

— Чего же ты опять молчишь? — близко наклонился Яшка к лицу девушки.

— Все о мертвеце думаю. Откуда и кто он? Наверно, семья была; может быть, дочь такая же, как я. Поди, ждут они, а он больше не придет.

— Какая семья у нищего!

Девушка вдруг отчетливо вспомнила и самого мертвеца и все, что было на нем и возле него: котомка, палка, старый зипун.

— Ты разве тоже видел? — спросила Даша.

— Откуда мне видеть? Я на мельнице не был сегодня.

— А откуда ты знаешь, что он нищий? — почему-то насторожилась Даша.

— Да это я так... к слову пришлось, очень уж много нищих.

Даша больше ни о чем не спрашивала, но ей в душу закрался какой-то непонятный страх. И вдруг все сомнения и опасения показались смешными, и, улыбнувшись в темноте, она прижалась к Яшке.

Он крепко обнял Дашу и поцеловал. Она не сопротивля-
...сь, а потом вырвалась, отбежала от него и прислонилась
к черемухе. Щеки у нее пылали, голова кружилась. Вдруг
она вспомнила слова матери о парнях-обманщиках, и какое-то
смешанное чувство овладело ею: и стыд, и любовь, и страх.
Что принесет ей этот вечер, этот первый поцелуй — счастье
или горькое разочарование?

— Яша... зачем это ты!..— И, не отрывая рук от лица, она снова полошла и прижалась к его груди.

«Любит»,— подумал он и сразу обнаглел.

Даша резко вывернулась и, не сказав ни слова, пошла прочь.

Он загородил ей дорогу.

— Даша, погоди... поговорим.

— Спасибо, уж наговорились.

Яшка схватил девушку и в наступлении, жарко дыша в лицо, тянулся к ее губам.

— Пусти!.. Кричать буду! — Даша снова вывернулась и побежала к калитке, ведущей во двор.

До самой полуночи сидела она в нижней комнате, облокотившись на подоконник. По щекам текли слезы. Горькая обида щемила сердце. Так ли думала она встретиться с любимым?

Тихо скрипнула калитка. Во двор кто-то вошел. Даша прильнула к стеклу, но в первую минуту ничего не могла различить в темноте. Зять дома, наверху только что слышны были его шаги. Кто же это бродит тут в полночь? Она подошла к другому окну Кто-то стоял на крыльце. Сердце ее дрогнуло. Неужто Яшка? Наверно, пьяный... Говорят, когда он пьяный, совсем бывает дурной. Зачем он пришел сюда? Какой стыд! А вдруг мама узнает? Надо выйти, будь что будет, может, она сумеет его уговорить. Даша уже шагнула было к двери, но, вспомнив, как он вел себя в саду, остановилась.

Вверху в сенцах зазвенел колокольчик. Кто-то стал спускаться вниз. Зять, конечно. Наверху, кроме него, никого нет. На двери звякнул железный крюк. Теперь двое стали подниматься наверх. Дашей овладело страстное желание во что бы то ни стало узнать, кто пришел. Чтобы не разбудить детку, Даша стала осторожно подниматься по внутренней лесенке, пока голова ее не достигла проема.

Затаив дыхание, слушала она шепот наверху. Часто-часто билось у нее сердце; кажется, даже было слышно, как оно стучит.

— А Самара придет? — ясно различила она голос Быкова.

— Не звал,— ответил Быков.

Зазвенела посуда. И снова Яшкин голос:

— Черт-те что за человек, точно баба.

Булькнуло что-то и послышалось бульканье.

С минуту было тихо, потом Яшка крякнул.

— Черт-те кого нашел ты мне в товарищи, Савватеич! Наверно, и на двор ночью жена провожает. Как теля. Сидим, значит, мы с ним в ельник, силим. Самара дрожит, как в лихорадке. Сами себе, говорит, тюрьму ищем. Сидели, сидели мы весь вечер, хоть бы один нищий прошел. Зло берет, а тут еще он все уши прожужжал: пойдем да пойдем, к... домой. Нет, говорю, до утра будем сидеть. Рано утром, с... до солнца, от мельника вышел нищий. Взял я кол и го... Самаре: ты иди сзади, а я пойду ему навстречу. Смотри, говорю, если побежит, не зевай. Быстро забежал я лесом в... ред и тихонечко иду. Смотрю — что за оказия! — нищий ле... жит на дороге и корчится. Неужели, думаю, Самара ко... А изо рта у него пена, глаза выкатились, черт-те что с ни... творится. Посмотрел я кругом — никого нет. Тут уж раз... мышать некогда было, схватил я его за глотку... Только... теперь ночами бояться буду, глаза уж очень страшные... до сих пор в дрожь бросает.

— А Иван? — спросил Быков.

— Так у мельницы и просидел. Господи, говорит, что я наделал, Яшка? Что теперь будет? Пойдем, говорю, затащим его в лес, а ночью отнесем в Мултан. Ни в какую не... Тебе же, говорю, Савватеич уплатил, наверно, а ты на г... вом не хочешь помочь. Ладно, говорит, помогу. Хотели с... уже идти, вдруг видим — мельник ходит тут, вдоль реки... лы смотрит. Так и пришлось оставить...

— Мельник не видел вас?

— Кажись, нет.

— А голову куда дели?

— Какую голову?

— Разве Иван ничего не говорил тебе? Я же ему русским языком объяснил: голову отсеките и куда-нибудь подальше забросьте.

— Ничего такого не говорил он.

— Тьфу! — плюнул Быков.— С кем только я связался. Подведет, паршивец.

Они спустились, и Быков со свечкой зашел на кухню, что-то там искал. Потом они оба с Яшкой вышли из дома.

В темени ночи торопливо шагали два человека. Вот они

...решили плотину и мимо мельницы направились к настилу ...л болоте, где лежал труп нищего..

О-хо-хо-хой!.. Страшно закричал филин.

Спускаясь с лесенки, Даша что-то уронила.

— Кто там? Даша, ты? — спросила проснувшаяся Марья.

— Я, тетя.

— Не ушиблась в темноте, Дашенька? Я тебе на бокопых нарах постелила. Тут, за перегородкой, клопы не дадут спать, сама-то я привыкла.

Пробираясь в темноте, Даша уронила самоварную трубу.

— Постой-ка, я огонь засвечу.

Марья встала, зажгла свечку и, уложив Дашу, села на край ее постели. Долго сидела она, сетуя на свою тяжелую долю:

— Всего лишь тридцатый год пошел мне, Дашенька, а никто меньше пятидесяти не дает. В богатстве живу. А чего хорошего видела? Бьет он меня, Дашенька, в могилу хочет загнать. Когда пьяный, совсем звереет, куда попало, все нутро отбил. Не жилица я уж, помру скоро. Перед смертью одежду тебе откажу, больше мне некому.

Жалко стало Даше тетку. Она села на постели и голосом, полным неподдельного страха, сказала:

— Убьет он тебя, тетя! Убили же они нищего.

— Дашенька, что ты говоришь? Опомнись. Какого нищего? Кто убил?

— Зять... с Яшкой Дроздовым.

— Бредишь ты, Даша.

— Истинный Христос, тетя! Своими ушами слышала. Они сейчас куда-то ушли.

— Несуразное говоришь. Зачем им убивать нищего? Спи, глупая.

Хоть и не поверила Марья, а все же встревожилась. Не спалось ей, все ждала, когда вернется муж. И Даша тоже не могла заснуть. Ей чудилось, будто видит она, как Яшка душит нищего. А вот и зять — страшный, взлохмаченный, руки у него волосатые, в крови, и эти руки тянутся к лицу Даши... В страхе она укрылась с головой.

Рано утром Быков собрался в поле. Как только он уехал, Марья пошла в амбар, насыпала в узкий мешок семян льна и, перевязав мешок пополам, всыпала туда еще овсяной муки. Оглядываясь, Марья внесла мешок в избу.

— Это, Дашенька, семена, а сверху немного овсяной муч-

ки насыпала. Ты отпеси пожившее. Постарайся до обеда вернуться, а не то Миша спохватится.

Даша через сад вышла на дорогу. Шла она и старалась по порядку восстановить в памяти все, что слышала ночью. Временами ей казалось, что это был сон. В голову назойливо лез тетин вопрос: «Зачем им убивать нищего?» Но ведь бывают и нищие с деньгами. Даша не раз слыхала рассказы о том, как люди с большими деньгами рядятся нищими, чтобы в пути было безопасней.

Строя разные предположения, она быстро дошла до мельницы. Перейдя плотину, долго стояла в раздумье — идти ли прямо через болото или вдоль речки, через Мултан. Но через Мултан очень далеко, целых семь верст будет, а тетя наказала до обеда вернуться. А может, убрали уже мертвеца? И чего ей бояться? Что может сделать покойник? Вчера ведь ничего не случилось. Перешагнуть — и все! А у самой сердечко вот-вот выскочит. Пройдет шагов десять, остановится, постоит, опять пойдет. Вот уже то место... Обойти бы мертвеца, но кругом болото, по обе стороны гати вода, местами черная, местами ржавая.

Шла Даша и старалась не смотреть на мертвеца, но глаза против воли нет-нет да и заглядывали вперед. Сначала она увидела ноги, обутые в лапти. До мертвеца оставалось шагов десять, не больше. Ну пусть она видит ноги, лишь бы лица не видеть. Но глаза ей не подчинялись, и она все-таки посмотрела туда. И окаменела от ужаса: мертвец был без головы! Не помня себя, Даша дико вскрикнула. Из болота в испуге выпорхнула какая-то пичужка, Даша, как одержимая, бросилась в сторону и по колени в воде, цепляясь за прошлогоднюю болотную траву, кое-как обошла труп. Чуть не увязнув, вылезла на гать и что есть мочи побежала.

На опушке она повстречала своего односельчанина — старика Мартемьяна. Старик посмотрел на ее забрызганные грязью ноги, мокрое платье и удивленно спросил:

— Ты что это, девка? Гнался, что ли, кто за тобой?

— Там страшно, дедушка,— указала Даша в сторону болота.— Мертвец лежит, без головы.

— Какой мертвец? Как без головы? Почудилось, поди?

— Нет, не почудилось. Сходите, посмотрите, он тут недалеко.

— Пустое говоришь, девка,— отмахнулся от нее старик.— Мертвец-то может быть, а чтоб без головы — это уж ты что-то того.

Старик хотя и не поверил Даше, но чем ближе подходил

к указанному месту, тем больше его охватывала дрожь и по всему телу забегали муравьи. Труп Мартемьян увидел издали, но никак не верилось, чтобы он был без головы. Но когда подошел ближе, увидел все своими глазами. Старику почудилось, что редкие волосы на его голове стали медленно подниматься. Он начал истово креститься и попятился, часто повторяя:

— Свят, свят...

Бледная, растрепанная, вся в грязи прибежала Даша домой. Мать у амбара выбивала пустые мешки. У ее ног копошились три курочки. Даша подбежала к матери, чуть не растоптав кур.

— Что ты, очумела? — сердито крикнула Варвара, но, увидев смертельно бледное лицо дочери, и сама испугалась.— Что с тобой, Дашенька? На тебе лица нет... и вся в грязи. Где это ты так?

— Мама, там у мельницы мертвец... Я вчера видела его. Вчера еще голова была, а сегодня — без головы. Это зять убил его... с Яшкой Дроздовым. Я сама слышала, как они мешались.

Варвара слушала, широко раскрыв глаза, и не могла понять толком, о чем говорит дочь.

—Что ты мелешь, доченька? Кому нужна голова мертвеца? Померещилось тебе, что ли?

— Нет, мама. Я мимо шла... Я прошлой ночью своими ушами слышала, о чем они говорили.

Варвара с минуту постояла молча и, видимо, начиная верить дочери, сказала:

— От него, от кривого, всего можно ждать. Ладно, доченька. Недаром в народе говорят: «Пусть глаз видит, да язык не знает, твои уши слышали, чужим дела нет».

Она вошла в избу, вынула из печи чугунок картошки и поставила на стол.

— Сними скорее платье да поешь-ка вот горячей картошки.— И она сама присела к столу и снова заговорила: — О мертвеце молчи, доченька, узнают, что видела, жизни будешь не рада. «Сухой бедой» называют это. Найдут в чьей-нибудь деревне или на чьей земле мертвеца или убитого, беда бывает в той деревне, затаскают становые и урядники. В тот раз, как я вышла замуж, у дедушки твоего на печке старик помер. Ну и беда была, совсем затаскали его. Телку продал, сруб стоял для амбара — тоже продал, руки на себя наложить хотел, вот до чего довели, собаки, становые да

урядники. Такая она, «сухая беда», Дашенька. Упаси б г от такой напасти. Молчи, никому не сказывай, что видела.

— А я уже сказала, мама.

— Сказала? Господи! Когда же ты успела? Кому сказал.

— Старику Мартемьяну. Когда я выбежала из лесу, и встретился мне. Где это, говорит, ты, девка, выкупалас Я и рассказала. Я только о мертвеце, а о зяте ничего не говорила.

— Сказала бы уже и о зяте, дура. Ох, какая ты еще дура! Когда только ума наберешься? А было у нас еще и т... кое...

Даша сначала слушала, не желая обидеть мать, потом, видя, что воспоминаниям не будет конца, сказала:

— Мама, тетя велела мне к обеду непременно вернуться. Семян-то она тайком от зятя дала. К обеду приедет он с пашни, а меня нет.

— Чего же ты молчала? Ступай, старайся, доченька, работай. Зятя слушайся, может, не даст умереть нам с голоду. Ох, житье наше горемычное! Работай, работай, а заработанное по горсточке украдкой домой носи.

В Анык Даша вернулась хоть и другой дорогой, но задолго до обеда и рассказала тете, что мертвец лежит на том же месте, но без головы. Не пропустила она ни единого слова и из того, что слышала прошлой ночью.

Теперь-то уж Марья не могла не поверить. Когда муж с двумя батраками приехал обедать, она сразу заметила, что на нем не та рубаха, что была вчера, да и штаны, кажется, другие. А главное — никогда не случалось, чтобы он чистую рубашку и штаны сам разыскал.

Марью весь день преследовала одна мысль: сказать или не сказать мужу о слышанном? Если сказать, изобьет до смерти. А может, испугается, что она донесет, и перестанет бить?

Вечером Быков вернулся поздно. После ужина, когда батраки ушли спать в баню, Марья решилась все-таки поговорить с мужем.

— Миша, как бы нам [illegible] не нажить, — несмело начала она.— Что-то сердце болит у меня. Горе накличешь. Мне что, мне скоро помирать, на свою голову накличешь. Зачем вы убили его?

Сказала Марья, а сама, ожидая оглушительного удара, вся сжалась.

Муж сидел на пороге и разувал лапти. Единственным глазом он испуганно посмотрел на жену. Потом размотал пор-

[illegible] Быков, разутый направился [illegible]. Он был на него смотреть: волосы взлохмачены, [illegible] шеки, из-под расстегнутого ворота вилка [illegible] место правого глаза черный кружок кожи.

— Маша, не бей... — вся дрожа, попятилась Марья.

— Откуда узнала? — прохрипел Быков.

Маша растерялась, вопрос застал ее врасплох. Она по-[illegible] не думала раньше, что должна будет назвать [illegible].

— Кто сказал? — жарко дохнув в лицо Марье, снова спросил Быков.

— Кроме нас с Дашей, наверно, никто еще не знает...— неопределенно сказала она.

— Где Даша?

— Корову доить ушла.

Быков взял жену за руку выше локтя. Думая, что муж собирается ее бить, Марья опять сжалась в жалкий комочек, но он спокойно сказал:

— Садись, давай рассказывай по порядку: откуда и как вы узнали?

Марье некуда было деваться. Пришлось все рассказать. Быков долго сидел молча, потом заговорил:

— Скажи Дашке: пусть язык за зубами держит, а не то все зубы выбью и ей и тебе!

До самого рассвета не мог уснуть Быков. Вот свои уже узнали, так же узнают и другие. А может быть уже знают. Яшка не скажет. А Конев?. На какое дело толкнул прокурор, будь он проклят! Ему что — сказал и уехал. Коли начнут таскать, жалуйся не жалуйся на него, все равно не поверят. Если допросы начнутся, Дашка забоится, все расскажет. А может, она только и ждет, чтобы его, Быкова, в острог отправить. Что-то надо с ней сделать. Убить... Невзначай... Мало ли чего в хозяйстве не бывает: упадет человек с сарая на вилы — и конец...

Лежал кривой и думал, как лучше убить Дашу.

А на другой день, когда Даша собирала ужин, пришел Яшка. Быков еще на поле наказал ему прийти. Вздрогнула Даша и чуть не выронила из рук чашку. У нее теперь к Яшке, кроме страха, ничего не осталось.

— Садись, Яша,— пригласил его Быков, постукивая указательным пальцем по закипавшему самовару.— Как раз к чаю угодил. Даша, сбегай-ка принеси из погреба капустки, с соленым зельцом не грех по рюмке пропустить. Так, что ли, Яша?

— Капуста вичерашняя еще осталась,— сказала Даша, поняв замыслов зятя.

— А ты свеженькой принеси.

— Темно уже, боюсь я в погреб идти.

— Так бы сразу и сказала. Яша, или проводи ее, трусиху.

Услышав это, Даша схватила первую попавшуюся под руку тарелку и быстро вышла. Куда и страх пропал! Только не с Яшкой.

Оставшись в избе вдвоем, Быков сказал Яшке:

— Иди. Какой же ты разиня. Нарочно послал в погреб, если и кричать будет, никто не услышит... Потом и не дашь веревки ей. Если мы ее в руки не возьмем, подведет она нас под монастырь. Иди.

Тяжело было Яшке. Впервые в него заползла какая-то непонятная тоска. До сих пор он не знал, как это вот тосковать по девушке. А вот Даша сбила прыть. Понял, что ее ни силой, ни красным словцом не возьмешь. Да и не думал он об этом больше, мысли о Даше у него были связаны теперь с мыслью о женитьбе. Он пойдет к ней, чтобы душу раскрыть, он даст ей твердое слово, что больше не будет к ней приставать, как тогда, и что он хоть сейчас, хоть сию минуту готов на ней жениться.

Он постоял у калитки под сараем и вышел в огород. Тут же, влево от калитки, за сараем, погреб, крытый, в виде шалаша, липовой корой.

Даша уже подняла крышку погребной ямы, но, увидев Яшку, быстро вышла наружу.

Парень загородил ей дорогу.

— Даша, погоди... поговорить бы надо.

Она хотела молча пройти мимо, но он схватил ее. Вырвав тарелку, Даша вырвалась, но он поймал ее и прижал к стене сарая.

— Уйди, убийца!.. Завтра же всему Аныку расскажу.

Яшку словно холодной водой окатили, он невольно отпрянул от девушки и долго стоял еще в огороде без мысли, без дум. Потом, точно вор, перелез через изгородь и побрел домой.

На другой день у трупа побывал урядник. Быков, вернувшись с пашни, сказал жене:

— Марья, сходи в Чулю сегодня же. Предупреди Варю: если будут спрашивать об убитом, чтоб ни звука.

— Куда же я на ночь глядя пойду, Миша? Потом — там на кресте, мертвец. От страху умру я.

— Не умрешь. Раз урядник был, значит, труп сейчас ох-раняют. Иди, куда посылают, да побыстрее шевелись.

Однако ему совсем по другой причине надо было на время спровадить жену из дома. В полночь он осторожно щепкой приподнял щеколду запертого изнутри летнего амбара, вошел туда и тихо прикрыл за собой дверь.

Здесь сегодня спала Даша.

Хотя еще не время спать в амбаре, но под овчинным одея-лом тепло, а в избе клопы не дают покоя. Хорошо спится на воле.

Спала Даша и видела во сне лягушку. Вот она прыгнула на руку, большая, противная, холодная. Даша проснулась, почувствовала на плече чью-то тяжелую руку.

— Кто это? — Даша съежилась.

— Я, я... тише...

— Дядя? Чего ты?

— А ты думала, Яшка? Разве не все равно, он или я? Я думал, ты чиста, как первый снег, а к тебе, оказывается, дорожки давно проторены. Не вздумай кричать, все матери расскажу.

— Дядя, что ты, опомнись!

— Тише! Я не так уж стар, как тебе кажется. Будешь молчать — в шелка одену, как куклу наряжу.

— Уйди! Кричать буду!

Быков зажал ей рот и на голову натянул тяжелое, черной дубки овчинное одеяло...

На пашне Яшка с утра ходил сам не свой, а когда остав-лял огрех, отец на все поле кричал:

— Ты что, черт, спишь, что ли?

Вечером того злосчастного для Даши дня Яшка вышел на игрище, но скоро ушел. Завернул было домой, остановился у ворот, постоял немного и направился к шинкарке Жигулихе.

— Опять явился? Что-то зачастил ты, голубок? — встрети-ла его немолодая, юркая Жигулиха.— Не я ли уж поправи-лась тебе, случаем? Или кручина-пиявка присосалась? Кто же это сушит тебя, красавца?

Яшка сидел, не трогая наполненной чашки, молчал и ду-мал. Потом в два глотка опрокинул чашку и, сунув в кар-ман бутылку с оставшейся водкой, вышел. Дойдя до проулка, направился вниз, к старым ивам Быкова. Он шел, не отдавая себе отчета, зачем идет, наверно, надеясь встретить Дашу у ворот. Поравнявшись с сараями Быкова, Яшка только тут

сообразил, что уже поздно. И все-таки решил зайти. О... релез через изгородь и с огорода вошел во двор. В ... разглядел Быкова, входившего в летний амбар. «Вот т... мо и поговорим»,— подумал Яшка и остановился про... бара, ожидая, когда тот выйдет. Но Быков долго не и... ся. Яшка тихонько подошел ближе, приложил ухо к д... Из амбара слышался Дашин приглушенный голос:

— Уйди!.. Погубил ты меня... повешусь... не жить... теперь...

— Ну, хватит. Нашла о чем плакать! В монастырь... ли, собиралась?

Яшку словно обухом по лбу ударили. Не в силах ... слушать, он отскочил от амбара и залпом выпил водку, ... шуюся в бутылке, потом с силой размахнулся и кинул ... бутылку в дверь амбара.

Быков растерянно стоял у Дашиной постели. Кто ... Жены дома нет, она прихворнула и осталась на второ... у сестры. Осторожно приоткрыв дверь, он выглянул во ... Хотя и было темно, но Быков сразу узнал Яшку, и в ... вдруг вспыхнула неведомая ему доселе ревность. Не ... себя, он подбежал к Яшке и в исступлении схватил ... ворот рубахи.

— Ты что? Что тебе здесь надо? — мертвой хваткой ... лись его железные пальцы в Яшкино горло.

А тот, почти теряя сознание, едва слышно вымолвил:

— Пусти, Савватеич... не знал я, что ты с племян...

— Молчи! Напился, паршивец! — и, зло взглянув ... лицо, Быков предупредил: — Если кто узнает об этой ... дешь, Яшка, все расскажу отцу. А он у тебя, сам зна... кой, собственными руками удавит!

— Пусти, Савватеич... я тово... обидно стало... люб...

До рассвета проплакала Даша, думала налюбоваться ... руки и после горьких безутешных рыданий уснула. ... лась она поздно и долго сидела на постели растрепа... стоянная, безразличная ко всему.

11

Услышав вдали звон колокольчика, ребятишки, ... у поленых ворот, разбежались, как вспугнутые воробьи.

— Урядник едет!

— Митька, беги!

В другое время они толкались бы, спорили, кому отворять ворота. А если кто бросал копейку или пряник, ох, что тут творилось! Пыль стояла столбом! А сейчас у ворот остался только Митя, сын сотского Ивана Красного, такой же рыжеголовый, как и отец. Придерживая рукой синие холщовые штаны, он бежал к воротам. Мальчик еще не забыл, как прошлым летом земский начальник Львовский бил его отца кнутовищем за то, что при его въезде в село полевые ворота были закрыты. Не отворишь, опять будут бить.

К воротам был приделан простой блок журавль с большим камнем, подвешенным на конце длинной толстой жерди-ны. Ох, не осилить Мите одному — тяжелы ворота, а звон колокольчика все ближе и ближе.

— Семка, помоги! — со слезами на глазах просил он своего товарища, притаившегося за амбаром. А тот, увидев быстро приближающийся тарантас, опрометью бросился во двор.

Подгоняемый страхом, Митя все-таки справился с воротами. Уже слышно было, как екает селезенка коня, как позвякивает уздечка с большими красными кистями, как бренчит медяшками наборная шлея.

Мальчик еле удерживал ворота. Вот-вот они вырвутся из его слабых рук... Так и случилось. Как раз в тот момент, когда гнедой поравнялся с Митей, створка выскользнула из Митиных рук и в нее с силой врезался конец правой оглобли. Ямщик быстро соскочил с козел, и тонкий ременный кнут со свистом полоснул спину мальчика.

Бежал Митя, придерживая съехавшие штаны, и вдруг растянулся на дороге. Раскатисто, на всю улицу захохотал урядник Соковиков.

По его приказанию у пожарного сарая собрался весь Мултан. В соседние деревни поехали верховые — сообщить, чтобы к мельнице послали понятых.

— Зачем это народ собрали? — спрашивали мужики старосту.— Нашли время для сходки.

— У верхней мельницы убитого нашли. На чулымской земле. Староста-то ихний, Кибардин, теперь забегает... Хе-хе-хе — смеялся мултанский староста Бектэмыр, пощипывая редкую остренькую бородку.

В полдень понятые от Мултана направились к лесу.

Конца краю нет казенному лесу. Начинается он на западе, где-то в кильмезской или вавожской стороне, и на де-

ными верст простирается на юг, в мултанскую сторону, а потом поворачивает на север и огромным зеленым массивом тянется к Можге, к Агрызи.

В этих местах восточнее Мултана — пологой лес хвойных Чилы. По западному краю протекает речка Люга. По обе стороны от раскинулись широкие луга. Берега речки заросли частым ольшаником. Летом его так густо обвивает хмель, что и солнце сюда не может пробраться.

На реке Люге стоят две мельницы — нижняя и верхняя, и расстояние между ними всего с полверсты.

От верхней мельницы к Чулье, прямо на север, длинной полосой тянется болото с узким настилом для пешеходов.

Летом болото покрывается камышовой зарослью, а вдоль самого настила цветет пахучая медуница.

Вот здесь-то и собрались сегодня понятые из Мултана, Люка и Чулья.

Убитый человек с отсеченной головой лежал поперек гати. Рядом валялась островерхая шапка, похожая на монгольский малахай, ольховая палка и синяя холщовая котомка, тут же — пучок слипшихся от крови волос.

Урядник вскрыл котомку, извлек оттуда медный крестик на грязном шнурке, свитом из коричневых ниток, три куска сахару, фунта четыре муки и документы, завернутые в грязную тряпицу. Один документ был выдан сельским старостой:

«Дано сие удостоверение крестьянину завода Ныртов, Люкинской волости, Мамадышского уезда, Казанской губернии Конону Дмитриевичу Матюнину в том, что он действительно значится в числе подушных завода Ныртов».

В другой бумаге врач города Мамадыша удостоверял, что Матюнин страдает припадками.

Человек пятьдесят понятых дважды принимались искать голову убитого. Истоптали вокруг трупа все прошлогодние камыши, искали в лесу, возле реки, но все бесполезно. Под вечер собрались около мельницы, и тут разразился скандал.

Урядник уселся на старом жернове, брошенном на плотине на берегу пруда. Он уже заранее знал, что между тремя деревнями вспыхнет спор. Кому же хочется впутываться в «чужую беду»? Но он знал также и то, что ни одна из трех деревень не выйдет сухой из этой истории, не сунув ему, уряднику, конечно, приставу солидный куш. Урядник Соковиков знал цену таким делам.

Думая о страшном убийстве, он вспомнил рассказы прокурора о человеческом жертвоприношении, якобы существующем у удмуртов. «А и в самом деле, черт возьми!» — вскочил

[illegible], что тайна раскрыта, торжественно [illegible]. В это время к нему подошли чулышских и Григорий из Мултана.

Что-то вновь [illegible] показался Григорию поразительно знакомым. И вдруг ему вспомнилось большое село, трактир и [illegible] Васька. По какой-то одному ему известной примете Григорий безошибочно узнал Соковикова, хотя перед ним был уже не тракторный мальчишка, а урядник.

Соковиков, вероятно, приняв какое-то решение, взялся за стебок и пронзительно засвистел.

— Ко мне! — махнул он длинной, как змея, плеткой.

Григорий протянул ему окровавленные щепки:

— Вот, по дороге в Анык нашли, господин урядник.

— Вы что, в Анык ходили? — не понимая, чего хочет Григорий, спросил урядник.

— Да нет, вы его не поняли, ваше благородие,— заговорил чулышский русский мужик,— эти две щепки мы нашли вот тут недалеко, за плотиной, а эта дорога ведет в Анык.

— Вот смотрите, господин урядник, кровь,— Григорий настойчиво совал уряднику щепки.

— Кровь, кровь!..— передразнил его подошедший Быков.— У тебя глаза во лбу или на затылке? Это ольховые щепки, Василий Яковлевич,— обратился он к уряднику.— Когда сырую ольху рубишь, то щепки всегда такие бывают, будто в крови.

Один из чулышских, Митяй, огромного роста мужик, с большой черной бородой, выхватил из рук Григория щепку и сунул ее к самому носу Быкова:

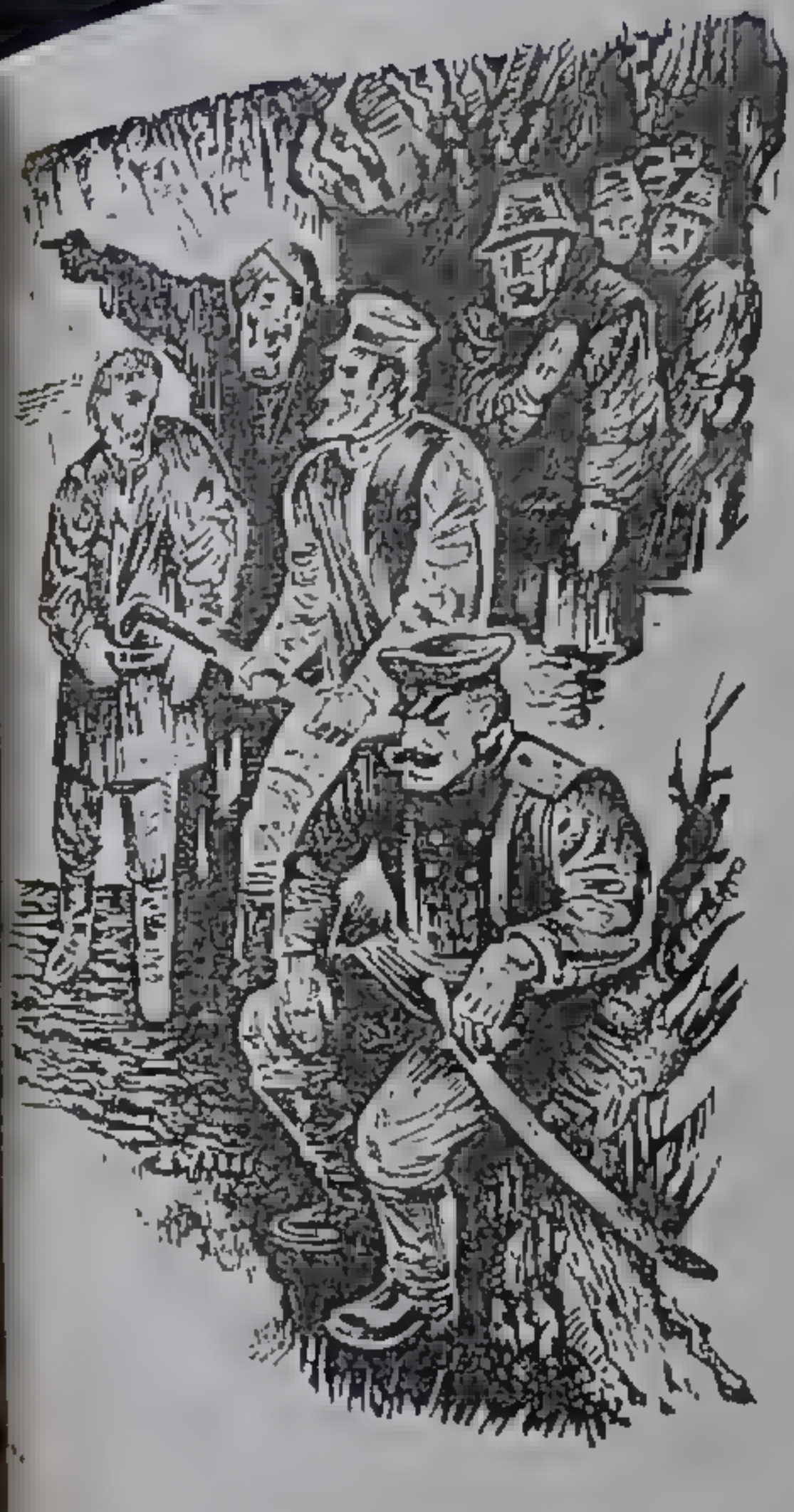
— Это что, не кровь, по-твоему? Если ты одним глазом плохо видишь, так людей спроси. Это аныкских рук дело, наша деревня тут ни при чем! — сказал он уряднику.

Урядник взял обе щепки, повертел их и небрежно кинул в пруд.

— Ви мне голову найдите, на черта мне щепки! Все деревни от мала до велика пригоню сюда, месяц заставлю искать и не отпущу до тех пор, пока не найдете голову.

А спросить бы его, зачем, собственно, понадобилась ему голова убитого и почему он с такой настойчивостью ее ищет, он и сам бы, пожалуй, не смог членораздельно ответить. Для него ясно было одно: обезглавленный труп — это противоестественно; убит ли человек или умер естественной смертью, а голова должна быть при нем.

— Марш отсюда! — крикнул он на Григория и чулышских



мужиков, принесших окровавленные щепки.— Собирайся в дальнюю дорогу. Вы мне голову найдите!

И вот между понятыми снова разгорелся спор.

— Убитый — на чулынской земле, пусть они и ищут, — Мир Кибардину и тыкал его в живот своей длинной сухой палкой.— Убитый-то на вашей земле. А кто первый в драку? Староста! Хе-хе-хе...

— Ты... хомяк, поосторожней! — Кибардин зло отбросил палку.

А потом заспорили чулынские с аныкскими. Быков, выждав удобный момент, указал в сторону мултанских понятых:

— Это их дело, Василий Яковлевич. Наверно, чтобы замолить, убили.

Наступила мертвая тишина. Мултанцы отшатнулись, словно их кто кнутом стеганул. Понятые других деревень, только что старавшиеся свалить вину друг на друга, смолкли.

— Что это он сказал? — удивленно спросил Григория старый Митяй.— Что он такое придумал? Экой несуразной...

Урядник сердито глянул на Быкова. Да и как ему было не злиться: он рассчитывал урвать со всех трех деревень, а теперь едва ли что выйдет. Озлобленный, он шагнул к Бектемыру и в упор спросил

— Значит, голову замолили? Так, так!.. Быков, за мной! — И широкими шагами урядник направился в дом мельника.

Мултанские понятые, еще как следует не уразумев всей тяжести брошенного им обвинения, стояли молча. А Бектемыр пощипывал свою бородку, уже ясно понимая, что дело принимает неприятный для него оборот, именно для него.

— Дело-то нехорошо оборачивается, мужики. В тюрьму загонит меня этот кривой шайтан.

— Эх ты, тоже еще староста...— обозлился сотский Иван Красный.— Быков Михайла зол на нас, мы ему мирской приговор не дали в Мултан переселиться, вот он и мстит теперь. Судебную тяжбу из-за Нового поля кто затеял? Отец Михаилы с Прозловым. Ты что тут шиплешь свою козлиную бородку? — набросился Иван Красный на старосту.— Иди сам к кривого черта, когда он видел, чтобы удмурты человека убивали? Тебя народ выбрал, чтобы ты за общество стоял, а ты... Тьфу!.. Тоже еще староста!..— плюнул Иван, окончательно выйдя из себя.

— Сколько живу на свете, слава богу, не видел и не

хал, чтобы удмурты человека молили,— сказал Митяй, обращаясь к своим русским.— Экой полиц! Какую обиду нанес мултанцам.

Поднялся шум, угрозы, ругань. Сконфуженный Бектэмыр некстати закричал на чулымского старосту:

— Труп на нашей земле, вы и ответ должны держать! — потом он повернулся к мултанцам и, с намерением разжечь зло против русских, визгливо крикнул: — Русские губят нас! Что ни случается, все валят на нас. А мы все терпим.

Григорий стоял в то время у вешняка и рассказывал Антону с Никифором об окровавленных щепках, найденных им на дороге, ведущей в Анык. Слова старосты заставили их насторожиться. Никифор слушал, задрав вверх каштановую бородку.

— Слышишь, что говорит? — Антон локтем подтолкнул Григория.

Узкие маленькие глаза старосты, как шило, впивались то в одного, то в другого.

— Долго ли они будут над нами измываться? — выкрикивал Бектэмыр.— Теперь, вот видите, что надумали. Долго ли будем поддаваться им?

— Дядя Никифор,— Григорий схватил Никифора за руку,— староста на русских натравливает, хочет драку затеять. Не дадим.

Никифор, ни слова не говоря, быстро направился к Бектэмыру.

Решив, что он хочет ударить старосту, все притихли. Бектэмыр часто-часто заморгал колючими глазками и попятился.

— Никифор, опомнись... очумел.

— Вот это видел? — Никифор угрожающе поднял палку.— Сегодня у всех у нас в руках палки. Давайте, стало быть, начнем колошматить друг друга. Кто поднял драку из-за Нового поля? Вон спроси стариков, они скажут. Твой отец и старик Буграш настраивали нас против русских. Теперь ты натравливаешь. Научились вы чужими руками жар загребать. Потом только мы поняли, зачем понадобилась твоему отцу драка. А ну, скажи перед народом — кому досталась большая половина земли на Новом поле? Бугрошу и твоему отцу. А если бы аныкские оттягали, досталась бы она Быковым и Дроздовым. Руки у вашего брата длинные, везде достают. А вон мы с Петрованом сколько ни трудимся, а крыша на дворе у обоих богом крыта. Разница лишь та, что он русский, а я удмурт. А горе у нас одно, и заплаты одинаковые. Чего мне делить с русскими? Говори! Вы, богачи, грызетесь

между собой, как голодные псы, ну и грызитесь, а нас не путайте. Кто первый ткнул в нас пальцем, что мы ничего замолили? Быков. Ты вот иди и бей его этой палкой. Не бойся, ни один русский за него не заступится.

Во всем Мултане только один Никифор не боялся так открыто говорить правду в глаза богачам. Такой уж он с молодости. И не только старосте, а самому волостному старшине резал правду в глаза. Не раз сидел он за это в каталажке, не раз был бит.

Однажды подбросили ему овечью шкуру и обвинили в краже овец. Потом водили по улице с подвешенной на шее овчиной и нещадно били. А другой раз староста заставил его дважды платить подать. Где только не побывал Никифор! И в Малмыже, и даже в Вятке. Старики утверждают, что он дошел тогда до самого губернатора. Был он или не был у губернатора, а подать все-таки уплатил дважды и лишился лошади. В тупик завела жизнь человека, к тому же богати словно сговорились — ни один не давал ему хлеба взаймы, не ссужал семенами. Но Никифор не пал духом, он договорился с аныкским Петрованом, и стали они обрабатывать землю вместе.

И сыну Алеше передал Никифор свой стойкий, несгибаемый характер и ненависть к богачам. Зимними вечерами, плетя лапти, он подолгу рассказывал сыну, как разбогатели Буграш, Бектэмыр и другие, как они у бедноты выжимают последние соки.

И сейчас вот Никифор бросал в лицо богачам обиду и ненависть, накопленные годами.

— Разве нас русские довели до такой бедности? — гневно спрашивал он у Бектэмыра.— Это вы довели нас до того, что хоть живым в гроб ложись.

Кипела злоба в душе Бектэмыра, ему казалось, что Никифор назло ему держит сторону русских. А беднота — не только удмурты, но и русские, знающие удмуртский язык, радовались словам Никифора, одобряли его возгласами и угрозами по адресу богачей.

— Народ тебя выбрал, чтобы ты заботился о нем,— продолжал Никифор.— Чем натравливать нас на русских, ты лучше бы подошел да схватил за грудки этого кривого черта и спросил, пусть скажет, где и когда он видел, чтобы удмурты молили человека. На наших молениях и русские бывают, пусть урядник спросит аныкских и чулыкских, как мы молимся. И в церкви молимся и на своих молениях молимся, а бог, видно, все равно не слышит наши молитвы.

Теперь вот домолились... Какое черное дело хотят на нас сдалить. Кончить бы совсем с нашими молениями... хватит, помолились.

— Ты что это такое несешь, а? — накинулся на него староста.— Слыхали, мужики, что он говорит?

Хоть и умен был Никифор, а не вовремя сказал он об удмуртских молениях. Словно осы, налетели на него жрецы. А их было немало: в селе штук пять молений — большой шалаш, большое моление, керемет, малое моление — и в каждом моленни по три-четыре жреца.

В порыве гнева Никифор дал и еще один промах — главному жрецу большого шалаша племени учур Бектэмыру он сказал, точно камень в лицо бросил:

— На пожертвованиях разбогател! Сколько денег собираешь на каждом моленни?

— Староста, чего смотришь? Долго ли будет он тут наши священные моления поносить? — крикнул Иван Красный.

— Молений не надо, говоришь? — угрожающе подступил староста к Никифору.— Отказываешься от священного обычая праедов? Антон, бей! — приказал он Камаеву, протягивая ему свою здоровенную палку.

Антон вздрогнул. Да и как у него поднимется рука на почтенного старика? К тому же Никифор приходится ему дядей.

— Тебе что сказано? — ткнул его староста палкой.

— За что мне его бить? Что, он мне враг какой, что ли? — огрызнулся Антон.

— Ты с кем это так разговариваешь? Со мной — со старостой? На тебе! — и Бектэмыр с размаху ударил Антона палкой.— На еще!.. В другой раз не будешь перечить обществу.

— Ты за что его? — Григорий подскочил к старосте.— А если вот тебя так ни за что ни про что? — Григорий с яростью вырвал из рук старосты палку и замахнулся, но Никифор успел схватить его за руку.

— Не тронь, Григорий. Убьют... Ты еще не знаешь их.

И в самом деле богачи только этого и ждали. Григорий еще не ударил Бектэмыра, а его брат, косолапый Прохор, как хорек, подпрыгнул к нему и взмахнул черемуховой палкой.

— Старосту бить?.. Я тебе покажу, голь несчастная!

... Только было замахнулся Прохор еще раз, как в толпе русских кто-то зычно крикнул:

— Не бей!

К Бектэмыру подошел Митяй, на целую голову возвышаясь над всей толпой.

— Ты что? — заорал он на Бектэмыра.— Ты думаешь, не прошло крепостное время? Зачем бьешь? Они, что ли, убили нашего? Ты убийцу найди, его и бей! А ты чего смотришь? На, дай ему сдачи! — он вырвал из рук Прохора палку и передал ее Григорию.

Среди русских тоже поднялся шум. Схватились мельник Фома и только что вышедший из домика мельника Быков.

— Мултанцы и чулымцы тут ни при чем. Это дело аныкских! — сказал мельник.

— Аныкских? А ты что, сам видел? Говори! — кричал Быков, вцепившись в мельника.

— Дай ему, Михайло Савватеич, пусть не болтает зря! — сжимая кулаки, подзадоривал его Дроздов.

— Ты, Михайло, тово... пусти, убери руку! — спокойно, но грозно произнес мельник.— А видел или не видел, об этом я не с тобой буду говорить. Понял? Про аныкских я кое-что знаю, а концы урядник найдет...— Фома с силой оторвал от себя руку Быкова и пошел прочь.

На минуту стало тихо. Десятки глаз удивленно смотрели на быстро шагающего мельника.

12

Девятого мая приехал в Мултан из Вавожа становой Тимофеев. Он не разъезжал, как другие становые, на гнедых с бубенцами и на допросах не только не бил, но даже не грубил. О странностях нового станового в первые же дни узнали жители всего третьего стана, куда входили три волости — Вавожская, Воли-Пельгинская и Старо-Трыкская.

Сидя однажды вечером у пожарного сарая, мултанские мужики завели разговор о Тимофееве.

— Этот, видно, не как прежний. Говорят, не жестокий,— сказал Никифор, выколачивая трубку об ручку пожарной машины.

Антон Камаев, собравшийся было уходить, остановился и насмешливо заметил:

— А ты, дядя, как-нибудь попробуй попадись ему под руку.

Никифор так был удивлен, что даже трубку до рта не донес.

— А что? Неужто и этот бьет?

— Нет, говорят, не бьет, я и сам об этом слышал,— сказал Антон, взяв из рук Никифора кисет и скручивая цигарку.

— А что, пугает? — полюбопытствовал Григорий.

— Нет,— хладнокровно бросил Антон.

Наконец Никифор не выдержал:

— И борода у тебя выросла, Антон, а ты все еще дурачишься, как мальчишка. Недаром говорят — глупость в привычку входит. Что же он, на загривке, что ли, катается?

— А ты, дядя Никифор, сходи в Кочишево и спроси там про хромого Афоню.

В руки нового станового первым попался хромой Афоня из деревни Кочишево. Давно уже за ним числилось тринадцать рублей недоимки. Заставить мужиков рассчитаться было нелегким делом, и в Кочишево выехал сам становой.

К старосте, где он остановился, вызвали Афоню. Вошел Афоня в дом старосты и стоит у порога, мнет в руках войлочную шляпу, побуревшую от долголетия. Он не боялся, что на него будут кричать, к этому Афоня уже давно привык, он боялся зуботычин. А становой пристав удивил его: он не только не кричал на него, а даже мягко и вроде бы сердечно заговорил:

— Афанасий Игнатьевич? Так, так. Ну-с, садись, поговорим.

Не понимая, всерьез или в шутку принимать приглашение станового, Афоня с минуту постоял, переминаясь с ноги на ногу, и только при вторичном приглашении нерешительно шагнул вперед и остановился шагах в трех от стола.

— Говорят, недоимку долго задерживаешь, братец? — обратился к нему становой, постукивая пальцем по списку недоимщиков, где фамилия Афанасия стояла первой и почему-то была жирно подчеркнута черным карандашом.— Платить надо,— сказал становой, делая черту еще жирнее.

— Платить нечем, господин становой.

— Да-с, это, пожалуй, так. Староста вот рассказывал, очень, говорит, бедно живешь. Ну-с, хорошо, жалеючи тебя, я недоимку с тебя рубликов этак на десять уменьшу. А остальную сумму понемножку выплатишь.

Сперва сначалу Афоня и не понял, о чем толкует становой, потом уже, уразумев, он так обрадовался, что радость комом к горлу подступила. Он опустился перед становым на колени и, словно на молении, когда обращаются к богу, протянул к нему обе руки.

— Пусть бог хранит вас, ваше благородие. Если бы мог,

разве не уплатил бы. Бедно живу, все недостатки...— И, вспомнив о своей тяжкой жизни, Афоня подавился слезами. Дома думал — отчего он плачет? Но так и не понял: не то от радости, что становой скостил ему десять рублей, не то от обиды за беспричинное унижение перед человеком, который, как паук, сидит на крестьянской шее, а вот приходится перед ним на колени падать.

Дней через десять, насобирав кое-как рублишко, Афоня снова пошел к старосте. Но староста денег не принял.

— В Вавож иди,— сказал он ему.— Велел, чтобы ты ему лично в руки платил.

Идти в Вавож, правда, не так уж близко, больше тридцати верст, но зато у Афанасия недоимки осталось всего три рубля... Соберет еще два рубля, отнесет — и будет чист. Так рассуждал он сам с собой, шагая в волость. Пришел он туда под вечер. Переночевал у знакомого и утром пошел к становому. Низко поклонившись, он протянул ему пользу горсть медяшек.

— Ага, принес. Очень хорошо. Только напрасно так много. С тебя я пока много не возьму, всего-навсего алтын,— сказал становой, оставив у себя одну трехкопеечную монету.— Остальные потом принесешь.

— Я это платить принес, все платить принес,— говорит Афанасий.

— Ничего, ничего. Как тебя зовут-то, запамятовал я?

— Афанасий, Игнатов Афанасий,— говорит Афоня, держа в одной руке медяшки, в другой — шляпу.

— Да, да, вспомнил, братец. Так вот, Афанасий Игнатов, остальные деньги неси домой, они тебе по хозяйству пригодятся, керосин купить, деготь. Деньги, они в хозяйстве нужны...

Ровно двадцать раз ходил Афанасий из Кочишева в Вавож, однако уплатил всего лишь шестьдесят копеек, так как становой каждый раз брал у него только по три копейки. И недели не проходило, чтобы Афанасия не вызывал староста и не вручал ему очередную повестку. Попробовал Афанасий как-то не явиться по повестке. На другой или на третий день приехал сам становой, вызвал его к старосте и таким вкрадчивым голосом спросил:

— Что же это ты, братец, не явился к сроку? Конечно, дорога дальняя, пешком оно тяжело идти. Ну что ж, тогда я тебя на лошадке подвезу. Поехали, братец.

Посадил он Афанасия на козлы рядом с кучером, а доехал

до казенного леса, приказал кучеру привязать его к задку тарантаса. Бежит Афанасий версту, вторую, потом в полном изнеможении падает и волочится по земле. Правда, становой не такой уж изверг, чтобы волочить человека по корневищам вскачь или рысью. Нет. Когда Афанасий падал, он приказывал кучеру ехать шагом. Да и бежать на привязи заставлял только по лесам, а перед селом, скажем, опять усаживал на козлы. А от Мултана до Вавожа сплошь тянулись глухие дремучие леса, так что хоть немного посидеть на козлах было для Афанасия сущим раем.

После этой истории он, разумеется, больше не рисковал не являться по повестке, а ходить ему, хромому, тридцать с лишним верст было истинным мучением. И вот он втихомолку распродал домашнюю утварь, постройку и, забрав с собой жену и пятилетнего сына, скрылся, как в воду канул.

Внешний облик Тимофеева на редкость сочетался с его упрямым, эгоистичным, мстительным характером: из-под нависших длинных светло-рыжих бровей выглядывали глазки, которые никогда не смотрели прямо на собеседника. Редкие волосенки, разделенные аккуратным пробором, Тимофеев смазывал репейным маслом. Пузырек с маслом он повсюду возил с собой, даже когда разъезжал по вверенному ему третьему стану.

За время своей службы Тимофеев много бумаги извел на жалобы, а жаловался он на таких же, как сам, становых. Но все без толку: в чине его не повысили, и мало того, в последний вызов исправник пригрозил ему разжалованием.

Притих Тимофеев, глубоко затаив обиду. Меньше он стал усердствовать, редко вмешивался в дела стана и целиком доверился урядинку.

Когда урядник Соковников послал ему с верховым донесение об обезглавленном трупе, становой был в гостях у почтмейстера по случаю крестин. Только на третий день он выехал на место происшествия — ждал, чтобы хмель из голо-

ва выветрился.

Окна верхнего этажа в доме мултанского торговца Мухина занавешены. Духота. Становой сидит за столом, прислонившись к оконному косяку. На нем нижняя рубашка, лямка подтяжка съехала с плеча, грудь обнажена.

Урядник Соковников в застегнутом на все пуговицы кителе читает Тимофееву материалы, собранные им за два дня. Пот струится по его широкому и плоскому лицу. Еле

разбирая собственный почерк, он то и дело говорит сам себе, дергает свой тонкий, точь-в-точь как машинный хвост, ус, потом засовывает пальцы левой руки за тугой воротник кителя.

Поступив в урядники, Соковиков быстро научился размахивать шашкой и в струнку вытягиваться перед начальством, а вот с составлением протокола в первый же месяц попал в самую неприятную историю. Его непосредственным начальником тогда был Шмелев. Читая первый протокол своего нового урядника, Шмелев хохотал до слез. И этот протокол, как некую редкость, он бережно спрятал во внутренний карман мундира и при первой же встрече прочитал земскому начальнику Львовскому:

— «18... года 18 июня я, урядник Соковиков, на [redacted] мне пространстве обнаружил труп убитого человека. Сей труп, то есть убитый, лежал на берегу реки Вятки на протяжении семи верст от деревни Бараново до Малого Починка...»

— Охо-хо-хо! Труп длиною в семь верст. Позвольте, Катенька, дайте-ка, я сам прочитаю.

Львовский пацепил на длинный нос пенсне в золотой оправе и, сморщив пухлые веки, стал читать:

— «Этот человек, после того как умер, весь истыканный ножом, пытался скрыться вплавь через реку Вятку, но почему-то обратно приплыл к берегу. Проплыв по берегу вниз сажен десять, означенный труп забрался в нишяк, где и помер». О-хо-хо-хо-хо!..— до боли в животе хохотал Львовский.— Ой, умру! Слышите, батенька, «труп забрался в нишяк и помер». Где вы нашли такого турка?

— Побольше бы нам таких урядников, Кронид Васильевич,— серьезно и уже без улыбки заговорил Шмелев.— Уряднику не философствовать положено, а учить мужика уму-разуму... Грамотеев тут не наберешься.

— Да, да, батенька, беда грамотеями наша матушка-Россия,— тоже перестав смеяться, согласился Львовский.— Дворянское сословие, конечно, в урядники не пойдет. Да и какие из них урядники? В урядники надо брать отчаянных из крестьян, чтобы при случае не постеснялись за царя, за отечество отцу родному зубы выбить. Перо урядника — плеть. Мужик любит строгость.

И урядник Соковиков стал правой рукой Шмелева.

Сейчас он знакомил пристава Тимофеева с первыми данными об убийстве нищего.

— Кто первым увидел труп? — спросил становой.

— Я уже докладывал, ваше благородие, первой видела труп чулымская девка Дарья Гришина. Это было пятого мая. Я прибыл сюда седьмого мая. До моего приезда возле трупа уже кто-то побывал, трогали и труп, так что трудно было установить, там он убит или откуда принесен. А это вот, ваше благородие, показания здешнего священника.

На четырех листах были записаны показания священника мултанской церкви отца Иоанна относительно удмуртских молений. Становой читал, с трудом разбирая почерк урядника.

— Ну и пишешь ты, братец! — покачал он головой, не отрывая глаз от протокола.

— Виноват! — смущенно вытянулся урядник.— Следователь, тот без запинки читает мой почерк .. Знаете, что говорит он, ваше благородие? «Важно, чтобы в протоколе было за что уцепиться, а почерк, говорит, разберем».

Читая показания торговца Мухина, становой неприятно поморщился в том месте, где Мухин говорил о мельнике, что он, мол, зол на аныкских и потому наговаривает на них. Становой поднялся и, сердито захлопнув папку с протоколами, приказал:

— Завтра покажешь мне этого мельника! Посмотрим, как он со мной будет разговаривать.

— Слушаюсь, ваше благородие!

Гул стоял в лесу. Из болот, из небольших озер испуганно вылетали дикие утки.

У мельницы под навесом плотничал мельник Фома. Он тесал зубья для мельничного колеса и думал о нищем, который заходил к нему неделю назад рано утром. Фома никак не мог припомнить его одежду. Но он отчетливо помнил, каков был из себя нищий: высокий, с давно не стриженными длинными каштановыми волосами, на щеке, кажется, на правой, большущая шишка, чуть не с кулак. Если бы голову нашли, Фома сразу бы узнал.

А в то утро вскоре после ухода нищего мельник отправился осматривать морды, расставленные выше верхней мельницы. Когда он шел обратно, за плотиной мельницы увидел каких-то двух людей. Они быстро шагали в сторону деревни Анык. Один из них показался мельнику похожим на Ивана Конева, такой же высокий и немного сутуловатый. «Но зачем ему убивать нищего?» — недоумевал Фома. Погруженный в свои думы, он не заметил, как к нему подошли урядник и становой.

— Фома Васильевич? — спросил становой, обратившись почему-то не к Фоме, а к уряднику.

Мельник побледнел. «И меня, видно, в чем-то обвинить хотят?» — мелькнуло у него в голове. Он перестал работать, вонзил свой топор в чурбак, неторопливо выпрямился и только тогда поздоровался.

— Мельник? — вопросом ответил становой на его поклон.

— И мельник и сам хозяин, мельница-то, видите, какая, всего об одном поставе. Может, почайничаете, ваше благородие? — спросил Фома, стараясь скрыть испуг.— Пойдемте в избу. Маша! — крикнул он жене, сзывающей у крыльца кур.— Поставь самовар!

— Если для нас, не нужно,— отказался становой, похлестывая плеткой по топорику.— Ты вот лучше расскажи нам об убийцах. Говорят, ты их видел?

— Как же, как же, видел, ваше благородие. Двое их было, в сторону Аныка шли, торопились, видно. Но убийцы ли были или нет — это уж я точно сказать не могу; дорога, она для того и дорога, чтобы по ней ходить.

— Гм... Значит, выходит, ты не видел, как они убивали?

— Нет, нет, ваше благородие, этого уж я не видел.

— А почему же кричал, что это дело аныкских? — сердито спросил урядник.

— Так они же шли в сторону Аныка. Потом — они очень быстро шли, ну я после и подумал, что это были убийцы. А так — кто знает.

— М-да... Так вот, Фома Васильевич, придется нам в твоем пруду искать голову убитого. Приготовь багры и грабли, будем сейчас [illegible] воду. — Медленно [illegible] становой. Он исподлобья поглядывал на мельника, желая, видно, понять, какое впечатление произведут на него эти слова.

— Шутите, ваше благородие господин становой. Разве можно в пруду голову найти? — испуганно проговорил мельник, неестественно улыбаясь.

— Ну, ты! С женой будешь шутки шутить! — разгневался становой и, вынув из нагрудного кармана зеленого мундира свисток, дал длинную трель, сзывая мужиков.

Мельник только сейчас окончательно понял, что все это всерьез, и, уже не скрывая испуга, стал умолять:

— Ваше благородие, не спускайте воду, это же разор! Ведь убитый найден не здесь, а у верхней мельницы, что в полверсте отсюда. Не спускайте, ваше благородие. Я же из все лето не сумею собрать воды.

— Ничего, зато жить научишься.

В день приезда станового Алеша с отцом, старым Никифором, тесали новые столбы для ворот. Работу кончили поздно, однако один столб остался недоделанным.

Как убитый уснул уставший Алеша. А когда на востоке едва забрезжил рассвет, он вдруг проснулся, словно его кто ткнул в бок. Как же это он проспал? Кажется, уже светает. Алеша глянул в окно. Еще темно. Он снова лег, снова вздремнул и вскоре поднялся. Открыл окно и посмотрел на березу, возвышавшуюся у забора перед амбаром. Тихо. Листья не шелохнутся. Утро будет погожее, ясное. Алеша сел на порог и, стараясь не разбудить домашних, тихо обулся и вышел.

Из амбара-летника он вытащил удочки с длинными черемуховыми удилищами и осмотрел, все ли в порядке. Из чулана вынес свою рыбацкую кожаную сумку, захватил связку удилищ и пошел со двора. Тут он остановился и долго рассматривал старые, покосившиеся ворота. Придется и створы заново делать.

За полевыми воротами, около маслобойки Буграша, дорогу ему перебежала собака. Алеша поднял камень и швырнул в нее. Перебежала, проклятая! Опять он, наверно, с пустыми руками вернется. Будто и в самом деле собака была когда-нибудь виновницей его неудач.

Голодная, отощавшая собака даже хвостом не вильнула. Она остановилась, лениво повернула голову, посмотрела на упавший возле нее камень и, убедившись, что это не хлеб и не мясо, пошла прочь, как волк, волоча за собой хвост.

Алеша дошел до леса и свернул налево, к реке Люге. Здесь, немного ниже мельницы Фомы, излюбленное место Алеши — тихая заводь, поросшая ольшаником.

С первыми лучами солнца, блеснувшими над лесом, клев стал на славу. Алеша натаскал почти полную сумку мелких окуней, а среди них было и два больших, фунта по два каждый.

Но вот солнце заиграло над лесом, и рыба перестала клевать, редко дернется какой из поплавков. Алеша начал собираться домой и вдруг услышал песню...

Девушка шла вдоль реки, она была уже за большим пригибом. Сквозь побуревшие ветки ольшаника Алеша хорошо видел ее. Она часто наклонялась, наверно, рвала первые цветы.

— Дыды! — одними губами сказал он.

Вот она уже совсем близко. Алеша лег и притворился спящим.

Увидев парня, Дыды оборвала песню. Алешу она узнала

сразу по серому домотканому пиджаку. Не случилось ли с ним чего? Дыды остановилась в испуге. Нет, он улыбался, где-то он на рыбалке, заснул. Дыды облегченно вздохнула, улыбнулась и подошла к нему, не зная, будить или не будить. Постояв немного, она осторожно положила ему в руки удочки и быстро пошла дальше.

— Дыды!

От неожиданности она вздрогнула, но повернулась и застенчиво проговорила:

— Думала, спишь...— И, вероятно, желая скрыть свое смущение, добавила: — В Анык ходила, к старосте. Сашка приехал, опять всех сгоняют голову убитого искать.

Юные и неопытные, они еще не понимали всей серьезности нагрянувшей на их село беды. Да и вообще Алеша думал сейчас о другом. Он с нежностью смотрел на Дыды. Какая она красивая! И вдруг ему стало стыдно. О чем он думает? Ведь Дыды так еще мало лет! Алеша покраснел до ушей и просто, как родной сестренке, предложил:

— Сядь, Дыды, посиди, возьми вон удочку и порыбачь.

Дыды взялась за удилище и, совсем как маленькая, звонко рассмеялась.

— Сейчас я, Алеша, щуку вытяну!

Алеша хотел было что-то сказать, но вдруг тревожно посмотрел в сторону мельницы, откуда несля какой-то непонятный шум. Что это? Так шумит лес во время сильного ветра. Но сейчас нет ветра. Не успели они опомниться, как увидели надвигающийся на них бурный поток. Вода приближалась с бешеной скоростью. Дыды вскрикнула. Алеша схватил ее за руку, и они бросились бежать.

Шумела Люга. Вырвавшаяся на свободу река ломала прибрежный ольшаник, гнула гибкие ивы, пенистыми водоворотами кружила в омутах, затопляла луга и несла с собой сверди, сучья, смывала с берегов остатки прошлогоднего сена там, где когда-то стояли стога. Алеша и Дыды стояли в оцепенении, не понимая, что случилось.

— Как же это — в такое время и прорвало? — почему-то шепотом спросила Дыды. Вдруг она схватила Алешу за руку: — Алеша, а удочки? А сумка? Много было там рыбы?

— А ну ее, рыбу! — махнул рукой Алеша.— Не в ней счастье.

Ему хотелось сказать Дыды, что он нашел настоящее счастье. Правда, ему придется еще долго ждать, по меньшей мере года три. Но, посмотрев на девушку, Алеша подумал, что ничего этого она еще не поймет, и только вздохнул.

Убитый горем мельник стоял на плотине у одинокой ивы и угрюмо смотрел на огромный, зиявший пустотой котлован. Когда он теперь наполнит его водой? Если б еще осенью, а дело-то к лету идет. Печально поникли по берегам камыши, будто израненные, повисли грязные ветки кустов.

У вешняка шумели бабы, ожидавшие очереди на помол, и на чем свет стоит ругали станового.

— Ну чем помешал прул извергу? Чтоб он издох, собака!

Некоторые из них, взвалив на плечо мешок с зерном, шли на верхнюю мельницу. И зерна-то у них — у кого пуд, а у кого и полпуда; многие урвали на помол из ссуды, выданной на семена.

Во дворе мельницы мужики окружили Илью Фомича. Они наперебой рассказывали ему о том, почему подозрение в убийстве пало на мултанцев.

Илье Фомичу приходилось читать, как натравливается один народ на другой, и о случаях массовой резни, провоцируемых самодержавием, он тоже знал. Понятно, что и здесь подобная же провокация. Но как предотвратить несчастье? Как помочь мултанцам? Писать жалобу? Куда? Кому?

Словно угадывая его мысли, Петрован сказал:

— Если бы удмурты занимались такими делами, неужели бы мы не знали? А наши отцы, деды, прадеды, разве они не рассказали бы нам? Тут, по-моему, дело не в жертве, Илья Фомич, тут что-то другое. Только вот перед вашим приходом становой, точно пес, накинулся на мельника: «Вы, говорит, все в удмуртов превратились, скоро и в церковь перестанете ходить, а будете, как они, в лесу молиться. Ты кто?» — спрашивает он мельника. «Русский я»,— отвечает тот. «Ага, русский. А зачем за удмуртом глотку дерешь? Продался? Если ты русский, ты не должен с удмуртом даже за руку здороваться, он — нехристь, язычник». А не поймет он того, что мы одно горе мыкаем, что дружба-то, она в беде родится. Вот с Никифором, например, мы, как родные братья, последний кусок пополам делим. Да если надо, я за Никифора в тюрьму пойду.

— А вот они, видимо, хотят поссорить вас,— покачал головой Илья Фомич.

Где-то у верхней мельницы послышался свисток станового. Понятые, беседовавшие с учителем, поспешили уйти, остался только Петрован.

Учитель посмотрел в ту сторону, откуда донесся свист, и задумчиво произнес:

— Мне кажется, Петр Иванович, что-то недоброе затеяли

эти опричники. Ты вот чутьем понял, что они хотят поссорить русских с удмуртами.

— Понять-то понял, а что за корысть им в этом, того понять не могу.

— Корысть?..— Илья Фомич подумал и в упор посмотрел в голубые, по-детски доверчивые глаза Петрована.— Помнишь наши беседы о восстаниях — о Болотникове, Разине, Пугачеве? Или вот хотя бы, к примеру, узинское восстание. Там же русские и удмурты были вместе. А в пугачевских отрядах? Кого только там не было! Русские, киргизы, башкиры, удмурты, чуваши, марийцы. Ты пойми, Петр Иванович, царю же невыгодна такая дружба, ему гораздо выгоднее, когда народы враждуют между собой и бьют не господ, а друг друга. И еще пойми: если удмуртов обвинят в человеческом жертвоприношении, дело одним Мултаном не кончится. Они хотят натравить русских на весь удмуртский народ. Могут начаться погромы. Ведь среди русских немало быковых, кибардиных, дроздовых. А за ними слепо пойдут и честные люди. Ведь не каждый понимает, что тут происходит, тем более, если подогреть национальные и религиозные чувства — мол, удмурты русских молят, идолам поклоняются, против бога идут.

— Среди русских таких разговоров еще никогда не было, Илья Фомич,— запротестовал Петрован.— А вот мултанский староста открыто натравливал удмуртов на русских, драку хотел затеять.

— Вот видишь? — учитель многозначительно поднял палец.— Это и страшно. Травля с двух сторон. Самодержавию это нужно, чтобы отвлечь народ от восстаний, а такие, как мултанский староста, хотят обмануть свою бедноту, отвлечь их зло от себя, навлечь на русских. Надо с народом побольше разговаривать, Петр Иванович, объяснять надо, почему затеяно это дело. Если бы нашли убийцу, развязка пришла бы сама собой, но убийцу не найдут, это я чувствую.

Илья Фомич умолк и, медленно шагая рядом с Петрованом по берегу спущенного пруда, вдруг остановился и спросил:

— Говорят, Быков на удмуртов сказал?

— Он, Илья Фомич. Я тогда там был, сам слышал.

— Быковы уже много лет добиваются приговора переселиться в Мултан, а мултанцы приговора не дают. Не здесь ли причина? Как ты думаешь?

От страшной догадки Петрован весь похолодел и не мигая смотрел на учителя.

— Постой-ка, Илья Фомич,— чуть не вскрикнул он,— вы же прямо на след напали. Но как найти, куда он, этот след, ведет?

— Да-а...— Илья Фомич задумчиво потрогал свою курчавую светлую бородку и как бы про себя стал рассуждать: — Хорошо, предположим, что убийство нищего — дело рук Быкова. Он же указывает на мултанцев. А урядник, а становой? Почему они сразу поверили ему? Ведь это не какая-нибудь мелкая кража. Нет! — заключил Илья Фомич, дотронувшись до руки Петрована белой фуражкой.— Дело тут не только в Быкове. Темную историю этого дела знают, мне кажется, и полицейские. Если так, если мои предположения верны, тогда они убийцу настоящего не найдут, Петр Иванович. Дело дойдет до суда. В газетах поднимут шум, что удмурты, мол, замолили русского. Понимаешь, чем это все может кончиться?

Петровану становилось все яснее и яснее, в какое страшное положение попали удмурты, ему даже душно стало, и он машинально расстегнул ворот рубахи. У верхней мельницы снова послышался свисток.

— Пойдем посмотрим, что они еще придумали,— сказал Илья Фомич и быстро зашагал через густой ольшаник.

Становой почему-то сразу поверил уряднику Соковикову, что нищий убит удмуртами с целью жертвоприношения. Но поверить — одно, а доказать — совсем другое. Для этого нужны факты. Тут Тимофеев с первых же шагов стал в тупик. Сидел он в доме Мухина, читал и перечитывал протоколы, составленные урядником, но никак не мог найти надежной зацепки.

В дверь постучали.

Вошел урядник Соковиков.

— Из Малмыжа срочный пакет, ваше благородие. От их высокоблагородия господина исправника.

Тимофеев небрежно распечатал пакет и, насупив брови, стал читать:

«По уведомлению прокурора Малмыжского участка мне стало известно, что во вверенном вам стане, у деревни Анык, Старо-Трыкской волости, обнаружен труп без головы. Имеются данные о том, что человек убит удмуртами с целью принести его в жертву своим языческим богам. Предлагаю вам лично заняться этим делом.

На поиски головы поднять население всех окрестных деревень. В подозреваемой удмуртской деревне произвести по-

... Вот и кузнец. Вот и кузнец этой деревни арестован. С... ...ряжник произведет при личном участии урядника ... ...Вы, ваше благородие, сами себе приготовьте урядников Старо-Трокс... ...ской, Вотчинской и Больше-Учинской волостей. Тьфу... Пожалуй, впервые получаю я такую ... ...бумагу от этого старого сыча»,— подумал стано... ...вой пристав.

— В такой-то глухой удмуртской деревне произвести ... ...тайный обыск.

— Сегодня же прикажете, ваше благородие? — спр... ...рядник, полагая, что сказанное относится к нему.

— О чем это ты? — в свою очередь спросил ста... ...вой пристав.

— Тайный обыск сегодня же прикажете?

Становой редко смотрел на собеседника, но сейчас с... ...удивленно уставился на Сековикова, вопрос которого ... ...ал ему уж слишком глупым.

— Дурак! — процедил он, сердито приподняв лохма... ...брови. — Где это видано, чтобы ночью производили тай... ...ный обыск?

— Виноват, ваше благородие.

— Вот что: завтра часам к девяти утра надо собрать ... ...сюда как можно больше понятых, во всяком случае чел... ...пятьсот — пятьсот.

— Слушаюсь, ваше благородие.

На другой день у верхней мельницы собралось боль... ...понятых. Никто из них в жизни своей не видал, ...чтобы по случаю убийства собирали такое множест... ...во. И все они до единого должны искать голову уби... ...того.

И вот разбрелись люди в разные стороны. Идут и г... ...ворят, по лесу, и по берегу реки, и по лугам. По пра... ...вилу, многие только делают вид, что заняты поисками, ...лены. Те, что оказывались подальше от глаз станового ... ...зрения, просто шли и переговаривались. А поговорить ... ...было о чем. Ведь прошла страшная голодная зима, ...сейчас будет лето.

Поближе мельницы, у густого ольшаника, из берегу со... ...брались человек десять чулнинских мужиков. Черноборо... ...дый Митяй стоял на коленях, закручивая цигарку, и ворчал:

— Ну, чего ради они столь народу согнали? Ведь вре... ...мя то какое — сев. Ну, скажем, найдут голову убитого? А ... ...дальше что? И чего это им обязательно голова нужна?

— Становой, наверно, жене хочет показать,— сострил ко...

лотой чернявый парень, который стоял, держась за нижний ск ольк. Он, видно, хотел рассмешить людей, но никто даже не улыбнулся, и старик Мартемьян сердито бросил:

— Не до смеху тут! Люди сеют, а мы болото месим.

Желая поправить свою неуместную шутку, парень сказал Мартемьяну:

— А я о чем говорю? Становой, а дурак. И на черта дался ему голова?

Неожиданно перед ними, словно из-под земли, появились становой и урядник. Все сидевшие стали один за другим неторопливо подниматься. Парень насмерть перепугался. Становой, конечно, слышал, что было о нем сказано, и теперь молча стоял в страшном гневе. Потом, указав рукояткой плетки на парня и не повышая голоса, приказал уряднику:

— Арестовать!

Урядник запер парня в мельничный амбар. Вскоре набралось арестованных семь человек — и все русские. Если бы урядник и становой понимали по-удмуртски, не меньше набралось бы и удмуртов.

Становой приказал уряднику гнать людей к нижней мельнице. Пусть ищут голову на дне спущенного пруда. А когда пригнали народ, урядник доложил становому:

— Многих нет, ваше благородие. Разбежались.

— Созвать ко мне старост.

Когда явились старосты, становой приказал им проверить людей своей деревни и доложить об отсутствующих.

Народу у мельницы собралось видимо-невидимо. В разноголосом шуме можно было различить громкие выкрики старост.

— Аныкские, ко мне! — кричал староста из Аныка.

— Чулышские, на плотину!

— Копкинские!

— Мултанские!

— Кузнерские!

— Починовцы!

У мельницы была невообразимая толчея. Тут перемешались люди разных деревень.

После подсчета оказалось, что десятки понятых самовольно ушли.

— Всех сбежавших запрете и будете держать под замком, пока не приедет урядник,— приказал старостам становой.— А сейчас всех понятых — в Мултан.

Вряд ли по дороге, ведущей от казенного леса в Мултан, когда-нибудь двигалось столько народу. Бесконечная верени-

на людей походила на толпу арестантов. Понуро шагала ис-
худавшие, бледные, подавленные тяжким горем люди.

Впереди толпы на солидном расстоянии ехал пристав, а
замыкал шествие урядник. Озираясь, как сыч, он шел шагах
в тридцати от последних рядов.

В заднем ряду брели, переговариваясь, Петрован, Григо-
рий, Антон Камаев, Никифор, Иван Красный и двое чуваш-
ских. Увлеченные разговорами, они частенько отставали.
Урядник то и дело торопил их.

— Давай, давай, Никифор Петрович, шагай! Отстаете.

Никифор вынимал изо рта трубку и, оборачиваясь к
уряднику, отвечал:

— Успеем, ваше благородие, не на базар идем.

Петрован волновался.

— Что-то неладное они задумали...— И он кивал голо-
в сторону урядника.— Где это видано, чтобы столько лю-
водили на обыск?! На каждый двор человек десять понять.
Ты, Григорий,— сказал он шепотом,— как только придем в
Мултан, тотчас беги к Илье Фомичу, пусть распустит учел-
ков и...

Не успел он договорить, как кто-то сзади крепко обнял
его. Петрован испуганно повернулся. Перед ним стоял улы-
бающийся Игнат. Они обнялись и расцеловались. Игнат стал
здороваться с каждым по очереди.

— Григорий, да это, никак, ты? — воскликнул он, крепко
пожимая протянутую руку.— Когда же ты успел такую бо-
роду отрастить?

— Не в бороде счастье, Игнат,— рассмеялся Григорий,
обрадованный встречей.

— А хороша она у тебя: курчавая, круглая. Еще бы оч-
ки — и вылитый доктор, солидный, высокий.

Все развеселились и не заметили, как сзади подошел урял-
ник и зло крикнул:

— Давай, давай!.. Шагай!.. Нашли место целоваться!

— Слыхали?—сказал Игнат.—Как скотину гонит, сволочь

— А как у тебя с ними... он тебя не того? — шепотом
спросил Петрован.

— Я узнал, что тут старого урядника уже нет. Этот мой
не знает.

— Может и узнать, нуды найдутся,— забеспокоился Пет-
рован.— Напрасно ты им на глаза лезешь.

— Ты что-то труса празднуешь, Петр? — улыбнулся Иг-
нат.— Руки у них еще коротки поймать меня.

Спокойствие Игната передалось и Петрованту.

— Откуда это ты так неожиданно? — спросил он.

— Лиюта соскучилась. «Поедем» — и все. Ну, сели на пароход и приехали. То, что я тут,— это дивo небольшое. А вот вы-то куда целым войском идете? Говорят, мултанцев в каком-то убийстве обвиняют? — повернулся он к Григорию и Никифору.

— И не говори, Игнат,— махнул рукой Никифор,— сами не поймем, что тут творится. Пусть Петрован расскажет.

— Давайте-ка немного вперед подадимся,— посоветовал Петрован.

И он по порядку рассказал Игнату, как и с чего началась вся эта история.

— Постой, а в Мултан зачем они столько народу ведут?

— Голову искать.

— Ничего не понимаю. Но почему обязательно в Мултан? Убийцу видел кто, что ли?

— Какое тут. Про убийцу никто ничего не знает. Когда труп нашли, приехал урядник и собрал понятых из трех деревень голову убитого искать. Вот тогда наш Быков и сказал при всех: «Наверно, говорит, мултанцы убили своему богу молить». С этого и началось.

— Вот оно что!..— протянул Игнат и посмотрел далеко вперед поверх сотен голов.

Передние ряды уже вышли из леса. Впереди за широкой лужайкой виднелись изгородь и полевые ворота на границе мултанских земель. Скоро и задние ряды подтянулись к опушке. Игнат горячо заговорил с идущим рядом Петрованом:

— Ты считаешь, весь этот народ идет так себе и ни о чем не думает? Нет, Петр, народ думает, крепко думает, только не может понять, в чем тут дело. Приказали идти, ну и идет. А куда идет, зачем идет?.. Погоди, я этим дармоедам все карты спутаю! — И он чуть не бегом стал продвигаться вперед.

— Игнат, куда? — крикнул ему вслед Петрован.

Он знал горячий нрав Букина и, боясь, что тот может нарваться на неприятность, побежал за ним. Остальные переглядывались, не понимая, что происходит.

— Куда это он? — подняв бороденку, смотрел Никифор на быстро идущего с краю толпы Игната.

А Игнат уже добрался до полевых ворот и как раз в тот момент, когда передние ряды стали выходить за ворота, взобрался на изгородь и, протянув левую руку к толпе, крикнул:

— Мужики!..

Передние остановились, а задние продолжали двигать... и постепенно все сгрудились в тесную, притихшую толпу.

Игнат стоял, держась правой рукой за столб. Его ... парусиновая куртка была расстегнута, грудь обтягивала ... лосатая тельняшка.

Становой, наверно, ничего не слыхал, и его тарантас ... дальше отъезжал от толпы. Только при втором выкрике ... ната становой оглянулся и приказал ямщику остано... шаль. И до него отчетливо донеслись слова Игната:

— ...Куда вы идете, мужики? Зачем идете? Вы ... что они взаправду на поиски головы ведут вас? Са... думайте, мужики: какой дурак будет прятать голову у ... где-нибудь в сундуке? Вас гонят в Мултан не на ... Русские, аныкцы, чулышские, починовцы, всех вас хотя... сорить с удмуртами, хотят между вами вражду ... чтобы вы не поднимались вместе против мироедов, как ... было, когда мы громили волостное правление. Опом... мужики!.. Не ходите в Мултан!..

Сотни людей, затаив дыхание, слушали Игната.

Становой Тимофеев с несвойственной ему живостью ... прыгнул из тарантаса и, целясь в спину Игната, выстрел... Пуля свистнула над головой Игната. Он еще не успел ... образить в чем дело, а десятки рук уже стащили его с ... роди.

Тимофеев мигом очутился перед толпой и, держась ... эфес шашки, спросил чернобородого Митяя:

— Кто это тут сейчас орал?

Митяй пожал плечами.

— Откуда мне знать, кто он такой? Вон тут ... народу.

Становой с ног до головы оглядел богатырскую ... Митяя и погрозил ему пальцем:

— Знаешь, мерзавец! Все вы знаете!

А запыхавшийся урядник бежал тем временем к ... му. Увидев Быкова, он остановился и, еле переводя ... спросил:

— Кто это был?

Быков шепнул ему что-то. Узнав о бунте, урядник ... бежал еще быстрее к поленым воротам, где станов... махивая плеткой, неистово кричал на мужиков.

— Среди белого дня продаешь, нуда! — с непо... проговорил стоявший поблизости от Быкова Кольрат... менов, дядя Петропая.

— А тебе чего надо? Видать, тебе еще бока не ломали!

сверкнул на него своим единственным глазом Быков.— Откуда ты взялся такой шустрый? Видали мы таких голодранцев!

— Голодранцев?.. А кто нас голодранцами сделал?.. А ну, отсчай! — и Семенов со злостью вцепился в рубаху Быкова.

— Ах, ты еще за грудки! — Быков с силой оттолкнул его от себя.

Кондратий отлетел на несколько шагов и угодил головой в нос стоявшего позади парня. У того на только что пробившиеся усики брызнула кровь.

— Копкинских бьют! Чего вы смотрите?! — крикнул парень своим односельчанам и с размаху ударил Быкова по лицу.

Затеяли драку. Быков вмиг очутился под ногами у мужиков. Ненависть, таившаяся годами где-то в глубине души, вырвалась наружу. Быкова с яростью пинали, топтали, били куда попало. А парень, с измазанным кровью лицом, бежал к изгороди за колом.

Те, что стояли подальше, пользуясь отсутствием урядника, убежали в лес. Урядник, однако, узнал об этом, доложил становому и, размахивая револьвером, тоже бросился в лес. Становой махнул плетью в сторону Мултана и визгливо скомандовал:

— Шагом а-арш!..

Понятые прибыли в Мултан. Перед обыском становой вызвал к пожарному сараю старост, сотских и десятских. Собралось больше шестидесяти человек.

Илья Фомич пришел туда как раз в тот момент, когда становой начал объяснять порядок обыска, а потом с наглой откровенностью призвал к погрому:

— ..Напоминаю: найти преступников — наш святой долг. Этим самым мы избавим русских от ежедневного страха быть убитыми где-нибудь в лесу. Если мы с корнем не уничтожим удмуртский обычай человеческого жертвоприношения, никто из нас не может быть уверенным, что не будет замолен. Следовательно, вы должны стараться. Ищите как следует. Все перероите! Если при обыске удмурты будут сопротивляться или оскорблять, бейте!..

Илья Фомич протолкался вперед и, стараясь казаться спокойным, обратился к становому:

— Господин пристав, насколько я понимаю, вы призываете сотских и десятских к погрому в Мултане.

— А вы кто такой? — становой взглянул на учителя, оценивающе оглядев рыжие брови.

— Я — русский.

Чульнинский староста Кибардин поспешил объяснить:

— Это здешний, мултанский, учитель, ваше благородие.

— У вас, очевидно, большое воображение, господин учитель,— сказал становой, презрительно разглядывая Илью Фомича.— Палка в руках сотского — это еще не погром.

— Погромы как раз и начинаются с палок в руках одураченных сотских! — уже не сдержав себя, вспылил Илья Фомич.— Предупреждаю вас, господин пристав: если в Мултане начнется что-нибудь нехорошее, я вынужден буду обратиться к народу и кое-что объяснить людям.

— Мы уж как-нибудь без вас обойдемся, господин учитель.— И, размотав плетку, закрученную на кисть правой руки, становой помахал ею перед Ильей Фомичом: — Не волнуйтесь, господин учитель, лично у вас пока никакого погрома не будет.

Щелкнув плеткой по голенищу до блеска начищенных сапог, он дал команду собравшимся:

— Приступить к обыску!

Поднялся невообразимый шум: полсотни с лишним десятских выкрикивали своих понятых.

Разыскав Игната и Петрована, Илья Фомич сообщил им, что становой открыто призывал десятских к погрому.

— Теперь понятно, почему собрали столько народу.

— Народ не пойдет на такое дело, Илья Фомич,— сказал Игнат, отрицательно покачав головой.

— Все может случиться, Игнат Андреевич. В таких случаях многие теряют голову, не всегда рассудок берет верх. Надо быть настороже. Я буду держаться ближе к становому, а вы следите здесь.

Становой Тимофеев с только что прибывшим в Мултан волостным старшиной Попугаевым, урядником Соковиковым и тремя понятыми стали производить обыски в домах, указанных предварительным дознанием.

Первым делом зашли к Антону Камаеву. В день убийства нищего Антон был суточным. Когда Тимофеев и остальные появились во дворе Антона, тот показал рукой на ветхие постройки, крытые липовой корой:

— Глядите, тут и вору негде спрятаться.

Дом Антона стоял в проулке, что вел в Новую улицу. За его двором в огороде размещался старый шалаш Мокея. Это был главный шалаш рода учур, с черными от копоти стенами. Северная сторона его крыши покрылась зеленым мхом, а с южной стороны, очевидно, ветром сорвало две доски, и теперь они торчали тут же на крыше. Мокей так и

не удосужился прибить доски, и зимой у самых дверей в шалаше вырастал сугроб снега.

Выйдя в огород, становой увидел шалаш. Он с минуту постоял, что-то раздумывая, и прямо по грядкам направился туда.

— Так, так...— многозначительно произнес он, обернувшись к подошедшим вслед за ним урядинку и волостному старшине.— Ловко сделано, черт побери! Вон,— указал он на дом Антона,— нищий там ночует, ночью его связывают, принесут сюда, а остальное ясно.

— Самое подходящее место,— подтвердил волостной старшина, поглаживая свою большую бороду тыльной стороной ладони.

Становой пихнул ногой дверь. Тут была полутьма. На земляном полу можно было разглядеть золу, оставшуюся с прошлого лета.

Летом здесь готовят обед. Над очагом к черной от копоти перекладине вертикально прикреплен деревянный шест, в конце которого вделан крючок для подвешивания котла. В левом углу от входа висит небольшая полочка, на ней поставлена икона с изображением Николая-угодника. Икона настолько закоптилась, что в лике святого с трудом можно различить лишь круглую короткую бороду. Вверху, под самой крышей, ласточкино гнездо.

Пока осматривали шалаш, урядник нашел в щели перекладины пучок рыжеватых волос.

— Ваше благородие, волосы.

Все повернулись к урядинку. Волостной старшина в это время разглядывал пол. Услышав слово «волосы», он указал становому на пол:

— Здесь сыро, господин пристав. Не кровь ли это?

Влажную землю у двери становой ковырнул шашкой, потом зачем-то понюхал конец шашки. На полке рядом с Николаем-угодником становой увидел старый тусок и приказал налитым наполнить его подозрительной землей.

— Ну-с, что скажешь, братец? — спросил он владельца шалаша Мокея, посмотрев на него холодным, пронизывающим взглядом.

А Мокей никак не поймет, почему становой так угрожающе смотрит на него. После долгой болезни он только что поднялся с постели. Правда, Мокей слышал о том, что мулланов хотят обвинить в убийстве, но никакого значения этому не придал: он-то тут при чем? И сейчас в толк не возьмет, зачем становой приказал наполнить тусок землей, зачем

Урядник тщательно собрал волосы с перекладины. «Надо, но, у кого-нибудь телка пропала,— подумал Мокей.— Может, думают, я украл».

Щеки у Мокея втянулись, возможно, потому, что он постоянно сосал трубку. Большая трубка в медной оправе и сейчас была у него во рту. Редкая бороденка торчала, сплошь неуродившаяся на плохой земле рожь. Волосы, начинающие седеть, были стрижены под скобку и подвязаны лентой. Перед приходом начальства он налаживал калитку в огороде, но не успел кончить, сюда позвали.

— Значит, здесь резали? — спросил его становой.

— Здесь не резал, ваше благородие, во дворе резал, тут шкуру вешал сушить,— сказал Мокей, все еще не поняв смысла вопроса.

— Ну и хитер же ты, бестия! — становой погрозил ему пальцем.

Из шалаша направились во двор Мокея. Чулымский староста Кибардин, бывший тут в числе понятых, нашел деревянное корыто, приставленное к дровам. В корыте оказались следы крови.

— Опять кровь, ваше благородие! — и Кибардин с корытом в руках подбежал к становому, стоявшему у амбара.

— Это что за кровь? — спросил становой, поднося корыто к лицу Мокея.

— Мясо держал там, ваше благородие, мясо... Когда режем, кровь тут держим. Перед масляной бычка резал.

— Кто видел? Кто может подтвердить?

— Соседи знают. Не сам резал, Григорий резал, он мастер.

Кибардин снова поднял корыто, прислоненное к дверям амбара, и осторожно, боясь испачкать бороду, лизнул его.

— Соленого привкуса нет, ваше благородие. Вот попробуйте сами.

Становой поморщился, брезгливо посмотрел на Кибардина, протягивающего ему корыто, и сухо сказал:

— Поставьте...

— Надо собаке дать полизать,— предложил волостной старшина.— Человечью кровь собака ни в жизнь не станет лизать.

— Где живет этот... мясник? — спросил становой урядника.

— Григорий Дмитриев, ваше благородие, тут недалеко,— определил урядник Кибардин.

— Позвать! — бросил становой.

Во дворе Григория на зеленой лужайке перед летним амбаром собралось семеро понятых. Среди них — мельник Фома и Иван Конев. Мельник сидел на приступке амбара, а Конев лежал на траве и курил. Рядом с ним надсадно кашлял от табачного дыма щупленький старичок. Но вместо того, чтобы отойти в сторону, он ворчал:

— Хватит дымить, Иван. И чего хорошего в этой чертовой траве?

Фома рассказывал о нищем, который заходил к нему в то самое утро, и как он, Фома, видел двух мужиков, торопливо уходивших в сторону Аныка. Мельник говорил, а сам то и дело вопросительно поглядывал на Конева. А у того при каждом взгляде мельника мороз по коже пробегал. И, будто угадав причастность Ивана к убийству нищего, Фома сказал:

— Ежели бы в Аныке, кроме тебя, Иван, не было высоких людей да ежели бы убитый оказался купцом или каким-нибудь богачом, обязательно на тебя бы подумал. Один точь-в-точь на тебя был похож.

— Наверно, он и убил,— засмеялся старик.— Видишь, каким богатеем стал, даже на штанах рубли, что-то только не звенят.

Конев медленно приподнялся на локте и, не глядя на мельника, с обидой в голосе сказал:

— По-твоему, Фома Васильевич, выходит, я из-за денег могу человека убить?

Мельник не успел ответить, потому что во двор вошел становой со своей свитой и понятыми.

Увидев спокойно беседующих и покуривающих понятых, Тимофеев нахмурил лохматые брови и, не повышая голоса, но с явной угрозой, произнес:

— Обыск, значит, производите? Так, так...

— Встать! Кому говорят! — и урядник пнул ногой Ивана Конева.

— Десятский!

— Я,— сказал мужик средних лет, красное лицо которого казалось обваренным.

— Арестовать! — приказал становой уряднику, плеткой указав на десятского.

— Кто тут Дмитриев?

Григорий как раз в это время выходил из избы, держа в руках плотничий топорик. Он намеревался продать его мельнику. Становому показали Григория, и он вместе с ним вошел обратно в избу. Нужно было узнать у Дмитриева, действительно ли он резал для Мокея бычка. А урядник, волостной

старшина и Кибардин пошли шарить в амбаре и конюшне.

С речки возвращалась Дыды. Она несла белье на коромысле с большими изогнутыми концами. Увидев станового, попеременно с отцом в избу, Дыды остановилась у ворот.

— Не арестовать ли хотят отца? — с тревогой спросила она щупленького старичка.

Дыды обратилась именно к нему, потому что из русских немултанцев он считался первым знатоком удмуртского языка.

— Нет, конечно, дочка,— успокоил ее старик.— Разве можно весь народ арестовать? Обыск-то по всему селу идет.

Дыды облегченно вздохнула и пошла развешивать белье.

Волостной старшина где-то в сенях или чулане нашел кошечку, вышитую внутри чем-то красным. С [illegible] в руках он торопливо вошел в избу.

— Опять кровь, ваше благородие,— уверенно показал лукошечко.

— Не кровь это, господин старшина,— улыбнулся Григорий,— это малину собирали.

Появился урядник с большим фартуком из грубого холста, забрызганным кровью.

— Так, так... И это малина? — указал становой на фартук.

— Это кровь. Скотину режу в этом фартуке,— спокойно ответил Григорий.

Перед обыском всем мултанским удмуртам было приказано быть дома и ждать понятых. Вернулся домой и Никифор. Старые ворота были уже разобраны. Никифор сел на новый столб, лежавший комлем к готовой [illegible] и закурил трубку. Алеша докапывал последнюю яму. Потому ли, что на нем был фартук, или по хватке в работе, но он походил на настоящего мужика. Будь это в другое время, Никифор с отцовской гордостью смотрел бы на сына, пошел бы сказать ему и ласково спросил: «Ну как, сынок?.. Кто кого: работа тебя или ты работу докопал?» Но сейчас он сидел мрачнее тучи, не до разговоров ему было. Алеша сразу заметил, что отец не в духе, и, постояв с минуту, воткнул лопату в кучу вынутой земли и подошел к нему.

— Что случилось, отец?

Никифор вынул изо рта трубку.

— Пока ничего не случилось, сынок. А что случится, кто его знает. Мы свое уже прожили, а у вас еще все впереди. Жить да жить бы вам, но горе и для вас готовит. Ну и...

и понятые идут к нам, не кипятись, Алеша, слишком горяч ты. Пусть ищут.

— А мы что, воры, что ли? Украли что? — вспыхнул Алеша.

— Не у нас одних обыск. Вон, смотри, во все дворы идут.

— Чего же они ищут?

— Голову убитого, что ли, кто их знает.

Алеша стоял в немом удивлении: да кому нужна голова убитого, зачем ее прятать? С ума они сошли, что ли? Но так или иначе, а семеро понятых уже подошли к их дому. Поздоровались с Никифором и остановились в нерешительности. Вслед за понятыми появились и Петрован с Игнатом.

Видя смущение и нерешительность понятых, Никифор поднялся и указал рукой на свой двор:

— Заходите, пожалуйста, вон и ворота не то что открыты, а совсем разобраны. Сынок,— обратился он к Алеше,— иди отвори амбар и сундуки, какие есть, отомкни, пусть ищут, пусть никаких подозрений не уносят с собой, пусть все своими глазами посмотрят.

— Никифор Петрович, это что еще за разговоры? — не на шутку обозлился Петрован.— Что же мы, по-твоему, урядники, что ли?

Три сосновых столба, гладко обструганные, поблескивающие на солнце, лежали у приготовленных ям. Игнат попробовал было один из них поднять, но и с места не мог сдвинуть.

— Ну-ка, ребята, подсоби! — крикнул он понятым.

Понятые были рады хоть на время освободиться от неприятной обязанности производить обыск у своего же брата мужика и охотно взялись за столб. Раздалось дружное:

— Ра-аз, два, взяли!

— Стой!..— крикнул десятский.— Яму обвалите. Доску надо, доску.

Алеша сбегал под навес и принес доску. Десятский поставил ее вертикально в яму напротив столба.

— Готово. Давай!

— Еще взяли!.. Давай, давай, не жалей пупа, не лопнет...

— Не давай съезжать с доски. Держи!

— Не так, Игнат. Рычагом доверни!

— Раз не там... Доверните влево.

— Давай! Раз!.. Взяли!..

— Ворочай, ворочай!.. Еще. Стоп, довольно, хватит!

Столб встал на место. Все заулыбались. Никифор с Алешей принялись забрасывать яму землей, а понятые взялись за

второй столб. И по притихшему Мултану вновь дружно раз-
далось:

— Давай! Еще раз!

Для такого количества людей столбы не так уж были тя-
желы, и выкрики, пожалуй, были излишни. Но люди выкри-
кивали эти слова с каким-то особенным задором, словно ста-
рались встряхнуть Мултан от страшного, тяжелого оцепе-
нения.

Становой сидел в избе Григория у открытого окна. Услы-
хав дружные возгласы, он выглянул в окно и, не дождав-
шись ответа Григория на свой очередной вопрос, грузно
выскочил из дома.

Он спешил перебежать улицу: ему казалось, что их
только понятые увидят его, они тотчас разбегутся. Но, уви-
ченные трудом, люди даже не заметили станового. У ворот
Никифора собралось уже человек двадцать — подошли дво-
тые и с соседних дворов. Молодой рябоватый десятский, ре-
ко взмахивая рукой, командовал.

Становой подошел вплотную к работающим и, сунув
самый нос десятского рукоять плетки, взвизгнул:

— Прекратить!..

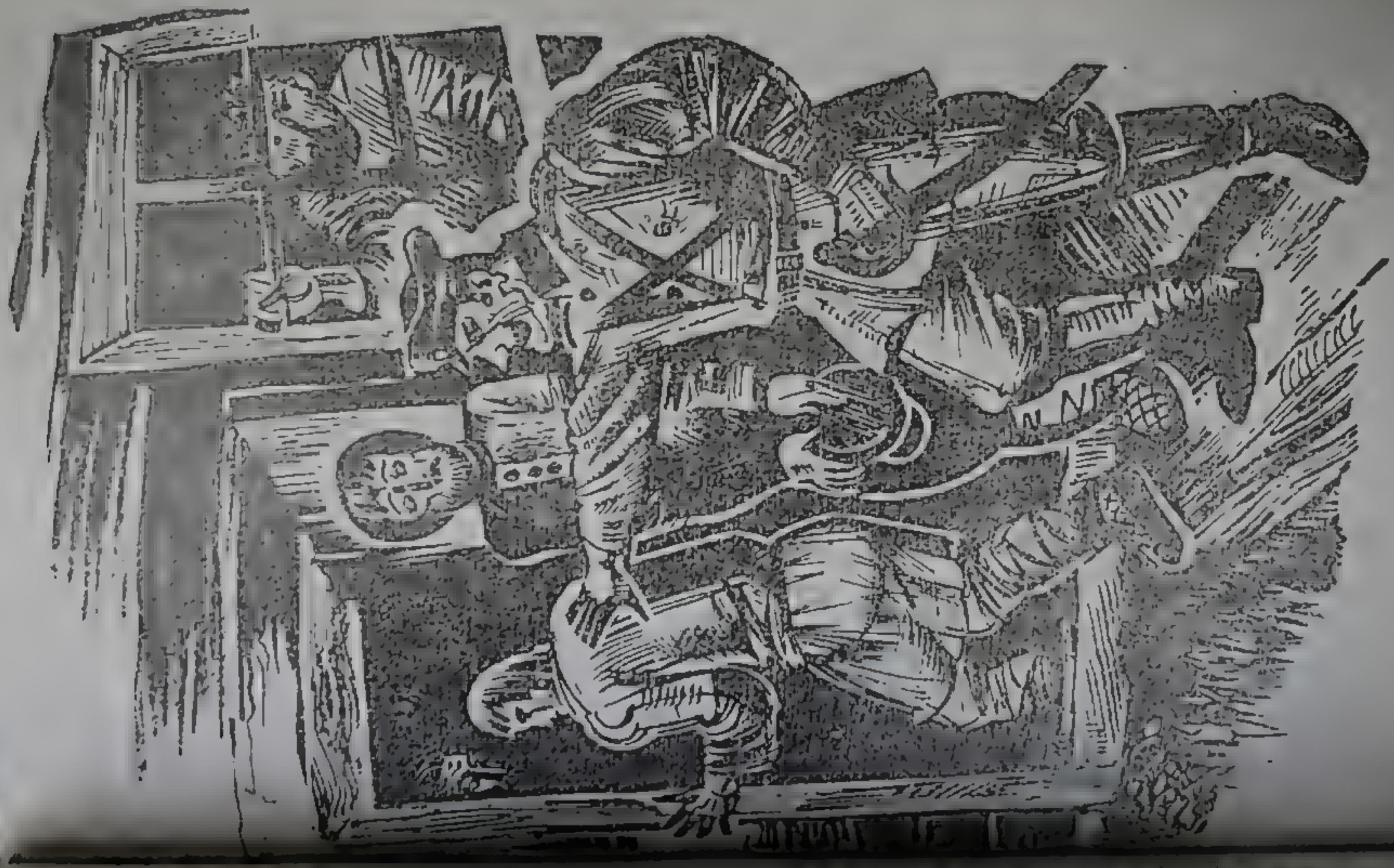
И, словно испугавшись окрика, ухнул в яму подпятый
столб. Его придерживали теперь Игнат и Петрован. Осталь-
ные поспешно отошли.

— Алеша, давай засыпай...— крикнул Петрован.

И пока Алеша забрасывал яму, Петрован все старался
загородить собой Игната. Предосторожность была, пожалуй,
излишней, так как и становой и урядник едва ли узнали б
его. Да и вообще кто бы мог поверить, что человек, в ко-
торого только что стрелял становой, станет вертеться тут,
перед глазами. Уряднику, например, было приказано стре-
тить Букина сегодня ночью в Аныке. Становой по очереди ра-
глядывал понятых, казалось, раздумывая, как с ними посту-
пить, и, ткнув пальцем в рябого десятского, коротко приказал

— Арестовать!

Урядник увел десятского в амбар Мухина. Становой ре-
шил обойти несколько дворов и лично проверить, как вы-
полняется его приказание. Зашел в первые три двора и —
избесился: было ясно, что никто и не думает заниматься об-
ском. Сидят себе люди, покуривают, а то и сказки расска-
зывают. В одном дворе устроили петушиный бой и настоль-
увлеклись, что уряднику пришлось встряхивать некоторых за
шиворот. А во дворе Ивана Красного понятые с не меньш
увлечением глядели, как два парня, обливаясь потом, стара-
лись друг друга перетянуть за палку.



На этот раз становой едва не изменил своему обычному правилу – не пускать руки в ход. Тыча под нос десятскому рукоятью плетки, он вопрошал:

– Это ты так выполняешь приказание, мерзавец?!

К вечеру в каменном амбаре Мухина сидело уже тринадцать арестованных удмуртов:

Григорий Дмитриев — у него нашли лукошко и фартук со следами крови.

Мокей Власов — в его шалаше на перекладине были развешены волосы, похожие на человеческие, и корыто со следами крови.

Антон Камаев — в дни убийства нищего был суточным, а нищие обычно ночуют у суточного. В ночь убийства Мухина в доме Антона действительно ночевал нищий.

Иван Красный — сотский; нищих, остающихся в селе на ночь, к суточному ведет сотский или кто-нибудь из членов его семьи. Нищего, ночевавшего у Антона, сотский Иван видел сам.

Федор Бураш — в ночь убийства был в ночном карауле.

Никифор Петров — был в карауле вместе с Бурашом.

Акмар — один из самых древних старцев в селе. Он хоть никогда в жизни и не занимался ворожбой, но, по утверждению некоторых свидетелей, ни одно из крупных мероприятий не предпринимается без совета такого вот старца. Да к тому же вечером под роковую ночь Акмар приходил к Григорию, принося подарок своей любимице правнучке Дыды — маленькие, точно игрушечные, лапти.

Ефим Герасимов — старший жрец. Глухой, он, казалось, оставался безучастным ко всему происходящему.

Кроме него, без всяких улик было арестовано еще пятеро жрецов.

Ночью урядник Соковников и прибывший из Вапожа урядник Лобов поехали в Анык ловить Игната. А Игнат с Ильиным эту ночь провели у Ильи Фомича.

По расчета прождали его урядники, да так и уехали ни с чем. Еще раза три приезжали они в Анык, но Игната, видимо, не так-то легко было поймать.

13

Яшке и свет теперь был не мил, как в тяжком похмелье, проводил он дни. Кажется, и буланый чувствовал, что с хозяином творится что-то неладное. Остановится вдруг воз из

дороге и стоит, пока Яшка не спохватится. Когда случается стоять подолгу, конь смотрит назад, на телегу, нагруженную навозом, и на задумчиво сидящего хозяина. А Яшка, словно спросонья проснувшись, быстро хватался за вожжи.

— Н-но!.. Все бы тебе останавливаться. Бредешь, как ожиревший боров.

Сегодня Яшке уже влетело за нерадивость: отец больно хватил его по спине черенком железных вил. Но разве думы выбьешь? А дум у Яшки много, и одна тяжелее другой. Он ревнует Дашу к кривому и боится ее. Откуда она узнала, что он убил нищего? Неужели кривой рассказал? Он еще и урядинку донесет. И не опомнишься, как в яму толкнут. А если на него донести? От всех этих мыслей Яшка за неделю так осунулся, словно целый месяц болел.

— Что с тобой, Яшенька? — тревожилась мать.— Не порчу ли напустили на тебя? Лица на тебе нет. Сходи хоть на базар, может, ветром обдует; глядишь, оно многое и забудется.

Яшка послушался совета матери и пошел в Мултан. Гуляя по базару, он увидел урядника Соковикова, входившего к Мухину. Яшка знал, что верх мухинского дома отведен под съезжую. Он постоял с минуту, что-то обдумывая, потом решительно направился туда, но сразу не вошел, сначала заглянул в лавку, купил четвертушку водки, выпил и только тогда двинулся к Мухину.

Урядник стоял у окна и смотрел на базарную площадь, на бестолково снующий народ. Он обернулся на стук. В дверях стоял парень и мял в руках картуз с блестящим козырьком.

— Тебе чего? — спросил урядник.

— Я хотел... Об убитом я, господин урядник.

— Об убитом? Ну, ну, давай. Иди сюда, садись и рассказывай, что слышал,— обрадовался урядник, полагая, что парень расскажет ему новые факты об убийстве.

— Нищего убил Быков...— выпалил Яшка и бессильно опустился на скамейку, стоящую тут же, у дверей. Немного помолчав и не поднимая головы, он голосом обреченного добавил: — И меня втянул в это дело... А я тут ни при чем, не виноват...

Урядник был ошеломлен. Он молча прошелся до двери и обратно, постоял у окна, барабаня пальцами по стеклу, и наконец подошел к Яшке.

— Та-ак... Говоришь, Быков? — Он помолчал, поглядывая

на нарии, потом спросил: — И тебя, значит, втянул? Выходит вид вместе убивали? А голова где? Куда спрятали?

Яшка в немом удивлении глядел на урядника. Такого вопроса он не ожидал.

— Голову куда дели? — снова спросил урядник.— Ишь, что ты уставился на меня, как баран на новые ворота? Где голова убитого?

— Не знаю я, господин урядник. Голову Быков отсек, вы его и спросите.

— Ну, уж коли начал, так и выкладывай.— Урядник сел за стол и приготовился писать: — Давай по порядку.

Яшка рассказал все, что знал, но на вопрос, где голова убитого, решительно ничего не мог ответить.

— Голову Быков отсекал один, а я в это время стоял в стороне и смотрел, не идет ли кто. О голове я ничего не знаю, ваше благородие.

— Скоро ты у меня все узнаешь, подлец! Я тебе твои дурацкие ноги к твоей дурацкой голове прикручу.

В тот же день Соковиков вызвал из Лыка Яшкиного отца — Агафона Романыча, которого никогда в жизни еще ни один урядник не вызывал. Вполне понятно, что тот был встревожен. Пришел Агафон Романыч на съезжую и, сняв с головы тяжелый картуз, нерешительно спросил:

— Зачем я мог понадобиться вам, Василий Яковлевич? Не с сыном ли что приключилось? Он здесь на базаре был. Скоро вечер, а его все нет.

Чтобы еще больше усилить его тревогу, урядник долго молчал, потом подошел к нему вплотную и спросил:

— Не знаешь, случаем, Агафон Романыч, кто убил нищего?

— Откуда мне знать, Василий Яковлевич: пор и убийца не только имени, даже следов не оставляют.

— А на это и есть урядники. Урядник, он тебе и без следов найдет. А нищего убил твой сынок, Агафон Романыч.

— Шутить изволите, Василий Яковлевич? — блеснул проговорил Дроздов.— Какая же ему корысть убивать нищего?

— Это уж ты у него спроси, он тут в амбаре сидит.

Агафон Романыч присел на скамью и обеими руками схватился за голову.

— Себе на горе породил. Убью!.. Собственными руками убью!

Урядник приказал сторожу привести Яшку.

Что урядник говорил сущую правду, Агафон Романыч понял, как только ввели сына. Не говоря ни слова, он поднял

ся и с [illegible] размаху ударил его в висок. Яшка повалился, как сноп

— Убью! Прокляну!

Вечером урядник побывал у Быкова. Быков отпирался. Даже после очной ставки с Яшкой он, как палим, всячески пытался ускользнуть.

— Кому охота, Василий Яковлевич, сидеть в тюрьме?! Вот он и валит с больной головы на здоровую. Только одного не пойму — чего это ему вздумалось на меня сваливать?

Однако совсем увильнуть Быкову не удалось. Устроив ему очную ставку с Иваном Коневым, урядник прижал Быкова к стене. Наконец Быков решился уже сказать, что его заставил сделать это прокурор, но, вспомнив, что тот строго-настрого приказал молчать, прикусил язык.

Для Соковикова совершенно неожиданно нашелся источник наживы. Яшкин отец сразу после ареста сына продал племенного быка, чтобы были деньги на взятку уряднику. И Быкова крепко скрутил Соковиков: уже трижды по четвертной отвалил ему аныкский богач. Но когда урядник стал еще выжимать из него деньги, Быков не выдержал и сказал, точно ножом отрезал:

— Хватит, Василий Яковлевич, больше ни копейки не дам. Убить заставил прокурор, пусть он и платит.

— Что? Что ты говоришь?.. Ты что, с ума спятил? Ты знаешь, что тебе будет за это?

— Пускай будет. А так тоже не жизнь. Вы меня по миру пустите, скоро все жилы вытянете.

До урядника только теперь дошел истинный смысл слов Быкова. Теперь ясно, кому понадобилось убивать нищего Матюнина.

— Ну, Михайло Савватеич, хорошо, что ты мне сказал, а то беда! Всем нам одна дорожка суждена была бы — на каторгу. Ты понимаешь, что значит прокурор? Это · ·сила!.. Теперь молчок, прикуси язык. Упаси бог... Ты одно уразумей: ни один следователь не поверит тебе, а в суде тем более, и свалится все на твою же голову. Понял? Давай бросим это дело с камнем в воду. Ты дай мне еще двадцать пять рублей, и я все протоколы сожгу при тебе же.

— А если я на вас нажалуюсь?

— Ну и чудак же ты, Михайла Савватеич. Куда, кому ты пожалуешься? Ха-ха-ха-ха! Валяй, хоть сегодня. Кто поверит тебе? Имей в виду — ты теперь в этом деле запутался, как муха в паутине. Если нажалуешься кому, тотчас же об этом станет известно прокурору. Но запомни: его-то не будут су-

...та, если даже и поверят, ну, а тебе не миновать колоть. Жалко денег? Ладно. Тогда я сам скажу прокурору, что ты его избивал. Берегись, Михайла Савватеич!

Быков долго открывал железную шкатулку, стоявшую в переднем углу под божницей. Наконец, извлек оттуда ветхую хрустящую «катеньку», подошел к печке и ...гунка.

— Давайте сюда бумаги, Василий Яковлевич.

— Ну и лиса ты, Савватеич! — улыбнулся урядник.

Деньги Соковников получил после того, как протоколы допроса были составлены.

— Теперь, смотри, племянницу взнуздай: пусть на суде не ту-ту о том, что видела нищего с головой. С Коневых я сам разделаюсь. Яшка теперь у отца в руках. Все дело в твоей Дашке.

— О ней не беспокойся, Василий Яковлевич. А вот кого ...

— Ничего, Савватеич, зато долго помнить будешь.

Быков после того как ушел урядник, к Быкову вошел Яшка.

— Михайла Савватеич,— в голосе его слышалась мольба,— поговорил бы ты с отцом. Убьет он меня или искалечит — каждый день дубасит.

— Жаловаться пришел? — зло ворочая единственным глазом, прошипел Быков.— А когда шел к уряднику, меня не спросил? Убирайся с глаз долой!

Яшка ушел. Быков выбежал за ним во двор и крикнул вдогонку:

— Скажи отцу, пусть придет!

С Агафоном Романычем Быков начал разговор издалека.

— Сын твой приходил. «Повешусь»,— говорит. Напрасно стращаешь ты его, Романыч. Бей не бей, толку не добьешься, парня напрасно искалечишь.

— Что вы натворили, Михайла Савватеич, что натворили! Как пиявка, присосался этот проклятый урядник,— жаловался Агафон.— Ну, сделали пожар, так тут и опомниться не успеешь, как огонь все слижет, а я своими руками добро на ветер спустил. И совести у него нет никакой, и греха не понимает. Зачем ты, Михайла, втянул моего Яшку в такое дело? Господи, за какие же это грехи?

— Посмотришь на тебя, Агафон Романыч,— и диву даешься,— притворно возмутился Быков.— Кажется, ты человек неглупый, а веришь болтовне своего баламута. Если бы я был виноват, ты что же думаешь, урядник оставил бы меня в

покое? Ты вот быка продал, собираешься жеребчика продать — и все на взятки... А я что продал? Просто ты многого еще не знаешь, Агафон Романыч. Твой-то сын с моей племянницей, кажется, не на шутку любовь закрутили. Не заметили мы с тобой. А сейчас Даша, видно, догадывается, что с Яшкой случилось что-то неладное, тоскует, прямо на глазах сохнет.

— Племянницу твою я не хаю, видать, она девка работящая, только до свадьбы ли мне сейчас. Этот проклятый скоро по миру пустит.

— А ты не давай ему больше. Хватит. Если начнет вымогать, скажи: в Малмыж, мол, пойду, прокурору жаловаться. А Яшку не бей. Бог даст, до сенокоса свадьбу справим. Расходы на себя возьму. Даша мне как дочь родная.

— За это спасибо, Михайла. Значит, нежданно-негаданно породнимся с тобой? Дай бог, дай бог.

Незадолго до сенокоса Яшку и Дашу на трех парах привезли в Мултан под венец. Было воскресенье, базарный день. В церкви народу набралось — не повернуться.

— Да убоится жена мужа!..— гремел дьякон.

Многие аныкские девушки завидовали Даше, и не понять было им, почему горько плачет невеста, которой выпало счастье выйти замуж за такого красавца, как Яшка Дроздов.

А Агафон Романыч, как только к нему пожаловал урядник, решительно заявил:

Больше вы от меня ни копейки не получите, Василий Яковлевич. Я на вас тоже управу найду, в Малмыж пойду, к самому прокурору!

«И этот прокурором пугает. Что за чертовщина такая! Похоже, что я на свою голову беду ищу»,— с тревогой подумал урядник. После этого он больше у Дроздова не появлялся.

В следующее воскресенье аныкцев поджидала новая весть: Анна Конева рано утром нашла труп своего мужа. Он висел за сараем на единственной березе в их огороде. Когда соседки обмывали покойника, они увидели у него под грудью синяк, который показался им подозрительным. Жена Ивана чутьем угадывала, что за этим синяком кроется страшное преступление.

— Убили его, убили, голубушки мои! — запричитала она, упав головой на колени соседки.

То с одним, то с другим делилась бедная женщина своими

доплакми. Наверно, в десятый раз рассказывала она подр.с
ности:

— Вчера под вечер вызвали его в Мултан к урядшку. Жду я, жду, а его все нет и нет. Всю ночь не могла глаз сомкнуть. Чуяло, видно, мое сердце. Под утро вышла в ого. род, думаю — хоть грядочку вскопаю. Отворила калитку — п сразу же увидела его. И не помню уж, что со мной было.

В этот день еще до обеда прибыл в Аныk урядник. Кто и когда успел сообщить ему о случившемся, неизвестно, и хотя страшным должен был показаться его поспешный приезд, никто на это не обратил внимания. Анна показала ему синяк на трупе мужа и просила записать это в протокол. Соколиков сделал вид, что крайне заинтересован заявлением Коневой, долго осматривал труп и даже щупал синяк, а потом развел руками.

— Ничего такого не нахожу. Каких синяков у мужиков не бывает!

Однако для вида составил протокол и, приказав схоронить Конева побыстрее, чтобы не смердило, уехал.

Петрован с утра был на поле, исправлял прясла. Вернувшись домой в обед, он узнал о происшествии и пошел к жене Ивана. Ее подозрения показались ему серьезными. С Ивановым, соседом, он сходил в огород и тщательно осмотрел землю вокруг березы. Неподалеке от дерева на одной из взрыхленных грядок были три глубоких следа, но земля осыпалась, и нельзя было разобрать, во что был обут человек. Возможно, это были следы самого Ивана. Однако Петрован тоже считал, что смерть Ивана — дело темное. Наскоро пообедав, он тотчас отправился в Мултан, к Илье Фомичу.

Учитель вместе с ним приехал в Аныk, разузнал все подробности и, вернувшись в Мултан, потребовал от урядника, чтобы труп был исследован врачом.

— И что это вас все беспокоит? — пожал плечами урядник.— И какое вам дело до какого-то там аныкского мужика? Повесился, значит жить надоело.

Однако просьбу учителя он обещал выполнить. И действительно, на другой же день в Аныk приехал фельдшер, осмотрел труп и составил акт. Там было сказано, что смерть последовала от повешения.

Но Илья Фомич не успокоился, его терзали сомнения, и он написал прокурору. Не получив никакого ответа, он поехал в Малмыж, но прокурор оказался в отъезде. Тогда Илья Фомич зашел к исправнику, но тот грубо ответил ему.

что для этого есть полицейские и нечего совать свой нос в чужие дела.

Илья Фомич понял, что он не в силах бороться с равнодушием, которое проявляют влиятельные люди к загадочной смерти Конева. Но его долго еще мучила совесть, ему казалось, что он виноват перед женой Ивана в том, что не сумел довести дело до конца.

Уже третий месяц сидели мултанцы в Вавоже под надзором пристава Тимофеева. За все это время никто их ни разу не вызывал, никто не допрашивал, и сидели они, сами не ведая за что.

Тем временем урядники Соковиков, Рогозин и Лобов разъезжали по деревням Старо-Трыкской, Вавожской, Волл-Пельгинской волостей и собирали слухи о человеческих жертвоприношениях, выслушивали сказки о бабе-яге и людоедах.

Становой приказал перенести труп нищего на мултанскую землю. Труп перенесли на опушку леса, на берег небольшой речушки Шурдо. Под тремя старыми елями вырыли яму, навалили в нее снегу и положили труп туда. Закрыв яму досками, сверху набросали земли. Трое караульных несли здесь круглосуточное дежурство. Охрана ямы была возложена на Мултан.

Однажды в послеобеденное время, когда на карауле стояли старик Шактыр, Алеша и Степан, стала надвигаться гроза. Старик Шактыр вышел с недоплетенным лаптем из-под дерева на открытое место и, заслонив рукой старческие глаза, долго смотрел на небо.

— Тучи идут,— сказал он, вернувшись обратно.— Кажись, грозовые. Хлеба нынче хорошие должны быть, только беды какой не случилось бы. Сходи-ка, Алеша, поднимись туда повыше, погляди. А то что-то на сердце неспокойно. Если град пойдет, беда, всю озимь побьет.

Алеша поднялся на холмик и, вернувшись, тревожно сообщил:

— Град будет.

— Беда, беда! — забеспокоился старик.— Бог, что ли, разгневался на нас? Да и как не разгневаться, нынче мы и моления-то своего не справили, откуда же нам ждать милости?

У трех больших елей стояли три человека и с тревогой

смотрели на надвигавшиеся холодные грозовые тучи. Черная громада все увеличивалась, перекатываясь огромными гигантами. Тучи медленно плыли над казенным лесом в сторону Мултана. Края их походили на наледь, а внутри все, казалось, кипело и пенилось. Над новомултанским полем стало темно, как поздним вечером. Где-то далеко на западе сверкнула молния, и спустя некоторое время загремел глухой, словно из-под земли вырвавшийся гром.

— В вавожской стороне, видать, сильный ливень,— сказал старик.

— Тучи сюда несет,— заметил Степан.

Вдруг стало тихо-тихо, даже листья на деревьях замерли. Но так продолжалось недолго; над самым лесом, прочертив небо огненными стрелами, сверкнула молния, и, будто раскалывая небо, ударил оглушительный гром. Одинокую ель, стоявшую возле полевых ворот, расщепило до самой середины, и верхушка ее медленно повалилась, с треском ломая изгородь.

— Нельзя стоять под деревьями! Бегите, ударит! — крикнул Степан.

Сам он уже бросился прямо через яму и выбежал на открытое место. Алеша кинулся за ним. Только старик не тронулся с места, он шептал про себя молитвы и крестился. Вскоре поднялся вихрь. Он промчался по полевой дороге, неся в сторону Мултана огромный столб пыли. Дойдя до небольшой ложбинки, вихрь круто повернул влево, понесся на ржаное поле и, словно волшебным мановением, пригнул к земле широкую полосу зеленой нивы, а в конце ложбины рывком сорвал все листья с разлапистой липы.

А в казенном лесу стоял глухой тревожный шум, там разыгрался настоящий ураган. Он ломал верхушки деревьев и с корнем вырывал огромные ели.

Но вот упали крупные, редкие капли дождя. Весело запрыгали градины величиной с горох. Однако дождь шел недолго: дождь пыль на дорогах не прибило как следует. Тучи ушли куда-то к западу. А на востоке из-под редких клочьев выглянуло солнце.

Сверкающими жемчужинами заблестели капли на листьях и на траве. Снова стало тихо. Такая особенная тишина бывает только после грозы. Деревья стояли, точно к чему то прислушиваясь. Вот свистнула какая-то маленькая пичужка, сначала несмело, а потом все громче и громче, немного погодя послышалось пение других птиц, и лес, теперь уже ярко освещенный солнцем, ожил и зазвенел птичьими голосами.

— Ты ли Степан, гляди-ка... Как же это так случилось? — с тревогой в голосе сказал Алеша, показывая на яму.

Оказывается, когда во время грозы Степан перебегал через яму, доски провалились и земля осыпалась. Тогда этого никто не заметил

— Алеша, бери топор и смастери, да побыстрее, что-нибудь вроде лопаты, надо скорее тут все наладить, а то, не ровен час, беды наживем

Из ямы повытаскали обвалившуюся землю, доски, потом пихтовым веником обмели землю с трупа.

— Ох, и веник же сделал ты, старина. Не мог, что ли, найти пихту помягче? — ворчал Степан на старика Шактыра.— Вон, видишь, на животе царапины остались, покойник-то гнить уже начал.

— Эка беда. Ему теперь все равно. Коль уж головы нет, царапины не в счет. Надо побыстрее закрыть, дух больно тяжелый.

Уже месяц лежал труп в яме, а урядник Соковиков всего лишь раз приезжал проверить — в целости ли он и сохранности. Сегодня вот тоже решил съездить. Быков запряг огненно-рыжего жеребца, но неожиданно надвинулась гроза, и поездку пришлось отложить. Привязав коня под навесом, Быков долго стоял посреди двора, смотрел, как тучи заволакивают небо, и, вдруг схватившись за правый бок, повернулся к избе. Здоровье его, после того как побили у полевых ворот, основательно пошатнулось: день работает, два лежит. Когда Быков вошел в дом, урядник сидел за столом и ел земляннику с молоком. Он опрокинул в рот остатки из стакана и, поморщившись, крякнул:

— Хороша земляничка!

Быков повесил фуражку на крючок у двери и тоже сел к столу.

— Все небо заволокло, Василий Яковлевич, похоже, сильный дождь будет.— И как бы подтверждая его слова, прогремел далекий гром и глухо прокатился по горизонту.— Вон, слышите? Придется обождать.

— Ну что ж, ждать так ждать; как говорят, нам не привыкать. А чтобы зря время не проводить, расскажи-ка ты мне об удмуртском моленни, только так, чтобы все по порядку было. Ты как, все разузнал?

— Да уж теперь я, пожалуй, могу быть старшим жрецом.

— А почему только старшим, а не главным? — засмеялся Урядник.

— У старшего жреца дела денежные, он деньги собирает

на моление. Пожертвованные деньги удмурты называют «ма-маля». Никакого учета нет: сколько собрал, куда дел, одному ему известно. При желании можно половину себе присвоить, и концов не найдут. Самым важным считается главный жрец, без него, говорят, нельзя проводить моление. Потом идет уж старший жрец, нечто вроде нашего дьякона. Кроме того, есть еще два младших жреца. Они помогают главному жрецу, когда режут жертву.

— А кого они обычно режут?

— На каждом моленин приносится какая-нибудь жертва: бычок, овечка, телка, жеребенок. Когда режут жертву, кровь спускают в небольшое корыто, потом мясо варят и едят. Самой главной частью жертвы считается голова. Ее жгут на костре, а кости зарывают в землю возле костра.

— Так, так. Ясно.

— Я как-то и сам ходил на их моление, в орлянку играть, молодой был еще.

— Интересно.

— Когда я пришел в лесок, они как раз молились. Все стояли. Впереди — три седых старика, жрецы, значит. Саженях в трех впереди главного жреца на земле разостлана скатерть, на ней — много хлеба и самогон в разной посуде. Слева и справа — костры, над ними — большие котлы, там варилось мясо жертвы. Тут же у костра я увидел сырую голову и потроха — сердце, печенку, легкие. Главный жрец громко читал какую-то молитву, потом поклонился, за ним начали кланяться и все остальные. Потом он подошел к разостланной на земле скатерти, отрезал кусочек хлеба и бросил его в огонь, черпнул ложкой крови из корыта и тоже плеснул в огонь. Остальные жрецы проделали то же самое. Позади всех на скамеечке сидел старший жрец. Когда кончили отбивать поклоны, все подходили к нему и клали на разостланную перед ним скатерть деньги.

— Хм... и никто не считал деньги-то?

— Какой тут счет, жертвует каждый, сколько может, это у них добровольное пожертвование, а на покупку жертвы — скажем, бычка там или еще какой скотины — деньги собирает заранее главный жрец, тут уж каждый обязан внести свою долю.

— Ты вот говорил насчет потрохов. Куда их-то девают? Тоже едят?

— Зачем? Нет. Потроха, как и голову, жгут на костре.

За окном блеснула молния и ударил гром. Как раз в это самое время молния расщепила ель у полевых ворот. Удар

[illegible] отодвинулся от окна. Быков поднял-[illegible] Они на время умолкли. И только когда [illegible] спросил:

— Значит, [illegible] тоже на костре сжигают? Так... Так и [illegible]. Михайла Сапатеич, захвати с собой топор, только [illegible], и [illegible] нож, тоже острый...

— Дед Степан, выходи скорей! — испуганно крикнул Алеша Степану, все еще возившемуся в яме.

Тот положил на край ямы фартук с землей и вылез.

— Ты что? Пожар, что ли, где?

— Вон, смотри,— показал Алеша в сторону полевых ворот.

— Никак, урядник? Лошадь-то кривого Мишки. Ну да, урядник. Что же нам теперь делать? — спросил растерянно Степан.

— Беда! Погибель на нашу голову! — заворчал старик, досками накрывая яму.— На старости лет беду увидишь, и, как назло, смерть не приходит. И надо же было так случиться. Давайте хоть для отвода глаз земли набросаем.

— Не успеем, плюньте. Что будет, то и будет,— махнул рукой Степан.

Быков ехал прямо по полю и шагов за сто до ямы остановил коня. Урядник спрыгнул с тарантаса и межою пошел к караульным. Увидев, что яму кто-то раскрывал, он сердито спросил:

— Это еще что такое? Кто трогал? — но, не выдержав трупного запаха, тотчас отошел подальше от ямы и подозвал к себе караульных.

— Кто трогал?

— Доски рухнули, ваше благородие... Смотрим... обвалились доски. Как получилось... никто не заметил...

— Наладим мы, наладим, ваше благородие. Вы уж не серчайте,— прошепелявил старый Шактыр.

— В каталажку вас за это! — крикнул урядник, ударив плеткой по голенищу сапога. И тут же спокойно сказал: — Ну ладно. Все равно пришлось бы открывать, разлагаться начал труп. Вы вот что: сейчас же все трое отправляйтесь в Мултан, возите сюда снегу. Хотя подождите, сначала мы вытащим труп, пусть проветрится малость, пока вы сходите.

— А здесь кто останется? — спросил Алеша, когда труп достали из ямы.

— [illegible] Мало ли Семенычей кокнуло. Долго не за-[illegible]

— [illegible], спасибо, ваше благородие,— старик поклонился. — Есть же на свете добрые люди. У меня с ногой было отнялась.

Последние слова старик произнес по-удмуртски, и урядник не понял, что он откланялся идти за снегом.

— Хватит тебе бормотать, старый! Цыц! — прикрикнул он на [illegible].

Буквальные уши. Когда они скрылись из виду, урядник сказал Быкову последние указания:

— Тихо и просто там вынимай через шею, чтобы было незаметно.

— Сделаем, Василий Яковлевич.

— Без запаху на стол подают. Понял? Напялся грузен, [illegible]

— А когда будем спускать в яму, они же могут заметить, что внутренности вынуты.

— Чепуха! Если погрозней прикрикнуть, они и чурбан за [illegible]. Ожидай меня.

— А вы куда?

— В Чулово. Надо этому старому хрычу Мартемьяну глотку заткнуть. Ходит и болтает, что Дашка Гришина вышла труп с головой.

Дня через десять на осмотр трупа приехал из Малмыжа уездный врач Минкевич, низкорослый, толстый человек с характерным для алкоголика красным лицом. Вместе с ним прибыл наблюдавший за «мултанским делом» следователь Казанский. По пути в Мултан он рассказывал врачу о подробностях убийства и «фактах», доказывающих наличие человеческого жертвоприношения у удмуртов. Минкевич и верил и не верил его рассказам. «На месте будет видно,— думал он про себя».

Когда из ямы вытащили труп, врач был буквально ошеломлен: кому и зачем понадобилось такое убийство?

— Разрешите-ка мне протоколы дознания, посмотрим, что там сказано по этому загадочному убийству,— обратился он к следователю.

В протоколах полицейских не было ни единого слова об отсутствии внутренностей. Казанский и сам был поражен не меньше врача, но ничем не выказал своего удивления. Однако решил не показывать остальных протоколов.

— Знаете ли, я не все захватил с собой, господин Мин-

...ми. Со всеми материалами полностью вам придется ознакомиться как-нибудь в другой раз.

— Как говорится, на нет и суда нет. Нуте-с, посмотрим, что это за пятна на теле.

— Это и есть, господин Минкевич, следы уколов, ведь удмурты выпускают у жертвы кровь.

Там, где были пятна, врач слегка поскоблил.

— Нет, это не следы уколов. Видите, пятна под кожей совсем не обозначены. Это нечто вроде следов чесотки. А вот эти царапины нанесены уже после смерти. Нуте-с, а это еще что такое? — сказал он, осматривая какие-то синяки на ногах около лодыжек.

— Следствием установлено, господин Минкевич, что нищего молили в шалаше. Следует полагать, что его подвесили за ноги, потом кололи, выпуская в корыто кровь, а уже после отсекли голову. Я лично считаю, что синяки на ногах — это следы подвешивания.

— Едва ли. Мне сдается, что эти пятна тоже не прижизненные. Да-а... Семнадцать лет работаю уездным врачом, но такого еще не видывал. Случаи обезглавливания встречал, но то было другое дело, попросту говоря — дикость. Есть, знаете ли, поверие, что, имея в руках голову человека, можно легко найти клад. Этому и русские верят. Но здесь же и внутренности вынуты. Для чего понадобились легкие и сердце? И если для жертвоприношения нужны основные внутренние органы, тогда почему не вынута печень? Ничего не понимаю.

Минкевич снова наклонился над трупом и долго рассматривал место обреза на шее. Потом поднялся и, указав рукой на труп, сказал:

— А знаете, господин Казанский, голова отрезана после смерти.

— Не может быть! — встревожился следователь.

— Да, да. По запекшейся крови вы не поймете, это и привычному глазу не сразу видно, а вот по характеру обреза нетрудно будет понять и вам. Видите, какой ровный обрез. Если живому человеку отрезать голову, место обреза никогда не будет таким ровным. Ну, скажем, отрубишь голову курице, горло выпячивается наружу. А здесь — сами видите...

— Я этих медицинских премудростей не понимаю, господин Минкевич, но то, что Матюнин убит с целью жертвоприношения, это мною установлено, и показания некоторых свидетелей у меня в портфеле. Вот читайте хотя бы показания Николая Григорьева.

Минкевич до сих пор несколько недоверчиво относился к утверждениям следователя, но, прочитав показание Григорьева, внука Акмара, он снял очки, и глаза его расширились от удивления.

— Да-а... история... Ну что ж, давайте писать акт.

Однако врач еще не окончательно поверил в доводы следователя: он снова и снова принимался осматривать труп, держа очки в руке, подолгу стоял задумавшись. Составляя акт, он ни разу не упомянул слово «жертвоприношение», тем не менее, сбитый с толку следователем и не уверенный в своих теоретических познаниях, врач Минкевич своим актом оказал большую услугу обвинению. Он понимал, что делает не то, что думает, но все же в акте написал так:

«Смерть Матюшина последовала после удара по шее каким-то тяжелым острым орудием. Отеки у лодыжек могли образоваться или при сопротивлении убийцам, или при подвешивании для кровопускания...— Немного подумав, он в скобках добавил: — если бы зачем-нибудь понадобилась кровь».

Следователю только это и нужно было. При всяком таком значительном деле хорошо проведенное следствие возвышает следователя в глазах начальства. А теперь у него доказательств вполне достаточно. Арестованных мултанцев, находившихся в вавожской каталажке, следователь отправил в малмыжскую тюрьму.

14

Шли месяцы, потом и год прошел, но ни полицейские, ни следователь не могли найти таких доказательств, по которым можно было бы со всей ответственностью заявить: да, убит такими-то, тогда-то, там-то. «Вещественные доказательства», найденные становым приставом Тимофеевым и урядником Соковиковым, медицинский департамент вернул обратно с отрицательным заключением. Анализы не обнаружили человеческой крови ни в корыте, ни на фартуке, ни в лукошке. А в отношении волос, найденных на перекладине в шалаше Мокея, сказано: «Волосы принадлежат домашним животным».

Раевский неистовствовал, злился, что становой Тимофеев до сих пор не мог добыть необходимых доказательств для обвинения.

Уже [illegible] запрос от самого губернатора. Исправник в свою очередь запросил прокурора. Раевский ответил ему:

«Милостивый государь, на ваше конфиденциальное письмо за № 12 имею честь сообщить следующее: дело об убийстве ведет следователь 2-го участка Малмыжского уезда. По делу убийства Матюнина следователем взяты под подозрение и заключены в тюрьму 13 человек.

Вместе с этим должен вам сообщить, что по выявлению виновников убийства Матюнина и розыску головы пристав 3-го стана Тимофеев и сам бездействует и никак не руководит действиями подчиненных ему урядников. В целях выявления убийц мною было предложено ему провести негласное дознание, но им до сих пор ничего не сделано.

В убийстве Матюнина виноват весь Мултан, поэтому полиция должна быть крайне бдительной, только тогда можно будет раскрыть весь ужас этого преступления».

Прочитав эту бумажку, исправник нервно заходил по кабинету, ругая Тимофеева. Потом он перебрал в памяти всех становых своего уезда и обрадованно потер руки: Шмелев, вот кто доведет до конца это дело.

И через два дня поздним вечером Шмелев прибыл в Малмыж. Исправник направил его к прокурору.

Пятистенный новый дом Раевского стоял невдалеке от тюрьмы. Шесть окон фасада выходили на реку Шошму. Тут были и квартира и кабинет прокурора.

Раевский детально ознакомил Шмелева с делом и в заключение сказал:

— На вещественных доказательствах медицинский департамент не нашел следов человеческой крови. А в шалаше Мокея Власова этот болван Тимофеев собрал шерсть животных и стал выдавать ее за волосы убитого. Словом, мы так оскандалились перед медицинским департаментом, что посылать туда еще что-нибудь на экспертизу просто неприлично. У нас, правда, кое-что имеется, вот хотя бы показания Николая Григорьева. Впрочем, и он уже отказывается от первого своего показания: заявляет, что волостной старшина стал его душить и он вынужден был лгать. Вся эта история с жертвоприношением пока что дело темное, однако подозрения имеются, и основательные. Следовательно, надо бы-ло полиции приложить все силы для раскрытия тайны убийства, а Тимофеев... да что о нем говорить... ему место в сто-рожах.

Шмелев, слывший опытным человеком в раскрытии самых запутанных дел, внимательно слушал прокурора и уже при-

кидывал, как бы поскорее заставить арестованных признаться.

— Дело не только темное, но и очень трудное, ваше высокородие,— сказал он, покачав головой.— Тут без помощи Голова не обойтись.

— Какого Голова? — не понял Раевский.

— Ну, бандит Голов, ваше благородие. Недавно я о нем вычитал в газете «Вятский край». Он осужден на каторгу, находится здесь, в малмыжской тюрьме, вероятно, еще не отправлен.

— Ну и что же? Не понимаю, что вы хотите сказать?— удивился прокурор.— Речь идет о жертвоприношениях, а вы о каком-то там бандите толкуете.

— Я лично полагаю, ваше высокородие... Разрешите откровенно изложить свою мысль?

— Ну, конечно, пожалуйста я, собственно, для этого и просил вас к себе.

— Добиться признания обвиняемых будет трудно, ваше высокородие,— начал Шмелев.- Говоря откровенно, они не признаются, даже если и действительно убили. Кому же охота в тюрьму или на каторгу? Чтобы добиться признания, надо, понимаете ли, чтобы один из них умер

Прокурор уже начал понимать, к чему клонит Шмелев, и так обрадовался своей догадке, что забыл даже прикурить взятую в рот папиросу.

А Шмелев между тем продолжал:

— А как он умрет, это нам совершенно не важно. Человеку рано или поздно суждено умереть Одни умирают естественной смертью, других душат, расстреливают, вешают, отравляют...

— Ну-с, а потом?.. Хотите, чтобы он перед смертью дал показания по существу дела? — догадался Раевский.

— Так точно, ваше высокородие. Перед смертью он, значит, кому-нибудь из соседей по камере покается в своих грехах, ну, скажем, тому же бандиту Голову. А согласно признаниям умершего свидетеля можно прижать и остальных

- Да-а.. Однако не чересчур ли сложный план вы придумали? – прокурор резко поднялся и сердито глянул на Шмелева, сделав вид, что он возмущен.

Становой вскочил, звякнув шпорами.

— За такие слова Николай Александрович, я мог бы вас отправить вместе с Головым...— отчеканил Раевский и вдруг улыбнулся, добавив: – Жаль, нет свидетелей.

— Для раскрытия преступления любые средства хороши, ваше высокородие.

— Ладно, об этом мы поговорим завтра, сегодня уже поздно. Впрочем, вы, Николай Александрович, подумайте, кому из арестованных лучше было бы умереть.

— Слушаюсь, ваше высокородие!

Раевский проводил Шмелева до самых дверей. Вернувшись в кабинет, он долго молча шагал из угла в угол, потом подошел к столу и, почесывая зубочисткой за ухом, многозначительно произнес:

— Да-а... Вот тебе и Шмелев.

На другой день пристав снова побывал у прокурора. Раевский сидел у себя в кабинете. Он просматривал книги по этнографии и архивные материалы, затребованные им из различных судов.

Перед приходом Шмелева прокурор читал книгу профессора Казанского университета Смирнова «Вотяки».

— Вот,— щелкнул он пальцем по книге, показывая ее Шмелеву,— нашел прекрасную книгу об удмуртах. Профессор Смирнов подтверждает, что удмурты приносят в жертву богу человека. Вот кого надо пригласить на суд экспертом-этнографом. Ну-с, уважаемый Николай Александрович, прежде чем приступить к продолжению вчерашнего разговора, я полагаю, вы не будете возражать, если мы с вами побалуемся по рюмочке?

— Как вам угодно, ваше высокородие.

Раевский достал из шкафчика бутылку коньяку и стопки.

— Итак, господин пристав, вся надежда на вас,— сказал он, чокаясь со Шмелевым.— Необходимо добыть хотя бы одно веское доказательство — это во-первых; во-вторых, надо, чтобы один из арестованных признался в совершенном им преступлении, вернее — надо заставить его признаться.

— Слушаюсь.— Шмелев рывком опрокинул рюмку.— Когда прикажете заглянуть к вам, ваше высокородие?

— Пожалуй, я пойду сейчас с вами,— предложил Раевский.— Хочу сам посмотреть, что это за Голов.

А Мокея тем временем перевели в пустую камеру, судя по нарам, рассчитанную человек на десять.

Вечерело. Сквозь небольшое с железной решеткой окошко пробивался последний луч заходящего солнца. Мокей стоял, прислонившись к стене, и о чем-то думал. Кто знает, о чем он думал...

Звякнул засов. Мокей вздрогнул.

— Входи!.. Навалился на мою голову, прощелыга!— со

злостью проговорил надзиратель, впуская в узкую железную дверь камеры бандита Голова, осужденного на каторгу.

Голов постоял некоторое время у двери, заслонив ее широченными плечами. Густые черные брови его сошлись на переносице, он уставился на Мокея.

— Скучаешь? — спросил он, лениво шагнув на середину камеры.

Мокей промолчал. Он посмотрел на Голова, и его дрожь пробрала — слишком уж злобные были глаза у бандита.

— Ничего! Вдвоем веселее будет,— сказал Голов, разглядывая темные, мрачные стены. Потом он бросил на нары свой серый арестантский халат и лег на живот, словно под сень дерева в жаркий летний день.— А я вот привык,— продолжал он, не поворачиваясь к Мокею.— Тюрьма мне — дом родной. Семнадцать годочков живу в ней, по зимам больше. Летом на воле, а зимой сюда — на отдых. Думаешь, зря сажают? — повернул он бычью шею к Мокею.— Нет!.. За мной делов ой-ой-ой!.. Одна лишь темная ноченька знает. Недавно вот двух своих закадычных дружков, одного — ножичком, другого — шилом сапожным... Наябедничали. Туда им и дорога,— добавил он, немного помолчав.

Голов умолк, а Мокей так и стоял, словно пригвожденный к стене. Если бы бандит встал сейчас с нар и пошел на него с ножом, и тогда у Мокея едва ли хватило бы сил сдвинуться с места.

— Как же так?..— спросил он вовсе не потому, что хотел узнать подробности бандитских проделок, а потому, что слишком жуткой показалась ему тишина в камере.

— Научиться хочешь? — спросил Голов, перевернувшись на спину.— У тебя, пожалуй, не выйдет. По всему видать, трус ты! — Голов длинно зевнул, показывая свои желтые лошадиные зубы, потом неуклюже заворочался и сел на краю нар.— Быть разбойником — большой грамоты не нужно, голову только не жалей.— Голос у него был глухой, говорил он раздельно, слова трудно слетали с языка и, казалось, камнем гулко падали на пол тюремной камеры.

— Вот к слову... Было мне тогда лет девятнадцать. Наше село на Сибирском тракте, большое село. Однажды у дружка моего остановились почтовые ямщики. Он прибежал ко мне, говорит, значит, что везут они много денег, а сопровождают их всего два солдата. Ну, в лесу мы их перехватили. Это было мое первое «дело». Эх, сколько денег взяли мы тогда!.. Да, деньги!..— глаза Голова загорелись алчным огнем, он протянул Мокею широкую ладонь, словно в ней была

пригоршня золота, и продолжал: — Приходилось тебе когда-нибудь из горсти в горсть золото пересыпать?.. Знаешь, сколько у меня припрятано в лесу? — И он шагнул к Мокею, все еще стоявшему у стены.— В Сибирь отправляют меня, на каторгу. Дудки! Не про каторгу копил я деньги...

Над лесом за Шошмой закат горел огромным пожаром. В этот час в тюрьме бывает какая-то особенная тишина, и не понять — то ли сумерки, то ли тоска крадется в камеры сквозь решетки тюремных окон.

В одной из камер кто-то запел. Голос певца вначале казался далеким, будто донес его сюда слабый попутный ветерок, но постепенно мелодия начала крепнуть и вскоре разлилась широкой волной. По голосу певец казался молодым, а в песне звучала горечь бесцельно утраченной молодости и тоска по воле. В окнах камер показались бледные лица арестантов. А парень пел, и его нежный, почти девичий голос был чист, как голубое небо. И слова песни напоминали узникам тихие летние вечера, родную деревню, молодость, любовь...

Эх, кабы дали крылья мне,
Взвился бы в небо вольной птицей!
Да знать, уж в здешней стороне
Кончать свой век в сырой темнице... [1]

Мокей присел на нары и, обхватив голову руками, горько заплакал. Презрительно глянул на него Голов, но промолчал — может, и у него где-то в глубине сердца осталась одна ржавая струна.

Плачет Мокей, а песня все крепнет и ширится. В ней поется о Сибирском тракте с грустными березками, об этапах, о девушках, которые с тоскою машут платками вслед уходящим.

Редкий человек не задержится, проходя мимо тюрьмы. Часовой и тот забыл остановить певца, стоит и слушает. Лишь завидев старшего надзирателя, он, словно боясь разбить песню, негромко крикнул:

— Э-эй, ты... соловей!.. Хватит!

Песня смолкла. Но за решетками тюремных окон долго еще виднелись грустные лица арестантов.

Улегшись на жесткие нары, Мокей долго не мог заснуть и все ворочался с боку на бок. Слышны были гудки парохода,

---

[1] Перевод М. Светловой.

и пинуло по Вятке. На пустыре за тюрьмой вала собака. «Наверно, на луну воет»,— подумал Мокей.

Неожиданно. С тюремного двора донесся голоса, слышались.

Ли-ли!.. Ли-ли!.. Это новая смена часовых деревянных молотков бьет по оконным решеткам подвальных камер — не поломались ли прутья, ведь там заключены такие, как Голон. Ли-ли! Кажется, где-то забивают крышку гроба.

Мокей вспомнил смерть отца. Посреди избы на двух чурках стоял большой гроб. Это, наверно, только семилетнему Мокею он казался таким огромным... Осталось тогда у семьи матери пятеро ребят: у Мокея было четыре сестренки. Один бог знает, как она их растила. Нужда была работница в хозяйстве. Вот и женили Мокея, когда ему минуло четырнадцать лет.

Придет бывало Мокей с жатвы или с пахоты усталый, замученный, ляжет во дворе на телегу и заснет не емля. Когда такое случалось, жена брала его осторожно, чтобы не разбудить, на руки и относила в чум. Она и здоровее его была и годами постарше.

Только когда родился первенец, Мокей почувствовал себя настоящим мужиком. Жили они с женой дружно. Правда, Мокей частенько уходил на игрища, но жена не очень-то его ругала за это. «Ничего,— скажет бывало старой матери,— образумится, молод еще...» Так оно и получилось. А потом дети пошли, один за другим.

Сейчас дома из них остались дочка Оля, ровесница Дины, и любимец отца маленький Коля. Ой, поди, скучает сынок. А самой-то небось как трудно без хозяина. Скоро вот сеять начнут. Тяжело им будет без него. И крышу на сарае надо бы обновить, солома, поди, уже сгнила. В огороде пора новую изгородь поставить. Ведь он тогда и жердей напозил, а сменить не успел. Надо же было такой беде случиться.

Устав от бесконечных тяжких дум, Мокей, наконец, заснул. И снились ему мултанские луга, сенокос, полна скошенных трав... Вот он делает широкий взмах, и стальная коса со звоном ломается...

Мокей проснулся. Звякнул засов, со скрежетом распахнулась дверь, и старик надзиратель крикнул:

— Арестант Голон!

Голон приподнялся, потом сел на край нар и стал протирать заспанные глаза.

— На этап, что ли?

— Нолитки остань. На допрос.

Дверь снова со скрежетом захлопнулась, и снова звякнул засов. По железному полу тюремного коридора зашлепали лапти. Голова, надетые на босые ноги.

— Кури! — прокурор Раевский небрежно подвинул серебряный портсигар.— Итак, голова садовая, мы тебя отправляем на Нерчинскую каторгу. Далеконько, а?

— А по мне хоть в чертинскую, все равно,— сплюнул сквозь зубы Голов.

— Ну-с, давай говорить прямо, не петлять.— Я — прокурор, ты — преступник, бандит. Хочешь избежать каторги? Ну?

Голов долго вертел в руках папиросу, разглядывал золотую надпись на мундштуке, не спеша прикурил и, глубоко затянувшись, выдохнул:

— Да чего там... Все равно снова засадите.

— А ты, голубчик, не разбойничай, и никто тебя не посадит.

— Не смогу. Не вытерплю, привык. Выйду на волю и снова... или убью, или зарежу.

Все это Голов проговорил таким тоном, будто речь шла о стакане воды. Ошеломленный его прямотой, прокурор слегка подался назад. Он вспомнил и свое преступление, но тут же мысленно стал оправдывать себя.

Голов обвел взглядом темно-коричневые стены кабинета начальника тюрьмы, долго топтал брошенный на пол окурок и, в упор глядя в глаза прокурору, спросил:

— Кого надо убивать-то?

Прокурор осекся: он никак не ожидал такого прямого вопроса.

— Говорите сразу, чего там. Для становых я уж кое-что сделал. Каждый раз обещают выпустить, а пока сам не убежишь — шиш!

Из-за огромного дубового шкафа, где хранились дела начальника малмыжской тюрьмы, неожиданно для Голова вышел становой пристав Шмелев.

— Ай-ай-ай, Голов! Нехорошо, Яков Ефимович, нехорошо добро забывать,— упрекнул он бандита.— Кто тебя выпустил на свет божий три года назад? Память коротка стала? Кто убил тогда приказчика купца Стахеева? Забыл? А ну-ка, посмотри мне в глаза. Ха-ха-ха...

Появление Шмелева здесь, в малмыжской тюрьме, озадачило Голова. В тот год, когда он убил приказчика купца

Стахеева, этот вот с лихо закрученными черными усами суб-
став был в Вятских Полянах, а потом его перевели в Кил-
мезь. Но как он мог попасть сюда, да еще так некстати?

Заметив замешательство Голова, прокурор заспешил:

— Ну-с, похоже, вы старые знакомые. Поговорите по-
шам, а я пойду.

Пристав Шмелев проводил его до дверей и что-то спро-
шепотом.

— Сегодня же...— достаточно громко сказал прокурор,
желая, чтобы Голов услышал.

Когда они остались вдвоем, Шмелев положил на стол пе-
ред Головым заранее написанный протокол.

— Нам с тобой в прятки играть нечего. Читай и под-
шись.

— А зачем читать, ваше благородие?

— Читай и запоминай — может, на суд вызовут.

Голов стал читать, тяжело шевеля толстыми губами:

«В малмыжском тюремном замке в одной камере со мной
сидел ныне умерший удмурт Власов Мокей. Он часто со-
ветовался со мной о своем деле. Однажды я прямо сказал
ему, что убийство нищего мужика для жертвы богу есть дело
их, удмуртов. На это Мокей ответил, что в принесении жертвы
этой грешен он, Мокей, да сидевший с ним удмурт Дмитриев
Григорий, а сидевшие по тому же делу остальные удмурты —
не помню, как их звать — в принесении жертвы не участвова-
ли. На дальнейшие мои расспросы Мокей рассказал, что при-
несенный ими в жертву нищий постоянно захаживал в Мултан
на ночлег. В ночь убийства нищего удмурты завели его
пьяного в шалаш (Мокей не сказал, в чей шалаш, но он еще
до этого разговора высказал, что он, Мокей, сидит за то,
что на его шалаш указывают как на место принесения ни-
щего в жертву; поэтому надо полагать, что Мокей в разго-
воре со мной разумел свой шалаш). В шалаше нищий был
обернут новиной и подвешен за ноги, потом каждый, кто
был,— а было их, по свидетельству Мокея, 15 человек — ти-
кал нищего и добывал из него кровь в маленькую чашечку.
Куда эту кровь девали, об этом я не спросил Мокея. Мокей
просил никому не рассказывать. За молчание он дал мне
рубль».

Голов держал протокол в своей огромной руке, потом со-
вертел его, будто какую-нибудь вещь, только что купленную
на базаре, и не спеша положил бумагу на зеленое сукно
массивного дубового стола.

— Забуду я, ваше благородие, очень уж много тут по-

написано, не упомню всего. Этот самый, как его... Мокей запутает меня на суде.

Блеснуло кольцо на указательном пальце Шмелева, которым он ткнул в протокол:

— Вот, смотри, читал же ты, как тут сказано: «ныне умерший удмурт...» На суде-то его не будет. Понял?

— А-а, понял, теперь понял...— и бандит дико захохотал.— Вы всегда что-нибудь такое придумаете! — Тяжело дыша и шевеля толстыми губами, Голов дугою вывел в конце протокола: «Арестант Яков Ефимович Голов».

Шмелев вытащил из-за шкафа вино.

— Бутылку потом в окно выбросишь. Разделайся с ним сегодня же. Только — чтобы ни звука... Тихо... Понял? Ну, а как тебе... пятки смазать — сам придумай. Завтра с общей партией выйдешь на работу.

Давно не пивший Голов выпил весь коньяк, правда, не сразу, в два приема. Потом он долго сидел на нарах, вертя в руках пустую бутылку, разглядывал золотую надпись на наклейке и три звездочки сверху. Наконец, закурил папиросу, взятую из портсигара Шмелева, прошелся по камере, остановился у ног спящего Мокея и долго смотрел на него своими дикими глазами. Мокей крепко спал. А захмелевшему бандиту хотелось буйства — скучно ему было, душно в камере. Постояв некоторое время, Голов нагнулся и ткнул горящей папиросой в щеку Мокея. Тот испуганно вскочил, ничего не соображая со сна.

— Ха-ха-ха!.. Струсил? — винным угаром дохнул бандит в лицо Мокея.— Убил, значит? Повесил — и голову долой. Ножом по шее раз! — и готово... А вот я тебя без ножа... руками... Одного купца я в лесу прямо таки задушил, хоть кистень был при мне, а я его руками... Люблю смотреть в глаза, которые смерти боятся. Ага, и ты боишься?..

Дико выпучив глаза, Голов протянул свои волосатые руки к Мокею, а тот, комкая под себя домотканый зипун, служивший ему постелью, отполз в угол нар. Может быть, и шутит бандит, но сердце чувствует беду.

А Голов по-медвежьи залез на нары, и его пальцы, точно щупальцы, коснулись горла Мокея.

Мокей в ужасе отпрянул к стене и стал высматривать, нет ли чего такого, чем бы ударить бандита. Но камера была пуста. Вдруг на глаза ему попалась опрокинутая табуретка. Он хотел было соскочить на пол, но в это время Голов, как тисками, вцепился ему в ногу. Мокей отталкивал бандита свободной ногой, но тот, озверев, все тянулся и тянулся к его

янку. Вот уже [illegible] пальцы дотронулись до горла «Ц...
пало — мелькнуло в голове Макея. Он почувствовал, что ...
тит куда-то в бездонную пропасть, и сознание покинуло его.

С кем только не встречался Григорий за пятнадца...
сяцев пребывания в тюрьме. Однажды в его камеру п...
молоденького, матроса, только что вернувшегося со слу...
Григорию понравился этот плотный, коренастый паре...
они с первых же дней подружились. Григорий рассказал с...
свою печальную историю, и матрос поведал свою, не ме...
горестную.

— По собственной глупости влип...— рассказывал он.— С какой радостью возвращался я со службы! Как ни тосковал, соскучился, все-таки своя родная сторонка. Добрался, значит, до дому. А когда солдат возвращается, сам знаешь: один зовет в гости, другой. Ну, и наклюкался. А мне, пьяному, стали рассказывать про разные проделки старосты и урядника. В прошлом году у старосты случилась кража. Староста уехал к ворожее в соседнюю деревню. Ну, поворожили ему и, значит, указали на моего племянника. Зверски избили парня, ногами топтали. А что он скажет, если не воровал. Красивый был парень, собирался свадьбу справлять, а теперь уж он не жилец. Ну, как увидел я его своими глазами, все у меня внутри перевернулось. Был я здорово пьян. И надо же так случиться, видно, греху суждено было быть, зашел урядник. С чего у нас началось — не помню. Убил я урядника...

— Туда ему и дорога...— от всего сердца одобрил Григорий.

— Так-то оно так...— вздохнул матрос.— Одной с бахменьше будет. Но все же не надо бы... Вернулся я со службы бы другим человеком, встречался там с разными умными людьми, жизнь понял. И чего я только не передумал в дороге! Народу, думаю, буду объяснять про нашу тяжелую жизнь, ненависть буду разжигать против угнетателей наших. А вот вместо этого с [illegible] глаз в такую историю влип, себя стыжусь!

И, наверно, чтобы хоть на время забыться, матрос снова и снова расспрашивал Григория о подробностях «мултанского дела».

— Темная история...— покачал он головой.— Я сам с Вали-Пельгинской стороны, у нас там кругом удмурты, но никогда не слыхал ничего подобного.

Григорий рассказал ему, что говорили об всем этом Илья Фомич и Букин. Матрос до боли хлопнул его по колену.

— Вот в этом и суть, Григорий! Как же это мне сразу в голову не пришло? Слышал я про то, как один народ натравливают на другой. Значит, тут дело, браток, не только в вас, через вас они хотят обвинить весь ваш народ. Ты, Григорий, держись. Иной не выдержит побоев и наговорит то, чего не было. Ты о народе своем не забывай. Умри, но стой за правду. Ты понимаешь, что может случиться? Могут всех удмуртов куда-нибудь в Сибирь загнать. Понимаешь, кто это такое? Это значит — бросишь ты постройку, землю и будешь за своим возком с домашним скарбом шагать тысячи верст, летом в жару, осенью в дождь и слякоть, зимой в трескучие морозы, в бураны, пургу. Положим, ты вытерпишь. А дети, а старики? Погибнут же они, Григорий, все до единого погибнут!..

Григорий не чувствовал, как по его щеке медленно катились слезы и терялись в круглой курчавой бороде. Перед его глазами вставали картины одна ужаснее другой. холодная осень, по чужим краям бесконечной вереницей тянутся обозы; кто-то стонт на обочине, лошадь пала, а на телеге не то больной, не то покойник, покрытый дерюгой.

На другой день после утренней поверки матроса куда-то увели. Он крепко пожал Григорию руку и сказал на прощание:

— Крепись, браток. Бить будут, все равно крепись. О народе своем думай, тогда не так страшно.

Будто в воду глядел матрос. В этот же день вызвали Григория в следственную камеру. Там за столом сидел Шмелев. Григорий видел его впервые.

— Дмитриев? — спросил становой, читавший какие-то бумаги.

— Я, Дмитриев,— ответил Григорий, стоя у двери.

— Поди сюда!

Григорий подошел к столу.

Шмелев колючим взглядом осмотрел его с ног до головы.

— Вот что, Григорий, напрасно ты сидишь в тюрьме. Убил якшего Власов, а вы из-за него тут клопов кормите. Конечно, лучше было бы, если бы он сам рассказал тут все, при тебе, но этого сделать сейчас уже нельзя. Власов умер.

— Умер? — Григорий, пораженный вестью, опустился на стул.— Зачем умер?.. Он не больной был...— Григорий низко склонил голову и высказал вслух свои тревожные мысли: — Все умрем тут, никто знать не будет, похоронят, как собак... Почему умер? — еще раз спросил он и испытующе посмотрел на пристава, желая убедиться, что тот не шутит.

— А ты что, совсем не собираешься умирать? — улыбнулся Шмелев. — Чудак. Все умрем, только неизвестно, когда и как. Да-а. Такие вот дела, Дмитриев. Если бы Власов не признался в убийстве, мы бы, конечно, не сидели... Впрочем, он перед смертью рассказал одному арестанту, что он зарезал нищего, как поднесся труп к перекладине и что не как мы его замолили. Преступник — тот, кто убил, а виноваты лишь в том, что укрываете преступление, и с вас, конечно, спросится гораздо меньше, чем с убийцы. Так и так: один совершит преступление, а десять человек невинно страдают. Сидеть в тюрьме за чужую вину не очень приятно. Вот хотя бы взять тебя. Тридцать шесть лет — самый, можно сказать, расцвет. Дома у тебя дочь, каково тяжело ей одной.

У Григория сердце сжалось. Становой говорил о самом дорогом для него. В памяти встало родное село, дом и дядя Дыды. Но вот Григорий поднял глаза — перед ним за столом злой человек, остриженный ежиком, над ним окно с решеткой, справа на стене, окрашенной в коричневый цвет, в огромной раме чей-то портрет, не то царя, не то какого-то генерала.

Становой долго разговаривал с Григорием, но об убитом нищем больше ни разу не упоминал, а говорил все больше о жизни самого Григория. Потом он вызвал надзирателя и приказал показать Григорию труп Власова.

Почему становой привязался именно к Григорию, трудно сказать. Не потому ли, что на первом допросе он был задумчив, сидел, низко опустив голову, и часто переспрашивал вопросы пристава? Во второй раз Шмелев держал его целых три часа. Возмущенный постоянными возражениями Григория и тем, что никакого толку от него не удавалось добиться, пристав все эти три часа заставил Григория стоять. А на другой день вызвал снова.

— Ну, голубчик,— угрожающе предупредил Шмелев,— сегодня я разговариваю с тобой в последний раз. Или я тебя закованного сошлю на каторгу, или ты мне правду скажешь. Отпираться теперь бессмысленно. Вот тебе доказательства: показания Власова — раз и показания Камаева Антона — два. Камаев подробно рассказал, как он вынимал внутренности и как ты голову убитого положил в лукошко и отнес в лес. Распишись,— сунул он Григорию заранее написанный протокол.

Григорий был настолько ошеломлен, что некоторое время не мог вымолвить ни слова. Ему хотелось сказать становому, как он его ненавидит, но он не нашел сразу нужных русских

слов, надо было думать, искать, подбирать эти необходимые слова. И Григорий, дрожа от ненависти, молчал.

Пристав принял это за нежелание разговаривать, за безразличие ко всем его вопросам и, изменив свой нарочито спокойный тон, стукнул кулаком по столу и заорал:

— Распишись, скотина!

Красный от гнева, Григорий подался вперед, словно собирался плюнуть в лицо приставу, и, боясь, что его оборвут, быстро заговорил:

— Дураком считаешь, ваше благородие. Бей, убей, а писать не стану, говорить неправду тоже не стану. Власова убили? Знаю, убили. Может, всех нас убьете... Что мы сидим зря здесь, наша деревня знает, другие знают, они жалеют. Вас народ проклинать будет, после смерти тоже будет. Бей, убивай, пусть каторга, мы не боимся, наша жизнь в деревне хуже каторги. Думаешь, ничего не понимаю. Тот раз ты много стоять заставил. И сейчас не давай сидеть, я привычный, на ногах буду, на коленях не буду, умру — не буду, так и знай, ваше благородие!

Становой, не прерывая Григория, смотрел на него, выпучив глаза: подумать только, на него раскричался мужик, да еще какой мужик — удмурт.

А разгоряченный Григорий, колотя себя в грудь, продолжал:

— Думаешь, тут, как у тебя, сердца нет, камень? Нет, наше благородие, сердце тут. Пей кровь. Убивай, может, генерал будешь! Зачем мучаешь?

— Значит, по-твоему, Власова мы убили?..— становой упершись обеими руками в стол, медленно поднялся и наотмашь ударил Григория по лицу.

По губам Григория потекла кровь, она капала на синюю с тонкими белыми полосками домотканую рубашку. Григорий вытер губы тыльной стороной ладони и долго смотрел на окровавленную руку, словно чему-то удивляясь. Не отдавая себе отчета, он плюнул в лицо приставу и, шатаясь точно пьяный, побрел к выходу.

Ошеломленный становой смахнул рукавом мундира плевок и, как разъяренный зверь, выскочил из-за стола.

— Ты... ты подлец! Убью, скотина! — крикнул он.

Григорий долго лежал без сознания. Открыв глаза, еще в полубреду, он никак не мог понять, где он и что с ним. Потом сознание вернулось, и Григорий вспомнил, как избивал его становой.

Невыносимо болело тело. Лежал он на голой койке из толстых железных прутьев. Койка была вделана в камен... пол. Григорий с трудом приподнялся, сел и устало осмо... релся.

Камера находилась в подвале, глубоко в земле. Окно с разбитыми стеклами было на уровне земли, но от пола дов... вольно высоко. В мрачной сырой камере с потолком, усея... ным мутно-серыми тяжелыми каплями, стояло зловоние.

Прошел день, второй, третий, но про Григория слоно за... были. Ему стало казаться, что он немину... погибнет здесь — и даже его родная Дыды не узнает, где он. Тоска сжала его сердце. Превозмогая боль, он встал на спинку ж... лезной койки и дотянулся до окна. Но в окно, кроме верх... части тюремной ограды и старой деревянной вышки часового, ничего не было видно. Где-то далеко за вышкой медленно ползли свинцово-тяжелые тучи. Перед самым окном совсем низко пролетели ласточки. Они навеяли воспоминания о дале... леком детстве.

...Было тогда Григорию девять лет. Во дворе под навесом у самого конька ласточка свила себе гнездо. Маленький Гри... ша кинул камень и разорил ласточкино гнездо. Оттуда выгля... лились еще не оперившиеся птенцы. Вскоре появилась ласточка, летавшая, наверно, за червяками. Увидев свое разоренное гнездо и упавших птенчиков, она с жалобным криком долго кружилась под навесом, то спускаясь, то взмывая вверх. Потом вылетела из-под навеса, долго кружилась над постройками и жалобно вскрикивала.

Гришина бабушка сидела на крыльце и следила за беспокойными полетами птицы.

— Что это она, бедняжка, так жалобно кричит? — спросила она Гришу.— Сходим-ка посмотрим, может, птенцы попадали из гнезда. Не кошка ли уж там наблудила?

Бабушка встала и сама пошла поглядеть. А Гриша, чтобы не слышать ее причитаний над разбившимися птенцами, убежал на речку.

Вечером, когда он вернулся после долгого купанья, отец сидел на крыльце и разувал лапти. Увидев Гришу, он позвал его:

— Иди-ка, сынок, ко мне.

В голосе отца Гриша уловил грозную нотку.

— Ну, иди, иди. Чего боишься? — сказала бабушка, стряхивая отцовы портянки.

В ее ласковых глазах Гриша сразу же заметил какую-то хитринку. Однако по голосу можно было подумать, что она

...зет Гришу, чтобы дать ему хлеба с маслом. Но Гриша чувствовал, что тут не маслом пахнет. И страх, и стыд, и жалость к птицам — все смешалось в мальчишеской душе. Еле сдерживая слезы, он подошел к отцу.

— Кто разорил ласточкино гнездо? — спросил отец, растегивая ремень.

— Я...— всхлипнул мальчик.

— Сколько раз я тебе говорил — не трогай ласточкино гнездо. Сам знаешь, теперь вот непременно что-нибудь с лошаденкой случится. Тогда, смотри, крепко настегаю. Да и сейчас, пожалуй, немного не помешало бы. Ну-ка, иди поближе.

— Ты что это, Митрий!..— заступилась бабушка.— Он же глупый еще.

— Вот и надо ему ума прибавить.

— Я вас не ремнем учила уму-разуму.

— Ладно, ладно, мама,— примирительно сказал отец,— я попугать только хотел, пусть не балует.

Обиженный Гриша поплелся в летний амбар. Бабушка принесла ему туда хлеба с маслом и яйцо.

— Расти, сынок,— ласково говорила старуха и гладила Гришу по голове.— Отцу помощник нужен, тяжело ему одному. Завтра боронить пойдешь, ешь, набирайся сил. Скоро и жнитво пойдет. Мне не согнуться, а мать все по чужим людям ходит. Вот тебе и отцу штаны бы новые справить, а она чужим ткет.

Накормив и уложив Гришу, бабушка ушла. А он еще долго лежал и в страхе думал: «Что же будет с Пегашкой? Захромает или умрет? Пусть бы только захромала».

Долго ждал он неминуемой беды, проходили дни за днями, а с лошадью так ничего и не случилось.

...И вот сейчас, в одиночке, при воспоминании об этом, Григорию стало невыносимо грустно. Детство, детство, почему оно так неожиданно является человеку, почему оно оживает в памяти в такие тяжелые, в такие горькие минуты жизни?

15

Становой пристав Шмелев получил от прокурора большие полномочия и выехал в Мултан.

В Трыке, в волостном правлении, он встретился с приставом Тимофеевым.

— «Дело» теперь в руках следователя, и снова начинать дознание мы не имеем никакого права,— заявил ему Тимофеев.

— Не слишком ли долго вы свои права разыскиваете, господин пристав? — съязвил Шмелев.

Обида горьким комом подступила к горлу Тимофеева, и он с ненавистью посмотрел на Шмелева. Тимофеев не раз писал доносы о различных проделках Шмелева, но с него все как с гуся вода, мало того — он стал пользоваться еще большим доверием начальства. И сейчас не кому-нибудь, а именно ему поручили «мултанское дело». Тимофеев понимал, что, не справившись с порученным ему заданием, он окончательно уронил себя в глазах начальства. Если Шмелеву удастся довести дело до конца, тогда ему, Тимофееву, остается тотчас уехать в Малмыж, явиться к исправнику и снять с себя шашку, признавшись в собственном бессилии.

— Без предписания исправника я вам не позволю хозяйничать в моем стане,— заявил Тимофеев.— Покажите-ка, братец, ваше предписание, тогда — пожалуйста.

Шмелев с презрением бросил на стол бумагу, выданную ему прокурором. Тимофеев прочитал ее и, не поднимая насупленных бровей, предупредил:

— Ну что же, действуйте. Только, если в процессе дознания будут неприятности, я умываю руки, отвечать придется вам.

Шмелев ударил кулаком по столу и, не сдержавшись, выругался:

— Иуда!

Был тихий летний вечер. Солнце пряталось за зубчатые вершины дальнего леса, его последние лучи играли в речке и на окнах избушек Мултана.

Коровы, изредка мыча, лениво брели по проулкам, терлись об изгороди. С реки доносился монотонный стук вальков. Там, под горой, белыми островками сидели гуси; попрятав носы под крылышки, они устраивались на ночлег. В такое время на улице села редко увидишь человека. Где-то на спуске к роднику скрипнуло ведро и тотчас испуганно умолкло.

Раздраженный неудачами, Шмелев ходил взад и вперед в верхней комнате мухинского дома и ругал Тимофеева на чем свет стоит.

— Все дело испортил, балда!

Шмелев уже третий день вел допросы. В открытые окна доносились чьи-то стоны из каменного амбара Мухина, куда было заперто больше двадцати арестованных.

У дверей съезжей, словно послушная собака, сидел урядник.

— Соковиков!

Урядник вскочил, гремя шашкой. Он подобострастно вытянулся, его тонкие усы шевельнулись, точно мышиный хвост.

— Слушаю, ваше благородие!

— Григорьева!

Урядник ввел Николая. С легким пушком на подбородке, он выглядел моложе своих тридцати лет. На худом лице лежала печать страха. Николай стоял, испуганно моргая.

Взбешенный становой шагнул к нему.

— Григорьев, я тебя вызвал в последний раз. Не признаешься, пеняй на себя. Когда нашли труп, ты волостному старшине в трыкской каталажке все рассказал, а сейчас, когда уже прошло больше года, от всего отпираешься. Почему?

— Бил меня... старшина бил... горло хватал...

— Я тебя не об этом спрашиваю? Где убили нищего? Голову куда девали? Ну?

— Ничего не знаю, господин благородье.

— Ах, так? Не знаешь? — и трескучая пощечина чуть не сшибла Николая с ног.— Ты у меня все скажешь, я тебя научу говорить правду! — сильным ударом в подбородок Шмелев свалил его.

— Соковиков, в баню! — приказал он уряднику.

Баня топилась специально для пыток. Урядник запер туда Николая. Густой горький дым душил. Каменка казалась огненной пастью какого-то огромного зверя. Перед глазами мелькали разноцветные искры и, проваливаясь куда-то в темную бездну, гасли. Николай, ухватившись за нижнюю доску полка, хотел было подняться, но не смог и снова бессильно свалился на пол.

— Воды! Воды давай! Задохнется, болван! — крикнул становой Соковикову.

На Николая вылили два ведра холодной воды, и урядник увел его, мокрого, в избу.

— Убью, скотина! — орал Шмелев, нанося несчастному беспощадные удары.

— Ой, не бей, господин благородье, не убивай,— умолял Николай.— Скажу... все скажу! Дед Акмар, Григорий Митрич... голову прятал, огороде... землю зарыл...

— Ага! Так! Молодец, Николай. На, кури! Давно надо бы сказать. Видал, как оно получается! — бахвалился становой перед Соковиковым.— А вы тут целых пятнадцать верст сивер провозились впустую.

Николая повели в огород, чтобы он показал то место, где была зарыта голова убитого.

— Ну, где? Ищи быстрей! — торопил его становой.

Обалдело стоял Николай: ну что он мог сказать этому злому человеку?

— Не бей, господин,— еле слышно произнес он.— Я маленький упал полати, хромой, голова все болит. Не убивай, жить хочу. Ничего я не знаю, пугался больно, потому сказал — огороде. Не бей,— и, моля о пощаде, он опустился перед становым на колени.

— Что? Не знаешь? — взревел Шмелев и с такой силой пнул Николая ногой, что тот носом уткнулся в землю. Шмелев топтал его, стегал плеткой, а Николай лежал будто мертвый, ни одним движением не выказывая сопротивления.

В домах, откуда был виден Акмаров огород, торопливо закрывали окна. По улице в это время шли, мирно разговаривая, Илья Фомич и чульнинский Митяй, местный богатырь. Услышав крик, они быстро свернули к акмаровскому огороду.

— Смотрите-ка, что делает, изверг! Убьет ведь человека,— встревожился Митяй.— Эх, кабы воля... я б его самого...— И, увидев, как становой тряхнул Николая за шиворот, не выдержал и громко крикнул:

— Стой!

Становой испуганно обернулся.

Илья Фомич подошел к нему и, не здороваясь, строго заговорил:

— Господин пристав, насколько мне известно, закон не дает права избивать человека. Если он виновен, вы должны его посадить, наконец, судить, а вы, как дикарь...

Шмелев принял учителя за уездного чиновника, поэтому сначала немного растерялся и постоял с минуту, не зная что ответить. Потом, уже не сдержав нахлынувшей злобы, прошипел:

— Шли бы вы, сударь, своей дорогой. Соковиков, отвели арестованного на съезжую! — и сам поспешил удалиться.

Урядник недоумевал: почему его начальник испугался обыкновенного учителя? И он сердито крикнул Илье Фомичу:

— Может, вы и в тюрьму пойдете вместо него, господин учитель? У вас, кстати, дорожка туда уже проторена... А насчет жалобы прокурору мы с вами еще поговорим. Больно

чего любите писать. Я вас загоню туда, куда макар телят не гонял!

Илья Фомич сначала поднял Николая и только тогда сказал урядинку:

— Весь народ вам все-таки в тюрьму не упрятать.

— Шагай! — крикнул урядник, подтолкнув Николая в спину, и повел его на съезжую.

Пришел туда и Шмелев.

— Привяжи вон за это,— он протянул урядинку ременный чересседельник и показал на кольцо в потолке, куда когда-то подвешивалась детская люлька.

— Ну, ты! — крикнул Шмелев еле живому Николаю.— Встань на стул. Всех вас заставлю говорить! Вы у меня в петле заговорите!

Измученный Николай стоял на стуле, не понимая, что еще собираются с ним делать. В избе было тихо. Николаю казалось, что вся изба медленно поворачивается, а урядник и становой растягиваются, превращаются в великанов и вот-вот навалятся на него. Узкое, худое лицо Николая было бледно, на подбородке запеклась кровь.

— Чего хочешь делать? Ничего не знаю,— дрожащим голосом проговорил он.

— Ну, ты, идиот, будешь говорить или нет? Не будешь? Соковиков! — становой указал пальцем на Николая и приказал: — Повесить подлеца!

Урядник накинул петлю на шею Николая и взглянул на станового: мол, в самом ли деле вешать? А тот, взбешенный, ходил по избе и не смотрел на урядника. Выждав с минуту, Соковиков, как опытный палач, вышиб из-под ног Николая стул.

— Тише ты, дурак! — подбежал становой.— Пугать надо, а ты чего, болван!

— Виноват, ваше благородие. Вы не предупредили.

— Убери его отсюда. Если умрет, самого тебя повешу.

Николая, потерявшего сознание, урядник выволок из избы и запер в чулане.

Вскоре туда же впихнули его деда, Акмара. Из малмыжской тюрьмы его выпустили до суда. Он попал, как говорят, из огня да в полымя. В тюрьме его по крайней мере никто не трогал, а вот теперь... домой, называется, пришел — и попал в лапы Шмелева.

Перед тем как посадить в чулан Николая и Акмара, становой спрятал там Кирюшу Мухина, чтобы тот подслушал

их разговор, ведь он, как и все русские в Мулгане, знал удмуртский язык не хуже самих удмуртов.

— Не плачь, Микол,— шепелявя беззубым ртом, говорил Лкмар внуку.— Христос терпел, и нам терпеть надо. Грех на-говаривать зря на человека. Терпи. А убьют — грех на них ляжет. Я уже и счет потерял, сколько лет живу на свете, но чтобы человека молили — слыхом не слыхал. Мне умирать пора, а меня с печки волоком стащили. Ладно, бог он все видит, он и рассудит.

На другой день становой произвел в нескольких домах обыск, наверно, для того, чтобы людей напугать, а вечером вызвал к себе десятилетнего сына Мокея Власова...

Дотемна просидел Коля, ожидая, пока урядник и старшой выйдут из-за перегородки. А там, за перегородкой, слышался смех и звон посуды. В первые минуты Коля дрожал от страха, а потом ничего, свыкся. Он даже собирался посмотреть в щелку — интересно же все-таки, что там происходит,— но не решился. Перед вызовом к становому Коля вернулся с поля. Он давно бы уже спал сладким сном на душистом сене в сарае. Ой, зачем только помешали ему спать? Никакими силами не поднять теперь тяжело смыкающихся век, глаза сами закрываются, а голова так и валится на грудь. Где-то на окне беспрерывно гудит большая муха — наверное, ее схватил паук...

— Эй ты, суслик! Дома будешь спать! — разбудил Колю чей-то сердитый голос.

Перед ним стоял широколицый, уже знакомый ему урядник. А тот, который сидел за столом, в белом кителе, судя по голосу,— добрый, только черные усы, закрученные колечком, делают его сердитым.

— Ну-ка, мальчик, подойди сюда... Конфеты любишь? — спросил Шмелев, вынимая из кармана заранее приготовленные конфеты.

— Нет.

— Конфеты не любишь? Ох ты, сморчок! Отец тебе не покупает?

— Тюрьме он.

— Ничего, скоро его выпустят. Твой отец зря сидит. И Николай вчера сказал: «Власов напрасно сидит. Это дело, Лкмар убил человека». Ты вот расскажи нам, мальчик, что знаешь, тогда мы отца твоего освободим.

— Отец умер... тюрьме умер...— проговорил Коля чуть не плача.

— Ну, ну. Ты не плачь. Расскажи мне о нищем, тогда

домой и будешь спать ляжешь. Какого нищего вел тогда Иван Красин к суточному Антону Камаеву?

— Я прошлом году ему говорил,— всхлипнул Коля, показав на Соковикова.— Дядя Иван водил нищего Антону. Тогда этот урядник показал мне зипун, котомку. А у дяди Антона нищий почевал корзинкой...— И, исподлобья посмотрев на урядника, Коля добавил: — Тогда этот урядник бил меня, больно бил. Еще волосы дергал, вверх поднимал.

— Бил, говоришь? Ах он, подлец этакий! — сделав вид, что сердится, становой сдвинул брови и посмотрел на урядника. Потом совершенно неожиданно ударил кулаком по столу и заорал: — Врешь, стервенок! Кто тебя научил так говорить? А ну, встань к двери. Вот это видал, а? — к лицу мальчика Шмелев поднес револьвер.— Будешь говорить правду или нет?

— Не знаю я,— дрожа всем телом, испуганно проговорил Коля.

— А-а, не знаешь! — и Шмелев выстрелил.

В лицо мальчика дохнуло жаром, в лоб впились мелкие горячие песчинки.

— Ах, черт возьми, не попал. Ну, попробуем еще разок. Прямее встань! — становой снова нацелил на мальчика заряженный холостым зарядом пистолет.

— Не стреляй!.. Не стреляй! Скажу я, не стреляй!..— закричал Коля, кусая дрожащие руки.

— Ага, теперь, значит, скажешь. Ну, ну. Давно бы так. Иди сюда. Какого же нищего ты видел? Такой высокий, да?

— Да.

— Какая у него была котомка?

— Корзинка была.

Тяжелая рука станового больно ударила мальчика по голове.

— Соковиков, запереть этого щенка!

Схватив Колю за шиворот, урядник потащил его. В сенях мальчик дико взвизгнул.

— Ну уха кровь идет... Глухой буду теперь, ребята смеяться будут,— жаловался он уже в амбаре.

Когда урядник вернулся в избу, становой подозвал его к себе.

— Шалаш Мокея Власова знаешь?

— Так точно.

— Вот, возьми это,— становой извлек из бумажника длинный волос и протянул его уряднику.— Это вещественное доказательство. Понял? Всего один волос — понимаешь? Если

много — не поверят. Положи его на перекладину в шалаше Власова. Пойдешь ночью. Только, смотри, чтобы ни одна живая душа не видела тебя. Завтра произведем обыск. Я тебя сделал урядником, я же помогу тебе стать становым приставом.

— Слушаюсь, ваше благородие.

Соковиков вышел и тут же вернулся.

— Ваше благородие, там к вам урядник Жуков.

— Проси.

Жуков вошел как-то по-чудному: в полуоткрытые двери сначала просунулась только голова, потом он весь втиснулся бочком. И лицо у него оказалось весьма причудливое: подбородок загнулся кверху, а бледно-серые, почти бесцветные глаза совершенно ничего не выражали, они были пусты; когда смотришь в такие глаза, невольно думаешь: уж не сошел ли человек с ума? Губы у Жукова были толстые, особенно нижняя, будто ее ужалила пчела. И стоял он тоже неестественно. Подавшись вперед всем корпусом и склонив голову набок, он держался одной рукой за ручку двери.

— Урядник Воли-Пельгинской волости Аким Пантелеев Жуков,— отрекомендовался он, так и не отрываясь от дверной ручки.

Становой удивленно посмотрел на него и вдруг громко расхохотался.

— А я тебя за жулика принял, голубчик. Ха-ха-ха!..— Но смех сразу оборвался, и Шмелев сердито спросил: — Почему не в форме?

— Ваше благородие...— начал урядник, вопросительно поглядывая на дверь.

— Накинь крючок,— приказал становой, догадавшись, что Жуков имеет доложить что-то секретное.

Заперев дверь, Жуков шагнул к столу.

— Ваше благородие, не мешало бы у Буграша занять рублей десять. Господину приставу Тимофееву я намекал, но он меня обозвал дураком, и на этом моя затея закончилась.

— Деньги? Взаймы? Ну, а потом? — не понимая в чем дело, спросил Шмелев.

— Потом эти деньги тоже в качестве вещественных доказательств... ну, взятка, значит.

— А-а... Понятно. Молодец! Действуй. А он даст тебе взаймы?

— Даст, ваше благородие. Я здесь в Мултане у Мухина целых семь лет приказчиком был. Буграш не сообразит, зачем и к чему я прошу взаймы.

... платком?

... кручусь здесь. Все думают, что я в ... вселился тут. Прокурор Раевский так ве... толку нет, хожу собираю разные сказ... Тела бы дела волю, развернуться бы как следует.

— Валяй делай, я разрешаю.— Шмелев приподнялся и ...нул урядника по плечу.— Урядники третьего стана, оказывается, не такие дураки, как Тимофеев.

Жуков криво улыбнулся в ответ, скинул крючок и, чуть ...открыв дверь, опять бочком вышел.

— Ну и жулик! — покачал головой Шмелев, глядя ему ...след.

16

В самый разгар жатвы Раевский решил съездить в Мултан. Это решение было вызвано сообщением Шмелева о том, что в шалаше Власова найден человеческий волос.

Во дворе уже стояла пара вороных. Сытые кони нетерпеливо били копытами. Ямщик держал их под уздцы. Соня, вышедшая проводить мужа, хотела поцеловать его, но Раевский брезгливо отстранил ее рукой и недовольно пробурчал:

— Ну, ну, нашла место... Эй, трогай! — приказал он ямщику.

Глубоко обиженная, Соня долго стояла у крыльца, и по ее лицу, усыпанному мелкими веснушками, текли слезы.

Не доехав до Мултана верст пять, прокурор свернул в усадьбу земского начальника Львовского. К вечеру туда подъехал и волостной старшина Попугаев. В Мултан они двинулись на двух парах.

Немного поотстав от них, ехал урядник Соковиков, он вез с собой чучело того самого медведя, который когда-то изувечил Акмара. Чучело до сих пор стояло в спальне Львовского. На когти вытянутых передних лап Львовский вешал трубки с длинными чубуками, рога с порохом и другие охотничьи принадлежности. А сегодня медведя везли в Мултан. Морда Соковикова бежал быстрой рысью, глаза его были налиты кровью, он временами косился на чучело и скалил клыки.

А по лавожской дороге в сторону Мултана ехали становой Тимофеев и урядник Рогозин. Раевский нарочно послал Рогозина за Тимофеевым.

Вся компания расположилась наверху в доме Мухиных. Жена Мухина Груня и ее младшая сестра Фрося, привыкшая с детства помогать, все успевали подносить еду и выпивку. Чего только не было на столе! И курятина, и жареный гусь, и свинина, и ветчина, и пельмени, и мед, и, конечно, всевозможные вина.

У дверей стоял на задних лапах медведь.

Звенела посуда на столе и в шкафу. Виртуозно (как и подобает офицеру) плясал становой Шмелев. В бытность его офицером во всем полку не было такого плясуна, но и выпить такого тоже не было. Пил он, надо сказать, не так уж часто, пожалуй, даже редко, ну, скажем, в месяц раз, но уж коль уж Шмелев запил, так сразу на целую неделю. А пил он помногу — на офицерских собраниях на пари одним духом опорожнивал бутылку водки.

Урядник Соковиков наигрывал на тальянке с колокольцами «Саратовскую». Гармонь принесли от Кирюшки Мухина. Полупьяная Фрося пела частушки, перевирая и слова и мелодию.

Если б видела ее сейчас Вера Сергеевна!.. Будто подменили ту Фросю, с которой когда-то судьба столкнула ее на грязной арестантской барже. И в карих глазах с лукавым прищуром, и в манере говорить, и в каждом движении Фроси было что-то вызывающее и наглое. Даже мелкие кудряшки, падающие на смуглый лоб, тоже казались наглыми.

И все-таки, если бы Вере Сергеевне снова довелось встретиться с Фросей, она бы, конечно, многое поняла и, кто знает, может, не осудила бы девушку.

Ведь сколько перепидала, сколько перестрадала Фрося за эти долгие годы! Голод заставлял ее рыться в помойных ямах в поисках корки хлеба, а стужа и непогода загоняли на ночь под рыбацкие лодки или в палатки на базарных площадях. Только с протянутой рукой никогда не стояла Фрося — не могла, не хотела она выклянчивать подаяние.

Ах, как ненавидела Фрося всех этих богачей, которые — она была в этом уверена — довели ее до такой жизни! Бывали минуты, когда в разгар пирушки до сознания Фроси доходил весь ужас ее положения, и ей ничего не стоило тогда плюнуть в лицо какому-нибудь надменному чинуше или дать тумака отмстить им за свою пропащую жизнь? Она долго хранила сулему, которой хотела отравить одного малыжеко о купца. Но чего же измывался он над ней, когда она жила у него в прислугах! И словно учуяв беду, купец выгнал ее вон.

Просыпалась Фрося бывала пьяной, она совершенно [illegible] Смеялась и веселой, и покорной, а порой [illegible], что она счастлива.

И сейчас, горланя частушки, она воображала, что и лихо отплясывающий Шмелев, и задорно растягивающий гармошку Соковиков, и красавец Раевский только для нее устроили этот пир.

Приехав в Мултан, Фрося сразу стала назло своей сестре заигрывать с ее мужем. Пусть позлится теперь Грунька, пусть вспомнит, как выгнала она на улицу ни в чем не повинную девчонку. А сестра все время ревниво следила за Фросей и с перекошенным от злобы лицом шипела: «Какая нелегкая тебя принесла? Кто звал тебя сюда? Стыдно на улице показаться. Бабы только о тебе и судачат. Убирайся отсюда в свой Малмыж, чтобы духу твоего тут не было!» — «В Малмыж? — Фрося презрительно ухмыльнулась и фыркнула: — Да разве это город! Со скуки пропадешь там. Поеду в Казань или в самую Москву махну».

Однажды за чаем Груня попыталась урезонить ее: «Фрося, ты когда-нибудь думаешь о себе, о своей судьбе или ничего не думаешь? Года-то уходят. Старой девой останешься».— «А о чем мне думать? Говорят, от дум голова болит. Думай не думай, на подол золота не насыплют, мужа красивого тоже не дадут. Без дум легче живется. А те, кто много думает, либо вешаются, либо топятся».

Груня, такая же смуглая, как Фрося, но толстая и обычно спокойная женщина, только с сестрой не умела говорить спокойно. «Дура! — она со звоном поставила на блюдце чашку с недопитым чаем.— Дура! Только такие, как ты, дуры, ни о чем не думают. Если и дальше так будешь жить, скоро и впрямь в подоле принесешь, да только не золото. Тогда уж я тебя, дорогая сестричка, и на порог не пущу».— «Учила лиса Ерося, как от волка прятаться... Ты, сестра, за меня не бойся, не всякая рыба с икрой. Вот гляди, ничего нет, пусто!» — и, хлопнув себя по животу, Фрося грубо расхохоталась.

Сестра, разгневанная, встала из-за стола, с минуту стояла, не зная, что сказать этой шалой девке, и наконец с дрожью в голосе проговорила: «Противно на тебя смотреть, тошнит даже. Тьфу!»

Теперь Фрося назло сестре еще откровеннее стала кокетничать с Раевским. Не посмеет Грунька и слова сказать ей при прокуроре.

Играя накрашенными бровями и бесстыдно подмигивая Раевскому, она пела:

Ох, голубчик сизокрылый,
Ворковать умеешь,
А небось к нам под окошко
Прилетать не смеешь?

Шмелев лихо притопнул и перестал плясать. Посуда в шкафу все еще мелко позванивала.

— Браво, браво! — кричали пьяные гости, протягивая Шмелеву стакан с вином.

Волостной старшина Попугаев, высокий, здоровенный, но неуклюжий, как медведь, обнял Шмелева, закрыв его лицо своей огромной русой бородой.

— Люблю плясунов!

Он и сам пустился было в пляс, но не удержался на ногах, свалился, попытался подняться, да так и не смог.

Львовский сидел, уронив голову на стол. С трудом приподняв ее, он уставился на старшину осоловелыми глазами, хотел, видно, что-то сказать, но только махнул рукой.

Пошатываясь, поднялся Раевский. Держа в правой руке чайную ложечку, он торжественно заговорил:

— Г-господа!.. Правосудие объявило исторический поход против оскорбления православной церкви, против кощунства и варварства. Нам выпала честь, господа, доказать наличие человеческого жертвоприношения языческим богам. Этнографы не только России, но и всего мира ждут наших доказательств, господа. «Мултанским делом» мы откроем новую страницу в правосудии. Теперь у нас имеются существенные доказательства.— Сделав паузу, Раевский указал ложечкой на Тимофеева и, явно издеваясь над ним, продолжал: — В том самом шалаше, где вы, Евгений Михайлович, собрали только шерсть животных, господин Шмелев нашел настоящий волос убитого.

Все с удивлением и завистью посмотрели на Шмелева, лишь один Тимофеев сидел, нахмурив свои светло-рыжие брови.

Он, конечно, понял, как нашел этот волос Шмелев. «Как же я не догадался сделать то же самое? — ругал он самого себя.— Ведь это проще простого. А если и в самом деле ничего убили мултанцы, то они не смогут теперь отпереться — при наличии столь веских вещественных доказательств. Того и гляди Шмелев займет должность помощника исправника. И место как раз свободное».

Тимофееву мерещились картины одна обиднее другой. Шмелев непременно вызовет его, Тимофеева, в Малмыж и, крутя колечки усов, будет издеваться над ним. Нет, если это

случится, он переедется в другой уезд или совсем бросит службу.

Урядник Соковиков сидел на боковых нарах, облокотившись на гармошку. Он уже видел себя в форме станового пристава.

Хмельные гости тем временем бурно приветствовали Шмелева.

— Молодец, молодец, батенька! Я всегда знал, что у вас большой талант! — держа обеими руками руку Шмелева, поздравлял его Львовский.— На стороне правосудия, батенька, бог, царь и закон.

А в мухинском амбаре были заперты арестованные. Их привезли в Мултан из малмыжской тюрьмы еще за день до приезда прокурора. К амбару быстро кто-то прошмыгнул. Перепрыгнув через изгородь и прижимаясь к постройкам, человек медленно крался к амбару. Прислонившись к стене, он прислушался и легонько постучал.

Григорий, лежавший на полу, приподнялся на локте и спросил Антона, лежавшего с ним рядом:

— Не спишь, Антон? Кажется, стучат?

— Я и сам слушаю, только не могу понять где. Постойка, кто-то по стене карабкается... Огонь бы засветить... Отнял, проклятый, даже кресало и то отобрал,— ругал Антон Соковикова.

— Отец! — послышался голос за амбаром.

— Кто это? — спросил Григорий, подойдя к небольшому окошечку в стене.

— Я, Алеша.

— Да это же дяди Никифора сын,— обрадовался Григорий. Он кое-как дотянулся до окошка и сообщил Алеше: — Отца только что в избу увели, на допрос, видно. А ты чего тут?

— Табаку принес, дядя Григорий,— ответил Алеша, узнав Григория по голосу: — Высунь руку.

И Алеша передал Григорию кисет с табаком, кресало, кремень и трут.

А за углом амбара кто-то притаился и слушал, о чем говорил с арестованными ночной пришелец. И вдруг Алешу схватили за шиворот.

— Разговариваешь? Следы заметаешь? Ну-ка, пойдем в избу, посмотрим, кто ты такой есть. Попался, голубчик. Ну, ну, шагай...

Вчера, когда мултанцев привели в село, старик Никифор передал сельчанам, чтобы Алеша принес ему табаку. Вер-

нувшись с поля, Алеша тотчас же принес передачу, но в ка-
ре торчал урядник Рогозин, и парень ничего передать не с
мел. Наутро он хотел передать табак через Прохора, котор
сторожил арестованных. А тот накинулся на Алешу хуже
бого урядника.

— И меня хочешь вместе со своим отцом посадить? — с
зал он.

Долго упрашивал его Алеша, но Прохор, оцепив с
колючую рыжую бороду, сидел как истукан. Наконец
надоело, и он зло цыкнул:

— Иди, иди, не приставай! Не умрет твой отец без таб
допрос. Поднявшись наверх, Никифор так и замер в дверя
посреди комнаты стоял на задних лапах огромный медведь.
С испугу Никифор принял его за живого и невольно подался
назад.

— Укусит, укусит, не подходи близко! Хо-хо-хо! — хохотал
волостной старшина.

Перед медведем была поставлена дуга, а на ней — зажженная свечка. Это придавало всей обстановке необыкновенную таинственность.

— Ну, ну, старик, подойди поближе, не бойся. Вот на
выпей,— сказал Раевский, протягивая Никифору стопку.

Никифор видел прокурора впервые. Наверно, какой-нибудь большой начальник. Принять стопку или отказаться? Если не принять, пожалуй, рассерчает, лучше уж выпить. Никифор взял протянутую стопку и выпил. Поставив пустую стопку на стол, он поклонился незнакомому господину и сказал:

— Не знаю, кто такой, ваше благородие, похоже, бо
человек.

— Он не благородие, батенька, а высокородие,— по
вил Никифора земский начальник.— Прокурор он. Поня

— Прокурор, значит? — обрадовался Никифор.— Мы т
писать хотели, господин прокурор. Напрасно в тюрьме
больше года уж.

— Гм... напрасно, говоришь? Ну что же, посмотр
Присягу давай. Понял? Если совершь перед богом, он тебя,
язычника, вот как эту дугу согнет.

Становой Шмелев дал Никифору топор. Ничего не по
мая, старик посмотрел сначала на топор, потом на стальную

— Зачем это?

— Лезь под дугу и руби медведя,— объяснил ему ста
ной.

Держа в руке топор, Никифор долго смотрел на дугу, потом растерянно спросил:

— Как я, старый, полезу?

— А это уж твое дело, батенька, хоть раком ползи,— сказал Львовский, подойдя к дуге и поправляя пенсне.

— Хо-хо-хо!..— гремел старшина.— Давай, Никифор Петрович, раком. Хо-хо-хо!

Никифор опустился на пол и лег на живот, намереваясь проползти под дугой. Но при первом же его движении дуга с грохотом упала, свечка отлетела в сторону и погасла.

— Уронил, батенька?..— придерживая одной рукой пенсне, Львовский уставился на поднявшегося Никифора, словно тот совершил тягчайшее преступление.— Ты убил? А? Голову куда спрятал? Тебя спрашивают, скотина!

— Ничего не знаю, барин.

Львовский размахнулся и ударил Никифора по лицу. А Шмелев сзади сильным ударом свалил старика. Но и этого им показалось мало, и они оба принялись топтать его ногами.

— В лицо не пинать! В лицо не пинать, говорю! — кричал волостной старшина, еле держась на ногах и прислонившись к перегородке.— Ты его задуши, но так, чтобы крови не было...

— Господа, так нельзя!..— прокурор подошел к Шмелеву:— Дайте плеть.

И длинная плеть змеей взвилась над лежавшим Никифором. Старик дико вскрикнул.

Вдруг дверь широко распахнулась, и в комнату вихрем ворвался Алеша. Сопровождавший его урядник Жуков, увидев, что тут творится, мигом очутился за дверью.

— Отец! — вскрикнул Алеша.

Никифор поднял голову и посмотрел на сына. Лицо старика было в крови, Львовский рассек ему губы.

— Алеша! Сын мой...

Алеша подбежал и поднял отца. Не от боли, а от горькой обиды плакал старик.

— До чего довели нас, сынок. И за что над нами измываются?

— Ты как попал сюда? — придерживая рукой пенсне, Львовский смотрел на Алешу.— Кто тебя звал? Кто тебе разрешил? — Он уже приготовился было ударить Алешу, но, увидев перед собой горящие злобой глаза, попятился.— Фу... Настоящий зверь! Дикарь... Людоед!

Шмелев, до сих пор ошалело глядевший по сторонам, с размаху ударил Алешу по щеке.

— Не бей! .. крикнул Алеша, шагнув к Шмелеву.— Пусть лать надо — бьете, шапку не снял — бьете. У хорошего хозяина собака лучше живет.

Удивленный дерзостью парня, прокурор стоял с рюмкой в руке, ожидая, что будет дальше.

— Вон отсюда, щенок! — взвизгнул Шмелев и сильно ударил Алешу по щеке.

Алеша в страшном гневе, не помня себя, схватился за топор.

— Зарублю! — крикнул он, замахнувшись на Шмелева.

Львовский, утирая лысину большим красным платком, поднятился к столу.

— Будет, батенька, будет!

Урядник Жуков, как вор, подсматривавший за происходящим из темных сеней, быстро сбежал по лестнице во двор. И без него свидетелей много.

— Алеша, сынок! — с нестариковской прытью Никифор схватил сына за руку.— На кого ты руку поднял? Погибли мы теперь.

— Не плачь, отец. В тюрьме ли, дома ли — разницы нет. На поле ни к кому не подходи, с соседом своим не смей говорить. Разве это жизнь?

Становой Шмелев вырвал из рук Алеши топор и, швырнув его к дверям, схватил Алешу за грудь, но прокурор остановил его.

— Погодите, мы с ним иначе...— спокойно сказал он.— Кронид Васильевич, в солдаты этого подлеца. Вывести его отсюда! — приказал он.

— Ваше благородие, господин прокурор, прости сына, горячий он, молод... ваше благородие...— умолял Никифор, опустившись на колени перед прокурором.

Шмелев схватил Алешу за шиворот, вытолкнул за дверь.

— Соковников, запри этого щенка!

Пьяный урядник по привычке вскочил с места, однако ноги уже не подчинялись ему. Шатаясь, он доплелся до сеней и дико заорал:

— Раздавлю!..

Сделал шага три, зацепился за собственную шашку и упал.

В комнату ввели Ефима Герасимова. До ареста Ефим, если ему говорили прямо в ухо, еще все-таки слышал, а теперь, после избиения, оглох окончательно и даже кричать уже было бесполезно. Не понимая, чего от него хотят пьяные чиновники, он стоял, широко раскрыв глаза.

— У тебя тут на чердаке есть что-нибудь? — дико хохоча и хлопая Ефима по лысине, спрашивал земский начальник.— Ну, чего ты уставился на меня, как идиот? По-русски калякаешь?.. Господа, видели вы когда-нибудь живого истукана? Вот он, перед вами.

Ефима окружила пьяная орава, дом содрогался от дикого хохота.

— Эй ты!..— кричал Шмелев в ухо Ефиму.— Высунь язык!

Ефим качал головой, показывая на ухо:

— Глухой я, господин, ничего не слышу.

— Соковиков, шило сюда! Живо! — уже по привычке кричал Шмелев урядшику.— Я этому дураку уши проткну, тогда он враз услышит!

— А борода у него, господа, обратите внимание, графская...— издевался Львовский. И он так дернул Ефима за бороду, что у того слезы выступили.

Долго они измывались над бедягой, и это так забавляло их, что они хватались за животы от хохота. Наконец Раевский устало опустился на стул и, махнув рукой, сквозь смех проговорил:

— Гос-с-пода... больше не могу... Выведите его...

Арестованных вводили по одному. Введут, поиздеваются, изобьют до крови, вызывают следующего. Их уже даже не допрашивали. Дуга валялась на полу, а свечка лежала расплющенная чьим-то сапогом.

Григория урядник Рогозин ввел последним. Григорий залпом выпил стопку, поданную ему Львовским, и попросил еще.

— Хе-хе-хе! Ты, оказывается, настоящий орел. На, пей, не жалко. Веселее будет под дугу лезть.

Но Григорий наотрез отказался выполнять нелепое приказание.

— Уже бороду имею. Поздно игры играть. Мы темный народ, но смеяться так нехорошо, господин земский.

— Ты, значит, от присяги отказываешься? — и прокурор подошел к нему вплотную.

— Это не присяга, такой присяги не бывает.

Прокурор побагровел. Мужик, да еще вдобавок удмурт, и вдруг не подчинается ему, прокурору, в присутствии старших. До боли в собственной руке он ударил Григория по лицу.

— Бей, еще бей! Бей! — частой скороговоркой повторял Григорий, осмелевший от вина.— Вам все равно — что собака, что человек.

Пристав Шмелев, стоявший позади Григория, ударом в

запилок сшиб его с ног. Григорий медленно поднялся и с ненавистью оглядел собравшихся вокруг него людей. «Эх, взять да изрубить бы их всех!» — молнией мелькнула у него мысль. Он наклонился, поднял топор и некоторое время стоял раздумывая, как быть. Но трезвый рассудок все-таки победил, и он отказался от внезапно возникшего намерения, хотя чувство мести все еще горело в нем.

— Рубить, что ли? — спросил он, обращаясь к Шилкову.

— Руби.

Григорий шагнул к медвежьему чучелу и, как когда-то на охоте, всадил в него топор.

Земский начальник, схватившись за пенсне, вскочил с места:

— Стой! Не руби!

Но было уже поздно, Григорий рубанул второй раз...

Избили его до потери сознания и окровавленного бросили в амбар.

Тихо на улицах Старого Мултана.

На темном небе слабо мерцают звезды, высоко-высоко они сегодня, намного выше, чем всегда. Лес за речкой точно темный занавес, спущенный с неба. На лугах монотонно скрипит коростель, кажется, что он совсем близко,— это, наверно, от тишины.

На колокольне, не то спросонья, не то предчувствуя близкий рассвет, крикнула галка. Всего лишь раз крикнула, и было похоже на слабый удар в колокол. «Наверно, в колоколе спит»,— подумал Алеша.

Его не арестовали только потому, что Соковиков был пьян. И с тех пор, как Алеша вышел со съезжей, так и сидит здесь на горе, спускающейся к речке. Он не понимал, почему его вместе с остальными не заперли в амбар. Стоял он в сенях, пока не вывели отца, а потом тихо ушел. Может, забыли про него?

Зачем он схватился тогда за топор? Горя только прибавил отцу. Неужели, если они даже убьют человека, не найдется на них управы? Неужели за отца и за всех остальных никто не заступится? От чрезмерного напряжения Алеша чувствовал себя опустошенным, все ему было безразлично, и он сидел, ни о чем больше не думая. Просто сидел и слушал ночную тишину.

Тихо, очень тихо в Старом Мултане.

А пройдите возле домов, прислушайтесь, вглядитесь и-

внимательно, и вы увидите чуть приоткрытые окна, испуганно и вновь услышите тревожный шепот.

Если вы подойдете к мужицкому амбару, вы услышите, как плачет Григорий. Не так уж часто плачет мужик. Какое великое горе, какая горькая обида должна была лечь на его плечи, чтобы он заплакал. А сегодня плачет по одни Григорий. Здесь и у амбара в темноте утирает слезы старый Никифор. Что требовали судьбы сына: что-то сделали они с ним, где он теперь?

Уже пропели вторые петухи, а в доме Мухина все еще продолжалась пьянка.

Волостной старшина спал, уронив голову на стол, борода его покоилась на яичнице. У двери на кошке лежала Фрося.

Соковиков играл на гармонике. Его только что напоили водкой, растолкали, вылили на голову кувшин холодной воды, и он очнулся. Раевский, дирижируя ему, пел:

Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была...

Он никак не мог попасть в такт, да, пожалуй, это было и невозможно, так как Соковиков играл совсем не то, что пел Раевский.

Львовский, чтобы не упасть, держался за косяк кухонной двери и левой рукой ежеминутно поправлял пенсне. Часто икая, он читал нравоучение Тимофееву:

— Э, батенька Евгений Михайлович, вы хотите мужика учить морали. Для мужиков мораль — кулак. У меня, батенька мой, так: мне еще кони запрягают, а в деревнях уже все поленые ворота настежь. Я здесь царь и бог. Хе-хе-хе! А вы — не бить. Мужика словами не образумишь, он понимает только тогда когда его кулаком...

Прокурор перестал петь, сел и уставился на оголенные ноги Фроси. Потом поднялся, шатаясь, подошел к ней и, подняв руку, крикнул:

— Господа!.. А гос-с-пода!.. Я хочу устроить вам сюрприз... Соковиков, найди мне что-нибудь такое. Понятно? — Он поднял Фросю и на руках понес ее за перегородку.

Соковиков стоял растерянный, не понимая, что ему приказано сделать. Шмелев, наслышанный об оргиях, нашел на полке кусок холста и отнес его прокурору.

Львовский грубо тряс за плечо волостного старшину.

— Степан Петрович, Петрович! Сюрприз, батенька. Сюрприз будет.

Испугав поднял лохматую голову. На заросшем бородой

лице едва выделялся несообразно маленький нос. А [illegible] борода вся была выпачкана яйцом. Старшина [illegible] мя смотрел на Львовского бессмысленными глазами, [illegible] тяжело поднялся и, как медведь, навалился на него.

— Мило-ой! — Попутаев тянулся к лицу Льв[illegible] тел поцеловать его, а тот, упираясь обеими [illegible] грудь, вырывался из назойливых объятий.

— Бросьте, говорю! Это же свинство! [illegible] Львовскому наконец удалось вырваться, он толк[illegible] ну в грудь, и тот грузно шлепнулся на стул.

— Мило-о-ой! — орал Попугаев, снова пытаясь [illegible] ся.

За перегородкой раздался пьяный смех Фро[illegible] на руках вынес ее оттуда, стукнув головой о [illegible]

Фрося с ног до головы была скутана холстом. Ее [illegible] ные косы расплелись. Она стояла посреди комнаты, [illegible] пошатываясь, и словно сквозь густой туман видела [illegible] незнакомых людей, которые что-то делали с ней. Пот[illegible] головой она на какой-то миг поняла, что делают с ней [illegible] постыдное.

— Зачем вы так?.. Зачем?..

— Милой! — орал старшина.— Раздевайся все долой! — он обеими руками схватился за ворот своей синей сатиновой рубахи и с треском разорвал ее.

— Господа, каждый круг — пять рублей,— объявил прокурор, начиная раскручивать холст, намотанный на голое Фросю.

Урядник Соковиков, думая, что и вправду придется внести деньги, тихонько смылся.

— Сто! Один даю сто! — кричал старшина, срывая с себя разорванную рубаху.

А прокурор продолжал раскручивать холст.

Рассвет проснулся рано, только начинало [illegible] не вышел хмель из головы, но он все-таки [illegible] ночью было нечто безобразное, нечто позорное для [illegible] прокурорского звания. Он быстро встал, вышел из [illegible] и невольно остановился в дверях: посреди пола на [illegible] том холсте лежала голая Фрося. Одной рукой [illegible] обняла за шею голостного старшину, а другой держала [illegible] изодранную рубаху. Тихофеев спал на скамейке [illegible] Львовский на койке, а Шкелев сидя за столом [illegible]

Прокурор нетерпеливо разбудил Шкелева. Тот [illegible]

вскочил и, ничего не соображая, смотрел на прокурора широко раскрытыми глазами.

— Чтобы сейчас же, в один миг, были лошади! — приказал Раевский

Шмелев, слегка пошатываясь, выбежал. Под навесом в тарантасе он нашел Соковикова и приказал запрягать.

На востоке над лесом уже занялась заря. С утра встревожив жителей Мултана, по селу промчались господские кони.

Как раз в это время Алеша шел к Илье Фомичу. Он остановился у церкви и с ненавистью посмотрел вслед быстро удаляющимся тарантасам. «Где у них сила? — думал он.— Вот собраться бы всей деревней с кольями, вилами и прогнать их!» Задумчивый, он зашел к учителю, чтобы рассказать ему о ночных происшествиях.

Илья Фомич, несмотря на ранний час, сидел и что-то писал. По всему было видно, что встал он уже давно: постель была аккуратно заправлена и сам он был одет и причесан. Годы почти не изменили его: та же коротенькая, круглая курчавая бородка, так же назад зачесаны светлые волосы, только на макушке они заметно поредели. И еще отметил Алеша: на улице он никогда не видел учителя в очках, а сейчас у него на носу были большие круглые очки, которые делали его не похожим на себя. Посмотрев на вошедшего, учитель снял очки, осторожно положил их на стол и поднялся.

— Что это ты так рано, Алеша?

— Да и вы рановато поднялись, Илья Фомич.

— Если говорить правду, я еще не ложился,— сказал учитель.— А ты садись. У дверей стоят, когда к богачам приходят взаймы просить.

Алеша почему-то покосился на свои ноги, нерешительно прошел и сел на желтую скамейку возле печки.

Илья Фомич заправил под поясок выцветшую голубую сатиновую рубашку и показал Алеше на исписанные листки. Над ними он и трудился всю ночь.

— Жалобу написал. Вчера вечером прокурор приехал. Хочу сходить к нему, поговорить обстоятельно, заодно и жалобу вручу. Думаю, что он из-за моих прежних жалоб приехал, решил, наверно, проверить все на месте.

Алеша удивленно взглянул на учителя.

— Да вы, видно, ничего не знаете, Илья Фомич?

— А что такое? — встревожился учитель.

— Били они... и отца моего и всех били.

— Кто бил? — учитель шагнул к Алеше.

В другое время Алеша тотчас же вскочил бы перед учи-

телем, пользующимся всеобщим уважением, но сейчас он низко опустил голову и, чувствуя, что вот-вот разрыдается, тихо проговорил:

— Много их было: урядники, становые, полостной старшина, земский начальник...

— А прокурор?

— Я его не знаю.

— Курчавый такой, высокий? Был там такой?

Алеша поднял голову.

— Это и есть прокурор? Был. Когда я пришел на сходку, моего отца как раз он бил. Плеткой.

— Прокурор?! Защитник правосудия? Плеткой?..— Илья Фомич нервно зашагал по тесной комнатушке.— Где он сейчас? На съезжей?

— Они уже уехали, Илья Фомич.

— А чего же ты ночью не пришел ко мне?

— Я хотел было, но... очень пьяные были они. Подумал, что неприятность для вас может получиться.

— Вот это самое и губит нас. Дрожим перед ними, а им только это и нужно. За такие дела на заводе забастовку устроили бы! — словно в чем-то обвиняя Алешу, потрясал кулаком учитель.— Тысячи людей поднялись бы против их зверств. А мы...— Он подошел к столу, постоял, опершись на него руками, зачем-то перелистал исписанные листки и растерянно произнес: — Куда же писать теперь? Царю?.. А чем он лучше станового или прокурора? Значит, я уже больше года стараюсь лбом прошибить каменную стену? Стыдно, за себя стыдно! Кому поверил? Подлецу!

Еще с минуту он постоял молча, потом подошел к Алеше, сел с ним рядом и уже спокойно заговорил:

— Ничего, умнее будем, Алеша, научимся подлецов распознавать не только в жандармском, но и в прокурорском мундире. Будем искать другие пути. В Малмыже есть у меня один знакомый человек, Баранов, в газетах печатается. Он близко знаком с известным писателем Короленко. А Короленко, он не боится жандармов и пишет в газетах об их проделках. Через него, может, и мы сумеем о здешних делах рассказать в газете. Короленко должен хорошо знать удмуртов, он тут в ссылке был. Завтра же свою жалобу с письмом отправлю Баранову.

— А вы бы, Илья Фомич, сразу самому Короленко,— посоветовал Алеша, не совсем почему-то уверенный в силе Баранова.

— Оно бы, конечно, лучше...— задумчиво произнес учи-

...ский [...] уехал в Америку, а [...] только он приехал, думаю, что Барлоп обязательно сообщит ему о такой сногсшибательной истории. Ты, Алеша, смотри в оба, наблюдай за каждым шагом урядника, если начнут бесчинствовать, тотчас ко мне.

— Ничего не случится, Илья Фомич, хоть ныне, хоть нет, — недоверчиво сказал Алеша.- Сколько мы писали прокурору, а оказалось, что он сам хуже любого урядника.

— Все это верно, Алеша. Но народ они все-таки побаиваются. Бывает и так, что они из своих же кое-кого приближают, желая обмануть народ. Вот, мол, смотрите, правительство против таких безобразий. Упрятали же они Салтычиху. - И, заметив вопросительный взгляд Алеши, Илья Фомич пояснил: — Была такая помещица, не человек, а зверь, даже хуже, пожалуй. За малейшую провинность или неумение угодить ее прихотям избивала своих слуг до смерти, сажала в глубокий подвал и морила там голодом, связанных бросала на съедение крысам, а служанкам каленым утюгом выжигала груди. Наконец, народное возмущение напугало царицу. Заточили ведьму в монастырь. Там она и умерла. Если уж с Салтычихой не посчитались, думаю, что таким, как Раевский, тоже найдется место в тюрьме. Важно только вокруг этого дела шум поднять. А ты, Алеша, сегодня же постарайся разузнать подробно, что там ночью творилось, и вечером приходи.

Алеше не пришлось ждать вечера: в обед его вызвали на допрос. Прежде чем пойти на съезжую, он зашел к учителю.

— Искалечат, Илья Фомич. Сейчас опять Николая бьют.

Илья Фомич так разгневался, что даже забыл надеть картуз и опрометью бросился к старосте.

Старосту он застал дома, тот обедал в шалаше. Увидев учителя, Бектэмыр чуть ложку не выронил из рук, так стремительно вбежал Илья Фомич.

— Людей бьют, а ты сидишь?

— А что я могу поделать, Илья Фомич? Там большое начальство.

— Ты староста! Собери сходку сейчас же. Выберем несколько человек и пойдем с протестом.

— Ой, что ты, Фомич! — староста даже ложку отложил.— Без разрешения не велено сходки собирать. Да и кто посмеет туда?

— Я пойду, ты пойдешь! Мало ли в селе народу!

— Куда это вы собираетесь? — заполошилась жена Бектэмыра, замахав деревянным черпаком.— Тоже в острог захоте-

лось, что ли? Они начальство, они сами знают, что делают.

— Ты, Парасковья, молчи, тут не твоего ума дело! — прикрикнул на нее муж и, наверно стараясь оправдаться перед учителем, стал объяснять: — Урядник мне строго-настрого приказал — никаких сборов. «Если, говорит, по какому-нибудь поводу нужно будет собрать сходку, скажешь мне». И не только сходки, а пока не кончится дело, не разрешил даже свадьбы справлять и вообще запретил всякие сборища. По воскресеньям на жнитво и то нельзи нанимать. Хлеб-то осыпается, вот где горе. На работу, говорит, надо ходить по одному. У брата моего, Прохора, сами знаете какая семья. Так тоже врозь должны на работу ходить. Из избы выходить не смей, вот до чего дожили...

— Значит, сходку не будешь собирать? — прервал его Илья Фомич.

Бектэмыр встал и, утирая полотенцем пот с лица, сказал:

— У меня дети, Илья Фомич. Зачем мне искать дорогу в тюрьму? Да и некогда сейчас, старшина зачем-то в волость вызывает.

Илья Фомич с ненавистью посмотрел на бегающие хитринки в глазах старосты, на его бороденку, похожую на хвост свеклы, на волосы, остриженные под скобку, и подумал: «Этот только о себе заботится. Чужое горе, чужая беда не шевельнут ни одного его волоса, мало того — он еще будет радоваться и раздумывать, нельзя ли тут чем-нибудь поживиться». И одежда на старосте была как панцирь: ноги толсто обмотаны портянками, лапотные веревки — белые с черным — точно змейки, вьются вокруг ног, и даже в жару он ходит в жилете.

Илья Фомич хотел сказать что-нибудь колкое, обидное, но, махнув рукой, ушел.

Бектэмыр глядел вслед быстро шагавшему по двору учителю.

— Чего это он так старается? — спросила Парасковья, когда учитель хлопнул калиткой.

— Нечего делать, вот и старается... — буркнул Бектэмыр.— Известно: перед народом хочет себя показать.

От старосты Илья Фомич сразу направился в поле. Недалеко от деревни жали Степан Журавль и семья Мокея. Учитель поговорил со взрослыми, и те послали троих ребятишек оповещать о сходке.

Никогда так быстро не собирались мужики на сходку. Если уж в жнитво, да еще днем собирают, значит, неспроста,— решили они.

Сходы открыл сам Илья Фомич. Он стоял в настежь раскрытых широких дверях пожарного сарая и, часто откидывая назад золотистые волосы, взволнованно говорил:

— Мужики, о том, что сюда из Малмыжа привели арестованных мултанцев, вы, наверно, все уже знаете. А знаете ли вы, зачем привели их сюда? Знаете ли вы, что было прошлой ночью на съезжей? Их всю ночь били. А кто бил? Били не только урядники и становые, вместе с ними бил и сам прокурор. Прокурор! — повторил Илья Фомич, подняв сжатый кулак.— Собственноручно... плеткой! И это само правосудие...

Мужики удивленно переглядывались, а Илья Фомич рассказывал им, как чиновники издевались над арестованными, о пытках, о «медвежьей присяге». Чем больше он говорил о бесчинствах и зверствах, совершенных ночью, тем больше мрачнели лица собравшихся, глаза загорались гневом, до боли сжимались кулаки, и народ все теснее обступал учителя.

— Земскому надо жаловаться! — не выдержав, крикнул кто-то.

— Земскому? — учитель повернулся в ту сторону, откуда раздался выкрик.— А если он сам был там? Если сам бил не хуже любого урядника? Он бил не только кулаком и плеткой, он топтал Григория ногами. Вы думаете, земские начальники и в самом деле поставлены для того, чтобы помогать вам? Прошло уже три года с тех пор, как появились земские начальники. А чем они помогли в прошлом и позапрошлом годах, когда народ голодал? Ваши выборные ходили к земскому хлопотать ссуду — два дня в кутузке держал, вот и вся его помощь. Ничем они не отличаются от становых, мало того — у них больше власти, могут сильнее прижать крестьян. Вот, скажем, вы на сходке вынесли приговор. Если ваш приговор придется не по нраву земскому начальнику, он перечеркнет его крест-накрест — и все. Недавно он снял волостного судью. Как вы думаете, за что? За то, что тот встал на сторону мужиков и засудил владельца мельницы. Нечего нам ждать помощи ни от земского, ни от прокурора. Я собрал вас сегодня, чтобы нам вместе составить приговор об их зверствах. Доверьте это мне, я найду, куда послать. Надо будет подробно рассказать о всех бесчинствах урядников и становых. Вот и давайте говорить, кто что знает.

Народ, который последнее время жил в постоянном страхе, теперь заговорил во весь голос. Перебивая друг друга, люди рассказывали о проделках урядников, о бесчинствах полицейских.

Когда приговор был составлен, к становому приставу

Шмелеву послали выборных от общества с просьбой [illegible] избиения.

— Ну, с чем принял? — грозно и в то же время [illegible] по-сиротски становой, стоя посреди избы, широко [illegible] ноги.

— Мы выборные от общества, господин пристав, [illegible] нулся вперед Илья Фомич.— Народ спрашивает вас — [illegible] вы избиваете людей? Какое вы имеете право творить [illegible] ные бесчинства и дикий произвол?

— Право?! — вспылил становой. - Я вам сейчас [illegible] право! — Он шагнул к окну, толчком открыл его, чуть не [illegible] бив стекла, и крикнул: — Соковников!

Только что вернувшийся из Чулы Соковников [illegible] навесом на телеге с душистым сеном. Услыхав голос Ш[illegible] ва, он обалдело вскочил и, на ходу застегивая пуговицы, [illegible] бежал наверх.

— Слушаюсь, ваше благородие!

— Кто разрешил собирать сход?

— Не могу знать, ваше благородие, меня здесь не было.

— Старосту сюда! Сейчас же!

— Староста не виноват, господин пристав. Собрал нар[illegible] я,— сказал учитель.

— Так-с...— процедил становой и почему-то стал разглядывать ноги Ильи Фомича, потом вдруг повернулся к уряднику и, указав на выборных, крикнул: — Арестовать! Этого оставить,— кивнул он на учителя.

— Слыхали? — обратился Соковников к выборным.— Вяжите!

Мужики выходили, испуганно переглядываясь, а Алеша остановился в дверях и с тревогой сказал учителю по-мурски:

— Илья Фомич, бить вас будут. Пойдемте с нами.

— Ничего, Алешка.

Не понимая, о чем они говорят, урядник прикрикнул на Алешу:

— Ну, чего встал? Выходи!

Становой стоял спиной к учителю, постукивая ногтем по столу, потом резко повернулся:

— Ну-с, мутите народ, господин Парамонов? Впрочем, мне сколько мне стало известно, вам к этому не привыкать. Одного только не пойму: почему вы до сих пор не на каторге?

— А чем, по-вашему, здесь лучше? То, что мы творили прошлой ночью, заставило бы даже каторжников содрогнуть-

ся. И вот по этому поводу народ ждет вашего ответа, господин пристав. Что прикажете передать?

Со сжатыми кулаками становой шагнул к Илье Фомичу, но сдержал себя.

— Сейчас я вас не арестую, господин Парамонов,— процедил он.— Я понимаю: вы — образованный человек, а они — мужики. Но за сегодняшнее, впрочем, и за прошлые дела, вам придется держать ответ. Каторги вам не миновать, тогда вы сможете убедиться, где лучше — там или здесь.

— Ну, раз вы откладываете мой арест, обо мне поговорим потом, господин пристав. А сейчас народ требует ответа от нас.

— Ответа?..— становой окончательно потерял выдержку, рывком толкнул дверь и крикнул в сени: — Соковников!

Урядник, гремя шашкой, бегом поднялся по лестнице.

— Слушаюсь, ваше благородие!

— Народ со сходки разогнать! А этого... арестовать! — указал он пальцем на Илью Фомича.

Урядник запер учителя в амбар и тотчас вернулся.

— Ваше благородие, учителя надо бы куда-нибудь в другое место, а то арестованные расскажут ему все, что тут было...

Становой стоял, прикусив губы и нервно вытягивая шашку из ножен.

— О, черт! — выругался он и рывком сунул шашку обратно в ножны.— Отпусти всех. Нет, постой!.. Разгони народ со сходки и тотчас езжай в Трык, скажи начальнику почты, чтобы ни одно письмо из Мултана не смел отправлять без моей проверки.

Всех арестованных, приведенных из Малмыжа на «медвежью присягу», становой отправил обратно в Малмыж.

В тот год, когда арестовали отца, Алеша пахал и сеял вместе с Петрованом. За трудами да заботами незаметно прошло лето. Полевые работы уже подходили к концу, и они убрали снопы с дальней Петрановой полосы. И хотя последний воз был уже чересчур высок, они все еще продолжали укладывать снопы, им хотелось увезти все сразу.

Алеша ловко подхватывал снопы, подаваемые Петрованом. Вдруг очередной сноп упал к ногам Петрована. Алеша почему-то не успел подхватить его.

— Дядя Петрован, пожар!..— крикнул Алеша, показывая рукой в сторону деревни Анык.— В вашем конце...— Он еще мгновение смотрел на полыхавшее пламя и спрыгнул. У Пет-

рована выпали из рук вилы. Он сразу определил, что горит либо его изба, либо соседа.

— Алеша, распригай! — крикнул он и побежал развязывать вожжи.

Руки у него тряслись, и он никак не мог справиться с туго завязанным узлом. Алеша уже отпустил чересседельник, развязал супонь и гужи, снял дугу, а Петрован все еще возился с вожжами. Картуз упал у него с головы, белесые волосы прилипли ко лбу.

— Ну, Алеша, погиб я! — И такая безнадежность звучала в его голосе.

Закинув поводья и даже не выведя лошадь из оглобель, Петрован вскочил на нее и понесся вскачь.

Но было уже поздно. Когда он подъезжал к деревне, пылали не только его сараи, но и изба была охвачена огнем. На улице стоял невообразимый шум. Соседнюю с Петрованом избу разбирали баграми, и после каждого рухнувшего бревна вздымался огромный столб искр и пламени.

Девки, бабы, ребятишки таскали ведрами воду, все кричали, все суетились. Человек десять с грохотом катили по улице пожарную машину. Прямо среди улицы там и сям валялась постель, одежда, посуда, всякая домашняя утварь. Кто-то умудрился вытащить даже старую прялку: выброшенное кем-то деревянное корытце раскололось пополам — наверно, наступили на него.

Петрован соскочил с лошади, сунул кому-то из мальчишек повод и опрометью бросился к избе. Жена как раз выбежала из нее с охапкой одежды. Рукав ее кофты был разорван, волосы растрепались, одежда в руках дымилась. Увидев мужа, она бросила свою ношу и загородила ему дорогу.

— Петя, не ходи!.. Не пущу!..

К ним подбежала старшая замужняя дочь. Она тоже вцепилась в отца. В это время рухнула крыша, взметнув столб пламени. Петрован бессильно опустил руки. Жена уронила голову ему на грудь и безудержно зарыдала. Держась за юбку матери, плакали две белоголовые девочки.

К закату солнца на месте четырех дворов остались обгорелые бревна.

Когда спасенное имущество перетащили к дочери, Петрован снова пришел на пепелище. Низко опустив голову, стоял мужик, оставшийся без крова. К нему осторожно подошел Алеша. Он и сам был весь мокрый, грязный, с вымазанным сажей лицом. Алеша знал, что в такие минуты посторонней душе хочется со своим сочувствием и утешениями может быть толь-

ко в тягость, поэтому он долго стоял молча, но потом тихо заговорил:

— Дядя Петрован, переходи пока жить к нам, семья у нас, сам знаешь, мама да я. А потом — ведь когда дружно живешь, говорят, и в маленькой избе не тесно.

Петрован обнял Алешу. Слезы заблестели в его глазах.

— Спасибо, родной, спасибо тебе! А я думал, пропал теперь. Ошибся, выходит: раз народ с тобой, жить можно. Пока я у дочери устроился, Алеша. До весны как-нибудь проживу у нее, а там видно будет, может, куда подамся; шея есть, хомут найдется. Детишки вот только...

Несчастье Петрована и для Алеши было большим горем. Если Петрован подастся на заработки, с кем он будет пахать? У кого просить лошадь?

Решив посоветоваться с отцом, Алеша пошел в Малмыж, но ему не разрешили свидания, сказали, что следствие еще не закончено. С какой обидой он возвращался оттуда! Хоть на берег — да в воду.

Незадолго до масленицы к Алеше с матерью пришла нежданная радость: корова принесла двух телят. Оба теленка красной масти, у обоих по белому пятну на лбу.

— Счастье-то, видно, не совсем еще ушло от нас,— радуясь, говорила мать.— Бог даст, двух телок вырастим. За корову с телкой лошаденку немудреную можно купить, а вторую телку на племя оставим. Ребят у нас нет, года два потерпим без молока.

Алеша посмотрел на мать и подумал, что рассуждает она — ну точь-в-точь как в сказке: и заяц пойман, и шуба сшита; а смотришь — и нет ничего, заяц-то удрал. Слова матери не успокоили его, он, так же как бывало отец, облокотившись на стол, сидел и думал.

— Эх, мама! — вздохнул он.— Послушаешь тебя: и телята выросли, и лошадь куплена.

Дукъя удивленно посмотрела на сына.

— А как же не думать о завтрашнем дне? Нельзя, сынок, только сегодняшним жить.

— Думаю я, мама, и о будущем, думаю. Но одними думами землю не вспашешь. Скоро весна. На чем пахать, с кем пахать?

— А ты сходил бы к Дыды, поговорил бы с ее дядей Степаном, ему трудно, поди, одному и на своей и на ее земле. Может, договоритесь вместе работать, оно все бы легче было.

Предложение Алеши Степан принял охотно. И вот сама жизнь объединила три семьи. Степан Журавль был человек

...ельный и добрый. Он самозабвенно любил ... Б... Устали любоваться природой. Словом, натура ... ная, иначе и не скажешь о нем. Выбившись из ... батрачества, он женился на сестре Григория и ... ронять дом. Но сруб, крытый соломой, уже третий год ... конце деревни. Не купи Степан лошадь, дом бы, ... был уже давно готов, но Степан рассудил так: б... ничего и приниматься за постройку.

Как мог такой человек отказать в помощи Ал... нему в беде.

— Ничего, Алеша,— сказал он, желая ободрить ... Пока ноги есть, по земле ходить будем, а пока язык ... песни петь будем. Не унывай, беда к нам в дверь, а ... нее в окно,— заключил он разговор своей обычной шуткой.

Ушел от него Алеша несказанно обрадованный.

Работали они со Степаном и Дыды все лето дружно, как одна семья. Теперь и мечты матери о телках и лошади уже не казались сказкой. Телята подросли, мать берегла их как зеницу ока.

Об одном лишь забыл Алеша: что он теперь хозяин и за все спрос с него. Поздней осенью стали собирать подати и недоимки. Одну телку Алеше пришлось продать.

Но его подстерегала уже новая напасть. Как-то он пошел в лавку к Бураш... купить спичек и керосину. Бураш почему-то сам оказался в лавке. Прежде он никогда не разговаривал с Алешей, а на сей раз заговорил с ним как с равным.

— Видать, до сумы доведут нас, Алеша,— вздыхал он.— Говорят, скоро суд будет. Нужно нам защитника нанимать. Недавно я с одним знакомым малмыжским купцом говорил. Обещался найти хорошего защитника. Рублей, говорит, в пятьсот обойдется вам это дело. Защитник сам из Казани. Придется, видно, мне съездить к нему.

— Пятьсот рублей?— Алеша от изумления глядел на Бураша с раскрытым ртом.— Откуда взять столько?

— Оно, конечно, дороговато. Но что поделаешь? Сидеть ... люди не зря говорят: хороший защитник и виноватого сухим из воды вытащит. Сколько уж денег посеял я, и все напрасно. Хоть бы с мизинчик вины моей было, тогда бы не так обидно, знал бы, за что расплачиваюсь. Опять, видно, придется ... платить. Давайте уж мы как-нибудь вместе. Двести я сам уплачу, а остальные придется разложить — по пятьдесят рублей на каждого.

Алеша стоял как пришибленный. Пятьдесят рублей! Это ... почти две коровы!

...А сколько имеет столько денег семья Антона? — спро-
сил он Бугра... Они и так концы с концами не сводят. А у
...ни Ивана еще ребятишек, мал мала меньше.
Буграш нахмурился и с сердцем махнул рукой.
— Живем, небо коптим... Один другого хуже. Лень прежде нас родилась.
От обиды у Алеши огнем запылали щеки: ведь Буграш в глаза назвал его и других бедняков лентяями. Он еле сдержал себя, чтобы не нагрубить этому сытому мироеду, у которого борода и то не мужицкая, острижена клинышком, волосок к волоску, а черные глаза хитрые-хитрые, словно он все время думает, нельзя ли кого обмануть. Хотя и злился Алеша, но понимал, что, если Буграш не поможет, мултанцы останутся без защитника.
— Я найду пятьдесят рублей, дядя Федор,— сказал он наконец.— Дядя тоже найдет: продаст корову и овец. А Ивану с Иваном помог бы ты как-нибудь сам. Вернутся — работой оплатят, пойдут к тебе в батраки, больше им некуда идти.
Федор постоял немного и, ни слова не сказав, хмурый вышел из лавки.
Расстроенный, Алеша забыл даже про покупки. Буграш опять откупился. Все-таки на воле ждет суда. За деньги все можно!
— Что ты такой невеселый, сынок? — спросила мать, как только Алеша вошел в избу.
— Придется нам, мама, корову и телку продать.
— Это почему? Опять подать требуют? — встревожилась Дуня.
— Нет, мама. Защитника нанимать надо. Пятьсот рублей, говорят, просит.
— Батюшки мои!..— всплеснула руками Дунья.— А за что ему? Кто он такой защитник?
Алеша объяснил как мог.
— А за что он столько просит? Совести, видно, нисколько нет у человека. Пятьсот, говоришь? Это же, поди, очень много, сынок?
— Это больше, чем двадцать коров, мама.
— И за что нас казнят так, господи, господи! — запричитала Дунья, утирая концом платка навернувшиеся на глаза слезы.— И бог, видно, покинул нас.
Вскоре Алеша продал и корову и телку. Но прошла зима, прошло лето, а суда все не было. Деньги он берег, не расходовал ни копейки.

Ранней весной в Старый Мултан приехал сарапульский адвокат Михаил Нонович Дрягин. Зашел он побеседовать к Алеше. Сухо встретил его Алеша. Ему казалось, что в несчастье мултанцев вместе с урядниками и становыми повинен и этот большебородый, важный человек. Когда Дрягин собрался уходить, он в упор спросил его:

— Сколько платить надо?

Дрягин сейчас только понял причину такого недружелюбного приема. Он снова присел на боковые нары, положил рядом с собой мягкую кунью шапку и расстегнул пальто с таким же воротником. Алеша заметил его добрую улыбку. И слова Дрягина показались ему сердечными, и сам он показался добродушным человеком.

— За участие в защите, Алексей Никифорович, я с вас не возьму ни одной копейки,— сказал Дрягин.— Если придется ехать с кассацией в Петербург, тогда посмотрим... А о деньгах пока не будем говорить.

Он еще долго разговаривал с Алешей и был рад, что задержался, так как Алеша чувствовал себя теперь гораздо свободнее и рассказал еще много интересных подробностей о проделках полицейских.

— Я за это дело взялся, Алексей Никифорович, вовсе не из-за денег,— с легким укором сказал Дрягин.— Я до глубины души возмущен бесстыдством полицейских. И потом — напрасно ты думаешь, что я слепой и бессердечный. Я же вижу, как ты живешь.

— У меня деньги есть, пятьдесят рублей! — поспешил сообщить Алеша, видно, боясь, что такой хороший человек вдруг может отказаться от защиты.— Корову, телку продал для защитника,— объяснил Алеша, заметив в глазах Дрягина удивление.

— Вот это уже совсем напрасно! — искренне огорчился Дрягин.— Не надо было продавать. Деньги свои в дело пусти, Алексей Никифорович, корову, что ли, купи.

— Лошадь надо...— вздохнул Алеша.

— Купи, Алексей Никифорович, если силы хватит, обязательно лошадью обзаведись,— от души посоветовал Дрягин.— Безлошадный — это почти тот же батрак, с той лишь разницей, что изба своя. А разобраться, так такое хозяйство один обман. Не волнуйся, Алексей Никифорович, если даже придется съездить в Петербург, я не откажусь от защиты и с вас ни копейки не возьму. С Буграшом буду говорить, для него сто рублей — сущий пустяк. Ну, до свидания. Что

бы ни было, верь, что все кончится хорошо. Вера, она, Алексей Никифорович, силу придает человеку.

— Спасибо, от души спасибо! — поблагодарил Алеша и, низко поклонившись Дрягину, пошел проводить его за ворота.

Вернулся Алеша крайне смущенный. Ведь он так сухо вначале обошелся с Дрягиным. Какой хороший человек! И как он мог подумать о нем такое? Алеша стоял у окна и смотрел, как Дрягин шагает к школе, поглядывая на дома мултанцев.

К началу весеннего сева пришли повестки с вызовом в суд. Федор Буграш в тот же день заявился к Алеше за деньгами. Алеша дал ему понять, что защитник отказался от денег, но Буграш только обозлился:

— Верь ты им, краснобаям! Ты еще молод в этих делах разбираться. Сухая ложка рот дерет. Понял?

И Алеша отдал свои полсотни рублей, все до копеечки. По стольку же взял Буграш у Дыды, у снохи Акмара и у сына глухого Ефима.

Как туман, рассеялись мечты Алеши о покупке лошади. И опять ему пришлось работать вместе со Степаном и Дыды.

То ли общее горе еще больше сдружило его с Дыды, то ли просто нравилась она ему: ведь она и работящая, и красивая,— во всяком случае Алеша тосковал по ней. Если, бывало, не увидит он Дыды хоть один день, кажется, что не видел ее долго-долго. А Дыды было всего шестнадцать лет. Ой, как тихо идут годы!

А мать, словно чувствуя его тайные думы, нет-нет да и заведет разговор о ней.

— Эта Дыды — вылитая мать. Только вот жизнь не удалась бедняжке...— скажет Дукъя и сама лукаво посмотрит на сына.— Может, годочка два-три подождешь, сынок?

— Придется, видно, подождать,— улыбнется Алеша.

Очень хотелось Алеше идти в Малмыж на суд, хотелось самому узнать, чем все кончится. Да и об отце он тосковал, ровно два года уже прошло с тех пор, как его арестовали. Но нельзя ему идти, пахать надо, сеять. Нарочно, что ли, выбрали такое время, чтобы семьи обвиняемых не могли оторваться от работы, а свидетелям тоже дали понять, что хождение по судам связано с хлопотами.

Так думал Алеша, шагая за сохой. Сегодня он пахал возле леса, Григорьеву полосу. Доходя до конца загона, он каждый раз смотрел в сторону Малмыжа, и каждый раз ему казалось, что вот-вот на дороге, выползающей из-за бугорка,

покажутся мултанцы, возвращающиеся из тюрьмы. Часто ли посматривал он и в сторону села. Мать, пообещав принести ему на пашню чего-нибудь горяченького, отправила его бы лы. Уже и солнце давно перепалило за полдень, а матери нее не было. Не случилось ли чего? Вдруг на опушке, у ко ца его загона, появилась Дыды. Алеша сразу узнал ее. По му не мама? Алеша не на шутку встревожился. Дыды стоя под той самой липой, где когда-то Григорий встретил ссыл щавшихся из тюрьмы Илью Фомича и Степана. Подъехав ближе, Алеша увидел, что Дыды плачет. Он остановил ло шаль и побежал к ней.

— Что случилось?

А Дыды только плачет и слова не может вымолвить. Ле ша и сам догадался, о чем она плачет.

— Засудили?

— Да... на каторгу...— чуть слышно проговорила Дыды и, прислонившись к липе, зарыдала еще горше.

Алеша отвернулся и утер рукавом непрошеные слезы

— Не плачь, Дыды,— пытался он успокоить девушку.— Слезами горю не поможешь. Надо кому-то в Малмыж схо дить. Я не могу, люди вон уже где пашут, а мы с дядей Степаном все еще у села крутимся. Наверно, сразу не отправят их. Сходи ты с моей матерью. Узнайте там, как и что. Если скоро будут отправлять, тогда и я брошу все и пойду.

Дукъя и Дыды на другой день отправились в дальний путь. Лишь на вторые сутки к обеду пришли они в город Дукъя за всю свою жизнь дальше Кочнишева, где жила се тетка, не бывала, поэтому ее поражало все — и широкая Вятка, и пароходы, и плоты.

— Ой, батюшки мои, гляди-ка, гляди, Дыды,— говорила она, показывая на длинный плот, медленно плывущий по Вятке.— А на бревнах-то целый дом. Никифор мой тоже на таких, видно, плавал. Теперь вот своими глазами увидел

Пароход, идущий вверх навстречу плоту, дал гудок. Ду къя вздрогнула. Пароход еще больше удивил старуху. Не отрываясь, глядела она на большое колесо парохода, ко мое гребущее воду.

— А кто же вертит такое большое колесо? Неуже там сидят? Или какая нечистая сила? — спросила она ло ди, молитвенно сложив руки в суеверном страхе.

— Наверно, люди вертят...— неуверенно ответил Дыды. Не легко дались им семьдесят верст. Особенно уста Дукъя. Но, несмотря на то, что ноги у них еле двигались они все-таки пошли в тюрьму добиваться свидания.

— Завтра придете в это же время,— коротко отрезал надзиратель. И, давая понять, чтобы не приходили с пустыми руками, спросил: — Маслица, наверно, принесли, яичек?

— Какое масло, коровы нет, — сказала Лукья.

Усталые с дороги Лукья и Дыды стали искать ночлега. Они стучались то в один дом, то в другой, то в третий, но нигде не пускали. Попросились еще в несколько домов и, видя тщетность своих усилий, ушли в деревню, что была в трех верстах от города. На другой день задолго до назначенного времени они снова пришли к тюрьме, но надзиратель сердито буркнул им:

— Нельзя!

Полагая, что еще время не подошло, они посидели часа два на лужайке невдалеке от тюремного забора и снова спросили, когда их пустят на свидание. На сей раз надзиратель так гаркнул, что Лукья и Дыды поспешили отойти подальше. Так и ушли они, не повидав своих.

За городом, поднявшись на холм, Лукья и Дыды сели под старую березу, посаженную еще при Екатерине. И не потому они сели, что захотелось отдохнуть, а потому, что не хотелось, ничего не добившись, возвращаться домой. Почему же их не пустили? Может, они обратились не к тому, к кому надо? Наконец, Лукья догадалась: нужно было хоть что-нибудь принести с собой, яичек там или маслица, а то ведь ни-чегошеньки надзирателю не дали, не уважили человека. Сидела она и сокрушалась, бедная. А Дыды смотрела на город, на большое мрачное здание тюрьмы с множеством окон, закованных решетками. За каждым окошком ей чудилось лицо арестанта. И ее отец там, среди них, он тоже смотрит на волю. Но в какое окно? Дыды все глядела и глядела на эти мрачные окна, не замечая, что платок у нее сполз на затылок, не чувствуя, как легкий прохладный ветерок играет ее мягкими, льняными волосами. Не слышала она, как, тяжело вздохнув, поднялась Лукья, и очнулась только тогда, когда та позвала ее:

— Пойдем, доченька. Не смотри туда, не надо, там — горе, ох, сколько там горя!

Узнав от Ильи Фомича, что до рассмотрения кассации осужденных никуда не отправят, Алеша решил идти в Малиж, как только управится с сеном. Пошли они вдвоем с Дыды и на сей раз были более предусмотрительны — захватили с собой три десятка яиц, а сноха Акмара дала еще не много масла.

Надзиратель впел их в какую-то избенку, приютившуюся

в тюремном дворе у самых ворот. В избенке было два стола с решетками, у дверей — небольшая печь, черная от копоти, стены — грязные, со следами раздавленных клопов. Все тут было мрачно, все нагоняло тоску. Алеше почему-то показалось, что их отсюда никогда больше не выпустят, и он даже содрогнулся, будто только что вылез из холодной воды.

— Что ты, Алеша? — с тревогой в голосе спросила Дыда.

— Как в могиле...— сказал он, разглядывая избу.— Тут за неделю с ума сойдешь, а наши отцы целых два года сидят.

Вдруг дверь широко открылась и кто-то грубо сказал:

— Заходи!

Словно боясь ловушки, первым несмело вошел Никифор, за ним — Григорий. На них были изношенные рубахи без поясов и лапти на босу ногу. Григорий сразу же бросился к дочери, а Никифор от радости растерянно топтался в дверях.

— Отец! — вскрикнул Алеша и подбежал к нему.

Никифор безмолвно прижимал сына к груди, по лицу его бежали слезы.

— Эй вы, Дмитриев, Никифоров! — крикнул надзиратель, спутав фамилию Никифора.— Двадцать минут! — И дверь захлопнулась.

Никифор плачет, Дыды плачет, Алеша успокаивает отца, Григорий — дочь. Прошло уже минут пять, а они еще ни о чем не поговорили.

— Дядя Никифор, успокойся,— сказал Григорий, усаживая Никифора на длинную, во всю стену старую скамейку, натертую до блеска.— Не успеем поговорить, слыхал ведь, всего двадцать минут дал. Алеша, рассказывай по порядку, как и что там у нас.

— Говори, сынок,— попросил и Никифор, утирая рукавом слезы.

Алеша рассказал обо всем, что считал важным, но умолчал лишь о том, что и он и Дыды продали коров и еще кое-что для уплаты защитнику,— об этом они с Дыды договорились еще дорогой. Зачем лишний раз огорчать родителей

Мало-помалу успокоилась и Дыды. Когда разговоры пошли о мелочах, она вытащила из котомки новую рубашку для отца.

— Не сама ли уж сшила? — улыбнулся Григорий.

— Сама. Кроить помогала тетя Алена.

Чтобы обрадовать дочь, Григорий приложил к себе рубаху, будто примеряя ее.

— Как по мне сшита. Спасибо, доченька.

Когда Алеша стал рассказывать отцу об урядниках, Григорий подсел к ним.

— Все еще наезжают? — спросил он.

— Как то есть наезжают? — удивился Алеша.— Они и не уезжали. С тех пор как вас забрали, мы еще ни единого дня не жили без урядников: побудет один месяц-два, уедет, приезжает другой.

— Чего ж они там делают?

— Все допросы чинят. Кто-нибудь с пьяных глаз ляпнет небылицу, и пошли таскать одного за другим.

— И сейчас все бьют? — спросил отец.

— Сейчас вроде нет. Учителя, видно, побаиваются. Да, я же о нем забыл вам рассказать. После того как вас привели в Мултан и перед медведем заставляли присягу давать, Илья Фомич ездил в Вятку, к губернатору. Спустя месяца два в Мултан приехал исправник, старый уже, глаза как у совы... Меня тоже вызывал на съезжую. Пьян был, языком еле ворочал. Я думал, он и в самом деле приехал разузнать о бесчинствах урядников, и начал рассказывать ему все, что знал. Он слушал, слушал, потом как выпучит глаза и, ни слова не говоря, поднес мне кулак к носу. Видал, говорит, что это такое? Я, говорит, у всех у вас кишки вытяну, покажу вам, как жаловаться. Илью Фомича больше месяца держали в Малмыже. А все-таки урядники немного притихли.

— Эй вы, кончай! — появился надзиратель, беззаботно грызя семечки.

— Неужто время кончилось? — спросил Никифор, взглянув на Григория, потом на сына.

— Кончилось, видно,— с тоской ответил Григорий.

Сколько же хотелось еще узнать о своих! Впереди — каторга. Доведется ли еще когда-нибудь встретиться? Может, это последняя встреча?.. Словно желая передать всю свою отцовскую нежность, Григорий тихо гладил голову Дыды.

— Знаю, доченька, тяжело тебе. Терпи, родная, может, все наши страдания когда-нибудь обернутся радостью.

— Сколько раз говорить? Выходи! — снова раздался за дверью окрик.

17

Защитник Дрягин и корреспондент Баранов обратились к Владимиру Галактионовичу Короленко с просьбой принять участие в «мултанском деле».

Улица Нижнего Новгорода были затянуты сеткой мелкого, надоедливого осеннего дождя, когда Владимир Галактионович ехал на пристань. На пароходе «Гоголь» он добрался до Казани. Там в редакции газеты «Волжский вестник» добрал все номера, в которых сообщалось о «мултанском деле», и, пересев на камский пароход «Уфа», поехал в Елабугу.

Пароход отчалил от пристани. Владимир Галактионович долго стоял на палубе. Над Камой висел туман, в нем сумерках неразличим был противоположный берег. Задувал ветер, слышался монотонный плеск колес. Владимир Галактионович вошел в каюту, просмотрел «Волжский вестник» и достал письмо Баранова. В который раз он его перечитывал! Александр Николаевич подробнейшим образом рассказывал о загадочном убийстве, об обманах, о допросах, об истязаниях арестованных.

«Суд состоялся спустя лишь 2 года 7 месяцев после того, как был обнаружен труп убитого,— писал Баранов,— 2 года 7 месяцев сидят в тюрьме мултанские удмурты, совершенно не зная, за что сидят. Суд состоялся в декабре прошлого года. Прошло, как видите, еще 8 месяцев. Если бы так было на суде, Владимир Галактионович, воочию увидел бы, что представляет из себя наше так называемое правосудие. Судьи и присяжные с видом людей, выполняющих какую-то священную миссию, чинно сидели, слушая сказки и слухи. Ну, присяжные — куда ни шло, спрос с них невелик, у деревенского торговца и понятия, вероятно, столько же, сколько в его лавке товара. Но когда профессор Казанского университета Смирнов с видом ученого эпатока в течение трех часов рассказывал суду сказки о лешем, оборотнях, о бабе-яге и прочей нечисти, это по меньшей мере возмутительно. Сказка — это веселое дело, но эти сказки стоят больших страданий несчастным удмуртам, и боюсь, что все это может кончиться для них каторгой. Со стороны обвиняемых на суде не было ни одного свидетеля, суд отказал им в вызове свидетелей, так как они по своей неопытности и незнанию пропустили срок вызова. Зато на стороне обвинения свидетелей было больше двадцати человек — урядники, священники, старосты, торговцы. Надо сказать, защитник Дрягин заслуживает только похвалы, но, к сожалению, один в поле не воин. Я постараюсь хотя бы на одном примере показать, как он припирал к стенке свидетелей обвинения, а некоторых ставил даже в смешное положение.

Вот перед судом священник попомултанской церкви Базилевский, на которого обвинение возлагало большую надежду

ду, потому что он рассказывал суду не слухи, а случай, бывший с ним: новомултанские удмурты якобы хотели принести его в жертву своему языческому богу. На вид ему лет пятьдесят. Холеное красивое лицо, круглая борода аккуратно подстрижена, выглядит он так, словно только что вышел из парикмахерской.

«Расскажите, как было дело»,— обращается к нему судья.

«Было такое дело,— говорит Базилевский.— Удмурты тогда меня кушаком связали. По этому случаю написал я прошение мировому судье. Дело тянулось целых два года».

«Когда вас взяли, вы были трезвы?» — спрашивает Дрягин.

«Немножко выпивши был,— отвечает Базилевский.— Дело-то было на праздник. Удмурты тоже пьяные были».

«А скажите, свидетель,— снова задает вопрос Дрягин,— удмурты вас не за то ли связали, что вы в пьяном виде приставали к их женам? С вашим делом я познакомился, и удмурты в своих показаниях именно так говорят».

Базилевский покраснел до ушей и смущенно произнес:

«Я — священник, непристойными делами не занимаюсь».

«А не скажете ли, свидетель, какую девушку вы приглашали на исповедь? Что это за исповедь была у вас на квартире?»

В зале движение и смех. Базилевский окончательно растерялся. Чувствуя неловкость его положения, судья поспешил ему на помощь и одернул Дрягина. Однако заставить его замолчать было трудно.

«Господин председатель,— говорит он судье,— имею еще один вопросик».

«Пожалуйста, только о человеческом жертвоприношении».

Дрягин вспыхнул и довольно резко обрезал судью:

«Человеческое жертвоприношение еще не доказано, господин председатель. Если вы верите слухам, то я тем более могу поверить девушке, которая была на исповеди и с которой я беседовал лично. Священник Базилевский зачем-то затолкал ей в рот полотенце и пытался связать руки. Во всяком случае странная исповедь».

В зале раздался хохот. Судья возмущенно зазвонил.

«Господин защитник, вы оскорбляете свидетеля. Я вынужден буду лишить вас слова».

«Хорошо, я впредь буду задавать вопросы по существу дела,— говорит Дрягин и вновь обращается к священнику:— Отец Базилевский, вы утверждаете, что удмурты связали вас с целью замолить. Пусть так. Но, несмотря на то, что вы

были связаны, они вас все-таки не замолили. Чем это можно объяснить?»

«Этого уж я не могу сказать, но когда я проснулся, все еще был связан».

«Кто развязал вас?»

«Хозяин дома. Кроме него, там никого не было».

«Вы утверждаете, что вас связали замолить. Почему же все-таки не замолили?»

Базилевский молчит.

Вот вам, Владимир Галактионович, один из свидетелей обвинения, показания которого обвинение считает самыми вескими. По одному лишь этому примеру вы можете судить, на чем построено обвинение мултанских удмуртов. Мы оба с защитником Дрягиным просим вас выступить при вторичном разборе в качестве защитника. Суд, вероятно, будет проходить в Елабуге...»

С тяжелым чувством Владимир Галактионович отложил письмо, убрал газеты и стал писать жене.

«Дорогая Дунюшка. Теперь половина десятого по вашему, около 10-ти по здешнему времени. Вечер темен, как это «мултанское дело», которое я за дорогу выучил так, что, кажется, мог бы выступить на суде без опасения сбиться. Почти все время сижу в общей каюте (где я, оказывается, совсем один), читаю и делаю себе выписки. Мрачное, темное и загадочное дело, и я теперь весь поглощен вопросом: кто и для чего мог убить нищего... Выйдешь на палубу: небо покрыто разорванными облаками, где-то, неведомо где, бродит луна, река как чернила, берег как неясная мечта, а в воображении все этот нищий, который ходит от села к селу и где-то погибает ужасною и неведомою смертью.

Защитником выступает Михаил Попович Дрягин. Из его жалобы в сенат на первый приговор я вижу, что это голова дельная — и почему-то мне кажется, что и благородное сердце... А бороться приходилось много и сильно: все следствие сознательно фальсифицировано, полицейские пристава истязали свидетелей, вымогая показания, председатель явно лгал на суде, внушая присяжным совершенно ложные сведения. Любопытно, как они будут держаться во второй раз. Правда, состав суда другой, но из этого же казанского суда...»

Пароход прибыл на Елабужскую пристань в полночь и причалил под высоким крутым обрывом, над которым чернела круглая башня — Чертово городище.

У пристани в ожидании пассажиров скучали четыре извозчика. Владимиру Галактионовичу попался извозчик на высокой пролетке и с необыкновенно ленивой клячей. А сам хозяин оказался вертким малым и пустоцимым болтуном. Было непонятно, как хватало у него терпения ездить на такой ленивой лошади. Пока поднимались от пристани в город, он успел рассказать Владимиру Галактионовичу целую историю.

— Наверно, слыхали о Чертовом городище? — спросил он, повернувшись к Короленко, и показал кнутовищем на вершину горы.— Там внутри высоко на стене укреплена чугунная плита, и на ней надпись, так ее даже ученые люди не могут прочесть. Не знаю, правда или неправда, но говорят, будто эту надпись сделали черти. Стены этой самой башни очень прочные, сложены из огромных камней, каждый камень с мой тарантас будет,— рассказывал извозчик,— черти их брали прямо тут же на горе и за одну ночь выстроили башню. Оставалось им только покрыть крышей, но в полночь запели петухи, и черти разбежались. Нынче ее починяли — стена стала обваливаться, деньги на починку дал здешний купец Стахеев, богатый, очень богатый человек. По Каме у него свои пароходы плавают, хлебом торгует, большие склады у него там, в конце города. Говорят, миллионами ворочает...

Долго тащилась кляча в гору по булыжнику. Наконец, выехали на грязную улицу, и вскоре извозчик остановился против гостиницы. Вошли они вместе.

Где-то в конце длинного коридора тускло светила лампа. Заслышав шаги, из-за лампы поднялась заспанная лохматая голова и еще издали сказала:

— Мест нет! — Считая, видно, свою миссию законченной, голова упала на стол.

— Хозяина брат,— сообщил извозчик Владимиру Галактионовичу, когда они вышли из гостиницы,— здоров пить, вот и дошел до жизни такой, а ведь не так давно где-то писарем был, говорят, и приказчиком был.

Опять покатили мимо маленьких хибарок, вдоль почерневших от осенних дождей заборов. Наконец, остановились у обыкновенного пятистенного дома, ничем не напоминающего гостиницу.

— Гостиница Вешкова,— сказал извозчик, слезая с козел.— Если и здесь не окажется свободных мест, то уж и не знаю, куда вас определить. На постоялый, наверно, не согласитесь?

Спать вошли вдвоем. В небольшом узеньком коридоре возле шкафа возилась девка. Она стояла спиной к двери, не обращая никакого внимания на вошедших, продолжая рыться в шкафу. Извозчик сам ввел Короленко в соседнюю комнату, расположенную против шкафа, от которого так и не отходила та девка.

— Вот теперь вы устроились,— обрадовался извозчик, совывая за пояс кнутовище.— Хорошая комната, спать, как дома.

Комната была маленькая. Стол, на нем безобразная шая лампа без стекла, койка, застланная грязной ней, и почему-то посреди комнаты единственный стул с кой спинкой, а на нем — женский платок. Извозчик Владимир Галактионович долго стоял возле стула, за что приняться, и, наконец, обратился к девице:

— Дайте, пожалуйста, свечку, а то лампа у вас очень тит.

Не оборачиваясь к Короленко, девица заговорила полнейшего безразличия ко всему:

— А подсвечника-то и нет. Свечка-то, вот она, а ника нет.

— Ничего, мы ее на столе пристроим.

— Как хотите.

Это ее простодушие понравилось Короленко, и он по улыбнулся. Девка принесла свечу.

— Нате. Только долго не жгите, хозяин заругается.

— Хорошо.

— Возьмите этот платок. Это ваш?

Та кивнула и взяла со стула свой платок.

— Теперь вот возьмите простыню. Я постелю сво.

Простыня была такая грязная, будто ею вытирали сап Но когда девка ее сняла, то под нею оказался уже настольк грязный тюфяк, что и не расскажешь.

— Может, лучше оставить простыню-то?.. А то, видишь тюфяк-то... и еще маленько порвался в середке.

— Стелите обратно.

Владимир Галактионович застлал грязную простыню своей и неуверенно спросил:

— Лучшей постели у вас нет?

— Нет.

Заснуть тут было не так-то легко. Спать не давали клопы. В смежной комнате кто-то тяжело стонал. Где-то беспрерывно трещал сверчок.

Короленко поднялся рано. Закончил письмо жене и не

...г успеть в комнате. Он вышел в коридор и увидел на столе книгу. Это оказалась книга записи постояльцев. Там он прочитал фамилию Шмелева.

— Послушай, голубушка,— обратился он к девице, выглядевшей в коридор со шваброй,— вот здесь записан Шмелев. Не военный ли?

— Какой-то полицейский, кажется, становой. На разговор такой, очень обходительный человек.

— М-да-а.. Обходительный, говорите?

Звеня шпорами, в коридоре появился полицейский. Покручивая усы, он остановился было против девицы, но, увидев постороннего, круто повернулся и вышел.

— Кто это? — спросил Короленко.

— Разве вы не знаете? Сами же спрашивали. Это и есть господин Шмелев.

Закусив в ближайшей чайной, Короленко пошел в другую гостиницу, куда заезжал ночью. Надо было узнать, не там ли остановился Баранов или Дрягин. Сначала он нашел Баранова, вместе с ним был корреспондент газеты «Волжский вестник» Суходоев. Баранов первым делом сообщил, что Владимиру Галактионовичу не разрешено выступать в роли защитника.

— Значит, их пугает любой умишко,— возмутился Короленко.— Ну, что ж, раз они закрывают нам рты, постараемся писать. Да, кстати, стенографировать, наверно, не будут. Что если мы втроем будем записывать так, чтобы ни одной фразы не пропустить? А потом напечатать бы весь процесс в газете или издать отдельной книгой Это было бы замечательным обвинительным актом против суда и рокамболей из прокуратуры.

— Это идея! Лучшего и не придумать! — сказал Баранов.

При взгляде на этого низкорослого человека с постоянно улыбающимся круглым лицом казалось, что он никогда не способен злиться.

— Я готов! — продолжал Баранов.— А как думает Владимир Иванович на сей счет? — спросил он Суходоева.

Тот пощипал длинную и широкую, во всю грудь, черную, как смоль, бороду и, посмотрев на Короленко, сказал:

— Вы говорите, что это явится обвинительным актом? Если так, то стоит потрудиться.

— Придется много писать, Владимир Иванович, очень много. Мы с Александром Николаевичем выдержим. А как у вас со здоровьем? Может, пригласить еще кого-нибудь?

— Что вы, что вы! — Суходоев даже привстал.— Вы ме-

ня обижаете, Владимир Галактионыч. Своего места я ни кому не уступлю, руки у меня еще пока не дрожат. Потом — вы, батенька, прибыли сюда на целые сутки позже меня,— погрозил он пальцем и улыбнулся, показав два золотых зуба.

Под вечер они сводили Владимира Галактионыча на Чертово городище. На другой день, в обед, начался суд.

18

Двухэтажное здание слабужского суда десятками окон смотрит на Каму. На воротах, выкрашенных в кирпичный цвет, лежит, растянувшись, гривастый лев.

Зал судебных заседаний на втором этаже. В конце зала на возвышении — длинный стол, покрытый зеленым сукном. За столом председатель и два члена суда. Слева — возвышение, там за деревянным барьером — обвиняемые. За спинами обвиняемых стоят трое конвойных с шашками наголо.

Неподалеку, у окна, за небольшим столом устроились Короленко, Баранов и Суходоев.

Старый, но шустрый священник приводит к присяге присяжных. «Клянусь перед богом и перед его святым евангелием...»

Присяжные повторяют вслед за ним слова присяги, потом размещаются за большим столом справа. Старшина присяжных купец Стахеев сел несколько впереди остальных.

Председатель начал анкетный опрос обвиняемых. Когда он назвал имя Акмара, Буграш легонько толкнул старика.

— Тебя, дядя Акмар.

Старик поднялся и склонил седую голову в сторону председателя суда. Казалось, что Акмар не стоит, а сидит — такой он был сгорбленный и дряхлый.

— Встать надо, старик,— прикрикнул на него председатель.

Судебный пристав, стоявший возле перегородки, тихо предупредил Акмара:

— Встань, старик...— Он еще что-то хотел сказать, но заметив, что Акмар не сидит, а стоит, покраснел, замялся и стал крутить пуговицу на мундире.

— Григорьев, когда с тобой разговаривают, надо стоять.

Судебный пристав подошел к председателю и что-то шепнул ему.

— Григорьев, сколько лет ты себе считаешь? — уже спокойнее спросил председатель.

— Спрашивают, сколько тебе лет,— сказал Бугаш ста-
ик.
— А я, сколько лет... Много уже, я и счет потерял. Ты
ам, Федор, девяносто, скажи.
После опроса обвиняемых судья ознакомил состав суда
с вещественными доказательствами, в числе которых были:
акет с прядью волосиков, собранной на перекладине в ша-
ле у Моки Власова, пакет с волосами Матюшина, десята-
ковая бумажка, данная Бугрышом взаймы Жукову, кры-
ка и фарлук. Кроме того, вещи Матюшина — синяя домотка-
ая рубаха, такие же штаны, гребенка, детский чулок, банная
очалка, шарф и пара лаптей с онучами.

Потом секретарь суда, высокий и тонкий, как жердь, оглас-
ил фамилии свидетелей и, положив перед председателем
умагу с фамилиями свидетелей, начал читать обвинительный
акт:

— «Утром шестого мая тысяча восемьсот девяносто второ-
о года на пешеходной, непроезжей в летнее время дороге из
ревни Чулын в Анык, Старо-Трыкской волости, в двух вер-
тах от первой деревни и в трех от села Старый Мултан, на
олотистой местности, в лиственном лесном участке крестьян
ревни Чулын, девицей Дарьей Максимовной Гришиной ус-
отрен был труп неизвестного человека без головы. Труп
ежал поперек дороги и замечен был Гришиной еще в пол-
ень пятого мая, когда она проходила из деревни Чулын
в Анык, но тогда труп был прикрыт сверху полой азяма,
очему она и приняла его за спящего человека. Возвращаясь
братно, Гришина нашла неизвестного лежащим на том же
есте, только пола азяма была кем-то откинута и видно бы-
о отсутствие головы...»

Дальше шло подробное описание, во что был одет убитый,
акие были при нем вещи, длинное изложение результатов
удебно-медицинского вскрытия трупа и показаний свидете-
ей.

После прочтения обвинительного акта привели к присяге
свидетелей и экспертов, потом свидетелей отвели в специаль-
ую комнату.

Начинается судебный допрос.

Ввели Дашу. После присяги тяжелые мысли стали пре-
следовать ее. Великий грех хочет она принять на себя! А что,
если сказать правду? Сказать, что первый раз видела инце-
го с головой? И зачем им это? И что тут особенного, если и
казать? Но Даша тут же вспомнила строгое предупрежде-
ие Яшки — ни при каких обстоятельствах не говорить о том,

что видела убитого с головой. После малмыжского суда отношение Яшки к жене неузнаваемо изменилось: он больше ни разу не бил ее. На суде он понял, что теперь его судьба в руках жены, если она скажет хоть одно слово — он пропал.

— Что можете рассказать по делу? — прервал председатель тяжелые размышления Даши.

Короленко глядел на молодую женщину выжидающим взглядом. Вот кто мог бы отворить двери тюрьмы, за которой сидят обвиняемые.

О том, что Даша в первый раз увидела убитого с головой, кое-кому в Чулье стало все-таки известно и до слуха мултанцев дошло, а через них и до защитника Дрягина. Но сколько ни старался Дрягин узнать истину, все было безуспешно. Он, впрочем, добрался и до Мартемьяна, но старик словно воды в рот набрал.

Даша стояла, не отрывая глаз от красного графина на судейском столе. Только раз взглянула она в сторону обвиняемых, встретилась глазами с Григорием, и ее точно обожгло. Она быстро опустила ресницы.

— Гришина, говорите, что вы знаете по делу,— еще раз попросил ее председатель суда.

— А что знаю...— начала Даша.— Иду это я в Аныk, а он лежит поперек дороги... Я обошла его...

— Когда в первый раз видела убитого, он с головой был? — спросил защитник Дрягин.

Короленко, Баранов и Суходоев бросили писать, насторожились. Раевский, словно собираясь подняться, подался всем корпусом вперед.

— Ничего не знаю...— проговорила Даша, опустив глаза.— Я девка молоденькая... лежит мужчина, так как же я.. я и обошла. А когда обратно домой шла, там же лежал. Тогда и увидела, что головы нет. Объяснила об нем людям, ходили осматривать. Больше ничего не знаю.

И на все дальнейшие вопросы она так же заученно отвечала «не видела», «не знаю».

Потом давали показания волостной старшина Попугаев, пристав Тимофеев, урядники Соковиков и Жуков. Из их показаний стало уже совершенно ясно, что полиция собирала сплетни и слухи.

Когда становой говорил о поисках головы убитого, Григорий встал и, не обращая внимания на предупреждения председателя, торопливо заговорил:

— Мельник Фома перед тремя деревнями говорил, это дело аныкских. Становой заставил пускать воду из пруда. Фо-

...я не пускает. Сивыкой строго сказал: «Пусти!» Тогда ...ка пустил. А до этого я нашел щепки, там была кровь, ...ли для приманки, а он бросил в воду. Надо бы щепки на ...ка и ли бросил.

Резко обрывая Григория, председатель обратился к Тихо-...еву:

— Из скольких дворов были понятые на обыск?

— Для розыска головы понятые были вызваны из пяти ...ов, а на другой день для обыска в Мултане — из де-...ти, а его народу собралось больше пятисот человек.

Бочком-бочком пристав удалился, Григорий посмотрел на Ко-...ева и его тоже ранил, потом на публику в зале и, безнадежно махнув рукой, сел.

— Почему обвиняемый не дали говорить? — крикнул кто-то в зале.

Председатель суда позвонил в колокольчик и велел судебному приставу привести очередного свидетеля.

Вошел чумьинский староста Кибардин. Когда он давал показания, в зале то и дело вспыхивал смех.

— Корыто нашел я,— рассказывал Кибардин,— смотрю, там следы крови. Тогда волостной старшина и говорит становому: лескать, собаку надо заставить лизать: если человеческая кровь, она не станет лизать. А где тут собаку найдешь? Кругом пусто, как раз их и нет. Я взял да сам лизнул. Никакого привкуса соли не было, а Мокей Власов говорил, что он ...ал ...ал солонину. Станового я просил, чтобы он тоже лизнул, он не стал, видать, побрезговал. Шмелев бы лизнул, а Трофимов не стал, брезгливый, видать, человек. А становому ...ыло брезговать, мало ли каких дел не бывает, на то он и становой.

Когда Кибардин рассказывал, как он и урядник ходили по ...ду и искали голову, поднялся Иван Красный и, словно боясь, что председатель не даст ему говорить, протянул руку к публике:

— Я скажу, делай милость, сказать хочу. Я был сотским. Когда нашли убитого, урядник спрашивает: «Чья земля?» Мы говорим: «Чумьинская земля». Урядник хотел писать протокол, Кибардин не дал. Потом он позвал его с собой. А я потихоньку за ними: знать надо, куда пошли, зачем потихоньку говорят. Идут они, меня не видят. Остановились. Про деньги говорят. Потом сели и шепчутся. «Тридцать рублей,— говорит Кибардин,— сделай милость, тридцать рублей, а тридцать рублей немного погодя, после дадим». Тут урядник увидел меня и крикнул: «Сотский, ты чего тут? Ступай. Ищи

[illegible]. И тогда, таким образом, не успел я вернуться при[illegible]
[illegible]. Конечно, если суду угодно, буду давать дальше. Хочется спать, сильно спать. Еще две ночи — и опять [illegible]
и две деревушки». Крепко крепился я, но [illegible]
суде я не сплю, боюсь. Следовательно, говорю, и [illegible]
говорю, а чего мне врать?

Иван говорил. Иван, председатель, прокурор и [illegible] членами суда, потом, видно, терпение его истощилось, и он, повернувшись, спросил Ивана:

— Зачем же ты об этом здесь говоришь? Себя, что ли, хочешь оправдать? Сядь.

При показаниях Шмелева защитник спросил его о «медвежьей присяге».

В зале зашептались. Оборвав защитника, председатель и прокурор стали наперебой задавать вопросы Шмелеву. Но все-таки, когда зашел разговор о порядке проведения дознания, защитник снова спросил:

— Когда происходила «медвежья присяга», кто был там, кроме вас? Говорят, что и прокурор Раевский был там? Правда это?

— Господин защитник, я уже говорил вам, что про это нельзя.

— Пусть расскажет о «медвежьей присяге»! — крикнул из зала хорошо одетый мужчина интеллигентного вида

В публике опять поднялся шум. Обвиняемые почувствовали, что многие на их стороне. Это несколько подбодрило их. Григорий и Антон почти сразу одновременно поднялись и, перебивая друг друга, заговорили.

— Господи, опять они! — произнес председатель с отчаянием в голосе и тоже встал.— Да пусть кто-нибудь один. Говори ты,— указал он на Григория.

— Когда допрос был, чучело приволили. Приказывали лезать под дугу, рубить медведя. Кто не уронит дугу, тот не виноват. Крепко били, все пьяные были — два становых, а урядника, волостной старшина, земский начальник, вот и этот там был,— указал Григорий на Раевского.— У меня кровь бежала, земский по зубам бил, ногами топтал.

Антон не дождался, пока кончит Григорий, он горячился и коверкал русский язык:

— Дуга привозили, свеча ставил. Горит. Три раза топором тыкни, под дугой нас таскали. Говори: «Я греха не знаю, так ли три раза». Вином поливал. Акимра били, Никифора били меня били, всех били...

[illegible]

— Суд[illegible] — отрезал председатель.

[illegible]

— Суд[illegible] — начал он.

— Суд[illegible] — [illegible]

— Суд[illegible] — [illegible]

— Суд[illegible] — [illegible]

— Это, значит, вроде сыщика? — крикнул кто-то из зала, и тут же раздался дружный смех.

Председателя словно ужалили, он побагровел, вскочил и грозно предупредил публику:

— Напоминаю вам, господа: тот, кто оскорбит свидетеля, сам сядет на скамью подсудимых. Кто кричал? — спросил у судебного пристава.

— Не заметил, ваше высокоблагородие.

Сгоряча председатель спутал старомултанского священника с новомултанским и задал вопрос, на который тот не знал как ответить.

— Вас удмурты, кажется, хотели замолить? Расскажите, как было дело.

— Что-то я не помню, господин судья. Со мной такого случая не было.

— А в «Волжский вестник» кто писал? Кто такой Аким Простота?

— А, вот вы о ком. Аким Простота — это он в газете так подписывается — это сарапульский священник, отец Блинов.

Ввели Блинова. Вот он, Аким Простота, с лохматыми бровями и юркими, как у хорька, глазками. Годы уже заметно сгорбили его, но все-таки он был еще довольно бодр. Этот самый Аким Простота написал в газету о том, что новомултанские удмурты пытались замолить священника своего прихода, Базилевского. Вслед за первой заметкой он стал посылать в редакцию всякие небылицы, а газета благосклонно печатала их.

— Откуда вы брали факты, посылая в газеты свои заметки? — спросил его Дрягин.

— Священники сообщали мне, а я все это посылал в газету.

— А не знаете ли вы случаев, кроме тех, что напечатаны в газете? Следователю вы рассказали о каком-то старовере... — напомнил ему Раевский.

— Да, да, было такое дело,— торопливо подтвердил Блинов.— Там у нас, на Сибирском тракте, есть деревня Пантюхино. Удмурты хотели там какого-то старовера замолить. Он стал кричать. Тогда мужики вызволили его.

— Откуда тот старовер, из какой деревни? — спросил Дрягин.

— Я уже говорил, из Пантюхина он.

— А где схватили его удмурты?

— Да там же, в Пантюхине.

— Судя по вашим показаниям, получается, что удмурты

...я в русскую деревню и там среди белого дня ловят жер-
... В я отдаете себе отчет в том, что говорите?
— Я не могу этому не верить, мне об этом писал знакомый
...ственник.
— Введите свидетеля Иванцова,— приказал председатель,
...ев, что Простота спростоволосился.
Гошел Устин Иванцов, опираясь на сучковатую палку из
...можевельника. Его седая голова беспрерывно подергивалась.
— Что знаешь по делу? — спросил председатель.
— Про какое дело?
— Про мултанское дело слыхал?
— Не знаю, я не мултанский. Мултан от нас далеко.
— А с тобой что было?
— Было дело, лет сорок уже... В Малмыже я говорил про
...го.
— А что было?
— Да я не помню уже, стар стал.
— В Пазялах что случилось с тобой?
— А-а, да, да, да. Там, там. Удмурты тогда вышли на-
встречу и говорят: «Давай сына, молить будем». Еле вырвался.
Пятеро было нас. Два года тянулось дело. Свидетелей не бы-
ло у меня не было и со стороны удмуртов тоже не было.
А молить хотели, это правда. Давай, говорят, сына тащи...
А избранник говорит: как, дескать, среди белого дня при пя-
терых будут так делать...
— А что показал твой батрак тогда следователю, не зна-
ешь? — спросил Дрягин, до тонкостей изучивший это проис-
шествие.
— Показал, что он ничего не знает, что ничего этого, дес-
кать, не было. Удмурты, видно, задарили его.
— А до этого случая ты по какому делу судился с пазя-
линами? — не унимался защитник.
— А а, да, да, да. было такое дело. Я несколько лет под-
ряд покупал у них мирской клин, а потом они продали в
свою деревню, земля хорошая была там, рожала хорошо, ну,
конечно, жалко...
— В те же годы, как-то на масленице, за что били тебя
удмурты?
Старик удивленно посмотрел на Дрягина. Откуда этому
человеку все известно?
— Почему удмурты? — обратился он уже только к Дря-
гину.— Там и русские были. Вместе били. Скандал удмурты
подняли, это верно. А бить начали русские, без них удмурты
не посмели бы. Дело из-за мельницы вышло. За помол, го-

[illegible], умело служить,— а не кому-то того, что нельзя, со [illegible] расположив прибрел.

— С удмуртами, вишь, ты не так-то уж дружно жи[illegible]ешь, старик? — улыбнулся Дрягин.

— С которыми дружно, а с которыми и нет. Со старостой [illegible] дружил, в гостях не раз бывал.

— И пил, и ночевать случалось у него?

— Всякое бывало.

— А знаешь, старик, что тот староста у них тогда главным жрецом был? Как же он тебя пьяного не связал и не зарезал?

— Не знаю, это уж я не знаю. Хороший был человек, мирно жил.

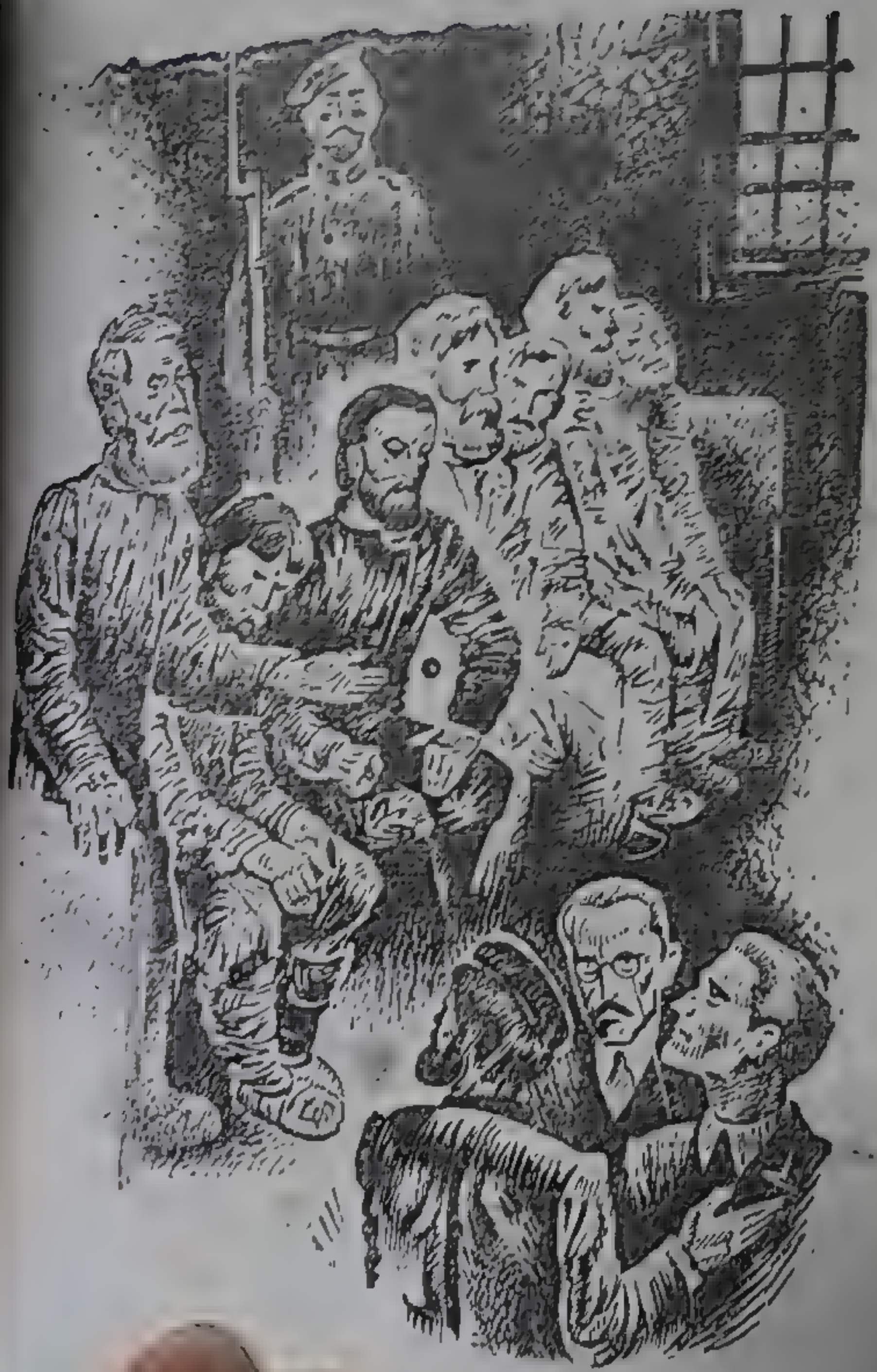
— Хватит, старик. Можешь идти,— сказал председатель суда.

— Спасибо, спасибо, я уж и не рад: становой вызывал, следователь вызывал, теперь вот по судам таскают...

На другой день утреннее заседание началось с допроса торговца Мухина. После того как нашли тело убитого нищего, Мухин сразу же стал правой рукой полицейских: что бы он ни слышал об удмуртах на сходках, на базаре, в церкви, в своей лавке, тотчас торопился передать уряднику. На мултанцев Мухин таил большую обиду. В голодный год, когда делили хлеб, он воспользовался тем, что часть хлеба была засыпана в его амбар, и присвоил около тридцати пудов. Его махинация, вернее — кража, была обнаружена, староста составил протокол. Дело кончилось тем, что Мухин вынужден был вернуть весь хлеб и вдобавок поставить обществу три четверти водки.

И сейчас еще он таил в себе обиду. Его черные глаза угрюмо глядели из-под густых бровей. Он отвечал, не отводя глаз от председателя, избегая встречаться взглядом с обвиняемыми.

— Ко мне ходил из Кузнерки Стуков за семенами,— рассказывал Мухин.— Я,— говорит он мне,— одно дело знаю.— Ну, говорю, если знаешь, валяй говори.— Когда, говорит, мы сеяли вместе с Камаевым Антоном, он мне говорил, как они убили нищего. Богатые втянули его в это дело, а сейчас денег не дают. Я стал выспрашивать у Стукова подробности, а он не стал говорить. Не говорит — и шабаш. Тогда я его заставил говорить перед иконой. Валяй, говорю, а то из-за удмуртов грех на себя накличешь. Тогда он все рассказал.



— Это вашего брата становой сажал подслушивать разговоры арестованных? — спросил защитник.

— Нет. Брат — Костя, а потайным караульщиком был Кирюша, мой сын. Тогда вот арестованные говорили между собой: «Крепко держитесь».

Защитник потребовал зачитать показание Мухина Кирюши.

«Становой вызвал меня и говорит: «Я тебя посажу в лаз, ты спрячься там и слушай, что они будут говорить между собой, а потом все это передашь мне». Я спрятался в лазе. Вскоре посадили туда Николая, а потом его дядю Акмара. Акмар и говорит Николаю: «Я старик уже, скажу барину, что дедушка ничего не знает. Ты меня зря не впутывай. Грех напрасно говорить». В другой раз меня посадили подслушивать на чердак амбара. В амбаре тогда сидело человек тринадцать. «Крепитесь, если и бить будут, не говорите зря, как Николай». Вот так они предупреждали друг друга».

Раевский сидел на возвышении справа от Короленко. Он нагнулся к столу журналистов и шепотом спросил Владимира Галактионовича:

— Неужели вы все записываете? Наверно, не успеваете?

— Нет, отчего же, успеваем. Нас трое.

— Вы, кажется, записываете и то, чего нельзя помещать в печати? О потайных свидетелях, например, нельзя писать.

— А в нашу задачу как раз и входит разоблачение подобных дел,— спокойно сказал Короленко, глядя прямо в глаза Раевского.

— Гм... Я бы не советовал... Себе повредите.

Глаза Короленко загорелись гневом. Но он сдержал себя и раздельно сказал:

— Если бы каждый думал только о себе и старался только для себя, то половина России сидела бы уже на скамье подсудимых. А вас, господин Раевский, кажется, чересчур тревожат эти неблаговидные дела?

Раевский как ошпаренный откинулся на спинку стула. Как раз в это время защитник потребовал очной ставки Мухина со Стуковым.

Судебный пристав ввел светло-русого скромного на вид мужчину лет тридцати пяти. На Стукове был серый домотканый пиджак, подвязанный фартуком. Казалось, Стукова оторвали от какой-то работы и привели прямо на суд. На вопросы он отвечал спокойно, не торопясь:

— К Мухину действительно ходил я за семенами. Это правда. Когда от него шел домой, встретился с Антоном Ка-

ческим. «Не слыхал,— говорит мне Антон,— нашли убитого «от головы?» Я говорю: «Не слыхал». На этом весь наш разговор и кончился.

— Вы вместе с Камаевым Антоном сеяли? — спросил и сейчас еще не успокоившийся Раевский.

— Три года вместе сеяли мы с ним. У него лошади не было, а у меня земли мало.

— Что вы говорили Мухину в поле?

— Что-то не помню. Во время жнитва я Мухина видел, сказал он. Помню, я его спросил тогда: не видел ли, мол, Антона?

Мухин подтвердил свои показания.

— Что ты, Дементий,— удивляется Стуков,— когда я тебе так говорил?

— Как не говорил? Когда семена брал, говорил.

— Не говорил.

— А зачем следователю так показал? — вмешивается Раевский.— Ведь в протоколе прямо так и записано: «Антон мне тогда рассказал, как они убили нищего».

— Мало ли что можно написать, бумага все стерпит, а я так не говорил.

После очной ставки ввели Николая. Лицо у него заострилось, глаза впали, в чем только душа держится. Он рассказал, как избивали его при допросах, как держали в дымной бане, как подвешивали.

Раевский опять наклонился к Короленко.

— Вы, кажется, на меня рассердились, господин Короленко, тем не менее мне хотелось спросить вас...

— Пожалуйста,— ответил Короленко, не переставая записывать показания Николая.

— Эти показания вы в газете будете печатать или собираетесь издать отдельной книгой?

— Для истории...— неопределенно ответил Владимир Галактионович.

— Гм... а истина остается истиной, господин Короленко: подсудимый всегда старается выгородить себя.

Короленко поднял голову и, продолжая слушать Николая, торопливо ответил:

— Зато обвинитель старается обвинить и невинного, это тоже истина.

Николай говорит всхлипывая, часто утирая слезы рукавом рубашки, еле сдерживая себя, чтобы не разрыдаться.

— Все нутро отбил. Умру скоро. Хоть бы на суд не таскал.

Увидев за барьером во втором ряду своего дела Акмара, он опустился на колени и, поклонившись деду до земли, ... говорил по-удмуртски:

— Не проклинай меня, дед. Испугался я, наговорил что тогда, и сам уже не помню. Умру я скоро, дедушка, может и не увидимся больше... Не проклинай меня...— И он ... нился в сторону обвиняемых.

Старик Акмар хотел было что-то сказать, но губы его задрожали, он наклонился к рядом сидящему Григорию ... прижавшись к его плечу своим морщинистым лицом, без... но зарыдал.

В зале начали перешептываться, кто-то стукнул дверью, женщины утирали слезы. Председатель приказал ввести следующего свидетеля.

Второй день целиком был посвящен чтению протоколов, актов, заключений экспертов.

Когда врач Минкевич докладывал свое заключение, Раевский сидел как на иголках.

При вскрытии трупа Минкевич, поверив словам следователя, дал одно заключение, а сейчас он говорил нечто совершенно противоположное. В процессе суда ему многое стало ясно, он понял, какую непоправимую ошибку допустил в своем акте вскрытия. И сейчас, насколько возможно, старался поправить свою оплошность.

— Отчего последовала смерть? — спрашивает сам себя Минкевич.— Оттого, конечно, что отрублена голова. Но есть ли указания, что голова отрезана у живого? Обрез круговой, ровный, гладкий; должен сказать, что у живого человека не будет такого ровного обреза.

— У вас же в акте вскрытия сказано, что «кровь выпущена при жизни»! — нервозно вставил Раевский.

— В акте вскрытия у меня слов «при жизни» нет.

— Не понимаю вас, доктор, почему вы говорите против своего собственного заключения? В отношении отеков у лодыжек убитого в протоколе вами записано следующее: «Отеки у лодыжек могли образоваться или при сопротивлении убийцам, или при подвешивании для кровопускания (если бы зачем-нибудь понадобилась кровь)». Что вы скажете по этому поводу?

— Перед вскрытием трупа следователь сказал мне, что нищий убит удмуртами для жертвоприношения. Он мне дал даже прочитать показания одного из удмуртов, который утверждал, что нищий убит его дедом. Я должен признаться, что по своей глупости поверил этому и совершил большую

...ску. Если бы убитый был подвешен за ноги, будучи еще ...вым, отеки были бы не у лодыжек, а отекли бы стопы. ...Раевский и председатель суда долго еще задавали вопро- ...Мякевичу, всячески пытаясь склонить его к первому ...ключению, данному им при вскрытии трупа. Но из этого ...чего не вышло.

На третий день после речи защитника председатель суда ...ложил по пунктам мотивы обвинения каждого подсудимо- го, после чего присяжные ушли в совещательную комнату.

В четыре часа пятьдесят минут в комнате присяжных заседателей раздался звон колокольчика, извещающий, что совещание присяжных кончилось. За одну минуту зал был битком набит народом.

— Встать, суд идет! — крикнул судебный пристав.

Вошли председатель суда, два члена и присяжные заседатели. Старшина присяжных купец Стахеев передал председателю приговор.

Председатель просмотрел бумагу и вернул ее старшине присяжных. Тот прочитал семь раз один и тот же вопрос: виновен ли такой-то в том, что в ночь на 5 мая 1892 года в селе Старый Мултан в шалаше Мокся Власова принимал участие в убийстве нищего Матюнина Конона Дмитриевича с целью принести его в жертву языческим богам.

И семь раз дал один и тот же ответ: да, виновен.

В зале несколько минут стояла такая тишина, будто только что сообщили о чьей-то внезапной смерти.

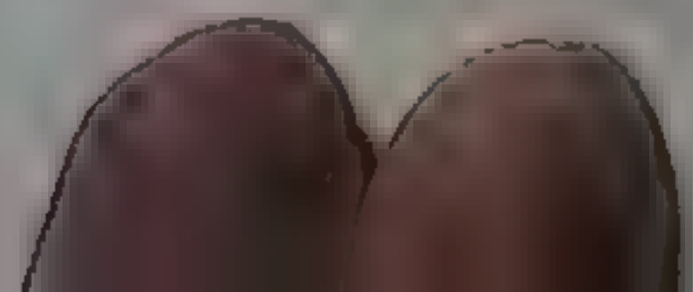
Председатель и два члена суда удалились писать приговор. Семеро обвиняемых остались за барьером. На их лицах даже не было испуга. До сознания этих несчастных, очевидно, еще не дошел весь ужас их положения или они были настолько ошеломлены, что уже не могли ни на что реагировать.

Владимиру Галактионовичу тяжело было смотреть на осужденных, но он смотрел на них, потому что делил с ними их горе. Вот он встретился глазами с дедом Акмаром. Какая же в его взгляде безысходная тоска! Акмар смотрел на Короленко, и было видно, что он хочет что-то спросить у него. Старик, наверно, почувствовал, что этот человек жалеет их всех.

— Христос страдал... — произнес Акмар дрожащими губами.

В его серых глазах стояли слезы, жиденькая седая бородка тряслась, он весь как-то сжался и казался еще меньше.

— Христос страдал...— повторили обвиняемые один за другим.



Им казалось, не будь этих слов, они провалились бы в темную, страшную бездну и кричали бы и плакали навзрыд, а вот эти два слова вселяли в них силы, сдерживали рыдания.

Но нет, не помог Христос Антону Камаеву, он встал, естественно выпрямился и с криком:

— Дети, дети мои! — упал на барьер, не в силах сдержать рыдания.

Короленко быстро поднялся и, пряча глаза от посторонних, вышел. Публика то выходила из зала, то входила обратно, у многих был такой вид, будто они что-то потеряли и не могут найти. Владимир Галактионович тоже несколько раз выходил, потом снова появлялся.

Некоторые из обвиняемых сидели, тупо уставившись в одну точку, некоторые плакали, низко опустив голову.

Почти все женщины убежали из зала, когда закричал Антон Камаев. Только одна дама в шляпе, украшенной длинными перьями, невозмутимо сидела у круглой печки и брезгливо морщилась, разглядывая в лорнет несчастных. Неподалеку от нее сидел чиновник с бородкой клинком. Его серые пустые глаза равнодушно взирали на все происходящее. Правда, он ждал приговора, но он интересовал его не более, чем результат скачек на ипподроме.

Старик Акмар поднялся и подошел к барьеру. Голова у него тряслась, губы шевелились, он что-то шептал про себя.

— Православные! — вдруг неожиданно громко сказал он, протянув руки к публике.

Одни встали, другие подошли к возвышению. Не тронулись с места всего несколько человек, в их числе дама с лорнетом и чиновник с пустыми глазами.

— Православные!.. Бога ради, ради Христа, коди кабак, коди кабак, делай милость...

— Помешался, видать, старик,— участливо сказала женщина в одежде грузчика.

— Коди кабак, слушай! — повторил Акмар.— Можо, кто правду калякать будет. Кто убивал, можо, скажут. Крест ради... кабак коди, слушай...

Короленко не выдержал и, закрыв руками глаза, почти выбежал.

— Ха-ха-ха!.. Потеха!..— на весь зал засмеялся чиновник с пустыми глазами.

Люди, собравшиеся у барьера, неполно повернулись в его сторону. Десятки глаз смотрели на него с ненавистью.

— Идиот! — крикнул кто-то, словно плюнул ему в лицо.

Судья судебным приставом, шепнул что-то ему, встал из-за конца стола и, подняв руку, провозгласил:

— Суд идет!

Все встали. Председатель надел пенсне и хриповатым голосом начал читать:

— «Тысяча восемьсот девяносто пятого года четвертого декабря по указу его императорского величества елабужского земского заседателей... приговорило... Григория Дмитриева, Никифора Петрова, Ивана Серегина, Антона Камаева — к каторжным работам на десять лет каждого, Федора Семенова (Бураш) и Ефима Герасимова — к каторжным работам на восемь лет каждого, Андрея Григорьева (Акмар) — на вечную ссылку в отдаленные места Сибири».

19

После суда Короленко отправил в несколько газет телеграммы, в которых сообщил о приговоре, и вернулся в гостиницу.

Трое суток он, Баранов и Суходоев работали буквально без перерыва: с утра до позднего вечера писали на суде, а ночью в комнате Баранова до самого утра сличали записи. И если на суде всех их беспокоило, каким будет приговор, теперь этот приговор тяжелым камнем лежал на сердце.

Когда Короленко пришел в гостиницу, та самая девка опять рылась в шкафу.

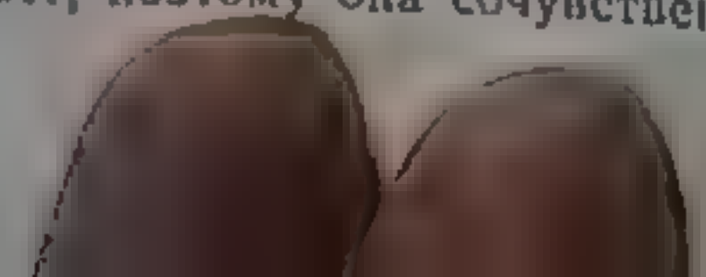
Невысокий, плотный Владимир Галактионович всегда ходил быстрым, твердым шагом, будто торопился куда-то. А сейчас, медленно покачиваясь, он добрел до своей комнаты и, не прикрыв за собой двери, ни слова не сказав, бросился на кровать, даже не разувшись.

Девка подошла к дверям и, прежде чем затворить их, встала на пороге, с удивлением разглядывая Владимира Галактионовича.

— По вашей наружности, я думала, вы образованные и сурьезные,— глупо улыбаясь, сказала она,— а вы пьяные.

Короленко лежал и смотрел в потолок. Голова, казалось, была зажата в тиски, он не мог уцепиться ни за одну мысль, они проходили одна за другой, словно тяжелые свинцовые тучи. Голос девки слышался как во сне.

Ей, наверно, стало неудобно, что человек ни слова не отвечает, поэтому она сочувственно сказала:



— Комнату нанял, деньги платите, а сами ни разу не ночевали. На второй спас в этой же комнате жил барышник, каждую ночь приходил пьяный, всех измучились я, хоть бог В самый последний день ярмарки он все деньги потерял, можно бы, говорит, десять лошадей купить. Волосы рвал на себе, как медведь ревел. Не пил бы,— с укором закончил она свой рассказ.— Вот и вы пьяные...

Короленко, так и не отрывая глаз от потолка, продолжал молчать.

Но и лежать оказалось невозможно. Владимир Галактионович встал, несколько раз прошелся по комнате и, остановившись напротив девки, будто жалуясь, сказал:

— И горе тоже пьянит, голубушка. И у тебя, наверно, было горе. Знаешь, какое оно? Покрепче самого крепкого вина.

— А зачем мне горе? — сказала та совершенно спокойно.— С чего мне горевать? Я — одна, куда хочу, туда иду, что хочу, то и делаю. Горюй не горюй, за это никто корить не станет.

Короленко взял со стола свою черную фетровую шляпу и, больше ни слова не сказав, вышел.

«И присяжные были точь-в-точь такие же»,— думал он, шагая по Спасской улице.

А девка с недоумением смотрела вслед Короленко. «Наверно, жена спуталась с другим»,— сделала она заключение.

Когда Короленко пришел к Баранову, тот заканчивал телеграмму в газету «Вятский край». Он встал из-за круглого стола, стоявшего посреди комнаты, и протянул Короленко написанное:

— Вот, читайте, Владимир Галактионович. Я тоже вроде помогаю обвинению.

Короленко пробежал телеграмму, не беря ее в руки.

— Не понимаю, что вы хотите сказать, Александр Николаевич.

— Сколько тысяч людей прочтут это сообщение в газете! Многие из них найдут приговор справедливым. Вот я и раздумываю: может, не посылать?

Короленко сел в кресло и, уперевшись локтями в колени, долго молчал. Потом вдруг поднял голову, встал и взял в руки телеграмму.

— Пусть читают! — решительно произнес он.— Пусть видят, какой дикий произвол творит наше правосудие... Среди тысяч непонимающих найдутся сотни понимающих. А вот когда мы напечатаем отчет по этому делу, тогда все поймут,

всем сослали удмуртов на каторгу.— И уже более спокойно добавил: Дело сейчас не в этом, Александр Николаевич. Приговора не скроешь, слухи не удержишь. Надо добиться отмены приговора, обязательно. Я думаю сейчас же ехать в Мултан. Как вы смотрите на это?

О поездке в Мултан раньше никаких разговоров не было, поэтому Баранов вначале несколько растерялся. Ведь Короленко — человек, дважды побывавший в ссылках, да и сейчас находится под негласным полицейским надзором. Баранов и сам перед полицией не совсем чист. Еще в юные годы, когда он учился в Вятке в реальном училище, его исключили за политическую неблагонадежность. А в Казани во время волнения студентов Баранова арестовали. Теперь, правда, от былого не осталось и следа. Он стал обыкновенным чиновником в Малмыжском страховом обществе. С Владимиром Галактионовичем он познакомился только год назад, когда работал в редакции газеты «Волгарь». Не хотелось ему портить отношения с Короленко. Если не поехать, Владимир Галактионович может бог знает что подумать, если же поехать — это значит снова привлечь к себе внимание полиции.

— Съездить, конечно, можно,— нерешительно сказал он, вертя ручку в пальцах,— только что мы там найдем, Владимир Галактионович?

— На месте, Александр Николаевич, можно услышать и узнать доселе неведомое. Возможно удастся найти там какие-нибудь новые факты. Ну, а потом уж поеду в Петербург. Я, знаете, сон потерял. Так и стоит перед глазами этот старик Акмар. Все повторял бедняга: «Коди кабак...» А что вы думаете, и в кабаке надо побывать. Пьяные, они, знаете, могут чего-нибудь выболтать... Господи, неужели их ждет каторга? За что?

В дверь кто-то постучал палкой.

— Войдите,— сказал Баранов, взяв со стола телеграмму.— А-а, Владимир Иванович. Тоже не сидится? Вот Владимир Галактионович собрался ехать в Мултан.

Суходоев присел к столу и, пощипывая кончик своей огромной черной бороды, прищурившись, посмотрел на Короленко.

— Пока что прошу вас ко мне на чашку чая. Я уже приказал поставить самовар. Пароход не придет по расписанию, стоит где-то на перекате. Чайку-то уж во всяком случае успеем попить.

Было ясно, что Суходоева нисколько не удивило решение Короленко.

— Пароход, даже и по расписанию, будет только ночью,— сказал Баранов.

— Нет, батенька мой,— возразил Суходоев,— только завтра, да еще не раньше вечера, смею вас уверить, я уже навел точные справки. Зато завтра будут два парохода. Правда, говорят, навигация кончается. Ждать нельзя. У нас работы еще много. Если и завтра не закончим, будем работать по дороге, на пароходе. Я вас провожу.

— Владимир Иванович, напрасно вы...— начал было Короленко, но Суходоев прервал его:

— Нет, нет, не возражайте. Я еду. А сейчас — ко мне. Пошевеливайтесь, Владимир Галактионович. Нате-ка вам вашу шляпу.

От Суходоева Короленко пошел к себе за материалами и девять часов вечера. Они условились работать эту ночь у Баранова. Возле гостиницы Владимир Галактионович встретил прислуживающую там девку. Она остановилась и испуганно сообщила:

— Вы про суд не слыхали еще? Удмурты убили человека и замолили. Иду к подруге, она, наверно, тоже еще не знает,— протараторила она и побежала.

Короленко хотел было остановить ее, но раздумал. «Вот в чем несчастье удмуртов — слухи, сплетни. Их ничем не остановишь. Но ничего. Бороться все равно будем...»

На другой день в полночь Короленко, Баранов и Суходоев сели на пароход, спустились по Каме до Чистополя. Там они должны были пересесть на пароход, курсирующий по реке Вятке. Владимир Галактионович рано утром сел за письмо — уже третий раз он принимался за него и никак не мог закончить.

«...Суд кончился полным осуждением всех подсудимых,— писал он жене.— Этим ошеломлен был даже прокурор, ловкая, но совершенно бессовестная каналья. Приговор, неправильный и глубоко возмутивший всю публику,— результат предрассудка улицы и шулерства чиновников. Ну, да дело не в этом. Мы теперь втроем составляем отчет, почти стенографический, всего заседания, который останется навсегда основой для суждения об этом чрезвычайно важном деле. Пишу из Чистополя, с пристани. Только что проснулись, идем на телеграф — и опять за работу: слички наших записей. Давно я столько не работал и удивляюсь, как мало устаю. Из Чистополя — ждем только вятского парохода — еду в Старый Мултан... Защита еще раз кассирует».

В обед они пересели на пароход «Златоуст». Он шел на

зом и Кукарку. Вечером почти у самых Соколок паро-
ход сел на мель и простоял там всю ночь. Продуктов с собой
не захватили, и Короленко пошел в буфет. Буфет был за-
крыт. Короленко постучался. Открылось окошечко, и оттуда
высунулась лысая голова с жирным лицом.

— Чем сумеете покормить нас?

— Пожалуй, ничем,— зевнула голова.— Хотя постойте...

Вскоре буфетчик поставил перед Короленко бутылку вина
и две тощие жареные тетерки.

— Больше ничего нет. Берите все, иначе не продам.

— А нельзя ли без вина? — Короленко отставил бутылку.

— Нет уж, пожалуйста, возьмите вместе с вином. За все
только рубль. А то это чертово зелье опять смутит меня.

— За тетерок я вам рубль дам, а это оставьте.

Буфетчик не сразу поверил, он часто-часто заморгал и,
только когда получил рубль серебром, поклонился и побла-
годарил.

— Ванька! — крикнул он и ударил кулаком в перегород-
ку, отделявшую буфет от каюты.— Выходи, Ванька, онохче-
ляться будем.

А пассажиры закусили и вышли на палубу.

— Владимир Галактионович,— сказал Суходоев, когда они
уселись на белую скамеечку,— не осудите, если я спрошу вас
об одном деле?

— Слушаю вас, Владимир Иванович, только это вы на-
прасно — осудите, не осудите...

— Хорошо. Но я, видите ли, собираюсь о таком говорить,
что вам, может, и не понравится. Вот пристав Шнелев — с
виду человек интеллигентный, кажется, и в офицерах был.
Беседовал я с ним. Как ни говорите, человек получил воспи-
тание, а судя по тому, что рассказывают о нем, сущий зверь.
И в лыжной бане держит людей до потери сознания, и выст-
релами пугает, и подвешивает, даже детей бьет. И не верить
нельзя, но и поверить трудно. Вы, батенька, в Мултане все
это, конечно, расспросите и обязательно напишите мне под-
робненько.

— Написать-то я напишу, Владимир Иванович, а насчет
того, что не верится, это вы напрасно. Полицейские творят
дела куда пострашнее. Хотите, я вам расскажу об одном
глубоко возмутительном случае? Впрочем, нет. Подождите,
у меня есть газета с описанием подобной истории.— Королен-
ко ушел в каюту и вернулся с «Нижегородским листком» в
руках.— Вот, Владимир Иванович,— сказал он, присаживаясь
рядом с Суходоевым и развернув газету.— Описывается слу-

чай, бывший в нашем уезде. Заметка небольшая, и если не возражаете, я ее вам прочитаю.

— Пожалуйста, Владимир Галактионович, очень прошу,— и Суходоев зачем-то нацепил очки.

— «В рождество этого года,— читал Владимир Галактионович,— крестьянин Елабужского уезда, деревни Яковлево, Черышев пошел в гости в деревню Мурзиху к своему знакомому, мельнику Фуженкову. По случаю гостя мельник приглашает хозяина мельницы Денисова и соседа Борисова. От мельника четверо выпивших идут к Денисову, а выйдя от него, приобщаются к гуляющей молодежи. Черышев же, изрядно выпивший, отделяется от товарищей и уходит по направлению к своей деревне. Черышева, идущего с расстегнутым полушубком и без шапки, кое-кто видел. Вскоре после его ухода поднимается сильный буран. Одним словом, Черышев домой не явился, куда-то исчез. Заявили полиции. В деревню Яковлево приезжает сам исправник Таширов. Фуженкова, Денисова и Борисова — всех троих отправляет в Елабугу. Как он производил там допрос, остается тайной, известно лишь одно, что исправник очень быстро добился «признания». Денисов заявляет ему, что, признав Черышева за вора, убил он, то есть Денисов. А Фуженков и Борисов подробно рассказывают, как они привезли труп Черышева к реке, бросили в прорубь и жердью толкнули под лед».

— Видите, Владимир Иванович, как ловко раскрыто преступление,— замечает Короленко, прервав чтение.— А у следователя они все трое заявляют, что вынуждены были дать подобные показания, не выдержав истязаний, учиненных исправником. Следователь, конечно, оставляет это заявление без внимания — охота ли ему навлекать на себя гнев самого исправника! — и, разумеется, оформляет обвинительный акт. Ну, коль преступление «раскрыто», вскоре состоялся суд. На какую бы каторгу сослали трех «убийц» — неизвестно. Но совершенно неожиданно дело принимает другой оборот. Наступила весна, солнце стало сильнее пригревать, снег начал таять, и труп Черышева находят в поле, недалеко от дороги. Вот видите, Владимир Иванович! Теперь сами подумайте: как допрашивал исправник, если ни в чем не повинные люди «признаются» в таком страшном преступлении, как убийство?

— Невероятно!.. Ужасно...— Суходоев снял очки.— В какой век и в какой стране мы живем? — Он встал, вложил очки в футляр и долго смотрел на прибрежные села.— Россия! — глубоко вздохнул он.

В том, как он произнес это слово, Короленко почувствовал

...сь убилы за дикость, за произвол, которые еще творятся ...ей родине.

— Россия, Владимир Иванович, пока еще тюрьма!..— тихо ...ал Короленко.

В Соколках Суходоев простился с товарищами и пересел ...амский пароход. Он торопился обратно в Елабугу.

Баранов и Короленко прибыли в Вятские Поляны и на ...ской станции, расположенной на горе против пристани, ...стретили врача Минкевича. Он сидел в тарантасе.

— А вы, право, молодец, господин Минкевич,— сказал Короленко, здороваясь с ним за руку.— Хорошей поддержкой были вы у защиты. Обвинение возлагало на вас самую большую надежду, а вы им спутали все карты. Видели вы, Александр Николаевич,— обратился он к Баранову,— как нервничал Раевский, когда господин Минкевич делал свое заключение?

И без того красное лицо Минкевича покраснело еще больше, он начал смущенно протирать очки.

— Вы меня простите, господин Короленко, выпил я немножко. Вообще-то я редко пью. А сейчас не мог удержаться — обижен и зол. Обманули они меня на вскрытии трупа. Следователь вокруг пальца обвел. Я, конечно, поверил ему и написал глупейшее заключение... С виду вроде человек добропорядочный, а оказался таким низким... Неужели их сошлют на каторгу? А старик-то, помните?.. Неужели и его в Сибирь?

— Ничего, господин Минкевич, нам еще придется встретиться на третьем суде.

— Дай бог, дай бог. Если бы знали, как мне стыдно смотреть вам в глаза. Ведь я кажусь вам подлецом. Наверно, в ваших рассказах когда-нибудь найду героя, во всем похожего на меня, человека, двадцать лет проработавшего уездным врачом и окончательно поглупевшего. На пароходе видел Шмелева с Раевским. Оба пьяные. Ругают корреспондентов на чем свет стоит, особенно вас. Не по зубам вы им пришлись. Ну-с, желаю удачи.

Короленко долго смотрел вслед удаляющемуся тарантасу и задумчиво произнес:

— Все-таки сохранилась еще совесть, значит, не совсем пропащий.

Баранов зашел на станцию узнать насчет лошадей. А Короленко вышел за ворота и сел на скамейку.

На другом конце скамейки сидел парень в войлочной шляпе и в белом холщовом фартуке, судя по одежде — удмурт.

Он, видно, кого-то ждал, часто выходил на дорогу и смотрел в сторону пристани.

— Вы, кажется, кого-то ждете, молодой человек?

Тот оказался на редкость разговорчивым. Он охотно вернулся к Короленко, снял с головы свою войлочную шляпу, будто было лето, и, немного коверкая русский язык, непринужденно заговорил:

— Попа жду. В Елабугу на суд поехал. Наверное, сам шалит — удмуртов судят, говорят, человека нищего замолили. Наш поп в Елабугу и поехал. Сам богу верит, на исповеди грехи спрашивает, а на суде болтает на удмуртов. В Малмыже один раз суд был уже. Теперь, говорили, отпустят. Мой отец там. Может, освободят, думал, отца повезу, старик он, а идти далеко. Снизу жду, а ни отца, ни попа...

«Вот, бедняга, ничего он еще не знает, отца ждет...»

К воротам вышел Баранов.

— Если мы с вами на мель, Владимир Галактионович. Лошадей до утра не обещают. До Мултана отсюда, говорят, пятьдесят верст.

Парень внимательно прислушивался к их разговору. Потом спросил:

— Вы в Мултан едете? Говорили, царь пришлет больших людей. Не вы будете?

Под горой пароход дал три гудка. Парень вышел на дорогу, тоскливо поглядел в сторону пристани, вернулся к скамейке и остановился против Короленко.

— Лошадь нужна? Довезу, все равно пустым ехать.

— А поп?

— Черт с ним, с попом, как хочет. Нет его, а пароход только завтра будет. Я второй день жду. Отец из Елабуги пешком пойдет, денег на билет нет.

— Где же твоя лошадь? — спросил Баранов.

— Там вон, в большом доме — постоялый двор это. Лошадь-то не моя. Очередь была за Бугрешом, я сам просился. Хорошая лошадь. Буграш у нас богатый... Я вас быстро...

Короленко и Баранов переглянулись.

— А, пожалуй, поедем, Александр Николаевич,— прервал молчание Короленко.— Да и в самом деле священник не стоит такого внимания. Я бы его под проливным осенним дождем заставил бежать до самого Мултана.

Оба рассмеялись и пошли за парнем.

«Кто же из них его отец?» — думал Короленко.

— Вот ты нас везти взялся, а мы не знаем даже, как тебя зовут.

— Отец — золот[illegible] удэгейцы, русские зовут — Алеша, ба-
— Алексей,— улыбнулся тот.
— Алексей... Алеша...— задумался Короленко.— А по от-
честву?
— Никифоров.
— Отец твой высокий, а ты, видно, в мать? — сказал Ба-
раков, окинув взглядом Алешу.
Короленко был недоволен тем, что Баранов затеял такой разговор: вот парень сейчас спросит, откуда они знают его отца, а там начнутся вопросы о суде, о приговоре. Владимиру Галактионовичу не хотелось до поры до времени огорчать славного симпатичного парня. Вышло так, как он и полагал. Как только Баранов сказал об отце, Алеша сразу насторожился и с тревогой спросил:
— Откуда вы знаете отца? — Он остановился, и такое горе, такое отчаяние было в его глазах.— Что сделали с ним?
— Об этом мы после поговорим, Алексей Никифорович. До Мултана дорога длинная,— сказал Короленко, стараясь отвести разговор о приговоре
Алеша не двигался с места. Зачем только он взялся везти этих людей и чемодан еще несет. Он со злостью посмотрел на зеленый чемоданчик Баранова Зачем они едут в Мултан? Почему ничего не говорят о его отце?
— Судьи, что ли, вы? — спросил он, с ненавистью глядя на обоих.
— Нет Алексей Никифорович Судьи таких, как мы, не любят. Мы в газеты пишем. Слыхал, наверно, о таких?
— Слыхал Наш поп тоже в газету пишет. Он писал об удэгейских моленьях, учитель читал нам До суда Дрягин привозил газету это наш защитник, в Мултане был.
Отношение Алеши к новым знакомым хотя и изменилось, однако еще чувствовалось недоверие.
— Вы, поди тоже как Дрягин? На суде-то наверно, видели его? Дрягина товарищ, зовут Баранов, что ли, тоже в газету пишет. За мултанцев стоит, хороший мужик.
— Вот, вот, как раз такие мы и есть,— Короленко, улыбаясь, посмотрел на Баранова.— Дорогой я тебя, Алексей Никифорович с этим самым Барановым познакомлю. А сейчас давай-ка поторапливаться, а то скоро начнет темнеть.
Алеша с неподдельной радостью посмотрел на Баранова, поднял чемодан и серьезно сказал:
— Думал, вы судьи, ни за что, мол, не повезу!
Дорога к реке шла под гору. Умная лошадь спускалась

осторожно, упираясь копытами. Алеша еще с горы заметил, что парома на этой стороне нет.

— Плохо,— сказал он, слезая с козел, когда подъехали к берегу.— Долго ждать надо.

На другом берегу у шалаша горел костер. Над костром висело черное от копоти ведро — очевидно, паромщики варили уху.

— Перево-о-о-оз!..— крикнул Алеша, сложив ладони трубочкой.

Человек, склонившийся над ведром, поднял голову и тут же спокойно нагнулся. Наверно, пробовал, готова ли уха, как будто зов Алеши вовсе не касался его. Из шалаша вышел второй человек. И этот, будто только ради любопытства, посмотрел в сторону ожидавших паром и беззаботно присел у костра.

— Их, кажется, и гром не расшевелит,— улыбнулся Короленко и во весь голос крикнул: — Эге-ге-гей!

Первый, что возился с ведром, опять поднял голову, заслонил глаза ладонью и что-то сказал товарищу. Тот поднялся и тоже стал смотреть. Они, видимо, приняли Короленко и Баранова за какое-то начальство, так как уж слишком поспешно сели на паром и поплыли на эту сторону.

Пока переправлялись через Вятку, совсем стемнело. По левому берегу тянулись широкие луга, там и тут встречались одинокие березы, кусты ивняка; медленно тащился тарантас по разбитой дороге. Только с рассветом показалась колокольня мултанской церкви.

За длинный путь много было разговоров, о многом расспрашивали седоки Алешу. Короленко и Алеша разговаривали уже как давнишние знакомые, и Владимир Галактионович называл его теперь не Алексеем Никифоровичем, а просто Алеша.

Алеше хотелось называть Короленко, как звал его Баранов, по имени и отчеству, но Галактионович у него никак не получалось, не мог выговорить.

— Что, трудновато? — посмеивался Короленко.— Слушайка, Алеша, ты вот судей не любишь, а ведь мой отец тоже судьей был,— ошеломил он Алешу своим сообщением.

— Владимир Галактионович,— вмешался Баранов,— рассказали бы вы хоть что-нибудь о своей жизни. Я кое-что читал, правда, но это все не то.

— Ну, о себе-то и рассказывать нечего, а про отца, пожалуй, можно, пусть и Алеша послушает, какие судьи бывают.

Владимир Галактионович рассказывал, а Алеша то и дело восклицал: «Вот это судья!»

— Теперь таких нигде не найдешь,— уверенно сказал он.— А у той богачки зря подарок не взял, она бы бедной не стала, не своим трудом богатой была. Зря добро отдал обратно, брать бы надо.

Короленко и Баранов рассмеялись.

Ранним утром путники подъезжали к мултанскому лесу. Оттуда навстречу им выехал на телеге мужик. Он свернул в сторону и, сняв с головы шапку, поздоровался. Алеша, что-то вспомнив, остановил лошадь и, обернувшись, крикнул:

— Кондратий! Постой!.. Это тот Семенов из Кузнерки,— сообщил он Владимиру Галактионовичу.

Короленко и Баранов соскочили с тарантаса, подошли к Семенову и еще раз поздоровались.

— Мы едем по «мултанскому делу»,— сказал Короленко.— Не сможете ли вы рассказать нам что-нибудь об убитом нищем? Вы, говорят, видели его у Санникова?

— А вы кто такие? — спросил в свою очередь Семенов, скручивая цигарку.

— Мы защитники,— ответил Короленко.

— А-а, тогда другое дело. Зря их таскают, вот что я вам скажу. А нищего я видел, это точно. Он две ночи ночевал в Кузнерке у Санниковых: первую ночь — у отца, а вторую — у сына, дома-то у них рядом, ну и суточная очередь так подошла. Вызывали их в малмыжский суд, а сейчас вот в Елабугу вызвали. Мултанцы сказывали, Санниковы в Малмыже не объяснили, как было дело. О падучей болезни нищего ничего не сказали и про одежду сказали, будто не эта одежда была. А я своими глазами видел, хорошо знаю. После уж, на масленую, спросил я Николая, сына, значит: «Зачем, говорю, Николай, на суде говорил ни то ни се?» А он мне говорит «Я не хочу повеситься, как Андрей».

— Какой Андрей? Почему повесился? — спросил Короленко.

— Из нашей деревни. Сотским был. В первый день привел он нищего ночевать к Санникову Тимофею, к отцу, значит. А прежде чем отнести его на ночлег, Андрей сидел с нищим у себя под окном и разговаривал. Нищий ему и рассказал — и откуда он, и про свою падучую болезнь. На другой день Андрей зачем-то ходил к Санникову Николаю и увидел у него того же нищего. Урядник Рогозин больше месяца жил тогда в Кузнерке. Бил он Андрея, не раз бил. Видно, не выдержал Андрюха, повесился. Хороший мужик был, трое ребятишек

осталось. До петли довел человека, собака этакая. И меня тоже запугивал Рогозин. Кулаком по столу бьет, кричит: «По миру пущу! В тюрьме сгною!»

До лица тянулся, нечистый. А я его крепко обрезал. Только тронь, говорю, ваше благородие, схвачу, что под руку попадет, да так тресну! Тогда ищи меня, вольный спер широк. Может, я сам не смекнул бы, но вспомнил, как рассказывал Игнат Букин,— он так же вот напугал урядника, и тот не стал его бить. Они, видать, против смирных бойкие. Ну, и правда, бить не стал, сказал только: «Ты смотри у меня, язык за зубами держи, а то в порошок сотру». А я не очень-то испугался,— от души рассмеялся Семенов.— Мултанцы меня свидетелем записали, а почему-то в Малмыж не вызывали и в Елабугу вот не вызвали.

— Не сможете ли вы нам рассказать по порядку, как и при каких обстоятельствах видали вы нищего? — попросил Короленко.— Только, кажется, мы вас задерживаем?

— Отчего задерживаете? Нет. Какие у нас сейчас дела... Как последний сноп с поля на ток, так мы за стол. Вот и поехал я в Мултан водки купить. Гости вчера приехали, как-никак, встретить надо. Ночь пировали, а утром затемно поехал в Мултан. Завернул к Буграшу, а у него лавка закрыта, пришлось к Мухину идти. Теперь у вас Мухин богатеть стал,— кивнул он Алеше.— Есть там у них в Мултане такой, задавить не жалко. Целый час бубнил, все старался доказать, что мултанцы замолили нищего. А как же я поверю, когда нищего своими глазами видел?

Семенов только сейчас прикурил давно свернутую цигарку и стал рассказывать:

— А насчет нищего дело было так. Лошадь у меня что-то захромала. Вечером, перед заходом солнца, пошел я к Санникову Николаю — не даст ли, мол, лошадь за отработку. Под окном у него сидел нищий, там же дочка Андрея соцкого, и Николай тут же. «Из-за Вятки-реки я, из Нытов»,— говорит нищий. «Ты же здоровый. Зачем ходишь побираешься? Работать надо»,— это ему Санников Николай. А тот: «Работать я бы с радостью работал, да болезнь у меня, падучей болею. Хозяйства своего нет, земли нет, все хозяйство — одна избушка, и то только название. Был у нас в деревне медный заводишко, но уже третий год стоит».

На другое утро рано я к Николаю пошел за лошадью. Повстречался мне на улице тот нищий, ушел он в сторону Аныка. В тот же день чулышская девка видала его убитым у мельницы. Когда голову искали, видел я труп. По одежде

узнал. Сказал становому, а он как цыкнет на меня: «Ты, говорит, голову нашли мне, а не болтай чего не надо». Ну, я и отступился. Разве кто знал?.. Ведь это беда, слыхано ли, как оно дело-то, повернулось! Пусть бы меня вызвали на суд, я бы все рассказал. А Саниковы, они, известное дело, с начальством дружат, зачем им на рожон лезть. Сам-то Саников богатый, мельницу держит, а сына в старосты выбрали... Если надо будет от меня что, вызовите, тут недалеко.

Короленко, довольный беседой, тепло распрощался с Семеновым.

— Вот где гуляет правда, Александр Николаевич,— сказал он Баранову.

Проехали путники небольшой лесок, и перед ними на возвышенности открылось село Старый Мултан.

— Хорошие места! — сказал Баранов.— Особенно хорошо тут, наверно, летом.

— Места хорошие, только вот дела мрачные,— покачал головой Короленко.

Въехав в село, Алеша завернул ко двору Буграша.

— Тут верхняя половина как у русских, тут вам хорошо будет,— сказал он, будто в чем-то оправдываясь

Услышав о приезжих, мултанцы всполошились. Когда же конец-то будет? Житья не дают, хоть из деревни беги.

Мать Алеши, старая Дукъя, узнав от сына о приговоре, села у крыльца и горько заплакала. Когда Алеша рассказал ей, что приезжие очень хорошие люди и они хотят заступиться за мултанцев, старая Дукъя успокоилась.

— Алеша, ты вроде говорил, что эти люди сегодня уезжают. Может, не сочтут зазорным к нам прийти? Позвал бы, а?

— Придут, может,— неуверенно отозвался Алеша.

Дукъя стала готовиться к встрече гостей. Затеяв блины, она пошла к соседке Алене и принесла от нее самогона-первача. Надела праздничное платье и домотканый фартук в сплошных узорах.

— Куда это ты так нарядилась, мама? — удивился Алеша.

— Пойду, схожу... позову их, может, уважат старую.

— А чего у тебя под фартуком? Ну-ка, вынь, вынь.

— Я немножко, сынок, может, попробуют с устатку. Не идти же с пустыми руками, у нас уж нестари так заведено.

Алеша вспомнил рассказ Короленко об отце, о том, как он не любил тех, кто приходил с подарками.

— Оставь, мама,— решительно сказал он.— Если придут, угостишь, а не придут, силой не приведешь.

Дукъя вернулась скоро.

— Постыдилась я, сынок, даже слово молвить. У них на столе наставлено — как на пасху. Где уж нам так угощать. Приезжие-то хорошие, видать, люди. Тот, который постарше, пониже, моим фартуком любовался. «Хорошо»,— говорит. Послали к старосте за лошадью: к мельнице хотят, видно, съездить, поглядеть, где убитого нашли.

Алеша засуетился.

— Я сам повезу их. Ты, мама, с блинами поторопись, в долгу просить их на обратном пути заехать к нам. Только, смотри, зырет[1] хорошо приготовь.

— Езжай, езжай, сынок. Проси, чтобы отца отпустили, кланяйся, от поклона голова не отвалится.

На улице Алеша встретился с рыжим Прохором.

— Куда это ты?— спросил его Алеша.

— У нас всегда так: дашь руками, а ищешь ногами. Матвей тарантас брал, а теперь вот пришлось самому идти сказать, чтобы вернул. Приезжие хотят, видно, к мельнице ехать, а черед везти мой. Съездишь вот с ними, а потом урядник или становой опять привяжутся. Тот раз, как назло, мне выпало Дрягина возить. До печенок добрался урядник: что говорил да о чем расспрашивал? Надо же, чтобы на меня опять черед угодил.

— Давай я съезжу,— предложил Алеша.— Из Вятских Полян я их привез, уже знакомые.

— Коли не врешь, съезди, в долгу не останусь.

— Какой тут долг, раз я сам прошусь. Лошадь-то у тебя дома?

— Дома. Пойдем, коли так...

Когда едешь к мельнице по тыловыльской дороге, то в конце большого мултанского поля, по эту сторону леса, стоят знакомые нам полевые ворота, где становой стрелял когда-то в Игната. За этими воротами вправо идет летняя дорога в лес. Когда тарантас доехал до поворота на эту самую летнюю дорогу, Короленко попросил остановиться. Он вынул из записной книжки план местности, составленный для обвинения земским начальником Львовским.

---

[1] Зырет — удмуртское национальное кушанье. Приготовляется из молока, белой муки, яиц и масла.

— Так, эта дорога нанесена правильно. Куда она выхо-
дит, Алеша?
— На чульинскую дорогу.
— Вези-ка нас туда.
С полверсты проехали лесом и выехали на чульинскую дорогу.
— По плану Львовского и по обвинительному акту отсюда должны идти тропинки в лес, к месту, где был обнаружен труп. Где они?
— Там, дальше, у речки Шурдо. Больше к мельнице дороги нет.
— Постой, постой... Как это нет? Александр Николаевич, дайте-ка обвинительный акт. Нуте-с, найдемте то место в акте, где говорится об этих дорогах. Ага, вот... «За полевыми воротами по лесу есть дорога, идущая вправо, на чульинскую дорогу, которая проходит по глухому лесу в нескольких саженях от того места, где был обнаружен труп. От этой дороги туда идет несколько тропочек...» Помните, Александр Николаевич, и в показании арестанта Голова сказано, что труп на жердях несли от этой дороги по тропке. А тропок-то и нет совсем. Значит, Голов расписался в протоколе, заранее приготовленном канальями, вроде Шмелева. Отлично. Это нам очень пригодится. Теперь исследуем еще одно обстоятельство. В обвинительном акте записано так: «Чульинская дорога проходит по глухому лесу, в нескольких саженях от того места, где был обнаружен труп Матюшина». Алеша, далеко отсюда до того места, где был найден труп?
— Верста будет.
— Да-а... Тут все как в плохо написанном романе: и тропок много, и жерди приготовлены, и нести недалеко. Давайте сейчас на то место! Мы с вами, Александр Николаевич, пойдем здесь прямиком и будем промеривать, Алеша подождет нас у мельницы.

Доехав до мельницы, Алеша привязал под навесом лошадь, а сам пешком пошел на болото. Короленко и Баранов стояли на том самом месте, где лежал труп. Это место они узнали по вбитому колышку. Когда Алеша подходил к ним, Короленко лег поперек дороги.
— Вот, смотрите, Александр Николаевич, у меня и голова и ноги выходят за гать. А ведь труп Матюшина без головы был ровно два аршина. Ну вот, я лежу, и предположим, что мне отрезают голову. По обеим сторонам гати болотная вода. Куда потечет кровь? — Короленко поднялся и бросил

в воду щепочку.— Видите, хотя и очень медленно, но реста-ки плывет. Значит, не совсем стоячая. Но вель Матюнин убит весной, тогда, наверно, течение было сильное. А вель где эти Тимофеевы и Шмелевы по той лишь причине, что здесь не была обнаружена кровь, стараются уверить, что Матюнин зарезан не здесь. А потом вот здесь, на гати, найден целый пучок матюнинских волос. От чульницкой дороги до этого места триста тридцать саженей, мы же сами измерили. Если бы его зарезали в Мултане, кто и зачем принес бы сюда волосы? По этой дорожке народ из Чулея и починка Дуюровки ходит на обе мельницы и в Аник. Какими дураками должны быть убийцы, чтобы среди белого дня на жердях нести сюда труп? Что, им там места не хватило? Одним словом, вопросам конца нет.

Короленко умолк и задумчиво посмотрел вокруг. В поздиюю осень еще мрачнее кажется эта местность: редкие чахлые березки с еще не опавшими желтыми листьями, низенькие елочки. По обе стороны гати — камыш, чернопалочник, начинающий уже пушиться, высокие пожелтевшие медуницы. Короленко в своей записной книжке нарисовал дорожку через болото и мельницу. Потом он и в лесу и на поле чертил на бумаге план местности, то и дело поглядывая на компас. Алеша не раз собирался спросить, что это за штуковина, похожая на карманные часы, но так и не спросил, постеснялся. У мельницы, когда уж сели в тарантас, Владимир Галактионович последний раз оглядел все вокруг.

— Мрачное место!..— сказал он, вздохнув.

На мултанском поле, невдалеке от деревни, они повстречались с урядником. Он скакал в Вавож к становому Тимофееву. В его кожаной сумке был пакет с пятью сургучными печатями. Поравнявшись с тарантасом, урядник козырнул Короленко и Баранову.

Он и сам не знал, что приветствовал сейчас того самого человека, о котором без бумагу за пятью сургучными печатями. А в бумаге той было написано:

«Мне стало известно, что на прошедшем в Елабуге судебном процессе по обвинению мултанских удмуртов в убийстве Матюнина с целью жертвоприношения присутствовал известный в литературе писатель Короленко. Для сбора сведений по «мултанскому делу» он якобы собирался в Мултан. Лично сами проверьте, там он или нет. Если Короленко в Мултане или был там, необходимо собрать следую-

...ия сведения: у кого и что расспрашивал он о «мулланском деле». Собранные вами подробные сведения присылайте мне.

Уездный исправник Лобовиков».

Перед въездом в деревню Алеша попридержал лошадь и, повернувшись к Короленко, смущенно заговорил:

— Мать звала, в гости звала, господин Короленко. По-жалысто...

— Хорошо, хорошо, Алеша,— весело отозвался Короленко.— А то мамаша может обидеться.

Когда тарантас остановился у ворот, Владимир Галактионович легко соскочил на землю и первым вошел в избу.

Было сразу видно, что Дукъя от души готовилась встретить гостей: на столе была белая скатерть, вытканная мелкими красными узорами, пол чисто вымыт, на окнах и на божнице — широкие вышитые полотенца.

Пол, нары, стены — все в избе покосилось, верхний косяк двери тоже был перекошен, будто кто-то задел головой о притолоку и приподнял один угол.

Когда вошли гости, Дукъя гусиным крылом подметала шесток. Ей первый раз в жизни приходилось встречать таких больших гостей, потому и не знала она, как вести себя. Короленко, приветливо улыбаясь, подошел к ней и протянул руку. Дукъя окончательно растерялась.

— Руки-то мои... не баские...— она вытерла правую руку о фартук и нерешительно протянула ее гостю.— Садиться везде плохо... изба-то нехорошая... Мужик все сделать хотел, да в тюрьму садили его.

— Ничего. Муж скоро вернется,— старался утешить женщину Владимир Галактионович.— На следующем суде освободим их, обязательно освободим, отправить на каторгу не дадим. А потом, вот сын у тебя... Смотри, какой молодец! И муж придет, не горюй.

— Спасибо, хороший человек,— поклонилась Дукъя.

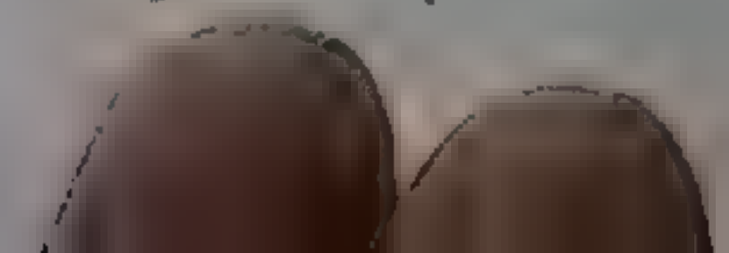
— Мама, как у тебя блины? Ты еще и печь не затопила,— засуетился Алеша.

— Блины еще не подошли, сынок.

Алеша сбегал за дровами и, что-то ворча себе под нос, стал щепать лучину для растопки.

— Сама же просила позвать, а теперь вон как осрамила меня.

Короленко понял, что между матерью и сыном произошла какая-то размолвка.



— Алеша,—сказал он, вставая с узких боковых нар,—мы, пожалуй, пока сходим в шалаш. Нет ли у тебя аршина?

— Аршин есть, только старый совсем.

— Ничего, годится и старый. Пойдемте, Александр Николаевич, посмотрим шалаш.

Дукъя задержала сына и торопливо прошептала:

— К Буграшихе ходила я, расспросила о них. Она говорит, что прежние вино даже не пробовали. Не пьют, видно. А медовуху, говорит, похвалили. Я выпросила у нее медовухи.

— Хорошо, мама. Торопись с блинами. Смотри, зырет как бы не подгорел.

Алеша выбежал во двор, и они втроем пошли в шалаш Мокея.

Войдя в шалаш, Короленко прежде всего измерил расстояние от земляного пола до перекладины, на которую подвешивают котел.

— Два аршина с четвертью,— сказал он и, записав цифру в записную книжечку, вопросительно взглянул на Баранова:— Труп Матюшина без головы — два аршина. Догадываетесь, Александр Николаевич, зачем я измеряю? Видите,— Короленко встал под перекладину,— головой я до перекладины не достаю всего лишь на полвершка.

— Не доросли вы, Владимир Галактионович,— рассмеялся Баранов.— Матюшин, несомненно, судя по документам, был вершка на три выше вас. Следовательно, чтоб обезглавить его, подвесив к перекладине вниз головой, как сие значится в обвинительном акте, пришлось бы приподнять эту самую перекладину по меньшей мере на аршин, тем более когда там же утверждается, что кровь была собрана в корыто.

— Совершенно верно,— обрадовался Короленко.— За что только ни возьмешься, все перетасовано, как карты руками шулера.

Владимир Галактионович набросал в записной книжке шалаш. Рисунок получился на редкость удачным.

— А знаете, Владимир Галактионович,— сказал Баранов, заглядывая в записную книжку,— у вас, оказывается, талант не только Карабчевского, но и Левитана.

— Карабчевского? Постойте-ка... Это же очень хорошо, что вы напомнили о нем. Спасибо, Александр Николаевич.— Фамилию Карабчевского он тотчас же записал.— Вот кого надобно пригласить защитником!

— Едва ли...— замялся Баранов,

— А что?

— Дороговато... Гонорар для подсудимых непосильный...

— О его гонорарной практике я слышал как раз обрат-

— Попробуйте списаться, Владимир Галактионович. Ко-
нечно, если он согласится, на нашей стороне будет большая
сила.

— Обязательно напишу, на пароходе же или сразу, когда
приеду в Нижний.

У тетки Дукъи блины и зырет удались на славу. Чтобы
намелить блины, она принесла из чулана для дорогих гостей
совершенные, чистенькие гусиные перья. На двух раскаленных
сковородах пеклись пышные блины. Тетка Дукъя с необыч-
ной для ее возраста ловкостью сбрасывала готовые блины
на широкую гладкую дощечку с ручкой, сделанную из липы
для этой цели, и так же ловко заливала тестом сковороды.
На дощечке уже красовалась порядочная стопочка горячих
блинов. Ах, как вовремя вернулся Алеша с гостями!

— Приглашай за стол, сынок. Боялась — долго задержи-
тесь.

— А как зырет, мама?

— Зырет удался, сынок, только будут ли они кушать, на-
верно, никогда и не пробовали.

Намасленные блины Дукъя намазала еще зыретом и пря-
мо на дощечке разрезала на четыре части.

Короленко лукаво поглядывал на Баранова, а тот не знал,
как подступиться к блинам.

— Вы, Александр Николаевич, кажется, вилки ждете?
А вы вот так! — И Короленко подцел четвертушку тремя
пальцами.

Во время обеда пришел Илья Фомич. Он уже виделся с
приезжими у Буграша. Алеша усадил его за стол рядом с
Барановым. Видя, что Баранов очень уж неловко справляет-
ся с блинами, Илья Фомич сказал хозяйке по-удмуртски:

— Ты, тетя Дукъя, блины зыретом не мажь, а налей его
во что-нибудь и поставь перед каждым.

— И то правда. Ах, дурная моя голова! — заторопилась
смущенная Дукъя.— Видать, совсем ум помутился, все ду-
маю о них, о наших мужиках. Русские макать любят, а я
запамятовала. Вы, Фомич, просите их, пусть кушают.— И она
поставила перед гостями блюдечки с зыретом.— Сынок, ты
бы налил медовухи, может, попробуют.

Медовуха особенно понравилась Баранову. У Буграша
он выпил всего полчашечки, а блины вызывали жажду, и он

с удовольствием потягивал это безобидное, как ему казалось, питье. Но обманула медовуха Александра Николаевича: щеки у него разгорелись, и он стал куда более разговорчив, нежели обычно.

— Это, сударь мой, будет почище медовухи, которую пил сам Иоанн Грозный,— говорил он Владимиру Галактионовичу, проводя тыльной стороной большого пальца по усам.

— Алеша, налей-ка ему еще чашечку,— смеялся Короленко.

— Нет, нет, Алексей Никифорович, больше — ни капли, а то я, пожалуй, песню затяну.

Владимиру Галактионовичу еще у Буграша понравился Илья Фомич. Его заинтересовали смелые и решительные суждения учителя и немало удивили вполне откровенные высказывания о правительстве.

Короленко вопросительно поглядывал на Баранова, а тот отвечал ему улыбкой и глазами: таков, мол, этот учитель.

— Сдается, застрял я тут,— сетовал Илья Фомич.— А как хотелось на завод! Игнат вот молодец.

— Это вы о том батраке,— спросил Баранов,— о котором в Малмыже как-то рассказывали? Где он сейчас?

Уловив вопросительный взгляд Владимира Галактионовича, Илья Фомич объяснил:

— Мы говорим о бывшем батраке здешнего торговца Мухина. Как-то здесь урядника побили, так вот зачинщиком был этот самый Игнат Букин. Ну и пришлось ему скрыться.

— Однако мы отклонились от главного,— сказал Короленко.— Вы, Илья Фомич, собирались еще кое-что рассказать нам об убийстве Матюнина.

— Много думал я об этой загадочной истории. И все же мне кажется, что конец веревочки в деревне Анык. Вот, к примеру, есть там Быков. После того как обнаружили труп, урядник Соковиков стал бывать у него чуть ли не каждый день. Быков нежданно-негаданно выдает замуж племянницу за сына Дроздова. И вот этот самый Дроздов ни с того ни с сего продает мерина и телку. Если верить слухам, то вырученные деньги ушли на взятку уряднику. Вы скажете: что ж тут удивительного, что Дроздов сосватал племянницу Быкова Дашу Гришину? Все это так, но дело-то в том, что сын Дроздова с молодой женой живут, как кошка с собакой. Там, в Аныке, есть у меня друг один, Голубков Петрован, так вот он рассказал мне весьма странную историю. Весной прошлого года он шел по лесу и вдруг услышал — ссорятся

кто-то. Подошел поближе — Яшка Дроздов с женой Они его не заметили. «Ты у меня скоро повесишься!» — кричит Яшка. А та ему и говорит: «Одного уже заставили повеситься, хватит с вас. А если уж впрямь невмоготу станет жить, прежде чем петлю на шею надеть, расскажу всем, как вы убили нищего». Видите, какие дела, Владимир Галактионович. Однако и тут что-то непонятное: зачем понадобилось Яшке убивать нищего?

— А скажите, пожалуйста, Илья Фомич, жена этого самого Яши кого имела в виду, когда говорила «одного уже заставили повеситься»?

— Вскоре после того, как нашли труп, повесился аныкский мужик Иван Конев. Хороший был человек.

— Расскажите, пожалуйста, это очень важно,— насторожился Короленко.— Что говорила вам жена этого Конева?

— Она и сама не поймет, почему такое горе приключилось. Бывало, говорит, работает, работает, потом вдруг перестанет и подолгу стоит, все о чем-то думает. Говорила, что урядник часто вызывал мужа Однажды уже под вечер урядник Соковиков вызвал его в Мултан. А утром жена нашла его — висит на дереве в огороде. И тут опять-таки странная вещь: у покойника под самым сердцем оказался большой синяк. Теперь судите сами: сам он повесился или его полумертвого повесили? Ездил я по этому делу в Малмыж, был у исправника, требовал, чтобы врача прислали исследовать труп, но ничего не добился, и тайна осталась в могиле.

— Да-а...— протянул Короленко, как бы подводя итог своим мыслям, и взглянул на Баранова.— Мне кажется, Александр Николаевич, судьба мултанцев в руках одного человека. Не догадываетесь, в чьих? В руках Даши Гришиной. Это же теперь ясно, как божий день. Я еще на суде смотрел в ее плутоватые и в то же время чем-то озабоченные, смущенные глаза и думал: «Вот кто держит ключ от тюремных дверей. Истинную суть «мултанского дела» может раскрыть перед судом только она. А показания вторых и третьих лиц, таких, как Голубков, обвинение легко отбросит, как нечто совершенно несущественное». Как видите, конец веревочки в наших руках, а размотать клубок всей этой провокационной истории пока что мы не в силах. Кстати, Илья Фомич, говорят, и в Кузнерке кто-то повесился. Вы знаете что-нибудь об этом?

— Там сотский повесился...— И Илья Фомич рассказал историю о кузнерских Санниковых, которую уже слышали Короленко и Баранов от Семенова.

— Обо всем, что я вам рассказал, Владимир Галактионович, мы с Алешей в письмах подробно написали Дрягину. Но от него никакого ответа. Получил он наши письма или нет, ничего не знаем.

Короленко и Баранов переглянулись.

— Об этом он что-то ни разу не говорил. Не мог же он не сказать нам о таких фактах,— недоумевал Баранов.

— Мне думается, что письма из Мултана кто-то задерживает,— сказал Короленко.

К Алеше один за другим стали заходить родные и близкие арестованных. Уже давно стемнело, а Короленко и Баранов все еще сидели и разговаривали.

Жена Ивана Красного, утирая кончиком платка слезы, рассказывала, как выгнал ее из собственного дома урядник Соковиков.

— Росла я сиротой,— говорила она.— В людях выросла, на чужих горб гнула. Когда Иван овдовел, стал сватать меня. Я сказала, что замуж не согласна, а в работницы пойду. Замуж боялась, думала, засмеют, что вышла за удмурта. Да и в годах большая разница: ему под сорок было, а мне двадцать седьмой шел. Пошла я к Ивану в работницы, присмотрелась и вышла замуж. Хотели обвенчаться. В тот год как раз, когда нашли убитого, перед пасхой Иван пошел к здешнему священнику, да тот и разговаривать не стал: удмурту, говорит, нельзя жениться на русской. Так и не обвенчал. Когда мужа арестовали, урядник привязался ко мне: «Скажи, говорит, где голова убитого, где его молили?» А что я скажу, если не видала. Потом он, видно, обозлился, вызвал меня к Мухину и говорит: «Ты, Устинья, из Мултана убирайся сегодня же, чтобы духу твоего тут не было! Ты, говорит, живешь невенчанная, а в обществе так жить нельзя». Ну и прогнал. Не хотела я уходить из Мултана, а он пришел и выбросил все пожитки на улицу. С тех пор вот и живу в Кузнерке, у сестры. Если бы одна — ничего еще, а их ведь пятеро, ребятишек-то: трое от прежней жены, двое своих.

Короленко порылся в своих бумагах, нашел чистый бланк редакции газеты «Нижегородский листок» и написал волостному старшине, чтобы немедленно вселили жену Ивана в ее дом, в противном случае он напечатает об этом безобразии в газете.

Владимиру Галактионовичу хотелось побыть в Мултане хотя бы еще денька два, но уходили последние пароходы, и никак нельзя было задерживаться. Опоздаешь, тогда хоть

...лом добирайся до Нижнего. Поэтому Короленко и Баранов решили этой же ночью выехать из Мултана.

У Алеши в избе было полно народу. Все с надеждой смотрели на приезжих. Им казалось, что эти два человека обязательно освободят их отцов и мужей.

Уже выходя из избы, Короленко остановился напротив стоявшей у двери девушки и, повернувшись к Алеше, спросил:

— Не твоя ли невеста, Алеша?

И девушка и парень оба залились краской. Короленко почувствовал, что девушка чем-то опечалена.

— Чего же ты такая скучная, красавица?

— Отец тюрьме сидит...— еле слышно проговорила Дыды и приложила к глазам кончик платка.

Короленко и сам еле сдержал слезы. Он вырвал из записной книжки листок, записал свой адрес и протянул Алеше:

— Если урядник и становые снова начнут запугивать или бить, сразу напиши.

— Писать надо... Плохо умею я писать. Только три года учился.

— Ничего, поймем. А потом — вот Илья Фомич поможет.

Уже во дворе, когда Короленко и Баранов собирались садиться в тарантас, Илья Фомич отозвал Баранова и, вручив ему конверт, тихо сказал:

— Это Букину... Работает он в Нижнем, тут адрес указан. Если Владимиру Галактионовичу не составит большого труда, пусть передаст ему или просто в почтовый ящик опустит, только там, в Нижнем.

— А чего же вы его самого не попросили? Он же душевный человек! — Баранов тут же подошел к Короленко и протянул ему письмо: — Небольшое поручение вам, Владимир Галактионович. Подробности расскажу потом....

Тарантас тронулся, и со двора Алеши гурьбой повалил народ провожать дорогих гостей.

20

К Дукъе пришла мать Литона Камаева. Ее, слепую, привела, как обычно, внучка Дарьюшка. Когда они вошли в избу, девочка оставила бабушку у двери, а сама шмыгнула за печку.

— Дома есть у нас кто? — спросила слепая.

— Здесь я, Арина, здесь,— отозвалась Дукъя, возившаяся у печки.— Только что из-за стола поднялись, чуток бы пораньше пришла. Чай-то еще не остыл, поди. Садись-ка, садись.— Дукъя взяла слепую за руку и повела к столу.

— Да ты меня, кажись, за стол посадила? — Арина ощупала рукой угол стола.— Мы не в гости. Сношенька у нас заболела, вся в огне. И что только я с ней не делала. Не множечко святой водички было у меня, прежде чем понять, обмыла икону, и так побрызгала, и на углях брызгала — а ей все не легче. Сегодня будто еще хуже стало. Намочу полотенце в ключевой воде, положу ей на лоб, а оно, как у печки, тут же высыхает. Знахарку Феклу бы пригласить из Кочишева, да некому сходить за ней.

— А что со спохой? Так враз и заболела?

— Простыла, видно. Намедни ходила на запруду конопель Бектэмыру вытаскивать, оступилась и угодила в воду. А ветер тогда холодный был. Коль уж такое случилось, бежала бы сразу домой, я бы чаем напоила с сушеной малиной, уложила бы на печку — и все бы как рукой сняло. А ей, видишь, жалко стало трудов-то — уйдешь, а Бектэмыр не заплатит, так и работала с мокрыми ногами, пока всю коноплю не повытаскивали, а у него конопли-то возов десять, поди, было. Пришла, бедняжка, до пояса обледеневшая, лапотные вязки Дарьюшка ножом резала — обледенели. Теперь ночами не сплю, все думаю. Что делать-то будем, коли с ней чего случится? Дарьюшке всего десятый пошел, а Петеньке и того меньше. И отец — то ли вернется, то ли нет. Говорят, будто опять суд будет? Правда это, Дукъя?

— Правда, видно. Защитник в Петербург будто уехал, где сам царь живет. Ждут, что он скажет.

— Царь-то что, он наших страданий не видит,— вздохнула Арина.

— Не знаю уж, видит ли, нет ли. Может, и видит, да не видит...— с сердцем сказала Дукъя и только сейчас вспомнила про Дарьюшку, украдкой выглядывавшую из-за печки.— Доченька, иди чай пить. Иди, не чужайся.

Девочка подошла к столу, прикусив кончик старенького желтого платочка. Худенькая, маленькая, на вид ей никак больше семи лет не дашь, а глаза не детские, в них словно паски застыло горе, и смотрят-то они не по-детски тревожно. После ареста отца к ним в дом много раз приходили урядники, чего-то искали, кричали на мать. С тех пор девочка, как только увидит урядника, так трясется. Даже и

сейчас силит она за столом вся съежившись, будто ожидая удара по голове, и к чашке тянется несмело.

Дукъя положила перед ней кусочек сахару. Глаза девочки ожили, в них появилась искорка радости, она с жадностью смотрела на сахар, но взять стыдилась. Ах, если бы он сам попал в рот! Дарьюшка выпила чай, опрокинула чашку на блюдечко вверх дном, отодвинула от края, вылезла из-за стола, так и не дотронувшись до сахара.

— Ты что, доченька? — спохватилась Дукъя.— Что так скоро выскочила? Пила бы еще. А сахарок зачем оставила? На, доченька, возьми с собой.

— А ты бери, Дарьюшка, не дичись. Сластей они не видят у нас,— объяснила бабка Дукье.— Где уж нам до сластей. Бывает и не посвши ложимся. Хорошо хоть, картошка уродилась нынче.

Слепая поднялась, поблагодарила Дукъю за чай и только теперь сказала, зачем они пришли.

— А мы к тебе, Дукъя, за перцем. Не найдешь ли хоть полстручочка? Жена Степана Журавля самогону принесла, хорошо бы с перцем дать.

— Перец где-то был у меня... Сейчас поищу,— и Дукъя стала рыться на полке. Она нашла большой красный стручок и подала его Арине.

Чтобы лечение пошло впрок, Арина решила еще прочитать над самогоном заклинания. Она никогда не занималась этим, но помнила, как когда-то лечила ее знахарка, запомнила и слова заклинаний. С помощью внучки Арина вылила самогон в глиняную чашку, опустила туда три уголька, обмыла самогоном дверную ручку, чтобы болезнь не смела заходить, облила и ножницы — это чтоб как рукой болезнь сняло, потом села у постели больной и стала над чашкой бормотать заклинание:

— Злая болезнь, сгинь! Ты оставишь этого человека только тогда, когда сумеешь пролезть сквозь ушки семидесяти семи иголок, если сумеешь прожить семьдесят семь лет на дне семидесяти семи морей, когда сможешь провести без сна семьдесят семь ночей на вершинах семидесяти семи старых дубов...

И только прочитав семь заклинаний, каждое из которых состояло из семидесяти семи препятствий, и семь раз дунув на чашку, повторяя при этом «сгинь», старая подала снохе самогон.

Но жене Антона не помогли ни заклинания доброй свекрови, ни самогон с перцем. Она скончалась.

С кладбища Алеша вернулся поздно. Пристывшая к лап. тям глина звонко стучала о пол. Алеша и сам основатель. прадрог. Разул лапти, он обул старые, подшитые отцо валенки и встал у печки погреться. Как будет жить сиро старуха с двумя ребятами?

— Мама, пока не вернулся дяля Антон, может, возьмем мальца к себе? Жалко ребят-то, погибнут ведь.

— А что ж, бери, сынок, не бросать же их. Может, бог увидит нашу доброту. Только не трудно ли будет тебе? Смотри сам.

— Парешьку не так уж много надо, да и не избалован он.

Уставший на похоронах, Алеша поужинал и тотчас лег спать. Лечь-то лег, а разные мысли никак не дают уснуть. Лежит он и перебирает в памяти тех, кто бедно живет. Ему кажется, что всех их, особенно тех, у кого нет в доме мужчин, постигнет такая же участь, какая постигла семью Антона. Немногим лучше живет и жена Мокея. Было у нее шестеро детей. Две дочери вышли замуж, две умерли в голодный год от тифа. После ареста мужа Мокеиха осталась с двенадцатилетним Колей и дочерью Машей — одногодкой Дяди, она уже, как взрослая, помогала матери, но летом с ней случилось большое несчастье.

А дело было так. Во время жнитва Маша вернулась с поля немного раньше обычного, чтобы приготовить семье ужин. Но не успела она разжечь печку, как в избу вошел урядник Соковиков. Видя, что Маша одна, он начал приставать к ней. Маша вырвалась из его рук, выбежала и бросилась к воротам, но урядник успел загородить ей дорогу. Тогда она побежала к лабазу, там была калитка в огород. Но в страхе совсем забыла про погреб, который оставила открытым,— она только что лазила туда за кислым молоком и собиралась еще за чем-то сходить. Спасаясь от урядника, она с разбегу упала в погреб и лежала там со сломанной ногой, пока с поля не вернулись мать и братишка.

На другой день Илья Фомич отвез ее в малмыжскую больницу, а сам заехал к исправнику и заявил о бесчинствах урядника Соковикова. Но тот только махнул рукой: мало ли, мол, чего наговорят на урядника, тем более родственники осужденных.

Маше отняли ногу, но рана до сих пор не зажила. Если бы не перевязки, которые Илья Фомич делал ей сам через день, еще хуже бы дело кончилось.

Теперь у Мокеихи вся надежда на Колю.

Долго ворочался Алеша с боку на бок. Даже и во сне не спускали его мысли о семьях арестованных.

У Буграша тоже было свое горе. Но другие думы терзали богача, когда он возвращался из Елабуги. На кого он оставит столько добра, если утвердят приговор? Старший сын учится в Казани. Он думал: вот кончит сын ученье, и они откроют большой магазин в самой Казани. А тот и слышать не хочет о торговле, все мечтает стать учителем. И чего он нашел в этом хорошего? Как бельмо на глазу эти учителя у попов и урядников. Вся надежда на среднего, этого хлебом не корми, только допусти до прилавка. Но он молод еще, да и зазнайства чересчур много: если куда ехать — запрягай ему жеребца, не иначе; из одежды что купишь — подавай только суконное. В прошлом году, когда он ездил в Казань к брату, Буграш, желая приучить его к торговым делам, поручил привезти кое-какого товару. А он встретился в Казани с Фросей и за три дня прокутил все сто рублей.

И еще есть горе у Буграша. За два с лишним года очень уж много денег издержал он, чтобы не сидеть в тюрьме, чтобы отпускали на поруки. А Быков-то как в гору пошел, того и гляди затопчет... Идет Буграш, размышляет, и вдруг навстречу ему едет кривой. Батрак с силой натягивал ременные вожжи, звенела набором шлея из широких ремней, глаза огненно-рыжего жеребца горели злым огнем, и он с яростью грыз удила наборной уздечки с красными кистями. В роскошной кошевке, точно барин, восседал сам Быков, в тулупе, крытом сукном, с большим мохнатым воротником, на голове островерхая шапка из серого каракуля, видно, назло обзавелся точь-в-точь такой же, как у Федора.

Бывало, при встрече с Федором Быков обязательно останавливал лошадь, здоровался за руку и расспрашивал о житье-бытье. А на этот раз не только не остановился, даже кивком не удостоил, проехал, будто и не заметил.

«Сделал вид, что не заметил, или в самом деле своим одним глазом не разглядел человека?» — с обидой думал Буграш. А не подумал он, почему Быков должен первым ломать перед ним шапку. Федору, пожалуй, первому скоро придется кланяться Быкову. Тот теперь родня земскому начальнику. Сбылась его заветная мечта: он похоронил жену и женился на сестре Львовского, оставшейся вдовой. Круглый год четырех батраков держит Быков. Вместе с Львовским поставил паровую мельницу. Быкова теперь голыми

рукави не возьмешь. Крепко стал он поперек Федорки: рога, того гляди толкнет — и не встанешь.

Дело не только в богатстве, в руках Быкова есть и другая сила. Бураш это давно понял. Федор хотел заступиться за мало Ивана Красного и Антона Камаева за то, что они приняли за них защитнику. Но когда начался суд, его бурак прискакал в село и сообщил, что землю Антона и Ивана белянские батраки. Расстроенный, Бураш тотчас поехал к жене Антона и от нее узнал, что и она и жена Ивана заложили свои земли Быкову до возвращения мужей и получили от него задаток по пяти пудов муки. Наглость Быкова до глубины души возмутила Федора, и он подал на него в суд. Не обошлось, конечно, без взятки судье, но все-таки дело решилось в его пользу, так как предусмотрительный Бураш в тюрьме оформил официальные бумаги с Иваном и Антоном. Однако через день после суда урядник посадил Бураша в волостную кутузку под тем предлогом, что скоро будет суд и его придется отправлять в Малмыж. А земский начальник заставил судью пересмотреть дело в пользу Быкова.

Бураш, конечно, не мог знать всех этих проделок, но и не мог не догадаться, что дело не обошлось без участия земского начальника.

Все это вспомнил Бураш, встретив Быкова, и обида с новой силой вспыхнула в нем. Но когда показалось село и он увидел свой высокий дом с красной крышей, обида немного улеглась. Он стал утешать себя тем, что богатство можно нажить не только землей, но и другими делами, да еще в десять раз больше. Если приговор не утвердят и третий суд оправдает, тогда он как следует возьмется за силов, накопит денег и обязательно купит пароход, а на борту большими буквами заставит написать «Бураш». Пусть читают и удивляются: что это за «Бураш»? А если, случаем, Быкову доведется увидеть тот пароход, пусть у него печенка лопнет от зависти. Он ему еще покажет! Не такие уж податливые Бураши, чтобы под ноги кому ложиться.

Федор как наяву видит надпись на борту парохода, только вот краски этой самой надписи меняются, и он задумывается над тем, какой цвет лучше: черный или красный? Пожалуй, лучше черный. Дальше видать...

Радужные мечты развеяли тоску, и Бураш зашагал веселее. Но не думал он, что еще по пути в село обрушится на него тяжелая весть.

Из Елабуги до Кузнерки он ехал с владельцем мельницы

с ласковым. По дороге Санников рассказал ему о Мултане
весь что знал, и о его семье тоже, поэтому Федор был уверен,
что дома все хорошо. Только временами щемило сердце, хоте-
лось поскорее приласкать меньшего сынишку. Увидев на
улице ребят, он заспешил: наверно, и любимец его катается
на коньках. Часто-часто забилось сердце: вот Миша увидит
отца и побежит навстречу. До чего же голосиста детвора! Тут
учитель, присел чего-то. Это он кому-то из мальчишек ук-
репляет коньки. Илью Фомича Бураш узнал по шубе черной
бобры с серой отделкой на обшлагах и карманах, да и шап-
ка у него с такими длинными ушами, что в стужу он закру-
чивает ими шею, как шарфом.

Федора ребята заметили, когда он подошел уже довольно близко, и бросились наперегонки к учителю.

— Илья Фомич, Бураш идет!

— Бураш? — Илья Фомич решил, что ребята обозна-
лись.

И правда, он. Удивительно. Человека, осужденного на каторгу, отпустили домой. А почему он один? Илья Фомич быстро поднялся на мост навстречу Бурашу.

А тот шагал все быстрей и быстрей, и все неспокойней ста-
новилось у него на сердце. Почему не бежит Миша? Наверно,
что-то случилось. И учитель идет навстречу.

Он поздоровался с учителем, снял шапку, чего прежде никогда не случалось, а сам не отрываясь смотрел на лед, ища глазами своего Мишу.

— А моего сынка, видать, нет здесь? — с тревогой спро-
сил он.

— Мише я не разрешил выходить сегодня на улицу, он уроков не приготовил.

— Слава богу...— облегченно вздохнул Бураш.— А я бы-
ло подумал неладное... Вы их покрепче в руках держите, Илья
Фомич. Они чувствуют, что отца нет, ну и вольничают. Нас,
бывало, дьякон ставил на сковородку, да еще, прежде чем
поставить на колени, высыпал горсть гороху, горошники в мя-
со так и впивались. Иногда их и за уши не мешает, скорее
вырастут.

— Вы один, Федор Семенович, или все едут? — спросил учитель, прервав его разглагольствования.

— Оно бы, конечно, лучше всем прийти, но... это денег
стоит...— вздохнул Бураш.— Приходится платить, что поде-
лаешь. Когда сидишь в тюрьме, все кажется, что дома обяза-
тельно что-нибудь стряслось. Сюда шел и все думал — не
случилось ли что с Мишей.

— Ну, ты вот что, Федор Семенович.
— А что?
— Одним махом всех побивахом.
— Сына? — Буграш схватился за руки Ильи Фомича.— Которого? Александра?
— Нет. Толю.
— Толю? — удивился Буграш.— А за что его сажать? Он же учится. Что-нибудь натворил?
— Нет, Федор Семенович, тут не шалостью пахнет. Слышал бунт устроили.
— Бунт?..— Буграш облокотился на перила моста, схватился обеими руками за голову и долго молчал. Потом он глубоко вздохнул и с укором сказал: — Сколько раз я говорил ему: подальше от таких дел, подальше от таких людей, которые против власти разговоры ведут. Одно горе на сердце нашло. Не зря, значит, сердце беду чуяло. Вот она и пришла.

Федор вспомнил, как его сын, приезжая на каникулы, все время проводил с учителем, и сейчас он упрекал себя в этом. Тогда же надо было вразумить парня. Какой тот ему товарищ? Надо было его покрепче в руки взять, а он, дурак, гордился еще, что Толя дружит с учителем: вон, мол, смотрите, какой у меня сын! Ведь знал же он, что за человек Илья Фомич, и урядники не раз расспрашивали о нем... Думал, думал Буграш, а на сердце все больше и больше закипала злоба против учителя. Наконец не выдержал и медленно повернул голову к Илье Фомичу.

— Вы виноваты, Илья Фомич! — с ненавистью сказал он.— Вы довели до этого моего сына! Что вам нужно? Чего вам не хватает? Зачем вы мутите людей? А для меня у вас, я слышал, одна кличка — паук. Терпел я, думал: пусть, слово не линяет. А теперь вы моего сына погубили. Вы виноваты, только вы! — И разгневанный Буграш отвернулся от учителя.

— Да, я виноват,— сказал учитель, тоже облокотившись на перила рядом с Буграшом и спокойно глядя на его холеную бородку.— Я виноват в том, что не сумел направить Толю против таких мироедов, как вы.

Федор вздрогнул, словно его ударили по голове.

— Сына... против меня?

— Да!

Две пары глаз встретились. Черные, колючие, злые беспокойно выглядывали из-под бровей, точно мышата, и не знали, куда деваться от спокойного, светлого взгляда голубых глаз, которые, казалось, все видят насквозь, все понимают. Буграш не выдержал взгляда Ильи Фомича и опустил глаза.

— Что же плохого сделал я вам, Илья Фомич? — уже совсем иным тоном заговорил он.

— Я не только о вас говорю, Федор Семенович, я говорю обо всех, кто живет чужим трудом, кто сидит на шее народа, независимо от того — русские они или удмурты. А сын ваш так этого и не понял и пошел своим путем, своей дорогой, а свернуть его мне не удалось. Если отправят его на каторгу или в ссылку, знайте, Федор Семенович, он попадет туда из-за вас.

Буграш был так удивлен, что его бегающие глазки стали неподвижны.

— Это почему же из-за меня?

— Напрасно удивляетесь. Сын, конечно, умнее вас, поэтому он ненавидит богачей, но только русских, разных там льговских. Они, мол, притесняют удмуртов. Но о каких удмуртах печется ваш сын? О таких, как вы, Федор Семенович, как Бектэмыр, как Прохор. Ему хочется, чтобы становые и земские из удмуртов были, словом — свои льговские, свои шмелевы. А то вот и земские начальники, и становые, и даже урядники — только русские. Впрочем, такие, как Шмелев, теперь, видно, научат его уму-разуму...

— Что-то не понимаю я, Илья Фомич, о чем вы говорите,— сказал Буграш, вытаскивая из-за кушака пестрые варежки.

— Я, кажется, довольно понятно говорю, Федор Семенович, и на удмуртском языке. Ну, если хотите еще понятней, извольте: мы с вами враги и никогда не поймем друг друга.

— Это я как раз понял,— медленно произнес Буграш.— Крепко ненавидите вы меня, это верно. Будь ваша воля, вы бы сегодня же уничтожили меня. Одного я не пойму, Илья Фомич: зачем вы стараетесь выручить меня из беды? Сколько вы писали, сколько в Малмыж таскались, а перед вторым судом даже в Казань ездили, в самую грязь до Вятских Полян, до пристани, пешком, говорят, ходили. Это уж, конечно, зря, моя жена в лошади не отказала бы. Ну вот, я и говорю: с одной стороны, вы меня ненавидите, а с другой — сами же стараетесь освободить меня от каторги.

— Не только за вас я стараюсь, Федор Семенович. Но даже если бы вас одного арестовали по этому делу, то и тогда я отдал бы все силы, чтобы освободить вас. Потому что не в вашей личности тут дело. Об удмуртском народе я думаю. Впрочем, что я вам толкую, вам этого все равно не понять, на свой народ вы смотрите как на своих батраков. Ну, извините, Фёдор Семенович, я вас задержал. Идите, обрадуйте домаш-

них, а Мишу пошлите на каток.— И Илья Фомич пошел к детям еще больше. Они это чувствовали и отвечали ему искренней привязанностью и любовью. Как только он скрылся с моста, к нему подкатили ребята, схватили его и потащили по льду.

«Вот он как приманивает к себе ребят,— думал Буграш, стороны наблюдая за учителем.— Испортит Мишу, пр перевести в трыкскую школу. И почему его не упрячут в му? Знают же, поди, что он за человек. На все лето пропадает. Куда? Почему урядник и становой не инте ся? В малмыжской стороне последние годы крестья волнуются. Не без участия таких, как Илья Фомич, это исходит. Нас ни за что таскают, а таких, как он, не видят. Придется съездить в Малмыж и рассказать самому исправнику».

Пройдя немного от моста, Буграш вдруг остановился и ощупал в кармане шубы газету, где в небольшой заметке говорилось о том, что в вятской пересыльной тюрьме некая Гро- ская Вера Сергеевна организовала голодовку среди полити- ских ссыльных женщин.

Эту заметку Буграшу и Санникову прочитал знакомый слабужский купец, когда они зашли к нему в магазин. «Это же ваша бывшая учительница,— сказал Санников Буграшу и, ухмыляясь, протянул ему газету: — Возьми, Семеныч, отдай вашему учителю, пусть порадуется за свою кралю». Нащупав в кармане свернутую газету, Буграш постоял некоторое время, потом вдруг сорвался и чуть не бегом пустился обратно к речке. Дойдя до моста, он окликнул учителя.

— Совсем забыл,— сказал он, протягивая ему газету.— Тут о бывшей нашей учительнице написано.

Илья Фомич оторопел и, ни слова не вымолвив, вынул газету из рук Буграша. Не скрывая волнения, а впрочем, и не думая об этом, он судорожным движением развернул газету. Глаза его забегали по заголовкам. Вот она, заметка! И после первых же строк его лицо засветилось радостью.

— Жива! — сказал он одними губами и продолжал читать.— Молодец, Верочка! — И Илья Фомич порывисто пожал руку крайне удивленному Буграшу.— Спасибо, Федор Семенович, большое спасибо. Теперь-то я ее найду! Такую вы мне радость принесли, не знаю даже, как и благодарить вас!

Буграш ушел, так ничего и не поняв. Меньше всего он хотел доставить учителю удовольствие. «И чему радуется? — по-

жал плечами Бутраш.— Человека в ссылку отправляют, а он радуется. А может, он того...» И Бутраш с опаской оглянулся на учителя, который все еще стоял у моста с газетой в руках.

21

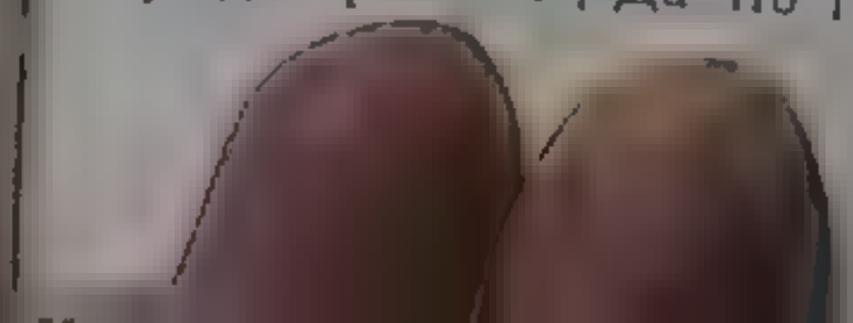
Приехав в Нижний, Короленко обратился в редакции нескольких газет с просьбой напечатать отчет о «мултанском деле». Редакторы молчали.

«Здесь, в далеком глухом уголке,— писал он знакомому сотруднику одной редакции,— шайка полицейских разбойников во главе с прокурором Раевским и с благословения саратовского окружного суда обвиняет ни в чем не виновных людей, однако и наш отчет и моя статья не печатаются. А в этой статье я хотел крикнуть на всю Россию: караул, людей режут! Кажется, их напугал объем материала и мой крик... А в материале очень много интересного... Разбойничающая полиция, ученая экспертиза дубины-Смирнова...»

Редактор газеты «Русские ведомости» Соболевский, вместо того чтобы поместить отчет, написал Владимиру Галактионовичу письмо, в котором сообщал, что согласен с обвинением.

— Вот почему не печатают наш отчет,— потрясая письмом Соболевского, говорил Короленко жене.— Я напишу этому трусу. Не будет печатать, черт с ним, есть и другие газеты.

«...А обвинение, как это будет особенно видно из речи прокурора,— писал он Соболевскому,— ставится не против одних обвиняемых. Весь Мултан будто бы решает... приносить жертву. И не только весь Мултан, а, пожалуй, и целый Вавожский край... Вы говорите — двойной приговор есть аргумент против подсудимых. А я говорю: дайте мне двух приставов и трех урядников, дайте мне двух священников, дайте мне старшину Попугаева, который будет «уплекать» свидетелей в закрытых помещениях, дайте мне 29 месяцев времени, дайте мне такой протокол вскрытия, дайте 5 слабужских мещан и 5 крестьян присяжных, откажите защите в вызове свидетелей и позвольте на суде говорить о слухах, неизвестно откуда исходящих, и я добьюсь вам приговора над ведьмой, над бабой-ягой, над оборотнем и над русалкой. Я даже разыщу вам живого старика Иванцова, лет 96-ти, который сам видел, как ведьма вылетала в трубу, или у которого баба-яга просила племянника Гаврилу «для резания». Да что там ведьмы, русалки, Раевский го-



тов судить и мертвых, в обвинительный акт он вписал Алек-
сандра Ефимова, умершего вскоре после первого же суда.

Дни и ночи работал Владимир Галактионович. Он гото-
вил отчет о елабужском процессе. Писал статьи в газеты
газеты против клеветы на удмуртов, редактировал кассацион-
ную жалобу Дрягина в сенат.

Три дня бушевала непогода. Ночами за окнами проти-
завывал ветер, порой казалось, что где-то плачет ребенок.
Всю ночь у крыльца стучала оторванная доска.

Но вот метель утихла. Дни стали ясные-ясные, небо чи-
сто-чистое — тронь, и зазвенит серебром.

В один из таких погожих дней Владимир Галактионович
вышел наколоть дров. После утомительной работы лучшим
отдыхом он считал физический труд.

За колкой дров и застал его Игнат Букин. О Короленко он
был наслышан и до письма Ильи Фомича: в эти годы в Ниж-
нем о нем говорили не только в среде интеллигенции, но и
среди рабочих.

По приезде в Нижний Владимир Галактионович решил
сам навестить Игната, прошел по меньшей мере версты три,
но Игната дома не застал и письмо вручил его жене.

Ах, как жалел Игнат, что так получилось. Сходить бы са-
мому и узнать подробности «мултанского дела». Да неудобно,
мало ли желающих поговорить с Короленко. Но нужда сама
привела его к Владимиру Галактионовичу. После елабужско-
го суда в газетах одна за другой стали появляться статьи,
одобряющие обвинение мултанцев и клевещущие на удмурт-
ский народ. Возмущенный Игнат решил вскрыть провокацион-
ную сущность «мултанского дела». Никогда прежде не писав-
ший в газеты, Игнат целые ночи проводил над статьей. За-
кончив статью, он решил показать ее Короленко.

И вот в один из воскресных дней Игнат отправился к не-
му. Всю дорогу он думал о том, как примет его такой боль-
шой человек. Да и примет ли вообще? Вот и нужный дом.
Игнат замешкался у ворот, потом решительно вошел. Под
навесом человек колол дрова. Игнат подошел к нему, поздо-
ровался и, кивнув на дом, спросил:

— Сюда я попал или нет?

— А вам кого?

— Мне бы Короленко.

— Короленко — это я,— сказал Владимир Галактионович,
вонзив топор в чурки.

Игнат растерялся: он никак не ожидал такой встречи. Ко-
роленко — и вдруг дрова колет, да еще в такую стужу.

И одежда на нем смешная: странная шапка, вродс как к тем-ной фуражке пришили наушники; старая, короткая, но широ-кая шуба, точно обрезанный тулуп; на ногах огромные под-шитые валенки с красными узорами. Нет, это, наверно, кто-нибудь из родственников Короленко.

— А скажите: Владимир Галактионович наверху или внизу живет?

— Владимир Галактионович — тоже я.— И Короленко шагнул к гостю.— Рассказ написали?

— Нет, я не писатель...— окончательно растерялся Иг-нат.— Я по «мултанскому делу»...

— По «мултанскому делу»? — крайне удивился Короленко.— Позвольте узнать: кто вы и откуда?

— Я здесь на заводе работаю, а сам с мултанской стороны, когда-то батрачил там.

— Вы не Букин? — сразу вспомнил Короленко.

— Да.

— В Мултане слыхал я о вас...— Владимир Галактионович внимательно посмотрел на сильное, мужественное лицо Игната с короткими усами, покрытыми инеем.— Ведь я к вам как-то заходил, но, к сожалению, не застал вас дома. Хорошо, что вы сами пришли. А письмо вашего знакомого я передал тогда вашей супруге.

— Получил, спасибо.

— Прекрасный человек ваш друг...

— Парамонов Илья Фомич,— подсказал Игнат, поняв, что Короленко запамятовал имя учителя.

— Да, да, Илья Фомич. Любят его в Мултане. Только по-хоже, что ему там размахнуться негде, жалеет, что он не на заводе.

— Можно и в деревне размахнуться, была бы охота. А вот если в стороне стоять, тогда и в городе ничего не сдела-ешь, ударят по правой, левую подставишь.

— О чем это вы? — настороженно спросил Короленко.

— Есть такие, попутного ветра ждут... Илья Фомич, он не такой...— Игнат вдруг смутился, решив, что не так и не то говорит, и быстро, но весьма неумело переменил тему разго-вора.— Недавно прочитал вашу статью. Здорово вы этих са-мых обвинителей! Сразу видишь, что невинных судят. Кто раньше верил, что удмурты виноваты, теперь прочтут — и сра-зу поймут: невиновные. Только вот в чем загвоздка: как объ-яснить людям, зачем такую кашу заварили?

— Вы что, какие-нибудь новости получили?

— Нет. Я пришел к вам за советом. Злость берет, когда

читаешь газеты. Терпежу никакого нет. Провокатори их ра-
шут и— только. На погромы подымают. Ну, я не выдержал
и тоже вот написал. Принес показать.

— Очень хорошо! Впрочем, чего же мы тут стоим, пойдем-
те в дом,— заторопился Короленко.

Отряхивая ноги у крыльца, Игнат окинул взглядом двор и
нерешительно сказал:

— По вашим рассказам, так вы, Владимир Галактионо-
вич, широту любите. А двор-то у вас тесноват.

— Зато навесы и конюшни просторные...— улыбнулся Ко-
роленко, стряхивая с курчавой русой бороды иней, и, глядя
на дом, сказал: — Крепко построено, кондово. Видите, сосны
какие? Сосна. Хозяин — архитектор Лемке. Немцы хозяйст-
венно живут. А крышу эту я терпеть не могу — словно небо
хочет проткнуть.

Поднявшись по узкой лестнице наверх, они разделись в
тесном, но теплом коридорчике и прошли в кабинет Владими-
ра Галактионовича. Это была небольшая комната с окном в
сад. У окна — письменный стол, рядом — конторка. Вдоль сте-
ны — полки и шкаф с книгами. В углу — груда журналов и
аккуратно подшитых газет.

Владимир Галактионович тотчас же стал читать статью
Букина. А Игнат, затаив дыхание, смотрел на Короленко. Ли-
цо Владимира Галактионовича выражало то радость, то
удивление, иногда он искоса поглядывал на Игната.

— А фамилия под статьей почему не ваша?

— Иногда приходится свою фамилию прятать.

— Вы революционер? — в упор спросил Короленко.

— До революционера мне еще далеко,— улыбнулся Иг-
нат.— А дорога моя с ними одна. Все к жизни присматрива-
юсь, стараюсь ума набраться.

— Это я вижу по вашей статье... Однако с грамматикой
вы не совсем ладите. Но это вам, очевидно, не мешает читать.
Вот здесь, например, в конце вашей статьи, есть строки из
«Коммунистического манифеста». Вы в тюрьме сидели? —
вдруг спросил Короленко, немало удивив Игната.

— Пока только готовлюсь,— рассмеялся Игнат.

— Готовьтесь,— совершенно серьезно сказал Владимир
Галактионович.— Тюрьмы вам не миновать. В статье вы о
самодержавии говорите такое! За это, брат, по головке не
гладят. Вы же почти открыто призываете отсечь голову само-
державию. В человеческом жертвоприношении вас, конечно,
не обвинят, но повесить повесят, обязательно!

— Значит, статью не напечатают?

— Об этом и думать нечего. А вот причину возникновения ...ского дела» ты назвал хорошо. В беседе с нами на ...ку мулланский учитель говорил почти этими же словами. — И Короленко прочитал вслух выдержку из статьи Игнатия. — «Самодержавие превратило жизнь народа в тюрьму, а само дрожит от страха перед всеобщим бунтом. Оно и понятно, так как в последние годы забастовки прошли по всей России. И самодержавие хочет перессорить между собой разные народы, чтоб они не объединились и чтобы не боролись вместе против гнета». А вы, видать, большой бунтарь, Букин? Крепко вы злы на жизнь.

— Не на жизнь, а на тех, кто жить не дает. Для нашего брата нигде нет жизни. В деревне из меня кулак жилы тянул, а приехал в город — попал, как говорят, из огня да в полымя. Мне сказали, когда приехал: «Если хочешь получить работу на заводе, иди к мастеру и попросись на квартиру, ему квартирант нужен». Хорошо, пошел я к тому мастеру. Он как раз чаевничал, сидел за столом в самом углу, а над головой икон видимо-невидимо и лампада горит. По виду — ну, прямо святой. А за копейку удавится...— Игнат вдруг оборвал рассказ и смущенно проговорил: — Опять я не о том... Мне бы о мултанцах узнать, которых судили. Григорий Дмитриев там есть. Может, помните такого? Как они там?

— Нет, нет, об этом после,— торопливо возразил Короленко, положив руку на колено Игната.— И о Григории и о других обязательно расскажу вам, а сейчас, прошу вас, рассказывайте дальше. Начали вы очень хорошо. Ну, как он встретил вас, мастер? Только, пожалуйста, подробней.

— А что о нем говорить! Одним словом, превратил он нас в настоящих батраков. Семеро жило нас у него. Вставали задолго до гудка, кормили лошадь, корову, убирали конюшню, хлев, расчищали от снега двор и за воротами тоже, воду таскали, дрова кололи, по воскресеньям ездили за сеном. А уж летом и совсем дыхнуть было некогда. Придешь бывало с работы усталый и дотемна таскаешь воду — огород-то надо поливать. А отпуск он всем нам приурочил к сенокосу. Косили не только ему, но и еще кому-то исполу. Наступила осень. Ну, думаю, сейчас все полегче будет. Ан нет. Заходит он к нам и так это мягко говорит: «Вот что, ребята, воду таскать вам с фонтана тяжело, давайте-ка во дворе колодец вырое». Ну, думаю, нет, хватит с меня. Взял манатки и перебрался на другую квартиру. И недели не прошло, смотрю — на меня штраф за штрафом. А в получку больше половины удержали. В следующую получку — то же самое. Штрафовали, конечно,

не только меня. Иной раз и не поймешь, за что они [illegible] то. Ну, и поднялась забастовка. Мастера тех [illegible] убрали.

— В Волгу бы его, подлеца! — с возмущением [illegible] роленко.

Короток зимний день, не успеешь оглянуться, а уж уже темно. Короленко и Букин и не заметили за [illegible] как стемнело.

Позвали пить чай. И за столом продолжали [illegible] суле, и тогда, когда Владимир Галактионович [illegible] дить Игната.

— Их, конечно, не оправдают,— безнадежно сказал И[illegible].

— Это почему же? — живо откликнулся Короленко.

— Дело ведь заварили власти, так я понимаю, [illegible] Игнат.— И они уж постараются настоять на своем.

Короленко внезапно остановился, постоял, напряж[illegible], глядя куда-то мимо Игната, и твердо сказал:

— Освободим!

Считая, что без личного участия ничего путного не получится ни с жалобой в сенат, ни со статьями, отправленными в разные редакции, Владимир Галактионович решил съездить в Москву и в Петербург.

К его приезду в Москву первые листы отчета, выпускаемого отдельным изданием, были уже готовы. Владимиру Галактионовичу пришлось еще поработать над книгой и только после этого выехать в Петербург.

В Петербурге он прежде всего встретился с сенатором Кони. Короленко подробно рассказал ему о слабужском суде и о своей поездке в Мултан.

— Жаль, не знаю стенографии,— сказал сенатор, когда Короленко кончил.— Хорошо говорите, Владимир Галактионович. Да, «мултанское дело»... Вот вы мне сейчас рассказали о правонарушениях на местах. А подумали ли вы, где причины этих нарушений? Здесь, в министерстве. Знаете, когда тут стало известно о том, что обнаружен труп? Ровно через два года. После первого суда я подал рапорт министру с подробным изложением нарушений на следствии и на суде. По фактам, изложенным в рапорте, министр сделал запрос прокурору казанской судебной палаты. Господин Черняпский изволил ответить ровно через пять месяцев. Причина затяжки, мне думается, и вам понятна: Черняпский ждал приговора слабужского суда и хотел этим приговором прикрыть не-

...уголовные дела чинов сарапульского окружного суда. По ...ходатайствам, представлениям Чернявским, уголовное отделе... ...департамента пишет доклад на имя министра. И что ви... ...думаете, какая резолюция последовала? Прокурору Раевско... ...му и следователю Каинскому за радение в службе, прояв... ...ленное в «мултанском деле», объявлена благодарность, а пе... ...реписку о нарушении законов чинами сарапульского окруж... ...ного суда приказано прекратить.

Владимиру Галактионовичу однажды уже довелось видеть Кони. Это было за год до его ссылки. Кони в то время состоял председателем петербургского окружного суда. Суд оправдал тогда Веру Засулич, застрелившую петербургского градоначальника Трепова. При выходе из здания суда жандармы пытались снова арестовать ее, но Засулич удалось скрыться. Владимир Галактионович помнит, какая была суматоха около здания окружного суда, как шныряли жандармы в многочисленной толпе, помнит эти беспрерывные свистки. Разумеется, Кони, своей властью оправдавший Веру Засулич, навлек на себя немилость царя и его приближенных.

Вспомнив сейчас эту историю, Короленко с тревогой подумал: решится ли Кони еще раз кассировать приговор по «мултанскому делу»? Захочет ли еще раз настроить против себя правительственные круги? Да и вообще странным казалось его поведение. Он, сенатор, человек, близкий к царю,— и вдруг, пренебрегая тем, что может непоправимо испортить свою карьеру, кассирует первый приговор. Да и в его сегодняшнем разговоре чувствуется почти враждебное отношение к министрам. Что это за человек? Нелепо, конечно, утверждать, что он против самодержавия. Искатель правды? Но много ли правды в правосудии? Вместо правды там подкуп и взятки. Нет, трудно это понять. Но что бы там ни было и кто бы он ни был, лишь бы кассировал второй приговор.

— Анатолий Федорович, не скажите ли, как смотрят на «мултанское дело» другие министры? Я не имею в виду Муравьева, с ним все ясно.

— Однако для полной ясности к сказанному о нем я должен, Владимир Галактионович, кое-что добавить. Между нами говоря, он слишком усердствует. Трудно сказать, чего тут больше — прислужничества или человеконенавистничества. Плеве — тоже на стороне обвинения. Вскоре после того, как сенатом была рассмотрена первая кассация защиты, мы с ним встретились на балу. Он прямо заявил, что отменой обвинительного приговора мы дискредитировали православную церковь. Видите, до чего договорился человек. «Ваше превосхо-

дительство,— сказал я ему тогда,— пока что я служу не пра-
вославию, а правосудию». А не так давно один из таких бог
господ прислал мне строго секретное отношение. Кстати, в
прошлом году на него была карикатура, долго гулявшая по
рукам: там изображен человек в ризе, с плеткой в руке. Не
догадываетесь?

— Похоже на Победоносцева,— Короленко улыбнулся.

— Так знаете, что он пишет в той секретной бумаге? Что
«мултанское дело» позорит всю православную русскую цер-
ковь в глазах других государств. Надо, говорит, как святой крест,
поднять обвинительный приговор, пусть весь мир видит, что
язычников, приносящих в жертву человека, христианство ис-
коренит со святого амвона православной церкви.

— Дело, конечно, не в этом, Анатолий Федорович,— сказал Короленко.— Вы сами понимаете — на скамье подсудимых сидят не только семеро мултанцев и не только весь удмуртский народ, но и другие инородцы. Ведь если будет утвержден обвинительный приговор, тогда придется в уголовном кодексе вписать статью о человеческих жертвоприношениях. А статью в законы государства из-за семи человек не включают, тут уже речь будет идти о пороках целой народности или нескольких народностей.

— Все это ясно и понятно, Владимир Галактионович. Я, конечно, постараюсь повлиять на ход дела в лучшую сторону. Но и вы должны помочь защите, я имею в виду печать. Пишите, как можно больше пишите, Владимир Галактионович. Помните, борьба будет тяжелой. Кассировать первый приговор было не так тяжело, а сейчас все идет не в нашу пользу: высшие чины нашего министерства тоже склоняются на сторону министра. Посмотришь, Владимир Галактионович, вокруг — и становится тошно. С виду — куда тут! — и фрак и бакенбарды — как у Победоносцева. А вглядишься поглубже — один стоит другого: либо пресмыкающийся перед власть имущими, либо просто мерзавец. И, представьте, они далеко видят друг друга. Недавно наш министр завел разговор о Расевском: было бы, дескать, неплохо устроить его в министерстве.

— Расевского? — изумился Короленко.

Эта новость поистине ошеломила его. И какое-то неясное подозрение, глубоко таившееся прежде, сразу отчетливо всплыло, но вместе с тем и испугало его. Значит, Расевский какими-то нитями связан с Петербургом. Вот оно откуда исходит, его особое усердие. Но где конец нитки? Какая невидимая тропочка ведет из Петербурга к месту убийства?

— Кажется, я вас немало удивил, Владимир Галактионо-
...? — продолжал Кони.— Так вот, министр не думает огра-
...читься одним Раевским. «В провинции, говорит, таких ум-
...ых и деятельных чиновников, как Раевский, немало». И я
...ал удивлен не меньше вас. А он, словно назло мне, вдруг
...кзетует присмотреть для Раевского подходящее место в се-
...ате. Ну, знаете, это уже было слишком! Я не мог не выска-
...ать ему своего возмущения и без всяких там разных экино-
...ов выпалил: «Ваше высокопревосходительство, таких подле-
...ов, как Раевский, достаточно и в Петербурге». Министр
...удивленно пожал плечами и, сказав «вы весьма тяжелый че-
...ловек», встал. Тем и окончился наш разговор.

Владимир Галактионович, слушая сенатора, понял, что с
...им можно разговаривать прямо.

— Анатолий Федорович, я понимаю, на заседании сената
...вам будет трудно, и тем не менее ухожу отсюда с полной на-
...деждой, что вы не дадите утвердить приговор.

— Постараюсь, Владимир Галактионович. Но сказать вам
сейчас что-нибудь определенное было бы преждевременно.
Вы сами понимаете, сколько тут всяких вокруг меня. Одни —
с плеткой, другой — с крестом, а министр, которому доверено
правосудие, перед Победоносцевым ходит на задних лапках.
Поэтому я не беру на себя смелость обнадеживать вас.

Тяжело было на душе после разговора с сенатором, но
Короленко не поддался мрачному настроению, а еще энергич-
нее взялся за дело. Он занялся поисками адвоката, который
выступил бы в сенате в защиту кассационной жалобы. Через
редактора газеты «Врач» он узнал фамилии видных врачей,
работавших в области судебной медицины, и написал им
письма.

На другой же день после заседания сената министр выз-
вал к себе сенатора Кони.

— Что вы натворили, Анатолий Федорович? — последовал
вопрос, как только вошел Кони.— С этим «мултанским де-
лом» вы поставили меня в крайне неприятное положение
перед его величеством. По одному и тому же делу суд дважды выносит приговор, а сенат оба раза кассирует приговор. Возможно, сам император не обратил бы внимания, но... вы сами знаете, Анатолий Федорович. Победоносцев — правая рука его величества. А ваше отношение к приговору по «мултанскому делу» Победоносцеву крайне не нравится. Он вчера же узнал, что приговор не утвержден. Из-за него я не мог

толком слушать оперу, он сидел рядом и все [illegible]
мне в уши. А сегодня утром прислал записку [illegible]
из-за «мултанского дела» старик не спал ночь [illegible]
пишет:

«Правосудие создано для того, чтобы [illegible]
что связано с именем бога и царя, а у нас [illegible]
часто превращаются в глумление над богом и [illegible]
весь мир будет говорить о наличии человеческого [illegible]
понения в России. Кассируя приговор, вы [illegible]
той церковью».

— Ваше высокопревосходительство,— улыбнулся К
мне кажется, старик сам не совсем понимает то, [illegible]
Если бы приговор утвердили, тогда, конечно, [illegible]
сказал: «В России существует человеческое жер[illegible]
вне, и это доказано правосудием».

— Возможно, это так. Но что мы скажем, если [illegible]
его величество?

— Если последует запрос, сошлитесь на меня, ваше вы[illegible]
копревосходительство.

— Хорошо. Только напрасно вы, Анатолий Федорович, в[illegible]
волите настраивать некоторых особ против себя. Да и было
бы из-за чего, а то из-за каких-то удмуртов... Не понимаю я
вас. Иногда вы мне кажетесь верным слугой императора, а
иногда вы гнете бог знает куда.

Всегда спокойный и уравновешенный, Кони вспыхнул. Он
ясно понял: министр делает прямой намек на то, чтобы сенат
пересмотрел свое решение. Желая окончить этот неприятный
разговор, Кони прямо, без обиняков, сказал:

— Ваше высокопревосходительство, я присягал перед бо[illegible]
гом и перед царем, чтобы любое дело нашло справедливое ре[illegible]
шение. Приговор по «мултанскому делу» — акт неправосуд[illegible]
ный. Со своей стороны считаю, что нет оснований для пе[illegible]
смотра решения сената. Подождем, что скажет третий суд.

Министр встал, постоял некоторое время молча, опершись
на массивный стол, и, в упор посмотрев в открытые глаза Ко-
ни, грубовато заявил:

— Вы когда-нибудь споткнетесь, Анатолий Федорович.

В словах министра Кони почувствовал явную угрозу. Трудно сказать, как бы он поступил, если бы услышал это на заседании сената. Но теперь на пересмотр решения он не даст согласия, если даже и последуют неприятности. Согласиться на пересмотр — значило бы отказаться от собственных слов, сказанных им в защиту мултанцев на заседании. Нет, он этого не сделает. Только на миг он ощутил страх перед воз-

...ностью потерять место, сан, испортить репутацию, но тут ...отстранил эту мысль.

— Правосудие, ваше высокопревосходительство, не игра в жмурки. Пересмотреть наше решение по «мултанскому делу» — это означало бы поставить сенат в крайне неудобное положение, более того — смешное.

— Хорошо,— сказал министр.— Посмотрим... Боюсь, как бы сами вы не очутились в смешном положении. Приговор третьего суда я вам кассировать не позволю. Вы это имейте в виду, Анатолий Федорович.

22

В театре во время антракта к Победоносцеву подошел министр Плеве. Звякнув серебряными шпорами, он подобострастно поклонился.

— Ваше высокопревосходительство, мне сегодня неожиданно преподнесли сюрприз.

На лице Победоносцева отразилась тревога, у него даже шевельнулись большие, оттопыренные уши.

— У вас, сударь, всегда сюрпризы. Опять где-нибудь забастовка?

— Нет, ваше высокопревосходительство. Я имею в виду так называемое «мултанское дело». Сенат кассировал приговор суда.

— Напугали вы меня, сударь,— сказал Победоносцев, вытирая лоб черным шелковым платком.— В последнее время ваши сюрпризы приносят лишь одни неприятности. И, заметьте, с тех пор, как началось строительство железных дорог, слово «забастовка» будто само катится со всех сторон по рельсам прямо в Петербург. Лучше бы нашей России без этих самых железных дорог, на тройках. Куда вселее! А?..— Он помолчал, шевеля толстыми губами, потом сказал: — О решении сената мне уже известно... Это позор православию! Я был весьма недоволен первой кассацией, а теперь должен сказать, возмущен! Либерализма много, сударь. Сенат... Но где был министр?

— Ваше высокопревосходительство, сенату предоставлена некоторая самостоятельность, и, кстати заметить, Кони этим пользуется. Будь моя воля, он давно был бы в Сибири.

Победоносцев посмотрел на Плеве суровым взглядом, его упрек он принял на свой счет.

— Мы многое делаем, сударь, вопреки воле государя...

Плеве не понял грубого намека Победоносцева, так как не знал за собой случая своеволия. Однако ему стало не по себе, и он поспешил оправдаться:

— Полиция раскрывает преступление, ваше высокопревосходительство, а когда это необходимо, применяет и оружие.

Заметив улыбку Победоносцева, Плеве осмелел и решил бросить тень на министра.

— Всю эту историю раскрыла полиция, а в остальном — дело правосудия, ваше высокопревосходительство.

Владимир Галактионович собирался перевезти свою семью в Петербург, но до устройства с квартирой семья оставалась в Нижнем, а он — в Москве. Тут он и встретился с Дрягиным, ехавшим из Петербурга.

— С праздником, с большим праздником поздравляю вас, уважаемый Михаил Ионович! — Короленко знал уже о кассации приговора.— Дважды добиться кассации — это редчайший случай в судебной практике. Это ваша заслуга, дорогой Михаил Ионович.

Высокий, солидный Дрягин смотрел на Короленко сущенно, прищурив глаза.

— Вас надо в первую очередь поздравить, Владимир Галактионович. Если б вы не помогли мне корректировать кассационную жалобу, я бы, пожалуй, с этими ведьмами и кладоискателями все дело испортил.

— Незачем, незачем скромничать, Михаил Ионович. Ну, а как Кони? Карабчевский?

— Ну, что вам сказать? Оба говорят прекрасно, но каждый по-своему. Один бьет на сознание, другой добирается до сердца.

— Между прочим, перед выездом из Нижнего я получил приятную весть. Анненский пишет, что Карабчевский якобы изъявил согласие взять кого-нибудь из мултанцев в подзащитные. И главное — бесплатно. Это было бы, конечно, очень хорошо. Борьба будет не легкой. Не согласитесь ли вы, Михаил Ионович, взять и меня в защитники? Как бы ни было, один ум — хорошо, два — лучше, а третий не помешает.

— Вы опередили меня, Владимир Галактионович. Следовательно, нас сейчас четверо: недавно и я получил письмо из Казани, присяжный поверенный Красников тоже изъявляет желание быть защитником.

— Прекрасно. Теперь нам надо подумать об экспертах.

Отписки отчета о елабужском суде я послал профессору Нотко и приват-доценту Беллину в Харьков и профессору Лепешкину в Казань. Мои статьи начинают подразживать ученые. В Томске, например, этнограф Кузнецов выступил с докладом в обществе естествоиспытателей. Вот кого бы пригласить экспертом! В прошлый приезд в Москву, да и в Нижнем тоже я беседовал с врачами — все утверждают, что Матюнин обезглавлен либо после естественной смерти, либо после того, как был убит. На днях я получил письмо из Цюрихского университета от доктора Амтсберга, который утверждает то же самое. Нам с вами, Михаил Ионович, надо во что бы то ни стало установить кто стоял в карауле у трупа в первые дни. Не был ли в карауле Мухин или Быков? А возможно даже, что к трупу прикасалась рука полицейского, например урядника Соковикова. Вот и надо узнать: до осмотра трупа врачом не был ли кто из полицейских у ямы, где хранился труп? А это можно, мне кажется, установить через караульных. Мне сейчас совершенно ясно, что труп Матюнина обезглавлен на лесной тропинке, а легкие и сердце удалены или там же на тропке, или в тот период, когда труп содержался в яме. Ведь становой Тимофеев труп раздевал и ставил на ноги, и никто не заметил отсутствия внутренностей.

— Я того же мнения, Владимир Галактионович. Обезглавление трупа, конечно, произошло после смерти Матюнина.

— Я полагаю,— продолжал Короленко,— что в газете «Врач» скоро появится статья против судебно медицинской экспертизы. Конечно, и Аристов, и Крылов будут втоптаны в грязь. А Минкевич — молодец, хотя и поздно, но все-таки понял темные махинации подлецов. Только пока что вы о статье никому ни слова, пусть эти негодяи до поры до времени будут в неведении. Сейчас, разумеется, весь ужас положения удмуртов понимают лишь отдельные лица, главным образом из среды интеллигенции, но когда-нибудь, Михаил Ионович, вам скажет свое сердечное спасибо весь удмуртский народ. А что может быть человеку дороже, чем народное спасибо. Все, что будет нового, я вам буду писать, Михаил Ионович. Пишите и вы. Перед третьим судом надо быть начеку: эти авантюристы неожиданно могут выкинуть черт знает что.

Владимир Галактионович был прав: обвинители все это время не дремали. После того как сенат кассировал приго-

вор слабужского суда, они тотчас же стали готовиться к третьему суду. Прокурор казанской судебной палаты Чернявский послал рапорт министру с просьбой назначить обвинителем на третий суд Раевского.

«По отзывам знатоков судебных процессов,— писал Чернявский в своем рапорте.— Раевский прекрасно подготовил следственный материал и блестяще произнес речь. Я лично тоже беседовал с ним. Он хорошо знаком с материалами «мултанского дела», знает быт, нравы и обычаи удмуртов, неплохо разбирается в вопросах судебной медицины».

После того как приговор был уже дважды кассирован, министру, очевидно, показалось не совсем удобным вручить все обвинение в руки одного Раевского. Ответственным обвинителем он назначил Чернявского, а в помощники ему — Раевского.

Этих господ прежде всего заботило, где будет происходить третий суд.

— Если будет в Казани, надо заранее ждать оправдательного приговора,— говорил Раевский.

— Почему? — удивился Чернявский.

— В казанском суде большинство присяжных из интеллигенции. О том, как они относятся к «мултанскому делу», вы сами знаете. На днях я получил письмо из Петербурга. Короленко там читал доклад среди каких-то студентов. Пишут, что в огромнейшем зале негде было не то что сидеть, но и стоять. После доклада толпа студентов шла за ним по улице. Так вот, мне думается, что присяжные казанского суда ничем не отличаются от тех самых студентов. Третий суд следует провести в таком месте, где присяжные еще не испорчены статьями, оправдывающими удмуртов, а надо сказать, что этих статей в последнее время стало появляться чересчур много, даже «Русские ведомости» напечатали полностью отчет Короленко о слабужском суде. Не понимаю, куда смотрит цензура.

— Как вы думаете, Николай Иванович, если назначить суд в Мамадыше? — предложил Чернявский.

— Лучшего места и не надо.

— Так-с. А как со свидетелями? До меня дошли слухи не совсем приятные о Шмелеве: якобы после статей Короленко против него начато следствие.

— После манифеста следствие прекращено.

— Так-с. Хорошо бы возбудить дело против самого Короленко... За оскорбление личности. Намекните-ка Шмелеву.

— Увы, Шмелев теперь, пожалуй, не осмелится. Следст-

и.о полностью подтвердило правильность фактов, указанных в статьях Короленко. Если бы не манифест, Шмелеву пришлось бы туговато. Но о Короленко все-таки надо подумать.

— Думать — это пустое, Николай Иванович. Делать надо. Достоверно известно, что на третьем суде он будет выступать в числе защитников.

— Короленко? — встревожился Раевский.

— Рановато тревожитесь, Николай Иванович. Короленко — хороший писатель, но едва ли из него может получиться хороший защитник. А вот они Карабчевского пригласили. Это уже, знаете...

— Карабчевского? Не может быть...

По совету Короленко для сбора дополнительных материалов Дрягин снова ездил в Мултан. По дороге из Мултана в Сарапул он написал Владимиру Галактионовичу:

«...Ваши подозрения касательно трупа кое-чем подтверждаются. В беседе с мултанцами, охранявшими труп, установил, что спустя месяц после того, как труп перенесли на мултанскую землю, где он содержался в яме, туда приезжал урядник Соковиков, причем привозил его не кто иной как Быков. И очень подозрительно еще вот что: прибыв к яме, урядник отослал караульных в Мултан якобы за снегом.

Дела с подготовкой к третьему суду вселяют тревогу. Местом разбирательства избран Мамадыш. Вместе с Красниковым мы направили протест в казанский окружной суд и требовали назначить суд в Казани. Разумеется, получили отказ, с мотивами более чем странными, пожалуй, даже глупыми. Нам пишут, что среди жителей Казани через газеты распространены различные слухи об убийстве Матюнина, тогда как в Мамадыше и окрестных деревнях почти ничего не знают об этом деле. И еще один преглупейший мотив: в Казань далеко являться свидетелям.

Я написал суду следующие вопросы: «Почему сельский житель Мамадышского уезда не должен знать то, что пишется в газетах? Что, они читать не умеют или туда газеты не доходят? Если окружной суд сам считает, что жители Мамадышского уезда безграмотные невежды, то почему он решает передать рассмотрение такого важного дела в руки невежественных людей? Матюнин был уроженцем Мамадышского уезда, следовательно, как же жители уезда могут не знать об убийстве Матюнина? Почему суд думает, что при-

сяжными заседателями будут только сельские жители, разве суд не намерен допустить на свои заседания присяжных, проживающих в самом Мамадыше?»

На мои вопросы окружной суд не ответил. Я выставил 12 свидетелей, в числе их вашего Семенова из Кузнерки, Петра Голубкова из д. Анык. Но... увы! В вызове выдвинутых мною свидетелей суд отказал. Я написал протест. И самое возмутительное то, что Раевскому дано право вызова дополнительно 13 новых свидетелей: следовательно, на третьем суде обвинение будет иметь 45 свидетелей.

Экспертом-этнографом я просил Кузнецова из Томска, по медицине — Леонтьева из Казани, но суд тоже отказал: эксперты будут все те же. Известием о Шмелеве могу лишь огорчить вас. В связи с манифестом, по случаю коронования Николая II, следствие прекращено. Но хорошо хотя и то, что он лишен полицейского мундира, следовательно, лишен возможности истязать людей. Боюсь только — надолго ли?..»

Весна 1896 года. Цветет черемуха. Владимир Галактионович стоит у открытого окна вагона. Леса, леса, поют птицы. Короленко стоит, глубоко задумавшись: что-то будет?

Скоро Москва. А там — длинный-длинный путь до Мамадыша. Владимир Галактионович достал дорожную карту и уже в который раз изучал свой маршрут. Казань. Оттуда по Волге до Камского устья, потом вверх по Каме, затем по Вятке. Надо бы на денек пораньше выехать. А как можно было выехать раньше? Вот перенес семью в Петербург — и сразу такое горе... Поправится ли дочка? Врачи ничего не обещают. Коклюш для таких крошек очень опасен. Но не мог же он остаться... Только бы не опоздать к началу процесса.

Но напрасно тревожился Владимир Галактионович. В Мамадыш он приехал за полночь, а утром начался суд.

Длинное, похожее на складское помещение здание суда. За большим столом председатель и два члена суда. Справа — присяжные. Тоже за столом, вблизи от барьера, за которым сидят обвиняемые,— защитники: Короленко, Карабчевский, Дрягин, Красников. Вправо от них за другим столом — обвинители: Раевский и прокурор казанского окружного суда Симонов, а за ними отдельно сидит главный обвинитель — прокурор казанской судебной палаты Черняевский.

Справа от судейство стола — эксперты: уездные врачи

Чижевич, Аристов, Крылов, эксперты-этнографы Смирнов и Верещагин.

В зале, в первом ряду,— профессор Томского университета этнограф Кузнецов, профессор Харьковского университета Потенко и профессор Казанского университета Леонтьев. В просьбе выступать на суде в качестве экспертов им было отказано, о чем Дрягин сообщил заблаговременно, но, несмотря на это, они приехали. Корреспонденты различных газет тоже расположились в первых рядах.

Присяга, чтение обвинительного акта и других документов заняли весь первый день заседания.

На другой день после опроса подсудимых Короленко попросил слово:

— Прошу записать в протокол, что в обвинительном акте в числе обвиняемых значится фамилия человека, которого здесь нет. Александр Ефимов умер после первого разбора «мултанского дела». Однако его фамилия фигурировала и на втором суде, фигурирует, как вы слышали, и здесь. Насколько я понимаю, мертвых не судят.

Раевский вспыхнул. Председатель удивленно посмотрел на него и попросил дать объяснение присяжным.

— На первом суде подсудимых было больше десяти человек,— начал объяснять явно смущенный Раевский.— Из числа обвиняемых некоторые оправданы, а некоторые, очевидно, умерли. «Мултанское дело», как вы знаете, тянется уже четвертый год. Фамилий много... могла и ошибка случиться.

— Оправдываться здесь поздно,— сердито оборвал его Чернявский, обозленный тем, что обвиняющая сторона с первых же минут оскандалилась.

Раевский еще более смутился и сел, опустив голову.

Вначале допрашивали становых и урядников. Короленко и Карабчевский своими вопросами часто ставили их в тупик.

— Что вы скажете насчет «медвежьей присяги»? — спросил Владимир Галактионович бывшего пристава Шмелева, явившегося на суд в штатской одежде.

— Этого не было,— совсем несвойственным ему робким тоном проговорил Шмелев. Как-никак, а, видно, струхнул он во время следствия.

— Послушайте, свидетель,— резко обратился к нему Карабчевский,— вот вы здесь говорите, что «медвежьей присяги» не было. Зачем же тогда вы привозили в Мултан с дачи Львовского чучело медведя?

Не зная что ответить, Шмелев молчал. Просящими гла-

зами он посмотрел на Распского и еле слышно проговорил:

— Об избиениях напрасно говорят, этого не было.

— А «медвежья присяга» была все-таки? — не унимался Карабчевский.

— Господин председатель,— вскочил Распский.— Шмелев вызван в свидетели, между тем господин защитник разговаривает с ним как с подсудимым.

— «Медвежья присяга» была устроена с целью вынудить признание от обвиняемых, поэтому свой вопрос я не считаю несуместным,— резко отчеканил Карабчевский.

Для того чтобы окончательно сбить с толку растерявшегося Шмелева, Короленко тоже задал ему вопрос:

— Вот вы, свидетель, в шалаше на перекладине нашли волос, не волосы, а именно волос, один-единственный. Из обвинительного акта мы знаем, что Матюнин был подвешен за ноги. Каким же образом у человека, подвешенного вниз головой, волос очутился на перекладине?

По залу пробежал смешок, а кто-то откровенно громко рассмеялся.

— Волос я нашел на перекладине, а как он туда попал, об этом пусть скажут эксперты.

— Судя по вашим протоколам, голова Матюнина была отрезана в шалаше. Откуда же тогда целый пучок волос нашли на гати? Вот они, эти волосы, на судейском столе.

— Об этом пусть скажет пристав Тимофеев, я не знаю.

Следующий свидетель — урядник Соковиков. Он опирается на палку, хромает, еле-еле передвигает ноги. По пути в Мамадыш они вместе со Шмелевым остановились в Вятских Полянах и крепко выпили. Пароход пришел ночью. Спеша на пристань, пьяный Соковиков в темноте упал и вывихнул ногу.

Вначале на вопросы Короленко он отвечал отрывисто и зло, но когда Короленко припер его к стенке неопровержимыми фактами, урядник сразу же присмирел.

— Господин председатель,— сказал Короленко,— я прошу записать следующие факты: урядник Соковиков вместе с Быковым из деревни Анык приезжают к яме, где содержится труп. Мужиков, охраняющих труп, Соковиков отсылает в Мултан за снегом. А их было три человека. Пусть свидетель Соковиков ответит перед присяжными заседателями: почему ему понадобилось посылать за снегом всех троих?

— Соковиков, что вы скажете на это? — спросил председатель.

— И сам не пойму, почему я действительно всех троих

...слял за снегом. Если бы знал, что может такое случиться, ...чно, всех бы не послал.

Вошел Илья Фомич. Встав перед судом, он повесил трость на левую руку и снял очки. Увидев среди защитников Коленько, Илья Фомич поклонился ему.

— Свидетель Парамонов, расскажите суду, что вам известно о человеческом жертвоприношении,— предложил председатель.

— Господин председатель,— сразу резко и раздраженно заговорил Илья Фомич,— я один из тех, кто искренне не верит в это мрачное, я бы сказал даже — грязное дело. Я — свидетель защиты и прибыл на суд сказать слово правды в защиту подсудимых. Вашу просьбу рассказать о человеческом жертвоприношении считаю по меньшей мере издевательством над свидетелем защиты. Восемнадцать лет учительствую я в Мултане, но никогда ничего подобного не слыхивал. Зато за последние четыре года не только наслышался о чудовищных историях, творимых полицейскими, но многое и собственными глазами видел. Я вам приведу сейчас одну ужасную цифру...— Илья Фомич умолк, листая записную книжку. Но вот на какой-то странице он задержался и, в упор посмотрев на судью, продолжал: — С того злополучного дня, когда был обнаружен труп нищего Матюнина, по сей день в Мултане и близлежащих деревнях полицейскими избито сто восемьдесят семь человек. У меня здесь полный список подвергшихся избиению и пыткам. Это не просто обычный список имен и фамилий, господин председатель, этот список — обвинение правосудию и, если хотите, это и его позор. У меня имеется и другой список — список избивающих и истязающих. В нем, кроме урядников и становых, значится земский начальник, волостной старшина и даже священник — он тоже не преминул принять участие в этом позорном побоище. Исповедуя верующих, он счел своим долгом помочь урядникам и становым и стал выспрашивать каждого о человеческом жертвоприношении. Видно, обозленный тщетностью своих усилий, он так дернул за волосы жену Мокея Власова, что та ударилась лбом о каменный пол.

— Это кощунство! — вскочил Раевский.— Свидетель Парамонов, вас сюда вызвали не болтовню разных баб рассказывать, а говорить то, что вы сами видели. Что касается избиений, вы могли составить список не только на сто восемьдесят семь человек, а на всех жителей Мултана и окрестных деревень. Суду нужны факты, и очень жаль, что вам дозволили говорить здесь все, что вам взбрело в голову...— закон-

чил Раевский, бросив прямой упрек председателю суда.

— Если вам угодны факты, господин прокурор,— уже спокойнее продолжал Илья Фомич,— то один из тех, кого избивали и даже искалечили, находится здесь, в комнате свидетелей. Это Николай Григорьев — внук подсудимого Григорьева Акмара. Его сюда, наверное, введут под руки. Его держали в дымной бане, затопленной специально для пыток, его вешали, его душили... Я своими глазами видел, как истязал его становой пристав Шмелев, не случайно получивший в Мултане кличку «Черного зверя». И этого Григорьева вызвали в качестве свидетеля те самые люди, которые его искалечили. Что это, по-вашему, как не издевательство над человеком?

— Свидетель Парамонов, здесь судят не полицейских,— оборвал председатель Илью Фомича.— Говорите об убитом.

— Если бы можно было не говорить о них, я бы не сказал ни слова, господин председатель. Но это невозможно. В «мултанском деле», за что ни возьмись, о чем ни говори, все связано с урядниками и становыми. Вы предлагаете мне говорить об убитом. Но, к сожалению, убит не только Матюнин. В первый же год, как началось «мултанское дело», в деревне Кузнерке повесился сотский. Перед этим он сказал своей жене: я-де больше не работник, урядник все легкие отбил. Повесился человек и в деревне Аныk. Случилось это ночью, а вечером его вызывал урядник Соковиков. Я специально по этому делу ездил в Малмыж, заявлял исправнику, а письменно заявлял и вам, господин прокурор,— Илья Фомич повернулся к Раевскому,— но вы не сочли нужным направить туда судебную экспертизу; возможно, это было вам невыгодно.

Раевский снова вскочил и заговорил уже тоном приказания:

— Я еще раз обращаю ваше внимание, господин председатель, на то, что свидетель не только оскорбляет, но прямо клевещет на лиц, призванных оберегать честь правосудия.

Председатель сделал замечание Илье Фомичу. Тогда он перешел к изложению провокационной сущности «мултанского дела», направленной на разжигание национальной розни. Председатель снова прервал его, на сей раз долго потрясал в воздухе колокольчиком.

— Я понимаю, господин председатель,— сказал Илья Фомич,— это политическое дело, и о нем здесь говорить, очевидно, нельзя. Но вы, вероятно, и без меня знаете, как и с чего начинаются погромы. Так вот именно...

— Свидетель Парамонов, я лишу вас слова! — возмутился председатель.

— Я это предчувствовал, господин председатель. Каков будет приговор, я не знаю; но в виновность удмуртов народ не поверит. Народ, который вы считаете темным, невежественным, с которым, по мнению некоторых, можно делать что угодно, сердцем чует, зачем затеяно это грязное дело, заставляющее терять всякую веру в наше правосудие, за честь которого денно и нощно стараются такие, как прокурор Раевский.

— Свидетель Парамонов, садитесь! — почти крикнул судья.— Новицкого! — приказал он судебному приставу.

Перед судом — елабужский земский начальник Новицкий. Седеющая борода земского аккуратно разделена на две половины и похожа на огромные усы.

— Дед мой был дьякон,— степенно заговорил Новицкий.— Собирая на церковь, он бывал и в удмуртских деревнях. Однажды, тихой ночью, он ехал по удмуртской деревне и в одном из дворов услышал голоса. Подошел дед к забору, посмотрел в щелку, и волосы у него встали дыбом. Посреди двора стоял стол, накрытый белой скатертью, а за столом старцы — все седые, одетые во все белое, и все точат большие ножи. Тут же, на земле, сидит бледный как смерть молодой человек, и такой испуг в его красивых черных глазах! Ну, увидев эту страшную картину, дед мой до смерти испугался и убежал. А когда добежал до конца деревни, услышал нечеловеческий крик. Наверное, этого черноглазого те старики стали ножами тыкать...

Владимир Галактионович перестал писать, нахмурившись, посмотрел на Новицкого и спросил:

— Господин Новицкий, вы приехали из Елабуги в Малмыш только для того, чтобы рассказать суду эту сказку, или у вас еще много подобных в запасе?

Новицкий, кажется, не понял насмешки Короленко и действительно стал рассказывать вторую сказку.

— В другой раз дед проезжал лесом. Навстречу ему попались старцы — все седые, одеты тоже в белое, и все верхами. А у старика, который впереди ехал, было перекинуто через седло тоже что-то белое. Дед мой спрятался за дерево и через некоторое время услышал дикий крик...

— Господин Новицкий,— снова обратился к нему Короленко,— в первой вашей сказке ваш дед страшную картину видел ночью. Так, кажется?

— Да, да, дело было ночью,

— Как же он в ночной темноте мог разглядеть синее-но блеклое лицо и черные, прямо красные глаза мужчины-человека?

Этот вопрос вызвал улыбку не только в зале, но заулыбались и присяжные заседатели. Однако Новицкий не растерялся и тут же ответил:

— Глаза у моего дела были очень зоркие, острые, даже по старости лет он без очков вдевал нитку в иголку.

Теперь в зале уже откровенно засмеялись. Чтобы окончательно оскандалить старика болтуна, Карабчевский спросил:

— Господин Новицкий, возможно, вы помните еще и бабушкины сказки?

— Бабушку я не помню,— совершенно серьезно ответил Новицкий,— когда она умерла, я был еще слишком мал.

В зале раздался дружный смех. Председатель тряхнул колокольчиком.

— Введите Санникова Тимофея,— приказал он судебному приставу.

Санников вошел, опираясь на палку. На нем был ветхий черный костюм и старые, видавшие виды яловые сапоги со следами мучной пыли. И борода его тоже была то ли в мучной пыли, то ли тронута сединой. Во всяком случае, старик был еще бодр и говорил бойко.

— Суточным был я тогда. В воскресенье вечером сотский привел ко мне нищего. Ночевал у меня. Утром спросил дорогу на Копки и ушел. От меня ушел, а у сына опять ночевал нищий. С сыном мы рядом живем. Тот ли — не знал, не знаю.

Короленко: Тот, который ночевал у вас, не говорил, откуда он?

— Говорил — из Ныртов. На вид здоровый был.

— Одежду признаешь? — спросил председатель.

— Зипун его, заплатка вон синенька. Его это.

Карабчевский: Вы, Санников, правду говорите?

— Старик я... Мне, старику, грех врать. Я присягу давал. И рубаху помню, синенька рубаха. Шапка старенька, на манер татарской. Шапку маленько помню.

Раевский: А ты помнишь, в Копки или в Мултан ушел он от тебя?

— Про то не знаю, за ним не ходил. Дорогу спросил в Копки, а может, и в Мултан ходил, не знаю.

Карабчевский: Господин председатель, для того чтобы удостоверить, что Матюнин в ночь на пятое мая дейст-

ительно ночевал в Кузнерке, прошу сейчас же допросить следующего свидетеля из Кузнерки.

Обвинители не возражали.

Вошел Санников Николай, сын Санникова Тимофея, человек лет пятидесяти, широкий в плечах, с большой окладистой черной бородой.

— Четвертого мая выборный привел ко мне нищего,— рассказывал он.— Меня дома не было, и его не пустили. Ожидая меня, выборный и нищий сидели под окном. Когда я пришел, прежде чем войти в избу, расспросил его, откуда и кто такой. Говорит: из-за Вятки, из Ныртов. Прошлой ночью, говорит, вот тут ночевал,— показал на дом отца.

Короленко: О болезни он вам ничего не говорил?

— Жаловался. «Слаб, говорит, здоровьем». А я путем и не спрашивал.

Короленко: Кто его у вас видел?

— Семенов видел. У него лошадь захромала, мою просить приходил.

Подсудимые поняли, что показания Николая Санникова сталкивают с их плеч огромный камень. Однако один он не в силах его столкнуть, ему должен бы помочь Семенов, но его нет на суде. В вызове этого свидетеля защите отказали.

Ввели Петрована Голубкова. Его вызвали из Вятских Полян, где он устроился работать на пристани. На нем была старая брезентовая куртка. Его давно не стриженные льняные вьющиеся волосы закрывали воротник синей ситцевой рубашки.

Когда председатель начал допрос, Карабчевский спросил Короленко:

— Этот самый слышал в лесу ссору Гришиной с мужем?

Короленко утвердительно кивнул.

— Свидетель Голубков, что вы слышали в лесу? О чем говорили Гришина с мужем?

— Что-то спорили они. Муж заставлял Дарью повеситься. Я, говорит, все равно жить с тобой не буду. Мирошку, говорит, пусть твой зять кормит. А Дарья ему говорит: «Из-за вас один уже повесился, хватит, а если я и повешусь, сначала расскажу всем, как вы убили нищего».

Раевский: При их разговоре, кроме тебя, был кто-нибудь?

— Я один да елки, кроме никого.

Раевский встал и нервно спросил:

— Свидетель Голубков, кто учил тебя давать такие показания?

Защитники были возмущены вопросом Раевского. Карабчевский метнул на него недобрый взгляд и тоже встал.

— Господин председатель! — сказал он, подавшись всем корпусом вперед.— Кто дал право обвинителю так цинично оскорблять свидетелей? Здесь священное место правосудия, обвинитель же превращает его в картежный дом.

Раевский понял, что хватил через край. Он встал и поклонился в сторону председателя:

— Простите, я погорячился.

— Для горячих тут вот графин с водой,— сердито покосился на него председатель.— Что еще имеете спросить у свидетеля? — обратился он к защитникам.

Карабчевский: Господин председатель, требую очной ставки Голубкова с Гришиной.

Суд не возражал, и судебный пристав ввел Дашу. Она очень изменилась. Лицо округлилось, светлые волосы выбились из-под нежно-голубого платка. Каким чудом вернулась к ней былая девичья краса? Только глаза, прежде кроткие, сейчас смотрели в упор, вызывающе.

В последние годы Даша осмелела, она наконец поняла, в чем ее сила и в чем слабость мужа. Не успеет он затеять скандал, как она тут же грозит ему. Притихнет Яшка и больше ни слова. И не только на мужа, но и на свекра стала Даша покрикивать.

В неистовой злобе сжимал кулаки Агафон Романыч. Но что он мог сделать? Знал, что сила в руках невестки. И Даша постепенно стала верховодить в семье Дроздовых и, почувствовав свою силу, потеряла всякую совесть.

Дроздов как-то привез овчины черной дубки для тулупа. Перед рождеством он позвал портного. Разложив овчины на полу, они стали подбирать мех для воротника. Как раз в это время вошла в избу Даша. Она подняла шкурку, повертела се, погладила по длинной мягкой шерсти и тоном, не терпящим возражений, сказала старику портному: «Мне шубу сошьешь из этих овчин. Снимай мерку».

Портной удивленно посмотрел на хозяина: кого, дескать, слушать? Дроздов промолчал, махнул рукой и вышел.

«Я тебе что сказала? — прикрикнула Даша на портного.— Не тулуп будешь шить, а мне шубу. Что уставился? Говорю, снимай мерку».

Портной снял с носа очки, торопливо положил их в футляр, так же быстро оделся и завернул в карман свой портновский инструмент. В дверях он остановился и серлито сказал: «Зелена еще на меня кричать. Со свекром, может, и

[illegible] так, а что ты ее ударила. На его месте я [illegible] — И, хлопнув дверью, [illegible]

[illegible] взяла и у него из чулья и сшила себе шубу На- [illegible] ры мужа не помогли, она каждый [illegible] ругательски обзывала: «Замолчи! Сама знаю, что делаю. Он [illegible] в тулуп расхаживать, а я мерзни. Тоже еще муж [illegible]! Есть у него старый тулуп, и хватит с него».

От себя Аграфена Романовна гневалась и рвала на себе волосы. «А Даше что — хоть головой об стенку бейся.

— Гришина, скажите суду: в тот год, когда был найден труп вашего, вы с мужем осенью были зачем-нибудь в лесу? — спросил председатель.

— Были. В ту осень часто бывали в лесу, жерли рубили.

— Из-за чего вы ссорились с мужем?

— Мало ли что бывает в семье. Что-то и не помню.

— Свидетель Голубков, напомните Гришиной ее разговор с мужем.

Петрован по порядку рассказал все слышанное. Даша слушала его подчеркнуто удивленно, пожимая плечами. Но внимательно всмотревшись в ее глаза, в них можно было прочесть скрытый испуг.

— Что ты, дядя Петрован, во сне, что ли, приснилось тебе? — говорила она, не глядя на Петрована, а обращаясь к председателю.— В лесу мы ни одной живой души не видели. Не было этого! — Даша повысила голос.— Если мне не верите, спросите мужа, вон он сидит,— она указала пальцем в зал.

— Свои показания Голубков Петр не может подкрепить показаниями других свидетелей,— раздельно произнес председатель,— поэтому суд не принимает их во внимание.

Перед судом один за другим проходили свидетели — пятьдесят одни человек: из них сорок пять вызванных обвинением, шесть человек — защитой.

Шестой день шло заседание суда. Чувствовалось, что присяжным уже надоело бесконечное сидение. Стараясь изучить настроение присяжных — а их было двенадцать человек,— Короленко подолгу рассматривал каждого. Особенно угнетающее впечатление производил торговец с грузной фигурой, с густыми волосами, подстриженными в скобку. Он сидел, выковыривая спичкой грязь из под ногтей, и своими серыми глазками неприязненно поглядывал на подсудимых. Рядом с ним дремал старик с безобразно ожиревшим лицом. Скри-

в'в рот, он вдруг вздрагивал, просыпался, тупо смотрел в сторону обвиняемых и качал головой.

Особенно тяжело становилось на душе Владимира Галактионовича, когда он смотрел на этих двух присяжных. Они, не дрогнув, подпишут любой приговор: каторга так каторга, виселица так виселица.

За шесть суток Владимир Галактионович ни одной ночи по-настоящему не спал: снова и снова перечитывал он обвинительный акт, делал выписки из книг и журналов по этнографии, читал «Творения Тертуллиана», книги Каспера и Гофмана по судебной медицине.

— Наш Владимир Галактионович готовится слать экстерном на этнографа,— шутил Карабчевский.

— Смех смехом,— заметил профессор Кузнецов,— а на душе у него, наверное, очень тяжело. Дочка, оказывается, серьезно больна. Вчера мне карточку показывал, совсем маленькая, года нет. Говорил о ней, а у самого слезы на глазах. И тут — неизвестно, чем дело с судом кончится, и там — исход болезни неясен. Если и то и другое обернется против него, Владимир Галактионович не выдержит, слягжет.

Но, рассказывая все это Карабчевскому, Кузнецов, так же как и сам Владимир Галактионович, не знал, что восьмимесячная Оля Короленко скончалась вскоре после отъезда отца.

На седьмой день суда после обеденного перерыва выступили с обвинительными речами Раевский и Симонов.

На следующий день заседание началось речью защитников Красникова и Дрягина.

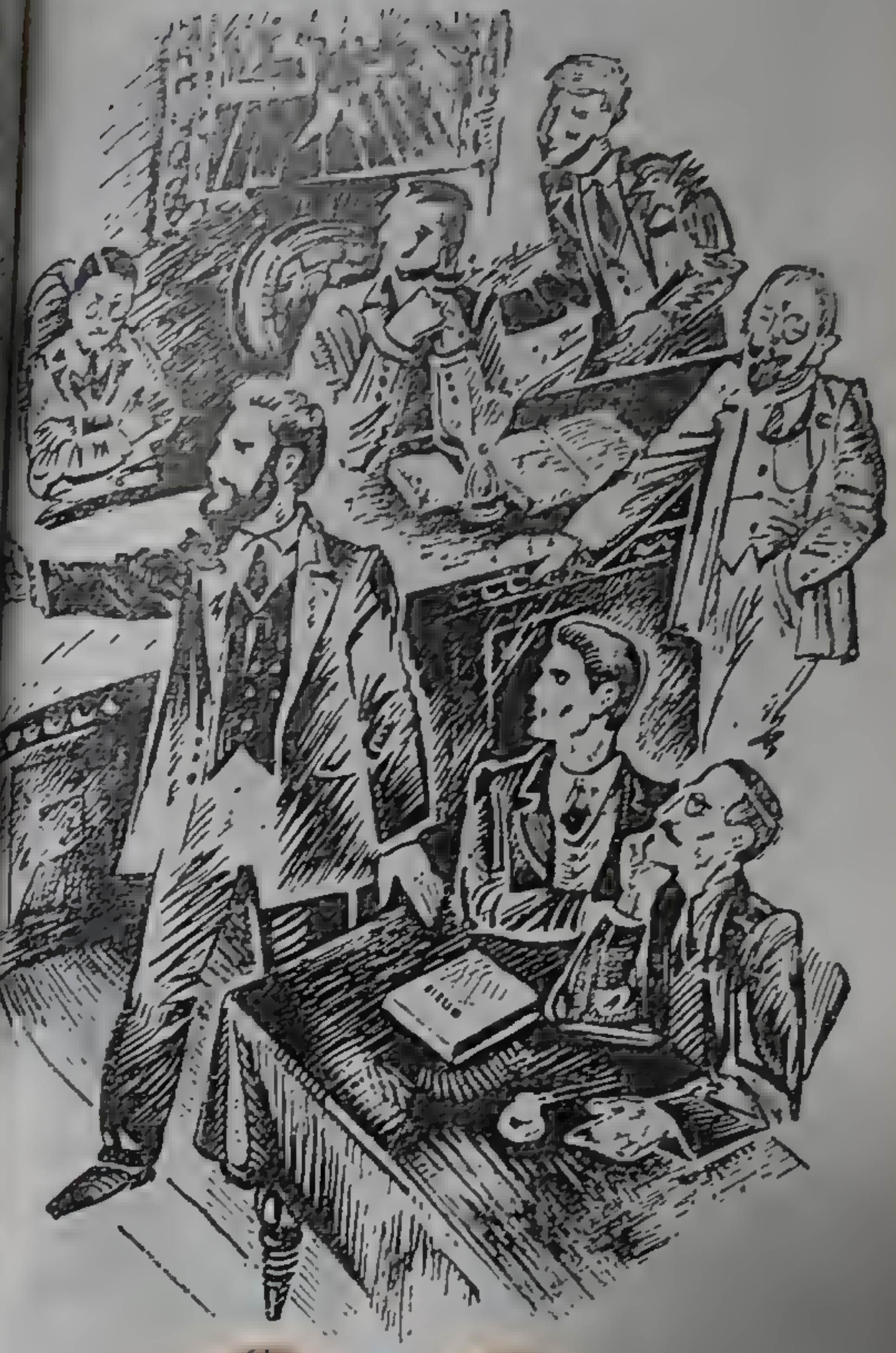
Между Короленко и Карабчевским разгорелся спор: кому раньше выступать? Карабчевский — известный всей России адвокат, поэтому Короленко хотелось выступить до него.

— Говорить после вас,— все равно что после хорошей метлы граблями возить,— сказал Владимир Галактионович.

Карабчевский, тряхнув копной волос, положил обе руки на плечи Короленко:

— Знаете что, Владимир Галактионович, из всех речей самой лучшей будет ваша. Уверяю вас. Да что я, собственно, стараюсь убедить вас, потом сами увидите.

— Разумеется, увижу,— рассмеялся Короленко,— увижу, как сяду в лужу и останусь в дураках. Ну, что бы там ни было, а грех все-таки будет на вашей душе. Хорошо, я буду говорить после вас.



Четыре часа говорил Карабчевский, тем не менее не т... ко публика, но и присяжные слушали его речь, затаив дых... Наступила очередь Королёнко. Несколько робко п... ел к кафедре. С минуту постоял, о чем-то думая, пр... кой по густым волнистым волосам, зачесанным назад, и ... чал сразу искренне и горячо:

— Господа присяжные! Перед вами семь об... семь удмуртов. Вместе с ними перед вами на скамье п... димых весь удмуртский народ. Ваш приговор для этих об... обвиняемым может явиться для всего удмуртского ... страшным ударом, но он может еще войти в каждую удм... ную [illegible], в вековую удмуртскую избу, как бе... ство.

Перед вами семь удмуртов, представители народа, ко... рый не одно столетие живет вместе с [illegible] ... му лучшему у этого великого народа.

Обвиняемые поставлены в чрезвычайно тяжелое п... ние. Против них вызвано больше сорока свидетелей, ср... которых два полицейских пристава, четыре урядника, ... [illegible]. Два земских начальника, волостной ста... ста, старшины и лишние, которые собирают слух... полняют их своими измышлениями и разносят по всей удмур... ке-Руси. Прокурор Раевский мог бы и себя зачислить в сви... детели.

Вы знаете, что на первом и втором разборе «мультипли... ла» со стороны подсудимых вообще не было свидетелей. Но на этот раз защите с большим трудом, преодолевая, мо... но сказать, грубое сопротивление обвинения, удалось вызвать в помощь себе очень небольшое число свидетелей. Об этом факте я говорю не случайно, господа присяжные. Свидетели вызываются на суд для того, чтобы установить истину в деле, подлежащем разбору. В данном случае обвинение не было в этом заинтересовано.

На этом разборе свидетели защиты, пусть их было мно... го, оказали нам большую помощь, господа присяжные. И не только они, но и многие свидетели, вызванные обвине... нием, помогли вам понять истину. Вы сами слышали здесь, как один из них, возражая против протокола следователя, сказал: «Откуда я знаю, что писал следователь, я ему так не говорил».

В процессе разбора дела мы с вами не раз встречались с фактами, которые и удивляли и возмущали нас. Когда чита... ли обвинительное заключение, вы, вероятно, как и

немало удивились следующему обстоятельству: в обвинительном акте подсудимых значится восемь человек, между тем вот здесь, за барьером, на скамье подсудимых их семь человек. Где же восьмой подсудимый? Его нет в живых, господа присяжные, он умер вскоре после первого разбора дела. Вы сами слышали, что сказал обвинитель в свое оправдание: много было обвиняемых, поэтому так получилось. Очевидно, обвинитель придерживался такого мнения: чем больше будет осужденных, тем большее поощрение он заслужит. Впрочем, его рвение не пропало даром: за усердие «в раскрытии» «мултанского дела» он уже официально вызван для службы в министерство юстиции. (В зале и среди присяжных движение.) Кого он будет там предавать суду — живых или мертвых, об этом нам точно мог бы сказать лишь Николай Васильевич Гоголь, будь он в живых. Одним словом, господин Раевский натянул нос самому Чичикову.

Господа присяжные, господин председатель! Вы все слышали речь обвинителя Раевского, не лишенную красноречия, ярких красок и художественного вымысла, но вместе с тем безудержной лжи и клеветы как на удмуртский, так и на русский народ. Вместо того чтобы убедительными доводами подтвердить правильность обвинительного акта, господин обвинитель большую часть своей речи посвятил тому, чтобы настроить вас, господа присяжные, против удмуртов. Наступил голод — виноваты удмурты, вспыхнула какая-либо эпидемия — виноваты опять же. Одним словом, все беды, все лишения и невзгоды народов нашей необъятной многострадальной матушки-России он свалил на плечи удмуртов. Они, мол, язычники, они не почитают бога, отсюда и все зло. Затем он здесь по всеуслышание сказал, что удмурты для человеческого жертвоприношения выбирают именно русских, потому что якобы эти два народа испокон веков враждуют между собой. Чтобы подтвердить это, Раевский привел несколько примеров мелких ссор и драк, какие обычно бывают в праздники между пьяными. Но мы знаем и другие драки, когда удмурты и русские били вместе кое-кого. Однажды они били — как они сами выражаются, «били сообща» — урядника, приехавшего в Мултан выколачивать недоимки. Здесь свидетель Иванцов тоже рассказывал, как его били. Кто бил? Удмурты и русские вместе. По истории мы знаем более крупные случаи, когда удмурты и русские поднимались вместе против своих угнетателей.

Председатель поднял колокольчик.

— Господин защитник, прошу говорить о вещах, имеющих прямое отношение к человеческому жертвоприношению.

— Хорошо, господин председатель. Так вот. Становой пристав Тимофеев для обыска в Мултане велет туда больше пятисот человек понятых. Перед тем как приступить к обыску, он собирает у пожарного сарая старост и сотских десяти деревень и говорит им: «Перевернуть все. При малейшем сопротивлении — бить!» Этот факт я привожу не случайно, господа присяжные. Становой пристав открыто подбивал понятых на погром. А что делают понятые? Я сам был в Мултане и лично беседовал с мужиками. Давайте и мы с ними мысленно перенесемся в Мултан и будем из двора во двор ходить за понятыми. Вот восемь человек идут к Петрову Никифору. Никифор с сыном ставят новые столбы для ворот. Вместо обыска понятые помогают им ставить столбы. В другом месте они веют зерно. Во дворе Серегина Ивана, рассевшись на зеленой лужайке, слушают сказку; у соседа выхаживают лошадь, заболевшую коликами, причем сюда собирается больше тридцати человек, каждому хочется чем-то помочь удмуртской семье, попавшей в беду, ибо каждый знает, что значит лошадь для крестьянина. Я бы мог продолжить примеры, но достаточно и этих, из которых мы видим, что понятые не вняли погромным призывам станового пристава.

Простой русский народ оказался куда благоразумнее недальновидного, не знающего его жизни Тимофеева. И, возмущенный невыполнением его приказания, пристав Тимофеев начинает сажать в каталажку одного за другим, на сей раз уже русских. До сознания станового пристава не дошло одно важное обстоятельство: в каталажку можно посадить людей, но дружбу не посадишь. Она, эта дружба между удмуртами и русскими, возникла в совместном труде, в совместной борьбе против тягот жизни, во взаимной помощи и взаимной выручке в дни невзгод и лишений.

Вот, к примеру, обвиняемых семь человек, а двое из них — Петров Никифор и Камаев Антон — из года в год пашут и сеют с русскими. У одних земля есть, лошади нет, у других — наоборот. А сколько таких работающих сообща, и сколько по всему удмуртскому краю смешанных деревень, где живут удмурты и русские вместе!

После этого я спрашиваю вас, господин обвинитель: могли ли не знать русские, если бы у удмуртов существовал обычай человеческого жертвоприношения? Между тем обвинитель всячески старается, я бы сказал даже — изощряется,

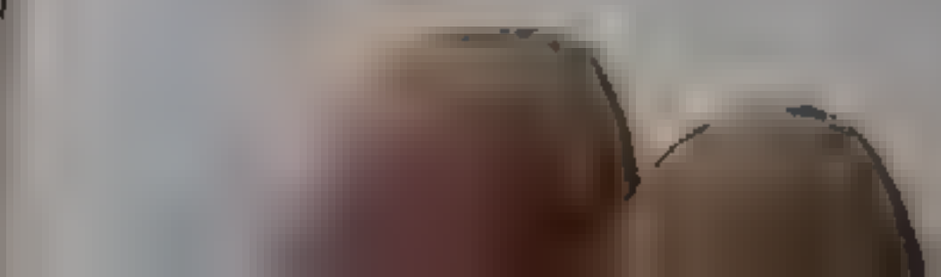
чтобы заставить поверить вас в это. Он утверждает, что в сорок лет один раз, при каком-либо всенародном бедствии, приносят в жертву не только животных, но и человека. Прием и обвинители и эксперты утверждают, что труп убитого при этом не прячется от людских глаз, а вывозится на такое место, где его могли бы быстро обнаружить и предать земле по христианскому обычаю.

Вы знаете, господа присяжные, в удмуртском крае удмуртских деревень не десятки и не сотни, а тысячи. Следовательно, в каждые сорок лет один раз полицией должны быть обнаружены тысячи обезглавленных трупов. Защитник Дрягин представил суду большой исследовательский труд этнографа Луппова, который пересмотрел дела Вятской духовной консистории за сто лет. Все эти шестьсот с лишним дел состоят из донесений священников, где они подробнейшим образом описывают языческие обряды удмуртов, точно указывая, какая деревня совершила моление, где состоялось моление и что было принесено в жертву. Но ни в одном из этих донесений нет даже намека на человеческое жертвоприношение. Между тем я должен заметить, что языческая вера удмуртов — явление не столь уж радостное для священников, ибо здесь дело связано с материальным ущербом, и конечно, будь хоть малейший намек на человеческое жертвоприношение, уж кто-кто, а священники не умолчали бы, они бы разоблачили это сотни лет назад, и подобным Раевскому и Акиму Простоте не пришлось бы открывать Америки.

Обвинитель Раевский пытается напугать вас, господа присяжные, рисуя перед вами страшные картины. «Темная весенняя ночь. Горький чад и дым разносятся по улицам Мултана. Это удмурты приносят в жертву своему злому языческому богу голову Матюнина».

Господа присяжные , очнемся же на минуту от этого кошмарного сна. В самом ли деле Матюнин был подвешен на перекладине в шалаше Мокея Власова?

Шалаш Мокея Власова расположен в непосредственной близости от съезжей избы. В ночь на пятое мая в Мултане проездом останавливается пристав Тимофеев и ночует в съезжей избе. Я вас спрашиваю, господин обвинитель: неужели пристав Тимофеев не учуял бы этот «горький чад», который разнесся по всему селу? Притом в Мултане имеется до десятка русских дворов, в числе их дворы священника, дьякона, просвирни. И мало этого — в Мултане живет сам Мухин. Уж ему ли не учуять?



Но коль уж обвинитель так усердно старается заста... вас поверить в этот «горький чад и дым», давайте посмо... рим, какому же «злому богу» приносят в жертву голову Ма... тюнина.

У удмуртов есть злой бог курбон, говорит нам обвини... тель. Он-де требует себе в жертву жеребенка, а в сорок лет один раз — человека. Мултанцы и понятия не имеют об этом злом боге, зато о нем прекрасно осведомлен Мухин. А с... он слышал это от кучугуртского удмурта, «немножко тро... того».

Но, надо сказать, за последнее время обвинению почему-то начинает не нравиться курбон, и полицейские с болы... усердием ищут другого бога. Урядник Соковиков, напра... познакомил вас здесь с такими удмуртскими богами, как аптас и чупкан. Если курбон — злой бог, то эти, наоборот, веселые, и жертв они больших не требуют, а довольствуются домашней дичью — гусем или уткой. Я позволил себе задать вопрос Соковикову — откуда он узнал об этих богах. Оказалось, ему сообщил это все тот же Мухин. Таковы сведения, полученные обвинением об удмуртских богах от «всезнающего» Мухина.

После же судебного следствия нам стало совершенно ясно, что никакого бога курбона нет, что курбон — это жертва. Тогда какому же богу принесена жертва?

Эксперт Смирнов, профессор Казанского университета, рассказывал нам здесь про седую старину. Господин Смирнов рассказал нам и несколько сказок. Судя по этим сказкам, в лесах, болотах и других подобных местах живут лешие, водяные, оборотни и кикиморы. Все они лакомятся «человечиной». В удмуртской сказке есть кукри-баба, но в русской сказке есть ее «родная сестра» — баба-яга. Что бы ни было, но на основании сказочных лешних, кикимор, водяных, оборотней и прочей мелкой нечисти нельзя говорить о наличии человеческого жертвоприношения.

Прорехи «мултанского дела» господин профессор пытается залатать сказками. «Стоит ли голову ломать,— думает, очевидно, ученый эксперт,— разве не все равно, кому в жертву принесли Матюнина — курбону, керемету, водяному, лешему?» Но, рассуждая так, и я мог бы сказать: разве не все равно, кому сидеть на скамье подсудимых — ни в чем не повинным удмуртам или господину Смирнову?

Кроме указанных, обвинитель говорил нам и о других удмуртских «богах», в частности о мудоре и корпуле. Будучи в Мултане, при осмотре шалаша Мокея Власова я спро-

...у удмуртов, есть ли у них бог мудор. Они улыбнулись и ...зали на икону, стоявшую на полке в углу шалаша. «А мудор есть?» — спросил я. «И воршуд есть,— говорят они ... — Перед иконой, которая в шалаше, кладем хлеб молить, ... и называется воршуд». Следовательно, мудор — икона, воршуд — освящение хлеба, чего не отрицали здесь и эксперты.

Тогда обвинитель стал пугать вас более злым «богом» — кереметом. Причем на этот раз он говорил не об удмуртах, а о марийцах. И случайно ли объектом были выбраны марийцы? Мне кажется, господин Раевский смотрит далеко вперед: он, очевидно, уже сейчас думает вслед за удмуртами посадить на скамью подсудимых марийцев. И, вероятно, поэтому уже сейчас, как говорится, заранее постарался нарисовать перед вами страшную картину марийского моления. «Как при страшном пожаре, все небо заволокло тогда горьким дымом...» — так начал он свой рассказ о марийцах. Но статью Андриевского в журнале «Столетие Вятской губернии», слава богу, и мы читали.

О чем же говорит Андриевский в своей статье? В тысяча восемьсот двадцать восьмом году в Сернурской волости собирается до трех тысяч марийцев. На другой день на месте моления власти находят сто тридцать четыре кострища. Об этом молении уржумский исправник в своем донесении писал следующее: «Моление прошло без всяких волнений, после тоже ничего плохого не было. И молитвы, которые читались на этом молении, свидетельствуют о тихом нраве марийцев, о послушании царю, о заботе за исправную уплату податей». Уржумскому исправнику особенно понравилось то место в молитве марийцев, где они просят у бога денег на уплату податей.

Мы же с вами, господа присяжные, посмотрим на их молитву с другой стороны. «Древний великий бог...» — так начинается молитва марийцев. Точно так же начинается любая из удмуртских молитв. Отсюда следует, что удмурты молятся нашему богу. А обвинители и эксперт Смирнов в один голос говорят: «Матюнин принесен в жертву языческому богу удмуртов. Но что это за бог? Керемет — мы уже установили — это не бог, а так называется то место, где происходит моление. Если говорить о разных водяных и кикиморах, то их господин Смирнов, сам того не подозревая, осмеял. В одной из его сказок удмурт идет в лес и разводит костер. К огню костра приходят лешенята. Удмурт хватает их врал по три,

по четыре и бросает в огонь; в другой сказке удмурт уби-
вает водяного; в третьей — водяной торгует рыбой. Торговля
рыбой, конечно, веселое дело, как говорил мой коллега по-
подии Карабчевский, но ученый профессор рассказывал здесь
свои сказки не ребятишкам, охочим до увлекательных сказ-
а вам, господа присяжные, с целью доказать наличие чело-
веческого жертвоприношения.

У человека, слушавшего обвинительную речь Раевского и не посвященного в темную историю «мултанского дела», вероятно, волосы вставали дыбом — в таких жутких красках старался он нарисовать всю эту нелепую подделку.

«Мрачный шалаш. На перекладине вниз головой подвешен нищий Матюнин. Его обезглавливают. Его тычут ножами и кровь спускают в корыто...» В самом деле, давайте-ка рассмотрим это обстоятельство подробно. Нам известно, что от пола до перекладины два аршина с четвертью, а тело Матюнина без головы — два аршина. Допустим, что голова и шея — полторы четверти. Любому немышленому ясно: для того чтобы поставить корыто, потребовалось бы либо поднять перекладину, либо на земляном полу вырыть ямку.

Вместе с этим мы наталкиваемся еще на одно более чем странное обстоятельство. Обвинение упорно старается уверить нас в том, будто Матюнин был подвешен вниз головой и в таком положении обезглавлен. Какими же фактами доказывает это обвинение? На перекладине в шалаше полицейские собирают шерсть животных, полагая, что это человеческие волосы. О том, что это именно шерсть животных, а не волосы, мы с вами знаем из заключения медицинского департамента. Но обвинение почему-то упорно цепляется за волосы. Ровно через два года в том же самом шалаше, на той же самой перекладине пристав Шмелев находит один-единственный волос, причем длинный. Но мы с вами люди взрослые и знаем, что на ногах борода не растет. Еще перед нами в числе вещественных доказательств целый пучок волос Матюнина. Откуда они, эти волосы? При чтении обвинительного акта мы с вами слышали об этом следующее: «На месте обреза головы, на краю гати найдены слипшиеся волосы». Этот факт говорит о том, что голова Матюнина отрезана в лесу, на тропке.

Теперь, господа присяжные, я попрошу вас некоторое время побыть на тропке. Впервые Гришина видит труп Матюнина пятого мая. С головой или обезглавленным видит она труп? Урядинку она показывает: «Там, где должна быть голова, было покрыто полой азяма». А следователю она уже

говорит иначе: «Дюже испугалась и не заметила». Между тем шестого мая, возвращаясь из деревни Анык к себе домой, Гришина уже не боится, она даже внимательно осматривает обувь Матюнина: «Лапти были сухие»,— говорит она следователю. На основании этих слов обвинение старается доказать, что Матюнин привезен на тропку из Мултана. Но спрашивается: почему лапти Матюнина должны быть обязательно мокрыми? Через гать якобы просачивалась вода. Вероятно, Матюнин, как и всякий человек, идущий по такому месту, старался ступать там, где посуше. Однако допустим, что он все-таки обмочил лапти. Но тогда же была весна, самые солнечные дни. Почему же за два дня лапти не могли обсохнуть?

О том, что Гришина пятого мая видела труп с головой, она кое-кому успела сболтнуть. Но как только начались допросы, словно чья-то невидимая рука зажала всем рты. Да оно и понятно: кому хочется таскаться по допросам и судам? Не такое уж это веселое дело! Когда близ чьей-либо деревни обнаруживают труп, мужики это называют «сухой бедой», иначе говоря, в таких случаях им приходится откупаться насухо от допросов, от суда и прочих мытарств. А такой откуп стоит немалых денег. Настоящим судебным следствием, например, установлено точно, что чулынский староста Кибардин дал становому приставу Тимофееву взятку в шестьдесят рублей, чтобы труп Матюнина перенести на мултанскую землю.

Урядник Соковников приезжает на место происшествия седьмого мая. В своем акте он пишет: «Трава вокруг притоптана, и откуда принесен труп, установить трудно». Сейчас мне хочется обратить ваше внимание на то обстоятельство, что кто-то проделывает с трупом Матюнина все те манипуляции, какие проделывают удмурты на своих молениях, когда приносят в жертву животное. Иначе говоря, мы здесь имеем дело с грубой инсценировкой человеческого жертвоприношения.

Здесь, на суде, мы установили, господа присяжные, следующий небезынтересный факт. Ровно через месяц после того, как труп был перенесен на мултанскую землю, к яме, где содержался труп, приезжает урядник Соковников и аныкский купец Быков. Трех удмуртов, карауливших труп, урядник посылает в Мултан за снегом. Пока, скажем, они дошли до Мултана, пока запрягли лошадь, из чьего-то погреба вытаскивали снег и ехали обратно, прошло по меньшей мере часа четыре. И что, собственно, за удовольствие было урядник

нику Соковикову сидеть у трупа, от которого, по выражению караульных, уже смердило? Это обстоятельство, господа присяжные, очевидно, и вас заставило глубоко задуматься. О том, как охранялся труп, мой коллега Дригин Михаил Иванович, будучи в Мултане, расспросил очень подробно. У яранского караула находился беспрерывно днем и ночью, и каждая смена состояла из трех человек. Единственный случай, когда труп оставался без охраны, это тогда, когда присяжная тула Соковиков и Быков. На основе этого я с твердой уверенностью и убежденностью говорю вам, господа присяжные, что к трупу прикасались Соковиков и Быков...

В зале стали шушукаться, многие вставали с мест и искали глазами урядника Соковикова. А сам Соковиков вскочил, точно ужаленный, и, не обращая внимания на колокольчик председателя, в бешенстве прокричал:

— За эти слова вы ответите, господин защитник!

— Меня, господин урядник,— сказал Короленко,— за мои статьи в газетах и пристав Шмелев точно так же запугивал. Но вы сами видите — на суд он явился все-таки без полицейского мундира. Не будь амнистии, он давно бы сидел за решеткой. А вы, собственно, ничем не отличаетесь друг от друга.

Раевский не мог больше оставаться спокойным, он вскочил, но, видно, вспомнив, что он теперь уже почти один из чинов министерства юстиции, спокойным, напыщенным тоном проговорил:

— Я не понимаю, господин председатель, кого здесь судят: полицейских или же подсудимых?

Председатель обратился к Короленко:

— Господин защитник, вы слишком отклонились. Прошу говорить по существу.

— Я не отвлекся, господин председатель. Все это связано с «мултанским делом». О подвешиваниях, о дымной бане, о «медвежьей присяге» и прочих истязаниях я буду говорить позже. Обвинение утверждает, что обезглавление прижизненное. В актах пристава Тимофеева и врача Миккевича сказано: «Место обреза ровное». Но вам, господа присяжные, вероятно, всем приходилось видеть, как рубят голову курице? Когда курице отрубишь голову, шея оголяется почти на вершок. А про Матюнина в двух актах сказано: «Место обреза ровное». Не ясно ли, что Матюнин обезглавлен после смерти? Такое же заключение дал суду эксперт обвинения Миккевич. То же подтверждает ряд видных ученых.

Здесь, на суде, господа присяжные, присутствуют профессор Патенко из Харькова, профессор-этнограф Кузнецов из Томска, профессор Леонтьев из Казани. Кому как не им надлежало быть в качестве экспертов в разборе «мултанского дела»? Однако, вместо ученых-медиков, обвинение пригласило в качестве экспертов уездных врачей, вместо ученого-этнографа — человека, строящего этнографию на одних лишь сказках.

Теперь вы видите, господа присяжные: за какой бы факт из обвинительного акта мы ни взялись, все они неправдоподобны, подтасованы, построены на слухах и сказках.

При розыске головы убитого понятые находят щепки со следами крови, но урядник эти действительно вещественные доказательства бросает в пруд. Но достаточно было Быкову сказать: «наверно, удмурты замолили», как пристав Тимофеев своей грозной рукой тотчас указывает на село Мултан. Но почему обязательно на Мултан? Там же вокруг немало других удмуртских деревень? На этот вопрос пристав Тимофеев ответа нам не дал.

Сказано — Мултан, значит — Мултан. Собрав понятых из десяти деревень, он производит в Мултане повальный обыск. Что же находит он в Мултане? У Мокея Власова — корыто со следами крови, в шалаше — шерсть животных; у Григория Дмитриева — лукошко со следами крови и фартук. Но нам читали здесь и заключение медицинского департамента. И корыто, и фартук — со следами крови животных, а в лукошке — следы малинового сока. В земле, собранной приставом в кошелку, даже при спектральном анализе не найдено никаких признаков крови.

Спрашивается: где же матюнинская кровь? Вот за этот факт и старается зацепиться обвинение. Но мы знаем: Матюнин найден лежащим поперек гати. Бревнышки, настланные поперек тропинки, короткие, концы волос Матюнина, попавшие подо что-то острое, прилипли к краю гати. Кроме того, мы знаем, что по обе стороны гати болото, и не просто болото, а болотная вода, причем весной не стоячая. Но если нельзя найти кровь в болотной воде, то она все-таки кое-где осталась. В акте пристава Тимофеева записано дословно следующее: «На правой поле азяма имеются следы крови, будто кто-то вытирал руки». Кроме того, щепки со следами крови, кровь на краю гати и, наконец, перед нами окровавленная рубашка Матюнина. Все эти факты еще раз говорят нам о том, что Матюнин убит на тропке. В следственных материалах не раз записано, что Матюнин был подвешен в

шалаше голый. Я вас спрашиваю, господа обвинители: откуда же тогда на рубахе Матюнина кровь?

А был ли вообще Матюнин в дни убийства в Мултане? Третьего мая он ночует в смежной с Мултаном деревне Куперке, у Тимофея Санникова. На другой день, то есть четвертого мая, вечером Матюнина приводят на ночлег к Санникову Николаю. Здесь его видит Семенов. Вам теперь ясно, господа присяжные, что в ночь с четвертого на пятое мая Матюнина в Мултане не было. «Горький чад и дым» обвинителя Раевского — это чад и дым, пущенные вам в глаза, господа присяжные, чтобы ослепить вас.

Судя по тому, как обрывали речь моих коллег-защитников Карабчевского, Дрягина и Красникова, когда они подробно начинали излагать факты истязаний, я понял, что здесь нельзя об этом говорить. Но зверства бывшего пристава Шмелева доказаны следствием. А полицейских не так-то уж часто привлекают к ответственности. Следовательно, сами подумайте, господа присяжные, какие страшные дела творил Шмелев, если уж его, Шмелева, считавшегося одним из лучших становых Малмыжского уезда, решились привлечь к ответственности.

Удмурты должны быть благодарны подсудимым за то, что у них хватило силы выдержать все испытания, которые выпали на их долю, и спасти свой народ, быть может, от более страшных испытаний. Даже если будет вынесен обвинительный приговор, они чисты перед своей совестью и перед своим народом. А мы знаем, что человек, попавший в руки полицейских, часто наговаривает не только на других, но и на себя. Ведь Николай Григорьев наговорил на своего деда Акмара. И недаром, очевидно, народ так метко прозвал полицейских живоглотами.

— Господин защитник,— председатель схватился за колокольчик,— прошу без оскорблений и вообще запрещаю вам говорить о полицейских, это... особое дело...

— Я вынужден говорить об этом, господин председатель. Когда судебным следствием все факты обвинения были по существу отвергнуты, обвинители в своих речах больше всего ссылались на показания Николая Григорьева. Я отвергаю и этот последний факт, как добытый нечестным путем, если вам так не нравится слово «истязание».

Господа присяжные, теперь вы сами видите, что все страницы обвинительного акта перечеркнуты. Они перечеркнуты

ле карандашом крест-накрест, и всесторонним разбором и арестантскими доводами.

За что же тогда здесь, на скамье подсудимых, сидят эти семь человек? За что этих несчастных в течение уже четырех лет держат в мрачных камерах тюрьмы? За что их дети, жены и матери проливают горючие слезы? За что лишился сыновней старости седой как лунь Акмар?

Услышав свое имя и не понимая, зачем и по какому поводу оно произнесено, но сердцем чувствуя, что этот русский с умными глазами говорит в его защиту, старик поднялся и умоляюще протянул руки к Короленко:

- Христа ради... делай милость... не виновной... бог видит, бог судья...

Потом он простер дрожащие руки к сидящим в зале:

-- Не виновной, бог видит... Скажи — где правда?..

Старик не мог больше говорить, он упал на барьер и зарыдал.

Губы Короленко дрожали.

Председатель пожал плечами, пошептался с членами суда и объявил перерыв.

После перерыва Владимир Галактионович заключил свою речь.

— Господа присяжные, господин председатель! Вашего оправдательного приговора с надеждой ждет не только удмуртский народ, но и все народы нашей необъятной России, все, кто понимает ужасный смысл этого дела. «Неужели удмуртов на каторгу сошлют?» — с тревогой спрашивали меня в мултанских краях простые русские люди. Сюда, в Мамадыш, из Томска за тысячи верст на перекладных приехал профессор Кузнецов, за тысячи верст приехали ученые из Харькова. Они знали, что им отказано выступать на суде в качестве экспертов, но все же приехали, их привела сюда тревога за судьбу несчастных удмуртов. И не только они, ученые, которые понимают всю подоплеку этого мрачного дела,— сюда приехали и простые русские люди: Семенов из деревни Кузнерки, смежной с Мултаном, и мельник Фома Щербаков. Их никто не вызывал, они приехали сами проситься в свидетели, их также сюда привела тревога за судьбу тех, с кем они делят и горе и страдания. Все они — и ученые, и простые люди — посланцы русского народа. И если вы, господа присяжные, не внемлите их голосу, голосу миллионов людей, с гневом отвергающих это позорное дело, народ вас никогда не простит!

Сломайте тюремные решетки, за которыми уже чет
года сидят семеро ни в чем не повинных людей, тогда кто
дый из вас со спокойной совестью сможет сказать с
детям: «Я сделал для народа доброе дело!»

После речи Короленко в зале возбужденно зашептались
Вопрос теперь казался предрешенным, многие сидящие
подсудимых, думая, что остались считанные минуты их
бог и страданий.

Но вот председатель предоставил последнее слово под
димым. Радостные лица помрачнели, над залом, как
снова нависла туча — до такой степени жалкой была бес
мощность этих людей. Ничего путного они не могли сказ
в свое оправдание.

— Наш не виновной,— заговорил Акмар, часто моргая
своими старческими глазами.— Куда хошь — тюрьма, кат
га... я старик, все равно пропадем...— Потом он внимательно
посмотрел на судью и показал рукой на защитников: — Эти
правду говорит, тоже русский люди, верит нам, а ваша пра
да нет...

В голосе Акмара уже не слышалось слез, в нем звучал
гнев, истинный гнев оклеветанного человека. Он хорошо по
нял слова Григория: «Им только смешно, когда ты плачешь.
Горя нашего им никогда не понять. Придем в камеру, там
поплачешь, а может, и вместе поплачем. Когда тебя медведь
под себя подмял, ты небось слезы не лил, а нож вытащил.
А они, думаешь, лучше того медведя? Не слезы им показы-
вай, а ненависть свою».

И слова Григория пошли впрок: за все четыре года Ак-
мар был впервые по-настоящему зол. Много ему еще хоте-
лось сказать самых резких слов. Но как подобрать их по-
русски?.. Не зная что дальше говорить, он сурово глянул на
Раевского, потом на председателя и с ненавистью прого-
ворил:

— Суди... твоя правда нет!..

Председатель пожал плечами и, когда Акмар сел, пред-
ставил слово Григорию.

Григорий подошел к перегородке. Распахнутый серый
арестантский халат был не с его плеча, казалось, что он на-
дел его по ошибке. Красная рубашка, подарок Дылы, изо-
силась, и на вороте вместо крючков были пришиты грубые
тесемки. Волосы, как и круглая борода, были аккуратно рас-
чесаны — видно, и в тюрьме он следил за собой. Но бледное
лицо и глубокие морщины, изрезавшие лоб, говорили о дол-
гих и тяжких страданиях. И еще показалось Ильe Фомину,

кто в глазах Григория поблескивал злой огонек, чего он прежде никогда не замечал. Его добрые глаза всегда, казалось, спрашивали: «Не нужно ли помочь?»

Григорий сватился руками за высокий барьер, посмотрел, как бы раздумывая, выдержит ли, потом повернулся к защитникам.

— Большое спасибо, наши защитники! — и он отвесил глубокий поклон, но потом, крайне изумив публику и огорчив защитников, продолжал: — Я не верю, не освободят, не для этого посадили. Две беды было, третьей не миновать. Четыре года сижу в тюрьме, видал много умных людей, по-русски тоже учили, теперь хорошо понимаю, зачем обвиняют, будто мы убили в жертву человека. Знаю: сошлют на каторгу. Каторги не боюсь, об одном сердце болит: неужели русские, марийцы поверят, что мы человека молили? Когда защитник Короленко говорил — народ не верит, тогда у меня сердце не болело, и я говорил своим: пусть судят, а люди нас винить не будут. Наши защитники правильно говорили, как делали урядники и становые Одно не говорили: зачем становые мучают нас? А я хорошо знаю: это надо, чтоб русский и удмурт друг друга ругали, чтобы вместе против царя бунт не делали...

Последние слова Григория и на председателя и на обвинителей произвели впечатление внезапно взорвавшейся бомбы. Публика в зале испуганно притихла. «Теперь-то уж они пропали!» — подумали о подсудимых даже те, которые не сомневались в оправдательном приговоре. Кажется, только один Илья Фомич искренне обрадовался словам Григория.

Но Григория оборвал председатель:

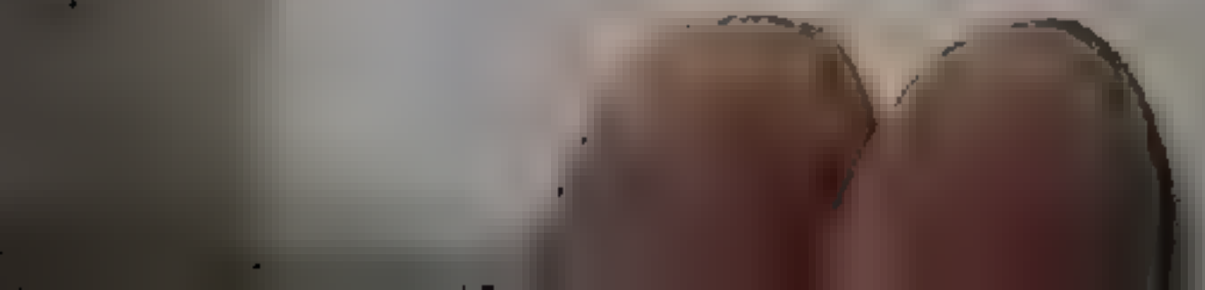
— Подсудимый Дмитриев, ты понимаешь, что говоришь? За такие слова, знаешь, где будешь?

Глаза Григория вспыхнули ненавистью, и он твердо сказал:

— Знаю, господин судья. Дальше каторги не пошлешь, а там так и так будем. Понимаю, что говорю. Ты думаешь, мы скотина, бей, все равно не понимаем. Говорим плохо, а жизнь знаем, и кто жизнь-беду нам сделал — тоже знаем. Народ все время терпеть не будет, народ крепко осердится, тогда вам плохо будет...

— Подсудимый Дмитриев, ты о чем говоришь? — снова обратился к нему председатель.— Ты говори: убивал нищего или нет?

Вопрос председателя окончательно вывел из себя и без того волновавшегося Григория.



— Ты убил, я — нет! — крикнул он и рванулся из ... место.

Илья Фомич неодобрительно покачал головой: не надо б ... так, спокойней надо бы кончить. Крепко же намотали ... перия.

После речи Григория был объявлен перерыв для со... ления приговора. Публика из душного судебного зала вы... на широкий двор, щедро залитый весенним солнцем.

Возле высокого забора, поросшего зеленым мхом, ... шались две ветвистые черемухи. И непонятно было, зачем ... здесь выросли, зачем так нелепо выбрали себе место.

Народ разбрелся по всему двору. Люди ходили группами, некоторые тихо переговаривались, некоторые возбужденно спорили, стараясь убедить в чем-то друг друга.

Но вот зазвенел колокольчик, и все заспешили в зал.

— Встать, суд идет!

Сколько раз уже вздрагивали сердца подсудимых при этих словах. И старый Акмар вздрогнул, словно на него кто замахнулся, и сразу весь как-то сжался. При словах «суд идет» публика в зале поднялась с мест, встали и подсудимые, лишь один Акмар продолжал сидеть. Видит он, что люди встали, хорошо понимает, что и ему надо встать, но ноги не в силах держать даже это хилое тело.

— Встань, отец...— шепнул ему Григорий. Думая, что старик не слышит, он повторил: — Встань.

В зале было очень тихо, потому голос Григория прозвучал неестественно громко. Акмар встал. Председатель начал читать приговор.

Ах, как долго он читает! И какие все мудреные слова: «уложения», «статьи» и еще много других, а простого слова «не виновны» все нет и нет. Да и едва ли произнесут его! А его ждут не только подсудимые, его ждет большинство собравшихся в этом зале.

Старый Акмар, словно ему все безразлично, стоит себе, шевеля губами, что-то шепчет, а временами безнадежно машет рукой: что уж, мол, там, коли посадили, будешь сидеть до самой смерти...

— Не виновны! Из-под стражи освободить! — громко и отчетливо прозвучал голос председателя.

Смысл этих слов как будто не сразу дошел до сознания подсудимых. Люди вокруг шумели, многие уже выходили из зала. Уже и судьи и присяжные покинули свои столы, секретарь собирал бумаги, а подсудимые все еще стояли на месте, словно окаменелые. Первым пришел в себя Григорий. Он

...ходил в зал, потом на своих, будто не веря тому, что ...ышал, и тихо произнес:

— Кажется, оправдали?

— Ну, чего стоите? Выходите! — прикрикнул на них секретарь суда, недовольный, очевидно, тем, что столько было хлопот — и все зря.

Владимира Галактионовича окружили защитники, этнографы, журналисты, профессора, не допущенные в качестве экспертов. Его поздравляли, пожимали ему руки.

И Раевский подошел к нему с протянутой рукой.

— Поздравляю вас, господин Короленко. Вы победили. Но когда-нибудь вы еще поймете правду, а вместе с ней и свою роковую ошибку.

Если вначале Короленко был только удивлен поздравлением Раевского, то его последние слова настолько возмутили Владимира Галактионовича, что он поспешно отдернул руку.

— Свою правду я давно понял, господин Раевский, но поймете ли вы свою ошибку, трудно сказать...— Несколько помедлив, Короленко добавил: — Нет, не поймете, господин Раевский, вы слишком далеки от народа и никогда вам этого не понять.

Раевский пожал плечами и, круто повернувшись, отошел.

— Напрасно вы с ним так резко, Владимир Галактионович,— пошутил Карабчевский.— Человек и так расстроен, его сейчас, как мне думается, мучает один проклятый вопрос: быть или не быть ему в министерстве, ведь неизвестно, как отнесутся к приговору в Петербурге.

Слова Карабчевского вызвали дружный смех всей компании. Но Короленко был серьезен.

— Будет он в министерстве,— уверенно сказал Владимир Галактионович.—Он уже достаточно сделал для своей карьеры. Слух о человеческом жертвоприношении распространился далеко-далеко. И суд над удмуртами еще не кончился! Раевских и шмелевых немало подвизается и в разных редакциях. Так что борьба еще предстоит... А что мы тут стоим, господа, надо поздравить подзащитных.

Все семеро освобожденных стояли посреди двора, окруженные знакомыми и незнакомыми людьми.

Короленко горячо пожал руку Григорию, он хотел было сказать ему что-нибудь теплое, душевное, но так разволновался, что слова не мог вымолвить, и просто обнял Григория и трижды поцеловал его.

Взволнованный Григорий показывал своим товарищам на Короленко и его друзей:

— Вот они нас освободили...

Акмар не понял, подставил ладонь к уху и переспросил:

— Ты что говоришь-то, Григорий?

— Вот он, он освободил нас,— и Григорий указал на Короленко.

Акмар понял. Он положил свою старческую руку на грудь Короленко и долго смотрел на него, как смотрит отец на вернувшегося за разлуку сына. Вдруг старик опустился на колени и поклонился в ноги Владимиру Галактионовичу.

Спасибо, добрый человек. Пусть ты не будешь земле в тягость. Пусть тебя судьба не обидит счастьем.

Короленко растерялся. Он старался поднять старика, но тот не давался.

Так надо, так надо,— сказал Акмар уже по-русски.

И рядом с ним опустился на колени Григорий.

— Всем вам, добрым русским людям, всем, кто не дал нас в обиду, от души спасибо. Во веки веков не забудем ваше доброе дело.

Один за другим опустились на колени все семеро. Они благодарили защитников, стараясь через них выразить свою благодарность всем русским людям.

И хотя ни Короленко, ни его друзья не понимали по-удмуртски, они всем своим существом чувствовали смысл обращенных к ним слов. Илья Фомич, стоявший тут же, понял это и потому не стал переводить.

23

В тот же день, забрав в тюрьме свои жалкие пожитки и бумаги, свидетельствовавшие об освобождении, все семеро отправились домой.

Путь был долгий, с двумя ночевками. Но даже Акмар говорил, что не чувствует усталости — ведь идут-то они домой.

Настал третий день пути. Григорий и Никифор шли рядом. Они все толковали о том, как бы, хоть и с опозданием, справить свадьбу Дыды и Алеши. Ведь из письма Алеши они знали, что свадьбы-то настоящей у них не было.

Лишь Федор Буграш угрюмо плелся позади всех, сдвинув лохматые черные брови. За четыре года он основательно по-

отлежался. Недешево приходилось ему откупаться от тюремщиков. Тянули с него все — и пристав, и начальник тюрьмы, и даже надзиратели. Шел Бураш, мрачно подсчитывая расходы. Чувствовал он, что теперь не только Быков, но и Мухин встали ему поперек дороги. Бураш зло кусал травинку, и на его хмуром лице не было радости возвращения.

Зато как радостно шагали остальные мулганцы! Ласково грело весеннее солнце. Что бы ни было, но впереди уже не тюрьма и не каторга. Хоть и в убогой хатенке, хоть и в нужде и нищете придется жить, но там свой дом, там родные люди. Словно радуясь вместе с ними, в чистом небе заливались жаворонки.

Григорий остановился и тронул Никифора за руку:

— Слышишь?.. Поют... Сеять захотелось...

Вдали над лесом уже виднелись колокольня и верхушки берез на тракте, идущем через село. Вот и мулганское поле. На краю, из полосе Акмара, стоит огромная старая сосна.

Поравнявшись с деревом, Акмар остановился. Остановились и остальные, решив, что старик устал. Пройти столько верст пешком такому старому человеку не легко. Но Акмар остановился не от усталости. Он опустился на колени, поклонился в сторону родного села, вытащил из кармана синих домотканых штанов небольшой кисет и высыпал из него землю, которую хранил в тюрьме все четыре года.

— Спасибо добрым людям! — сказал он, еще раз поклонился и поцеловал землю.

Вот и Мултан. Людям, просидевшим четыре года в тюрьме, никогда не казалось их село таким родным. Каждый шаг приближал встречу с близкими.

— Вот бы наших защитников в гости пригласить,— мечтательно произнес Никифор,— поставить бы на стол все, что есть, приготовить бочонок самой лучшей медовой браги...— И Никифор, не договорив, вдруг остановился и показал на село: — Смотри-ка, сват, сколько народу собралось на околице.

— Уж не нас ли встречать вышли? — удивился Антон.

— Никто не знает, что мы идем.

— О чем вы это? — спросил Акмар.

— Народ чего-то собрался...

— Постой-ка, сват... Слышишь? — Никифор схватился за рукав рубашки Григория.

На поле было тихо, лишь высоко-высоко в голубом небе пел жаворонок, а из села чуть слышно доносилась печальная рекрутская песня. Люди остановились и молча слушали.

— Кажется, кого-то в солдаты провожают? — нарушил Григорий общее молчание.

— Какие сейчас проводы? — удивился Антон.— В солдаты же осенью берут.

— Так-то оно так, но... кто знает... Пошли...

Чем ближе к селу, тем быстрее шаги. Не знали ни Никифор и Григорий, что дома ждало их новое горе, это встречало их грустной песней:

Три в поле деревца росли,
Да только два осталися.
Постель мне, мамя, не стели,
Надолго мы расстались...[1]

Алеша вышел из избы в обнимку с товарищами. Он встал посреди двора, в последний раз посмотрел на все, что с детских лет было ему дорого, до мелочей знакомо, и, прощаясь с родным селом, глубоко вздохнул.

— Эх, дядя Степан! — крепко обнял он Степана Журавля.— Думал, поработаю как следует лето и куплю стригунка. Через год-два была бы своя лошадь. Вот бы обрадовался отец...

Девушки и молодухи подбежали к Алеше, подвязали ему вышитые полотенца и каждая сказала рекруту теплые, сердечные слова и пожелала быстрее вернуться домой.

— Спасибо, дорогие! — кланялся им Алеша.— Буду утирать горючие слезы и вспоминать вас, родные мои.

— Пусть бы слезы радости довелось тебе утирать нашими полотенцами.

Одна из девушек прикрепила к фуражке Алеши пучок разноцветных лент. Другая дала ему такой же пучок в руки.

— Это от всех нас, Алеша. Прибьешь к полевым воротам. И чтобы довелось тебе снять эти ленты оттуда своими руками, прежде чем они выцветут.

— Эх, Анисья!.. Кабы сбылись твои слова! Знаю, горе ждет меня впереди. Может, в последний раз вижу вас всех. Пойте, девушки. Пойте, чтобы вместе с песней плакало горе.

Плакала Дыды, уронив голову на грудь мужа. Плакали девушки, плакали и пели:

Га-га! — застонет, закричит
Гусыня на пруду,
Коль черный коршун закружит
На горе, на беду.

---

[1] Перевод М. Светловой.

Ой-ой, ой-ой — заголосит
В избе родная мать,
Когда сыночка царь велит
На службу собираты![1]

Женщины вывели из избы старую Дукъю. Обессилевшая от слез, она в последний раз обняла Алешу.

— Сын мой, на кого ты нас оставляешь? Кто знает, вернется ли отец? Мало им, проклятым, одного горя, забирают последнюю мою радость. И кого я буду теперь будить по утрам? Для кого буду на стол собирать... Эх, сынок, сынок! Кабы знала горькую долю твою, лучше бы на свет не родила...

— Не плачь, мама. Может, будет и у нас еще счастье. Благослови, мама.— И Алеша опустился перед матерью на колени.

Дукъя перекрестила сына и дала ему маленький образок. А сама засеменила к калитке и приоткрыла ее немного, на столько, чтобы можно было пролезть только боком.

— Да будет твой путь туда таким же узким, сын мой...— сказала она, выпуская сына со двора.

Потом Дукъя подошла к воротам, открыла их настежь и, обращаясь к Алеше, стоявшему уже с той стороны ворот, добавила:

— А путь твой в дом родной пусть будет широк, как эти распахнутые ворота.

В открытые ворота вышли на улицу все провожающие. Опять полилась печальная песня, она рассказывала о большом горе, выпавшем на долю Алешиной семьи.

У полевых ворот собрался весь Мултан от мала до велика. Алеша встал на чурбак, прибил ленты к перекладине ворот и обратился к народу с прощальным словом:

— Дорогие мои сельчане! Сколько слез, сколько горя видели уже эти старые полевые ворота! Сколько раз открывались они, впуская в наше село горе! Сколько раз дрожали мы от страха, когда сюда подъезжали сытые кони начальников! Сейчас вот они открылись, чтобы вы проводили мое горе, а завтра они откроются и впустят ваше. И нет конца нашему горю. Вслед за мной осядет пыль, высохнут слезы, а завтра другой будет лить их...

Молча слушал народ Алешу, и каждому вспоминались свои горести, свои страдания.

---

[1] Перевод М. Светловой.

Но вот среди гнетущей тишины кто-то вскрикнул.

— Идут! Идут! — закричали ребята и бросились навстречу освобожденным мултанцам.

Алеша спрыгнул с чурбака и мигом обогнал ребят.

Обнимая сына, от радости Никифор даже не заметил пожелтых лент на его фуражке. Но Григорию они сразу бросились в глаза.

— А это что у тебя, сынок? — с тревогой спросил он.

Тогда и Никифор заметил необычный вид сына. У старика дрогнули губы. Он хотел было что-то сказать, но тут подбежала Лыля и с рыданиями бросилась на шею отцу. Теперь уже и спрашивать было нечего. Новое горе навалилось на старого Никифора.

— С какой радостью я возвращался,— заговорил он дрожащим голосом.— А меня тут бела жлала. Эх, Алеша, сын мой...— Старик больше не мог сдержать нахлынувших слез, уронил голову на плечо сына и горько заплакал.

— Благослови, отец,— сказал Алеша и опустился перед ним на колени.

Тихо позванивая колокольчиками, понуро стояла лошадь, поджидая Алешу. Из-за встречи с освобожденными еще печальнее стали проводы. Еще горше заплакали женщины, еще грустнее зазвучала рекрутская песня.

Староста, оставшийся у околицы, заметил, что Алеша слишком долго задерживается, и торопливо зашагал к толпе.

— Трогайтесь, трогайтесь! — сказал он Степану, сидевшему в телеге.— Приказано сегодня же быть в Малмыже, а солнце за обед уже перевалило, не успеете, дорога длинная.

— Хоть бы в такое время ты не торчал на глазах! — огрызнулся Степан.— Не видишь — отец у парня вернулся, а ты им поговорить не даешь.

— Ты везешь, ты и отвечать будешь, коли опоздаете.

— Ишь ты, какой прыткий! Хочешь, чтобы я лошадь загнал? Если бы не Алешу везти, ни за что бы не поехал, очередь не моя, до меня еще двое не ездили. Да и никакое начальство его небось сегодня не ждет. Это тебе приспичило поскорее сбыть его с глаз долой. Одним, мол, беспокойным человеком меньше будет. Не так, что ли?

Староста плюнул. Ох, и натерпишься с этаким народом!

В последний раз поцеловал Алеша отца, жену и Григория. С песнями под руки повели его к лошади. Как муравьи, облепили провожающие телегу. Лошадь тронулась.

Без слез, без дум стоял Никифор посреди дороги. Ничего не видел он перед собой, кроме удаляющейся подводы и белого платка, которым махал сын... А когда подвода скрылась за угором, Никифор, словно пытаясь удержать сына, протянул руки вперед. Шатаясь, точно пьяный, он сделал несколько шагов и упал прямо лицом в дорожную пыль...

Монотонно звенел колокольчик. Версты одна за другой оставались позади. Когда Степан и Алеша проезжали деревни, в избах отворялись окна, и вслед им долго смотрели удивленные лица: что это, мол, за рекрутство весной?

И снова, и снова поля и рощи, поля и рощи. Куда ни посмотришь — всюду зелено, зелено, это первая зелень, омытая первым дождем.

Какое раздолье, какая красота! Глаз не оторвать. Не ведая горя, вольным человеком пойти бы по этим полям и лугам, вдоль рек и березовых рощ. Но у Алеши дорога одна — широкий тракт в Малмыж, по которому гонят арестантов, по которому проезжают почтовые тройки, по которому с печальной песней едут рекруты. Куда, к какому новому горю приведет этот тракт Алешу? Что ждет его впереди? Будто угадав его тяжкие думы, грустно зашептались березы на обочине.

В глубокой задумчивости сидел Степан. Ему показалось, что Алеша задремал, и он не тревожил его разговорами. Уже версты две ехали они молча. Все, кажется, уже переговорено. Да и что толку в разговорах? Разве словами утешить такое горе? Вспомнил Степан и свою горькую жизнь. Тридцать семь лет прожил он на свете. А что видел за свою жизнь? Хоть бы раз радость улыбнулась ему. Из трех братьев на его долю выпало постоянное батрачество. Потом женился на сестре Григория, хорошей, работящей девушке, и стали они жить дома. И начались в семье постоянные ссоры. А задумаешься — из-за чего? Из-за пустяков. Нет, не из-за пустяков, из-за куска хлеба. И снова работа в людях, теперь уже вместе с женой. Наконец братья решили разделиться. На долю Степана досталась телочка, плохонький амбаришко и отцовский тулуп. Продал он это добро, прибавил все, что копил годами, и купил лошадь. Начал строить дом, так до сих пор и строит. Хорошо хоть детей нет, а если бы еще дети.

— Эх, жизнь! — Степан глубоко вздохнул, посмотрел вокруг, и такая тоска взяла его, хоть плачь. Сейчас бы пару

рисистых коней! Напянуть бы пожки и лететь, чтобы ветер свистел в ушах, чтобы развеять тоску-печаль и забыть о ней на свете!

Но лошадь уже устала. Степан припялял пожки к передку, вынул вышитый кисет и скрутил цигарку. Со злостью высек кремнем огонь и прикурил. Но, не докурив и до половины, бросил цигарку на дорогу, поник головой и снова задумался.

Наверно, в такие минуты рождаются жалобные песни. Степан стал тихо напевать какую-то грустную мелодию. Слушает его Алеша и не поймет: то ли поет он, то ли плачет. Но потом стали отчетливо различаться слова, будто их вместе с мелодией приносил с полей легкий ветерок.

Степан пел тихо, чтобы не разбудить Алешу:

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка...
И уныло по ровному полю
Разливается песнь ямщика.

Столько грусти в той песне унылой
И печали в напеве родном,
Что в душе моей хладной, остылой
Разгорелося сердце огнем.

И припомнил я ночи иные,
И родные поля и леса,
И на очи, давно уж сухие,
Набежала, как искра, слеза...

Поет Степан, а перед глазами встают родные поля и луга, родное село, а по улице идут парни и девушки с веселыми песнями. Вот такой бы должна быть жизнь... Его мечты внезапно прервал Алеша. Он подвинулся к Степану и обнял его.

— Хорошая песня, дядя Степан!.. Спой еще.

— Отчего же не спеть,— песня, она о жизни говорит, о нашей беспросветной жизни. А иногда и поверить заставит, что не все так будет. Вот хотя бы эта: поешь ее — и сначала так тяжко, так тяжко, а потом вдруг начинаешь верить, что и тебе еще улыбнется счастье. Это Митьки рускского песня. До Букина Игната у Мухина батрачил. Ты, пожалуй, не помнишь его, мал был. Подружились мы с ним. Как он пел, если б ты знал, Алеша! Вечерами бывало сидим мы с ним у речки или ходим по лугам. Уже все по домам разошлись. Кругом тишина. И вот он начинает петь. Сначала тихо-тихо поет, как ночь. А потом как зальет-

ся. Он пел, а я украдкой плачу. Попросил я, чтобы эту песню можно было петь по-удмуртски. Долго мучились. Как-то раз сели, слова подбираем, подходит к нам Илья Фомич. Узнал, что мы делаем, и помог. У него складно получилось. Степан помолчал и тяжко вздохнул: — Эх, Митька, Митька, где-то ты теперь? В хозяина своего вилами железными запустил, и ногу попал. С тех пор как в воду канул. Да, всякое было.. Ну да ладно, споем! Ты начинай, у тебя голос не хуже Митькиного.

— Давай,— сказал Алеша и откашлялся.— Напомни, дяля Степан, начало.

Однозвучно гремит колокольчик,
И дорога пылится слегка...

Голос Алеши, как сама весна, мягко выводил печальную мелодию. Словно жалуясь кому-то, полилась песня по полям. Остановил пахарь лошадь, стоит и слушает. А песня все льется и льется:

...И на очи, давно уж сухие,
Набежала, как искра, слеза...

И долго еще стоял пахарь, слушая песню, а она все дальше и дальше уходила. Вот уже скрылись за далекими березами и певцы, и песня, и лошадь с унылым колокольчиком...

Уже второй раз спели они песню. Степан закурил, Алеша сел на край телеги, опустил ноги и задумался. Песня напомнила ему Дыды. Ему казалось, что в ней говорится именно о них — о нем и о Дыды, об их любви.

— Алеша, смотри-ка...— и Степан указал головой вперед.

Вдоль тракта по тропке, вьющейся между березами, навстречу им шли двое: один высокий, а другой пониже, но шире в плечах. Пиджак у второго наброшен на плечи, в руке фуражка, он ее то поднимает, то опускает — видать, что-то доказывает товарищу. Тот, что повыше, с тросточкой.

— Это же Илья Фомич... — обрадовался Алеша.— С кем это он?

— Не узнаешь, кто с учителем? Игнат это, Букин. Усы зачем-то сбрил, сразу и не узнать.

— Право, они!.. Илья Фомич! Игнат!— крикнул Алеша. Он соскочил с телеги и побежал им навстречу.

— Кто это? — спросил Игнат у Ильи Фомича.

— Это Алеша, сын Никифора Петровича.

— А куда это они... с колокольчиками?

— И сам не пойму...— удивился Илья Фомич.— Вы что это с колокольчиками разъезжаете? — спросил он подбежавшего Алешу.— Э, да и ленты на фуражке?

— Дядя Степан, заворачивай сюда! — махнул Алеша Степану и лишь тогда ответил:— В деревнях, Илья Фомич, колокольчик к дуге подвязывают только на масленице, на свадьбе и когда в солдаты провожают.

— Не дочку ли купеческую хочешь сосватать? — засмеялся Игнат.

— В солдаты отправляют меня, Игнат Андреич. Земскому начальнику не по душе пришелся.

— В солдаты? Так в солдаты же осенью берут.

— Значит, тебя не зря пугали они...— вспомнил Илья Фомич рассказ Алеши об угрозе прокурора.— Не успел клен подрасти, а его хотят уже сломать, искалечить!

— Садись и рассказывай: за что они тебя? — И Игнат бросил пиджак на траву возле тропки.

Но Илья Фомич сам рассказал Игнату все по порядку.

— И вот итог...— заключил он свой рассказ.— Если уж в такое время забирают, значит, неспроста. Это — месть за оправдательный приговор. И, думается мне, не миновать Алеше чего-нибудь вроде арестантских рот. А что это такое, ты сам знаешь, Игнат Андреевич.

Игнат долго раскуривал маленькую пенковую трубочку. Затянулся раза два, посидел, подумал и, положив руку на колено Алеше, сказал:

— Не езди, Алеша...

Алеша испуганно взглянул на него. Илья Фомич тоже недоуменно посмотрел на Игната

— Как это «не езди»?

— Погибнешь!.. Понимаешь ты это? — Игнат до боли сжал колено Алеши.— Илья Фомич правильно сказал: тебя неспроста берут, в арестантские роты отправят и бумагу оформят, если уж не оформили. Это та же каторга, Алексей.

И он стал объяснять, что такое арестантские роты. Алеша слушал, и его даже дрожь пробрала, будто кто-то окатил его холодной водой.

— На гибель идешь... Не ходи! — закончил Игнат.

— А куда же мне?.. В лес податься? — растерянно спросил Алеша.— Если б я один был, а то у меня мать, отец, да и женат я теперь, Игнат Андреич.

Игнат задумался. В самом деле, куда парень пойдет, что будет делать? Бродить по лесам, пока не пристрелят?.. И вдруг он поднял голову и в упор спросил:

— Пойдешь со мной, Алеша?

— Куда, Игнат Андреич?

— Белый свет широк, Алексей...— неопределенно сказал Игнат.— Поступишь на завод... жизнь узнаешь по-настоящему!

— И я об этом же подумал,— обрадовался Илья Фомич.— Ты ведь сумеешь его устроить?

— Устроим. Только придется документы другие...

— А вы куда направились, Игнат Андреич? — спросил до сих пор молчавший Степан.— Я уж думал, что обратно в Мултан идете.

— Правду ищу, Степан Матвеич. Только никак не найду, видно, хозяева крепко ее упрятали... А к вам — нет. Это я Илью Фомича провожал немного, я тут поблизости был.

— Правду...— задумчиво повторил Степан, сняв с головы старую, порыжевшую войлочную шляпу.— Правду белые коровы слизали, так у нас говорят.

А Алеша все думал и думал. Что будет с семьей, если уйти с Игнатом? Начнут таскать отца, жену. От таких, как Сомовиков, чего угодно можно ждать. Что делать?

— Семью будут мучить, Игнат Андреич,— вслух высказал он свою тревогу.

— Не бойся, все устроим, Алексей. И месяца не пройдет, жена будет с тобой. А отца не тронут — он стар. А в случае чего — в Мултане есть Илья Фомич, в обиду не даст. За женой твоей я сам приеду, мне тут скоро придется еще побывать по одному делу... Ну, думай, Алексей. А то, не ровен час, подвернется тут какой-нибудь фараон. «Ага, скажет, митингуете!» — Игнат, смеясь, поднялся и отряхнул пиджак.— Ну, надумал?..

— Пойду, Игнат Андреич! — Алеша тоже поднялся.

— Со мной?

— Да.

— Дай руку. Сердцем чую, Илья Фомич, хороший будет он нам помощник.

— Алеша, дорогой,— сказал учитель, крепко пожимая руку Алеше.— Иди! Иди без страха и сомнения! А за семью не беспокойся... Степан Матвеич, заворачивай.

Илья Фомич и Игнат крепко обнялись на прощание.

— Да, постойте-ка, Илья Фомич,— остановил Игнат учителя, когда тот направился к лошади.— Мы с вами не все

обговорили. Эта самая, от которой вы получили письмо, ничего не пишет, когда кончится срок у Веры Сергеевны?

— Еще три года, но я скоро ее увижу. Вот приеду и сейчас же начну собираться.

— Вологодская... Это же далеко, Илья Фомич...— покачал головой Игнат.

— Ничего. Думаю, к учебному году успею вернуться. Меня тревожит не это, а как она встретит: не обижу ли, коли внезапно явлюсь? А писать бесполезно, не захочет, чтобы приезжал, это я знаю.

— Вам, конечно, видней. От души желаю счастливой встречи! — И Игнат еще раз пожал Илье Фомичу руку.

— Счастливого вам пути!

Игнат и Алеша долго махали вслед учителю и Степану.

— Ну вот,— сказал Игнат, положив руку на плечо Алеше.— Помни этот день, Алексей! Сегодня ты уходишь искать счастье своему народу. Пошли.

СОДЕРЖАНИЕ

Ф. ЕРМАКОВ
ОБ АВТОРЕ РОМАНА «СТАРЫЙ МУЛТАН»

I

СТАРЫЙ МУЛТАН

II

Михаил Петрович Петров

СТАРЫЙ МУЛТАН

Роман

Редактор Т. А. Поздеева
Художественный редактор А. В. Фертиков
Художник В. Н. Окунь
Технический редактор С. И. Зяпкина
Корректоры В. С. Уразаева, Л. Н. Юшкова

ИБ № 803

Сдано в набор 01.08.84. Подписано к печати 25.10.84. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,41. Уч.-изд. л. 20,4. Заказ № 0910. Тираж 50 000 экз. Цена 1р. 60 коп.
Издательство «Удмуртия», Республиканская типография Государственного комитета Удмуртской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Адрес издательства и типографии: 426057, г. Ижевск, ул. Пастухова, 13.

Издательство «Удмуртия»
готовит к изданию в 1986—1990 гг.
в серии «Библиотека удмуртского романа «Ит»

Т. АРХИПОВ. У РЕКИ ЛУДЗИНКИ
КЕДРА МИТРЕП. ТЯЖКОЕ ИГО
И. ГАВРИЛОВ. КОРНИ ТВОИ
М. КОНОВАЛОВ. ЛИЦО СО ШРАМОМ
Г. КРАСИЛЬНИКОВ. ОЛЕКСАН КАБЫШЕВ
С. САМСОНОВ. ГОЛУБИ С ПУТИ НЕ СБИВАЮТСЯ
Г. ПЕРЕВОЩИКОВ. ПОКЛОНИСЬ ЗЕМЛЕ
Г. КРАСИЛЬНИКОВ. НАЧАЛО ГОДА

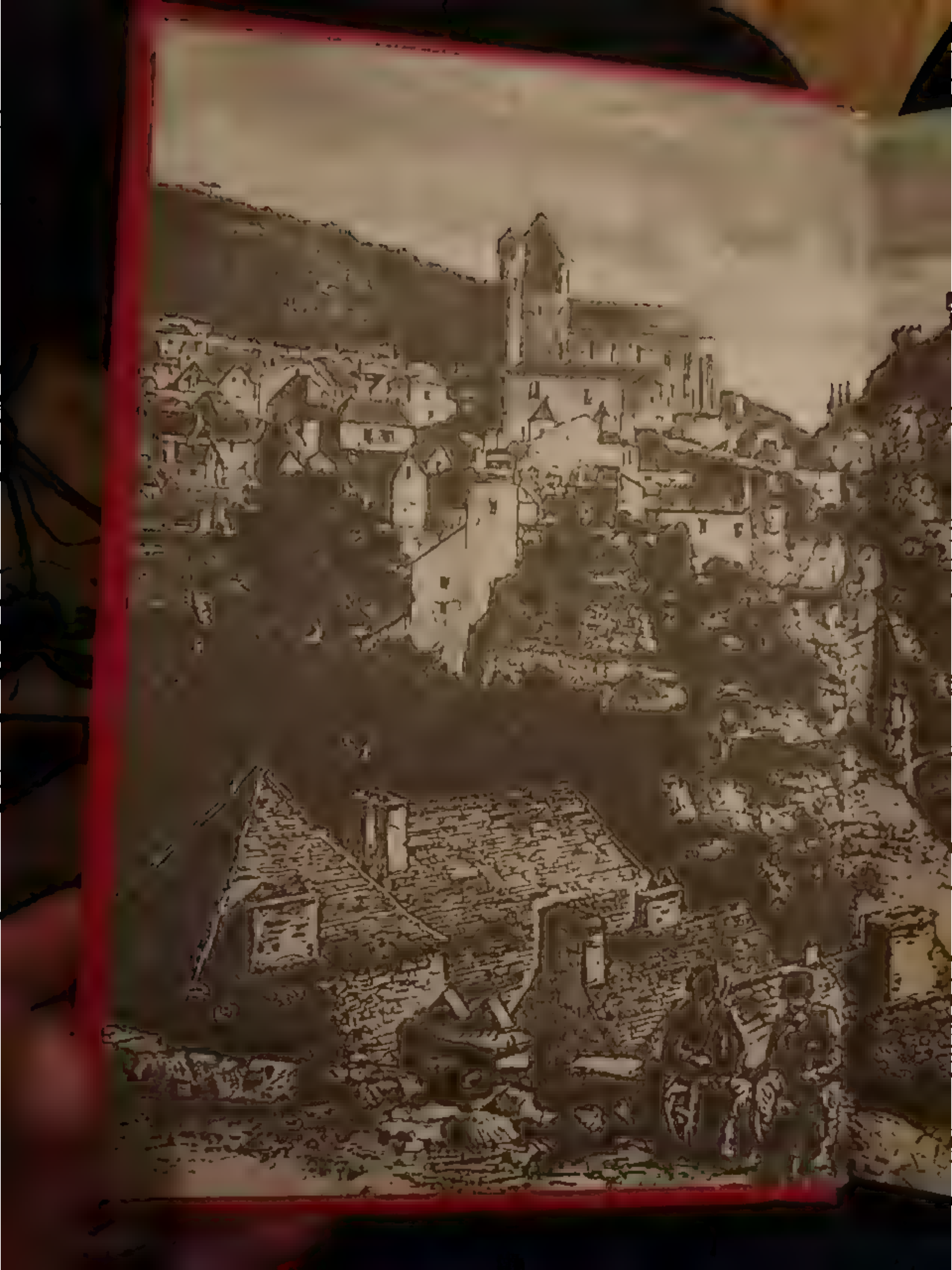
Опечатки

Страница, абзац	Следует читать
стр. 48 20 строка снизу	— Ха-ха-ха!.. Ай да урядник!.. Ату его!..
стр. 109 3 абзац сверху, 5 строка	а потом плюну»,— каждый раз решал он и наутро снова
стр. 125, 16 строка снизу	— Купил, ваше благородие, недавно.

СТАРЫЙ МУЛЛАН

Михаил Петров

1 р. 60 к.



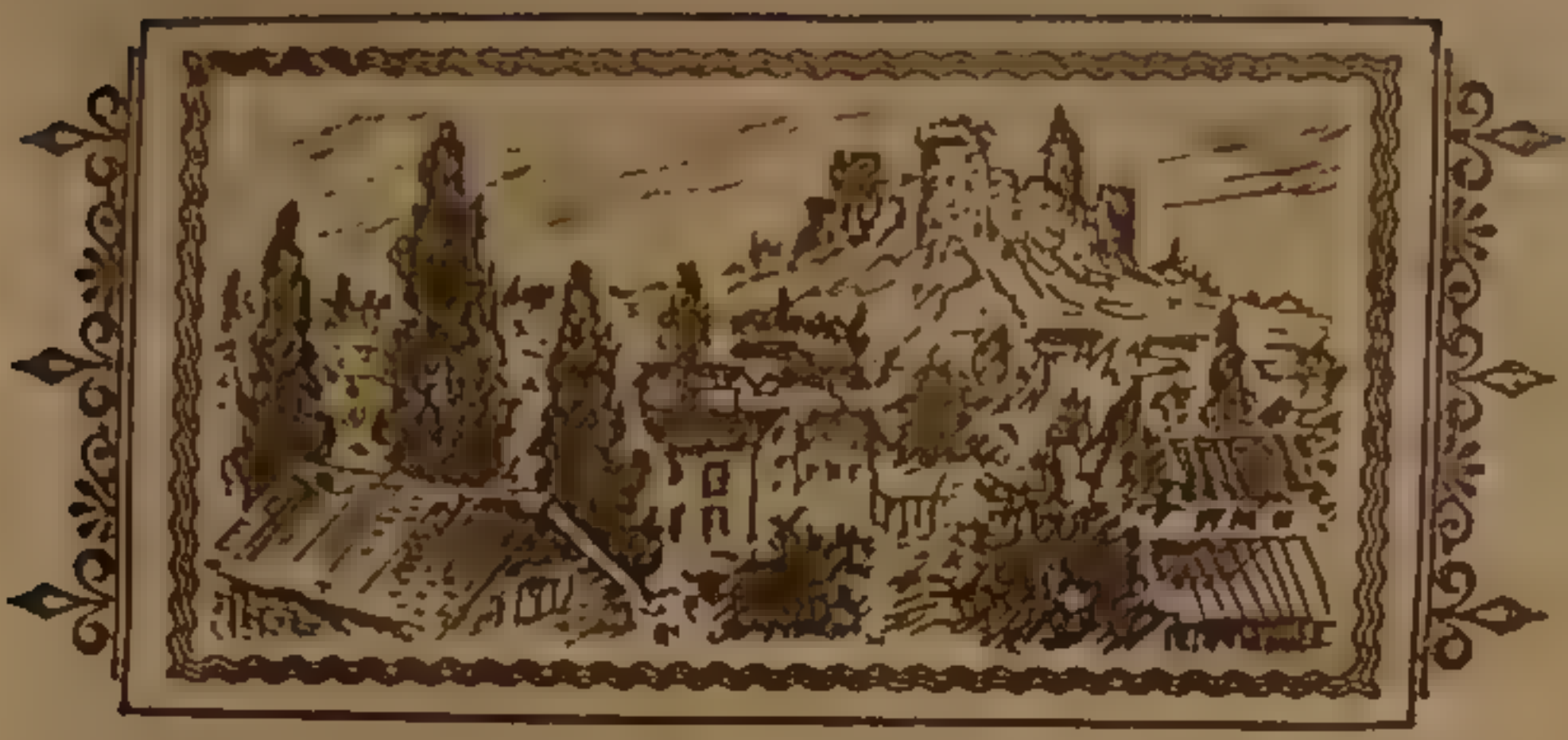
Летопись
России

В. БЕЛЯЕВ

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

«БАЯН»
«ЛЕПТОС»
Москва
1994

КНИГА ПЕРВАЯ



СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Гимназистами мы стали совсем недавно.

Раньше все наши хлопцы учились в городском высшеначальном училище.

Желтые его стены и зеленый забор хорошо видны с Заречья. Если на училищном дворе звонили, мы слышали звонок у себя, на Заречье. Схватишь книжки, пенал с карандашами — и айда бежать, чтобы вовремя поспеть на уроки.

И поспевали.

Мчишься по Крутому переулку, пролетаешь деревянный мост, потом вверх по скалистой тропинке — на Старый бульвар, и вот уже перед тобой училищные ворота.

Только-только успеешь вбежать в класс и сесть за парту — входит учитель с журналом.

Класс у нас был небольшой, но очень светлый, проходы между партами узкие, а потолки невысокие.

Три окна в нашем классе выходили к Старой крепости и два — на Заречье.

Надоест слушать учителя — можно в окна глядеть.

Я кинул голову.

Спускаться по Турецкой лестнице — самое милое дело. По бокам ее, почти до самой реки, прочные дубовые перила. Сверху они гладкие, отполированные. Мы легли на перила и поехали вниз, пролет за пролетом, не успевая пересчитывать бегущие кверху выщербленные ступеньки. На воротнике у меня оборвалась пуговица, и живот зажгло так, будто горчичник прилепили.

Не оправляя сбившихся рубах, растрепанные, словно после драки, мы вскочили на узкую кладочку. Под ногами бурлила быстрая вода. Доски скрипели, гнулись, и вся кладка колыхалась под нами, как живая, будто с берега кто-то из озорства раскачивал ее...

Мы ворвались в каменную арку башни и сразу же по витой лестнице взбежали на второй этаж. Здесь-то нас не найдут!

Усталые, потные, мы упали прямо на траву. Куница сразу же подполз к единственной амбразуре. Она была похожа на перевернутую замочную скважину. Через амбразуру был хорошо виден противоположный берег реки с Турецкой лестницей и половина дощатой кладки, по которой мы только что пробежали.

Если бы сыщики пустились за нами по Турецкой лестнице, Юзик мог их сразу заметить, и у нас хватило бы времени спрятаться в другом месте.

В башне Конецпольского было тихо и прохладно. Мраморный, почти развалившийся камин белел в стене. Потолка над башней не было, он давно обвалился, лишь одна полусгнившая балка, как пушка, торчала из каменной стены. В этой толстой замшелой стене были выбиты три высокие просторные ниши. Должно быть, в них осажденные запорожцами паны Конецпольские складывали порох и тяжелые чугунные ядра. Весь пол второго этажа зарос сочной, густой травой. Трава под стеной была примята. Видно, здесь кто-то был. Уж не Омелюстого ли это следы остались в башне? Ну конечно же, Ивана! Ведь совсем недавно он палил отсюда по петлюровцам. Должно быть, он лежал у самой амбразуры с наганом в руке — вот так, как лежит сейчас Куница,— прижавшись животом к мягкой траве, широко раскинув ноги.

Ох, и ловко же Иван тогда подстрелил чубатого петлюровца! Видно, он хороший стрелок: из нагана на таком расстоянии не всякий попадет. Если тот раненый остался жив, то, наверное, долго будет помнить эту башню Конецпольского.

Неужели петлюровцам удалось поймать Омелюстого?

Но ведь даже там, в самом центре города, он сумел провести петлюровцев — неужели же здесь, на окраине Заречья, они смогли его схватить?

— Послушай! А я думаю, он все-таки удрал отсюда. Вот было бы здорово!

— Кто удрал? — спросил Юзик и повернулся лицом ко мне.— Ты про кого, Васька?

— Про Ивана... Помнишь, как он палил из этой бойницы по гайдамакам?

окапывает вокруг деревьев землю и удобряет ее навозом. Когда фрукты созревают, он собирает их себе. Влезает на дерево по лестнице — даром что хромоногий — и обрывает ягоды, яблоки и даже маленькие кругленькие груши-дички.

— А, есть чего бояться! Ну, увидит, закричит. Подумаешь! Что мы, не сумеем удрать? Ведь не полезет же он за нами по крепостной стене, старый черт! Давай пошли утром,— решил я.

— Пошли! — сказал Куница. — Ядла!

Мы оставляем на берегу одежду и пробираемся вверх, на скалу. Какой интерес купаться у берега, на мели, где купаются зареченские женщины? Не купанье, а стыд один! То ли дело вскарабкаться на скалу и оттуда с вытянутыми вперед руками броситься вниз головой в быструю воду. Теплые, нагретые за день скалы колют нам ноги, мелкие камешки осыпаются вниз и шуршат по кустам бледно-зеленой полыни.

Взобравшись на скалу, мы с Юзиком стоим на ней рядом.

Далеко, за плотиной, в воду ныряют утки. Они то и дело подбрасывают кверху свои толстые гузки и сверкают на зеленоватой глади устоявшейся воды красными лапками.

— Вода сегодня, должно быть, теплая-теплая! — говорит Куница и блаженно улыбается.

По мосту гулко проехала телега.

— Давай! — закричал я и, не дожидаясь ответа, с размаху бросился в воду.

Вынырнул на середине речки, ищу Куницу. Его нет ни на скале, ни на воде. Он, черт, хорошо ныряет. Я верчусь волчком на одном месте. Я боюсь, как бы Куница не нырнул под меня и не ухватил за ногу. Это очень неприятно, когда тебя под водой схватят за ногу скользкими руками. Куница пробкой выскочил из воды около самой плотины. Большие круги разбегаются в стороны. Как далеко он проплыл под водой! Мне столько не проплыть.

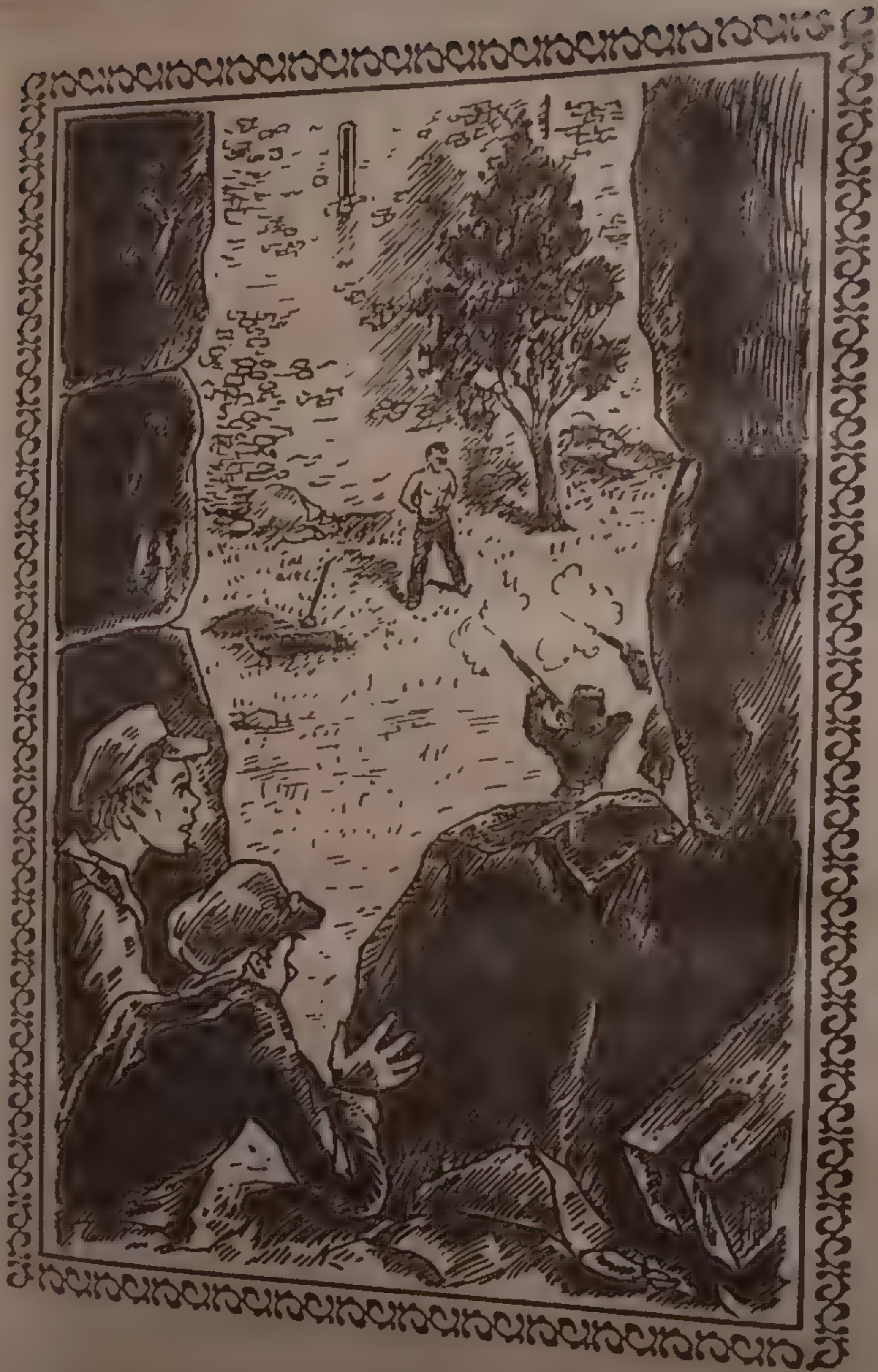
Мы ныряем вперегонки, достаем со дна кругленькие камешки и желтую глину, взбиваем брызги, чтобы увидеть радугу. Усталые, мы переворачиваемся на спину и лежим на воде без движения. Течение медленно сносит нас вниз к плотине. Вверху расстилается голубое, чуть порозовевшее на западе, прозрачное, без единой тучки, небо.

Завтра будет замечательная погода!

Поздно вечером, когда на дворе было совсем уже темно, я ушел в крольчатник, захватив с собой коптилку и спички.

При тусклом свете керосиновой коптилки я, сняв рубашку, несколько раз царапнул себя по животу толстым осколком пивной бутылки. Вскоре на коже проступили капли крови. Я поморщился от боли и вспомнил, как мне прививали оспу. Вот так же царапала меня ланцетом по руке докторша.

Я посмотрел на стекло. «Поцарапать разве еще? Довольно! — решил я.— Тетка близорукая, все равно не заметит».



А ну, пошли на сено! Без вас разберутся!

Он, видимо, не хотел, чтобы мы смотрели на убитого. Мы отошли в сторону и только было собрались лезть вверх, на сено, как в эту минуту за перевалом громко застучали колеса и кто-то подъехал.

Едут к нам.

А что, если это спешат на выручку приятели Марко Гржибовского? Мы с Петькой сразу запрятались в сено, под сено. Мне кажется, что лес подкрадывается к нам со всех сторон, с голенастыми соснами, с ветвистой ольхой, с низеньким кустарником. Лошадиный топот и дребезжание колес раздаются все громче. Вот-вот из-за бугра вылетает запряженная парой коней бричка и, не доехав шагов пятьдесят нашей подводы, останавливается.

— Кожухарь, ты? — негромко окликнул Полевой, поднявший наготове маузер.

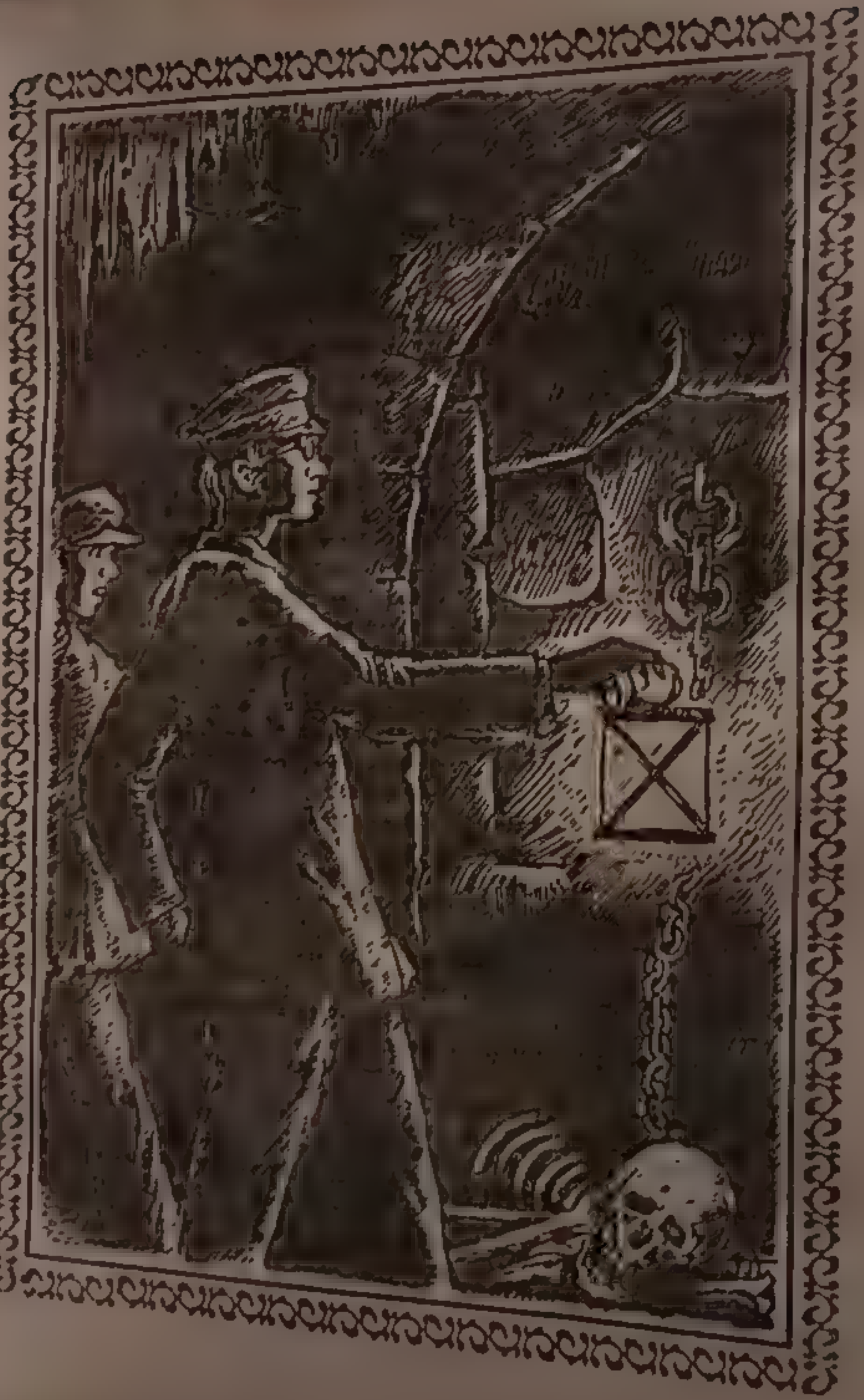
— Товарищ начальник, я тебя малость не признал,— радостно откликнулся с брички Кожухарь и, спрыгнув на землю с винтовкой в руке, побежал к Полевому, но, чуть не наступив на руку Марко, отпрянул и растерянно протянул:— Э-э, да у вас тут...— но не договорил. Он с изумлением стал разглядывать освещенное луной мертвое лицо Гржибовского.

— Ладно, поехали! — коротко распорядился Полевой и спрятал маузер в деревянную кобуру.

И вот через несколько минут мы едем дальше, к городу. Мы с Петькой лежим на сене, едва дыша, не шевелясь. Я пристально вглядываюсь в лесную чащобу. Теперь мне кажется, что из-за каждого ольхового ствола выглядывает бандит. Тень деревьев хорошо скрывает бандита, а мы, наоборот, освещены луной и видны отовсюду отлично. Зачем только ездовой так быстро гонит лошадей? Ехал бы потише! Ведь подковы так звонко цокают по камням!

Стук лошадиных подков и громыхание колес разносятся далеко по всему лесу. Наверное, услышав этот грохот, приятели Марко Гржибовского — страшные волосатые бандиты — уже подползают к дороге, чтобы отомстить нам. В руках у них бомбы, обрезы. В этом дремучем лесу они хозяева — каждая тропа им знакома.

Но вот заискрились за лесом далекие огни епархиального училища. Уже близок город. Там стоит полк Полевого, там живет мой отец в городе горят на улицах электрические фонари, а на мосту возле крепости стоит часовой. Если бандиты погонятся за нами, он не пустит их в город. На радостях я крепко прижался к Петьке Маремухе. А хорошо ехать здесь, на сене! Теплая бурка греет нас, как одеяло. Мы все ближе подъезжаем к городу. А впереди нашей подводы, на второй бричке, мой приятель Кожухарь везет в уездную чрезвычайную комиссию труп Марко Гржибовского.



— Садитесь,— неожиданно предложил нам этот молодой парень.— Садитесь,— повторил он и откашлялся.

Мы, недоумевая, как попало усаживаемся за парты.

— Ребята,— хрипло говорит молодой паренек и опять кашляет.— Товарищи... Давайте познакомимся. Моя фамилия Панченко, меня прислал к вам уком комсомола. А впрочем, можете звать меня просто: товарищ Дмитрий. Заниматься я буду с вами политграмотой. Вы знаете, что такое политграмота?

В классе тихо. Что ответить? Мы с удивлением разглядываем нашего нового, не похожего на остальных и какого-то уж очень скромного преподавателя.

КНИГА ВТОРАЯ

ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ

МЫ ПЕРЕЕЗЖАЕМ

Мне очень хотелось до прихода Петьки установить новую голубятню посреди двора. Острый, хорошо отклепанный заступ все глубже уходил во влажную землю, перерезая на ходу дождевых червей, корни травы. Когда нога вместе с загнутой кромкой заступа касалась земли, я обеими руками тянул на себя гладкую ручку. Целая груда земли взлетала наверх. Я ловко отбрасывал ее в сторону — черную, местами проросшую белыми жилками корней.

Вскоре глубокая яма зачернела посреди нашего небольшого дворика. Поддерживая голубятню одной рукой, я набросал в нее несколько булыжников, окружил ими столб и, когда голубятня перестала шататься, быстро засыпал яму свежей землей. Мне оставалось разровнять ее, как за домом скрипнула калитка.

«Ну вот и Петька!» — подумал я.

Издали голубятня выглядела еще лучше. Сколоченная из тонких досок, выкрашенная охрой, она заметно выделялась среди старых сараев. Славно будет житься в этом домике моим голубям. Позавидует мне сейчас Петька Маремуха. Как бы он ни пыхтел, никогда не сделать ему такой голубятни. Вот уже слышны позади шаги. Я медленно обернулся. Ко мне подходил отец. Он остановился рядом и сказал:

— Голубятня приличная, а вот зря.

ше, а когда мы вошли в темную аллею, ведущую вниз к мостику, этот шум листвы усилился, и похоже было, что мы идем по запущенному безлюдному лесу.

На мосту стало совсем холодно. Ветер продувал насквозь скалистую и глубокую долину реки. Галя то и дело придерживала рукой волосы, оправляла юбку, матросский воротник ее блузки подымался. Я держал Галю крепко под руку, чувствовал теплоту ее тела и шагал быстро, чтобы поскорее пройти этот длинный, на шести каменных быках,' высокий мост, переброшенный через пропасть.

В кармане у меня шуршали еще семечки, но есть их не хотелось. И так уж язык заболел от них, шелухой я ободрал себе нёбо.

— Вот дует! — сказала Галя.— Как осенью.

— Ничего,— сказал я.— В городе будет тише, это на мосту только холодно так.

В городе, за высокими стенами домов, в узенькой улочке и вправду стало тише. Ветер гулял сейчас вверху, над крышами, и слышно было, как попискивали там жестяные флюгера да изредка хлопали форточки.

За поворотом начиналась центральная улица — Почтовка. Из открытых дверей колбасной вырывался на тротуар яркий свет. Я ощупал еще раз в кармане деньги и, только мы поравнялись с колбасной, сказал Гале как можно более небрежно:

— Знаешь, я совсем замерз... Давай зайдем...

— Куда? — испуганно перебила меня Галя и посмотрела на витрину колбасной.

— Нет, не сюда... К Шипулинскому!

— К Шипулинскому? Не надо. В другое время как-нибудь зайдем.

— Пойдем сейчас! — взмолился я. Мне очень хотелось повести Галю к Шипулинскому не потом, не завтра, а именно в этот холодный ветреный вечер, именно сегодня растратить все деньги.

— Ах да! Я ведь совсем забыла! — рассмеялась Галя.— Мы же тогда говорили про кондитерскую, и ты запомнил, верно? Ты думаешь я серьезно это говорила? Вот чудак!

— Я ничего не думаю. Просто мне хочется... кофе...— сказал я обиженно.

— Уже поздно. Как я домой буду возвращаться?

— Ничего, я тебя провожу!

Галя подумала минутку, а потом сразу решилась:

— Ну хорошо, пошли.

Мы осторожно вошли в кондитерскую и сели за самый крайний столик, около витрины. Можно было, конечно, сесть поближе к буфету, но там за длинной стойкой, в шелковом розовом платье, в белом кружевном переднике, хозяйничала красивая желтоволосая пани Шипулинская. Мне не хотелось, чтобы она прислушивалась к нашему разговору.

Несколько минут мы просидели молча. Галя разглядывала картины, развешанные на стенах, а я чувствовал себя здесь не очень хорошо. Мне было страшновато заговорить с Галей громко в этой почти

рать хлеб,— вот почему в пятницу с утра все свободные люди выехали на дальнее поле жать последнюю пшеницу.

До самого вечера там, в шести верстах от совхоза, на обрывистом глинистом берегу реки трещали жатки-лобогрейки, жатки-самокидки; их зубчатые крылья взлетали над ровным посевом пшеницы и то и дело сбрасывали на колючую стерню охапки срезанных острыми ножами колосьев.

Много нажали курсанты за этот день: там, где раньше от пыльной проселочной дороги на Жванец и до самого обрыва уходило широкое густое поле пшеницы, теперь сплошь виднелась колючая стерня, и на ней лежали кучки срезанных тяжелых колосьев.

Холмики нарытой кротами земли, мышиные норки, следы давних селянских меж, свитые у кочек гнезда жаворонков — все это, раньше запрятанное в густой пшенице, теперь обнажилось и стало заметным.

Курсанты возвратились в совхоз, когда стемнело, голодные, загорелые за целый день работы на солнце. Возвратился с ними и я. Ближе к вечеру я отвез туда, на дальнее поле, целую бочку холодной ключевой воды; ее распили почти всю, лишь на донышке, на уровне дубового крана, звонко плескались недопитые остатки. Только я выпряг из оглобель худую облезлую лошадь, ко мне подошел Полевой.

— Вот что, Василь,— сказал он,— ты не очень заморился?

— Совсем не заморился. Я же воду возил. Разве это работа?

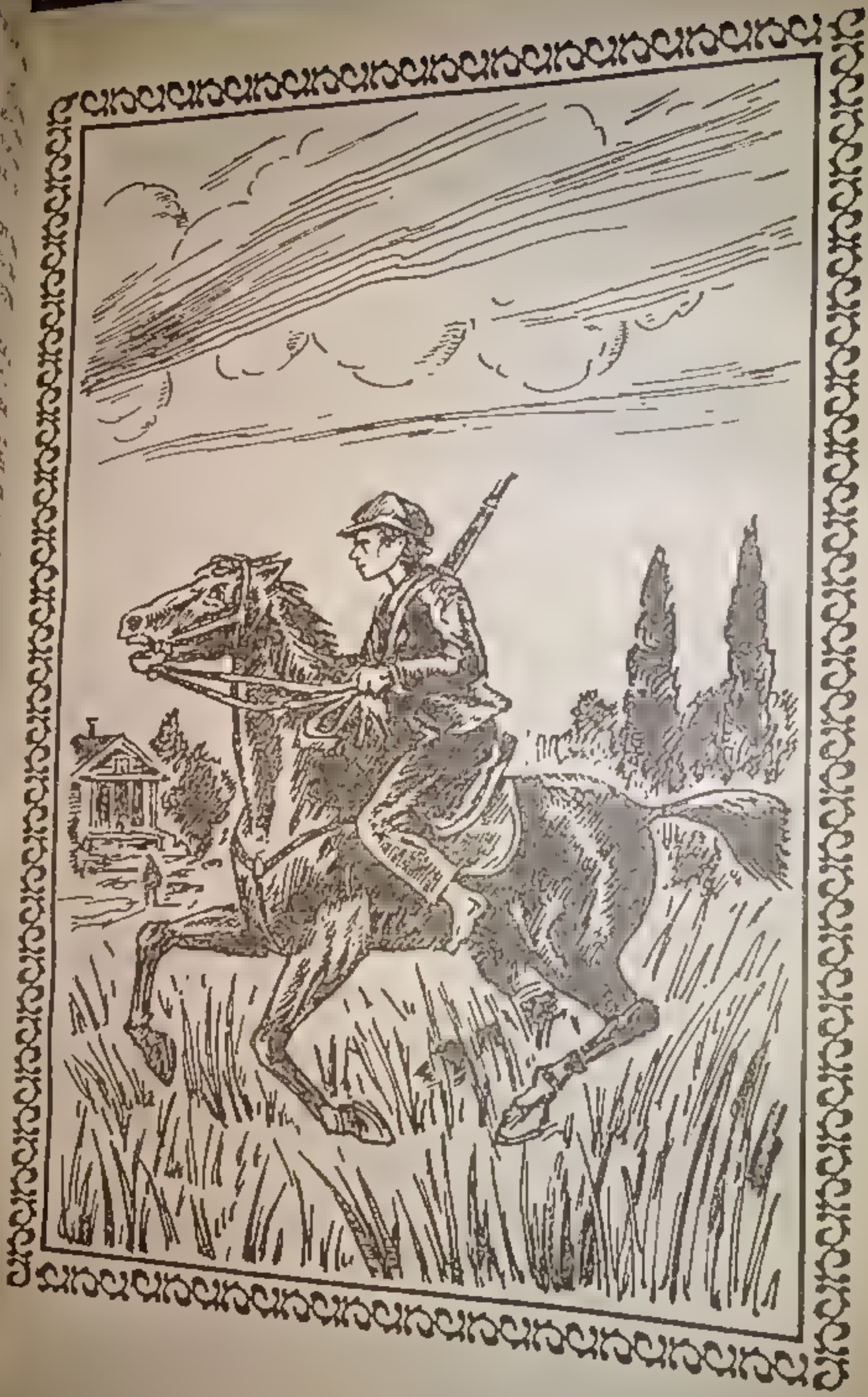
— Тогда слушай. Народ сегодня поработал крепко. После ужина все как завалятся спать, никого не разбудишь. Придется тебе сегодня подежурить на поле. Как взойдет луна, там будут вязать сельские девчата. Ну а вы вдвоем с Шершнем берите коней и тоже подавайтесь к ним на поле. Девчата, как повяжут, лягут спать, а вы будете сторожить, как бы какой куркуль не утащил снопы. Ну а пока, до луны, ты как поужинаешь, поспи. Шершень тебя разбудит.

— Зачем мне спать? Я и так обойдусь,— отказался я и подумал: «Интересно, какую же лошадь мне дадут на дежурство?»

Дали Каштана, резвого карего коня, который до полудня возил снопы, а все остальное время отдыхал в прохладной конюшне.

До сих пор мне удавалось ездить на совхозных конях только в подопою — до Днестра и обратно. К реке кони шли спокойно, медленно входили в быструю воду и стояли в ней, пофыркивая, по нескольку минут, но зато обратно они неслись галопом, обгоняя друг друга,— знали, что в деревянных яслях уже засыпан для них овес. Приходилось изо всей силы натягивать поводья, чтобы не слететь. А один раз я купал серого жеребца, по странной кличке Холера, так он как понес меня на обратном пути — я уж думал: все!

Я бил Холеру пятками в мягкие бока, натягивая изо всей силы узду, но все было напрасно: жеребец обогнал всех лошадей и, похрапывая, мчался к совхозному двору. Проносились мимо деревья, столбы, вот мы обогнули каменный забор, вот влетели в распахнутые ворота. Увидев конюшню, жеребец рванул так, что я сразу же перелетел ему круп и выпустил поводья. Бревенчатые стены конюшни приближались, все шире казалась черная дыра дверей.



— Где ж ты устроишься, когда там и так тесно? И так мужики уходят ночевать к абмарам.

— Как-нибудь примостимся.

— Ну какой смысл, подумай, Никита. В комнате мы успеем належать, когда приедем в город. А здесь возле стога свежий воздух, пахнет хорошо, баштан рядом — все удовольствия. Да ты же сам говорил, что тебе очень нравится ночевать там, на соломе.

— Говорить-то говорил,— замялся Коломеец.— А сейчас что-то расхотелось. Знаешь, таскать эти манатки в такую даль,— ну его...

— Ну, хочешь, я сам понесу твою постель? А? Ты порожняком пойдешь.

— Да нет, Василь. Не хочется что-то. Да и дождь, может, будет. Видишь?

За Днестром полыхнула молния, озарив на секунду край темного пасмурного неба. Сегодня к вечеру действительно на небе было много туч, лишь кое-где в просветах между ними искрились звезды.

— А при чем здесь дождь, Никита? Под стог вода не затекает. Ты же помнишь, позавчера...

— Позавчера не затекала, а сегодня может затечь...

— Так не пойдешь к стогу?

— Не пойду.

— Ну тогда я сам пойду.

— Один? — Коломеец протяжно свистнул.— Ох, какой ты храбрый!

— А думаешь, не пойду?

— Думаю, страшненько будет, и ночью прибежишь обратно.

— Посмотрим! — сказал я упрямо.

Когда, зажав под мышкой тюк с одеялом и простынями, я шагал к стогу, мне уже очень хотелось остаться ночевать на совхозном дворе вблизи курсантов. Можно было найти удобное местечко где-нибудь в амбаре или устроиться на подводе со свежим сеном, однако упрямство не позволяло мне поступить так. Ведь только узнает об этом Коломеец, он мне житья не даст, будет снова «прорабатывать» меня, станет рассказывать, что я побоялся ночевать один. «А, чепуха,— сказал я себе.— Что ж такого? Переночую один, и ничего со мною не станется. Чего бояться? Подумаешь! А зато как завтра утром я посмотрю на Коломейца! Скажу ему: «Интересно, кому было страшно?» Рябко. Сейчас я уже не думал его отгонять. Хоть одна живая душа будет рядом.

— Иди сюда, Рябко! — позвал я собаку.

Пес подошел совсем близко и лизнул мою руку.

— Ложись, Рябко! — приказал я.— Вот здесь, на одеяло.

Пес колебался и стал пятиться. Тогда я насильно повалил его вниз, он улегся в ногах и сразу же, довольный, начал искать блох.

Зарницы в Бессарабии полыхали сейчас уже раз за разом, и все в промежутках между вспышками становилось темно-темно. Звезды гасли там, вверху, после каждого удара молнии.

тесно? И так мы

мнате мы успеем в
свежий воздух, п
ты же сам говори

ец.— А сейчас т
кую даль,— ну с
А? Ты порожн

дождь, может, б

екунду край ты
о на небе было к
рились звезды.
ог вода не зат

затечь...

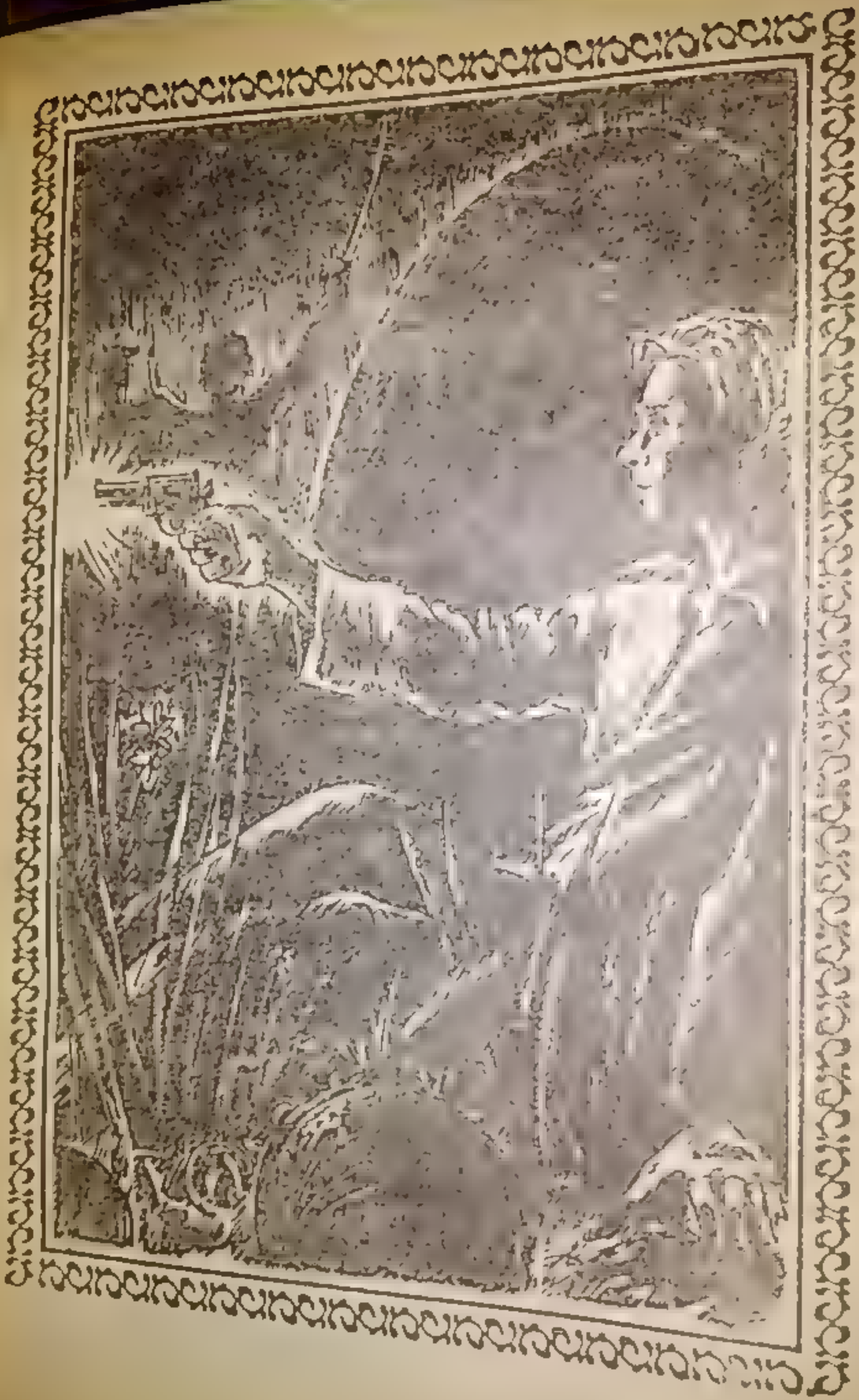
— Ох, как

бежишь обрат

остынями, я
на совхозном д
естечко где-н
ом, однако у
ко узнает о
рабатывать
ин. «А, чет
ичего со м
втра утром
у было спр
ко мне при
одна живая

одеяло.
но пойдет
искать
за рам
Томск

ми

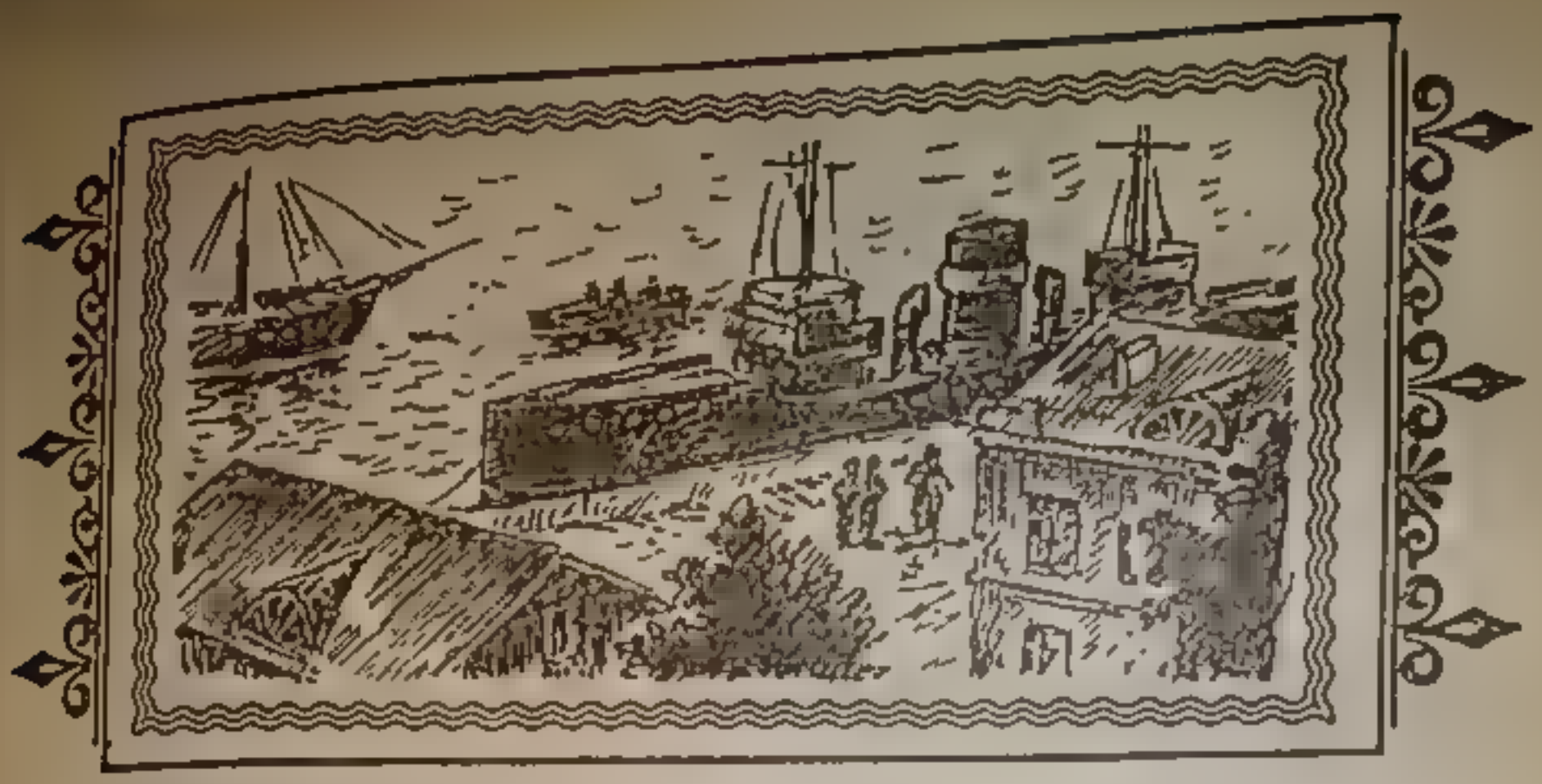


Он трудился, старался там, в пыльной мастерской частника, все еще нагоняя себе рабочий стаж. Он не терял надежды перехитрить нас. Видно было, он проклинал в душе всю эту работу, ему хотелось тоже в город, на гулянье, но Захаржевский был католик и не признавал православных праздников. Вот и погромыхивал там молотком Котька, когда мы проходили мимо него по другой стороне улицы.

Маремуха, тот искоса поглядывал в глубь мастерской, а я посмотрел один раз и сейчас шел, высоко подняв голову, мимо Котьки, замазанный, усталый, с прогоревшей штаниной, опустив руки, на ладонях которых были давно натерты твердые мазоли.

За углом, за афишной будкой, начиналась широкая Житомирская улица. Где-то в самом ее конце, за зеленью садов, уже на самой окраине города, белел дом совпартшколы. Петька повернул на Заречье, а я пошел дальше, к этому дому.

КНИГА ТРЕТЬЯ



ГОРОД У МОРЯ

Памяти моего дорогого наставника, писателя-коммуниста, погибшего на войне,— Евгения Петровича Петрова посвящается эта повесть...

НА КИШИНЕВСКУЮ

Был свободный от занятий вечер, и мы вышли погулять в город. Петька Маремуха важно шагал в своем коротком кожушке, от которого пахло овчиной. Сашка Бобырь поверх старых, порванных ботинок надел блестящие калоши и плотно застегнул на все пуговицы длинное пальто желтоватого цвета, переделанное из английской шинели, а я напялил уже немного тесную в плечах серую чумарку, похожую на казакин. Она была коротка в рукавах, и крючки ее сходились кое-как: еще в позапрошлом году мне перешили чумарку из отцовского пальто, но я очень гордился ею, потому что в таких же чумарках ходили в нашем городе работники окружкома комсомола и многие активисты.

По случаю субботы в Старом городе было людно. Хотя не все магазины были открыты, но их ярко освещенные витрины бросали полосы света на узенькие, замощенные плитками тротуары. По этим узеньким тротуарам главной улицы нашего города — Почтовки — прохаживались гуляющие.

Какой-то подвыпивший, хорошо одетый тип с перебитым носом, никого не стесняясь, открыто напевал песенку контрабандистов:

А на границе дождь обмоет,
А солнце — обсушит.
Лес от пули нас укроет,
Шаги ветер заглушит...

— Возьмите круг, Лика! — донеслось сверху.

Это крикнул дежурный матрос Общества спасания на водах. Он стоял на мостике в одних трусах да в фуражке-капитанке с белым флажком на околыше. На мускулистой груди матроса висел на цепочке свисток.

— А для чего, Коля? — сказала Лика, отталкиваясь веслом от причала.— Я думаю, мой идальго умеет плавать. Да в случае чего я и сама спасу его, без круга.

— Как знаете! — Матрос усмехнулся.— А если что, давайте по лундру.— И он бросил круг обратно на причал.

Насупившись, прислушивался я к этому разговору. Моя соседка положительно во всем хочет показать свое превосходство надо мной. И в этой фразе, оброненной матросу, тоже звучал презрительный намек, что я не умею плавать и, как котенок, пойду ко дну, если она меня не подхватит.

Анжелика легко перебирала веслами, и берег постепенно уходил от нас. Причал казался отсюда уже совсем маленьким, как две спички, сложенные буквой Т и прилипшие к берегу.

— Пустите, я немного погребу!

— Рискните,— согласилась Анжелика, и мы переменились местами.

Багровый шар солнца, падающего куда-то левее, за Керчь, ослепил меня и окрасил удивительно спокойную воду бухты в ярко-кирпичный цвет. Я зарыл весла глубоко в воду и одним толчком подал лодку вперед. Она забрала вправо, но весло вырвало уключину. Еще немного — и уключина утонула бы в море.

— Я верю, Василь, что вы силач, но зачем же лодку ломать? Загребайте легко, как бы нехотя, от скуки. И тузик скорее пойдет

И в самом деле, как только я уменьшил усилия и перестал зарывать лопасти весел глубоко в воду, лодка заскользила по поверхности бухты, как плоский камешек, пущенный с берега, оставляя за рулем нежный дрожащий след.

— Забирайте чуть-чуть левее. На волнорез!

— Вы туда хотите?

— А вы нет?

— Далеко же!

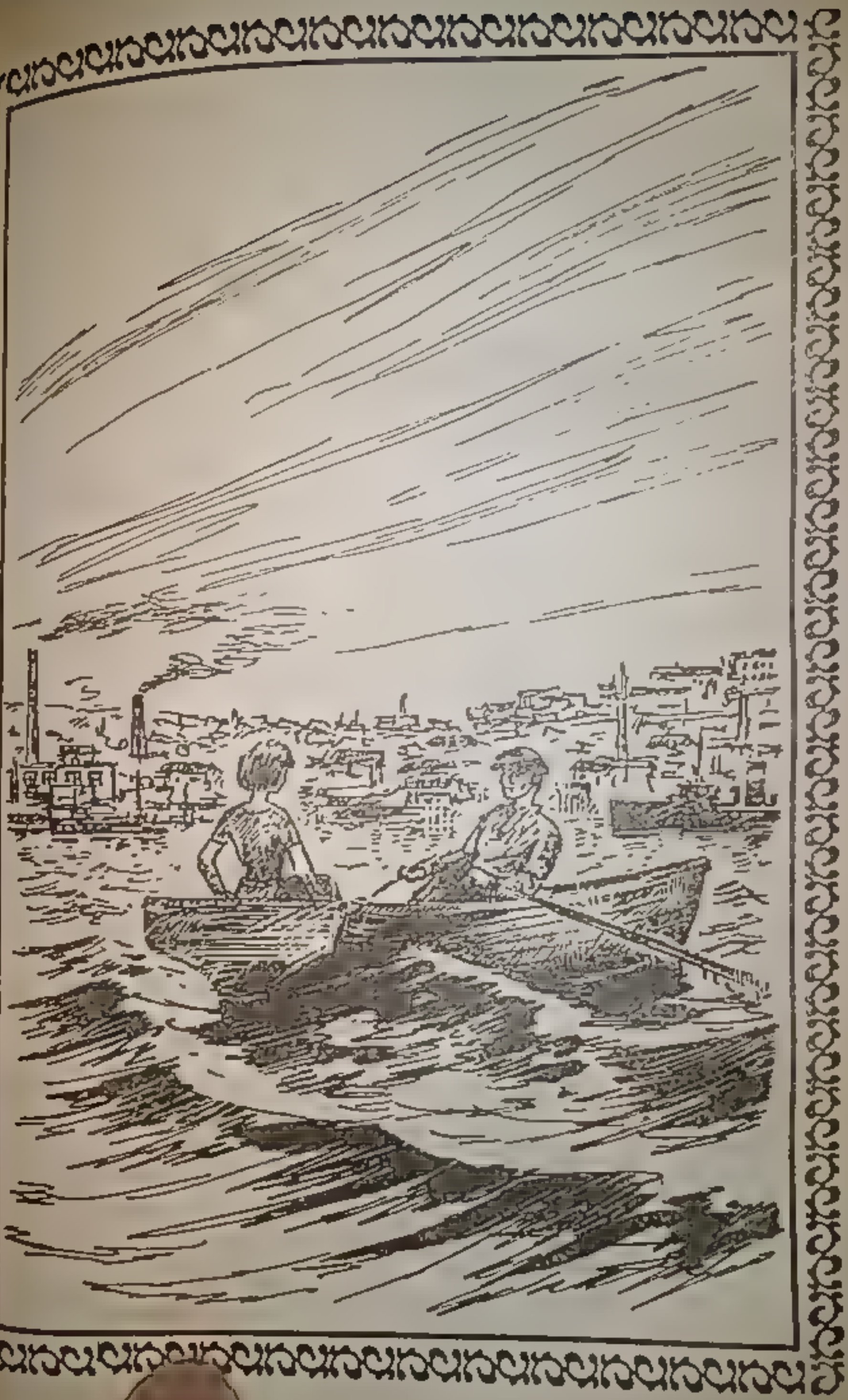
— Вы не знаете еще, что такое «далеко»! Если бы мы с вами на косу отправились на ночь глядя — другое дело, но вы робкий. А волнорез — рукой подать.

Порт с полукруглыми пакгаузами остался уже позади. И почти сразу же за сигнальным колоколом его последнего мола открылись высокие гранитные глыбы волнореза.

— Пожалуй, близко! — согласился я.— Версты две будет?

— Полторы.

Непривычный к веслам, всякий раз напрягаясь, я сжимал губы. Вид у меня, наверное, был неестественный. Теперь моя соседка, нисколько не смущаясь, разглядывала меня в упор с очень близкого расстояния.



На расстоянии всего не объяснишь, о многом не расспросишь. По согласованию с начальством Вукович, знавший Печерицу в лицо, выехал в район появления Печерицы. Так случилось, что я увидел Вуковича в день его приезда, когда в чесучовом костюме и в панаме с голубой лентой он шел с вокзала в город. А он не признался из желания до поры до времени сохранить в тайне свой приезд.

В нашем городе чекиста Вуковича ждала неожиданность. Он пришел в городской отдел ГПУ, и там ему показали срочное донесение от дежурного по станции Верхний Токмак. В этом донесении сообщалось, что в балке поблизости от станции, где обычно копали фарфоровую глину, найден труп человека с документами на имя Печерицы-Шевчука...

— Что-о-о? Труп? — дрогнувшим голосом выкрикнул Бобырь.— Да не может быть! Кто же его убил?

— А ты думаешь, я знаю, кто его убил? — сказал Коломеец.

Спокойный тон Никиты обманул и Маремуху. Введенный в заблуждение, Петрусь горестно сказал:

— Вукович все тебе рассказал, Никита. Такие подробности, что даже и выдумать трудно. Неужели он не мог тебе досказать напоследок, кто же убил Печерицу?

— Представь себе, не досказал...— еле сдерживая улыбку, процедил сквозь зубы Коломеец и спросил: — Вы уверены, ребята, что жатки до темноты будут погружены на платформы?

— Раз Головацкий взялся за это дело, все будет хорошо! — воскликнул я.— Чьему-чьему, а Толиному слову можно верить. К ночному поезду их перегонят с завода на товарную станцию.

— Ну, тогда слушайте, что было дальше! — сказал Никита.

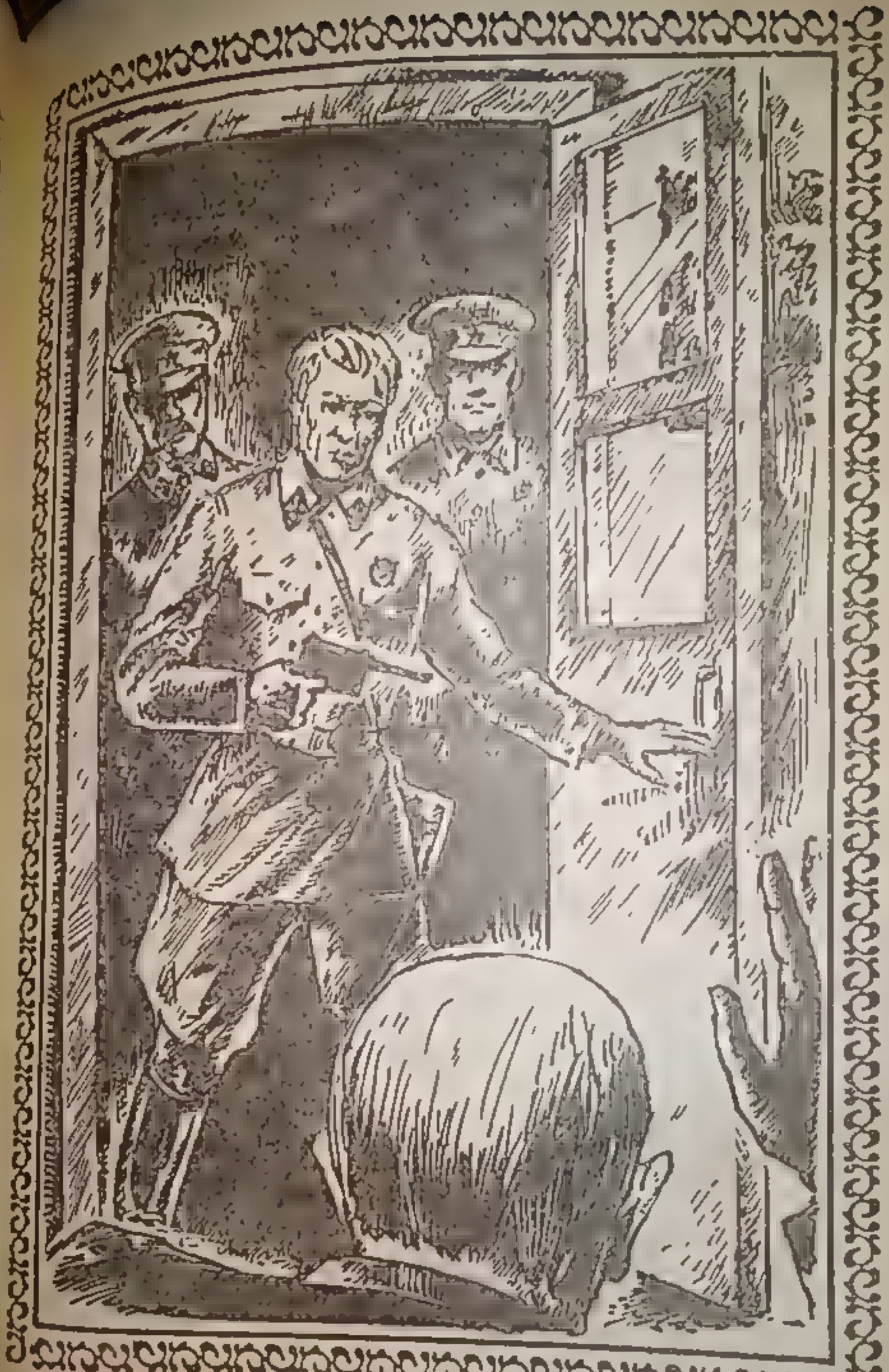
ТРУП В БАЛКЕ

Случилось то, чего очень опасался Вукович. Когда наводили справки о Печерице во Фридендорфе, об этом узнал прихожанин кирки и немедленно сообщил заместителю пастора Кунке, что его квартирантом интересуются власти.

Печерица, не дожидаясь, пока его схватят, проклиная все на свете, в наступивших сумерках уехал из колонии на ближайшую железнодорожную станцию Верхний Токмак. Кунке снабдил его рекомендательными письмами к богатеям немцам, живущим в окрестностях Таганрога.

...Была ночь. Два керосиновых фонаря тускло освещали маленькую степную станцию Верхний Токмак. Почти вплотную к станционным постройкам примыкали баштаны и виноградники. Сонный дежурный дремал у раскрытого окна, дожидаясь звонка с соседней станции.

По гравию перрона одиноко прохаживался Печерица. Потом к нему подошел еще один пассажир и попросил прикурить. Печерица протянул ему тлеющую папироску. От нечего делать они бродили вдвоем по перрону, разговаривая. Слово за слово, Печерица выяс-



буций мы должны разойтись, оставаясь друзьями и хорошими знакомыми, о чем и подписываемся

Никодим Александрович ЗУБРОВ.
Мария-Агнесса Войцеховна САВИЦКАЯ.

— Его жена полькой была,— проронила Наташа.— Оттого и два имени. Комсомолка. И ее махновцы клинками зарубили...

Молча стояли мы над каменными перилами обрыва. Внизу ухали вальками прачки, выколачивая белье на берегу Смотрича. Музыкой первых месяцев революции звучало каждое слово пожелтевшей бумажки, прочитанной Толей.

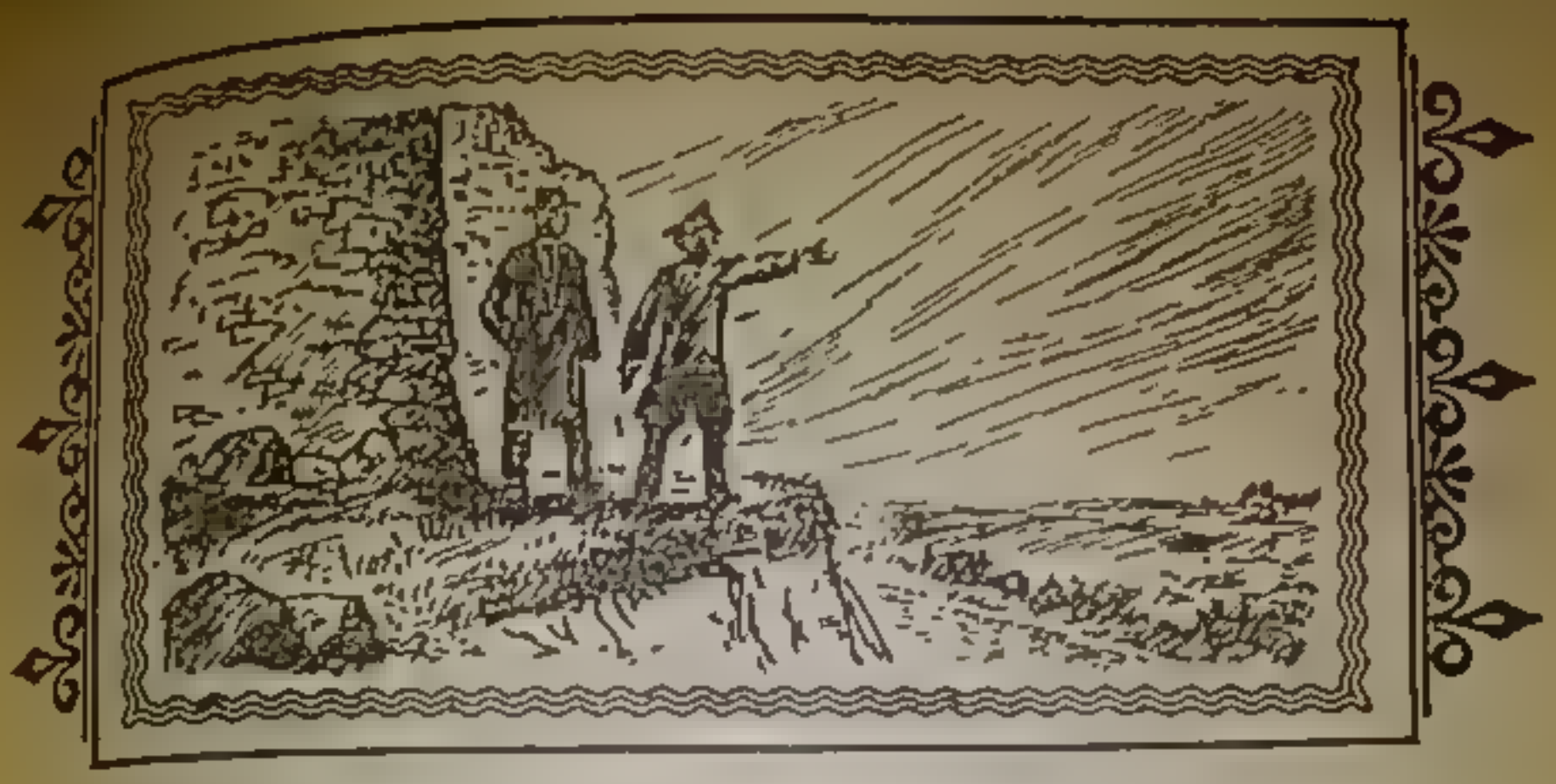
— Да, документ очень интересный! — задумчиво согласился Головацкий, бережно пряча его в папочку и отдавая Наташе.— Береги его, Натка, пуще всех драгоценностей на свете! Будешь и ты старушенцией когда-нибудь. Внуки твои станут комсомолятами, а комсомол наш Ленинский будет справлять какой-нибудь свой солидный юбилей. Ну, пятидесятилетие, скажем. И вот взойдешь ты тогда на трибуну, седенькая, старенькая, и расскажешь им все, что запомнила о своем дяде, верном солдате революции, который уже на третьем месяце после свершения Октября не постеснялся записать в свои личные отношения священное слово «социализм». Расскажешь все о нем, а заодно огласишь и этот документ, в котором уже тогда исчезли навсегда границы между людьми разных наций, если только они были бойцами одной цели. Подумай, как интересно будет послушать все это новым комсомолятам, не знающим лично, что такое революция и гражданская война!..

— Я сделаю это, Толя, если только доживу до тех лет,— сказала серьезно Наташа и пошла с нами обратно к старому центру пограничного города, бережно неся под мышкой такую дорогую для нее папку.

Д

Засуети
якорь, выш
ней палубе

Славная
Вот и с
листаю ста
звенит зна
Сквозь
ли вниз бо
цвет, оголи
Я прис
тал споз
Хозя
потеря



ЭПИЛОГ

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Двадцать лет прошло с того солнечного утра, как пароход «Феликс Дзержинский» огласил дрожащим гудком устье реки Кальмиус, входя по каналу в порт Мариуполя.

Засуетились матросы у брашпиля, готовясь к тому, чтобы опустить якорь, вышли из своих кают пассажиры, и мы, собравшись на верхней палубе, громко запели:

Низвергнута ночь. Подымается солнце...

Славная песня! Запечатлелась она навсегда в моей памяти!

Вот и сейчас, двадцать лет спустя, сижу я в небольшой комнате, листаю старые газеты, слушаю, как хлещет по стеклам дождь, а в ушах звенит знакомый мотив этой песни.

Сквозь окно видны намокшие каштаны. Они нахохлились и опустили вниз большие лапчатые листья. Частый дождь сбил с них последний цвет, оголил маленькие колючие шишечки.

Я приехал сюда ночью из Ленинграда. Укладываясь спать, я мечтал спозаранку побежать в город и посетить Старую крепость.

Хозяйка квартиры Елена Лукьяновна — врач-невропатолог. Она потеряла в Ленинграде в первую же блокадную зиму всех своих близ-

люди, подобные Анжелике, которые в двадцатые годы еще колебались в выборе пути, прошли за это время отличную школу.

— А муж Анжелики жив? — спросил Петро.

— Убили под Гатчиной, когда блокаду Ленинграда рвали. Он как ушел в народное ополчение осенью, так с фронта и не возвратился. Погиб майором. Быть может,— но это пока по секрету — поженятся мы с нею, Петя... Кстати, ты иногда можешь послушать ее фортепьянные концерты по радио из Ленинграда. Понравится — напиши ей отзыв. Напиши: «Я тот самый ваш сосед Петрусь, с которым Василь познакомил вас на берегу Азовского моря». Как она будет рада твоему письму! Она часто вспоминает ту встречу. Это же наша юность, Петро, славная, дорогая, светлая юность!..

...Западный ветер принес из днестровских урочищ громадную черно-серую и густую тучу. Медленно ползла она к зениту, подобно дыму далекого пожара, и гребень ее, озаренный отсветом заката, был багровым и тревожным.

— Как она появилась на небе? — удивился я.— Ведь так солнечно было с утра! Даже поразительно! Знаешь, что мне напоминает эта туча? Дым от пожара Бадаевских складов в Ленинграде. То был первый массированный и, пожалуй, самый ощутимый для осажденного города воздушный налет. И валил из тех складов такой густой-прегустой дымище, и так медленно полз он вверх, занимая добрую половину неба, что мы думали сперва — туча... А может, пойдем домой, Петро? Будет гроза.

— Не спеши,— сказал Петро, улыбаясь и поглядывая на запад.— Чего же бояться — дождя? Не такие грозы переживали. Не страшно теперь. Ведь мы — взрослые...

Май 1936, Ленинград
Август 1967, Москва

с колебалась

ался. Он как
озвратился.
пожениимся
фортепья-
напиши ей
ым Васить
ада твоему
сть, Петро,

ую черно-
бно дыму
ыл багро-

к солнеч-
инает эта
был пер-
жденного
-прегус-
оловину
Петро?

запад.—
трашно

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ 7

КНИГА ВТОРАЯ

ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ 183

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГОРОД У МОРЯ 345

ЭПИЛОГ 617

МЕЖИЗДАТЕЛЬСКАЯ СЕРИЯ
«ЛЕТОПИСЬ РОССИИ»

Владимир Павлович Беляев

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

Роман

Технический редактор *Куприянова Л. И.*
Корректор *Врублевская С. А.*

Лицензия № 060251 от 2.10.91 г.

Сдано в набор 20.12.93 г. Подписано в печать 2.02.94 г.
Формат 60×90/16. Гарнитура таймс.
Усл. п. л. 40,0. Тираж 50 000 экз. Заказ 875. С 60

Товарищество с ограниченной ответственностью «Баян»
совместно с А/О «Лептос».
103051, Москва, Цветной бульвар, 21, стр. 2

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени
полиграфический комбинат Министерства печати и информации
Российской Федерации.
410004, Саратов, ул. Чернышевского, 59.

АБДИЖАМИЛ НУРПЕИСОВ

КРОВЬ И ПОТ

Книга третья

КРУШЕНИЕ

Авторизованный перевод с казахского
Юрия Казакова

Издание восьмое

ДОЛГ

Авторизованный перевод с казахского
Герольда Бельгера и Петра Краснова

РОМАНЫ

Том 2

АЛМА-АТА «ЖАЗУШЫ» 1984

ДОЛГ

РОМАН

Авторизованный перевод с [illegible]
Герольда Бельгера и Петра Краснова

Редактор
П. КОЗЕНКО, [illegible]

ктра, шат-
забил глаза
ну. И толь-
твоего же-
от безум-
ухая и мо-
быть следы
оверти, где
га, и вот,
то что ка-
возможно,
где небо,
сь... И да
искать в
какие бы
мого сот-
вертепом
при этом
ительный
овск, че-
педолог

КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Ага (аган) — старший брат, почтительное обращение к старшему по возрасту.

Алаш-бакан — у[illegible]ный столб посередине юрты.

Аже — Сабина.

Азраил (азраил) — [illegible], вестник смерти.

Айвалания ау — [illegible] обращение к младшему.

Алаша — домотканая [illegible] грубой работы; полог, которым завешивают дверь.

Алхисса — [illegible]

Алшы — игра в бабки.

Аман — приветствие.

Апа — дословно старшая сестра; почтительное обращение к матери, а также к старшей по возрасту.

Апыр-ай! — возглас удивления [illegible]

Аргамак — старинное название породистых восточных лошадей.

Аруах — дух.

Ассалаумалейкум — приветствие. «Мир вам», **алейкум-ассалаум** — ответ на приветствие: «И вам мир».

Астафыралла — возглас, выражающий ужас, негодование.

Астыкшы — караванщики.

Асыки — бабки.

Атаи — верблюд.

Аткаминеры — старейшины рода, правящая родовая верхушка; буквально: «севшие верхом на коней».

Аттаи! — призыв к походу.

Байбише — старшая жена.

Байга — скачки на приз; приз.

Бай-еке — ласкательно-почтительное обращение к богатому, знат
ному.

Барекельде — возглас утверждения, согласия.

Барымта — угон скота.

Баурсаки — кусочки пресного теста, пожаренные в к[illegible]
жире.

Белбеусок — народная игра молодежи; буквально: «бей р[illegible]
нем».

Бесбармак — национальное блюдо из конины и баранины, г
ремешанная с луком и лапшой и политая бульоном, буквально «пять
пальцев».

Бесин намаз — вечерняя молитва

Бешмет — одежда, которую носят обычно рубаха надевается,
жилет

Бий — судья, выборный родовой судья

Болыс — волостной.

Боялыш — степное растение, кустарник, употреблявшийся для
то[illegible]

Бозбала-ай — возглас, выражающий горесть, досаду, сожале
ние

Б[illegible] — летнее пастбище.

Бұлдырғын — тамарик

Бұрт — массовый падеж скота от бескормицы и недостаточных
го[illegible]

Бугр — толстый короткий бич.

Ерке м — ласкательное обращение к золовке: милая.

Жаманкала — буквально: дряной город. Раньше степняки так
называли Орск.

Жарапазан — в мусульманской религии обычай прежде всего
яние в день религиозного праздника

Жаулык — головной убор замужней женщины

Женге (дженге) — двоюродный, дальний старший брат, се

Женеше — уменьшительное от женге.

Жент — сад, приготовленный из сушеного толченого пшена сме
сным жиром и сахаром.

Жесир — вдовствующая невестка, вдова.

Жуз — деление казахов по родовым признакам на три жуза: младший, средний, старший.

Жырау — певец, сказитель.

Зурият — последний в роду.

Иссе (исе) — просо.

Иркит — перебродившее кислое молоко, простокваша.

Ит-койлек — первая рубашка ребенка.

Итсигек — трава, непригодная в пищу скоту.

Ишан — высокое духовное лицо у мусульман.

Казы — конское мясо в виде колбасы.

Калауш — отгороженное почетное место на горбах верблюда, где сидят дети и старший по группе отдыхает.

Камчатовая — шапка из шкуры собра.

Капские горы — Капские горы.

Карасакал — мусульманин средних лет; буквально: «черноборо-дый».

Каратаз — буквально «черноголовый».

Кара-тиресай — черная земля.

Каргаш — милая.

Кария — стерегись.

Кафыр — неверный.

Кереге — деревянный решетчатый каркас юрты.

Кимешек — головной убор женщин и девушек.

Кожа — лохмотья, тряпье.

Куардак (куырдак) — жаркое.

Курак — молодой зеленый камыш.

Курбаши — главарь банды.

Курджун — специальный дорожный мешок вездника.

Курт — сухой овечий сыр.

Курук — шест с петлей для ловли лошадей.

Медресе — средняя мусульманская духовная школа.

Мурундук — палка для поводка, вдеваемая в нос верблюду.

Нагаши — родные по материнской линии.

Намаз — обязательные ежедневные пятикратные молитвы у мусульман.

Нар — одногорбый верблюд; лучшая порода.

Насыбай — тертый нюхательный табак.

Нукеры — буквально: «спора».

Ойбай-ау!— восклицание, выражающее удивление, обиду, неду-
мение.

Ойпырмай!— возглас ужаса, недовольства, сожаления.

Оязъ — уездный.

Пай-пай!— возглас одобрения.

Пушпак ишик — шуба из лисьих лап.

Рахмет — спасибо.

Салем — просьба, приказ.

Сарбазы — воины.

Саукеле — нарядный головной убор молодой женщины.

Симир — так казахи называли Сибирь.

Сопл — длинная дубинка.

Сорпа — мясной бульон.

Софы — священнослужитель.

Субхан алла!— О боже!

Сулыряк — болтун

Сыюнши — награда за добрую весть, подарок.

Сыбага — доля.

Такыр — голая степь без растительности.

Такия — тюбетейка.

Таксыр — господин.

Тамыр — приятель.

Таныры! — О мой всевышний!

Теке-жаумит — знаменитая туркменская порода лошадей.

Текемет — большая кошма с узорами.

Той — торжественный пир в честь какого-нибудь события, как пра-
вило, сопровождаемый музыкой, песнями.

Токал — младшая жена.

Тулпар — крылатый конь.

Тымак — казахский малахай на меху.

Тундук — кусок войлока, которым закрывают верхнее дымовое
отверстие юрты.

Туре — привилегированная каста; человек высокого происхожде-
ния, чиновник.

Уа!— возглас обращения.

Улук — высокопоставленный чиновник.

Ураза — пост.

Урлюк — потолочная балка в доме.

Хадис-аят — молитва из Корана.

Хазрет — мусульманский священник, более почетное звание, чем мулла, почтительное обращение к духовному лицу.

Ходжа (от персидского ходже — господин, хозяин) — почетный религиозный титул, распространенный в странах ислама; присваивается лицам, якобы ведущим свой род от дочери Магомета.

Чапан — верхняя одежда, халат.

Шекпен — мужской кафтан, стеганый крытый плотной материей.

Шолпы — металлические украшения на ленточках, вплетенных в косы.

Шаруа — крестьянин скотовод.

Шашу — монеты, конфеты, разные сласти, которыми, по обычаю, осыпают невесту, желая счастливой жизни.

Шеше — обращение к старой женщине, старуха, мать.

Шонжары — богатые казахи, феодалы.

Шырагым-ай! — О мой свет!

Нурпеисов Абдижамил.

Н 90 Романы в двух томах.— Алма-Ата: Жазушы.—
т. II. Кровь и пот: кн. 3. Крушение /Авт. пер. с каз.
Ю. Казакова.
Долг: Роман. Кн. I, /Авториз. пер. с каз. Г. Бельгера, П. Краснова. 1984.—608 с., 4 л. ил., портр.

Во второй том вошли последняя часть трилогии «Кровь и пот» — «Крушение» и первая книга нового романа «Долг».

Действие третьей книги — «Крушение» — происходит во время Великой Октябрьской революции и Гражданской войны 1918—1920 гг.

В своем новом романе «Долг» писатель обращается к проблеме Аральского моря, которое постепенно мелеет вследствие нарушения экологического равновесия. Автор повествует о жизни современных рыбаков на прикаспе одного из приаральских рыболовецких колхозов.

Каз 2

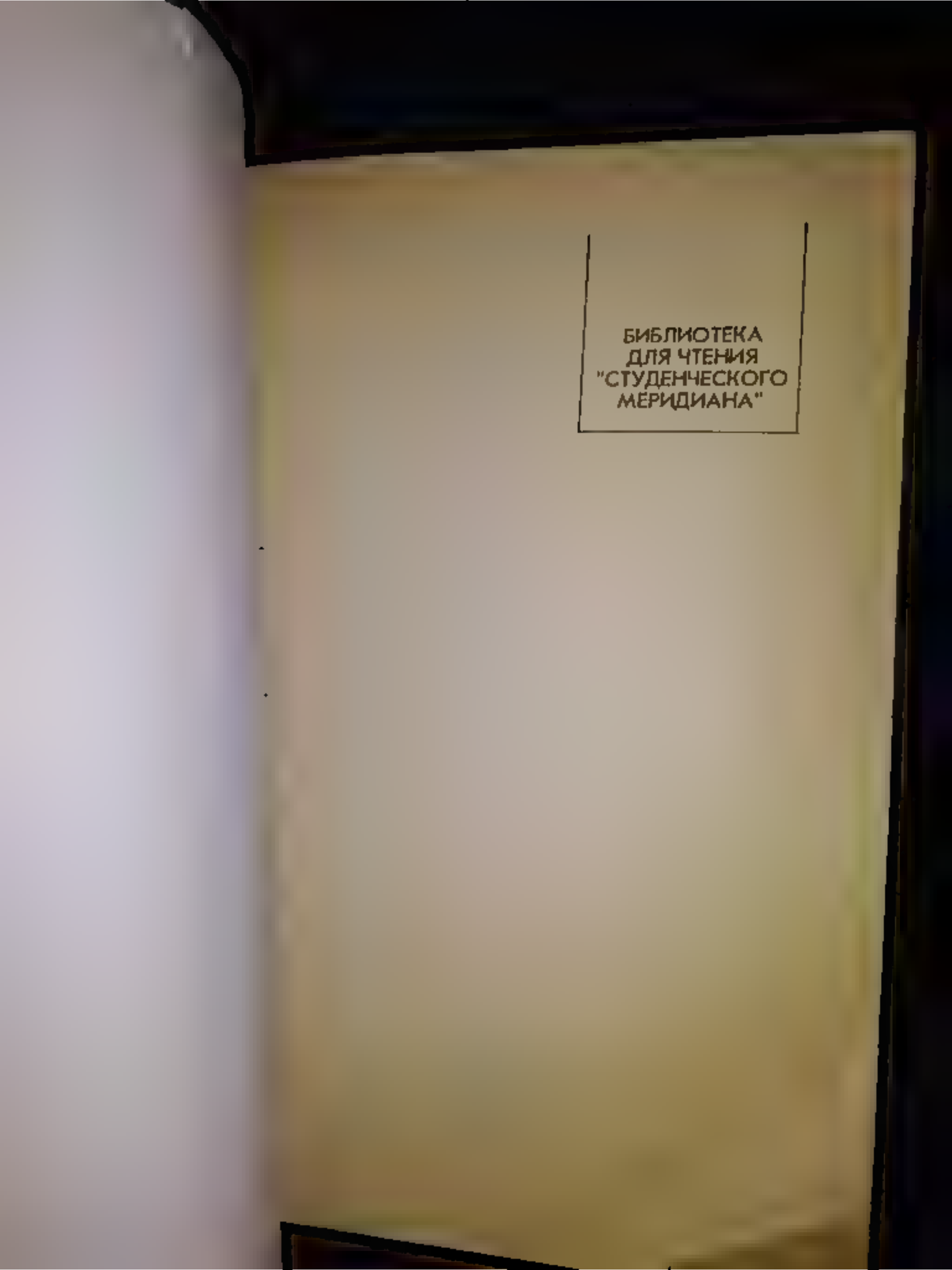
Н 4702230200—201
402(05)—84 209—84

СТ.М

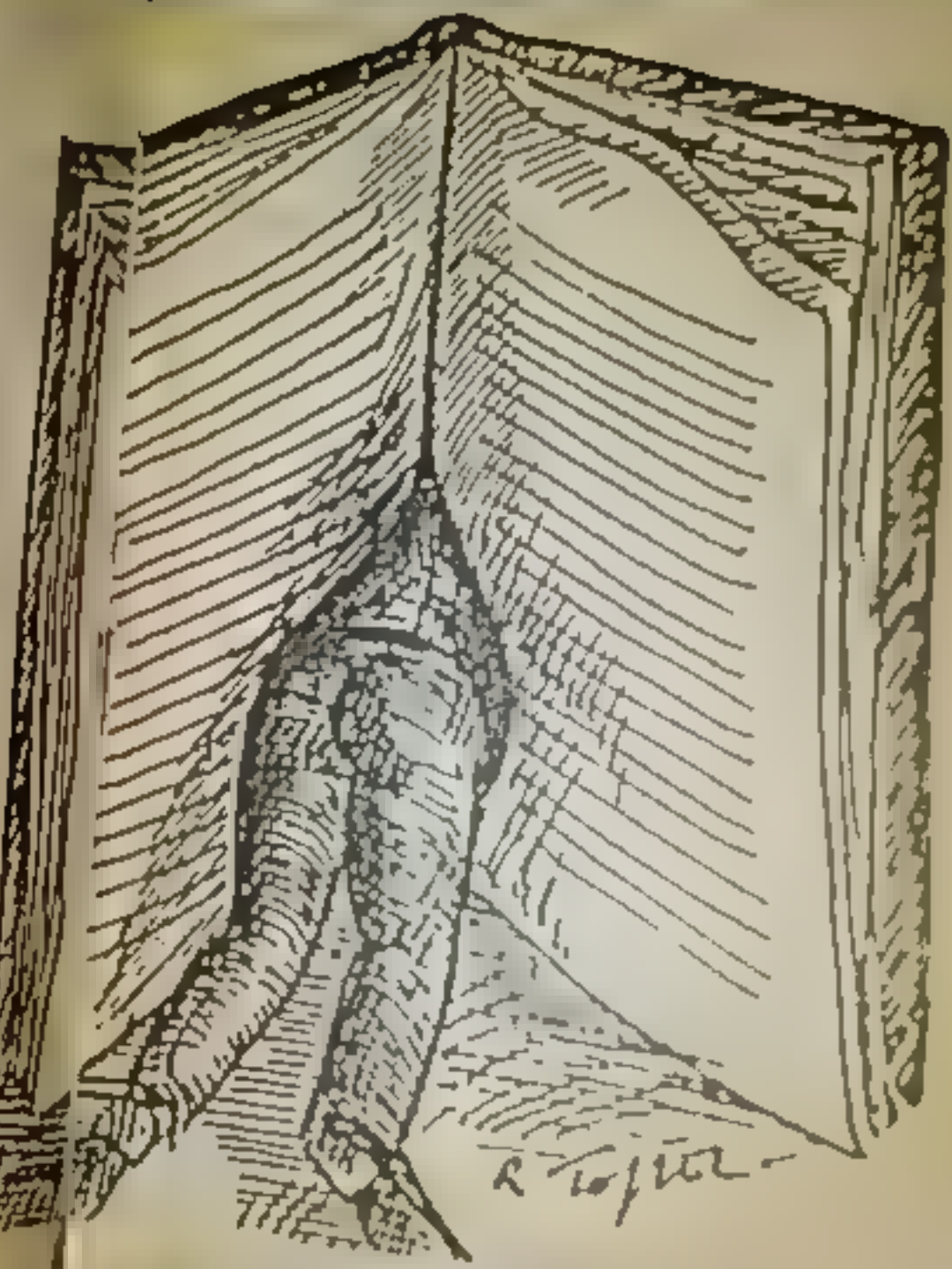
БИБЛИОТЕКА

Анекдоты наших читателей

Выпуск 1


БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ЧТЕНИЯ
"СТУДЕНЧЕСКОГО
МЕРИДИАНА"

Анекдоты наших читателей



Индекс 70932 Цена свободная

ISSN 0321–3803

© «Студенческий меридиан», 1993 г.

Мир п

Конкурс
чалу чита
приходил
публикац

В янва
Чтобы ка
тался снач
ные вещи
втора. В ф
начать ещ
завершило

Посколь
имена чит
лакцию, то
от тематич
ступления.
пуск «Анек
тетрадь и ф

Мы увере
скателей ко
представито
включающи
тетрадей

Мир полон смеха

Конкурс «Десяточка» мы объявили в октябре. Но поначалу читатели восприняли его довольно вяло. В неделю приходило два-три письма. И только после повторной публикации «Десяточку» распробовали.

В январе на редакцию обрушился веселый поток. Чтобы как-то управлять процессом, составитель попытался сначала просто переписывать в тетрадь оригинальные вещи, отмечая в алфавите темы, дабы избежать повтора. В феврале напор анекдотов не убавился. Пришлось начать еще одну тетрадь, которая кончилась раньше, чем завершился месяц.

Поскольку мы хотим, публикуя анекдоты, сохранить имена читателей «Анонса» и «Ст.М.», присылавших их в редакцию, то решили при составлении сборника отказаться от тематического деления и размещать их по времени поступления. Таким образом в мае вы получаете первый выпуск «Анекдоты наших читателей», включая январскую тетрадь и февральскую.

Мы уверены, что и в последующие месяцы число соискателей конкурса «Десяточка» не уменьшится. А значит, представится возможность составить выпуск второй, включающий анекдоты из мартовской и апрельской тетрадей.

Конечно, нам очень хочется, чтобы и в дальнейшем родник народного юмора не иссякал. Хотя и понимаем, далеко не каждый может легко и смачно рассказать весе-лую миниатюру! В то же время даже самый озабоченный, самый серьезный человек не удержит улыбки, услышав в компании о новых похождениях Петьки и Василия Ивано-вича или диалог, построенный на игре слов, между ка-казцем и чукчей. Посмейтесь на здоровье и украдкой за-пишите анекдот А выберется минутка — черкните в ре-дакцию. Ведь вполне может так случиться, что именно эти два анекдота, вызвавшие у вас смех, упущены теми, кто, обращаясь к нам, называет себя собирателями и зна-токами и присылает действительно целые уникальные россыпи народного юмора

Акция «Анекдот-марафон» рассчитана на год Она как бы дополняет «Десяточку» и расширяет возможности на-ших читателей. Кроме того, участие в акции «Анекдот-марафон» дает вам уникальный шанс вписать свое имя в историю мирового фольклора Ведь и один анекдот (не только подборка) будет подписан вашим именем.

В последнем выпуске «Анекдоты наших читателей», куда, надеемся, войдут ноябрьская и декабрьская тетради, мы обязательно дадим предметный указатель ко всем то-микам, а также алфавитный список читателей, чьи ане-клоты попадут на страницы этой подлинно народной книги Так что беритесь прямо сегодня за дело, друзья!

Ваши веселые письма ждут в «Ст.М.» и «Аноисе». Только, пожалуйста, пишите разборчиво и желательно черными или синими чернилами-пастой. И обязательно подписывай-тесь. Теперь за анекдоты не сажают.

Январская тетрадь

Здравствуйте, дорогие!
Вот решила принять участие в вашем заочном конкурсе анекдотов. Старания мои, надеюсь, не пойдут прахом повеселю «Студенческий меридиан» в благодарность за все, что вы делаете для нас — читатели

Мужик в ресторане:

— Официант, пожалуйста, сто грамм, пока не началось!

Через некоторое время снова:

— Сто грамм, пока не началось

...После пол-литра официант спрашивает:

— Платить когда будете?

— Ну вот, началось!

Ежик в тумане стоит на краю глубокого оврага и орет: «Мед-ве-жо-о-но-ок!»

Рядом лошадь пасется, ей надоело слушать вопли маленького ежа:

— Слушай, еж, прекрати орать, а то пинка получишь!

Но отчаянный ежик самозабвенно продолжал «Ме-ед-ве-ежо-о-оно-о-ок!»

— Ну все, еж, ты вывел меня из себя! — сказала лошадь, разбежалась и хотела было дать пинка несчастному ежонку, но тот вовремя отошел, и лошадь свалилась в овраг.

Ежик вздохнул и жалобно крикнул:

«Ло-о-оша-а-адка-а-а-а!»

Хозяин, подавая гостю чай, спрашивает.

— Сколько вам кусочков сахара?

— Восемнадцать, только не размешивайте, пожалуйста, а то я сладкое не люблю.

Кашпировский с Чумаком идут по улице. Кашпировский Чумаку:

— Смотри, сейчас вон с того балкона телевизор выкинут

Пристально посмотрел на балкон. Выбежал мужик и сбросил вниз швейную машинку. Кашпировский удивился, опять посмотрел. Мужик выбросил стиральную машину, пылесос, бросил холодильник и взмолился.

— Ну нету у меня телевизора, нету!

В ресторане посетитель попробовал поданный ему кофе и подозвал официанта:

— Вы что мне подали, кофе или чай?

— А вы что, не можете сами разобрать?

— Нет.

— Тогда какое это имеет значение?

В ресторане:

— Вот уже 40 минут, как я пытаюсь разрезать этот бифштекс!

Официант:
— Не беспокойтесь, наш ресторан работает до часу ночи.

Учительница на уроке истории:
— Кто взял Измаил? Петров!
Петров:
— Я не брал.
Учитель:
— Сидоров!
Сидоров:
— Я тоже не брал.
«Кошмар!» — подумала учительница и пошла жаловаться дирсктору:
— Представляете, спрашиваю. «Кто взял Измаил?»,— а они говорят, что они не брали!
Директор:
— Да не волнуйтесь вы так, поиграют и отдадут. А вообще-то, какой класс? Шестой? Не-е, эти не отдадут...

Чукча собрался на охоту. Решил сначала узнать у шамана про погоду. Шаман поплясал у огня и предсказал на завтра хорошую погоду. Чукча ушел, а шаману захотелось самому узнать, какая точно будет погода. Пошел к синоптику. Синоптик выглянул в окно и говорит:
— Хорошая погода будет, вон чукча на охоту пошел.

Встречаются два охотника-медвежатника. Один с медведем. Тот, что без медведя, говорит:-
— Ну и везет же тебе! И как ты все время медведей подстреливаешь?
— Очень просто: иду по лесу, смотрю — нора. Я

туда кричу: «А-а!», оттуда: «У-у!». Стреляю, забегаю, а там уже медведь готовый лежит...

Через некоторое время снова встречаются. Второй весь в бинтах.

— Как это тебя угораздило!

— Иду я по лесу, смотрю — бпльшая нора. Я туда. «А-а!», оттуда. «У-у!». Стреляю, забегаю, а навстречу — электричка...

— Что это у тебя за веревочка обвязана вокруг пальца?

— Это моя жена мне завязала, чтоб я письмо не забыл отправить

— Ну как, помогло?

— Да нет, жена забыла мне его дать.

В школе учительница спрашивает у учеников, где работают их папы

— Мой папа директор универмага.

— Мой папа директор ресторана.

— Мой папа кооператор.

— Мой папа главный бухгалтер.

— А мой папа работает в НИИ инженером.

Весь класс засмеялся. Учительница:

— Не смейтесь, дети, у мальчика такое горе...

— Батько, белого привезли!

Махно:

— Расстрелять!

— Батько, красного привезли!

Махно:

— Расстрелять!

— Батько, снова белого привезли!

Махно:

— Расстрелять!

!». Стреляю, забе-
лежит...
встречаются. Ито-

шая нора. Я туда:
забегаю, а на-

бвязана вокруг

я письмо не за-

ть.

учеников, где

нером.

е горе...

— Батько, пожалейте — последний ящик остался!..

Агент ЦРУ докладывает начальству о наших воинских частях. Рассказал про пограничников, десантников, моряков:

— А еще у русских войска есть — стройбат. Эти вообще звери, им даже автоматы не дают..

Разговаривают две подружки.

— Единственное, в чем я могу упрекнуть своего жениха, так это в том, что он плохо выбрит.

— А ты попробуй хоть раз прийти к нему на свидание вовремя.

На рынке:

— Скажите, чем вы кормили свою курицу?

— А почему это вас так интересует?

— Я хотела бы так же похудеть

— Слушай, у тебя жена честная?

— Не знаю, два года живем, вроде бы ничего не украла.

Идет мужик по кладбищу. Встречает другого и говорит:

— Слушай, пошли со мной, а то я боюсь.

Пошли они вместе, доходят до середины кладбища, второй спрашивает:

— А чего ты боишься-то?

— Покойников.

— А чего нас бояться?

Д'Артаньян вызвал Илью Муромца на дуэль и мелом поставил ему на груди крестик.

— Зачем это? — спрашивает Илья Муромец.
— В этом месте я тебя проткну.
— Добрыня, тогда обсыпь его мелом

— Мне кажется, что моя жена изменяет мне с садовником. Прихожу домой, а под одеялом лепестки роз!

— А мне кажется, что моя жена изменяет мне с железнодорожником: прихожу домой, а под одеялом — железнодорожник!

Корреспондент спрашивает у боксера Майка Тайсона:

— Майк, зачем вам такие бицепсы?
— Э .. э. .
— Ну, наверное, для того, чтобы был сильным удар,— помогает корреспондент.
— Ага!
— Майк, а для чего в боксе нужна голова?
— Э... э.
— Ну, наверное, для того, чтобы рассчитать какой-либо прием?
— Ага, а еще я в нее ем...

Чебурашка спрашивает у Гены:
— Ген, а что можно купить на 1 копейку.
— Отстань, Чебурашка, некогда!
— Ну, Ген,— не унимается Чебурашка,— ну скажи!
— Отстань!
— Ну скажи, Ген!
— Да все можно купить, все,— не выдержал Гена.
Чебурашка пошел в магазин и все купил.

Можно писать и писать эти анекдоты —бумаги не хватит. А сколько еще глупых, пошлых и похабных

анекдотов — и тоже смешных!
Везет вам, представляю, сколько вы их перечитали за это время. Счастливые! Я предлагаю выпустить спецвыпуск «Ст. М.», где будут отобраны самые смешные анекдоты. Думаю, эта идея вам понравится!
Татьяна Белик, г. Пенза

Идет наркоман, видит, пацан сидит в песочнице и плачет.

— Машинку потерял, а-а-а.

Наркоман дает пацану шприц:

— Вот тебе машинка.

Пацан:

— А у нее колесиков нету.

— Ну, ты меня вконец разоришь!

Лежат Ленин и Сталин в Мавзолее. На улице шум, крик.

Ленин — Сталину.

— Иосиф Виссарионович, пойдите посмотрите, что там.

Сталин ушел. Приходит.

Ленин:

— Ну что?

Сталин:

— Опять сюда Хрущев со своей раскладушкой лезет.

Встречаются русский и американец.

Американец:

— У нас демократия. У нас каждый может встать перед Белым домом и крикнуть: «Долой Буша!», и ему ничего не будет.

Русский:

— У нас тоже демократия. У нас тоже любой мо-

жет выйти на Красную площадь и крикнуть: «Долой Буша!», и ему тоже ничего не будет.

Наташа Выприцкая, Волгоградская обл.

Придя к себе в кабинет, Мюллер увидел Штирлица, подозрительно стоящего возле сейфа.

— Что вы здесь делаете, Штирлиц? — строго спросил он.

— Трамвай жду,— ответил Штирлиц.

Мюллер вышел и, идя по коридору, неожиданно подумал: «Какой, к черту, может быть трамвай в моем кабинете?» Он забежал в кабинет, Штирлица не было. «Наверное, уже уехал»,— подумал Мюллер.

Мюллер выглянул из окна и увидел Штирлица. «Куда это он идет?» — подумал Мюллер. «Не твое собачье дело»,— подумал Штирлиц.

Штирлиц впопыхах застрелил Мюллера. На следующее утро в Попыхи приехал взвод карателей.

Летят две утки, корова и лошадь. Одна и говорит:

— Это надо же? Вроде на северо-юг летим, а все четверг.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправились в путешествие. Ночь застала их в степи. Друзья разбили палатку и легли спать. Среди ночи Холмс проснулся и видит, что Ватсон лежит с открытыми глазами и о чем-то думает.

— Вам тоже не спится, Ватсон? — спрашивает Холмс.

— Да, не спится. Все думаю о вашем дедуктивном методе, Холмс.

— Ну и как? Есть успехи?

— Кос-какие есть! Вот, например, глядя на это звездное небо, я, пользуясь вашим методом, могу с уверенностью сказать, что завтра будет прекрасная погода.

— Вы ошибаетесь, Ватсон. По этому звездному небу можно сказать только одно: у нас украли палатку.

Штирлиц вошел в кабинет Мюллера и увидел его бездыханно лежащим на полу. «Отравился, бедняга»,— подумал Штирлиц, поглаживая ручку топора, торчащего из спины Мюллера

Штирлиц шел по Цветочной улице. Напротив дома №37 он поднял глаза. Это были глаза Плейшнера.

Штирлиц выглянул в окно и увидел, что немцы ставят танк на попа. «Бедный пастор Шлаг»,— подумал Штирлиц.

Молодой мужчина развлекается в постели с очередной дамой сердца. Вдруг возвращается ее муж. Любовнику ничего не остается сделать, как выпрыгнуть в окно с шестого этажа.

— Если останусь жив,— с ужасом шепчет он,— ни одной женщины даже пальцем не коснусь.

Но, благополучно приземлившись, с удивлением замечает:

— Это надо же! Летел всего несколько секунд, а какие дурные мысли в голову приходили.

Ирина Иванова, 19 лет, г. Аксай

Брежнев идет по коридору, в Пасху, ему навстречу — сотрудник:
— Леонид Ильич, «Христос воскрес».
Идет дальше, следующий:
— Леонид Ильич, «Христос воскрес».
— Спасибо, мне уже доложили.

Троцкий:
— Товарищи! Революция отменяется, Ф. Э. Дзержинский уехал на рыбалку.
— Так что же мы, без него не справимся?
— Без него-то мы справимся, а вот без «Авроры» не получится.

Штирлиц подумал, ему понравилось, он подумал еще.

Мальчик подходит к папе:
— Папа, закрой глазки.
— Зачем?
— Мама сказала, что, если ты закроешь глазки, нам всем будет легче жить.

— Представляешь, прихожу я домой, а там жена с любовником, и у обоих глаза такие хитрые-хитрые. Ну я не разлеваюсь, иду прямо к холодильнику. Открываю — и точно, пиво мое выпили.

Борман ехал по шоссе со скоростью 160 км/ч. Рядом, надев берет и черные очки, бежал Штирлиц и всем своим видом давал понять, что он просто вышел подышать свежим воздухом.

Доктор выходит из Мавзолея:
— Будет жить!

в Пасху, ему ка-
оскрес».
скрес».
.
яется, Ф. Э. Дзер-
равимся?
ог без «Авроры»
ось, он подумал
роешь глазки,
, а там жена с
трые-хитрые.
ильнику. От-
60 км/ч. Ря-
Штирлиц и
просто вы-

— Как все-таки обманчива природа! — подумал ежик, слезая с кактуса.

Ночь. Стук в дверь.
— Кто там?
— Откройте, поговорить надо.
— А сколько вас?
— Двое.
— Ну вот и поговорите.
Саша Юракова, г. Самара

Лиса вышла замуж за крокодила. Народились поросята. Вывод: все мужчины — свиньи.

Ковбой, отстреливаясь, спасается от индейцев. Индейцы окружили ковбоя, в его «кольте» осталась только одна пуля. «Это конец»,— подумал ковбой и приложил дуло к виску. Внутренний голос шепчет: «Это еще не конец,— убей вождя» Ковбой прицелился, выстрелил, вождь упал с лошади. Внутренний голос: «Вот теперь — конец...»

Едут два сотрудника КГБ в купе поезда и рассказывают политические анекдоты.
Первый:
— Подожди, я только кассету заменю.
Второй:
— Ничего, потом у меня перепишешь.

Японская трагедия:
отец — рикша, мать — гейша, а сын — Мойша.

Пациент жалуется на снижение потенции. Врач спрашивает:

— Вы давно знакомы со своей женой?

— С детства. Помню, когда я качал ее на руках, она так любила шлепать меня по лысине.

— Какая разница между просто демократией и социалистической демократией?

— Такая же, как между просто стулом и электрическим.

Купе поезда. Едет пожилой раввин. На верхней полке попутчик — молодой человек. Ложась спать, молодой человек спрашивает:

— Сударь, вы не скажете, который час?

Раввин, не говоря ни слова, поворачивается к стене и засыпает.

Утром поезд подъезжает к Харькову. Оба пассажира проснулись и начали готовиться к выходу.

Раввин посмотрел на свои часы и сказал попутчику.

— Молодой человек, вы вчера меня спрашивали, который час? Так вот, сейчас половина девятого.

— Почему же вчера вы промолчали, когда я спросил у вас? — удивился молодой человек.

— Видите ли, если бы я вам вчера ответил, который час, вы бы меня спросили, куда я еду. Я бы ответил, что в Харьков. Вы бы мне сказали, что тоже едете в Харьков. И что вам негде ночевать. Я, как добрый человек, пригласил бы вас к себе домой. А у меня молодая дочь. Вы бы ночью наверняка ее соблазнили, и она бы от вас забеременела. Вам пришлось бы на ней жениться.

— Ну и что же из того? — воскликнул молодой человек.

— Так я вчера подумал: на хрена мне нужен зять без часов?

Оленька Хейло, студентка РГУ, г. Ростов-на-Дону

Я очень люблю анекдоты и знаю их много. Мне 13 лет, учусь в 9-м классе.

Идет по казарме прапорщик, видит — солдат забивает гвоздь в доску, а тот весь гнется и никак не лезет.

Прапорщик:

— Эй, Воронцов, что ты, разучился гвозди забивать, ну-ка дай мне.

Взял он гвоздь и на глазах изумленного солдата «бац» по нему головой и забил вместе со шляпкой.

Солдат:

— Вот это да! А вы, товарищ прапорщик, в бетонную стену могли бы?

Прапорщик:

— Конечно!

Подошли к стене: «бац» – исход тот же!

Солдат:

— А в танковую броню могли бы?

Прапорщик:

— Конечно!

Подошли к танку, приставили гвоздь к броне. Почесал прапорщик лоб и опять им же ка-ак даст по гвоздю, а гвоздь толщину брони-то пробил, а дальше не идет.

Он еще раз ударил и еще... Все равно — нет.

Прапорщик:

— А ну-ка, Воронцов, глянь, во что это я там такое крепкое попал.

Залез солдат на танк, открыл люк и говорит:

— А ну понятно, товарищ прапорщик, тут рядовой Иванов спит.

Прилетел Карлсон к любо[illegible]ице и начал делать свое дело. Тут звонок в дверь.

Она:
— Муж. Прячься скорей!
Карлсон:
— Не волнуйся, я выпрыгну в окно и улечу.
Так и сделал.
Муж войдя:
— Жена, кто у нас был?
Жена:
— Никого.
Муж:
— А чьи же это штаны с пропеллером?

Миллионер звонит домой поздно ночью из игорного дома. Когда его слуга поднял трубку, он спросил:

— Джон, это ты?
— Да, сэр.
— Джон, что делает моя жена?
— Спит с незнакомым мужчиной, сэр.
— Возьми в моем кабинете пистолет и застрели его. Трубку не клади, я буду ждать. Потом придешь и расскажешь мне.

Через несколько минут:

— Я все сделал, как вы хотели, сэр. Он пытался бежать через зимний сад, но пуля и там настигла его.
— Ты что, Джон? У нас ведь нет зимнего сада.
— Какой номер телефона вы набрали, сэр?

Двум приятелям не нравилось то, что их третий товарищ — кореец и употребляет в пищу собак. Они повели его к знакомому экстрасенсу с просьбой, чтобы тот дал ему установку на другую национальность. Во время сеанса экстрасенс телепатически говорит пациенту: «Ты больше не кореец, ты — хохол!»

После сеанса, придя домой и устремив холодные глаза на свою собаку, тот так же холодно сказал: «Ты больше не собака, ты — свинья!»

Идет симпозиум воров всего мира. Встает вор из Франции и просит погасить свет на 30 секунд.

Через 30 секунд с того же места, на котором он стоял, говорит: «Господин в белом смокинге, на противоположной от меня трибуне, возьмите свою авторучку».

После чего встал американец. История повторилась.

После американца встал русский и сказал. «Свет тушить не надо. Вася, раздай всем носки»

Захотелось Василию Ивановичу зайчатины, и приказал он Петьке зажарить ему зайца.

Петька:

— Василий Иванович, где я его возьму здесь же они не водятся.

Василий Иванович:

— Это приказ. Я часок посплю, а когда проснусь, чтобы заяц был зажарен.

Через час изумленный Василий Иванович чувствует запах жареного мяса.

— Ну молодец, Петька! Только где ты его достал?

— Взял я винтовку, вышел на крыльцо. Смотрю, заяц бежит. Я в него: «бах», он и мяукнуть не успел.

Радостный Петька забегает в хату:

— Василий Иванович, там вагон презервативов привезли! Может, возьмем?

— Да зачем они нам, выкинь ты их.

На следующий день:

— Василий Иванович, там полвагона презерва-

вов привезли! Может, возьмем?

— Да зачем они нам, выкинь ты их, Петька.

Петька, выполнив приказ, заходит в хату и говорит:

— Василий Иванович, я все же оставил ящик, может, возьмем?

— Да что ты в самом деле, «возьмем» да «возьмем»? А что это вообще за штука такая с трудным названием?

Петька объяснил.

Василий Иванович:

— А ну если так, то давай неси сюда, а то я давно гильзами пользуюсь.

Лев собрал зверей и говорит:

— У меня для вас есть две новости. Одна — хорошая, другая — плохая. С какой начинать?

Звери.

— Давай с хорошей.

— Нам привезли вагон презервативов!

Звери с восторгом:

— О-отлично! А какая вторая новость?

— Заяц разгружал их вилами.

Арслан Тавхаев, Республика Калмыкия

Пару слов о себе. Зовут меня Аскольд (в честь киевского князя; там, в Киеве, есть даже «Аскольдова могила»), мне 28 лет, женат, имею дочь-первоклассницу. Работаю на малом предприятии начальником производства, образование высшее. Итак, анекдоты.

Сменив 18 автомобилей, Штирлиц привез пастора Шлага к швейцарской границе. Граница предста-

возьмем?
выкинь ты их, Петь
приказ, заходит в хат
я все же оставил
деле, «возьмем» да
за штука такая с пу
й неси сюда, а то я
рит:
е новости. Одна – х
ой начинать?
зервативов!
ая новость?
и.
имыкия
от меня Аскольд (и
там, в Киеве, ест
гила»), мне 28 лет,
воклассницу.
едприятии
тба, образовани
ы.
ниц привез пастор
Граница предста

вляла собой ущелье с отвесными краями, между которыми был натянут тонкий канат. Штирлиц дружески похлопал пастора по спине, тот сделал несколько неуверенных шагов и с криком сорвался вниз.

«А ведь он совершенно не умеет ходить по канату»,— подумал Штирлиц.

На Чукотке, на самом восточном мысе страны, сидит чукча и ловит рыбу. Перед ним всплывает субмарина с иностранными опознавательными знаками, открывается люк, и выглядывает капитан:

— Ду ю спик инглиш, сэр? — спрашивает он.

— Йес, ай ду,— отвечает чукча,— но кому, к черту, это нужно в этой дурацкой стране?

Советская подводная лодка. Команда просыпается после страшной многодневной пьянки

— Где мы находимся, какие у нас координаты? — спрашивает боцман.

Команда, потупив глаза, растерянно разводит руками:

— А Бог его знает..

— А что там у нас на горизонте видно? – опять интересуется боцман.

Один из матросов глядит в перископ. Через минуту:

— Прямо по курсу судно под либерийским флагом

Боцман командует:

— Первый торпедный аппарат, готовься! Пли!

Потом поворачивается к радисту и строго:

— А ты засекай сигнал SOS... но смотри у меня, чтоб это было в последний раз!

Мужик приходит на рыбалку. Цепляет червяка на крючок и забрасывает удочку. Сначала все спокойно. Минуты через три поплавок начинает дергаться все сильнее и сильнее, его начинает бросать из стороны в сторону, как будто на крючок попалось что-то огромное. Мужик испуганно выдергивает леску из воды. На крючке сидит червяк с дикими от ужаса глазами, крутит пальцем у виска и орет строгим голосом:

— Ты че, мужик, сдурел, что ли? Меня там только что чуть не сожрали!..

Салун на Диком Западе. Вечером, перед закрытием, от удара ноги распахивается дверь, вваливается огромный ковбой, выхватывает два «кольта», несколько раз стреляет в воздух и кричит громовым голосом:

– Бармен, два стакана виски!!!

Бармен трясущимися руками наливает виски, протягивает

Детина прячет «кольты», одним махом опорожняет стаканы и валится под стойку, сонным голосом успевая сказать:

— Бармен, завтра разбудишь меня в 4 утра...

...В еще темном зале робкий голос бармена:

— Сэр, вы просили разбудить вас в 4 утра. Сейчас ровно четыре, вставайте.

— Спасибо, бармен,– громовым голосом кричит детина, сует ему в руку пару долларов, выбегает из салуна, вскакивает на коня и исчезает в туче пыли. Бармен испуганно смотрит ему вслед.

Ковбой скачет целый день, вечером останавливается у другого салуна, по привычке распахивает ногой дверь, выхватывает «кольты», палит в воздух и кричит громовым голосом:

— Бармен, два стакана виски!

Тот удивленно смотрит, а потом презрительно замечает:

— Пошел вон, черномазый, в нашем штате негры не обслуживаются!

Детина испуганно подбегает к зеркалу, глядит на свое отражение и тихим дрожащим голосом шепчет:

— Боже, в темноте не того разбудили...

— Кум, а почему у тебя по двору поросенок на протезе бегает?

— А что, если мне холодца захотелось, так я должен всю свинью изводить?..

По селу едет мужик на подводе. Из-за забора высовывается другой и кричит:

— Кум, ты почему никогда не заедешь? Заехал бы, стаканчик водочки бы пропустил...

Первый дергает поводья, останавливает лошадь, на его лице появляется мечтательное выражение:

— Водочки, говоришь?.. А что, водочки — это можно...

— Вот и я говорю,— продолжает второй.— Заодно бы и дров напилили...

Первый сердито вытягивает лошадь кнутом вдоль спины:

— Но-о-о! Заслушалась, сволочь...

Пьяный мужик морозной ночью возвращается домой по селу. Подходит к окну своей избы, покрытому морозными разводами, дышит на него и кулаком расчищает небольшое отверстие. Долго смотрит внутрь, потом задумчиво бормочет:

— Никак не пойму, то ли это кум с моей женой забавляется, то ли это на окне узор такой...

В летящем самолете несколько человек выталкивают в открытую дверь парашютиста. Тот истошно кричит:

— Да что ж вы делаете?! Да у меня за последние тридцать прыжков ни разу не открылся парашют!..

...В это время на земле перед понурыми колхозниками бегает председатель колхоза:

— Ну и дела, я вам скажу!!! Техника вся изломалась, картошка вся сгнила, надои молока сократились...

В это время метрах в десяти от него в пшеничное поле камнем падает с неба человеческое тело.

Председатель хватается за голову и остервенело кричит:

— ...Да еще этот парашютист хренов всю пшеницу вытоптал!!!

Аскольд Литвин, г. Днепропетровск

Мужчина заходит во двор и видит: там бегает лысая девочка с бантиком на голове.

Мужчина:

— Ой, маленькая, как это у тебя бантик держится?

— Хм, как прибили, так и держится.

Самолет из Одессы летит над Черным морем. Тут пилот понимает, что сейчас самолет рухнет, и он просит стюардессу успокоить пассажиров. Стюардесса выходит в салон и объявляет:

— Граждане пассажиры, экипаж просит вас не волноваться, наш рейс экспериментальный. Мы сейчас ненадолго уйдем под воду, а потом дальше полетим, как обычно.

Ну, самолет рухнул. Все разбились, тут среди обломков очухались два одессита, и один другого спрашивает:

— Слушай, Жорик, я не понял хохмы — они шо, все улетели — нас оставили, што ли?

Женщина приводит к врачу свою дочку.

— Доктор, помогите, у нее глазки все время выпучены и улыбка с лица не сходит.

Доктор осмотрел ребенка и спрашивает:

— А вы ей косички послабже заплетать не пробовали?

Ослик Иа потерял яйца. Идет по лесу грустный-грустный. Навстречу ему Пятачок.

— Иа, что ты такой грустный?

— Да вот, яйца потерял, ты случайно не видел.

— Да нет. Ой, стой, вчера Сова по лесу в новых клипсах летала.

Муж возвращается домой слегка навеселе. А у жены любовник. Она его в чем мать родила запихивает в шкаф, а яйца прищемила дверью

Муж вваливается:

— Ой, жена, какая ты молодец, ждала меня, стол накрыла.

Жена сует мужу тарелку с пельменями и выпихивает его в спальню, сама же по-быстрому убирает все на кухне. Тут в спальне грохот. Жена бежит туда и видит: муж стоит на коленях перед шкафом.

— Что случилось? — спрашивает она.

— Да вот упал,— отвечает муж,— все пельмени уронил. Все собрал, а эти два какие-то странные. Я их вилкой, а они меня на хрен посылают.

В три часа ночи на трамвайной остановке стоит пьяный. К нему подходит милиционер и спрашивает:

— Ты что здесь делаешь?
— Т-трамвай жду.
— Какой тебе трамвай в три часа ночи!
— Да? А п-почему рельсы не убрали?
— Ну-ка дыхни!
— Хо!
Мент втягивает в себя воздух:
— Щас уберем!

Что-то отличало Штирлица от окружающих, то ли мужественный профиль, то ли волевая осанка, то ли парашют, волочившийся за спиной.

В лесу Штирлиц напоролся на сук. Суки с визгом разбежались.

На допросе Штирлиц порол чушь. Чушь тихо поаплодировала.

Прошу прощения за некоторые пикантные подробности в парочке анекдотов. Я такие анекдоты рассказываю только близким друзьям, не опасаясь, что меня неправильно поймут. Надеюсь, что и «Студенческий меридиан» относится к моим близким друзьям.
Наташа Фирсикова, г. Ланаевск

— Какая разница между заплатой и зарплатой?
— Заплата всегда больше дырки, а зарплата меньше.

Петька спрашивает:
— Василий Иванович, ты на рояле сыграть сможешь?
— Смогу, Петька, смогу.
— А на гитаре?

— Тоже смогу.
— А на трубе?
— Нет, Петька, карты будут соскальзывать.

В Музее революции гид демонстрирует скелет Василия Ивановича Чапаева.
— А это что за маленький скелетик рядом с ним? — спрашивают его.
— А это скелет Чапаева в детстве.

Армянское радио спрашивают:
— Как называется прическа Хрущева?
— Урожай 1963 года.

Чапаев с Петькой идут по Нью-Йорку, а навстречу негр.
— Кто это? — спрашивает Чапаев.
— Неужто не узнаете, Василий Иванович? Солженицын!
— Надо же, Петька, как очернили-то человека.
Елена Черноклинова, Москва

Лиса, медведь и волк упали в яму. Сидят день, два. Захотели есть. Лиса говорит:
— Давайте, кому меньше всего лет, того и съедим! Вот мне, например, 20.
Волк:
— А мне 18.
Медведь:
— А мне хоть и 15, зато я так врежу, как автогеном срежет.

Летит американский самолет. К нашему туристу подходит стюардесса и спрашивает:

— Ром, виски, джин?
Он:
— Сколько?
Стюардесса удивляется, не знает, как ответить. Идет и ищет на компьютере русский вариант ответа.
Через минуту возвращается, подходит к нему.
— Ром, джин, виски?
Он:
— Сколько?
— Халява, сэр!

Проститутка сдает деньги в парижский банк.
— Мадам,— говорит ей служащий,— пардон, но эти деньги фальшивые.
— Боже мой,— кричит она,— выходит, меня изнасиловали?

Летит самолет. Вдруг к стюардессе подходит человек на костылях и кричит:
- Девушка, откройте мне, я здесь выйду.
- Да вы что, мы же в воздухе.
— Ну откройте, пожалуйста, мне очень надо.
— Да вы что, вы разобьетесь.
— Ну мне очень надо, откройте.
— Ну подождите, я спрошу у штурмана.
Стюардесса подходит к штурману.
— Там какой-то ненормальный просит, чтобы его выпустили.
— Это такой забинтованный и на костылях?
— Да.
— Ну выпустите его, он всегда здесь выходит.

Звонок в дверь.
— Кто там?

– Джек-потрошитель.
– Дорогая, это к тебе.

Жена с любовником лежат в постели. Жена спрашивает:
– Дорогой, ты такой сильный, что бы ты сделал с моим мужем, если бы он сейчас появился?
– Я бы его в бараний рог скрутил, ноги бы вырвал. Он бы у меня кровью умылся...
Из прихожей раздается тонкий несмелый голосок:
– Фигушки, я еще два дня в командировке.

Сидят парень с девушкой на скамейке. Парень говорит:
– Дорогая, можно, я позволю себе небольшую шалость?
– Можно,– говорит, вздохнув девушка, и зажмуривается.
– Ну вот и всё, и совсем не пахнет, правда?

Муж застал жену с любовником. Любовник был здоровый детина, завел он мужа на кухню, начертил круг, поставил его туда и говорит:
– Если хоть раз выйдешь из круга, убью.
А сам пошел к его жене. Лежат они и слышат дикий смех на кухне. Раз, другой... На третий детина встал и пошел на кухню. Видит, стоит муж и чуть не давится от смеха.
– Чего это ты смеешься?
– Пока вы с моей женой любовью занимались, я уже из круга три раза вышел.

К косцу подкатил на мотоцикле бригадир и предупредил, что ученые предсказали прилет инопланетян.

— Будь наготове! — приказал бригадир.— И чтоб ни слова лишнего! Лучше — жестами, Петрович, жестами...

Минут через пятнадцать Петрович почувствовал взгляд в спину. Обернулся, увидел старика с огромными глазами и обильно заросшего густым волосом.

«Ну, началось»,— подумал Петрович и бросил косу.

— Коса! — сказал он вслух, затем ткнул себя в грудь.— Косец Петрович... Траву кошу коровке на зиму...

Пришелец явно ничего не понял. Пришлось Петровичу еще раз объяснить.

На этот раз незнакомец вышел из оцепенения и, указав рукой на дубравку, проронил:

Лес... Лесник Сидоров... Какать приходил.

С. Гришина, Нижний Новгород

Муж приезжает домой из командировки. Расспрашивает жену:

— Сергей Иваныч приходил?
— Приходил.
— Что вы с ним делали?
— Чай пили.
— А еще?
— Музыку слушали.
— А еще?
— Целовались.
— Куда целовались?
— В губы.
— А еще?
— В шею.
— А еще?

— В грудь.
— А еще?
— В живот.
— А еще?
— В колени.
— Ты не перескакивай!!!

Два яйца в кастрюльке. Одно другому говорит: «Смотри-ка, всего 10 минут варимся, а уже такие крутые!»

Мужчина пишет жалобу в жилищный отдел, что его не устраивает квартира: напротив женская баня, ему все видно, и это мешает работать. Приехала комиссия, смотрит в окно:
— Что вы, ничего же не видно.
Мужчина отвечает:
— А вы на шкаф залезьте!

Винни-Пух надувает шарик, а Пятачок кричит: «Винни, лопнет, ну, Винни же». Пух. «Не лопнет». Пятачок: «Лопнет». Винни: «Не лопнет». Вдруг взрыв, Пятачок кричит: «Я же говорил, что лопнет, а ты еще смеешься!» Винни-Пух отвечает: «Я не смеюсь, это у меня рот разорвало».

Милиционер сидит, курит. Прибегает взволнованный гражданин.
— Сосед пьяный бушует.
Милиционер курит.
— Ну и что?
— Сосед жену бьет.
Милиционер курит.
— Ну и что?
— Сосед грозится всех убить!

Милиционер курит.
— Ну и что?
— Сосед всех милиционеров козлами обозвал.
Милиционер курит.
— Во как?

У одной семейной пары было 16 детей. Однажды младший упал в бочку со смолой. Мать вытащила его и спрашивает у отца: «Как ты думаешь, легче отмыть этого ребенка или завести нового?»

Муж приходит домой, открывает шкаф и видит в нем маленького тщедушного мужичка. Спрашивает у жены: «Маша, кто это?» — «Это Вася». Побил муж Васю и спустил с лестницы. На другой день опять находит Васю в шкафу, опять побил его и выгнал. На следующий день то же самое. А тут приходит, открывает шкаф, а там здоровенный амбал с огромными кулачищами. Муж захлопывает дверцы, изо всей силы налегая на них спиной, противостоя напору, и кричит в кухню: «Маша, а где Вася?»
Наталья Пилипенко, МГТУ имени Баумана, 4-й курс

Штирлиц сел враскорячку. Раскорячка поехала.

Штирлиц надел трусы набекрень. Бекрень обиделась и ушла.

Штирлиц травил анекдоты. Анекдоты с визгом разбегались.

Импотент пришел в больницу. Видит две двери. На одной табличка: «Пессимист», на другой — «Оптимист». Зашел в первую.

— Вот, доктор, никак.
Врач посмотрел хмуро:
— Да, никаких надежд, ампутировать надо.
Больной в ужасе убегает к оптимисту:
— Вот, доктор, не встает...
Врач с очаровательной улыбкой и делая широкий вращательный жест:
— Зато как крутится!!!

Любовник пришел к любовнице. Внезапно в двери слышится поворот ключа. Любовник прячется в шкаф. Заходит муж, снимает костюм и открывает шкаф, чтоб повесить одежду. Видит там голого мужика.
— Ты что здесь делаешь?
— Трамвай жду!
— Ну ты сказал! (ехидно)
— Ну ты спросил!!! (с издевкой)

Любовник у любовницы. Внезапно приходит муж. Любовник быстро прячется под кровать. Муж с женой ложатся спать. Вдруг муж услышал подозрительный шорох под кроватью и решил взглянуть. Жена говорит:
— Не тревожься, я купила собаку. Ее зовут Тарзан.
Муж успокоился, и они уснули. Вскоре любовник решил уйти домой. Выползая из-под кровати, он нарушил чуткий сон хозяина.
— Тарзан, Тарзан,— бормочет тот сквозь сон.
— Гав!
— Ты куда?
— Домой!

У грузинского радио спрашивают:
— Как похудеть полной женщине?

— Пусть крутит обруч.

— А если она такая полная, что не влезает в об. руч?

— Пусть крутит два обруча.

Тут вмешивается армянское радио:

— Вай-вай, зачем портить такую женщину?

Пришел мужчина к врачу.

— Доктор, как мне уберечься от СПИДа?

— Надеть один презерватив, забинтовать; надеть другой, намазать йодом; надеть третий, зацементировать... и никаких половых связей!

Один итальянец наступил на ногу другому.

— Кобелино! — заорал тот.

— Сам такой!

— А ты, ты два раза такой.

— А ты — три раза.

— А ты — четыре.

— А ты, ты, ты вообще не такой!

— Это я-то не такой?!!

Перепуганный солдат подбегает к командиру.

— Товарищ командир, там наши табуретку насилуют.

Командир вбегает в казарму, приказывает построиться и грозно говорит:

— Кто насиловал табуретку, шаг вперед!

Все делают шаг вперед, кроме одного. Командир спрашивает:

— А ты кто?

— Рядовой Табуретка.

Людмила Просвиркина, г. Самара

Мне 10 лет, учусь в 5-м классе средней школы.

Юноша сидит на лавке, под которой спряталась огромная овчарка. К нему подходит мужчина и спрашивает:

– Ваша собака кусается?

– Моя? Нет.

Мужчина хочет сесть на лавку, но тут ему в ногу впивается овчарка. Мужчина рассерженно говорит юноше:

– Вы ведь говорили, что ваша собака не кусается!

– А кто вам сказал, что это моя собака?

– Богат ли молодой человек, который собирается жениться на твоей сестре?

– Нет, не очень. Каждый раз, как мама начинает разговор о свадьбе, папа говорит: «Бедный молодой человек!»

– Уилл,– сказала мать сердито,– сегодня утром в буфете было два пирожных, а сейчас там одно. Как это случилось?

– Я не знаю,– ответил Уилл с сожалением.– Было, наверно, темно, и я не увидел второго.

– Пора поливать сад,– говорит непререкаемым тоном жена мужу.

– Но ведь дождь льет как из ведра,– робко возражает он.

– Ну и что? Надень плащ.

– Анри,– недовольно говорит жена своему мужу,– когда сегодня молодой человек придет вечером просить руки нашей дочери, тебе достаточно

сказать ему просто «да». И не надо целовать ему руки и твердить: «Спаситель мой!»

Теща — зятю:

— Каждый вечер вы рассказываете моему внуку сказки. Не могли бы вы объяснить, почему они все заканчиваются одинаково: «Они поженились и жили счастливо, потому что невеста была сиротой...»?

Анна Лысенко, Краснодарский край

Пишу вам из Дагестана. Зовут меня Юля (15 лет).
В «Ст.М.» прочитала о том, что вы проводите конкурс на смешные анекдоты. Решила написать вам.

Как-то раз шел ежик по лесу. И вдруг упал в яму. Сидит он и думает: «Пойду сейчас домой, принесу лестницу и вылезу из ямы!»

Один другого спрашивает:

— Что тяжелее: килограмм пуху или килограмм свинца?

Другой отвечает:

— Встань под балкон, проверим.

Трое пьяных ползут по шпалам железной дороги.

Первый:

— Черт, какие ступени высокие!

Второй:

— Да и перила низкие!

Третий:

— Ничего, ребята, вон смотрите, лифт идет!

– Тетя, скушай эту конфету.
– Спасибо, милый.
– Вкусно?
– Очень.
– Странно, а почему тогда и собака и кошка все время ее выплевывали?

Настоятельница монастыря собрала монашек.
– Я должна сообщить вам, сестры, ужасное известие: наш монастырь посетил мужской дух!
Все монашки разом:
– А-ах!
Один голос:
– Хи-хи-хи!
– В нашем саду обнаружен презерватив,– продолжает настоятельница.
Все:
– А-ах!
Один голос:
– Хи-хи-хи!
– В презервативе обнаружена дырка!
Все:
– Хи-хи-хи!
Один голос:
– А-ах!

– Доктор, мой муж серьезно болен. Что делать?
– Прежде всего нужно поставить диагноз. Разденьтесь и покажите, где у него болит.

Молодой человек, желающий сделать своей невесте подарок, после долгого раздумья решил купить ей пару лайковых перчаток. Он отправился со своей сестрой в магазин дамских принадлежностей. Купил пару лайковых перчаток, а в это время сестра ку-

пила пару рейтуз. При доставке на дом пакеты быть
перепутаны, и пакет с рейтузами был доставлен не-
весте со следующим письмом:

«Моя милая, посылаю вам мой маленький подар-
рок, чтобы доказать вам, что я не забываю о вашем
дне рождения. Я выбрал их, полагая, что вы в них
нуждаетесь. Продавщица, у которой я купил их, по-
казала мне свои, которые она носит четыре недели.
Они даже не запачкались. Как бы я хотел видеть их
лично на вас. Конечно, многие будут до них дотра-
гиваться раньше, чем я увижу их на вас, и я просил
продавщицу примерить их на себе. Они выглядели
изящно, не знаю вашего размера, но со временем я
буду судить лучше, чем кто-то другой. После того,
как вы их разносите, они будут легче сниматься, но
не забудьте каждый раз продувать их, так как они,
естественно, от носки будут влажными.

Мойте их чаще, не снимая, а то они могут сесть.
Надеюсь, вы их примете с таким же чувством, с ка-
ким я дарю их вам. Наденьте их в пятницу на танцы,
так как я страстно желаю видеть их на вас. Число по-
целуев, которое оставляю на них с задней стороны,
неисчислимо. Продавщица напомнила мне, что по-
следний крик моды — носить их не застегивая, по-
луспущенными, чтобы они болтались. Крепко це-
лую то, что в них находится».

Юлия Георгиева, г. Кизилюрт

Рано утром муж собрался на рыбалку. Вышел на
улицу — холод собачий. Решил вернуться домой, к
жене, в теплую постель.

Жена, не поворачиваясь:

— Что, дорогой, холодно? А мой идиот на ры-
балку пошел.

Молодая жена в слезах прибегает к матери.
– Что случилось?
– Меня муж избил!
– Но ведь он вчера уехал в командировку!
– Я тоже так думала.

– Недавно где-то вычитал, что есть такая болезнь, которую можно вылечить только коньяком.
– А там не было написано, где такую болезнь можно подцепить?

– Ну, как твой супруг теперь? – поинтересовалась Инга, пришедшая навестить подругу.
– Знаешь, не совсем хорошо. Целыми днями ловит рыбу в ванной.
– Так тебе следовало пригласить психиатра.
– Я тоже так думала, но так хочется свежей рыбки!

Разгневанный муж обнаруживает в супружеской кровати мужчину.
– Что вы здесь делаете?
– Вот видишь,– говорит жена мужчине,– я же говорила, что он дурак.

Сидит мужик, ловит рыбу.
Вдруг появляется подводная лодка. Оттуда высовывается капитан:
– Мы где находимся, мистер?
– Пошел на х...
Капитан в лодку:
– Господа, мы в России!

Главный хирург спрашивает у запыхавшегося больного:

— Почему вы убежали из операционного зала? Операция аппендицита самая легкая...»
— Потому что сестра сказала: «Прошу без паники!
— Ну и что? Это действительно так!
— Да, так. Но она сказала не мне, а тому молодому хирургу со скальпелем!

— Пап, а пап, а почему у меня все друзья кто в пятом классе, кто в шестом, а я все в первом да в первом?
— Да отвяжись ты! Вон, пей давай!
Надежда Машкакова, Самарская область

— У вас, товарищ, дети есть?
— Нет и не будет!
— Почему?
— Хотел в метро бесплатно проскочить.
— И что же?
— Не получилось.

— Где собирается проводить время этим летом ваша семья?
— Дочь — в Швейцарии, сын — в Индии, жена — в Париже, ну а я по этой причине скорее всего в тюрьме.

Представьте ситуацию: ровное поле, ни ямки, ни кочки, ни колышка. И вдруг из-за куста выезжает танк.

Ну выпили литр, ну два, ну три, но напиваться-то зачем?

— Эй вы, трое! Оба ко мне! Я тебя узнал!

Что такое решетка? Это металлический лист с прорубленными в нем отверстиями.

Автомат работает так: раз, два, три — и вас нет.

Сигнал к атаке — три зеленых свистка.

Танки наступают небольшими группами, по два-три человека.

Комбат пешком не ходит, он берет с собой ГАЗ-69 или замполита.

Или вы прекратите курить, или одно из двух.

— Взвод! Спиной друг к другу в шахматном порядке по диагонали становись!

— Как вы ходите? Удар должен быть одновременно под сруб сапога товарища.

Хазанова не было (в кулинарном техникуме) на занятиях три дня. Преподаватель спрашивает:
— Ты почему прогулял первый день?
Хазанов отвечает:
— На бабу залазил.
— Так-с, интересно. А второй день?
— С бабы слазил.
— Еще интересней. А третий день?
— Отходил. Весь день руки и ноги тряслись.
— Да где же ты такую бабу себе нашел?
— А возле ВДНХ с серпом стоит.

— Молчать! Или я вас буду зверствовать!

Лариса Куланина, 16 лет, г. Жуковский

Идут два дурачка. Видят, вертолет летит и вдруг над ними завис. Один говорит:

— Наверное, сломался.

Второй:

— Дурак, если бы он сломался, он бы упал, наверное, бензин кончился.

Приходит мужчина в магазин и спрашивает:

— У вас трусы есть?

— Нет,— отвечает продавщица.

— А в продаже?

Жена спрашивает мужа, отправляющегося на курорт без нее:

— А почему ты не надел обручальное кольцо?

— Кольцо в такую жару?!

Генерал, зайдя в казарму и посмотрев, как живут солдаты, остановился. Потянув носом воздух, сказал:

— Чем это здесь воняет?

Дневальный, подскочив к генералу, отрапортовал:

— Товарищ генерал, пока вас не было, тут ничем не воняло!..

Идет заяц по лесу и видит, что куда-то звери бегут, а сзади всех муравей. Заяц останавливает его и спрашивает:

— Муравей, куда все бегут?

— Да львица между деревьев застряла, вот и бегут ее трахать.

— А ты куда, такой маленький?

— А я что, не мужик, что ли!

Наркоман звонит в дверь.
— Гоша дома?
— Гоша умер.
Через пять минут снова:
— Гоша дома?
— Гоша умер.
— Я что-то не понял: он что же, за маком не пойдет?..

Идут двое полицейских по кварталу, где проживает белое население. Смотрят, лежит негр, весь изрешеченный пулями. Один полицейский говорит другому:
— Какое жестокое самоубийство!

Теперь хочу представиться.
Зовут меня Мальцев Виталий, мне 16 лет. Учусь в училище. Увлекаюсь радиоэлектроникой и собираю анекдоты. г. Смоленск

Сидят на берегу моря мартышка и крокодил. Крокодил курит косяк, а мартышке не дает. Тогда она кричит:
— Зеленый, атас, менты!
Крокодил нырнул в море, а она спокойно взяла косяк и села на то место курить.
Крокодил вынырнул, а мартышка ему:
— Зеленый, я тащусь, как ты ныряешь.

Семья сидит за столом, обедает. Отец слегка выпил. Сын говорит ему:
— Папа, а почему у тебя нос красный?
— Ветер надул,— отвечает отец.
— А какой, северный или южный?— опять спрашивает сын.
— Северный,— отвечает отец.

— Мать,— говорит глава семьи,— а ну, наливай в верного ветра.

Маленький сынишка спрашивает своего отца.
— Папа, а правда, что меня принес аист, когда я был маленький?
— Да, если б только был жив тот аист из соседней квартиры, то я бы ему все крылья переломал.

Две змеи выползают из ресторана. Одна другую спрашивает:
— Как ты думаешь, я ядовитая или нет?
— Ядовитая,— отвечает другая.
— Ой, ну тогда мне конец, я себе язык прикусил.

Идет урок, учительница задает вопросы. Вызвала одного из учеников. Тот ответил, но неточно.
— Неправильно, но ход мыслей мне нравится,— говорит учительница.
Дошла очередь до Вовочки.
— А можно, я вам вопрос задам?
— Ну давай,— говорит учительница.
— Что за слово — состоит из трех букв и вы его каждый день в руках держите?
— Вовочка, выйди вон из класса,— отвечает учительница.
— Неправильно, но ход мыслей мне нравится,— говорит Вовочка.

Солдат возвращается в казарму пьяный, а навстречу ему генерал идет.
— Можно, я сквозь вас пройду? — спрашивает генерала солдат.

— Проходи г
генерал.
Владимир Мар

Охотник уса
себе на колен
— Поосторо
стрелит?
— Ну и что
его еще раз.

Пассажир о
шивает:
— Часто ли
— Только
проводник.

Один мужи
палась. Вдру
— Смотри,
кой мащет!
— Что же т
Помаши и

Один дже
даме о своей
спросила:
— А где в

Во время
— Ты, ко
жизни!
— Не гово
лумать, что

— Проходите, только по одному,— отвечает ему генерал.

Владимир Марченко, Краснодарский край

Охотник усаживается в трамвае и кладет ружье себе на колени, направив его дулом на соседа.

— Поосторожнее! — говорит тот.— А если оно выстрелит?

— Ну и что? — откликается охотник.— Я заряжу его еще раз.

Пассажир оглядывает обшарпанный вагон и спрашивает:

— Часто ли протекает крыша?

— Только когда идет дождь,— успокаивает его проводник.

Один мужик загорал с сыном на пляже, а теща купалась. Вдруг она стала тонуть.

— Смотри, папа! — закричал сын.— Бабушка рукой машет!

— Что же ты сидишь, сынок?! — сказал мужчина.— Помаши и ей на прощанье.

Один джентльмен, бывший боксер, рассказывал даме о своей жизни. Через несколько часов она его спросила:

— А где вы были еще, кроме Нокдауна и Нокаута?

Во время спора жена бросает мужу:

— Ты, которому я отдала лучшие годы своей жизни!

— Не говори так,— просит муж,— мне страшно подумать, что меня еще ждут худшие годы!

— Я хочу развестись с мужем. Он совершенно потерял интерес к дому и семье. Он даже не отец нашего последнего ребенка!

Встречаются два приятеля.
— Что случилось с Петровым?
— Это который жил напротив тюрьмы?
— Да. Давненько его не вижу.
— Ничего удивительного. Теперь он живет напротив своего дома.

В казарме идет перекличка новобранцев:
— Давыдов!
— Я!
— Петрофанов!
— Я!
— Сундуков!
— Я!
— Кто там вертится?
— Земля вертится.
— Кто сказал: «Земля вертится»?
— Коперник.
— Рядовой Коперник, два наряда вне очереди за разговоры в строю.

— Официант, у меня в кружке муха!
— Стоит ли из-за этого поднимать шум? Ни сколько пива может выпить маленькая муха?!

— Знаешь новость? Иван в больнице.
— Как в больнице? Да я его вчера видел. Он танцевал с одной блондинкой.
— Вот-вот. И жена его тоже видела.

Облака уже остались далеко внизу, когда вдруг

мотор заглох и
кунду из кабин
— Не волнуй
наружные двер
мощью.

Командир са
ливого полета,
ворит второму
— Ну что, ко
сой любовью?
Стюардесса
минеральной в
Ее ловит за ру
— Не спеши
пили.

Одна дама
первом муже:
— Я встрети
в двадцать тр
— Да,— согл
что трех часо

Чебурашка
несет больш
— Ген, тебе
ты меня.

Баба Яга си
— Насилую
Змей Горы
— Ты что,
Та отвечае
— А что, у

мотор заглох и самолет резко накренился. Через секунду из кабины вышел пилот с парашютом.

— Не волнуйтесь, господа,— сказал он, открывая наружные дверцы.— Я отправляюсь на землю за помощью.

Командир самолета, пожелав пассажирам счастливого полета, забывает отключить микрофон и говорит второму пилоту:

— Ну что, кофе попьем да займемся со стюардессой любовью?

Стюардесса в салоне бледнеет, роняет поднос с минеральной водой и бросается к кабине пилотов. Ее ловит за руку дедок-пассажир:

— Не спеши, милая, они ведь еще кофе не попили.

Одна дама рассказывала джентльмену о своем первом муже:

— Я встретилась с ним в двадцать, а ушла от него в двадцать три.

— Да,— согласился джентльмен,— я тоже думаю, что трех часов вполне достаточно.

Чебурашка и крокодил Гена идут на вокзал. Гена несет большой чемодан. Чебурашка говорит Гене:

— Ген, тебе тяжело? Ну давай я возьму чемодан, а ты меня.

Баба Яга сидит на пне и орет:
— Насилуют! Насилуют!
Змей Горыныч подлетает и говорит:
— Ты что, сдурела, что ли, старая?
Та отвечает:
— А что, уже и помечтать нельзя?

Ночью встречаются два человека. Первый спрашивает, глядя на небо:
— Это луна или солнце?
— Не знаю, я не местный.

— Виктория, если бы я знал, что туннель будет таким длинным, я бы вас поцеловал.
— Как, это были не вы?

— Если ты не будешь кушать кашу, я позову Бабу Ягу.
— Мама, неужели ты думаешь, что Баба Яга будет есть эту кашу?

Дочь спрашивает отца:
— Папа, а тебя била когда-нибудь твоя мама?
— Нет, только твоя...

— Мама! — плачет в телефонную трубку вышедшая недавно замуж дочка.— Уже полночь, а Ивана все нет. Он, наверное, у какой-то женщины.
— Доченька, зачем сразу подозревать худшее? Может, он просто попал под машину.

Летит трехглавый Змей Горыныч. Одна голова кричит:
— Да здравствует демократия и гласность!
Вторая:
— Да здравствует свобода слова!
Третья:
— Вперед — к рынку!
Водяной спрашивает у Бабы Яги:
— Что он там кричит?
— Да опять этот гад депутатов нажрался!

С. Косилов, г. Барнаул

Встречаются две женщины, и одна с ужасом сообщает другой:

— Знаешь, вчера на проспекте автобус разбился!

— Да что ты говоришь! С людьми? — воскликнула другая.

— Нет, со студентами.

Корреспондент областной газеты решил выявить уровень подготовки студентов. Он задал студентам разных курсов один вопрос: «Сколько будет 2х2?» Результаты его опроса были следующими: первокурсник с уверенностью ответил: «четыре»; второкурсник вытащил шпаргалку с таблицей умножения; третьекурсник достал калькулятор и быстренько сосчитал; четверокурсник побежал в дисплейный класс составлять программу; а пятикурсник с негодованием заявил: «Что я, все константы помнить обязан?!»

Приходит человек на кладбище и слышит, как где-то кричат: «Ура! Браво!» Подходит, видит толпу студентов и двух замученных могильщиков. Спрашивает:

— Что здесь происходит?

Могильщики с глубоким вздохом отвечают:

— Вчера преподаватель умер, так мы его сегодня десятый раз на «бис» закапываем.

Встречаются трое студентов: вуза, техникума и военного училища — и рассказывают друг другу об экзаменах.

— У нас,— говорит студент вуза,— в экзаменационном билете вопрос: «В чем измеряется сила тока?» и три ответа: в вольтах, в омах, в амперах. И нужно выбрать правильный.

— У нас,— говорит второй,— вопрос: «Уж не в ка перах ли измеряется сила тока?» и три ответа: да нет, не знаю. Нужно выбрать правильный.

— А у нас,— говорит третий,— вопрос: «Сила тока измеряется в амперах» и три ответа: да, есть, та точно. Вот и мучайся, выбирай правильный.

Студент копает землю.
Прохожий спрашивает:
— Что ты делаешь?
— Понимаете, мне дали задание: найти квадратный корень. Третий день копаю, да только все круглые попадаются. Да это что, Иванову дали задание член на многочлен разложить. Он сидит, ножик точит, а у самого слезы текут.

Зачет по английскому языку. Студент отвечает по билету, а преподаватель удивленно говорит:
— Молодой человек, вы мне отвечаете на китайском языке.
— Тьфу, черт вчера в темноте с полки не тот учебник взял.
Подпись не разборчивая, г. Тула

Несколько слов о себе: меня зовут Елена, мне 20 лет. Не буду больше утомлять вас информацией о своей персоне и перейду ближе к делу. Меня заинтересовал ваш призыв. Читайте и смейтесь! Друзья считают меня мастерицей рассказывать анекдоты. Не знаю, как это получится в письменном виде, но тем не менее решила рискнуть и представить на ваш «высокий суд» свою подборку анекдотов:

Пассажиры садятся в самолет. Среди них молодой человек с огромным синяком под глазом и в одних трусах. Один из пассажиров подходит к нему и говорит:

– Послушай, а ты поприличней не мог одеться?

– Да ты понимаешь, я – невезучий. Вот сейчас только вышел из дому, на меня напали: обокрали и раздели. Один билет на самолет остался.

Они садятся в самолет. Их места оказались рядом. Невезучий продолжает разговор:

– Вот посмотришь, до места не долетим, я же невезучий.

Через некоторое время в салон входит стюардесса и говорит:

– Просьба не паниковать, наш самолет падает прямо в океан. Сейчас вам выдадут спасательные жилеты и свистки для отпугивания акул

– Ну вот, что я говорил! А теперь или жилет попадется дырявый, или акула глухая.

Пьяная женщина глубокой ночью сидит посреди улицы в луже. К ней подходит милиционер.

– Ты что в такое время на улице делаешь?

– А может, я Снегурочка!

– А в луже-то чего сидишь?

– А может, я растаяла!

В комнате спят студенты I, II, III, IV, V курсов. Звонит будильник. Первокурсник вскакивает.

– Ребята, пойдете на лекции?

Второкурсник:

– Ты что, одурел? Давайте спать.

Третьекурсник:

– Чего спать-то. Пошли, что ли, пивка купим.

Четверокурсник:

— Да что уж пивка, давайте лучше водочки вы-
пьем.

Пятикурсник:

— Делаем так. кинем монету. Если решка — пою
паем пиво, если орел — идем за водкой. Если на
ребро станет — спим Ну а если в воздухе зависнет -
на лекции идем.

Чукча ловит рыбку на берегу моря. Всплывает американская полводная лодка

— Эй, чукча, где мы находимся?
— Чукотское море здеся!
— Погружаемся! Курс 220!

Через некоторое время всплывает русская подводная лодка

— Эй, чукча, где мы находимся?
— Чукотское море здеся!
— А американцев видел?
— Видел.
— Куда поплыли?
— Курс 220, однако!
— Да ладно, не выделывайся, рукой покажи!

Елена Дорохова, г. Старый Оскол

Одесса. Поздно ночью раздался стук в дверь. Пожилой хозяин квартиры Абрам на цыпочках подходит к двери.

— Ой! А хто вы?
— Мы — налетчики.
— Ой! А шо вам нужно?
— 100 килограммов золота.
— А 105 можно?
— Давай 105.
— Сара, золотко, вставай. За тобой пришли.

— Мальчик, как тебя зо
— Абраша!
— Такой маленький, а
в коммунальной ква
дит к соседу. Сосед сн
— Соломон Абрамов
— Ой! Разве кто-нибу
— Если никто не зах
суте!
— Ну а вдруг кто-ни

Вокзальный перрон
дают родственника. П
дет старый еврей.
— Абраша, как дое
— Ой! Слушайте,
дали такой билет
вию поезда. У мен
плохо ехал.
— Ты что, не мог
уступили бы место.
— Так в купе ж н

Самый короткий
Еврей — дворник

Вовочка зубрит у
кусочек сыру...»
— Папа, а разве
— Глупенький,

— Ког
—

– Мальчик, как тебя зовут?
– Абраша!
– Такой маленький, а уже еврей.

В коммунальной квартире соседка открывает дверь к соседу. Сосед сидит голый и при галстуке. Она спрашивает:
– Соломон Абрамович, что за вид?
– Ой! Разве кто-нибудь ко мне заходит?
– Если никто не заходит, то почему вы в галстуке?
– Ну а вдруг кто-нибудь зайдет.

Вокзальный перрон. Стоит компания – встречают родственника. Подходит поезд, из вагона выходит старый еврей. Они к нему бросаются.
– Абраша, как доехал?
– Ой! Слушайте, я так плохо ехал! Мне дали такой билет – я сидел спиной к движению поезда. У меня голова кружилась, я так плохо ехал.
– Ты что, не мог с кем-нибудь поменяться? Тебе уступили бы место.
– Так в купе ж никого не было!

Самый короткий анекдот:
Еврей – дворник.

Вовочка зубрит уроки: «Вороне где-то бог послал кусочек сыру...»
– Папа, а разве бог есть?
– Глупенький, а разве сыр есть? Это же басня!

– Когда ты вернулся вчера вечером, дорогой?
– Ровно в 10.

— Лжешь. Я слышала, как на колокольне в это время пробил один удар...

— Разумеется, дорогая. Люди еще не изобрели часы, которые бы пробивали ноль.

Винни-Пух с Пятачком нашли бочку меда. Винни-Пух предлагает:

— Слушай, Пятачок, сбегай, поищи ложку, а я мед постерегу.

Прибегает Пятачок с ложкой, а Винни-Пух лежит рядом с пустой бочкой.

Пятачок:

— Винни, Винни, я ложку принес, а где мед?

— Отстань, свинья, не видишь — плохо мне!

Киностудия «Чукча-фильм» снимает фильм про войну.

Стук в дверь.

— Кто тама?

— Гестапа!

— Чево нада?

— Партизана!

— Какая?

— Олега Кошевая!

— Она пошла в тундру листовки расклеивать и мост взрывать.

— Тогда передайте, что приходила гестапа и очень ругалась.

— Какая ночь! — восклицает человек, выходя из ресторана.— На небе две луны, вот это да!

— Не две, а три,— поправляет его спутник.

— Нет, две, ты что, считать не умеешь?

— Да три же!.. Послушайте,— обращается второй к прохожему.— Разрешите наш спор, сколько сейчас

на небе лун — две или
— А... это... смотря в
сает тот.

Андерсен пришел в
— Где вы родились
— В Париже.
— Значит, вы фран
— Нет, мои родите
— Но вы родились
вы должны быть фр
— Выходит, если
шине, я должен ее

— Молодой челов
говорят за вас.
— Ладно, дайте о

Пятнадцатилетни
афиши видеозала.
— Черт! Опять «
— И зачем, спра
из постели?!

Чукча хочет куп
Подходит русский
— Ты купи Кам
Послушался чук
чаются, а чукча н
Русский:
— Почему на м
Чукч

на небе лун — две или три?
— А... это... смотря в каком ряду считать...— отвечает тот.

Андерсен пришел в полицию получать паспорт.
— Где вы родились? — спросил чиновник.
— В Париже.
— Значит, вы француз.
— Нет, мои родители датчане.
— Но вы родились во Франции, следовательно, вы должны быть французом.
— Выходит, если моя собака ощенилась в конюшне, я должен ее щенков называть жеребятами?

— Молодой человек, купите розы! Пусть цветы говорят за вас.
— Ладно, дайте одну. Я буду краток.

Пятнадцатилетний парень с подружкой возле афиши видеозала.
— Черт! Опять «детям до 16-ти»!
— И зачем, спрашивается, мы вообще вылезали из постели?!

Чукча хочет купить тележку для перевозки снега. Подходит русский и дает совет:
— Ты купи КамАЗ, в него больше вместится.
Послушался чукча и купил. Через год опять встречаются, а чукча на тележке снег везет.
Русский:
— Почему на машине не возишь?
Чукча:
— В КамАЗ больше входит, но олени быстро устают.

Дочь ночью заявляется домой вся побитая и говорит отцу:

— Па, ты хочешь узнать от меня о моей поездке или из газет?

— Почему вы бежали из тюрьмы?
— Я хотел жениться.
— Хм... Странное у вас представление о свободе.

В Нью-Йоркском отеле вывешено объявление: «Гасите сигареты! Помните о пожаре в Чикаго!»
Под этим объявлением кто-то подписал:
«Не плюйте на пол, помните о весенних разливах Миссисипи!»
Наталья Чепелева, 14 лет, г. Ангарск

Учитель просит учеников:
— Кто считает себя тупицей, встаньте.
После долгой паузы встал один ученик.
— Ты что, считаешь себя тупицей?
— Ну не совсем. Просто как-то неудобно, что вы стоите один.

Идет лекция по политэкономии.
Лектор:
— К 2000 году у нас на каждого человека будет по 10 килограммов мяса.
С задних рядов:
— Извините, я не расслышал: на человека или на человеке?

— Доктор, вы мне прописали успокоительную микстуру и полный покой?

— Да, это так.
— О! Я вам так благодарен...
— Вы выздоровели?
— Да! Я давал микстуру моей жене.

На официальном приеме одна женщина говорит мужу:
— Жан, будь разумным. Уже двенадцатый раз ты идешь в буфет за виски. Что подумают люди?
— Не беспокойся. Каждый раз я говорю, что это для тебя.

Один человек входит в магазин и говорит:
— Мне нужны маленькие свечки для юбилейного пирога в честь моей супруги.
— Сколько штук вам дать?
— Тридцать, как обычно.

Жена мужу:
— Вот мне с тобой нужно поговорить о деле, но я не могу — ты вечно выпивши.
Муж:
— Странное дело, выпивши вечно я, а говорить не можешь ты. Не понимаю...

— Милостивый государь! Вчера вы грубо оскорбили вашу жену — мою сестру! Потрудитесь взять мою карточку: мы будем драться!
— К сожалению, вы опоздали — я уже дрался с вашей сестрой.

— Моя жена за рулем — как молния!
— Что, так быстро ездит?
— Нет, попадает в деревья.

Чабан играет с бараном в шахматы. Подходит другой.

— Ну как?

— Баран, он и есть баран.

— А какой счет?

— Два — два.

Вопрос:

— В чем разница между мужчиной и Парижем?

Ответ:

— Париж всегда Париж!

Екатерина Начинова, г. Саратов

На экзамене профессор спрашивает студента:

— Как называется вместилище для воды?

— Презервуар.

— В общем, правильно, но только без «п»,— подсказывает профессор.

— Тогда резерватив.

Лежит негр под пальмой. Подходит европеец и говорит негру:

— Что же ты лежишь, когда над тобой столько орехов висит. Сорвал бы орехи, продал, купил бы тележку.

— Зачем?

— Приехал бы обратно, загрузил тележку, продал, купил грузовичок!

— Зачем?

— Загрузил бы орехами грузовичок, продал, получил много денег, нанял бы себе рабочих. Они бы за тебя орехи собирали, а ты бы лежал!

— А я и так лежу.

Белый студент
остановке. К нему
– Сынок, ты что
– Да я талон на
– На, возьми мо
– Нет,– рыдает
был завернут.

Пьяный мужик в
берет его за уши
– Бедный зайч
лли.

Сын возвращае
двери подходит е
– Кто там?
– Открывай, ма
– Не-ет, мама,
Семья Половых, г.

Идет мужик по
гой мужик зани
ями. Он к нему
– Дай хоть од
– Дай да дай!

Утро в Просто
– Матроскин,
ила!
– Мур-рр. Мо

Едет зимой в
ный тулуп. См
жит от холо

Бедный студент горько плачет на трамвайной остановке. К нему подходит бабуля.
– Сынок, ты что ж так горько плачешь?
– Да я талон на трамвай потерял.
– На, возьми мой талон, не плачь.
– Нет,– рыдает студент,– в моем талоне завтрак был завернут.

Пьяный мужик в зоопарке влезает в вольер к ослу, берет его за уши и, рыдая, произносит:
– Бедный зайчик, что с тобой коммунисты сделали.

Сын возвращается домой и стучит в дверь. К двери подходит его мать — наркоманка.
– Кто там?
– Открывай, мама, это я.
– Не-ет, мама,– это я.
Семья Поповых, г. Ростов-на-Дону

Идет мужик по кладбищу ночью. Смотрит, другой мужик занимается любовью с двумя женщинами. Он к нему:
– Дай хоть одну!
– Дай да дай! Возьми да накопай!

Утро в Простоквашино. Прибегает дядя Федор:
– Матроскин, твоя корова полосатого теленка родила!
– Мур-рр. Моя корова, что хочу, то и делаю.

Едет зимой в автобусе хохол, одетый в добротный тулуп. Смотрит, негр в легоньком пальто дрожит от холода.

Кричит хохол негру:
— Что, змерз, Маугли?!
Роман Лапенко, г. Хабаровск

Однажды Горбачеву пришла машина от Клинтона, а на багажнике написано: «Откроешь в чистом поле».

Горбачев так и сделал.

Открывает, а оттуда вылезает девушка и говорит «Догонишь, буду твоя!» — и убежала.

Потом Клинтону приходит машина, на багажнике опять написано: «Откроешь в чистом поле».

Клинтон думает «Что я, дурак?»

Он взял загнал машину в гараж, закрыл двери, позатыкал все щели

А оттуда вылезает грузин и говорит: «Ну що, побэхаем?»

Перрон. Еврей, прощаясь с Одессой, высунул голову в окошко. Проходя мимо, какой-то жлоб как даст ему в ухо.

Еврей:
— Ты что это, серьезно?
— Да!
— Ну, тебе повезло! А то я шуток не люблю!

Врач-нарколог спрашивает пациента:
— Вы когда-нибудь пили до галлюцинаций?
— Нет, но мой друг пьет до такой степени, что у него чертики бегают, и он их ловит. Сам видел, сам ловил.

Мать спрашивает сына:
— Кого ты хочешь, брата или сестру?

– Зеленого крокодильчика,– отвечает сын.
На следующий день приходит из детсада:
– Мы с мужиками посоветовались, или крокодильчика, или аборт.
Без подписи, Иркутская обл., п. Янгель

20 лет тому назад на первенство по шахматам играли Спасский и Фишер. Во время матча был такой диалог.

Фишер: – А у вас хлеба нет!

Спасский: – А у вас Кеннеди убили!

Фишер: – А у вас и мяса нет!

Спасский: – А у вас Кинга убили!

Фишер: – А мы у вас Хрущева украдем!

Спасский (быстро ответил): – Тогда и у вас не будет ни хлеба, ни мяса!

Дама высокого роста в отделе тканей, выбрав материал в клеточку обратилась к продавцу: – Молодой человек, отмерьте мне на юбку 40 см.

Продавец внимательно посмотрел на даму и спросил: – Сколько вы сказали?

Дама: – Вас смущает количество?

Продавец: – Да, обычно женщины берут 70–75 см.

Дама: – А я хочу, чтоб были видны мои чашечки...

Продавец: – Теперь мне понятно... и я посоветую вам взять 20 см, чтоб был виден весь сервиз!

Армянское радио спрашивает:
– Может ли мужчина изнасиловать бегущую женщину?
Отвечаем: – Нет! Так как бегущая женщина с под-

нятой юбкой бежит быстрее, чем мужчина со спущенными брюками!

До войны, во время спасения челюскинцев, между двумя моряками произошел разговор.

— Ну как дела, как жена?

— У меня теперь жена, как дрейфующая льдина. Недавно с нее сняли двух героев и одну собаку!

Беседа матери с 14-летней дочкой.

Дочь: — Мама, я пойду погуляю...

Мать: — Будь осторожней. Знаешь, какие теперь ребята. Лезет целоваться, а там и в штаны полезет... а я такой позор не переживу... умру, что ты будешь делать одна?..

Дочь. Мама, не беспокойся...

Мать каждый раз ей напоминала одно и то же... В очередной раз, только мать хотела напомнить... Дочь перебила ее и рассказала:

— Мама, не беспокойся... вчера Ванька лезет целоваться... вот, вот в штаны полезет... я, помня твое предупреждение... сама к нему в штаны полезла... пусть его мать умирает, а ты живи!

Ветеран Вооруженных Сил А. Вишневецкий, Донецк

На физфаке в университете всеобщее веселье. Все радуются, смеются, а один стоит в стороне и плачет:

— Чего вы радуетесь?

— Да наш декан из окна выпал.

— А ты чего плачешь?

— А я не видел!!!

— Сейчас вы матом ругаетесь, а потом теми же руками хлеб будете брать!

К поручику Ржевскому приходит молодой гусар и говорит:

– Понимаете, у меня сегодня первое свидание, и не могли бы вы дать мне белые носки?

– Бери, вон они в углу стоят.

Мальчик прибегает к маме:

– Мама! Папа на чердаке повесился!

Та в ужасе бежит на чердак, но там никого не находит.

– Что ты выдумываешь, там же никого нет?!

– Первое апреля — никому не верь! Конечно, там никого нет — он же в подвале повесился!

Полез мужик чинить антенну, сорвался и полетел вниз. Пролетая мимо своего окна, кричит:

– Маня, котлеты можешь не жари-и-и-ть!!!

Плакат: «Сталевары! Ваша сила в плавках!»

– Уберите свою собаку! По мне уже блохи ползают!

– Тузик! Отойди от дяди, у него блохи!

Сын спрашивает у отца:

– Как можно отличить зайца от зайчихи?

– Берешь зайца или зайчиху за уши и опускаешь на землю. Если побежал, значит, заяц, а если побежала, то, значит, зайчиха.

Виктория, Красногвардейский р-н Крыма

Меня зовут Ольга, мне 24 года, люблю спорт, музыку и еще многое, в том числе и анекдоты.

Собрались Василий Иванович и Петька ехать на Украину и перепутали поезда. Сели в экспресс Москва — Пекин. Приехали. Выходит Василий Иванович на вокзале в Пекине и говорит:

— О! Здорово, хохлы! А чего это вы прищурились?!

Вызывает женщина слесаря и объясняет:

— У меня что-то случилось со шкафом — когда по улице едет трамвай, двери слетают с петель. Что делать?

Слесарь снял туфли, залез в шкаф и стал ждать трамвая, чтобы разобраться, в чем дело.

Вдруг пришел муж. Видит мужские ботинки, открывает шкаф — а там мужик!

— Ты что здесь, сволочь, делаешь?

— Гадом буду, хозяин, не поверишь, трамвая жду!

Муж приезжает домой из командировки. Жена в растерянности. Перед сном муж выходит на балкон покурить и видит там мужика в трусах.

— Ты что тут делаешь?

— Да я парашютист, зацепился за ваш балкон...

— Да? Ну ничего, ничего, у нас тут то парашютисты, то в унитазе геологи нефть ищут...

На экзамене в мединституте студент отвечает на вопрос «Признаки беременности». Ему подсказывают: «Волосы выпадают, ноги кривые, большой живот...» Он все это повторяет.

Профессор просит его остаться после экзамена. Студент заходит к нему и видит голого профессора. Тот спрашивает:

— Ноги у меня кривые? Кривые. Волосы выпали? Выпали. Живот большой?

– Большой!
– Вот когда рожу, считай, что сдал экзамен!

Пришла бабка в психбольницу проведать внука. Подлетает к ней один верхом на палке и говорит:
– Садись, бабка, подвезу.
И взял за «подвоз» 3 рубля.
Подбегает второй и говорит:
– Давай, бабка, подлечу!
Поплевал ей на голову и взял 5 рублей.
Бабка пошла к главврачу жаловаться — почему больных так распустили?
– Нет,— говорит главврач,— наши психи взаперти сидят. Это студенты мединститута подрабатывают.

Ольга Молофеева, г. Воронеж

– Куда бы вы хотели попасть, в рай или ад? — спрашивает хозяйка.
– Трудно сказать,— говорит одна из женщин.— С точки зрения климата, рай предпочтительнее, но в аду общество интереснее.

– Вчера я выиграл в лотерею 100 тысяч!
– А как на это реагировала жена?
– Она от радости онемела.
– Это же надо — столько счастья сразу!

Встречаются двое друзей, не видевшихся 15 лет.
– Что новенького? — спросил один.
– Ты знаешь, жена мне изменяет.
– Ты меня неправильно понял. Я спросил: «Что новенького?»

Убежденный холостяк говорит своему другу:
— Женщины — хуже разбойников.
— Но почему, Пьер?!
— Потому что разбойники требуют кошелек или жизнь, а женщины — и то и другое.

Идет бракоразводный процесс. Муж жалуется, что у него дома невыносимые условия.
— Я готов убежать хоть в пекло!
Жена вставляет реплику:
— Видите, какой эгоист. Всегда ищет для себя тепленькое местечко.

Пастор — мальчику:
— Ты молишься перед едой?
— Зачем? Моя мама хорошо готовит.

Молоденькая девушка обращается на улице к священнику:
— Святой отец, вы будете завтра утром в церкви? Я приду исповедоваться.
Священник удивленно:
— Дочь моя, а не рановато ли тебе?
— Хорошо, святой отец, я приду вечером.
Любовь Бубенцова, Пензенская обл.

Старшина спрашивает у рядового:
— Лисичкин, что такое Родина?
— Родина — это леса, поля, реки...
— Дурак ты, рядовой Лисичкин. Родина — это твоя мать. Понял?
— Понял.
— Что ты понял?
— Что Родина — это моя мать.

Затем старшина спрашивает у другого солдата:
– Рядовой Иванов, что такое Родина?
– Родина – это мать Лисичкина.
– Дурак ты, Иванов. Родина – это и твоя мать. Понял?
– Понял.
– Что ты понял?
– Что я брат Лисичкина.

Отец наставляет сына-студента, поступившего в институт:
– Будешь учиться на «пять», куплю тебе черную «Волгу», будешь учиться на «четыре», куплю белую «Волгу», а будешь учиться на «три» и «два», куплю зеленую «Волгу» – езди в ней как дурак.

Студент танцевал с девушкой и вдруг упал.
– Воды, воды! – закричала девушка.
Прибежали с водой и поднесли стакан к губам пострадавшего. Студент медленно открыл глаза и тихо прошептал:
– И хлеба.

В ресторане студент заказывает:
– Дайте мне стакан воды и корку хлеба.
Официант удивился:
– И это все?
– Эх, гулять так гулять! Ведро воды и 2 буханки хлеба.

Маленькая девочка разговаривает с отцом:
– Папа, мне сегодня приснилось, что ты подарил мне маленькую шоколадку.
– Будешь слушаться, приснится, что подарил большую.

В 3 часа ночи в квартире раздается телефонный звонок.

— Это баня? — спрашивают на другом конце провода.

— Это квартира! — кричит раздраженный хозяин, поднятый среди ночи.

— А почему в трусах стоите?

Бабка продает на базаре траву от тараканов. Подходит мужик:

— От чего травка?

— От тараканов.

— А как ею пользоваться?

— Да поймаешь таракана и этой травкой по морде, по морде!

Две старые девы наблюдают сцену: петух гоняется за курицей, курица вдруг выбегает на мостовую и попадает под машину.

Одна старая дева говорит другой:

— Она предпочла смерть.

1 сентября первоклассник приходит домой, кидает портфель на пол и кричит родителям:

— Чего ж вы не предупредили, что эта бодяга на 10 лет?!

Украинец на посту. Кто-то идет.

— Пароль?

— «Кукушка».

— Проходи.

Опять кто-то идет.

— Пароль?

— «Сокол».

— Да не «сокол», а «кукушка», проходи.

Брежнев на заседании уснул. Внезапно просыпается:
– Иде я? Иде я?
Все схватились за блокнотики – Брежнев идею предлагает.
Брежнев:
– Иде я? Иде я нахожуся?

Муж приходит домой. Жена ему изменяет. Реакция жены.
Француженка:
– О, Пьер, подвинься, втроем нам будет веселее!
Англичанка:
– Джон, ты очень непунктуален, ты пришел домой на 10 минут раньше.
Немка:
– Ах, Ганс? Это ты? Тогда кто же лежит со мной рядом?..
Американка:
– Билл, это агент фирмы, изготовляющей презервативы. Я же не могла купить не попробовав.

– Папочка, папочка, купи мне барабан!
– Вот еще, мне и так хватает шума!
– Купи, папочка, я буду играть на нем, только когда ты будешь спать!

Супруги из Англии:
– Милая, ты мне когда-нибудь изменяла?
– Да, помнишь, я принесла 100 тысяч и сказала, что это наследство от бабушки.
Французы:
– Ты мне когда-нибудь изменяла, дорогая?
– Да, помнишь, я пришла в норковой шубке и сказала, что это подарок папы.

Русские:

— Мать, ты мне когда-нибудь изменяла?

— Да, помнишь, у тебя шапка пыжиковая пропала...

Полина Питерская. Московская обл., г. Истра

Купил прапорщик электронные часы, подходит мальчик:

— Дяденька, сколько время?

— Двенадцать раздели на сорок восемь,— говорит прапорщик.

— Дяденька, а сколько это будет?

— Иди, мальчик, я сам полдня делю.

Чукча познакомился с геологами, те его угостили пельменями

Чукче понравилось, узнав рецепт, он, довольный, отправился домой, через некоторое время чукча приглашает геологов отведать пельмени, сделанные им самим.

Все едят, а чукча стоит в стороне и смотрит:

— Чукча, ты что не ешь? — спрашивает один из геологов.

— Мясорубка болит,— отвечает чукча.

Два чувака попали на необитаемый остров, оголодав, решили загадывать загадки, кто первым не отгадает, тому быть съеденным.

Первый: «Начинается на «ля», кончается на «гушка».

Второй: «Черепаха».

Первый: «А, ты знал, ты знал».

Едут два грузина в машине, один другого спрашивает:

– Гога, можно я пукну?
– Можно,– отвечает Гога.
– Ну что, пахнет? – спрашивает первый.
– Нет,– говорит Гога.
– А можно я еще пукну? – спрашивает другой.
– Нет, нельзя,– отвечает Гога.
– А, что, Гога, все-таки пахнет?
– Нет, глаза режет,– говорит Гога.

Командир дает вводную:
– Летит вертоплет.
– Товарищ, командир, не вертоплет, а вертолет,– голос из строя.
– Кто сказал? – спрашивает командир.
– Рядовой Сидоров! – голос из строя
– Рядовой Сидоров, лечь, встать, лечь, встать, лечь, встать, встать в строй,– отдает приказания командир.
– Летит вертолет, несет ядрену бомбу.
– Товарищ командир, не ядрену, а ядерную,– голос из строя.
– Кто сказал? – спрашивает командир.
– Рядовой Сидоров! – голос из строя.
– Рядовой Сидоров, лечь, встать, лечь, встать, лечь, встать, встать в строй,– приказывает командир.
– Летит вертолет, несет ядерную бомбу, сбрасывает ее, каковы ваши действия?
– Хватать командира и нести его в бомбоубежище,– голос из строя.
– Сидоров, опять ты? – спрашивает командир.
– Так точно! – докладывает Сидоров.
– Сидоров на месте, всему строю лечь, встать, лечь, встать, лечь, встать,– отдает приказания командир.

Таможенник на границе спрашивает:
— Анаша, героин, марихуана?
Проходящий контроль мужчина:
— Да нет, мне не нужно, у меня самого этого «добра» целый чемодан!

Подборку анекдотов составил Андрей Резников, учащийся средней школы девятого класса, Тверская обл.

Встречаются два студента: один грязный и оборванный, а другой чисто и хорошо одетый. Один другого спрашивает:
— Почему ты так хорошо одет, как тебе удается?
— Да вот иду один раз по площади. Вижу — идет Буш, я упал на газон и давай траву есть, он меня поднял и спросил, почему я это делаю, ну я и сказал, что денег нет, а кушать очень хочется. Он вытащил из кармана 100 долларов и сказал:
— Сходите в ресторан и покушайте.
На этом студенты разошлись, вскоре встретились опять, и также один хорошо одет, а другой по-прежнему плохо одет и очень голоден.
Один другому говорит:
— Ну что, не удалось тебе повстречать Буша?
— Нет, но удалось повстречать Горбачева, увидел я его, бросился на газон и начал есть траву, а он мне и говорит:
— Что вы делаете?
Я ему говорю: — Денег нет, а кушать очень хочется.— Ну он порылся в своем кармане, достал 15 копеек и говорит:
— Езжайте на Ленинские горы, там трава сочней.

Идет мужик, а на поводке у него пингвин привязан, смотрит мужик, идет навстречу милиционер, мужик остановился и спрашивает:

— Скажите, пожа
гвина?
Милиционер без
— Ну конечно же
Через некоторое в
стал мужик, и на пово
Он и спрашивает
— Мужчина, вы
Тот отвечает:
— Конечно, отво
сегодня мы идем в

Идеальный муж до
боты и застанет жену
— Ну вы здесь
сварю.

Пришла женщин
шла, взяла банку,
на продавщицу, за
— Ох, какая я се

Пришел хомяк ф
мещаются в рамку
Фотограф говор
— Когда я вас бу
га ваша любимая
от этого ваши щек
— Да,— говорит
— Итак, какая ва
— Батончик!!!

— Девушка,
— Есть!
— А почем

– Скажите, пожалуйста, куда можно отвести пингвина?

Милиционер без раздумий говорит:

– Ну конечно же, в зоопарк.

Через некоторое время милиционеру опять встречается мужик, и на поводке у него опять привязан пингвин.

Он и спрашивает:

– Мужчина, вы отводили пингвина в зоопарк?

Тот отвечает:

– Конечно, отводил, нам очень понравилось, а сегодня мы идем в кино.

Идеальный муж должен быть таким. Если придет с работы и застанет жену с любовником, он должен сказать:

– Ну вы здесь заканчивайте, а я пойду кофе сварю.

Пришла женщина в магазин сметану покупать, купила, взяла банку, поболтала в ней сметану, вылила на продавщицу, закрыла баночку и пошла.

– Ох, какая я сегодня загадочная!

Пришел хомяк фотографироваться, а щеки не помещаются в рамку фотографии.

Фотограф говорит:

– Когда я вас буду фотографировать, спрошу, какая ваша любимая конфетка, вы скажите: «Му-му», от этого ваши щеки станут меньше, вы поняли?

– Да,– говорит хомяк.

– Итак, какая ваша любимая конфетка?

– Батончик!!!

– Девушка, у вас груди есть?

– Есть!

– А почему вы их не носите?

Один друг говорит другому:
— Я не знаю меры в спиртном.
— А я знаю,— говорит другой.
— Как это тебе удается?
— Ну прихожу я в ресторан, нахожу самую страшную женщину, и когда она мне начинает нравиться, то мне больше пить не надо.

Светлана Нетребина, Ростовская обл.

Приспала лягушка фотографироваться. Фотографу что-то не очень понравился рот лягушки, и он ей говорит:
— Скажите: бу-у-у-лочка с изюмом.
А она молчит, фотограф опять:
- Скажите: бу-у-у-лочка с изюмом.
Лягушка, недолго думая, говорит:
— Кекс.

Обезьяна сидит на берегу. Подплывает крокодил и говорит.
— Обезьяна, что ешь?
— Грибы.
— О, в такое время грибы, вот это да!
— Я сказала, грибы отсюда.

Ученые решили провести опыт. По такому важному вопросу: «Где же вежливее мужчины?» Взяли трех мужчин: американца, англичанина и русского, подключили устройство, читающее мысли, и поставили женщину. Попросили американца ударить женщину, и на экране появилась надпись:
— Как я могу стукнуть женщину, ведь я же мужчина.
Попросили англичанина сделать то же, и на экране появилась надпись:

— Как я могу стукнуть женщину, ведь я джентльмен.

Попросили русского сделать то же, и на экране ничего не появилось. Попросили еще раз стукнуть, и опять ничего не появилось. Попросили еще раз стукнуть, и на экране возникла надпись:

— Ногой, что ли, пнуть.

Эти анекдотики рискнула начирикать вам Ольга Кищенко, г. Златоуст

Посылаю анекдоты из своей коллекции. Постарался выбрать такие, которые не очень распространены в различных сборниках, ну и, естественно, не пошлые и не плоские.

Очнулся Штирлиц в камере. Лежит и не может вспомнить, что произошло. «Ладно,— думает,— зайдут наши, скажу, что я Исаев, зайдут немцы —скажу, что Штирлиц».

Заходит милиционер и говорит:

— Ну и нажрались вы вчера, товарищ Тихонов!

Купили американцы у русских самолет МИГ-29. В разобранном виде привезли в Штаты, собрали в ангаре, смотрят — трактор. Разобрали, опять собрали — снова трактор. Вызвали русского инженера. Он закрылся в ангаре, через 3 часа открывает — самолет стоит. Американцы к нему:

— Как же ты?

— Инструкцию надо внимательно читать, там в конце написано: «После сборки тщательно обрабо-тать зубилом, молотком и напильником».

Шут вошел в королевские апартаменты и увидел, что король умывается, низко склонившись над тазом. Шут разбежался и дал сильного пинка его величеству под зад. Рассвирепев, король приказал тут же казнить наглеца. Немного поостыв, он сказал, что виновник может попробовать вымолить себе прощение извинением еще более дерзким, нежели нанесенное оскорбление. Шут на минуту задумался.

— Ваше величество,— сказал он смиренно,— поверьте, я и не думал вас оскорблять, просто мне показалось, что это умывается королева.

Женщина приходит к врачу:

— Доктор, муж меня не удовлетворяет.

— Заведите себе любовника.

— У меня их два, но они тоже не удовлетворяют.

— Да-а, странная вы женщина.

Со слезами на глазах:

— Так дайте мне справку, что я странная женщина, а то муж говорит, что я проститутка.

Бригада получила премию. Встал вопрос о ее распределении:

— Значит, так, мужики! Кинем монету. Выпадет «орел» — пропьем. Выпадет «решка» — пропьем с бабами. Становится на ребро — отдаем женам. Зависает в воздухе — отдаем в Фонд мира.

Едет в купе одна девушка. Поздно вечером на остановке заходит армянин и сразу начинает раздеваться. Она посмотрела на него и говорит:

— Ой, вы такой волосатый, что у меня мурашки по коже пошли.

Армянин косо посмотрел на нее и лег спать.

Утром он собирается уходить. Девушка говорит:

– Извините меня, пожалуйста. Я думала, что вы приставать начнете.

– Дэвушка! Пятнадцать раз гонорея. Двенадцать раз сифилис. Мне ваших мурашек по коже не хватало.

Сергей Цветков, г. Краснодар

Мужик выходит из аптеки. Его догоняет взволнованная аптекарша:

– Гражданин, это вы сейчас брали глюконат кальция? Верните назад!

– Это еще почему?

– Я по ошибке дала вам цианистый калий!

– Ой, а я уже проглотил его...

– Тогда побыстрее доплатите 16 копеек!

«Здравствуй, Абрам! Решил написать тебе письмо... хотел 100 рублей тебе послать, да запечатал конверт. Извини».

Одесский базар, 20-е годы, нэп...

– Почем у вас этот дохлый цыпленок?

– Эта большая жирная курица стоит 25 рублей.

– Воссмнадцать? А почему не четырнадцать? Ну хорошо, я даю вам шесть – и идите домой, не мерзните.

Корреспондент спросил у пожилой дамы, прожившей всю жизнь у железной дороги, сказалось ли это на ее здоровье:

– Да-да, да-да, да-да, да-да.

В автобусе час «пик».

– Мужчина, вы пьяны, ужасно пьяны, омерзительно пьяны!

— А у вас, девушка, ноги кривые, ужасно кривые, омерзительно кривые! А я завтра трезвый буду!

Два хохла-летчика сажают самолет. Три секунды до касания, две, одна... Вдруг смотрят, а посадочную полосу уже пролетели. Заходят снова — результат тот же. Один другому:

— Давай сядем пораньше, чтобы очутиться как раз на полосе.

— Давай.

Сели благополучно. Один выглядывает из кабины:

— Яка коротка взлетная полоса!

Второй:

— Но яка широка!

Девушка останавливает машину и просит довезти ее до города. Водитель говорит:

— Сегодня уже восьмую женщину везу до города.

— А я не женщина!

— Ну так еще и не город.

Евгений Коллгин, г. Липецк

— Штирлиц, какого цвета у меня трусы? — спросил Мюллер.

— Синие в желтый крестик,— ответил Штирлиц.

— Вот тут-то вы и попались,— рассмеялся Мюллер.— Об этом знала только русская ралистка.

— Если вы не застегнете ширинку, Мюллер, об этом будет знать все гестапо.

Лиса получила квартиру, просит медведя:
— Миша, помоги перевезти вещи.
А тут заяц мимо бежит.
Медведь и говорит ему:

— Давай поможем лисе
пту
Зяц согласился. Ну пе
сюжет:
— Ну что, Миша, тру
возьмете?
Медведь подумал, по
— Давай бутылку.
Взяли они бутылку и н
говорит:
— Миш, а ты правиль
Медведь:
— А почему правиль
Заяц:
— Тебе трусы малы,

Январь 1945 года. Г
встречу ему идет Шти
— Хайль Гитлер! —
— Хоть вы, Максим
майте.

Ползут две черепах
из них спрашивает:
— Давай над Снеж
— Да ну тебя, Пет
Бычем пошутили,— о
Иван Малахов, Респ

– Давай поможем лисе переехать на другую квартиру.

Заяц согласился. Ну перевезли вещи, лиса и спрашивает:

– Ну что, Миша, трусы снимать или бутылку возьмете?

Медведь подумал, подумал и говорит:

– Давай бутылку.

Взяли они бутылку и идут по лесу с зайцем. Заяц и говорит:

– Миш, а ты правильно сделал, что взял бутылку.

Медведь:

– А почему правильно?

Заяц:

– Тебе трусы малы, а мне велики.

Январь 1945 года. Гитлер идет по бункеру. Навстречу ему идет Штирлиц.

– Хайль Гитлер! – приветствует он фюрера.

– Хоть вы, Максим Максимович, не подкалывайте.

Ползут две черепахи по Северному полюсу, одна из них спрашивает:

– Давай над Снежной королевой подшутим.

– Да ну тебя, Петька, и так над стариком Хоттабычем пошутили,– отвечает вторая.

Иван Малахов, Республика Коми, г. Печора

Высылаю вам анекдоты. Они все посвящены Штирлицу.

«Юстас – ты дурак. Алекс». Над этой шифровкой три дня смеялся весь абвер. И только один Штир-

лиц понял, что ему присвоили звание Героя Совет-
ского Союза.

Штирлиц получил шифровку: «У вас родился сын.
Алекс». По щеке Штирлица скатилась скупая муж-
ская слеза.

Голос Копеляна за кадром:

— Он тридцать лет не был дома!

Штирлиц пошел собирать грибы. Ходил-ходил
по лесу, но так ничего и не нашел. «Видно, не се-
зон»,— подумал Штирлиц и с досадой бросил кор-
зину на снег.

Мюллер «Штирлиц! Нам все о вас известно! Вы
разоблачены! Вы - еврей!»

Штирлиц (возмущенно): «Русский я, русский!»

— Штирлиц, я вас раскусил,— говорит Мюллер,—
ваш паспорт пахнет русской водкой!

— Не будьте дураком, Мюллер. У Бормана есть
привычка дышать на печать перед тем, как ее ста-
вить.

Штирлицу угодила в голову пуля. «Разрывная»,—
сообразил Штирлиц, раскинув мозгами.

В кабинет Гитлера входит Штирлиц.

— Последнее донесение с фронта, мой фюрер...

— Иди, Максимыч, не до тебя сейчас!

Виллу Штирлица окружают гестаповцы. Мюллер
подходит к двери и стучит:

— Штирлиц, откройте!

— А Штирлица нет дома,— раздается голос за

дверью. Грузовик с солдатами уезжает.

Голос Копеляна за кадром:

— Так уже пятый раз Штирлиц обманывает гестапо.

А. Ивочкин, г. Краснодар

Пишет вам Черновольский Ю. М. Я военнослужащий срочной службы. Служу в городе Калуге, связистом. Высылаю вам свою подборку анекдотов.

В одну воздушно-десантную дивизию намечается приезд комиссии. Все начальство в панике. Что делать? Никто ни разу не прыгал с парашютом.

Один солдат говорит:

— А давайте привяжем к парашютам мешки с песком. И выбросим их с самолетов. Сами в кусты попрячемся. Как мешки приземлятся, мы из кустов и выбежим. Как будто мы приземлились.

Решили так и сделать.

Приехала комиссия. Расположилась на наблюдательном пункте. Прилетели самолеты. Сбросили мешки с песком на парашютах. Мешки спускаются. Вдруг один мешок оторвался от парашюта и пулей летит вниз. Бах! Падает в кусты. Оттуда выбегает солдат.

— Черт возьми! Так и убиться недолго!

Вьетнам. Друг против друга находятся две боевые позиции. Американская и вьетнамская. С американской позиции кричат:

— Вьетнамцы, сдавайтесь!

С вьетнамской:

— Вьетнамцы не сдаются! Карпэнко, снаряды.

Солдат подходит к старшине.

— Товарищ старший прапорщик, скажите что-нибудь.

— Смирно!!!

— Ну нет, что-нибудь ласковое.

— Ну ладно, вольно.

Идет студент по пустыне. Курит. К нему подлетает орел.

— Студент, оставь покурить.

— Я уже оставляю.

Орел взлетает высоко в небо. Вокруг ни душ. Спускается обратно к студенту.

— Студент, ну оставь покурить!

— Да мне только что самому оставили.

После смерти попал Хрущев на тот свет. Поставили ему на лоб клеймо «ТК».

Видит он, что здесь же Карл Маркс, Ленин, Сталин. И у всех на лбу клеймо «ТК».

Спрашивает у Бога:

— Почему у них на лбу клеймо «ТК»?

— Ну, Карл Маркс — «теоретик коммунизма», Ленин — «творец коммунизма», Сталин — «тиран коммунизма».

— Ну, а у меня почему?

— А ты — «трепло кукурузное».

Умер мужик. Попал он на тот свет. Смотрит, там Штирлиц, Сталин, Шерлок Холмс, доктор Ватсон и другие. И все периодически крутятся вокруг своей оси. Спрашивает мужик у Бога:

— Чего это они?

— А это как про кого-нибудь из них расскажут анекдот, так он и крутанется один раз.

— А это что за два вол
— А это не волчки. Это
ной крутятся.

Мюллер заходит к Шт
стршный бардак. Вал
бычки от сигарет. Пер
везде нагажено. В углу
столе лежит телеграмм
«Юстас. Алексу. Разр

В 30-е годы в одном
ист утопил трактор в
решают, что с трактор
ить?
– Давайте ему стро
– Ему от этого хуж
– Пускай выплачив
– Да вы что? Ему з
аработать.
Тут встает кузнец.
– А давайте я ему
– Да ты что! Убье
Решают дальше.
– Давайте его под
– Ага. Его посадят
ю,ста найдем?
Тут опять кузнец
– А давайте я ко
О Черновольский, г

Русский приез
ает. Видит кр
ыстка. А тако

– А это что за два волчка вертятся?
– А это не волчки. Это Василий Иванович с Петькой крутятся.

Мюллер заходит к Штирлицу домой. В квартире страшный бардак. Валяются пустые бутылки и бычки от сигарет. Переломана половина мебели. Везде нагажено. В углу лежит пьяный Штирлиц. На столе лежит телеграмма:
«Юстас. Алексу. Разрешаю расслабиться».

В 30-е годы в одном из первых колхозов тракторист утопил трактор в болоте. Собрали собрание, решают, что с трактористом делать? Как его наказать?
– Давайте ему строгий выговор объявим.
– Ему от этого хуже не станет.
– Пускай выплачивает стоимость трактора.
– Да вы что? Ему за всю жизнь столько денег не заработать.
Тут встает кузнец.
– А давайте я ему по морде врежу.
– Да ты что! Убьем единственного тракториста.
Решают дальше.
– Давайте его под суд отдадим.
– Ага. Его посадят, и где мы тогда другого тракториста найдем?
Тут опять кузнец встает.
– А давайте я конюху врежу. У нас их двое.

Ю. Черновольский, г. Калуга

Русский приезжает на Кавказ, садится в такси, едет. Видит красный свет на светофоре у перекрестка. А таксист пролетает на красный. Русский

ему испуганно: «Ты что делаешь, нас же арестовать могут», а грузин ему: «Зато как джигит пролетел!» Едут дальше. Русский смотрит, снова перекресток и опять красный свет, и опять грузин не остановился. Русский опять: «Ты что делаешь, мы же разбиться могли», а грузин ему: «Зато как джигит пролетел!» Едут дальше. Русский видит перекресток, а на светофоре зеленый свет, а грузин взял и остановился. Русский спрашивает у грузина: «Ты зачем остановился?», а грузин ему показывает направо и говорит: «Ща оттуда джигит пролетит!»

Школьник приходит в школу, а вместо школы кучка пепла, а рядом с ней сторож стоит. Школьник у него спрашивает: «Что со школой случилось?» — «Сгорела школа, мальчик»,— ответил сторож. А парень у него: «Что, что?» — «Сгорела школа»,— ответил сторож. А он опять: «Что, что?» — «Сгорела школа»,— ответил сторож. А парень удовлетворенно: «Век бы слушал!»

Муж лежит на кровати, за окном ночь. Слышит, под кроватью кто-то скребется. Сует испуганно под кровать руку и спрашивает: «Джек, Джек, это ты?» Джек лижет ему руку и отвечает: «Я, я».

Летит самолет. Пилот объявляет: «Товарищи, не волнуйтесь, наш самолет захвачен террористами, и мы летим в Пакистан». Встает грузин, заходит в кабину пилота. Выходит через несколько минут, вытирая о штанину нож, и говорит: «Какой Пакистан, у меня розы вянут».

Ленин встречает Дзержинского и спрашивает:

*«Это вы, Феликс Эдмун
...юрин бросаете в уни
Дзержинский. «Так вот,
после этого чертовски т
А. Шуликов, Иркутская о*

*Меня зовут Ал
живу в г. Перм
Я собираю ане
на мой взгляд,*

Умирает старый анти
...ить его последнее жел
– Дети, позовите сек
...ить в КПСС!
Удивились дети, но п
...енный секретарь райко
...полнил и прибыл к п
– Вот вам, батя, парт
...ас к партии...
Старик прижал биле
– Вот и хорошо,– с
...ним коммунистом м

Автоинспектор оста
...оверить автоводите
– Подуйте в эту
– Не могу. Я
– В таком
...ализ кров
– Это но
...ую со
– Тог
...по

«Это вы, Феликс Эдмундович, курите в уборной, а окурки бросаете в унитаз?» — «Да, я»,— отвечает Дзержинский. «Так вот, не делайте так больше, их после этого чертовски трудно раскуривать».

А. Шуликов, Иркутская обл., г. Братск

Меня зовут Алена Оксюта, мне 13 лет, я живу в г. Перми.
Я собираю анекдоты и посылаю лучшую, на мой взгляд, коллекцию.

Умирает старый антикоммунист и просит исполнить его последнее желание:

— Дети, позовите секретаря райкома, я хочу вступить в КПСС!

Удивились дети, но побежали в райком. Обрадованный секретарь райкома взял чистый партбилет, заполнил и прибыл к постели умирающего:

— Вот вам, батя, партбилет. Спасибо вам за доверие к партии...

Старик прижал билет к сердцу.

— Вот и хорошо,— сказал он,— сегодня на земле одним коммунистом меньше станет...

Автоинспектор останавливает машину, чтобы проверить автоводителя на опьянение:

— Подуйте в эту трубочку.

— Не могу. Я — астматик. Вот медсправка.

— В таком случае пройдемте в поликлинику на анализ крови.

— Это исключено. Как только мне вводят иглу, я теряю сознание. Вот справка.

— Тогда прошу выйти из машины и пройти 10 шагов по прямой линии.

— Да вы что! Какие 10 шагов! Я пьян в стельку! Вот счет из ресторана.

Из цикла «Резиновый автобус»

а) — А! Мое ухо!

— Поздно, билет прокомпостирован.

б) Петька сдирает Василия Ивановича со стекла.

— Василий Иванович, нам выходить пора!

в) — Мужчина, вы своими очками мне все чулки порвете.

— А вы мне на галстук наступили!

Едет пьяный водитель в машине навстречу движению. Его останавливает полисмен.

— Куда вы едете?

— Не знаю, но, боюсь, уже опоздал: все едут обратно.

— Зяма, сколько стоит атомная бомба?

— Ох, много, Сарочка.

— Тогда смотри, какое богатство к нам на балкон летит.

Встречаются два еврея.

— Слышал я «Битлз», не понравилось. Картавят, фальшивят, что только в них находят?

— А где ты их слушал?

— Мне Мойша напел.

К пьяному, сидящему в луже, подходит милиционер:

— Что вы здесь делаете?

— А ты кто такой?

— Милиционер.

— Морской или сухопутный?

– Не знаю, наверно, сухопутный.
– А раз так, то что в морские дела вмешиваешься?

Дама в магазинчике хочет купить попугая.
– Ну, что, дурачок, умеешь ты разговаривать? – спрашивает она одного из них.
– Разумеется, старое пугало, а ты вот летать умеешь?

Разговаривают два приятеля.
– Ты знаешь, как тяжело потерять жену?!
– Практически невозможно...

Кадровик – пришедшему наниматься на работу:
– Вы что-то выглядите недостаточно подвижным для своего возраста.
– А вам кто нужен – бухгалтер или обезьяна?
Алена Оксюта, г. Пермь

Идет ослик по тропинке, видит – летит Пятачок без глаза, с одной ногой.
– Что с тобой, Пятачок?
– Да вот с Винни на глаз поспорил, что он мне ногу не оторвет.

Старая жена приезжает с курорта и привозит с собой тысячу рублей. Мужу объясняет, что переспала с одним, со вторым... так и заработала.
– А я бы за тебя и пятнадцати копеек не дал,– удивляется муж.
– А я больше и не брала,– отвечает жена.

Семидесятилетний бизнесмен жалуется прия-

телю, что не справляется со своей восемнадцатилетней женой. Тот советует ему завести себе молодого секретаря. Через некоторое время встречаются.

— Ну как успехи? — спрашивает приятель.

— Все в порядке, жена беременна,— отвечает бизнесмен.

— А секретарь что же? — удивляется приятель.

— И секретарь тоже.

— Что-то меня беспокоит этот Гондурас.

— Ну так почеши его.

Зайчиха разводится с зайцем.

— В чем причина развода? — спрашивает судья.

— Мой муж косой,— плача, отвечает зайчиха.

— А что же вы раньше не заметили?

— Я думала, он мне глазки строит...

Один французский журнал для мужчин объявил конкурс на лучшее описание своего утра. Первое место занял автор такого произведения: «Я встаю, завтракаю, одеваюсь и еду домой».

Чебурашка и крокодил Гена сидят на помойке. Вдруг Гена ударил Чебурашку по голове.

— За что, Гена?

— Кончай картошку выбирать, жри все подряд.

Евгений Шишов, г. Ангарск

В школе поп спрашивает у детей:

— Отроки, отделима ли душа от тела?

— Не отделима, батюшка.

— Отделима,— говорит вдруг один из учеников.—

Я вчера шел мимо вашего дома и слышал, как вы говорили: «А теперь, душа моя, одевайся и огородами, огородами».

– Что бы вы сделали, если бы, проехав на своем автомобиле более километра, вдруг обнаружили, что ключ от него забыли в гараже? — спрашивает инструктор автошколы.

– Я бы нажал на тормоз и вышел из машины, чтобы поглядеть на того идиота, который ее толкает.

Она: – Ты будешь меня любить, когда у меня поседеют волосы?

Он: – Конечно! А почему бы и нет? В конце концов, я ведь любил тебя, когда у тебя волосы были красного, желтого, оранжевого, синего, серебристого и даже зеленого цвета!

Инспекторская проверка. Генерал спрашивает солдат:

– Как вас кормят?

Солдаты молчат.

– Ну, что, плохо, что ли?

Солдаты молчат.

– Ну, что, выходит — хорошо?

Солдаты говорят:

– Да, выходит хорошо, а вот входит плохо.

Солдат, дежуривший на ядерной установке, задремал и облокотился на пульт управления. При входе дежурного офицера он встрепенулся, вскочил и доложил:

– Товарищ лейтенант, в мое дежурство происшествий не было.

— Не было, говоришь?! А Бельгия где, черт побери?! Два наряда вне очереди!

Чапаев делает Анке операцию аппендицита. Петька ассистирует.

— Скальпель! Спирт! Зажим! Спирт! Тампон! Спирт! Спирт! Спирт! Огурец!

Электромонтер ученику:
— Возьми вот тот провод!
— Взял, что дальше?
— Чувствуешь что-нибудь?
— Нет.
— Хорошо, значит, под напряжением второй провод

М. Эмбина, г. Красноярск

Меня зовут Марина. Мне 19 лет. Решила попробовать себя в конкурсе анекдотов.

— На завтрак нам давали воду, на обед нам давали воду, на ужин будет чай.
— Ура! А с сахаром?
— А ты еще думал, с заваркой?

Петька с Василь Ванычем подходят к начальнику поезда. Петька спрашивает:
— Меня этот поезд довезет до Ленинграда?
— Довезет.
— А меня? — спрашивает Василь Ваныч.

Молодожены. Первая брачная ночь. Утром просыпаются, муж говорит:
— Дорогая, пора готовить завтрак.

— Давай заменим жена.
Муж соглашается. В с
пания. Приходит веч
дит на батарее, поджа
— Ты что там делае
— Грею ужин!..

Обезьяна полоскает
Подплывает к ней кр
— Обезьяна, что эт
— А дай рубль, тог
— Да вот еще! — А
ужать.
— Обезьяна, ну ска
— А дай рубль, то
Дал он ей рубль, а
— Шкурки от бана
— Ты что, дура?
— Дура не дура, а

Петька с Василь И
рет спину мочалко
— Ха-а, вот и ма
дил, что ее украли.

Маленький черв
— Мама, мама, а
— Замолчи. Пар

— Когда я
из двух дру
год, чтобы
жить в кр
раз подб

– Давай заменим его любовью,– предлагает жена.

Муж соглашается. В обед повторяется такая же ситуация. Приходит вечер. Жена смотрит — муж сидит на батарее, поджав под себя ноги.

– Ты что там делаешь?

– Грею ужин!..

Обезьяна полоскает в речке шкурку от банана. Подплывает к ней крокодил и спрашивает:

– Обезьяна, что это ты делаешь?

– А дай рубль, тогда скажу.

– Да вот еще! – А сам не отплывает, интересно узнать.

– Обезьяна, ну скажи, что это ты делаешь?

– А дай рубль, тогда скажу.

Дал он ей рубль, а обезьяна говорит:

– Шкурки от банана полоскаю.

– Ты что, дура?

– Дура не дура, а сто рублей заработала.

Петька с Василь Иванычем моются в бане. Петька трет спину мочалкой Василь Иванычу:

– Ха-а, вот и майка, а ты, Василь Иваныч, говорил, что ее украли

Маленький червячок, плача, спрашивает мать:

– Мама, мама, а где наш папа?

– Замолчи. Папа ушел с мужиками на рыбалку.

– Когда я был маленьким,– рассказывает один из двух друзей,– у моего отца был прекрасный метод, чтобы заставить меня уснуть. Прежде чем уложить в кровать, он брал меня на руки и несколько раз подбрасывал в воздух.

— И этого было достаточно?
— Должен сказать, что у нас были очень низкие потолки.

Марина Коробейникова, г. Воткинск

Идет Красная Шапочка по лесу. Навстречу Волк.
Волк: — Отойдем в кустики.
Красная Шапочка: — А трусики снимать?
Волк: — Ты что, сюда в туалет пришла? Пирожки давай.

Сидят три крокодила на дереве.
Первый: — Помните, до ядерной войны мы были зеленые?
Второй: — Да. А еще, кажется, мы плавать умели.
Третий: — Кончайте базар, полетели за нектаром.

Пьяный, в 5 утра вываливаясь из бара:
— Что это за странный запах?
Прохожий:
— Свежий воздух, сэр.

Мужчина заполняет анкету. Доходит до графы «Мальчик или мужчина». Ему объясняют: ну, если вы спали с женщинами, то вы мужчина, если нет, то мальчик.
— Да разве с ними поспишь?!
— Пишите, мальчик.

На экзамене в престижный университет пытаются завалить абитуриента-еврея.
— Чем вы можете объяснить, что Лев Толстой помнил себя с сорокадневного возр[аста]?

Абитуриент:
– Ну и что? Я поми
– Что же вы помни
– Помню, как прищ
ходой и обрезал мне
крепет.

Ночью поезд остан
сажиров.
– Какая это стан
– Одесса. Паров
– На что меняют
– Как на что? На
– Тогда это не О

– На маскараде
леона.
– Почему?
– Я могу споко

Плывет советс
встречу америка
– Сворачивай
Американцы:
– No! Не пон
Матросы к ка
– Товарищ к
– Ну, кон
Капитан
– Ду
– Ye
– Н
Дми

Абитуриент:
– Ну и что? Я помню себя с семидневного.
– Что же вы помните?
– Помню, как пришел старик еврей с длинной бородой и обрезал мне возможность поступить в университет.

Ночью поезд остановился в Одессе. Один из пассажиров:
– Какая это станция? Почему стоим так долго?
– Одесса. Паровоз меняют.
– На что меняют?
– Как на что? На паровоз.
– Тогда это не Одесса.

– На маскараде я всегда надеваю костюм Наполеона.
– Почему?
– Я могу спокойно держать руку на своем бумажнике.

Плывет советская атомная подводная лодка. Навстречу американский авианосец. Наши:
– Сворачивай!!!
Американцы:
– No! Не понимайт!
Матросы к капитану:
– Товарищ капитан, вы английский знаете?
– Ну, конечно.
Капитан американцам:
– Ду ю спик инглиш?!
– Yes!
– Ну, так сворачивай.

Дмитрий Михеев, г. Северодвинск

Ну, друзья, теперь читайте мои анекдоты.

Муж просит жену: — Если мне позвонят, то скажи, «К сожалению, его нет дома».

Через некоторое время телефонный звонок. Жена: — К сожалению, он дома.

— Вот дура.

— А почему ты думаешь, что это тебе звонили?

Лежат любовники в постели, тут приходит муж, пьяный в дупель.

Разделся, ложится в кровать. А любовник спрятаться не успел, так и остался в кровати. Вдруг пьяный муж стал ноги считать: «Раз, два, три, четыре, пять, шесть».

Ну хоть и пьяный, а чует, что-то не так. Встал, опять считает: «Раз, два, три, четыре. Ну четыре, значит, все в порядке». И лег спать.

Встречаются два еврея: «Куда бежишь?» — «Я боюсь, что Абрамович ночует у моей жены». — «Так ведь на дворе белый день». — «О, вы не знаете Абрамовича, он может и днем переночевать».

Разговор двух мужчин: «У нее ноги как у газели». — «Что, такие же стройные и тонкие?» — «Нет, такие же волосатые».

«Вы 20 лет тому назад сделали аборт и плод выбросили в унитаз?» — «Да». — «Так, здравствуй, мама!!!»

Идет лиса по лесу. Вдруг из кустов: «Ку-ка-ре-ку!» Не поймет, с какой стороны. Идет дальше, опять:

«Ку-ка-ре-ку!» Бросил
лемент из кустов лиса в
«Вот что значит знат
зык!»

Слон смотрит теле
Звонок в дверь. Сл
звонок. Снова откры
сидит мука. Слон спр
кого где?» — «Гулять
выходил ейный хаха

Сидят в ресторане
пожилая женщина
вает свои волосы. «Ч
подумаешь, что с то
дыбом встают».

«От любви с перв
рство». — «Какое?

Кот поймал мыш
кет: «Жить хочеш
есть противно!»

Мышка попала в
так. Она просит е
Утону в вине — поз
спас ее. Мышь об
упреком. Она в отв
сказать в нетрезв

Сын в четы
загадку: «Чт
знаю». — «Э

«Ку-ка-ре-ку!» Бросилась в кусты. Возня. Потом выходит из кустов лиса в помятой одежде. За ней волк: «Вот что значит знать хотя бы один иностранный язык!»

Слон смотрит телевизор. Слониха ушла гулять. Звонок в дверь. Слон выглянул — никого. Опять звонок. Снова открыл дверь. Смотрит — на звонке сидит муха. Слон спрашивает: «Ты чего?» — «А слониха где?» — «Гулять пошла».— «Ну передай ей, что заходил ейный хахаль».

Сидят в ресторане за столиком молодой мужчина и пожилая женщина. Мужчина все время приглаживает свои волосы. «Чего ты их все гладишь?» —«Как подумаешь, что с тобой еще и спать надо —волосы дыбом встают».

«От любви с первого взгляда есть прекрасное лекарство». — «Какое?» — «Взглянуть во второй раз».

Кот поймал мышку. Держит ее за хвост и спрашивает: «Жить хочешь?» — «А с кем?» — «Тьфу, даже есть противно!»

Мышка попала в бутыль с вином. Тонет. А тут котик. Она просит его: «Вынь меня, тогда и съешь. Утону в вине — позор на весь мышиный род». Котик спас ее. Мышь обсохла, и в норку. Котик к ней с упреком. Она в ответ: «Мало ли что женщина может сказать в нетрезвом виде».

Сын в четырехлетнем возрасте загадывает отцу загадку: «Что такое: дзинь-дзинь, мяу-мяу?» —«Не знаю».— «Это кошка в трамвае приехала».— «А

что такое: дзинь-дзинь, гав-гав?» Отец: «Это собачка в трамвае...» — «Нет, это мама с работы пришла».

Ночь. Плачет грудной ребенок. Жена никак его не может успокоить, обращается к мужу: «Ну покачал бы ребенка. Ведь здесь есть и твоя доля». Муж отвечает: «Ты качай свою, а моя пусть плачет».

Дочь 15 лет пришла домой под утро. Встревоженные родители: «Где всю ночь была, что делала?» — «Меня изнасиловали». Отец: «Но это же пятнадцатиминутное дело!»

Ксения Андрианова, г. Тверь

Встречаются два украинца:
— Мих, ты знаешь, как русичи пыво называют?
— Як?
— Пи-и-иво!
— Поубывал бы!

Новенький заходит в казарму:
— Фу, чем это у вас так воняет?
— Тебя не было — не воняло!

Колобка ведут на расстрел, он говорит:
— Можно последнее желание?
— Можно.
— Не стреляйте в голову!

Крупская майками торгует, Дзержинский бежит:
— «Крупа», сваливаем, там «Картавый» привалил.

Петька у Василия Ивановича попросил 5 рублей

на опыты. Через три дня Василий Иванович нашел его пьяным в сарае, а рядом лежит блокнот, в котором написано:

«Опыт I. Берем таракана, отрываем 2 ноги, свистим, таракан убегает.

Опыт II. Отрываем таракану 4 ноги, свистим, таракан убегает.

Опыт III. Отрываем таракану все ноги, свистим, таракан на месте.

Вывод: таракан без ног не слышит».

Старик без ноги заходит в полный автобус, встает к месту с молодым парнем и говорит:

– Я на войне ногу потерял.

Он молчит.

– Я на войне ногу потерял.

Он молчит.

– Я на войне ногу потерял.

– Ну что прикопался, не находил я твоей ноги.

Лежит пьяный мужик в луже, мимо женщина проходит. Он:

– Сама свинья!

– Мужчина, ну я же вам ничего не сказала!

– Зато подумала.

Плывут два крокодила, видят, обезьяна сидит. Один говорит:

– Давай к обезьяне подплывем и спросим, замужем она или нет. Если скажет «нет», мы скажем – «правильно, кто такую обезьяну замуж возьмет», а если «да», то – «и кто только такую обезьяну замуж взял?».

Подплывают:

– Обезьяна, ты замужем?

— Выйдешь тут замуж, когда кругом одни крокодилы.

Горбачев утром в трусах на балкон выходит, а Раиса Максимовна из кухни кричит:
— Миша, ты почему без халата вышел?
— А ты что, видишь?
— Нет, я слушаю «Голос Америки».

Вот и все, но если честно, у меня их целая тыща записана. Надеюсь, они вам понравятся.
Елена Марченко, г. Омск

В психбольнице:
— Сестра, сестра, каша на двоих, что ли?
— Нет, на одного.
— А что муха жрет?

Петька приходит к Анке и предлагает ей пойти в кино.
— Петька, да мне и надеть-то нечего.
Петька открывает шкаф и начинает выбрасывать платья:
— Зеленое, синее, красное, привет, Василий Иванович, желтое, серое...

Бригада «Скорой помощи» вернулась с очередного вызова. Не успели задремать — звонок.
— Алле... А мы тут пьем...
Врач в негодовании:
— Перестаньте хулиганить, три часа ночи!
Через минуту опять звонок, и тот же голос:
— Алле, мы пьем, а Вася уже не пьет... Он штопор проглотил.
— Алло, алло! — заволновался врач.— Вы там что-нибудь предприняли?

– Да! Мы теперь бутылки вилками открываем.

Учительница жалуется Вовочкину отцу:
– Ваш сын нарисовал на парте муху, и я отбила об нее всю руку.
– Это еще что! Он давеча крокодила в ванной нарисовал, так я через нарисованную дверь выскочил!

– Чем отличается террорист от еврейской мамы?
– С террористом можно договориться.

Штирлиц сидит у себя в кабинете и читает шифрованное донесение из Москвы. Неожиданно в кабинет влетает Мюллер. Он отрывает от донесения кусок страницы и так же стремительно убегает.
«Пронесло!» — подумал Штирлиц.
«Чтоб тебя так пронесло!» – подумал Мюллер.

Внук спрашивает бабушку:
– Бабуль, а что такое любовник?
– Любовник? – спрашивает она, прихлебывая чай с вареньем.– Любовник?.. (Пауза.) А, да, любовник! – И, подбежав к шкафу, открывает дверцу.
Оттуда вываливается скелет.
Дмитрий Коннов, г. Астрахань

На лекции по этике.
– Итак, для того чтобы закрепить материал, я бы хотел привести маленький пример из жизни. Представьте ситуацию. В автобусе вы замечаете, что у девушки на юбке, чуть ниже спины, волос. Как сказать ей об этом?
Тянутся руки. Профессор позволяет ответить.

— Девушка, у вас на самом интересном месте — начал было один из студентов.

— Нет, нет, это несколько пошловато,— прерывает лектор.— Пожалуйста, вы.

— Девушка,— скажу я,— у вас на попе волос.

— Нет, это некультурно.

Студенты в замешательстве.

— Так вот,— продолжает профессор.— Можно, например, сказать так: «Девушка, у вас на плече волос».

— ???

— Она посмотрит на плечо. Ничего нет. Посмотрит ниже. Опять ничего. Еще... и наконец заметила волос. И вы вышли с честью из затруднительного положения.

Тянется рука.

— Профессор, у вас на галстуке пуговица расстегнулась.

Фашисты захватили деревню.

Вывели всех на площадь и объявили:

— Сейчас мы всех женщин расстреляем, а всех мужчин изнасилуем.

Женщины в голос:

— Так не бывает.

Мужчины (так же дружно):

— Бывает, бывает.

Вернулся Абрам поздно ночью.

— Где ты был? — спрашивает Сара.

— На заседании.

— А потом?

— Потом мы скинулись и...

— Раздевайся!

Снял Абрам штаны, а на нем женские трусы.

Сара молчит. Абрам молчит.
– Сара, ты же умная женщина – придумай же что-нибудь.

Чебурашка спрашивает у Гены:
– Ген, а изюм по стенам ползает?
– Нет.
– Тьфу, черт! Опять тараканов наелся.

Поручик Ржевский прогуливается с Наташей Ростовой по Летнему саду.
– Поручик, а вы хотели бы быть лебедем?
– Голой жопой в мокрую воду? Нет уж! Увольте-с!

Муж после работы заваливается на диван. Читает газету. Жена:
– Лежишь читаешь, а дети некормленые, грязные...
– Этих вымыть или новых наделать?..

С трибуны:
– Поднимали цены на водку – жили, недавно подняли цену на хлеб – выжили!..
Голос из зала:
– А вы мышьяком не пробовали?..

Идет «Поле чудес». Играют молдаване.
– Итак, у вас 45 очков. Я даю задание. Музыкальный инструмент. Семь букв. Ваша буква.
Первый молдаванин:
– Буква А.
– Нет такой буквы. Переход хода. Крутите барабан. О, у вас 90 очков. Хороший ход. Ваша буква.
Второй молдаванин:

— А.

— Нет. Будьте внимательнее, эта буква уже была. Пожалуйста, теперь вы,— обращается Якубович к третьему игроку.— О, у вас 300 очков. Ваша буква.

Третий молдаванин:

— Я готов назвать слово!

— Вы знаете правила нашей игры?

— Да.

— Вы покинете это место, если неправильно назовете слово.

— Я знаю.

— И все же вы готовы назвать слово?

— Да.

— Хорошо. Полная тишина в студии.

— Барабан.

Танк:

— «Запорожец», почему ты такой горбатый?

«Запорожец»:

- Я же не спрашиваю, что это у тебя на лбу.

«Эк тебя разнесло-то»,— укорял Сидор Марфу, в которую угодил артиллерийский снаряд.

Мюллер:

— Штирлиц, на заднице Евы Браун обнаружены отпечатки ваших пальцев. Как вы это объясните?

— Я-то объясню. А как вы объясните, как вы их там нашли?

— Я всегда жалел, Штирлиц, что вы работаете не у меня.

Штирлиц идет по улице. Вдруг с крыши падает кирпич.

«Вот те раз»,— подумал Штирлиц.

«Вот те два»,— подум
рой кирпич.

Мюллер и Штирлиц
ледь медленно таяла.

Штирлиц стоял на
пытка Мюллера.

Штирлиц спустило
темно. Штирлиц бы

Штирлиц шел по
набухшие почки.
«Опять Мюллер
лиц.

Штирлиц склонил
рвало на родину.

Штирлиц упал с
рился зацепиться
На следующий д
В. Козлов, Москва

Маленький мал
ждет его, бегает
появился.
— Ты где проп
через два.
— Мама!
лянке гол
— Вот
шедши

«Вот те два»,— подумал Мюллер, сбрасывая второй кирпич.

Мюллер и Штирлиц стреляли по очереди. Очередь медленно таяла.

Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера.

Штирлиц спустился в подвал. В подвале было темно. Штирлиц быстро овладел собой.

Штирлиц шел по улице. На деревьях виднелись набухшие почки.

«Опять Мюллер зверствует»,— подумал Штирлиц.

Штирлиц склонился над картой. Его неудержимо рвало на родину.

Штирлиц упал с десятого этажа, но чудом умудрился зацепиться за балкон пятого этажа.

На следующий день чудо распухло и болело.

В. Козлов, Москва

Маленький мальчик ушел в лес и пропал. Мать ждет его, бегает вокруг дома, зовет... Наконец он появился.

— Ты где пропадал? Ушел на полчаса, а пришел через два.

— Мама! Там в лесу так интересно было! На полянке голый дядя бегал за голой тетей.

— Вот и не надо было на них смотреть, это сумасшедшие люди!

— Ну, тетя-то, может, и сумасшедшая, а дядя — точно нет. Это наш папа.

Свинья забегает с улицы в комнату, смотрит на электророзетку в стенс.
— Какая же сволочь свинью замуровала?!

Встречаются два приятеля:
— Говорят, у тебя вчера была свальба?
— Да.
— Так ты теперь, наверное, знаешь, что такое счастье?..
— Знаю, но уже поздно.

По раскаленной зноем пустыне катится нолик и под одним из кактусов замечает восьмерку.
— Ну надо же! Такая жара, а они любовью занимаются!

Грузин встречает друга:
— Гиви, я машину купил! Это сказка, а не машина!
— А какого она цвета?
— О! Гиви, ты когда-нибудь восход солнца видел?
— Видел.
— Вот такая же, только зеленая.

Муж неожиданно возвращается домой. Жене приходится прятать любовника под кровать. Он лежит там тихо. Мальчик, который все это наблюдал, подползает к кровати и, заглядывая под нее, спрашивает:
— Сто не лысыс? А как лысал, как лысал!

Два цветка:
— Ты меня любишь?
— Да! А ты меня?

– Да!
– Ну, где же эти пчелы?!

Молодожены вместе страдают от легкого недомогания, симптомы болезни одинаковы. Чтобы сэкономить деньги, на семейном совете решается, что к доктору пойдет жена. Муж встречает ее с нетерпением:
– Ну, что у нас?
– Должна тебя обрадовать, мы беременны!
Евгений Зобов, г. Жуковский

Жена мужу, уходя из гостей:
«Какую чушь ты нес, уму непостижимо! Счастье еще, что люди, кажется, не заметили, что ты не пьян!»

Жена тяжело вздыхает: «Как все надоело! Хочется предпринять что-то совсем необычное, то, чего я никогда в жизни не делала...»
«О'кей,– реагирует муж,– тогда заштопай мне носки».

Два школьника сидят в автобусе.
Входит старушка и говорит:
– Не могли бы вы, хлопцы, встать, ведь перед вами женщина!
Один попытался встать, но второй его остановил:
– Сиди. Я эти «приколы» уже знаю. Ты встанешь, а она сразу займет твое место.

Отец с сыном выходят из кинотеатра:
— Папа, а почему мусульмане не едят свинины?
— А мы ее часто едим?

Посетительница: «Доктор, по-моему, у моего мужа комплекс неполноценности».

Доктор: «Вы хотите, чтобы я его вылечил?»

Посетительница: «Ни в коем случае! Просто сделайте так, чтобы он никогда не разубедился в этом».

Гордый отец позвонил в редакцию одной газеты и сообщил, что его жена родила тройню. Однако редактор не понял его и прокричал в трубку:

— Вы можете повторить?

— Ну уж дудки! С меня хватит троих.

Полицейский:

— Извините, мэм, но купаться в этом озере запрещено.

Молодая мэм.

— Так почему вы мне этого не сказали, когда я раздевалась?

Студент Джон страстно любил Линду. Однажды он пришел к ней и заявил, что умрет, если она не будет его. Линда отказала. И действительно, спустя семьдесят лет он умер.

Наташа Муравьева, г. Тамбов

Мне 16 лет, звать меня Викторией.
Посмейтесь на здоровье!

Очень темпераментный мужчина долго молча едет с девушкой в купе.

— Девушка,— не выдерживает мужчина,— ты почему молчишь?

— Хочу и молчу!

– Хочет и молчит! – всплескивает руками мужчина.

Приходит грузин в ресторан.
Официантка спрашивает:
– Что угодно?
– Мине сначала список блюдей.
– Вам меню, что ли? – удивленно спрашивает она.
– И тебю тоже! – отвечает грузин.

Мужчина с записной книжкой подходит к соседу и спрашивает:
– Ты в групповом сексе будешь участвовать?
– А кто там будет участвовать? – спрашивает сосед.
– Я, ты и твоя жена.
– Нет! Я не буду.
– Ну тогда я тебя вычеркиваю.

– Доктор, у моей жены на пикантном месте растут рыжие волосы.
– Так вам что, это мешает? – спрашивает доктор.
– Да нет, но друзья смеются.

Штирлиц вышел из моря и лег на Гальку, Светка обиделась и ушла.

Разговор двух друзей:
– Чего на рыбалку не ходишь?
– Жена не пускает.
– А ты делай как я. В пятницу вечером я заготавливаю снасти, на следующее утро я откидываю полог одеяла, смотрю на зад своей жены и говорю: «Ну и жопа!» Она обижается, мы ссоримся, и я за дверь.

Друг так и сделал. Заготовил с вечера снасти. Утром огкинул полог одеяла и сказал:

— Ну и жопа!.. А ну ее, эту рыбалку!

Виктория Конева, г. Улан-Удэ

Жила-была вторая красавица, которую назначили первой в связи с уходом первой красавицы на пенсию по состоянию красоты.

Любовь ушла, но она еще об этом пожалеет.

— Официант, бифштекс очень горячий!
— Так подуйте на него, сэр!
— Я пробовал, но он все время улетает!

— Послушай, Мэри,— говорит фермер своей супруге,— мне кажется, что белая курочка что-то загрустила. Не сварить ли из нее суп?

— Ну, если ты надеешься этим ее развеселить, то давай.

— Доктор, у меня депрессия.
— Лучшее лекарство — с головой окунуться в работу.
— Но я замешиваю бетон.

— Когда утром я слышу звук будильника, мне кажется, что в меня выстрелили.
— И ты вскакиваешь?
— Нет, лежу как убитый!

— Вы только представьте, как вы будете глупо выглядеть, если поедете верхом на корове.
— Точно. Это так же глупо, как если бы я попытался подоить мотоцикл.

Елена Головко, г. Ростов-на-Дону

февральска

...Во время
мост условно «
совой не пропу
жилую даму.
другому солда
— Но ведь м
шедший утвер
— Не могу н
убит!

Пьяный муж
домой. Все сп
— Это моя
кровать. Вот

Учитель бо
— Как разм
— Растения

— Поз

Февральская тетрадь

...Во время военных маневров объявлено, что мост условно «взорван». Поставленный у моста часовой не пропускает по этой причине через него пожилую даму. Та, разозлившись, поворачивается к другому солдату и говорит:

– Но ведь мост абсолютно целый! А этот сумасшедший утверждает, что он взорван!

– Не могу ничего сказать! Я сам уже два дня как убит!

Пьяный мужчина ночью приводит друга к себе домой. Все спят. Он показывает квартиру:

– Это моя гостиная, это – спальня, это – наша кровать. Вот спит моя жена, а рядом с ней лежу я.

Учитель ботаники спрашивает пятиклассника:

– Как размножаются растения?

– Растения? Вот о них я как раз и не знаю...

– Поздравляю с днем рождения!

– Огромное спасибо! Вы не поверите, но ни один мерзавец, кроме вас, не пришел меня поздравить.

Девушка говорит парню:
— Ты попросил у моего папы разрешения на наш брак?
— Да. Я позвонил ему по телефону, и он мне ответил: «Не знаю, кто это говорит, но я не возражаю!»

Пациент:
— Доктор, соседи считают меня сумасшедшим за то, что я обожаю сосиски.
Доктор:
— Какие глупости! Я тоже люблю сосиски
Пациент:
— О, тогда пойдемте ко мне! Я покажу вам свою коллекцию

Посетитель ресторана раздраженно:
— Официант, если это бифштекс, то я идиот!
— Это бифштекс,— ответил официант и, немного подумав, добавил: — Это настоящий бифштекс!

— Нам, женщинам, столько лет, на сколько мы выглядим.
— Ну что вы, мадам, я бы столько вам не дал.

Отец открыл дверь и увидел, что его дочь стоит вместе со своим приятелем на пороге
Он мрачно заметил молодому человеку:
— В нашем доме мы гасим свет точно в одиннадцать часов вечера!
— Благодарю вас,— ответил молодой человек,— это будет очень любезно с вашей стороны.
Надеюсь, что смогла доставить вам пару приятных минут.
Оксана Шугалина, Сыктывкар

Сейчас трудно заставить людей смеяться. Я, конечно, не М. Жванецкий и не В. И. Ленин, но все же попробую это сделать. Надеюсь, вас не смутит обилие черного юмора.

Дядя спрашивает у мальчика:
– Мальчик, как тебя зовут?
Тот молчит.
Дядя:
– Мальчик, ты что, тормоз?
– Меня Вася зовут.
– А где ты живешь?
– Я не тормоз.

В трамвай заходит очень пьяный мужчина и садится рядом с женщиной.
Трамвай сильно качает, мужчина не выдерживает и выплескивает прямо на женщину содержимое своего желудка.
Та кричит:
– Фу,свинья!
– На себя посмотри!

Сидят два наркомана. Мимо летит стая напильников. Стая останавливается и спрашивает у одного из наркоманов:
– Где Африка?
– Направо летите.
Стая улетела. Подлетает вторая:
– В какую сторону Африка?
– Влево.
Второй наркоман спрашивает первого:
– Ты почему им в разные стороны показал?
– Зачем в Африке столько напильников?

Мать говорит отцу:

— Слушай, у нас сын уже большой, ты объясни ему о взаимоотношениях между полами на примере собачек, птичек.

Отец подходит к сыну:

— Э, помнишь, мы с тобой недавно с двумя подругами всю ночь развлекались?

— Ну, помню.

— Так вот, сын, теперь знай, что и собачки так же, и птички.

Мужик вышел к ручью умыться и попить водички. Наклонился к воде и вдруг услышал какой-то шорох в кустах вверх по течению. Он крикнул:

— Эй, там, вверху по течению, никто не писает?

И услышал сдавленный ответ:

— Нн-е-ее-е-т!

Мать ждет около операционной, когда прооперируют ее сына. Дверь операционной раскрывается, выходит усталый хирург.

Мать спрашивает:

— Ну что, как прошла операция?

Хирург, удивленно:

— Операция! Вообще-то я делал вскрытие.

Лето. Река. На берегу сидят два мужика и смотрят, как по реке на водных лыжах катается красивая девушка. Один говорит:

— Представь, вот бы она стала тонуть, мы бы ее спасли, и я поцеловал бы ее.

Вдруг девушка стала тонуть. Мужики прыгнули в воду, нырнули, вытащили девушку, и один, закрыв глаза, поцеловал ее:

– Слушай, она как-то странно пахнет, и вообще что-то здесь не так.
– Да, а еще та была на лыжах, а эта в коньках.

Плывет корова по океану. Мимо летит чайка и спрашивает:
– Эй, корова, ты куда плывешь?
– В Африку.
– Так это же в другую сторону.
– А мне какая разница, все равно не доплыву.

В троллейбусе какой-то бугай наступил на ногу интеллигенту. Интеллигент.
– Извините, вы мне на ногу наступили.
– Не ори!
– Извините, извините, вы мне на ногу наступили.
– Не ори!
Через какое-то время:
– Извините, вы мне на ногу наступили.
– Не ори!
– А я буду орать, буду, потому что мне обидно и больно!

Игорь Иванов, студент Дальневосточного университета, г. Владивосток

Я просто хочу, чтобы вы хоть немножко посмеялись, отдохнули от своих проблем. Хочу сказать сразу, что я ни один из этих (приведенных ниже) анекдотов сама не придумывала. Просто помню их на память (эти анекдоты мне либо кто-то рассказывал, либо я где-то читала).

Петька подходит к Василию Ивановичу:
— Слушай, что такое «перестройка»?

— Это когда тебе выдадут нового коня, новую шашку, новые сапоги.

— Здорово, а что такое «гласность»?

— Гласность? Ну, это когда можно рассказывать что угодно и про кого хочешь.

— И про тебя, и про Фурманова?

— И про меня, про всех!

— И ничего не будет?

— Ничего... Ни коня тебе, ни шашки, ни сапог...

Двоих ведут на расстрел, один предлагает:

— Давай убежим?

Второй спрашивает

— А хуже не будет?

Столкнулись «Москвич» с «Жигулями». Хозяева бросились друг к другу со взаимными обвинениями. Но потом «Жигуль», улыбнувшись, сказал.

— Ладно, оба хороши. Давай с горя по рюмочке хватим. У меня, по-моему, есть в багажнике.

Инициатор идеи достал бутылку, налил стакан, подал товарищу по несчастью. Тот выпил.

— Теперь ты.

— Я потом. А то сейчас гаишник подъедет, обнюхивать будет.

— Опять мы забыли взять ключи от подъезда,— сказал герр Мюллер жене, когда они поздно вечером возвращались из гостей.— Какие же мы с тобой растяпы!

— Говори, пожалуйста, в единственном числе! — обиделась жена.

— Я и говорю,— поправился Мюллер.— Какая же ты растяпа!

В школе учительница отчитывает малыша:
– Это очень плохое слово. Где ты его слышал?
– Мой папа так говорит.
– Не смей повторять. Ты даже не знаешь его значения.
– Знаю. Это означает, что машина опять не заводится.

Брежнев приходит на съезд, а у него один ботинок красный, другой белый. Подходят товарищи:
– Леонид Ильич, что вы, в самом деле, как клоун, в разных ботинках. Может, домой сходите, переобуетесь?
– Да я уже ходил. Там точно такие же стоят.

– Доктор, запишите меня к врачу «ухо-глаз».
– Такого врача нет. Есть «ухо-горло-нос».
– Но мне нужен «ухо-глаз».
– Что у вас болит?
– Понимаете, все время слышу одно, а вижу другое.

Светлана Строкина, г. Нижний Новгород

– Профессор, как вы относитесь к употреблению студентками косметики?
– Положительно. Эти студентки никогда не ревут, получив плохую отметку.

Чиновник входит в кабинет своего начальника и выливает ему на голову банку чернил. Потом залезает на стол и начинает танцевать. В этот момент в кабинет заглядывает его коллега и говорит:
– Перестань, Жак! Мы пошутили. Ты не получишь наследства в 10 000 000 франков.

Из супружеской жизни.

Первый год совместной жизни: он говорит — она слушает.

Второй год: она говорит — он слушает.

Третий год: оба говорят — соседи слушают.

В банк врывается грабитель с пистолетом. Услышав шум, главный бухгалтер банка испуганно поднимает голову от бумаг.

— Ах, это вы,— облегченно говорит он,— а я думал, что ревизор.

Жених отправился знакомиться с родителями невесты.

— Ну как все прошло? — спросила его по возвращении мать.

— Знаешь, по-моему, я им понравился. Ее отец три раза предлагал отвезти меня домой.

Один мужчина утверждает, что видел летающую тарелку.

— И вы действительно уверены, что это была именно летающая тарелка? — спрашивает у него пожилой и усатый репортер.

— Я могу вам в этом поклясться, мадам!..

— Спасите, доктор! Жене стало хуже.

— И пиявки не помогли?

— Нет. Три штуки съела, больше не хочет.

Пришел к доктору пациент и жалуется, что у него что-то болит между лопатками.

Доктор спрашивает:

— Курите?

– Нет.
– Пьете?
– Тоже нет.
– А женщинами балуетесь?
– Нет.
– Так это же у вас крылышки начали расти!

Екатерина Буркова, г. Хабаровск

Идут два очень голодных людоеда: отец и сын. Навстречу очень полная женщина.

– Папа, давай ее съедим!

– Что ты, сынок, разве можно столько калорий сразу! Ты что, журнал «Здоровье» не читаешь?

Продолжают путь. Встречают еще одну женщину, худую-худую.

– Папа, давай хоть эту съедим!

– Ну что ты! Ее только на костяную муку.

Прошли еще немного. Идет навстречу красавица. Не девушка — мечта.

– Папа, уж эту-то съедим! Или домой возьмем?

– Давай, сынок, домой возьмем. А дома маму съедим.

Студент только что женился. Ходит — нервничает. Друзья волнуются, в чем дело.

– Вечная проблема молодоженов. Что делать, чтобы не было детей?

– Знаю идеальный рецепт. Вероятность — 100 процентов.

– Записываю!

– Стакан холодной воды внутрь.

– До того или после того?!

– Вместо того.

Муж принес бутылку водки, а жена спрятала ее в часы с кукушкой.

Семь — часы молчат. Восемь — тишина. Наконец через час с трудом открывается дверца, оттуда вываливается кукушка, дико озирается по сторонам и спрашивает:

— Мужик, который час?

— Девять.

— Ну тады «ку-ку»...

Жена отвечает на телефонный звонок.

Муж спрашивает:

— Кто звонил?

— Помнишь, девять месяцев назад ты уезжал ловить форель? Одна из форелей позвонила и сказала, что ты стал отцом.

Муж возвращается домой в неурочное время. Праздничный стол. Нарядная жена. Красивый незнакомец в его кресле. Муж решительно подходит к незнакомцу:

— Вы кто?

— Брат.

— Чей?

— М-мужа.

Священник исповедует умирающую старушку.

— Чужого не брала?

Старушка еле заметно качает головой.

— Не сквернословила?

Тот же ответ.

— Не прелюбодействовала?

Еле слышно:

— Чего это, батюшка?

— Ну, с чужим мужиком спала?

Взгляд старушки прояснился. Она даже голову приподняла:

– Да что ты, батюшка! С чужим мужиком разве уснешь?

Мужчины сидят в гостинице. Гадают, чем занимаются жены в их отсутствие. Самый молодой не может поверить, что и ему изменяет жена. Друзья предлагают ему прямо сейчас, ночью, позвонить домой. Трубку точно возьмет любовник.

Молодой муж звонит. Сонная жена долго не может понять, кто звонит и зачем.

Успокоенный муж ласково прощается:

– Ну ладно, спи с Богом!

– С кем? – не поняла жена.

– С Богом!

– Не поняла! Повтори: с кем спать?

– Говорю по буквам. с Борисом, Олегом, Гришей, Олегом, Мишей. Теперь поняла?

– Поняла! Стой, а почему с Олегом два раза? Он что – твой начальник?

Лариса Макарова, 40 лет, учитель

Ходоки пришли к Ленину. Так, мол, и так, Владимир Ильич, хлеба нет, есть нечего.

Ленин: – А вы травку жуйте.

Ходоки: – А мы не замычим?

Ленин: – Мы вот с Дзержинским бочку меда съели, не зажужжали же.

Василий Иванович купил молоток и гвозди и в тот же день застукал Петьку с Анкой.

Муравьи залезли на слона и начали его бить. Один умный муравей залез на дерево и кричит:

— Ребята, отойдите, я ему сейчас хребет переломаю.

Два американца встретились в темном переулке. Первый, доставая нож, говорит:

— Деньги.

Второй, доставая пистолет, спрашивает:

— Зачем?

Первый:

— Я хотел разменять 50 долларов.

Мужчина в столовой ест борщ. К нему подходит молодой парень

— Здесь напротив часовщик жил, вы не знаете, он живой?

— Нет, умер

— Как умер? А у него была жена, она живая?

— Нет, умерла.

— Как умерла? А у них дочь была, красивая такая, она-то хоть жива?

— Нет, умерла. Когда я ем борщ, для меня все умерли.

Василий Иванович с Петькой плывут по реке, убегая от белых. Петька заметил, что Василий Иванович гребет одной рукой.

— Василий Иванович, ты почему одной рукой гребешь?

— В другой у меня штабные карты.

— Да выбрось ты их, всего-то одна колода.

Михаил Смагин, Алтайский край

На остановке трамвая в заднюю дверь вошел пассажир и стоит на ступеньках. Кондуктор ему говорит: «Гражданин, войдите в вагон, есть свободные места». А он отвечает: «Ничего, я тут постою». Тогда говорит кондуктор: «Возьмите билет». А пассажир отвечает: «За что, за то, что я здесь висю?»

Решил проверить генерал порядок во вверенной ему части. Ходил, ходил, так и не увидел, к чему бы ему придраться. И в последний момент увидел прилипший к турнику окурок. Спрашивает сопровождающего: «Чей окурок?» Сопровождающий его ефрейтор мгновенно сообразил и сказал генералу: «Сейчас, товарищ генерал, выясню». Через минуту прибегает и говорит: «Выяснил, товарищ генерал, окурок ничейный, можете его забрать».

Виктор Егоров, г. Саранск

Внучка спрашивает деда:

– Дедушка, а правда, что в 1986 году была авария на Чернобыльской АЭС?

– Правда, внученька,– сказал дедушка и погладил внучку по голове.

– А правда, что никаких последствий не осталось?

– Правда,– сказал он и погладил внучку по второй голове.

И так, цокая копытами, они направились гулять по бетонному тоннелю.

– Это за чем очередь?

– Дают Бальзака.

– А что, бальзак шире штапельного?

– Дурак, бальзак – это мазь такая!

Сын спрашивает отца:
— Папа, водка подорожала, тебе будет трудно? Ты будешь меньше пить?
— Нет, сынок, трудно будет тебе, ты будешь меньше есть.

— Петька, ты как провалился на экзаменах?
— Попросили разложить квадратный трехчлен, а я не то чтобы разложить, и представить себе такое не могу.

Разговор в постели
— Миша, ты думал когда-нибудь, что будешь спать с женой президента?

Встречаются два старых большевика:
— Помнишь, Вася, как мы Зимний брали?
— Да, погорячились!

Приходит Илья Муромец в ресторан, садится за столик. К нему подходит официант.
— Что заказывать будете?
— Ведро водки.
— А кушать что будете?
— Вот ее, родимую, и буду кушать!

В детском саду — ЧП, дети стали нецензурно выражаться. Заведующая пошла жаловаться в воинскую часть, откуда присылали двух солдат чинить электричество. Лейтенант вызвал провинившихся:
— Никак нет, товарищ лейтенант, ничего себе такого не позволяли. Рядовой Сидоров паял проводку, а я держал внизу стремянку. Потом олово стало капать мне на голову.
— Ну а ты?

– А я и говорю: «Рядовой Сидоров, разве ты не видишь, что твоему товарищу на лоб падают капли расплавленного олова?»

Владимир Кузьмин, Новгород

Двое вечно голодных студентов мечтают:

– Вот получим диплом, устроимся на работу и с первой же получки накупим жратвы: ты кусь – я кусь, ты кусь – я кусь, ты кусь – я кусь, кусь – кусь, кусь – кусь!..

У армянского радио спрашивают.

– Что раньше было яйцо или курица?

Армянское радио отвечает:

– Раньше было все!

В Верховном Совете ломают голову: как бы поскорее и посытнее накормить страну? Выступает один депутат и предлагает простой способ:

– Давайте объявим войну сразу США, Канаде и всей Западной Европе. Они нас победят и будут задарма кормить.

Голос с галерки:

– А если мы их?..

Сержант объясняет новобранцам суть земного притяжения:

– Если, например, камень подбросили вверх, но он падает на землю. Это значит, на него действует земное притяжение.

Новичок спрашивает:

– А если он упадет в воду?

– Это нас не касается. Этим занимаются во флоте.

На пляже полицейский упрекнул юную девушку в крохотном бикини:

— Что бы сказала ваша мать, увидев вас в этом костюме?

— О! Она бы многое сказала, ведь это ее бикини!

— Когда мы ссоримся с женой, она обычно кидает в меня помидорами. Все бы ничего, если б она при этом не забывала вынуть их из ящика!..

У психиатра.

— Когда у вас появилась мысль, что вы собака?

— Когда был еще щенком

Разговаривают двое знакомых

— Давай встретимся завтра.

— Давай.

— Где?

— Где хочешь

— В каком часу?

— Мне все равно.

— Значит, договорились

Виктория Дедуренко, г. Николаевск

— Иванов, почему ты вчера пропустил занятия в школе?

— Корову до быка водил.

— Ну хорошо. А что отец-то, сам не мог, что ли?

— Отец-то, пожалуй, мог бы, да бык-то все-таки лучше!

Муж, вернувшись из командировки домой, застает в своей спальне жену с любовником. Он в ярости кричит:

– Был бы у меня нож, я бы вас зарезал. Был бы у меня пистолет, я бы вас застрелил.
Любовник выглядывает из-под одеяла:
– А у тебя рога есть, ты нас забодай!

Пьяный муравей лежит под танком:
– И чего только спьяну домой не притащишь!

Хозяйка пригласила гостей. А у нее был говорящий попугай, который все время ругался. Она, чтобы он ее не опозорил, закрыла его в холодильнике. Гости ушли, хозяйка открыла холодильник, чтобы выпустить попугая. Попугай, открыв глаза:
– Закрой дверь, дура, тут и так холодно.

Едут в одном купе хохол и негр. Негр достал банан. Сидит ест. Хохол смотрел, смотрел, не вытерпел:
– Шо таке?
– Банан.
– А дай попробовать!
– На.
Через некоторое время негр достал ананас. Сидит ест. Хохол опять:
– Шо таке?
– Ананас.
– А дай попробовать!
– На.
Хохол довольный через некоторое время достает сало и ест. Негр не вытерпел:
– Что это такое?
– Сало.
– Дай попробовать.
– Шо его пробовать, сало как сало!

Звонит парень другу:

— Слушай, я к тебе с двумя девушками приду. Одна моя, вторая — тебе. Правда, она страшная. Ну ничего, выпьешь — красавицей покажется.

— Ладно.

Пришли они к нему, открывает он дверь, увидел подружку:

— Не, я столько не выпью!

Муж разъяренно бегает по квартире. Подбегает к жене:

— Нет, ну вот ты скажи мне ты могла бы изменить мне с чужим мужчиной за 100 рублей?

— Боже мой, как ты можешь обо мне так думать?

— А за тысячу?

— Ну, дорогой, мы так плохо живем. Ты бы меня понял.

— Довольно.

Спрашивает у дочери:

— А ты отдалась бы африканцу за 50 долларов?

— Пап, как ты можешь так думать обо мне?

— Ну хорошо! А за 100 — могла бы?

— Ну, пап, вы так мало зарабатываете, ты бы меня понял.

Муж садится на табуретку, обнимает голову руками:

— Боже мой, две шлюхи в доме, а живем как нищие.

Встречаются два наркомана:

— Мне вчера такой сон приснился: подарили мне «мерседес». И я стал кататься на нем туда-сюда, туда-сюда.

— Это что! Вот мне приснилось вчера: лежу я на

диване. Вдруг ко мне в гости Софи Лорен приходит. Ну я с ней приятно провел время. Выдохся весь. Только она ушла, представляешь, Мадонна ко мне приходит. Но у меня уже сил не хватило.

– А что ты меня не позвал? Я помог бы.

– А я выглянул в окно, а ты на «мерседесе» туда-сюда, туда-сюда.

Женился татарин на хохлушке. И сразу после свадьбы дает жене наставление:

– Слушай меня внимательно, жена. Если я приду домой и тюбетейка у меня будет сдвинута на левый глаз, то любить буду, целовать буду и все хорошо будет. А если на правый глаз, то ко мне лучше не подходи – побить могу, из дома выгнать. Поняла?

Жена ему в ответ:

– А теперь ты меня послушай, муженек дорогой: если ты придешь домой и у меня руки на груди будут, то будет тебе все – и борщ, и ласка, и любовь. Ну а если руки в боки, то мне наплевать, на каком глазу будет у тебя тюбетейка.

Внук спрашивает у бабушки:

– Бабушка, правда в блокаду хлеба не было?

– Правда, внучек.

– Значит, масло намазывали прямо на колбасу?

Светлана Павлюченко, Санкт-Петербург

– Папа, а ты знаешь, на сколько хватает одного тюбика пасты?

– Нет?!

– На всю прихожую, гостиную и половину лоджии...

Клиент — официанту:
— У вас найдется что-нибудь перекусить?!
— Кусок медного провода вас устроит?

Мужик пошел в лес пописать, увидел медведя — заодно и покакал.

— У меня сгорела дотла вся библиотека.
— Мои соболезнования.
— Спасибо. Такое горе, ведь погибли обе книги, причем одна из них даже не раскрашена.

— Официант, тарелка мокрая?!
— Это ваш суп, сэр!

— Официант, у меня в супе муха?!
— Ну вот и попалась наконец!

Когда он родился, его отец долго швырял кирпичи в аиста.

Не то чтобы у него голова маленькая, но он может глядеть в монокль двумя глазами.

Он добавил картошку, посолил и поставил аквариум на огонь.

Чтоб у тебя все зубы выпали, а один остался. Для зубной боли. (Проклятье)

А вы пробовали принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект получается.

Больной нуждается в уходе врача. И чем дальше уйдет врач, тем лучше.

— Тоже неплохо! — сказал зять, бросив камнем в собаку и попав в тещу.

Не спешите выбрасывать металлический матрац от старой кровати. Сделайте это медленно, с удовольствием.

Плохо, когда у человека молодая жена, которая постоянно болеет, но еще хуже, когда жена старая, да притом крепкая, как камень.
Рубашко Юрий, г. Челябинск

На вокзале. Бабушка, и рядом сидит негр. Бабушка, обращаясь к негру:
— Негр, негр, ты еврей?
— Нет, бабушка, негр.
Через пять минут повторяется то же самое. Еще через пять минут:
— Негр, негр, ты еврей?
— Да, да, бабушка, еврей.
— Еврей, а так на негра похож.

— Кто твой папа?
— Трансформатор. 380 получает, 220 отдает, на остальные гудит.

Чапаев и Петька сидят на пальме. Подходит слон и начинает трясти пальму.
Петька:

— Василий Иваныч, можст, у него гнездо здесь?
Чапаев:
— Ты что, Петька, они в норах живут.

— За что вас списали с подлодки?
— Я спал с открытым окном.

На зачете в институте. Преподаватель:
— Что такое, по-твоему, экзамен?
Студент:
— Эта беседа двух умных людей.
Преподаватель:
— А если один из них идиот?
Студент:
— То второй не получит стипендию.

— Стой, кто идет?
— Свой с бутылкой
— Свой, проходи, бутылка, стоять!
К. Насимов, г. Изберам

С приветом к вам — не собиратель народного фольклора, а любитель анекдотов, Пальчиков Юрий, 22 года. Представляю свои анекдоты, которые слышал от друзей и приятелей, и наиболее удачливые пишу вам.

Играют трое мужиков на небоскребе в карты. И вдруг карта улетела. Думали послать одного, да далеко. Решили спустить мужика на подтяжках. Спустили до половины небоскреба, а мужик болтается и смеется. Спрашивают его: «Чего смеешься?» Он

отвечает: «Вот если я подтяжки отпустил бы, вам бы по морде трахнуло».

Полез чукча на крышу ставить антенну. Один лезет по лестнице, а другой внизу стоит. Тот, который лезет, говорит:

— Эй, внизу, подстрахуй!

А в ответ:

— Сам подстрахуй!

— От подстрахуя и слышу.

Поспорил Горбачев с Рейганом, чья армия самая ленивая. Приезжают в Америку.

— Кто у нас самый ленивый, выйти из строя?!

Вся армия сделала два шага вперед. Приезжают в СССР. Горбачев спрашивает у армии:

— Кто самый ленивый, выйти из строя!

Вся армия стоит, а два рядовых говорят между собой:

— Вась, пошли, что ль?

— Ты че, охренел, в такую даль переться.

Сидят в тюрьме художник, директор дурдома и директор парфюмерной фабрики и разговаривают, кто за что сидит.

Директор парфюмерной фабрики:

— Мы на день рожления Ильича выпустили духи «Ленин в разливе».

Директор дурдома:

— Мы на демонстрации 7 Ноября вывесили плакат «Ленин с нами».

Художник:

— А я нарисовал картину «Ленин в Париже».

— ???

— Ну я там нарисовал Шушенское, туман, шалаш, костер и четыре голые ноги из шалаша.
— А чьи это ноги?
— Дзержинского и Крупской.
— А Ленин где?
— А Ленин в Париже!

Таксист взял пассажиров: женщину с ребенком. Вот едут, и ребенок разговаривает сам с собой:
— Вот если бы мой папа был слон, мать слониха, я бы был слоненком; если бы папа был волк, мать волчиха, я бы был волчонком и т. д. и т. д.
Таксист уже изнемогает и спрашивает:
— Слушай, мальчик, а если б твой папа был козел, а мать козлиха, кем бы ты был?
— Таксистом!

Заходит мужик в дурдом на первый этаж. Из-за угла выбегает дурачок с расставленными руками и жужжит, как самолет, и прямо в мужика. Мужик упал. Заходит на второй этаж — опять дурачок, самолет в мужика врезался, мужик опять упал. Берет мужик дубину, заходит на третий этаж. Дурачок опять летит — у-у-у-у-у. Мужик бац по голове дубиной. Дурачок, медленно падая, шепчет:
— Тах-тах-тах!

Договорились Вицин, Никулин, Моргунов с одной проституткой, что она их обслужит. Первым был Моргунов. Никулин спрашивает:
— Сколько?
— Три раза.
— А она?
— Ничего.
Вторым был Никулин. Вицин спрашивает:

— Сколько?
— 5 раз.
— А она?
— Ничего.

Моргунов с Никулиным ждали-ждали Вицина и зашли в комнату, а там все мокрое, с потолка капает.

Они спрашивают:
— Сколько?
— Пятьдесят.
— А она?
— Не пришла

Юрий Пальчиков, Брянская обл., г. Сельцо

Студент забыл взять к чаю булочку и думает: «Пока схожу за булочкой, кто-нибудь чай выпьет». Написал на бумажке: «Я сюда плюнул»,— и положил на стакан. Приходит с булочкой, а на бумажке: «Я тоже плюнул».

— Абрам, ты куда идешь?
— В поликлинику, несу мочу на анализ.
— А чего так много несешь?
— А мне что, жалко?

Через час встречаются снова.
— Абрам, а чего ты мочу назад несешь?
— Что я, миллионер, им ее оставлять? Там столько сахара нашли!

Суркова Светлана, п. Дубки

Слон обвалялся в муке, подходит к зеркалу и говорит:
— Ну ничего себе пельмешек!

Червяк ползет по стене, а навстречу ему сопля. Сопля плачет. Червяк спрашивает: «Ты чего плачешь?» — «Тебя бы так об стенку!»

Дерется Чебурашка с Кощеем Бессмертным. Кощей говорит:

— Все равно ты меня не убьешь. У меня смерть в яйце.

Последовал удар.

— У... да не в том!!!

Дистрофики взвешиваются в больнице:

— 1 миллиграмм.

— 1 миллиграмм.

— 1 грамм.

— Бей толстяка!!!

В больницу привезли очередного больного. Его осматривает главврач и спрашивает коллег:

— Ну, коллеги, будем лечить или пусть живет?

Один мужик сидит в электричке и время от времени восклицает:

— Вот это да! Никогда бы не подумал! Не может быть!

В конце концов сидящая рядом женщина не выдержала:

— Да вы что такое читаете?

— Орфографический словарь.

М. Крапивина, Усть-Каменогорск

Мне 17 лет. Я учусь в школе, в 11-м классе. Вы знаете, я знаю уйму анекдотов, но напишу вам самые любимые.

Петька и Василий Иваныч бегут от белых. Видят, стоит колодец, бултых в него. Василий Иваныч говорит: «Петька, ты будешь эхом». Белые подходят к колодцу, один говорит: «Здесь никого нет». Петька в колодце: «Здесь никого нет, здесь никого нет». Белый: «Может, они дальше побежали?» Петька: «Может, они дальше побежали? Может, они дальше побежали?» Белый: «А может, сюда гранату бросить?» Петька: «А может, они дальше побежали? А может, они дальше побежали?»

Голубого, вора и токсикомана посадили в газовую камеру. Голубой сразу откинулся. Вор сидит в противогазе. Надзиратель заглядывает в камеру:

— А ты где взял противогаз?

— У часового одолжил.

А токсикоман кричит:

— Закрой дверь, газ выпускаешь!

Начинающая певица — профессору:

— Как вы считаете, годится на что-нибудь мой голос?

— Конечно, что за странный вопрос! При пожаре или кораблекрушении ему цены нет!

Штирлиц идет по лесу, видит, в дупле два глаза светятся. Штирлиц подумал: «Филин».— «Сам ты филин», — подумал Борман.

Мужик идет пьяный. Раз — на столб с объявлениями наткнулся. Смотрит объявление: продаются поросята. Всю ночь искал, где тот мужик живет, под утро нашел. Звонит, выходит мужик.

— Вы поросят продаете?

— Да, да, продаем!

— Так вот! Пошел ты на фиг со своими поросятами!

Волкова Лариса, Волгоградская обл.

Охотник пошел на охоту. Из куста выскакивают два зайца — и в разные стороны. У охотника глаза разошлись. Вызвали врача, тот посмотрел и сказал:

— Ничего страшного. На ночь положите ему между глаз яйцо.

Утром хоронят охотника.

Врач:

— Что случилось? Почему умер?

— Да,— говорят,— пока до пупка дотянули, он уже посинел.

Сторож поймал мальчишку, который воровал яблоки.

— Негодник! — кричит сторож.— Я тебя сейчас научу, как воровать!

— Ну и слава богу, а то меня уже третий раз ловят.

Плыли на одном корабле студент и декан. Корабль разбился о скалы, а их двоих выбросило на необитаемый остров. Попали они в плен к людоедам. Приводят их к вождю:

— Что делать с ними?

— Студента накормить, напоить и спать уложить, а с этим я еще поговорю о своем распределении.

— У вас вши есть?

— Есть!

— А чем вы их лечите?

— А они у меня не болеют.

— Если вы такой дурной, что не запоминаете, тогда записывайте! Я уже 10 лет записываю.

— Что это у вас ногти как у орла? По деревьям, что ли, лазаете, товарищ солдат?

Мужик с медведем ходит по базару. Кто-то ему предлагает попугая. Мужик отвечает:
— Сейчас. Вот только найду того, кто в прошлом году продал мне хомячка!

Винни-Пух и Пятачок идут по дороге. Вдруг Винни-Пух останавливается, оборачивается и дает Пятачку по морде.
— Винни! За что?!
— От вас, свиней, всего можно ожидать!

Цыпленок бьется головой о стенку и кричит:
— Позор! Позор!
Подходит курица.
— Мама, а это правда, что у меня отец — петух?
— Да, сынок.
— Позор! Боже, какой позор!

На кувшинке сидят две лягушки: одна — красная, вторая — желтая. Красная говорит желтой:
— Смотри, вон, видишь, на берегу стоит стог сена. Вот так и люди! Живут, живут и умирают...

Идет капитал-шоу «Поле чудес». Ведущий спрашивает:
— От чего вы будете страховаться?
Грузин говорит:
— От того, что не смогу барабан раскрутить.
Русский говорит:

— Раскручу, но не смогу остановить.

— А я от того, что все буквы угадаю, но прочитать не смогу! — говорит чукча.

Наталия Борисова, г. Москва

Грузин купался в море и вдруг начал тонуть. В это время по берегу прогуливался русский. Грузин от страха забыл, как по-русски звать на помощь, и начал кричать, что пришло в голову:

— Э, друг, слущай, паслэдный раз купаюсь, обидно, да.

Идут по пустыне русский, американец и англичанин. Силы у всех на исходе. Перед смертью русский предлагает выпить бутылку водки. После того как ее распили, из пустой бутылки вылетел джинн.

— О, мои спасители! — говорит джинн.— Каждому исполню два желания

Американец попросил миллион долларов — и в родную Америку. Тут же исчез. Англичанин — миллион фунтов и в родную Англию. Тоже исчез. Русский огорченно развел руками.

— Ну вот, так хорошо начали,— ящик водки и ребят обратно.

Изобрели новый парашют, а испытывать его никто не хочет. Тогда поймали на улице пьяницу и пообещали ему ящик водки, если он спрыгнет с этим парашютом. Пьяница согласился.

И вот летит он в свободном падении, дергает за кольцо, а парашют не раскрывается. «Так,— говорит он сам себе,— с парашютом обманули, посмотрим, как с водкой».

Идут экзамены по истории. Остался один студент, последний. К нему подходит профессор.

— Какой у вас вопрос?
— Великая Отечественная война.
— Когда она началась?
— Не знаю.
— Когда кончилась?
— Не знаю.
— А кто победил в войне?
— Не знаю.
— Ты откуда родом?
— Из Пиндошина.
— Эх, бросить бы все и уехать в Пиндошино!

Одинокий мужчина решил приготовить себе пельмени, но дома у него не оказалось мясорубки, и он решил сходить к соседке. Идет он к ней, а в голове вихрем пролетают мысли. «Вот попрошу мясорубку, она спросит, зачем, скажу, для пельменей, придется приглашать в гости, надо будет достать бутылку, напьемся, потянет на любовь, не дай бог она забеременеет, придется жениться, долго я с ней не проживу, разведусь, потом всю жизнь алименты платить. Зачем мне это надо?» И в это время нажимает на звонок. Соседка открывает дверь, а мужик, продолжая свою мысль, уже вслух: «Да пошла ты со своей мясорубкой».

Сидит милиционер в машине и резинкой от трусов мух на лобовом стекле бьет. И вдруг одна муха говорит: «Не бей меня, я тебе три желания исполню». Милиционер не растерялся и тут же говорит:

— Хочу дачу под Москвой и новую машину.
— Будет исполнено,— сказала муха. И очутился

милиционер на роскошной даче, а под окном м
шина.

— А третье желание?

— Хочу не работать и чтоб деньги были.

В этот же момент очутился милиционер в старом автомобиле и, как прежде, щелкает мух резинкой.

Сержант в самолете стоит перед дверью и выпускает десантников.

— Готов? Пошел.

— Готов? Пошел.

— Готов?

— Нет.

— Пошел... пошел, пошел, пошел. Готов!

Штирлиц шел с женой по улице. Вдруг раздался выстрел, жена упала, Штирлиц насторожился.

А. Белобородов, г. Южноуральск

Сын говорит матери:

— Я больше не пойду в школу!

— Это почему же?

— Да ну ее! Петров опять будет из рогатки стрелять, Синицын учебником по голове бить, Васильев подножки ставить... Не пойду!

— Нет, Вовочка, успокойся, ты должен, просто обязан идти! Во-первых, тебе уже сорок лет, а во-вторых, ты — директор школы.

Отец спрашивает сына:

— Что сегодня было на уроках?

— На химии изучали взрывчатые вещества.

— А что завтра будете делать на уроках, в школе?

— В какой школе, папа?

В школе учительница спрашивает первоклассников.

— Иванов, сколько будет два плюс два?

— Три.

— Садись, два. Петров!

— Пять.

— Садись, два. Сидоров!

Встает Сидоров, сын директора школы.

— Семь будет, Марья Петровна.

— Да-да. Где-то так: семь, восемь...

В музее стоят отец с маленьким сыном перед статуей Венеры. Отец:

— Вот, Петя, если ты будешь грызть ногти, то с тобой будет то же самое.

— Товарищи бойцы! — обращается генерал к солдатам.— Я хочу иметь крокодиловые сапоги.

Ночью спецрота десантируется на берегу Нила. Проходит день, второй. Новостей никаких. Проходит месяц. Новостей по-прежнему нет. Генерал сам вылетает к месту десантирования и вот что видит.

На берегу, вдоль реки, сидят солдаты. Весь берег завален трупами крокодилов. Из воды показался крокодил, и в этот момент тяжелая лубинка опускается ему на голову. Вытащив крокодила на берег, старший группы кричит:

— Товарищ капитан! Этот тоже без сапог!

Немцы подбили танк, окружили, кричат:
— Русский, сдавайся!!!
Открывается люк, из танка раздается:
— Русский нет! Узбек нужен?!

Штирлиц стрелял вслепую. Слепая упала.

Штирлиц поймал кота и влил ему в рот стакан бензина. Кот прошел несколько шагов и свалился. «Бензин кончился»,— подумал Штирлиц.

Саша Захарченко, г. Волжский

Хочу поделиться любимыми анекдотами. Ведь способность делиться осталась не только у простейших. Пусть хотя бы одному человеку они поднимут настроение.

На приеме в зубном кабинете:

— Джимми, дорогой! Раскрой ротик, скажи «А-а-а». Пусть дядя вынет пальчик.

— Вась, там евреи бьют.

— Так он же по паспорту — русский.

— Там не по паспорту, а по морде бьют.

— Доктор, дайте мне таблеток от жадности. Да побольше! Побольше!

— Девочки, я помолвлена! — похвасталась молодая секретарша подругам из машбюро.— Его зовут Роберт. Он поцеловал меня и сказал: «Твои губы напоминают мне лепестки розы».

— Ах, этот Роберт...— разочарованно сказали секретарши хором.

— Прекратите ваш поцелуй, не задерживайте отправление поезда.

— Ты, конечно, опять все проиграл?

— Да, лошадь, на которую я поставил, пришла так

поздно, что жокею пришлось выплатить сверхурочные.

– А вы, Михаил Израильевич, чего дрожите?
– Отчество в опасности.

В троллейбусе:
– Девушка, вы еще долго будете держать меня за бороду?
– О, простите! Я не знала, что вы сейчас выходите.

В техасской таверне:
– Джо, ты, кажется, зазнался?!
– В чем дело?
– Вчера я всадил в тебя целую обойму, ты даже не обернулся.

– Зачем вы это слушаете? Моцарт же ясно написал, что этот концерт не для вас, а для флейты с оркестром.

– Ну что за жизнь: как только сядешь поработать – обязательно разбудят.

Во время праздника аксакал поднимается с кубком:
– А теперь выпьем за врагов! Я пью за то, чтобы у моего врага было много денег, машин, яхта, красавица жена, большой дом на берегу моря, финский гарнитур, ковры и шведский кнопочный телефон. И чтобы по этому телефону он звонил только по: 01, 02 и 03.

– Нет! Вы не англичанин! Вы русский!
– Как вы догадались?

— Вы пьете чай, а ложку оставляете в стакане.
— А сейчас? — положил ложку на стол.
— Нет. Вы продолжаете придерживать ее большим пальцем!
— А так? — убрал палец.
— Нет. Как только подносите чашку — закрываете правый глаз.

Муж, вернувшись с рыбалки, жене:
— Кот дома?
— Заходи, я ему кильки купила.

Чукча звонит в аэропорт.
— Алло, скажите, пожалуйста, сколько летит самолет до Тачгомыра?
— Одну минуточку...
— Спасибо! — и повесил трубку.

Прапорщик:
— Вывести бы вас в чистое поле, поставить бы лицом к стенке и пустить бы вам пулю в лоб.

— Какая у вас картошка! Чем вы ее удобряли?
— А! Чем только не удобряли — растет, зараза!

— Потерпевший! Вы говорите, что обвиняемый нанес вам удары вазой по голове. Но мы не видим никаких доказательств на вашей голове.
— О! Но если бы вы видели вазу!..

У сороконожки было плохое настроение: она встала не с той ноги.

— Что такое свиная отбивная?
— Котлета, отбитая у свиньи.

– Моя такса такая длинная, что если она виляет хвостом, то, значит, благодарит за сахар, который ей дали позавчера.

Каннибалы спрашивают у жертвы имя.
– А сейчас-то вам это зачем?
– Для меню.

А. Подьячева, г. Тверь

Ночь. Вдруг зазвонил телефон.
– Алло?
– У вас горячая вода есть?
– Есть.
– Тогда мойте ноги и ложитесь спать.

В США в одном из баров танцует девушка стриптиз-танец. Вдруг из зала раздается выстрел. Пуля перебила лямку лифчика, и он упал. Весь зал стал аплодировать. Встал мужик и говорит:

– Билл Шиффер, штат Техас, профессионал.

Затем спрятал револьвер и сел на свое место. Девушка продолжала танцевать. Вдруг еще раздается один выстрел, пуля перебила лямку плавок, и они упали. Весь зал снова стал аплодировать. Встал еще один мужик и говорит:

– Майки Джордж, штат Калифорния, профессионал.

Затем спрятал револьвер и сел. Девушка все продолжала танцевать. Вдруг раздается оглушительный выстрел, и девушка падает замертво. Зал сидит в недоумении. Вдруг встает здоровенный мужик, прячет обрез в полушубок и говорит:

– Никола Поросюк, Захидна, Украина, любитель.

Приходит мужик к врачу и говорит ему:
— Доктор, меня жена из дома выгоняет.
— За что? — спросил доктор.
— Я писаю в постель. Ко мне приходит во сне товарищ и говорит: «Пойдем со мной пописаем», ну я и делаю это в постель.
Думал, думал доктор и говорит:
— А ты скажи ему, что ты уже пописал.
Проходит день, другой. Приходит снова мужик к доктору и говорит:
— Все, доктор, жена меня совсем выгнала из дома!
— А как это случилось?
— Приходит во сне ко мне товарищ и говорит мне: «Пойдем со мной пописаем», а я ему говорю, что я уже пописал, а он мне предложил: «Тогда пойдем покакаем».

— Вовочка, ты почему два дня в школу не приходил? — спрашивает учительница.
А Вовочка и отвечает:
— В первый день мне мама трусики постирала, и мне не в чем было идти.
— Ну хорошо, а почему во второй день тебя не было?
— А я уже в школу шел, смотрю, на балконе ваши трусики висят, вот я и вернулся домой.

Сын спрашивает отца:
— Папа, как отличить трезвого человека от пьяного?
— Ну вот смотри, сынок: если человек говорит, что здесь три дерева, то он — пьяный, а если два, то он — трезвый.
— Папа, а здесь всего одно дерево.

Решил мужик разбогатеть, купил пива и поехал в пустыню. Сидит, сидит. Смотрит, караван идет.

— Пиво, свежее пиво, холодное пиво! — Смотрит, что на него никто не обращает внимания. Он давай снова кричать: — Пиво, пиво, пиво.

Подскакивает он к последнему караванщику и говорит:

— Мужик, купи пиво.

А тот ему отвечает:

— Уйди, мираж, уйди.

Горчавкин Владислав, г. Среднеуральск

Чип и Дейл спорят, от кого Гаечка родила ребенка. Чип говорит, что его ребенок. Дейл — что это его ребенок.

— Я люблю орешки,— говорит Чип

— А я люблю конфеты,— говорит Дейл.— Вот пойдем и спросим, что любит этот ребенок, так и определим, кто прав.

Подходят к ребенку и спрашивают:

— Что ты любишь больше всего: конфеты или орешки?

— Сы-ы-ыр!..

В переполненном автобусе едет Арнольд Шварценеггер. Девушка, стоящая за ним, спрашивает:

— Вы сейчас выходите?

— Да!

— А впереди вас кто-нибудь выходит?

— Да! Но они об этом еще не знают.

Перекличка на плацу:

— Иванов.

— Я.

— Петров.
— Я.
— Шаров.
— Да.
— Что «да»?
— Нет.
— Что «нет»?
— Ура-а-а!

Однажды после кругосветного плавания встал на рейде в Бомбее советский сухогруз. Братва на капитана давит — увольнения требует. Тот согласился, но предупредил:

— Водку пейте, а баб не трогайте, в городе свирепствует горбатый сифилис!

— Как это? — удивился экипаж.

— А так: переспишь с индуской, а потом не разогнешься.

Ладно, сошел экипаж на берег, разбрелась братва по городу, и один все же не удержался — переспал с индуской. Утром одеваться стал, ширинку застегнул и хвать — разогнуться не может. Приплелся кое-как на судно и докладывает капитану: так, мол, и так, виноват, получил горбатый сифилис. Капитан посмотрел на него и говорит:

— 10 суток гауптвахты. И не забудьте отстегнуть бушлат от ширинки...

Летит комар с пляжа, а навстречу ему муха.
— Ты куда, дорогая, летишь?
— На пляж.
— Сейчас туда лучше и носа не показывать. Там слон трусы потерял, так меня три раза обыскивали.

Приходит к врачу полный мужчина и спрашивает:

– Как похудеть?

– Есть два пути. Первый – отправиться в Киев, посетить Печерскую лавру.

– Так это же далеко.

– Тогда второй путь – найти молодую, неукротимую в любовных ласках...

– Да оно и до Киева недалеко...

Людмила Решетникова, г. Ангарск

Штирлиц и Мюллер едут по Берлину в машине.

– Где вы так хорошо научились водить автомобиль? – спрашивает Мюллер.

– В ДОСААФе,– ответил Штирлиц и подумал: «А не сболтнул ли я лишнего?»

– Никак не могу избавиться от клопов в диване, что делать?

– А вы не пробовали выносить диван на улицу зимой?

– Пробовал.

– Ну и как?

– Они его назад заносят!

Гость обеспокоенно говорит хозяйке: «Ваш пес как-то недобро смотрит на меня».

«Не обращайте внимания, он всегда так смотрит на того, кто ест из его миски».

На вершине горы отдыхают орел и Чебурашка. Орел спрашивает:

– Ну что, полетели дальше?

– Подожди, уши немного отдохнут.

Идет мужик пьяный, смотрит — лужа, а в луже луна отражается.

— У, сейчас на луне покатаюсь.— Сел на нее и скатился.

Идет милиционер, увидел мужика и спрашивает:

— Эй, мужик, ты что тут делаешь?

— На луне сижу.

— Ну сиди, сиди, сейчас луноход подойдет.

Вероника Бажукова, Тюменская обл.

Поймал хиппи золотую рыбку. Взмолилась рыбка:

— Отпусти меня, хиппи, я исполню три твоих желания!

— Хочу, чтобы в Швеции было татаро-монгольское иго.

Исполнила рыбка его желание. Разгромили татары Швецию.

— Говори второе желание, хиппи!

— Хочу, чтобы в Швеции не было татаро-монгольского ига.

Исполнила рыбка его желание, вновь стала Швеция процветающей страной.

— Говори третье желание!

— Хочу, чтобы в Швеции было татаро-монгольское иго.

Исполнила рыбка третье желание и спрашивает:

— Хиппи, зачем тебе это?

— Люблю, когда народ тусуется.

— Послушай, подруга, ты обо что так колготки порвала?

— Где? А, это... Об танк.

— Об какой танк?!

— А на погонах.

В горсовет стали приводить львов и выпускать в рабочее время в коридоре, чтобы депутаты работали, а не болтались. Потом случилось ЧП, и львов убрали. Один лев другому: «Нужна тебе была эта уборщица! Я двадцать два народных депутата съел, и никто не заметил!»

Один студент идет по улице и пинает булочку, другой подходит:
– Ты что делаешь?! Это же хлеб!
– Тс-с-с. Тихо! Запинаем в угол, там сьедим.

Изменяла ли Ева Адаму? Точно не знаем. Но ученые утверждают, что человек произошел от обезьяны.

Двое лежат в постели.
– Дорогая,– говорит мужчина,– если бы я знал заранее, что ты девушка, я относился бы к тебе бережнее.
– Дорогой,– говорит женщина,– если бы я знала, что ты такой нетерпеливый, я бы заранее сняла колготки!

Рейс Москва – Тбилиси. Грузин подходит к летчикам и достает пистолет:
– Тавай Тбилиси!
– Но ведь у нас и так рейс Москва – Тбилиси!
– Тавай Тбилиси!
– Мы и так в Тбилиси летим!
– Я тэбэ что сказал! Тавай Тбилиси, а то я уже третий раз лечу в Тбилиси, а приземляюсь в Стамбуле.

В купе оказались молодой человек и красивая девушка. Молодой человек стал искать подходы.

— Скажите, какие национальности вам нравятся?
— Мне нравятся индейцы, они такие бесстрашные, и евреи, потому что они умные...
— Разрешите представиться — Чингачгук Арон Моисеевич.

Н. Тимановская, г. Орск

Бабка обращается к патлатому парню в заклепках на улице:
— Молодой человек, как пройти на улицу Горького?
— Во-первых, не молодой человек, а чувак. Во-вторых, не пройти, а кинуть кости. В-третьих, не на улицу Горького, а на Пешков-стрит. А в-четвертых, не знаю я, вон у мента спроси.
Бабка подходит к милиционеру:
— Чувак, как кинуть кости на Пешков-стрит?
Тот медленно опустил руку, было дернувшуюся к козырьку:
— Хиппуешь, клюшка?!

Василий Иванович с Петькой пьянствуют на берегу реки. По причине жары разделись донага. А из закуску украли барашка.
Василий Иванович говорит:
— Чтоб нас не поймали с этим бараном, ты, Петька, втыкай кости в песок
Напившись до чертиков, Василий Иванович отключился, а Петька вместо песка воткнул кость Чапаю в задний проход. Очнувшись, Василий Иванович пошел по нужде в кусты. Вернувшись, подходит к Петьке и говорит:
— Петька, надо завязывать пить.
— А что такое?

– Сижу в кустах, тужусь. Смотрю, из заднего прохода позвоночник вылазит. Еле-еле назад запихал!

Два комара залетели в спортзал. Один говорит:
– Холодно.
Второй отвечает:
– Ничего, за ночь надышим.

Генерал просыпается с глубокого похмелья. Не помнит, что с ним было вчера. Рядом стоит адъютант и гладит его китель.

«Облевался,– с ужасом подумал генерал.– Ничего, выкручусь».

– Знаешь, вчера такая ерунда со мной приключилась. Приехал в полк на поверку, а тут из-за угла какой-то пьяный лейтенант на меня налетел и весь китель мне, гад, обделал.

– Ну а вы что, товарищ генерал?

– Ну а я, как положено,– 10 суток ему, паршивцу, влепил.

– Мало дали, товарищ генерал.

– Почему?

– Этот наглец вам еще и в штаны наложил...

Неожиданно вернувшийся из командировки муж просыпается от подозрительного шороха и видит, как из шкафа выползает голый мужчина, закутанный в шубу жены.

– Ты кто такой?

– Не видишь – я моль.

– А шубу куда взял?

– Дома доем.

Идет мужик по улице. Грязный-прегрязный.

– Эй, мужик, ты чего такой грязный?

— Да с паровозом целовался...
— Ты что, дурак?
— Нет, тещу отправил!

Парню не хотелось служить в армии. Чтобы его забраковала медкомиссия, он решил схитрить с анализом мочи взял немного мочи отца, сестры, собаки и своей. Все смешал и сдал. Пришел ответ на бланке военкомата «У вашего отца — триппер, сестра беременна на 4 м месяце, у собаки — сахарный диабет, а вы пойдете служить!»

Врачу-окулисту на обилей сотрудники оформили стенгазету нарисовали глаз, а в его зрачке поместили портрет юбиляра

Увидев стенгазету врач облегченно вздохнул.
— Хорошо все-таки, что я не гинеколог

Вечером идут два пирожка по улице. Навстречу им две румяные пампушки
Один пирожок говорит второму
— Давай их оформим?
— Тебе хорошо, ты-то с яйцами, а я с капустой

Квартира. Жена нарядная суетится, накрывает на стол. Муж расхаживает по комнатам в трусах.
Жена:
— Ты бы хоть брюки надел! Ведь сейчас гости придут!
Муж:
— А пусть посмотрят, какие у меня худые ноги, как ты меня кормишь!
Жена:
— Так ты и трусы сними. Пусть гости посмотрят, за что же тебя кормить?!

В автобусе:

– Рыбонька, передай на билет!

«Так, если рыбонька, значит, щука, если щука, значит, с зубами; если с зубами, значит, собака; если собака, значит, сука...»

– Граждане, он меня проституткой обозвал!

Т. Макарова, г. Гладов

Женщина в кинотеатре оборачивается и спрашивает сидящего позади мужчину:

– Вам не мешает моя шляпа? Я могу ее снять.

– Нет-нет, не снимайте. Она намного смешнее, чем эта комедия.

– Стойте, стойте! – закричал фармацевт, бросившись за одним из покупателей.

– Что случилось? – спрашивает тот.

– Вы просили у меня аспирин, а я вам дал по ошибке мышьяк.

– А что, между ними есть разница? – удивился покупатель.

– Конечно, с вас еще пять рублей.

На занятиях по тактике:

– А теперь, товарищи солдаты, поднимите головы и посмотрите вверх. Прямо над вами – Полярная звезда.

– Товарищ сержант, шапки падают!

– Понял... Взвод, два шага назад, шагом – марш!

Чукчу призвали в армию, в десантные войска. При первом же прыжке с парашютом новобранец забыл, что надо сделать, чтобы парашют раскрылся. Летит

камнем вниз и напряженно думает... Вдруг видит: навстречу снизу вверх летит другой чукча. Десантник кричит: «Эй, земляк, подскажи, что тут дернуть надо, чтобы эта штуковина раскрылась?» —«Не знаю,— отвечает земляк.— Я сапер...»

После совместного полета советский и вьетнамский космонавты дают пресс-конференцию. Корреспондент спрашивает вьетнамского космонавта:

— А почему у вас все руки синие?

— А меня русский товарищ все время била по лукам и говорила «Ничего, гала, не тлогай... не твое».

— Последний раз требую, чтобы вы мне вернули пятьсот рублей, которые взяли взаймы!

— Хорошо, что последний раз. Откровенно говоря, ваша настойчивость уже начала меня раздражать.

Учитель спрашивает школьника:

— Что станет с железом, если его оставить во дворе, ничем не закрыв?

— Оно заржавеет.

— Правильно. А с золотом?

— Исчезнет.

Олег Мельников, г. Соликамск

Когда американцы высадились на Луне, Л.И. Брежнев вызвал в Кремль наших космонавтов и сказал:

— Американцы на Луне. Нужно их переплюнуть, мы решили послать вас на Солнце.

Космонавты заволновались:

– Готовы выполнить любое зада... Но мы же там спорим!

– Вы что же думаете, в правительстве дураки сидят? Полетите ночью!

Муж за завтраком решил сделать себе бутерброд. Взял кусок булки и положил талон на масло сверху. Сидит ест.

Жена, увидев это, восклицает:

– Ты что, решил отравиться?!

– Почему?

– Ты же вместо талона на масло взял талон на мыло.

Отец лежит на кровати и задумчиво смотрит, как по потолку ползает муха. Пятилетний сын:

– Папа, папа! Надуй мне шарик!

– Ну сейчас я все тут дела брошу и буду тебе шарик надувать.

– Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?

– Ку...

– А почему так ма...?

– Товарищ прапорщик, к тебе жена приехала.

– Не к тебе, а к вам.

– К нам она вчера приезжала, а сегодня — к тебе,– говорит солдат.

Теща приходит к зятю и говорит:

– Вот что, зятек дорогой мой: делай что хочешь, выкручивайся как хочешь, но хочу, чтобы похоронили меня у Кремлевской стены.

На следующий день приходит зять:

— Вот что, теща моя дорогая, делай что хочешь, но похороны сегодня в полдень.

Приходит мужчина в роддом:
— Как там моя жена?
— К сожалению, ваша жена при родах умерла.
Расстроенный мужчина разворачивается и медленно направляется к выходу. Тут его догоняет медсестра:
— Извините, произошла ошибка! Жива ваша жена, жива, троих родила!
Мужчина махнул рукой:
— Нет уж!. Умерла — так умерла...

Жена собирается в магазин и спрашивает мужа:
— Как ты думаешь при коммунизме сохранится авоська?
— Сохранится. Только она будет называться нихренаська.
Наталья Рыбина, Нижегородская обл.

Встречаются двое:
— Привет, дурак!
— Сам — привет!

Мужчина собирает в лесу грибы. Навстречу ему выходит старуха с ружьем:
— Молодой человек, вы, наверное, хотите меня изнасиловать?
— Нет, что вы!
— А придется!

В публичном доме пожар. В коридоре закричали:
— Воды! Воды!

Открывается дверь одного номера, из-за которого усатая голова кричит:
– А нам шампанского!

Занятия в грузинской школе. Учитель:
– Гиви, скажи нам, что такое ос?
– Это большой полосатый мух, учитель.
– Нет, Гиви, большой полосатый мух — это шмэл, а ос – это то, вокруг чего вертится земля.

Приходит Пятачок к Винни-Пуху. Дверь открывает секретарь Винни-Пуха.
– Пух дома?
– Во-первых, не Пух, а медведь Винниамин, а во-вторых, его нет дома.
– Ну тогда передайте, что заходил кабан Полтинник.

В винном магазине продавщица укладывает маленькой девочке в сумку пять бутылок водки.
– Ой, дочка, как ты ее донесешь? Тяжело ведь.
– Вот и я думаю... Две здесь, что ли, выпить.

Мальчик в лесу поймал ежика, бежит к воспитательнице.
– Марья Ивановна, кто это?
– Ты разве не знаешь? Про него сложено столько песен и стихов.
Мальчик долго смотрит на ежика.
– Так вот вы какой, товарищ Ленин?!

Директор вызывает секретаршу:
– Мне нужен срочно половой акт.
– Половой акт невозможен ввиду месячного отсчета, но можно оформить в устной форме или задним числом.
Дима Горбунов, Нижний Новгород

Я читаю ваш журнал всего два года, но он меня увлек. Классный журнал! И вот я прочла о конкурсе «Десяточка». Сначала я отобрала 100 анекдотов (знаю великое множество), самых, самых. Ну а потом, как ни жалко, пришлось сократиться. С уважением и восхищением Аня из Самары.

Поехал Василий Иванович сдавать экзамены в академию. Через некоторое время возвращается. Петька спрашивает:

— Ну, как, поступил?

— Нет, Петька. Задали мне задачу: сколько будет 0,5 плюс 0,5. Нутром чувствую, что литр, а как математически выразить - не знаю!

Директор школы позвал Вовочку и сказал:

— Вовочка, покрась окна на четвертом этаже.

Через три часа Вовочка спрашивает:

— Анатолий Владимирович, а рамы тоже красить?

Мужчина заходит в магазин и говорит продавцу:

— Взвесьте мне один килограмм молока.

Продавец, ничуть не удивившись, спрашивает:

— Вам как: порезать или куском завернуть?

— Мне все равно, я на велосипеде.

Идут через границу русский и украинец. Натянута проволока, и на ней банки консервные висят. Русский пролез, а украинец зацепился, все зазвенело. Часовой крикнул:

— Стой, стрелять буду!

А русский в ответ:

– Мяу! Мяу!

Идут они обратно. Русский пролез, а украинец опять зацепился.

Часовой:

– Стой, стрелять буду!

– Цэ ж ми, коты, назад ползем!

Загороженный наркоман с собакой еще двигается по улице. Навстречу выбегает кошка. Наркоман:

– Мордик... фас... ее... эту... кошку.

Собака:

– Тяв... Тяв... Р-р... Тьфу.

Женщина жалуется врачу-психиатру:

– В последнее время мой муж ведет себя очень странно: выпив кофе, он съедает фарфоровую чашку, оставляя только ручку.

– Действительно, странно,– говорит врач,– ведь самое вкусное именно ручка.

– Доктор, я на геморрой жалуюсь опять. Вы мне все свечи прописываете, а они так ни разу и не помогли.

– Да вы их едите, что ли?!

– Ну, не в задницу же пихаю!

Ночь. Из могилы встает скелет и идет. Смотрит — ему навстречу идет другой скелет. Первый спрашивает:

– Эй, друг! Из какого ты века?

– Из шестнадцатого.

– А я из семнадцатого.

Идут дальше. Смотрят — навстречу идет третий.

– Эй, друг, из какого ты века?

— Да пошли вы к черту! Не видите, что ли, что я с третьей смены иду?

— Представляешь, у моего дядюшки навязчивая идея. Он все время думает, что он — курица!
— Тебе следует показать его психиатру.
— Да-а, и остаться без свежих яиц к завтраку?

Чапаевцы отбили у белых полустанок. При осмотре трофеев Василий Иванович и Петька обнаружили цистерну со спиртом. Чтобы бойцы не перепились, подписали $C_2H_4(OH)$, надеясь, что бойцы химию знают слабо. Наутро все были «в стельку». Чапаев распорядился одного и спрашивает.

— Как нашли?
— Да просто. Пока он мы искали, вдруг смотрим — что-то на цистерне написано, а в скобках — (ОН). Попробовали — точно он!

На улице пьяный спрашивает прохожих:
— Ска-ажите, па-ажалуйста, где здесь противоположная сторона?
Ему показывают:
— Са-авсем обалдели! А там говорят, что здесь!

У мужчины испортился утюг. Решил попросить у соседки с 4-го этажа. Поднимается и думает: «А вдруг у нее муж дома? Решит, что я ее любовник. А вдруг у нее любовник, решит, что я — муж. Еще с лестницы спустит!» Задумавшись, нажимает на звонок. На пороге соседка.
— Да пошла ты на фиг со своим утюгом!
Аня, 16 лет, г. Самара

Мама Вовочки возвращается из дома отдыха в шикарной шубе.

– Это тебе папа купил? – интересуется Вовочка.

– Если бы я на твоего папу надеялась, так и тебя, сыночек, не было бы.

Идет мужик, в обеих руках несет бутылки. Приятель его спрашивает:

– Ты что, тару идешь сдавать?

– Нет, с женой поругался, так она сказала: «Забирай свои вещи и уходи».

Муж в магазине потерял жену и обратился к красивой продавщице:

– Пожалуйста, улыбнитесь мне!

– Зачем?

– Моя жена сразу здесь появится.

– Скажи, дорогая,– спросил муж у своей жены,– сколько у тебя было мужчин до меня?

Молчание. «Обиделась!» – решил муж.

Вечером перед сном он спросил:

– Ты все еще сердишься?

– Нет, я все еще считаю.

Снесла курица яйцо весом пять килограммов. Прискал журналист и спрашивает у курицы:

– Как это у вас получилось?

– Секрет!

– Ваши планы на будущее?

– Снести яйцо семь килограммов.

Журналист идет к петуху и спрашивает:

– Как это у вас получилось?

– Секрет!

— Ваши планы на будущее?
— Набить морду страусу!

В больнице. Группа дистрофиков сидит. Один заорал:
— Сестра, сестра, орлы прилетели.
— Это же мухи.
— Ага, мухи вчера троих унесли.
С большим смехом Андрей Первушин, 21 год, г. Уфа

Собрались три мухи: жирная, средняя и худая. Первая говорит.
— Я питаюсь в ресторане. Упаду в тарелку с супом, тарелку отодвинут, и я ем сколько влезет.
— А я питаюсь в рабочей столовой,— говорит вторая,— меня ложкой из тарелки достают, что в ложке, то мое.
— А я в солдатской,— говорит третья,— меня обсосут и выкинут
Тут подлетает четвертая, совсем мошка, и говорит:
— А я в студенческой столовой питаюсь. Меня все на зуб, на зуб норовят, а я меж зубов, меж зубов...

Разговор в магазине:
— Девушка, у вас есть ватман?
— У нас такой не работает.
— ...Ну ватман... по которому рейсфедером пишут...
— У нас такой тоже не работает.
— ...Ну ватман, по которому рейсфедером. Понимаете, я дизайнер.
— Я вижу, что не Иванов.

Студент-медик работает на практике в больнице. Подходит к больному, у которого перелом челюсти в трех местах.

– Как ты так сумел? – спрашивает.

– Понимаешь, я экскаваторщиком работаю. В пятницу в конце рабочего дня смотрю – люк не закрыт. Ну, думаю, в субботу, воскресенье детишки будут на стройке баловаться да в люк упадут, ну я и прикрыл его ковшом. А в понедельник прихожу на работу, завожу экскаватор, а из люка три сантехника вылазят...

Студент-медик спрашивает у больного:

– Как ты так челюсть сломал да ягодицы обжег?

– Купил я себе цветовую рубашку и запачкал в мазуте. Пришел домой, не отстирывается. Я бросил ее в тазик с ацетоном. Жена приходит с работы, смотрит, в тазике пуговки плавают, ну и вылила все в унитаз. Я пошел стирать, а тазика нет. «Где,– спрашиваю жену,– рубашка?» – «Какая рубашка, там в тазике одни пуговки плавали». Я пошел, заперся в туалет и закурил с горя. А горящую спичку в унитаз бросил... Аж дверь челюстью выбил.

Едут два ковбоя по степи. Один курит сигару. Второй ему говорит:

– Джо, ты со своей сигарой смахиваешь на дурака.

– Хорошо, я буду смахивать в другую сторону...

Любовник с любовницей лежат в кровати. Вдруг звонок. «Муж пришел»,– говорит любовница. Быстро вскакивает, встречает мужа на пороге с полным мусорным ведром. «Дорогой, ты, пока не разделся, будь добр, вынеси мусор». Тем временем любовник

быстро уходит. Идет домой и думает: «Ну и умная же у меня любовница». Звонит в свою квартиру. Жена встречает его с полным мусорным ведром: «Будь добр, дорогой, вынеси мусор, пока не разделся». Муж идет, выносит мусор и думает: «...А моя-то растяпа, не могла раньше вынести...»

Штирлиц и Мюллер выходят из кабака:
— Может, девочек снимем? — предложил Штирлиц.
— Да нет, пусть еще повисят..
Владимир Петерин, г. Пермь

Учительница спрашивает
— Дети, расскажите, как вы помогали фронту?
Настя:
— Я высылала на фронт посылки с табаком.
Маша:
— А я была медсестрой
Учительница.
— Молодцы!
Вовочка:
— А я подносил солдатам снаряды
Учительница (восхищенно):
— Вовочка! Ты же настоящий герой! Тебя поблагодарили?
Вовочка:
— О, да! Мне сказали: «Зер гут, Вольдемар».

В пустыне встречаются прапорщик и осел. Осел спрашивает:
— Ты кто?
Прапорщик с гордостью отвечает:
— Офицер!

Осел с не меньшей гордостью:
– А я конь!

Петька и Анка, надев для маскировки костюмы индейцев, пробираются в тыл к белым. Их останавливает патруль:
– Ты кто? – спрашивают Анку.
– Индианка,– с достоинством отвечает та.
На Петьку:
– А ты?
Скрестив руки на груди, Петька отвечает:
– А я – ИндиПетька.

Дистрофик начал приставать к дистрофичке. Та:
– Люди! Помогите.
Дистрофик:
– Молчи, Маша, может, я и сам справлюсь.

Два наркомана выходят из кинотеатра. Один другому:
– Меня приколол один усатый наркоман.
– Какой?
– Который весь фильм говорил: «Хороший у вас «ПЛАН», товарищ Жюков».

Летит самолет. Стюардесса объявляет:
– Наш самолет совершает рейс Москва – Магадан. Управляет полетом пилот 1-го класса Табуреткин. Из 100 вылетов – 99 неудачных.
Пассажиры притихли. Дверь кабины экипажа распахивается, появляется пилот на инвалидной коляске и ехидно спрашивает:
– Ну что, покойнички, летим?

Есть, конечно, множество других очень хороших ане-

ктодов, но они опубликованы где-нибудь. Поэтому старался вспомнить еще нетронутые.
Дмитрий Чернуха, г. Бийск

— Что такое культ личности?
— Это когда один плюет на всех.
— А разоблачение культа личности?
— Это когда все плюют на одного, а в результате все ходят оплеванные.

Директор банка спрашивает поступающего на работу бухгалтера:
— А сколько времени вы проработали на предыдущем месте?
— Четыре года.
— Это неплохо. А почему вы уволились?
— Объявили амнистию..
Вероника Степанова, п. Товарково Калужской обл.

Объявили посадку в самолет рейсом до Москвы. По трапу поднимается грузин и на плечах несет барашка.
— С бараном в самолет нельзя! — говорит стюардесса.
— Это не баран! Это магарыч. Баран в Москве, в институте учится.

О чем думают женщины, глядя в потолок?
Любовница:
— Придет — не придет?
Проститутка:
— Заплатит — не заплатит?

Жена:
– Побелит – не побелит?

Дважды порезав клиента, парикмахер спрашивает у него:
– А вы раньше никогда у нас не были?
– Нет. Руку я потерял на войне.
Андрей Тимофеев, г. Воронеж

Студент своей девушке
– Дорогая, хочешь, я прокачу тебя на большой машине с мощным мотором?
– Хочу.
– Тогда пойдем на автобусную остановку.

В гостях.
– Вы руки мыли с мылом?
– С мылом.
– Тогда чай будете пить без сахара.

В общежитии перед стипендией на кроватях лежат два студента.
– Вась, а Вась, ты за какое время эту комнату переползешь?
– Ну, часа за два, а может, за три.
– Ты что, Вася, реактивный, что ли?

Студент с девушкой гуляют по городу, видят, продают пирожки.
Девушка:
— Вася, купи мне пирожок.
Они подходят к продавщице.
Студент:
— У вас пирожки с вермишелью есть?

— Нет.

Студент:

— Ну вот видишь, нет твоих любимых.

К парню в темном переулке подошли два хулигана.

— Эй, парень, снимай куртку.

— Да она, ребята, рваная и без подкладки.

— Ну-ка, Лысый, проверь.

— Точно, без подкладки.

— Тогда снимай кроссовки.

— Да они же без подошвы.

— Лысый, проверь.

— Действительно, без подошвы.

— А ты кто вообще такой?

— Студент.

— А! Лысый, дай ему пять рублей.

Андрей Азанов, г. Пермь

— Папа, почему бабушка по огороду зигзагами бегает?

— Кому бабушка, а кому и теща. Подай, сынок, новую обойму.

Над джунглями потерпел аварию лайнер. Туземцы взяли в плен оставшихся в живых француза, немца, американца и русского. Вождь постановил:

— Каждый высказывает последнее желание, выполним — съедим, не выполним — отпустим.

Француз попросил бутылку французского коньяка и 18-летнюю непорочную француженку. Через три дня доставили желаемое. Выпил француз, провел ночь, наутро его съели.

Немец попросил сосисок и холодного баварского пива. Через два дня закусил пиво сосисками, и его съели.

Настала очередь русского:

— Пните мне пару раз, и хватит.

Разбежался самый здоровый туземец, пнул. Русский встал, отряхнулся, достал из-под пиджака автомат и перестрелял всех туземцев

Американец:

— Иван, ты почему раньше не стрелял, француз с немцем живы бы остались?

— А мы, русские, народ мирный, пока нас не тронут, и мы никого не трогаем

— Василь Иваныч, брось топор!

— Лови, Петька. Чего молчишь, поймал?

Встречаются два мужика на том свете

— Ты как умер?

— Замерз, а ты как?

— От смеха умер

— Это как?

— Был я у любовницы, звонок в дверь, муж пришел. Я в панику. А она ему в дверь мусорное ведро подала, пока он ходил, я спокойно оделся и ушел. Прихожу домой, звоню, а жена мне в дверь ведро протягивает. Я все понял, ворвался в квартиру, везде все перерыл, а никого не нашел. Сел на диван, смеялся, смеялся, от смеха и умер.

— Дурак, заглянул бы в холодильник, оба бы жили.

Освободился зэк, завязать решил, а профессии нет. Приехал в отдаленный колхоз, приходит к председателю.

— Возьми на работу, я скотский язык понимаю. Переводить тебе буду.

— Пойдем, проверим, может, врешь.

Пришли в свинарник. Там свинья и десять поросят. Она их пятаком тыкает и хрюкает.

— Ну, что она хрюкает?

— Да вот, родила двенадцать, осталось десять.

Позвали сторожа.

— Сколько родила?

— Десять.

— Не ври, сколько?

— Двенадцать. Одного я взял, одного — зоотехник.

Пошли на ферму. Там корова мычит, заливается.

— Чего она орет?

— Доярка торопилась, три литра не выдоила.

Пришла доярка, надоила ровно три литра.

— Молодец,— говорит председатель.— Нужный человек в хозяйстве. Пойдем пока ко мне. Выпьем, переночуешь.

Подошли к председательскому дому, открывают ворота, а навстречу коза бежит и блеет.

— Не слушай ее, не слушай, было два раза, да и то по пьянке.

Учебная рота танкового полка
Сержант:
— Иванов, под танк, поднимай.
Залез, пытается поднять.
— Не могу, товарищ сержант.
— Сидоров, под танк, помогай.
Вдвоем поднимают, не получается.
— Не можем, товарищ сержант.
— Отделение, под танк.
Залезли, мучаются.

— Не можем, товарищ сержант.
— А что вы хотите, сорок тонн.

Сидит мужик на берегу реки, рыбачит. Подходит к нему медведь.
— Мужик, ты мед есть будешь?
Все, думает мужик, если откажусь, обидится и съест.
— Буду.
— Когда будешь, позовешь.
Евгений Тарасов, Свердловская обл.

Во Внукове приземлился самолет рейсом Кишинев — Москва. Пассажиры сходят с трапа. У одного сваливаются штаны, он их подхватывает и говорит:
— Задолбал Аэрофлот, то застегните ремни, то расстегните...

Комиссия принимает новый жилой дом. Проверяют звукопроводность. Два члена комиссии переговариваются через стены соседних квартир. Один кричит другому:
— Ты меня слышишь?
— Я тебя вижу!..

Приходит пьяный летчик домой. Стучит в дверь. Жена спрашивает:
— Кто там?
— Ил-62 просит посадки.
— Не пущу, ты пьян...
Муж:
— Тогда я полетел на запасной аэродром.
Утром приходит, стучит в дверь.
— Кто там?

— Ил-62 просит посадки.
— Вам придется подождать, еще не взлетел Як-40.

Утро. В комнате лежат мужчина и женщина. Первой просыпается женщина, медленным взглядом обводит комнату и произносит: «Да, и комната у тебя тоже маленькая!..»

Две обезьяны раскручивают атомную бомбу
— А если рванет? — спрашивает одна.
— Ерунда, у меня вторая есть!

Завели немец, англичанин и русский разговор о мясе.
Немец.
— У нас скотину убивают электрическим током, чтобы она не боялась, а то мясо может горчить.
Англичанин:
— А у нас ей сначала дают вкусно поесть и послушать Баха — от этого ее мясо становится вкусней.
Русский:
— А у нас, черт его знает. Приходишь в магазин, а там кости, копыта, хвосты... Взрывают, наверное...

Сидят двое нищих. Перед каждым шляпа и надпись.
У одного: «Подайте белному еврею», у второго: «Подайте бедному арабу»
Шляпа первого пуста, а в шляпе второго — куча денег.
Прохожий подходит к еврею, кидает рубль и говорит:
— Слушай, смени надпись! Иначе сегодня останешься голодным.

Когда прохожий ушел, еврей повернулся к своему коллеге:

— Ты понял, Изя? Этот человек будет учить нас с тобой коммерции!

В переднюю дверь забитого людьми автобуса входит девушка.

Ей один пассажир говорит:

— Вы почему входите в переднюю дверь?

— А я беременная.

— Что-то не видно!

— А вы хотите, чтобы через полчаса заметно было?!

Едет Брежнев на машине, смотрит — памятник стоит.

Он остановил машину и спрашивает

— А кому это памятник?

— Чехову.

— А, знаю, это тот, кто «Муму» написал.

— Нет. «Муму» Тургенев написал.

— Странно. Значит, «Муму» Тургенев написал, а памятник Чехову поставили

Идет 27-й съезд КПСС. Выступает Горбачев:

— Товарищи! В эпоху перестройки мы будем жить еще лучше, чем жили!

— А мы? — раздается голос из зала.

— А вы кто такой? — в свою очередь, спрашивает Горбачев.

— Я Ельцин, член ЦК.

— Тогда вы тоже.

Что такое порнография?

Это когда думаешь, что знаешь все, и вдруг — та-ко-е...

Абрам пытается перейти границу. Вдруг раздается голос пограничника:

— Стой! Кто идет?

— Ша! Уже никто никуда не идет.

Экскурсия в Одессе, экскурсовод рассказывает:

— Перед вами памятник неизвестному еврейскому матросу Рабиновичу Абраму Исааковичу.

Один из экскурсантов спрашивает:

— Почему же неизвестному, если известны его имя и фамилия?

— А неизвестно, был ли он матросом.

— Жена, сегодня воскресенье, могут прийти гости. Ты бы пошла, помыла бы шею.

— А если гости не придут, я так и буду, как дура, с мытой шеей сидеть?

— Алло! «Скорая»? У нас тут каток наехал на человека.

— Где это произошло?

— Красноармейская 25, 26, 27...

Генерал в постели со своей молодой женой. Жена, ласкаясь и прижимаясь к мужу:

— Милый, ты знаешь, я, кажется, беременна...

— А я нет! Ха-ха-ха!

Наркоман идет по городу и тащит за собой нитку. Его спрашивают:

— Чего ты ее тащишь за собой?

— А что, мне ее впереди себя толкать?

В школе.

— Вовочка, как используют куриный пух?

— Не знаю.
— Ну а на чем ты спишь?
— На полу.
— А на что голову кладешь?
— На валенок.
— А на чем родители спят?
— На полу.
— А на что головы кладут?
— На валенки.
— А на чем бабушка спит?
— На печке.
— А на что голову кладет?
— На подушку.
— Ну а в подушке-то, чей пух?
— А в подушке валенок.

Летят Петька с Василием Ивановичем в самолете. Вдруг самолет начинает терять высоту
— Петька, приборы?!
— Триста, Василий Иванович!
— Что — «триста»?
— А что — «приборы»?

— Абрам, где ты достал себе такой костюм?
— В Париже.
— А это далеко от Бердичева?
— Ну, примерно, две тысячи километров будет.
— Подумать только! Такая глушь, а так шьют хорошо!

Спрашивают русского:
— Ты любишь свою Родину?
— Люблю!
— Умрешь за нее?
— Умру!

Спрашивают еврея:
— Ты любишь свою Родину?
— Люблю!
— А сможешь за нее умереть?
— А кто же тогда будет Родину любить?

Врач слушает пациента
— Дышите! Не дышите! Дышите! Не дышите! Не дышите! Не дышите!. Выносите! Следующий!

Приходит больной к хирургу и говорит.
— Доктор, у меня болит живот.
— Сейчас отрежем вам уши, — говорит хирург.
Испугался пациент, побежал к терапевту, жалуется: так, мол, и так, хирург вместо того, чтобы пощупать живот, решил отрезать уши...
— Ах, эти хирурги! — вздохнул терапевт.— Им бы только резать! Ничего, сейчас мы вам выпишем таблеточку, да такую, что уши у вас сами отвалятся...
С. Бобровский, г. Кизляр

Девушка в магазине выбирает подарок для своего приятеля и просит совета у продавца
— А чем он занимается? — спрашивает тот.
— Он поэт.
— Просто не знаю, что вам и посоветовать. Может, возьмете вот эту корзину для бумаг?

— Приходите завтра к нам на ужин с женой.
— К сожалению, завтра я не смогу.
— О, это очень любезно с вашей стороны.

— Мадам Дюпон, это правда, что ваш муж находится в сумасшедшем доме?

— Правд
детектива.
полеонов,
стоящий.

— Посмот
— Да вед
— Ах, как

Пришли р
Святой Петр
— У тебя
— Да
— Значит,
А еврей, по
— А у тебя
Петр
- Ах, ле
- Ну в
такого и д

Студент
говорит
— Да, моло
стыня
— В таком с
бавить, что в л
дый верблюд

Горбатый зво
— Я нашел те
театре.
— Оп-пять т
лелся зайка и ре
тому и сказал:

— Правда. Но не в качестве пациента, а в качестве детектива. Дело в том, что там содержатся пять Наполеонов, а он должен установить, кто из них настоящий.

— Посмотри, какие кривые ноги у этого парня.
— Да ведь это мой жених.
— Ах, как ему это идет!

Пришли русский и еврей на суд к святому Петру. Святой Петр спрашивает у русского:
— У тебя теща была?
— Да
— Значит, пойдешь в рай
А еврей, подслушав, решил схитрить
— А у тебя была теща? — спрашивает его святой Петр.
— Аж две.
— Ну в таком случае отправляйся в ад Тебе после такого и ад раем покажется

Студент завалился на экзамене. Профессор ему и говорит:
— Да, молодой человек, у вас не голова, а пустыня.
— В таком случае,— отвечает студент,— я хочу добавить, что в любой пустыне есть оазис, но не каждый верблюд его находит.

Горбатый звонит заике:
— Я нашел тебе подходящую работу, суфлером в театре.
— Ол-пять т-ты меня п-прикалываешь,— обиделся заика и решил отплатить. Он позвонил горбатому и сказал:

— Т-ты п-помнишь, к-как мы с тобой в п-прошлом г-году ф-фотографировались? П-приди забери с-свою фотографию, а то альбом н-не закрывается.

Жанна Нанаенко, г. Воронеж

Чукча сыну:

— И в кого ты уродился такой бестолковый? — А сам стучит пальцем по столу.

— Папа, кто-то пришел,— говорит сын, привставая.

— Сиди, я сам открою.

В трамвай входит мужик и говорит:

— Дайте сесть человеку с аквариумом.

Пионер уступает место и удивленно спрашивает:

— Дядя, а где же аквариум?

Мужик, поглаживая себя по животу:

— Две кружки пива, три селедки.

На берегу реки — скамейка. На ней деревенская парочка. На другом берегу, тоже скамейка, но на ней парочка городских. «Вань, а Вань, гляди, городские обнимаются...» Ваня молчит. «Вань, а Вань, городские-то уже целуются...» Ваня молчит. «Вань, а Вань, ну сделай хоть что-нибудь!» — «Хочешь, руки сломаю?»

Разговор двух мужчин во дворе дома.

— Слушай, Иван, не нравится мне, что ты ходишь к моей бабе.

— Не пойму я вас, Петровых! Одному не нравится, другой нравится.

В поликлинику вечером вбегает человек с вилкой в животе, кидается в кабинет к хирургу.

— Доктор, доктор, помогите!

— Нет-нет, уже без двух минут семь. У меня рабочий день кончился, завтра приходите.

— Ну, доктор, умоляю, сделайте хоть что-нибудь!

— Ладно,— говорит хирург, выдергивает вилку из живота и втыкает в глаз:

— Идите к окулисту, он до восьми.

Генерал зовет денщика:

— Ванька, я сегодня в благородном обществе буду, расскажи мне какую-нибудь загадку.

— Ваше превосходительство, что такое: два конца, два кольца, а посередине гвоздик?

— Хм, наверное, попа!

— Ну что вы, Ваше превосходительство, это ножницы!

— Ха, действительно ножницы. Ну еще чего-нибудь давай.

— Что такое: без окон, без дверей, полна горница людей?

— Ну это точно попа!

— Ну что вы, господин генерал, это же просто огурец.

— Ха, огурец — здорово!

Вечером генерал пришел на бал в императорский дворец:

— Господа, хотите я загадаю вам отличную загадку? Что такое: без окон, без дверей, полна попа огурцов?

Все остолбенело молчат. Генерал, давясь от смеха:

— Да это же ножницы, господа!

Сидит мужик, рыбу ловит. Рядом Бобик зубами блох выкусывает, лапой в ухе скребет. Вышла из-за кустов лошадь, подошла к мужику и спрашивает:

— Ну что, клюет рыбка-то?

— Да нет, не клюет что-то.

— Ну ладно, Бог в помощь,— говорит лошадь и снова в кусты ушла.

Сидит мужик дальше, вдруг как подскочит:

— Елки-палки! Лошадь говорящая!!!

— И не говори-ка, я сам удивился,— отвечает Бобик.

Надеюсь, что было смешно...
Сергей Лагуткин, 17 лет, Кустанай

Один мужчина попал в тюрьму. Его повели в камеру к уголовникам. Он в ужасе попросился в другую камеру.

Повели в камеру к наркоманам. Еще в большем ужасе попросился в другую.

Привели в камеру, где сидел старик.

Дверь камеры закрылась, и мужчина спрашивает старика: «За что же ты сидишь, дедушка?» — «За людоедство, сынок, за людоедство»,— отвечает тот

Заяц купил мотоцикл. Едет, а навстречу медведь. «Где взял?» — спрашивает. «Купил, пить меньше надо»,— отвечает заяц.

Вот заяц купил машину. Едет, и опять медведь спрашивает: «Где взял?» — «Купил,— отвечает заяц,— пить меньше надо».

А в один прекрасный день видит, медведь на самолете летит. «Где взял?» — спрашивает заяц. «Ку-

пил»,— отвечает медведь. «А где деньги взял?» — удивляется заяц. «Да бутылки сдал»,— отвечает мишка.

В сумасшедшем доме приходит пациент к профессору с жалобой. «Дорогой профессор,— говорит,— уберите одного дурака из нашей палаты. Как ночь наступает, он ночной горшок на голову и кричит, что он торшер».— «Ну, а вам-то что?» — говорит профессор. «А я при свете спать не могу!» — отвечает пациент.

Старенькая бабушка приходит к молодому доктору. «Совсем, сынок, не могу ходить,— говорит,— все болит».

«Нагнись-ка, бабушка,— говорит доктор,— пройдись. Болит?» — спрашивает доктор. «Болит»,— отвечает бабушка.

И так несколько раз, пока бабка совсем не согнулась к земле. «А так, бабуся, болит?» — «Нет».— «Вот так, бабуся, и ходи»,— посоветовал доктор.

Приезжий лектор в самом большом чуме читает лекцию. А в конце восклицает: «Советская власть открыла нам глаза!» А маленький чукча встает со скамейки и говорит: «И нам сють, сють!»

Галина Пономарева, Иркутская обл.

Приехал чукча домой из Москвы. Собралась в яранге вся его родня и спрашивает:

— Что ты там видел?

— О-о-о... Помидоры!

— А что это?

— Красное-красное, вкусное-вкусное...

— А ты ел?
— Не-е, голова в банку не пролезла.

Корова лезет на дерево. Ворона спрашивает:
— Ты куда?
— Яблоки кушать.
— Ты что, с ума сошла? Это береза!
— А у меня с собой.

Лежит пьяный в луже. Подходит к нему милиционер.
— Ты чего разлегся?
— Товарищ, не ругайтесь!
— Гусь свинье не товарищ!
— Понял, отлетаю.

Сколько нужно милиционеров, чтобы вкрутить лампочку?
— Девять. Один стоит на столе и держит лампочку. Четверо держат стол и ходят по ходу вкручивания. А еще четверо ходят в противоположную сторону, чтобы у тех голова не закружилась.

— Вовочка! Не грызи ногти! И вообще — отойди от покойника.

Контролер подходит к мужчине в автобусе:
— Ваш билет!
А тот ему в ответ:
— Я Шварценеггер!
Контролер:
— Ну и что? Ваш билет!
Шварценеггер вытаскивает железный рубль, кладет его в компостер и компостирует.

Контролер надрывает рубль:
— Давно бы так!
Елена Лопотова, г. Сыктывкар

Младенец говорит:
— Мама, приготовь вторую грудь, ко мне друзья придут.

Стоит чукча на боевом посту. Какой-то человек появляется из темноты. Чукча:
— Стой, стрелять буду!
Человек:
— Стою.
Чукча:
— Стреляю.

Два хохла лежат в окопе. Один ранен, стонет:
— Мыкола, пристрели меня, немцы придут, мучить будут.
— Не могу, патронов нет.
— Так я ж тебе продам!

Захватило ЦРУ трех советских курсантов. Следователи прибегли к самым изощренным методам допроса, но курсанты ничего не сказали. Тогда двоих расстреляли, а третьему дали ночь на размышление. Приходят утром за ним и видят: сидит он, головой о стенку бьется и бормочет: «Говорили дураку: учи, учи...»

Два англичанина стоят у писсуара. Один собирается выходить. Другой говорит ему:
— Вы знаете, сэр, нас в Кембридже учили, что после туалета следует мыть руки.

— Вы правы, сэр, но я окончил Оксфорд, а там нас учили не мочиться на пальцы.
Николай Шишкин, г. Тюмень

— Просто удивляюсь,— говорит муж своей болтливой жене,— как это ты ухитрилась закончить разговор за 20 минут! Что случилось с гобой?
— Да набрала неправильный номер!

— Я же сказала, что ты можешь выпить не более двух кружек пива и возвратиться домой не позже десяти часов!
— Значит, я снова все перепутал!

— Сколько детей вы хотели бы иметь?
— Четверых.
— А как насчет пятого?
— Ой! Ни в коем случае! Я где-то читала, что каждый пятый рождающийся на Земле ребенок-китаец...

— Я не очень высокого мнения о слонах,— сказала одна муха другой.
— А почему?
— Они не могут бегать по потолку.

Муж опять приходит домой пьяным. Жена отвешиваст ему оплеуху и строго спрашиваст:
— Скажи, булешь еще пить водку?
Муж молчит. Жена отвешивает ему следующую оплеуху:
— Отвечай! Будешь еще пить?
— Ну, хорошо,— наконец отвечает муж,— наливай!

Осмотрев больную, врач озабоченно говорит ее мужу:

— Ваша жена мне не нравится.

Муж вздыхает:

— Мне тоже, доктор.

— Ах, соседка, ваш сыночек — вылитый отец!

— Правда? А некоторым кажется, что он похож на моего мужа.

— Вот уже час, как мы заказали ужин! Сколько же еще ждать?!

— Максимум десять минут. Потом мы закрыва-

В детской колясочке рядом с ребенком лежат газеты.

— О, какой удивительный малыш! — восторгается прохожая старушка. — Он уже читает газеты?

— Что вы! Он ведь не вундеркинд,— возражает мать ребенка.— Он пока только решает кроссворды.

Опытный кинорежиссер наставляет начинающую актрису:

— Через год нашего сотрудничества у нас будет «Оскар»!

— А если это будет девочка?

Николай Цекатунов, 19 лет, Хабаровск

Геологи застряли в распадке (в тундре) на машине и никак не могут выехать. Наверху стоит чукча и говорит: «Дадите бутылку, скажу, как выехать.» Геологи: «Да пошел ты!» Чукча снова предлагает, его снова посылают. Часа два проходит, геологи посо-

ветовались: «Давай дадим ему бутылку, может, правда подскажет».— «Ладно,— говорят,— дадим тебе бутылку, говори, как выехать». Чукча: «Однако трактор нужен».

Идет чукча по перрону вдоль состава и бьет головой в каждый вагон. Его спрашивают: «Что ты бьешься головой в каждый вагон?» Чукча отвечает: «Да купил билет в мягкий вагон, вот и ищу его».

Сидит старый дед, рыбак, рыбу ловит на берегу реки. Идет другой рыбак:

— Дед, рыба есть?

Дед отвечает:

— А куда ей, на хрен, деться?

Сидит рыбак часа четыре, а рыба не клюет. Он снова спрашивает:

— Дед, а рыбы-то нет?

Дед отвечает.

— А откуда ей, на хрен, взяться?

Он просто сидел и думал о жизни

Е. Зуенко, Тульская обл.

— Жора, а почему ты такой желтый?

— Да моча в голову ударила.

— А почему синяк под глазом?

— А ты чё думал, горшок мимо пролетел?

Вернувшись домой после бриджа, жена застала мужа за пришиванием пуговицы.

— У тебя наперсток не на том пальце.

— Конечно. Он должен быть на твоем,— обозлился муж.

Едут в поезд
кричит отцу: «
зал на месте и
чтобы он мен
еще разговари
Наталья, г. Кр

Мальчишка
ках. Отец его
— Безобраз
дед носил их
тебе.

Мужчина пр
Сверху со сви
застывает. В
упал. Из-за не
— Испугалс

Автоинспек
на «Волге».
— Ваши пра
— Пожалуйс
— Дорогой,
летом Ту-134!
— Чего при
пил.

Один прохо
— Извините
— Нет,— отв
— Тогда по
шнурки на бо

Едут в поезде два хохла, отец и сын, и негр. Сын кричит отцу: «Батько, глянь — обезьяна!» Негр заерзал на месте и говорит отцу: «Скажите своему сыну, чтобы он меня не оскорблял».— «Батько, да она же еще разговаривает!»— закричал сын.

Наталья, г. Красноярск

Мальчишка пришел домой в разорванных брюках. Отец его отчитывает:

— Безобразие! Я носил эти брюки 15 лет, твой дед носил их 10 лет, а ты только надел их — на́ тебе.

Мужчина проходит мимо девятиэтажного дома. Сверху со свистом падает рояль. Мужчина в ужасе застывает. В трех сантиметрах от головы рояль упал. Из-за него появляется веселая рожа:

— Испугался? Щелбан за испуг. Витя́, поднимай!

Автоинспектор останавливает грузина, едущего на «Волге».

— Ваши права?

— Пожалуйста.

— Дорогой, так это же права на управление самолетом Ту-134!

— Чего придираешься? Какие были, такие и купил.

Один прохожий обращается на улице к другому:

— Извините, вы непьющий?

— Нет,— отвечает тот удивленно.

— Тогда подержите этот коньяк, пока я завяжу шнурки на ботинках.

Арнольд Шварценеггер у любовницы. Звонок в дверь. Любовница:

— Муж пришел!

Шварценеггер прячется в шкаф. Муж врывается разъяренный, с криком: «Я чувствую, что у тебя кто-то есть!» Распахивает шкафы. Наконец открывает шкаф, где прячется Шварценеггер. Арнольд:

— Ну что, нашел?

Муж, прикрывая дверцу:

— Нет, пойду еще на кухне посмотрю.

— Я не могу жить с такой занудой,— объясняет в суде на бракоразводном процессе муж.— Представьте себе, сажусь я у телевизору, чтобы посмотреть первомайскую демонстрацию, а она стоит рядом и зудит: «Когда елку уберешь? Когда елку уберешь?»

Из дневника дамы, путешествующей на корабле по Атлантическому океану

«Понедельник. Проходя мимо меня, капитан ласково мне улыбнулся.

Вторник. Утром капитан пригласил меня на капитанский мостик.

Среда. Сегодня капитан сделал мне неприличное предложение.

Четверг. Капитан грозит, что потопит корабль, если я не уступлю его домогательствам.

Пятница. Как я счастлива! Этой ночью мне удалось спасти от верной гибели 400 пассажиров...»

Ввели четвертую программу. В первый же день гражданин сел к телевизору, включил первый канал и увидел, что выступает Брежнев. Переключил на вторую программу — то же самое. На третью — опять Брежнев.

Переключил
грозит палы

Пришел м
шадь, самая
— Шлыш
— Да ты ж
— Поштас
Стало жал
бег, а его ло
чит. Расстро
— Эх, ты,
— Ну, не
Татьяна Ма

Один прия
— Моя жен
— Не знаю
тебе.

Два мальч
— Мой оте
— А мой у
— А мой д
— Зато мо

Супруга, гл
— Дождь и
Муж, не от
— Скажи, ч

Юноша каж
вушке, несмо
он встретился

Переключил на четвертую. Там сидит полковник КГБ и грозит пальцем: «Допереключаешься».

Пришел мужик на бега. И тут подходит к нему лошадь, самая старая, беззубая, и говорит ему:
– Шлышь, мужик, поштафь на меня.
– Да ты же старая, все равно первая не придешь.
– Поштафь, я поштараюсь, ну поштафь, а?
Стало жалко ему лошадь, поставил. Кончился забег, а его лошадь самая последняя, еле ноги волочит. Расстроился мужик и говорит:
– Эх, ты, а я надеялся на тебя.
– Ну, не шмогла я, не шмогла

Татьяна Малинина, г. Йошкар-Ола

Один приятель жалуется другому:
– Моя жена абсолютно меня не понимает. А твоя?
– Не знаю. Мы с ней еще ни разу не говорили о тебе.

Два мальчика хвастают друг перед другом:
– Мой отец богаче твоего!
– А мой умнее!
– А мой дал взаймы твоему кучу денег!
– Зато мой их никогда не отдаст!

Супруга, глядя в окно, задумчиво говорит:
– Дождь идет...
Муж, не отрываясь от газеты:
– Скажи, что меня нет дома.

Юноша каждый день приходит к любимой девушке, несмотря на запрет ее родителей. Однажды он встретился с ее отцом.

— А вы кто такой? — грозно спросил тот.
— Я... я ее брат,— пролепетал юноша.

Дама пожаловалась одному ученому, что у нее нет детей.

— Может быть, это наследственное,— сказал ученый.— Скажите, у вашей матери были дети?

— Какие у вас красивые зубы!
— Это наследство моей матери.
— Как здорово, что они вам подошли.

В ресторане:
— Безобразие, от этого шницеля пахнет алкоголем!
— А теперь, мадам? — спрашивает официант, отойдя на два шага.

— Первые два-три дня туфли будут немного жать,— предупреждает продавец покупательницу.
— Ничего страшного,— отвечает она,— я надену их только на будущей неделе...
Татьяна Гребенюкова, г. Краснотурьинск

Женщина-врач с простуженным горлом тихо говорит вошедшему пациенту:
— Раздевайтесь.
— А вы?..— тихо спрашивает вошедший.

— Поздравляю, Иван Михайлович, с квартирой! Девятый этаж, две лоджии, скоростной лифт...
— Чтоб он сгорел! Часто поднимаюсь пешком!
— Бездействует?
— Нет, работает как часы. Но инструкция...
— Ну и что?

– А то, что в ней напечатано: «Только на четыре человека», и каждый раз приходится ждать еще троих.

– Ты знаешь, Маша, мне давно кажется, что муж меня не любит.
– Почему ты так думаешь?
– Второй год он не появляется дома!

Во время урока Вовочка послал учительнице записку: «Вера Павловна, я вас люблю». После урока она вызывает его и говорит: «Должна тебе признаться, я не люблю маленьких детей, Вовочка». – «Да вы не волнуйтесь, детей у нас не будет»,– отвечает он.

За границей Петька с Василием Ивановичем приобрели два авиационных двигателя. Долго думали, куда их прикрепить, и решили – на ворота. Взлетели. Летят... Их заметил вражеский истребитель, передает своим по рации: «Вижу самолет неизвестной конструкции, открываю огонь!» Стрелял, стрелял – мимо. Начал его таранить. Раз, другой, все не получается. Заходит третий раз. Тут высовывается Петька:

– Василий Иванович, да рубани ты его шашкой, я уже замучился ворота открывать!

Муж приезжает домой из командировки, находит в шкафу голого мужчину и начинает было возмущаться, его перебивает жена:
– Ну-ну, не очень-то! А помнишь, в прошлом году у нас появилась новая мебель? То-то!
– Но! – пытается оборвать ее муж.
– Не слишком-то! А помнишь, полгода назад у нас появилась новая машина? Как ты думаешь, откуда?

— Я! — старается сказать муж.

— Потише! А помнишь, недавно у меня появилась шуба? — продолжает жена.

Наконец муж, воспользовавшись паузой, логодаривает:

— Я спрашиваю, почему наш благодетель до сих пор стоит босиком на холодном полу?!

Мюллер проводит проверку своих сотрудников. Вызывает офицера:

— Назовите любое двузначное число.

— 27.

— А может быть, 72?

— Наверно...

Мюллер пишет в личном деле «Ненадежен». Вызывает другого:

— Назовите любое двузначное число.

— 52.

— А может быть, 25?

— Нет, 52.

— Вы подумайте.

— Подумал, 52.

«Надежен, на провокации не поддается»,— записывает Мюллер.

Затем заходит третий. Мюллер, не отрываясь от бумаг:

— Назовите любое двузначное число.

— 33.

— А, это вы, Штирлиц, идите и не мешайте работать!

Марина Игнатова, г. Воронеж

Жена входит в ванную и говорит бреющемуся мужу:

— Ну и перебрал же ты сегодня ночью!

– Что ты, дорогая, я в порядке.

– Если бы ты был в порядке, то не брил бы сейчас зеркало!

Из морга звонят по телефону в местный магазин «Спортовары»:

– Скажите, сколько мотоциклов «Ява» вы сегодня продали?

– Всего 50,– отвечают оттуда.

– Ясненько. Значит, трое еще ездят по городу.

– Когда вы заметили, что у вас угнали машину?

– Вчера вечером. Вышел из ресторана, открыл дверцу, сел за руль, хочу тронуться, а машины нет.

– Наш прекрасный дом погиб только благодаря спиртному!

– В самом деле?

– Да, взорвался самогонный аппарат!

Соревнование по плаванию среди инвалидов. Кто без руки, кто без ноги, а на последней дорожке одна голова.

Дали старт, все поплыли, а голова пошла ко дну. Вытащили ее, откачали, голова открыла глаза и говорит:

– Я пять лет училась ушами грести, а эти козлы мне резиновую шапочку натянули

Фотограф говорит клиенту:

– Вам не кажется, что фотография получится естественной, если ваш сын положит свою руку вам на плечо?

– Будет гораздо естественнее, если он сунет руку в карман, где я храню бумажник!

Обвиняемый приговорен к расстрелу.

Надзиратель:

— Мы выполним три ваших последних желания. Что вы хотите?

— Первое — хочу выпить бутылку коньяку, второе — вкусно пообедать и третье — похоронить меня рядом с Горбачевым.

— Так он еще жив!

— Ничего, я подожду.

Елена Зиновьева, г. Шуя Ивановской обл.

В кинотеатре идет итальянский фильм, на переднем плане лежит разгневанная женщина. На заднем плане раскрасневшийся мужчина быстро одевается. Итальянка кричит на итальянском мужчине

— Кастрато!.. Импотенто!

Переводчик:

— Уходи, я тебя больше не люблю!

В больничную палату входит человек в белом, с чемоданчиком, и со всех сторон осматривает больного, лежащего там.

Больной:

— Доктор, я жить-то буду?

— Я не доктор, я плотник.

По пустыне идут двое: один тащит телефонную будку, другой — трубу. Тот, что с трубой, спрашивает:

— Зачем тебе телефонная будка?

— А вот вылезет из песков какая-нибудь гадина, я спрячусь в будку, она меня не достанет. А тебе зачем труба?

— А вот вылезет из песков какая-нибудь гадина, я трубу брошу, чтоб легче бежать было

к расстрелу.

их последних желаю

бутылку коньяку, вт
третье — похорон

вской обл.

кий фильм, на пер
ая женщина. На за
жчина быстро одева
льянском мужчине

облю!

человек в белом,
осматривает боль

щит телефонную
трубой, спраши

ибудь гадина, я
анет. А тебе за

ибудь гадина, я
ло.

Убили чукчи моржа. Взяли его за ласты и понесли в деревню. Идут, песню поют:

Мы смелые чукчи, убили моржа
И несем его в деревню,
А деревня все ближе и ближе.
(Вдалеке уже виднелись юрты.)
Встречают русского. Тот и говорит:

— Чукчи, вы так неудобно тащите моржа. Уже всю землю клыками испахали. Взяли бы лучше его за клыки и несли.

Послушались чукчи русского, взяли моржа за клыки и понесли. Идут поют.

Мы смелые чукчи убили моржа
И несем его в деревню.
Всей деревне хватит на всю зиму!
А деревня все дальше и дальше.

Приходит муж домой пьяный, в обнимку с любовницей. Жена открывает дверь. Муж быстро говорит жене:

— Тсс! Я сказал, что ты моя сестра!..

Светлана Белова, г. Березовский Свердловской обл.

— Эти брюки сидят на вас просто великолепно, мсье,— расплывается в восторженной улыбке продавщица.

— Да, спасибо, но все-таки кажется, что они немного жмут мне под мышками.

Ссорятся два лысых человека:

— А ты лысее меня!

— Но почему? Ни у тебя, ни у меня на голове ни единого волоса!

— Но у тебя голова больше моей.

Пьяный вваливается в фотоателье:

— Сн-н-нимите меня г-группой,— обращается г к фотографу.

— Пож-ж-жалуйста, – отвечает ему фотограф. только станьте полукругом.

— Как прошел спектакль?

— Дездомону играла новая актриса, и так бе дарно, что, когда Отелло начал душить ее, зал р разился аплодисментами

— В желчном пузыре у вас камни, в моче песок, а легких известь.

— Доктор, скажите, где у меня глина, и начн строиться!

Дюпон решил купить жене на Новый год веер. Придя в магазин, он увидел, что одни веера стоят 25 франков, а другие — всего 5

— Цена зависит от качества? — спросил он у продавца.

— Нет, от конструкции. Веером за 25 франков можно обмахиваться, а веер за 5 франков нужно держать перед собой и махать головой.

Официант:

— У нас здесь все по последнему слову техники, все блюда готовятся при помощи электричества.

Клиент:

— В таком случае, нельзя ли дать этому куску мяса добавочный электроток?

— Ты знаешь, как легче всего убить осу?

— Нет.

— Загони ее под шкаф и отпили у него ножки!

Судья укоряет бродягу:

– Почему вы такой неблагодарный? Эта старушка дала вам сдобную булочку, а вы камнем разбили ей стекло.

– Это был не камень, а та самая булка.

Умирает Черненко. У ворот чистилища его встречает Брежнев.

– Как вам тут живется, товарищ Брежнев?

– В аду я, товарищ Черненко.

– Ну и как вам там?

– Да тут, собственно, два ада. Ад капиталистический и ад социалистический

– А вы в каком?

– Я в социалистическом.

– Это что же, из-за патриотизма?

– При чем тут патриотизм? Просто тут легче, то они серу забыли привезти, то котельная на ремонте, то кочегар пьян...

Юля Лебедева, г. Тавда

Поручик Ржевский на балу танцует с Наташей Ростовой, через некоторое время извинился и вышел. Приходит на бал весь мокрый. Наташа спрашивает: «Что, поручик, дождь идет?» А поручик отвечает: «Нет, ветер».

Дама пригласила поздно ночью поручика Ржевского домой и предупредила: «Поручик, когда придете ко мне домой, снимайте сапоги, а то матушка не любит, когда стучат сапогами».

Вечером. Приходит поручик. И вдруг звуки шкрям, шкрям, шкрям. Дама удивленно смотрит на поручика и говорит: «Я же вам говорила, чтобы вы сняли сапоги».

Поручик: «Это не сапоги».
Дама: «А что?»
Поручик: «Когти-с, наверно».

Грузин хочет жениться на девушке. Девушка ста
ставит условия.
— Хочу, чтобы была квартира.
— Если любишь, будет тебе квартира.
— Хочу машину.
— Если любишь, будет тебе машина.
— Хочу, чтобы было не больше 30 см
— Если любишь, отрубишь, и будет не больше 30 см.

Чукча пригласил в гости своих друзей. Один ви
дит много-много детей и говорит:
— Что, чукча, детей любишь?
— Нет, мне сам процесс нравится.

Чукча приходит из армии. Видит — жена с ребен
ком.
— Жена, откуда у тебя ребенок? Меня ведь не было два года.
— А я на твое фото смотрела, смотрела — и вот что получилось.
Легли спать. Чукча просыпается.
— Жена, я не пойму. Я же на фото до пояса снят

Штирлиц и Мюллер. Мюллер говорит:
— Борман — русский.
— Откуда вы знаете, давайте его проверим.
Протянули веревку. Идет Борман, задел о веревку и упал, кричит:
— Мать вашу.
Мюллер:

— Ни хрена себе.
Штирлиц:
— Тише, тише, товарищи.
Неля Азизова, 18 лет, г. Астрахань

Один фермер в Висконсине отличался поразительным хладнокровием и флегматичностью. Через год после женитьбы он догнал свою жену на поле и совершил бурный акт любви. Спустя три года она вновь увидела, как он мчится по полю, и обрадованно раскрыла объятия:
— Сексуальная маньячка,— недовольно проворчал он.— У нас горит конюшня.

Одна подруга другой:
— Сейчас я расскажу тебе историю, от которой волосы встают дыбом.
— Расскажи ее своему лысому приятелю.

— Нет, нет, сэр! Чтобы купить мышьяк, нужен рецепт. Одной фотографии вашей тещи недостаточно!

В мединституте декан спрашивает у студента: «Какой орган увеличивается в 6 раз?» Студент покраснел, девушки — хи-хи-хи...
Декан: «Печень! А хи-хи-хи — только в два раза...»

Старушка в магазине спрашивает продавца:
— Что это у вас такие огурцы, желтые да скрюченные?
— На себя посмотри, старая!

Старушка прибежала на вокзал:
— Поезд давно ушел?
— Минут пять назад.
— Слава богу, я-то думала, что намного опоздала.

Холмс и Ватсон гуляют по долине. Внезапно раздались страшные крики. Ватсон спрашивает Холмса:

— Холмс, эти дикие звуки — это воет собака Баскервилей?

— Нет, Ватсон. Это сэра Генри кормят овсянкой.

Заседание Политбюро. Выступает Брежнев:

— Товарищи! У членов Политбюро развивается склероз. Вчера мы хоронили товарища... Кстати, где он? Когда заиграла музыка, один я догадался пригласить даму на танец...

Жена: «Мой муж умер через пять дней после женитьбы».

Доктор: «Слава богу! Ему не пришлось долго мучиться».

— Почему этот студент отвечает с закрытыми глазами?

— Чтобы не видеть, как преподаватель мучается.

Секретарша вводит в кабинет шефа молодого человека:

— Петр Васильевич, я привела к вам своего жениха, чтобы он убедился, что вы старый, толстый и больной.

Приходит чукча в магазин:
— У вас есть цветные телевизоры?

– Есть.
– Мне, пожалуйста, зеленый.

– Мадам, ваш муж лежит в мусорном контейнере.
– Да, моя домработница явно перестаралась – когда я уходила к портнихе, то сказала ей выкинуть из квартиры все ненужное.

Отец дочери:
– Мэри, почему ты не пригласила своего жениха, чтобы он познакомился со мной?
– Я пригласила его, но он сказал, что видел тебя несколько раз и все равно меня любит.

– Официант! Почему в супе червяк?
– А вы что, за 50 копеек змею хотели получить?

– Ты что, считаешь меня идиотом?
– Нет, но я мог и ошибаться.

Красивая девушка спросила у продавца цену плаща:
– Всего один поцелуй,– ответил продавец.
С девушкой была ее бабушка, которой она тут же сказала:
– Бабушка, прошу вас, расплатитесь.

Муж: «Надо срочно избавиться от моего шофера. Он уже чуть не убил меня семь раз».
Жена: «Ты жесток, дорогой. Дай ему еще один шанс».

– Что делать, профессор, все готово к операции, а пациента еще нет?
– Это ничего, начнем без него.

— Что такое Малый театр?
— Это Большой театр, вернувшийся с зарубежных гастролей.

— За что тебя уволили?
— За жалость.
— Не может быть.
— Точно. Утром взял с собой бутылку на работу. Выпил немного, а оставлять было жалко. Вот в обед и допил.

Штирлицу звонят из гестапо:
— Не заплатишь за электричество — отключим передатчик!

Врач: «Откуда вы взяли, что ваша жена мертва?»
Муж: «Я решил так потому, что она даже не пошевелилась, когда я ее пнул».

В купе поезда едут негр с обезьянкой и хохол. Хохол достает сало и отрезает кусок. Обезьяна протягивает лапу и хватает его.
Негр: «Микки, нельзя!»
Хохол отрезает второй кусок. Обезьяна вновь протягивает лапку...
Хохол: «Микола! Ты пошто тату не слухаешь...»

Заходит человек в рыбный магазин:
— У вас мяса нет?
— У нас рыбы нет. А мяса нет в магазине напротив.
Ю. Королева, г. Инта

Офицер спрашивает рядового:
— Почему сапоги не начищены?

– А это вас не касается.
– Что?!
Удар по физиономии.
– Почему сапоги не начищены?
– Гуталина нет.
– А меня это не касается!
– Я так сразу и сказал.

Петька и Василий Иванович лежат на берегу реки.
– Вот, Василий Иванович,– мечтательно говорит Петька,– закончится война, на этом берегу мы консерваторию построим.
– Правильно, Петька. И на этом берегу, и на том.
– Зачем же нам,– удивляется Петька,– две консерватории?
– Дурак ты, Петька. Очень уж я консервы уважаю.

Лежит Иван на берегу моря, жарко ему. Вдруг слышит он:
– Иван, хочешь пива холодного?
– Хочу,– говорит Иван и видит, пиво перед ним появилось. И слышит он опять голос:
– Иван, а хочешь дачу на берегу моря?
– Хочу,– говорит Иван.
Тут же дача на берегу откуда ни возьмись.
– А машину хочешь, Иван, «мерседес-бенц»?
– Хочу!
Появилась и машина. Спрашивает тогда Иван:
– А не золотая ли ты рыбка?
– Нет, Иван, я белая горячка.

Она: Ты напоминаешь мне океан...
Он: Ты хочешь сказать, что я необуздан и романтичен?
Она: Нет, просто меня от тебя тошнит...

Дедушку, приехавшего из деревни в гости, повели в театр на спектакль. Потом дома вечером его спрашивают.

— Ну что, дедушка, понравилось тебе в театре?

— Очень. Особенно в конце, когда раздавали пальто. Я взял себе три

— Держу пари, что мой сосед на этой неделе опять гнал самогон – говорит один житель деревушки другому

— С чего ты взял?

— Его крючки опять набили морду моей сторожевой собаке!

В магазине.

— Отрежьте мне, пожалуйста, вот этой ткани в горошек 50 метров. Так, а теперь нарежьте по полметра вдоль. Хорошо, а теперь вырежьте горошинки.

— Да вы что, сумасшедший?!

— Да. Вот справка.

На охоте:

— Почему же ты не стреляешь в этого зайца?

— Ты разве не видишь, как бежит?! Может, еще бешеный, ну его к черту!

Двое сослуживцев разговаривали в коридоре, когда мимо них прошла новая машинистка, молодая и красивая девушка. Проводив ее взглядом, один сказал:

— Ого, вот это красотка!

— Пятеро детей,— спокойно сказал другой.

— У нее?! Не может быть!

— У тебя.

Ларина Кошкарова, г. Новокузнецк

Чебурашка прибегает к крокодилу Гене и кричит:
– Гена, Гена, нам прислали посылку — десять апельсинов, по восемь штук каждому!
– Чебурашка, как по восемь штук каждому, их же всего десять?
– Не знаю, не знаю, Гена, а я свои восемь съел.

Петька забегает к Чапаеву и орет:
– Василий Иванович, белого привезли!
– Сколько ящиков?

Едет полный автобус. К выходу пробивается мужик.
– Мужики, пропустите, я с яйцами!
– Ну и что? Мы тоже
– Да не-с, я с куриными
– Мужики, пропустите этого калеку!

Девушка заглядывает к педиатру
– Простите, доктор, это я не у вас бюстгальтер забыла?
– Нет.
– А, ну, значит, у окулиста.

Молодой поручик Ржевский уехал учиться. Из дома ему приходит посылка: шарф, шерстяные носки и красная икра. Поручик пишет письмо домой: «Дорогая матушка, спасибо за шарф, носки — они очень мне пригодились, а вот клюкву я выкинул — она рыбой пахнет».

Муж с женой ложатся спать. Муж жену спрашивает:
– Сара, ты двери на замок закрыла?
– Да.

— А на цепочку?
— Да.
— А на второй замок?
— Да.
— А на щеколду?
— Да.
— А палкой двери подперла?
— Нет, забыла
— Ну вот, заходите, добрые люди, берите что хотите!

Мужчина спрашивает в автобусе девушку:
— Девушка, вы выходите?
— Выходят только замуж.
— Вы сходите?
— Сходят только с ума!
— А что же вы делаете?
— Я вылажу.
— С днем рождения вас, девушка!

Вовочка опоздал на урок. Пока учительница отвернулась к доске, он незаметно вошел в класс и сел за парту. Когда учительница повернулась и увидела Вовочку, то с негодованием воскликнула:
— Вова, выйди из класса и зайди так, как заходит твой папа.

Через минуту дверь с силой распахивается и в класс вразвалочку входит Вовочка:
— Ну что, суки, не ждали?

Два фальшивомонетчика напечатали купюры достоинством 13 рублей. Один пошел обменять эти деньги на другие. Вечером второй спрашивает:
— Ну что, разменял деньги?
— Конечно! Вот: по 6 и 7 рублей!
Света К., г. Ревда

На экзамене.

– Скажи, Роберт, сколько длилась Тридцатилетняя война?

– Не помню.

– Тогда скажи, сколько лет одиннадцатилетнему мальчику?

– Одиннадцать.

– Боже, как меняются времена! Моя мать все еще помнит, как отец первый раз поцеловал ее, а моя сестра уже забыла, как звали ее первого мужа!

– Вы объясняете ограбление продовольственного магазина тем, что были голодны. Но почему же вы не взяли никакого продовольствия, а обчистили кассу?

– Я гордый человек и привык всегда расплачиваться за еду!

Разговор двух секретарш:

– Страшное это изобретение – пишущая машинка!

– Почему?

– Когда не работаешь, всем сразу слышно!

Лежат на витрине два цыпленка – импортный и наш, и спорят. Импортный:

– У меня кожа розовая, я полный, чего ляжки стоят! А ты худой, весь синий!

– Зато ты не своей смертью умер!

Посетитель, пытающийся разрезать цыпленка, говорит официанту:

– Похоже, что это инкубаторский цыпленок.

– Почему вы так думаете? – спрашивает официант.

— Ни одно существо, имеющее мать, не могло бы стать настолько жестким!

— Папа, почему петухи кричат так рано?
— Чтобы их можно было услышать. Потом, когда проснутся куры, это будет уже невозможно.

Молоденькая девушка заходит в парфюмерный магазин и просит какие-нибудь хорошие духи.
— Пожалуйста! Вот прекрасные духи «Объятия».
— А эти?
— Эти называются «Тайны ночи», великолепный запах!
— А те вон?
— «Экстаз»
— Простите, а нет у вас чего-нибудь для начинающих?

Звонит телефон. Трубку поднимает отец трех дочерей. Не успел он открыть рот, как голос в трубке ласково спросил
— Это ты, моя лягушечка?
— Нет! — ответил отец — Это говорит владелец пруда.
З. Зайдуллина, г. Октябрьский

Карлсон залетел и ждет малыша.

Чем отличается французский студент от русского?
Французский студент всегда слегка пьян, до синевы выбрит, а русский наоборот.

Ленин спрашивает у Дзержинского:
— Феликс, у тебя ноги волосатые?

– Да.
– Так и запишем: валенки Дзержинскому на зиму не выдавать.

Студент-грузин пишет письмо родителям:
«Мама! Папа! Я стал уже почти настоящим студентом. Только все студенты ездят в институт на автобусе, а я на такси».
Ответ родителей: «Мы продадим немного апельсинов. Вышлем денег, купи, сынок, автобус».

Чукча роет яму. Проходящий мимо мужик спросил:
– Ты зачем яму роешь?
– Чтобы сфотографироваться по пояс.
Идет мужик обратно и спрашивает:
– А зачем тебе шесть ям?
– Хочу шесть фотографий

Ночью было холодно, и Штирлиц топил печь. Наутро она утонула.

– Почему чукчи не любят соленых помидоров?
– Голова в банку не пролезает.

Офицер повел новобранцев осматривать часть:
– Вот это у нас столовая. Что мы будем здесь делать?
– Кушать.
– Молодец! Кто сказал?
– Рядовой Сидоров.
– А это у нас спортзал. Чем мы будем здесь заниматься?
– Спортом.
– Кто сказал?

— Рядовой Иванов.
— Молодец! А это у нас учебный класс. А что мы здесь будем делать?
— Учиться, учиться и учиться...
— Кто сказал?
— Ленин.
— Молодец, рядовой Ленин!

Ирина Н., г. Арзамас

Звонок в милицию:
— У нас сосед чай с сахаром пьет!
— Ну и что?
— Так он ведь три ложки кладет!
— Выезжаем
Звонок в милицию в будущем:
— У нас сосед что-то ест!
— Срочно выезжаем!

Люба Семеновых, г. Печора

— Где лучше всего заниматься любовью с женщиной?
— Конечно, в подъезде! Если ты выше ее, можешь встать на ступеньку ниже, если ниже, то наоборот... Ну а если никак не получается, можно сказать: «Ой! Кто-то идет!»

Плывут два крокодила по Нилу. Один другому говорит:
— Ага! Американцы новую базу строят...
— Точно!
После паузы.
— А хорошая все-таки река Нил!
— Ага! Только Волга лучше!
— Так точно, товарищ майор!

По улице идет прохожий
ведет маленького мальчика
и говорит:
- Что вы делаете? Ему ж
- А! Ничего, дяденька.
игры, а он наш пленный
- Ну тогда другое дело...
сосочка свалится!
- Не свалится, дяденька
Гитлер!

Сережа Виноградов, Волгогр

Чукотское радио спраш
- От чего умер Мичури
- Сломал себе шею, уп

В Мавзолей зашел ино
Иностранец спрашивает,
- Кто этот усатый?
Грузин отвечает:
- Это наш великий учи
народов товарищ Сталин
- А этот, маленький,
орден на Ленина.
- Это его орден Ленин

В Музее Революции ст
мамы матери Сталина,
тяжело вздыхает:
- Ай, ай, ай! Надо
Сталина! И че

После по
его приду
- Мо

По улице идет прохожий и видит, как двое детей тащат маленького мальчика. Прохожий возмутился и говорит:

- Что вы делаете? Ему же больно!

- А! Ничего, дяденька. Это мы в войнушку играем, а он наш пленный.

- Ну тогда другое дело... Смотрите, у него сейчас шапочка свалится!

- Не свалится, дяденька! Мы ее гвоздиком прибили!

Сергей Виноградов, Волгоград

Армянское радио спрашивают.

- От чего умер Мичурин?

- Сломал себе шею, упав с клубники.

В Мавзолей зашел иностранец и с ним грузин. Иностранец спрашивает, указывая на Сталина:

- Кто этот усатый?

Грузин отвечает:

- Это наш великий учитель, гений всех времен и народов товарищ Сталин!

- А этот, маленький, рядом? – указывает иностранец на Ленина.

- Это его орден Ленина,– отвечает грузин.

В Музее Революции стоит посетитель перед портретом матери Сталина, качает головой и сокрушенно вздыхает:

- Ай, ай, ай! Надо же, такая на вид симпатичная женщина! И чего бы ей вовремя аборт не сделать?

После посещения Хрущевым свинофермы в газете придумывают подпись под фотографией.

- Может, «Товарищ Хрущев среди свиней»?

— Не то.
— Или «Свиньи вокруг товарища Хрущева»?
— Тоже плохо...
После выхода газеты под снимком была подпись. «Третий слева — товарищ Хрущев».

Из лесу выходят обросшие детины, обвешанные оружием, и останавливают подводу с колхозницей
— Бабка, немцы в деревне есть?
— Ой, милые! Почитай, сорок лет, как война кончилась!
— Вот черт! А мы до сих пор поезда под откос пускаем!

Воскрес Ленин, посмотрел, что творится вокруг, почитал газеты и новые книги и исчез. Нашли его на вокзале с чемоданчиком. Спросили:
— Куда вы, Владимир Ильич?
— В эмиграцию, батенька, в эмиграцию. Все надо делать с самого начала

Двое в дерьме. Одному, который повыше, дерьмо по плечи, а другому — до самых губ. Первый пытается выкарабкаться, а второй кричит. «Не гони волну!»

Ревнивая жена устраивает мужу скандалы из-за каждого волоска, обнаруженного на его пиджаке. Как-то раз она не сумела обнаружить ничего.
— Вот мерзавец! — набрасывается она на мужа.— Ты не брезгуешь даже лысыми женщинами!

На международных соревнованиях советский спортсмен поставил мировой рекорд по метанию молота. Корреспондент спрашивает его:

– Как это вы бросаете молот на такое расстояние?
– Дали бы мне серп – я б его куда дальше закинул!

В парфюмерном магазине. Входят двое и говорят:
– Пожалуйста, два «Тройных» и один «Ландыш».
– Да брали б уж три «Тройных»,– говорит продавщица.
– Что вы, с нами дама!

Наталья Батурина, Волгоград

Пришел муж домой и спрятал в туалете бутылку шампанского. Улеглись спать. Муж, увидев, что жена и сын вроде уснули, решил полняться.
Жена заворчала:
– Дай поспать!
Через некоторое время он вновь попытался подняться. Жена снова:
– Дай поспать!
На третий раз, когда все уснули, он все-таки пробрался в туалет. Достал бутылку, и тут стрельнула пробка. Поднялся сын и говорит:
– Что, мать, доигралась – отец в туалете застрелился!

Муж просыпается с похмелья:
– Ой, голова болит!
Жена:
– Дорогой, может, тебе кваску?
– Ой, да не надо!
– Ну, может тебе, кефирчику?
– Ой, ну не надо!
– Ну, может, тебе водочки?
– Не надо!

— А давай я тебя поцелую?
— Ладно, давай. Может, вырвет.

В ресторане у столика пьяного посетителя разговаривают два официанта:
— Почему ты не выбросишь этого забулдыгу на улицу? Второй час сидит!
— А зачем? Он же оплачивает счет каждый раз, как я его бужу!

Две стенографистки обсуждают своего молодого патрона:
— Он так хорошо одевается,— говорит одна.
— И так быстро раздевается,— подхватила другая.

— Мне так все надоело! — жалуется пожилая служанка молодой.— Весь день я вынуждена повторять: «Да, мадам», «Да, мадам».
— Мне тоже все надоело! — ответила ей молодая.— Я весь день только и твержу: «Нет, мсье», «Нет, мсье».

Пьяный идет вдоль забора. Видит, свинья в луже валяется. Пьяный говорит:
— Ты, свинья, как тебе не стыдно! Вся грязная, вонючая, в луже валяешься.
— Посмотрю я на тебя, когда забор кончится! — отвечает свинья.

Стоит пьяный у столба и стучит по нему кулаком:
— Жена, открой! Жена, открой!
Подходит милиционер и спрашивает:
— Что это вы, гражданин, в столб стучите?
— Да вот, жена дверь не открывает.
— Но это же столб!

– Нет, вон на втором этаже свет горит.
– Гражданочка, откройте!

Алкоголик ждет друзей. Не вытерпел — выпил, но перед этим написал на бумажке то, что должен сказать, когда они постучат. Стук в дверь.
Алкоголик достает бумажку и читает:
– Кто там знак вопроса.
Ему отвечают:
– Это мы запятая Вася и Коля, твои друзья точка.

– Помогите! Помогите! Насилуют!
– Чего кричишь, дура? Я и сам справлюсь!

Старушка купила галоши. У аптеки она увидела коробку, подняла ее и положила туда покупку. В автобусе молодые люди читают надпись на коробке: «Презервативы — 1000 штук».
– Бабуля, зачем вам столько?
– Да вы что, милан, разве много — мой дед их за месяц исшаркает!

Волк подобрался к дому, где коза оставила своих козлят. Стучится и тонким голосом говорит:
– Козлятушки, отопритеся, ваша мама пришла, молока принесла...
А козлята ему отвечают:
– Пошел вон отсюда! Мы ее за пивом послали!

Вовочка приходит в класс с распухшей губой. Одноклассники спрашивают, что с ним.
– Да в воскресенье катались с отцом на лодке, а мне на губу оса села.
– Так ты бы ее согнал!
– Не успел. Отец ее веслом убил.

Урок русского языка.

— Дети, придумайте предложение со словами «вероятно» и «потому что».

Машенька тянет руку:

— Вероятно, будет дождь, потому что на небе много туч.

— Хорошо,— говорит учительница,— а теперь ты, Вовочка.

— Бабушка взяла газету.

— Ну и что?

— Вероятно, пойдет в туалет, потому что читать она не умеет.

Иностранный турист увидел необычайную статую, изображающую генерала.

— Почему ваш генерал в такой неестественной позе? — спросил турист.

— Понимаете, было гуманно изобразить генерала всадником, но в последний момент муниципалитету не хватило денег на коня.

Лев, царь зверей, собрал всех на поляне и сказал:

— Красивые — налево, умные — направо.

Обезьяна мечется туда-сюда. Лев ей говорит:

— Ты что, обезьяна?

— Ну не могу же я разорваться!

Врач приходит в психбольницу. А там сумасшедшие расставили широко руки, бегают и кричат: «47! 47!» Врач спрашивает:

— Зачем вы так делаете?

— Поднимись на второй этаж, узнаешь,— ему отвечают.

Поднимается, там то же самое. Пришлось подняться на третий этаж, но и там то же самое. На его

вопрос ему посоветовали подняться на крышу. И там то же самое. Врач опять спрашивает:

– Зачем вы так делаете?

– Подойди к краю, узнасшь,– ему отвечают.

Он подошел к краю. Они его спихнули вниз и кричат: «48! 48!»

Комиссия в психбольнице увидела мальчика, который таскал за собой на веревке кирпич.

– Что это? – спросили мальчика, показывая на кирпич.

– Это моя собачка Жучка! – ответил мальчик.

Врач целый месяц внушал ребенку, что кирпич — это не собака. Приходит комиссия Мальчика опять спрашивают:

– Что это у тебя болтается на веревке?

– Кирпич.

Мальчика похвалили и отпустили. Только мальчик вышел, он тут же присел, погладил кирпич и сказал:

– Пойдем, Жучка, здорово мы их обманули!

Судья:

– Почему вы дошли до такой степени опьянения?

Подсудимый:

– Я попал в плохую компанию. Нас было четверо. У меня была бутылка виски, а остальные трое не захотели пить.

Учитель предупреждает детей:

– Сейчас придет Вовочка, станет говорить гадости, а вы встаньте и выйдите из класса.

Вбегает Вовочка и кричит:

– А у нас публичный дом строят!

Дети встали и бросились бежать. Вовочка им вслед кричит:

— Куда вы, дураки, там еще только фундамент заложили!

Чебурашка говорит Гене:

— Ген, у Шапокляк кто-то родился с длинным зеленым носом, хвостом и коричневыми ушами. Правда, мы не виноваты?

Решил Гена подшутить над Чебурашкой. Встал на стульчик, привязал к крюку на потолке веревку и повесил петлю на шею. Входит Чебурашка и со словами.

– Гена повесился! Да на моем любимом стульчике! – выхватывает стульчик из-под Гены.

Входит Чебурашка, в магазин.

— Сколько стоит капля водки?

— Нисколько.

— Тогда накапайте мне бутылочку.

— Простите, но вы сели на мою шляпу!

— Да-да, я знаю. А что, вы уже уходите?

Брежнев читает доклад на Олимпийских играх:

— О! О! О! О! О!

— Леонид Ильич, текст ниже, это олимпийские кольца.

Офицер распекает солдата:

— Рядовой Иванов, вы вернулись вчера в казарму пьяный в стельку, да еще толкали впереди себя тачку украденную!

— Так точно!

– Марш под арест!
– Так точно! Но, может быть, вы вспомните, что в этой тачке находились вы!

Жена говорит мужу:
– Я сбегаю к соседке на минутку, а ты помешивай кашу каждые полчаса.

В английском колледже проводился конкурс на самое короткое сочинение. Тема любая, но должны быть соблюдены четыре условия: 1) упомянута королева; 2) упомянут Бог; 3) немного секса; 4) присутствовала бы тайна. Первое место получило сочинение: «О Боже! – вскричала королева.– Я беременна, и неизвестно, от кого!»

Один французский журнал объявил конкурс для мужчин. Нужно было найти выход из такой ситуации: «Вы сидите в ресторане с девушкой. Она вам очень нравится, а вы срочно захотели в туалет. Нужно, чтобы ваше объяснение было правдой и прилично звучало». Первое место занял такой ответ: «Разрешите мне пойти помочь моему другу, с которым я вас познакомлю чуть позже».

Лейтенант берет пиво и спрашивает у продавщицы:
– Скажите, сколько бочек пива в среднем вы продаете в неделю?
– Двадцать.
– Я могу научить вас продавать двадцать пять!
– Это как же?
– Наливайте кружки полными.

В кино.

— Вам не мешает мое перо на шляпе?

— Ничего, я его уже обрезал, и мне все прекрасно видно!

Идет крестьянин. Ведет лошадь. Навстречу барин на бричке.

— Дайте дорогу! Дайте дорогу! Или будет, как с другими! — кричит крестьянин.

Барин дал ему пройти, но не вытерпел и спросил:

— Эй, ты! А что было с другими?

— А тех, кто не хотел уступать дорогу, я вынужден был объехать.

Пьяный пытался сесть на коня, но все тщетно. Тогда он взывает на помощь всех святых по очереди:

— Святой Петр, помоги! Святой Михаил, помоги! Святой Георгий, помоги!

Наконец он делает последнее усилие и, не рассчитав, перелетает через коня.

— Тише! Тише! — бормочет он.— Не все сразу.

В рамках разрядки международной напряженности, укрепления дружбы и сотрудничества между народами Андропов и Рейган обменялись секретаршами.

Через неделю американка звонит Рейгану: «Мистер Рейган, я не могу здесь работать: меня все время просят удлинить юбку и уменьшить декольте, скоро совсем ничего не будет видно!»

Русская секретарша звонит Андропову и тоже жалуется: «Товарищ Андропов, не могу здесь работать: меня все время просят укоротить юбку и увеличить декольте. Скоро станет виден пистолет и то, что я — мужчина!»

Молодой человек
дыскать себе невесту
большого роста, скр
тельной и хорошо пл
менданию: «Вам под

К врачу заходит бе
Врач говорит:
– Здравствуйте! Н
Лягушка отвечает:
– Да вот, доктор,

– Что там клиент
– Ничего, он прос

Совсем маленькие
шют книгу Брема «Ж
– Может!
– Не может!
– Может!
– Не может! Пойд
Прибегают на кухн
– Бабушка, а у теб
– Ну что вы, милы
– Я же тебе говори

Хоронят двоих моло
дает:
– Они поспорили,
вается.
– И что же?
– Тот, что в

Мальчик о
ему. Сы

Молодой человек пытается через компьютер подыскать себе невесту. Он хочет, чтобы она была небольшого роста, скромно одевалась, была общительной и хорошо плавала. Компьютер выдал рекомендацию: «Вам подходит пингвин».

К врачу заходит бегемот с лягушкой на голове. Врач говорит:
– Здравствуйте! На что жалуетесь?
Лягушка отвечает:
– Да вот, доктор, что-то к заднице прилипло.

– Что там клиент написал в книге жалоб?
– Ничего, он просто вклеил шницель!

Совсем маленькие мальчик и девочка рассматривают книгу Брема «Жизнь животных». Заспорили.
– Может!
– Не может!
– Может!
– Не может! Пойдем бабушку спросим.
Прибегают на кухню.
– Бабушка, а у тебя могут быть дети?
– Ну что вы, милые, конечно, нет.
– Я же тебе говорил, что она самец.

Хоронят двоих молодых людей. Очевидец рассказывает:
– Они поспорили, кто дальше из окна трамвая высунется.
– И что же?
– Тот, что в правом гробу, выиграл.

Мальчик опоздал из школы. Отец спрашивает, почему. Сын сказал, что помогал одной старушке

переходить улицу. Отец его похвалил и дал ему конфету. На другой день пришел с приятелем.

— Папа, мы перевели старушку.

Отец дал им по конфете. На третий день сын привел с собой полкласса.

— Папа, мы перевели через улицу старушку.

— А почему же вас так много?

— А она сопротивлялась.

Висит объявление: «Продается кабель голый». Одной старушке это очень не понравилось. Она подошла, зачеркнула и написала «Продается собака стриженая».

Две француженки:

— Ты где Новый год встречала?

— Как всегда, в постели.

— И много было народу?

Попали заяц и медведь в вытрезвитель после встречи Нового года.

— Миша, здесь бить будут! — говорит заяц.

Тут дверь открывается, и в камеру вталкивают верблюда.

— Миша, глянь, что они с лошадью сделали!

Авдотья Никитична спрашивает у Вероники Маврикиевны:

— Ты что больше любишь, секс или Новый год?

— Конечно, Новый год!

— Почему?

— Он чаще бывает.

Жена с любовником в постели. Звонит телефон. Жена, немного поговорив, вешает трубку. Любовник спрашивает:

– Кто звонил?
– Да муж, сказал, что задержится, потому что играет с тобой в шашки.

– Что я вижу: ты хотя и женился, а сам пришиваешь пуговицы к своему пальто!
– Ты ошибаешься. Это пальто моей жены.

Старшая сестра отчитывает младшего брата.
– Почему ты взял пирожное без спроса?
– Я спрашивал-спрашивал, никого не было...

Мать:
– Ты почему ешь шоколад так быстро? Забыл, что у тебя есть братик?!
Сын:
– Нет, не забыл, вот и ем так быстро!

Две француженки:
– Ты разговариваешь с мужем во время полового акта?
– Да, если рядом есть телефон.

Продается на рынке говорящий попугай. У него на одной ноге синяя лента, а на другой — красная. Старушка подходит и интересуется:
– Зачем так?
– Дернешь за синюю — говорит по-английски, дернешь за красную — говорит по-французски.
– А что, если за обе дернуть,— не унимается старушка,— что будет?
– Что будет, что будет! На жопу упаду,— не выдерживает попугай.

Положили попа в больницу. И нужно было ему анализы сдавать. Анализы сдала медсестра. На следующий день врач сообщает результат:

— Вы на втором месяце беременности.

— Говорил я дьяволу — доиграемся! — отвечает поп.

Два маленьких мальчика стоят в бане. Тут мимо проходит мужчина с большим животом.

— Дядя, а что у тебя в животе?

— Бомба! — говорит мужчина.

Один мальчик тихонько говорит другому:

— Давай взорвем се!

— Опасно, очень короткий фитиль,— отвечает тот.

В Париже русский турист пытается купить жене лифчик, но не знает размера. Продавец любезно интересуется:

— Что напоминает грудь вашей жены? Спелый персик или, может быть, дыню?

Турист без раздумий.

— Скорее уши спаниеля!

Собрались на ежегодный съезд генетики, обсуждают достижения. Выходит один и говорит, что он скрестил козу с коровой и теперь у него дома и хорошее мясо, и целебное молоко. Выходит другой и говорит:

— А я скрестил арбуз с тараканом.

— И что?

— Арбуз разрезаешь, а косточки сами разбегаются.

Старшина, построив дежурное подразделение, объявляет:

– Прибыл вагон с люминием...
Возглас с левого фланга:
– С алюминием, товарищ прапорщик.
– А самый умный пойдет на разгрузку чугуния.

Начальник столовой рассказывает с гордостью и с восхищением:
– Представляешь, вчера в электричке сразу трое подростков встали и уступили мне место.
Приятель, окинув его взглядом:
– Трое? И ты поместился?

Наводнение. Все стараются перебраться на сухое место, лишь один старый еврей сидит в кресле.
– Скорее сюда! – кричат ему с последнего грузо-

– Бог мне поможет,– спокойно отвечает старик и молится.
А вода все выше, она уже заливает комнату. К дому подплывает последняя лодка. С нее кричат:
– Прыгай сюда! Осталось еще одно место!
– Бог мне поможет,– невозмутимо отвечает старик и молится. Он перелезает на крышу, но вода добралась и туда. Над домом зависает вертолет, с него сбрасывают веревочную лестницу.
– Цепляйтесь! Это последний шанс!
Но старик по-прежнему твердит:
– Бог мне поможет!
Тут налетела волна и смыла его. В раю старик встречает Бога и укоризненно говорит:
– Господи Боже, я так на тебя рассчитывал! Что же ты меня бросил в беде?

— Идиот! Кретин! А кто, спрашивается, посылал тебе грузовик, лодку и вертолет?!

— Когда я покупал у вас в магазине канарейку, вы сказали, что они живут по 10 лет, а моя на следующий день умерла!..

— Значит, ей в тот день исполнилось ровно 10 лет!

Иностранная делегация посетила советский завод. Мастер и рабочий темпераментно беседуют, никого не замечая. Один из иностранцев знает русский и переводит остальным:

— Мастер предлагает обработать деталь, ссылаясь на то, что он состоит в интимных отношениях с матерью рабочего. Рабочий отказывается обрабатывать деталь, ссылаясь на то, что он состоит в интимных отношениях с матерью мастера, с начальником цеха, с директором завода и с самой деталью.

Брежнев встречается с Картером.

Брежнев:

— Послушай, Джимми, как тебе удается подбирать в помощники таких толковых людей?

Картер:

— А я их на тестах проверяю. Вот смотри! Венс, идите сюда. Скажите, сын твоего отца, но не твой брат, кто это?

— Это я.

Картер (Брежневу):

— Вот видишь!

Брежнев вернулся в Москву и вызвал Кириленко.

— Скажи, Кириленко, сын твоего отца, но не твой брат, кто это?

Кириленко попросил три дня на раздумье. Через три дня:
– Леонид Ильич! Весь СССР обыскали — нет такого человека!
– Молодец, Кириленко! Это же Венс!

Рыжков приходит к Горбачеву.
– Михаил Сергеич! Куры дохнут!
– Надо нарисовать перед каждой курицей черный квадрат.
Через неделю:
– Михаил Сергеич! Опять куры дохнут!
– Впишите в черный квадрат желтый треугольник.
Через неделю:
– Михаил Сергеич! Все равно куры дохнут!
– Желтый треугольник замените на зеленый.
Через неделю:
– Михаил Сергеич! Все куры сдохли!
– Жаль, жаль, а у меня еще так много новых идей!

– Плюй мне на спину!
– Что ты! — испугалась теща.
– Плюй, говорю! Врач прописал змеиным ядом растираться.

Наркоман устраивается на работу в зоопарк. Его спрашивают:
– Почему вас уволили с прежней работы?
– Да я очень медлительный.
– Тогда будете следить за черепахами.
Через день директор зоопарка пришел посмотреть на черепах, а в клетке пусто.
– Где черепахи? — спрашивает он.

— Ну вот видите

— Да я только клетку раскрыл, чтобы их кормить, а они все как разбежались!

В психбольнице пациент пытается утопиться в ванне. Другой вовремя его вытаскивает. Спасителя вызывает врач:

— Ну, товарищ Морковкин, история вашей болезни и ваше героическое поведение подсказывают мне, что вы здоровы Вас скоро выпишут. Но должен вам сообщить, что спасенный вами повесился

— Вы ошибаетесь, никакого самоубийства не было. Это я подвесил его, чтобы он просох! — расплывается в улыбке Морковкин.

Жил-был негр И была у него обезьянка, с которой он никогда не расставался. Горбачев, узнав о том, что в самолет, в котором он должен лететь, подложили бомбу, посадил этого негра вместо себя. Но в пути ничего не произошло. В аэропорту к негру подходят встречающие и говорят:

— Михаил Сергеич! Как вы загорели! Как изменились! Без Раисы Максимовны мы бы вас так и не узнали!

Оглашаются итоги конкурса на лучший проект памятника Пушкину к столетию смерти поэта. Третья премия присуждается проекту «Пушкин читает сочинения Сталина». Вторая премия — «Сталин читает сочинения Пушкина». Первая премия — «Сталин читает сочинения Сталина».

Жена в отъезде. Звонит мужу.
— Как наша кошечка?
— Сдохла!
— Какой ужас! Неужели ты не мог мне сообщить

об этом поделик
на крыше, а уж по
бился!
— Понял.
— А как моя м
— Сидит на кр

Немецкому фи
вопрос:
— Какие, по ва
с большей верно
Не задумываясь
— Седые!

Оголтелая фемин
ся вокруг себя зе
— Ну что бы му
ж спрашиваю!
— До сих пор вк
ался прохожий.

Один ковбой спр
— Билл, что тако
ка?
— Ну, это когда м
— индейцы! Бах
гал. Там, где ты
я съел, а потом
этой кучи и
совсем н

И давн
ел, н
ерял

об этом поделикатнее? Например, мол, она сидит на крыше, а уж потом сказал бы, что она упала и разбилась!

– Понял.

– А как моя мама?

– Сидит на крыше!

Немецкому философу Иммануилу Канту задали вопрос:

– Какие, по вашему мнению, женщины склонны к большей верности – брюнетки или блондинки?

Не задумываясь, Кант ответил:

– Седые!

Оголтелая феминистка выступает на улице, собрав вокруг себя зевак:

– Ну что бы мужик делал без женщины? Что, я вас спрашиваю!

– До сих пор вкушал бы прелести рая,– откликнулся прохожий.

Один ковбой спрашивает у другого:

– Билл, что такое «круговорот веществ в природе»?

– Ну, это когда мы, например, едем в прерии, а тут – индейцы! Бах-бах! Я ускакал, а тебя убили, и ты упал. Там, где ты упал, трава выросла. Траву ту бизон съел, а потом сделал во-от такую кучу! Еду я мимо этой кучи и говорю: «Хеллоу, дружище Джо! А ты совсем не изменился!»

– И давно вы охотитесь на слонов?

– Нет, недавно. Я приехал сюда ловить бабочек, но потерял очки.

Разговор ночью отца с сыном.
— Папа, ты не спишь?
— Нет.
— Гогла дай мне десятку!
— Я уже сплю, сынок.

Пьяный перед портретом Маркса удивленно трогает себя за лицо: «Надо же! Кажется, только утром брился!»

Гражданин, вы не видели поблизости милиционера?
- Нет
Гогла спрячьте шубу!

Разговаривают две подруги
Мо[illegible]
[illegible]
Николай Г[illegible] Гоголь

[illegible] рассказывать и слушать анекдоты. У меня даже есть своя [illegible] коллекция
Посылаю вам анекдоты, которые мне особенно нравятся

По вокзалу ходит мужик и кричит:
— Инфекция! Инфекция!
К нему подходит милиционер:
— В чем дело, гражданин?
— Да я жену ищу.
— Почему сеете панику?
— А что же, я жену должен, как дома, заразой называть?

Забегает ковбой в бар и кидается к бармену. Хватает его за грудки:
– Ты спал с моей женой?! Ты спал с моей женой?!
Бармен в ужасе.
– Нет!
– Брезгуешь, гад!

Стук в дверь.
– Кто там?
– Милиция.
– Никого нет дома.
– А кто говорит?
– Говорит Москва, московское время 16 часов.

Вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия.

– Где Петька?
– На крыше антенну тянет.
– Имена-то какие девкам дают.

Следователь:
– Вы узнаете этот нож?
– Конечно.
– Значит, узнаете?!
– Как же мне не узнавать, когда вы мне его показываете каждый день уже третью неделю.

В ресторане за столиком трое мужчин разговаривают о своих женах.
– Я свою в Гагру отправил.
– А я – на Пицунду.
– А я свою сам трахаю.

Трудящийся приходит домой и застает жену с любовником.

— Вот вы тут глупостями занимаетесь, а во дворе напротив апельсины продают.

Купил Шварценеггер бензопилу. Приходит на следующий день в магазин и говорит:

— В инструкции написано, что за день можно свалить 200 деревьев, а я свалил только 100.

— А вы каким бензином ее заправляли?

Шварценеггер удивленно:

— Так ее еще и бензином надо заправлять?!

Анастасия Романова, пос. Красное Эхо

Стоит мужик на базаре Петуха продает. К нему подходит другой и спрашивает:

— Почем петуха-то продаешь?

— За 35 кусков отдам.

— Ого! А что так дорого-то? Племенной, что ли?

— Да нет, деньги дозарезу нужны!

Человек идет по улице в одном сапоге.

— Сапог потеряли? — участливо спрашивает его прохожий.

— Нет, нашел.

Данилов, г. Кострома

Я решил, что раз уж я человек веселый и люблю слушать и рассказывать анекдоты, то надо участвовать в этом заочном конкурсе. Коротко о себе: мне 20 лет, работаю на деревообрабатывающей фабрике «Красная звезда» станочником 4-го разряда.

В город N ожидается приезд комиссии по проверке пионерских лагерей. Но так получилось, что в городе N была лишь тюрьма, а пионерский лагерь только строился. И тогда решили всех заключенных переодеть в пионерскую форму.

Приезжает комиссия. Все ходят, смотрят. Их окружают смеющиеся люди в пионерских галстуках и рубашках. Вдруг внимание одного из членов комиссии упало на одиноко сидящего в углу старика в пионерском галстуке.

– Сколько тебе лет? – спрашивает член комиссии.

– Пятнадцать,– отвечает старик.

– А я бы тебе все 75 дал.

– Так такой статьи еще нет.

Ванька и Манька играют в прятки.

– Если я тебя найду,– говорит Ванька,– то я тебя изнасилую.

– Хорошо, а если ты меня не найдешь, я буду стоять за дверью.

Молдаванин собирается в Москву. По-русски ничего не понимает, и жена научила его выражению: «Привет! Как живешь?»

Приезжает он в Москву, останавливает такси и говорит таксисту:

– Привет! Как живешь?

– Нормально,– говорит таксист.– Жена, двое детей. Старший в школу пошел.

Через некоторое время.

– Привет! Как живешь? – снова спрашивает молдаванин.

– Нормально,– с недоумением отвечает таксист,– спасибо.

Через пару минут.

— Привет! Как живешь? — сказал молдаванин.

Нервы у таксиста не выдержали, и он высадил молдаванина из машины. Огорченный молдаванин пошел по улице, и вдруг ему попадается навстречу грузин

— Привет! Как живешь? — с радостью говорит молдаванин. Грузин же, для важности подняв указательный палец кверху, произнес:

— Потому что

В палате дистрофиков

Петя, прикати таблетку

А почему сразу Петя, пусть Иванов прикатит. Он сильный — он майку носит.

В вагоне.

- Сколько вам лет? - спрашивает одна.

- Двадцать восемь - говорит другая.

А мне сорок восемь

Петька показывает Василию Иванычу попугая.

Василий Иваныч, попугай,— говорит Петька, протягивая попугая

Василий Иваныч взял попугая, открутил попугаю голову и говорит.

— Попугал?

Дед пришел домой и говорит:

— Бабка, я в партию вступил!

— Тьфу ты черт,— говорит та,— вчерась в дерьмо вступил, сегодня в партию.

Три «тормоза» сидят дома и смотрят телевизор. Вдруг раздался звонок. Через полчаса один «тор-

мозг» говорит:
– Ой, позвонили, надо открыть.
Через час второй «тормоз» говорит:
– Позвонили, что ли?
Через три часа третий «тормоз» говорит:
– Звонок звонит, пойду открою.
Пошел и открыл дверь, а там стоит четвертый «тормоз» и говорит:
– О, ребята, я не успел позвонить, а вы уже открыли.

Владимир Золотавин, Удмуртия, г. Можга

Поезд приближается к туннелю. В купе сидят молодой человек и злая, некрасивая монахиня, которая говорит:
– Если вы меня попытаетесь поцеловать, я буду кричать!
– Я тоже!

Хозяйка говорит гостю.
– Вы уже уходите? А на дворе такой дождь. Может, лучше поужинаете с нами?
– А что у вас на ужин?
– Отварные макароны.
– Да вы знаете, дождь не такой уж сильный.

– Доктор, по мне иногда ползают маленькие зелененькие крокодильчики. Вот и теперь – видите, доктор?
– Вижу, но что вы их на меня-то бросаете?

Сидит мужик в ресторане. Подзывает официанта.
– Почему у вас салфетки жирные?
– Рожу блинами не надо вытирать.

— От чего умерла твоя теща?
— Да грибами отравилась.
— А почему у нее все зубы выбиты?
— Да она есть их не хотела.

Жена и муж в ссоре, обмениваются записками. «Разбуди меня в 7.30»,— пишет муж. На следующий день просыпается в 9.00, замечает, что жены дома нет, видит записку: «Вставай, уже без двадцати восемь».

Врач говорит пациенту, очнувшемуся от наркоза:
— Операцию вы перенесли хорошо, а вот перед ней вы вели себя просто невозможно: вырывались, кричали .. А ваш знакомый с соседней койки вел себя еще хуже!
— Еще бы! Ведь нас в клинику послали окна мыть.

Идет человек мимо бара, а внутренний голос ему говорит «Зайдешь?» Человек стиснул зубы и мимо. А внутренний голос: «Ты как хочешь, а я пошел!»

Мужик рыбачит на озере, видит, корова выходит из воды, и он ей:
— Корова, ты что?
— И правда, что это я?
Иван Марковнин, Нижний Новгород

Начальник рассказывает своим подчиненным анекдоты. Все смеются, а один — нет. Его спрашивают:
— А ты чего не смеешься?
— А я завтра увольняюсь.

Рассерженный посетитель:
– Неужели вы думаете, что я буду есть такую дрянь! Позовите управляющего.
Официант:
– Это бесполезно, он тоже не будет ее есть.

В автобусе. Мужчина возмущается:
– Что за молодежь пошла, места даже не уступит.
Другой ему говорит:
– Ну чего ты возмущаешься, ты ведь сидишь.
– А что толку. Жена ведь уже целый час стоит.

Судят гомосексуалиста. Судья предоставляет ему последнее слово.
Подсудимый:
– Граждане судьи! Мне очень, очень нравится прокурор.

– Мама, а мама,– кричит маленький мальчик, указывая на свою сестренку.– Наша Настя схватила газету и ест ее!
– Да пусть ест,– отвечает мать,– это вчерашняя газета.

Пятиклассница приходит домой из школы, мать ей говорит:
– Доченька, пора бы нам с тобой поговорить на сексуальную тему.
– Да, мама, что бы ты хотела знать?

Послали Василия Ивановича и Петьку в Африку приобщать негров к пролетарской культуре.
Через полгода решили проверить, как они выполняют задание. Направили комиссию.

Приезжает комиссия, смотрит: Василий Иванович гоняет по озеру на моторной лодке и таскает за собой негра на водных лыжах.

Порадовались члены комиссии и пошли искать Петьку. Отошли немного и видят: Петька двух негров запряг и поле на них пашет. Стали члены комиссии возмущаться.

— Что же ты,— говорят,— подлец, делаешь, брал бы пример с Василия Ивановича, вон как он старательно негров воднолыжному спорту обучает.

— Ну вы даете,— отвечает Петька,— это он крокодила на живца ловит!

Умирает председатель кооператива. Перед смертью решил покаяться перед другом.

— Умираю. Прости...

— Ладно, чего уж там.

— Помнишь, тебя в вытрезвитель забрали? Это я подстроил. Прости...

— Ладно, чего уж там.

— А помнишь, в прошлом году милиция к тебе нагрянула, все описала. Это ведь я капнул... Прости...

— Да ладно уж.

— А помнишь, я на курорт ездил? А знаешь с кем? С твоей женой... Прости...

— Ладно, ладно, не терзайся. Умирай спокойно. Это ведь я тебя отравил.

Приходит муж домой пьяный. Ударяет кулаком по столу:

— Жена, свари картошки!

Жена робко отвечает:

— Картошка вся...

— Вот всю и свари.

Встретились два психа из разных психбольниц, разговорились. Один говорит:

– У нас шикарно, нам профессор велел на окна цветы поставить, на пол ковры постелить! Красиво!

– Это пустяки! А вот у нас бассейн построили. С вышкой для прыжков. Прыгают все вниз головой и солдатиком...

– Да ну?

– Точно. И заведующий еще пообещал: если будете себя хорошо вести, то воды напустим.

Оксана Колесникова, г. Саратов

– Может быть, мне купить новую расческу? У старой сломался зуб.

– Ты, Джек, расточитель! Из-за одного сломанного зуба покупать новую расческу!

– Но это был последний зуб.

Старый лорд возвращается во время охоты домой.

– Вы пришли за новыми патронами, сэр? — спрашивает слуга.

– Нет, за новыми собаками.

Шотландец читает книгу. Время от времени он ненадолго гасит свет, а потом снова его зажигает.

– Что ты делаешь? — спрашивает жена.

– Переворачивать страницы можно и в темноте.

Цензор после просмотра фильма:

– И вы утверждаете, что ваш фильм имеет образовательное значение! Чему же он учит?

– Как чему? — удивляется режиссер.— Разве он не помогает изучить анатомию женщин?

— Дорогой, скоро Рождество... Не пойти ли нам посмотреть что-нибудь из мехов?

— Отличная идея! Только нужно поторопиться, а то зоопарк скоро закрывается.

— Идиоты! Упустили преступника прямо из-под носа! — кричит инспектор Браун.— Разве вы не перекрыли все выходы из кино, как я приказал?

— Мы перекрыли, сэр, но, по-видимому, этот тип удрал через вход,— ответил сержант.

— Ты слышал, сержант, инспектор приказал, чтобы все полицейские выходили на дежурство с собакой!

— А зачем?

— Он сказал, что ум хорошо, а два — лучше.

Вечером муж куда-то собирается.

— Ты куда? Опять напьешься? — набросилась на него жена

— Да нет, что ты. Я только к другу на пару минут,— отвечает муж

Он возвращается только под утро, в стельку пьяный. Жена встречает его у дверей. На всю ругань он резюмирует:

— Ну вот, опять накаркала!

— Синьор, прошу вас, дайте мне тысячу лир: я с утра ничего не ел.

— Я тоже.

— Тогда дайте две тысячи, и я вас приглашу поужинать со мной.

А. Кусков, г. Нижний Тагил

Вечер. Делать нечего. Бабка и говорит:
– Дед, а дед. Давай в молодость поиграем.
– А как это?
– А пригласи меня как-нибудь на свидание.
– Ну ладно, бабка. Приходи в семь часов на завалинку.

Оделся дед. Шляпу с цветком надел. Балалайку взял. Сидит – ждет. Семь часов – бабки нет. Восемь часов – бабки нет. Девять часов – бабки нет. Замерз. Приходит злой домой, а бабка на печи лежит.
– Бабка, ты что?..
– А меня как будто мама не пустила!

Выполняя заказ, официант держит свой палец в тарелке с супом. Приносит второе – палец опять в тарелке. Подносит кофе, и опять палец в чашке. Мужчина возмущен:
– Да как вам не стыдно?
Официант:
– Мне врач прописал палец всегда в тепле держать.
Мужчина:
– Так ты его лучше себе в задницу засунь.
Официант:
– А я между заказами так и делаю.

Сидит пища в желудке. Вливается к ней стакан водки.
– Пища, подвинься!
Пища подвинулась. Через некоторое время врывается второй стакан водки:
– Пища, подвинься!
Ну пища чего. Места всем хватит – подвинулась. Проходит время – врывается третий стакан водки.

— Пища, подвинься!

Ну и пища, конечно, не выдержала.

— Чего это вы тут меня зажимаете — я пойду разберусь!

Выкопал мужик червяка для рыбалки. А он такой маленький да тощенький. Думает мужик, что с ним делать. «Дай-ка я его лучше сначала откормлю».

Проходит время, пошел мужик на рыбалку. Насадил червяка. Сидит, ждет. Вдруг — клюет. Мужик думает: «Дай-ка я еще посижу, может, больше клюнет».

Проходит время — опять клюет. Вытаскивает мужик удочку и видит: его червяк двух сомов за хвосты держит.

— Степаныч, ты что, они ведь могли меня съесть.

Играют дети во дворе.

— А у меня машина новая.

— А у меня мячик

Вовочка снимает штаны

— А у меня вот что.

Танечка обиделась и убежала домой. На следующий день снова дети играют.

— А у меня кукла.

— А у меня зайчик.

Вовочка снимает штаны.

— А у меня вот что...

Танечка с вызовом:

— А мне мама сказала, что, когда я вырасту, у меня сто таких будет.

Собрались звери в карты играть.

Медведь, волк, заяц, лиса. Медведь раздает карты и приговаривает:

– А кто будет мухлевать – будем бить по морде, по наглой рыжей морде.

Сидят Гена с Чебурашкой в окопе. Гена из пулемета строчит – к нему Чебурашка пристает.

– Ген, скажи, чем кровь пахнет?
– Отстань, Чебурашка.
– Ген, ну Ген, скажи, чем кровь пахнет?
– Отстань, Чебурашка, отстань.
– Ген, скажи, скажи. Ген, чем кровь пахнет?
– Ой, да говном – отстань!
– Ой, Ген, я весь в крови!

Директор гастронома пришел домой. Телефонный звонок.

– Товарищ директор, во сколько у вас открывается магазин?

– В восемь часов утра.

Лег спать – опять звонок. Пьяный голос в трубке спрашивает:

– Товарищ директор, так когда у вас магазин открывается?

– В восемь часов утра.

Уже часа три ночи. Пьяный, заплетающийся голос:

– Товарищ директор, когда у вас магазин откроется?

– Да у вас там что, водки не хватает?

– Нет, водки хватает – выйти не могу.

Ну как? Я думаю, вам понравилось.

Елена Моисеенко, г. Ульяновск

Мужик приходит к врачу и говорит:
— Доктор, у меня провалы в памяти.
— И давно они у вас?
— Кто?
— Провалы.
— Какие провалы?

Идя по лесу, Штирлиц наткнулся на сук.
— Шли бы вы домой, девочки, война все-таки.

Чукча покупает холодильник. У него спрашивают:

— Зачем тебе холодильник, ведь на Севере и так холодно?

— В холодильнике температуре —5° , а на севере минус —40 Вот чукча и будет греться.

Бабка приходит к врачу.

Доктор, у меня рука болит, и не просто болит, а болит, болит, болит

Женщина

— Еще у меня нога болит, и не просто болит, а болит, болит, болит

— Ну, женщина, у вас все?

— Нет, у меня еще голова болит. И не просто болит, а болит, болит, болит..

— Ну с вами все ясно. Идите, и не просто идите, а идите, идите, идите...

Две блохи выходят из ресторана.

— Ну что, сами пойдем или собаку поймаем?

Лариса Перова, г. Орел

Вступительные экзамены в институте. Входит первый абитуриент.

Профессор: «Сколько будет дважды два?»
Абитуриент: «Три?»
Профессор: «Нет!»
Абитуриент: «Пять?»
Профессор: «Нет!»
Абитуриент: «Четыре?»
Профессор: «Ну что ж! Глупый, но ищущий. Принимаем!»

Входит второй абитуриент.
Профессор: «Сколько будет дважды два?»
Абитуриент: «Пять!»
Профессор: «Нет!»
Абитуриент: «Пять!»
Профессор: «Нет! Ну ладно, глупый, но упорный! Берем!»

Входит третий.
Профессор: «Сколько будет дважды два?»
Абитуриент: «Четыре, конечно!»
Профессор: «Умный, но мест больше нет... Увы!»

Зоопарк. Посетители, муж и жена, подходят к клетке со слоном, но служители открывают клетку и слона уводят.

— Вы куда слона ведете?
— На половой акт.
— Надолго?
— Примерно на пятьдесят минут.

Жена яростно толкает мужа локтем. Идут дальше. Клетка с тигром, но и здесь та же история. Тигра уводят.

— Куда вы тигра ведете?
— На половой акт.
— Надолго?
— Минут на сорок пять.

Жена еще яростней вонзает свой локоть в мужа.

Идут дальше, подходят к клетке с оленем. И снова служители уводят животное.

— Куда оленя ведете?

— На половой акт.

— Надолго?

— Минут на пять, не больше.

Теперь уже муж торжественно толкает супругу локтем. А та ему в ответ:

— Зато смотри, какие у него рога!

Винни-Пух выходит к лесному озеру. На берегу лежит мертвый ослик Иа, над которым горько плачет Пятачок.

— Что случилось?

— Иа грибами отравился...

— А почему у него вся морда в крови?

— А он их есть не хотел...

Командир роты вызывает двоих рядовых-ракетчиков.

— Срочно покрасить все ракеты! Завтра приезжает комиссия. Не успеете засветло, под арест пойдете!

Солдаты покрасили все ракеты, кроме одной. Они тогда забросили ведро с краской на боеголовку, краска стекла, и ракета сама собой покрасилась.

Наутро генерал-инспектор обходил часть.

— Так... Хорошо... О! А это что такое? — и показывает на ведро, надетое на ракету.

— Ну это... Это... Радиационная защита!

— Сам вижу, что защита! Почему не покрашена, спрашиваю?!

Идут два цыпленка по улице и нюхают винны пробки. Один другому:

– Ну ладно! Хватит пьянствовать! Пойдем лучше в кулинарию на голых баб посмотрим...

Муж приходит домой «на бровях». Жена закипает:
– Напился?
– Да ты что, Маш! Я только две кружки пива... Вон у Жучки спроси!
Жена обращается к собаке:
– Жучка, сколько хозяин пива выпил?
– Гав! Гав!
– А водки?
– У-у-у!

По норке ползет червяк и встречает еще одного.
– Здорово, Джон!
– Я не Джон! Я твоя попа!
С. Зинов, г. Бор

Если эти анекдоты придутся вам по душе, то хорошо, ну а если заслужат публикации, то отлично!

Идет мужик по пустыне. Жажда мучает. Видит – кувшин. Поднял, а из него джинн:
– Что прикажешь, господин?
– Хочу домой!
– Пошли.
– Я быстро хочу!
– Тогда побежали.

В автобусе.
– Молодой человек, если уж вы на меня легли, то не будьте как бревно!

Ползет негр по пустыне. Жажда. Видит кувшин. Поднял, а оттуда джинн.

— Исполню три твоих любых желания! — говорит джинн.

Негр обрадовался и говорит:

— Первое — сделай меня белым, второе — чтобы вокруг меня было много воды, и третье — чтоб вокруг было много женщин!

— Я исполнил твои желания,— отвечает джинн.— Ты белый унитаз в женском туалете.

На урок природоведения учительница принесла ужа.

— Что это за животное?

— Это, наверное, ежик,— сказала одна девочка.

— Неправильно.

Тогда это хомяк,— сказал один мальчик.

— Тоже неверно

— Разрешите потрогать,— просит Вовочка.

— Пожалуйста.

Вовочка, подойдя к столу и поглаживая ужа:

— Вот ты какой, северный олень!

В поезде едут два грузина. Решили сыграть в шахматы. Первый берет своего ферзя, ставит на середину доски и говорит:

— Мат.

Второй, подумав некоторое время, берет своего короля, ставит рядом с ферзем противника и говорит:

— Атэц!

— Все пробовал, но не могу отучиться от курения,— жалуется заядлый курильщик.

— А вы попробуйте конфеты.

— Пробовал. Они, к сожалению, не горят.

Бежит собака по пустыне и думает:
«Если через пять минут не встречу столб — опи-саюсь!»

— Послушайте, стюард, в моей тарелке плавает муха!
— Не может быть, сэр. Мухи не умеют плавать!

В гарнизонном городке папа-капитан укладывает сына спать.
— Папа, не хочу спать,— капризничает сын,— пусть слоники побегают.
— Поздно уже, сынок, ложись спать.
— Нет, не поздно, пусть побегают, пусть!
— Ну что с тобой делать! — в сердцах восклицает капитан. Выходит из дома, заходит в казарму:
— Рота, подъем! Тревога! Надеть противогазы!

В мединституте. Профессор:
— Прежде чем назвать тему сегодняшней лекции, я хочу вспомнить случай из собственной жизни. Когда я был студентом, мне нравилась одна девушка. Нравилась она и моему другу. Она отдала предпочтение ему, и я остался с носом. А вот молодой человек — без носа. Итак, тема сегодняшней лекции — «Сифилис и его последствия».

Купил однажды студент на рынке на последние деньги десять грецких орехов. Раскалывает один — пустой, второй — то же самое. Дошел так до последнего, вылезает из пустого ореха червяк в кепке и говорит:
— Абыдна, да?

Мужчина, пробегая по эскалатору, наступил

парню на ногу. Подумал, что надо извиниться, вернулся, стал просить прощения.

— Иди, иди, я тебе на спину уже плюнул.

Встречаются два чукчи. Один другому говорит:

— Я вчера с твоей женой спал!

— Ну и что? Я с ней каждый день сплю!

Старая бабуся спрашивает в музее:

— Скажите, это Кикассо?

— Нет, бабушка, это Пикассо.

— Да не кизднте!

Рефери считает:

— Один, два, три...

- Слушай,— шепчет секундант лежащему боксеру,— до восьми не вставай!

— Хорошо,— стонет тот,— а который час?

Гражданская война. Село заняла Красная Армия. К штабу подъезжает крестьянка на лошади и пытается войти, но часовой не пускает. Тогда крестьянка снимает платок и парик, и перед оторопевшим бойцом предстает Петька.

— Ну и замаскировался ты, Петька!

— Я-то еще что, ты лучше Василия Ивановича распряги!

Мужик заходит в парфюмерный магазин и спрашивает продавца:

— Почему у вас одеколон «Русский лес» без этикетки?

— А вам не все равно?

— Вам все равно, а мне на стол ставить!

Сергей Стёжка, г. Тюмень

Дорогой читатель!

Эта книжка, как вы сами убедились, составлена из анекдотов, присланных в редакцию газеты «Анонс» и журнала «Студенческий меридиан», такими же, как и вы, читателями, любящими и умеющими шутить, веселиться, радовать себя и других. Надеюсь, вы смеялись над удачными байками и злились на скабрезные, плоские шутки. Мы, журналисты, работая над сборником, также и радовались и досадовали.

Впрочем, вы, конечно же, не только посмеялись, вы с удивлением убедились в том, что далеко не все лучшие, пикантные анекдоты здесь представлены. Но ведь серия «Анекдоты наших читателей» будет обязательно продолжена. Причем благодаря вам тоже. Поэтому не откладывая берите листок бумаги, ручку и поделитесь с нами и всем человечеством парой-тройкой свежих или классических, но забытых анекдотов.

Пожалуйста, окажите нам честь своим участием в этой великолепной попытке собрать воедино все анекдоты эпохи.

Пользуясь случаем, желаю вам радостной и светлой жизни, успехов в делах и просто человеческого счастья.

С глубочайшей признательностью и уважением —

Юрий Ростовцев.

Наш адрес прежний: 125015, Москва, ул. Новодмитровская, 5а, «Ст.М.» — «Анекдоты наших читателей».

Пишите хоть самую малость о себе!

Анекдоты наших читателей. Выпуск 1

Подготовка текста и составление Дмитрия Ростовцева

В этот выпуск включены анекдоты, присланные читателями газеты «Анонс» и «Ст.М » в январе – феврале 1993 года. В следующих выпусках библиотеки «Ст.М.» вас ждет продолжение «Анекдот-марафона».

Под редакцией Ирины Репиной и Юрия Ростовцева

Макет и оформление Александра Архутика

На обложке — работа Тулио Периколы

На титуле — графика Роланд Топор

Адрес редакции: 125015, Москва, Новодмитровская ул., д.5а.

Сдано в набор 24.02.93 Подписано в печать 13.04.93. Формат 70x100 1/32. Бумага газетная. Печать офсетная. Усл.печ.л. 10,4 Усл.кр.-отт. 10,72. Уч.-изд.л. 7,6. Заказ 32039
Типография АО «Молодая гвардия», 103030, Москва, К-30, Сущевская ул., д.21.

Анекдоты наших читателей

Супер-десяточка

Чтобы участвовать в конкурсе «Супер-десяточка», вы должны прислать в редакцию 10 анекдотов, ни один из которых не повторяется в первом выпуске «Анекдоты наших читателей». «Супер-десяточка» будет публиковаться в газете «Анонс». Адрес 125015, Москва, Новодмитровская ул., д. 5а, редакция «Ст. М». На конверте помечайте – «Супер-десяточка».

ISSN 0321-3803

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1969

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ

*

ГАЛИНА
СЕРЕБРЯКОВА

ТОМ ПЯТЫЙ

ПРЕДШЕСТВИЕ
Роман

ЖЕНЩИНЫ ЭПОХИ
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Р 2
С 32

Послесловие автора

ПРЕДИСЛОВИЕ

Оформление художника
А. РЕМЕННИКА

7—3—2
Подл. изд.

Весной 1884 года Элеонора Маркс получила приглашение на вечер к госпоже Вест, меценатке и благотворительнице. Молодой доцент социалист Эдуард Эвелинг был тоже зван и пришел, чтобы сопровождать Элеонору, любви которой открыто домогался.

— Не знаю, пойти ли мне, — сказала девушка. — Я робею. Там будет актриса Эллен Терри, главный идол в моей кумирне. Не легко встретиться с живым божеством. А что, если наступит разочарование? Иногда, как говорил Гете, пафос дистанции — лучшее в отношениях между людьми. Он помогает сохранять иллюзии. Может статься, великая Терри — всего лишь напыщенная гусыня. А я так ценю ее талант.

— Не страшитесь. Актриса приятна и умна в обыденной жизни, как и на сцене. К тому же вы познакомитесь там с самым оригинальным моим соотечественником Бернардом Шоу и сможете еще раз отдать должное ирландцам.

— Удивительный остров На знамени его поистанцев мелодичнейший инструмент — арфа. Не символ ли это души народа, поющей при малейшем дуновении ветра? Мне кажется, музы Эллады переселились в Ирландию.

— А как с вечером? Прошу вас, — настаивал Эвелинг.

— Хорошо. Будь что будет.

К семи все гости расселись в большой столовой, освещенной множеством свечей в бронзовых и серебряных канделябрах. Газовое освещение не было модным на больших приемах.

Хозяйка дома, богатая плантаторша, овдовев, неистово поклонялась театру и мистическому теософскому учению Блаватской о бессмертии и перевоплощении души. Она попеременно приносила жертвы на оба столь различных алтаря, делая это с одинаковым пылом.

Сервировка стола была ослепительна. Накрахмаленные белые салфетки, не сгибаясь, чинно выстроились рядами, как девушки на конфирмации. В плоских круглых каменных вазах плавали камелии и розы без стеблей. От бесчисленных ножей, вилок и хрусталя отраженный свет падал на склоненные над тарелками, отрешенные от всего лица. Впрочем, блюда, замысловато украшенные бумажными султанами, вовсе не отличались достоинствами, равными роскоши, с какой их подавали.

Сосед Тусси, как любили называть Элеонору, сухопарый молодой человек с большим широким носом, какой в простонародье называют «картошкой», с обветренным розовым лицом пахаря, доедал пастообразный суп. Встряхнув густыми прямыми волосами, он сказал:

— Припомните, как по разному поглощают снедь люди. Бритты обгладывают кости солидно, без похотливого причмокивания галлов и мрачной жадности гуннов и саксов. А веселый экстаз греков, когда они насыщаются, или торопливость монголов?

— Вы весьма наблюдательны. Где вам пришлось подметить национальные особенности едоков? — спросила, смеясь, заинтересованная Тусси.

— Главным образом, конечно, на обедах знати, в высшем обществе, — не улыбаясь и снова тряхнув светлой головой, ответил молодой человек.

Эвелинг, сидевший за столом по другую сторону от Элеоноры, простонал:

— Я вижу, дорогая, что мистер Шоу увлек вас своей беседой. С ним трудно соревноваться.

— Так это Шоу? Он прост и непосредствен.

— Простота тоже может оказаться ролью.

— Тогда это уже игра в простоту.

Официанты предложили похожий на башню пломбир «Мельба», затем тридцать сортов сыра и кофе по-венски, по-турецки, по-немецки и по польски.

Мужчины, громко переговариваясь, вышли в зал для курения, дамы, ревниво оглядывая друг друга с головы

до пят, направились в гостиную, примыкавшую к английскому саду.

В даме, поправлявшей прическу у трюмо, Элеонора узнала Эллен Терри. Она считала Терри непревзойденной актрисой современности и была убеждена, что ни Сиддонс, ни Вестрис и никто другой не могли бы превзойти ее в исполнении ролей Порции, Офелии и Джульетты. Ученица знаменитого Чарльза Кина и его жены Эллен Три, чью фамилию, слегка изменив, избрала она для своего псевдонима, увлекалась идеями художников-прерафаэлитов и воскресила в этих ролях дух итальянского Возрождения. Не только в приглушенном, волнующем голосе актрисы, но и в непрерывно меняющемся, чрезвычайно подвижном лице, в каждом жесте ее проявлялась высшая правда искусства.

Элеонора, глядя на пропорционально сложенную и оттого, несмотря на средний рост, казавшуюся высокой Эллен Терри вспоминала каждую ее роль. Никто на подмостках не умел так от души смеяться или плакать, как Терри. Благородство и строгость, стыдь и поэтичность сопутствовали ей всегда.

— Я рада, что могу сказать вам, как много счастья дарите вы зрителям. Вы сумели в «Венецианском купце» по-новому увидеть сущность Порции, а мне с детства казалось, что я знаю ее, как сестру. Ваша Порция — неподкупный судья. Она — олицетворение справедливости. Мне кажется, Шекспир одобрил бы такую трактовку своей бессмертной пьесы.

Эллен Терри с нарастающим интересом смотрела на взволнованную девушку, говорившую с заражающей убежденностью. Густые темные брови актрисы приподнялись, острое, худое лицо с длинно разрезанными блестящими глазами покрылось румянцем.

— Спасибо. Я полюбила Порцию и возненавидела Шейлока. Мне кажется, таких, как он, много вокруг нас, и они не заслуживают пощады.

Госпожа Вест, появившись в дверях под руку со знаменитым актером Генри Ирвингом, пригласила всех в зал, где ученик Листа, пианист из Франции, должен был играть «Лунную сонату» Бетховена. Эллен Терри и Элеонора сели рядом на обитый атласом диван.

— Вам, вероятно, покажется забавным, — сказала великая актриса, — что эта гениальная соната напоминает

мне о штопке чулок. Ее всегда играла моя сестра Кэт в годы нашей юности. Я постоянно сражалась с огромными дырами на чулках моих братьев и втыкала иглу, делая стежок в такт музыке. Несмотря на доброту окружавших меня людей, я ненавидела тогда жизнь, так как не ждала ни в чем удачи. Родители мои были актерами, но успеха не знали. Зато Кэт уже в ранней молодости начала пожинать лавры.

Элеонора Маркс вынесла об Элен Терри самое выгодное впечатление и сказала об этом Эвелингу:

— Такой должна быть первая в мире артистка: образованной, честной, скромной Это ведь тоже талант.

— Талант души, — согласился Эдуард. — Терри могла бы многое рассказать нам, Тусси, о живописи. Россети, Бёрн-Джонс да, пожалуй, все прерафаэлиты — ее друзья. Первый муж актрисы, Уотс, тоже был художник

— Прерафаэлиты, с их шумными, похожими на рекламу призывами к дорафаэлевскому периоду в искусстве, с их преклонением перед живым четырнадцатым столетием и культом красоты, которую только они, оказывается, понимают правильно, не так уж интересны в наши дни, — холодно ответила Элеонора

— Да, но их духовный отец Джон Рескин — все-таки человек необыкновенный — возразил Эдуард.

— Особенно когда мечтает вернуть человечество к патриархальному, старому, так называемому доброму времени, придуманному утопистами

— Правильно, мисс Маркс, — раздался веселый голос Шоу, — назад, в пещеры. Я с удовольствием оповещу чресла тигровой шкурой Вот только как бы не схватить насморка. Думаю, климат Англии вряд ли подойдет для Аркадии мистера Рескина. Ведь он видит все зло мира в машинной индустрии. То ли дело жить в шалаше и питаться желудями! Прометей — вот кто принес на землю беды, добыл нашим прапредкам огонь. Я лично был бы рад познакомиться с господином Змием и госпожой Евой при условии, если она не столь истощена и уныла, как девушки на полотнах Россети и других прерафаэлитов.

— Мужчины, оспаривающие красоту Евы, — враги всех женщин. Мы чтим свою праматерь, — вмешалась в беседу миссис Вест, весьма внушительной комплекции дама с дряблым лицом и двумя округлыми подбородками.

— В наши дни пышнотелые и здоровые пьют лимонный сок и мечтают о чахотке. Мы изменяем чувственно прекрасным античным богиням. Я верен Праксителю. Он постиг тайное тайных природы, — понизив голос, сказал Эвелинг

Хозяйка дома объявила о начале спиритического сеанса и пригласила желающих в свой кабинет.

— Таинство! — комически вскинул вверх большие запавшие глаза Эдуард. — Они идут вызывать духов Заратустры, может быть, Питта и Дизраели. Те же дервиши! Но, не желая вертеться самим до умопомрачения, они всяческими фокусами заставляют крутиться тарелку. Безумье века.

— Не века, а пресыщенных и праздных

Элеонора и Эвелинг направились в зимний сад

У столика с прохладительными напитками и сигарами стояли, громко споря и весело смеясь, Герберт Уэллс, приобретавший известность молодой писатель, и столь же юные и деятельные супруги Вебб, недавно учредившие общество, о котором много писали и говорили в Лондоне. Члены этого общества окрестили себя именем римского полководца Фабия Максима, прозванного «Кунктатором», то есть Медлителем, применявшего в войне с карфагенянами вместо решительных боев выжидательную и уклончивую тактику. Фабианцы отвергали классовую борьбу, верили в мирное сотрудничество всех сословий и предлагали «муниципальный социализм». Создание общественных бань, прачечных, хлебопекарен, городского транспорта должно было стать основой для преобразования общества. Так большие экономические вопросы подменялись мелкими проектами местного самоуправления.

Эвелинг хотел представить Веббов и Уэллса дочери Маркса, но она остановила его

— Подождите немного, Эдуард. Мне хочется рассмотреть их повнимательнее. К тому же они так поглощены разговором, что неловко вторгаться.

Элеонора, пытливая и жадная до людей, верила первому впечатлению. Свежее, гладкое лицо Герберта Уэллса с мягкими чертами говорило об отличном физическом и душевном здоровье и могло бы принадлежать школьному учителю, преуспевающему торговцу или служащему. Ни одного лишнего жеста или необдуманного движения. Худенькая, остролицая, громкоголосая шатенка Беатриса

Вебб удивляла подвижностью и порывистостью. Настойчивая и трудоспособная, она осуществляла все, что задумывала, и никто не мог противостоять напору ее рассудительной энергии. Неуклюжий, малорослый, близорукий, весь какой-то округлый Сидней Вебб находился полностью под влиянием жены.

Все эти три человека были исключением в своей среде. Один обещал многое как писатель с огромным воображением и трезвым сердцем, а двое других — как ученые-экономисты. Их объединяли добрые поиски всеобщего блага, работа мысли, потребность знания и моральная ответственность за происходящее вокруг. И Элеонора, понимая, сколь ничтожно малы социальные требования фабианцев, как осторожны они и опасливы, все-таки уважала этих представителей зажиточной интеллигенции, которые тоже томятся и ощущают великое страдание большинства человечества.

«Может быть, они дотянутся до понимания сущности всех бед, прозреют», — подумала дочь Маркса и сказала Эдуарду.

— Пойдемте, познакомьте же меня с этими людьми.

— О, доктор Эвелинг, — протянула Беатриса и подняла насмешливые губы. Трудно было понять, рада она ему или нет. — Мы не терпим надежды видеть вас под знаменем Фабия Кунктатора.

— Боюсь, что напрасно, дорогая миссис Вебб. Я окончил естественный факультет. Изучал земноводных, я всегда испытывал особое расположение к черепахам.

— Однако они неутомимы и перегоняют слонов. Festina lente[1], — отпарировала Беатриса.

— Ряды фабианцев и так непрерывно пополняются. Известные писатели, чувствительные филантропы, сентиментальные социальные реформаторы. Община растет, — продолжал Эвелинг.

— Общество, — поправил Сидней Вебб и почему-то стянул двумя пальцами очки с переносицы прямо на большой, мягкий, бутристый нос.

— Я хочу представить вам мисс Элеонору Маркс.

— Дочь Карла Маркса? — полюбопытствовала Беатриса.

— Да, самую младшую.

---

[1] Торопись медленно (*лат.*).

— Очень рада, и мой муж, и уворена, тоже.

— Еще бы. Очень приятно, — подтвердил Сидней, и лицо его стало добрым.

— Ваш отец, независимо от того, что мы с мистером Веббом не разделяем ни его учения, ни тактики, был, безусловно, человек необыкновенный живя столь скромно, не имея своих газет и денег для пропаганды и рекламы, он стал широко известен не только среди патрициев, с которыми боролся, но и среди плебса. Это поразительно. И добился всего он даже не на своей родине, а в изгнании. Да, с ним можно спорить и сражаться, но нельзя не воздать ему должного. И все таки не следует забывать, что революция опаснее тайфуна, чумы, и надо искать путей иных - бескровных Поверьте, можно осуществить равенство и благоденствие на земле с помощью разума, уговоров, целесообразности.

Беатриса и Сидней Вебб были одного с Элеонорой поколения, но они вдруг показались ей старыми и скучными. Мило улыбаясь, Элеонора ушла от них, внезапно почувствовав усталость. Она ощутила китовый ус и шнурки затянутого корсета, боль в ногах от высоких французских каблучков. Слоняющиеся по залу гости начали раздражать ее, как суетливая толпа на ярмарке

— Уйдемте, и поскорее, — попросила она Эвелинга, — здесь душно.

Они вышли на тихую Кенсингтон-парк. Фонари освещали большие лужи, и казалось, что на черную мостовую пролилось густое масло. Эвелинг подозвал кеб и привез Тусси к себе.

— Забудем обо всем человечестве, как будто мы на необитаемом острове, — сказал он, прижимая ее к себе, — сейчас на земле ты да я. Умоляю, отрешись хоть на миг от мыслей обо всей вселенной. Черт с ней! И в аду есть счастье, если встречаются двое любящих. В тебе одной я нашел всех женщин, о которых мечтал. Чтобы вылепить Фрину, скульптор приглашал множество натурщиц. У одной ему нравилась грудь, у другой ноги, у третьей спина. Так появилось совершенство, которому могла бы поучиться природа. Ты так же умна, проницательна, как и прекрасна. Возлюбленная моя! Единственная! Если когда-нибудь я причиню тебе хоть самую маленькую боль, пусть все стихии обрушатся на меня. Клянусь любовью сделать тебя счастливою!

Элеонора знала, как подчас великая беда парализует человека, бросает его в бездну, из которой нелегко выкарабкаться. Она потеряла мать, сестру, с которой была душевно очень близка, маленького племянника и отца. Дом, где столько лет все жили в любви и согласии, где бывало множество замечательных людей века, внезапно опустел и стал страшен.

В жизни каждого человека есть пора, роковая для него, будто зеркало собственной смерти. Это — расставание с родителями навечно.

Необычно чувствительная и страстно привязанная к отцу и матери, Элеонора, похоронив близких и покинув счастливое жилище на Мейтленд парк, долгое время находилась как бы в душевной пустоте.

— Мудрец Тао учит, что первое условие счастья — это живые отец и мать. Я потеряла их...

Энгельс и Елена Демут были по-родственному близки Элеоноре с самого ее рождения. В их присутствии девушка старалась казаться спокойной и деятельной. Постепенно горе утихало.

В это время она снова встретила доктора Эдуарда Эвелинга. Впервые они увиделись давно. Эвелинг читал лекцию о цветах и насекомых детям рабочей школы для сирот в Хаверсток-хилл. Среди слушателей оказалось немало взрослых. Элеонора пришла вместе с отцом и матерью. С любопытством рассматривала она лектора, о котором слыхала, что он сын ирландского пастора. С детских лет Тусси тянулась к Зеленому острову, родине жены Энгельса, ирландки Лиззи Бернс, и многих замечательных борцов.

Карл и Женни Маркс любезно похвалили Эвелинга, отдав должное не только широте его познаний, но и убедительной простоте изложения. На прощание Элеонора улыбнулась юноше, оценив его белизну зубов и весьма черными светящимися глазами. Она была хороша собой, и даже несколько большой нос не портил этого впечатления. Маркс показался Эвелингу человеком на редкость физически сильным, а его жена отличалась светскостью и женственностью. Он навсегда запомнил этих людей. Эвелинг окончил в Оксфорде не только медицинский, но и естественный факультет. Он стал доцентом и пылко отстаивал правоту теорий Дарвина и Геккеля. Казалось, будущее его предопределено: кафедра и научные изыска-

ния. Но с юных лет в даровитом ирландце проявились особенности его характера. Он был чрезвычайно увлекающимся и неустойчивым человеком, равно способным на доброе и на дурное. Эвелинг остыл к науке, решив, что истинное его призвание — драматургия. Как знать, не суждено ли ему удивить мир произведениями, равными шекспировским?

Элеонора сохранила цельность сердца. Она глубоко знала жизнь. Ей казалось, что она разбирается в людях, но в этой самой трудной из наук девушка мало преуспела. Те, кто ее окружал с детства, были доподлинно лучшими из лучших. И девушка была беззащитна, не зная бесчисленных противоречий людской натуры. Весьма красноречивый, начитанный и бунтарски настроенный ирландец нравился ей.

Элеонору и Эдуарда сблизила обоим им присущая неодолимая страсть к театру. Они не пропускали ни одной премьеры, преклонялись перед дарованием Ирвинга, Эллен Терри, Элеоноры Дузе и Сары Бернар. Элеонора и сама была как бы создана для театра, да и Эвелинг отличался незаурядной сценической наружностью стройный, мускулистый.

В лице его, крайне нервном и меняющемся, было нечто аскетическое и вместе разгульное. Жидкие волосы, открывая широкий и прямой лоб, прядями падали на плечи, широко раскрытые глаза смотрели тревожно и растерянно, а подчас неприятно надменно. Он легко переходил от одной крайности к другой, проявляя то необузданное бесстрашие, то пугливую меланхолию. Человек отзывчивый, щедрый, он подчас становился мелочно придирчивым, эгоистичным и жестоким. Менее всего казался он бесхарактерным и самовлюбленным, каким был на самом деле.

Элеонора видела в Эдуарде только хорошее, а то, что могло бы ее предостеречь в его поступках и словах, относила сначала к ребячливости и к тому, что его, очевидно, захвалили и избаловали друзья.

«Я была бы плохим диалектиком, если бы предположила, что мир населен людьми, окрашенными одной краской, сплошь черной или белой. Люди не ангелы и не черти. Все мы противоречивы и далеки от совершенства. Наверное, Эдди лучше, нежели я. После смерти Мапра, Мэмэ и Женнихен я стала сама несносно

чувствительна и трудна для окружающих», — думала про себя девушка...

Театры, которые в течение двух веков беспощадно уничтожались пуританами, вернули себе кое-какие права в пору монархической реставрации. После прославленных актеров Сарры Сиддонс, Гаррика, Кина и Вестрис на английской сцене ярко загорелись новые имена — Генри Ирвинга и Эллен Терри.

В воскресные дни английские города томительно скучают. Все зрелища запрещены, и только бойко торгуют угодные церкви и парламенту бессчетные пивные заведения. Они являются могущественными союзниками подозрительной, зачитанной Библии и оскорбленного благочестия. Адвокаты отрыли в парламентском хламе обветшалый закон, и крестоносцы-пивовары объявили поход на театры, концертные залы и мюзик-холлы, пытающиеся получить разрешение работать по воскресеньям. Начался отчаянный бой, исход которого предстояло решить верховному судье — парламенту. Мюзик-холлы обещали вносить более ста тысяч фунтов на госпитали и приюты для бедных. Воскресные программы должны были склонить арбитра к добру и благотворительности.

В это же время служители культов обходили квартиры избирателей или обращались к ним письменно с угрозами расквитаться на ближайших выборах, если их депутат решит швырнуть себя в ад и голосовать за разрешение зрелищ и развлечений в праздники. Газеты заполняли свои столбцы статьями, гневными письмами в редакцию и сообщениями о семейном разладе, вызванном священной войной пива и муз. Взвыли против воскресных спектаклей отставные чинуши, истеричные старухи и сборщики рент. Пивовары, облачившись хаживали, окопались в сектантских храмах и в день парламентских дебатов, решавших судьбу жаркой схватки между Библией, пивом и зрелищами, организовали крестный ход с хоругвями, псалмами и молениями. В дождливый зимний полдень несколько сот пилигримов, поднявшихся на защиту старины, лицемерия и барышей пивоваров, подошли к Вестминстерскому собору. К парламенту их не допустили. Став на колени в сквере близ аббатства, они затянули церковные песнопения, молясь о том, чтобы разумение снизошло на членов палаты общин.

Парламент после долгих дебатов постановил: законы предков не отменять. Пиво дает счастье, веселье, радость и здоровье. Оно для Англии то же, что вино для Бургундии. Жалкая, иногда единственная отрада и воодушевление для жителей Ист-Энда и доков — этого беднейшего округа столицы.

Элеонора Маркс знала Лондон и его обитателей. Она отмечала перемены, которые происходили в огромной колониальной державе.

Восьмидесятые годы при мнимой тишине и отсутствии войн казались Элеоноре грозными. Отличная ученица своего отца, хорошо знавшая «Капитал», Тусси понимала, почему рассыпаются и гибнут мелкие промышленные предприятия и приходят, поглотив их, грохоча и все покоряя, индустриальные гиганты. На заводы лавиной хлынули разорившиеся мелкие буржуа, безземельные крестьяне, кустари, городская голытьба. Росли мощные тресты. Фантастически обогащались одни и нищали другие. Никогда ранее дочь Маркса не видела такой нищеты на окраинах, не встречала более истощенных, похожих на живые скелеты женщин и детей. Сердце Элеоноры не выдерживало зрелища покорного горя, тупого отчаяния, которое открывалось ей в лачугах Уайтчапеля, Ист-Энда, в домиках вокруг гавани Темзы. Щемящее материнское чувство к людям, придавленным нищетой, охватывало ее.

«Пробудить их к действию, к борьбе! — мечтала Элеонора. — Они настолько несчастны, что уже не способны отдавать себе в этом отчет. В них убита воля к жизни, понимание своей роли в общество и своих прав. Отогреть их, поднять на бой с пауками из Сити[1]»

Свершилось то, о чем Энгельс боялся думать. Ему предстояло отныне жить без друга. В течение всей болезни Маркса он ежедневно, пересиливая сердцебиение, сворачивал за угол на Мейтленд-парк роуд. С этого места он видел дом № 41, в котором умирал самый дорогой для него человек.

Микробы, убивавшие Маркса, представлялись ему могучим, коварным войском, которое надо было уничтожить. Чтобы быть во всеоружии, Генерал, как со дней франко-прусской войны близкие звали Энгельса, прочитал все

учебники по болезням легких, совещался с известнейшими врачами. Он не умел смиренно встречать противника. Но подступающая к Марксу смерть была самым могучим врагом, с которым он столкнулся. И друг, спасавший Карла от нищеты, сражавшийся всегда рядом, сейчас ничего не мог сделать.

Кончина Карла не сразила Фридриха, потому что он больше самого себя любил покойного. Энгельс не позволял себе отчаиваться. Это могло бы ослабить его силы, которых было нужно так много, когда он остался один.

Еще целый год дом, где долго жил и умер Мавр, оставался арендованным Энгельсом. Ни одна бумага друга не пропала, рукописи и архив были вывезены без спешки. Елена Демут переселилась к Энгельсу, в его просторную квартиру на Риджентс-парк, и взяла все его хозяйство в свои неутомимые руки. Со времени смерти Лизан Бёрнс, второй жены Энгельса, — это случилось пять лет назад — он очень нуждался в домоправительнице, тем более что привык к строго размеренному и организованному укладу жизни и труда. Некрепкая, старая дружба связывала Энгельса и Ленхен, и они относились друг к другу заботливо, уважительно и, главное, с предельным доверием и пониманием.

Ленхен Демут, умудренная жизнью и долгим общением со многими необыкновенными, духовно могучими людьми, была для Энгельса постоянным собеседником. Часто по вечерам, когда он отдыхал после позднего обеда за чашкой кофе и сигарой, она приходила в его кабинет и усаживалась в кресло подле письменного стола. Как то, заметив, что Фридрих печален, она сказала:

— Я вспоминаю, что в детстве мой отец читал молитву, в которой, прося бога избавить его от многих искушений, перечислял также отчаяние и уныние. Будь мы верующими, я тоже сказала бы, что это состояние духа — порождение дьявола. Когда я начинаю горевать, вспоминая наших незабвенных покойников, у меня опускаются руки, болит сердце, ну прямо хоть помирай. А я ведь еще гожусь для работы. Не правда ли, Фридрих, тебе, да и Тусси, я еще очень нужна?

— Не знаю, право, как я обходился бы без твоей помощи, — с чувством ответил Энгельс.

— Признаться, в последнее время я часто боюсь подолго занемочь. Быть кому-нибудь в тягость — худшая из

напастей. Ну, не хмурься, старый дружище. Ты у нас богатырь, а это — главное. И Элеонора тоже хороша. Вот только этот Эвелинг... Я, видно, от дорогой Женни и Мавра переняла отвращение к кривлянью.

— Не будь слишком строга, Ленхен. Не всем удастся в молодости избежать этого. Я уверен, Тусси его вылечит, если они поженятся. Эвелинг — прирожденный революционер и, что несомненно, разносторонне образованный человек.

Обсудив с Энгельсом меню на завтрашний день и разные хозяйственные дела, Елена вышла.

Кабинет Энгельса состоял из двух комнат, прибранных и чистых, где для каждой вещи навсегда было определено место и с неистовством изгонялась пыль. Так же выглядели и другие комнаты. Уклад дома был строго выверен. В его спальной с постоянно открытыми окнами господствовал порядок, которому могла бы позавидовать самая аккуратная и придирчивая хозяйка. Кресло у камина казалось привинченным к полу, и в комоде, пропахшем лавандой и мятой, белье было сложено стопками, перевязанными белыми шнурами. Чистота дома казалась наивысшей роскошью.

Пунктуальность отличала Фридриха с малолетства. Тетради, книги, перья, которыми он пользовался, лежали на одном и том же месте, как и промокательный пресс, ножницы и перочинные ножи. С закрытыми глазами, в темноте Энгельс мог бы найти все, что ему было нужно. Он считал, что время, потраченное на приведение вещей в определенный порядок и в систему, окупается позже во много раз и сберегает нервную энергию, растрачиваемую на поиски. Нарушение привычного ритма работы могло вызвать вспышку недовольства, а то и заставить выйти из себя выдержанного и по природе нераздражительного Фридриха.

После трех мрачных недель, последовавших за кончиной Маркса, Энгельс целиком отдался труду над его литературным наследством — самым дорогим для него сокровищем. Он не ожидал, что труд будет таким огромным. Ему предстояло отныне быть постоянно с Мавром. Вначале он работал один. Поль и Лаура Лафарг прочно осели в Париже. Тусси пожелала поселиться самостоятельно. Она сняла две маленькие комнаты неподалеку от читального зала Британского музея. До дома Энгельса

оттуда было не более получаса пути. Девушка занялась литературным трудом, дававшим ей кое-какой заработок, и много времени посвящала пропаганде социализма в наиболее бедных округах столицы. У нее появились свои знакомые, и Энгельс счел за благо не вмешиваться в ее отношения со сверстниками. После неудачного сватовства Лиссагаре, отвергнутого не столько девушкой, сколько ее родителями, Тусси не встречала на своем пути никого, кто мог бы стать ее мужем. А годы шли

— Байрон говорил, что тот, кто примирится с двадцатью пятью годами, примирится со всем на свете, — шутила Элеонора. — Мне уже несколько больше, но я не сдаюсь.

Энгельс зажег свечи на камине и долго вглядывался в запечатленные на портрете черты Маркса. Он достал альбом и принялся медленно перелистывать страницы, отыскивая фотографии друга. Каждая из них воскрешала в памяти картины их общей трудной судьбы. Самые лучшие были сделаны в замечательные годы

Мавр в 1867 году... Его глаза отражают могучую силу духа и убежденность. Прекрасный лоб точно купол совершенного по форме храма Петра в Риме. Густые седые волосы как нимб. Прометей-провидец бросает вызов Зевсу. В этом году был закончен первый том «Капитала».

Тысяча восемьсот семьдесят второй год... Спокойное, величавое лицо, глаза с нависшими веками, с треугольной линией бровей, крепким носом с подвижными ноздрями, раздувающимися в минуты гнева. Мир, озаренный на миг светом Парижской коммуны, погружен во тьму, но ничто уже не остановит движения истории. Победа пролетариата неизбежна.

На снимке 1875 года Карл Маркс одновременно похож на Савонаролу в Сикстинской капелле и на шейха бедуинского племени. Похудевшее смуглое лицо неповторимо красиво и одухотворенно. Горестно-саркастические линии, пролегшие от крыльев носа до подбородка, углубились стали резче, и заметно состарились руки.

Последний раз Маркс фотографировался после смерти своей жены. Фридрих не мог без боли смотреть на старика в окладе белоснежных волос, на чужое, растерянное выражение в прищуренных глазах. Горе сломило колосса.

«Лучше небытие, нежели бесчинье, медленное умирание, невозможность трудиться. Поверженный недугами

гений... Это, было бы трагедией, — думал Энгельс. — Смерть, скосив Женни, подсекла и Маврa, но она оказалась бессильной перед его творениями. До последней строчки, небрежно брошенной им вчерне, я обязан все выискать, собрать, передать человечеству».

На следующее утро Фридрих, выбрав лучшую из фотографий друга, направился к стоянке омнибуса. Энгельс казался совсем еще молодым человеком, стройным, изящным и легким в движениях. Особенно хороши были его прямые, чуть откинутые назад, могучие плечи бойца, не знающего страха. Никто не давал Энгельсу его лет. Лицо, почти без морщин, сохраняло ту четкость овала, какую обычно рано портит равнодушное время. К густой русой шевелюре, к большим спускающимся усам и пышной, холеной, с более бронзовым отливом, чем волосы на висках, бороде не прикоснулась седина. Серые глаза его не теряли блеска и легко загорались и от смеха и от гнева. Всегда тщательно одетый, педантично чистоплотный, он вовсе не был чопорным, недоступным. Никто не располагал так к откровенности, не воодушевлял, не привлекал к себе, как этот человек высокого роста, атлетически сложенный, с выправкой военного и лицом ученого.

И сейчас, когда он шел, спокойно опираясь на трость, прохожие с невольным почтением смотрели на него и старались вспомнить, кто этот человек, не сомневаясь, что перед ними личность известная, незаурядная.

Фридрих Энгельс торопился к Мейоллу, одному из самых лучших фотографов Лондона. Мистер Мейолл встретил клиента заученной улыбкой и пригласил его в обитую бархатом приемную.

Энгельс вынул из бумажника снимок Маркса и попросил Мейолла размножить его.

— Мне нужно не менее двухсот портретов кабинетного формата. Будьте добры назвать время, когда я смогу получить их, а также цену.

— Я не беру ничего за фотографии знаменитостей. Это честь для моей фирмы — выполнить такую работу. В наше время заслуженно прославившихся людей не так уж много, и поэтому мое правило — не брать денег за их изображение. Это не грозит фирме разорением. Благодарю вас, сэр, за доверие. Маркс — это большое имя. Все будет исполнено тип-топ, и те, кто получит фото

покойного доктора Маркса со штемпелем на обороте «Мейолл, Лондон», будут всегда испытывать только удовольствие. Спасибо!

Фридрих чувствовал себя в затруднительном положении.

— Видите ли, мистер Мейолл, я вовсе не хотел бы получить несколько сот снимков бесплатно. В этом нет никакой необходимости. Поверьте, что мы платежеспособны.

— Но для моей фирмы это лучшая реклама. Все в порядке, сэр. До свидания.

Энгельс едва сдержался от выражения досады. Коммерческая сноровка, которую он приобрел, служа многие годы конторщиком на фабрике «Эрмен и Энгельс», выручила его. Он убедил Мейолла, что в данном случае является не частным лицом, а представителем немецкой книготорговли. И фотограф согласился принять положенную сумму.

Покончив с заказом карточек, которые Энгельс предназначал для многочисленных друзей и единомышленников Маркса, а также для газет и издательств в различных странах мира, он вернулся домой и снова погрузился в просмотр рукописного наследства друга. Перед ним в многочисленных тетрадях, на листах бумаги запечатлелась душа Маркса, его мысли, искания, труд.

Почти сорок лет Энгельс и Маркс фактически не расставались. Переписка побеждала разлуку, уничтожала расстояния. Они знали друг о друге все и достигли той высоты понимания, доверия, духовной близости, когда совершается чудо, человек как бы сбрасывает оболочку одиночества и становится частью другого. Два мозга тогда творят согласно. Это уже не только дружба, но и духовное побратимство — редчайший дар жизни.

Энгельс не перенес бы потери друга, если бы воспринял его кончину как полное исчезновение. Но Карл продолжал для него оставаться живым. Он ощущал его присутствие в себе самом. Мысли Маркса, его творения, общность их дел, открытий, воспоминаний уничтожали в сознании Энгельса боль утраты.

Такая дружба не могла оборваться со смертью одного из двоих. Она продолжалась. Сила ее, испытанная во времени и борьбе, и суть ее были бессмертны.

Энгельс не чувствовал себя одиноким. Маркс был рядом и требовал действия.

Многие годы Фридрих Энгельс служил в фабричной конторе, чтобы гений Маркса мог обрести крылья и взлететь, создав такие нетленные в веках творения, как «Капитал», и совершив такие деяния, как организация Интернационала. Теперь Энгельс призван был запереть и обработать прерванный труд друга, возглавить борьбу за пролетарскую революцию. Энгельсу надо было также отдать людям свои открытия в естествознании и в истории. Когда есть цель, находятся силы, чтобы ее достичь.

Для Энгельса часы духовных, мысленных свиданий с другом были едва ли не самые воодушевляющие. Он победил ими разлуку, разорвал одиночество, радовался жизни, которую всю подчинил одной цели.

Энгельс был счастлив. «Я снова с тобой, друг», — думал он, внимательно перебирая бесценные творения уже погасшего человеческого мозга. Энгельс жадно искал в массе хаотически сложенных бумаг различные варианты второго тома «Капитала». Маркс тщательно скрывал от самых близких ему людей эту свою работу. Он знал, что Фридрих, Женни и Лонгэ будут торопить его закончить труд и опубликовать. Он же хотел довести все до предельного совершенства, проверить, пополнить, отточить все грани, отшлифовать каждую мысль и фразу.

Маркс был не только гениальным ученым и поэтом, он нес в сердце пламя поэта, художника, всегда не удовлетворенного достигнутым, стремящегося к недостижимым высотам. Как и Энгельс, он поднялся над тщеславием и славолюбием, зная, сколь мелки подобные чувства. Обе эти человека принадлежали не только своим современникам, но и будущим поколениям и ощущали ответственность перед теми, кто еще должен был родиться, чтобы сражаться за идею и победить.

«Есть или нет второй том «Капитала»? Где эта рукопись? Мавр сказал Тусси перед смертью: «Энгельс должен с этим что-нибудь сделать». Фридрих томился сомнениями и с присущей ему тщательностью перебирал и складывал по-новому листы, исписанные дьявольски трудно разбираемыми, маленькими, витыми буквами. Энгельс, как и покойная Женни, с трудом находил пути в этом лабиринте вязи почерка Мавра. Иногда письмена

эти были похожи на сплошные линии с внезапными загогулинами, точно рисунок, воспроизводящий ток крови.

«Неужели враги наши, возвещающие в прессе о том, что Марксу больше нечего сказать, что он выдохся, ибо в природе нет второго тома «Капитала», не получат должного отпора?» — продолжал размышлять Энгельс.

Постепенно его охватывало смятение. Карл, который делился с ним всем самым сокровенным, уклонялся от ясного ответа, когда его спрашивали, закончен ли второй том и на каком этапе работа над третьим. Но вместе с тем Мавр говорил, что обязательно посвятит книгу Женни. Значит, труд его близился к завершению. А что, если, переделывая заново главы, он, недовольный собой, уничтожил написанное? С ним ведь такое случалось. Вряд ли существовал на свете человек, который судил бы свои произведения столь строго, как Маркс.

Энгельс развязал большую пачку бумаг и открыл первый лист. Лицо его загорелось. Мелкие росинки пота покрыли лоб. Он еще и еще раз прочел начало, перелистал страницы и тщательно просмотрел конец...

Вот он.

Вот он, второй том! Энрика!

Энгельс перелистывал желанные страницы, вчитывался в отдельные строчки, тщательно рассматривал в лупу неразборчивые слова. Он удивился тому, что рукопись написана готическими буквами. Значит, решил Энгельс, она создавалась до 1873 года, нет, до 1870 года. Именно с той поры Маркс начал писать только латинскими буквами.

«Итак, Мавр тщательно скрывал от нас свое творение, чтобы еще и еще шлифовать его, править. Какое счастье для нас всех, что рукопись сохранилась!»

Он позвал Ленхен. Узнав о бесценной находке, она всплакнула и долго не могла успокоиться. Затем сказала добродушно:

— Этакий притвора наш Мавр! Сколько раз дорогая Женни и я спрашивали его, корча, почему все же не дописан второй том, а он отшучивался. Итак, более десяти лет он вылизывал, как сам любил говорить, свое дитя и при этом помалкивал. Кстати, Фридрих, кто это попытался оклеветать Карла, утверждая, что в природе нет второго тома «Капитала»? Хотелось бы мне увидеть эту злобную рожу, когда книга выйдет из печати.

— Лорна на Мантуи. Мелкая душонка, инфузория, которая мнит себя ученым.

— Маркс и из гроба скажет им всем свое слово. Я уверена, ты отыщешь в его бумагах еще не одну начиненную динамитом мину против буржуа и их лизоблюдов. Я сейчас же сообщу Тусси о найденном кладе и, хочешь или нет, не дожидаясь воскресенья, устрою праздничный пир.

— Превосходная идея, Ленхен. Не поскупись на рейнландское вино. У нас, кажется, еще есть кое-какие запасы, присланные с родины.

Энгельс принялся бережно укладывать бумаги в широкий старинный сейф. Когда обитая железом дверца захлопнулась, замок издал протяжный звук, похожий на вздох. Этот таинственный несгораемый шкаф называли то Франкенштейном, то Гомункулусом — фантастическими существами, о которых было написано уже немало книг.

Елена Демут в приподнятом настроении отправилась в огромную кухню, чтобы приняться за стряпню. Совсем недавно Ленхен была моложава и здорова, несмотря на свои шестьдесят лет, но после кончины обеих Женни, Карла и маленького Гарри Лонге голова ее поседела, на лице пролегли глубокие морщины горя, спина сгорбилась, не выдеся тяжести свалившихся бед. Однако голос, взгляд, жесты были по-прежнему бодрыми.

В день, когда была обнаружена желанная рукопись второго тома «Капитала», после вкусного ужина в обществе дорогих людей, хозяин дома ушел к себе в кабинет, но пробыл за письменным столом недолго. Находясь под сильным впечатлением находки, он написал в Нью-Йорк своему боевому соратнику:

«Дорогой Зорге!

...Из периода до 1848 г. спасено почти все — не только написанные тогда им и мной рукописи сохранились почти полностью (за исключением того, что изъедено мышами), но и переписка; разумеется, также с 1849 г. все целиком, а после 1862 г. даже в некотором порядке; имеется также весьма обширный рукописный материал, относящийся к Интернационалу, достаточный, я полагаю, для полной его истории, но подробнее посмотреть его мне еще не удалось...

Не будь такой массы американского и русского материала (по одной только русской статистике более двух кубических метров книг), второй том был бы давно напечатан...»

Несколько позднее Энгельс разобрал и русскую библиотеку Маркса и решил передать ее через Лаврова русским революционным эмигрантам.

Энгельс испытывал ни с чем не сравнимое чувство, когда писал о Марксе. Казалось, его друг воскрес. В письмах к общим знакомым и соратникам Фридрих постоянно касался тем, над которыми работал Маркс.

Одновременно он готовил переиздание первого тома «Капитала», который следовало расширить согласно пометкам покойного. Работа эта оказалась крайне кропотливой и нелегкой.

В ту же пору в бумагах Маркса Энгельс сделал приятное для себя открытие, найдя изрядно потемневший от времени листок, на котором Георг Веерт в 1846 году написал стихи, никогда доселе не публиковавшиеся. Воспоминание об острослове весельчаке, умнице и неустрашимом первом и лучшем революционном поэте, как лунный тихий свет, озарило Фридриха. С Веертом он дружил с юности до последних лет его жизни. Было нечто схожее в их биографии: оба происходили из купеческих семей и занимались неприятной им коммерцией, оба любили жизнь во всех ее проявлениях, оба стали коммунистами и сотрудничали в «Новой Рейнской газете». Веерт умер молодым от воспаления мозга в Гаване в трудные для революционеров пятидесятые годы. Тогда Маркс решил написать очерк об этом выдающемся поэте и недюжинном человеке, но не осуществил своего намерения, потому что опубликование такого некролога было невозможно в обстановке реакции, царившей в те годы в Германии. Энгельс дал себе слово, что доведет до конца все, что не удалось завершить другу.

Вызвав Ленхен, он начал с того, что прочел ей случайно сохранившееся неведомое стихотворение «Песня подмастерья»:

Под вишнею цветущей
Мы кров себе нашли,
Под вишнею цветущей
Во Франкфурте нашли.

И нам сказал трактирщик:
«Одеты вы в тряпье...» —
«Молчи, трактирщик вшивый,
Ведь дело не твое!

Неси-ка лучше пива,
Вина еще налей,
Подай к вину и пиву
Жаркого поскорей!»

Кран скрипнул, и густая
Струя пошла, журча.
Хлебнули — дрянь какая!
Ни дать ни взять — моча.

Принес хозяин зайца
В гарнире овощном,
Принес хозяин зайца,
А заяц был с душком.

Когда ж в свои постели
Легли мы, помолясь,
Всю ночь клопы в постели
Нещадно ели нас.

Во Франкфурте и с красном
Несладко было нам
И это знает каждый,
Кто горе мыкал там

Посылая неопубликованное стихотворение Веерта «Песня подмастерья» в Цюрих, в газету Германской социал-демократической партии, Энгельс сопроводил его статьей, в которой тепло писал о жизни, борьбе и стихах поэта.

— Долг перед памятью Георга нами выполнен, — сказал он Лепхен, когда вернулся с почты.

В осенний сентябрьский день в Лондон приехал Герман Лопатин, отважный, неуемный революционер, первый переводчик части «Капитала» на русский язык, друг Маркса, Энгельса и их близких. Как родному, обрадовались ему на Риджентс-парк.

Минувшие годы прошли для Лопатина бурно и тяжко, но он был в том возрасте, когда испытания еще не сгибают, не грозят сломить волю и здоровье, а напротив, закаляют истинно сильного человека. Герман возмужал, окреп в схватках.

Фридрих крепко обнял его.

— Ты молодец, Герман, я знаю: как всегда, смел до безумия. Надеюсь все-таки, что смелость ты привез с собой, но безумие остался на родине, — сказал он ему по-русски.

От радостного волнения, которое не хотелось скрывать, Лопатин молчал, не выпуская руки того, кого считал одним из величайших умов века.

— Увы, ты опоздал, - продолжал уже тише Энгельс. — Мавра нет с нами. Как он высоко ценил тебя, дружище! «Не многих людей я так люблю и уважаю, как его», — сказал о тебе Маркс. Ты можешь этим гордиться.

Хладнокровие и выдержка, присущие в любых случаях Лопатину, на миг покинули его. Он отвернулся к стене и снял очки.

— Какое несчастье, что я прибыл из России слишком поздно! В день смерти Мавра, не ведая этого, я перешел границу и мысленно уже видел себя в Лондоне. Когда в Женеве мне сказали, что не стало Маркса, я крикнул: «Не может быть!» И сейчас я готов повторить: «Не может быть. Не должно быть!»

Широкоплечий, высокий, ростом почти с Энгельса, Лопатин согнулся от горя.

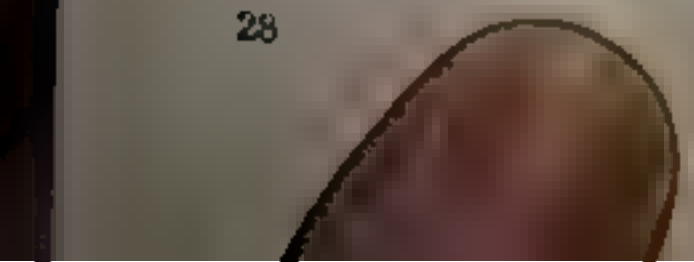
— Есть люди, — продолжал он, — ради которых многие из нас не задумываясь пожертвовали бы жизнью. Они нужны человечеству, как солнечные лучи. А смерть не щадит и их.

В кабинет вошла Ленхен. Притянув Лопатина, она поцеловала его в по-молодому круглые, свежие щеки.

— Как хорошо, что вы снова с нами! Я всегда тревожусь о наших друзьях-русских. Царь не очень-то церемонится со своими подданными. Это настоящий кровопийца. Для него виселицы — что качели. Только и слышим о новых жертвах. Я хотела бы дожить до революции в России и увидеть, как метла рабочего человека очистит ваш край от всякой нечисти. Мавр и Генерал предсказывали не раз, что русские банкиры и деспоты полетят-таки вверх тормашками.

— Если бы это было не так, я считал бы себя и своих товарищей окончательными банкротами и ослами, — оживился Лопатин.

— Ты прав, — начал Энгельс, подвинув Герману сигары и спички. — В России сочетаются все условия, по-



обходимо для того, чтобы произошел революционный взрыв. Возможно, революцию у тебя на родине, Герман, начнут высшие классы Петербурга, может быть, даже правительственные сферы, но народ этим не удовлетворится, пойдет дальше и выведет ее за грань первой, конституционной фазы. А может случиться так, что царя вынудит созвать Земский собор, а это неизбежно приведет к радикальному не только политическому, но и социальному переустройству.

Энгельс курил, медленно затягиваясь и с заметным удовольствием выпуская дым замысловатыми кольцами. Ленхен широко распахнула окно. Был ясный день, и небо казалось зеленовато-голубым, как морская гладь.

— Карл и я всегда верили в громадное значение выборов. Это школа для народа. Открытая избирательная борьба — наилучшая пропаганда, более успешная, нежели любые книжки, тайные листовки и разъяснения, — громко продолжал Энгельс. В последнее время, особенно после смерти Маркса, он стал туг на левое ухо и, недостаточно хорошо слыша, часто повышал голос в разговоре. - Мы с Карлом считали, и не ошиблись, что Россия похожа на минированное поле и к бикфордову шнуру остается только поднести огонь, чтобы деспотизм взлетел на воздух. Царизм вступает во все более вопиющее противоречие со взглядами просвещенных классов, в особенности со взглядами растущей буржуазии. Самодержавие то делает уступки либерализму, то с испугу берет их обратно и тем самым запутывается все сильнее и подрывает к себе всякое доверие в народе. Но я еще не слышал, как удалось тебе тайно вырваться из России, где, надо думать, по тебе плачут жандармы... А вот и Тусси, твой старый, верный друг!

Элеонора радостно протянула Герману руку.

— Вы живы, здоровы — это главное. Как были бы рады вам Мавр и Мэмэ!..

Резким движением Элеонора сбросила шляпку с густой траурной вуалью и поправила черные розы на платье.

Когда она уселась в кресле, бульдог с отвислой нижней челюстью, вышедший из соседней комнаты, тотчас улегся у ее ног. Лопатин неполно вспомнил день первого знакомства с девушкой и ее родителями, вспомнил, что в доме Маркса всегда было много животных.

— Вы верны своим привязанностям, — кивнул он на бульдога. — Но пес Виски и кошка Томзи, которую доктор Маркс прозвал ведьмою, наверное, покинули сей свет. А помните наши занятия? Никогда не забыть мне ваших уроков английского языка. Вы были весьма строгой и требовательной учительницей. Если я теперь хоть и плохо, но изъясняюсь по-английски и меня понимают, то этим я обязан только вам.

— Полноте, не скромничайте. У вас несомненные лингвистические способности. Не правда ли, Генерал, его произношение вполне удовлетворительно? Но когда вы приехали к нам впервые, то с редкой развязностью пользовались прелестной смесью из французских, немецких, английских и еще каких то, очевидно славянских, слов. Однако мама, Мавр и мы все вас понимали превосходно.

— Да... — улыбнулся Лопатин — Отчаянье от того, что я не овладел еще как следует ни одним иностранным языком, и притом адское желание быть понятым, привело к тому, что я тогда старался прикрыть свое невежество беглостью речи, усердной мимикой и дикой жестикуляцией.

— Все было не так уж драматично. Мои родители полюбили вас с первой встречи. Мама, помню, сразу же предложила вам поселиться в нашем доме.

— За всю свою жизнь я не встречал более гостеприимных и любезных людей, нежели доктор Маркс и его супруга. А как я страшился холодного приема! Ведь знаменитости бывают иногда весьма чопорны, надменны, равнодушны. Подобных Марксу и вам, Энгельс, нет больше людей на свете. Истинно гениальное всегда просто.

— Та-ты-та, замолчи, дружище, — прервал Германа Энгельс — О Марксе мы рады слышать все, что вырывается из твоего сердца, но обо мне прошу никогда не декламировать в столь патетическом тоне, иначе это испортит наши добрые отношения. Мы с Марксом всегда жестоко высмеивали, а то и ругали за такие попытки. Ну, а теперь, покуда наступит блаженное время обеда, мы с тобой поговорим о России. Это, несомненно, страна великой судьбы. Я часто думаю о том, сколько крови свободолюбцев уже пролилось ради будущей победы революции. Твоя родина, Герман, это Франция нынешнего века. Она закономерно явится первооткрывательницей совер-

шению нового социального устройства. Так-то, мой молодой друг! Я жду взрыва в России. Более того, ты, несомненно, увидишь великое преобразование своей страны. Если б я был моложе! Но ты принадлежишь к счастливому поколению. Но могу не завидовать тебе. В русском народе накоплено уже много взрывчатых сил. Негодование растет вместе с эксплуатацией и жестокостью режимом. Если даже правящая клика решилась бы спасаться с помощью либеральной конституции, этого ей не удастся сделать без экономических перестроек. Факты, статистика, опыт учат нас, что в России есть уже все, чтобы перестраивать общество по-новому.

— Как вы думаете, возможно ли моментальное осуществление коммунизма в моей отчизне? — спросил Лопатин, слушавший Энгельса с пылающим лицом. Он то и дело снимал очки, которые в этот раз не помогали ему, а мешали видеть сидевшего за столом Энгельса.

— Я не верю в мгновенные чудеса, даже если они — осуществление мечты всей нашей жизни. Коммунизм неизбежно победит повсеместно, и ваша страна будет, надеюсь, в этом первой. Ясно, что царизм себя изжил, народ начал понимать это. Нет сомнения, что русский пролетариат сумеет безошибочно найти действительных выразителей своих нужд и чаяний. Твоя родина — сокровищница талантливых людей и бесстрашных революционных борцов. Русские в наши дни не перестают удивлять мир своим искусством, наукой и бесстрашием в борьбе за справедливость. Поразительна быстрота, с которой твои соотечественники начинают нерасторжимо в самых различных областях.

Энгельс и Лопатин говорили о традициях русской революции, о путях политического и социального возрождения замечательного северного государства. Герман с полуслова понимал того, кого с любовью называл про себя учителем. Нередко Энгельс договаривал и углублял мысли своего собеседника.

Столь важен и увлекателен был для Германа этот разговор, что, придя в полночь в «гостевую» комнату на втором этаже квартиры Энгельса, он долго не мог уснуть, записывая и стараясь запомнить все, что слышал.

Лопатин мучительно выбирал, с кем идти ему дальше по революционной стезе. Отчаянно храбрый, упорный, он нередко действовал в одиночку, то сближаясь, то отходя

от различных групп и не вступая формально ни в какую революционную организацию.

Оставаться за рубежом Лонгин не хотел и твердо решил вернуться на родину, чтобы бороться с врагом лицом к лицу. Общество «Освобождение труда», только что возникшее, виделось нетерпеливому революционеру бесполезным, оторванным от трудящихся.

«Когда еще оно проникнет в толщу русского народа!» — думал Герман. Ждать он не хотел, да и не умел. Он решил, что сможет вовлечь и привести к победе преследуемых бойцов разбитой «Народной воли». Россия казалась ему все еще погруженной в спячку. Встряхнуть ее надо было, по мнению Лонгина, любыми, пусть самыми опасными, средствами, к которым прибегали террористы.

Приезд молодого русского вызвал у Туссен множество воспоминаний. С той поры как она осиротела, дом Энгельса и особенно уютная, тихая, уставленная давно знакомыми вещами комната Ленхен заменили девушке потерянный родительский кров. Поджав ноги, забираясь она в большое старое кресло у камина, брала на руки рыжего кота, любимца Элеоноры, и, прислушиваясь к треску горящих поленьев, мечтала, как в детстве, либо поверяла своей второй матери мысли и заботы. Со стен смотрели на нее с портретов в тяжелых черных с золотом рамах бабушка, баронесса фон Вестфален, полная дама с припухшими веками и строгим лицом; совсем еще юная и прекрасная мать; отец, на которого Туссен была так похожа; умершая любимая сестра Женнихен и красавица Лаура. На выступе камина стоял под стеклом дагеротип с изображением большеглазого, темноглазого мальчика, брата Туссен, маленького Эдгара, прозванного Мушем. Он скончался за несколько месяцев до ее рождения.

— Никто не заменил его в сердце Мавра, но так ли, Ленхен? — спрашивала Туссен.

— Тот, кто видел наше сокровище, не мог уже забыть его никогда. Муш был бы таким же великим человеком, как Мавр. Он рассуждал обо всем по-особенному и был по-детски мудр и добр. Бедняжка погиб от нашей нищеты. Если бы ты знала, как мы мучились на Дин-стрит! Что это было за проклятое логово, совсем без света и воздуха! Порой я варила на обед одну только картошку без капли жира. Мы голодали, как самые бедные безработные в доках. К счастью, ты появилась, когда

мы перебрались из Сохо на здоровую окраину Лондона, и хотя ты видала в детстве много черных дней, но была кругленькая и румяная, как яблочко.

— Жаль все же, что я не родилась мальчиком, чтобы утешить хоть немного Мавра в его потере.

— Что до шалостей, ты стоила десятка мальчуганов и была настоящим чертенком.

В этот день Ленхен, оставшись наедине с Тусси в своей комнате, пахнущей лечебными травами, которые она берегла на случай болезней, спросила, хитро улыбаясь:

— Теперь, когда ты уже взрослая, сознайся, этот русский парень был-таки предметом твоей первой любви? Мы с незабвенной Женни не раз шутили на этот счет.

Элеонора не пошевелилась и ответила после недолгого раздумья:

— Как тебе сказать... Я ведь росла неутомимой выдумщицей. Герман вскружил мое воображение. Я фантазировала и мечтала, как мы с ним будем вместе сражаться на баррикадах, как объездим весь мир, повсюду зажигая революционное пламя. Чего только я не думала о нем и о себе! Может быть, это и есть любовь. Когда он внезапно исчез, не предупредив никого, и уехал в Россию, я спряталась, чтобы скрыть от всех слезы.

— Скажу тебе по секрету, моя девочка, что Мавр и Женни желали, чтобы, когда ты подрастешь, Лопатин стал твоим мужем. Они привязались к нему, как к сыну, и верили, что он даровитый и смелый малый.

— А Герман, как оказалось, был уже в то время женат. Никто у нас этого не предполагал, — улыбнулась Тусси.

— Если бы удачно, а то ведь счастья в браке он не нашел.

— А каково счастье в наше время? — тихо произнесла девушка и поднялась. — Борьба — вот оно, счастье, как говаривал Мавр. Я добавлю к этому, борьба и победа.

У лестницы, соединяющей этажи квартиры, расположенной, как это водится в Англии, не вширь, а вверх, Элеонору и Ленхен встретил Энгельс и позвал их к себе для разговора о памятнике на могиле Маркса. Мысль об этом не оставляла его. Сначала он хотел воздвигнуть мраморное изваяние друга в полный рост, затем начал склоняться к тому, чтобы увенчать могилу бюстом, сделанным по фотографии. Его тревожило лишь опасение, что камень

не передаст духовный огонь гения. Где найти ваятеля, который поймет душу Маркса? Не каждому резцу дано воскресить неповторимый образ, сочетавший в себе одном величайшего мудреца, провидца, ученого, борца и вместе с тем просто человека, избравшего к тому же для себя удел обездоленных и бесправных. Холодной рукой, водимой расчетливым умом и равнодушным сердцем, нельзя высечь памятник человеку, заслуживающему бессмертия.

Элеонора и Лепхен воспротивились Энгельсу. Для них стала священной надгробная плита, которую Маркс сам выбрал для своей жены, зная, что она приляжет и его гроб. Теперь на ней были начертаны уже три имени — Женни Маркс, Карла и маленького Гарри Лонге, последовавшего за дедом в том же проклятом марте.

Кладбище Хайгейт, где погребен прах Маркса и его близких, предельно уплотнено. Гробы членов одной семьи нередко устанавливаются один поверх другого, покуда последний из них не упрется в каменный заслон надгробья. Среди однообразных, тесно соприкасающихся могильных гряд находится последнее пристанище Маркса. Оно уместилось меж бесчетных обреченных на забвение могил мелких лавочников, клерков, журналистской голытьбы, военных и штатских пенсионеров. Плоские плиты в одинаковом порядке сообщают имя, возраст, дату смерти, а иногда и последний адрес покойника.

Нередко кладбище Хайгейт посещали Энгельс с Лепхен и Тусси. На этот раз к ним присоединился и Герман Лопатин.

Немало перемен произошло во внешнем облике Лондона за последние несколько лет. Чище стали центральные улицы, отстроились нарядные жилые районы вокруг Хемпстеда и Примроз-хилл. Появился первый трамвай, объявленный чудом наступающего электрического века. Его с явным недоброжелательством и опаской встретили многочисленные столичные извозчики и владельцы омнибусов. Энгельс охотно толковал об этом со случайными собеседниками на улице. И сейчас, наняв громоздкий, неповоротливый кеб и усадив в него Лепхен, Элеонору и Германа, он завел разговор с полицией, едва видимым на облучке под грузной ливреей и высоченным цилиндром. Кучер, погоняя вегих лошадей, тотчас принялся сетовать на серьезного конкурента, бегающего повсюду, правда, только по главным дорогам города.

— Машина машиной и останется, — начал он. — Ей, как коню, не прикажешь, где остановиться, а где прибавить ходу или свернуть по прихоти седока... А куда, спрашивается, спешить? Или костей не жалко? Трамвай немало людей перекалечит, он что поезд. Так ведь тот по полям несется. Я слыхал, что скоро по улицам поскачут машины наподобие карет, но не по рельсам. Я сожалею о своих внуках. Все это чертова мельница, видит бог. Когда я был молодым — мне сейчас без году семьдесят, — на Бонд-стрит встречались только пешеходы и кареты да еще изредка телеги. Никто не суетился, разве что пьяные у трактиров. Мы, извозчики, дружили и охотно перекидывались друг с другом словечком с козел. Конкуренции не было. Всем хватало седоков. Да и заработки были хорошие. Лошади никогда нас не подводили. А господа ценили искусную езду, знали толк в лошадиной породе. Воздух в Лондоне был тогда не хуже, чем в Истборне. Бывало, прибавишь ходу, и женщины зарумянятся на ветру. Старики любили поспать на мягком сиденье, покачиваясь, будто в люльке. А каким событием для всех было появление резиновых шин! Колеса перестали громыхать и портить мостовые. Колокольчики, бывало, на лошадиных шеях брячали и пели, как соборный орган. Счастливая старая Англия. Теперь ей приходит конец.

Извозчик смолк. Энгельс угостил его сигарой и сказал:

— Увы, сэр, нам, старым людям, часто кажется, что лучшее уже позади. А ведь оно то впереди. Я сам страстный любитель лошадей и не знаю большего наслаждения, чем верховая езда. Уверен, что наши потомки согласятся со мной и будут вечером предаваться этому спорту. Я думаю, лошадь и собака никогда не исчезнут на земле, пока существует человек. Как далеко ни шагнут цивилизация и техника, люди будут с еще бо́льшим увлечением заниматься охотой, рыболовством, устраивать скачки с препятствиями, дружить с домашними животными. А трамваи... Да это детская игрушка по сравнению с теми великолепными машинами, которые скоро заполнят улицы, поднимутся в воздух.

— Об этом сказано уже в Библии, — мрачно возвестил извозчик. — Время близко, сему надлежит быть вскоре.

— Ба, — оживился Энгельс, — да он повторяет слова из Апокалипсиса. Примерно месяц назад я поместил

в журнале «Прогресс» статью о Книге откровений, которую цитирует наш кебмон. Прелюбопытное, должен сказать, произведение некоего Иоанна, не претендующего даже на звание апостола. Что сей Иоанн еврей, я установил, прочитав текст в оригинале. Его откровения написаны на плохом греческом языке, изобилующем гебраизмами. В них полно грамматических ошибок. Этим они резко отличаются от других, тоже не вполне безупречных в смысле грамотности, книг Нового завета. Несомненно, что Иоанн из так называемого Евангелия и автор Откровений тоже Иоанн, разные люди, а их часто смешивают.

— Вам следует, Герман, прочесть статью Генерала, — сказала Лонхен. — В детстве меня только и учили что закону божьему. Я часто слыхала, как отец читал Откровения. Мои родители считали их пророческими и утверждали, что конец мира приближается. И все, особенно дети, жили в постоянном страхе. Дома у нас поминали какого-то зверя, и дед вещал. «А зверь, которого ты видел, был и нет его, но он еще появится». Я боялась тех сильнее, что не понимала Откровения, их таинственных всадников на конях и «семь голов, которые суть семь гор, на которых сидит жена». Страшная сказка.

— Да, да, — продолжала Тесси. — Представьте, Герман, тревожащая многие поколения суеверных людей Книга откровения, в которых Иоанн называет кабалистическое число шестьсот шестнадцать или шестьсот шестьдесят шесть, отнюдь не дала каждому Покров с тайны сорвал.

— Это верно, — подтвердил Эпенье. — Секта христиан в начале нашей эры смертельно страшилась своего гонителя Нерона. Тацит сообщал в «Анналах», как после смерти Нерона распространился слух, что цезарь не погиб, и вернется, и наведет ужас на весь мир. Но тогда бог разрушит Рим, город зла, и закует антихриста на тысячу лет. Не правда ли интересно, что цифровое обозначение шестьсот шестнадцать или шестьсот шестьдесят шесть означает всего лишь имя Нерон. Цифры — своеобразный шифр. Но Откровения привлекли меня не только мистическом и, в конце концов, пишном таинственностью. Автору их удалось дать достоверную, хотя и на первый взгляд трудно понимаемую картину своего времени, поры изначального христианства. Я думаю, эта книга значительнее для истории, нежели все остальные книги Нового

завета, вместе взятые. Она написана, как я высчитал, в шестьдесят восьмом году или в январе шестьдесят пятого года нашей эры, не позже. Это единственное произведение из всего цикла Нового завета, дата создания которого теперь точно установлена. В первом веке в Риме существовало множество различных сект, вплоть до поборников «свободной любви». Любопытная особенность: в каждом революционном движении — а христианство было именно таким в дни своего возникновения и создавалось народными массами — вопрос о «свободной любви» обязательно поднимается на поверхность. Для одних это желание сбросить традиционные узы, потерявшие смысл, для других удобное прикрытие всякого рода легких и кратких отношений между мужчиной и женщиной... Но вот и хайгейтский пригород. Я, кажется, успел прочесть вам лекцию.

— С Энгельсом не заметишь, как летит время, даже если пойдешь с ним пешком вокруг света, — отозвалась Ленхен.

Кеб, раскачиваясь, двигался по дачным от центра улицам. Низкие дома с палисадниками почернели от времени и угольного чада. Их строили в первой половине века, и они были современниками коричневых в крапинку сюртуков и редингот, клетчатых жилетов, мелко завитых бород и пышных бакенбард. Годы не меняли и обведенное железной оградой кладбище Хайгейт. У ворот стоял черный с посеребренными султанами на балдахине катафалк, запряженный четырьмя лошадьми под попонами с бахромой.

На таких же дрогах привозили сюда гробы Женни, Карла и маленького Гарри. Кладбищенский сторож учтиво поклонился Энгельсу и его спутникам как старым знакомым. Ленхен открыла у могилы привезенную с собой корзинку и достала ведерко. Элеонора принесла воды, и они тщательно обмыли плиту и затем покрыли ее привезенными с собой хризантемами. Все молчали. Лопатина подавил вид кладбища. Он, как большинство людей, гнал от себя мысль о смерти. Молодость и здоровье служили ему прочной гарантией долгой жизни. Тоскливо перечитывая надписи на каменном надгробье, он вдруг постиг не разумом, по сердцем, что Маркса нет, и ощутил колкую жалость к самому себе. Энгельс, стоявший рядом, выглядел спокойным и невозмутимым. Мысль о медленном

разрушении тела под землей долгое время ужасала его, точно кощунство. Верный правилу не навязывать близким свои ощущения и, главное, не огорчать их, он молчал, но уже давно твердо решил, что его прах должен быть сожжен.

«Никаких фетишей, никакого поклонения тлену, расстающейся материи, — думал он. — Что может быть печальнее, чем забытая всеми могила, олицетворяющая смерть в памяти людской! А это неизбежно. Поколения сменяют поколения, время все убивает, стирает даже воспоминания».

Любя, как и Маркс, изречение древних о том, что жалеть надо не умерших, а живых, Энгельс старался всем, чем мог, утешить Элеонору, Лауру и Ленхен, но сам не допускал к себе мысли о вечной разлуке с другом. Нет, Маркс для Энгельса не умирал. Оттого чужой оставалась для него могила на Хайгейтском кладбище.

Цвет воды озера Леман, близ которого расположены Женева и Лозанна, в ясный безветренный день режуще ярок. Множество белых пароходиков и лодок — точно вязаные карточки на сине-голубом эмалированном подносе. Дремотное довольство пресыщенности разлито по всей Швейцарии.

Скромный дом, в котором жили Георгий Валентинович и его жена Розалия Марковна, прятался в небольшом ухоженном садике. В часы послеобеденного отдыха Плеханов обычно прогуливался по набережной, читая на ходу какую-нибудь книгу. Он одевался опрятно и весьма строго. Может быть, впечатление некоторой даже щеголеватости создавалось благодаря военной выправке и тому, что костюм его был отлично отутюжен, а ботинки и шляпа настолько чисты, что всегда казались новыми. Овальное лицо Плеханова отличалось редкой соразмерностью черт, вдумчивым и властным выражением больших продолговатых глаз. Тщательно подстриженная густая, но недлинная бородка, суживаясь, поднималась до самых висков. Прямые темно-русые волосы он откидывал назад и тщательно приглаживал волосок к волоску. Хороши были его широкий выпуклый лоб и безупречного рисунка уши.

В минуты раздражения и гнева Плеханов не знал удержу. Он был вспыльчив и не терпел возражений.

В 1883 году Георгию Валентиновичу исполнилось двадцать семь лет. Три последних года он провел в эмиграции, где напряженно и успешно работал.

Однажды к сдаа видимому за густыми каштанами дому подошла женщина лет тридцати, в клетчатом платье с кружевными оборками, узеньком спереди и пышном на талии сзади. Боа из розовых страусовых перьев в виде шарфа, так же как и юбка тюрюр, только начинали входить в моду. Шляпка, напоминавшая индейскую пирогу, была тоже вычурна, как и все на молодой посетительнице. Приватница загляделась на необычный наряд незнакомки, а узнав, что она из России, любезно пропустила ее в дом.

Анна Павловна Бах приходилась дальней родственницей Плеханову. Она приехала к нему прямо из Тамбовской губернии. Имение ее родителей находилось в Липецком уезде, неподалеку от села Чудаловки, где родился Георгий Валентинович.

— Вот кого не предполагал видеть в Швейцарии! — удивился Плеханов, привечая гостью

С трудом стянув белые лайковые перчатки, Анна Павловна, стараясь не уколоть пальцев, вытащила длинные булавки, придерживавшие на забитых локонах необычную шляпку. Затем она уселась в кресло и, подозрительно оглядываясь по сторонам, заговорила шепотом

— Я привезла письма вашему обществу.

— Вижу, ты все еще под гнетом российского пресса, — улыбнулся Плеханов. — Говори громче.

— Ты прав, Жорж. Я в каждом встречном подозреваю филера. Никак не могу поверить, что жандармы и урядники здесь не властны, что их попросту нет Последние годы страх непрерывно унижал меня. Постоянные казни, аресты... Гибель Софьи, Геси и других друзей не выходит из головы, давит.

— С семьдесят девятого года и мой арест был неминуем. Члены «Черного передела» заставили-таки меня покинуть Россию.

— Я слышала, как благодаря своей находчивости ты не был арестован на границе. Неужели правда, что ты внушительностью своего тона и поведения сумел заставить жандарма отнести свой чемодан в вагон?

— Да, было. А ты не пересмотрела ли своих взглядов? Народоволка?

— Для России есть только один путь — террор. Крова-
вый прав. Бомба стоит всех теорий. Толпа, увы, пас-
сивна.

— Заблуждение, стоившее жизни таким борцам, как Кибальчич, Желябов, и десяткам других. Горсточка храбрецов, обреченных на гибель. Нужна многомерная политическая борьба с развивающимся в России капитализмом. Кто же заинтересован в победе больше, нежели массовые? Читала ли ты «Коммунистический манифест», написанный двумя великими немецкими теоретиками?

— Кажется, нет.

— Значит, не читала. Его нельзя забыть. Вот возьми. Я перевел его на русский язык и в прошлом году издал в Женеве. Однако я не спросил тебя, где ты остановилась.

— В отеле «Виктория». Но мои финансы не таковы, чтобы...

— У всех нас с деньгами хронически плохо. Но это поправимо, если работать и работать. Днями в Женеву возвратятся Вера Ивановна Засулич и жена, и мы сообща поможем тебе. Ты не сказала главного: как удалось тебе сбросить гименеевы узы? Где сейчас почтеннейший господин Бах, преуспевающий буржуа, первой гильдии купец? Как он относится к побегу супруги, своей prima voltо?[1]

— С этим покончено, надеюсь, навсегда.— Анна вздохнула. — Недавно я побывала в родных нам местах, повидала твою мать, исповедалась перед ней. Она меня поняла, благословила...

— Мать... — сказал Плеханов, и с его лица слетело выражение холодной невозмутимости.

Плеханов горячо любил мать, полагая, что лучшим в себе самом он обязан ей.

Отец Плеханова был, как говорили о нем крепостные, «боек на руку» и жестоко расправлялся с крестьянами за малейшую провинность. Рачительный хозяин, человек редкой трудоспособности, но весьма высокомерный, он отличался неуравновешенностью характера, внезапно впадал в хандру и прятался от людей, покуда не проходил приступ необъяснимой тоски. Очевидно, психика его была не вполне здоровой.

---

[1] Первой законной *(лат.)*.

Мария Федоровна, мать Плеханова, приходившаяся родственницей Виссариону Белинскому, отличалась смелостью в поступках и суждениях. Ей, однако, пришлось довольствоваться неприметной долей жены мелкопоместного дворянина. Болезненная, незлобивая, она отдала всю свою душевную страстность сыну.

Жорж узнал от нее о мучениях крепостных, о Разине, Пугачеве и декабристах. Она была подлинным учителем революции для Жоржа. И когда двадцатилетний петербургский студент вступил в тайный кружок «бунтарей», вскоре слившийся с боевой организацией «Земля и воля», мать его, догадываясь об этом, проводила сына, как на войну, старалась укрепить его силы, ничем не выказывая тревоги. Вскоре Плеханов возглавил первую петербургскую политическую демонстрацию в 1876 году на площади у Казанского собора. Он вел за собой толпы рабочих. В произнесенной им жаркой речи молодой революционный вождь разоблачал самодержавие и превозносил идеи ссыльного Чернышевского. После этого Плеханову, за которым охотилась полиция, пришлось перейти на нелегальное положение. Так он окунулся в огненную купель революции. Скрываясь от преследования, живя в подполье под чужими паспортами, Георгий Валентинович, однако, усердно посещал столичную публичную библиотеку, жадно поглощал книги.

В те годы он преклонялся перед Чернышевским и Белинским, Герценом и Добролюбовым и считал их своими учителями. Он быстро стал теоретиком народничества и, согласно своим взглядам, отправился «в народ». В поддевке и сапогах ходил молодой человек по российским селам и пытался учительствовать. Он надеялся поднять крестьян на восстание, верил, что социальную революцию могут совершить только наиболее многочисленные в России хлебопашцы, темные и нищие, недавно отпущенные на волю рабы, под руководством героических личностей, готовых на любой террористический акт и собственную гибель. Внимание Плеханова привлекали и рабочие. Он охотно выступал на их собраниях, толкопал с ними, узнавал их быт, помогал устраивать стачки. Постепенно Плеханова начали одолевать сомнения.

«Нет, одному отсталому крестьянину не совершить революцию в России. Не бомба, а наука революционной борьбы нужна народу», — думал он.

Плеханов в своих исканиях пришел к учению о научном коммунизме. Он давно уже изучил творения Гегеля и Фейербаха. Молодой революционер зачитывался «Манифестом Коммунистической партии» и, понимая его взрывную силу, перевел на русский язык.

В семидесятые годы Плеханов дважды подвергался арестам. Ему грозила жестокая кара, и в 1880 году он вынужден был покинуть родину. Прибыв за границу, он принялся за самостоятельную работу, попытался развивать далее теорию революционной борьбы. Недюжинный ум и талант привлекли к Плеханову многих русских эмигрантов.

Когда Анна Павловна прибыла в Женеву, со родственник вместе со своими единомышленниками уже создал и руководил здесь марксистской группой «Освобождение труда».

Анна издавна дружила с Софьей Перовской и Гесей Гельфман, страстными вольнодумицами «Народной воли». Одну из них повесили, казнь другой по беременности отсрочили. Геся Гельфман родила, чтобы тотчас же лишиться ребенка, которого у нее отобрали, и умерла от послеродовой горячки в тюремном каземате. Анна тщетно пыталась исхлопотать для своей подруги помилование. Добилась она лишь того, что навлекла серьезные подозрения в III Отделении. Какая связь могла быть между женой преуспевающего, богатого купца, дворянкой по рождению, матерью четырех детей и отчаянной храбрости революционеркой, участницей покушения на царя? Анна, однако, тайно уже более пяти лет состояла членом партии «Народная воля». Она выполняла опасные поручения, распространяла листовки, прятала у себя деньги партийной кассы, которую умело пополняла. Дважды с другими единомышленниками ей удалось помочь бежать с этапа арестованным борцам.

У нее был природный дар конспиратора. Даже Иосиф Федорович Бах, с которым десять лет она состояла в браке, считал, что жена его крайне легкомысленна, склонна к мотовству, более всего занята своей внешностью. Частые отлучки Анны из дома он объяснял ее пристрастием заказывать новые наряды и устраивать благотворительные балы. В последнее время он стал ревновать и, случалось, безо всяких оснований обвинял Анну в чрезмерном желании нравиться мужчинам. Мысль о ее неверности на-

чала преследовать его с той поры, когда он сам завел себе любовницу. Иосиф Федорович считал, что этим нисколько не ущемляет интересы семьи и поступает «как все». Под этим он понимал поведение столь же обеспеченных, незаметных, двигающих торговлю, умеющих добывать деньги. Предки Баха переселились в Россию давно, при царе Алексее. Дед его, бакалейный торговец, менее всего заботился о генеалогическом древе своего скромного рода.

Свекор Анны разбогател на продаже сахара и чая. На огромных вывесках принадлежавших ему магазинов появилась надпись «Федор Бах и сын».

Анне пришлось выйти замуж, чтобы облегчить катастрофическое положение семьи — матери, шестерых малолетних сестер и двух братьев, когда ее отец застрелился ввиду полного разорения. Помощи ждать было не от кого, а Иосиф Федорович Бах, окончивший юридический факультет, весьма учтивый и предупредительный, казался преданным и влюбленным и не только не перестал посещать семью банкрота, но еще настойчивее домогался согласия Анны на брак.

Чувство благодарности у людей, способных испытывать его, схоже с любовью. Анне казалось, что она счастлива. Долгое время она попросту не знала своего мужа. Его умение молчать она принимала за глубину и скрытность, его тупое упорство казалось ей незаурядной волей. Богатство и власть над людьми придают самым ничтожным людям видимость значительности. Они, как дорогостоящий костюм, прикрывают подчас уродство. Иосиф Федорович привык с детства к властному обращению с множеством зависящих от него приказчиков и служащих. В жизни он твердо придерживался одного правила: быть как все люди его среды.

Через шесть лет после брака Анна наконец поняла своего мужа и отвернулась от него, скрыв негодование. Он был отцом четырех ее детей.

В доме Перовского, видного государственного чиновника, Анна познакомилась с его сестрой Софьей. Строгая девушка, державшаяся обособленно от окружающего общества, чем-то неуловимым поразила Анну, и она, как сама говорила, «напросилась» к ней в дружбу. Через месяц после этой встречи Перовская доверила госпоже Бах баул со «взрывной, подземной» литературой. Анна

с честью прошла испытание на доверие и бесстрашие. В кожаных переплетах романов Сю и Золя Анна берегла запрещенные сочинения Чернышевского, Герцена и других властителей дум ее поколения. Анна считала, что Россия — страна крестьянская, особенная, и только «Народная воля» приведет ее к полному социальному переустройству.

Жена первой гильдии купца Баха с единомышленниками тайно готовила взрыв 1 марта, но оказалась столь умело законспирированной, что имя ее ни разу не появлялось в досье жандармов. Однако хождение за Гельфман и другие косвенные улики едва не привели ее ареста.

Петербургский полицмейстер, встретившись с Бахом, отвел его в сторону и сообщил об этом. Иосиф Федорович остолбенел было, а затем вдруг шумно рассмеялся.

— Я серьезно обеспокоен состоянием здоровья вашего превосходительства, — сказал он. — Моя жена сплошь с террористами? Ха-ха-ха! Да она за всю свою жизнь не читала в газетах ничего, кроме объявлений парфюмерных и галантерейных лавок. Я был бы оскорблен вашим заявлением, если бы не знал, как часто жандармерия проявляет пагубную близорукость, зато подозревает тех, кто является опорой престола. Гибель нашего царя-освободителя тому подтверждение. Что и говорить! Взять под сомнение мать семейства, недавно подарившую мне сына, — это, право, не делает чести вашим подчиненным.

Бах долго не мог успокоиться, но жене не сказал ни слова, только установил за ней неусыпный надзор внутреннюю и швейцара, которые ходили за ней по пятам. Впервые между мужем и женой произошла унизительная ссора. После многих лет совместной жизни оба ощутили, как далеки они друг от друга.

— У нас дети, и мы считались согласной, любящей парой, а на деле оказываемся совсем чужими, более того, враждебными людьми. И ведь мы не одни такие. Ложь, ненависть вместо любви. Как же так?

— Ошибка, инерция, — злобно отозвался Иосиф Федорович и вышел из комнаты, хлопнув дверью.

Однако прошло еще несколько лет, холодных, изнуряющих, потерянных, прежде чем Анна решилась оставить детей на попечение сестры, попросила у мужа письменного согласия на развод и уехала тайком из дома. Она

оказалась в Швейцарии, стране, подобно Англии, приютившей многих иноземцев в трудную для них пору.

Плеханов, выслушав исповедь своей родственницы, принял участие в ее судьбе и познакомил Анну с Верой Засулич, которую назвал при этом одной из самых упорных и знающих марксисток.

— А характер у нее, добавлю к этому, кипяток, — сказал Георгий Валентинович, щуря в улыбке глаза.

Старость надвигалась неотвратимо, подобная сумеркам. От нее некуда было скрыться. Она сопровождала портного Лесснера повсюду, как тень.

«Что это, — думал портной, все чаще ощущая боль в суставах и мышцах, глядясь на ослабевшие глаза, — только ли старость? Долгая жизнь утомляет наше тело, но не душу. Отдать все людям и рассыпаться, как потухшая звезда. Вот она, старость».

С того мрачного, слякотного дня, когда умер Карл Маркс, Лесснер впервые почувствовал себя одряхлевшим. Сначала его подавляла мысль, что жизнь идет так же безостановочно, хотя лучшего из людей больше нет на земле. Стиснув крепкие челюсти, Лесснер думал о смерти и бессмертии, о законах обновления всего живущего, то ожесточаясь, то, наоборот, смягчаясь сердцем. Фридрих Лесснер был борцом за идею. В этом для него заключался смысл бытия. Когда то, прочитав книги утопистов, он вообразил, что коммунизм на пороге и он обязательно будет жить при этом общественном строе.

Сейчас, вспоминая свою юность и увлечение книгой Вейтлинга «Гарантия гармонии и свободы», он добродушно улыбался. Нет, видно, ему не достичь цели. Однако он ни о чем не жалел. Все было правильно. Иной доли он для себя не хотел.

Борьба не всегда обещает скорую победу, но воин снова и снова бросается в атаку, вовсе не будучи уверенным, что войдет в землю обетованную.

Жизнь не баловала Лесснера. Отца он потерял в младенчестве, а суровый, придирчивый отчим попрекал его каждой ложкой похлебки. Школу он посещал недолго и то урывками. В памяти осталось весьма немногое из того, чему его обучали, помнил он еще тощего учителя по

естественной истории, налетавшего на новичков с одним и тем же вопросом:

— Почему всемогущий бог заставляет день сменяться ночью лишь постепенно, а не сразу?

Но дождавшись ответа, ученый муж изрекал, весьма гордясь собственным научным открытием:

— Для того, олух, чтобы люди не ослепли.

Скитаясь по Европе в поисках работы, Лесснер хорошо узнал нищенские окраины многих промышленных городов и их обитателей и напряженно искал объяснения несчастий большинства человечества.

Сомнения научили его критически думать. Двадцать двух лет Лесснер сказал себе: «Мир мог бы быть устроен иначе. Я всегда был недоволен своей судьбой, да и какой рабочий доволен ею! Мысль привела меня к бунту. Я как будто переродился. Низменные удовольствия, которыми я заполнял мой небольшой досуг, осточертели мне, и их устыдился. Единственное чувство, которое мной движет, — это желание борьбы».

Он нетерпеливо ждал революции.

— Первая вспышка коммунистической мысли ослепила меня, — признавался Лесснер.

В 1848 году, вместо того чтобы отбывать воинскую службу, Лесснер отправился в Англию. Его приезд на остров совпал с бурными днями «Коммунистического манифеста».

Он был одним из первых его читателей, так как получал в типографии и передавал оттиски этого документа своему единомышленнику, тоже немцу, Карлу Шапперу, человеку атлетического сложения и крайне неспокойной, чувствительной души.

— В этой маленькой книжечке больше логики и фактов, чем в тысячах толстых томов мировой истории, — заключил Лесснер.

Тогда же он увидел обоих авторов «Коммунистического манифеста». Судьбы создателей науки о коммунизме и рядового борца отныне слились навсегда. Одновременно вошли они в Союз коммунистов, участвовали в революции 1848 года, отправились затем в изгнание, создавали Международное Товарищество Рабочих, отстаивали Парижскую коммуну. Лесснер часто сопровождал Маркса в его прогулках по лондонским пригородам. Он

гордился доверием вождя Интернационала и поверял ему свои заботы, делился раздумьями.

На кладбище Хайгейт он последним склонился над могучим, окруженным нимбом снежно-белых волос лбом мертвого мудреца-вождя и поцеловал его. Никогда до этих дней портной не испытывал столь тягостного отчаяния. В полную меру ощутил он свое бессилие и проклял его. Смерть дорогого человека всегда умерщвляет и частичку сердца оставшихся в живых.

Коренастый, физически и душевно сильный, большелобый, суровый, похожий на героев «Песни о Нибелунгах», Лесснер выглядел моложе своих лет. Но теперь он их остро чувствовал, с горечью подсчитывая потери. Его сверстники, члены Союза коммунистов, в большинстве своем уже не существовали. Их уход казался ему доказательством собственной старости. Какие это были люди! Стоило жить, чтобы их встретить, узнать и назвать друзьями. Молль, Шаппер, Вейдемейер, Вольф, Шрамм. Они на миг осветили землю, пронесясь стремительно и бурно по жизни. Но среди миллионов навсегда пропавших имен они останутся в памяти грядущих поколений. Истинно доброе вечно. Все эти люди посвятили свои короткие жизни работе для народа, борьбе за его счастье.

После кончины Карла Маркса еще дороже, нужнее стал для Лесснера Фридрих Энгельс. Они часто встречались и вместе обсуждали все, что волновало рабочих и революционеров в мире.

Скопив немного денег, Фридрих Лесснер решил истратить их на путешествие в Германию. Он много лет не был на родине и ехал, скрываясь под чужим паспортом. Но возможность увидеть места, где прошла его молодость, побывать в Кёльне, священном для него по боевым воспоминаниям, всколыхнула портного. Давно не испытываемое нетерпение гнало его прочь из Англии. Он словно скинул в пути десяток лет.

«Что такое родина? — думал Лесснер, прохаживаясь по палубе пароходика, везущего его из Дувра. — Вродебы люди сами придумали это понятие, кочевали сначала, потом осели, возвели границы, пошли друг на друга войной за них. Родина... Недолго же мы гостим на земле, а затем исчезаем навсегда, превращаясь в пыль! Но все ли равно, где проваландаться шестьдесят — восемьдесят лет? Так вот нет же, превыше всего привязываемся мы

к месту, где сделали свои первые шаги в жизни Ро
почти сиротой, а меня неудержимо тянет в Тюрингию,
погреться на солнце подле родимого порога. Может, дом
того уже нет и в помине. Ну что ж! Хочется послушать
немецкий говор и попробовать пусть хоть прогорклого, но
веймарского пива в родном местечке Бланкенгайн.

Свою Германию старый портной не узнал, столь ре
изменилась она после франко-прусской войны. На тысяч
километров протянули железные дороги. Города кичились
домами, большими домами и великолепием пышных ба
залов. Над страной будто пролился золотой дождь, об
гативший капиталистов и спекулянтов. Их роскошны
дворцы, тяжелые выезды, их женщины, вычурно, ослепи
тельно одетые, сами они, надменные, пузатые, запол
нили Берлин. Быстро наверстывая упущенное время, подни
малась крупная промышленность. Металлургические за
воды в изобилующих каменным углем и железными ру
дами областях создавались в соответствии с новейшими
достижениями технической науки.

В 1881 году появилась первая трамвайная линия, со
единявшая Берлин с Лихтенфельдом. Электрический мо
тор настойчиво вытеснял паровую машину. Особенно не
ожиданным было для Лесснера яркое освещение, которое
в больших городах заменило керосиновую лампу и газо
вый фонарь. Новые фабрики и заводы потребовали рабо
чих. Их стало во много раз больше. На одном заводе
Крупна насчитывались десятки тысяч пролетариев.

Почти неизменным оставался только быт трудового
люда. Рабочий день длился не менее двенадцати часов,
оплата труда осталась ниже, чем в Англии и Франции.

В родном селе старый коммунист убедился, что, не
смотря на бурное развитие промышленности, в сельском
хозяйстве перемен почти не было. Так же маялся кре
стьянин, зависимый от воли помещика. Рядом с огром
ными имениями ютились деревушки. В стране насчиты
валось более трех миллионов карликовых хозяйств. Гер
мания как была, так и осталась государством крупного
юнкерского землевладения.

Все еще действовал принятый в 1878 году, предло
женный Бисмарком, исключительный закон, согласно ко
торому власти получили право объявлять временное осад
ное положение всюду, где народ негодовал, и высылать
без суда и следствия лиц, заподозренных в симпатиях к

социалистам. Однако не запрещалось выставлять и избирать кандидатов от социалистов и рабочих на выборах в рейхстаг. Благодаря этому были избраны Август Бебель и Вильгельм Либкнехт — ученики и соратники Маркса и Энгельса. Годы, когда действовал исключительный закон, революционизировали немецких пролетариев, закалили их, научили бороться и тайно, и в открытом бою. Правительство вынуждено было отступать перед грозной силой народа и соглашаться на некоторые уступки.

— Если бы у нас не было социал-демократии, — признал «железный канцлер» Бисмарк, — и если бы многие не стриглись со, мы не могли бы похвалиться и теми умеренными успехами в социальных реформах, которых мы теперь достигли.

Фридрих Лессинер превыше всего интересовался своими единомышленниками, рабочими.

— Вся сила на земле не в машинах, не в громадах каменных, а в людях, — любил он повторять.

Лессинер поселился у дальнего родственника, в прошлом владельца маленькой кустарной мастерской, разорившегося до основания и вынужденного пойти на новую фабрику анилиновых красок. Несмотря на многие беды, обрушившиеся на него в жизни, Мартин Клейн оставался неунывающим балагуром, убежденным, что все на свете складывается для него наилучшим образом.

— Ты подумай сам, — убеждал он Лессинера, когда они выпили по третьей кружке бурого пива, — насколько мне живется легче с тех пор, как я развязался со своим предприятием! Я ведь все время был банкротом. Теперь пусть хозяин беспокоится, чтобы не прогореть. Правда, заработок мой не может прокормить даже нас со старухой, но дети уже сами добывают пропитание. Я скажу тебе, что в наше время надо иметь зубы, а я, как видишь, сохранил всего только два, и те качаются.

Мартин растянул толстые губы и показал Фридриху мокрый темный рот, в котором торчали два похожих на гвозди клыка.

— Мой хозяин, фабрикант, набил полную пасть чистым золотом. Когда пробует улыбаться, она светится, как электрическая лампа. Нет, ты подумай, до чего дошло! Тридцать два золотых зуба — это ведь состояние. Что же едят такими штуками? Наверное, только заморских птиц, знаешь, тех, чьи перья украшают шляпу

королевы прусской! Вот что получается из пота рабочего — чистейший желтый металл. И все-таки я тебе скажу по секрету: прочитав кое-что у Маркса, я понял, что мы, беззубые, проглотим-таки их, золотозубых. А? Ха-ха-ха!

В Дрездене Лесснер повидался с Августом Бебелем. Они познакомились несколько лет назад в Англии. Сорокатрехлетний руководитель Германской социал-демократической партии, жестоко преследуемый Бисмарком, член рейхстага, истый пролетарий, человек огромных знаний, отличный оратор и практик революционной борьбы, внушал уважение даже лютым своим врагам. Он вступил в пору расцвета своих сил.

«Вот она, рабочая косточка, товарь!» — с гордостью подумал Лесснер и крепко несколько раз встряхнул твердую, уверенную руку Бебеля, который нетерпеливо спрашивал:

— Как наш Генерал, часто ли ты бываешь у него, старина? После смерти Маркса я было попросил его переселиться к нам поближе, в Германию либо в Швейцарию, да он наотрез отказался и написал, что не поедет ни в какую страну, откуда его могут выслать. Этого, по его мнению, можно избежать только в Англии. Он взял на себя доработку оставшихся после Маркса трудов. Так и должно быть. Кроме него, никто не может подняться на такую высоту. Только второму из двух колоссов это под силу.

— Лишь бы он все выдюжил! Ведь не молод и один теперь за двоих, — отметил Лесснер — Но то, что другого согнет в дугу, ему нипочем. А уезжать из Англии Генералу ни к чему. Даже находясь на этом островке, в этом спокойном убежище, где никто не мешает его работе, он тратит много времени на газетную полемику и политические дела. Он должен заниматься прежде всего теоретическими вопросами, а то ведь есть еще и среди социал-демократов люди, которые за скалами не видят океана. Фридрих не утратил ясности взгляда, сейчас он больше всего времени отдает второму тому «Капитала» и обещает скоро взяться за третий. Отвечать на письма во все концы света ему приходится одному. Раньше они с Маром делили эту обязанность. Нельзя же теперь разорвать нити, связывающие коммунистов в разных странах! Они постепенно становятся крепче корабельного каната. Наш Энгельс всегда повторяет: «Теперь для нас всех важно

строгое разделение труда, а если загремит труба, как в тысяча восемьсот сорок восьмом году, я снова сяду на коня». Он прав.

— Хотелось бы мне побывать в Лондоне, повидаться с Фридрихом и поклониться могиле Маркса... Кстати, члены немецкой социал-демократической партии очень желали поставить памятник Марксу, но семья решительно воспротивилась. Вот письмо об этом от Энгельса из Лондона. Писано после твоего отъезда оттуда.

Лесснер узнал хорошо знакомый ему почерк. Впервые он увидел его в дни, когда в типографии набирался «Коммунистический манифест», более тридцати пяти лет назад. Лесснеру нравились эти буквы, разборчивые, прямые, как будто устремленные вперед. Они соответствовали характеру Энгельса, щедрому, энергичному, открытому, честному и красивому в каждом проявлении.

— А как твои дела? Бисмарк, чувствуется, год от году становится все бо́льшим реакционером. Он толст, как пивной бочонок, и зол, как бык.

— Что тебе сказать? Ты ведь знаешь, что я оказался выбранным в парламент, когда был еще неопытным в политике щенком, двадцати семи лет от роду. Пришлось учиться всему от «а» до «я» у Маркса и Энгельса. Сколько случалось мне плутать, но выбираться кое-как из чащобы с помощью опытных бойцов! По правде сказать, Лесснер, я рад был бы не сидеть более в рейхстаге. Наша агитационная деятельность, в особенности парламентская, в нынешних условиях не стоит тех сил и времени, которые тратятся. Я хотел бы написать книгу, и не одну. Но Энгельс неумолим. Он настаивает, чтобы я занимал этот свой пост. Значит, придется подчиниться и ждать новых выборов в Гамбурге. Генерал согласен со мной, что парламентская суетолока, часто бесплодная, приедается, но он шутит, что это похоже на рекламу и коммивояжерство,— успех приходит не скоро, а иной раз его и не жди совсем. Однако любое дело надо довести до конца, иначе пропадет впустую весь затраченный труд. При исключительном законе, действующем в Германии, надо пользоваться единственной открытой форточкой. Так-то, друг.

— Успеха тебе, Август. Ты первый рабочий-социалист, избранный в парламент. Представляю, как здорово туэлте ты и Либкнехт самого Бисмарка во время прений. Достается и другим заправилам: им, пожалуй, трудно

справиться с такими борцами, как ты и наша партия, не-
жели с французами во время войны. Хотел бы я посмо-
реть одним глазом, как бесятся эти князья, бароны и до-
нельзя туды. Привыкли, что перед ними гнут спину
лизоблюдничают. Ан не тут то было! Язык у марксистов
колючий. Взять тебя, ты в университетах не обучался, а
таких учителей имел, какие Бисмарку оказались не по
зубам. Я то помню, как он к Марксу своих засылал, зна
и сотрудники, кафедру в Пруссии сулил.

Лесснер познакомился со многими молодыми социа-
листами. Но особенно пришелся ему по душе Юлиус Мот
телер, «красный почтмейстер».

Это был проницательный, деловой человек с па-
рузжностью, весьма пригодной для конспиратора. Уклад-
ный, розовощекий весельчак как бы с заспанным лицом,
он менее всего походил на многоопытного и бесстрашно-
го партийного организатора, которым, перенял держку
сметку и ловкость контрабандистов, рискуя жизнью, с
помощью таких же отчаянно храбрых и преданных рево-
люции людей переправлял из Цюриха в Германию запре-
щенный и преследуемый печатный орган «Социал-де-
мократ».

На типографию и контору газеты была брошена гу-
стая сеть шпионажа. Агенты кайзеровской Германии под
разной личиной пытались втереться в доверие к работни-
кам редакции. В Швейцарии немецкая полиция не могла
открыто преследовать социалистов, но она пыталась лю-
бой ценой, с помощью предателей, провокаторов поме-
шать транспортировке бостонской газеты на родину. Поль-
зуясь тем, что агенты контролировали швейцарско-немецкую
и швейцарско-французскую границу, подкарауливали кон-
тарен, отправляемых хитроумным Моттелером с запрещен-
ным грузом. Трудно было оставаться незамеченным во
время погрузки тюков с газетами в Цюрихе. Чтобы вы-
ведать, нет ли хвоста за шпионом, бдительный почт-
мейстер поселился в квартире на втором этаже, откуда
мог обозревать всю малозастроенную местность. Его склад
находился на огромном пустыре.

До 1882 года помощницей Моттелера была совсем мо-
лодая девушка Клара. Юлиус Моттелер сожалел об ее
отъезде из Цюриха в Париж, где она вышла замуж за
эмигранта из России, видного революционера Осипа Цет-
кина.

— Мне говорили товарищи, что эта Клара — порох и в придачу ума и образования? — спросил Лесснер «красного почтмейстера».

— Девушка — сущий клад. Ей можно доверить самый опасный груз. Шляков она чует за версту и околпачивает их, как никто другой. Никакой работой не брезгует, контору ли убирать, корреспонденцию укладывать или, переодевшись, идти на границу — ей все нипочем. То прикинется чопорной барышней, то разбитной крестьянкой, то придурковатой монахиней, но почту доставит в неприкосновенности. Ни разу не попалась, а ее предшественник, сапожник, отчаянный парень, угодил-таки полиции в лапы, хорошо еще, что не застрелили. Бедняга по сей день в тюрьме.

— Да, в нашем деле человек проверяется быстро. Тут одной преданности партии мало, — согласился Лесснер, — нужны, как я понимаю, чертова находчивость, осмотрительность и смелость. Не у всякого мужчины найдешь все это...

— Ты прав, старина, переправлять контрабандой социалистическую газету — то же, что возить оружие. Ничего не стоит поплатиться жизнью. Каждый раз, когда мои помощники уходят за границу, они могут получить в лоб пулю полицейского или таможенника.

— Хорошая закалка для борца, что и говорить.

— У Клары на этот счет свой девиз — стихи Шиллера:

> Ставь жизнь свою на кон в игре боевой
> И жизнь сохранишь ты, и выигрыш — твой!

— Молодец девушка! — восхитился портной. — Появилась, значит, и у нас своя Луиза Мишель. Жаль, я не могу ее увидеть.

— Успеешь, такие, как она, не затеряются.

По приглашению Моттелера старый коммунист побывал в Цюрихе в «Клубе мавров», как в честь Маркса назвали свои собрания немецкие социал-демократы в этом городе.

— «Клуб мавров»? — с приятным удивлением спросил «красного почтмейстера» Лесснер. — Доныне не слыхивал о таком. Вот посмеялся бы Мавр, если бы узнал о вашей затее!

— А ведь он, может, и слыхал об этом. Клуб существует уже несколько лет и очень полюбился нам и нашим

ромьям. Есть где душу отвести, повеселиться, поспорить. В папиных квартирешках не разгуляешься, тесновато. Вот мы и арендуем помещение, не бог весть какое, но места хватает, чтобы поплясать, поиграть в шахматы, послушать лекцию, отпраздновать чей-либо юбилей или рождение ребенка. В общем, сам все увидишь. Сегодня мы устраиваем вечеринку в твою честь. Все «мавры» вознамерились, узнав, что ты близко знал самого Маркса.

В семь часов Лесснер вошел в «Клуб мавров» — большой зал, убранный, как гостиная лавочника середины века. На стенах висели картины, прославляющие молочный скот и отели Швейцарии, круглые часы в резной оправе громко отбивали время, пузатые горки темного дерева с бронзовыми инкрустациями были наполнены фарфоровыми сервизами. Длинные жесткие диваны и множество лиловых гардин с золотыми шнурами на окнах, дверях, нишах вызывали почтительное восхищение живущих более чем скудно социалистов.

Лесснера встретили загримированные молодые люди. Они надели черные парики, прикленли бороды, зачернили лица и укутались в бурнусы — под мавров. Куплеты песни, которую они громко распевали, заканчивались припевом:

Мудрый мавр, славный мавр!

Лесснера закружили, затем принялись здороваться с ним на восточный манер, прикладывая руку ко лбу и сердцу. Старика весь этот неожиданный маскарад развеселил.

— Мы слыхали, — сказал ему помощник Моттелера, — что Карл Маркс был веселый человек и любил шутки.

— Еще бы! - ответил Лесснер. — Мавр часто говорил, что работа, если она не чередуется с игрой, притупляет мозги.

— Вот это правильно! После напряженных дней и ночей как хорошо бывает поразвлечься в кругу друзей, отдохнуть и набраться сил!

Жена Моттелера, уроженка Бадена, светящаяся добротой и стыдящаяся этого, как слабости, и несколько других женщин раскладывали на больших тарелках соблазнительные закуски, пухлые сосиски, покуда на спиртовках кипятился кофе. Бутылки с вином и закрытые наглухо кувшины с пивом свидетельствовали, что «мавры» по да-

вали обста суровой трезвости. Лесснера усадили в центре стола, и трапеза началась. Разговор коснулся и положения в Германии, и Бисмарка, которого Энгельс иногда сравнивал в ту пору с Наполеоном III.

— Скоро ли избирателям опротивеет добровольное ярмо, под которое они подставили свои шеи? — спросил кто-то.

— Да, — сказал Моттелер, — дураку и то уже ясно, что полная победа канцлера принесла всем одни дурные последствия и в политической и в нравственной жизни.

— С чего этот железный барон вообще воображает из себя чуть ли не полководца? Что-то никогда я не слыхала о его военной доблести, — заключила жена Моттелера.

— Как же, — вмешался Лесснер, — германский император объявил его героем за исключительный закон против социалистов. Он сказал, что канцлер схватил быка за рога.

— «И родина благословит вас за это» — так сказал ему Вильгельм Первый. Черт помогает Бисмарку.

— Э, сколько их уже было, деспотов и тиранов, — отозвался Лесснер. — Толстых и тощих, рослых и маленьких правителей, умевших и мором и коварством брать крепости, томить и губить людей! А издохнут — и что? Бисмарк властолюбив, расчетлив, груб, хитер и умен, изворотлив, но непреклонен только в одном: в ненависти к демократии. И все-таки все будет не так, как он хочет. Ветер в Германии повернул против реакции и набирает силу. Близится ураган.

— За сильный ветер! — крикнули «мавры».

— За ту страну, — возгласил кто-то, — где зарождаются революционные ветры, пусть пронесутся они по всему миру!

— Мчитесь, свежие ветры!

После ужина Лесснера забросали вопросами об Энгельсе. Легко говорить о человеке, которого искренно чтишь и любишь, и Лесснер с наслаждением поверял окружавшим его новым друзьям то, что знал или недавно слыхал из уст Генерала.

— Нечего сомневаться. Партия наша стремительно завоевывает сердца народа, обретает твердую почву под ногами вопреки преследованиям. А немецкая полиция? Сочтены! Их уже не только по стратятся рабочий, но и вымениват по заслугам. Энгельс находит, что среди так называемых рабочих вождей немало гнилья, но в массы

он верит безусловно. Да и вообще, по его словам, народ лучше тех, кто им управляет. Такова урок истории. Опыт приобретается ежечасно в борьбе, и немецкий пролетариат за очень короткий срок научился совместно действовать и дружно шагать в ногу. Поэтому следует спокойно ожидать часа, когда затрубят сбор.

До полуночи старый боец рассказывал о Марксе, о революции 1848 года, об Интернационале.

С горечью покидал Германию, где он пробыл, не имея на то прав, не смея назваться своим именем, Лессер снова думал о родине: «У каждого есть своя неповторимая земля. Быть может, прах умерших предков, удобряя ее, притягивает нас? Может, память, доставшаяся нам от исчезнувших поколений, тревожит душу воспоминаниями? Или счастье знакомства с солнцем и звездами незабываемо? Может, и первое слово, и мысль, зазвучавшие на родном языке, приковывают к отчизне? И любишь ее, пусть подчас не мать, а равнодушную мачеху... И если живут на ней такие люди, как Бебель, Либкнехт, Клара Цеткин и многие другие, то еще роднее она, моя Германия!..»

Вера Ивановна Засулич была до крайности застенчива и скромна. Глядя на темноволосую строгую хрупкую женщину, трудно было представить себе, как настойчива в каждом поступке, отважна до безумства, сострадательна к людям была эта революционерка с незаурядным умом и склонностью к теоретическим исканиям и обобщениям.

Много на Руси было душевно прекрасных женщин, самоотверженных и готовых на подвижничество. Их великая доброта распространялась на весь русский угнетенный народ. Зачастую они оставляли дворянские усадьбы, отрекались от своей среды и шли поднимать народ — против гнета и кривды.

Анна Бах и Вера Засулич поселились вместе. Хотя раньше они не знали друг друга, их роднили и схожесть детских воспоминаний, и пути в борьбе, и, главное, одни и те же друзья. Вера Ивановна порвала к этому времени с «Народной волей» и стала убежденной последовательницей Маркса и Энгельса. Анна Павловна все еще оставалась правоверной народоволкой, но это их не ссорило. Засулич была прирожденным пропагандистом и верила, что способна приобщить к научному социализму всякого.

Вера родилась в 1849 году в небогатой дворянской семье. Отец ее, отставной капитан, горький пьяница, умер, когда ей было всего три года, оставив вдову с пятью малолетними детьми в крайней бедности. Родственники побогаче приютили Веру и ее сестер и затем отдали учиться в женский пансион. Окончив его, девушка предпочла наняться письмоводительницей к мировому судье, чем пойти в гувернантки, что ей прочили с детства. В пансионе Засулич познакомилась с молодежью, близкой к революционному движению. Вскоре она и сама вступила в кружок, члены которого открыли школу для неграмотных, вечернюю и швейную мастерские на артельных началах. Вера Засулич, как и все ее поколение революционеров, зачитывалась Чернышевским и Герценом. Она стала народницей.

В 1878 году раздался выстрел Веры Засулич в Трепова — петербургского градоначальника.

Генерал-лейтенант Трепов, посетив дом предварительного заключения, увидел нескольких арестантов и среди них студента Боголюбова, настоящая фамилия которого была Емельянов. Узники совершали прогулку по тюремному двору. Боголюбов не снял фуражки перед градоначальником, и Трепов ударом кулака сбил ее с его головы и затем приказал увести студента в карцер. Это распоряжение вызвало шумный протест во всех камерах. Тогда Трепов распорядился высечь Боголюбова розгами. В тот же день с ведома министра юстиции экзекуция совершилась в коридоре тюрьмы. Боголюбов, не выдержав порки, сошел с ума.

В январский день в приемную известного своей утонченной жестокостью сановника вошла девушка в шубке и серой меховой шапочке. Дождавшись появления Трепова, она вынула из муфты пистолет и, четко выговорив: «Это за Боголюбова!» — в упор выстрелила в него.

— Как ты смогла это сделать? Жутко, трудно? — выспрашивала Анна.

Вера Ивановна протянула свой дневник:

— Читай.

...Сейчас самой дико. Бессмысленная затея. А тогда мне казалось, что иду на великое дело. Я была спокойна: со свободой я в мыслях давно покончила — была уже не

жизнь, и какое-то переходное состояние, с которым хотелось скорее покончить.

...Заранее представляла себе завтрашнее утро: этот час у градоначальника, когда он вдруг приблизится ко мне вплотную... В удаче я была уверена, — все пройдет без малейшей заминки, совсем не трудно и ничуть не страшно... Не испытывала ничего, кроме усталости, даже спать хотелось. Но как только я заснула, начался кошмар. Мне казалось, что я лежу на спине и вдруг чувствую, что схожу с ума, и выражается это в том, что меня неодолимо тянет встать, выйти в коридор и там кричать. Я знаю, что это безумно, изо всех сил себя удерживаю и все-таки иду в коридор и кричу, кричу. Просыпаюсь. Опять засыпаю, и опять тот же сон: против воли выхожу и кричу; знаю, что это безумие, и все-таки кричу, и так несколько раз...

Пора вставать — часов у нас нет, но начинает сереть, и у хозяйки что-то стукнуло. К Трепову надо поспеть к девяти — до начала приема, чтобы естественным образом спросить у дежурного офицера, принимает ли генерал Трепов, и если окажется, что принимает помощник, незаметно уйти.

Пальто и шляпу надеваю старые и, уже одевшись, выхожу из комнаты; новая тальма и шляпа уложены в саквояж. Это нужно, потому что хозяйка непременно пожелает проститься. Она думает, что я уезжаю на Питера, я избаловала ее разговорами — будет хвалить тальму, советовать не надевать в дорогу. А завтра эта тальма будет во всех газетах и наведет ее на мысли. Было же мне время все обдумать до мельчайших подробностей.

На улице рассвело. Я переодеваюсь и еду. Холодно, мрачно выглядят улицы.

У градоначальника уже собралось около десятка посетителей.

— Градоначальник принимает?

— Принимает: сейчас выйдет!

Кто-то будто нарочно для меня переспрашивает: «Сам принимает?» Ответ утвердительный.

Какая-то женщина, плохо одетая, с заплаканными глазами, подсаживается ко мне и просит взглянуть на ее прошение: так ли там написано? В прошении какая-то несообразность. Я советую ей показать прошение офицеру, так как видела, что он уже чье-то просматривал.

Она боится, проспт, чтобы я показала. Я подхожу с ней к офицеру и обращаю его внимание на посетительницу. Голос обыкновенный, — ни в чем не проявляется волнение. Я довольна. Кошмарной тяжести, давившей меня со вчерашнего вечера, нет и следа. Ничего на душе, кроме заботы, чтобы все сошло как задумано.

Адъютант повел нас в следующую комнату, меня первую, и поставил с краю, а в это же время из других дверей вышел Тропов с целой свитой военных, и все направились ко мне.

— О чем прошение?

— О выдаче свидетельства о поведении.

Черкнул что-то карандашом и обратился к соседке.

Револьвер уже в руке, падала собачку . Осечка.

Екнуло сердце, выстрел .

«Теперь должны броситься бить», - значилось в моей столько раз пережитой картине будущего.

Но произошла пауза. Она, вероятно, длилась всего несколько секунд, но я ее почувствовала.

Револьвер я бросила — это тоже было решено заранее, иначе в свалке он мог сам собой выстрелить. Стояла и ждала.

«На преступницу напал столбняк», — писали потом в газетах.

Вдруг все задвигалось: просители разбегались, чины полиции бросились ко мне, схватили с двух сторон.

Передо мной очутилось существо — глаза совершенно круглые, из широко раскрытого рта раздается рычание, и две огромные руки со скрюченными пальцами направляются мне прямо в глаза. Я их зажмурила изо всех сил, он ободрал мне только щеку. Посыпались удары, меня повалили и продолжали бить.

Все шло так, как я ожидала, излишним было только покушение на мои глаза, теперь я лежала лицом вниз, и они были в безопасности. Но что было совершенно неожиданно — я не чувствовала ни малейшей боли; ощущала удары, а боли не было. Она пришла только потом, когда меня вволокли наконец в камеру.

— Вы убьете ее!

— Уже убили, кажется.

— Так нельзя: оставьте, оставьте, — нужно же произвести следствие!

Мне помогли встать и усадили на стул... Я была все в той же комнате, где подавала прошение... Прямо меня, несколько влево у стены, шла вверх широкая лестница без площадки, до самого верха противоположной стены, и по ней, спеша и толкаясь, с шумом и восклицаниями, спускались люди. Она тотчас приковала мое внимание: откуда взялась тут лестница, раньше ее как будто не было, и какая-то она точно ненастоящая, и люди тоже ненастоящие. Может быть, мне это только кажется, мелькнуло тут же в голове. Но меня увели в другую комнату, и вопрос о лестнице так и остался у меня под сомнением, и почему-то целый день, как только оставят меня на минуту в покое, так она и вспомнится.

Комната, в какую меня перевели, была большая, гораздо больше первой, у одной из стен стояли большие столы, вдоль другой шла широкая скамья. В комнате в этот момент было мало народу, из свиты градоначальника, кажется, никого.

— Придется вас обыскать, — обратился ко мне господин каким-то нерешительным тоном, несмотря на полицейский мундир, какой-то он был неподходящий к этому месту и времени: руки дрожат, голос тихий и ничего враждебного.

— Для этого надо позвать женщину, — возразила я.

— Да где же тут женщина?

— Неужели не найдете? — И сейчас же придумала: — При всех частях есть казенная акушерка — вот за ней и пошлите, — посоветовала я.

— Пока-то ее найдут, а ведь при вас может быть оружие? Сохрани господи, что нибудь случится...

— Ничего больше не случится; уж лучше вы свяжите меня, если так боитесь.

— Да я не за себя боюсь, — в меня не станете палить. Чем же связать-то?

Я усмехнулась: вот я же его учить должна!

— Если нет веревки, можно и полотенцем связать.

Тут же в комнате он отпер ящик в столе и вынул чистое полотенце, но вязать не торопился.

— За что вы его? — спросил он как-то робко.

— За Боголюбова.

— Ага! — В тоне слышалось, что именно это он ожидал.

Между тем весть, очевидно, уже распространилась. Комната начала наполняться: прибывали особы военные и штатские и с более или менее грозным видом направлялись в мою сторону. В глубине комнаты появились солдаты, городовые. Мой странный собеседник куда-то исчез, и я его больше не видала. Но стянули мне за спиной локти его полотенцем. Распоряжался какой-то шумный офицер. Он подозвал двух солдат, поставил их за моей спиною и велел держать за руки.

На несколько минут нас оставили в стороне, и солдаты начали перешептываться.

— Водь скажет тоже: связана девка, два солдата держат, а он: берегись — пырнет!

— И где это ты стрелять выучилась? — шепнул стражник над самым ухом.

В этом «ты» не было ничего враждебного, — так, по-мужицки.

— Уж выучилась! Пеленка наука, — ответила я так же тихо.

— Училась, да не доучилась, — сказал другой солдат. — Плохо попала-то! Жив остался.

Общественное мнение страны оказалось на стороне террористки. Суд присяжных единогласно оправдал Веру Засулич. Имя молодой девушки было отныне у всех на устах. Она стала всемирно известной.

Тургенев воспел Веру Засулич в стихотворении в прозе.

«Я вижу громадное здание.

В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью — угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка... Русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с леденящей струей выносится из глубины здания медлительный, глухой голос.

— О ты, что желаешь преступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает?

— Знаю, — отвечает девушка.

— Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?

— Знаю.

— Отчуждение полное, одиночество?

— Знаю... Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

— Не только от врагов — но и от родных, от друзей?

— Да... и от них.

— Хорошо. Ты готова на жертву?

— Да.

— На безымянную жертву? Ты погибнешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить!

— Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.

— Готова ли ты на преступление?

Девушка потупила голову...

— И на преступление готова.

Голос не тотчас возобновил свои вопросы.

— Знаешь ли ты, — заговорил он, наконец, — что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?

— Знаю и это. И все-таки я хочу войти.

— Войди!

Девушка переступила порог — и тяжелая завеса упала за нею.

— Дура! — проскрежетал кто-то сзади.

— Святая! — пронеслось откуда-то в ответ».

В Женеве очень часто Анну Бах и Веру Засулич посещал Сергей Кравчинский.

Молодой бунтарь с на редкость отзывчивым сердцем, красноречивый рассказчик, он приобрел широкую известность как писатель с тех пор, как, вынужденный бежать из России, занялся в эмиграции литературным трудом под псевдонимом Степняк. Так он назвал себя в память дорогого ему Приднепровья, безлесной Херсонской губернии, где родился в 1851 году. Выходец из разночинной среды, учащийся артиллерийского училища, Сергей Михайлович с юности был захвачен мечтой о служении народу, о небывалом подвиге. Под влиянием «апостола разрушения» Бакунина, бросившего властный призыв: «Ступайте в народ, молодые друзья!» — Кравчинский примкнул к кружку, возглавляемому Чайковским, и отправился, захватив узелок с книгами, в посконной рубахе, серой

подпевке, смазных сапогах и картузе, в села и деревни необозримой Российской империи. Поднять крестьян против царизма, возглавить это восстание — вот что казалось ему возможным. Косая сажень в плечах, коротконогий, скуластый, истый богатырь из былин, он был изнемогал своей необыкновенной силой. В секретном приказе о задержании Кравчинского значилось, что для ареста этого важного преступника, если местонахождение его будет открыто, «надлежит откомандировать, ввиду чрезвычайной его физической силы, несколько особенно здоровых жандармских нижних чинов».

Однажды полиции удалось захватить Сергея, но он спасся с помощью крестьян.

Беспечность его не знала предела, и удача действительно сопутствовала ему в борьбе. Когда арест его стал неизбежен, друзья с большим трудом настояли на побеге Сергея из России. Но неукротимо бурная натура его не терпела покоя. В 1877 году Кравчинский добровольно вступил в войско славян, боровшихся против турецкого ига. Затем русский революционер отправился в Италию, где с безрассудно отчаянными последователями Бакунина попытался поднять восстание. Когда повстанцы были разбиты и окружены, Сергей отстреливался до последней пули. Он был пленен, судим и приговорен к смертной казни. Но и долгое, десятимесячное ожидание конца в смертной камере не подорвало его воли. Кравчинский не дрогнул и продолжал готовиться к дальнейшей борьбе. Он изучил за это время итальянский в придачу к французскому, английскому и немецкому, которые знал с детства. Этим новым для него языком Сергей овладел в совершенстве, как будто вырос на Апеннинском полуострове.

— Не все ли тебе равно, раз ты был приговорен к смертной казни, явиться перед всевышним со знанием или без знания итальянского языка? — шутили его друзья.

— Ну нет, ошибаетесь, — отвечал он весело. — Я надеялся, что за знание именно этого языка святой Петр окажет мне протекцию и простятся многие мои грехи.

Природа наделила его исключительным здоровьем, редкой трудоспособностью, упорством и разнообразными способностями. Когда ему говорили: «Сергей, ты проживешь сто лет», — он отвечал, широко и добродушно улыбаясь: «Не сто, а полтораста. Сто без лекарств, а пятьдесят с помощью снадобий».

В итальянской тюрьме он просидел до восшествия на престол нового короля Умберта, который амнистировал всех осужденных. За время его заключения многое изменилось в России. Тысячи «ходоков»-народников оказались в острогах. «Летучая» пропаганда была заменена оседлой. Революционеры стремились работать в глухих деревнях учителями, фельдшерами, библиотекарями и таким образом общаться с крестьянами. Но и это не укрепило партию. Полиция свирепствовала. Жандармы избивали и мучили арестованных. Не выдержав страданий и унижений, многие узники кончали жизнь самоубийством или сходили с ума. Гибли в застенках борцы за освободительную идею. Среди народников началось брожение.

Вернувшийся на родину Кравчинский с горечью писал, что «млеко любви» превращается в «желчь ненависти».

Сам он тотчас же ринулся в опасную схватку с самодержавием, отвергая какие бы то ни было научные социалистические теории, объявляя, что спор с царем о народоправстве должен решить только динамит. Романтика конспирации увлекала многие неопытные души.

Чтобы не быть узнанным, Сергей Михайлович одевался как знатный богатый барин и проживал в Петербурге с подложными документами кавказского князя. Хозяйка меблированных комнат, начальница женского пансиона и дворник почтительно величали его «ваше сиятельство». Щедрые чаевые и громкий титул производили заметное впечатление, отводили от Сергея какие-либо подозрения.

В дни выстрела Веры Засулич Кравчинский писал: «Потомство, разбив свои оковы, свободное, счастливое, тебе воспоет свою хвалебную песнь потому, что в ряду тех подвигов, которыми куплено будет его счастье, твой — один из величайших... Бессмертная в истории, ты будешь бессмертна в поэзии, потому что не одного великого поэта вдохновит твой образ».

Вера Засулич невольно своим поступком открыла новую страницу в истории подпольной «Земли и воли». Началась еще более упорная борьба с правительством. Последователи Бакунина и Бланки сочли террор наилучшим средством, ведущим к победе, хотя история всех революций опровергала это.

Кравчинский мысленно видел себя то Брутом, то Вильгельмом Теллем, то Зандом. Поступок Засулич не

давал ему покой. Он решил, что шеф жандармов генерал Мезенцев, из-за притеснений которого многократно объявляли голодовку узники Петропавловской крепости, должен пасть от его руки. Тщетно немногие здравомыслящие революционеры пытались остановить Сергея.

— Всех не уничтожишь, — говорили они. — Вместо Мезенцева появится тотчас же другой такой же, а то и хуже. Их — тьма. Надо уничтожить самую систему царизма, сменить ее. Учись на опыте других стран, читай книги о революционной борьбе.

— Все это не для нас, русских, — отвечал Кравчинский. — Надо ускорить черепаший ход истории. У нас своя особая стать и своя судьба.

И Кравчинский начал готовиться. Подражая во многом своему кумиру Бакунину, он торжественно объявил:

Я встречу Мезенцева лицом к лицу.

Из Москвы пригнали заслуженного рысака Варвара, лошадь эта уже дважды спасала народовольцев от полиции. Купили нарядный кабриолет. Помощником Сергея согласился быть Александр Баранников, бывший воспитанник Павловского военного училища. Любимой поговоркой этого смуглолицего, черноволосого юноши, с виду заносчивого хвастуна, а в действительности неуверенного в себе и даже застенчивого человека, было: «Мне жандарма зарубить, что капусту искрошить».

Шеф жандармов был заколот Кравчинским на тротуаре. Происшествие, окончившееся благополучным исчезновением пролетки с двумя седоками, ошеломило Петербург. Вся полиция царской России была поднята на ноги, Кравчинский же продолжал жить в столице и не принимал никаких мер предосторожности, беспечно разгуливая по улицам рядом с ищущими его полицейскими. Тщетно товарищи просили его поостеречься. Наконец они решили с помощью хитрости отправить Сергея за границу. Предлог был найден: ему поручили уехать за кордон для изучения динамитного дела.

— Еду на самое короткое время. Скоро вернусь, — объявил он.

Кравчинский благополучно перешел границу, не предполагая, что оставил Россию навсегда.

В Женеве неожиданно проявился его врожденный дар беллетриста. Не умея отдавать какому-либо делу лишь часть своей души, он весь ушел в литературу. В ту же

пору Сергей женился на миловидной и преданной ему девушке, приехавшей по его зову из России в Швейцарию. Человек крайне увлекающийся и поддающийся настроениям, он оказался, однако, однолюбом и превосходным семьянином.

В Швейцарии его положение вскоре стало весьма двусмысленным и опасным. Как убийца Мезенцева, он не был в безопасности даже в этой демократической стране, предоставлявшей убежище только политическим беглецам. Ранее Швейцария выдала русским властям Нечаева, совершившего уголовное преступление, и могла в любой момент сделать то же с Кравчинским. Поэтому он проживал в Женеве под чужим именем, но русские эмигранты хорошо знали, кто такой Сергей, и могли пробалтываться агентам III Отделения.

Первая книга Сергея, «Подпольная Россия», познакомившая Европу с русскими борцами за свободу, сразу же понравилась читателям. У автора была редкая способность распознавать людей и зарисовывать их с глубокой психологической проникновенностью. Встречая нового человека, Кравчинский обыкновенно помалкивал и сидел с опущенной головой, нередко вмешивался в разговор, но внезапно неподдобья устремлял на нового знакомого острый взгляд, а затем опять погружался в размышления.

Он всегда предпочитал видеть в человеке только лучшее, значительное. «Современники, — утверждал он, — плохие ценители выдающихся людей своей эпохи. Припомните, как знаменитая мадам Ролан жаловалась в своих записках, сделанных во время Великой революции, на отсутствие между ее современниками крупных людей. А теперь эти Робеспьеры, Дантоны, Сен-Жюсты кажутся нам гигантами. Вот так же и вам всем видятся обыкновенными людьми те, которые, по-моему, являются очень крупными. Чтобы познать действительные их размеры, надо перенестись мысленно в будущее».

Жизнь русских изгнанников в Женеве плелась томительно и трудно. Постоянное безденежье, безработица, узкий круг, в котором вынужденно находились люди, желавшие для себя иной, боевой доли, не могли не ковать характеры, не порождать раздоры и неурядицы. Изгнание, особенно в иноязычном государстве, — мучительное испытание для революционеров.

Беглецы остро тосковали в стране, где природа и быт разнились от российских. Только снег в горах был таким же радужным, живым, как на неоглядных просторах родины, да еще весной так же шумно бежали ручьи к озеру Леман.

Кравчинский ладил с людьми, умел постичь их глубинную добрую сущность. Он сторонился ссор и сплетен и одинаково сердечно относился и к народникам, и к представителям группы «Освобождение труда», враждовавшим между собой. Он часто посещал «хлопцев», как звали единомышленников Плеханова и Засулич. Но окончательно примкнуть к марксистам Сергей отказался и в общество не вступил. В разговоре с ними он, по обыкновению, долго глядел себе под ноги, изредка вскидывая глаза на собеседника и ограничиваясь невнятными междометиями. Однажды, решительно тряхнув курчавым вихром, выпалил:

— Нет уж, не зазывайте меня, молодца. Останусь я ни в тех, ни в сех, вольным казаком.

Литература властно подчинила себе недавнего террориста. Он писал свои книги не только по-русски, но с одинаковой легкостью по-итальянски и по-английски. В 1884 году он переселился на постоянное жительство в Лондон. Кравчинскому хотелось поскорее увидеть Энгельса, которого он уже знал по его трудам, и, получив приглашение на Риджентс-парк, тотчас же отправился туда. Встреча положила начало добрым отношениям между ними. Энгельс радушно принял у себя русского славча, соединявшего в себе отвагу льва с непосредственностью ребенка и впечатлительностью художника. При всей разности возрастов, биографий, масштаба дарований и общественной значимости, в характерах Энгельса и Кравчинского было почто схожее. Оба отличались предельной правдивостью, бесстрашием, трудоспособностью, жизнелюбием и добросердечностью.

Энгельс, знакомясь с новым человеком, сам составлял о нем мнение, что бы ни слыхивал ранее от других. Он никогда не поддавался ни хвале, ни хуле на тех, кого не видел лично. Так же оценивал он книгу либо произведение искусства и сурово осуждал людей, рабски доверявшихся чужому впечатлению.

Степняк, как называл Сергея Кравчинского Энгельс, произвел на всех в доме на Риджентс-парк выгодное

впечатление. Лонхен угостила его превосходным кофе с домашним печеньем; бульдог, сменивший недоверчивого к старости Дидо, оказал русскому гостю особое доверие, подав ему лапу.

Энгельс с удивительным вниманием выслушивал увлекательный рассказ о борьбе народников с царизмом. Особенно подробно поведал Кравчинский о том, как сам ходил «в народ». Чтобы не вызвать подозрений у полиции и заслужить доброе отношение крестьян, Сергей досконально изучал разные ремесла. Он стал плотником, столяром и кузнецом. Физический труд всегда доставлял ему истинную радость.

— Не нужно ли вам, гражданин Энгельс, проложить в доме газовые трубы или покрасить полы? — сказал он, готовый немедленно приступить к делу. — Я ведь рабочий человек и, поверьте мне, сделаю все на совесть, с удовольствием для себя. Меня в русских селениях мужики за поделки всегда привечали и, не скрою, отлично кормили. Вот только однажды попал я в такое село, что истощал там сильно. Охотился у сектантов.

— Не к молоканам ли вы забрели? — поинтересовался Энгельс. — У них, как известно, суровые посты длятся по нескольку суток, и в это время они питаются только что воздухом и росой больше. А работают в полную меру.

— Именно так. Не ожидал, что вы столь сведущи и в этом. Да, я жил среди молокан. Они настойчиво пытались наставлять меня и привести к своей вере, а я, в свою очередь, тянул их к нашей революционной.

— И кто же кого перетянул на свою сторону? — рассмеялся Энгельс.

— Кое-чего достиг я. Ведь земная правда наша. Вчерашние рабы де-юре — они и сейчас рабы де-факто и влачат жалкое существование в ожидании загробной компенсации.

Энгельса очень интересовали члены группы «Освобождение труда», которых хорошо знал Кравчинский. С присущей Сергею способностью увлекать человека рассказывал он о Плеханове и его соратниках. Особенно восхищался Верой Засулич, застенчивой, серьезной, волевой.

— Я рад слышать все это о своей корреспонденте. Тем более рад, что она взялась за перевод «Нищеты философии» Маркса. Выход этой книги на русском языке будет праздником для дочерей Маркса и меня. Кстати,

она пишет мне, что среди русских непрерывно возрастает интерес к изучению книг по теории социализма. Превосходное явление! Теоретический и критический дух, увы, почти исчез из немецких философских школ, чтобы, очевидно, обосноваться в России.

— Вера Ивановна — одна из самых образованных русских женщин нашего времени, — горячо сказал Степняк. — Она, кажется, перевела и ваше произведение.

— Да, и сделала это безукоризненно точно. Но особенно ценны для нас ее переводы сочинений Маркса. В этом подь так нуждается Россия!..

Энгельс любил жизнь и берег каждую секунду времени, стремясь взять от бытия возможно больше радостей, находя их в бесконечности знания, мышления, впечатлениях, общении с интересными, по его мнению, людьми. Он был крайне сдержан, молчалив с чужими по духу и мировоззрению и прост, приветлив, откровенен с соратниками, но никогда не прощал никому лицемерия и неестественности поведения.

Чем бы ни занимался Энгельс, наука во всем многообразии постоянно привлекала его внимание, и он знакомился с новыми открытиями в физике, естествознании, медицине, математике, экономике и особенно в военном деле. Но пропуская ничего значительного в мировой литературе и музыке, он по-прежнему увлекался филологией. Он вызывал восхищение испанцев, португальцев, итальянцев безупречным знанием их родного языка. Его письма на русском, польском, румынском, голландском отличались совершенством формы и богатством словаря. Но, не довольствуясь тем, что владел более чем двадцатью языками, Энгельс изучал диалекты и безошибочно отличал миланца от римлянина, кастильца от мадридца, провансальца от лионца. Шутки ради он свободно изъяснялся на парижском арго, лондонском кокни и с уэльсцем говорил на его наречии, а шотландца учил произносить слова так, как говорили при дворе Марии Стюарт. Зная все местные особенности, объяснялся он по-ирландски и порадовал этим журналиста Бернарда Шоу, когда тот однажды переступил порог его дома.

Хотя Шоу и слыхал об Энгельсе как о человеке чрезвычайно образованном и замечательном полиглоте, его

поразил выговор и подбор чисто ирландских оборотов в речи хозяина дома.

— Если вы не родились в Дублине, сэр, то это произошло вопреки здравому смыслу и явно по недоразумению.

— Вместо меня поблизости от ирландской столицы появилась на свет моя покойная жена.

Кабинет Энгельса обескуражил Шоу.

«Где тут расположиться? Подобный порядок и чистота буквально парализуют обыкновенного пыльного лондонца, даже если он достаточно часто принимает ванну и употребляет при этом мочалку».

— Скажите, мистер Энгельс, — начал он, — вы, вероятно, никогда не болеете?

— Я был бы выселен с острова, если бы не отдавал дань двум-трем инфлюэнцам в год, как всякий добропорядочный британец, — улыбаясь, ответил Энгельс.

— В таком случае не бациллы заражают нас, а мы бацилл. В атмосфере вашей квартиры вряд ли осмелилась бы задержаться какая-либо бактерия. Бедняге здесь негде устроиться Как стерилизуете вы воздух вашего кабинета?

Энгельс рассмеялся:

— Дочери Маркса дразнили меня старой девой за педантизм, но это только привычка и продуманная система быта и, главное, работы. Терпеть не могу тратить время на поиски нужных предметов Что, однако, привело вас ко мне?

— Я прошу разрешения перевести на английский вашу книгу «Развитие социализма от утопии к науке».

— Вы, верно, хорошо владеете немецким языком?

— Я его вовсе не знаю. К сожалению, так как из-за этого не смог до сих пор ознакомиться с гениальным «Капиталом» Маркса.

— Доктор Мур и я переводим его на английский, и скоро вы сможете восполнить пробел. Надеюсь, вы получите немалое удовольствие.

— Уверен, сэр, что так. Взбираться на вершины было всегда моей страстью. Я неплохой альпинист и рвусь к чистому воздуху мысли, но покуда мало знаком с философией, если не считать английской.

— Не знаю, какие именно труды вам известны, но помните, что Гималаи в любой науке так же редки, как и в природе, и бойтесь поэтому на плоской равнине при-

нять за высокую гору всего лишь кочку. Но отложим эту беседу до того времени, когда вы возьмете приступом высочайшее творение Маркса. А сейчас, не зная немецкого языка, вы собираетесь именно с него переводить книгу? Это забавно. — Энгельс мягко улыбнулся.

— Я пытаюсь сделать это с французского.

— Очевидно, зная французский в совершенстве?

— О нет. Я слабоват и в нем. Но уникум, подобный вам в языкознании, то же, что ихтиозавр, который водится только в музеях. В нашу эру переводчики, как правило, не знают языков, с которых переводят. И представьте, это на пользу дела.

— Вот как? Вы совершили открытие. Я назвал бы, однако, подобный метод шарлатанским.

— Нет более сомнений в том, что вы человек первозданный или скорее какой-либо формации грядущего. — Шоу смотрел на Энгельса с явным восхищением.

— Я только нормален и, главное, глубоко презираю всяческий карьеризм и невежество, которые, к сожалению, присущи некоторым молодым литераторам, — живо возразил Энгельс. — Вы, кажется, фабианец?

— Да, но собираюсь расстаться с этим обществом укротителей строптивости в политике и перейти в будущем, когда она наконец организуется, в социал-демократическую федерацию.

— Эвелинг говорил мне об этом нарождающемся социалистически-либеральствующем гибриде.

— Прошу вас, сэр, не торопитесь покуда с выводами, — сказал Шоу. — Может быть, этот гибрид окажется полезен.

— Что ж. Пусть произрастает, посмотрим, что из этого получится. Насколько я помню, вы, мистер Шоу, пишете повести?

— Ради хлеба насущного я начинал в литературе именно с этого и настрочил целых пять штук. Теперь покончено. Хотя не все из них остались у меня для домашнего пользования. Самая плохая была напечатана в одном социалистическом журнале и продолжает преследовать меня уже не во сне, а наяву. Таков рок. Плохие повести печатаются обычно обязательно, хорошие же — только в крайнем случае.

— Кто определил качество ваших произведений: вы сами, читатель или критика? — спросил Энгельс.

— Читатель? О нет. Его писк не решает судьбы книг. Критика? Извольте, я выскажу вам откровенно мое мнение о ней. Каждому деспоту, когда он зажмет рот своим подданным, чтобы не сойти с ума, ради скуки нужен один, заметьте, только один противоборец. Короли завели для такой потехи шутов или фигляров. Демократия вручила суверенный скипетр народу и...

— Вот как! Где же нашли вы такую страну и такую демократию?

— Я не теоретик и бегу от прописных истин. Может быть, я опередил действительность или придумал ее. Словом, народ должен иметь исповедника или шута, который будет тешить его или перечить ему. Это и есть критика.

— Вы, верно, еще не узнали настоящих великих мастеров критики, каков немец Берне, француз Сент-Бев, русские Белинский, Добролюбов, Писарев. Они опровергли бы ваш скепсис. Критика, какая она должна быть, — это ведущая сила литературы.

— Не знаю русских, но знаю англичан. Критика потрафляет гадкому чувству зависти, когда растаптывает истинно великое и прекрасное. Она дает выход, как трубы дыму, чувству энтузиазма, когда по ей одной известным причинам восхваляет не всегда достойные творения. Критика взывает к инстинктам, и часто низшим.

Энгельс снова улыбнулся:

— Видимо, эта самая критика ощутимо искусала ваши икры. Итак, вы решили отомстить человечеству и заняться переводами книг с языка, вовсе вам неизвестного. Но ведь предмет вы избрали точный.

— Я не воспринимаю жизнь как нечто безусловно серьезное, мистер Энгельс. Мне не хватает достаточных знаний, чтобы стать ими. Я молод и не хочу сесть на мель. Может быть, займусь драматургией. Тогда уже нельзя будет не быть по-настоящему серьезным. Мой любимый драматический писатель — второй гений после Шекспира, великий Генри Филдинг. Это человек, которым должна гордиться Англия, как и чудом из Стратфорда-на-Эйвоне.

— Верно. Но Филдинг посвятил свое перо нелегкому и смелому изображению борьбы с парламентскими мошенниками. И, насколько я помню, взяточник Вальполь с помощью цензуры запретил с тех пор пьесы на столь животрепещущие темы.

— Бедняга драматург Филдинг, который из-за Вальполя не смог стать английским Мольером, взялся за ремесло прозаика Сервантеса. Да будет нам известно, что в сегодня «королевский чтец драматических произведений», как называется господин цензор, гасит, подобно фонарщику, дух малейшего правдолюбия и мешает отражению истинного положения дел в Англии. Как видите, я основательно изучил разные ремесла и не тороплюсь с окончательным выбором литературного жанра.

— Надеюсь, вы правильно изберете свою стезю. Писатель — тот, кто мыслит, а значит, многое неизбежно подвергает сомнению в поисках истины.

Анна Павловна тяжело переносила изгнание, разрыв с семьей и смятение, вызванное в ее душе новыми мыслями. Она часто приходила к Плехановым. Несмотря на постоянную нехватку денег, они жили хотя и в маленькой и тесной квартирке, но по-семейному уютно. В детской шумели две девочки, прозванные в шутку рептилиями. Розалия Марковна заканчивала медицинский факультет и писала за столом в кухне диссертацию. Завидя гостей, она подносила пальчик ко рту, жалобно призывая их не мешать ей и Георгию Валентиновичу. Несмотря на длительный, изнуряющий недуг, лежа в постели, он делал пометки на книг карандашом в широкой разлинованной тетради. Если лихорадка ослабляла его окончательно, он просил Анну Павловну или Веру Ивановну почитать ему вслух. Плеханов резко исхудал, лицо его с четко очерченными скулами, блестящими узкими глазами и темной бородкой часто лоснилось от пота. Иногда, полузакрыв глаза, Жорж предавался воспоминаниям в ответ на расспросы о том, почему он порвал с партией «Народная воля» и как стал марксистом. Для Анны эти рассказы были полны особого значения. Она сама оказалась на распутье. Ей хотелось знать о рабочих, с которыми Плеханов встречался. В Саратове, в Киеве и других городах он помогал устраивать стачки, составлял листовки и распространял их среди пролетариев.

В Петербурге Георгий Валентинович руководил бунтом на фортепьянной фабрике Беккера и на новой бумагопрядильне богача Кенига. Рабочие требовали тогда повышения заработной платы, сносных бытовых условий

и укорочения часов работы. Вместо с опытным подпольщиком и конспиратором унтер-офицером Гоббстом Плеханов писал требования фабрикантам, распределял денежные пособия, разгонял штрейкбрехеров.

— Но в главном рабочие не доверяли нам, считали чужеродным телом, называли в издевку «студентами», — признавался Плеханов Анне.

— Почему, Жорж?

— Очень просто. Пролетариат кровно заинтересован в прибавке заработной платы, в том, чтобы прижать хозяев и мастеров, укротить свирепого городового, а социалисты разглагольствуют о том, что, по существу, не интересует их самих, а не рабочего, преподносят народу всякие сложные теории, привлекают людей, живущих в скотских условиях и работающих четырнадцать часов в сутки, чуть не к высшему образованию. А у тех в это время от голода животы подводит. Лицемерие, пустословие, пусть и невольное, но мерзостное.

Плеханов осуждал бывших соратников за непонимание роли пролетариата в грядущем социальном перевороте, за предпочтение, оказываемое ими отсталому, забитому крестьянству.

В 1878 году Георгий Валентинович отправился в Ростов и связался там с донскими казаками. Он одобрял острое недовольство донцов, которым правительство в это время навязало земство взамен бывшего до того самоуправления. Речи Плеханова прозвучали громом.

«Народная воля» приняла на своем съезде решение о терроре. Тщетно Плеханов предупреждал, что жертвенный героизм одиночек всегда обречен и, принеся гибель самым отважным бойцам партии, отнюдь не даст победы народовольцам.

Его увещевания не произвели никакого впечатления на нетерпеливых, самоотверженных и отчаявшихся молодых людей. Плеханов тотчас же ушел из партии. Одиночество недолго томило его, как и поиски нового пути. Встреча с приехавшими из Швейцарии товарищами, среди которых были Вера Засулич и Лев Дейч, определила для Плеханова будущее. Решительно отторгая террор, эти бывшие народовольцы основали газету «Черный передел», первый же номер которой был конфискован полицией. Газета издавалась поэтому на чужбине. Плеханов и его

единомышленники, преследуемые жандармами, с немалым трудом сумели выбраться за кордон. Там они углубились в изучение книг по научному социализму и скоро провозгласили своим лозунгом слова Маркса: «Всякая борьба есть борьба политическая» — и уяснили, что победа обеспечена только в классовой борьбе.

Так было покончено с «Черным переделом» и появилась первая самостоятельная социал-демократическая русская группа «Освобождение труда».

— Но как же отступиться от святых календаря революции, от светлой памяти Перовской, Желябова, Кибальчича и остальных? Они принесли себя в жертву, чтобы встряхнуть Россию, ее совесть, ее сознание, мысль! — горестно восклицала Анна.

— Мы горюем над их преждевременными могилами и земно кланяемся каленым. Но действовать, как они, — значит бесполезно погубить наших героев. Борьба за революцию — строгая наука, а не только самоотверженность и всесокрушающий порыв негодования и отчаяния.

Плеханов давал Анне одну за другой книги Маркса и Энгельса. Но читать их ей было трудно, а подчас и малоинтересно.

— Я революционерка по сердцу, а не по уму. Мне по-матерински жалко обездоленных людей. Я хочу счастья для всех людей, но, право, не могу одолеть прибавочную стоимость или философские размышления Гегеля и Маркса. Я маленькая, а они колосси. Не дотянуться мне. Верно, не дал бог ума глубокого.

Плеханов успокаивал Анну, выжигал ее самоуничижение и просил покуда не перенапрягаться в теории.

— Знаешь что, Анна, — говорила ей Вера Засулич, — ты не сетуй, не наговаривай на себя. Моя воспитательница, или, как ее громко называли, бонна, Мимина, а по крещению Матрена, говаривала мне в детстве, когда я забывала слова непонятных молитв: «Ты, матушка моя, просто кверху руки подымы и повторяй что-нибудь от самого сердца. Не словами, а делами бог постигается». Так вот, мой друг, ты не мудрствуй лукаво, не истязай себя рефлексиями, а дело делай. Авось жизнь тебе все подскажет. Ведь Маркс-то учит нас не начетничеству, не слепому повторению его мыслей, а требует усвоения метода мышления, особого метода.

— Метода? Что ты хочешь этим сказать? — широко раскрыв немного косящие серо-коричневые глаза, спрашивала Анна.

— Да, представь, это ключ ко всем замкам. Метод марксизма помогает понять общий исторический смысл сложившихся обстоятельств, а не только выводов, иногда омертвелых. Ну, как тебе пояснить? Вот Жорж — а он уделил теоретически мыслящим существом — говорит: мы только указываем нашим товарищам направление, — запомни, направление! — в котором нужно искать решения интересующих их революционных вопросов; мы только отстаиваем верный и белоснежный критерий, с помощью которого они смогут наконец сорвать с себя лохмотья революционной метафизики, почти безраздельно господствовавшей до сих пор над нашими умами... Мы указываем на диалектику, эту алгебру революции, в интересах революционного воспитания рабочего класса.. Так-то.

И Анна решила действовать и учиться боевому марксизму у самой жизни. Вместе с одним из основателей группы «Освобождение труда», отважным и образованным марксистом Львом Дейчем, она должна была доставить из Женевы в Россию первые издания «освободенцев». Это было опасное и трудноосуществимое предприятие, в которому Дейч, наиболее предприимчивый и деятельный член группы, готовился с большой осторожностью. Для переправы социалистической литературы нужны были также немалые денежные средства.

После болезни Плеханов направился в лекционную поездку по всей Швейцарии, и всюду его выступления — глубокие по мысли, остроумные, неотразимые по силе фактов — вызывали одобрение не только легко увлекающейся молодежи, но и предубежденных пожилых людей. Это путешествие с выступлениями принесло Плеханову, а тем самым и кассе «Освобождения труда» хотя и не большую, но прибыль. Женевские марксисты терпели ощутимую нужду и с трудом изворачивались, тщетно ожидая некоего благотворителя, который явится и даст им крупную сумму денег на прожитие и, главное, на издание и распространение пропагандистской литературы. Они вспоминали, что Фурье столь упрямо верил в подобное чудо, что ежедневно, в заранее назначенные им часы, усаживался у окна своей квартиры и ждал знатного ростовщика, который, оценив учение, озолотит его творца.

Однажды к Плеханову действительно явился богатый помещик. Но не пожертвование, а огромный фолиант, путаный продукт графомания, принес он Плеханову, предлагая его для издания.

Готовясь к нелегальному отъезду в Россию, Дейч, Аня и Вера Засулич обычно приходили обедать к Плехановым, чтобы обсудить все предстоящие дела. Позднее, к вечернему кофе, туда являлись Игнатов и Аксельрод. Запасшись допотопа, они решали, как переправить через границу литературу, заготовленную в Швейцарии.

Евгений — таков был революционный псевдоним Дейча — заведовал первой русской женевской типографией. Все рабочие типографии ранее были, как и пять основателей группы «Освобождение труда», черепередельцами. Став марксистами, работая по убеждению, они получали только самые необходимые деньги за свой труд, и то в соответствии с состоянием общей партийной кассы.

Сборы в дорогу Дейча и Анны Павловны наконец окончились. Запасшись подложными паспортами и распрощавшись с друзьями, они направились в Цюрих к Юлиусу Моттелеру. Посылать транспорт прямо из Женевы на русско-германскую границу Дейч не решился. У Моттелера его и Анну ждало нежданное разочарование. Один из помощников «красного почтмейстера» был в пути захвачен жандармами вместе с грузом. В течение ближайшего времени пытаться пронти оцепление на границе было безрассудно. Моттелер уговаривал Евгения и Анну обождать в Цюрихе, покуда немецкие социал-демократы не устроят им надежную переправу.

Но русские избегали лишних проволочек и боялись обратить на себя внимание в чужом городе. Они решили доставить литературу по назначению без чьей-либо помощи. Дейч и Аня отправились в Базель, разложив предназначавшийся для перевозки на родину груз в двух сундуках, прикрыв его мужскими и женскими носильными вещами. Знакомый швейцарец, имевший друзей в немецкой таможне, взялся сопровождать их через границу. Осмотр багажа прошел вполне благополучно. Слегка приоткрыли сундуки и не тронули поклажу, чиновник прикрепил на крышки необходимые ярлычки. Казалось, все трудности были уже обойдены. Дейч надеялся в ближайшем германском городке, где ему предстояло получить деньги взаймы, сделать остановку, упаковать брошюры

в посылки и отправить по условленному и надежному адресу в городок близ границы, откуда знакомые контрабандисты доставили бы их в Россию.

— Неужели все наше предприятие в действительности так просто? А я-то ждала страшных испытаний. Невероятно, — сказала Анна, когда очутилась с Евгением в купе поезда, идущего во Фрейбург. — А вдруг что-нибудь с нами все-таки случится?

— Что же теперь может произойти? — удивился Дойч. — Худшее уже позади. — Но и его томили страшные предчувствия.

...Через два дня Анна и Евгений очутились во Фрейбургской тюрьме, откуда их, значительно позднее, вместе с конфискованной литературой отправили под конвоем на русскую границу и передали царским жандармам.

Эвелинг признался Элеоноре, что у него в Ирландии остались жена и двое детей. Развод по закону был невозможен, хотя уже много лет Эдуард фактически ничего общего не имел с семьей.

Тусси опустила голову на руки, чтобы он не видел ее глаз, и молчала.

— Элси Терри много лет прожила в гражданском браке с замечательным человеком, архитектором Годвином. Их сын, талантливый актер Гордон Крэг, уже обратил на себя внимание в театре. Помнишь его? Тебе так понравилась игра Крэга в «Юджине Араме». Наконец, первый брак мистера Энгельса с Мери Бёрнс так и остался гражданским, а с Лиззи Бёрнс он зарегистрировался в мэрии только за несколько часов до ее смерти. Генерал всегда колко высмеивает формальности такого рода.

Эвелинг наклонился и попытался отвести руки от лица Элеоноры.

— Не надо, Эдди, — сказала она чуть слышно. — Не в этом дело. Ты ведь знаешь, что я никогда не предлагала венчания. Но ты умолчал о своем браке.

— Это не было ложью. Я ведь давным-давно не видел той женщины.

— Но у вас дети.

— Дети? Я плачу за совершенную ошибку и буду это делать впредь, как всякий честный человек, но ведь сердцу

но прикажешь. Я оставил семью задолго до знакомства с тобой. Не кажи же себя, пожалуйста.

Эдуард попытался развеселить Тусси и, как это обычно делал, поднял ее вместе со стулом, на котором она сидела.

— Нет, нет, оставь меня сейчас одну. Прости, но я не могу еще освоиться с этой новостью.

— Но напрасно тебя долго звали беби. Ты действительно дитя. Неужели, Тусси, ты надеялась встретить мужчину моих лет, который был бы непорочен, как дева Мария? Ведь это требуется только от женщин. Мужчина природой создан по-иному. Да, у меня была жена, однако я не должник, и мое прошлое, вероятно, скромнее, чем у многих других молодых людей. Я не отрицаю, конечно, увлекался. Ведь не по книгам же было мне изучать жизнь!

— Значит, были и еще близкие тебе женщины?

Эвелинг громко рассмеялся.

— Бедняжка, ты непростительно наивна. Иллюзии отроковицы. Вот они, последствия чтения. Ну, а Байрон, Смоллет или тот же Свифт, мой соотечественник, разве они не меняли своих привязанностей? Жизнь, моя милая, это жизнь.

— То, что у других были ошибки, не служит нам оправданием, когда мы спотыкаемся, — сухо заметила Элеонора. Она с горечью почувствовала, что Эвелинг стал ей сразу чужим.

И чуткий, нервный Эдуард тотчас поежился от возникшего холода. Он почтительно прикоснулся губами к руке женщины, которая считала его женихом, и печально попросил:

— Позови меня. Я приду, дорогая. Жду.

Элеонора осталась одна.

Квартира была убрана в типично английском стиле того времени. Множество книг, цветов, диван с подушечками в тонко расшитых самой хозяйкой наволочках, большая лампа с зеленым абажуром на письменном столе, несколько портретов, картин и репродукций в простых рамах составляли убранство первой комнаты, во второй — строгой спальне — стояли кровать, шкаф и умывальный столик. Почти всегда открытое настежь окно впускало холод и сырость, и комната казалась нежилой, неуютной. Перед тем как укладываться спать, Элеонора обычно растапливала маленький серый, как и обои, камин и прятала под

шерстяные розовые одеяла грелки с горячей водой. Ей нравилось прикосновение влажного, несогретого воздуха к закаленному гимнастикой и водой телу, когда, протянув вверх руки, она быстро надевала длинную, до пят, ночную полотняную сорочку.

Вытянувшись на хрустящей, накрахмаленной простыне, ощущая приятное тепло согретой постели, Тусси могла отдаваться думам. Воображение ее с детства было чрезмерно щедрым, ум — глубоким, неспокойным. Хотя с юности девушка общалась с различными людьми, обладала недюжинной наблюдательностью и сталкивалась больше со злом, нежели с добром, она привыкла верить людям. Полюбив Эвелинга и сблизившись с ним, она боялась оскорбить его недоверчивыми вопросами, убежденная, что сердце ее — самый надежный компас и не может ошибаться.

Запоздалое признание Эвелинга в том, что он оставил семью, подавило Тусси. Она вовсе не стремилась к узаконенному браку, не придавая формальностям в любви никакого значения, но мысль об оставленных детях мучила ее.

Младшую дочь Маркса тревожили рассуждения человека, которого она избрала, будто мужчины самой природой предназначены для иной доли жизни, нежели женщины. Тусси знала, что это взгляды, утвердившиеся среди буржуа и зажиточной интеллигенции. Но почему она не слыхала подобных рассуждений на рабочих окраинах, среди бедняков, нищенствующих на бесцветных улицах Уайтчапеля? Никогда не могли бы сказать ничего подобного ей ее отец, ни Энгельс, ни Либкнехт...

«Кто пил, тот будет пить», — вспомнила Тусси французскую народную поговорку. Кто привык изменять и мыслит, как Эдуард, будет снова искать новых любовных утех.

Но любовь — самое мощное и чудотворное чувство. Эдуард оставлял других женщин потому, что не любил их. Он правдив, это главное, и он называет меня единственной. А все остальное уже позади».

В памяти встали перед ней образы отца и матери.

«Счастье в том, чтобы найти одну любовь и пронести ее через всю жизнь».

Ее сестра Лаура и Поль Лафарг нашли друг друга. Элеоноре не довелось встретить такую радость. Но виноват ли Эдуард в том, что судьба поздно свела его с нею? Нельзя тереться тем, что непоправимо. «И разве в золотонос-

ной жиле, — думала она, — вместо с золотом нет песка и камней?»

Думая о родителях, Элеонора всегда вспоминала и Энгельса. Мудрец считал вторым условием счастья находку верного друга. Энгельс обрел его в Марксе, как и Маркс в Энгельсе. Были ли в истории люди подобные примеры? Тусси медленно перебирала героев греческой мифологии. Пилад, верный в годину горя друг злосчастного Ореста, убившего мать за измену его отцу. Но прекрасная дружба эта не казалась Элеоноре точным прообразом отношений отца и Энгельса. Даже в жертвенности может быть или не быть равенства. Его-то и не существовало между принцем Орестом и самоотверженным слугой Пиладом.

В стремительной памяти молодой женщины вспыхнули иные имена. Дамон и Финтий! Вот безупречный образец дружбы равных. Два уроженца Сиракуз, не терпящие насилия, гордые, знатные пифагорейцы. Финтий был схвачен деспотом Дионисием II, заподозрившим его в покушении на свою жизнь, и приговорен к смерти. Дамон, знавший, что его друг жаждет проститься с семьей и уладить дела, предложил себя в заложники. Финтия отпустили домой на строго отсчитанное время. Оно, однако, миновало, а он не вернулся в указанный срок. Дамона отвели на площадь, и палач уже поднял секиру, когда, задыхаясь от бега, к плахе примчался осужденный. Народ, собравшийся к любому месту, пораженный проявлением столь большой взаимной преданности, потребовал прощения смертнику, и Дионисий II не только помиловал его, но попросил стать верных друг другу людей стать его друзьями. Финтий и Дамон обнялись. «Дружба — дар богов», — считали древние.

— И любовь тоже редкий дар судьбы, — добавила Тусси.

Энгельс, с которым, как и с Ленхен, она делилась всем, что было у нее на сердце, хорошо встречал Эвелинга.

— С каждым днем он нравится мне все больше, — признавался Генерал своей любимице Элеоноре.

Молодой ирландец всячески старался заслужить доверие второго отца и друга Элеоноры. Эвелинг бывал подкупающе искренен и обаятелен в обществе. Хорошая память, обширные знания, умение красно говорить и показать себя с лучшей стороны располагали, как и милая ребячливость, всегда радующая Элеонору, которая, подмечая проявления

эгоизма, лени, неромантичности, легкомыслии в поступках Эдуарда, старалась убедить себя, что под влиянием Энгельса и других сильных духом людей он еще станет цельным и последовательным.

Ни медицина, ни естествознание, которыми в молодости увлекался Эвелинг, его больше по-настоящему не интересовали. Хотя он и считал себя одаренным драматургом и даже артистом, зрители этого не признавали. Политическая борьба, особенно после знакомства с Элеонорой, казалось, поглотила Эвелинга. Вместе с Элеонорой он состоял в Социал-демократической федерации. Руководство в этой организации, объединявшей преимущественно интеллигенцию, находилось в руках реформистов, которые проводили оппортунистическую политику. Вилой всему стал ее лидер Гайндман, резко возражавший против работы членов федерации в тред-юнионах под предлогом их реакционности. Главной целью Гайндман объявлял завоевание мест в парламенте. Ловкий, двуличный карьерист с лакейской душой на деле срывал борьбу пролетариев.

— Рабочие слишком слабы. Только мы, сверху, сможем изменить их тягостное положение, — заявлял Гайндман и скоро был оценен по достоинству реакционерами, которые не поскупились и дали ему изрядный денежный куш на избирательную кампанию.

Эвелинг и Элеонора порвали с неудачливым детищем Гайндмана. Они создали Социалистическую лигу, смело и настойчиво защищавшую идеи международного товарищества в рабочем движении.

В это же время Элеонора руководила одним из рабочих профсоюзов. Известность ее на окраинах возрастала Чтобы читать лекции и вести работу среди многочисленных еврейских пролетариев и ремесленников, живущих в обойденном солнцем и радостью гиблостном, дымном Уайтчапеле, дочь Маркса выучила также и еврейский язык. Как Энгельс и вся семья Маркса, Элеонора была выдающимся полиглотом. Молодая, похорошевшая от счастья разделенной любви, веселая, излучающая доброту, она приходила на заводы, фабрики, в бараки и домишки, готовая отдать все, что собрала за свою жизнь, неутомимо трудясь, храня знания, как сокровища.

Ее любили дети. Как некогда Маркс, она одаривала их леденцами, рассказывала забавные сказки. Женщины поверяли Элеоноре свои заботы, горести, секреты, мужчины

привлекали в ней товарища, многоопытного, готового к сражению воина. Но особенно хороша была она на трибуне. Ее глубокий, низкий голос, которому могла бы позавидовать выдающаяся актриса, четкая дикция, душевная щедрость, проницательность заражали слушателей, заставляли до конца верить оратору, идти за ним.

И казалось вполне естественным, что женщину, не достигшую тридцати лет, люди с окраин называли «наша матушка», как сорок лет назад молодого Маркса рабочие прозвали «отец Маркс».

Трудовой день Энгельса был строго продуман, налажен, установлен раз и навсегда. Он вставал в одно и то же время, чтобы оказаться за письменным столом без опоздания. Обычно утренние и часть дневных часов Энгельс посвящал основной работе. По вечерам он просматривал газеты и отвечал на письма друзей и соратников. Изо дня в день Энгельс зорко следил за развитием социалистического движения в Германии и Америке, России и Франции — повсюду. Он был убежден, что коммунистическое движение должно развиваться по-разному в каждой стране, и поэтому отказывался давать советы однотипные, вне учета особенностей страны и тех, кто ее населяет.

Зимой 1884 года, разбирая бумаги Маркса, он наткнулся на взволновавшие его тетради. Таинственно переплетенными буквами, вязью, приводящей на память начертания ассирийцев и финикиян на камнях, Маркс сделал выписки из книги прогрессивного американского ученого Моргана «Древнее общество», сопроводив их своими замечаниями и раздумьями. В тетрадях друга Энгельс нашел еще немало мыслей, посвященных этой теме.

Много вечеров провели они оба несколько лет назад в беседах о бытии человечества на ранних этапах его истории, стараясь восстановить прошлое, понять семейные отношения во времена дикости и варварства и то, что привело к созданию государства, что крылось в самой его сущности. Еще при жизни Маркса Энгельс опубликовал свои исследования по истории Греции, Рима, древней Ирландии.

И сейчас ему предстояло путешествие в глубь веков, к самым истокам человечества. Вооруженный, как ни один следопыт на земле, острым, подобно скальпелю, методом

исторического материализма, он мог смело пуститься в путь. Понадобилось всего два месяца, и, несмотря на занятость другими делами, гений и трудолюбие Энгельса, как всегда, победили, и книга его о происхождении семьи, частной собственности и государстве была закончена. Это явилось итогом небывалого вдохновения, подобного тому, что охватывало Бетховена и Чайковского, давших людям дивные симфонии; вдохновения, знакомого Микеланджело, когда он создал Давида.

Все, что ни делал Энгельс, он освящал именем навсегда ушедшего друга. В предисловии к своей новой книге он указал, что, написав ее, выполнил завещание Маркса, чьи записи легли в основу замысла. Он отважно вторгся в далекое прошлое человечества, срывая покров за покровом с его тайн, заглядывал в глубинную сущность человеческих отношений, приведших к созданию различных форм государственности.

Каждая мысль, высказанная на страницах произведения Энгельса, родилась в итоге бесчисленных, кропотливых поисков, сопоставлений и строгой проверки. Сотни различных исследований были тщательно продуманы и разработаны Энгельсом раньше, чем он взял их в союзники или беспощадно опроверг и отбросил как помеху истине.

Энгельс как бы расчищал нить паутины, чтобы открыть заново то, что, не оставив почти никаких следов на земле, кануло в вечность. И под его пером прах ожил.

Основа творческого труда Энгельса, его неоспоримое первооткрытие — это история возникновения, развития и грядущего отмирания государства. Показывая человека в его движении к познанию самого себя и мира, прослеживая шаг за шагом постепенное возникновение семьи, Энгельс выяснил, как произошло деление людей на классы и укрепилось государство, видоизменялись в разное время. Энгельс отверг теории буржуазных ученых о надклассовых особенностях государства, доказав на фактах истории, что там, где мир делится на угнетателей и угнетенных, власть всегда в руках богатых и сильных.

В античном государстве правили рабовладельцы, в пору средневековья — феодалы. В XIX веке государство, защищая выгоду привилегированных, служит им орудием против рабочих. И демократическая буржуазная республика не является исключением.

Однако раз история знала уже времена, когда не было государства, то неизбежно человечество, обретя крылья и взлетев на неоглядную высоту, не будет более нуждаться в нем.

«С исчезновением классов, — предрек Энгельс в своей книге, — исчезнет неизбежно государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором».

Среди друзей Энгельса был один, обществом которого он особенно дорожил. Маркс в свое время тоже радовался встречам с этим жизнерадостным немцем, одним из основоположников современной органической химии, коммунистом Карлом Шорлеммером. Его специальностью стали парафины, содержащиеся в нефти. Шорлеммер поначалу избрал предметом своих научных изысканий простейшие химические тела, состоящие из углерода и водорода, и, заменяя части этих элементов другими, обнаружил новые соединения с различными свойствами.

Опыты, которые он ставил, были очень трудны и часто опасны. В шестидесятых годах, когда тридцатилетний химик впервые познакомился с Энгельсом и Марксом в Манчестере, он являлся к ним нередко прямо из лаборатории с обожженным лицом и кровоподтеками на руках.

— С парафином шутки плохи, — говорил Энгельс.

— Да, опять небольшой взрыв. Природа, как вражеская крепость, не хочет сдаваться. Только в боях можно овладеть ее сокровищами, — отшучивался Шорлеммер.

— Хорошо, дорогой Карл, что твои глаза защищены очками, не то ты давно лишился бы зрения. Рубцы на твоем лице — верное тому доказательство. Ты, впрочем, можешь гордиться столь почетными ранениями.

Шорлеммер был широкообразованным человеком, основательно занимался также и теоретической химией. Энгельс, сам страстно увлеченный естествознанием, с особым наслаждением слушал Шорлеммера. Они обсуждали спорные, неразрешенные вопросы, и часто химик находил в Энгельсе необыкновенно проницательного и знающего учителя.

— А помнишь ли, Фред, как ты заставил меня брызгаться в пучину гегелевских размышлений? — не раз в шутку укорял Шорлеммер своего друга.

— Зато ты теперь единственный естествоиспытатель, внюхий диалектику, презираемую невеждами и фи-листерами.

— Да, я высоко ценю этот метод.

— Справедливо! Нельзя достичь ничего значительного в сфере общего естествознания, если рассматривать явления природы как нечто неизменное, раз и навсегда установившееся. А так, увы, считает большинство исследователей.

Убежденный коммунист, Шорлеммер, делясь с Энгельсом и Марксом тем, что приобрел в естествознании, черпал у них знания в области экономики и в науке революционной и партийной борьбы. Шорлеммер с годами все сильнее ощущал себя борцом, хотя жизнь его проходила главным образом в лаборатории. Из года в год он становился все более известным. В тридцать семь лет Шорлеммер стал членом Лондонского королевского ученого общества. Он возглавил новую кафедру по органической химии. Но почести и личное благосостояние нисколько не изменили ученого, достаточно умного и бывалого, чтобы искренне высмеивать всякую чопорность и зазнайство. Шорлеммер чурался льстецов и, правильно оценивая себя, оставался очень скромным, доступным, умеющим радоваться жизни, природе и людям.

После смерти Маркса дружба с Шорлеммером стала еще дороже Энгельсу. Знаменитый ученый не жил в Лондоне, но, приезжая в столицу, неизменно поселялся на Риджентс-парк.

Все близкие друзья Энгельса обычно становились также друзьями Лехен Демут. Профессор Шорлеммер не был исключением. В этот раз он явился к Энгельсу не из Манчестера, а из Германии, где отдыхал у матери, но запоздал из-за шторма на Ла-Манше, задержавшего прибытие парохода. Лехен в нескрываемой тревоге встретила его на каменном крыльце и разразилась упреками.

— Дорогая мисс Демут, посудину, в которой я переплыл взбесившийся пролив, трепало так, что я вообще не рассчитывал вас более видеть. Но все равно я прошу прощения за то, что наука еще не подчинила себе водную

стихию или не создала моста из Лондона в Кале, напри-
мер. Я, конечно, мог бы прилететь на воздушном шаре,
но его унесло бы в Исландию. Будем ждать аэропоездов
более надежных. Потерпите немного, и я стану аккурат-
нее самого Энгельса. Кстати, дома ли он?

— Конечно, ведь это часы его работы, но даже и наш великий оптимист начал беспокоиться, не настигло ли вас в пути несчастье.

На порога холла появился Энгельс и, широко улыбаясь, приветствовал друга:

— Шорлеммер, дружище, ты, как, впрочем, я и был уверен, жив и невредим. Женщины, как некогда Кассандра, склонны всегда вещать о худшем. Но если тебя не коснулся на нашей благословенной родине драконов закон против социалистов, ты огнеупорен и не можешь потонуть в бурных водах пролива.

- Не торопись с выводами, Фридрих. Представь, я едва не был судим как контрабандист. Помнишь песенку контрабандистов из «Кармен»? Дивная музыка!

Снимая плащ, цилиндр и складывая мокрый зонтик, Шорлеммер, изрядно перевран, напевал понравившийся ему мотив, а Энгельс с увлечением дирижировал, слегка подпевая. Ленхен постояла в холле, затем, не то осуждающе, не то поощрительно махнув рукой, отправилась хлопотать по хозяйству.

Оба друга, не прекращая пения и взявшись под руки, вошли в кабинет.

— Выней-ка пушку, Карл. Ты, я вижу, отсырел под дождем. Так не мудрено схватить инфлюэнцу. И расскажи, пожалуйста, как попал все-таки в отряд красного Моттелера.

Шорлеммер с комическими подробностями принялся повествовать о своем путешествии из Швейцарии в Дармштадт. Он пересек границу в то самое время, когда в руки германской полиции попал ящик с несколькими пудами запрещенной газеты «Социал-демократ», издававшейся в Цюрихе. И подозрение пало на странствовавшего по Европе профессора.

— Еще бы! — прервал Энгельс рассказ друга. — По полицейским понятиям, химик, конечно же, научно вымуштрованный контрабандист. И даже твоя внешность добропорядочного ученого не способна разубедить щеки Бисмарка. А действительно, Карл, кто, кроме профессора,

мог провезти столь взрывную контрабанду? Ну, признавайся же.

— Не пойман — не вор. Скандал, однако же, разразился большущий. Покуда я, ничего не зная о возникшем обстоянии, следовал в Хёхст, к моей матушке и брату нагрянул с обыском. Вообрази, какой переполох в почтенном семействе! Едва я сам прибыл на место, как был тщательно освидетельствован, так сказать, просмотрен со всех сторон, и как описать тебе препрнятное удивление борзых, когда они обнаружили при мне английский паспорт с всесильным львом в гербе. Как ты знаешь, я принял английское подданство после введения узаконенного зверства, называемого законом против социалистов. Да, я смог насладиться видом полиции, растерявшейся перед подданным ее величества английской королевы. В нашем любезном отечестве остерегаются дипломатических осложнений с сильными державами. И не пожелал довольствоваться притворными приносами и извинениями местных сатрапов и расшумелся. Получилось все как нельзя более кстати для наших товарищей. И в итоге происшедшего на подоспевших выборах социалисты получили по меньшей мере пятьсот лишних голосов. Неплохо, дружище?

— Еще бы! — весело подтвердил Энгельс. — Ты, Карл, не только знаменитый химик, но и великий стратег, а может быть, как знать, и контрабандист! Посему после пятичасового чая отправимся-ка в город повеселиться на людях, зайдем в театр или мюзик-холл и пивом на обратном пути по кружечке крепкого эля. Идет?

В сумерки Энгельс и Шорлеммер отправились пешком по широкому Стрэнду к площади Пикадилли, где расположились театры. Дождь прекратился, но город остался как бы погруженным в густой серый кисель. В маленьком сквере ярко зеленела трава.

— Я нигде не встречал таких газонов, — заметил профессор. — Хрестоматийный рассказ сообщает о разговоре садовника с иностранцем, спросившим, как достичь такой густоты зеленого ковра. «Нужно подстригать его ежедневно», — последовал ответ. «И долго ли?» — «Двести лет».

Энгельс живо ответил:

— В этом я усматриваю немалый смысл. Так же вот коса английской буржуазии подстригала бедняков, а сейчас с особенным старанием — пролетариат. Двести лет

капитализма — это трагедия и это же величайшая школа для здешнего народа. Англичан теперь не проймешь одними пропо̀ведями. Колонии приносят огромные доходы, сверхприбыли небывалые, верхушка рабочего класса подкуплена подачками и высокой заработной платой. В социалистическое движение на острове рабочие массы по настоящему еще не вступили. Раздробленные группы социалистов похожи на секты... — Помолчав, он закончил: — Иное дело Россия, только что высвободившаяся из кандалов крепостничества. Она стоит на пороге своего тысяча семьсот восемьдесят девятого года, и, как это ни парадоксально, ей, самой отсталой стране, суждено открыть новую революционную эру человечества. Достаточно легкого толчка, чтобы лавина сдвинулась...

Энгельс любил музыку. Романсы Шуберта и Шумана, арии из опер Моцарта он знал наизусть и часто напевал их один или с друзьями. Он не только читал музыкальные пьесы с листа, но и мог дирижировать хором. Вскоре после смерти Маркса длительная болезнь приковала его к постели, но, оправившись, если изредка выпадало свободное время, он посещал концерты и театры, что называлось у него «покутить». Актерская труппа, в которой играли Ирвинг и Эллен Терри, отправилась на несколько лет гастролировать в Америку, и лондонцы считали, что на их сцене остались одни посредственности. Энгельс и Шорлеммер зашли, однако, в театр. Но пьеса оказалась столь неправдоподобной, что зрители громко смеялись над самыми трагическими происшествиями. Веселились и оба друга, остро подмечавшие фальшь на подмостках и преувеличенные ходульность и надуманность. Английскую сцену заполонили чувствительные драмы, где героями стали принципиальные холостяки и охотящиеся за женихами девицы, продажные парламентские шишки и добрые обманутые короли, унылый, проедающий отцово наследство титулованный бездельник-сверхчеловек и придурковатый американский делец. Похождения добродетельных проституток и проституирующих светских дам, приключения, связанные с хитроумными попытками развода, любовная канитель, ведущая к неравному браку, к грабежу и убийству, — таково было содержание наиболее ходких пьес.

Сидя в небольшой таверне за кружкой пива, Энгельс заметил:

— Не правда ли, Карл, кроме великих артистов, как обе сестры Терри, Ирвинг и кое-кто еще, игра английских актеров обычно старательна и посредственна, редко — вовсе плоха, еще реже — хороша! Если бы не было Шекспира, Шеридана и двух-трех звезд, значительно меньших по размеру, британцам нечем было бы гордиться. А сейчас один Шекспир поднимает их театр в поднебесье.

Ради Шорлеммера Энгельс отложил вечернюю работу. Прежде чем разойтись по своим спальням, друзья уселись перед камином в кабинете Фридриха. Ленхен, вязавшая кофточку одному из маленьких Лонге, внуков Маркса, примостилась с работой на диване. Она заметно одряхлела и часто погружалась в тяжелые раздумья, как мать, потерявшая детей.

«Отчего это в старости мы с таким трудом волочим свое тело и оно кажется нам все тяжелее и тяжелее?» — вопрошала Ленхен сама себя, чувствуя, что работа, раньше казавшаяся ей совсем легкой, стала непосильной. Характер Ленхен тоже менялся, она становилась строже и одновременно спокойнее. Иногда ей хотелось вспылить, разгневаться, но не получалось, и, устало махнув рукой, она отделывалась молчанием. Живо откликаясь на все события в мире и в доме, она вместе с тем как-то отдалилась от всего и обрела одиночество и созерцание прошлого. Несчастья и смерти навалились и пугают душу, как гроза страшила пещерного человека. Будет ли иначе? Новое общество должно обуздать несчастья, такие, как нищета, неравенство, неправедный суд, клевета без ответа, незаслуженные приговоры. И смерть отодвинется, а человек, дожив до глубокой старости, тихо склонится, как древний кедр перед временем.

Ленхен, глубоко задумавшись, не сразу отозвалась, когда Энгельс, повысив голос, вызвал ее из мира мыслей.

— Ты устала, дорогая Елена. Весь день не щадила себя в чрезмерной работе. И, право, чувствую себя жестоким эксплуататором, когда вижу, как ты не присаживаешься ни на минуту до самого вечера. Вот уж действительно проклятый труд! Хотелось бы мне дожить до того дня, когда вся кропотливая и неблагодарная, суетная и тяжелая возня с домашним хозяйством, которая выполняется теперь индивидуально, превратится в мощную отрасль общественного производства.

— Чего только Фридрих не придумает! — сказала Лонхен с доброй улыбкой. — Сомневаюсь, чтобы машина угодил тебе и вычистила твой письменный стол, как тебе нравится.

— В бытовом педантизме наш Энгельс превзошел даже Канта, — пошутил Шорлеммер.

— Поздно отступать от привычек. Но я уверен, что впоследствии будут созданы особые предприятия с весьма обученными специалистами. Они-то и возьмут на себя все обязанности по домашнему обиходу. Это ничуть не менее важное дело, нежели любое иное. И никто тогда не будет переутомляться Ведь на помощь придут сложнейшие устройства.

— Вот он, рай на земле для женщин! — заметила Лонхен.

— Рай? Английские феминистки добиваются другого. Кстати, на днях в знак протеста против привилегий мужчин, требуя равноправия, они побили окна в конторах Сити.

— Видно, хотят, чтобы их эксплуатировали так же, как и мужчин. Я говорю о женщинах-пролетарках, конечно. Но они то меньше всего думают о битье стекол...

До полуночи не замолкал оживленный разговор в кабинете Энгельса. Спустя несколько дней Шорлеммер уехал.

Жизнь в доме на Риджентс-парк проходила в напряженном труде. Энгельс, помимо работы над вторым и третьим томами «Капитала» и статьями, редактировал труды Маркса и свои на французском, итальянском, датском и английском языках. И по-прежнему он писал пространные письма соратникам, не забывая вовремя отправить деньги нуждающимся старым друзьям. Каждое письмо его пронизано живой мыслью, нередко юмором и душевным теплом. Кажется, что это творения юного человека с неиссякаемой энергией, острым и веселым умом. И только огромность знаний и опыт бывалого полководца революции заставляют задуматься: столь ли молод автор необыкновенных посланий в разные страны света единомышленникам-коммунистам?

Творчество — всегда признак молодости. Старость — это молчание. Энгельс ощущал себя одной из едва видимых частичек бесконечной вселенной, и душа его никогда не слабела.

Клотильда считала жизнь иной и хотела, чтобы она была не слишком тяжелой.

— Не воспринимайте беды чересчур трагически и, главное, относитесь менее серьезно к превратностям и людям: это принесет вам долголетие и предохранит сердце и щеки от морщин, — любила говорить высокая тоненькая женщина, гордившаяся тем, что, имея за плечами всего двадцать пять лет, она уже давно признана мастером своего дела.

— Я не какая-нибудь дармоедка и бездельница. Мой дед, как Огюст Бланки, потерял почти три десятка лет за решеткой. Не было такого бунта против тиранов, в котором он не заслужил бы хорошего рубца. Когда я была маленькой, этот ветеран однажды показал мне, как драгоценные ордена, шрамы от пуль солдат Кавеньяка и Тьера. Ни одного ранения он не получил в спину. Вот какой человек! Кому не судьба быть убитым, нечего бояться даже кладбища Пер-Лашез. Дед подарил мне кокарду и засохшую гвоздику, которую к его груди прикрепила сама Луиза Мишель, когда он командовал отрядом, выпустившим немало крови из проклятых версальцев, прорвавшихся в Париж. Я жалею, что не была с ним в ту пору, а пасла овец у бабушки в деревне. Наверно, не хуже других детей подбирала бы патроны, которых не хватало. Но судьба этого не захотела.

Родители Клотильды два опытных мастера-парикмахера работали на бульваре Распайль. Сначала девочка помогала им, исполняя черную работу, убирая мраморные столики, унося тазы и кувшины, подметая с пола клочья волос разного цвета — от блеклого, будто луч газовой лампы под потолком, до черных, лоснящихся, как цилиндры на головах щеголей, появлявшихся по вечерам у подъезда Большой оперы.

Клотильда нетерпеливо стремилась научиться красить волосы, как ее отец, завивать, взбивать и укладывать локоны, прикреплять к ним банты и цветы, не хуже матери. Нелегко оказалось достичь цели. Раскаленные докрасна щипцы обжигали ей пальцы и могли испортить пряди, особенно ломкие, если подвергались воздействию перекиси водорода и были окрашены в золотистый цвет или модный бронзовый. Ножницы и бритва приводили Клотильду в отчаянье, а без них даже самый нежный затылок не был таким, как диктовала мода. Два-три небрежно поднесших

завитка должны были обязательно выглядывать из-за мочки уха. Клотильда понимала, сколь именно они украшают лицо, придавая ему особую женственную прелесть и вызывая нечто схожее с умилением.

— Надо любить свое ремесло, как я, — говорила парикмахерша. — Сколько раз я сама дину давалась, глядя на свою работу! Придет какая-нибудь неряха, кикимора, а уходит фея! Прическа меняет женщину. Она из будней делает праздник.

Оглядев со всех сторон голову клиентки, испытывая при этом волнение, Клотильда решительно говорила:

— Вам нельзя ни взбивать по бокам коки, ни делать корзинку. Посмотрите в профиль на свой нос. Он острый и прямой. Челку тоже уберем. Такой лоб надо показывать. Я знаю, что вам пойдет. Я уложу на вашем затылке замечательный пучок и закрою уши, как у содержанки наследника английского престола. Ее считают самой красивой женщиной на свете, но у бедняжки огромные уши. Судьба всегда справедлива. Нельзя же одному существу дать все: и красоту, и богатство, и знатного любовника, а другому — ничего. Все поэтому разделено, правда, не совсем точно, но главное — не огорчаться и не принимать плохое близко к сердцу. Этому учила меня одна маркиза, которую я причесывала несколько лет. Она выглядела на сорок, когда ей было восемьдесят, и открыла мне свой секрет. Горести должны касаться только нашей рубашки. Не ближе.

Клотильда говорила необыкновенно быстро, в то же время проворно расплетая косу и расчесывая ее легкими движениями. Затем осторожно подстригала расщепившиеся концы волос.

— Как у вас секутся волосы! Полощите их запаренной ромашкой, чтобы придать им шелковистость и блеск. Это необходимо.

Больше всего не любила Клотильда молчаливых посетительниц, с недовольным выражением лиц следивших за ее работой.

— Если вы, мадам, не будете чаще улыбаться, — говорила она с подчеркнутым состраданием, — то очень скоро состаритесь. У вас уже сейчас очень глубокие морщины между носом и ртом. Их называют скорбными, но они скорее злые и, уверяю вас, очень не нравятся мужчинам. Простите, я сейчас вынуждена сосредоточиться и не могу

больше болтать. — Это было приглашением к обоюдной беседе.

Клиентки заменили Клотильде школу, которой она никогда не посещала, оставшись полуграмотной. Они стали для нее поставщиками различных новостей и сведений, заменив газету. Бульвар Распаль и прилегающие к нему улицы населяли закоптелые, нередко образованные люди, и парикмахерша очень скоро приобрела утонченные манеры, изящество и обороты речи своего квартала.

Женщины, которых она причесывала, были преимущественно многоречивы, легко впадали в откровенность, поверяя свои самые затаенные желания, обиды и маленькие тайны. Клотильда, стоя за своим креслом, узнавала многое о нравах и жизни парижанок. Чаще других в парикмахерскую приходили продавщицы больших магазинов, которые по роду своего труда обязаны быть внешне привлекательными. Они также старались всегда улыбаться, как Клотильда. Этого требовал хозяин. И девушка носили улыбку, как маску, с раннего утра до позднего вечера, добросовестно и безжизненно, похожие на балерин, напряженно отсчитывающих про себя ритм танца. Как и парикмахершам, им не полагалось присаживаться и чем либо выявлять утомление. После многих часов стояния ступни их ног в парадных ботинках отекали и кожа лиц синела под дешевой пудрой. Они страшились перепутать однотипные коробки и подать покупателю галстук вместо фильдеперсовых чулок или перчаток. Купец в лавке или надзиратель в магазине тотчас же выгонят с работы продавщицу, если она не знала в совершенстве размеров и номеров штучных товаров, сносей и происхождения разных тканей, не могла ответить на возникающие вопросы и сомнения посетителей.

Изредка к парикмахерской подъезжала карета с гербом и появлялась какая-нибудь богатая или знатная дама.

Как-то, укладывая сотый локон на башнеобразном возвышении из волос, Клотильда вперые услыхала про генерала Жоржа Эрнеста Буланже. Женщина, до подбородка закутанная в белую простыню, произнесла это имя с придыханием и многозначительно закатила глаза.

— О, вы не знаете, моя милая, — добавила она, — сколько в этом любимце богов затаенной силы, мужества, политической хватки! О нем покуда говорят с восторгом только избранные, но скоро его узнает весь мир. Франция

так нуждается в сильной личности. Людям на народа надо это запомнить.

Клотильда прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего. Внучка коммунара была очень сообразительна, когда чувствовала опасность.

— Интересно было бы увидеть такого героя, — сладенько улыбнувшись, сказала она. — А чем мадам хочет увенчать свой шиньон? Цветами, перьями, бантом?

— О нет, моя милая, я надену старинную диадему, но позже. Кстати, вы действительно очень искусны в своем деле. Я давно не была так довольна своей прической. Не могли бы вы посещать меня на дому? Плата меня не заботит. Поверите ли, я вынуждена в таком ужасном заведении, как эта ваша парикмахерская, но делать нечего. Мой постоянный фигаро сегодня утром скончался, никто вовремя меня не уведомил. Через час бал в честь генерала Буланже. Вот это и заставило меня приехать сюда. Ужасно! — Она презрительно поджала губы. — Мой особняк недалеко отсюда. Хорошо, что вы мне повстречались.

— Я охотно буду причесывать вас, где прикажете.

— Отлично. Горничная или лакей придут за вами.

Важная госпожа проследовала к карете, а Клотильда придирчиво оглядела широкий зал и перегороженные, закрывающиеся бархатными алыми портьерами отдельные кабинки. Сколько тут умещалось зеркал, люстр, обитых плюшем кресел с золочеными ручками! «Красиво и богато, как в Опере», — подумала парикмахерша, глядя на горы белых салфеток и простынь, на посеребренные тазики, фаянсовые кувшины и ведра. А воздух! Он пропах духами, пудрой, кремом и бриолином. Сколько женщин уходило отсюда, разрумянившись от радости, улыбаясь своему изображению на зеркальных стеклах, искренне благодарных!..

«Украшайтесь еще и еще, будьте прекрасны, как цветы», — хотелось сказать им Клотильде. Она никогда никому не завидовала, как не может творец быть врагом своего создания, и сама не знала всей силы своей доброжелательности к окружающим, проводя в работе почти всю свою жизнь.

Клотильда не выходила замуж. Пять лет назад ее жених, работавший на газовом заводе, умер от ожогов, полученных во время взрыва. Несмотря на недуг

заработок и часовые, Клотильда жила очень скромно и отправляла большую часть денег в деревню, куда вернулись со престарелые родители. Мать разбил паралич, и только отец с трудом занимался хозяйством.

— Когда я одряхлею, то возвращусь на родину и буду разводить там страусов и других птиц, которые не только несут яйца, но и годятся как украшение для причесок и шляп, — шутила девушка и никогда не унывала.

В квартире, где Клотильда снимала небольшую комнату, поселилась семья русского изгнанника, с которой она быстро сблизилась. Жену его звали Кларой. Фамилию легко было произносить по-французски: Цеткин.

В восьмидесятых годах XIX века, как бывало и в прошлом, Париж снова стал пристанищем политических изгнанников и беглецов. Высланные с родины немецкие социал-демократы, преследуемые охранкой русские революционеры, бунтари — поляки и румыны, часто с семьями, оседали во французской столице, с трудом добывая пропитание. В огромном городе растворялся человек, предоставленный себе. Особенно трудно было людям, профессией которых стало преподавание. Незавидная судьба так называемого «свободного учителя» вызывала жалость. Он зависел от случая, от незнакомых людей, чьих детей он вынужден был наставлять. Заплатят ли ему за уроки или обманут, урежут ли обещанную сумму, заставят ли обивать пороги, чтобы получить свой заработок?

Бывшая помощница «красного почтмейстера» Клара, приехав в Париж и поселившись в меблированных комнатах, рядом с Клотильдой, начала давать частные уроки. Ей повезло. Бойкая, хорошо воспитанная и образованная, внушающая доверие, молодая немка нравилась даже очень придирчивым матерям и отцам, и они охотно брали ее учительницей к своим детям. В редакциях газет ей давали переводы. Чтобы побывать у всех учеников, Кларе приходилось ездить в разные концы города, взбираться по сотням ступеней.

Ее ноги к вечеру мучительно болели, точно она поднималась на горные вершины, как недавно, когда надо было переправлять через границу многопудовые тюки с запретным «Социал-демократом».

Клотильда, не любившая немцев со времен франко-прусской войны, сначала враждебно посматривала на Клару, но постепенно, помимо своей воли, прониклась к

ней почтительной нежностью. Эта чужеземка искренне и по-доброму относилась к французам, таким, как Клотильда.

— Для нас все нации равны, — сказала она как-то парикмахерше. Обе они тяжело работали и очень уставали к вечеру. Придя домой, ставили на пол фаянсовые тазы с теплой водой и опускали в них усталые, перетруженные за день ноги.

— Содовый раствор великолепно снимает отек и утомление, — говорила Клотильда, передавая Кларе большой флакон. — Берите, Клер. Женщина должна быть легка на ноги, как лань. Мне не приходилось давать вам советы всегда сохранять веселье. И без того вы жизнерадостны, даже тогда, когда на ужин у вас одни песенки.

При всей своей общительности Клара была очень сдержанна, и Клотильда не решалась приставать к ней с вопросами, хотя ее очень интересовало все в этой светловолосой, румяной, необыкновенной немке.

Когда Клара вышла замуж за Оскара, они сняли одну меблированную клетушку. Как и Жена, Оскар перебивался переводческим трудом и частными уроками. Через два года у молодой четы было уже двое сыновей, и оставаться в маленькой комнатушке стало невозможно.

Клотильда помогла семье Цеткин подыскать дешевую двухкомнатную квартирку, где можно было расположиться с некоторыми удобствами. Клара кормила грудью сына, возилась по хозяйству, давала уроки, выполняла много партийных поручений, а временами удивляла друзей редкими кулинарными способностями. Рабочий день этой женщины, воплощавшей кипучую жизнеутверждающую энергию, был строго определен, над ее письменным столом висело расписание по часам. Только в полночь, когда дети уже спали, она принималась за переводы и статьи и просматривала ученические тетради.

Трудолюбие Клары и Оскара Цеткиных не принесло им, однако, достатка. Сытыми были только дети.

Когда Оскару удавалось получить за перевод солидную плату, Клара устраивала пир. Однажды ей пришлось поджарить около сотни бифштексов, чтобы накормить соратников. Но такой заработок перепадал редко, и Клотильда, искренне привязавшаяся к своим бывшим соседям, не раз заставала их в предельной нужде. Однажды она пришла в трагическую минуту, когда домовладелец

поздно вечером привел полицию к злостным неплательщикам Цеткиным. Тщетно Клара просила его повременить с выселением, а Клотильда предложила в залог кое-что из своих вещей. Полиция ворвалась в квартиру, когда оба мальчика находились в ванне и мать купала их, набросив на себя ночную кофточку. С полуодетыми детьми на руках Цеткины оказались на улице. Кларе после долгих препирательств отдали только накидку, все остальное имущество, даже детское белье, было конфисковано в счет квартирной платы. Настала ночь, Клара уселась на скамейке в ближайшем парке. Никто в столь позднюю пору не пожелал пустить семью в дом. Отказала и хозяйка парикмахерской. Положение казалось безвыходным, но вдруг Клотильда в одиноко идущей по парку женщине узнала знакомую клиентку. Дама была русской революционеркой, бежавшей из сибирской ссылки и живущей в отдельной квартире.

Землячка Осипа без колебаний предложила ему свое жилище, а сама согласилась переночевать у Клотильды.

Кларе, выросшей в довольстве, пришлось познать горькую нужду и жить в лишениях, какие настигали только самых обездоленных пролетариев. Как ни крепилась молодая женщина, призывая на помощь редкую волю и целеустремленность, физические силы ей часто изменяли, она начала прихварывать. Здоровье надорвалось. Зато в изгнании ей открылась та правда, которую, живя у родителей, она никогда иначе бы не узнала: жестокая истина о нищете, неустроенности, неуверенности в грядущем дне. Клара была очень привлекательна в эти годы. Русая челка прикрывала ее светлый лоб до самых бровей. Глаза смотрели прямо, испытующе. Когда Клара смеялась, нижние веки ее чуть-чуть вздрагивали.

Клотильда была очень набожна. Она считала религию бальзамом от разных недугов. Еще в детстве парикмахерша наслушалась печальных историй о святых. Их жертвенность была объяснима, они рвались к смерти, которая вела их в рай. Революционеры же, подобные Цеткиным, не верили в загробную жизнь и ничего не ждали за то, что поступились всеми благами жизни, и этого Клотильда не могла себе объяснить. Прожить жизнь в постоянном отказе от всего самого необходимого, ради того чтобы сгинуть навсегда, раствориться в земле, ничего не получив взамен?.. Подобных святых не знала и кто-

лическая церковь. Она всегда сулила возмездие за зло и позлаграждение за подвижничество. Клотильда считала, что отмщения на земле нет. Примером, по ее мнению, был покойный владелец парикмахерской господин Антуан. В июньские дни он участвовал в избиениях плененных рабочих солдатами Кавеньяка. И хотя он ради молоденькой любовницы свел в могилу жену, хотя он издевался над служившими у него людьми, обсчитывал их, лгал на каждом шагу, воровал, господин Антуан процветал, был во всем удачлив и стал кавалером ордена Почетного легиона. Он скопил немалые деньги, избирался согражданами в разные учреждения, стал владельцем десятка парикмахерских, всегда выигрывал на бирже и умер от удара без особых страданий, оплакиваемый кварталом, где жил в особняке, даже случайно не сделав ничего доброго ни одному человеку. Его хоронили с почестями. Он оставил своей юной жене большое состояние.

Жизнь господина Антуана убедила Клотильду в том, что небо не всегда торопится проявить справедливость. Но что же тогда давало столь завидную силу людям, подобным Кларе, ее мужу и их многочисленным друзьям? Клотильда решила проникнуть в «катакомбы», как она про себя называла клубы революционеров. Вместе с Кларой она побывала в Парижском объединении немецких социалистов, где Осип читал лекции не только общеобразовательные, но и посвященные революционной теории и тактике.

Осип Цеткин, скромный, как лучшие последователи Маркса и Энгельса, всегда чему-то учившийся, не падящий себя, несмотря на слабое здоровье, согласно ходовому выражению американцев, «сделал себя сам». В этом он не был исключением среди своих современников-революционеров. Родившись в небогатой семье, Осип, естественно, не получил от родителей капитала в виде знания иностранных языков и первоначальных основ образования, изученных с гувернантками. Цеткин не унаследовал даже хорошего здоровья, а царская тюрьма окончательно подорвала его.

Но, наперекор всем препятствиям, он хотел быть полезным людям, высокообразованным человеком. Клара гордилась своим мужем, который многое из приобретенных знаний передал ей, способнейшей из своих учениц. Нелегальная немецкая газета «Социал-демократ» сделала

Цеткина своим парижским корреспондентом. Он посылал также злободневные статьи в берлинскую «Трибуну народа» и венское «Рапенство». И хотя под ними всегда стояло только «Осип Цеткин», их порой писала и Клара, подписываясь именем мужа, так как многие редакции значительно ниже оплачивали труд женщин. Постепенно Клара становилась опытной журналисткой. Ей нравились сражения на переднем боевом участке борьбы, каким стала социалистическая печать.

Осип и его жена были связаны не только с немецкими социалистами, но и с французской рабочей партией, где господствовали два течения. поссибилистов, боявшихся классовых схваток и стремившихся к сотрудничеству с буржуазией, и марксистов, поборников революционной борьбы. Как-то Клара предложила Клотильде пойти на собрание. Там должны были выступать Гед и Лафарг.

Клотильда думала, что социалисты встречаются где-нибудь на окраине среди развалин или хотя бы в потайных подземных помещениях. Но зал собраний вовсе не походил на римские катакомбы Он был залит светом, просторен, а люди тут меньше всего напоминали аскетов и мучеников. Особенно поразили Клотильду своей представительностью и красотой Лафарги.

— Вот это светская чета! Только на королевских приемах, я уверена, увидишь таких! — громко восхищалась она, разглядывая с головы до ног Лауру и Поля.— Что ни говорите, Клер, эта дама, все равно, социалистка она или нет, — настоящая аристократка, я-то их знаю.

— Ее отец — величайший человек нашего времени, а мать действительно происходила из знати.

— Ну вот видите, значит, я права, приняв ее за принцессу. Какая осанка, движения и отличная прическа! — тараторила неугомонная парикмахерша. — А ее муж, господин Лафарг, — вельможа с каких-нибудь дальних островов, может быть с Мартиники. У него горящие глаза и профиль индийского магараджи.

Клотильда почти не слушала того, о чем говорили с трибуны ораторы, но она не упустила ни слова из разговора Клары Цеткин и Лауры Лафарг, давно ставших друзьями. Обе они стремились приохотить женщин к общественной деятельности. Нелегкая была это задача. Работницы на фабриках, швеи, модистки, вышивальщицы, корсетницы из мастерских и домашние хозяйки, жены

трудящихся, мало интересовались политической борьбой партии, хотя в минуты опасности для революции храбро сражались на баррикадах и защищали истинную свободу.

К тому же у французской партии много лет не было газеты, первого учителя революционеров. Когда же наконец появился печатный «Социалист», Лаура Лафарг и Клара Цеткин принялись помогать ее распространению. Много собственных денег истратили они на покупку газеты, чтобы затем унести ее в наиболее бедные рабочие кварталы. Они становились не только пропагандистами, но и чтицами, так как не все женщины бы ли достаточно грамотными и не все могли сами прочесть и понять статьи. На окраинах Лаура и Клара познакомились с семьями погибших коммунаров, с безымянными героями, принимавшими участие в боях за Коммуну. Они нашли в них преданных подруг и привлекали к партии новых опытных деятельниц. Об этом говорили дочь Маркса и немецкая социал-демократка. Но внезапно на полуслове они смолкли. Клотильда подняла глаза на трибуну. Там стоял Матье-Жюль Гед, друг Лафарга, один из руководителей французских марксистов.

Бывший анархист, близко знавший Бакунина, давно стал убежденным последователем Маркса и Энгельса, одним из организаторов новой партии.

В Париже его заметили еще тогда, когда он оратор-ствовал в скромном кафе Суфле перед молодежью, увлекающейся социальными теориями и гадающей о грядущих судьбах Франции и мира. С тех пор он вместе с Лафаргом сумел завоевать сердца многих рабочих и внушить беспокойство правящей буржуазии. Если лять Маркса, значительно более сильный теоретик и тактик, чем его друг, казался всегда готовым извергнуться вулканом новых идей и мыслей, то Гед превосходил Лафарга выдержкой и склонностью к практическим действиям. Оба эти человека вызывали к себе или пылкую любовь, или лютую ненависть.

— Эти социалисты называют себя поссибилистами, — сказал Гед в тот вечер, когда его впервые слушала Клотильда. — Этим все сказано. «Поссибль», возможное, — вот за что они готовы бороться. Но революционер стремится к невозможному. Невозможному — по мнению капиталиста.

Жюль Гед был великий агитатор. Он вкладывал в каждое слово и мысль всю силу сердца, убежденность, граничащую с фанатизмом, и преодолевал равнодушие любого, даже чуждого ему собрания. Это было высоким искусством, и, как подлинное искусство, оно рождалось огромной убежденностью. Клотильда чувствовала, как подпадает под влияние простых и справедливых слов оратора. Она пыталась сопротивляться этому необыкновенному человеку, такому же, как Цеткины, с их страстной и, как казалось ей, опасной верой.

Гед заканчивал свою речь:

— Мы требуем восьмичасового рабочего дня, заслуженной рабочим оплаты труда, боремся за равенство, истинную свободу, счастье трудящихся. Мы за то, чтобы невозможное стало возможным. И так будет!

Клотильда подумала о своем бунтаре-деде, много лет отсидевшем в тюрьме, и содрогнулась. Она не желала страданий, а потому не хотела борьбы. «Жизнь слишком коротка, — убеждала себя девушка, — чтобы приносить в жертву хоть маленькую ее частичку. Не надо делать зла, но и добро должно быть не во вред доброхоту. Им всем кажется, что у них три-четыре жизни и можно разбрасывать годы, как медные монеты. Но я не так легко теряю разум, не опьянилось речами. Все они немножечко безумцы».

Когда, низко пригнув голову, Клотильда тайком нудрила свой нос, над ее ухом раздался суховатый мужской голос:

— Вы что-нибудь потеряли, гражданка? Я помогу вам найти.

— Нет, нет, благодарю вас, все на месте. — Клотильда повернулась и взглянула на человека, сидевшего позади нее.

Немолодой, просто одетый, с черной бородкой и волосами, подчеркивавшими бледность лица, он не мог особенно заинтересовать ее своею внешностью. И все-таки в его светлых глазах застыла такая умная, располагающая к доверию усмешка, что Клотильда охотно продолжила разговор. Они познакомились. Он оказался врачом Борисом Наушкиным.

— Приходите, пожалуйста, я буду вам рада, — сказала девушка просто, когда он проводил ее до дому.

Они условились о свидании на ближайшее воскресенье. А на другой день горничная графини Юз пришла за Клотильдой.

— Мы устраиваем большой прием по случаю победы нашей партии на выборах в палату депутатов. Мой муж радикал; конечно, он избран... впрочем, вы, вероятно, ничего не смыслите в политике, да и к чему вам она, — сказала знатная клиентка, когда Клотильда принялась разогревать на спиртовых машинках несколько пар щипцов, прежде чем начать завивать ей волосы.

Но после игры в рулетку я не знаю более волнующего ощущения, чем влиять, пусть через мужа, на дела государства. Надеюсь, что умеренные республиканцы и радикалы раз и навсегда положат конец подлинной эпидемии стачек и вечного недовольства среди рабочих. Им чем щедрее дашь, тем больше они требуют. Это напоминает аппетит одного хрюкающего животного. Не хочется называть его вслух. Неприлично.

Клотильда молчала.

— Через два дня приходите снова, — сказала графиня, отпуская мастерицу, - у вас будет тогда счастливый случай увидеть издали самого генерала Буланже. Вы сможете рассказать о нем своим друзьям. Это великий человек.

Честолюбивый сверх всякой меры, нетерпеливо рвущийся к власти, самонадеянный и самовлюбленный, жадный до женщин, пирушек и лести, генерал снискал мрачную известность как один из ревностных палачей Парижской коммуны. Сластолюбцы всегда жестоки. Он был по природе тиранчен и любил давать волю своим дурным инстинктам.

Жорж Буланже не без успеха проверял силу своего воздействия и обаяния на женщинах. Подтянутый, нарядный генерал выходил всегда победителем в схватках, где противником была дама из столичного общества или привлекательная простолюдинка. Но это были всего лишь маленькие утехи в часы досуга. Первый раз он почувствовал себя действительно рожденным для больших завоеваний, когда его, по рекомендации влиятельного радикала Клемансо, назначили военным министром. Получив столь высокий пост, он постарался приобрести популярность в народе, без чего невозможно проложить дорогу к верховной власти.

Буланже, как некогда Луи Бонапарт, начал свою карьеру со словесных посулов, которые вовсе не собирался осуществлять когда бы то ни было. Он попытался расположить к себе население Франции и, главное, заполучить их голоса в час выборов и возможную поддержку, если понадобится прибегнуть к восстанию. Он хотел приобрести симпатии низших чинов армии, обещав, что сократит обязательную военную службу с пяти до трех лет. Основательно изучив технику переворотов и диктатуры, претендент на высшую власть в стране понял, что главная сила — это трудовой народ, и решил выступить в печати против участия воинских частей в подавлении стачек.

Некоторые люди обладают несчастной способностью забывать беды и унижения. Не всем дано усвоить спасительный опыт прошлого, чтобы воспротивиться любому самовластью, никогда в истории человечества не приносившему людям счастья. Буланже удалось приобрести симпатии небогатых чиновников, среднего достатка лавочников и даже части рабочих. Это было опасным признаком. Ведь действительный план генерала был рассчитан на другое. Он родился в 1837 году, когда имя Наполеона I было еще хорошо памятно Буланже восхищался Луи Бонапартом, взобравшимся и на трон с ловкостью, достойной своего дяди. Любуясь собой в зеркале, Буланже находил, что достаточно представителен и значителен для императорской короны. Его поддерживали и щедро снабжали деньгами крупные банкиры и монархисты, пытавшиеся расшатать устои республики.

После смерти бездетного претендента на французский престол, прямого потомка Бурбонов графа Шамбора, произошло слияние различных групп монархистов. Отныне ставленником их был объявлен граф Парижский, правнук Луи-Филиппа. Буланже было безразлично, из какой мошны ему дают деньги. Он не скупился на обещания, векселя, услужливые обязательства, как истый и убежденный авантюрист. Лишь бы дорваться до власти, тогда можно обмануть всех, кто помог ему добиться осуществления головокружительной карьеры. Правда, генерал был уже немолод, он приближался к пятидесяти годам. По меткому замечанию не менее тщеславного, чем он, но более знающего и опытного в политике деятеля Клемансо, в его годы Наполеон I был уже свергнут и

отправлен в изгнание. Однако Буланже, подобно каждому преуспевающему и азартному человеку, поставившему большую ставку в игре, чувствовал себя совсем еще молодым и сильным. Любившие его юные и зрелые женщины говорили ему об этом. Льстецы льнули к нему, как липкие улитки. Что может привлекать к себе больше, нежели человек, успешно завоевавший власть и славу? Но море политики в буржуазном государстве самое неверное и бурное на свете. Неожиданно челн генерала Буланже опрокинулся. Кабинет, в котором он управлял военными делами, пал. После долгих переговоров образовалось правительство из членов умеренной республиканской партии. Оно отказалось от сплочения всех республиканских сил и столковалось с правыми, обещав не противопоставлять своих требований. Был заключен мир с духовенством и консерваторами для совместной осады радикалов, поддерживавших Буланже. Это была «политика успокоения».

Генерал, видевший себя президентом, а затем диктатором, вынужден был отправиться в тихий Клермон, чтобы командовать там армейским корпусом. Его сторонники устроили в час его отъезда на вокзале шумную манифестацию и принялись ожесточенно поносить правительство. Чтобы опорочить во мнении народа неугомонного карьериста, недруги Буланже напали на его друга, начальника штаба военного министерства, и обвинили его в различных аферах. Он был смещен с поста за торговлю орденами Почетного легиона. Это был удар по Буланже. Но в ответ сторонники генерала раскрыли мошенничества зятя президента Греви, который получил огромные взятки за раздачу выгодных общественных должностей и знаков отличия. Громкий скандал разразился в Париже, где спекулятивная горячка, финансовые жульничества, взяточничество дошли до апогея, особенно среди видных деятелей различных республиканских партий Третьей республики.

Буланже, поднявшийся на гребне грязной волны, появился снова в Париже, готовый действовать и добиваться диктатуры. Президент Греви, невзирая на разоблачения всех махинаций его родственника, медлил подать в отставку. Репутации видных буржуазных политических деятелей лопались в эти дни, как мыльные пузыри. Сирадный чад вырывался наружу из Тюильрийского

дворца, и газеты не скупились на подробности при описании всех темных махинаций в правительственных кругах. Толпа народа собралась перед палатой депутатов, чтобы потребовать выборов нового президента. Тайно прибывший в столицу Буланже вместе с радикалами, боясь, что высший пост в республике перейдет в руки нежелательного им кандидата, обещали Греви поддержку. Две ночи, прозванные «историческими», шел торг между разными группами. Заседала не только палата, но и сенат, требуя вместе с народом ухода скомпрометированного главы республики. Греви пришлось уступить, и он в пространном послании попросил своего отстранения от дел.

Клотильда увидела Жорка Буланже в день, когда он считал, что близок час его коронования. Его тесным кольцом окружила цезаристская партия, желавшая скорейшей диктатуры. Не позднее чем через год он рассчитывал достичь цели

Герой всегда кажется существом необыкновенным, хотя история учит тому, что истинно великие люди отличались значительной человечностью и простотой и не легко было сразу распознать их в толпе, подобно тому как в первый момент не всякий глаз отличит среди граненых подделок из стекла истинный бриллиант.

Буланже, жестокий и честолюбивый, был убежден, что производит ошеломляющее впечатление даже своей величавой походкой, а в действительности он походил на расфранченного и начавшего жиреть фигляра. Тщетно Клотильда, которой граф Ю-з, затративший немало денег на то, чтобы подготовить нового коронованного кумира, и гордившаяся своей миссией, разрешила из прихожей полюбоваться генералом, искала в нем чего-либо замечательного.

«Зачем он так выпячивает грудь и надувает щеки», — раздумывала Клотильда, глядя на упитанного военного, у которого все лоснилось — щеки, нос, волосы, сапоги, пояс.

...Вместе с Борисом Ивушкиным в жизнь Клотильды вошла радость. По-разному бывает на свете. Девушке казалось, что замужеству предшествует долгое знакомство, испытание чувства временем. Она осуждала подруг,

которые решались связать себя с людьми мало проверенными.

— Нужно посоветоваться с родителями и аббатом, у которого исповедуешься. Брак не покупка шкафа, а нечто такое, что исправить невозможно.

Но с Борисом все получилось совсем по-другому. Они знали друг друга не больше месяца, когда он сказал ей о любви и предложил поселиться вместе

— Я революционер-изгнанник, ты должна знать все. Тебя это не пугает? — спросил он. В глазах его, синезеленых, всегда ясных, жили грусть, ум и легкая усмешка.

— Это хорошо, что ты русский. Подруги говорили мне, что в этой стране живут очень богатые и необыкновенно щедрые люди, которые любят наших женщин.

— А я небогат, скорее совсем беден, — улыбнулся Борис.

— И это хорошо. Ведь у меня нет приданого, и ты не сможешь упрекать меня. Я так мало нажила, что не гожусь в невесты, и к тому же я — старая дева. Мне уже двадцать семь, и никакого богатства. Все деньги посылаю в деревню родителям. Моя мечта — на старости лет жить на собственной ферме.

— Отлично, Кло. Мы с тобой ровня и, значит, будем счастливы.

В тот вечер Борис не ушел к себе, а на другой день и совсем переселился к Клотильде. Вскоре они зарегистрировали свой брак в мэрии. О церкви Борис не хотел и слушать. Клотильда утешилась мыслью, что браки заключаются не под сводами церкви, а на небесах.

Так неожиданно мастерица из салона на бульваре Распайль стала женой одного из почитаемых в марксистских кругах революционеров, члена Французской рабочей партии, друга Геда и Лафарга.

В эту пору большое горе постигло Цеткиных. Осип тяжело заведужил. Сказались лишения многих лет и непосильный труд. Его убивала быстро развивающаяся чахотка.

Безденежье острее всего ощущается, когда в доме прочно обосновывается хворь. Впервые в жизни Клара испугалась, что отчаяние подкосит ее силы. Она и сама едва держалась на ногах. Совсем неожиданно пришла помощь, отвергнуть которую она не решалась. Родители

Клары, осуждавшие ее революционную деятельность, от друзей узнали о катастрофе в семье дочери и прислали ей денег. Это позволило Осипу лечиться в хорошей лечебнице, а Кларе с детьми отправиться в Лейпциг, куда она давно стремилась, остро тоскуя по Германии. Там ей предстояло открыть в себе недюжинный дар оратора, понимаемого и ценимого слушателями.

Как артист никогда не забывает своего дебюта, хотя проходит много лет и он почти ежедневно выходит на подмостки, так и прирожденный оратор сохраняет в памяти волнение, страх и радость первого выступления. Большое подпольное собрание, на котором должна была говорить Клара, было окутано таинственностью, ввиду преследования полиции, опирающейся на исключительный закон против социалистов. У входа в здание и в его коридорах стояли рабочие пикеты на случай нападения. Председатель призвал к тишине сотни наполнивших до отказа зал слушателей. Неповторимое мгновение. Растерявшаяся перед столь значительным скоплением людей Клара стояла, потеряв нить мыслей, чувствуя только прыгающее отчаянно сердце. Испуг сковал ее. Но потом, этот могучий рычаг, превозмогла все. И полилась плавная, умная, интересная речь о борьбе парижских трудящихся, о трудностях, заботах и удачах французских социалистов.

С этого дня Клара, скрываясь от родных, радующихся дочери и внукам, по нескольку раз в неделю выступала перед лейпцигскими рабочими с докладами. У нее завязалось много знакомств, появились новые друзья. Вместе со своими мальчиками она часто бывала в Бореодорфе, где жил высланный властями из Лейпцига Вильгельм Либкнехт с семьей. Старейшина вождь немецких социал-демократов по-отечески журил и поучал Клару, которая не сберегла и нарушала конспирацию, что легко могло привести к ее аресту. Он уговаривал молодую соратницу поскорее ехать к больному мужу в Париж и не испытывать чрезмерно терпение полицейских драконов. Отъезд Клары был торжествен. Сотни рабочих провожали ее на вокзале. Когда поезд тронулся, они, размахивая шапками, громко возгласили:

— Да здравствует международная социал-демократия!

А в Париже, где Клару на перроне обняли Клотильда и Борис, мучительно и медленно умирал Осип Цеткин. В довершение к туберкулезу у него парализовало обе ноги.

Но мозг, казалось, хотел все объять, продумать и творить в то короткое время, которое еще оставалось ему жить.

— О, как тяжело бывает подчас жить, но умирать значительно труднее, — шептал он запекшимися, почерневшими губами. Его лечили многие врачи, но верил и слушался он только своего земляка Ивушкина, который проводил у постели Осипа много часов.

— Не надо принимать так близко к сердцу горе, ведь если не следовать этому правилу, то не вынесешь и одного года жизни. К счастью, здоровы Клара и дети, — убеждала Клотильда мужа, но слова ее не звучали с прежней убедительностью.

Увидав в картинной галерее атлантов, поддерживающих землю, она спросила:

— Это, верно, люди, несущие жизнь. Надо быть колоссами, чтобы выдержать ее тяжесть на своих плечах.

Ивушкин и Цеткин подружились, когда одному из них оставалось жить всего несколько месяцев. Врач проводил ночи у постели угасающего друга. С ним приходила и жена, чтобы помочь Кларе по хозяйству, дать возможность в полуночные часы писать в газету закаленные статьи.

Днем Клотильда работала в парикмахерской, а Борис в небольшом медицинском учреждении на окраине Парижа.

Цеткин крепился в эти страшные для него дни, когда проверяется воля и характер человека. Он старался, как мог, поддержать бодрость духа в Кларе и не тревожить покоя маленьких сыновей. Интересуясь всем без исключения в жизни других, он расспрашивал Ивушкина о его прошлом. Борис начинал свой революционный путь народником, окончил медицинский факультет и пошел работать в больницу заштатного городка в центральной России. То, что он увидел там, не покидало его памяти.

— Лекарь, которого я подменял, — рассказывал он Цеткину, — был немец, плохо знал русский язык и откровенно презирал своих пациентов. Крестьяне окружных деревень боялись больницы и говорили обычно, что там залечивают до смерти. Больных ко мне привозили на телегах, когда они бывали уже в очень тяжелом состоянии. Средств на лекарства не было, кормили плохо, и я сам нередко покупал дрова на свои деньги, чтобы обогреть холодное и мрачное помещение, больше похожее на тюрьму. Вспоминать все это и то грустно. Черт знает какие там

были условия для больного и для врача! Выздоровевших отправляли в деревню из этой мрильницы по этапу вместе с арестантами и сдавали в волости под расписку, чтобы затем взыскать с общины плату за лечение. Особенно мрачны у нас отделения для душевнобольных. Несчастных держали часто в цепях, как в каземате. Врач в селе покуда такая редкость, что крестьяне видит его только во время рекрутчины, повальных болезней и при вскрытии мертвецов, таинственно скончавшихся. Народ предпочитает лечиться у священника, знахаря, а если попадется, — у доброй помещицы, имеющей обычно весьма смутное понятие о медицине.

Часто Борис читал Осипу различные книги по истории и однажды наткнулся на многозначительную фразу из письма короля Фридриха Вольтеру. «Я рассматриваю людей как стадо оленей в парке крупнейшего помещика, — писал прусский король, — задача которого состоит исключительно в том, чтобы населять парк».

— Вот так цинизм, — глухо, так как почти совсем потерял голос, сказал Цеткин.

— Ты прав. В этом отношении с коронованным философом из Сан-Суси конкурировал Наполеон Первый, видевший в народе пушечное мясо. У обоих монархов много общего.

А в чем действительно смысл? — спросила вдруг Клотильда, сидевшая поодаль и, казалось, поглощенная рукоделием.

— Скажи-ка нам, Боб, что ты думаешь об этом, — подхватил Цеткин. Он слегка приподнял голову с полушки, и худоба его лица, детски слабая шея с двигающимся кадыком и огромные лучистые глаза заставили Клотильду схватиться за ручку кресла, чтобы удержаться от горестного стона. Ее вернул к спокойствию сочный голос Клары. Отложив перо, не вставая из-за письменного стола, она живо заметила:

— Эта мысль волнует умы человечества уже несколько тысячелетий. Философы жертвовали ради этого своей жизнью.

— Маркс, — с трудом превозмогая острую слабость, произнес Цеткин, и лоб его покрылся каплями пота, похожими на прозрачные зерна сагового дерева, — Маркс считал, что жить стоит ради борьбы.

— Это дикая мысль, — возбужденно согласился Пушкин. — Формы борьбы могут быть разные, но главное — человек: бесстрашный, пытливый, многогранный. Чем вместительнее станет наша душа и мозг, тем интереснее будет жить, думать, действовать, чувствовать. Не было смысла родиться ради того, чтобы жрать, спать и услаждать свои инстинкты, подчас почти так же, как животные.

— А что такое душа? — спросила Клотильда.

— Единение, слитность ума и сердца, — не раздумывая ответил Пушкин.

Осип слушал друга, закрыв глаза, устало уйдя головой в подушку. Страшную желтизну его кожи оттеняла белая свежая наволочка.

— Мы в долгу за то, что имели счастье жить, и обязаны воздать природе сторицей за это. Отдавая, мы берем, — прошептал он едва слышно. — Мне скоро уже не придется ни мысленно шагать по планете, ни видеть светлячков вселенной — звезды. Я уйду в сон.

В борьбе за жизнь Осипа Цеткина любовь, дружба — все оказалось бессильным. Умирал молодой человек с замечательной душой. Осип верил и жаждал революции в России, а погибал на чужбине, оставляя семью и верных друзей. Это было жестокостью и бессмыслицей, которая повергала в смятение даже Клотильду, умевшую прятаться от тяжелых мыслей и переживаний, как от ливня или грозы. Думая о Кларе, она страшилась овдоветь.

— Ты должен жить, Борис, долго, долго, — заклинала она мужа, когда они возвращались от Цеткиных, унося часть печали, густо окутавшей жилище умирающего.

Однажды соседка Цеткиных сказала Клотильде, что Осип еврей. В парикмахерской она услыхала, что быть кудрем плохо. Но Цеткин, по мнению Клотильды, был одним из самых лучших людей, каких она видела за всю свою жизнь. Возмущаясь юдофобством, она сказала Борису:

— Как это дико — делить людей на чистых и нечистых. В каждом народе есть хорошие и плохие. Я часто думаю о том, зачем нужна рознь между людьми. Мы живем так недолго, а в земле одинаково гниют люди всех национальностей. И опе объясни мне, Боб, кто проверял нашу кровь. Да и зачем проверять. Мой отец, все говорят, похож на араба, а мать вылитая немка. Не надо забивать себе мозги пустяками. От этого может заболеть голова.

— Ты права, Кло, — подтвердил Борис.

Смерть всегда трагедия для человека, сколько бы ни было ему лет, как бы ни прожил он жизнь. И больше всего страдает тот, кто навсегда уходит. Никто не в силах ослабить эту муку, как бы ни хотел.

Осип Цеткин еще раз прошел по минувшему времени, мысленно земно поклонился отчизне и без слов оплакал будущее, которого не имел. Агония не пощадила его, не лишила сознания. Он умер, все видя и понимая, лишь изредка забываясь в отрывочных видениях. Тогда будто сострадательная рука покрывала на миг его лицо маской с крепким наркозом. Он так и не дожил до желанного взрыва революции. Большая процессия рабочих и собратьев по эмиграции и партии проводила его прах в могилу.

Энгельс часто болел. Он чувствовал, что тело его как бы сковано и движения поэтому крайне затруднены. Около полугода он лежал в постели или на диване. Болели руки. Только с помощью особых приспособлений он понемногу передвигался по комнате.

По совету Ленхен Энгельс решился на то, чего всю жизнь избегал: пригласил опытного секретаря, которому начал диктовать. Сверх ожидания работа быстро двинулась вперед. Лист за листом росла драгоценная рукопись второго тома «Капитала», хотя и это дело было не из легких. «...Долго разбирать почерк Маркса при искусственном освещении нельзя, если не хочешь ослепнуть», — как пояснил Энгельс в письме в Цюрих редакторам «Социал-демократа».

Ленхен, когда ее старый друг хворал, брала на себя все без исключения заботы по дому, а также отправляла и приносила почту и ведала денежными делами.

Чем больше времени проходило со дня смерти Маркса, тем яснее становилось, как неизмеримо много потеряло человечество 14 марта 1883 года, когда остановилось сердце гения. Время, как вода, схлынувшая с айсберга, открыло все его величие и мощь, ранее невидимые и лучше. С каждым месяцем Энгельс тосковал сильнее. Когда умирает дорогой человек, ошеломленные ударом близкие вначале не в состоянии осознать, кого они лишились. Постепенно, как бы уходя вдаль, обозначаются подлинный масштаб и значимость того, кого больше нет.

Энгельс писал верному своему и Маркса соратнику по многим прошлым битвам, старику щеточнику Беккеру, живущему в Женеве: «У меня местное, — правда, временами докучливое, — заболевание, но оно нисколько не влияет на общее состояние здоровья, и его даже нельзя считать безусловно неизлечимым; в худшем случае оно делает меня негодным к военной службе, но возможно, что через несколько лет я все же смогу опять ездить верхом. В течение четырех месяцев я не мог писать, но диктую и почти закончил II книгу «Капитала», а также отредактировал английский перевод первой книги... Беда в том, что с тех пор, как мы потеряли Маркса, я должен его заменять. Всю свою жизнь я делал то, к чему был предназначен, — я играл вторую скрипку, — и думаю, что делал свое дело довольно сносно. Я рад был, что у меня такая великолепная первая скрипка, как Маркс. Когда же мне теперь в вопросах теории вдруг приходится занимать место Маркса и играть первую скрипку, то дело не может обходиться без промахов, и никто этого не чувствует сильнее, чем я сам. Но только тогда, когда настанут более бурные времена, мы по-настоящему почувствуем, что мы потеряли в лице Маркса. Никто из нас не обладает той широтой кругозора, с которой он в нужный момент, когда надо было действовать быстро, всегда умел найти правильное решение, и тотчас же направить удар в решающее место. В спокойные времена, правда, иной раз случалось, что события подтверждали мою, а не его правоту, но в революционные моменты его суждение было почти безошибочно».

Не только Элеонора, но и Лаура были по-отечески дороги Энгельсу. Ничто не могло возмутить его больше и заставить подняться на защиту, нежели мысль о малейшей обиде, нанесенной дочерям Маркса. Лаура обладала, помимо выдающейся красоты, также и недюжинным умом и была лучшим переводчиком трудов своего отца. Любое дело она всегда осуществляла совместно со своим мужем. Их брак ничем не был замутнен, и они шли по жизни плечо к плечу, не страшась никакой опасности, если она появлялась в борьбе за социализм. Но в Лондон Лафарги приезжали не часто.

В феврале 1885 года напряженная работа над вторым томом «Капитала» подошла к концу. Энгельс договорился с давнишним издателем Маркса Отто Мейснером

об издании книги, и несколько месяцев спустя книга, которую ждали с нетерпением приверженцы Маркса во всем мире, вышла в свет.

Лондон не похож ни на одну столицу Европы. Несмотря на то что в его пределах, как и любом другом главном городе, расположены биржи, парламент, рынки, театры, молельни, заводы, винные лавки и кварталы бедняков, Лондон сохраняет свою неповторимость. Одна из особенностей Лондона — чудовищное однообразие. Если Вест-Энд — фешенебельный район, включающий парки, дворец королевы, нарядные магазины, театры, — и напоминает города континента, то эта небольшая часть столицы совершенно затерялась среди бескрайнего однообразия.

Суровая пора, наставшая некогда для феодалов и короля Карла I, научила их потомков предусмотрительности и осторожности. Они сумели извлечь наибольшую выгоду из пуританского учения, ловко приспособив его в качестве лицемерных вериг, надетых, однако, поверх охраняющей тело шелковой рубашки.

В Лондоне нет привлекающих взоры, раздражающих крикливой роскошью вилл, которые спешит построить себе континентальный нувориш, кичащийся об опасности быть сытым среди голодных. Жилища английских миллионеров внешним видом почти не отличаются от других скромных владений. Трудно, глядя на обыкновенную оправу этих домов-сундуков, представить себе действительную стоимость собранных в них сокровищ. А ведь за неприглядными стенами многих особняков хранятся непревзойденные коллекции драгоценных картин, скульптур, средневековой и античной утвари, восточных ковров, фарфора, древних рукописей и книг. Статуи, фонтаны, беседки, резные металлические ограды — весь этот дорогой хлам, которым без всякого чувства меры разукрашивает выставляющий напоказ свои богатства, вздымающийся Монбланом чванства европейский и американский буржуа, — не стоят и сотой доли того, что тщательно скрыто от посторонних взглядов в холле лондонского магната.

Чужеземцу нелегко свыкнуться с хмурым небом и необщительными, суровыми обитателями острова. Особенно трудно приходилось рейнландцам, привыкшим к безоблачной лазури, избытку солнца, веселым людям.

И все-таки Энгельс привык к Лондону и полюбил его, хотя, как сам говорил, был вынужден обуздать приносящую с континента жизненную энергию и понизить барометр жизнерадостности. Он убедился, что британцы приятнее и энергичнее многих народов, а жизнь без полицейских придирок искупает некоторые неудобства быта. В Лондоне можно было не отвлекаться от умственного труда. А это являлось наиболее важным преимуществом для Энгельса.

В часы досуга он совершал долгие прогулки по городу с кем-нибудь из знакомых. Когда в Лондон в гости к сыну приехала писательница социал-демократка Минна Каутская, Энгельс нашел в ней интересного собеседника и выносливого попутчика в странствиях по столичным окраинам. Минне Каутской было пятьдесят лет. Несмотря на хроническую болезнь, вынудившую ее рано оставить театр, на сцене которого она достигла уже известности, Минна сохранила и складную фигуру, и моложавое лицо, на котором выделялись живые, наблюдательные глаза и улыбка, приподымавшая уголки губ и образующая на щеках и подбородке веселые ямочки. Особенностью творчества Минны была отвага, с которой она, вторгаясь в жизнь рабочего класса, пыталась разрешить наболевшие вопросы социальных отношений. Именно это редкое свойство и привлекло к произведениям немецкой социалистки внимание Маркса и Энгельса и внушало им уважение к ее дарованию. Они считали книги Каутской не только талантливыми, но и весьма полезными для развивающегося социал-демократического движения.

Минна была умная, образованная женщина и потому резко отличалась от заполнивших, аффектированных писательниц, считавших себя гениальными. Она могла бы показаться даже чересчур обыкновенной, так чуждалась жеманства, оставаясь скромной и простой в обращении. Эти свойства оценил Энгельс, который ненавидел всякое кривлянье и жеманность, считая, что они, как правило, прикрывают пошлость, невежество и бездарность.

В летнее воскресное утро Энгельс и Каутская решили погулять по хайгейтским возвышенностям. Эта местность была особенно дорога Энгельсу: сколько раз рядом с Марксом мерил он здесь бугристую желто-серую землю!

По пути за город Энгельс и Каутская сошли с омнибуса на площади Марбль-Арч, чтобы пройтись по Гайд-парку. У входа в сад старушка в форме офицера «Армии

спасения» и ее «пестовой» — толстяк, похожий на оплывшую свечу, с завидным воодушевлением дирижировал хором, распевающим псалмы царя Давида. Неподалеку с переносной кафедры пестовый оратор требовал независимости Палестины, а рядом проповедовал фабианец, сотрясая своим негодованием стремянку, на которую взобрался. Он доказывал, что государственные бани — предприятие к социалистическому раю. Единственная слушательница последователя супругов Вебб, глухая леди в пляпе, на которой с завидным комфортом разместилось гнездо птицы с выводком птенцов, тщетно искала в сумке слуховой рожок.

Митинги на тротуаре у входа в сад исчезали и возникали, подобно пузырям на воде. К ним был совершенно безразличен полицейский, торжественно управлявший движением на ближайшем перекрестке.

Каутская и Энгельс миновали незадачливых ораторов и по густой траве Гайд-парка дошли до пруда, обсаженного плакучими ивами. Городской гул остался позади, на соседнем лугу паслись овцы. Энгельс и его спутница сели на скамью. Писательница, разгребая кончиком кружевного зонта песок, сочувственно делилась тяготами своей профессии.

Путь женщины в литературе всегда тернист. Ей приходится преодолевать предубеждение, сплошное с тысячелетиями рабства, а в мужчине она встречает жестокого и опытного конкурента. Еще в конце XVIII века, во время Великой французской революции, одаренная мемуаристка Манон Ролан, жена жирондистского министра, размышляя о выборе профессии, пришла к грустному выводу: «Если книги женщины плохи, ее беспощадно высмеивают. Если хороши, их приписывают другим».

Мадам де Сталь поняла, что женщине не прощают славы. Жорж Санд не посмела выступить под своим именем и скрылась под мужским псевдонимом, чтобы облегчить путь своим книгам.

Минна Каутская писала в своих романах о рабочих и крестьянах и этим смело, как очень немногие английские писательницы, вторглась в новую тему, казавшуюся многим до тех пор скучной, убогой и изложенной лишь в форме филантропических, жалостливых описаний. Героями Минны оказались живые, деятельные люди, взывающие не к состраданию, а к борьбе.

Обо всем этом шел разговор между писательницей и Энгельсом, покуда они гуляли по окраинам столицы. День был умиротворяюще светел, и легкая дымка затянула небо.

Спустившись с хайгейтских холмов, Энгельс и Каутская пришли на Мейтленд-парк, к дому, где жил и умер Маркс, и в молчании постояли перед серыми стенами. Всю обратную дорогу Минна настойчиво расспрашивала Энгельса о его друге. А Фридрих, как всегда, когда речь шла о Марксе, охотно и неутомимо вспоминал их общее прошлое.

Вскоре мать Карла Каутского вернулась в Вену, откуда прислала Энгельсу свой новый роман «Старые и новые», рассказывающий о борьбе рабочих австрийских соляных промыслов. Минна блеснула в своей книге также знанием венского высшего общества и актерской среды.

В ответном письме писательнице Энгельс между прочим писал: «Я ни в коем случае не противник тенденциозной поэзии как таковой. Отец трагедии Эсхил и отец комедии Аристофан были оба ярко выраженными тенденциозными поэтами, точно так же и Данте и Сервантес, а главное достоинство «Коварства и любви» Шиллера состоит в том, что это — первая немецкая политическая тенденциозная драма. Современные русские и норвежские писатели, которые пишут превосходные романы, все тенденциозны. Но я думаю, что тенденция должна сама по себе вытекать из обстановки и действия, ее не следует особо подчеркивать, и писатель не обязан преподносить читателю в готовом виде будущее историческое разрешение изображаемых им общественных конфликтов... Вы доказали, что умеете относиться к своим героям с той тонкой иронией, которая свидетельствует о власти писателя над своим творением».

Анна впервые очутилась в заключении. Случайность привела ее и Дейча в тюрьму. Гостиница «Фрейбургское подворье», где они остановились, находилась в эти дни под особым наблюдением, так как полиция охотилась за газетой «Социал-демократ». Как и предупреждал Моттелер, «опасный груз» был недавно обнаружен и слежка за всеми приезжими из Швейцарии усилилась. Русских с их огромными сундуками сочли помощниками

«красного почтмейстера». Во время внезапного обыска немецкие агенты предполагали обнаружить запрещенную газету, а нашли русскую революционную литературу. Дейч был давно на особом учете, и петербургская охранка потребовала его выдачи. Между германскими и царскими правительствами началась оживленная переписка по этому поводу.

По поручению князя Бисмарка, статс-секретарь, рассмотрев дело Дейча и Анны, доложил первому канцлеру:

— Позволю себе заметить, что для наших политических отношений с Россией было бы полезно, если бы в этом случае мы удовлетворили справедливое желание русского правительства относительно выдачи ему опасных революционеров.

И Бисмарк обратился к баденскому министерству, в ведении которого находился Фрейбург и его тюрьма, со следующим посланием:

«Его величество, русский император, придает большое значение тому, чтобы эти опасные и замешанные в разных преступлениях нигилисты могли быть привлечены в России к ответственности. Исполнение или, наоборот, отклонение указанного желания не останется поэтому без влияния на чувства, которые император Александр питает к немецкой политике и которые мы нашей внешней политикой неустанно и с успехом поддерживали в интересах мира. По русскому государственному праву личные убеждения и чувства императора являются решающими в политике великой соседней нам страны. Ввиду этих обстоятельств, политические соображения требуют, чтобы исполнено было желание русского правительства. Если же, несмотря на все это, в выдаче будет отказано, то иностранное министерство и дипломатия принуждены будут отклонить от себя ответственность за последствия, которые вызовет этот отказ в отношениях Германской империи и России».

Так был решен вопрос о выдаче двух женевских изгнанников. Дейча после долгих скитаний по тюрьмам приговорили к тринадцати годам каторги, а судьба Анны Бах сложилась несколько иначе, так как за ней не числилось ни прежних политических судимостей, ни побегов. Только на немецко-русской границе Анна, увидев жандармов, с подчеркнутой, слащавой вежливостью заговоривших с нею, поняла, что лишилась самого дорогого на свете —

свободы — и больше себе вовсе не принадлежит. Она всматривалась в лица агентов охранки, одетых в приметную серо-голубую форму, и мучительно ощущала свою полную зависимость.

Анну везли как особо важную государственную преступницу. В Петербурге она оказалась сначала в одиночном заключении. Истязанию тишиной, неизвестностью, мраком камеры, где маленькое с матовым стеклом окошце под потолком почти не пропускало света, она выносила сначала внешне спокойно. Впрочем, это неестественное спокойствие предвещало взрыв.

Издалека доносился бой крепостных часов, и куранты играли первый куплет гимна «Коль славен наш Господь в Сионе». Звуки прорывали тишину каземата с его смердящим, сырым, застоявшимся воздухом. Так прошли сутки. Внезапно Анна очнулась, охватила не только внешним, но и внутренним взором все окружающее и зарыдала громко, охая, как деревенская баба. У волчка кто-то зашевелился. С нудным скрипом отодвинули засов, затем повернули ключ в большом висячем замке. Вошел надзиратель, совсем не страшный, бородатый и серощекий, как тюремные стены.

— Чего это вы? — спросил он с удивлением. — Знали люди, на что идете. Как веревочка ни вейся, а все равно кончик словится, — перефразировал он старую поговорку. — Тут, в коридоре, еще господа разные находятся, а вот никто не безобразничает. Да-с.

Не поднимая головы, Анна продолжала плакать, и такая тоска была в ее стенаниях, что даже много видевший надзиратель почел за лучшее доложить начальству. Может, узница рехнулась? В этом хмуром доме такое случалось нередко.

Вскоре явился сам смотритель крепости, осанистый и бравый полковник. Он вперил в Анну рачий взгляд, пошевелил густыми, выхоленными усами и сказал с мертвящей вежливостью:

— А мы думали, что вы, госпожа Бах, вроде как бы Жанна д'Арк. Рекомендую вам успокоиться. Санкт-Петербург, как и Москва, слезам не верит. Истерика у нас не в моде. К тому же я всего лишь смотритель, мне доверено содержание преступников, а не ведение их дел. Слезы ваши, следовательно, бесцельны. Если вы не перестанете нарушать тишину своим, извините за грубость, ревом, то

вынудите меня препроводить вас в место более уединенное и менее комфортабельное.

С трудом совладав с собой, разбитая душевно, Анна умолкла.

Мебели, кроме железной койки и откидного столика, а также отхожего ведра, тут не было. Нервный озноб, охвативший арестантку, усиливался от острого холода. Тоненькое бумажное одеяло, покрывавшее тюфяк, не грело. Анна принялась ходить из угла в угол.

На день заключенным давалось два фунта черного хлеба, а также миска борща и каши. К холоду постоянно присоединился сосущий, унизительный голод. Удручало Анну и казенное обмундирование: полосатая куртка, грубое исподнее белье, чулки и шлепанцы.

Книг первое время ей не давали, а прогулка, длившаяся пятнадцать минут, только усиливала тоску. Анна жестоко казнила себя за душевную слабость, которую никак не могла побороть. Мечась в полумраке камеры, она старалась внушить себе волю и веру в хороший исход дела. Анна призывала на помощь героические тени Перовской и Гельфман. Чтобы не страдать от одиночества, она погружалась в воспоминания и мысленно перечитала заново книги которые знала, побывала в знакомых городах и воскресила все чувства, какие испытала когда-то. Снова выслушала она признания в любви и продумала все ошибки и удачи своей жестокой судьбы. Особенно мучили ее раздумья о детях и желание увидеть их, чтобы больше не расставаться.

«Какая уж я революционерка, плакса я», — мысленно винилась Анна. Постепенно к ней вернулось не только спокойствие, но и снизошла, как она сама назвала эту безмятежность и легкость, благодать. В этот день сырой кислый хлеб казался узнице слаще пирожных из кондитерской Тортони, которые так любил покупать к чаю ее супруг. Она с добродушной иронией вспомнила о его торжественной самоуверенности и дородности. Тюрьма на время потеряла над ней свою умертвляющую власть. «Будь что будет. Надо же наконец не только на словах схватиться с произволом. Неужели жить сыто и праздно интереснее и правильнее?»

Однажды, направляясь к прогулочному дворику, Анна заметила необычную суету в коридорах, которые тщательно отмывались и чистились. Нетрудно было дога-

даться, что ждали какую-то важную персону. Действительно, приехал сам министр юстиции. В сопровождении большой свиты он обходил камеры и пришел также к Анне. В глазах сановника она прочла нескрываемое любопытство. Наклонясь вперед и приложив руку ковшиком к правому уху, министр переспросил молодого человека, шедшего с ним рядом:

— Это она? Жена того самого Баха?

Анна молчала, чуть скосив серо-коричневые глаза, смотрела на неожиданного посетителя, не задавая вопросов

— Могу вас порадовать. Мы решили перевести вас до суда в дом предварительного заключения. Вам разрешено также свидание с мужем. Скоро, его будет определили. Бедный отец и супруг! Не пожелаете ли вы что либо сказать? Написанные вами показания мне очень понравились своей прямотой. Но, согласитесь, матери семейства не следовало бы ставить на карту свое будущее и обрекать детей на сиротство. Да с! Так называемые революционерки напоминают мне кукушек. Многомиллионное государство всегда будет иметь какую-то горсточку недовольных. Но почему в их числе вы, женщина добрых правил, морали? — Министр развел руками и с театральным пафосом добавил: — Я уверен, что дорогая Анна Ивановна, однако, обретете здравомыслие и вернетесь сострадательно в избранное общество, которое пытались отвергнуть.

В доме предварительного заключения, куда перевезли Анну, ей вернули все вещи, вплоть до колец и часиков на длинной золотой цепи.

После оглушительной тишины, господствовавшей в крепости, здесь было шумно, как на птичьем базаре. Отовсюду доносились разнообразные звуки, напоминавшие цех большой фабрики. Вначале они причиняли Анне почти физическую боль. Но это продолжалось недолго. Выйдя на прогулку, которая длилась целых сорок пять минут, узница очутилась в маленьком загончике, который арестанты называли «скотским». Из коридоров, выходивших окнами на улицу, слышались звонки конки, игра шарманки, окрики извозчиков, цокот копыт, грохот карет и фаэтонов.

Без особого труда Анна научилась перестукиваться и охотно переговаривалась таким образом с соседями. Точно

дитлы, прижавшись к стене, как к стволу, коротали время заключенные, отрывисто стуча друг другу.

Так в эти дни ожидания суда Анна узнала о казни Ипполита Мышкина, своего друга по «Народной воле». Этот человек был одним из тех, кто прошел по жизни, самозабвенно любя народ, и погиб, не стерпев несправедливости. Сын солдата, с детства жаждущий знаний и собиравший их по крупицам, военный топограф, учитель, стенограф и, наконец, владелец типографии в Москве, он родился мечтателем и правдоискателем, подлинным рыцарем революции. Малоприметный, физически очень выносливый, он отличался горячностью и неукротимостью всегда, когда сталкивался с насилием и кривдой. Увлекшись учением Чернышевского, Мышкин задумал освободить его из заключения и пробрался к захолустному Вилюйску. Когда Чернышевского вели из острога, он стрелял в казаков-конвоиров, но не отбил узника, а был сам схвачен и осужден на каторгу. Тогда-то и началось его хождение по всем кругам ада. Мышкин, не стерпев издевательств изувера смотрителя над заключенными, набросился на него и свалил с ног. За это он был переведен в Иркутский острог. Но и там не сломился его неустрашимый дух. В тюремной церкви над гробом товарища он произнес речь, которая разнеслась далеко по России. Мышкин бросил вызов царизму. Арестанту прибавили еще пятнадцать лет заточения.

Спустя два года Мышкина привезли на Кару. Он бежал с каторги, но во Владивостоке был опознан и пойман. Мышкин стал уже легендой. Его решили заживо похоронить, поместив в Шлиссельбург, но ничто не могло усмирить этого вольнодумца, который надеялся один на один сразиться со злом даже в каменном мешке, будучи осужденным более чем на двадцать лет.

Не стерпев произвола и пыток, которым беззаконно подвергали в казематах узников, Мышкин восстал и попытался расправиться с местным жандармским начальником, доведшим до самоубийства и умопомешательства нескольких арестантов. Военный суд приговорил Ипполита Мышкина к расстрелу. Он был казнен на плацу Шлиссельбургской крепости. Там же зарыли его труп.

Тяжелая это полоса была в жизни России. Тюрьмы заполонили «политики». Казни должны были нанести страх на смельчаков, осуждавших порядки Александра III.

Боязнь покушения делала царя пленником телохранителей, жандармов, которые, почувствовав себя хозяевами положения, раздували слухи о заговорах. Террор правительства обрушился на студенческую молодежь, на все передовое, истинно гуманное в стране.

«Бедная моя родина, — думала Анна, — по как безмерно исстари богата Россия талантами и выдающимися людьми!»

Бесстрашные, как Сусанин, многогранные, как Ломоносов, поэтические, как Некрасов и Кольцов, несгибаемые и мудрые, как Чернышевский и Герцен, неунывающие и человеколюбивые, они будто генераторы мыслей и чувств, где господствует свое особое высоковольтное напряжение И тюрьма, где томились и часто гибли лучшие сыны и дочери России, больше не пугала Анну. Ей легче дышалось в смрадной камере. Она знала, что среди многочисленных узников находится Герман Александрович Лопатин. Он был вырван из жизни в 1884 году. В эту пору в разных городах арестовали много людей по делу Лопатина. Приехав из-за границы и задавшись отчаянной, обреченной на неудачу целью возродить разрушенную организацию партии «Народная воля», Герман Лопатин завел обширные знакомства. Не допуская мысли о провале, он просто записывал на листке бумаги, не шифруя, фамилии и беглые характеристики своих единомышленников, а также случайно встреченных людей. Жандармы схватили Лопатина на улице, налетев внезапно сзади и закрутив ему руки за спину. Как ни отбивался он, чтобы успеть проглотить находившийся при нем список имен, это ему не удалось. Самонадеянность и оплошность, обычно несвойственные опытному конспиратору, дорого обошлись многим людям. Некоторые из них даже не успели определить свои политические симпатии, как оказались под арестом.

Хотя министр юстиции позволил Иосифу Федоровичу Баху свидание с женой, купец не торопился воспользоваться разрешением. Правда, он отправлял Анне деньги, одежду и продукты, но под описью вещей ставил короткое «от семьи».

Через месяц в камеру Анны прибыл приезжий поверенный Станиславский, которому предстояло защищать ее на суде. Несколько лет назад этот модный, дорогостоя-

ний адвокат бывал у нее на званых обедах. Она хорошо запомнила его лицо с бородкой а ля Генрих IV, которая должна была скрыть почти полное отсутствие подбородка и изменить профиль, сократив его огромный, как бы перебитый посредине нос (правда, дамы, которым он нравился, сравнивали Станиславского с Сирано де Бержераком). Но особенно неожиданными и неприятными были на большом и рыхлом лице знаменитого адвоката его маленькие, почти без ресниц глаза с красными обводами больных век.

Положив на стол перед собой с серебряным колокольчиком, он сказал

— Анна Павловна, голубушка, вот где я не хотел бы встретиться с вами. Но жизнь — это мышеловка. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Как же вам все-таки выбраться из столь плачевного положения? Будем действовать...

— Простите, — перебила знаменитого защитника Анна, — я хотела бы знать, почему вы взяли на себя столь нелегкое дело. Я сама сумею постоять за себя на суде.

— Уважаю, голубушка, ваше убеждение. В наш век когда бессмертные души революционеров показали, на что способна русская [illegible]. Уже не может удивить мысящего человека [illegible] Мерзавцу магам Ротшильдам и вот теперь вы, [illegible] этого духа всевластия России. Вам, [illegible] дрянного двора. Я должен вам [illegible]. Хотя это сопряжено с большим [illegible]. Но кто дерзает, тот и выигрывает. Это [illegible] защитников свидетелей отвлекает [illegible]. Поэтому Мирович Леонтьевич, студент [illegible], обвиняемый в покушении на жизнь шефа жандармов Дрентельна, узнал, что [illegible] стояли и террористы [illegible] стоящем царубийстве [illegible] опасно, что без умелой защиты [illegible] торга. Знакомство с Перовской, Гольденберг

Довольный [illegible] своим [illegible], сказал Анне свои последние [illegible]

«Значит, Мирович [illegible] Степняку, размышляла Анна, [illegible] лицо этого человека. [illegible] сообщил мне, что его много лет держат в Алексеевском равелине и собираются повесить».

Анна, как и другие заключенные, не знала, что Леон Мирский, спасаясь от виселицы, стал матерым провокатором. Перестукиваясь с соседями, он вызывал их на откровенность, выведывая партийные тайны, и немедленно сообщал все тюремной администрации. Так он провалил готовившийся побег одного из важных политических заключенных. Жандармы не оставались у него в долгу, и хотя Мирский и не получил свободы, но жил вольготно, кормили его досыта, и стридцать сребреников Иуды заменялись фруктами и сластями. До конца своей жизни Мирский так и не был раскрыт революционерами как предатель.

Защитник по своему объяснил и разоруженность узницы.

Неужели вы не хотите дочери [illegible]? Напрасно. Я человек либеральных взглядов и не люблю насилия, от кого бы оно ни исходило. Да-с, рано я узнал достоверно и уверен, что мы с вами не проиграем. Надо добиться вольного поселения. У [illegible] мать семейства, жена уважаемого человека. Теперь все зависит от вас, от степени [illegible].

Расслабившись, как и [illegible], и улыбаясь [illegible] общительно. Станислав [illegible].

А через день Анну вызвали на свидание с мужем.

Никогда она не предполагала, что встреча эта принесет ей столько муки. Иосиф Федорович явился в черном смокинге и выглядел так торжественно и мрачно, точно пришел на отпевание или погребение. Даже носовой платок, которым он часто протирал стекла очков в золотой оправе, был почему-то с черной каймой. Он глубоко вздохнул и смотрел на жену, как на покойницу.

— Вот как довелось нам встретиться, Нюра, — сказал он почему-то с [illegible] шепотом и добавил по-английски: — Оф-ул, оф-ул! А затем, как бы переведя это слово тюремному служащему, пояснил: — Ужас, ужас!

— Ничего особенного. Прожить [illegible] здесь лучше, чем, например, в некоторых почтенных, на которые вы жертвуете деньги. А кубики вообще просто-таки забавная.

— Да-да, о времена, о нравы, — растерянно подтвердил господин Бах. — Дети так соскучились по тебе! Ты ведь была безупречной матерью. Что же теперь с ними

будет? — С лица купца вдруг как бы упала маска печали, и оно стало злым, разъяренным. — Вы меня поставили своим поведением в позорное, пелепое положение. Сколь двоедушны вы оказались! Морочить меня за все то добро, что я сделал для вас и вашей семьи. Взял беспридапницу, женился, ни с чем не считаясь. Так одурачить мужа могла бы только совсем потерявшая себя женщина. Чего вам не хватало? А? Бриллианты, выезд, деньги на тряпки и прихоти, все вы имели и, однако, предпочли общество моральных уродов, стриженых истеричек и немытых голодранцев. Вы монстр, как все нигилистки, которых я сам бы перевешал на фонарях Невского проспекта, чтобы неповадно было остальным. Ничего в вас не сохранилось: ни веры, ни доброты. Вы аморальная женщина.

Анна, нахмурив брови, молчала, внимательно рассматривала человека, с которым прижила четверых детей, оставаясь ему верной женой. И он по-своему любил ее когда-то. Правда, не так сильно, как пенавидел сейчас.

— Я согласна на развод, — предложила Анна мужу.

— О нет, это слишком просто, возразил Бах.

— Понимаю. Вам приятно чувствовать себя моей жертвой, принимать знаки соболезнования знакомых и предержащих властей. Как трогательно! Несчастный, обманутый в лучших чувствах супруг. Жена, представьте, оказалась ре-во-лю-ционеркой. Такой фабулы не было еще в светских романах.

— Вы смеете издеваться? И это за все, что я сделал, чтобы спасти вас от кандалов, от падения в пропасть! Это уж слишком. Я готов заподозрить, не болен ли ваш рассудок, или же вы неисправимы в своих заблуждениях. Так можно кончить виселицей. Вы могли бы подумать об имени, которое носите.

— Чего вы хотите?

— Подпишите покаянное прошение на высочайшее имя, остальное я возьму на себя. Царь милостив. У меня есть заслуги перед престолом. Вы уедете в мое имение на несколько лет, и все будет забыто. Я тогда буду готов ради семьи простить вас.

Анна не могла сдержать улыбки.

— Никогда, — сказала она просто и тихо.

Надзиратель объявил, что время свидания кончилось. Последних слов мужа: «Тогда пеняйте на себя», — Анна не услышала. Стук захлопнувшейся за ней двери заглушил их.

Приближались святки, наиболее веселые дни в Англии. Христмас — это слово дорого всем живущим на острове. Наступлению праздников предшествует радостная суета и оживление, которыми охвачены лондонцы от мала до велика. Начинается лихорадка покупок. Все готовят друг другу подарки. Россия, Бельгия, Франция, страны Скандинавии и Южной Европы отправляют английским магазинам в удвоенном количестве битую птицу, муку, фрукты и ягоды, рыбу и цветы. Бойко идет распродажа товаров, не находивших покупателей в течение всего года. На прилавках расставлены горы серебряных и фарфоровых столовых и чайных сервизов, цветочные вазы, тяжелые лампы, костяные божки, плетения Индии, кружева с островов Святой Елены и Мартиники, шкуры зверей и драгоценные камни из Южной Африки.

В одном из самых посещаемых универсальных магазинов в витринах плясали вокруг елки гномы и эльфы. Владельцем этого многоэтажного склада вещей был миллионер Сульфридж. Сульфридж некогда чистил сапоги, продавал газеты в Америке, прежде чем, проявив предпринимательский нюх, изворотливость и мертвую хватку, сумел спекуляциями обогатиться в смутные годы кризисов и разорения. На биржу он пришел в качестве клерка одной из нью-йоркских контор и сразу же удачно купил акции. Никогда не терял присутствия духа, он скупал за доллары английские бумаги, когда фунт падал, приобретал дома, предназначенные на слом, за бесценок брал оптом товары, на которые не было спроса. Будучи американцем, не имея за плечами тянущего ко дну мешка с каменными феодальными традициями и правилами поведения, Сульфридж копил деньги и стал купцом, банкиром, предпринимателем. Чтобы расширить свой магазин, он скупил все дома на прилегающих улицах.

— Торговля строится на жертвах, — говорил он, снося богадельни, школы и церкви.

Разбогатевший до многозначных цифр, бывший лондонец-пролетарий породнился с аристократией, выдав дочь

ая графа, не имевшего никаких достоинств, кроме пустозвонного титула.

В дни Христмаса на всех прилавках Англии лежат подарки, будь то набор иголок и ниток в парадной коробке, собачьи ошейники, кухонная посуда, игрушки или проспект и фотографии обстановки для шестикомнатной квартиры, карета, двухколесный тарабан и яхта. Поставщик многомиллионного среднего сословия, Сульфридж учел пожелания покупателей и их возможности.

В подвальном отделении огромной лавки гарничные из особняков богатейшего и чопорнейшего Гровенор-сквера находили модные платья почти вроде бы такие же, какие видели на своей госпоже. Но это была всего лишь скверная подделка, как все купленное в помещении дешевых вещей. Тут можно было достать жемчуга из рыбьей чешуи, ботинки на картонной подметке, сумки из клеенки «под кожу», серебряные ложки из таинственных сплавов металла и хрустальную посуду из стекла. Это была свалка брака и хлама, который удачно укреплял иллюзии и осуществлял мечту. Официантки из ресторана, продавщицы, служанки находили здесь товары по доступным им ценам. Подделки из стекляруса и бус доставляли им ту же радость, что господам, которых они обслуживали, предметы прославленной роскоши.

На первом этаже магазина продавались вещи, похожие на те, что лежали в подвале, но качеством выше. Здесь одевались клерки, мелкие чиновники, владельцы лавок из провинции, средней руки фермеры. И только на третьем этаже были вещи, за добротность которых купец отвечал. Но цены на все предметы выставлялись тут такие, что редко решались подняться в этот отдел покупатели снизу, разве чтобы посмотреть на манекены, разодетые по последней моде.

Элеонора и Элси, по прозвищу Пумпс, племянница Энгельса по покойной жене Лиззи, закупали подарки. Устав, они зашли позавтракать в ресторан на площадь Марбль-Арч, подле Гайд-парка. Это был зал, рассчитанный на то, чтобы поразить малоразборчивого посетителя великолепием потолков, размалеванных изображениями дельфинов, морских звезд, крабов, обвитых гипсовыми водорослями колонн и замысловатых ламп-раковин — всеми атрибутами морского царства в пошлом представлении неискушенных людей. С зеленых стен улыбались дебелые

сирены более пригодные в качестве эмблем для вывески добросовестной прачечной.

Доедая вываренную до полной потери вкусовых особенностей камбалу с гарниром из брюссельской капусты, Элеонора сказала Пумпс, которой как нельзя более подходило ее прозвище, так много ямочек было на ее пухлом лице:

— Не правда ли, пища здесь такой же суррогат, как и живопись, от которой у меня начинается морская болезнь.

— А у меня рябит в глазах, и мне хочется ради пользы человечества взять кисть и забелить всю эту мазню. Нельзя же пичкать людей подобной дрянью безнаказанно, — ответила Элен.

— Боюсь, что тебя бы линчевали. Убеждена, что очень многим все здесь кажется прекрасным. Очевидно, воспитание чувства красоты не такое уж легкое дело. Тут тоже надо пройти через периоды дикости и варварства. Дядя Фридрих мог бы рассказать нам, как и почему формировался вкус у людей. В Африке есть племена, которые превыше всего ценят женщин с длинными шеями. Когда рождается девочка, ее шею окольцовывают и каждые полгода прибавляют новый ободок. К совершеннолетию она становится похожа на жирафа или страуса, и, если кольца снять, бедняжка умирает. А серьга в носу или черные зубы у некоторых островитян Малайи?

— Ой, как много ты знаешь. Разговор с дядей Фредом и с тобой все равно что курс лекций в Оксфордском университете.

— Неужели с нами так скучно и тяжело? — улыбнулась Тусси.

— Ты ведь моя первая учительница. Мы с мужем слывем, в свою очередь, весьма учеными людьми. А это так льстит самолюбию.

Обе молодые женщины рассмеялись и, быстро покончив с пудингом и мороженым, вышли на улицу.

Вечером, за большим праздничным столом у Энгельса собрались Эвелинги, Каутские, Пумпс с мужем и Шорлеммер. Настроение у всех было вначале невеселым из-за смерти одного из друзей Маркса и Энгельса, старого коммуниста Боркхейма.

— Пули падают в наш квадрат. Валятся старые ветераны, могучие дубы, — посасывая сигару, негромко заметил Энгельс. Помолчал и, распрямив плечи, поднял

бокал, предлагая тост за густую молодую поросль социалистов во всем мире.

— Помнишь, как надрывался Боркхейм, работая ежепощно до рассвета, чтобы изучить русский язык в небывало короткий срок по ему одному ведомому методу, — вспомнила Элеонора.

— Да, он занимался, даже будучи тяжело больным, и не только русским. Он полемизировал, как писал мне твой отец, с самим богом и чертом, — сказал Энгельс.

— Кажется, незадолго до Парижской коммуны Боркхейм был при смерти, и мы все очень за него тревожились. Мавр, несмотря на то что сам был очень слаб после болезни, отправился навестить его. У него подозревали тогда тиф, — добавила Ленхен.

— Никто не хотел бы такой жизни. Последние двенадцать лет бедняга провел в постели. Чахотка съедала его. Он был почти полностью парализован, но переносил свои страдания, как настоящий стоик: мужественно и с юмором.

В разговор вмешался Карл Каутский:

— До самого конца Боркхейм не переставал следить за социальными схватками и до дыр зачитывал «Социал-демократ». Он был когда-то отличным публицистом. Жаль его. Но что же делать... Повторим вслед за Шиллером:

Мертвый в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий.

Ужин был превосходен. Об этом особо постаралась Ленхен, которой в стряпне помогала Тусси. Не обошлось без традиционного пудинга с коркой, украшенного ярко-зелеными колючими ветками остролистника с пунцовыми ягодами, растущими прямо на листе. Маленькая елочка, освещенная разноцветными свечками, украшенная игрушками из ваты, пестрыми шарами, золочеными орехами и отборными яблоками, выглядела красиво. Глядя на деревцо, Энгельс вспомнил большой чопорный дом в Бармене, отца в черном сюртуке, читающего пасторам Библию и Евангелие в рождественский вечер всему многочисленному семейству, мать, жизнерадостную, остроумную...

Вокруг Энгельса в этот вечер были молодые, счастливые, влюбленные люди. Всего, что ранее омрачало союз Элеоноры и Эдуарда, теперь больше уже не существо-

вало. После свадебного путешествия в горы Девоншира они вернулись преображенными, страстно привязанными друг к другу. Эллен-Пумпс давно уже была замужем и растила детей. Энгельс напомнил ей, как лет шесть назад, до брака, была она увлечена Карлом Каутским. Тот отвечал ей взаимностью, но так долго анализировал свое чувство, что девушка, не дождавшись признания, взяла другого. Теперь и Каутский был женат. Его жена Луиза была очень предприимчивая, деловая и несколько сентиментальная женщина. О ней Ленхен как-то сказала Тусси: «Луиза не Пумпс. Не успел Каутский подумать о том, нравится она ему или нет, как очутился уже в кирхе и был обвенчан. Эта девушка не даст мужчине опомниться. Она вполне эмансипирована».

— Только мы с тобой, Шорлеммер, да еще наша Ним — бобыли, — пошутил Энгельс.

Ним было давнишнее прозвище Ленхен, придуманное внуком Маркса Джонни Лонге. Искаженное «помпс» («пимп») прозвучало как Ним и осталось жить среди близких и друзей Елены Демут.

— Послушайте, Карл, — спросил Шорлеммер Каутского, когда, по английскому обычаю, после ужина мужчины, оставив надолго женщин, перешли курить и отдыхать в кабинет, — как могло случиться, что поначалу вы не поняли Маркса и пытались даже выступать против него?

На большелобом, ширококостом лице Каутского с нахмуренными жидкими бровями и напряженным взглядом из-под очков в металлической оправе ничего не отразилось. Так бывало всегда, когда к нему обращались. Казалось, он что-то обдумывает и сейчас разразится длинной и бурной тирадой. Но отвечал он тихо и сухо.

— Дело в том, что я еще до введения исключительного закона окончил сравнительно большое произведение — «Влияние размножения населения на общественный прогресс». Оно, по существу, было направлено против Маркса. Я, видите ли, смертельно боялся подпасть под влияние какого-либо авторитета или школы и, считая себя самостоятельно мыслящей личностью, дорожил такой свободой. С враждебностью и недоверием приступил я к изучению произведений Маркса и наших, Генерал.

— Это весьма интересная исповедь, — оживился Энгельс. — Что же было дальше?

— Дальше? Чем меньше я понимал сущность, тем выше поднимался в собственном мнении, высмеивая «односторонность» — ставлю это слово в кавычки — Маркса и Энгельса и чувствуя неодолимую потребность раскритиковать и разделать их в пух и прах.

— Презабавно, — вырвалось у Шорлеммера, давно слушавшего Каутского.

— Я мечтал превзойти Маркса и Энгельса. Признаюсь, это было самонадеянное невежество. Но оно принесло мне больную пользу. Теперь, прожив через эту болезнь, я не только исцелен, но и закален и сразу узнаю признаки подобного заболевания у школяров социализма, у безнадежных невежд и зазнаек, которые, как и я некогда, мнят себя научно зрелыми и переспелыми. «Превзойти» — опять-таки в кавычках — Маркса несравненно проще, нежели понять его, и я тоже начинал с этой более легкой задачи.

Вскоре все мужчины вернулись в гостиную, где находились Луиза Шумис, Луиза и Лонхен. Завязалась общая веселая беседа.

Карл Каутский оживился и принялся рассказывать о Вене, где вырос.

— Отец мой был чех, а мать немка, — таким образом я несу в себе также, и может быть, главным образом славянское начало. Я родился в Праге, но в одиннадцать лет оказался уже в Вене и, как чех, ненавидел поработителей родины отца — австрийцев. Чехи были в годы моего детства наиболее преследуемы и угнетены в блестящей Австро-Венгерской империи. Как я мечтал о чешской республике, сочувствовал коммунарам, изучал французскую революцию и зачитывался Гейне, Боклем и немецкими дарвинистами Геккелем и Бюхнером!

— Вы всегда отдавали предпочтение книгам перед людьми, — сказала Шумис, вспомнив, как стеснителен и замкнут был Каутский, который так и не решился сказать ей о любви. Она дразнила его, кокетничая с другими, но не дождалась объяснения. Как большинство женщин, Шумис не могла ни забыть, ни простить такого пренебрежения или робости, хотя давно любила другого, имела семью.

Но и сейчас Каутский остался невозмутим.

— Действительно. Я пришел к марксизму умозрительно, как к единственно правильной науке.

— А я, как поэт, влюбившись! — громко воскликнул Эвелинг, поблескивая широко открытыми глазами, и добавил: — Я хотел бы переложить «Капитал» на музыку, если бы природа не лишила меня не то что дара композиции, но и приличного слуха. Это тем более досадно, что моя Ирландия — страна мелодий.

Настроение у собравшихся заметно улучшилось, и, когда Шорлеммер предложил попытать Эвелинга и заставить его исполнить какую-нибудь народную песню, все бурно присоединились к этому. Эдуарда выручил Энгельс. Он спел с ним несколько шуточных ирландских и шотландских песенок. Затем пришла очередь дамских. Элеонора прочла монолог Порции из «Венецианского купца».

— Боже мой, какую большую актрису потерял театр! Да ведь она не хуже Эллен Терри, — сказала Луиза Каутская взволнованно.

На мгновение лицо Тусси слегка помрачнело. Но, встряхнув темными вьющимися, очень густыми волосами, она как бы отогнала гнетущую мысль, и снова заблестели черные глаза с голубыми ободками белков. Никогда младшая дочь Маркса не была краше, чем сейчас. Могучий интеллект, доброта и жизнеутверждающая сила, иногда пугавшая ее самое, щедрость, не знавшая предела нежность и любовь, дающая счастье, — все это прорывалось наружу, как ослепительный свет, и делало ее прекрасной. С материнской тревогой посмотрела на нее Ленхен и тотчас же пытливо перевела глаза на Эдуарда. Он был общителен, умен. Поведение его казалось искренним, но иногда вдруг проскальзывала едва видимая рисовка, и наблюдательная старая женщина поймала его быстрый взгляд в зеркало и самодовольную улыбку, пробежавшую и тут же исчезнувшую, будто тень.

А Пумпе в это время говорила о новых модах, о выставке картин в Тет-Галлери, о предстоящих гастролях итальянских певцов и о том, что у мужа так много дел, что каждый день он возвращается домой усталым и с ним от этого скучно. Луиза слушала ее покровительственно, как маленького, избалованного, капризного ребенка. Жена Каутского увлекалась политикой и социальными битвами.

Остаток Пумпе, Луиза подсела поближе к Энгельсу, на которого смотрела с неприкрытым восхищением.

Речь шла о Германии и о ближайших ее перспективах.

Энгельс, несмотря на свои шестьдесят пять лет, казался нисколько не старше всех собравшихся. Лицо его, когда он говорил о том, что его особенно живо интересовало, еще более молодело. В волосах не было ни одной седой пряди, и серые, чуть близорукие глаза по-юношески задорно блестели. Эластичности кожи на его лице мог бы позавидовать каждый из тех, кто годился ему в сыновья. Совсем молоды были и его сильные, большие, неспокойные руки. Не считая себя умелым оратором из-за легкого заикания, он не любил произносить длинных речей с трибуны, но легко увлекался в застольном разговоре и был замечательным собеседником. Стремительность его мысли, образность и богатство словесных красок в сочетании с молодостью, прекрасной осанкой совершенно уничтожали ощущение преграды, какая невольно возникает между людьми разных поколений. Молодежь тянулась к Энгельсу, как к равному, и он не только не разрушал этого ощущения, а поддерживал его и легко переходил на «ты» с совсем еще юными, если они сумели внушить ему уважение к себе.

В этот вечер среди любящих преданных друзей Энгельс говорил с особым воодушевлением:

— Я верю, все движется к намеченной нами цели. Опыт подтверждает, что настоящему искусству воевать мы обучаемся в боях, на воле. Что ж, история, думается, и дальше не лишит молодых революционеров этой школы. Но умелое маневрирование подчас стоит сражения. Тактика в военном деле очень часто важнее бессмысленной отваги. Право же, можно дать почувствовать железную руку сквозь бархатную перчатку, но необходимо, чтобы враг при этом ощутил твою силу

Каутский, наморщив большой и вместе с тем плоский лоб и ощетинив жидкими бровями, парек своим сухим, лишенным гибкости, скучным голосом:

— Наши немецкие соратники маневрируют довольно ловко и плывут, как Одиссей, между Сциллой и Харибдой.

— Да, они напоминают мне иногда капитанов Гонения на социалистов, как и положено по законам диалектики, принесли партии не только жестокий вред, но и кой-какую пользу, — вставил Шорлеммер.

— Правильно, Карл. — Энгельс пригубил химику бокал своего любимого рейнландского вина. — Лишь благо-

даря упорному и умному сопротивлению мы стали силой и заставили филистеров уважать нас. Того, кто идет на уступки, филистер всегда презирает. Выпьем же за нашу победу! Она неизбежна!

Лаура Лафарг, по общему мнению, была красивейшей из дочерей Маркса. В сорок с лишним лет она сохранила редкую молодость лица и юную стать. Как и Элеонора, она обращала на себя внимание удивительным цветом лица и волос. Но высоко взбитые кудри были у нее не темными, как у младшей сестры, а того особенного цвета меди и бронзы, который так прельщал художников эпохи Возрождения Тициана и Гвидо Рени. Лаура унаследовала от шотландских предков по матери яркий цвет густых и длинных прядей, их она укладывала башенкой по английской моде, спуская вдоль ушей по три тугих локона.

Не у многих женщин, выросших в городах, остается столь естественный румянец, как бы наложенный пастелью на округлые, упругие щеки. Продолговатые глаза ее, зеленовато-карие, с золотистым отливом, всегда сохраняли искреннее, ласковое выражение с печатью грусти, которую наложила смерть трех детей и многих близких. Выпуклый лоб, смелый разлет густых дугообразных бровей и небольшие, женственно мягкие нос и рот были прекрасны.

«Красавица», — говорили прохожие, заглядываясь на тоненькую женщину чуть выше среднего роста, всегда изящно одетую. А Париж знает толк в красоте.

Хорош собой был и муж Лауры, которого хлесткие репортеры часто сравнивали с кем-нибудь из титулованных придворных XVIII столетия. Поль Лафарг — один из вождей рабочего движения Франции — выглядел действительно как представитель старой аристократии. Атлетически сложенный, с высокой шеей, увенчанной большой головой, с соразмерными чертами лица, бритым волевым подбородком, сильным носом и правильным лбом, уходящим под непослушные волнистые волосы, он всегда казался сонным и, однако, очень вспыльчивым. Трудно было найти натуру более деятельную, неукротимую. Лафарг был сама энергия и страсть. В течение дня он успевал переделать множество дел. И ни одно из них не обходилось без Лауры, ее совета и помощи.

Лаура обладала незаурядными литературными способ-
постями. Одним из ее прозвищ в семье родителей было
«поэтесса». С годами она все реже писала стихи, посвятив
себя преимущественно работе над переводами серьезных
них философских, экономических и политических трудов
Ее речь была богата красками и неожиданными оборота
ми. Даже Энгельс посылал свои переводы для проверки
Лауре и ее мужу. И во французском языке, родном для
Лафарга, Лаура стала непререкаемым судьей.

Стиль отца был ей особенно близок, и, сверяя фран
цузский перевод статьи Маркса о Прудоне, сделанный
Энгельсом, она довела текст до совершенства, воскресив
все своеобразие языка автора Энгельс, отправляя рукопись в Париж, писал: «Марке не из таких людей, которых можно переводить на скорую руку Надеюсь, что Лаура добьется того, чтобы текст был передан хорошо и точно...»

Столь же превосходно, как немецким и французским, владела Лаура английским языком, и Энгельс просил ее взять на себя перевод одной из глав «Капитала».

Лафарги сблизились в Париже, привязались к своему городу Чем моложе и деятельнее человек, тем шире его дом Он не ограничивается только тишиной своей рабочей комнаты.

Лаура и Поль отлично знали город Каждая его улица, кафе, театр, рынок как бы дополняют отдельное жилище, становится его частью Этим французская столица чем-то отдаленно родственна обителям веселой Вены, значительно ранится от педантичного, скучного Берлина и особенно от глубоко мистического Лондона. Нигде в мире не завязываются так легко знакомства и не отступает одиночество. Темперамент прохожих зажигателен, и достаточно искры, чтобы вспыхнул интерес к первому встречному человеку. Повсюду толпились русские, американцы, англичане, поляки, скандинавы, и все они хотели походить на парижан.

Каждый район Парижа отличался от другого, подобно его обитателям. Монмартр издавна населяли дети мансард, Сент-Оноре заняли породнившиеся с титулованными банкротами богачи, улицы округа Пуассоньер оккупировали эмигранты своими крикливыми особняками, крупная торговая буржуазия, на Шоссе-д'Антен расположились банкиры-домовладельцы, а Сен-Жерменское предместье сохранило

кичащиеся геральдическими знаками и древностью рода дворяне, мечтавшие о королях. Вокруг этих невидимых бастионов селились рабочие, служилая голытьба, студенты и мелкие ранье.

Биография революционера конца XIX века включает обычно и время, проведенное в заключении. Гед и Лафарг не были исключением из этого горестного правила. Их выступления с трибуны не раз завершались арестом. Полиция, исказив в протоколах смысл их речей, обвинила руководителей социалистической партии в подстрекательстве к убийствам.

Поль Лафарг несколько месяцев провел в тюрьме Сен-Пелажи, одной из старейших в Париже. В ее стенах в годы Великой французской революции сидели оставившие четкий след в истории бойцы, сражавшиеся по обе стороны баррикад, — республиканцы и монархисты. Лафарг, как и два его великих учителя, любил странствовать по прошлому, мысленно оживляя его. В затхлых тюремных коридорах, где камни хранили невидимые отпечатки тысяч человеческих ног, Поль вспоминал якобинцев и жирондистов, участников «Заговора равных» Бабефа, пытавшихся воспротивиться произволу буржуазной директории, народных бойцов революций 1830 и 1848 годов и героев Коммуны. В тюрьме Лафарг и Гед много читали и писали комментарии к программе Французской рабочей партии.

Лаура всегда, когда муж отправлялся в пропагандистскую поездку, готовилась и к тому, чтобы встретить его невредимым, и к тому, чтобы отправиться с протестом в полицию и с передачей в тюрьму. Она не теряла присутствия духа, выслушав от какого-либо посланца Лафарга, что он задержан. Как-то весть об аресте Поля принес ей один из его соратников по партии и одновременно вручил переданный мужем букет ярко-зеленых листьев салата, который должен был быть в этот день съеден за семейным столом.

— Надо же, чтобы осел полицейский комиссар, чорт бы его побрал, помешал мне приготовить мужу его любимый салат! Теперь я вынуждена обедать одна, — пошутила Лаура. — Никогда не знаешь в этой стране и в наше время, что может произойти.

Часто к Лафаргам приходили внуки Маркса — сыновья и дочь покойной Женни Лонге. Все три мальчика были неутомимыми шалунами, и сладить с их резвостью

и изобретательностью в хитроумных проказах не всегда удавалось.

С тех пор как Лафарги переселились в пригородную сельскую местность Ле-Перрё, невдалеке от Парижской заставы, нашествия маленьких вандалов, как прозвал Лафарг, завидев врывающихся в дом Эдгара, Жана и Марселя, участились. Лаура, как могла, заменяла детям мать, заботилась об их здоровье и развитии. Самым способным к наукам оказался Эдгар. Жан, названный сызмала на английский лад Джонни, избалованный и неусидчивый, учился хуже и не мог одолеть немецкой грамматики и латыни. Марсель, самый младший, унаследовал от своего отца склонность к лени и скрытности, но в остроте ни сколько не уступал братьям.

Уезжая на взморье, Лафарги иногда брали детей с собой. Поль тщетно добивался дисциплины от малышей, которые часто карабкались на утесы и скалы, откуда легко могли сорваться в море. Но Лаура, никогда не теряющая самообладания, успокаивала вспыльчивого мужа и урезонивала сорванцов.

Поэзия и литература оставались для дочери Маркса постоянной отрадой. Она любила фольклор, записывала народные песни на разных языках и диалектах. Пожравшийся ей сумрачный Бодлер, и она переводила его «Цветы зла» на английский и немецкий языки. Гетевский «Фауст» поразил Лауру безбрежностью философского мироощущения, а Шамиссо и «Саласе и Гомесе» — необычностью, терпкостью, как определил Энгельс, языка его героини, столь схожих с Лаптевыми. Душевная близость Лауры и Энгельса была такой полной, что молодая женщина торопилась сообщить ему каждый перевод, выношенную мысль, сомнение. Он гордился ее умом, добротой, глубоким знанием экономики, политики, истории и литературы.

Жена Лафарга часто посещала парализованного, тяжелобольного коммунара Эжена Потье, автора «Интернационала». Поэту перевалило за семьдесят. Мозг его был еще столь же силен, сколь слабо была медленно умиравшая плоть. Как это часто бывает у изуродованных недугом, но не сокрушенных духом людей, его внутренняя сила прорывалась во взгляде. На дряхлом, некрасивом лице Потье молодо сияли глаза. Видя, что смерть приближается к многострадальному старику, Лаура вы-

талась развлечь его чтением стихов. Она знала наизусть почти все, что создал Потье.

— Обещаю вам, Эжен, — сказала она, прикасаясь к холодной, недвижимой руке поэта, — сделать все, чтобы ваши прекрасные сонеты и песни стали известны во множестве чужих стран. Я переведу их на все языки, какие знаю, и добьюсь, чтобы тысячи и тысячи людей полюбили вас и ваши стихи, как любим их мы.

Вскоре после смерти Эжена Потье хор рабочих города Лилля впервые спел великий гимн, написанный в трагические дни гибели Коммуны. Музыку, столь же простую и гениальную, как и слова «Интернационала», создал рабочий Пьер Дегейтер, самоучка-композитор «Интернационал» стал торжественной песней всех рабочих.

Анна Павловна вела с собой суровую борьбу. Все чаще ее охватывала апатия. Заключенная погружалась в каменное молчание тюрьмы, переставала чувствовать и думать. Это была еще не самая тяжелая мука. Следом наступало вызывавшее озноб понимание, что навсегда, невозвратимо уходит жизнь.

«Разве мало дней я теряла? — думала Анна. — Проводила их бессмысленно, ничего не получая, не производя, только растрачивая себя, топчась на месте. Десятки лет провалялась я в постели, сотни часов упустила, заняв их пустословием, суетой, разглядыванием себя в зеркале, бездумными поисками ненужных вещей... Почему же прежде, безрассудно транжиря время, разменивая его на пустяки, я не чувствовала так остро, как теперь, что уплывают минута за минутой? Не потому ли, что, лишившись всего, впервые увидела себя такой, какая есть?»

Анна плакала от непоправимой досады и недовольства собой, от сознания мизерности своих прежних стремлений и сухости сердца. А ведь все считали ее доброй и умной. Ничего не значащие определения! Они теперь ее раздражали. Самой большой пыткой узницы стали запоздалые сожаления, жгучие поднимаются в душе над гробом дорогих людей. Совесть будто схватила ее за горло. Она вспомнила все обиды, нанесенные ею матери и совсем чужим людям, и, хотя обиды те были вовсе незначительны, принялась казнить себя строже самого жестокого судьи. Все, кому с самого детства она не помогла или

причинила незаслуженную боль, простили ее, оправдывали, но Анна не хотела этого снисхождения.

— Сколько я могла сделать действительно хорошего, а прошла мимо, поленилась, поскупилась, поторопилась! — испытала Анна, исходя слезами. Анна поняла свою малость по сравнению с громадой народа. Полной мерой изведала она одиночество, и смирение постепенно наполняло ее, делая такой сильной, не пробиваемой испытаниями, какой она и не мечтала стать.

Несколько раз приходил к Анне щеголеватый защитник, но она вежливо обрывала его многословие.

На одном кратком допросе она узнала, в чем ее обвиняют. Два бывших пародовольца показали, что Анна не только знала о цареубийстве, но и помогала совершить его. Она также была уличена в перевозке за рубежа запрещенной литературы. Обратиться к царю с прошением о снисхождении узница сама решительно отказалась.

Наступил день военного суда. Зал был до отказа полон самой избранной публикой, и Анна Павловна узнала многих из тех, кто раньше посещал ее гостеприимный салон. Иосиф Федорович не явился. По словам адвоката, он заболел, не выдержал несчастья и позора.

Прокурор потребовал для Анны, которую назвал государственной преступницей, посягнувшей на святая святых общества, пятнадцати лет каторги. Адвокат, играя золотом цепочки часов, медоточиво говорил о четырех невинных душах и о сером их отце, о заблуждениях доверчивости, присущих женщинам, выросшим в дворянских усадьбах, вдали от мира, о пагубных влияниях нигилизма и социализма. Анна едва сдерживалась, чтобы не вскочить и не прервать гладкую и ровную речь, но постепенно безразличие снова овладело ею.

Последнее слово подсудимой было коротко. Не признав себя виновной в уголовном преступлении, Анна сказала:

— Не считая террор решающей силой в борьбе с царским произволом, я теперь против убийства отдельных лиц, кто бы они ни были. Я — за уничтожение всей системы социальных бесчинств, жестокости и несправедливости.

Лицо узницы, казавшееся обтянутым хрупкой папиросной бумагой, совершенно обесцвеченное, вдруг порозовело

зовело. Провалившиеся, в черных ободах глаза ожили и засветились. Анна вновь стала красивой.

— Да здравствует всемирная социальная революция! — крикнула она

Анна Павловна Бах была приговорена к четырнадцати годам каторжных работ.

Перед зданием суда ее поджидала крытая колымага с железными решетками, запряженная парой белых, в яблоках битюгов. С Анной на скамью сел надзиратель. Дверь кареты наглухо закрыли и в железные дужки протянули большой висячий замок. Рядом с кучером пристроился жандарм. Колымагу оцепил взвод вооруженных солдат, а его кольцом окружили верховые казаки. Впереди этой мрачной процессии следовал полицмейстер, а позади — пристав.

Надзиратель, усатый, истощенный, похожий на высохшего таракана старик, был, очевидно, тяжело болен.

— У всякого своя беда, конечно. У меня вот, к примеру, завелась в желудке язва-мучительница, пожаловался он Анне, сидевшей с легкой улыбкой на губах. Неожиданное облегчение, отрадная новость овладели ею

— Пройдет, — сказала она тихо. — С едой поосторожнее и спиртным себя не обижайте

— Водку я брошу, — тоскливо тянул сборщик полицейский. — Масло мне топленое. Надо, чтобы она забыла. Советуют мягчительного побольше. Может, вы знаете, как лечить-то ее, а?

Анна, внимательно поглядев на стражника, вдруг догадалась, что его убивает рак, а он хочет жить, где и как угодно, лишь бы не умереть. Каторга ли, тюрьма, только бы продлить жизнь...

«Значит, бывают горе погорше моего. Выдюжу, должна выдюжить. И за решеткой живут люди. А вот рядом со мной свободный человек, но он смертник!»

И ей стало очень жаль больного, захотелось обнадожить его.

— Бодритесь, сударь, тогда и хворь уйдет. Где дух крепится, там и телу легче. Поправитесь.

В камере Анна, тихо напевая, принялась шагать из угла в угол.

«Что это я такое на суде говорила? То, о чем от Васильич слыхала. Уж не марксисткой ли становлюсь? Вот

удивились бы Жорж и друзья из группы «Освобождение труда»!»

Анна надеялась, что скоро оставит навсегда каменную сырую дыру без света. Она истосковалась по шуму, по людскому говору. Одиночество притупило ее слух. Она заметила, что плохо соразмеряет силу голоса и хуже слышит. На суде Анна с трудом понимала речи других, слова сливались в один невнятный звук.

Молодая женщина не знала, что, будучи осужденной как уголовница, она могла очутиться на Сахалине, на Каре, а также в Шлиссельбургской крепости. В те самые дни, когда она, обретя новые душевные силы, готовилась в далекий путь на Север, к ней явился председатель военного суда и объявил, что содержать ее будут впредь до особого распоряжения по прежнему в одиночном заключении. Такого решения Анна вовсе не ждала, и тем сильнее был удар. Ей предложили свидание с детьми. Не задумываясь, узница отказалась. «Мать за решеткой! — подумала она — Малыши испугаются, и навсегда в их памяти сохранится мой якутки, чужой образ». Она собрала все силы, чтобы не поддаться искушению: покой детей был ей дороже минутного счастья встречи. «Увидеть на мгновение и снова потерять их — непереносимое испытание» — продолжала размышлять Анна.

Деньги от Иосифа Федоровича она также решительно отвергла.

— Я не лучше тех, кто ничего не имеет. Буду с большинством. От чужих ничего не приму.

И Анна окунулась в могильную тишину. Надежда исчезла. Как мечтала Анна об обществе людей, таких же отверженных, как она сама! Но отныне она была пешкой в чьих-то руках. Ее переставляли с места на место, не спрашивая.

В долгом одиночестве заключенный всегда оказывается на грани безумия. Сны его незаметно сливаются с явью, явь — со снами. Нервная восприимчивость обостряется до мистических предвосхищений и особой зоркости на расстоянии. Узник, оставленный на годы наедине с собой, без внешних впечатлений, ведет отчаянную борьбу с инстинктами, которые глухо толкают его к действию. Зрение мучается постоянным зрелищем окружающего уродства, слух словно заткнут ватой вечного безмолвия, обоняние причиняет острые страдания: вонь аммиака и

сырости душит. Анна напряженно воскрешала в памяти запах свежего сена на лугу, кувшинок в пруду и резеды на садовом газоне. Иногда ей снилось, что она гладит головки своих детей, пахнущие тополиным пухом. И рука ее, как рука умирающего, искала прикосновения к родному, живому телу.

Она хотела бы выхаживать тяжелобольных, не гнушаясь ничем. Любое проявление жизни, пусть самое грубое, трогало ее. Она вздрагивала и долго не могла успокоиться, когда слышала где-то вдали кашель, шарканье ног, чей-то храп. Все это была жизнь. А время стремительно убегало, не принося перемен.

Однажды в темницу принесли книги. Среди них оказалась «Война и мир». Жадно перелистав книгу, Анна прочла о Пьере Безухове, находящемся в плену. Полураздетый, с отмороженными ногами, в болячках, он сидел на холодной земле и смеялся, осознав, что мысль его нельзя запереть, зарыть, изуродовать. Мысль, презирая тюремные затворы, неслась высоко над миром, не зная преград, никому не доступная. С этой поры Толстой стал постоянным собеседником Анны, ее другом. Только покорности его она не принимала. Хрупкое спокойствие вселилось в ее душу. Надолго ли? Она знала, что в тюрьме душа непослушна, переменчива. То кажется угомонился человек, овладел собой, а вдруг точно налетел ветер и разрушил обретенное с огромным трудом равновесие. Тогда смерть кажется милостью. В такие страшные, похожие на душевный смерч минуты Анна принималась роптать на мать: зачем родила ее на свет и тем обрекла на непереносимые муки? Но приходил час просветления, и, устыдившись, она вдруг осознавала жертвенность материнской любви. Разве мать Перовской страдала меньше, чем ее дочь на эшафоте? «А что ждет моих детей?» — с ужасом спрашивала себя Анна.

Так открылось ей, сколь безбрежно вместительно человеческое сердце для страданий.

Сновидения наполняли ночи на тюремной койке особым смыслом. Они бывали то отдыхом, то пыткой. Иногда отчаяние тащило Анну ко дну. Мысль о самоубийстве приносила ей облегчение. Она думала, что есть все-таки выход из смрадной гробницы. Тогда, обливаясь слезами, Анна снова вспоминала своих детей, всю свою жизнь с ними, с минуты их рождения до разлуки. Память

возвращала ей не только детский смех, их прихоти, дни болезней, выздоровления, но и множество мелочей — таких, как выбор игрушек, сюрпризы святочных елок.

«Как я могла оставить детей и уехать в Женеву! — терзалась она. — Но разве у коммунарок, погибших на баррикадах, не осталось детей? А Геся Гельфман... Нет, я не могла поступить иначе. А теперь я всего лишь живой мертвец. Может, лучше было бы повеситься в петле как Перовская? Или получить пулю карателя, выйдя на демонстрацию? Смерть, какая она? Бесчувственность и отдых».

Тяжелые мысли разрывали голову. Припомнилась виденная в какой-то книге иллюстрация: разъяренные фанатики привязали к хвосту лошади молодую женщину, и вот уж конь несется вскачь по каменистой почве, умерщвляя жертву. «Не так ли тащит меня судьба?»

Когда приступ горя проходил, она с трудом могла понять минувшее состояние духа и снова несла горестную повинную. Иногда ей, как в детстве, хотелось обратиться к богу. Но слова молитв только мешали, и она принималась жаловаться на судьбу и разговаривать вслух с кем-то неведомым и, однако, сочувствующим ей.

Шли месяцы. Минул год. Анна начала забывать, какова ее внешность. В памяти оживали дагерротипы, на которых она была снята в открытых бальных платьях. То было совсем другое существо. В кадке с водой она видела колеблющееся отражение худощавой женщины с искаженным, незнакомым лицом.

К одиночному заключению нельзя привыкнуть. Оно непоправимо калечит. Если зарубцовывается одна рана, начинает кровоточить другая. Анна не единожды переживала в мыслях прошлое. Ей казалось, что она вывернула память, как огромный мешок, и вытрясла его безжалостно. Но ей осталось мышление. Оно одно спасло узницу от безумия. Думы и мечты неотделимы.

Однажды, когда Анна мыслью витала далеко за пределами крепостных стен, ее вызвали, выдали ей собственные вещи, мятые, бесформенные, как бы снятые на совсем иного человека, и прочли решение об отправке в Сибирь.

Это было подобно взрыву. Ужас перед новизной, необходимостью двигаться, что-то предпринимать, значительно превзошел радость наконец сбывшегося желания. С то-

ской покинула она каменный гроб, как называла про себя камеру. Житейский шум и яркий свет показались ей невыносимо тишины и полумрака. Анну покачивало и тошнило. Ей выдали арестантский халат с «бубновым тузом» на спине. Впереди предстояла каторга. Но так как была зима, а партии осужденных отправляли в Сибирь обычно только весною, Анну доставили под конвоем в Москву и поместили в Бутырскую тюрьму, где сколачивались этапы.

После обыска в большом коридоре каторжанку повели через двор в баню, прозванную Пугачевской в память о великом бунтаре, находившемся там перед казнью. Узенькая винтовая лесенка соединяла три площадки этажей. Камера неправильной треугольной формы была выкрашена желтой раздражающей краской. Окошко, как бойница, пропускало мало света, но после каменной щели, где содержали Анну, все окружающее показалось ей прекрасным. Не прошло и нескольких минут, как она смогла поговорить с товарками по заключению, которые также ждали весны для отправки в Сибирь. Осужденных на каторгу женщин было только три — остальные шли на поселение.

Полуторалетнее молчание Анны кончилось. Она не могла наговориться со встретившимися ей узницами, иногда путалась своей неуемной говорливости и нездорового возбуждения. Перед совсем чужими людьми она торопилась выложить все о себе, своих детях, семье. Ее слушали участливо, как тяжелобольную, не прерывая. Прошла неделя, вторая, и арестантка начала приходить в себя. Она даже получила свидание с приехавшими из провинции младшими сестрами, которых в свое время выучила и поставила на ноги. Встреча была нелегкой для всех троих. Но Анна не плакала и даже утешала двух красивых молодых женщин, преданных ей, как матери. Свидания происходили в конторе, в присутствии смотрителя, неглобивого пожилого человека, стеснявшегося своей службы.

— Ну что это вы тут потоп всемирный устроили? — сказала Анна нарочито сухо. — Видите, другие шутят, смеются. Всюду люди живут. И тут тоже. Ничего особенного ведь не случилось. На каторге не без добрых душ. Если совесть чиста, право же все равно, где жить. Счастье, оно, как тень, за нами шествует. Не всегда его видны только.

— Боже мой, не толстовкой ли ты стала? — спросила одна из сестер и заплакала. — Впрочем, это лучше, нежели террористкой. Аннета, да ведь ты в детстве, увидев, как курицу резали, не ела птичьего мяса. Доброй тебя не было никого в нашем семействе. — И снова полились слезы.

Чтобы успокоить родных, Анна согласилась принимать от них постоянную помощь и, в свою очередь, препоручила им заботу о своих детях.

— Мужчины в нашей среде, — сказала она с грустью, — любят детей, если любят их мать. Дорога она, и чужой ребенок будет им люб, как свой собственный. Иосиф меня отныне ненавидит пуще лютого врага, и, значит, незаметно могут опостылеть ему и наши малыши. Отделит он их от себя боннами, гувернантками, то-то горя нахлебаются, бедненькие!

— Что ты! Такие мысли не держи. Глупости! Иосиф Федорович чадолюбив: ведь дети — наследники его имени, фирмы, — возражали сестры, но все-таки поклялись заменять племянникам отсутствующую мать.

— Мне бы только на поселение выйти, я тотчас бы детей к себе взяла, — вздохнула Анна.

Вернувшись в камеру, она спалилась с острой сердечной болью. Спазм, как змея, обвил ее сердце и пополз к горлу, грозя задушить. Это случалось все чаще, особенно по утрам, когда, просыпаясь, она осознавала, что находится в тюрьме. В такие минуты Анна призывала смерть. Потом тяжелый сон отключал ее сознание. Снилось, будто чужие люди прячут ее от кого-то, но вдруг мужчина в расстегнутой рубашке, с волосатой грудью и смоляной бородой выскакивал из толпы, взбирался на возвышение и, бросаясь к ней, узким острым ножом прокалывал сердце.

— Чего кричишь, не спятила ли? — разбудил узницу надзиратель, тряся ее за плечо.

— Убивали меня, — смущенно пробормотала Анна.

— Ну, этого не бойся, в этих стенах понадежнее, чем на Кузнецком мосту. Тут кругом охрана, — успокаивал надзиратель.

...Ко времени отправки этапа Анна несколько окрепла, но тревожное, вопрошающее выражение глаз ее не исчезало. Она преодолела говорливость, старалась быть ровной с людьми и беречь то, что открылось ей в минуты скорби.

Заключение — величайшее испытание души человеческой: сильная — крепнет, слабая — надламывается. Но никто, за кем на годы захлопнулась железная дверь одиночной камеры, не выходил из нее таким, каким вошел.

Бутырская тюрьма, когда Анна находилась в ней, представляла собой маленький островок отверженных в одной из двух столиц Российской империи. Революционный Красный Крест и родственники делали все возможное, чтобы облегчить существование политических заключенных, пожертвовавших собой во имя идеи. Книги, еда и лекарства постоянно доставлялись на тщательно охраняемый пересыльный пункт. Число заключенных все возрастало по мере приближения весны. За немногими исключениями, это были интеллигенты, преимущественно молодежь. Пожилых встречалось меньше. Анна перестукивалась с тремя рабочими, два из них шли на каторгу, а один — в ссылку. Административно-ссыльных приговаривали заочно, и обвинения, предъявленные им, ничем обычно не были подтверждены.

Тяжелая была пора. На престоле, охраняемом угрюмым орлом «о двух головах», восседал Александр III. Страна изнывала под тенью виселиц. Не было конца произволу, расправе с последователями Чернышевского, с бунтарями, революционерами. Особенно усилились гонения против рабочих и студентов. Министром внутренних дел стал граф Дмитрий Толстой, упрямый тяжелодум и мракобес, убежденный, что бурю можно остановить розгами и смертными приговорами.

И все-таки борьба не замирала, и даже далеко стоящие от какой-либо партии люди, мучимые страхом, взаимным недоверием, охватывающими Россию, предсказывали, что конституция будет дана царем или взята у него силой. «Народная воля» доживала последние дни. Наиболее испытанные члены ее были казнены либо схвачены и заточены в Шлиссельбургской крепости. Но новые поколения бунтарей, охваченные нестерпимым состраданием к погибшим и жаждой мести, снова бросились в неравный бой с самодержавием.

Анна оплакивала юных героев, принявших мученический конец на виселице.

В тюрьме шла своя, особая жизнь.

Хотя никто из социалистов, заключенных в Бутырках, не придерживался никакой религии и часто по рождению

вообще принадлежал к различным вероисповеданиям, все были рады поводу совместно отпраздновать пасху. К этому дню члены Красного Креста и родные снабдили арестантов яичной снедью и лакомствами. Огромные куличи и сырные пасхи были очень соблазнительны. Губернатор разрешил каторжанам и административно высылаемым совместно встретить «светлое воскресенье» под надзором помощника смотрителя.

Никогда Анна не бывала на собрании более сердечном и грустном. Особое чувство испытывают заключенные в этапе. К радости встречи сразу же примешивается горечь разлуки. Люди находят друг друга, чтобы тотчас же, может навсегда, потерять. Несмотря на веселые песни, плески под откуда-то появившуюся гармонь, всех этих людей ни на секунду не покидало сознание того, что они рабы, лишенные всех прав на счастье. Звук кандалов на ногах мужчин, их бритые до голубизны головы, серые куртки с черными рукавами и черным тузом на спине делали мир и тюремной башне за решетками мрачным и зловещим. Анна вспомнила полотна Гойи, которые всегда поражали ее проникновением в человеческие страдания. И чем больше теней ложилось на лицах арестантов, мертвенных, как сукманок, тем сильнее захлестывало ее волной нежности к ним.

Все торопились побольше рассказать о себе, послушать товарищей, чтобы закрепить случайно возникшую дружбу. Молодой студент, осужденный на поселение по «делу Лопатина», привлек всеобщее внимание, поведав, что несколько дней назад обратился к вице-губернатору с вопросом, можно ли взять с собой в этап «Капитал» Маркса.

— Как же это вы возьмете чужой капитал? — спросил удивленный чиновник.

В мае этап, в котором отправляли Анну, тронулся в путь. Из тюрьмы на вокзал арестанты шли пешком. Встречные останавливались и сочувственно кивали головами. Старушки охали, бежали за унылой процессией, крестились и просили стражников передать подаяние. На станции, когда каторжан грузили в вагоны, какая-то убогая женщина, прорвавшись сквозь цепь полицейских, сунула Анне и двум ее товаркам по копеечке.

— Возьмите, несчастные. Ради моих грехов примите милостыню, — настаивала она, и Анна смущенно опу-

стила монету в карман своей полосатой куртки — «на счастье».

Когда поезд тронулся, арестанты стройно запели «Ермака», затем украинскую «Ой, там за Дунаем».

Все тоскливее становилось на душе у Анны. Что ждало ее? Как вынести будущее?

Несмотря на теплый, сияющий день, она ежилась от холода. Снова сын зашевелился под сердцем. Странно. Ночью ей приснился сон, будто она, обнаженная, скатилась с высокой вершины в пропасть, где лежит никогда не тающий снег. Если не двигаться — скоро замерзнешь, и она начала карабкаться по острым выступам скал, но, так и не выбравшись из бездны, проснулась.

В Нижнем всю партию погрузили на арестантскую баржу, буксируемую пароходом. Предстояло плыть по Волге и Каме до Перми. Было ледяное время года. Цепи ландынш. Безмятежность природы угнетала кандальников. Из Перми Анну по железной дороге доставили в Екатеринбург, маленький, но набравший уже тогда большую силу уральский городок. Остро ... не провели ночь арестанты, был сырой и грязный. До Тюмени, первого сибирского города, Анна ехала на переполненной людьми телеге. Тройка неслась по бугристым дорогам. Весна за Уралом только наступала, чуть зазеленели деревья, к вечеру воздух становился особенно прозрачным и свежим.

В Тюмени несколько каторжан, и их числе три женщины, были выделены из этапной партии. Анна снова очутилась на барже. Ей предстояло две недели плыть по различным рекам, прежде чем, пройдя три тысячи верст, добраться до реки Томи, на которой расположен Томск. Грустное зрелище открылось узникам по обе стороны широко разлившихся по весне сибирских рек. Чем дальше двигались они на север, тем холоднее и пустыннее была встречная земля. Из глухих лесов нередка выходили местные жители, спасаемые купцами и скупщиками пушнины. Время от времени буксирный пароход и баржа причаливали к берегу, чтобы запастись топливом. Тягостное впечатление произвел на Анну поселок Нарым, где было много ссыльных. В покосившихся лачугах деревянных набах жили изможденные люди.

В Томске Анну заперли в пересыльной тюрьме, состоявшей из нескольких прогнивших бараков. Огромные крысы сражались с заключенными за хлеб, клопы усеяли нары.

Более тысячи уголовных находились тут рядом с политическими, и Анна впервые почувствовала себя на дне.

Красивая девчонка с цыганскими вспыхивающими глазами, с большим, расплющенным ртом, осужденная за убийство, присела к ней на скамью и сказала спело:

— На каторгу идешь, краля. Четырнадцать лет — это ведь вся жизнь. Дай денег, и тебя сменяю. Мне все равно одна дорога — пропасть, а тебе жить, верно, хочется. Я на воле долго не стерплю, опять схватят, а у тебя дети.

— Что ты мне предлагаешь? — спросила Анна взволнованно.

— Дорого не возьму. Сорок рублей. Знаешь про смонку?

Анна слышала, что были случаи, когда уголовники подменяли политических и этим облегчали им побег. Но тюремщики ввели большие строгости, конвой точно знал, кого везет, в делах лежали фотографии заключенных.

— Невозможно, — отказалась Анна. — И тебе и мне ужо будет.

— А ты попробуй, барынька. Все шито-крыто останется. Есть тут одна погань, тихушница, так ей все равно не жить. А ростом, волосами вся в тебя. Придушу се, гадюку, переодену в твою одежку, рожу так ей всю искрошу, мать родная не опознает. Брошу вон в тот колодезь. Пущай вытаскивают. А ты уже далеко будешь. Верное дело. Убегла, мол, уголовница, политическую зарезала и убегла.

Анна почувствовала, как обуревают ее дурнота. Она не могла оторвать глаз от подвижных, как пиявки, пальцев молодой преступницы.

— Уйди, — сказала Анна — Мерзости у тебя на уме Никогда я на такое не пойду. Не нужна мне смелка. Каторга так каторга.

— Думаешь, там дом родной? А денег мне все равно дай. Курить хочу, тоскую, — не отступалась заключенная.

Анна протянула ей рубль, лишь бы остаться одной.

— Ты, милка, привыкай. Мы с тобой вместе на Кару назначены. Мытари мы теперь. Ну, ты не горюй. Я тебе помогу. Меня вся артель знает. За хорошее, помни, десять раз отплачу, а за плохое — сто.

В маленькой, смрадной камере, на нарах в два яруса и под ними, на полу, спали женщины. Анна с ужасом смотрела на их измождённые лица. Только в почлежках

большого города можно было увидеть такое сборище несчастных, телесно и духовно искалеченных жизнью людей. Широко раскрыв рты, ловили они воздух, храпели, метались, кричали, мучились кошмарами. Только совершенно безмятежный, счастливый, здоровый человек привлекателен во сне. Особенно прекрасны спящие дети. Годы, болезни, горе кладут свою нестираемую метку на облик людей. И сон уже не приходит, чтобы обновить их, подобно песне

Есть легенда, размышляла Анна, будто Будда в жаркую ночь увидел своих невольников спящими и так много рассказали ему их искаженные лица, что он ушел на много лет прочь от людей.

Мытарства начались, когда партия отверженных вынуждена была сквозь глухую тайгу пешком пробираться к намеченному месту. Кучка политических растворилась в большой массе уголовников — убийц, воров и тех, кто назывался бродягами, но промышлял любым видом преступления ради самой мелкой наживы, возможности играть в карты и пьянствовать

Анна почувствовала себя снова, как в долгом одиночном заключении, слабой перед надвинувшимися испытаниями и начала искать в себе силу, которая должна была одна помочь ей устоять, выжить.

Ни Маркс, ни Энгельс никогда не были одиноки. Истинно большие люди внушают большие чувства. Оба они, вызывая ярость врагов, познали великую преданность и любовь единомышленников и тех, кто способен подняться до самостоятельности в своих симпатиях и в своей оценке других.

Рядом с Карлом и Фридрихом строились плотные шеренги борцов. Не случайно уже в середине сороковых годов дряхлеющий Меттерних с тревогой слушал доносения о двух молодых ученых, которые на кончиках пера несли огонь. Проницательный Бисмарк также понял силу двух колоссов. В революцию 1848 года редактируемая Марксом «Новая Рейнская газета» сражалась с реакционной «Прусской газетой», душой которой был канцлер. Этот поединок и свое поражение вождь прусского юнкерства не позабыл и всячески стремился склонить Маркса к сотрудничеству. Годы Интернационала, появление «Капитала»,

дии Парижской коммуны сделали имена Маркса и Энгельса всемирно известными. В Европе и Америке о них писали чаще всего небылицы, за ними следили. России выпала честь первой перевести на свой язык библию рабочего класса — «Капитал».

Имя Энгельса всегда стояло рядом с именем Маркса. Оба они являлись авторами бессмертного «Манифеста Коммунистической партии». После кончины друга Энгельс один возглавил международное социалистическое рабочее движение. Особенностью его характера была стойкая верность идее и друзьям. Черта эта присуща только смелой и чистой душе. Энгельс никогда не забывал и не оставлял в беде тех, кому доверял, с кем сражался рядом. В числе близких ему людей был Иоганн Филипп Беккер, уроженец баварского Пфальца, с юности участвовавший в политическом движении Германии.

В начале века он боролся на стороне защитников демократии и свободы кантонов Швейцарии. Позднее пытался принять на помощь отрядам Гарибальди. Отправившись в Марсель, он набрал там добровольцев и зафрахтовал корабль, чтобы идти свергать Римскую республику. Но Беккера предупредили, что его затопят, если он рискнет выйти из гавани. В это время началась революция в Германии, и он возвратился на север.

Особенно проявился Беккер в баденско-пфальцской военной кампании. Огромного роста, богатырского телосложения, с длинной фиолетово-черной бородой и обжигающими глазами, верхом на могучем коне, Беккер напоминал легендарного рыцаря.

В Бадене, по мнению Энгельса, Беккер сделал неизмеримо больше других командиров. Он умел проникнуть в родную ему душу солдата, и его сподвижники чувствовали это. Он знал, как ободрить их соленой шуткой, уговорить и воодушевить. Народная, случайно собранная, необученная армия была ему понятна и близка. Там, где офицеры, воспитанные в школе регулярных дисциплинированных войск, терялись и робели от бессилья, Беккер оказывался в своей стихии. Непокорные волонтеры из его частей не только не дезертировали, но и успешно воевали, храбро переходя в наступление в открытом поле, и сражались с отлично вымуштрованными прусскими частями. Беккер был истинным самородком в военном искусстве. И сила его слагалась не только из мужества, находчивости,

ума, но и на глубокой убежденности. Заражая окружающих необыкновенным спокойствием истинно здорового духа, явил пример бесстрашия, он сумел вдохновить плохо вооруженных, необученных солдат и унтер-офицеров на ратные подвиги и защиту революции. Они проявили доблесть в неравных схватках с сытой и численно значительно превосходящей их королевской армией. За сорок восемь часов войско Беккера сделало переход в восемьдесят километров, продвигаясь как арьергард поспешных армий. Это был слышен марш, достойный выдающегося военачальника. Поздней ночью Беккер провел свой отряд через линию неприятеля в совершенном порядке. Утром его бойцы перешли в наступление, помогая этим отходящим полкам.

Отступление революционной армии и переход ее на швейцарскую землю заставили о многом задуматься стихийного бунтаря, не очень сильного в теории, живущего больше сердцем, нежели рассудком. Энгельс, хорошо знавший Беккера, сказал о нем: «Коммунист по чувству стал сознательным коммунистом». Беккер понял, что буржуазия повсюду была ядром реакционных партий. Только пролетариат подлинно революционен.

Хотя в 1860 году итальянское правительство предложило Беккеру чин полковника, большие деньги, командование легионом, который он должен был сформировать для предстоящей войны, пролетарский революционер отказался, так как его хотели использовать не для дела народа, а в интересах крепнущей монархии. С королями Беккер не желал иметь ничего общего.

Могучий телом и духом, всегда уравновешенный и жизнелюбивый, немецкий коммунист стал одним из видных деятелей Международного Товарищества Рабочих. С обычной неутомимостью и настойчивостью он боролся с отъявленными с анархистами, для чего объединил немецких рабочих Романской Швейцарии. На Гаагском конгрессе Беккер был с теми, кто изобличил Бакунина, предательски взрывавшего изнутри Интернационал.

Маркс и Энгельс чтили ветерана и постоянно поддерживали с ним живую связь. В изгнании ему жилось, однако, нелегко. Он долгое время работал щеточником. Энгельс помогал ему деньгами.

Семидесяти семи лет Иоганн Филипп Беккер решил побывать в местах, где прошла его буйная молодость. Он

приехал из Швейцарии в Нфальц и Баден, поклонился низко земле, политой кровью революционных бойцов, и, все такой же высокий, бородатый, но теперь совершенно седой, похожий на микеланджеловского Моисея, отправился в Лондон погостить у Энгельса. Это были две спокойные недели, когда друзья могли вдоволь поговорить. Иногда в их беседу включался и Лесснер, а также молодежь семьи Маркса. Беккер был участником освободительной борьбы трех поколений, живой летописью всех революций XIX века.

Он помнил русских казаков, проходивших через Германию в 1814 году, когда пал Наполеон, видел казнь Занда, заколовшего писателя шпиона Коцебу, и всю жизнь сражался с деспотизмом.

— Да, старый дружище, — говорил ему Энгельс, — ты единственный немецкий революционный генерал, которого мы имеем.

Но Беккер, несмотря на преклонные годы не потерявший способности смущаться, когда его хвалили, протестовал и отвечал полусерьезно.

— Генерал у нас только ты, Фридрих. Это признано Марксом и всей партией, я был всего лишь тактик, ничего не сведущий в теории военного дела. Когда-то я отверг звание полковника, предложенное итальянским правительством, фактически продавшимся короне. Из твоих рук я его принимаю

Энгельс откровенно любовался старостью Беккера и думал о нем с нежностью: «Этот редкий человек столь гармоничен физически и духовно, что ему можно было следовать в жизни природным инстинктам, ведущим его по правильному пути. И, приближаясь к восьмидесяти годам, он так же бодро стоит в первых рядах движения, как и в юности. Никогда не был он мрачным идейным нежданом, как многие «идейные» республиканцы незабываемого тысяча восемьсот сорок восьмого года. Как он дорог мне тем, что, как истинный жизнерадостный сын веселого Нфальца, никогда не притворялся и не хуже всякого другого любил вино, женщин и песни».

Казалось, Беккер еще долго будет противостоять смерти. А прошло всего два месяца после его отъезда из Англии в Женеву, и белый телеграфный бланк известил Энгельса о том, что старого его друга более нет в живых.

— Искусство управления в наши дни состоит в проповедях идолопоклонничества. Дикарь преклоняется перед истуканами, сделанными из камня и дерева, а цивилизованный человек — перед идолами из плоти и крови. Мы окружаем себя всевозможными кумирами, не уставая фабриковать их скопом и поодиночке, а потом удивляемся, откуда они берутся на нашу беду. Молох был, право же, не самым страшным произведением такого именно рода.

Сказав это, Шоу как бы сорвался с низкого кресла и принялся прохаживаться по маленькой гостиной Эллен Терри. Он был легок, тонок, высок и весь устремлен куда-то ввысь. Очень светлые шелковистые волосы на его удивительной голове казались то желтыми, то розоватыми. Русая бородка лопатой и лохматые усы не скрывали подвижного, смеющегося рта с приподнятыми вверх уголками. Запавшие чистые, светлые глаза искрились.

«Это чуткий, добрый и весьма одаренный человек, — думала Эллен Терри. — У него грубоватое крестьянское лицо, а нос — точно ком брошенного наугад теста. Главное в этом лице - прекрасный, выпуклый лоб. Необыкновенный человек. С ним становишься умнее и лучше».

А Бернард Шоу уже говорил о Генри Ирвинге, великом актере Англии, о его исполнении роли Макбета в театре «Лицеум».

— Ирвинг — превосходнейший из всех Макбетов, каких я знал. Он понял эту роль не холодным умом, а по наитию.

— Да, его игра хороша, но мне все-таки дороже Гамлет, — возразила Терри.

Шоу проворно обернулся к ней, но не успел ничего сказать.

— Мистер Генри Ирвинг, — доложила горничная, вынырнув из-за портьер и тотчас же скрывшись.

Вошел широкоплечий, представительный мужчина средних лет в плотно отделанной тесьмой короткой куртке поверх светлого жилета и рубашки с накрахмаленным воротником. На широком атласном галстуке вспыхивал большой бриллиант на булавке. Узкие брюки подчеркивали безукоризненные линии торса и длинных ног. Но не только фигура, какой мог позавидовать наездник или танцовщик, обращала на себя внимание. У признанного короля театра было лицо, которое не

забывается, как произведение истинного искусства, — заостренное книзу, лишенное припухлости, с эластичной матово-бледной кожей, с тонким вырисованным ртом и красивым носом. Широкие прямые брови, глаза с приспущенными наружными углами, невысокий, но широкий лоб, прикрытый прядями седеющих волос, дополняли необычный облик. Редко природа создает столь гармоничную наружность. Самый притязательный художник, глядя на Ирвинга, не смог бы ничего изменить или дорисовать в его внешности, столь благоприятной для актера. Ирвинг легко превращался в Джингля, героя «Записок Пиквикского клуба», и шекспировских Шейлока, Гамлета и многих других персонажей, всегда достигал совершенства.

— Дорогой Генри, мистер Шоу только что хвалил ваше толкование Макбета.

— Этим он показал не только отвагу, так как многие приязные критики недовольны мною, но и истинное понимание. Я убежден в том, что Макбет мне удался. А уж кому кому, как не актеру, знать, что́ играет он лучше всего

— Женщины и люди творческие всегда сознают свои достоинства и недостатки, — сказала Терри, поежилась, взяла расшитую цветами шаль, набросила ее на плечи и продолжала Воображение Ирвинга — его лютый враг. Поддавшись ему, он стремится к невозможному, всегда не удовлетворен сделанным и горько от этого страдает.

— Вы правы, Элен Воображение — бич, который подгоняет нас, пока мы не падаем, как путники в пустыне, вконец измученные миражами.

— Но Макбет в последнем действии — это не мираж, мистер Ирвинг, это реальность. Вы поражаете зрителей каждым жестом, словом, мимикой. Тот, кто слышал ваш монолог, никогда не выйдет из-под его очарования:

> Ты меж людей единственный, с кем встречи
> Я избегал...

Вся сцена после битвы и поражения заражает нас фатализмом. Судьба, хотите вы сказать, только она одна вертит миром и людьми. Могучий Макбет обречен! Такова ваша философия. С ней можно не соглашаться в целом,

но она очень убедительна. Вы, несомненно, мистик, мистер Ирвинг.

— Вы не только саркастичны, но и проницательны! — удивленно воскликнула актриса. — Генри действительно увлекается всем таинственным, сверхъестественным. Я же бегу от всякой чертовщины. Не мне, а ему следовало бы играть леди Макбет. Он был бы неповторим в сцене безумия, где столько колдовских чар.

— Я уже не раз доказывал вам, дорогая Эллен, что именно ваш характер соответствует этой роли, — с легкой улыбкой заявил Ирвинг и поднялся, прощаясь. Он торопился к поезду в Эдинбург, чтобы уточнить там еще раз детали для постановки шекспировского спектакля.

Когда он вышел, Терри сказала:

— Если б вы знали, как неутомим Ирвинг, когда он погружается в работу над пьесой! Нет большего знатока Шекспира, нежели он. Мне пришлось ездить с ним по тем местам, где происходит действие «Макбета». Мы тогда исколесили всю Шотландию. Искали «выжженную степь». Помните, конечно? Вместо нее нам открылось цветущее картофельное поле, да редкость красивое и безмятежное. Пришлось нам самим дорисовывать, как выглядело бы это место после пожарища.

Эллен Терри показала Шоу рисунки декораций и костюмов. Ей предстояло впервые выступить в роли необузданной, тщеславной леди Макбет. Шоу увидел яркорыжий парик, платье, вышитое зелеными жучками, шаль цвета старого мха и вилой травы, столь любимого прерафаэлитами.

— Освещение на сцене будет как бы сквозь разноцветные витражи, в костюмах удлиненные линии, а краски те же, что и на полотнах Россетти, — пояснила актриса. Затем она продолжала, все более увлекаясь: — Таинство исполнения непостижимо. Все, даже то, как носить платье, роняешь платок, должно быть проникнуто поэтичностью, иначе охладит зрителя, вместо того чтобы сделать его одним из сопричастных к сцене. Не правда ли, лучший спектакль тот, о котором вспоминаешь, как о первом свидании? Драматическое действие обязательно должно волновать зрение, слух, ум и сердце, тогда оно несет на себе благословение Аполлона.

Даже когда Эллен Терри говорила несколько патетично, это было настолько искренне, что не вызывало

в Шоу, очень чувствительном к фальши, никакого раздражения. Все в этой исключительной женщине нравилось ему, вызывало его уважение и восхищение. Молодой литератор ушел от великой актрисы, ободренный дружеским приемом, в раздумье над тем, не заняться ли ему самому драматургией. Он побаивался этого жанра тем сильнее, что тянулся к нему как к чему-то наиболее увлекательному и дорогому. Малейший неуспех в театре казался ему, обычно спокойно и насмешливо относившемуся к другим профессиональным неудачам, пугающим.

Под защитной маской сарказма и юмора Бернард Шоу упрятал очень мягкое и впечатлительное сердце. В двадцать пять лет, после того как побывал на бойне, он стал вегетарианцем. Он совершенно не выносил женских слез и горестей ребенка. Сострадание к рабочему классу толкало его к социальному бунту, но он побоялся всякого насилия, даже во имя свободы и справедливости. Шоу оставался фабианцем, хотя часто возмущался хитрой медлительностью своих единомышленников. В эти годы в читальне Британского музея он впервые прочел «Капитал» и поразился гениальности открытий, сделанных Карлом Марксом. Он написал об этом статью и навсегда сохранил чувство преклонения перед титаническим умом, создавшим стройную систему взглядов. Но, поняв их и приняв как единственно верную теоретически науку об экономике, Шоу испуганно отступил от философии марксизма и его тактики. Он боялся очистительной бури, которая, как ему казалось, могла принести с собой разрушение.

Чем-то едва уловимым Шоу был сродни Генри Пруитту. Истинный художник, он слышал пульс цветов и тосковал по выдуманному раю. Он обладал безбрежным воображением, и оно часто уберегало его от опасности любопытства, оставляя целомудренным и чистым.

«Нетрудно вообразить себе, что произойдет, если я начну так, от нечего делать, волочиться за какой-нибудь женщиной», — думал он. В его мозгу с калейдоскопической быстротой проносились различные картины. Он мысленно озвучивал их, а в конце концов разражался смехом. Шаг за шагом Шоу прослеживал развитие возможного сюжета, и все получалось во много раз интереснее и забавнее, чем если бы он спешил прервать его

в действительность. Точно так же он не стремился к путешествиям. У него была своеобразная, неисчерпаемая фантазия, и он видел себя странствующим по всему миру, преодолевающим препятствия, радующимся приключениям и знакомствам, не выезжая, однако, за пределы Лондона. Он не хотел разочаровываться в яви и наслаждался мышлением и воображением, напряженно расширяя свои знания и встречаясь с людьми разных классов в огромной столице Англии. В этом многоликом людском становище он нашел и героев для своей первой пьесы, которую писал влюбленно и бережно.

Бернард Шоу часто встречался с Эвелингами. Ему очень нравилась Элеонора, в которой он чувствовал ту же внутреннюю простоту и ясность духа, которые так берег в себе самом. Но Эвелинг был ему неприятен.

Два ирландца, уроженцы Дублина, оставались чужды друг другу. Шоу отличался совершенным душевным и физическим здоровьем, он никогда не лгал и любил глубину мыслей и чувств. Эвелинг был нервным, неуравновешенным человеком, уклончивым и лгавшим часто даже самому себе, легко скользившим по поверхности явлений. Он старался казаться натурой сложной, вдохновенной, хотя был, по сути, трезв, умен, расчетлив и свысока посматривал на Шоу, считая его мудрое остроумие клоунадой. Зная, что Тусси и Энгельс презирают фразерство, Эвелинг пытался прослыть ребячески доверчивым, непосредственным человеком. Как многие слабохарактерные люди, он иногда искренне верил, что таков от природы. Но эта роль часто утомляла его и сердила. Он любил лесть, ласкающую сердце каждого честолюбца. Среди богемы, второсортных актрис и неудачливых литераторов Эвелинг чувствовал себя куда более удовлетворенным, чем в обществе Тусси и ее друзей.

Энгельс, приглядываясь к тому, что писал и делал Шоу, постепенно проникся к нему симпатией как к несомненному таланту. Тем огорчительнее был для него первость Шоу фабианскому обществу и его откровенные колебания в пору напряженной борьбы пролетариев.

Семейная жизнь не приносила Тусси радости. Эвелинг, как все эгоисты, уязвлял самолюбие жены; подавлял ее мелкими придирками, мучил длительными исчез-

понениями из дому, увертливостью и ложью. Непростимы обиды, наносимые близкому и преданному человеку тем, кто сам не дорожит любовью.

Претензии молодого журналиста были велики, заработки ничтожны. Элеонора изо всех сил старалась переводами, литературным трудом добыть побольше денег. Но это не всегда ей удавалось. Обращаться к Энгельсу она решительно отказывалась. Эвелинг же не брезговал займами у случайных знакомых, схватывался и скандалил с критиками, будто бы не оценившими по достоинству его пьесы. Элеоноре приходилось заглаживать дурные выходки мужа. С материнской осторожностью пыталась она успокоить его, ободрить, когда он впадал в уныние по поводу материальной неустроенности.

— Ах, Тусси, ты готова жить в лишениях, как твои подопечные в Уайтчапеле и Ист-Энде, — укорял он жену. — Ты можешь питаться и одеваться, как они, отказывать себе в комфорте и развлечениях. Я тоже не меньше тебя делаю для продвижения социализма, но именно поэтому не могу довольствоваться столь малым, как ты. Жизнь только для людей, для борьбы, избранная тобой, вовсе не красит женщину. А я, увы, эстет. Посмотри на себя в зеркало! Ты заметно стареешь и дуришь, теряешь женственность.

Элеонора, которой было всего тридцать с небольшим лет, чувствовала себя виноватой. Но чем больше она старалась угодить мужу, тем придирчивее он становился. Так избалованный ребенок тиранит слишком податливую и нежную мать. Равнодушие Эвелинга, его скучающий взгляд, когда он оставался один на один с женой, и его оживление в обществе выбивали молодую женщину из обычного равновесия. Она была слишком горда, впечатлительна, чиста, чтобы пытаться бороться за любовь мужа с помощью разных уловок, которые всегда презирала.

Есть обиды, подчас кажущиеся совсем маленькими, которыми мужчина больно ранит женщину в самое сердце. Они, словно едва видимые трещины, со временем способны, однако, расколоть даже камень. Незаметно для других, мимоходом Эвелинг мучил Тусси. То это была брезгливая гримаса, то пренебрежительное непонимание, когда она, принарядившись, встречала его на пороге, то грубое слово или резкое обращение к ней без имени.

В один из вечеров Эдуард казался особенно недовольным и капризным.

— Зачем, — сказал он, — ты снова купила мне галстук? У тебя нет понимания, что нужно мужчине. Опять выброшенные деньги!

Элеонора продолжала работать над заказанным переводом и ничего не ответила.

— Я видел сегодня мисс Перси, актрису из Свободного театра, — продолжал Эдуард, отбросив злополучный подарок, с таким тщанием выбранный для него женой. — Какой у нее прелестный нос. Клеопатра. Не то у тебя! Бедняжка, ты, верно, очень страдала из-за формы своего носа.

За ужином Эдуард, видя, что Тусси спокойна и, как всегда, приветлива, сказал ей раздраженно:

Как некрасиво ты опять ешь. Извини, но у меня пропадает аппетит.

Через несколько минут он оделся и поспешно вышел из дома.

Тусси, как это часто бывало, осталась одна с книгой книг, бумаг и крадущимися тихо по квартире черными кошками в красных ошейниках. Стараясь отлечься от гнетущих мыслей, она взяла с полки книгу Роберта Браунинга, поэта, стихи которого очень любили в семье Маркса.

Элеонора вспомнила удивительную поэму Браунинга «Флейтист из Гаммельна».

Тусси зажгла камин и раскрыла заветный томик. Большой и сложный поэт сочетался в Браунинге с человеком огромной души и воли. Таким именно должен быть писатель. Не только творчество но и вся жизнь его учит, как относиться к людям.

...Есть у меня и особый дар
Волшебной силой тайных чар
Вести повсюду за собою
Живое существо любое,
Что ходит, плавает, летает,
В горах или в море обитает.
Но чаще всего за собой я веду
Различную тварь, что несет нам беду:
Гадюк, пауков вызываю я свистом,
И люди зовут меня пестрым флейтистом[1].

[1] Перевод С. Маршака.

Печальная улыбка долго не исчезала с лица Тусси. Легкие углубления между крыльями носа и верхней губой, как русло для будущих морщин, пролегли уже на ее все еще снежном, милом лице...

Имя Роберта Браунинга навсегда связало с именем Элизабет Баррет, на которой он женился еще в 1846 году. Через пятнадцать прекрасных лет он похоронил жену в Венеции.

Их роман стал сюжетом для многих книг и пьес.

Элизабет была в течение долгих лет неизлечимо больна и прикована к постели. Богатый, набожный и деспотичный купец Баррет держал свою дочь в жестоком повиновении. Элизабет было уже сорок лет, когда она познакомилась с Браунингом. Она проводила дни в чтении и писала стихи. Зная жизнь лишь благодаря острому зрению сердца и мысли, она первая написала о маленьких рабах, проданных на фабрики, о детях, гибнущих от непосильного труда и голода. Ее «Плач детей» потряс мир, как созданная в те же годы «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу.

Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих людей,
Из-за них вы слышите ли, братья,
Тихий плач и жалобы детей?
«В золотую пору малолетства
Все живое — счастливо живет,
Не трудясь, с ликующего детства
Дань забав и радости берет.
Только нам гулить не довелося
По полям, по лугам золотым:
Целый день на фабриках колеса
Мы вертим — вертим — вертим!
. . . . . .
Бесполезно плакать и молиться,
Колесо не слышит, не щадит:
Хоть умри — проклятое вертится,
Хоть умри — гудит — гудит — гудит!
Где уж нам, измученным в неволе,
Ликовать, резвиться и скакать!
Если б нас теперь пустили в поле,
Мы в траву попадали бы — спать...» [1]

Роберт Браунинг и Элизабет Баррет, найдя друг друга, с первой встречи поняли, в чем их общее счастье. Но не могло быть и речи о том, чтобы отец полупарализованной калеки согласился на ее брак с бедняком поэтом.

[1] Перевод Н. А. Некрасова.

Но сразу решилась Елизабет на побег из родного дома, понимая, что станет обузой любимому, который к тому же был значительно ее моложе. Но любовь и тут совершила чудо.

Крепкий духом и телом, Браунинг силой своего большого чувства сумел внушить поверившей ему Елизабет ощущение здоровья. Никогда не стоявшая ранее на ногах женщина неожиданно начала ходить. Тайком покинула она мрачный, удушающий кров отца и вырвалась к солнцу, людям и творчеству.

Вспоминая чудесную историю жизни двух английских поэтов, Элеонора переносилась мыслью к покойным отцу и матери, к их любви, столь же верной и сильной.

Поздно ночью домой вернулся Эвелинг, снова ласковый, ребячливый. Он закружил Тусси в танце, сам принялся подогревать ожидавший его ужин, подразнил кошку по прозвищу Ведьма и в лицах изобразил тех, с кем провел вечер.

И снова в маленькой квартирке стало весело и тепло.

«Главное — верить, — думала Тусси. — Доверие накапливается крупинками, а исчезает глыбой».

Она решила, что несправедлива к мужу, слишком уж чувствительна к мелочам. Ведь Эдуард — талантливый взрослый ребенок, смелый и деятельный революционер, образованнейший человек, способный пожертвовать собой ради их общей цели. В эту ночь Тусси заснула с мыслью о том, что она будет счастлива до глубокой старости, до самой смерти. Жизнь без Эдуарда казалась ей немыслимой.

Нередко Эвелинги бывали в Стратфорде-на-Эйвоне. В этом историческом уголке свято берегли средневековые архитектурные памятники, восстанавливая или конируя разрушившиеся от времени коричневые здания с узкими зарешеченными окнами, в стиле ранней готики. Века не изменили трактиров с раскачиваемыми ветром резными вывесками и фонарями. В низких залах, на выступах больших продымленных, почерневших очагов, как сотни лет назад, стояли кувшины и тарелки, к стенам прижимались сундуки и стулья с высокими спинками. Они могли бы многое рассказать о давно исчезнувших посетителях этих домов.

Над городом возвышалась далеко видимая серая церковь. В ней, под простой плитой в полу, покоился прах

человека, возвеличившего свою родину значительно больше, нежели битвы при Ватерлоо, пиратские захваты островов и дальних стран.

От могилы Шекспира до двухэтажного, ничем особо не примечательного домика, где он умер, очень близко.

В небольшом саду, посыпанном гравием, растут кустарники и деревья, сменившие зеленых современников Шекспира.

Тусси нравился обвитый жимолостью и легендами колодец, расположенный неподалеку от железной ограды. Этот водоем считался магическим. Как гласило предание, стоило, заглянув в его темное зеркало, произвести три раза заветное желание, чтобы оно осуществилось. И Тусси, любившая сказки, наклонялась и пытливо заглядывала в узкий проем, где стоячая зеленоватая вода пахла водорослями. В ясные ночи в колодце отражались звезды.

«Легка была бы жизнь, если бы фантазия управляла ею», — думала Тусси

В шекспировскую годовщину в непритязательном, вместительном театре маленького городка ставились пьесы, принадлежавшие, как «Илиада» и «Одиссея», вечности. Эвелина никогда не пропускала торжественных представлений

Пребывание в городке Шекспира радовало Тусси. Общение с великим поэтом началось для нее так давно, что она не могла бы вспомнить, когда и как. Он стал частью ее самой, другом в радости и печали. Тусси знала наизусть каждое слово и леди Макбет, Порции, Дездемоны, Офелии Она не раз исполняла эти роли на подмостках. Хотя Тусси не стала профессиональной актрисой, ей приходилось играть в театре не только в шекспировских пьесах, но и в современных Она нередко выступала вместе с мужем.

В Стратфорде-на-Эйвоне Тусси любила каждый тихий тупичок и витой переулок. Ей нравилось под руку с Эдуардом гулять по городу, как бы задержавшему время на несколько столетий. Некоторые улицы приводили их в поле. По вечерам они пили эль в старой таверне. Им очень не хотелось возвращаться в Лондон, разрушать очарование прошлого, покидать ставшую дорогой могилу, на которой, согласно желанию Шекспира, был высечен наивный сонет.

Как и Эвелина, Тусси томила загадка, которой было окутано имя гения. Кто же на самом деле автор бессмертных творений, известных всему миру?

Мог ли небогатый владелец театра, часто странствовавший по Англии актер, который жил и умер в маленьком, привольном, открытом со всех сторон ветрам и солнцу городке Стратфорде, на меланхолической речке Эйвон, написать произведения, требующие не только поразительного проникновения в душу человека, но и редчайших знаний? Где и когда научился он столь глубоко всемирную историю, географию, медицину, военное дело, сказания и эпос, особенности разных диалектов родного языка?

Быть актером и писать пьесы в век Елизаветы считалось позором для знатного человека. Светский театр, далекий от христианских мистерий, долгое время был в глазах аристократии затеей скоморохов и шутов. Память о величии и славе античных постановок вытоптала инквизиция, прокляла клерикальная власть.

Может быть, Шекспир прикрыл своим именем какого-нибудь друга, талантливого ученого блестящего собеседника, знатока небесных тел и земли, поэта лорда Бэкона или других титулованных господ, посвятивших перо феерической сцене, ее жрецам и жрицам?

После смерти Вильяма Шекспира, в минуты прощания, в соборе собрались все его друзья, много выдающихся умов времени, и каждый положил у гроба усопшего стихи и другие изъявления скорби на бумаге. Кто знает, не в каменной ли гробнице, в подвале собора, находится ответ на сомнения, обуревавшие многих? Но в Англии погребенный прах священен, и никто не прикасается к саркофагу.

Покидая могилу, Тусси земно кланялась тому, кто так щедро обогатил людей.

— Все равно, кто б ни был ты, гений, создавший Кориолана, Виндзорских проказниц, Гамлета! Мы называем тебя Шекспир. Мы чтим это имя, — говорила Тусси.

Она размышляла над бессмертием, которое несут в себе великие произведения, поднимающие человека, одаривающие его познанием и счастьем. Исчезают цивилизации, города, меняется общественный строй, а слепой Гомер, безымянные творцы эпических поэм, мыслитель и

поэт Шекспир, как феникс, встают из пепла еще более молодыми. После смерти же великих властолюбцев, разрушителей, эгоистов и завоевателей остаются только руины, хаос, вековое горе. Даже имена этих людей символизируют деспотизм. Человечество тяготится злом и увековечивает добро.

Больше, чем сходные вкусы в литературе, чем пылкое влечение к театру, Элеонору и Эдуарда сплела единая идея и боевой темперамент в политической борьбе. Сдержанная, отлично воспитанная Тусси была олицетворением спокойствия в семье и среди друзей, но на трибуне, в комитете, руководившем забастовкой, и уличной схватке с полицейскими она загоралась, становилась неистово смелой. Когда начальник лондонской полиции запретил митинг безработных, рабочие попробовали пробить себе дорогу на одну из самых больших площадей столицы — Трафальгар-сквер. Это было нелегким делом. К Трафальгар-скверу примыкали улицы, населенные зажиточными лавочниками и чиновниками. Неподалеку располагались казармы. Чтобы запородить узкие переулки, хватало одного взвода солдат.

Элеонора не признавала отступлений.

— Вперед, друзья! — крикнула она. — Это всего лишь маленькое препятствие. Пусть знает полиция, что мы ее не боимся!

— Вперед! — раздалось со всех сторон.

Навстречу демонстрантам двинулись полицейские, размахивая увесистыми дубинками.

— Пусть будет стыдно тем, кто воюет с мирными, безоружными людьми, требующими труда! — снова раздался звучный голос предводительницы безработных.

Внезапно со стороны Сент-Джемсского сквера показались вооруженные солдаты: начальник лондонской полиции Уоррен призвал на помощь войска. В рядах демонстрантов началось смятение. Перевес сил был не на стороне рабочих. Эдуард Эвелинг тщетно призывал свою группу остаться на поле бол.

— Зачем рисковать головами? Мы хотим работы, а не крови, — говорили вокруг. Ряды шедших на митинг заметно таяли. Эвелингу пришлось отойти. Однако на противоположном конце, неподалеку от колонны, увенчанной статуей Нельсона, Элеонора и несколько ее дру-

зей докеров продолжали сражаться. Дочь Маркса упорно сопротивлялась, пока ее не арестовали.

Лишь к вечеру она была выпущена на свободу, и в воинственном настроении, но крайне растерзанном виде Тусси добралась до дома Энгельса, где ее ждали встревоженные близкие. Подкрепившись крепким чаем, Элеонора написала саркастическое, резкое письмо в газету «Пэл-Мэл», рассказывая с возмущением обо всем происшедшем у подножия горделивой колонны Нельсона, воздвигнутой в честь победы Англии над Наполеоном.

Энгельс, постоянно переписывавшийся с Лаурой и Полем Лафаргом, сообщил им подробности происшествия с Элеонорой, не преминув рассказать о ее мужественном поведении.

«Дело будет решаться в суде... — добавлял он, — возмущение рабочих грубостью полиции так велико, что в ближайшее воскресенье возможно новое столкновение».

Он писал о филистерах, относя это презрительное понятие не только к представителям буржуазии, но и к некоторым рабочим. Острый глаз его увидел среди английских пролетариев этот новый и опасный тип приспособленца. «Поскольку филистер, как буржуа, так и рабочий, стоит за действия в рамках законности, можно ожидать, что следующая демонстрация окажется слишком слабой, чтобы попытаться сделать что-либо серьезное. И тогда было бы жаль видеть, как лучшие люди жертвуют собой, чтобы спасти честь трусов, которые отступают уже теперь», — заканчивал Энгельс свое письмо в Париж.

Нет большей беды для труженика, нежели безработица. С нею приходит голод и унижение. Над убогими жилищами окраин, почерневшими от дыма очагов, над золотушными присмиревшими детьми, над женщинами без возраста, скрывающими нищету под заштопанными платками, липким туманом нависает тогда отчаяние. Безработица! Несколько грошей — подачка благотворителей — не могут вынести на тушка здоровых людей, ищущих труда.

С утра до сумерек к комитетам стекались безработные в стоптанной обуви и полинявшей одежде. Нередко у входа в Гайд парк или на Трафальгар-сквер собирались люди на собрания, прозванные «подпебесным парламентом». Не обращая внимания на погоду, в туман либо дождь, выступали здесь с речами Элеонора и Эдуард.

В Гайд-парке также встречались с рабочими Энгельс и Лесснер. Оба друга, как бравые воины, бодро шли по дорожкам. Энгельс, однако, не расставался с крепкой палкой. У него уже несколько лет побаливали ноги и заметно ослабели мышцы. Врачи и он сам, отлично зная медицину, не могли доискаться этому причины.

Поиски заработка выгнали на улицу докеров, мускулистых и потемневших в гавани от непогод и ветра. В одном из переулков Бекер-стрит Энгельсу и Лесснеру повстречался ярко-рыжий парень, исполнявший глуховатым и ломким голосом под собственный аккомпанемент на волынке куплеты о Мери.

— Вот уж правда, нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет, — угрюмо заметил Лесснер.

— Знает ли этот молодец, кто написал слова исполняемой им песни? Великий Бёрнс!

Энгельс и Лесснер разговорились с уличным певцом. Он оказался безработным рудокопом, странствующим уже несколько месяцев по городам и селам острова. Покинув навсегда сырую Северную Шотландию, страну рудников и лесов, он работал близ Лондона на прокладке дороги.

Тысячи углекопов и ткачей превращены теперь в портных, — выспренно пояснил он.

— В портных? оживился Лесснер. — Как же так? Я, брат, тоже из этого цеха.

— Мы перекраивали и перешивали дорогу. Распарывал швы асфальта, наставляли заплаты, вделывали клинья, расширяли полотно, закругляли края.

А-а, вот оно что! — разочарованно улыбнулся Лесснер.

— Да, дружище Лесснер, он тебе не коллега.

— Отчего же? — рассмеялся парень. — Пыхтящий утюг-пресс точь в-точь отглаживал складки, заплатки и подшитые куски на шоссе, как борта твоих сюртуков. Это была не худшая работа, хотя часто мы спали, подложив камень под голову, и паечот харчей было не густо. Да только как кончили чинить дорогу, нас рассчитали. Долго я бродил по рудникам. Ничего не нашел. Тут-то и вспомнил я про дедову волынку и песни, которые пела покойница мать.

Энгельс решил направить его в комитет безработных к Элеоноре, а пока снабдил небольшою суммой.

Прощаясь, шотландец пожелал снять новым знакомым шуточную песенку о бережливости своих земляков. Пропев ее закончивался словами:

Прощай, моя радость, любовь моя,
Я готов умереть ради тебя,
Но, увы, подсчитал, мои похороны
Обойдутся в целых две гинеи.

Сколько у тебя детей? — спросил Лессер.

— Пока четверо. — Рудокоп сразу погрустнел. — Жена, да хворый, дряхлый отец, да семья брата, убитого обвалом в шахте.

— Многовато. Так уж повелось у пролетария. Есть нечего, а семья куда больше, чем у человека с деньгами. Шотландские богачи — особенно прижимистый народ. Они соединяют в себе редкий деловой, прямо-таки торгашеский нюх, лукавство, врожденную пасмешливость с редчайшим ханжеством, — добавил Энгельс. Кстати, Шотландия на протяжении многих веков поставляла Англии королей, королев, священников, министров и парламентских ожаков. Представьте, за последние годы почти все премьеры были шотландцами. Один Гладстон чего стоит...

— Что и говорить. Медоточивая оса. Глаза всегда устремлены в небо, а лапы шарят по земле: скаред и лицемер, реакционер, прикидывающийся святошей, — сердито сказал Лессер.

— Правильно, старина. Зажиточные шотландцы славятся пристрастием к богословскому чтению и финансам. Стоит вспомнить великого финансиста, банкира Джона Ло. До того неутомим он был в делах и столь влеком к наживе, что в восемнадцатом веке уже побывал в тайной России, а тогда это была смолая затея. Да... В любой гостинице Шотландии на почтом столике лежит пухлая Библия, пугающая грешников адом и возмездием, и все же нигде на острове не смеются громче и раскатистей, не пляшут веселее, не поют мелодичнее и проникновеннее, чем на улицах шотландских селений.

Лучшие пароходы, курсировавшие между Англией и Северной Америкой, принадлежали компании «Кьюнард Лайн». Плавание длилось, если не было сильных штормов, неделю.

В конце лета 1888 года на большом судне «Сити оф Берлин» Фридрих Энгельс впервые в жизни отправился в Нью-Йорк. С ним поехали Карл Шорлеммер и побывавшие недавно в Новом Свете с пропагандистскими лекциями супруги Эвелинг.

В молодости, долго странствуя по морю, Энгельс перечитал книги по мореходству, увлекся этим, вел бортовой дневник и основательно изучил навигацию. Он со знанием дела рассказывал о причинах поражения Великой Армады, о свойствах каравелл и фрегатов. Он умел ставить паруса и постиг особенности новейших паровых двигателей.

Море действовало на Фридриха укрепляюще. Он не скрыл своей радости, когда ступил на палубу и, раздув ноздри короткого, чуть вздернутого носа, глубоко вобрал в себя знакомый запах освежающего бриза. Из гавани приятно пахнуло дегтем, водорослями и мокрым канатом. Медленно удалялись плоские, болотистые берега Англии, и долго еще подмигивал океану убогий глазок деревянного, похожего на каланчу маяка Данджнесс. Вооружившись биноклем, Энгельс следил за уплывающей в тумане землей, а когда ее не стало видно, прикрыл глаза защитными очками. В последние годы зрение его значительно ухудшилось, болели веки, и эта беда ограничивала возможность письма и чтения.

В природе ничто не может сравниться с подавляющей силой океана. Громадный корабль — ничто среди океанских волн. Энгельс чутко ощущал масштабы планеты и вселенной.

— Вот она, еще не обузданная энергия, занимающая так много места на земле. И ее подчинит себе человек, хотя мозг его — всего лишь песчинка по сравнению с этими колоссальными валами.

Высокий, ладный, с прямой спиной юноша, все еще не утративший военной выправки, Энгельс легко двигался вдоль борта. Ветер, точно пропитанный электрическими искрами, шевелил его густые русые волосы.

— Посмотри, — сказала Элеонора Эвелингу, — наш Генерал не только сын бога войны, но и в родстве с Нептуном. Уверена, Фридрих хотел бы испытать грозный шторм...

В это время Энгельс подошел к Тусси и, как бы угадывая ее мысли, сказал:

— Буря в океане!.. Это — величественное зрелище.

— Нас изрядно трепало здесь полтора года тому назад. По правде сказать, я думала, ураган разнесет судно в щепы.

— Ну нет, — возразил Энгельс. — Современное кораблестроение учло любую силу ветра, и десять баллов для нашего «Сити оф Берлин» не страшны. Кстати, каково совпадение! Мы, истые немцы, отправились к устью Гудзона на пароходе «Город Берлин». Не попахивает ли это шовинизмом?

— И все-таки здесь лучше, чем на «Сити оф Чикаго». Мы возвращались из Нью-Йорка на этом же «Сити оф Берлин». Капитан — сущий морской волк, интересный рассказчик, — ответила Тусси.

— А главное, — вмешался в беседу Шорлеммер и скорчил веселую гримасу, — главное, друзья, в здешнем буфете мартовское американское пиво. Первый сорт. Что до сухих вин, не похвалю, им не догнать Старый Свет. Вкус неплохой, но никакого букета.

— Итак, все складывается хорошо. Выехали в срок, — заключил Эвелинг. — Фридрих терпеть не может отклонений от намеченного плана.

— Надеюсь, что хотя мы все кроме Эвелинга, родились на континенте, нам не грозит морская болезнь, — сказал Энгельс. — В себе я уверен. Кстати, я захватил несколько увлекательных книг, сказки Салтыкова-Щедрина, например. Они, правда, на русском языке, но я смогу перевести вам кое-что. Есть и роман, написанный по-румынски. Я, кажется, теперь значительно лучше освоился с этим оригинальным романским языком.

— А я везу с собой «Городскую девушку», — отозвалась Элеонора. — Ты так одобрительно отозвался об этой повести, что мы с Эдди решили прочесть ее. Где же, как не в океане, можно спокойно нагнать упущенное!

— Вы, несомненно, не засните над книгой Маргариты Гаркнесс, — оживился Энгельс. — Я обычно предубежден против дамского рукоделия в литературе и боюсь так называемых гениальных женщин. Они разнятся Кантипы, всякое критическое замечание мужчины объявляют проявлением насилия привилегированного пола. Но «Городская девушка» — это маленький шедевр. Он делает честь своему автору, обладающему мужеством настоящего художника: ведь без отваги нет искусства.

— Сюжет, кажется, не нов? — спросила Элеонора.

— Да, пролетарка соблазнила зажиточным человеком. Но даже изрядно потрепанная фабула оживает и обновляется под талантливым пером. Гаркнесс удалось, помимо правдивости деталей, создать типичные характеры в типичных обстоятельствах. Я писал ей, что реализм, который я имею в виду, проявляется независимо от взглядов автора. Бальзак, которого я считаю самым крупным мастером реализма, несмотря на симпатии к аристократии, раскрыл передо мной больше убедительных, чисто экономических деталей, чем историки, статистики, писавшие о французском обществе.

— Ты и Маркс всегда восхищались Бальзаком, — сказала Элеонора.

— Еще бы! Это великий художник. Его «Человеческая комедия» — элегия, посвященная разложению высшего общества. Но как ни любит он представителей «голубой крови», его пронзает горечь, а сатира — убийственная, когда он заставляет действовать этих дорогих его сердцу людей. Я не раз говорил тебе и о том же писал Гаркнесс, что считаю величайшей победой реализма и ценнейшим достижением Бальзака то обстоятельство, что писатель сумел выступить против своих собственных классовых симпатий и политических предрассудков. Он видел неизбежность падения титулованного дворянства и не оправдывал его, и он же отгадал настоящих людей будущего среди тех, где единственно можно было их найти.

В пути Энгельс с откровенным интересом приглядывался к американцам, которых было немало на пароходе. Женщины, рослые, с энергичными лицами, в белых блузочках и длинных колоколообразных юбках, напомнили ему своей внешностью шведок и немок.

— Смотри, Тусси, — сказал Энгельс, прогуливаясь с ней по палубе, — как ни стараются заокеанские дамы продемонстрировать свою принадлежность к самому новому обществу мира, а получается это очень наивно. Такая же прыгающая походка и целомудренный испуг, когда ветер поднимает подол их платья, как и у наших немецких деревенских красоток. Им куда более подошло бы приседать в реверансе, чем расхаживать под руку с мужчинами. Бедняжкам никак не скрыть изрядной доли физической и духовной неуклюжести, присущей наследственной чертой нашей германской расы. Побесе-

довал с ними за обедом и разочаровался. Судя по первому впечатлению, американцы обоего пола вовсе не обладают превосходством над нами, европейцами. Ничто не выявляет в них новый, молодой национальный тип. Наоборот, мне думается, они придерживаются мелкобуржуазных привычек, какие давно устарели в Европе, и напоминают мне провинциалов на парижских улицах.

— Тебя ждет еще много сюрпризов, — предупредила Тусси.

— Внешнюю культуру янки приобретут, конечно, но с духовной им будет труднее.

Океан доставил Энгельсу и его спутникам, не боявшимся качки, неизъяснимое наслаждение.

Переезд прошел благополучно, и на восьмой день «Сити оф Берлин» вошел в широкое устье Гудзона и мимо бесчетных паромов, судов, яхт и верфей приблизился к статуе Свободы.

Небольшой буксирный катер доставил пассажиров на берег, к длинному деревянному сараю, где таможенники произвели осмотр багажа. И вот перед спутниками открылся длинный и мало чем примечательный Нью-Йорк. От порта к центру шел трамвай. Невысокие дома из коричневого камня были однообразны, но зато особняки на Пятой авеню, где жили богачи, резко отличались своей архитектурой. Рядом с конной изящного французского ната с берегов Луары высился несколько грубый деревянный сруб, напоминавший постройку, в которой ютились первые ирландские колонисты в Виргинии. Тут же нажившийся промышленник, выходец из Польши, выстроил себе бетонежный дом наподобие костела, а его сосед решил удивить город, воспроизведя палаццо, восхитившее его в Венеции. Все стили зодчества нашли приверженцев среди полообеспеченной буржуазии.

— Это весьма сумбурная выставка архитектуры и, главное, чванства процветающего капитала, кричащего о толщине своей мошны. Типичные нувориши. На всех материках они одни и те же, — заметил Шорлеммер, когда нескладный, хоть и поставленный на добротные рессоры экипаж проезжал по улице миллионеров.

На набережной Нью-Йорка возводили первый четырнадцатиэтажный дом — самый высокий на всей планете. Толпы любопытных бродили вокруг строительных лесов, упиравшихся, как говорили, в самое небо.

Энгельс с друзьями направился к этому великану, чтобы посмотреть на работу каменщиков. Узнав в них итальянцев, он заговорил с ними на их родном языке.

Безработица и нищета погнали венецианцев за океан, здесь они считались лучшими мастерами своего дела.

Шорлеммер поинтересовался известковым раствором, скрепляющим громады, и взял мастерок, чтобы испытать смесь. При этом он рассказал, что свыше двух тысяч лет назад римляне впервые в истории человечества применили, вместо сухой кладки из огромных тесаных каменных блоков, небольшие камни, скрепленные особым раствором.

— Вначале, — объяснил ученый-химик окружившим его строителям, — раствор укладывали между двумя стенками пригнанных друг к другу камней, а позже — кирпичей. Тогда же люди начали широко пользоваться бетоном и обожженным кирпичом, а для облицовки — мрамором. Изобретение раствора произвело революцию в строительном деле. Немногих искусных каменотесов Древнего Египта, Греции и Рима заменили необученные рабочие, часто рабы. Их руками и были созданы громадные здания и бетонные древнеримские своды, которые стоят и поныне.

— По сооружениям, воздвигнутым руками каменщиков, легко проследить все этапы развития мировой цивилизации, — сказал Энгельс. — Пирамиды, крупнейшие из сооружений, когда-либо созданных человеком, стоят в Египте уже пять тысяч лет. Добыча камня в каменоломне, отеска его блоков, доставка к месту стройки, подъем и укладка при уровне техники в царствование, например, Рамзеса Второго, требовали соединенных усилий огромного числа людей.

— Вы, верно, зодчие, не так ли? — спросил один из каменщиков.

Тусси, не слушая завязавшегося оживленного разговора рабочих с Энгельсом и Шорлеммером, закинув голову, смотрела на вздымавшуюся перед ней многоэтажную громаду. Таких она еще никогда, нигде не видывала. Это было строение будущего века. Молодая женщина вспомнила маленькие дома Лондона, где прошла ее жизнь. Они казались ей копилками горестей и радостей семьи Маркса.

Вестминстерское аббатство, Тауэр, собор Парижской богоматери принадлежали прошлому. Тусси думала о том, что дома с неопровержимой точностью рассказывают о

людях, в них живших, о войнах и революциях. Многие из них вошли в историю человечества и охраняются как реликвии.

На строительном дворе четырнадцатиэтажного дома стоял неумолкаемый гул. Энгельсу и Тусси нравился хаос созидания, груды кирпича, балок, бадьи с раствором, похожие на паутину механизмы. Незаметно их вовлек в свой круговорот порыв, которым здесь жили люди. Америка строилась и меняла свой захолустный облик.

Напротив дома, где остановились ненадолго Энгельс, Шорлеммер и Эвелинги, быстро вырастало высокое здание нового, самого большого в Америке универсального магазина. И невольно, просыпаясь, Энгельс подходил к окну, чтобы посмотреть, как за ночь каменщики подняли стены строящегося крыла дома. Утром он часто видел каменщиков во весь рост, а возвращаясь поздно вечером домой, находил на фоне темнеющего неба только их плечи и головы поверх свежевыложенной ленты стены.

Зрелище за окном доставляло Фридриху куда больше удовольствия, чем то, что он видел в гостинице, где обстановка поражала старомодностью. В спальне стояла громоздкая мебель допотопного образца с латунными дугами вместо ручек и множество разностильных этажерок, кресел, настолько тяжелых, неудобных и претенциозных, что время изгнало их из употребления европейцев еще в начале века. В этом молодом государстве, возникшем на девственных тучных землях, жили люди, накрепко привязавшиеся к наследству давно ушедших поколений. Удивляли Энгельса и повозки на нью-йоркских улицах, столь нелепые, что их невозможно было бы отыскать даже в самом бедном крестьянском хозяйстве Старого Света.

— Вероятно, ими пользовались первые переселенцы, и по сей день они милы их потомкам, — посмеивался Энгельс, — впрочем, эти уроды не одиноки на местных. Здесь сохранился и другой тип транспортного ихтиозавра, наемная карета, которую сорок лет назад изгнали с лондонских улиц. Пассажиры вталкивают друг друга в это сооружение сзади и рассаживаются внутри, как в омнибусе. Теснота там такая, что люди сталкиваются лбами, сворачивают друг другу носы набок, а уж что происходит с брюками, юбками и обувью, невозможно описать.

Необычное впечатление производила на европейцев и городская толпа, весьма разнородная и пестро одетая.

Особенно бросалось в глаза пристрастие зажиточных женщин к огромным кашмирским шалям, заменявшим им верхнюю одежду, к широким вышитым тальмам, пляшущим украшениям множеством перьев и цветов, и к различным драгоценностям.

Чтобы узнать, каков Нью-Йорк на самом деле, Эмгрель побывал в районе Бауэри. Туда устремлялись эмигранты, которых сотнями ежедневно выбрасывали в направлении на Остров слез тюмы прибывающих издалека пароходов. Американцы считали их чужаками и обрекали на страдания, прежде чем давали права гражданства. Но надежда, напоминавшая азарт игроков, сообщала новоприбывшим силы. Забывая о неудачниках, они мечтали оказаться в числе тех немногих, которые, прибыв в Нью-Йорк без гроша, стали впоследствии миллионерами.

Горькую чашу испил поначалу и «человек упрямой справедливости», друг Маркса и Энгельса, немецкий изгнанник Фридрих Адольф Зорге. В Америке он очутился в 1852 году совершенно случайно: будучи больным, сбежал с парохода и лишь в океане узнал, что едет не в Австралию, куда намеревался переселиться, а в Нью-Йорк. Так решилась его судьба.

Негостеприимной оказалась для него новая земля. Часто Зорге не имел крова и пищи. Ночи напролет проводил он на скамейке парка под открытым небом. Все, казалось, ополчилось на него, даже звезды и холодное пустое солнце на рассвете. Но в такие-то времена, как на войне либо в тюрьме, лучше познаются люди.

Сын священника, солдат баденско-пфальцской повстанческой армии, Зорге покинул Германию с отступающим революционным войском, так как был заочно приговорен судом к расстрелу. В Швейцарии он жил впроголодь, питаясь чашкой кофе и куском хлеба, на которые зарабатывал, то батрача в деревнях, то нанимаясь чистить ружья в тире и на стрелковых состязаниях. Зато именно в Женеве встретил он Вильгельма Либкнехта и стал членом местного просветительского общества немецких тружеников. На всю жизнь подружился он с Иоганном Беккером и другими коммунистами соратниками Маркса и Энгельса, и эти люди привели его к науке о коммунизме. От них он узнал о «Коммунистическом манифесте». Зорге оказался ревностным посетителем Общества рабочих,

... Есть ли миг в жизни более значительный, чем тот, когда хаос бытия вдруг озаряется могучим лучом мысли и мятущийся человек обретает себя и устремляется по единственно нужному ему направлению?!

В конце 1851 года власти заставили Зорге покинуть Швейцарию. Его деятельность в просветительском обществе стала тому причиной.

Начались скитания. Из Бельгии, где он давал уроки немецкого языка в частной школе и находился под надзором полиции, его вскоре выслали по доносам, полученным из Швейцарии. Упорно прячущий под внешней суровостью и резкостью большую душевную мягкость и чувствительность, настойчивый в любом деле и верный до самозабвения, Зорге слыл у одних медведем и грубияном, у других — надежнейшим и простодушнейшим из людей.

Преследуемый, изгоняемый отовсюду, он отправился в Англию, где на Дин-стрит в крайне стесненных обстоятельствах жил тогда с семьей Маркс. Эта встреча глубоко запала в сердце одинокого революционного странника. Автор произведений, которые определили навсегда взгляды Зорге, оказался таким, каким он и хотел его увидеть. Чувство доверия и уважения к учителю еще более возросло у ученика.

Так и не найдя подходящей работы в сырой английской столице, Зорге отправился искать пристанища в Австралию, но очутился в Нью Йорке.

Как и в Швейцарии, лишения и материальные невзгоды не помешали ему найти настоящих друзей. Познакомившись с молодой немкой, он полюбил ее и встретил полную взаимность. Катарина навсегда стала его неизменным спутником и подругой. Девушку не смутило, что имущество обоих после свадьбы состояло всего из одного стула, стола и койки.

С детства Зорге хорошо играл на разных инструментах и пел. Его родители, разносторонне образованные люди, увлекались музыкой. Дед, отец Зорге и он сам сызмала проводили много времени, извлекая волнующие глуховатые протяжные звуки из церковного органа. Зорге хорошо знал также народные мелодии и мастерски исполнял романсы, которые любил напевать и Энгельс.

Связь Зорге с Энгельсом, благодаря непрекращающейся переписке, продолжалась. Как и в годы существования Интернационала, Фридрих Зорге возглавлял

развивается пролетарское движение в Соединенных Штатах.

...Разомкнув объятия, два Фридриха — учитель и ученик — взволнованно и нежно всматривались друг в друга. Зорге был на восемь лет моложе Энгельса, но выглядел значительно старше. Жизнь нарядно потрепала его, как и многих натурализовавшихся в Америке немцев, привезших с родины пустой кошелек. Проверенный в боях ветеран, один из руководителей Международного Товарищества Рабочих, последователь Маркса, он поднял меч на божество молодой державы — капитал. Началась непрерывная война с его жрецами.

Энгельс, слегка запинаясь, как всегда, когда его обуревали сильные чувства, заговорил первым:

— Рад, очень рад видеть тебя здоровым и боеспособным. Ведь нас, участников баденско-пфальцского похода, осталось всего два-три — и обчелся. Лессер, ты да я... Время, знаешь ли, беспощадный палач. Хорошо еще, что я успел добраться сюда, прежде чем песенка моя будет спета.

— Ты, Генерал, обещал мне побывать в Новом Свете еще во времена Гаагского конгресса. Сколько же лет, однако, я ждал тебя!

— Действительно. Мавр и я собирались за океан. Да, частенько мы с ним мечтали о таком путешествии...

Два однополчанина беспорядочно, как это всегда бывает после разлуки, перебивая друг друга, вспоминали прошлое.

Долго не могли они наговориться. Общие воспоминания спаяли их, многого из того, о чем они толковали, никто более не знал на земле, оно исчезало даже для всепроникающей истории, ибо, не оставив осязаемого следа, жило теперь только в памяти двух-трех людей.

Когда к старым друзьям подошла Тусси, Зорге взял ее за руку и сказал тепло:

— Приятно видеть снова дочь нашего Мавра. Кстати, Энгельс, ты представить себе не можешь, каким успехом пользовались полтора года назад ее лекции в Штатах. Молодец! Ваш муж, Элеонора, тоже талантливый оратор. К тому же особенно важно, что оба вы выступали не только перед немецкими, но и перед английскими слушателями. У вас такое хорошее американское произношение.

— О, не говорите об этом. Язык янки — это камень преткновения для лондонских жителей, — сказала живо Элеонора. — Англичане растягивают гласные, а в Новом Свете их вообще заглатывают.

— Более того, — вмешался в разговор Энгельс, — южане здесь выговаривают английские слова таким образом, что их с трудом понимают северяне. Это напоминает мне йоркширцев с их картавостью и лондонский кокни. Им никогда не сговориться.

— Миссис Маркс-Эвелинг просто и содержательно объяснила, в чем суть социализма, и привлекла этим в нашу партию много новых членов. Что и говорить, супруги Эвелинг и Либкнехт были настоящими послами социалистической Европы!

— Я не сомневался в том, что их миссия будет выполнена должным образом. Тусси еще в восьмилетнем возрасте проявляла повышенный интерес к политике. Она писала письма к самому президенту Аврааму Линкольну, и Маур обещал их отправить через океан, — подмигнув молодой женщине, заметил Генерал.

— И представьте, я была так наивна, что верила, будто отец отсылал мои каракули в Белый дом

Жена Зорге, пожилая гостеприимная женщина, позвала Тусси, чтобы показать ей своего внучонка.

Энгельс попросил Зорге никого не оповещать о его приезде.

— Я здесь по настоянию врачей, отправивших меня за океан для перемены климата, и не более чем турист, частное лицо, приехал ненадолго, чтобы обнять тебя. Признаться, хотелось также, прежде чем отправлюсь к праотцам, самому увидеть страну Колумба, дополнить своими наблюдениями то, что знаю из твоих писем, статей и разных книг.

Разговор длился долго.

Окрепнув и захватив власть, буржуазия Соединенных Штатов тотчас же принялась сгонять индейцев с исконно принадлежавших им земель. Получив в свою собственность бескрайние, не тронутые плугом поля, капиталисты и фермеры за гроши скупали труд негров и бездомных переселенцев. Повсюду закипела работа. Земледелие и индустрия процветали. Начался бурный экономический рост нового государства, быстро нагонявшего прихлынувшие европейские державы. Возможность получить

сказочно высокие прибыли соблазнила денежных магнатов Англии, Франции и Германии, и они охотно укрепляли США своими займами и вкладами. Богатейшие природные условия, буржуазно-демократический строй, свободный от тяжелой поши феодальных пережитков, непрерывно пополнявшийся эмигрантами запас рабочей силы способствовали тому, что страна за несколько десятилетий превратилась из чисто земледельческой в могучую промышленно-аграрную. Притом океан стал для молодой республики надежной крепостной стеной, непроходимым барьером, и она могла не разорять своей казны содержанием дорогостоящих армий.

С удивительной скоростью множились железные дороги, развивалась индустрия, небывало наживались капиталисты, а рабочие жили все хуже. Отчаявшиеся, павшие от постоянной нужды, безработицы, неверия в будущее, они легко склонялись к бунту анархистами и проповедниками различных социальных сект, групп, обществ. Ирландцы, немцы, поляки, евреи, скандинавы, итальянцы, чехи, французы, китайцы не всегда умели сговориться между собой, зная лишь родной язык, но, несмотря на несхожесть привычек, темпераментов, понятий, стремились к содружеству. Они понимали, что сильны только купно. Как бы ни назывались рабочие объединения — орденом ли рыцарей труда, лигой или обычным союзом, — они все боролись за восьмичасовой рабочий день и сносный заработок.

Хотя прошло уже два года после страшного происшествия в Чикаго, оно продолжало тревожить умы не только социалистов, но и всех справедливых людей. Зорге знал участников трагедии и говорил о них с суровой горечью.

— Ты присутствовал на суде? — спросил Энгельс.

— Да. Это было издевательство над законностью. Весь процесс от начала до конца превратился в вызов правде ради классовых инстинктов и расчета, — с глубоким возмущением рассказывал Зорге. — Еще раз мир убедился, что победившая буржуазия — это хищный зверь, не знающий жалости к тем, кто угрожает его собственности и власти. Нет ничего более чудовищного, чем республика Соединенных Штатов. Председательствующий на суде и не старался отрицать свою заинтересованность в том, что-

бы осудить невиновных, убить их во что бы то ни стало.. Четверо вождей чикагских рабочих были повешены.

— Я так надеялась, что палачи не решатся их казнить, — с тоской сказала Гусси.

— Увы, общественное мнение честных людей оказалось бессильным, и Парсонс, Шпис, Энгель и Фишер умерли геройски.

— Ничто не порождает большей зоологической злобы, нежели та, что обуревает собственника, когда он пугается за свой капитал, — заметил Энгельс.

— Буржуазия проклятого города на озере Мичиган, верная себе, не только оплатила суд палачей, но и поставила за свой счет на площади Хеймаркет памятник, на котором возвышается полицейский с дубинкой в руке. Беспримерный случай!

— Не расскажете ли вы, Зорге, как все это было, — попросил Шорлеммер.

— Извольте. Начну с характеристики Шписа, Фишера и Парсонса, которые руководили чикагскими рабочими. Хотя взгляды их не всегда совпадали с нашими марксистскими, но это были достойные уважения, мужественные люди, которых даже враги не могли опорочить, как ни старались. Все трое редактировали смелые и, более того, часто дерзкие рабочие газеты — это их погубило — и отличались необычной для американцев образованностью. Да, такие парни — клад, гордость социалистического движения. Прокурор знал, что делает, когда, оклеветав, добивался их казни. А дело было так. Чикаго, как вы все знаете, после пожара семьдесят первого года не только отстроился заново, но и стал крупнейшим и красивейшим городом Штатов. Чего там только нет! В знаменитых скотобойнях живая свинья за пятнадцать минут превращается в сосиски, ветчину, крем для укрепления волос и переплеты для Библии. Заводов множество, миллионеров тоже. Таков этот многоликий город среди бесконечных прерий.

— Еще бы, Чикаго! — отозвался Эвелинг.

— Десятки железных дорог соединяют город со всеми уголками Америки и Канады, — продолжал Зорге. — Пароходы без числа снуют по внутренним озерам. Интересно, что население города космополитическое. Немцев примерно треть, ирландцев тоже. Затем французы, итальянцы, славяне. Сущий Вавилон, смешение языков и народов.

А тысяча восемьсот восемьдесят шестой год, когда случилось несчастье, был вообще очень бурный. Стачка железнодорожников, столкновения между должностными лицами и членами ордена рыцарей труда, а также с поддержавшей их Американской федерацией рабочих. И тут еще после сумятицы на пивоваренном заводе и у булочников, объявивших, что объединяются в союзы, началась забастовка у Маккормика. Этот шотландец производит косилки и прославился как редкий кровопийца. Черт знает что!.. Недавно сам голодал в Глазго и прибыл в Америку в трюме, впрочем — и уже все забыл. Не желал поднять заработную плату и сократить часы труда, эта сволочь уволила бастующих и стала набирать «скэбов» — так здесь называют штрейкбрехеров. Рабочие, вспылив, вышли на улицу, требуя своего. Этого только и ждали хищники Маккормика. Несколько провокаторов смутили толпу. В цеху, где взамен уволенных расположились «скэбы», выбили окна. Началась драка. Появился отряд полиции. В сваре несколько блюстителей порядка были оттиснуты. Не больше. Тогда раздался залп по безоружным трудящимся. Многие упали мертвыми либо ранеными. Потрясенный виденным Шпис бросился в редакцию своей газеты, написал и опубликовал на немецком и английском языках листовку, которую затем распространил по городу.

Зорге достал из папки узкий лист с печатным текстом и протянул Тусси. Она прочла его вслух. Этот документ стоил впоследствии жизни его автору.

«Месть! Месть! Рабочие, к оружию! Трудящиеся, сегодня после полудня цепные псы ваших эксплуататоров убили шесть ваших братьев у Маккормика. За что убили их? За то, что они нашли в себе смелость быть недовольными участью, которой их наделили эксплуататоры. Они требовали хлеба, а получили свинец: мертвые надежно молчат!»

— Что же было дальше? Откуда взялась бомба? — не терпелось Шорлеммеру.

— Чикаго не смирился. В этом, однако, были повинны власти. Они подстрекали через своих агентов народ к беспорядкам. Распознав провокацию, тот же Шпис и его сотоварищи выпустили газеты с призывом к спокойствию. «Спокойствие!» — взывали плакаты. На другой день на площади Хеймаркет стихийно возник митинг. Хотя ораторов были миролюбивыми, собравшихся оцепили сом-

нутым строем двести полицейских. Командир отряда потребовал распустить собрание. Последний из ораторов, англичанин Филден, соскочил с импровизированной кафедры — помоста на телеге — со словами: «Расходитесь, друзья, наши намерения мирные!» В это именно мгновение в рядах полиции взорвалась бомба. Кто ее бросил, зачем? Почти никого из казненных вообще не было на площади.

— Мне писали из Чикаго, — сказал Энгельс, - что капиталисты устроили пир людоедов и плясали от радости. Все конституционные гарантии личной свободы были растоптаны. Произвол дубины утвердился в рабочем Чикаго. Последовало запрещение профессиональных союзов, собраний. Полиция арестовывала всякого, кого хотела, и врывалась в квартиры, производя там обыски. В городе фактически утвердилось осадное положение

— Да, так было, Генерал. Весь состав редакции немецкой газеты, руководимой Шписом, вплоть до наборщиков, оказался в тюрьме. Бургомистр Чикаго, хвастаясь тогда перед представителями прессы, сказал, подчеркивая могущество буржуазии: «Если бы английская королева поступила таким же образом, как мы в эти дни, она потеряла бы и корону и страну». Наглость и цинизм судей на процессе Шписа и его единомышленников не знали предела. Председательствующий громогласно признал, что суд вовсе и не утверждает, будто бомба была брошена этими обвиняемыми Их алиби оказалось неопровержимым, — закончил Зорге и, помолчав, присовокупил: — И все-таки их повесили.

И Энгельса и Зорге беспокоило укрепление во Франции монархистов, объединившихся вокруг бывшего военного министра генерала Буланже.

— Без императора нет империи, без Бонапарта нет бонапартизма. Система скроена по человеку, на нем она держится, с ним она падает. Я это объяснил Бебелю и рад, что ты согласен со мной, мой старый дружище. Идол вроде Бонапарта может быть и о трех головах, как Триглав у древних славян Поморья. Но в этом дело. Главное, чтобы он не появился. Теперь французские монархисты объединились для коронования Буланже. Совершенно неважно, что представляет собой этот новый выскочка — глуп или умен, добр или зол. Чем он ничтожнее, тем выгоднее для тех, кто его возвеличивает. Без Буланже нет буланжизма. И его

но должно быть, чего бы это ни стоило. Лафарги и Гед недооценивают опасность диктатуры, нависшей над Францией. Они объяснили успех нового божка на выборах его солидарностью с интересами народа. Непростительное верхоглядство!

Энгельс ударил кулаком по столу и начал заикаться от возбуждения.

— Доверчивость в политике граничит с преступлением. Нам, свидетелям кровавых дел прохвоста Луи Бонапарта, ясно, чем может кончиться недомыслие и медлительность левых партий в борьбе с авантюристами, которых, как резиновый мяч, надувают монархисты и буржуа.

Зорге, обеими руками опершись о стол, с нескрываемой любовью смотрел на вспылившего Энгельса и не прерывал его. Американский друг Генерала был невысоким, широкоплечим, сутулым человеком с неулыбчивым, грубоватым лицом и острыми глазами, выражение которых могло быть то суровым, холодным, то насмешливым, то мечтательным и добрым. Как все сильные, много испытавшие люди, Зорге был разным в разных обстоятельствах. Но единственное, в чем он оставался неизменным, — это резко выраженное чувство правды и справедливости. Редко у кого были столь «говорящие» и проницательные глаза.

...Нью Йорк нравился Энгельсу яркостью красок неба, обилием солнечного света. После хмурого Лондона этот город казался особенно веселым и даже пестрым, как его шумливые, громко спорящие, всегда куда-то торопящиеся жители. Грохот надземной железной дороги и перекличка пароходных сирен вливались в симфонию города, растянувшегося в длину, как коса на реке. Пучком лучей казался издалека Бруклинский мост, прекрасное плетение из стали, чудо механики и искусства, висящее над водой так высоко, что под ним свободно движутся большие суда.

Из Нью-Йорка Энгельс и его спутники поездом отправились в Бостон. В вагонах, в противоположность английским, где царит тишина, было шумно. Всюду валялись окурки и клочки бумаги.

Как и в гостиницах, в коридорах вагонов стояли плевательницы, но это, как и красноречивые приглашения на стенах ими пользоваться, не действовало на публику.

Привычка плеваться, по мнению американцев, явилась следствием курения крепких сигар, сухости воздуха и чрезмерно натопленных паром помещений, а часто и желанием показать всем свое право делать, что хочется.

Бостон оказался тихим городом, раскинувшимся на большом пространстве, с низкими домами и деревьями вдоль выложенных кирпичом тротуаров.

В предыдущую четырехмесячную поездку по Соединенным Штатам Тусси многое узнала в этой противоречивой, необычной стране, насчитывающей менее двух столетий существования. Выступая с лекциями вместе с мужем, она объездила большие и малые города, приобрела друзей и знакомых среди представителей разных классов. Дочь Маркса заметила, что зажиточные женщины более развиты, начитанны, воспитанны и сердечны, нежели мужчины, превратившиеся в постоянно действующую машину для добычи долларов. Нередко жены и дочери стеснялись их. Дамы побогаче увлекались музыкой, театром, собирали предметы искусства, путешествовали, меценатствовали, окружали себя свободолюбивыми бунтарями и художниками не то от скуки и прихоти, не то из тщеславия.

Но чтобы изучить живую Америку, где люди так же различны, как страны, которые они покинули, где климат столь разнообразен, что, когда в Нью-Йорке бушует метель, во Флориде зреют апельсины, нужно привыкнуть к ней.

Тусси избегала поспешных обобщений. Новый Свет чем-то пугал ее. Не имея своей уходящей в глубь веков истории, как ствол без корня, этот обжитой шестьюдесятью тремя миллионами человек материк нес в себе загадочные неожиданности. Десятки вероисповеданий, предрассудков, смутных представлений о прошлом, слившись, образовали здесь полноводную, бурную и мутную реку. Каково будет ее течение, что принесет она в океан человечества?

На Бостона Энгельс с друзьями отправился на Ниагарский водопад и затем в Канаду. Фридрих по-прежнему был самым неутомимым и бодрым из всех путешественников. В спортивных брюках и ботинках, в удобном полосатом пиджаке с множеством карманов, размахивая палкой, он шел всегда впереди своих спутников, подбадривая их и подшучивая над Шорлемером, который постоянно

отставал. Великий водопад всем казался давным-давно виденным, так часто его огромные водяные пряди воспроизводили на невозможных картинах. Но оглушающий рев воды поражал своей дикой мелодией.

Тусси, глядя на водопад, испытывала страшное чувство: ее тянуло броситься вниз, в пучину, умчаться неведомо куда. Солнце, пробившись сквозь струи, окрашивало их в лазоревые тона. Когда же оно скрылось, очертания берегов стали строгими, мрачными. Шорлемер так загляделся на меняющий цвет водяной поток, что едва не упал со скалы.

— Когда снизу смотришь на это величайшее из явлений природы,— сказал он, отряхивая промокшую плащ-разлетайку, — кажется, что седая женщина, громадная, как атлант, распростерлась в воде и опустила вниз свои волосы.

— Браво, очарованный химик! Ниагара вдохновила тебя, пробудила поэта в душе ученого. Однако обопрись на мою руку, дружище. Я боюсь, что сирены замашут тебя и утопят. Слышишь мощное пение? Каким слабеньким кажется по сравнению с ним голосок нашей Лорелеи с тихого Рейна! Его заглушил бы вон не прекращающейся здесь грозы. Все так относительно на свете.

И как, однако, прекрасно! И милый Мозель, и чудесная Ниагара. Смотрите, ведь она светится! — громко сказала Тусси.

Энгельс положил руки на плечи стоявших по обе стороны от него Тусси и Эдуарда. По-юношески радовался он впечатлениям, которые с такой щедростью разбросаны обычно на дорогах путешественников в незнакомых странах. Для него Америка была не просто источником новых впечатлений. На ее землях жили некогда племена, о которых он писал недавно в книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

— На этих берегах обитали первобытные люди, — говорил он, когда небольшой пароход вошел из озера Онтарио в реку Святого Лаврентия. — Они мало чем отличались от нас, но были, однако, совершенными дикарями. Найдя огонь, они познали божество. Их женщины, должно быть, были красивы, с волосами до пят, а мужчины храбры. Тогда трусливые погибали рано.

Энгельс жил всегда в нескольких измерениях. Мысль его уносилась ввысь, проникал во вселенную; она охва-

тывала всю плаиету и притом обладала способностью глубоко проникать во время, добираясь до начала начал. Пульс жизни бился для него с удесятеренной силой, и в лексиконе не было плоских слов «скука» или «уныние». Великий гуманист, интересовавшийся человечеством от самого его исторического детства, принимал бытие как нечто безбрежное и драгоценное. Старость и неизбежность конца не только не умаляли дара жизни, а делали его значительно дороже. «Не родиться вовсе, не жить из страха перед небытием — какая трусливая глупость!» — думал Энгельс. Он, как все деятельные натуры, любил сосредоточенное одиночество. Тусси легко угадывала, когда Генерал погружался в размышления: ей удавалось поймать его отсутствующий взгляд.

— Пойдемте, — сказала Тусси мужу и Шорлеммеру, увидев, что Энгельс задумался. — Не надо мешать ему. Пусть останется наедине с собой.

— Отлично, — проговорил химик, — но вряд ли он один, а не в чьем-то обществе. Может быть, про себя пробирает, ну, скажем, Либкнехта или кого-нибудь еще.

— Нет, нет! — Тусси улыбнулась. - Только не надо сердиться на Либкнехта. После Энгельса он был мне всегда самым родным.

— Надеюсь, так было до моего появления, — сказал Эвелинг, притворяясь рассерженным, и патетически закончил, став в позу грозного судьи: — Молилась ли ты на ночь, Дездемона?

Мгновенно входя в роль, Тусси ответила, растягивая слова и придыхая, как Элеонора Дузе:

— О мой Отелло, любовь к тебе не может ни с чем сравниться... То были чувства земные. Ты же мне послан небом.

— У Шекспира не так, но для данного случая точность необязательна, — весело смеясь, закончил сцену Шорлеммер. И толстыми коротковатыми руками принялся аплодировать.

Решив провести в Америке не более месяца, Энгельс строго придерживался намеченного маршрута. Осмотрев малонаселенную, прекрасную своими лесами и реками Каналу, он направился в Адирондак. Старого, тренированного альпиниста всегда тянуло в горы. Чем выше Энгельс поднимался, тем бодрее себя чувствовал. Оставив позади леса, затем кустарники, путешественники очутились в

тумане и наконец увидели скалы вершин и солнце. Эвелинги и Шорлеммер одна поспевали за Энгельсом.

Химик, у которого был гулкий бас, мог, дав себе волю, петь на просторе и фальшивить на верхних нотах или удивлять Тусси нижней октавой. Впрочем, Энгельс, обладавший чутким слухом, называл пение Шорлеммера чревовещанием.

— Советую слушать нашего достопочтенного ученого, приложив ухо к последней пуговице его жилета. Вот откуда извлекает он нижнее соль.

Говоря это, Генерал презабавно подмигивал Эвелингам, а Шорлеммер отвечал, притворяясь возмущенным:

— Профанация. Все, что говорит нам Фридрих, порождено завистью. У бедняги баритональный тенор, а характер баса-профундо. Какое печальное несоответствие!

Вдоволь посмеявшись, вся компания отправлялась дальше. Энгельс говорил, что по сравнению с местными колымагами прусские дорожные волокуши времен царя Гороха показались бы роскошными каретами. Пассажиры устраивались на козлах, на крыше и на узеньких сиденьях для шести человек. Дороги вполне соответствовали транспорту. Они представляли собой две колеи в песчано-глинистой бугристой почве.

— Да-с, вот когда мы смогли насладиться всеми достижениями культуры времен Тридцатилетней войны, — с обычным юмором заключил Генерал.

Путникам часто встречались негры. Белые американцы нередко звали их просто Джорджами, и они охотно откликались. В память о президенте Вашингтоне многие действительно носили это имя.

В провинции чернокожие фактически продолжали оставаться рабами. На одном из пароходов прохаживалась пышно разряженная дама, очевидно плантаторша с Юга, при ней находился согбенный, высохший, как тростник зимой, негр. У него были густейшие, постриженные бобриком волосы, и когда его белотелой хозяйке требовались шпильки, она привычным жестом доставала их из его похожей на шерстяную подушечку головы. Булавки с разноцветными металлическими головками торчали во все стороны из черных с сединой, коротких волос.

Молодые негритянки отличались стройностью. Они смазывали лица глицерином, считая блестящую кожу своим украшением. Тусси замечала, что Эвелинг засма-

рилается на черных красавиц, но подавляла в себе чувство ревности, казавшееся ей недостойным, гадким.

В пути Энгельс всегда отдыхал. Сейчас он решительно не желал встречаться с немецкими эмигрантами и назойливыми репортерами газет. Но в Нью-Йорке, куда снова прибыл Энгельс с друзьями, чтобы отправиться пароходом в Англию, ему не удалось избежать встречи с журналистом, записавшим для печати краткую беседу с ним. Представителем немецкой газеты, подкарауливших его, оказался маленький Теодор Куно, многочтимый знакомый Энгельса, один из рьяных борцов против Бакунина в Интернационале. Несколько лет назад Куно побывал в Лондоне.

Когда бы его ни сводила судьба с Энгельсом, они говорили о счастливых днях Гаагского конгресса. Есть особое свойство в жестоких испытаниях, если они прошли и не сломили души. Воспоминания о них становятся отрадными и укрепляют волю. Так однополчане хранят гордую память о сражениях и тяготах войны, окончившихся победой. Гаагский конгресс стал открытым поединком между последователями Маркса и Энгельса и анархистами, не побрезговавшими клеветой, чтобы уничтожить Интернационал.

— Да, это была схватка не на жизнь, а на смерть. Мы столкнулись впервые в истории рабочего класса с тайным заговором, прямо-таки с адской машиной, подложенной для взрыва не каких-либо эксплуататоров, а нашего товарищества самим сатаной Бакуниным! — взволнованно, как будто не прошло шестнадцати лет, припомнил Энгельс, когда Куно, бывший председателем следственной комиссии съезда, принялся вспоминать прошлое.

Куно особенно гордился тем, что едва не был убит одним из анархистов, который бросился к нему, подняв заряженный пистолет и угрожая: «Такой человек, как ты, заслужил пули!»

— Погибнуть от руки идейного противоборца — честь, — размышлял Куно. — Ненависть противника подчас приятна. Человек нуждается лишь в любви друзей. Только тот, кто очень низко пал, не имеет врагов.

Энгельс, Шорлеммер и Эвелинги начали собираться в обратную дорогу.

Тусси уезжала опечаленная. Вот уже четыре года, как Эвелинг писал для театра и несколько раз сам пытался

играть на сцене. В Америке шли три пьесы, написанные им самим, и одна в соавторстве. Это, как и в первую поездку, явилось причиной его особенно настойчивого желания оказаться в Нопом Спете. Тусси, с каждым днем любившая Эдуарда все сильнее, относилась к его произведениям с чрезмерной чувствительностью и не могла сохранять присущего ей во всем остальном острого критического чутья. Любовь, ослепляя, делала ее пристрастной. Она находила, что Элеанор талантливый, но еще недостаточно оцененный публикой драматург. Пьесы Эдуарда на сценах американских театров или без того громкого успеха, которого тщеславный ирландец так ждал. В глубине души Тусси все же сознавала, что муж ее, как всякий начитанный и бойкий журналист, может кропать не более чем литературные поделки. Но писателем не делаются, а рождаются, мозг и сердце художника — особый, сложный инструмент, такой же, как гортань и голосовые связки певца.

Пять прожитых совместно с Эдуардом лет не были легкими для Тусси. Ей приходилось не только угождать в быту, ухаживать за мужем — все это для молодой женщины с неудовлетворенным чувством материнства было не в тягость, но самовлюбленный, всегда немного полупомешанный Эдуард обрушивал на нее свои капризы, дурное настроение непонятого гения и требовал удобств и роскоши не по средствам. Как прокаженный и злой ребенок, он всегда жаловался на нездоровье, скуку и добивался права развлекаться, как ему хочется: играть в карты, посещать заведомо легкомысленных людей и доступных женщин, преимущественно актрис, будто бы нужных для исполнения ролей в его пьесах. Только почтительный страх перед Энгельсом удерживал Эвелина от того, чтобы не отдаться пламенным страстям и развлечениям, а Тусси, догадавшись об этом, вдруг поняла, какие несчастья ждут ее в будущем.

Ни Генерал, ни Шорлеммер ничего не знали о том, что происходит в душе Элеоноры. Полюбив противоположность мужу, она больше всего старалась не огорчать дорогих ей людей и прятала свою тревогу.

Энгельс остался весьма доволен путешествием. Он чувствовал себя помолодевшим на много лет. Различные недомогания исчезли, и даже больным глазам стало лучше. Он вспоминал с восхищением Ниагарский водопад, где

солнце такое же ласкающее, как в Ломбардии, а в ресторане всегда есть рейнландские вина.

Сентябрьским утром самое мощное новое судно, «Сити оф Нью-Йорк», вышло в свой четвертый рейс из Америки в Европу, и сначала ничто не предвещало осложнений в плавании. Внезапно начался сильный шторм. Палубы опустели, качка свалила многих пассажиров. Одна из машин отказала, вторая избежала аварии, но работала с чрезмерным напряжением. Энгельс и Тусси поднялись на закрытую верхнюю палубу.

— Вот уж прямо-таки библейский потоп, воистину разверзлись хляби небесные, — улыбаясь, сказала молодая женщина.

«Сити оф Нью-Йорк», казавшийся в порту огромным и несокрушимым, то падал в бездну, то взлетал к туманному небу. С оглушительным шумом схлестывались огромные валы и тучи. То была чудовищная схватка стихий с крошечным, но могущественным творением человеческого мозга и рук. Буря вслепую кидалась на корабль. Он же спасался, зарываясь в пучину, ныряя и забираясь снова на горы океанских волн.

Страх дикаря поднимался из прапамяти перед этим нашествием взбалмошенных вод. Побеждать его разумом и сознательной волей было радостно. Тусси вдруг захотелось перекричать ветер, но голоса ее не было слышно. Она засмеялась беспечно, как в детстве, когда выбегала в грозу ловить молнию.

К берегам Англии пароход пришел с двухдневным опозданием, но невредимым.

Елена Демут заметила, что ее ослабевшие ноги отекли. Она задыхалась, когда по старой привычке сбегала по лестнице в кухню или бросалась открывать входную дверь.

«Что это со мной?» — спрашивала она себя с недоумением.

Иногда Ленхен казалось, что она здорова. Тогда она принималась за уборку комнат. И сразу же острая боль возобновлялась.

«Когда сердце здорово, мы забываем о нем. Тащи, мол, ты ведь безотказное», — думала Ленхен. Она никому не говорила о том, что больна. Потеряв Женни и Карла,

Лепхен перестала бояться смерти. Страх полного исчезновения, казалось ей, происходит от жадности, зависти и неблагодарности. Но Елена Демут давно поняла, что все на земле принадлежит живым. Она никогда никому не завидовала. И, главное, она испытывала великую благодарность к жизни, которую считала всего лишь одним мгновением, данным ей, однако, счастье видеть, мыслить и чувствовать.

Лепхен решительно отвергла помощь врачей, не желая, чтобы они выдали друзьям ее тайну. На все расспросы о здоровье она отвечала, что не намерена умирать раньше, чем утвердится на земле правда и равенство, и чувствует себя превосходно. Ей не хотелось тревожить Энгельса, всегда занятого многочисленными делами.

В Лондон приехали из Парижа погостить четверо внуков Маркса. Дом на Риджентс-парк, степенный и тихий, зашумел, как птичник. Ежедневно к маленьким парижанам приходили не менее шаловливые дети Эллен-Пумпс. У Лепхен появилось много новых забот и обязанностей.

По-прежнему любимцем ее оставался старший из сыновей покойной Женни Лонге, Джонни. Он значительно вырос, но остался неутомимым заводилой всех забав и шалостей.

— Ним! - громко кричал он, взлетая на второй этаж и скатываясь вниз по перилам лестницы. — Ним, дай нам простыни, чтобы сделать бурнусы! Мы зулусы, воюем с племенем бедуинов.

Начиналась игра.

Сбившись с ног, Лепхен с трудом усмиряла оба войска, когда они собирались оккупировать рабочие комнаты Энгельса.

Вечерами Джонни и послушная ему команда меньших детей властно требовали сказок. Тусси усаживала их у камина и, охотно превращаясь в Шехеразаду, принималась фантазировать. Лепхен, сидя в кресле с неизменным вязаньем, наслаждалась нескончаемыми историями.

Тусси была великолепным рассказчиком. Подчас ее сменяла Пумпс, но, лишенная воображения, она предпочитала читать вслух какую-нибудь книгу.

Дети требовали сказку о приключениях Алисы в стране чудес.

Все обитатели Модена-Вилла еще двадцать лет назад прочли впервые фантастическую повесть оксфордского профессора математики Льюиса Кэролла «Алиса в стране чудес». Ученый внес в свое творение много остроумных и дерзких представлений, отчего книга его понравилась не только детям, но и взрослым. Она оказалась крылатой и облетела весь мир. Сам Льюис Кэролл не любил странствий и только единожды покинул родную Англию, чтобы отправиться в страну, привлекшую его своей противоречивостью и таинственностью. Это была Россия.

Лонхен отложила вязанье, чтобы еще раз послушать и посмеяться над разговором Алисы с Чеширским котом.

Вместе с маленькими Лонге Елена Демут несколько раз ходила в театр смотреть славившиеся английские пантомимы.

Одной из прекраснейших постановок была феерия «Гаис лодочник», где играли дети и участвовали животные

Покуда юные гости развлекались, озорничали, гуляли по городу в сопровождении Лонхен и Пумпс, Энгельс, заперившись у себя, работал над подготовкой документов к парижскому конгрессу.

К Энгельсу неожиданно нагрянул Шорлеммер. В доме был крайне взбудоражены известием о разводе Каутских.

Разлад в семье Каутских огорчил Лонхен, Тусси, Шорлеммера и Энгельса. Они не скрывали неприятного удивления. Письмо Луизы к Эде Бернштейну, другу Каутского, многократно перечитывалось всеми. Оно было написано покинутой женщиной умно, с большим чувством собственного достоинства и желанием во что бы то ни стало оправдать оставившего ее мужа. Луиза самозабвенно любила Карла, гордилась им. Даже когда он жестоко ее обидел, она его оправдывала и защищала.

— Поразительная женщина! — горячилась Лонхен. — Она считает своего Карла натурой столь исключительной, что готова принести себя в жертву ради его покоя и счастья с другой. А этот несносный сухарь не понимает, что его новая возлюбленная не захочет восхищаться им постоянно.

— Ты права, Ним,—сказала Тусси. — Предмет новой страсти Карла уже охладел к нему и обручился с Гансом, младшим из братьев Каутских.

— Это возмездие. Но вернется ли он к Луизе?

— Вряд ли. Да и зачем? Склонная посуда недолговечна, — заметила грустно после небольшой паузы Тусси. — Ларошфуко пишет, что никаким притворством нельзя ни скрыть любовь там, где она есть, ни вызвать ее там, где ее нет. Очевидно, Каутский слабохарактерен, — Тусси чуть не добавила «тоже слабохарактерень», подумал при этом о своем муже, — а чем безвольнее человек, тем чаще он меняет свои привязанности. Бедная Луиза!

Много в этот день говорилось в доме Энгельса о любви и браке.

— Когда-нибудь утром Карл проснется от глубокого сна и поймет, что совершил величайшую глупость в жизни, — сказал Фридрих.

Вечером, оставшись у себя в кабинете, он принялся за письмо к Луизе Каутской, которую уважал и ценил все больше и больше, по мере того как ближе со узнавал.

«...Известие, которое Эде сообщил уже Ниммн, поразило всех нас как гром среди ясного неба. Но когда я прочитал Ваше письмо, я вообще перестал что-либо понимать.

...Но все это ничто, — продолжал он, — по сравнению с тем восхищением, которое вызывает во мне Ваше героическое и исключительно великодушное письмо, — и это не только мое впечатление, это впечатление всех, кто его читал... В тот момент, когда на Вас обрушивается самый жестокий удар, какой только может получить женщина, — в этот момент Вы находите в себе достаточно самообладания, чтобы оправдывать мужчину, рука которого все же нанесла этот удар. Отказаться от такой великодушной женщины после пяти лет совместной жизни — этого я не в состоянии понять.

Вы говорите, что о виновности Карла не может быть и речи. Хорошо, в этом Вы — высший судья. Но это еще не дает права нам быть несправедливыми к Вам... Вы говорите о разводе как о единственно правильном выходе при ваших характерах. Но если бы с вашими характерами действительно нельзя было ужиться, то мы ведь тоже должны были бы это заметить и давно уже ждали бы развода как чего-то естественного и неизбежного...

Вы говорите о Карле: без любви, без страсти его натура гибнет. Если эта натура проявляется в том, что каждую пару лет требует новой любви, то он сам ведь

должен будет признать, что при нынешних условиях или такую натуру следует обуздать, или она запутает его и других в бесконечных трагических конфликтах...

Вообще ведь наши общественные отношения таковы, что мужчине куда легче совершить по отношению к женщине очень большую несправедливость, и много ли найдется таких мужчин, которые могли бы считать себя совершенно свободными от подобных обвинений? «Подите, вы не достойны женщин!» — сказал один из величайших людей, лучше всего знавший это по собственному опыту. И мне пришлось повторить это себе, когда я читал Ваше письмо...

...Но, что бы ни случилось, в одном я уверен: с Вашим мужеством Вы преодолеете все трудности, выйдете победительницей из всякой борьбы. Наши — мои и Ним сердечнейшие пожелания будут Вам сопутствовать. Мы с радостью сделаем для Вас все, что можем, — располагайте нами безусловно, и если когда-либо судьба снова приведет Вас сюда, считайте при всех условиях наш дом своим собственным».

После поездки в Америку зрение Энгельса несколько окрепло и глаза болели меньше. Но более двух часов подряд он не мог проводить за письменным столом. Мысль о необходимости довести до конца работу над третьим томом «Капитала» тревожила его постоянно, и он часто жертвовал перепиской с друзьями ради этого. Однако разводы Каутских настолько неприятно поразил его, что спустя несколько дней после письма к Луизе Энгельс обратился и к Карлу, желая предотвратить разрыв его с женой.

«...Твои родные не были довольны вашим браком, — писал Энгельс. — Я знаю по опыту в моей собственной семье, как трудно, а порой и невозможно, родителям быть справедливыми по отношению к зятю или невестке, вошедшим в семью вопреки их воле. При всем том родители убеждены в наилучших своих намерениях, но эти наилучшие намерения большой частью приводят лишь к тому, что создается ад для нового члена семьи, а постепенно и для собственного сына или дочери. Каждый муж может найти какие-нибудь недостатки в своей жене, и наоборот; это в порядке вещей. Но в результате

благонамеренного вмешательства третьих лиц это крат-
ческое отношение может перерасти в неприязненное чув-
ство и длительный разлад. Если у вас это было так, то
вы оба правы: Луиза в том, что нет оснований для раз-
лада между вами, а ты в том, что отношения фактически
разладились».

Энгельс отложил перо и, откинувшись в кресле, за-
думался. Он вспомнил свою покойную жену, так и не
признанную его матерью и многочисленными братьями
и сестрами.

«Филистеры, ханжи, — размышлял Фридрих о своих
родных. — Никто из них не встретил на своем пути такие
любящие и честные сердца».

Энгельс продолжил письмо Каутскому:

«Если же развод, безразлично по какой причине, был
настолько значителен, что ты серьезно принял решение
разойтись, то следовало, по-моему, прежде всего взве-
сить различие в положении жены и мужа при современ-
ных условиях. Мужу развод в общественном смысле не
наносит абсолютно никакого ущерба, он сохраняет цели-
ком свое положение, просто снова становится холостяком.
Жена теряет все свое положение, должна опять начинать
все сначала и притом в более тяжелых условиях. Поэтому
когда жена говорит о разрыве, то муж может делать все,
просить и умолять, не унижая себя; напротив, если муж
лишь слегка намекнет на разрыв, то жена, если она себя
уважает, почти вынуждена тотчас же пойти ему навстре-
чу. Из этого следует, что муж лишь в крайнем случае,
лишь после зрелого размышления, лишь вполне уяснив
себе необходимость этого, имеет право решиться на этот
крайний шаг и то лишь в самой деликатной форме.

...Если же ты, несмотря на это, захотел сделать пер-
вый шаг, то Луиза, право же, заслужила от тебя того,
чтобы ты сделал его, вполне отдавая себе в этом отчет,
а не в том угаре, в котором ты находился... и которому
так скоро суждено было рассеяться...

Ты говоришь, что тебе, очевидно, придется остаться
в Вене... Я бы на твоем месте испытывал потребность
прежде всего наедине с самим собою, вдали от всех
участников этой истории, разобраться в подлинном харак-
тере и последствиях всего происшедшего».

Любил ли Каутский Луизу когда-нибудь или брак их
основывался только на ее чувстве и поэтому был заранее

обречен на неудачу? Это уже не имело значения. Узнав, что Каутские окончательно разошлись, Тусси вспомнила слова отца, что развод лишь утверждает факт в действительности уже умерших отношений.

Этап гуськом и пешим строем двигался по сибирской тайге к Нерчинской каторге.

Я вынести могу разлуку,
Грусть по родному очагу,
Я вынести могу и муку —
Жить в вечной праздной
тишине,

Но пролябать с живой душою,
Колодой гнить, упавшей в пл,
Имея ум, расти травою,
Нет, это выше моих сил

Обычно в пути эту старую тюремную песню запевала Анна. Ей вторили идущие рядом каторжанки. Заунывный, протяжный мотив сливался с кандальным лязгом и звоном. Дорога к Чите пролегала сквозь таежные дебри. Гигантские кедры и сосны, яркие поляны, усыпанные огненными цветами, подавляли Анну. Ей казалось, что она снова стала маленькой девочкой и пугается, читая сказки. Глухая чащоба жила таинственно и будила беспокойство и недоумение. Природа равнодушно взирала на идущего мимо человека.

Но вот этап добрел до отлогого ската сопки, спускавшегося к небольшой речке. Серо-желтая Кара, приток полноводной, капризной Шилки, протекала между высоких холмов. Сопки, поросшие густым, зимой пад снегами казавшимся черным, хвойным лесом, крепостной стеной окружали остроги, угрюмо приткнувшиеся к большому частоколу. Точно тяжелая дождевая туча упала, разорвавшись клочьями, и заполокла тут землю.

У самого устья Кары находилась женская политическая тюрьма и при ней небольшая швейная мастерская, а в нескольких верстах выше, по берегу, выстроились здания политической мужской каторги, комендатура, больница и гауптвахта для провинившейся стражи. Поодаль стояли большие дома для уголовников.

Река Кара тянулась не более чем на двадцать пять верст. Истоки ее заняло Горное управление. Край изо-

биловал золотыми приисками, принадлежавшими царю. На них и работали каторжане.

В двух женских камерах находилось в ту пору всего десять каторжанок, совсем еще молодых, преимущественно народоволок. Две из них принадлежали к разгромленным кружкам Нечаева и Каракозова. Все они были революционерки крепкой воли и целеустремленной энергии. В большой и довольно светлой комнате с зарешеченными окнами, нарами вдоль стен, длинным, добела выскобленным столом, на котором лежали стопки книг, бумаги, карандаши и перья, Анна почувствовала себя словно дома. На высокой полке, затянутой ситцевой занавеской, виднелась различная посуда, хлеб и снедь. Глиняный горшок с цветущей геранью, поразительная чистота пола, табуретов, постелей, свежевыбеленная большая печь придавали помещению своеобразный уют.

Несколько женщин в ситцевых темных платьях под серыми арестантскими халатами окружили ее с теми экзальтированными, но вполне искренними, идущими от сердца возгласами, какие обычно сопровождают появление нового узника среди людей, проведших много дней без свежих впечатлений, в замкнутом кругу.

Анну забрасывали вопросами, и она едва успевала отвечать. На Каре уже слыхали о провале Дейча и Анны во Фрейбурге, о выдаче их немецким правительством жандармам России.

— Вы тоже состояли в группе «Освобождение труда»? Последовательница Маркса и Энгельса? Кстати, ваш попутчик Лев Дейч уже прибыл на Кару. Он прислал нам недавно письмо и справлялся о вас.

— Я осуждена как член «Народной воли», — уклончиво ответила Анна.

— Мы тоже, — сообщили несколько голосов.

Одна из каторжанок, молоденькая, стриженая, с круглым детским личиком, принесла Анне книгу и, плутовато подмигнув, сказала:

— Вот что мы сейчас читаем.

«Государственное право», сочинение Чичерина, Анну не заинтересовало.

— Откройте же книгу! — подсказали ей. Это оказался первый том «Капитала» Маркса на русском языке, переплетенный в маскирующую обложку. В камере Анна нашла и номер газеты «Социал-демократ», издававшей-

ся в Цюрихе. С этого мгновения она уже больше не удивлялась тому, что ее окружало.

Узниками Карийской политической каторжной тюрьмы были неукротимые бойцы, готовые отстаивать и защищать свое достоинство и идеи не только на свободе, но и в заточении. В глуши, на далекой сибирской окраине, какой была Нерчинская каторга и ее отделение Кара, их судьба часто полностью зависела от того или иного человека, пользовавшегося вместе со своими подчиненными безраздельной властью над арестантами.

Нигде человеческая личность не подвергалась стольким испытаниям, как в тайниках тюрем, крепостей и на каторге. Смотритель тюрьмы и комендант каторги могли по своей воле спасти или очень быстро свести в могилу заключенного. И большей частью эти должности замещались черствыми, выжившими из души, как некогда сказал Герцен, существами. Но бывали исключения, и на таком посту оказывался человек совсем иного склада. Таким был полковник Капанович, начальник Карийского политического каторжного острога. Более справедливого, умного, вежливого и сердечного коменданта ни до его появления, ни после не знала ни одна из многострадальных каторг Российской империи.

По требованию генерал-губернатора края барона Корфа, заявившего, что «тюрьма не дворец», все корпуса обнесли высокими остроконечными палями. Но быт внутри ограды, под замками благодаря Капановичу был сравнительно вольготный и не калечил душевно и без того измученных разлукой с близкими, выброшенных из общества людей.

В пору, когда Капанович был комендантом тюрем на Каре, там появилась большая библиотека. Заключенные могли получать также журналы и учебники, изучать языки, науки, общаться иногда друг с другом, переписываться и часто получать свидания с родными.

Когда за Анной захлопнулись ворота Усть-Карийской тюрьмы, жизнь в камерах била ключом. Политические каторжане создали странную самоуправляющуюся артель, где господствовали дружба и равенство. Это была крошечная республика, в которой законодательной властью стало общее собрание, а исполнительной — староста, избираемый большинством в каждой отдельной ячейке — камере.

Все деньги, поступавшие извне, от родных либо от Красного Креста, а также выделенные на содержание каторжан государством, составляли единую кассу, подконтрольную доверенным лицам. Часть этих средств выделялась на общее питание и отдельно — на значительно улучшенное для больных товарищей, а также на покупку книг и другие нужды. Остаток делился поровну между всеми заключенными. Обычно вещи, присланные на дому кому-либо из заключенных, отдавались наиболее нуждающимся или же разыгрывались в лотерею, а продукты обязательно распределялись между всеми.

Но особенно заботились все участники этой добровольной артели о своей библиотеке. Тюремное начальство не вмешивалось в выписку литературы и почти не проверяло ее. В переплетах с самыми невинными названиями хранились многие произведения Маркса и Энгельса. Их учение вызывало постоянные громкие споры между народовольцами и марксистами. Во время частых свиданий с близкими каторжане без труда передавали и получали от них книги, которые служили им также средством тайной переписки.

Анне очень нравился веселый рукописный журнал, составлявшийся совместно мужской и женской тюрьмой, «Кара и кукиш» и возникшее позже приложение к нему — шуточный «Листок объявлений». Каторжане выписывали «Вестник Европы» и «Ниву».

Различные работы в мастерских, заготовка дров скрашивали дни, поскольку были посильны и не сопровождались принуждением и грубостью. Но особенно радовали Анну дружба и братство, которые связали неразрывно женщин со всех камеры. Расхождения по вопросам революционной теории и стратегии не разобщали их. Это были совместные поиски, трудные раздумья вслух людей чистых и отважных, готовых без малейшего колебания отдать жизнь за победу социализма, за революцию. Диспуты устраивались по всей тюрьме, и никто не стыдился признать себя неправым, когда осознавал это.

Самым близким другом Анны стала Мария Калюжная, высокая, немного сутулящаяся девушка с каштановыми прямыми стрижеными волосами и лучистыми глазами, которые как бы вбирали в себя все, на что устремлялись. Анна так бывала захвачена этим ясным, вопрошающим и жадным взглядом, что не видела на лице

подруги ни вздернутого носа, ни пухлого рта, ни обильных веснушек.

Рядом с Марией Калюжной на нарах помещалась ее невестка — задорная, прехорошенькая Надюша Смирницкая, лучшим украшением которой была длинная русая коса.

Иван Васильевич Калюжный, брат Марии, был мужем маленькой Смирницкой. Он тоже отбывал свой срок в мужской политической тюрьме на Каре. Через разбитного уголовника по прозвищу «Голубь», работавшего хлеборезом и ежедневно разносившего «пайки», Калюжный посылал письма жене и сестре и получал от них ответы. В этой же камере жили молчаливая, много читавшая и учившаяся Мария Павловна Ковалевская и Лиза Ковальская, истосковавшаяся чахоткой, однако весьма деятельная и подвижная, отзывчивая и прямодушная молодая женщина.

Жизнь карийских заключенных замыкалась тюремной оградой, но так велики были их духовные запросы, так суровы требования к себе и своему поведению, что она почти не омрачалась унизительными столкновениями, сплетнями либо ссорами. Тяжкое это испытание: долгие годы непрерывно находиться вместе, без живительного притока новых впечатлений, сохранить внутренний свет и не проникнуться недоброжелательством к тем, кто насильственно скован с тобой одной цепью.

Был на Каре небольшой одиночный корпус, куда по особому ходатайству иногда уходили из общих помещений каторжане. Там они занимались самообразованием или писали свои труды.

В праздники узникам из расположенных на небольшом расстоянии одна от другой тюрем разрешалось проводить время вместе. Устраивались шахматные турниры, а летом состязания в городки и веселые чаепития. Далеко в сопках эхом перекатывались звуки стройного хорового пения, оживленный говор и раскатистый молодой смех.

С приходом весны заключенные работали на обширных огородах. Возвращаясь вечером в тюрьму, каторжане сажали цветы. Вдоль крыльца, подле остроконечной ограды, Анна посадила неприхотливые петунья, садовые ромашки, гвоздики и настурции. Но коротко было их цветение.

Однако Канаюнич пробыл в Каре всего четыре года. Смелость и честность чуть не довели полковника до

раскаяния и показания. В перехваченном властями письме карийского заключенного говорилось, что комендант каторги не зверь, как другие, а человек. Это вызвало недовольство губернатора. Доносы сослуживцев Кононовича доверили дело. Он попал в опалу. Вызванный к начальнику края, Кононович не боялся протестовать против предложенных ему изменений условий быта политических каторжан. Он написал об этом рапорт.

— Полковник, с вашими взглядами вы не можете служить начальником каторги, — заявил ему сановник, — сомневаюсь даже, чтобы вы вообще могли оставаться далее на государственной службе.

Но особенное возмущение комендант вызвал среди полицейских. Нерчинский исправник утверждал, что Кононовича следовало бы самого засадить в каторжный централ. Вскоре полковника отстранили от должности и перевели на военную службу.

Сразу же после его ухода отношение администрации к заключенным карийцам резко изменилось. Напуганный угрозами подпольных организаций Александр III потребовал самой жестокой расправы с революционерами, где бы они ни находились. Политические каторжане, которых пытались запереть в одиночные камеры либо поселить вместе с уголовными загнать в кандалы, лишить переписки с родными и права получать с воли посылки и книги, возмутились. В знак протеста они объявили голодовку. Началась длительная, изнурительная борьба. В этот раз губернатор Иркутска уступил и восстановил те условия, которые создались при Кононовиче, но ненадолго.

Проходило лето, другое, третье... Анна старалась не думать о времени.

В этом ни с чем не сравнимом мире отверженных существовала своя изустная почта. Иногда известия, связанные с судьбами единомышленников, несколько запаздывали, но все же проникали во все, даже строжайше охраняемые уголки. Так на голой скале пробивается трава, вырастает деревцо. Покуда дышит и мыслит человек и рядом есть ему подобные, вокруг него образуется нечто схожее с естественной атмосферой. Иначе наступает смерть.

Свидетельством этому служит история Сергея Нечаева, угодливо выданного в семидесятых годах швейцар-

скпы правительством Александру II, который заточил его «навсегда» в страшный Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Узник был закован в ножные и ручные кандалы, и под окошком его похожей на сырой склеп камеры постоянно сменялись часовые. За стражей наблюдали четыре особо для этого выделенных унтер-офицера, следившие также за смотрителем, который, в свою очередь, не выпускал их из виду. Сложная система взаимного контроля была установлена в этом застенке, чтобы никто и никак не мог связаться с опасным заключенным, попавшим самим царем. Еженедельно шефу жандармов подавались донесения, в которых описывалось все касавшееся узника.

«В последнее время,— сообщал начальник крепости,— государственный преступник начал смотреть в глаза, тогда как прежде этого не делал, отвечал отрывисто, резким тоном, с опущенными глазами и понуренной головой».

Все эти сведения передавались непосредственно царю, где бы он ни находился. Казалось, ни один звук извне не достигал каменной могилы, из которой мало кто выходил живым. И, однако, сила воли и дар убеждения совершили небывалое во всех летописях русской тюрьмы. Стражники, которым был доверен заключенный, превратились в его пособников и помогли ему установить прочную письменную связь с партией «Народная воля». Это длилось несколько месяцев. Не один, не два часовых, а десятки их присоединялись к тем идеям, за которые погибал необыкновенный бунтарь. Он сумел найти путь к уму и сердцу каждого из весьма несхожих людей, и это при том, что им строжайше запрещалось слушать и говорить с ним.

Они стали его соратниками. Ночью расположил их к себе, ему приносили газеты и пищу, покупаемую на деньги стражей. Превосходный агитатор, он растолковал, объяснил этим людям, пришедшим из деревни, жалкое, унизительное положение крестьян и солдат, необходимость раздела помещичьих земель между хлебопашцами, предрек грядущую передачу фабрик и заводов единственным законным хозяевам — рабочим.

В письме исполнительному комитету «Народной воли» узник Алексеевского равелина сообщал о солдатах охраны, которые отныне приобщились к революционным идеям:

«В бога они не верят, царя считают извергом и причиной всего зла, ожидают бунта, который истребит все начальство и богачей и установит народное счастье всеобщего равенства и свободу».

С помощью часовых заключенный установил связи и с соседними камерами. Так, несмотря на чрезвычайные меры полной изоляции, он через семь лет после своего заточения разрушил для себя непроницаемость революционных доводов крепостные стены и все непроницаемые преграды. Жизнь в Алексеевском равелине изменилась не только для узника, но и для стражей. В дежурке охраны обсуждались злободневные политические вопросы, читались прокламации и последние номера подпольной газеты «Народная воля». Кое-кто из унтер-офицеров обучался тайнам шифра и исподволь готовил побег узнику.

Ни один из жандармов и часовых не оказался предателем. Иудой стал заключенный Мирский, с которым переписывался Нечаев.

Есть люди, которые подобны смертному дереву анчар. Одно прикосновение к ним гибельно, и беда кружит над тем, кто этого не знает. Мирский, которого никто никогда не уличал в том, что на его совести много человеческих жизней, выдал тайну Алексеевского равелина. Шестьдесят восемь жандармских унтер-офицеров и рядовых были арестованы и предстали перед царским судом. На докладной записке обо всем случившемся Александр III написал: «Более постыдного дела для военной команды и ее начальства, я думаю, не бывало до сих пор». Смотрителя равелина отправили в ссылку, а его помощник сам стал арестантом Петропавловской крепости.

По предписанию царя Нечаеву создали такие условия непрестанной пытки холодом, голодом, отсутствием свежего воздуха, лишением книг, что уже через пять месяцев он скончался.

От прибывших новичков старожилы Кары узнали о казни пятерых студентов, осужденных по делу, названному «второе» «первое марта». Их имена со священным трепетом долго повторяла вся тюрьма. Александр Ульянов, Андреюшкин, Генералов, Осипанов и Шевырев. Пять праведников, отдавших жизнь за социализм, за освобождение народа. Они готовились повторить то, что сделали Желябов, Кибальчич, Перовская с соратниками, —

хотели взорвать Александра III, погубившего сотни бойцов за народоправство, превратившего Россию в застенок для честной мысли, смелого слова, дерзания, правды.

Нет ничего более пагубного для государства, нежели всемогущий трус на троне. Александр III не только не извлек урока из кровавых ошибок своего отца, но, запершись в Гатчине, творил суд и расправу тем более деспотически, что жил в постоянном страхе.

Восьмого мая 1887 года на рассвете пятерых юношей, не оставшихся равнодушными свидетелями бездумной, аверской тирании, господствовавшей в России, вывели из камер Шлиссельбургской крепости. На широком тюремном дворе стояла виселица. Смертников подвели к эшафоту. Андреюшкин успел произнести: «Да здравствует народная воля!» — прежде чем палач затянул петлю и выбил скамейку из под его ног. Генералов произнес: «Да здравствует...» — и смолк. Тело его закружилось в воздухе. Осипанов срывающимся голосом выкрикнул: «Да здравствует исполнительный комитет!»

Осужденных Ульянова и Шевырева обрекли на получасовую пытку ожидания, пока не затихли конвульсии повешенных товарищей и тела их не были сняты. В героическом спокойствии ждали они своей очереди к смерти.

Александр Ульянов погиб в возрасте двадцати одного года. Это был человеколюбец в самом высоком значении слова. Он отдал себя в жертву за счастье большинства людей. За свою короткую жизнь Александр многое успел передумать и перечувствовать. Юнона Ульянов читал произведения Маркса и Энгельса и принес их учение в свой дом, семью. Сжигаемый сочувствием к трудящимся, к бесправным, к погибшим и зажило погребенным товарищам, он выбрал путь, казавшийся ему самым близким к намеченной цели. Себя он не пощадил.

— Чтобы быть действительно полезным членом общества, человек должен настолько приучиться к настойчивому труду, чтобы не останавливаться ни перед какими трудностями и препятствиями, ни перед теми, которые представляют ему внешние обстоятельства, ни перед теми, которые представляют ему собственные недостатки и слабости; для этого он должен уметь управлять своей волей и выработать себе твердый и непоколебимый характер, — говорил Александр Ульянов.

О гибели пятерых героев долго скорбели Анна и все политические заключенные на Каре.

— Матерям их каково? Сестрам, братьям? Такие молодые! — печалилась Лиза Ковальская.

— Пали смертью храбрых. Лучшая из смертей в наши дни, — позавидовала Калюжная. — Я хотела бы такой для себя.

— Россия, моя родина, — сказала тихо Анна, — сколько уже крови пролилось на алтарь твоей свободы! Когда же те, ради кого мы гибнем, прозреют и сбросят иго палачей? Кто скажет нам, что делать дальше, какими тропами пробиваться?

— Бомба, кинжал, револьвер, кровь за кровь, око за око! — вспыхнула Калюжная.

— Я отвергаю индивидуальный террор, — отозвалась Анна. — Он уничтожил также и нашу партию. Мы сбиваем стебли, а корень остается, и с новой силой растет древо зла. Надо уничтожить корень, всю систему, надо приобщать наиболее эксплуатируемых...

— Испортили тебя марксисты, Анушка. От ума все это, от дьявола. Не размышлять, а действовать надо! И кто это несчастное нашего мужика? Уж не мастеровой ли?

Глупости, Маша, — вспыхнула Анна. — Все они одна семья. Вчерашний крестьянин — сегодня пролетарий. А донкихотство наше превратилось в трагедию.

Жгучий спор затягивался до самого отбоя. Анну не удавалось переубедить ни Марии, ни маленькой настойчивой Смирницкой. Ковалевская же предпочитала молчать и не поднимала головы от какого-нибудь учебника или вышивания.

В заключении человек был совершенно беззащитен и потому никогда не знал, что может с ним случиться. Опасность этапа, увоза в иную тюрьму или на допрос-действие, провокация и прихоть начальника, имевшего безраздельную власть, оскорбление, оговор — все это грозило каждому обитателю каторги. Анне часто казалось, что душа ее как бы покрылась льдом. Но тонкий и хрупкий слой едва сдерживал бурный поток, готовый ринуться и затопить самое Анну.

Постоянная подавленность в течение долгих лет искалечила нервы узников. И многие из них напоминали мины без бикфордова шнура. Стоило поднести его и за-

жечь, чтобы произошел всеразрушающий взрыв того отчаяния, которое могущественнее отваги. Но пока ничто не предвещало страшной драмы, приведшей к мучительным страданиям и смерти нескольких обитателей Карийской каторги, а затем и ее закрытию.

Был август 1888 года. Небо без единого облачка казалось затянутым пеленой пыли, солнце — выпуклым и желтым. Во дворе тюрьмы Усть-Кары распускались цветы. Каторжанки поливали их, возвращаясь с огородов, где толстели ухоженные тыквы, набирались силы капуста и картофель. После работы в мастерской и на огороде обитательницы двух женских камер читали, писали письма, обсуждали набежавшие события и, принявшись за рукоделие, мечтали вслух о свободе. Во дворе трещали стрекозы, и из-за палей доносились голоса караульных. На утренней поверке стало известно о предстоящем прибытии на Кару приамурского генерал-губернатора.

— Опять начнется маскарад, чтобы начальство осталось довольно, — мрачно сказала Калюжная.

И действительно, в панической суете по каторге забегали комендант Масюков, тучный мужчина с глуповатым багровым лицом и маленькими глазками без белков, точно между мятых век его торчали два кусочка антрацита, и молодой, сухопарый, всегда невозмутимый, крикливый и как бы пьяный смотритель Бобровский. За ними в величайшем усердии пробегали чины поменьше — надзиратели и стражники.

Узникам приказали заново вымыть мужилки, стены, полы, нары, столы, полить землю во дворе и надеть арестантские халаты. Ко времени прибытия краевого начальства тюрьма прибралась. Головы каторжан были наголо выбриты. На кухне вкусно запахло жирным борщом и кашей.

Барон Корф, человек с выправкой бравого жандарма, со светло-серым лицом и злыми глазами, входя в острог, надел белые перчатки, подчеркивая этим свое отвращение к подобному месту.

— Цветы зачем? Фу! — поморщился он. — Не надо забывать, что здесь находятся государственные преступники. Необходимо создать им такие условия, чтобы они постоянно чувствовали это. Лучшие из сброда пусть превращаются покаянно, а худших следует держать в оковах и полной изоляции. Они враги отечества, восставшие

против священной особы нашего императора, и потому, если их останется меньше, это будет на пользу России.

Комендант каторжной тюрьмы Масюков понимающе поклонился.

Барон Корф, разжав сухие губы с опущенными к подбородку углами, вошел в одну из женских камер и обвел змеиным взглядом стоящих у стены женщин. Затем вышел и увидел во дворе узницу, оставшуюся при его приближении сидящей на скамье. Не желая подводить подруг своим неповиновением власти, она вышла из здания тюрьмы, думая, что останется незамеченной. Но случилось другое.

Комендант тюрьмы заорал:

— Встать!

Но заключенная не шелохнулась. Закинув голову, она смотрела прямо на губернатора. Глаза их скрестились, точно шпаги. Барон Корф, знавший особенность своего ядовитого взгляда, на мгновение застыл, пораженный смелостью худенькой молодой женщины.

- Встать! — закричали несколько мужских голосов. — Перед вами сам генерал-губернатор. Вы обязаны подняться!

Оставаясь на месте, заключенная сказала, отчеканивая каждое слово:

— Я сослана сюда за то, что не признаю вашего правительства, и перед его представителями не встаю.

Барон вскинул было руку в перчатке, но, с трудом овладев собой, медленно опустил ее, играя пальцами.

— Колоть ее штыками! — прокричал он.

Свита его растерянно топталась на месте.

— Как фамилия этой, этой?.. — задыхаясь от бешенства, спросил фон Корф.

— Ковальская, — угодливо ответили Масюков и Бобровский.

— Перевести в Читинскую тюрьму, — распорядился, уходя, хозяин Приамурского края. — Там ее быстро образумят. Немедленно донести о выполнении мне лично.

Так взметнулся над Карой смерч, и ничто уже не могло остановить его смертоносного кружения.

В ту же ночь в камеру, где находилась Ковальская, вошли комендант каторги и жандармы, подняли ее с постели, завернули в одеяло, заткнув рот тряпкой, и вынесли, не обращая внимания на немые протесты остальных

ных заключенных. На подводе Ковальскую доставили в карантинную избу, где в присутствии смотрителя Усть-Карийской тюрьмы Бобровского и двух уголовных арестантов надзирательница раздела ее и затем обрядила в каторжную одежду с бубновым тузом на спине. Ее снова связали и доставили под усиленным конвоем в Верхнеудинский тюремный замок. Барон Корф направил туда тайное указание о том, как содержать «секретную арестантку № 3». Так отныне должна была называться молодая революционерка. Даже смотритель тюрьмы не знал ее имени. Генерал-губернатор Приамурского края повелевал ему: «Не допускать с ней, помимо лично себя, никаких сношений ни с кем, даже с чинами надзора, никогда не вступать с ней в какие бы то ни было разговоры, не давать никаких книг, кроме Евангелия, в соседние камеры никого не помещать, особенно государственных преступниц».

К Ковальской разрешалось входить только военному губернатору, областному прокурору и лицам, командированным самим бароном Корфом. Такова была месть начальника края. Но покуда жив человек, все еще может измениться в его судьбе.

Увоз Ковальской, сопровождавшийся произволом, попранием человеческого достоинства — того, что свято оберегали революционеры в заключении, — стал тем огнем, поджегшим бикфордов шнур.

Все искусственно создаваемое ради того, чтобы выстоять, перенести испытание, вдруг рухнуло, превратилось в ничто. Действительность открылась узникам в своей наготе. Они снова увидели уродство каторжной тюрьмы, цветы, выросшие как бы на могилах, острия решеток и палей, грубых часовых, узкий, тоскливый двор, заменявший им в течение многих лет весь земной шар, и дальние сопки, будто бескрайнее кладбище гигантов. Политические каторжане взроптали и поднялись, чтобы, защищая друг друга, отстоять себя. Женщины потребовали отставки коменданта Масюкова, распоряжавшегося насильственной отправкой Ковальской, издевавшегося над ней. Они объявили голодовку, требуя расследования всего происшедшего. Губернатор, получив сообщение врача о тяжелом состоянии голодающих, ответил:

— Администрации безразлично, будут они есть или нет. Нужно только, чтобы им ежедневно приносили пищу.

Жандармское начальство отвергло все требования каторжан. Масюков остался. Несколько каторжанок были переведены в уголовную тюрьму, где их лишили переписки с родными и иных прежних льгот

В поздний час, после проверки, загромыхал железный засов и распахнулась дверь камеры, где находились Анна, Калюжная, Смирницкая и Ковалевская. Вошла совсем юная на вид узница. Серый, небрежно наброшенный на плечи арестантский халат не обезобразил по-девичьи тонкой фигуры. «Гимназистка какая-то», — подумала Анна и, будучи старостой, принялась выбирать для прибывшей место, разбирать постель и подогревать на печи жестяной чайник, чтобы покормить и напоить ее с дороги.

— Нет, прошу вас, не беспокойтесь, мне ничего, ничего не надо, — сказала узница, глядя перед собой так, точно никого и ничего не видела. Широко расставленные карие глаза ее то наполнялись слезами, то внезапно высыхали, она мяла в руках только что полученное в канцелярии тюрьмы извещение о смерти в пути, на Сахалинскую каторгу, ее мужа

«Что с ней? Не к добру это». Анна подсела к молодой женщине и по-матерински погладила ее темные волосы. Искреннее участие нигде не потрясает так сердце, как в заключении.

— Как вас зовут? — спросила Анна тихо

— Надежда Малаксиано-Сигида, — раздалось в ответ.

— Неужели вы замужем?

— Я... овдовела. Только что прочла, что нет в живых...

Так в камере узнали о большом горе Нади Только очень несчастные и не озлобившиеся от этого люди способны понять скорбь утраты, чужую печаль и разделить с другим последний ломоть горького хлеба. Всё потерявшие ничего уже не страшатся. Счастливый бежит прочь и от своих и от чужих неприятностей.

Надежда Константиновна о себе почти ничего не рассказывала, никто не знал, за что она попала на каторгу. Но столько искренности, простоты, скромности, обаяния и доброжелательности было в ней, что она внушила симпатию даже такой недоверчивой и сдержанной женщине, как Мария Павловна Ковалевская.

Анна, самая старшая из всех, привязалась к Сигиде, как к младшей сестре, старалась отогреть и успокоить

со, догадываясь, как порывиста и неуравновешена была Надя. Более трех лет находилась Сигида в заключении, но страдала она мучительно не о себе, а о престарелых родителях, сестрах и братьях, единственной опорой и кормильцем которых была, работая учительницей в школе и давая частные уроки.

Гречанка по отцу, Надя унаследовала от него оливкового цвета кожу и прекрасные строгие черты лица. Она родилась и выросла в Таганроге, где в восьмидесятых годах проживало много политических ссыльных. Молодонькая учительница сблизилась с ними, увлеклась неведомыми ей досель идеями и книгами. Встреча с Акимом Сигидой, опытным и смелым революционером, укрепила Надежду Константиновну в ее решении бороться за свержение самодержавия.

В 1884 году, после ареста Германа Лопатина и многих бойцов, таганрогские народовольцы потеряли всякие связи с другими организациями и решили включиться в общую, южнорусскую группу. Понадобилось срочно устроить тайную типографию. Захолустный, неприметный Таганрог показался лучшим местом для этой цели. Аким Сигида служил когда-то наборщиком. Ему и было поручено создать типографию.

Надежде Константиновне, к этому времени вышедшей замуж за Акима, поручили поселиться в доме в роли хозяйки конспиративной квартиры, где предстояло отныне печатать листовки, прокламации и документы уцелевших народовольцев. Работа шла дружно. Надежда Константиновна продолжала учить детей грамоте и вести пропаганду в рабочих кружках в Каперовке — предместье Таганрога. Ничто, казалось, не предвещало горя. Однако нашелся провокатор, который выдал типографию. Муж и жена Сигида были приговорены к каторге.

На одном из этапов по дороге в Сибирь Надежда Константиновна узнала от пересыльных, что после долгого следствия вместе с большой группой соратников Лопатин предстал перед военно-окружным судом. В своей речи он отказался признать царских сатрапов законными судьями своих действий.

— Есть суд высший, который произнесет со временем свой правдивый и честный приговор. Этот суд — история, — сказал он.

Вместе с тринадцатью товарищами Герман Лопатин был приговорен к смертной казни. Почти три недели ждал он виселицы. Страшное, нежели сама смерть, ожидание исполнения приговора. Нет в арсенале жестокости нравственной пытки более тяжкой. Лопатин наружно ничем не проявил того, что пережил, ожидая казни.

Когда осужденных помиловали, заменив скорую смерть медленным умерщвлением на каторге и в крепости, они встретили это известие так же спокойно, как и приговор к повешению. Постепенно воля к жизни и радость бытия вновь вернулись к ним.

Герман Лопатин был осужден на пожизненное заключение в Шлиссельбургской крепости. Отныне его лишили собственного имени. Он значился по номеру своей одиночной камеры государственным преступником № 27.

Узнав о случившемся с Корольковой, Надежда Сигида тотчас же решила отомстить за поругание чести незнакомой ей женщины. Тщетно Анна убеждала разгоряченную, экзальтированную подругу сдержать свое негодование и гнев.

— Не хочу и не могу, — отвечала ей Надежда. — Как же можно жить при таком произволе? Я не умею покоряться злу, я не понимаю, что значит подставить левую щеку, когда бьют по правой.

— Но, может быть, нас жестокостью толкают к бунту в тюрьме? Мы здесь бессильны. А Корф ищет возможности расправиться с Карой.

— Пусть так. Может, я и взаправду иду на самоубийство? Ну и что ж. Жалко мне только родных, а себя ничуть. Что терять нам? Эту братскую могилу? Тысячу порций борща и каши? Бороться надо всюду, где бы мы ни находились. Бороться за наши взгляды, за наших погибших товарищей. С виселиц они взывают о мщении. Мой девиз: и на земле и под землей борись и сохраняй до конца честь и человеческое достоинство!

Анна постепенно сдалась на доводы Сигиды.

— Ты, вероятно, права. Социализм, ради которого принесено столько жертв, не только идея. Он больше. Он наша вера, освященная мученической смертью погибших на эшафотах и в застенках.

— Да, да! — воскликнула Надежда, и лицо ее поразило Анну полной отрешенностью от земных мелочей. — Мы не смеем отступать, предавать знамя, обагренное

кровью борцов, мы не можем прощать ничего. Понимаешь, ничего! Отступление, предательство начинается с мелочей. Я должна искупить свой грех.

— Какой грех? — вздрогнула Аня.

— Грех слабости духа. Я струсила, ослабела и написала после суда прошение о помиловании. Это мой вечный позор, мое преступление. Я не скрываю его от товарищей.

— Не казни себя, Надя. Мы все знаем об этом и не корим тебя.

— Вы меня жалеете, и я себя накажу сама. Мой долг — рассчитаться с палачами за Копальскую, за всех нас. Пусть бесстрашие иногда безумно, но и разум часто нас только ослабляет.

— Действуй, как подсказывает сердце. Я, право, не знаю, что сказать. Только стоит ли умереть на радость масюковым и корфам? Отдай жизнь подороже, она ведь у нас одна-единственная.

— Головастенькая ты, Аня.

Надежда Константиновна до полуночи писала родным. Ей хотелось всю силу своей любви, тоски и жалости уместить на листе бумаги и отправить его в далекий Таганрог.

«Родные, дорогие, добрые мои! Голубочка, дорогленка, родная мамаша... Я такая же торопливая, как и была на воле: так же тороплюсь за временем, спешу как можно больше успеть в занятиях французским и немецким, все учебники перезубрила, теперь читаю свободно да заучиваю из хрестоматии... Бывают только минуты, когда помимо воли я плачу к вам.. Родная! Скажи, голубочка, опять мне одно слово прощения, да ты все, добрые, почаще милуйте меня. Не плачьте, я вернусь здоровая и бодрая».

Сигида решила ударить Масюкова и этим ускорить его отставку с должности коменданта. Надежда Константиновна долго колебалась и размышляла о целесообразности такого поступка. Она не питала каких-либо личных враждебных чувств к Масюкову, который казался ей ничтожным, глупым и бесхарактерным человеком, бездумно выполняющим любой приказ начальства. Сам по себе он не был способен ни на добрые, ни на злые поступки и оставался совершенно безразличным к заключенным. Но Сигида считала, что Масюков олицетворяет ту власть,

с которой она хотела как-то свести счеты за других. Не желая вмешивать и делать ответственными сокамерниц, Сигида попросила, чтобы начальник взяла ее в контору «на личные переговоры». Там-то и бросила она вызов тюремной администрации. Впрочем, ударить Масюкова не удалось. Сигиду остановил караульный, когда она замахнулась на коменданта, но символически все же пощечина как бы прозвучала. Надежда Константиновна выбежала из комендатуры, крайне возбужденная, повторяя громко, что требует немедленного оповещения генерал-губернатора Корфа о происшедшем. Никто из тюремной администрации сначала не придавал этому столкновению серьезного значения, кроме перепуганного Масюкова, который настолько растерялся, что вылез из окна, чтобы в дверях снова не столкнуться с каторжанкой. Он настоял на помещении Сигиды в домике караула, где к ней приставили часового.

Женская тюрьма, прослышав о поступке Сигиды, взбудоражилась. Никто из узниц не хотел, чтобы отвечала одна только Надежда Константиновна, — борьба за увольнение Масюкова началась задолго до ее приезда.

Атмосфера в Усть-Каре стала зловещей. И вскоре случилось нечто более страшное, чем смертная казнь. Барон Корф распорядился наказать ссыльнокаторжную государственную преступницу Сигиду ста ударами розог. Экзекуцию он предложил произвести в тюрьме лично смотрителю Бобровскому. Решение объявили всем политическим заключенным на общей утренней поверке. Чтобы не было беспорядков и протестов, дворы тюрем оцепили взводы солдат. Комендант и его помощники читали приказ, в котором Корф предписывал также наказывать розгами всех политических, без исключения, за малейшее неповиновение и в случае надобности применять к ним вооруженную силу, не боясь никаких последствий. Это было явное подстрекательство к бунту.

Седьмого ноября Бобровский приехал в исполнение приказ в присутствии врача и караула. После порки окровавленную, опозоренную женщину приволокли в общую камеру, где находились Анна, Ковалевская, Калюжная и Смирницкая.

Анна и Маша Калюжная опустились на колени у крайней нары, на которой лежала избитая Надежда Константиновна. Ковалевская стояла у окна, глядя сквозь

зарешеченное стекло на остроконечную почерневшую от дождей ограду. Смирницкая протяжно всхлипнула, уткнувшись в подушку. Казалось, в камере нечем дышать, хотя створка окна была открыта и холодный ветер шарил по углам. Никто не затопил в этот день печь. Сигида смотрела перед собой остановившимся, немигающим взглядом. Черты ее лица обострились.

Есть нечто более значительное, чем жизнь, то, что делает человека человеком: это — сознание собственного достоинства.

«Можем ли мы уподобиться рабам, которых хлещет плетью хозяин? — думала Анна, прижимая к губам холодную, узенькую, детскую руку Сигиды. — Надя права, смерть может явиться избавителем. Что бы мы делали, если бы не могли утешиться ею!»

Решение покончить с собой возникло у всех узниц одновременно. Каждая из женщин разделила отчаяние Сигиды, как если бы не ее, а их раздели донага и прилюдно высекли плетьми. Надежда Константиновна была так слаба, рубцы на спине причиняли ей столь нестерпимую боль, что, приняв морфий, она на миг как бы обрела себя и облегченно вздохнула.

- Прощайте, товарищи! Отныне я свободна, — произнесла она чуть слышно.

Ковалевская поднесла к губам кружку с ядом, как человек, терпевший многодневную жажду и наконец-таки добравшийся до воды. Третьей отравилась Анна, а за ней — Калюжная и Смирницкая.

Сигида умерла очень быстро: надорванный организм не сопротивлялся. Остальные в жестоких физических муках были доставлены в тюремную больницу. Агония их затянулась. Мария Павловна Ковалевская страдала меньше, так как потеряла сознание и скончалась в бреду. Анна, принявшая слишком большую дозу морфия, единственная оказалась вне опасности. Почувствовав, что ей лучше, она горько зарыдала. Ей так хотелось поскорее умереть... Жизнь стала страшнее пытки. Калюжная и Смирницкая сохраняли ясность мыслей и отказывались принимать противоядие и пить воду, хотя яд огнем сжигал их. Когда терпеть стало немоготу и Калюжная застонала, Смирницкая с помощью сиделки подползла к своей родственнице и принялась ее убаюкивать, пока та

не успокоилась навсегда. Последней скончалась двадцатипятилетняя Смирницкая.

В эти же дни стрелялся студент из вольной команды и произошли массовые покушения на самоубийство в мужской каторжной политической тюрьме. По заранее условленному сигналу — пению в одной из камер — многие узники после вечерней поверки приняли яд. Одним из умерших был Калюжный. Он не захотел пережить гибель жены и сестры.

Много было тяжких испытаний, которым подвергали заключенных: цепи, приковывание к тачке, медленное убийство голодом, отсутствием света и воздуха, — но ничто не могло сравниться с телесными наказаниями, унижавшими душу человека. Заключенные Кары готовы были покончить с собой, лишь бы никогда не подвергнуться избиению розгами. Все может потерять человек, кроме самоуважения.

Анна долго и опасно болела после всего пережитого. Совершенно неожиданно для нее, как это всегда бывало в заточении, узницу вызвали в этап и увезли с каторги.

В пересыльной тюрьме Анна от уголовников узнала о судьбе Копальской. За неудавшуюся попытку совершить побег из Верхнеудинской тюрьмы ее перевели в отдаленный Горный Зерентуй, один из острогов Нерчинской каторги. Смотрителем этой суровой тюрьмы был тот самый Бобровский, который дал сто ударов розгами Надежде Константиновне Сигиде. Узнав об этом, Копальская добыла кинжал, бросилась на него, когда он появился в ее камере, с возгласом: «Палач!» Ее обезоружили. По настоянию Бобровского об этом случае не было составлено протокола. После смерти Сигиды смотритель испытывал длительные приступы меланхолии. Отказавшись начать дело против Копальской, он прилюдно осудил себя сам. «Она права. Я подлец, меня нужно уничтожить», — заявил Бобровский.

Вскоре чахотка убила этого человека, которого заставили совершить противное его характеру преступление. До последнего вздоха, в бреду он вспоминал замученную Сигиду.

. . . . . .

События на Каре вынудили правительство отменить телесные наказания для заключенных. Особая политиче-

ская каторжная тюрьма, где произошли массовые самоубийства, была закрыта. Тех узников, которых не отправили в ссылку, увезли на Акатуй.

Анну Бах по ходатайству родных переводили на вольное поселение в одну из деревень Красноярского края.

Ранним утром колонна заключенных двинулась к Чите, и снова Анна затянула унылую тюремную песню, и ее подхватили идущие рядом узники:

..Но пробыть с живой душою,
Холодей гнить, упавшей в ил,
Имея ум, расти трапою,
Нет, это выше моих сил.

Стачечное движение в Англии нарастало. В 1888 году около ста двадцати тысяч человек прекратили на время работу, добиваясь надбавки к нищенской заработной плате. Летом забастовали работницы спичечной фабрики в Ист-Энде — районе отверженных, где много лет бывала Элеонора. Дочь Маркса не покидала осажденной, будто крепость, небольшой фабрики, покуда представители рабочих и руководившие стачкой социалисты спорили с хозяином. Вскоре он вынужден был уступить, и заработок работниц несколько увеличился. Успех этот обнадежил других.

Уже несколько лет Элеонора работала также среди крайне эксплуатируемых и обездоленных пролетариев газовых предприятий.

В день, когда чаша терпения тружеников переполнилась, Тусси пошла на завод рано. Над Лондоном еще не взошло солнце. Английская столица на рассвете, в слякотное, туманное утро, способна вселить отчаяние в самую жизнерадостную душу. Точно страшный мор опустился на землю. Едва видимые во тьме силуэты согнувшихся под зонтами, укутанных в плащи людей напоминали похоронную процессию. Глухой перезвон трамваев и извозчичьих карет и протяжный, воющий звук гонгов, предупреждающих о возможности столкновения, создавали гнетущее настроение.

Газовый завод, куда направилась Тусси, был расположен на пустыре. Его здания без окон напоминали огромные тюремные корпуса. Двор, заваленный коксом и шлаком, казался бескрайней мусорной свалкой. Смердящий воздух пропитали ядовитая пыль и гарь.

Вдыхая дым тлеющего кокса и видя грязный, уродливый заводской двор, Тусси вспомнила о Дантовом аде. В этот раз, едва она вошла в ворота, ее окружили десятки рабочих.

— Нас снова обсчитали: мы получили всего два дня отдыха за весь месяц. Довольно! Мы — люди!

Даже заранее подготовленная стачка всегда возникает подобно порыву, буре, стихии. Она лишь всполох зарницы. Но гроза может приблизиться, и молния сожжет леса. Первые забастовки пугали буржуазию, как далекий гром.

Элеонора увидела посередине двора сооруженную из ящиков трибуну. С других заводов все прибывали рабочие, присоединившиеся к протесту. Многозначительно, вызывающе смотрели в небо жерла труб, из которых не вырывался в этот день дым.

— Таких, как вы, тысячи на дорогах Англии, — сиплым басом кричал один из представителей газовой компании, — безработных сейчас больше, чем медуз в океане! У вас нет квалификации. Вы всего лишь чернорабочие. Мы из жалости не рассчитываем вас тотчас же. Будете еще просить нас, но поздно. Бог свидетель, бунтом вы ничего не добьетесь. Лучше добром приступайте к работе.

Шум нарастал. На трибуне очутился пожилой рабочий, поникший и жалкий.

— Братья! Сейчас мы имеем дома хоть пеструю хлеба, похлебку и крышу над головой. У меня жена, шестеро малолетних детей, старуха мать и больная сестра-вдова. Как могу я обречь их на смерть от голода? Я не зверь. Но у меня семья. У меня девять голодных ртов.

Десятки бережных рук подняли Элеонору на трибуну. Взглянув вниз, она увидела приближающихся Эвелина и еще нескольких друзей. Как всякий оратор, борец, Тусси немного волновалась. Ворота завода стояли открытыми настежь, и весь огромный двор, а также пустырь за ним заполнили люди. Их возбуждение, беспокойство током передавались стоявшей на возвышении женщине.

Тусси начала свою речь. Люди умолкли.

— Друзья, братья, вы работаете по четырнадцати часов в день, отдыхаете всего два раза в месяц и получаете за это гроши, на которые не можете ни накормить, ни одеть своих семьи. Вашими руками зажигается свет во всей столице, отапливаются дома, ваш газ приводит в

движению тысячи машин. Рабочие на этих машинах создают все необходимое для человека. Сотни кровососов — буржуа, владельцы фабрик, акционеры газовых и других компаний — обогащаются. Вы подлинные хозяева тех богатств, которые присваивает себе кучка эксплуататоров. Но вы еще разобщены. Мощь и единение! — Элеонора подняла руку — Каждый из нас в отдельности слаб, как паутинка, но, когда пролетариев тысячи и тысячи, нет силы, которая устоит. Из нитей ткутся полотнища для парусов, не боящиеся никакого ветра и урагана.

Оратор всегда чувствует пульс аудитории. Между ними должна возникнуть связь, они образуют точно одну кровеносную систему. Если этого нет — происходит крушение. Элеонора выступала часто и всегда ощущала радость общения со слушателями. Эти минуты всегда вознаграждали ее сторицей за все заботы и постоянный труд для людей. И Энгельс был ей особенно дорог, может быть, прежде всего потому, что так же увлеченно отстаивал со-

Комитет газовщиков, в который с начала забастовки входила также и Элеонора, помещался в низком конурообразном здании у входа на один из заводов. Раньше это был склад отслужившего металлического инвентаря. Все дни и ночи стачки Тусси не бывала дома. То приходилось урезонивать штрейкбрехеров или ссориться с ними, то выдавать пособия, посещать семьи стачечников, чтобы успокоить их, уговорить, то поддерживать бодрость в мужьях, отцах, сыновьях. Нередко Элеонора выступала перед малодушными и давала советы бесстрашным. Все свои деньги она, не раздумывая, вложила в кассу бастующих.

С детства Элеонора была неутомима именно в трудные дни. Любовь к борьбе, к преодолению препятствий, бесстрашие она унаследовала от отца, укрепила в дружбе с Энгельсом.

В дни схватки рабочих газовых предприятий с капиталистами Элеонора добилась создания первого в Англии профсоюза чернорабочих и стала членом его центрального комитета. Она уходила из комитета только для того, чтобы посоветоваться с Энгельсом, который зорко следил за всем происходящим на газовых заводах и сообщал об этом Лафаргам в Париж и соратникам в разные страны. Элеонора хорошо понимала, что многого могут достичь

женщины в революционном движении — не только на баррикадах, в дни великих боев, но и в повседневной, изнурительной борьбе с капиталистами. Ей удалось создать в профессиональной организации особые женские секции.

В течение года союз объединил около ста тысяч пролетариев Англии и Северной Ирландии. Перед этой силищей пришлось отступить газовым компаниям. Они ввели восьмичасовой рабочий день и подняли заработную плату на шесть пенсов за каждую смену. Беспримерная в истории победа рабочих явилась подлинным триумфом младшей дочери Маркса.

Тусси никогда не чуралась, казалось бы, незаметной, черновой, повседневной организационной работы, понимая, что из маленьких кирпичей строится огромное здание. Превосходный агитатор и публицист, она смело переходила от малого к большому, одинаково легко разбиралась и в вопросах, касавшихся всего человечества, и в повседневных заботах отдельных людей.

Для нее не было скучных тем, если они касались жизни рабочих. Эта особенность, перенятая Тусси от отца и Энгельса, делала ее нужной народу и любимой им.

Никогда не бывая безразличной, она бросалась на помощь каждому обойденному. Поэтому Нет-Энд, Уайтчапель и доки были ей ближе, нежели районы зажиточных людей вокруг Бон-стрит, Гровенор-сквера или Кенсингтона.

Положение английских докеров было еще более тяжелым, чем газовщиков. Они никогда не имели постоянной работы и толпились у Темзы, жадно вглядываясь в туманную даль в ожидании пароходов, разгружать которые их нанимали за гроши.

Энгельс называл докеров отверженными из отверженных.

Вест-индские доки... В деревянных закутах, с окнами без стекол, затянутыми тряпьем, в лучшем случае соломой, прозябали жалкие, голодные и полураздетые люди.

Англичане слыли рослыми, здоровыми людьми. Нарядные прохожие на Чаррингтон Кросс в такой же мере подтверждали это, как люди доков опровергали. Узкогрудые, изможденные, хотя и выносливые, грузчики редко доживали до старости. Элеонора посещала их семьи, где дети гибли от рахита, недаром прозванного английской болезнью, страдали трахомой и туберкулезом, а многие

женщины с отчаяния выклянчивали милостыню и ньи-ствовали.

Потеряв терпение, недополучив при расчете плату за разгрузку, докеры забастовали. Через несколько дней из вест-индских доков стачечное движение перебросилось к другим грузчикам. Десять тысяч трудящихся прекратили работу. Крупнейшая гавань мира пустовала. Темза притихла.

Забастовкой руководили несколько докеров, Эвелинг и Элеонора. Тусси стала секретарем забастовочного комитета.

С этого часа, как ранее на газовом заводе, она не покидала своего поста ни днем, ни ночью. Ей доверили деньги, и она распределяла пособия среди безработных, нумеровала и проверяла рабочие книжки стачечников. Дверь в комнату, где она находилась, не закрывалась, и люди всех возрастов приходили к ней за советом и помощью. Докеры полюбили эту женщину.

После напряженных недель стачка в доках также кончилась успешно для рабочих.

Ощутив на деле, как много несет объединение, докеры встали в ряды профсоюзов. Это было еще одной победой социалистов.

Друг покойного Цеткина, русский изгнанник врач Ивушкин и жена его жили в эту пору в большой тревоге. Клотильде предстояло стать матерью и поэтому лишиться работы. Беременная женщина, как бы искусна и усердна она ни была, не могла оставаться ни за прилавком большого магазина, ни у кресла модного парикмахерского салона. Продавщицы магазина и мастерицы из парикмахерских должны были нравиться покупателям и клиентам, всегда сохраняя изящество и миловидность. Хозяева не нанимали замужних, а о матерях не могло быть и речи. Конкуренция же была чрезвычайно велика.

Желая сохранить в тайне свое положение и не потерять место, Клотильда носила корсет более мучительный, нежели оковы, продолжала зашнуровывать высокие узкие ботинки на тонких каблуках. Но стоять целый день на ногах становилось все труднее. Под румянами заметно синели щеки, и заученная улыбка походила на кривую

гримасу боли. Однако Клотильда не сдавалась, и еще громче звучал ее немного писклявый голос:

— Даже пустая женская головка, мадам, если хорошо причесана, кажется мужчине наполненной восхитительными мыслями, а простоволосая неряха, пусть умная, как господин Вольтер, выглядит дурой.

Посетительниц парикмахерской становилось с каждым днем все больше Приближалась Всемирная выставка. Парижане сравнивали ее с находкой золотоносных жил. Всем виделась баснословная и легкая нажива. Тысячи мотов-иностранцев должны были прибыть в столицу со всех сторон света. Расширялись и ремонтировались гостиницы, игорные залы, магазины, рестораны и публичные дома. Клотильде хотелось подкопить денег, прежде чем линиться заработка. Каждые два дня за ней приходила горничная графини.

— А, мой Фигаро в юбке, — благосклонно встречала в своем будуаре Клотильду знатная дама. — Турнюры и банты вытеснили широкие юбки. Надо менять прическу. Сделайте мне чуть скошенную челку до самых бровей и пригладьте виски, на затылке уложите цепочку из волос и спустите завитушки Это жеманно. А знаете, моя милая, генерал Буланже снова в Париже. Он немного пополнел, но это придает ему величавости. Я убеждена, очень скоро он получит большинство голосов не только на частичных выборах, но и пятого мая, когда за него выскажется вся столица. Императорский орел слетит наконец на его плечо! Вы, конечно, не знаете историю Франции. Бедный Наполеон Третий неоднократно терпел поражения, прежде чем ему улыбнулась фортуна и он вернул скипетр своего дяди. Проигрыш — иногда только отсрочка. Мой муж порвал с радикалами и ушел от них за то, что они изменили своему избраннику. Нас повсюду называют «синдикатом недовольных», так оно и есть на самом деле. Мы, душечка, недовольны и не хотим более жить среди хаоса, называемого республикой. Невозможно ждать, пока из трущоб вылезут вредные дикари, как было в семьдесят первом. Это же вандалы, людоеды.

— Мой дед был коммунаром! — вдруг вспыхнула Клотильда. — Это добрейший, честный человек.

— О милая, чего доброго, вы мечтаете о мести? Напрасно, генерал Буланже почел дружеских чувств к простолюдинам. Он так много обещал им хорошего, что они

охотно голосуют за него. Им ведь тоже хочется сильной и справедливой власти. Разве не было великих людей среди королей? Они не раз помогали нищим и сирым. Красивые девушки могли рассчитывать тогда на особую милость. Прочтите книги о мадам Помпадур, графине Дюбарри. Счастливые, как им повезло! Они правили Францией. Сказочное время! А сейчас... Я надеюсь, что вы перчупал и потому не можете сочувствовать социалистам. Они, говорят, призывают к общности имущества, женщин и разным другим мерзостям. Поверьте мне, все они убийцы и воры.

— Неправда! — возмутилась Клотильда и нечаянно прижгла раскаленными щипцами кончик уха графини.

Раздался простый вопль:

— Вон отсюда! Фурия! Бешеная! Твое место в Кайенне, проклятая социалистка!

Лакей и горничная вытолкнули Клотильду за дверь, бросив вдогонку ее тальму и шляпку.

Случившееся обескуражило молодую женщину. Оно не совпадало с ее жизненными правилами, никогда не совать нос в политику и, главное, не принимать близко к сердцу слова и поступки окружающих. Но чувство досады на свою несдержанность постепенно проходило. Не желая возвращаться в парикмахерскую, Клотильда решила отправиться на Монмартр

На Монмартрском холме высился ярко-белый храм Сакре-Кёр — Святого Сердца. Когда национальные гвардейцы, восстав, вступили здесь в бой с войсками предателя Тьера, а затем вместе с подоспевшими им на помощь рабочими ринулись в город, никакой церкви здесь не было. Это место стало тогда священным для коммунаров, как купель первой пролетарской революции. На зеленых возвышенностях в ранние дни Коммуны часто раздавались бодрые песни. В мае 1871 года землю Монмартра обильно смочила кровь героев. Каждая пядь ее отдавалась врагу с боем.

Ставленник Тьера Мак-Магон предложил парламенту отпустить деньги на постройку собора отнюдь не из религиозного усердия, а скорее из политических расчетов. Буржуазия и церковники решили воздвигнуть Сакре-Кёр как символ победы над рабочими.

— Народ должен искупить свои грехи, а самым страшным из них была Коммуна, — сказал Мак-Магон.

Церковь Святого Сердца, построенная в подражательном, грубо искаженном романском стиле, не украсила священного для истории холма.

Клотильда сидела бездумно, отдыхая на зеленой траве неподалеку от паперти. Она никуда не спешила. Муж в больнице до вечера, и домой идти не хотелось. Когда стемнело, женщина медленно пошла по мощеной булыжником улице, поглощенная мыслями о неведомом ей ребенке, который настойчиво объявил толчками о своем бытии.

Низкие дома с палисадником, бурьян и трава напомнили молодой женщине деревню, где она выросла. И ее детство снова стало беспечным. На углу она заметила таверну с ярко размалеванной вывеской. санкюлот во фригийском колпаке протягивал стеклянную кружку с пунцовой влагой. Клотильде хотелось пить, и она вошла внутрь. За длинным деревянным, ничем не покрытым столом сидели, оживленно беседуя, человек десять мужчин. В одном из них, крепко ухватившем раскинутыми руками углы стола и громко говорившем, парикмахерша сразу узнала Геда. Прямые темные волосы его были откинуты назад, открывая очень бледный лоб.

Между чумой и холерой не выбирают. А такими Буланже и нынешний премьер Ферри. Их обоих надо пригвоздить к позорному столбу! — яростно выкрикнул Гед, выпятив узкие губы. - Огонь наш мы должны направить на обе эти мишени. Когда настанет время, мы двинемся вперед с боями.

— Вроде бы ты и прав! Буланже или Ферри! Что в лоб, что по лбу, однако булавкам — пока только угроза. Может, и не стоит заранее палить? — возразил один из сидевших рядом с Гедом рабочих.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать.

— Плохое говоришь. На тебе подобных получаются толсены. Знаешь такого? Чеканщик Толлен. Бежал в пору Коммуны к версальцам. Предатель рабочих, а теперь сенатор. В своей карете ездит, — сказал хмурый старик.

— Чего ты на парня навалился? Он еще молод, не хлебки Каверьяка и Бонапарта не хлебал. При Тьере, верно, еще под столом ползал.

Сказал это, Гед встал и прошелся по таверне. Костюм на нем казался сшитым не по мерке, был слишком ши-

рожим. Гед держался прямо, как трость, и переставлял ноги так, точно они у него были на шарнирах. Длинный, как клюв дятла, нос его касался растрепанных усов. Некрасивый, он, однако, чем-то очень привлекал, может быть, проявляющейся наружу силой ума и несокрушимой убежденностью. Без внутреннего душевного огня даже самое красивое лицо с соразмерными чертами отталкивает.

— Лафарг и я работаем над манифестом к избирателям. Близятся выборы. В этом документе мы скажем о бланкизме. Вы, вожаки отрядов рабочей партии на самых крупных заводах Парижа, должны знать, что мы думаем. Часть народа, доведенная до отчаяния нищетой и притеснениями, а также разочарованием, из ненависти к настоящему жаждет восстановить прошлое, тогда как надо решительно устремиться вперед. Нельзя заменять одного господина другим. К черту выдуманных героев, годных стать владыками! Всех их надо гнать и уничтожать. Мне противны и улица Сед, где расположился комитет прохвоста Бланки, и улица Каде, где находится так называемый коллективный штаб республиканцев. Пусть различные буржуазные партии грызутся между собой за власть, а мы если будем вмешиваться, то лишь для того, чтобы бить по ним разом. Сейчас в драке сцепились радикалы, клерикалы, оппортунисты, бланкисты — спорят, кому и как ловчее грабить рабочих. Богачи обворовывают трудящихся, а те их обманывают. Это больше, чем обогащают.

Гед, сняв очки, говорил, нагнувшись над столом и вперив в пространство заметно близорукие темно-синие горящие глаза.

— Все эти пьяные противники, равно как и сторонники Бланки, были заодно, когда уничтожали Коммуну, и объединятся в тот великий день, когда мы поднимемся, как один, против них. А пока мы не будем выступать против Бланки. Этот выскочка нам не опасен.

— Ты не прав, Жюль Гед, ждать нельзя, — вмешалась Клотильда, заговорив под магическим воздействием его слов, голоса, жестикуляции. — Волчицы на логова Бланки уже оттачивают костяные наконечники на своих зонтиках, чтобы выкалывать нам глаза. Опасно сидеть сложа руки. Я видела этого генерала. Злобный боров!

Смотрите, чтобы не было слишком поздно. Они из тех животных, что съедают даже своих детенышей.

— Кто эта женщина? — надевая очки, явно заинтересовавшись, спросил Гед.— Вспоминаю, я видел вас где-то. У меня точная память на лица. Не с Кларой ли Цеткин и Лаурой Лафарг вы были? Во всяком случае, откуда бы вы ни явились, я вам рукоплещу! Ваша короткая речь из тех, что сродни речам наших героинь — Мишель, Капитан. Жаль, что здесь нет красных гвоздик. Эта эмблема Коммуны должна всегда украшать вашу грудь.

Клотильде захотелось высказать все, что ее томило. Сбивчиво и сердито рассказала она о графском особняке, о планах сторонников Буланже. Подражая интонации знатной дамы, страстной поклонницы генерала, она закончила тирадой:

— Красные вылезут из своих трущоб! Нет больше Тьера! Кто же поможет спасти цивилизацию от нашествия дикарей социалистов? Никто, кроме генерала Буланже и нас, его опоры.

Гед сидел молча. Лицо его казалось очень утомленным.

При рождении Жюль Гед был записан в мэрии как Матье-Жюль Базиль, по отцу, но в ранней молодости он взял фамилию матери и навсегда отбросил первое из двух своих имен. Короткие, резкие звуки — Жюль Гед — отлично подходили угловатому, неутомимому бойцу, который вместе с Полем Лафаргом возглавил первую партию пролетариата Франции. Страстный и остроумный проповедник коммунизма, воинственный революционер и пылкий мечтатель, родившийся в пору напряженной борьбы, он был всегда готов к защите и нападению. Противники ненавидели его и боялись. «Великий инквизитор коллективизма», — писали о нем.

Значительно менее начитанный, вдумчивый и последовательный, нежели Лафарг, Гед, однако, был в эти годы фанатически предан идеям Маркса и Энгельса. Яркое, своеобразное красноречие Геда принесло много пользы рабочей партии, он стал ее глашатаем и полей, в то время как Поль Лафарг оставался ее рассудком и совестью. Крепкая дружба спаяла этих людей.

Клотильда настороженно глядела на Геда, словно старалась выискать в нем скрытые недостатки. Внезапно он сказал ей, дружелюбно протянув стакан лимонада:

— Пейте, вы устали. Я рад, что познакомился с вами, гражданка. Берегите себя. У меня тоже дети. А у вашего будет смелая мать. Нет ничего более дорогого и важного для будущих поколений, чем воспитательницы, которые научат их бороться за социальную революцию. Пусть дети наши принадлежат рабочей партии и ее идее и не боятся не только тюрьмы, но если понадобится, то и стены, у которой расстреливают героев.

Круг знакомых Лафаргов был весьма широк, разнообразен и многоплеменен. Среди немцев Лаура особо выделяла Клару Цеткин, в которой усмотрела широкий ум, знания и волю крупного революционного организатора. Друзья помогли Кларе пережить горе потери мужа. Она принадлежала к редким натурам однолюбов. Остались два сына, на которых отныне она сосредоточила всю свою женскую нежность и заботу. Неистовая работа отвлекала вдову от горестных раздумий. Клара, не щадя себя, сменивая дни и ночи, писала статьи, готовила доклады и одновременно продолжала давать уроки ради заработка, обстирывать, кормить, растить детей.

В эти месяцы началась подготовка к Международному социалистическому конгрессу. На этом поприще Кларе и Лауре предстояло многое сделать. Революционному движению пригодилось их отменное знание многих языков. Им пришлось вести переписку с рабочими партиями разных стран, переводить документы. Клара Цеткин приняла участие не только в созыве международного пролетарского съезда. Ей предстояло выступить на нем с большой речью.

Подчинить себе горе, остаться жить после непоправимой беды и сохранить в сердце свет — значит стать во много раз тверже духом. Лаура дивилась силе Клары, ее спокойствию и сердечности. Обе эти женщины познали личное горе, схоронили дорогих им людей, трудно добывали средства к существованию и, однако, никогда не обременяли других жалобами и тоской, любили людей и боролись за их будущее.

Напряженно ждали социалисты своего конгресса. И в те же месяцы Париж с жаром и рвением достраивал павильоны выставочных зданий на Марсовом поле. Над городом все выше поднималась сплетенная из металла ажурная башня, которую возводил инженер Эйфель,

прозванный газетами «чудодеем». Гостиницы готовились принять тысячи постояльцев, рынки — накормить их. Предпраздничное воодушевление не исчезало с улиц и площадей столицы.

Незадолго до созыва Международного социалистического конгресса Лауре поручили нанять помещение, где могли бы разместиться приезжие делегаты. Лаура обладала редким даром общения с людьми разной среды, достатка, воспитания и возраста, располагала к себе души, так что ей поверяли, часто при первом знакомстве, самые сокровенные переживания и секреты, притом любое поручение партии она выполняла, как, впрочем, все, что делала в жизни, тщательно, точно, исчерпывающе: ей было присуще чувство долга, верности данному слову, унаследованное от отца и матери.

Клотильде казалось, что над ее головой пронесся губительный град. Она не раз видела, как, внезапно налетая, неся с собой острый холод, ледяной дождь уничтожал цвет яблонь и в один миг погибали безмятежно радующиеся солнцу, доверчивые цветы.

Первым горем Клотильды было исчезновение мужа. Борис Наумкин выехал по поручению группы русских эмигрантов в Варшаву с заготовленными в Париже революционными листовками и типографским шрифтом для подпольной польской партии «Пролетариат». Границу с помощью местных контрабандистов Борис пересек без всяких осложнений и прислал жене бодрое письмо. Но затем замолк, и следы его потерялись. Все это случилось вскоре после рождения маленького Коли, как назвали Наумкины своего первенца. Минуло еще три месяца, а вестей из Польши не приходило. Клара Цеткин, Лаура Лафарг и другие друзья Наумкиных одобрили желание Клотильды отправиться на поиски в Россию. Колю пришлось отдать в деревню на попечение деда и бабушки. Желая заработать на дорогу, а не брать денег из эмигрантской кассы взаимопомощи, Клотильда нанялась в дамский парикмахерский салон на Всемирной выставке. Там не было отбоя от клиентов, и мастера получали щедрые чаевые.

Парикмахерская находилась подле широкой Капуцинской улицы и напоминала безвкусный ярмарочный балаган из

фанеры и пестрого тряпья. Заведение называлось «Алгамбра». Рядом с «салоном» расположились лавчонка, бойко торговавшая засахаренными фруктами из Алжира, и сарай, где танцовщица, похожая на шелковичный кокон, задрапированная до самых глаз белой шалью, под звуки бубна и флейты, то сгибалась, то разгибалась, не сходя с места, раскачивала бедрами, все ускоряя темп и удивляя зрителей необыкновенной подвижностью мышц. «Танец живота» пользовался большим успехом, и у кассы стояла всегда длинная очередь. Неподалеку под деревом высохший старик заставлял двух кобр плясать под самодельную дудку.

По улице медленно шествовали ослы. Верхом на них сидели, мотая длинными ногами, молчаливые англичане, немцы и скандинавы в клетчатых костюмах и широких пелеринах и болтливые, шумно разряженные русские купцы и купчихи.

Клотильда быстро освоилась.

С утра до вечера на ногах, в жарком, накаленном спиртовками «салоне», она с отвращением смотрела на хозяев выставки и на покупателей, швырявших деньгами, ищущих развлечений и выставляющих напоказ свои богатства. Нажива и процветание одних, рубища и нищета других не могли укрыться и на этой демонстрации торгового и промышленного процветания. Все вокруг продавалось.

Неподалеку от Сены расположилось селение северо-африканского племени. Там за низкими глиняными оградами стояли жалкие мазанки. Смуглолицые, чернобородые мужчины, в грязных лохмотьях наподобие балахонов, в полинявших тюрбанах на головах, торговали, усевшись на корточки под навесами, различными амулетами, винными ягодами, миндалем. На ломаном французском языке, переходя внезапно на гортанный арабский, они громко называли прохожих. Покуривая длинные трубки, перекрикиваясь друг с другом, разражались веселым смехом, обнажая при этом необыкновенно белые зубы. Этих нищенски одетых жителей французских колоний парижане свысока называли дикарями.

Мальчики со вздутыми животами, на кривых рахитичных ножках назойливо и предлагали посмотреть, как живут их родители.

— Десять сантимов, — кричал мальчуган постарше. — Дайте десять сантимов! — Получив требуемые медяки,

маленький алжирец приоткрывал дверь мазанки. На циновке молодая женщина, в грязном белом покрывале на голове, с босыми ногами, кормила грудью голого младенца. В углу громко храпел мужчина, накрытый рваным бурнусом. Смрадный, пропахший пеленками и прогорклым жиром воздух вызывал головокружение и тошноту.

На Марокканской улице белые хатки уступили место низким домам с плоскими крышами, на которых расположились кофейные и рестораны.

Клотильда брала с собой кусок хлеба с сыром и в течение дня выпивала несколько чашечек густого турецкого кофе — его продавали в одном из киосков. Вечером она шла к Кларе Цеткин.

— Что нового? — спрашивала мастерица еще с порога и протягивала леденцы своим любимцам, сыновьям подруги.

— Поссибилисты готовят отдельное сборище. Ни на какие уступки не идут. Это раскольники, — ответила как-то Клара. — Подумать только, перед капиталистами они зайцы и готовы на все, а против своих — волки. Я говорю одному из них сегодня: вы добиваетесь только безусловно возможного, какие же вы, черт возьми, революционеры, бойцы! А он нагло отвечает: «Возможное только и достигается. Мало ли чего хочется! Надо отличать реальность от фантазии». Поссибилисты к тому же лицемеры.

— И предатели, — добавила Клотильда, вспомнив, что так называл их Борис. Она с трудом стащила туфли с отекших ног и уселась на тахту, чтобы немного отдохнуть.

Распри с поссибилистами особенно усилились именно в это время. В феврале 1889 года в тихой Гааге собрались на конференцию делегаты рабочих организаций нескольких стран. Она была созвана по предложению Энгельса представителями социал-демократической фракции германского рейхстага, чтобы выработать условия созыва Международного рабочего конгресса в Париже. Каждое рабочее объединение, не желавшее примириться с бесправием, могло прислать на этот съезд по одному делегату. В предварительно намеченной повестке дня указывались три вопроса: международное законодательство о труде, инспекция положения пролетариата, пути и сред-

ства, обеспечивающие выполнение законов. Энгельс одобрил итоги Гаагского совещания.

«Вы, — указывал Энгельс Лафаргу, — уже наполовину выиграли сражение... Используйте завоеванную в Гааге позицию как отправной пункт, как первую позицию, отбитую у неприятеля, и как основу будущих успехов».

Французские посибилисты, напедшие поддержку у отщепенца и юркого проныры Гайндмана и его реформистской группы, наотрез отвергли решения социалистов. Вильгельм Либкнехт, который иногда терялся в трудных условиях, предложил отложить конгресс на год и собраться не в Париже, а в Женеве. Энгельс встретил этот план в штыки. Ради съезда он отложил даже то, что считал теперь главной задачей, работу над третьим томом «Капитала». В засилье отступников среди социалистов Энгельс видел опасность, которой надо дать мощный отпор.

«Он нам необходим, этот конгресс,— объяснял Энгельс Лафаргу, — иначе вы рискуете исчезнуть на целые годы с международной арены».

По его мнению, победа посибилистов могла пагубно повлиять на все рабочие партии. Даже одно выпавшее звено уничтожает целостность цепи. Энгельс знал законы политической борьбы. Опытный тактик, он учел также значимость времени. Нельзя было медлить далее. Быстрота обеспечивала успех.

«Дорогой Либкнехт, — писал Энгельс в Германию. — ...Я вижу, что, как обычно, когда доходит до дела, мы сильно расходимся.

Твой совет французам при известных условиях найти путь к какому-либо соглашению... то есть пойти и поставить спину, чтобы получить пинок, естественно взбесил их. Этот совет и твое возмущение тем, что мы — а брошюра написана по моей инициативе и почти целиком мною отредактирована — показали посибилистов такими, какие они есть, то есть людьми, получающими средства из рептильного фонда оппортунистов, то есть финансовых тузов; и что мы этим открыли глаза значительной части англичан на вещи, которые умышленно от них скрывали,— становится попятными только в том случае, если ты хотел оставить себе лазейку, чтобы даже после полученного вами от посибилистов пинка лететь еще маленькое дельце за страх и риск немецкой партии. Если это

соответствует действительности, то я ничуть не огорчен тем, что вставил тебе тут палочку в колеса».

Энгельс доказывал соратникам, что встреча представителей рабочего класса всех стран будет означать либо подчинение, либо разгром оппортунизма, этой ржавчины, исподволь разъедающей железное единство. Засилье отступников в вроде социалистов казалось Энгельсу той опасностью, которую надо встретить грудью и которой надо дать резкий отпор. Скрытая угроза всегда самая серьезная в политике. Необходимо вызвать противника на открытое сражение.

Днем открытия Международного социалистического конгресса выбрали 14 июля — день столетней годовщины штурма Бастилии.

Март, апрель и май Энгельс занимался исключительно делами предстоящего конгресса, направляя работу Лафаргов во Франции, Бебеля и Либкнехта в Германии, Элеоноры и Эдуарда в Англии. Он редактировал все основные документы, указывал, где и сколько печатать статей, куда рассылать позвания. По его настоянию были опубликованы решения Гаагской конференции. Под редакцией Энгельса германский социал-демократ Эдуард Бернштейн написал памфлет, в котором разоблачалась клевета поссибилистов и Гайндмана. Незадолго до начала конгресса Энгельс через Элеонору и Эдуарда Бернштейна попытался в последний раз склонить поссибилистов к единству действий. Но оппортунисты отказались.

— Не теряйте ни одного дня, — напутствовал соратников Энгельс.

Долго размышлявшие и сомневавшиеся Либкнехт и Бебель наконец решились на открытую борьбу

В перечне вопросов, которые предстояло обсудить на Международном конгрессе, появился еще один: о ликвидации постоянных армий и вооружении народа.

Воззвание организационного комитета подписали представители Французской рабочей партии, синдикатов и центральный революционный штаб бланкистов.

Борьба сопутствует прорыву доселе неведомых источников энергии. Врагам иногда обязан человек многими своими достижениями.

Опасность, которую несли поссибилисты всему рабочему движению, привела к сплочению революционеров. Энгельс возглавил боевой поход. Благодаря его упорной

работе съездом заинтересовались социалисты всех стран Европы и Соединенных Штатов. Текст извещения о созыве Международного социалистического конгресса в Париже подписали шестьдесят семь руководителей рабочего движения из двенадцати стран. Его раздавали в виде листовки, и оно летело из страны в страну. В ответ на это посибилисты обратились к парижскому муниципалитету с просьбой о денежной помощи для организации своего конгресса. Они пытались затмить и оттеснить марксистов. Французские буржуазные газеты назвали предстоящее совещание реформистов истинно национальным и поддерживали его деньгами и рекламой. Против последователей Маркса и Энгельса в это же время выступали и анархисты.

Элеонора и ее друзья устраивали многолюдные митинги в Лондоне и провинции. Социалистическая лига, Шотландская рабочая партия и отдельные профсоюзы выбирали делегатов на парижский конгресс. Социал-демократическая фракция германского рейхстага послала туда Бебеля и Либкнехта.

Всполошилась русская жандармерия, опасаясь, что русские представители также отправятся на конгресс. Полиция получила особые секретные инструкции о влиянии марксистов на рабочее движение в России.

Хотя Лаура, Поль и остальные единомышленники настойчиво призывали Энгельса в Париж, он отказался лично участвовать в работе конгресса, который был его творением, и остался в Лондоне ради подготовки третьего тома «Капитала» для печати. Этого никто, кроме Энгельса, не смог бы сделать.

Погрузившись в дорогие для него рукописи, Энгельс по-прежнему вмешивался во все дела предстоящего конгресса, вел переписку, обсуждал каждую организационную мелочь. Он твердо поддержал протест Бебеля против закрытых заседаний. По мнению Энгельса, все происходящее на съезде должно было предаваться в целях пропаганды широкой огласке.

Младшую дочь Маркса, избранную делегаткой конгресса, пригласили быть переводчицей. Она выехала в Париж в начале июля и ясным, жарким утром сошла с катера в Кале. Через несколько часов Элеонора уже обедала в обществе сестры и зятя в их тесной, заваленной книгами и газетами квартире.

Никогда раньше Тусси не видела Париж таким многолюдным и пестрым. Тысячи досужих иностранцев нахлынули в столицу, чтобы побывать на Всемирной выставке. Толпы слоняющихся людей, очереди у кафе и ресторанов, грохот переполненных пассажирами омнибусов на раскаленных июльским солнцем улицах и густая пыль, как дым пожарища, были необычны. Город, казалось, был сдан внаем чужеземцам. Французскую речь заглушали десятки иноплеменных языков.

Тусси и Лаура решили побывать на Марсовом поле, куда с утра устремлялись вереницы карет и валом валила публика.

В Трокадеро, около входа на выставку, барышники бойко торговали входными билетами, которых уже давно не осталось в кассах. Толстяк иван басом призывал посетителей к осторожности:

— Берегите кошельки, господа, берегите карманы!

Вертлявые мальчуганы навязывали прохожим открытки с видами различных наспех сколоченных павильонов, киосков и фонтанов. Богатые англичане привлекали внимание необычными светлыми костюмами и чопорностью, русские дворяне и купцы — мотовством и щеголеватостью, немцы в мундирах казались раздраженными и готовыми к свару. Толпа двигалась от ворот в расположенности антропологический музей, где стояли нескладные, унылые манекены.

Лаура и Тусси прошли по мосту на противоположный берег Сены: там находилась башня Эйфеля, магнетически притягивающая к себе посетителей выставки. У ее подножия сдавались за несколько су внаем стулья, и многочисленные зеваки подолгу сидели, закинув вверх головы, с изумлением взирая на ажурное строительное чудо. Трехъярусное металлическое сооружение непривычной формы, как бы составленное из гигантских прутьев, с видимыми и непрерывно движущимися вверх подъемными пагончиками, с круглыми, огороженными площадками, по которым прогуливались люди, показалось дочерям Маркса архитектурным предвестником приближающегося XX века. Они вспомнили о наклоненной и как бы падающей Пизанской башне, она была реликвией далекого прошлого. Эйфель же устремился в будущее.

Купив билеты, Лаура и Тусси вошли в деревянную клетку; раздался свисток, наглухо закрылись дверцы

Заскрипели блоки, завизжали колеса, катящиеся по вертикально установленным рельсам, и ящик пошел ввысь. Одна из дам, очевидно итальянка, принялась истово перебирать четки и молиться, другая взвизгнула. Какая-то чопорная старушка ухватила за руки Тусси, в ужасе моргая сухими темными веками. Наконец лучший вагончик остановился. Кондуктор отворил дверь. Тусси и Лаура ступили на балкон, как бы повисший в воздухе. Париж был внизу, видимый со всех сторон, исчезающий в тумане на горизонте, огромный и прекрасный.

На площадке расположилась эльзасская пивная. Все столики были заняты. Официантки в полосатых чулках, в шерстяных зеленых юбках, блузках с широкими буфами, в бархатных лифах с черной шнуровкой на груди и шляпах из лент, образующих подобие рогов, разносили глиняные кружки с элем, тарелки с сосисками, чернильницы и перья. Посетители смачно ели, писали на родину открытки со штемпелем Эйфелевой башни. Особенно неутомимыми были шведы и англичане, перед которыми лежали пухлые стопки открытых писем. Деловито и сосредоточенно, заглядывая в записные книжки с перечнем родственников и знакомых, надписывали они свои открытки с обязательной башней на обороте.

— Посмотри на этого раздувшегося от жирной пищи и житейских удач буржуа, — сказала Лаура, подтолкнув сестру и указав на огромного толстяка с багрово-красным затылком. — Я знаю, — продолжала она, — что он сочинил сейчас в письме на родину: «С высоты, на которой не парит даже орел, с пика новой вавилонской башни, я вижу весь мир и приветствую фирму Тух-Пух, главой которой являюсь».

Сестры спустились вниз, наскоро закусили в одном из сотен ресторанов Дюпали и пошли по песчаным дорожкам. Рядом с ними рабочие выставки в нанковых блузах и синих кепи с красным кантом катили перед собой кресла на колесах, в которых восседали дамы и господа.

— Это что еще за французские рикши? — удивилась Тусси.

Выставка походила на необъятный вещевой склад. Никакой системы в ее планировке не было. Кто мог уплатить побольше, занимал лучшее место на Марсовом поле и рекламировал свои товары успешнее.

В нескольких павильонах, где были выставлены воздушные шары, находились таинственные машины, трубы, электродвигатели — провозвестники приближающегося нового века, оттесняющего пар — энергию, дотоле правившую в мире.

Заметным успехом у посетителей пользовалась русская изба со скворечней на шесте у входа. Переодетые в сарафаны француженки, не знавшие русского языка, продавали деревянные резные игрушки, крестики, ларцы с украшениями из фольги. За прилавком на полке возвышались тульский самовар и лукошки новгородской работы. В углу висела темная икона с серебряным венчиком в киоте. Фитилек в лампаде зеленого стекла вздрагивал и чуть теплился.

Главным комиссаром русского отдела на выставке был Андреев, известный деятель ремесленного и профессионального образования, создатель первых школ для рабочих.

По его приглашению переводчицей среди русских кустарей, прибывших на выставку в Париж, поехала Екатерина Григорьевна Вартенева. Однако выставка была для нее только предлогом. Она стремилась на конгресс объединенных социалистов, которым пезла обращение от харьковских рабочих. Клотильда познакомилась с Вартеневой в кофейне.

— Вы говорите по-французски не хуже меня, — сказала мастерица из дамского салона. — Русские удивительные люди. Если они знают что-нибудь, то лучше всех других. Я ведь сама немного ваша землячка, мой муж ваш соотечественник.

Екатерина Григорьевна заинтересовалась парикмахершей. Она рассказала ей вкратце о себе. Все в жизни Вартеневой оказалось необычным. Но Клотильда считала русских людьми особого склада и странных судеб и поэтому не очень удивилась тому, что узнала.

Екатерина Григорьевна была участницей борьбы за Коммуну. Вместе с Елизаветой Дмитриевой и Анной Корвин-Круковской в кровавую неделю мая семьдесят первого года перевязывала она раненых на улицах Парижа, заботилась о детях и стариках, исполняла многообразные поручения Союза женщин по защите столицы от войск Тьера и Бисмарка. Она выступала перед рабочими и рассказывала им о Марксе. Клотильда, не отри-

пал глаз от одухотворенного и нежного лица Бартеневой, спросила:

— А не знали ли вы моего дедушку? Он ведь тоже был ранен в майскую неделю, сражаясь на баррикаде Лунаы Мишель. Он, знаете, такой лысоватый, всегда веселый был старик. Носил в то время фригийский колпак.

Бартенева в эти дни видела только раны, только кровь и людское горе.

— Их было так много, лысоватых, веселых, в фригийских колпаках, раненых и убитых! — сказала она, искренне сожалея, что не помнит дела мастерицы.

— Простите, я, право, задала глупый вопрос, — покраснев, спохватилась Клотильда. — Дед позднее часто рассказывал мне о Коммуне и нападении версальцев. Там было не до знакомств и болтовни.

Особенно удивляло Клотильду, что Бартенева, дворянка, была на редкость скромной и непребовательной и как бы стеснялась того, что, как говорила сама, досталось ей от родителей «без всяких на то оснований». Получив наследство после смерти отца в 1863 году, она вместе с мужем уехала в деревню, чтобы улучшить положение своих бывших крепостных. В 1866 году Бартеневы решили отдать большую часть своей земли крестьянам безвозмездно, а самим вернуться в Петербург. Одна из первых русских женщин, она занялась обучением неграмотных рабочих. Отличный стенограф, полиглот, широко образованный, честный, смелый человек, Екатерина Григорьевна стала очень нужной революционному движению. Организаторы конгресса обрадовались ее приезду и предложили работать одним из секретарей съезда.

Екатерина Григорьевна говорила Клотильде:

— Я, право, счастлива, что смогу быть полезной и мои знания пригодятся. Секретарство даст мне также возможность близко изучить ход дела и ознакомиться с документами, которые по обширности вряд ли все будут прочитаны на заседаниях. Предвижу, что некоторые из них будут подлинными статистическими сборниками. Знаю, я увижу весь мир. Цифры — как сказочные птицы: они помогают проникнуть в самые потаенные углы и все понять.

— Вы поэтесса. Для меня цифры враги. Я в них не разбираюсь, — улыбнулась парикмахерша.

— Конгресс не только встреча, — продолжала с увлечением Бартенева, — не только разговор, это грандиозное исследование положения рабочих в Европе и даже Америке. Клад для публициста, ученого и даже государственного деятеля.

— А я думала, что конгресс — это наши военные маневры, смотр, перекличка.

— Вы правы, Клотильда.

— Мы обе правы.

Четырнадцатого июля Париж обычно просыпался рано. На каждом углу с утра продавались цветы, пионы разных оттенков, от бледно-кремового до жгуче-малинового, гвоздики и розы, которыми так богата летом Франция. Площади и улицы к вечеру превращались в большие площадки. Там, где некогда высилась тюрьма, снесенная до основания гневом народа, танцы начинались с полудня. Земля, слышавшая некогда только стоны пытаемых и плач заживо погребенных, отныне служила радости и веселью. Париж праздновал сто лет со дня низвержения Бастилии, когда в большом, затененном портьерами зале Петрель открылся Международный конгресс объединенных социалистов. Из двадцати различных стран прибыло около четырехсот делегатов и множество гостей.

Зал, до отказа полный людьми, был пышно украшен алыми знаменами и гирляндами зелени. Борцы Коммуны принесли с собой простреленные свинцовые стяги, которые в глубокой тайне много лет сохранялись от контрреволюционеров. На груди делегатов рдели гвоздики — эмблема коммунаров. Длинный стол был покрыт пламенеющим сукном. Красный цвет, столь любимый революционерами, радуя глаз, господствовал на конгрессе. Более чем на двадцати языках говорили люди, собравшиеся сюда со всех концов света.

Конгресс открыл Поль Лафарг.

— Сегодня, — сказал он, — у Франции великий юбилей. Ровно сто лет назад буржуазная революция выбила из-под ног Луи Капета его могучую опору — мрачный застенок — Бастилию.

Поль Лафарг не умел быть равнодушным. Чем дольше он говорил, тем ярче блестели его глаза и громче звучал голос.

— Но что же мы видим сейчас, чем стала Франция для рабочих спустя век после падения Бурбонов? Буржуазия всю страну превратила в Бастилию для пролетариата. Этого нельзя долее терпеть...

Рукоплескания остановили речь Лафарга. После минутной паузы он заговорил о целях и значении конгресса.

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Слова, как в минуты наибольших испытаний, прозвучали эти вещие слова Маркса и Энгельса.

Символизируя братство французских и немецких рабочих, Либкнехт поднялся и крепко пожал протянутую ему руку участника Интернационала и Коммуны Эдуара Мари Вайяна.

Сменялись ораторы на трибуне. Они говорили о том, как нужен планете мир, как истощены, искалечены войнами народы, отдающие жизни своей молодежи за обогащение кучки магнатов, они призывали заменить хищную политику буржуазных правительств демократической оборонительной политикой вооруженного и организованного народа.

Француз Вайян сказал:

— Конгресс блестяще начинает новую эру — эру созидательных систематических требований угнетенными своих прав, планомерных, единодушных действий интернационального пролетариата и социалистического движения.

После Вайяна выступил Либкнехт

Шестьдесят три нелегко прожитых Вильгельмом Либкнехтом года заметно сказались на его здоровье. Он сгорбился, отяжелел, большое лицо его с широкими скулами огрубело, щеки запали, глаза потускнели и спрятались в дряблых веках.

После введения исключительного закона Либкнехт сидел не раз в тюрьме и жил долго в ссылке, где очень нуждался. Человек железной воли, он в последние годы начал терять уверенность в скорой победе рабочих и склонялся к некоторым уступкам. Энгельс, а ранее при своей жизни и Маркс сурово критиковали его за это, заставляли одуматься и продолжать борьбу без малейшего отступничества.

Споры эти, однако, никогда не приводили единомышленников к окончательному разрыву, и Либкнехт оставался в строю. Безусловная честность и преданность рабочему движению, трудный путь и участие во многих

революционных сражениях, близость к Марксу и Энгельсу высоко подняли Либкнехта во мнении социалистов, и появление его на трибуне вызвало искреннюю радость. Под сердечные рукоплескания ветеран начал свою речь. Он призвал тени замученных героев Парижской коммуны, и зал почтил их память.

— Этот конгресс, — продолжал он, — является исходным пунктом интернационального сотрудничества мирового пролетариата. Наш долг — полностью осуществить программу Международного Товарищества Рабочих, сделать национальные организации еще более сильными, еще теснее сплотить интернациональный союз.

Либкнехт считал, что интернациональное рабочее движение расширилось чрезмерно для рамок одной какой-нибудь организации.

В первый же день конгресс постановил, что все вопросы будут решаться только открытым голосованием.

Екатерина Григорьевна Бартенева, которую на конгрессе называли Артеновой, передала для оглашения Полю Лафаргу привезенный ею приветственный адрес от русских рабочих. Под ним стояло пятьдесят три креста вместо подписей. Делегаты благоговейно выслушали добрые пожелания своих братьев по классу из страны, где преследования революционного рабочего движения были так суровы, что требовалась строгая конспирация. Конгресс послал ответное приветствие русским рабочим.

Когда вечернее заседание закрылось и делегаты вышли на улицу, в городе уже зажглись огни иллюминации. Всюду звучала музыка. На площадях танцевали и пели. Парижане праздновали победу своих предков над деспотизмом. Старики восседали на вынесенных из квартир стульях, и матери с детьми на руках вышли из домов. На выставке зажегся фейерверк. Золотые змеи, шипя и рассыпаясь в полете, то появлялись, то исчезали в небе.

Клара, Лаура и Элеонора, взявшись под руки, допоздна гуляли по многолюдному бульвару. Они обращали на себя внимание не столько скромным изяществом кисейных светлых платьев, сколько особым выражением лиц, мыслью, озарявшей светом их глаза. Красота — это, прорывающееся наружу бурение чувств и дум, бушующая жизнь сердца и рассудка. Все это было присуще трем молодым женщинам.

В эти же июльские дни в Париже собрались на свой особый съезд женщины из разных стран. Россию представляли: замечательный математик Софья Ковалевская, поборница женского равноправия Кантерева и оперная певица Святловская. Но одной из главных деятельниц этого женского собора, готовившей отчет о феминистическом движении на своей родине, была Бартенева.

Она отличалась неутомимостью и энергией, присущей всем освещенным идеей людям. Обычно подобный душевный огонь ярко горит в годы победоносных революций, и только избранные натуры, самоотверженные и не спокойные духом, сохраняют его таким же мощным в тяжелые дни гонений и спада.

Выросшая среди родовитой знати, Бартенева знала цену всему, ради чего нередко теряют себя жадные и малодушные. В юности она отринула соблазны и предрассудки и поняла, что смысл жизни в высоких запросах мысли и борьбе за справедливое, счастливое общество равных. И, приближаясь к пятидесяти годам, она ничуть не утратила прежнего пыла. В Париже Бартенева работала и в Секретариате Международного социалистического рабочего конгресса, и на съезде женщин; посещала франкфуркский конгресс по образованию, писала много статей о Всемирной выставке в русскую газету «Новости» и о революционном движении на родине в иностранные социалистические газеты, встречалась с друзьями.

Клотильда не была на открытии конгресса. Она не решилась попросить гостевой билет, а друзья, поглощенные предсъездовской суетой, позабыли о ней, тем более что зал заседаний не вместил всех желающих присутствовать на этом вече социалистов. Для следующих собраний пришлось тотчас же нанять более обширное помещение.

Зайдя к Клотильде и покурив со за нашинною застенчивость, нежелательную для бойца, Клара достала из бархатного шитого бисером мешочка и протянула подруге пропуск, сказав:

— Давно пора нам, женщинам, сказать свое слово в политике. Кровь, пролитая женщинами во всех революциях, дает это право.

— О-ла-ла, боюсь я политики, как пороховой бочки. Сядь на нее, того и гляди, взлетишь в воздух, — пошутила Клотильда.

— Э, все эти страхи проходят после первого боевого крещения на трибуне рабочего собрания, — улыбнулась Клара Цеткин.

Рано утром мастерица направилась на конгресс. Она сошла с омнибуса на улице Ланкре, чтобы посмотреть, открылся ли съезд посибилистов. Они сняли зал, где обычно устраивали банкеты торговцы. Клотильда узнала, что сторонники уступок и сговора с буржуазией в этот день начали свое совещание. Не скрывая своего удовольствия, она тут же установила, что прибывших из других стран делегатов было мало, меньше, нежели французов, и к тому же многие иноземцы представляли не рабочие организации, синдикаты или клубы, а всего лишь самих себя.

Клотильда давно окрестила их отщепенцев и трусов, как она называла посибилистов. Увидев знакомого, одного из лидеров французской федерации трудящихся, Лави, мастерица остановила его коротким:

— Где брат твой Авель, Лави?

Оценив на мгновение, жеманный, вспыльчивый Лави разразился в ответ длинной тирадой, ругая немецких и французских марксистов, Лафарга и Геда, Либкнехта и Бебеля, которые, по его словам, раскололи мировое рабочее движение.

Клотильда нанял фиакр, чтобы не опоздать на утреннее заседание социалистического конгресса. Нахмурив неровные рыжеватые брови, она размышляла о Лави.

«Он обвиняет во всех смертных грехах именно марксистов и клянется, что владеет истиной. Как же так? Посибилисты — проповедники медлительности, осторожности, как они говорят — возможного, — повторяют, однако, те же слова, что и Гед, Цеткин. Кто же из них совершенно честен, кто прав? А может, все честны! Бывают ведь заблуждения не только от зла? Ох, как трудно что-нибудь понять, когда плывешь по реке из слов. Слова, слова! В любви, в обыденной жизни, в политике — везде много одинаковых слов».

В любви. Эта область была понятнее Клотильде. Тот, кто искренне привязан, и тот, кому фраза служит для того, чтобы скрыть отсутствие настоящего чувства, часто говорят одно и то же.

Вдруг Клотильда откинулась на сиденье наемной кареты и всплеснула по-детски руками в нитяных митенках.

— Я нашла, где правда! Она только в действии. В политике, повседневности, любви те же законы. Истина тогда истина, когда она подтверждается делом. Лави только что обозвал Клару Цеткин чуть ли не недругом рабочего движения.

Вспомнив это, Клотильда не могла сдержать улыбки. Клара была олицетворением деятельности и борьбы. Лави же тормозил революцию. Он был откровенным приспособленцем ко времени и обстоятельствам. Родись этот человек в иной, богатой среде, он и не подумал бы о рабочем или социалистическом движении. Но он рос в бедности и мечтал прожить жизнь лучше, не считаясь с принципами. Это делец, который мог бы пайтись в надсмотрщики. Политика для него — средство карьеры.

Клотильду увлекли неожиданные открытия, сделанные наедине с собой. Она не сразу узнала здание, у которого оживленно шумела толпа народа.

Когда Клотильда протиснулась в переполненный зал, присутствующие бурными рукоплесканиями приветствовали Плеханова.

Он казался рожденным для трибуны, для того, чтобы вести за собой народ. Красноречием, продуманной заранее жестикуляцией, игрой голоса и внезапностью пауз, строгой логикой диалектически отточенной мысли, знанием предмета, разящей иронией, подчас язвительностью и терпеливым умением объяснить и убедить слушателей был силен Плеханов. И как настоящий борец всегда и всюду, он не оставался равнодушным и на трибуне, стремился преодолеть сомнения, убедить, вооружить словом и фактом всех, кого видел перед собой. Это было для него не личным делом, а смыслом всей жизни, целью.

В своей речи Плеханов, один из шести делегатов от России, противопоставил творческое научное начало в учении марксистов опасным своей увлекательной путаницей взглядам народовольцев:

— Граждане!

...Русские цари были коронованными жандармами, считавшими своей священной обязанностью поддерживать реакцию во всех странах — от Пруссии до Италии и Испании.

...Вот почему торжество революционного движения в России было бы торжеством европейских рабочих.

...Промышленный пролетариат, сознание которого начинает пробуждаться, нанесет смертельный удар самодержавию.

А пока наша задача состоит в том, чтобы вместе с нами отстаивать дело международного социализма, всеми средствами распространять учение социал-демократии среди русских рабочих и повести их на штурм твердыни самодержавия.

А в заключение повторяю — и настаиваю на этом важном пункте: революционное движение в России восторжествует только как рабочее движение или же никогда не восторжествует.

Требования и программа действий марксистов на конгрессе нашли полную поддержку у делегатов — горняков, стеклодувов, моряков, кельнеров, шахтеров, ткачей и докеров.

Клотильда жадно вглядывалась в лица нескольких сотен рабочих, заполнивших зал конгресса. Она узнавала их не столько по лицам, сколько по рукам. Выросшая среди людей труда, она не интересовалась ни их национальностью, ни возрастом. Но натруженные, огрубевшие ладони и пальцы раскрывали ей человеческие судьбы и уничтожали любые преграды. Так отыскивала она своих братьев — тех, кому могла довериться. Клотильда следила за большой, уверенной, как молот, рукой польского делегата, шахтера, говорившего на незнакомом ей языке о чем-то очень важном и зовущем к свету. Поляк закончил речь свою по-французски, переводом стихов Мицкевича:

Кто ребенком в колыбели оторвал головку гидре,
Тот юношей задушит Кентавра.

Свежий, все впитывающий, пробудившийся, будто земля по весне, мозг Клотильды вобрал эти строчки гениального поэта как семя.

— Слава пролетариям всего мира! — крикнул кто-то, и все подхватили эти слова.

Появление дорогого, долгожданного человека всегда вызывает острую тревогу. Именно это испытала Клотильда, когда на трибуну взошла Клара Цеткин. И пока Клара не заговорила, звонко и порывисто, Клотильда не могла перевести дыхания, как если бы это она стояла на

освещенной трибуне перед молчаливо выжидающим, переполненным людьми залом.

От имени работниц Клара поздравила делегатов сотен многонациональных рабочих объединений с великим событием, каким стал конгресс для людей труда.

Клара говорила, все больше воодушевляясь и заражая этим других, о двойном гнете в жизни пролетарки — о труде и семье. Она доказывала, что нельзя отделить освобождение женщин от борьбы за социализм.

— Как в отношении жертв и обязанностей, так и в отношении прав мы хотим быть для мужчин не больше, но меньше как товарищами по оружию, которые при равных условиях будут приниматься в ряды бойцов... Пролетарии, борющиеся за освобождение человечества, не должны мириться с экономической зависимостью женщины и тем обрекать на рабство половину человеческого рода!

Клотильда не отрывала глаз от Клары, чей голос заполнил огромное помещение, набирал силу по мере нарастания в зале сопротивления словам оратора.

«Неужели она не убедит их, не пробьет броню мужского предубеждения?»

В зале сидели по преимуществу одни только мужчины. Делегаток женщин было так же мало, как и женщин-гостей. Клара страстно призывала делегатов воспитывать из работниц равных, а не подчиненных, друзей и соратниц, уважать в них полноценную личность в труде. Разве не сражаются женщины повседневно плечом к плечу с мужьями, братьями за лучшее устройство мира? Устами Клары Цеткин женщина-труженица, угнетаемая предпринимателем, неравная в семье, требовала, первый раз в истории с трибуны представительного конгресса, своих прав.

Речь Клары, однако, не вызвала того одобрения и восхищения, которого заслуживала.

Вне себя от возмущения, наблюдала Клотильда, как иронически посмеивались и переговаривались между собой некоторые делегаты. Никакого единодушия в том, чтобы женщины были уравнены с мужчинами, в зале конгресса не было.

— Женщина в политику принесет лишнюю суету и мелочность. Это ведь не подворотня и не кухня. Пусть

воспитывает детей, которых рожает, да заботится о муже, дел у нее и так невпроворот, — раздавалось в рядах делегатов.

— Пока что пролетарки в большинстве своем невежественны и полны суеверий. Они потащат нас назад, а не вперед. Дайте им право голоса, и они выберут монахов и кюре, к которым бегают исповедоваться, — сказал железнодорожник из Лилля.

— Нам снижают заработную плату с тех пор, как женщины пришли на заводы. Они превратились в конкурентов мужчин, а работать так, как мы, никогда не смогут, — пожаловался один из немецких ткачей.

Клара с места пыталась возражать против опасного заблуждения некоторых социалистов в вопросе о женских правах.

— Без женщин соратниц и вам, мужчинам, не сбросить своих цепей, — раздался голос Бебеля.

Клару поддержали также Лафарг, Гед, Либкнехт и другие дальновидные марксисты.

Прошло всего сто лет с той поры, когда в клубе якобинцев, в пору французской буржуазной революции, шли ожесточенные споры о том, есть ли у женщины душа и можно ли считать ее существом, имеющим те же свойства ума, которыми обладает мужчина. Никаких прав, кроме права бороться и умирать рядом с представителями «сильного» пола в дни революционных схваток и зачитывать петиции в Конвенте, француженки, отстоявшие буржуазную республику и разрушившие вместе с мужчинами Бастилию, так и не добились. После недолгого существования их клубы были запрещены.

Героизм коммунарок украсил историю человечества, но равенства они не успели получить.

Социалистический конгресс с каждым часом набирал силу.

Делегаты немецких профсоюзов Нью-Йорка говорили, что в Соединенных Штатах монополии и тресты в промышленности и в сельском хозяйстве достигли вершины грабительской системы XIX века.

— Мы стремимся предотвратить, — заявил один из них, — применение насильственных средств, но буржуазия в конце концов применит их сама, чем и вызовет катастрофу.

Американские делегаты напомнили конгрессу о чикагской трагедии и мае 1886 года и ее героических жертвах.

С обычной силой выступил Гед. Он был еще более худ, чем всегда. Гед напоминал средневекового мыслителя, готового взойти на костер за истину, которую проповедовал. Как всегда, он покорил собравшихся, и его высокий, скрипящий голос был слышен повсюду.

— Я верю, придет новая Коммуна. Ошибки первой не повторятся. Новая Коммуна победит! — сказал он под аплодисменты.

Победа социалистического конгресса означала крах съезда реформистов. Они поняли, что симпатии передовых рабочих на стороне марксистов. Не имея общей программы, эти люди, искавшие возможности предотвратить социальные бои и сговориться с господствующими классами, принялись поспешно искать пути к сердцам разочаровавшихся в них пролетариев. Реформисты вынуждены были объявить, что согласны с тем, чтобы в будущем средства производства стали общественной собственностью. Но они оговаривались, что борьба за улучшение положения рабочих не должна считаться подготовкой к революции. Только мирными средствами хотели они получить реформы, и усиление рабочих и социалистических союзов казалось им прочной основой для сотрудничества с капиталистами.

Когда повестка дня конгресса была исчерпана, один из делегатов французской федерации синдикатов огласил проект резолюции о международной манифестации в честь мирового единства пролетариата в день памятной даты события в Чикаго — первого мая. Рабочие во всех странах должны были собираться в этот весенний день и предъявлять властям требование о восьмичасовом рабочем дне и других изменениях в труде, принятых на Парижском конгрессе.

«Резолюция о 1 мая была лучшей из принятых нашим конгрессом», — писал Энгельс дочери Маркса Лауре.

Поль Лафарг, сообщавший ежедневно Энгельсу обо всем происходящем в Париже, не скрывал своей радости: «Поссибилисты совершенно деморализованы, на последнем заседании их конгресса присутствовало, включая делегатов, всего пятьдесят восемь человек».

Удача марксистов вызвала тревогу среди реакционеров.

«Марксистский конгресс, — сообщало прусское бюро социальной политики, — гораздо значительнее другого, так как все его участники были крайне революционными социалистами. В ходе его выяснилось, что немцы своей организацией и успехами подают пример всем другим нациям».

Степень удачи любого революционного начинания, как точный барометр, отмечала полиция.

Министерство внутренних дел Австрии разослало циркуляр о подготовке полиции к борьбе с первомайской демонстрацией. Во всех странах усилился надзор за руководителями рабочих союзов

Энгельс торжествовал. Он добился разоблачения реформистов, он собрал под одно знамя огромную рать воинствующих пролетариев и еще более утвердил гегемонию марксистского учения.

Через несколько дней после возвращения Тусси из Парижа Энгельс выехал с Еленой Демут на месячный отдых к морю

В Нетборне Энгельс бывал не раз, всегда предпочитая это приморское сечение всем другим в Англии. Канал казался здесь не менее могучим, чем океан. Неровный, скалистый берег, местами поросший деревьями, напоминал Скандинавию. Вдоль моря пролегала дорога, которую Энгельс давно облюбовал для своих долгих прогулок. Одна скала, выступавшая из воды, неподалеку от причала, напоминала ему то кипарис, то парус. Он подолгу смотрел отсюда на отливающие сталью волны. Сколько тысячелетий вот так же шумели они, отступая в часы отлива? Ничто на земле не твердит столь упорно о бесконечности жизни, как море.

Мысли Энгельса витали над всем миром. Думая о России, он испытывал особое волнующее чувство, веря в необыкновенное революционное будущее этой страны. Она была для него Францией кануна 1789 года.

Русские революционеры были, как и много лет до этого, в числе близких и чтимых Энгельсом людей. Он горевал о судьбе Лопатина, заживо погребенного в тюрьме, гордился успехами Плеханова, переписывался с Верой За-

сулич, с многолетним другом своим пародиком Лавровым, с одним из переводчиков «Капитала» Даниельсоном, встречался со Степняком-Кравчинским, чья душевная щедрость отражала характер всей великой нации.

По вечерам Энгельс из-за переутомления глаз не мог работать и усаживался с Ленхен за игру в карты. На маленьком столике, покрытом скатертью с длинной бахромой, стояла бутылка пильзенского пива и графин с кларетом. Елена жаловалась на боли во всем теле, и Генерал убеждал ее выпить на ночь грога, но, кроме пива, она ничего не признавала.

— Это у тебя мышечные боли, Ним. Легкая атака ревматизма. Бедняжка Лиззи тоже часто страдала от них. Уверен, что это простуда. Тебе надо согреться.

— Вот я и выиграла, пока ты занимался медициной. Тебе, Генерал, сдавать. Ты не сбрасываешь козыри и все время проигрываешь.

— Тем лучше для противника.

— Я вовсе не так тщеславна. Меня интересует не столько выигрыш, сколько борьба.

— Молодец, Ниими. Ты всегда была прежде всего боец. Но смысл сражения все-таки в победе.

Проведать Энгельса и Ленхен часто приезжали Пумпе с мужем Перси, Эвелинги, и как-то по пути в Германию явился Шорлеммер, которого в доме Энгельса, в шутку перевирая его фамилию, называли также и Джоллиймейором. Ученый заметно похудел за последние годы, глубоко запавшие глаза часто смотрели тревожно, как у человека, несущего в себе еще неведомый, но грозный недуг. Лицо его, с обострившимся носом и сухой, темной кожей, казалось всегда утомленным и печальным. Энгельс потчевал друга черным элем, который усиливал аппетит.

— Тебе бы разжиреть, как Либкнехту, дорогой Джоллиймейор, — убеждал его Фридрих. — Правда, Вильгельму нелегко стало теперь таскать перед собой толстое пузо. Но зато он очень представителен, как и положено члену рейхстага. Его всю жизнь спасала самоуверенность и веселое умонастроение, а также сакраментальная фраза: «Все идет великолепно». Он повторит ее все сорок лет, которые мы знаем друг друга. Ты же, дружище, слишком часто сомневаешься в себе. От этого худеют.

Ленхен угощала Шорлеммера его любимым яблочным штруделем и кофе со взбитыми сливками.

На прогулках друзья говорили о конгрессе, который превзошел все ожидания марксистов.

— Рептильная пресса Бисмарка помалкивает. Она боится рекламировать наши достижения, о которых, однако, знают все, кому надо, — говорил Энгельс.

— Да, сущий заговор замалчивания, — отзывался Шорлеммер.

— Кстати, Карлуша, — пошутил Генерал, — в Германии тебя опять примут если не за контрабандиста, то уж обязательно за главного конспиратора. Будь осторожен. Гойне всегда говорил, что прусские шпионы самые опасные. Им никогда не платят, вот они и надеются выслужиться и кое-что заработать. Это подстегивает их к деятельности и сообразительности. Если Пруссия будет им платить, они ничего не будут стоить.

Шорлеммер разразился чистосердечным, ребяческим смехом. Ему вторил Энгельс.

— Что до буржуазии, то я по-прежнему считаю, что она делает положенное ей дело и, работая на себя, тем самым работает на нас.

— Ты прав, мой старый Генерал.

— Сегодня мне попалась в руки пожелтевшая от времени брошюрка, которую я написал давным-давно. Сейчас мне почти семьдесят, и что же? — я повторил бы каждое ее слово. Мы не стареем в чем-то главном. Не правда ли, Карлуша? Впрочем, ты еще совсем молод. Тебе всего пятьдесят пять.

— Оставь, Фридрих. Ты-то, как доброе вино, с годами становишься крепче.

Я готов повторить сегодня, может только упростив слог, свои слова, обращенные к людям в юности. — Энгельс прочитал вслух написанное им давным-давно: «...вера во всемогущество идеи, в победу вечной истины, эта твердая уверенность, что она никогда не поколеблется, никогда не сойдет со своей дороги, хоти бы весь мир обратился против нее, — вот истинная религия каждого подлинного философа... Пусть не будет для нас любви, выгоды, богатства, которые мы с радостью не принесли бы в жертву идее — она воздаст нам сторицей! Будем бороться и проливать свою кровь, будем бестрепетно смотреть врагу в его гневные глаза и сражаться до последнего издыхания! Разве вы не видите, как знамена наши развеваются на вершинах гор? Как сверкают мечи наших товарищей, как колышутся

перья на их шлемах? Со всех сторон надвигается их рать, они спешат к нам из долин, они спускаются с гор с песнями при звуках рогов. День великого решения, день битвы народов приближается, и победа будет за нами!»

Борис Якушкин вез свой груз с большими предосторожностями. Ввиду нескольких провалов на границе он решил пробраться в Варшаву из Бреславля через Краков. Крестьяне-контрабандисты, зная, какую кладь им придется переволить, заломили неслыханную цену.

— Это не кружева или духи, не дамские чулки: за такой товар, если попадется, на Акатуй угодишь, — говорили они Якушкину, попивая вино в корчме у городской заставы.

— В том-то и дело, чтобы все по-доброму, — возражал Борис.

Наконец поладили и ударили по рукам. Договорились и о том, чтобы кладь за русской границей была поначалу припрятана в избе, покуда на помощь Якушкину из Варшавы не прибудет доверенный человек.

Ночью крестьянские возы, доверху заваленные сеном, двинулись из Кракова к пограничной станции Шипа. Не доезжая границы, контрабандисты свернули в лес, выпрягли лошадей, достали из-под сена тяжелые сундуки и улеглись на траве, требуя того же и от Якушкина. Издали донесся свист. Контрабандисты ответили кваканьем. Было очень темно. Борис встревожился: не западня ли? Но из чащи вышел бородатый старик и шепотом сообщил, что опасности нет. Перекрестившись, контрабандисты взвалили на спины груз и гуськом двинулись в темноту. Издали слышались голоса объездчиков и лай собак. Дорога была трудной. Ноги утопали в сыром мху. Постепенно лес редел, появилась речка. Пошли вброд. Шум воды мог привлечь внимание, и спутники Бориса, волнуясь, призывали на помощь то бога, то Николая-угодника. Внезапно послышался окрик:

— Стой! Кто идет?

Все замерли, и стало слышно, как в траве гудели жуки. Объездчик прошел где-то рядом и скрылся за деревьями. Наступил опасный миг. Взобраться на крутой берег из воды было нелегко, и обычно русские пограничники здесь подстерегали добычу. Однако все обошлось.

Промокший пасквозь Якушкин и его спутники уложили сундуки на поджидавший их воз и беспрепятственно добрались до деревни. В Варшаве Борис передал друзьям-подпольщикам все, что привез: документы, бланки, типографский шрифт и запретную литературу. Он с головой окунулся в партийную работу и то выступал на подпольных собраниях с рассказом о работе эмигрантов и французской партии, то помогал налаживать новую типографию, где должны были печататься социалистические газеты «Пролетариат» и «Молот». Но его поджидала беда.

«Отцом русской провокации» называли Судейкина, опутавшего Россию густой паутиной шпионажа. В самом исполнительном комитете «Народной воли» оказался предатель Сергей Дегаев, молодой, приятной внешности студент, с редким хладнокровием отправивший на смерть многих близких товарищей. Уличенный в измене и кровавых преступлениях, Дегаев принес повинную партии и вынужден был пойти на убийство того самого Судейкина, которому служил много лет.

Судейкин был честолюбцем, готовым на любое преступление ради своей выгоды. Стремясь выслужиться перед царем и стать сенатором и министром, он заготовил серию покушений. План был прост. Судейкин предложил Дегаеву организовать террористический акт на него, Судейкина, с тем, однако, чтобы рана была легкой. Он предполагал затем выйти в отставку и временно отойти от дел, чтобы спровоцированные Дегаевым народовольцы за это время убили директора департамента полиции Плеве и министра внутренних дел Толстого. Александр III должен был убедиться в том, что без Судейкина невозможно справиться с революционерами, и призвать его на помощь, предложив один из самых высоких постов в правительстве. Однако Судейкин, превзошедший в коварстве Фуше, ответившего Наполеону, что заговоры прекратятся лишь вместе с существованием полиции, просчитался.

Омерзительнее палача — его лакей. Дегаев, вовлекавший в террористические кружки доверчивую молодежь и отправлявший ее затем на виселицу, уличенный в этом, без колебаний предал и помог убить Судейкина.

Школа провокации и внутреннего шпионажа не исчезла со смертью Судейкина. Борис Якушкин встретил на улице давнишнего друга и, хотя из привычной осторожности не сообщил, зачем находится в Варшаве, для чего

свой адрес. Днем позже его арестовали. Улик никаких не было, но за нелегальный переход границы ему грозила отправка на поселение в Сибирь.

Клотильда, приехав в Варшаву, узнала, что муж со свидания и осталась ждать суда. По совету друзей Бориса француженка поселилась в домике Бернарда Отраба, сыновья которого за принадлежность к боевой партии «Пролетариат» находились на каторге.

Пани Ева Отраб, говорливая старушка, необыкновенно маленького роста, полная и подвижная, хорошо знавшая французский язык, обрадовалась весьма вежливой и услужливой собеседнице, какой и по натуре и по профессии была Клотильда. Странные отношения между супругами Отраб, жившими в противоположных концах дома и видавшимися редко, скоро стали понятными мастерице. Пани Отраб рассказала ей свою жизнь, не являвшуюся в чем-либо исключением в среде зажиточной шляхты и горожан.

Ева родилась в семье богатого купца.

— Я всегда была некрасивой. Меня дразнили жабкой из-за выпуклых глаз и растянутых губ. Однако молодость всех красит, и я нравилась приказчикам отцовой фирмы. Но в нашем доме все хотели быть не тем, чем родились. Деньги кружат голову. Отец нанял мне учителя чистописания, который для каждой буквы придумал виньетку. Мой почерк и сейчас — это вышивание бисером. Сплошные завитушки. Учитель мой преподавал в семье наместника края и в семьях знати. Поэтому отец платил ему очень дорого. Как видите, я изучила французский, хотя вовсе не слыла и польском. Пишу красиво, но с ошибками. Когда мне минуло двадцать, отец решил купить мне мужа. Он так и говорил — купить. Никто не спрашивал моего мнения об этом. Наконец нашли «товар». Отец так и называл женихов: товар. Это был управляющий имениями графа Потоцкого, пан Отраб. Ничего не скажешь плохого о его внешности, особенно тогда. Высокий, чистоплотный. Немного портили впечатление очки. По отцу и очки нравились. Солидно. Пану Отрабу я не полюбилась. У него было столько красивых любовниц. Говорят, в деревнях графа Потоцкого у крестьянок немало детей — точная копия управляющего. Меня все это не интересовало. Я знала,

что рано или поздно выйду замуж. За кого? Но это ведь всегда лотерея. Любовь приводит к несчастью. А браки без любви кончаются порой счастьем. Кто может знать? Пан Отраб не хотел жениться меньше чем за сорок тысяч. Отец мой был азартный человек. Он хотел, чтобы все было так, как ему хочется. И он дал сорок тысяч. Через год родилась у нас дочь Елизавета, и пан Отраб, забрав все деньги, сказал, что я ему противна, а он хочет любить, и вскоре уехал в Монте Карло. Не один, а с какой-то хорошенькой женщиной. Я вернулась к отцу. Что говорить? Мне было грустно в доме, где нас с дочерью постоянно упрекали. Но разве будешь мил насильно? Прошло девять лет. Пан Отраб прокутил все деньги и вернулся снова на службу к графу Потоцкому. Я его видела как-то на улице. Он стал еще красивее. Его очень украсила седая прядь и печальное выражение лица. Отец выкупил его к себе. Они торговались несколько дней. Мой добрый отец не пожалел еще сорока тысяч, но решил выплачивать их постепенно. Это заставило моего мужа оставаться со мной довольно долго. Родились наши дети Эдмунд, Иосиф и Леонтина. Они не успели подрасти, и пан Отраб вновь стал тяготиться мною. Но отец, умирая, завещал мне немалые деньги и этот дом... И мы, как видите, перед людьми соблюдаем приличия. Пан Отраб купил нашим дочерям мужей с положением. Елизавета за врачом. У них есть выезд и квартира из пяти комнат. Правда, там нет счастья. Леонтина, она красавица, вся в отца, вышла замуж за инженера. Бедняжка почему-то чахнет и все время болеет. Зато они бывают даже у губернатора. Ну, а сыновья мои такие строптивые. Они ненавидят отца и всегда заступаются за меня, хотя я этого совсем не хочу.

Пани Отраб тяжело вздохнула:

— Мальчики говорят, что наша семья — уродство, которого никогда не будет после какой-то там революции. Но я в это не верю.

Клотильда прониклась дочерним состраданием к Еве Отраб, которая, оставаясь умом и сердцем ребенком даже в шестьдесят лет, к счастью для нее, не понимала той мелодрамы, в какую обратилась жизнь ее семьи.

Могучая двухметровая стрипуха Текла, деспотическая любовница пана Отраба, управляла всем домом. Она возненавидела Клотильду, заподозрив в ней возможную со-

пернцу, и выжила ее. Француженка нашла пристанище у старушки, поглощенной заботами о ксендзе своего прихода и ручной канарейке. По вечерам Клотильда выслушивала все касавшееся этих двух привязанностей хозяйки квартиры. Но это длилось недолго. Суд приговорил Ивуникина к трем годам вольного поселения в Сибири. Его жена выхлопотала разрешение следовать за ним этапом.

В последний раз глядя в зарешеченное окно тюремного вагона на неукротимый город, Клотильда остро почувствовала, как полюбилась ей эта гордая, протестующая страна. Издавна Франция и Польша тянулись друг к другу.

Узники запели «Варшавянку». Есть на земле бессмертные песни, такие, как «Интернационал» и «Марсельеза». «Варшавянка» из их числа. Она стала отныне подругой и спутником дней Клотильды, которая больше не боялась испытаний борьбы. Она поняла, что родилась в годы, когда нельзя, подобно страусу, прятать голову под крыло. Укрыться стало негде. Горе, как пуля, пронзает повсюду. И Клотильда повторяла слова прославленного польского революционера Варынского, замученного в Шлиссельбургской крепости:

— Враги наши желают борьбы? Борьба будет!

Поезд шел на север. Заключенные запели «Кандальную мазурку», любимую песню польских борцов за рабочее дело:

Эй, мазурку заиграйте
Бунтовской семью.
Веселее в пляс спешите,
Варшава с Карою!
Враг грозит нам кандалами,
Каторгой, тюрьмою.
Но звенят нам наши цепи
Мазуркой лихою.

Впереди был долгий скорбный путь, остановки в пересыльных тюрьмах, утомительные пешие переходы, холод и голод, но никто не сожалел о будущих загубленных годах. Особенно мужественны были члены партии «Пролетариат», уже много принесшей человеческих жертв ради освобождения рабочего класса Польши.

Велик святок с именами героев, мученически погибших за людей. Клотильда слушала о недавно казненном

перницу, и выжила ее. Француженка нашла пристанище у старушки, поглощенной заботами о ксендзе своего прихода и ручной канарейке. По вечерам Клотильда выслушивала все касавшееся этих двух привязанностей хозяйки квартиры. Но это длилось недолго. Суд приговорил Ивушкина к трем годам вольного поселения в Сибири. Его жена выхлопотала разрешение следовать за ним этапом.

В последний раз глядя в зарешеченное окно тюремного вагона на неукротимый город, Клотильда остро почувствовала, как полюбилась ей эта гордая, протестующая страна. Издавна Франция и Польша тянулись друг к другу.

Узники запели «Варшавянку». Есть на земле бессмертные песни, такие, как «Интернационал» и «Марсельеза». «Варшавянка» из их числа. Она стала отныне подругой и спутником дней Клотильды, которая больше не боялась испытаний борьбы. Она поняла, что родилась в годы, когда нельзя, подобно страусу, прятать голову под крыло. Укрыться стало негде. Горе, как пуля, пронизает повсюду. И Клотильда повторяла слова прославленного польского революционера Варынского, замученного в Шлиссельбургской крепости:

— Враги наши желают борьбы? Борьба будет!

Поезд шел на север. Заключенные запели «Кандальную мазурку», любимую песню польских борцов за рабочее дело.

Ой, мазурку заиграйте
Бунтовской семью.
Веселей в пляс спешите,
Варшава с Карою!
Враг грозит нам кандалами,
Каторгой, тюрьмою.
Но звенят нам наши цепи
Мазуркой лихою.

Впереди был долгий скорбный путь, остановки в пересыльных тюрьмах, утомительные пешие переходы, холод и голод, но никто не сожалел о будущих загубленных годах. Особенно мужественны были члены партии «Пролетариат», уже много принесшей человеческих жертв ради освобождения рабочего класса Польши.

Велик свиток с именами героев, мученически погибших за людей. Клотильда слушала о недавно казненном

студенте Кунцком и попопах рабочих Петрусинском и Оссовском.

Во всем мире под разными широтами рождаются такие человечнейшие из человечнейших душ. Счастье добывается кровью и слезами. Как это, однако, страшно. Клотильда плакала от такого открытия. И она думала о несовершенстве мира и населяющих его существ.

— Я родилась слишком рано, люди еще несмышленые дети. Они только начали прозревать.

Внезапно она вспомнила, как Борис читал ей, останавливаясь, чтобы растолковать трудные места, книги Маркса.

— Мы живем в предыстории, — пояснял ей муж мысль великого философа, — человечество только подымается в боях. История начнется вместе с социальной революцией.

— Скорее бы, скорее, — шептала Клотильда.

Почти в то же время тюремный этап, в котором находилась Анна Бах, прибыл в Читу. В читинской колонии ссыльнопоселенцев господствовали порядки, которые были когда-то и на Каре, в бытность комендантом полковника Кононовича. Ссыльные жили дружной коммуной, работали в своей столярной мастерской, много читали и помогали всем политическим, проходящим через пересыльный пункт. Анне удалось повидать знаменитого рабочего Обнорского, который вместе со Степаном Халтуриным взорвал столовую в Зимнем дворце. Обнорский был также организатором «Северного союза русских рабочих». Члены этого объединения считали политическую борьбу необходимостью, такой же важной, как и борьба за освобождение рабочего класса.

Партия ссыльных двинулась к Байкалу. Снова, как пять лет назад, Анна видела бурятские селения. Заслышав звон кандалов и окрики стражи, жители выбегали из войлочных юрт, садились на корточки и с любопытством разглядывали арестантов. Женщины, не смея садиться в один ряд с мужчинами, жались с детьми на руках поодаль. Резко выделялись среди убогой толпы с длинными косами, в которые вплетался черный шелк, выбритые головы пестро разряженных лам.

Но вот кончилась степь и начались горы. Этапируемые вышли к могучему Байкалу с высокими скалистыми берегами, к необозримой тайге. На барже заключенных перевезли на противоположный берег бурного озера. Природа, как и везде, была тут таинственно равнодушна к человеческим несчастьям. Еще не забыт был «Забайкальский бунт» польских повстанцев 1863 года. В избе на отвесной вершине, где отдыхал в пути этап, вспоминали героев, пытавшихся взять приступом свободу и бежать из страшной байкальской тюрьмы через Китай во Францию. Побег их не увенчался успехом. Одни умерли, заблудившись в сибирских непроходимых лесах, других выловили местные жители, третьи с отчаяния и голода сами сдались преследователям. Вожаки бунта погибли на виселице. Более недели шла Анна этапом по земле отверженных. В Нижнеудинске она распростилась со своими спутниками.

— Увижу ли кого-нибудь еще? В тюрьме нет завтрашнего дня, так как никто не знает, каков он будет. Нет даже следующего часа. Все может измениться в мгновение ока. Узник себе не принадлежит. Бывает, что ничтожный пустяк превращается внезапно в великую беду и стоит жизни людям.

Из Нижнеудинска Анну отправили в Красноярск. С нею вместе ехали несколько ссыльнопоселенцев. Впереди предстояло все же какое-то подобие хромой свободы, и настроение у лишенных прав было приподнятое.

Славься свобода,
Честный наш труд,
Пусть нас за правду
В темницу запрут.

С этой песней этап вошел в Красноярскую тюрьму, откуда ссыльных должны были препроводить под конвоем к предназначенным им местам поселения. Анне Бах положено было проживать в деревне Емельяново по Старо-Московскому трактовому тракту, в двадцати шести верстах от Красноярска. В волостном селе Арейском, называемом также Зеледеево, находился острог, из которого бывшая каторжанка вышла наконец на свободу. Деревушка, где предстояло жить отныне Анне, была неподалеку. Перекинув торбу со скарбом через плечо, ссыльная направилась к добротным избам. Внезапно

из-за окна ей навстречу вышла высокая, гибкая женщина с несколько надменным умным лицом, в городском широком платье и коротком черном жакете.

— Вас только что выпустили на свободу, не так ли? Я уже слыхала про вашу печальную историю. С Кары? Я хочу вам помочь. Вы ведь сейчас что новорожденная... Все сначала. Это трудно.

Анна Бах с недоумением заглянула в беспокойные черные глаза неожиданной доброхотицы и сразу поверила ей.

— Вы тоже ссыльная? — спросила она мягко.

— Нет, то есть почти что. Муж мой сослан, лишен всех прав и состояния.

— А, вот что! Давайте же знакомиться. Бах, Анна Павловна.

— Давыдовская Елизавета Лукинична. Может, слыхали о Дмитриевой-Томановской?

Анна отрицательно покачала головой, но крепко пожала протянутую ей длинную узкую руку.

— Значит, обо мне никогда ничего не слыхали? Жаль, — упавшим голосом сказала Давыдовская.

Анна невольно залюбовалась ее точеным профилем, гордой линией прямого носа, широкими, густыми бровями, скорбно приподнятыми над переносицей, густыми черными волосами и высокой, царственной шеей. «Какая странная и вместе прекрасная собой женщина!» — подумала она.

— Пойдемте же. Узнав, что вас привезли в острог, я присмотрела вам комнатку у порядочных людей. Мы же здесь, увы, старожилы и знаем всех. Есть ли у вас деньги, смена белья, платье?

— Не беспокойтесь. Я ни в чем не нуждаюсь.

— Вот и славно. Ссылка не легкое житье. Тут не мудрено опуститься. Мы живем семьей. Я, муж мой и две наши девочки. Ира и Вера. Муж — превеликий прожектер. Чем только не пытался заниматься, чтоб заработывать, и всегда терпел фиаско. Теперь придумал открыть воп в той роще скипидарный заводик, на котором работает сам. Ну что ж, хорошо, что занят делом. А я... Ну, да вы к нам скоро наведаетесь.

По совету Давыдовской Анна наняла комнатку у местного крестьянина. Изба была большая, светлая, теплая и без клопов.

— Приходите поскорее и не стесняйтесь, скажите прямо, если что понадобится, — сказала Елизавета Лукинична. — Там, у въезда в село, — она указала рукой на видневшийся аккуратный двухэтажный домик, — мы приютились. Милости просим.

И вдруг с какой-то необычной решимостью она сказала, тревожно глядя на Анну:

— Приходите. Я так устала в постоянном одиночестве со своими необычайными воспоминаниями! Знаете ли вы, что я защищала Коммуну, до последнего часа отстаивала с другими баррикаду, чудом спаслась, перейдя с Франкелем границу? Раненная, уйма из Парижа и добралась до Швейцарии. Я была членом русской секции Интернационала. Жизнь щедро меня одарила. Я знала Маркса и Энгельса. Не просто знала, а заслужила их доверие. Сколько вечеров провели в доверительных беседах с дочерьми Маркса Женнихен и Лаурой! И вот сейчас... Вы верите мне? Скажите, прошу вас.

Анна Бах хотела сказать: «Да, верю, конечно, верю», — но внезапно она усомнилась именно оттого, что ее спросили об этом. Она ответила уклончиво:

— Все, что вы мне сказали, так интересно, так необычно. Надеюсь, мы еще вернемся к столь удивительным событиям. Человек, близко знавший Маркса... Да ведь это — чудо! Я столько наслышалась о Марксе от Засулич и Плеханова, а им так и не удалось повидаться с ним. Только я не слыхала в Женеве вашего имени.

Елизавета Лукинична поспешно пошла в сторону своего дома. Девочки-подростки бежали к ней навстречу. Распрямив согнувшиеся плечи, она крикнула им что-то, и все трое свернули к лесу.

После многих лет тюремного заключения Анне все казалось новью. Она занялась устройством своего скромного быта. Поначалу ей не хотелось вовсе видеть людей, чтобы в полную меру насладиться той видимой, бесконечно дорогой свободой, о которой она не смела в последние годы думать. Она могла отныне закрыть дверь на крючок или оставить открытой по собственной воле. Никто не следил за каждым ее шагом. Кончились «подъемы» и «отбои», ежедневные поверки и внезапные обыски, окрики стражи и кандальный лязг. Анна не сразу осознала свалившееся на нее счастье. Она могла ходить, куда ей вздумается, и лежать после восхода солнца хоть весь

день. Хозяйка принесла ей парного молока и краюху хлеба, благостно улыбаясь.

Второе рождение. Новое понимание счастья, найденного в капле росы, в цветении черемухи, в закате и звездах, в смехе ребенка, в медленном течении маленькой речки Качи и брачливом лае собак в селе. Анна жадно приникла к жизни. Все сильнее ощущала она необходимость труда и общения с людьми.

Село Арейское и деревни Емельяново и Установо образовали большое поселение, где жили зажиточные крестьяне и немало ссыльных. Была тут больничка, двухклассная школа, этапная тюрьма, церковь и базар. Местность была сухая, здоровая, окруженная великолепным лесом. Неподалеку протекала Кача, приток Енисея. Сибирь, казалось, полюбился этот нетронутый край, и во все времена года оно баловало его. Найти работу Анна, не знавшая ремесла, не смогла. Жизнь на средства родных казалась ей тягостной и недопустимой. Она мечтала взять к себе детей, но Бах воспротивился этому, пообещав, однако, ненадолго прислать двух старших девочек погостить к матери.

Словоохотливые и общительные политические ссыльные рассказали Анне о Елизавете Лукинишне много дурного. Все они относились к ее мужу, а потому и к ней с недоверием.

Иван Михайлович Давыдовский, русобородый, подчеркнуто предупредительный и заметно слабохарактерный человек, был осужден по грязному уголовному делу «червонных валетов».

Елизавета Лукинишна безраздельно верила тому, что муж ее не виноват в подделке векселей, вымогательстве и шантаже, окончившихся убийством, в которых его обвинили вместе с несколькими стремившимися к легкой наживе студентами-недоучками и отставными военными из обедневших дворян.

Защищая Давыдовского на суде, Елизавета Лукинишна говорила, что он невинная жертва мстительных врагов.

Участница I Интернационала, героиня Коммуны, друг Маркса и его семьи, она всегда была верна до конца революционной идее. Некогда очень богатая, она отдала почти все свое состояние на дело революции. Теперь, в изгнании, ее денежные дела были плохи. Бартенева помогала Давы-

довской во всех ее стараниях оправдать и освободить мужа.

Однако Давыдовского признали виновным. Без всяких колебаний поехала в Сибирь вслед за осужденным и его жена. Ничто не могло сломить ее убеждения в полной невиновности Ивана Михайловича.

Всего этого не хотели знать политические ссыльнопоселенцы Арейского. Они отдалились от Давыдовских, обвинили Елизавету Лукиничну в склонности сочинять о себе небылицы и даже считали ее психически не вполне здоровой. Постепенно самолюбивая, глубоко оскорбленная таким отношением женщина начала сама избегать этих людей.

Анна Бах терялась в возникших сомнениях, тем более что сердцем тянулась к позаботившейся о ней женщине. Но Давыдовские сами не искали с ней сближения.

Летом ежедневно на рассвете Елизавета Лукинична доила корову, а затем гнала ее на пастбище. Две миловидные девочки-погодки запрягали лошадь, косили сено, ходили по воду и возились на огороде. Под вечер в маленьком палисаднике мать занималась с ними различными предметами и языками.

Анна непрошеной гостьей пришла к Давыдовским. Труд и любовь к музыке, чтению, наукам обосновались в этом доме. Там было пианино, глобус, и на рабочих столиках всех членов семьи лежали журналы, книги на разных языках, географические и астрономические атласы, что особенно удивило гостью. Хозяйки не было дома: она отправилась в Арейское, чтобы узнать, нет ли знакомых в остановившемся в пути на Нерчинскую каторгу этапе. Она стремилась помочь тем, кто в этом нуждался.

Поджидая Давыдовскую, Анна разговорилась с Верой и Ирой, не по годам развитыми, скромными девочками с потемневшими от загара лицами. Старшей было уже шестнадцать лет. Обе были воспитаны в любви ко всякому труду и с одинаковым удовольствием доили корову, полили грядки, играли прелюдии Шопена и решали сложные математические задачи.

Вернувшись к себе, Анна долго не могла избавиться от мучившего ее чувства какой-то большой несправедливости, которая окружала Давыдовскую.

«Кто же она на самом деле? — напряженно думала Анна. — Неужели и впрямь друг Маркса, участница

ликого Интернационала, попгельница Коммуны? Но могла ли такая женщина выйти замуж за светского аристократа, каким, по общему мнению, являлся Давыдовский? А может, и он не таков? В ссылке в нем никто не приметил худого. Трудится, не пьет и охотно помогает нашему брату. За что же тогда подвергли их бойкоту? А если все-таки эта Елизавета Лукинична, как говорят ссыльные, не вполне нормальна? Может, и сочиняет по болезни? Или ловит простодушных? Кого не заинтересует имя Маркса? И все-таки в чем-то мы все не правы. А если она не лжет? С такими-то глазами человек не может быть плохим. Никто же не оспаривает ее учености, знаний. Откуда все это? Откуда могла бы помещица из Псковской губернии узнать то, о чем свободно толкует Давыдовская? Зачем ей Интернационал и Коммуна? И простота особенная в ней, какая-то родная простота. Нет, нет! Что-то не так. Не хлестаковщина это».

Анну до того взбудоражили такие мысли и сомнения, что она почувствовала недомогание. Хотела было прилечь, но хозяйка позвала помочь ей сладить со скотиной, вернувшейся с поля. Со времени поселения, за два месяца, Анна научилась всему, что делали местные крестьянки, и, вставая с восходом солнца, уходила на скотный двор. Коровы, которых до того она очень боялась, ластились к ней шелковистыми мордами.

В этот вечер ей долго не спалось, и, выйдя из жаркой избы на улицу, она пошла по дороге к полю. Наступила ночь, и звезды на чистом небе казались выпуклыми. Вдруг у края деревни Анна увидела Елизавету Лукиничну. Запрокинув голову, та смотрела на небо и что-то шептала.

«Неужели бедняжка действительно душевнобольная?» Анна остановилась, продолжая наблюдать за Давыдовской, которая, заложив руки назад, медленно ворочая головой, продолжала смотреть в ночное небо.

— Анна Павловна, — неожиданно произнесла она, обернувшись, — не думайте, что я невменяема. Издавна интересуюсь астрономией. К сожалению, мне никогда не представлялась возможность серьезно изучить эту науку, такую же необъятную по своим возможностям, как, — Давыдовская раскинула руки, — эта чудесная вселенная. Да, я всего лишь дилетант, а не астроном. Если б только я могла, то построила бы здесь башню, чтобы по ночам смотреть в подзорную трубу на звезды и разгадывать их

тайны. Политическая экономия, наука о революции, и астрономия — вот самое увлекательное на земле.

Анна Бах смотрела на Елизавету Лукиничну во все глаза.

— Когда в тысяча восемьсот семьдесят третьем году я стала женой, к тому же сначала гражданской женой, Ивана Михайловича и потом, когда его оклеветали и запутали без вины в грязное дело, почти все родственники и друзья покинули меня. Вокруг нас был очерчен дьявольский круг. Никто не захотел переступить через него. Но могла ли я бросить близкого человека в беде, им вовсе не заслуженной? Чего стоит тот, кто изменяет идее, кто не верен любви в минуты испытаний? Я никогда не была трусом, отступником, не была предателем. И теперь я, как говорили часто в семье Маркса, иду в жизни через терпение. — Елизавета Лукинична попыталась улыбнуться, но от этого лицо ее стало еще более грустным. — Терпи и звезды. Я могла бы начертать их на несуществующем моем гербе.

В эту ночь Елизавета Лукинична рассказала Анне Бах о своем девичестве в имении самодура отца, о матери, добрейшей и отзывчивой женщине из Курляндии, Каролине Доротее, немке, принявшей православие и названной Натальей. Книги, счастливые встречи привели Елизавету Лукиничну к поискам смысла бытия, к революционным идеям. Фиктивный брак дал возможность покинуть родной дом и Россию. Она отдала революционерам почти все свои средства. Это было так естественно. Затем поручение от русской секции Интернационала привело ее к Марксу в Лондон. Так она узнала настоящих, необычных по мощи духа, гениальных людей.

— Ради таких дней, как те, когда прогремела Коммуна, стоило родиться на свет. Ими оправдана вся моя жизнь, как бы она ни была потом плачевна. Что ж, у каждого своя Кайенна. Но главное, незабываемое, великое — оно было. Его у меня не отнять. Страшно, когда от рождения и до смерти человек не горит, а тлеет, чадит. Я же видела в людях только огонь.

Рассвело. Анна распростилась с Элизой.

Этим же летом сестра привезла Анне ее дочерей, двойняшек Тату и Нату. Им было по одиннадцати лет. Расфранченные, завитые, девочки не поминли матери и искоса, не поднимая глаз, поглядывали на ее огрубевшие руки,

застиранное ситцевое платье в белые горошины, на стриженые волосы. Думая о побеге, она начала их отращивать, и неровные кудри небрежно падали на ее затылок.

После приезда детей Анна проплакала всю ночь. Она думала, что потеряла дочерей навсегда — такими чужими они оказались. Началась упорная, не приносящая успеха борьба Анны за сердце Наты и Таты. Девочки, однако, рвались к отцу, к роскоши, с которой был обставлен его дом, скучали по гувернантке и с пренебрежением относились к матери. Изредка им становилось ее жалко. И это для нее было еще огорчительнее. Все вокруг казалось им уродливым и нищенским. Привольным сибирским просторам они предпочитали узкие дорожки столичного парка, деревню — огражденную забором дачу с мраморным фонтаном перед террасой.

В течение нескольких лет Иосиф Федорович Бах объявлял всем, что жена его умерла, и дети привыкли к тому, что они сироты. Известие, что мать жива, удивило, но не обрадовало близнецов. В доме не было ни одной ее фотографии, в памяти их не осталось ни ее образа, ни каких-либо воспоминаний.

Однажды маленькой Тате показалось, что шарф случайной гостьи пахнет мамой.

— Это мамина шаль, — настаивала девочка. Ее обоняние сберегло запах материнских духов.

К осени дочери Анны должны были вернуться в Петербург, чтобы пойти в гимназию. Несмотря на полное равнодушие и неуловимое осуждение со стороны детей, мать все больше привязывалась к ним, и страдания ее возрастали.

«Нужны годы, чтобы они полюбили и поняли меня. Как же быть? — металась Анна. — Отказаться от служения благой идее, превратиться в бонну, всем пожертвовать, перечеркнуть прошлое, забыть Кару, погибших Петровскую, Гельфман, друзей, Плеханова и Засулич, прочитанные и ставшие частью меня самой книги, думы моих чувства? К чему я так томлюсь? Раба, бесправная вещь в руках любого околоточного и жандарма. Какая я мать?»

Думая так, Анна сидела в хозяйской горнице. Перед избой Ната и Тата, сторонясь деревенских ребят, вдвоем играли в мяч.

На столе у кнота в красном углу, под иконами, лежало Евангелие. Анна, вспомнив детство, открыла его, на-

угад. Читавшая Фейербаха, Репана и особенно философские сочинения Маркса и Энгельса, она с интересом перечитывала отдельные страницы древней книги. Шутки ради она загадала, как делала это в тюрьме, что скажет ей та или иная случайно увидонная строчка.

«Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят.

И будете ненавидимы всеми за имя мое».

Анна невольно улыбнулась и захлопнула книгу. Фраза евангелиста Луки совпадала с ее мыслями о путях революционеров, о необычном жребии борцов за идею.

Вскоре девочки уехали. Анна начала работать в больнице кастеляншей и сиделкой.

Наступили теплые осенние дни. В Аройское прибыл этап поляков. Двоих заключенных должны были выпустить из острога. Им предстояло обосноваться в этих местах. Остальных отправляли на каторгу в Акатуй.

Анна пошла к этапному двору, чтобы встретить новых поселенцев. Ждать пришлось недолго. С котомками на спинах из ворот вышли обросший густой бородой мужчина и рыжеволосая, нерусского типа женщина. Это были Борис и Клотильда Нвушкины. Нвушкин, как врач, оказался очень нужным человеком в деревне и скоро заслужил добрую славу на много верст кругом. Больных привозили на телегах. Анна и Клотильда, помогавшая мужу, обмывали их, переодевали в пожелтевшее от кипячения чистое белье и укладывали на топчаны. Они сами готовили еду и различные настои, убирали больницу, стирали, кипятили инструменты, собирали дикорастущие травы, так как двенадцати рублей тридцати шести копеек, отпускаемых казной на лекарства для сельской больницы, было вовсе не достаточно, а жертвователей не находилось.

Осенью начались эпидемии тифа и кровавого поноса. Врач и две его сиделки дни и ночи проводили подле тяжелобольных. Анна и Клотильда тоже переболели дизентерией и едва уцелели.

Нвушкин за несколько месяцев своей службы помог шести тысячам больных. Сиделки падали с ног от утомления и, однако, считали себя счастливыми. Жизнь их получила огромный смысл: они работали для людей.

Окрестные деревни узнали и полюбили самоотверженных медиков, не щадивших себя в труде. Анна постепенно

выучилась у Ивушкина акушерству и заменила бабок и знахарок. Но ее особенно удручало, что не только восприемницей жизни, но и свидетельницей смерти приходилось ей часто быть.

— Что и толковать о нашей родине! — говорил Ивушкин. — Продолжительность жизни русского человека — в среднем всего двадцать восемь лет. Холера, тифы быстро расправляются с ослабленным чрезмерным трудом и постоянным недоеданием рабочим человеком. Каждый год у нас мрет лишних два-три миллиона нестарых людей, благо земли много, есть где похоронить.

— Все это понятно мне. Для каждого начинания одна надежда — перемены в общественном строе, революция, власть народа. Но когда же это будет, когда? — спрашивала Аня.

— Неверующий Фома, я знаю, что увижу новый мир! — весело и убежденно твердила Клотильда. — На что мне ваши теории? Борис знает их все за нас двоих. Но чувство — это уже мое дело. Поверь, что я никогда не ошибаюсь. Сама не знаю отчего, но убеждена, что увижу революцию. Все равно, где она начнется: Россия так Россия. Это ведь теперь и моя родина. Лишь бы зажегся свет. Он, как солнце, осветит всю планету.

Приближалась зима. Ивушкин с первого часа ареста лелеял мысль о побеге. Клотильда ничего не скрывала от Ани, которая не раз тоже обдумывала, как ей вырваться из ссылки. Все трое долго обсуждали план действия. Решено было, чтобы Клотильда через Петербург, не вызывая никаких подозрений, отправилась во Францию, будто бы для того, чтобы забрать в Арейское сына. Затем с помощью Ани и нескольких друзей через Дальний Восток, по маршруту Бакунина, предстояло бежать Ивушкину. Анна отложила свой побег до весны.

На прощальный ужин у Ивушкиных собралось много ссыльных. Клотильду снова забросали вопросами о Международном социалистическом конгрессе, на котором она была более года назад. Как всегда, бурный спор возник у народовольцев и членов польского «Пролетариата» с многочисленными марксистами, сторонниками группы «Освобождение труда». К их числу принадлежал Ивушкин. У него была завидная память на прочитанное, и он безошибочно повторял многие мысли Маркса и Энгельса, разбивал сторонников террора со спокойствием человека,

убежденного в преимуществе и силе своего оружия. Клотильда наказывала Анне, как ей одной лучше вести больничное хозяйство, кипятить и чистить инструменты и готовить сложные настойки из трав для больных.

— Особенно хороша для тех, у кого кровоточат десны, соленая черемша. Мы с тобой вовремя заготовили целую бочку этого бальзама. Как жаль, что черемша не растет у нас во Франции. Она нужна всем бедным людям, — говорила по-французски бывшая парикмахерша. — Прошу тебя, Аннет, не печалься о своих дочках. У меня ведь тоже сын вдалеке. Он не знает ни матери, ни отца. О, это ничего. Я не тужу. Придет время, и наши дети к нам вернутся и будут гордиться такими родителями. Ведь не ради зла, а во имя добра мы отвергли толстозадых богачей и пошли в эту преисподнюю. О, я не завидую буржуа, их песенка скоро будет спета. Что ж, у них длинная кишка и вместительное брюхо, а у наших друзей непомерно великое сердце и голова.

Вечеринка не обошлась без хорового пения, и Клотильду попросили спеть новую и малоизвестную в России песню «Интернационал». Хотя слова были французские, припев подхватили поляки и русские.

На другой день Клотильда оставила Арейское и, преодолев немало трудностей, прибыла в Петербург. Бартенева приютила ее в своем небольшом домике.

Петербург произвел громадное впечатление на молодую иностранку. До этого она думала, что в мире есть только один красивый, величественный город — Париж. Клотильде нравились площади и набережные, дворцы и памятники прекрасной русской столицы.

Поражала ее, как и в Париже, гостеприимная Бартенева. Клотильда редко видела более деятельных, жизнерадостных и волевых женщин. Бартенева, приближавшаяся к пятидесяти годам, сохранила все признаки молодости. Она отлично плясала, пела и заметно хорошела во время увлекательной беседы. Три взрослых сына не чаяли в ней души и относились к матери с предупредительностью, как добрые друзья. Муж Бартеневой отдавал ей во всем предпочтение, и Клотильда подметила гордость и восхищение, когда он слушал ее увлекательные рассказы о пережитом.

Однажды в декабрьский вечер в доме Бартеневых раздался звонок, испуганно охнула горничная. Нагрянули с обыском жандармы. Клотильда вернулась с прогулки, и ей

почудилось, что по всем комнатам пронесся снежный вихрь. Горы бумаг валялись на полу, картины на стенах сдвинулись, шкафы остались раскрытыми. На столе лежали изъятые книги, тетради, вырезки из иностранной печати.

— Итак, госпожа Бартенева, вы, оказывается, сотрудничали чуть ли не во всех красных газетах мира. Извольте сами посмотреть: венгерская «Арбайтер Вохен Хроник», венская «Рабочая газета» — опаснейшие издания, возмущающие спокойствие порядочного общества. Вы также поставляли зловредные сведения и в нью-йоркскую социалистическую прессу. Мне жаль, что такая образованная женщина клеветала на нашего монарха, на мудрые законы своего отечества. Трудно верится, что вы столбовая дворянка, наследница по матери славного рода Мининых.

Жандармский полковник, притворяясь сокрушенным, покачал надушенной головой с гладко прилизанными, едва прикрывающими лысину волосами. Негодование его все возрастало по мере того, как увеличивались пачки изъятых им бумаг.

— Ай-яй-яй, да ведь эта ваша рукопись восхваляет запретную газету «Народное дело»! Так! Значит, возмущались казнью Александра Ульянова, Шевырева и других государственных преступников, стремившихся посягнуть на жизнь государя императора. Тут и ваша защита Софьи Гинзбург. Значит, и она была вам лично знакома.

— Прошу не говорить со мной об этой великомученице. Разве вам мало, что она, такая молодая и одаренная, месяц назад покончила с собой, не выдержав пытки Шлиссельбургской крепости?! Ее ведь содержали в камере рядом с двумя душевнобольными. Это было настоящим убийством.

— Я, право, поражен, Екатерина Григорьевна, вашей осведомленностью. Мне ничего не известно о смерти Гинзбург.

— Зато об этом знает уже вся передовая, честная Россия.

Дело дворянки Екатерины Бартеневой, заведенное после обыска жандармским управлением, ждало решения министра внутренних дел.

В семидесятых годах в Петербурге появились первые кружки рабочих. В зиму 1890 года их было уже более

двух десятков для грамотных и не умеющих читать и писать. Преподавали студенты разных учебных заведений и наиболее развитые рабочие.

Бартенева и ее старший сын, Виктор, часто бывали в этих кружках, состоявших из нескольких человек и имевших каждый свою кассу. Часть средств отчислялась в кассу центрального комитета всех рабочих групп, остальные деньги тратились на книги и на помощь стачечникам. В центральной кассе оказывалось подчас по нескольку тысяч рублей. Помимо отчислений кружков немалые суммы поступали от устройства лотерей, благотворительных концертов и вечеров, а также от жертвователей. Все эти деньги хранились у Бартеневой, муж и сын которой также сочувствовали социал-демократам.

Несколько раз в неделю Бартенева надолго уходила из своего скромного деревянного домика на Песках и окольными путями пробиралась на Петербургскую сторону. Там, на Газовой улице, стоял небольшой особняк, с сумерек освещенный многозначительным красным фонарем. По вечерам в публичный дом приходили мужчины. За толстыми шторами слышалась музыка.

Нельзя было догадаться, что во дворе этого же дома, во флигеле, находится конспиративная квартира. Ее снимала молчаливая, неприметная портниха. Там и занимался рабочий кружок, и вела его Софья Александровна, как звалась на Петербургской стороне Екатерина Григорьевна. Фамилию ее никто не сообщал.

В кружке Бартенева читала и разъясняла наиболее доступные работы Маркса и Энгельса, статьи Чернышевского, Писарева и Шелгунова. Иногда занятия состояли только из вопросов и ответов. Кроме политики, экономики, истории, обсуждались вопросы естествознания. Бартенева была увлекательным рассказчиком и много знающим человеком. Жизнь обогатила ее знакомством с необыкновенными людьми, да и сама она много испытала. Ткачихи, швеи, печатники по переводя дыхания слушали подробности боев за Парижскую коммуну, воспоминания о Международном конгрессе, рассказы о Марксе, Энгельсе и других пролетарских борцах.

В конспиративной квартире на Газовой хранилось немало подпольной литературы. Случалось, там устраивались обширные тайные собрания рабочих под видом разудалых вечеринок в честь чьих-либо именин.

Незадолго до отъезда Клотильды в Париж Бартенева привела ее в свой кружок.

Внучка коммунара почувствовала себя счастливой среди людей, близких ей по духу, по труду. Зная всего несколько слов по-русски, она, однако, сумела передать им тепло своего сердца.

Руки! Утомленные, шершавые, с похожими на мертвые жемчужины мозолями на ладонях. Точь-в-точь такие же были у ее деда. По ним она всегда судила о прожитой жизни. И слова стали ненужными. Их заменили рукопожатия.

Получив условную телеграмму от Бориса Невушкина, из которой поняла, что муж готов к побегу, Клотильда начала собираться во Францию. Бартенева передала ей письма и статьи для социалистических газет разных стран, в которых сотрудничала.

Дело Бартеневой к этому времени закончилось. Благодаря хлопотам деверя, сенатора, приговор был мягким. Ее отдали под гласный надзор полиции и предложили на четыре года выехать в ссылку в город, не столичный и не имеющий высших учебных заведений, по собственному выбору. Поразмыслив, Бартенева решила поселиться в Пскове.

Последние часы перед разлукой француженка и русская провели в доверительной беседе.

— Я прежде мечтала, — сказала Клотильда, — избегать борьбы и трудностей и быть всегда беспечной и счастливой. Но такой жизни для нас, тружеников, нет на земле.

— Да, ее нет для мыслящих, нуждающихся в справедливости, как в свежем воздухе, людей, — добавила Бартенева. — Но надо не покладая рук трудиться.

— Бороться!

Коттедж, где за городом поселились супруги Вебб, был совсем маленький, густо обвитый жимолостью и диким виноградом. Издали он казался небольшим холмом, густо поросшим травой. Бородатый шотландский терьер с желтой шерстью и меланхолическими черными глазами первым встретил гостей посередине открытой поляны, примыкавшей к дому. Беатриса Вебб появилась вслед за ним и деловито пригласила гостей в крошечный холл.

— Алло, Шоу! Вы не один? Превосходно. Рада видеть миссис Маркс-Эвелинг и мистера Эвелинга. Как вы себя чувствуете? Надеюсь, дорога вас не утомила? Я рада, что вы приняли мое приглашение. Я послала его в начале года, а теперь уже весна. Мистера Шоу, нашего будущего Шекспира, мы имели честь видеть у себя уже несколько раз за это время. Прошу всех подняться по этой лесенке наверх. Там, направо, ваша комната, Бернард, налево — все готово для четы Эвелингов. Ждем вас к пятичасовому чаю.

Тусси и Эдуард вошли в спальню, вынули из чемодана вечернюю одежду, развесили на плечиках и принялись умываться. Элеонора несколько раз выглядывала из окна. Луга убегали к горизонту, терялись на отлогих возвышенностях. Все было покрыто свежей, будто только что вымытой зеленью.

Через два часа хозяева и гости встретились в уютной столовой. Две тарелки с тонкими ломтиками хлеба, смазанными маслом, с прослойкой огурца, ветчины или сыра и пять чашек с темно-зеленой жидкостью стояли на столике с колесиками. Беатриса предложила гостям сандвичи и первая принялась пить ароматный, неподслащенный индийский напиток.

— Я видела вашего земляка Оскара Уайльда. Он вычурен и женоподобен. Весь напоказ, — сказала она недружелюбно.

— Еще бы. Любимец английских салонов, завивает волосы под принца-регента, опуская на лоб нечто вроде челки. Кто-то из его критиков писал недавно, что его волнистые пряди под стать волнистым зубам, — поддержал миссис Вебб Эвелинг.

— Ирландец против ирландца, междоусобица, — пошутил Шоу. — Ясно одно. В наши дни человек должен быть вооружен крепкими зубами. Я хотел бы иметь, по крайней мере, пасть тигра. У бедняги Уайльда действительно некрасивые, а главное, слабые зубы. Разговаривая, он по-дамски прикрывает рот рукой, чтобы скрыть этот недостаток. Что ж, бард, особенно в Англии, по традиции, идущей от Байрона и Шелли, должен быть красив.

— Оскар Уайльд не исключение, по-моему. К тому же он талантлив, своеобразен и весьма остроумен.

— Феодалы на нашем острове не приглашали одновременно нескольких герцогов. Мы слишком много времени уделяем великосветскому Уайльду на пиру, где находятся два драматурга, — властно вмешалась в беседу Беатриса.

— Ты права, как всегда, моя дорогая, — оживился Сидней Вебб, до этого молча и с аппетитом уничтожавший ломтики хлеба с огурцом. — Мы ждем вашего произведения, Бернард, я уже заранее радуюсь вашему так называемой добропорядочной среде. Как называется пьеса?

— «Трущобы».

— Надеюсь, именно идеи фабианцев вдохновили вас? Не правда ли? — глядя победоносно на Эвелингов, спросила Беатриса.

— Боюсь, что я презрел осторожность, которую так усиленно проповедует наше почтеннейшее общество, — улыбнулся Шоу. — Я стремлюсь показать, как пресловутый средний класс, щеголяющий постоянно благородством своих убеждений, и молодые пустоцветы из аристократии жиреют за счет голытьбы, ютящейся в трущобах. Тема малоприятная для светских салонов, но животрепещущая. Меня томит множество неразрешенных вопросов, как и всякого драматурга, не правда ли, Эвелинг?

— Еще бы! — ответил муж Элеоноры. — Я социалист и этим главным образом руководствуюсь в выборе сюжета.

— Есть вопросы, в которых я остаюсь, однако, индивидуалистом, — продолжал Шоу. — Незачем бояться правды, она кусается меньше, если мы берем ее в союзники. Я хотел бы написать о проституирующих профессиях, таких, как драматургия, журналистика, не говоря уже о юристах, врачах, священниках и профессиональных политиках. Не исключаю и себя из этой среды. Увы, если мы лжем, поступаем наперекор своему действительному разумению, разменниваем способности и лучшее в себе черт знает на что. По сравнению с этим продажная женщина — невинный ангел. Люди без убеждений опаснее бедных женщин без целомудрия.

— Значит, выход только один, — сказала Элеонора.

— Ну конечно же, перестройка мира и общества, ну конечно же, социальные реформы. С этим никто не спорит. Но, милая Элеонора, вспомните сожженные Кром-

...ашали оно-
...много време-
...ру, где нахо-
...и беседу Бе-

..., — оживился
...уничтожав-
...вашего про-
...взрыву в так
...называется

...ановили вас?
...ингов, спро-

...которую так
...общество, —
...як преслову-
...го благород-
...ы из аристо-
...в трущобах.
...животрепе-
...их вопросов,
...линг?
...и социалист
...выборе сю-

...нако, пред-
...яться прав-
...союзники.
...рофессиях,
...воря уже о
...альных по-
...Увы, если
...вительному
...в себе
...лес в сей-
...жкая жен-
...ий опасно

...элеонора.
...ществ, ну
...то не слу-
...ные Кром-

...вном и Мошком сеянии. Кровь, слезы, пепел — вот что несут с собой люди, объятые социальным безумием. Революции, когда ее совершает отчаявшийся, полудикий народ, слишком дорого стоит всему человечеству и, главное, культуре. Мы и так многим жертвуем для пока еще темного народа. Мы, то есть образованные люди. Как добыть свободу и равенство? Вот сложнейшая из задач современности, и мы, слава небесам, нашли средство, ведущее мир к совершенству без всяких жертв. А это — главное.

Беатриса произнесла свой монолог стоя. Ее узкое, острое лицо побледнело, как у всех страстных, не очень добрых, волевых людей. Элеонора вспомнила дешевые открытки с изображением католических монахинь. Миссис Вебб походила в эту минуту на многогрешную игуменью монастыря, ставшую затем святой Терезой из Гренады.

— Милая Беатриса, — сказал Шоу весело. Слушая вас, я вспомнил изречение Фомы Аквината: «Я боюсь человека, прочитавшего в течение всей своей жизни лишь одну книгу». Я боюсь фанатиков, которые убеждены, что постигли истину, и готовы уничтожить всех с ними несогласных. Кто знает, может быть, мы, фабианцы, слепые щенки. Конгресс в Париже, победив, осмеял всех нас.

— Как вы можете так богохульствовать? — возмутился Сидней Вебб. — Беатриса права. Мы и так многое делаем для неимущих классов. Не надо забывать, что наш учебный, а также имущественный ценз, положение в свете могли бы дать нам другие судьбы, но мы жертвуем всем. Тем не менее нельзя же считать нас и рабочих ровней. У Англии своя история, свой особый путь. Я против хирургии в политике.

— Даже если нужна ампутация, иначе человек обречен на смерть? — злорадно спросил Эвелинг.

— Прошу вас всех прекратить споры. Время идти на прогулку до ужина, — повелительно заявила хозяйка дома.

Гости послушно встали, надели ватерпруфы, запасались на всякий случай зонтиками и вышли на поляну. Впереди шла Беатриса с длинноногим Шоу. За ними — Элеонора, Сидней и Эдуард. Желтоперстый бородатый лакей по имени Сандл замыкал шествие. Он вел себя столь же солидно и уверенно, как и его хозяева.

— Я недавно послал господину Энгельсу, которого считаю выдающимся ученым, свою книгу «Фабианские исследования о социализме». Предвижу с сожалением, что он, по-видимому, не одобрит мой труд, — сказал Сидней.

Мгновенно преодолев колебания, Элеонора ответила сухо:

— Вы не ошиблись в этом предположении. Насколько мне известно со слов господина Энгельса — я сама пока еще не прочла вашей книги, — опираясь на вульгарные и порочные экономические теории, вы пытаетесь опровергнуть учение Маркса, а также доказать возможность осуществления социалистических идей посредством сговора с буржуазией, добиваясь от нее подачек в виде реформ.

Сидней Вебб остановился. Щеки его стали пунцовыми. Он снял очки и уныло моргал припухшими веками. Его маленькие близорукие глаза округлились.

— Простите, — добавила Элеонора, — но вы затронули самое важное для нас — идею.

— Конечно, конечно, миссис Эвелинг. Я благодарен вам за прямоту, за смелость. Не все умеют говорить честно. Я и не рассчитывал привлечь вас и мистера Энгельса к фабианцам. Надо всегда прежде всего быть терпимым и не лгать. Шоу прав: худшее — это фанатизм. Будем спорить, господа, на уровне девятнадцатого столетия. Но не сейчас. Не правда ли, здесь легко дышится? Воздух беспрепятственно проникает к нам с моря. Оттого он так освежающ.

Разговор коснулся новейших открытий в естествознании. В этой области Эвелинг был силен. О минутной размолвке сразу же забыли. Беатриса заставила все общество пройти целых четыре мили. Это была ее обязательная вечерняя «порция».

— Ходьба — заряд, без которого я не гожусь для работы и жизни, — говорила она, двигаясь с такой скоростью, что за ней едва поспевали все остальные. Она выбирала наиболее трудные дороги, отыскивала возвышенности, поднималась и затем, приподняв пальцами изрядную юбку, обшитую тесьмой, сбегала вниз. Шоу был таким же тренированным ходоком. Издали он казался Элеоноре легким, подвижным, тонким. Ветерок шевелил

его пушистые волосы. Он часто простодушно и громко смеялся.

«Какой чистый, гармоничный человек!» — думала о нем Элеонора.

Эвелинг беспричинно сердился на Тусси и шел молча, раздраженно сбивая тростью головки желтых лютиков, неосторожно расцветших у самой дороги. Дурное настроение мужа тотчас же передалось впечатлительной и нервной Элеоноре. У нее было одно из тех лиц, на которых мгновенно отражаются чувства. Лицо молодой женщины потемнело, глаза потускнели. Она казалась заболевшей. Шоу, отличавшийся особой наблюдательностью, заметил это и попытался развеселить ее, но тщетно. Прогулка закончилась. Сидней Вебб расхваливал просторы вокруг Лондона и удобства загородной жизни. Беатриса восхищалась наследником престола принцем Уэльским, который недавно танцевал с дочерью бывшего докера на благотворительном балу. Она вскользь добавила, что отец этой девушки оказал большие услуги Англии в качестве руководителя одного тред-юниона и его, несомненно, со временем сделают лордом.

К ужину, согласно светским правилам, которым следовали Веббы, хозяева и гости пришли в вечерних туалетах. Декольтированное платье Беатрисы было в стиле ампир, точь-в-точь как на портрете знаменитой мадам Рекамье. Элеонора оделась по современной моде. Ее темно-красное платье с узким лифом и коротенькими пышными рукавчиками было отделано кружевами. Этот наряд был куплен в Париже по выбору обладавшей незаурядным вкусом Лауры Лафарг и очень украшал Тусси. Ей пришлось попудрить щеки, чтобы скрыть следы слез. Размолвка с Эвелингом все еще продолжалась. Он капризничал и жаловался на боль в сердце, зная, как пугали такие сетования жену.

За столом говорила преимущественно одна Беатриса и явно была этому рада. Она смогла вдоволь похвастать-ся своей работой в обществе и перечислить различные бани, прачечные, мастерские, которыми были облагодетельствованы нуждающиеся жители окраин. И снова, как при первом знакомстве на балу, Элеонора испытала мучительную скуку и едва справилась с собой, чтобы не зевнуть. После ужина Беатриса сыграла «Песнь без слов» Мендельсона и этюд Генделя. Затем, выкурив папироску,

руководительница фабианцев высказала свое беспокойство по поводу того, не хочет ли Япония в конце концов оттяпать у Англии ее колонию Австралию.

— Чтобы не беспокоиться на этот счет, не лучше ли дать автономию всем колониям? Пусть они и тревожатся, — сказала Элеонора.

— Всему свое время, — отрезала Беатриса.

Шоу попросил Эвелинга прочесть отрывок из своей последней пьесы, и он исполнил это. Затем все обратились к Шоу.

— Что вы, вечер подходит к концу, а мы еще не произнесли самого модного имени наших дней — Ибсен! Я уверен, что «Нора» покорила уже сердца всех здесь присутствующих. Эта пьеса — целая эпоха. А что могу сказать я, начинающий драматург? «Трущобы» написаны давно, сейчас кое-что переделываю и добавляю. Надеюсь, королевский цензор отнесется к ней благожелательнее, чем публика. Предвосхищаю возмущение господ из среднего сословия. Но давно пора пробить брешь в их окаменелом сознании с помощью канонады из театральных произведений, книг и светской музыки.

Переночевав в домике Веббов, Эвелинги утром отправились назад, в Лондон.

Маркс не был в отличном настроении. Он недавно поздравил Либкнехта с победой на выборах, доставивших ему пятое место, и писал в Дрезден:

«Мы не имеем права позволить сбивать нас с толку на нашем победоносном пути, наносить вред нашему собственному делу, мы не должны менять нашим врагам работать на нас. Поэтому я согласен с тобой, что в *данный момент* мы должны выступать, насколько возможно, мирно и легально и избегать всяких предлогов для столкновений. Но, без сомнения, твои филистеры против насилия в любой форме и при всех обстоятельствах я нахожу неприемлемым, во-первых, потому, что ни один противник тебе в этом все равно не поверит, — ведь не настолько же они глупы, — а во-вторых, потому, что по твоей теории я и Маркс тоже оказались бы анархистами, так как мы никогда не собирались подобно добрым квакерам подставлять левую щеку, если кому-нибудь вздумалось бы

ударить нас по нраву. На этот раз ты, несомненно, перешколько хватил через край...

Сообщи мне, пожалуйста, заранее, когда ты намерен переплыть Ла-Манш и приехать к нам. У нас свободна только одна комната, а весной ее иногда занимают — на пасхе, например, Шорлеммер; возможно также, что приедут Лафарги или Луиза Каутская, так что придется, пожалуй, как-то позаботиться о том, чтобы комната была свободна для тебя».

Элеонора поделилась с Энгельсом впечатлениями от посещения Веббов. С присущей ей живостью, преобразившись, она в лицах передала Ним и Энгельсу монологи властолюбивой учредительницы фабианского общества и ее покорного, неглупого, но неспособного к широким и смелым обобщениям мужа. Поразмыслив и пожевав сигару, Энгельс сказал с улыбкой:

— Твоя оценка взглядов достопочтенного муниципального вождя Вебба вполне совпадает с моей. Мышиные горизонты и грубая пигмейская попытка наскочить на учение Маркса. У обоих супругов умственная близорукость и большая самоуверенность. Что и говорить, фабианцы — это, как сказал бы Мавр, люди с тряпичными душами. История сбросит их, как хлам, в мусорный ящик. Что до Шоу, то он как писатель очень талантлив и остроумен, но ничего не стоит как экономист и политик, хотя честен и не карьерист — в этом я убедился. Но перейдем к главному, к Германии. Несомненно, выборы там знаменуют начало конца правления Бисмарка. Наконец-то!

— Как долго мы ждали этого поворота, как упорно боролись за него немецкие социал-демократы! Нет большего счастья на свете, чем увидеть победу дела, ради которого сражался столько лет! — воскликнула Тусси.

— Ты увидишь еще много праздников истории. Это только прелюдия. Начинается эра решающих боев и побед.

Энгельс разжег потухшую было сигару. Он и Элеонора подумали об одном и том же. В этом году Энгельсу должно было исполниться семьдесят лет. На письменном столе Генерала лежала рукопись его биографии для энциклопедического словаря. Большая, сложная жизнь была спрессована до размеров статьи, в которую Энгельс внес исправления и добавления.

Элеонора стеснялась внешне проявлять дочерне нежную любовь, которую с детства питала к Энгельсу. Но иногда она не могла сдержать естественного порыва и, глядя на седеющую бороду и утомленные веки своего второго отца и учителя, пожимала с глубокой признательностью его большую, все еще сильную руку.

Энгельс понимал этот жест.

— Это за те двадцать лет, когда ты обрек себя на сущее пленение и служил проклятой коммерции ради Мавра и всех нас, и за то, что ты делаешь сейчас сам для людей и для наследства Мавра. А твое краткое энциклопедическое жизнеописание для словаря — только схема, контуры человека, но не ты, дорогой дядя Энгельс.

Сам Энгельс вовсе не был удовлетворен тем, что уже успел сделать с наследием Маркса. Он считал, что труд умершего друга совершит переворот во всей экономической науке и отныне теория получает несокрушимый фундамент, а борцы за социальную революцию — победоносное оружие.

Зрение Энгельса ухудшилось, третий том приходилось диктовать. Он получал от рукописей Маркса наивысшее наслаждение и повторял, что каждое слово покойного измеряется на вес золота.

Общение с Марксом было ему необходимо, как воздух и свет, и он боялся лишь одного — дня, когда его труд подойдет к концу. Тогда ему предстояло бы жить без друга, а этого он не мог.

А дел становилось с каждым днем все больше. Скандинавы и немцы, румыны и русские, французы и англичане, итальянцы, испанцы, американцы обращались к Энгельсу с письмами, стремились повидаться с ним. Простота, доступность, внимательность к тем, кто был или мог стать единомышленником, к трудовому люду, к молодежи были у Энгельса безграничны. По воскресным дням дом на Риджентс-парк был полон людей, и Ленхен едва успевала накормить и напоить чаем и кофе всех, кто стремился пожать руку, посоветоваться, послушать революционного вождя, друга Маркса, поднявшего с ним над миром незатухающий факел: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Степняк-Кравчинский был всегда желанным гостем. Талантливый революционер и писатель обязательно заходил к Елене Демут, чтобы расспросить о ее здоровье и

предложить свою помощь по хозяйству. Затем он направлялся в кабинет хозяина. Энгельс встречал его русским «здравствуйте» и «добро пожаловать», и беседа начиналась.

— Я все еще под впечатлением событий на Карийской каторге, — сказал Энгельс. — Ничего более чудовищного и вместе героического в летописях тюрем, среди людей, закованных в кандалы, невозможно себе представить. А подвиг этой удивительной русской молодой женщины Надежды Сигиды, я уверен, никогда не забудется. Трагедия на Каре достойна открыть историю жизнеописания святых героев и мучеников за революцию. Я думаю, в настоящий момент вера либералов в освободительный пыл царя изрядно поколеблена. Есть отчего! Страшные вести из Сибири, с Нерчинской каторги, статьи об условиях политической ссылки господина Кеннана и, наконец, университетские волнения в разных городах вашего отечества многим откроют глаза, дорогой мой Степняк.

— Чем хуже, тем лучше, Генерал.

— Для современной России, по-видимому, так.

— И однако, — продолжал писатель, — у меня нет больше сил пассивно смотреть на родину, превращенную реакционерами в застенок для всего передового, думающего. Я должен быть там, а подписанная книга держит меня в Англии.

— Скажите, Степняк, знаете ли вы кого-либо из карийских героев?

— Еще бы! Там находится Лев Дейч, один из пяти организаторов группы «Освобождение труда», друг Плеханова и Засулич, убежденнейший марксист.

— Не он ли попался во Фрейбурге с грузом нелегальной литературы? Помню, что охотились за «красным Моттолером» и нашим «Социал-демократом», а поймали Дейча. Бисмарк выдал его царю. Так, кажется, было?

— Да, именно так. У вас превосходная память. Прошло уже пять лет, как Дейч в кандалах. Отважный хлопец.

— Хлопец? — с любопытством переспросил Энгельс.— Это, кажется, не русское слово.

— Так «освобожденцев» называют их друзья в Женеве. Действительно, «хлопец» — малороссийское слово, но оно в ходу и у русских.

— Хлопец — парень, юноша, не так ли? — поинтересовался Энгельс и записал что-то в тетрадь, лежавшую на столе.

Заговорили о делах международных.

— Мир напоминает закипающий закрытый котел, — сказал Энгельс, — который в конце концов должен все-таки взорваться. Франция счастливо избежала еще одной бонапартистской лихорадки. Первый приступ ее был с настоящим Бонапартом, второй — с лжебонапартом, третий — с личностью, которая не могла называться даже лжебонапартом, а была лжегенералом, лжегероем, вообще сплошной ложью и грязью. Согласен, Степняк?

— Конечно, Генерал. Вы правы. Говорят, юркий, как блоха, Буланже являл весьма комическое зрелище верхом на своем зловеще-черном рысаке. Самый прыгучий из претендентов на престол струхнул, когда надо было действовать самому, а не только по указке, и сбежал в кусты. Вульгарный проходимец.

— И однако, история даже с этим шарлатаном могла обернуться для Франции весьма трагически. Но кризис прошел, опасность миновала. Будем надеяться, что французский народ покончил с такими цезаристскими лихорадками навсегда. Прошла же чума на земле, чтобы больше почти не повторяться.

Лепхен позвала собеседников в столовую. Ее глубоко поразили подробности случившегося на Каре, и она принялась снова расспрашивать Степняка об этом.

— Какое упорство, человеческая гордость и какое отчаяние, — сказала она, выслушав подробный рассказ о гибели Сигиды и ее подруг. И сколь сильное презрение к смерти. — Лепхен задумалась.

Если бы люди слышали шаги смерти, ее коварное приближение. Впрочем, несвойственная Лепхен тревога иногда охватывала ее. Она не могла дать себе тогда отчета, что это с нею. Любимые люди были здоровы, дела партии, которые всегда волновали Елену Демут, значительно улучшились. Казалось, вовсе не было причин для беспокойства и тоски, и, однако, от тревоги некуда было деться. Болезнь заметно развивалась, усилилась одышка, боли, слабость. Но ни разу Ним не пожаловалась Тусси или Энгельсу на свое здоровье. Наоборот, в ней появилась необъяснимая беспечность по отношению к себе.

И чем дальше, тем больше внушала себе смертельно больная женщина, что ей лучше.

Странная особенность. Люди, слегка прихварывающие, подчас значительно преувеличивают и пугают себя мнимым их недугом. Они ходят по лекарям, принимают пилюли, пьют микстуры и постоянно ищут сочувствия у окружающих. А те, кого медленно убивает неизлечимая болезнь, не отдают себе в этом отчета, избегают лечения, трудятся сверх сил, пока не сваливаются, подсеченные смертью.

Ленхен по прежнему ревниво относилась к работе и старалась поменьше нагружать сю приходящую помощницу. Она допоздна читала, стараясь побороть усиливающуюся бессонницу. Ее руки всегда были заняты то вязкой и вязанием, то глажкой или стиркой. В седьмую годовщину смерти Карла она долго пробыла на могиле, которую давно привыкла считать пристанищем и для своего праха. Сны и мысли о далеком прошлом навещали ее все чаще. Она вспоминала день, когда в 1837 году впервые переступила порог дома Вестфаленов на Римской улице в Трире. Баронесса Каролина фон Вестфален обладала редкой остроты глазом. Она увидела, каким сокровищем была четырнадцатилетняя белобрысая девочка, поступившая к ней в горничные. Жизненный опыт помог баронессе понять, что редчайшими свойствами человека являются правдивость и верность. Их-то и открыла она у своей служанки и решила многому обучить ее в домоводстве. Когда Женни фон Вестфален вышла замуж, мать, назвав это лучшим из своих даров, отправила к дочери свою работницу и воспитанницу. И с тех пор Ленхен уже не обособляла себя от своих друзей Женни и Карла. Затем круг близких ей людей все расширялся. Она вошла в среду коммунистов, прониклась их тревогами и делами. Для детей Маркса Ленхен стала второй матерью, для Энгельса — преданнейшим и самоотверженным другом. Так прошло более пятидесяти лет. Ленхен состарилась. Но сердце, даже больное, не подвержено действию лет. Оно может вечно оставаться верным и любящим.

Женни Маркс умерла шестидесяти семи лет, и Ленхен часто вспоминала об этом. Ей было уже столько же. Не приближались ли ее сроки? Она в последнее время не задумывалась больше об этом. После трудового долгого дня ей хотелось отдыха, полного покоя. И подчас

она только усилием воли заставляла себя двигаться. А быть в тягость другим казалось ей самым большим наказанием на земле.

Тусси слишком любила Ним, чтобы думать, как ей жить, если старушки не будет. Но будет Ленхен! Эта мысль была святотатственной. Дорогой человек не укладывается в понятие потери. Он вечен, поскольку каждый хотел бы умереть раньше, не пережив его. И деятельная, матерински добрая Ленхен без труда разгоняла зародившееся беспокойство у окружающих. Но она доживала последние месяцы своей жизни.

Энгельс, как всегда, был чрезвычайно занят, но так же пунктуален в переписке с единомышленниками и учениками. Вера Засулич порадовала его тщательно выполненным переводом на русский язык его статьи «Внешняя политика русского царизма». Он придавал большое значение русской дипломатии, этому мирному влиятельному воинству любого господствующего класса.

«С тех пор, — писал он в Женеву Засулич, — как существует революционное движение в самой России, ничего уже больше не удается когда-то непобедимой русской дипломатии. И это очень хорошо, потому что эта дипломатия — самый опасный враг, как ваш, так и наш. Это пока единственная непоколебимая сила в России, где даже сама армия ускользает из рук царей, о чем свидетельствуют многочисленные аресты среди офицеров, доказывающие, что русское офицерство по своему общему развитию и моральным качествам бесконечно выше прусского. И как только у вас появятся сторонники и надежные люди в рядах дипломатии — у вас или хотя бы у конституционалистов, — ваше дело выиграно».

Энгельс присоединялся к мнению Засулич о необходимости решительных выступлений против народничества.

«Совершенно согласен с Вами, — писал Энгельс, — что необходимо везде и всюду бороться против народничества — немецкого, французского, английского или русского. Но это не меняет моего мнения, что было бы лучше, если бы те вещи, которые пришлось сказать мне, были сказаны кем-либо из русских».

Приближалось Первое мая. Впервые в истории рабочие готовились выйти на улицу и требовать у буржуазии

изменения условий труда и жизни. Энгельс и Эвелинги готовились к этому дню. Он должен был стать победоносным сражением и праздником по всех странах, чьи делегаты съехались в Париж в 1889 году на Международный социалистический конгресс.

Стояли чистые, светлые весенние дни. Зацвела вишня в садике подле дома на Риджентс-парк. Лепхен рано по утру шумно оповестила об этом Энгельса. Он встал, как всегда, в восемь часов и отправился полюбоваться трогательно нежным цветением, вызвавшим много воспоминаний о других ушедших веснах и садах. Радость и грусть смешались в его сердце. Неужели он прожил уже без нескольких месяцев целых семьдесят лет? Они так быстро пробежали. Энгельс сел на скамью и смотрел неотрывно на тонкое, прекрасно убранное цветами деревцо. Мысли набегали одна за другой, схлестывались и бушевали. Вспомнилась девушка, похожая на это деревцо, в пышном платье и прозрачном шарфе на оголенных плечах. Ему было тогда всего двадцать лет. То была его первая любовь. Но счастье оказалось кратким. Они разлучились вопреки его желанию. Отчаяние Энгельса было острым, он хотел смерти и в поисках забвения отправился путешествовать в Швейцарию и Северную Италию, где видел много чудесных пейзажей, любовался цепью глетчеров от Юнгфрау до Сентима и Юлии. Но ничто не освобождало его от тоски по любимой. На вершине Ютлиберга, в деревянном шале, где находилась таверна, Фридрих за стаканом вина и родниковой воды просматривал книгу, в которой гости оставляли свои записи.

Пошлость и глупость были увековечены в этом рукописном собрании признаний. Энгельс думал, насмешливо сощурив глаза и закусив полную верхнюю губу: «Каждый филистер считает эти памятные книги средством для своего прославления и пользуется случаем, чтобы передать потомству свою никому не ведомое мы я и ту или другую из своих безнадежно тривиальных мыслей. Купцы стремятся доказать, что наряду с кофе, ворванью или хлопком в их сердце сохранено местечко для красавицы природы, которая создала все это; их женщины пялят потоки своих чувств».

С раздражением перелистывал молодой странник тетрадь и хотел уже закрыть ее, чтобы не видеть патетических излияний путешествующих немцев, французов и англичан, как вдруг на глаза ему попался сонет Петрарки на итальянском языке. Его написал какой-то Трибони из Генуи, но Энгельс почувствовал в нем друга. Оба были безнадежно влюблены и покинуты.

Я поднят был мечтой к жилищу милой,
Та, что ищу я на земле напрасно,
Мне ласковой и ангельски прекрасной
Предстала в сфере третьего светила.

Дав руку мне, она произнесла:
«Нас здесь разъединить судьба не властна;
Я — та, что мучила тебя всечасно
И до заката день свой завершила.

Ах, смертным не понять, как я блаженна!
Тебя лишь ждут, и мой покров с тобою,
Любимый и оставшийся в юдоли».

Зачем она умолкла так мгновенно?
Еще бы звук, — и, прелестью святою
Пронзен, я б с неба не вернулся боле.

Переписав сонет, молодой человек болезненно ощутил свою первую любовную неудачу и вспомнил, что всего месяц назад испытал казавшееся ему теперь безбрежным счастье. Сердце его было израненным и опустошенным. А в горных долинах цвели серебристые нарциссы и вишни.

«Какая мука имеет большее право выявить себя перед лицом великолепной природы, чем самая благодатная, самая возвышенная и самая индивидуальная из мук — мука любви?» — с такими мыслями, повторяя строчки из сонета великого итальянского поэта, Энгельс отправился дальше.

Как давно это было? Прошло почти полстолетия. Энгельс вернулся в свой кабинет и долго курил, глядя на стоявшую перед ним на столе веточку вишневого дерева в хрустальной вазе.

Настало Первое мая. К этому дню в Лондоне появились пунцовые гвоздики — эмблема Коммуны, цветок революции. Так как воскресенье приходилось на четвертое число, решено было назначить майскую демонстрацию в этот именно день.

Элеонора проводила дни на заводах, собирая рабочих, разъясняя им суть и цель знаменательного дня.

Особый комитет, состоявший из делегатов профсоюзов и рабочих клубов, разработал план шествий и опубликовал его.

В канун Первого мая Энгельс, Эвелинги, Лонгет и приехавший из Парижа Лафарг испытали немалую тревогу. Рождался праздник, символизирующий единение в борьбе, грозное предупреждение угнетателям и деспотам.

Союз рабочих газовых предприятий ратовал за восьмичасовой рабочий день, установленный, однако, не по личной воле отдельных хозяев, а правительственным законом. Реформисты хотели сами провести собрание, но народ не пошел с ними. Эвелинг получил у председателя комиссии по общественным работам разрешение на семь трибун в Гайд-парке, по числу организаций, давших согласие участвовать в параде.

«Это *наша первая крупная победа в Лондоне*, — сообщал Энгельс, — она доказывает, что мы теперь и здесь имеем за собой массы. *С нами пойдут четыре больших секции* Социал-демократической федерации... Весь Ист-Энд идет с нами».

Торжество превзошло все ожидания устроителей. Шествовало двести пятьдесят — триста тысяч человек, по преимуществу рабочих. Никогда островная столица не видела такого внушительного и вдохновенного парада. Колонны шли под музыку оркестров. Сотни знаменосцев несли красные стяги.

В Гайд-парке, на расстоянии ста пятидесяти метров одна от другой, стояли семь трибун.

Огромное поле посреди Лондона до отказа заполнил народ.

Энгельс, с красной гвоздикой в петлице, рядом с Элеонорой и Полем Лафаргом шел во главе процессии. Все они были в том состоянии, какое испытывают бойцы, когда после многолетних сражений и осады они наконец становятся победителями.

Многообразно людское счастье, но вряд ли бывает оно больше, чем когда мечта становится явью и достигнута цель.

«Чего бы я не дал за то, чтобы Маркс дожил до этого пробуждения: он так зорко следил за малейшими его симптомами именно здесь, в Англии! Сначала наша победа на выборах в Германии. И вот впервые после сорока лет вновь я слышу мощный голос английского пролетариата,

так отчаянно и храбро боровшегося когда-то за хартию», — думал Энгельс.

— Это и есть счастье, — тихо сказала Тусси, — ради таких дней во всех странах идут на бой, на смерть лучшие из людей.

— Я убежден, — продолжил уже вслух свою мысль Энгельс, — пролетариат, после некоторых колебаний, покончит с проявлением личного честолюбия, с соперничеством разных сект и поставит все и всех на свое место. Массовое движение всегда поднимает интернациональный дух.

Громкими рукоплесканиями сопроводил народ речь Элеоноры.

— Наша матушка выступает, слушайте.

— Наша матушка, — слышалось в первых рядах демонстрантов, где стояли газовщики.

После речи младшей дочери Маркса выступили также Эвелинг, Лафарг и Степняк-Кравчинский.

Русский революционер за всю свою жизнь не испытал большего волнения, чем когда стоял на грубо сколоченных подмостках, установленных на большой грузовой платформе, перед тысячами людей, жадно ожидавших его слов. Он сказал им о России и своей убежденности в скором объединении всех тех, кто трудится и кому должен принадлежать мир и право на счастье.

Покуда ораторы обращались к народу, Энгельс стоял рядом с ними на шаткой трибуне.

Он сошел с нее с высоко поднятой головой.

Вечером за ужином у Энгельса собралось много дорогих ему людей. Пришли Степняк и Фридрих Лесснер. Могучие плечи портного еще больше сгутулились, резче обозначились скулы, он заметно постарел, но по-прежнему молодо смотрели умные, глубоко запавшие, внимательные глаза.

Лафарг рассказывал о победе марксистов в Париже, о том, что Гед стал редактором их газеты «Комба».

— Мы с ним соревнуемся в работе, пытаемся доказать, что сон — это лень. Жюль исхудал, будто Дон-Кихот и конь Росинант одновременно, а я держусь.

— Естественно, пригодилась кровь чернокожей бабушки, — добавила Элеонора.

— Хотите ли вы узнать последние новости о Луизе Мишель?

— Еще бы, — заинтересовались все собравшиеся.

— Героиня Коммуны живет на окраине Парижа в Леваллуа-Перре.

— О, да это дальнее предместье. Там, кажется, нет ни конок, ни извозчиков. Убогие, тихие улицы. Так? — вмешался в беседу Энгельс.

— Да, но на авеню Виктор Гюго есть высокие мрачные дома. Недавно я побывал у Луизы Мишель. Она живет под самой крышей. Крутая лестница, ведущая на шестой этаж, показалась мне бесконечной. Луиза редко выходит из дома.

— Но кто же заботится о ней?

— Хозяйка квартиры и ее молоденькая дочь. У Мишель бывает много посетителей.

— Ей ведь уже более пятидесяти, не так ли?

— Выглядит она не очень старой. Других таких проникновенных карих глаз нет на свете. У нее короткие, вьющиеся, сильно поседевшие каштановые волосы. И все тот же гордый, смелый нос.

— Как странно ты говоришь о носе, — удивилась было Лепхен.

— Английские писатели особенно старательно описывают рот, считая его наиболее характерной чертой человеческого лица, ну а мне бросаются всегда в глаза, во-первых, линии носа.

— Оригинально! Мы замечаем глаза, лоб, но не задумываемся о носе, — засмеялся Эвелинг.

— Замечу, — вмешался в беседу Степняк, — что великий Пушкин любовался красивыми ножками, а Лермонтов искал красивую форму носа на женских лицах.

— Все это тоже интересно, но речь шла о Луизе Мишель, однако, — вставил Лесснер.

— Да, конечно. Закончу вкратце ее портрет. В Каледонии она потеряла зубы, и от этого рот ввалился, но голос ее звучен и молод. Цвет лица у вогтельницы болезненный, щеки в красных прожилках. Когда я пришел к ней, в комнате было очень холодно. Мерзла не только сама Луиза, но и два ручных попугая, сидевших на шесте, а также обезьянка в фланелевой рубашке. Кроме этих приехавших из Каледонии существ, у Мишель есть небольшая сердитая собачка. «У меня, — сказала мне Луиза, — только что были две газетные корреспондентки. Они задали много в общем праздных вопросов и пожелали узнать, когда возникли у меня духовные стремления, ру-

ководившие всей моей жизнью. Но разве можно заметить час, когда идея берет в нас свое начало и где ее конец? Человек вовсе не может довольствоваться только личной жизнью. Конечно, нет. Иначе он обречен страдать от скуки. Так естественно видеть себя частицей вселенной, не более, впрочем, атома. Но есть глупые личности, которые считают себя центром мироздания».

— Она всегда была не только мужественна, но и умна, — сказала Тусси. — А дальше о чем вы говорили?

— «Я люблю русских и немцев», — сообщила Лупза Мишель. Она показала мне стихи, которые посвятила русским, и добавила, что немцы, как и славяне, ценят науку, а это поможет им в будущем.

— Проницательная женщина! — восхитился Лесснер.— А что она делает теперь?

— Недавно ездила на свою родину в Бретань. Собрала под вековым дубом крестьян и прочла им лекцию на социальную тему. Она основала общество жен моряков. Эти бедные женщины часто рано становятся вдовами и обречены с детьми на нищенское существование. Им подчас ничего не остается, как выпрашивать милостыню. Теперь морячки получат кассу и общество взаимопомощи. Вот все, что я узнал. Великая коммунарка не любит рассказывать о себе. Она живет не прошлым, а настоящим и будущим и старается по-прежнему приносить пользу людям. Характер у нее трудный, своевольный, великодушный и самоотверженный.

Ровно в восемь часов Ленхен позвала всех к столу. После овощного супа с мучными клецками она поставила перед Энгельсом огромное блюдо с телячьей ножкой, нашпигованной специями и политой дымящимся соусом. Вооружившись большим сверкающим ножом, хозяин дома принялся резать мясо и раскладывать его на тарелки. Энгельс делал это очень искусно и с явным удовольствием.

— Без мясной пищи, вопреки проповедям господ вегетарианцев, — начал он, — человек не мог бы стать человеком. Нам нет теперь никакого дела до того, что наши предки велетабы или вальцы еще в десятом веке поедали своих родителей. Прошу не корчить гримас. Даже мой достопочтенный, умнейший кот, с тех пор как его прародители начали питаться смешанной мясной и растительной пищей, стал тем, что есть, способным к планомерным и предумышленным действиям. Я постоянно наблюдаю у

своих кота и собаки акты хитрости, стоящие на одном уровне с такими же актами у детей. Употребление мясной пищи, припоминаю, привело к двум новым решающим достижениям: к пользованию огнем и приручению животных. А потому, друзья, прошу навалиться на это превосходно приготовленное мисс Демут блюдо, не позабыв о картофеле, огурцах и прочем гарнире. Не могу предложить вам вина, ибо, о ужас, я и отсутствующий, к сожалению, за этой трапезой мой верный друг Шорлеммер в одно и то же время вынуждены были уступить тирании эскулапов и стать поневоле строгими трезвенниками. Надеемся получить амнистию осенью. А пока свои полномочия в этом приятнейшем из дел передаю Лесснеру. Он все еще пьет пильзенское пиво цистернами. Но по части вин здесь нет более опытного дегустатора, чем Поль Лафарг. Он также мастер импровизировать тосты.

Закончив монолог, Генерал принялся за сочный кусок телячьей ножки.

Гости разошлись только в полночь.

...Работая над подготовкой четвертого издания своей книги «Происхождение семьи, частной собственности и государства», Энгельс прочитал научные новинки. Ему попалась, в числе других, книга старого знакомого Ковалевского. Мысли о современных обычаях и древних законах России, высказанные этим признанным русским ученым-социологом, заинтересовали Энгельса.

Обычно каждую новую публикацию своих трудов Энгельс воспринимал как первопечатание и тщательно заново проверял, дополнял, исправлял замеченные неточности и огрехи.

В эти дни он узнал о смерти великого ученого, революционера-демократа, писателя Чернышевского. В письме к Даниельсону он тотчас же выразил свои соболезнования и скорбь по поводу этой утраты. Смерть вплотную подошла к поколению, к которому принадлежал и Энгельс.

— Чернышевский был на восемь лет моложе, и его уже нет, — сказал он Ленхен. — Надо торопиться.

— Но ведь ты так и делаешь.

— Недостаточно. Я не имею права умереть, не отдав людям все, что оставил им Маркс.

— Но и ты, очевидно, еще не все отдал людям. Маар и ты, Генерал, равны. Вы как две одинаковые горные вершины.

— Нет, мне до Маркса далеко.

Лонхен устало махнула рукой. Спорить с Энгельсом было нелегко.

Закончив предисловие к четвертому немецкому изданию первого тома «Капитала», Энгельс вместе с неизменным Шорлеммером выехал на пароходе в Норвегию.

Поездка оказалась очень удачной. Оба друга, несмотря на преклонный возраст, сохранили юношескую любознательность, подвижность, острое восприятие жизни. В Тронхейме они с аппетитом и шутками бессмертных героев Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэля, отведали огромных омаров и запили их пивом. Затем отправились смотреть водопад. Они добрались до Нордкапа, где ели треску собственного улова.

Пять суток пароход двигался при непрерывном дневном свете. Настали белые ночи. Низкорослые лапландцы, люди смешанной расы, по мнению Энгельса, жили еще на три четверти в каменном веке. Опрятные, черноволосые человечки с монголоидными глазами очень заинтересовали путешественников. Они учились у них запрягать оленей и ловить треску, которую местные жители после улова складывали на берегу, как поленницу.

Вернувшись из Тромсё, Энгельс и Шорлеммер двинулись по норвежским городам и деревням. Как и в Америке, их удивил сугубо обособленный быт. На расстоянии нескольких километров друг от друга жили хуторяне, отрезанные от всего мира. Возделанная ими земля, несмотря на окружающие скалы, могла бы прокормить не одну семью, а значительно больше ртов. Обитатели этих суровых мест красивы, сильны, находчивы, отважны и фанатически религиозны. Города показались Энгельсу разительно похожими на приморские германские и голландские.

Путешествие по зелено-серым гладководным шхерам оказалось чрезвычайно успокаивающим. Там господствовала глубокая тишина, и Энгельсу показалось, что даже самое маленькое альпийское озеро по сравнению с ним бурлит океаном. Высадившись в Мольде, Энгельс с другом поднялись на вершину Мольдегай. Им повстречались немецкие лейтенанты флота, стоянка которого была при-

зу. Молодой германский император путешествовал в эти дни по Норвегии.

— Ба, дружище Джоллимейер, не в Потсдаме ли мы с тобой? Прислушайся к беседе этих немецких парней. Их остроты родились еще во времена царя Гороха. А вот и адмиралы, ну и нагуляли они себе жиру. Достойные королевские моряки. Зато матросы один в один, молодцы, их не стыдно показать в любом государстве. Кстати, я понял, почему молодой Вильгельм избрал для своего визита именно Норвегию. Здесь он может разыгрывать морлка, не рискуя заболеть морской болезнью.

На севере, в Свартисене, Энгельс уговорил Шорлеммера взобраться на глетчер.

— Бодрись, ты еще юнец, Карлуша. Тебе всего каких-нибудь пятьдесят шесть лет. Не прихворяйся старикам, я все равно в это не поверю. Прибавь шагу, дружище. Посмотри-ка с крутизны. Мы отделены от моря только низкой мореной. Глетчер поднимается над уровнем воды всего на сто футов. Нам ровно ничего не грозит вплоть до семьдесят первого градуса широты, раз тут есть пиво не хуже немецкого.

— Оно в бутылках, черт возьми, а это уже не то, что из бочки, — отшучивался Шорлеммер, у которого, однако, непрерывно закладывало уши от перемены давления.

В Бергене друзья узнали о существовании социал-демократического товарищества, которое вызвало переполох в общественном мнении тем, что решило продавать в своем клубе пиво. Хозяки города, притворявшиеся трезвенниками и охотно поглощавшие у себя дома напитки куда большей крепости, обрушились на социалистов с хулой и проклятиями.

На обратном пути в Лондон, снова на пароходе, Энгельс и его друг разговорились о виденном.

— Я восхищен природой и разочарован духовной культурой Норвегии, как это было и в Америке, этой новой стране обетованной, — сказал Шорлеммер. — Проклятый индивидуализм, он ослепляет и творит лицемеров. Признаюсь, я не этого ждал от страны Ибсена.

— Верно, дорогой Джоллимейер. В данное время Норвегия и Америка по своим природным данным являются основой того, что филистер называет «индивидуализмом». И все же за последние двадцать лет Норвегия пережила такой подъем в области литературы, каким не может

похвалиться за такое же время ни одна страна, кроме России.

Вернувшись домой, Энгельс принялся за ответы на многочисленные письма, которые пришли в его отсутствие или проездили в его кармане почти целый месяц.

Одному из своих берлинских корреспондентов он написал между прочим:

«...Наше понимание истории есть прежде всего руководство к изучению, а не рычаг для конструирования по манер гегельянства. Всю историю надо изучать заново...

...Одной из величайших услуг, оказанных нам законом против социалистов, было то, что он освободил нас от навязчивости немецкого студента с социалистическим налетом. Теперь мы достаточно сильны, чтобы вынести и этого немецкого студента, который снова очень уж зазнался... Как мало среди молодых литераторов, связанных с партией, таких, которые дают себе труд изучать политическую экономию, историю политической экономии, историю торговли, промышленности, земледелия, общественных формаций... Самомнение журналиста должно все преодолеть, а этому соответствуют и результаты. Эти господа воображают, что для рабочих все годится. Если бы они знали, что Маркс считал свои лучшие вещи все еще недостаточно хорошими для рабочих, что он считал преступлением предлагать рабочим что-нибудь не самое лучшее!

К нашим рабочим, и только к ним... я питаю безусловное доверие. Как и всякой большой партии, им не избежать в ходе развития отдельных ошибок, возможно даже и больших. Массы учатся ведь только на последствиях своих собственных ошибок, приобретая опыт на своей собственной шкуре. Но все это будет преодолено...»

Отвечая на вопрос барона Бёнигка, лектора Бреславльского университета, об особенностях нового, социалистического общества, Энгельс писал:

«Милостивый государь!

На Ваши вопросы я могу ответить лишь коротко и в общих чертах — иначе, чтобы ответить на первый вопрос, мне пришлось бы написать целый трактат.

1. Так называемое «социалистическое общество» не является, по моему мнению, какой-то раз навсегда данной вещью, а как и всякий другой общественный строй

его следует рассматривать как подверженное постоянным изменениям и преобразованиям. Решающее его отличие от нынешнего строя состоит, конечно, в организации производства на основе общей собственности сначала отдельной нации на все средства производства. На пути осуществления завтра же этого переворота — речь идет о постепенном осуществлении — я не вижу совершенно никаких трудностей. Что наши рабочие способны на это, доказывают их многочисленные производственные и потребительские товарищества, которые там, где полиция не подрывала их намеренно, управлялись так же хорошо и гораздо более честно, чем буржуазные акционерные общества. Я не могу понять, как можете Вы говорить о невежестве масс в Германии после блестящего доказательства политической зрелости, которое наши рабочие дали в победоносной борьбе против закона о социалистах. Мнимоученое чванство наших так называемых образованных представляется мне гораздо более серьезным препятствием. Конечно, нам не хватает еще техников, агрономов, инженеров, химиков, архитекторов и т. д., но на худой конец мы можем купить их для себя так же, как это делают капиталисты, а если несколько предателей - которые наверняка окажутся в этом обществе — будут наказаны как следует в назидание другим, то они поймут, что в их же интересах не обкрадывать нас больше. Но за исключением этих специалистов, к которым я отношу также и школьных учителей, мы прекрасно можем обойтись без остальных «образованных», и, к примеру, нынешний сильный наплыв в партию литераторов и студентов сопряжен со всяческим вредом, если только не держать этих господ в должных рамках...»

Отмена исключительного закона и перемена в тактике борьбы господствующих классов с пролетариями взбудоражили Германскую социал-демократическую партию. Разбушевались объявлявшие себя «левыми» неоперившиеся болтливые литераторы и студенты. Они бросили обвинение соратникам Бебеля и Либкнехта в том, что те защищают мелкую буржуазию. Когда в своей «Саксонской рабочей газете» они попытались объявить и Энгельса солидарным с их противниками, он воспользовался случаем и выступил против тех, кто безобразно, по его

мнению, исказил марксизм. Это была гневная и насмешливая отповедь.

«Пусть же они поймут, что их «академическое образование», требующее к тому же основательной критической самопроверки, вовсе не дает им офицерского чина с правом на соответствующий пост в партии; что в нашей партии каждый должен начинать свою службу с низшей должности; что для занятия ответственных постов в партии недостаточно только литературного таланта и теоретических знаний, даже когда и то и другое бесспорно налицо, но что для этого требуется также основательное знание условий партийной борьбы и усвоение ее форм, испытанная личная честность и твердость характера и, наконец, добровольное включение себя в ряды борцов; одним словом, что им... в общем и целом гораздо больше надо учиться у рабочих, чем рабочим у них».

С пророческой проницательностью Энгельс рассмотрел в этих краснобаях чужих людей. Многие из них вскоре, побушевав и навредив, ушли из партии и навсегда порвали с революционными идеями или же скатились к крикливому и губительному анархизму.

Но ни в коем случае, считал Энгельс, нельзя членов партии необоснованно преследовать.

«Не создавайте, — писал он Либкнехту, — без необходимости мучеников, покажите, что у вас царит свобода критики, и *если* уж необходимо кого либо исключить, то только в тех случаях, когда налицо «открытые действия», на самом деле яркие и полностью доказуемые *факты* низости и предательства! Таково мое мнение».

Щедрый для социалистов 1890 год был полон впечатлений и для Элеоноры. Она встречалась с интересными людьми, обогатилась мыслями и наблюдениями. В больших делах растворились для Тусси семейные неурядицы с мужем. Увлекательные события в эту пору сблизили супругов. Будни часто превращались для них в праздники.

В октябре Эвелинги поехали на съезд Французской рабочей партии в промышленный городок Лилль. Они представляли английских социалистов и были восторженно приняты собравшимися. Элеонора огласила с трибуны приветствие от союза пролетариев газовых предприятий

и чернорабочих Лондона. Звучный голос дочери Маркса заполнил зал и придал особую значительность тому, что она говорила.

— Дорогие товарищи. Мы, рабочие Англии и Ирландии, посылаем привет нашим братьям на материке, желаем им полного успеха и надеемся, что съезд будет содействовать тому объединению рабочих всего мира, которое одно только и может привести нас к окончательной победе.

Бурная овация была ответом на эти слова.

Не раз Тусси думала о том, что не ошиблась, посвятив себя революционной деятельности и отринув мысль стать актрисой. Общение с единомышленниками, революционное творчество, жаркие речи с трибуны, нужные людям, дали ей счастье.

Лилльский съезд обратился с посланием к рабочим двух континентов, выступившим 1 Мая с требованием восьмичасового рабочего дня и показавшим этим мощь нового Интернационала.

Было решено повторить в ближайшем году манифестацию в тот же день.

На одном из заседаний предстояло председательствовать Элеоноре. Об этом сообщили объявления, расклеенные на улицах. Увидев свою фамилию на плакате, Тусси испытала тягостное беспокойство, как будто ей надо было сдавать экзамен по самому трудному предмету. Мелькнула даже нелепая мысль, не убежать ли заблаговременно. Едва передвигая ноги, шла она к зданию, где заседал съезд. Однако все прошло для нее как нельзя лучше.

После окончания съезда Эвелинг отправился в приморский городок Кале, а Элеонора, Гед и еще два француза — в Германию, на съезд Социал-демократической партии в Галле.

Жюль Гед в обыденной жизни был беспомощнее младенца. Он отличался такой рассеянностью, что плутал на знакомых улицах и всюду запаздывал. Собранность мышления и поглощенность делами партии приводили к тому, что в повседневности он терялся, как в непроходимой чаще. Близорукость еще усугубила эту особенность.

Тусси скоро убедилась, что ее попутчик нуждается в постоянной опеке. Два его товарища оказались такими же вдохновенными и мало приспособленными к житейским трудностям людьми, как и Гед. Последствия не

замедлили сказаться. Тусси, смеясь, заявила, что ей легче было бы путешествовать с двумя грудными и полдюжиной детей постарше, чем с этими тремя бородатыми, исполненными благих намерений, но тотчас же все забывавшими и быту мужчинами. Они умудрились потерять билеты и, хотя в пути обязались бодрствовать, «проспали» Бельгию. В Кёльне Тусси усадила их в привокзальном ресторане завтракать и потребовала, чтобы они ей не мешали действовать самой. Она позаботилась о багаже и взяла билеты до Галле, но, покуда собирала на перрон своих попутчиков, поезд уже ушел. Пришлось снова покупать в спешке билеты. Но и на этом не кончились дорожные испытания. На вокзале в Галле, несмотря на посланную ею, но, очевидно, не доходную телеграмму, спутников никто не встретил. Было уже очень поздно. Тусси смутно помнила адрес, сообщенный ей в Лилле. Но улицы, которую она назвала, там не существовало. Пришлось отправиться в первую попавшуюся гостиницу. Но и тут не обошлось без нового курьеза. Гед и его друзья узнали спросили у Элеоноры, нельзя ли им где-нибудь поужинать. За весь день из-за ряда происшествий они ничего не ели. Тщетно неутомимая Тусси пыталась достать хотя бы хлеба. Ей не повезло. Насытившись вдоволь смехом и шутками, все улеглись спать.

Съезд в Галле был триумфален. Он собрался вскоре после отмены исключительного закона против социалистов, стоившего стольких жертв и страданий немецким рабочим.

Представители Франции, Англии, Австрии и многих других стран прибыли в Германию поздравить единомышленников. Пятьдесят пять приветственных адресов и двести пятьдесят телеграмм оглашены были с трибуны.

Вильгельм Либкнехт, счастливый, что дожил до победы партии, помолодевший и гордый, сделал, по мнению Тусси, превосходный доклад. Не обошлось, однако, без споров с противниками. Они потребовали от социал-демократов уступок буржуазии и сговора с представителями существующего в стране монархического строя. Сознатель Фольмар пытался убедить делегатов съезда в добрых намерениях правительства, которое отменило исключительный закон и отныне стремится к истинной дружбе с социал-демократами в интересах всего народа. Критикуя марксистскую теорию государства, он произне-

довал постепенное мирное развитие революции и отвергал борьбу.

— Я предлагаю начисто изменить тактику социал-демократии. Доброй воле, откуда бы она ни исходила, мы протянем раскрытую ладонь, злой воле — кулак! — закончил он свою речь.

Против Фольмара и его медоточивых посулов выступил Бебель. Гнев родит борца. Речь его была сокрушительной. Он напомнил, к чему ведет измена марксизму, — к гибели. Только верность идее и умелая тактика обеспечили отступление реакционеров и отмену закона против социалистов.

Бебеля и Либкнехта, проявивших в этот раз неустрашимость и твердость, поддержал съезд.

Было избрано правление партии, а газета «Форвертс» объявлена центральным органом социал-демократии. Но решили собраться на конгрессе Интернационала в следующем году.

— Приглашаю вас вместе со мной трижды воскликнуть: да здравствует немецкая, да здравствует интернациональная, освобождающая народы социальная демократия! — воскликнул, закрывая съезд, председатель.

И трижды зал повторил эти заветные слова и закончил их «Рабочей Марсельезой»:

Марш, марш,
Марш, марш,
Хотя бы на смерть!
Ведь недаром же
У нас красное знамя.

Фридрих Энгельс не позволил себе переоценивать достигнутое, чтобы не терять зоркости и не упустить времени для действия. Для полководца революционных войск, теоретика и стратега, все добытое было только захватом маленьких рубежей, подступов.

Удача в Галле его ободрила.

— Всю эту неделю мы были для прессы всего мира великой державой первого ранга, — говорил он друзьям с веселой улыбкой.

В разгар оживленных споров, партийных съездов, счастливого перелома в рабочем движении слегла, занедужив, Елена Демут. Энгельс внезапно понял, что она не просто

бывало нередко. Лонхен умирала. Силы
но было, но для Фридриха открылась
Его неизменный, добрый друг уходил

ся владеть собой, чтобы поддержать му-
шней опасность Тусси. Врачи, которых
нично разводили руками.
ный воспалением легких, столь ча-
ябре, когда над Лондоном повисали чер-
ные убийственные туманы, или что дру-
не имел значения. Больное сердце не
, оно устало и просилось на полный

не покидали комнаты Ленхен, где
собая удручающая напряженность, со-
данию у порога родильного дома или
альная лежала, глядя широко открыты-
ед собой, совершенно безразличная к
Никто никогда не знал ее такой. Трудно
м она думала. Лицо ее посвежело, и она
молодой.
ди, не оставляй нас!» — хотелось кри-
обы не тревожить умирающую, она
ве и там продавалась своей печали.
ут уходили для Энгельса самые счаст-
л, рвалась еще одна цепь, связыва-
м. Рушились барьеры. Смерть прибли-

ки что-нибудь, — попросил он. Но

ь из глаз Энгельса, когда замер послед-
Демут.
ла. Совсем недавно была она на ногах,
, приветливость. Жила ведь только для
жизнь отдала людям. Ничего не хо-
мая скромная, верная, чистая, само-
дная из женщин, — рыдая, твердила

Энгельс запер ся один в своем каби-

ой в этом доме семь счастливых лет.
ших из старой гвардии времен до
нова остался один».

Энгельс отложил письмо к Зорге и погрузился в скорбные раздумья. Видения прошлого надолго захватили его. В Брюсселе более сорока лет назад он впервые увидел румяную, недоверчиво рассматривавшую его исподлобья молодую деревенскую девушку.

«Кто бы мог тогда подумать, что она так от природы одарена, разумна, дальновидна. Какое поистине золотое сердце остановилось. Она была нам всем и другом и сестрой, а иногда и матерью. Сколько разумных советов в партийных делах получили мы, Мавр и я, от нее», — думал Энгельс, шагая по комнате.

Горе не дает спать. Он вспоминал, как много дала ему дружба с Ленхен. В течение долгих лет Маркс, а после его смерти и он могли спокойно работать, не зная житейских треволнений, раздражающих бытовых помех. Неизмеримо добра и вместе сильна была Елена Демут.

В эту ночь, с четвертого на пятое ноября, Энгельс и Тусси так и не сомкнули глаз. Они снова воскресили, чтобы оплакать и почтить, многих дорогих им людей, которых, как и они, горячо любила покойная.

Через три дня раскрылась могила, в которой лежал прах Карла, Женни и их маленького внука. Раскрылась, чтобы принять еще один гроб, как того хотела жена Маркса. Тело Елены Демут погребли рядом с наиболее дорогими ей людьми.

На кладбище Хайгейт в сырой, унылый полдень собрались друзья и близкие усопшей. Пришел Лесснер. Из Манчестера приехал сын Елены Демут, Фридрих, которого Тусси, считавшая Ленхен своей второй матерью, звала братом.

Рыли сердца живых, в крышку гроба вонзились гвозди. Удары молотка прозвучали как грозное напоминание о всеобщности смерти.

Прежде чем на широких полотнищах опустили в землю гроб, не скрывая горя, заговорил Энгельс:

— Маркс частенько обращался к ней за советом в трудных и запутанных партийных вопросах. Что касается меня, то та работа, которую я оказался в состоянии выполнить после смерти Маркса, проделана была главным образом благодаря тому теплу и помощи, которую она внесла в мой дом, оказав мне честь своим пребыванием в нем после смерти Маркса.

Пока тело дорогого человека еще находилось рядом и похоронная суета отвлекала мысли об утрате и образовавшейся вокруг пустоте, Энгельсу было легче. Но, вернувшись с кладбища, он услышал не ухом, а сердцем ту оглушающую тишину, которая приходит в дом вслед за выносом, и понял, что никогда больше не услышит мягкий, с материнскими требовательными интонациями голос Ленхен. На лестнице не раздастся шлепанье ее туфель, как раньше, когда утром она спускалась в кухню. Энгельс вспомнил, как заразительно, раскатисто и громко смеялась старушка, радуясь приезду внуков Маркса, Лафаргов или появлению старых соратников — Либкнехта и Лесснера.

Энгельс думал о том, что близятся и его сроки. Эти же тяжелые мысли посещали и Тусси. Болезненно связанная со смертью Нимми, она с ужасом думала о том, что может лишиться своего второго отца.

Его, однако, успокаивало то, каким бодрым, деятельным, молодым был Генерал. Наклоняясь над ним, когда он сидел в кресле, она не могла обнаружить седины в его каштановых волосах, хотя борода, растущая вкривь и вкось, стала уже короче.

— Если судить по твоей шевелюре, то ты моложе многих из нас. Редко кто так легко несет бремя лет. Ты бодр телом и душой и по прежнему придерживаешься святого правила не обходить встреченные препятствия, а перелезать, перескакивать через них.

Настал большой праздник для всех социалистов и революционеров мира. Энгельсу исполнилось семьдесят лет. Эту дату отмечали на различных широтах планеты.

Двадцать восьмого ноября, в пятницу, над Лондоном занялся, как всегда в эту пору, поздний, хмурый день. Незадолго до этого на Риджентс-парк приехала, чтобы помочь Энгельсу спокойно работать, бывшая жена Каутского, Луиза. Она решила остаться работать домоправительницей и секретарем Энгельса, глубоко чтя его и понимая, как необходим этот человек всему миру. Нарушенный вслед за смертью Елены Демут порядок, благодаря ее появлению, восстановился.

С самого утра в день рождения Генерала хлопала входная дверь. С почты доставляли десятки телеграмм и писем. В австрийском журнале «Социал-демократический

ежемесячник» появилась статья Элеоноры Маркс-Эвелинг. Прочитав ее, Энгельс, чья скромность вошла в поговорку, осерчал не на шутку.

— Она выше всякой меры расхвалила меня... — досадовал он. — Верно только то, что борода у меня курьезно обращена в одну сторону.

Во всех социалистических газетах писали в этот день об Энгельсе. Чтобы обнять друга и руководителя всех революционных партий мира, в Лондон приехали Бебель, Либкнехт и Зингер. Они тотчас же получили прозвище трех волхвов. Кабинет Генерала был полон цветами и грудами подарков. Книги, письменные приборы, различные сувениры, парадные адреса и, наконец, картины заняли все столы. Особенно хороши оказались акварельные полотна известного художника Рейнеке, подаренные почитателем из Штутгарта. Энгельс, сам хорошо рисовавший и изучавший живопись, являлся тонким ценителем работ маслом, пастелью, углем и карандашом. Угодить ему было трудно. Однако подаренными произведениями Рейнеке он остался очень доволен. В них не было, по его мнению, никакой позы и все дышало подлинной жизнью.

Пир, как шутя называл Энгельс ужин в этот вечер, удался на славу. Луиза Каутская, Тусси и смышленая служанка достигли совершенства в приготовлении любимых Энгельсом блюд. Особенно вкусен был венский яблочный штрудель. Листы из теста, сделанные Луизой, казались тоньше папиросной бумаги, а начинка из яблок с изюмом напомнила всем благословенную Рейнландию. Не хуже был и пудинг с корицей. Шорлеммер и Лесснер отдали дань пиву, а Лафарг густому бордо.

За едой было произнесено много тостов и зачитаны телеграммы с Востока и Запада. Растроганный Энгельс слушал их с улыбкой, но внезапно нахмурился, встал, поправил очки и сказал:

— Спасибо, друзья. Но истина прежде всего. Львиная доля тех почестей, которыми меня засыпали, принадлежит не мне, а Марксу. Никто лучше меня этого не знает. Разрешите поэтому почтить память Карла Маркса. Я только продолжатель его дела. Что же касается той небольшой доли, которую я могу без хвастовства отнести на свой счет, то я приложу все силы, чтобы быть достойным ее.

Русские революционеры также приветствовали Энгельса. Старый друг Энгельса, народник Лавров, прислал большое письмо с поздравлениями от себя и своих соотечественников. Плеханов, Засулич и другие женевские марксисты попытались высказать по телеграфу и в письмах свою преданность, преклонение и благодарность учителю и другу. Степняк сердечно обнял Генерала и не мог скрыть, как искренне и глубоко он счастлив, что узнал в своей жизни такого необыкновенного человека.

Когда молодежь принялась танцевать, Энгельс ласково положил руку на плечо стоявшего подле него русского:

— Что ж, дорогой Степняк. Вы молоды, поверьте, будущее щедро вознаградит вас за пережитое, но и мы, старики, кой-чем богаты. Чего только я уже не повидал на своем веку! Я, например, свидетель подъема, величия и падения не только Луи Бонапарта, но и Бисмарка. И не один, а много глиняных кумиров на моих глазах рассыпалось, превратившись в пыль. Хорошо бы дожить и до гибели нашего с вами общего врага — русского царизма. Это уже не за горами.

Прошел ноябрь. Энгельс не скоро закончил писать ответы на множество поздравительных писем от различных партий, газет и отдельных лиц. Выражая благодарность за лестное к нему отношение, он снова отмечал огромную роль Маркса в развитии международного рабочего движения, преуменьшая нередко свое значение.

Каждый день Энгельс диктовал Луизе Каутской или давал ей переписывать набело свои труды. Зрение его становилось все хуже. Два часа в день он занимался с ней, как добросовестный учитель, химией, французским языком и латынью. После обеда наступал отдых, затем опять работа.

Перед сном, от 11 до 12 часов, Энгельс и его секретарша играли в карты. Раньше партнером Генерала была Лепхен. Монотонные карточные игры отвлекали его от серьезных мыслей и предотвращали бессонницу.

Когда хозяин дома уходил спать, Луиза еще долго занималась делами дома. На ней лежало, помимо секретарской работы, руководство всем хозяйством. Благодаря самоотверженности этой дельной, умной и отзывчивой женщины, несмотря на смерть Елены Демут, дни на Риджентс-парк двигались так же строго и размеренно, и

Энгельса ничто не отрывало от его непрерывно увеличивающейся работы ученого и вождя.

Марксизм зарей поднялся над миром. В Забайкалье, в европейских странах, в Калифорнии и вплоть до Австралии, не страшась тюрем и виселиц, объединяясь в партии, боролись последователи учения Маркса и Энгельса.

После побега Бориса Ивушкина Анна Бах продолжала работать в сельской больнице в Арейском. Она была одновременно кастеляншой, сиделкой и фельдшером-самоучкой. Исчезновение врача, выехавшего с разрешения исправника в Красноярск за операционными инструментами и не вернувшегося обратно, вселило полицейских. Сначала режим для поселенцев стал строже, но постепенно об Ивушкине позабыли. Ссыльные занимались ремеслами, учили детей, создали библиотеку, читали лекции крестьянам и сами занимались разными предметами. Анна в редкие свободные часы посещала Давыдовских, которые усиленно хлопотали в это время о разрешении выехать из Сибири. Девочки их подросли, и мать стремилась дать им основательное образование.

Село Арейское процветало. По воскресеньям местные богатеи вместе с представителями власти бессовестно запивали и дебоширили. Бойко торговал трактир на проселочном тракте, лихо проносились по улицам пожки летом и саночки зимой.

Поздней осенью в больницу притащился густо обросший по щекам и подбородку средних лет человек. Он пожаловался на нестерпимые боли в животе. Анна заставила его обмыться в баньке, выдала исподнее белье и уложила на одну из свободных кроватей. Помня все, чему учил ее Ивушкин и заглянув на всякий случай в медицинский справочник, она решила напоить хворого касторкой, а позднее дать ему настоя из сухой черемухи. Оба лекарства отлично помогли.

— Слыхал я, — сказал ей выздоравливавший пациент, — что мучительней всего зубная боль, затем рези в животе, ну и ломота в голове тоже не легка. Сам я за всю жизнь никогда не болел. Даже в Алексеевском равелине, а уж каков там гиблое место, сами знаете. Плесень одна.

— Так вы ссыльный, свой брат, так сказать, — оживилась Анна. — Вы даже побывали в этом убийственном склепе. И долго там сидели?

— По правде сказать, я там не сидел, а служил.

Анна отпрянула:

— Вы жандарм?

— Бывший. Я такой же политический ссыльный, как и вы. Слышали небось о деле шестидесяти восьми? Так вот я и есть один из тех унтер-офицеров. Не брезгуйте. Был связан с исполнительным комитетом «Народной воли». Передавал им записки и доставлял ответы. Учился шифру и, знаете, одолел эту премудрость. Что же вы с таким ужасом уставились на меня?

И Анна еще раз выслушала казавшуюся почти фантастической историю о суде над шестьюдесятью восьмью жандармами, помогавшими Нечаеву выжить, связаться с народовольцами и готовившими его побег.

Нового знакомого Анны звали Федотом. Он умолчал, чтобы не показаться выхвалом, о том, как на свой небольшой заработок покупал заключенному еду, как заботился о нем.

— Этакий был человек особенный. Говорил, точно в душу нашу крестьянскую смотрел. Думы, чаяния народа постигал. Помню — не хотел я его слушать поначалу, так нет, заставил. Сущий был златоуст. Будто в одной со мной хате родился. Да, мужицкую долю он знал, а говорил, что родом городской. И когда нас судили, я не за себя болел, а за него. Без нас ему конец. Так оно и вышло. Сгноили, ироды, его в крепости. Без ножа зарезал его царь.

Федот часто захаживал к Анне. Тридцатипятилетний коренастый здоровяк работал в соседней деревне кузнецом и жил в достатке. Анна начала учить его грамоте, особенно письму, в котором он был не силен. От природы сметливый, прилежный, Федот запоем читал и нетерпеливо тянулся к знаниям. Разбуженная душа солдата жаждала пищи для размышлений. И Анна радовалась тому, как быстро усваивал различные предметы ее случайный ученик. Она брала по выбору книги у Давыдовской, в сельской библиотеке, доставала их у других ссыльных. Бывший страж Алексеевского равелина удивлял ее трудолюбием и способностями к наукам. Анна нашла в нем вскоре преданного друга. Иное искреннее и глубокое чувство, зародившееся в сердце Федота, она решительно

отвергала. С приближением весны Анна начала подумывать о свободе. Она была приговорена к вечному поселению. Спасти ее, вернуть к революционной работе могло только побег.

Вместе с Федотом однажды она отправилась в лес, чтобы запастись дровами для больницы. Мороз достигал сорока градусов. Под лучами солнца снег на лугу дивно блестел и казался то розовым, то синеватым. Заснеженные сосны высились скульптурными изваяниями, вызывая в памяти богатырей, вздыбленных коней, героев народных сказок, терема и зверей.

— Да ведь это ведьма ярится на лешего! — воскликнула Анна. — А вот белый медведь!

Федот, не обладавший столь впечатлительным воображением, не видел того, что открывала его спутница в глухом таежном бору. Наконец они добрались до прогалины, где еще осенью навалены были баланы. Грузить их на телегу оказалось нелегко, но Федот оправдал данное ему в селе прозвище Бовы королевича. Дело спорилось, и скоро можно было трогаться в обратный путь. Анна, однако, задержала Федота неожиданным признанием, что собирается не позже конца мая отправиться на восток. На широком, снежком, курносом лице Федота появилась гримаса боли, затем недоумения и тревоги. Сам он был из Псковской губернии и мучительно тосковал по родителям — крестьянам, живущим бедно и трудно.

— Может, и вы со мной? — неуверенно спросила Анна, но тут же пожалела.

— Если б...— Федот не досказал. Анна догадалась. Он хотел сказать ей о том, что недостаточно учен и, главное, нелюбим. Молча они поехали в Арейское.

Когда вдали появились чуть видимые в сумерках купола и колокольня церкви, Федот заговорил:

— Я было хотел отговорить вас. Удастся ли уйти? Ведь вы женщина. Хотел, да раздумал. И решил — что в моей силе, все сделаю. Помогу, даже если голова за то долой. Не для такой жизни вы родились.

С этого дня, помимо усиленных занятий по-русскому языку, арифметике и чтения различных запрещенных революционных книг, Анна и Федот принялись обсуждать тайный план.

Анна хорошо знала несчастливые побеги с Карийской каторги и рассказала Федоту, как политические каторжане

решили вырваться на свободу с помощью подкопа длиной в десять саженей. Но сразу же они натолкнулись на слой вечной мерзлоты. Рыть пришлось по ночам, лежа на животе. За час работы удавалось углубить проход только на полвершка. Труд этот был поистине каторжный. Но жажда воли восстанавливала их силы. Надзиратели ежечасно могли обнаружить подкоп, и каторжцы изменили первоначальный замысел. Неподалеку от тюремной стены находилась мастерская, крытая тесом. Решили бежать через пролом потолка. На работу заключенных приводили под конвоем. Но никто не проверял ящиков, стоявших под койками арестантов и служивших для личных вещей. В них-то товарищи перенесли в мастерскую беглецов. С крыши на землю они должны были спуститься по веревке. Нелегко оказалось усыпить бдительность часового, постоянно ходившего вдоль тюремной стены. Но и это препятствие преодолели. Первыми в ящиках вынесли Мышкина и Минакова, и ночью они благополучно выбрались на волю. На их постелях долго лежали чучела, которые обманывали стражу во время проверок. Однако позднее оба беглеца, как и четверо их товарищей, пытавшихся спастись с каторги, были пойманы и жестоко наказаны.

Бежать с вольного поселения казалось несравнимо проще, и Анна надеялась на успех. Сестра прислала ей достаточную сумму денег, а Федот, пользовавшийся, как отличный мастеровой, большими льготами у местного исправника, съездил в Красноярск и привез ткани, из которых Анна вместе с Давыдовской принялась шить себе различную одежду. Доверенные друзья по ссылке добыли Анне фальшивый паспорт на имя купчихи Ляпуповой из Тюмени.

Близился день, который мог либо открыть Анне новые дали, либо же вернуть ее в тюремный казомат. В канун побега Анна была необычно весела и деятельна.

— Раз человек желает избавиться от своего жалкого состояния, и желает искренне, всей душой, такое желание не может оказаться безуспешным. Это слова Петрарки, — сказала Давыдовская и обняла на прощание подругу.

Поздней ночью Федот на телеге увез Анну из Арейского. Врач из поселенцев объявил в селе, что его помощница занедужила и слегла. Нужно было скрывать исчезновение ссыльной как можно дольше. И это удалось.

Спустя несколько недель то на телеге, то пешком или пароходом, казавшаяся всем потешною и глуповатой госпожа Лянунова благополучно добралась до Хабаровска. Там у Анны Бах была явка, где ей должны были помочь. Предстояло брать самые трудные и опасные барьеры. Хозяин конспиративной квартиры оказался надежным бывалым человеком. Он посвятил Анну в свое прошлое. В шестидесятых годах, в подпольной типографии, он набрал одну из нашумевших бунтарских статей Писарева и за это поплатился несколькими годами жизни, получив каторгу. В течение нескольких десятилетий был он затем ссыльным поселенцем. Предприимчивый мастер на все руки, неуемный следопыт и старатель, он нашел в непроходимой чащобе, близ реки Лены, золотой прииск и стал управляющим золотопромышленной компании. Влиятельные акционеры своим ходатайством и поручительством добились возвращения ему всех прав. Но и разбогатев, бывший революционер не изменил своим взглядам и отдавал большую часть денег на тайную революционную пропаганду. Ему и была обязана Анна тем, что ее не обнаружила полиция, когда из Арейского в пограничные города поступили сведения о побеге.

В течение месяца Анна скрывалась в Хабаровске, покуда горячка поисков бежавшей с поселения государственной преступницы Бах не прошла.

Анна жила в изнуряющем ожидании. Не раз уже, как это было во Фрейбурге, ее надежды жестоко разбивались. Она готовила себя к худшему, к возвращению в острог. Так было уже со многими, тщетно пытавшимися спастись из заточения.

Будь что будет! Анна дерзнула. В ссылке она старалась приносить пользу нуждающимся в этом, но ее манила борьба, участие в большом революционном деле. Колебания в выборе путей давно для нее прошли. Раздумья в одиночном заключении, участие в карийском бунте чудом сохранившаяся жизнь после того, как вместе с Сигидой и ее подругами и она приняла яд, беседы с Давыдовской, дружба с Ивушкиным и книги, как путеводные звезды, привели Анну к учению Маркса и Энгельса. Вера Засулич была права, советуя ей найти ответ на все сомнения у самой жизни.

Иногда по вечерам Анна выходила тайком погулять по незнакомым улицам. Хабаровск раскинулся на высоком п

крутом утесе. Две омывающие его реки, Амур и Уссури, были могучи и неспокойны. Однако город напоминал Анне огромную казарму не только из-за однообразных казенных построек, но и потому, что его населяли в большинстве военные.

Один из нарядных, без меры украшенных лепными орнаментами особняков принадлежал управляющему винодочными заводами Емельянову. Анна некогда переписывалась с ним, когда он находился в мужской каторжной тюрьме на Каре и слыл там отчаянным бунтарем, участником заговора на цареубийство.

Но по-разному складываются человеческие судьбы. Емельянов, как и хозяин всех водочных дальневосточных предприятий, бывший член «Черного передела», Ньянков, раскаялся, повинился и заслужил не только полное прощение, но и вошел в доверие генерал-губернатора и петербургских властей. Ньянков спаивал местных жителей, обменивая у них на водку пушнину, и богател вместе со своим управляющим. Недавние славное свое прошлое революционеры слыли в Хабаровске людьми умными, образованными, полезными.

Анна много думала в своем вынужденном уединении о Ньянкове и подобных ему людях.

Революционный вихрь подобен буре, что проносится над землей, вздымает валы, испытывает на прочность скалы. Камешек, листик взлетает на миг к облакам и падает, чтобы исчезнуть навсегда в пыли или грязи. Вольное круговращение! Мечта не для всех превращается в действие. Многие грезят всю жизнь, не вставая с лежака. Иные бросаются, как дети, к огню, обжигают кончики пальцев и с тех пор боятся всего, что блестит. Другие избирают дорогу борьбы, считая ее путем к славе и процветанию. Разные бывают цели, а тропинки к ним схожие. Одних на справедливость толкает к правде, а иных — к кривде. На Каре позор телесного наказания, даже одна мысль о нем вели к смерти, но есть кнутолюбцы, для которых розга — просветительница. Лучшие, те, кто окрепнув в боях, ничего не страшатся, и в аду становятся ангелами.

Приближался день, когда Анну должны были переправить через границу. Сначала ей пришлось добраться вместе с верным единомышленником, под видом его жены, до Владивостока. Этот портовый малонаселенный городок навсегда запомнился ей залитым солнечными лучами, осве-

женным океаном. Города, как люди, настораживают либо располагают к себе, окрыляют или подавляют.

Наконец Анна очутилась на пароходе, идущем в Нагасаки. Когда на палубу вошли пограничные чиновники и начали проверку паспортов, она испытала в последний раз унизительное чувство страха, но документ ее, третья подделка со времени отъезда из Арейского, не вызвал никаких подозрений. Распростившись с тем, кого она сердечно назвала братом, Анна вошла в свою каюту, когда судно уже отчалило. После шести с лишним лет она вновь распоряжалась собой и была совсем свободна.

Берега России исчезли. Бегляика была вне опасности. Через пять дней пароход бросил якорь близ Нагасаки. Судно в Сан-Франциско отправлялось не скоро. Устроившись в гостинице, где вся прислуга говорила по-русски, Анна отправилась в город. Чистые, обильно поливаемые водой улицы были так узки, что по ним с трудом проезжали две запряженные людьми коляски. Все в этом порту, даже дома и буддийские храмы с изваяниями Сакья-Муни, казалось Анне хрупким, придуманным, как декорации. На всем была печать древней своеобычной культуры, вовсе не сходной с европейской.

Путешествие на огромном американском пароходе, в каюте третьего класса, оказалось мучительным. Дурно приготовленная и еще хуже сервированная пища, душное помещение на шесть мест в три яруса, узенький закуток для прогулок. Пассажиры первого класса имели бассейн, площадки для игр и просторную палубу.

Плавание длилось больше трех недель.

Один из прекраснейших городов земли, Гонолулу на Сандвичевых островах, в гавани которого двое суток простоял пароход, показался Анне созданием фантазии. Но из рассказов своих спутников она узнала, что после открытия этого архипелага прославленным путешественником Куком, за сто с небольшим лет господства выходцев из Соединенных Штатов на всех этих благодатных островах из четырехсот тысяч местных жителей осталось менее двадцати. Опустошительным вихрем явилась также и проказа, которую до появления американцев здесь не знали.

В Нью-Йорке, оглушившем и подавившем Анну стремительным движением экипажей, трамваев и потоком прохожих, она пробыла только несколько дней, торопясь в Ливерпуль.

Англия. В мечтах она видела себя на пороге дома Энгельса. Но, узнав, что Степняка-Кравчинского и его жены нет в Лондоне, она не набралась смелости сама отправиться к человеку, которого без малейших колебаний считала самым великим из живущих на земле и наиболее нужным для человечества. Так и не побывав на Риджентс-парк, Анна Бах отправилась дальше, в Женеву, откуда около семи лет назад пустилась в странствие по семи кругам ада.

— Анна! — всплеснула руками жена Плеханова. Истекшие годы резко изменили бывшую каторжанку, но они не прошли бесследно и для Розалии Марковны. Изнурительная работа врача, постоянная нехватка денег и заботы о часто хворающем муже и трех детях заметно состарили ее. — Милая Анна, вырвалась, бежала? Подвижница! Вот счастье. Какой сюрприз для всех наших!

Из соседней комнаты доносилась оживленная беседа.

— Александр Третий предпочитает скакать не на коне, а на кнуте. Это испытанный в России вид транспорта, но сейчас на нем уже далеко не уедешь.

Анна узнала резкий, властный голос Плеханова.

— Конечная станция близка, — вторглась в разговор Засулич.

— Внимание. Готовьтесь к радостной встрече. Виват! — объявила Розалия Марковна.

— Хлопцы, чудо! Да ведь это наша Анна! Наперекор стихиям... Ура!

— Нашего полку прибыло. Не так ли? — целуя Анну, спросила Засулич.

— Да, — многозначительно ответила Анна.

Мистер Джон Котсберри не любил вспоминать свое прошлое.

— Назад оборачиваются лишь те, у кого нет ничего впереди, — часто повторял он.

Котсберри долго жил в бедности, работая грузчиком в одном из вест-индских доков. Тогда он постоянно завсегдатайствовал сытому коту Бэрри, благодеятельствующему в припортовом трактире Чарли Брауна. Но судьба Джона резко переменилась после победы докеров в стачке и создания профсоюза. Природа скроила Джона по-особому. Детина почти двухметрового роста, с широкими мясистыми плечами и на редкость зычным голосом производил внушительное

впечатление на рабочих. Его избрали секретарем, а затем и главой профессионального объединения. Он начал получать приглашения на обеды к парламентским воротилам и нравился им угловатостью жестов и мнимой смелостью грубоватых речей. Вскоре Котсберри купил себе домик и поместил сына в дорогой колледж. С этого времени Джон перестал хулить порядки, установленные в Англии консерваторами, не порицал более позора колониального угнетения, и если иногда подтягивал еще гимн чартистов, то затем обязательно пел с душой «Боже, спаси короля».

— Юлит и кружится, как веретено. Метит в пэры и, чего доброго, получит-таки титул, — поговаривали рабочие, поднявшие его силой своих голосующих рук.

— Что произошло с грузчиком Котсберри? - спрашивали у Элеоноры. — Куда делось его мужество, преданность рабочему делу?

— Так ведь он купил маленький коттедж, а мечтает о большом. К тому же ему хочется бывать при дворе, — отвечала с умной улыбкой дочь Маркса.

Она знала Джона другим. Он был тогда неустрашим и выносил с трибуны беспощадные приговоры существующему строю. Теперь он призывал к благоразумию и терпению, повторял изречения Библии, подражая церковным проповедникам, и предлагал мир между классами. Корыстолюбие его возрастало, по мере того как он становился зажиточнее. После долгого вдовства мистер Котсберри повел под венец дочь преуспевающего чиновника, немолодую женщину, весьма религиозную и ехидную, прозванную теми, кто ее знал, молящейся коброй.

Котсберри не был исключением, и это тревожило Тусси. Она наблюдала подобные перевоплощения среди тех, кто ступил на путь сговора с буржуа.

У Эвелингов были обширные знакомства среди рабочих и общественных деятелей, литераторов, артистов, ученых и учащихся, прогрессивных чиновников, сочувствующих социалистам, представителей среднего сословия.

Лондон кишмя кишел различными социальными и особенно религиозными сектами, насчитывавшими менее десятка адептов, а подчас вовлекших в свой мутный круговорот немало наивных неудовлетворенных душ.

В самом конце восьмидесятых и начале девяностых годов в английской столице появилась и привлекла к себе внимание русская дворянка, кузина видного государствен-

ного деятеля, обласканного Александром III, министра графа Витте, госпожа Блаватская, подписывающаяся псевдонимом: Радда-Бай. Она создала религиозно-мистическое теософическое общество, президентом которого стал американец Олькотт, личность столь же авантюристическая, как и его покровительница, чья биография напоминала бурную жизнь Калиостро.

Происходя по бабушке от древнего и знатного рода, Блаватская начала с того, что вышла замуж за эриванского вице-губернатора, бросила его и, сойдясь с капитаном английского судна, убежала с ним в Константинополь. Там она стала наездницей в цирке и вела разнузданный и полный всевозможных любовных приключений образ жизни. Пресытившись этим, она пленила одного из известнейших певцов, который гастролировал в турецкой столице, и, выйдя за него замуж, отправилась в турне по Европе.

Никогда серьезно не учившаяся музыке, она, однако, давала концерты и как пианистка пользовалась успехом в концертных залах городов мира.

В шестидесятых годах тридцатилетняя, жирная женщина, предпочитавшая всякой иной одежде замызганные капоты, с огромными ярко-голубыми, колючими глазами, рассказывающая на страницах газет о себе самые фантастические истории, стала ученицей известнейшего спирита Юма. Внезапно она появилась в Белграде и стала там хормейстером капеллы короля Милана. Из Сербии Блаватская вернулась в Россию и в Тифлисе законодательствовала на светских вечерах, устраивая спиритические сеансы. Она заставляла вертеться столы и тарелки, вызывала духов и предсказывала будущее, ловко одурачивая всех, кто ей верил. Фельдмаршал Барятинский, наместник Кавказа граф Воронцов-Дашков и вся их свита почти напролет занимались спиритизмом. Последовательница талантливого шарлатана Юма переняла тайны многих фокусов и гипнотическую силу внушения, которой широко пользовалась. Сойдясь снова со своим вторым мужем, оперным певцом, Блаватская, к огорчению своих агентов, исчезла из Тифлиса. И снова эта странная женщина, чья демоническая энергия и воля были достойны удивления, начала кочевать по свету, меняя профессии.

В Одессе ее знали как владелицу фабрики чернил и цветочного магазина, в Англии и Франции — как выдаю-

зуюся музыкантину и писательницу. Ее книги под псевдонимом Радда-Бай раскупались. Она отлично говорила на многих языках; обладая точным чувством поэзии, писала стихи и статьи о предмете, который едва знала. Окружив свою биографию густой завесой лжи, она лгала, глядя в глаза собеседнику, с такой искренностью, как будто никогда не отступала ни на шаг от правды. Ее влияние на людей, склонных к грубому мистицизму и не имеющих мужества осознать, что смерть заканчивает для них все, было огромным. Она убеждала слабых в их дальнейшем существовании за гробом, и они пытались верить в этот сладчайший утешительный обман.

Из России Блаватская, через Европу, отправилась в Египет. Недалеко от Александрии пароход, на котором она плыла, потонул. Не умевшая плавать спиритка была спасена мужем, который сам при этом погиб. Выйдя на берег без гроша, она скоро превосходно устроилась в Каире, но неоседливый нрав гнал ее дальше. В Индии она поселилась в Бенаресе и принялась за учение йогов. Вернувшись оттуда, Блаватская основала теософические общества в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. Она попыталась хитро соединить несоединимое — науку с мистической, ею придуманной религией — и проповедовала откровение с помощью спиритизма как источника богопознания. Среди зажиточных англичан появилось немало ее поклонников.

Блаватская стала желанным гостем в высшем свете и небезуспешно попыталась влиять на политику через своих последователей. В России крайние реакционеры, такие, как Катков, превозносили новоявленную пророчицу, и все чаще в гостиных столичной знати собирались спириты, чтобы вертеть столы и вызывать на собеседование души давно умерших людей. Блаватская окружила себя фанатически преданными ей людьми. Однако хвастливая тем, что познала все тайны загробной жизни, могущественная как черт, она не сумела предугадать часа своей собственной смерти и скончалась в пору наивысших своих удач.

Ее преемницей стала в среде теософитов нечистовая Анна Безант, которую Тусси знала с самой худшей стороны.

Энгельс горевал, что Мавр не дожил до зримых побед, одерживаемых в эти годы братьями по идее в Англии, Германии, Франции, России, Австро-Венгрии, где под

знамена социал-демократии встали мадьяры, немцы, румыны, сербы и словаки, образовав крепкую ветвь Интернационала. Было чему радоваться. Мощное воинство двигалось на капиталистов, и полководец видел конечное сражение и торжество победы. Но, как всегда на войне, не все ладилось подчас и в самой рати.

Даже Август Бебель был склонен иногда поддаваться иллюзиям и надеяться на мирный союз пауков и мух. Жизнь высменвала и топтала подобные мечты. Бебель быстро трезвел. Прямодушный и преданный рабочему движению, опытный политик и широкообразованный человек, он давно полюбился Энгельсу. Либкнехт тоже, как бы ни спотыкался и ни плутал, возвращался и действовал, как надлежало борцу из марксистского стана. Не то было с Каутским и Бернштейном.

Есть странная закономерность в поведении некоторых политических вожаков в истории революций. Подчас они меняются под воздействием мощных событий или сильной и одаренной личности, но только на время. Так опаленный огнем молний песок становится иногда прозрачным стеклом, оставаясь очень хрупким.

Первое впечатление о Каутском сложилось у Энгельса и Маркса весьма неблагоприятное. Оба они тотчас же заметили его утомительное самомнение, которое всегда служит роковой помехой для настоящего, всеобъемлющего развития личности, его беспомощность в материалистической диалектике, лицемерие и душевную сухость.

— Прирожденный педант и схоласт, который, вместо того чтобы распутывать сложные вопросы, запутывает простые, — сказал Энгельс, узнав Каутского поближе и тревожась о том, куда может завести он доверившихся ему товарищей.

Редактор немецкой газеты «Социал-демократ», издававшейся в пору исключительного закона в Цюрихе, Эдуард Бернштейн некоторое время, особенно на расстоянии, тоже казался Энгельсу надежным марксистом с широким политическим кругозором. Но постепенно пришло разочарование. Коренастый и с виду мужественный, Бернштейн обладал плоскодонной расчетливой душой. Самопадеянный и тщеславный, он старался по всякому поводу действовать помимо, а то и вопреки Энгельсу, называя это отстаиванием своей самостоятельности.

Только умные, великодушные, чистосердечные люди берут большими пригоршнями и умеют ценить то, чем щедро делятся с ними личности более значительные. Чувство благодарности присуще немногим.

Одним из источников реформизма в германской социал-демократии было лассальянство, опасное тем еще, что предстояло принять новую программу партии.

Гениальное не теряет своего значения во времени. Зная это, Энгельс предложил опубликовать бессмертный труд Маркса «Критика Готской программы» в теоретическом журнале германской социал-демократии «Новое время». Этим он стремился добиться ясности и единства в коренных вопросах о государстве, о диктатуре пролетариата, о буржуазной демократии.

«Она делает невозможной всякую половинчатость и фразерство в будущей программе». — решительно думал он, подготавливая работу Маркса для журнала.

Маркс в «Критике Готской программы» вконец уничтожал иллюзии последователей давно умершего Лассаля, сблизившегося некогда с Бисмарком, и объяснял, что такое диктатура пролетариата и переход общества к коммунизму.

Но такой силы взрывной заряд таился в гневном и пророческом документе вождя, что предложение Энгельса вызвало сопротивление у части колеблющихся руководителей партии.

Раскрылась истинная сущность Каутского и некоторых его единомышленников.

Только угроза Энгельса напечатать гениальный, провидческий труд Маркса в Вене принудила Каутского опубликовать его в редактируемом им журнале.

«В № 17 «Neue Zeit» появится нечто вроде бомбы, — писал Энгельс за океан другу Зорге, — критика Марксом проекта программы 1875 года. Ты будешь обрадован, но какое у кого в Германии это вызовет гнев и возмущение».

Так оно и случилось. Неумирающие слова Маркса вызвали панику и растерянность у одних, негодование у других. Но в самой партии работа Маркса была принята с большой радостью и одобрена социалистами многих стран.

Во всех передовых партиях мира Энгельс был признанным вождем, не менее дорогим и влиятельным, чем его покойный друг. Даже лютые враги отдавали должное его уму и таланту. И все же именно в родной Энгельсу

немецкой социал-демократии попытались пересмотреть Марксово учение и восстановить культ Лассаля. Более того, журнал «Форверте» напечатал статью, очевидно принадлежавшую перу Либкнехта, который, как это было уже не раз, подпав под влияние реформистов, неразумительно оповестил мир, что германские социалисты вовсе не марксисты и не лассальянцы, а просто социал-демократы. Защищая основы принятой в Готе программы, которую яростно уничтожил в своей «Критике» Маркс, автор статьи отстаивал воззрения, чуждые марксистской науке о революции.

Энгельс не удивлялся, когда обнаруживал приспособленчество, трусость, расчетливость в людях. Не всякому дано пронести по жизни чистый свет души. Быть верным идее трудно, когда она обрекает на опасности, унижения, безвестность, а то и гибель. Подобно Марксу, Энгельс любил трудности и препятствия. Встречая рискованный барьер на пути, оказавшись в неравной схватке на поле бой, как это часто бывало в пору революции 1848 года, перед головоломной стратегической задачей, в пылу спора он ощущал прилив новых сил и рвался вперед, чтобы, все преодолев, победить.

Учение о научном социализме, которое вместе с Марксом он создал, нашло в нем не только творца, но и бдительного воина. Видя, что одной бомбы, столь мощной, как «Критика Готской программы», оказалось недостаточно, чтобы остановить сторонников реформизма, Энгельс послал новый снаряд, свое «Введение» к брошюре Маркса «Гражданская война во Франции». В этой статье он разбивал сторонников суеверного почтения к буржуазному государству и властям предержащим, которое оказалось присущим не только буржуазии, но и отдельным рабочим. Энгельс подчеркнул, что государство это машина для подавления одного класса другим и для демократической республики является, по сути, тем же, чем и для монархии. Соединенные Штаты служили тому ярким примером. Там, по мнению Энгельса, банды политических спекулянтов, попеременно забирая государственную власть, эксплуатируют ее ради грязных целей самым бессовестным образом.

Отступническим надеждам на то, что буржуазное государство постепенно врастет в социализм, Энгельс противопоставил судьбу Парижской коммуны.

«Рабочий класс, — писал он, — дабы не потерять снова своего только что завоеванного господства, должен, с одной стороны, устранить всю старую, доселе употреблявшуюся против него, машину угнетения, а с другой стороны, должен обеспечить себя против своих собственных депутатов и чиновников, объявляя их всех, без всякого исключения, сменяемыми в любое время».

Многочисленные товарищи по партии восторженно приветствовали выступления Энгельса, в то время как другие не скрывали своего раздражения. Это мало обеспокоило Энгельса. Он ощутил, что подобные булавочные уколы не способны пронзить его хорошо дубленную, выносливую кожу.

Энгельс, словно бессменный часовой, стоял на страже знамени, поднятого им и Марксом над миром. На всей планете горели революционные костры, и никто не мог потушить это пламя. На земле, вспоенной кровью невинных, быстро вырастают мстители. В России и Бельгии, Италии и Венгрии каратели нападали на первомайские демонстрации, преследовали забастовщиков, бросали в тюрьмы социалистов.

Рабочие Соединенных Штатов Америки прислали несколько тысяч долларов бастовавшим печатникам Германии. Интернациональная помощь помогла французским пролетариям города Кармо добиться уступок от хозяев. Одиночество и обособленность рабочих навсегда кончились. Деяния Первого Интернационала, семена, брошенные им, густо взошли. Хотя французские поссибилисты, английские и бельгийские реформисты всячески пытались расколоть и повести за собой рабочее движение, им не удалось противостоять созыву 2-го Международного социалистического конгресса.

Энгельс знал, что политическая борьба, как любое сражение, может внезапно обернуться разрушительным бедствием, старался сберечь силы своего воинства и добыть ему победу.

Видя, как ловко оппортунисты срывают невыгодную для них международную встречу рабочих и стремятся, как это было раньше, созвать свой особый съезд, Энгельс предложил слияние двух конгрессов на строго определенных условиях. Он был убежден, что колебания многих делегатов на таком форуме будут развеяны его единомышленниками. Энгельс отмечал, что если удастся

объединиться, то на турнире идей французские марксисты легко докажут ошибочность взглядов поссибилистов.

Когда была достигнута договоренность о слиянии, Энгельс решил собрать на предстоящем конгрессе как можно больше сторонников учения Маркса.

В марте 1891 года появилось первое воззвание о созыве конгресса в Брюсселе, на который приглашались все, без исключения, рабочие и социалистические партии, объединения и группы.

Второе вече нового Интернационала открылось в тихом, благонравном Брюсселе светлым августовским утром. Представители пятнадцати стран, гости, журналисты не уместились в зале Народного дома. Пришлось перенести заседание в большее помещение. Руководитель французских поссибилистов Брусс не приехал, так как понял, что проиграл политическую игру, не явился из Англии и пропырливый Гайндман. Самой многолюдной была делегация Бельгии, но ее руководители, желавшие правительственных реформ, а не революционной борьбы, так и не осмелились выступить.

От России не было ни марксистов, ни народовольцев.

В присланном докладе, написанном заболевшим и оставшимся тогому в Женеве Плехановым, говорилось:

«Мы расчистили почву для научного социализма... Мы поставили себе обязанность покрыть всю Россию сетью рабочих обществ... До того момента всякое представительство русской социал-демократии было бы фиктивно».

На следующий конгресс русские товарищи обязались прислать представителей пролетарских организаций своей родины.

Цель Энгельса, поставленная перед единомышленниками, была четкой и ясной: конгресс, объединивший представителей различных рабочих организаций, должен дать отпор анархизму, остановить соглашательство, помочь профсоюзам и другим пролетарским обществам сделать шаг вперед к марксизму.

Энгельс был неистовым, страстным поптелем за мир, против войн.

Искреннее международное сотрудничество европейских народов возможно, только когда каждый народ будет у себя дома полноправным хозяином, — утверждал он.

Жестокий спор на брюссельском конгрессе возник из-за того, как следует относиться к милитаризму. Настав-

вая на тесном международном общении рабочих, Либкнехт пылко возразил:

— Врагом немецких рабочих являются не французские рабочие, а немецкая буржуазия, врагом французских рабочих являются не немецкие и английские рабочие, а буржуазия их собственной страны.

Либкнехт предрек, что грядущая война будет губительна для всего мира и принесет неисчислимые бедствия.

— Пролетариат, который несет знамя культуры, должен позаботиться, чтобы помешать этому, — закончил он и тут же предложил решить куцно, что только социалистический строй, уничтожив подавление человека человеком, сможет положить конец милитаризму и обеспечить мир между народами.

Брюссельский конгресс, несмотря не некоторые теоретические и практические просчеты, порадовал Энгельса.

— И принципиально и тактически мы одержали победу, — сказал он друзьям. — Европейские рабочие окончательно оставили позади период господства громкой фразы.

Еще раз на деле сказалась могучая сила атакующего марксистского слова.

Следующий конгресс Второго Интернационала намечено было созвать в 1893 году в Швейцарии. Энгельс намеревался сам побывать на нем. Он рассчитывал к этому времени закончить в основном обработку и опубликование всего литературного наследства Маркса.

Энгельс ежедневно просматривал десятки газет разных стран, отражавших как в зеркале бегущий день. Жизнь, запечатленная на листах бумаги, выраженная в слове, откладывалась первым пластом истории, пусть вчерне и неточно. Газета должна была заменить летописца земных деяний общества и отдельных людей.

Но пресса в руках врага — опасное оружие клеветы. И Энгельс не раз восставал против измышлений и побылиц, порочащих священные для него имена.

Однажды в газете «Дейли кроникл» появилось ядовитое клеветническое сообщение о семье Маркса, в котором утверждалось, что после падения Коммуны, когда Лафаргу угрожал арест, жена Маркса, чтобы спасти зятя и дать ему возможность бежать в Испанию, указала властям местонахождение оружия. Энгельс тотчас же вы-

ступил на страницах той же газеты с решительным и резким опровержением.

«Вся эта история с мнимым складом оружия — просто басня, сочиненная для того, чтобы очернить память женщины, которая в силу присущего ей благородства и самоотверженности была совершенно не способна на низкий поступок», — писал он.

Не только память умерших, но и честь живых оберегал Энгельс.

— Маркс завещал мне заботиться о его детях так, как он заботился бы о них сам, и защищать их, насколько это в моих силах, от всякой клеветы, — заявлял он сурово.

Шли годы, но ничто не могло изменить в Энгельсе его отвращения ко всякого рода восхвалениям и всяким публичным проявлениям почитания.

Когда он узнал от своего секретаря Луизы Каутской, что певческий кружок членов Лондонского коммунистического просветительного общества немецких рабочих собирается по случаю дня его рождения устроить чествование, то отговорился необходимостью быть в другом месте и писал участникам хора:

«И Маркс и я всегда были против всяких публичных демонстраций, посвященных отдельным лицам; это допустимо разве только в том случае, когда таким путем может быть достигнута какая-нибудь значительная цель... те немногие годы, на которые я могу еще рассчитывать, и все те силы, которыми я еще располагаю, по-прежнему будут всецело посвящены великому делу, которому я служу вот уже почти пятьдесят лет, — делу международного пролетариата».

Чем старше человек, тем быстрее для него несется время. Наступил ноябрь 1891 года. Снова, как и в день семидесятилетия, волна благодарной и почтительной любви товарищей по партии докатилась к тихому дому, где жил Энгельс. Он принимал эту дань сердца людей только как почетный венок на могилу Маркса и думал, в великой скромности своей, о том, что пожинает славу, семена которой посеял человек более великий, нежели он.

Весной 1892 года Русанов прибыл в Лондон и тотчас же отправился к Энгельсу.

Его встретила Каутская и ввела в кабинет, где за столом, попивая из больших глиняных кружек пиво, сидело

несколько мужчин, разгоравшихся вперемежку по-немецки и по-английски. Луиза Каутская села у окна за круглым столом и принялась разбирать бумаги и письма, делая на них какие-то пометки.

Один из мужчин, с энергичным лицом, обрамленным седой большой бородой, поднялся с места, подошел к Русанову и крепко пожал его руку.

— Я Энгельс... — сказал он по-английски и спросил, на каком языке предпочитает говорить посетитель.

Неожиданно для самого себя Русанов, который не только не был марксистом, но даже враждовал с учением о пролетарской революции, почувствовал неодолимое желание высказать свое огромное почтение Энгельсу.

— Гражданин Энгельс, — сказал Русанов по-французски, — позвольте русскому социалисту выразить чувство искреннего восхищения человеком, который был достойным другом великого Маркса и который до сих пор является духовным главой социалистического Интернационала... Лично я еще в годы ранней молодости читал вашу работу о положении английского рабочего класса, и она произвела на меня сильнейшее впечатление, и с тех пор я, как и все социалисты в мире, с величайшим интересом прислушиваюсь к вашему мнению и знакомлюсь с каждой вашей новой книгой, как только она выходит... В вас я вижу живое продолжение, вижу воплощение Маркса.

Энгельс засмеялся и остановил Русанова резким жестом:

— Та-та-та, молодой товарищ! Полноте, к чему этот обмен любезностями между нами, социалистами? Нельзя ли проще? У вас горло должно было пересохнуть от этого ораторского упражнения... Присаживайтесь-ка к столу и промочите его вот этой кружкой пива.

Растерявшемуся Русанову пришлось подчиниться. Энгельс настойчиво расспрашивал его о голоде в России. В противоположность «политическим романтикам», как он назвал группу Лаврова, к которой примыкал и Русанов, он хвалил подлинно социалистическую, полезную деятельность Плеханова и его друзей.

— Для вас, русских, — заметил, между прочим, Энгельс, — политическая экономия — все еще абстракция пещь, потому что до сих пор вы не были достаточно втянуты в водоворот промышленного развития, которое вы-

бьет из вашей головы всякий отпеченный взгляд на ход экономической жизни... Теперь это положение вещей меняется... Шестория капитализма уже крепко врезалась местами в русскую экономику... Но вы в большинстве случаев не отказались еще от архаических понятий... Впрочем, повторяю, это не ваша вина, сознание отстает от бытия...

Энгельс интересовался распространением идей Маркса в России. Русанов рассказал ему о своем пути революционера.

— И однако, вы не с Плехановым! — с легким раздражением встал Энгельс.

Расставаясь, Энгельс с шутливой серьезностью заговорил о том, что Русанов так и не постиг марксизма.

— Право, не пойменю вас, русских: у вас, должно быть, в мозгу перегородки. Тот же самый человек умен в одних вещах и ... - Энгельс примолк.

- Не стесняйтесь, гражданин. Совсем глуп в других. Не так ли? — закончил за него Русанов.

И ровно ничего не соображает в других вещах, казалось бы относящихся, однако, к той же самой области, - смягчил Энгельс.

Он читал множество русских книг. Отчет русского этнографа Штернберга об исследовании им общественного строя и семейных обычаев сахалинских гиляков настолько увлек его новизной, что он написал статью о существовании группового брака.

Но главным в жизни Энгельса осталось другое.

После полугодового перерыва на письменном его столе появились листы третьего тома «Капитала», который он заканчивал для печати.

Этой великой цели отдал он мысли, чувства и время.

В эту пору Энгельса постигло еще одно большое горе. В Манчестере медленно умирал Карл Шорлеммер. Рак пожирал его тело. Таинственный, неодолимый, коварно подкрадывающийся к своей жертве недуг.

Две болезни — чахотка и злокачественная опухоль, — как два мифических коня смерти, вытаптывали землю. Но туберкулез был побежден гением безвестного до этого ученого Коха, который разгадал страшную сущность болезни. Смертоносный рак все еще оставался неразгадан-

ным и самым грозным из врагов человечества. Энгельс познал силу этой болезни, потеряв многих дорогих ему людей.

«Неужели это парафины сгубили Карлуппу?» — размышлял Энгельс в глубоком горе. После Елены Демут он терял еще одного незаменимого друга.

Шорлеммер принадлежал к поколению первых коммунистов, хотя был моложе Маркса и Энгельса. Если б оптимизм, трудолюбие, глубокий ум и талант могли продлевать человеческую жизнь, Шорлеммер жил бы более столетия. Только тяжкий недуг смог изгнать его из научной лаборатории.

Вернувшись из путешествия в Норвегию, ученый почувствовал себя настолько ослабевшим, что больше уже не мог приезжать в Лондон. Затем неумолимая хворь свалила его в постель. Ничто больше не радовало умирающего. Душа его искала одиночества. Он замкнулся в себе, затих. Рак вскоре убил его. Он лежал в гробу неузнаваемым. В несколько месяцев Шорлеммер как бы прошел сквозь десятки недожитых лет.

Узнав о смерти друга, Энгельс тотчас же отправился в Манчестер и принял участие в его похоронах... От имени правления Германской социал-демократической партии он возложил на его могилу венок с красными лентами. Затем Энгельс написал некролог, посвященный памяти выдающегося химика и верного партийного товарища.

Жизнь не давала вождю рабочих погружаться в скорбь. Она звала его к действию.

Для участия в Международном конгрессе горнорабочих в Лондон прибыла делегация немецких шахтеров и явилась на Риджентс-парк, чтобы повидаться с Энгельсом. Беседа была значительной и касалась положения немецких рабочих, их борьбы за экономические и политические права.

Лето — бурное время в Англии. Королевская семья тешится балами и раутами, высший свет подражает в этом двору, парламент до роспуска обсуждает предложения правительства, и обычно в стране начинается горячка избирательной кампании. Энгельс, внимательно наблюдая за ходом выборов в английскую палату общин, отмечал растущее влияние независимых рабочих депутатов. Их успех казался ему предвестником создания самостоятельной политической рабочей партии.

Бурлящийся мир был постоянно в поле зрения Энгельса. Датский социал-демократ сообщал ему, в каком состоянии рабочее движение на его родине. Итальянский революционер Лабриола подробно описал все, что относилось к подготовке Генуэзского учредительного съезда партии итальянских трудящихся. Энгельс сурово раскритиковал Каутского, который, в угоду примиренцам с буржуазным общественным строем, выбросил из статьи Энгельсов об итогах выборов в Англии, опубликованной в журнале «Новое время», разделы, обнажившие политические пороки фабианского общества.

Супругов Вебб и их приверженцев, по мнению Энгельса, объял жестокий страх перед грядущей пролетарской революцией, и они стремились предотвратить создание рабочей партии в Англии.

Маркеты Франции, Германии, Америки и России постоянно получали от своего руководителя и друга советы и помощь. По просьбе Лафарга Энгельс подсказал ему многое для выступления в палате депутатов. Как требовательный учитель, оценивал он выступления Бебеля, Либкнехта, Элеоноры и Эдуарда Эвелингов.

И, как обычно, дом на Риджент-парк в воскресные дни был полон преданных Энгельсу людей. Приходил Стеняк Кравчинский, интересный собеседник и добрый спорщик. Его симпатии к народовольцам, обанкротившимся в России, вызывали не раз упреки Генерала, которому, однако, нравилось, что русский писатель, возражая, дает ему повод к хлестким отповедям и размышлениям вслух. После долгого перерыва к Энгельсу снова наведался Максим Максимович Ковалевский.

Одаренный русский социолог и ученый был коротко знаком когда-то и с Карлом Марксом. Тем более обрадовался Энгельс возможности отдаться священным воспоминаниям о тех, кого давно уже не было в живых, а также основательно выспросить приезжего о России.

Ковалевский еще больше располнел. Его низкий и звучный голос, даже когда он говорил шепотом, разносился по всем трем этажам дома.

— Сущая перихонская труба, никак не гожусь я для конспирации, не вышел для этого ни комплекцией, ни речевым аппаратом, — шутил он сам над собой.

Его большое, как бы высеченное из дерева, по-своему красивое лицо вдохновенно

линым выражением. Разносторонне образованный и на ходу подхватывающий высказанную кем-либо мысль, он был несколько легковесен в философских суждениях, но сохранял редкое свойство: никогда не подавляя собеседника, умел подтолкнуть его на глубинные обобщения. Сам Ковалевский тогда превращался в жадно внимающего слушателя.

Нельзя было в эту пору говорить о великой северной державе без того, чтобы не вспомнить о голоде, который мором обрушился на нее. Как средневековая чума, недород опустошал Россию. Гибли люди, разрушалось земледелие, падал скот, тощала земля без удобрения. И не было конца горю и бедствию народному. Начинался неизменный спутник неурожая — тиф. Помещики наживались, продавая по мародерским ценам голодающим крестьянам сухую ботву от картофеля. Разорялись крестьянские хозяйства, и одна беда тянула за собой другие.

На мрачном фоне голода в России ярче светилось протестующее слово смельчаков революционеров. Все духовно живое, лучшее сплачивалось в борьбе за низвержение царской тирании. Народники и марксисты решали вопрос о временном союзе и совместных действиях.

Вожаки рабочего движения в других странах внимательно наблюдали за всем происходящим в России и старались способствовать такому объединению передовых революционных отрядов.

Одним из сторонников объединения был навестивший Энгельса Русанов, коротко знавший Лафаргов, Бебеля и Либкнехта. Его статьи под псевдонимом Сергеевский печатались в газете немецких социал-демократов «Форвертс».

Плеханов всегда казался Анне значительным, своеобычным и мудрым. Она старалась не упускать из виду ничего из написанного им, вслушивалась в каждое его слово, подолгу вникала в конечный смысл его исследований. Со времени одиночного заключения Анна считала, что у нее две идущие рядом жизни. Одна была сложна, громка, полна движения, действия, ощущений, другая глубока, тиха и как бы противостояла всем горестям, суетности, разочарованиям и утомлению. Это был ее заветный, необъятный мир мыслей, мечтаний, фантазий. Бескрайний простор невысказанных и, однако, живых,

горящих слов. Внешнее существование несло ей ошибки, плутания; вторая жизнь, внутренняя, была ее добровольным судилищем, компасом, восстанавливала силы и уверенность в себе.

Ничто Анну больше не смущало. Одиночество потеряло над ней власть.

Придя к марксизму как к единственно правильной науке, Анна часто повторяла понравившиеся ей слова Лютера: «На этом я стою и не могу иначе».

Книги, музыка, природа, дружба с Верой Засулич раздували огонь ее дум и грез. Слушая Плеханова, глядя в его лицо, с годами все больше напоминавшее в чертах мудрецов, она восхищалась его неразрушимой логикой, блеском и отточенностью фразы, глубиной философских открытий, последовательностью и ясностью мышления. Плеханов нравился ей как-то, что мечтает поскорее воочию увидеть Энгельса, пожать руку, писавшую ему восторженные строки.

— Великие люди — это начинатели. Они видят дальше других и желают сильнее других. Говоря это, Плеханов откинул назад овальную голову, гордую и ловкую. — Приближается десятилетие со дня преждевременной смерти Маркса, — продолжал он. — Подумать только, что Маркс мог бы еще жить, творить! Это был начинатель самый удивительный и великий из всех в этом бурном столетии. Мне посчастливилось, и я успел получить его советы, коснуться этого бездонного, неисчерпаемого родника мыслей. Он и Энгельс выковали для нас могучее духовное оружие, и оно уже нанесет тяжкие удары врагу. Если социализм стал наукой, то этим мы обязаны Марксу, а также Энгельсу. Помню, как я был вдохновлен «Манифестом» и тотчас же решил его перевести. Теория Маркса, подобно аридниной нити, выведет нас из лабиринта противоречий, в которых билась наша мысль под влиянием Бакунина...

— Но увидит ли все же наше поколение пролетарской революции? — усомнилась Анна.

— Уверен, что да. Уверен, — отвечал ей Плеханов. Хворый, он был, однако, весьма трудоспособен. Книголюб, лектор, критик, ученый, деятельный пропагандист, Плеханов умело разнимал философское и политическое положения марксизма, и его труды выковывал Энгельс.

По всему другому Плеханов предпочитал работу в тиши кабинета, за письменным столом. Отдав дань познанию и теории, он предался творчеству и науке революции. В глубине души осознав свое умственное превосходство и гордясь этим, был надменен и раздражался, когда ему перечили, не всегда подавлял вспыльчивость и гнев в общении с людьми.

С поручением от женевских марксистов к Геду и Лафаргу Анна отправилась в Париж, где надеялась повидать друзей по ссылке. Клотильда встретила ее сообщением, что Борис в тюрьме. В день Первого мая правительственные войска жестоко расправились в городе Фурми с мирно шествовавшими демонстрантами. Девять молодых девушек и юношей были убиты наповал, десятки тяжело раненых увезены в больницу. Расстрел этот из края в край эхом прокатился по Франции. Возмущение и гнев обуяли граждан. Правительство прибегло к провокации, чтобы успокоить народ. Лжесвидетели сочинили небылицы. Лафарг, Борис и кое-кто из их сторонников оказались под судом. Их обвинили в подстрекательстве к бунту.

Арест Лафарга и его товарищей взбудоражил умы. Процесс их стал заметным событием в стране.

На суде Лафарг, защищая партию и себя, превратил скамью подсудимых в трибуну для страстных речей, гневных и отважных докладов. Суд приговорил Лафарга и Бориса к году заключения. В течение нескольких дней, пока не была рассмотрена и утверждена кассационная жалоба, Лафарг объездил многие города Франции и выступал там на многолюдных собраниях [illegible] как триумфатора. В Виньи зал, где он выступал, украсили гирляндами зелени и венками из роз. Горячие бурно выражали возмущение приговором суда. [illegible]. В знак протеста Лафарг был избран депутатом [illegible] депутатов от города Лилля. В [illegible] из заключения. Вышел на свободу и Борис Наумкин.

Анне очень хотелось познакомиться с Лафаргом и его женой, в которой сочетались [illegible] ность с рассудительностью, волей, политическим опытом и сметкой — всем тем, чем обычно сильны мужчины. Желание Анны сбылось как-то в [illegible] одного из ресторанов, щедро украшенных [illegible] скими на стенах, пышной, дорогой мебелью и хрусталем, собралось около двухсот человек. Праздновалось семидо-

сятилетие Петра Лавровича Лаврова, славного русского бунтаря, участника борьбы за Коммуну, друга Маркса и Энгельса, человека ученого, своевольного и самостоятельного. Русские и польские студенты, молодые ученые, политические изгнанники из Болгарии, Румынии. Именитые журналисты и парламентарии собрались, чтобы чествовать друга и учителя. Банкет был отменно хорош, главное, нисколько не чопорен и не скучен. Все сразу же почувствовали себя непринужденно и радостно. Они пришли сюда по зову сердца.

Первой была зачитана телеграмма из Лондона:

«Дорогой Лавров!

Завтра Вам минет семьдесят лет. Примите наши самые искренние поздравления. Да суждено Вам будет дожить до того дня, когда русское социально-революционное движение, которому Вы самоотверженно посвятили всю свою жизнь, победоносно водрузит свое знамя в развалинах царизма.

Ваши искренние друзья *Фредерик Энгельс, Луиза Кетская, Элеонора Маркс Эвелинг, Эдгар Эвелинг.*

Анна не отрывала глаз от четы Лафаргов. Ей нравились их простота и доброжелательная сдержанность, то, что называется хорошим воспитанием, умением держать себя среди людей так, чтобы незаметно пробуждать в них лучшее, высокое.

Только второй дочери Маркса выпало больше счастья — любить и быть любимой достойным ее человеком. Муж ее был одним из самых талантливых и деятельных, вошедших в историю своего времени.

— Нора, дочь моя, по давнишней привычке дело обращался Ноль к Лауре. Было что-то особенное и почтительное в его виде, когда он смотрел на нее. Эти люди сохранили до старости любовь друг к другу не скрывая.

«Их связывает чувство, сделавшее имя Маркса и его дочерей, которые стали ему опорой и помощью во всем личном и последнее во всем личном, — думала Анна, — волосы и обвела блестящими, светло-карими глазами присутствующих, начал свою речь сначала негромко, с остановками, повышая голос:

— Товарищи! С болью в душе, с краской стыда на лице я, француз, стою за этим торжественным застольем, где собралось много моих русских друзей. Они вызывают во мне воспоминания о Жемчужных и Перовских, всех этих великих борцах не только за русский социализм, но, верьте мне, за социализм во всем мире! Нас обогрело зрелище сотен молодых образованных юношей и девушек, окружающих маститого старца со столь юношеским сердцем и столь непреклонного. Несмотря на свой семьдесят пятый год, он бодр духом, как и эти юноши, потому что, подобно им, полон веры в торжество идеи, за которую погибли лучшие из лучших, самые прекрасные его соратники.

Лафарг горячо обнял вождя. Затем Лафарг, испытывая то волнение, от которого чтение становится крепче, веселее, моложе, обратился ко всем, кто согрел его искренней преданностью.

— Идите и боритесь, люди поколения конца девятнадцатого века. Идите и боритесь! И я верю! Вы придете когда-нибудь на могилы борцов прежних поколений, не дожитых до победы своих идей, придете с красным знаменем в руках сказать им: мы, социалисты, дискредитировали абсолютизм в России.

Анна с Полиной побывали у Стены коммунаров.

На парижских площадях почти ничто не напоминает мысль к прошедшим былям, и только Пер-Лашез, как музей и летопись, настойчиво твердит о них с мраморных надгробий, деревянных дощечек, пасыней безымянных могил.

«Алтей Маршалов» нарядна и элегантна. Памятники, бюсты, статуи несоразмерно тесно и обильно облеплены и украшены цветами и гирляндами. Имена мраморных генералов неестественны и напыщенны. Звучные, они кратки: Гош... Массена... Ней

Директория осуществила расчетливые мечты Лазаря Гоша, сына бедного пивовара, ставшего гордостью французской армии, генерала и предателя Великой революции. В 28 лет он был богат, славен, победы его армии обеспечили ему дальнейшее возвышение. Даже генерал Бонапарт не мог сравниться с Гошем по силе влияния на фантастическую игрушку их общих — Директорию. Но внезапная болезнь и смерть удачливого генерала в 1797 году открыла Наполеону путь к власти.

Неподалеку от могилы Гоша полукруглый, громоздкий памятник маршалу Нею, сыну лотарингского бочара... родословная, причинявшая немало огорчений... эльхингенскому, князю московскому. Скульптору так и не удалось придать бюсту маршала соответствующее... тулам выражение. Большеголовый унтер-офицер, сва... ный, хитрый, тупо смотрит на собственную могилу.

Измены и приспособленчество не помогли Нею. Л... довик XVII, которому вначале он служил, добивал... речения Наполеона, не простил ему перехода на сто... императора во время «ста дней». Ней просчитался... деясь, что Ватерлоо вернет Бонапарту французский т... Смелый воин, способный стратег и политический... хвост был расстрелян в декабре 1815 года.

Гробница Массены отличается особенной пышно... Герцог риволийский, князь эсслингенский, талантл... тактик наполеоновской армии унаследовал от отца, и... кого виноторговца, скупость и сребролюбие. Эти сво... особенно проявились во время грабительского Итал... ского похода, когда было чем поживиться.

В аллее, ведущей от последних отступников Ве... революции — императорских маршалов — к героям К... муны, склепы и гробницы прихотливы, как дамские мо... Каждое десятилетие украшало могилы на свой лад.

На стене, отделяющей лужайку от улицы, вдоль... окрашенной ржавчиной, густо развешаны венки, скрыва... редлубокие отверстия — следы пуль. Стена к... варов.

Солдаты Тьера расстреливали пленных, стоя на т... ках павших в бою. Там, где валилась неказненная ж... и лежал с разорванной штыком грудью старик ком... теперь склеп фабриканта, умершего от заворота ки... мае 1871 года на пиру в честь победы кровавого г... Галлифе.

«А Стена коммунаров неподвластна времени и т... Она зовет нас к отмщению, зоркости, человеко... подумала Анна.

Шел 1893 год. Всю зиму и весну Энгельс работал... рукописью третьего тома «Капитала». Истинно... неисчерпаемо. Энгельс знал, что гениальный труд Ма... чудесное произведение, способное вдохновить всех...

художников. Могучее, стройное, возвышающее разум творение Маркса восхищало Энгельса, как музыка, как лучшие строфы Шекспира

«Мозг исполина, — думал Энгельс об усопшем друге. — Есть ли область, куда бы не проникла его мысль? Марксу создал главное в экономике, политике, [illegible]. Математика и литература, философия и статистика — [illegible] влекло к себе Маркса, и [illegible] искусства нельзя отныне вразумительно [illegible] его методом. Он также первый дал [illegible] теорию систем — эту магистраль для движения [illegible] ного миропознания».

О себе и своих огромных [illegible] Энгельс не думал. Его стесняло всесветное при[illegible] Почести и признательность товарищей он хотел бы отдать тому, кого уже не было. Маркс, [illegible] своих книгах, но и в огр[illegible] щей, как вечный огонь, в душе Энгельса.

Люди знали об этом. В доме [illegible] Маркса они направлялись [illegible] ных собраний в дом на Риджентс-парк, 122.

К десятой годовщине смерти Маркса Фридрих Энгельс опубликовал [illegible] тельсу на суд.

Суровый с виду, но в действительности мягкий, особенно с близкими, портной по [illegible] Какой будет приговор Генерала его бессмертному [illegible] дьму до педантизма, умному рыцарю [illegible] к Энгельсу, как оробевший школяр.

Переступив порог дома, в [illegible] не любивший менять привычки, [illegible] искал глазами Ленхен Демут. [illegible] тяжело вздохнул, снял калоши, [illegible] от дождя плащ, поставил, аккуратно сложив, [illegible] черный зонт и, учтиво осведомившись о здоровье при[illegible] ливой Луизы Каутской, прошел к камину в холле, чтобы [illegible] немного отогреться и успокоить [illegible], а главное, не принести с собой Генералу холода и сырости — этих, [illegible] жался Лессинг, отца и матери [illegible] Услышав голос приятеля, Энгельс [illegible] в дверях кабинета.

— Поздравляю тебя, старый [illegible], ты прекрасный мемуарист. То, что ты написал о Марксе, будет жить

долго. Все очень просто, точно, нужно. У тебя, в чем я не сомневался, незаурядный ум и наблюдательность.

— Ладно, Генерал, говори не о моих достоинствах, а о том, кого я попытался в меру своих малых сил и знаний воспроизвести.

— Все хорошо. Ты обогнал меня, Фриц. Я ведь мечтаю написать большую биографию Мавра, но пока что не сделал ничего путного. Так, один штриховые наброски, как молния и гром.

— Пиши о себе. Вы с Мавром едины и неотделимы,

Лесснер вошел в кабинет Энгельса и устроился у камина. На лице его появилась застенчивая, добрая улыбка.

— Тебе действительно пришлось по нутру мое писание?

— Когда мне что-либо не нравится, я не делаю скидок на дружбу. Ты написал, человече, лучше, чем это сделал бы кто-либо другой. Кроме метко подмеченных деталей, в твоих строках есть истинное чувство. Ты понимал, кем был Мавр для людей, и не пытался разыгрывать объективность, чтобы не прослыть пристрастным. Надо уметь воздавать должное гению. Не думай, что это легко. Напротив! Сейчас развелось много снобов, которые меряют людей по своему пигмейскому росту. Оплевывая великого они шумно объявляют нелицеприятлостью.

Мне кажется, Генерал, что жизнь людская подобна морской канат с большими узлами, — сказал Лесснер, все еще поеживаясь.

— Не понимаю.

— О, не мастак я говорить. Узел — это то значительное, хорошее и худое, что случается с нами в жизни. Его не развяжешь. У одних веревка длинная и много на ней перехватов, у других — короткая и вовсе не узловатая. Так-то! Поразмысли-ка.

Неожиданно — скорее про себя — заметил Энгельс:

— Да, между прочим, вышел чешский перевод «Коммунистического манифеста».

Лесснер с нежностью взял тонкую книжечку, изданную в Праге, и сказал с чувством:

— Завоевывает страну за страной. Скоро не останется на земле народа, который не знал бы, кто такие коммунисты, чего они хотят, не знал бы вас обоих.

Чтобы посетить могилу Маркса и повидать Энгельса, в Лондон приехали Лафарги и Бебель. В доме на Рид-

жентс-парк они встретились с английским рабочим Джоном Бёрисом, одним из быстро приобретающих известность деятелей рабочего движения. Вместе с Тусси он руководил стачкой лондонских докеров и выдвинулся в лидеры тред-юнионов. Юнона с виду, несмотря на тридцать пять лет, Бёрис обладал завидным опытом борьбы, деловитостью и напористостью. Тусси надеялась, что пролетарская косточка спасет Бёриса от оппортунизма ради выгоды и карьеры. В это время он только начал сближаться с влиятельными либералами. Лафарг, Бебель и Бёрис были парламентариями, и Энгельс, присутствовавший на их встрече, сказал Лауре с удовлетворением:

— Не правда ли, Лер, в обмене мнениями этих видных деятелей не только рабочих партий, но одновременно депутатов трех высших органов своих стран есть символическое начало. Вот оно, наглядное, живое доказательство наших больших завоеваний. Могли ли мы мечтать об этом лет сорок назад? Недавно старина Гарни, этот неистовый чартист и старомодный путаник, но честнейшей души парень, напомнил мне, что со времени революции прошло черт знает сколько времени. Кажется, мы вчера только кричали: «Да здравствует республика!» И однако, с тех пор мы отметили столько разных годовщин, что начинаешь забывать эти полубуржуазные даты. Через пять лет будет уже полвека со времени наших сражений со всеми деспотами мира на вышке «Новой Рейнской газеты». Мы тогда восторгались республикой с маленькой буквы. Теперь она нищется во Франции с большой, а, как оказалось, ничего ровно не стоит. Буржуазная республика — всего лишь исторический этап, к тому же почти отжитый. Так-то! Нам нужна пролетарская республика, коммунизм.

Лаура посетовала на то, что речи Лафарга в палате в последнее время не вызывают прежнего интереса.

— Мне кажется, Поля это обескураживает. Тем более что его выступления, по-моему, становятся все убедительнее. Он способен словом зажечь даже ледники на Монблане, а господа депутаты демонстративно зевают и перешептываются.

— Ерунда. Этим они демонстрируют свое мнимое могущество. Пигмеи и слепцы! Жизнь их опровергнет. Помнишь, как в Германии освистывали и гнали наших сотрапников, а теперь их в рейхстаге более тридцати и они

господа положения. Спроси Бебеля. Он заявляет, что если бы социал-демократов было там сто, то есть четвертая часть всего состава, то рейхстаг перестал бы существовать. Главное, нам надо доказать единожды и навсегда, что наша партия — это и есть представитель подлинного социализма.

— Дорогой Генерал, если б ты только знал, как проходят мои дни! Поль появляется домой урывками, он стал Летучим Голландцем. Я только и делаю, что упаковываю и распаковываю его котомку, как он мило называет свой дорожный баул. Приближается наша серебряная свадьба, и что же, вероятнее всего, эта небезразличная для нас дата, боюсь, застанет его в пути. Досадно, право, будет в такой день оказаться одной. Это все равно что поставить спектакль «Гамлет» без Гамлета.

— Ваша серебряная свадьба? Уже? Давно ли с Ленхен я купал тебя в ванночке, ты тогда еще не умела ходить!

— Увы, Генерал, мне почти пятьдесят.

— Этого не может, не должно быть. Не будем считать времени. Все это условно. Если я чувствую себя еще молодым, то ты тем более та же маленькая девчурка, которая, встречая меня, смотрела укоризненно на мои руки, ожидая леденцов. Жаль, что мы видимся теперь так редко. Как бы мы ни сопротивлялись, жизнь все равно грозит нам разлукой.

— Ты прав. Поль часто говорит мне: «Черт возьми, как мне не терпится скорее увидеть Генерала». Я тоже испытываю это чувство.

— Вспоминаю, что ваша с Полем свадьба была в апреле. Невеста выглядела исключительно красиной.

— После того как мы побывали в мэрии, ты повел нас всех завтракать в ресторан и там безобидно подшучивал надо мной. Я, однако, была так еще глупа, что вместо расплакалась от твоих шуток, чем всех смутила.

— Сожалею, но я не знал тогда, что ты мимоза, — пошутил Энгельс.

— О, теперь я менее уязвима и, надеюсь, менее глупа.

Разговор продолжался в таком же веселом тоне, но вдруг Энгельс, всегда отдававший должное проницательному уму Лауры, спросил ее о молодом радикале Жоресе, чья популярность заметно возрастала в последнее время во Франции.

— Что тебе сказать, — ответила дочь Маркса, — это, несомненно, талантливый, острый полемист и оратор. У него репутация крупного философа, он ведь учился в Высшей нормальной школе, а затем преподавал философию в Тулузе. Недавно Жорес представил в Сорбонну диссертацию на латинском языке «О первых чертах немецкого социализма», которую очень расхвалили те, кто ничего в ней не понял. Я терпеливо прочла этот опус, так как тема нам не безразлична.

— И что же ты обнаружила?

— Вряд ли можно встретить более путаный образец псевдофилософии где-либо еще на свете. Это явно не его сфера. Он не теоретик, а трибун и, вероятно, на этом поприще многого добьется.

Лафарги и Бебель недолго гостили в Лондоне. Едва они уехали, к Энгельсу с рекомендацией от Плеханова зашел русский литератор и переводчик Воден.

В Лозанне Алексей Михайлович Воден давал уроки математики и, живя более чем скудно, отложил немного денег, чтобы отправиться в Англию. Там, в Британском музее, он надеялся осуществить свою мечту — изучить философию. Получив от Плеханова письмо к Энгельсу, скромный учитель внезапно оробел. Как ему следует вести себя, о чем говорить с всемирно известным человеком, чтобы не опозорить себя невежеством? Плеханов сурово проэкзаменовал Водена по истории философии и по другим предметам, которых мог коснуться в беседе зачинатель научного социализма. Воден краснел, терялся, но отвечал в общем вполне удовлетворительно. Плеханов вошел в раж и был беспощаден. Слышавшая все Вера Засулич тщетно просила передышки для утомившегося ученика. Вопросы сыпались градом, хотя было уже далеко за полночь. Прудон, Фейербах, Штирнер, Бауэр, школа исследователей и критиков Библии, основанная в Тюбингене, были призваны, чтобы удостоверить, может ли молодой социал-демократ явиться на Риджентс-парк, держа высоко знамя русского революционного образования. Наконец Плеханов, похвалив Водена, напутствовал его в путь-дорогу.

В Лондоне Водену поначалу не повезло. В Гайд-парке, куда он пошел с вокзала, у него выкрали кошелек. Безденежье вынудило его отправиться в журнал «Свободная Россия», издаваемый на английском языке Степняком-

Кравчинским. Там ему дали в кредит деньги и помогли снять дешевую комнату. Отправив письмо Плеханова Энгельсу по почте, Воден принялся ждать ответа, который не замедлил прийти. Подходя к дому, он еще раз повторил про себя то, что скажет. Менее всего ожидал русский социалист, что будет чувствовать себя просто и естественно перед Энгельсом. Но как только Воден увидел приветливые глаза Энгельса, услышал его чуть глуховатый голос и ощутил пожатие большой, теплой ладони, как все в нем переменилось — заготовленные было слова выветрились из памяти и человек стал самим собой.

Воден стал бывать у Энгельса и за три месяца жизни на острове видел его более десяти раз. То было счастливое время в жизни двадцатитрехлетнего русского.

В первую же встречу Энгельс подробно расспросил гостя о Плеханове, Засулич и Лаврове, о котором отозвался с добродушной иронией.

Затем разговор перешел к России. Энгельс был убежден, что русским социал-демократам необходимо серьезно заниматься аграрным вопросом. Чем дольше длился разговор, тем яснее становилось Водену, что хотя и в очень тонкой форме, но он был все-таки подвергнут своеобразному экзамену и сдал его, очевидно, хорошо. Энгельс допустил молодого человека, вооружив его большой лупой, к рукописям Маркса и пригласил вскоре снова. В следующую встречу Воден рассказал Энгельсу о том, что Плеханов часто вынужден защищать марксизм от извращений и нападок народников. Улыбаясь, Энгельс ответил на отличном русском языке:

— Кто Плеханова обидит? Не обидит ли всякого сам Плеханов? — и добавил по-латыни: — Кто стал бы слушать, как Гракхи жалуются на мятеж?

Энгельс и Воден много говорили о Марксе и его трудах.

— Я желал бы,— заметил Энгельс жене,— чтобы русские, да и не только русские, не подбирали цитат из Маркса и моих сочинений, а мыслили самостоятельно. Только тогда, в этом именно смысле, слово «марксист» имеет право на существование.

Знакомство с Энгельсом неизмеримо обогатило Воден. Он никогда не встречал человека, столь заинтересованного в том, чтобы одарить других своими знаниями, открытиями и, главное, методом мышления. Энгельс, как

и Маркс, не знал низменных чувств и был несказанно щедр. Он давал людям большими пригоршнями то, что дороже всего на свете, — плоды своего гениального мозга, творческий огонь своей души. Величие и благородство духа заставляло его заботиться о единомышленниках в трудные для них времена. Он, делая это тайно, много лет подряд деньгами помогал Беккеру, обеспечив его старость, поддержал великодушного коммунара полляка Врублевского и многих других, устремляясь к ним, едва узнавал, что они терпят бедствие.

Каждый, кто хоть раз встречался с Энгельсом, уносил с собой частицу его несметной сокровищницы духа.

Воден не мог надивиться разнообразию и обширности знаний Энгельса, его феноменальной памяти, когда он цитировал Лукреция и Цицерона, Диогена Лаэртского и Климента и, без числа, других великих мыслителей, ученых и поэтов земли.

Воден был приглашен на Риджентс-парк в вечер празднования Первого мая, отмечавшегося как большой, радостный праздник. В петлице пиджака хозяина дома, участвовавшего днем в демонстрации, не увядала большая красная гвоздика. Ароматный узорчатый цветок алел в смоляных волосах Тусси и на груди у всех прибывших на торжество социалистов. Подали пунцовый горячий глинтвейн, приготовленный с лимонной корочкой, корицей, ванилью и сахаром. Запах пряностей смешался с ароматом цветов в больших вазах. Тост следовал за тостом, и всем казалось, что небо над миром затянуто багровыми революционными стягами.

К концу ужина спели хором «Марсельезу» на французском языке.

Воден безотчетно вторил песне по-немецки. Услышав это, Энгельс, певший революционный гимн с большим воодушевлением, вдруг смолк и шепнул ему на ухо:

— Зачем вы бормочете эту лассальянскую подделку?

Незадолго до отъезда Водена из Лондона Энгельс сказал, говоря о России, что скоро в этой стране выдвинутся энергичные вожди.

Тусси нелегко жилось с мужем, но она не могла признаться себе в поражении, каким всегда становится неудача в любви. Первое и единственное женское чувство

Тусси — ее любовь к Эвелингу с годами не ослабевала, хотя она не обманывалась в нем, знала все и прощала, как мать примиряется с пороками своего дитяти. Порывистая, страстная в привязанности и ненависти, Тусси не умела только одного: быть равнодушной! Крайне восприимчивая, справедливая и правдивая, младшая дочь Маркса вкладывала всю себя без остатка во все, что делала, чем жила. Не только среди соратников и работниц, Тусси пользовалась симпатией также среди всех, кто узнавал ее ближе. Было у нее всегда много искренних друзей. С некоторыми из подруг юности, далеких от социальных битв, дороги ее позднее разошлись. Но каждый человек, не сделавший нам зла, даже недолго шедший рядом, несет в себе частицу и нашей жизни и связан с нами общими воспоминаниями.

Однажды, выходя из книжной лавки близ Британского музея, Тусси столкнулась лицом к лицу с молодой женщиной, с которой дружила в давно минувшие годы.

— Марианна, как давно мы не встречались!

— Дорогая Тусси. Ты мало изменилась. Все та же чернокудрая Гитанья, царица Ночи.

Взявшись за руки, приятельницы шли по улицам столицы. Тусси уговорила Марианну Комин зайти к ней выпить чашку чая.

Встреча возвратила ей многое из прошедшего. Даже поведение Тусси незаметно для нее изменилось. Она начала по-девичьи неудержимо смеяться, шутить. Мисс Комин была ей когда-то очень приятна своей умной наблюдательностью и, главное, пиететным поклонением Шекспиру, которого боготворила юная Тусси.

Подруги разожгли камин, уселись на мягком ковре, обхватили руками колени и принялись тихо беседовать о навсегда ушедших днях. На низком столике остывал горьковатый чай.

— Помнишь «Клуб Догберри»? Как это было увлекательно! Чаще всего мы собирались у вас на Мейтленд-парк, так как твои родители редко могли выходить из дому по вечерам, а они и мистер Энгельс были ведь только членами нашего общества.

— «Клуб Догберри», — подавив вздох, заметила Тусси, — его нельзя забыть. Это ведь целая эпоха в моей жизни, и какая неповторимая! Шекспир и Эсхил! Как их

любил Мавр! По творцу Гамлета и Кориолана он отдавал все-таки предпочтение.

Камин отвлек внимание собеседниц. Шипя как фейерверк, гасло пламя. Тусси щипцами разгребла угли, и они вновь засияли. Вспомнив молодость, обе женщины долго молчали.

Шекспировские чтения в «Клубе Догберри», названном так в честь потешного персонажа комедии «Много шума из ничего», устраивались раз в две недели. Вдохновителем и главным участником всегда бывала Тусси.

Несколько молодых актрис, драматургов, поэтов и почитателей стратфордского гения наслаждались бессмертными его творениями. Марианне Комин пришлось как-то читать одну из женских ролей в пьесе «Жизнь и смерть короля Джона», произведении, особенно нелюбимом Марксом. После нескольких часов, посвященных великому английскому драматургу, и легкой трапезы клубисты затевали игры. Наибольшим успехом у них пользовались постановки пантомим-шарад. Тогда начиналась веселая суматоха. Если это происходило в доме Маркса, Тусси и Ленхен опустошали ящики комодов и шкафов, доставая все, что требуется для костюмов в импровизированных живых картинах. Марианна запасалась углем, пудрой, ватой и румянами и превращалась в гримера и парикмахера.

— Помнишь, как мы показали всему обществу шараду — парад, шар, ад. Сначала Ленхен поставила на стол, на нашей сцене, дымящийся чайник. Зрители закричали — шар. Затем мы преобразились в чертей. Слово было разгадано раньше, чем ты устроила шествие с красным знаменем... Доктор Маркс лучше всех отгадывал шарады. Как сейчас, вижу его, одетого в черный плащ и мягкую фетровую шляпу, выходящим из дома. Ты, Тусси, показывая на окно, где мелькнула его тень, говорила многозначительно: «Мавр крадется, как настоящий конспиратор». Нам так хотелось таинственности. Мы часто сидели на ковре перед камином в вашей гостиной и беседовали в полутьме.

— Шепотом, — улыбнулась Тусси, — в полутьме не хочется говорить иначе.

И снова подруги прошлых лет замолкли. Жизнь их сложилась по-разному. Марианна жила монотонной, благополучной жизнью без особых потрясений и целей.

После долгого раздумья она сказала:

— Я тогда смутно представляла себе то место, которое занимал твой отец в мире. Не знала, что он держал в своих руках, как признанный вождь, нити социалистического движения. Но меня всегда тянуло в ваш дом. Он был исполнен особого обаяния, в укладе его все было не так, как у других.

— Да. Много замечательнейших людей посещали наш дом.

— Я сказала бы, что ваши посетители являли собой удивительное зрелище величайшего разнообразия. Правда, у них было большой частью одно отличительное свойство — они были, несомненно, бедны, носили потертые одежды и прохудившиеся сапоги, но все, как один, были интересные, особенные люди. И всех их у вас встречало такое гостеприимство и радушие, какого никогда и нигде я больше не наблюдала. Кстати, назови мне, пожалуйста, если помнишь еще, имя русского привлекательной внешности и ангельской кротости, о котором я слыхала от тебя как об отчаянном террористе. Он пытался взорвать царя. Мне кажется, он, этот молодой человек, был к тебе неравнодушен. Вспоминаю, что он восхитительно пел русские романсы.

— Это, верно, Лев Гартман. Он действительно участник покушения на коронованного деспота и спасся от виселицы благодаря удачному побегу, — ответила Тусси. — С ним к нам приходил также и народоволец Морозов.

Доподлинна наслаждались Тусси и Марианна путешествием в былое. Только прошлое связывало их в настоящем. Они посмеялись опять над минувшими проказами и комическими случайностями. Припомнили, как однажды Женни Марке, будучи в Париже, перепутала французские слова сходного звучания и вместо книги принесла домой фаршированного зайца. В другой раз Энгельс для именинницы по жене, Элен-Пумпс, решил устроить вечеринку и пригласил Маркса:

— Ты придешь? Все они там будут, — сказал он, показывая на Марианну и других подруг Тусси.

— Нет, — ответил Маркс, — твои гости слишком уже взрослые люди.

— Слишком взрослые и семнадцать-то лет? — удивился Энгельс.

— Я люблю их маленькими, совсем маленькими, — пояснил его друг с нарочитой серьезностью.

— О, понимаю! В возрасте твоих внуков.

Случилось, Маркс побранил Марианну, когда она опоздала к обеду и этим задержала всех за столом.

— Что составляет величайшее благо человека? — спросил он ее гневно. — Время. А посмотрите, как оно растрачивается! Ваше собственное время — ну ладно, оно для вас, очевидно, не имеет значения. Но время других людей... Какая тяжелая ответственность.

Когда Марианна ушла, Тусси, вспоминая минувшие годы, долго не могла успокоиться.

Дни для Энгельса пролетали с быстротой падающих звезд. Июль был на исходе. Энгельс собирался в долгий путь по разным европейским странам. Готовясь к отъезду, он приводил в порядок дела и писал завещание. Семьдесят три года заставляли его думать о неизбежном.

Трудно бывает жить, еще труднее умереть. Любя жизнь, следует учиться достойно встретить смерть, самого нежеланного из гостей.

Энгельс не опускал глаз ни перед какой опасностью, встречал ее с улыбкой.

Он не желал, чтобы переход в небытие застал его врасплох. Любовь к порядку никогда его не покидала. 29 июля 1893 года Энгельс написал завещание:

«Я, Фридрих Энгельс, настоящим аннулирую все мои прежние завещания и объявляю действительным это завещание. Я назначаю моих друзей Самюэла Мура, адвоката, Линкольнс-Инн, Эдуарда Бернштейна, журналиста, и Луизу Каутскую, проживающую в настоящее время в моем доме, моими *душеприказчиками* и завещаю каждому из них за его или ее хлопоты сумму в двести пятьдесят фунтов стерлингов. Я завещаю моему брату Герману имеющийся у меня написанный маслом портрет моего отца, а если вышеназванный брат умрет раньше меня, то его сыну Герману... Я завещаю Августу Бебелю из Берлина в Германской империи, члену германского рейхстага, и Паулю Зингеру из Берлина, также члену германского рейхстага, общую сумму в одну тысячу фунтов стер-

линтов, которую они или их преемник должны использовать для расходов по выборам в германский рейхстаг таких лиц, в такое время, в таком месте, которые упомянутые Август Бебель и Пауль Зингер или их преемник сочтут подходящими согласно их или его безусловному суждению...

Я распоряжаюсь, чтобы все литературные рукописи, написанные моим покойным другом Карлом Марксом, и все личные письма, написанные им или адресованные ему, которые ко времени моей смерти будут находиться в моем владении или распоряжении, были бы переданы моими душеприказчиками Элеоноре Маркс-Эвелинг, младшей дочери вышеупомянутого Карла Маркса. Я завещаю упомянутым выше Августу Бебелю и Паулю Зингеру все книги, которые будут находиться ко дню моей смерти в моем владении или распоряжении, и все мои авторские права. Я завещаю вышеупомянутым Августу Бебелю и Эдуарду Бернштейну все рукописи, которые будут находиться ко дню моей смерти в моем владении или распоряжении (кроме указанных выше литературных рукописей Карла Маркса), и все письма (кроме упомянутых личных писем Карла Маркса).

Что касается остального моего имущества, то я распоряжаюсь разделить его на восемь равных частей. Три восьмых части завещаю Лауре Лафарг, Ле-Перрё, близ Парижа, Франция, старшей дочери упомянутого Карла Маркса и жене Поля Лафарга, члена французской палаты депутатов. Другие три восьмых части завещаю упомянутой Элеоноре Маркс-Эвелинг и, наконец, две восьмых — вышеупомянутой Луизе Каутской... В удостоверение чего я, вышеназванный Фридрих Энгельс, 29 июля 1893 г. подписал это мое завещание.

Фридрих Энгельс».

Покончив с нотариусом и наиболее неотложными текущими делами, Энгельс собрался на родину. Накануне отъезда с обычной пунктуальностью поздравил Либкнехта и его жену с серебряной свадьбой.

«...Когда у кого-нибудь из нас, старых боевых товарищей, — писал он, — наступает такой торжественный день, то невольно на память приходят минувшие времена, ми-

пувшие битвы и бури, первые поражения, а затем и победы, весь пройденный бок о бок путь, и становится радостно, что на старости лет нам довелось уже не оставаться у первой бреши — мы ведь давно перешли от обороны к общему наступлению, — вместе продвигаться вперед все в том же боевом строю. Да, старина, мы пережили вместе не одну бурю, и, надо надеяться, не одну еще переживем и, если все пойдет хорошо, переживем и ту, которая хоть и не принесет нам окончательной победы, но все же окончательно обеспечит ее. Голову, к счастью, мы оба еще можем держать высоко, сил у нас для нашего возраста тоже достаточно, так почему бы этому не случиться?»

Вскоре Энгельс приехал в Цюрих, который значительно вырос за последние годы. Встреча, оказанная вождю социалистов, была сердечной.

В праздично украшенном зале, обычно служившем для симфонических концертов, заседал 3-й Международный социалистический конгресс. Представители многих стран собрались на этот исторический съезд. В день его открытия по городу прошла со знаменами десятитысячная демонстрация рабочих и на площади состоялся митинг. Делегаты конгресса выступили под град рукоплесканий перед швейцарским народом. Социалисты Болгарии, Румынии, Сербии, США, Испании, Австрии, Венгрии, Польши, Франции, Германии, Англии братались друг с другом, пели на разных языках одни и те же песни.

Конгресс начался, однако, острым столкновением марксистов с реформистами и сторонниками анархистов. Споры были ожесточенные, но разве не для разработки дальнейшей тактики в борьбе за идею собрались здесь эти люди? В столкновениях, конфликтах, честных признаниях всегда ковалась теоретическая мысль, выявлялась истина, находилось единственно правильное решение.

Спор на конгрессе был решен в пользу марксизма. Несколько анархистов и кое-кто из близких к ним демагогов из группы «молодых» пытались доказательства заменить тумаками и криком. Конгресс занялся насущными вопросами жизни и труда пролетариев. Жарко обсуждали собравшиеся вопрос о том, что делать рабочим в случае войны. Одни предлагали протестовать всеобщей стачкой

и отказом служить в армии. Другие надеялись, что братство трудящихся остановит любую бойню, затеянную капиталистами. Немцы объявили врагом человечества и подстрекателем к кровопролитию шовинизм. Больную речь произнес Плеханов. Как и все марксисты, он видел грозную опасность в революционном авантюризме, столь присущем анархистам и любителям левой фразы и демагогии.

Вера Засулич никогда не испытывала такого волнения. Наконец-то ей предстояло увидеть воочию Энгельса, с которым она давно переписывалась. От природы застенчивая, замкнутая, затаенно страстная, Вера Ивановна с радостью и беспокойством ожидала желанной встречи. Любовь духовная бывает сильнее всякой другой.

Энгельса Засулич не разочаровала. Он сразу понял, как сложен ее внутренний мир. Она была сильна и легко ранима в одно и то же время. И еще одна выдающаяся женщина, которую он хорошо знал по ее трудам, встретилась ему в Цюрихе.

Впервые Энгельс рукоплескал Кларе Цеткин, выступавшей с трибуны представительного собрания, когда она ратовала за права работниц. Вместе с Луизой Каутской она настаивала на вовлечении пролетарок в классовую борьбу, в профсоюзы и социалистические партии. Энгельс радовался, что в его воинстве столько незаурядных, душевно прекрасных женщин и мужчин.

В перерывах между заседаниями Энгельс с друзьями гулял по швейцарскому городу, катался на лодке по озеру, ездил в горы. Из гостиницы он перебрался на квартиру к дальней родственнице Анне Бейст, которую называл самой красивой старой дамой на свете, не лишенной к тому же остроумия, энергии и жизнерадостности.

Все эти качества он очень ценил.

За обедом у Бейст Энгельс иногда удовлетворял любопытство гостеприимной хозяйки и отвечал на ее расспросы о конгрессе.

— Что вам сказать? Женщин всегда интересуют, во-первых, женщины же. Так вот, на нашем съезде есть три-четыре русские с такими восхитительными глазами, от которых трудно оторваться. Моя любимица — венка Адельгейда Дворжак, работница из Вены. Она делает честь пролетариату своим на редкость очаровательным лицом, милыми манерами и умом.

Во время работы конгресса Энгельс на неделю отлучился, чтобы повидаться с братом, и затем вернулся обратно в Цюрих.

Подлинным триумфом конгресса явилось его выступление. Когда Энгельс, выйдя из-за стола президиума, подошел к трибуне, зал загудел, как море в шторм. Оратор произнес свою речь на трех языках: английском, французском и немецком.

— Граждане и гражданки! — начал он.

...Неожиданно блестящий прием, который вы мне оказали и которым я был глубоко тронут, я отношу не к себе лично, а принимаю его лишь как сотрудник великого человека, портрет которого висит вон там, вверху. (Речь идет о Марксе.) Прошло как раз пятьдесят лет с тех пор, как Маркс и я вступили в движение... С того времени социализм из маленьких сект развился в могучую партию, приводящую в трепет весь официальный мир. Маркс умер, но будь он теперь еще жив, не было бы ни одного человека в Европе и Америке, который мог бы с такой же законной гордостью оглянуться на дело своей жизни...

Речь Энгельса не была длинной. Под шквал рукоплесканий и овацию он объявил конгресс закрытым и провозгласил здравицу в честь международного пролетариата. Делегаты хором спели «Марсельезу».

Почти два месяца разъезжал Энгельс по Германии, Швейцарии и Австро-Венгрии. Всюду его ждали и встречали с тем же огромным восторженным чувством, которое нельзя внушить ни блеском власти и могущества, ни деньгами, а только действительными заслугами перед народом, осознавшим его неоспоримое величие сердца и ума.

В Вене на вечере, устроенном в его честь, ощутив любовь собравшихся, которая, как теплое течение, овевала его, Энгельс сказал:

— ...Моя лучшая награда — это вы! Наши товарищи есть всюду: в тюрьмах Сибири, на золотых приисках Калифорнии, вплоть до Австралии. Нет такой страны, нет такого крупного государства, где бы социал-демократия не была силой, с которой всем приходится считаться. Все, что делается во всем мире, делается с оглядкой на нас. Мы — великая держава, внушающая страх, держава, от которой зависит больше, чем от других великих держав.

Вот чем я горжусь. Мы прожили не напрасно и можем с гордостью и с удовлетворением оглянуться на свя дела.

В Берлине, как и в Вене, Энгельса желали видеть мно гие тысячи рабочих, но он, всегда бежавший прочь от ша радности и шумихи, ограничился выступлением на мас совом собрании в помещении, а не на площади. Однако и там собралось около четырех тысяч человек.

Крайне смущенный грандиозностью оказываемого ему повсюду приема, Энгельс тяготился необходимостью вы ставлять себя напоказ. Ему казалось это нескромным, к тому же он издавна убедил себя, вопреки действительно сти, что из-за небольшого заикания не должен выступать с трибуны.

Слава сопутствовала ему отныне всюду; Энгельс счи тал, что она осложняет жизнь, требует суетной растраты времени и более пригодна для парламентских деятелей, митинговых трибунов, чем для него. Но люди искали ве ликого гуманиста не из праздного любопытства или вы годы. Он стал им очень дорог и нужен.

Вернувшись после столь пышного триумфального пу тешествия домой, Энгельс набросился на груду дел, которые его ожидали. Ему шел семьдесят четвертый год, но мозг его был так же молод и плодотворен, как полстолетия назад. Успех движения, которому Энгельс по святил себя, умножал его энергию.

Людская любовь и победное шествие идей окрыляют, поднимая скрытые резервы сил. Презирая старость и смерть, с еще большим вдохновением снова работал Эн гельс. К нему то и дело прорывались корреспонденты га зет, чтобы стенографически записать ответы на сложные, а подчас и коварные вопросы, или письма со всех кон ников. Соратники ждали его советов и указаний.

Кроме румынского языка, он изучал болгарский и написал в болгарский журнал «Социал-демократ» еще до поездки в Германию о том, что требования интернацио нализма растут с каждым годом и социализм продвигается на Восток и Юго-Восток.

«Мы на Западе от души радуемся этим нашим юго восточным форпостам на границе Азии, которые несут к берегам Черного и Эгейского морей развернутое Марк сом знамя современного пролетариата — о, если бы Марк сам дожил до этого...»

Жизнь подле Энгельса духовно обогатила Луизу Каутскую, она многое поняла в сложнейших перипетиях мировой экономики и политики. Личная жизнь ее также изменилась. Луиза обручилась с молодым немцем, дельным и вдумчивым врачом, лечившим всех обитателей Риджентс-парк. Не желая расставаться с обязанностями секретаря Энгельса, Луиза поставила доктору Фрейбергеру условие отложить свадьбу на год. Но время это пронеслось стремительно. Энгельсу не легко было остаться одному и нарушить установившийся уклад, и Фрейбергеры согласились жить и впредь в одном с ним доме. Для этого они сняли другое, более вместительное помещение на той же улице, но в лучшей ее части. Адрес Энгельса изменился — Риджентс-парк, дом № 41. В подвальном помещении новой квартиры находилась кухня и маленькая комната, где жильцы любили завтракать. В первом этаже были столовая и гостиная, а на втором расположился Энгельс. В его кабинете с тремя окнами, выходящими в палисадник, стояли вдоль стен огромные книжные шкафы, полки, секретеры с многочисленными ящиками для бумаг. Обычный рабочий порядок царствовал повсюду. На противоположной стороне лестничной клетки находилась спальня Энгельса. Убранство ее было простым и удобным.

Позади дома был довольно большой, по городским понятиям, садик с густым газоном, кустами боярышника и жасмина и несколькими вишневыми деревьями. Энгельс часто усаживался на скамье, любуясь травой и цветами. Здоровье его в самое последнее время заметно пошатнулось. Началось с затяжного бронхита, расстроился желудок. Фрейбергер требовал, чтобы его пациент соблюдал диету, носил постоянно фуфайку, не пил пива и считался в быту со своим преклонным возрастом. После долгого сопротивления Энгельс обещал врачу и его жене не относиться к себе с обычным легкомыслием.

— Друзья мои, — сказал он с притворным отчаянием, — сдаюсь. Когда на тебя из зеркала с явным презрением поглядывает все увеличивающаяся лысина, ты начинаешь понимать, что семьдесят четыре года не сорок. Увы, я разрываю с Эпикуром и переходу к стоикам. Ничего не поделаешь. Но хорошее настроение я оставляю при себе в любом случае.

Дни Энгельса были сочтены. Но то, что он считал главным в своей жизни, было им сделано. Энгельс неиз-

тал счастье, бьющее через край, когда хочется петь и ничто не способно омрачать мыслей. В конце 1894 года третий том «Капитала» вышел наконец в свет. Еще раз Энгельс совершил великий подвиг во имя дружбы и человечества.

Анна была одной из тех русских женщин, которых на Цюрихском конгрессе дружески приветил Энгельс. Вместе с Верой Засулич шла она, не оборачиваясь, по терниям, густо усеявшим дорогу революционеров. Несколько раз, по фальшивым паспортам, ездила она в Россию с важными поручениями и возвращалась обратно. От нее первой услыхал Плеханов о брате казненного и чтимого среди борцов Александра Ульянова, юном Владимире.

— Это еще очень молодой, по всему видно, необыкновенный человек, эрудиции прегромадной и мыслит смело и глубоко. Отлично знает Маркса. Суждение мое об Ульянове не только от разума, хотя доводы мои несокрушимы, но и от чувства.

— Без чувства женщина ничего для себя не определяет, — улыбнулся Плеханов. — Впрочем, согласен, что больные люди никогда не оставляют наше сердце спокойным.

— Еще бы, — вмешалась Засулич, — когда я увидела в первый раз Энгельса, волна благодарной любви подхватила меня с такой силой, что, будучи от природы злейшим врагом всяческих сантиментов, я едва сдержалась, чтобы не поцеловать ему руку, не обнять его и, что самое неленое, не заплакать. Узнав Генерала ближе, я вовсе не стыжусь этих чувств. Наоборот. Сам факт его существования облагораживает нас, очищает. Мысль о том, что скажет или подумает Энгельс, не раз удерживала меня от ошибки или дурного слова.

— Вернемся, однако, к юному марксисту из Казани или Питера. Я ведь, увы, скептик. Люблю сам убедиться.

— Ульяновы родом из Симбирска, — строго пояснила Анна.

— Это не имеет значения. Марксисты принадлежат всем трудящимся, — снова пошутил Плеханов.

— Не будем загадывать. Владимир Ульянов едет за границу и скоро повидается с тобой, Жорж. Я не сомневаюсь, что целостность его мировоззрения, знания и внутренний заряд воли посрамят-таки твое обычное недоверие к незнакомым людям.

— Пусть так и будет, дорогая Пифия. Кстати, Анна, сегодня счастливый день. Письмо от Энгельса. Не хочешь ли послушать, что пишет он о русском самодержце? Изволь.

«Николай, очевидно, хочет *подготовить* своих мужиков к свободе, подвергнув их принудительному воспитанию, так что для конституции созреет только грядущее поколение; вот еще новая формулировка для старого варианта: после нас хоть потоп! Но потоп этот, как дьявол в «Фаусте»...

А уж если дьявол революции схватил кого-либо за шиворот, так это Николая II».

— Не правда ли, блестяще, как, впрочем, всегда у Энгельса, — сказал Плеханов, бережно складывая письмо.

— И звучит пророчески, — задумчиво добавила Анна.

Вера Засулич и Анна Бах находились в Лондоне, когда недуг Энгельса стал грозным. Но больной продолжал работать. По просьбе Плеханова он занялся устройством лечения неведомо отчего чахнущей Засулич, и доктор Фрейбергер, осмотрев ее, прописал микстуру и пообещал вернуть прежнюю работоспособность.

Со времени приезда в Англию Засулич и Анна постоянно посещали Энгельса, не нуждаясь для этого в особых приглашениях. Луиза и Тусси относились к ним с полным доверием и симпатией. Все еще по воскресеньям в квартире Энгельса собиралось много разного люда, засиживавшегося подчас до глубокой ночи. За ужином хозяин дома по-прежнему рассказывал забавные истории, стараясь ничем не выявить своего дурного самочувствия. Как-то речь зашла о френологии, и Энгельс припомнил, как некий знаток черепных выпуклостей в Ярмуте, ощупав его голову, заявил, что он хороший делец, но лишен каких-либо способностей к изучению иноземных языков. Глубокомысленное заключение френолога вызвало тем более громкий смех всех присутствующих, что Энгельс беседовал в этот вечер не меньше чем с десятком людей различных национальностей на их родном языке.

Обратившись к Анне, Засулич и Степняку, он произнес по-русски, без признака акцента:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.

Энгельс декламировал на память Пушкина с подчеркнутым удовольствием. Его смолоду пленил пушкинский гений, так же как лира Лермонтова и проза Гоголя и Тургенева. Мысль Энгельса всегда парила высоко над всей планетой. Он увлекательно объяснил гостям причины и следствия все еще длящейся японо-китайской войны, пересказал содержание новой книги Лафарга «Происхождение и развитие собственности», дополнив это своими неожиданными соображениями, и поделился раздумьями о «Независимом театре» Ирвинга и Эллен Терри.

В тот же вечер, говоря о времени, проведенном в Брухе, как называлось место в Бармене, где он родился, Энгельс с удивлением разводил руками:

— Шестьдесят с лишним лет прошло с того дня, как я, начитавшись книг о древней истории, бегал по родительскому дому с фонарем в поисках человека и не нашел его тогда. Я ненавидел барменских филистеров и пугал отца своим свободомыслием. И вот прошло более шести десятилетий, а я не чувствую себя старым и не зову Мефистофеля, чтобы войти с ним в сделку, как одряхлевший Фауст. Да и есть ли она вообще, старость эта самая, у людей моложе ста лет? И под застывшей лавой бурлит вулкан.

Энгельс так и не дожил до увядания. Его постигла мука смертельной болезни, не оставляющей надежды на спасение, надежды, без которой человек подобен смертнику, ожидающему казни.

В мае, когда Энгельсу стало хуже, он понял, как ни хитрили с ним врачи, что его ждет. С обостренным вниманием изучал он на себе симптомы страшного недуга. Неспльные боли пугали своей зловещей новизной. Никогда он таких не испытывал ранее. Какой-то подвижной комок внезапно мешал ему проглатывать твердую пищу. Энгельс быстро худел. Щеки его казались серыми, как туман. Тело стало очень легким, чувствительным к при-

косновению воздуха, к холоду и теплу. Точно защитный слой кожи лешелушился и отпал.

«Неужели?..» — спросил себя Энгельс и перечел все, что было написано о злокачественных опухолях, вспомнил людей, погибших от этого палача.

Взяв в руки настольный календарь, он долго и медленно листал его, вопросительно глядя на числа. Которое же из них станет для него последним? Нечто похожее на любопытство шевельнулось в душе больного. Смерть! Какова она?

Единственное, чего всегда, и для себя и для дорогих ему людей, страшился Энгельс, было ослабление интеллекта, постепенное разрушение не только тела, но и духа. Бессилие воли и разума — вот что казалось ему во много раз хуже небытия.

Сколь счастливы умирающие на ходу, падающие бездыханными, как дерево, сраженное молнией или сломленное шквальным ветром! Но судьба отказала Энгельсу в легкой кончине. Он должен был познать затянувшуюся агонию, как утонченно жестокую пытку.

«Что ж, — думал Энгельс, — надо уметь испить горькую чашу до дна с улыбкой, как пьют родное доброе рейнландское вино. Никто на земле не избавлен от испытания смертью. Лепхен сказала бы: двум смертям не бывать, одной не миновать».

Помня, что жаль не мертвых, а живых, Энгельс ничем не выдал себя перед друзьями, оставив им успокоительную надежду, что не знает, чем занедужил. С редким смирением выполнял он все предписания доктора Фрейбергера, добросовестно глотал пилюли, пил настои и сносил различные втирания. Его никогда не оставляли дома одного и не утомляли заботой и тревожными расспросами.

Гусси, Луиза, Вера Засулич, Анна и другие сменялись на дежурстве. Однажды пришла и предложила Энгельсу почитать ему вслух жена Степняка, Фанни Марковна. Энгельс предпочел разговаривать с нею по-русски.

— Вот видите, сидя на этом кресле, Маркс писал «Капитал», — сказал он ей, показывая на простое деревянное креслице, стоявшее у стены. Рядом стояло еще одно, громоздкое.

— А в этом кресле Мавр скончался. — Энгельс приподнял парусиновый чехол и дотронулся до полосатой обивки глубокого сиденья и спинки. — Фетишизм,

не правда ли? И все же я всегда преисполнен благогове
ния, когда смотрю на этот предмет, который надолго пе
режил моего гениального друга.— Затем Энгельс, кутаясь
в теплый халат, ослабевшими руками открыл ящик сек
ретера и достал пачки писем, фотографии и карикатуры
на Маркса.

Фанни Марковна поняла, что все мысли Энгельса со
средоточены на том, кого он любил в жизни превыше
всего. Все лучшее жило в этом чувстве, даже какая-то
отцовская гордость и преклонение.

Стемнело, и Энгельс зажег керосиновую лампу под
зеленым козырьком. Жена Стешняка, едва сдерживая сле
зы, смотрела на обострившиеся, незнакомые черты чело
века, которого когда-то видела румяным, моложавым,
олицетворявшим цветущее здоровье. Ее успокаивала толь
ко прежняя живость Энгельса, его интерес ко всем со
бытиям, происходящим в мире. На смену Фанни Мар
ковне пришла Вера Засулич, затем Анна.

Человеку свойственно отгонять мысль о непоправи
мом, страшном бедствии. Анна не могла поверить, что
Энгельс умирает, что его не станет, хотя не было больше
никакой надежды.

«Никто не заменит Энгельса людям, как остались не
повторимыми Марке, Бетховен, Пушкин, Шекспир, Ми
келанджело. Человечество потеряло в них лучшее, что
в веках создала природа. В Марксе и Энгельсе прообраз
тех высот и глубин, которые может и должен обрести для
себя человек. Они гордость творения, высший образец
совершенства. Как обеднел мир, потеряв преждевременно
Маркса, теперь смерть подбирается ко второму из титя
нов. Велико это горе».

И сердце Анны сжималось и ныло, но плакать она
не могла.

Превозмогая нарастающую слабость, в часы, когда
боли меньше его терзали, Энгельс готовил к изданию
полное собрание Маркса и своих трудов. Он переписы
вался об этом с соратниками-немцами. Ему хотелось так
же опубликовать сборник ранних статей друга, печатав
шихся более полустолетия назад.

Но силы его быстро таяли. В последний раз он
он в сопровождении Фрейбергера и Лупы в Нетборн, к
морю. С большим трудом, тяжело опираясь на трость,
отправился Энгельс на прогулку, которую совершил раль

ше не раз, посещая это селение в течение тридцати с лишним лет. У скалы, похожей на парус, выступающей из воды неподалеку от берега, он опустился на камень и задумался. Еще месяц-два, и, согласно его желанию, в этом месте будет опущен в море пепел, оставшийся после сожжения его тела. Энгельс представил себе примечательное здание крематория в Уокинге, близ Лондона, окруженное маленькой сосновой рощей. Огонь! Как он любил его! Жизнь, если она не вспышка молнии, не искра пламени, бессмысленна и тягостна. Энгельс в последние месяцы бытия с еще большей ясностью чувствовал возле себя Маркса.

В Истборн приезжали все, кого особенно нежно любил умирающий. Лаура Лафарг, едва превозмогая отчаяние, старалась ничем не показать, что Энгельс обречен, а он, также ради ее покоя, притворялся убежденным в скором выздоровлении. Тусси собрала всю свою волю, чтобы улыбаться, шутить, строить планы на будущее, лишь бы Энгельс не узнал истины.

Сейчас они обе были склонны думать, что Энгельс уже тогда почувствовал себя смертельно больным, когда написал им полгода назад полное трогательной любви и заботы письмо.

«Дорогие мои девочки!

Я должен обратиться к вам с несколькими словами относительно моего завещания.

Во-первых, вы обнаружите, что я взял на себя смелость распорядиться всеми моими книгами, включая книги, полученные от вас после смерти Мавра, в пользу германской партии. В своей совокупности книги эти представляют столь уникальную и в то же время столь полную библиотеку по истории и теории современного социализма и по всем наукам, с которыми он связан, что было бы жаль, если бы она снова распалась. Хранить ее в одном месте и в то же время предоставить в распоряжение тех, кто хочет ею пользоваться, — таково желание, высказанное мне уже давно Бебелем и другими руководителями Германской социалистической партии, а так как они действительно представляются мне наилучшими для этой цели людьми, то я согласился. Надеюсь, что при этих обстоятельствах вы извините мой поступок и также дадите свое согласие.

Во-вторых, я неоднократно обсуждал с Самом Муром возможность позаботиться каким-нибудь образом в моем завещании о детях нашей дорогой Женни. К несчастью, этому препятствуют английские законы. Сделать это можно было бы только на почти невозможных условиях, при которых издержки с лихвой поглотили бы средства, предназначенные для этой цели. Таким образом, я был вынужден отказаться от этого. Вместо этого я оставил каждой из вас *три* восьмых моего имущества за вычетом расходов по наследованию и т. д. Из них *две* восьмых предназначаются для вас самих, а третью восьмую каждая из вас должна хранить для детей Женни и использовать так, как сочтете наилучшим вы и опекун детей, Поль Лафарг. Таким образом, вы освобождаетесь от всякой ответственности по отношению к английским законам и можете поступать так, как велит вам ваше нравственное чувство и любовь к детям.

Деньги, которые я должен выплачивать детям в виде долей от доходов, получаемых за произведения Мавра, записаны в моей главной бухгалтерской книге и будут выплачиваться моими душеприказчиками той стороне, которая в соответствии с английскими законами будет официальным представителем детей.

А теперь прощайте, мои дорогие, дорогие девочки. Живите долго, будьте здоровы и энергичны и наслаждайтесь этим!

Фридрих Энгельс.

Смертельная болезнь набирала силу. У Энгельса пропал вовсе голос, он не мог есть и глотал только жидкую пищу. Его ожидала смерть от голода. Злокачественная болезнь проникала в здоровые ткани. Худоба его становилась устрашающей, кожа высохла. Почти недвижимого, его перевезли из Истборна в Лондон.

Приближающаяся кончина второго отца грозила для Тусси неоглядной бедой. Ей предстояло в личной жизни остаться один на один с Эвелингом. Энгельс был последней, единственной опорой в семье младшей дочери Маркса. Он заменил ей родителей, горячо любимую сестру Женнихен и, наконец, Елену Демут. Тусси любила Лауру, но у той было то, чего не имела она, — мир в душе, счастье в браке, преданность и верность Поля Лафарга.

«Но надо вторгаться в жизнь других, докучать им своими страданиями, мешать — это эгоизм», — думала Тусси, замыкаясь и чувствуя себя раздавленной разочарованием в Эвелинге. Тоска подкрадывалась. Она пыталась обманывать себя мыслью, что муж ей не изменяет, не проматывает трудно зарабатываемые ею деньги и предан ей. Но действительность была безжалостной. И Тусси спрашивала себя: стоит ли ей жить? Если б она могла спасти Энгельса ценой своей жизни! Тусси была человеком больших, крайних чувств, никогда не довольствовавшимся «золотой» серединой. Может быть, поэтому не могла она примириться с тем посредственным, мелким чувством, которое питал к ней Эвелинг. Тусси жаждала великих страстей и подвижничества. Не потому ли Шекспир был ей так дорог и понятен? Ей было хотелось счастья в любви, и мысль о смерти начала преследовать ее как мнимое спасение. Самоубийство нередко является следствием чрезмерной любви к жизни.

Страдая, Тусси находила отдохновение только в работе, которую не оставляла ни на один день. Она вернулась из хмурого промышленного Ноттингема, где выступала, агитируя за независимую рабочую партию, и пришла к Энгельсу, чтобы рассказать ему о своей поездке. Грустное зрелище открылось ей в затененной портьерой спальне; там терпко пахло лекарствами. В хрустальной вазе стоял букет синих и розовых колокольчиков, любимых цветов больного. Энгельс улыбнулся ставшими очень большими и по-прежнему яркими серыми глазами и жестом подозвал к себе Тусси. Говорить он больше не мог и взял аспидную доску с ночного столика. Вооружившись грифелем, он начал быстро писать вопрос за вопросом. Очень скоро Энгельс достиг того, чего хотел. Тусси ожила и начала рассказывать ему обо всем, что видела и слышала.

Частым посетителем Энгельса был портной Фридрих Лесснер, последний из оставшихся его соратников по Союзу коммунистов. Энгельс смотрел на него с тем особым добрым чувством, каков испытывают друг к другу мужественные однополчане.

«Я хоронил Маркса, неужели же мне доведется пережить и тебя, Генерал?» — думал Лесснер, сжав широкие челюсти, чтобы не разрыдаться в это последнее свидание.

Энгельс потянулся к аспидной доске, хотел что-то написать, но так и не взял грифель.

Слабость все увеличивалась. Кроме врача и сиделки, к умирающему никого не пускали. Его мучили голод, боли, удушье, но он еще боролся. Мысли, то легкие, убаюкивающие, то грузные, пригибающие к земле, то наметавшие как буря, шумели в мозгу. Звуки и краски оглушали и слепили. Минутами он был во власти стихий, которые так влекли его всегда. Огонь манил, валы моря поднимали к небу.

Энгельс наслаждался в мыслях встречей со всеми, по кому тосковал. Вспомнил запах волос своей матери, голоса Мери и Лиззи Бёрнс, смех Маркса, которого увидел как бы оживившим.

Отдыхая в раздумьях о будущем тех, кому отдал он всего себя, Энгельс представил себе их титаническую борьбу и победное шествие. Революция, самая мощная из стихий, стихия мысли, воли и борьбы, многое сметая, перерождала мир. Несчастные становились счастливыми, и радость звучала триумфально.

Иногда боль притупляла сознание, но Энгельс не уступал ей и сопротивлялся. Чтобы ослабить его мучения, врачи применили наркотики, но и в полудреме Энгельс не переставал думать. Припомнились ему слова Гете:

Богатство потерять — немного потерять,
Честь потерять — много потерять,
Мужество потерять — все потерять.

Всю жизнь Энгельс был бесстрашен, таким он встречал и свой конец.

В последний раз 5 августа 1895 года, в половине одиннадцатого вечера, Энгельс увидел свет мерцавшей у изголовья свечи. Часы глухо, равнодушно отмерили последние минуты его жизни. В глазах Энгельса вспыхнул огонь, и они закрылись навсегда.

Короткая сумеречная ночь прошла. С востока поднялось багровое, пылающее и всеозаряющее солнце.

1965

ел что-то пла-

рача и сидели,
мучили голод,
то легкие, убак-
земле, то вме-
и краски огру-
власти стихий,
нил, валы моря

й со всеми, по
ей матери, го-
которого увя-

кому отдал он
титаническую
амая мощная
многое сметал,
счастливым,

ельс не усту-
его мучения,
осме Энгельс
лова Гете:

ять,

м он встре-

овине одно-
шей у изго-
или послед-
вспыхнул

ока подня-
цо.

ЖЕНЩИНЫ ЭПОХИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ТЕРУАНЬ ДЕ МЕРИКУР

Свыше ста лет тому назад в Сальпетриере, парижском убежище для умалишенных, умерла женщина, имя которой было на устах всего Парижа в первые годы революции. Более двадцати лет провела она в железной клетке «для буйных». Дни и ночи безумная просиживала на соломенном тюфяке, лепеча бессвязные фразы, или дико кричала, преследуемая кровавыми воспоминаниями прошлого. Грязная и изможденная, она внушала сострадание.

Восьмого июня 1817 года в толстой больничной книге против ее имени проставлено равнодушное «скончалась». Опустела вымощенная каменными плитами камера, в которой без проблесков разумной мысли столько лет металась несчастная женщина. Эта пятидесятипятилетняя сумасшедшая была Теруань де Мерикур, «красная амазонка», ведшая без страха толпы голодных на приступ королевского Версаля.

Анна-Жозефина Теруань, впоследствии изменившая свою фамилию на благозвучную Теруань де Мерикур, родилась в 1762 году в маленькой бельгийской деревушке Маркур. Отцом Анны-Жозефины был малоземельный крестьянин, обремененный налогами и заботами о детях. Каждый лишний рот был непосильным грузом для семьи. Пришлось рано подумать о том, чтоб отправить Анну-Жозефину «в люди»; ее предназначали в прислуги. Расставание с родными для девочки было очень тягостным: любовь к своей семье навсегда останется сильным чувством у Теруань.

Место нашлось в деревушке неподалеку, но служила она там недолго. Юная Теруань из Маркура понравилась богатому англичанину, который, уезжая в Англию, берет

ее с собой. Отъезд в Англию означал превращение робкой золушки Анны-Жозефины в героиню шумных светских похождений Теруань де Мерикур.

По отрывочным биографическим сведениям (в жизни Теруань многое осталось невыясненным), она вскоре начинает вести в Англии жизнь беспорядочную и разнообразную. Она многому научилась, легко усвоила необходимые знания: жеманное кокетство, светские манеры. Пробыв несколько лет в Лондоне, где она вращалась в среде кутящей денежной и купеческой аристократии, Теруань отправляется в Париж, к тому времени охваченный противоречиями и борьбой. Не улавливая признаков революции, она живет праздно и беззаботно. Однако в легкомысленной куртизанке сохраняется непосредственный демократизм недавней крестьянки: она не забыла своего детства, когда помещик и сборщик податей лишали ее родных крохи хлеба. Теруань не порывает со своей деревней и семьей, не скрывает своего происхождения. Один из ее братьев проявляет способности к живописи, и, подметив это, она устраивает его отъезд в Италию, обращаясь к друзьям и покровителям с просьбой руководить его образованием. Своих богатых поклонников Теруань разоряет с полным равнодушием. У нее появляются дом, бриллианты, блестящий выезд, слуги и деньги. Расчетливая и трезвая, Теруань решает обеспечить себя постоянной рентой.

Ей удается достигнуть этого. Один из друзей действительно подписывает следующее характерное для эпохи обязательство:

«Николай Дуйе де Перан, дворянин, маркиз де Перан, граф де Дон и де Пато, обязуется выплачивать девице Анне Теруань, несовершеннолетней, пять тысяч ливров ежегодной пожизненной ренты с уплатой в два срока в году. Этот договор составлен ввиду получения вышеозначенным маркизом де Перан пятидесяти тысяч ливров от девицы Теруань. Он сможет освободиться от уплаты ренты возвратом этой суммы».

Обеспечив прочное благосостояние, Теруань де Мерикур стремится перестроить свою никчемную жизнь. Талантливая и умная, постоянно неудовлетворенная, она не хочет ограничиться ролью содержанки.

Когда-то в Англии итальянские певцы находили у нее незаурядный голос, и, вспомнив об этом, Теруань усажает

в Италию учиться пению. Впереди мелькает заманчивая карьера певицы. Она пишет из Италии своему банкиру и другу Перрего о надеждах и мечтах, связанных с работой над постановкой голоса.

Эти письма поражают деловитостью, умением разбираться в денежных вопросах и постоянным беспокойством о близких. Стиль, образы и сравнения Теруань говорят о начитанности и впечатлительном уме. Она много занимается, увлекаясь классической литературой древних, собирает значительную по тому времени библиотеку.

В 1789 году, узнав о событиях во Франции, Теруань бросает мечту сделаться певицей и мчится в Париж, полная энтузиазма, готовая окунуться в самую гущу событий. Революция в этот период еще бескровна. Окунувшись в Париже, Теруань переживает полное перерождение, ее стремительный, бунтующий характер впитывает и воплощает в себе порывы масс и их протест. Праздной куртизанки больше нет и не будет. Все силы она отдаст делу, в котором найдет полное удовлетворение. Теруань идет вместе с «людьми улицы», распевает революционные гимны, проклинает аристократов, поклоняется первым звездам революции — Мирабо и Лафайету. Вначале она теряется в толпе, ничем не выделяясь, но очень скоро Теруань пойдет впереди и поведет угнетенных за собой. В толпе она различает женщин, крайне отсталых, забитых, обездоленных. Теруань де Мерикур, добрая, чуткая, переживая немало горя и унижений, становится организатором, вождем женщин. В первоначальных опытах журналистики и ораторства она формулирует то, чего женщины еще не осознали. Теруань, никогда не бывшая ни матерью, ни женой, инстинктивно находит доступ к их мыслям, желаниям и страданиям. Женщины охотно подчинялись неотразимому ее влиянию, и популярность Теруань быстро возрастала. Она как бы олицетворяет женское освобождение.

Много лет спустя русские реакционеры XIX века, восставшие против раскрепощения женщин, превращали имя Теруань де Мерикур в нарицательное.

Теруань де Мерикуры
Школы женские открыли...
Для того, чтоб наши дуры
В нигилистки выходили... —

писал в шестидесятых годах прошлого столетия поэт Щербина, выменивая борьбу за эмансипацию женщин, которую вела русская революционная интеллигенция.

В некогда роскошном особняке Теруань с первых дней революции все перевернуто вверх дном. Там создается своеобразный клуб, где бывают представители всех революционных партий, журналисты, политики, поэты и обсуждаются волнующие события дня. Робеспьер, настороженный и еще не уверенный в себе; курносый увалень и шутник Дантон; Демулен с обиженной складкой рта; Мирабо, барин с мягкими руками, вкрадчивым голосом и лицемерной улыбкой; влюбчивый Шенье; меланхолический аббат Сийес; русский граф Строганов, сочувствовавший якобинцам; «римлянин» Сен-Жюст и много других политиков, журналистов, поэтов посещали хаотическую квартиру Теруань. Это было в утро революции.

Четырнадцатого июля 1789 года Теруань, пренебрегая опасностью, — среди смельчаков на мосту Бастилии; первой она врывается в крепость, прокладывая себе дорогу шпагой. Толпа устраивает ей восторженную овацию.

Несколько месяцев спустя Теруань, верхом на лошади, с пистолетом в руках, в мужском костюме, с развевающимся шарфом на шее, — впереди женщин, идущих к Версалю и требующих ответа от короля.

Под проливным дождем двигались армии предместий к Версалю; женщины, предводительствуемые Теруань, сзывали мужчин. Их голодный бунт 6 октября 1789 года был грозным предупреждением Людовику XVI. Зажигательный пафос речей Теруань, непреклонная уверенность в победе, готовность к бунтарскому натиску — именно это нужно было голодным беднякам, которые сделали ее своей героиней.

Популярная в массах, Теруань вызвала бешеную ненависть в среде роялистов. Газеты и памфлеты аристократов называли ее не иначе как «бродячая сволочь». Пасквили, многочисленные карикатуры и статьи — доказательства того, с какой настойчивостью газеты травили революцию именно в лице Теруань. Клевета по ее адресу не прекращается до 10 августа 1792 года, дня разгрома роялистов и конца монархии. Теруань припоминают уязвимое прошлое, давно искупленное временем и работой. Призывающую к здоровой любви и труду Теруань обвиняют в разврате, приписывая ей множество богатых

любовников. Особенно поощряется в нападках на «госпожу предместий» реакционный журнальчик «Деяния апостолов», где усердствуют ядовитые памфлетисты Сюло, Ривароль, Шансане. Терузань в это время почти без средств, перебивается изо дня в день, распродавая остатки имущества, закладывая пожитки в ломбарде. Последнюю свою драгоценность она бросает на трибуну одного из клубов, призывая женщин следовать ее примеру и организовать сбор средств на постройку дворца Национального собрания на месте разрушенной Бастилии.

В начале 1790 года Терузань, вынужденная скрываться от преследований монархистов, уезжает в родную деревушку Маркур, находящуюся в Бельгии, недалеко от Льежа. Она привозит в тихий сельский уголок революционные настроения Парижа. Ее веселый, живой ум, образный язык и безудержный энтузиазм покоряют в первую очередь деревенскую молодежь.

Земляки из Маркура распевают парижские революционные песенки, мечтают о борьбе с монархистами. Вот на деревенской улице под вечер, окруженная пестро разодетыми крестьянками, Терузань де Мерикур в десятый раз вспоминает подробности событий 5—6 октября, участницей которых она была. Отлично владея деревенскими оборотами речи, Терузань увлекает слушателей подробностями версальских происшествий. С гордостью рассказывает она, как, предводительствуя толпой голодных женщин, ворвалась в покои «австриячки», вызвав потешный переполох среди фавориток королевы. Принцесса Ламбаль, приподняв похожую на абажур тяжелую юбку, жирная мадам Елизабет мчатся следом за убегающей королевой, волосы которой распустились, усыпая пол белыми хлопьями пудры. Терузань бросается за ними, пытаясь остановить предательницу королеву. Опрокидывая затейливые разолоченные кресла рококо, она догоняет Марию-Антуанетту. Но на пороге комнаты короля ее спасает перепуганный Неккер. Терузань ненавидит Бурбонов и мечтает о низложении монархии.

На родине, в Маркуре, окруженная обожанием и поклонением своих односельчан, Терузань не перестает стремиться к активной работе. Ей хочется основать революционный журнал, и с этой целью она отправляется в Льеж. Там Терузань энергично и упорно ищет средства к организации задуманного журнала. Однако жизнь ее

резко меняется. Внезапно Теруань исчезает из города. Ее перепуганный брат тщетно занят поисками. В опустевшей квартире нет никаких следов того, что произошло с Теруань. Пьер Теруань пишет о пропаже сестры в Париж банкиру Перрего; он допускает романтическую причину таинственного похищения.

Но исчезновение Теруань объяснялось иначе. В маленьком городе слишком известна была ее ненависть к королеве Франции, австрийской принцессе по происхождению, и, когда в январе 1791 года в Льеж вступили войска австрийских интервентов, Теруань арестовали по доносу французского дворянина-эмигранта Лавалетт и отправили под специальным конвоем в австрийскую крепость Кюфштейн. Плен и неизвестность мучили Теруань, она рвалась во Францию. Сознательно лгала на допросах, добиваясь быстрейшего освобождения. Ей удавалось изредка посылать из крепости друзьям и брату письма, в которых она не забывала просить о том, чтобы больше всего берегли ее библиотеку. Во время ареста у нее забрали сочинения Сенеки и Мабли.

В инструкции, данной следователю, австрийские власти так характеризовали Теруань: «Ее фанатический энтузиазм в отношении всего, что связано с идеями демократии, общеизвестен». Австрийцы пытались запугать французскую революционерку вечным заточением и вынудить у нее признание в «государственной измене». Под влиянием пережитого Теруань тяжело заболела. Пришлось перевести ее из крепости в Вену, где она пробыла еще некоторое время под домашним арестом. Следствие затягивалось, доносы дворян-эмигрантов на Теруань не были подкреплены доказательствами; следователь склонялся к прекращению дела. К этому же времени Теруань добилась приема у императора Леопольда Австрийского, которого заинтересовала необычная пленница. Во время свидания с ним Теруань решительно и хладнокровно высказывала свои революционные идеи и готовность бороться со всеми монархами мира за свободу и равенство. Леопольд решился на рыцарский жест. Теруань, получив освобождение и кое-как выбравшись из Австрии, едет в Брюссель.

В сентябре 1791 года по Франции проводится закон, отменяющий все судебные преследования против участников революции, начатые монархическим правительст-

ном. Теруань поспешила воспользоваться этой амнистией и в начале 1792 года, горя нетерпением и потребностью участвовать в борьбе, опять появляется в Париже. В якобинском клубе она встречена громовой овацией, ораторы приветствуют ее гражданскую доблесть, перечисляют политические заслуги и преклоняются перед женскою храбростью. В ней видят жертву, героическую мученицу, вырвавшуюся из крепостных стен, куда хотели запрятать ее эмигранты и австрийцы.

Первого февраля Теруань излагает якобинцам историю своего ареста и подробности заточения в Кюфштейне. Она убедительно доказывает, что единственный способ укрепить свободу во Франции состоит в том, чтобы повести беспощадную войну против мятежников эмигрантов и европейских деспотов. Заканчивая свой доклад, Теруань, горевшая желанием отомстить австрийцам, уверяла слушателей, что французская революция имеет многочисленных друзей в Голландии, в Германии, вплоть до императорского дворца. Призывы Теруань к наступательной войне нашли особенно сочувственный отклик в газете «Французский патриот», издававшейся жирондистом Бриссо.

В это время начинается пора наибольшего расцвета умственных и ораторских сил Теруань. Она проводит дни во дворцах Пале-Рояля, в Тюильри, ставших местом общественных собраний, в редакциях газет, среди женщин предместий, на трибунах клубов. Демулен, Дантон и другие отзываются с восторгом об остроумных и патетических выступлениях гражданки Теруань. Равенство с мужчиной, — не словесное, а последовательно осуществленное в обыденной и политической жизни, в учении и работе, — было провозглашено как один из лозунгов революции именно Теруань де Мерикур. Ее импровизированные речи и обращения к гражданкам полны неотразимой убедительности. Большую речь, заканчивающуюся предложением приступить к организации военного батальона амазонок, Теруань произносит в «Братском обществе», передавая знамя женщинам Сент-Антуанского предместья: «Граждане! Не забудем, что мы должны целиком отдать себя отечеству. Вооружимся: природа и даже закон дают нам право на это; покажем мужчинам, что мы не ниже их в доблести и храбрости; покажем Европе, что француженки сознают свои права и что они стоят на уровне

идой XVIII века, презирая предрассудки, которые бессмысленны и безнравственны, поскольку именно добродетель объявляется преступлением. Француженки! Сравните то, чем мы должны были бы быть в обществе, с тем, чем мы являемся. Чтобы познать наши права и наши обязанности, нужно обратиться к суду разума, и, руководясь им, мы сможем отличить справедливое от несправедливого... Француженки! Повторяю вам еще раз — наше назначение высокое; сокрушим наши оковы, пора женщинам выйти из того постоянного ничтожества, в котором они находятся, столь давно порабощенные невежеством, гордостью и несправедливостью мужчин; вспомним времена, когда наши матери, галльские и гордые германские женщины, участвовали в общественных собраниях и сражались рядом со своими мужьями, отражая врагов свободы... Великодушные гражданки, вы все, слушающие меня! Вооружимся, приступим к военным упражнениям, откроем запись в списки французских амазонок, и пусть в них вступают все те, кто действительно любит свою родину...»

В Сент-Антуанском предместье Теруань устраивает женский клуб. Три раза в неделю женщины проводят в нем вечера, занятые чтением, диспутом и практической общественной работой. Это очень скоро начинает вызывать недовольство мужей: дети без присмотра, обед не разогрет, костюм не починен, жены нет дома. Вторжение в мужской среде против «шляющихся по собраниям женщин» принимает настолько большие размеры, что в клубе якобинцев ставится вопрос о закрытии женского клуба.

Когда же обсуждался вопрос о чрезмерном феминистском рвении гражданки Теруань, дебаты разгорелись, вскрывая подлинные чувства собрания. Недаром многие толковали декларацию прав «человека» как декларацию прав «мужчины». Робеспьер сухо отрекся от каких бы то ни было симпатий к гражданке Теруань. Кое-кто из ораторов отзывался о ней и ее работе среди женщин с иронтическим сочувствием, но большинство решительно требовало возвращения женщин к домашнему очагу. Женский клуб был закрыт единогласным постановлением.

Двумя годами раньше Теруань пыталась быть принята полноправным членом Якобинского клуба. Однако просьба ее не была удовлетворена. Клуб отклонил прием

в члены женщины, отметив, впрочем, в постановлении, что так как церковный собор в Макопе признал наличие у женщины души и разума, то нет оснований запрещать ей далее развивать свои способности. В течение двух лет революции, как видно, женщины добились немногого. Но в момент народных восстаний вырастают и значение и роль женщин.

Десятого августа 1792 года, когда измена короля стала очевидна и народ двинулся в Тюильри, Теруань, как всегда, была в авангарде. Она взывает к мщению. В бою беспощадная и решительная, Теруань принимает непосредственное участие в расправе с Сюло, молодым роялистским писателем, рьяно защищавшим монархию своим язвительным пером.

Утром 10 августа отряд вместе с Теруань находился около дворца короля — Тюильри на Фельянской террасе. Туда привели партию захваченных монархистов, переодетых в форму революционного патруля. Среди арестованных оказался Сюло. Теруань ненавидела его за бесконечные насмешки, которыми он осыпал ее в реакционной парижской прессе. Она добивается разрешения у полицейского комиссара на то, чтобы Сюло и десяток других арестованных были тотчас же судимы прилюдно... Толпа беспощадно расправляется с ними. Сюло умирает под ногами разъяренных женщин.

Наступает сентябрь. Происходит так называемая «сентябрьская резня» заключенных в тюрьмах аристократов и подозреваемых в сочувствии монархии. Вслед за этим обострится внутренняя борьба якобинцев с Жирондой. Теруань была втянута в борьбу партий.

Что побудило Теруань примкнуть к жирондистам? Воинственная революционерка, демагогическая феминистка, она отступила, когда окончательная победа над монархией открыла новую страницу якобинской борьбы против умеренной буржуазии, не желавшей дальнейших социальных потрясений. Известно, что на нее имел большое влияние умный, красноречивый жирондист Бриссо, с которым она была связана дружбой. Воинственный пафос Бриссо и Жиронды в вопросах внешней политики, казалось ей, перекликался с ее собственными призывами вести беспощадную войну с европейскими деспотами, заточившими Теруань в крепость Кюфштейн, и был ей гораздо больше по душе, чем неприязнь к захватническим войнам со

стороны Робеспьера и якобинцев. Обострению гражданской войны, которое вело к террористической диктатуре якобинцев, казалось ей только гибельной внутренней распрей перед лицом внешнего врага, армии интервентов контрреволюционной коалиции. Теруань становится проповедницей мира и согласия.

Весной 1793 года, незадолго до исключения жирондистов из Конвента, она обращается ко всем секциям Парижа с примирительным воззванием. «Ко всем 48 секциям» — так называлась составленная ею расклеенная по городу прокламация-афиша, начинающаяся словами: «Граждане! Куда мы идем? Нас увлекают все страсти, которые искусно можно было разжечь, мы почти на краю гибели. Граждане! Остановитесь, пора одуматься». Теруань рисует дальше картину начинающейся междоусобицы: «В нескольких секциях уже имели место уличные столкновения, предвестники гражданской войны; нужно внимательно и спокойно рассмотреть, кто такие вызывающие их провокаторы, чтобы узнать, кто наши враги... Граждане! Остановитесь и одумайтесь, иначе мы погибли... Наступил момент, когда общий интерес требует, чтобы мы объединились и пожертвовали своей ненавистью и страстями ради общественного блага». Теруань пытается показать, что победа монархических армий интервентов, наступающих в союзе с эмигрантами, жаждущими реставрации, грозит истреблением всех примкнувших к революции без различия партий. И она считает, что женщины могут обеспечить внутренний мир в Париже. Надо избрать в каждой секции шесть гражданок, «наиболее добродетельных и серьезных, чтобы примирять и объединять граждан и напоминать об опасностях, которые грозят отечеству». Эти гражданки будут носить шарф с надписью «дружба и братство» и будут охранять порядок в общественных собраниях.

Предложение Теруань не получило применения. Увещевания были бесполезны, борьба жирондистов и якобинцев быстро шла к кровавой развязке. Воззвание Теруань было, конечно, жирондистским по духу. Она теряла прежнюю тесную и непосредственную связь с революционным движением и не понимала кровных нужд народных низов. Это стало причиной ее гибели.

Незадолго до 31 мая 1793 года, для изгнания вождей Жиронды из Конвента, Теруань находилась в Тюильри. Перед дворцом женщины предместий, озлобленные бед-

ствиями войны, безработицей и недоеданием, кричали: «Долой бриссотинцев!», «Мы требуем низвержения Бриссо!». Они бросились к проходящим депутатам-жирондистам с угрозами. Потрясенная Теруань наблюдала начинающееся восстание с каменного дворцового подъезда. Вдали показалась немного сутулая фигура Бриссо. Он шел, перепительно и боязливо поглядывая на разъяренных санкюлотов. Теруань побежала ему навстречу: она надеялась, что ее вмешательство оградит Бриссо от нападения. Она ошиблась: женщины-якобинки не могли простить ей перехода в лагерь ненавистных «бриссотинцев». Завидя Теруань рядом с самим Бриссо, олицетворявшим для них измену и предательство, они пришли в ярость. «Прекрасную льежуазку», как называли Теруань в предместьях, схватили десятки женских рук и, не слушая мольбы, изорвав платье, жестоко высекли.

На следующий после избиения день в парижской газете «Окружной курьер» сообщалось:

«Одна из героинь революции потерпела вчера маленькое фиаско на Фельянской террасе: Теруань набирала сторонниц в партию Жиронды. К несчастью, она попала на приверженок Робеспьера и Марата, которые, не желая увеличивать партию Бриссо, схватили вербовщицу и отстегали ее с подобающим усердием».

Рассудок Теруань де Мерикур получил непоправимую трещину на каменных плитах дворца Тюильри, к которому столько раз она вела пешстовые отряды предместий, с саблей в руках, с ружьем за спиной. После этого потрясения ее политическая деятельность прекратилась. Через год Теруань окончательно сошла с ума.

СИМОНА ЭВРАР И ШАРЛОТТА КОРДЕ

Был жаркий полдень 12 июля 1793 года. В маленькой узкой столовой приглушенно спорили женщины. Как обычно в последнее время, темой спора являлись способы лечения больного Марата.

Статная, темноглазая, приветливая Симона Эврар, жена Жан-Поля Марата, беспокойно оглядываясь на низкую дверку, ведущую в ванную каморку, властно заставляла замолкать чрезмерно расшумевшихся женщин, чтобы не потревожить мужа. Разговаривая шепотом, она непрестанно растирала в ступке лекарства, целебные травы, к которым недоверчиво относились остальные две женщины. Лекарства не помогали Марату. Сторожиха дома Мария-Варвара Обэн, складывая свежие, терпко пахнувшие листы газеты «Друг народа», ворчала настойчивее всех. Это была болезненная женщина с одним блеклым, но пронзительным глазом; второй, стеклянный, глаз, грубая подделка, вылезал из-под жидких ресниц, уморщивая половину подвижного лица. Разговаривая, Варвара непрерывно ворочала шеей, старалась поймать в свое суженное поле зрения собеседников. Она отличалась болтливостью, естественной для женщины, проводящей бо́льшую часть жизни в привратницкой.

Прислуга Марата и Симоны Эврар, кроткая Жанетта Марешаль, подобно Варваре, со страхом, обожанием и удивлением относилась к Другу народа, польщенная возможностью говорить с соседями тоном близкого ему человека. Слава последней поры, триумф Марата делали Жанетту значительной не только в ее собственных глазах, но и в глазах всего квартала.

Несмотря на отличный уход, заботы; непрерывное внимание, Марат был неизлечимо, мучительно болен. Болезнь превратила вдохновенного и проницательного вожака масс в беспомощного калеку: он не мог появляться в Конвенте, не покидал своей каморки. Марат умирал и с лихорадочной страстностью набрасывал свои последние статьи.

Тихонько, чуть пилепая мягкими туфлями, Симонна, приготовив лекарство, вошла в чуланчик, превращенный в ванную, — кабинет Друга народа. Грустная и встревоженная, она казалась матерью, идущей на помощь к больному ребенку.

Симонна была прекрасным человеком, и благодаря ей личная жизнь Марата сложилась как нельзя лучше: более верного друга и помощника не мог бы пожелать ни один из якобинских вождей.

В 1790 году Симонна Эврар отдала Марату свое небольшое состояние на издание газеты «Друг народа». Твердая якобинка, Симонна не останавливалась ни перед какими трудностями, стараясь дать возможность Марату вести агитацию с помощью газеты. Все время стремясь быть в курсе всех дел и интересов мужа, Симонна с готовностью бралась за любую работу. Она была одновременно выпускающим, корректором, издателем газеты Марата. Жан-Полю минуло сорок шесть лет, когда он женился на двадцатишестилетней Симонне. Союз этот был свободным. Симонна не стремилась оформить его гражданской записью. Впоследствии это попрание законности будет стоить ей многих страданий, «любовницу» Марата станут жестоко травить и оскорблять. Как бы предчувствуя злословие, Марат по собственному желанию написал характерное обязательство:

«Прекрасные качества девицы Симонны Эврар покорили мое сердце, и она приняла его поклонение. Я оставляю ей в виде залога моей верности на время путешествия в Лондон, которое я должен предпринять, священное обязательство — жениться на ней тотчас же по моем возвращении; если вся моя любовь казалась ей недостаточной гарантией моей верности, то пусть измена этому обещанию покроет меня позором.

Париж, 1 января 1792 г. Жан-Поль Марат,
Друг народа».

Но Симона всегда решительно отклоняла «законный брак», веря в прочность чувств своих и Марата.

Скрывая беспокойство, Симона подошла к Марату. Неверный дымчатый свет падал сквозь узкое оконце, освещая клетушку. На стеной карте свежанарисованные зигзаги делили Францию на департаменты. Поперек ванны, в которой сидел Марат, белая простыня скрывала исхудавшее, изъеденное язвами тело. Ванна странной формы напоминала огромный начищенный черный ботинок. Было жарко и душно. Горчая вода, в которую клали серу, приносила облегчение больному. Пар, сливаясь с испариной тела, пропитывал простыню, плыл по комнате, оседая на стенах сырыми пятнами. Марат, тяжело глотая воздух, сложив пересыхающие губы, вздрагивая от зуда, писал на завалленной бумагами доске, положенной на ванну. Он медленно повернул к жене мокрое лицо, раздутое, разрыхленное и бледное, как тесто. Черные зрачки, точно выведенные по желтой эмали, блестели страдальчески. Из под белого полотенца, охлаждавшего больную голову, падали черные нити волос. Симона села на стул близ Жан-Поля. Как всегда в этот час, он попросил корректуру своей газеты, волнуясь спрашивал о делах на фронте, о росте дороговизны.

Марат видел ту огромную опасность, которую таили в себе силы контрреволюции. Он знал, что в самой Франции и за ее пределами аристократия и примкнувшие к ней жирондисты собирают армии против республики.

Страстное желание проникнуть в планы контрреволюции, обезвредить их все время владело Маратом, составляло суть его партийной борьбы. Этому были посвящены все его статьи и зажигательные воззвания последних дней.

Враги платили Марату жуткой злобой, чудовищными, клеветническими измышлениями, его смерть была для них желанной.

Хозяйка гостиницы «Провидение» госпожа Гролье любопытным взглядом окинула и проводила молодую девушку, накануне приехавшую в Париж и остановившуюся у нее. На вид ей казалось лет двадцать пять. Она была невысока и коренаста. Опрятный непестрый костюм, уверенная, немного тяжеловесная походка и гордо откинутая назад голова придавали ей задорный вид.

Оживленный город двигался барышне Шарлотте Корде навстречу. Париж насчитывал тогда 700 тысяч жителей и казался огромным по сравнению с ее родным городом Каном, куда летом 1793 года, после изгнания жирондистских вождей из Конвента, бежали, скрываясь от преследований, депутаты Жиронды: Петион, Барбару, Бюзо.

Нормандский город Кан ничем не отличался от прочих городов Франции, разве только обилием яблонь в садах. На тихих и узких улицах Кана пробивалась трава, скрашивая неприветливость серых старых домов с низкими окнами, грязными подворотнями и крутыми лесенками. Колокольчик проходящей коровы, стук телеги, плач ребенка не часто тревожили городскую тишину.

Оживление, беспокойное и не предвещающее добра, царило только на той улице, где в интендантстве приютились и работали беглые парижане, готовившие борьбу с Конвентом. Охотно и злорадно они подтверждали гражданкам Кана достоверность страшных россказней о терроре и тирании якобинцев. Потрясенные и восхищенные кумушки, близко наклонив друг к другу негнущиеся белые чепцы, снова и снова смаковали «ужасы».

— Я наверное знаю, — говорила одна другой, — что по всем департаментам уже отобрано сто тысяч, а то и больше человеческих голов для гильотины; это, знаете ли, вроде налога. Наш город тоже не забыт.

— Святая дева! Правда ли, гражданка, что проклятого Марата лечат человеческой кровью?

Так, подобно мухам, враги, глупцы и недовольные разносили по насторожившемуся городу страшную, как холера, клевету.

На улице святого Иоанна, в одном из наиболее отмеченных временем домов, проживала в ту пору госпожа Бреттевиль. Редкий случай — все злые городские толки по ее адресу были вполне справедливы. Старая дворянка никак не могла бы прослыть добродушной и щедрой. Жизнь ее протекала в полном одиночестве, в заносчивых чудачествах и нескрываемой злости. Только безвыходная нужда могла принудить кого бы то ни было подняться по невеселой лесенке в ее квартиру.

У Шарлотты Корде д'Армон не было выбора, когда она пришла к госпоже Бреттевиль, своей тетке, просить приюта. Не скрывая неприятного удивления, старая дама

отвела племяннице комнату в конце своей квартиры, с окнами на запущенный, скучный двор. Разложив скудный багаж, молодая девушка, предоставленная самой себе, могла вновь с горькой грустью передумать пережитое. «Благородное» происхождение господина Корде д'Армона помогло ему устроить дочь в одном из наиболее аристократических монастырей Франции: девицы дворянских семей, как правило, воспитывались в стенах монастырей.

Шарлотта, однако, избегала блестящего общества; она принадлежала к нему по рождению, но бедность с детства поставила ее вне этого круга, отчего самолюбие девушки, гордившейся родством с великим драматургом Корнелем, непрестанно страдало. Не желая унижаться, Шарлотта искала одиночества и рылась в запыленных библиотечных шкафах. Она много читала, пополняя жалкое литературное образование.

Снедаемая честолюбием, скрытная и упорная, она считала, что предназначена не для обычной судьбы, а для подвига и громкой славы. В таком настроении, покинув монастырь, надменная, болезненно самолюбивая барышня Корде вернулась в семью отца.

Революция, причудливым эхом докатившаяся до деревни, заставила юную аристократку встрепенуться. Она ждала, что воскреснут старые, любимые герои, но как не похожи оказались санкюлоты на патрициев древнего мира! И она вздрагивала от отвращения и брезгливости к «презренной черни», которая посмела посягнуть на священные для нее титулы, гербы, традиции и предрассудки.

Живая во плоти революция казалась ей отвратительной. Рушилось привычное, почитаемое, и, не в силах понять происходящее, Шарлотта нашла для себя опору в ненависти к «чудовищам Горы», к якобинцам.

Оставив родную семью после ссоры с отцом, Шарлотта очутилась в Кане.

С жадностью барышня Корде слушает сплетни и шепоты о страданиях парижан, отданных на растерзание «людоедам якобинцам». Популярнейшей фигурой, беспо-
но любимой и бешено ненавидимой, был Марат, слишком
большой человек, чтобы внушать маленькие чувства.
Шарлотта верила всему, что измышляли о нем враги.
Мысль о героическом поединке с Маратом смутно на-
чинает мелькать в ее голове.

Когда в борьбе с якобинцами жирондисты потерпели поражение, Шарлотта Корде встретилась в Кане с мятежными депутатами Жиронды как со своими естественными сторонниками и почти единомышленниками.

Однако ни Петион, ни Барбару, вожди Жиронды, не заметили в здоровой и крепкой провинциалке глубокого славолюбия и действенного фанатизма. Ничем не выказывая своих настроений, Шарлотта схватывала каждое слово их речей, в которых, клевеща на якобинцев, они призывали граждан к «спасению революции», к походу на Конвент. Шарлотта вместе с родной ей средой мелкопоместного дворянства готова была довольствоваться высокопарной конституцией, ограничивающей монархию. Не случайно ее излюбленной газетой, которую она регулярно читала, был роялистский листок «Друг короля». Демократическая диктатура казалась Шарлотте преступлением против высоких идеалов либерализма.

Пламенное красноречие жирондистов укрепляло ее собственные чувства и накаляло ненависть к «тиранам» и «захватчикам» власти — якобинцам. Когда на бугорчатом каннском поле 7 июня 1793 года жирондисты устроили неудачный парад своих добровольцев и пятисотная горсточка в тридцать человек продефилировала перед любопытными обывателями, Шарлотта усомнилась в успехе такого способа борьбы. Лицо ее исказилось от разочарования. Петион, стоявший рядом, взглянув на Шарлотту, спросил шутливо, не любит ли и не оплакивает ли она кого-нибудь из тридцати. Шарлотта окинула его удивленно-презрительным взглядом: она никак не могла привыкнуть к тому, что ее считали бесцветной посредственностью — всецело во власти маленьких женских слабостей. Можно предполагать, что именно после жалкого смотра жирондистских волонтеров на каннском поле, показавшегося ей смотром мужской трусости, Шарлотта окончательно определила свою роль и решилась на террористический акт против Марата. Наивность подсказывала ей надежду, что смерть Марата будет концом революции «черни». Она смотрела на развертывавшуюся гигантскую историческую схватку глазами монастырских наставниц, офицеров, расквартированных в Канне, и общества, в котором вращалась тогда госпожа Бреттевиль. Громовые удары классовых битв сплотили ее с этими людьми, которые подчиняли ее своим традициям, интересам

и мировоззрению. Они вложили в нее злобу к якобинцам и слепое бешенство против Марата; подчинившись силе этого неодолимого классового гипноза, она взялась за осуществление своего страшного плана.

Тщательно, как всегда, одетая, Шарлотта отправилась в интендантство на прием к Барбару. Она обратилась к нему с просьбой дать ей рекомендательное письмо в Париж, к члену Конвента, которого якобы хотела просить о помощи своей обедневшей подруге. Барбару дал ей рекомендацию.

Придумав предлог для отъезда, она холодно прощается с госпожой Бреттевиль, которой сумела не стать помехой, с театральной подчеркнутостью раздает свои рисовальные тетради соседским детям и, захватив небольшой сундучок, усаживается в полнявший грязный дилижанс, идущий в Париж.

Плохо кормленные лошаденки по пыльным дорогам медленно тянут тряскую карету. Потные пассажиры, пересиливая дремоту, хвастливо рассказывают о дорожных нападениях, которым они подвергались. В лесах бродят вооруженные отряды. Часто это просто грабители, но иногда и обездоленные бедняки, которые, как и крестьяне из Вандеи, нищие, голодные и темные, поверившие обещаниям монархистов и церковников, выступили на защиту короля и теперь скрывались в лесах. На лесных перегонах разговор становился неуверенным, шорохи и падающая ветка вызывали панику, визг женщин, слезы детей и растерянные возгласы мужчин. Едва опасное место остается позади, разговоры оживляются и завязываются знакомства. Шарлотта привлекает внимание двух-трех молодых людей. Один из них на другой день, к концу путешествия, делает ей брачное предложение.

Детали этой поездки Шарлотта иронически описала в письме к жирондисту Барбару, прячущемуся в Кане.

Одиннадцатого июля, в четверг, выйдя из дилижанса в Париже, Шарлотта отправляется на улицу Вьё-Огюстен, в рекомендованную ей гостиницу «Провидение». Слуга отводит ее в комнату № 7.

И вот цель достигнута. Шарлотта в Париже, в городе, о котором она так много слыхала. Против ее ожидания, парижане не казались запуганными и изможденными. Нигде на улицах не было следов крови или злодеяний. Но Шарлотта оставалась недоверчивой и враждебной: в

спокойных лицах окружающих ей чудилась мольба о спасении. Однако, прислушиваясь, она не улавливала нигде сочувственного слова о жирондистах; казалось, их уже забыли, хотя судебный процесс над ними еще не начинался.

Верньо, Бриссо были в тюрьмах, остальные бежали и скрывались; лишь несколько наиболее лояльных оставались на скамьях Конвента. К одному из уцелевших, к депутату Ланс-Дюперре, направилась Шарлотта в надежде добиться под любым предлогом пропуска в Конвент на заседание. Не зная об ухудшении здоровья Марата, Шарлотта Корде хотела убить его прилюдно в Конвенте.

Ланс-Дюперре отнесся к показавшейся ему наивной провинциалке с большим вниманием, так как Шарлотта передала ему письмо Барбару. Выслушав ее вымысел о страданиях находящейся в Швейцарии подруги, он обещал помочь. От него же она узнала, что Марат не выходит из своей квартирки. Желание Шарлотты убить Друга народа в Конвенте тем самым становилось невыполнимым. Прощаясь с любезным депутатом, Шарлотта, не посвящая его в свой план — уничтожением Марата открыть дорогу контрреволюционному наступлению на Конвент, — тем не менее не смогла удержаться от патетических восклицаний, которых Ланс-Дюперре не понял как следует: «Бегите, бегите еще до завтрашнего вечера... Примите мой совет. Вы бессильны в Конвенте, бегите и соединитесь с друзьями в Кане».

В субботу, на рассвете, Шарлотта снова вышла из гостиницы «Провиденно», направляясь в Пале-Рояль. В шесть часов утра просыпался далекий Кан, но мирно спал Париж. Магазины были закрыты, и в ожидании пробуждения города Шарлотта сидела на каменной скамье под аркой. Часом позже она зашла к ножовщику и выбрала кухонный нож с черной рукояткой, в бумажном футляре, за который заплатила 40 су. С ножом, спрятанным на груди под кружевом блузки, Шарлотта подошла к извозчику, предложив ему ехать к Марату. Выслушав адрес, извозчик двинулся на улицу Кордельеров. В очень узенькой улочке было полутемно, и дом, под сводами которого жил Марат, казался особенно убогим и мрачным. Стараясь сохранять невозмутимость, внутренне любуясь собой, Шарлотта взошла на первый этаж и потянула звонок. На площадку перед дверью

проникал через окошко, выходящее на лестницу, сложный аромат кухни.

Дверь отворила Симонна Эврар. Она разглядывала Шарлотту с подозрительной внимательностью. Тщетно посетительница настаивала на необходимости видеть Марата. Никакие уговоры не могли заставить Симонну нарушить покой мужа. Тогда Шарлотта отдала заранее приготовленное, искусно составленное письмо, в котором писала: «Я приехала из Кана. Вы, руководясь любовью к народу, безусловно, найдете желательным ознакомиться с подготовляющимися там заговорами. Я ожидаю ответа». Желая проникнуть к Марату, Шарлотта блестяще сумела притвориться и с неподражаемым хладнокровием разыграть роль его сторонницы. Любая ложь, какое угодно коварство кажутся ей естественными, и она действует с непринужденностью, побеждающей подозрения.

Отложив убийство до вечера, Шарлотта вернулась в гостиницу. Запершись в своей маленькой, скудно обставленной комнатке, она пишет завещания-письма. Одно из этих посланий озаглавлено: «Призыв к потомству». В нем монархистка Шарлотта Корде изложила свою убогую политическую философию, наскоро усвоенную ею в Кане от жирондистов, и в обычном для эпохи трескучем риторическом стиле пересказала то, что твердила ежедневно монархическая и жирондистская пресса.

Желая возвысить в глазах потомства значение своего намерения, Шарлотта писала:

«О Франция, спокойствие твое зависит от исполнения законов; я отнюдь не нарушаю их, убивая Марата, осужденного вселенной; он стоит вне закона».

Дописав письма, она переоделась, спрятала нож под модную в те годы косынку на груди и на случай, если опять не будет принята Маратом, набросала записку следующего содержания:

«Я написала Вам, Марат, сегодня утром; получили ли Вы мое письмо, смею ли я надеяться на минуту внимания, если Вы его получили? Я надеюсь, что Вы не откажете мне, принимая во внимание тот интерес, который имеет это дело; достаточно того, что я очень несчастна, чтобы иметь право на вашу защиту».

Вечером извозчичья карета привезла ее опять на улицу Кордельеров, дом № 20. Заслышав отрывистый, энергичный звонок, Жаннетта Марешаль, с жирной ложкой в

рукс, побежала открывать дверь. В дверях стояла девушка в изящном коричневом платье и высокой черной шляпе. Помня наказ не тревожить больного бесцельными посещениями, Жанетта загородила дорогу. Ей помогала и этом Варвара Обэн, но Шарлотта решительно настаивала на приеме. На шум и споры в прихожую вышла Симонна Эврар, она узнала приходившую утром посетительницу и предложила ей подождать в столовой ответа Марата. Кроме женщин, в комнате находился комиссионер газеты Марата Лоран-Ба, принесший бумагу для помещавшейся тут же типографии «Друга народа».

Очень скоро Симонна принесла утвердительный ответ и пропустила Шарлотту к Марату. Прикрыв дверь, она вышла в прихожую, но, что-то вспомнив, опять вернулась в ванную, захватив с собой графин с водой для больного. Уходя, Симонна задала несколько незначащих вопросов мужу и взяла пустую тарелку с окна. Марат остался наедине с Шарлоттой, которая, не возбуждая подозрений, уселась на жесткий стул возле ванны. Она внимательно осматривала Марата, вдохновляя себя на убийство. Марат был болен и слаб - тем легче его убить. Дрожащим голосом, с лицемерными слезами на глазах Шарлотта заговорила о контрреволюционной работе восемнадцати жирондистских депутатов Конвента в Кальвадосе. Увлекаясь своей ложью, она описывала Марату мощные, воинственные, ими навербованные отряды, идущие к Парижу, чтобы освободить столицу от «анархистов». Возмущение Марата, удачно подогреваемое посетительницей, быстро возрастало. «Назовите мне имена заговорщиков», — сказал он и взял перо, чтобы записать их в своей тетради. Шарлотта, удовлетворенная поднимающимся в ней чувством ярости, стала перечислять и без того известные имена. Она патетически возмущалась и с деланной ненавистью проклинала контрреволюционеров. Марат, думая успокоить ее, сказал: «Все они будут гильотинированы». В ту же минуту, отбросив уже ненужные уловки, Корде вскочила, ловко выхватила нож и вонзила его в открытую грудь трибуна. Страшный удар пришелся по сердцу. «Ко мне, мой друг!» — захлебываясь поднявшейся к горлу кровью, вскричал Марат. Глаза его потускнели и закатились. Вода ванны стала пунцовой. Почти инстинктивно, не глядя на жертву, убийца бросилась к двери. Ей на минуту преградили

путь Симонна, бежавшая на хриплый зов мужа, Варвара Обэн и Жанетта Марешаль. Они пробежали мимо Шарлотты, сразу все поняв, охваченные нечеловеческим горем и надеждой. Истекая кровью, Марат умирал. В то время как три женщины тщетно пытались спасти его, Шарлотта, забыв о классических образцах, бросилась бежать и была уже в прихожей, когда Лоран-Ба, случайно задержавшийся в квартире, догнал, схватил ее и с силой толкнул в комнату. Потеряв равновесие, Шарлотта упала на пол. Тотчас же с лестницы повалили люди, невидимым чутьем уловившие внезапно разыгравшуюся трагедию.

Не было в Париже более знаменитого, более грозного и обожаемого человека, чем Марат. Марат был зорким глазом буржуазной революции, воплощением твердости и борьбы. С большими и малыми горестями, с сомнениями и справедливой жалобой шло к своему вождю третье сословие.

Горе парижской бедноты было теперь беспредельно. Марата громко и единодушно оплакивал народ, так недавно еще венчавший своего друга лаврами и триумфальным шествием.

У дома Марата через час после убийства стояли тысячные толпы. И в то время как кровотечение вдруг прекратилось вместе с биением сердца Марата, Варвара Обэн, не отвечая на вопросы, втолкнула в спальню, куда перенесли тело, привезенного ею доктора. Ее единственный глаз онух от слез, и мокрый стеклянный казался оживших и зрячим.

Жанетта Марешаль, притихшая и растерянная, отупело смотрела на незнакомых людей, бесцельно переходивших из комнаты в комнату. Мужчины и женщины вытирали слезы, и лица их, искаженные отчаянием, были страшны при неясном свете зажженных ламп и свечей. На улице кучер, привезший Шарлотту Корде, еле выдерживал напор любопытных расспросов. Он едва разглядел свою пассажирку, но теперь весьма охотно описывал ее возбужденной толпе. Всех удивляло, что убийцей была молодая женщина. Взрыв бешенства сопровождал утверждение, что это аристократка.

Была уже ночь, когда явился полицейский комиссер Гальяр-Дюмениль и приступил к допросу. Перевести убийцу в тюрьму было нелегким делом; возмущенная

толпа требовала самосуда. Видя беснующихся людей, посылающих ей проклятья, с трудом охраняемая от мести народа, осознавшего необъятность понесенной утраты, Шарлотта, преисполненная гордостью, любуясь собой, презрительно сказала: «Несчастные, вы хотите моей смерти за то, что я спасла вас». Втайне она надеялась услышать возгласы сочувствия и одобрения. Надежды эти не оправдались, и оставалось только свысока раздумывать о «тупоумии черни» и рассчитывать на грядущую оценку истории.

С той самой минуты, как Шарлотта очутилась в тюрьме Консьержери, она тщательно продумывает каждое слово, позу и жест, которые должны были прославить и возвеличить ее имя. Она пишет высокопарное послание к Барбару, где просит, между прочим, его позаботиться о ее родных и недвусмысленно прибавляет: «Я ничего не говорю моим милым друзьям аристократам, память о них я сохраняю в своем сердце».

Отцу она пишет, оставаясь по-прежнему деланно хладнокровной:

«Простите меня, мой милый папа, что я без вашего разрешения распорядилась своей жизнью... Как только у народа раскроются глаза, он будет рад освобождению от тирана. Надеюсь, что вас не будут мучить, во всяком случае, я думаю, что вы в Кане найдете защитников. Я прошу вас забыть меня или, вернее, радоваться моей участи, — она прекрасна. Обнимаю мою сестру, которую я люблю от всей души, также всех моих родных, не забывайте стиха Корнеля:

Позорно преступленье, не эшафот.

Завтра в восемь часов меня судят.

Корде».

Семнадцатого июля 1793 года Шарлотта Корде предстала перед Революционным трибуналом. На ней было лучшее из ее платьев и изящный, обшитый лентой чепец, заказанный специально для суда. Изысканным внешним видом она еще раз хотела подчеркнуть свое превосходство, свою принадлежность к аристократии и презрение к «революционной», столь ненавистной ей «черни». Выбранный ею защитник — якобинец Гюстав де Гаито

Кулан — не явился, так как не был уведомлен о желании обвиняемой.

Лишь в начале заседания суд назначил защитником случайно находившегося в зале якобинца Шово-Логарда. Защита была нелегкой: в зал суда непрерывно доносился глухой ропот толпы, требовавшей смерти убийце. Мертвый Друг народа стал еще более популярным. Траурные банты, брошки и повязки с его портретами украшали в эти дни не одну грудь в Париже. Новорожденных называли именем того, кто удостоился, вопреки предположениям Шарлотты, быть похороненным в Пантеоне. День и ночь в уединенный домик, бывшую часовню, декорированную Давидом, или бесконечные вереницы желающих поклониться вождю. От гроба Марата народ двигался к зданию суда, требуя головы убийцы.

Шово-Логард, обдумывая свою защитительную речь, все подчас самоуверенно оглядывавшей судей Шарлотты.

Суд начался. Первой свидетельницей вызвали Симону Эврар. Ее появление было встречено всеобщим сочувствием. Несчастье не сломило стойкость духа революционерки. Огромным напряжением воли сдержав рыдания, вдова Марата, глядя в упор на Шарлотту, рассказывала подробности ею виденного.

Все, что говорила гражданка Эврар, было так правдиво, что Шарлотта не могла прервать ее ни одной из тех подготовленных пышных фраз, которые должны были поразить слушателей.

Высокое мужество, искренность и простота Симоны, ее беспредельное горе еще более подчеркивали ничтожество женщины, убийцы Марата.

Общественный обвинитель резко спросил: «Кто толкнул вас на убийство Марата?» — «Преступления, — громко отвечала подсудимая, — в которых он виновен со времени революции».

Все ответы Шарлотты полны искусственного пафоса. Она словно находится на сцене. Истерическая взвинченность, превосходное позерство лишают ее слабости и человечности. Словно подавая реплику в классической трагедии, она отвечает общественному обвинителю на его вопрос, «учлась ли подсудимая предварительно наносить удары ножом»: «О, чудовище, он считает меня убийцей».

Во время суда Шарлотта заметила молодого военного, который рисовал ее портрет. Улыбнувшись, она повернула к нему голову и постаралась придать лицу выражение, делавшее ее наиболее привлекательной. Убийца заметно оживилась во время речи защитника. Он говорил: «Подсудимая хладнокровно сознается, что обдумала свой поступок, она признает все и не старается оправдаться. В этом, присяжные сограждане, вся ее защита. Это неизменное спокойствие духа, это самоотречение, отсутствие страха смерти, это спокойствие и самопожертвование не существуют в природе. Эти качества объясняются лишь тем воодушевлением, которое порождает политический фанатизм, вложивший кинжал в ее руку. Вам, присяжные, надлежит решить, какое значение имеет подобное соображение в деле правосудия».

Шарлотта Корде казалась вполне согласной с этой защитительной речью, которая ей льстила.

Эта двадцатипятилетняя девушка непривлекательной наружности никогда не вызывала ничьей симпатии. Она не знала ни радости любви, ни материнства и озлобилась на человечество и жизнь. Самой большой ее гордостью была принадлежность к аристократии, но со времени революции самолюбие ее непрерывно страдало. Фанатическая монархистка, она искала действенного выхода своей ненависти к происходящему по Франции, а также неудовлетворенному стремлению выделиться из толпы, привлечь к себе внимание, которого никогда не могла добиться. Ради этого она решила пойти на преступление.

Внешне равнодушно выслушала Шарлотта приговор, который гласил следующее: «Единогласный вердикт присяжных устанавливает, во-первых, что Жан-Поль Марат, депутат Национального Конвента, 13 июля сего года, между 6 и 7 часами вечера, был поражен ножом в грудь в то время, как сидел в ванне, и тотчас скончался от этого удара; во-вторых,что виновницей этого убийства была Мария-Анна-Шарлотта Корде; в-третьих, что это убийство было совершено ею предумышленно и из контрреволюционных соображений. Ввиду этого Мария-Анна-Шарлотта Корде присуждается к смертной казни. Суд постановляет, что она, одетая в красную рубаху, будет отвезена на место казни, что ее имущество отходит к республике и что сей приговор, по предложению публичного

обвинителя, будет приведен в исполнение на площади Революции».

После объявления приговора Шарлотта попросила, чтобы художнику, начавшему ее портрет во время суда, разрешили его окончить в тюрьме.

Гражданин Гойер получил разрешение дорисовать портрет убийцы Марата.

Оставалось лишь несколько часов до казни; все это время Гойер провел в камере смертницы. Она позировала, хвалясь совершенным ею убийством.

После двухчасового сеанса портрет был уже почти готов, и Шарлотта, считавшая себя неплохой художницей, указывала Гойеру детали, требующие изменения. Стук в дверь прервал оживленную беседу, и на пороге появился палач, как всегда безразличный и деловой. Он нес красную рубашку, в которой казнили убийц, и ножницы для того, чтобы отрезать волосы осужденной. «Уже...» — произнесла Шарлотта, но тотчас же, овладев собой, срезала руже недлинные локоны, ниспадавшие по плечам, и одну прядь с кокетливой улыбкой протянула художнику в знак благодарности за его работу. Ей хотелось, чтобы Гойер сделал копию с портрета и отправил в Кан

Шел крупный летний дождь в тот момент, когда шаткая повозочка двинулась к месту казни. Несмотря на ливень, улицы были запружены возбужденной толпой, встречавшей тележку проклятиями. Рассвирепевший народ провожал убийцу Марата бранью до гильотины.

Казнь Шарлотты, с удовлетворением встреченная санкюлотами Франции, сделала ее героиней в глазах аристократов и жирондистов. Петион, Барбару, Бюзо, Саль, когда весть о смерти Марата дошла до Кана, превозносили в речах и письмах Шарлотту, в которой будто бы подмечали и ранее черты великой «мстительницы».

Тринадцатого июля нож монархической террористки, разорвав угасавшее сердце Марата, не принес губительного удара якобинской партии. Политические соратники Марата продолжали стойко защищать интересы республики до тех пор, пока это было в их силах.

Любовь и верность памяти Марата и его идеям пронесла до конца своей жизни и Симонна Эврар. После смерти Марата его жена и верный соратник деятельно принялась за издание трудов Друга народа.

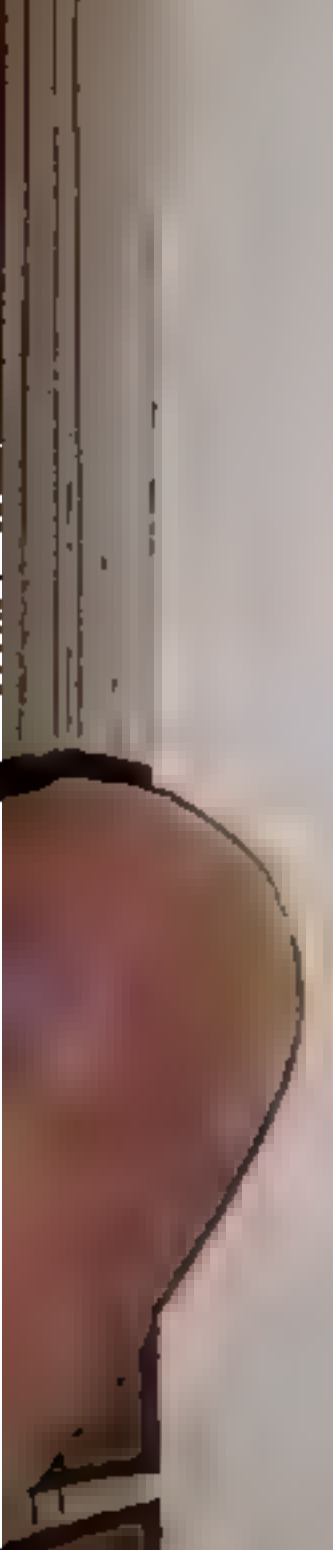
В ноябре 1794 года она выпустила проспект будущего издания. Однако уже в феврале 1795 года, в пору термидорианского Конвента, окрепшая реакция запретила это начинание.

Позднее, вместе с сестрой Марата, Альбертиной, Симона встречалась с бабувистами и, возможно, знала о «заговоре равных».

История не сохранила обширных сведений об этой преданнейшей подруге одного из самых замечательных деятелей буржуазной революции французов.

Симона Эврар более чем на тридцать лет пережила Друга народа. Она умерла в 1824 году, до последнего мгновения оставаясь верной памяти Марата и идеям якобинцев.

МАНОН РОЛАН



Правда, Гатьен Флипон был неплохим гравером, но ремесло это не давало больших доходов. Желая разбогатеть, он открыл на набережной Часов в Париже ювелирную лавку и занялся продажей драгоценных камней, тяжелых медальонов, блестящих пряжек, колец, браслетов, табакерок. Не без зависти Гатьен следил за тем, как его друзья, такие же презираемые аристократией представители третьего сословия, спекулируя на поставках, занимаясь ростовщичеством, ловко прибирали к рукам имущество разорявшейся придворной знати. Но Гатьен Флипон — любитель выпить и поиграть в карты — не разбогател, и ему пришлось довольствоваться скромной участью мастера-ювелира. Он жил в обществе незначительных и небогатых городских мещан и безвестных художников, приходивших в Париж за славой, которых умело эксплуатировал в своей граверной мастерской. Сколотив маленькое состояние, ювелир начал подумывать о женитьбе. Барышня Маргарита Бимон показалась Гатьену подходящей невестой. Она удачно подражала манерам дам-аристократок, была скромна и послушна. После свадьбы Маргарита с большой грацией и любезностью умела угождать капризным заказчицам и покупателям, которых в поисках, украшенных резьбой и позолотой, принесли слуги к ювелирной лавке на набережной Часов. Ее обязанностью было также наблюдать за работой учеников и подмастерьев мужа, вести счета и хозяйство. Из семи детей четы Флипон осталась в живых только одна дочь Манон-Жанна, родившаяся в Париже в 1754 году.

Когда двухлетняя девочка вернулась из деревни, где жила у кормилицы-крестьянки, в дом ювелира, Гатьен Флипон стал хвастать дочерью так же, как сложными украшениями, сделанными его мастерской рукой. Хорошенькая Манон была действительно сообразительным и способным ребенком. Ей не было еще пяти лет, когда на чердаке дома в забытых сундуках она нашла старые запыленные и пожелтевшие книги и по ним почти без посторонней помощи выучилась читать, вызвав шумные одобрения взрослых. У Манон не было друзей-сверстников. Самовлюбленность ювелира и необщительность его жены лишили ее детского общества, никто в квартале не казался родителям достойным товарищем их дочери. Манон редко выпускали одну из старого, плохо вентилируемого дома на улицу, живописно сползавшую к зеленой Сене. В дождливые летние дни она никогда с оравой соседских детей не шлепала босыми ножонками по скользким теплым лужам, приподняв длинную юбочку. Никогда не лазала она на старые деревья, чтоб оттуда бросать каштаны в добродушных пешеходов, не дразнила бездомных собак, не высмеивала расфранченных аристократов, подобно цапле задирающих в осеннюю слякоть ноги, обутые в шелковые туфли. С раннего детства Манон усвоила насмешливо-презрительный тон по отношению к детям своего квартала. Дочь ювелира неудержимо влекло к нарядным и завитым, как она сама, юным аристократкам, которые, однако, откровенно ею гнушались. Ничто не могло приблизить Манон к ним: ни ее любезность, ни то, что девяти лет она уже прочла Плутарха, была поражена его героями, плакала над гениальным Торквато Тассо, лучше всех отвечала «Песнь песней» в приходской школе и удивляла соседей цитатами из Вольтерова «Кандида». Бабушка Манон была только прислугой маркизы Креки, а отец — мелкий лавочник: вот что решало ее судьбу и было для нее источником затаенного мучительного горя.

Манон тщетно старается скрыть обиду, когда в замке Фонтен ее с матерью помещают в каморках, где ютятся слуги, кормят в буфетной и во время празднества разрешают лишь через решетку сада смотреть на пестрый дождь и костры фейерверка. Но на набережной Часов чистолюбивая девочка чувствует себя принцессой, переодетой по недоразумению в замарашку. В нише своей комнаты с узеньким окошком, похожим на бойницу, Манон каждый

день любуется отражением неба в водах Сены. Она по-книжному любит природу, полагая, что это обязательная особенность «исключительных натур». Напрасно Гатьен пытается обучать дочь граверному мастерству, рассчитывая сделать ее своей помощницей. Легко усваивая тонкую работу резцом, Манон бросает это ремесло, пугаясь возможности стать в будущем всего лишь хозяйкой ювелирной лавки. С каждым днем укрепляется в ней самомнение, и вместо с этим все труднее становится помогать в стряпне матери и — что еще унизительнее — ходить на базар за овощами или куском мяса. Манон подчиняется «судьбе» смиренно, но в мемуарах, вспоминая эту пору почти тридцать лет спустя, не может удержаться от сожаления. «Эта малютка, которая прекрасно могла объяснить законы движения небесных светил, которая рисовала карандашом и тушью и в восемь лет танцевала лучше всех на вечере, где были взрослые девицы, эта малютка часто бывала принуждена идти на кухню, чтоб изжарить яичницу или сварить суп».

Одиннадцати лет Манон по собственному желанию поступила в монастырь Нев Сент-Этьен, в предместье Сен-Марсель. В монастыре, расположенном в парке, заросшем столетними густыми деревьями, по ее словам, Манон предалась размышлениям о вечности и о боге. В монастыре находились еще тридцать четыре воспитанницы, настолько «обыкновенные и неинтересные», что Манон с трудом подыскала себе подруг. Госпожа Ролан, никогда не обладавшая излишней скромностью, впоследствии красочно описывает в мемуарах, как «светское обхождение, ум и знания ребенка подчинили ему окружающих». Сестры Капис, уроженки Амьена, в виде исключения удостоенные дружбы Манон, беспрекословно ей подчинялись и благоговели перед ней всю жизнь.

Каждое воскресенье в монастырь приезжали родители учениц. В белой, незатейливо убранной деревянной мебелью приемной монастыря сидели, ожидая дочерей, смущенные строгими лицами монахинь отцы и матери. Это были мелкие фабриканты, торговцы и зажиточные ремесленники. Гатьен Флипон, гордый отец «первой ученицы», встречал появление дочери громкими восклицаниями, неуклюжими объятиями и поцелуями. Дни посещений не доставляли радости Манон, она не могла побороть в себе противоречивых чувств: нежности к родным и сты-

да за их демократический вид, речи и положение в свете. Мир казался ей тогда чрезвычайно жестоким и несправедливым.

По истечении года Манон покинула монастырь. Прощание было трогательным: плакали воспитательницы, подруги Манон, но особенно горевали сестры Канне. Во время разлуки между подругами завязалась обширная переписка, полная грустных или насмешливых излияний, иногда остроумных и злых характеристик, поучений, признаний, незначительной болтовни, составившая впоследствии два тома переписки госпожи Ролан.

В доме бабушки, парализованной старухи, где несколько лет жила Манон, и позднее в тесной квартирке родителей барышня Флипон, подготовляемая к тому родней, занята только собой. Монастырское влияние, вернувшее ей примитивную религиозность, борется с влиянием заново продуманных строк Вольтера, Рейналя, Мабли и впервые прочитанного Руссо. Просвещенной девице трудно верить в сказку о муках ада и о превращении черта в змею. Она ищет ответа на свои сомнения в метафизике и философии, увлекаясь также историей и вопросами морали. При всем том она подолгу не отрывается от зеркала. Стараясь казаться беспристрастной, самовлюбленная до глупости юная мещаночка описывает свою наружность в следующих выражениях: «В моем лице не было ничего поражающего, кроме большой свежести кожи и мягкости выражения; если рассмотреть все черты в отдельности, то можно задать себе вопрос, где здесь, собственно, заключается красота; нет ни одной правильной черты, но, взятые вместе, они нравятся. Рот мой немного велик, можно встретить тысячи более красивых, но ни одного с более нежной и увлекательной улыбкой. Глаза, напротив, не особенно велики, они серовато-синего цвета. Глаза немного выдаются, взор открытый, свободный, живой и мягкий; каштановые брови, совпадающие по цвету с волосами, красиво очерчены. Глаза меняют выражение, подобно любвеобильной душе, движение которой они отражают; иногда они поражают серьезностью и гордостью, но чаще они улыбаются и ласкают. Нос причиняет мне некоторое огорчение, я нахожу его несколько толстым в конце, но в анфас, особенно в профиль, он не нарушает гармонии. Широкий, открытый лоб, глубокие глазные впадины, между которыми ясно обозначается V с выступающими при

малейшем возбуждении жилками; эта складка и эти жилки спасают мой лоб от той незначительности, которую находишь у многих других. Подбородок, выдающийся вперед, цвет кожи не особенно белый, но живой, с ослепительными красками. Красивая круглая рука, приятная, хоть не очень маленькая кисть, здоровые ровные зубы, пышная фигура — вот те сокровища, которыми одарила меня мать-природа».

Прислушиваясь к звучанию своего имени, Манон опять не в силах умолчать перед потомством о своем мнении по этому важному поводу: «Да, Манон, так меня зовут, и жалею об этом, имея в виду любителей романов; это не громкое имя, оно не подходит к героине высшего порядка. Но в конце концов это мое имя, и я пишу свою историю. Кроме того, даже самые сентиментальные люди примирились бы с этим именем, если бы они слышали, как произносила его моя мать, и видели ту, которая его носила».

Итак, если верить Манон, она была очаровательна. Жители набережной Часов не остались равнодушными к ее талантам и красоте. Брачные предложения сыпались со всех сторон, но мог ли какой-нибудь торговец рассчитывать на то, что за его прилавком, блестя грацией и умом, будет сидеть Манон. Еще менее того могла бы снизойти дочка ювелира до брака с добропорядочным ремесленником или поставщиком, которые никогда и не слыхивали обо всем том, что она знала. Манон отказывала, огорчая отца и мать, всем претендентам; для нее был немыслим муж, подобный ее отцу, которого она втайне презирала, подчеркивая свое превосходство. Ах, как Гатьен Флипон громко храпел на необъятной постели, как цинично шутил и ругался, залпом опустошая кружку вина, отплевываясь, пкая и багровея.

Однажды Манон, проходя по базару с плетеной старенькой корзинкой, точно с букетом цветов, остановилась у громоздких желтых, красных и синих туш мясной лавки, чтобы выбрать кусок мягкой говядины. Из-за прилавка вдовец мясник, красный, как его измазанный кровью фартук, смотрел на хорошенькую девицу с нескрываемым обожанием. У него было пятьдесят тысяч ливров капитала, и дочка Гатьена Флипона, дела которого были неважны, могла вполне считать брак с ним выгодным, — все это обдумывал мясник, пока Манон весьма прозаически ощупывала скользкий кровоточащий кусок. Мясник отдал ей луч-

пую телячью грудинку за бесценок и пригласил заходить ежедневно. Своеобразное ухаживание продолжалось недолго, и нетерпеливый влюбленный вскоре появился напудренный и украшенный золотой цепью часов поверх кафтана в доме Гатьена Флипона. В этот раз он поднес Манон розу вместо хорошей мясной вырезки и попросил ее обвенчаться. Манон, как «настоящая дама», сдержала свое негодование и отослала мясника с босым мальчишкой отрицательный ответ, изложенный в изысканных выражениях.

Разборчивость Манон все чаще тревожила ювелира, и как-то за обедом, услав подмастерьев, он учинил ей грозный допрос. Манон не скупилась на слова, говоря, что никогда не пойдет замуж за человека «из простонародья»: ей нужен муж, с которым она могла бы делить чувства и мысли. Гатьен, уважающий себя и в своем лице всех торговцев, важно заметил, что купцы обладают хорошими манерами и образованием. Манон насмешливо отвечала, что умение кланяться и подражать богатым покупателям не называется хорошими манерами и образованием. В этом сословии, заявила решительно барышня Флипон, нет людей в ее вкусе: «Подумать только, что источником заработка купца является перепродажа по более дорогим ценам купленных товаров». Для того чтобы заниматься вместе с мужем торговлей, не нужно было родиться такой, как она. Гатьен не нашел ответа, но почувствовал себя обиженным.

В летние жаркие дни Манон часто ездила в Медон, расположенный в нескольких лье от Парижа. Сквозь густую листву виднелся Париж, исчезающий иногда, как город сказки, за поднимающимся туманом. Манон любила в городской гуще выискивать башни Нотр-Дам, крыши дворца Тюильри и, следя за Сеной, похожей на засыпавшую светлую рыбу, находить набережную Часов. В небольшом кабачке в лесу всегда был сытный, дешевый обед, во время которого крепкий, как деревья медонского леса, кабатчик отпускал веселые шутки и грубоватые каламбуры, смущавшие Манон. Пока родители или тетка, добрая старая дева, отдыхали на траве, поглощенные послеобеденным пищеварением, Манон гуляла в лесу, собирала в чаще цветы, не забывая грациозно наклоняться, или на уединенной полянке, сидя над прудом, как Нарцисс, в прозрачной воде искала свое отражение. Медон, похожий на дворцовый запущенный сад, будил

в ней честолюбивые грезы. В мемуарах госпожи Ролан Медону отведено несколько поэтических строк: «Восхитительный Медон, как часто я в твоей тени вдыхала милый ароматный воздух, благословляя при этом создателя и мечтая о совершенстве, испытывая чарующее желание позолотить облака будущего лучами надежды».

Незаметно и бесповоротно умерла Маргарита Флипон, Гатьен Флипон, которого несколько сдерживали горестные просьбы жены, овдовев, почувствовал себя освобожденным и помолодевшим. Картежная игра быстро повела его к разорению. Неуемной надвигающейся нищетою Манон поневоле пришлось заняться лавкой в мастерской отца. Обязанности хозяйки магазина незаметно сблизили ее с интересами и нуждами набережной Часов.

Пораженная несправедливостью, несказанным политическим бесправием, унижением и препятствиями, чинимыми ее сословию, Манон впервые начинает желать для Франции республики, знакомой ей по книгам древних «Несомненно, что наше положение сильно влияет на образование нашего характера и наших убеждений, но можно сказать, что данное мне воспитание и идеи, приобретенные мною из книг и от окружающих, — все это соединилось, чтобы создать мои убеждения; мне казались смешными и несправедливыми все привилегии и сословные различия. В моем чтении на меня производили особое впечатление борцы против неравенства. Когда я присутствовала при выезде королевы и принцев или видела изъявления благодарности богу при разрешении королевы от бремени, я с болью чувствовала всю противоположность между этой азиатской роскошью, этим бесстыдным великолепием и бедностью и униженностью народа, который в своем ослеплении спешит лицезреть их и за созданных идолов и бессмысленно рукоплещет тому блеску, который он сам оплачивает отказом от самого необходимого».

Личное будущее не раз тревожит Манон, и когда некий наблюдательный господин предсказывает ей, что она станет писательницей, обрадованная и польщенная девушка тотчас хватается за такую возможность, но скоро отказывается от этого пути. «Мужчины не любят женщин-писательниц, женщины критикуют их, — думала она. — Если женское творчество плохо, его высмеивают, если хорошо — его приписывают другим».

Как-то раз в декабре 1772 года, когда дочка ювелира хлопотала у печи, помогая приходящей прислуге варить похлебку для отца и подмастерьев, отрываясь от этого занятия, только чтоб, наспех сбрасывая фартук, выбегать в магазин, обворожительно улыбаться покупателям и расхваливать товар, на пороге лавки появился пожилой мужчина. Манон уже собиралась привествовать его неизбежным традиционным вопросом, что именно из драгоценностей ему угодно купить, как вошедший человек протянул ей письмо. Письмо было от монастырской подруги Манон Софьи Канне и являлось рекомендацией посетителю. Софья круглыми завитыми буквами писала: «Это письмо будет передано тебе философом господином Роланом де ла Платиер, о котором я тебе часто говорила. Это образованный и благородный человек: его можно упрекнуть только в излишнем преклонении перед древними в ущерб современникам, которых он ценит низко, да, кроме того, в слабости охотно говорить о себе». Манон немедля пригласила господина Ролана де ла Платиер, внимательно к нему приглядываясь, в уютную, чрезмерно заставленную мебелью столовую.

Господин Ролан давно уже перешагнул за сорок. Все в нем внушало равнодушное почтение и отражало раз навсегда установленные привычки: и темное сукно кафтана, и толстые бумажные чулки, туфли-лодочки с большими бантами, и покачивающаяся походка, упрямый взгляд тяжелодума, светлые приглаженные волосы, не скрывающие лысины. Говорил он медленно, скучно, много, не слушая собеседника, молчал рассеянно, смеялся громко и добродушно. Манон без труда разглядела его умственную ограниченность, недюжинные знания и утомительные принципы. Она была равна ему разве только в самомнении, но обладала зато способностью подмечать во всех, кроме себя, смешное и слабое. Манон постигло разочарование, когда выяснилось, что аристократическое де ла Платиер не означало принадлежности Ролана к дворянству. Однако новый знакомый Манон имел доходное имение и хороший служебный пост инспектора мануфактур в промышленном провинциальном городе. Барышня Манон признавалась себе, что Ролан — философ, ученый и к тому же не бодняк — мог бы стать для нее подходящим мужем. Но господин Ролан не спешил высказывать свои планы на этот счет, хотя приходил часто, просиживал долго, без

конца рассказывал о Германии, где уже был, об Италии, куда собирался съездить, постоянно осведомлял Манон о своих размышлениях, о своем здоровье и недовольстве людьми, которые его не понимают.

Идеи Ролана были отчетливы: слишком педантичный и любящий покой, он не утруждал себя сомнениями. Ролан требовал прав для третьего сословия, которому служил, осуждал министерство Людовика, разнузданность двора, поступки королевы, хвалил Англию, ее законы и пуританизм.

В течение нескольких месяцев Ролан не появлялся у Манон, он путешествовал по Италии, но, вернувшись во Францию, инспектор мануфактур по-прежнему регулярно посещает квартирку ювелира и резонерствует, испытывая терпение Гатьена Флипона, который не мог выносить его многословия.

Жизнь барышни Флипон текла однообразно, в свободные часы она много читала и любила это подчеркнуть: книги по астрономии, физике, математике, химии, истории лежали раскрытыми на ее столе.

Прошло уже пять лет со времени знакомства Манон и Ролана, когда старый холостяк рискнул наконец посвататься. Манон решительно ему отказала, внезапно испугавшись будущего, объясняя отказ своей бедностью, нежеланием стать обузой мужу. Невозмутимо вежливый и раздражающе безразличный Ролан, не настаивая, покинул набережную Часов. Тщетно ждала его возвращения Манон, тотчас же раскаявшаяся в опрометчивом поступке.

Ролан не возобновлял своих домогательств и, казалось, исчез навсегда. Огорченная оборотом сватовства Ролана, Манон решила временно поселиться в монастыре, где провела в детстве спокойные дни. Там ей нравится дрессировать волю, ограничивая свои потребности и обрекая себя на лишения и полуголодное существование.

Лишь по истечении шести месяцев, уже нежданный, в монастырь явился Ролан. В прежних выражениях, не переставляя слов, инспектор мануфактур повторил свое брачное предложение и получил постепенное согласие. Манон пишет об этом следующее: «Если брак, как я думаю, есть серьезный союз, соединение, при котором женщина обыкновенно берет на себя устройство счастья двух людей, то не лучше ли посвятить мои способности и мужество этой почтенной задаче, нежели уродливому, в котором я живу».

Без иллюзий и радости двадцатишестилетняя Манон Флипон обвенчалась с Роланом в 1780 году.

Через год Ролан переводится на службу в Амьен, где находятся подруги Манон Софья и Генриетта Кампе. Семейная жизнь Роланов в Амьене непередаваемо монотонна; желание Манон быть добродетельной и примерной женой осуществляется с большим трудом. По нескольку часов в день Ролан усыпляющим ровным голосом диктует жене свое новое сочинение об Италии, госпожа Ролан занимается также перепиской черновиков и правкой гранок. Она выполняла эту работу без возражений, так как позволяла себе не только переправлять, но и дописывать самостоятельно кое-что в подготовляемую книгу. Уверенная в том, что отлично владеет пером, Манон не сомневалась в своем превосходстве над Роланом, но любила притворяться робкой, несведущей женщиной, преклоняющейся перед исключительно талантливым мужем. В действительности она следила за всем, что происходило вокруг. Манон знала, что цена хлеба растет, а заработная плата на мануфактурных фабриках падает, вследствие чего рабочие ропщут. Но рабочие мало интересовали госпожу Ролан, она считала, подобно Ролану, что их нужно «подтянуть», но «подтянуть» ей хотелось также королеву, королевский двор, всех аристократов, потерявших меру в своих тратах и заносчивости.

«Откуда придет твердая власть, кто прекратит усиливающееся справедливое недовольство?» — думала госпожа Ролан. Она знала, что король, тучный обжора, ничего не понимает в делах государства и занимается серьезно только охотой да слесарным ремеслом в богато и удобно обставленной дворцовой мастерской слесаря Гамэна. Всемогущая королева рада, что муж, забавляясь выделкой ключей, не мешает ее забавам и мотовству. Вместе с королевой у власти распутная госпожа Полиньяк, пожираемая сифилисом принцесса Ламбаль, никчемные фаворитки, выродившиеся аристократы вроде Лозона, Эстергази и кардинала Рогана. Налоги и займы, падающие наибольшей тяжестью на третье сословие, вызывают постоянные возмущения. Крупная буржуазия, быстро богатеющая, не хочет больше мириться с бесправием. Подмечая все эти симптомы, госпожа Ролан неоднократно приходила к мысли, что только просвещенные люди, подобные Ролану, — значит, и ей, и тому обществу, в котором она

працалась, — смогут принести Франции порядок и благоденствие. Впрочем, как это должно произойти, Манон не обдумывала, но удовлетворенно ловила слухи и рассказни о нараставшем недовольстве в Париже, надеясь, что оно обеспечит осуществление ее заветных скрываемых мечтаний.

В Амьене у госпожи Ролан родилась дочь Евдора, но «обязанности матери», как и «обязанности жены», Манон определяла для себя, руководясь не чувством, а умом. Хозяйство, материнство, приемы, которые так любила устраивать госпожа Ролан, поглощали у нее бо́льшую часть времени; впрочем, вспоминая об этой поре, она добавляет, что успевала, конечно, заниматься ботаникой и естествознанием.

В 1789 году, к началу революции, Ролан был генеральным инспектором мануфактур и фабрик в Лионе. Госпожа Ролан, довольная служебным повышением мужа, чувствовала себя почти удовлетворенной, имея хорошо меблированную квартиру, слуг, отличного повара, как у всех «богатых людей». Однако революция всколыхнула Ролана и его деятельную супругу. Госпожа Ролан восстановила в памяти увлекательные подробности переворотов Древнего Рима и Греции, перечла Плутарха, с энтузиазмом цитировала вновь Вольтера и Руссо, приказала прислуге называть себя «гражданкой». В обществе малоразвитых, хоть и богатых, фабрикантов, купцов и их жен, в большинстве полуграмотных и невежественных женщин, госпожа Ролан своею смелостью своих речей вызвала сначала большое недоумение. Ролан также пытался излагать прежние теории, по перешагнул теперь через Англию к Америке, законы и свобода которой казались ему достойными примерами для Франции. Его туманные рассуждения в кругу лионской буржуазии, еще не осознавшей своих желаний и требований, породили ему в первое время немало врагов. Подмечая враждебность, окружавшую в Лионе либерствующую чету, госпожа Ролан пишет об этом одному из своих друзей, парижскому врачу Лантенасу: «Мы — нигилисты, против которых разгорелась невероятная ярость. Блот накануне своего отъезда на последнем заседании совета очень старался получить место, чтобы не сидеть рядом с господином де Платнер. Даже у его жены вырвалось словечко по моему адресу, будто муж ее испортил себе репутацию из-за своего общения с моим мужем.

В первую минуту я задрожала от гнева, но скоро усмехнулась от жалости... Жалкие скоты, пугающиеся криков, которым становится страшно от угроз, для них мало спрятаться, им нужно еще отречься от единственного человека, достаточно смелого, чтобы выступать... Мы, однако, не отказемся от нашего метода, этот рев не доходит до меня, он вне моей сферы. Пусть покинут моего друга, он будет не один, я остаюсь с ним, а это чего-нибудь да стоит...»

Поведение госпожи Ролан действительно раздражало лионское буржуазное общество. Мужчины осуждали пафос и тон превосходства, усвоенный издавна Манон, женщины не прощали миловидной и очень заботящейся о своей внешности госпоже Ролан заносчивости «ученой умницы». Госпоже Ролан недоставало такта, скромности и простоты даже тогда, когда она нарочно старалась казаться демократкой.

Уже в Лионе окружающие посмеивались над Роланом, узнавая в его речах мысли жены. Манон, впрочем, никогда сама не подчеркивала своего влияния на мужа. Спустя несколько лет она будет писать по этому поводу: «О боже мой, какую скверную службу сослужили мне те, которые приподняли покрывало, под которым я предпочитала оставаться. В продолжение двенадцати лет моей жизни я работала вместе с моим мужем так же, как и она с ним, обе вещи казались мне одинаково естественными. Когда приводили какое-нибудь место из его работы, в котором находили больше стилистических прелестей, чем в других, когда хвалили какую-нибудь остроумную мысль, то я никогда не думала о том, что я их автор. Когда дело шло о том, чтобы высказать в министерстве крупную, резкую истину, я вкладывала в это всю свою душу; само собой разумеется, что у меня это выходило лучше, чем это удалось бы какому-нибудь кропотливому секретарю. Я любила свою страну, я поклонялась свободе, и никакие интересы, никакие страсти не могли во мне сравниться по силе с этой страстью: моя речь была ясна и патетична, так как это была речь от всего сердца. Важность предмета так захватывала меня, что я забывала о самой себе».

Передовые взгляды и главным образом служение деловым интересам лионских буржуа обеспечили инспектору мануфактур выборы в Учредительное собрание. Вскоре после возвращения Ролана из Парижа в Лион Учредительное собрание одним из декретов уничтожило должности

генеральных инспекторов, и Ролан оказался без работы; впрочем, долголетняя служба давала ему право на приличную пенсию. Необходимость хлопотать о пенсии помогла Манон, не допускавшей мысли об уходе Ролана «на покой», настоять на поездке в Париж; ей удалось добыть мужу почетное поручение в Национальное собрание. Старый Ролан, трясясь в дилижансе по пути в Париж, не раз вздыхал при воспоминании о тишине своего имения, где мог бы благодушно доживать старость. Не то думала Манон, и ее энергичный голос, прерывая дремоту утомленного мужа, возвращал его к действительности. Манон с воодушевлением поучала старика, давая ряд советов и указаний. Лишь революция могла осуществить ее честолюбивые замыслы, дать выход накопленной ею энергии, стремлению к первенству, и Ролан, прислушиваясь к речам Манон, понимал, что она не простила бы ему обманутых надежд.

Зимой 1791 года Роланы въехали в Париж и остановились в отеле «Британик». Немедля Манон приступает к осуществлению своих планов. Она твердо решает навсегда обосноваться в Париже, где только и возможно, по ее мнению, принять участие в «большой политике», вмешаться в ход событий и передать свое имя истории. Манон присматривается к происходящему, с удовлетворением отмечая, что восходящим светилом является жирондист Бриссо, с которым она состояла в давнишней переписке, хоть и не была лично знакома.

Одетая продуманно просто, гражданка Ролан отправляется на заседание Национального собрания, где просит представить ей Бриссо. Жена друга, знакомая по письмам, часть которых как образчик патриотизма Бриссо опубликовал в своей газете «Французский патриот», производит на наблюдательного и умного политика наилучшее впечатление. Бриссо принимает ее несмелые приглашения и, не раздумывая, обещает привести своих друзей.

Манон не стремится к славе «какой-нибудь сомнительной агитаторши из Пале-Рояля». Имена Теруань де Мерикур, Клер Лакомб, Олимпии Гуж, которыми гордится в те годы плебейский Париж, вызывают лишь презрение госпожи Ролан. Она свысока готова признать, что гражданка Теруань не лишена красноречия, и что Клер Лакомб с энтузиазмом борется за права женщин, и что

Олимпия Гуж неплохая публицистка, но «прошлое» этих женщин все-таки остается в глазах Манон позорным; к тому же Олимпия незаконнорожденная, и парижане знают, что она по безграмотности принуждена диктовать свои зажигательные статьи секретарю. Манон Ролан не хотела идти путями трех «героинь предместий», их лавры ей не были нужны. Она не компрометирует себя связью с женскими клубами, которые становятся союзниками крайних левых. Неизменными образцами для гражданки Ролан могли быть, конечно, только знатные афинянки и римлянки, вокруг которых собирались философы, мудрецы, правители. Имея все достоинства прекрасной Аспазии — подруги и жены Перикла, — госпожа Ролан считала, что обладает в то же время свободолюбием и волей спартанки. Создание влиятельного салона, где собирались бы все наиболее могущественные революционеры, — вот что было задачей Манон. Прельщенный грацией и красноречием моложавой жены Ролана, Бриссо решил помочь ей в этом. Салон к тому же был нужен будущим жирондистам: он облегчал им более тесный сговор, помогал сплотиться.

Приняв приглашение Манон, Жан-Пьер Бриссо привел в убранную цветами, книгами, изящными безделушками квартиру Роланов самых значительных руководителей партии Жиронды: упитанного, самонадеянного Петиона, стесняющегося, бледного Бюзо и говорливого Верньо, тонкого ценителя женской красоты и театра. Пришел и зачастил мало чем замечательный Боск, впоследствии один из наиболее верных друзей Манон, появились также Клавьер, Антуан.

У этих людей были трудолюбивые жены, равнодушные к политике, занятые детьми, хозяйством, домашними дрязгами и заботами; мужья тяготились их умственной посредственностью, и возможность бывать в гостеприимном салоне госпожи Ролан, естественно, привлекала их. Хотя посещения относились будто бы только к самому Ролану, Манон отлично понимала, что стоит ей перестать появляться в маленькой приемной — и кое-кто из этих многоречивых политиков не придет уже больше в отель «Британик».

Долго и упорно Манон добивалась знакомства с якобинцем Робеспьером, в котором учуяла большого политического деятеля. Однако Робеспьер уклонялся от встреч,

не чувствуя симпатии к Ролану и доверия к Бриссо. Робеспьер нелегко согласился прийти, но впоследствии бывал у Роланов. Его привлекала возможность быть в курсе последних событий.

Влияние жирондистов на судьбы Франции в конце 1791 и в начале 1792 года было значительным. Результаты выборов в Законодательное собрание создали для них благоприятнейшую расстановку сил в Собрании. Сторонники Бриссо — Ролана заняли первые посты в важнейших департаментах и муниципальных управлениях. Петион, горячего приверженца госпожи Ролан, избрали мэром Парижа 14 ноября 1791 года вместо Лафайета, слава которого поблекла. Даже в Якобинском клубе жирондисты чувствовали себя хозяевами.

Осень 1791 года Манон проводит в своем имении, откуда посылает Максимилиану Робеспьеру полное лести письмо, в котором есть такие строки: «В недрах столицы, очага стольких страстей, где ваш патриотизм вступил на столь же затруднительный, сколь почетный путь, вы, милостивый государь, не без интереса получите из глубочайшего одиночества написанное свободной рукой послание, продиктованное чувством уважения и удовольствия, которое испытывают люди чести при обмене мнений между собой. И если бы даже я познакомилась с ходом революции и с шагами законодательного учреждения только из газет, то я все же выделила бы маленькое число смелых мужей, постоянно оставшихся верными принципам, и из числа этих мужей — вас, чья энергия никогда не переставала оказывать величайшее сопротивление взглядам, козням деспотизма и интриге.

В моем уединении я с радостью буду знакомиться с продолжением ваших успехов; итак, я призываю вас к работе ради справедливости, так как обнародование истины, касающейся общественного блага, — всегда успех в добром деле. Если бы я предполагала только сообщить вам что-либо, то у меня не появилась бы мысль вам написать, но, не сообщив вам ничего особенного, я думала о том интересе, с которым вы услышите о двух людях, душа которых создана, чтобы понять вас, и которые желают выразить вам уважение, оказываемое ими лишь немногим людям, и привязанность, посвящаемую ими только тем, кто ставит выше всего славу быть справедливым, быть чутким».

Возвратившись в Париж, Манон застала своих друзей в безмятежном предвкушении власти, даже осторожный Бриссо считал, что политическая игра им выиграна. Под влиянием этого госпожа Ролан восторженно шла навстречу будущему. Скоро, думалось ей, не только набережная Часов, но и весь Париж заговорит о жене Ролана и друге великих деятелей революции.

Участившиеся в эту пору «приемы» в отеле «Британик» госпожа Ролан подробно описала сама: «Я жила в роскошном помещении, в хорошем квартале. Создалось такое обыкновение, что депутаты, собиравшиеся для совместного обсуждения различных вопросов, являлись ко мне два раза в неделю после заседания в Собрании и перед заседанием в клубе якобинцев. Я работала или писала, в то время как они рассуждали. Я предпочитала писать, потому что тогда казалось, что я совсем далека от их разговора, и в то же время я могла прекрасно вслушиваться в него. Я могу делать одновременно несколько дел и так привыкла писать письма, что это не мешало мне слушать разговор о чем-нибудь совершенно отличном от содержания моего письма. Мне кажется, что во мне две личности. Я могу разделить свое внимание, как материальный предмет, пополам и управлять обеими половинами, как будто я отдельное от них существо. Я помню, как однажды, когда эти господа оказались о чем-то различного мнения и спор их сделался очень шумным, Клавьер, заметив, с какой быстротой я пишу, довольно остроумно заметил, что только женщина способна на это и что все же ему это кажется удивительным. «Что же бы вы сказали,— улыбаясь, спросила я его,— если бы я слово в слово повторила вам те доводы, которые вы только что приводили?» Кроме обычных приветствий при появлении и перед уходом этих господ, я никогда не позволяла себе произносить ни одного слова, хотя часто мне приходилось сжимать губы, чтобы удержаться. Если кто-нибудь заговаривал со мною, то это бывало уже тогда, когда начинали расходиться и все вопросы были уже решены. Кроме графина с подслащенной водой, никаких напитков у меня не подавалось. Поведение Робеспьера на этих происходивших у меня собраниях было замечательным: он мало говорил, часто посмеивался, бросал несколько саркастических фраз, никогда не высказывал своего мнения».

Самым счастливым, таким долгожданным днем в жизни Манон было 21 марта 1792 года. Под вечер прозвучал резкий звонок у входной двери, и перед Роланом и его женой появились Дюмурье и Бриссо.

«Вы назначены министром», — скороговоркой пробормотал Дюмурье. Бриссо, ожидая выражения благодарности, теребил, улыбаясь, дырокопалую шляпу. Ролан хотя и знал об этом назначении и дал уже свое согласие, однако беспомощно и вопросительно посмотрел на жену, которая заметно напрягала волю, чтобы сдержать восторженный возглас. Хитрый Дюмурье, подкупленный двором, лицемер и предатель, показался Манон в эту минуту лучшим другом: ведь он был вестником удачи. Впрочем, не только Манон, но и Бриссо, и вся жирондистская пресса превозносили тогда Дюмурье, назначенного министром короля за несколько дней до Ролана, Клавьера и Дюрантона.

Радость Манон была приговором Ролану: об отказе от назначения (о чем он втихомолку мечтал) нечего было и думать.

Вот что пишет госпожа Ролан в мемуарах об этом событии: «Когда Ролан в первый раз явился ко двору в своем обычном одеянии, которое он давно носил из удобства, со своими редкими, просто зачесанными волосами, в круглой шляпе и башмаках, завязанных лентами, придворные лакеи, придававшие главное значение этикету, — в нем заключался весь смысл их существования, — смотрели на него с возмущением, даже с некоторого рода ужасом. Один из них приблизился к Дюмурье и, намор-щив лоб, шепнул ему на ухо, указывая на предмет своего возмущения: «Ваша милость: без пряжек на башмаках». Дюмурье с комической серьезностью воскликнул: «Ваша милость, все погибло!» Эти слова сейчас стали известны и заставили смеяться тех, кто менее всего был расположен к этому. Сам Людовик XVI, несмотря на несоответствующую этикету внешность, принял своего нового министра весьма радушно».

Вскоре Манон занялась переездом в редкий по богатству и пышности дворец министерства внутренних дел, где полагалось жить министру. Подготовляемая тщеславием, поднималась Манон по мраморным ступеням лестниц, проходила по пустым, слишком большим и глухим залам; запрокидывая голову, разглядывала фрески и лепных

амуров на потолках и стенах, трогала и гладила холодные колонны, любовалась собой в зеркалах, прижатых золотыми рамами, и слушала звон хрустальной бахромы венецианских люстр, которые вечерами, при свете свечей, казались разноцветными. В своих мемуарах госпожа Ролан не будет описывать ни прекрасного дворца, ни того удовлетворения, которое она, несмотря на свои «демократические вкусы», испытала, поселившись в нем. У нее хватило такта, чтобы не казаться смешной, тем более что набережная Часов была недалеко, да и роль знатной дамы сулила только преследования и издевательства. Манон Ролан и во дворце стремилась остаться все той же «благородной супругой добродетельного Ролана».

«Французский патриот» пером Бриссо после бегства короля в июне 1791 года из Парижа громогласно потребовал республики, и Манон, читавшая газету Бриссо ежедневно, спешит в своем салоне провозгласить патетический тост за друзей-республиканцев. Под ее влиянием Ролан соглашается издавать совместно с Кондорсе газету «Республиканец, или Защитник представительного правления», в которой агитирует за провозглашение республики. В предсмертных мемуарах Манон, чванясь своим республиканизмом, обвинит Робеспьера в том, что он не хотел низвержения монархии и после бегства короля в Варенн спросил насмешливо Петиона и Бриссо: «А что такое республика?» Манон Ролан умалчивает о догадках, возникших тогда же у Бриссо о том, что Робеспьер высказывается против республики «только из-за тайного расчета». В 1791 году утверждение власти крупной буржуазии, представителями которой были жирондисты, внушало серьезные опасения Робеспьеру, боявшемуся, чтобы республика, созданная ими, не обеспечила бы Жиронде слишком большого господства в стране. Департаменты получили бы тогда самостоятельность, Париж потерял бы свое решающее значение для федеративной Франции, и сенат — старая мечта американофила Бриссо — стал бы оплотом борьбы с подлинными демократами и крайними революционерами. Время для провозглашения республики, как думал Робеспьер, еще не настало. Он не ошибался, разглядев сквозь завесу фраз и демагогии истинные стремления жирондистов. Очень скоро бриссотинцы открыли карты; поняв, что республика сможет оказаться полезной не только для крупной торговой и промышленной

буржуазии, они умерили настойчивые домогательства сверженния короля.

Два раза в неделю за обеденным столом министра Ролана появляются приглашенные. Только иногда Манон допускает и женщин; тогда это — госпожа Петион, отвечающая невпопад, и тучная госпожа Бриссо, деятельная мать многочисленных детей. Именно госпожа Петион и госпожа Бриссо обостренным женским нюхом учуяли первые, что особой симпатией Манон дарит видного жирондистского депутата Бюзо. Нервный, подвижный, сентиментальный, демагог по натуре, он привлекал ее полной противоположностью Ролану. Вот характерные отрывки из автобиографии Бюзо, где он пытается обосновать свое мировоззрение:

«От природы одаренный независимым характером и мужеством, не позволявшими подчиняться чьему бы то ни было приказу, как мог я примириться с мыслью о наследственном короле и непогрешимом человеке? Мой ум и сердце были полны историей Греции, Рима и тех знаменитых людей, которые в этих древних республиках более всего любили человеческий род; я с раннего детства пропикся их принципами. Я был поглощен изучением их добродетелей». «...Никогда распутство не запятнало моей души своим нечистым дыханием, кутежи всегда внушали мне отвращение, и вплоть до моего нынешнего зрелого возраста бесстыдная речь никогда не загрязняла моих губ». «С таким характером и такими наклонностями я сделался участником революции и Учредительного собрания».

«Я пользовался всеобщим признанием и почетом, но скоро я узнал, что не все в своей деятельности отрешаются от соображений личного интереса. Я снова замкнулся в себе и только к концу опять выступил; я сделал это тогда, когда заметил, что число истинных патриотов необычайно уменьшилось и, может быть, уменьшится еще, если я буду долее хранить молчание. Я был горячим противником королевской власти, особенно после бегства короля. Когда заседания Учредительного собрания пришли к концу, я вернулся в Эвре, где делал все, что было в моих силах». Так Бюзо пытался изображать из себя подлинного патриота и республиканца. Фактически это был честолюбивый славолюбец и фразер.

Запоздалая первая любовь, любовь к Бюзо, ворвалась в размеренную жизнь Роланов, неся всем огорчения и муку. Надуманно усложненные принципы Манон и большие требования, которые она предъявляла к себе, не позволяли ей согласиться на измену мужу. «Сестра Гракхов», жена «героя» не могла идти по стопам тех, кого так язвительно сама высмеивала. Наставлять рога мужу было достойно женщин старой знати, какой-нибудь Марии-Антуанетты и ее фавориток, но уж никак не «королевы Жиронды» — так все чаще называли жену Ролана.

Тщательно проследив и проанализировав свои чувства, Манон посвятила во все добреющего с годами Ролана, который покорно изображал государственного мужа, не имея других желаний, кроме желаний жены. Признания Манон потрясли доселе уверенного в жене супруга. Бюзо был молод, любил и был любим. Легко доступный развод не мог стать препятствием для сближения. Но Манон не признавала для себя «легкого пути», она осталась с Роланом, обещая, что любовь к Бюзо будет «чистой». Госпожа Ролан продолжает встречи и переписку с «возлюбленным Бюзо», благодаря которому может зорко следить за политической игрой жирондистов и влиять на решения Конвента. Ленивый Бюзо, уступая непреклонной воле Манон, участвует в работе Конвента, вербуя сторонников бриссотинцам, и истерическая вспыльчивость его превращается в полезное орудие политической борьбы. Бюзо предан и послушен Манон, как Ролан, и она платит ему за это рассудочной любовью и ловкими похвалами в своем салоне. Манон Ролан принадлежат нижеследующие строки о Бюзо:

«Природа наделила его любвеобильной душой. Его чувствительность заставляла его предпочитать тихую, уединенную, добродетельную жизнь; сюда присоединялась склонность к меланхолии как результат сердечных огорчений. Обстоятельства ввергли его в поток политической жизни».

Вмешательство Манон в дела мужа и Бюзо и ее часто вредное влияние не могли укрыться от парижан. Пока партийная борьба не обострилась, это вызывало только насмешки, но когда внутренние распри усилились, имя Манон все чаще стало произноситься вперемежку с руганью, как имена аристократок старого режима. Слишком часто на государственные дела Франции опасно влияли

женщины; жестокая любовница Людовика XV Помпадур, мотовка Дюбарри, «австриячка»-королева и ее подруги были еще чересчур болезненно памятны народу.

Манон, нигде не отстаивающая открыто своих взглядов, почти незриман, но плетущая пропитанное ядом кружево закулисных интриг, становилась врагом революционных предместий, ненавистным даже больше, нежели старик Ролан.

Великолепная речь Робеспьера в Конвенте сдернула покровы, прикрывавшие сложную политическую затею жирондистов, стремившихся войной укрепить свою мощь, отвлечь бедняцкие слои от крайних революционеров, сократить безработицу вербовкой в армию, расширить торгово-политическое влияние Франции. Робеспьер говорил:

«Я тоже требую войны, однако под условием, относительно которого мы, несомненно, все согласны, ибо я не хочу думать, что сторонники войны намерены нас обмануть. Итак, я требую войны не на живот, а на смерть, героической войны, такой войны, какую свобода объявляет деспотизму, такой войны, которую умеет вести сам революционный народ во главе с собственными вождями, а не такой войны, какой хотят интриганы...

Но где же у нас генерал, непоколебимый защитник народных прав, прирожденный враг тиранов, который никогда не вдыхал бы отравленного придворного воздуха?.. Или мы, готовясь ниспровергать троны, должны выжидать, когда-то прикажет нам военное министерство, должны ждать, когда-то двор подаст нам знак? Патриции, эти вечные любимцы деспотизма, должны вести нас на войну, которая направлена против аристократов и королей? Нет! Мы хотим один вступить в борьбу, мы хотим сами повести себя. Сторонники войны, с этим, однако, не согласны. Вот господин Бриссо, — он заявляет, что всем делом должен руководить господин граф де Нарбонн, что только под командой господина маркиза де Лафайета можно предпринять поход и что единственно исполнительной власти принадлежит право вести нацию к победе и свободе...

Тот способ, каким господин Бриссо и его друзья проповедуют нам доверие к исполнительной власти, то, как они стараются об общественном благорасположении к генералам, доказывает только одно: революция отняла у них уверенность, бдительность и энергию».

Война с Австрией была объявлена правительством 20 апреля 1792 года; французский народ решительно выступил на защиту своих демократических завоеваний. Вся тяжесть военных лишений легла на плечи трудящихся. Росла дороговизна, все сильнее сказывалась нехватка продуктов, росло недовольство беднейших слоев населения, до предела обострялась борьба классов. Назревали решительные события. И вот в ночь с 9 на 10 августа над Парижем загудели колокола. В ответ на колокольный звон в районных секциях стал собираться народ. Вооруженные отряды двинулись к Тюильри. Комиссары секций провозгласили себя Революционной коммуной и возглавили движение масс. У дворца короля завязался бой между восставшим народом и отрядом наемных швейцарцев. Революционная коммуна возглавила восстание и привела его к победе. Члены Коммуны в Законодательном собрании от имени победившего народа продиктовали свою волю — Людовик XVI лишался трона. Коммуна своей властью арестовала его и заключила в замок Тампль. Старые министры короля были уволены, и Собрание назначило новое министерство (Временный исполнительный совет). В своем большинстве Совет состоял из жирондистов. Туда входят Ролан, Моник, Клавьер, Серван, Лебрен, из монтаньяров в его состав был введен лишь один Дантон. Второй прыжок к власти уже не принес Манон былой радости: Ролан является мишенью нападок слева. Она плачет от бессилия, услышав слова Дантона о Ролане: «Франции нужны министры, которые не смотрели бы на все глазами своей жены» — глазами Манон. Ничто не могло бы оскорбить ее больше. Много ли у Франции таких восторженных, наблюдательных, таких умных глаз! Конечно, эти заносчивые господа не в состоянии ее понять! Манон утешается размышлениями о ничтожестве окружающих. «Ограниченность, — не раз восклицает она презрительно, — превосходит все, что можно себе представить. И это на всех ступенях общества, начиная с приказчика и кончая министром, военным, которому приходится командовать армиями, посланником, созданным для роли торговца». Только трое: муж, возлюбленный Бозо и Бриссо, мысли которого повторяет, считая своими, Манон, только трое пользуются ее уважением. Но эти трое не в силах оградить Манон от насмешек, от презрительных выпадов, и госпожа Ролан, сжигаемая жаждой

мести и власти, решает действовать. Она больше не хочет, считает даже преступным молчать, занимаясь «женскими делами» за своим столиком во время мужского спора. Она решительно вмешивается отныне в разговоры, разжигает партийные страсти, требует от друзей действенной энергии, следит за каждым шагом Конвента, репетирует с Бюзо его речи, дает формулировки Бриссо для «Французского патриота». Госпожа Ролан борется, как может, за влияние и мощь Жиронды. Монархисты ей пока чужды.

В сентябре 1792 года Париж был потрясен известием о сдаче Вердена. Коммуна приступила к набору армии. Снова загудел набат, выбивали дробь барабаны. Революционная коммуна призывала: «К оружию! Враг у порога!»

В то же время по Парижу поползли слухи о заговоре контрреволюционеров, заключенных в тюрьмах, об ударе, который они нанесут, когда парижане уйдут на фронт. В порыве негодования народ и добровольцы бросились к парижским тюрьмам и казнили контрреволюционеров. Позднее жирондисты сочинили легенду о «сентябрьских убийствах», обвиняя в них якобинцев и многократно преувеличивая число казненных, но в сентябрьские дни не только якобинцы, но и жирондисты не могли обвинить народ: стихийная месть народа была проявлением самозащиты революции против подготовлявшегося мятежа контрреволюционеров.

Тогдашняя жирондистская пресса вполне отражает настроения госпожи Ролан, а эта пресса нисколько не возмущается кровавыми событиями в тюрьме, где пострадали аристократы и духовенство — союзники наступающих армий монархической коалиции.

Третьего сентября, когда в монастыре Сен-Жермен де Пре, то охая, то ругаясь, тюремщики смывают кровь с пола и подбирают последние трупы, чтобы угрюмо бросить их на дроги, Манон в последний раз осмотрит в большом трюмо свой туалет. Она заколет с умелой небрежностью косынку поверх светлого платья, разовьет локон над ухом, поправит фижму, слегка набелит подбородок и лоб, оттеняя легкий слой румян. Ей уже тридцать восемь лет, но годы не портят ни лица, ни чуть полной, гибкой фигуры. Осмотрев себя со всех сторон, чуть нахмурясь, госпожа Ролан зайдет к своей дочери Евлоре, погладит ее по волосам,

не пагибаясь, чтобы не испортить линию корсажа, скажет несколько поучительных слов смущенной гувернантке, быстро пройдет, вдыхая запах духов, в большую столовую, где скромно, но красиво убран стол. В этот день Ролапы дают большой обед. Поздно вечером, когда гости разойдутся, Манон, долго раздеваясь, будет с удовольствием вспоминать «удавшийся» прием, оживленные разговоры, шутки, смех, каких не было уже так давно в эту все более тревожную пору. О народной расправе с аристократами, происшедшей накануне, Манон, быть может, вспомнит мельком, повторяя слова своих друзей, что пролилась кровь «негодяев».

Ненависть к королю, которую так любила подчеркивать госпожа Ролан, ко времени суда над ним значительно ослабеет, и смерть Людовика XVI даже огорчит «пеструю республиканку». Один из ее друзей, контрреволюционер Лафатер, из укрывшей его Швейцария в начале 1793 года прислал Манон письмо, вполне совпадающее с ее настроениями.

«Только что получил ваше письмо, моя добрая Ролан, ваш портрет и много печатных произведений, которые я буду читать при первой возможности. Спешу сообщить вам, что все люди чести восхищаются вашим славным мужем и гнушаются интригами и коварством против него. Душа моя несказанно уязвлена смертью короля. Я не осмеливаюсь и не могу выразить мою горесть и мои опасения. О мой добрый друг, свобода, которую вы хотите обрести путем самого холодного и самого вычурного деспотизма, ускользает от вас, и стократное несчастье падает на головы тех, которые так злоупотребляют как предрассудками, так и несдержанностью народа.

Придите к нам, если Франция, которая недостойна вас, вас отвергает».

В это время нападки прогрессивной прессы на жирондистов усилились. Газета «Отец Дюшен» не щадила при этом и чету Роланов. «Несколько дней тому назад, — вещала в одной из своих статей газета, — депутация... из полдюжины санкюлотов явилась к этой старой развалине (рогоносцу Ролану); к несчастью, они попали туда во время обеда. «Чего вы хотите?» — спросил у них швейцар, остановив их в дверях. «Мы желаем поговорить с добродетельным Роланом». — «Здесь совсем нет

добродетельных», — отвечал толстый страж, очень упитанный, хорошо выбритый, протягивая руку за взяткой.

Наши санкюлоты прошли по коридору и вошли в прихожую добродетельного Ролана. Они никак не могли протолкаться сквозь толпу слуг, наполнявших ее.

Двадцать поваров, нагруженных самыми изысканными фрикасе, кричали во все горло: «Пропустите, пропустите, дайте дорогу: это соуса добродетельного Ролана»; другие кричали: «Дорогу жаркому добродетельного Ролана»; еще другие: «Пропустите закуски добродетельного Ролана»; другие еще: «Вот пирожные добродетельного Ролана». «Чего вам надо?» — спросил у депутации лакей добродетельного Ролана. «Мы хотим поговорить с добродетельным Роланом».

Лакей идет сообщить эту новость добродетельному Ролану, который появляется нахмуренный, с полным ртом и салфеткой в руках. «Наверное, республика в опасности, — говорит он, — что вы побеспокоили меня во время обеда». Ролан провел гостей в свой кабинет; он помещался рядом со столовой, где находилось более тридцати блюдолизов.

На почетном месте, справа от добродетельного Ролана, сидел Бассатис, а слева маленький Луве, со своей картинной физиономией и впалыми глазами, с вожделением смотрел на супругу добродетельного Ролана. Один из членов депутации хотел пройти по темной лакейской и уронил десерт добродетельного Ролана. Узнав о гибели десерта, жена добродетельного Ролана в гневе сорвала с головы свои фальшивые волосы».

Как относилась Манон к доносившимся до нее злобным отзывам парижского «простонародья»? Верная служанка Роланов не раз плакала, возвращаясь с базара, где торговки насмехались над ее господами. Но Манон, выслушивая пересказы, только поджимала сухие, недобрые губы, охваченная презрением к невежественной «черни», не заслуживающей «свободы». Особенно изумляла госпожу Ролан нечуткость народа, осуждавшего ее «вечера», на которых хозяйка салона, отрывая розы от атласного корсажа, бросала лепестки в бокалы гостей жестом, достойным римской патрицианки.

В том же смутном 1793 году Ролан ушел в отставку. Борьба в Конвенте между Жирондой и якобинцами неудержимо разгоралась: заседания Конвента становились

бурными. Все, в чем были виновны бриссотинцы с давних пор перед французской революцией, с особой ожесточенностью им припоминалось. Трусость во время расстрела на Марсовом поле, двусмысленные переговоры со двором и участие в интригах короля, предательство генералов, ставленников Жиронды, колебания во время процесса Людовика — все это выставлялось как пункты обвинительного акта. Жирондисты не оставались в долгу, изрыгая убийственную клевету на Гору, ведя остервенелую агитацию в газетах и клубах. Они не только оборонялись, они активно нападали.

Непопулярность жирондистов проявлялась в Париже на каждом шагу: в секциях, на окраинах, в Конвенте. Тщетно педантичный Ролан в течение четырех месяцев восемь раз обращался с требованием рассмотрения его отчета — ему не давали слова.

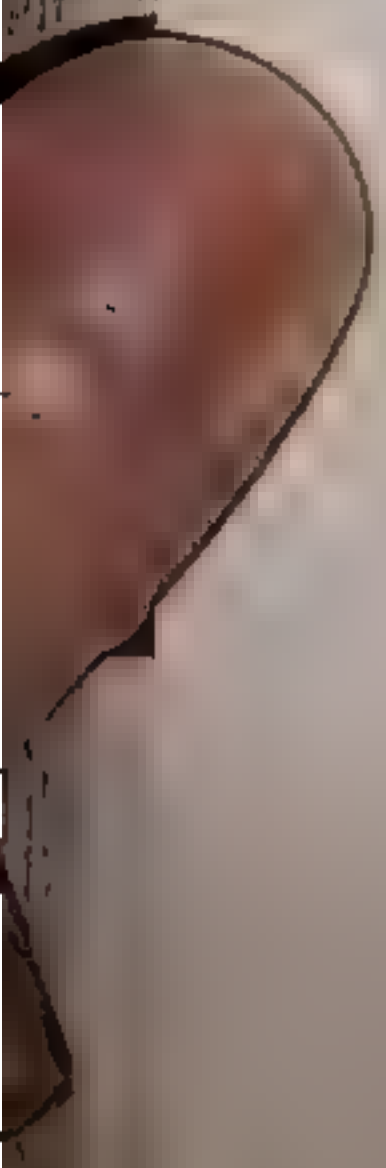
Манон, оставившая пленительный министерский дворец, опять очутилась в скромной квартирке, напоминавшей ей отель «Британик», но как непохоже было теперь все вокруг на безмятежное недавнее прошлое. Госпожа Ролан не обманывала себя и, видя, насколько далеко зашли разногласия, понимала, какой грозный и решающий бой ждет ее партию. Ее малолюдный теперь салон превращается в руководящий штаб жирондистов. Лишь когда отчетливо обрисовались контуры грядущего поражения и надвинулся разгром, госпожа Ролан принялась за организацию отступления и ухода в подполье. Неутомимо она хлопочет об убежище на случай надобности для друзей и о разрешении на выезд в свое имение для мужа и дочери. Неожиданная болезнь — несчастливая помеха — обрывает ее приготовления.

В Конвенте весной 1793 года партийная борьба была уже накануне развязки. Отклонение жирондистами прогрессивного подоходного налога вызывает волнение и ярость против них в рядах мелкой буржуазии и рабочих, но, не считаясь с волей масс, жирондисты продолжают выступать также и против «максимума» — предельной цены на хлеб, которой добивается голодный парижский люд во главе с Горой. Бедняк — творец революции, участник кровавых восстаний, отдавший детей на войну с Австрией и Пруссией, не ощутивший все еще облегчения от им созданного политического строя, — обрекался жирондистами, защищавшими свободу торговли, на голод.

Это превосходило терпение народа: слово «бриссотинец» звучало как «предатель».

Но, невзирая на ропот народа и растущую свою непопулярность, жирондисты 2 мая 1793 года опять пробуют выступать, надеясь на поддержку провинций, против большинства Конвента, утвердившего принудительный заем для борьбы с контрреволюцией в Вандее. Они возражают против выдачи пособий семьям солдат и образования запасов муки. Распределялся заем среди парижан, имевших доход более тысячи ливров, что наиболее раздражало жирондистов и объявлялось ими актом «несправедливости» по отношению к зажиточному населению. Эта последняя «ошибка», то есть верность классу, которому служили жирондисты, была ближайшей причиной их низложения.

Накануне разгрома Манон заболела. Ее посещали немногие, в числе которых Бюзо, все более близкий и любимый. Несмотря на волнения и гнетущие предчувствия надвигающейся катастрофы, Манон охвачена неудержимым любовным порывом к тому, кто мог бы стать ее любовником. «Было бы приятно,— пишет Манон, отвлекаясь от суровой действительности,— если бы такое расположение совпало с долгом: не дать погибнуть бесполезно тому, что еще осталось. С каждым днем становится труднее владеть своим сердцем и употреблять атлетические усилия для того, чтобы защитить свой зрелый возраст от бури страстей». Она напрасно боялась за слабоволие и податливость своих тридцати восьми лет. Эпоха, в которую она жила, ворвалась в ее жизнь и определила ее будущее. 31 мая ушли с исторической сцены жирондисты и с ними их «королева».



В день восстания парижского народа против бриссотинцев Манон, впервые после долгого времени, проснулась утром, чувствуя себя выздоровевшей. Главной заботой ее было устроить отъезд семьи в глушь, казавшуюся, по контрасту с бурным Парижем, обетованным уголком, сулящим покой и счастье. Но едва Манон оделась, дала кофе, привела в порядок бумаги и безделушки в спальне и в гостиной, как прислуга вбежала, чтобы предупредить госпожу об уличных толках и откровенных угрозах, раздававшихся с особой настойчивостью по адресу «рогоносца» Ролана и бриссотинцев.

Дальнейшее надвинулось с неотвратимой быстротой. Где-то вдали раздался набат, потом прогудели сигнальные пушки. Точно так начинались все великие «праздники» революции, в которых раньше участвовала с энтузиазмом и Манон. Подобрав юбку обеими руками, как для менуэта, Манон бросилась к окну, зная наперед, что увидит сейчас, как по узким улицам нестрой лентой проносятся мгновенно вылезшие из домов, лавок, подворотен люди. Торговки, фруктовщицы, подняв руки, будут потрясать корзинами, бессвязно выкрикивая ругательства; мужчины, женщины, дети, опрокидывая сорные ящики, скамейки, встречных, побегут в свои секции, в парижскую Коммуну, к Конвенту, сжимая кулаки, заражаясь друг от друга жаждой мести, готовые немедленно к бою с врагом. Вся дрожа, Манон ловила угрожающие восклицания толпы, все еще гоня от себя страшное предположение. Уловив имена своих друзей, она, ослабев, ушла от окна, теряя последние обнадеживавшие сомнения. Народ требовал жирондистов к ответу. Когда улица притихла, кое-кто из друзей пришел к Манон сообщить невеселые новости.

В пятом часу следующего дня в квартиру Манон, стуча саблями и ружьями, пришел патруль с ордером Революционного комитета на арест Ролана. Прочитав приказ, Ролан заявил, что ордер не исходит от законной власти, и отказался идти в тюрьму. Не имея разрешения применять насилие, вооруженные санкюлоты отправились в общинный совет за дальнейшими указаниями. Едва затихли шаги, Манон, рассчитывая на уцелевшие еще связи, решает отправиться в Конвент, надеясь спасти Ролана от ареста. Дворец Тюильри полон вооруженных людей. В узкий коридор из зала заседания Конвента доносится до Манон, точно грозный рокот морского прилива, гул голосов. Хитростью и ложью Манон добивается вызова Верньо, но этот еще недавно уверенный в себе, неотразимый оратор Жиронды не берется огласить в Конвенте письмо об аресте Ролана, ссылаясь на то, что его не станут слушать. Не видя спасения, Манон бросается домой, чтобы помочь мужу бежать.

Поздно вечером, когда депутация общинного совета вновь пришла арестовать Ролана, он был уже вне дома; на этот раз арестовали Манон. С полуночи до семи часов утра тянулась томительная процедура обыска и опечатывания

вещей. Попрощавшись с дочерью и слугами, Манон вышла под конвоем из дома. У подъезда до извозчичьей кареты шпалерами вытянулись вооруженные секционеры. Несколько женщин, узнавших Манон, проводили карету криками: «На гильотину!»

В тюрьме Аббатства, куда привозят Манон, вежливый тюремщик предлагает ей, ввиду отсутствия свободных мест, провести день в одной из комнат его квартиры. Жена его, расторопная и чувствительная женщина, спрашивает арестованную, какой завтрак она желала бы получить. Государство отпускает узникам только порцию бобов и 200 граммов хлеба в день, но оставляет им возможность питаться на свой счет, отчего еда арестованных вполне соответствует их достатку и привычкам. В первый день пребывания в тюрьме утомленная и обеспокоенная Манон просит только «воды с сиропом».

К ночи тюремщик перевел госпожу Ролан в маленькую камеру, под окошком которой находились часовые, до рассвета нарушавшие сон Манон традиционными «кто идет?», «стреляй, патруль!». Эти крики учащались, и караулы усиливались в напряженно тревожные ночи.

Сумрак и холод тюрьмы угнетают Манон, и, желая сохранить бодрость духа, она пытается сделать камеру похожей на жилую комнату. Большие яркие букеты цветов должны скрасить хмурые, холодные стены, на столе, прикрытом старенькой скатертью, на табуретке, на подоконнике Манон раскладывает книги, безделушки и туалетные принадлежности. Благодаря тюремщику и его жене Манон часто видится с друзьями, оставшимися на свободе, и переписывается с родными. Наибольшее участие проявляет верный друг Бош, устроивший в предательской Романам семье их дочь Евдору. Из газет Манон узнала об аресте двадцати двух жирондистов. В безграничном отчаянии она вскричала: «Отечество мое погибло!» Только уверенность в том, что Ролан, Бюзо и другие жирондисты, бежав из Парижа, находятся вне опасности, придавала ей твердость. О себе Манон вначале не беспокоилась и старалась держаться с вызывающим «спокойствием невинности».

Уверенная в скором освобождении, госпожа Ролан требует от министра юстиции «применения к ней закона», и в ответ 12 июня ее наконец допросил полицейский комиссар. Он рассеянно выслушал возмущенные доводы и

многословные возражения Манон, не объясняя причины ареста. Во время следующего допроса грубоватый комиссар, которому надоела болтовня этой женщины, потребовал, чтобы она отвечала только «да» или «нет». Ей было заявлено, что тюрьма не министерская квартира, чтобы щеголять «умом». Допрос, продолжавшийся несколько часов, протекал в столь резком тоне, что Манон внезапно поняла, какое наказание ей угрожает. Уходя с допроса, она гневно сказала: «Как мне вас жалко. Я прощаю вам даже вашу грубость. Вы можете послать меня на эшафот, но не можете лишить меня той радости, которую доставляют чистая совесть и убеждение, что потомство отомстит за Ролана и меня, обвинив наших преследователей в подлости».

В той же тюрьме Аббатства Манон Ролан начала писать мемуары, составившие впоследствии четыре тома и изданные тотчас же после падения Робеспьера ее уцелевшими друзьями. В своих записках она старается охарактеризовать деятелей революции, посещавших ее салон, и события минувших лет. Беспристрастность не могла быть доступна узнице, недавно еще бывшей, по ее же выражению, «на троне». Озлобленная гонениями, она ехидно осуждает якобинцев и восхваляет своих единомышленников.

Спустя четыре недели после ареста, 27 июня, Манон была выпущена на свободу, но двумя днями позже снова арестована и посажена в тюрьму Сен-Пелажи. В тюрьме Сен-Пелажи госпожа Ролан живет почти так же, как и в тюрьме Аббатства. Кроме мемуаров и обширной переписки с Бюзо и друзьями, она занята рисованием и чтением; как и прежде, «Герои» Плутарха постоянно лежат на ее столике. Наибольшим огорчением жены «добродетельного» Ролана в Сен-Пелажи было соседство проституток, воровок, фальшивомонетчиц. По утрам, когда тюремные камеры открывались и страж выпускал визжащих, цинично ругающихся женщин в общий коридор, куда выходили также арестованные мужчины, Манон пряталась в своей камере, оскорбленная «таким обществом» и непристойными словами, которые раздавались вокруг нее. Она не раз обдумывает возможность самоубийства, но оставляет эту мысль, не желая дать «клеветникам мужа новое оружие в руки». В дневнике Манон пишет: «Я возвеличу его славу, если только решатся

призвать меня в Революционный трибунал». Постепенно «презренные» соседки перестают так болезненно раздражать Манон. Она находит даже некоторое удовольствие в том, чтобы вести с ними поучительные беседы, вызывающие их недоумение и невольное уважение к «ученой гражданке».

Преданные друзья — Боск, Гранпре, Шамианье — по-прежнему приносили в тюрьму цветы из ботанического сада, письма и газеты. Добрая жена тюремщика, с которой умела ладить Манон, как раньше в тюрьме Аббатства, на день часто приглашала ее в свою светлую квартирку, где на старинном клавесине узнице разрешалось наигрывать несложные мелодии, выученные в монастыре.

В день казни Бриссо — наиболее жуткий день в жизни госпожи Ролан, когда и для нее умерла надежда, — Манон перевели в тюрьму Консьержери, имевшую страшную славу «прихожей смерти». В Консьержери ее камера была зловонна и темна, как могила. Смерть надвигалась, и Манон всюду чувствовала ее мучительное соседство. Незачем было больше сдерживать обильные слезы горечи и боязни. Тюремщик, свидетель предсмертной дрожи и отчаяния Манон, равнодушно задвигал ежевечерне засов одиночной камеры, в которой по целым дням плакала ослабевшая женщина.

Вызов в Революционный трибунал приближался, допросы участились. Госпоже Ролан предъявили обвинение в сношениях с бежавшими депутатами-жирондистами, объявленными вне закона. Напрягая остаток воли, она старалась казаться сильной. От печали и физического страха перед небытием Манон отрывали только заботы об умелой и красивой защите на суде. Превыше всего эта женщина до последней секунды жизни ценила точную фразу и выразительную позу. Вот отрывки из речи, которую она подготовляла в ожидании суда:

«Предъявленное мне обвинение основывается исключительно на мнимом соучастии в деянии тех людей, которых называют заговорщиками. Мои дружеские отношения с немногими из них не имеют ничего общего с теми политическими событиями, благодаря которым они теперь считаются достойными наказания.

Я не сужу о средствах, к которым прибегали осужденные, я не знаю этих средств, но я ни за что не поверю

в злые намерения тех, чью честность и гражданскую доблесть, чью великодушную преданность отечеству я воочию видела. Если они заблуждались, они это делали с искренней верой, они побеждены, но не унижены, они в моих глазах несчастны, но не виноваты. Если я, сохраняя к своим друзьям добрые чувства, виновна, то я объявляю себя таковой перед всем миром. Я не беспокоюсь за их славу и охотно соглашусь разделить с ними честь быть угнетенной их врагами. Я видела этих людей, которых обвиняют в заговоре против отечества. Это были решительные, но гуманные республиканцы, которые были убеждены в том, что нужны хорошие законы для того, чтобы республика ценилась теми, кто сомневается в ее жизнеспособности, а это, право, труднее, чем казнить их. История всех времен доказала, что требуется большой талант для того, чтоб хорошими законами направить людей на путь добродетели... Я слышала, как они утверждали, что достаток и счастье могут проистекать только из справедливой, благотворной и охраняющей граждан государственной конституции, что могущество штыка может только внушить страх, но не может доставить хлеба. Я видела их одухотворенными горячей заботой о благе народа, они гнушались льстить народу и были готовы скорее пасть жертвами его заблуждения, чем обманывать его. Сознаюсь, что эти принципы и это поведение казались мне совершенно непохожими на принципы и поведение тиранов и честолюбцев, которые стараются нравиться народу, чтобы поработить его.

Как друг свободы, ценить которую меня научили размышления, я с восторгом приветствовала революцию, убежденная, что она означает эпоху падения господства произвола, который я ненавижу, эпоху уничтожения злоупотреблений, по поводу которых я так часто вздыхала, тронутая судьбой обездоленных классов. Я с интересом следила за успехами революции, я принимала горячее участие в беседах об общественных делах, но я никогда не выходила из границ, положенных мне моим полом. Кое-какой талант, достаточное философское образование, мужество, которое встречается гораздо реже и которое позволяло мне во время опасности поддерживать мужество моего супруга, — вот то, что, вероятно, втайне хвалили те, которые меня знают, и что создало мне врагов среди тех, которые меня не знают.

При моем мужестве мне было очень легко избежать следствия, которое я предвидела, но я считала более достойным подвергнуться ему. Я считала себя обязанной перед моим отечеством подать этот пример, я думала, что если меня осудят, то следует предоставить тирании совершить такое ненавистное дело, какова казнь женщины, единственная вина которой состоит в том, что она обладала некоторым талантом, которым она никогда не гордилась, большим желанием служить благу человечества, мужеством не отрекаться от своих друзей и рисковать жизнью за свою честь. Души, обладающие некоторым величием, умеют забывать о себе; они чувствуют, чем они обязаны человечеству, и видят себя лишь в зеркале будущих поколений».

Манон Ролан верна себе и снова стремится возвысить и обелить перед судом истории не только себя, но и партию, идейным вдохновителем, часто незримым, которой она была. Однако она умалчивает о том, что, если бы победа оказалась в руках Жиронды, народные массы Франции вряд ли получили бы много больше, чем давала им абсолютистская власть монархии. Недаром народ Франции так ненавидел бриссотинцев и жену «рогатого» Ролана. Высшей, кульминационной точкой подъема великой революции французов был период власти якобинцев, а они-то в глазах мадам Ролан являлись злейшими врагами всех замыслов ее лично и жирондистов.

Накануне суда и казни Манон писала Бюзо:

«Пребывай еще в этом мире, не сетуй, если для чести существует убежище, оставайся, чтобы изобличить несправедливость, изгнавшую тебя. Но если упорное несчастье приковывает к твоим пятам врага, то не потерпи, чтобы против тебя поднялась наемная рука, умри свободно, как жил ты свободно, и пусть эта благородная храбрость, мое оправдание, через этот твой поступок будет и твоим оправданием».

Восемнадцатого брюмера II года (8 ноября 1793 года) в холодное бессолнечное утро на дворе тюрьмы Консьержери подле решетки столпились арестованные, ожидавшие в каменном безмолвии решения своей участи. Официальный «крикун», вызывавший ежедневно заключенных в суд, хрипло прокричал: «Гражданка Ролан». Она знала зара-

нее, когда это наступит, и стояла у решетки неестественно прямая и напряженная. Впервые надетое белое кисейное платье было так же нарядно, как те, что она надевала к министерскому обеду. Волосы, слегка завитые на висках, распущенные по плечам, молодили лицо. Маленькая шляпка-чепчик, модная во II год Республики, дополняла убранство.

Услышав свое имя, Манон, слегка наклонившись, подхватила шлейф и, обернувшись, слишком громко сказала несколько любезных слов окружающим, которые бросились к ней, охваченные безграничным ужасом и в то же время еле скрываемой радостью оттого, что каждому из них еще на день продлена жизнь. Улыбаясь, она вышла за ворота тюрьмы. С ней рядом в Революционный трибунал ехал полумертвый от страха Ламарк, ведавший напечатанием ассигнатов и обвиненный в измене. Оба эти человека предназначались гильотине одновременно.

Несколькими часами позже Манон была приговорена к смерти. В прениях суда ей не разрешили участвовать, и заготовленная речь осталась непроизнесенной. Революционный трибунал знал, что перед ним непримиримый и опасный враг, и был беспощаден к этой одаренной женщине, которая, оставаясь в тени, так умело руководила политической борьбой жирондистов, превратившихся во врагов революции. Не дослушав смертного приговора, госпожа Ролан вскричала: «Вы считаете меня достойной разделить участь великих мужей, убитых вами. Я вас благодарю и вместе с тем уверяю, что я постараюсь на пути к эшафоту показать то же мужество, что и они». Она напомнила о хладнокровии двадцати двух жирондистов, умиравших с пением «Марсельезы».

В пятом часу повозка палача повезла ее на площадь Революции, рядом с ней был опять Ламарк; он дрожал, метался, плакал, вызывая насмешки равнодушного палача. У Манон хватило сил обратиться к Ламарку со словами утешения и ободрения. Только раз по пути на гильотину речь ее беспомощно оборвалась на полуслове: покачиваясь и дребезжа, тележка проезжала тогда по мосту над Сеной, вдали показалась набережная Часов и дом с узеньким окном, похожим на бойницу. Воспоминания, сожаления, тени детства окружили Манон лишь на мгновение: площадь Революции и гильотина, скрытая гипсовой статуей Свободы, были совсем близки.

На улице Сент-Оноре вслед за тележкой двинулись немногочисленные любопытные. Интерес к зрелищам казней притуплялся. Прохожие равнодушно выслушивали имена смертников. В толпе Манон искала неотступно идущего Боска, который не отрывал от нее, как от святой, идущей на Голгофу, мокрых восторженных глаз. Рискуя быть опознанным, Боск пришел в город, покинув хижину близ Парижа, где скрывался.

У помоста гильотины палач придержал лошадь, и осужденным помогли спуститься. Манон, все еще ободрявшая Ламарка, сказала ему заботливо: «Взойдите первым, у вас не хватит сил перенести зрелище моей казни». Ожидая своей очереди, она попросила перо и бумагу: верная себе, Манон хотела сохранить для потомства свои последние ощущения. Осужденной отказали в ее просьбе. Не говоря ни слова, госпожа Ролан взошла на помост. Впоследствии легенда приписала ей слова, будто бы обращенные к белой Свободе, у подножия которой, словно жертвенник, стоял эшафот: «О Свобода, сколько преступлений свершается во имя твое!»

Едва казнь совершилась, площадь опустела. Ночью того же дня по ухабистой дороге, ведущей из Парижа в лес Монморанси, размытой осенним моросящим дождем, сгорбившись, плелся Боск. Он спешил обратно в лесной домик, где был в безопасности. Увлечение ботаникой и зоологией помогало ему довольствоваться обществом деревьев, цветов, птиц, белок и мелкого зверя. В одном из лесных закоулков, в расщелине скалы, Боск схоронил манускрипт госпожи Ролан.

В его хижине две недели скрывался и Ролан, бежавший впоследствии в Руан, где нашел убежище у давнишних приятельниц. Одряхлевший, утомившийся жизнью Ролан хотел умереть на эшафоте, как умерла Манон. Для этого следовало перпуться в Париж, пойти в Конвент. Одна из престарелых подруг Ролана отвергла этот план, как ведущий к конфискации имущества, нужного для дочери Евдоры. 15 ноября бывший министр закололся шпагой, скрытой в трости.

Бюзо скрывался в Бретани. Истощенный лишениями, он переходил с места на место, страшный той опасностью, которую нес с собой для тех, кто пускал его под свой кров. Повстречавшись с Петионом, он очутился вместе

с ним в доме Буке — неустрашимой фанатической жирондистки, покинувшей Париж, чтобы помогать беглецам.

В ее домике в Сен-Эмильоне близ Бордо находились семеро осужденных депутатов-жирондистов: Саль, Гадс, Луве, Барбару, Валлади, Петион и Бюзо. Все они прятались в похожем на грот колодце, задыхаясь от сырости и недостатка воздуха. Ночью госпожа Буке носила им еду и вино из своего погреба. Она давала им очень мало пищи, чтоб не возбуждать подозрения соседей количеством покупаемых продуктов: подвоз припасов в город становился все более незначительным. Спустя месяц госпожу Буке предупредили о предстоящем обыске, и жирондисты покинули ее усадьбу. Троих — Барбару, Бюзо и Петиона — госпоже Буке удалось переселить в мансарду дома местного парикмахера Фрокара, заклятого врага революции.

В течение долгих месяцев Бюзо жил под крышей парикмахерской, никогда не выходя из своего убежища. Желчный и беспомощный, он утешал себя предвкушением невероятной, изощренной расплаты с Горой, когда его единомышленники вернутся к власти. Легко переходя от одного настроения к другому, Бюзо, однако, часто терял мужество и, как виноватый ребенок, оплакивал прошлое, свои неудачи и Манон.

Госпожа Буке не без успеха пыталась организовать переправу уцелевших жирондистов в Швейцарию и была уже у цели, когда обыск, обнаруживший ее связь с жирондистами, по-иному решил судьбу беглецов и самой госпожи Буке. 17 июня 1794 года она была арестована и вскоре гильотинирована в Бордо.

Узнав об участи госпожи Буке, Барбару, Петион и Бюзо оставили небезопасный чердак Фрокара.

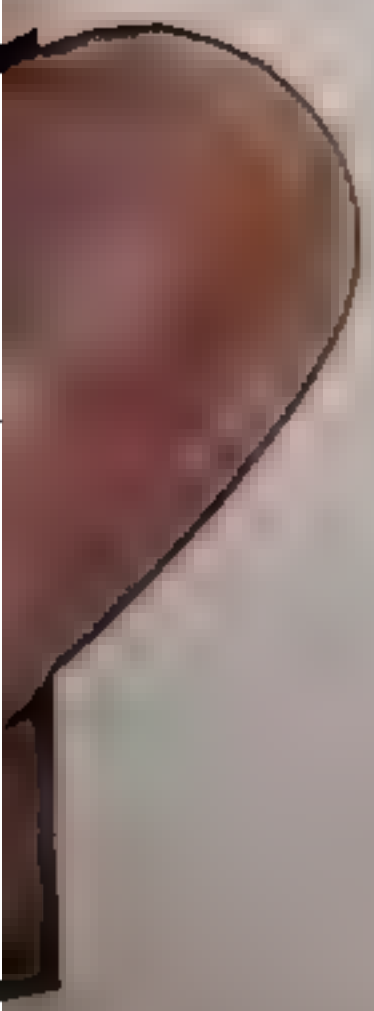
Восемнадцатого июня 1794 года в поле близ Сен-Маньяна беглецы случайно натолкнулись на проходивший мимо отряд солдат. Барбару пытался застрелиться, но остался жив, был отправлен в Бордо, судим и казнен. Бюзо и Петион спаслись от преследования солдат в сосновом лесу, окаймлявшем поле. Не надеясь на спасение, они приняли яд. Их тела были найдены 19 июня 1794 года, за восемь дней до переломной даты французской революции — 9 термидора — гибели якобинской диктатуры.

Дни Термидора явились в своем роде роковыми для Жиронды. В Конвенте, пославшем на гильотину непримиримого вождя революции Робеспьера, в рядах «болота»

расседали многочисленные сторонники жирондистов. Они отреклись от Бриссо и его друзей, едва выяснилась неизбежность их поражения, но не могли отречься от самих себя. Когда термидорианцы — организаторы заговора против революционного правительства — предложили «болоту» блок, эта колеблющаяся группа Конвента с готовностью пошла за ними. Они и решили в Конвенте судьбу Робеспьера.

Революционная диктатура якобинцев была сломлена, лживая либеральная фраза прикрывала дело начинавшейся буржуазной контрреволюции.

Жирондист Луве, скрывавшийся долгое время вместе с Бюзо, благополучно вернулся в Париж и вместе с Боском вскоре после Термидора выпустил первое издание мемуаров мадам Ролан под заглавием «Призыв к беспристрастному потомству гражданки Ролан. Собрание всего написанного ею во время заключения в тюрьмах Аббатства и Сен-Пелажи». Книга была издана «в пользу единственной дочери гражданки Ролан, лишенной состояния своих родителей, имущество которых находится все еще под секвестром».



стов. Они
ласть пред-
от самых
овора про-
ли «боло-
с готовно-
ите судьбу

сломлена,
ачинавшей-

емя вместе
есте с Бос-
издание ме-
беспристра-
всего папи-
Аббатства
единствен-
ояния своих
се еще под

ЖАННА ДЮБАРРИ

Первый год работы Революционного трибунала подходил к концу. Несколько женских голов уже скатились с помоста гильотины. Имена Марии-Антуанетты, Корде, Ролан были вписаны в историю революционной кары и возмездия. Вслед за ними перед Революционным трибуналом в фримере (декабре) 1793 года предстала женщина, с которой у революции были особые счеты.

Забытая, казалось целиком принадлежавшая прошедшим десятилетиям, подсудимая внезапно опять сосредоточила на себе внимание Парижа. Революционный трибунал воскресил ее жизнь, — этого было достаточно для смертного приговора. И смерть, как игла, прочно втянула в ткань революционной хроники нить прошлого Дюбарри.

Ей было к тому времени пятьдесят лет. Черное платье облегало еще стройную фигуру и оттеняло седой парик, немного покривившийся и растрепанный. На лице не было обычной косметики, и оно выглядело дряблым, отмеченным излишествами прошедшей бурной жизни. Двойной подбородок, немного выпуклые бессмысленные от страха глаза придавали ее лицу что-то схожее с животным перед убоем, когда смерть уже занесла над ним острый нож.

Председатель Трибунала громко сказал: «Гражданка, признаете ли вы себя бывшей графиней Дюбарри?» Ответ гражданки Дюбарри потонул в вопле, раздавшемся из-за перегородки, где сидели старушки вязальщицы, кокетливые девушки из предместий и мужчины-санкюлоты: «Смерть ей! Смерть! На гильотину любовницу тирана!» Пожилые женщины, постоянные посетительницы Трибунала, воз-

мущенно кричали, протягивали кулаки в прорехи низкой ограды, заражая своей злобой присутствующих.

Процесс начался — и жизнь, путаная, невероятная, развернулась год за годом. Казалось, что прорвался невидимый нарыв, и пополз липкий ядовитый гной. Прошедшее царствование Людовика XV воскресло в показаниях.

Семья Жана Дюбарри, мошенника и авантюриста, положившего начало «карьере» обвиняемой, проживала в Тулузе. Мать была женщиной пеглой, неумной, ничем не замечательной. Отец умер, оставив семье долги, нужду и дворянский герб. Две сестры Жана, не имея приданого, к моменту события, изменившего жизнь семьи, давно перешагнули тот возраст, когда могли надеяться на выгодный брак. Для девушек-дворянок того времени безбрачие являлось катастрофой, и лучшее, что их ожидало впереди, был монастырь. Кроме сестер, Жан имел брата — неудачника, невежду и простака Гильома.

Глава семьи Жан Дюбарри был одним из типичнейших придворных Людовика XV. Он шулерски играл в карты, но это давало небольшой доход, крал, был груб, жесток, сластолюбив и в погоне за богатством не брезговал ничем. Жан Дюбарри избрал прибыльное дело, на котором разбогател не один аристократ Франции времени Бурбонов: работа заключалась в поставке королю женщин.

Мадам Помпадур, могущественная любовница короля, много лет держала в своих руках нити правления страной: от нее зависели назначения, смещения при дворе, внутренние и внешние дела Франции. Но мадам Помпадур приближалась к сорока годам, она постарела, растолстела, и счастье от нее ускользало. Людовик XV скучал в ее присутствии. Женщина сообразительная и расчетливая, она прибегала ко всевозможным средствам, чтобы не получить отставки.

В дворцовом парке, как некогда при короле Солнце Людовике XIV, селили девушек, отобранных по указаниям Помпадур. Институт мадам Помпадур был устроен согласно всем правилам аристократических женских учебных заведений. Девушек обучали, одевали и воспитывали соответственно «вкусу короля». Обычно, чтобы не иметь соперниц, Помпадур не задерживала уже испробованные плоды, и они либо бесследно исчезали, либо отправлялись в монастырь и лишь как исключение возвращались к род-

ным. С помощью такой организации Помпадур продержалась еще несколько лет, но влияние ее падало; предчувствуя смену фаворитки, двор от нее отвернулся. Когда в сырое осеннее утро она умерла и ее гроб проносили мимо окон королевского покоя, Людовик меланхолически заметил: «Ах, мадам, какой скверный день вы выбрали для такой далекой прогулки».

Многие придворные, помня возвышение Помпадур, пытались заполучить власть и казну в свои руки с помощью ставленницы на пост фаворитки. Развращенный и пресыщенный Людовик XV менял женщин, как пряжки на туфлях.

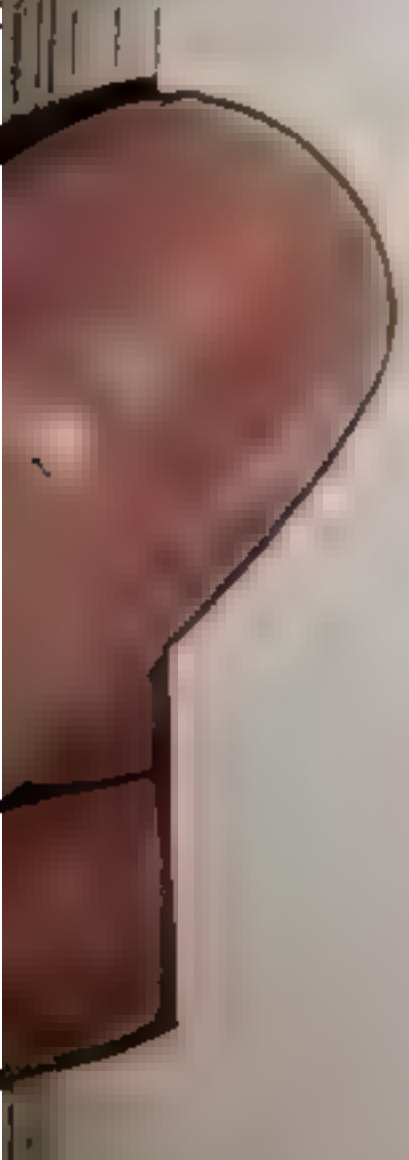
В те же годы на окраине старого Парижа был небольшой кабачок, где за кружкой славного пива, за игрой в кости проживало часто разнообразное общество. Аристократ, ищущий сильных ощущений, преступник-профессионал, провинциал щедрый и наивный, жалобщик, тщетно обивающий пороги, монах, ремесленник — все эти люди собирались под низкими балками потолка. Шиньон без труда там выманивал тайну; искренность и длинные беседы перемежались бранью и похвальбой. Несколько девиц развлекали компанию, переходя с колен на колени, спускаясь в чуланчик за несколько грошей на тряпки. Среди них красотой выделялась Жанна Бекю, прозванная Ангелом, девушка добродушная, румяная и глуповатая. Дочь трактирной служанки и монаха, она выросла среди винных луж, спотыкаясь о пьяные тела, засыпая в хмельных парах.

Мать отдала ее в ученье к модной портнихе, но темперамент и легкомыслие не способствовали учению. Она пришла после ряда романтических приключений в кабак, где и осталась, всегда довольная, смешливая и готовая любить. В этом-то кабачке ее заметил Жан Дюбарри и соблазнился ею. Одетая в шелка и украшенная драгоценностями, Жанна была приманкой для картежников, посещавших Дюбарри. Как созрел план сделать из Жанны Бекю, проститутки из кабачка, заместительницу маркизы Помпадур — неизвестно. Жан принялся за выполнение этой задачи с огромным пылом, понимая те выгоды, которые мог получить. Препятствием было темное происхождение Жанны, но ловкий Жан Дюбарри знал, как добываются титулы, и ценил их лишь как путь к обогащению. Он попросту назвал Жанну Бекю Жанной Дюбарри.

Жениться на ней он не мог, так как имел жену и множество детей. Развод для католика был невозможен и скандален.

Встреча короля с Жанной была ловко подстроена в 1769 году. Жанна Бекю очаровала короля грубой простотой, невежеством и циничной откровенностью. Для нее ничто в жизни не было удивительным, люди не внушали ей ни капли почтения. С раннего детства она понимала, что́ именно от нее требовалось, и, не имея излишнего ума, подходила к жизни расчетливо и просто. И то, что она обошлась с королем как с любым посетителем чулана в кабачке, покорило его. Жанна оказалась острым, неизведанным блюдом. Не прошло и месяца, как Жанна Бекю уже приобрела большое влияние на короля и, следовательно, на судьбу Франции.

Но завистники и недруги Жана Дюбарри, так угодившего монарху, разнесли пикантные истории из жизни мадемуазель Жанны Ангела. Потребовалось срочно создать ей «происхождение», подходящее для звания первой фаворитки. Король обещал миллионы тому, кто покроет своим именем скандальное прошлое его любовницы. Жан Дюбарри не долго обдумывал, как спасти и не упустить золотое руно — царскую казну; выход был легко найден.



В тихой, зеленой Тулузе живет забытая родня Дюбарри, в числе которой простофиля брат Гильом, к счастью для Жана, холостой. В золоченой карете с гербами мчится без отдыха Дюбарри по пыльным дорогам Франции из Парижа в Тулузу. Его встречают недоуменно богомольная мать, престарелые девицы-сестры и ухмыляющийся, дурашливый брат. Жан, не тратя времени даром, излагает дело начистоту. В доме и в сундуках пусто, впереди нищета, но все это можно поправить, в один миг осветить золотом. Маману Дюбарри беспокоит общественное мнение, но Жан уверяет ее, что власть заткнет глотки окружающим. Договорились.

Трясомые лихорадкой наживы, братья с той же быстротой мчатся в Париж. Свадьба Гильома Дюбарри и Жанны Бекю, на которой жених и невеста увидятся чуть ли не единственный раз в жизни, отпразднована была без замедления. Супруг с дарами, с сотнями тысяч, но без жены отсылается в деревню, а «жена», спасенная именем дворянина Дюбарри, уезжает в Версаль. С ней вместе, ради приличия и для наблюдения, селятся выцветшие сестры ее мужа. В брачном акте за Жанной Дюбарри утвердился

титул графини. Благополучие семейства Дюбарри отныне обеспечено вполне. Жан устраивает обеды, достойные Лукулла, строит фантастический особняк. Его боятся, перед ним лебезят. Причуды Дюбарри не осуждаются, никто не смеет ему противоречить. Он полон извращений и пороков, бессмысленно сорит сотнями тысяч, обирая казну задыхающейся в нищете страны.

Его брат Гильом, «муж» королевской фаворитки, удивляет Тулузу внезапным обогащением, постройкой дома и роскошью в полученном близ города имении. Никто из членов семьи Дюбарри не мешает друг другу безумствовать и разорять страну. Тридцать пять миллионов лупдоров стоила Жанна Дюбарри Франции, и столько же стоили дворцы, которые король для нее построил. Даже отец королевской наложницы, краснощекий жирный монах, появляется и предъявляет отцовские права на «милости короля». Он хочет быть исповедником его величества.

Графиня Жанна Дюбарри превзошла в мотовстве своих предшественниц. Она всесильна. Она казнит и милует, заточает в Бастилию, назначает придворных, ссылает, разоряет и обогащает в зависимости от настроения, снов и примет. Она суеверна, по-прежнему невежественна, хотя ее и обучают светила науки.

Однажды среди подарков короля, среди ожерелий, носовых платков, стоимостью в десять тысяч лупдоров каждый, она находит маленького негритенка. Так до сих пор король дарил ей прелестных, как игрушки, собак, обезьянок, кошек. Негритенок нравится графине. Решено крестить черного семилетнего мальчика, дичка, жмущегося по углам шелковой бонбоньерки-спальни. Графиня и один из принцев дома Бурбонов — крестные Замора, наряженного в розовый шелковый костюм, украшенный драгоценными камнями.

Ребенок подрастает в обстановке чудовищной роскоши и развращенности, оплакивая далекую порабощенную родину. Замор, камердинер графини, с ранних лет впитывал ненависть и презрение к монархии.

Казалось, удача сопутствовала Жанне повсюду, но счастье фаворитки непрочно. Как-то во время обычных увеселений, в ту пору не прекращавшихся по дворце, король почувствовал себя дурно. Его снесли в опочивальню уже в жару, в полусознании. Вскоре болезнь определилась, заражая всех страхом. Король был болен оспой.

Кто только мог, бежал из дворца: прививка была еще неизвестна, и оспа представлялась неодолимой, как чума. В тот момент, когда, уже предвидя смерть Людовика XV, дворцовая челядь распластывалась перед преемником, а графине Дюбарри, капризной жестокосердной фаворитке, проснулась Жанна Бекю, простал девушка, не лишенная чувств благодарности. Она понимала к тому же, что впереди ей нечего было ждать: смерть покровителя означала конец силе и власти. Жанна одна не покидала короля, а бреду метавшегося по огромной постели. Без брезгливости эта женщина баюкала его, как ребенка. Старый развратник, король блестящей мишурной Франции, быстро приближавшейся к революции, умер на руках проститутки, его прихотью получившей огромную власть. Жанна Дюбарри недолго, но искренне оплакивала его смерть.

Людовик пятнадцатый умер, и шестнадцатый Людовик получил долгожданный престол в 1774 году. Как только быстро разлагающийся труп был уложен в гроб и с театральной пышностью вынесен из спальни, пятилетнее царствование Дюбарри прекратилось. Без обиняков ей приказали уехать.

Два года Дюбарри, в момент смерти короля достигшая тридцати одного года, не появлялась в столице. Впоследствии вновь очутившись в Париже, жадная, расчетливая и бездушная графиня ведет прежний бессмысленный образ жизни, сумасбродствуя и меняя любовников.

Так было до 1789 года, потрясшего Францию. Революция, о которой никогда не слышала Жанна Дюбарри, была наиболее жестоким ударом в ее жизни; она потеряла земли и дворцы, но, сохранив золото, успела эмигрировать в 1792 году в Англию.

Непреодолимая жадность гонит ее, однако, обратно во Францию, где оставались хорошо запрятанные кое-какие драгоценности. Нежданная никем, уже забываемая, Дюбарри вернулась в свой парижский дом, где ее угрюмо встретили садовник и слуги. Приезд графини — заклятого врага революции, открыто помогавшей монархистам деньгами — показался слугам подозрительным. Пороки Дюбарри были слишком на виду, чтоб она внушала им хоть каплю симпатии и жалости.

Садовник графини сообщил о ее возвращении Замору — негру, выросшему в кружевных корзинках вместе с любимой собачкой. Негр Замор задолго до революции,

по ночам, когда в соседних залах происходили оргии, прятался в постоянно пустой библиотеке графини и жадно читал. В блестящих, тисненных золотом переплетах хранились мудрый сарказм Вольтера и пламенные думы Руссо. Библиотека во дворце графини была одной из принадлежностей дома, украшением, модным среди аристократов в ту эпоху. Графиня Дюбарри никогда не тратила времени на книги, но Замору читать не запрещала. Ученый камердинер был ей даже приятен так же, как искусный повар или обученный попугай.

Замор знал лучше других чудовищный быт аристократии. Не раздумывая, он с энтузиазмом отдал все свои силы революции и с каким-то фанатическим пылом преклонялся перед Маратом и Робеспьером. С тех пор как негр покинул дворец Дюбарри, он жил в крайней бедности и лишениях. Сблизившись с санкюлотами квартала, Замор записался в Якобинский клуб.

Узнав о том, что Дюбарри во Франции, имея все основания ей не доверять, Замор сообщил об этом Революционному трибуналу. Явные улики подтвердили обвинение в сношениях графини с Бурбонами, и вот Дюбарри перед судом. Страница за страницей Трибунал перелистывал книгу ее сумбурной жизни, в которой ничто не заслуживало снисхождения. Взрывом восторга встретила толпа, окружавшая Трибунал, смертный приговор ненавистной графине.

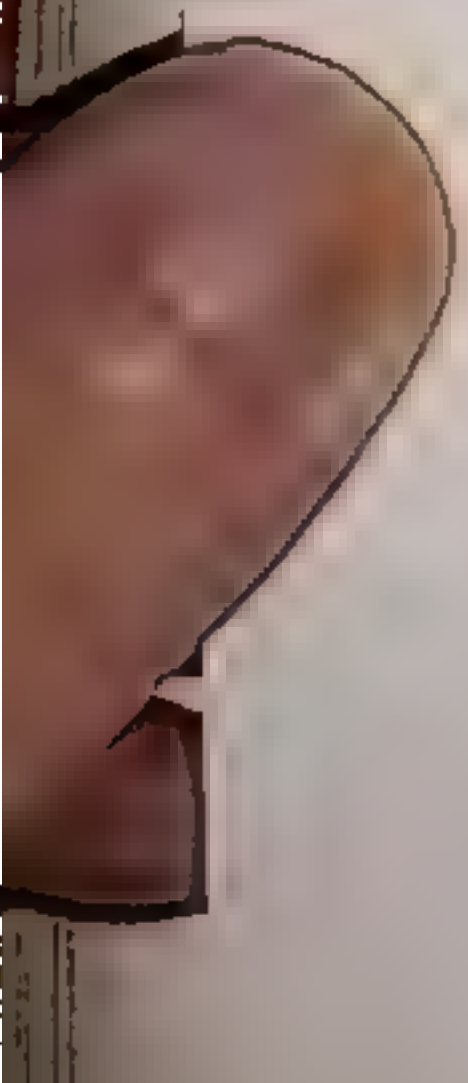
В ясное утро повозка палача Сансона повезла Жанну Дюбарри на площадь Грев, где ждала ее гильотина. Рожденная среди бедняков, но забывшая и предавшая их, некогда могущественная фаворитка, умирая, потеряла всю свою надменность. Обращаясь к палачу Сансону, она кричала, цепляясь за его балахон, напоминавший саван: «Позвольте еще секундочку пожить, господин палач!» Жалкая и обезумевшая от предсмертного страха, она своим ревом, однако, не пробудила ни в ком сожаления — так велико было презрение к ней народа.

Негр Замор пережил не только гибель революции, но и метеором промелькнувшую наполеоновскую империю. Он умер в 1820 году после реставрации Бурбонов, нищий и забытый. После смерти в его пустой каморке нашли всего три франка, сочинения Руссо и портреты Марата и Робеспьера, сохраненные им как святыни.

КЛЕР ЛАКОМБ

Мы просим, чтоб мужчины не отбирали у нас ремесел, составляющих удел женщины. Оставьте нам иглу и веретено, дабы мы могли добывать себе пропитание.

(Из петиции 1789 года женщин третьего сословия королю)



Тысяча семьсот девяносто третий год для революционной Франции начинается неудачами. К Парижу подползает голод, армии на фронтах, обобранные плутами-поставщиками, — босы, некормлены. Соглашательство жирондистов, измены военачальников, инфляция, обогащающая спекулянтов, в страшных тисках сжимают Францию. Четвертый год революции не принес ощутимого облегчения бедняку городских окраин.

Ненависть народа обрушивается на булочника в сером фартуке и всклокоченном парике, видимого за грязным стеклом.

— Как богатеет этот проклятый булочник, его жена опять прикупила землю к загородной ферме, — говорит с затаенным бешенством одна из женщин, с полуночи дежурящая у пекарни.

— Вчера Ру правильно говорил в Конвенте, — отзывается другая.

— При короле лучше жилось, — ехидно раздается из «хвоста».

— Молчи, — возмущаются несколько голосов.

— Иди выносить горшки аристократов. — Голодные женщины жестко смеются.

Жак Ру, талантливый вождь так называемых «бешеных», 25 июня 1793 года говорил в Конвенте:

— Свобода — пустая иллюзия, если один класс людей может безнаказанно подвергать другой мукам голода. Равенство — пустая иллюзия, если богатый, пользуясь монополией, держит в своих руках власть над жизнью и смертью своих близких. Республика — пустая иллюзия, если контрреволюции изо дня в день оказывают содействие такими ценами на продовольственные продукты, которые непосильны для трех четвертей всех граждан... Чтобы привлечь санкюлотов к революции и конституции, необходимо воспретить коммерческий разбой, который, конечно, надо отличать от чистой торговли, и понизить цену продовольственных продуктов.

Незадолго до этого выступления Ру женщины предместий, среди которых быстро росло влияние «бешеных», устроили митинг протеста против «высасывающих кровь народа» спекулянтов и монополистов. Гражданки прачки тогда же послали депутацию в Конвент. Цены на мыло, щелок, крахмал и синьку возросли столь непомерно, что лишали их всякого заработка. Разбитная, покрасневшая от волнения ораторша в белом тугом чепце, описывая Конвенту бедственное положение прачек, требовала смертной казни для спекулянтов. Ее бурые, вспухшие, венозные руки стискивали перила решетки, будто шею проклятого скупщика, союзника аристократов.

— В скором времени самый бедный класс не в состоянии будет носить чистое белье, — говорила прачка, — без которого он решительно не может обходиться. Причина этого не в недостатке нужных материалов, они имеются в изобилии, а в действиях скупщиков и спекулянтов, повышающих цены...

В апреле того же 1793 года бывшая актриса Клер Лакомб и шоколадница Полина Леон, одна из пропагандисток «батальонов амазонок», занялись организацией клуба женщин-плебеек. Это было нетрудно, так как гражданки беднейших секций сами стихийно стремились по образцу зажиточных женщин объединиться, чтобы «осознать свое положение, ниспровергнуть врагов и помочь друзьям народа».

Десятого мая «Монитёр» сообщает:

«Несколько гражданок явились в секретариат муниципалитета и в соответствии с законом о муниципальной

полиции заявили, что они намерены сгруппироваться и образовать общество, в которое доступ будет открыт только женщинам. Целью этого общества является обсуждение средств, способных парализовать замыслы врагов республики. Оно будет называться «Обществом революционных республиканок» и собираться в якобинской библиотеке на улице Сент-Оноре».

В уставе «Общества», между прочим, значилось:

«Общество, принимая во внимание, что нельзя отказывать в слове ни одному члену и что молодые гражданки могут, несмотря на самые лучшие намерения, компрометировать общество необдуманными выступлениями, устанавливает для приема в члены общества восемнадцатилетний возраст».

Открытие «Общества революционных республиканок» было торжественным. Несколько сот новых членов клуба — швеи, судомойки, прачки, тряпичницы, жены и матери мелких кустарей, ремесленников, рабочих — привели с собой мужей, братьев, отцов. Некоторые из мужчин скрывали насмешливые улыбочки, другие были полны любопытства, строили догадки, что выйдет из этой затеи. Вместе с матерями увязались дети, их не с кем было оставить дома.

Собравшиеся с воодушевлением пропели несколько революционных песен, немного перевирая мелодию гимна марсельцев — гениального творения Руже де Лиля, недавно покорившего парижан. Председательницей клуба избрали Полину Леон, а секретарем Клер Лакомб, которую женщины окраин знали под кличкой «Красной Розы». С искусством опытной декламаторши секретарша прочла длинный устав, подчеркнув, что нарушение благонравственности и добродетели будет вести к немедленному исключению из «Общества». Развращенность считалась пороком, присущим только аристократам. Под конец вечера несколько пожилых уважаемых гражданок передали клубу знамя и символическое изображение «Недремлющего ока» (Свободы).

В Париже в 1793 году существовало немало женских объединений, но женщины из народа впервые организовали свое общество, что заставило насторожиться всех, кто имел основание бояться народного гнева. Первыми всполошились жирондисты. Ученый либерал Кондорсе под влиянием своей молодой образованной жены считал

себя поборником прав женщин. Ему казалось, что мадам Кондорсе, мадам Ролан имели все данные, чтобы быть признанными равными своим мужьям, — поставила-же история имя мудрой Аспазии рядом с Периклом, властителем Афин, — но простолюдинки, безграмотные, пахнущие дымной похлебкой, прелыми пеленками, нищетой, в счет не шли.

«Общество революционных республиканок», очень быстро оказавшееся в тесной связи с «бешеными», которые делали центром своей агитации продовольственные трудности, являлось неожиданным и досадным неприятелем правых депутатов-жирондистов. Это понял и Бюзо, слабонервный «возлюбленный» госпожи Ролан.

— Поверьте, — говорил он Манон, — они потерянные, подобранные в грязи женщины, гнусные потаскушки. Один вид их вызывает тошноту.

Жирондисты заодно с роялистами старались дискредитировать санкюлоток.

«Все революционные республиканки крайне уродливы, — писали они. — Допустив столь безобразных баб к защите революции, якобинцы не понимают своих интересов».

Стирка на Сене в непогоду, холод и жару, варка пищи у огромного дымящегося очага, плетенье кружев при сальной тусклой свечке, мытье полов и посуды, сбор отбросов на рассвете, тяготы нищенской жизни не оберегают женской красоты, тем не менее «революционные республиканки», как правило, вовсе не были «чудовищами» и «уродами», как их изображали враждебные журналы и памфлеты. Напротив, Полина Леон обладала миловидным лицом, Лакомб слыла красавицей.

У Клер Лакомб было смуглое лицо уроженки юга. Черные волосы, такие же ресницы и глаза, дерзкий, хорошо очерченный нос, большой рот актрисы, добродушный мягкий подбородок, стройная фигура, театральное изящество движений заставляли даже самых отъявленных врагов «гренадеров в засаленных юбках» признавать красоту лидера женского революционного клуба.

Впервые Клер заметили в жаркий июльский день 1792 года у решетки Законодательного собрания. Неизвестная ораторша нарочито вибрирующим голосом, с подвыванием, выдающим профессиональную актрису, начала

читать заготовленную речь после того, как президент Вьено де Воблан дал ей слово.

— Законодатели! — При этих словах оратория вскинула голову и решительно оглядела зал. Несмотря на то что выступление женщины у исторической решетки не было новостью, молодая амазонка сумела заставить себя слушать. Особенно выделилось радикальное заключение ее речи.

— Законодатели! Я — француженка, артистка и сейчас нахожусь без места, но то, что должно было бы повергать меня в отчаяние, наполняет мою душу чистейшей радостью. Так как я не могу прийти на помощь своему отечеству, которое вы объявили в опасности, денежными пожертвованиями, то я хочу отдать ему свою личность. Родившись с мужеством римлянки и с ненавистью к тиранам, я буду счастлива способствовать их уничтожению... Пусть все деспоты погибнут до единого!.. Законодатели! Вы объявили отечество в опасности, но этого недостаточно, отнимите власть у того, кто один только виноват в возникновении этой опасности и кто поклялся погубить Францию... Назначьте вождей, к которым мы могли бы питать доверие, произнесите слово, и враги исчезнут.

Клер Лакомб родилась 4 августа 1765 года в небольшом провинциальном городе Пазье. В ранней юности она стала трагической актрисой и незадолго до революции выступала в сравнительно больших провинциальных театрах Марселя и Лиона. Она играла там главные роли в трагедиях Расина и Корнеля, впрочем, без особого успеха.

Жизнь актрисы не была ни счастливой, ни завидной. Театр напоминал пестрый балаган, кочующий из города в город. Случалось, актеров приглашали в замки и поместья провинциальной аристократии. Соблазнительная Клер Лакомб обычно имела успех и подвергалась личным, недвусмысленным преследованиям пресыщенных господ, однако она умела давать отпор в таких случаях.

Едва репертуар истощался и интерес к театру пропадал, заезжую труппу бесцеремонно выгоняли на дорогу — начинались странствия. В промышленных городах, подобных Лиону, театр посещали неотесанные, самодовольные буржуа. Во время представлений горожане смачно отрыгивали, похрапывали, громко жевали, поругивали актеров, оглушительно хлопали в ладоши.

Труппа, в которой служила Клер Лакомб, гастролируя по провинции, останавливалась в гостиницах, вернее трактирах. Неизменный покачивающийся фонарь освещал вылинявшую вывеску с каким-нибудь наивным средневековым названием, вроде: «Друзья под золотым дубом», «Кабачок черной коровы» или «Сподвижники святой девы». В таких многолюдных трактирах, с огромной пастью каминов, с низкими сводчатыми потолками, с закопченными окнами, живала и Клер Лакомб. Без прикрас проходила там перед артисткой незавидная, голодная жизнь французского простолюдина, напоминавшая ей годы трудного детства.

В восьмидесятых годах XVIII столетия авторитет Бурбонов и дворянства в народе был полностью подорван. В трактирных залах Клер Лакомб научилась выучивать и презирать «подлую австриячку и жулпков герцогов». Но недовольство, налоги, бедствия увеличивались, и шутки народа превращались в угрозы. 1789 год явился естественной развязкой назревшей народной драмы. Клер воспринимала приход революции как начало небывалого действа, более героического и прекрасного, чем все, о чем можно было мечтать доныне. Франция представала ее воображению как величественная сцена, где и она должна была выступить с бурной импровизацией.

В 1792 году Лакомб оставила жалкий мишурный балаган, чтобы взойти на исторические подмостки. Покинув полунищих товарищей по профессии, она спешит в Париж. Долгое пребывание в театре наложило на нее к этому времени неизгладимый отпечаток, но под заученным жестом и напыщенной фразой актрисы нельзя не разглядеть ее добродушия, дерзости и упрямства.

В революционной столице у нее нет ни пристанища, ни знакомых. К тому же вышитый кошелечек, старательно запрятанный под лифом, не слишком туго набит луидорами. Но Клер Лакомб недаром слывет «бой-бабой»: скитальческая жизнь была ей хорошей школой. Несколько полуграмотных рекомендательных писем друзей привели Клер на парижские окраины. Она нанимает по указанному адресу каморку в предместье, бросает, не раскладывая, ручной багаж под кровать и бежит в город «подышать свободой».

На площадях плотники возводят трибуны, а девушки украшают их гирляндами из дубовых листьев. Гипсовая

статуя Свободы на площади Революции бела, как чепцы патриоток, город возбужден и весел: близится годовщина 14 июля — памятного дня падения Бастилии. В тот же вечер Клер успевает побывать в Законодательном собрании и в Якобинском клубе, ночью из старой полосатой юбки она выкраивает трехцветную кокарду и переделывает тафтовое платье средневековой дамы из пьесы Лопе де Вега на костюм амазонки.

Четырнадцатого июля вечером на декорированном пустыре, где тремя годами раньше торчало королевское пугало — Бастилия, Клер отплясывает патриотические танцы. 10 августа, день свержения монархии, становится днем ее революционного крещения. Пунцовый костюм гражданки Лакомб мелькает в самых опасных местах на Марсовом поле, возле дворца. При штурме Тюильри выстрел пробивает ей руку, но Клер, не замечая раны, продолжает сражаться.

На следующий день в квартале, где живет «героиня 10 августа», только и разговору что об ее мужестве. У Клер завязываются обширные знакомства, находятся друзья; грубоватая простота, живость и красноречие бывшей актрисы привлекают к ней сердца женщин, которые ищут у нее совета. Клер, как никто, умеет урезонить несдержанного мужа или отца какой-нибудь робкой домохозяйки, мужчины побаиваются ее колючего язычка, а женщины видят в ней защитницу. 25 августа гражданка Лакомб передает Законодательному собранию гражданский венок, полученный ею за подвиги 10 августа, говоря:

— Господа! Федералисты восьмидесяти трех департаментов почтили меня сегодня утром поднесением гражданского венка, национального шарфа и свидетельства, удостоверяющего, что в день десятого августа я сделала все возможное для торжества свободы и равенства. Шарф и почетный отзыв я оставляю у себя, Национальному же собранию я отдаю гражданский венок, который оно вполне заслужило мудростью и патриотизмом, выказанным им в это опасное время. Я счастлива тем, что мне первой удалось выполнить по отношению к французским законодателям долг, который, в сущности, лежит на всяком добром француае, преданном своему отечеству.

Кое-как перебиваясь, Клер продолжает жить на окраинах. Ее все больше поглощает общественная работа,

которая для женщин той эпохи возможна прежде всего среди женщин. В 1793 году Лакомб примыкает к популярным среди парижского плебейства народным агитаторам, прозванным жирондистами «бешеными»; политические и социальные взгляды их особенно ей понятны.

Среди людей, шедших за «бешеными», были не только мелкие ремесленники, рабочий люд, интеллигенты, но и представители богемы: художники, которым не на что было купить даже краски, недоедающие, но всегда вдохновенные поэты и нищие, но гордые актеры. Вся эта голытьба влачит незавидное существование. Работа перепадает лишь в дни революционных торжеств, да и то плохо оплачиваемая. Парижанам не до муз и искусства. Изредка только уезжающий на фронт волонтер закажет свой портрет, чтобы оставить жене или родителям, да рьяный патриот купит символическую картину, изображающую полногрудую Свободу, попирающую «гидру тирании». Поэты посвящают революции жаркие, плохо оплачиваемые рифмы, актеры большей частью принуждены подрабатывать, нанимаясь временно то в революционное учреждение, то к лавочникам. Летом в садах, на рынках, в переулках они устраивают патриотические представления. Большинство этих людей — пылкие якобинцы, сочувствующие крайним левым.

В кружках «бешеных» Клер Лакомб встретилась с двадцатидвухлетним Жаном-Теофилем Леклерком, молодым журналистом, фанатическим революционером. Несмотря на свою молодость, Леклерк многое пережил и перевидал, его увлекательные рассказы занимали и волновали Клер.

Леклерк описывал ей дикую тропическую красоту островов Гваделупы и Мартиники, где он был после 1789 года. На Мартинике он участвует в восстании цветных рабов, руководит их раскрепощением. Часами Леклерк рисовал Клер жизнь в колониях, мученическую судьбу рабов, обрабатывающих сахарные плантации французов, жестокость и несправедливость рабовладельцев. Новый друг гражданки Лакомб служил также и в революционной альпийской армии, расположенной в Лионе — городе тканей.

Живописный Лион был одним из крупнейших текстильных центров Франции, уютной столицей крупной буржуазии. Этот промышленный город дал французской

революции не только правых жирондистов, но и крайне левых «бешеных». Ролан и Бриссо были друзьями и верными слугами лионских буржуа. Леклерк хорошо знал фабричные закоулки, быт и нужды рабочих, посещал лачуги мелких ремесленников, — это определило его политическое мировоззрение.

К 1793 году Леклерк стал уже зрелым революционером. Дружба Клер и Леклерка вскоре перешла в любовь. Весной 1793 года они поселились вместе.

Леклерк помогает Клер в организации «Общества революционных республиканок», пишет сочувственно о женском движении в газетах, выступает с трибуны женского клуба. Близкие ему руководители «бешеных» Жак Ру, Варле также относятся к Клер Лакомб, Полине Леон и их клубу с интересом единомышленников.

На квартирку «Розы», лишенной всяких безделок и «женских» пустячков, в редкие часы, когда Клер и Леклерк бывают дома, приходят пожилой Жак Ру и подвижный, говорливый юноша Жан Варле. Друзья Клер несхожи между собой. Самолюбивый Варле смешит Клер своей раздражительностью. Жак Ру внушает ей робость и почтение, он умеет долго молчать, исподлобья рассматривая собеседников, говорит кратко, жестко, — весь его облик напоминает пуританина, честолюбивого, фанатичного, упрямого, однако без умственной ограниченности; стройный Леклерк приобрел в скитаниях нарочитую грубость, наблюдательность и самоуверенность. Однородность политических взглядов скрепляет дружбу Клер с этими людьми.

Третьего апреля 1793 года на заседании Якобинского клуба Лакомб в своей речи требует ареста аристократов и их семей. Женский клуб, которым она руководит, ведет яростную кампанию в массах против жирондистов.

Во время антижирондистского восстания 1793 года «революционные республиканки» всю ночь проводят на лестницах Конвента. Они вооружены кинжалами и сдерживаются, чтобы не избить ненавистных бриссотинцев — виновников голода и поражений на фронтах. В зале заседаний Конвента гул и крики, к которым напряженно прислушиваются «гренадеры» Лакомб.

— Наконец-то изменники ответят народу, гражданки, сегодня мы спасем революцию, — говорит она другу.

— Смотрите, вот пустомеля Верньо... Пропустите его, еще не пришло время распороть это сытое брюхо.

Верньо поспешно, мелкими шажками пробегает по лестнице. Женщины не сторонятся, осыпая его ругательствами.

Помимо участия в «походах революции», в женском клубе устраиваются диспуты, обсуждаются все мероприятия Конвента.

Как-то на заседании был поставлен вопрос о полезности и обязанностях женщины при республиканском строе. Председательствует «Роза». Докладчица-швея, горячась, доказывает, ссылаясь на исторические примеры, что «если женщины способны сражаться, то они не менее способны управлять государством». Но это было только желаемое: все попытки Клер Лакомб добиться участия женщин в совещаниях Революционного комитета встречают со стороны мужчин самый бесцеремонный отпор. Никаких подлинных прав, кроме права собираться в клубе, посещать и иногда выступать с петициями или приветствиями в Конвенте, кроме права сражаться на улицах и умирать за революцию, в это время у женщин нет. Естественно, что с трибуны женского клуба не раз раздавались чисто феминистские речи и обвинения мужчин в деспотизме. Женщины вспоминают отдаленные времена женского господства в семье, легенды о подвигах Жанны д'Арк, Далилы, Юдифи.

Одновременно с обострением внутрипартийной борьбы ухудшаются и взаимоотношения между «революционными республиканками»: не все из них сочувствуют крайним требованиям «бешеных», многие находятся под обаянием Робеспьера, слепо верят Марату, который незадолго до смерти в своей газете «Друг народа» нападал на «бешеных», своих недавних союзников против жирондистов. 4 июля, утром, Клер Лакомб, шагая из угла в угол своей комнаты, перечитывает статьи Марата, где он называет «бешеных» ложно экзальтированными патриотами.

В том же июле месяце одна из «революционных республиканок» выступила в клубе против друга Клер — Жака Ру, ведшего отчаянную агитацию против спекулянтов, обвиняя его в карьеризме и лживости.

Тринадцатого июля Шарлотта Корде убила Марата. Весть о смерти Друга народа с искренним отчаянием

встретили окраины, и «бешеных» сочли правильным, несмотря на предсмертный манепр Марата против них, откликнуться на горе народа и оплакать великого трибуна, объявив себя его преемниками, — разве не боролись они вместе с ним против попыток богачей создать новую аристократию богатства?

«Революционные республикашки» первые поставили воздвигнуть обелиск погибшему народному вождю. Коммуна колебалась, и 30 июля в церкви святого Евстахия, занятой в то время женским клубом, произошло по этому поводу бурное заседание. Против входной двери в готическом сумрачном зале на возвышении стоял простой узкий стол, за которым сидели председательствующая Клер Лакомб и секретари. Зал был переполнен, за решеткой в полчеловеческого роста толпились «гости». Было шумно и жарко; в кладбищенских аллеях, примыкавших к церкви, ожесточенно споря, жестикулируя, прогуливались санкюлотки. Клер Лакомб встала, театральным жестом поправила красный фригийский колпак и объявила собрание открытым. Зал затих, опоздавшие клубистки, стараясь не шуметь, занимали места и готовились слушать, заранее, впрочем, взбудораженные. Секретарша огласила «протест против действий Коммуны, медлящей почтить память Друга народа: «Никто не может помешать нам поставить обелиск, мы не просим ничьего содействия. Марат поддерживал главным образом санкюлотов, санкюлоты хотят увековечить его память».

Одобрив обращение к Коммуне, «революционные республиканки» принялись тут же жертвовать на памятник те жалкие гроши, которые нашлись в обширных карманах их запошенных сборчатых юбок. В день освящения временного деревянного обелиска «революционные республиканки» внушительной процессией двинулись с кладбища святого Евстахия на площадь Карусель. Их обветренные лица отражали предельное удовлетворение, — гордо вытянутые руки поддерживали носилки, на которых находились стул, стол, перо, чернильница и бумага со следами крови Марата.

Однако положение клуба «революционных республиканок» было очень непрочным, якобинцы не без причины считали «Общество» Клер Лакомб одной из цитаделей «бешеных». Уже в августе 1793 года Максимилиан Робеспьер раздраженно заявил, что «этому обществу... пора пре-

кратить свое существование... Оно начинает возбуждать смех, давать повод к злостным выходкам».

Зато Леклерк в газете, являвшейся продолжением «Друга народа» Марата, старался воодушевить «революционных республиканок». «Благородные женщины, — писал он, — ваше мужество и ваша энергия ставят вас превыше всякой похвалы. Так как низкие интересы не подавили в наших сердцах естественных чувств, пробуждайте своими речами республиканскую энергию. Вам надлежит бить в набат свободы!»

Осенью 1793 года Теофиль Леклерк оставил Клер и женился на Полине Леон. Клер Лакомб мужественно перенесла этот удар. Под влиянием Леклерка она много читала, работала и умственно развивалась. Разрыв с ним не изменил направления ее деятельности.

В эту пору борьба против «бешеных» усиливается. Демулен травит их, хотя не называет еще имен; враждебность Робеспьера очевидна — он не раз резко критикует Ру с трибуны Якобинского клуба. В Конвенте, когда к решетке пытается протиснуться «бешеная» Лакомб, Максимилиан нетерпеливым знаком предлагает председателю не давать ей слова. Он тщетно пытается скрыть свое недовольство клубом «революционных республиканок» под гримасой язвительной насмешки.

Агитация «бешеных» за нормирование цен на необходимые беднякам продукты, за обложение налогами буржуазии и лавочников, предотвращающее накопление крупных капиталов и взвинчивание цен, встречает поддержку среди парижской бедноты. Но якобинцы считают «бешеных» опасными, слишком увлекающимися левыми требованиями, а женский революционный клуб к тому же способным скомпрометировать Гору в массах, на которые она опирается.

Клер Лакомб с трудом удается получить слово и зачитать петицию, обращенную к Конвенту, с требованием осуществления конституции и применения террористических мер против аристократов.

— «...Мы явились с тем, чтобы требовать исполнения конституционных законов, — читала Лакомб. — Докажите увольнением всех дворян, что среди нас нет их защитников. Делами докажите всей Франции, что не только для того с большими затратами со всех углов республики собрались сюда посланцы великого народа, чтобы просто

разыграть патетическую сцену на Марсовом поле... Недостаточно говорить народу, что счастье его скоро наступит, необходимо, чтобы он мог почувствовать его результаты... Он с негодованием взирает на то, что люди, купающиеся в его золоте и разжиревшие от чистейшей его крови, проповедуют ему воздержание и терпение...

Мы уже не верим в добродетель этих людей, которым теперь приходится хвалить себя самих. Теперь нам мало одних слов... Не бойтесь дезорганизовать армию; чем способнее какой-нибудь злонамеренный генерал, тем настоятельнее его смещение... Вы декретировали заключение под стражу всех подозрительных, но разве этот закон не остается на бумаге, когда исполнение его поручается лицам, которые сами являются подозрительными?.. Вы должны учредить в достаточном числе чрезвычайные суды для того, чтобы патриоты, отправляющиеся на границу, могли сказать: «Мы спокойны за судьбу своих жен и детей; мы видели, как под мечом закона погибли все внутренние заговорщики».

Едва Лакомб дочитала последние строки петиции, в зале Конвента поднялся долго не смолкаемый сердитый гул. «Общество революционных республиканок» благодаря связи с «бешеными» было скомпрометировано в кругах «умеренных» якобинцев.

Вскоре после этого инцидента был арестован Жак Ру. Секция Гравильеров поспешила опротестовать арест своего вожака. Мелкие буржуа и сочувствующие «умеренным» спекулянты-богачи, подхалимничающие жирондистов или короля, узнав, что «изверг» Ру в тюрьме, торжествовали и строчили доносы. Они приписывали своему беспощадному врагу разнообразные пороки: воровство, развращенность, контрреволюционные замыслы, взяточничество, растрату, даже обжорство. Клуб якобинцев большинством голосов выразил Ру порицание.

Желая помочь Ру, «Роза» в качестве председательницы клуба «революционных республиканок» предлагает Конвенту свои услуги для просмотра списков арестованных с тем, чтобы «освободить невинных и наказать виновных». Это требование, внушенное «бешеными», еще больше восстановило против нее Конвент.

В начале сентября Жак Ру был объявлен подозрительным, одновременно в «Обществе революционных республиканок» начался раскол. Клубистка Гобэн, жена «умерен-

пого» якобинца, женщина сварливая, злоязычная и пстеричная, попробовала выступить с злостной критикой Локлерка. В ответ ретивые приверженки «бешеных» исключили «предательницу» из членов «Общества». Гражданка Гобэн надела пышную трехцветную кокарду и поспешила в клуб якобинцев с жалобой.

Всякое обвинение «подозрительного» детища Клер Лакомб встречало у якобинцев сочувствие, и 16 сентября один из секретарей клуба в монастыре святого Якова критиковал «Общество революционных республиканок» как вступившее на ложный путь. Ораторы точно условились в этот день доказать, как обширны возможности клеветы и оговоров. Толстый Шабо, бывший монах, гримасничая и хихикая, выступил первым.

— Давно пора, — вскричал он, — сказать всю правду об этих мнимореволюционных женщинах. Я разоблачу их интриги и поражу вас.

Он неопределенно обвинил Лакомб в ее пристрастии к мужчинам-аристократам. Циничные намеки Шабо, несмотря на махровую пошлость, принимались слушателями с явным удовольствием.

— Госпожа Лакомб, ибо ее нельзя признать гражданкой, — продолжал далее Шабо, — и эти женщины позволяли себе нападать на Робеспьера и называть его господином Робеспьером. Я требую, чтобы вы приняли против них решительные меры, я требую, чтобы мы письменно обратились к ним с предложением очистить свое общество от всех имеющихся в его среде интриганок.

Шабо покинул трибуну под звучные аплодисменты. После него заговорил тщедушный, желчный Базир, закончивший свою бесцветную речь следующим предложением, касавшимся главным образом Клер Лакомб, Полины Леон и других «бешеных»:

— Я думаю, что «Общество революционных республиканок» само по себе чисто, но руководится интриганками. Я рекомендую обратиться к этим гражданкам с предложением произвести в своей среде основательную чистку и удалить всех тех женщин, которые оказали вредное влияние на деятельность общества.

Последующие ораторы точно так же главной мишенью своих несправедливых нападок избрали председательницу «Общества революционных республиканок». Ее ругали за укрывательство преследуемого «мелкого воришки»

Леклерка. Последним взошел на трибуну Ташро, как раз в момент появления «Розы».

— Лакомб сует повсюду. Сначала она требовала конституции, всей конституции (обращаю, кстати, ваше внимание на этот лицемерный выпад), затем она хотела подкопаться под конституцию народной воли, под революционные власти, — заявил он.

Выслушав Ташро, Клер потребовала себе слова. Зал ответил ей неописуемым шумом. Тогда несколько подруг Клер, так называемые «драгуны Лакомб», прорвались в зал и двинулись, потрясая кулаками, на растерявшихся якобинцев, встречавших их бессвязной бранью. С хоров и из-за решетки, отделявшей гостей, неслись крики женщин, враждебных «бешеным»: «Долой новую Корде, долой интриганок!» Тщетно председатель собрания Бурдон призывал собравшихся к порядку; потеряв терпение, он даже демонстративно надел шляпу, что значило «закрываю заседание».

Не скоро водворилось спокойствие. Получив возможность говорить, Бурдон сурово обратился к Лакомб, указав ей, что беспорядок вслед за появлением «революционных республиканок» подтверждает правильность выдвинутых ранее обвинений, так как «нарушение порядка в собрании, которому нужно спокойствие для обсуждения вопросов, затрагивающих интересы народа, составляет настоящее преступление против патриотизма».

Едва Клер покинула Якобинский клуб, раздались требования ее ареста, но предложение это не было принято. Собрание удовольствовалось следующей резолюцией:

«1) Обратиться к «революционным республиканкам» с письменным предложением очистить состав своего общества и удалить руководивших ими подозрительных женщин.

2) Обратиться к Комитету общественной безопасности с просьбой арестовать Леклерка, подозрительных женщин и следить за Лакомб, интригующей в пользу аристократии».

На следующий день в квартире Лакомб произвели обыск, и по городу пошли пересуды и измышления об ее аресте. Падкая на сенсационные слушки «Французская газета» поспешила оповестить читателей, что «женщина или девица Лакомб наконец посажена в тюрьму и лишена возможности вредить. Теперь эта революционная вакханка

пьет одну только воду. Известно, что она очень любила вино и что она не менее любила хороший стол и мужчин, как об этом свидетельствует дружба между нею, Жаком Ру, Леклерком и К°».

Прочитав эту ловкую клевету, «Роза» вне себя от злости написала следующее опровержение:

«Я докажу вам, что мои руки так же свободны, как и мое тело, так как они с удовольствием изобьют вас палкой, если вы не возьмете обратно своей лжи».

Гнусные измышления о «революционных республиканках» — испытанное орудие политической борьбы — продолжали занимать Париж. Подобно тому как некогда аристократы и жирондисты клеветали на женщин-революционерок, так теперь якобинцы оговаривали и высмеивали «бешеных» и их клуб на кладбище святого Евстахия. По примеру прошлого бралась под подозрение в первую очередь нравственность клубисток.

Желая обезвредить зловонную клевету, лившуюся со всех сторон, поредевшая армия «революционных республиканок» 18 сентября направила в Конвент требование ареста всех «распутных женщин, или аристократок, чтобы вернуть их к добронравию с помощью полезных принудительных работ (в домах заключения) и патриотического чтения».

Руководитель «бешеных» Ру, естественно, остается неизменным другом своих единомышленниц. Из тюрьмы он пишет «революционным республиканкам», величая их общество «оплотом Свободы, стражем Революции и грозой новоявленных тиранов». Жак Ру напоминает об их неоценимых услугах в дни похода на Версаль, когда «они повергли наземь приверженцев Капета и, презрев все опасности, сбросили его с престола». Но похвалы Ру, популярность «революционных республиканок» в недовольных секциях Коммуны и среди рабочего люда — им приговор. Не желая озлоблять предместья накануне процессов бриссотинцев и королевы, Робеспьер откладывает репрессии против клуба и оставшихся на свободе «бешеных», но исподволь готовит их гибель.

Это была гнетущая, тяжелая пора для Клер. Эпафот грозил Ру, Леклерку, Варле, отдельные члены «Общества революционных республиканок» изменяют, покидают клуб, распространяя всевозможные небылицы о происхождении и нравах святого Евстахия. Несдержанная,

вспыльчивая «Роза» утешается нападками на Робеспьера, которого считает виновником полураспрявы с Ру. «Не понимаю, — сердито говорила она, когда речь заходила о Неподкупном, — за что превозносите вы его, теряя рассудок от восхищения, право же, он заурядная личность». Впоследствии это мнение о Максимилиане будет в числе обвинений против «бешеной» Лакомб.

В начале октября «Общество участников 10 августа», щеголявшее своим антифеминизмом, выступило в Конвенте против «антигражданских стремлений якобы революционных женщин». Их обвинения опять-таки были направлены главным образом против гражданки Лакомб и заканчивались требованием роспуска клуба «революционных республиканок».

Доносчикам, по поручению клуба, отвечала ставшая фактически обвиняемой председательница Лакомб. «Вчера, — говорила она, — была сделана попытка ввести вас в заблуждение... Нашлись интриганы, которые посмели уподобить нас разным Медичи, Антуанеттам и какой-нибудь Шарлотте Корде. Правда, природа произвела чудовище, отнявшее у нас Друга народа, но разве Корде принадлежала к нашему обществу?.. Наш пол дал одно лишь чудовище, тогда как в течение последних четырех лет нас предают и убивают бесчисленные чудовища, порожденные мужским полом. Наши права — это права народа, и если нас станут угнетать, мы сумеем оказать сопротивление угнетению».

Спустя несколько дней якобинцы аплодируют Клер Лакомб, гордо отвечающей на выкрики угрожавших ей гильотиной: «Я всегда исповедовала принципы Марата. Если ты хочешь обессмертить меня, подобно ему, разоблачая, тебе представляется прекрасный случай. Я предпочитаю погибнуть от руки патриота, чем входить в сделки с разбойниками и изменниками». Но в самом конце октября враги женских революционных организаций приобретают значительное большинство не только в клубе якобинцев, Конвенте, но и в секциях Коммуны. «Общество революционных республиканок» агонизирует. Незначительное происшествие дало возможность дантонисту Фабру д'Эглантину, политическому проходимцу, полужулику, полупоэту, добиться репрессий против клуба на кладбище святого Евстахия.

Торговки с рынка «Невинных младенцев» не скрывали своего недовольства революцией. Невежественные, часто пьяные, они ненавидели левых и в особенности решительных поборниц свободы «революционных республиканок».

Базарные торговки охотно, вздыхая, поплевывая, ища утешения в брани, вспоминали о былых временах, когда слуги аристократов — утонченных гастрономов — увозили с рынка груды упругих и матовых артишоков, холеной бледной спаржи, демократической моркови, гороха и картошки. В те времена вокруг торговок толпились покупатели, и фруктовщицы уносили пустыми корзины из-под разносортных яблок, сочных груш, колоссальных бананов, ананасов и парижского винограда.

— Если наши мужья учредили республику, — угрожали рассвирепевшие от горечи воспоминаний торговки, — то мы-то уж наверняка сумеем своротить голову этой республике.

В дни казни короля и королевы рынок «Невинных младенцев» рыдал — на лягушечьи трупики, зеленые, как салат, на черных умирающих мулей и крабов, разложенных на прилавках, в кувшины с молоком, разбавленным водою, капали мутные слезы.

Гражданки «Секции общественного договора», торгующие на рынке, были обязательными посетительницами отдаленной пустынной площади Грев и просторной, поросшей травой площади Революции в дни работ «революционной бритвы». Многопудовые, заплывшие жиром или жердеобразные, крючконосые, часто бородатые и выносливые, как змеи, шли они за повозкой палача Сансона, обмениваясь циничными замечаниями по адресу смертников, если это были ранее прославленные революционеры. «Пусть эти чертовы патриоты сожрут поскорее друг друга», — хохотали рыночные ведьмы. Эти фурии были в числе тех, кто плевал в лицо раненому Робеспьеру утром 10 термидора, в трагический день поражения его партии.

Вражда «революционных республиканок» и торговок была застарелой. 28 октября наиболее неугомонные клубистки собрались в поход: вооружившись пистолетами для острастки, надев колоколообразные панталоны и красные фригийские колпаки, они отправились «осаннкюлотить», то есть прицепить традиционную кокарду

гражданкам с рынка «Невинных младенцев». Постановление о ношении кокарды под страхом недельного тюремного заключения было принято, по предложению революционерок, за месяц до того Конвентом.

О предполагаемом «наступлении санкюлоток» рынок знал заранее и с восхода солнца готовился достойно встретить дашнашних врагов. Гнилая картошка, твердая, как булыжник, репа, тухлые яйца, червивые сливы и красные, как свекла, женские кулаки были наготове. «Пусть-ка покажутся эти безмозглые обезьяны, бродячие сволочи!» — раздавалось со всех сторон. Наконец вдали показался долгожданный «отряд». Торговки сделали вылазку и ринулись в «атаку», помешав «революционным республиканкам» произнести хотя бы одно слово. В оторопелых «агитаторш» полетели пестрые «снаряды», а вслед за испорченными овощами пошли в ход камни, щепки и свирепые кулачищи. С тыла на пятившихся революционерок напала беспорядочная толпа лавочниц и усердной восхищенной детворы, подражающей матерям. Отступление стало невозможным. На крики, ругань, женский вой из близлежащих переулков прибежали мужчины, давно поджидавшие случая рассчитаться с «революционными бабами». К несчастью, защитников клубисток оказалось немного. В одно мгновение все перемешалось на просторном рынке. Ослабевшие революционерки, рьяно защищавшиеся после минутного остолбенения, потеряли не только свои кокарды и колпаки, но даже нынные, столь раздражавшие якобинцев панталоны. Полураздетых краснопопачниц безжалостно отстегали, а их предводительницу «высекли и вымазали грязью под бурное одобрение многолюдной толпы».

Эта неудача оказалась лишь звеном в длинной цепи последующих неприятностей.

В полдень того же дня Клер Лакомб с беспокойством подмечала небывалый наплыв «посторонних» в церкви святого Евстахия, откуда клубистки собирались отправиться на открытие памятника Марату. Однако ни Лакомб, ни ее разведка среди гуляющих в аллеях и сидящих на хорах женщин не обнаружили ничего подозрительного. Настроение казалось благодушным и спокойным, об утреннем происшествии помалкивали, и только исцарапанные физиономии и подвязанные руки отдельных гражданок свидетельствовали о драке. Внезапно кто-

то пустил провокационный слушок о том, что в сточных канавах Монмартра нашли припрятанную там муку. «Все это проклятые скупщики, долго ли еще Конвент будет церемониться с изменниками!» — закричала одна из женщин, худая и изможденная. «Не задевай Конвент, дуреха», — шепнула ей соседка. Но, истомленные недоеданием, очередями, лишениями, женщины взбудоражились. «Господин Робеспьер позволяет лавочникам пить нашу кровь», — визгнул из угла чей-то слабый голос. «Долой якобинок!», «Бей красноколпачниц!» — отвечали с хоров. Скандал разразился. В зале началась жестокая драка. Дерущихся женщин бросились разнимать остальные, но передрались при этом сами. Брань перемешалась со стонами, заглушалась стуком падающих скамей, отчаянным визгом, звоном разбитого стекла.

— Да замолчите же наконец, отпустите друг друга, гражданки, — прозвучал могучий бас. Странное обстоятельство — мужской голос заставил очнуться сцепившихся женщин, усердно колотивших друг друга. Мировой судья Лепде и шесть подоспевших граждан внесли некоторое успокоение. Поглядывая все еще со злобой, врати стали приводить в порядок распустившиеся волосы, порванные платья и платки.

Но перемирие было кратковременным. Специально прибывшие с рынка «Невинных младенцев» и подосланные «умеренными» якобинскими секциями скандалистки, обнаружив в аллеях вокруг клуба значительное подкрепление, принялись снова дебоширить. «Долой красные колпаки!» — раздалось с разных сторон. Судья Лепде, враждебный «революционным республиканкам», потребовал, чтобы вице-председательница сняла колпак. Виктория Капитэн, надеясь умерить пыл вражды, сняла свой традиционный головной убор. Послышались истерические вопли, мольбы не сдаваться и аплодисменты победительней. Но и этого оказалось мало. Потасовка возобновилась. Судья Лепде и шесть приведенных им граждан оказались на этот раз беспомощными зрителями. Видя себя окруженной со всех сторон, знаменосица клуба отдала охраняемое ею знамя одному из мужчин, отрывисто предупреждая: «Оберегай знамя... иначе поплатишься за него головой», — и бросилась в бой, вооружившись скамейкой. Только вызванные капонеры секции с трудом разняли женщин и водворили порядок. В итоге на «поле битвы»

осталось немало поранепных и избитых клубисток. Протокол, описавший этот плачевный случай, подписанный близким другом Клер Лакомб Викторией Капитэн, одной из наиболее одаренных и красноречивых руководительниц «Общества», сообщает между прочим: «Предпочитая пасть жертвою заблудшего народа, заботясь уже не о своей личности, а об охране изображенного на знамени образа Свободы, одна из гражданок, член клуба, воскликнула: «Убейте нас, если хотите, но относитесь, по крайней мере, с уважением к эмблеме французского единства».

После подстроенного врагами скандала дни «Общества» были сочтены. Коммуна вместо выговора властям за бездеятельность при нападении на клуб выразила им благодарность за принятие мер к «недопущению собраний клуба». Не довольствуясь разгромом собрания клуба в церкви святого Евстахия, женщины — противницы «революционных республиканок» — понесли в Конвент жалобу. Фабр д'Эглантин и другие депутаты решили воспользоваться этим доносом, чтобы закрыть раздражавший их «вредный» клуб. Вертлявый дантонист обрушился на «крайне левых» женщин со всем талантом инспиратора и пройдохи. «Вскоре, говорил он о «революционных республиканках», поглаживая при этом пудреный парик, — они начнут требовать пистолеты, и в недалеком будущем вы увидите вереницы женщин, идущих за хлебом, как на штурм траншей». Этот довод произвел убедительное действие на депутатов, боящихся всяких народных бунтов. «Я заметил, — продолжал Фабр д'Эглантин, — что эти общества состоят не из замужних женщин, девушек из порядочных семей... а из разных авантюристок, эмансипированных девиц, кавалеристов в юбках». Речь д'Эглантина прервали аплодисменты. Слово взяла одна из жалобщиц. «Граждане, — кричала она, — мы требуем закрытия всех женских обществ, организованных в форме клубов, потому что именно женщина, Шарлотта Корде, принесла несчастье Франции». Конвент постановил передать вопрос об «Обществе революционных республиканок» в Комитет общественной безопасности, и 9 брюмера гражданин Амар в напыщенной речи докладывал результаты расследования. Он говорил, между прочим: «Дозволяет ли женщине скромность выступать публично и бороться с мужчинами? По общему правилу жен-

щины не способны к возвышенным взглядам и к серьезным размышлениям. Итак, мы полагаем, что женщина не должна вмешиваться в государственные дела. Необходимо уничтожить эти мимореволюционные народные женские общества». Амар кончил, его сменил Шарлье, который, невзирая на рокот собрания, попытался защищать право женщин на клубы. «Если вы не оспариваете принадлежности женщин к человеческому роду, — сказал Шарлье, — то не можете отнять у них право, присущее всем мыслящим существам». Он предлагал очистить клубы от «подозрительных», но не закрывать их окончательно. Конвент, заслушав доклад Комитета общественного спасения, утвердил следующий исторический декрет: «Статья 1. Женские клубы и народные общества, под какими бы наименованиями они ни существовали, запрещаются... Статья 5. Все заседания народных обществ должны быть публичны».

Закрытие клуба «революционных республиканок» совпало с общими гонениями против всех «закрытых подозрительных сборищ». Конвент старался предотвратить любую попытку объединений недовольных, которыми кишел в эту осень Париж.

Клуб Лакомб решил отстаивать право женских объединений — одно из существеннейших завоеваний женщин после революции. 5 ноября 1793 года одна из «революционных республиканок» пробралась к решетке Конвента. Прерываемая гиканьем, улюлюканьем, свистками и хохотом, она успела выговорить лишь несколько слов в защиту своего клуба: «Общество революционных республиканок»... это общество, состоящее в большинстве из замужних женщин, более не существует. Закон, вырванный обманом в результате лживого доклада, запрещает нам называть себя рев...» Едва она начала последнюю фразу, большинство депутатов повскакали с мест, оглушительно крича на петиционерку. Председатель тотчас же приказал приставам вывести женскую депутацию.

Неделю спустя, в конце брюмера, отвергнутые Конвентом революционерки во главе с Клер силой ворвались на заседание парижской Коммуны, стремясь обжаловать декрет о закрытии клубов. Встреча, оказанная им, была не менее бурно враждебной, нежели в Конвенте. Члены Коммуны, за малым исключением, вопили, заглушая сторонников женского движения: «Долой красноколпачниц!»

Влиятельный член Коммуны, прокурор Шометт, союзник Эбера, впоследствии продолжавший агитацию «бешеных», был непримиримым противником «легкости нравов», которую порождали, по его мнению, излишние женские права. Редактор язвительного и дерзкого «Отца Дюшена» Эбер — щеголь, тонкий гастроном и весельчак — был почти равнодушен к «женскому вопросу», в то время как низкорослый прокурор Коммуны, одевающийся кое-как, живущий впроголодь, проповедовавший строгость и воздержанность в быту, требовал от женщин только служения семье и интересам домохозяйства. Шометт любил повторять патетически: «Природа сказала женщине: будь женщиной. Нежный уход за детьми, хозяйственные мелочи, сладкие тревоги материнства — вот твои труды, в награду ты будешь божеством домашнего святилища». Он искренне возмущался «бесстыжими бабами, напяливающими мужской плащ, меняющими данные природой прелести на пику и красный колпак». И тому же упорный атеист, Шометт презирал женщин за их невежественную тягу к клерикализму.

В парижской Коммуне Лакомб встретили грубыми насмешками и издевательствами. Якобинская партийная пресса точно так же одобрила декрет Конвента. В «Монитёре» в дни разгрома левых и женских клубов печатались поучающие и вместе с тем угрожающие статьи.

«За короткое время Революционный трибунал дал женщинам хороший пример, который, несомненно, не пройдет для них бесследно... Мария-Антуанетта... Олимпия де Гуж, одаренная экзальтированным воображением, приняла свой бред за внушение природы и кончила тем, что усвоила планы изменников... Госпожа Ролан, богатый ум, с большими планами, философ, разменивавшийся на мелочи... она была матерью, но она обрекла природу на заклание, пожелав возвыситься над нею; желание быть ученой женщиной довело ее до забвения своего пола, и это забвение, всегда чреватое опасностями, в конце концов привело ее к смерти на эшафоте.

Женщины! Вы желаете быть республиканками? Любите, исполняйте и проповедуйте законы, которые призывают ваших мужей и ваших детей к пользованию своими правами. Не ходите никогда на народные собрания с желанием говорить на них, но пусть иногда ваше присутствие придаст духу вашим детям; тогда отечество бла-

гословит вас за то, что вы действительно сделали для него все, чего оно вправе от вас ждать».

Смерть зарезавшего себя в 1794 году Жака Ру, преследование друзей, постоянная слежка окончательно оттолкнули Клер от революции. Она начинала верить в то, что подлинная революция уже погибла одновременно с разгромом «бешеных». Робеспьер, Кутон, Сен-Жюст после смерти Ру представлялись подруге Леклерка только тиранами, палачами «друзей народа». Происходящее ужасало «Розу», но все же но трусость перед эшафотом заставила «революционную республиканку» отступить и покинуть навсегда свой революционный пост, а полное разочарование.

С начала 1794 года бывшая председательница клуба на кладбище святого Евстахия пытается возвратиться к давно покинутой профессии. Провинциальный театр, кочевая жизнь, карнавальная мишура сцены, блаженные перевоплощения в античных героинь вновь влекут к себе охладевшую революционерку. В марте 1794 года она получает ангажемент в отдаленный городок Дюнкирхен. Наконец-то, радуется Клер, жуткий Париж останется навсегда позади, два буйных прошедших года попадут в архив воспоминаний, а будущее, как знать, может быть, даст успех, славу — таковы постоянные надежды даже самых обойденных дарованием детей театра. Виктория Капитэн, свидетель триумфов Клер, спешит снарядить подругу в путь. В одной из комнат дряхлого дома на Пти-Шан-Нёв обе женщины заняты укладкой скромных вещей «Красной Розы». Кретоновое пестрое тряпье — костюм страстной легендарной Ифигении — Виктория укладывает на дно корзины, накрыв его трехцветным шарфом, поднесенным «героине 10 августа» французским народом. Реликвия эта возвращает мысли подруг к счастливым дням их жизни. Они плачут, вспоминая Ру и его предсказания. Укрепившиеся буржуа, сообразно укладу мещанской жизни, отводят женщине только место домашней хозяйки. Женщины вытесняются из политической жизни. Победа принципов «бешеных» могла бы обеспечить женщине другие перспективы, но разбитая волна движения «бешеных» рассыпалась мелкой водяной пылью.

Неожиданный арест 2 апреля, накануне отъезда в Дюнкирхен, и долгое заточение расстроили планы Лакомб. Напрасно Виктория Капитэн хлопотала об освобождении

подруги, не помогал даже отзыв «Секции Хлебного рынка» (знавшей и некогда любившей «Розу»), в котором говорилось, что «гражданка Лакомб выказала много патриотизма и не имела других доходов, кроме присвоенных по положению». Шестнадцать месяцев кочевала Клер из одной тюрьмы в другую. Она побывала в плохо оборудованном Порт-Либре, в Плесси, в Сен-Пелажи. В тюрьме Клер Лакомб узнала о торжестве термидорианцев. Она видит, как выпускают из тюрем уцелевших аристократов, жирондистов, дантонистов, которые обнимаются друг с другом на радостях, что «тиран пал». Но на прошения Лакомб нет ответа. Термидорианский Конвент помнит «Красную Розу» в дни ее политического цветения и боится неустрашимости и влияния на массы «амазонки Конвента».

Двадцать четвертого термидора Клер, подписываясь «Лакомб, свободная гражданка», опять обращается с ходатайством: «Я всегда вела себя как безупречная женщина, достойная той свободы, которую я всегда защищала. Я отдала три года моей жизни своему отечеству. Так как я не могу отдать ему ни мужа, ни ребенка, которых у меня нет, я почту за счастье служить отечеству лично».

Время шло. После термидорианского переворота опустевшие тюрьмы продолжают спешно заполняться робеспьеристами, членами парижской Коммуны, секционерами. Лакомб слышит громыхание повозки у ворот тюрьмы, ежедневно увозящей на казнь все новые и новые партии революционеров. В тюрьме Люксембург Клер Лакомб находилась вместе с сестрами Дюпле — Эмилией, «невестой Робеспьера», и Елизаветой, женой Филиппа Леба; здесь был также и Леклерк, арестованный одновременно с Леон. В четырех стенах тюрьмы Люксембург существовал свой мирок — арестованным разрешалось торговать и заниматься ремеслом. В качестве наиболее опытной «старшей» тюремной жительницы, имевшей необходимые связи с тюремным персоналом, Лакомб занялась обслуживанием менее приспособленных к тюремной жизни заключенных. Она поставляла им свечи, галантерею, письменные принадлежности. Сделалась ли она заправской лавочницей, выйдя из тюрьмы? Вернулась ли на сцену? Никаких сведений о ней с момента ее освобождения нет. Выйдя в последний раз, осенью 1795 года, за ворота тюрьмы, она смешалась с уличной толпой и канула в неизвестность.

ЛЮСИЛЬ ДЕМУЛЕН

В одном из невысоких светлых залов музея Великой французской революции в Париже висит портрет молодой дамы, нарядно одетой по моде конца XVIII столетия. Масляные краски заметно потускнели на кукольном мечтательном лице. Это Люсиль Демулен, жена славолюбивого трибуна Первой республики, «нежная Люсиль», многократно воспетая поэтами и прославленная историками, несмотря на то что у нее не было никаких заслуг перед революцией, в кипучую и смутную эпоху которой она жила, никаких талантов, кроме умения быть «необыкновенной супругой».

Вот незатейливый узор ее жизни и характера.

В царствование Людовика XVI Люксембургский сад, расположенный в центре старого Парижа, был не менее посещаем, нежели теперь. На просторной, тщательно вычищенной площадке, где в большом бассейне плавали бумажные лодочки, погибавшие от порывов ветра, неизменно толпилась детвора, бросающая мячи вслед пестрым шуршащим змеям. Расфранченные кормилицы, служанки, чопорные воспитатели и кокетливые матери стерегли, окликали и подолгу поучали девочек, затянутых в корсеты, изнемогающих под тяжестью длинных, широких платьев, и мальчиков с туго завитыми кудрями, в широких шляпах, в атласных костюмчиках, отделанных кружевами.

В густых аллеях, где сквозь листву надменно смотрели каменные королевы Франции, статуи которых разбросаны были по саду, нередко мелькали пестрые тафтовые кафтаны элегантных кавалеров и шуршали заткапные цветами юбки богатых женщин, прячущих лица за веерами.

Люсиль Дюплесси, дочь богатого чиновника королевского министерства финансов, в течение многих лет была постоянной посетительницей Люксембургского сада, расположенного близ дома ее отца. Она приходила туда в сопровождении матери, удачно молодящейся красавицы, падкой до любовных утех. Мать и дочь были очень дружны и откровенны друг с другом, тем более что госпожа Доропна Дюплесси нуждалась в напернице в дни сердечных треволнений. Люсиль, посвященная во все «тайны» матери, с детства видевшая раздоры родителей, рано потеряла интерес к несложным любовным приключениям и желала для себя большой, всепоглощающей любви к верному, доброму мужу. Имея сто тысяч франков приданого, барышня Дюплесси относилась недоверчиво к многочисленным, казавшимся ей расчетливыми поклонникам и мечтала о появлении бескорыстного «принца», которому отдаст «руку, сердце и деньги».

В небольшом имении родителей в лунные ночи Люсиль не спала до рассвета. Лунные ночи уподобляли неровный сад со множеством бугорков и клумб кладбищу, белые статуи фавнов и нимф — могильным памятникам и надгробьям. Но Люсиль не замечала этого и не думала о смерти, она плакала от нестерпимой жажды любви. Она была самой обыкновенной девицей, склонной к сентиментальности, выросшей в условиях довольства, роскоши и безделья.

Книги мало интересовали барышню Дюплесси. В дневнике она записывала по вечерам свои горести и печали, наибольшей из них была скорбь по мертвой птичке, найденной на террасе дома, или жалость к растоптанному цветку. Мать посвящала ее в свои сомнительные романтические приключения, и признания эти будоражили воображение шестнадцатилетней девушки.

В Люксембургском саду еще подростком Люсиль встречала бедно одетого студента, который долгое время смешил ее своим уродством и странным поведением. У него была рябая кожа, огромный вспухший рот и косые кривой, словно у верблюда. Люсиль часто видела, как неуклюжий незнакомец, думая, что находится в одиночестве, начинал говорить сам с собой, смеяться, встряхивать кудрями, ходить важно и прямо, но, едва замечал чьи-нибудь присутствие, тотчас же сгибался, замолкал и становился робким, словно обиженным. Видимо, он стеснялся своей некрасивости и потрепанного костюма.

Барышня Дюплесси всегда, сама не зная отчего, жалела молодого человека, и когда однажды, волнуясь, он подошел к ней в Люксембургском саду, отнеслась к нему доверчиво и внимательно. Очень скоро после знакомства студент, назвавшийся Камиллом Демуленом, родом из соседнего городишка Гиза, признался девушке в любви, и любовь эта не была отвергнута. Люсиль ввела Камилла в родительский дом. Снисходительная к молодым людям госпожа Дюплесси-мать, теперь поверенная сердечных дел дочери, встретила гостя с большой добротой, но чиновник министерства финансов презрительно отвернулся, лишь только Камилл Демулен, запинаясь, начал рассказывать кое-что из своей биографии.

Сто тысяч приданого Люсиль легли непреодолимым препятствием между ней и Камиллом. Когда Демулен попытался попросить у господина Дюплесси руку его дочери, то получил столь краткий и решительный отказ, что не смог уже больше бывать в доме Люсиль; снова Люксембургский сад стал убежищем любви молодых людей. Чего только не говорил неутомимый в разговорах молодой адвокат горюющей невесте. Он предлагал ей обвенчаться тайно, умалчивая о том, что не имел постоянной квартиры и обеда даже для самого себя. Упрямый отец не слал ему денег, требуя, чтобы сын приехал заниматься адвокатурой в Гизе, как это сделал его школьный товарищ молодой адвокат Максимилиан Робеспьер, недурно устроившийся в родном городе Аррасо. Но Камилл предпочитал существовать впроголодь, оставаясь в Париже, где, он не сомневался в этом, его ожидало блестящее будущее. Уверенность Демулена в грядущих удачах подбодряла Люсиль, она твердо верила, что «гений» не может остаться незамеченным и нищим. 1789 год оказался волшебной палочкой, принесшей влюбленным желанный брак.

Люсиль, мало читавшая и образованная лишь настолько, насколько это было необходимо для девушки «с приданым», обрадовалась революции, как доброй свахе, которая облегчила устройство семейного гнезда. Камиллу революция дала славу, которую он ценил превыше всего.

Двенадцатого июля 1789 года, едва Неккер, считавшийся ставленником народа на министерский пост, получил отставку, Камилл Демулен протиснулся на страницы истории. Было около четырех часов дня. Наступающий

гул приближающегося восстания уже сотрясал Париж. Осушив для храбрости кружку вина, Камилл вышел из «Café de foi» и смешался с возбужденной толпой, переполнявшей Пале-Рояль. Потрясая пистолетом, он влез на стол, невзирая на вынырнувших со всех сторон полицейских. Несколько тысяч человек повернули с любопытством голову, выискивая глазами человека, который, запикаясь, громко кричал, требуя к себе внимания: «Граждане, нельзя терять ни одной минуты. Я сейчас из Версаля — Неккер получил отставку. Эта отставка предвещает новую Варфоломеевскую ночь для патриотов. Сегодня вечером выступят швейцарские и немецкие батальоны, чтобы уничтожить нас. Нам остается одно только спасение: взяться за оружие, установив условный знак, чтобы узнавать друг друга. Пусть всякий, подобно мне, прикрепит к своей шляпе лист с этих деревьев. Наступил час, страшный час столкновения между угнетателями и угнетаемыми, и у нас один лишь пароль: «Безвременная смерть или вечная свобода». Да раздастся клич: «К оружию!»

Страстность неизвестного оратора заразила толпу. Грозный клич: «К оружию!» — пополз, вспыхивая, как огонь по сухой траве. Двумя днями позже была взята Бастилия, и Камилла опять видели впереди восставших. Заикающийся трибун легко приобрел известность.

В коллеже святого Людовика, где он много лет жил в интернате вместе с Робеспьером, оба мальчика получили основательное классическое воспитание. Брут, Спартак, братья Гракхи, пафос древних ораторов не раз вызывали слезы восторга или вопли бешенства по адресу тиранов у впечатлительного школяра, и теперь революция сулила осуществление мечтаний Камилла и программы третьего сословия.

Бросив неудачные попытки стать знаменитым адвокатом, Камилл становится рьяным участником революционных схваток. Злопамятный, вспыльчивый, неглубокий, но остроумный, он легко обрел то поприще, которое может обеспечить ему видное положение и влиятельную роль. Камилл берется за перо, строчит и распространяет острые и пронизывающие, как штык, памфлеты против контрреволюции, против иностранного монархического блока, против аристократов и вскоре против короля. Он основывает газету «Революция Франции и Брабанта», в кото-

рой, изощряясь в злых, но всегда поверхностных шутках, красноречиво отстаивает демократические идеи. Его ближайшие друзья этого времени: Робеспьер, Бриссо, Фрерон, Петион — все члены клуба якобинцев. Удача во всем следует за Камиллом, он добивается того, что теперь уже господин Дюплесси почитает честью для себя брак дочери с подающим столь большие надежды подающим оборвацем Демуленом.

Одиннадцатого декабря Камилл, получив согласие родителей Люсиль на брак с нею, раздираемый противоречивыми чувствами: любовью, бескорыстием, удовлетворением по поводу свалившегося богатства, пишет отцу: «Сегодня, 11 декабря, я наконец вижу себя на вершине своих желаний. Счастье долго заставило себя ждать, но наконец оно пришло, и я так счастлив, как только можно быть счастливым на земле. Наконец-то родители отдают мне прелестную Люсиль, о которой я так часто вам говорил, которую я люблю уже восемь лет, и она согласна. Только что ее мать принесла мне эту весть со слезами радости на глазах. Неравенство имущества — господин Дюплесси обладает 20 000 ливров — являлось до сих пор преградой моему счастью, отец был ослеплен предложениями, которые ему делали, он отказал претенденту со 100 000 франков, Люсиль отказала другому, с рентой в 25 000 ливров. Вы сейчас узнаете ее по одной только этой черте: как только мать, поручая мне свою дочь, провела меня к ней в комнату, я бросился к ногам Люсиль и, к великому удивлению, слышу ее смех; я поднимаю глаза и вижу, что с ее глазами дело обстоялo не лучше, чем с моими, она совсем растворилась в слезах, слезы лились ручьями, но она вместе с тем и смеялась. Никогда еще не видел я такого очаровательного зрелища, я и в мыслях не мог допустить, что природа и чувство — два столь разительных контраста — могут в такой степени сочетаться. Отец ее сказал мне, что не намерен более откладывать наше бракосочетание, он хочет только передать мне раньше то 100 000 франков, которые он обещал в приданое своей дочери, и для этого он отправится со мною к нотарпусу, как только я пожелаю. Я ответил ему: «Вы капиталист. Вы всю свою жизнь копались в деньгах, я не могу и думать о брачном контракте, а такая сумма смутила бы меня. Вы слишком любите свою дочь, и мне незачем быть представленным при

составлении контракта. Вы от меня ничего не требуете, поступайте, следовательно, с контрактом как вам угодно. Он, кроме того, дает мне половину своего столового серебра, которое стоит около 10 000 франков. Прошу вас, не предавайтесь слишком большой радости. Будем скромны и в довольстве... Мы можем пожениться в течение недели. Моя милая Люсиль и я не желаем, чтобы нас еще дольше разлучали. Не навлекайте этой вестью на нас ненависти тех, которые завидуют нам, и заключите нашу радость в сердце, как это делаю я, или дайте ей еще проникнуть в сердце моей милой матушки, моих сестер и братьев. Я теперь имею возможность помочь вам, и это составляет значительную долю радости. Моя возлюбленная — моя жена — ваша дочь — и вся ее семья обнимают вас...»

Двадцать девятого декабря 1789 года в церкви Сен-Сюльпис, величественной, суровой и печальной, как феодальный замок, по католическому обряду Демулен обвенчался с Люсиль, которая плакала от радости, принимая поздравления Бриссо, Робеспьера и Петиона, свидетелей бракосочетания. Пышностью брачной церемонии Камилл снова спешит похвастать перед родными в Гизе, всегда к нему столь несправедливыми и никогда не ценившими его должным образом. Старик Демулен дрожащими руками будет протягивать письмо сына друзьям и соседям, удивляясь втихомолку не тому, что «свидетелями были Петион и депутат Национального собрания Робеспьер, Бриссо де Варвиль и Мерсье — краса журналистов», а тому, что его непутевый сын, так выгодно женившись, породнился с почтенным буржуа, господином Дюплесси.

Можно ли описать счастье, переживаемое Люсиль; отныне навсегда исчезнут в ней склонность к меланхолии, слезливость и унылые речи, она становится неутомимой спутницей мужа, вникающей во все его дела, одинаково увлекающейся штопкой его чулок и переписки его статей, которые волнуют ее своей страстностью. Квартирка Демуленов, удобно и хорошо обставленная тещей и тестем Дюплесси, согрета неутомимыми заботами молодой хозяйки. Усталые патриоты знали, что ужин у гражданки Демулен всегда подадут отличный, вино будет старое и первосортное, разлитое по хрустальным графинам с переплетенными инициалами «К» и «Л». Женившись, Камилл получил все, о чем смел раньше только мечтать: жену, стремящуюся предвосхищать его

желания, собственную квартиру в несколько комнат и деньги, обеспечивающие на много лет вперед отличное существование. Он чувствовал себя всеобщим баловнем и кумиром.

В имении Дюплесси, переименованном после революции в «Замок равенства» вместо «Замка королевы», прохаживаясь по дорожкам в саду, Демулен, жестикулируя, любил пооратор ствовать, репетируя предстоящие в клубе якобинцев речи. Господин Дюплесси слушал его подчас восхищенно, но чаще сердито ворча в ответ на слова зятя, казавшиеся ему то пустой болтовней, то возмутительной проповедью кровожадности. Господин Дюплесси боялся революции, но еще больше падения курса ценных бумаг, в которых заключалось его состояние. Одна Люсиль не уставала восхвалять все, что делал или говорил муж, и когда у нее не было убедительных доводов, она обиженно и упрямо повторяла: «Ну что ж, когда я и нахожу недостатки в Камилле, я их люблю».

К политической деятельности мужа Люсиль относилась, как отнеслась бы ко всякой другой его профессии. Будь Демулен врачом, Люсиль почитала бы медицину и лечила бы вместе с ним больных. Когда Камилл в 1792 году попробовал было заняться адвокатурой, Люсиль добросовестно вызубрила таблицы законов и утверждала, что юридические науки наиболее нужные и полезные для блага человечества. Если бы Камилл был монархистом, его жена ненавидела бы революцию, но Камилл был революционером, и этого было достаточно, чтобы определилось мировоззрение Люсиль. Главное и единственно необходимое для ее спокойствия было не расставаться с мужем, и она достигла того, что каждый день теснее соединял их. По вечерам, когда Камилл писал свои памфлеты и статьи для газеты, Люсиль обязательно сидела поблизости, занимаясь рукоделием или попросту раскачиваясь на качалке, покрытой веселыми подушечками. Едва Камиллу приходила в голову счастливая мысль, цветистое сравнение или цитата из древних, он патетически прочитывал жене, которая отвечала восторженным одобрением. Она гордилась тем, что не умел критиковать Демулена.

Шестого июля 1792 года у Люсиль родился сын, названный Горацием. Камилл собственноручно отнес сына в общинное управление, где мальчик получил респуб-

ликанское крещение — без религиозных церемоний; его именем открыли первую книгу актов гражданского состояния. В заявлении о рождении сына Демулен писал: «Я хотел избегнуть упрека, который мог бы мне сделать когда-нибудь мой сын за то, что я клятвой связал его с теми религиозными взглядами, которые, быть может, не будут его взглядами, что при вступлении его в мир я связал его легкомысленным выбором с одной из 900 или еще более религий, исповедуемых людьми, тогда, когда он еще не узнавал своей матери».

После рождения ребенка Люсиль целиком отдалась семье, но события 10 августа, в которых участвовал Демулен, вырвали ее на время из сферы маленьких интересов домашнего быта. 10 августа 1792 года парижский люд штурмовал Тюильри и низверг Бурбонов, и в эти дни Люсиль впервые поняла, какую опасную профессию избрал ее муж. Она пишет в своем дневнике 12 августа:

«Восьмого августа я вернулась на деревню. Во всех умах царило уже сильное брожение. Хотели убить Робеспьера. Девятого у меня обедали марсельцы, мы были довольно веселы. После обеда все мы были у Дантона. Дантон был полон решимости. Я лично хохотала, как безумная. Они боялись, что из этого дела ничего не получится. Хотя я была далеко не уверена, я говорила им, как будто знала наверное, что удастся. «Но только как можно так смеяться?» — сказала мне мадам Дантон. «Ах, — ответила я, — это, может быть, предзнаменование того, что я сегодня вечером буду много плакать...» Погода была прекрасна, мы гуляли по улицам, было много народу. Мы снова вернулись и расположились перед кафе. Мимо нас прошли несколько санкюлотов с криками: «Да здравствует нация!», затем конные войска, наконец огромная масса народа. Меня объял страх. Я сказала мадам Дантон: «Вернемся домой». Она посмеялась над моими опасениями, но мой разговор об этом зародил и в ней беспокойство, и мы пошли. Я сказала: «Будьте здоровы, скоро вы услышите звук набата». Вскоре я увидела, как все вооружились. Камилл, мой дорогой Камилл, пришел с ружьем. О боже, я спряталась в алькове, закрыла свое лицо руками и заплакала, но тем не менее я не хотела выказать свою слабость и не решалась сказать Камиллу, что мне нежелательно его вмешательство в эти дела. Однако я уловила минутку,

когда я могла говорить с ним без боязни быть подслушанной, и я высказала ему все, чего я опасалась. Он успокоил меня и сказал, что не оставит Дантона. Между тем я узнала, что он подвергался опасности.

Фрерон имел вид, как будто он решился на смерть. «Я устал жить, — говорил он, — я желаю только смерти». Я перешла в пустую гостиную, где не горел свет, чтобы не видеть всех этих приготовлений. На улице было пусто. Все люди разошлись по домам. Наши патриоты собрались уходить. Я уселась возле кровати, подавленная, уничтоженная, несколько раз я засыпала, и когда я пробовала говорить, то получалась одна чушь. Дантон прилег. Он не имел вида занятого человека, он почти совершенно не выходил из дома. Приближалась полночь. Несколько раз заходили к нему. Наконец он отправился в Коммуну. Кордельерский колокол звонил, звонил долго. Совсем одна, в слезах, на коленях у окна, уткнув лицо в платок, я прислушивалась к звону рокового колокола. Напрасно приходили люди меня утешать. Мне казалось, что я догадываюсь об их плане отправиться в Тюильри. Рыдая, я сказала им об этом. Я чувствовала, что упаду в обморок. Напрасно мадам Робер справлялась о своем муже, никто ей не давал сведений. Она думала, что он пошел с предместьями. «Если он погибнет, — сказала она мне, — я не переживу его. Но этот Дантон — центр всего. Если мой муж погибнет, я буду в состоянии его заколоть». Камилл вернулся в час, он заснул на моем плече. Мадам Дантон была рядом со мной; она как будто готовилась встретить известие о смерти своего мужа. Я тоже легла и заснула под звон набата, который раздавался теперь со всех сторон. Затем мы встали. Камилл ушел, обнадежив меня, что не будет подвергаться опасности. Вдруг мне показалось, что раздался пушечный выстрел. Мы слышали крики и плач на улице, мы думали, что весь Париж плывет в крови. Затем мы набрались мужества и отправились к Дантонам. Кричали: «К оружию!», каждый спешил туда. Мы хотим быть свободными. Ах, боже, как дорого приходится платить за это. Довольно долго мы оставались в неведении. Потом пришли люди и сказали нам, что мы победили. На следующий день, двенадцатого, я узнала, что Дантон стал министром».

О тех же событиях и последовавших затем своих успехах 15 августа Камилл сообщает:

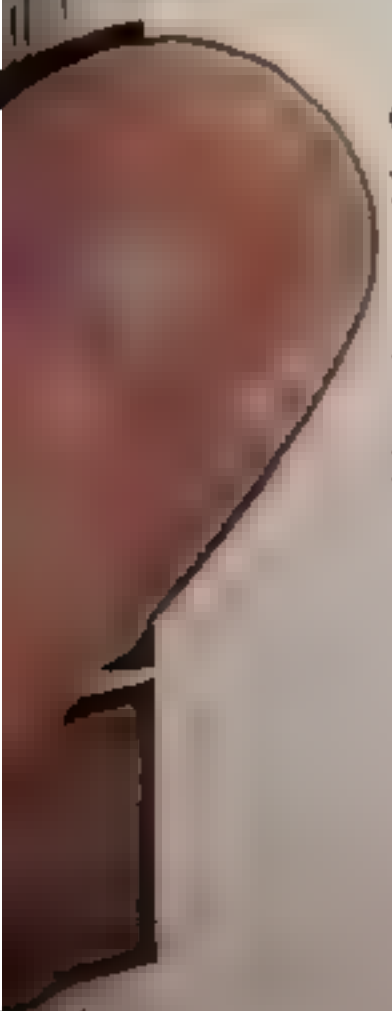
«Дорогой мой отец!

Из газет вы узнали о событиях 10 августа. Остается мне сообщить вам о том, что касается меня лично. Мой друг Дантон милостью пушки стал министром юстиции, этот кровавый день должен был, в частности для нас обоих, кончиться нашим возвышением к власти или к виселице.

Он сказал в Национальном собрании: «Если бы я был побежден, я был бы преступником».

Дело свободы победило. Вопреки всем вашим пророчествам, что из меня ничего не выйдет, я достиг высшего положения, которое было доступно человеку моего происхождения. Я далек от того, чтобы из-за этого стать более тщеславным, наоборот, теперь я гораздо менее тщеславен, чем десять лет тому назад, потому что теперь я стою меньше в отношении фантазии, пыла, темперамента и патриотизма, которых я не отделяю от чувства гуманности и любви к себе подобным, потому что все это остыло за эти годы.

Но моя сыновняя любовь не охладела, и сын ваш, ставший ныне генеральным секретарем департамента юстиции, или тем, что обычно называется секретарем печати, надеется, что вскоре сумеет доказать вам это».



Во время процесса Людовика Люсиль становится постоянной посетительницей Конвента. Ей немного жутко, когда сторонники и противники смертного приговора королю распаляются в дебатах до того, что вот-вот обе стороны готовы броситься в драку. Но она твердо помнит, что ей, по примеру Камилла, нужно быть за казнь короля, и, когда участь Людовика решена, она восклицает: «Наконец-то мы торжествуем!» Люсиль изливает с подогретым пафосом в дневнике свою ненависть к королеве. «О злодейка, — пишет она, обращаясь к Марии-Антуанетте, — женщина, не заслуживающая, чтобы тебе светило солнце. Как, ты думаешь, что месть небес не упадет на твою голову, что ты победишь? Нет, быть может, уже близок день, когда бедствия, причиненные тобой, обернутся против тебя, ты будешь рыдать тогда, но будет поздно, никто не сжалится над тобой. Вспомни со страхом об участи королев, которые, как ты, творили зло. Смотри: одни из них погибли в нищете, другие взошли на эшафот, вот участь, которая, быть может, ждет и тебя».

События шли своим чередом. Жиронда, избравшая тактику гнилых компромиссов и протестовавшая против казни Бурбонов, сама попадает на скамью подсудимых в Революционном трибунале, а затем на эшафот. Люсиль была связана в самом начале революции благодаря Камиллу узами дружбы с Бриссо и Петионом; она впоследствии вспомнит о том, что Бриссо соединил ее руку с рукой Камилла. Но во время борьбы с Жирондой и разгрома жирондистов жена Демулена ни словом не отмечает происходящего в своем дневнике. Якобинец Демулен ведет бешеную атаку на Бриссо и бриссотинцев — и они перестают существовать для Люсиль еще раньше, чем их настигает кровавая развязка.

Разве могла она сомневаться в правильности того, в чем был уверен Камилл?! Люсиль знала и охотно повторила бы все его доводы в пользу казни недавних друзей, но, кроме господина Дюплесси, никто из окружавших ее и не пытался бы спорить и защищать врагов революции.

Едва навсегда замолкли жирондисты, как Демулен повернул оружие против недавних союзников в борьбе с бриссотинцами, против левых.

«Ужасные «бешеные» особенно возмущали Люсиль; не имея достоинств жирондистов, их изысканного красноречия, учености, изящества, они смели нарушать спокойствие состоятельных граждан, стремясь обеспечить чрезмерные преимущества беднякам, которых, по мнению Люсиль, вполне достаточно одарила революция. Их посягательства на право частной собственности и личной свободы попросту изумляли жену Демулена, как наглая бессмыслица. Какой вред, наивно спрашивала она, мог быть для свободы в том, что ее родные имели крупную ренту, имение и серебряные сервизы, составлявшие приданое и наследство дочери? Не только «бешеные», но и близкие к ним по настроению эбертисты вызывали ее возмущение. К тому же один из них, Шометт, который дошел до такой наглости, как не раз думала Люсиль, что посмел громогласно отрицать существование бога, был нехорош собой, невежлив и не стеснялся в обществе дам выражаться так, как будто был «сродн простонародья». Слушая Камилла, который ругал эбертистов за их налоговую политику, обременявшую богатых, Люсиль никогда не забывала напомнить о том, что «расфранченный

грубили», редактор «Отца Дюшена», опять, проходя мимо нее, «неприлично засмеялся». Его жене, госпоже Эбер, тоже неизменно доставалось от «нежной Люсиль» за нестрые, безвкусные наряды и простоватое лицо.

Узнав, что Камилл вновь приступает к изданию газеты, его жена громко высказывала свою радость, предвкушая расправу с эбертистами. Она знала по опыту с Бриссо, какая опасность таится в пере влиятельного журналиста. В конце 1793 года вышел первый номер «Старого кордельера», просмотренный еще благожелательным Робеспьером; впрочем, в дальнейшем, когда Робеспьер почувствует, что под видом нападения на ультралевых метят в него самого, политическая распря навсегда разбросает Максимилиана и Камилла по разным лагерям.

Равнодушная прежде к пролившейся крови главарей Жиронды, Люсиль все чаще пугалась теперь того, что террор принимает массовый характер и на эшафоте умирают то бывший поклонник матери, то родственник, то знакомая дама. В такие дни Люсиль не раздвигала кисейных занавесок и пряталась в комнате сына от страшных еще ни на чем не основанных опасений, что и ее ждет смерть на помосте. В такие дни она встречала возвращающегося домой Камилла бессвязными мольбами немедленно бросить Париж и ехать в имение, где можно, занимаясь хозяйством, жить в мире и спокойствии. Но все же это были только редкие приступы, от которых оказался не свободным и Камилл — слабый, неврастенический и поверхностный политик, к которому и в 1793 году отлично подходила характеристика, данная ему тремя годами раньше Маратом:

«Несмотря на весь ваш блеск, вы еще неопытны в политике. Вы больше принесли бы пользы отечеству, если бы ваш шаг был увереннее и тверже, но вы в своих суждениях шатаетесь из стороны в сторону: сегодня порицаете то, что одобрите завтра. По-видимому, у вас нет представления о таких вещах, как план или цель».

Предчувствуя и опасаясь того, что будущее несет ему и Люсиль потрясения и беды, Камилл в письме к отцу высказывает, между прочим, и такие беспокойные, пессимистические мысли: «Почему я не могу оставаться неведомым настолько же, насколько я известен? Где то убежище под землей, которое укроет меня с моей женой, моим ребенком и моими книгами от взоров всех?» Он

тщетно ищет путей отступления: дезертировать поздно. И, надоясь, что спасение в победе, он развивает неистовое наступление на противников в лагере эбертистов. Но Люсиль еще гонит от себя страх перед надвигающимся несчастьем, она усердно приглашает гостей и старается воскресить прежнюю беспечность, царившую в ее доме на улице Одеона. Однажды, в тот момент, когда прислуга внесла в розовую столовую поднос, уставленный севрскими чашками с дымящимся шоколадом, Люсиль, ударяя по столу своей маленькой ручкой, с шутливым выговором говорит, обращаясь к друзьям Камилла, которые предостерегают его от словесного поединка с Робеспьером: «Позвольте ему исполнить свою задачу, пусть он спасет родину». И, кокетливо ставя чашки на стол, очаровательная Люсиль добавляет: «Тот из вас, кто будет ему мешать в этом, не получит от меня ни капли шоколада».

Игривое настроение Люсиль, однако, длится недолго. В самом конце 1793 года она не раз делится своей тревогой с семнадцатилетней женой Дантона Луизой. Но робкая, религиозная подруга не интересуется политикой, боится крови и не знает, что ответить на горячие доводы жены Демулена о том, что нужно «убрать Шометта и его банду» для того, чтобы навсегда разобрать и сжечь гильотину. Порицая жену Дантона, Люсиль свысока говорила об ее умственной ограниченности, удивляясь тому, что могло так понравиться Дантону. Она осуждала Марпуса (кличка Дантона) за совершение брачной церемонии у неприсягнувшего священника, за охлаждение к государственным делам после женитьбы и за готовность пропустить заседание и остаться приятелей, лишь бы не уходить из дома или проехаться с Луизой в свое имение.

С начала 1794 года Камилл Демулен в «Старом кордельере» повел чудовищную кампанию против эбертистов. Не оставаясь в долгу, эбертисты отвечают нападками на дантонистов и Демулена, который в своей газете доходит даже до того, что требует восстановления религии — этого «рычага законодателя», и, готовя гильотину своим противникам, демагогически взывает о милосердии для всех прочих граждан.

Сперва обнадеженная полемическим воодушевлением мужа, Люсиль понемногу опять возвращается к страху,

к прежней боязни предстоящего. Посещая Якобинский клуб, бурлящий и грозный, читая газеты, она начинает отдавать себе отчет в том, что попытка встать против революционной стихии несет ее мужа к бездне. Кто может еще спасти дело ее Камилла?.. Дантон?.. Но он самонадеян и уверен в том, что революция не решится поглотить на головы его единомышленников; Фабр д'Эглантин беспринципен и ненадежен; есть еще один друг — Фрерон, на его участие Люсиль может надеяться, помня, как упорно он уверял ее в своей любви. К Фрерону пишет Люсиль, умоляя его приехать в Париж на помощь Камиллу, и жалуется на травлю, поднятую против нее аберистами:

«Эти чудовища осмелились упрекнуть Камилла в том, что он женился на богатой женщине... Ах, пусть они никогда обо мне не говорят, пусть они забудут о том, что я существую, пусть они поселят меня в пустыне. Я ничего не требую от них, я оставляю им все, чем я владею, чтоб только не быть вынужденной дышать тем же самым воздухом, что и они. Если бы я могла забыть их и все страдания, которые они нам причинили! Жизнь становится для меня тяжелым бременем. Сладкое, чистое счастье, тебя похитили у меня. Мои глаза наполняются слезами, я сдерживаю эту страшную боль в глубине сердца, я показываю Камиллу веселое лицо, я притворяюсь мужественной, чтоб и он был мужествен». Но Фрерон отделывается шуточным ответом и остается в провинции, не желая рисковать головой.

Неслыханно заостренные полемические наскоки Демулена вызывают озлобление демократических мелких буржуа, руководимых Робеспьером: они подозревают в нем предателя. Люсиль падает в обморок в клубе якобинцев, когда Эбер предлагает исключить Камилла из списка, по примеру клуба кордельеров. Две незнакомые женщины участливо выводят жену Демулена в еще безлистый, сырой от зимних дождей сад бывшего монастыря святого Якова и стараются ее успокоить, но она вырывается, падает на землю, стонет, точно уже слышит смертный приговор, произнесенный Демулену. Быть исключенным из клуба, да еще по обвинению в сношениях с роялистом и изменником генералом Диллоном! О, Люсиль знает хорошо, чем это грозит. Когда она опять входит в зал клуба, с защитой Камилла выступают Дантон, Колло

д'Эрбуа и, наконец, Робеспьер. Максимилиан, стремящийся в первую очередь уничтожить «крайних левых», в чем удачно ему помогал Демулен, еще не желает нанести удар дантонистам, хотя некоторые из них и кажутся ему излишне уклонившимся вправо.

В истерическом напряжении Люсиль ловит слова Робеспьера. С трудом она разбирает смысл речи Неподкупного; он говорит об очевидном безумии редактора «Старого кордельера» и предлагает не исключать его, а ограничиться только сожжением вредной и бессмысленной газеты.

Едва замолкает Робеспьер, на трибуну вскакивает поседевший, растрепанный Камилл. Непрестанно запинаясь, он старается перекричать ревущий зал. Теряя всякую сдержанность и осторожность, Демулен, чтобы разоблачить тонкую игру Робеспьера, заявляет, что «Старый кордельер» просматривался Максимилианом, и требует его к ответу как своего соучастника. Хладнокровно и кратко, нисколько не желая быть объявленным союзником дантонистов, Робеспьер напоминает Камиллу, что просмотрел не более двух номеров газеты. Изнемогающая от беспокойства и нервной дрожи, Люсиль присутствует при исключении Камилла из членов Якобинского клуба.

С момента исключения Камилла из клуба над его домом повис ужас. Стук о мостовую ружейного приклада, грузные шаги пешеходов, громыханье кареты или телеги бросали Люсиль к окну. Она прижималась к стеклу, плохо видя заплаканными глазами, шептала наивные молитвы и кутала лицо в занавеску, если не могла сдержать громкое рыданье, чтобы не слыхал Камилл, который то сидел, молчаливо и тупо уставившись в одну точку, то писал без конца, зачеркивая и начиная сызнова, то принимался неестественно весело играть с сыном. Иногда, не желая ни на минуту расставаться с мужем, Люсиль сопровождала его в Конвент или к друзьям.

В ночь с 30 на 31 марта Люсиль долго не ложилась спать. Камилл, опустив на руки голову, сидел у стола, на котором лежало письмо его отца, сообщавшее о смерти жены, суетливой и доброй старушки. Смерть матери, как предзнаменование, потрясла Камилла. Люсиль тихонько вышла из столовой, оставив мужа наедине с его тяжелыми думами. Беспокойно прислушиваясь к ночной тишине, она принялась за свой ночной туалет: расчесала волосы и надела чепец, — как вдруг где-то на улице прозвучали,

приближаясь, чьи-то шаги, ровные и гулкие, как бой ба-
рабана. Заслышав военную команду, Люсиль бросилась
к Камиллу, растерянно поднимавшемуся из-за стола. Уви-
дев жену, он прошептал, точно прохрипел агонически:
«Меня пришли арестовать».

Люсиль закричала протяжно и жутко впервые уже
тогда, когда улица смолкла и патруль, уведший в Люксем-
бургскую тюрьму Камилла, скрылся за поворотом. Не-
вместе с вырвавшимся воплем, услышав который привра-
заохала, думая, что госпожа сошла с ума от горя, к Лю-
силь возвратилась непреодолимая потребность действия.
Она рвалась к Камиллу, без которого не хотела жить, как
тигрица к похищенному детенышу, и готова была любой
ценой рассчитаться с теми, кто посмел забрать у нее мужа.
Днем и ночью, неряшливо одетая, Люсиль металась по го-
роду, по разным учреждениям или стояла, как загипноти-
зированная, в Люксембургском саду, против тюрьмы, где
находился Демулен. Иногда на улице она вдруг разража-
лась бранью и угрозами по адресу правительства, вызывая
пугливые, сострадательные взгляды прохожих. Желая
разделить заключение Камилла, Люсиль стремилась быть
арестованной. «Почему я на свободе? Думают ли люди,
что я не осмелюсь поднять свой голос лишь потому, что
я женщина? Рассчитывали ли они на мое молчание?» —
говорила она.

Бросаясь от одного средства освобождения Камилла
к другому, она пробует написать, напоминая о былой
дружбе, Робеспьеру, которого считает наиболее влияте-
ным человеком в Париже. В ее письме к нему перемеша-
ны мольбы и обвинения.

«Камилл видел, как зарождалось твое честолюбие, —
пишет Люсиль, — он предчувствовал тот путь, которым ты
пойдешь, но он помнил вашу старую дружбу, и, далекий
как от черствости твоего Сен-Жюста, так и от твоей низ-
кой зависти, он отбросил мысль подпять обвинение проти
своего школьного друга».

Робеспьер не ответил на письмо Люсиль, и его молча-
ние она поняла как приговор. Отчаяние придает ей отвагу
и толкает на безрассудные поступки. В бессонные ночи
в ее воспаленной голове зарождаются невыполнимые про-
екты: то она хочет стать во главе восстания, которое осво-
бодит Камилла, то вдруг ей кажется позможным подку-
пить тюремщиков и устроить узнику побег.

Истерические стенания Камилла в его последних письмах к жене звучат в ушах Люсиль как призыв к мести, как бы упиваясь своими муками:

«...О, моя дорогая Люсиль! Моя горячо любимая. Я невинен, но часто чувствую себя слабым как супруг, отец и как сын. Если бы еще Питт или Кобург так жестоко обращались со мной, но не мои же коллеги: но Робеспьер, подписавший ордер на мой арест, не республика после всего того, что и сделал для нее. Вот награда за все мои добродетели и жертвы... — пишет Демулен, забывая о своих роковых ошибках и готовности ослабить силы революции пропагандой реакционных и вредных идей. Ничто не могло спасти его, когда он попытался задержать поднимавшийся все выше и выше революционный вал. — Я только что вернулся с допроса у комиссаров правительства, — продолжает он. — Меня спросили, не находился ли и в заговоре против республики. Какая чепуха! Неужели можно так позорить республиканца чистейшей воды. Теперь я вижу, какая участь ждет меня. Прощай... О, моя дорогая Люсиль. Прости меня, моя возлюбленная, настоящую свою жизнь я потерял в ту минуту, когда нас разлучили, прости мне, что теперь я живу своими воспоминаниями. Я должен был бы постараться, чтобы ты забыла о них. Моя Люсиль, мой добрый Лулу. Живи для Горация, рассказывай ему обо мне. Ты скажешь ему то, чего он от меня не сможет услышать, что я его очень любил.

Несмотря на то что я иду на казнь, я верю, что есть бог. Моя кровь искупит мои ошибки, слабости человечества, а то, что было во мне хорошего — мои добродетели, моя любовь к свободе, — будет вознаграждено богом. Я увижусь с тобой, Люсиль. Разве при моей чувствительности смерть, которая освободит меня от зрелища стольких преступлений, такое уж большое несчастье? Будь здорова, моя жизнь, моя душа, мое блаженство на земле... Я вижу, как бежит от меня берег жизни. Я вижу еще Люсиль. Я вижу ее, мою горячо любимую. Моя Люсиль, мои связанные руки обнимают тебя, и голова моя, уже оторвавшаяся от туловища, глядит все еще своими умирающими глазами на тебя».

Накануне казни дантонистов Люсиль видели перешептывающейся со сторожем Люксембургской тюрьмы. Сен-

Жюст в Комитете общественного спасения сообщил, что обезумевшая и разъяренная против патриотов жена Демулена пытается организовать мятеж в тюрьмах, что ее главным сообщником является генерал Диллон, гнусный изменник, заключенный в Люксембургской тюрьме.

Пятого апреля, в полдень, на опустевшей площади возле гильотины стояла телега, на которую, разговаривая о погоде, урожае, детях, палач и его помощники складывали тела только что казненных дантонистов. Голову их рослый мускулистый Сансон, любовно вынимая из корзины, подолгу рассматривал, прежде чем бросить на грудь туловищ, опаленных раньше. Мертвый Камилл с открытыми, выпученными глазами не понравился Сансону, с брезгливостью вспомнившему, как дрожал и боялся Демулен гильотины.

Люсиль пошла в тюрьму, словно на зов Камилла, спокойно и радостно. Мистическая вера в бога сулила ей встречу с Камиллом, и смерть становилась желанной. После короткого допроса вдова Демулена была осуждена на смерть.

Хладнокровно выслушав приговор, Люсиль сказала: «Итак, я скоро буду опять иметь счастье видеть своего Камилла».

На тюрьмы она написала матери прощальную записку: «Доброй ночи, моя милая мама, слеза падает из моих глаз — она для тебя. Я усну покоем невинности».

Разодевшись для казни, как для желанного свидания, Люсиль Демулен спустилась к воротам тюрьмы, где произнесенных ждала тележка палача. Ее белую вуаль, набрюшенную поверх волос, как когда-то во время венчания в Сен-Сюльписе, то развевал, то пригибал к земле весенний ветер. В «тележке смерти» Люсиль увидела бывшего прокурора Коммуны Шометта и госпожу Эбер, которых, как и ее, везли на гильотину.

Сколько их, погибших, сломленных в борьбе, не отмеченных историей, незаметных женщин. Матери, дочери, соратницы — их много, захваченных Великой французской революцией, и подчас, в моменты испытаний, проверки, они подлинно героичны.

Столяр Морис Дюпле в годы революционных потрясений жил на улице Сент-Оноре, в деревянном домике, вход в который был только через ворота со двора. Он нанял дом у монастыря Зачатия, расположенного рядом, на той же улице Сент-Оноре. К радости якобинца-столяра, во время революции вследствие конфискации церковных имуществ вся недвижимость монастыря вместе с домом, занятым семьей Дюпле, стала собственностью нации. Кроме одноэтажного узкого корпуса с окнами на улицу, во дворе столяра находились еще два флигеля, в одном из которых жил с 17 июля 1791 года Робеспьер. Он занимал одну комнату, необычайно скромно обставленную, всегда тщательно прибранную.

Благодаря большому мастерству и предприимчивости столяр Дюпле задолго до революции достиг сравнительного благосостояния. В его дворе под навесом, где непрерывно кипела работа, создавались пузатые шкафы, столики на рахитичных ножках, похожие на катафалк кровати.

После революции заказы на тяжеловесную, оживленную деревянным кружевом мебель — украшение дворцов и богатых особняков — сильно сократились, но Дюпле получал подряды для революционных учреждений, и по-прежнему стучал молоток, пищала пила, пел рубанок,

летели стружки и пахло лаком и краской во дворе его дома. Жена столяра была женщиной добродушной, хлопотливой и гостеприимной. Подобно мужу, она мечтала, обеспечив материально своих пятерых детей, сделать из них мелких буржуа, не знающих нужды.

Меньший из детей четы Дюпле, единственный сын Яков, которого Максимилиан Робеспьер прозвал «наш маленький патриот», отличался сообразительным и пытливым умом и имел хороших учителей. Якобинское воспитание не пропало даром: Яков до конца жизни сохранял верность заветам якобинства.

Три дочери Дюпле (четвертая, замужняя, жила вне Парижа) во время революции были уже взрослыми девушками. Они получили хорошее по тому времени образование, пробыв по нескольку лет, как диктовал обычай для девушек зажиточных семей, в монастыре Зачатия. Монастырь не привил им жеманства и высокомерия; изучив музыку, поэзию, рукоделие, они охотно занимались стряпней и стиркой, не гнушаясь черной работой по дому. Элеонора, Елизавета, Виктория отличались цветущим здоровьем, твердостью и цельностью характеров

Старшая из сестер, Элеонора, замкнутая, чуткая девушка, в 1791—1794 годах училась у знаменитого художника Ренье, студию которого в эту пору посещали преимущественно аристократические девицы, искавшие безобидных занятий, далеких от революционной действительности. «Мадам Робеспьер» (так дразнили они про себя якобинку Элеонору Дюпле, насмешливо подчеркивая вовсе не существовавшую близость ее с Максимилианом) была им совершенно чужда.

Елизавета Дюпле, вторая дочь столяра, была хороша собой, весела и подкупающе любезна в обращении с окружающими.

Виктория, неприметная и некрасивая, оставалась всегда лучшей помощницей матери в стряпне и хозяйстве.

В 1789—1793 годах девушек Дюпле можно было увидеть во дворе дома, в Якобинском клубе и в рядах революционных шествий. В квадратном дворике, где пыхала мебель — гордость столяра и сохло на солнце белоснежное бельe — гордость женщин Дюпле, сестры появлялись, подоткнув юбки, с ведрами и метлами. Елизавета, выливая помои, лаская котят и собак, мурлыкала «Карманьолу» или шутила с рабочими, громко смеясь, часто без всякого

повода, от избытка сил, довольства собой и всем окружающим. Ей было двадцать лет.

В Якобинском клубе девушки бывали часто, терпеливо просиживали на длинных заседаниях, слушая внимательно часовые выступления ораторов, не всегда содержательные и оригинальные, но почти обязательно цветистые и полные декламаторского пафоса. В мрачном зале Якобинского клуба впервые прозвучали потерявшие теперь свою свежесть метафоры: «факел революции», «гидра тирании» и много подобных.

В день, когда после расстрела народной демонстрации на Марсовом поле столяр Дюпле, восторженный радикал, привел к себе в качестве постояльца Робеспьера, находившегося под угрозой преследования, быт семьи резко изменился. Начиная от хозяина до подмастерьев, бывших в доме столяра на правах равных, все старались угодить Неподкупному и показать ему свое преклонение, как бы отражая обожание, с которым тянулся к Робеспьеру мелкий люд Парижа.

Для него госпожа Дюпле, образцовая хозяйка, просила своих родственников присылать из деревни птицу и овощи; похвала обеду или варенью, высказанная Максимилианом, заставляла расплываться в счастливой улыбке ее широкое крестьянское лицо. Когда Робеспьер спал или работал, вся семья тихонько обходила его комнату, а когда заседание Конвента или клуба затягивалось до рассвета, какая-нибудь из женщин Дюпле поджидала его у низких ворот.

Выросший вне семьи, одинокий и недоверчивый, Робеспьер, естественно, отвечал большой привязанностью семье столяра, ставшей ему вполне родной. Он ввел в гостеприимный дом на Сент-Оноре своих друзей. Сен-Жюст, Кутон, Фукье-Тенвилль, Давид часто после длинных совещаний во флигеле, где жил Максимилиан, приходили в главный корпус — квартирку столяра. Там устраивались импровизированные вечеринки. Девушки пели, им иногда аккомпанировал Буонаротти, потомок Микеланджело, будущий друг Бабёфа, Сен-Жюст декламировал, госпожа Дюпле суетилась, угощая, Морис Дюпле, процеживая слова, рассказывал последние сплетни городской толпы и каламбуры Пале-Рояля, и обычно до рассвета друзья не расходились. Случалось, что вечеринки у Дюпле

посвящались чтению классиков. Освещенный огнем камина Робеспьер читал отрывки из Корнеля или Расина.

Как-то в сентябре 1792 года к Робеспьеру зашел двадцатисемилетний член Конвента Филипп Леба и с тех поры стал приходить ежедневно с огромной лохматой собакой, носящей странную кличку Шелликом. Бывая у Дюпле, Леба обязательно подразнивал Елизавету, спорил о живописи с Элеонорой, играл на скрипке, бренчал на клавесине, помогал в хозяйстве госпоже Дюпле и в ученье баловню Якову. Жизнерадостная, крепкая Елизавета понравилась Филиппу с первого знакомства. Немного сухая, всегда строго логичная Элеонора, влюбленная в Робеспьера, внушала ему больше уважения, чем симпатии.

Леба благоговел перед Максимилианом Робеспьером, которого считал гениальным творцом революции. Робеспьер отвечал ему искренней симпатией, ценя в Леба честность, твердость, смелый ум и искренность.

К Елизавете Максимилиан относился с покровительственной нежностью и вниманием; обычно погруженный в себя, раньше других заметил он зарождающуюся любовь Елизаветы и Леба друг к другу.

В узеньком коридоре дома Робеспьер сказал Елизавете о своих наблюдениях и, всегда суровый в оценке людей, многозначительно глядя на нее, отозвался о Филиппе с горячей похвалой, смутившей девушку.

Первые главы любви Филиппа и Елизаветы обычны, но, однако, трогательно наивны и прекрасны, — в их романе были и беспокойство, и сомнения, и недоговоренные улыбки, взгляды, вздохи и слезы.

Однажды на заседании Конвента Елизавета с Шарлоттой, сестрой Робеспьера, сидела в первом ряду за барьером, отделяющим публику от депутатов. На ней было лучшее из ее платьев, серенькое в цветочках с косыночкой на плечах. Она показалась Филиппу красавицей, когда, глядя на нее, он подходил к решетке, но смущенной Елизавете чудилось, что молодой депутат посмеивается над ней. Однако странно было то, что с маленького пальца, небрежно барабанящего по скамье, Леба снял колечко и, забрав его, ушел, неуверенно улыбаясь. Елизавета, растерянная и подавленная неуловимостью происшедшего, проплакала всю ночь и, что было загадкой для окружающих, стала грустной и бледной. Бедняжка страдала, не понимая по-

стушка Филиппа, предполагая, что он подшутил, заметив, что она его любит, к тому же пропажа кольца, подарка родных, могла вызвать расспросы и догадки. Так продолжалось некоторое время, казавшееся девушке бесконечным: заболевший Филипп долго не появлялся. Наконец по деревянной лесенке, помахивая хвостом, вбежал Шелликем, а за ним Филипп, как всегда веселый и смеющийся. У него попросили вернуть колечко, и он, не менее тревожившийся, чем Елизавета, не выдержал долее — признался в своей любви.

Столяр Дюпле и его жена были польщены сватовством друга Робеспьера и с оформлением брачного контракта не медлили. Он был подписан 26 августа 1793 года.

Идиллическая любовь Елизаветы и Филиппа — одна из очень немногих романтических историй двух лет революции перед Термидором, когда уже заметно подготовлялся тот сдвиг в нравах, что достиг высшего предела при Директории. К любви относились упрощенно и грубо. Браки поражали кратковременностью, и разводы следовали один за другим. Не утруждали и не усложняли чувство проверками и сомнениями, отдавались любви, спеша и не раздумывая.

Совместная жизнь Филиппа и Елизаветы Леба была овеяна тихой маленькой радостью. Они как бы осуществили для себя ненадолго ту незатейливую утопию мелкобуржуазного счастья, которую обещали массам якобинцы. Как и раньше, в доме родных, Елизавета занималась уборкой и шитьем в своей квартирке, просто и уютно обставленной госпожой Дюпле-матерью, по-прежнему после работы дома она уходила с мужем в Конвент, в клуб или к родным. Сын, родившийся у Елизаветы, был встречен бурным восторгом Филиппа и стариков Дюпле, даже неулыбающийся Робеспьер смеялся, глядя на барахтающегося в колыбели чистого и сытого ребенка. Однако с каждым месяцем все задумчивее и сосредоточеннее становился Филипп. Возвращаясь из Конвента весной 1794 года, он подолгу молчал, механически поглаживая блестящую шерсть Шелликема, или высказывал беспорядочные мысли о возможности катастрофы, которые пугали Елизавету. Она успокаивалась только в доме родных, где царило безмятежное счастье.

Столяр Дюпле, выполнявший большой и прибыльный заказ для Комитета общественного спасения, целыми

дями, окруженный помощниками, строгал, пилил, красил и демонстрировал во дворе полукруглые скамьи, столы, стулья — предметы, имеющие, по мнению Дюпле, большее значение в повседневной жизни людей. Хорошему настроению столяра также способствовало назначение его присяжным Революционного трибунала. По вечерам, почистившись и причесав жидкие волосы, гражданин Дюпле шел в Якобинский клуб поспорить, пошуметь и послушать.

Лето 1794 года было на редкость душное и сухое. Вместе с сестрой Элеонорой, позади тихо разговаривающих Леба и Робеспьера, Елизавета под вечер прогуливалась в Елисейских полях. В конце XVIII столетия они еще не были застроены, выстрижены и приглажены, как теперь, представляя собой только поросшее кустарником поле в рытвинах и ухабах.

Непоколебимый фанатизм Леба поражал Елизавету. Ее уверенность в том, что Робеспьер и Филипп всегда и во всем правы, была такова, что стук тележки смертников, ежедневно проезжающей по улице Сент-Оноре, не омрачал счастья. Гильотина казалась грядущей необходимостью, спасением, и Дюпле с тяжелым спокойствием отмечали количество отсеченных голов.

Незадолго до Термидора Дюпле, Леба и Робеспьер были в деревне. Под густой листвой сытно обедали среди смеха и веселья. Элеонора и Максимилиан под руку ушли в лес, и госпожа Дюпле, скрывая горделивую улыбку, провожала их красноречивым взглядом. Все, не высказывая вслух надежды, думали о скором браке Элеоноры с Робеспьером. Но поездка в деревню была лишь кратким отдыхом в тревожные дни.

Филипп все позднее возвращался домой и все чаще говорил с Елизаветой о том, как лучше устроить ей жизнь, когда его «не будет». Он отмучивался в ответ на ее горестные расспросы, но перед Максимилианом не скрывал своей тревоги. Леба не доверял Конвенту, чуял заговор термидорианцев и настойчиво предлагал заблаговременные решительные меры. Как и другие робеспьеристы, он понимал, что угроза якобинской власти была смертельно опасна для революции. Непосредственный практический склад характера толкал Филиппа к действию. Видя колебания и медлительность в решениях Робеспьера, он впадал в уныние, предчувствуя поражение.

За несколько недель до Термидора, во время праздника Верховного существа, идущий в процессии Леба улавливал смех, издевательства и недомолвки в рядах недавних дантонистов, уцелевших жирондистов и в «болоте», досело безразличном и спокойном. Вернувшись после праздника домой потрясенным, он с жуткой уверенностью сказал Елизавете, что конец революции близок, если Робеспьер не будет решительным. В мучительные дни душного лета, насыщенного выжидательным молчанием, Елизавета мужественно прятала от Филиппа свои опасения. Внешне жизнь не менялась, и она пыталась утешать себя планами будущего.

Утром 9 термидора Леба ушел в Конвент. Робеспьер, готовившийся к решительному выступлению, уверил его, что красноречием подействует на депутатов и сохранит за собой большинство. О том, что произошло в Конвенте, Елизавета узнала вскоре на улице от женщин, безжалостно сообщавших подробности ареста робеспьеристов. Вскоре неожиданно для Елизаветы конвоиры привели домой арестованного Леба. В его присутствии произвели обыск и опечатали документы. В воспоминаниях об этом последнем пребывании Филиппа дома Елизавета утверждает, что в число изъятых у Леба бумаг были документы, компрометировавшие дантонистов. Документы эти будто бы бесследно исчезли. После процедуры опечатания и конфискации бумаг Филиппа отвели в тюрьму Ла-Форс. Прощаясь с женой, Леба еще надеялся на скорое освобождение, рассчитывая на вмешательство парижской Коммуны и якобинцев предместий.

Двумя часами позже Елизавета, в смятении, с бешено бьющимся сердцем едет на извозчике к тюрьме, где заключен Филипп Леба. Она везет мужу то, что кажется ей необходимым и что должно скрасить одиночество камеры. Ее руки судорожно придерживают матрас, складную кровать, узел с одеялом, бельем, памятками о ней и сыне.

Перед плохо охраняемыми воротами тюрьмы она видит делегатов решившей сопротивляться Коммуны, приславших мэром Парижа Флерио. Они требуют освобождения робеспьеристов, и тюремные власти, подчиненные Коммуне, выпускают арестованных. Позади других появляется Леба. Не в силах сдержать вопля горя и надежды, Елизавета бросается к мужу. Тогда он поспешно

говорит ей слова, которые и пятьдесят лет спустя еще звучали в ее ушах. Он давал ей множество советов: «Корми маленького Филиппа грудным молоком», «внуши ему любовь к родине...», «скажи, что отец умер ради него». Либ был, как всегда, непоколебим, но в словах неотступного якобинца не чувствовалось уверенности в победе.

Направляясь вместо с младшим Робеспьером в ратушу, он на ходу повторял жене: «Живи для нашего сына, воспитай из него борца, ты сможешь это. Прощай, моя Елизавета, прощай». Леба скрылся в подъезде, но Елизавета не уходила. Она провела долгие часы, не отрывая глаз от освещенных окон, следя за мелькающими силуэтами, в надежде еще раз увидеть Леба. Лишь к ночи Елизавета вернулась домой. Крошечный сынишка горько плакал, не получая необычно долго своей порции материнского молока.

В залах муниципалитета Филипп и брат Максимилиана встретились с Робеспьером, Кутоном, Сен-Жюстом, также только что освобожденными из тюрем, и командующим войсками Парижа Анрио. В течение всего вечера Леба часто поднимался из-за стола заседающих и подолгу смотрел на большую площадь перед ратушей. На ней царило неописуемое возбуждение. Быстро собранные отряды предместий, верные робеспьеристам, при свете факелов представляли полуфантастическое зрелище. Тщательно сложенные ружья внушительно выстроились длинными рядами. Грозовое небо, покрытое тучами, прорезывали молнии. Начинался крупный летний дождь, от которого, шипя, гасли огни факелов. Леба с нетерпением ждал действий Робеспьера, отмечая про себя, как много времени уже было упущено. Вооруженные силы Парижа под командой генерала Анрио были на стороне Робеспьера, артиллерия могла без труда разогнать Конвент, членам которого в течение первых часов ничего бы не могли противопоставить войскам. Почему же Конвент не объявлен немедленно распущенным, почему не схвачены Тальен, Баррас и другие заговорщики, почему новое, революционное правительство не объявляет о своем образовании народу? Леба не знает, что Робеспьер, быть может, ждет, чтобы восстание предместий само решило его судьбу и судьбу революции, рассчитывает, быть может, на возвращение к нему колебавшегося большинства Конвента. Быть может, Робеспьер учитывает не только Париж, но

и всю Францию, которую не легко поднять против сохранившей внешний престиж законной власти Конвента. А армия — не поддержит ли она Конвент, не останется ли она на стороне организатора победы Карно, не сотрет ли она с лица земли артиллерию Анрио? Не потому ли колеблются сами солдаты Анрио, не потому ли расходятся по домам, когда наступает ночь, якобинские добровольцы, что Робеспьер в их глазах бунтовщик, взывающий к новому восстанию против законной власти? Но было уже столько восстаний и переворотов, а дороговизна, безработица и голод бьют все больнее бедняков. Энтузиазм предместий не вспыхивает, как раньше, огненным факелом, освещающим исторический путь масс, Робеспьер не решается еще раз натянуть стальную узду — вздыбить усталый Париж. Леба бессильно сжимает кулаки. Льет проливной дождь. Анрио фанфаронствует.

Площадь перед ратушей почти пуста. Тогда белые добровольцы Барраса переходят в наступление. Их патрули рыщут по городу, объявляя Робеспьера вне закона. Два отряда движутся к Совету Коммуны, их ждет нежданная удача. Ратуша не охраняется, в освещенных залах делегации предместий и ораторы муниципалитета обмениваются приветственными речами, Робеспьер в кружке друзей приступает к организации восстания. Поздно. Солдаты Конвента врываются в ратушу. Они взламывают дверь в придавленный потолком зал, где заседают вожди якобинцев, и выстрел кончающего самоубийством Филиппа Леба заглушается падением тела раненого Робеспьера, опрокинувшимися стульями, топотом ног, проклятиями якобинцев и возгласами торжествующих термидорианцев. Младший Робеспьер бросается из окна на каменные плиты мощеной площади.

Когда трагическая весть о разгроме робеспьеристов дошла до Елизаветы, она, измученная ожиданием разязки бесконечной ночи с 9 на 10 термидора, потеряла сознание, и в течение двух дней оно к ней не возвращалось. К ее счастью, она не слыхала знакомого дребезжания тележки палача, провезшей мимо дома Дюпле Робеспьера и его единомышленников. Елизавета не видела, как озверевшая, воющая толпа, еще вчера поклонявшаяся Неподкупному, задержала «тележку смерти» у квартиры столяра и какой-то хулиган мальчишка мазал кровью запрытые ставни и ворота дома. Неподвижно лежавший с

раздробленной челюстью Робеспьер, казалось, не заметил издевательств, и глаза его были закрыты. Элеонора, верный друг Максимилиана, видевшая все в щель ставен, не была избавлена и от этой пытки.

С трудом оправившись, Елизавета тщетно разыскивала могилу Филиппа; вместе с Леба исчез Шелликем. Он пролежал на убогом холмике могилы Леба два дня и вернулся 12 термидора, жалобно повизгивая, к жене любимого хозяина.

Вскоре после Термидора на квартиру Елизаветы пришли агенты Комитета общественной безопасности и увели ее вместе с пятинедельным ребенком в тюрьму Таларю, туда же была заключена и Элеонора Дюпле. Сестры помещались в наскоро оборудованной из обыкновенного жилого дома тюрьме, в душной мансарде под самой крышей. По ночам Елизавета стирала тряпки, заменявшие пеленки ребенку, а Элеонора просушивала их под своим матрасом.

Столяр Морис Дюпле, его жена и сын были арестованы тотчас же после падения Робеспьера. Госпожа Дюпле, полагая, что ее ждет гильотина, повесилась 10 термидора.

Когда восемь месяцев спустя Елизавета вышла из тюрьмы, у нее не было ни жилья, ни денег. Она зарабатывала хлеб себе и своему ребенку тяжелым физическим трудом, стирая на реке белье. Преследуемая, одинокая, она гордится фамилией, которую носит, отказывается давать показания, и ни разу в тяжелые годы термидорианской реакции с ее губ не срывается слово раскаяния или сожаления.

Иначе держала себя Шарлотта Робеспьер. Арестованная после Термидора, она поспешно отреклась от своих братьев. Это обеспечило ей пенсию в 6 тысяч франков от Директории. Госпожа Каро, как стала отныне называться Шарлотта Робеспьер, ухитрилась сохранить пенсию, несмотря на частую смену правительств, до самой смерти. Свое позорное поведение она тщетно попыталась объяснить в мемуарах и завещании, в которых уверяла, что никогда не отрекалась от братьев.

Елизавету Леба не удалось подкупить термидорианцам, несмотря на ряд попыток. Она рассказывает в своих воспоминаниях, каким образом ей случалось отбиваться от их настойчивых домогательств. Однажды, испугавшись, что хитростью у нее вырвут отречение от Филиппа Леба, Елизавета, не имея пера, [illegible]ерпнул, разрезала руку и бу-

лькой, обмакнутой в кровь, написала, что не примет ни-
какой помощи от палачей мужа.

Впоследствии Елизавета вышла вторично замуж за брата Филиппа и овдовела в 1829 году. Вдова Леба умерла лишь в 1855 году. Незадолго до смерти она писала: «Я люблю свободу; кровь, которая течет в моих венах теперь, и семьдесят лет, — кровь республиканки».

Сын Филиппа и Елизаветы был талантливым ученым, отдававшимся науке с той же страстью и верностью, как его отец когда-то революции. По странному капризу истории профессор Филипп Леба, сын члена Конвента, в годы Реставрации был приглашен преподавателем за границу к одному молодому человеку, воспитанием которого руководил некоторое время. Его уроки были, по-видимому, восприняты способно, так как из юноши не вышло якобинца.

Учеником Филиппа Леба был не кто иной, как будущий Наполеон III.

ТЕРЕЗА ТАЛЬЕН

Два мускулистых почтальона осторожно опустили у мраморной лестницы золоченый портшез. Лакей, бежавший всю дорогу позади носилок, поспешил раздвинуть шуршащие занавески и уступил место аристократическому франту в белых атласных туфлях и гладком парике, который помог маркизе Фонтенэ выйти. В королевском Версале праздник еще не начался, но плоский, подстриженный на английский манер парк уже иллюминован. Ветер качает цветные фонарики, и шутовские тонкошеие пастушки, барашки в локонах, телята в лентах, нарисованные на шелку и бумаге, приседают и оживают. Маркиза Фонтенэ, оправляя фижмы, прошла в полуосвещенную уборную, чтобы проверить прическу. Цветы, воткнутые в ее пышные, взбитые надо лбом волосы, по блеску — стебельки их были потрудолены в узкие вазочки, невидимые в кудрях.

В это время в будуаре блистательного Трианона французская королева тоже занята туалетом. Диана Полиньяк и принцесса Ламбаль наперебой рассказывают Марии-Антуанетте пикантные дворцовые сплетни, пока четыре парикмахера вот уже шестой час подряд трудятся над королевской прической. Триста второй локон на затылке упорно развивается, и парусная лодка, водруженная на набитом коке, грозит свалиться. Королеве надоело прикрывать лицо бумажным щитком, и пудра, которой в изобилии были посыпаны ее волосы, белой массой облепила лицо. В углу будуара суетится мадам Бертен, портниха королевы, раскладывая с помощью десяти горничных на

заткашом цветами дивше бальное платье из тончайшего китайского шелка и японского бархата. Покончив с платьем, мадам Бертен принимается за разборку двух дюжин круглых и продолговатых картонок, привезенных только что курьерами из Парижа. Она благоговейно вынимает носовые платки, на которых вогезскими кружевницами вышиты пасторальные картинки, ажурные чулки, пряжки на туфли, банты для корсажа, отбирая то, что сегодня понадобится Марии-Антуанетте.

Взрывы смеха в ответ на кривляньи фавориток затрудняли работу придворных парикмахеров, но королева не переносила скуки и требовала неустанных развлечений. Веселую беседу неожиданно прервала придворная дама. Помимутно приседая, она доложила, что на королевской ферме не все благополучно: захворала швейцарская телка, та самая, что носит розовый бант и фарфоровый колокольчик с миниатюры Ватто, занемогла и не выходит из стойла. Огорченная Мария Антуанетта вскочила с кресла, сбросила белый пеньюар и, минуя парикмахеров, потребовала экипаж. Молоденький паж, дежуривший у двери, помчался за английским шарабаном и ветеринарным врачом. Парус лодки, прикрепленной к голове ее величества, отчаянно топорщился от почтого ветерка: королева отправилась на молочную ферму.

Двумя часами позже набеленная, нарумяненная Мария-Антуанетта под руку с королем открыла бал в зеркальной галерее Версальского дворца. Маркиза Фонтенэ, вернее понимавшаяся при дворе, дрожа от волнения, склонилась в особенно низком реверансе, завидя королеву, небрежно играющую веером. Когда «их величества» прошли, маркиза Фонтенэ постепенно выпрямилась и бросила гордый, чуть насмешливый, но благодарный взгляд в сторону своего титулованного супруга. Коротенькие атласные штанишки подчеркивали его подагрические колени, живот прорывал тугой корсет, и обильные краски не скрывали дряблой кожи щек, свисающих, как у дряхлого бульдога, на воротник из валансьенских кружев. Когда маркиз говорил, в углах губ появлялась слюна, сползавшая, размывая белила, на подбородок, глаза его походили на грязные мокрые заплатки. Однако до Фонтенэ, не довольствуясь красавицей женой, рад был при случае и поволочиться. Маркиза Фонтенэ, впрочем, не претендовала на его верность, терпя мужа лишь как досадное

приложение к титулу, гербу, знатному родству, кото
он ей доставил.

«Кто эта брюнетка? Аппетитный кусочек», — сказа
граф д'Артуа, щеголь, повеса и ничтожество, белотелой
пышногрудой, рыбоглазой пожилой даме, точно сошедшей
с рубенсовской картины. Учтивая придворная сплетни
вытащила чесалку из-под корсажа, почесала оголенную
спину и, разыскав глазами Фонтене, сказала преарительно
по: «Это выскочка, дочь мадридского банкира Кабарр
и какой-то испанки. Отец недавно купил дочери в мужь
нашего бедного разорившегося Фонтене... а маркиз бы
когда-то очень недурен, — мечтательно вздохнула дама.—
Девчонка его уже принята ко двору... таковы времена
Деньги, все деньги, ваша светлость».

Лишь на следующий день счастливая маркиза Фон
тене вернулась в Париж. Едва переодевшись, она поспе
шила в свой салон, где ее ждало немало блестящих по
сетителей. Маркизе не терпелось порассказать о том, что
и она отныне, подобно завсегдатаям Лозен, Конти, Рогая,
принята во дворце.

Гостиная Терезы искусно принуждала к восхищению
хозяйкой. На белом клавесине небрежно разбросаны но
ты — сентиментальные романсы, испанские песенки, с
чувством и умением исполняемые маркизой; на мольберте
начатый пейзаж — луга и стада; на затейливом диванчи
ке — «Новая Элоиза», исчерченная заметками; среди цве
точных ваз забыто выпиливание — пухлый амур, целящийся
в беспечного пастушка.

Банкир Кабаррюс не раз похвалялся обожаемой до
черью. Маркиза Фонтене учена, как энциклопедисты, кра
сотой пошла в мать, статную испанку, практичным
умом — в отца, опытного дельца и спекулянта. В шестна
дцать лет Тереза, мечтая о титуле и придворных развле
чениях (за исключением этого, у нее все было), охотно
идет замуж за беззубого, бездетного аристократа.
Вместе с родными она обсуждала выгоды такого брака и
торопила с его оформлением, — де Фонтене для нее был
неизбежной ступенькой к славе и соблазнительным при
ключениям. Сделавшись маркизой, Тереза внимательно
изучает двор и знать. Мадам де Ментенон, любовница и
впоследствии жена Людовика XIV, не раз тревожила хо
лодное и властолюбивое воображение дочери банкира. Но
Людовик XVI, рыхлый, как сдоба, не замечал женщин.

Тучный обжора, слабовольный, но упрямый дурак, он был лишь постоянной мишенью для насмешек, и Тереза, внутренне бесясь, поняла, что лавров королевской фаворитки ей не добыть. Двор не оправдал ее авантюристических надежд. Бесконечные балы, любовные интрижки, мало льстившие требовательному самолюбию Терезы, скоро приелись. Незадолго до революции маркиза де Фонтене, падкая на все модное, попробовала развлечь себя либерализмом, впрочем, не без корыстолюбивых побуждений. Ей хотелось приблизить отца, ловкого финансиста, к делам катастрофически нищающего королевства. В эту пору ее нередкими гостями были Лафайет, братья Ламет, жаждавшие конституции. Безвестный швейцарец Неккер в глазах Терезы приобрел влиятельность, а его дочь, мадам де Сталь, далеко не такая красивая, как дочь господина Кабаррюс, прославилась как умнейшая и талантливейшая женщина Франции. Вот достойные зависти образцы для Терезы. Планы и надежды эти, однако, разрушил 1789 год.

Революция повергла маркиза Фонтене в смертельный страх, и однажды ночью он, не в силах переносить далее боязни, решился бежать из Франции. Тереза не могла сдержать веселого смеха, глядя на мужа, возбужденно шагавшего по нарядной спальне. У маркиза Фонтене не было зубов, и от страха у него дрожали только толстые, лишние губы, издавая при этом странный, шлепающий, как туфли, звук. Кутаясь в халат и теребя несколько поредевшие волос на макушке, старик рисовал перед женой страшные картины будущего, когда «чернь» разграбит их поместья, сожжет дома и повесит господ на фонарях. Де Фонтене воспринял куплеты «Карманьолы», которые слышал на улице, как предсказание для аристократов. Терезе, однако, беспокойная Франция, принесшая власть и славу таким людям, как Лафайет, Мирабо, Бальи, казалась заманительнее, нежели эмиграция и родная Испания, где предстояло жить с надоевшим мужем в безвестности изгнанников.

Де Фонтене, жалкий, будто струсившая облезлая мышь, переодетый простолюдином, перебрался за границу. Тереза предприняла первую попытку выступить на политическом поприще. Она назвалась малоизвестной фамилией отца — Кабаррюс — и, отрекаясь от мужа, объявила, что «старый, развратный тиран, аристократ» покинул

со и бежал к контрреволюционерам. Свои собственные убеждения она изложила в петиции, прочитанной ею в Конвенте. Эта петиция была пропитана напыщенностью, фальшью и умеренностью.

«Граждане представители народа, — вещала Тереза Кабаррюс, — так как нравственность более чем когда-либо является предметом ваших великих совещаний, так как каждая из партий, которую вы побеждаете, все с новой силой приводит вас к столь плодотворной истине, что добродетель является жизненным содержанием республик и что добрые нравы должны сохранять то, что создано народными учреждениями, то не следует ли думать, что ваши глаза с великим интересом обратятся на ту часть человеческого рода, которая имеет столь большое значение. Горе женщинам, которые, игнорируя прекрасное назначение, к которому они призваны, будут лицемерно высказывать бессмысленное желание присвоить себе преимущества мужчин, чтобы освободить себя от своих собственных обязанностей. Они лишаются таким образом добродетелей своего пола и не в состоянии приобрести добродетелей другой половины человечества.

Было бы справедливо, чтобы во имя природы женщинам разрешили пользоваться теми же политическими правами, которые дают жизнь всем важным решениям и социальным планам.

В республике все, конечно, должно быть республиканским, и ни одно существо, обладающее здравым смыслом, не может, не покрывая себя позором, отказаться от служения отечеству. Вы, наверное, разрешите женщинам занимать должности в области народного просвещения, так как они ведь не поспорятся с тем, что с ними не считаются, когда речь идет об уходе за детьми и особенно о воспитании детей, не имеющих матери.

С чем, однако, я сегодня предстала перед вами, полная величайшего доверия? Я требую почетного преимущества: чтоб женщин призвали во все священные убежища несчастья и страданий, чтобы доставить утешение и заботливый уход всем, достойным сожаления. Мне кажется, что эти учреждения являются самым подходящим местом для девушек в годы их учения, прежде чем они становятся женами. Повелите же, народные представители, — мы заклинаем вас, — чтобы все молодые девушки

должны были проводить известное время в приютах бедности и страданий, должны были оказывать помощь несчастным и упражняться в тех добродетелях, которых общество имеет право требовать от них.

Граждане народные представители, та, которая в эту минуту преклоняет перед вами свой ум, свои самые искренние чувства, еще молода, ей двадцать лет. Она мать, но уже не супруга. Все ее стремление, все ее счастье — иметь возможность одной из первых предаться этой чудной, восхитительной деятельности.

Соблаговолите с интересом принять это горячее пожелание, и да станет оно благодаря вам желанием всей Франции».

Конвент равнодушно выслушал этот адрес.

Париж привык к подобным заявлениям и не интересовался бывшей маркизой. Эта неудача отпугнула избалованную, самоуверенную искательницу приключений, у которой был изрядный запас наглости, но отсутствовало мужество. Добрые патриоты ей инстинктивно не доверяли. Друг Терезы — Лафайет позорно сошел с исторической сцены, Мирабо умер, но подготовляющееся предательство его обнаружилось; началась свирепая борьба с монархистами. Тереза Кабаррюс увидела, что революция не заманчивое приключение, много обещающее женскому тщеславию. Маркиз Фонтене, ее отец граф Кабаррюс были далеко, оставшиеся припрятанные драгоценности и деньги подходили к концу. На границе Франции сражались революционные армии, бежать было опасно. Струсившую Терезу поглотила одна мучительная мысль — как бы уцелеть, любой ценой сохранить жизнь.

В 1793 году она уезжает в Бордо, надеясь пробраться к испанской границе, с помощью отца покинуть Францию. Революция не оправдала ее надежд!

Желая отвести от себя естественные подозрения, бывшая маркиза старается участвовать в общественной жизни Бордо. Наиболее невинной и безопасной кажется ей педагогическая деятельность. Она составляет для одного из братских обществ доклад «О воспитании», предлагая ввести обязательное обучение в школах. Изучив историю Спарты и Афин, Тереза толково и занимательно, приводя исторические примеры, доказывает пользу физических упражнений в школах. Ее доклад имеет заслуженный успех — дочь банкира Кабаррюс действительно способная

женщина. Недаром ее отец спокоен, считая, что дочь не пропадет... даже «при господстве черни».

Патриоты Бордо хоть и чуждались бывшей аристократки, но отдавали дань ее величественной красоте. В дни революционных праздников именно гражданка Кабаррюс приглашена изображать аллегорическую Свободу. Комиссар Конвента Тальен не отрывает глаз от бывшей маркизы, медленно шествующей в белой тунике, с распущенной черной косой, вскинувшей патетически руки, впереди праздничной революционной толпы. Тереза Кабаррюс улавливает и оценивает это восхищение. Тальен ей безразличен, но необходим. В Бордо его власть, власть доверенного представителя Конвента, безгранична. Маркиза Фонтене, отбившаяся от «своих» эмигрантов и контрреволюционеров, тщетно пытавшаяся примазаться и развлечься революцией, слишком трусливая, чтобы стать потом открытым ее врагом, обрадовалась неожиданному поклоннику, как спасению, как возможности не бояться отныне стука в дверь ночью, в час обычных арестов поры террора.

Но прошло и месяца, как гражданка Кабаррюс приобрела прежнюю самоуверенность, при случае подчеркивая дружбу с самим Тальеном. Тереле повезло, комиссар Конвента не был ни провидцем, ни настолько предан революции, чтобы не делать больших и малых подлостей. Это был чрезвычайно честолюбивый карьерист, легко поддающийся чужому влиянию, трусливый, мстительный, стремящийся «хорошо пожить», случайный чиновник революции. Бесконтрольная власть в провинции окончательно его изуродовала. Тереза Кабаррюс знала людей и умела использовать их недостатки. Тальен делал все, что она хотела. Тереза ловко вмешивается в дела своего «друга», главным образом ходатайствуя об уцелевших сомнительных знакомых.

По прошествии нескольких месяцев в Париже стали известны темные делишки, творящиеся в Бордо. Желая оправдаться, Тальен попытался изобразить революционную ретивость: усилил террор, надеясь расправой с «подозрительными» доказать свою преданность Конвенту. Но Робеспьера и Комитет общественного спасения трудно было обмануть. В Париже, куда Тереза уехала вслед за вызванным в столицу Тальеном, ее арестовали. Неподку-

ный приписывал главным образом влиянию бывшей маркизы недопустимые поступки Тальена.

В тюрьме Ла-Форс Тереза Кабаррюс отвели одиночную камеру, лишенную всякой обстановки, кроме соломенного матраса, из которого, жестоко царапаясь, выпирались сухие стебли. Тюремный режим был очень строг, никакие уловки, попытки подкупа и притворства заключенной не действовали на тюремную администрацию. Тереза в бешенстве металась по темнице, осыпая Тальена малолестящими ему эпитетами. Ах, если бы только повидать его и воспользоваться своей над ним властью. Бездеятельность воскрешала перед молодой испанкой прошлое. В сущности, отчего против нее так ополчились? — недоумевала она. Никогда дочь финансиста, бывшая маркиза, не стремилась всерьез играть политическую роль. Ее принцип был любить, веселиться, «быть могущественной повелительницей, но не соперницей мужчин». Разве красота с детства не обеспечивала ей этого? В Бордо через Тальена она спасала от эшафота тех, кто когда-то украшал ее салон, кто приятно волновал ее лестью и восхищением, танцевал с нею на балах в Версале, присылал по утрам зимой корзины васильков, лютиков, ромашек. Какое дело Терезе до того, что теперь эти люди — шпионы Питта, враги революции. Маркиз де Пароа говорил маркизе Фонтене когда-то: «Ваши таланты всеобъемлющи, ваша доброта превосходит их, но ничто не может сравниться с вашей красотой». Такой изысканный комплимент, по мнению гражданки Кабаррюс, заслуживал того, чтобы автор его был спасен от эшафота. Конечно, Тереза любила наряды, танцы — все, что украшало и делало ее красоту неотразимой. Если революция лишила Фонтене богатства, то что же плохого в том, что Тальен отчасти возмещал потерянное, исполняя прихоти возлюбленной, хотя бы даже компрометируя тем себя и Конвент.

Вскоре режим арестованной изменился. Она получила возможность гулять по мощеному тюремному дворику. Тальен не забывал своей «жены», как он стал называть Терезу, хлопоча об ее освобождении; из окна расположенного напротив тюрьмы дома, где мать его для этой цели наняла комнату, он мог видеть Терезу и знаками переговариваться с узницей. Ему удалось наладить также кой-какую переписку с ней.

В тюрьме Ла-Форс заключенные по засиживались. Пропускная способность гильотины повышалась день ото дня. Крепкий палач Сансон едва управлялся с работой и жаловался на то, что не успевает пообедать, а детей своих не видит вовсе, уходя из дому поутру и возвращаясь ночью. Тереза понимала, что медлить нельзя, каждый наступающий день грозил ей смертью, — она старалась вселить в Тальена мужество и внушала ему мысль о расправе с Робеспьером, считая его виновником своего ареста.

В Конвенте в летние дни 1794 года выжидательно шушукались многочисленные недовольные. Тощий скептик, фанатический атеист Вадье, член Комитета общественной безопасности, потихоньку распространял компрометирующие Робеспьера слухи о мистицизме Неподкупного, желавшего будто бы возродить религию с помощью невежественной полоумной старушки, пророчицы Екатерины Тео, прозванной поклонниками «матерью божьей». Подозрительный и помнящий мелкие обиды Вадье давно учредил слежку за Робеспьером, не предполагая, впрочем, что и Максимилиан, в свою очередь, следил за ним. Взяточники и шкурники, будущие деятели Директории Баррас и Фреron, опасавшиеся за целость своих голов, мечтали о том, чтобы низвергнуть безупречный триумвират — Робеспьера, Кутона и Сен-Жюста.

Поведение Робеспьера было выжидательным по тактическим соображениям. Вместо того чтобы, как хотели некоторые робеспьеристы, решительно перейти в наступление на проворовавшихся интриганов и опасных заговорщиков, отправив их по заслугам на эшафот, Максимилиан медлил и ограничивался лишь волнующими всех депутатов намеками, без прямых указаний, кто же виновные. Настроение страны и Парижа не обещало поддержки последовательным якобинским революционерам. Наиболее левые элементы городского населения, лишенные вождей, казненных весной 1794 года, озлобились против робеспьеристов, недовольная налогами и притеснениями крупная буржуазия оплакивала жирондистов, в парижских секциях Коммуны развивалось пагубное равнодушие и неприе. Разбогатевший на революции жулик, мот, политический интриган Баррас один из первых попытался, не без успеха, повести тайную агитацию за свержение «тирана Робеспьера» среди членов «болота», которое было решающей, по

дромлющей силой Конвента. Зорким глазом он определял своих союзников в среде депутатов. Тальен был отмечен одним из первых.

Бывший комиссар Конвента являл собой в первых числах термидора жалкое зрелище. Любовь и боязнь бросали его от одного настроения к другому. Он ненавидел Робеспьера тем более сильно, что боялся его. Баррас без труда выяснил все касавшееся Тальена и Кабаррюс, сообразив, на что способен в качестве заговорщика этот обезумевший от страсти трус. Желая заставить Тальена действовать, Баррас убедил его, что Тереза будет казнена не позже 10—12 термидора. За кружкой вина он посвятил Тальена в план низложения Робеспьера, уверив его, что на стороне заговорщиков большинство Конвента.

Седьмого термидора Тальен получил письмо от Терезы, которое окончательно разрубило ниточку его колебаний.

«Только что от меня ушел полицейский комиссар. Он пришел известить меня, что завтра я должна буду предстать перед Революционным трибуналом, то есть пойти на эшафот. Это мало походит на тот сон, который мне приснился сегодня ночью: Робеспьер будто бы перестал существовать, и двери тюрьмы открылись. Но благодаря исключительной трусости французов во Франции скоро не будет человека, способного осуществить мой сон».

Баррас, Фрерон, Вадье, Колло д'Эрбуа и Тальен, главари подготовляемого переворота, ждали заседания Конвента 9 термидора как дня решения их участи. Накануне 9 термидора Тальену удалось бросить во двор тюрьмы, где гуляла Тереза, записочку следующего содержания:

«Милостивая государыня, будьте столь же осторожны, как я буду мужествен, и думайте о том, чтобы вернуть себе спокойствие духа».

Утром 9 термидора Тальен с решимостью самоубийцы (он мало верил в успех термидорианской затеи) осмотрел кинжал, который согласно разработанному заранее плану должен был выхватить из-за пояса во время своей речи в Конвенте, угрожая заколоть Робеспьера. Подумав «для бодрости» о Терезе, он содрогнулся при мысли, что со восхитительная голова может оказаться в сырой корзине Сансона. В Конвенте Баррас, как всегда свежевыбритый и одетый нарядно, послал ему ободряющий взгляд, хоть сам едва сдерживал дрожь в коленях. Спокойным казался

лишь сухопарый Вадье, прогуливавшийся будто без дела среди скамей депутатов.

Разыгравшаяся в Конвенте трагедия превзошла ожидания термидорианцев — «болото» всколыхнулось и поглотило Неподкупного. Тальен «был подобен богу», по мнению Барраса, когда потрясал гораздо лучше, чем дома, во время репетиции, своим новеньким кинжальчиком рыча: «Смерть тирану!»

Десятого термидора, в час смерти Робеспьера, Тереза Кабаррюс вышла из тюрьмы Ла-Форс. Влюбленный Тальен, «герой дня», вместе с галантным Баррасом и толпой вынырнувших из подполья приверженцев «нового режима» приветствовали бывшую маркизу Фонтене у ворот тюрьмы. Любезные термидорианцы, очарованные Терезой, твердили наперебой, что именно ей страна обязана «освобождением». Это она вдохновила Тальена на подвиг. Какой-то светский повеса назвал красавицу «Богородицей Термидора», и прозвище это стало неотъемлемым титулом молодой госпожи Тальен (Тереза поспешила обвенчаться с Тальеном в Париже).

Наступили «золотые дни» в жизни Терезы. Директория, вернее директора, и галантные поклонники госпожи Тальен короновали ее царицей красоты, изящества, моды. Перед «избушкой», как называла Тереза свой парадный особнячок в Шайо, до самых пустынных тогда Елисейских полей каждый вечер растягивались кареты, кабриолеты, шарабаны «Золотая молодежь», богатые легкомысленные женщины, жаждущие, как и Тереза, веселья после «тяжелого поста — революции», дельцы, политики, правители стремятся побывать в салоне Тальен, — одни, чтобы порисоваться туалетами, пофлиртовать и потанцевать, другие, чтобы устроить дела, повидать «нужных людей». Госпожа Тальен, конечно, ни в чем не превзойдена, никто не может равняться с ней в изысканности, оригинальности и смелости туалета. То она появляется одетая по рисунку Давида, наподобие Прекрасной Елены. Легкая полупрозрачная туника, схваченная двумя камеями по плечам, небрежно падает к ногам, обутым в золотые греческие сандалии. Сбоку от бедра до ступни туника разрезана. Фаворитки юпицы в взлохмаченных париках «под отрубленные головы», с пышными бантами на шеях и писклявыми хлыстиками в руках, жадно разглядывают упругую тонкую ногу Терезы. Иногда мадам Тальен при-

ежает на балы одетая вакханкой. В белокурый парик (моду на парики разных цветов ввела она) вплетены небывалые атласные цветы, платье настолько прозрачное, что позволяет различить тело, одна грудь как бы случайно обнажена. Парижанки не поспевают подражать своей «королеве», даже артистка Ланж, виконтесса де Богарне и прекрасная Рекамье признают себя побежденными в этом постоянном соревновании вкуса и изобретательности.

В пору начала власти Директории в Париже вошли в моду салонные политические заговоры, похожие на водевильную забаву или потешный маскарад. Тереза не отставала и в этом занятии. Она примкнула к нескольким светским истеричкам, расфуфыренным буржуазным сынкам и трясущимся старичкам, для которых течение жизни остановилось при Людовике XV, объявлявшим себя сторонниками возведения на французский престол испанского короля. Госпожа Тальен рассчитывала в случае осуществления этого достаточно беспочвенного плана добыть портфель королевского министра своему отцу графу Кабаррюс. В парижских салонах заговорили о ночных сборищах заговорщиков-монархистов, в числе которых находилась и жена Тальена. Напуганная Тереза поспешила ретироваться, так как заманчивая интрига грозила превратиться в неудобный скандал. С той поры госпожа Тальен потеряла навсегда охоту претендовать на политическую значимость и вполне довольствовалась безраздельной властью в салонах.

В течение года после 9 термидора положение Тальена заметно пошатнулось: слишком революционное прошлое, казни аристократов в Бордо, родственники которых снова появлялись в Париже и приобретали влиятельность. Шквал реакции относит Францию вправо, подготовляет империю и реставрацию Бурбонов. Тальен сделал свое дело и больше не нужен. Баррас, стремясь удержаться у власти, охотно жертвует бывшим другом. Термидорианцы Фрерон, Вадье, Тальен оказываются слишком подозрительными для новой эпохи, приход которой они подготовили, и лучшие из них, как Колло д'Эрбуа, кляня свое безумие и преступление перед якобинцами, пытаются восстать и кончают жизнь на каторге, на «сухой гильотине» — в Кайенне. Видя, что Тальен теряет политическое влияние и власть, Тереза не медлит с выводами и оставляет

его, забирая с собой маленькую дочку по имени Термидор. Она живет в подаренном ей доме под покровительством элегантного Барраса. Жизнь ее мчится прежним темпом в увеселениях, флиртах, трудных измышлениях все новых и новых украшений и туалетов. Но расчетливый Баррас не склонен содержать чрезмерно расточительную любовницу, он с удовольствием передает ее Уврару, одному из отъявленных спекулянтов и скупщиков, беспощадно нажившихся на голоде революционных лет.

После безобразного маркиза Фонтене, тусклого эгоиста Тальена, откормленного циника Барраса возле Терезы оказался коротконогий чванливый Уврар. «Избушку» сменил дворец с толпой слуг, с английскими полукровками и новенькими каретами в конюшнях. Каждый год на протяжении пяти лет Тереза рожает Уврару детей, и предусмотрительный банкир тотчас же отсылает их в деревню к надежной кормилице. Иногда госпожа Тальен отправляется в дальнюю деревню, чтобы потрепать их розовые щечки.

В числе близких друзей Терезы — генерал и генеральша Бонапарт. Госпожа Тальен не без оттенка покровительственности любит Жозефину, менее красивую, чем она, но такую же праздную и жадную до развлечений. Ранее Тереза увлеченно помогала Баррасу, которого слегка ревновала, просватать обедневшую виконтессу за талантливого корсиканца-генерала. Во время Египетского похода, куда с Бонапартом поехал отставленный от государственных дел Тальен, Жозефина — частый гость в доме Терезы. Подруги проводят долгие часы на удобных кушетках, рассматривая себя в зеркала, вскрикивая при виде новой морщинки, поверяя друг другу свои однообразные, большей частью любовные тайны. Тереза уже слегка пресыщена слишком пышной и пустой жизнью, в то время как темпераментная Жозефина, живущая небогато, развлекающаяся неразборчивыми чувственными интрижками, тянется к роскоши. Иногда Тереза напоминает Жозефине о своем знакомстве с Наполеоном. Как-то вскоре после осады Тулона к ней явился незнакомый офицер. Подобных посетителей бывало в приемной госпожи Тальен так много, что она почти его не разглядела. Описав свою нужду и заслуги и показав прорванный на локте рукав куртки, проситель сказал: «Гражданин Тальен всемогущ, не может ли он помочь герою Тулона получить

кусок сукна по
походатайство
вила Бонапарт
салона.
Уже в ко
красавица Та
седой волос,
начала подум
жизнь, выйти
ее отец, чело
банкир Увра
дели.
Лишь в
вышла замуж
шего от На
Наполеон п
дано корон
сещением.
принцесса
жена Таль
лией не п
постоянны
шилась о
благоскло
«Моя ж
дцатых го
проживав
В 183
Фонтене-
Тальена —
сыновья
дых прин
В сен
дора», П
записан
процесс,
пев Ши
наследст
забвени
рекся о
разпода
ра фам
щами.

кусок сукна по твердой цене?» Госпожа Тальен обещала походатайствовать у мужа и через несколько дней доставила Бонапарту сукно. Впоследствии он стал гостем ее салона.

Уже в конце девяностых годов внимательная к себе красавица Тальен, замечая в темных волосах одинокий седой волос, белый, как лунный луч на черном ковре, начала подумывать о том, чтобы прочно обосновать свою жизнь, выйти снова замуж за богатого, солидного, как ее отец, человека и уехать в поместье. Содержавший ее банкир Уврар не казался ей подходящим для такой цели.

Лишь в 1805 году она осуществила свое намерение и вышла замуж за графа Карамана, впоследствии получившего от Наполеона титул принца де Шиме. К свадьбе Наполеон прислал Терезе поздравление, а Жозефина, недавно коронованная императрицей, даже удостоила ее посещением. Но приглашения в императорский дворец принцесса де Шиме никогда так и не получила. Бывшая жена Тальена, подруга Барраса даже под другой фамилией не подходила к императорскому двору. Это было постоянным огорчением «Богородицы Термидора», и утешилась она лишь в пору реставрации Бурбонов, к ней благосклонных.

«Моя жизнь — изумляющий роман», — говорила в тридцатых годах прошлого века седая старушка, уединенно проживавшая в своем поместье Шиме.

В 1834 году к ней съехались дети: седой маркиз де Фонтене-младший, похожий на своего отца, пожилая дочь Тальена — Термидор, олицетворявшая дни былой славы, сыновья Барраса и банкира Уврара и, наконец, три молодых принца де Шиме.

В сентябре, вскоре после смерти «Богородицы Термидора», Париж опять заговорил о ней. Трое детей Уврара, записанные Терезой под фамилией Кабаррюс, затеяли процесс, требуя предоставления им права на титул принцев Шиме. «Законные» дети принца, не желая упускать наследство, протестовали. Так как умерший в нищете и забвении в 1820 году бывший комиссар Конвента не отрекся от детей Терезы, родившихся до формального ее развода с ним, то суд присвоил сыновьям Барраса и Уврара фамилию Тальен, отклонив их претензию стать принцами.

Это была злостная судейская шутка — имя Тальена давно стало позорным клеймом, которое уже на склоне дней всячески старалась отмыть престарелая принцесса. Нашумевший судебный процесс в последний раз напомнил ступени, по которым прошла ее жизнь: от маркиза Фонтене к якобинцу Тальену, потом через главу Директории Барраса к миллионеру Уврару и от Уврара к принцу Шиме. Эти этапы замечательным образом точно отражали кривую нисхождения великой революции — Тереза Кабаррюс ухитрилась прожить свою жизнь в соответствии с политическими веяниями.

Если и теп
вотически пре
тем более в XV
ство, таинстве
маикой. Фран
лась с Анг
искателей пр
торые послед
родный остро
торов. Руки
скоро попол
Один из них
сахарной пла
трудились л
Плантатор
родилась у
Пажерп. Ма
тузомок, и
толиченны
дом пла
Восп
валась
хитель
настп

ка — имя Тальма
ое уже на сколь
ареная принцесс
ледний раз нащ
пизнь: от маркиз
реа главу Дирек
т Управа к пред
азом точно отра
олюции — Терез
изнь в соответ

ЖОЗЕФИНА БОНАПАРТ

Если и теперь острова в Карибском море кажутся экзотически прекрасными и тревожат фантазию европейца, тем более в XVIII веке остров Мартиника, сулящий богатство, таинственный, далекий, являлся естественной приманкой. Франция в течение пятидесяти лет упорно боролась с Англией за Мартинику. Находилось немало искателей приключений, прокутившихся аристократов, которые последнюю ставку ставили на тропический плодородный остров и оседали на Мартинике в качестве плантаторов. Руки черных рабов и плодоносная земля очень скоро пополняли опустевшие карманы колонизаторов. Один из них, Жозеф Таше де ла Пажери, был владельцем сахарной плантации, на которой, кроме наемных рабочих, трудились лично ему принадлежавшие двадцать рабов. Плантатор женился на красивой туземке, и в 1763 году родилась у них дочь Мария-Жозефина-Роза Таше де ла Пажери. Маленькую креолку передали на попечение пяти туземок, и девочка росла среди суеверных, наивно окатоличенных язычниц в своеобразной обстановке большого дома плантатора.

Воспитываясь без надлежащего присмотра, Роза осталась в большой мере невежественной. Она не была мечтательной — гигантские деревья, подавляюще пышная растительность, тропические ливни не тревожили воображения девочки, суеверия ее были грубы, ум — практический и трезвый. Унаследовав от отца чувственность, рано

развившись физически, Роза тянулась к любовным удо-
вольствиям.

В семье де ла Пажери в годы отрочества Розы жил бывший на несколько лет старше ее Александр де Богарне. Его отец, маркиз де Богарне, был в течение долгого времени губернатором Мартиники. Любовь к тетке Розы госпоже Ренодон сблизила де Богарне с Таше де ла Пажери. Когда англичане в первый раз захватили у Франции Александра на Мартинике, но взял прекрасную Ренодон с собой в Париж. Виконта Александра отвезли во Францию учиться, когда Розе минуло девять лет. Обучение девочки было кратким и поверхностным. Врожденное кокетство и легкомыслие внушали тревогу ее отцу, и, воспользовавшись приглашением госпожи Ренодон, плантатор отпустил пятнадцатилетнюю дочь к тетке.

В Париже тетка Ренодон, не откладывая, принялась за осуществление своего давнишнего желания: женить сына маркиза де Богарне на красивой племяннице. Прежний друг детских лет Розы превратился к этому времени в неглупого молодого офицера. Под влиянием своего наставника Александр проникся передовыми идеями, боготворил Вольтера и Руссо. Подобно Лафайету, он участвовал в американском походе и, подобно Бриссо, будущему вождю Жиронды, стал в Америке квакером. Александр грезил о революции, вращаясь при этом, благодаря титулу, в «высшем свете» королевской Франции и легко завоевывая благосклонность красавиц Парижа. Креолки с Мартиники, бойкая провинциалка, мало чем привлекала Александра, однако тонко затеянная игра госпожи Ренодон, сентиментальные воспоминания детства и уговоры отца повлияли на податливого виконта.

К огромной радости Розы, в 1779 году она стала виконтессой де Богарне. Очень скоро, впрочем, обнаружилась непрочность этого союза. Равнодушие и пренебрежение к Розе все усиливались у Александра.

В 1781 году, после рождения сына Евгения, отношения между виконтессой и мужем значительно обострились, и Александр уехал в Италию, оставив жену в доме старого маркиза. Во время его отсутствия госпожа Ренодон посвящала Розу в секрет того, как «повелевать мужчинами» и нравиться в светском обществе. Стареющая опыт-

ная красавица под брюзжание подагрического маркиза и треск сгорающих в камине поленьев рассказывала Розе веселые подробности своей жизни. Но школа тетки не помогала, — едва Александр вернулся, семейные недоразумения начались с прежней силой. Виконт охотно вновь уезжает на Мартинику — воевать с англичанами. В эту же пору у виконтессы родилась дочь Гортензия, и она восторженно отдалась радости и заботам материнства. Детей своих Роза любит страстно, по-звериному, ревниво оберегает их.

Вернувшись с Мартиники с молодой возлюбленной, Александр решает ликвидировать свой брак. На добровольный разрыв Роза не согласна, и настойчивый виконт Богарне затевает судебный процесс, требуя разделения имущества и обвиняя виконтессу в безнравственности и неверности.

Католический брак нерасторжим, но аристократический суд может разделить супругов. Роза благоразумно надевает на себя маску смирения и уезжает с детьми в монастырь. Она с большим умением разыгрывает «оскорбленную невинность» и очаровывает напудренных старцев судей. Ее признают «добродетельной», присуждают большую ренту и оставляют детей.

Торжествующая виконтесса, вполне обеспеченная материально, свободная, безупречная в общественном мнении, спешит наверстать потерянное в стенах монастыря время.

Прогулки верхом, пастушеские идиллии, томные вздохи и легкий флирт, мечтания и откровенный разврат царят в среде, где вращается виконтесса. Но Роза еще не отшлифована: она слишком громко смеется и любит чрезмерно яркие наряды, ее находят в «свете» невоспитанной и болтливой. Дочь плантатора с Мартиники, почувствовав это, уезжает с детьми на остров к родным. Там она уверенной хозяйкой обходит плантации, подсчитывает барыши от продажи сахарного тростника, командует на заводах отца, целуется с офицерами гарнизона, гадает с рабынями и скучает по Парижу.

Так проходят три года, пока корабли из Франции не привозят вести о революции. На Мартинике начинается восстание рабов. Испуганная плантаторша поспешно возвращается в Париж, где Александр де Богарне, избранный дворянами в Генеральные штаты, голосовавший с

третьим сословием, уже популярен в предместьях. Виконтессу он встречает дружелюбно и бывает частым гостем в ее квартирке. Гражданин Богарне в этот период целиком охвачен фанатической страстью к революции. Поверхностный, но искренний, он влюблен в революцию, как в женщину: ей он верен, ради нее одевается как истый санкюлот, перебарщивая в количестве трехцветных кокард.

Розу Богарне революция мало интересует, но она быстро замечает, что цена денег падает, что привозимый из Индии ее любимый полосатый муслин дорожает, что Александр Богарне добился власти и окружен могущественными людьми. Ее мечтой становится создать блестящий салон. Франция XVIII века культивирует женские салоны: куртизанок, фавориток короля, знатных дам. В эпоху революции аристократическим салонам демократия противопоставляет клубы — «салоны» бедняков. Клубы якобинцев, огромной сетью раскинувшиеся по Франции, погибнут вместе с поражением революции, и салоны начнут возвращать свое политическое влияние, опираясь на реакцию. Салон Розы Богарне был, однако, всего-навсего изящной светской гостиной, которую благодаря Александру Богарне, ставшему вскоре руководителем Учредительного собрания, посещали депутаты Собрания, комиссары провинции и молодые полководцы. Так завязала она впоследствии значительные для ее жизни знакомства с Тальеном и Баррасом.

Торжество якобинской партии оказалось роковым для политической карьеры свободомыслящего дворянина, каким оставался Александр Богарне. Конвент в момент тяжелого положения на фронте назначает его, как революционного генерала, командующим Рейнской армией. Но, философ и резонер, генерал Богарне не оправдывает своей репутации участника революционной войны в Америке и теряется в сложной обстановке отрезанной противником армии. Он сдает Майнц и получает отставку. В Париже свирепствуют обостренная партийная борьба и террор. Казни заподозренных в измене генералов следуют одна за другой. Не имея надежды на спасение, генерал Богарне приезжает в Париж. Он фаталистически ждет ареста и спокойно уходит в тюрьму. Хорошенькая Дельфина де Кюстин, ожидающая, как и он, эшафота, становится его последним увлечением.

Понимая, что, подобно другим женам обвиненных в измене аристократов, она будет арестована, госпожа Богарне энергично готовится к тюрьме и устраивает детей. Мальчика отдает будто бы в ученье к столяру, дочь — к портнихе. Все это, впрочем, фикция: дети будут на попечении верной гувернантки, как и крошечная собачка Фортюне. По-видимому, викомтесса относилась к происходящему, как к урагану, который видела в детстве. Сносило дома, уничтожало богатство плантатора, погибали люди, однако со временем все восстанавливалось, и по-прежнему свистал хлыст в руках ее отца и надсмотрщиков.

Прочитав небрежно приказ об аресте, Роза поцеловала детей и, напевая, пошла в тюрьму Карм. В ее узелке, давно приготовленном, было немного белья, много пудры, были пуховка и помада для губ — предметы, наиболее необходимые в обиходе генеральши Богарне.

Парижская тюрьма Карм, сырая и мрачная, в 1794 году была охвачена, подобно другим домам заключения, любовным безумием. Мужчины и женщины, не отделенные друг от друга, жили в чувственном чаду, ожидая с минуты на минуту вызова в Трибунал и оттуда на гильотину. Боязнь одиночества, страх смерти, у женщин надежда на беременность, отсрочивающую казнь, бросали незнакомых, чуждых людей друг к другу. Они отдавались страсти безудержно, оправдывая мимолетные связи и эротические оргии лязгом ножа гильотины, который пугал их неотступно. Аристократы, ремесленники, менялы, знатные сердцеедки, солдаты переполняли тюрьмы. Злостный контрреволюционер и эбертист, истерическая дама-мистичка, расстрига поп, поэт, торговец, герцогиня, перемешанные вместе, угрюмые или неестественно веселые, ждали смертного часа. Роза Богарне в этой человеческой гуще столкнулась с храбрецом генералом Гошем, меланхоликом и суровым. Роман их был типично тюремным: стремительный, лишенный любви, слов, ничем, кроме призрака гильотины, не внушенный. Когда после Термидора тюрьмы выплюнули заключенных, Гош, надежда и опора Директории, с озлоблением и отвращением вспоминал о своих отношениях с госпожой Богарне. Наполеон, однако, судя по его письмам и воспоминаниям современ-

ников, забывая о многочисленных связях своей жены, безнадежно ревновал ее именно к Гошу.

Пятого термидора был казнен Александр Богарне. Он умер твердым атеистом; его последнее письмо семье полно поучений и торжественного самолюбования. Приближался финал и для Розы, но 9 термидора принесло ей освобождение.

Гильотина работает по-прежнему на площади Грев, но отныне падают иные головы; тюрьмы очищаются, чтобы заполнить их новыми заключенными — членами парижской Коммуны, якобинцами, робеспьеристами. Героем дня ненадолго становится Тальен, один из вождей термидорианского переворота. С его женой, Терезой Кабаррюс, Роза Богарне сблизилась, и теперь, после избавления от тюрьмы и гильотины, мадам Тальен приглашает «прекрасную креолку» к себе, учитывая, каким украшением ее «избушки» она может явиться.

Сближение мадам Богарне с всесильным диктатором Баррасом несколько улучшило ее пошатнувшиеся финансовые дела, но расходы росли неимоверно. Париж распоясавшейся «золотой молодежи» и очаровательных доступных женщин веселился и сорил деньгами. Госпожа Богарне должна была всячески изворачиваться, чтоб внушительных денежных сумм, получаемых от Барраса, хватало на ту жизнь, которую она избрала. Моды менялись ежедневно, шали, туники, котурны, сложные и тонкие платья по рисункам Давида стоили невероятных денег. Парики, драгоценности, лошади и экипажи — все это было необходимостью. Ловкая госпожа Богарне не без труда удерживалась в ряду «элегантных звезд» — госпожи Тальен, Рекамье и Ланж.

В своих мемуарах Баррас с хвастливой откровенностью заявляет, что подсунул надоевшую любовницу проституточку Бонапарту в расчете оказывать на него влияние в интересах Директории. Так ли это было или нет, но Баррас, во всяком случае, поддерживал устройство этого союза и помогал госпоже Богарне принимать застенчивого генерала с показной роскошью.

Познакомилась госпожа Богарне с Бонапартом случайно. Сын ее, Евгений Богарне, обратился к Наполеону с просьбой возвратить ему конфискованную по постановлению Конвента отцовскую саблю. Он добился личного свидания с генералом, и просьба его была удовлетворена.

Госпожа Богарне сочла нужным отблагодарить Бонапарта, тем более что это было удачным предлогом для знакомства. Шурша шелками и внося с собою крепкий аромат модных духов, она появилась в канцелярии командующего войсками Парижа. Легко себе представить, как эта искусная кокетка, тщательно проверив дома перед зеркалом наиболее неотразимые взгляды и улыбки, пустила в ход весь арсенал средств для прельщения неуклюжего ободранного фронтовика, которому приходилось прибегать к протекции госпожи Тальен, чтобы выхлопотать отрез сукна на новый костюм. Она добилась, к радости Барраса, очень многого. Бонапарт появился в уютном домике на улице Шантерен и вскоре стал постоянным посетителем и близким, интимным другом госпожи Богарне, которую, предпочтя это имя ее другим именам, стал называть Жозефиной, взамен Розы, как ее звали с детства. Бонапарт был беден и ничего не мог дать Жозефине. Вино в ее погребок, дичь, фрукты, столовые сервизы и белье — все это поставлялось Баррасом, получавшим от Жозефины полезные для Директории сведения об опасном генерале. Жозефина не любила Наполеона и не раз удивлялась, что интересного находит Баррас в маленьком, часто грязном корсиканце, таком невежливом, неизящном. Ее злили его манеры фронтового солдата, его грубые шутки и ласки. Но Баррас был высокого мнения о Наполеоне и побаивался его влияния, богатые парижане наперебой его приглашали, газеты превозносили, и Жозефина не могла не ценить этого.

Когда влюбленный, терзаемый ревностью Наполеон предложил ей обвенчаться, желая этим упрочить их отношения, Жозефина не колебалась: она была бедна, несмотря на внешний блеск, опутана долгами, выход замуж за революционного генерала прочно страховал ее, вдову казненного аристократа, от преследований или придирок нового режима. Очарованный Наполеон не без удовольствия отмечал знатный титул и светский такт красивой любовницы. Брачный контракт Наполеона и Жозефины полон сознательных неточностей и выдумок; ради Жозефины, которая была на шесть лет старше Бонапарта, неправильно указаны годы брачащихся: Наполеон прибавил себе два года, Жозефина сбросила четыре, и разница лет исчезла. Свидетелями гражданской брачной церемонии были Баррас и Тальен. Уже через два дня после

свадьбы Бонапарт отправился в Итальянский поход. В частых письмах с фронта он не перестает умолять Жозефину приехать к нему. Эти письма, полные страстного бреда, свидетельствуют о необузданной, чувственной любви к жене. Он ревнует, болезненно подозревает ее в изменах, опять и опять вспоминает их поцелуи и ласки. Между тем Жозефина не отказывается ни от одной случайной любовной интрижки и едет к Наполеону лишь из-за желания поразвлечься, но отнюдь не гонимая тоской. Кроме того, шумные победы Бонапарта, популярность его имени, зависимость от него Директории — все заставляет Жозефину поверить в возвышение Наполеона и предстоящее соблазнительно блестящее будущее.

Скользя по кровавым полям сражений, точно по ковру светской гостиной, Жозефина разъезжает по Италии. Ее осыпают подарками, окружают восторженным поклонением молодые офицеры. Звон шпор и стройные мужские талии сводят ее с ума, но при всех своих частых увлечениях она, однако, не забывает в письмах в Париж с наибольшим восторгом описать полученное от Мюрата ожерелье и оценить стоимость очередного бала. И в то время как по Италии смерчем движутся войска Наполеона, Жозефина, образец современной буржуазки, неоднократно подсчитывает, во сколько обойдется именно Мальмезон, купить которое она хотела еще при жизни Александра Богарне.

Возвращение Наполеона из Италии было восторженно встречено парижанами. Чтоб отвести от себя подозрение директоров, растущее одновременно с завистью, он держится в тени, избегая оваций, и ведет замкнутый, подчеркнуто простой образ жизни, — генерал и генеральша Бонапарт бывают лишь у набранных друзей. В эту пору уже Наполеон через Жозефину следит за Баррасом.

Соединение тонкого политического расчета и полуфантастического военного замысла порождает в голове Наполеона план похода на далекий Египет. Свыше года отсутствует Наполеон, и все это время Жозефина предоставлена самой себе. Из итальянской армии в Париж вместе с ней приезжает штабной офицерик Ипполит Шарль. Пронырливый молодой человек легко втирается в дома богатых парижан, удачно помогает дамам в денежных

операциях и сочетает в себе приятную чувствительность с деловым нюхом. В Венеции и Милане Ипполит Шарль носил шаль Жозефины и был чем-то вроде пажа генералыни; в Париже, по-прежнему не лишенный ее благосклонности, он становится чиновником для коммерческих поручений. Кроме непрерывно сменяющихся романтических забав, о которых говорит Париж, Жозефина успешно поправляет материальные дела семьи и через Ипполита Шарля упрочивает сложные отношения с торговой фирмой «Компания Бодэн». Военные поставщики в эпоху Директории быстро и сказочно богатели, умело делясь своими миллионными барышами с Баррасом и близкими к нему людьми, игравшими роль негласных посредников и передатчиков. Жозефина удачливо принимала участие в проталкивании дел и элегантном вручении взяток. Ее собственные доходы растут за счет щедрых подарков и субсидий; давнишняя греза о дворце и имении Мальмезон становится выполнимой. Вместе с Ипполитом Шарлем она осматривает поместье, торгуется, покупает его и обставляет дом с вычурной роскошью.

Еще в Египте Наполеон узнает о проделках и поведении оставшейся во Франции жены. Не покупка Мальмезона или коммерческие затеи Жозефины раздражают генерала — эти качества он всегда ценил и будет ценить, — но слухи об Ипполите Шарле и длинном, приумноженном сплетней списке случайных любовников нестерпимы самолюбию Бонапарта. В Египте, измученный ревностью, неверием и разочарованием, он наживает любовь к Жозефине и твердо решает развестись с ней. Однако, возвратившись в Париж, он не осуществил этих намерений: связи и популярность Жозефины в кругах нужной Бонапарту старой и новой буржуазии Парижа явились существенным к тому препятствием, покаянные обещания жены и ласки ее укрепили решение Наполеона отказаться от предполагавшегося развода. Не до переустройства личных дел было первому консулу, пожизненному консулу, твердо идущему к короне.

Во время консулата Жозефина приобретает большое влияние. Она сохраняет простоту и доступность, снисходительна к чужим грехам и слабостям, но в нужных случаях умеет блеснуть величественностью и знанием этикета.

Через мужа и его приближенных она помогала в продвижении по службе, выхлопатывала доходные места, помогала добиваться звания и титула, но все это за большое вознаграждение.

Не забывая о своих выгодах, жена консула непрерывно занята накоплением. Ее сундуки полны тканей и драгоценностей, она любит дорогие подношения.

В Мальмезоне в эпоху консулата нередко устраивались музыкальные вечера и блестящие приемы. Кроме лучших итальянских покалистов, гостей развлекал талантливый Тальма, о котором Наполеон лзвительно заметил однажды, приведя слова Гете, что «пафос его требует дистанции». В Мальмезон Жозефина выписывала тропические растения и животных из жарких стран, стараясь окружить себя привычной с детства обстановкой. Но жена консула не была еще той исключительной модовкой, какой она стала, будучи императрицей.

Наибольшим горем Жозефины была бездетность в браке с Наполеоном, и мысль о том, что это может стать причиной развода, ее постоянно преследовала. Чем больше пирилась слава Бонапарта, чем больше утверждались его власть и вытекающие отсюда почести и богатство, тем сильнее цеплялась Жозефина за звание жены Наполеона, в то время как он, давно уже ее не любя, с каждым годом все чаще изменял ей. Они поменялись ролями: равнодушие Жозефины, так мучившее некогда Наполеона, сменилось безудержной страстью и сценами ревности стареющей женщины. Особенно страшилась она того, что какая-нибудь из многочисленных фавориток, родив сына, займет ее место. Преследуя Наполеона слезами, вмешивалась в его дела, укрепляя свои связи в Париже, выдав замуж дочь Гортензию за брата Наполеона — Луи, Жозефина старается застраховать себя от возможной отставки. Это ей удается в течение нескольких лет настолько, что в 1804 году Наполеон коронует ее императрицей. Накануне коронования Жозефина еще раз решает сделать невозможным развод Наполеона с нею - она прибегает к помощи церкви. Задобрив вызванного из Рима в Париж для коронации папу подарками, Жозефина сообщает ему о том, что не состоит в церковном браке с Наполеоном. Ночью вызванный папой Бонапарт был обвенчан с Жозефиной по всем правилам католицизма.

...стных она помогала в про-
...ставляя доходные места, по-
...титула, но все это за боль-

...ах, жена консула непрерыв-
...луки полны тканей и дра-
...подношения.

...нсулата нередко уст-
...блестящие приемы. Кроме
..., гостей развлекал талант-
...олеон язвительно замети
что «пафос его требует
...ефина выписывала тропи-
...жарких стран, стараясь
...тва обстановкой. Но жена
...чительной мотовкой, ка-
...ей.

...ы была бездетность в
...ом, что это может стать
...преследовала. Чем боль-
...м больше утверждались
...очести и богатство, тем
...ание жены Наполеона,
...любя, с каждым годом
...лись ролями: равноду-
...гда Наполеона, сменя-
...ами ревности старею-
...ь она того, что какая-
...ок, родив сына, зай-
...слезами, вмешиваясь
...арпжо, выдав замуж
...а — Луи, Жозефина.
...жной отставки. Это
...т настолько, что в
...ватрицей. Накануне
...ает сделать невоз-
...на прибегает к по-
...Рима в Париж для
... сообщает ему о
...ке с Наполеоном.
... обвенчан с Жо-

Коронованная императрицей, Жозефина бросается на казну страны, безумствуя в тратах, одурманенная возможностью все иметь и купить. И, как в течение ряда предыдущих лет, она не только бесцельно швыряет деньгами, питая страсть к мишурной роскоши, но и неустанно откладывает запасы в любимом Мальмезоне. Этот своеобразный дворец — смесь хорошей молочной фермы с полученным цирком — полон уродцами и выдрессированными зверями. Императрица продолжает выписывать птиц из Австралии и Африки, животных из Азии, дрессировщиков со всего мира. Вместе с тем она занята и другими делами: сватовством, устройством браков. Наполеон создает новую знать, и Жозефина помогает французским буржуа, с женами которых дружит, получать титулы. Эта признательная и близкая к Жозефине парижская буржуазия поддерживала ее, когда встал вопрос о разводе, на который император, желая укрепить династию рождением наследника, в конце концов решился, и встречала новую императрицу с явным недоброжелательством.

Некрасивая, отмеченная вырождением Мария-Луиза Австрийская, одна из чистокровнейших принцесс Европы, конечно, нисколько не годилась в жены недавнему воину, императору, всячески старавшемуся загладить свое нероловитое происхождение, и не подходила к его двору, где очень часто под пышным титулом скрывался солдат либо лавочник, разбогатевший выскочка, подчас недавний член Конвента или раскаявшийся якобинец. Племянница Марии-Антуанетты, породнившая Наполеона с Бурбонами, Габсбургами и другими монархами, оставалась безнадежно чуждой честолюбивому императору и его многочисленным родственникам, награжденным большими и малыми тронами.

Жозефина подчинилась решению о своей отставке, лишь только поняла, что дальнейшие притворные обмороки, истерики и скандалы бесполезны и могут оказаться для нее невыгодными. Ей оставалось только одно: заявить, что она уходит в интересах Франции, которой нужно укрепление новой династии. Титул императрицы был ей оставлен, она получила громадную пенсию, Мальмезон и торжественно, не без театральности, покинула дворец Наполеона вместе со свитой.

ных она помогала в ар-
ынила доходные места, но-
тула, но все это за боль-

жена консула непрерыв-
ки полны тканей и ар-
ношения.
ата нередко устра-
ящие прелаты. Кроме
гостей развлекал талант-
сон язвительно замечал
то «пафос его требует
ина выписывала тропи-
карких страп, стараясь
а обстановкой. Но жена
ительной мотовкой, ка-
й.

была бездетность в
, что это может стать
следовала. Чем боль-
больше утверждались
чести и богатство, тем
ило жены Наполеона,
юбя, с каждым годом
ись ролями: равноду-
да Наполеона, сменя-
ым ревности старею-
она того, что какая-
к, родив сына, зай-
слезами, вмешивался
риже, выдав замуж
— Луп. Жозефина-
кой отставки. Это
настолько, что в
атрицей. Накануне
ает сделать непол-
на прибегает к по-
Рима в Париж для
сообщают ему о
ке с Наполеоном.
обвенчан с Жо-

Коронованная императрицей, Жозефина бросается на казну страны, безумствуя в тратах, одурманенная возможностью все иметь и купить. И, как в течение ряда предыдущих лет, она не только бесцельно швыряет деньгами, питая страсть к мишурной роскоши, но и неустанно откладывает запасы в любимом Мальмезоне. Этот своеобразный дворец — смесь хорошей молочной фермы с позолоченным цирком — полон уродцами и выдрессированными зверями. Императрица продолжает выписывать птиц из Австралии и Африки, животных из Азии, дрессировщиков со всего мира. Вместе с тем она занята и другими делами: сватовством, устройством браков. Наполеон создает новую знать, и Жозефина помогает французским буржуа, с женами которых дружна, получать титулы. Эта признательная и близкая к Жозефине парижская буржуазия поддерживала ее, когда встал вопрос о разводе, на который император, желая укрепить династию рождением наследника, в конце концов решился, и встречала новую императрицу с явным недоброжелательством.

Некрасивая, отмеченная вырождением Мария-Луиза Австрийская, одна из чистокровнейших принцесс Европы, конечно, нисколько не годилась в жены недавнему вояке, императору, всячески старавшемуся загладить свое неродовитое происхождение, и не подходила к его двору, где очень часто под пышным титулом скрывался солдат либо лавочник, разбогатевший выскочка, подчас недавний член Конвента или раскаявшийся якобинец. Племянница Марии-Антуанетты, породнившая Наполеона с Бурбонами, Габсбургами и другими монархами, оставалась безнадежно чуждой честолюбивому императору и его многочисленным родственникам, награжденным большими и малыми тронами.

Жозефина подчинилась решению о своей отставке, лишь только поняла, что дальнейшие притворные обмороки, истерики и скандалы бесполезны и могут оказаться для нее невыгодными. Ей оставалось только одно: заявить, что она уходит в интересах Франции, которой нужно укрепление новой династии. Титул императрицы был ей оставлен, она получила громадную пенсию, Мальмезон и торжественно, не без театральности, покинула дворец Наполеона вместе со свитой.

Очутившись в своем имении, она, как всегда, полна деятельного безделия. В глубине души императрица считает, что разрыв с ней — роковая для Бонапарта ошибка. И когда через четыре года в Мальмезоне становится известным поражение и отречение Наполеона от престола, Жозефина видит в этом подтверждение своих мудрых прорицаний.

Она искренне верила, что предприимчивый корсиканец, сделавший такую фантастически быструю карьеру, не сумел оценить ее должным образом. Своим связям, своему содействию приписывала Жозефина его назначение в итальянскую армию; и после, в день 18 брюмера, полулежа на изящной кушетке, не она ли обеспечила успех перевороту, пленяя директора Гойе, томными недомолвками и нежными пожатиями задерживал его у себя, по поручению Наполеона, до того момента, когда в Сен-Клу трагикомедия была окончена. Разве не она ловко усыпляла подозрения Барраса лживыми рассказнями. Все эти второстепенные детали успехов и возвышения Наполеона казались Жозефине полными решающего значения.

В момент, когда корабль отвозил Наполеона к берегам Эльбы, окруженная почтительными и любезными вступившими в Париж государями-союзниками, Жозефина была по-женски довольна, что новая жена, царственное родство и желанный наследник не принесли Наполеону удачи. Она готова была даже великодушно заступиться за изгнанного императора перед своим новым поклонником — русским царем, чтобы всем убедительно и неопровержимо доказать, как велико ее значение в судьбе Бонапарта. Ходили слухи, что оставленная императрица собиралась отправиться навестить Наполеона в изгнании. Но в самый разгар празднеств в честь союзных армий в Париже в 1814 году она заболела ангиной и умерла.

В эпоху Второй империи признательный внук Жозефины Наполеон III тщетно попытался создать культ своей бабушки.

Но «Якобинская санкюлотка», как называла себя гражданка Богарне в 1794 году, авантюристическая генеральша Бонапарт, легкомысленная и жадная императрица Жозефина, конечно, никак не годилась в национальные героини.

, как всегда, полна
и императрица счи-
Бонапарта ошибка.
зоне становится на-
олеона от престола,
ние своих мудрых

имчивый корсика-
быструю карьеру,
ом. Своим связям,
фина его назначе-
день 18 брюмера,
на ли обеспечила
ойс, томными не-
адерживал его у
о момента, когда
а. Разве не она
кивыми рассказ-
спехов и возму-
олимыми решаю-

леона к берегам
юбезными вступ-
ами, Жозефина
на, царствени
сли Наполеону
но заступиться
вым поклонни-
льно и неопро-
в судьбе Бо-
я императри-
леона в изгна-
есть союзных
на англной и

внук Жозе-
ть культ со

зывала со
тическая
ля на
б на

Женщины, подобные ей, как ядовитые пестрые грибы, вырастали и добивались влиятельности лишь в пору упадка и гнилой реакции. История госпожи Тальен, жизнь госпожи де Кюстин — «героинь» Термидора — во многом напоминают судьбу госпожи Богарне.

Вскормленная Директорией, беспринципная и цепкая Жозефина отлично приспособлялась ко всем режимам. С редкой ловкостью она ухитрилась перебросить необходимый мостик из старой, королевской и дворянской, в новую, буржуазную и плутократическую, Францию.

МЕРИ ВУЛСТОНКРАФТ

В конце 1792 года на Дувра в Кале на маленьком паруспом суденышке во Францию плыла молодая женщина, страстно увлекавшаяся идеями Великой французской революции. Это была Мери Вулстонкрафт, борец за женское равноправие, автор известной в Англии книги «Обоснования прав женщин». Всем сердцем стремилась она в тогдашнюю Мекку вольнолюбцев и интеллектуальных бунтарей — Париж. Это был отважный шаг для англичанки. Французские роялисты в это же время плывут в Англию, спасаясь от народного гнева. Английский премьер-министр Питт отозвал посла из Франции в знак протеста против преследования королевской семьи. Жирондисты господствовали в Конвенте. Людовик XVI ждал суда. Франция была накануне войны с Англией.

Мери Вулстонкрафт родилась в Лондоне в 1759 году, в царствование послушного парламенту Георга II, известного в истории тем, что скрепил своей подписью декрет, воспрещавший преследование заподозренных в чародействе.

Ко времени рождения Мери нашествия чумы почти прекратились на острове. Наибольшим повальным бедствием оставалась свирепая, неодолимая оспа. Страх перед ней был не меньший, нежели перед чумой. Мужчины отказывались жениться на девушках, не переболевших оспой, так как опасались разрушительных последствий болезни, иногда гибельно отражавшихся на женских лицах.

Пожары все еще продолжали опустошать деревянный Лондон, и по-прежнему в нечеловеческих условиях

рождались; существовали и умирали жители столичных портовых районов.

Эдуард и Елизавета Вулстонкрафт, родители Мери, принадлежали по рождению к так называемому среднему сословию. После смерти отца, ирландского текстильного фабриканта, Эдуарду достались в наследство 10 тысяч фунтов, сумма по тем временам достаточно большая, чтобы будущность семьи Вулстонкрафт оказалась вполне обеспеченной.

Но Эдуард не годился в предприниматели и купцы в противоположность своим предкам. Это был неудачный прожектер, слабовольный, непоседливый, увлекающийся и быстро остывающий ко всякому делу. Он продал фабрику отца и попытался заняться сельским хозяйством. Роль помещика ему особенно льстила.

Из этой затеи ничего не вышло, как, впрочем, и изо всех предприятий Эдуарда. Он бросил деревню, продал за гроши землю, инвентарь и перебрался в город изрядно разоренным. Остаток денег мистер Вулстонкрафт не столько проедал, сколько пропивал, пристрастившись к вину.

Мери, второй ребенок, появилась на свет, когда от былого материального благополучия семьи не осталось ничего, кроме полупустого, неотапливаемого домика, тоже предназначенного на продажу. Семья Вулстонкрафт принуждена была перебраться на городскую квартиру. Вместе с потерей благосостояния их связь с чванным, сытым средним классом прервалась. Елизавета мучилась этим гораздо больше, чем бедностью.

Как старшая дочь, Мери обязана была нянчить четырех младших детей и помогать матери, подрабатывавшей поденной работой у соседей. Мери никогда не знала мать молодой, жизнерадостной, смеющейся. Трепетавшая перед грубияном мужем, нередко жестоко ее избивавшим, Елизавета находила своеобразное удовлетворение в том, что, в свою очередь, тиранила детей. Брань и незаслуженные тумаки заменяли им материнские ласки.

Для впечатлительной, первой девочки, какой росла Мери, наибольшим горем были, однако, постоянные семейные скандалы и раздоры родителей.

Двуличие буржуазной морали, беззащитность и зависимость жены от мужа, уродства, порожденные одной постелью и одним кошельком двух случайно сошедшихся, ненавидящих друг друга и прикованных пожизненным

браком существ, глубоко запали с детства в сознание Мери. В каждом соседском доме, она знала, гнездилась тоже тщательно скрываемая семейная рана. Но больше, чем бескрайний, узаконенный, властный эгоизм мужчин, поражала Мери полная готовность подчиняться в рабски мыслящих женщинах.

В XVIII столетии даже самые знатные английские дамы отличались предельным невежеством. Грамотность среди них встречалась как исключение.

Гадалки, многочисленные астрологи правили женщинами всех классов. Госпожа и служанка в одинаковой степени руководствовались в своих поступках пророчеством шарлатанов.

Неисчислимые предрассудки — основоположники традиций — и строжайше разработанный кодекс пуританской морали обрекали женщин на печальное существование разукрашенных автоматов, производивших детей, водящих домашнее хозяйство.

Бесправные и зависимые, они не только безропотно воспринимали свою участь, но свирепо восставали против бунтарок, пытавшихся начать войну за равенство. Буржуазные женщины были одним из устоев реакции. Они являлись наиболее суровыми блюстителями нравов. Заподозренная в «вольном поведении» девушка не могла рассчитывать на их пощаду. Она погибала у позорного столба под злобное улюлюканье. Изгнанная семьей, кварталом, преследуемая своей средой, «грешница» шла в кабаки и на проезжие дороги Англии. Обычно после тягостных испытаний отверженную обществом ждало последнее убежище в адских женских тюрьмах, где арестанток секли, морили голодом и добивали непосильной работой.

Образованных женщин, которых в ту пору было так много среди господствующей аристократии Франции, в Англии преследовала и высмеивала толпа бессчетных невежд. Грамота считалась вредной, излишней даже для имущих.

Буржуазные маменьки воспитывали дочерей в соответствии с запросами брачного рынка.

Немногие английские писательницы XVIII века, как Франсес Берней, не смели опозорить предков и печататься под своим именем. Мужские псевдонимы служили им прикрытием. Если уловка разоблачалась, их донимали назойливым сарказмом.

тства в сознание
анала, гнилась
ана. Но больше,
эгоизм мужчин,
ниться в рабски

ные английские
ом. Грамотность

равили женщи-
в одинаковой
упках пророче-

оложники тра-
декс пуритан-
ное существо-
дивших детей,

ко безропотно
авали против
енство. Бур-
реакции. Они
правов. За-
ка не могла
у позорного
емьей, квар-
шла в каба-
осле тягост-
о последнее
танток сек-
работой.
у было так
Франции,
бессчетных
даже для

й в соот-

века, как
и печа-
служили
донимали

Нескольким выдающимся богатым женщинам, отстаивавшим свое право на образование, был прилеплен издевательский ярлык «синий чулок», удержавшийся в обиходе врагов феминистского движения целых полтора века.

В 1791 году к кружку «синих чулок», вожаками которого считались писательницы-моралистки Ханна Мур, миссис Чапоне, миссис Восей, примкнула и Мери Вулстонкрафт. Доктор Джонсон, либеральный литератор, поэт, политик, был верным другом и защитником этой бравой, шумливой, но беспомощной кучки. Главным делом оставались, однако, разговоры на «возвышенные гуманные темы» за парадно сервированным столом.

В богатых пансионах девиц учили молиться, грациозно изгибаться в менуэте, играть на клавесине две-три сентиментальные пьески, которыми следовало прельщать женихов, но тотчас же позабыть по выходе замуж, десяти видам рукоделия, светской болтовне, рисованию цветов и птичек.

Учебные заведения более передовые, предназначенные для девиц среднего сословия, включали в свои программы обучение стряпне, ведению хозяйства и уходу за детьми. Обращаться с многометровым змеевидным повивальником, в который запеленывали ребенка, было вовсе не легко.

Детство Мери Вулстонкрафт прошло однообразно и грустно. Девяти лет она совершила свое первое путешествие из Лондона в Бедерлей, где ее отец, получивший кое-какое денежное подкрепление, рассчитывал опять заняться землепашеством.

Довоншир — красивейшее место в Англии. Просторные луга перекатываются через невысокие холмы, спускающиеся к морю. Теплые ветры Гольфстрима согревают берег и тропические растения, мужественно пробившиеся в скалистых щелях туманного острова.

Маленький городишко казался Мери прекрасным. Свежий воздух, пахнущий травами, доселе не виданные ею платаны, газоны, поросшие маргаритками, — все это было так непохоже на сумрак лондонского дня, на бессчетные крыши домов и камни столичных улиц.

Мери не любила кукол, с малолетства она была нянькой. Рукоделия, развлечения более счастливых ее сверстниц были ей недоступны. Ее уделом стали стряпня, уборка дома, починка белья.

Спустя несколько лет, в 1774 году, Эдуард Вулстонкрафт надумал покинуть Бодерлей и искать нового пристанища и дела. Он успел не только прожить все, до последнего пенни, но и перессориться со всеми городскими обывателями. С годами характер обедневшего рантье становился все неприятнее для окружающих. Несдержанность его под влиянием пьянства граничила с буйством. Он сек все чаще жену, детей, собак, затевал драки и ссоры с соседями, нарушая пьяными выходками покой провинциального города.

Навсегда отказавшись от фермерства, Эдуард решил заняться коммерцией в Хокстоне, северной части Лондона. Там, по соседству с Вулстонкрафтами, жил на покое протестантский священник мистер Клер.

Отставной священнослужитель, страстно увлекавшийся поэзией, давно томился отсутствием почтительного слушателя его прочувствованного чтения. Жена пастора предпочитала Гомеру и Мильтону разведение кур и сплетни соседок. Помимо поэзии, у мистера Клера была давняя потребность облагодетельствовать кого-нибудь в дополнение к домашней стае кошек и собак. Это являлось тем «христианским делом», которое должно было возвысить священника в его собственных глазах, по мнению друзей и к тому же устлало бы ему путь в рай розовыми лепестками.

На шестерых соседских детей он набрал для этой цели Мери и не ошибся. В это время совершенно невежественной, не умевшей писать и читать мисс Вулстонкрафт было уже шестнадцать лет.

Словоохотливый мистер Клер не мог бы найти лучшего ученика. Мери быстро нагоняла упущенное время и платила семье Клер преданностью и дружбой, сохранившейся до самой смерти отставного священника. Впервые в жизни она чувствовала себя почти счастливой. Кроме обучавшего ее грамоте и поэзии старика, Мери нашла друга в Фрэнсес Блууд, девушке ее же лет.

Семья Блууд во многих отношениях походила на семью Вулстонкрафт: то же обнищание, безделничающий пьянчуга отец, плодовитая, раздражительная, проклинающая судьбу мать, тот же выводок неудачных, болезненных детей. Восемнадцатилетняя хрупкая Фрэнсес, продававшая свои рисунки и рукодельные работы, была единственной опорой родителей.

Блууды жили в противоположном от Хокстона конце города, и подруги не могли видаться часто. Переписка заменяла им свидания. Каждодневные эпистолярные монологи, с которыми Мери обращалась к Франсес, принимали ее с тоскливым однообразием родительского дома. Вокруг деревянного, освещенного сальной мигающей свечой стола, за которым писала Мери, с сумерек до ночи просиживала вся семья Вулстонкрафт. Мать перешивала напзнанку холщовые штаны меньшого Чарли, две сестры шипели друг на друга, как обуглившиеся поленья, догоравшие рядом в открытой печи. Появление Эдуарда сопровождалось резким стуком, грозившим сорвать с петель входную дверь, отчаянным дрожанием пламени сальной свечки, испуганным вздохом Елизаветы и мгновенным прекращением перебранки между праздными младшими девицами Вулстонкрафт.

Пример независимой, энергичной Франсес толкал Мери к самостоятельному труду. После долгих поисков работы мисс Вулстонкрафт поступила компаньонкой-чтицей к богатой даме, проводившей бо́льшую часть года в своем обширном пустынном доме на фешенебельном курорте Басс. Миссис Даусон славилась несносным, придирчивым характером и барскими причудами, но мисс Вулстонкрафт, прошедшая отличную школу деспотизма в родительском доме, отличалась исключительной терпеливостью и умением ладить с людьми. Несмотря на бестактные выходки, привередливость и обиды, наносимые ей сумасбродствующей дамой, Мери прожила в Бассе два года. Все зарабатываемые деньги она отправляла домой. Потребности девушки были очень скромны; книги, без которых ученица мистера Клера не могла более существовать, ждали ее на полках пыльной и угрюмой библиотеки, составленной продками миссис Даусон и доставшейся ей вместе с домом.

Дни аристократических семей, лечившихся минеральными водами Басса, протекали во всевозможных развлечениях. Концерты, театральные представления, балы с многочасовым менуэтом, картежные игры следовали непрерывной чередой.

Мери впервые присматривалась к представительницам высшего общества, которые разнились от женщин се класса только более дорогими туалетами и постоянной праздностью. Их умственные запросы были ничтожны,

надменность беспредельна. Мери, насмпая компаньонка, оставалась, конечно, совершенно чужой, не замечаемой важными столичными дамами, с которыми встречалась, сопровождая повсюду миссис Даусон. На загородных пикниках, покуда аристократическая молодежь в огромных париках и пышных фижмах бегала по лугу, подражая наступкам модных французских гобеленов, покуда жеманные старухи, рассевшиеся на раздвижных стульях под деревьями, вязали и злословили, Мери с помощью лакеев в ливреях, слезших с запяток огромных карет, занималась сервировкой и приготовлением закусок. На балах она одиноко сидела где-нибудь в углу среди старух, дожидаясь, когда се хозяйке надоест картежная игра или брюзгливый разговор с приятельницами.

Болезнь матери вернула Мери в Лондон. Елизавета умирала в полном одиночестве. Эдуард пропадал по целым дням, а возвращаясь домой, укорачивал жизнь жены хмельной руганью и попреками. Заботы дочери скрасили ее агонию.

— Еще чуточку терпения — и все прекратится, — прошептала Елизавета, умирая. Ни рая, ни возмездия злу, ни вечности, а конца долгих мучений хотела эта женщина.

Со смертью матери ничто более не удерживало Мери дома. Отец ее буянил, беспробудно пьянствовал, играл в карты. Мери Вулстонкрафт перебралась в дом Блуудов.

Быт родителей Франсес воскресил перед ней нудную трагедию ее собственной семьи, но она покорно сносила пьяные выходки мистера Блуда, сетования его жены, драки детворы, лишь бы быть возле подруги и скорее достичь намеченной цели. Мисс Вулстонкрафт, научившаяся грамоте в шестнадцать лет, решила стать учительницей. Потребность дать другим то, чего она сама была так долго лишена, толкала ее к этой тяжелой в те годы профессии.

Мери мечтала создать небывалую новую школу.

В написанной много лет спустя книге, давшей ей славу, утвердившей имя мисс Вулстонкрафт как основоположницы феминизма, идее этого учебного заведения уделено много места.

В идеальной школе Мери мальчики и девочки должны были учиться совместно. По тем временам это считалось

безнравственным и общественно опасным. Тем более недопустимо и революционно звучало в ушах буржуа предложение мисс Вулстонкрафт слить школы богатых и бедных и уравнять имущих и неимущих перед лицом науки. «Во избежание соперничества в туалетах учащиеся девочки будут одеты одинаково... Школа должна быть окружена лугом, на котором дети смогут играть... Но этот отдых надо также использовать для элементарного воспитания. От формы изложения предметов зависит и их восприятие. Ботаника, механика, астрономия, естественная история, чтение и письмо заполняют учебные часы, не мешая, однако, спортивным играм на воздухе. Элементы философии, истории, политики следует подносить детям по методу, которым пользовался Сократ в беседах с учениками». С девяти лет дети, получившие в подобной школе хорошую подготовку, должны были учиться преимущественно тому, что станет впоследствии их специальностью.

Мальчикам, по мнению Мери, предназначаются технические, точные науки, девочкам, помимо общего образования, нужно изучать «искусство домохозяйства».

Мисс Вулстонкрафт не смеет посягнуть на семейное благополучие мелкого буржуа. Ее дерзания не идут далее того, чтобы создать счастливый, вполне, однако, буржуазный брак, в котором муж добывает деньги, а жена ведет его хозяйство. И хотя Мери видит в будущем девушек — инженеров, докторов, фермеров, дельцов, членов парламентов и правительств, она, населяя мир идеальными собственницами, пытается воспитать для них достойных ученых жен.

В годы, когда на текстильных фабриках по четырнадцать часов в сутки работают пятилетние дети, когда работницы нещадно эксплуатируются и получают гроши потому, что они «женщины», Мери Вулстонкрафт занята размышлениями о развитии девушек своего класса. Наивность и близорукость укрепляют ее веру в то, что с помощью школ и разумного отношения родных и особенно мужей можно перевоспитать и уравнять женщину с мужчиной.

Женщины фабрик, деревень и городских окраин, составлявшие большинство в тогдашней Англии, ускользали из поля зрения воспитанницы священника Клера.

Однако планы Мери открыть с помощью друзей собственную школу покуда не осуществились. Младшая дочь Вулстонкрафтов, Элиза, желая избавиться от тягот и неустроенности родительского дома, безрассудно связала себя браком с заносчивым ничтожеством мистером Бишопом. Муж принялся укрощать свою испыльчивую жену с таким усердием, что довел ее до умопомешательства.

Несколько месяцев, проведенных в доме Бишопа, были самыми тяжелыми в жизни мисс Вулстонкрафт. В минуты просветления сестра рассказывала ей волнующие подробности своих отношений с лживым, попрекавшим ее каждым куском хлеба супругом.

После родов рассудок вернулся к Элизе, но отношения ее с Бишопом не улучшались. Однажды, после очередной ссоры, поздней ночью в дребезжащем дилижансе Мери увезла сестру по направлению к столице. Элиза оплакивала оставленную Бишопу дочь. Будущее было слишком неприглядно, чтобы обрекать на него ребенка, имеющего все необходимое в отцовском доме. Пришадок отчаяния все усиливался у беглянки. Она сломала обручальное кольцо, и истерический плач сменили судороги и бесчинство. Мери понимала, какой опасности они подвергались. Закон мог тотчас же вернуть мужу жену и потребовать ответа от подстрекательницы, посягнувшей на чужое достояние. Несмотря на боязнь погони, болезнь Элизы задержала сестер в пути. Они провели ночь на постоялом дворе, трепетно прислушиваясь к голосам прибывающих в почтовых каретах людей.

В Лондоне Мери ждало всеобщее порицание. Многие из ее друзей прекратили с ней знакомство. Даже мистер Клер был озадачен и встретил воспитанницу требованием тотчас же выдать Элизу мужу. Отверженная близкими, угнетенная сознанием ответственности за беспомощную сестру, Мери поспешно принялась за устройство школы.

Зашнурованные в корсеты, едва волочащие парчовые длинные юбочки, завитые и жеманные дочери знати вовсе не годились для экспериментов Мери. Она рассчитывала на детей победнее, предоставленных себе и посему не столь исковерканных. Но попытка открыть школу на окраине окончилась неудачно. Бедняки не могли внести даже ту ничтожную учебную плату, которая покрыла бы расходы Мери.

Пришлось перебраться в Ньюингтон-грин, жители которого принадлежали к зажиточному среднему классу и могли оплачивать обучение своих детей. Штат учителей был невелик: хозяйственной частью ведала Элиза, педагогической — Мери. Пылкие планы мисс Вулстонкрафт, надеявшейся устроить свою школу по античным образцам, оказались невыполнимыми. Недостаток средств и сопротивление родителей, боявшихся всяких новшеств, недовольных уже и тем, что Мери исключила телесные наказания из школьного обихода, вынудили сестер Вулстонкрафт к созданию рядового, ничем особенным не выделяющегося учебного заведения.

Тогдашняя Англия погребла не одно смелое начинание. Мери смирилась, продолжая в теории отстаивать иную систему обучения.

В это время быстро развивающиеся события на заокеанском материке приковали к себе всеобщее внимание. В 1781 году началась война Америки за независимость и отделение от Англии. С растущим интересом следила за происходящим Мери Вулстонкрафт. Ее протестующий против всякого насилия чуткий разум жадно впитывал бунтарские идеи, проникавшие из Америки и из Франции, приближавшейся к революции.

Вдохновенные статьи Томаса Пейна разрушали былые предрассудки, привитые Мери священником Клером. Она легко отметает наивные политические заветы учителей своей юности. Мисс Вулстонкрафт восторженно желает Америке победы над Англией.

По мнению самой Мери, ей предстояло пожизненное девичество. Вряд ли кто-нибудь мог соблазниться бесприданницей, да еще отличающейся столь независимым характером. Молодые люди торгового, чиновного и военного звания искали невест если уж не богатых, то, по крайней мере, кротких. Мисс Вулстонкрафт, считавшая себя дурнушкой, восставшая против угнетения женщин в браке, привыкла довольствоваться ролью поверенной в сердечных делах других.

Около года купец Хуг Скейс посещал домик Блуудов, всячески подчеркивая свой интерес к Франсес. Молодая девушка отвечала Скейсу откровенной любовью. Но купец, занятый подсчетом своих потерь от союза с девуш-

кой, не имеющей ни приданого, ни наследства в будущем, не решался жениться на ней. Мери негодовала.

Лишь выгодная деловая поездка Хуга Скейса в Португалию придала ему смелость, и он обвенчался с девушкой, живущей своим трудом.

В феврале 1785 года молодая пара покинула английский берег. Мери, ненавидевшая купца за его расчетливость, болезненно восприняла разлуку с подругой.

Дела школы были в плачевном состоянии: даже те незначительные новшества, которые сестры ввели в учебу, оказались чрезмерными. Родители отказывались доверять Мери детей, заявляя, что она «мудрствует» и прививает ученикам непослушание, критическое отношение к старшим и к существующему порядку.

Приглашение от Франсес пришло весьма кстати. Призаняв денег, Мери отправилась в Португалию. Морское путешествие от Англии до Лиссабона длилось тридцать суток. Пиратские корабли нападали, грабили, топили торговые суда, февральские штормы в тот год отличались особым неистовством и силой. Всю дорогу Мери отхаживала больных и разгоняла шутками и примерным спокойствием панический страх перед разбойниками, охватывший пассажиров.

Встреча подруг была невеселой. Франсес боялась родов, от которых действительно умерла через несколько недель после приезда миссс Вулстонкрафт.

Спустя много лет, незадолго до своей смерти, Мери все еще оплакивает ее смерть: «Могильная земля сомкнулась над моим единственным другом, другом моей юности. Но ее ласковый голос всегда звучит со мной рядом».

По возвращении в Лондон директриса нашла свою школу в полном упадке. Сварливая Элиза докопала неудачливое педагогическое начинание сестры. Мери осталось только выпутываться из долгов, укрощая и уговаривая кредиторов. Частные уроки, которыми она занялась, давали ей малый заработок, едва хватавший на то, чтобы спасти родителей умершей Франсес от полной нищеты.

Один из верных друзей, издатель Джонсон, пришел на помощь миссс Вулстонкрафт, заказав ей книгу по педагогике. «Размышления об образовании дочерей, повседневных и важнейших обязанностях женщин в жизни» — скучное и незрелое произведение. Оно было издано

и навсегда забыто, как и три не менее бесцветные повести для детей и взрослых, написанные тогда Мери.

Десять гиней, полученных от издателя, едва-едва покрыли долги девушки. Мисс Вулстонкрафт пришлось опять искать работу. Леди Кингсборо, жена богатого вельможи, наняла ее в гувернантки.

Жизнь в ирландском имении доставила не меньше пищи пытливому и наблюдательному уму Мери, нежели двухлетнее пребывание в Бассе.

Леди Кингсборо, невежественная и бесстыдная, ничуть не скрывала своих пороков. Любовные похождения, пьянство, гульба сановной дамы не являлись тайной в округе. В ее доме господствовали три огромных охотничьих пса, к которым были приставлены особые слуги, исполнявшие беспрекословно любые их капризы.

Рядом с замком, за густой завесой дубов, находились ирландские деревни. В халупах, похожих на стога, купно со свиньями, баранами и птицей жили полудикие люди.

Мери избегала этих пугающих человеческих становищ, как обходила в Лондоне припортовые смрадные улицы. Она жалела крестьян, которые умирали от голода у подножия дворца леди Кингсборо в неурожайные годы, так и не выросив отсрочки платежей за землю. Но сострадание ее было бесплодным. Она поняла, однако, что жизнь крестьян, которую опоэтизировал и ввел в моду как новую маскарадную забаву Руссо, в действительности была безобразна и страшна. Вместо разряженных в парчу пастушек, едва передвигающихся в туфельках на высоких посеребренных каблучках, Мери встретила рахитичных, болезненных, робких девушек, выпрашивающих подаяние полуголых детей и низкорослых испуганных босых юношей, гнавших в поля голодный тощий скот.

О замке и быте леди Кингсборо Мери, между прочим, писала:

«Мне трудно убедить себя, что это не сон. Это место окутано такой торжественной глупостью, что моя кровь стынет в жилах...»

За год до начала Великой французской революции гувернантка взяла расчет и вернулась в Лондон. Источником ее существования стала отныне литературная работа. Опять Джонсон привлек ее к работе в философском журнале «Аналитическое обозрение». Мисс Вулстонкрафт пишет критические статьи, дает отзывы на поступающий

в редакцию литературный материал, переводит из иностранных журналов философские заметки.

Благодаря Джонсону Мери проникает в кружки богемы и некоторые светские салоны, где в подражанье французской знати хозяева кормят ужинами писателей, политиков и художников.

Англичанин Томас Пейн, приехавший на родину в 1787 году, по окончании американской кампании, тоже бывает в кружке Джонсона. Мери особенно польщена знакомством и вниманием, которым дарит ее герой освобождения Америки.

«Там, где нет свободы, там моя родина», — ответил Пейн Франклину, заявившему, что там, где свобода, там мой дом. С этим девизом, повторенным впоследствии Байроном, уезжавшим на войну за свободу Греция, жил и боролся Томас Пейн.

Сын деревенского столяра Норфолькского графства Англии, основавший первую газету Нового Света, подобно Мери, выучился грамоте, будучи взрослым. Брошюра в защиту повышения заработной платы рабочим навлекла на него бешеную злобу фабрикантов, принудила покинуть Англию. Впоследствии борьба за освобождение негров и учреждение «Общества врагов рабства» стали поводом для многообразных нападений на него со стороны американских рабовладельцев. Но в годы борьбы за независимость американские буржуа не смели преследовать любимца восставшего американского народа.

Матрос, астроном, ученый, имевший немало научных технических открытий, Пейн в своей филадельфийской газете отстаивал крайне социальные меры: равноправие женщин, право развода, пересмотр судебных законов, интернациональный арбитраж, способный вмешиваться в споры государств и предотвращать войны. Он проповедовал запрещение и наказание за акты кровной мести и дуэли — порождение ложного понятия чести. Сын квакера, атеист Пейн восставал против преследования англичанами ирландских католиков и угнетения индусов.

Памфлеты Пейна, объединенные под заголовком «Американский кризис», имели для победы попстанческой американской армии не меньшее значение, чем оружие и обмундирование, которое французы, сводившие счеты с Великобританией, пересылали через Франклина на заокеанский материк.

Отдельные статьи Пейна знала наизусть вся американская армия. Они были для нее тем же, чем «Марсельеза» Руже де Лиля для французских революционеров, баллады Кернера для немецких патриотов в наполеоновские войны, чем является теперь гимн «Интернационал» для борющегося с капитализмом всемирного пролетариата.

Томас Пейн, заслышав призыв французского революционного набата, поспешил на континент. Этот человек, называвший себя гражданином вселенной, с оружием в руках ворвался в Бастилию. Лафайет передал ему символ падения тирании — ключ от разрушенной королевской тюрьмы. Лидер английских радикалов, вождь американских повстанцев был избран в члены французского Конвента.

По ту сторону баррикад, в числе отъявленных врагов французской революции находился влиятельный мракобес Эдмунд Берке, особенно ненавидимый Пейном человек. Ирландский простолюдин-самоучка, стыдившийся своего незнатного происхождения, Берке на протяжении всей жизни выслуживался перед знатью.

Облагодетельствованный, подкупленный Людовиком, к которому ездил с поручением от английского двора, Берке после революции упорно направлял вместе с Питтом общественное мнение английской буржуазии и готовил удар в тыл молодой революции. Он с помощью банкиров Сити переправлял через пролив оружие монархистам Вандеи, подстрекал католических священников, помогал французским дворянам-эмигрантам, клеветал в английской прессе на великую революцию.

В одной из своих статей Эдмунд Берке призывал молодежь к «священной войне» за Марию-Антуанетту. «Могли я думать, — писал он между прочим, — что доживу до несчастья, постигшего бедную королеву в стране галантных мужчин, людей чести и служения даме.

Увы, эпоха галантности проходит во Франции. Софисты, экономисты, калькуляторы пришли ей на смену, угрожая погубить славу Европы навсегда...»

Но только Томас Пейн, но и Мери Вулстонкрафт, два друга французской революции, прочитав гнусный памфлет реакционера Берке, тотчас же схватились за перо.

«Бес собственности всегда бывал наготове, чтобы разрушить священные права человека, — пишет Мери. — Из всех ваших убедительных доводов и остроумных при-

меров ваше презрение к бедноте выступает отчетливо и возбуждает мое негодование. Права человека, если вам угодно, милостивый государь, иметь краткое определение этого оспариваемого права, — суть такая мера свободы, гражданской и религиозной, какая совместима со свободой других лиц, с которыми этот человек связан общественным договором.

Я вижу, что для того, чтобы тронуть ваше сердце, горе должно быть одето в шутовской наряд; вы бережете свои слезы для театральных декламаций и для несчастий королев, но горе бесчисленных трудящихся матерей, насильственно лишенных их кормильцев, но голодный крик беспомощных детей — «низкие несчастья», неспособные вызвать в вас сострадание».

Полемика с Берке мгновенно сделала мисс Вулстонкрафт знаменитостью среди англичан, сочувствовавших революции французов. Впервые в своей литературной работе Мери сумела найти нужные слова, подчинив их своим мыслям.

Вслед за «Ответом Берке» естественным было появление «Обоснования прав женщин». Эта мужественная книга, написанная несколько напыщенным слогом, была немедленно переведена на три основных европейских языка и стала евангелием феминизма. В ней Мери Вулстонкрафт выступает смелым изобличителем Руссо, объявившего, что «женщина должна преклониться перед мужем, подобно плющу, обвивающему ствол дерева».

Вспоминая своего никчемного отца, пьяницу Блууда, тупицу Бишопа и посредственного Скейса, Мери восклицает:

«Увы, мужья нередко только переросшие, испорченные, к тому же незрячие дети. И слепым дозволено вести слепых. Не надо свалиться с неба, чтобы понять, какие бедствия это предвещает».

Говоря о женщинах, мисс Вулстонкрафт объявляет невежественными, праздными, перенимающими прод цивилизации без ее пользы. Мать, сестры, миссис Даусон из Басса и светские дамы в имении Кингсборо проходят опять перед судом Мери, и она выносит им беспощадный приговор. Они достойны своей жалкой участи. Чтобы претендовать на права и равенство, надо хотя бы осознать значение этих слов. Каких мужчин могут воспитать подобные матери? — Достойных их, отвечающих им

ступает отчетливо к
человека, если вам
краткое определение
акая мера свободы,
овместима со свобо-
ловек связан обще-

ть ваше сердце, горе
; вы бережете свои
для несчастий ко-
ихся матерей, на-
но голодный крик
тья», неспособные

ала мисс Вулстон-
сочувствовавших
литературной ра-
подчинив их сво-

ым было появле-
жественная кни-
слогом, была не-
ропейских языка
Мери Вулстон-
Руссо, объявив-
я перед мужем,
а».
ьяницу Блуда,
а, Мери воскли-

шие, испорчен-
дозволено вести
понять, какие

т объявляет их
щими вред дл-
миссис Даусон
бора проходят
беспощадный
участи. Чтобы
хотя бы осо-
могут воспи-
вечающих им

заслуженным презрением. «Разнообразны пути, по которым вольно или невольно мужчины следуют к власти и славе, и, хотя они и сталкиваются друг с другом, ибо люди одной и той же профессии редко бывают друзьями, все же остается еще гораздо большее число людей, с которыми они никогда не приходят в столкновение. Но женщины поставлены в совершенно другое положение в отношении друг к другу: они все — соперницы.

До замужества их задача — понравиться мужчине; после замужества, за редкими исключениями, они идут по той же дорожке со всей упорной настойчивостью инстинкта. В обществе даже добродетельные женщины никогда не забывают, какого они пола, поскольку они все время стараются быть *приятными*. Красивая женщина и умный мужчина одинаково заняты тем, чтобы сосредоточить на себе внимание всех присутствующих; а взаимная вражда умных вошла в поговорку.

Удивительно ли, после всего сказанного, что раз все честолюбие женщины вращается около ее красоты и выгода еще усиливает действие тщеславия, удивительно ли, что отсюда возникают постоянные соперничества. Они все участвуют в одних гонках, и добродетель их была бы сверхчеловечной, если бы они не смотрели друг на друга с подозрением и с завистью.

Непомерная любовь к нарядам, к удовольствиям и к господству — страсти, свойственные дикарям; страсти, владеющие непросвещенными существами, не успевшими расширить пределы своего понимания, не научившимися еще мыслить с силой, необходимой для того, чтобы достигнуть той отвлеченной последовательности мысли, которая порождает принципы. А что женщины, вследствие их воспитания и вследствие настоящего состояния цивилизованного общества, находятся именно в таком положении, не может, мне кажется, быть оспариваемо», — пишет Мери.

Она обращается в своей книге к подрастающим поколениям, требуя от женщин должных знаний, умения трудиться, без которых они бессильны преодолеть установленный порядок, превращающий их в игрушку мужчины.

Первое увлечение настигло Мери в тридцатилетнем возрасте. Швейцарец Фузели, работавший, как и мисс Вулстонкрафт, в философском журнале Джонсона, с первой встречи привлек ее внимание. Она бывала во всех

салонах, где Фузели выступал с политическими проповедями. Соотечественник Руссо и Марата исповедовал учение обоих. Его цветистая пропаганда их идей нравилась одинаково вошествующей богеме, стремящейся в Париж, и сытым либеральствующим буржуа, уверенным, что революционное безумие не может перебросться с континента на дремлющий остров. Мери заслушивалась искрящейся, но поверхностной болтовней салонного революционера. Ее замечательные, хоть и не вполне соответствующие узким требованиям классической красоты, умные, отвечающие на каждую мелькнувшую мысль, обведенные каштановыми ресницами глаза, с неровными упрямыми дугами бровей, не отрывались от Фузели, когда он самодовольным ярким павлином прохаживался по гостиным. Пламя свечей и каминов не раз освещало седовласого красавца, склонившегося над неспокойной Мери, когда она задерживала его вопросом. Бархатный кафтан Фузели был обычно того же цвета обожженной бронзы, что и волосы молодой феминистки, выбивающиеся из-под темного муслинового чепца.

— Я всегда вылавливаю что-нибудь драгоценное, навсегда памятное в потоке его речей, — говорила мисс Вулстонкрафт, считавшая Фузели гениальным.

Она писала ему письма, в которых среди показных философских и политических высказываний пробивались робкие, неумелые признания в любви, не встретившие, однако, ответа у избалованного краснобая, принимавшего как должное преклонение и привязанность.

В самом конце 1792 года Мери Вулстонкрафт прибыла во Францию и нашла в Париже Томаса Пейна в маленьком деревянном флигеле в переулке подле улицы Ришелье. Вместе с ним она бывает в Конвенте и в салоне мадам Ролан. Лидеры жирондистов — один из немногих защитников женских прав Кондорсе и галантный Бриссо — производят на любознательную иностранку самое благоприятное впечатление. В доме миссис Кристи, где бывают американцы, Мери встречает капитана Жильбера Имлея.

В феврале 1793 года английские реакционеры во главе с Питтом объявляют войну французской революционной республике. Положение английских граждан становится в Париже двусмысленным. Опасаясь быть обвиненной в шпионаже, мисс Вулстонкрафт переселяется в деревушку Нейльи, в трех верстах от столицы.

Несмотря на отсутствие денег, Мери решает остаться во Франции. Но не столько развертывающиеся революционные события, наблюдательницей которых она является, удерживают ее, сколько Жильбер Имлей, отставной американский капитан, торгующий лесом в Европе. Его объемистая фигура загородила для мисс Вулстонкрафт весь мир, отодвинула и затмила все былые ее интересы. Тридцатичетырехлетняя, лишенная с детства заботливой любви, девушка отдалась полностью своему первому чувству.

Все то, что в каждом другом могло бы вызвать лишь ее насмешку и раздражение, в Жильбере оправдывалось его прелестной «непосредственностью».

Мисс Вулстонкрафт могла без конца наблюдать за тем, как широкоплечий сильный Имлей то сгибал, то разгибал спину, легко орудуя лопатой в «их садике». Он любил физическую работу и мог одной рукой перенести стол, уставленный блюдами с едой, из комнаты под яблоневое дерево, подхватив на ходу другой рукой Мери. Она благоговейно вытирала капельки пота вокруг его бровей и усов, когда, отдуваясь и смеясь, он усаживался затем в качалку.

Падающие цены и кризис сбыта лесоматериалов волновали отныне Мери больше, чем известия с фронта. Желая угодить Жильберу, она подолгу слушала его отчеты о затруднениях в торговле. Мери хотела бы конца революции. К чему дальнейшие волнения, когда принципы свободы и справедливости торжествуют и друзья прогресса могут спокойно наслаждаться жизнью, соответствующей требованиям разума, заявляла она.

В прохладные дни любовники гуляли по полям, взбирались на холмы-виноградники, пили вино в трактирах на пыльных проселочных дорогах. Мимо них, дребезжа, проезжали телеги. Провиант, оружие, солдаты отправлялись на фронт. Мери махала войскам трехцветным платком, желала им победы и подхватывала куплеты «Марсельезы», но мысли ее были далеко от находящегося рядом Парижа.

Борьба партий усилилась, начался голод, изменяли генералы, отступала под натиском отлично снаряженных врагов полуодетая, плохо вооруженная революционная армия. Париж лихорадило. Мисс Вулстонкрафт сажала цветы и готовила возлюбленному национальные американские блюда к обеду.

В день смерти Марата сосед-садовник вбежал в домик Мери, крича сквозь слезы:

— Гражданка, горе Франции, Марату прокололи сердце!

Англичанка опустила багровые, как сливаясь кровь, георгины, которые срезала, чтобы украсить стол к возвращению Жильбера. Ее сердце, в котором «демагогия» Друга народа не находила отклика, содрогнулось, — только бы смерть Марата не помешала лесоторговцу вернуться вовремя домой. До полуночи простояла мисс Вулстонкрафт у калитки, поджидая Имлея. Остывал на столе под деревом обед. Мимо по дороге в Париж бежали люди с факелами. Карета отставного капитана едва пробралась в Нейльи.

Во время частых отлучек лесопромышленника Мери пробует писать историю французской революции, которую почти не знает и совсем не понимает, но откладывает начатое ради эпистолярного бреда, ради возможности говорить в письмах к Имлею, что жизнь без него лишена всякого смысла.

Назойливое, усложненное, болезненное чувство Мери очень скоро начинает угнетать и раздражать Имлея. Он не знает, как избавиться от утомительной патетической любовницы. Уезжая, он не шлет о себе вестей, но Мери настигает его в Марате (так назван был тогда Гавр), и со отчаяние, ревнивая ярость, унизительные мольбы вновь обезоруживают Имлея. Он лжет и соглашается на все, отступив перед потоком слов и слез.

В Париже в это время судят отступников-жирондистов. Единственный друг Мери на континенте, Томас Пейн, покидает Францию. Он подрывает к себе доверие, отстаивая взгляды бриссотинцев. Мелкобуржуазный анархист, обзывавший всякое правительство адским исчадием, отказался голосовать за смерть короля и требовал отмены суда над Бриссо и его партией. Пейн охладел к делу французской революции. Он не перешел, однако, подобно другому «герою американской войны» —Лафайету, в стан контрреволюции, но попросту отошел в сторону.

На английском острове, где Талейран, гениальный политический прохвост, учуявший острым носом гнилы приближающуюся гибель революции, сменил национальную кокарду посланца Конвента на монархический значок

эмигранта, — Пейн попытался обосновать свое бегство поверхностными апархическими теориями. Он предал анафеме отныне и навеки всякую власть как королей, так и конвентов и заявил: «Общество во всех своих видах благословение, правительство всегда зло. Оно, как фиговый листок, является метой потери нашей невинности». Фразеология остается до последних минут жизни утехой Пейна, но и слова способны вырождаться. В годы наступившей реакции никто не зачел Пейну его милосердия по отношению к Бурбонам, но зато поспешили припомнить участие в Конвенте, близость с Бриссо и попытку добыть свободу неграм. Он умер в нищете и одиночестве.

Перо, нанесшее поражение английским армиям, ведшее массы на осаду Бастилии, определившее в двух декларациях «права человека», превратилось к концу жизни Пейна в тупую булавку, уколы которой были неприятны, но безвредны.

В 1794 году, за два месяца до рокового термидора, у Мери родилась дочь, названная в память умершей подруги — Франсес. Мисс Вулстонкрафт не состояла в узаконенном браке с Имлеем — кущец никогда не предлагал этого; Мери, в свою очередь, считала себя связанной принципами, отвергавшими брак в существовавшей тогда форме. Помимо того, в годы французской революции регистрация любовной связи не считалась обязательной. Новорожденную записали под именем отца, на которое по английским законам она не имела права.

Пребывание во Франции все больше тяготило мисс Вулстонкрафт. Революция отныне представлялась ей хищником, вырвавшимся из клетки и пожиравшим все без разбору. Так думали и все контрреволюционеры. Историческая трагедия Франции все меньше интересовала англичанку, для которой страна эта была лишь негостеприимной, некомфортабельной чужбиной.

После падения робеспьеристов из щелей и подполья выползла загнанная, парализованная революцией пошлая рутина, ожили замороженные годы — предрассудки. Внебрачная связь с Имлеем позорила Мери во мнении знакомых буржуа, соседских домохозяек и торговок кварт ала.

Бездонежье, необходимость просить не слишком щедрого Жильбера о материальной помощи, постоянное унижение, беспокойство, ревнивые подозрения, одиночество подрывали душевные силы мисс Вулстонкрафт. Она с трудом вымолила согласие Имлея на встречу в Англии. Мери пыталась вызвать в Жильбере любовь к маленькой Франсес, чтобы с помощью дочери вернуть себе охладевшего любовника. Но было жертвы, которая казалась бы ей чрезмерной в борьбе за воскрешение былого счастья. Но лесоторговец тяготился ею.

В Лондоне мисс Вулстонкрафт скрывает от посторонних подлинную сущность отношений с Жильбером и называет себя миссис Имлей. Это спасает ее от бойкота и общественной изоляции.

Деспотизм буржуазной морали так силен, что брат и сестры, которым Мери поверила тайну своей внебрачной связи, тотчас же порывают с нею.

Но поглощенность одним предметом, маниакальная любовь к Имлею, заставляет ее относиться ко всему безразлично и искать уединения. Она всегда возле своего ребенка. Суета города доносится до нее отдаленным гулом, протяжным, как удары ветра по кирпичу каминных труб.

Английские газеты неизменно хулят революцию, восторженным ревом сопровождая ее агонию. Берке исходит ядовитой слюной. Питт не скрывает беспокойства по поводу выдвижения неведомого доселе офицера Бонапарта. Светские салоны отвернулись от болтливых либералов и подкармливают эмигрантов, рассчитывая на их благодарность в дальнейшем. При дворе поговаривают о возвращении Бурбонов, и вельможи спорят о достоинствах претендентов на французскую корону. Неосведомленность английского обывателя о происходящем во Франции баснословна. Матери пугают детей непонятным страшным словом «якобинец», а на завалинке старухи в сумерках рассказывают друг другу о небесных знамениях, предвещающих великую кару французам. Газеты называют мертвых Марата и Робеспьера людоедами. В благородных пансионах воспитанницы вырезают из черной бумаги силуэты Шарлотты Корде. Англия ткет саван революции...

От злоязычной коварной прислуги Мери узнает о позорной любовной связи Жильбера. Набросив пелерину, криво

...ладинув капор, бежит она по указанному адресу и надеется на убедительную, уничтожающую последнюю иллюзии сцену. Имлей рад, что обстоятельства сами собой освободили его от надоевшей любовницы.

На рассвете пасмурного ноябрьского дня Мери заканчивает свои «прощальные» письма и выходит из дому с тем, чтобы никогда более не возвращаться. Она идет на мост Темзы. Ее мозг затуманен, как лондонское небо. Одна мысль, одно желание преследует ее — смерть. Она проходит по людной набережной. Обида, беспомощная мстительность, ощущение краха, усталость, жалость к себе — все вместе толкает ее к воде. Бурное небо усугубляет пессимизм и тягу к самоубийству. Мелкий монотонный дождь всхлипывает, ударяясь о землю.

«Крикуньи» — уличные продавщицы, подоткнув юбки, шлепают по мокрым тротуарам, выхваливая свои товары:

— Щетки, щетки половые, одежные, сапожные!

— Крабы, крабы, крабы!

— Голландские носки шиллинг, шиллинг!

— Теплые булочки!

Трясичница высунула голову из мусорной ямы и торжествующе помахала над головой уловом — рваным сапогом.

Мери проходит мимо, ничего не замечая. На одном из мостов пустынно. Со спокойствием и уверенностью безумца она, перешагнув через перила, прыгает в реку. Ее спасают.

Прикосновение смерти излечило, вернуло мисс Вулстонкрафт волю к жизни. Несколько друзей и неизменный Джонсон пришли ей на помощь. Она занялась опять литературной работой. Дни ее текли мирно. Любовь к Имлею, попытка самоубийства вспоминались Мери как приступы страшной душевной болезни.

Она опять спокойна, сильна, работоспособна. Ее новый сборник очерков, посвященных путешествию по Скандинавии, пользуется большим успехом.

Перелистывая «Обоснования прав женщин», мисс Вулстонкрафт предполагает продолжать писать эту книгу, развить множество недовысказанных мыслей. Оставленные было на время социальные интересы, борьба за женское равноправие снова сосредоточили на себе ее внимание.

Она развивает перед друзьями прежние идеи:

«...Из преклонения перед собственностью вытекают, как из отравленного источника, большинство зол и пороков, которые превращают мир в столь мрачное зрелище для созерцательного ума.

...Налоги на предметы первой необходимости дают возможность многолюдной семье праздных принцев и принцесс парадировать с бессмысленным блеском перед глазеющей толпой, которая почти молится на роскошь, столь дорого сей стоящую. Это великолепие лишь пережиток феодализма.

...Разве не безумие подчинять судьбу тысячи людей капризу королей, самое положение которых неизбежно ставит их ниже самого ничтожного из их подданных. Но не следует низвергать одну власть с тем, чтобы превознести подобную же, ибо только равенство между людьми даст счастье обществу.

...Не следует ли признать весьма несовершенным правительство, которое не обеспечивает честных независимых женщин и не помогает им занять почетное положение? Но для того чтобы личные достоинства женщин служили на благо обществу, нужно, чтобы государство предоставляло им гражданские права, безотносительно к тому, замужем ли они или нет.

«...Воспитывайте женщин, как мужчин, — сказал Руссо, — и чем более они будут походить на наш пол, тем меньше власти они будут иметь над нами». Это как раз и составляет мою цель. Я хочу, чтобы они проявляли свою власть не над мужчинами, а над собой.

...Пагубная роскошь и есть то, что превращает развитие цивилизации в проклятие и до того искажает мышление, что люди чувствительные сомневаются, создает ли рост культуры больше счастья или бедствия. Но природа яда указывает, каково должно быть противоядие, и если бы Руссо поднялся на одну ступень выше в своих изысканиях или если бы его взор проникал туманный воздух, которым он почти глушался дышать, его деятельный ум устремился бы вперед и созерцал бы совершенство человека и созидание подлинной цивилизации, вместо того чтобы бешено бросаться назад, во мрак чувственного невежества.

...Чрезвычайно важно отметить, что характер каждого человека создается его профессией.

...Сколько женщин тратит попусту жизнь и недовольствии, хотя они могли бы быть врачами, управлять

фермой, заведовать лавкой и гордо поднять голову, живя собственным трудом, а не клонить ее под бременем слезоточивой чувствительности, убивающей красоту, которой прежде она давала блеск.

...Указывая на права, за которые должны бороться женщины наравне с мужчинами, я не пыталась преуменьшать их недостатки, а только старалась доказать, что эти недостатки являются естественным следствием воспитания женщин и их положения в обществе. Если это верно, то разумно предположить, что они изменят свой характер и освободятся от своих пороков и безрассудств, когда им позволят быть свободными в физическом, нравственном и гражданственном отношении.

Пусть только не будет в обществе организованного принуждения, и тогда в силу естественного закона равновесия оба пола займут свои надлежащие места.

...Пора произвести революцию в женских нравах, пора восстановить утраченное женщиной достоинство. Нужно, чтобы она, как часть человечества, преображая себя, работала над преображением мира. Пора провести грань между неизменной моралью и нравами меняющейся среды».

В 1796 году мисс Вулстонкрафт сблизилась с одним из выдающихся людей своего времени, Вильямом Годвином.

Мери Вулстонкрафт и Годвин познакомились еще в 1791 году, но в первую встречу не понравились друг другу. Вспоминая об этом, Годвин пишет: «Наша встреча не была счастливой... Мери и я отнеслись один к другому скептически. Я не читал «Обоснования прав женщин» и, поверхностно просмотрев ее «Ответ Берку», заметил в нем только грамматические ошибки и другие недостатки в композиции. Я был не столько заинтересован встречей с мисс Вулстонкрафт, сколько знакомством с Томасом Пейном, который пришел с ней. Пейн, по обыкновению, был в течение всего вечера молчалив и лишь вставлял отдельные словечки и замечания в разговор, который главным образом велся мисс Вулстонкрафт и мной... Мы касались различных тем и особенно много обсуждали привычки выдающихся людей. Мери, склонная видеть вещи с худшей стороны, в излишне мрачном свете, порицала все казавшееся ей в людях мало-мальски сомни-

тельным. Я, наоборот, имел склонность к благоприятным оценкам, особенно когда находил то или иное отмеченным гениальностью. Мы перебрали таким образом характер Вольтера и других, которые были в равной мере предметом пламенного обожания и суроного осуждения. В вопросах религии наши мнения почти совпадали».

Мисс Вулстонкрафт была, однако, менее убежденной и последовательной атеисткой, нежели Годвин.

В юности реакционер и тори, Годвин перешел к вигам незадолго до французской революции. Исключительно образованный, дерзко мыслящий, он оказался чрезмерным вольнодумцем для избранной им партии и был обречен идти одиночкой, своим особым путем.

«Бытие определяет сознание и формирует человеческий характер», — писал в своей нашумевшей книге ученик Гольбаха и Локка.

«Добродетель и грех не следствие врожденных свойств, а следствие обстоятельств».

«Инстинкты и наследственность едва ли существуют и уж, во всяком случае, не играют решающей роли в формировании человека».

«Брак безнравствен, поскольку связанные люди не могут следовать велениям своего рассудка».

«Вещи должны принадлежать тем, в чьих руках они наиболее продуктивны...»

Одновременно анархист Годвин отрицал не только монархический, но и всякий иной правительственный строй, подобно Томасу Пейну обвиняя всякую власть в насилии. Коммунизм, по мнению Годвина, идеальная система, которую может осуществить только высоко развитое умственно и нравственно общество.

Мери и Годвин принуждены были обвенчаться. Иначе не только ни одна домохозяйка не сдала бы им квартиру, но и самые свободомыслящие друзья отказались бы принимать их в своем доме, ссылаясь на опасный пример для молодежи.

Предрассудки владычествовали в такой мере, что истина прежних отношений с Имлеем, выяснившаяся во время бракосочетания мисс Вулстонкрафт и Годвина, послужила для многих знакомых основанием к полному с ними разрыву. Внебрачный ребенок «запятнал» навсегда репутацию знаменитой феминистки.

Счастливая, полная высоких духовных радостей, совместная жизнь Мери и Годвина длилась всего год. 10 сентября 1797 года Мери умерла от родов.

Судьба двух ее дочерей необычна. Младшая, Мери Годвин, — талантливая писательница — была женой великого поэта Шелли. Фрэнсис Имлей сблизилась с Байроном. Однако связь эта кончилась трагически: когда Байрон охладел к своей любовнице, она утопилась.

1929

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

К стремлению воссоздать образы Маркса и Энгельса я пришла не сразу. Больше того, в юности труды этих людей внушали мне только почтительную робость. В начале двадцатых годов шестнадцатилетней студенткой рабфака я попыталась читать «Капитал». И, тщетно стремясь понять его, уснула над первыми страницами. Могла ли я думать тогда, что дерзну впоследствии писать роман о Марксе и Энгельсе?

Но в те же годы я познакомилась с Николаем Александровичем Морозовым. Этот большой ученый, отважный народоволец, друг Кибальчича и Перовской, провел почти два десятилетия в одиночке Шлиссельбурга. В свои шестьдесят с лишним лет он отличался редкой молодостью, разносторонностью знаний, жизнелюбием. Морозов говорил: «Природа не засчитывает времени, проведенного в заключении», — и на вопрос, сколько ему лет, обязательно вычитал годы, потерянные в тюрьме. Вспоминая прошлое, он с увлечением рассказывал о своих встречах и беседах с Карлом Марксом в Лондоне.

Человек, видевший Маркса! Мысль об этом будоражила мое воображение. Я забрасывала Морозова вопросами и как бы сама приблизилась к тому, что было задолго до моего рождения.

Маркс перестал быть для меня только чтимым бюстом, который, с таким трудом спасая от опасности, мы, юные политработники 13-й армии, в 1920 году вынули вместе с скарбом своего походного клуба по дорогам гражданской войны, от Курска до Перекопа.

В 1931 году в Манчестере, где я находилась в качестве специального корреспондента газеты «Известия», в окраинной таверне мне встретился рабочий, знавший Энгельса и дочь Маркса Элеонору. И я снова вобрала все то, что сохранила память этого человека.

Весной 1933 года я написала очерк о могиле Карла Маркса на Хайгейтском кладбище. Само посещение могилы явилось для меня огромным событием, во многом определившим мою дальнейшую жизнь. Стоял типичный лондонский дождливый март. Может быть, еще и поэтому могила производила особенно удручающее впечатление. Маленькая плита была почти совершенно засыпана землей, так что нельзя было сразу разобрать слов на надгробии. Естественно, что я ожидала увидеть величественную гробницу, усыпанную цветами. И вдруг это запустение! Находясь под тяжким впечатлением, устремилась я на поиски домов, где жил Маркс, и снова меня ошеломила скромность, скорее нищета, на которую обрек себя этот гениальнейший человек. При его гигантском уме и глубочайшей, энциклопедической образованности, при его понимании сложнейших экономических, социальных и политических процессов в обществе он мог стать кем угодно — министром, прославленным, процветающим профессором. Но для этого нужно было закрыть глаза на кривду, на несправедливость мира, на мрачную участь угнетенных и обездоленных. Жить только для себя Маркс не мог.

Известно, что тотчас же после Октябрьской революции В. И. Ленин хотел, чтобы прах К. Маркса был перевезен в Москву — столицу первого государства победившего пролетариата, но внуки Маркса не дали согласия. Тогда, первого июня 1918 года, Совет Народных Комиссаров постановил:

«1. Ассигновать один миллион рублей на постройку памятника на могиле Карла Маркса.

2. Поручить Народному комиссариату просвещения объявить конкурс на проект памятника.

3. Поручить представителю Российской Республики в Лондоне вступить в переговоры с наследниками Карла Маркса на предмет исполнения данного постановления».

Во втором томе декретов Советской власти хранится этот ленинский документ.

Постепенно утвердилась во мне отчаянная мысль написать роман о Марксе и Энгельсе. Но едва начинала я знакомиться с произведениями этих двух гениальных людей, как невольно опускала естественный страх, что не смогу подняться до уровня знаний в области философии, экономики, истории, политики, эстетики, которые необходимы каждому, кто хочет писать о подобных исполинах. К тому же я поняла и то, что собираюсь «поднять целину» в литературе, так как о Марксе и Энгельсе в те годы не было ни одного беллетристического произведения. Мучимая сомнениями в своих силах, я пошла к А. М. Горькому.

Помню, как в маленьком кабинетике московской квартиры Алексея Максимовича я с трудом осмелилась сознаться ему в том, что собираюсь писать роман о жизни Маркса.

Он посмотрел на меня с удивлением, недоверчиво покачал головой, остриженной «под бобрик», о чем-то задумался, а потом лукаво улыбнулся. Улыбка у него была прекрасная, делавшая лицо особенно привлекательным.

— Очень хорошо, если получится. Однако трудненько такую глыбищу поднять. А важно и нужно. Помните одно: следует так писать о Марксе и Ленине, чтобы за мрамором памятников во всем величии вставали живые люди, — сказал мне Горький.

В 1931 году в одном из писем ко мне А. М. Горький писал: «Я бы очень советовал писать проще, не очень часто прибегая к обычным приемам беллетристов, которые полагают, что искусно подобранные, красиво построенные слова — большое дело, и не чувствуют, что весьма часто этот прием — прямой ущерб пластичности, выпуклости изображения.

Писать просто не значит писать сухо. Наш читатель не так опытен, чтобы любоваться формой. Он, прежде всего, ищет педагогического содержания в книге. Не бойтесь деталей, они крайне полезны, хорошо схватываются читателем и усваиваются им»[1].

Я снова поехала в Лондон и начала искать все, что рассказало бы мне о Карле Марксе. Побывала еще раз во всех сохранившихся домах, где он жил в годы изгнания. Много раз посещала читальню Британского музея. Там, часто с девяти часов утра до семи часов вечера, работал Маркс, там «бывал дома» и другими произведениями. Постоянное посещение не всегда строго определенные места. Маркс сидел у пятым столом направо от входа, примыкавшим непосредственно к стеллажам со справочниками. Стол этот был обозначен буквой «С» и «№ 7».

Писатель, пишущий об ушедшем времени, всегда разведчик истории. Приходится собирать подчас едва заметные песчинки, чтобы с их помощью воссоздать прошлое.

Мне представилась возможность побывать не только в Англии. В период работы над первой книгой, которую открывала двадцать шестью годами этого века и решила назвать «Юность Маркса», я посетила Германию, Голландию, Бельгию, Францию, Италию и Швейцарию.

Живописный, затерянный в Пиренеях город городок Тараскон, в котором не исполнен десятилетний [illegible]

[1] «Комсомольская правда» от 20 июня 1958 г. (статья Юр. Жукова и С. Крижицкого «День спорит — труд [illegible]

дии детства и юности Маркса. На узенькой Брюккенгассе отыскала я серый двухэтажный дом, где родился Маркс.

В 1932 году, накануне пятидесятилетия со дня смерти Маркса, этот дом был отремонтирован, найдена и реставрирована мебель. Все в нем воскресило обстановку и быт того времени, когда здесь проживала семья юстиции советника. Несколько месяцев спустя после моего отъезда из Трира фашисты разрушили этот дом-музей.

Гимназия, где учился юный Карл, готическое здание цвета недозрелых помидоров, очень мало изменилось за сто лет.

Все так же лениво катил свои серые воды, огибая город, широкий Мозель, и так же весной цвели на его берегу ивы и ясень, как тогда, когда здесь купался и плавал маленький Карл.

Исторически достоверных документов о детских годах Карла Маркса сохранилось мало.

Однако письма юстиции советника к сыну, стихи юноши Карла, учебные табели и письменные отзывы учителей помогают восстановить отдельные черты его характера.

Из Германии я поехала в Голландию, где с отроческих лет часто бывал Маркс, и нашла в Нимвегене все, что относилось к семье его матери, уроженки этого города. Затем осмотрела и маленький Зальбоммел. Там жил некогда голландский дядюшка Маркса, купец Филипс. Не раз он помогал деньгами своему племяннику и всегда радовался его приезду. На красивом доме, поодаль от живописного канала, где останавливался у родственников Маркс, я увидела мемориальную доску. Однако по Марксу была она посвящена, а... основателю знаменитой в Европе и по сей день промышленной фирмы — Антони Филипсу. Господа Филипсы ныне всячески открещиваются от своего бедного родства с Карлом Марксом.

В Брюсселе был написан «Манифест Коммунистической партии». Несколько лет изгнания Маркс со своей семьей провел в столице Бельгии и вместе с женой подвергся там аресту в мартовские дни революции 1848 года.

В начале тридцатых годов в Париже я [illegible] Карла Маркса — Жанна Лонге. Этот почтенный старик [illegible] мени довольно. Он был одним из рефери [illegible] русской социалистической партии. Легко и [illegible] сказать о предках и добиваться разрешения [illegible] с именинах и семье Лонге портретом (наверно [illegible] его небольшие они и изображения Жанны [illegible] сохранилось вообще очень мало. Одна из лучших [illegible]

Женни, выполненный на стекле, Фридрих Энгельс положил в гроб Маркса.

Образ жены Маркса кажется мне одним из самых волнующих и замечательных в галерее женщин, известных мировой истории. Она совмещала в себе красоту, обаяние женственности с глубоким «мужским» умом воли и поистине великим сердцем. Шотландская аристократка по своей бабушке Женни оф Питтарроо, из рода Аргайлов, и Джо во всех Вестфом Слоттом, самая прекрасная девушка Трира, она сумела в годы юности отвергнуть, навеки полюбить Маркса и стать достойной его соратницей, помощницей, другом, женой.

Человек развивается под воздействием среды и своего времени. Чем «вместительнее» и глубже душа, чем богаче интеллект человека, тем больше имеется их факторов его формирует. Для гениев, подобных Марксу и Энгельсу, нет преград в пространстве и во времени. На мышление объемлет всю планету и века. Исходя из этого, я создала многоплановые романы, полотна которых охватывает все наиболее значительные события эпохи первой половины, середины и конца XIX века, стремилась отразить развитие общественной и философской мысли того периода.

Годы работы над «Юностью Маркса», «Похищением огня», «Вершинами жизни» и «Предвестником» — это время чтения архивных документов, писем и мемуаров. Я кропотливо изучала быт минувших лет, стремилась проникнуть в мироощущение тех, о ком писала. Картотека все ширилась. Творческое хозяйство стало очень большим. Из сотен справочных таблиц немногие непосредственно относились к Марксу — его семье, окружению. В них указывались имя и фамилия, год рождения того или иного человека, его профессия, литературные и научные труды, если таковые были, события жизни и черты характера.

Я завела картотеки также и на вымышленных персонажей моих книг и, все более увлекаясь их судьбами, теряла ощущение того, что их в действительности не существовало. Особенно героини стали мне подлинными подмастерье Наташа Стоц, сестра Женевьева, русские женщины Лина Мессман и Анна Бах. В работе над их образами не могло быть преград ни в пространстве, ни во времени. Воображение и фантазия Но не в ущерб самой документальности. Каждая деталь обретет значение убедительности.

Без помощи многих ученых я не смогла бы работать над своей трилогией. Материалы по японскому восстанию 1848 года в рукописном виде Е. В. Тарле, с карандашом в руке прочитавший «Юность Маркса» до ее опубликования.

Евгений Викторович Тарле внимательно наблюдал за моей работой над романом. Он писал мне в одном из писем:

«Прочел я, глубокоуважаемая Галина Осиповна, данный мне оттиск. И продолжение не уступает началу. Безрассудность Маркса и его антураж очень выпукло даны. Смотрел я, что бедного Стока и др. уже начинают показывать. Что-то с ними будет дальше?! Кстати: плетей не было почти нигде в Германии,— а орудием были: 1) ремни (Ruthen), 2) Schwippschwapp (англ. bull'spizzle), т. е. длинный и тонкий ременный хлыст. Когда будет отдельное издание — и правьте. Еще (из мелочей). Маркс подавал свои ученические работы очень разборчиво переписанными, их иначе не приняли бы ни в коем случае, это требовалось как conditio sine qua non. Его почерк в позднейших рукописях ничего общего не имеет с подававшейся учителям переписью.

Но все это мелочи и пустяки, на которые никто не обратит внимания и не заметит (да и я о них пишу, только чтобы доказать Вам, как внимательно Вас читаю).

Выведете ли Вы Арнольда Руге? Брюзгу, жюль-верновского ученого, чудака? (О нем — у Герцена все-что есть). Так хотелось бы, чтобы где-нибудь они с Марксом поехали в Киссро и покурили (Марксу уже тогда любил сигары, а не традиционно трубки).

А когда будете писать о процессе в Париже, — хотелось бы, чтобы именно Ваше тогда серьезно дело было им (Вы это умеете в 15 строках делать) суетливого и рекламного (начинающего) желтой прессы Эмиля Жирардена (убийцу на дуэли Армана Карреля), которого сторонились порядочные журналисты, но который преуспевал и не замечал этого. Он очень суетился около процесса, шнырял в зале суда со взрывом, интервьюировал с вороватыми глазами, бегал тогдашним знаменитостям. Вот с него будет довольно...»

Много советов и указаний я получила от А. М. Горького. Он исчерпывающе знал историю Европы XIX века.

— Используйте, — говорил он мне, — мои данные, имеющиеся в архиве Парижской Национальной библиотеки. К сожалению, те, о которых я говорю, — автор их нем. — сохранились только в одном рукописном экземпляре. Они рассказывают об обмене «вилюма» и «кабинета». В Пруссии арестованный в тридцатых сороковых годах прошлого века немедленно снабжался толстыми наказаниями диалда: когда его выпускали в тюрьму — это и называлось «вилюм» (добро пожаловать); затем его выводили, выпускали из тюрьмы, — это и был «кабинет».

Я воспользовалась этим рассказом Горького, изучила рекомендованные им материалы, и в «Юности Маркса» Иоганн Сток, посаженный в тюрьму, прошел через пытки прусских мест заключения.

Не только А. М. Горький и Е. В. Тарле, но немало других видных историков и мастеров пера дали мне добрые советы. Среди них Г. С. Фридлянд, талантливый ученый, превосходно знавший эпоху Великой буржуазной французской революции революций 1830 и 1848 годов.

Постоянное внимание Фридлянда к моему труду, когда я писала «Юность Маркса», консультации директора Института марксизма-ленинизма В. Адоратского не раз выводили меня из тупика сложнейших исторических, экономических и философских проблем. Много незабываемого, важного я узнала от Г. С. Фридлянда и о молодом Энгельсе.

Научные работники Института марксизма-ленинизма и Центрального партийного архива — богатейшей сокровищницы, где сосредоточено почти все, относящееся к жизни и трудам основоположников научного коммунизма, помогали мне в этой трудной работе. Некоторые из них посвятили всю свою жизнь изучению научных биографий Маркса и Энгельса и знают бесчисленные подробности их бытия и деятельности.

Пришлось напряженно, упорно учиться, чтобы пройти по дорогам мысли и знания, по которым некогда поднимались Маркс и Энгельс. Всю свою жизнь Маркс был окружен интересными, талантливыми людьми. Он щедро делился с ними своими открытиями, знаниями. Плеяда поэтов: Гейне, Фрейлиграт, Веерт, Гервег — многое взяла от него и шла с ним рядом. Нельзя обойти их, когда пишешь о Марксе.

Маркс и Энгельс хорошо знали Россию, ее язык, историю, литературу, многих русских людей. Революционер, каким Маркс был прежде всего, соприкасался в той или иной степени со всеми наиболее видными деятелями эпохи. Никому не внушал он чувства безразличия. Его горячо любили и жестоко ненавидели. Мне помогли понять Маркса не только его друзья, но и враги.

Ученый, поэт, журналист, юрист, редактор, революционный вождь, постоянно преследуемый, часто оклеветанный, нищий, но всегда несокрушимый, бесстрашный, Маркс неисчерпаем, бессмертен. Это подлинный Прометей, пожертвовавший всем ради одной цели: сделать наибольшее число людей счастливыми на земле. Что может быть более достойно изучения, нежели сердце такого человека?

Трудно оказалось найти звучание речи Маркса и Энгельса. И вдруг я услыхала их смех, уловила тембр голоса. Все это открыла мне их поразительная переписка. В ней оживают оба корреспондента, и невольно вспоминаются слова Герцена о том, что на письмах запеклась кровь событий и само прошедшее, как оно было, становится нетленным.

Кроме писем, случайно уцелевший счет кредитора или несколько строк в тетради сказали мне больше, нежели пространное научное исследование. Помню, как встрепенулось сердце, когда я увидела в пожелтевшей записной книжке, где Женни Маркс перечисляла расходы и белье, сданное в стирку, одиннадцатый гениальный тезис о Фейербахе, написанный рукой Маркса:

«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

Почерк Маркса, сложный, мудрый, таинственный, как письмена на древних камнях, глубоко поражает. Подобно графологу, вглядывалась я в бронзовые буквы, пытаясь лучше понять черты характера того, кто их писал.

Огромное наслаждение доставляло мне изучение творческой лаборатории Маркса. Он работал, как поэт, вдохновенно, порывисто, не щадя себя, забывая о сне и пище, а затем мог долго бездействовать, лежа на диване с увлекательной приключенческой книгой в руках или оставаясь один на один с сигарой.

Для того чтобы воскресить повседневный быт подлинных и вымышленных героев моих книг, обрести живые приметы времени, приходилось знакомиться с техническими открытиями эпохи, транспортом, модами, лаконами биржи, театральными и концертными программами, отчетами фабричных инспекторов, судебной и великосветской хроникой. Впрочем, все это обычные детали работы над всяким романом из прошлого.

Возникли сложности при воссоздании жизни, быта, правов, условий труда того отверженного класса, вождем и учителем которого стал Карл Маркс.

Молодость Маркса совпала с юностью пролетарских революций. Восстание лионских ткачей, движение рабочих за «Хартию вольностей» в Англии сопровождались кровопролитиями и потрясали устои буржуазной Европы. Рабочий класс был еще юн, и юными были его революции, его попытки борьбы за лучшие условия труда, за повышение заработной платы.

Энгельс писал, что плебейские и крестьянские движения были неофициальными элементами истории. Вот об этой армии борцов, создавших все ценности мира, я пыталась рассказать в

«Юности Маркса», в «Похищении огня» и в «Вершинах жизни». И нашла их везде: по Франции, в Англии, в Германии.

Маркс еще в сороковых годах прошлого века в «Новой Рейнской газете» писал о том, что литераторы призваны «обвить лавровым венком... грозно-мрачное чело» новых героев. Нам сегодня дана привилегия увенчать лаврами головы революционеров и бунтарей-плебеев.

Жизнь героев порабощенных в прошлом классов должна стать одной из основных тем советского исторического революционного романа. История пролетарских революций изобилует героическими личностями и необыкновенными человеческими судьбами. Советская литература не может не отдать им заслуженную дань. Это ее герои.

Советский исторический революционный роман всегда видит прошлое глазами настоящего. Чем более прогрессивным является мировоззрение писателя, тем больше правдивости в книге. Автор историко-революционного романа, мне думается, не может сойти с наивысших позиций современности, потому что иначе он умертвляет самую сущность своего произведения.

Попытка перестановки во времени отразилась весьма своеобразно на творческой манере большого писателя Л. Фейхтвангера. Он писал о сущности исторического романа:

«Я решительно не в силах поверить, что серьезный романист, работающий над историческим сюжетом, видит в исторических фактах что-либо, кроме средства создать перспективу».

В некоторых своих исторических полотнах Фейхтвангер стремился по возможности точно отобразить не минувшую, а современную эпоху и перенести субъективные, вполне современные ему взгляды в прошедшие века. Это дало ему возможность создать как бы исторические по жанру, но, по сути, боевые антифашистские книги.

Так создавалась Фейхтвангером «Иудейская война», рисующая борьбу иудеев с римлянами. На самом деле автор имел в виду события, происходившие в фашистской Германии в тридцатые годы. Его «Испанская баллада» продолжает служить той же цели перенесения современности в историю. Фейхтвангер на фоне прошлого боролся с настоящим.

Но подлинно историческая проза, мне кажется, восстает против такого метода. Она не терпит подобного перемещения идей. Получается неубедительное, вводящее читателя в заблуждение историческое повествование. То, что удалось Фейхтвангеру, по-моему, не может стать правилом, это лишь счастливое исключение.

Есть и другие сложности в работе над историческим романом: перегрузка исторической бутафорией.

Мне вспоминаются слова Гегеля об утомлении от всеобщей истории благодаря массе деталей, мешающих пониманию этой истории. Некоторые исторические романисты столь увлекаются деталями, что явно перенасыщают ими свое произведение.

Чрезвычайно опасно в историческом романе злоупотребление словами и выражениями, взятыми из старых летописей и книг: они никогда в действительности не употреблялись в разговорной речи и были поэтому всегда мертвы.

Вредна также фетишизация костюма, когда писатель устраивает маскарад, облачая своих современников в наряды иной эпохи, весьма поверхностно изученной и поданной как декорация, как фон для такого маскарада.

Желая снять с пьедестала гения и «очеловечить» его, писатель принимается рыться в бытовых мелочах и отыскивать темные пятна в биографии и, что еще хуже, приподнимать портьеру алькова. В результате вместо «очеловечивания» героя получается пошлое принижение его. На Западе появились романы об отдельных периодах жизни Маркса, в которых слишком много внимания уделено чисто интимной стороне жизни. Все это, естественно, вызывает только чувство досады. Порочность подобного замысла писателя приводит к тому, что произведение его становится антихудожественным.

Автор историко-биографических романов обязательно должен сам подняться над своей темой, чтобы свободно овладеть ею, а не наоборот — стаскивать вниз своих героев, прикрываясь тем, что ведь они, мол, только люди.

Весьма опасен и соблазн канонизации, почти граничащей с культом. Мне случалось слышать о том, что нельзя прикасаться к святыням, что Маркс должен оставаться в сознании людей как бы мраморным изваянием.

Когда в «Юности Маркса», пользуясь подлинными документами, я рассказала о том, как первокурсник Карл был присужден к карцеру за участие в дуэли на шпагах и как он вместе с ватагой учащейся молодежи в знак протеста против филистеров и трусливых обывателей разбил стекла уличного фонаря, некоторые редакторы воспротивились и хотели вычеркнуть такой эпизод в романе, считая, что это может умалить моего героя. И только вмешательство А. М. Горького привело к тому, что Маркс показан не только добрым студентом, но и отважным дуэлянтом в тех случаях, когда надо было заступиться за товарища или сразиться с хамами и лицемерами.

Маркс и Энгельс благодаря цельности, величию, ясности своих идей кажутся только что не небожителями, однако они всегда сами подчеркивали, что ничто человеческое им не чуждо.

Гений — это неутомимость в труде, неутолимость жажды познания, неуспокоенность в достигнутом. Гений — вечное движение мысли. Душа гения сложна, многогранна и прекрасна.

До работы над своей трилогией и романом «Предшествие» я не раз думала о том, что гении — трудные в общежитии, в семье люди. Их проникновенность в науку либо искусство, их открытия, творчество предназначены массе людей, всему человечеству, и оказаться один на один в повседневной жизни с такими гигантами — большое испытание. Жена, дети, друзья гения, казалось мне, не могут быть достаточно сильны духом, чтобы выдерживать общение с натурой исключительной. Слишком яркий свет ослепляет, слишком мощный звук оглушает обыкновенного человека.

Но Маркс и Энгельс, к радости и удивлению, опровергли былое мое представление. Я нашла в них тактичных в обиходе, весьма чутких, скромных, обаятельных людей, чья огромная любовь ко всему сущему и борьба за благо на земле, уживались с редким спокойствием нести счастье также близким и родным им людям.

Последнее время на Западе стало, так сказать, модным ограничивать влияние Маркса XIX веком, тем самым отодвигая его в глубь истории. Понятно, что предпринимается это для того, чтобы разделаться с марксизмом, посчитать его исторически исчерпанным. Тут мотивы ясны, но для советского писателя особенно волнующим является чисто человеческий, психологический аспект этого вопроса. Нет, Маркс — человек не прошлого, а будущего. Он — наша мечта о прекрасном, гармоническом человеке, уже явившая себя миру во всей своей реальности. Маркс в действительности достиг во многом совершенства.

Каждый момент жизни Маркса мог бы стать легендой. Его любовь к Женни служит образцом столь же великой любви, как любовь Ромео и Джульетты. С той существенной разницей, что Ромео и Джульетта умерли очень юными, и совсем не ясно, как сложились бы дальше их отношения. Маркс и Женни нежно и преданно, без малейших срывов или отчуждения любили друг друга всю жизнь. К старости любовь их все еще набирала силу. Такая любовь раскрывает все духовные возможности людей. То же можно сказать о дружбе Маркса с Энгельсом. Примеры подобной верной мужской дружбы можно найти разве что в мифологии. Идеалом могут служить и отношения Маркса со своими

детьми. Наконец, самое дело Маркса, его исторический подвиг — явление эпическое. Из недр несправедливого, жестокого буржуазного общества явился человек, постигший его законы, чтобы низвергнуть зло, освободить миллионы угнетенных, изуродованных социальными пороками людей для счастливой, полноценной жизни.

Еще мальчиком, на гимназической скамье, Маркс осознал, в чем смысл его жизни, и мечту сумел сделать явью. Да, Маркс оказался тем счастливым человеком, который проложил путь для счастья бесконечного числа людей.

Много споров вызывает проблема домысла и вымысла при воссоздании образов Маркса и Энгельса.

Несомненно, без домысла не может быть художественного произведения. Чутье писателя подсказывает ему предельную черту. Нигде не требуется такое умение пользоваться полутонами, как на полотне исторического романа: это своеобразный подтекст. Прежде чем начать портреты Маркса и его соратников, я пришла к выводу, что только совершенная приверженность исторической правде, точность обращения с хронологическим материалом и научными изысканиями есть наилучший метод для работы исторического романиста.

Правда, случалось, сопоставление того, что я написала, и исторических фактов либо хронологических дат приводило к крушению целого замысла той или иной сцены. Мне, например, очень хотелось, чтобы в момент встречи и начала дружбы Маркса и Энгельса рядом с ними находилась Женни. Так я и написала целую главу. Но один из ученых, ознакомившись с текстом романа, категорически возразил против такой вольности: Женни Маркс в это время находилась в Трире. Пришлось все писать заново.

Даже в мелочах требовалась совершенная точность. Много раз рассыпались звенья в цепи сюжета, если хронология оказывалась «сдвинутой» и, увлекшись, я отходила от исторической действительности.

Книга выигрывала от того, что я пользовалась только фактом как основой. Строго следуя этому, я, однако, совершенно была свободна в интуитивном постижении и эмоциональном воспроизведении моих героев и старалась достичь наибольшей убедительности и передать читателю то, что сама прочувствовала, — любовь к своей теме. Равнодушие писателя убивает его творение. Оно недопустимо в работе над художественными произведениями любого жанра.

Углублялся в работу над образами Маркса и Энгельса, я все больше дивилась их любви к человечеству. Они гуманисты в самом высоком смысле этого слова. Их жизнь и деятельность — лучшее тому подтверждение.

Эти два человека, каждый по-своему, совершенно гармоничны. Здесь нет преувеличения. Становятся понятными высокие чувства, которые они внушали своим единомышленникам. Двадцативосьмилетнего Маркса рабочие называли «отец Маркс». Общение с ними делало людей лучше и значительнее. И самое замечательное, что было в них, — это высокая человеческая простота. Сентиментальность, ложь, слащавость, пошлость, спобным совершенно чужды.

Работая над беллетристическими книгами о Марксе и Энгельсе, я постоянно помню их слова о том, как следует писать о революционных героях. Сколь необходимо, чтобы эти люди «были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде».

Думается, строгая правдивость является отличительным свойством жанра советского историко-революционного романа и такой же степени, как и показ тесной связи героя с его временем. Это не исключает права на фантазию.

Беллетристические книги о Марксе, Энгельсе, Ленине никак не могут быть отнесены к чисто историческому жанру. Тема об Иване Грозном, например, окончательно завершена в истории, и писатель, пишущий о нем, подобно анатому, склоняется над распростертым трупом, который он может изучать, орудуя скальпелем. Но книги историко-революционные о последнем столетии и историко-биографические романы о вождях пролетариата — грозное оружие в борьбе.

Один из лучших художников исторического романа Генрих Манн сказал, что «идея в историческом романе должна быть вооружена». В книгах о Марксе и Энгельсе вооружена сама тема.

Философы XIX века часто писали о трагизме истории и неизбежной обреченности больших начинаний и больших людей. Но сконанный Прометей сбросил оковы. Зевс пал. Великие оппосцы Маркс, Энгельс, Ленин оказались победителями. Многие миллионы людей претворяют в жизнь их идеи и строят то общество, ради которого они создали свое великое учение, посвятив ему свои жизни.

То, что было до социалистического общества, говорил Маркс, это только предыстория.

История человечества началась с Октябрьской революции.

И среди многих тем, которые нам щедро дарит современность, есть неисчерпаемая, почти нетронутая, относящаяся по времени к прошлому, но сохраняющая животрепещущее значение и поныне, это — воссоздание художественными средствами образов Маркса и Энгельса.

* * *

Закончив трилогию «Прометей», я обратилась к трудам и эпистолярному наследству Энгельса последних двенадцати лет его жизни и с трепетным волнением прочла, что он знал Клару Цеткин, Бернарда Шоу, Веббов... Так сместилось для меня время. Отныне мне представилась возможность работать над романом, героями которого стали не только давно ушедшие лица, но и те, кого могла воскресить, живо помня их голос, жест, слово, все то, что я сохранила в своей памяти. Это сулило необыкновенные творческие поиски, находки и радость.

Роман «Предшествие» написан в короткий срок. Это стало возможным благодаря тому, что позади были десятки лет размышлений, труда, вложенного в трилогию «Прометей».

Встречи с людьми, как и упорная работа над первоисточниками, архивами, послужили основой для последнего романа, заключившего цикл книг, посвященных Марксу и Энгельсу. Многое понадобилось мне — от изучения теософии, истории тюрем и каторги, старых газет до неумирающих рассказов моих близких о конце могучего, необыкновенного XIX века, давшего миру множество великанов в области литературы, искусства. Все это вилось в канву повествования о последних годах жизни и деятельности одного из основоположников научного коммунизма — Фридриха Энгельса, «человека-титана», «человека-магнита», борца и ученого, теоретика и тактика, все силы отдавшего великому делу борьбы за коммунизм.

В тридцатые годы я узнала двух очень пожилых и, однако, редкостно молодых духовно людей: поэта Николая Максимовича Минского и его жену переводчицу Зинаиду Афанасьевну Венгерову. В 1905 году поэт помог партии большевиков тем, что добыл на свое имя разрешение издавать газету «Новая жизнь» и дал для нее свои денежные сбережения. Впоследствии, после Октябрьской революции, по ходатайству Ленина, престарелому и нуждающемуся поэту, проживавшему за рубежом, была установлена пенсия, которую он и получал до конца жизни. Минский и Венгерова хорошо лично знали Чехова, Горького, многих иных литераторов, знаменитых общественных деятелей разных стран.

В числе друзей Венгеровой была некогда и Элеонора Маркс-Эвелинг, младшая дочь Маркса.

В маленькой квартирке советских граждан Минского и Венгеровой на окраине Лондона, глубоко потрясенная, часами слушала я воспоминания Зинаиды Афанасьевны о чете Эвелингов, об английской столице последних лет прошлого века. Я полюбила Элеонору-Тусси так горячо, точно знала лично. Венгерова охотно рассказывала о замечательных особенностях этой незаурядной женщины, поразительном ораторском даре, уме, такте, со вулканическом темпераменте борца-революционера.

От Венгеровой я услышала также, сколь несчастлива, уязвлена была Элеонора в семейной жизни. Много обид и тяжкого разочарования нанес ей муж, ирландец Эдуард Эвелинг, с которым тоже не раз встречалась Венгерова Она говорила о нем осуждающе, жестко.

Незадолго до самоубийства Элеоноры в 1898 году Зинаида Афанасьевна слышала ее выступление на собрании и рукоплескала молодой руководительнице рабочих. Дочери Маркса исполнилось всего сорок три года, красота ее отличалась нежностью, величавостью, спокойствием, но в глазах все чаще появлялось выражение горестной тревоги.

— Однако никто из нас, ее друзей, не думал, что развязка близка и она наложит на себя руки.

И все же это случилось. Венгерова шла за гробом Элеоноры в огромной толпе рабочих, провожавших ее в последний путь.

Более тридцати лет прошло со времени трагической смерти Тусси, а Венгерова все еще остро ощущала утрату. И ее чувство к Элеоноре передалось мне с такой силой, что и сегодня я в его магической власти. Судьба и образ младшей дочери Маркса всегда волнуют мой ум и сердце.

В те же годы довелось мне часто видеться с супругами Шоу и чувствовать себя непринужденно в их городской квартире и загородном доме. Когда я уезжала навсегда из Англии, Шоу подарил мне гранки только что законченной им пьесы «Слишком истина, чтобы быть хорошей», по его заказу переплетенные красной кожей с тисненым советским гербом и моими инициалами. На титульном листе этой особо ценной для меня реликвии есть надпись в обычном для Шоу полушутливом тоне: «Галине Серебряковой - ввиду ее отъезда из несчастной Англии. Увы! Бернард Шоу. 1 окт. 1932 г.»

Супруги Шоу, так же как Минский и Венгерова, приближались к восьмидесяти годам, но, несмотря на то что разница

ного и их возраста измерялась почти полустолетием, я не ощущала этого — столь оптимистичны, умственно юны были все эти люди. Такими же неутомимыми, жизнелюбивыми были Беатриса и Сидней Вебб, с которыми я часто встречалась в Англии. Оба они упорно и безуспешно пытались убедить меня в правоте идей фабианского общества, создателями которого были.

В конце двадцатых годов более месяца я находилась по соседству с Кларой Цеткин во флигеле железноводского санатория и выслушала много удивительного о годах ее революционного становления.

Эта женщина, друг Энгельса и Ленина, была уже очень стара и немощна. Трудная жизнь борца подорвала ее физические силы. Она знала, что больное сердце скоро приведет ее к смерти, и торопилась все до конца отдать людям, чтобы не унести в небытие. Помню, как молоды были ее глаза, память, мысль.

Время работы над «Предшествием» мне особо дорого. Труд обладает чудодейственной силой. Приобщение к героическому несет внутреннее очищение и крепит волю. Миф о Фениксе стал для меня поэмой о вдохновенном труде, обновляющем и восстанавливающем энергию.

Множество удивительных людей отыскала я в истории, работая над «Предшествием». Революционеры разных национальностей — русские, французы, поляки, немцы, англичане — открылись мне, поразив величием характеров и избранных целей.

Человек может потерять все, кроме самого себя, то есть чувства собственного достоинства — утверждали русские борцы на Карийской каторге и предпочли смерть телесным наказаниям. Я попыталась воскресить их на страницах своей книги и напомнить читателю о тех вечных истинах и отваге, которыми обессмертили свои имена революционеры. И еще раз убедилась в неоспоримой истине, что человек незаменим во времени, неповторим на земле. Каждый несет по жизни свой свет, яркий или тусклый, но особый, и оставляет тот или иной извечный след. Необозримо богата природа, и не создает она дважды одно и то же человеческое лицо. Люди рождаются и умирают, но одинаковых не было и не будет.

Эти раздумья сопровождали меня в счастливые месяцы работы над последним, заключительным романом о величайших людях современности, их окружении и эпохе.

Книги мои о Марксе и Энгельсе кончены. Каждая из них уже имеет свою судьбу, свой путь.

* * *

Мысль писать о женщинах эпохи французской революции впервые зародилась у меня в 1923 году, когда я очутилась в музее Карнавале в Париже.

Мрачный снаружи дом, выстроенный прочно, по-прежнему величав, невзирая на более чем четырехсотлетнюю давность. По имени одного из владельцев, Керневоиуа, музей сохранил немного искаженное название — «Карнавале».

Главное в музее — залы Великой французской революции. Сотни мелочей, собранных под стеклом в шкафах и витринах — неразборчиво исписанные листы, портреты, клочки газет, — воскрешают эпоху, помогают понять великую революцию.

Все эти «безделушки» ушедших столетий А. Франс называл «светящейся пылью истории». Это драгоценная «пыль», приближающая нас к ушедшим векам.

Вот то, что осталось в башне, где заточены были Людовик XVI и Мария-Антуанетта: кровать королевы, ее туалетный стол. Тут же последний приказ короля, старые литографии в пятнах, изображающие клятву Людовика в верности конституции, побег его в Варенн к австрийцам, арест, план башни, в которой были заключены предатели. Миниатюра — процесс короля — висит недалеко от модели гильотины. Весь этот исторический «хлам» в первый момент кажется ненужным и неинтересным. Почти незаметен маленький ящик под стеклом. Тщательно разложены в нем тяжелые ключи Бастилии. Еще миниатюра — крепость, окруженная рвом, с виду несокрушимая, страшная, как средневековая сказка. Ее падение 14 июля 1789 года стало первым трофеем революционного Парижа. Так глубока была радость, вызванная разрушением Бастилии, что и много лет спустя 14 июля она зажигает сердца французов, и они пляшут на улицах Парижа, торжествуя, как некогда их предки. Бастилии уже давно нет, но ключи все еще напоминают об умерщвляющем мраке каменных нор, где гибли без света и воздуха узники, заживо погребенные по прихоти короля.

На одной из стен музея — портреты вождей революции. С полотна недоверчиво и раздраженно смотрит Демулен. Мало кто не знал в Париже в 1793 году этого знаменитого трибуна. В музее стоит чернильница Демулена — она была его орудием борьбы. Газета Демулена — всегда обличительная, язвительная — соперничала с «Другом народа» Марата.

Демулен — школьный товарищ Робеспьера, вместе с ним сражался за республику, голосовал за смерть короля. Подобно

Робеспьеру, в начале революции он страдал от нужды, не имея ни постоянной квартиры, ни обеда. Осужденный с группой дантонистов, он не хотел умирать, и его письма к жене — вопль цепляющегося за жизнь человека.

В повозке бессменного генерала-от-гильотины палача Сансона, имя которого приводило в трепет суеверных парижан, Демулен рыдал и цепенел от предсмертного страха. Дантон развлекал его шутками. Неделей позже взошла на эшафот Люсиль Демулен, красивое лицо которой на портрете в музее кажется живым. Она казнена одновременно с Шометтом, непреклонным обвинителем буржуазии. Прокурор Шометт был любимцем бедняков, которых привлекали его колкие речи и честная беспощадность.

Среди портретов революционеров один надолго приковывает внимание. Маленькое кошачье лицо, замкнутое и подозрительное. Светлые глаза смотрят равнодушно, но узкий рот сомкнут упрямо. Пудреные волосы приглажены и подчеркивают желчную окраску лица. Это Робеспьер, Неподкупный, последовательнее всех проводивший диктатуру революционного мещанства и защищавший ее с железным упорством. В стеклянном шкафу стоит глиняная миска, кокетливо разрисованная цветами. Это бритвенная чашка Робеспьера.

С бритвенным тазиком Робеспьера в коллекциях революционных реликвий соперничает ванна Марата. Это та самая калошеобразная ванна, в которой был зарезан Марат. Страдая чесоткой и другими недугами, нажитыми в годы гонений и подполья, Марат проводил дни в теплой серной воде. Это успокаивало его страдания. Марат в это время был наиболее известным человеком в Париже. Преданность революции доходила у Марата до фанатизма. Газета «Друг народа», которую он издавал, приводила в трепет преступников и изменников революции. «Друг народа» требовал расправы с попами и аристократией. Марат был неумолим. В последние месяцы жизни его здоровье ухудшилось, он погибал. Шарлотта Корде убила умирающего.

Ванна побывала в витринах старьевщиков и на аукционах. В конце концов ее купил паноптикум восковых фигур в Париже, так называемый музей Гревена.

Галерея комнат Великой буржуазной французской революции заканчивается залом Наполеона. Наполеон — пожизненный консул, Наполеон — император, расцвет Первой империи и, наконец, Наполеон низверженный.

Из музея Карнавале я отправилась в Национальную библиотеку, где нашла много документов, книг, газет и гравюр, посвя-

ценных жизнь современниц первой революции во Франции. Приш-
лось поработать в архивах. Париж, Кан, Лион и другие города,
где некогда жили героини этой книги, рассказали мне о давно
минувших годах.

Радостен труд писателя, восстанавливающего живые черты
былого, пытающегося вдохнуть жизнь в то, что казалось мерт-
вым. И если удача сопутствует ему, он, подобно Пигмалиону,
оживившему Галатею, испытывает особое, ни с чем не сравнимое
чувство вдохновения.

Но без взыскательной помощи замечательного историка про-
фессора М. Н. Покровского книга моя о женщинах эпохи фран-
цузской революции не смогла бы стать такой исторически-досто-
верной, какую видит теперь читатель.

Покровский не только написал предисловие к моей книге,
но и был ее весьма требовательным редактором и вместе моим
педагогом. Многократно я переделывала некоторые повести,
прежде чем он одобрил их. Особенно много пришлось работать
над очерком о Марате и Шарлотте Корде. Возвращая мне ру-
копись, Покровский подолгу говорил со мной и затем прилагал
пространные письма, пояснял, какими видятся ему историко-
биографические портреты и роман нового типа, создаваемые
художником-марксистом.

«Восстановление прошлого из отдельных обломков, — писал
Покровский, — напоминающее работу реставратора археолога,
очень трудная и сложная задача. Мы не знаем всего ни об од-
ном историческом деятеле, — о многих мы не знаем иногда очень
крупного. Без вмешательства индивидуальной фантазии восста-
вителя тут дело обойтись не может, и без частичных ошибок в
подборе деталей — тоже».

Непосредственно касаясь моей книги, Покровский заявлял:
«Что кроме женщин революции здесь есть и женщины контр-
революции (Шарлотта Корде), и женщины вообще революцион-
ной эпохи (графиня Дюбарри, Жозефина Бонапарт), это только
расширяет картину и делает ее еще более конкретной. Женщины
в революции бывают по обе стороны баррикады, и Дюбарри с
Жозефиной по-своему не менее характерны для революции, чем
Теруань и Ролан».

В тридцатых годах в Америке и Англии публикация этой
книги в издательстве «Джонатан Кейп и Балью» сопровожда-
лась предисловием Беатрисы Вебб, известной общественной дея-
тельницы и публицистки, основательницы фабианского общества
в Англии.

В этом предисловии Беатриса Вебб писала:

«Я приветствую перевод на английский язык книги о женщинах Великой буржуазной революции, не только дающей многочисленные сведения, но также и новое, важное суждение о событиях французской революции с точки зрения русской коммунистической доктрины. Название книги не должно затенять того, что в ней описаны необычные судьбы различных женщин в выдающийся период истории... что нам дана большая социальная и экономическая панорама общества в восемнадцатом столетии во Франции...»

В 1958 и в 1964 годах после двух с лишним десятилетий, «Женщины эпохи французской революции» вышли в свет снова, пятым и шестым изданием, с обширным предисловием маститого историка профессора А. З. Манфреда.

Работа над новеллами о десяти женщинах эпохи французской революции 1789 года привела меня в дальнейшем к трилогии «Прометей» и роману «Предшествие».

Нет случайностей в выборе темы писателем. Круг его интересов расширяется со временем, но взаимосвязан и последователен. Писательский труд сродни могучей туче, возникающей из невидимой влаги затем, чтобы снова отдать земле все, что имеет. Во всем мире, во все века литература цепится за произведения, ведущие общество вперед, к свету, правде и миру. История борьбы за счастье человечества учит нас самоотверженности, любви, достойной жизни и умению побеждать.

Галина Серебрякова

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДШЕСТВИЕ 7

ЖЕНЩИНЫ ЭПОХИ
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Теруань де Мерикур 359
Симонна Эвар и Шарлотта Корде . . . 370
Манон Ролан 386
Жанна Дюбарри 423
Клер Лакомб 430
Люсиль Демулен 455
Елизавета Леба 473
Тереза Тальен 484
Жозефина Бонапарт 499
Мери Вулстонкрафт 512

Послесловие автора 538

Галина Иосифовна
СЕРЕБРЯКОВА
Собрание сочинений, т. 5

Редактор В. Булапова
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
О. Ярославцева
Корректор Г. Сурис

Сдано в набор 1/VI 1969 г. Подписано к печати 2/X 1969 г. Бумага типографская № 1. Формат 84×108¹/₃₂ — 17,5 печ. л. = 29,4 усл. печ. л. 29,608 уч.-изд. л. Тираж 350 000 экз. Заказ 215 Цена 1 р. 10 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР.
Ленинград, Измайловский пр., 29.

РАНИЕ
ЕНИЙ
томах

ГАЛИНА
СЕРЕБРЯКОВА
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПРОМЕТЕЙ

ПЕРШИНЫ ЖИЗНИ

Роман

Р2
С 32

Оформление художника
А. РЕМЕШНИКА

7—3—2
Подп. в печ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я РАБОТАЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Женни Маркс отложила шитье и откинулась в высоком кресле, обитом желтым репсом. Сумерки незаметно подкрались, окутали прилегающий к дому небольшой тенистый сад, проникли в комнату. Весенняя сырая прохлада стала ощутимее, тишина глубже.

Мысли Женни были легки, неопределенны. Она отдыхала. Взошла серая в дымке тумана луна. На пальце Женни блеснул старинный, в резьбе, золотой наперсток. Им некогда пользовалась и покойная баронесса Каролина фон Вестфален. Женни внезапно стало грустно. Она всегда нежно любила мать, радовалась, когда могла послать ей подарки, навестить, посидеть, как в детстве, у ее кресла на маленьком бархатном пуфе, вспоминая прошлое.

Женни самой было уже за пятьдесят. Она принадлежала к поколению, которое вступало в старость, и пытливо вглядывалась в себя, ища ее зловещих примет. Нет, их не было. Память и работоспособность не изменили, дух был бодр, она еще более пылко любила жизнь во всех ее проявлениях, даже в чередовании радости и печали, в равной мере наслаждалась восходом солнца и сумерками, светлым днем и туманами. Ей казалось, что с годами духовный мир человека становится шире, устойчивее.

Ларошфуко писал, что старость — ад женщин. Это, однако, относится к тем, у кого не было ничего, кроме молодости и красоты, блекнущей с годами. Мысль человеческая безмерно обогащается с возрастом. Может быть, Женни так спокойно встречала приближавшийся закат и потому, что всю долгую жизнь была в броне, которой являлась для нее любовь Карла. Женщины подчас боятся увядания, чтобы не остаться одинокими. Они не всегда

вощщены всепоглощающим делом, любимой профессией, стремлением к высокой цели.

Женни находила преимущества в той поре жизни, которую открыло ей время. Пришло понимание незначительности многого, что раньше тревожило ее впечатлительное сердце. Она спокойнее переносила материальные невзгоды, радовалась, что еще есть у нее силы и здоровье и, главное, с нею Карл, дети и друзья. Две ее дочери стали красивыми девушками, младшая, десятилетняя Элеонора, прозванная в семье Тусси, благодаря постоянному общению со старшими сестрами и родителями, развивалась быстро и удивляла всех своеобразным, стремительным характером.

Вспомнив о своих девочках, Женни легко поднялась с кресла. Она была все еще очень стройна, движения исполнены живости и изящества. Женни зажгла круглую керосиновую лампу под темно-голубым стеклянным абажуром. На плюшевой скатерти лежал раскроенный кусок плотного шелка, из которого она собиралась сделать платье старшей дочери Женнихен — к ее приближающемуся совершеннолетию. Женни сначала перелистала журнал мод. На одной из картинок ей особенно понравилась пышная юбка и обтянутый лиф, отделанный рюшем. Женни любила шить. В детстве она терпеливо наряжала в самодельные платьица кукол, позднее, когда нужда зажала в своих тисках ее семью, начала, не без успеха, обшивать своих детей. У нее был прирожденный вкус и редкое умение сочетать цвета. Ей доставляло удовольствие после большой и важной работы по переписке рукописей Маркса, ответов на письма соратников, разъездов по издательствам отправиться в лавку, чтобы в ворохе нагромажденных на прилавке тканей отобрать красивые и недорогие отрезы. Особенно любила она материи синего цвета.

В редкие свободные часы Женни допоздна кроила на большом столе. Елена Демут, неразлучный друг и домоправительница в семье Маркса, сняв с себя глухой фартук и белый чепец, помогала Женни в примерке.

— Как хорошо думается, когда в руках игла, — признавалась Женни своей постоянной советчице.

Ленхен слыла очень требовательным критиком. Иногда между ними возникали горячие споры из-за складок или оборок, сопровождавшиеся веселым смехом и шутками. Зато Карл, которому нравилось все, что бы ни

создали руки его жены, по мнению Женни, оценивал ее работу слишком пристрастно и чрезмерно снисходительно.

Для себя Женни шила очень неохотно, и только нашествия мужа и Лонхен заставляли ее заняться и своими нарядами. Обычно даже желанная обнова приносила ей только разочарование.

— Очевидно, — пояснила она, — мне нравится сама работа, но, когда принят последний крючок, пропадает всякий интерес к сделанному.

Часто Женни с шитьем в руках приходила в кабинет мужа, садилась на кушетку, и между ними завязывалась оживленная беседа. В эту пору их обоих поглощало все, что происходило в недавно созданном Международном Товариществе Рабочих. Маркс посвящал ему очень много времени и сил.

Представители буржуазных партий постепенно отошли от Международного Товарищества, испуганные его революционным размахом и чисто пролетарской сущностью. По настоянию Маркса, Генсовет запретил почетное членство, ввел обязательное посещение заседаний и предварительное обсуждение кандидатур новых членов. Хотя ни для кого не было тайной, что Маркс стал ведущей силой Интернационала, сам он решительно пресекал всякие попытки возвеличения его личности и требовал, чтобы вся деятельность Международного Товарищества опиралась на строгую демократию.

— Как все же сильны еще в человеческой породе рабские чувства преклонения, потребность угождать, восхвалять, а порой и пресмыкаться, — сказал Карл с раздражением и протянул жене только что полученное из Германии письмо, в котором один из его последователей рассыпался в приторном славословии.

— С этим надо бороться беспощадно, Чарли. Нет ничего более унизительного, нежели льстить и принимать лесть, — отвечала Женни. — Человеческое достоинство — лучшее из того, что хранится в наших душах. Похвала, как солнечный луч, необходима. Иначе можно замерзнуть. Но заискивание и угодничество — мерзость, ничего общего не имеющая с уважением к человеку.

— Да, мне всегда казалось, — заметил Маркс, продолжая ходить из угла в угол комнаты, — что на свете нет чувства более бездушного и недолговечного, чем показное

поскищение. Оно обычно лживо и расчетливо и незаметно приводит к суеверному и весьма опасному поклонению. Языческая потребность в божках.

— Особенно свойственная рабам. Когда мы искренне чтим кого-либо, то меньше всего склонны курить ему словесный фимиам. Почитанье, как любовь, почти что святое чувство, и ему присущи скромность и самоотверженность.

— Ты права. Я сурово отчитываю всякого, кто пытается превозносить меня, объявляя какими-то особыми заслугами то, что, по существу, является смыслом всей моей жизни.

Карл докурил сигару. Он отдыхал, усевшись в кресло, наблюдая, как пьет Женни.

Старшие дочери Маркса одевались почти одинаково, разнились лишь отделки, цветы на шляпках, косыночки, так как волосы и глаза Лауры были значительно светлее, нежели у ее сестры. Девушек украшал цвет лица. Женнихен была смуглянкой. Лаура унаследовала от матери зеленовато-карие с золотистым отливом глаза и светлую кожу. На щеках ее при малейшем волнении и радости вспыхивал легкий румянец, начинавшийся на висках. Лицо маленькой Тусси было белоснежным, особенно выделялись на нем большие, блестящие, очень черные глаза.

Покуда Женни пила, ее дочери находились в маленькой оранжерее, всегда полной растений, выращенных страстным цветоводом Женнихен. Она осенью посадила луковицы тюльпанов, полученные от родственников отца из Голландии, и вот уже они превратились в неправдоподобно красивые цветы.

— Точно раскрашенный восковой колокольчик, — воскликнула Тусси и слегка прикоснулась пальчиком к тугому пупцовому лепестку.

— Цветы не любят прикосновения человека. Ты не ветер и не капля дождя, — обеспокоенно сказала Женнихен.

Она поливала из зеленой лейки выстроившиеся в ряд вазоны. Маленький фонарь, поставленный прямо на земляном полу, скупо освещал стеклянный домик и дерюгяную, плохо обструганную низкую скамью, на которой сидела Лаура, подперев голову руками. Ее каштановые локоны небрежно рассыпались по плечам.

— Что лучше, любить самой или знать, что ты любима? — спросила она вдруг, встряхнув пышными волосами.

— Любить, — не размышляя ответила Женнихен.

— О нет! Я предпочла бы верить, что меня крепко, на всю жизнь любят, — уверенно ответила ей сестра.

— А по-моему, лучше всего на свете быть моряком и, как капитан Маррнет, пережить несколько кораблекрушений, затем высадиться на острове, где живут людоеды, — вмешалась в беседу старших сестер Элеонора.

— Но не быть съеденным или, как это случилось с бедным храбрым моряком Куком, — напомнила Женнихен. — Кстати, иди-ка, Тусси, домой, тебя, верно, уже ищет Лейхен. Да захвати вот эти семена розовой азалии. Их надо послать дяде Энгельсу. Он обещал мне рассаду редких орхидей лилового цвета с белыми крапинками.

— Кто же из вас лучший цветовод? — спросила Тусси, которой очень не хотелось уходить из теплицы.

— Конечно, дядя Фред, я только его ученица.

— Надобно превзойти тех, кто нас учит, не правда ли, Готтентот? — важно изрекла Элеонора.

— Не знаю, может быть, и так, — рассеянно ответила ей Лаура. — Ну, иди же домой, бебн. Тебе пора уже спать.

— Вам хочется выпроводить меня, чтобы снова болтать о любви, — хитро сощурившись, сказала Тусси.

Она приподняла пышную юбочку, из-под которой до щиколоток спускались панталончики в оборочках, и, закружилась на одном месте и пропела:

Любовь что такое?
Что такое любовь?
Это чувство такое,
Что сушит кровь!

Распевая, девочка вприпрыжку выбежала на оранжерею и тут же исчезла в темном саду.

— Ах ты бесенок! — бросила ей вдогонку Женнихен.

Вдоволь посмеявшись над шустрой Тусси, сестры замолчали. Женнихен закончила поливку и срезала несколько красивых гиацинтов, чтобы поставить в вазу на рабочем столе отца.

— Как удивительно пахнут эти странные цветы. Я читала, что Магомет превыше всего на свете любил благовония. Он был прав.

— Надеюсь, ты не собираешься принять ислам из-за этого магометанство, — пошутила Лаура.

— Атеизм объемлет в себе все религии, чтобы затем их опровергнуть. Но если бы я искала земное воплощение божества, то нашла бы его только в цветах — они предел красоты. Напиши об этом поэму, Какаду. Ты ведь у нас поэтесса.

За пристрастие к нарядам и умение красиво одеваться Лауру в семье прозвали мастер Какаду, по имени модного портного из старинного романа.

— Стихи для меня то же, что для тебя цветы, — ответила Лаура.

— Нравится ли тебе легенда о том, что двое возлюбленных созданы из одного куска материи? Они всю жизнь ищут друг друга. Необъяснимая тоска гонит их по свету. Они единое целое и, чтобы быть счастливыми, должны соединиться, — спросила Женнихен.

— Очевидно, наша мамхен и Мавр сделаны из одной штуки этого божественного атласа, — усмехнулась Лаура. — Впрочем, я больше не люблю сказок. Они нас обманывают. В действительности все совсем по-другому.

— Жизнь немыслима без грез, — возразила Женнихен. — Посмотри, как загадочны эти цикламены. Знаешь ли ты, что в Италии их называют пармскими фиалками?

— Любить можно многое на свете: родителей, детей, сласти, веселье, наряды... — не отвечая сестре и продолжая мыслить вслух, сказала Лаура.

— И для каждой любви, как пишут сентиментальные поэты, свой бутон на цветущей ветке. И все-таки, что ни говори, это поистине волшебство — встреча среди миллионов людей с тем единственным, кто станет твоим вторым я, — заметила Женнихен.

— Ты романтик, а вот я боюсь, что не сумею любить, как Джульетта Ромео. Мне нравится побеждать. Это так славно, и только. Затем приходит скука.

— Ты думаешь о Чарлзе Маннинге?

— Он пока еще не говорил мне о любви.

— Лаура, береги цельность своего сердца, чтобы испытать чувство настоящей любви.

— Я хочу быть любимой.

— Зачем тебе чужая любовь, если ты со не разделяешь?

— Мы с тобой разные, Женнихен.

— Для нас все только начинается.

— Я могу полюбить лишь выдающегося человека. Он должен хоть чем-нибудь походить на Мавра или на дядю Энгельса, — сказала Лаура. — Я еще не встречала такого. Чарлз Маннинг запосчив. Он унаследовал вспыльчивость от матери-испанки и тяжелодумье от отца-англичанина. Его мысль никогда не парит, а ползет по земле. Он пригибает меня книзу. Кроме того, он влюблен как-то очень смешно. А ведь это чувство должно быть героическим. Не правда ли? Я могла бы простить ему сумасшедшие поступки в любви, но только не глупость.

— Ты действительно к нему совершенно безразлична, Лаура. Мне кажется, хотя я еще никого не любила, что достоинства в любимом человеке являются только поводом, внешним оправданием любви, но не всегда ее причиной. Мы так часто говорим об этом, что могли бы написать с тобой еще один трактат о любви, дополнив Шекспира, Шелли, Бальзака, Стендаля и разных других поэтов и писателей, — смеясь, добавила Женнихен.

Она сложила садовые ножи, поставила лейку и, взяв фонарь, пошла к выходу. Лаура нехотя последовала за ней. У двери их ждал небольшой, лохматый щенок Виски. Женни ласково погладила его густую шерсть. Недавно Женнихен и Тусси нашли его, горестно визжавшего, на дороге, ведущей к Хэмпстедским холмам. Пес пылко привязался ко всем обитателям Модена-вилла.

Луна глядела сквозь решетку из черных ветвей. Лондон готовился ко сну. Сестры прошли на верхний этаж. Женнихен отправилась к отцу, чтобы отнести ему букет цветов. Виски лег на свою подстилку в углу коридора и сразу почувствовал себя сторожем на посту. Вскоре Женнихен вернулась в свою спаленку и, прежде чем лечь, погрузившись в книгах, отобрала «Историю Ирландии» и тоненькую брошюрку Мери Вулстонкрафт о борьбе женщин за равноправие, чтобы почитать перед сном. Она жадно отыскивала в густой чаще истории имена выдающихся женщин разных веков и стран и торопилась познакомиться с их судьбами и творениями.

Маркс упорно проработал весь вечер над «Капиталом», первый том которого готовил к печати, и только после полуночи прошел в комнату жены. Они заговорили о дочерях.

— Женнихен и Лаура начинают свой путь по ненаезженным дорогам чувств и мыслей, — сказала Женни задумчиво. — Мне немного страшно за них.

— Никто не может заменить их в этом путешествии, — ответил ей Карл. Глаза его добродушно улыбались.

— Не кажется ли тебе, Мавр, что они мало подготовлены к жизни?

— Я не понимаю тебя, родная. Врид ли много в Лондоне девушек, столь хорошо образованных, воспитанных, правдивых и смелых, а вместе с тем неизбалованных и так часто видевших нужду и лишения с самого детства.

— Все это так, но они привыкли к высоким запросам, к духовной пище самой изысканной. Они знают о пошлости, обмане только по книгам и театру. Девочки беззащитны Хорошо, если жизнь будет к ним благосклонна, как была к нам, послав людей, столь замечательных, как Энгельс, Вольф, Вейдемейер, Лесснер, Веерт, Либкнехт и многие другие. А если нет? Я боюсь за всех троих. Быть молодым тоже очень трудно.

Карл задумался. Жена была права.

— Я читала на днях в «Таймсе» о маленьком, недавно открытом острове близ Гаити. Это подлинный земной рай, и, однако, жители его быстро вымирают.

— Почему же?

— Воздух там настолько чист и лишен всяческих бактерий, что, когда к берегу пристал европейский корабль, люди, живущие на этой идеальной земле, никогда не хворавшие, начали вымирать от неведомых им ранее болезней. Они оказались лишенными какой бы то ни было сопротивляемости тому, что не причиняло уже вреда морякам.

— Будем надеяться, что наши девочки все же защищены. Жизнь была им суровой нянькой.

— Я призываю себе на помощь мой девиз: «Никогда не отчаиваться», да еще преждевременно. Во всяком случае, дети счастливы в одном — они обладают пока что завидным здоровьем. Однако я не могу избавиться от тревоги за их будущее.

— Милая, ты сама часто шутишь, что особенностью твоего характера является повышенная чувствительность и способность пугать себя, рисуя черта на стене.

— Да, Мавр, без тебя я давно была бы смята такой жизнью.

Маркс подошел к жене и почтительно поцеловал ей руку.

— Мы оба, в равной мере, необходимы друг другу, — сказал он нежно.

Работая в Интернационале, Маркс показывал пример точности и деловитости. В любую погоду он отправлялся на тихую и неприметельную Грик-стрит, Сохо, где в двухэтажном доме находилось небольшое помещение, снятое Международным Товариществом. Только тяжелая болезнь могла задержать Маркса дома.

Генеральный секретарь плотник Кример ревностно наблюдал за тем, чтобы члены Генсовета не пропускали заседаний. На разлинованном в клетку темными чернилами листе бумаги против имени каждого руководящего деятеля Интернационала он проставлял либо плюсы, либо минусы. Наибольшее число крестиков пришлось на долю Маркса, который был самым аккуратным из членов Генсовета. Очень редко отсутствовал также портной Эккариус.

Заседания Генерального Совета происходили еженедельно по вторникам в восемь часов вечера. По субботам собирался Подкомитет, членом которого также состоял Маркс. Там сосредоточилась вскоре вся повседневная работа Интернационала, составлялись руководящие документы, отчеты и воззвания.

Деятельность членов Генерального Совета и Подкомитета была не только совершенно безвозмездной, но, напротив того, Маркс и его товарищи сами давали деньги на оплату помещения, освещения, почты, печатных изданий.

«Чего не хватает нашей партии, так это денег...» — писал Карл Маркс Энгельсу.

Однако постепенно стали расти поступления от секций. Незначительные, но обязательные членские взносы несколько пополнили кассу Товарищества.

Руководители Генерального Совета были по преимуществу рабочие. Они приходили на заседание прямо с фабрик или из мастерских после десятичасового, а то и четырнадцатичасового трудового дня.

Председатель Оджер, сапожник, весьма начитанный, осторожный, немолодой, лысый человек с круглым улыб-

чным лицом и выпяченной нижней губой, ко времени набрания в Генеральный Совет секретарствовал в Лондонском совете тред-юнионов. Заместителем Одикера был немецкий изгнанник, портной Эккариус, живший в постоянной нужде, человек с пытливым умом, склонным к философским обобщениям. Однако недостаток глубоких знаний нередко приводил его к политическим ошибкам. Маркс уделял Эккариусу много внимания, стараясь расширить его кругозор, так как ценил в нем одаренность и преданность революционному делу.

Кример также принадлежал к видным деятелям тред-юнионистского движения и был типичным представителем обуржуазившегося пролетариата. Он основал Объединенное общество плотников и столяров. Крайне педантичный, деловой, он обладал красивым почерком и завидной памятью. Книга протоколов Генерального Совета, которую Кример вел в течение нескольких лет, казалась ему священной, и он тратил немало часов на то, чтобы она содержалась в безукоризненном порядке. Это была большая конторская книга в черном клеенчатом переплете. Обычно в начале каждого заседания Кример оглашал не торопясь протокол всего происходившего в предыдущий вторник и требовал, если не было поправок или возражений, подписи у председателя. Затем он медленно, старательно расписывался сам. Нередко Кример вклеивал в протокольную книгу вырезки из газет с различными сообщениями о заседаниях Генсовета и некоторые напечатанные документы.

Постепенно книга эта стала летописью дней и трудов Международного Товарищества и запечатлела неизменным прошлое. Так застывшая лава хранит в себе отпечатки былой жизни.

Генеральный Совет занимался организационными, политическими, теоретическими делами. Еженедельно несколько членов Совета посещали различные рабочие общества, чтобы предложить им присоединиться к Международному Товариществу.

Вскоре в Интернационале насчитывалось уже четырнадцать тысяч членов. К нему примкнули влиятельные многолюдные союзы сапожников и каменщиков. Была основана и газета Интернационала в Англии, названная «Защитник рабочих». Генеральный Совет основал Общество борьбы за всеобщее избирательное право.

Началась упорная борьба с сектантскими воззрениями прудонистов и последователей лассальянцев, пытавшихся приспособить рабочее движение к интересам богачей предпринимателей.

Давнишний друг Маркса портной Фридрих Лесснер сообщил ему как-то, что из Италии в Лондон приехал Бакунин. Карл решил сам навестить беглеца из Сибири. Шестнадцать лет, с 1848 года, Маркс и Бакунин не видались. Михаил Александрович перешагнул за пятьдесят, но выглядел моложе своих лет. Полнота придала его мощной, атлетической фигуре величавость. Седина легким пепельным налетом легла на его курчавые волосы, смягчив их грубый рыжеватый оттенок. Но борода и бакенбарды остались по-прежнему светло-русого цвета. Из-за очков, с которыми он редко теперь расставался, задорно глядели маленькие, обесцвеченные временем глаза. Говорил он много, уверенно, резко и как-то обидно равнодушно слушал собеседника. Но для Маркса он сделал исключение и встретил его почтительно, с изъявлениями симпатии.

Карл Маркс казался в эту пору более утомленным, нежели Бакунин, хотя был на четыре года моложе его. Маркса особенно изнурял непрекращающийся карбункулез, нередко опасной формы. Несмотря на строгие запрещения врачей и уговоры родных и Энгельса, он по-прежнему продолжал работать по ночам над «Капиталом». Дела в Международном Товариществе Рабочих требовали от него все больше и больше энергии.

Густая шевелюра на величавой голове Маркса была снежно-белой, но в окладистой бороде и в усах оставалось еще много иссиня-черных волос, оттенявших оливково-смуглую кожу лица. Глубокие, продолговатые, необычайно яркие черные глаза приковывали к себе каждого, на кого устремлялись, неповторимым выражением проникновенного ума, сосредоточенной решительности и тонкой проницательности. Они словно приоткрывали сложность и гениальность его духовного мира. Частые болезни век не отразились на них, и они сохраняли живость молодости и излучали волны внутреннего света и силы.

Зрение Маркса, однако, ослабело от непомерного труда, и он пользовался очками, а в обществе — обычно монеклем, который на черной тесьме постоянно висел поверх его сюртука.

В то время как Бакунин был олот напротив шестн, нарядно одетый черный сортук Маркса из мягкого сукна отличался строгостью, опрятностью и элегантностью. Молоды и красивы были его узкие руки с тонкими пальцами.

— Я рад, очень рад снова видеть вас, — сказал Маркс, с дружелюбным чувством вглядываясь в большое лицо Бакунина, — это чудо, что ни прусской, ни австрийской, ни русской монархии не удалось...

— Вздернуть меня на виселицу, — прервал, смелсь, Бакунин. — Я сделал все, чтобы помочь им в этом, но... — он широко раскинул руки, — кисмет, судьба, очевидно. Были часы, когда я уже считал, что никогда не увижу ни свободы, ни вас, Маркс.

Он принялся с деланной скромностью рассказывать о том, что пришлось пережить на Голофу: о Шлиссельбургской крепости, Сибири, скитаниях.

После благополучного побега из России Бакунин нашел приют у Герцена. От него он услышал, будто бы Маркс в одной немецкой прессе начал его шпионом. Я действительно читал что-то подобное, но отнесся к таким утверждениям попытался это объяснить, сознательно, разъяснилось, но, видимо, в у Герцен Бакунин в то время так и не повидался с Марксом. Вскоре из Иркутска приехала его жена, Антонина Квятковская, и Бакунины решили переселиться в Италию, где не затихала революционная борьба, манило южное солнце и повседневная жизнь была очень дешева по сравнению с Англией. Незадолго до отъезда во Флоренцию Бакунин перевел на русский язык «Манифест Коммунистической партии». При этом он исказил текст великого документа. Бакунин предпослал ему столь хитрое предисловие, что можно было усомниться в авторстве Маркса и Энгельса. Читатель волен был предположить, что «Манифест» написан самим Бакуниным.

Во время второго пребывания Бакунина в Лондоне, в пору зарождения Интернационала, Маркс сам решил возобновить отношения с русским революционером.

Рассказывая о прошлом, Михаил Александрович, конечно, ни единым словом не упомянул о своей исповеди перед царем. Он понравился в эту встречу Марксу значительно больше, чем когда бы то ни было раньше. Ему

даже показалось, что суровые испытания, которые Бакунин выдержал, закалили его душу.

— Теперь, — твердо заявил Бакунин Марксу, — после польского восстания, я буду участвовать исключительно в социалистическом мировом движении.

Маркс не скрыл своего удовольствия при этих словах Бакунина.

— Хорошо, — сказал он тепло, — очень хорошо. Давно пора нам бороться вместе.

Бакунин, расправив богатырские плечи, откинулся в кресле и, поглаживая бороду, громко заговорил о героических польских повстанцах. По его мнению, русскому правительству были на руку революционные события в Польше. Это стало необходимым, чтобы удержать в спокойствии самое Россию, но царь не рассчитывал встретить столь упорное сопротивление поляков. Борьба длилась целых восемнадцать месяцев.

— Царское правительство спровоцировало польское восстание, — утверждал Бакунин. — Польша потерпела неудачу по двум причинам: из-за коварства Бонапарта и из-за того, что польская аристократия с самого начала медлила с ясным и недвусмысленным провозглашением крестьянского социализма.

Карл в свою очередь подробно рассказал Бакунину о том, как и для чего создано Международное Товарищество Рабочих.

— Я приветствую его рождение, — повторил несколько раз Бакунин, — и хочу тотчас же приняться за работу рука об руку с вами, Карл.

После долгой и весьма откровенной беседы Маркс простился с Бакуниным, который уже на другой день должен был выехать в Италию.

Вернувшись домой, Маркс тотчас же написал большое письмо Энгельсу, в котором, наряду с другими новостями, подробно описал свое впечатление от возобновленных отношений с Бакуниным.

«*Бакунин* просит тебе кланяться... Он очень справлялся о тебе и о Люпусе, — писал Маркс другу. — Когда я сообщил ему о смерти последнего, он сразу же сказал, что движение потеряло незаменимого человека».

Вскоре после этой встречи вышли в свет отдельной брошюрой «Учредительный манифест» и «Временный

устав Международного Товарищества Рабочих, и Маркс тотчас же отправил Бакунину в Италию несколько экземпляров. Он просил переслать один из них Джузеппе Гарибальди.

Этой же осенью, насыщенной событиями и делами, Маркс и Энгельс дали согласие одному из руководителей Всеобщего германского союза, Швейцеру, на участие в создаваемой им газете «Социал-демократ». В своем письме в Лондон Швейцер подчеркивал, что Маркс является фактическим основателем Германской рабочей партии и ее передовым бойцом.

В проекте газеты совершенно отсутствовали обычные лассальянские лозунги, столь осуждаемые Марксом. Поэтому он и Энгельс надеялись, что новая газета сможет послужить делу пропаганды идей Интернационала в Германии. Маркс послал в «Социал-демократ» «Учредительный манифест» Интернационала, который Швейцер тут же напечатал. Однако первые же номера «Социал-демократа» вызвали у Маркса и Энгельса беспокойство, так как в них отчетливо ощущались лассальянские традиции. Газета откровенно пыталась угодить помещичьему правительству Бисмарка.

Когда в середине января 1865 года умер Прудон, и редактор «Социал-демократа» упросил Маркса написать о нем статью для газеты, Маркс ответил Швейцеру письмом, в котором резко высказался против каких бы то ни было компромиссов с существующей властью. Он справедливо назвал постоянные заигрывания Прудона с Луи Бонапартом «подлостью».

Прудон скончался, но прудонизм, мелкобуржуазное учение, опутывал не одно человеческое сознание и вредил борьбе рабочего класса. Маркс понимал это. В своем письме, опубликованном в «Социал-демократе», он был по-прежнему суров к памяти этого человека. По мнению Маркса, Прудон, склонный к диалектике, никогда не сумел понять ее и не пошел дальше софистики. Мелкий буржуа — воплощенное противоречие. «А если при этом, подобно Прудону, — писал Маркс, — он человек остроумный, то он быстро привыкает жонглировать своими собственными противоречиями и превращать их, смотря по обстоятельствам, в неожиданные, кричащие, подчас скандальные, подчас блестящие парадоксы. Шарлатанство в

науке и политическое приспособленчество неразрывно связаны с такой точкой зрения. У подобных субъектов остается лишь один побудительный мотив — их *тщеславие*; подобно всем тщеславным людям, они заботятся лишь о минутном успехе, о сенсации. При этом неизбежно утрачивается тот простой моральный такт, который всегда предохранял, например, Руссо от всякого, хотя бы только кажущегося компромисса с существующей властью.

Быть может, потомство, характеризуя этот недавний период французской истории, скажет, что Луи Бонапарт был его Наполеоном, а Прудон — его Руссо-Вольтером.

А теперь я всецело возлагаю на Вас ответственность за то, что Вы так скоро после смерти этого человека навязали мне роль его посмертного судьи».

Чувствительные удары Маркса, направленные против «насквозь *мещанской* фантазии» Прудона, попали также и в Лассаля. Говоря о свойственном мелкому буржуа шарлатанстве в науке и политическом приспособленчестве, Маркс имел в виду именно Фердинанда Лассаля.

В свою очередь, Энгельс направил в «Социал-демократ» старинную датскую народную песню, переведенную им на немецкий язык, и специально указал в комментарии к ней, в противовес лассальянцам, на огромное революционное значение борьбы крестьянства против помещиков. Последователи же Лассаля, исходя из его теории о «единой реакционной массе», отрицали революционную роль крестьянства.

Песня, рассказывающая о смелых крестьянах из Сюдерхарда, которые во время средневековой войны расправились по-своему с жестоким помещиком Тидманом, заканчивается такими строфами:

«Сюдерхардцы, стойте крепко все стеной,
Чтобы Тидман не ушел от нас живой!» —
И старик ему дал первый кулаком, —
Это любят сюдерхардцы.
. . . . . .
Вот лежит он, барин Тидман, кровь вокруг;
Но свободно в черноземе ходит плуг,
И свободно свиньи кормятся в лесу.
Это любят сюдерхардцы.

«В такой стране, как Германия, — писал Энгельс, — где имущие классы включают в себя столько же феодального дворянства, сколько и буржуазии, а пролетариат

состоит из такого же или даже большего количества сельскохозяйственных пролетариев, как и промышленных рабочих, — старая бодрая крестьянская песня как раз к месту».

Время шло, но тщетно Маркс и Энгельс пытались изменить все отчетливее обозначавшуюся королевско-прусскую линию газеты. «Социал-демократ» шел по стопам Лассаля и все чаще льстил политико Бисмарка. Тогда, видя обман Швейцера, Маркс и Энгельс сделали заявление о своем выходе из состава сотрудников ввиду невыполнения их требований. Они писали, что борьба с министерством Бисмарка и феодально-абсолютистской партией должна вестись, по крайней мере, столь же решительно, как и против буржуазии.

После разрыва с «Социал-демократом» Энгельс выступил с подробной критикой лассальянцев. Он издал для этого в Гамбурге брошюру «Военный вопрос в Пруссии и немецкая рабочая партия». И Маркс и Энгельс не раз подозревали, что «Социал-демократ» попросту подкуплен Бисмарком. В действительности так оно и было. Все новые и новые факты раскрывали истинную сущность не только лассальянца Швейцера и его последователей, но и самого Лассаля. Энгельс писал об этом из Манчестера в Лондон Марксу в январе 1865 года:

«Благородный Лассаль разоблачается все в большей и большей степени как самый обыкновенный прохвост. В сценке люди мы никогда не исходили из того, какими они сами себе представлялись, а из того, какими они были в действительности, и я не вижу, почему для покойного Итцига мы должны сделать исключение. Субъективно его тщеславие могло ему представить дело приемлемым, объективно это было подлостью, предательством всего рабочего движения в пользу пруссаков. При этом глупый паяц, по-видимому, даже не выговорил со стороны Бисмарка какой-либо компенсации, чего-либо определенного, не говоря уже о гарантиях; он, очевидно, просто полагался на то, что *непременно* надует Бисмарка, точно так же, как на то, что не может не застрелить Раковица».

Наступил конец зимы. В Лондоне не прекращались туманы. Маркс болел. Тело его покрылось нарывами

вследствие тяжелого, многолетнего нервного истощения. Несмотря на острую боль, невозможность сидеть и двигаться, забинтованный и лихорадящий, он не унывал и огорчался, лишь когда родные принуждали его хоть на время отложить работу. Однако стоило ему почувствовать себя сколько-нибудь сносно, и он снова принимался за рукопись «Капитала». Однажды большой фурункул появился у него на правой руке. Кисть распухла и побагровела. Обеспокоенная Женни наложила ему повязку. Маркс хотел использовать время, потерянное для работы над рукописью, и заняться чтением. Жар, однако, все усиливался, нестерпимо ныло плечо. Он вынужден был отложить научные книги, и только давно знакомые ему романы Вальтера Скотта «Веверлей» и «Пуритане» оказались отличным отвлекающим средством.

Утром Карл почувствовал себя несколько лучше. В окно его кабинета заглянуло не частое в последнем месяце зимы солнце, и он принялся за работу. В полдень Ленхен ввела к нему молодого человека лет двадцати трех, высокого, мускулистого, с очень смуглым, матовым лицом и великолепной темной шапкой волос. Немного выпуклые большие черные глаза, крупный нос и сильный рот были очень красивы, они словно отражали порывистый, волевой, неукротимый характер и живой, впечатлительный ум. Маркс невольно удивился внезапно вспыхнувшему в нем чувству симпатии, которое пробудил юноша. Карл любил молодежь, но, много испытав, относился настороженно к каждому незнакомому человеку.

— Меня зовут Поль Лафарг, — начал гость звучным, низким голосом и протянул Марксу письмо от гравера Толена, члена французской секции Интернационала. — Я обещал, что побываю у вас, доктор Маркс, и выполняю поручение, — холодно добавил молодой человек и хотел откланяться.

Лафарг был сторонником Прудона и только из вежливости, по просьбе Толена, посетил Маркса. Однако эта встреча решила многое в его жизни.

Рекомендация Толена, о котором ходили слухи как о неверном человеке, из-за чего он был отстранен только что от работы секретаря-корреспондента Франции в Генеральном Совете Международного Товарищества Рабочих, не могла в глазах Маркса особенно украсить Лафарга. Но обаяние молодого человека было столь велико,

что развелло всякие сомнения. Маркс заинтересовался приходящим. Он задал французу несколько вопросов. Поль Лафарг рассказал об успехах, достигнутых во Франции организацией Интернационала.

Члены Международного Товарищества Рабочих собирались по вечерам в центре столицы, на улице Гранилье, в полутемной каморке, четыре метра в длину и три в ширину. — Помещение, откровенно говоря, у нас прескверное, особенно досадно, что оно в глубине двора, притом заброшенного. Париж еще очень богат такими трущобами, — рассказывал Лафарг. — Эжен Сю их обессмертил. Но мы наглухо закрываем окна, и табачный дым очень скоро перебивает все запахи нищеты. Толен принес нам изрядно разбитую печку, и когда она топится, то чертовски дымит. Мебель в нашем импровизированном клубе весьма проста. Белый деревянный стол, на котором днем раскладывает свои холсты декоратор Фрибур, — эта комнатенка является его мастерской, — вечером служит нам канцелярской конторкой или трибуной, в зависимости от надобности. Два ненадежных табурета и несколько весьма причудливых стульев, найденных на чердаке среди рухляди, — вот и вся обстановка. Но разве в этом дело! Мы обсуждаем величайшие социальные вопросы и шумим иногда до пробуждения Главного рынка, куда можно отправиться позавтракать у медонских молочниц. Изредка к нам заходят бланкисты. Мы их в нашу секцию пока не принимаем. Вот тут-то и начинается настоящее словесное побоище. Они умелые спорщики, эти последователи престарелого великого драчуна Бланки, но, поверьте, и мы, прудонисты, не остаемся в долгу. Право, это стоит парламентских схваток. Среди французских рабочих, вступивших в Товарищество, есть замечательные парни. Переплетчик Варлен, например, человек с виду весьма кроткий и скромный, в действительности же — гейзер энергии и воли. Кто его видел хоть раз — не забудет. Умен, начитан, талантлив в каждом слове, поступке, мысли. Если б вы видели его проникновенные глаза и слышали, как он говорит! Кстати, он и поет отлично. Есть у нас и другие весьма развитые и одаренные рабочие.

Маркс слушал молодого человека с большим вниманием.

Подошло время обеда, а Лафарг все еще не собирался уходить, и Женни пригласила его в столовую.

Студент был заметно поражен красотой дочерей Маркса, которые встретили его просто и ласково, без какого-либо жеманства. Редкий день за обеденным столом в Модена-вилла на Мейтленд-парк роуд, № 1, где уже год жил Маркс со своей семьей, не сидел кто-либо из его единомышленников. Гостеприимство, присущее Женни и Карлу, хорошо знали все их товарищи по партии и борьбе.

За обедом Поль Лафарг, говоря о себе, сообщил, что родился на острове Куба, в городе Сант-Яго. Отец его имел там небольшую плантацию.

— Моя бабушка, мать отца, была негритянкой, — добавил он неожиданно, обведя всех присутствующих испытующим взглядом больших черных глаз.

«Гибрид. Так вот откуда этот особенный цвет кожи, своеобразная форма черепа, отсутствие белых лунок на ногтях, быстрота мышления, разительно живой темперамент», — подумал Маркс, который обладал острой наблюдательностью; от него ничто не могло укрыться. Лафарг нравился ему с каждым часом больше.

— Мулат? Ваша родина Куба? Это, право, замечательно! — воскликнула Лаура. Самая красивая и элегантная из дочерей Маркса особенно понравилась Лафаргу.

— Увы, мне было всего девять лет, когда отец увез нас во Францию, и с тех пор мои родные живут в Бордо, наименее экзотическом из городов Европы, — с некоторым сожалением продолжал Поль Лафарг.

Когда обед был окончен и девушки остались одни, Женнихен сказала, пытливо глядя на Лауру:

— Этот юноша строен, силен и красив, каким, вероятно, был Отелло. Он весь из огня и энергии.

— Я предпочитаю холодность англосаксов. Не хочешь ли ты, Ди, стать его Дездемоной?

Поль Лафарг в это время рассказывал о себе Марксу в его тихом кабинете.

Завершив среднее образование, он поступил в Медицинскую академию и через несколько лет должен был стать врачом. Как и дочери Маркса, студент-медик увлекался не только вопросами переустройства мира, но и литературой, музыкой, гимнастикой.

Маркс закурил и предложил сигару гостю. Лафарг с любопытством разглядывал окружающую его обстановку,

жадно прислушивался к каждому слову Маркса, который вызывал в нем все возраставшее чувство восхищения. Юноша был покорен всем, что нашел в доме № 1 на Мейтленд-парк роуд.

— Наука вовсе не эгоистическое удовольствие, — говорил между тем Карл, — и те счастливцы, которые могут посвятить себя ей, первыми обязаны отдавать свои знания на службу человечеству. — Говоря о себе, он несколько раз повторил: — Я работаю для людей.

Вместе с тем Маркс утверждал, что ученый никогда не должен отказываться от активнейшего участия в общественной жизни и сидеть взаперти в своем кабинете или лаборатории.

— Вроде крысы, забравшейся в сыр, — пояснил Карл, заразительно рассмеявшись. — Нельзя не вмешиваться активно в самое жизнь и в общественную и политическую борьбу своих современников. Это ведь тоже значит работать для человечества.

Поль Лафарг с первой встречи ощутил на себе благотворное влияние Маркса. Он чувствовал себя одновременно и растерянным и счастливым. «Какой большой, исключительный человек. Он и ученый, и несравненный агитатор, и мастер социалистической мысли», — думал Лафарг, глядя на Маркса, шагавшего по кабинету с трубкой, которая то и дело затухала. Маркс снова и снова нетерпеливо, на ходу, разжигал ее, истребляя при этом множество спичек. Во время беседы он часто останавливался у стола и мгновенно отыскивал в бумагах, которые для постороннего глаза, казалось, лежали в крайнем беспорядке, то, что требовалось. Изредка, когда принимался читать, он прибегал к монокль, чтобы лучше видеть.

— На днях «Таймс», — сказал он, шагнувшись к столу, и в груде навалешных газет нашел нужный номер, — опубликовал любезное письмо Авраама Линкольна Международному Товариществу Рабочих. Это ответ на поздравление, которое мы, Генеральный Совет Интернационала, послали ему в связи с повторным избранием на пост президента в ноябре прошлого года. Как вы, верно, помните, Линкольн получил тогда огромное большинство голосов.

— Я слышал, что вы автор этого послания, но не читал его.

— Вот оно. — Маркс извлек из кипы рукописных текстов небольшой лист бумаги. — Мы ратуем за освобождение негров. Вам все это будет особенно интересно.

— Да, конечно. Ведь в моих жилах течет и негритянская кровь.

Лафарг не торопясь прочел обращение к президенту и задержался на тех строках, которые показались ему особенно удачными. Они многое ему объяснили.

«Милостивый государь!

...Если умеренным лозунгом Вашего первого избрания было сопротивление могуществу рабовладельцев, то победный боевой клич Вашего вторичного избрания гласит: смерть рабству! — писал Маркс.

...Когда олигархия 300 000 рабовладельцев дерзнула впервые в мировой истории написать слово «рабство» на знамени вооруженного мятежа, когда в тех самых местах, где возникла впервые, около ста лет назад, идея единой великой демократической республики, где была провозглашена первая декларация прав человека и был дан первый толчок европейской революции XVIII века, когда в тех самых местах контрреволюция с неизменной последовательностью похвалялась тем, что упразднила «идеи, господствовавшие в те времена, когда создавалась прежняя конституция»... и цинично провозглашала собственность на человека «краеугольным камнем нового здания» — тогда рабочий класс Европы понял сразу... что мятеж рабовладельцев прозвучит набатом для всеобщего крестового похода собственности против труда и что судьбы трудящихся, их надежды на будущее и даже их прошлые завоевания поставлены на карту в этой грандиозной войне по ту сторону Атлантического океана.

...Рабочие Европы твердо верят, что, подобно тому как американская война за независимость положила начало эре господства буржуазии, так американская война против рабства положит начало эре господства рабочего класса. Предвестие грядущей эпохи они усматривают в том, что на Авраама Линкольна, честного сына рабочего класса, нал жребий провести свою страну сквозь беспримерные бои за освобождение порабощенной расы и преобразова-
ние общественного строя».

Маркс охотно отвечал на многочисленные вопросы Лафарга и объяснил ему, что сам пришел к коммунистическим убеждениям не из сентиментальных побуждений,

хотя и глубоко сочувствовал страданиям рабочего класса, но, главное, в результате изучения истории и политической экономии.

— Я уверен, — добавил он под конец, — что каждый беспристрастный ум, свободный от влияния капиталистических интересов и не ослепленный классовыми предрассудками, непременно придет к тем же выводам и станет коммунистом. Это, несомненно, относится и к вам.

В этот первый приезд в Лондон Лафарг больше не виделся с Марксом, он вскоре вернулся во Францию и со свойственной ему кипучей энергией бросился в водоворот политической жизни, увлеченный борьбой с режимом Луи Бонапарта. Взгляды его значительно изменились, и теперь он сам рвался в Лондон, к Марксу.

Спустя два месяца после беседы Маркса с Лафаргом о событиях в Америке весь мир облетела трагическая весть: президент Авраам Линкольн пал от руки подосланного убийцы. Маркс, Энгельс и все их единомышленники были потрясены этим страшным преступлением.

Весной 1865 года офицер американской армии Сигизмунд Красоцкий отправился из Сент-Луиса в Вашингтон по поручению командующего военным округом полковника Иосифа Вейдемейера. Полковник был близким другом Карла Маркса, членом Союза коммунистов, стойким борцом во время революции 1848 года в Германии. С тех пор как он стал изгнанником и переселился в Америку, между Марксом и Вейдемейером не прекращалась переписка.

Участник польского восстания тридцатых годов Сигизмунд Красоцкий, так же как и Вейдемейер, воевал против рабовладельцев Юга в рядах армии северян.

Ехать пришлось на перекладных по глухим лесам, проселкам, мимо новостроящихся городков. Дорога была нелегкой, не раз приходилось сворачивать в сторону, объезжать линию фронта. Красоцкий вез важные секретные документы военному министру Эдвину Стентону, влиятельному деятелю в правительстве Авраама Линкольна.

Война приближалась к концу. Стояла великолепная весна, перекликались птицы, на голых ветках набухали свежие почки. Неприхотливая природа напомнила Кра-

соцкому люблинскую землю. Более тридцати лет он не видел родных полей, густо поросших светло-желтыми лютиками...

Красоцкий только недавно снял белую повязку со лба. На месте штыковой раны, едва не стоившей ему жизни, остался грубый синий рубец. Его офицерский костюм был в заплатах, сапоги прохудились. Но каким это все казалось незначительным по сравнению с радостью, которую он разделял со всеми встречавшимися ему в пути людьми.

«Победа, победа, отмена рабства на всем континенте», — слышалось со всех сторон.

Девятого апреля 1865 года Красоцкий добрался до Вашингтона, и в этот именно день кончилась кровопролитная гражданская война. Северяне ликовали.

Поздно вечером посланец из Сент-Луиса был принят министром. Стентон сидел за столом и, насупившись, перелистывал депеши.

— Садитесь, капитан, — бросил он властно.

«Стентон мрачен, как поздняя осень, несмотря на столь счастливое событие», — подумал Красоцкий, вглядываясь в его недоброе темное лицо.

— Итак, вы не только храбрый офицер американской армии, но также участник польского восстания тысяча восемьсот тридцатого года. Останетесь ли вы в нашей стране навсегда?

— Вряд ли, господин министр. Сердце мое и моей жены принадлежит нашей далекой родине.

— Вы, следовательно, из племени вечных революционеров. Кочевник. Рад знакомству с вами. Война считается оконченной, и субординация сейчас неуместна. Не хотите ли поужинать со мной? Правда, в обстановке, похожей на привал.

Стентон встал, и Красоцкий пошел за ним в соседнюю комнату, неуютную, как походная канцелярия. На простом столе был сервирован ужин: холодная телятина, овощи, вино и кофе.

— Я часто ночевал здесь, чтобы быть всегда на посту. Минута промедления в штабе иногда решала исход боя. Недальновидные люди, — продолжал Стентон, нарезав мясо и разложив его по тарелкам, — вообразили, что война уже кончилась. Заблуждение. Она будет еще продолжаться, только отныне скрытая, — значит, еще более

опасная. — Стентон злобно поджал губы. — Чувствительные политики считают, что капитуляция Южных штатов дает им право на милосердие, снисхождение к противнику. А что думаете об этом вы, бывший повстанец?

— Вопрос ваш застал меня врасплох, но победители обязаны быть великодушными. Террор к тому же — это палка о двух концах, — твердо ответил Красоцкий.

Стентон посмотрел на него исподлобья и принялся за еду. Несколько минут длилось молчание. Затем министр вытер клетчатым платком жирные губы и сказал:

— Жалостливые правители — бедствие для государства. Надо добить врага, пока он слаб. Примирение — это предательство против нации. А кто отомстит за наших погибших братьев? За каждую каплю крови северянина нужно выпустить тонны крови из побежденных южан. Но не это главное. Капитуляция не оплатит нам наших убытков. Их должны возместить враги. Пусть богатые плантаторы выплатят нам все до копейки. Война — это обогащение тех, кто ее выиграл. Если южане откажутся раскрыть свою мошну, в наших лесах достаточно деревьев, чтобы повесить этих негодяев.

Красоцкий широко раскрытыми глазами смотрел на Стентона и невольно отодвинул бокал вина. Он вспомнил, что читал сегодня речь президента о необходимости амнистии.

«Пусть никто не ждет от меня, что я приму участие в убийстве этих людей, даже самых худших из них, — говорил Линкольн. — Если мы хотим сотрудничать и снова стать единым, то пора покончить с упреками».

— Авраам Линкольн, — сказал поляк холодно, — не разделяет ваших взглядов. Он был беспощаден и жесток во время войны, но сейчас круто изменился. Братоубийственная схватка кончилась. Нужны мир и объединение.

— Вы, по-видимому, в молодости валили лес вместе с нашим президентом? Ваши мнения столь схожи, — рассмеявшись, спросил Стентон.

— Что ж, он величайший из дровосеков, если сумел вырубить рабство в Америке.

— Мне понятна теперь причина поражения польских восстаний. Мягкотелость. Смирение. О, я человек совсем другой породы и, как видите, добыл-таки победу для моей нации.

«Какой опасный честолюбец. Знает ли президент, что у него есть столь явный и могущественный враг?» — подумал Сигизмунд.

Дежурный офицер в это время доложил о Лафайете Бекере, шефе тайной полиции, подчиненной военному министру. Толстощекий, упитанный бригадный генерал показался Красоцкому человеком довольно приятным в обращении, хотя и плутоватым. Маленькие, заплывшие жиром глазки его шныряли с невероятной быстротой с предмета на предмет, ни на чем не задерживаясь.

— Этот поляк пролил кровь за великую Америку, — сказал Стентон. — Кстати, где вы остановились на ночлег, капитан?

Красоцкий признался, что в гостиницах не смог в этот бурный, праздничный день найти себе пристанище.

— Тем лучше, — вмешался в разговор Бекер, — вы переночуете у меня.

— А пока, — приказал министр, — обождите генерала в приемной.

Поклонившись, Красоцкий вышел. Он долго не мог побороть неопределенное и весьма тягостное чувство, которое вынес, расставшись с Стентоном.

«Есть люди, несущие в себе тяжесть противоречивых недобрых мыслей и желаний. Они как бы перекладывают на всех, с кем общаются, часть своего груза, — подумал Сигизмунд. — Стентон из числа таких трудных, деспотических натур».

Лафайет Бекер удивил Красоцкого своей словоохотливостью, граничащей с болтливостью. Это казалось тем более неожиданным, что по роду своей деятельности он должен быть скрытным и молчаливым. Сигизмунд знал, что с начала войны Бекер возглавлял секретнейшее учреждение республики. Впрочем, говоря о чем попало, начальник полиции не касался своих дел. В море слов он легче избегал запретных тем. Его любимой поговоркой, которую он вставлял в разговор иногда без всякого повода, было: «Сделал — не бойся, боишься — не делай». Привычка много лет подряд работать по ночам развила у шефа тайной полиции упорную бессонницу, и до утра Красоцкий покорно терпел его многословие. Запасшись вином и сигарами, развалившись в кресле, Бекер

развлекал беседою своего случайного гостя. Зато тот неожиданно узнал много интересного.

— Линкольн — убежденный фаталист, — рассказал ему Бекер. — Он прав: кому суждено умереть в постели, тому ничего не грозит в дороге. Хороший, неподкупный простой человек президент. А между тем у него много врагов, и, пожалуй, теперь их больше поблизости, чем на Юге. Если с ним что-нибудь случится, южанам несдобровать. Он ведь твердый сторонник амнистии и замирения. А есть очень влиятельные у нас люди, которые хотят жестокой расправы над побежденными и требуют мести.

— Я слыхал уже об этом, — подтвердил Красоцкий, вспомнив Стентона.

— Линкольн очень смел и упрям. Он ничего не боится и настойчиво отказывается от всяких мер предосторожности. Его личная охрана ничтожно мала. Недавно он заявил нам: «Я привык думать, что, если кто-нибудь захочет меня убить, он все равно это сделает. Даже если бы я носил панцирь и был окружен телохранителями, это не помогло бы». Он прав. Я-то уж это знаю. Нельзя уберечься от домашнего вора и убийцы, если он скрывается под личиной друга и находится рядом. Разве спасешься от Иуды?

Последние слова Бекер произнес столь многозначительно, что Красоцкий запомнил их навсегда.

Четырнадцатого апреля в Вашингтонском театре давалось праздничное представление по случаю окончания войны. В первой ложе, украшенной полосатозвездным знаменем, у самой сцены, незадолго до начала появился президент с женой. Их встретили шумными приветствиями и аплодисментами. Авраам Линкольн поклонился и сел. Очень скромный, он тяготился внешними проявлениями внимания. Худое, длинное лицо Линкольна с утомленными глазами было болезненно бледным. Его жена, миловидная моложавая женщина, с трудом преодолевала несвойственное ей беспокойство.

— Я слыхала, как ты просил Стентона, — внезапно вспомнила она, — назначить для охраны этой ложи майора Эккерта. Он отличается завидной физической силой, симпатичен и, главное, честный, преданный тебе человек. Почему военный министр услал его?

— Нас караулит за дверью какой-то петрезвый паренъ, — беспечно смеясь, сказал Линкольн. — Странная затея Стентона. Я, впрочем, убежден, что наш горе-телохранитель уже отправился пьянствовать в буфет. Оно и лучше.

Оркестр грянул гимн республики, звучавший в этот день особенно величественно. Все встали. Шурша, поднялся занавес, и начался спектакль.

Красоцкий находился в партере. Он подолгу смотрел на Линкольна, который был ему всегда очень симпатичен, и, однако, не заметил, как разыгралась трагедия в маленькой ложе у сцены, не видел, как около 10 часов вечера совершенно беспрепятственно вошел туда молодой усатый брюнет, уверенной рукой нацелил пистолет в затылок президента и спустил курок. Музыка на сцене заглушила сухой треск выстрела. Захлебываясь кровью, Линкольн беспомощно сполз с кресла. Крик его жены совпал с мгновением, когда убийца, перекинув ногу через барьер, запутался в атласном знамени, спускавшемся вдоль ложи, и внезапно рухнул на сцену. Быстро поднявшись на ноги, он сиплым голосом крикнул что-то невнятное в оцепеневший зал и, расталкивая артистов, не понявших, что произошло, скрылся. Красоцкий осознал все, лишь когда мимо него пронесли смертельно раненного президента.

«Как могло случиться, — думал он, блуждая по городу, где царило смятенье и горе, — что убийца получил не только свободный доступ в ложу президента, но и беспрепятственно исчез».

Тотчас после покушения на президента Эдвин Стентон стал фактическим правителем страны. В доме напротив театра, где лежал умирающий Авраам Линкольн, он отдавал распоряжения и диктовал указы. Вице-президента Джонсона он уговорил отправиться домой, якобы для того, чтобы не рисковать жизнью. По приказу Стентона, все дороги вокруг Вашингтона были оцеплены, кроме двух основных, ведущих на юг страны. Одной из них воспользовался террорист. Имя его стало тотчас же известно: актер Джон Уилкс Бут. Был ли это маньяк, желавший любой ценой, даже совершая преступление, привлечь к себе хоть на миг внимание человечества, или разъяренный фанатик-южанин, мстивший за раскрепощение негров; психически больной человек или наемный

убийца, соблазненный большим вознаграждением и обещанием безнаказанности? Кто дал ему в руки пистолет, толкнул и подготовил убийство? Почему верный Линкольну майор Экерт был отправлен в этот вечер из города, а к президенту в качестве охранника приставили пьяницу, отлучившегося именно тогда, когда Бут подошел к ложе? Бездонная тайна окружала совершившееся преступление.

Так как Красоцкий все еще жил в особняке Лафайета Бекера, он знал все, что было связано с поимкой преступника. Бут так и не попал живым в руки правосудия. Настигнутый в одном из селений местными жителями, он был убит в упор неизвестно кем именно тогда, когда мог быть захвачен. Кто выстрелил в Бута, осталось невыясненным. Так убрали человека, столь нужного для раскрытия тайны убийства Линкольна.

Красоцкий не узнавал Лафайета Бекера в эти напряженные дни. Куда девались его благодушие и разговорчивость. Он перестал повторять свою излюбленную поговорку.

— Вы знаете, что заявил Стентон над трупом президента? «Отныне он принадлежит вечности», — сообщил Бекер, войдя к Красоцкому поздно ночью с большим графином виски.

— Кто же участвовал в заговоре на жизнь Линкольна? Ведь Бут всего лишь исполнитель, — настойчиво допытывался Красоцкий.

После долгого молчания, выпив несколько рюмок спиртного, Бекер внезапно разговорился.

— В новом Риме жили трое, — начал он, запинаясь, — Иуда, Брут и Шпион. Когда павший праведник лежал на смертном одре, пришел Иуда и поцеловал мертвое чело. «Он принадлежит теперь вечности, а нация отныне должна принадлежать мне», — сказал предатель. Вот как все было.

Бекер говорил как бы в трансе, размахивая руками и глядя неподвижно в пространство. Красоцкий почувствовал, что кровь застучала в висках. Он поспешно вышел из комнаты, но Бекер догнал его.

— Слушайте, — сказал он, протрезвев, — я говорил с вами, как на исповеди. В вас есть что-то особенное. Как бы это сказать? Вы похожи на тех святых, которые готовы пожертвовать собой ради таких смешных, нереальных понятий, как правда, справедливость, бескорыстье. Но то,

что вы сейчас слыхали, может стоить не только мне, но и вам головы. Мы живем в стране, где все зиждется на насилье и крови. Не перьте ничьим словам, ны сами видели недурной спектакль в Вашингтонском театре. Стентон уже спрашивал меня, отчего вы так долго болтаетесь в Вашингтоне. Это предупреждение. Есть одно жизненное правило — меньше знать. Понятно? И еще запомните: из ста ослов не сделать одной лошади, так же как из ста подозрений не сделать и одной улики. Уезжайте поскорее и благодарите вашего бога, что внушили мне симпатию. Вы профессионал-революционер, а я профессионал-шпион. С большой буквы Шпион, заметьте.

На другое утро Красоцкий начал собираться в обратный путь, но внезапно заболел и слег в постель. В это время в Вашингтоне с небывалой торопливостью прошел суд над подозреваемыми сообщниками Бута. С ними расправились быстро и жестоко. К следствию и делам, связанным с гибелью Авраама Линкольна, Эдвин Стентон не допускал никого. Когда Красоцкий выздоровел, к нему приехал Бекер. Он исхудал и казался помешанным.

— Вас требует военный министр. У него нюх гиены. Будьте осторожны. А я человек уже отпетый. Меня постоянно преследуют. Это опытные профессионалы-убийцы. Я больше не в силах их перехитрить. Есть работа, в которую включается также обязательство принять безропотно мученический венец. — Бекер попытался смеяться, но получилось нечто похожее на волчий вой.

Когда Красоцкий явился в Военное министерство, Стентон подал ему пакет, адресованный в Сент-Луис, и сказал многозначительно:

— После нашей встречи Америка потеряла одного из лучших своих сынов. Помните, я говорил вам, к чему ведет в политике уступчивость и мягкость? Смерть президента Линкольна не представляет ничего загадочного. Южные штаты, точнее, владельцы огромных хлопковых плантаций, ненавидели его как своего злейшего врага, ведь это он дал свободу неграм. Именно Линкольн провозгласил отмену рабства. Восставший Юг был изолирован и разбит нами. Но там возникло тайное общество, поставившее своей целью убийство президента. Бут был послан этими людьми. Я всегда говорил, что южан надо беспощадно уничтожать, однако не встречал в этом поддержки. К тому же Линкольн не хотел, чтобы его охраняли,

хотя знал о грозившей ему опасности. Он был преступно доверчив и беспечен...

— Но, простите, господин министр, — не выдержал Красоцкий, хотя и дал себе ранее слово молчать, — о чем думали единомышленники, соратники, находившиеся подле президента? Они обязаны были охранять его, предупредить преступление. Жизнь Авраама Линкольна принадлежала не только ему, но всей его родине. Такие люди, как он, гордость нации.

Красоцкий смолк, пораженный тем, как исказилось лицо Стентона.

— Послушайте, капитан, — сказал тот глухо. — Вы не знаете коварства плантаторов Юга. Вы здесь чужой. Мы признательны вам за участие в войне нашего народа, однако поляки — бунтари по природе. Я не хочу причинять вам неприятностей. Климат Америки, по моему мнению, вам отныне вреден. — Стентон подошел к календарю и, перевернув тридцать листков, назвал число, когда Красоцкому надлежит сесть на корабль, отплывающий в Европу. Затем, не сказав более ни слова, он вышел из кабинета.

Через три недели Сигизмунд Красоцкий с семьей, сердечно распрощавшись с Вейдемейерами, так и не узнавшими причины столь поспешного его отъезда, покинул навсегда берега Америки. Первым местом, где они остановились, был город на Адриатическом побережье.

...Венеция — слово, тревожащее слух, как гениальная, надоевшая, запетая песня, процеженная по миру всеми музыкальными инструментами, включая шарманку. Слово, навалившееся грудой назойливых образов: город домов-лодок, стройных гондольеров, пестрых карнавалов, нестихающих песен, вечной луны.

Гипноз исчезнувшего величия «королевы адриатических вод» трудно одолим.

Люди второй половины XIX века как бы атавистически переняли глубокое изумление своих далеких предков, видевших и прославивших страну-чудо, город на столбах и сваях, среди плескающихся вод, где каналы и триста девяносто мостов подменили улицы, где дома, придвинутые к самой воде, украшены тончайшим деревянным

кружевом, рисунок которого украден у индусов, маврон и византийцев.

Оцепенение заезжих торговых гостей из дымной Англии, чье небо, природа и религия так разошлись от венецианских, восторг суровых, отважных, вольных граждан Великого Новгорода, мечты бунтарей-пиратов на несколько веков определили отношение к столице на лагуне.

Белая Венеция — город мертвых. Подтачиваемые водами палаццо вдоль каналов, унылый готический Дворец дожей — морги, куда свалено прошлое.

Человеческие шаги в пустых залах гулки, подобны ударам молота по крышке гроба.

Многоцветные фрески в залах советов трехсот, ста и десяти упорно навязывают новому веку происшествия нескольких столетий венецианского могущества.

Во Дворце дожей с потолков смотрят вниз выцветшими, пустыми глазами сто двадцать похожих один на другого седовласых, бородатых патриархов. Одни, как дож Дандало, прославлены чудовищными грабежами Малой Азии в пору доходных крестовых походов; другие, как дож Витале Микеле, отличались в морских сражениях с генуэзцами.

Тщетно с помощью мощей святого Марка, вывезенных из Египта, пытался в течение многих столетий «Совет десяти», подлинный хозяин республики, приобщить к католической церкви несговорчивых протестантов, расчетливых православных, фанатических магометан и буддистов, бросавших якорь у венецианского берега.

Нравы аристократической республики, кровавую потаенную борьбу за власть, небывалые преступления правителей воскрешает тюрьма при Дворце дожей.

Душное подземелье сложными ходами соединялось непосредственно с трибуналом, с залом пыток великого инквизитора.

Великий инквизитор редко пытал воров, фальшивомонетчиков, грабителей. Венецианская республика всегда нуждалась в кадрах наемных убийц, умелых разбойников и шантажистов.

Только погубленные случаем или сообщниками интриганы, соперники дожей, честолюбивые неудачники и редкие вольнолюбцы удостаивались чести, прежде чем подставить голову топору, предстать перед инквизицией.

С Моста вздохов — дороги смертников — стеклянная галерея приводит во дворец, где хранятся великие творения Тициана: золотоволосые мадонны и грешницы.

О наполеоновском шторме говорят больше, нежели исторические исследования, посредственные копии картин, заменившие увезенные в Париж драгоценные трофеи итальянского похода — творения прославленных венецианских мастеров.

Угрюмое господство княжеского австрийского дома проходит стороной от величавого памятника господства венецианской знати.

Безропотно, морской звездой, выброшенной на лагуну, умирает Венеция.

Игрушечный порт — излюбленное ложе карнавальных гондол, удобное вместилище азиатских фелюг, пестро расписанных парусных кораблей, нарядных судов чужеземцев — не годится для чудовищ нового века, выдыхающих удушливый коричневый дым из несокрушимых чугунных легких.

Падение Византии, открытие Америки и новых путей в Индию решили судьбу «страны 117 островов». Генуя, постоянная соперница Венеции, отвлекла в свою овальную бухту на Средиземном море товары Ломбардии. Могущественную державу, олигархическую республику, культурный, артистический центр средневековья ждала та же участь, что ранее Византию, позже Голландию и Португалию.

...В ту же пору, что и Красоцкие, в Венецию из Флоренции приехал Михаил Александрович Бакунин.

Он много странствовал по Италии и проповедовал социализм. Речи его были очень непоследовательны и путаны. Однако он имел успех и производил большое впечатление благодаря внушительной внешности, громкому, резкому голосу и особенно ореолу мученичества, который окружал его имя.

Бакунин долго гулял по Венеции, которую раньше никогда не видел. На Пьяцце он осмотрел знаменитый храм святого Марка. О крестовых походах, о частых пиратских набегах, о несметных сокровищах Венеции, о маврах на службе дожей, привезших с собою свою культуру, свидетельствует многоцветный, неуклюжий, весь в заплатах

драгоценной мозаики дворцовый собор. Бакунин думал, что венецианские властители напрасно возомнили, что смогут превзойти архитектурной роскошью, драгоценным убранством своей молельни круглые византийские церкви Константинополя, плоские квадратные мечети арабов, продолговатые храмы последних язычников с острова Кипра.

Внезапно к задумавшемуся Бакунину подошла скромно одетая дама. Рядом с ней шла девочка лет десяти в голубом пышном платьице, отделанном кружевами и воланами, с продолговатым бледным личиком и немного выпуклыми зеленоватыми глазами. Бакунин, обычно равнодушный к детям, обратил внимание на вопрошающий и строгий взгляд ребенка.

— Здравствуйте, Михаил Александрович! — обратилась к нему между тем дама по-русски.

— Рад слышать родную речь, но не припоминаю... — замялся Бакунин, поправляя очки.

— Оно понятно. Прошло восемнадцать лет с тех пор, как мы видались в последний раз. Что ж, представилось, коли позапамятовали. Лиза Мосолова. Говорит вам что-нибудь это имя?

— Экая неожиданность. Еще бы. Я часто вспоминал о вас и слыхал, что...

— Я замужем и теперь уже редко кто называет меня иначе, нежели Елизавета Павловна Красоцкая.

— Вот и великолепно. Надеюсь, вы разрешите мне проводить вас. Здравствуйте, юная барышня, я знал вашу маменьку давно, очень давно. Впрочем, и тогда я был уже бродяга, мечтатель и вечный борец за правду, а теперь я еще и беглый каторжник.

— Здравствуйте, — сказала Ася тоненьким голоском и церемонно присела.

— Простите нас, Михаил Александрович, но пышче нам недосуг. Мы торопимся. Мой муж хворает и остался один в гостинице. Всего два дня, как мы в Европе.

— Я хотел бы повидаться с вами, Лиза. Мы когда-то были друзьями.

— Да, — тихо ответила Лиза, — были.

Бакунин назвал Лизе отель, где остановился.

— Я дам вам знать, где и когда нам можно будет встретиться, — обещала она.

— Какой он противный, высокопарный, нескладный, — сказала Ася, когда Бакунин скрылся за баптистерией собора. — Он мне совсем, совсем не нравится, — продолжала девочка, но умолкла, заметив, что ее не слушают.

Лизу глубоко поразила встреча с человеком, которого она любила много лет. Ей припомнился Брюссель, где в канун революции 1848 года она провела с Бакуниным несколько счастливых дней. Потом из Парижа пришло известие о низвержении монархии. Мишель уехал. Тоска по нем и одиночество заставили ее позабыть женское достоинство и броситься на поиски возлюбленного. Он избегал ее долго. Наконец они вновь повстречались. Бакунин метался. Он был жалок, растерян, жаждал громкого подвига и славы. Лиза пыталась вернуть ему уверенность в себе, терпеливо сносила его капризы, утешала, как мать и друг. Все свое жалованье гувернантки она отдавала Бакунину. Она верила в то, что он — натура избранная для великой революционной миссии. Настали дни дрезденского восстания. Бакунин храбро сражался на баррикадах, воодушевлял колеблющихся и шел навстречу смерти. Если б не его соратники, он взорвал бы городскую ратушу вместе с собой, когда исход борьбы был предрешен и повстанцы оказались окруженными контрреволюционерами. Затем гряда из камней и железа разделила Лизу и Бакунина.

Бакунина приковывали цепями к стенам прусских и австрийских тюрем, дважды он выслушивал смертные приговоры. Наконец его выдали русскому царю. В Алексеевском равелине смерть подступила к нему вплотную.

Лиза верила в честность, несокрушимую волю и подвиг Бакунина. Могла ли она винить его за отсутствие любви к ней? Это было только ее личное несчастье. Она давно преодолела свое чувство и горечь, когда узнала, что отвергнута и забыта. Бакунин внушал ей прежнее уважение. Ей хотелось узнать его таким, каким он стал по прошествии столь многих испытаний и лет. Прошлое воскресло в ее памяти.

Но новая встреча Бакунина и Лизы произошла не скоро. Венеция покорила ее своей красотой. Вместе с мужем и пытливой Ассей, плывя на черной, позолоченной, громоздкой гондоле по узкому каналу, она не раз любовалась похожим на терем мостом Риальто, знакомым ей

с детства, как возвышенные строки Торкпато Тассо, приключения сластолюбивого Казановы или поэтические страницы «Консуэло» Жорж Санд. Лиза разглядывала лицо гребца, его вспухшие руки, с трудом опускающие в воду весла. Гондольер стоял на корме, дрожа на сыром пронизывающем ветру, переругиваясь с встречным лодочником, задевшим край его шестро раскрашенной лодки.

— Проклятое ремесло, — бурчал он. — Слава мадонне, мои сыновья ушли из этой сырой ямы на фабрики Милана.

Венецианцы. Лиза уже видела их среди каменщиков и землекопов, которым Америка доверила наиболее трудную и неблагодарную работу. Их было очень много в кварталах итальянской голытьбы Нью-Йорка.

Опустели палаццо на каналах Венеции, но бойко торговали лавочники на Пьяцце и старались услужить иностранцам хозяева гостиниц и прокопченных, пахнущих чесноком трактиров. Там приготовляли отличный луковый суп и макароны. В мрачных городских закоулках, воспетые поэтами, запечатленные художниками венецианки, часто больные чахоткой и трахомой, расшивали в домах-бараках цветным шелком черные шали. Мужчины с искривленными профессией позвоночниками накладывали на клей кусочки стекол, собирали мозаичные картинки: ручных голубей, гондолу под Мостом вздохов.

В полутемной смрадной мастерской несколько горемычных калек, бывших солдат Гарибальди, изготовляли искрящиеся, чистейшие зеркала. Десятки стекол со всех сторон без конца отражали их обезображенные войнами лица и тела.

На многочисленных мостах гнили зловонные отбросы. И дети, научившиеся плавать чуть ли не раньше, чем ходить, лягушатами копошились на прибрежных камнях.

Из привокзальной Венеции в лавки вокруг собора Святого Марка доставлялись цветные бусы, непревзойденной ясности и чистоты стекло и люстры, прославленные шали — то, что производила и продавала Венеция.

Пробродив несколько часов по отдаленным островкам, Лиза вернулась подавленной.

— И здесь некуда уйти от мрачной и злой правды жизни, — сказала она мужу, — всюду те же контрасты. Этот город-морг так бесконечно печален.

Лиза ничего не утаивала от мужа. С первых дней брака между ними установились отношения, основанные на искренности и доверии.

— Без этого совместная жизнь лишена смысла, — сказала Красоцкому Лиза. — Я иссушена длительным душевным одиночеством, но, чтобы выйти из него, мне нужно отучиться прятаться и защищаться, как большинство из нас вынуждено делать это всю жизнь из чувства самосохранения. Брак невозможен без правды, тем более что ложь, как и всякое заблуждение, растет беспредельно у того, кто однажды заблудился, солгал.

Встретив Бакунина, она тотчас же сообщила об этом мужу, хотя понимала, что причинит ему боль. Красоцкий безмолвно ревновал ее, особенно с тех пор, как она сказала неосторожно:

— Мне кажется, что любят в жизни только один раз. Все остальное порождено дружбой, уважением, привязанностью, но не подлинной страстью. Только с одним человеком слова любви звучат как откровенье и потрясают душу, во всех других случаях они лишены новизны, это повторение, вызывающее подчас другой, исчезнувший образ и потому грусть.

Заметив тягостное впечатление от своего признания, Лиза попыталась смягчить его. Ничто не помогло.

— Ты любила в жизни только Бакунина, — печально подытожил Сигизмунд.

— Бакунин — это только влюбленность, порыв чувственности, после которых осталась горечь и даже отвращение к себе. Ты мне всех дороже на свете, ты и Ася. Любовь — сила, а то была слабость.

— Даже жалость не дает права говорить неправду. Не утешай меня, я очень счастлив своей любовью к тебе и той преданностью, которой ты мне отвечаешь.

Узнав о том, что Бакунин в Венеции, Красоцкий настоял на встрече с ним Лизы, но сам, однако, познакомиться с ним отказался.

— Если ты не увидишь его, не поговоришь, то всегда будешь думать об этом с сожалением. Наше воображение так часто создает то, чего нет на самом деле, — сказал он и сам отослал записку жены, в которой она просила Бакунина приехать в один из модных ресторанов на островке Лидо. Поездка туда на маленьком катере занимала менее получаса. Лиза отправилась вместе с Асей.

День был, как часто в Венеции, очень тихий, влажный и ясный. Адриатическое море удивляло необычайным лиловым, фосфоресцирующим цветом. Вода была неподвижной и тяжелой. Узкая полоска песка точно отмель — оставровок Лидо, застроенный белыми домами, — походила на большой, бросивший якорь корабль. Приближаясь к причалу, Лиза обернулась назад. Венеция казалась большим палаццо на воде. Как она была тиха и малолюдна. На пустых балконах дворцов больше не появлялись, чтобы слушать серенады или просушивать на солнце выкрашенные в золотой цвет волосы, венецианки. Мертвой казалась и белая гавань, когда-то такая пестрая от сотен каравелл, фелюг, бригантин и лодок. Тревоги, заботы, суета, даже самое существование иного мира доносились издалека только в реве пароходного гудка да в музыке и песнях редких теперь карнавалов.

Лидо был светел, как его песчаный пляж. Легкая дымка испарений заволокла море.

Бакунин не заметил поше́дших Лизы и Аси. Он сидел за круглым столиком на террасе, погруженный в думы. Лицо его выглядело необычайно большим, рыхлым, каким-то бабьим. Лиза подумала, что именно таким оно будет постоянно, когда он состарится. Сквозь наслоения времени и пережитого во внешности человека всегда проступает и его прошлый и будущий облик.

Увидев Лизу, Бакунин смутился, точно был захвачен врасплох, торопливо надел очки, подобрал отвисшие было щеки, губы, расправил лоб, вытянул шею и сразу же стал другим, даже привлекательным. Ася со свойственной детям острой наблюдательностью подметила это превращение.

«Да этот господин не фокусник ли?» — хотелось ей спросить у матери. На привокзальной венецианской ярмарке она видела накануне человека, который так ловко жонглировал масками, что они с лету падали и удерживались на его лице.

Бакунин заказал густой кьянти и спагетти по-венециански.

— Что ж, лучшая вещь — новая, лучший друг — старый, — начал он, ласково глядя на Лизу, и принялся рассказывать ей о своей жизни после побега из Сибири. Как и в былые годы, он тотчас же забыл о собеседнике, поглощенный собой, уверенный, что каждая его словесная

находка, выпад, мысль, рассказ — откровенье, благодеянье. Ася быстро наскучил непонятный для нее монолог, и она очень обрадовалась, когда кивком головы Лиза разрешила ей уйти погонять большой красный обруч по пустынному пляжу. Бакунин продолжал говорить и кончил патетически:

— Веление рассудка, сама сила вещей, смелое дерзанье духа привели меня к социализму, но я понимаю его по-своему. Я отрицаю вечный порядок, ибо он есть рабство, оковы для мысли, кнут и унижение для человеческого рода. Только Маркс, этот кабинетный ученый, книжник, далекий от жизни, не хочет этого видеть.

— А что же тогда беспорядок? — широко улыбнулась Лиза. — Я перестаю понимать вас.

— Я и мои единомышленники считаем, — заявил Бакунин громогласно, — что беспорядок это безвластие, беспощадное разрушение всего, превращение в обломки всей нашей цивилизации, дабы наследники наши не получили ничего, кроме развалин, и вынуждены были строить новое общество на пустом месте... Это и есть животворящая анархия. Мы имеем только один неизменный план — беспощадное разрушение. Мы очистим мир от двуногих тварей, таких, как помещики, чиновники, кулаки-мироеды. Попам мы вырвем язык.

Лиза с нарастающим недоумением смотрела на Бакунина.

— Какую же казнь вы изобрели для царя? — спросила она.

Бакунин вспыхнул, мелкие капельки пота появились на его обрюзгшем лице. Он нервно провел ладонями по волосам.

— Мы не будем трогать царя... Мы оставим царя жить... Пусть же живет палач до той поры, когда разразится гроза народная. Судить его не наша цель, для этого есть суд мужицкий.

— Странная логика, — сказала Лиза. Про себя она думала с раздражением: «Какой фразер».

Разговор продолжался. О Герцене Бакунин упомянул вскользь и как-то свысока, заметив, что отношения их ухудшились. Затем он сообщил, что создает весьма могущественное революционное общество, которое вольется в Интернационал, сохраняя, однако, свои теоретические особенности.

— Недавно я виделся с Марксом, мы вскоре объединим наши силы, но заумные идеи этого немца растворятся в бурном потоке моего нового учения, — доверительно сообщил Бакунин.

— Мне думается, что Маркс сейчас самая значительная личность в революционном движении мира, — заметила Лиза. — В Сент-Луисе мы постоянно бывали у его близкого друга, полковника артиллерии Вейдемейера. Мой муж сражался под его командованием в гражданской американской кампании. Полковник — достойнейший человек, убежденный социалист. Он давал мне все сочинения Маркса, и я не могу не отдать должное автору. Это могучий ум и, кажется, большое сердце.

— Так-с! Значит, и вы не избежали гипноза. Что же, по-вашему, этот немецкий профессор гениален? И это говорите вы, русская женщина и некогда мой друг?

Бакунин не мог скрыть своего раздражения.

— Я не признаю его величия и вообще отвергаю какие бы то ни было авторитеты. Таких немецких ученых, как он, на свете немало.

— Но почему вы так вспылили, Мишель? — удивилась Лиза, впервые, как когда-то, назвав Бакунина уменьшительным именем.

— Ничуть. Я знаю цену Марксу и потому вижу, как вы, подобно многим, заблуждаетесь в нем. Не все, однако, превозносят этого божка Международного Товарищества. Карл Фогт, например, о нем другого мнения.

— Вам не следовало ссылаться на грязный пасквиль этого сомнительного человека. Он испачкал им только самого себя. Помои Констинны не унизили Сократа, — рассердилась Лиза.

— О, можно поздравить Маркса с еще одной пылкой последовательницей. Вы, однако, скоро узнаете, кто в действительности этот Прометей пролетариата. Он хочет главенствовать. Он опасен потому, что ловко скрывает свои цели. Диктатура — вот к чему он ведет. Я отдаю должное его целеустремленности и знаниям, но еще в Брюсселе я постиг его черную душу.

Бакунин встал, поднялась и Лиза.

— Вы действительно возненавидели его еще тогда и знаете отчего, — четко выговаривая слова, произнесла Лиза. — Потому, что вы ему завидуете, оставаясь вечным одиночкой, бунтарем.

— Нет! — резко, фальцетом выкрикнул Михаил Александрович, будто Лиза вонзила в него булавку. — Он не Моцарт, не гений, а я не Сальери. История нас рассудит и, может быть, отдаст мне предпочтение. Я восемь лет горел в тюремном аду. Я... — Бакунин осекся и отвернулся к степе.

Лиза устыдилась своих упреков:

— Простите меня, Мишель, вы так долго страдали. Я оскорбила вас, вышедшего из бездны. Вы прошли через тяжелые испытания. Когда потомки будут изучать вашу жизнь, они воздадут должное величью вашего подвига. Простите же меня за грубость.

— Молчите, довольно об этом, молчите. С Марксом мы теперь будем сражаться рядом.

Бакунин опустился на стул и закрыл лицо руками, тяжело дыша и что-то бессвязно бормоча. Внезапно он отнял ладони, протер и надел очки в металлической оправе и сухо сказал:

— Экую мелодраму разыграли мы с вами. Не будем более спорить и касаться прошлого. Бог с ним. Вы, я слыхал, стали ныне богаты, а революционная борьба требует желтого металла, он легко превращается в пистолеты, адские машины и бомбы.

— Я не хотела бы такого их применения. Террор кажется мне безумьем. Если нам нужны средства для издания книг, газеты, которая будет полезна, рассчитывайте на меня и моего мужа. Мы охотно внесем свою лепту, хотя и не разделяем ваших взглядов.

— Вижу пагубное влияние марксидов.

—. Отвечу на это изречением Леонардо да Винчи: перность всегда сильнее оружия, — сказала Лиза.

Разговор не клеился. Наступило неловкое молчание. Лиза спросила Бакунина о его семье, счастлив ли он.

— Как вам сказать? Тот же Леонардо говорил, что счастье или несчастье зависят от того, как мы воспринимаем то или иное, и это правильно. Что до жены моей, Антонии Ксаверьевны, она очень мила, добра и глупа, как, впрочем, большинство женщин. Она мне ни в чем не мешает, а это большое достоинство.

Лизу покоробили развязный тон и слова Михаила Александровича, и она обрадовалась, что могла с ним распрощаться. Когда несколькими минутами позже большая черная гондола увозила Лизу с дочерью прочь от

Лидо, она почувствовала то внутреннее спокойствие и легкость, к которым тщетно стремилась многие годы после разлуки с Бакуниным. Ей даже захотелось петь. Когда они подъезжали к белой гавани, путь им пересек плывущий в полном молчании похоронный кортеж. Были уже сумерки. Пунцовые факелы освещали черный гроб на лодке-катафалке, направлявшейся к островку Сен-Микеле, превращенному в кладбище.

«Сегодня и я хороню свои былые иллюзии», — подумала Лиза, провожая взглядом печальную процессию.

Первого мая старшей дочери Маркса минул 21 год, возраст, которым в Англии обозначают совершеннолетие. С раннего утра в Модена-вилла установилась приятная праздничная суета. Готовился торжественный ужин, к которому были приглашены гости. Лаура, славившаяся хорошим вкусом, вместе с матерью заканчивала отделку платьев именинницы и неугомонной Тусси.

Карл дал себя уговорить в этот день и отложил работу над «Капиталом», но выговорил, однако, время, чтобы остаться одному и написать письмо Энгельсу, в котором подробно сообщал о делах и людях, деятельно участвующих в Международном Товариществе.

За обедом Женнихен заняла место подле отца. Это был «ее день». Она сама заказала те блюда, которые наиболее любила с детства. Пирожные со сливками и традиционный именинный пирог Ленхен испекла на славу.

Мысли черноглазой Женни были, однако, в этот день не о себе. Ее волновало другое. Накануне Лаура отвергла брачное предложение молодого Чарлза Маннинга. Это событие подробно обсуждалось всеми членами семьи. Маркс написал о нем Энгельсу, который по-отечески любил всех трех его дочерей.

Чарла Маннинг, брат подруг Лауры и Женнихен, был уроженцем Южной Америки. Красивый, умный, он был без памяти влюблен в Лауру и казался подходящей партией для нее. Лаура умела внушать к себе пылкие, большие чувства. Однако взаимности Маннинг не добился. Тщетно он просил девушку обождать с отказом.

— Может быть, вы меня еще полюбите, — убеждал юноша Лауру и при этом отчаянно теребил в руках свою шляпу.

Молодые люди стояли в саду у дома. Лаура посмотрела на покрасневшие руки Маннинга, на его короткие пальцы с неровными краями ногтей, и ей почему-то захотелось смеяться. «Он, верно, грызет ногти. Какая, однако, дурная привычка», — думала она, покуда Маннинг в патетических выражениях заклинал ее полюбить его и дать окончательный ответ хотя бы через год.

— Нет, Чарлз, я не хочу вас обманывать, ждать моей любви бесполезно. — Лауру удивляло, почему Маннинг настаивает тем энергичнее, чем решительнее она ему отказывает.

«Странно, — чуть не высказала она ему явившуюся вдруг мысль, — я всегда считала: то, что не горит, не зажигает. Неужели у любви другие законы? Вряд ли. Может быть, это следствие оскорбленного самолюбия. Мужчины воспринимают отказ женщины как поражение».

Лаура осталась неумолимой. Многие молодые люди добивались ее любви, мечтали о браке с нею. Она пользовалась большим успехом. Помимо красоты и невинного кокетства, в ней была чарующая женственность. Но под словом любовь Лаура, как и все дочери Маркса, понимала чувство непостижимое, как чудо, неотвратимое, как рок. Никто пока не вызывал в них таких по-шекспировских великих потрясений. Компромиссы казались им позором и слабостью. Тот, кто стремится к возвышенному, недоступен низменному.

Карл и Женни, естественно, ни в чем не неволили девушек и старались не навязывать им своих мнений о людях и симпатий к кому бы то ни было.

— Что ты думаешь о Маннинге, Чали? — спросила Лаура отца.

Новое прозвище Маркса, коротенькое «Чали», лишь недавно утвердилось в семье.

— Он во всех отношениях милый парень.

— Мне жаль Маннинга, но я его не люблю. Как же мне быть, Мавр?

— Тут не о чем думать. Раз ты к нему равнодушна, решение уже найдено.

Женнихен и Лаура далеко за полночь обсуждали случившееся. В юном возрасте мысли о любви настойчиво посещают девушек. Но требования к молодым людям у дочерей Маркса были весьма высокими. Как все истинно глубокие натуры, они мгновенно чувствовали смешное

и фальшивое. Маннинг показался Лауре кичливым и сентиментальным. Вслед за отцом девушки часто повторяли слова Гете: «Я никогда не был высокого мнения о сентиментальных людях, в случае каких-нибудь происшествий они всегда оказываются плохими товарищами».

День рождения Женнихен в этот раз украсило чистое небо и ясное солнце над Лондоном. После обеда вся семья отправилась на Хэмпстед-хис. В пути пели и мечтали. Особенно веселились Карл и озорница Тусси.

Вечером пришли гости, среди них были несколько членов Генсовета Интернационала, его председатель Оджер и приятель семьи, вождь чартистов, поэт Эрнест Джонс.

— Итак, — сказал Карл, наполнив бокалы густым рейнландским вином, — день рождения нашего китайского императора Кви-Кви мы празднуем, я бы сказал, имея в виду собравшихся, политически. Первый тост за виновницу торжества, второй — за Международное Товарищество Рабочих.

После веселого непринужденного ужина гости перешли в самую большую комнату дома — кабинет хозяина. Разговор коснулся недавнего убийства Авраама Линкольна.

— Вы, верно, уже дописали, Маркс, наше обращение к новому президенту Джонсону? — спросил Оджер, раскуривая трубку.

— Кое-что набросал, но за окончательный текст примусь завтра.

— Злодеяние в Вашингтоне вселяет гнев в сердца всех честных людей Старого и Нового Света, — возмегодовал Джонс, куривший подле камина.

— Даже наемные клеветники, моральные убийцы Линкольна, застыли теперь у открытой могилы в ужасе перед взрывом народного негодования и проливают крокодиловы слезы, — мрачно заметил Маркс.

— Этот президент-дровосек был, однако, слишком добродушным человеком, — сказал Оджер, повернувшись к Марксу вместе с креслом, на котором удобно уселся.

— Линкольна не могли сломить невзгоды так же, как не смог опьянить успех, — ответил Карл. — Он был устремлен всегда к великой цели. Не увлекался волной народного сочувствия и не терялся при замедлении народного пульса. Честно и просто исполнял он свою титаническую работу. Мне кажется, что скромность этого истинно

недюжинного человека была такова, что лишь теперь, после того как он пал мучеником, мир увидел в нем героя, сказал Джонс.

— Посмотрим, что за птица новый президент, — сказал Джонс.

— Джонсон бывший бедняк и смертельно ненавидит олигархию. Он суров и непреклонен. Общественное мнение на Севере из-за убийства Линкольна будет теперь соответствовать намерению нового президента не церемониться с этими молодцами.

Беседа перешла на дела в Международном Товариществе. Германия, где сильно было влияние лассальянцев, возглавляемых Швейцером, Франция, все еще стонавшая под пятой Луи Бонапарта, и многие другие страны постоянно привлекали к себе пристальное внимание Маркса.

В конце вечера молодежь вовлекла всех пожилых людей в свой веселый хоровод. Мебель в рабочей комнате Маркса оказалась сдвинутой к книжным шкафам.

Приглашаем всех на танцы! — объявила неутомимая Тусси.

Анна Шелер, подруга детских лет Женни, прозванная в семье Маркса за близорукость, серые жидкие волосы и упорство в труде «Старый крот», уселась за рояль, как заправская танерша, и комната наполнилась музыкой.

Смущаясь и подшучивая над собой, Карл с женой пропелся в вальсе. Он танцевал с необычной для его комплекции легкостью. Движения его были плавны и уверенны. Хороша в танце была и Женни. Она сохранила девическую живость и кружилась в вальсе с необычайной грацией. Женни улыбалась Карлу. Оба они помолодели и еще глубже ощутили, как безгранично любят друг друга.

— Ты всегда была и будешь для меня прекраснейшей девушкой Трира, царицей балов, — шепнул Карл жене, подводя ее к креслу.

Женни тихонько пожала в ответ его руку.

— Ничто так не омолаживает нас, как любовь, — ответила она.

Начались игры. Маркс на пари взялся с завязанными глазами потушить зажженную свечу. Лейхен добросовестно повязала его лицо платком, проверив, не подглядывает ли он, повернула его несколько раз кругом и предложила подойти и загасить огонь. Широко раскинув руки и забавно переставляя ноги, Карл двинулся вперед. Он

перестал ориентироваться, пошел в противоположную от свечи сторону и принялся изо всех сил дуть на щетку, которую вытянула перед ним Тусси. Все весело смеялись. Освободившись от повязки и увидев свечу за своей спиной, Маркс также разразился раскатистым хохотом. Затем начались фанты и жмурки. Когда все вдоволь набегались и устали, Женнихен принесла подаренную ей в этот день книгу в коричневом картонном переплете. Это была «Книга признаний», или, иначе, игра «познай самого себя», недавно появившаяся в Англии и ставшая очень модной.

— Высокочтимый Мавр, я прошу вас открыть своей исповедью этот томик, — сказала, лукаво улыбаясь, Женнихен и грациозно поклонилась.

Вопросы, на которые полагалось ответить, она написала на отдельном листке четким ровным почерком. Тщетно Карл под различными предлогами попытался уклониться от ответов. Ему пришлось уступить, и, вооружившись висевшим на груди моноклем, он принялся писать. Все три дочери, наклонившись над столом, окружили Маркса и затаив дыхание следили за его рукой. Ответы они читали вслух.

Достоинство, которое вы больше всего цените в людях?

Маркс, немного подумав, ответил:

— Простота.

...в мужчине?

— Сила.

...в женщине?

— Слабость.

Ваша отличительная черта?

— Единство цели.

Ваше представление о счастье?

— Борьба.

Недостаток, который вы скорее всего склонны извинить?

— Легковерие.

Недостаток, который внушает вам наибольшее отвращение?

— Угодничество.

Ваша антипатия?

— Мартин Таппер.

Когда Маркс написал этот ответ, ему зааплодировал Эрнест Джонс.

— Браво, Карл! Я ответил бы точно так же. Трудно найти в наши дни писателя, олицетворяющего бо́льшую пошлость, нежели этот преуспевающий литератор! — вскричал он.

— Продолжай же дальше, Чали, — настаивала Женнихен и отобрала у отца трубку, которую тот пытался разжечь.

Ваше любимое занятие?

— Рыться в книгах.

Ваши любимые поэты?

— Данте, Эсхил, Шекспир, Гете.

Ваши любимые прозаики?

— Дидро, Лессинг, Гегель, Бальзак.

Ваш любимый герой?

Маркс отложил перо.

— Их много, очень много, — сказал он. — Мне трудно решить, кому отдать предпочтение. Впрочем, двоих я укажу без размышлений.

— Кто это, кто? — раздалось с разных сторон.

— Великий Спартак и Кеплер.

— Кеплер? — переспросила Женнихен, несколько озадаченная.

— На основе учения Коперника именно он сделал величайшее открытие, доказав движение планет, — пояснил ей Маркс.

— Ваша любимая героиня? — допытывалась Лаура.

— Гретхен, — улыбаясь, ответил ей отец.

— Ваш любимый цветок?

— Лавр.

— Цвет?

— Я знаю, красный! — крикнула Тусси, опережая отца.

«Красный» — написал Маркс.

— Ваше любимое имя?

Карл придержал перо, и глаза его лукаво сощурились.

— Лаура, Женни.

Маленькая Элеонора-Тусси слегка надула губки. Но того, что она обижена, никто не заметил.

— Ваше любимое блюдо?

— Рыба, — ответила за Карла Ленхен.

— Ваше любимое изречение?

— Ваш любимый девиз?

На эти вопросы Маркс ответил без размышления двумя латинскими поговорками:

«Ничто человеческое мне не чуждо» и «Подвергай все сомнению».

Когда он закончил свои признания, Женнихен потребовала его подписи под ответами.

— Твой почерк, друг Мавр, остер и устремлен ввысь, как шпили готических храмов, — сказал Джонс, разглядывая из-за плеча Маркса исписанный им листок бумаги. — Он также похож на молнии...

— Почему, Чали, ты не подписался полным именем: Карл-Генрих? — запротестовала вдруг Тусси. — Всегда только «Карл Марке», а мэмхен — «Женни». А ведь у нее целых четыре красивых имени: Женни-Юлия-Жанна-Берта. Есть из чего выбирать, не то что у меня, всю жизнь я должна быть Элеонорой, и никем больше. Прозвище не в счет. Вот у нашего Какаду есть в запасе и Мария.

— Мне не нравится мое второе имя. Право, бессмысленно обременять человека несколькими именами, — смеясь, заметила вторая дочь Маркса.

Игра продолжалась.

Пришла очередь исповедоваться Женнихен.

— Достоинство, которое я больше всего ценю в людях, это, конечно, человеколюбие; в мужчине — моральную силу, а в женщине — любовь, — объявила она скороговоркой.

— Я знаю, что паша Ди называет счастьем, — лукаво улыбаясь, провозгласила вдруг маленькая Тусси. — Любить! А наш мастер Какаду хочет быть любимой.

— Гадкий, злой карлик Альберих, болтунишка! — сильно покраснев и смутившись, прервала сестренку Женнихен.

— Теперь я буду исповедоваться, — настаивала Элеонора. — Моя отличительная черта — любопытство, а самое большое несчастье — это, конечно, зубная боль. Но правда ли, мэмхен, у тебя на днях удалили зуб и тебе это было очень неприятно?

— Моя антипатия, — продолжала маленькая проказница, — конечно же, холодная баранина, а представление о счастье?

Девочка задумалась. Взгляд ее упал на поднос с бутылкой шампанского, которого ей никогда еще не удалось отведать.

— Знаю, знаю, шампанское! — закричала она и за-хлопала в ладоши.

— Ну, это уж слишком! В десять-то лет! Девочка из-балована. Что будет с ней дальше? Вот к чему ведет утверждение Карла, что дети должны воспитывать своих родителей, — вмешалась Лина Шелер. Она долгое время служила гувернанткой и часто спорила с Женни и Карлом о методах воспитания молодежи.

— Запретный плод всегда сладок и кажется источником счастья, пока его не попробуют, — выступил на защиту Элеоноры сметливый Оджер.

Тусси, румяная, прехорошенькая, возбужденная, продолжала говорить дальше:

— Женни больше всех цветов на свете любит лилии, мэмхен и Лаура — розы, Чали — розовые душистые дафне и лавр, а я, я люблю все цветы без исключения, и мой девиз: «Стремись вперед!»

— Браво! — зааплодировал Джопс. — Стремись к цели!

— Через тернии к звездам, — объявила Женнихен свой ответ на вопрос о девизе и записала его в тетрадь.

— Истина превыше всего, и она восторжествует! — провозгласила Лаура свой девиз.

Вечер затянулся, и гости разошлись необычно поздно.

Лето 1865 года отличалось, даже и по английским понятиям, чрезвычайной влажностью. Ежедневно шли холодные дожди. В редкие часы потепления Маркс придвигал стол к окну, которое открывал настежь, и писал, радуясь охлаждающей струе свежего воздуха. Это привело к тому, что его внезапно атаковал жестокий ревматизм. Боль в лопатке не давала шевельнуть рукой. Пришлось отложить работу. Денежные дела его были плохи. Энгельс присылал другу регулярно деньги для уплаты вновь появившихся срочных долгов и с нетерпением ждал окончания «Капитала».

«В тот день, когда рукопись будет отослана, я напьюсь самым немилосердным образом, — шутил он в одном из писем, — отложу это только в том случае, если ты приедешь сюда на следующий день и мы сможем это продолжать вместе». В том же письме, беспокоясь о здоровье Маркса, Энгельс писал: «Закажи себе два больших фланелевых мешка такой величины, чтобы они полностью

прикрывали больные места... мешки эти пусть наполнят отрубями и нагревают их попеременно в печке до такой температуры, какую ты только в состоянии выносить; эти мешки нужно все время прикладывать... При этом ты должен оставаться спокойно в кровати, тепло укрывшись...»

К ревматизму присоединилась болезнь печени. Все это крайне угнетало Маркса. Он был невесел и раздражен.

В доме на Мейтленд-парк почти все лето жил друг Карла, товарищ его по школьной скамье, брат жены, Эдгар фон Вестфален, приехавший из Техаса, куда собирался со временем вернуться. Рьяный участник Союза коммунистов в Брюсселе, смелый борец, он за долгие годы, проведенные в американских степях, значительно изменился. Находясь в долгом уединении, этот одаренный, умный человек сосредоточил все свои мысли и заботы только на себе самом. Когда-то Женни хотела, чтобы Эдгар женился на Лине Шелер. Но, несмотря на некоторую симпатию, возникшую у этих людей друг к другу, этого не произошло. Эдгар не решился создать семью, и Лина Шелер тщетно ждала его признаний. Она так и осталась одинокой, незаметно состарилась и довольствовалась тем, что стала падчерицей и поверенной чужой любви, сама так и не испытав этого всегда волновавшего ее и желанного чувства. Неустроенность личной жизни обострила в ней наблюдательность и жадный интерес ко всяким любовным перипетиям у других людей. Она первая замечала возникающее увлечение, флирт, сердечную размолвку.

— О, старый крот, — говорила она многозначительно, — бывает иногда дальновиднее и проницательнее орла.

Лина Шелер зачитывалась книгами по феминизму. Она утверждала, что мужчины — деспоты и уравнение в правах с ними женщин важнее всех иных вопросов на свете, даже если их отстаивает Маркс. Самыми значительными личностями в истории последнего столетия она считала основательниц клуба синих чулков Хашну Мур и Мери Вулстонкрафт.

Женнихен, Лаура и Тусси любили Лину с тем же оттенком легкой иронии, как и их родители. Лина была очень рассеяна или, как она говорила, мечтательна и потому несколько неряшлива. Она всегда забывала свои вещи и вносила беспорядок, который злил аккуратную Леихен.

— Ох уж эти старые девы, лучше раз согрешить на деле, нежели постоянно в мыслях.

Эдгар Вестфален, оставшийся холостяком, сосредоточил все свои желания на еде и элегантной одежде.

— Конечно, — говорил он, примеряя новые сюртуки и жилеты, — не только костюмы делают человека джентльменом, но они украшают жизнь.

— Увы, я не узнаю тебя, дружище, — сказал ему как-то Маркс. — В своем уединении ты усвоил себе самый узкий вид эгоизма, а именно привычку с утра до вечера думать только о том, что необходимо для твоего чрева. Но так как ты от природы добродушен, то эгоизм твой похож на эгоизм ласковой кошки. Черт возьми всякое отшельничество! Похоже, что ты отвык и от женщин настолько, что инстинкт пола сменился у тебя чревоугодьем. Ты непрерывно глотаешь пилюли и трепещешь за свое здоровье, и это тот самый Эдгар, который чувствовал себя в безопасности среди змей, тигров и леопардов.

Маркс откровенно огорчался, присматриваясь к шурину. Эдгар Вестфален не скрывал, что его заветной мечтой теперь является склад сигар и вин. Он избрал для себя в жизни роль почтенного старого джентльмена, который покончил счеты с жизнью, но вынужден, однако, заботиться о ее продлении.

— Обильный ужин, отборное вино и курево, а также хорошо сшитый фрак — вот чем могу я порадовать еще себя перед смертью.

Лаура и Тусси считали своего американского дядюшку забавным чудаком и прощали ему даже мелочность, граничащую со скупостью, которую он проявлял, если надо было тратить деньги не на собственную персону. Но Женнихен отнеслась к нему сурово. Ее возмущала мысль, что школьный товарищ ее отца, бывший член Союза коммунистов, мог так опуститься духовно.

— Наш старый крот — Лина Шелер — тоже не бог весть какая возвышенная натура, однако она сохранила хоть и изрядно иссушенное, но доброе сердце, не то что дядя Эдгар. Он только жалкий ржавый осколок ручной гранаты, — горячилась Женнихен, споря с сестрами. — Право, можно поздравить Лину и его, что они благополучно избавились друг от друга. Воображаю, каким был бы их семейный очаг.

Встреча после долгой разлуки с бывшим соратником заметно взволновала Карла: он вспоминал Вольфа, Веерта, Шрамма, преждевременно сошедших в могилу, и тех, кто, оставаясь жить, фактически, как и Эдгар, умерли для рабочего движения и борьбы.

Прикованный болезнями к постели, Маркс с увлечением занимался астрономией. Он томился постоянной жаждой знания, стремясь постичь все, что только может человек. Бескрайние просторы вселенной, далекие звезды и планеты всегда влекли его к себе.

Теория Лапласа об образовании небесных систем, научные объяснения вращения различных тел вокруг своей оси, закон различия по вращении планет Кирквуда, да и многое другое в науке о вселенной волновало его. Познавать — вот высшее наслаждение, которое открылось Марксу с юности. Как и Гегель, он страстно увлекался астрофизикой. Не меньше влекла его математика, без которой он не представлял себе науки.

За время болезни Маркса долги в семье росли. Все вещи снова были снесены в ломбард.

«Уверяю тебя, — писал Карл Фридриху,—что я лучше дал бы себе отсечь большой палец, чем написать тебе это письмо. Мысль, что полжизни находишься в зависимости, может довести прямо до отчаяния. Единственно, что меня при этом поддерживает, это сознание того, что мы оба ведем дело на компанейских началах, причем я отдаю свое время теоретической и партийной стороне дела. Я, правда, занимаю квартиру слишком дорогую для моих возможностей, да и, кроме того, мы этот год жили лучше, чем когда-либо. Но это единственный способ дать детям возможность поддерживать такие связи и отношения, которые могли бы обеспечить их будущее, не говоря уже о всем том, что они выстрадали и за что они хоть короткое время были вознаграждены. Я думаю, ты сам будешь того мнения, что даже просто с коммерческой точки зрения теперь был бы неуместен чисто пролетарский образ жизни, который был бы вполне хорош, если бы мы с женой были одни или если бы девочки были мальчиками».

В конце сентября 1865 года в Лондоне состоялась первая конференция Интернационала. Она была созвана по настоянию Маркса, который считал, что секции Междуна-

родного Товарищества Рабочих еще недостаточно окрепли и не готовы к созыву общего конгресса.

В течение пяти дней делегаты от Франции, Швейцарии, Бельгии совместно с членами Генерального Совета заслушали доклады о положении в отдельных секциях. Либкнехт прислал отчет о рабочем движении в Германии. Большое значение имело установившееся во время конференции личное общение между наиболее деятельными членами Генсовета — Дюпоном, Эккариусом и Лесснером, с делегатом от Франции переплетчиком Варленом и приехавшим из Швейцарии щеточником Беккером. Оба эти самородка были гордостью рабочего движения. Встречи в Лондоне способствовали укреплению авторитета Интернационала и сплочению вокруг Маркса наиболее боевых пролетариев. Конференция подготовила их к совместным выступлениям на конгрессах по важнейшим вопросам программы и тактики. Они решительно высказались против сектантов — прудонистов, которые требовали, чтобы Международное Товарищество занималось исключительно экономическими вопросами и не вторгалось в политику.

Дни работы конференции совпали с первой годовщиной Интернационала. Было решено отпраздновать эту важную дату — 28 сентября — и одновременно огласить на вечере обращение к американскому народу по случаю уничтожения рабства и победы республики.

В просторном высоком Сент-Мартинс-холле собрались участники Лондонской конференции и члены Товарищества, проживающие в Лондоне. Пришло немало гостей.

Лиза и Сигизмунд Красоцкие после долгих странствий и тщетных попыток получить разрешение на въезд в Россию выбрали Лондон местом своего изгнания. Они поселились в маленьком коттедже на Примроз-хилл и вскоре отыскали своих прежних знакомых. В числе их был Оджер. От него они получили билеты на вечер Товарищества Рабочих в Сент-Мартинс-холле.

К семи часам все были в сборе. Сначала собравшиеся принялись пить чай. Затем оркестр Ассоциации итальянских рабочих сыграл любимый народом величественный «Марш Кошута» и мелодичный «Гвардейский вальс». Бравурные звуки музыки подействовали на всех, даже

самые хмурые из присутствующих оживились, заулыбались, зашумели.

Несколько музыкантов на корнетах и саксхорнах исполнили «Каприччио», заслужив громкие похвалы. Затем раздался пронзительный звонок, и председатель Генерального Совета Оджер открыл торжественное заседание. Секретарь Кример долго откашливался, протирал очки и, подрузив их на нос, прочел ровным голосом без модуляций обращение к американскому народу. Зал встретил документ одобрительными возгласами:

— Слушайте! Слушайте!

— Да здравствует свобода и братство!

С короткими речами выступили французский и немецкий делегаты. Они напомнили, что ровно год, как в этом же зале на митинге был основан Интернационал. В ответ по Сент-Мартинс-холлу понеслись приветственные выкрики, и все присутствующие, как один, запели «Марсельезу». На сцену вышли хористы. Сухощавый дирижер во фраке с большой красной гвоздикой в петлице объявлял каждую исполняемую песню. Он заметно волновался, и палочка в его руке слегка вздрагивала. Дирижируя, он пел вместе со своей мастерски слаженной капеллой. Все хористы были немецкие изгнанники. И когда они пели с большим чувством и воодушевлением «Вахту на Рейне» Шмитца, «Крест над ручьем» Рентайера и особенно «Радость охотника» Астхольца, многие в зале подносили платок к увлажненным глазам. Песни эти всех взволновали. Зато шуточная «Мастерская» развеселила слушателей, и припев к ней, бодрый, радостный, подтягивали в зале.

Когда хор умолкал, выступали на разных языках ораторы. Речь польского делегата Бобчинского произвела на всех большое впечатление.

— Единство пролетариата свято, — сказал он, — оно поможет нам сбросить цепи рабства и создать мир, где воцарится труд, братство и равенство.

И снова под сводами зазвучала «Марсельеза».

Объявив заседание закрытым, председатель Оджер сам с увлечением продекламировал поучительные стихи Элизы Кук «Честность».

Лишь в половине одиннадцатого, после того как в дешевом буфете были съедены все сандвичи, сосиски, сладкие булочки и выпит кофе, портер и легкие вина, начались

танцы. Молодежь и старцы отдались веселью и движению под духовую музыку с непосредственностью детей. Они лихо отплясывали экосез, безудержно отбивали такт в галопе, плавно плыли в вальсе и кадрили. Началась мазурка, и вот на круг вышли поляки, закружили своих дам, падая на бегу перед ними на одно колено. Итальянцы вертелись как волчки в неистовой тарантелле, французы пустились в пляс под карманьолу. Так некогда танцевали их деды, разрушившие Бастилию.

Оркестр сыграл «Вальс» Годфри, один из самых известных. В это же время в небольшом низеньком помещении за трибуной Кример записывал новых членов Товарищества. Не только мужчины, но и женщины принимались в Интернационал. Первой к Кримеру подошла Лиза.

Секретарь Генерального Совета спросил ее имя и фамилию и внес их в большую тетрадь.

— Я хотела бы уплатить взнос за весь год, — сказала она, волнуясь.

— Извольте, один шиллинг и один пенс.

— Всего только?

— Это не малая сумма для пролетария, — сказала стоявшая рядом женщина, работавшая в прачечной.

— Ваше право сделать добровольный взнос в кассу Товарищества. Деньги нам всегда пригодятся для помощи стачечникам в разных странах, — сказал Кример.

Лиза передала секретарю Генерального Совета десять гиней. Он выдал ей членский билет и предложил взять «Манифест» и «Устав», чтобы знать свои права и обязанности в Международном Товариществе Рабочих.

Сигизмунд Красоцкий также вступил в члены Интернационала.

Вскоре после конференции, в октябре 1865 года, в Модена-вилла пришло письмо, которого там совсем не ожидали. Оно обещало большие материальные выгоды.

Друг Лассаля, бывший эмигрант Лотар Бухер, поступивший около года назад на службу к прусскому правительству, писал:

«Прежде всего бизнес! «Государственный вестник» желает иметь ежемесячные отчеты о движении денежного рынка. Меня запросили, не могу ли я рекомендовать кого-нибудь для этой работы, и я ответил, что никто этого лучше не сделает, чем Вы. Ввиду этого меня просили обратиться к Вам. Относительно размера статей Вам про-

доставляется полная свобода: чем основательнее и обширнее они будут, тем лучше. Что же касается содержания, то само собою разумеется, что Вы будете руководствоваться только Вашим научным убеждением; но все же во внимание к кругу читателей (haute finance [1]), а не к редакции, желательно, чтобы самая суть была понятна только специалистам и чтобы Вы избегали политики». Затем следовало несколько деловых замечаний, воспоминание об общей прогулке за город с Лассалем, смерть которого все еще, по словам Бухера, оставалась для него «психологической загадкой», и сообщение, что он, как известно Марксу, вернулся к своей первой любви — к канцелярщине. «Я всегда был несогласен с Лассалем, который представлял себе ход развития слишком быстрым. Либеральная партия еще несколько раз будет менять кожу, прежде чем умрет; поэтому тот, кто еще хочет в течение своей жизни работать в пределах государства, должен примкнуть к правительству».

Карл припомнил Лотара Бухера, с которым когда-то познакомил его Лассаль. Это был нескладный господин с выпуклым, чуть колыхавшимся животом, начинавшимся где-то у самого подбородка. Белый воротник, резко оттенявший его темный сюртук, был ослепителен и туго накрахмален. Из-под сюртука выглядывал дорогой жилет. На золотой цепочке часов висело несколько дорогих брелоков. Короткие пальцы были унизаны дорогостоящими перстнями с неправдоподобно поблескивавшими бриллиантами. Внушительно поскрипывали его новые ботинки с утиными носами. Этот человек всем своим видом хотел показать, что богат и хорошо устроен.

Карл погрузился в размышления. Итак, Бисмарк протянул ему, эмигранту, революционеру, руку. Маркс мысленно видел обрюзгшее лицо с отвислыми щеками и мешочками дряблой кожи под строго глядящими вперед, всегда налитыми кровью глазами главы прусского юнкерства. Бисмарк был напорист, как тарап, верно служил своему классу и презирал людей, широко пользуясь их нуждой или пороками.

«Что это, признак слабости? Грубый расчет? Подкуп? Опыт с Лассалем, Швейцером и многими другими привел

---

[1] Финансовая аристократия *(франц.)*.

Бисмарка к мысли, не купить ли и меня. Все, кого он растлил с такой легкостью, несомненно, оправдывали свое падение интересами рабочего класса, революции. Они надеялись, что надуют Бисмарка раньше и ловчее, чем это сделает он с ними. Жалкие недоумки. Рабские сердца, которым льстило, что их пускают через черный ход в переднюю фактического главы государства... А может быть, все-таки использовать прусскую печать для пропаганды наших идей, пусть недолго, но возглашать социалистическую истину? Какой компромисс допустим и когда он превращается в предательство, в подлость не только перед соратниками, но перед самим собой? Опасный соблазн, почти наверняка оборачивающийся против того, кто ему поддался. Где грань дозволенного для революционера в его отношениях с идейными врагами? Граница эта начертана столь тонкой линией, что ее можно переступить незаметно для себя».

Маркс курил одну за другой сигары. Горки сожженных спичек лежали на столе подле переполненных пепельниц. Никто не решался в эти часы входить в его кабинет. Женни и все остальные члены семьи Маркса хорошо знали, что работает он необязательно с пером или книгой в руке. Достаточно было взглянуть на его лицо, поймать глубокий, как бы устремленный в себя взгляд, когда он ходил по комнате, сидел или лежал на кушетке, чтобы увидеть, как напряженно трудится в это время его мозг.

Маркс думал. Внезапно ему припомнились молодость, Кёльн, «Рейнская газета». Как часто тогда, да и потом пытались его переманить на свою сторону буржуа, примыслители вроде Ганземана, влиятельные финансисты. Чего только не предлагали. Он отвергал малейшее отступление, предпочитая нищету, обрекая семью на бедствия, жертвуя здоровьем и тем, что называется жизненными благами.

С тяжелой ношей лишений и потерь он шел вперед и вперед, высоко подняв голову, глядя смело в лица людей широко открытыми, чистыми глазами.

Связь с Бисмарком, пусть хоть в форме только одного сотрудничества в его газете, не принесет никакой пользы общему делу рабочих, не поднимет ни на одну ступень социалистическое движение. Только вред, кривотолки вызвало бы его согласие писать в «Государственный вест-

ника» обзоры. Свора реакционеров с Бисмарком во главе попыталась бы бросить тень на его имя и тем самым на всех его единомышленников. И Маркс ответил Бисмарку коротким и звенящим, как пощечина, «нет».

Был вторник 8 мая. Под вечер Маркс отправился на заседание Генерального Совета. Над Лондоном повисли светло-серые сумерки. Хороша поздняя весна в Англии. Нет в эту пору ни черных, ни желтых туманов. Только белая дымка окутывает небо и солнечные лучи всегда чуть влажные, как глаза с поволокой.

Маркс шел по Гайд-парку, радуясь, что его черные узкие штиблеты утопают в свежей траве, густо усеянной расцветающими одуванчиками и лютиками. «Гете, — вспомнил он, — больше всего любил желтый и зеленый цвета, считая их красками самой жизни».

Тишину нарушало пенпе птиц. Читая газеты, подремывая, на траве лежали люди, рядом же паслись овцы. На берегу тенистого пруда шалили дети, резвились собаки. Трудно было представить, что парк расположен в самой гуще огромного города.

У Марбль-Арч Маркс взобрался на крышу омнибуса. Лошади неслись лихо по многолюдным улицам. На тротуарах появились фонарщики. В окнах лавок зажглись лампы.

Нелегко распознать возраст зданий на лондонских улицах. Климат подменил разрушительную работу времени. Бурый зимний туман, липкая копоть преждевременно старят стены, разъедают кирпич, углубляют складки, изъязвляют, чернят поры, бороздят морщинами камни.

Маркс не хуже уроженца Лондона знал все закоулки самой большой столицы мира. Он часто бывал в Уайтчапеле, расположенном в яме и, подобно Бирмингему, Лидсу, Шеффилду, служившем стоком для гнилостных испарений, вонючего дыма и клейкой копоти. Трудно вообразить себе кусок земли более угрюмый, сырой и однообразный. Католические священники, описывая ад, могут воспроизвести пугающие краски Уайтчапеля. Люди, которым солнце известно как пунцовый факел, тщетно пытающийся поджечь насквозь отсыревшие крыши, а луна — как бурая жаба, не могут не смеяться под-

час над собой и над окружающим. Иначе они сойдут с ума. Это безобидное самоиздевательство предотвращает отчаяние. В Уайтчапеле живет немало веселых людей, правда, смех их особенный, горький, пугающий буржуа, которые никогда не посещают этот отверженный уголок, населенный исключительно трудящимися.

К восьми часам Маркс вошел в дом № 18 в маленьком переулке Бувери-стрит, примыкающем к просторной и хорошо освещенной Флит-стрит. Туда недавно переселилось Международное Товарищество.

В узкой, длинной комнате, напоминавшей формой омнибус, за столом сидели члены Генерального Совета. В точно назначенное время председательствующий объявил заседание открытым. Кример, по обыкновению, предложил утвердить протокол предыдущего собрания. Он огласил его, стараясь не тратить на это много времени. Все слушали молча. Маркс закурил, затем пододвинул к себе лист бумаги и изредка записывал что-то. Лафаргу не терпелось заговорить, и он, с трудом сдерживаясь, принялся добросовестно чинить свой карандаш. Кример между тем читал протокол, в котором были вкратце изложены запрос из Бордо о том, куда направить деньги за членские билеты, пожелания в связи с приближающимся созывом конгресса Интернационала, обсуждение кандидатур новых членов Генерального Совета. Дойдя до отчетов делегаций, направляемых к рабочим с призывом поддерживать и присоединяться к Международному Товариществу, секретарь читал:

«*Юнг* делает отчет о посещении совместно с Лафаргом второго отделения рабочих-каменщиков, делегатам был оказан восторженный прием и обещана поддержка...

Кример сообщает, что он посетил дамских сапожников Сити... и условился с секретарем рабочих-переплетчиков о посылке делегации на их ближайшее собрание».

Маркс откинулся в кресле. Он был доволен. Непосредственная связь с трудящимися налаживалась. Секретарь, откашлявшись, продолжал читать последний раздел протокола, озаглавленный: «Портные и их последняя стачка».

«*Лесснер* сообщает, что в Эдинбург доставлено известное количество немецких портных; все говорят, что и некоторые из лондонских предпринимателей ведут пере-

говоры о доставке какого-то количества в Лондон. Проживающие в Лондоне немецкие портные образовали комитет и хотят действовать совместно с Советом Международного Товарищества Рабочих, чтобы разбить замыслы хозяев и их агентов в Германии.

Маркс заявляет, что, если Лесснер сообщит ему факты, он сам непосредственно свяжется с немецкими газетами».

Кример закончил чтение протокола и, после того как председатель скрепил его своей подписью, осторожно спрятал в папку, чтобы затем подклеить в большую черновую книгу. Члены Генерального Совета выпили по чашке крепкого горького чая и продолжили заседание. Сначала избрали двух новых членов Генсовета, кандидатуры которых обсуждались на предыдущем вторнике, и обсудили, кого утвердить секретарем для Польши. Маркс предложил избрать гражданина Бобчинского, находившегося в эмиграции, что и было принято единогласно. Затем перешли к подбору делегатов, которым надлежало договориться о совместных действиях с объединенным обществом механиков, переплетчиками и бочарами.

После чтения писем из разных стран и городов, споров и вынесения решения, которое утверждалось голосованием, Генеральный секретарь огласил письмо сапожников из Дарлингтона. Они выражали свои симпатии к Товариществу и обещали оказывать ему поддержку. Портные из того же города прислали пять шиллингов и сообщили о присоединении к Интернационалу.

Единая форма заявления для обществ, желающих присоединиться к Международному Товариществу Рабочих, гласила:

«Мы, члены общества... собравшиеся в... заявляем о своем полном согласии с принципами и целями Международного Товарищества Рабочих и обязуемся распространять и проводить их в жизнь; в подтверждение искренности наших намерений мы просим настоящим Центральный Совет принять нас в братский союз в качестве примкнувшего отделения Товарищества.

Подписали по поручению членов в количестве...

Секретарь
Председатель».

Все новые и новые общества и рабочие объединения вступали в Интернационал. Прошло менее двух лет со времени митинга в Сент-Мартинс-холле, когда великий призыв «Коммунистического манифеста» о соединении воедино рабочих всех стран стал претворяться в жизнь, и вот Международное Товарищество становилось сильным и влиятельным. Маркс создал не только его «Учредительный манифест» и «Устав», но и направил всю свою исполинскую волю и умение на то, чтобы слова стали делом. Сам почти нищий, он отдавал Интернационалу последние деньги, не щадя здоровья и сил, работал в нем постоянно, вникая во все без исключения, собирал, учил, оберегал, растил для него людей.

В конце заседания, когда на столе дважды сменились чашки с чаем и пепельницы напоминали отроги Везувия и Этны, Генеральному Совету было доложено об организации экскурсии английских рабочих в Ирландию.

— Сколько человек сможет поехать? — заинтересовался Маркс.

— Не менее трехсот. Уже ведутся переговоры с дирекцией лондонской Северо западной железной дороги, и та дала благоприятный ответ.

— Великолепное начинание, — одобрил Маркс.

Товарищество стремилось всеми возможными средствами улучшить отношения и сблизить ирландский и английский народы. Предложение посетить соседний остров пришлось по душе всем членам Генерального Совета. На этом очередное заседание закрылось. Было уже более десяти часов. Лондон отходил ко сну. Вместе с Лафаргом и Лесснером Маркс бодро шел по опустевшим улицам. Как всегда, в руках у него был неизменный, свернутый на этот раз, черный зонт. Но небо не предвещало дождя.

— Не выпить ли нам по кружке пива? — предложил Лесснер, давнишний друг Маркса.

Фридрих Лесснер поверил в гений Маркса с первой их встречи — еще в пору издания «Коммунистического манифеста». Упорный, сдержанный, Лесснер, после долгих раздумий приняв решение, уже не отступал от него. Марксизм он принял навсегда. Жизнь убеждала его в правильности этого учения, и не было такой силы на земле, которая могла бы заставить Лесснера поколебаться. Коренастый, с почти квадратной головой, упрямым лбом, большими скулами и широким носом, с прямым,

испытующим, смотрящим исподлобья взглядом, с растущей вкривь и вкось лохматой бородой и свисающими на рот густыми усами, он весь был как глыба воли и силы.

— Что ж, Мавр, зайдешь со мной промыть глотку элем? — повторил Лесснер свой вопрос.

— Ты, Фридрих, маг, читаешь чужие мысли,— заметно оживился Маркс. — Трахнем старшой, человече!

Лафарг предпочитал элю стакан красного вина. И то и другое можно было получить в таверне «Черный бык», к которой они подходили. Содержал ее итальянский изгнанник, осевший в Лондоне, которого знали в Генеральном Совете. Он оказывал немалые услуги, предоставляя свое помещение всякий раз, когда это было нужно. Когда Маркс и его товарищи вошли в небольшую таверну, владелец ее был поглощен партией в шашки и не заметил их появления. Маркс очень любил эту игру и, покуда толстая неаполитанка с усиками, которым позавидовал бы любой офицер, и черным пушком на подбородке наливала за стойкой пиво и вино, уселся за столик с шашечной доской. Не прошло и десяти минут, как он обыграл одного за другим водителя омнибуса, плотника, каретного мастера и, наконец, Лесснера.

— Ну и сильны же вы, гражданин Маркс, в шашках, — сказал почтительно хозяин «Черного быка».

— Что шашки, — усмехнулся Лесснер, — наш Мавр кого угодно положит на обе лопатки. Рано или поздно с его помощью всех врагов Интернационала победим.

Отдохнув за увлекательной игрой, выпив кружку доброго пива, Маркс отправился домой.

От непомерной работы днями и ночами Карл, и без того ослабленный физически, заболел тяжелым карбункулезом. Но и в постели он отказывался отдыхать и продолжал отделывать и дополнять «Капитал». Первый том был почти закончен набело. Маркс шутил, что вылизывает свое дитя после тяжелых родовых мук. Он готовил книгу для печати.

Женни часто упрекала Маркса, что он не бережет себя. Фридрих Энгельс также писал об этом из Манчестера:

«...сделай мне одолжение, принимай мышьяк и приезжай сюда, лишь только тебе позволит твое состояние, чтобы ты, наконец, мог поправиться. Этим вечным промедлением и откладыванием ты губишь лишь себя са-

мого; ни один человек не в состоянии долго выдержать такого хронического заболевания карбункулами, не говоря уже о том, что может, наконец, появиться такой карбункул, от которого ты отправишься к праотцам. Что тогда будет с твоей книгой и твоей семьей?

Ты знаешь, что я готов сделать все возможное, и в этом экстренном случае даже больше, чем я имел бы право рискнуть сделать при других обстоятельствах. Но будь же и ты благоразумен и сделай мне и твоей семье единственное одолжение — *позволь себя лечить*. Что будет со всем движением, если с тобой что-нибудь случится? А если ты так будешь вести себя, то дело *неизбежно* дойдет до этого. В самом деле, у меня нет и не будет покоя ни днем, ни ночью, пока не вытащу тебя из этой истории; каждый день, когда я от тебя ничего не получаю, я беспокоюсь и думаю, что тебе опять хуже».

По настоянию Энгельса Маркс поехал отдохнуть к морю. Он поселился в тихом домике у самого берега и вскоре, отдохнувший, веселый, писал Лауре:

«Я очень рад, что поселился в частном доме, а не в гостинице или отеле, где вряд ли можно избежать докучливых бесед о местной политике, приходской скандальной хронике и соседских сплетнях. И все-таки я не могу петь, как мельник с берега Ди: «Что мне за дело до других, коль нет им дела до меня», потому что существует моя хозяйка, глухая, как пень, и ее дочь, страдающая хронической хрипотой. Впрочем, они очень славные люди, внимательные и ненавойливые. Что касается меня самого, то я превратился в бродячую трость, большую часть дня гуляю, дышу свежим воздухом, ложусь в десять часов спать, ничего не читаю, еще меньше пишу и вообще погружаюсь в то душевное состояние небытия, которое буддизм рассматривает как вершину человеческого блаженства».

Осенью Маркс продолжал работать над «Капиталом», которому отдал двадцать пять лет своей жизни. Ради этой книги ему пришлось отказаться от поездки на Женевский конгресс Международного Товарищества Рабочих, подготовкой которого он занимался.

«Поехать на него я не могу, да и не хочу, потому что долгий перерыв в моей работе невозможен, — сообщал Маркс своему единомышленнику врачу Кугельману в Ганновер, говоря о «Капитале». — То, что даст эта моя работа, я считаю гораздо более важным для рабочего класса, чем все, что я мог бы сделать лично на каком бы то ни было конгрессе».

Написанная им «Инструкция делегатам Временного Центрального Совета по отдельным вопросам» включала следующие разделы: 1. Организация Международного Товарищества. 2. Интернациональное объединение действий при помощи Товарищества в борьбе между трудом и капиталом. 3. Ограничение рабочего дня. 4. Труд детей и подростков. 5. Кооперативный труд. 6. Профессиональные рабочие союзы. Их прошлое, настоящее и будущее. 7. Прямые и косвенные налоги. 8. Интернациональный кредит. 9. Польский вопрос. 10. Армии. 11. Религиозный вопрос.

Тезисы по всем этим пунктам были единогласно приняты на конгрессе в Женеве.

В «Инструкции» Маркс разработал темы, непосредственно затрагивающие насущные нужды тружеников и особо женщин и детей. О необходимости ограничить их рабочий день он писал:

«Мы считаем тенденцию современной промышленности привлекать детей и подростков обоего пола к участию в великом деле общественного производства прогрессивной, здоровой и законной тенденцией, хотя при капиталистическом строе она и приняла уродливые формы. При разумном общественном строе *каждый ребенок* с 9-летнего возраста должен стать производительным работником так же, как и каждый трудоспособный взрослый человек, должен подчиняться общему закону природы, а именно: чтобы есть, он должен работать, и работать не только головой, но и руками.

...Мы считаем необходимым, основываясь на физиологии, разбить детей и подростков обоего пола на *три группы*, требующие различного отношения к себе: в первую группу должны входить дети от 9 до 12 лет, во вторую — от 13 до 15 лет, в третью — 16- и 17-летние. Мы предлагаем, чтобы для первой группы закон ограничил труд в какой бы то ни было мастерской или на дому *двумя* часами; для второй — *четырьмя* и для третьей —

шестью часами. Для третьей группы должен быть перерыв по крайней мере в один час для еды или для отдыха.

...Рабочий не свободен в своих действиях. В слишком многих случаях он даже так невежественен, что неспособен понимать подлинные интересы своего ребенка или нормальные условия человеческого развития. Как бы то ни было — наиболее передовые рабочие вполне сознают, что будущее их класса и, следовательно, человечества, всецело зависит от воспитания подрастающего рабочего поколения. Они знают, что в первую очередь надо оградить работающих детей и подростков от разрушительного действия современной системы.

...Исходя из этого, мы заявляем, что родителям и предпринимателям ни в коем случае не может быть разрешено применять труд детей и подростков, если он не сочетается с воспитанием.

Под воспитанием мы понимаем три вещи:

Во-первых: *умственное воспитание.*

Во-вторых: *физическое воспитание,* такое, какое дается в гимнастических школах и военными упражнениями.

В-третьих: *техническое обучение,* которое знакомит с основными принципами всех процессов производства и одновременно дает ребенку или подростку навыки обращения с простейшими орудиями всех производств.

Распределению детей и рабочих подростков по возрастным группам должен соответствовать постепенно усложняющийся курс умственного и физического воспитания и технического обучения. Расходы на техническая школы должны частично покрываться путем продажи их продукции.

Сочетание оплачиваемого производительного труда, умственного воспитания, физических упражнений и политехнического обучения поднимает рабочий класс значительно выше уровня аристократии и буржуазии».

В это творчески напряженное время, когда Маркс жил главным образом в сфере научной мысли и открытий, его семью и Энгельса постигло большое горе. В Соединенных Штатах, в городке Сент-Луисе 20 августа 1866 года от холеры умер Иосиф Вейдемейер. Его жена, Луиза, с которой переписывалась Женни, заразившись от мужа, тоже едва не погибла.

Смерть Иосифа Вейдемейера глубоко ранила Маркса. Много лет их связывала дружба. Разлука не нарушила духовной близости двух коммунистов. Живя на разных материках, они не теряли связи. Вейдемейер был одним из самых преданных сподвижников Маркса и Энгельса и пронес через всю свою жизнь верность их идеям и делу.

Сын прусского чиновника, вестфалец по рождению, способный артиллерист, окончивший Военную академию в Берлине, он всегда избегал торных дорог. Не сразу, не легко пришел он к мировоззрению Маркса, но затем никогда не отступал. Из армии Вейдемейер ушел без колебаний, как только решил, что взгляды его отныне не соответствуют положению, в котором он находился, будучи прусским офицером.

Вейдемейер был из числа редких внутренне ясных, честных, совестливых, отзывчивых и несокрушимо волевых людей. Глубокая убежденность в правильности избранного пути давала ему силы легко сносить трудную жизнь в далеком изгнании. Он отличался жизнелюбием, спокойствием и исключительной отвагой. Во время гражданской войны в Америке полковник действующей армии Вейдемейер снискал себе большое уважение и любовь в войсках. Тотчас же после организации Международного Товарищества он стал одним из самых неутомимых создателей американских секций, упорнейшим проводником идей марксизма. Сильный физически и духовно, он был рожден для долгой жизни, и мысль о смерти бежала при взгляде на этого коренастого, ладно скроенного, румяного, веселого человека. И, однако, болезнь сразила его во время вспыхнувшей в штате, где он жил, эпидемии. Маркс и Энгельс тяжело пережили потерю друга.

Поль Лафарг, член Интернационала, исключенный в конце прошлого года из Парижского университета за участие в студенческом конгрессе в Льеже, осудившем правление Луи Бонапарта, переехал в Лондон, чтобы продолжить медицинское образование. Очень скоро Лафарг стал постоянным гостем в Модена-вилла. Лина Шолер, приехавшая навестить семью Маркса, первая выдала Женнихен и Лауре тщательно скрываемую тайну молодого студента.

— Меня, — сказала она таинственно, отведя девушек в сторону, — невозможно обмануть. Если я осталась незамужней, то только из-за своей требовательности и

тщетного ожидания сказочного принца, однако я выслу-
шала на своем веку немало признаний, представьте, и я
была молода когда-то и изучила сердце мужчины.

— Как Жорж Санд, например, — подавляя улыбку,
прервала ее Женнихен.

— Я нахожу эту писательницу однообразной и поте-
му неинтересной. Все ее героини подозрительно смахи-
вают на нее самое и постоянно проповедуют свободную
любовь так же скучно, как старушка Жанлис поучает,
что счастье женщины в браке. Но зачем нам беллетри-
стика, когда сама жизнь подготовила вам преазанимате-
ный сюжет. Мосье Лафарг влюблен, и я уже знаю в кого.

— Вот уж неверно, — запротестовала Лаура.

— Старый крот, как всегда, проницательнее всех
всех, — продолжала Лина. — Заметьте, как этот смуглый
красавец мрачнеет, когда появляется Лаура. А его необы-
чайная предупредительность ко всем нам! Он готов быть
на побегушках даже у Тусси, читает с ней Купера и
Марриета, поджаривает с Ленхен бифштексы, я не го-
ворю о делах более важных, когда он часами помогает
вашей матери в ее секретарских делах, отыскивает в
лавках для Женнихен ноты и книги и готов часами вы-
слушивать мои рассказы о Трире. Что говорить, даже пес
Виски и все коты, которых так много вы развели в доме,
ему дороги и приятны. О, я-то знаю, что с ним происхо-
дит. Когда мужчина влюблен в девушку, он готов ис-
полнять прихоти даже ее прадедушки, и его нежность
распространяется на всех и все, с чем она соприкасается.

— Фантазия, я этого не заметила. Мне Поль говорит
один только колкости. Он несносен, — вспыхнула Лаура.

— Браво! Я сделала еще одно открытие. Наш Готтс-
тот тоже любит, — не унималась Лина, окончательно
взбесив этим Лауру.

Лафарг был очень привлекателен не только внешне,
но и духовно, и Лаура не ошиблась в выборе. Он всей
душой, по-сыновьи привязался к Марксу, понял величие
его ума и сердца и стремился почерпнуть как можно
больше в общении с ним. Поль охотно выполнял обязан-
ности писца, помощника и откровенно радовался любому
поручению Маркса. Женщинам в семье Маркса, а впо-
следствии и Энгельсу студент-медик из Бордо также при-
шелся по душе. Он стал дорогим и родным человеком
для всех обитателей Модена-вилла.

По вечерам Поль Лафарг сопровождал Маркса во время его вечерних прогулок в Хэмпстед-хис и в это именно время получил от него свое экономическое образование. Опираясь на крепкую палку, Карл бодро шел по пригородным холмам и, сам того не замечая, как бы проверял на слух самого себя, излагал, шаг за шагом, содержание всего первого тома «Капитала», который тогда дорабатывал. Всякий раз, возвратившись домой, Поль, живший одно время в доме Маркса, торопился в свою маленькую отдаленную комнату и записывал в тетрадь то, что услышал и уяснил в этот вечер. Однажды Маркс изложил ему свою теорию развития человеческого общества и привел научные доказательства и соображения, которые за много лет открылись его мышлению. Молодой человек замер на месте и после долгого молчания сказал, потрясенный тем, как просто и ясно объяснилось для него то, что он считал вечной неразрешимой загадкой:

— Поразительно, доктор Маркс, я чувствую себя так, точно завеса разорвалась перед моим умственным взором. Я прозрел и в первый раз ясно понял логику всемирной истории. Отныне я могу свести столь противоречивые по видимости явления развития общества и идей к материальным причинам.

Действительно, все в словах Маркса было стройно, неопровержимо и просто, как сама величавая природа.

Лафарг с присущей ему горячностью, нетерпением, упорством принялся читать все, что написал когда бы то ни было Маркс. Его захватила глубина и новизна познанного. И, однако, приглядываясь и прислушиваясь ко всему, что делал и говорил Маркс, Поль пришел к выводу, который часто повторял:

— В жизни, в действии, в живом слове этот человек еще более велик. Ни одно его произведение не воспроизводит во всей полноте его необозримых знаний и гения. Он воистину гораздо выше своих произведений.

Чем больше узнавал Лафарг Маркса, тем непостижимее он ему казался.

«Работа современных беллетристов, — думал он, — даже таких больших, как Флобер, пытавшихся передать то, что они видели, — детская игра по сравнению с трудами Маркса, который сумел изобразить всю жизнь планеты в самых разнообразных и непрерывно меняющихся действиях и противодействиях. Нужна нечеловеческая

сила мысли, чтобы так глубоко осознать действительность, и не менее редкое искусство, чтобы передать то, что он рассмотрел, и сказать об этом так, как это сумел сделать он».

Подле Маркса нельзя было оставаться умственно бездеятельным и равнодушным. Он всех вокруг себя заставлял мыслить, мечтать. Каждый час жизни неизменно, год за годом, наполнялся для него и окружающих его близких чем-то еще неведомым, новым, значительным, обогащающим. Всем, кто общался с Марксом, как и ему самому, не хватало времени, так широки были запросы. В Модена-вилла стекались идеи, интересы, беспокойство всего мира. Слово «скука» здесь забывалось навсегда.

В немногие свободные часы Маркс наслаждался беллетристикой. Превыше всех романистов любил он Сервантеса и Бальзака. Особенно восхитил его мудро-проникновенный, пронический «Неведомый шедевр» Бальзака. Было нечто схожее и близкое в сложной и вечно ищущей душе Маркса с героем повести, гениальным живописцем, которого преследовало желание до мельчайших штрихов воспроизвести то, что жило в нем; из-за этого он без конца дорисовывал, подчищал свою картину, покуда на полотне ничего не осталось.

«Бедняга художник. В поисках совершенства он погубил свое творение. Когда следует остановиться и поставить точку? Лучшее — враг хорошего. Я понимаю душу героя Бальзака, никогда не довольствующегося тем, что он уже сделал».

Действительно, Маркс постоянно вносил в рукописи все новые и новые изменения, дополнял или перечеркивал написанное и горестно утверждал, что изложение его не до конца выражает задуманное, не доносит его мыслей. Самым беспощадным и суровым критиком Маркса был он сам. Энгельс часто осуждал друга за его чрезмерную придирчивость к своему творчеству.

Чтобы написать около двадцати страниц об английском рабочем законодательстве, Маркс изучил целую библиотеку «Синих книг», в которых были опубликованы доклады следственных комиссий и фабричных инспекторов Англии и Шотландии. Поля этих книг от начала до конца исписаны его карандашом. Не раз он с глубоким почтением говорил о добросовестности людей, которые писали эти отчеты;

— Вряд ли возможно в других странах Европы найти таких же компетентных, беспристрастных и решительных людей, как английские фабричные инспектора.

В знак признательности он воздал дань их заслугам в предисловии к «Капиталу».

Жизнь молодежи в Модена-вилла была наполнена разнообразными делами и развлечениями, но с той поры, как Лина Шелер, а затем и проницательная Лейхен обнаружили любовь Лафарга к Лауре, атмосфера в доме стала напряженной. Только Маркс еще не замечал ожидания перемен в его семье да Женни-старшая посмеивалась над возникшим беспокойством.

— Право, не стоит придавать серьезного значения увлечениям молодежи. Это вспышки молнии, которые быстро гаснут на небосводе, — сказала она Лине Шелер, когда та рассказала ей о своих наблюдениях. — Лаура несколько избалована успехом, капризна и самолюбива. Может быть, девочка защищается холодностью от возможных разочарований. Она очень боится любви, считая ее слабостью.

— И, однако, я убеждена, что скоро она сделает тебя бабушкой премилых негритят, — настаивала Лина.

— Это было бы хорошо, — улыбнулась Женни. Она сидела у окна с томом Шекспира в руках. В часы досуга ей никогда не надоедало перечитывать любимые драмы.

— «Кориолан»? — спросила Лина Шелер, усаживаясь с начатым рукодельем подле подруги.

— Да, судьба этого отважного воина меня неизменно волнует. Сколь трогательно любил герой свою мать Волумнию, такую же гордую, как и он. Помнишь слова этой римляпки: «Я меньше ликовала, когда узнала, что родила мальчика, нежели тогда, когда в первый раз услыхала, что он проявил себя храбрецом». Когда же Волумния ослабела в борьбе с невзгодами, Кориолан напоминает ей, как сама она воспитывала в нем мужество. Вот послушай этот замечательный монолог:

Мать, куда девалась
Твоя былая бодрость? Говорила,
Бывало, ты, что крайняя беда
Бывает испытаньем силы духа,
А заурядным людям по плечу

Переносить беду простую только,—
Ведь по морю в спокойную погоду
Нетрудно плыть любому кораблю,
И только тот, кто бодро переносит
Тягчайшие судьбы удары, этим
Выказывает благородство духа,
И ты тем правилам меня учила,
Что делают непобедимой душу,
Проникшуюся ими.

В дверь постучали, и в комнату вошел Поль Лафарг Он искал Лауру и был необычно взволнован.

— В этом доме, — сказал он, стараясь скрыть свое разочарование, что не нашел Лауру, — все без исключения пылко любят Шекспира. Я не могу сказать этого о себе, вероятно, потому, что мало сравнительно его знаю.

— Что ж, вам можно позавидовать. Откройте для себя скорей чудесный мир, населенный подчас неповторимыми, но всегда живыми людьми. Вряд ли на свете существовал когда-нибудь еще один такой сердцевед и мудрец, как гений из Стратфорда-на-Эвоне.

— Полю, конечно, более всего по душе Ромео,— улыбнулась Лина Шелер. Ее маленькое желтое личико при этом сморщилось и напомнило Лафаргу мятую кожуру земляного ореха. — Лишь бы не Отелло, — подала молодого студента неугомонная старая дева.

Поль засмеялся низким, басовитым смехом и, извинившись, вышел. Были уже сумерки. Ленхен прошла мимо него по лестнице с зажженной керосиновой лампой в кабинет Маркса. В маленькой гостиной на первом этаже Лафарг увидел Женнихен. Она сидела за бюро и старательно вклеивала в «Книгу признаний» овальные фотографии авторов ответов.

— Вы ищете Лауру? Она сейчас придет сюда, — сказала девушка, не оборачиваясь.

Женнихен осторожно прикрепила головку Элеоноры над ее «Исповедью», а ножки в черных ботиночках приклеила внизу посредине листка у подписи. Полюбовавшись своей работой, она заговорила с Полем:

— Хотите, я прочту вам признания нашего Вики? Это уникальный документ.

— Конечно, мисс Женни. Предвижу, как это должно быть забавно.

— Не имея портрета почтенного пса, я вынуждена была воспользоваться переводной картинкой. Не прида

ли, похож? — Женни показала смешную лохматую собачью голову.

— Сходство с мистером Виски полное, — серьезно подтвердил Поль.

— И я нахожу это. Итак, внимание.

Женни начала громко читать:

— «Вопрос. Достоинство, которое вы цените больше всего в людях?

Ответ. Лаять на нищих.

...у мужчин?

— Сварливость.

...у женщин?

— Задиристость.

Ваша отличительная черта?

— Постоянное чувство голода».

Поль весело рассмеялся.

— Вы, однако, проникли в самую сущность собачьей психологии.

— «Ваше любимое занятие?» Знаете, что пишут мне Виски в ответ на этот вопрос? «Грызть кости».

«Ваше представление о счастье?

— Послеобеденная прогулка.

...о несчастье?

— Быть окунаемым в воду.

Ваш любимый герой?

— Пес Одиссея.

...героиня?

— Подыскивается.

Ваш любимый прозаик?»

— Конечно, Бюффон, — подсказал Лафарг.

— «Ваше житейское правило?

— Ешь и веселись.

Девиз?

— Если стеснять себя, то удовольствие невозможно».

— Ну, знаете, мисс Женни, вы мастерски воспроизвели не только четвероногого, но и двуногого эгоиста, — сказал Лафарг, еще раз перечитав признания Виски и вдоволь посмеявшись.

— Но у Виски такая добрая душа. Жаль, если его ответы не отразили этого, — попутила Женнихен.

В комнату вошла Лаура. Свет зажженной на столе лампы упал на ее темно-красное шерстяное платье и узенькие черные туфли, выглядывавшие из-под пышной,

отделанной тесьмой юбки. Лицо девушки оставалось в тени.

— Наша Ди все еще увлечена своей книжкой признаний. Она поставила себе целью познать всех встречающихся на ее пути людей с помощью нескольких вопросов и ответов. Как было бы хорошо, если б люди узнавались столь просто. Увы, игра остается игрой, шуткой, — сказала Лаура. — Исповедовались ли вы уже, Поль?

— Нет еще. Если вы позволите, я сначала разожгу камин. В мое представление о несчастье всегда включался холод. Я чертовски не люблю мерзнуть.

— Вам следовало бы вернуться на родной остров Кубу. Он кажется мне одним из блаженных островов Кампанеллы, прекрасным, как мифическая Эллада.

Женнихен вышла, сославшись на необходимость переписать кое-что для отца. Обернувшись в дверях, она напомнила Лафаргу:

— Не забудьте ответить на вопросы. Книга на столе.

Когда огонь в камине запылал, Поль подошел к столу, за которым сидела Лаура. В комнате было очень тихо. Никто не прерывал молчания. Поль пододвинул книгу признаний и принялся писать.

— Вот как, ваша отличительная черта — опрометчивость, — заметила Лаура, читая ответы молодого человека. — А почему вы скрываете имя любимой героини?

— Я не могу ее назвать. Имена, которые мне больше всего нравятся, — это Лора и Маргарита. Если вы любопытствуете узнать мой любимый цвет глаз, то он... — Поль посмотрел как-то особенно на Лауру, — ...с золотистым отливом. Но я умолкаю, так как мой девиз «Прежде чем говорить, поверни язык семь раз во рту». Пусть за меня сегодня говорит Петрарка.

Мне хочется тебе, Сенпуччо мой,
Сказать о том, какую жизнь веду я.
Я тот, что был: любя, томясь, тоскуя,
Горю Лаурой, верен ей одной.
Вот лик ее...

Поль остановился и коснулся руки девушки.

То гордый, то простой,
То строг, то благ, то хмурясь, то ликуя,
То сдержанность, то шалость знаменуя,
Он — ласковый, иль гневный, иль немой;
Вот запоет она; вот сдержит шаг;

Вот сядет медленно; вот обернется;
Вот чудным взором мне взволнует кровь;
Вот скажет что-нибудь; вот улыбнется;
Вот побледнеет...

Поль встал. Глаза его жгли.

— Я люблю тебя, Лора, и ты, я знаю, ответишь мне тем же, — внезапно переходя с рифм на прозу, закончил Поль и поцеловал девушку. — Ты будешь моей женой.

— Я не уверена, что достаточно люблю тебя, — попыталась протестовать Лаура, — но, кажется, ты убедил меня в том, что кто горит, тот зажигает, — добавила она, не отнимая руки, которую горячо целовал Лафарг.

В тот же вечер молодые люди сообщили родным о своем решении обвенчаться. Наконец-то Лаура, столько раз отвергавшая брачные предложения и считавшаяся поэтому в семье безнадежно, нерастопляемо ледяной, полюбила.

Не скрывая своей радости, Маркс сказал, добродушно щуря глаза и смеясь:

— А я-то думал, что это ради меня, старика, наш мулат так часто сиживал допоздна на Мейтленд-парк. Не тут-то было, он, оказывается, давно уже присмотрел в Модена-вилла кой-кого помоложе. Впрочем, будь я в его возрасте, то поступил бы, верно, точно так же.

Однако свадьбу решено было отложить до той поры, когда жених закончит свое образование и получит диплом врача.

— Недолго еще быть замужем, а вот в невестах походить — это короткая радость, — назидательно сказала Елена Демут и почему-то всплакнула.

— А знаете ли вы, какая отличительная черта нашего диктатора Лепхен? — объявила Тусси. — Она сама написала об этом в своей исповеди: «Любовь к молодым Марксам».

Международное Товарищество полностью завладело Марксом. Он часто выступал перед рабочими по самым разнообразным злободневным вопросам. На празднестве, устроенном поляками-изгнанниками вместе с Интернационалом, Маркс произнес речь, в которой заявил, что без независимости Польши не может быть свободной Европы. Споря с теми, кто недооценивал значение Польши, Маркс указал, что отмена крепостного права еще

более укрепила царизм и Россия, как и прежде, остается оплотом европейской реакции, всех привилегированных классов против социальной революции. Независимая Польша послужит предварительным условием «социального преобразования» Европы.

В середине ноября 1866 года первая часть рукописи «Капитала» была отправлена в Гамбург Отто Мейснеру, издателю демократической литературы, который до этого напечатал брошюру Энгельса, направленную против лассальянцев.

Весной Маркс решил сам отвезти остальную часть книги в Гамбург к издателю Мейснеру и в ожидании первых корректурных листов посетить в Ганновере своего последователя и многолетнего корреспондента врача Людвига Кугельмана.

Как только весть о предполагаемом отъезде Маркса на континент дошла до Германии, одна из ганноверских газет сообщила, что глава Интернационала собирается уехать с острова, чтобы подготовить восстание в Польше. Через Кугельмана Маркс вынужден был опровергнуть эту ложь там же, где ее распространили. Заявление Маркса было напечатано в «Газете для Северной Германии» в конце февраля.

Накануне отъезда Маркс выкупил из ломбарда свое пальто и часы.

Маркс уезжал в приподнятом, отличном настроении. В эти дни Интернационал одержал большую победу. Бастующим парижским рабочим бронзового производства с помощью вмешательства Международного Товарищества удалось получить существенную денежную поддержку от английских тред-юнионов. Узнав об этом, хозяева предприятий тотчас пошли на уступки. Случай этот, столь необычный, наделал немало шуму в французской прессе и значительно поднял престиж Интернационала.

Морской переезд из Англии на континент оказался очень трудным, так как пароход попал в опасный шторм. Маркс, однако, хорошо переносил качку и чувствовал себя превосходно среди немногих пассажиров, избежавших морской болезни. Добравшись до Гамбурга, он послал Энгельсу веселое шуточное письмо:

«Путешествие было бы в конце концов отравлено видом всех этих страдающих морской болезнью и осл-

бевших типов, если бы некоторое ядро не держалось стойко. То было очень «смешанное» ядро, а именно: немецкий капитан корабля, очень похожий на тебя лицом, но маленького роста; в нем было также много твоего юмора и то же добродушно-фривольное подмигиванье; лондонский скотопромышленник, настоящий Джон Буль; ...немец из Техаса и — это главная персона — немец, который уже 15 лет разъезжает по восточной части Перу, в местности, лишь недавно отмеченной на географической карте, где, между прочим, еще неправно едят человеческое мясо. Это — сумасбродный, энергичный и веселый малый. У него при себе была очень ценная коллекция каменных топоров и т. п., которые заслуживали того, чтобы быть найденными в «пещерах». И — в виде приложения — одна особа женского пола (все остальные дамы, страдая от морской болезни и рвоты, находились в дамской каюте), старая беззубая кляча с приятным ганноверским выговором, дочь какого-то допотопного ганноверского министра, по фамилии фон Бэр или что-то в этом роде; теперь она уже давно исправительница рода человеческого, пиетистка, пекущаяся о положении рабочих... В четверг вечером, когда буря особенно неистовствовала, так что все столы и стулья танцевали, мы кутили в небольшой компании, в то время как старая кляча лежала на диване, откуда толчки парохода время от времени сбрасывали ее на пол, в середину каюты, очевидно, чтобы ее немного развлечь... Наш немецкий дикарь со смехом рассказывал о... свинствах дикарей... Образчик: его принимают в качестве гостя в индейской хижине, где как раз в этот день женщина разрешилась от бремени. Послед приготовляется в виде жаркого, и ему — это высшее выражение гостеприимства — дают отведать этого лакомства!»

Энгельс немало веселился, перечитывая письмо друга.

Повидав своего издателя и договорившись с ним о выпуске книги, Маркс отправился в Ганновер.

Людвиг Кугельман как врач пользовался хорошей репутацией в своем городе, имел нарядную практику и жил вполне зажиточно. Еще будучи студентом, он прочитал книги Маркса и написал ему восторженное письмо. Между ним и лондонским изгнанником началась переписка, длившаяся несколько лет до их очного знакомства.

Кугельман писал Марксу по условному адресу, назначенному А. Ульямсом, чтобы письма избежали цензуры. Он неоднократно приглашал творца глубоко чтимого им ученния к себе, но только в 1867 году желание его наконец сбылось.

Известие о приезде дорогого гостя вызвало в семье врача великую сумятицу. Молодая, миловидная жена Кугельмана, Гертруда, уроженка, как и Маркс, Рейнланд, страшилась показаться невежественной столь выдающемуся человеку. Ее восьмилетняя, не по годам развитая, наблюдательная дочь Франциска слышала, как отец, успокаивая оробевшую мать, предсказывал, что никогда ни с одним человеком не будет она чувствовать себя так непринужденно и приятно, как в обществе Маркса. Так оно и случилось. Вместо ожидаемого чопорного и важного господина в гостиную вошел элегантно одетый, приветливо улыбающийся человек, который после нескольких минут уже казался всем, впервые его увидевшим, давно знакомым. Для каждого нашел он доброе слово. Госпоже Кугельман особенно понравился мягкий, рейнский говор, раскатистый смех Маркса и то, как, улыбаясь, он щурил заметно близорукие глаза.

Маркс не мог не оценить сердечности и стремления всех членов семьи Кугельмана сделать его пребывание в их доме особо приятным. Здоровье его улучшалось с каждым днем. Он позабыл на время о болезнях и радовался, что был снова на родной земле.

В свободные, обычно ранние часы, за чашкой кофе, приготовленной с завидной старательностью и уменьем госпожой Кугельман, которую за благовоспитанность и изящные манеры Маркс тут же в шутку прозвал графиней, велись нескончаемые разговоры. Беседа всегда бывала очень занимательной, Маркс говорил просто, никогда не впадая в поучительный тон. Беспощаден он был, лишь когда высмеивал всякую преувеличенную чувствительность и слащавость в ком бы то ни было. Он тотчас же схватывал фальшивую ноту, напыщенность в поведении или словах. Тогда, саркастически улыбаясь, цитировал он стихи Гейне:

Раз барышня стояла
Над морем в поздний час
И горестно вздыхала,
Что солнца луч погас.

Гортруда Кугельман интересовалась философией, и Маркс терпеливо, в самой доступной форме, объяснял ей, в чем особенности и различия взглядов Фихте и Шеллингауера. Нередко приводил он примеры из Гегеля.

— Увы, — заметила как-то Гертруда со вздохом, — я никак не могу понять учения этого великого немецкого философа.

Желая ее ободрить, Маркс, улыбнувшись, сказал полушутя:

— Пусть это вас не смущает. По словам самого Гегеля, ни один из его учеников не понял его, кроме Розенкранца, да и тот понял неправильно.

С Людвигом Кугельманом у Маркса установились приятельские отношения. Он прозвал неустанно восхищавшегося им врача в шутку Венцелем и затем всегда так к нему и обращался. Прозвище это произошло вследствие забавного рассказа самого Кугельмана о его путешествии в Прагу, где гид поведал ему о добром и злом Венцелях — двух чешских правителях. Один царь Венцель творил множество злодеяний, другой, с тем же именем, немало добра. С тех пор, в зависимости от высказываний Кугельмана, Маркс называл его либо хорошим, либо нехорошим Венцелем.

Обычно до обеда Маркс оставался один в кабинете, который, помимо спальни, был предоставлен ему в доме друзей. Он писал письма, читал газеты и правил корректуру первого тома «Капитала».

На письменном столе возвышался чернильный прибор, украшенный статуэткой Минервы. Богиня держала в руке филина — символ мудрости. Это дало повод Марксу прозвать маленькую дочь Кугельмана, Франциску, которая полюбилась ему своим пытливым, быстро схватывающим все услышанное, не по-детски глубоким умом, Совушкой.

По утрам, осторожно постучавшись в дверь и сделав церемонный книксен, немного стесняясь, Совушка подходила к большому креслу. Карл подхватывал ее и усаживал на колени, и скоро из кабинета доносился детский смех и веселый говор. Восьмилетняя Франциска пылко привязалась к грозному, по мнению врагов, и сердечнейшему для друзей вождю пролетариата из месяца в месяц

В мирные, радостные дни пребывания в Ганновере Маркс отметил и на давно полученное письмо своего единомышленника, горного инженера, немца Зигфрида Мейера, поселившегося в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке.

Письма нередко отражают душу того, кто их пишет, тайное тайных сердца. Маркс писал:

«Вы, должно быть, очень плохого мнения обо мне и будете еще худшего, если я Вам скажу, что Ваши письма не только доставляли мне *большую радость*, но и были для меня *настоящим утешением* на протяжении того очень мучительного периода, когда они приходили ко мне. Сознание, что я привлек к нашей партии ценного человека, стоящего на высоте ее принципов, вознаграждает меня даже за самое худшее. К тому же Ваши письма были полны самых дружеских чувств по отношению ко мне лично, а Вы понимаете, что, ведя жесточайшую борьбу с (официальным) миром, я менее всего способен недооценивать это.

Итак, почему же я Вам не отвечал? Потому, что я все время находился на краю могилы. Я должен был поэтому использовать *каждый* момент, когда я бывал работоспособен, чтобы закончить свое сочинение, которому я принес в жертву здоровье, счастье жизни и семью. Надеюсь, что этого объяснения достаточно. Я смеюсь над так называемыми «практичными» людьми и их премудростью. Если хочешь быть скотом, можно, конечно, повернуться спиной к мукам человечества и заботиться о своей собственной шкуре. Но я считал бы себя поистине *непрактичным*, если бы подох, не закончив полностью своей книги, хотя бы только в рукописи.

Первый том этого труда появится через несколько недель в издании *Отто Мейснера* в Гамбурге. Заглавие сочинения таково: *«Капитал. Критика политической экономии»*.

В этот же период Бисмарк снова прислал к Марксу одного из своих приближенных, в этот раз не Бухера, а юриста Варнебольда. Глава прусского правительства хотел бы использовать доктора Карла Маркса и его большие таланты на благо немецкого народа. Карл тотчас же сообщил об этом Энгельсу и вскоре получил ответ.

«Я так и думал, — писал ему друг, — что Бисмарк постучится к тебе, хотя и не ожидал, что он так поспешит. Характерно для образа мыслей и кругозора этого субъекта, что он мерит всех людей на свою мерку. Буржуазия может, конечно, восхищаться современными великими людьми, она видит в них свое отражение. Все качества, при помощи которых Бонапарт и Бисмарк достигали успеха, это качества коммерсанта: преследование определенной цели путем выжидания и экспериментирования, пока не подвернется благоприятный момент, дипломатия постоянно открытой задней двери, умение торговаться и выторговывать, молча сносить пощечины, когда это требуется в интересах дела, заверения «не будем мошенниками», словом, — коммерсанты во всем... Бисмарк думает: если я буду продолжать попытки сговориться с Марксом, в конце концов я все-таки улучу благоприятный момент, и тогда мы вместе обделаем дельце».

Снова Маркс без малейших колебаний отверг предложение Варнебольда, несшее ему богатство и положение в среде правящей буржуазии и помещиков, а главное, возвращение с семьей на родину.

И опять пошел, не оглядываясь, своим тернистым путем революционера, вождя рабочих.

Мир, согласие, веселье царили обычно в доме Кугельмана. Маркс, полный надежд на будущее, был душевно уравновешен. Только однажды в гостиной Людвига Кугельмана произошла тяжелая сцена, когда кто-то посмел неуважительно отозваться об Энгельсе и намекнуть, что тот, будучи столь состоятельным человеком, мог бы помогать Марксу больше. Карл вспылил, так как не терпел, если кто-либо осмеливался обижать дорогого ему человека. Дружба была в его глазах священным и великим чувством, соединявшим навсегда людей. Побледнев, он произнес четче, чем всегда, выговаривая каждый слог:

— Между Энгельсом и мной существуют такие близкие и задушевные отношения, что никто не вправе вмешиваться в них.

Дружба между Марксом и Энгельсом крепла из года в год. И по-прежнему, когда они бывали в разлуке, то постоянно переписывались друг с другом.

Отчитываясь во всем происходящем, Маркс писал Фридриху из Ганновера:

«Я надеюсь и твердо убежден, что через год мои денежные дела настолько поправятся, что смогу коренным образом улучшить свое экономическое положение и стать, наконец, снова на собственные ноги. Без тебя я никогда не мог бы довести до конца это сочинение, и — уверяю тебя — мою совесть постоянно, точно кошмар, давила мысль, что ты тратишь свои исключительные способности на занятия коммерцией и дашь им рикаветь главным образом из-за меня, да в придачу еще должен переживать вместе со мной все мои мелкие невзгоды. С другой стороны, нечего скрывать от себя, что мне предстоит еще один год испытаний. Но чего я боюсь больше всего... так это возвращения в Лондон... Долги там значительны... А затем снова домашние неприятности... беготня, вместо того чтобы со свежими силами и беспрепятственно приняться за работу.

Д-р Кугельман и его жена относятся ко мне самым любезным образом и исполняют малейшее мое желание. Это превосходные люди. Они, действительно, не оставляют мне времени для того, чтобы углубиться в «мрачные пути своего собственного зла».

В Ганновере, как всегда и всюду, Маркс жадно вглядывался во все происходящее вокруг него. Очень скоро он убедился, что прусские превительственные чиновники хозяйничали и тиранили народ с чисто средневековой азиатской жестокостью. Не имея, однако, достаточной власти, чтобы по своему расчету и произволу переместить население из непрусских в прусские провинции, они попытались сделать это с мелкими служащими. Даже местных почтальонов под угрозой увольнения отправляли в центральные округа. Множество гессенцев, ганноверцев эмигрировали в Соединенные Штаты. Они бежали кто от налогов, кто от тягот воинской повинности и невыносимых политических условий, от режима сабли и постоянно угрожающей военной бури.

Маркс интересовался также положением немецкой промышленности. Вместе со знакомым директором акционерного литейного завода он обошел как-то все цехи этого производства и нашел там немало современных машин. Но при изготовлении деталей применялась еще ручная обточка, чего не было уже давно на заводах англичан и шотландцев.

Время пребывания в Ганновере промчалось быстро. Сердечно простившись с «добрым и злым Венцелем», с «графиней» и Френцхен, Маркс вернулся в Лондон.

В типографии Виганда в Лейпциге, куда было перенесено издание книги, в это время заканчивали печатать «Капитал».

Шестнадцатого августа 1867 года, в 2 часа ночи, Маркс написал Энгельсу:

«Дорогой Фред!

Только что закончил корректуру *последнего* (49-го) *листа* книги. Приложение о *формах стоимости, напечатанное мелким шрифтом,* занимает 1 ½ листа.

Предисловие тоже прокорректировал и вчера отослал. Итак, *этот том готов.* Только *тебе* обязан я тем, что это стало возможным! Без твоего самопожертвования ради меня я ни за что не мог бы проделать всю огромную работу по трем томам. Обнимаю тебя, полный благодарности!

Прилагаю два чистых листа.

Пятнадцать фунтов стерлингов получил, большое спасибо.

Привет, мой дорогой, верный друг!»

Запечатав письмо, Маркс встал из-за стола. Он как бы мысленно вглядывался, вслушивался в самого себя. С удивлением заметил он, что не испытывает радости, которая, казалось бы, должна сопровождать окончание столь трудного творческого пути. «Я будто колос после обмолота», — подшутил он над собой. Были только усталость и неясное беспокойство. Достаточно ли отработана книга, каково ее будущее? Маркс курил, медленно прохаживаясь по комнате. Почти четверть века жизни вобрало в себя это его детище. Время в его воображении как бы повернуло свое течение вспять. Париж, первые месяцы счастливой близости с Женни на улице Вано. Тогда впервые вдвоем слушали они Девятую симфонию Бетховена. Маркс вспомнил мелодию финала, шиллеровские слова, переложенные на музыку. От страдания к радости! Незаметно для себя Карл начал тихонько напевать мотив этой жизнеутверждающей симфонии. Ему показалось, что и кабинет ворвались извне ее могучие звуки. Но вдруг они исчезли, и многоголосый хор поднял

вилась «Марсельеза». Карл увидел площадь близ парижской ратуши. Революционное шествие. Бланки на плечах демонстрантов, с глазами, горящими как факелы, двигался к нему навстречу. Праздники истории! Неповторимые дни опьяняющих надежд и счастья. Затем темная беззвездная ночь в Кёльне. Маркс один за столом над кипами исписанных и готовых к печати листов «Новой Рейнской газеты». Июньские дни. Кровавые рассветы. Поражение революции.

Маркс подошел к окну, раздвинул шторы. Чуть пробивался скучный темно-лиловый рассвет. Ему вспомнились две нищенские каморки на Дин-стрит. Смерть его четырех детей. Муш. Маленький веселый «полковник», умерший на отцовских руках. Ах, этот предсмертный взгляд ребенка, доверчивый, недоумевающий, казнящий, как пытка. Память поднимала со дна и раскладывала перед Карлом одну за другой картины его невеселого прошлого. Самая страшная из войн, война с нищетой, наполняла эти десятилетия его жизни. И всегда он видел себя поглощенным тем, что теперь было окончено. «Капитал»! Столько лет, что бы он ни делал, творчество звало, требовало. Днем и ночью он был его данником, и вот настала разлука. Книга уйдет в мир, навстречу людям, скрестится с их жизнью. Но никогда связь творца и творения не обрывается. Оно станет его глашатаем, той частью существа автора, которая останется жить.

Сбылись сроки. Первый том «Капитала» скоро увидит свет. Карл вспомнил всех, кого любил и кто не дожил до этого часа. Дорогой усопший друг Вильгельм Вольф. После его кончины Маркс собирался написать о нем книгу, но помешала работа над «Капиталом».

«Бедняга Лонгус, он так часто брюзжал, что я медлителен как черепаха и не устаю переделывать текст», — подумал Маркс. Подойдя к письменному столу, он с чувством благоговейной печали и любви написал на титульном листе рукописи:

«Посвящается
моему незабвенному другу,
смелому, верному, благородному,
передовому борцу пролетариата
ВИЛЬГЕЛЬМУ ВОЛЬФУ
Родился в Тарнау 21 июня 1809 года.
Умер в изгнании в Манчестере 9 мая 1864 года».

Подобно Прометею, предрекшему гибель всемогущему Зевсу, Маркс в главном труде жизни своей — «Капитале» — предсказал неизбежность гибели буржуазного общества. Он открыл закон развития капитализма и первый указал на пролетариат как силу, способную привести в исполнение приговор истории.

Вывод Маркса, что в обществе, так же как в природе, все вновь зародившееся диалектически меняется, крепнет, набирается сил, расцветает, вынашивает в себе зародыш нового строя, чтобы затем постепенно увянуть и погибнуть, уступив место окрепшим побегам, произвел переворот в понимании всемирной истории.

Каждый новый общественно-экономический уклад, появившись и достигнув своего предела, обречен на умирание и на замену его более совершенным видом. Первобытно общинный строй сменялся рабовладельческим, на смену феодализму пришел капитализм, и все это было связано с изменением и развитием способа производства.

Хаос и произвол, господствовавшие в понимании истории и политики, сменились благодаря историческому материализму цельной и стройной научной теорией.

Идеалистическая философия рассматривала историю общества как таинственные произвольные деяния отдельной личности, как следствие воли и желаний людей. Но действительность жестоко опровергает эти представления. Развитие человечества идет по законам, существующим и действующим независимо от воли людей. Человек может эти законы изучить, познать, учитывать в своих действиях, использовать в своих интересах, но он не может их отменить или изобрести новые.

Исторический материализм вооружил пролетариат знанием путей революционного преобразования общества. Материалистическое понимание истории привело к необходимости изучения не поступков отдельных личностей, а действия классов.

Движущей силой истории человечества — по учению Маркса — являются люди труда. Они играют главную роль в производственном процессе, они творцы всех богатств мира, необходимых для существования общества.

В зависимости от способа производства складываются и особенности строя, политических учреждений, образ

мыслей людей, их идеи, теории. Общественное бытие определяет общественное сознание.

Взгляды людей — политические, правовые, художественные, философские, религиозные — зависят от господствующих производственных отношений между людьми. Они коренным образом изменяются с изменением производственных отношений. Раз возникнув, общественный и политический уклад становится силой, воздействующей на условия, его породившие.

Другим важным открытием Маркса было выяснение отношений между капиталом и трудом. В буржуазном обществе, объяснил Маркс, рабочая сила продается так же, как и всякий товар. Однако живая сила рабочего в течение дня создает значительно больше, чем необходимо для того, чтобы покрыть издержки производства. В процессе труда рабочим создается прибавочная стоимость. Именно она составляет цель капиталистического производства, является основой капитализма.

Производство прибавочной стоимости, или наживы, говорил Маркс, — таков абсолютный закон капиталистического способа производства.

Именно прибавочная стоимость является источником всех доходов эксплуататорских классов: и прибыли промышленника, и торговой прибыли купца, и ссудного процента банкира, и ренты землевладельца.

Однако процесс присвоения капиталистом результатов прибавочного, или бесплатного, труда рабочего замаскирован заработной платой. Это дает возможность капиталисту утверждать, что сделка по покупке физической силы была честная и труд рабочего оплачен сполна.

Некогда рабовладелец отбирал у раба все и постепенно физически уничтожал его. Крепостной трудился на господина и лишь затем работал на своем клочке земли, чтобы прокормиться. Зависимость и угнетение были тогда ясно видимы. Теперь, в буржуазном обществе, угнетение хитро спрятано под кажущейся независимостью и свободой работника.

Буржуазное общество, при котором громадное большинство народа эксплуатируется незначительным меньшинством, было разоблачено Марксом без пощады.

Он достиг небывалых вершин научного познания и облек свое гениальное творение в прекрасную форму-

Его книга явилась научной поэмой, которая раскрыла до самых недр всю сущность современного капитализма для того, чтобы вынести ему суровый приговор и обосновать неизбежность появления нового общества. В «Капитале» исследуется буржуазное общество в его возникновении, развитии и упадке. Дни капитализма сочтены — таков пророческий вывод Маркса.

«Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

«Капитал» объединил все органически связанные между собой звенья в учении Карла Маркса: философию, политическую экономию и учение о социалистической революции. В этом произведении дано глубокое философское и экономическое обоснование пролетарского социализма, учения о всемирно-исторической миссии пролетариата, о социалистической революции, о диктатуре пролетариата.

Маркс превыше всего ставил практику, он всегда подчеркивал решающую роль деятельности, и прежде всего производственной деятельности, в жизни людей. «Общественная жизнь, — писал Маркс, — является по существу *практической*».

Маркс и Энгельс всегда боролись против принижения сил человеческого разума, выступали против тех ученых, которые проповедовали непознаваемость мира. Оба великих революционера, не щадя сил своих, работали над тем, чтобы открыть законы, движущие человеческое общество, внести свой вклад в дело познания мира.

В центр всех вопросов философии Маркс и Энгельс ставили практику, революционно-практическую деятельность людей, они создали новую, высшую форму материализма, вооружили пролетариат пониманием значения революционной борьбы, как единственного средства коренного изменения существующих общественных порядков. Слова Маркса — освобождение рабочего класса должно быть завоевано самим рабочим классом — стали основным принципом всей деятельности Интернационала.

«Капитал» был встречен коварным вражеским выпадом — полным молчанием.

Здоровье Карла ухудшилось, нищета стучалась в дверь. Снова грозило выселение из квартиры. Между тем приближалась свадьба Лауры и Поля Лафарга. Родителям хотелось одарить невесту. Необходимо было пригласить кой-кого из ее подруг и дать молодежи повеселиться. И это стало возможным только благодаря чуткости и заботам манчестерского друга и его самоотверженности. Энгельс все еще занимался ненавистной коммерцией, чтобы Маркс мог посвятить себя всецело их общему делу.

Будь Маркс одинок, он относился бы вполне равнодушно к материальным лишениям. Он весело рассмеялся, услышав однажды притчу о старике, который просил у судьбы всего одну лишнюю копеечку, и часто повторял, когда дома не было денег:

— И всегда, какой бы ни был достаток, людям не хватает малого, именно только одного лишнего гроша...

Но дети и Женни... Не случайно, отвечая в «Исповеди» на вопрос, что внушает ей антипатию, Женни написала: «Долги». Они преследовали семью Маркса на протяжении нескольких десятилетий, как рок, омрачали дни, подобно черному туману. Когда безденежье грозило здоровью и жизни близких, Маркс с трудом скрывал свои страдания и чувствовал себя как бы в чем-то виноватым. Но, не колеблясь, шел он к избранной цели. Порою мысли о том, следовало ли ему обзаводиться семьей, мучили его. И только Женни снимала с его души страшный гнет. Без ее любви и дружбы Фридриха Маркс не смог бы сделать того, к чему толкал и обязывал его природой данный гений.

Непреодолимые трудности вынудили Карла подумать о переезде в Женеву. Там жизнь была значительно дешевле. Но как мог он оставить Генеральный Совет Интернационала, расстаться с библиотекой Британского музея, из сокровищницы которой обильно черпал? Кроме того, Маркс стремился в Лондоне подготовить перевод «Капитала» с немецкого на английский язык, чтобы он стал доступен большему числу читателей.

Нелегко было Марксу. Особенно изнуряло хитрое замалчивание прессой его детища — «Капитала». Этот труд вобрал его знания, опыт, мысли, исследования, открытия нескольких десятилетий. В книге жила великая душа Маркса. Это был итог бытия гения, его подвиг.

«Молчание по поводу моей книги тревожит меня, — признавался он другу. — Я не получаю никаких сведений. Немцы — удивительные люди! Поистине, *их* заслуги в качестве прислужников англичан, французов и даже итальянцев в данной области дают им право игнорировать мою книгу. Наши люди там не умеют агитировать. Что ж, остается поступать, как поступают русские — ждать. Терпение — вот основа русской дипломатии и успехов. Но наш брат, который живет лишь один раз, может за это время и околеть».

Враждебный замысел врагов и невежд — скрыть «Капитал» — приносил большой вред всему рабочему движению. Маркс понимал, какое всесокрушающее оружие дал он своей книгой армии революционеров. Но книгу предумышленно, упорно и злобно замалчивали, а надо было объяснить, донести учение тем, кому оно предназначалось. Враги постоянно действенны. Заговор критики колол душу, как штык, требовал ответной атаки единомышленников. Энгельс первый понял, что далее ждать нельзя. Между Марксом и большинством человечества, которому он отдал себя всего с юных лет, встало коварное вражеское заграждение: влиятельные газеты принадлежали капиталистам. Энгельс решил сам пробить брешь.

Статьи о книге — то же, что ветер, разносящий семена, что всполох зарниц, освещающих небо из края в край. В битве друг не задается вопросом, следует ли ему броситься вперед, чтобы спасти друга, и никому не придет в голову осудить этот естественный порыв. Иное бывает в тихой заводи мещанской повседневности, где считается подчас неудобным вступиться за единомышленника, чтобы не подумали о сговоре. Когда цель велика и полезна людям, кому же, как не единомышленнику, прийти на помощь? И соратникам удалось напечатать во многих буржуазных газетах заметки о выходе книги, отзывы на нее. Они подготовили для журнала биографическую статью об авторе вместе с его портретом. Последнее, однако, не понравилось Марксу, он терпеть не мог того, что могло напоминать рекламу.

— Подобные вещи я считаю скорее вредными, чем полезными, и недостойными человека науки, — объявил он с неудовольствием. — Издатели Энциклопедического словаря Мейера уже давно писали мне и просили мою

биографию. А я не только не дал ее, но и на письмо не ответил».

Произведение Маркса было замечено, вскоре появились статьи о «Капитале».

Даже Арнольд Руге, многолетний идейный противник Маркса, не мог не признать, что книга *«делает эпоху»*, проливает яркий, нередко резкий свет на развитие, цель, родовые муки и страшные дни страданий общества в различные периоды. Объяснение *прибавочной стоимости* неоплаченным трудом, объяснение экспроприации рабочих, *которые* прежде работали на себя, и обоснование предстоящей экспроприации экспроприаторов — все это сделано классически.

...Маркс обладает обширной эрудицией и великолепным диалектическим талантом. Книга выходит за пределы кругозора многих людей и газетных писак, но она, несомненно, пробьет себе дорогу и, несмотря на широту исследования, даже как раз благодаря ему, окажет могучее воздействие».

Людвиг Фейербах был не менее захвачен титаническим размахом труда Маркса. Он заявил, что «книга изобилует интереснейшими, неоспоримыми, хотя и ужасными фактами». Почтительно и многословно писал о «Капитале» профессор Дюринг, считавшийся знатоком вопроса. Были и пренебрежительные высказывания. Старый поэт Фрейлиграт, которому Маркс подарил «Капитал», сообщал, что вынес много поучительного из чтения книги и знает о самом положительном отношении к ней купцов и фабрикантов на Рейне. Бывший редактор славной «Новой Рейнской газеты» увидел в «Капитале» только полезный источник знания и руководство для молодых коммерсантов.

...Второго сентября 1867 года в Лозанне собрался 2-й конгресс Интернационала.

В воззвании, которое Генеральный Совет издал за два месяца до конгресса, был дан обзор положения международного рабочего движения в третьем году существования Товарищества. В Европе, за исключением Швейцарии и Бельгии, секции не достигли многого. Зато Североамериканский союз в некоторых штатах завоевал для трудящихся восьмичасовой рабочий день. Это была

большая победа. Маркс на конгрессе быть не мог. Не переставал болеть, он продолжал работу над следующими томами «Капитала». Среди представителей от Генерального Совета находился его сподвижник Эккарпус. Съехалось около семидесяти человек. Преобладали делегаты романских стран: французы, итальянцы, бельгийцы.

Конгресс утвердил пребывание Генерального Совета в Лондоне, что было очень важно для Маркса и Энгельса, установил обязательный годовой взнос в 10 сантимов для каждого члена Интернационала и подтвердил, что борьба за социальное освобождение рабочего класса неразрывно переплетена с его политической деятельностью. Завоевание политической свободы для рабочих является первейшей необходимостью.

Вместе с третьим годом существования Интернационала закончилась пора его спокойного развития.

После окончания конгресса Женни Маркс сообщила в Женеву соратнику — щеточнику Иоганну Филиппу Беккеру:

«Вы не поверите, какую огромную сенсацию во всей прессе вызвал здесь Лозаннский конгресс. После того как газета «Таймс» задала тон, ежедневно печатая корреспонденции о конгрессе, другие газеты также стали посвящать рабочему вопросу не только заметки, но даже длинные передовые статьи, не считая более, что это ниже их достоинства. О конгрессе писали не только все ежедневные газеты, но и все еженедельники».

В этом же письме жена Маркса поделилась своими размышлениями о вышедшем из печати «Капитале».

«Если Вы уже приобрели книгу Карла Маркса, то советую Вам, в случае, если Вы еще не пробились, как я, через диалектические тонкости первых глав, прочитать сначала главы, посвященные первоначальному накоплению капитала и современной теории колонизации. Я убеждена, что Вы, как и я, получите от этих глав огромнейшее удовлетворение. Разумеется, Маркс не имеет для лечения зияющих кровоточащих ран нашего общества никаких готовых специфических лекарств, о которых так громко вопит буржуазный мир, именующий теперь себя также социалистическим, никаких пилюль, малей или корпий;

но мне кажется, что из естественноисторического процесса возникновения современного общества он вывел практические результаты и способы их использования, не останавливаясь перед самыми смелыми выводами, и что это было совсем не простым делом — с помощью статистических данных и диалектического метода подвести изумленного филистера к головокружительным высотам следующих положений: «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества... Многие не помнящие родства капиталы, функционирующие в Соединенных Штатах, представляют собой лишь вчера капитализированную в Англии кровь детей... Если деньги... «рождаются на свет с кровавым пятном на одной щеке», то новорожденный капитал источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят... Бьет час капиталистической частной собственности...» и до конца.

Должна сказать откровенно, что этот изумительный по своей простоте пафос захватил меня, и история стала мне ясной как солнечный свет».

Прекрасна скромная Ирландия, зеленая, холмистая страна с неоглядными розово-лиловыми от вереска и цветущей мяты лугами, светлыми неторопливыми реками и густыми перелесками. Народ, живущий на острове, храбр, умен, мечтателен и музыкален. Арфа — национальный инструмент, и под ее нежный, как колыхание тростника над заводью, аккомпанемент издавна барды декламировали поэмы. Странствующие поэты, сказочники, импровизаторы настойчиво призывали ирландцев к борьбе с поработителями. В XVII веке Стюарты, затем Кромвель и Вильгельм III закабалили поэтическую мирную «страну картофельной кожуры», и с тех пор протяжные чистые звуки арф славили в эпическом стихе борцов за освобождение. Безымянных певцов жестоко преследовали англичане, и арфа все чаще печалилась о бедствиях страны фенициев, как в незапамятные времена назывались жители острова Эйрин. Согнанный с пашен колонизаторами народ покидал тихий остров, и свыше трех миллионов людей в начале второй половины века нашло прибежище в других странах. Больше всего изгнанников переселилось за океан, в Соединенные Штаты.

Лиззи Бёрнс, вторая жена Энгельса, принимала деятельное участие в движении за освобождение своей родины, начатом революционерами, назвавшими себя фенниями в память вольных обитателей острова. От нее дочери Маркса впервые услыхали песни и легенды древней морской страны. Лиззи, на редкость благожелательная к людям, отзывчивая, правдивая, скромная и справедливая, научила их любить ее родину и тех, кто боролся с колонизаторами.

Первые объединения фениев появились в конце пятидесятых годов в Америке среди ирландских переселенцев. Затем их тайные кружки возникли в самой Ирландии. Была создана единая организация «Ирландское революционное республиканское братство». Она состояла из интеллигентов, крестьян и рабочих. Программа фениев была проста — борьба против колониального гнета англичан и массового сгона ирландских арендаторов с родных земель новыми чужеземными помещиками. Фении требовали независимости Ирландии, провозглашения республики и передачи земли в собственность тем, кто ее обрабатывал и платил неимоверно большую арендную плату англичанам-землевладельцам.

Энгельс, отлично знавший историю соседнего с Великобританией острова, ознакомил с ней всех обитателей Модена-вилла.

Ирландцам присущ особый, своеобразный юмор, острый, помогающий жить, всегда бодрый, вызывающий радостный смех. Он свойствен только очень гибким, наблюдательным умам. Как нож — ирония может быть убийственна, а может быть целительной и удалять вредные наросты. Шутка ирландцев — следствие подчас завидной проницательности — обычно человеколюбива и не начинена ядом. Лиззи Бёрнс обладала чисто ирландским юмором, который очень нравился всем, кто ее знал.

Несколько излишне полная, круглолицая, с задорным маленьким носом, Лиззи никогда не унывала и заражала окружающих своим оптимизмом.

Вся семья Маркса сочувствовала фениям и всячески подчеркивала свои симпатии к порабощенному ирландскому народу, столь щедро одаренному в поэзии, литературе и музыке. Лиззи Бёрнс и Лаура часто пели дуэтом ирландские народные песни, мелодичные и остроумные. Обычно Женнихен носила подаренный ей повстанческий

крест в память польского восстания 1863 года на пер... ленте, но после казни в Манчестере ирландских р... люционеров облачилась в траур и стала носить беспре... революционную реликвию на ленте зеленого, национ... ного цвета Ирландии. Женщины в семье Маркса как... зов англичанам носили в эту пору зеленые платья.

События в Ирландии захватили и Маркса. Несмо... на непрекращающиеся мучительные карбункулы, он с... гласился выступить в Лондонском просветительном об... стве немецких рабочих с докладом об Ирландии.

Маркс был непревзойденным оратором. Своим вос... певлением и силой убеждения он привлекал к себе с... шателей, разных по уровню развития, и был понят... каждому. Он без особого труда разоружал противников и завоевывал союзников. Глубина его знаний и ясность мышления служили надежным арсеналом, и он оставался непобедимым в любой схватке, покоряя сердца людей. Он был также увлекательным педагогом, одинаково убедительным для неграмотного пастушка, бунтующего студента или самонадеянного профессора.

Говоря об Ирландии, Маркс поведал слушателям о тех бедствиях, которые она испытывала, сделавшись английской колонией.

Земледельческое население, говорил Маркс, питалось только картофелем и водой, так как пшеница и мясо отправлялись в Англию. Вместе с продуктами и рентой из страны вывозились также удобрения, земля была истощена. Часто в той или иной местности возникала картофельная болезнь и в 1846 году привела к всеобщему голоду. Миллион человек умерли с голоду. Картофельная болезнь была следствием истощения почвы, результатом английского владычества. Высокие цены на мясо и скотоводство еще остававшихся мелких земледельцев способствовали сгону крестьян с участков и превращению их земель в пастбища для овец. Свыше миллиона ста тысяч человек были вытеснены 9 600 000 овец. Только при голодах в Китае когда-то обсуждался вопрос об уничтожении городов, чтобы очистить место для овец.

Ирландский вопрос являлся поэтому не просто национальной проблемой, а вопросом о земле, вопросом о существовании, жизни или смерти для огромного большинства ирландского народа.

Сообщая Энгельсу различные подробности о своем выступлении, Маркс не мог удержаться от шутки по поводу карбункулов, мешавших ему сидеть: «Вчера я прочел в нашем Обществе немецких рабочих (по там были представлены еще три других немецких рабочих общества, всего около ста человек) полуторачасовой доклад об Ирландии, так как «стоячее» положение теперь для меня самое легкое».

«Снегопад — щедрый живописец. Он постоянно меняет облик города. Зимой даже нескладная полуазиатская Москва красива и нарядна», — думал управляющий Гербургского кожевенного завода немец Иосиф Дицген, прибывший по делам во вторую столицу Российской империи. Он ехал в больших санях по широкой Воздвиженке. Рядом с ним сидел высокий, сутулый, узкоплечий студент Петр Иванович Николаини, молодой человек с грустными глазами и насмешливым, чуть искривленным ртом. Он родился и вырос в Москве, но вот уже несколько лет проживал в Санкт-Петербурге, где и познакомился с Дицгеном, которому давал уроки русского языка.

Немец жадно разглядывал незнакомый ему город.

— Колоссальное впечатление, — сказал он, когда сани въехали на Красную площадь, и добавил, подумав: — Восточный город Москва.

Белые ворсистые снежные заплаты скрывали ветхость невысоких домов, убогость ржавых заборов, сгладили бугристую поверхность дурных мостовых.

Широко раскинутый барский город косых переулков и тупиков, похожих на пустыри площадей казался огромным имением, вокруг которого приютились крепостные деревеньки — окраины.

Дицген и Николаини остановились в гостинице Самарина, славившейся кухней, неповторимыми расстегаями с рыбной сочной начинкой. Из окна номера, занятого немцем, открывался красивый внушительный вид на кремлевские башни и стены.

В один из первых вечеров пребывания в Москве Дицген был приглашен на вечер к крупному заводчику, где его представили влиятельнейшему из московской,

господину Каткову, редактору «Московских ведомостей», о котором он слышал от Николашина как о жестоком реакционере и рьяном приспужнике царизма. За ужином Катков произнес речь:

— Социализм, господа, с его ужасными бедствиями — язва, которой благородное общество заразилось от соприкосновения с народом. Мужики наши и через несколько столетий будут так же темны, как и сегодня, — это, господа, у них врожденное.

— Кость черная, — поддакнул кто-то.

— Наше дело не допустить социальной анархии. Мы, господа, рождены для великой миссии. Призываю вас к крестовому походу на нигилизм и социализм. Нет такой мерзости, которая не могла бы взойти на их нивах. Но они обречены. Их цель лишена положительного начала и организующей силы.

Дицген был поражен тем, насколько схожи язык и мысли реакционеров во всем мире. Он просил Николашина рассказать ему поподробнее о лидере московских мракобесов.

Свой день Михаил Никифорович Катков обычно начинал с посещения парикмахерской на Тверской, где господствовал элегантнейший француз Жюль. Никто лучше его не знал причуд и слабостей, свойственных влиятельным персонам второй столицы. Сам губернатор и полицмейстер доверяли ему свои бакенбарды и прически. В дни осады Севастополя Жюль знал все перипетии Крымской войны и передавал последние новости своим клиентам задолго до сообщения газет. За добрую взятку юркий цирюльник мог добыть местечко в канцелярии его превосходительства и составить протекцию в салоне какой-нибудь снятельной дамы. Дицгену настойчиво советовали завести знакомство с этим московским брадобреем.

Немец побывал в парикмахерской Жюля. Покуда шустрые вихрастые мальчуганы приносили горячие щипцы, тазики и салфетки, французский чародей, изогнувшись, отставив ногу в узенькой штанине, напевтывал клиенту всевозможные городские сплетни. Ни один преуспевающий чиновник или щеголь из Замоскворечья не женился раньше, чем Жюль не давал ему справки по полоду качеств и действительного приданого невесты. Парикмахерская на Тверской, где правил Жюль, была своеобразным клубом, биржей, справочной конторой. Мозольные опера-

торы, дамские куаферы, ходившие на дом, разносили по Москве всевозможные вести. Жюль, этот Фигаро московских чиновников и богатых купцов, становился могущественнее с каждым годом.

Подле парикмахерской, тут же на Тверской, находился «Иэидин храм», полубалаган, где невидимый голос отвечал за недорогую плату на заданные вопросы: умрет ли родственник и оставит ли наследство, удастся ли получить доходное место, взять на откуп винные погреба, получить прибыльную поставку.

Как раз в то время, когда Диккенс брился, пришел Катков. Все мастера засуетились. Жюль поклонился в пояс. Смазанные розовой помадой волосы француза, его тщательно нафабренные усы — все отображало предельную угодливость.

Катков был человек заметный. Редактор влиятельной газеты, он направлял общественное мнение города — многочисленных усадеб вокруг Собачьей площадки и Тверской.

Когда-то и Катков отдал дань свободолюбивым устремлениям дворянской молодежи. Но особняки помещиков покончили с вольнодумством. Опасные это были игры. Катков стал мечтать о спокойном, выгодном месте, об именьице. Это сбылось. Появились у него и поместье, и большая квартира в доме обширной редакции. Унылые салоны московских реакционеров впустили его.

«Московские ведомости» отражали чаяния Москвы, и чиновный Санкт-Петербург прислушивался к их голосу, порой кликушествующему, порой вкрадчивому. Это был голос исконной дворянской Руси и богатеющего купечества. В газете, как на блестящей поверхности, с мельчайшей точностью отображены были черты времени.

С каждым днем все более сумрачной и отталкивающей начала казаться Диккенсу Москва. В тупой праздности вскармливались невозможные пресмыкающиеся. Дряхлели традиции, вырождалась былая мудрость. То, что казалось некогда величавым, вызывало теперь только смех и недоумение. Богатая дворянская Москва, как упрямая провинциалка, ругала новшества и выставляла напоказ истовую потонь. Славянофилы с длинными бородами, в полушубках и смазных сапогах рьяно отстаивали старину.

По вечерам в жарко натопленной комнате гостиницы Петр Иванович Николашин раскрывал перед Дицгеном, слушавшим его с неослабевающим вниманием, все, что думал о Москве реакционеров и ненавистных ему славянофилов.

— Это они рвали в куски Польшу, восстание которой было подавлено с великой жестокостью. Они аплодируют «Московским ведомостям», закармливают Каткова, перо которого сыплет соль на польские раны. — кривя большие губы, говорил студент, размахивая длинными руками. — Москва вельможного дворянства и купцов-миллионщиков всегда была крепчайшей опорой монарха, а всесильный Катков стал ее красноречивейшим пророком и политическим стратегом реакционного бешенства, обер-доносчиком, разоблачителем либерализма. Но нет покоя сонной Москве и «Московским ведомостям», плохо спится ретивому редактору. Нигилизм! Везде притаился нигилизм. Страшный бич для обитателей поросших кустарником площадок, зеленых тупичков, уперщихся в церковный двор. — Николашин смеялся тяжелым невеселым смехом. Он объяснил Дицгену, что таит в себе понятие нигилизма. — Откуда он явился? Не с Хитровки, не из трущоб вокруг Смоленского рынка. Там вечная тьма. Туда тянутся горе, нищета, печаль со всего города. Люди в зверином исступлении бросаются там друг на друга. Им нечего терять, кроме жизни, которая, однако, не стоит и краюхи хлеба. Безработные — бывшие крепостные, мелкий ремесленный люд, спившийся от чрезмерных испытаний, оттого, что жизнь, как непод, мешает им двигаться, бездомные всех возрастов нашли там прибежище. Они не опасны. С ними, говорят катковы, справится и полиция. Нет, опасность движется на Москву из других мест столицы.

— Говорите, говорите, господин Николашин, я все это расскажу своим друзьям в Германии, — иронизировал Дицген своего красноречивого учителя.

— Со Страстного бульвара, из редакции «Московских ведомостей» зоркий Катков наводит жерла пушек на узкие деревянные дома Бронной и темные хибарки Пресни. Он далеко целит! Сквозь студенческие кварталы жандармская картечь, по катковской указке, должна лететь прямо в головы восставших крестьян, в рабочих.

Московские студенты, преимущественно провинциальная беднота из разночинцев, ютились между двумя Бронными и Палашовским переулком, где немощеные улицы поросли травой. Весной и осенью тут непросыхающая бурая грязь, летом пыль колет глаза, зимой снег вздымается неровными холмиками. Студенты по иностранной моде носили длинные, по плечи, волосы, широкополые шляпы, крылатки, очки. В стужу они кутались в полосатые пледы.

Дицген и Николашин подолгу бродили по московским улицам, пытливо разглядывали прохожих. Бывали они и на окраинах, где в Покровском, Преображенском, Семеновском по-деревенски жили мастеровые и рабочие мелких фабрик. Собирались они обычно в харчевнях, где допоздна засиживались за беседою. К ним частенько захаживали студенты.

Нигилизм, по мнению Каткова, заразил собой эти два сословия и грозил благополучию Москвы и всей России. Об этом твердили «Московские ведомости», то же думали завсегдатаи Английского клуба и Дворянского собрания.

— Нигилизм с развевающимися рыжими волосами и могучими руками наступает на Москву, — шутил Николашин.

Полицейская опека простерлась над студенчеством. Малейшее проявление вольнодумства каралось изгнанием из университета. Но Каткову казалось всего этого недостаточно.

Звонили колокола сорока сороков. Завывали богомолки. Шли, ползли, кривляясь, крича, юродивые, кликуши и блаженные, одинаково желанные в разраставшихся домах замоскворецкого купечества и в ветшавших дворянских особняках. Их были сотни в Москве, этих жалких и сметливых торговцев невежеством, страхом. Им жилось сытнее и вольготнее, нежели студентам и мастеровым. Для них строили дома, их щедро одаривали, хоронили с почестями.

В те же годы разрослась торговая Москва. Крепло Замоскворечье. Звонили новые колокола, отлитые на деньги поставщиков и купцов, нажившихся на Крымской войне. Безмерно богатели откупщики. И казалось, застыла Москва — город, откуда бежала прочь живая протестующая мысль, где Катков вокруг собственных домов разводил огурцы и капусту, как встарь московские бояре,

где в холодных домах умирал изголодавшийся крепостной век.

Катков не верил болотному спокойствию отставной столицы. Вся ли это Москва? В день приезда Дицгена в Петровском парке, в гроте, был убит провокатор. На Бронной студенты-нечаевцы устроили штаб-квартиру в заброшенном, рассыхающемся барском доме. В книжной лавке Черкесова собрались революционеры. Николашин чуть не попал в засаду, когда отправился туда на подземное, как называли тайные сходки, собрание. Немало студентов участвовали в тайных обществах и готовы были к арестам, судам, каторге, одинокой смерти в Забайкалье. В сумрачном трактире «Ад» на Цветном бульваре собирался кружок революционеров. Место это долго не вызывало подозрений у полиции.

Дицген, закончив дела в Москве, вернулся вместе с Петром Николашиным в Санкт-Петербург, чтобы затем навсегда покинуть Россию и уехать в Германию. Он уговаривал Николашина отправиться с ним за границу. Но у того были иные планы.

— Я должен оставаться на родине, покуда над нею не будут реять алые знамена. Свобода, равенство и братство — должно быть начертано на них золотыми буквами, — говорил студент несколько высокопарно, как всегда, когда он мечтал вслух о будущем России.

Покуда, до отъезда Дицгена, он продолжал обучать его русскому языку. Оба они часто бывали в театрах и на концертах. Немца удивляла высота, на которую поднялось российское искусство. Он услыхал неведомые ранее произведения высокоодаренных музыкантов, Глинки и Мусоргского. Правда, Иосиф Дицген не очень ценил композиторов. Чтя и хорошо изучив Гегеля, он повторял вычитанные у него слова, что это творчество безмысленное. Однако нередко на концертах русской музыки немецкий кожевник ощущал особое, ни с чем не сравнимое высокое наслаждение. Бессловесный язык мелодий становился ему понятнее с каждым днем. «Нет, — думал он, — Гегель не прав, инструментальная музыка не лишена мысли, она далеко не безмысленна».

Дицген любил живопись, и Россия удивляла его своими мастерами. В картинных галереях он меньше восхищался искусством прошлого, нежели тем, что видел на выставках молодых художников, смело запечатлевающих

жизнь такой, как она есть. В столичных театрах шли замечательные пьесы Островского, оперы Серова и Даргомыжского. Лев Толстой закончил уже «Войну и мир», книжные лавки были заполнены новинками Гончарова, Достоевского и многих писателей, имена которых ранее никто не знал.

— Что это? — недоумевал Дицген, беседуя с Николаичным. — В стране, где недавно большинство людей жило в цепях, в рабстве, так расцветает искусство! Какая же мощь у вашего народа, как он одарен!

— Да, — отвечал ему Петр Иванович, — где-то глубоко под землей борются с самодержавием за права народные отчаянные вольнолюбцы. Россия зажата в тисках реакции, а музы ведут свой чудесный хоровод и щедро одаривают моих соотечественников. Не успеваешь радоваться книгам и картинам, новым операм и симфониям. Сколько имен и надежд!

— Гордитесь своей страной, юноша, ее сокровищем — людьми, — подтверждал Дицген. — Если в ночи горестной действительности они столь созидательны, что же будет, когда свет и радость снизойдут на всю Россию!

Лиза Красоцкая с дочерью направлялась в Англию. Насколько с годами Лизе труднее было общаться с незнакомыми ей людьми, настолько же общительнее становилась, подрастая, юная Ася. Веселая, приветливая девочка вовсе не была красивой, но смышленое выражение очень курносого личика с добрыми полными губами и смешной ямочкой на круглом подбородке вызывало симпатии. В поезде Ася познакомилась с несколькими пассажирами, а с одним настолько подружилась, что попросила мать пригласить его к ним в купе. Это был представительный высокий господин весьма располагающей внешности. Особенно привлекательны были его глубокие темные глаза, полные мысли и чувств, и выпуклый лоб, напоминавшие Лизе портреты Гете. У него был также подкупающе мелодичный и вместе металлический голос. Узнав, что новый ее знакомый немец, Лиза спросила, не с Рейна ли он.

— Вы правы, я рейнландец. Вы узнали это, вероятно, по нашей привычке говорить слегка в нос. Разрешите, однако, представиться. Моя фамилия Дицген, Иосиф Дицген. У вас, верно, есть друзья среди моих земляков?

— Я знала многих уроженцев вашей прекрасной провинции и недавно имела случай слышать одного из наиболее одаренных.

— Кто это, если не секрет? Я, правда, давно не был на родине...

— Тот, о ком я говорю, изгнанник и проживает в Лондоне. Это очень заметный ученый и революционер. Вы, может быть, принадлежите к другому идейному лагерю?

— Нет, — мягко ответил Дицген, — я и сам старый бунтарь.

— Вот не сказала бы. Вы выглядите таким невозмутимым.

— Мама, — вмешалась в разговор Ася, — я читала, что вулканы, пока они не действуют, кажутся совсем тихими, спокойными.

— Правильно, девочка, — оживился Дицген.

Выражение такой задушевной доброты появилось на его лице, что Лиза окончательно уверилась в своем первом весьма благоприятном впечатлении, которое он производил.

В дороге легко завязываются знакомства и по-разному складываются в дальнейшем. Иногда они кончаются вместе с путешествием, промелькнув, как полустанки, но, случается, длятся до конца долгого пути, каким является жизнь.

Покуда поезд медленно двигался на запад, Лиза узнала многое о Дицгене. Он оказался в прошлом простым рабочим-кожевником.

— Представьте, я была уверена, что вы по меньшей мере профессор философии или экономист и, уж во всяком случае, буржуа, — призналась она. — Не только ваша внешность, манеры, но, главное, речь, мысли отражают глубокие познания.

— Сейчас такими бывают и пролетарии. Я только самоучка, довольно упорный и прилежный. Пишу научные книги и статьи. Совсем недавно, пораженный одним гениальным трудом, я написал о нем отцам. Вам, верно, интересны ученые предметы, такие, например, как исследование, откуда берется капитал?

— Вы говорите о произведении доктора Карла Маркса? Дицген опешил.

— Вы, мадам, знаете эту великую книгу?

— И даже со автора. Упомянув об пагапанко и по назвав по имени, я имела в виду как раз его, — пояснила Лиза. — Ваш голос и выговор напомнили мне Маркса.

— Я имею честь, — с оттенком торжественности в голосе сказал Дицген,—быть с Карлом Марксом в переписке и многим, очень многим ему обязан. Благодаря его творениям и письмам я приблизился к постижению истины. Мои политические взгляды совпадают со всем тем, что проповедуют Маркс и его достойный друг Энгельс. Сейчас, возвращаясь на родину, я поставил себе целью как можно скорее лично познакомиться с этими людьми. Маркс собирается погостить у своего друга Кугельмана в Ганновере, а я поселюсь неподалеку, в маленьком местечке Зигбурге. Это дает мне надежду скоро пожать руку могучего рейнландца.

Лиза и Ася расспрашивали Дицгена о его прошедшей жизни и узнали много интересного.

Иосифу Дицгену было уже более сорока лет. Он родился в живописной местности близ Кёльна в многодетной семье кустаря-кожевника. С малолетства он помогал отцу в его маленькой мастерской. Несмотря на бедность, Иосиф жадно тянулся к знаниям, учился у местного пастора латыни, читал Аристотеля, Канта и те книги, которые попадались ему случайно. Весьма от природы одаренный, он хорошо знал французский язык и, не получив никакого систематического образования, самоучкой изучал философию и политическую экономию. Жизнь его проходила в физическом труде, среди немущих. Он рано осознал себя пролетарием и сначала стихийно, затем сознательно принял участие в борьбе за права рабочего класса.

— В то время я писал стихи, неуклюжие, плохие, но идущие от сердца, — признался он Лизе. — Знание жизни народной, полной бед и лишений, спасло меня от многих заблуждений и бесцельных скитаний мысли. Я не стал рабом прописных истин буржуазной философии, избежал вульгарного материализма. В революцию тысяча восемьсот сорок восьмого года революция стало для меня слово «Новой Рейнской газеты». Я был ее пропагандистом и учеником. — Дицген запнулся вдруг обычно несвойственным ему патетическим тоном, приподнял многозначительно руку: — Как неугасимый костер, освещала «Новая Рейнская газета» весь темный бор, каким была наша Германия. Великое время! — Он помолчал. — Когда начала

свирепствовать реакция, пришлось эмигрировать в Америку. Мне стукнул тогда двадцать один год. За океаном хватил я горя горького. В поисках работы и куска хлеба бродяжил от Висконсина до Мексиканского залива, от Гудзона к Миссисипи. Кем только не был я в то время: учителем и маляром, кожевенным подмастерьем, грузчиком и просто жалким скитальцем. Затем, потеряв надежду осесть где-нибудь прочно и обзавестись постоянной работой, я вернулся в Рейнскую область. Там и женился на доброй, набожной девушке. И по сей день моя жена, бедняжка, тщетно молит бога вернуть ее мужа — безбожника и коммуниста — в лоно лютеранской церкви. Хорошая она женщина, но в плену у религии. У нас дети. Мы могли бы жить счастливо, если б не ее страх перед дьяволом, в лапы которого, по мнению пастора, попал я. В семье я одинок душевно. Мои сестры и братья также не понимают моих идеалов и стремлений и считают меня неисправимым мечтателем. Но с того дня, когда я прочел «Коммунистический манифест», мне дороги назад заказаны. Скажу, как Гай Юлий Цезарь: жребий брошен. Я коммунист.

— Теперь вспоминаю, что в Америке у Вейдемейера я уже слыхала ваше имя, — сказала Лиза. — Вы вернулись, как мне помнится, в Америку снова. Впоследствии вам жилось там уже значительно лучше, не правда ли?

— Да. Во второй мой приезд я бывал в нью-йоркском коммунистическом клубе, основанном в тысяча восемьсот пятьдесят седьмом году, и встречался там с друзьями Вейдемейера. Вот тогда-то узнал я многих сподвижников Маркса, таких, как Зорге и Мейер. Я зарабатывал на жизнь неплохо, и уже не голод и безработица, а моя революционно-демократическая деятельность, мимо которой не прошли власти Соединенных Штатов, вынудила меня покинуть землю дяди Сама. Я вернулся назад, в родную рейнландскую деревню, и взялся за старое тяжелое ремесло кожевника, чтобы прокормить себя и семью. Но и здесь я пробыл недолго. Нужда снова погнала меня по свету.

— Но как вы очутились в России? — спросила Лиза.

— Случайно. Жил я с семьей в Германии только что не впроголодь и как-то, когда было особенно трудно, прочел в «Кёльнской газете» объявление одного из крупных кожевенных заводов Санкт-Петербурга. Нужен был управляющий, знающий новейшие технические методы обработ-

ки кожи. Предложение было во всех отношениях заман-
чиво. О России слыхал я много, и всегда противоречивое.
Одни говорили, что страна эта населена дикарями, дру-
гие — талантливейшими и образованнейшими людьми.
В годы, пока я жил в России, мне удалось многое прочи-
тать и продумать. Книги Маркса обогатили мой мозг.
Я писал ему и получал ответы. То, что я увидел на вашей
родине, право, стоило курса в хорошем университете.
Думаю, что скоро вы не узнаете свою Россию. Ее ждут
очистительные бури. Представьте, что и поныне рабочий
день на кожевенном заводе в Петербурге длится четыр-
надцать и пятнадцать часов. И я торжествовал, когда рус-
ские пролетарии начали наконец стачечную борьбу. Ре-
волюционные кризисы в вашей империи неизбежны. Тем
более что численность работников в стране все возрастает.
Освобождение крестьян, как ветер, подняло и кружит мас-
сы полунищих людей. Прежней неподвижности в народе
больше нет. Да и во всем мире воздух накаляется, и по-
этому вам легко себе представить, что «Капитал» Маркса
звучит для меня подобно первым раскатам грома.

Лиза, не без сожаления, распрощалась с Иосифом Дие-
гепом.

Самой любимой наукой Женнихен с детства была исто-
рия. Как все дети Маркса, она стремилась к знаниям.

«Жизнь так коротка, — думалось ей, — не надо упус-
кать ни одной возможности заглянуть во все уголки
прошлого и настоящего. Что может быть интереснее путе-
шествий, а история — это странствие во времени, не име-
ющее преград».

Женнихен берегла стопку тетрадок и записных кни-
жек в черных дерматиновых переплетах. В то время как
сверстницы старшей дочери Маркса стремились наполнить
альбомы стихами, виньетками, чувствительными рисун-
ками, переводными картинками, она исписывала листы
подробностями битвы при Фермопилах, заметками о ха-
рактере Перикла и Аспазии, записями о реформах Солона
и Клисфена. Гомер, Фукидид, Геродот были ей так же
хорошо знакомы и дороги, как позднее Корнель, Расин и
Вольтер, Шекспир, Шелли и Берне, Данте и Ариосто.
Мечтой Женнихен было воспроизвести на сцене образы
шекспировских героинь. Ее грудной, волнующий голос,

отличная стать, красивое лицо, четкая дикция и несомненный талант словно были созданы для сцены. Однако препятствий было много.

«Она давно бы поступила на сцену, — писала ее мать своей приятельнице, — если бы не семейные предрассудки. Многие из тех, кто ее слышал, утверждают, что в ней скрывается талант Рашели или Ристори и является большой ошибкой удерживать ее от этого шага». И, однако, Женни только изредка как любительница выступала в театре. Стать профессиональной актрисой она не осмелилась. Тяжело отказаться от того, к чему влечет сердце. Немало людей приходят и уходят из жизни, не раскрыв себя до конца, не отдав людям заложенный в них клад, каким всегда является талант.

Женнихен решила стать преподавательницей и как можно скорее начать давать уроки, чтобы помогать родителям. Ко всякому делу она относилась с большой добросовестностью и считала, что учить других можно лишь тогда, когда сама находишься во всеоружии знаний. Девушка напряженно работала над саморазвитием и образованием. Но, как и в ранней молодости, ее особенно влекли литература и история. Женнихен горячо интересовалась судьбами женщин разных веков. Они привлекли ее сложностью, подчас героичностью характеров и необычайностью обстоятельств, сопровождавших их жизнь. Одних она осуждала, других оплакивала. Мадам де Сталь вызвала в ней только равнодушное уважение. Манон Ролан оказалась напыщенной, честолюбивой буржуазкой, но особенно Женнихен возненавидела, так же как самого Наполеона I, его жену Жозефину.

В галерее выдающихся женщин Англии обеих Женни, младшую и старшую, привлекал грустный и скромный образ Мери Вулстонкрафт, одной из талантливейших феминисток, и ее последовательницы — преобразователя бесплатных госпиталей Флоренс Найтингел. Основательно изучая прошлое, Женнихен все больше углублялась в историю города, где выросла и жила. Вместе с пытливой Элеонорой она часто бродила по огромному Лондону. Женнихен обладала от природы богатым воображением, которое магически воскрешало перед ней исчезнувшие времена. Она рассказывала младшей сестренке о старом Лондоне, точно жила в нем сотни лет назад.

К середине XVIII века город, разрушенный великим пожаром, совпавшим по времени с эпохой английской революции, начал понемногу отстраиваться, восстанавливать здания докромвелевской поры.

Над низкими новыми домами далеко видимой квадратной громадой возвышалась уцелевшая тюрьма Тауэр — могильная плита вольному Лондону, городу, созданному смелыми кельтами, великой данью и порабощением запла-тившими за культуру римлян.

В темных, сырых погребах крепости валялись скованные по ногам и рукам узники: несчастливый претендент на корону; подмастерье, оклеветанный хозяином; разуверившийся в существовании справедливости крестьянин, оскорбивший ими короля; сутяга, не давший вовремя взятки судье; ученый, попытавшийся пробить толщу невежества; плательщик, не смогший внести налога; непокорный солдат; дерзкий поэт; подозрительный бродяга. Человек, вступивший за ограду Тауэра — английской Бастилии, бывшего дворца норманнских завоевателей, редко сохранял жизнь.

Улицы Лондона, настолько узкие, что две кареты едва могли в них разъехаться, постоянно кишели бездомной голытьбой, покинувшей деревни из-за непосильных налогов и арендной платы на землю. Бывшие крестьяне промышляли попрошайничеством и мелким воровством.

Знатные леди отправлялись в лавки за покупками под охраной надежных слуг, аристократы не оставляли домов безоружными. Для богачей улицы были тогда небезопасными.

Время от времени вспыхивавшая чума в значительной мере «очищала» город от бедняков.

Если с чумой совпадал пожар, город охватывало паническое безумие, церковь оглашала наступление конца света, и лиловый дым казался погибающим от пламени и болезни разверстым небом.

Наиболее опустошаемым эпидемиями и огнем местом была припортовая часть английской столицы, куда никогда не решались заглядывать жители благоустроенного по тем временам Вестминстера и Уайт-холла.

В жаркие дни в этих проклятых трущобах стояли столбы слепящей, густой пыли. Крысы, лишайные — нередко взбесившиеся — собаки и кошки бегали между тонких жилых конур. Просаленная бумага заменяла стекла

на окнах домов, в которых ютились человеческие существа, влача однообразные дни в непосильном труде и чудовищных лишениях.

Во время частых дождей в грязных стоках, совершенно размывающих почву так называемых улиц, плыли, отравляя воздух, вопиющие, гнилые овощи, сор, изношенное тряпье, долго валявшееся в подворотнях.

Люди этих окраин жили Темзой. Ее порт давал им иногда пропитание, на ее берег выползали они из своих логовищ за водой и воздухом. Иногда их ждало там и занимательное, «веселое», с тогдашней точки зрения, зрелище. В начале XVIII века суды над обвиненными в колдовстве и сношениях с дьяволом были делом частым и вполне обычным. «Дознание водой», измышленное опытными садистами инквизиционных трибуналов, широко применялось в Англии. Заподозренного в черной магии бросали в воду, — акт, символизировавший святое крещение. Если жертва мракобесия шла тотчас же ко дну, ее признавали оправданной, причем, однако, не всегда спешили вытащить и вернуть к жизни.

— По мнению всезнающих судей, вода не принимала грешников. Горе тем, кто всплывал: их ждал неминуемый костер, — рассказывала Женнихен слушавшей ее с широко раскрытыми блестящими глазами Тусси. — Водяное испытание, как и сожжение ведьм и колдунов на городских площадях, привлекало несметное количество зевак. Не всегда, однако, вода давала неопровержимое показание. Я читала о том, что в тысяча семьсот седьмом году старуха мещанка, брошенная в мелководную речку, пошла ко дну головой, но ноги ее остались торчать на поверхности. Ученые мужи церкви долго спорили о том, как понимать такого рода примету. Испробовали иные средства: запустили под ногти несчастной острие щетины, и появившаяся кровь послужила ей оправданием: видишь ли, у лиц, находящихся на службе у черта, раны не кровоточили.

Тусси часто прерывала рассказ сестры взволнованными вопросами. Ей хотелось знать все о средневековой Англии. Женнихен была неисчерпаемым рассказчиком. Она поведала Элеоноре много интересного о разгуле мракобесия в пору инквизиции.

— Охота на колдунов стала тогда весьма прибыльным делом, — говорила Женнихен. — Каждый чернокнижник

оценивался в двадцать шиллингов, выплачиваемых казной тому, кто мог доказать, разоблачить грех. Инквизитор Матвей Хопкинс в годы кромвелевской гражданской войны изрядно подработал, отправив на костер несколько десятков человек. Он пытал свои жертвы с таким умением и изощренной жестокостью, что некоторые из них в порыве наступившего безумия или отчаяния оговаривали себя сами, рассказывая фантастические подробности о своих отношениях с чертом и предпочитая сожжение невыносимым мукам и издевательствам. В конце концов усердный палач Хопкинс сам был обвинен в колдовстве и сожжен.

Жизнь старшей Женни была напряженной и многообразной. Она входила в подробности каждодневных событий и дел Интернационала, помогала мужу во всех его начинаниях, вела переписку с многочисленными соратниками Маркса в разных странах, слушала лекции по естествознанию и увлекалась концертами классической и новейшей музыки.

Приближалось замужество красавицы Лауры, и мать деятельно готовила ей обязательное приданое: постельное белье из снежно-белого полотна, платья из тяжелой тафты и костюм для свадебного путешествия из клетчатой шотландской шерсти с пышной короткой, по икры, юбкой. Все три дочери Маркса, отличные гимнастки, тотчас же оценили преимущество такой одежды, но допускалась она только в дороге. В повседневной жизни, как и все девушки их возраста, Женнихен, Лаура и Элеонора носили длинные, до пола, платья, отделанные волапами или тесьмой. Несгибающиеся, густо накрахмаленные нижние юбки придавали таким одеяниям из тяжелых тканей вид колокола. Старшие дочери Маркса причесывались одинаково: тугие локоны, черные у Женнихен и золотисто-бронзового цвета у Лауры, ниспадали на плечи.

Женни, как и ее мужа, мучило сознание, что они не могут обеспечить на первых порах молодоженов и, более того, должны как-то скрывать свою бедность от родителей Лафарга, пригласивших невесту и двух ее сестер погостить у них в Бордо. Если в молодости нужда — страдание, то для пожилых и старых людей она смертоносный бич. Карл при всей крепости своего духа чувствовал на себе его удары. Он мог сносить любые лишения, но терял

стойкость, видя, как прячут от него свои невзгоды жена и дочери. «Капитал» не принес ему значительного заработка, и снова только Энгельс бережно отвращал беды от Модена-вилла и всем, чем мог, облегчал жизнь друга, призывая его к творческому труду и выполнению заветной цели. Свадебные расходы он взял на себя.

Перед бракосочетанием Лауры, которое решено было совершить по-граждански, в мэрии, Лафарг отправился в Манчестер познакомиться со вторым отцом своей невесты — Фридрихом Энгельсом.

В апреле Лаура и Поль зарегистрировали свой брак в бюро актов гражданского состояния в Лондоне. Энгельс приехал на это торжество ненадолго, так как в Манчестере его ждали неотложные дела.

Весело и шумно в кругу родных и самых близких друзей была отпразднована свадьба. Не только Ленхен, но и — отличная стряпуха — сама новобрачная постарались накормить гостей на славу, а Энгельс доставил великолепные вина и шампанское, которое в этот раз было разрешено отведать и Тусси. Женнихен не преминула заставить Энгельса ответить на вопросы ее заветной книги признаний.

— Ты не сопротивляйся, дядя Энгельс, наша Ди настойчива, как Мавр, и она все равно поставит на своем.

— Но мне разрешается шутить, надеюсь. Это ведь не опрос фабричного инспектора, — оговорил свои права Фридрих, — они честнейшие люди, но не всегда им свойственно чувство юмора.

— Ты можешь писать что хочешь. Да и попробуй кто приневолить Фреда! — вмешался Маркс.

Энгельс отправился к рабочему столу друга, уселся поудобнее, со свойственной ему тщательностью принялся писать без помарок, четким, красивым, ровным почерком.

— Только тот комик смешон, который сам трагически серьезен, — возгласил Энгельс, состроив при этом мрачную гримасу, и подмигнул Тусси.

Достоинство, которое вы больше всего цените в людях?

— Веселость.

...в мужчинах?

— Не вмешиваться в чужие дела.

...в женщинах?

— Умение класть вещи на свое место.

Ваша отличительная черта?

— Знать все наполовину.
Ваше представление о счастье?
— Шато-Марго тысяча восемьсот сорок восьмого года.
Недостаток, который вы считаете непзвинительным?
— Жанжество.
Ваша антипатия?
— Жеманные, чопорные женщины.
Ваше любимое занятие?
— Поддразнивать самому и отвечать на поддразнивание.
Ваш любимый герой?
— Нет ни одного.
...героиня?
— Их слишком много, чтобы можно было назвать только одну.
Любимый цветок?
— Колокольчик.
...цвет?
Энгельс вспомнил зловонные красильные цехи текстильной фабрики и написал:
— Любой, если это не анилиновая краска.
Ваше любимое блюдо?
— Холодное — салат, горячее — ирландское рагу.
Ваше житейское правило?
— Не иметь никакого.
Ваш девиз?
— Относиться ко всему легко.
— Ах, дядя Энгельс, — сказала Тусси разочарованно, прочитав его ответы, — ты зря, шутки ради, наговорил на себя напраслину. Ты совсем другой.

Сразу после свадьбы Лафарги уехали на месяц во Францию. Они решили обосноваться в Лондоне, где Поль, закончивший медицинское образование, должен был работать в госпитале.

Энгельс вернулся в Манчестер, чтобы вместе с Лиззи еще раз отметить радостное событие в семье друга. Однако Лиззи была грустна в этот вечер. После смерти своей старшей сестры Мери молоденькая, пухленькая, домовитая Лиззи осталась в доме Энгельса и скоро стала его гражданской женой. Она любила мужа и встретила с его стороны верность, нежность и глубокую привязанность.

Но счастье Лиззи нарушалось сознанием, что брак ее с Энгельсом не узаконен. Она с юности придавала этому большое значение. Ей всегда нравились церемонии, сопровождавшие бракосочетание. В мечтах она видела себя в белом подвенечном платье и тюлевой фате, с венчиком из жесткого искусственного флердоранжа на голове. Ей хотелось носить фамилию мужа и не смущаться, встретая в родной ирландской деревне досужих кумушек. Как ни развита и свободомысляща была Лиззи, она страдала от своего, как ей казалось, двусмысленного положения. Она выросла в бедной, религиозной семье и не могла переступить через многие понятия, внушенные сызмала. Энгельс же превыше всего ценил свободу и считал, что его семья должна создаваться только на основах любви и полного взаимного доверия. Всякие узы казались ему оскорбительными, а брачные обряды смешными и даже постыдными. Он понимал их неизбежность и своеобразность в зависимости от той или иной эпохи, но для себя считал необязательными.

Радуясь свадьбе Лауры, Лиззи горевала о себе. За ужином Фридрих заглянул ей в добрые, печальные глаза:

— Ты все еще придаешь значение таким обрядам, как запись в мэрии в измазанной жирными пальцами книге актов гражданского состояния? Это требуется только для статистических отчетов и не прибавляет никому счастья.

— Так водится пока что в этом мире. Я люблю тебя, Фред, и мне постоянно кажется, что я не настоящая твоя жена. При всем презрении к формальностям Лаура и Поль вынуждены были все же венчаться.

— Если бы ты только знала, как противны мне все эти лицемерные пустые церемонии в присутствии какого-нибудь ханжи. Раз ты так дорожишь ими, то лучше нам сочетаться браком, как это делали огнепоклонники и еще теперь поступают жители Малайского архипелага. Они произносят сакраментальные заклинания у подножия вулкана, у моря. Что ж, отправимся как-нибудь и мы на острова в Индийском океане. Что, собственно, волнует тебя, неужели ты мне не веришь? — спросил Фридрих.

Лиззи заплакала. Фридрих был расстроен.

— Успокойся, дорогая. Даю тебе клятву, что мы обязательно заключим брачный союз согласно всем юридическим законам и ты будешь не только женой, свободно избравшей себе по любви мужа, но и официальной супру-

гой старого купца из Бармена, почтенной госпожой Лиззи Энгельс. Ты довольна? Запомни, я поклялся. Если хочешь, мы завтра же пойдем в мэрию, — предложил Фридрих.

— Спасибо, мне достаточно твоего обещания. Мы сделаем это позже, раз ты более не возражаешь.

Десятого апреля Фридрих послал Карлу письмо о том, как весело прошел в его семье вечер, устроенный по поводу замужества Лауры.

«Свадьбу мы здесь отпраздновали с большой торжественностью: собакам надели зеленые ошейники, для шести ребят был устроен званый чай, огромный стеклянный кубок Лафарга служил чашей для пунша, и бедного ежа напоили пьяным в последний раз».

Ручной еж был другом не только Энгельса и его жены, но и Тусси Маркс, часто наезжавшей в Манчестер. Однако в ночь, когда праздновалась заочно свадьба Лафаргов, еж разгрыз одеяльце, на котором спал, сунул голову в какую-то дыру и так запутался, что утром его нашли задохнувшимся.

Известие это огорчило Тусси, и Карл с шутливой печалью выразил Энгельсу соболезнование по поводу кончины «достопочтенного ежа».

Тотчас же после отъезда дочери и зятя Маркс принялся за рукописи второго и третьего томов «Капитала», снова перечитал Адама Смита и много других книг. Он тщательно прослеживал взаимосвязь между нормой прибавочной стоимости и выработал схему всего последнего тома своего труда. Однако нездоровье мешало ему. Несмотря на уговоры Женни лечиться, Карл не только отказывался от помощи врачей, но часто скрывал от домашних, что болен. Не раз в течение долгой дружбы Женни обращалась к Энгельсу, надеясь, что он уговорит Карла серьезно заняться своим здоровьем.

Первый том «Капитала» в это время уже прокладывал себе дорогу, удивляя и завоевывая людей. Сложны и необычны судьбы эпохальных книг — откровений. Их сжигали, но они снова вставали из пепла и совершали свое триумфальное шествие через века. Их предавали анафеме, оплевывали, а они воскресали и начинали новую жизнь, радуя и обогащая человеческие души. Их не замечали и пытались уничтожить молчанием, и все же они,

сильные как буря, двигались по всей земле, проникали в каждое жилище. Сгусток гениальных мыслей и чувств, эти книги неизменно рано или поздно доходили до тех, кому предназначались, потому что служили счастью и добру людей. Ничто не могло задержать победный путь «Капитала». Гениальное не умирает.

Приближалось пятидесятилетие Маркса. Есть таинственная сила в числах, которыми размечен путь человеческий по жизни. Она утвердилась в сознании, переходя из поколения в поколение, как прапамять. Годы убивают человека, и они же возносят его.

Маркс работал над продолжением «Капитала» и находил в этом высшее удовлетворение, счастье. Он погружался в темную, неведомую и странную пучину цифр, изысканий, глубинных мыслей и находил одну за другой бесценные, прозрачные и ясные, точно живой жемчуг, научные истины.

О полувековом юбилее ему напомнили родные. Отложив формулы и наброски сложившихся решений, Карл потянулся к сигаре и задумался о прожитых годах. Пятьдесят лет! Порог старости! В окно кабинета врывался запах майских цветов. Гудели жуки, пели птицы. Карл закурил и опершя головой на руку. Промелькнули разрозненные картины детства, юности, зрелых лет, припомнились давно исчезнувшие люди.

«Ах, Карлуша, Карлуша, ты все еще нищий и таким умрешь. Если б ты послушался меня и вместо того, чтобы пытаться осчастливить все человечество, сколотил капитал, то жил бы, как дядя Филипс и даже богаче, ведь у тебя такая голова», — вспомнил он слова покойной матери.

Карл насмешливо сощурил глаза. Много лет тянул он лямку, был изгнан с родины, беден, болен, вступал в необеспеченную старость. Рядом с ним терпели тяжкие лишения жена и дети. И, однако, подводя итоги прожитого, Маркс знал, что, начни он жизнь сначала, все равно пошел бы по тому же пути, не отказался бы ни от чего.

Когда Женни, поздравив Карла, прижала к груди его седую голову, Карл сказал ей с глубоким чувством:

— Я нашел все-таки в жизни самое редкое и ценное: настоящую любовь — тебя, и дружбу — Фридриха.

«Дорогой Мавр! — писал Марксу Энгельс в те же дни. — Поздравляю с полувековым юбилеем, от которого, впрочем, и меня отделяет лишь небольшой промежуток

времени. Какими же юными энтузиастами были мы, однако, 25 лет тому назад, когда мы воображали, что к этому времени мы уже давно будем гильотинированы».

Подобно тому как огромная масса луны влечет к себе морские пучины, вызывая приливы и отливы океанов, так гений обладает магнетической силой притяжения. Женни фон Вестфален пожертвовала ради Маркса всеми привилегиями своего аристократического происхождения, она любила его безмерно. Энгельс не жалел своих лучших лет, чтобы предоставить другу возможность творить. Вильгельм Вольф завещал Марксу свое небольшое, трудом скопленное состояние, так же как Елена Демут бескорыстно посвятила Марксу и его семье всю свою жизнь.

Марке вселял уверенность в революционеров, восхищал ученых, вдохновлял поэтов. Люди разных национальностей и профессий тянулись к нему и, узнав ближе, никогда уже не оставались к нему равнодушными. И в то же время он был очень скромен.

По-прежнему большую часть рабочего времени Маркс тратил на дела Генерального Совета. Революционное движение на родине занимало его постоянно. Выслуживавшийся перед Бисмарком увертливый Швейцер просил Маркса воздействовать на Либкнехта, настойчиво боровшегося против предательской линии Всеобщего германского рабочего союза. Швейцер сменил на посту председателя этого Союза Лассаля и оставался неизменным его последователем. В ответном письме Маркс с обычной всеразрушительной логикой изложил суть расхождений между Швейцером и членами Интернационала. Он без обиняков раскритиковал сектантские действия, ошибки и двойственность покойного Лассаля и нынешнего Всеобщего германского рабочего союза. Соглашаясь посредничать в качестве секретаря Международного Товарищества для Германии между враждующими Либкнехтом и Швейцером, Маркс оговорил свое право бороться с неверной линией председателя Всеобщего германского рабочего союза. Особенно внимательно наблюдал Маркс за путями развития профсоюзного движения в Германии и докладывал об этом Генеральному Совету.

Однажды Кугельман уведомил Маркса, что профессор Гансен из Берлина намерен предложить ему кафедру в прусской столице.

Многократно едва сводящему концы с концами, изнуренному долгами вождю пролетариата предлагали деятельность, несущую немалые выгоды, полное удовлетворение житейских нужд. Маркс мог бы вернуться на родину, чтобы надеть профессорскую мантию. Стоило его жене унизиться и обратиться к брату, влиятельному министру Пруссии, и навсегда разорвалась бы сеть долгов и бедности. Но без тени сомнений Карл и Женни отвергали эти уступки своей совести революционеров, борцов.

В конце 1868 года Энгельс и Маркс обменялись следующими письмами:

«Дорогой Мавр!

Постарайся *совершенно точно* ответить на прилагаемые вопросы и ответь немедленно, так, чтобы я получил твой ответ во вторник утром.

1) Сколько денег нужно тебе, чтобы уплатить *все* твои долги и таким образом совершенно развязать себе руки?

2) Хватит ли тебе на *обычные* регулярные расходы 350 ф. ст. в год (причем экстренные расходы на болезнь и непредвиденные случайности я неключаю), то есть так, чтобы тебе не приходилось делать долгов. Если нет, то укажи мне сумму, которая тебе необходима. При этом предполагается, что все старые долги будут предварительно выплачены. Этот вопрос, разумеется, самый главный.

Дело в том, что мои переговоры с Готфридом Эрменом приняли такой оборот, что он хочет к концу моего контракта 30 июня — *откупиться* от меня, то есть он предлагает мне известную сумму денег, если я обязуюсь в течение пяти лет не участвовать в каком-либо конкурирующем предприятии и разрешу ему дальше руководить фирмой. Это как раз то, чего я добивался от этого господина. Но так как за последние годы балансы были плохи, то для меня вопрос, даст ли это предложение нам возможность прожить в течение ряда лет без денежных забот, учитывая даже при этом и тот вероятный случай, что какие-либо события вынудят нас снова переехать на континент и, следовательно, вовлекут нас в экстренные расходы. Сумма, предложенная мне Готфридом Эрменом (еще задолго до того, как он предложил ее мне, и решил, что она пойдет исключительно на покрытие необходимых для помощи тебе дополнительных сумм), *гарантировала бы* мне возможность посылать тебе в течение пяти-шести лет

по 350 ф. ст. ежегодно, а в экстренных случаях даже и несколько больше. Но ты понимаешь, что все мои расчеты были бы опрокинуты, если бы время от времени снова накапливались долги, которые опять пришлось бы выплачивать за счет вычетов из капитала. Именно потому, что я вынужден стропть свои расчеты на том, что мы покрываем наши расходы не только из *дохода*, но и — с самого начала — отчасти из *капитала;* именно поэтому эти расчеты несколько сложны и должны строго соблюдаться, иначе мы попадем в очень тяжелое положение.

От твоего ответа, в котором прошу тебя изложить мне положение дел откровенно, как оно *есть на самом деле*, будет зависеть мой дальнейший образ действий по отношению к Готфриду Эрмену. Итак, определи сам сумму, которая нужна тебе регулярно каждый год, и посмотрим, что можно сделать.

Что будет после вышеупомянутых пяти-шести лет, мне, правда, еще самому неясно. Если все останется так, как оно есть сейчас, я, конечно, не буду тогда в состоянии выдавать тебе ежегодно 350 ф. ст. или больше, но все же, самое меньшее, 150 фунтов стерлингов. Однако к тому времени многое может измениться, да и твоя литературная деятельность может кое-что приносить тебе.

Наилучшие пожелания твоей жене и девочкам. Из прилагаемых фотографий пошли одну Лауре.

Твой *Ф. Э.*»

«Дорогой Фред!

Я совершенно потрясен твоей чрезмерной добротой.

Я просил жену представить мне все счета, и сумма долгов оказалась значительно больше, чем я думал, — 210 фунтов стерлингов (из них около 75 ф. ст. на ломбард и проценты). Кроме того, надо прибавить счет доктора за лечение во время скарлатины, который он еще не предъявил.

За последние годы мы проживали более 350 фунтов стерлингов; но этой суммы вполне достаточно, так как, во-первых, в течение последних лет у нас жил Лафарг, и благодаря его присутствию в доме расходы сильно увеличивались, а во-вторых, вследствие того, что все бралось в долг, приходилось платить слишком дорого. Только полностью развязавшись с долгами, я смогу навести порядок в хозяйстве.

Как неприятно стало положение у нас в доме за последние месяцы, ты можешь видеть из того, что Женничка — за моей спиной — согласилась *давать уроки* в одной английской семье! Занятия начнутся лишь в январе 1869 года. Я задним числом согласился на эту историю с тем условием (хозяйка этого дома, — ее муж — доктор Монро — была по этому делу у моей жены), что обязательство *действительно лишь на один месяц* и что по истечении месяца каждая сторона *имеет право отказаться* от него. Как ни горька была для меня эта история (девочке придется заниматься почти целый день с маленькими детьми), — об этом мне незачем тебе говорить, — я все же с этой оговоркой дал свое согласие...»

В один из туманных слякотных декабрьских дней 1868 года Генеральный Совет рассмотрел на своем заседании просьбу бакунинского «Альянса» о приеме его в Международное Товарищество Рабочих. Составление ответа взял на себя Маркс. Как всегда, вернувшись домой, он тотчас же написал Энгельсу, оповещая его подробно об этом, и послал ему для изучения устав бакунинской организации.

Спустя неделю Генеральный Совет единогласно принял резолюцию, в которой подчеркивалось, что вторая международная организация, имеющая свой устав, действующая внутри и вне Интернационала, неизбежно повредит делу рабочего объединения и внесет раздоры.

Узнав об этом, Бакунин прислал из Женевы в Лондон Международному Товариществу программу «Альянса социалистической демократии» и письмо о полном присоединении. Он также объявлял себя учеником Маркса.

Через некоторое время «Альянс» объявил себя распущенным и попросил включить его членов в секции Интернационала. Генеральный Совет согласился на это, однако при условии, которое изложил Маркс. Лозунг «Альянса» об «уравнении классов» был заменен формулой — «уничтожение классов». Бакунисты вошли в Международное Товарищество Рабочих.

Цензурный комитет в Санкт-Петербурге получил «Капитал» Маркса на немецком языке вскоре после его выхода в свет. Цензор Скуратов писал в своем заключении:

«Как и следовало ожидать, в книге заключается немало мест, отличающих социалистическое и антирелигиозное направление пресловутого президента Интернационального общества... Но как ни сильны, как ни резки отзывы Маркса об отношении капиталистов к работникам, цензор не полагает, чтобы они могли принести значительный вред, так как они, так сказать, тонут в огромной массе отвлеченной темной политико-экономической аргументации, составляющей содержание этой книги. Можно утвердительно сказать, что ее немногие прочтут в России, а еще менее поймут ее».

Осенью 1868 года Маркс получил письмо от незнакомого ему русского из Петербурга. Николай Францевич Даниельсон, псевдоним которого был «Николай — он», двадцатичетырехлетний литератор, служивший в Петербургском обществе взаимного кредита, сообщал, что «Капитал» переводится на русский язык и принят издателем Поляковым. По просьбе Даниельсона Маркс послал ему фотографию и краткие автобиографические сведения.

Мысль о переводе «Капитала» возникла у участников полулегального кружка, прозванного «Рублево общество», по размеру установленных в нем членских взносов. Несколько десятков молодых людей с честными и пылкими сердцами объединились, чтобы нести знания в народ. Они надеялись пробудить в бесправных и обездоленных соотечественниках стремление к борьбе за общечеловеческие идеалы добра и равенства. С этой целью образованная молодежь старалась ознакомиться со всем новым и значительным, что издавалось в других странах, и по возможности переводить и издавать эти книги на родине.

Одним из учредителей и вдохновителей «Рублева общества» был Герман Лопатин, ученик Чернышевского, выдающихся способностей юноша, отлично окончивший университет, владевший свободно тремя иностранными языками. Неистовый революционер, рано испытавший на себе когти царских жандармов, Лопатин нелегально пробрался за границу, чтобы бороться за свободу в отрядах Гарибальди, затем вернулся в Россию, где было много дела для самоотверженных беспокойных душ, жаждущих не эгоистического личного процветания, а счастья для всего народа. Герман Лопатин был из числа таких исключительных натур. В его груди билось большое сердце, вмещавшее любовь ко всему человечеству.

В России Лопатин был связан с революционно настроенной молодежью, вел переписку с ссыльными, следил за социалистической литературой. Едва «Капитал» появился в Германии, как был приобретен членами «Рублева общества». Тогда-то и возникло у них желание перевести книгу Маркса на русский язык, чтобы сделать ее достоянием наибольшего числа людей. Но в переписку с Марксом Лопатин уже вступить не мог, так как был вскоре арестован и заключен в Петропавловскую крепость, а затем отправлен в ссылку. Письмо в Лондон переслал товарищ Лопатина по университету и друг всей его жизни Николай Даниельсон после того, как договорился об издании с Поляковым. Пересылку этого письма взял на себя также близкий в то время Лопатину человек, член «Рублева общества» Любавин. Все эти три человека хорошо знали немецкий язык.

Герману Лопатину удалось бежать из ссылки за границу. Прежде чем, по решению петербургского кружка и просьбе издателя Полякова, отправиться к Марксу, он поехал в Женеву. Лопатин был тягостно поражен расшатанностью, сплетнями и личной враждой, которые раздирали отдельные группы русских эмигрантов. Ни дружбы, ни спаянности, ни единой цели, каких искал Лопатин, в среде изгнанников не было.

Швейцария, как и Англия, стала страной, куда со всех сторон мира стекались эмигранты. Много осело на берегах Лемана и русских. Были тут сподвижники Чернышевского, члены разгромленной бунтарской группы «Народная расправа» и другие политические изгнанники. Значительное влияние в эту пору приобрели Бакунин и близкий к нему Сергей Нечаев, который в Женеве начал издавать журнал, развивающий идеи, охарактеризованные Марксом и Энгельсом как «казарменный коммунизм». В свои двадцать два года Нечаев представлял совершенно законченный тип нетерпимого властолюбца, грубого демагога, провозгласившего иезуитский лозунг «цель оправдывает средства». Провокации, подметные письма, шантаж и даже убийство представлялись Нечаеву дозволенными в общественных войнах. Для себя он требовал единовластия и не терпел в своем кружке никакой критики и возражений. Под видом защиты интересов тайного общества Нечаев в Петербурге убил студента Иванова.

Затем бежал за границу и оказался в Женеве, где нашел поддержку и понимание у Бакунина.

Лопатин прибыл в Швейцарию в тот период, когда царское правительство потребовало выдачи Нечаева, как уголовного преступника. Русские эмигранты попытались противодействовать этому, просили швейцарское правительство не выдавать друга Бакунина.

Лопатин, бывая на собраниях, где русские изгнанники словесно жестоко дрались между собой, окончательно убедился в их беспомощности и негодности для борьбы. Он резко разошелся с анархистами, не поладил с народниками, с которыми его, однако, многое идейно связывало. У большинства своих соотечественников Лопатин не обнаружил ясных и четких позиций и почувствовал себя одиноким и чужим. Тогда-то у него родилась, ставшая затем неотвязной, мысль во что бы то ни стало спасти сосланного в Сибирь Чернышевского для сплочения всех разрозненных и ослабленных распрями русских революционеров, не имеющих достойного, авторитетного руководителя.

Был еще один человек, который мог указать выход из трудного положения, создавшегося в значительной степени из-за происков, интриг и диктаторских замашек Бакунина. И Лопатин решил направиться в Лондон, надеясь с помощью Маркса рассеять свои сомнения в теории. Но главной целью оставался разговор о переводе «Капитала».

Приближаясь на пароходике к Дувру, Лопатин, обращавший на себя внимание могучим ладным телосложением и красивым одухотворенным лицом, заметно волновался. Он то и дело без нужды снимал и протирал очки, которыми из-за близорукости постоянно пользовался, что, впрочем, нисколько не портило его красивые, серые, проницательные и вместе очень умные глаза.

Имя руководителя Интернационала было уже широко известно, а большие люди всегда внушают некоторую робость. Они являются мерилом для каждого встречающегося с ними человека. Нелегко увидеть самого себя маленьким. Однако Герман Лопатин мог не бояться этой встречи. Он умел думать и немало знал для своих двадцати пяти лет, и главное — хотел обрести неотразимое оружие для борьбы с самодержавием.

Наконец Лопатин добрался до желанной улицы Мейтленд-парк роуд и увидел на стене фонарь с № 1. Перед ним был двухэтажный серый небольшой дом, за которым находился густой зеленый сад.

Карл Маркс жил очень уединенно. Для этого было немало причин. Творческий и напряженный труд требовал покоя и сосредоточенности. И ничто не приносит столько вреда, как суета, празднословие и случайные неужные встречи и знакомства. Они как ил, от которого мелеет даже самая глубокая и быстроводная река.

В семье Маркса все боялись пошлости, пересудов и бесцельной потери времени. К тому же автор «Манифеста Коммунистической партии», «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта» и «Капитала», глава международного рабочего движения, интересовал полицию нескольких стран. Под разными предлогами к нему старались проникнуть агенты и провокаторы, и поэтому Маркс незнакомых ему людей допускал к себе с большой осторожностью и был весьма осмотрителен. О Лопатине он слыхал немало похвал от Лафарга и принял молодого русского очень приветливо. Лопатин понравился не только Марксу, но и его семье с первой же встречи. Как некогда Поль Лафарг, он сразу другом всех обитателей Мейтленд-вилла и очень подружился с веселым подростком Тусси. Она познакомила Лопатина со всеми четвероногими, которых было много в доме и в саду на Мейтленд-парк.

Черноглазая резвая Элеонора была верховным повелителем над собаками, черепахой и еноком. Кошка Томми доставляла особенно много хлопот Ленхен, так как очень часто в доме появлялся новый выводок котят, вносивших невообразимый беспорядок. Они ползали по всем комнатам, подвертывались под ноги, дико визжали и начинали драться. Лохматый пес Виски ни на шаг не отходил от своей хозяйки Тусси или лежал у кресла Карла. Он был столь же добр и чуток, сколь громоздок и неуклюж. Пес стал любимцем всех не в пример кошке Томми, которую Маркс называл старой ведьмой. Были в доме еще собаки, приблудные или подобранные жалостливой Элеонорой: Самбо, Блекки и Дикки, причем последний отличался необыкновенной музыкальностью, и когда Маркс принимался напевать, пес вторил ему низким воем.

— Дикки любит оперные арии и песенки, но терпеть не может свиста, стоит мне начать насвистывать какую-

нибудь мелодию, и он, как Лютер при виде дьявола, медленно поворачивается ко мне хвостом и бежит опрометью, — пошутил Маркс, прогуливаясь с русским гостем по саду.

Как раз в это время к ногам Лопатина подползла большая черепаха.

— Это Джокко, — сказала Элеонора ласково, — умнейшее существо, уверяю вас, хотя склонное к спячке, подобно большинству англичан.

Черепаха высунула крохотную узкую головку и дала себя погладить. Затем степенно уползла в одну из ямок под холмиком.

Маркс был замечательным лингвистом. Как и Энгельс, он легко усваивал иностранные языки. Кроме древних и основных европейских, он знал румынский язык, а в 1869 году принялся за изучение русского.

— Без этого нельзя, — утверждал он, — иностранный язык есть оружие в жизненной борьбе. Нужны люди, которые смогут вести коммунистическую пропаганду среди разных народов.

На книжных полках в кабинете Маркса появилось больше ста русских книг. В записной тетради он отвел несколько страниц под каталог для них. Значительное количество литературы прислал из Петербурга Даниельсон. На полях книг, прочитанных Марксом, оставались пометки, штрихи. Сочинения Добролюбова, Чернышевского, Герцена, Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Флеровского особенно часто попадали с полок на столы и кресла, чтобы быть у Маркса под рукой. Он читал их большей частью без словаря.

Когда Герман Лопатин пришел к Марксу впервые, тот уже достаточно свободно владел русской разговорной речью. Это изумило Лопатина, не ожидавшего, что автор «Капитала» так хорошо знаком с книгами русских писателей.

Маркс испытывал молодого русского студента, он задал ему несколько вопросов:

— Глубоко ли пришлось вам изучать политическую экономию?

— Недостаточно, на мой взгляд, — ответил, но задумывался, Лопатин, — хотя в нашем кружке в Петербурге

мы все увлекаемся этим предметом, так же как и филосо-
софией.

Улыбаясь смущенно, Маркс сказал по-русски:

— Ваш прекрасный поэт Пушкин выказал себя ана-
током экономической науки, когда писал о своем герое
Онегине:

Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита
И был глубокий экономом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

Отец Онегина, — продолжал Маркс, снова переходя на английский, — не хотел признать, что товар — деньги. Но другие русские поняли это давно. Достаточно вспомнить о вывозе хлеба в Англию из России в тысяча восемьсот тридцать восьмом — тысяча восемьсот сорок втором годах, да и всю историю торговли вашей страны. Мне пришлось как-то писать об этом.

Во время первой же встречи с Лопатиным и многократно впоследствии Маркс с подчеркнутым уважением отзывался о Чернышевском. Он считал, что из всех современных экономистов именно Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя, между тем как остальные являются всего лишь простым компиляторами.

— Несомненно, — отметил Маркс, — его сочинения полны оригинальности, силы и глубины мысли и единственные из современных произведений в этой науке действительно заслуживают прочтения и изучения.

Маркс негодовал по поводу того, что ни один из русских не позаботился познакомить Европу с столь замечательным мыслителем.

— Политическая смерть Чернышевского — потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы, — неоднократно заявлял он Герману Лопатину.

Отношение Маркса к тому, кого Лопатин считал своим идейным учителем, укрепило в молодом русском борце неотступно преследовавшее его желание предпринять все

возможное для освобождения узника. Устройство побега Чернышевскому за границу казалось Лопатину вполне осуществимым делом, и он тщательно продумывал план освобождения автора «Что делать?».

Герман Лопатин, говоря о том, каким должен, по его мнению, быть глава правительства, прочел Марксу отрывок из воззвания Шелгунова «К молодому поколению»:

«Нам нужен не царь, не император, не помазанник божий, по горностаева мантия, прикрывающая наследственную неспособность; мы хотим иметь главой простого смертного, человека земли, понимающего жизнь и народ, его избравший. Нам нужен не император, помазанный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина, получающий за свою службу жалованье».

Лопатин переводил книгу Маркса с большим воодушевлением и радостью, тем более что мог видеться с автором и пользоваться его советами. Однако переводчик должен был сознаться, что никак не может сладить с первой главой. Тогда Маркс подсказал ему выход из создавшегося творческого тупика: Лопатин занялся второй, более легкой для него главой и, таким образом, постепенно сжился с особенностями языка, манерой изложения и самой темой произведения. Благодаря непосредственному общению с Марксом, переводчик «Капитала» смог передать образность и неповторимый сарказм речи, особенности стиля и революционный взлет мыслей автора. Маркс, знавший уже достаточно русский язык, высоко оценил мастерство перевода.

В Лопатине Маркс увидел задатки большого ученого. Политически Герман был еще незрел. Ошибочность взглядов молодого русского Маркс отметил в первой же их беседе, когда Лопатин, рассказывая о Польше, обрисовал положение, создавшееся в ней, с тем же пренебрежением колонизатора к аборигенам, как это сделал бы англичанин, говоря о делах в Ирландии. Желая подготовить в лице Лопатина теоретически сильного русского революционера, Маркс повлекал его в широкое русло политической деятельности. Скоро Лопатин стал членом Генерального Совета Интернационала.

Дружба маленькой Элеоноры и Лопатина радовала Маркса и его жену. Молодой русский отличался редкой искренностью, скромностью и вдумчивостью.

Тусси была великим знатоком животных. Она любила их так же нежно, как старшая дочь Марка Кеннихен, цветы, а другая дочь, Лаура, поэзию.

Поэтому почти все разговоры Лопатина с Тусси велись о ее любимцах.

— Вики талантлив. Этого не отрицает и Мавр, который постоянно берет его с собой на прогулку, — рассказывала девочка Лопатину. — Я не могу сказать этого о Дикки, хотя он обладает великолепным музыкальным чутьем. Собаки, как и люди, бывают умны либо глупы, жизнерадостны или меланхоличны, — продолжала Тусси со всей серьезностью. — Когда Вики пересг, — а Ленхен к нему весьма расположена, не то что к кошке Томми, которая снова принесла шесть котят, — и ему нехорошо, я вынуждена ставить ему грелку. Не удивляйтесь, я пользуюсь бутылкой с горячей водой. Пес от этого горд, он польщен и лежит, задрав лапы кверху, много часов подряд, несмотря на то что вода давно остыла и ему очень неудобно. Ему, видите ли, нравится лечиться. Не хотите ли поиграть в мяч с Вики или Самбо? Они великолепно отбивают и подают его, подбрасывая длинной мордой.

Как будто понимая, о чем говорит его хозяйка, Вики подкатил к ногам молодого русского небольшой черный мяч.

— У вас и люди и животные все какие-то особенные, — пошутил Герман.

— Знаете ли, что я делаю, когда ухожу с Вики далеко далеко, в поля за Хэмпстедскими холмами? — сказала как-то Тусси Лопатину, когда они уселись на маленькой скамеечке у оранжерен.

— Я буду вам очень признателен за доверие.

— Играю сама с собой в перевоплощения. Это замечательно интересно. Я превращаюсь в пилигрима и брожу по Китаю, проникаю к далай-ламе. О нем никто толком ничего не знает, и я могу сочинять что угодно. А племя людоедов ньям-ньям! Его необходимо скорее очеловечить. Знаете ли вы, как красиво озеро Чад в Африке? Там, конечно, есть крокодилы. Но следует говорить о них дурно, когда лезешь в воду, — есть такая поговорка у негров.

— Вы, видно, очень увлекаетесь географией, — заметил Лопатин.

— Нет. Больше литературой. Я люблю изображать Титанию. На свете нет лучшего писателя, нежели Шек-

ипр. Были ли вы в Стратфорде-на-Эвоне, где он родился? Там есть чудодейственный колодец. Надо шепнуть над ним три своих сокровенных желания, и они сбудутся. — Элеонора умолкла, но ненадолго. — Жаль, что и колодец — только сказка... — Она вздохнула, затем продолжала оживленно: — Недавно я читала о великой трагической актрисе Сарре Сидонс и пошла посмотреть на ее портрет в Тэт-Галери. Она не очень красива. Когда я стану совсем взрослой, то буду обязательно играть на сцене ее роли. В детстве мне нравилось перевоплощаться в Джен Грей, и как это было с нею, умирать на плахе. Я бывала Робин Гудом и Спартаком. Не смейтесь надо мной, пожалуйста. Я ведь доверила вам свою тайну. Даже Мапр ее не знает.

— Что вы, Элеонора! То, что вы рассказываете, так неожиданно и так увлекательно. Вы кудесница, мечтательница. Все мы грезим наяву, и это очень хорошо. Мечта мне кажется началом всех великих деяний. Это она погнала Магеллана на поиски сказочно прекрасной Индии, привела нидфовальщика алмазов Спиноза к философским открытиям, даже Мартина Лютера вдохновила на борьбу с папским произволом.

— Мама считает Лютера одним из лучших знатоков немецкого языка.

— Может быть, я его не читал. Но вот о мечтателях скажу, что ими были Коперник, Марат, Гегель, и, уж конечно, великим мечтателем является наш отец. Он ведь, насколько я знаю, также и поэт.

— Мэмхен бережно хранит все его стихи, но не любит их показывать. А Мавр всегда смеется над своей лирой. Но никто не умеет выдумывать столь замечательных фантастических приключений и историй, как он. Можете мне поверить, он поразительный сказочник! — заявила Элеонора.

Необыкновенная девочка, какой была младшая дочь Маркса, глубоко заинтересовала Лопатина. Они проводили много времени вместе. Нередко Тусси расспрашивала русского о его родине. Далекой своеобразной страной интересовались, впрочем, все без исключения в семье Маркса.

— Верно ли, что народ ваш необычайно покорен и терпеливый? — спросила Лопатина как-то за ужином госпожа Маркс.

— Это привито ему долгим пребыванием в рабстве, но время и просвещение изменят характер наших простолюдинов.

— Вероятно, день, когда невольники получили свободу, был подобен землетрясению? — спросила Тусси.

— О нет, совсем наоборот. Я был еще юношей и случайно оказался в Москве проездом. Никогда не забыть мне того, что я видел.

— Хотелось бы послушать, как все это было воспринято народом. Это произошло в марте тысяча восемьсот шестьдесят первого года? — сказал Маркс.

— Да, и, помню, совпало это событие с шалой русской масленицей.

— С чем, с чем? — переспросили Ленхен и Женни.

Лопатину пришлось объяснить, что это за праздник.

— Было раннее утро, — рассказывал он, — ночные сторожа все еще прохаживались с колотушками, а последние кутилы, сонные и отяжелевшие от плотной еды, вина и цыганских песен, возвращались по домам на тройках и парных выездах. Вдруг услышали мы колокольный звон. С папертей оглашали манифест царя. Я видел, как угрюмо, настороженно слушали его люди в рваных шубейках и кафтанах. Мяли в темных, натруженных руках шапки. Бабы тихо плакали. Это были крепостные, которым даровалась свобода. Только и разговору было у них: «Что-то с нами будет теперь?» А в московских особняках за глухими заборами, где свои дворня, конюшня, псарня, вчерашние рабовладельцы опасались бунтов. Все понимали, что крестьяне ограблены. Только одна надежда была у помещиков на полицию.

— И что же, были восстания тогда? — спросила Женнихен.

— Нет. Подавленные, будто с похорон, возвращались дворовые в свои каморки и людские. «Какая и кому в том выгода, что нас освободили? — раздумывали крестьяне. — Земля как была барская, так и осталась».

— Сколько рабов было в это время в вашей стране? — поинтересовалась Женни.

— Двадцать миллионов, да из них не менее миллиона престарелых и больных. Их ждали голод, нищенство и смерть. Желая оградиться и в дальнейшем от крестьянских беспорядков, кой-кто из предприимчивых помещиков

решил создать филантропическую организацию по сбору средств для таких немощных.

— Сперва все отобрать, потом собирать крохи для ограбленных — старая история, — сказала Женихен.

— Конечно.

— Продолжайте ваш рассказ, — попросил Маркс.

— Все людные места в Москве были в те дни пусты, глухи, даже темны. Бог весть куда подевались все извозчики, лихачи и «ваньки», обыкновенно стоящие тут чуть не у каждого дома, а то снующие по улицам во всех направлениях: только изредка на главных улицах — Тверской да на Кузнецком мосту — попадались кареты, проезжавшие очень быстро, с явной поспешностью; а пешеходов было так мало на улицах и площадях, что просто глазам не верилось.

— Вот как? Странно, — заметила Женни.

— Еще можно было бы и не очень удивиться, что центр города был в ту пору совсем нелюден: на этих улицах и всегда не особенно много встречается простого, черного народа, а притом и торговля здешняя, преимущественно предметами не общего употребления, помещается в больших магазинах и прекращается по вечерам нередко довольно рано. Но поразительны были вдруг охватившие со всех сторон тишина, глушь, пустота и темнота на окраинах и около базаров, в тех именно местах, где сосредоточивается самая разнообразная мелочная торговля, разбросавшаяся наподобие простому люду по неказистым так называемым «заведениям», в балаганах и дрянных лавчонках, а то и просто на подвижных ларях. Там обычно до позднего вечера толпится очень много народу. Но установившееся в этот день на улицах и площадях московских поистине странные тишь и глушь поразили меня до такой степени, что одно время даже как-то жутко стало. И это в тот самый день, когда объявлен манифест об освобождении всего народа от крепостной неволи! Право, народное возмущение, как бы ни было оно бурно, не произвело бы на меня такого впечатления. Да где же этот освобожденный народ? По какой же это причине спрятался он весь в свои темные норы — спрятался и притаился там, как будто и нет его вовсе?.. Ну как же это: ни одного-таки взрыва восторга! Даже ни малейшего проявления не только радости, но и просто веселого настроения! Как будто бы великое дело уничтожения кре-

постного права вовсе и не касается этого народа, как будто бы ныне и не ему, этому народу, объявляли, что воля ему дана, освобождение.

— Русский народ проницателен, — сказал Маркс, внимательно слушавший взволнованную речь Лопатина. — Немало страданий и схваток ждет его еще на пути к действительной свободе.

Дружба Маркса и его семьи с Лопатиным непрерывно крепла. Тем больше поражены были все в Модена-вилла, когда узнали о его внезапном исчезновении из Лондона. В это время более трети перевода «Капитала» было уже им закончено. Надеясь скоро вернуться в Англию, Герман Лопатин отложил на время работу переводчика и уехал в Россию осуществить свой отважный замысел освобождения Чернышевского.

Он не признался в этом даже Марксу, несмотря на всю свою любовь и уважение, так как опасался, что тот сочтет затею безумной и попытается отговорить его. Лопатин никогда не отступал от намеченной цели, как бы безрассудна она ни была в глазах более опытных, здравомыслящих людей. В Женеве с помощью издателя Элпидина он приобрел подложные документы и под видом турецкого подданного Сакича прибыл в Россию. В деревянном сундучке, составлявшем весь его багаж, хранился экземпляр «Капитала» и отдельные листы перевода с немецкого на русский язык. Нелегко было выяснить, где в эту пору находился Чернышевский. Добыв у друзей деньги, паспорта и адреса сибирских явок, Лопатин поехал в Иркутск. С дороги он послал Марксу письмо, желая оправдаться в своем внезапном исчезновении.

«По почтовому штемпелю на этом письме вы увидите, — писал он, — что, несмотря на Ваши дружеские предупреждения, я нахожусь в России. Но, если бы Вы знали, что побудило меня к этой поездке, Вы, я уверен, нашли бы мои доводы достаточно основательными».

Из Петербурга Лопатин снова сообщил в письме Марксу о предстоящем путешествии.

«Стоящая передо мной задача, — писал он в Лондон, — вынуждает меня покинуть в ближайшие дни Петербург и отправиться в глубь страны, где я задержусь, по всей вероятности, три-четыре месяца».

Лопатин поехал в Сибирь с подложным паспортом и документом члена Географического общества Любавина.

Общительный, живучий характер, врожденное обаяние, находчивость и ум помогали Лопатину преодолевать многочисленные затруднения в дороге. В Иркутске он узнал, где ему искать Чернышевского, но на этом смелое предприятие его окончилось. Неосмотрительная доверчивость Элпидина послужила всему виною. Тот рассказал подосланному в Женеву III Отделением под видом революционера агенту о скором освобождении Чернышевского.

Маркс был крайне встревожен судьбою полюбившегося ему молодого человека, столь таинственно покинувшего Лондон. Он получил известие от друзей из Швейцарии об опасности, угрожающей Лопатину.

В условно составленном письме Маркс писал Даниельсону:

«Наш друг *должен вернуться в Лондон* из своей торговой поездки. Корреспонденты той фирмы, от которой он разъезжает, писали мне из Швейцарии и других мест. Коммерческое предприятие *потерпит крах*, если он отложит свое возвращение, и сам он навсегда потеряет возможность оказывать дальнейшие услуги фирме. Конкуренты фирмы уведомлены о нем, ищут его и заманят его в ловушку своими интригами».

Но было уже поздно. Лопатина схватили «конкуренты фирмы», то есть русская полиция. Он попытался бежать, был, однако, настигнут и засажен в Иркутский острог. Ему удалось оттуда обо всем сообщить Даниельсону и просить друга продолжать работу над «Капиталом», чтобы далее не оттягивался выпуск этой книги в России.

Даниельсон принялся тотчас же за книгу Маркса и быстро ее закончил. Первую главу и приложение, однако, перевел не он, а один из знакомых Лопатина, член «Рублева общества» Николай Любавин.

В дни выхода «Капитала» на русском языке Лопатин все еще находился под надзором, и хотя он был основным переводчиком книги, указать его имя на обложке не представлялось возможным. Сам Лопатин настаивал на скорейшем издании книги.

Маркс очень обрадовался «Капиталу», изданному на русском языке. Этот день был отмечен как большое торжество в Модона-вилла.

«Прежде всего, — писал он Даниельсону, — большое спасибо за прекрасно переплетенный экземпляр — перевод сделан *мастерски*».

Великий труд Маркса стал учебником социалистов многих стран. И в одной из резолюций Брюссельского конгресса Интернационала было сказано, что эта книга Маркса рекомендуется всем секциям как «библия рабочего класса».

Но первенство издания гениального творения Карла Маркса на иностранном языке принадлежит России.

С конца шестидесятых годов у творца «Капитала» и вождя Интернационала постоянно бывали многие русские. Одним из близких и особо ценимых Марксом людей стал петербуржец Александр Александрович Серно-Соловьевич. Он, как и его трагически погибший в 1865 году брат Николай, посвятил всю жизнь революционному движению. Братья Серно-Соловьевичи прожили каждый немногим более тридцати лет. Николай и Александр выросли в дворянской семье и рано под влиянием идей Чернышевского, Добролюбова и Герцена принялись за поиски высокой цели в жизни и «разумной работы». Они любили родину, и девизом их было: «Верим в силы России и ее будущность».

Николай Серно-Соловьевич был осужден «на гражданскую казнь» как участник «подземного общества», как тогда говорили о подпольщиках, «Земля и воля». После обряда казни на Мытнинской площади в Петербурге он в кандалах пошел в Сибирь, откуда рассчитывал бежать за границу, но в пути его зверски избил конвойный, и он скончался в Иркутской острожной больнице. Это был богатырь не только телом, но и душой. Умнейший конспиратор, он вместе с Чернышевским и другими открыл Шахматный клуб, где за игрой велись секретные и важные беседы. Оба брата занимались книжным делом — на магазин и издательство они израсходовали не только свое состояние, но и состояние родственников. И долго купцу первой гильдии Николаю Александровичу Серно-Соловьевичу, деятельному члену Русского географического общества и политико-экономического комитета, удавалось успешно распространять в России запрещенные «Колокол» и «Общее вече». Убеждения выдающегося под-

польщика и революционера не шли, однако, дальше того, чему учил Чернышевский и народники: «крестьянская община — ядро будущего социалистического общества». Таково было и общество «Земля и воля», членом Центрального комитета которого был Николай Александрович.

Младшего Серно-Соловьевича — Александра — от участи брата спасло изгнание. Он тоже принимал живейшее участие в тайном обществе «Земля и воля» и был членом ее Центрального комитета. Александр Александрович внешне и внутренне несколько отличался от покойного брата. Он был более замкнут, менее уравновешен, физически не столь силен. В больших, внимательно смотревших на собеседника глазах отражалось неуловимое беспокойство, а подчас и печаль. Лицо его было всегда очень бледным. Красивые большие губы под тонкими, остриженными «треугольником», темными усами часто подергивались. Он был повышенно чувствителен, легко раним. Александр жил спартанцем, ограничивая свои потребности и отдавая себя и все, что имел, делу борьбы за бесправных и обездоленных.

Одно время Серно-Соловьевич редактировал швейцарскую газету «Равенство», которая стала вскоре органом романских секций Интернационала. Он рьяно занимался созданием социал-демократической рабочей партии Швейцарии. Под его руководством она впервые в истории страны выпила в 1868 году на парламентские выборы со своей особой избирательной программой.

В 1867 году из Италии в Швейцарию переселился Бакунин. По Женеве разнеслась о нем, отчасти им самим раздуваемая, слава героического революционера, победившего стойкостью и отвагой саксонских, австрийских и российских деспотов. История его побега из Сибири переходила из уст в уста. Внешность Бакунина, особенно его огромный рост, проникновенный голос, демагогическая цветистая речь произвели очень сильное впечатление на неискушенных в политике и часто слабых в теории молодых русских эмигрантов. Но Александр Александрович не поддался стадному чувству поклонения, охватившему многих его сверстников. Он сразу же увидел, как властолюбив, душевно сух, склонен к интригам новоявленный пророк анархии. Даже вид Бакунина показался Серно-Соловьевичу неприятным. Недобрые глаза никогда не смотрели прямо на собеседника, а прятались под

слухами веками и за стеклами очков. Идеи Бакунина совершенно расходились с теми, которые отстаивал Александр Серно-Соловьевич. Основные их расхождения были по вопросу об отношении рабочих к политической борьбе. Бакунин проповедовал теорию «политического воздержания», соратник же Чернышевского, член Центрального комитета «Земли и воли», отвергал эти взгляды, как тормоз революционного движения. Он понимал, что, создав политическую партию, рабочий класс может добиться улучшения своего положения. Еще менее соглашался он с бакунинской пропагандой необходимости немедленной социальной революции.

Серно-Соловьевич был членом Интернационала и принимал живейшее участие в работе романских секций. Человек неукротимой энергии, не щадивший себя для дела, он, случалось, спал в течение суток всего два-три часа и восклицал с горечью, что ему не хватает времени, чтобы выполнить хоть часть задуманного.

В одном из своих весьма характерных памфлетов, споря с бурсаку, который и устно и в печати клялся в любви к рабочим, Александр Александрович писал: «Что значит: я люблю рабочих? Любите ли вы их, как любят капусту, ветчину, больше или меньше? Что вы толкуете нам о любви? Пожалуйста, оставьте эти выражения ваших чувств! Любите себя, жену, детей и т. д., — все это очень хорошо, но чего требует рабочий от вас и подобных вам? Только денежного и даже менее того. Обогащаясь за счет его труда, по крайней мере, избавьте его от вашего сочувствия».

Маркс высоко ценил Серно-Соловьевича, переписывался с ним и ему, единственному русскому, подарил в декабре 1867 года экземпляр первого тома «Капитала».

Последние годы жизни Александр Александрович отстранился от участия в русских эмигрантских делах, так как всецело отдался работе в Международном Товариществе Рабочих. Он говорил, однако, одному из своих друзей:

— Меня мучает, что я не еду в Россию мстить за гибель моего брата и его друзей, но мое одиночное мщение было бы недостаточно и бессильно. Работая здесь в общем деле, мы отомстим этому проклятому порядку, потому что в Интернационале лежит залог уничтожения всего этого порядка повсюду, повсеместно.

Работа в Международном Товариществе всегда казалась Серно-Соловьевичу служением не только всему рабочему движению, но и делу освобождения родины от царского ига.

Борьба с Бакуниным и его приверженцами становилась все более тяжелой для Серно-Соловьевича. В то же время ему выпало на долю много иных неудач и разочарований: женевские рабочие проявили недостаточную твердость во время вспыхнувшей стачки, которой он руководил; созданная им социал-демократическая партия Швейцарии провалилась на выборах; его газета подвергалась яверской травле анархистов, приобретавших большое влияние среди местного пролетариата. Испытания сломили его. Из-за непрекращающихся потрясений усилилась душевная болезнь, которой он был подвержен. Узнав от врача о якобы безнадежном своем положении и не желая очутиться в страшном мраке надступающего безумья, он покончил жизнь самоубийством тридцати одного года от роду.

Дружба между всеми членами семьи Маркса смягчала трудности жизни и материальные лишения. Невозможно определить, какая из трех дочерей Карла и Женни могла бы считаться лучшей, — так богаты и цельны были их души. Это были не только преданные, любящие родителей дети, но и их первые друзья и единомышленники.

Желая хоть чем-нибудь помочь родным, Женнихен поступила домашней учительницей в зажиточную шотландскую семью. Тринадцатилетняя Элеонора училась, много читала и резвилась в свободные часы вместе с своей многочисленной четвероногой командой.

Любовь Поля и Лауры росла с каждым днем. Тот, кто любит, всегда способен понять душу другого человека, поглощенного тем же всепильным чувством. Отныне Лауре до конца открылось сердце ее матери, захваченное на всю жизнь одной страстью. В конце 1868 года молодые Лафарги переехали во Францию. Приближавшееся материнство умиротворяло молодую женщину и вместе пугало ее. Но Лафарг — сильный, целеустремленный, вдохновенный — умел успокоить жену и развеселить ее. Вместе с Лаурой он принялся за перевод «Коммунистического манифеста» на французский язык. В свободное

время Лаура занималась хозяйством. Она отлично стряпала и шила крошечные распашонки и чепчики для будущего ребенка.

Первого января нового, 1869 года Карл и Женни узнали о рождении внука. Лафарги назвали новорожденного мальчика Этьеном, но скоро за ним прочно утвердилось прозвище Шнапсик.

Маркс непрерывно посещал Британский музей и много работал. В свободные часы с большим свернутым черным зонтом в руке на случай дождя он отправлялся в сопровождении постаревшего пса Вики в Хэмпстед-хит. По дороге нередко Маркс заходил к кому-нибудь из старых знакомых рабочих, чтобы послушать их мнение о злободневных делах. Экариус и Лесснер, соратники Карла со времен создания Союза коммунистов, чаще других были его попутчиками в таких прогулках. Седой, сутулый портной Лесснер не скрывал удовольствия, когда слушал Маркса. Нередка и он вставлял меткое словцо или принимался рассказывать о своих делах и наблюдениях. Его заветной мечтой было добиться восьмичасового рабочего дня для всех трудящихся.

И Лесснер и Экариус, случалось, очень нуждались в деньгах, и, сам крайне стесненный материально, Маркс делился с ними последними крохами.

— Как было не помочь, — объяснял он грустно Энгельсу, — у Лесснера умерла жена, бедняга запутался в долгах, а Экариуса чуть не выбросили за неуплату из квартиры. У старика, когда он пришел ко мне, на глазах были слезы. Рабочий Дюпон, самый дельный из здешних людей сидит давно без работы. Он так скромен, что никогда без самой крайней нужды не занимает денег. В общей сложности я роздал четырнадцать фунтов.

В семье Маркса всех интересовали далекие страны, волнующие маловедомой, сложной древней культурой. Все, что печаталось об Индии и Китае, жадно прочитывалось не только Марксом, но и его женой и дочерьми. Прозвищем Кенинхен было Кви-Кви — император Китая, связанному с Индией торговыми делами, девушки достоверно слышали о Калькутте и Дели. Они стремились к сказочно-увлекательные путешествия по южным морям. Особенно тревожил воображение впечатлительного подростка Тусси неповторимый, далекий Китай. В Манчесте-

ро она познакомилась у Энгельса с купцами, подолгу жившими в Срединной империи.

Часто, уединившись с Ленхен в просторной, чистой кухне, Элеонора принималась рассказывать о стране, где все так необычно: мужчины носят халаты, а женщины — маленькие брючки; ноги и грудь женщин бинтуются с малолетства, а символом красоты считается лотос; где дети играют гробиками и народ преодолел страх смерти.

— Представь себе, в Китае существуют не писаные, а звуковые вывески. Бродячие торговцы и ремесленники установили для своих цехов звуковую рекламу. Вот, скажем, сижу я так же на табурете, ты стоишь у плиты, а за окном раздается напев фруктовщика...

— Это было бы кстати. Нет яблок для штруделя, — заметила Ленхен.

— Шипит водовоз, продавец игрушек несет свой товар в ведрах на коромысле и громко насвистывает, в руках парикмахера не умолкает трещотка, а слесарь звонит в колокольчик.

— Экий шум там, однако.

— Да, у китайских улиц, как у моря и леса, свой голос, — мечтательно заключила девочка.

Тусси была всегда желанным гостем в манчестерском Морнингтон-паласе, где поселился Энгельс с женой и ее племянницей малюткой Мари Эллен, толстушкой, прозванной Пумс.

В этом доме, который был ей дорог так же, как и родительский, Тусси имела много четвероногих друзей. Любимцем ее и Энгельса стал больной весьма разумный и добродушный Дидо, ирландский рыжий терьер с квадратной бородатой мордой и горящими глазами. Он постоянно сопутствовал своему хозяину в пеших и верховых прогулках. С Тусси у Дидо установились самые короткие приятельские отношения, которые пес выражал неутомимым вилянием хвоста и радостным визгом. Он, так же как и Виски, умел играть в мяч, отбивая его носом, и часто заменял пони, разрешал запрячь себя в колясочку Мари Эллен.

В Манчестере Тусси чувствовала себя полноправной хозяйкой дома. Ее нежно любила и баловала Лиззи, которой девочка помогала в рукоделии, хозяйстве и приемо

гостей. Четырнадцатилетняя Тусси была особенно горда тем, что давала маленькой Пумс первые уроки немецкого языка. Она беспечно носилась по всем комнатам и только в кабинет Энгельса входила не без робости. Там, в святая святых дома, царил опрометчивый порядок. Каждая вещь, включая тряпочку для чистки перьев, имела строго определенное ей место, и горе было тому, кто это нарушал,—всегда спокойный, мягкий в обращении Энгельс становился тогда мрачным и суровым. От волнения он начинал заикаться и с трудом усмирял в себе начинающуюся бурю. Книги и бумаги, лежавшие стопками, также были будто прикованы к столу, и домочадцы никогда не прикасались к ним.

Как-то в самом конце июня Энгельс позвал Тусси к себе. Она вошла с книгой сербских песен на немецком языке, которую читала. Осмотрев кабинет слегка насмешливым взглядом, девочка выпятила полные губы и сказала:

— У тебя, дядя Энгельс, в кабинете очень скучно и вещи так же аккуратно разложены, как в шкафу у педантичной старой девы.

Энгельс залился по-детски чистым смехом. Только Маркс мог соперничать с ним в врожденном искусстве чистосердечно смеяться и находить в этом душевную разрядку. Смех обоих друзей заражал окружающих и был радостен, будто гимн бытию.

Посмеявшись вдоволь, Энгельс сказал:

— Ого! Разница, однако, в том, что сложенное в шкафу приданое ей не пригодится, а здесь все, что видишь, находится в непрерывном действии. К тому же я слишком стар, чтобы приобретать новые привычки. Кстати, вот два письма для мисс Элеоноры от Мавра, — продолжал он и протянул их девочке.

Тусси, усевшись в кресло, погрузилась в чтение. Вдруг она снова услыхала, что Энгельс хохочет над письмом Маркса.

— Черт возьми! Карл снова раскопал кое-что у Ларошфуко. Послушай-ка, Кио-Кио: «У нас у всех достаточно сил, чтобы перенести чужое несчастье». Это ли не истина? Или вот еще: «Старики потому так любят давать хорошие советы, что они уже не могут подавать дурные примеры». Отлично сказано. А вот еще: «Когда

пороки покидают нас, мы стараемся уверить себя, что это мы покинули их».

— Мавр — подлинный кудесник. Не зря он сам часто называет себя Лешим. Что еще сообщает он смешное?

— Изволь: «Короли поступают с людьми, как с монетами: они назначают им цену по своему произволу, и их приходится расценивать по назначенному курсу, а не по действительной стоимости». Умен был старый француз. «Мы нередко относимся снисходительно к тем, кто тяготит нас, но мы никогда не бываем снисходительны к тем, кто тяготится нами».

Еще одно изречение, приведенное в письме, Энгельс, сочтя неподходящим для Тусси, прочел про себя: «Любовники только потому никогда не скучают друг с другом, что они всегда говорят о себе».

— Знаешь, Туссихен, — сказал Энгельс, отложив чтение, — никто не может себе представить, как часто, несмотря на то что не всегда нам с Мавром жилось сладко, мы искренне веселились в письмах. Если бы ты знала, сколько шуток запечатлено в нашей эпистолярной продукции за двадцать пять лет. — Энгельс достал ящик, в который обычно складывал письма друга. В нем было несколько десятков тщательно перевязанных пачек. Тусси подошла к креслу Энгельса и заглянула через его плечо. На столе лежал только что полученный листок почтовой бумаги. Она узнала дорогой ей, неистощимый, острый, как зигзаги молнии, почерк отца. Рядом лежал ответ Энгельса, написанный четкими, красивыми, мелкими буквами.

Тусси перевела глаза на настольный календарь. Был канун первого июля.

— Завтра, не правда ли? — шепнула Элеонора.

— Да, карлик Альберих. Завтра великий день.

— Мы устроим большой праздник. Ведь ты ждал этого двадцать лет.

— Конечно, боби. Я расстаюсь навсегда с проклятым божком коммерции Меркурием. Я наконец свободен. Ура!

Энгельс встал с чисто японской резвостью с кресла и подхватил Тусси на руки, как делал это, когда она была совсем маленькой. Затем он устремился в соседнюю комнату и закружил Лиэн.

— Да здравствует свобода! Ура!

Около двадцати лет Энгельс был впряжен в ненавистное ему ярмо коммерции. Как часто подавлял он чувство, граничащее с отчаяньем, оттого что вынужден отслуживать долгие часы в конторе за томительными подсчетами, подведением баланса, ходить постоянно на биржу, общаться с чуждыми людьми, терять невозвратимые часы, которые хотелось бы использовать совсем иначе. И только мысль о друге и его семье, понимание, что без его денежной поддержки их ждет гибель, а человечество лишится гениальных творений, открытий, давали ему силу и укрепляли волю. Укрощая себя, Энгельс снова отправлялся в контору. А годы, молодость прошли, подступила старость. И вот настало освобождение.

На следующий день Энгельс поднялся, как всегда, очень рано. Выражение его лица было просветленное, блаженное.

— В последний раз! В последний раз! — возгласил он, натягивая высокие сапоги, чтобы в последний раз отправиться в контору. Лиззи не могла скрыть своей радости и обняла мужа.

Спустя несколько часов она и Тусси вышли к воротам, чтобы встретить «коммерсанта в отставке», как в этот день говорили в Мориитон-палace. Энгельс шел, размахивая приветственно тростью над головой, и громко пел бравурную немецкую песню.

До поздней ночи не затихали шутки и смех. Лиззи убрала по-праздничному стол, и в честь «бегства из египетского пленения», как Маркс назвал совершившееся событие в жизни друга, распили не одну бутылку шампанского. Когда пир был окончен, Энгельс уединился в кабинете, чтобы подробно сообщить своей матери Элизе обо всех делах по передаче конторы компаньону.

«Моя новая свобода, — писал он между прочим, — мне чрезвычайно нравится. Со вчерашнего дня я стал совсем другим человеком и помолодел лет на десять. Вместо того, чтобы пойти в мрачный город, я бродил сегодня утром в эту чудесную погоду несколько часов по полям. За моим письменным столом в комфортабельно обставленной комнате, где можно открыть окно, но боясь, что повсюду черными пятнами осядет копоть, с цветами,

стоящими на окнах, и несколькими деревьями перед домом, работается совсем иначе, чем в моей мрачной комнате на складе с видом на двор. Я живу в десяти минутах ходьбы от клуба... В 5 или 6 часов вечера я обедаю дома, кухня очень хороша, а затем большей частью ухожу на несколько часов в клуб читать газеты и т. д. Но все это я смогу организовать как следует лишь тогда, когда мне не нужно будет больше бегать в город из-за баланса и пр.

Сердечно любящий тебя сын

Фридрих».

В том же году Энгельс с женой и Тусси поехал в Ирландию. Его дорожные рассказы о стране, прозванной «Ниобеей наций», согласно древнему мифу о несчастной матери, потерявшей своих детей, остались в памяти младшей дочери Маркса на всю жизнь. В путешествии Фридрих Энгельс всегда был чрезвычайно вынослив, бодр и заражал окружающих юношеской энергией и умением радоваться жизни. Хотя он приближался уже к пятидесяти годам, в его каштановых волосах и густой окладистой непокорной бороде не было ни одного седого волоса. И лицо без морщин сохранило краски ранней молодости. Он был неутомим в каждом деле, за которое брался, и постоянно углублял свои познания в естествознании, химии, ботанике, физике, политической экономии и военных науках. Филология была его страстью; он знал двадцать языков, и из них двенадцать в совершенстве.

Со времени ухода от коммерции ничто не удерживало Энгельса в Манчестере. Он начал деятельно готовиться к переезду в Лондон, поближе к любимому другу и его семье. Давно уже Маркс и Энгельс мечтали о возможности жить в одном городе. Женни Маркс энергично приискивала в Лондоне квартиру, которая понравилась бы Фридриху и Лиззи и находилась поблизости от Мейтленд-парк.

Тысяча восемьсот шестьдесят девятый год оказался для Маркса необычно разнообразным. Он ездил не только гостить в Манчестер, но побывал несколько раз на континенте. В Париже у Лафаргов Маркс поселился под именем А. Уильямса. За ним следила полиция. Один из самых последовательных упорнейших врагов Лун

Бонапарта мог поплатиться свободой, а то и жизнью, если бы его обнаружили во Франции. Тем не менее Маркс ступил на землю императора. Снова был он в городе, который всегда любил. На улице Ванно тот же пыльный каштан сторожил дом, где провели Карл и Женни незабываемый счастливый год. Там родился их первенец — Женнихен — и столько раз вдохновенный Гейне читал свои только что написанные стихи. Как давно это было!

Глядя на своего первого внука, Маркс как бы заново измерял ушедшее время. Он часто брал ребенка на руки, не пропускал торжественных часов купания и кормления Шнаненка. Когда ребенок лежал распеленатый и тянулся к подбородку, беззлобно улыбаясь и раскрывая беззубый рот, Маркс чувствовал, как нежность теплым ветром обвевает его голову. Он думал о своем умершем сыне Муше. Тоска по нем не уменьшилась с годами. Тем сильнее он любил внука. Если Шнаненок принимался плакать, дед умел его успокоить.

— Ты чародей, Маур, — удивлялась Лаура, — можешь смело сказать о себе: «Не мешайте детям приходить ко мне, я их люблю и понимаю».

— Я уважаю в детях наше будущее и всегда пропускаю их вперед, даже когда они еще в колыбели, — мягко ответил ей отец. — Как, однако, стремительно пронеслись годы, сделавшие меня дедушкой, — добавил он раздумчиво.

Вечерами, в сопровождении дочери и зятя, Маркс долго гулял по столице. Было жарко и пыльно. На узеньких улочках вокруг Сен-Жерменского предместья воздух поражал зловонием. Только на бульварах у Сены, начиная с фасада Лувра, все резко изменилось.

— Барон Осман заметно перекроил Париж, османсировал его изрядно, — шутил Маркс, глядя на прямые, широкие улицы. — Постарел я, что ли, но мне кажется, что за минувшие годы француженки все до одной похурчели. — Заметив ярко размалеванные портреты императора и его супруги Евгении, выставленные в витринах лавок, он добавил, смеясь: — Наполеон Первый, говорили, имел гений, а его мнимый племянник только Евгению.

В Париже Маркс надеялся повидаться с Огюстом Бланки, этим несокрушимым, вечно действующим вул-

ческим революционером, но тот после многолетнего заключения, преследуемый французской полицией, тайком покинул Францию и поселился в Брюсселе, откуда направлял борьбу своей рати с империей.

Дождавшись, когда Лаура с малюткой сыном отправилась на берег моря, Маркс и Женнихен поехали в Зигбург, где их с нетерпеньем поджидал Иосиф Дицген. Уже несколько лет его соединяла с Марксом оживленная переписка. Теперь они встретились впервые и обнялись как братья.

Каждый составил себе уже по письмам вполне правильное мнение о другом. Дицген чтил в Марксе гения, который был для него непререкаемым авторитетом в вопросах теории и борьбы. Однако глубоко честный по натуре самородок, рабочий остался чужд экзальтированному восхищению и потребности создать себе божка, чтобы поклоняться ему. Дицген был полной противоположностью врачу Кугельману, который искал для себя некий сверхчеловеческий идеал, чтобы, обожествляя его, одновременно подняться в собственном мнении и сделаться главным жрецом при своем божестве. Есть подхалимствующие, склонные, по рабской своей сущности, к созданию земных богов. Не авторитеты нужны им, а кумиры, которых они сами лепят, а потом по надобности легко и разрушают.

Иосиф Дицген, как и Маркс, отличался суровой правдивостью. Ему претила всякая слащавость и деланность во взаимоотношениях с кем-либо. Маркс нытливо всматривался в этого необыкновенного самоучку.

«Да ведь это истый философ, мыслитель», — думал он.

Как некогда Вейтлинг, потом Эккариус и другие, Дицген вызывал в вожде Интернационала чувство законной гордости за пролетариат, выдвинувший столь одаренных людей. Редко кто умел так радоваться достижениям и удачам своих соратников и учеников, как Маркс. Он вырастил уже плеяду теоретиков и отважных борцов из самих рабочих и считал это делом важным и срочным.

Несколько дней, проведенных в семье Дицгена, пролили быстро, в оживленнейших разговорах и спорах. Круг интересов собеседников был очень широк и включал историю философии, экономическое учение Маркса,

вопросы политики и тактики Международного Товарищества и прежде всего применительно к немецкому революционному движению. С первых дней возвращения на родину Дицген стал одним из последовательнейших проводников учения Маркса и Энгельса среди рабочих и ремесленников. Пренебрегши материальной выгодой, Дицген покинул Россию ради социал-демократической деятельности на родине.

Общность мировоззрения и единые цели крепко спаяли кожевника Дицгена с вождем Интернационала. Однако, обсуждая что-либо, особенно только что законченную книгу Дицгена «Сущность головной работы человека», они часто горячо возражали друг другу. Громкоголосые, как все рейнландцы, легко вспыхивающие, они поднимали такой шум, что в комнату вбегала Женихен или кто-либо из женщин семьи Дицгена. Однако так же внезапно, как начинался, спор вскоре обрывался, и беседа переходила на более спокойные тона, сопровождаясь шутками и взрывами смеха. Маркс дал немало ценящих советов и указаний Дицгену по всем вопросам философии и политики. Он помог ему овладеть методом диалектического материализма и додумать до конца идеи, поднятые в его книге. Не раз поверял Дицген Марксу сомнения в собственных силах.

— Мне недостает систематически полученных знаний, — говорил он своему высокочтимому другу. — Я не кончал ни одной школы и постоянно страдаю оттого, что не уверен, имею ли право судить без солидной научной подготовки о «Критике чистого разума» или «Логике». Правда, свободный от всего побочного и школьных догм, я усвоил практически то, чему учили Аристотель, Кант, Фихте, Гегель, Фейербах, а главное, понял ваши труды. Ведь мышление невозможно без соприкосновения с жизнью, иначе это только блуждание в темных дебрях схоластики. Мышление не привилегия профессоров. Мы, рабочие, должны жить также и своим умом, чтобы наши недруги, пользуясь духовным преимуществом, эксплуатировали нас во всех отношениях, в том числе и материально. Об этом я писал также и в рецензии на вашу великую книгу «Капитал».

— Что ж, слушая вас, я могу смело сказать: пролетариат одолеет все и постигнет одну из наибольших радостей бытия — теоретическое мышление.

— Признаюсь, я не перестаю дивиться тому, с какой щедростью и легкостью вы отдаете всем людям лучшее из того, что добыл ваш мозг, — заметил Дицген.

— Все, что я отдаю, обогащает меня, — раздумчиво сказал Маркс. — То, что мы дарим другим, возвращается к нам сторицею.

— Истина, глубочайшая философская правда! — воскликнул кожевник.

Прощаясь с Марксом, растроганный Дицген долго не выпускал из своей его руку.

— Я по-прежнему льщу себя надеждой, что смогу содействовать продвижению в народ тех научных сокровищ, которые вы сделали общим достоянием.

После недолгого визита к двоюродному брату в Аахен, поездки по издательским делам к Мейснеру в Гамбург Маркс с дочерью Женни наконец прибыл к Кугельманам.

Ганноверские друзья окружили Карла и Женнихен дружеской заботой. Приветливая, превосходно воспитанная, тактичная Женнихен тотчас же завоевала сердца Гертруды и Францхен. Кугельман, как всегда, шумно выражал свое преклонение перед Марксом. В его отношении к автору «Капитала» была примесь опасной экзальтации, которая подобна бурлящей пене над пивом. Внезапно взметнувшись вверх, она так же быстро исчезает, и тогда обнаруживается не дополна налитая кружка.

В доме, принадлежавшем восторженному врачу, в одной из парадных комнат о пяти окнах, в которой обычно принимали гостей, были расставлены вдоль стен на постаментах и колонках гипсовые бюсты различных греческих богов. Кугельман то и дело надоедал Марксу утверждением, что Карл точь-в-точь похож на Зевса.

— Обратите внимание, — приставал он к Женнихен, видя, что Маркс его не слушает, — у обоих могучее чело и голова с копной курчавых волос. На лбу вертикальные складки мыслителя, а выражение лиц в одно и то же время повелительное и добродушное. Я нахожу также у Маркса, — добавлял он многозначительно, — жизнеутверждающее спокойствие духа, которое воспел у обитателей Олимпа великий слепец Гомер. Таким людям чужды рассеянность и завихрения. — Красноречивый врач погружался в глубокомысленное созерцание голов Зевса и Маркса.

— Классические боги — символ вечного покоя, лишенного страсти, — продолжал он убежденно. — Не правда ли, Мавр?

— Вы не правы, — ответил тот, не задумываясь, — они символ вечной страсти, чуждой покоя.

Когда к Марксу приходили товарищи по партийной или политической работе, Кугельман принимался ворчать. Он хотел, чтобы, подобно античным богам, Маркс был недоступен людям, метал молнии и громовые стрелы на бумаге, а не занимался тем, что ганноверскому врачу казалось всего лишь земной суетой, не стоящей траты времени. Маркс вежливо, но решительно прекращал сетования Кугельмана и продолжал общаться с самыми различными людьми. Его посетила депутация Всеобщего германского рабочего союза металлистов, и более часа продолжалась их оживленная беседа. Маркс рассказал делегатам о подлинном значении профсоюзов и высказался против принципов организации рабочих объединений, проводимых Швейцером и его партией. Спустя несколько дней к вождю Интернационала пришли члены Центрального комитета Социал-демократической рабочей партии Германии.

Разговор между ними был резким и не исчерпал разногласий.

В зале у Кугельманов, прозванном «Олимпом», устраивались часто концерты, в которых участвовали местные певцы и музыканты, а также Женнихен. Она прочла монолог леди Макбет. Незадолго до того она выступала в той же роли в одном из лондонских театров. Полученные за это деньги Женнихен потратила тогда на покупку бархата для Ленхен, не имевшей теплого пальто.

Случалось, по вечерам Маркс читал семье Кугельманов наизусть отрывки из греческих классиков, Шекспира, Гете, Шамиссо, Рюккерта. Беседуя о литературе, он метко судил о своих любимцах — Кальдероне, Фильдинге, Бальзаке, Тургеневе, который, по его мнению, верно понял своеобразие русского народа, восхищался описаниями природы у Лермонтова. О чем только не говорили! Маркс как-то весьма юмористически описал бывшее с ним происшествие, когда его чуть не задержали и по препровождали в полицию по подозрению в краже. Он пытался сдать в ломбард под залог фамильное серебро жены, на

котором был баронский герб и монограмма фон Вестфален. Только вмешательство Женни разъяснило это грустное недоразумение.

Женнихен привезла с собой «Книгу признаний», и многие из новых знакомых и друзей ответили на ее вопросы. Маленькой Френцхен больше всех иных правились шуточные признания Елены Демут, которые девочка многократно перечитывала и повторяла.

— Как это верно, — повторяла следом за дочерью Гертруда Кугельман, — что тому, кто постоянно возится с кастрюлями, счастьем кажется «съесть обед, который я не готовила». Так, кажется, пишет ваша Ленхен?

На вопрос, какое ваше любимое занятие, Елена отвечала: «Строить воздушные замки». Любимым героем ее был — кофейник, а героиней — самая большая сковорода.

Девизом своим Елена Демут объявила: «Живи и жить давай другим».

Личностью наиболее неприятной казался ей Лассаль, чей черствый эгоизм, скупость и обжорство навсегда запомнились Ленхен.

Дни в Ганновере, прозванные Марксом «оазисом в пустыне», пронеслись быстро. В октябре он уже снова был в Лондоне. Из России Николай Францевич Даниельсон прислал ему к этому времени «Положение рабочего класса в России» Флеровского.

Случалось, что в английской и немецкой прессе появлялись злобные отзывы на «Капитал», которые смешили Маркса и его друзей, но неизменно сердили Елену Демут. Она яростно ополчалась на всех, кто осмеливался непочтительно говорить или писать о Марксе.

Прусская бульварная печать нарыгала в пароксизме бешенства и бессилия ядовитый фонтан лжи в адрес вождя Интернационала, чей могучий ум теоретика и бойца был признан уже во многих странах:

«Политический преступник, беглый бунтовщик, красный разбойник из Трира Карл Маркс, укрывшись в Лондоне, терроризирует своей книгой все слои низших классов».

Однако и противники «Капитала» скрепя сердце вынуждены были признавать всю внутреннюю силу и пламень, заложенные в этом великом труде.

Журнал «Субботнее ревю», снабжавший отставных клерков и местных торговцев постным, правоучительным, богобоязненным недельным чтивом, писал в обзоре новых

немецких книг о труде Маркса: «Как бы ни были ложны предпы взгляды автора, нельзя все же не признать убедительности его логики, силу его красноречия и своеобразную прелесть, которую он сообщает самым сухим проблемам политической экономии».

Наступил последний день 1869 года. Отрывая листик календаря, Маркс задумался.

В памяти всплыли наиболее важные дела последнего месяца: сбор денег для Золингенского производственного товарищества, составление письма, предназначенного лорду Литфилду. В нем Маркс развил свой взгляд на отмену частной земельной собственности и историческую необходимость ее национализации. Написал он и резолюцию о фениях председателю Ирландской ассоциации рабочих. Неоднократно говорил с трибуны о событиях в Ирландии, подготовил контрнаступление против подрывной работы Бакунина в Интернационале и послал об этом подробное сообщение в Брюссель своему единомышленнику де Пану для доклада Брюссельскому комитету Международного Товарищества. Ходатайствовал перед Генеральным Советом об организации сбора денег в пользу бастующих горнорабочих Вальденбурга. Написал статью для газеты, выступал на праздничном рождественском вечере в Рабочем просветительном обществе немецких эмигрантов. Отредактировал составленный Эккариусом отчет о Базельском конгрессе.

Вспоминая события прошедшего месяца, Карл мысленно присоединил к этому множество прочтенных и проработанных книг, занятия русским языком, написанные заново страницы следующих глав «Капитала».

Маркс много писал об ирландских делах. Он увидел, что из-за безработицы Ирландия выбрасывает на английский рабочий рынок избыток своего населения и этим снижает заработную плату английского труженика. Между работниками ирландцем и англичанином начинается борьба за труд, за кусок хлеба, приводящая к взаимной ненависти и раздорам. Английский пролетарий осложняется, считая ирландца конкурентом, и противопоставляет ему себя как представителя господствующей нации. Ирландец ярится на англичанина, считая его врагом и орудием порабощения своей родины. Это зло перекинулось и в Америку, куда потянулись согнанные с родных земель бедняки из разоренной Ирландии.

Интернационал, по мнению Маркса и Энгельса, должен повсюду открыто отстаивать права Ирландии, а обязанностью Генерального Совета было пробуждение в английском пролетариате сознания, что национальное освобождение Ирландии не только дело отвлеченной справедливости и человечности, но первое условие его собственного социального освобождения.

Бурный подъем революционной борьбы ирландского народа за свою независимость, широкое движение за амнистию заключенных фениев заставили Маркса вплотную заняться вопросом, которому он придавал огромное теоретическое и политическое значение. Учтя соотношение сил в самой Англии и революционные возможности ирландского освободительного движения, Маркс заново пересмотрел все, что думал о положении в Ирландии.

Если раньше он полагал, что рабочее движение угнетающей английской нации принесет свободу Ирландии, то теперь пришел к выводу, что национальное освобождение «Зеленого острова» должно послужить предварительным условием освобождения английского рабочего класса.

Маркс с гениальной проницательностью вскрыл заинтересованность не только ирландского, но и английского народа в уничтожении национального гнета на соседнем острове. Он стремился утвердить идею боевого союза английских чартистов с борцами за независимость Ирландии. В качестве лозунга английского рабочего движения Маркс обосновал требование о предоставлении Ирландии национальной независимости, вплоть до ее отделения от Англии. На опыте Ирландии Маркс, сделав дальнейший шаг в развитии своих идей по национальному и колониальному вопросу, пришел к выводу о необходимости сочетания национально-освободительного движения в этой первой английской колонии с борьбой пролетариата за социализм во всей метрополии. В Генеральном Совете Маркс был неутомимым вдохновителем кампаний, митингов, дискуссий в защиту и поддержку борющейся Ирландии, докладчиком и автором решений по ирландскому вопросу.

В письме Генерального Совета Интернационала Федеральному совету Романской Швейцарии Маркс обосновал интернациональное значение ирландского вопроса, показав важность разрешения ирландской проблемы для развития международного рабочего движения, прежде

всего для успешной борьбы английского пролетариата. Он указал, что одной из основ экономического могущества английских господствующих классов является колониальное угнетение Ирландии.

«Если Англия, — писал Маркс швейцарским руководителям Интернационала, — является крепостью лендлордизма и европейского капитализма, то единственный пункт, где можно нанести серьезный удар официальной Англии, *представляет собой Ирландия.*

Во-первых, Ирландия является *цитаделью* английского лендлордизма. Если он рухнет в Ирландии, то он должен будет рухнуть и в Англии. В Ирландии это может произойти во сто раз легче, потому что *экономическая борьба сосредоточена там исключительно на земельной собственности*, потому что там эта борьба есть в то же время и национальная борьба и потому что народ в Ирландии настроен более революционно и более ожесточен, чем в Англии. Лендлордизм в Ирландии удерживает свои позиции исключительно при помощи *английской армии.* Как только прекратится *принудительная уния* этих двух стран, в Ирландии немедленно вспыхнет социальная революция, хотя и в устаревших формах. Английский лендлордизм потеряет не только крупный источник своих богатств, но также *важнейший источник своей моральной силы* как *представителя господства Англии над Ирландией.* С другой стороны, оставляя неприкосновенным могущество своих лендлордов в Ирландии, английский пролетариат делает их неуязвимыми в самой Англии.

Во-вторых, английская буржуазия не только эксплуатировала ирландскую нищету, чтобы ухудшить положение рабочего класса в Англии путем *вынужденной иммиграции* ирландских бедняков, но она, кроме того, разделила пролетариат на два враждебных лагеря. Не происходит гармонического соединения революционного кельтского рабочего и положительного, но медлительного нрава англосаксонского рабочего. Наоборот, во всех *крупных промышленных центрах Англии* существует глубокий антагонизм между английским и ирландским пролетарием. Средний английский рабочий ненавидит ирландского как конкурента, который понижает заработную плату и *standard of life*[1]. Он питает к нему национальную

---

[1] Уровень жизни *(англ.)*.

и религиозную антипатию. Он смотрит на него почти так же, как смотрели *poor whites*[1] южных штатов Северной Америки на черных рабов. Этот антагонизм между пролетариями в самой Англии искусственно разжигается и поддерживается буржуазией. Она знает, что в этом расколе пролетариев заключается подлинная тайна сохранения ее могущества.

Этот антагонизм воспроизводится и по ту сторону Атлантического океана. Вытесняемые с родной земли *быками* и овцами, ирландцы вновь встречаются в Северной Америке, где они составляют огромную, все возрастающую часть населения. Их единственная мысль, их единственная страсть — ненависть к Англии. Английское и американское правительства (то есть классы, которые они представляют) культивируют эти страсти, увековечивая скрытую борьбу между Соединенными Штатами и Англией. Они таким образом препятствуют серьезному и искреннему союзу между рабочими по обе стороны Атлантического океана, а следовательно, и их общему освобождению.

Ирландия — это единственный предлог для английского правительства содержать *большую постоянную армию*, которую в случае нужды, как это уже имело место, бросают против английских рабочих, после того как в Ирландии эта армия пройдет школу военщины...

Итак, позиция Международного Товарищества в ирландском вопросе совершенно ясна. Его главная задача — ускорить социальную революцию в Англии. Для этой цели необходимо нанести решающий удар в Ирландии».

Марке призвал рабочий класс угнетающей нации — англичан — к борьбе против всякого национального гнета и доказал, что одной из главных причин слабости английского рабочего движения, несмотря на его организованность, является всячески разжигаемая английской буржуазией национальная рознь между английскими и ирландскими рабочими. Угнетение Ирландии и других колоний, подчеркивал Маркс, является преградой для прогрессивного развития самой Англии. «Народ, порабощающий другой народ, кует свои собственные цепи» — так определил Маркс важнейший принцип пролетарского интернационализма.

---

[1] Белые бедняки *(англ.)*.

В январе 1870 года у Лауры Лафарг родился второй ребенок — дочка. Сообщая об этом Энгельсу, бабушка новорожденной, Женни Маркс, заканчивала письмо шутливой: «Я надеюсь, что этот быстрый темп прекратится. Иначе скоро придется петь: 1, 2, 3, 4, 5, 6... 10 маленьких негритят!»

Империю Луи Бонапарта судорожно лихорадило. Начался новый подъем рабочего движения. Горняки каменноугольного бассейна Луары и прядильщики Руана, ленточейщики и каретники Марселя, текстильщики, булочники и штукатуры Лиона, корзинщики, столяры, щеточники Парижа бастовали. Стремительно разрастались секции Интернационала, и его влияние среди тружеников становилось все более значительным.

«Интернационал, — писала Лаура отцу, — делает здесь чудеса. Рабочие явно питают к Товариществу неограниченное доверие; ежедневно образуются новые секции. Инициатива каждого нового движения среди рабочих, каждой новой стачки приписывается в той или иной мере Интернационалу... привлекая в его ряды все большее число обществ и отдельных лиц. К званию члена Интернационала начинают здесь относиться с большим уважением».

Весной в Париже возникла Федерация секций Международного Товарищества Рабочих. Тревога в правительстве Наполеона III возрастала по мере усиления Интернационала. Социалистов преследовали. В июне предстали перед судом тридцать восемь членов Интернационала. Смело отстаивали на суде свои социалистические взгляды обвиняемые французские рабочие.

Кризис Второй империи назрел.

В сумрачные, дождливые зимние дни Маркс зачитывался книгой «Положение рабочего класса в России» и писал Энгельсу об авторе Флеровском: «Видно, что человек этот сам всюду побывал и наблюдал все лично. Жгучая ненависть к помещикам, капиталистам и чиновникам... Прекрасно изображена и семейная жизнь русского крестьянина — с чудовищным избиением насмерть жен, с водкой и любовницами...»

Двумя днями позже Маркс снова писал о сделанном им важном выводе после чтения Флеровского:

«Из его книги неопровержимо вытекает, что нынешнее положение в России не может долыше продолжаться, что отмена крепостного права в сущности лишь ускорила процесс разложения и что предстоит грозная социальная революция».

В письме Маркс подробно знакомил Энгельса с перипетиями усиливающейся с каждым днем внутри Интернационала борьбы с Бакуниным. Женевская социалистическая газета «Равенство» под влиянием Бакунина выступила с бесчестными нападками на Генеральный Совет Интернационала, и в ответ на это Маркс составил обращение к Романскому комитету и всем секциям в Швейцарии, говорящим на французском языке.

«Результат: вся бакунинская банда вышла из «Egalité» [1], — сообщал Маркс Энгельсу. — Сам Бакунин избрал своей резиденцией Тессин и будет продолжать свои интриги в Швейцарии, Испании, Италии и Франции. Итак, теперь перемирию между нами пришел конец, так как он знает, что я резко напал на него в связи с последними женевскими событиями и разоблачил его интриги. Это животное и вправду воображает, что мы *«слишком буржуазны»* и потому не способны понять и оценить его возвышенные идеи о «праве наследования», «уравнении» и замене нынешней системы государств *«Интернационалом»*.

В 1869 году группа русских политических эмигрантов примкнула к Интернационалу. Именно в это время Генеральный Совет Международного Товарищества Рабочих вел ожесточенную борьбу с бакунистами, и русская секция, состоявшая из яростных противников новоявленного апостола анархии, оказала значительную помощь Марксу и Генеральному Совету в борьбе против раскольнических действий Бакунина.

В Италии, Испании, Швейцарии, России и отчасти во Франции Бакунин имел к тому времени уже немало сторонников и стал одним из наиболее опасных врагов развивающегося марксизма.

Бакунин пытался подчинить Интернационал своему влиянию, возглавить его, навязать анархистскую программу. Затаенные раскольнические стремления бакунистов вскоре выявились, и Генеральный Совет вынужден был решительно противодействовать их интригам.

---

[1] «Равенство» *(франц.)*.

Маркса и Бакунина разделяла непроходимая идейная пропасть: в то время как коммунисты призывали к революционной борьбе и были уверены в победе рабочего класса, Бакунин проповедовал «политическое воздержание». Борьба, утверждал он, ведет лишь к укреплению буржуазии, трудящиеся массы заинтересованы в уничтожении всякого государства, будь то монархия или какая угодно республика, а не в переделке его. Бакунин пытался доказать, что не капитал создает государство для защиты своих интересов, а, наоборот, государство — капитал. Любое государство является злом, поэтому необходимо его уничтожить, и тогда исчезнет сам собой капитал. Бакунин призывал не способствовать развитию государства, проповедовал полное пренебрежение ко всякой политической деятельности, осуждал стачки, демонстрации, участие трудящихся в парламентских выборах и выдвижение депутатов-работников. Он запрещал своим последователям принимать участие в местных самоуправлениях, не понимая, что отсутствие политических свобод задерживает развитие классового самосознания.

Анархисты объявили государственную власть причиной социального неравенства и нападали на учение Маркса о диктатуре пролетариата в переходный период от капитализма к коммунизму. По мнению Бакунина, надлежало немедленно путем революции уничтожить все виды и формы государства и на его развалинах установить анархию.

Но, как всегда, Бакунин оставался человеком двойственным и, проповедуя безвластие, анархию, втайне мечтал о диктатуре революционного меньшинства, подчиняющего своей воле народные массы.

«А чтобы спасти революцию, — писал Бакунин в марте 1870 года своему другу Ришару, — чтобы довести ее до благополучного конца, посреди этой самой анархии необходимо действие коллективной незримой диктатуры, не облеченной никакой властью, а потому тем более продуктивной и мощной».

Беспомощный в теории и практике революционной борьбы, чрезвычайно субъективный в оценках событий и людей, путаник в серьезном споре, Бакунин приносил большой вред рабочему международному движению, сеял раздоры, плел паутины интриг в Интернационале.

Ненависть Бакунина к Марксу прорывалась в каждом его действии и слове. Уже более четверти века он знал Маркса. Судьба свела их на одном поприще. Маркс был во всем таким, каким тщетно мечтал стать Бакунин. Бакунин мстил Марксу, стараясь, где и как мог, уязвить, опозорить, извернуть. Где-то в глубине души своей Бакунин иногда ощущал нечто подобное раскаянию и стыду. Тогда он старался подняться до беспристрастия и, прикидываясь равнодушным, давал Марксу некую положительную оценку, но тотчас же срывался и заканчивал обвинением в том, чем сам был томим — жаждой диктаторствовать, уничтожать.

Бакунин всю свою жизнь весьма проигрывал от близкого знакомства. Среди русских изгнанников в Швейцарии он скоро вызвал к себе резкое охлаждение и настороженность.

Лучшие люди среди изгнанников, примыкавшие к русской ветви Интернационала, отвернулись от всенизвергающего говоруна. Правда, царское правительство, по особым и сложным соображениям, не предало гласности исповедь и коленопреклоненные прошения Бакунина, по всей вероятности считая, что, внося смуту, он является хорошим противодействием научному коммунизму и Международному Товариществу Рабочих.

В то же время среди русских эмигрантов все больше возрастало уважение к Марксу. В марте 1870 году Русская секция Интернационала в Женеве направила в Лондон письмо:

«Дорогой и достопочтенный гражданин!

От имени группы русских мы обращаемся к Вам с просьбой оказать нам честь быть нашим представителем в Генеральном Совете Международного Товарищества в Лондоне. Эта группа русских только что образовала секцию Интернационала...

Спешим сообщить Вам, что подготовительная работа... увенчалась успехом, и мы нашли сторонников пропаганды Интернационала среди чехов, поляков и сербов...

Наше настойчивое желание иметь Вас нашим представителем объясняется тем, что Ваше имя вполне заслуженно почитается русской студенческой молодежью, выше-дшей в значительной своей части из рядов трудового народа. Эта молодежь, как идейно, так по своему

социальному положению не имеет и не желает иметь ничего общего с паразитами привилегированных классов, и она протестует против их гнета, борясь в рядах парода за его политическое и социальное освобождение.

Воспитанные в духе идей нашего учителя Чернышевского, осужденного за свои сочинения на каторгу в Сибирь в 1864 году, мы с радостью приветствовали Ваше изложение социалистических принципов и Вашу критику системы промышленного феодализма. Эти принципы и эта критика, как только люди поймут их, сокрушат иго капитала, поддерживаемого государством, которое само является паймпгом капитала. Вам принадлежит также выдающаяся роль в создании Интернационала, а в том, что касается специально нас, то опять-таки именно Вы неустанно разоблачаете ложный русский патриотизм, лживые ухищрения наших демосфенов...

Русская демократическая молодежь получила сегодня возможность устами своих изгнанных братьев высказать Вам свою глубокую признательность за ту помощь, которую Вы оказали нашему делу Вашей теоретической и практической пропагандой, и эта молодежь просит Вас оказать ей новую услугу: быть ее представителем в Генеральном Совете в Лондоне...

А чтобы не вводить Вас в заблуждение и избавить Вас от сюрпризов в будущем, мы считаем также своим долгом предупредить Вас, что не имеем абсолютно ничего общего с г. Бакуниным и его немногочисленными сообщниками. Напротив, нам придется в ближайшем будущем выступить с публичной оценкой этого человека, чтобы в мире трудящихся — а для нас ценно только их мнение — стало известно, что существуют личности, которые, проповедуя в их среде одни принципы, хотят сфабриковать у себя на родине, в России, нечто совсем иное, вполне заслуживающее позорного клейма. Настоятельно необходимо разоблачить лицемерие этих ложных друзей политического и социального равенства, мечтающих на самом деле только о личной диктатуре...

Соблаговолите сообщить нам, разрешаете ли Вы направлять к Вам наших друзей, уезжающих в Англию, и по какому адресу надлежит посылать наш журнал и наши бюллетени, которые будут выходить ежемесячно.

Нет необходимости добавлять, что мы были бы Вам крайне признательны хотя бы за несколько строк для

нашего журнала, раз мы не можем наделять на несколько страниц.

Примите, гражданин, от имени всех наших братьев выражение нашего глубочайшего уважения».

Первой под этим обращением к Марксу была подпись Н. Утина.

Маркс прочел письмо из Женевы в кругу своей семьи. Он был тронут искренностью и теплом, которыми веяло от каждой строки.

— Это неожиданно. Я — представитель молодежи России! — сказал он, добродушно улыбнувшись. Прищурив глаза, добавил с шутливой досадой: — Однако я не могу простить этим молодцам их обращения ко мне со словами «достопочтенный». Они, видимо, думают, что я старик восьмидесяти или ста лет.

Одним из наиболее выдающихся деятелей Русской секции Интернационала в эти годы был Николай Исаакович Утин, болезненный, хрупкий, смелый, образованный молодой человек. Некоторое время он и Бакунин жили не только в одном и том же швейцарском городке, но и в одном домо. Как и Серно-Соловьевич, молодой петербуржец окончил университет, отдался революционному движению, чтил Чернышевского, был членом Центрального комитета «Земли и воли». В декабре 1862 года он участвовал в переговорах с польскими революционерами, создал подпольную типографию, где печатались прокламации «Земли и воли». После провала типографии он бежал за границу. Заочно царский суд приговорил его к смертной казни.

Бакунин и Утин встретились впервые в Лондоне и спустя несколько лет, в 1868 году, приступили совместно с другими русскими революционерами-эмигрантами к изданию журнала «Народное дело» для распространения его в России. Первый номер вышел в сентябре 1868 года и состоял почти весь из одних только статей Бакунина. Наряду с требованием уничтожения государства Бакунин выдвигал теперь новую идею — об упразднении законного брака, родительской власти и введении общественного воспитания детей. Ни в одной из своих статей Бакунин ни словом не обмолвился о какой бы то ни было деятельности Интернационала.

Но Утин, отстаивавший принципы Международного Товарищества Рабочих, добился того, что редакция «Народного дела» отвергла анархистскую программу Бакунина, вынела из состава редакции «апостола анархии» и его сторонников. Постепенно, от номера к номеру журнал стал поддерживать идеи, проповедуемые Интернационалом, и включился в борьбу Генерального Совета с «Альянсом» Бакунина. Одновременно Утин выступил против диктаторского замысла Бакунина, который требовал создания за границей России центра, управляющего из-за рубежа всем освободительным движением на родине. Революционерам, действующим внутри страны, отводилась роль исполнителей предначертаний Бакунина. Утин же, наоборот, считал, что руководящая роль должна принадлежать направляющему центру в самой России, а эмигранты должны помогать соотечественникам в изучении западноевропейского социалистического движения и оказывать содействие в выработке передового мировоззрения и тактики.

Редакция «Народного дела» состояла из революционных народников, последователей Чернышевского. Журнал в каждом номере помещал сообщение о деятельности Международного Товарищества, отмечал его успехи в разных странах мира, сообщил о выходе в свет «Капитала» Маркса. Утин и его товарищи встали твердо на сторону Маркса в борьбе, развернувшейся в Интернационале с бакунистами. Сотрудники «Народного дела» считали необходимым распространять идеи Интернационала в России.

Так родилась мысль, а затем и решение создать «Русскую ветвь» Международного Товарищества и просить Карла Маркса быть ее представителем в Генеральном Совете.

Борьба Интернационала с Бакуниным и его группой в 1869 году обострилась. Вступив в секции Международного Товарищества Рабочих, члены формально распущенного «Альянса» сохранили его внутри Интернационала, но в качестве тайной организации. Сторонники Бакунина усвоили его девиз — «в политической борьбе хороши все средства» — и при выборах делегатов на 4-й конгресс Интернационала прибегали к мошенничеству, чтобы только добиться большинства и прибрать в свои руки Генеральный Совет.

Конгресс состоялся в сентябре 1869 года в Базеле. Съехалось семьдесят восемь делегатов от разных стран, в том числе от Национального Рабочего Союза Соединенных Штатов Америки.

Бакунин выступил на конгрессе с заявлением, что отмена права наследования на земельную собственность явится мерой для постепенного перехода земли от частных владельцев к народу. Маркс в присланном на конгресс и зачитанном там докладе о праве наследования доказал, что план Бакунина утопия и не может быть осуществлен в условиях капитализма, когда у власти находятся сами землевладельцы. После революции же идея Бакунина вовсе лишается смысла, ибо тогда земля и недра перейдут в руки народа и станут собственностью всего общества.

Конгресс раскололся. Часть делегатов поддержала Маркса, остальные Бакунина. Принять решение по этому вопросу оказалось невозможным. Однако, когда начались выборы, конгресс одобрил деятельность Генерального Совета и переизбрал его в прежнем составе. Анархисты, таким образом, к руководству Интернационалом допущены не были.

После Базельского конгресса Бакунин в газете «Égalité» повел клеветнический поход на Маркса и Энгельса. Он выступил в апреле 1870 года на съезде секций Романской Швейцарии в Ла Шо-де-Фоне с возрождешным прудонистским лозунгом об отказе членов Интернационала от всякой политической деятельности и добился раскола Романской федерации. Бакунисты создали свои секции, организовали комитет и приняли самостоятельное название — Юрская федерация.

Но Бакунин не хотел и на этом успокоиться, он пытался во что бы то ни стало скомпрометировать сторонников Генерального Совета. На общем собрании членов всех секций Интернационала Женевы он выступил против Утина и его единомышленников. «Эти люди нетерпимы, — говорил Бакунин, — они требуют моей головы». Он обвинял своих противников в желании предать его казни.

Утин опроверг подобные обвинения в той же газете. «Правда, — писал он про Бакунина, — что я его непримиримый противник. Он принес много зла революционному делу в моей стране, и он пытался принести его Интернационалу. Когда наступит день всенародного мщения, народ узнает своих истинных врагов, и если

тогда гильотина будет действовать, то пусть эти великие люди — диктаторы — поостерегутся, чтобы народ не гильотинировал их первыми».

Вскоре популярность Бакунина начала катастрофически падать. Все секции Интернационала Швейцарии и даже строительные рабочие, среди которых он пользовался большим авторитетом, отшатнулись от «апостола анархии». Им стало ясно, что Бакунин фразер, повторяющий вслед за Лассалем и Прудоном уже опровергнутое самой жизнью, что проповедуемый им утопический социализм устарел. Бакунин с горечью замечал наступившее политическое одиночество.

«Когда я оставил Женеву в октябре 1869 года, — писал он одному из своих единомышленников, — все строптивые рабочие, за очень небольшим исключением нескольких человек из комитетов, особенно завербованных женевской кликой и голосовавших вместе с ней, — были такими большими друзьями моими, что пришли сказать мне, прощаясь со мной: «Эти господа из фабрики думают оскорбить нас, называя «бакунистами», но мы им ответили, что мы предпочитаем, чтобы нас называли бакунистами, чем реакционерами...» Когда я возвратился в Женеву в конце марта 1870 года, я нашел их если не всех враждебными по отношению ко мне, то, по крайней мере, всех предубежденно настроенными и недоверчивыми».

Смута, которую Бакунин породил, вредила рабочему движению, однако влияние Интернационала непрерывно возрастало и, хотя очередной 5-й конгресс не мог состояться из-за начавшейся франко-прусской войны, Генеральный Совет все так же напряженно работал, откликаясь на все события, руководя политическими организациями трудящихся многих стран мира.

В редакцию журнала «Народное дело», издававшегося русской ветвью Интернационала, пришло письмо с лондонским штемпелем на конверте. Его нетерпеливо ждали. Прочитанный вслух в маленьком кабинете редактора Утина долгожданный ответ Маркса пошел по рукам. Всем хотелось перечесть текст, рассмотреть необычный почерк создателя Интернационала.

«Граждане!

В своем заседании 22 марта Главный Совет объявил единодушным вотумом, что ваша программа и статут

согласны с общими статутами Международного Товарищества Рабочих. Он поспешил принять вашу ветвь в состав Интернационала. Я с удовольствием принимаю почетную обязанность, которую вы мне предлагаете, быть вашим представителем при Главном Совете».

Итак, Маркс согласился представлять Россию в Интернационале. Это было волнующим событием для молодых русских изгнанников. Далее в своем письме Маркс касался вопроса об отношении к Польше и о книге Николая Флеровского:

«Это настоящее открытие для Европы. *Русский оптимизм*, распространенный на континенте даже так называемыми революционерами, беспощадно разоблачен в этом сочинении. Достоинство его не пострадает, если я скажу, что оно в некоторых местах не вполне удовлетворяет критике с точки зрения чисто теоретической. Это — труд серьезного наблюдателя, бесстрашного труженика, беспристрастного критика, мощного художника и, прежде всего, человека, возмущенного против гнета во всех его видах, не терпящего всевозможных национальных гимнов и страстно делящего все страдания и все стремления производительного класса.

Такие труды, как Флеровского и как вашего учителя Чернышевского, делают действительную честь России и доказывают, что ваша страна тоже начинает участвовать в общем движении нашего века.

Привет и братство.

Лондон, 24 марта 1870 года». *Карл Маркс*

ГЛАВА ВТОРАЯ

НЕУКРОТИМАЯ ФРАНЦИЯ

Ученик Бланки Гюстав Флуранс сочетал в себе вдумчивого ученого, многогранного публициста и революционного бойца с огненным темпераментом. Он отличался разносторонностью и глубиной знаний, умом, волей, неуемной энергией и беспримерной неустрашимостью. В двадцать пять лет Флуранс уже читал лекции по этнографии в Коллеж де Франс в Париже, но был уволен за приверженность к материализму. Неистовый вольнолюбец, он, как только вспыхнуло восстание 1863 года в Польше, отправился туда, затем устремился в Грецию и сражался за освобождение Крита. Флуранс много странствовал по свету, прежде чем вернуться в родную Францию.

В январе 1870 года в Париже было неспокойно. Убийство принцем Пьером Бонапартом явившегося к нему молодого журналиста республиканца Нуара всколыхнуло рабочий люд столицы. Еще раз обнаружился во всем объеме кризис, переживаемый Второй империей. Почти двести тысяч трудящихся, охваченных негодованием и гневом, явились в предместье Нейи, где стоял гроб с телом жертвы. Накануне газета «Марсельеза» писала: «Вот уже 18 лет, как Франция находится в окровавленных руках злодеев, которые, не довольствуясь расстрелом республиканцев на улицах, завлекают их в гнусные западни, чтобы убивать у себя на дому».

Возбуждение народа достигло предела. По словам одного писателя, в эти дни Вторая империя получила, подобно Виктору Нуару, пулю в сердце. В числе наболее рьяно взывавших к мщению и восстанию был Флуранс. Однако выступление в это время было бы преждевременным, так как народ был безоружен, во власти же бона-

партистов в одном только Париже имелось шестьдесят тысяч отлично вооруженных солдат. Но Флуранс подчинялся часто велениям возмутившегося сердца и порывам необузданной храбрости, не всегда согласующейся с рассудком. Спустя несколько недель в столице снова вспыхнули волнения. Поводом был арест одного из руководителей газеты «Марсельеза». Кое-где рабочие соорудили баррикады. На одной из них сражался Флуранс. Она продержалась дольше других в борьбе с правительственными войсками. Начались аресты и суды, молодому революционеру удалось бежать в Англию.

В апреле 1870 года Гюстав Флуранс побывал у Маркса дома и с того времени стал частым посетителем Модена-вилла. Он понравился всем ее обитателям, но особенно подружился с Женнихен. Их сблизило сочувствие ирландским фениям.

Женнихен участвовала в шествиях и собраниях, на которых провозглашались требования амнистии арестованным фениям. Одну из наиболее значительных демонстраций, организованных в Гайд-парке Международным Товариществом Рабочих, осенью 1869 года, Женни подробно описала ганноверскому врачу Людвигу Кугельману.

«Этот крупнейший в Лондоне парк представлял собой сплошную массу мужчин, женщин и детей. Даже деревья до самых макушек были усыпаны людьми. Число присутствовавших составляло, по оценке газет, около 70 тысяч человек, но так как это английские газеты, то цифра, несомненно, слишком занижена. Демонстранты несли красные, зеленые и белые знамена с самыми разнообразными девизами, например: «Держите порох сухим!», «Неповиновение тиранам — долг перед богом!». А выше флагов взлетало в воздух множество красных якобинских колпаков, владельцы которых пели «Марсельезу».

В ирландском городке Типперери был избран в парламент один из бывших руководителей печатного органа фениев «Айриш пипл» («Ирландский народ») — О'Донован-Росса, приговоренный английским судом к пожизненной ссылке на каторгу. Это избрание стало наиболее сенсационным политическим событием Англии и Ирландии. В семье Маркса ликовали.

«Мы все плясали от радости, — писала Женни. — Тусси вообще неистовствовала... Какую панику вызвало в Англии сообщение об избрании фения!..»

Английская пресса пыталась всячески исказить это происшествие, и особенно изолгался правительственный официоз. Французская демократическая газета «Марсельеза» на основании этой ложной информации газеты гладстоновского министерства поместила сообщение, дававшее неверное освещение событий в Ирландии. Но вскоре в той же газете появилась корреспонденция за подписью Дж. Уильямс, опровергающая ложь английского официоза. За псевдонимом Дж. Уильямс скрывалась дочь Маркса Женни. Восемь статей, в которых проявилось незаурядное дарование смелого, умного журналиста, об ирландских фениях напечатал Дж. Уильямс. Только одну из них Женни писала вместе с отцом. Корреспонденции Уильямса обратили на себя внимание читателей и вызвали многочисленные отклики.

Маркс высоко оценил творчество дочери и в шутку прозвал ее «наш знаменитый Уильямс», а Энгельс, знаток ирландских дел, поздравил ее и поощрил:

— Мистер Уильямс имеет славный и вполне заслуженный успех. Браво, Женни!

Мастерски написанные корреспонденции Женни Маркс возымели свое действие, и премьер-министр Англии Гладстон на одном из заседаний палаты общин вынужден был наконец согласиться расследовать зверское обращение с заключенными фениями. Одновременно, верный своей политике удушения Ирландии, он внес на обсуждение законопроект об отмене в этой колонии конституционных свобод и о введении там осадного положения.

Во французском изгнаннике Флурансе дочь Маркса нашла не только единомышленника, но и человека, готового к неотлагательной борьбе. Вместе с Женнихен он, обдумывая, что предпринять для спасения погибавших в тюрьмах фениев, тотчас же перевел кое-какие письма О'Донован-Росса на французский язык для опубликования в печати.

Нередко, когда молодой француз приходил в Модена-вилла днем, Женнихен встречала его в саду, и они отправлялись бродить по Хэмпстедским холмам.

— Я обещаю вам, Женнихен, сделать все для О'Донован-Росса, — сказал как-то Гюстав с той убедительностью, которая звучит как клятва.

Природа, наделив щедро Флуранса, позаботилась также о его внешности. Особенно красивыми на его при-

вильно очерченном лице были глубоко ушедшие в глазницы умные серо-синие горящие глаза под прямыми бровями. Светло-каштановые, гладко зачесанные волосы, густые усы и борода, высокий рост, статное, крепкое телосложение напоминали средневековых норманнских рыцарей. Флуранс любил свою родину и с увлечением рассказывал о ней Женнихен.

— Я мог бы повторить вслед за Монтенем, — признался он однажды, — что Парижу принадлежит мое сердце с самого детства. Я люблю его нежно, люблю в нем все, вплоть до его паразитов, до его пятен. Я чувствую себя французом из-за этого великого города, который является славой Франции и одним из самых благородных украшений мира. И знаете, Женни, эта крепость нескольких революций добыла себе право считаться героической.

В сырой весенний день, когда прогулка по Хэмпстедским холмам не могла состояться из-за непрерывного дождя, Женнихен предложила французскому изгнаннику ответить на вопросы ее анкеты — «Книги признаний».

— Прошу вас, — сказала она, глядя прямо в лучистые глаза Флуранса, — пишите по возможности серьезно. Обычно все стараются шутить. А вас мне хочется узнать таким, какой вы есть на самом деле.

— Постараюсь быть до конца искренним, — ответил Гюстав.

Женнихен оставила его одного за своим рабочим столиком у окна гостиной. Апрель подходил к концу. Во всех цветочных вазах стояли букеты цветов красивой окраски, но почти без запаха, как обычно на этом туманном острове с влажным климатом.

Гюстав Флуранс написал, что в людях превыше всего ценит отвагу, в мужчинах — энергию, в женщинах — преданность. Его представления о счастье — жить простым гражданином в республике равных. Он ненавидел раболенстно и жаждал мести войну с буржуа, с их богами, с их королями и их героями.

Отличительной чертой Флуранса было, как он сообщал в «исповеди», — стремиться вперед, а любимым изречением — уметь достойно умереть.

В книге Женнихен остался навсегда слепок с чистой, благородной души талантливого этнографа и революци-

ного воина, о котором даже враги писали, что он учен, подобно энциклопедии, и храбр, как витязь.

Но одаренным людям редко приходится идти торными дорогами, чаще они пробиваются сквозь терния.

Сын известного ученого-натуралиста — Гюстав Флуранс родился в 1838 году. Десятилетним мальчиком он увидел восхождение и трагический спад революции. Сердце чрезвычайно впечатлительного, не по летам развитого, вдумчивого ребенка содрогнулось и позднее рвало в кровавые июньские дни расправы с рабочими, чтобы никогда не успокоиться и не забыть. Увлекшись этнографией и многого достигнув как ученый, Флуранс мучился сомнениями, не посвятить ли себя науке. С трудом преодолев колебания, отверг он профессорскую мантию. Борец не легко победил в нем ученого.

— Могу ли я быть счастливым в мире зла и несправедливости? Нет. С детства я нес в себе только доброту, среда пыталась вытравить во мне ее и сделать хищником. Но я не умел насыщаться среди голодных, наслаждаться знаний, видя невежество не только моего народа, но и большинства человечества, и стал революционером, если хотите, сначала из простого эгоизма, понял, что наслаждаться жизнью смогу только среди довольных людей. Счастье возможно испытать сполна лишь в обществе счастливых, — поверял Флуранс свои мысли девушке.

— Сколь верная мысль, — согласилась Женнихен. — Мне не может быть хорошо, когда вокруг всем так плохо.

— Как видите, эгоизм подчас оборачивается альтруизмом. Диалектика. С этого и начался мой отход от того круга, сословия, класса, к которым я принадлежу по рождению. Я стряхнул оковы предрассудков, мелкого тщеславия и, почувствовав себя наконец в своей стихии, отправился сражаться за свободу поляков и греков. Жизнь моя обрела смысл в борьбе.

— У вас, Гюстав, не только мозг, но и сердце талантливое, — вырвалось вдруг у Женнихен. — Я давно заметила, что способность чувствования бывает различной. Есть совсем тупые, равнодушные, этакие непроницаемые сердца.

— В броне улитки или черепахи, — рассмеялся Флуранс. — Однако меня вы переоцениваете. Я просто человек, не самый худший, вот и все.

Женнихен не возразила. Про него она думала с нежностью и восхищением: богато одаренный, обаятельный, гуманный и разносторонний Флуранс отдал свое пламенное сердце делу неимущих, обездоленных. Он спешил всегда в ту страну, где шло сражение между угнетенными и угнетателями. Буржуа его боялись и преследовали с тем большей яростью, что считали отступником.

Дружба Женнихен и Гюстава могла обернуться любовью, и каждый из них понимал это, но оба они были люди высокого чувства долга, самоконтроля, никогда не избиравшие легких дорог. Флуранс посвятил свою жизнь революционной борьбе, требующей полного самоотречения, и считал себя вечным странником.

«Как быть?— размышлял он.— Семья обуза для бойца. Можно ли совместить служение идее и сердечную привязанность? Однако такая девушка, как Женни, не боится трудностей. Она будет со мной рядом повсюду. Но соглашусь ли я сам подвергать ее опасности?»

Флуранс вспоминал свою мать, живущую в постоянной тревоге за сына. И он откладывал тот решающий разговор, который мог принести с собой столько перемен в жизни. Женнихен также томилась сомнениями, но что-то в поведении Флуранса подсказывало ей, что она любима: так торопился он навстречу к ней, так красноречив, доверителен становился и радовался каждому ее слову.

Шли недели, тягостные думы точили душу девушки. Что, если ей никогда не придется встретить взаимное чувство, быть матерью? Женнихен горячо любила детей. Ей минуло уже двадцать шесть лет. Приближался тот унылый возраст, когда девушек обычно называют старыми девами. Мысли эти вызывали непереносимую тоску, досадные слезы подступали к горлу.

— Я найду цель в жизни, буду, как отец, работать для людей. Я нужна Мавру и всем моим друзьям, нужна,— твердила она себе.

Отношения Женнихен с Флурансом становились все более близкими. Оба они любили, и оба оттягивали минуту признания, вбирая и излучая счастье, наслаждаясь тем, как много его еще впереди. Но снова в Европе полыхало зарево войны и революции. Флуранс недолго задержался в Лондоне. Париж звал его к себе. Он уехал, уверенный, что скоро увидит Женнихен, чтобы в будущем никогда с ней более не расставаться.

В одном из жалких окрашенных домиков Лондона умирал Карл Шаппер. Исхудавший до последней степени, он был охвачен той лихорадочной энергией, которую несет в себе яд чахотки. Не имея сил двигаться, он больше устали говорил. Мысли и воспоминания отгоняли страх быстро наступающей смерти, выказать который так не хотел этот искренний, некогда кипучий революционер. В последние годы жизни застарелая болезнь, лишения и тяготы долгого изгнания привели Шаппера к тому, что он вынужден был отойти от боевой работы. Физические силы Шаппера были сломлены. Но он являлся, однако, живой летописью нескольких десятилетий упорных пролетарских боев. После создания Международного Товарищества Рабочих, по предложению Маркса, его избрали членом Генерального Совета.

Узнав о грозном обострении болезни старого бойца, Маркс навещал его, стараясь ободрить и обнадежить. В конце апреля здоровье Шаппера резко ухудшилось, и снова Маркс провел несколько часов у постели больного.

— Пятьдесят семь лет не так уж мало. Жаль лишь только, что я частенько дурил и путался без толку в жизни. Времени сколько попусту пропало, зря растратил силенки. Теперь кончено все, песенка моя спета, — говорил, задыхаясь и глухо кашляя, Шаппер.

— Не сдавайся, человече, мы еще поживем, — старался шутить Маркс.

— Зачем притаться от неизбежного? Да и не удастся. Но я не из слабого десятка, будь уверен. На этих днях бессмертная смерть, как говорил Лукреций, похитит мою смертную жизнь. Я уже велел жене похоронить мои бренные останки в ближайшее воскресенье. Детям не придется тогда оставлять работу. Но женщины не философы по самой своей природе. Бедняжка ревет дни и ночи напролет, что я, того и гляди, скорчу последнюю гримасу. Не я первый и не я последний. Смерть не жизнь, только у нее нока существует подлинное равенство.

Когда в комнату входил остроглазый плоский подросток, сын Шаппера, или его пожилая заплаканная жена, больной переходил на французский язык, которым владел в совершенстве.

— Я умираю спокойным за свою семью. Дети, кроме меньшого паренька, все уже на своих ногах. Это далось мне нелегко, но на них теперь нельзя жаловаться. Луч-

ная порода пролетариев: и головы и руки годны для дела. Дочь уже замужем. Старший сын переплетчик, а тебе ли, Мавр, толковать, что общение с книгой делает человека человеком. Двое младших шлифуют у ювелира алмазы не хуже самого Спиноза. Они уже зарабатывают каждый по одной гинее в неделю. Славно, не правда ли? Самого младшего после моей смерти заберет к себе на воспитание брат из Германии. Об этом уже договорено. Ну, а моей старушке я оставляю кое-какие пожитки, много ли ей надо. — Шаппер протяжно закашлялся. На губах его появилась капля крови. — Не волнуйся, — сказал он Марксу, когда тот вытер его влажное лицо и рот полотенцем, — все идет своим чередом. Главное, мы сумели воспитать детей так, что они никогда не оставят матери в беде. Что до жизни своей, я мог бы сказать, что прожил достаточно. Все успел.

— Всякая жизнь, хорошо прожитая, — долгая жизнь, так, кажется, утверждал Леонардо да Винчи, — сказал Маркс.

— Все это время, пока меня глодала болезнь, я думал о прошлом. Собственно, мне довелось как бы заново пережить минувшие годы. Я ведь сын сельского пастора, очень бедного и наивного. В детстве я был очень религиозен, а умираю атеистом, не то что Руге, который позорно струсил на старости лет. Он ищет мужества в вере и твердит теперь, что душа бессмертна. Иначе страшно ему расставаться с жизнью. К туфлям старым привыкаем, а каково вылезать из собственной шкуры! Пусть каждый утешается, как умеет. Я же с трудом разрушил в себе детские иллюзии не для того, чтобы обрести их вновь на пороге небытия.

— Ты всегда был и остался настоящим человеком, как прозвал тебя некогда Энгельс. Кстати, он шлет тебе сердечный привет и пожелания здоровья.

— Поздно. Нам с ним больше уже не свидеться. Дорогой он, замечательный человек. Я любил его, как и тебя, Мавр.

— Если б твое здоровье было действительно плохо, Фридрих приехал бы из Манчестера. Но врачи подают нам надежду, ты будешь жить, старина. Крепись. Воспаление легких вовсе не смертельно. Кризис уже прошел.

— Нет, дружище, я ухожу от вас. Это туберкулез, и спасения мне нет.

Маркс взял липкую, горячую руку Шаппера и не выпускал ее. Ему всем сердцем хотелось влить в умирающего свои жизненные силы, спасти его, чего бы это ни стоило. Больной понял порыв друга и ответил слабым рукопожатием.

— Спасибо, Карл, за все, за то, что ты существуешь. Живи, — прошептал больной.

Несколько минут длилось молчание. Руки их были по-прежнему соединены, как и души. Они чувствовали себя братьями.

— Я попался в когти этой проклятой хвори, очевидно, в каменной норе тюрьмы Консьержери, куда был брошен в тридцать девятом году после неудачного восстания. Ты ведь знаешь, что я был бланкистом и членом «Общества времен года». Спустя семь месяцев меня выслали из Франции. Я попал в Лондон и тогда впервые заболел легкими, но выкарабкался на время. Судьба вознаградила меня сторицей за все, я встретил Иосифа Молля и подружился с ним.

— Он жил и умер героем.

— Много я на веку своем ратовал за коммунистическое общество, много спорил и ошибался, но, согласись, умел-таки честно сознавать, когда оказывался неправым. А это нелегко. — Шаппер попытался улыбнуться, но ссохшиеся, потрескавшиеся от жара губы с трудом разжались.

— Ты не только настоящий человек, но и настоящий коммунист. Кто из нас не ошибался. Это вечное свойство людское. Дело только в том, чтобы вовремя извлечь из промаха пользу.

— Верно. И я не постеснялся вернуться к тебе, Маркс, после этой истории с Вилльхом. Я перемонил много профессий и мест. Кем только не был, за что не брался! Учился даже в университете, но прожил жизнь и умираю рабочим. Труд был моей радостью, и я убежден, что только он несет счастье. Труд и наслаждение неразрывны и будут всегда чередоваться в будущем мире. Не потребуется никакого принуждения, ибо человек не ленив по своей природе; когда он будет находиться на должной ступени развития и просвещения, то работа станет его утехой, неотъемлемой потребностью.

— Ты прав.

— А вот как я попался на удочку болтуна Виллиха и поплелся за ним прочь от тебя и Энгельса, мне и по-нынче непонятно. Этот гиппопотам оглушил меня трескучими фразами, ведь глотка у него — сущая труба перечная. Могучий он демагог и шут в то же время. Путаник, вынь да положь ему сейчас же коммунистическое общество.

Приближался вечер. Шапперу становилось все хуже. Лицо его покрылось испариной, волосы слиплись, одышка мешала говорить. Маркс приподнял его на подушках.

— Тебе пора отдохнуть. Может быть, позвать жену? — спросил он заботливо.

— Обожди. Мне скоро предстоит бесконечный отдых, который будет длиться тысячи лет. Что ж, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Смешно печалиться о том, чего нельзя изменить. Скажи всем друзьям, Маркс, что я остался верен нашим принципам. Я не теоретик. Во время реакции мне приходилось много трудиться, чтобы прокормить семью. Я жил, тяжело работая, и умираю пролетарием.

Маркс вышел из домика, где в философском спокойствии ждал своего конца Карл Шаппер. Вместе с чувством режущей печали он испытывал невольную гордость оттого, что в партию коммунистов входили такие чистые, простые и цельные люди, как тот, с кем он только что простился навсегда.

Прежде чем свернуть в сторону своего дома на Мейтленд-парк роуд, Маркс вспомнил о письме, в котором больной тифом немецкий изгнанник, публицист Боркхейм, просил его зайти. Как бы ни был Карл занят, поглощен делом или утомлен, чувство человечности переливало в его душе, и он устремлялся выполнить долг дружбы и товарищества.

Вернувшись домой, Маркс до поздней ночи писал письмо в Манчестер Энгельсу. Заканчивая рассказ о встрече с Шаппером, он добавил: «Всё истинно-мужественное, что было в его характере, снова проявляется теперь отчетливо и ярко». О Боркхейме, который принимал деятельное участие в революции 1848 года и после этого вынужден был жить в изгнании, Карл также по-дробно сообщал другу:

«Английский доктор — один из здешних больничных врачей — все это предсказывал раньше и теперь повторяет: он надеется и даже уверен, что на этот раз Боркхейм выкарабкается, но если он не откажется от своего сумасшедшего образа жизни, то не протянет и года.

Дело ведь в том, что Боркхейм с 4½ или с 5 часов утра до 9 с яростью занимается русским языком и возобновляет это с 7 часов вечера до 11. Ты знаешь, как он полемизирует с богом и чертом и как, став обладателем подурной библиотеки, хочет непременно сделаться ученым.

Доктор требует, чтобы он, по крайней мере на два года, прекратил все занятия, *кроме деловых*, а свободное время посвящал легкому чтению и *прочим развлечениям*. Иначе он обречен, и *притом неизбежно*. У него нет физических сил работать за двоих.

...Выглядел он чертовски слабым и худым. Я ему сказал, что ты, пока был связан делом, лишь в очень скромных пределах занимался другими вещами. Сделал это намеренно, так как знаю, что он питает к тебе большое почтение. Спустившись снова в гостиную к его жене, я рассказал ей о нашем разговоре. Она сказала, — и я обещал ей, с своей стороны, необходимое содействие, — что *ты* можешь сделать ей величайшее одолжение, если напишешь ее мужу. Во-первых, его особенно порадует такое внимание с твоей стороны, а во-вторых, на него подействует, если ты ему посоветуешь не губить себя чрезмерной работой.

У меня такое впечатление, что Боркхейм в данный момент вне опасности, но он должен быть очень осторожным».

На следующий же после прощания с Марксом день в 9 часов утра, Карл Шапер умер.

«Ряды наших старых товарищей все более и более редеют, — писал с горечью Энгельс Марксу, узнав об этой кончине. — Веерт, Вейдемейер, Янус, Шапер, — но ничего не поделаешь — *à la guerre comme à la guerre*[1], Заботясь о других, Маркс мало думал о своем здоровье и, вернувшись под дождем от больного Боркхейма, схватил простуду. Домашние решительно запретили ему

---

[1] На войне как на войне *(франц.)*.

отправиться на заседание Генерального Совета. В этот вечер вся семья собралась в кабинете Маркса. Ко дню его рождения врач Кугельман из Ганновера прислал в подарок два ковра из рабочей комнаты Лейбница, купленные с аукциона после того, как дом этого великого математика был сломан. На одном из ковров был выткан довольно уродливый старик, очевидно Нептун, барахтавшийся среди волн, на другом — толстая Венера и амуры. По мнению Маркса и его близких, все эти мифологические сюжеты были выполнены в весьма дурном вкусе эпохи рококо, столь излюбленной при дворе Людовика XIV. Но зато тогдашняя мануфактурная работа отличалась завидной добротностью. После долгих обсуждений Карл все же решил повесить оба ковра на стенах кабинета из преклонения перед гением Лейбница.

...Маркс с увлечением изучал русский язык. Он читал «Тюрьму и ссылку» Герцена в те самые дни, когда автор этой книги тяжко занедужил, простудившись на митинге, где выступил с отважной речью против режима Наполеона III.

Вождь Интернационала не знал, что в Париже в сумрачном большом доме на улице Риволи Александр Иванович напряженно думал о нем.

Был январь, сырой и холодный. Колотье в боку и усиливающийся озноб мешали Герцену работать. Закутавшись в плед, он попросил рюмку коньяка, чтобы согреться.

— Теперь хотелось бы покурить, — сказал он, почувствовав себя несколько лучше.

Наталья Алексеевна Огарева, его вторая жена, принесла трубку, прочистила ее, набила табаком и подала ему. Затем ушла, видя, что больному хочется остаться одному.

Странное, необычное состояние охватило Герцена. Голова его горела, однако в пылающем мозгу отчетливо чеканились мысли, ярко вставало прошлое, являлись ответы на многие не решенные ранее вопросы.

Вспомнилась родина. Более двух десятилетий жил Александр Иванович в изгнании, но никогда не рвалась его связь с Россией, с чаяниями, страданиями, заботами ее народа.

Чего бы не дал он, чтобы сейчас за окном был не слякотный Париж, а Москва, вьюжная, белая. Закрывая глаза, он видел себя в отцовском особняке на Тверском бульваре, во Владимирской тюрьме, в Петербурге. Он снова был среди людей, говоривших по-русски, близких, понятных его душе. Герцен откинул большую умную голову с густыми седеющими волосами и закрыл глаза. Ему было тяжело дышать. Широкие ноздри прямого, полного, русского, как он сам говорил, носа раздувались, с трудом вбирая воздух. Как устал он жить на чужбине, где узнал много горя: схоронил мать, сына, страстно любимую жену. Разочарования в людях преследовали его. Недавно навсегда порвал он с Бакуниным, в которого долго верил.

Немногие умели проверять себя, как Герцен, не боясь признаваться в том, что ошибались. Неутомимо искал он истину и стремился быть полезным своим соотечественникам.

«Маркс... А ведь вся моя вражда с марксидами из-за Бакунина, — думал с огорчением больной. — Смутный и двойственный человек этот проповедник всеобщего разрушения. Объят он дикими проектами — закрыть книги, уничтожить науки. Бредовая ересь».

Острое сожаление, что не узнал до сих пор ближе Маркса, нарастало.

«Подлечусь, одолею хворь, свидимся», — решил Герцен, преодолев былое нерасположение к автору «Капитала». Со свойственным ему прямодушием он признал отныне великую заслугу Маркса, создавшего Международное Товарищество Рабочих. В Интернационале Герцен увидел «первую сеть и первый всход будущего экономического устройства»; союз рабочих, по его мнению, может стать силой, которая либо заставит «мир, пользующийся без работы», пойти на уступки, либо победит его в открытой борьбе. То, что раньше казалось Александру Ивановичу невозможным — вместо противоборствования сближение и борьба на одной баррикаде, — стало вдруг желанным, осуществимым, простым.

«Во многом этот ученый немец прав, — продолжал размышлять Герцен о Марксе, — экономический переворот имеет необъятное преимущество перед религиозными и политическими революциями. Тут подлинно трезвая

основа. Экономические вопросы действительно подлежат математическим основам».

Незадолго до своей роковой болезни великий русский демократ принял, хоть и несколько примитивно, теорию Маркса о развитии истории. В письмах «К старому товарищу» он писал: «Гегель в самом рабстве находит (и очень верно) шаг к свободе. То же — явным образом — должно сказать о государстве: и оно, как рабство, идет к самоуничтожению... и его нельзя сбросить с себя, как грязное рубище, до известного возраста.

Государство — форма, через которую проходит всякое человеческое сожитие, принимающее значительные размеры. Оно постоянно изменяется с обстоятельствами и прилаживается к потребностям... Сословность — огромный шаг вперед как расчленение и выход из животного однообразия, как раздел труда. Уничтожение сословности — шаг еще больший... Государство не имеет собственного определенного содержания — оно служит одинаково реакции и революции, — тому, с чьей стороны сила; это — сочетание колес около общей оси, их удобно направлять туда или сюда — потому что единство движения дано, потому что оно примкнуто к одному центру... Из того, что государство — форма *преходящая*, не следует, что это форма уже *прошедшая*».

В первую же ночь заболевание Герцена приняло угрожающую форму. Под утро мысли его потеряли ясность и последовательность. Он стал забываться, бредил и стонал. Несколько раз ему становилось лучше. Казалось, организм, подорванный застарелой сахарной болезнью, победил. Желание жить, действовать возвращалось тогда к Александру Ивановичу с новой силой. Так много хотелось ему еще сделать, написать, донести до России. Герцен верил, что время революции во Франции приспело. Все последние месяцы он остро ощущал ее освежающее приближение. Париж пробуждался для борьбы за свободу. Герцен неутомимо посещал сходки, лекции, народные собрания, молодея, радуясь и предвидя, что протестующий народ скоро низвергнет Бонапарта.

Но неодолимый недуг оказался убийственным.

— Я умру параличом либо воспалением легких, — часто говаривал Герцен близким и не ошибся.

Проболев пневмонией всего четыре дня, он скончался 21 января 1870 года.

Улица Варенн в Париже так же стара, как и улица Риволи, история которой теряется в глубине веков. Кто только не жил в ее сумрачных домах на протяжении ушедших столетий! Улицы подчас подобны свиткам, на которых прошлое начертало свои письмена. В шестидесятых годах на улице Варенн, в особняке, неподалеку от того, где жил заносчивый и переменчивый поэт Ламартин, поселился историк Гизо, один из образованнейших политиков, обанкротившийся вместе с королем банкиром Людовиком-Филиппом. Тщетно Гизо пытался вернуть себе власть. Ему ничего уже не удавалось. Он, как и Тьер, был сторонником восстановления во Франции династии Орлеанов. Оба эти человека отличались чудовищным честолюбием, но, в то время как Тьер сумел удержаться на политической арене, Гизо исчез с нее и превратился в живой труп. В политике есть свои непреложные правила. Так же как эквилибрист, сорвавшись с колец из-под купола цирка, не сможет, даже если останется жив, вновь подняться на большую высоту, так и политик, сделав ложное движение и свалившись, редко появляется снова. Он каким тем, что жизнь бросает его все ниже и он вынужден быть свидетелем триумфа других. Долголетие становится для него мукой.

Только самоуверенность, граничившая с безумием, усиливаясь с возрастом, помогала Гизо жить. Не в пример своему давнишнему сопернику, все еще бодрому старцу Тьеру, Гизо заметно одряхлел. Все реже на мощенной широкими плитами улице Варенн раздавался громкий стук колес его богато украшенной резьбой и гербами кареты, запряженной парой добрых коней. Этот нарядный выезд завещала ему, умирая, многолетняя возлюбленная, известная в Европе русская княгиня Дарья Христофоровна Ливен. Гизо свято чтил ее память и с грустью вспоминал счастливые долгие годы их взаимной любви.

Неподалеку от хмурого особняка Гизо проживал сенатор Наполеона III барон Дантес Геккерен, высокий, представительный, седовласый, дородный господин с безмысленным и бездушным скульптурно правильным лицом. Невозможно представить себе более самодовольного и самовлюбленного человека, нежели этот признанный ловелас женщин и вельмож. Легко, беспечно протекала жизнь знатного преступника, убийцы Пушкина. Судьба

Дантеса как бы еще и еще раз опровергала веру в возмездие. В жизни хищного барона никогда не происходило никаких потрясений. Богатство, служебные и семейные удачи, долголетие — все сопутствовало ему постоянно. Он гордился своим преуспеянием и всем, что совершил за долгую жизнь, похвалялся даже подлым убийством, которое считал делом чести. Дантес был бы счастлив вполне, если бы не мысль о возможной революции, которая одна тревожила его сон. Как он жаждал уничтожить всех красных! Ему не терпелось, как некогда на Черной речке в Петербурге, поднять свой пистолет и всадить пулю в Революцию.

На одном из перекрестков улицы Варенн находилась большая мастерская дамского платья под вывеской «Майские цветы». Портнихи в этом заведении славились своей привлекательностью. Все они были молоды. Одной из самых хорошеньких считалась Катрина Сток. Ее волосы янтарного цвета, глубокие матово-черные глаза и гибкая фигурка вызывали откровенные вожделения у господ, сопровождавших заказчиц. В обязанности Катрины входило также протирать узкое окно-витрину и раскладывать там соблазнительные модные наряды. Она была несловоохотлива, и с ней трудно было сблизиться. На улице Варенн Катрину уважали за ее сдержанность и, главное, недоступность. К удивлению кумушек, она, очевидно, не имела зажиточного любовника, как большинство ее подруг, и возвращалась домой всегда одна.

— Это тем более странно, — говорила владелица мастерской, — что она круглая сирота. Про родных Катрины я слыхала мало хорошего. Отец, портной, будто бы был отчаянный республиканец и даже враг нашего императора. Он погиб неизвестно где и как. Вероятно, расстреляли, как всех бунтарей сорок восьмого года, а мать, из той же породы красных, оказалась счастливее и умерла от холеры. Но девочка смиренница и не интересуется политикой. Мне кажется, она даже молится, иначе что бы ее удерживало от распутства. Говорят, ее воспитала жена брата, весьма порядочная женщина. Если бы девчонка не была таких строгих правил и не презирала аристократов, то я давно помогла бы ей найти себе богатого покровителя. Господин Дантес, например, сохранивший, несмотря на возраст, все свое очарование, не раз уже

расспрашивал меня о ней. А ведь он пстый аристократ и знает толк в женщинах... Нет, положительно эта девчонка не понимает своего счастья и возможностей улицы Варенн.

Катрину вырастила Жаннетта. С детства она внушала ей благоговейную любовь к усопшим близким.

— Твой отец, — говорила Жаннетта, — лучший из людей, каких я видывала. Его совесть была, что родниковая вода. Он знал все, точно был не портным, а каким-нибудь профессором, и ничего никогда не боялся. Я могла бы о нем говорить тебе много, если бы слова не были так бедны по сравнению с его живым образом. Но я давно замечаю, что очень трудно говорить о людях так, чтобы они были на себя похожи. Ты сердцем пойми его и люби.

— А моя мать? Расскажи о ней, — просила Катрина, которая не помнила родителей.

— Сама доброта. Никогда ни на что не жаловалась и себя не жалела. Что еще о ней вспомнишь? Я никогда не видела ее рук без работы. Она была матерью не только для своих собственных детей, но для всякого, входившего в ваш дом.

Жан Сток, брат Катрины, по-прежнему работал машинистом на паровозе. Он жил безбедно с Жаннеттой на одной из улиц близ Северного вокзала. Приходя домой, Катрина по тому, висел ли в коридоре остро пахнущий мазутом, измазанный рабочий костюм Жана, узнавала, дома ли он. Это случалось, однако, не часто. Машинист постоянно бывал в разъездах. Прошло уже несколько лет, как Жан с Жаннеттой похоронили своего единственного грудного ребенка, а горе их все еще было острым. К тому же Жаннетта по-прежнему болезненно относилась к тому, что была на десять лет старше мужа.

— Я могла бы быть уже бабушкой, я стара, — повторяла без улыбки жена машиниста, хотя никто не мог бы дать ей сорока пяти лет, которых она достигла. Все так же Жаннетта была привлекательна. На вздернутом носике, как и в юности, не исчезали яркие веснушки. И по-прежнему Жан нежно говорил, что лицо ее посыпано перцем.

Квартира Стока была всегда открыта для единомышленников. Член Французской секции Международного Товарищества Рабочих, он был таким же убежденным

коммунистом, как и его убитый Луи Бонапартом отец.

Жизнь машиниста текла сравнительно спокойно, покуда июльским ясным днем над Парижем, а затем над Европой не разнеслось, как похоронный колокольный звон, мертвящее душу слово «война».

Война — великое преступление, которое, по выражению Вольтера, не оправдывает даже победа. Жан Сток не был взят в солдаты. Он остался на своем паровозе, возившем отныне составы с войсками, оружием, продовольствием.

Четыре года правительство Наполеона III готовило нападение на Пруссию, хвастливо объявляя о мощи имперской армии. Но уже первые столкновения с пруссаками показали, как далеко зашел распад империи Луи Бонапарта.

Объявление войны вызвало подъем патриотических чувств в германских государствах. Все немецкие провинции усиленно помогали Пруссии, у которой было несколько хорошо организованных армий. Французы терпели поражение за поражением. В тылу страны, в Париже, было неспокойно. Огюст Бланки тайно вернулся во французскую столицу и поднял вместе со своими приверженцами восстание против Бонапарта. Однако и на этот раз бланкисты потерпели поражение, как некогда созданное неистовым революционером «Общество времен года». Но Бланки и его единомышленники не сложили оружия.

В самом начале войны Генеральный Совет Интернационала обратился с воззванием ко всем рабочим мира.

«Английский рабочий класс, — говорилось в заключение в этом написанном Марксом документе, — протягивает руку дружбы французским и немецким рабочим. Он глубоко убежден, что, как бы ни кончилась предстоящая отвратительная война, союз рабочих всех стран в конце концов искоренит всякие войны. В то время как официальная Франция и официальная Германия бросаются в братоубийственную борьбу, французские и немецкие рабочие посылают друг другу вести мира и дружбы. Уже один этот великий факт, не имеющий себе равного в истории, открывает надежды на более светлое будущее. Он показывает, что в противоположность старому обществу

с его экономической нищетой и политическим безумием
нарождается новое общество, международным принципом
которого будет — *мир*, ибо у каждого народа будет один
и тот же властелин — *труд!*

Провозвестником этого нового общества является Международное Товарищество Рабочих».

Фридрих Энгельс, знаток в области военных наук, пристально изучал все сводки и сообщения с фронта. Он писал в это время обзоры для почтенного аристократического органа «Pall Mall Gazette», обладавшего необычным свойством — неподкупностью. Маркс, ценивший столь редкое для лондонской печати качество газеты, был одно время также связан с нею.

Один из влиятельных сотрудников редакции летом 1870 года предложил Марксу отправиться в Германию, чтобы писать оттуда обзоры. Миссию военного корреспондента взял на себя вместо Маркса Энгельс. Не выезжая из Манчестера на театр военных действий, он писал замечательные обзоры. В этих работах проявились его врожденный талант полководца, проницательность и глубокие военные знания. «Таймс» как-то поместил передовую, полностью списанную с двух его статей. Особенно ошеломляющей по силе предвидения была опубликованная в газете корреспонденция Энгельса, в которой он за несколько дней до Седанского разгрома не только предсказал его неизбежность, но и указал примерное место капитуляции французов. Пророчество его сбылось с разительной точностью.

Первого сентября на рассвете немецкие войска вступили в бой под Седаном с французами, зажатыми на узком пространстве между рекой Мец и бельгийской границей. Силы противников были неравны. Немцы располагали значительным численным превосходством и отличным вооружением, французы были истощены многочисленными поражениями и не имели хорошей артиллерии. Армия императора под командованием Мак-Магона была наголову разбита. Около трех часов того же дня Наполеон III приказал выбросить белый флаг на крепостной башне Седана. Вслед за тем, не скрывая от окружающих страха, он отправил прусскому королю постыдное послание: «Дорогой мой брат, так как я не сумел умереть среди своих войск, мне остается вручить свою шпагу Ва-

шему величеству. Остаюсь Вашего величества добрым братом. Наполеон».

Не первый раз в своей жизни Луи Бонапарт в минуту опасности проявлял трусость и ничтожность души. Стотысячная армия сдалась в плен врагу.

Предвидение Энгельса снискало ему несокрушимый авторитет и восхищение друзей и соратников.

Маркс писал другу: «Если война продолжится еще некоторое время, ты будешь скоро признан *первым военным авторитетом в Лондоне*».

Женихен назвала Энгельса «Генеральным штабом», и с той поры прозвище «Генерал» прочно утвердилось за ним до самого конца жизни.

«Французская катастрофа 1870 г. не имеет параллелей в истории нового времени! — писал Маркс. — Она показала, что официальная Франция, Франция Луи Бонапарта, Франция правящих классов и их государственных паразитов — гниющий труп».

Спустя два дня после капитуляции Луи Бонапарта во Франции была объявлена республика. Об этом Карлу Марксу телеграммой сообщил член Интернационала молодой журналист Шарль Лонге.

Итак, правитель, заклейменный вечным позором Марксом в его книге «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», был наконец низвергнут.

«Военный заговор в июле 1870 г. является только исправленным изданием coup d'état[1] в декабре 1851 года... Вторая империя кончится тем же, чем началась: жалкой пародией», — предсказал Маркс еще в первом воззвании Интернационала по поводу франко-прусской войны.

Жестокий узурпатор, бессовестный авантюрист и алчный казнокрад девятнадцать лет диктаторствовал во Франции. Он попирал законы нравственности и справедливости, сеял тьму, расправлялся с честными, одаренными людьми, подавляя свободу, мысль, совесть и права народа. Он был смертельным врагом Интернационала и готовил заговор с целью уничтожить его, как опасного противника. Много лет с Луи Бонапартом упорно, неустрашимо боролись коммунисты, твердо веря в его бесславный конец.

---

[1] Государственного переворота *(франц.)*.

В течение двух десятилетий редактор «Новой Рейнской газеты», глава Интернационала, неустанно разоблачал гнусность реакционного режима Французской империи. И вот свершилось. Коронованный прохвост пал.

Политический горизонт над Францией был мрачен. События развивались с калейдоскопической неожиданностью. Едва весть об объявлении республики достигла Лондона, Генеральный Совет Интернационала возглавил внушительное движение английских рабочих за немедленное признание правительством Великобритании нового режима во Франции. Маркс непрерывно вел переписку с Парижским федеративным советом Интернационала.

Перед отъездом в бунтующую революционную Францию к Марксу пришел тридцатилетний Огюст Серрайе, рабочий, мастер по выработке обувных колодок, член Генерального Совета, отправлявшийся в Париж в качестве представителя Международного Товарищества. Несколько часов провел он в деловой беседе с вождем Интернационала. Они обсуждали, какой именно линии следует придерживаться парижским секциям Товарищества.

Время было тяжелое. Франко-прусская война продолжалась. Немцы побеждали. Рабочие Парижа вместе с другими тружениками, низвергнув империю, провозгласили республиканский строй. Тем не менее власть в стране захватила буржуазия. Прусские войска двигались к Парижу, хотя Французская республика не угрожала более германскому единству, как это было при правлении Луи Бонапарта. Война теряла былой смысл, Германии больше не приходилось обороняться. Но еще до боев под Седаном Марксу стало ясно, что правящая верхушка Германии, поддерживаемая юнкерством и буржуазией, поняв, сколь слаб Бонапарт, решила продолжать войну, чтобы отторгнуть от Франции по меньшей мере богатые провинции Эльзас и Лотарингию. Захватнический поход Пруссии вызвал, как то предвидели Маркс и Энгельс, взрыв патриотизма во Франции и могучее стремление народа отстоять Республику от вражеского нашествия.

Обо всем этом говорили Маркс и Серрайе. Вскоре агент Генсовета отправился в объятую тревогой Францию.

Карл Маркс взялся составить второе воззвание ко всем членам Международного Товарищества Рабочих в Европе и Соединенных Штатах. В этом большом документе он выразил суровый протест пролетариата против

захвата реакционной Прусской Эльзаса и Лотарингии у молодой Французской республики, а также досконально исследовал подспудные движущие силы франко-прусской войны. С потрясающим даром предвидения охарактеризовал Маркс создавшееся положение.

«...Мы приветствуем учреждение республики во Франции, — говорилось в воззвании, — но в то же время нас тревожат опасения... Эта республика не ниспровергла трон, она только заняла оставленное им пустое место. Она провозглашена не как социальное завоевание, а как национальная мера обороны. Она находится в руках временного правительства, состоящего частью из заведомых орлеанистов, частью из буржуазных республиканцев, а на некоторых из этих последних июньское восстание 1848 г. оставило несмываемое пятно... Орлеанисты заняли сильнейшие позиции — армию и полицию, между тем как мнимым республиканцам предоставили функцию болтовни. Некоторые из первых шагов этого правительства довольно ясно показывают, что оно унаследовало от империи не только груду развалин, но также и ее страх перед рабочим классом...

Таким образом, французский рабочий класс находится в самом затруднительном положении. Всякая попытка ниспровергнуть новое правительство во время теперешнего кризиса, когда неприятель уже почти стучится в ворота Парижа, была бы безумием отчаяния. Французские рабочие должны исполнить свой гражданский долг... Им нужно не повторять прошлое, а построить будущее. Пусть они спокойно и решительно пользуются всеми средствами, которые дает им республиканская свобода, чтобы основательнее укрепить организацию своего собственного класса. Это даст им новые геркулесовы силы для борьбы за возрождение Франции и за наше общее дело — освобождение труда».

На чрезвычайном заседании Генерального Совета Маркс зачитал написанное им воззвание. Принятое Генеральным Советом, оно было немедленно издано в виде листовки на английском языке в количестве тысячи экземпляров.

...Приближалось 20 сентября, когда наконец должна была осуществиться давнишняя мечта Маркса и Энгельса.

Им предстояло отныне жить в одном городе. Женни Маркс деятельно готовилась к окончательному переезду своих друзей из Манчестера в Лондон. Она подыскала летом для семьи Энгельса удобное жилище, неподалеку от Мейдленд-парк, и подробно написала об этом в Манчестер:

«Только что вернулась домой после поисков и спешу сообщить вам о результатах. Я нашла дом, который вызывает наше всеобщее восхищение своим изумительно красивым и удобным расположением. Женни и Тусси были со мной, и обе находят его особенно очаровательным...

Конечно, очень важно, чтобы Вы и Ваша супруга сами его посмотрели, и притом возможно скорее, так как на такой хорошо расположенный дом, наверное, скоро найдутся охотники...

Мне очень хочется отнести эти строки на почту сегодня же вечером, чтобы Вы в течение завтрашнего дня могли все обдумать.

Поэтому наскоро прощаюсь

Ваша *Женни Маркс*.

Женни и Ленхен тщательно и многократно осматривали просторный дом на Риджентс-парк, где собирались поселиться Энгельс, его жена Лиззи и их маленькая племянница Мери Эллен. Долго совещались обе женщины с подрядчиком по ремонту, проверили оконные рамы и дымоходы и настояли на том, чтобы парадные комнаты были оклеены красными, под бархат, обоями. Даже самый тщательный осмотр весьма предусмотрительной и хозяйственной Ленхен не выявил изъянов: дом был признан вполне годным для жилья.

В Модена-вилла шли усиленные приготовления к приему гостей. Женни сочла, что Энгельсу с семьей надлежит остановиться по приезде сначала в Модена-вилла и жить там до тех пор, покуда дом на Риджентс-парк не будет полностью меблирован и приведен в порядок.

Наконец настал долгожданный, радостный для обоих друзей день. Окончательно уладив в Манчестере все дела по уходу из торговой фирмы, Энгельс навсегда переехал в Лондон. Спустя две недели его единогласно избрали членом Генерального Совета Интернационала, и он взялся вместе с Марксом за руководство международным рабочим движением.

Деятельность Интернационала в Германии совпала с завершением промышленного переворота. Увеличилось число машиностроительных заводов, поднялась мощность паровых двигателей. В металлургии строились мартеновские цехи. Механические ткацкие станки вытеснили ручные. Возникли новые акционерные общества и крупные банки. Объединение страны стало явной экономической необходимостью.

К началу франко-прусской войны в Германии насчитывалось уже около восьмисот тысяч фабричных рабочих, однако успеху их политической борьбы мешали последователи Лассаля, утверждавшие, что капиталисты не могут поднять заработную плату и сократить рабочий день, длившийся двенадцать, а то и шестнадцать часов в сутки, так как это грозит им банкротством.

Швейцер, возглавивший Всеобщий германский рабочий союз после смерти Лассаля, поддерживал контрреволюционный план Бисмарка, стремившегося объединить Германию сверху «железом и кровью» под главенством Пруссии. Во Всеобщем германском рабочем союзе вскоре произошел раскол. Следуя указаниям Маркса и Энгельса, их единомышленники объединили те рабочие союзы, которые придерживались взглядов Интернационала.

С середины шестидесятых годов среди руководителей немецких рабочих появился двадцатисемилетний токарь Август Бебель.

По рождению он не был пролетарием, но вырос в семье, испытавшей много несчастий и потерь, и уже в четырнадцать лет стал у станка, чтобы не умереть с голоду. На себе и своих близких Бебель познал, как несправедливо устроено все в мире. Нищета была и его спутницей. Он видел часто безработных, покупавших у пищих объедки, полученные как подаянье. Сердце его не раз плакало от жалости к людям, и он еще юношей решил посвятить свою жизнь борьбе за рабочих, среди которых вырос. Глаза Августа Бебеля поражали умом, волей и бесконечной грустью. Талантливый, трудолюбивый, своеобычный, отзывчивый, отлично знавший нужды пролетариата, он стал влиятельным революционером.

Дружба с Вильгельмом Либкнехтом предопределила его политическую судьбу. Он сделался решительным приверженцем Интернационала.

В 1869 году проходила конференция германских сторонников Международного Товарищества Рабочих, на которой было решено в том же году созвать съезд. Он состоялся в августе в маленьком городке Эйзенахе и положил начало основанию Социал-демократической рабочей партии Германии. При многих неверных, вполне лассальянских положениях программа новой партии явилась важным достижением для германских рабочих, так как провозглашала классовую борьбу, международное пролетарское единство и выдвигала демократические требования.

Эйзенахцы, как называли эту ветвь социал-демократов, в отличие от лассальянцев, отстаивали идею объединения Германии «снизу». Они боролись против всяких уступок прусскачеству, бисмарковщине, национализму.

Когда началась франко-прусская война, трудящиеся Германии не позволили Бисмарку одурманить себя угаром ложного патриотизма.

«Рабочие всех стран — наши друзья, а деспоты всех стран — наши враги», — объявили пятьдесят тысяч рабочих Хемница.

Их поддержали машиностроители Брауншвейга, братски протянувшие руку пролетариям Франции. Берлинская секция Интернационала заявила, что ни звуки труб, ни гром пушек, ни победа, ни поражение не отвратят трудящихся от общего дела объединения рабочих всех стран.

Идеи Интернационала пробились к рабочим.

Бебель и Либкнехт находились в постоянной связи с Марксом и Генеральным Советом. После падения империи Наполеона III Бебель голосовал в рейхстаге против кредитов на военные цели и был арестован. Однако рабочие избрали его в Общегерманский рейхстаг и таким образом вызволили из тюрьмы. Верный идеям Генерального Совета Интернационала, Бебель на заседаниях рейхстага смело возражал против отторжения от республиканской Франции Эльзаса и Лотарингии.

В долгожданный счастливый день низложения Наполеона III и провозглашения Республики Жан Сток украсил паровоз красным флагом. Он громко пел «Марсельезу» под стук колес. На полустанках обнимался с кочегарами и машинистами встречных поездов и кричал:

«Да здравствует Республика на веки веков!»

В одном из узловых депо стихийно возникло собрание.

— Дождались, дожили до праздника. Наконец-то прохвост, палач и вор Бонапарт пал. Жаль, что ему удалось бежать за границу. Он слишком дорого стоил Франции, как и все, впрочем, Бонапарты, — говорил Сток собравшимся. — Идол оказался на глиняных ногах. Сейчас всем видно, какого урода тащили мы на своих горбах, а вчера еще многие надрывались от крика, что император, дескать, великий правитель, мудрый отец народа и слава страны. Продажные души, слепцы и мерзавцы! Они рассчитывали получать от него титулы, поставки, доходные места, измываться безнаказанно над трудящимися. Я-то имею право требовать ответ у всех лизоблюдов из чиновников и буржуазии, как и многие мне подобные пролетарии. Я едва не сдох в императорской тюрьме. Кровью моего отца обагрены руки Луи Бонапарта. Много на его совести человеческих жертв и слез. К суду подлеца! Мы наказываем даже за случайное убийство, но милостивы к оптовому злодею. Преступник исчез. И что же он оставил нам? Кровопролитную войну, позор отступления, голод, обворованные армии. Но народ привык жертвовать собой ради родины. Спасем же Францию и утвердим в ней Свободу, Равенство и Братство!

В эти горячие дни Жан Сток многократно выступал с трибуны. Жанетта больше не страшилась за мужа и давала ему выговориться. В течение двух десятилетий во Франции народ не решался открыто говорить то, что думал. Появился особый сорт людей, выгодный установившемуся режиму самовластья и поощряемый им.

Подхалимы, лицемеры, лгуны и трусы чувствовали себя отлично. Но есть незыблемая историческая закономерность, согласно которой в годы жестокого произвола и бесправия рождаются небывало смелые, дерзкие своеобразные души, подобны благородным металлам и не изменяются, не темнеют от едких кислот деспотизма.

Одним из таких людей, литых из золота, был Эмиль-Виктор Дюваль, тридцатилетний, жизнерадостный, энергичный рабочий-литейщик, близкий друг Жана Стока. Его избрали секретарем Федерального совета Парижских секций Международного Товарищества Рабочих, где он сумел приобрести всеобщее доверие и уважение. Одной из отличительных черт его было бесстрашие и проница-

тельный ум. Незадолго до свержения империи Эмиль Дюваль был арестован. На дне бельевой корзины он передал тайком на волю письмо к брату, находящемуся в армии:

«Пишу тебе эти несколько слов, чтобы приветствовать тебя. Надеюсь, что мое письмо застанет тебя в добром здравии, несмотря на жестокое разочарование, которое должна была испытать армия в связи с недавними проигранными ею сражениями.

Мы все чувствуем себя сносно. Моя теща получила известия из наших краев. Она, как и мы, желает тебе побольше здоровья и мужества. С воскресенья, седьмого августа, я нахожусь в тюрьме за совершенное мною преступление — принадлежность к Интернационалу. Меня осудили на два месяца. Я не прошу тебя посылать нам сведения о войне. Мы их получаем из газет, и в них веселого мало, — но это тебе не мешает сообщать нам о себе. Парижские новости тоже малорадостны, хотя патриотизм населения достиг наивысшей степени. Со всех сторон требуют *оружия*, чтобы помочь вам отомстить за наши поражения, но для вступления в армию надо пройти через столько формальностей, что вряд ли результат будет соответствовать чаяниям народа.

Не могу писать об этом подробней, ты догадываешься почему. Подай нам весточку о себе поскорее, так как нас беспокоит ваша судьба... Заканчиваю, братски жму твою руку, мужайся и не теряй надежды, может быть, избавление от тирании ближе, чем это предполагают.

Твой брат и друг Э. Дюваль, заключенный в Сент-Пелажи».

В первый вечер Республики у Стока собралось несколько товарищей по Парижской секции Интернационала. Раньше всех пришли Серрайе и недавно освобожденный из тюрьмы Дюваль с женой. Это была миловидная женщина маленького роста, очень кокетливая, с рыжеватой челкой, прикрывающей лоб. Чрезвычайно подвижная, смешливая, она была похожа на подростка.

Дювали принесли кусок превосходно зажаренного мяса — лакомство, ставшее редкостью со времени войны.

— Это тетка прислала нам из деревни, и очень кстати, — лучшего повода попраздновать нельзя было и выдумать, — тараторила маленькая гражданка Дюваль.

Огюст Серрайе только что прибыл из Лондона в качестве полномочного представителя Генерального Совета. Этот рабочий был одним из наиболее надежных помощников Маркса и Энгельса в суровую пору. Родившись в Англии, он мало походил на француза, был очень сдержан, скрытен, умел помолчать на людях, однако на трибуне мгновенно загорался и становился убедительно красноречивым. Свободно владея английским и французским, глубоко изучив научный социализм, он был весьма полезным деятелем Интернационала. Среднего роста, худощавый, он обращал на себя внимание огненно-рыжей бородой.

Жанетта и Катрина с помощью говорливой гостьи принялись накрывать на стол и готовить ужин. Все три женщины полны были радужных надежд и строили планы на будущее.

— Весной Жан свезет нас всех на своем пароходе в Нормандию, — размечталась Жанетта, — я видела море пока что только на картинках.

— Эмиль хочет съездить в Англию, у него есть дела в Генеральном Совете Товарищества. Может быть, лучше отправиться нам всем на этот остров. Там у нас найдется много друзей.

— Как это было бы замечательно! Но я всегда пугаюсь: когда все хорошо, — это перед дурным.

— Ну что ты, Жанетта! Ведь теперь иные времена — Республика, война вот-вот кончится. Она не нужна нам, — возразила Катрина.

— Вы обе молоды и ничего не помните. А тот, кто пережил лето тысяча восемьсот сорок восьмого года, не может быть спокоен. Революция тяжела и опасна, как роды. Может родиться и мертвый ребенок.

— Но ведь обычно новорожденные живучи, — запротестовала жена Дюваля.

Громкий стук в дверь прекратил разговор. В комнату с шумными приветствиями вошли рабочий-красильщик Бенуа Малон, упитанный крепкий парень, отбывавший недавно, так же как и Дюваль, тюремное заключение за принадлежность к Интернационалу, и худощавый, узколицый чеканщик Толен. Он достал из кармана широкой, навыпуск, клетчатой блузы бутылку вина.

— О-ла-ла! Багровое бордо! Такое мы пили только до войны. Вот удача, право, — у нас будет настоящий

пир, — воскликнула бойкая жена Дюваля. Рыжая челка растрепалась на ее низком лбу.

Но ее муж и Сток холодно встретили появление Толена. Он пришел незваным. С некоторых пор в секции к нему стали относиться с недоверием. Это был весьма скрытный человек с лицом, чем-то напоминавшим крысу. Толен часто и запросто посещал Жерома Бонапарта, слишком родственника свергнутого императора, прозванного Плюшлюном, который в течение многих лет изображал из себя рьяного поборника республики и заигрывал с противниками цезаристского режима. Весьма богатый и чрезвычайно похожий на Наполеона I, он не терял надежды с помощью подкупа и демагогии занять когда-нибудь престол.

Жанетта позвала всех к столу, торопя приступить к ужину.

— Где же твой постоялец Врублевский? — спросил Сток Серрайе. — Этот поляк стоит многих французов и заслуживает полного доверия.

— А это теперь главное, — добавил литейщик Дюваль многозначительно, скосив глаза на Толена.

— Задержался у соотечественников. Они тоже празднуют рождение нашей Республики, — живо отозвалась Катрина и тотчас же залилась румянцем.

— Понятно. Наш доблестный офицер достоин любви хорошей девушки. Как знать, не появится ли у Жана и Жанетты скоро новый родственник, — хитро улыбаясь и добродушно посмеиваясь, заметил Малон.

— Вовсе нет. Врублевский просто наш друг и занимается со мной грамматикой, — еще больше смутившись, пролепетала девушка.

— Значит, будущий зять. С родственниками, кто бы они ни были, хорошо только одно — лежать рядом на кладбище. Можете мне поверить, — вдруг изрек Толен, вызвав, однако, не смех, как того хотел, а тягостное недоумение.

— Неправда, — вмешалась Жанетта, — плохо, когда нет родных.

— Родня. Да это клад. О-ла-ла! У кого же тогда оставлять ребенка, когда, к примеру, надо отнести мужу в тюрьму передачу, — добавила жена Дюваля, развеселив всех собравшихся.

— Что у кого болит, тот о том и говорит. Теперь уж меня больше не схватит, малышка, — отозвался литейщик.

— Но зато если поволокут, то уж на расстрел, — жестко вставил Толен.

— Нет, шутишь. Мы дешево не дадимся. Всех не перебить и нездобровать тому, кто посягнет на Республику. А впрочем, к черту мрачные разговоры. Выпьем, товарищи, за Интернационал, за победу революции! — громко объявил Сток и добавил: — Да, братья, пора думать о том, как рабочему взять власть. Варлен уверен, что час наш пришел.

— Это неизбежно, — заметил Малон, поднимая бокал. — Чем скорее, тем лучше. Итак, за Свободу и Равенство!

Все чокнулись и принялись есть с явным аппетитом. Неслышно открылась дверь, и на пороге появился широкоплечий мужчина среднего роста.

— А вот и Валерий, — искренне обрадовались хозяева и гости.

Врублевский подошел к столу. Это был светлый блондин с пышными вьющимися волосами, откинутыми назад с большого выпуклого лба. Кожа на его лице стала рябой от недавно перенесенной оспы, но крупные, строгие черты его были очень привлекательны и отражали полевой, прямой характер. В осанке и походке Валерия была та особая подобранность и стройность, которые присущи обычно военным. В свое время он учился в Виленском шляхетском учебном заведении. После окончания Петербургского лесного института, где Врублевский приобщился к учению русских революционных демократов, он уехал в Гродненскую губернию. Общительный, терпеливо-внимательный к людям, Врублевский стал неутомимым пропагандистом борьбы с царизмом среди белорусских крестьян. Польским революционерам было очень важно заверbовать для подготавливаемого ими в строгой тайне восстания надежных людей, которые в нужный момент смогут помогать повстанцам, доставляя патроны, спабжая их провизией, скрывая от преследователей в дремучих чащах непроходимых лесов.

В 1863 году, когда поляки поднялись на своих притеснителей, Врублевский командовал повстанческим отрядом. Он оказался превосходным военным руководителем, рьяно преданным народному делу. Восстание было

жестоко подавлено. Многие друзья Врублевского погибли — кто в боях, кто на виселице. Сам он, дважды раненный, был вывезен за границу в карете одной смелой патриотки. Оправившись от болезни, он переехал в Париж. В изгнании Врублевский бедствовал. Довольно долго он добывал пропитание, работая в мэрии: чистил и зажигал по вечерам газовые фонари на улицах, на рассвете гасил их. Но это было не худшее время в его жизни. Он изучил Париж, его людей, их нравы, особенности, беды, освоил в совершенстве чужой язык. У него появилось много друзей среди тех, кто, подобно ему, тяжелым трудом зарабатывал кусок хлеба. Бодрость никогда не покидала молодого поляка. В свободные часы он прилежно изучал военное дело и добился даже того, что посещал школу Генерального штаба.

— Революции в наш век неизбежны, и для победы им потребуются надежные знатоки военного дела, — уверял Врублевский.

Он освоил типографское дело и поступил на работу в издательство, где выпускали книги также и на польском языке. В это время его подстерегла и свалила свирепствовавшая в Париже оспа. Он перенес ее один, в своей каморке со свойственным ему стоицизмом, лечась только по собственной методе и наотрез отказавшись лечь в госпиталь, где была высока смертность.

«Животные, — размышлял Врублевский, — перестают есть, когда тяжело заболевают. Они покорно ложатся, отказываясь от пищи, очевидно для того, чтобы облегчить организму борьбу с раздирающей его инфекцией и не отгонять кровь к желудку. Инстинкт ближе к нашей физической природе, надо к нему прислушиваться».

За все время своей мучительной болезни он ничего не ел, а пил в большом количестве только теплый чай. Воля к жизни победила, он выздоровел, но кожа на его лице отныне напоминала кожуру земляных орехов.

Все годы пребывания во Франции Врублевский был одним из наиболее видных деятелей левой части польской эмиграции. Его любили за твердость убеждений, скромность, душевное благородство и самоотверженность.

— Я, — говорил Врублевский, — демократ по убеждению, по духу и по крови, по своему прошлому, по всей своей деятельности. Я не могу ни жить, ни умирать за иную Польшу, чем та, где господство человека над чо-

ловеком уступит место торжеству свободы, разума и права, где невежество исчезнет перед яркими лучами всеобщего просвещения, а нужда — вследствие добросовестного распределения общественных доходов. Все для народа и через народ. В этом лозунге заключен не только политический идеал нашей родины, но и средство для его осуществления. Все для народа — это значит: свобода личности и коллектива, возникающая из права и возможностей развития у человека всех способностей в области интеллектуальной и политической.

Глубоко преданный идее демократии, Врублевский, однако, не понимал решающего значения классовой войны, он не различал те силы, на которые должны были опереться революционеры в борьбе за свободную и независимую Польшу. В этом сказалась свойственная всем буржуазным демократам, к которым он себя причислял, ограниченность.

Весной 1870 года Валерий Врублевский снял угловую комнату у Жана Стока и почувствовал себя своим человеком в прямодушной, дружной семье машиниста.

В вечер празднования победы Республики поляк пришел домой в приподнятом настроении.

— Здорово, друзья, — сказал он, обходя всех присутствующих и пожимая им крепко руки. — А, Толен, давно мы не видались, — обратился он отдельно к чеканщику, — надеюсь, ты порвал наконец свою дружбу с этим толстым боровом, паразитом Плоншлоном.

— На все свое время, — уклончиво ответил Толен.

— Время это ты давно упустил, Анри, — крикнул, посеров от досады, Бенуа Малон и стукнул рукой по столу.

— Чего ты шумишь, того и гляди, полезешь в драку, — сквозь зубы огрызнулся чеканщик.

— А как же говорить с тобой, господин придворный гравер? Толстая кожа, но скажу пока — подлая, требует крепкого кулака, — нашелся красильщик.

Толен привстал:

— Мы еще увидим, Бенуа, у кого какая шкура. Встречал я таких задир, как ты, на своем веку. Плохо кончали. Или ты забыл, сколько раз сам путал, сума переметная? Разве не заигрывал ты и с «Альянсом»? А? Помалкиваешь. Но ты и не анархист, нет, ты, Малон,

просто карьерист. «Интернационал — это я» — вот до чего ты договорился, папаша. Людовика Четырнадцатого переплюнуть захотел. Расскажи-ка о своих шашнях с Бакуниным?

Малон потемнел, как желудь, и засучил рукава широкой блузы. Сток властно положил ему на плечо ладонь.

— Успокойся, старина, оба вы не без греха и, что уж отрицать, любите властвовать, оба мастера интриговать. Во сне только и видите, как бы стать мэрами и сенаторами. Прямо не поймешь, откуда у рабочего берется такой зуд честолюбия. Поцапались, и хватит.

Но Толен и Малон не унимались, и перебранка продолжалась.

— Сегодня споры строжайше воспрещены, — вмешалась Жанетта, появившаяся из кухни с блюдом дымящихся овощей.

Однако ссора, подогретая вином, не ослабевала. Все шумели, перебивая друга друга.

— Развязались языки, не уймешь, — сказала жена Дюваля. — Так веселее. Я очень люблю разные драки.

— Хуже позади, — громко заявил Толен.

Сток сухо прервал его:

— Болтовня! Сам знаешь: пока буржуазия у власти, можно ждать чего угодно.

— И в первую очередь нож в спину, — подтвердил Дюваль.

На столе все было съедено и выпито. Мужчины вышли в маленькую прихожую покурить.

— Беда наша в том, что войне не видно конца. Как ты думаешь, Огюст, немцы пойдут на замирение? Им это, пожалуй, сейчас невыгодно.

— Бисмарк, хитрая бестия, жаден как свинья и злобен как волк, — горячился Дюваль.

— Он постарается воспользоваться той неурядицей и развалом, которые Франции достались от ублюдка Бонапарта, — ответил Серрайе.

— Время ураганное. Как тут не вспомнить хорошие стихи. — Откинув большую мужественную голову, Врубловский неожиданно начал декламировать:

...Земля
Подо мною трепещет.
Загудело раскатами эхо громов,
Пламя молний сверкает,

Закружилася вихрями черная пыль.
Налетели и сшиблись
Все противные ветры.

— Ого, да ты поэт, друг поляк.

— Это не я писал, а Эсхил. Он жил более двух тысяч лет назад.

— Значит, и тогда уже были люди не глупее нынешних. «Налетели и сшиблись все противные ветры». Надо же так хорошо сказать! Что ты думаешь делать, Врубелевский?

— Вступить в Национальную гвардию. Многие поляки уже начали переговоры с правительством Национальной обороны на этот счет. Пусть нас используют для защиты Парижа. Я избран членом эмигрантской Временной комиссии по этому делу, но пока наши старания безрезультатны.

— Подлюга Тропю боится рассердить русского царя, — с нескрываемой злостью сказал Сток.

— Очевидно. Но вряд ли он сможет не допустить нас в Национальную гвардию. А там как действовать, будет видно по обстоятельствам.

В прихожую заглянули женщины. Им стало скучно. Толен и Малон сразу после ужина уселись за партию шашек. Изрядно выпив, оба были навеселе. Обыгрывая чеканщика, Малон напевал:

Под самой крышей — нищета,
Семья большая, теснота,
Нет ни сапог, ни одеяла.
И смерти здесь по раз помог
Дождь сквозь дырявый потолок.

— Какие грустные и трогательные слова, — сказала ему жена Дюпаля, — и, однако, столь неподходящая радостная веселая мелодия. Неужели все это придумали вы сами?

— Мотив действительно противоположен смыслу стихов, но иначе заплачешь, очень уж печальная картина, я же терпеть не могу драм, — признался Малон. — Это сочинение моего друга, а музыка Иоганна Штрауса, великого мастера оперетты.

— Я хотела бы увидеть настоящего поэта, — мечтательно заметила Катрина, убиравшая посуду со стола.

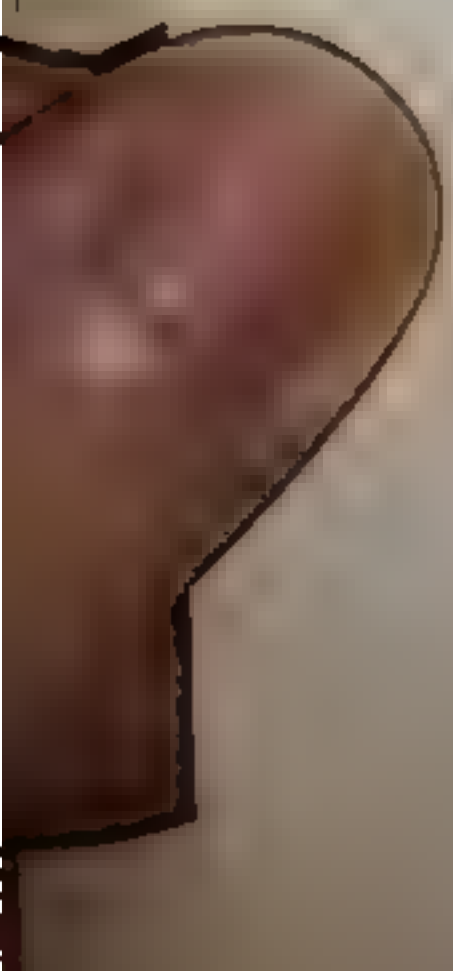
— Нет ничего проще. Мой поэт не молод, не красив, к тому же он из рабочих. Но Беранже был тоже не

маркиз. Зовут его Эжен Потье. Такая девушка, как вы, Катрина, право же, рождена, чтоб вдохновлять поэтов. Я приведу его сюда.

— Постарайтесь явиться к обеду. Жан привезет нам какую-нибудь провизию для вкусной похлебки. Поэты, да еще из рабочих, всегда голодны, — сказала Жанетта, хлебосольство которой было хорошо известно среди интернационалистов.

Член секции Интернационала, разрисовщик тканей Эжен Потье оказался пожилым, хворым человеком. Он был очень некрасив собой, и Врублевский, отлично знавший античную литературу, нашел в его мясистом лице, обтянутом серой кожей, в очертаниях приплюснутого носа и в щелевидных проницательных глазах сходство с Эзопом. Но, как это было с великим баснописцем древности, стоило Потье заговорить, невыгодное впечатление от его внешности мгновенно исчезало. Он казался тогда привлекательным. Старый рабочий-поэт любил все прекрасное, был воинствен и глубоко правдив. Он никогда в своих стихах не призывал обездоленных, подобно Беранже, к примирению с судьбой и не вооружал их не посохом и сумой для странствий, а требовал, чтоб они готовились к суровой борьбе. Он ненавидел нищету и не старался приукрасить несчастье. Член секции Интернационала и рабочий гравер, Потье подписал призыв к немецкому народу о прекращении войны.

— Сейчас на время пришлось расстаться с лирой, чтобы лучше справляться с оружием, — сказал он Катрине Сток в ответ на ее просьбу написать стихи о молодой одинокой швее.



В декабре 1870 года в Модена-вилла пришла высокая, тоненькая, красивая женщина и, подав Ленхен рекомендательное письмо, попросила впустить к гражданину Марксу. Елена Демут внимательно оглядела вошедшую. Она хорошо знала людей.

— Я русская, моя фамилия Томаповская, Элиза Томановская, — сказала девушка.

Ленхен между тем думала, что у гостьи такие же жгуче-черные волосы и правдивые блестящие глаза, как у Женнихен, та же озорная и вместо с тем застенчивая нежная улыбка, как у Тусси.

— Обождите, — сказала она пластно по-английски и прошла к Марксу на второй этаж.

— Мне кажется, ты можешь принять ее, Карл, — добавила Лепхен, назвав фамилию пришедшей и передав письмо.

Маркс вскрыл конверт:

«Дорогой гражданин!

Разрешите в этом письме горячо рекомендовать Вам нашего лучшего друга, г-жу Элизу Томановскую, искренне и серьезно преданную революционному делу в России. Мы будем счастливы, если при ее посредничестве нам удастся ближе познакомиться с Вами и в то же время более подробно осведомить Вас о нашем положении, которое она Вам сможет обстоятельно обрисовать.

Положение это является, несомненно, печальным, так как нам приходится, с одной стороны, преодолевать препятствия, которые ставит на пути всякой свободной пропаганды *царизм*, а с другой стороны, бороться с невежеством и *нечестностью* (выражение отнюдь не слишком сильное), которыми пропитаны все слои так называемого образованного русского общества. К тому же дух групповщины и узость интересов парализуют революционную работу даже среди молодежи; в ее рядах преобладают приверженцы ребяческой игры в революцию, желающие подражать прежним немецким студенческим корпорациям и считающие себя способными пропавести революционный переворот *для* народа, но *без* народа, что в России еще менее возможно, чем где бы то ни было. Все это приводит к тому, что большинство из тех, которые по своему положению могли бы и должны были бы быть настоящими пропагандистами Международного Товарищества, далеки еще до понимания его подлинного значения, и от нас потребуется еще немало усилий, чтобы всерьез водрузить и упрочить наше общее знамя в России. Однако мы нисколько не сомневаемся в успешном осуществлении нашей задачи, и мы счастливы, что инициатива провозглашения необходимости направить русское революционное движение в общее русло движения европейского пролетариата исходила именно от нас...

Г-жа Элиза передаст Вам циркуляры инициативной группы пропаганды, которую мы здесь создали...

Г-жа Элиза напишет нам обо всем, что Вы найдете нужным сообщить, а по возвращении расскажет о том, какое впечатление произвели на нее при более близком знакомстве организации рабочих союзов и политическая и общественная жизнь Англии, и даст нам все сведения о ней. Мы уверены, что Вы своими советами и ценными указаниями поможете ей в изучении этих вопросов, и заранее благодарим Вас за это; помогая ей в ее занятиях, Вы тем самым помогаете всем нам.

Примите, дорогой гражданин, наш братский привет.

Маркс встал и пошел навстречу желанному посланцу из Женевы, оказавшемуся еще очень юной женщиной. Если бы на гостье были пестрые шальвары и атласная шаль, она смогла бы сойти за турчанку, прекрасную Гайде или Медору, пленившую байроновского Дон-Жуана.

— Здравствуйте, очень рад вас видеть, — сказал Маркс по-русски, четко выговаривая каждое слово. И вдруг, отечески улыбнувшись, добавил: — А сколько вам лет?

— Девятнадцать, — ответила Элиза. Густые ресницы ее взлетели вверх к бровям и запрыгали, как множество вопросительных знаков. На щеках появился пунцовый румянец. Впрочем, она мгновенно подавила вспыхнувшее было смущение под изучающим, но доброжелательным взглядом Маркса.

— Так вы и есть та самая Далила, которая посрамила и лишила силы тучного Самсона-Бакунина на диспуте анархистов в Женеве? Старик Беккер писал мне, — а от знает толк не только в щетках, которые делает, — что вы уничтожили Бакунина смехом. Это самое неотразимое оружие в борьбе с людьми, у которых за фразерством скрывается идейная пустота. Расскажите же, пожалуйста, как все это было.

Элиза, быстро освоившаяся в дружелюбном доме Маркса, проявив незаурядное дарование рассказчика, описала женевское кафе, где собрались анархисты, зазывательные афиши на стенах, на которых Бакунин изображался то мучеником, то беглым каторжником, то философом, то самим богом разрушения. Элиза небезуспешно пародировала Бакунина, рычавшего с трибуны, осыпавшего клеветническими стрелами Маркса и его партию. По ее словам, речь идеолога анархии была подобна оглушительным взрывам хлопушек. Пустозвонный диспут пре-

пратился в скверный балаган, где все могло окончиться дракой. И тогда Элиза Томановская решила прервать нападение разъяренного Бакунина на терявшего самообладание Утина. Она внезапно вскочила на подмостки и, к великому удовольствию публики, пропела на мотив плясовой песни убийственные своей иронией куплеты, сочиненные про Бакунина. Раздался оглушительный смех. Вождь анархизма был сражен и постыдно бежал с диспута, который с самого начала напоминал клоунаду.

Маркс вдоволь посмеялся над рассказом Элизы. Он был приятно удивлен живостью и глубиной ума молодой русской революционерки.

— Я, однако, смутно представляю себе: как этот интриган и пустозвонный фразер очутился в Интернационале, доктор Маркс? — спросила Томановская. — Знаете ли вы его близко? Он, как мне показалось, очень ожесточен лично против вас.

— С Бакуниным мы знакомы более четверти века, — начал Маркс. — После долгого перерыва мы встретились опять в Лондоне в тысяча восемьсот шестьдесят четвертом году. Он обещал работать в Товариществе не покладая рук. Я, конечно, не предполагал тогда, что он будет подкладывать мины под наше дело.

Бакунин уехал в Италию, — рассказывал Маркс, — и после нескольких лет, в течение которых о нем ничего не было слышно, опять появился в Швейцарии. Там он примкнул не к Интернационалу, а к буржуазной Лиге мира и свободы. Бакунин вошел в ее исполнительный комитет, но встретил там противников, которые не только противодействовали его диктаторскому влиянию, но и установили за ним надзор, как за «подозрительным русским». Вскоре после Брюссельского конгресса Интернационала Лига мира устроила конгресс в Берне. На этот раз Бакунин выступил как «фребранд», подстрекатель. Он предложил ряд резолюций, которые сами по себе нелепы и рассчитаны на то, чтобы нагнать страх на буржуазных кретинов и позволить господину Бакунину с шумом выйти из Лиги мира. Достаточно сказать, что его программа, предложенная Бернскому конгрессу, содержит такие нелепости, как «равенство классов», «отмена права наследования как начало социальной революции», и тому подобную бессмысленную болтовню, целый букет вздорных выдумок, — пошлая импровизация, рассчитанная

исключительно на мимолетный эффект. Друзья Бакунина в Париже и в Лондоне раструбили всему миру о выходе Бакунина из Лиги мира, как об исключительном событии, и провозгласили его смехотворную программу — этот винегрет из избитых общих мест — чем-то невероятно оригинальным.

Тем временем Бакунин начал свою деятельность в Романском отделении Интернационала в Женеве. Ему понадобились годы, чтобы решиться на этот шаг. Но ни понадобилось и нескольких дней, чтобы господин Бакунин решил совершить переворот в Интернационале и превратить его в свое орудие.

— Мы все в Швейцарии были свидетелями его ловкой эквилибристики. Представьте себе, доктор Маркс, он сделал недавно новое открытие. Бакунин заявил, что в России нет идейнее революционеров, нежели разбойники с большой дороги, а в Италии ими являются босяки.

— Ничто более не удивляет меня в Бакунине. За спиной лондонского Генерального Совета он основал так называемый «Альянс социалистической демократии». Программа этого общества была та самая, которую Бакунин предложил Лиге мира. «Альянс» с самого начала объявил себя обществом пропаганды специфически бакунинской тайной премудрости, а сам Бакунин, один из невежественнейших людей в области социальной теории, неожиданно выступает здесь как основатель секты. Теоретическая программа этого «Альянса» была, однако, всего лишь фарсом. Суть дела заключалась в его практической организации, а именно — это общество должно было быть интернациональным, с центральным комитетом в Женеве, то есть находиться под личным руководством Бакунина. Но вместе с тем оно должно было являться составной частью Международного Товарищества Рабочих.

— И в Лондоне об этом сначала ничего не было известно? — недоумевая, спросила Элиза.

— О нет, Генеральный Совет был осведомлен обо всем. Тем не менее он предоставил Бакунину спокойно действовать до того момента, когда тому пришлось представить через Беккера устав и программу «Альянса социалистической демократии» Генеральному Совету на утверждение. На это последовало подробно мотивированное постановление, составленное вполне юридически и объективно, по в своих обоснованиях полное иронии.

В мотивировочной части постановления, — продолжал говорить Маркс, — было ясно и решительно показано, что «Альянс» является не чем иным, как орудием для дезорганизации Интернационала.

Удар был неожиданным...

Бакунин хотел любым путем добиться своей цели — превратить Интернационал в свое личное орудие. План Бакунина был таков: когда Базельский конгресс примет предложенные им «принципы», то все увидят, что не Бакунин перешел к Интернационалу, а Интернационал — к Бакунину. Отсюда простой вывод: лондонский Генеральный Совет должен будет выйти в отставку, и Базельский конгресс переведет Генеральный Совет в Женеву. А это означало бы, что Интернационал достанется диктатору Бакунину в его полное распоряжение.

Бакунин устроил настоящий заговор, чтобы обеспечить себе большинство на Базельском конгрессе. Не было даже недостатка в поддельных мандатах. Бакунин сам выпросил себе мандаты от Неаполя и Лиона. Против Генерального Совета распространялась всяческая клевета. Одним говорили, что в нем преобладает буржуазный элемент, другим — что это гнездо авторитарного коммунизма. Но на конгрессе предложение Бакунина не прошло, и Генеральный Совет остался в Лондоне.

Маркс познакомил Елизавету Лукиничну со своей семьей. Русская революционерка понравилась всем без исключения в Модена-вилла и вскоре подружилась с Женнихен и Тусси.

История жизни молодой женщины была так же интересна и необыкновенна, как она сама. Дочь богатого помещика Кушелева и мещанки — бонны и сестры милосердия Каролины Доротеи Трескевич, Елизавета с детства получила разностороннее образование, изучила иностранные языки, приобрела манеры и навыки дворянского общества. Ее учителем музыки был Мусоргский.

Лука Иванович Кушелев женился на матери Елизаветы незадолго до своей смерти, но не захотел удочерить девушку. Она осталась незаконнорожденной его воспитанницей, вполне, однако, обеспеченной материально. Двойственность ее положения, унижения наложили на чрезвычайно порывистую, впечатлительную, одаренную натуру резкий отпечаток. Вольнолюбивые книги и знакомство с протестующей против социальной неспра-

ведливости молодежью усилили в душе Елизаветы Лукиничны Кушелевой беспокойное недовольство жизнью, желание добиваться для подобных ей людей иной судьбы. Но в характере Елизаветы было подчиняться сложившимся обстоятельствам. Одна из ее подруг, чтобы получить самостоятельность и право выезда из России, вышла фиктивно замуж. Елизавета Лукинична решила поступить так же. Среди друзей молоденькой девушки был тяжело больной чахоткой отставной полковник Томановский, умный, отзывчивый человек. К нему-то и обратилась она за помощью, так как рвалась прочь из отчего дома, в мир, к борьбе. В этом видела она для себя единственный смысл дальнейшего бытия. Елизавета Кушелева была из тех избранных, самоотверженных, нищих душ, которые не могут быть счастливы, когда вокруг них столько несчастных.

Томановский внял ей, решил помочь. Вскоре они повенчались и отправились в мнимое свадебное путешествие.

Осенью 1868 года Томановские приехали в Женеву, так как Елизавета Лукиничка хотела прежде всего установить связь с русскими революционерами-эмигрантами. Томановская встретилась с Утиным, Бартеневым, Трусовым и другими деятелями русской ветви Интернационала, нашла жизненную цель, друзей. Она смогла помочь изданию журнала «Народное дело» своими деньгами, которые охотно отдала на революцию. В Бакунине проницательная Элиза, как стали звать в целях конспирации молодую русскую революционерку, увидела опасного властолюбца и беспомощного теоретика.

Прошло всего несколько месяцев, а доверие к знаниям, такту, уму Элизы настолько утвердилось в Русской секции Международного Товарищества, что именно на нее пал выбор, когда понадобилось послать к Марксу кого-либо из его русских последователей.

В Модена-вилла всех тревожила судьба Германа Лопатина и исход его попытки спасти Чернышевского, вырвать его из заключения и переправить за границу.

В дни, когда там бывала Элиза, об этом говорили особенно взволнованно. Женни и ее дочери, Елена Демут и Карл Маркс не скрывали своего беспокойства и тщетно силились найти способ помочь самоотверженному революционеру. Что можно было сделать в Лондоне для того, чтобы проникнуть в Иркутский острог?

Но всегда в Модена-вилла Элиза виделась с Марксом. Она проводила интересно и весело время в обществе приятельниц — Женнихен и Тусси, когда отец их бывал занят. Вечера на Мейтленд-парк обычно проходили в игре на фортепьяно, пении, декламации, чтении вслух, рассказах о России и различных путешествиях, шутках и играх. Женни Маркс, когда бывала свободна, охотно присоединялась к молодежи. Остроумная, изобретательная в развлечениях, уникально образованная, увлекательная собеседница, Женни Маркс проявляла большую доброжелательность ко всем близким по духу и целям людям. Элиза Томановская не скрывала своего восхищения госпожой Маркс. Иногда Элиза заходила в рабочую комнату хозяина дома, и тогда часами длилась их беседа. Маркс радовался возможности говорить по-русски и слышать звучание изучаемого им языка. Он читал произведения Чернышевского и весьма интересовался развитием крестьянской общины на его родине. Представительница русской ветви Интернационала оказалась очень сведущей в этом трудном вопросе. Она много видела и продумала, когда жила в имении отца в Псковской губернии. Как-то, не желая отвлекать Маркса от дел личным посещением, она передала ему письмо, когда находилась в гостях у своих приятельниц — Женнихен и Тусси.

«Милостивый Государь!.. Что касается альтернативы, которую Вы предвидите в вопросе о судьбах общинного землевладения в России, то, к сожалению, распад и превращение его в мелкую собственность более чем вероятны. Все меры правительства — ужасающее и непропорциональное повышение податей и повинностей — имеют своей единственной целью введение индивидуальной собственности путем отмены круговой поруки. Закон, изданный в прошлом году, уже отменяет ее в общинах, население которых составляет меньше 40 душ (мужских, женщины, к счастью, не имеют душ); официальная и либеральная пресса нисколько не стесняются громко кричать о благодетельных, по ее мнению, последствиях этого мероприятия. И действительно, столь прекрасное начало много обещает.

Я позволяю себе послать Вам номер «Народного дела», в котором разбирается этот вопрос, полагая, что у Вас, возможно, нет полного комплекта этого журнала.

Вы несомненно знакомы с выпущенным в 1847 году трудом Гакстгаузена, в котором рассматривается система общинного землевладения в России. Если у Вас случайно его нет, то прошу сообщить мне об этом. У меня есть экземпляр на русском языке, и я могу тотчас же послать его Вам.

Этот труд содержит много фактов и проверенных данных об организации и управлении общин. В статьях об общинном землевладении, которые Вы теперь читаете, Вы увидите, что Чернышевский часто упоминает эту книгу и приводит из нее выдержки.

Я не хочу, конечно, посягать на Ваше время, но если в воскресенье вечером у Вас найдется несколько свободных часов, то я убеждена, что Ваши дочери будут так же счастливы, как и я, если Вы проведете их вместе с нами...»

Элиза Томановская, в которой чудесно сочетались юность, красота, женское обаяние с чисто мужским умом, отвагой и волей, обрела дружбу и доверие Маркса. Обе Женни, старшая и младшая, Тусси и Елена Демут также отнеслись к молодой русской как к родному и близкому им человеку.

В Модена-вилла Елизавета Лукинична увидела Энгельса, который в шутку отрекомендовался ей Федором Федоровичем, так он иногда подписывался под письмами к русским людям.

Пребывание Томановской в Англии совпало с бурным периодом в истории Франции.

Всякая война, как туча, несет в себе грозу и бурю, срывающую зрелые и незрелые семена, поднимающую с земной поверхности плодородный слой и камни, растения и сор. Она полна неожиданностей.

Единственным спасением от нашествия Пруссии на Францию, после свержения Наполеона III, как считал Маркс, было вооружение всех парижских рабочих.

«Но вооружить Париж, — писал Маркс, — значило вооружить революцию. Победа Парижа над прусским агрессором была бы победой французского рабочего над французским капиталистом и его государственными паразитами».

Больше, нежели внешнего своего врага, боялась французская буржуазия пролетариев-однополчан. Ор-

ставающее интересы богачей правительство, естественно, стало правительством национальной измены.

Предатели министры Трошю и Фавр не обеспечили население столицы продовольствием и обрекли его на голод. На фронте поражение следовало за поражением. Французские войска сдавались в плен. Глава правительства Трошю тайно встретился с Бисмарком. Весть об этом скоро проникла в народ, и завеса обмана была разорвана. Французские рабочие поняли, что их одурачивают. Всем стало ясно, что временное правительство, вопреки заверениям, заботилось не об обороне, а о капитуляции.

В то же время трудовое население, несмотря на все возрастающую нужду, было преисполнено героической готовности воевать за освобождение Франции. Уже в первые дни революции в Париже народ сам избрал своих представителей в окружные наблюдательные комиссии, возглавляемые комитетом, который состоял из деятелей демократического и социалистического движения, членов Французской секции Интернационала. Были организованы батальоны Национальной гвардии и на деньги, добровольно отданные рабочими, отлиты пушки. Артиллерия парижского пролетариата должна была защищать столицу от пруссаков и собственной коварной буржуазии.

В конце октября Париж узнал о новом вероломстве главнокомандующего Трошю. В Бурже погибли вольные стрелки, геройски сражавшиеся, но оставленные правительством без подкрепления и оружия на произвол судьбы. 31 октября отряды национальных гвардейцев, предводительствуемые бланкистами, восстали и потерпели поражение.

Еще одно восстание парижских рабочих, возглавляемое Бланки, было подавлено. Правительство национальной измены начало борьбу с народом. Жюль Фавр и Тьер бросились в Версаль, чтобы просить Бисмарка о перемирии. Могущественный канцлер потребовал капитуляции Парижа, сдачи его гарнизона и фортов. Хотя Франция могла еще бороться, правительство поспешно согласилось. Перемирие было подписано 28 января 1871 года, а 8 февраля прошли выборы в Национальное собрание, созывавшееся для утверждения мирного договора. Все демократические силы подверглись гонениям и арестам. Выборы проходили наспех, под нажимом и угрозами реакционеров и немецких оккупантов. Большинство

рабочих не приняло в них никакого участия. Набран-
ными оказались монархисты. 12 февраля Национал-
ное собрание приступило к работе в Бордо и избрало гла-
вой исполнительной власти Адольфа Тьера.

Снова презренный честолюбец, взяточник и человек-
ненавистник, более двадцати лет назад сброшенный вме-
сте с Луи-Филиппом с исторических подмостков, верну-
ся к долгожданной власти. Низенький, вертлявый Тьер
сще больше, чем раньше, походил на дряхлого, вставшего
на задние лапы, облезлого суслика. Не случайно этот без-
душный интриган, преданный династии Орлеанов, был
призван в вожди реакционнейшим Национальным собра-
нием. Наконец-то Адольф Тьер мог провести ту расправу
с парижским народом, о которой мечтал в первые дни ре-
волюции 1848 года. Он решил ввести в столицу войска,
пусть даже вражеские, и с их помощью уничтожить ре-
волюцию. С этой целью Тьер явился к Бисмарку, который
представлял в это время уже не одно прусское королев-
ство, но всю Германскую империю, провозглашенную в
январе 1871 года в Версале.

Двадцать шестого февраля Тьер подписал предвари-
тельный мир. Германия отторгала от Франции две про-
мышленно и стратегически важные области — Эльзас и Ло-
тарингию. Немцам предоставлялось право ввести в Париж
свои войска, которые должны были оставаться там до
утверждения мирного договора Национальным собранием.

Когда правительство национальной измены в конце
января 1871 года капитулировало перед германской ар-
мией, ни одна из воюющих сторон не осмелилась посяг-
нуть на оружие Национальной гвардии. В договоре о
капитуляции, заключенном Бисмарком и Фавром, было
оговорено, что парижской Национальной гвардии предо-
ставляется право сохранить свое вооружение. Но как
только реакционное Национальное собрание приняло пред-
варительные условия мирного договора с Германией,
дало согласие на отторжение Эльзаса и Лотарингии и
уплату пяти миллиардов франков контрибуции, Тьер не-
медленно попытался обезоружить Париж.

Осенью 1870 года Красоцкие решили отправиться во
Францию. Весь последний год, ввиду ухудшившегося
здоровья Сигизмунда, они прожили в Женеве. В сыром,

тумапном климате Англии вновь дала о себе знать застарелая чахотка. Красоцкого лихорадило, он кашлял, худел. В Швейцарии Лиза и ее муж тесно сблизились с многими деятелями русской ветви Интернационала. Вступив сцо в Лондоне в Международное Товарищество Рабочих, Красоцкие посещали в качестве гостей заседания Генерального Совета, выполняли различные поручения, главным образом занимались переводами документов и налаживали связи с Польшей и Россией для отправки туда литературы. Они часто слышали речи Маркса. С тем большим почтительным интересом приняли их в свои ряды русские изгнанники-интернационалисты.

Лизе очень понравились некоторые ее соотечественницы: жена возглавлявшего секцию в Женеве Николая Исааковича Утина, миловидная, образованная, приветливая, волевая Наталья Ноонимовна, и резковатая, неутомимо хлопотливая, одевавшаяся и причесывавшаяся на мужской лад Ольга Степановна Зиновьева-Левашова. На ее средства издавалось «Народное дело», она была одной из учредительниц русской ветви Интернационала и рьяной пропагандисткой революционных идей.

Наибольшую симпатию внушила Лизе Анна Васильевна Жаклар, урожденная Корвин-Круковская.

Анна Васильевна, как и Красоцкая, была дворянкой. Дочери богатого генерала, Анна и ее сестра Софья, обладавшая феноменальным математическим дарованием, с детства рвались прочь из глухой помощичьей усадьбы. Софья стремилась к научной деятельности, Анна — к чему-то необычайному, значительному. Бурное воображение толкнуло Анну в шестнадцать лет к мистицизму, затем желание скрыться в монастыре сменилось мечтой о славе на театральных подмостках.

Каждая прочитанная книга приносила ей иную цель и желания. Но вот настала юность. Случайная встреча с бунтарем-студентом привела к чтению тайком сочинений Чернышевского, Добролюбова, журналов «Современник», «Русское слово» и герценовского «Колокола». Двадцатилетняя Анюта во время поездки в Петербург познакомилась с участницей студенческого движения Натальей Корсини и революционеркой Ольгой Степановной Зиновьевой. Потрясенная внезапным прозрением, Анна Васильевна обрела наконец себя. Она небезуспешно начала

писать. Рассказы ее заинтересовали Достоевского, в журнал которого она их послала. Известный писатель, познакомившись с красавицей Корвин-Круковской, влюбился в нее столь пламенно, что просил быть его женой. Анна отказала. Он не внушил ей ответного чувства, к тому же ей хотелось жить для людей, а не для одного, пусть даже большого, человека. Она поняла, что не в силах посвятить себя только семейному очагу и мужу. Работа и борьба упорно звали ее.

В начале 1869 года Анна решила ехать за границу, во Францию, чтобы познакомиться с социальным движением. Поездка стала возможной потому, что ее сестра Софья вышла замуж за В. О. Ковалевского и Анна могла выехать с ними. От родителей поездка Анны Васильевны в Париж держалась в строгом секрете.

Анна Васильевна, не желая вернуться под родительскую опеку и не получая денег от отца, поступила в Париже наборщицей в типографию. Познакомившись вскоре с французом студентом-медиком, блапкистом Шарлем-Виктором Жакларом, она стала его женой. Жаклар был человек великодушный, умный, порывистый, несколько беспечный и поддающийся быстрой смене настроений.

Во французской столице у Анны Жаклар, как и везде, где она бывала, появились задушевные подруги. Но больше других полюбилась ей писательница Андре Лео. Подлинное имя этой одаренной, отвергавшей какие бы то ни было узы, своеобразной и страстной революционерки было Леодиль Бера, но для литературного псевдонима она избрала имена двух своих сыновей Андре и Лео.

Молодость, у которой много времени впереди, отличается всегда нетерпением, порожденным избытком сил, возможностью все объять и выдержать. Жаклары и их друзья торопили события, не заботясь о том, что у истории свое движение и свои сроки, далеко не совпадающие с человеческими.

Правление Наполеона III неуклонно катилось под откос. Чем хуже истинное положение тирана и его камарильи, тем пестрее террор. Жаклар был привлечен к суду по обвинению в заговоре. Ему грозило тюремное заключение. Анна Васильевна и ее муж бежали из Франции в Швейцарию. Им пришлось тяжело бороться за кусок хлеба. До позднего вечера Жаклар давал частные уроки,

но зарабатывал гроши. Жена его помогала в работе Русской секции, она переводила брошюры с выступлениями Маркса для издаваемых в Швейцарии номеров русского «Народного дела».

Все в Анне Васильевне было одухотворенно и безупречно. Статная блондинка с чертами лица античных статуй резца Праксителя, с бархатистыми сине-лиловыми глазами, похожими на цветы, с внешней красотой она сочетала творческий своеобразный ум и живой, бесстрашный, несколько по-мальчишески безудержный характер. Лиза была двадцатью годами старше Анны Жаклар и относилась к ней по-матерински, прозвав «Анютиными глазками». Обе эти женщины в совершенстве владели тремя иностранными языками и впитали в себя культуру многих поколений. Это делало их особенно полезными для рабочего революционного движения, которому они отдались всем сердцем. Часто, глядя на Анну и любуясь ее умом и обаятельным лицом, Лиза вспоминала Женни Маркс.

Лиза, чем могла, старалась облегчить нелегкую жизнь подруги. Часы досуга Жаклары и Красоцкие проводили вместе, бродя по горам, отправляясь в экскурсии. На привалах они обычно увлеченно обсуждали злободневные политические события. Раз в неделю друзья уезжали на маленьком белом пароходе в Вевэ. Там в школе-пансионате училась пятнадцатилетняя Ася, сероглазая, чуть раскосая резвушка, которую за необычную живость и подвижность одноклассницы прозвали «ртутью».

Когда началась франко-прусская война, изгнанники напряженно следили за всем происходящим в Париже. Вести приходили тревожные, не предвещавшие счастливого течения и удачи в случае возможной социальной революции, приближение которой заметно ощущалось. Воюющая, терпящая поражения на фронтах, голодная, разоренная, вконец ограбленная имперским режимом Франция, раздираемая внутренней борьбой орлеанистской и бонапартистской партий, вряд ли могла обеспечить победу рабочим, выковать новый социальный строй.

Парижский пролетариат был не в силах в столь роковой момент отстоять свою власть. Понимая это, Энгельс решительно восстал против возможности подобной, весьма опасной своими последствиями, попытки. Он писал,

желал предотвратить назревающую трагедию, что было бы ужасно, если бы немецкие армии в виде последнего акта войны напали бы на парижских рабочих.

Красоцкие, как и Жакляры, считали, что следует не мешать реакционерам, находившимся у власти, заключить позорный разорительный мир. Народ смог бы тогда воочию убедиться, что несет с собой для Франции господство буржуазии. Эти взгляды четырех членов Интернационала, находившихся в Женеве, совпадали с мыслями Маркса, высказанными им во втором воззвании Генерального Совета.

Однако стихийные силы, захлестнув смятенную, раздираемую внутренними противоречиями и, главное, войной Францию, смели все расчеты. Рабочие хотели во что бы то ни стало спасти честь нации, изгнать пруссаков из пределов своей родины, добиться социальной справедливости внутри страны. Буржуазия, наоборот, тяготела к сговору с Бисмарком, мешала труженикам — истым патриотам Франции — мобилизовать все силы на разгром врага.

Революционные выступления в Лионе, Марселе, Тулузе сразу же после сентябрьского переворота сопровождались избранием местных народных органов власти — коммун.

Эти коммуны, созданные в провинциях, осуществили много важных революционных мероприятий: замену полицейского и чиновничьего аппарата, освобождение политических заключенных, введение светского образования, обложение налогом крупных собственников, безвозмездную выдачу вещей из ломбардов по мелким закладным. Правительству удалось жестоко подавить местные коммуны.

В Лионе, втором городе Франции, под влиянием местной секции Интернационала был создан Комитет общественного спасения, который объявил империю свергнутой и провозгласил Республику. Рабочие захватили склады с оружием. Возникла Национальная гвардия. В Комитете общественного спасения было три комиссии: военная, финансовая и общественных нужд. Так образовалось революционное правительство — Коммуна, состоявшее из рабочих, членов Международного Товарищества и буржуазных республиканцев-радикалов.

Маркс писал о лионских событиях в одном из писем: «Бонапартистским и клерикальным интриганам внушили страх. Были приняты энергичные меры к вооружению всего народа... Лионское выступление немедленно нашло отклик в Марселе и Тулузе, где имеются сильные секции Интернационала.

Но ослы — Бакунин и Клюзере — приехали в Лион и испортили все...»

Как только до Швейцарии дошла весть о провозглашении Французской республики, Михаил Александрович Бакунин объявил своим единомышленникам по «Альянсу», что час пробил и пора приобщить французов к его учению об анархии. Он отправился в Лион с несколькими своими сторонниками. Как раз в день их приезда народ завладел ратушей, у стен которой не раз начинались рабочие восстания. Бакунин проник в префектуру, в кабинет мэра, и сразу же вообразил себя хозяином города. Наступил момент, которого он ждал столько лет.

— Наше дело — страшное, повсеместное, полное и беспощадное разрушение. Мы должны изложить народу наши принципы, — изрек он и уселся за огромный письменный стол красного дерева с позолотой.

Несколько часов длились муки творчества Бакунина в пустом здании префектуры. Он писал, встряхивая кудлатой головой, поправляя то и дело очки на толстом носу, и как раз закончил декрет, озаглавленный им «Отмена государства», когда в никем не охраняемую ратушу пришли представители той самой власти, которую он только что упразднил на бумаге. Это были две роты буржуазных национальных гвардейцев.

— Убирайтесь немедленно вон! — крикнул Бакунин и со всей силой ударил кулаком по столу.

— Я представитель Французской республики, — возразил лейтенант, командир роты, и, в свою очередь, стукнул палашом сабли по спинке кресла, на котором важно восседал апостол разрушения.

— Государства более не существует, — торжественно заявил рассвирепевший Бакунин.

Лейтенант с недоумением взирал на седого, неряшливого, тучного человека.

— Выведите-ка отсюда этого пророка, — сказал весело командир роты.

Национальные гвардейцы с шумом и улюлюканьем выволокли на улицу упирающегося Бакунина. Он последний уехать из Франции в безопасную, смирную Швейцарию.

...Жаклары выехали в Париж, как только пришло известие о капитуляции Наполеона. Они не могли ни одного часа оставаться бездейственными созерцателями и бросились в огонь, чтобы встретить врага грудью. Вскоре вслед за Жакларами в Париж отправились и Красоцкие. Участник польского восстания тридцатых годов и гражданской войны в Америке не мог остаться равнодушным к тому, что происходило во Франции.

— Я счастлив только там, где борются за правое дело, — любил повторять Сигизмунд.

В осажденный Париж пробираться было трудно. Большую часть пути Красоцкие совершили на крестьянских возах или пешком.

«Наконец-то, — писала дочери Лиза, — и моя жизнь на что-то пригодится. Именно потому, что мы уже не так молоды, меня постоянно томит мысль, что так-таки превращусь незаметно в немощную старушонку, у которой в жизни много добрых помыслов, да мало дел.

Зрелость и старость умеют ждать и преодолевать нетерпение, столь присущее молодости. Сознание ограниченных физических сил, учет незначительных уже возможностей и жизненный опыт — все это дается только временем. Юный боец силен порывом, напористостью, старик — продуманностью поступков, ясностью намеченной цели. Нет возраста, не годного для революционной борьбы».

Сигизмунд, который как бы позабыл о своей тяжелой многолетней болезни, выглядел помолодевшим и бодрым. Он старался убедить жену, что будущее Франции сложится наилучшим образом.

— Для нас родина — это все охваченные революционным брожением земли. Мы, интернационалисты, должны быть там, где дерутся за права неимущих.

Ночь застала Красоцких в маленькой прифронтовой деревенской гостинице неподалеку от Парижа. Вдали гулко рвались снаряды. Пруссаки продвигались к столице Франции.

— Как это похоже на Сент-Луис. Мне кажется, что я услышу сейчас мощный баритон милого Вейдемейера, увижу тебя с забинтованной головой, — вспомнила Лиза дни гражданской войны в Соединенных Штатах.

— Мы оба не верим в предчувствия, и тем не менее они окутывают нас подчас, как сумерки, — сказал Сигизмунд жене. — Может быть, наука когда-нибудь найдет им разумное объяснение. Не знаю. Но нынче они давят на меня, да и сон... Мне снилось, что я пробираюсь сквозь густой лес по высокой траве и собираю алые ягоды. Не правда ли, красочная картина? Но вдруг выросла передо мной глухая, бревенчатая избушка без окон. Вошел я в нее, а выйти не могу. Исчезла дверь. Темно. Лег я на пол, холодный, дощатый, и вдруг заметил, что потерял в траве сапоги.

— Лежишь босой? Странный сон, — проговорила раздумчиво Лиза. Ей хотелось сказать — плохой, но она намеренно удержалась. — Все это чепуха, милый. Чего-чего только не приснится за ночь. Забудем о нем.

— Однако, независимо от мистического атавизма, смерть, что тень, всегда с нами рядом. Я говорю это на всякий случай, ведь все может произойти. Революция и война что шквал. Так вот, если мне суждено погибнуть и тело мое будет найдено...

— Что ты говоришь, Сигизмунд? Помилосердствуй! Это похоже на бред. Ты болен.

— Нет, вполне здоров. Я только прошу тебя, если буду убит, похоронить мое сердце в люблинской земле. Там я родился, там покоятся отец и мать... А себя ты береги, умереть еще успеешь. Сохрани себя для Аси.

— Я не хочу оставаться без тебя на земле.

— Я тоже не Гамлет, для меня давно вопрос решен — быть! И как можно дольше быть! Но не все зависит от нашего желания. Иногда следует отдать жизнь, чтобы не потерять к себе уважения. На всякий случай запомни мое...

— Завещание.

— Ты подсказала нужное мне слово. Но к нему есть и предисловие. Не думаешь ли ты, что для хронически, безнадежно больного, гибнущего бессмысленно, бесцельно от ядовитейших бактерий, явилось бы большой удачей достойно встретить смерть от пули лютого врага? Мой отец и дед — воины, сложили головы на поле боя. Право,

это не плохой конец. Еще лучше умереть за революцию, с пользой для людей, а не корчиться и гибнуть в лапах болезни. Смерть уже занесла надо мной свой отточенный меч, но я ее могу и перехитрить. Ну что, разве я не прав?

— Может быть, но не могу же я слушать тебя спокойно.

— Есть возраст, когда каждый человек обязан дать себе отчет и в прожитой жизни, и в приближающейся смерти. Я достиг таких лет. Ты тоже двигаешься к этой предельной черте.

Лиза больше не возражала.

Под утро, прежде чем собрать в дорожный мешок кое-какие скромные пожитки, она достала тетрадь, которую взяла с собой, чтобы снова вести дневник. Много лет Лиза ничего не записывала. Повседневная суета, разъезды, возможность делиться возникшей мыслью и сомнением с мужем мешали ее былым самоотчетам на бумаге. Но, уезжая из Швейцарии и прощаясь с горько рыдающей Ассей, которая тщетно умоляла родителей взять ее с собой, мать обещала девочке записывать все, что случится с ними в охваченном войной революционном Париже.

— Я буду поверять тебе все свои думы и чувства, чтобы разлука наша не была тягостной, — говорила она опечаленной дочери.

«В последние годы мне посчастливилось встретить нескольких людей с прозрачно-чистыми душами, — писала Лиза. — Общение с ними — что приближение к морю. Кажется, что воздух вокруг них свежее и несет с собой духовное здоровье. Значительное и доброе тянется к себе подобному. Когда-то в ранней юности я считала, что лучшее на свете — цветы, деревья, спокойные реки и стремительные водопады. С годами любовь моя сосредоточилась на людях. Сердце бьется живее, когда они радуются, и плачет над их горестями. Самое важное и прекрасное на земле — человек. К нему нельзя быть равнодушным. Паскаль назвал его мыслящим тростником. Пусть так. Но мне довелось видеть людей с душами гигантов. Творческий заряд, заложенный в них, — огромной силы и образует вокруг как бы невидимое магнитное поле, которое притягивает нас, смертных. В одной человеческой оболочке бывает заключен целый океан мыслей, чувств, творческой энергии. Я вспоминаю Маркса. Разве он не

таков? Величайшее чудо на свете — люди. Любовь к ним влечет нас с мужем в Париж, похожий сейчас на пороховой склад перед взрывом. Наше место среди друзей, там, где занесен нож над всем возвышенным и добрым. В Америке я видела страдания черных рабов, в Европе — страдания белых рабов, тружеников и бедняков, за которых когда-то поднял меч Спартак. Как много горя еще вокруг. Можно ли оставаться равнодушным, не потеряв при этом самого себя».

Наконец Красоцкие добрались до столицы Франции. Там они отыскали недавно переехавших из Лиона Жакларов и других членов Интернационала. По совету Жаклара Красоцкие поселились у Стока, уступившего им одну из двух своих комнат. Катрина охотно перебралась в кухоньку.

Вскоре Врублевский, быстро сблизившийся с Красоцким, помог ему вступить в Национальную гвардию. Незадолго перед тем генерал Трошю разрешил это польским изгнанникам, запретив, однако, создавать отдельные боевые подразделения. Иностранцы носили французскую форму и служили на равных со всеми французскими бойцами и офицерами началах. Как и молодой здоровый Врублевский, пожилой и болезненный Красоцкий беспрекословно подчинился военной дисциплине и примерно выполнял обязанности национального гвардейца.

Лиза присматривалась к окружающему и знакомилась с товарищами. Она часто бывала в домо на улице Кюрдо-ри, где помещался Интернационал.

С начала войны деятельность французской секции почти замерла. Мобилизация в армию тружеников, безработица, преследования и аресты пагубно влияли на деятельность интернационалистов. Серрайе сообщал Марксу в Лондон:

«По прибытии моем в Париж один делегат направил меня в мэрию. Я спросил, где я могу найти Ассоциацию, и мне было сказано в ответ, что в настоящий момент не существует ни отдельных секций, ни федерального совета, что все члены находились ранее в тюрьме, а затем были разбросаны по различным полкам, некоторые находятся в регулярной армии, другие — в Национальной гвардии, и вследствие этого Ассоциация разрушена».

После объявления Республики секция начала оживать, но все же была невелика, и влияние ее стало скорее идейным, нежели организационным. Интернационалисты — последователи тактики Маркса и Энгельса — считали, что им следует держаться весьма осторожной политики, вплоть до заключения мира с Германией. Уточняя эту единственно правильную позицию, Энгельс в письме к Марксу указывал, что не следует допускать выступлений французских рабочих до окончания войны.

«Каков бы ни был мир, его надо заключить прежде, чем рабочие смогут что-либо сделать, — писал он. — Если они победят сейчас, служа делу национальной обороны, то им придется принять наследство Бонапарта и нынешней паршивой республики; они будут без всякой пользы разгромлены немецкими армиями и снова отброшены на 20 лет назад... Сражаться с Пруссией ради буржуазии было бы безумием».

Тяга народа к сплочению приводила к созданию различных революционных комитетов и клубов. Но среди рабочих господствовала идейная сумятица и разброд. Два социалистических течения стремились к руководству: бланкисты, надеявшиеся, как всегда, на успех своих заговоров, и прудонисты, утверждавшие, что стихия вынесет их на поверхность. Рабочие нуждались в объединяющей их партии с научно обоснованной программой действий, но еще не сознавали этого. Отсутствие революционной рабочей партии роковым образом повлияло на исход быстро назревающих событий.

Маркс предвидел это и решительно возражал против восстания, призывая к организации пролетариата и созданию партии.

Париж представлял необычное зрелище. По вечерам только на некоторых улицах зажигались газовые фонари. Прежней нарядной толпы более не было видно. Весна в этом году задержалась. Голод и холод грозно шествовали по угрюмой, неубранной столице. Истощенные женщины с хилыми детьми, жалкие старики ушло бродили в поисках хлеба, стучались в закрытые булочные, тихо попрошайничали и плакались на свою судьбу. Свирепствовали болезни. Не было лекарств и необходимой врачебной помощи.

— Проклятье, в такой холод не добудешь даже вороны для жаркого.

— Все мыши и крысы убежали из города. А жаль. Я убедился, дьявол меня утащи, что они вполне съедобны. Моя старуха отлично поправилась от крысиного бульона, воображая, конечно, что я добыл для нее цыплят. Все дело в вере.

— О пакостники, святой боже, о чем вы говорите, какой нечистью только не кормится грешный человек.

— Когда голоден, следует добавить, достопочтенная Христова невеста.

— Лучше умереть, чем есть поганых грызунов.

— Значит, в вашем монастыре еще водится пшеница и сочный кусок телятины. Монахи питаются духовной пищей. Это, говорят, отличный десерт после доброго обеда из трех мясных блюд и кувшина с вином.

— Оставьте в покое бедную монахиню, она молится за то, чтобы мы были сыты, — вмешалась в разговор старуха в ротонде из потертого бархата. — Если бы в правительстве были отцы церкви, мы не знали бы горя.

— Я всегда говорил, что баб нельзя уравнивать в правах с мужчинами. Они темны, как сегодняшнее небо, и наводнят Францию попами и монастырями.

— Ну, это какая еще баба попадется. В девяносто третьем и сорок восьмом они дрались на баррикадах не хуже нас. Перо Андре Лео — сущая плетка. А чего стоит Луиза Мишель, — бой-девка, ничего не боится. Недавно она привела к ратуше три сотни женщин. Все они требовали немедленной отправки на передовые позиции. Ай да отчаянные девчонки! Такая учительница, как Луиза Мишель, обучит отваге и заткнет за пояс любого национального гвардейца.

— Свобода, та тоже ведь женского рода, — добавил паренек в блузе.

— Ловкая защита. Вы, верно, члены Товарищества Рабочих, потомки Марата и Бабёфа? Не так ли?

Лиза прислушивалась к спорам в очередях у лавок, старалась проникнуть в то, чем жили в эти дни парижане.

Однажды на собрании Парижской секции Интернационала она услыхала Варлена. Он произвел на нее неотразимое впечатление. Познакомившись с ним ближе, Лиза записала в своем дневнике:

«Эжен Варлен, крестьянин по происхождению, рабочий по профессии, интеллигент по самой сущности и глу-

бино. ума и сердца. Только человек, сочетающий в себе такие качества, действительно интеллектуально развит и полностью поднялся над животным. Мне кажется, что Варлен обладает мощной и вместе с тем детски чистой, талантливой душой. Говорит ли он с людьми с глазу на глаз, с трибуны или с газетной полосы, переплетает ли книги, руководит ли секцией Интернационала, командует ли отрядом национальных гвардейцев, поет ли в компании друзей — все у него получается как-то по-особенному, ему одному свойственному: мудро, проникновенно, сердечно. И голова его, большая, мужественная, с выпуклым затылком — признак несомненной одаренности, — с густыми волосами и пышной бородой, начинающейся у висков, тоже необыкновенная. Ему всего тридцать два года, а он уже поседел, верно, потому, что за свою недолгую жизнь передумал, перечувствовал, переделал столько, сколько другой не успеет и за сто лет.

Лицо у него спокойное, вдумчивое и печальное. Он похож на древних праведников-воинов с византийских фресок, таких, как Георгий Победоносец, умерщвляющий змия. Мне говорили, что именно он силой своего человеческого обаяния и разума привлек в Парижскую секцию Интернационала не менее трех четвертей ее членов, и теперь она весьма многолюдна. Мне это понятно. Варлен излучает столько тепла и умеет так слушать собеседника и проникнуться его нуждами, что стал необходим людям. Таким самородком вправе гордиться французский пролетариат».

Эжен Варлен был весьма чтим трудовым людом разных стран. В конце шестидесятых годов женевские строительные рабочие объявили забастовку, требуя прибавки заработной платы. Предприниматели ответили им упрямым сопротивлением. Тогда Варлен открыл у себя на квартире подписку в пользу бастующих и поместил об этом объявление в газете. Из рук в руки передавались заготовленные им подписные листы. Текстильщики, литографы, печатники, жестянщики, железнодорожники, металлисты тотчас же откликнулись на призыв переплетчика-интернационалиста. Была собрана весьма значительная сумма, обеспечившая победу рабочих соседней Швейцарии. Рабочие убедились, что значит солидарность трудящихся.

Вскоре правительство Наполеона начало судебный процесс против секции Интернационала. В числе многих обвиняемых был и Варлен. Его речь прозвучала на весь Париж.

— Вы стремитесь, — сказал он судьям, защищая себя и своих товарищей, — во что бы то ни стало сохранить существующий порядок, а мы, социалисты, хотим этот порядок изменить... Земля уходит из-под ног богачей! Класс, который до сих пор появлялся на арене истории лишь во время восстаний для того, чтобы уничтожить какую-нибудь великую несправедливость, класс, который угнетали всегда, — рабочий класс узнал наконец, что именно нужно сделать, чтобы уничтожить все зло и все страдания. С вашей стороны было бы очень благоразумно не мешать его справедливому делу... Буржуазия не может ничего противопоставить рабочим, кроме насилия и жестокости, но насилие только ускорит взрыв...

Варлен отбыл тюремное заключение и, выйдя на свободу, с еще бо́льшим жаром отдался политической борьбе. Долгое время он был последователем теорий Прудона, хотя часто отстаивал и проводил на практике свои взгляды. Но со временем Варлен все больше разочаровывался в прудонизме и приблизился к тому, чему учил Маркс. Человек огромной энергии, он работал до изнеможения на революционном поприще и в этом обретал новые и новые силы. Всякий, кто отдает себя значительному и большому делу, получает мощный обратный приток энергии. Варлен посвятил себя сплочению пролетариев и многого добился. В одной из своих статей он гордо заявил:

«До сих пор нас третировали, бесцеремонно эксплуатировали, потому что мы были разъединены и бессильны. Теперь с нами начинают считаться... Это эпоха сопротивления! Скоро, когда мы будем все объединены... мы сможем потребовать, фактически и юридически, права пользования всей совокупностью нашего труда — и это будет справедливо. Тогда паразитам придется исчезнуть с лица земли: если они захотят, им придется стать производителями, полезными людьми».

Бакунин попытался привлечь Варлена в свои ряды, но потерпел поражение. Талантливый переплетчик поддержал его, и еще раз пожак анархистов вынужден был убедиться, что Французская секция не поддалась его

говорам и не попалась в сеть интриг, ведущих к мятежу против Генерального Совета.

В 1870 году, выступая перед членами Интернационала в Париже, Варлен произнес знаменательные слова:

— Мы требуем абсолютного суверенитета народа, прямого народовластия. Мы утверждаем принцип Всемирной Социальной Республики.

Прекрасный низкий голос Варлена звучал уверенно, сутулые плечи нахохлившейся птицы распрямились. Он как бы ощутил у себя крылья. В его походке появилась легкость полета. Страстный революционер познал истинное счастье. Осенью после низложения империи Варлен вступил в Национальную гвардию и был избран командиром одного из батальонов. Он хорошо понимал, что вооруженные рабочие являются единственной могучей силой против контрреволюции. Центральный комитет Национальной гвардии, членом которого стал Варлен, явился первым и подлинным органом народной власти, опирающейся на вооруженный народ.

Адольфу Тьеру исполнилось семьдесят четыре года. Это был карлик с выпуклым, распиравшим пиджак животом, с жирной уродливой спиной, худыми кривыми ногами. Сморщенное, обрюзгшее, отталкивающее лицо его с запавшим ртом, крючковатым носом стервятника и сверлящими глазками, скрывающимися под большими очками в черепаховой оправе, отражало злое сердце и ум изворотливый и опасный. Страшное честолюбие и смертная жадность глодали его смолоду, и вот на склоне жизни он наконец трясущимися, иссушенными руками ухватился за то, к чему стремился всегда, — получил власть.

Тьеру было чуждо милосердие, и он оправдывал бесчеловечность в отношении к пролетариям, ссылаясь на то, что политика — ремесло жестокое.

Время от времени на поверхности истории появляются такие хваткие, бездушные и беспощадные властолюбцы, сила которых в глубоком презрении к человеческому роду, готовности пользоваться любыми подлыми средствами и в гипнотически действующей на окружающих самоуверенности. Не только люди добрых устремлений, но даже хитроумные честные политики не в состоянии вовремя представить себе истинную сущность таких вол-

кподобных, лишенных сердца личностей и являются обычно их жертвами.

Тьер досконально изучил опыт былых контрреволюций. История стала для него тем, чем была бы карта для военного стратега и тактика. Ему нравился кровожадный тупой палач прошлой революции Кавеньяк, но он считал его слишком мягкосердечным и недальновидным. Помня, что в 1848 году убийцей парижских рабочих явилась буржуазная мобильная гвардия, состоявшая из головорезов, подкупленных правительством, Тьер предлагал генералам карательных армий, которые тайно готовил для наступления на Париж, хорошо кормить и всячески угождать солдатам. Один из самых скупых и алчных людей, Тьер, однако, учил, как подкупать, не считаясь с расходами, офицеров, служивших в правительственных частях. Сам исполненный пороков, он глубоко презирал людей и старался развивать и поощрять в них худшие инстинкты и наклонности, чтобы затем использовать их в интересах своих и тех, от кого был зависим, — имущих классов и финансового капитала.

Боясь влияния революционных парижан на солдат, Тьер предписал помещать их в строго охраняемые изолированные казармы, чтобы туда не проникал мятежный дух столицы — газеты и агитаторы Национальной гвардии.

Тьер нашел опору в немецком канцлере. В огромном, расплывшемся лице стареющего Бисмарка было что-то бычье. Глаза навыкате, с белками, испещренными кровавыми жилками, багровая шея и многоступенчатый массивный подбородок усугубляли это сходство. Он не терпел возражений, легко ярился и долго затем дышал громко и с присвистом. Вероятно, таким же упорным был гуннский вождь Аттила, один из любимейших исторических героев германского канцлера. Бисмарка считали замечательным дипломатом, и он гордился этим.

— Вся моя дипломатия, — повторял он сиплым, низким, вырывавшимся точно из пивной бочки голосом, — в том, что я говорю только то, что думаю.

Одним из приближенных Бисмарка, неизменно его сопровождавшим в пору франко-прусской войны, был представительный сорокатрехлетний член рейхстага от национал-либералов банкир Иоганн Миколь, которому удалось сделать большую карьеру. Бисмарк ценил своего

подчиненного за обширные знания и политическую про-
ницательность. Канцлер, обычно недоверчивый, вполне
полагался на Микеля и не имел от него секретов, ценя
такт, умение молчать и внешний лоск, не переходящий
в щегольство, у дельного чиновника. Было в Микеле
что-то необычное, чего знающий толк в людях Бисмарк
никак не мог объяснить.

Никто в ставке главнокомандующего в Версале
не знал, что некогда, в дни ранней молодости, этот
один из довереннейших сотрудников канцлера был дей-
ствительным членом Союза коммунистов, учеником самого
Маркса.

После 1849 года Иоганн Микель вместе с немецкими
коммунистами — рабочими Клейном, Фрицем Моллем из
Золингена и многими другими — ушел в глубокое под-
полье и вел дальше больную и опасную работу по про-
паганде жестоко преследуемых идей. Он писал постоянно
в Лондон, на Дин-стрит, 28, Карлу Марксу о своих кон-
спиративных связях и действиях подпольщиков, подпи-
сываясь полным именем.

Ветер реакции после процесса кёльнских коммуни-
стов сорвал и смел все, что было непрочного и случай-
ного. Микель начал колебаться не в учении, а в том, сле-
дует ли жертвовать жизнью и благосостоянием, которое
обрел, выгодно женившись. Он без труда убедил себя,
что надежды на победу безосновательны и благоразумнее
провести жизнь вдали от обжигающего революционного
пламени.

Катиться вниз легче, нежели подниматься на высоту.
В одном случае действует инерция, в другом надо пре-
одолеть препятствия и затратить немалые силы. Микель
порвал с прошлым. Отказавшись от идейных деражний,
он начал преуспевать как чиновник и заслужил доверие
Бисмарка, который приблизил его и выдвигал.

Микель терзался страхом, что Маркс может в любой
миг предать гласности его письма из коммунистического
подполья с дерзкими выпадами против германского дес-
потизма и его главы. Но не только боязнь мучила члена
рейхстага, стремившегося стать министром. Перестав
быть коммунистом, он не смог освободиться от искрен-
него почтения, которое внушал ему Маркс. Но собствен-
ному почину свидевшись в Ганновере с поэдом Интер-
национала и предложив свои услуги, он обещал осведом-

лять его о самом важном из того, что готовит реакция против коммунистического движения. Это Микель оповестил Маркса о грозившем ему аресте в Германии. Всю зиму и весну 1871 года он находился при особе Бисмарка и знал из первых уст обо всех переговорах, происходивших между прусским командованием и правительством Тьера. Понимая, насколько важно Марксу иметь сообщения о планах вторжения реакционеров в Париж, Иоганн Микель тотчас же известил его об этом.

Возглавив исполнительную власть Франции и продав Бисмарку родину, Тьер, несмотря на старческие недуги, проявлял кипучую энергию. Человеконенавистничество и властолюбие — могучие рычаги, которыми можно попытаться перевернуть мир. В середине марта Тьер совещался в Версале с членами изменившего народу Национального собрания, а двумя днями позднее он тайно обсуждал в парижской префектуре полиции план контрреволюционного заговора, который должен был кончиться восстановлением монархии Орлеанов. Предполагалось забрать пушки у Национальной гвардии, арестовать членов ее Центрального комитета и разоружить рабочих.

Поголовное вооружение всех взрослых парижан было проведено еще осенью. Но народ хотел иметь свою артиллерию. На собрании в Бельвиле рабочие предложили отлить пушки. Их поддержали трудящиеся столицы, требуя переплавить на оружие колокола и статуи. Любовно называя пушку «Марианной», парижане распевали песню, слова которой были написаны одним храбрым канонира:

«Моя Марианна родилась на окраине, ее отлили руки народа. Она никогда не будет стрелять против плебеев. И, если возродится какой-либо Каваньяк со своими коварными планами, Марианна будет стрелять во всех убийц свободы».

Восемнадцатого марта полицейские, жандармы и полицейские отряды двинулись на Париж, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не быть замеченными горожанами. Этой операцией руководил верный Тьеру, но рассуждающий генерал Винуа.

Солнце еще не появлялось, и только волнистые предрассветные лучи едва освещали серый небосклон, гася ночные звезды. На одной из улиц Монмартра семеро национальных гвардейцев охраняли пушки и митральезы.

принадлежащие парижским рабочим. Заслышав шаги, караульный взял наизготовку ружье и выкрикнул: «Кто идет? Ни с места!» В ответ ему раздался выстрел. Смертельно раненный часовой упал на влажную землю. К нему подбежала стоявшая на посту девушка с большим, блестящим, добродушным лицом. Это была хорошо известная парижским рабочим республиканка Луиза Мишель. Она перевязала умирающего товарища и, пряча оружие под развевающимся суконным плащом, бросилась прочь, чтобы поднять скорее тревогу и оповестить город о вероломном нападении.

— Измена, братья, измена, на помощь! — отчаянно кричала отважная и бдительная дочь народа, спускаясь с возвышенности и стреляя, чтобы привлечь внимание национальных гвардейцев, стороживших артиллерийские парки поблизости.

В это время войска Вину а захватили врасплох несколько городских холмов. Солнце медленно всходило. Каратели изо всех сил торопились вывезти захваченные орудия, но им не хватало упряжек. Пришлось стаскивать пушки вниз по отлогим неровным улочкам. В это же время начался контрреволюционный поход на другие районы столицы. Не встречая сначала значительного сопротивления, генералы Тьера подвигались в глубь города. Они распространили по телеграфным проводам хвастливые сообщения о своей мнимой победе. В ночной темноте их агенты расклеили по всей столице сообщения о разгроме Национальной гвардии. Однако торжество контрреволюции было преждевременным.

Город проснулся внезапно, шумно. Кое-где домохозяйки, направлявшиеся за покупками и по воду, первые обнаружили захват орудий. На ходу бросив корзинки, ведра, они побежали к мэрии, громко сообщая о случившемся. Раздался набат. Сколько раз на протяжении многих веков несся над Парижем его протяжный, тревожный призыв. Гневные, грозные звуки колоколов были хорошо знакомы горожанам. Они действовали как искра, брошенная в стог сена, как вопль матери, защищавшей своего ребенка. В нем всегда звучало предупреждение, суливщее жизнь и смерть, поражение и победу, и неизменный зов к борьбе. Никогда набат не встречал равнодушия в тех, к кому взывал. Ему отвечал нарастающий гул переполненных людьми улиц, топот ног, звон сабель

щелканье оружейных затворов, возбужденный человеческий говор.

Вскоре к набату присоединился бой барабанов отрядов Национальной гвардии.

Дети, старики, женщины и мужчины, вооружаясь на бегу, бросились к арсеналам. На Монмартре собрались тысячи людей, готовых ценой жизни спасти пушки — эту гарантию свободы, защиту от врага. Луиза Мишель с национальными гвардейцами вернулась на Монмартр, чтобы сражаться за революцию.

Занялся яркий весенний день, пели птицы. Толпа народа окружила солдат Тьера, называя их друзьями, уговаривая не стрелять в своих сестер, отцов, матерей. И солдаты побратались с народом. Они подняли ружья вверх прикладами. Тщетно офицеры и генералы приказывали стрелять по толпе. Только полицейские попробовали подчиниться таким распоряжениям, но народ и подступившие со всех сторон национальные гвардейцы не допустили кровопролития. Они разоружили жандармов и офицеров и отправили в тюрьму генералов, командовавших наступлением на революционный Париж. Отныне рабочие, ремесленники и их гвардия перешли от обороны к нападению. Отпор коварной провокации Тьера осуществили труженики с помощью Центрального комитета Национальной гвардии. Победа народа была полной. Впервые в истории трудовой люд стал властелином Парижа.

Первая пролетарская революция была подобна вулканическому извержению или шторму, силу которых не легко предвидеть.

Народное восстание 18 марта возникло стихийно. Оно не подготавливалось какой-либо революционной организацией, не имело единого руководящего центра. Это был единодушный отпор парижского трудового люда и сочувствующей ему интеллигенции исконному своему врагу — реакционной буржуазии, замышлявшей коварное уничтожение революции. Однако одного порыва и отваги было бы недостаточно для победы. Нужны были сплоченность рядов, согласованность действия, умелая тактика, быстрота ответного нападения. Все это обеспечил Центральный комитет Национальной гвардии — первое революционное правительство рабочего класса. Десять дней, до передачи всей власти избранной народом Коммуне,

Центральный комитет Национальной гвардии осуществлял руководство революционным Парижем.

Члены Центрального комитета не были чем-либо знамениты, но всех их знали, уважали, любили в среде рабочего класса, откуда они в большинстве своем вышли.

Правительство бежало в Версаль. Глава исполнительной власти Тьер в карете с занавешенными стеклами под охраной тайком выбрался из столицы.

Утром 19 марта тысячи парижан прочли с радостным волнением афиши, подписанные Центральным комитетом. В них сообщалось, что назначаются выборы в Коммуну, которой Центральный комитет передаст затем всю власть в столице.

«Граждане! Народ Парижа освободился от гнета, которому старались его подчинить... Париж и Франция должны совместно заложить основы республики, единодушно одобренной со всеми ее последствиями, — единственной формы правления, которая навсегда положит конец эре нашествий и гражданских войн.

Осадное положение отменено. Народ Парижа приглашается в свои секции для организации коммунальных выборов. Безопасность всех граждан обеспечена Национальной гвардией».

Телеграф, префектура, здания министерств — все перешло в ведение Национальной гвардии. Был светлый солнечный воскресный день. Жители окраин, рабочие встретили его как долгожданный счастливый праздник. Бульвары, площади, улицы были особенно людны. Слышались песни, музыка, смех. Над ратушей развевался красный стяг.

В тот день Варлен и несколько десятков национальных гвардейцев без всякого сопротивления завладели министерством финансов. Они прошли в кабинет бежавшего в Версаль министра, вызвали чиновников и потребовали точного отчета о наличии денег в сундуках, хранившихся в особых подвалах. Им назвали ложную цифру и заявили, что ключи от сейфов, где хранится валюта, находятся в Версале. И тут-то делегаты Центрального комитета проявили роковую уступчивость и непозволительную.

Варлен, как и Жаклар, еще надеялся на примирение с Версалем и просил денег из банка только на самые неотложные нужды. Необходимо было выплатить жало-

нанье национальным гвардейцам. После долгих перегово-
ров управляющий согласился выдать необходимую сум-
му под расписку — всего один миллион, да еще ассигна-
циями. В банке хранилось около двух с половиной мил-
лиардов франков. Через несколько дней Варлен потре-
бовал еще один необходимый Коммуне миллион. Ему
отказали. Лишь после настоятельных и весьма, впрочем, уме-
ренных угроз маркиз де Плэск, заместитель управляюще-
го банком, согласился выдать эту незначительную для
казны сумму.

В дни, когда закладывался фундамент Коммуны, были допущены и другие непоправимые политические просчеты. Группа мэров явилась в ратушу, и один из них задал Варлену вопрос:

— Что вы, собственно, хотите? Удовлетворитесь ли вы все согласием на выборы нового муниципалитета?

Варлен ответил, не задумываясь:

— Да, мы хотим избрания Коммуны, как муниципального совета. Но этим еще не ограничиваются наши требования, и все вы это прекрасно знаете! Мы хотим коммунальных свобод для Парижа, уничтожения префектуры полиции, права для Национальной гвардии самой выбирать всех своих офицеров, в том числе и главнокомандующего, полного прощения неоплаченных квартирных долгов на сумму меньше пятисот франков и пропорционального снижения прочих долгов за квартиру, справедливого закона об уплате по векселям; наконец, мы хотим, чтобы версальские войска отошли на двадцать миль от Парижа.

Муниципальные власти резко и окончательно отказались согласиться даже на такие весьма умеренные требования. Реакционеры разных мастей поняли, что они не признают Центрального комитета и единственной законной властью для них в Париже является собрание мэров и прежних депутатов. До глубокой ночи, пять часов подряд, шел отчаянный спор между представителями Центрального комитета и мэрами. Варлен, не ложившийся спать уже несколько ночей, вконец измотанный, не заметив хитроумной ловушки, уступил с незначительными оговорками. Выйдя из прокуренной, душной комнаты и придя в себя на свежем воздухе, в тиши безлюдной улицы, он тотчас же понял, что оступился. Придя к товарищам, он назвал свое поведение ошибкой

и предложил ответить на приглашения мэров и депутатов отказом. Но ничего так и не было сделано.

Варлен, как и многие парижские пролетарии, был во власти в плену пагубных иллюзий, порожденных естественным патриотизмом. Страну окружали немецкие войска. Многие революционеры боялись повредить родине, развязав братоубийственную гражданскую войну в столь трудную пору, когда враг стоял на подступах к столице. Они не понимали, что Тьеру и французской буржуазии Бисмарк и его армии были значительно ближе и дороже, нежели французские пролетарии. Нет ничего более беспощадного, чем ненависть классового врага.

Очень скоро для Варлена и его единомышленников настала пора прозрения. Но многое было уже непоправимо упущено. Тем не менее управление Парижем принадлежало трудящимся. Коммуна впервые в истории явила миру подлинное народовластие.

Жан Сток с несвойственной ему суровостью требовал, чтобы Жанетта и Катрина не принимали участия в быстро растущем женском движении, не посещали стихийно появившихся клубов, не учились там перевязывать раненых и управляться с оружием. С той поры, как подростком в 1848 году Жан вынес окровавленную, тяжело раненную Жанетту с баррикады, он считал революционную борьбу делом мужчин. Попросту он боялся за жизнь жены и сестры и хотел уберечь их от опасности, удерживая дома.

— Что бы вы ни говорили, а для вас это опасно,— упрямо твердил он, видя, что Жанетта и его сестра одеваются, чтобы вместе с Лизой Красоцкой отправиться в клуб.— Я не могу быть спокоен на своем посту из-за вашего сорочьего собрания. Вы мешаете нам, мужчинам, спокойно защищать революцию.

— Всякие я видывала сорта мужского эгоизма, но вам удалось вывести новый вид. Но хотите, оказывается, беспокоиться? Жаннетта и Катрина не дети и не вещи,— запротестовала Лиза.

Жаннетта, лукаво улыбаясь, завязывала в это время ленты капора под подбородком.

— Дайте ему высказаться, госпожа Красоцкая,— попросила она.

— В таком случае я действительно выложу вам свои мысли на этот счет. И обдумывал я их не один раз, а

поэтому уверен в своей правоте. Женщине самой природой велено быть при доме, вносить в него уют, тепло. Ее дело смягчать нас и не противоречить, жить сердцем, а не сухарем-разумом. Мужчина, по-моему, в мир пришел работником и воином, а женщина — только его подругой, хранительницей очага. Она первая сказала слово «мир», и хвала ей за это.

— Вот потому, что ты сказал, нам и надо немедленно идти, — твердо заявила Катрина, направляясь к двери.

— Нет, дай ему все сказать, — остановила ее Жанетта. — Он сегодня речист, как, бывало, шарманка Ламартин. Нынче так красиво и гладко и не говорят уже больше.

— Нечего ухмыляться. По-моему, женщина мужчину-зверя сделала человеком. Она — основа цивилизации.

— Ученые объясняют все по-иному. Этак вы и Еву припомните. Но ведь она же совратила Адама, — заулыбалась Лиза.

— Женщина вдохновила первого поэта, художника, музыканта. Я сам читал об этом, — заупрямился Жан.

— Чепуха! Все создал труд, руки, горб человека. А женщина вовсе не всегда и не у всех была нарядной игрушкой. Вы рассуждаете, как истый прудонист, — холодно заявила Лиза. — Прудон провозгласил, что место женщины в семье. Незачем называть себя последователем учения Маркса.

— Ну, пусть так, может, я и не прав. Вы ученее меня, конечно, но не станете же вы отрицать, что именно женщина родит и растит детей. Хватает ей дела на свете. Я ведь не мешаю Жанетте и Катрине читать, учиться. Наоборот. Чем могу, помогаю, но назначение женщины — беречь семью, холить...

— Мужа, — воскликнула весело Катрина.

— Скажите-ка вы, деспот, откуда же тогда взялись отряды амазонок, не только в древней истории, но и в первой революции? — напомнила Лиза.

Она хотела рассказать о матриархате и легендарных хранительницах дровнемецкого эпоса, но воздержалась, чтобы не помешать дальнейшему спору и дать друзьям высказаться. «Все эти люди живут сейчас сердцем. Тем лучше», — подумала она, догадавшись, что Жан, предвидя тяжелую кровавую борьбу, не хочет подвергать жен-

— Не хочу я знать о женщинах-солдатах. Были такие. Сам видел в детстве. Одно мне ясно — мужчина и женщина различны по самой своей природе. Вот пример. Летом сидели мы с Жанеттой в Медон и гуляли по полям. Стоило ей увидеть васильки, и, право, она начинала плясать и радоваться, как младенец, пока не набер... букет этих сорняков. Для нее это цветок, а для меня вредное растение, которое надо выполоть.

Все три женщины громко рассмеялись.

— Чудак же ты. Восстал против цветов, на красоту осерчал. Вот тоже жалкий признак мужественности. Повелители наши, это вы выстроили тюрьмы, выдумали плаху, гильотину, кандалы, вериги, войны, — подразнивала брата Катрина.

— Пусть так, и все же ваше дело не ружья, а корыта, сковороды, чугуны.

— Ты смеешь говорить мне такое?! — вдруг сильно побледнев, вскричала Жанетта и грозно двинулась к мужу. — Нет ничего более жалкого, неблагодарного и тяжелого, чем труд домашней хозяйки. Целые дни точно таскаешь воду в решете. Ничего не остается, кроме усталости, огрубевших рук и морщин. Уберешь, бывало, квартиру, точно вылижешь пол языком, и вот пришли люди, ушли, и снова везде пыль и грязь. Стряпаешь, обжигаешься, и, глядь, уже снова на столе грязные миски, жбанчики и кастрюли. Вертишься как юла, а нет следа от твоего старания и постоянной потуги. Ничегошеньки нет. Да я бы женщине-домохозяйке, рабе кухни и дома, памятник воздвигла. Но теперь настало другое время, и не только для тебя, но и для меня.

— Вы правы, Жанетта, — сказала Лиза.

— Я для революции не чужая, — снова зажглась гневом Жанетта.

Она сорвала с себя кофточку и обнажила плечо и грудь, изуродованные глубокими рубцами от ран, полученных в июне 1848 года. Это она, Жанетта, выхватила тогда багровое знамя, выпавшее из рук убитого мужа, и подняла его над баррикадой.

— А твоя мать Женевьева, — продолжала она, тяжело дыша от волнения, — пусть земля ей будет пухом, разве после многих лет мучений не нашла твоего отца по время восстания «Общества времен года», в котором оба они принимали участие. Стыдись за свои мысли ты,

мужчина, красней перед памятью самой скромной героини, какая была когда-нибудь на свете. А разве мало таких?

Жан стоял, совершенно сраженный.

— Прости, Нетта, — сказал он, обнимая жену. — Я тебя знаю, ты отчаянная, как сама Жанна д'Арк. Если ты погибнешь, мне делать на свете нечего. Я и без тебя отомщу за отца, за многих мучеников наших и буду драться один за нас двоих. Впрочем, не мне тебя учить. Делай, как сама знаешь.

— А я было хотела уже говорить о тебе в секции Товарищества, — пошутила Жаннетта, — и даже, чего доброго, сообщить самому Марксу, какой ты притеснитель. То-то похвалил бы тебя этот великий человек. Пойми же наконец: мы друг другу в борьбе не помеха, а помощь. И, главное, запомни: не для того я поступилась разумом и, будучи на десять лет тебя старше, — Жаннетта горестно вздохнула, но тут же сделала движение рукой, как бы отбрасывая досадную помеху, — пошла за тебя замуж, чтобы остаться снова вдовой. — И незаметно для себя она выговорила те же слова, которыми свыше двадцати лет назад клялась своему погибшему на баррикаде другу: — Где ты, Жан, там и я, твоя Жаннетта. В жизни и смерти мы всегда будем вместе...

Лиза, отвернувшись к окну, с нарастающим волнением слушала этот необычный словесный поединок, окончившийся столь трогательно.

Случилось так, что вместе с приходом к власти народа в Париже утвердилась весна, ясная, теплая. Все запело. Народ днем и ночью толпился на улицах.

Много раз в человеческой истории революции начинались в самом конце зимы, в первые весенние месяцы. И природа торжествовала победу возрождения вместе с людьми. Но никогда радость людей не была столь пламенна, безудержна, пьянящая, как в эти дни второй половины марта в Париже. Угроза, нависшая со всех сторон, не уменьшала, а усиливала энтузиазм народа, обретшего наконец полную свободу. Все затаенные силы народа вырвались, и лихорадочно заработали руки и мозг огромной массы людей.

Члены Центрального комитета Национальной гвардии работали без сна и отдыха. Они постоянно собирались

в ратуше — в зале, прозванном голубым из-за поблекшего небесного тона штофа на стенах и росписи на потолке, изображавшей небо и порхающих амуров, — чтобы собрать на обсудить, как встретить во всеоружии наступление врагов.

Первые дни взятия власти рабочими кое-кто, в том числе медик Жаклар и переплетчик Варлен, еще помышлял о том, не предложить ли переговоры и некоторые уступки Тьеру. Подобные настроения встречали бурный отпор, так как версальцы, несомненно, воспользовались бы этим, чтобы вероломно обмануть парижан. Пропасть между Парижем и Версалем стала непроходимой и соглашение невозможно. Красоцкий и Сток были в этом так же убеждены, как и Анна Васильевна Жаклар. Зная своего мужа, воля которого то крепла, то ослабевала, она использовала все свое влияние, чтобы поддержать его духовные силы и уничтожить малейший признак колебания.

Такие дальновидные революционеры, как отважнейшие из отважных Ярослав Домбровский, Луиза Мишель, не были спокойны и с первых дней завоевания рабочими власти настаивали на немедленном окружении и уничтожении осиного гнезда реакции. Луиза Мишель, прозванная коммунарами «Красной девой Монмартра», мечтала разделаться с Тьером, уничтожив этого страшного змия реакции.

— Я, которую обвиняют в беспредельной доброте, — говорила она, — я, не бледнея, как снимают камень с рельсов, отняла бы жизнь у этого кровавого карлика.

Опасения Домбровского и Луизы Мишель, что реакция в Версале окрепнет, разделяли в Лондоне Маркс и Энгельс. К несчастью, предвидение это начало сбываться. Значительно усилившаяся благодаря помощи пруссаков версальская армия вскоре попыталась напасть на столицу. С тех пор гражданская война, сначала вокруг города, а затем и в самом Париже, более не затихала.

Двадцать восьмого марта Центральный комитет Национальной гвардии передал свои полномочия избранной свободным голосованием Парижской коммуне. Это новое правительство трудящихся состояло из восьмидесяти шести человек, в большинстве своем рабочих.

Прекрасным было торжество, сопровождавшее провозглашение Коммуны. Во всей истории человечества

нелабываемо величественны, красочны, великолепны революционные праздники. В эти часы всегда находят самое полное выражение слова «братство» и «равенство». Люди переступают колючий барьер одиночества, в порыве радости и надежды они душой постигают то лучшее, о чем тоскуют всегда, — единение, любовь.

Площадь у городской ратуши была с утра запружена толпами вооруженных людей. Перед деревянным возвышением собрались члены Коммуны. Широкие алые ленты, перетянутые через плечо наискось мундиров и пиджаков, служили знаком их почетного сана. Играла музыка. Казалось, что начался военный парад армии, уходящей на фронт. Поблескивали на солнце штыки между трепетавшими от ветра ярко-красными, с золотой бахромой знаменами. Прижатые друг к другу ружья колыхались как густые камышовые заросли. Солнце золотило жерла пушек на лафетах. Речей не было. Под грохот орудийных салютов и дробь барабанов шли батальоны Национальной гвардии. Женщины махали им пестрыми флажками и букетами шелковых багровых гвоздик. Пение «Марсельезы» сливалось со звуками оркестров. Люди держались за руки и улыбались друг другу.

— Да здравствует Коммуна!

Теплый ветер приносил запах молодых трав и плодородной земли.

— Да здравствует социальная революция!

Этот клич несся с неба, вызывая откровенный испуг и досаду у тех немногих новоизбранных членов Коммуны, которые принадлежали к партиям буржуазных республиканцев.

Измена с первых дней победы народа притаилась в Париже и сразу же начала исподволь подтачивать Коммуну. Некоторые мэры и депутаты, получив указания от Тьера, намеренно затягивали переговоры о мире, чтобы дать окрепнуть версальской армии и усыпить бдительность парижан.

Едва весть о событиях в Париже достигла Лондона, Генеральный Совет Интернационала, по предложению Маркса, направил в столицу Франции, так же как ранее, Огюста Серрайе, Елизавету Томановскую, под именем Дмитриевой, в качестве своего агента. 29 марта 1871 года

она благополучно добралась до Парижа, побывав прежде в Женеве, где передала поручение Маркса по поводу Бакунинского «Альянса» всем швейцарским секциям Интернационала.

С первых дней появления в осажденном оккупантами и французскими контрреволюционерами городе Дмитриева, пренебрегая опасностью, ринулась на борьбу с врагами Коммуны. Первой прокламацией, написанной Елизаветой Дмитриевой, было обращение к женщинам-труженицам под заглавием «К гражданкам Парижа»:

«Гражданки Парижа! Париж подвергнут блокаде. Париж подвергнут бомбардировке. Гражданки, где наши дети, наши братья и наши мужья?

Слышите ли вы рев пушек и священный призывный звон набата? «К оружию! Отечество в опасности!»

Чужеземец ли предпринял нашествие на Францию? Легионы ли объединившихся европейских тиранов убивают наших братьев, надеясь уничтожить вместе с великим городом даже память о бессмертных победах, купленных ценой нашей крови?..

Нет, эти враги, эти убийцы народа и свободы — французы!

Это братоубийственное безумие, овладевшее Францией, эта смертельная борьба — финал вечного антагонизма между правом и силой, трудом и эксплуататорами, народом и его палачами!

Наши враги — все те, которые всегда жили нашим потом и жирели от нашей нужды...

На их глазах народ восстал, восклицая: «Нет обязанностей без прав, нет прав без обязанностей! Мы хотим труда и права пользоваться его плодами... Не надо эксплуататоров, не надо хозяев... Труд и благосостояние для всех, самоуправление народа, Коммуна, жить и работать свободно или умереть в борьбе!»

И вот страх предстать перед народным судом побудил наших врагов к величайшему вероломству — гражданской войне!

Гражданки Парижа, потомки женщин Великой революции, которые во имя народа и справедливости отправились в Версаль и привели плененного Людовика XVI, мы, матери, жены и сестры французского народа, должны ли мы, чтобы нужда и невежество сделали врагов

из наших детей
брата, чтобы
зах по прихо
Париж прус
жить!

Гражданки
или умереть.
торжестве на
кого люблю»
спасти тех,
или дитя, в
принять дел

Горе мате
Их сыновья
братьев и м
вволю!.. Ни

Гражданк
нашему делу
братьев! К
местья — все
прийти им
пленных и у
безоружных
дование Фра
начали. А
братьями, —
вой, чтобы

Оставшис
путь Коммун
господа из
под одеждой
видом «безор
захватить п
восстания б
империи На
ционала. Ра
ставила ари

На защит
десятки тыс
ток. Андре
вали женск

на наших детей, чтобы отец восстал на сына и брат на брата, чтобы они убивали друг друга у нас на глазах по прихоти наших притеснителей, сперва предавших Париж пруссакам, а теперь желающих его уничтожить!

Гражданки, перчатка брошена, мы должны победить или умереть. Пусть женщина, думающая: «Что мне в торжестве нашего дела, если я должна потерять тех, кого люблю», поймет, что есть единственное средство спасти тех, кто ей дорог, — мужа, поддерживающего ее, или дитя, в котором она видит всю свою надежду, — это принять деятельное участие в завязавшейся борьбе...

Горе матерям, если народ будет еще раз побежден. Их сыновья заплатят за поражение, ибо участь наших братьев и мужей уже решена и реакция разгуляется вволю!.. Ни мы, ни наши враги не хотим милосердия.

Гражданки, решимся! Соединимся и тем поможем нашему делу! Будем готовы к защите и мести за наших братьев! К воротам Парижа, на баррикады, в предместья — все равно куда! Будем готовы в нужный момент прийти им на помощь! Если негодяи, расстреливающие пленных и убивающие наших вождей, дадут залп по толпе безоружных женщин — тем лучше! Крик ужаса и негодование Франции и всего мира завершит то, что мы начали. А если оружие и штыки разобраны нашими братьями, — на нашу долю достанется булыжник мостовой, чтобы сразить изменников.

Группа гражданок».

Оставшиеся в Париже аристократы попытались свергнуть Коммуну. Сразу после ее провозглашения, 22 марта, господа из фешенебельных кварталов столицы, пряча под одеждой пистолеты и перчатку, предприняли под видом «безоружной демонстрации» попытку неожиданно захватить штаб Национальной гвардии. Предводителем восстания был барон Жорж Дантес Геккерен — сенатор империи Наполеона III и отъявленный враг Интернационала. Рабочая гвардия, открыв ружейный огонь, заставила аристократов разбежаться. Дантес скрылся.

На защиту Парижской коммуны поднялись тотчас же десятки тысяч женщин-работниц и немало интеллигенток. Андре Лео, Луиза Мишель, Лиза Красоцкая открывали женские клубы и женские союзы, создавали

«наблюдательные комитеты», благотворительные общества помощи детям, старцам, больным, преследовали подозрительных граждан, тунеядцев и хулиганов.

Луиза Мишель неизменно вызывала у Лизы чувство восхищения. В ее неправильном лице было нечто большее, нежели красота. Оно светилось внутренним светом и отражало редкую душевную силу. Такие люди не гнутся.

Луиза родилась в деревне Домреми в департаменте Верхней Марны. Точно так же называлось село в Вогезах, где родилась легендарная Жанна д'Арк. Обе эти столь разные и вместе с тем чем-то очень схожие девушки были дочерьми крестьян. В характере Луизы Мишель была та же потрясающая целеустремленность, правдивость, неустрашимость и женская отвага, что и у средневековой французской героини. В одном из своих стихотворений Луиза восклицала:

«Придите, братья, придите! Сейчас даже пытка — наслаждение, и даже виселица прекрасна... Кто среди нас не отдаст сто раз свою кровь за святое дело? Придите все, кто умеет умирать!»

Мечтательная, экзальтированная, росла она в старинном замке, где мать ее была прислугой, зачитывалась книгами о Великой французской революции. Сен Жюст являлся ей во сне. Она писала стихи о том, как мужественный якобинец призывал ее к действию, к борьбе за права человека. Она рано нашла свое призвание. Это было участие в революции.

Когда в сентябре была провозглашена Республика, учительница Мишель восприняла ее как призыв к действию. Она писала стихи о «красных гвоздиках» — символе республики:

Тогда настал предел народного терпенья.
Сбирались по ночам, толкуя меж собой,
И рвались из оков, дрожа от возмущенья,
Как скот, влекомый на убой.
Империи пришел конец! Напрасно
Тиран безумствовал, воинствен, жесток —
Уже вокруг гремела «Марсельеза»
И красным заревом пылал восток!
У каждого из нас виднелись на груди
Гвоздики красные. Цветите пышно спои!
Ведь если мы падем, то дети победят!
Украсьте грудь потомства молодого!

— В по
ваться свобо
Лишь с
жизнь. По
беззаветно
бывала для
Особени
красных са
нимались
обладанию
давало им
рактер.
Лиза, Л
сестер мил
постах. Он
в особняка
подругами
«Сестры
надлежат
лежит рев
самом пол
ленным п
браться за
Среди
было не та
дым днем
жаждал уч
Лиза Р
помощь бо
чений секц
вала, муже
членом Ко
с Анной Ж
ституцию
лись по ст
ных и прие
лях, куда
Несколь
«Коммуна»
бывала жи
Лео. Она
роду, крат
публицисти

— В период величайшей борьбы мне необходимо оставаться свободной, — заявляла она, когда к ней сватались.

Лишь одно огромное чувство сопутствовало ей всю жизнь. Подобно шекспировскому герою Кориолану, она беззаветно любила свою мать, и судьба старушки часто бывала для нее важнее собственной.

Особенно значительной была работа женщин в отряде красных санитарок и в госпиталях. Этим плодотворно занимались Анна Жаклар, Жанетта и Катрина Сток. Преобладание работниц во всех женских организациях придавало им социальный и боевой революционный характер.

Лиза, Жанетта, Катрина и Анна Жаклар с сумками сестер милосердия часто бывали на редутах и воинских постах. Они дежурили в лазаретах, устроенных наспех в особняках знати, составляли вместе с другими своими подругами воззвания:

«Сестры милосердия Коммуны заявляют, что не принадлежат ни к какому обществу. Вся жизнь их принадлежит революции, их долг заключается в том, чтобы на самом поле боя перевязывать раны, нанесенные отравленными пулями версальцев, а в случае необходимости браться за оружие, подобно другим».

Среди деятельниц Парижа образованных женщин было не так уж много, а нужда в них становилась с каждым днем больше. Открывались школы, клубы. Народ жаждал учиться, рвался к знаниям.

Лиза Красоцкая не только оказывала медицинскую помощь бойцам. Она выполняла немало различных поручений секции и женских клубов. Дома она почти не бывала, мужа видела крайне редко. В апреле она стала членом Комитета бдительности 18-го округа и вместе с Анной Жаклар повела наступление на уличную проституцию и монахинь, которые, как саранча, расползались по столице, вели злобную агитацию против Коммуны и приносили сознательный вред раненым в госпиталях, куда проникали под видом сестер милосердия.

Несколько недель Лиза работала в редакции газеты «Коммуна», где занималась правкой статей. Там же часто бывала жизнерадостная, вдохновенная, порывистая Андре Лео. Она печатала в газете свои статьи-воззвания к народу, краткие и доходчивые. Красоцкая восхищалась ее публицистическим дарованием и неутомимой энергией.

«Земля — крестьянину, орудия труда — рабочему, работа — всем, — писала Андре Лео. — Не должно быть ни работы без отдыха, ни отдыха без работы».

— А сами вы отдыхали сегодня? — спросила Лиза Андре Лео, прочитав ее призывы.

— Что вы, сейчас не до этого, для нас — только работа и работа. Отдых наступит после победы.

Сама Лиза сотрудничала в редакции, принимала жалобщиц в Комитете бдительности, дежурила в госпитале, выступала в женских клубах «Избавление» и клубе «Гражданок — защитниц Парижа» с докладами об обязанностях женщин в дни осады Коммуны, пропагандировала там идеи Интернационала, организовывала с Дмитриевой, Минель и Жаклар женские трудовые объединения, вооруженные женские батальоны и обучала отряды санитарок.

Одной из замечательных черт Парижской коммуны была видная роль, которую играли в ней женщины. Революционный шквал бросил их в политику с улицы вместе с вооруженными толпами, они становились во главе клубов, выступали в представительных собраниях, блеснули литературными талантами, ораторским даром, историческими и философскими познаниями.

Участницы революционного движения немедленно сделали из лозунгов демократии естественные выводы: «Политическое равноправие означает политическое право для женщин. Нужно потребовать признания этого принципа мужчинами».

Женщины — жены городских бедняков из рабочей и ремесленной среды, прислуга, полудеклассированная женская голытьба — жестоко ненавидели императорский двор, богатую буржуазию и спекулянтов, наживающихся на голоде и войне. Их движение далеко вышло за рамки феминизма. Когда нужно было дать отпор контрреволюции, женщины бунтующего Парижа немедленно заявили о своей готовности вооружиться и сражаться с врагами. Днем в садах, на пустырях они учились стрелять, владеть кинжалами и шпагой. Юная коммунарка училась перевязывать раны, заставляя подругу изображать ранен. Мальчики на улицах играли в патриотическую войну. Дети от восьми до четырнадцати лет учредили клуб, и одна из девочек, ростом чуть повыше табурета, на который взбиралась, чтобы ораторствовать, сожалела, что по

молодости не может защищать Коммуну. Она обещала плести лавровые венки для коммунаров, возвращающихся с победой.

На окраинах Парижа в душных каморках тысячи женщин стирали бинты, щипали корпию, шили обмундирование для бойцов, читали газеты и прокламации, баюкая детей, напевали шуточные революционные песни:

Когда сильные дерутся,
Тузаки всегда достаются рабочему классу.
Если мы заплатим квартплату,
Мы дважды окажемся жертвами войны.
Принимая во внимание,
Что у граждан нет средств для уплаты за квартиру,
Пусть домовладельцы пошарят в карманах,
Никто не заплатит им квартплату.

На рассвете изможденные жены рабочих, подмастерьев, мелких ремесленников бежали в очередь за хлебом, за мылом, за сахаром и солью. Дома, без присмотра, оставшиеся некормленными, отчаянно ревели дети, и их крик матери чуяли у дверей булочной.

Весеннее солнце освещало одну из окраинных улиц революционного Парижа, булочную с покривившейся вывеской, полусонных федератов, еще не вставленное после 18 марта стекло витрины и женщин, прислонившихся к стене дома, сидевших на серых камнях мостовой в ожидании ничтожно малой доли хлеба.

— Вчера Варлен правильно говорил в Коммуне о Клюзере, — говорит одна из женщин. — Много еще изменников среди нас, нечего с ними церемониться.

— Что ни говори, а при Наполеоне куда лучше жилось, — ехидно раздается из «хвоста» очереди.

— Молчи, чего болтаешь! — возмущаются несколько голосов.

— Иди выносить ночные горшки буржуазии и Тьеру, — жестко смеются голодные женщины.

— Газета Тьера сообщает, что все защитницы Коммуны старые уродины, безобразные ведьмы, — сказал старичок с кошелкой, кутавшийся в рваное одеяло.

— Читал бы лучше нашего «Папашу Дюшена», облезлая обезьяна, а не версальских клеветников, — зашумели дружно женщины. — Показать бы им наших девушек, гражданка Крист что ясная зорька, а русская Дмитриева до чего хороша. Позвать бы негодяев в женский

клуб нашего округа, то-то бы глаза у них разбежались.

Стирка на Сене в непогоду, холод и жару, варка пищи у огромного дымящегося очага, плетенье кружев при тусклой свечке или масляной коптилке, мытье полов и посуды, сбор отбросов на рассвете, тяготы нищенской жизни не сберегали женской красоты, тем не менее среди коммунарок было много красавиц.

Борьба разгоралась: вдохновенная, упорная, беспримерно героическая — у коммунаров; подлая, основанная на подкупе, вероломстве — у версальцев. По одну сторону фронта находились полуголодные, оборванные люди, терпящие недостаток во всем, начиная с оружия, медикаментов и хлеба, по другую — сытые, отлично экипированные, вооруженные, озверелые полчища немецких солдат и французских реакционеров. Но коммунары поставили на карту самую жизнь. Ничто не могло сравниться с ними по силе отваги и воли. Они были неустрашимы.

Уже несколько месяцев Сток командовал батальоном Национальной гвардии. Со времени осады Парижа он не без боли оставил ненужный более паровоз. Столицу окружили внешние и внутренние враги: 18 марта Жан доблестно дрался на Монмартре и с этого времени стал одним из членов Центрального комитета Национальной гвардии.

Выйдя из дома после шумных семейных дебатов о назначении женщин, Сток, в военной форме, очень его молодящей, насвистывая «Ça ira», повернул в сторону бульваров и направился в окружной комитет бдительности. Внезапно к нему подошел Толен. Он, видимо, преднамеренно поджидал давнишнего товарища, с которым поддерживал короткие отношения уже более семи лет с того дня, когда оба они ездили на Всемирную выставку в Лондон, где посетили Маркса. С самого основания Международного Товарищества Рабочих железнодорожник и гравер были в числе деятельных учредителей и членов французской ветви Интернационала.

— Привет и братство! — сказал Толен громко.

— Да здравствует Коммуна! — ответил Сток, вглядываясь в молодую прелестную женщину, которая стояла рядом с сухопарым, горбившимся Толеном.

— Знакомься. Это Нинон. Можешь быть уверен, что она смертельно ненавидит буржуазию и Тьера и хочет поскорее всемирной республики, — добавил чеканщик с награнной шутливостью, представляя свою спутницу Стоку.

— Если уж драться, то за республику социальную. Куда вы держите путь?

— Ко мне, — вызывающе откинув вуалетку, сказала Нинон. — Есть кофе и кувшинчик бенедиктина. Лучшего не пил и сам Ротшильд.

— Не до ликера. Дел у меня по самую макушку. Так вот где ты пропадаешь, Толен? А какой ты был свойский и горячий парень каких-нибудь семь лет назад!

— Прошу тебя, Жан, зайдем к девочке на полчасика. Окажи товарищескую услугу, я немного запутался, помоги. Надо поговорить по душам, — попросил Толен.

Сток нахмурился, помолчал и решил согласиться. «Надо прощупать, что у него на уме, почему прячется от нас, чем живет, что хочет делать», — подумал он и сказал:

— Дьявол ты, Толен. Никто теперь не знает, с кем ты якшаешься, кому ты служишь.

— Коммуне, — с той же неуловимой иронией ответил гравер.

«Неужели лжет и свихнулся», — размышлял Жан и вдруг почувствовал, как Нинон, ластясь, берет его под руку.

Грубо оттолкнув ее, Сток невольно выругался. «Где ее подобрал Толен и зачем?» — недоумевал он.

— Гражданин, как вы обращаетесь со слабым полом! — притворно рассердилась Нинон. — Разве мы, женщины, не созданы для того, чтобы украсить вам жизнь? Такой славный парень, а грубиян.

После недолгой паузы гравер неожиданно заговорил патетически:

— Посмотри, друг, на этот замызганный, темный город, на этот осажденный лагерь бедняков, вооружившихся, нацепивших воинские доспехи поверх рваного нищенского тряпья. И это наш Париж, блестящий, нарядный, признанный современным Вавилоном, где господствовали роскошь, обжорство и сытое веселье. Я не узнаю тебя, столица Франции, преемница древней Лютеции.

— Неправда, — резко возразил Сток, — никогда Париж не был красивее и на улицах его не царило большего порядка и полной безопасности. По-моему, только сейчас наш город стал по-настоящему прекрасен. Страшно, что ты видишь Париж глазами врагов. Так о нем пишут версальские гнусные газетки.

— Вот мы и пришли, — прервала Стока Нинон.

Все трое свернули в низкую подворотню, пропахшую кошками и конским навозом. В глубине был вход в подъезд. По грязной неосвещенной лестнице ощупью они поднялись на третий этаж. Дверь в квартиру оказалась незапертой. Газовое освещение давно не действовало. Нинон чиркнула спичкой и зажгла свечу в ржавом подсвечнике. В прихожей лежали дрова для кафельной печки.

— Когда-то здесь была консьержка, настоящее пугало для ворон. Но, по крайней мере, иногда она мыла лестницу и зажигала фонарь. Сейчас эта уродина заседает целыми днями в окружном женском клубе. Она бешеная коммунарка и пробовала меня соблазнить политикой и даже заставить учиться. Я ответила ей, что революция не для красивых женщин. Пусть ею занимаются кикиморы. Для этого незачем иметь пятящие ноги и талию.

— Ты, однако, завралась, кошечка, — сказал Толен. — Твоей курносой роже никак не сравниться с личиком Леонтины Сюэтан или очаровательной злючки Ретиф. Эти коммунарки очень хороши собой, а гражданка Жаклар или Дмитриева свели бы с ума самого Тьера, если б только этот старый евнух что-либо понимал в женщинах и красоте, — заметил Толен.

— А моя жена или сестра! — подхватил Жан. — О них тоже никто не скажет, что некрасивы. Не правда ли, Анри? А обе ярые приверженки Коммуны. Я-то видел, какие миловидные девушки сражались на баррикадах летом тысяча восемьсот сорок восьмого года. Каратели и те терялись, глядя на них. Боги мои! Я был тогда щенком, а все до мелочей помню. Словно отпечатано в мозгу.

— Да, жизнь бывает мощным гравером, — важно подтвердил Толен.

Нинон принялась на спиртовке кипятить кофе. Жан с удивлением рассматривал ее комнату, всю выложенную многоцветными тряпочками, раскрашенными бумажками, подушечками и пуфиками. Бывший машинист не мог определить, кто же такая Нинон.

— Сейчас пришло для нас плохое время. Нет настоящего дела. Вот я и принялась читать, — тараторила между тем Нинон, разливая кофе по прозрачным голубым чашечкам, — раньше никогда этим не занималась. Ах, какие же жили когда-то дамы! Вот прочла я «Жизнь Нинон де Ланкло», и от зависти даже зубы заболели. И вовсе она не так уж была хороша, но будто бы очень обаятельна и имела чудесный цвет лица.

— Умом брала, — зевнул Толен.

— Представьте, родила сына, и несколько виконтов и герцогов бросили жребий, кому быть его отцом. Права у них были одинаковые. А позже этот сын, не знавший, что Нинон его мать, влюбился в нее и, будучи, конечно, отвергнут, закололся шпагой. Вот это женщина! Девяносто лет жила мадемуазель Нинон в богатстве, и все ее уважали, даже королева Христина была ее подругой. А теперь все не так. Мои подружки, ввиду того что наша профессия в дни Коммуны вовсе не пользуется спросом, обратились в секции, требуя другую работу. Одни теперь учатся пашивей, другие еще на кого-то. Но я не на то рождена, чтобы портить зрение, спину и руки работой. Пока есть мужчины, я не сдохну с голода. Кому-нибудь понадоблюсь на часок-другой, не все такие целомудренные дураки, как ты, — Нинон презрительно фыркнула в лицо Стоку. — Раз коммунары спят только со своими женами, я проберусь в Версаль, — там на нас большой спрос. Мне обещал...

— Молчи, дура, брысь в кухню! — оборвал Толен.

Сток, весь побагровев, вскочил со стула.

— Так вот в какое грязное логово ты меня затащил.

— Образумься, Жан. Не в ней дело. Я искал место, где бы нам поговорить с тобой наедине. Девка больше не покажется. Выслушай меня, я ведь не о себе, а о тебе хочу говорить. Завтра, на рассвете, с поручением от Коммуны я проберусь в Версаль. Париж что мышеловка. Впереди у нас здесь одна только гибель, виселица или пуля. Войска Тьера состоят из дикой деревенщины. Их не прошибешь словом, этих тупоголовых мужиков, они что темный лес. Вспомни Вандею девяносто третьего года. Я хочу спасти тебя, друг Жан. Идем со мной в Версаль.

— Подлец, — прохрипел пораженный Сток. — Мне ты посмел предложить предательство? Мне, сыну Иоганна Стока, коммуниста? Пьян ты, что ли, или сошел с ума? Вспомни наши сокровенные беседы, Лондон, Маркса.

Мечты сбылись. Кто у власти? Люди труда. За что мы боремся? За себя, за рабочих. И ты хочешь бежать? Спасать мерзкую шкуру? Давно уже говорили мне, что ты продажный трус и ищешь, к кому бы пойти в лакеи.

— Стоп! Не пыхти больше, машинист. Коммуна, поймп, не твой паровоз. Разобьется. Пустая ты голова. А ведь я всегда тебя любил, дурня. Не пройдет и месяца, как Тьер и Бисмарк уничтожат вас всех. А за что, спрашивается, подыхать? Бесполезны все жертвы, бесполезен героизм. Зачем быть перемолотым в этой чудовищной мясорубке? Маленькая горсточка людей, пусть самых лучших, поднялась против целого мира. Будь уверен, никто не окажет вам помощи. Все вы, коммунисты, — безумцы, фанатики или слепцы.

— Молчи, Иуда, я убью тебя собственными руками. — Жан выхватил оружие, но в ту же минуту из-за портьеры выскочил дюжий парень, тоже в форме национального гвардейца, и вместе с Толеном они повалили машиниста на пол. В рот ему воткнули кляп, а руки крепко связали веревками.

— Я не хотел этого, Жан, но ты вынудил меня и моего друга, который был наготове, образумить тебя должным образом. Теперь лежи и не пытайся помешать нам оставить этот несчастный город до скорой Варфоломеевской ночи. Впрочем, расправа с гугенотами была лишь детской потасовкой по сравнению с тем, что ожидает вас, коммунаров. Вспомни мои слова, когда будешь дрыгать ногами на виселице. Толен никогда не был мечтателем. Я не святой, а реалист, и даже если, чем черт не шутит, стану когда-нибудь большим человеком, заявлю, что был, есть и буду честным республиканцем.

Толен выкурил одну за другой две сигары.

— Но надо думать не сердцем, а разумом. Это закон в политике. Коммунистический Париж обречен, и он обречен на гибель.

Заметив, что Сток пытается освободиться от веревок и кляпа, Толен проверил узлы и сказал с шутливым сожалением:

— Жаль, что я вынужден говорить один, а не с тобой. Не таращи глаза! Утром кто-нибудь тебя развяжет, и ты сможешь поднять тревогу, сообщить в Комитет бдительности и в Коммуну. Я буду уже в Версале. Там мог бы быть и ты, если бы проклятое Международное Товарищество

не внушило тебе дурацкие идеи пролетарской солидарности и прочие вредные бредни, от которых я уже вылечился. Прощай, Жан Сток. Твой отец может гордиться тобой, ты такой же безрассудный, как и он. Скоро вы встретитесь на том свете, оба с разбитыми черепами.

Заперев дверь на ключ, Толен и его товарищ, не произнесший ни одного слова, покинули душную маленькую комнату проститутки. Нинон также исчезла с ними в тот же вечер.

С большим трудом поздней ночью Стоку удалось выплюнуть кляп, разгрызть веревки и, разбив окно, выбраться из безлюдной квартиры. Толена в Париже уже не было. А вскоре стало известно, что он, изменив Коммуне, перешел на сторону версальского правительства.

Сток долго не мог опомниться после случая с Толеном. Трусость и подлый расчет привели чеканщика в лагерь врагов. Как в личном, так и в общественном человек познается в минуты опасности. Толен подло предал революцию и в момент испытания примкнул к версальскому сборищу реакционеров, деятельность которого была направлена на подавление революции. Еще до получения резолюции Федерального совета Парижских секций Интернационала, на основании сообщений лондонских газет о предательстве Толена, Генеральный Совет в Лондоне публично заклеймил его позором и заочно исключил из рядов Международного Товарищества Рабочих.

В том, что Коммуна победит, Сток не сомневался. Разве не были идеи и принципы, ею провозглашенные, разумными и светлыми, несущими благо, проникнутыми самой высокой человечностью. Кто может опровергнуть истину? В числе друзей машиниста в его батальоне было немало масонов, которые поддерживали начинания правительства тружеников. Они говорили:

— Мы пришли к вам, чтобы вместе строить разрушенный некогда злом великий храм Соломонов, без которого нет божия царства. Это храм добра и мудрости. Называйте его коммунизмом или как хотите, ваше дело, ибо от прозвища не меняется сущность.

Франция напоминала кратер действующего вулкана. Все, кто стремился построить новый мир на одном маленьком клочке земли, среди бешеной, разбушевавшейся стихии, записывались в Национальную гвардию.

Чего только не могут люди, охваченные единым стремлением! Несмотря на страшную угрозу — войну, город, объявивший власть трудового народа, зашевелился, загудел, ожил и десятками, сотнями, тысячами рук стал действовать, отстраиваться, принаряжаться.

Елизавета Дмитриева, чья романтическая, жаждущая прекрасного душа, нашла в революционном Париже осуществленным свой идеал — истинное братство, любовь, бесстрашие, освобожденную и высоко парящую мысль, жила только одним — революцией. Такими были в то время и все коммунары Парижа. Возвышенность и чистота их устремлений мешали им иногда видеть предательство, низость, проникавшие извне. Они доверились Клюзере, другу Бакунина, личному врагу Дмитриевой, которая еще в Женеве заподозрила в нем человека, способного на измену и подлость. Среди руководителей Коммуны оказался шпион Тьера: сын богатого мануфактуриста Барраль де Монто, втершийся в доверие революционеров, зорко следил за деятельностью представителей Интернационала в Париже. В одном из своих донесений он сообщал: «Дмитриева управляла Комитетом женщин, имевшим в каждом округе могущественное бюро, основанное под предлогом ухода за ранеными... Комитет под руководством Дмитриевой работал только для Интернационала. Все документы его клубов имели заголовок «Всемирная республика». Различные социалистические клубы были, по существу, клубами Интернационала».

В апреле в официальной газете — органе Парижской коммуны — неоднократно публиковались письма в Исполнительную комиссию от имени Центрального комитета гражданок, и в число подписавшихся неизменно находилось имя Дмитриевой. Женский Центральный комитет просил об организации регулярных отрядов для обслуживания походных госпиталей, готовых в минуты крайней опасности строить баррикады, сражаться на них до победы или смерти.

Версальцы продолжали сжимать кольцо вокруг Коммуны. Парижане оставались верны себе, опасность не лишала их бодрости и способности веселиться. Нередко на улицах и площадях, в клубах устраивались импровизиро-

ванные балы, пелись песни и народ лихо плясал при свето
факелов под звуки случайного оркестра.

Театры были всегда переполнены, и никогда артисты
не слышали более пылких, искренних изъявлений восторга
и столь оглушающих аплодисментов.

В парижской газете «Панама Дюшен» особенно часто
появлялись злободневные стихи, и тут же они перекла-
дывались кем-либо на музыку. Особенным успехом у ком-
мунаров пользовалась песенка о девушках-бойцах.

Так пальцы и столько в них склада,
Что любая годна для парада.
Это лучший во Франции полк,
Пусть возьмут это тьеровцы в толк.

Ну и храбры же наши девчонки!
Носят все, как одна, амазонки.
На версальцев, сплотясь в батальон,
Льют свинцовый горячий бульон.

А гибель неумолимо двигалась к отчаянно сопротив-
лявшейся столице. В самом начале апреля пал друг
Стока — генерал Коммуны, член Интернационала Эмиль
Дюваль. Его смерть была одной из первых трагических
страниц летописи великих дней пролетарской революции.
Кто не знал после 18 марта в Париже молодого потомст-
венного пролетария! Он был одним из руководителей вос-
стания, военным комендантом и делегатом при префектуре
полиции. Дни и ночи не покидал он своего поста, и крохот-
ная его жена с лицом озорного ребенка, с рыжей челоч-
кой, спускавшейся к бровям, как некогда в тюрьмы, при-
носила ему трижды в день скромную еду, чтобы, как она,
смеясь, говорила, он не умер, позабыв о хлебе и воде.

В конце марта литейщик Эмиль Дюваль был назначен
генералом, одним из трех командующих вооруженными
силами революционного Парижа. Дюваль был весьма смет-
лив, умен и, главное, никогда не знал чувства страха.
Новое звание он носил с достоинством и не щадил себя.
Во время похода на Версаль Дюваль командовал одной из
колонн, был взят в плен и вместе с двумя другими офице-
рами Коммуны приговорен к смерти.

Этот храбрый воин никогда не винил в своих промахах
никого, кроме себя самого. Схваченный врагами, обезо-
руженный, избитый, он думал о том, что расплачивается
за неумение предусмотреть опасность и командовать. Эта
мысль так мучила его, что он не замечал короткой дороги,

которая вела его к месту казни. Он старался принять смерть мужественно и поддержать своим примером батальонных командиров, ведомых с ним вместе на расстрел. Пленников подвели к стене крестьянского дома, на фасаде которого висела вывеска «Дюваль-садовник».

«Это странное совпадение», — подумал смертник и попытался улыбнуться.

«Мы тоже ведь были садовниками, да только не пришлось дожить до той поры, когда семена наши дадут всходы», — мелькнуло в сознании Дюваля. Он почувствовал приступ страшного отчаяния от того, как бессмыслен его конец. Не увидеть победы Коммуны, умереть у порога...

Понимая бесцельность сопротивления под дулами десятка наведенных ружей, три пленных борца покорно сбросили мундиры и прижались к холодным камням дома в поисках последней опоры.

— Да здравствует Коммуна! — воскликнули они.

Раздался залп, и коммунары упали мертвыми на сочную апрельскую землю.

Полное спокойствие и высокое человеческое достоинство казнимых произвели сильнейшее впечатление на карателей. Растерянные, безмолвные, они поспешно покинули место расправы.

Как только трагическое известие о гибели смелого командира дошло до Парижа, Коммуна постановила переименовать Итальянскую площадь в площадь Дюваля.

Во имя победы Коммуны пал Гюстав Флуранс. Он командовал 20-м легионом Национальной гвардии и участвовал в Военной комиссии. О подробностях последних часов его жизни возникли разноречивые слухи. Марк, которого, как и всю его семью, глубоко поразила гибель молодого, многогранного, талантливого ученого, тщательно выяснил, сверяя события каждого дня Коммуны, как был убит Флуранс. Из десятков разрозненных рассказов, фактов и упоминаний в различных газетах он со свойственной ему редкой прозорливостью воссоздал всю картину гибели замечательного коммунара. Не так мечтал умереть Гюстав Флуранс, отважно боровшийся в Польше, Греции и на баррикадах Парижа.

Из газеты социалистического направления «Le Cri du Peuple», широко распространявшейся в Париже в дни Коммуны, Маркс сделал следующую выписку:

«Флуранс, отрезанный от своего корпуса, находился в одном доме в Шату, в сопровождении лишь двух или трех товарищей; он ждал *чего-то*, должно быть, того, что называется переменой военного счастья... Он ждал. Начальник пожарной команды — колбасник, как говорят, узнает его и доносит на него властям. Являются жандармы. Дом окружен. Флуранс пытается скрыться от убийц: он хочет жить, чтобы сражаться! Но штыки обшаривают все углы. Его выводят, замученного, окровавленного, на порог двери, где доносчий на него предатель удостоверяет его личность. Беззащитный, безоружный, побежденный, он становится пленником. Его держат за руки. Пьяный жандарм поднимает саблю и рассекает ему череп. Флуранс падает! На другой день газеты сообщили, что Флуранс выстрелил в своего врага из револьвера и что его убили потому, что он убил. Ложь! Убийство было совершено в трактире. От трактирщика потребовали подписать протокол, где утверждалось, что Флуранс стрелял, таким образом хотели снять вину с мерзавца, нанесшего удар саблей. Трактирщик, простой, честный человек, отказался дать свою подпись, он знал, что тут произошло убийство. *Его арестовали, и сейчас он в тюрьме.* Верно ли это? Вчера утром пытались запугать и его жену, но и она в свою очередь отказалась быть соучастницей в этом злодеянии».

Когда в семье Маркса узнали о страшной смерти Флуранса, отчаянию не было границ. Женни Маркс делилась своей скорбью в письме к Либкнехту.

«Я не в состоянии передать Вам, в каком волнении, страхе и отчаянии весь наш дом. Подобного мы не переживали со времени июньской битвы. Я очень опасаюсь, что движение Коммуны, первый светлый луч в этом мраке, теперь погибло, и вместе с ним погибли все наши лучшие, самые верные друзья. Прежде всего нас глубоко потрясла смерть Гюстава Флуранса. Он был нашим личным другом...»

Женнихен сообщала Людвигу и Гертруде Кугельман. В течение одной недели она писала им дважды: «Мои дорогие друзья! Я должна признаться, что у меня не было достаточной энергии для писания писем: меня покинуло мужество. Я не могу перенести необходимости сидеть на

месте в то время, как храбрейших и лучших уничтожают по приказу этого кровожадного клоуна Тьера, которому со всеми его ордами профессиональных убийц из-за угла никогда не удалось бы победить непокорных парижских граждан, если бы он не нашел помощи у своих прусских союзников, вдобавок чванящихся своей полицейской ролью. Сама лондонская пресса, верная своей достойной миссии, сделавшая все для того, чтобы забросать грязью пролетариев Парижа, должна в настоящее время признать, что никогда еще люди не сражались во имя принципа более храбро и отважно...

Большое число наших друзей принимает участие в Коммуне. Некоторые уже пали жертвами версальских палачей. Недавно был убит Гюстав Флуранс. Он пал не во время битвы, как об этом сообщает пресса: дом, в котором помещалась его штаб-квартира, был указан жандармам шпионом и был окружен, а сам Флуранс был убит.

В эти дни Женнихен твердо решила отправиться во Францию, где были в это время также и Лафарги.

Париж, не щадя себя, отражал натиск врагов. По улицам к линии фронта в форт Исси, в Нейи двигались артиллерийские повозки, отправлялись один за другим батальоны. Знаменосцы несли впереди воинов красные стяги. Оркестр почти без отдыха исполнял «Марсельезу» или полюбившуюся коммунарам мелодичную «Песнь прощания». С ружьями Шаспо на плече безмолвно шли люди разных возрастов, улыбающиеся безусые юноши и сосредоточенные бородатые старцы. В воинских рядах, в таких же мужских костюмах, бодро шагали санитарки с отличительными нарукавными повязками и небольшими жестяными котелками и флягами, прикрепленными к широким опоясывающим ремням. Рядом с матерями, держась за их юбки, нередко бежали вприпрыжку малыши, которых не с кем было оставить дома.

Имя Дмитриевой, этой таинственной русской, была окружено легендой. Ее считали то актрисой, прекрасной и неустрашимой, как знаменитая Клор Лакомб; то блестящей куртизанкой из народа, подобно прославленной Теруань де Мерикур, ведшей на приступ королевского Версаля в 1789 году толпы санкюлотов; то загадочной посторонней княжной. Никто не знал ее прошлого и пол-

линного имени. Она появлялась повсюду: на заседании, посвященном устройству народных школ, вместе с любимицей Парижа Лузой Мишель; на трибуне клуба, с исстовой Аделаидой Валантен, работницей, которая, сражаясь на баррикадах, убила своего возлюбленного, когда тот проявил трусость; на поле боя она то сестра милосердия, то командир женских революционных отрядов. Русская коммунарка, даже раненная, не покинула своего поста.

В длинном суконном платье, опоясанная широким кожаным ремнем, на котором сбоку висел револьвер, Дмитриева казалась особенно статной. Теплый алый шарф и тирольская высокая фетровая шляпа с красной кокардой довершали романтический облик двадцатилетней руководительницы парижских коммунарок.

Двадцать четвертого апреля 1871 года Дмитриева писала в Лондон члену Генерального Совета Интернационала Г. Юнгу.

«По почте писать невозможно, всякая связь прервана, все попадает в руки версальцев. Серрайе, только что избранный в Коммуну и чувствующий себя хорошо, переслал в Сен-Дени семь писем, но в Лондоне они, по-видимому, не получены... Парижское население (известная часть) героически сражается, но мы никогда не думали, что окажемся настолько изолированными. Тем не менее мы до сих пор сохранили все наши позиции. Домбровский сражается хорошо, и Париж действительно революционно настроен... Вы ведь знаете, что я пессимистка и вижу все в мрачном свете, — поэтому я приготовилась к тому, чтобы умереть в один из ближайших дней на баррикадах. Ожидается общее наступление — я лично думаю, что все зависит от случая.

Я очень больна, у меня бронхит и лихорадка. Я много работаю, мы поднимаем всех женщин Парижа... Мы учредили во всех районах, в самих помещениях мэрий, женские комитеты и, кроме того, Центральный комитет. Все это для того, чтобы основать Союз женщин для защиты Парижа и помощи раненым. Мы устанавливаем связь с правительством, и я надеюсь, что дело наладится. Но сколько потеряно времени и сколько труда мне это стоило! Приходится выступать каждый вечер, много писать, а моя болезнь все усиливается. Если Коммуна победит, то наша организация из политической превратится в социальную,

и мы образуем секции Интернационала. Эта идея имеет большой успех. Вообще, пропаганда Интернационала, которую я веду с целью показать, что все страны, в том числе и Германия, находятся накануне социальной революции, — эта пропаганда очень хорошо воспринимается женщинами. Наши собрания посещают от трех до четырех тысяч женщин. Несчастье в том, что я больна и некому заменить.

Дела Коммуны идут хорошо, но вначале было совершено много ошибок. 15—20 дней назад был избран Клюзере, несмотря на всю нашу агитацию против него. Теперь Малон рвет на себе волосы, что не послушался меня...

К крестьянам не обратились вовремя с манифестом; мне кажется, что он вообще не был составлен, несмотря на мои и Жаклара настояния. Центральный комитет не сразу сдал свои полномочия, были всякие инциденты, которые ослабили партию, но с тех пор организация окрепла. На мой взгляд, делается все, что только возможно. Я не могу говорить об этом более подробно потому, что боюсь, как бы прекрасные глаза г. Тьера не заглянули в это письмо, — ведь еще вопрос, попадет ли благополучно в Лондон податель этих строк, швейцарец, редактор из Базеля, который привез мне вести от Утина.

Я спешу без гроша. Если Вы получили мои деньги, постарайтесь их с кем-нибудь переслать, но только не по почте, иначе они не дойдут. Как Вы поживаете? Я всегда вспоминаю о всех вас в свободное время, которого у меня, впрочем, очень мало. Жму руку Вам, Вашей семье и семье Маркса. Что поделывает Женни?

Если бы положение Парижа не было таким критическим, я очень хотела бы, чтобы Женни была здесь — здесь так много дела».

Письмо это Юпг принес Марксам, и оно произвело сильное впечатление на всех обитателей Модена-вилла. 10 мая две дочери Маркса, Женнихен и Элеонора, с первых дней Коммуны рвавшиеся на континент, выехали во Францию.

В мае 1871 года силы народного сопротивления были подорваны. Шли кровопролитные бои. Парижские пролетарии проявляли чудеса отваги и умирали как герои. Трупы лежали на площадях, во дворах, на тротуарах. Вода в

Сене покраснела от человеческой крови. Тяжело больной в это время Маркс вместо с Энгельсом неотрывно следили за каждым этапом борьбы французских рабочих.

Оба они поддерживали связь с осаждённым городом, находившимся в кольце врагов, через знакомого купца, который, пренебрегая опасностью и рискуя жизнью, ездил неоднократно по делам из Лондона в Париж.

Многое успела сделать Коммуна для народа. Она дала возможность трудящимся участвовать в управлении государством, приняла декрет о восьмичасовом рабочем дне, провозгласила принцип всеобщего бесплатного обучения, создала рабочие кооперативные товарищества, признала полноправными незаконнорождённых детей, увеличила заработную плату, равно как для мужчин, так и для женщин.

Счастливый человек порой бывает беззащитен. А трудовой люд столицы был опьянен радостью, полон радужных надежд и прекраснейших намерений. Желая сделать наибольшее количество людей счастливыми, коммунары забывали о том, что именно это ожесточало многочисленных врагов. Стремясь предотвратить кровопролитие, Коммуна не хотела первой начинать гражданскую войну. Одной из роковых ошибок, наряду с другими, было непротиводействие уходу из столицы всех регулярных воинских частей в Версаль.

Охваченные великим вдохновенным порывом, не замечая лишений и пушечных жерл, обращенных на них, парижские рабочие, ремесленники, интеллигенты создавали невиданные до сих пор общественные отношения. Они открывали бесплатные курсы и школы для детей и взрослых, детские сады и ясли, больницы, клубы, отделили церковь от государства. Коммуна стала правительством рабочего класса. При ней могло совершиться полное освобождение труда. К несчастью, в Коммуне не было единой ведущей рабочей партии. Прудонисты, анархисты, новоякобинцы, бланкисты, члены масонских лож вносили в деятельность Коммуны немало путаницы и конфликтов.

Но выступив своевременно на Версаль, войско коммунаров дало возможность контрреволюционерам подготовить широкое наступление. Бисмарк передал Тьеру сто тысяч французских военнопленных, преимущественно из крестьян, которые были тотчас же брошены на Париж. Началась смертельная баррикадная война внутри города,

куда 22 мая вторглись версальцы. С этого часа уже не умолкала канонада, не потухало зарево вспыхивавших пожаров.

Все, кто испил из чистого родника подлинной свободы и величайших надежд, не раздумывая, бросились защищать Коммуну. Баррикады Парижа объединили в эти дни тех, кто видел свое счастье в служении народу. Вместе с парижанами отстаивали Коммуну польские офицеры-повстанцы Врублевский, Домбровский, русские Петр Лавров, Дмитриева и Корвин-Круковская, венгр Лео Франкель и многие другие революционеры разных национальностей. Их были тысячи.

Женщины и подростки сражались рядом с мужчинами. Жизнь без Коммуны не имела для них смысла, как бытие без солнца. Коммуна была их матерью и детищем. Их казнили безвинно за то, что они творили только добро, несущее людям счастье. А когда человек знает, что гибнет, не совершив ничего постыдного, к нему, как последнее ободряющее милосердие, приходит высшее духовное самосознание, и ему более не хочется оставаться в мире, где совершаются столь тяжкие преступления. Смерть становится желанным другом, сулящим полную свободу. Неисчерпаемы сокровища чистой совести. Они делают людей неуязвимыми для страха.

Коммуна была обречена. В недолгие дни своего существования она почти что ощупью, впервые в человеческой истории, попыталась осуществить новую форму государства — диктатуру пролетариата, разрушила паразитический, полицейско-бюрократический государственный аппарат. Но ей суждено было изойти кровью и погибнуть. Для победы социальной революции страна еще не созрела. Коммунары не успели привлечь к себе симпатии крестьянства, они были окружены кольцом внутренних и иноземных врагов. Против них выступили все имущие классы мира. Коммуна горела, как костер в степи.

Жена Маркса, тяжело страдавшая вместе со всеми близкими в эти трагические дни борьбы обреченных коммунаров, писала Кугельману после отъезда дочерей во Францию:

«Дорогой доктор!.. Вы не можете себе представить, как много пережили мой муж, мои девочки и мы все из-за французских событий. Сперва страшная война, затем еще

более ужасная вторая осада Парижа. Смерть Флуранса, храбрейшего из храбрых, глубоко потрясла нас всех, и вот теперь отчаянная борьба Коммуны, в которой принимают участие все наши самые старые и лучшие друзья. Недостаточное военное руководство; вполне естественное недоверие по отношению ко всему, что является «военным»; навязчивое вмешательство журналистов и героев фразы... неизбежные вследствие этого раздоры, нерешительность и противоречивые действия — все эти бедствия, неизбежные в столь молодом и отважном движении, были бы, наверное, преодолены ядром крепких, способных на самопожертвование, сознательных рабочих; но теперь, я думаю, потеряна всякая надежда, так как Бисмарк, заставляющий платить себе немецкими деньгами, выдает французским канальям из «партии порядка», каждый из которых в отдельности олицетворяет какое-нибудь подлое уголовное преступление, не только всех военнопленных, но и все крепостные сооружения. Мы стоим накануне второй июньской бойни... Как только Мавр закончит свой манифест для Интернационала, он Вам напишет.

Ваша *Женни Маркс*».

Хотя Маркс и Энгельс во время осады Парижа прусской армией опасались неожиданного восстания революционных рабочих столицы, справедливо предвидя неизбежность его поражения в условиях окружения города иноземными захватчиками, тем не менее, как только разразилась революция, они сразу же восприняли Парижскую коммуну как свое кровное дело, как духовное детище Интернационала.

Маркс включился в борьбу Коммуны со всей свойственной ему страстностью. Он написал сотни писем деятелям рабочего движения разных стран, обращая их внимание на историческое значение Коммуны, и сделал все возможное, чтобы установить связь с осажденными в Париже. Напряженно следил он за развитием событий во Франции и сразу же в полной мере оценил героизм рабочих Парижа.

«Какая гибкость, какая историческая инициатива, какая способность самопожертвования у этих парижан! После шестимесячного голодания и разорения, вызванного гораздо более внутренней изменой, чем внешним врагом,

они восстают под прусскими штыками, как будто войны между Францией и Германией и не было, как будто бы враг не стоял еще у ворот Парижа! История не знает еще примера подобного героизма! Если они окажутся побежденными, вина будет не что иное, как их «великодушие». Надо было сейчас же идти на Версаль, как только Вину а, а вслед за ним и реакционная часть парижской национальной гвардии бежали из Парижа. Момент был упущен из-за совестливости. Не хотели *начинать гражданской войны*, как будто бы чудовищный выродок Тьер уже не начал гражданскую войну своей попыткой обезоружить Париж! Как бы там ни было, теперешнее парижское восстание, если оно даже и будет подавлено волками, свиньями и подлыми псами старого общества, является славнейшим подвигом нашей партии со времени парижского июньского восстания. Пусть сравнят с этими готовыми штурмовать небо парижанами холопов германско-прусской священной римской империи с ее допотопными маскарадами, отдающими запахом казармы, церкви, юнкерства, а больше всего филистерства».

Члены Интернационала в Париже были храбрейшими борцами Коммуны. Бланкисты и часть прудонистов не считали себя последователями Интернационала. Однако и они отчаянно дрались на баррикадах рабочего Парижа. Вся реакционная печать заявляла, что гражданская война во Франции вспыхнула по воле Генерального Совета. Возникновение Парижской коммуны рассматривалось буржуазией как осуществление замысла Маркса и его сторонников. Хотя Интернационал не призывал рабочих Парижа к восстанию, Маркс считал Парижскую коммуну плотью от плоти Интернационала. Он поддерживал связь с интернационалистами в Париже и оказывал им всевозможную помощь советами, насколько это позволяли сложившиеся обстоятельства.

В самом конце марта член совета Парижской коммуны Лео Франкель писал Марксу:

«Если нам удастся осуществить коренное преобразование социальных отношений, то революция 18 марта останется в истории как наиболее плодотворный из всех бывших до сих пор переворотов, и в то же время она ляжет почвы все будущие революции, так как в социальной области уже нечего будет более добиваться...

В связи с этим Ваше мнение о социальных реформах, которые надо провести в жизнь, будет чрезвычайно ценно для членов нашей комиссии.

Я прошу Вас, уважаемый гражданин, в интересах нашего великого дела как можно скорее ответить мне. Простите мою настойчивость, но необходимо торопиться, так как прежде всего надо заложить фундамент социальной республики».

Маркс тотчас же ответил.
Несколько позже Франкель снова обратился к Марксу:

«Я был бы очень рад, если бы Вы согласились как-нибудь помочь мне советом, ибо я теперь, можно сказать, один и несу ответственность за все реформы, которые я хочу провести в департаменте общественных работ. Уже из нескольких строк Вашего последнего письма явствует, что Вы сделаете все возможное, чтобы разъяснить всем народам, всем рабочим, и в особенности немецким, что Парижская коммуна не имеет ничего общего со старой германской общиной. Этим вы окажете, во всяком случае, большую услугу нашему делу».

Переписка Маркса с Лео Франкелем и другими членами Коммуны не прекращалась даже в самые трагические дни боев. Марксу, однако, были совершенно чужды всякие диктаторские устремления, и он считал невозможным давать какие-либо прямые предписания участникам парижских событий.

С первых дней провозглашения Парижской коммуны Маркс внимательно изучал все сведения о ее деятельности: сообщения французских, английских и немецких газет, информацию в письмах из Парижа, документы о членах правительства Тьера. 18 апреля 1871 года на заседании Генерального Совета Маркс предложил вынести воззвание ко всем членам Интернационала относительно «общей тенденции борьбы» во Франции. Маркс работал над этим документом в течение целого месяца. Сначала им были написаны первый и второй наброски «Гражданской войны во Франции», после чего он приступил к составлению окончательного текста воззвания.

В мае Маркс послал двум руководителям Коммуны — Франкелю и Варлену, — как всегда, через повторенного

немецкого купца, чрезвычайно важное письмо. Обычно он старался передавать в Париж свои сообщения и советы устно, так как проникновение в осажденный город было сопряжено с большой опасностью. На этот раз, ввиду чрезвычайной важности, ему пришлось писать:

«Коммуна тратит, по-моему, слишком много времени на мелочи и личные счеты. Видно, что наряду с влиянием рабочих, есть и другие влияния. Все это не имело бы значения, если бы вам удалось наверстать потерянное время.

Совершенно необходимо, чтобы вы поторопились с тем, что считаете нужным сделать за пределами Парижа, в Англии или в других странах. Пруссаки не передадут фортов в руки версальцев, но после окончательного заключения мира (26 мая) они позволят правительству окружить Париж его жандармами. Так как Тьер и К° в договоре, заключенном Пуйе Кертье, выговорили себе, как вы знаете, огромную взятку, то они отказались от предложенной Бисмарком помощи немецких банкиров. Иначе они лишились бы своей взятки. Так как предварительным условием осуществления *их* договора было покорение Парижа, то они просили Бисмарка отсрочить уплату первого взноса до оккупации Парижа. Бисмарк принял это условие. И так как Пруссия сама сильно нуждается в этих деньгах, то она предоставит версальцам все возможности для того, чтобы облегчить им скорейшую оккупацию Парижа. Поэтому будьте настороже!»

Такие сугубо тайные сведения о секретных переговорах и соглашениях Бисмарка с версальскими изменниками Карлу Марксу сообщал Иоганн Миккель.

«Я получил эту информацию от правой руки Бисмарка, — писал Маркс о днях Парижской коммуны, — человека, прежде (с 1848 до 1853 г.) принадлежавшего к тайному обществу, руководителем которого был я. Этот человек знает, что у меня еще хранятся все отчеты, которые он посылал мне из Германии и о Германии. Он всецело зависит от моей скромности. Отсюда его постоянные старания доказать мне свои добрые намерения. Это — тот же самый человек, который, как я Вам гово-

рил, предупредил меня, что Бисмарк решил меня арестовать, если я в этом году снова приеду к доктору Кугельману в Ганновер.

Если бы только Коммуна послушалась моих предостережений! Я советовал ее членам укрепить северную сторону высот Монмартра — прусскую сторону, и у них было еще время это сделать; я предсказывал им, что иначе они окажутся в ловушке; я разоблачил перед ними Пна, Груссе и Везинье; я требовал, чтобы они немедленно прислали в Лондон все бумаги, компрометирующие членов правительства национальной обороны, чтобы таким образом до известной степени сдерживать неистовства врагов Коммуны, — тогда план версальцев был бы отчасти расстроен».

С первого дня существования Парижской коммуны ни рабочие, ни Центральный комитет Национальной гвардии не были теоретически подготовлены к строительству новой власти, они самим ходом борьбы оказались поставленными перед необходимостью разрушить старую государственную машину, служившую для угнетения народа, и приступить к строительству общества нового типа. Это историческое дело парижский пролетариат осуществлял с первого же момента начавшейся гражданской войны. Закладывал основы нового государства, он разрушил рычаги буржуазной власти: министерства, армию, полицию.

Большинство членов Коммуны состояло или из рабочих, или из их признанных представителей. Там были пролетарии — социалисты, интернационалисты. Но рядом с ними находились люди, принадлежавшие к самым различным течениям. Случайные попутчики Парижской коммуны из числа патриотически настроенных буржуазных республиканцев отделились от Коммуны, как только выявилась ее пролетарская сущность.

В партийном отношении Парижская коммуна не была однородной. Она делилась на «меньшинство» и «большинство». К «меньшинству» принадлежали правые прудонисты, отрицавшие необходимость политической борьбы и диктатуры пролетариата, и левые прудонисты-коллективисты, признававшие политическую борьбу и высказывавшиеся за общественную собственность на средства производства. «Большинство» состояло из мелкобуржуазных

демократов — «новых якобинцев», стоявших за сохранение мелкой собственности и за «ограничение» крупного капитала; бланкистов, не понимавших значения социально-экономической перестройки и стоявших за революционную диктатуру небольшой группы революционеров. Между «большинством» и «меньшинством» велась острая борьба по всем политическим вопросам, достигнувшая предела в середине мая, когда «меньшинство» вступило было на путь раскола. К чести и славе Коммуны, пролетарии-социалисты завоевали в ней главенство. Они провели через ассамблею Коммуны целый ряд вошедших в историю экономических и социальных мер. Великим социальным мероприятием Коммуны, указывал Маркс, было ее собственное существование, ее работа. По его словам, Коммуна была правительством рабочего класса.

Прежде всего Парижская коммуна приступила к замене учреждений, служивших угнетению народа. Она стремилась создать единство нации — рабочих и всех трудящихся — посредством уничтожения государственной власти, отстаивающей привилегии меньшинства в ущерб интересам народа. Взамен старого буржуазного аппарата, сломанного в ходе революции, был создан новый. В итоге государственного строительства Парижской коммуны были заложены начала пролетарской демократии. Для руководства всеми делами Парижской коммуны было создано десять комиссий: исполнительная, военная, внешних сношений, юстиции, финансов, внутренних дел и общественной безопасности, труда, просвещения, продовольствия, общественных служб. Во главе комиссий и сменивших их с 20 апреля делегаций стояли руководители, избиравшиеся Парижской коммуной. 1 мая, в связи с ухудшением положения на фронте, ассамблея Парижской коммуны образовала Комитет общественного спасения, наделенный широкими полномочиями.

Политическая власть пролетариата послужила для него средством разрушения общественного строя, покоившегося на частной собственности на средства производства и на эксплуатации рабочих капиталистами. Парижская коммуна за семьдесят два дня своего существования издала ряд декретов об охране труда рабочих и служащих и, в частности, запретила ночную работу в пекарнях, отменила систему штрафов, провела регистрацию брошенных или приостановленных своими владельцами

фабрик, заводов и мастерских и передала их товариществам рабочих для возобновления производства; бывшим владельцам предоставлялось право на получение вознаграждения в размере, определенном особыми посредническими комиссиями. Был установлен государственный и рабочий контроль.

Коммунары попытались привлечь на свою сторону французское крестьянство. Но из-за недооценки как «меньшинством», так и «большинством» значения рабоче-крестьянского союза и в силу других причин не смогли этого добиться.

С самого начала ошибочно приняв тактику обороны, Парижская коммуна в дальнейшем также не использовала своих возможностей для разгрома сил контрреволюции, которые возглавил Тьер. Несмотря на то что первые вооруженные столкновения с версальцами начались уже 2 апреля, рабочая власть обращала слишком мало внимания на военную подготовку. Вооруженные силы Парижской коммуны были плохо организованы, не располагали достаточным количеством оружия, в то время как на складах Парижа лежали нетронутыми двести восемьдесят пять тысяч ружей.

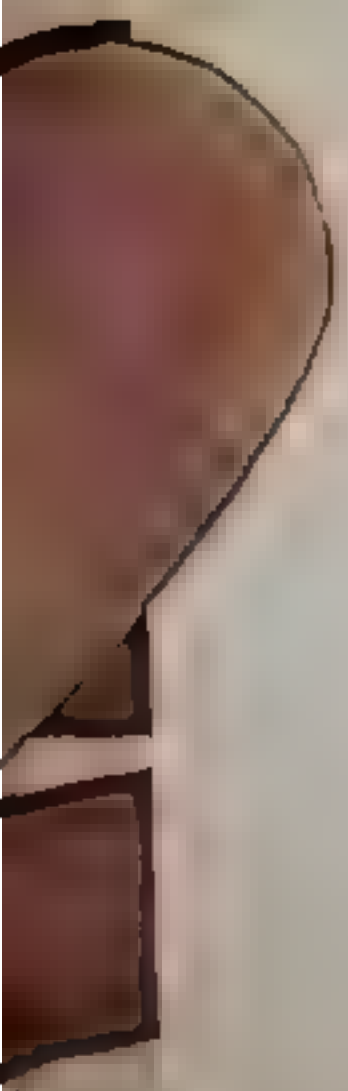
Май принес с собой агонию Парижской коммуны.

Многообразно человеческое отчаяние. Иногда оно подобно параличу и сковывает волю, затемняет мысли, иногда граничит со страхом и трусостью, толкает к безрассудству, заставляет метаться в поисках спасения, лишает человеческого достоинства, бросает на землю, уподобляет червям. Есть отчаяние недвижимое, каменное либо размягчающее, слезливое, унылое, жалкое. Отчаяние коммунаров было действенным и гордым. Оно рождало героев. Отныне смерть не пугала более. Если нельзя было жить при Коммуне, оставалось только подороже отдать свою жизнь в борьбе.

Парижские пролетарии, как никто, владели искусством сражаться и умирать достойно. На протяжении восьмидесяти лет они неоднократно дрались на революционных баррикадах. Из поколения в поколение передавались драгоценные были об упорной борьбе за свободу. Отцы и деды коммунаров, презрев смерть, обагряли по раз своей кровью родную землю. Умирая, они оставались

непобедимыми. За них поднимались на бой новые поколения мстителей-бойцов. Неописуема сила тех, кто готов умереть ради идеи. Они не знают поражения. Многие разновидности отступничества, вероломства и подлости порождены страхом перед небытием. Коммунары были освобождены от всего этого.

Катрина была санитаркой 101-го батальона 2-й армии, занимавшей южные форты, которой командовал Врублевский. С тех пор как золотоволосая швея покинула мастерскую на улице Варенн и отдалась делу Коммуны, характер ее заметно изменился. Она перестала дичиться людей и замыкаться в себе. Катрина пыталась нарочитой развязностью замаскировать застенчивость, но так и не смогла избавиться от огненной вспышки на щеках даже при взгляде постороннего человека. Катрина любила Валерия Врублевского, и стоило ему появиться в расположении войск, где она перевязывала раненых перед отправкой в госпиталь, как девушка, красея до корней своих нежных волос, бежала ему навстречу.



Врублевский, один из лучших, старательнейших и преданнейших офицеров Коммуны, уступал в знании военного дела лишь своему соотечественнику, командующему войсками, Ярославу Домбровскому, который учился в кадетском корпусе в Петербурге, затем в военном училище и в чине поручика был направлен в Академию Генерального штаба, которую блестяще окончил. Домбровский стал наиболее видным военачальником среди нескольких сотен поляков — участников Парижской коммуны.

Вступление Домбровского и Врублевского в ряды защитников пролетарского Парижа произвело большое впечатление на их соотечественников. Около шестисот польских изгнанников, особенно из «Демократического объединения», близкого к парижской ветви Международного Товарищества Рабочих, и «Общества военного запора» — левой польской военноконспиративной группы — примкнуло к коммунарам. Валерий Врублевский с небольшими войсками подвластными ему силами прославился героическими подвигами. Он умел воодушевлять солдат и служить им примером неустрашимости и бодрости. В минуты опасности его самообладание, находчивость и твердость действовали гипнотически на окружающих и вселяли в них уверенность и отвагу.

Когда Врублевского назначили генералом, он решительно отказался от жалованья, соответствовавшего этому высокому чину, и взял только коня. С детства Валерий был отличным наездником. Точно так же он отверг предложение поселиться в Елисейском дворце.

— Место генерала — только среди солдат, — ответил Врублевский. Он жил как простой воин. Федераты, как иногда называли национальных гвардейцев парижские рабочие, высоко ценили эти черты в польском революционере. Он был искренно любим ими и пользовался большим влиянием.

Сто первый батальон Врублевского славился своей неустрашимостью и боеспособностью. С первых дней его сформирования там находилась в качестве санитарки и бойца Катрина Сток. Ее нелегко было узнать в потрепанной от непрерывных походов военной форме. Она казалась подростком, надевшим шинель отца. Чтобы не было необходимости заплетать косу, Катрина коротко подстриглась. Ее волосы цвета приморского песка прямыми прядками падали к плечам из-под серой, надетой набекрень шапочки.

В один из майских, особенно теплых и дунистых, дней версальцы повели наступление на форт Ванв и ворвались в него. Поздно ночью в 101-й батальон приехал Врублевский с подкреплением. Штыковой атакой войска под его командованием выбили из форта версальцев. Катрина была легко ранена в бою, но наотрез отказалась уйти из части. Никто никогда не видел ее такой сердитой.

— Ишь какие нашлись умники, гонят меня из батальона. Если бы из-за такой царапины, как моя, все бросали фронт, то давно бы Тьер хозяйничал в Париже. Вот заставить бы мужчин рожать, тогда бы они знали, что такое боль и кровопотеря.

— Да ведь ты-то и сама этого не знаешь.

— Что же, разве я не женщина, не играла в куклы, не нянчила детей?

Вдруг Катрина почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо, согрев шею и голову. Еще не видя, она ощутила сердцем приближение Врублевского. Он спешился и медленно шел по мягкой траве к штаб-квартире, на крыльце которой происходила перебранка между девушкой и тремя офицерами. Впрочем, шумела только одна Катрина.

— Да, очевидно, Бальзак был прав, когда писал, что одним словом женщина может убить трех мужчин, — сказал Врублевский, весело поглядывая на крайне растерянных товарищей и пылающую от гнева санитарку с рукой на перевязи. — Что же тут происходит?

— Прошу вас, гражданин командующий, приказать, чтобы меня, пока я жива, никуда не отправляли из 1-го первого батальона. Тем более что, независимо ни от чего, я не покину фронт.

— Ого, но ведь вы ранены?

— Это пустяк, у меня вполне цела левая рука, кроме туловище, я могу пока что готовить бойцам пищу.

— Однако...

Но Катрина не дала Врублевскому продолжать.

— Никуда, понимаете, никуда я не уйду... — Девушка запнулась, но командующему показалось, что он услышал ее шепот, — буду там, где вы.

— Отступаю. Воевать с женщиной мне не приходилось, и, пожалуй, я не хотел бы и впредь. Что ж, до заживления раны помогайте батальонному капенармусу.

В сумерки Врублевский отыскал Катрину в сенном сарае, где она проверила мешки с зерном. Девушка нисколько не удивилась его приходу.

— Я думал, что узнал ваш характер, когда недолго давал вам уроки грамматики, — сказал ей Валерий мягко, — но сейчас убедился, что ошибся. По правде говоря, я теряюсь в догадках, отчего вы, тихоня, не признаете дисциплины. Я оставил вас, чтобы избежать скандала. Женщина при войске всегда лишняя. Трудно представить на войне заранее, что может случиться, нужна по-этому выдержка и ясность духа, а вы этого вовсе не поняли.

— О-ла-ла, что же я, по-вашему, изнеженная барышня? Но разве вы потерпели бы такую в батальоне? Сосчитайте, скольких бойцов я вынесла из-под пуль, сколько ран перевязала. Многому вы учились, а вот главного не постигли.

— Чего же?

— Любви.

— Замолчи, Катрина. Не время. Все это придет к нам после победы.

— Но сердце не справляется о времени и месте, оно любит вас.

— Милая. Мы должны обождать, — растерянно твердил Врублевский.

— Нет, нет, любовь не помеха. Наоборот, счастливые люди самые добрые и смелые на земле.

Настал вечер, а Врублевский все еще ласкал светло-золотые волосы Катрины, лежавшей подле него на колючем старом сене.

— Как все здесь уродливо. Я хотел бы быть с тобой на зеленой поляне, поросшей цветами, подле тихо плещущей реки.

— Красиво там, где мы счастливы. Здесь прекрасно потому, что мы вместе и любим друг друга, — тихо сказала Катрина. — Сквозь дырявую крышу видны темные облака. Нет ничего величественнее неба. Когда я буду умирать, то последний взгляд брошу в небо. Скажи мне, Валерий, что такое смерть? Неужели после нашей смерти все будет так же, как сейчас, только не будет нас. Меня не будет. Я говорю и не понимаю смысла сказанных слов. Как может не быть меня? Однако ведь были у меня и Жана родители. Они исчезли. Их нет.

— Не думай об этом. Мысль о смерти ослабляет, губит — это как бы начало ее. Гони прочь печальные думы. Мы должны с тобой жить и увидать победу Коммуны. Мы счастливы. Повторим за древним поэтом:

Сверкайте же, факелы,
Радостен путь наш. Ликуйте!

— Да, с тобой я счастлива, Валерий!

К середине мая положение на оборонительных фортах вокруг Парижа значительно ухудшилось. Лиза не расставалась с Анной Жаклар. Они проводили дни и ночи в больницах, где под обстрелом перевязывали раненых, число которых возрастало с каждым часом.

В это время с риском для жизни к Анне Васильевне пробралась ее сестра Софья Ковалевская с мужем. Их встреча произошла в перевязочной. Над домом разрывались снаряды, и непрекращающийся гул заглушал голоса.

— Помоги мне скатать бинты, — сказала Анна, почти не удивившись внезапному появлению Софьи.

Вскоре обе сестры, в белых глухих фартуках, разговаривали шепотом, перевязывая тяжелораненого. Жена

Жаклара резко отвергла просьбу сестры бежать с ней из осажденного города. Ничего не добившись, обеспокоенные Ковалевские уехали в Берлин.

Лиза Красоцкая редко видела мужа, который почти не расставался с командующим войсками Ярославом Домбровским. Трудно было не привязаться всем сердцем к этому рыцарственному поляку с лицом исключительной духовной красоты. Лоб мыслителя, глаза вдохновенного поэта, тонкие черты лица, оттененные узкой бородкой и усами, — все было привлекательно в Домбровском и приводило на память образы великих ученых и писателей эпохи Возрождения.

В дни «кровавой недели» генерал Домбровский верхом на коне под градом пуль объезжал баррикады. В его бесстрашии скрывалось отчаяние. Он искал смерти, не желая встретить поражения.

На одной из баррикад он увидел Луизу Мишель в костюме национального гвардейца. Ничто не могло лишить бодрости и самообладания эту необыкновенную девушку. Она любила опасность и бой. Всюду кружила смерть. А Луиза, спокойно опершись на ружье, угощала пришедшую к ней с другой баррикады подругу горячим кофе. Обе они весело смеялись какой-то шутке. Увидев Домбровского, Луиза Мишель обратилась к нему со словами привета, но осеклась. Лицо полководца Коммуны было сумрачно, искажено гримасой горя.

— Мы погибли, — сказал он.

— Нет! — убежденно ответила ему коммунарка. — Нет!

Домбровский перегнулся с коня и протянул ей руку. Через несколько минут, неподалеку, он был смертельно ранен.

— Думайте только о спасении Республики, — прошептал он соратникам и закрыл навсегда глаза.

Едва весть о гибели Домбровского разнеслась по Парижу, на Монмартре смолкли пушки. Это канониры и бойцы оставили свои посты, чтобы проститься с любимым командиром. Тело героя Коммуны принесли в ратушу, в ту самую голубым штофом обитую комнату, где обычно заседала Коммуна и столько раз горячо и убедительно выступал замечательный полководец, единственным недостатком которого была чрезмерная отвага. Вдали от родины поляк Домбровский отдал свою жизнь за нерушимое

пролетарскую революцию. Как и его друг Врублевский, он считал себя братом и защитником всех трудящихся мира.

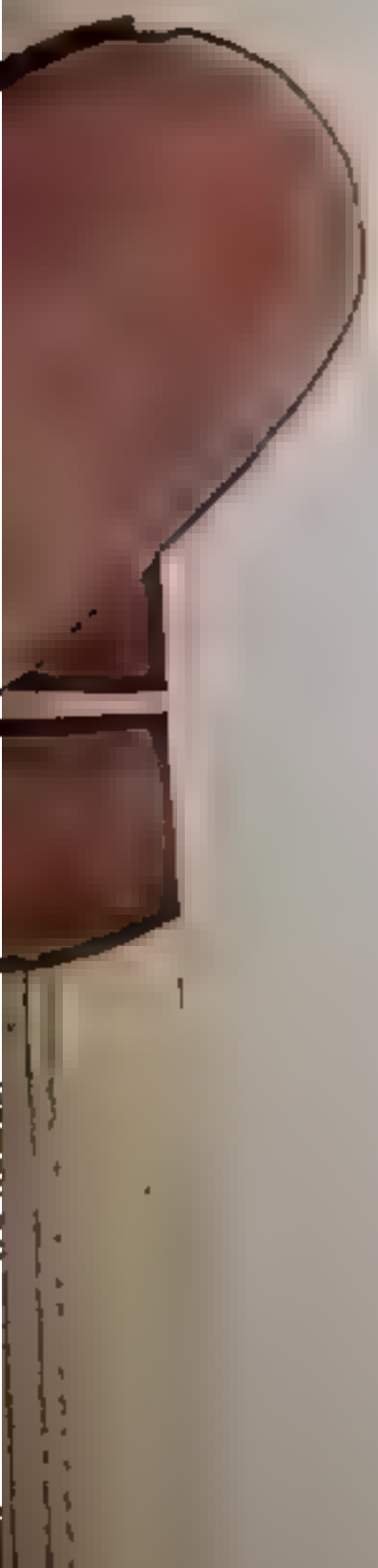
Ночью при свете факелов тело Домбровского, обернутое в красное знамя, повезли на лафете к кладбищу Пер-Лашез. На площади Бастилии погребальный кортеж задержали национальные гвардейцы. Они положили погибшего героя у подножья Июльской колонны и под звуки барабанов, бивших поход, совершили обряд последнего прощания, бережно целуя величавый лоб своего генерала. Никто из них не скрывал своих слез.

Гибель Домбровского, которого, как сына, полюбил Сигизмунд Красоцкий, глубоко поразила старого повстанца. Лиза была так занята в госпитале, что не могла разделить с мужем его большую печаль.

В те же часы к кладбищу из разных улиц потянулись десятки других погребальных дрог. Никаких украшений, кроме красных знамен и черного крепа, не было на них. Впереди шли, отбивая похоронную дробь, барабанщики с траурными повязками. Позади играла музыка того легиона, к которому принадлежали павшие защитники Коммуны. Опустив ружья дулами вниз, провожали товарищей национальные гвардейцы. Их строгие лица и одежда были опалены порохом, биты свидетельствовали о свежих ранах. За дрогами медленно шествовали вдовы, сироты, друзья, представители Коммуны, рабочие делегации округа. Все эти люди с детства знали, что революция означает борьбу не на жизнь, а на смерть. Их деды, такие же неимущие, умирали в годы первой революции, их отцы и матери сражались и гибли в 1830 и 1848 годах. Многие из них родились двадцать три года назад, когда по мостовым Парижа текла кровь борцов июньских баррикад.

Камни Парижа. Они слышали последние вздохи мучеников Коммуны, вобрали их кровь, служили им опорой и ложем. Безмолвные и холодные, они были свидетелями той предельной жестокости, которая смягчает горечь смерти. Бесцветные немые стены, каменоломни, набережные Сены, плиты бульваров и улиц — суровые памятники революций, покрытые человеческой кровью безымянных героев, преисполненных жалостью и любовью к таким же несчастным, как они. То была последняя «кровавая неделя» Коммуны.

До самой франко-прусской войны Лафарг с женой и маленькими детьми жили в Париже, в скромной квартирке на улице Шерш-Миди. Зять и дочь Маркса усиленно пропагандировали идеи марксизма во Франции. По крутой лестнице на верхний этаж в квартиру Лафаргов нередко поднимался, тяжело дыша, худенький, седой старик с узким строгим лицом аскета и неповторимым по силе взгляда, глубоко запавшими колючими глазами. Это был любимец многих поколений французских революционеров, твердый, как каменные громады крепостных тюрем, где прошла большая часть его жизни, великий человеколюбец — Огюст Бланки.



Испытания и пытки не сломили воли великого ветерана революции, не убили в нем веры в конечную победу. Он не признавал осторожности. Чрезмерная отвага и порывистость иногда делали его неосмотрительным и вели к неудаче. Терпеливый в тюрьме, где он десятками лет ждал свободы, Бланки не хотел, вопреки подчас здравому смыслу, стратегическому расчету, откладывать ни на час поединка со своими врагами — французской буржуазией и ее правительством. Одно поражение его заговоров и восстаний следовало за другим. А он оставался все тем же храбрым до безумства, непреклонным до фанатизма и самоотверженным до самозабвения. Революционный бой стал его стихией. Всю жизнь он восставал не только против тирании, но и против самой могучей силы на земле, против Времени, не желая примириться с тем, что родился предтечей, а не вершителем победы трудящихся. И снова каменные своды тюрем на долгие годы смыкались над этим великим упрямцем и вождем.

Лафарг глубоко чтил не стареющего душой, несмотря на лютые испытания, революционера, которого Маркс называл головой и сердцем рабочей Франции, а его сторонников — партией революционного пролетариата.

Сочувствуя идеям Международного Товарищества Рабочих, Бланки был далек от правильного понимания идеи пролетарской диктатуры и значения классовых войн и не воспринял научного материалистического и диалектического объяснения общественных явлений.

— Бланки, — сказал о нем Энгельс, — преимущественно политический революционер; социалист он только по чувству, из участия к страданиям народа, но у него нет

ни социалистической теории, ни определенных практических предложений социального переустройства.

Тем не менее Энгельс считал Бланки единственным человеком, способным возглавить революционное движение во Франции. Сердце этого несгибаемого, неподкупного, великого борца принадлежало всем обездоленным, униженным, несчастным.

Лафарг дал Огюсту Бланки прочесть «Нищету философии» Маркса. Старый революционер восхитился этой книгой, посрамившей Прудона, исконного его недруга. Но тактики марксизма он не понял и навсегда остался только пламенным заговорщиком.

В отличие от прудонистов, бланкисты были твердыми последователями коммунизма. Но, защищая эти идеи, они, однако, смутно представляли себе особенности социалистического строя и экономические условия, которые обеспечивают победу рабочих над буржуазией. Они утверждали, что мысли людей, их сознание, воля и отвага являются решающей силой в социальной борьбе.

Дважды после буржуазной сентябрьской революции Огюст Бланки поднимал парижских пролетариев на восстание, чтобы свергнуть правительство национальной измены, возглавляемое Тьером. Бланкисты были разбиты, их шестидесятипятилетний вождь схвачен и снова погребен заживо в тюрьме Бель-Иль, далеко от Парижа.

Коммуна пыталась освободить Бланки из заточения и предлагала версальцам обменять его на одного из заложников-архиепископов. Но Тьер уклонился от переговоров. Этот бездушный, не лишенный проницательности политик ответил, что освобожденный Бланки равен армейскому корпусу, посланному на помощь Коммуне.

В сентябре 1870 года Лафарги покинули Париж и переехали к родственникам в Бордо. Несмотря на то что город этот был одним из значительнейших промышленных и торговых центров Франции, рабочий класс там оставался сравнительно немногочисленным, а влияние местной секции Интернационала ничтожным.

Поль Лафарг немедленно принялся за работу среди бордоских тружеников. Он создал газету, пропагандировавшую воззрения Международного Товарищества Рабочих. После провозглашения Парижской коммуны значительно возросшая Бордоская секция Интернационала

высказалась за поддержку рабочих столицы и за ленную им помощь.

В апреле Поль Лафарг пробрался в Париж, где ви делся с деятелями Коммуны. Ему предстояло поднять восстание на юго-востоке Франции и тем поддержать сражающихся парижан. Лафарг вернулся в Бордо. Одна ко предпринятое им и его товарищами революционно выступление было подавлено. Несмотря на поражение оно, однако, выявило симпатию трудящегося населения города к идее Коммуны.

Лаура горячо сочувствовала коммунарам. Если бы не маленькие больные дети, она помчалась бы в Париж.

«Я практикуюсь в стрельбе из пистолета в здешних полях и лесах, — писала она, — так как вижу, как хорошо сражались женщины в недавних боях, и никто не знает что еще может произойти».

В мае к Лафаргам из Лондона приехали Женнихен и шестнадцатилетняя Элеонора. Они намеревались сейчас же отправиться из Бордо в Париж. Но Коммуна дожила последние дни.

На площади Бланш батальон женщин под командой Лунзы Мишель и Дмитриевой, накануне сражавшийся в Батиньоле, проявлял чудеса храбрости. Когда позицию уже невозможно было удержать, батальон отступил на несколько сотен метров к площади Пигаль, где вновь сразился с неприятелем, и так двигался от баррикады к баррикаде, чтобы возобновить смертельную борьбу за следующим укрытием.

Несмотря на прорыв версальцев, армия Врублевского по-прежнему стойко оборонялась. Но силы были столь неравны, что и гигантское мужество не могло обеспечить победы.

После падения Монмартра, в день гибели своего друга Домбровского, Врублевский не потерял самообладания: он собрал в своем штабе командиров фортов, чтобы об судить с ними и наметить тактику защиты того района, которым командовал. Он укрепил Итальянский и при легающие к нему бульвары и направил воинские резервы на площадь Жанны д'Арк и в Терн. Под командой Врублевского сражалось несколько батальонов, в том числе легендарный 101-й, который, начиная с 3 апреля,

ни разу не был на отдыхе. Ночи и дни не умолкала его артиллерия. Катрина состояла в этом непобедимом воинском подразделении, находящемся в непрерывном движении, перемещавшемся из траншей в открытое поле, из деревень на улицы столицы. Десять раз обращал в бегство врагов и захватывал трофеи этот доблестный батальон, состоящий из парижских пролетариев 13-го округа и ницценского квартала Муффетар. Суровые, обросшие, опаленные порохом федераты, в разорванной пыльной одежде и обуви, шагавшие под пробитыми пулями знаменами, производили незгладимое впечатление. «Победа или смерть!» — казалось, говорили их воспаленные от долгой бессонницы и переутомления глаза.

В ночь на двадцать четвертое версальцы подошли вплотную к позиции коммунаров, которые, не дожидаясь нападения, бросились в контратаку. Четыре раза федераты обращали в бегство противника.

Наступление войск Тьера развертывалось вдоль берега Сены. Врублевский расставил батареи на Аустерлицком мосту и площади Жанны д'Арк. Отсюда он обстреливал версальцев. Несколько тысяч коммунаров под его начальством в течение тридцати шести часов отбивали атаки целого армейского вражеского корпуса, временами переходя в наступление. Катрина, не знавшая усталости и страха, под пулями перевязывала раненых, обнадеживала их, утешала. Храбрая коммунарка привыкла к канонаде и даже находила, что, как гул морского прибоя, она воодушевляет. Стоило ей вспомнить, что неподалеку от нее Валерий, и чувство спокойной уверенности охватывало ее. В эти страшные дни Катрина была безгранично счастлива. Она старалась ничего не загадывать из суеверной боязни вспугнуть удачу и тем не менее надеялась и верила, что ее и Врублевского ждет, вопреки всему, что происходило вокруг, только хорошее.

Пуля пронзила сердце Катрины, и, падая, коммунарка увидела небо искрящимся и ярким. Глаза ее закрылись, не выдержав ослепительного света. Умирая, она успела подумать: «Так вот какова смерть!» Катрина лежала на небольшом холмике, как бы на алом знамени. Это была кровь ее сердца.

Врублевский, узнав о гибели молоденькой батальонной санитарки, погнал коня к месту, где ее настигла пуля. Он спешился и склонился над Катриной, более чем когда-

либо раньше похожей на подростка. Ее стриженые пыш-
ные волосы янтарного цвета под солнцем казались еще
более блестящими, точно вобрали все его лучи. Никаких
отпечатка страдания или горечи не было на окаменевшем
белом лице покойной. В нем появилось незнакомое Врубле-
левскому выражение полной отчужденности и глубокой
сосредоточенности. Это была иная Катрина. Врублевский
достал полотняный платок, подарок возлюбленной, оку-
нул его в застывающий поток ее крови, обернул бинтами
и спрятал в сумку. Став на колени, он поцеловал лоб и
крепко сомкнутые губы Катрины. На мгновение боль
утраты стала такой острой, что он не удержал стона.

Отчаянная борьба не ослабевала.

На заседании Коммуны в ратуше Сток познакомился
с одним из заместителей прокурора Коммуны. Ставший
знаменитым в эти исторические дни, Теофиль Ферре был
человеком невысокого роста, с растрепанной иссиня-чер-
ной шевелюрой, густой бородой и бакенбардами, резко
оттенявшими его мертвенно-бледное лицо, на котором
заметно выделялись крупный нос с подвижными тонкими
ноздрями и скорбно сведенные широкие брови. Черные
блестящие глаза под пенсне напряженно, пытливо и не-
сколько недоверчиво всматривались во все окружающее.
Он выглядел значительно старше своих двадцати шести
лет и зримо сочетал в себе могучую волю и нервную вос-
приимчивость.

Ферре был неистовым последователем Бланки и одним
из самых пылких ораторов среди членов Коммуны. Рабо-
чий Париж давно знал и ценил его речи, в которых вос-
кресали революции последнего столетия. Марат и Бабеф,
Леба, Боден и, наконец, великий узник Бланки говорили
с народом устами Ферре. Он был фанатически предан
революции и аскетичен в жизни. Его боялись люди с не-
чистой совестью, как олицетворения честности и безза-
ветной преданности идее. Власть была для него мощным
средством, но никогда самоцелью. Он боролся с контрре-
волюцией настойчиво, но, однако, недостаточно сурово,
потому что, как и остальные члены Коммуны, не верил в
ее могущество и проявлял нередко роковое великодушие,
снисходительность и доверчивость.

С первого дня победы рабочих непод шпионажа, измены, заговоров и злостного саботажа опутал столицу Франции. Только немногое удалось раскрыть и пресечь. Парижский телеграф намеренно распространял ложные сведения, некоторые офицеры Национальной гвардии продались Тьеру и действовали по его указу. Версальские наймиты пробрались на видные командные должности, пользуясь тем, что среди коммунаров было мало знатоков военного дела.

На собрании в ратуше, куда был приглашен и Сток, Ферре сообщил о раскрытии контрреволюционного заговора.

— Враги, — говорил он, — готовили нам Варфоломеевскую ночь. Они намеревались тайно провести через наши позиции версальские войска, переодетые в мундиры федератов, вторгнуться в Париж и начать массовую резню коммунаров. Чтобы опознавать друг друга, заговорщики собирались надеть на рукава цветные повязки.

— Никакой пощады тьеровским шакалам. На фонарь их! — закричали пораженные слушатели. — На фонарь!

Ферре продолжал говорить гневно, обводя всех горящим взором и откидывая рукой прядь черных волос, падавших на лоб:

— Худшее не в коварстве и выпадах лютых наших противников. К этому мы готовы всегда. Плохо то, что Комиссия безопасности ничего не знала о подготовляющемся нападении. Лишь случайность предотвратила преступление. Работница, которой один мелкий коммерсант, объявлявший себя сторонником рабочего самоуправления, заказал эти трехцветные опознавательные перевязи, уверенная, что трудится для Коммуны, пришла в ратушу, чтобы попросить о выплате ей вперед денег. Клубок начал распутываться, контрреволюционеры изобличены и задержаны.

В перерыве заседания Сток разговорился с Ферре.

— Не скажете ли вы мне фамилию коммерсанта-заговорщика? — спросил он между прочим.

— Отчего же, это более не тайна, — Ланье.

Сток изумился.

— Я знал его. Он всегда громче других кричал: да здравствует социальная республика, да здравствует Коммуна!

— Будьте бдительны! Все мы, социалисты, гуманны по самой своей природе, но иногда проявить твердость

и суровость — значит предотвратить чудовищную жестокость. Тьер своими зверствами по отношению к пленным коммунарам хочет вынудить нас казнить в ответ всех задержанных архиепископов и других его пособников. И знаете зачем? Чтобы за каждого убитого нами негодяя и заведомого врага революции уничтожать десятки тысяч ни в чем не повинных защитников Коммуны. Это двуногое чудовище считает пошлое кровопускание сорокавосьмого года недостаточным. Он мечтает, и не скрывает этого, перебить весь трудовой Париж и утопить таким образом в крови наши идеи. Слепец. Он не знает, что кровь мучеников-революционеров — могучее удобрение. Там, где она прольется, вырастет новое племя героев, и победа Коммуны рано или поздно неизбежна.

— Я тоже уверен в этом, — сказал Сток, чувствуя, как слова Ферре ускоряют биение его сердца.

— Доживем ли мы с вами до этого или нет, не важно, главное, что будет именно так.

Вернувшись домой, Сток снова припомнил Лапье, которого считал преданным революции человеком. Чувство недовольства собой, досада охватили машиниста. Часто обманывался он в людях, а казалось, должен был разбираться в них. Так и не постиг он, несмотря на нелегкую жизнь и тюремное заключение, трудную науку человековедения.

Сток обычно мерил людей по себе, мысленно переставляя себя на их место, стараясь представить, что бы чувствовал, как поступал.

Жанетта была значительно проницательнее мужа и реже поэтому испытывала разочарование в окружающих, которое обычно сравнивала со шрамами на сердце.

— Посмотри на птиц, — говорила она снисходительно Жану, — все они по многом схожи, летают, несут яйца и понимают, я уверена, друг друга, а как они различны. Голуби, например, изменчивы, легкомысленны, а вороны, наоборот, солидны, всегда трудятся и верны своим семьям, воробьи, по-моему, сущие лодыри, а ястребы те же волки. Я люблю лебедей, они похожи на огромные душистые пионы и учат нас любви и верности. Люди с виду одинаковы, но души их различны, как птицы. Надо суметь понять не только слова человека, видеть не одно лицо его, а душу. Это очень трудно, оттого на сердце столько шрамов.

— Вот и снова ты рассуждаешь, как женщина. Мы, мужчины, до такого не додумаемся, разве только поэты. Ланье — буржуа, и поэтому в нем смог прятаться враг Коммуны, но как понять Толена, рабочего? Он ведь один из основателей интернациональной секции. Что толкнуло этого чеканщика к гнуснейшему из палачей Жюлю Фавру и старому кровопийце Тьеру? Черту одному известно. Видно, беда моя в том, что я мало учился, постоянно теперь чувствую свое невежество, — сетовал Жан.

Этот разговор между супругами произошел в последнее их посещение своей маленькой квартирки. Воздух в ней был нежилой, затхлый, осиротевшие вещи покрылись пыльным саваном. Жаннетта начала было убирать в шкаф забытую на столе посуду, но затем, махнув рукой, подсела к мужу. Все вокруг казалось ей ненужной обузой. С грустной улыбкой вспомнила она, сколь упорно и жадно собирала когда-то мебель, посуду и дешевые безделушки, радовалась скромному уюту и достатку дома.

Два истекших месяца изменили не только жизнь, но и облик Жаннетты. В лице ее появились отрешенность и отпечаток глубоко скрытого страдания. Слишком часто приходилось ей быть восприемницей смерти, сознавать свое бессилие в борьбе за человеческую жизнь. И каждому раненому, которого Жаннетта выхаживала дни и ночи в убогих госпиталях, отдала она частицу своего сердца. Жан вдруг заметил, как постарела его жена. Устало вытянув вперед руки, она говорила и говорила, точно страшилась тишины:

— Когда ты был мальчишкой, то однажды, помню, читал мне книгу о людях, которые так любили солнце, что умирали, когда оно скрывалось. Так вот и мы. Какая жизнь может быть для рабочих без Коммуны? Тьма спустится на землю. Мы были так счастливы в первый день Коммуны, и мы умрем в ее последний день. Катрина уже погибла. Бедная девочка, как я надеялась увидеть ее счастливой. Своих детей у нас нет, хотела на ее малышей порадоваться.

Услыхав имя сестры, Жан закрыл лицо руками, он стыдился своих слез.

— Не дай нам бог пережить эту революцию, — Жаннетта вздохнула и замолкла. Потом она заговорила спокойно: — Почему, скажи, все доброе и прекрасное на свете так легко погибает? Попробуй-ка вырвать бурьян из

земли — помаешься. А цветы, особенно редкие, не выносят даже прикосновения.

«Ох уж эти женские рассуждения», — хотел было пошутить Жан, но не решился и нежно обнял жену. Голова ее легла на его плечо.

— Да ты у меня совсем седенькая стала, — огорчился Сток.

— Если бы только волосы, а то и душа вся побелела, — сказала Жанетта тихо. — Жаль мне людей наших, таких они хорошие, и тебя жаль, всего и всех жаль. Я верю в победу, но уж очень дорого она дается. Видно, как семени, надо лечь в землю, чтобы проросли всходы. Кровью своей и телом должны вскормить мы почву для будущего. — Голос ее дрогнул.

В это время в комнату донесся шум. Со свечой в руке Сток вышел на лестницу и замер у порога. Несколько коммунаров поднимались по ступеням, неся на носилках тело Красоцкого. За ними в темном развевающемся плаще, мертвенно-бледная, пугающе спокойная, шла Лиза, а сзади Анна Жаклар. Размозженная голова, залитое запекшейся кровью лицо Красоцкого сказали Стоку все.

Окруженный версальцами батальон, которым командовал Красоцкий, был оттеснен к Сене и почти поголовно уничтожен в бою. Раненный в ногу Красоцкий оказался в плену. Его поволокли, избивая по дороге. Один из версальцев, погнав перед собой коммунара, выстрелил ему в затылок, но пуля лишь пробила шею. Захлебываясь кровью, потеряв способность говорить, Красоцкий повернулся к убийце лицом. Руки его были связаны, раненая нога мешала двигаться.

И все-таки, окровавленный и грозный, он пошел грудью на убийцу. И такое презрение к смерти, уверенность в своей правоте, безмерное величие духа отражалось в огненных глазах умирающего, что палач упал перед ним на колени, уронив пистолет.

— Стреляйте же, добивайте этого скота! — заорал генерал Винуа, дрожа от бешенства, но никто из солдат окружения не пошевелился.

Несколько секунд длилось замешательство. Тогда Винуа, не глядя на жертву, двумя выстрелами убил Красоцкого.

Несколькими часами позже героический 101-й батальон под командой Врублевского атаковал версальцев и отогнал

пх. Труп Красоцкого был на лафете привезен к ратуше. Красоцкого погребли на кладбище Пер-Лашез подле могилы Ярослава Домбровского, главнокомандующего войсками Коммуны. Сердце Сигизмунда, как он завещал, Лиза сберегла в особом сосуде, чтобы закопать впоследствии в родной люблинской земле.

Коммунары продолжали стоять насмерть, умирали, но не сдавались и все еще надеялись на чудо победы.

Нет в истории более величественных, трагических, кровавых страниц, нежели поражение революции. Тогда кровоточит душа народа, растаптывается его извечная мечта и стремление к добру, справедливости и счастью.

Когда почти весь Париж был захвачен версальцами, Жан и Жаннетта с горсточкой храбрецов соорудили баррикаду и сражались на ней, покуда враги не подвезли пушки. Со времени хитроумной перестройки центральных магистралей Парижа бароном Османом баррикадные бои на широких улицах стали очень затруднительными. Сток с женой и товарищами бросились на кладбище Пер-Лашез. Там собрались готовые биться до последнего вздоха коммунары. Началась отчаянная ружейная схватка, скоро превратившаяся в рукопашный бой. Каждый склеп, надгробие служили укрытием для революционеров и нелегко давались противнику. Но силы были несоизмеримы. Кольцо вокруг последних защитников Коммуны сжималось, как петля виселицы. А майский день был кристально светел и чист. Над нарядными памятниками отцветали сирень и акация. Острый, пряный аромат цветов дурманил голову.

Отстреливаясь на ходу, Жан и Жаннетта оказались в Аллее маршалов. С белых постаментов на них взирали пустыми глазами наполеоновские полководцы в богатых мундирах с аксельбантами и тщательно высеченными по камню орденами. Жан увлек жену за статую некогда расстрелянного маршала Нея. Вокруг попискивали пули.

Жан и Жаннетта без отдыха участвовали в уличных боях уже несколько дней. Опаленные пороховым дымом, избитые осколками камней, в синяках и ссадинах, в разорванной одежде, они едва держались на ногах. Жан был ранен в голову, Жаннетта сняла свою кофточку, разорвала на бинты и наскоро перевязала его. Она потеряла ботинок и вынуждена была разуться, поэтому ноги мучительно ныли. Она спотыкалась и хромала. Жан

поддерживал ее. Так они, отстреливаясь, ползли от одного надгробия к другому.

— Патронов у нас больше нет. Все кончено, — сказал Сток глухо. — Если бы не ты в этом пекле, я был бы спокоен. Но как спасти тебя, моя бедняжка, моя любовь!

— Не такие, как мы, люди погибли уже. Не все ли равно, когда и как умереть. Мы вместе, и в этом счастье. Среди людей принять смерть будет легко. А без Коммуны какая нам жизнь? Помнишь июньские дни? Живые завидовали мертвым.

Солнце было в зените, когда с толпой обезоруженных коммунаров Жана и Жанетту озверевшие каратели прикладами и пинками погнали на расстрел к серо-желтой унылой кладбищенской стене. Они шли, держась за руки. Жанетта шепотом повторяла, как молитву, свое любимое с детства стихотворение:

О Франция, мой час настал: я умираю!
Возлюбленная мать, прощай: покину свет,
Но имя я твое последним повторяю.
Любил ли кто тебя сильней? О нет.

Поднялся ветер и, как наемная плакальщица, старательно застонал, шевеля густые кладбищенские кусты и деревья. Жанетта увидела птиц и подумала, что они одни на земле действительно свободны. Жан казнил себя мыслью, что позволил жене участвовать в боях.

Коммунары подошли к холодной стене, отгородившей от них все, чем они доныне жили. Это был их рубеж, предел. Измученные, они не все держались на ногах и покорно опустились на землю. Жан ужаснулся, увидев женщин на сносях, седовласых старцев, подростков и матерей с грудными детьми на руках. Обреченные жались друг к другу и к стене в поисках опоры. Смерть обещала свободу.

— Не бойся, любимый. Миг — и потом уже ничего больше. Все живое умрет, — ободрила мужа Жанетта. «Мы носим в себе смерть всю жизнь, мы беременны ею», — подумала она, поразившись этому открытию.

Но вдруг поодаль раздался детский плач. Безмолвная, смирившаяся толпа вдруг очнулась, вздрогнула. Верзилы понял, что медлить нельзя. Офицер скомандовал, и десятки нацеленных дул скрыли искривленные лица убийц.

— Миг, один миг, — шепнула Жаннетта, подалась вперед и, закрыв собой мужа, громко выкрикнула: — Да здравствует Коммуна!

— Да здравствует Коммуна! — прокатилось над кладбищем Пер-Лашез.

Раздался залп, один, другой, третий. Все было кончено. Убитых оттащили в сторону, чтобы очистить место для следующих жертв, которых согнали на место бойни. Теплая липкая кровь ручейками стекала с камней, образуя на них несмываемые багрово-желтые полосы, вычерчивая таинственные мрачные узоры.

К вечеру ветер усилился, и казалось, кладбище ожило. Сток пришел в себя, когда совсем стемнело. Сначала он ничего не мог сообразить.

Однако раны, причинявшие ему жестокую боль, вернули понимание происшедшего. Он попытался подняться, но ему помешала какая-то навалившаяся на него тяжесть. Это была мертвая Жаннетта. В последнюю минуту она заслонила его собой.

Жан прижался к отталкивающе ледяному телу жены. Он звал смерть и проклинал жизнь. Запах сладковатой терпкой крови сводил его с ума. Он снова потерял сознание. Когда оно вернулось, уже взошла луна. Ее мертвенный свет показался Стоку отвратительным. Он поднял руку и погрозил небу. Кладбище, казалось ему, наполнилось зловещими тенями. Превозмогая боль, Жан на четвереньках отполз от наваленных в кучу мертвецов, поднялся на ноги и, шатаясь, держась за ветки, опираясь о кресты и памятники, двинулся по аллеям. Он хотел, чтоб его обнаружили и убили. Ни о чем другом Жан не думал. «Скорее, скорее, где же враги, их ведь так много».

И снова Сток очутился у пышных мраморных мавзолеев, где несколько часов назад он, несмотря на обреченность, не чувствовал себя столь несчастным, потому что рядом находилась живая Жаннетта.

— О господи, — услышал Жан испуганный возглас подле себя. — Вы что — человек или привидение с того света?

— Я коммунар, меня надо расстрелять, — прохрипел Жан. У него пропал голос. — Веди меня скорее к вершальцам. Сегодня в Париже живы только Иуды и палачи.

— Молчи, безумец, я надеялся отыскать в груде трупов своего отца, но его там нет. Мой брат — кладбищенский сторож, и мы спрячем тебя, можешь нам довериться. Коротки лапы у Тьера и Фавра, чтобы уничтожить всех друзей Коммуны.

Жан был спасен.

Когда версальцы проникли на бульвар Сен-Марсель и частям Врублевского грозило окружение, он решил отступить. Под защитой батарей на Аустерлицком мосту Врублевский и тысяча его бойцов в строгом порядке за решли Сену. Версальцы не осмелились напасть на них. Отныне весь левый берег принадлежал неприятелю.

В тот же день, после отказа прусского командования вступить в переговоры, Парижская коммуна предложила Врублевскому главное командование.

— Есть ли у вас несколько тысяч решительных людей? — спросил поляк.

— Самое большее — у нас несколько сот.

Врублевский не принял на себя ответственности при столь неравных условиях и предпочел драться на баррикадах простым солдатом. В последние минуты существования Коммуны с несколькими боевыми товарищами он добрался до дома одного верного консьержа на окраине Парижа, переоделся в штатское платье и скрылся.

После захвата власти в Париже версальцами Врублевский, пренебрегая опасностью, открыто посещал одно кафе, где встречался с поляками. Однажды его навестил там знакомый публицист и историк из Польши и был поражен тем, что Врублевский так открыто появляется на улицах французской столицы. Он умолял Врублевского скорее уехать в Лондон.

— Кажется, там скверный климат, — иронически возразил прославленный генерал Коммуны. — А здесь в Париже, мне очень хорошо. Меня окружают честные рабочие, оберегают меня.

Тьеровские полицейские ищейки с ног сбились в поисках храброго полководца Коммуны. После долгих уговоров Врублевский согласился покинуть Париж. Генерал Владислав Замойский, которому Врублевский при Коммуне спас жизнь, с трудом достал ему польский паспорт. На границе полицейские комиссары терпеливо и дол-

сличали паспорта едущих в Лондон с многочисленными фотографиями коммунаров, но Врублевский остался неузнанным и благополучно отплыл из Кале в Англию.

Елизавета Дмитриева исчезла. Ее не было среди десятков тысяч героев, схваченных палачом Тьером.

Секретарь русского посольства в донесении начальнику III Отделения графу Шувалову сообщал:

«Эта опасная женщина, русская подданная, уже давно бросилась в социалистическое движение... Можно было предвидеть, что она сыграет заметную роль в конечном периоде восстания. Действительно... Елизавету Дмитриеву видели на баррикадах, она воодушевляла федератов... раздавала им амуницию и сама стреляла, стоя во главе пятидесяти мегер... Какова судьба этой сумасшедшей? Казнили ли ее среди других, не установив ее личности. Перевезли ли ее в Версаль и оттуда в какой-нибудь морской порт под ложным именем, выдуманным ею самой? До сих пор невозможно было узнать что-либо на этот счет».

Елизавета Дмитриева была ранена на одной из баррикад возле Бастилии. Несмотря на боль, она отказалась покинуть боевых товарищей и продолжала отстреливаться, являя поразительную храбрость. С ней рядом сражался с врагами молодой венгр, член Парижской коммуны и Интернационала, Лео Франкель. Пуля пробила ему руку. Версальцы повели наступление на последнюю баррикаду. Коммунары зажгли фитили пороховых бочек. Начались взрывы. Враг был задержан, время выиграно. Бойцы через проходные дворы и закоулки привели Дмитриеву и Франкеля к линии фронта, занятой германскими войсками. Спасение их зависело теперь от возможности перейти рубежи.

Лео Франкель и Дмитриева присоединились к группе пригородных крестьян и городских обывателей, которые покидали Париж. Красавица Елизавета Лукинична, скрывая перевязанную руку, закуталась в черный плащ и кокетливо надвинула на лоб тирольскую фетровую шляпу с коричнево-зеленым пером. Она превосходно разыграла великосветскую даму перед пограничным патрулем. Никто не смог заподозрить в ней, свободно владевшей немецким языком, коммунарку. Откозыряв, офицер без малейших возражений пропустил элегантную даму, опираясь на руку добропорядочного бородатого госпо-

дина, в занятую пруссаками местность. В ближайшей деревне Дмитриева и Франкель раздобыли экипаж и двинулись по направлению к Швейцарии.

— Мне удалось, — вспоминал Лео Франкель, — проскользнуть рядом с другими людьми, среди которых находилась на редкость талантливая дама, стоявшая во главе Центрального комитета женщин, раненная рядом со мной в баррикадных боях, в которых она принимала живейшее участие. Один французский рабочий устроил нам вход в какой-то дом, откуда мы беспрепятственно смогли перейти границу. Но меня по пути несколько раз задерживали французские жандармы и полицейские, требовавшие предъявления документов, спрашивали у меня, кто, откуда и куда иду. При отсутствии у меня паспорта я бы, наверное, попался, если бы мне не помог мой притворно-простодушный вид... Но... какой-то полицейский ни за что не хотел удовлетвориться моими ответами и, как Шейлок, настаивая на «расписке», заставил меня выйти из экипажа. «Вот тут-то и попался!» — подумал я, любезно предлагая руку своей попутчице, которая ни за что не хотела покидать меня, пока я не буду вне опасности. Руку я предложил намеренно, чтобы скрыть, что она раненая. Холодным, невозмутимым тоном я спросил полицейского, далеко ли он собирается меня вести, так как мне не хотелось бы опоздать на поезд. «В крайнем случае, — так же спокойно заметила моя попутчица, — мы тут переночуем, а завтра утром уедем».

«Мне очень неприятно, — ответил полицейский, — но я не могу сказать вам, будут ли завтра еще действительны ваши путевые билеты. А вы, собственно, куда хотите ехать?» — спросил он меня. «Как куда? В Германию!» — ответил я. Он заколебался. «Ну тогда... Ладно, садитесь обратно. Но когда вернетесь, позаботьтесь о паспорте». Так мне удалось выскользнуть из рук сыщиков. Приехав в Кале, я вынужден был распрощаться с моей боевой подругой и попутчицей.

Едва весть о судьбе Коммуны дошла до Бордо, в городе начался разгул реакции.

«Почва Бордо оказалась слишком горяча для него, — писала Лаура отцу о Лафарго. — Реакция свирепствует там, как и везде. Версальские звери разослали своих шпионов и жандармов по всей Франции, и во всех боль-

ших городах стало невозможно жить тем, кто не в достаточно хороших отношениях с полицией».

Чтобы избежать ареста, Лафарги с двумя больными детьми отправились на юг Франции, в Пиренеи, поближе к испанской границе. Следом за ними туда же прибыли Женнихен и Элеонора. Однако в курортном местечке Люшон Поль Лафарг пробыл недолго. Как-то на рассвете его разбудил доброжелатель республиканец, служивший в полиции, и предупредил о предстоящем аресте эмиссара Интернационала, связного между Бордо и Парижской коммуной, зятя самого Маркса.

Лафарг тотчас же тайно выехал в Испанию. Все три дочери Маркса остались в Люшоне, так как младший ребенок Лауры был тяжело болен. Вскоре он умер. Только в начале августа Лаура, с единственным из трех оставшимся в живых сыном, в сопровождении Женнихен и Тусси, направилась к мужу, в маленький испанский городок.

Проводив сестру за границу, Женнихен и Тусси вернулись во Францию. Они добрались до пограничного французского местечка, рассчитывая беспрепятственно поехать в Люшон, но, несмотря на британские паспорта, сестры были задержаны.

Женнихен впоследствии обстоятельно рассказала в прессе все, что произошло с ней и Элеонорой на границе Франции и Испании.

«Нам удалось без приключений проехать по плохим испанским дорогам и благополучно добраться до Фоса. Там французские таможенные чиновники задают нам обычные вопросы и заглядывают в нашу коляску, чтобы убедиться, нет ли у нас какой-нибудь контрабанды. Так как у нас ничего нет, кроме наших пальто, я говорю кучеру, чтобы он трогал, как вдруг появляется перед нами некая особа — не более не менее как procureur de la République[1], барон Дезагарр, — и заявляет: «Именем республики предлагаю вам следовать за мной». Мы оставляем нашу коляску и входим в маленькую комнатку, где нас ожидает существо отталкивающего вида — весьма неженственная женщина, — которой было поручено нас обыскать. Так как мы не хотели, чтобы эта грубая

[1] Прокурор республики (*франц.*).

особа дотрагивалась до нас, мы предлагаем сами снять наши платья. Мужеподобная женщина и слышать не хочет об этом. Она выбегает из комнаты и вскоре возвращается в сопровождении прокурора республики, который весьма грубо говорит моей сестре: «Если вы не позволите этой женщине обыскать вас, я сделаю это сам». Моя сестра отвечает: «Вы не имеете права прикасаться к британскому подданному. У меня английский паспорт». Видя, однако, что с английским паспортом не очень считаются, что предъявитель такого паспорта не внушает г-ну барону Дезагарру особого уважения, ибо похоже на то, что он совершенно серьезно готов перейти от слов к делу, мы разрешаем женщине поступать, как она хочет. Она распарывает даже швы наших платьев, заставляет нас снять даже чулки. Мне кажется, что я до сих пор чувствую, как ее паучьи пальцы перебирают мои волосы. Найдя у меня лишь газету, а у сестры — разорванное письмо, она бежит с ними к своему другу и союзнику, г-ну барону Дезагарру. Нас провожают к нашей коляске, нашего собственного кучера, который служил нам «гидом» во время всего нашего пребывания в Пиренеях и очень привязался к нам, насильно удаляют и заменяют другим; против нас в коляске усаживаются два чиновника, и так мы отправляемся в сопровождении повозки, битком набитой таможенными стражниками и полицейскими. Через некоторое время, убедившись, без сомнения, что мы не так уж опасны, что мы не покушаемся на убийство наших часовых, наш эскорт покидает нас, и мы остаемся на попечении двух чиновников в коляске. Под такой охраной мы проезжаем одну деревню за другой, через Сен-Беа, причем обитатели этого сравнительно большого города собираются толпами, принимая нас, очевидно, за воровок или, по меньшей мере, за контрабандистов. В 8 часов, в совершенном изнеможении, мы приезжаем в Люшон, пересекаем городской сад, где собрались сотни людей слушать музыку, так как дело было в воскресенье и в разгар сезона. Наша коляска останавливается перед домом префекта, г-на графа де Кератри. Так как этого важной особы нет дома, то нас — все время под стражей — заставляют ждать у его двери. Наконец отдается распоряжение доставить нас в наш дом, который оказывается окруженным жандармами. Мы тотчас же идем наверх... но так как жандарм и полицейский в штатском

следуют за нами даже в нашу спальню, то мы возвращаемся в гостиную, не освежившись, чтобы ждать прибытия префекта. Часы бьют девять, десять; г-н де Кератри не явился — он слушает музыку в парке и, как говорят, твердо решил не уходить до тех пор, пока не отзвучит последний аккорд. Тем временем дом наш наводняется mouchards; [1] они входят в комнату, как будто в свою собственную, устраиваются, как у себя дома, располагаются на наших стульях и диване. Вскоре нас окружает пестрая толпа полицейских; по всему видно, что эти преданные слуги республики прошли срок своего ученичества при империи, — они вполне владеют своим почетным ремеслом. Они прибегают к самым невероятным хитростям и уловкам, чтобы втянуть нас в разговор, но, видя, что все их усилия напрасны, пялят на нас глаза так, как это могут делать лишь «профессионалы», пока наконец в половине одиннадцатого не появляется префект в сопровождении генерального прокурора, г-на Дельпека, судебного следователя, мирового судьи, тулузского и люшонского комиссаров и т. д. Моей сестре велят удалиться в соседнюю комнату; с ней уходят тулузский комиссар и один жандарм. Начинается мой допрос. Я отказываюсь сообщить какие бы то ни было сведения о моем зяте и других родственниках и друзьях. Относительно меня самой я заявляю, что лечусь и приехала в Люшон на воды. Больше двух часов г-н де Кератри увещевает и убеждает меня, а в конце концов угрожает, что, если я буду и дальше отказываться выступить в качестве свидетеля, меня будут считать сообщником. «Завтра, — говорит он, — закон *заставит* Вас дать показание под присягой, ибо — разрешите мне сказать Вам — г-н Лафарг и его жена арестованы». Тут я встрепенулась — ведь ребенок моей сестры был болен.

Наконец приходит очередь моей сестры Элеоноры. Мне приказывают повернуться к ней спиной, пока она будет говорить. Передо мной становится офицер, на случай если я попытаюсь сделать какой-нибудь знак. К досаде моей, я слышу, что сестру постепенно вынуждают отвечать да или нет на задаваемые ей бесчисленные вопросы. Позже я узнала, каким образом ее заставили говорить. Указывая на мое письменное заявление, г-н до

[1] Шпионами (*франц.*).

Кератри (стоя к нему спиной, я не могла видеть его жестов) утверждал как раз обратное тому, что я в действительности говорила. Поэтому, боясь вступить со мной в противоречие, сестра не опровергала заявлений, которые я будто бы сделала. Ее допрос кончился только в половине третьего. Шестнадцатилетняя молодая девушка, бывшая на ногах с пяти часов утра, пропутешествовавшая девять часов в невероятно жаркий августовский день и ничего не евшая с самого Бососта, подвергалась перекрестному допросу до половины третьего ночи!

Остаток этой ночи тулузский комиссар и несколько жандармов провели в нашем доме. Мы легли, но спать не могли, так как ломали себе голову, как бы послать человека в Босост предупредить г-на Лафарга, если он еще не арестован. Мы выглянули в окошко. Жандармы разгуливали по саду. Выйти из дому было невозможно. Мы были в строгом заключении... На следующий день хозяйка и прислуга давали показания под присягой. Меня опять более часу допрашивал генеральный прокурор... Этот хвастливый герой, г-н барон Дезагарр, читал мне длинные цитаты, указывая на наказания, которым я могу подвергнуться, если буду продолжать отказываться выступить в качестве свидетеля. Однако эти господа напрасно расточали свое красноречие. Я спокойно, но твердо заявила, что не буду присягать, и осталась непоколебима.

Допрос моей сестры длился на этот раз только несколько минут. Она также категорически отказалась присягать.

Перед уходом генерального прокурора мы попросили у него разрешения написать несколько строк нашей матери, так как боялись, что известие о нашем аресте может попасть в газеты и взволновать наших родителей. Мы предложили написать это письмо по-французски, в присутствии самого г-на Дельпека. Оно должно было состоять лишь из нескольких фраз: «мы здоровы» и т. д. Прокурор отказал в нашей просьбе под предлогом, что у нас может быть условный язык, что под словами: мы здоровы может скрываться какой-нибудь тайный смысл.

...Вот еще одно доказательство их невероятной глупости: найдя, как нам передала наша горничная, множество коммерческих писем, принадлежащих г-ну Лафаргу, в которых упоминалось об экспорте овец и быков,

они воскликнули: «Быки, овцы — интриги, интриги! Овцы — коммунары; быки — члены Интернационала».

До конца дня и ночью мы снова были поручены заботам нескольких жандармов; один из них сидел против нас, даже когда мы обедали.

На следующий день, 8-го, мы удостоились визита префекта и еще одного лица, по нашим предположениям, его секретаря...

Г-н де Кератри после очень длинного предисловия сообщил нам весьма благодушно, что власти ошиблись; выяснилось, что нет никаких оснований для возбуждения дела против г-на Лафарга, что он невиновен и поэтому волен вернуться во Францию. «Что же касается Вашей сестры и Вас самих, — сказал г-н де Кератри, думая, как я полагаю, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, — против нас значительно больше улик, чем против г-на Лафарга (таким образом, мы вдруг превратились из свидетелей в обвиняемых) и по всей вероятности вас вышлют из Франции. Однако в течение дня должен прийти приказ правительства о вашем освобождении». Затем, приняв отеческий тон, он сказал: «Во всяком случае, разрешите мне посоветовать вам умерить в будущем ваш пыл...» Вслед за этим предполагаемый секретарь внезапно спросил: «Что, Интернационал в Англии — могущественная организация?» — «Да, — ответила я, — весьма могущественная, и в других странах тоже». — «Ах, — воскликнул г-н де Кератри, — Интернационал — это религия!» Перед своим уходом г-н де Кератри еще раз заверил нас честным словом, что Поль Лафарг свободен и попросил немедленно написать ему об этом в Бордо и предложить ему вернуться во Францию. Но мне показалось, что петлицу де Кератри украшает красная ленточка Почетного легиона, и так как я держусь того мнения, что честь рыцарей Почетного легиона весьма отлична от чести простых смертных, то я подумала, что осторожность не повредит, и, вместо того чтобы посоветовать г-ну Лафаргу вернуться в Люшон, я решила поступить наоборот и попросила одного друга послать ему денег, которые дали бы ему возможность уехать дальше в глубь Испании.

Сопровождаемые повсюду нашей тенью — жандармами, мы тщетно ожидали обещанного приказа об освобождении. В 11 часов ночи procureur de la République вошел

в нашу комнату, но вместо того, чтобы передать нам приказ об освобождении, он предложил нам уложить необходимые вещи и последовать за ним в une maison particulière [1]. Я знала, что это незаконно, — но что нам было делать? С нами в доме было лишь несколько женщин, в то время как прокурора сопровождало изрядное количество жандармов. Поэтому, не желая доставить этому трусливому хвастуну, г-ну Дезагарру, удовольствие применить грубую силу, мы велели плачущей горничной приготовить наши платья и т. д. и, попытавшись утешить дочь нашей хозяйки обещанием, что мы скоро вернемся, сели в коляску, где находились уже два жандарма; нас повезли неизвестно куда, глубокой ночью, в чужой страпе.

Местом нашего назначения оказались бараки gendarmerie [2], нам указали нашу спальню, нашу дверь должным образом забаррикадировали снаружи и оставили нас одних...

Мы оставались пленницами. Без паспорта мы не могли выехать из Франции, где нас, очевидно, собирались держать до тех пор, пока, придравшись к какому-нибудь случаю, можно будет снова нас арестовать.

Полицейские органы Тулузы ежедневно обвиняли нас в том, что мы действуем в качестве эмиссаров Интернационала на французской и испанской границах...

Я упомянула выше, что нашего кучера заставили покинуть нас в Фосс. Вслед за тем г-н Дезагарр, procureur de la République, и несколько «джентльменов» из полиции пытались убедить его, с самым невинным видом, чтобы он вернулся в Босост и под ложным предлогом уговорил бы г-на Лафарга приехать в Фос. К счастью, один честный человек сильнее полдюжины полицейских агентов. Догадливый малый сообразил, что под этим красноречием кроется что-то неладное, и категорически отказался ехать за г-ном Лафаргом, в результате чего жандармы и таможенные стражники с прокурором во главе отправились в экспедицию в Босост. Г-н барон Дезагарр, в глазах которого «благоразумие есть лучшее проявление храбрости», заявил ранее, что он не отправится в Фос для поимки г-на Лафарга без достаточного

---

[1] Специальное здание (*франц.*).
[2] Жандармских казарм (*франц.*).

эскорта; что он с одним или двумя жандармами не справится с человеком, подобным г-ну Лафаргу, который, наверное, прибегнет к огнестрельному оружию. Г-н Дезагарр ошибался — ему была уготована не пуля, а пинки и тумаки. Вернувшись из Бососта, он вздумал мешать крестьянам, собравшимся на деревенский праздник. Славные горцы, любящие свою свободу не меньше, чем свой горный воздух, задали благородному барону изрядную трепку и выпроводили его вон если не поумневшим, то во всяком случае более мрачно настроенным! Но я забегаю вперед.

Я остановилась на том, что г-н Дезагарр и его спутники отбыли в Босост. Скоро они достигли этого города и нашли гостиницу, где остановились Лафарги, ибо жители Бососта располагают лишь двумя гостиницами, или, вернее, постоялыми дворами. Они еще не настолько цивилизованы, чтобы иметь полагающееся количество постоялых дворов. Так вот, в то время как г-н Дезагарр стоит у парадной двери гостиницы Массе, г-н Лафарг при содействии своих добрых друзей, крестьян, выходит из дома через черный ход, взбирается на гору и спасается по тропинкам, известным только проводникам, козам и английским туристам, — все проезжие дороги охранялись испанскими карабинерами. Испанская полиция с энтузиазмом пришла на помощь своим французским собратьям. Г-же Лафарг суждено было испытать на себе все благодеяния международного товарищества полицейских. В 3 часа утра в ее спальню врываются четыре испанских офицера с карабинами, направленными на кровать, где спит г-жа Лафарг с ребенком. Бедный больной малютка, внезапно разбуженный и испуганный, начинает кричать; но это не мешает испанским офицерам заглядывать в каждую дырку и щель в комнате, — нет ли там г-на Лафарга. Убедившись наконец, что их добыча ускользнула от них, они объявляют, что заберут г-жу Лафарг. Тут вмешался хозяин гостиницы — весьма достойный человек, — заявляя, что испанское правительство безусловно не даст своего согласия на выдачу женщины. Он был прав. Г-же Лафарг разрешили остаться в Бососте, но с тех пор за ней не прекращалась тягостная слежка агентов полиции. Отряд шпионов устроил свой главный штаб в гостинице...

Но я чуть не забыла объяснить, почему г-ну де Кератри не удалось повидать г-жу Лафарг. Дело в том, что один французский крестьянин из Люшона известил некоторых своих испанских друзей в Бососте о предполагаемом визите г-на де Кератри, а те, конечно, немедленно предупредили г-жу Лафарг...

О бегстве г-на Лафарга г-жа Лафарг известила нас вскоре после нашего освобождения... Позднее мы узнали от одного обитателя Бососта, что г-на Лафарга арестовали в Уэске и что испанцы предложили выдать его французскому правительству. В тот день, когда мы получили это сообщение, наш английский паспорт был нам возвращен мировым судьей. Тогда, чтобы положить конец тревоге, в которой, как мы знали, находилась г-жа Лафарг, прикованная к Бососту болезнью ребенка, в неведении о судьбе мужа, мы немедленно решились ехать в Уэску, чтобы попытаться узнать у губернатора провинции, каковы действительные намерения испанского правительства относительно г-на Лафарга. Приехав в Сан-Себастьян, мы, к нашей радости, узнали, что г-н Лафарг выпущен на свободу. Тогда мы тотчас же вернулись в Англию.

Не могу закончить этого письма, не упомянув вкратце о том обращении, которому подверглась наша хозяйка... В 11 часов утра префект, генеральный прокурор, procureur de la République и т. д. совершили набег на наш дом. Взбешенные тем, что им не удалось захватить в свои лапы г-на Лафарга, они излили свою злобу на г-же С., женщине, страдающей застарелой болезнью сердца...

Если бы, воюя против пруссаков, г-н Кератри пользовался тем же методом, чтобы защищать свои фланги и тыл от внезапного нападения, чтобы застигать врасплох вражеские отряды, устанавливал наблюдательные посты и высылал вперед лазутчиков, — дела в Бретани шли бы лучше, если судить, конечно, по успеху тактики де Кератри в Фосе!

Нашей хозяйке не разрешили разжечь огонь в собственной кухне; ей приказали спать не в постели, а на полу. Последнему приказанию, однако, она отказалась повиноваться. Схватив ее сына, ребенка, которому нет еще трех лет, префект утверждал, что это сын г-на Лафарга. Г-жа С. неоднократно убеждала его, что он ошиб-

бается, но напрасно; наконец, стремясь удостоверить личность ребенка (она боялась, что его заберут), она воскликнула: «Помилуйте, мальчик говорит только на местном наречии!» Сначала даже этот аргумент как будто бы показался префекту недостаточно убедительным. Может быть, г-н де Кератри, утверждающий, что «Интернационал — это религия», вспомнил при этом о чуде в виде спустившихся на апостолов с неба разделяющихся языков.

Одной из причин, почему с г-жой С. так плохо обращались, было то, что она никогда в жизни не слышала об Интернационале и потому не могла дать сведений о делиях этого таинственного общества в Люшоне. Кстати говоря, это было бы непосильной задачей для самого осведомленного члена — во всяком случае до того времени, как г-н де Кератри начал свою активную пропаганду в пользу Международного Товарищества. Затем г-жа С. оказалась виновной в том, что с похвалой отзывалась о своем жильце, г-не Лафарге. Но главным преступлением было то, что она не могла указать, где спрятаны бомбы и керосин.

Да! Это факт, в нашем доме искали бомбы и керосин. Заметив маленький починчок, которым пользовались для подогревания молока ребенку, синклит властей стал внимательно разглядывать лампочку, обращаясь с ней с такой осторожностью, будто это была адская машина, с помощью которой можно было бы, находясь в Люшоне, залить керосином улицы Парижа. Даже Мюнхаузен не предавался такому буйному полету фантазии... Власти на самом деле верят в дикие басни о керосине — порождение их собственного больного мозга.. Они действительно думают, что женщины Парижа «не звери и не люди, не мужчины и не женщины», но... разновидность саламандр, обожающих свою родную стихию — огонь».

Полиция упорно искала в столице Анну Жаклар. Многие деятельницы Коммуны были уже арестованы и ждали в тюрьмах суда. Но Анне Васильевне удалось спастись, благодаря мужу своей сестры Владимиру Ковалевскому, который помог ей скрыться.

Участь Жаклара оказалась нелегкой. Он сражался до последнего патрона на одной из баррикад в страшный

день 28 мая, когда Коммуна перестала существовать. Опознанный затем на улице, Жаклар был арестован и подвергнут пытке. Как и многих других коммунаров, его раздели, привязали к столбу и избили дубинами. Ему предстоял расстрел или, в лучшем случае, ссылка в Новую Каледонию, если бы Анне не удалось упросить своего отца генерала Корвин-Круковского, хорошо знавшего Тьера по совместному пребыванию на курорте, вмешаться в это дело. Благодаря этому Жаклару удалось бежать из версальских застенков.

В той же тюрьме, где был заключен Жаклар, находились Луиза Мишель и Теофиль Ферре. С поразительным хладнокровием руководил бесстрашный последователь Бланки обороной последних позиций коммунаров. Ему удалось ускользнуть от преследующих его по пятам версальцев и найти надежное убежище. Он мог бы спастись, но версальцы решили отомстить его семье. Они арестовали его отца, брата и пригрозили увезти в тюрьму тяжело больную сестру. Старушка мать Теофиля не выдержала испытания. Обезумев от горя, она назвала улицу, где скрывался ее сын-коммунар. Все дома в переулке Сен-Совер были оцеплены. Ферре арестовали. В тюрьме он проявил всю чистоту и твердость своей души.

Как всегда, Ферре заботился не о себе, хотя знал, что дни его сочтены. Теофиль встречал приближающийся конец своей короткой жизни, как стоик, спокойно и находил силы, чтобы ободрять товарищей по заключению. Он стремился возвеличить Коммуну, стараясь, чтобы мир узнал правду о ее действительных целях и делах. До последнего дня он переписывался с Луизой Мишель, с которой был связан дружбой, основанной на единстве воззрений и преданности Коммуне. Письма их друг к другу передавала тюремная прачка, зашивая их в рукава выстиранного белья.

Луиза переслала Ферре сделанные из клочков своего шарфа алые гвоздички — этот символ революционных надежд, а также несколько своих стихотворений. Ферре ей ответил.

«Думаю, — писал он Луизе, — Вас порадует это известие — много хороших и умных людей уже находятся в безопасности. Вам, вероятно, хорошо знакома моя манера смотреть на вещи. Поэтому, без сомнения, Вас не удивит, если я скажу, что я все больше и больше

убеждаюсь в том, что наши идеи в конце концов победят. Мы сейчас были побеждены. Ну что же! Если не мы, то наши братья возьмут реванш. Так какое же имеет значение, если я, например, в это время уже не буду жить? Я знаю храбрость и энергию моих товарищей по борьбе и уверен, что моя казнь только увеличит их рвение и сделает еще более необходимым справедливое возмездие... Вместо того чтобы огорчаться нашими неудачами, проанализируйте лучше их последствия, и вместе со мной Вы убедитесь, что никогда социализм не был необходим, как сегодня».

Зная безрассудно смелый, неукротимый, стремительный и великодушный характер «Красной девы Монмартра», Ферре призывал ее в интересах дела к дальновидности, выдержке, уговаривал не бросать вызова судьям и не жертвовать собой бесцельно, а постараться обрести свободу.

«Можно сохранять свое достоинство, не будучи, однако, наивной... — настаивал он, — советую не забывать моих замечаний и постараться поскорее выбраться из этого осиного гнезда».

Для Луизы Мишель, которая была на пятнадцать лет старше Теофиля Ферре, он всегда оставался не только любимым другом, но и непререкаемым авторитетом. Ничто не могло сломить его духа, хотя несчастья сопутствовали ему до самого последнего дня жизни. Мать, которую Ферре очень любил, сошла с ума после его ареста и вскоре умерла, отец находился под арестом. Младший брат Теофиля был в той же тюрьме и, не выдержав заточения, лишился рассудка. После того как Ферре был приговорен к смертной казни, к нему в камеру перенесли внезапно в буйстве брата. За два часа до расстрела Ферре писал твердой рукой своей сестре Мари:

«Версальская одиночная тюрьма, камера № 6, вторник, 28 ноября 1871 г., 5½ часов утра.

Дорогая сестра! Через несколько мгновений я буду мертв. В последнюю минуту я буду вспоминать о тебе. Прошу тебя, потребуй, чтобы тебе выдали мое тело, и похорони его вместе с телом нашей несчастной матери. Если можешь, напечатай в газетах о часе погребения, чтобы друзья могли проводить меня. Само собой

разумеется, никакого церковного обряда: я умираю, как и жил, материалистом...

...Преодолей свое горе и будь на высоте положения, как ты мне не раз обещала. Что до меня, то я счастлив: приходит конец моим мучениям, и потому жаловаться мне не на что. Все мои бумаги, платье и другие вещи должны быть выданы тебе, за исключением денег, которые я оставляю в конторе для менее несчастных заключенных».

Теофиля Ферре отвезли на впитавшее немало крови героев Коммуны поле Сатори вместе с двумя товарищами, приговоренными к смерти за добровольный переход из версальской армии к коммунарам. Нытливые журналисты разных газет сопровождали зловещий кортеж смертников и присутствовали на казни.

В семь часов на поле раздался бой барабанов и появились три экипажа с осужденными. Воцарилась могильная тишина. Судья, приговоривший Ферре к смерти, снова зачитал приговор. Самообладание ни на секунду не покидало Теофиля Ферре. Он спокойно курил сигару, опершись о роковой столб. Когда сержант подошел к нему, чтобы завязать глаза, Ферре спокойно взял повязку и бросил ее на шляпу, лежавшую у его ног. С открытыми глазами, гордо выпрямившись, как знаменосец, встретил смерть один из безупречнейших героев Коммуны.

Маркс и его семья переживали мучительные, страшные дни, беспокоясь о соратниках, сражавшихся в Париже. Ничего не знали они и о Элизе. Наконец из Швейцарии пришла долгожданная весть от секретаря Романского федерального комитета Интернационала о Дмитриевой: «Это чудо, что она спаслась. Она у нас в Женеве, и мы окружаем ее с величайшей заботой. Ей удалось с несколькими друзьями и подругами ускользнуть от этой ужасной бойни».

Осенью 1871 года, оправившись от ранения, потрясенная и раздавленная всем пережитым в Париже, Дмитриева вернулась на родину. Тайна ее настоящего имени не была раскрыта русской полицией. Дмитриевой больше не существовало. Елизавета Лукинична Томановская, вдова полковника, беспрепятственно пересекла русскую

границу и направилась в Новгородскую губернию. После недолгого пребывания в глуши она уехала в Москву. Связь ее с Марксом изредка поддерживалась письмами.

Тридцатого мая 1871 года, через два дня после падения последней баррикады в Париже, Генеральный Совет единодушно одобрил зачитанный Марксом текст воззвания Интернационала о гражданской войне во Франции. Оно было опубликовано в Лондоне 13 июня 1871 года на английском языке в виде брошюры в тридцать пять страниц, тиражом в тысячу экземпляров. Но первое издание быстро разошлось, и вскоре потребовалось второе, которое распространилось по удешевленной цене среди рабочих. В августе того же года было выпущено третье английское издание.

Не все члены Генерального Совета отнеслись, однако, к этому воззванию положительно. Оджер и несколько его единомышленников испугались, как бы не навлечь резкого недовольства английской буржуазии, подачки которой они охотно принимали. Давнишние расхождения Оджера и Маркса усилились, и преуспевающий обуржуазившийся сапожник был исключен из Международного Товарищества Рабочих.

В 1871—1872 годах «Гражданская война во Франции» была переведена на французский, немецкий, русский, итальянский, испанский и голландский языки.

Перевод этой новой работы Маркса на немецкий язык был сделан Энгельсом и напечатан в Германии в газете «Народное государство», а впоследствии издан брошюрой в Лейпциге. На русском языке первое издание «Гражданской войны по Франции» появилось в 1871 году в Цюрихе.

В этом произведении, как и в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта», со всей силой проявился поразительный дар Маркса угадывать значение и последствия великих исторических событий в момент, когда они совершаются.

Еще в «Восемнадцатом брюмера» Маркс высказал мысль о необходимости слома по время пролетарской революции буржуазной государственной машины. Развивая дальше это положение в «Гражданской войне во Франции» и рассматривая буржуазное государство как общественную силу, организованную для социального

порабощения трудящихся, как машину классового господства, Маркс приходит к заключению, что рабочий класс не может просто овладеть этой машиной и пустить ее в ход для своих целей. Старая государственная машина должна быть сломана, пролетариат, как это показала Парижская коммуна, создает новую форму государства — диктатуру пролетариата.

В Парижской коммуне, несмотря на короткий период ее существования, Маркс увидел в первоначальной, еще только зарождавшейся, но уже достаточно отчетливой форме черты государства нового исторического типа. Маркс писал, что Коммуна «была, по сути дела, правительством рабочего класса, результатом борьбы производительного класса против класса присваивающего; она была открытой, наконец, политической формой, при которой могло совершиться экономическое освобождение труда».

Страницы «Воззвания» Международного Товарищества Рабочих о гражданской войне во Франции проникнуты глубокой верой в революционные силы народных масс и восхищением перед героизмом рабочего класса Франции и деятельностью Коммуны. Старому миру Версаля — этому «сборищу пампиров всех отживших режимов» — Маркс противопоставляет огромную преобразующую силу пролетарской революции.

«Гражданская война во Франции» звучит гимном рабочему классу Парижа, сделавшему первые шаги на пути создания пролетарского государства. «Трудящийся, мыслящий, борющийся, истекающий кровью, по сигналу инициативы Париж, — писал Маркс, — почти забывал о лакеях, стоявших перед его стенами, с энтузиазмом отдавшись строительству нового общества».

«Воззвание» далее гласит:

«Буржуазный рассудок, пропитанный полицейщиной, разумеется, представляет себе Международное Товарищество Рабочих в виде какого-то тайного заговорщического общества, центральное правление которого время от времени назначает восстания в разных странах. На самом же деле наше Товарищество есть лишь международный союз, объединяющий самых передовых рабочих различных стран цивилизованного мира. Где бы и при каких бы

условиях ни проявлялась классовая борьба, какие бы формы она ни принимала — везде на первом месте стоят, само собой разумеется, члены нашего Товарищества. Та почва, на которой вырастает это Товарищество, есть само современное общество. Это Товарищество не может быть искоренено, сколько бы крови ни было пролито. Чтобы искоренить его, правительства должны были бы искоренить деспотическое господство капитала над трудом, то есть искоренить основу своего собственного паразитического существования.

Париж рабочих с его Коммуной всегда будут чествовать как славного предвестника нового общества. Его мученики навеки запечатлены в великом сердце рабочего класса. Его палачей история уже теперь пригвоздила к тому позорному столбу, от которого их не в силах будут освободить все молитвы их попов».

Спустя несколько месяцев после разгрома Коммуны Лафарг под чужим именем обосновался с семьей в Мадриде, где, невзирая на опасность, энергично разоблачал членов бакунинского тайного «Альянса», работая в газете «Эмансипасион», издававшейся Мадридской секцией Интернационала. Лафарг объединил всех подлинных испанских борцов за дело освобождения рабочего класса.

Лаура неутомимо помогала мужу во всех его начинаниях. Когда Лафарг опубликовал в испанской газете серию статей «Организация труда», для которых немало потрудилась и Лаура, Энгельс написал ей: «В статьи для «Эмансипасион», в которых испанцам впервые преподносится настоящая наука, ты тоже вносишь свою значительную долю, и как раз именно в научном отношении, за что я, как секретарь для Испании, считаю своим долгом принести тебе особую благодарность».

В это же время на Лафарга и его жену обрушилось страшное горе. Их единственный оставшийся в живых ребенок, которому было три с половиной года, умер от дизентерии, проболев девять месяцев. Только взаимная огромная любовь, общие жизненные цели помогли Полю и Лауре пережить и это несчастье. Однако, тщетно борясь как врач за жизнь своих детей, Лафарг возненавидел медицину и посвятил себя отныне политической деятельности и журналистике. Но это не могло обеспечить

его материально. Поиски заработка вынудили Лафарга эмигрировать позднее в Англию.

Вернувшись в Лондон, Женнихен и Элеонора застали родительский дом переполненным беженцами Коммуны. Вся семья Маркса, включая его самого, занята была тем, чтобы помочь борцам, спасшимся от расправы версальцев. Они не имели ни жилья, ни одежды, ни каких-либо средств к существованию. Энгельс руководил работой Генсовета по оказанию материальной помощи французским эмигрантам. Трудоустройство изгнанников значительно затруднялось тем, что английская буржуазия не желала облегчить положение участников Коммуны и принимать их на работу. Не прощали британские зажиточные люди и сочувствия к деятелям пролетарской революции. Женнихен писала Кугельманну:

«Монро порвали со мной всякую связь, так как сделали ужасное открытие, что я — дочь главаря поджигателей, защищавшего противозаконное движение коммунаров... Страдания эмигрантов неописуемы: они буквально умирают с голода на улицах этого громадного города... Уже более пяти месяцев Интернационал содержит, точнее говоря, поддерживает между жизнью и смертью большинство эмигрантов».

Падение Парижской коммуны явилось сигналом к всеобщему наступлению реакции против Интернационала во всех европейских странах. Бисмарк издал приказ об аресте Карла Маркса в случае его появления на германской земле и попытался организовать конференцию правительств Европы для обсуждения вопроса о борьбе с Интернационалом. Французское правительство в циркулярном послании ко всем заинтересованным государствам также призывало к объединению реакционных сил ради общей травли интернационалистов. Тьер и Фавр добились принятия сурового закона против Международного Товарищества Рабочих. Связь Генерального Совета с Францией оборвалась.

Враги Коммуны были врагами и Международного Товарищества Рабочих. Как только Генеральный Совет и, в частности, Маркс приняли на себя ответственность за все действия Коммуны, буржуазная пресса обруши-

лась на создателя Интернационала, называя его «красным дьяволом» и «доктором красного террора».

Известность Маркса возрастала непрерывно. Буржуазный парижский журнал «Иллюстрасьон» опубликовал портрет и краткие сведения о его жизни, которые перепечатали многие газеты в Европе и Америке.

Гордясь успехами Международного Товарищества Рабочих, Энгельс назвал его седьмой великой мировой державой.

Ужас, внушаемый Интернационалом, был так велик, что римский папа его проклял, французский парламент объявил вне закона, «железный канцлер» Бисмарк грозил ему крестовым походом.

Настало время, когда центральная печать Англии открыла свои страницы для сообщений о деятельности Интернационала и его руководителях. Лондонский «Таймс» после Парижской коммуны опубликовал важные заявления Маркса и Генерального Совета в ответ на клеветнические нападки разных газет на Интернационал. Доступ в большую прессу сделал Маркса еще более известным. Журналисты разных стран писали о нем, его семье и соратниках.

Молодая Социал-демократическая партия Германии — эйзенахцы — из-за побед Бисмарка оказалась в тяжелом положении. Все классы, партии и группы страны хотели единой Германии. Наполеон III — враг этого объединения — потерпел поражение, и это радовало всех немцев. Но революция во Франции изменила характер войны, и немецкие рабочие были заинтересованы отныне в победе, скорее, французской республики, нежели в успехах реакционного правительства Бисмарка. В то же время появились слухи, что Германия намерена отнять у Франции Эльзас и Лотарингию в качестве вознаграждения за победу над Наполеоном. Немецкие империалисты заявляли, что это необходимо якобы для укрепления границ Германии на западе.

Центральный комитет Немецкой социал-демократической рабочей партии в Брауншвейге обратился к Марксу, как к секретарю-корреспонденту Интернационала для Германии, за разъяснениями позиции немецкого пролетариата в отношении франко-прусской войны.

Маркс и Энгельс, придавая исключительное значение своему ответу руководителям Социал-демократической партии, поскольку речь шла о директивах, намечающих линию поведения немецких рабочих, выработали окончательный текст письма совместно. Они предрекли, что если Германия захватит у Франции Эльзас и Лотарингию, то войны в Европе никогда не прекратятся.

«Это — безошибочный способ превратить будущий мир в простое перемирие до тех пор, пока Франция не окрепнет настолько, чтобы потребовать потерянную территорию обратно. Это — безошибочное средство разжечь Германию и Францию путем взаимного самоистребления.

Негодяи и глупцы, которые изобрели такие гарантии вечного мира, должны были бы знать, хотя бы из прусской истории, на примере того, как жестоко Наполеон расплатился за Тильзитский мир, что подобные насильственные меры для обуздания жизнеспособного народа приводят к прямо противоположным результатам...

Тот, кто не совсем еще оглушен теперешней шумихой или *не заинтересован* в том, чтобы оглушать германский народ, должен понять, что война 1870 г. так же неизбежно чревата *войной между Германией и Россией* как война 1866 г. была чревата войной 1870 г.

Я говорю ***неизбежно, непременно,*** если не учитывать того маловероятного случая, что *в России* до этого времени может вспыхнуть *революция.*

Если этот маловероятный случай не произойдет, то войну между Германией и Россией приходится уже сейчас рассматривать как fait accompli (совершившийся факт).

Будет ли эта война вредна или полезна, — целиком зависит от нынешнего поведения немцев-победителей. Если они захватят Эльзас и Лотарингию, то Франция *вместе* с Россией будет воевать против Германии. Нет надобности указывать на губительные последствия подобной войны...

Но я опасаюсь, что негодяи и глупцы будут беспрепятственно продолжать свою безумную игру, если германский рабочий класс en masse[1] не поднимет своего голоса.

---

[1] В массе (*франц.*).

Нынешняя война открывает новую всемирно-историческую эпоху тем, что Германия... доказала свою способность, *независимо от заграницы* идти своим собственным путем. То, что Германия первоначально обрастает спое *единство в прусской казарме*, является наказанием, ею вполне заслуженным. Но *результат*, хотя и таким способом, все же достигнут... И если... германский рабочий класс не сыграет выпавшей на его долю исторической роли, то это — его вина. *Нынешняя война перенесла центр тяжести континентального рабочего движения из Франции в Германию.* Тем самым на германский рабочий класс ложится еще бо́льшая ответственность...»

Следуя указаниям Маркса и Энгельса, секции Интернационала не только в Англии, но и в Бельгии, Испании, США провозгласили те идеи, которые диктовались интересами пролетариата всех стран. Они требовали отказа от всяких завоевательных устремлений по отношению к республиканской Франции и выступали в ее защиту. Центральный комитет Немецкой секции Международного Товарищества Рабочих, находившийся в Брауншвейге, выпустил в сентябре манифест к немецкому рабочему классу, призывающий его не допустить аннексии Эльзаса и Лотарингии и добиться заключения почетного мира с Французской республикой. По приказу командующего германской армией манифест был конфискован, все члены комитета и типограф, напечатавший этот документ, были схвачены, закованы в кандалы и отправлены в Восточную Пруссию.

Требование от германского правительства заключения почетного мира с Францией Бебель и Либкнехт также были арестованы и приговорены к длительному тюремному заключению.

В январе 1871 года идея объединения Германии восторжествовала: Вильгельм I у стен столицы Франции, в зеркальном зале Версальского дворца, получил из рук немецких государей корону германского императора. Объединение было завершено сверху, как того желало реакционное прусское юнкерство. Это укрепило монархический строй и позиции контрреволюционных сил. Пролетариат из-за своей слабости не мог помешать юнкерству и буржуазии совершить преобразование страны в самой

невыгодной для рабочих форме, с сохранением монархии, всех привилегий дворянства и бесправия крестьян.

Новая Германская империя была союзным государством, она объединила двадцать две монархии с Пруссией во главе. Газеты писали, что империя является союзом между львом, полдюжиной лисиц и двумя десятками мышей. Во всяком случае, Германия стала великой державой с населением более 40 миллионов человек.

В конце января Бисмарк подписал в Версале перемирие с Францией, а месяц спустя был заключен предварительный мир. Он разрешил контрреволюционному правительству Тьера вдвое увеличить численность войск в районе Парижа для борьбы с Коммуной и возвратил Тьеру часть французских военнопленных, которых враги Коммуны бросили против Парижа. Немецкие войска во время осады столицы Франции пропустили к Парижу контрреволюционные войска правительства Тьера. В то же время они не разрешали коммунарам подвозить в столицу продовольствие. Бисмарк требовал от Тьера скорейшей расправы с революционным Парижем. Прусские войска, задерживая жителей столицы, бежавших из Парижа, передавали их в руки палачей Тьера.

Мирный договор между Германией и Францией был подписан во Франкфурте-на-Майне 10 мая 1871 года, через три с половиной месяца после заключения перемирия. Германия забрала у Франции часть Лотарингии и Эльзаса, развитые в промышленном отношении и богатые железной рудой районы. Таким образом Бисмарк обеспечил Германии стратегически выгодные позиции для будущего вторжения во Францию. Он считал угрозу реванша со стороны Французской республики выгодной для юнкерства, так как это должно было поддерживать шовинистические настроения в Германии и способствовать подавлению революционного движения внутри страны.

Пять миллиардов франков контрибуции, которую должна была в течение трех лет выплатить Германской империи Французская республика, Бисмарк использовал на вооружение для новых войн.

Париж исходил кровью. На десять дней, с ведома и поощрения новой власти, город был отдан на разграбление озверевшим убийцам. Бандиты, садисты, живодеры с душами рысей и гиен шныряли по улицам, жадно вдыхая запах запекшейся на мостовых крови, убивали заподозрен-

ных в симпатии к Коммуне и требовали новых и новых жертв. Следом за версальской армией в столицу явились расфранченные проститутки, торговцы вином, владельцы особняков, больших магазинов, заводов, возбужденные, счастливые в предвидении наживы. И они требовали своей чашки с человеческой кровью, крича о мести и неистовствуя при виде ведомых на лобное место пленников. В экипажах отправлялись они смотреть на массовые казни и нередко превращались из зрителей в исступленных палачей.

Коммунаров хладнокровно расстреливали, избивали прикладами, душили, заканывали живьем. Женщины с нежными лицами, в платьях из светлого муслина, прозрачного, как стрекозьи крылья, выкалывали коммунарам глаза модными зонтиками с металлическими наконечниками. Если Коммуна была подобна пратчинку добра, милосердия и чистой радости, то контрреволюция олицетворяла дьявольское торжество жестокости, кровожадности и злодейства.

Лиза Красоцкая находилась в госпитале, когда версальцы ворвались в палаты и начали добивать раненых коммунаров. Одна из санитарок силой увела ее черным ходом и спрятала у надежных людей. Лиза провела ужасную ночь. По улице, громко стуча прикладами, ругаясь и распевая непристойные песни, рыскали каратели. Они врывались в дома, вытаскивали людей и тут же расстреливали их без суда. Лиза чувствовала себя затравленным ищейками зверем. Она не могла совладать с чувством постыдного, парализующего мозг страха, и это усиливало ее страдания. До утра она боролась с собой и, когда кровавая оргия кончилась, твердо решила остаться в Париже, чтобы помогать уцелевшим товарищам. Вместе с хозяйкой квартиры, в которой ее укрыли, она отыскала несколько преданных людей и, отдав значительную сумму имевшихся при ней денег, занялась отправкой за границу уцелевших от казни коммунаров.

Самым страшным ударом после гибели мужа был для Лизы расстрел Варлена. Его, почти незнакомого ей, она любила всем сердцем, как совершенный образ человека. Судьба привела ее случайно на Монмартр. Под густой вуалью, погруженная в тяжелые думы, проходила Лиза по гористому переулку Лабон и остановилась на перекрестке

улицы Розье, завидев зловещую процессию, спускавшуюся с холма. Беснующаяся, ревущая толпа нарядно одетых мужчин и дам сопровождала конвоиров, ведущих арестованного со связанными за спиной руками.

— Слишком рано убивать его, пусть еще поводят, — надрывался тучный буржуа в котелке, откинутом на макушку.

— Нечего корчить из себя героя. Небось поджилки уже у тебя трясутся, — крикнул молодой щеголь и ударил тростью узника.

— Передай поклон всем моим подружкам-потаскушкам, когда будешь в аду, — взвизгнула какая-то женщина в огромной шляпе, украшенной зелеными птичьими перьями.

Приговоренный к смерти, глядя прямо перед собой, шагал твердо и, казалось, не слыхал звериного рева толпы. Это был Эжен Варлен. Еще более, нежели обычно, спокойный, сосредоточенно думающий о чем-то важном, он показался ей теперь похожим на праведника-воина, сошедшего с византийских старинных фресок. Если б можно было спасти его даже ценой собственной жизни, Лиза не колеблясь сделала бы это. Но не было такой силы в этот момент в Париже, которая предотвратила бы еще одно чудовищное преступление контрреволюционеров.

До последнего мгновения Варлен, отступая от баррикады к баррикаде, отчаянно дрался с версальцами. Патроны иссякли. Враги победили. Измученный физически, безразличный к опасности, как боец, воинская часть которого вся погибла, Варлен бродил по городу. Он не пожелал скрыться и, казалось, сам жадно искал смерти.

Он был опознан и выдан священником, переодетым в штатское и занимавшимся ловлей коммунаров.

Накануне, прозревая будущее, Варлен говорил одному из своих соратников:

— Да... нас заживо изрубят в куски. Наши трупы будут волочить в грязи. Тех из нас, кто сражался, убили, пленников убили, раненых прикончат. А если кто-нибудь и уцелеет и его пощадят, то отправят гнить на каторгу. Но история в конце концов увидит все в более ясном свете и скажет, что мы спасли Республику.

Расстрел Варлена был последней каплей скорби для Лизы. Но она не ослабела, не поникла, как Анна Жаклар. Наоборот, после нескольких дней душевной контузии она

почувствовала возрождение, воля ее вновь окрепла. Жизнь имела отныне для нее один смысл — бороться. Если раньше она еще верила в гуманность господствующих классов в более развитых странах, то отныне поняла, как они страшны и бесчеловечны, когда мстят за свою собственность и привилегии. Они перестали быть людьми. В огне Коммуны Лиза сожгла все сомнения. Она поняла и приняла головой и сердцем все, чему учил Маркс.

Воспользовавшись английским паспортом, Лиза поселилась сначала на Больших бульварах в одном из наиболее фешенебельных, недавно открывшихся отелей. Знание иностранных языков и манеры великосветской дамы отводили от нее подозрения. Она удачно изображала из себя скучающую знатную англичанку, прибывшую в Париж в поисках сильных ощущений. Однако это была небезопасная затея. Лизу легко могли опознать на улице многочисленные шпионы и предатели, видевшие ее в женских клубах, редакциях газет и в госпиталях. Чтобы избежать этого, Лиза часто меняла местожительство, разъезжала только в закрытой карете, набрасывая густую вуаль поверх шляпы. В течение месяца ей удалось вместе с несколькими товарищами не только помочь бежать за границу многим уцелевшим коммунарам, но и завязать новые знакомства, наладить конспиративную связь с Генеральным Советом Интернационала.

В июле Маркс получил весьма важное письмо от молодого польского революционера, друга Врублевского, участника Парижской коммуны:

«Господин доктор! Дама из Парижа проживает на улице Труффо в Батиньоле (район в северной части Парижа), дом № 14, пароль: «Имеете ли вы цветы темно-винного оттенка», ответ: «Да, сударь».

Лондонская дама выезжает не позже понедельника. Я немного затронул ее самолюбие, высказав легкое сомнение в ее храбрости. Тем не менее она перевезет все, что Вы пожелаете, и будет действовать, как условлено. Я за это отвечаю.

Парижская дама меняет квартиру 8-го или 15-го числа этого месяца. Значит, следует ждать присылки ее нового адреса.

Примите уверения, господин доктор, в моем почтении».

Однажды Лиза узнала о крайне бедственном положении находящегося в Париже тяжело больного члена Коммуны, разрисовщика тканей, поэта Эжена Потье. С большими предосторожностями Красоцкая отправилась на окраинную жалкую улочку, где в мансарде старого дома скрывался рабочий-коммунар.

— Вы предполагали найти на этом чердаке одряхлевшую птицу с выщипанными перьями. Нет, я хоть и немощен, но силен, — сказал Потье, с трудом пододвигая гостье дубовый стул, насчитывающий несколько столетий своего существования. — Признаться, находиться здесь не доставляет большого удовольствия. Ступени, ведущие сюда, скрипят, как рассохшийся гроб, и каждый раз я думаю, что пришли по мою душу. Но это так, пустяки. Сражаясь на баррикадах, я успел переворошить столько мыслей и представлений, сколько не удалось за предыдущие пятьдесят пять лет. Когда свистят пули и зовут тебя к праотцам, человек освобождается от шелухи. И я впервые ощутил жизнь, будто ядро зрелого сочного ореха во рту. Расскажите мне обо всем, что происходит за кленовой стеной этого дома.

— Хорошо, что этой стене удалось спасти вас.

— Вы правы. Я мог бы, как тысячи наших несчастных братьев, пропитать своей кровью камни ограды Пер Лашез. — Потье тяжело вздохнул. — Тьер потопил революцию в крови, а мы, немногие оставшиеся в живых коммунары, в этом кровавом море потопили свои иллюзии. Я покончил навсегда с доверчивостью и прозрел. В эти дни отчаяния, бессильных слез над могилами друзей, совсем один, находясь постоянно под дамокловым мечом, я написал стихи. Они сотканы из волокон моего сердца.

— Прошу вас, прочтите мне ваше произведение, — попросила Лиза.

Потье привстал с дырявого соломенного тюфяка, брошенного прямо на пол, и повернул к окну свое плоское, курносое, мудрое, желтое, как глина, лицо.

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Казалось, что Потье не говорит, а поет эти строки. У него был музыкальный, чистый голос, в который он вкладывал сейчас глубокое чувство. Лиза ощутила острое волнение и вся подалась вперед.

И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.
Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспринет род людской!

За окном внезапно послышались крики. Женщины преградили путь конвою, ведшему на военный суд нескольких коммунаров. Офицер скомандовал: «На изготовку». Усилился шум, проклятия палачам и горестные вопли. В карателей полетели камни, раздались выстрелы и топот ног. Откуда-то глухо донеслось: «Да здравствует Коммуна!» Затем все смолкло.

Изможденный, усталый Потье вдохновенно продолжал декламировать, и лицо его подверглось удивительной метаморфозе; на глазах Лизы он помолодел и казался красивым.

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим.
Кто был ничем, тот станет всем!
Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

Давно пора было уходить, а Лиза все еще сидела подле Эжена Потье.

— Я унесу в памяти ваш «Интернационал», — сказала она ему на прощанье. — Мне кажется, этому творению жить и жить. Множество поколений, как я, отныне будут носить его в сердце и повторять в минуты борьбы, радости и печали. Спасибо, дорогой друг, за этот дар человечеству.

И, сомневающийся в себе, как всякий истинный создатель, Эжен Потье привлек огрубевшими от труда, сморщенными руками голову Лизы и благодарно поцеловал ее в лоб.

Через несколько дней ему удалось благополучно бежать в Англию.

Лето 1871 года подходило к концу. В Вене, в пансионе, все еще оставалась Ася, и Лиза отправилась к дочери, чтобы затем тайно пробраться в Польшу и предать там земле сердце Красоцкого.

После бурлящей Франции соседняя Швейцария произвела на Лизу раздражающее впечатление застойного пруда, в котором резвятся жирные рыбы и головастики. Ничто не могло пробиться сквозь сонное довольство фермеров и мелких буржуа.

Лизе было уже около пятидесяти лет. До отъезда во Францию, несколько месяцев назад, она выглядела молодой женщиной, особенно когда оживлялась в обществе и беседе.

Привыкнув к своей внешности, человек редко отдает себе отчет в происходящих изменениях. И только глазами дочери Красоцкая увидела себя такой, какой стала, пережив Коммуну, мужа, друзей. Ася смотрела на мать, приоткрыв жалобно губы, гримасничая, чтобы не расплакаться.

— Я очень изменилась, не правда ли, — допытывалась Лиза и умолкла, так и не получив ответа.

И вдруг она поняла, что перешагнула какую-то черту и незаметно для себя вошла в старость.

Голова Лизы стала седой, и морщины густой сетью легли на посеревших веках и лбу. Тяжелые, скорбные линии соединили крылья носа с подбородком. И, как увядший стебель, высохла тонкая шея. С недоумением разглядывала себя в зеркале Лиза. Непоправимое произошло. Так дерево, еще недавно покрывавшееся листвой, стоит оголенное, почерневшее, как бы сожженное временем. Лизе стало не по себе. Она всегда так любила все прекрасное на свете. Собственная старость показалась ей уродливой, отталкивающей. Нелегко принять ее покорно, разумно. Но перед Лизой чередой прошли воспоминания недавнего прошлого: простреленная голова Варлена с седыми, слипшимися от крови волосами, мертвое сердце Красоцкого, похожее на увядшие бурые листья клена, дроги с гробами коммунаров. Лизе показалось святотатством, позором огорчаться оттого, что щеки ее стали дряблыми, а глаза запали. Она осталась жива. Для чего? Какую миссию надлежало ей выполнить? Тысячи убитых безвинно людей взывали к ней: помни о нас, живи, борись, неси окровавленное знамя Коммуны, которое па-

тался растоптать тиран! И Лиза почувствовала, что дух ее не сломлен. Ей нечего было бояться того, что так пугает в преклонном возрасте, — одиночества и бесполезного существования. Она была нужна людям и сохранила в огне истерзанной душу. Уверенно и спокойно пошла Лиза дальше по тернистым дорогам жизни, зная, куда и зачем.

Жаклары, благополучно перейдя границу, добрались вскоре до Швейцарии и поселились в Берне. То, что раздражало Лизу, — безмятежный и сытый покой, — пришлось весьма по сердцу этим истомленным беженцам Коммуны. Пережитое заметно отразилось на Анне и ее муже. Оба они были крайне подавлены, тем более что приходилось с большим трудом добывать средства на жизнь, давая уроки и занимаясь переводами. Неуравновешенный, легко раздражающийся Жаклар стремился к тому, чтобы скорее закончить медицинское образование и стать врачом. Он проводил все свободное время в анатомическом театре и над учебниками. Лиза почувствовала, что прежней дружбы с Жакларами больше нет.

— Эти семьдесят два дня выпотрошили меня, — откровенно призналась Анна, — революция всегда огонь, и не сгореть на ее огне, очевидно, невозможно.

— А не думаешь ли ты, что она солнце? — загадочно возразила Лиза.

— В таком случае я хочу быть теперь в тени.

— Бедная девочка, как же ты, однако, устала.

Тем не менее Анна Васильевна не изменила своим прежним взглядам. В письме Карлу Марксу Анна Васильевна сообщает, что не может послать ему сделанный ею перевод на французский язык отдельных частей «Капитала», так как единственный экземпляр, который у нее был, попал в руки версальской полиции.

Ненадолго задержавшись и отдохнув на Женевском озере, Лиза вместе с дочерью под чужим паспортом пробралась в Люблин. Россия подавила со опереженным патриотическом реакции.

«Сокрушить, раздавить, уничтожить!» — вопил Катков, призывая расправляться с каждым заподозренным в симпатии к коммунарам.

Его газета «Московские ведомости» объявляла деятелей Коммуны бонапартистскими платными агентами,

я трагедию семидесяти двух дней делом рук Бисмарка, стремившегося вернуть трон Луи Бонапарту.

Как яркая звезда на черном небосклоне, засверкал стихи Некрасова, посвященные коммунарам. Лиза вы-учила их наизусть и, повторяя, не могла удержать слез.

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ понявшие,
Но разнузданы страсти жестокие.
Вихорь злобы и бешенства носится
Над тобою, страна безответная.
Все живое, все доброе косится...
Слышно только, о ночь безрассветная,
Среди мрака, тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются,
Как на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются!

Предав родной земле сердце Красоцкого и поклонившись праху его родителей, Лиза с дочерью поспешила в Англию.

Имя Карла Маркса стало известно всему миру. Одни произносили его с любовью и почтительностью, другие со страхом и ненавистью. Маркс олицетворял отныне идеи Интернационала. Грозный всесильный призрак коммунизма, о котором возгласил великий «Манифест», обрел в Парижском восстании плоть и кровь.

Осенью 1871 года III Отделение в Петербурге получило донесение из Лондона, что в Россию с злонамеренной целью, под чужим паспортом, едет Карл Маркс. Известно это всколыхнуло жандармов. Многочисленные шифрованные депеши предписывали обнаружить и поймать Маркса тотчас же после его появления в России. На пограничных станциях сновали шпики, нагло заглядывая в лица всех бородатых иностранцев. И вот из Одессы в Петербург сообщили, что в порту задержан наконец сам вождь мирового рабочего движения. Но радость жандармерии была непродолжительной. Арестованный оказался немецким коммерсантом, носившим фамилию Маркс и принявшим к тому же английское подданство. Чтобы подобные неприятные недоразумения более не имели места, управляющий III Отделением разослал подчиненным добытый

в Лондоне и размноженный портрет Карла Маркса. Вскоре в поезде, близ западной границы, был схвачен бородатый седовласый англичанин, похожий на Карла Маркса. Случай этот вызвал было дипломатический протест, но, несмотря на возмущение пострадавшего, с согласия Великобритании был тотчас же замят.

Все возрастающая известность Маркса привлекала к нему многочисленных журналистов из разных стран. Летом 1871 года Маркса и одного из его соратников посетил корреспондент нью-йоркской газеты «Мир» Р. Ландор. Спустя несколько дней репортер сообщил за океан о своих впечатлениях от встречи с портным Эккариусом и Карлом Марксом.

«Вы поручили мне собрать кое-какие сведения о Международном Товариществе Рабочих, — писал Ландор в редакцию своей газеты, — я и попытался исполнить Вашу просьбу. Эта задача в настоящий момент нелегка. Лондон, бесспорно, является штаб-квартирой Товарищества, но англичане слишком напуганы, и им повсюду мерещится Интернационал, как королю Якову везде мерещился порох после знаменитого заговора. Осторожность Товарищества, конечно, усилилась вместе с подозрительностью публики; и если у его руководителей есть секреты, то эти руководители именно такие люди, которые умеют держать секреты про себя. Я посетил двух наиболее видных членов их Совета и с одним из них имел непринужденную беседу, содержание которой излагаю ниже... Первый из тех двух деятелей, которых я посетил, видный член Генерального Совета, сидел за своим верстаком и должен был то и дело отрываться от беседы со мной, чтобы отвечать на не очень вежливые замечания хозяйчика (одного из многочисленных в этой части города хозяйчиков), на которого он работал. Я слышал, как этот же человек произносил на публичных собраниях прекрасные речи, пропитанные в каждом слове страстной ненавистью к классу людей, называющих себя его господами. Он, наверное, сознает себя достаточно развитым и способным, чтобы организовать рабочее правительство, а вынужден заниматься всю свою жизнь самым возмутительным подневольным трудом, чисто механическим. Он горд и самолюбив, а между тем на каждом шагу он должен отвечать поклоном на ворчанье и улыбкой на приказ, отдаваемый приблизительно с такой же степенью учтивости,

С какой охотник окликает свою собаку. Этот человек по-
Мог мне уловить одну сторону Интернационала: протест
труда против капитала, протест рабочего, который произ-
водит, против буржуа, который наслаждается.

Тут я увидел руку, которая ударит очень больно,
когда настанет пора, а что касается головы, которая мыс-
лит, то мне кажется, что ее я увидел тоже — во время
моей беседы с доктором Карлом Марксом.

Мы сидели друг против друга; да, я был наедине с во-
площением революции, с подлинным основателем и вдох-
новителем Интернационала, с автором «Манифеста», в ко-
тором капиталу было заявлено, что если он воюет с тру-
дом, то он должен быть готов к гибели, — словом, перед
мной сидел защитник Парижской коммуны...»

Во время встречи Маркс долго беседовал с Ландором.
Войдя, он приветливо поздоровался с американцем. Они
обменялись пытливыми взглядами.

— Что привело вас ко мне? — спросил Маркс.

— Мир, как видно, плохо представляет себе, что такое
Интернационал, — сказал Ландор. — К нему питают силь-
ную ненависть, но вряд ли сумели бы объяснить, что
именно ненавидят. Некоторые люди, считающие, что су-
мели глубже других проникнуть в тайну Интернационала,
утверждают, что это своего рода двуликий Янус, с чест-
ной и доброй улыбкой рабочего на одном лице и с усмеш-
кой злодея-заговорщика на другом. Я попрошу вас, —
в упор поставил вопрос корреспондент, — пролить свет
на тайну, раскрыть которую бессильны подобные теории.

Маркса развеселила мысль, что буржуа так боятся
международного общества рабочих, и он ответил журна-
листу с улыбкой:

— Тут нет никакой тайны, милостивый государь,
разве только тайна глупости людей, которые упорно игно-
рируют тот факт, что наше Товарищество действует
открыто и что подробнейшие отчеты о его деятельности
печатаются для всех, кто пожелает их прочесть. Вы мо-
жете купить наш Устав за пенни, а за шиллинг вы
будете иметь брошюры, из которых узнаете о нас почты
все, что знаем мы сами.

Ландор был высокий, поджарый человек с ярко-розо-
вой лысиной. Услыхав слово «почти», он хлопнул себя по
острому колену и загоготал.

— «Почти» — это весьма возможно; но не будет ли в том, чего я не узнаю, заключаться самое важное? Буду вполне откровенен с вами и поставлю вопрос так, как он представляется постороннему наблюдателю: не свидетельствует ли это всеобщее недоброжелательное отношение к вашей организации о чем-то большем, чем невежественная злоба толпы? И не позволите ли вы спросить вас еще раз, несмотря на сказанное вами, что такое Интернационал?

— Вам достаточно взглянуть на людей, из которых он состоит, — на рабочих, — отпарировал Маркс.

Ландор продолжал настаивать.

— Да, но солдат не всегда показателен для того правительства, которое им распоряжается. Я знаю некоторых из ваших членов и вполне допускаю, что они не из того теста, из которого делаются заговорщики. К тому же тайна, которая известна миллиону человек, вовсе не была бы тайной. Но что, если эти люди только орудия в руках какой-нибудь смелой и — вы, надеюсь, простите меня, если я добавлю, — не слишком разборчивой в средствах коллегии?

— Ничто не доказывает, что это так, — возразил Маркс.

— А последнее восстание в Париже?

— Во-первых, я попрошу вас доказать, что тут был вообще какой-нибудь заговор, что все происшедшее не было закономерным следствием сложившихся обстоятельств. А если исходить из существования заговора, то чем может быть доказано участие в нем Международного Товарищества?

Ландор отложил тетрадь, в которую быстро записывал ответы Маркса, и откинулся в кресле.

— Наличием многочисленных членов Товарищества в органах Коммуны, — сказал он, испытующе и нагло глядя в лицо собеседника.

Маркс закурил и принялся ходить по кабинету, отвечая на вопросы Ландора.

— Восстание в Париже было совершено рабочими Парижа. Наиболее способные рабочие неизбежно должны быть стать его вождями и организаторами; но наиболее способные рабочие обычно являются в то же время и членами Международного Товарищества. Однако Товарищество, как таковое, нельзя делать ответственным за их действия.

Ландор скривил рот в улыбке.

— Мир смотрит на это иначе, — сказал он многозначительно. — Люди толкуют о тайных инструкциях из Лондона и даже о денежной поддержке. Можно ли утверждать, что открытый характер деятельности Товарищества, на который вы сослались, исключает возможность всяких тайных сношений?

— Возникала ли когда-нибудь организация, — сказал заявил Маркс, — которая вела бы свою работу без использования как негласных, так и гласных средств связи? Говорить о тайных инструкциях из Лондона, как о декретах в вопросах веры и морали, исходящих из какого-то центра власти и авторитета и интриг, — значит совершенно не понимать сущности Интернационала. Для этого потребовалось бы централизованное правительство в Интернационале; в действительности же форма его организации предоставляет как раз наибольшую свободу местной самодеятельности и независимости. В самом деле, Интернационал вовсе не является собственно правительством рабочего класса; он представляет собой скорее объединение, чем командующую силу.

— Объединение с какой целью? — бросил американец, снова оторвавшись от записи.

— С целью экономического освобождения рабочего класса посредством завоевания политической власти; с целью использования этой политической власти для осуществления социальных задач. Наши цели должны быть настолько широкими, чтобы включать в себя все формы деятельности рабочего класса. Придать им специальный характер значило бы приспособить их к потребностям только одной какой-нибудь группы рабочих, к нуждам рабочих одной какой-нибудь нации. Но как можно призвать всех людей к объединению в интересах немногих? Если бы наше Товарищество вступило на этот путь, оно потеряло бы право называться Интернационалом. Товарищество не предписывает определенную форму политических движений; оно только требует, чтобы эти движения были направлены к одной цели. Оно представляет собой сеть объединенных обществ, раскинутую по всему миру труда. В каждой части света наша задача представляется с какой-либо особой стороны, и рабочие там подходят к ее выполнению своим собственным путем. Организации рабочих не могут быть совершенно одина-

ковыми по всех деталях в Ньюкасле и Барселоне, в Лондоне и Берлине. В Англии, например, перед рабочим классом открыт путь проявить свою политическую мощь. Восстание было бы безумием там, где мирная агитация привела бы к цели более быстрым и верным путем. Во Франции множество репрессивных законов и смертельный антагонизм между классами делают, по-видимому, неизбежным насильственную развязку социальной войны. Но выбрать, каким способом добиться развязки, должен сам рабочий класс этой страны. Интернационал не берется диктовать что-нибудь в этом вопросе и вряд ли будет даже советовать. Но к каждому движению он проявляет свое сочувствие и оказывает свою помощь в рамках, установленных его собственными законами.

Маркс терпеливо, подробно рассказал заокеанскому корреспонденту о многообразной помощи бастующим рабочим разных стран, о началах солидарности трудящихся, о деятельности профсоюзов, обществ взаимопомощи, кооперативной торговле и кооперативном производстве. Он сообщил о том, как растирается влияние Интернационала в Европе. Две газеты пропагандировали взгляды Международного Товарищества Рабочих в Испании, три — в Германии, столько же — в Австрии и Голландии, шесть — в Бельгии и столько же в Швейцарии.

— А теперь, — закончил Маркс, усаживаясь против Лафарга и протянув ему сигару, — когда я рассказал вам, что такое Интернационал, вы, пожалуй, сумеете сами составить себе мнение о его мнимых заговорах.

Наступило короткое молчание. По комнате плыл синий дым сигар.

— А Мадзини тоже член вашей организации? — с любопытством и возрастающим интересом спросил Лафарг.

— О нет! — весело рассмеялся Маркс. — Идеи Мадзини были бы не очень-то велики, если бы мы не попли дальше его идей.

— Вы меня удивляете. Я был уверен, что он является представителем самых передовых взглядов.

— Он представляет всего-навсего старую идею буржуазной республики. Мы же не хотим иметь ничего общего с буржуазией. Мадзини отстал от современного движения не меньше, чем немецкие профессора, которые, однако, до сих пор считаются в Европе апостолами разни-

той демократии будущего. Они были таковыми когда-то, может быть до тысяча восемьсот сорок восьмого года, когда немецкая буржуазия, в английском понимании этого слова, едва достигла своего собственного развития. Но теперь эти профессора перешли целиком на сторону реакции, и пролетариат больше не желает их знать...

— Что вы скажете о Соединенных Штатах? — настойчиво спросил Ландор, видя, что Маркс намерен закончить беседу.

— Основные центры нашей деятельности находятся сейчас в старых европейских странах. Многие обстоятельства позволяли до сих пор думать, что рабочий вопрос не приобретет такого всепоглощающего значения в Соединенных Штатах. Но эти обстоятельства быстро исчезают, и рабочий вопрос быстро выдвигается там на первый план вместе с ростом, как и в Европе, рабочего класса, отличного от остальных слоев общества и отделенного от капитала.

Задав еще несколько второстепенных вопросов, Ландор шумно поблагодарил Маркса и долго тряс его руку, приглашая посетить далекую Америку.

Когда Ландор ушел, Маркс вышел из кабинета и спустился по лестнице в столовую. Модена-вилла была битком набита беженцами-коммунарами. Женнихен и Элеонора уступили им свои комнаты и переселились к Ленхен, гостиная в первом этаже напоминала наспех сооруженную палату госпиталя. Так как в доме не хватало кроватей и диванов, Женни сдвинула несколько стульев и, покрыв их матрасами и одеялами, создала ложе. Ленхен едва успевала стряпать для многочисленных обитателей дома. Все кастрюли и сковороды пошли в дело. На Риджентс-стрит творилось то же самое, и Лиззи сбилась с ног, стремясь накормить, подлечить и одеть глубоко потрясенных пережитым людей.

Когда Карл вошел, Женни и ее дочери раскладывали покупки, сделанные на собранные деньги для изгнанников. У большинства не было сменного белья, верхней одежды, обуви. Маркс и его жена роздали все, что нашли в своем гардеробе. Коммунары и их семьи, среди которых были старики и дети, крайне нуждались в лечении и помощи. Ленхен приготовляла настои из липового цвета с лимоном и медом и поила запоздавших.

— Мы сможем сегодня же обуть наших постояльцев, — сказала Женни. — Для детворы мы достали удобные сандалии. Я вызвала врача: у маленькой Кло жар. Лишь бы не было скарлатины. Лесснер подыскал работу для двух портных и одного плотника в мастерской на Бэкер-стрит. Не правда ли, это хорошие новости?

— Да, дорогая!

— Ты, верно, изрядно устал, Мавр, отбивать словесные мячи этого клещеобразного янки?

— Разговор оказался значительнее, нежели я предполагал. Если он не переврет того, что я ему продиктовал, читатели смогут получить некоторое подлинное представление о том, что же такое Интернационал.

— Да, буржуазные газеты только то и делают, что истязают своих подписчиков ужасами, порожденными бредовым воображением.

— Но больше всего красной и черной краски тратят эти мазилы, чтобы нарисовать дьявольский портрет доктора Маркса, пестового вождя Интернационала и вдохновителя Коммуны, — сказала Женнихен, прислушавшись к разговору родителей.

В комнату вошли три коммунара, чудом спасшиеся от смерти благодаря самоотверженности товарищей. Их появление было встречено громкими изъявлениями радости. Один, постарше, худощавый высокий брюнет с продолговатым смуглым лицом, с глазами, напоминавшими своей формой желуди, бородкой «под Генриха IV» и узкими стрельчатыми усами, мало походил на француза, каким был на самом деле. Он казался уроженцем Южной Испании, соседним с портретов знатных грандов кисти Веласкеса. Его звали Шарль Лонге. Он был журналистом и принимал видное участие в Парижской коммуне. И до этого, со времен студенчества, он боролся с цезаристским режимом. С ним вместе пришли Валерий Врублевский и Лео Франкель. Поляк значительно постарел с того дня, как похоронил Катрину. На усталом лице резче выделялись оспенные рябины, и в углах губ образовались новые складки. По-прежнему уверенно и бодро откидывал он назад мужественную голову, и непреклонная воля была во взоре. Женни Маркс с особым интересом и благожелательностью отнеслась к польскому революционеру. В течение нескольких часов говорили они о Коммуне и ее защитниках.

— Мы слыхали, господин Врублевский, — сказала Женни, — что суд тьеровских палачей во Франции приговорил вас теперь к смертной казни.

— Да, но заочно, госпожа Маркс, — слегка усмехнулся Врублевский.

Женни спросила его о судьбе Луизы Мишель.

— Эта женщина делает честь Франции. Она подлинная народная героиня. Луиза Мишель знала о грозившей ей смертельной опасности, но она ни за что не хотела покинуть баррикаду и оставалась на ней как храбрый капитан на тонущем корабле. Теперь в лучшем случае ее ожидает вечная каторга — Новая Каледония.

— Значит, ей готовят сухую гильотину? Бесстрашие не знает примера среди современных женщин. Выдержит ли она и это испытание?

— Будем надеяться на ее железную волю.

Женни была потрясена строгим, простым и вместе глубоким рассказом Врублевского. Он внушил ей симпатию и уважение.

Маркс внимательно приглядывался к Лео Франкелю, который был любимцем парижских трудящихся, избравших его первым из иностранцев в члены Коммуны. Для этого было вынесено особое постановление, гласившее: «Принимая во внимание, что знамя Коммуны есть знамя Всемирной Республики... иностранцы могут допускаться в Коммуну». Шарль Лонге был близко знаком с Франкелем еще со времен Второй империи. Что-то очень располагающее было в бесхитростном, прямом и вдумчивом взгляде больших, немного выпуклых, черных глаз молодого венгра. Чем больше Маркс постигал его манеру говорить и вести себя с людьми, отражавшую истинную скромность, ум, чуткость и повышенную впечатлительность, тем дружелюбнее относился к этому деятелю Коммуны.

— Кстати, я получил забавное письмо от Лафарга, — сказал Маркс. — Он передает сенсационное сообщение испанских и французских газет. Прослушайте эту басню: «Прокурор Республики арестовал в Фосе трех братьев Карла Маркса, вождя Интернационала, и его зятя Поля Л...» Историю трех «братьев» Маркса вам лучше знать чем мне, потому что, когда их арестовали, я был уже на пути в горы, на вершине которых — «вдыхают воздух чистой воли», как поется в песне».

— У вас действительно есть братья во Франции? — поинтересовался Врублевский.

— У меня вообще нет ни одного родного брата в живых, — ответил Маркс.

В сумерки мужчины поднялись в кабинет хозяина дома. Маркс с наслаждением затянулся сигарой. Врублевский набил табаком свою трубку, а Лонге, отказавшись курить, подошел к окну. В саду он увидел Женнихен. С лейкой в руке она шла к своей теплице.

Валерий Врублевский внезапно достал из кармана изрядно потрепанного пиджака мятый исписанный лист бумаги и протянул его Марксу. Тот внимательно прочел раз, другой и сказал, заметно пораженный:

— Но ведь это превосходно. Я слыхал про Эжена Потье, но не предполагал, что он может написать столь мощные строки. Нам очень не хватало такого, из сердца вылившегося, гимна. Прошу вас, прочтите мне эти стихи вслух.

И в рабочей комнате Маркса зазвучал «Интернационал».

Вставай, проклятьем заклейменный...

Врублевский обычно мастерски декламировал стихи, но в этот раз голос чтеца дрогнул, надломился.

Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и не герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Преодолев волнение, Врублевский закончил чтение «Интернационала». Наступила тишина. Маркс курил и сосредоточенно размышлял, нахмурив брови.

— На развалинах великой Парижской коммуны раздался этот полный уверенности в конечной победе призыв, — сказал он. — Замечательный памятник коммунарам.

Маркс погасил сигару и попросил Врублевского повторить рефрен.

Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
БЕССМЕРТИЕ

Привычка двигаться и менять местожительство вошла в обиход англичан, как традиционная воскресная молитва. Мир в их сознании был не более недоступен, нежели окрестности Лондона. Палестина — такое же знакомое, досягаемое место рождественского отдыха, как и британская колония Цейлон. И если выбор богачей падал на феноменальную французскую Ривьеру, то только потому, что они подчас уставали от собственных владений, от одинаковой скуки английских отелей, от лицемерия своей морали и тупости этикета, от копии лондонского быта, воспроизводимого в иных широтах.

Несмотря на то что во всех дальних землях, помеченных «Британская империя», завоеватели имели привычный комфорт, пищу и распорядок дней, сами они неизменно меняли там свой облик.

Капитализм творит своеобразных оборотней.

Поверхностному взгляду не распознать в радушном английском лендлорде, отдыхающем в своем поместье или на взморье, охочем до собак, до детских шалостей, до старинных плясок и пиров, до сентиментального чтения у камина, пылкого плантатора в Сингапуре, грозы туземцев. На родине он осторожен в своих отношениях с фермерами и умеет находить извилистые пути к сердцу своих наемных рабочих. Колониальная пробковая шляпа, маленький, невидимый в широком кармане светлых брюк пистолет, стек, несгибающиеся краги, сетка против москитов тщательно сложены вместе с господским бесподобным чванством и зверством в чемодан.

Отлично замаскированный, переполненный до краев верой и библейскими изречениями, полковник приехал

в Лондон из Индии, где стяжал мрачную славу в одной из пограничных крепостей. Он привез в Англию трофеи: шкуры леопардов и тигров, уничтоженных в джунглях. Трупы повстанцев-индусов, расстрелянных по его приказанию, остались на их родине. Его невеста восемь лет терпеливо ждала смерти тетки, без наследства которой брак казался невозможным. За истекшие годы она, поседев, начала красить волосы и купила на выплату домик для той счастливой поры, когда ее жених выйдет в отставку. А покуда полковник, благодаря молодой индуске — прислуге-наложнице, был терпелив и исполнен эпистолярной нежности. Тетка умерла, и начальник крепости индо-афганской границы прибыл в столицу. Он сошел на берег смиренным сыном церкви и проводил дни в богословских спорах, рассылке родственникам сентиментальных писем и разговорах о политике за сигарой и кофе в своем клубе.

Маркс изучил не только историю и экономику Англии, но и ее обитателей. С интересом читал он английские газеты, изобиловавшие сообщениями о возвышении и падении людей разного достатка и среды.

Судебные процессы — верное зеркало общественного строя. В них с безжалостной точностью воспроизводятся все уродливые отклонения, искалеченность быта, неодолимая тяжесть насильно надетых, мертвящих, ржавых кандалов буржуазной морали и права, многообразные последствия неравенства, изъязвленное бедностью, голодом человеческое сознание, непроходимые закоулки и тупики больной души.

Маркс наблюдал за тем, как экономический кризис порождал многочисленные метаморфозы в судьбах крупных буржуа, ростовщиков и банкиров.

Некогда английский высший свет был потрясен преступлением и последовавшей за этим казнью молодого очаровательного денди, богача Генри Фоунтлероя. Карты, любовные истории, шокировавшие пуританский Лондон, праздная роскошь, разорительные парушки и сумасбродства довели английского богача до подлога векселей. Генри Фоунтлерой был крупным банкиром, любителем смелой игры, пользовавшимся полным доверием денежных тузов из «Банк оф Ингланд», твердыни и могущественного господина Великобритании. Но Фоунтлерой посмел обмануть всесильный банк и, вопреки отчаянным

старанием его аристократических друзей, страстным мольбам его поклонниц и родни, предлагавшей любой выкуп, «банкирский цех» казнил своего преступного собрата. Виселица стерла пятно с «чистейшего и благороднейшего сословия» ростовщиков, вроде Ротшильдов, разбогатевших на разрухе, последовавшей вслед за смелыми авантюрами Наполеона.

Подобное же преступление вновь приплекло вниз и семидесятых годах. Некий банкир пустил в обращение подложные векселя. Он явился в Лондон уже миллионером и энергично взялся за выправление доселе сомнительной биографии, бросая щедрые пожертвования сиротским приютам, обществам защиты животных и многочисленным богадельням и госпиталям, по главе которых находились коронованные или высокотитулованные персоны. Подкупленные газеты наперебой восхваляли неизвестно откуда взявшегося благодетеля бедных, знатока искусств, расточительного и росконествующего, как кардинал. Банкир попытался, и опять не без успеха, сблизиться с английской знатью с помощью пиров и одариваний. Аристократы, обливавшие мультимиллионера «плебеем», не могли, однако, устоять перед желанием посмотреть разрекламированный новый банкирский дворец. Такому дому мог позавидовать любой герцог. Это была подлинная диковинка, вмещающая бассейн султанских гаремов, греческие дворики, римские террасы, японский садик, зал для гимнастики и американские ванны с постоянно проточной водой.

Англичане, не привыкшие к подобному размаху, сдались, не устояв перед соблазном, и банкир легко выиграл игру — втерся в дома аристократов.

После постройки дворца он полез на приступ «Банк оф Инглянд», и его финансовый гений после долгой осады покорил недоверие потомственных банкиров. Как некогда Фоунтлерой, он стал их доверенным лицом и одним из хозяев Сити. Он богател с невероятной быстротой, как был дельцом новой формации, в противовес английским финансистам с устарелым опытом, тормозящими традициями и чрезмерной осторожностью, перенятой от прежних поколений. Его агенты играли на биржах всего мира. «Гонись за миллионом, а не за грошом» — было девизом этого банкирского дома. Он субсидировал аргенти-

ских генералов, помогал корсиканским бандитам, снабжал оружием турок, находя в каждом деле ту или иную выгоду. Великий «Банк оф Инглянд» уважал его звериную хватку, прозорливость и решительность.

Учитывая все: войны, революции, неурожаи и векселя, он не учел только одного — кризиса. Экономическая катастрофа неожиданно подорвала могущество банкира. Он попытался спастись, бросив новые средства взамен потерянных в обанкротившихся предприятиях, и для этого решился подделать векселя.

Подобно кассиру магазина, судившемуся в соседней камере, банкир пошел на подлог, надеясь тотчас же, удачно использовав деньги, вернуть их и тем свести на нет первоначальное преступление. Но кассир проигрывал на скачках, а финансист — на колебании мировых цен. Оба опять и опять пробовали играть, добывая для этого деньги с помощью подлогов. Но и магазин, и английский банк внезапно обнаружили страшную пробоину. Кассир и банкир сели на скамью подсудимых одновременно. Разница была лишь в том, что кража кассира вызвала у его потрясенной жены преждевременные роды, кража финансиста привела к самоубийству трех других банкиров, к краху десятка предприятий. Несколько сот тысяч человек в Европе остались без работы, без куска хлеба, без крова, без будущего.

Своеобразное землетрясение — падение банка — отозвалось во всем мире, и прежде всего в Англии, катастрофическими толчками, взрывами, сопровождавшимися гибелью людей. Началась паника на бирже. Кризис углублялся. Дело Генри Фоунтлероя казалось теперь лишь злой проделкой испорченного ребенка. В начале века мир являл совсем иную картину...

Банкир не был казнен. «Банк оф Инглянд» не мог, да и не старался смыть позор с банкирского звания.

Пестрый, кичливый дворец финансиста продавался с молотка, но не нашел покупателя.

Кризис!

Аристократические имена не переставали украшать судебные отчеты. Баронесса, попавшая на скамью подсудимых, настойчиво причисляла себя к пострадавшим от экономической депрессии. Так ураган, выкорчевывая дубы, пригибает и ковыль. Разойдясь с мужем, баронесса открыла фешенебельный магазин дамских платьев, в

котором работал многочисленный штат портних и продавщиц. Она получала доходы и была довольна. Но в последнее время богатые дамы ввели моду на умеренность и экономию, и баронесса, потеряв прежних клиенток, перестала получать постоянную прибыль. Она обсчитала большую часть модисток и примерщиц, но, когда и это не помогло, попыталась вывернуться с помощью великого мошенничества.

Судебный процесс и тюрьма клеймили доброе имя всей семьи преступника. Этот предрассудок часто являлся подстрекателем к новому преступлению и длительным трагедиям. Семья изгоняла своего «оступившегося» члена, и Канада, Австралия, Индия или дальние острова были ему единственным пристанищем после отбытого наказания. Живых выдавали за мертвых. Сестре суждено ей грозило вечное девичество, братьям — потеря службы, родителям — презрение и бойкот всего квартала. Изгнание из своей среды было неизбежностью и для аристократа и для лавочника, с той разницей, пожалуй, что мщение лавочников бывало наиболее жестоким и продолжительным.

Лорд Ильсент предстал перед английской юстицией и тем покрыл несмываемой грязью герб его предков, служивших, по преданию, самому Вильгельму Завоевателю. Лорд Ильсент всю свою жизнь упорно продолжал родовую традицию бравых рыцарей, которые, кроме титула, не позабыли обзавестись в походах и богатством, умело пополняемым потомками.

Вместо разбойных походов ради покорения земель английская аристократия принялась наживаться более утонченным образом. Рабовладельцы стали рабонанимателями. Лорд Ильсент предпочитал работу с деньгами и акциями — они казались ему наиболее надежными и к тому же бессмертными.

Пароходная компания лорда Ильсента жестоко пострадала от экономического шторма. Пассажиров и грузов стало на треть меньше. Пришлось поставить на приколл несколько океанских судов.

В кассе лорда Ильсента оказалась роковая брешь. Огласить это, позвать на помощь — значило капитулировать. Ильсент попытался остановить катастрофу подлогом. Он скрыл от своих акционеров потери и опубликовал ложные цифры. Двенадцать месяцев тюрьмы должны

были научить неудачливого представителя славного рода коммерческой игре без шулерства. Вряд ли, однако, это смогло помочь разорившимся доверчивым покупателям лутых акций.

Суд — машина, все части которой не уступали по качеству самой высокосортной шеффилдской стали, — великолепно охранял священные привилегии голубой крови и богатства, автоматически разрубая на мелкие куски безумцев и несчастных, пытающихся восстать против нее.

В доках и рабочих городах несчастье слишком частый посетитель, а суд слишком откровенный враг.

Маркс, юрист, отлично разбирался в английском законодательстве и праве. Средневековый ритуал, по его мнению, должен был импонировать британцам своей многовековой неизменностью. Но за этой уловкой не могли укрыться лицемерное классовое пристрастие, продажность, заплесневелый опыт прошлых веков, трусливая кровожадность работорговцев, владельцев рыцарских замков, ростовщиков, заседающих в банках, всех тех, кто господствовал в веселой старой Англии.

Пристально вглядывались Маркс и Энгельс в некоторых рабочих, которые выслуживались перед капиталистами, получая от них подачки деньгами и даже титулами.

Как-то в доках Маркс обратил внимание на грязный клочок, оставшийся от объявления, прибитого к одной из потрескавшихся стен. Ветер изорвал бумагу, осталась только подпись руководителя тред-юниона транспортных рабочих Бен-Доллета, хорошо известного в припортовых кварталах. В прошлом он был грузчиком, затем механиком в лондонском порту. Теперь, однако, ничто в этом разжиревшем, лоснящемся старике не изобличало его прошлого. Ничто, кроме обезображенной руки, лишенной нескольких пальцев, которую, как орден, он показывал на выборных рабочих собраниях и стыдливо прятал на банкетах либеральствующих зажиточных буржуа и правительственных чиновников.

Пальцы Бен-Доллета погибли под непосильно тяжелым, уронившим их ящиком в лондонском доке.

Бывший грузчик стал старательным надсмотрщиком над своими прежними товарищами, влиятельным членом

парламента и пэром ее величества. Он поселился в большом собственном каменном коттедже и разъезжал в фаэтоне, запряженном двумя откормленными конями. Его сын учился в Кембридже и женился на дочери купца из Сити.

Молодой Джек Бен-Доллет был также политическим деятелем и рассчитывал значительно опередить отца. К нему благоволил премьер-министр Гладстон, в канцелярии которого он служил, а это была верная гарантия преуспеяния.

Людей, подобных Бен-Доллету, становилось в Англии все больше среди рабочего класса, и, хотя они все же исчислялись десятками, вред их был велик, а пример растлевающ.

Лиза Красоцкая познакомилась с леди Бен-Доллет на благотворительном вечере в пользу родильных домов для одиноких женщин. Жена пэра, тщательно скрывавшая, что в давно прошедшей молодости работала швеей в мастерской на Бонд-стрит, была преисполнена самодовольства пожилой женщиной, примечательной лишь тем, что два ее больших и бездумных глаза были различного цвета — один светло-голубой, а другой темно-коричневый. Она развлекалась филантропической деятельностью. Любимой темой разговора леди Бен-Доллет были придворные сплетни, которые она неутомимо собирала. Так как Лиза была не титулована и уже не очень богата — деньги ее ушли на многие общественные цели в Америке и в Европе, — леди Бен-Доллет уделила ей немного внимания, но зато ее сын Джек не скрыл своей заинтересованности семнадцатилетней Асей. Юная девушка вполне соответствовала данному ей в пансионе прозвищу «ртуть». Все в ней было в постоянном движении: озорные серые, со стальным отливом глаза, румяные губы, ямочки на щеках, узкие красивые руки. Худенькая, стройная и гибкая, она не могла усидеть на месте и заражала окружающих желанием двигаться.

Джек Бен-Доллет был тучный флегматичный человек с волосами прилизанными и лоснящимися, как у новорожденного щенка. В выражении его лица было что-то угодливое, слащавое.

Спустя несколько недель после знакомства Красоцких с Бен-Доллетами девушка сообщила матери, что решила выйти замуж за Джека.

— Но позволь, дарлинг, — крайне удивилась Лиза, — он ведь женат.

— Это не помеха для истинной любви. Бен-Доллет получит развод. Он мне сказал об этом, когда сделал предложение.

Лиза помрачнела.

— Подумала ли ты о его двух детях? Вторгнуться в чужое гнездо и пытаться разрушить его — это гадко!

— Ты рассуждаешь старомодно, мама, Джек ведь любит меня. Я заставила его признаться в этом.

— Но кто дал тебе право строить счастье на несчастье других? Впрочем, ты почти ребенок, и все это только блажь. Я прожила долгую жизнь и убедилась, что сознание причиненного кому-нибудь горя, проклятия и слезы, пролитые по нашей вине, всегда омрачают жизнь. Бойся их. Разве не будут казнить тебя всегда глаза оставшихся без отца детей?

— Право, мамочка, ты очень страшная. Ты мучишь одним своим укоризненным взглядом. Но если я откажусь от Джека, то никогда уже не полюблю никого другого и, значит, останусь старой девой.

— Тебе только семнадцать лет, девочка. Много будет еще впереди и увлечений и разочарований, прежде чем встретится настоящая любовь, — убеждала Лиза готовую расплакаться Асю. — Не совершай непоправимых ошибок и наберись терпения, — нет на земле человека, который не встретил бы того, кого ищет. Зачем тебе с юности муть и грязь в чистейшем таинстве брака? Я, право, не ханжа и не настаиваю на нерасторжимости супружеских союзов. Но у жизни есть свои неписаные законы. Только неотвратимое роковое чувство дает нам право на большие жертвы, а этого у тебя нет. Интриги, развод, брошенные дети, чьи-то страдания, только из-за страха остаться одной, — чрезмерный груз. Пожалей себя, какое-нет. Да и какая будет у вас с Джеком тогда любовь? Ведь чувства должны быть чистыми, как бы пронизанными лучами солнца.

— Раз так, то я уеду с Джеком в Канаду. Он давно хочет покинуть Англию. Я знаю, что ты родила меня до того, как вышла замуж за папу Сига. Значит, я дочь

незамужней женщины. Мне все рассказала няня Пэгги. Признайся: кто был моим отцом?

Лиза оторопела. Никогда Ася не спрашивала ее о своем происхождении. Девушка не знала, что родная мать ее умерла и она взята десятидневным ребенком из родильного дома «Помощь королевы Шарлотты» и удочерена Лизой. Сейчас молчание приемной матери Ася поняла превратно.

— Ты молчишь, потому что отец мой был женатым человеком и вы не могли обвенчаться. Не так ли?

Лиза опустила голову. Как быть? Рассказать Асе правду или оставить ее в двойном заблуждении? Но тогда она решится повторить то, что, по ее ложному представлению, случилось в жизни Лизы. В тот же вечер Лиза рассказала дочери все, стараясь возможно меньше поранить ее сердце. Истина подавила Асю. Она впервые испугалась, что может потерять любовь приемной матери. О Джеке больше не было речи. Спустя несколько месяцев имя его приплелось к себе внимание английской столицы. Сын пэра предстал перед судом. Он хотел бросить жену и сочетаться браком с дочерью весьма богатого владельца нескольких крупнейших столичных боен.

Бен-Доллет проделал все необходимые формальности, чтобы получить развод. На углу Лейстер-сквера он отыскал девушку, чьей профессией было способствовать освобождению мужчин от брачных уз. За шестнадцать фунтов это альтруистическое существо согласилось провести с ним ночь в отеле. Утром вошедшая горничная увидела необходимую для достижения разводной цели сцену: мужчину, прохаживающегося по комнате в халате, и даму в постели. Впоследствии, в присутствии жены, Бен-Доллет уронил «нечаянно» счет из гостиницы, в котором упоминались «двуспальная кровать и завтрак». Все было отлично. Жена в порыве обиды подала в суд требование развода. Горничная по поскупилась в описании интимных деталей. Но на коварный вопрос судьи об имени «согрешившей» с Бен-Доллотом женщины он не сумел дать ответа. Цепна с Лейстер-сквера дорого расценивала свою репутацию, и в шестнадцать фунтов стерлингов входила стоимость разоблачения ее инкогнито.

— Может быть, он провел ночь со своей бабушкой, в чем нет ничего предосудительного. Мало ли отчего мы иногда склонны преувеличивать содеянное, — сказа

глубокомысленно судья обиженной жене и закончил прочувствованной речью к обоим супругам, призывая их жить в мире и согласии. Пятьдесят фунтов, затраченные Джеком на судебные издержки и ночь в отеле, пропали безрезультатно.

Английский суд разводил только после самых унизительных ковыряний в бытовой золе и преимущественно в отталкивающих подробностях брачных отношений.

Беда, если судья принадлежит к какой-нибудь секте, тогда измученные друг другом супруги без всякой надежды наконец расстаться подвергаются длительной пытке поучающих проповедей.

— В следующий раз я попросту убью ее, — сказал Бен-Доллет своему юристу.

Но убил он не жену, а судью, отказавшего ему в разводе.

В теплый летний вечер Лиза и Ася подозвали извозчика и уселись в неповоротливый фаэтон. Кучер в грузной ливрее и поблекшем старом высоченном цилиндре повернул обветренное, густо заросшее бронзовыми волосами лицо, ожидая адреса.

— Мейтленд-парк роуд, Хаверсток-хилл, — сказала Лиза.

Кони побежали по гладкой мостовой. Совсем недавно появились в Лондоне резиновые шины, и ехать было приятно и спокойно. Лиза любила легкое покачивание кареты и с удовольствием откинулась на мягкую спинку. Колокольчики бренчали, веселя слух прохожих. В темноте фонари на кузовах встречных фаэтонов освещали улицы, мигая, исчезая, как светлячки. После Пиккадилли и Стренда совсем глухим и пустынным казался район, примыкающий к Хампстедским холмам. Движение здесь было очень незначительно. Дрожа, бросали на черный драчок камня белымо света одинокие газовые рожки.

В воскресенье в Модена-вилла собрались гости. Лиза нежно пожала руку Женни Маркс и Лепхен. Торопливо присела в заученном реверансе Ася и бросилась к поджидавшей ее Элеоноре, — девушки были дружны.

— Я набита тайнами, как подушка перьями, — шепнула весело Ася подруге и завертелась на месте.

Глаза ее, губы, руки были, как всегда, в непрерывном движении.

Лейхен настежь распахнула двери в сад. На зеленой лужайке стоял стол для предстоящего ужина. Она тоном командующего парадом отдавала приказания послушной ей молодежи.

— Господин Франкель, отнесите-ка эту лампу, а затем придите за тарелками. Не оступитесь на лестнице, там шесть ступеней. Женнихен, вольми соусник и салфетки, а ты, Тусси, не урони хлебницу. Сейчас я спущусь в кухню за холодной телятиной.

— Дайте и мне работу, — попросила Ася и тут же получила поднос с ложками, вилками и ножами. Жонглируя на ходу своей ношей, девушка, опережая всех, бросилась на полянку и принялась раскладывать приборы на белой скатерти.

Врублевский и Лонге в это время выносили в сад стулья. Маркс оставался наверху с одним из участников Парижской коммуны.

— Пройдите к Мавру, госпожа Красоцкая, он просил об этом. Там, кстати, вы найдете и своего соотечественника. Этот русский господин знает вас по Парижу.

«Кто бы это мог быть, не Лавров ли? — думала Лиза, поднимаясь по деревянной узенькой лестнице на второй этаж. — Я видела этого человека только раз и отнюдь не прониклась к нему симпатией».

Постучав и услышав в ответ «войдите», Красоцкая открыла дверь в просторную рабочую комнату. Маркс пошел ей навстречу. В мужественном, коренастом человеке, сидевшем подле камина, Лиза действительно узнала Лаврова.

— Знакомьтесь, пожалуйста, — по-русски сказал Маркс, представив их друг другу.

— Мы мельком виделись весной этого года, — отозвалась Лиза, пытливо вглядываясь в чистое, широкое, невозмутимое лицо подошедшего Петра Лавровича.

— Да, нам почти не довелось встречаться с вами в Париже, но зато я до последних дней Коммуны имел счастье общаться с господином Красоцким, да будет земля ему пухом. Светлая память об этом доблестном борце не изгладится в моем сердце, — произнес Лавров с искренним чувством и низко поклонился Лизе. Затем красивым

движением головы откинул густые с проседью гладкие волосы.

Слова его тронули вдову Красоцкого, и она благодарно пожала крепкую, сухую руку соотечественника. Но, подняв глаза на Лаврова, Лиза внезапно подметила, как надменно, самодовольно сомкнулся его упрямый рот, перехватила холодный взгляд из-под очков и ощутила, как поднявшееся было в ее сердце доброе, теплое чувство к Лаврову отхлынуло.

«Считает себя натурою избранной», — пронеслось в ее мозгу.

Лавров был отлично образованный, много видевший человек. Он не был лишен самокритического мышления и того неуемного душевного беспокойства, которое гонит человека на постоянные поиски глубинной сущности явлений и ускользающей истины. Ему было уже около пятидесяти лет. Опасный возраст, когда нередко прекращается горение духи и люди незаметно для себя останавливаются в движении и начинают тратить накопленный прежде и уже больше не пополняемый духовный капитал. Лавров не был твердо уверен, что давно все постиг и правильно понимает происходящее в окружающем мире. Он решительно утверждал только, что развитие человечества целиком является следствием деяний особо даровитых, критически мыслящих личностей. Карлейль был одним из наиболее чтимых им писателей. Лавров верил в то, что мир будет спасен героями духа и мысли.

К Марксу и Энгельсу Петр Лаврович пришел, уверовав в то, что они являются исключительными натурами. Узнав их ближе, он увлекся необычностью их характеров и взглядов. Отдавая дань гениальности вождей Интернационала, Лавров, однако, не смог перейти на позиции научного социализма. Ничто не могло поколебать этого, по мнению Лизы, непроницаемого человека. Дворянин по происхождению, он отметал с насмешкой самую мысль о том, что рабочий класс России может явиться силой, преобразующей общество. По мнению Лаврова, только крестьянство, ведомое необыкновенными личностями, способно выполнить такую миссию. Считая долгом каждого честного и выдающегося деятеля истории, к когорте которых Петр Лаврович причислял и себя, вступиться за правое и героическое дело коммунаров, он очутился в Па-

риже, где проявил отвагу. Затем он вошел в Интернационал, но ни на шаг не отступал при этом от взглядов русских народников.

Для Лизы люди, подобные Лаврову, не были трудно разрешимой загадкой.

— Вы, я слыхал, собираетесь весной в Швейцарию? — спросил Маркс Лизу. — Это очень кстати. Генсовет даст вам кое-какие поручения в Женеву к членам Русской секции.

— Располагайте мной.

Марке подошел к столу, взял коричневую трубку, издававшую резкий горьковатый запах, и стал выбивать ее о край плоской пепельницы, формой напоминавшей лист платана.

— Вам, очевидно, предстоит встреча с Бакуниным? — поинтересовался Лавров. — А как вы судите о нем?

— Когда-то я хорошо знала этого новоявленного пророка. Это было так давно, — уклонилась от разговора Лиза.

— Теперь сей казарменный коммунист, бия себя в грудь, вопит о том, что он социал-атеист, — сказал Маркс гневно. — Аморфный всеразрушитель, мастер позы и громких, бессмысленных по существу, но весьма пышных фраз.

Женнихен и Шарль Лонге пригласили звать Маркса и его гостей в сад. Как обычно в этом доме, ужин прошел непринужденно и живо. Было довольно поздно, когда компания пополнилась еще двумя гостями — Проспером Лисагаре и Жаном Стоком.

Появление машиниста произвело на всех заметное впечатление. Женни с глубоким сочувствием протянула ему руку, Карл предложил сесть рядом с собой. Жан Сток казался совершенно невозмутимым, и, однако, это было спокойствие каменной гробницы. Он был сед, взгляд его подолгу задерживался на каждом предмете и с огромным трудом отрывался от него. Тот, кто не знал истории этого расстрелянного у стены Пер-Лашез и случайно оставшегося в живых человека, нашел бы его очень странным. Говорил Жан мало и отрывисто. Движения его были как бы заторможенными. Редкая улыбка на его лице напоминала гримасу острой физической боли. Пули версальских палачей вконец подорвали его здоровье: он протяжно кашлял и не мог более владеть левой рукой. Что-то

отрешенное появилось не только в душе, но и в облике бывшего машиниста.

Получить работу в Лондоне было очень нелегко, так как английские буржуа отказывались нанимать коммунаров. Благодаря настойчивым заботам Маркса, бывший машинист устроился сторожем в одной конторе, а Лиза поселила его в своем скромном доме. Он выполнял также поручения Генерального Совета, помогал Красоцкой в свободное время ухаживать за растениями в небольшом саду́ике и вести ее несложное хозяйство. Все, кто узнавал Жана Стока ближе, любили его.

— Ешьте, дорогой Жан, вам надо хоть немного потолстеть. Тогда пройдет ваш гадкий кашель, — говорила Лепхен, пододвигая ему самые лакомые куски и стараясь не показать, как она его жалеет.

— Спасибо, мисс Демут, — тихо ответил Сток и глухо закашлялся.

— Было бы хорошо вам, старый дружище, съездить в Рамсгет и отдохнуть у моря. Мы сообща устроим вам это, — сказал Маркс.

— Конечно же, Мавр, — обрадовалась Женни.

Франкель, Врублевский и Лонго живо поддержали ее. Но Сток нахмурился и мягко возразил:

— Есть люди более несчастные и больные среди коммунаров, нежели я. Можно перечислить вам много имен. Им, и только им, должны все мы помочь. Вот Эжен Потье, к примеру. Он очень слаб телом, хоть и крепок духом. Его нужно подлечить, а затем дать денег на билет в Америку. Там он найдет себе работу и пригодится для пропаганды наших идей. А мне хорошо, братья, право же, очень хорошо. Я жив и вижу вас, в то время как столько коммунаров закрыло глаза навеки.

Жану хотелось еще многое сказать о тех, чьи образы он носил в своей груди, никогда не забывая, но, заметив, что печаль ночным петром коснулась всех сидевших за столом, он смолк. Когда с едой было покончено, Жан Сток незаметно ушел. Вскоре и Маркс, дружески распрощавшись со всеми, отправился работать к себе наверх. Женни стала проводить мужа.

Лиза, весь вечер мало говорившая, внимательно наблюдала за этими двумя, ставшими ей очень близкими и дорогими, людьми. Оба они были в расцвете той зрелой

красоты духа, которая приходит вместе с возрастом. Маркс несколько пополнел и выглядел еще более физически сильным и представительным. Из-под приспущенных верхних век на мир смотрели совершенно молодые, искрящиеся, прекрасные выражением ума и воли глаза. Голубая седина бороды оттенила смуглый, без румянца цвет лица. Никогда Марке не выглядел более значительным и величавым, нежели в эти годы.

Лицо Женни поразило Лизу своей переменчивостью. От него трудно было оторваться, оно подчинялось каждой мысли и движению чувств. Женни то молодела настолько, что Лиза будто видела ее как в годы светлой юности, то вдруг мрачнела и старела или становилась спокойной, строгой. Эта особенность, присущая внешности жены Маркса, свидетельствовала о сложности и чувствительности ее души. Так думала Лиза, любуясь сменой выражений ее лица.

«Не знаю, — решила она про себя, — что сказали бы поэты, но я сравнила бы госпожу Маркс с тем, что наиболее многообразно на земле, — с небом, которое так переменчиво».

После ужина молодежь разделилась на группы. Женнихен, Лонге, Франкель и Проспер Лиссагаре уселись на скамье.

— Как я люблю этот дом, этот сад! — воскликнул Врублевский, останавливаясь перед ними, и закончил восторженно:

Здесь властвуют Титан,
Огонь несущий,
Бог Прометей!

— Валерий, как всегда, черпает вдохновение и слова у Эсхила и Софокла, — сказал Лиссагаре своим глухим голосом.

— Что ж, это надежные друзья, — улыбнулась Женнихен.

Элеонора и Ася уединились в оранжерее, чтобы посекретничать без помех.

— И он предлагал тебе бежать с ним за океан? — допытывалась опечаленная признанием подруги Тусси. — А впрочем, все это довольно занимательно. Мавр сказал бы, что эпопея твоего Джека Доллета всего лишь приключения плоскодонной душоики или что-нибудь в этом роде.

— Но если его казнят, это будет точь-в-точь такая же развязка, как в романе «Красное и черное» моего любимого писателя Стендаля, — восторженно заявила Ася.

— Действительно, похоже, но что до меня, то я терпеть не могу уголовных происшествий и убийц, — с брезгливой гримасой заявила Элеонора. — Скажи мне лучше, нравится ли тебе Лиссагаре? Не думай, что он, как все остальные взрослые в этом доме, ухаживает за Женнихен, совсем нет. Он очень много времени уделяет не ей, а — мне.

Ася приподнялась на цыпочки и через довольно грязное стекло оранжереи посмотрела на живо о чем-то разговаривавших с Женнихен коммунаров.

— Проспер — вот тот, худой высокий шатен с очень тонким аристократическим лицом.

— Да ведь он старик, — разочарованно произнесла Ася. — Ему, наверно, более тридцати лет. И какой-то помятый. Я думаю, его уже невозможно разгладить никаким утюгом.

Девушки весело расхохотались.

— И все-таки это очень лестно, когда к тебе относятся, как к совсем взрослой, и даже советуются с тобой, — промолвила Тусси.

— Твоей старшей сестре пора выйти замуж, ведь Лаура младше, а уже давно мадам Лафарг.

— Мне кажется, Женнихен стоит только захотеть, и она станет госпожой Лонге. Я подозреваю, что Франкель и даже Врублевский тоже на нее засматриваются. Достаточно прочесть их ответы в «Книге признаний». Обоим нравятся только черные глаза и черные длинные волосы.

— Может быть, твои?

— Что ты, Эсси, кроме Лиссагаре, все остальные, увы, считают меня еще ребенком. Я выучила наизусть поэзы Врублевского. Он писал ее будто бы в шутку, но ведь под этим могут скрываться и подлинные его мысли. Послушай и суди сама:

Ваше понятие о счастье: пламенный ад.
О несчастье: холодный рай.

— Я должна это записать в свою книжку замечательных изречений. Кто бы мог подумать, что этот рябой пожилой человек такой романтик и даже поэт! — воскликнула Ася.

— Это верно, у него нежное сердце, и напрасно он считает своей отличительной чертой — неотесанность, — согласилась Элеонора. — Девиз его, конечно же, относится к Женнихен, хотя она и сердится, когда я говорю ей это. «К чему были бы все добродетели и пороки, даже мрак ночи и лучи дня, — пишет он, — без света черных очей и тени длинных волос». Как это красиво сказано, не правда ли?

— Мне больше нравится господин Франкель, он очень умный и чуткий.

— Ты права, но Франкель слишком уж серьезен. Его признания я тоже выучила наизусть, они вовсе не шутливы.

И Тусси с расстановкой, прикрыв большие глаза, как монолог из пьесы, прочла подруге исповедь молодого революционера. Ася ее не прерывала.

Вопреки Гете, который говорил, что «только innige скромны», Лео Франкель превыше всего ценил в людях скромность, в мужчине — прямоту, в женщине — умение, внушив к себе любовь, заставить себе повиноваться.

Своей отличительной чертой он считал повышенную чувствительность и признавался, что его представление о счастье — любить и быть любимым, о несчастье — быть исключенным из Интернационала.

Он питал наибольшее отвращение к пошлости и лицемерию.

Ваша антипатия: люди, одобряющие все установления просто потому, что они существуют.

Исторические личности, которые внушают вам наибольшее восхищение: Томас Мюнцер, Бабёф.

Личности, которых вы ненавидите: революционеры на словах.

Любимое занятие: наблюдать.

Любимый герой: тот, которого историки именуют «народ».

Любимая героиня: Луиза Мишель.

Любимый поэт: Эзоп, Гейне и автор «Возмездия» Гюго.

Любимый прозаик: Томас Бокль.

Цвет глаз и волос: черный.

Любимый цветок: фиалка.

Любимые имена: Элиза, Маргарита и... Женни.

Блюдо: пудинг.

Девиз: раз уж нам суждено умереть, то постараемся, по крайней мере, умереть за правое дело.

Ася была восхищена.

— Ах, если бы он был молод, не имел такой черной страшной бороды и не носил таких уродливых очков, как бы я могла его полюбить!

Страх, любопытство, ненависть, которые внушало имя Карла Маркса правящим классам на разных материках, порождали много лжи. Маркс по этому поводу как-то привел слова Чернышевского, труды которого читал всегда с особым удовольствием: «Кто шествует по путям истории, не должен бояться запачкаться».

Особенно бесновались французские реакционеры. Одна из бонапартистских парижских газет измыслила ложное сообщение о смерти вождя Интернационала, которое подхватила печать различных стран. Получив эти сведения и поверив им, конференция филантропического «Космополитического общества» в Америке вынесла резолюцию, которую опубликовала в газете «Мир». В ней говорилось, что Маркс являлся «одним из самых верных, бесстрашных и самоотверженных защитников всех угнетенных классов и народов». Конференция за океаном призывала «умножить усилия для защиты тех прав, которые так смело и упорно отстаивал Маркс».

Известие о мнимой смерти Маркса долго служило темой для всяческих разговоров и шуток в Модена-вилла. Но Елена Демут негодовала и успокаивала себя, лишь вспоминая народную примету, говорящую, что тех, кого при жизни хоронят, ожидают долгие и плодотворные годы.

В сентябре 1871 года в Лондоне произошла закрытая полулегальная конференция Международного Товарищества Рабочих, посвященная обобщению опыта возникновения, бытия и гибели Парижской коммуны. Судьба Коммуны была весьма поучительна. Отныне главным для пролетариата становилась сплоченная революционная партия. Всеобщее негодование вызвали анархисты и их главарь Бакунин, которые отрицали необходимость политической борьбы и объединения рабочего класса. Резолюция, принятая на конференции, гласила, что пролетариат может действовать, лишь организовавшись сам в политическую

партию, которая необходима для того, чтобы обеспечить победу социальной революции и осуществить ее конечную цель — уничтожение классов.

Лондонская конференция, руководимая Марксом, разоблачила вероломство анархистов и их вожака Бакунина. Перед пролетариатом была поставлена задача создания в каждой стране строго дисциплинированной политической партии.

В дни конференции Женни Маркс находилась с Элеонорой в Рамсгете. Ей долгое время нездоровилось, и Карл настоял, чтобы жена поселилась у моря. Но, оставшись один, Маркс очень тосковал по ней. Улучив свободную минуту, он отправил ей письмо:

«Дорогая Женни! Сегодня наконец конференция заканчивается. Это была тяжелая работа. Утренние и вечерние заседания, в промежутках заседания комиссий, выслушивание очевидцев, подготовка докладов и т. д. Но зато и сделано больше, чем на всех предыдущих конгрессах, вместе взятых, ибо за отсутствием публики незачем было упражняться в театральном красноречии. Германия не была представлена, от Швейцарии присутствовали только Перре и Утин.

На прошлой неделе революционная партия в Риме устроила в честь Ричотти Гарибальди банкет; мне прислали о нем отчет, помещенный в римской газете «Capitale». Один оратор... провозгласил встреченный с большим энтузиазмом тост за рабочий класс и за Карла Маркса, который стал его «неугомимым орудием». Горько это для Мадзини!

Когда в Нью-Йорк пришло известие о моей смерти, то «Космополитическое общество» созвало собрание, резолюции которого, опубликованные в «World», я тебе посылаю... Тусси получила также письмо и от встревоженных петербургских друзей... С Робеном и Бастеликой, друзьями Бакунина и его соучастниками по интригам, дело было трудное...»

Наступила поздняя осень. Лондон окутали черные и желтые туманы. Маркс хворал. Карбункулы преследовали его меньше, но начались резкие боли в печени; кромо того, он тяжело страдал от неудержимых приступов кашля, мешавших сну и значительно ослаблявших больного.

Впрочем, врачи считали это не легочным, а горловым заболеванием. Столь завзятому курильщику, привыкшему к табаку с юности, каким был Маркс, пришлось окончательно отказаться от сигар и трубки.

Каждый день, независимо от погоды, защищаясь от дождя большим зонтом, обычно вместе с Энгельсом, в сопровождении послушного лохматого пса Виски, Маркс отправлялся на двухчасовую прогулку по Хэмпстедским холмам. Дорога была неровной, приходилось подниматься и спускаться по крутым склонам. Оба друга были отлично тренированными ходоками. Отныне они могли общаться, не прибегая к переписке, делиться каждой мыслью, обсуждать злободневные вопросы. Они давно понимали один другого с полуслова. Случалось, оба принимались громко спорить и в поисках единого решения, вернувшись домой, рылись в справочниках, чтобы прийти к согласованному выводу. Это был плодотворный обмен мыслями и мнениями. Если прогулка почему-либо не могла состояться, друзья оставались наедине в кабинете. Внезапно поднявшись с кресел, они принимались ходить, каждый по своей диагонали, поворачиваясь у стены на каблуках и снова двигаясь в противоположном направлении. И нередко обсуждение какого-либо значительного вопроса из области истории, естествознания, политики, экономики продолжалось в течение нескольких встреч, до тех пор, покуда предмет размышлений не исчерпывался или не становился совершенно ясным для обоих.

Часто эти два пожилых, но бодрых человека начинали соревноваться в шутках, острословии, и тогда громкий, от сердца идущий смех разносился по всему дому, а если это было на прогулке, его повторяло эхо, и он замирал среди лугов и редких садов мало застроенной пригородной местности. Иногда они принимались петь народные и студенческие немецкие песни или арии из опер. Нередко к их дуэту присоединялись Женни, Лиззи и Ленхен.

Красоцкая отправилась в Швейцарию. Ей предстояло по просьбе Маркса еще раз встретиться с Бакунинным. Чтобы быть во всеоружии на случай спора, Лиза обзавелась множеством книг, которые могли бы помочь ей разобраться в учении, проповедуемом анархистами. Чем больше читала она статей Бакунина, а затем и его про-

тивников, тем больше поражалась тому, что узнавала. В своей тетради Красоцкая записала для памяти:

«Слово «анархизм» происходит от греческого «безначалие, безвластие». Его отыскал и пустил по свету Прудон, который анархистские идеи, имевшие хождение в прошлых веках, выдал за свои. Еще Годвин в своей знаменитой некогда книге отвергал государство, законы и политические учреждения во имя так называемой свободы личности. Я прочла книгу и другого предшественника Бакунина, некоего Макса Штирнера. Он еще в 1845 году заявил, что эгоизм есть ось, вокруг которой вертятся все взаимоотношения людей. Ячество стало его религией, и он требовал, чтобы ничто не мешало ему жить так, как заблагорассудится, даже если от этого погибнут города и люди. Штирнер ярился против коммунизма, потому что это учение о счастье для всех, а не для одного-единственного, и воспевал частную собственность, объявляя ее священной. Он призывал к созданию союза эгоистов-собственников. Чего только уже не бывало на свете!

Марке всю эту чехарду идей назвал в разговоре со мной вселенским бунтом мелкого буржуа и напомнил при этом о формуле Прудона: политическая революция — это разложение государства, а экономическая революция — это общественное переустройство без какой бы то ни было классовой борьбы. Так вот откуда Михаил Александрович черпает свою премудрость. Не глубокий его источник! Удивительно и горько, а вот уж подлинно одна паршивая овца портит все наше стадо. Клевета, подлоги, интриги — все орудия зла использует Михаил Александрович против Генерального Совета. Зачем ему это?»

И снова Лиза очутилась на швейцарской земле. Воспоминания давили на нее, как горы, которых она никогда не любила. Насколько бодрил ее всегда морской бескрайний простор, настолько удручали со всех сторон обступившие озеро Леман громады Альп, острые, холодные, ограничившие мир со всех сторон, точно тюремные стены.

Была весна. В горных долинах цвели и одурянще пахли нарциссы. Они заглушали травы, и казалось издали, что с гор течет серебристая река.

С охапкой душистых цветов Лиза пришла в маленькое шале — коричневый двухэтажный фермерский домик, прилепившийся к горе. Хозяйка принесла ей парного молока,

хлеба и ломоть желтого сыра. День был такой ясный, что самые далекие вершины гор, даже обычно окутанная туманом Маттерхори, были совершенно обнажены. Лиза допоздна бродила одна по альпийским лугам, и чем выше она поднималась, тем больше находила мягких, точно войлок, эдельвейсов. С годами она чаще нуждалась в таких днях полного молчания, углубленных размышлений и общения с природой. Душа ее как бы очищалась. Кроме того, это были часы поминовения усопших, своеобразное таинство.

Приближались часы заката. Небо напомнило Лизе прекрасный переменчивый камень александрит. Из синего оно становилось розовым и, наконец, темно-лиловым. Лиза повернула назад к шале, где решила переночевать. Она мысленно попрощалась со всеми, кто сопутствовал ей в долгой, одинокой прогулке. Грустнее всего было расставание с Сигизмундом Красоцким. Чем больше времени проходило со дня его гибели, тем тяжелее становилось ей оставаться на земле.

В старости приходит не только физическая, но и душевная дальнозоркость. Множество ранее забытых чувств и событий возвращаются и оживают. Перед Лизой снова прошла вся ее счастливая жизнь с Сигизмундом. Он один любил ее по-настоящему преданно, самозабвенно. Спускаясь с гор, Лиза, охваченная тоской, вызывала в памяти улыбку, голос, смех мужа. Она не замечала, как слезы омывали ей лицо.

Утром, освежепная, спокойная, собранная, она отправилась в кантон, где жил Бакунин. В маленьком уютном городке в предгорьях Альп, на улице, густо усаженной цветущими розовыми и белыми каштанами, в домике часового мастера, рьяного анархиста, Михаил Александрович снимал несколько комнат. Там же жил его друг и последователь Гамбуцци.

Лиза постучала. Дверь открыла полная, низенькая молодая женщина, точно сошедшая с картинок, рекламирующих швейцарский сыр и молочный шоколад. «Экая фламандская красавица», — подумала Лиза, приветливо улыбнувшись бело-розовой блондинке в помятом и несвежем шлафроке, обшитом бесчисленным количеством оборочек и кружев. Узнав, что Лиза русская, она выразила непритворную радость.

— Вы к Бакунину? Я его жена, Антония Ксаверьевна, будем знакомы. Как приятно увидеть русскую даму

в этом глухом месте, где живут одни только белые люди, — тараторила Бакунина, пропожая Лизу в комнату мужа. — Вы уж извините нас за беспорядок. У нас двое детей, да еще такие шалуны. Мы так редко видимся с мужем. Мне иногда по целым неделям словом с ним не приходится обмолвиться, и я, право, очень счастлива, что надолго уезжаю в Красноярск к родителям. Разрешение уже получено. Пожалуйста, сюда.

Из темного коридора, заставленного сундуками и всякой рухлядью, Антония Ксаверьевна ввела Лизу в большую светлую комнату, производившую отталкивающее впечатление из-за господствовавшего там беспорядка. Деревянный пол был грязен. Клочки бумаг, окурки, пара давно не чищенных больших ботинок валялись у неприбранной кровати. Стол был завален книгами и газетами. На стульях лежала мужская одежда. Двое черноволосых смуглых ребят пытливо выглядывали с большой террасы.

— Мои дети пока еще не говорят по-русски. Они у меня вылитые итальянцы, — сказала Антония Ксаверьевна многозначительно.

В это время с полотенцем через плечо и с черепаховой мыльницей в руках вошел Бакунин.

— Простите, бога ради. Не знал, что у нас гостья. Засиделся до полуночи с друзьями и, как видите, только что встал. Сердечно рад вашему визиту.

Громко шлепая бархатными домашними туфлями, Михаил Александрович прошел в соседнюю комнату, чтобы скинуть халат и обрядиться в щегольской новенький костюм. Между тем, не переставая говорить, его жена оправила постель и, освободив от множества предметов обихода ковровое кресло, предложила его гостье.

— Мишель очень придирчив и горяч, и я предпочитаю помалкивать и не трогать его вещей. Ему очень трудно угодить, — видно, мать и сестры слишком его избаловали. Вообще лучшая метода в браке — не перечить.

Как только Бакунин вернулся, Антония Ксаверьевна, мило улыбаясь, ушла и увела с собой детей.

Лиза и Михаил Александрович грустно разглядывали друг друга. Оба они очень постарели. Несмотря на парадный коричневый сюртук и полосатый жилет, сшитый по последней моде и несколько скрадывавший рыхлую полноту, Бакунин выглядел очень тучным и нездоровым

Особенно поразила Лизу его полукруглая выпуклая спина. Было в ней что-то настороженное, сталкивающее. Потухшие бесцветные глаза его беспокойно перебегали с предмета на предмет. Мокрые после мытья волосы все еще вились, но потускнели и поредели. Бакунин старался держаться уверенно, даже молодцевато, но в действительности был заметно неустойчив, слаб и легко терял самообладание. Не зная, с чего начать беседу, он взял со стола и повертел в руках портрет жены.

— Хороша, не правда ли? И добра. Чего же еще желать от женщины? Как ваше мнение?

— Раньше вы думали и говорили иное, — ответила Лиза.

— Я был наивен. Раз нет на свете абсолютного совершенства, то лучше этакое дитя природы, чем назойливость и глупость ученых женщин. Так-то, друг мой, а семьи ведь у меня не получилось.

— Но, позвольте, у вас премилые дети, да и Антония Ксаверьевна вас, видимо, любит.

Бакунин странно улыбнулся, потер рукой лоб, поправил очки, ссутулился и вдруг впервые взглянул прямо в темные, широко раскрытые, всегда печальные глаза Лизы.

— Разве вы не знаете? — спросил он, и голос его осекся.

— Чего, Мишель?

— Того, что многим ведомо. Дети не мои. Их отец — мой добрый друг Гамбуцци. Но я не в претензии. О нет. Так даже и лучше для меня. А что до Антонии, то она никогда за все эти годы не сказала ничего умного, и, повторяю, в этом ее достоинство. Вот сердце у нее действительно отзывчивое, и я многим ей обязан был в Сибири. Удивительно, откуда у нее столько такта, несмотря на полное невежество. Она никогда не была мне в жизни помехой... и женой тоже... не была. Но вздумайте читать мне лекций с прописной моралью, — вдруг вспылил Михаил Александрович, хотя Лиза не шевелилась и слушала его молча, отведя глаза и глядя в окно, за которым цвело большое яблоневое дерево. — Что до прошлого, — продолжал Бакунин, — то я не смог бы быть с вами счастлив. Впрочем, это шутка, а посему, дорогая, не хмурьтесь. Итак, вы ко мне явились в качестве эмиссара от марксидов?

— Я приехала в Швейцарию по своим делам, но не смогла отказать себе в удовольствии повидаться с вами. Мы некогда были дружны.

— Поверьте, — разглаживая бороду и бакенбарды, сказал ей искренне Бакунин, — вряд ли есть у вас на свете более надежная и преданная душа, нежели моя. Вы всегда были очень умны и столь же совестливы и правдивы. Знаете ли, однако, почему я бежал от вас?

Лиза не ответила.

— Скажу вам без обиняков. Теперь это уже можно. Потому что казнился вами. Может ли убийца постоянно видеть перед собой свою жертву? Вы всегда страдали молча, ни разу не попрекнули меня, отказывали себе в самом необходимом, чтобы дать мне все до последнего гроша. Мне, неблагодарному, безропотно и бескорыстно вы бросили свою нежность, верность, любовь. Лучше бы вы укоряли, презирали, когда-нибудь даже ударили меня. Ваше божественное терпение и самоотверженность стали наибольшей карой за мое равнодушие, грубость, сухость, эгоизм. И я вас возненавидел. Ну вот наконец я исповедался перед вами. Простите меня, грешного раба божия, и постарайтесь понять.

— Не стоит нам, старикам, ворошить то, что принадлежало молодости, — ничем внешне не проявив своих подлинных мыслей и чувств, с вежливостью ответила Лиза. — Все это мертво.

— Вы были богаты. Я тоже ныне ни в чем не нуждаюсь, а главное — дело всей моей жизни на подъеме.

— Денежный фонд Бахметьева, предназначенный для укрепления панславистской идеи Герцену, кажется, полностью перешел теперь к вам.

— Мы действительно унаследовали эти весьма необходимые, да и внушительные средства для пропаганды нашего учения во всем мире.

— Итак, несмотря на свою открыто проповедуемую ненависть к институту наследования, для себя вы сделали исключение? — с нескрываемой иронией спросила Лиза.

— Когда цель столь велика, она предопределяет поступки.

— Иезуиты, вероятно, не подозревают, что анархисты переняли у них основные принципы.

— Мы не гнушаемся ничем. Меня трудно вывести из себя подобным упреком. Иезуиты были некогда властелинами мира. Теперь ими станем мы, анархисты! Вы же, Лиза, исповедуя в прошлом свободу без ограничений, стали теперь всего лишь рабой авторитарнев, послушным эхом немца Маркса и его компании.

— Не будем браниться, Мишель. Мне хотелось бы послушать вас, узнать, чему учите вы теперь членов своего ордена? — попыталась предотвратить ссору Красоцкая. Ей было важно заставить Бакунина разговориться, чтобы лучше понять, в чем же суть его разногласий и причина злобной, опасной борьбы с Интернационалом.

— Я мог бы предложить вам прочесть нашу газету. Сейчас «Равенство» в руках анархистов, и теперь уже навсегда.

Внезапно Бакунин подошел к Лизе, наклонился и положил большую пухлую руку на ее плечо.

— Такие женщины, как вы, любят только раз в жизни. Я не верю, чтобы вы изжили свое чувство и стали мне чужой. В Венеции я понял ваше поведение, рядом с вами ведь был муж. Но сейчас уже никто не стоит между нами. Не может быть, чтобы такой человек, как вы, Лиза, стали действительно искренней марксисткой. Это противоестественно, чудовищно для славянки, для истинно русской. Признаюсь, иметь в вас единомышленницу, идейного верного друга было бы для меня большим счастьем.

— Что ж, это вполне возможно, — сказала Лиза.

— С того бы и начали, я очень, очень рад. Вы могли бы оказать нам большую услугу именно потому, что уже вошли в доверие к Марксу. Сообщайте мне обо всем, что делается в Генеральном Совете, я имею в виду у его вождей в первую очередь.

— Понимаю. Вы предлагаете мне шпионить, — с огромным трудом подавив жгучее негодование и притворившись сговорчивой, тихо сказала Лиза.

— Какое неуместное в политике слово. Я призываю вас к идейной борьбе с врагами рабочего движения, захватившими руководство в Интернационале. Итак, мой мудрый старый друг, присылайте мне еженедельно книги, любые романы, учебники, что хотите. На страницах девяносто три, сорок восемь, тридцать, семьдесят один отмечайте точками те слова, которые в совокупности будут

образовывать фразы вашего ко мне письма-сообще-ния.

— Но почему именно эти страницы?

— Как вы недогадливы. Это годы великих восстаний и народных потрясений. Не обязательно указывать тысяча семьсот девяносто третий или тысяча восемьсот сорок восьмой. Мы оговорим все заранее. Как видите, приходится перейти к конспирации, чтобы одержать победу и, главное, не выдать вас. Маркс и Энгельс сумели втянуть в свои сети немало пролетариев. К сожалению, время дискуссий и политических турниров кончилось.

— Но ведь все это нечестно. От кого вы меня хотите спрятать?

— Ради народа мы должны идти на все. Если вас заподозрят в симпатии к нам, то вы ничего не сможете более узнавать у марксидов. Я отныне считаю вас бакунисткой.

Не дожидаясь ответа Лизы, Михаил Александрович привычно откашлялся и принялся говорить все громче и громче, с нарастающей горячностью и воодушевлением:

— Вам я верю, вас я причисляю к тем немногим избранным, кого можно посвятить во все секреты моего тайного союза. Да, Лиза, помимо открытого «Альянса социалистической демократии», у меня действует также подпольная организация, состоящая из интернациональных братьев и национальных братьев. Эти братья не имеют иного отечества, кроме всемирной революции, иной чужбины и иных врагов, кроме реакции. Они отвергают всякую политику соглашательства и уступок и считают реакционным всякое политическое движение, которое не имеет непосредственной и прямой целью торжество их принципов.

Бакунин вытер платком влажное лицо и лоб, снял очки и многозначительно посмотрел на Лизу.

— Слушайте дальше. Интернациональным братом может стать только тот, кто искренне примет всю программу, со всеми вытекающими из нее теоретическими и практическими последствиями, тот, в ком ум, энергия, честность и сдержанность соединяются с революционной страстностью, тот, в ком сам черт сидит. Да, да, Лиза, не удивляйтесь. Нам нужны люди, подобные мне, ибо сам я—воплощенный сатана! Не признавая другой какой-либо деятельности, кроме дела истребления, мы согласимся, что формы, в которых должна проявляться эта

деятельность, могут быть чрезвычайно разнообразны: яд, нож, петля. Революция все освящает. Вы русская, Лиза, и должны вместе с нами немедленно приняться за святое дело истребления зла, очищения и просвещения русской земли огнем и мечом!

— И много уже у вас братьев? — с трудом сдерживая улыбку, спросила Лиза.

— Нам нужно только сто человек сильных, идейных. Это будет сотня, но сотня, которая перевернет весь мир! Масса же подвержена стадному чувству. Она пойдет за нами, когда проснутся в ней здоровые инстинкты!

— А вы...

— Я? Внешне мое правление будет соответствовать президенту в федеративной республике!

— Кем же вы избраны?

— Члены — основатели «Альянса» — все свои полномочия передали мне.

— Что ж, очень приятно убедиться в том, что вы один выступаете в стольких лицах, что вы есть основной и единственный стержень «Альянса». Какова же программа этой деспотической и иерархической тайной организации, Михаил Александрович? То, что вы говорили до сих пор, было весьма важно и интересно.

— Выход из существующего общественного порядка и обновление жизни новыми началами может совершиться только путем сосредоточения всех средств для общественного существования в руках нашего комитета и объявлением обязательной для всех физической работы. В течение известного числа дней, назначенных для переворота, и неизбежно последующей за ним сумятицы каждый индивидуум должен примкнуть к той или иной рабочей артели по собственному выбору. Все не примкнувшие к рабочим группам без уважительных причин не имеют права доступа ни в общественные спальни, ни в какие-либо другие здания, предназначенные для удовлетворения разных потребностей работников — братьев или содержащие готовую продукцию и материалы, продовольствие и орудия, предназначаемые для всех членов установившегося рабочего общества. Одним словом, тот, кто не примкнул без уважительных причин к артели, остается без средств к существованию. Для него закрыты будут все дороги, все средства сообщения и останется только один выход: или к труду, или к смерти! Объеди-

пеппе интернациональных братьев стремится к всеобщей революции, — заговорщицки понизив голос, заявил Бакунин. — От современного порядка вещей, основанного на собственности, эксплуатации, принципе авторитета — религиозного, метафизического и буржуазно-доктринерского или даже якобинско-революционного, — не должно остаться камня на камне, сначала во всей Европе, а затем и в остальном мире.

— Экая ультрареволюционность! Собираетесь ли вы, однако, свергать нынешние, в действительности существующие, тиранические государства в России, Пруссии, Франции, или ваши ошеломляющие цели распространяются только в общем и целом на весь мир, направлены против абстрактного государства, которое нигде не существует?

Все еще не замечая насмешки в вопросах Лизы, уверенный в неотразимости своих идей, Бакунин отвечал патетически и страстно:

— Мы против всякого государства, против всякой политической власти, ибо для нас не важно, называется ли этот авторитет церковью, монархией, конституционным государством, буржуазной республикой или даже революционной диктатурой. Мы их всех в равной мере ненавидим и отвергаем!

— Что же вы, Михаил Александрович, во время Коммуны так неудачно отменили государство и предоставили Тьеру возможность переполнить Сену кровью парижан?

— Французы! — с презрением воскликнул Бакунин, и глаза его загорелись таким огнем бешенства, что Лиза подумала, не безумен ли он. — Французы! Они не доросли еще до понимания всей сладости анархии, они испорчены многочисленными революциями, они заражены кабинетными учениями, они хотели заменить одно государство другим, диктатуру монархии они хотели заменить диктатурой коммуны. Все революционеры, которые на следующий день после бунта хотят строить революционное государство, гораздо опаснее всех существующих правительств! Мы, интернациональные братья, естественные враги этих революционеров. Если бы Тьер не уничтожил Коммуну, то она сегодня была бы нашим самым заклятым врагом. Французы — отсталый народ, у них слишком мало выбитых из колеи, готовых в любую

минуту стать пиратами молодых людей, как в Италии, или разбойников, как в России.

— Да, разбойников на Руси хватает, — сказала Лиза раздумчиво, внимательно вглядываясь в Бакунина. «Не шутит ли со мной этот столь близкий некогда и такой чужой ныне человек? Не смеется ли, не озорничает ли по-мальчишески?» — И много уже примкнуло к вам разбойничков на нашей святой Руси, Михаил Александрович? — спросила Лиза бойко, и лицо ее вдруг озарилось доброй улыбкой. Ей казалось, что сейчас все обернется шуткой. Между тем Бакунин продолжал, тяжело припадая на больную ногу, шагать по комнате. Он вспотел, ссутулился и упорно смотрел в пол. Лизе он напомнил одновременно и пастора и дьявола, читающего богохульную проповедь.

— Разбой, — начал он снова высоким бабьим голосом, — одна из почетнейших форм русской народной жизни. Разбойник — это герой, защитник, мститель народный; непримиримый враг государства и всякого общественного и гражданского строя, установленного государством; боец на жизнь и на смерть против всей чиновно-дворянской и казенно-поповской цивилизации... Кто не понимает разбоя, тот ничего не поймет в русской народной истории. Кто не сочувствует ему, тот не может сочувствовать русской народной жизни, и нет в нем сердца для вековых неизмеримых страданий народных. Тот принадлежит к лагерю врагов — к лагерю сторонников государства... Лишь в разбое доказательство жизненности, страсти и силы народа. Разбойник в России настоящий и единственный революционер, революционер без фраз, без книжной риторики, революционер непримиримый, неутомимый и неукротимый на деле, революционер народно-общественный, а не политический и не сословный... Разбойники в лесах, в городах, в деревнях, разбросанные по целой России, и разбойники, заключенные в бесчисленных острогах империи, составляют одни, нераздельный, крепко связанный мир — мир русской революции. В нем, и в нем только одном, существует издавна настоящая революционная конспирация. Кто хочет конспирировать не на шутку в России, кто хочет революции народной, тот должен идти в этот мир... Следуя пути, указываемому нам ныне правительством, изгоняющим нас из академий, университетов и школ,

бросимся дружно в народ, в народное движение, в бунт разбойничий и крестьянский и, храня верную крепкую дружбу между собой, сплотим в единую массу все разрозненные мужицкие взрывы. Превратим их в народную революцию, осмысленную, но беспощадную.

— Но почему же вы медлите, не восстаете? Вот, например, в Италии у вас немало последователей!

— Нет, Лиза, нет, не все готово и там. Италия уже беременна революционной стихией, но плод еще не созрел. И там народ еще не до конца понял мое учение! Даже сам Гарибальди мыслит не анархистски, а по немецкому шаблону. Мои друзья послали ему недавно наши газеты и мои программы. Он, однако, отверг меня и отрезал себе тем пути к подвигу и вечной славе. Знаете, что он ответил моему верному последователю? Вот!

Бакунин взял со стола синий конверт.

— Полюбуйтесь, как отстал от нашего времени даже такой великий человек, как Гарибальди. Послушайте, что он пишет: «Парижская коммуна пала потому, что в Париже не было никакой авторитетной власти, а лишь одна анархия. Испания и Италия страдают от того же зла».

Бакунин поперхнулся от бешенства.

— Может ли быть большее недомыслие! Парижская коммуна, дорогая Лиза, пала именно от отсутствия подлинной анархии в моем понимании этого великого слова! Надо было распространять в народе идеи, соответствующие инстинктам масс, а эти инстинкты — бунт, бунт и бунт! Но итальянская молодежь уже обогнала своих вождей. Теперь она очертя голову бросается в революционный социализм, принимая всю нашу программу. Мадзини, наш гениальный и могучий противник, уже умер, мадзинистская партия совершенно дезорганизована, а Гарибальди все больше поддается влиянию той молодежи, которая носит его имя, но идет или, вернее, бежит, значительно опережая его.

— До сих пор ваши идеи, Михаил Александрович, находили своих сторонников главным образом среди разорившихся, проигравшихся в карты или прокутивших свои имения помещиков, а еще чаще среди потомков обедневших знатных дворян — к примеру, таких, как вы сами. Среди анархистов преобладают, насколько мне известно, неудачные адвокаты без практики, врачи без пациентов, бильярдисты, комиссионеры, мелкие жулики,

открытые и тайные агенты полиции. Во Франции члены вашего «Альянса» Ришар и Леблан уже после Парижской коммуны успели выпустить брошюру, которую заканчивают кличем «Да здравствует император», а многие французские анархисты являются информаторами охранки Тьера. Ваш «Альянс» напоминает ящик с двойным и даже тройным дном. Интернационал же, как вы знаете, ориентируется на рабочих, ведет открытую пропаганду своих идей среди трудового народа. Вы, как член Интернационала...

— Я, как член Интернационала, — вскричал Бакунин, — считаю, что Генеральный Совет в Лондоне заражен реакционным духом! Я, как член Интернационала, считаю, что его захватили немцы, пытающиеся навязать ему авторитарно-коммунистическую доктрину! Я, как член Международного Товарищества Рабочих, встав во главе интернациональных братьев, стремлюсь превратить Интернационал в орудие вселенской анархии, а не немецкого порядка! Я никогда не был другом марксидов, но теперь я идейный лютый враг лондонского Генсовета. Мы вступили в борьбу не на жизнь, а на смерть. Враг теперь среди нас, и мы его либо уничтожим, либо заставим служить себе, не считаясь ни с чем. Нам нужно не единство с немцами и англичанами из Генерального Совета, а разрушение его всеми силами и средствами!

Лиза побледнела и выпрямилась во весь рост. Огромные глаза ее горели. Она не могла и не хотела более скрывать подлинных своих чувств и омерзения, которое внушил ей Бакунин.

— Так вы действительно убийца Интернационала. Петля, яд, удар из-за угла — вся эта пакость кажется вам пригодной. Вы посылаете своих разбойничков ночью избить на улице Утина, якшаетесь с Нечаевым, этим подозрительным типом, убившим товарища. Вам все нипочем, кроме тщеславия и стремления во что бы то ни стало привлечь к себе внимание человечества. Вы сеете розни и смущаете умы рабочих сейчас, когда на пустыре Сатори еще расстреливают героев Коммуны. Знаете, как это все определяется одним только словом на всех языках мира?

Бакунин отступил и остановился в недоумении, затем внезапно побледнел от злобы. Кулаки его сжались. Он громко, быстро дышал.

— Подлость, подлость, подлость! — четко выговорила Красоцкая.

— Прочь, мерзкая старуха! — завизжал Бакунин не своим голосом. — Так низко, как ты, не падала еще ни одна русская дворянка. Объединилась с немцами, предала великое доблестное славянское племя. Презренная..

Очки его внезапно упали на пол и разбились. Он походил на сову, ослепшую от дневного света.

— Мы вас уничтожим!..

Лиза не слыхала, что еще кричал ей вслед разъяренный, побагровевший Бакунин. Прижав руки к остро заболевшему сердцу, сбежала она с крутой лестницы и остановилась под огромным старым каштановым деревом, тщетно силясь перевести дыхание. В мозгу ее началась буря. Мысли закружились. И этот человек был когда-то ей близок! Им она жила многие годы, готовая пожертвовать ради него жизнью?! Какими страшными деспотами становятся подобные слабовольные и вместе властолюбивые натуры. Великие люди лишены честолюбия.

«И я любила Бакунина, любила беззаветно», — с отвращением повторяла Лиза. Сердце ее билось все более неровно. Боль, незнакомая, пугающая, поднялась к горлу и схватила клещами левую руку.

«Что это со мной, неужели я умру здесь, сейчас?» — ужаснулась она, чувствуя, как похолодели ноги и липкий ледяной пот выступил на лбу. Несколько мгновений навсегда выпали из сознания Лизы. Постепенно, однако, боль стала уменьшаться, и она начала дышать глубже. Первый приступ грозной болезни прошел. Осталась только мучительная слабость. Медленно двинулась Красоцкая по безлюдной улице. Навстречу ей шло стадо ленивых коров. Мелодично звенели колокольчики, как бы аккомпанируя пастуху в белой накрахмаленной рубашке, который напевал тенорком протяжную горскую песенку. Лиза подумала о несоответствии разыгравшейся между нею и Бакуниным сцены и этого идиллического зрелища покоя, довольства и мира.

В Женеве, несколько дней спустя, Красоцкая рассказала на собрании Русской секции Товарищества о подробностях своего разрыва с главарем анархистов. От

Утина она узнала о непрерывной, изнурительной борьбе, которую приходилось вести последователям Маркса с этими двурушниками.

— Какие уж они двурушники, — сторушники, — сказала Лиза.

Некоторые редакторы «Равенства» воспротивились Бакунину. В отместку он попытался уволить их из газеты. Но Женевский комитет Романской федерации давно уже тяготился деспотизмом Бакунина и был недоволен тем, что он перессорил его с Генеральным Советом и другими немецко-швейцарскими органами Интернационала. Поэтому все нежелательные анархистам руководители «Равенства» были оставлены на прежнем деле. Тогда, стремясь сорвать издание газеты, Бакунин отозвал из нее своих приверженцев. Началась снова грубая словесная перепалка, перешедшая в свару, столь желанную всегда апостолу безвластия.

«Бакунинцы, их учение и тактика кажутся мне злокачественной опухолью, которая исподволь разрушает исполинский силы организм нашего Товарищества. Это воистину смертельная угроза для столь великого начинания», — печально думала Лиза, возвращаясь в Лондон.

Дома ее встретила Ася, очень веселая. По обыкновению, мило гримасничая и что-то перебирая руками, она сообщила:

— Мамочка, новость-то какая! Женнихен Маркс помолвлена. Угадай, кто ее жених?

— Я хотела бы, чтобы это был Франкель.

— Вот и ошиблась. Шарль Лонге. Настоящий гидальго!

— Французы превосходные люди, но как мужья они часто бывают слишком беспечны. Мне кажется, в них мало степенности и сдержанности. Женнихен такая хрупкая, вся как из самого драгоценного фарфора, — ответила Лиза.

— Ты говоришь — французы, а сама учила меня не судить о целой нации.

— Верно, дорогая. Даже приморская галька не однородна.

— Тусси сказала мне, что госпожа Маркс тоже не вполне уверена, будет ли счастлива Женнихен с господином Лонге.

— Трудно найти достойного мужа для такой девушки. Женнихен умна, нежна и впечатлительна. Не часто в наши дни встречается столь совершенное существо.

— Тусси поведала мне по секрету...

— Не следует передавать то, что тебе одной доверили, — прервала Лиза свою дочь.

— Но это не какая-нибудь бездонная тайна, — вспыхнула Ася и, как всегда, когда чувствовала неловкость, принялась беспокойными пальцами раскручивать и свивать свои длинные локоны, падавшие на грудь и плечи. — Женхен обеспокоена, не склонен ли, как многие южане, будущий муж китайского императора Кви-Кви к лени.

— Я знала Шарля Лонге еще в Париже. Он был одним из редакторов газеты Коммуны. В такие дни, как те, в людях не ошибаются. Это честный и смелый человек. Большое счастье, что он избежал расстрела и благодаря помощи одного доброжелателя смог вовремя скрыться и бежать в Англию. Я надеюсь, госпожа и господин Маркс будут довольны выбором своей дочери.

Ася ничего не ответила. Лонге ей не нравился.

Здоровье Маркса не улучшалось, и он, по настоянию врачей, вместе с Женни, Энгельсом и Лиззи отправился на побережье. Любимым морским курортом обеих семей был Рамсгет, расположенный на востоке острова, несколько севернее Дувра, большого и шумного порта. Цены на комнаты в отелях, расположенных вдоль просторной набережной, были там значительно дешевле, чем в других, более модных местах, а красивый пляж, уходящийся в светлую меловую гору, ничем не уступал такому же в Борнмуте и Корнуолле, куда устремлялись английская знать и богачи. Рамсгет был одним из самых непритязательных и веселых курортов Англии. На улицах городка в праздничные дни разгуливали фокусники, жонглеры и артисты, готовые по первому требованию публики начать концерт, показать пантомиму или кукольное представление с неизменным петрушкой. Маркс и Энгельс отмечали, как хорошо им дышится, спится и живется у моря.

Есть особая, неповторимая прелесть в туманных очертаниях берегов Англии, в неприхотливых прибрежных селениях. Сначала они разочаровывают своим мнимым однообразием, но ничто не успокаивает так встревоженное, усталое сердце, как бескрайний непритязательный

простор водной стихии и серо-голубой цвет неба. Нет вокруг яркой, будоражащей пестроты юга, его утомительной навязчивой красоты. Сквозь дымку тумана с трудом пробиваются нежные пучки лучей, которые, подобно кисти, кладут на мольберт из песка и камня блеклые тона красок.

Энгельс в любую погоду отправлялся к морю, плавая и ныряя, как амфибия. Море неизбежно заряжало его энергией и бодростью. Маркс тоже заметно становился здоровее в Рамсгете.

А в Лондоне обоих друзей снова ждал чрезмерный умственный труд. Маркс говорил, что имей день сорок восемь часов, и то он не справился бы со всей своей работой. Помимо всего остального, он взял на себя политическую организационную подготовку предстоящего Гаагского конгресса Интернационала.

Все это время Маркса по пятам преследовала стая журналистов, желавших увидеть того, о ком буржуазия разных стран продолжала фабриковать чудовищные измышления как о громоносце Интернационала, готовившемся низвергнуть утвердившийся общественный строй. Телеграф с молниеносной быстротой разносил их по миру. Призрак Парижской коммуны неотступно пугал имущие и правящие классы.

Энгельс напряженно работал в Генеральном Совете Международного Товарищества Рабочих, тратя немало сил на борьбу с анархистами. В январе 1872 года он писал в Милан одному из преданных единомышленников, Теодору Куно, о раскольнической интриганской деятельности Бакунина:

«Если только представить, в какой момент, — как раз тогда когда Интернационал всюду подвергается самой ожесточенной травле, — эти люди организуют свой заговор, то невозможно отделаться от мысли, что господа из международной полиции не приложили к этому свою руку. Да так оно и есть. В Безье корреспондентом женевских бакунистов является главный комиссар полиции! Два видных бакуниста, Альберт Ришар из Лиона и Леблан, были здесь и заявили одному рабочему... что единственное средство свергнуть Тьера — это снова посадить на трон Бонапарта, и поэтому они разъезжают *на бонапартистские деньги*, чтобы вести среди эмигрантов *про-*

паганду в пользу бонапартистской реставрации! Вот что эти господа называют воздержанием от политики! В Берлине субсидируемый Бисмарком «Neuer Social Democrat» поет ту же песню».

Несколькими месяцами позже в Гааге состоялся конгресс Интернационала. Маркс отправился туда в сопровождении жены и Элеоноры.

Заседания происходили в небольшом кафе Схрайфера на Ломбард-страат. Помещение — светлое, украшенное лепным орнаментом, — сдавалось в обычное время под балы, концерты и танцы.

На конгресс съехались делегаты из разных стран мира. Среди светловолосых северян резче выделялись смуглолицые представители красочной Италии и солнечной Испании. Английский язык перемежался с немецким и французским. В разноликой толпе особенно выделялся своим гигантским ростом, скульптурной богатырской фигурой и угольно черной бородой друг Маркса, немец-щеточник Иоганн Филипп Беккер. За столом подле председательствующего сидел Энгельс. Он умудрялся в одно и то же время подносить ко рту темную, прокуренную, добротную трубку, делать записи в толстой тетради, отвечать на вопросы подходивших к нему людей и слушать с нескрываемым увлечением ораторов, говоривших с небольшого, деревянного, похожего на амвон возвышения. Костюм Энгельса казался только что полученным от портного, настолько был чист и отутюжен. Великолепная выправка, размеренность и точность жестикуляции придавали ему вид заправского военного, случайно надевшего штатское платье. Он был все еще на редкость моложав. С годами лицо его потеряло округлость и черты несколько заострились, но кожа осталась по-молодому свежей и гладкой. В пятьдесят с лишним лет Энгельс все еще сохранил русыми волосы, и в рыжеватой бороде и усах не видно было седых нитей. Серо-синие глаза его блестели задорно. Сидевший рядом с другом Маркс выглядел значительно старше. Густые волосы и борода его были пушисты и белы, как горные эдельвейсы, и резко оттеняли желтовато-смуглый, несколько болезненный цвет лица. Под чуть припухшими и прищуренными веками, вокруг глазниц от многих бессонных ночей и труде залегли глубокие морщины, и только лоб, величавый, выпуклый

и ясный, оставался по-прежнему молодым, как и неотразимый, яркий взгляд. Желая что-либо рассмотреть, Маркс вставлял в правый глаз монокль.

Подавляющее большинство интернационалистов европейских стран и Америки были приверженцами взглядов Маркса и Энгельса. Они приветствовали их с трибуны.

Недавний член Парижской коммуны Лео Франкель переводил речи ораторов с немецкого на французский язык. После продолжительной торжественной части конгресс приступил к работе.

Предстояла решающая битва между сторонниками Генерального Совета и «Альянсом» Бакунина. Вождь анархистов, однако, в Гаагу не явился.

Вместе с семьей Маркса в Гаагу, чтобы побывать на конгрессе, поехала и Красоцкая. Овдовев, она постоянно тосковала и стремилась к перемене мест.

— Агасфер, — говаривала Лиза, — был, очевидно, гонимым по свету главным образом одиночеством. Когда теряешь близких и видишь обломки своей семьи, единственным подлинным утешением остается любимое дело, движение и общение с людьми.

На больших хорах, отведенных для гостей и прессы, Женни Маркс и Лиза проводили все часы работы конгресса. Облокотившись на барьер, побледневшие от напряженного внимания и воодушевления, сидели они рядом, стараясь не упустить ни одного слова, раздававшегося в зале.

Доклад Генерального Совета читали по очереди Маркс, Энгельс и другие члены центрального органа Интернационала. Он был написан на английском, немецком и французском языках. Так как многие делегаты из Испании, а также Италии не знали никаких языков, кроме родного, для них был назначен особый переводчик. Когда они в ходе заседаний обращались с вопросами к руководителям конгресса, им нередко отвечали на их же языке Маркс и Энгельс.

Вопреки происках бакунистов, конгресс признал необходимым для победы социалистической революции создание пролетарских партий и продолжение политической борьбы. Это решение было включено в «Устав» Интернационала и стало законом для его членов.

Особая комиссия занялась расследованием подрывной работы бакунистов в Международном Товариществе.

Неопровержимые доказательства вероломного и раскольнического поведения анархистов привел в своем докладе, представленном конгрессу от имени Генерального Совета, Энгельс.

«Впервые в истории борьбы рабочего класса мы сталкиваемся с тайным заговором внутри самого рабочего класса, ставящим целью взорвать не существующий эксплуататорский строй, а само Товарищество, которое ведет против этого строя самую энергичную борьбу», — писал Энгельс.

Пять выборных членов следственной комиссии по делу Бакунина работали с вечера до поздней ночи в течение нескольких суток. В их числе были также Валерий Врублевский и Лео Франкель. Им пришлось прочитать множество писем, печатных документов, отчетов, выдержек из книг. Только тогда пришли они к единогласному решению и объявили, что Бакунин действительно виновен. Он, как это было отныне доказано, пытался разрушить Интернационал с помощью беспринципного общества «Альянс», стремился к расколу и тем самым готовил гибель Международного Товарищества Рабочих.

Когда председатель следственной комиссии Теодор Кухо объявил во всеуслышание с трибуны конгресса о несомненной виновности Бакунина, один из анархистов, испанец, опоясанный огненно-красным флагом, который он, видимо, решил развернуть, когда во всем мире будет объявлена анархия, бросился к трибуне, выхватил пистолет и со словами: «Такой человек заслужил пули!» — прицелился в Теодора Кухо. Неистового последователя Бакунина успели вовремя обезоружить.

Заслушав пространный отчет следственной комиссии, конгресс постановил большинством голосов исключить руководителя «Альянса» Бакунина и его сподвижника Гильома из Интернационала.

Покуда на Ломбард-стрит шел конгресс, Элеонора и Ася несколько раз осмотрели Гаагу. Правда, не в пример своей подруге, вполне равнодушной к политике и международному рабочему движению, младшая дочь Маркса была с юношеских лет преисполнена глубокого интереса ко всем социальным вопросам, много об этом читала и стремилась скорее включиться в жаркую

революционную борьбу. Она нередко бывала на заседаниях конгресса и прослушала все основные доклады, но по настоянию родителей для отдыха должна была совершать прогулки на свежем воздухе.

— Я, право, дивлюсь, как можешь ты слушать, даже с таким увлечением, скучные речи делегатов. Мне, когда я бываю там с тобой, так трудно бороться со сном. Я нарочно кусаю себе пальцы, чтобы не клевать носом. По правде сказать, я совершенно не выношу двух земных бедствий: концертов классической музыки, особенно Баха, Генделя и Моцарта, и разговоров на политические темы, — признавалась Ася. — Пожалуйста, не выдавай меня мамочке, иначе она начнет меня презирать. Мой любимый композитор Оффенбах, а танец — канкан. Вот это настоящая современность!

Элеонора весело смеялась.

— Бедняжка Эсси, ты лишена самого прекрасного в жизни, у тебя, по-видимому, от природы глухое сердце.

Гаага — прелестный маленький город с низкими, однообразными кирпичными красно-коричневыми строениями в стиле ранней готики, с улицами чистыми, как небо после ливня. Это прекрасная, комфортабельная деревня с нарядными полянками и садами, с прозрачно-чистым ароматным воздухом и тишиной, нарушаемой только шорохом рессор экипажей и топотом лошадиных подков. Умиротворяющий душу город свято хранит традиции своих предков и их понятия о прекрасном.

Тем более всполошились и перепугались богатые голландские колонизаторы, промышленники и купцы, узнав о конгрессе Интернационала. Вся полиция его королевского величества была поставлена на ноги, и за руководителями Международного Товарищества Рабочих неотступно шествовали переодетые в штатское «блюстители порядка» и шпики.

Конгресс в Гааге стал решающей вехой в борьбе интернационалистов с бакунистами. Учение Маркса одержало победу над опасным, как взрывчатое вещество, сумбуром анархизма. Бакунизм отражал чаяния мелкой буржуазии. Бакунин опирался на такие страны, где пролетариат страдал не столько от капитализма, сколько от недостатка его развития, — на Италию, Испанию.

На заключительном заседании Энгельс предложил перенести местопребывание Генерального Совета в Нью-

Йорк, ввиду усилившихся преследований со стороны европейских правительств и враждебной деятельности анархистских и других мелкобуржуазных лиц, проникших в отдельные секции. Это не встретило возражений.

Из Гааги делегаты конгресса съездили в Амстердам, где состоялся митинг. Тесный зал близ порта был переполнен, и собравшиеся голландские рабочие, бурно выражая одобрение, слушали оратора стоя.

Маркс в своей речи, посвященной необходимости завоевания трудящимися политической власти с целью социалистического преобразования всего человеческого общества, сказал: «...мы никогда не утверждали, что добиваться этой цели надо повсюду одинаковыми средствами.

Мы знаем, что надо считаться с учреждениями, правами и традициями различных стран; и мы не отрицаем, что существуют такие страны, как Америка, Англия, и если бы я лучше знал ваши учреждения, то, может быть, прибавил бы к ним и Голландию, в которых рабочие могут добиться своей цели мирными средствами. Но даже если это так, то мы должны также признать, что в большинстве стран континента рычагом нашей революции должна послужить сила, именно к силе придется на время прибегнуть, для того чтобы окончательно установить господство труда».

Со дня возникновения Интернационал выполнял с честью свою великую миссию. Основывая Международное Товарищество Рабочих, Маркс составил его устав. Благодаря широте своего охвата Международное Товарищество Рабочих смогло стать тем, чем было, — средством постепенного растворения и поглощения всех многочисленных разветвлений социалистической мысли.

Маркс и Энгельс не сомневались, что практическая деятельность Интернационала доказала, как работать в согласии с общим пролетарским движением на каждой стадии его развития, не принося, однако, в жертву и не скрывая собственных, четко выраженных принципов.

После окончания работы конгресса Маркс и Энгельс пригласили делегатов на обед в Схевенинген — приморское рыбачье селение, рядом с которым незадолго до того вырос небольшой благоустроенный курорт.

Женни Маркс, три со дочери, Поль Лафарг, Шарль Лонге и Красоцкие отправились к морю из тихой Гааги в удобных экипажах. Езды было немногим более часа. Мощеная дорога пролегла по равнине, вдоль нарядного пригорода, купеческих вилл и зажиточных фермерских хозяйств. Стояла погожая теплая осень, и море у плоского Схевенингена было такое же желтовато-серое, как песок на необозримом пляже и блеклое небо, неотделимое на горизонте от водного простора. Элеоноре показалось, что она очутилась внутри переливчатой речной раковины.

В тяжелых темных сборчатых юбках и туго накрахмаленных рогатых белоснежных чепцах, держа в руках Библию, направлялись неторопливо, степенно к церковной службе рыбачки.

— Не сошли ли они с полотен Гольбейна, которые так понравились нам в Гаагском городском музее фламандской живописи! — завидя их, воскликнула Ася.

— Вот и рыжеволосые потомки натурщиков самого Рембрандта, — звонко вторила ей Тусси, показывая на местных жителей в бархатных жилетах, столпившихся на берегу у больших парусных лодок.

— Увы, девятнадцатый век взирает на нас во образе многочисленных полицейских, — разрушила очарование далекого прошлого Красоцкая и указала девушкам, с которыми гуляла по пляжу, на нескольких рослых мужчин в форме, шагавших на незначительном расстоянии от Маркса.

— Как они боятся Интернационала, — отозвалась Элеонора.

— И особенно твоего отца, Тусси.

— И все-таки здесь, несмотря ни на что, великолепно. Схевенинген, наперекор времени, сохранил, будто в заповеднике, многое из быта и нравов некогда великих Нидерландов. Нигде в Голландии табак не казался таким ароматным, а сыр вкусным, как в этом тихом селении. Все иноземцы поддались очарованию и долго бродили по песчаной набережной, вдоль белых домов с черепичной яркой крышей, вдыхая бодрящий солоноватый воздух.

Фридрих Энгельс не преминул воспользоваться случаем и под вечер отправился с несколькими товарищами купаться. Наступил как раз час прилива. Волны рванулись к берегу. Теодор Купо, увлекшись, уплыл далеко

в море и внезапно начал тонуть. Энгельс, заметив грозившую ему опасность, бросился на помощь. Добравшись к утопающему и ухватив его за волосы, он с ним вместе, борясь с валами, доплыл до берега.

За обедом было выпито много вина, выкурены десятки великолепных голландских колониальных сигар. Теодор Куно, сидевший возле Женни Маркс, громко рассказывал о своей предстоящей поездке в Америку. Маркс, хитро улыбаясь и указывая на Лафаргов, сказал ему:

— Вам следует в Новом Свете разрешить негритянский вопрос так, как это сделала одна из моих дочерей, выйдя замуж за мулата. Ведь Поль Лафарг негритянского происхождения.

Под общий смех молодой интернационалист обещал обязательно выполнить пожелание Маркса. Много забавных историй рассказал полюбившийся всем делегатам Генерал — Фридрих Энгельс.

Важные и полезные знакомства произошли в эти дни в стенах зала «Конкордия» на Ломбард-стрит и в Схевенингене. Возникла не одна прочная дружба между революционерами, говорившими подчас на разных языках, но об одном и том же, и поставившими перед собой единую цель.

Во время конгресса у Маркса установились добрые отношения с Зорге, жившим в Америке, и Теодором Куно, собиравшимся переселиться за океан. Вождь Интернационала снова встретился с Иосифом Дицгеном и Кугельманом.

Накануне отъезда из Голландии Маркс повидался с Куно; они договорились о том, как повести организационную работу в Новом Свете.

В годы, когда учение Маркса и Энгельса одержало победу в Интернационале, многое изменилось в Европе. Парижская коммуна была разбита, окрепло буржуазно-национальное движение в Германии, силы реакции продолжали свирепствовать в полукрепостной России, и избегал потрясений развращаемый подкупом буржуазии английский пролетариат.

Маркс и Энгельс правильно учли время наступивших перемен. В итоге упорных боев они вместе со своими сторонниками разбили не одну секту, вредившую рабочему

движению. Международное Товарищество Рабочих выполнило свою великую миссию и должно было сойти с исторической сцены. Началась новая, более мощная эпоха развития социалистических пролетарских партий внутри отдельных государств. Солидарность всех рабочих земли, впервые воплотившаяся в Интернационале, должна была, по мнению Маркса, развиваться и крепнуть отныне в иных формах.

— Я думаю, — заявлял Энгельс, — что следующий Интернационал — после того как произведения Маркса в течение ряда лет будут оказывать свое влияние — будет чисто коммунистическим и провозгласит именно наши принципы.

Борьба с бакунистами продолжалась еще некоторое время. Выполняя решения Гаагского конгресса, Маркс и Энгельс при участии Лафарга опубликовали в 1873 году брошюру «Альянс социалистической демократии и Международное Товарищество Рабочих». В ней, кроме доклада, зачитанного делегатам, отчетов следственной комиссии, было напечатано много новых документов о раскольнической и предательской деятельности анархистов во всех странах, включая Россию. Бакунин остался верен себе, он не брезгал никакими средствами в достижении цели. Ни в личной, ни в политической жизни он не был никогда последователен. Обвинения, выдвинутые и доказанные в брошюре руководителей Интернационала, были столь убедительны и неопровержимы, что Бакунин открыто заявил о своем отказе от общественной деятельности. Но настолько всем была уже ясна двойственность и лживость всех его заверений и поступков, что ему опять не поверили. И действительно, Бакунин решил целиком отдаться подготовке революционного выступления в Италии. Отправляясь летом 1874 года в Болонью, он, однако, не столько надеялся на успех восстания, сколько на возможность смерти на баррикадах. Восстание в самом начале было подавлено. Переодетый в костюм священника Бакунин пешком покинул Болонью. Жена его с детьми уехала на целых два года в Россию и вернулась оттуда не столько к нему, сколько к Гамбуцци, которого любила.

Терзаемый болезнью почек, одинокий, Бакунин прожил последние два года жизни в Лугано в крайней бедности, но по-прежнему сохраняя бодрость духа и верность своим убеждениям.

Сочетавшись браком с Лонге, Женнихен покинула родительский дом. Вскоре Элеоноре минуло восемнадцать лет, и она настояла на том, чтобы начать работать. Ей удалось получить место учительницы в приморском городке Брайтоне. Наконец-то пришла для нее давно желанная самостоятельность.

Младшая дочь Маркса была стройной, похожей на испанку пышноволосой брюнеткой с безукоризненно свежим цветом лица и черными глазами. Особенно украшала Элеонору улыбка, то озорная, совсем еще детская, то застенчивая или насмешливая, чуть раздвигавшая полные губы, то мечтательная, легкой дымкой пробегающая по всему лицу, или широкая, безудержно веселая, с чистосердечным смехом, раскрывающая все ее, как рис, белые, ровные зубы.

Элеонора унаследовала от матери чрезвычайно подвижное и меняющееся лицо. Сызмала она увлекалась гимнастикой, постоянные упражнения придали ей изящество и гибкость. Ей доставляли удовольствие игры с мячом, бег, плавание и легкая атлетика. Чрезвычайно общительная, жизнерадостная, сердечная, она очень нравилась людям и легко находила друзей в самых различных слоях общества. Все вокруг казалось ей в эти годы полным интереса, примечательным. Элеоноре хотелось познать как можно больше, увидеть, объять. Она надеялась стать актрисой. Мелодичный голос и привлекательность заставляли каждого, кто встречал молодую девушку, думать о том, что она создана для театра. Подобно своей старшей сестре Женнихен, Тусси, несомненно, могла бы многого достичь на сцене.

С самых ранних лет в Элеоноре уживались трезвость и бескрайняя мечтательность. Она хорошо знала особенности политической обстановки, сложившейся в разных странах, понимала значение международной солидарности рабочих и была убежденной интернационалисткой. Многому научило ее пребывание в революционной Франции и общение с героическими защитниками первого пролетарского государства. Одним из самых близких друзей младшей дочери Маркса стал литератор и историк, последователь Бланки, Проспер Оливье Лиссагаре, участник Парижской коммуны. Когда он сообщил Элеоноре, что задумал издавать журнал «Красное и черное», девушка с присущей ей горячностью и энергией прини-

лась помогать ему в осуществлении этой идеи. Она тотчас же написала в Германию Вильгельму Либкнехту, давнишнему другу всей семьи, которого знала с раннего детства и называла, так же как и ее старшие сестры, Лайбрери.

«Для Франции нужно издавать публикации, которые освещали бы социалистическое движение во всех странах, в частности в Германии, — пояснила Элеонора. — Франция должна знать, что она может завоевать симпатии других наций, только сочувствуя им в свою очередь».

Журнал «Красное и черное» существовал очень недолго. Его закрыли из-за отсутствия средств у издателя. А дружеские отношения между Лиссагаре и Элеонорой, однако, не только продолжались, но и перешли в чувство более сложное. Лиссагаре просил руки Элеоноры и получил ее согласие. Отныне он стал бывать в Модена-вилла в качестве жениха. Однако Маркс и его жена были этим весьма опечалены. Не такого мужа хотели они для своей любимицы Тусси. Лиссагаре был немолодой, малосимпатичный человек. Его политические взгляды, его интересы казались весьма неопределенными. Он не внушал отцу Тусси достаточного доверия. Маркс находил, что дочь его еще очень юна и охвачена не настоящей любовью, а быстропреходящим сердечным капризом.

Элеонора болезненно восприняла необходимость выбора между настояниями родителей и первым своим увлечением. Лиссагаре, бывший на шестнадцать лет старше ее, происходил из обедневшего старинного аристократического рода, он хорошо знал женщин и умел быть обаятельным в обращении с ними. В прошлом он не отказывал себе в случайных приключениях и связях. Его многословные признания, утонченное ухаживание, естественно, льстили девушке, которой не столько нравился он сам, сколько завязавшаяся благодаря ему сложная игра в любовь. На душу Элеоноры наслоилось многое, почерпнутое из бесчисленных прочитанных ею книг. Лиссагаре попил это и охотно изображал из себя попеременно Гамлета, Ромео, Корполана, Спартака, в зависимости от того, чего от него ждали. Он советовался с нею по каждому поводу и в письмах к Элеоноре называл ее своей маленькой женушкой.

Женни Маркс, напуганная опасностью непоправимой ошибки, нависшей над Элеонорой, решила поговорить с ней начистоту.

— Дитя мое, — начала она осторожно, — ты больше, нежели твои сестры, в одной и той же мере похожа на своего отца и на меня. Женнихен — копия Мавра, а Лаура напоминает мне шотландцев Питтароо.

— К чему это предисловие, мама? — настороженно спросила Тусси.

— К тому, что нам с тобой свойственна неодолимая сила воображения. Это наше благо и напасть. То, что иной только слышит, мгновенно претворяется для нас также и в образы.

— Я не понимаю тебя.

— Терпение. Сейчас все станет ясным. У нас с тобой от рождения зрячие сердца, а у некоторых людей они безглазые. Я помню, как ты играла моей рукой, заставляя сжимать и разжимать ладонь. Ты видела тогда голову живого ребенка и слышала его лепет. Позднее, наскучив куклами, ты играла с деревянным обрубком. Он давал простор твоей фантазии, ты его создавала таким, каким тебе хотелось, а куклы досаждали раз навсегда нарисованными физиономиями. Как это мне все было понятно. И вот прошло много лет. Ты стала взрослой, самостоятельной, но по-прежнему не хочешь брать окружающих тебя людей такими, какие они есть на самом деле, не всматриваешься в их естество и сущность, а создаешь несуществующих героев согласно своей мечте, а подчас прихоти. Это только твое творение, и наступит миг, чары рассеются. Вот посмотри, за окном стоит столб для газового фонаря. Ты, я знаю, способна одеть, оживить его по внезапному капризу, как некогда мою руку, а когда придет прозрение — ты больно ударишься об эту подгнившую тумбу.

— Ты имеешь в виду Проспера? — тихо спросила Элеонора.

— Не он меня интересует, а ты. Лиссагаре не тот, каким ты его создала в своем неудержимом чудесном воображении. Увы, в этом я твердо уверена. Порукой тому наш с Мавром жизненный опыт. Он, может, и неплохой человек, но тебе не нужен. С ним ты не найдешь счастья, поверь мне.

Прошло немного времени, и Элеоноре начало казаться, что с глаз ее действительно спала пелена. Она вдруг совсем по-иному увидела и услышала Лиссагаре. Он стал ей совершенно безразличен. Брак их не состоялся.

Летом 1873 года Герман Лопатин бежал из ссылки. Целый месяц скрывался он в Иркутске, причем некоторое время прятался в доме того самого человека, которому была поручена его поимка. Переодетый крестьянином, он отправился на телеге в Томск, затем на пароходе плыл до Тобольска, оттуда на почтовых и по железной дороге приехал в Петербург, не вызвав ничьих подозрений. Он перехитрил охотившихся за ним жандармов и благополучно перебрался за границу.

В изгнании Лопатин встретился с Утиным и Лавровым и вскоре вновь появился в Лондоне, где его сердечно приветили, как дорогого и родного человека. Энгельс выспросил все подробности, касавшиеся неудачной попытки спасти Чернышевского, предпринятой Лопатиным несколько лет назад.

— Мне дьявольски не посчастливилось, — рассказывал отважный, исполненный безудержной энергии, увлекающийся Лопатин. — Когда я прибыл в Иркутск, Чернышевский находился совсем близко, всего в каких-то семистах — восьмистах английских милях, но из-за длинного языка осла Элпидина, который проболтался провокатору, что готовится побег, Чернышевского спешно перевели в Средне-Вилюйск. Это севернее Якутска. Он жил там в обществе местных тунгусов и стороживших его унтер-офицера и двух солдат. Я отправился бы туда, если бы тот же провокатор не навел жандармов на мой след в Иркутске и я не очутился в остроге.

Во время пребывания Германа Лопатина в Лондоне Маркс с младшей дочерью находился на лечении в Харрогете, и Энгельс, как всегда, когда друзья были в разлуке, подробно рассказал ему в письме о том, что слышал.

«Лопатин и Утин, — делился с Марксом своими мыслями Энгельс, — никогда, пожалуй, не станут очень близкими друзьями, их характеры мало подходят друг к другу... К тому же Лопатин считает «русское дело» все еще чем-то особым, не касающимся Запада».

Начало совместной жизни Женни и Шарля было осложнено материальной нуждой. Подобно своей матери, старшая дочь Маркса, выйдя замуж, делила судьбу политических изгнанников. Супруги Лонге долго и тщетно искали работу и мучительно боролись за сносное существование. Вскоре Шарлю удалось получить место преподавателя в одном из колледжей. Женнихен давала уроки немецкого языка, декламации и пения. Она учила также детей в школе и познакомилась с тем, как поставлено было образование в преуспевающей, богатейшей стране.

Веками отстоявшийся быт великобританского обывателя обрекал его детей на такое же изолированное сословными перегородками существование, каким жил он сам. Знакомства и дружба молодежи строжайше контролировались родителями, и на семейные торжества не проникали дети бедных людей.

Еще резче, чем английский рабочий отличался от представителя сытого среднего сословия, разнились между собой их дети. Насколько откормлен, румян, хорошо одет был сын домохозяина Хэмпстеда, настолько худ, искалечен рахитом — «английской болезнью» нищеты — мальчуган, выраставший без присмотра в каторжном Ист-Энде и Уайтчапеле.

Низшие и средние учебные заведения туманного острова не были подчинены единому педагогическому методу, и от мировоззрения, политических симпатий начальства всегда зависела и система преподавания, и большая или меньшая строгость в обращении с учениками, применение телесных наказаний и количество ежедневно распеваемых псалмов.

Большинство школ существовало на средства благотворительных учреждений или отдельных жертвователей.

Приюты, открытые филантропами, были печальны, темны, грязны, как родильные дома «неимущих». Узкий маленький двор заменял там лужайки и сады платных колледжей.

Время от времени, обычно незадолго до рождественских и пасхальных каникул, директриса представляла благотворителям юных объектов их милостей. После общей молитвы, декламации подобранных к случаю поучительных стихов ученики почтительно благодарили попечителей, которые снисходительно раздавали им дешевые издания Библии.

Каждая сколько-нибудь зажиточная семья стремилась освободить своих детей от унижений, побоев, грубости государственных и особенно филантропических школ. Хорошее образование в Англии было счастливым уделом богатых, и сумма учебной платы безошибочно определяла качество школьного преподавания. Она колебалась между десятками и сотнями фунтов стерлингов в год, перевалив за тысячу в знаменитом Оксфорде.

Получивший небольшое наследство или выигравший на скачках клерк старался обеспечить для своего ребенка места на скамье средней и высшей школы. Если в семье было двое или трое детей, то всегда вставал драматический вопрос: кто из них достоин столь счастливого жребия? Тогда родителями тщательно учитывались мнения родственников, обещавших денежную поддержку, способности самих детей, полученные ими школьные награды и нередко даже невинятные гороскопы, выписанные из Индии.

Знать и купеческая верхушка воспитывали наследников титулов и денег в колледжах старинного Итона. Оттуда отпрыски банкиров, лордов, промышленников, герцогов переходили прямо в университеты Оксфорда.

Городок Итон отделен от Виндзора — загородной резиденции королей — узкой, спокойной рекой, через которую перекинут вековой несокрушимый мост.

Многочисленные школы, построенные несколько сот лет тому назад, похожи на средневековые монастыри. Каждый колледж имеет свою часовню, расположенную в квадратном, поросшем густой травой дворе, на который выходят готические сводчатые окна ученических квартирок и лекционных залов.

Итон — один из наиболее тихих городов Англии. Кажется, что он населен не начинающими жизнь юными существами, а тихо умирающими старцами, давно ушедшими в сторону от мирской суеты, волнений и радостей.

Потомство зажиточных классов получало самое строгое воспитание, и телесные наказания не были запрещены. Буржуазия нуждалась в хладнокровных, сдержанных, смелых людях, одинаково беспощадных и расчетливых на палубе парохода, в военном штабе, в банкирском кабинете Сити, в палате лордов, в полицейской администрации Индии, в губернаторском кресле африканских и островных владений. Английские дети дрессировались с груд-

ного возраста. В шуме английского города почти нельзя можно было услышать детского плача.

Джон Рескин, одаренный социальный фантазер и пресыщенный эстет, единственный сын богатого купца, любил вспоминать, что родители неизменно наказывали его за неловкость и неосторожность, если он нечаянно падал во время прогулок и игр.

Закалка нервов будущего человека — первое, о чем заботилась мать, предоставляя новорожденного самому себе в промежутках между кормлением.

Английская детвора была исключительно самостоятельна и вежлива. Огромный Лондон стал наиболее безопасным для детей городом. Они не рисковали там заблудиться среди леса одинаковых, как сосны, домов и лишь при особо несчастливом стечении обстоятельств, реже, чем взрослые, попадали под колеса бессчетных карет. Не только полицейский, но и каждый прохожий отвечал за одинокого пробирающегося по улице ребенка.

Дисциплинированные воспитанники Итона были крайне надменны. Главной заботой их жизни являлась борьба за первенство. Не зная никаких материальных ограничений, они были поглощены гимнастической и ораторской тренировкой, изучением истории королей, генералов и доблестных министров, возней с собственными лошадьми, соревнованием в умении одеваться, предвкушением каникулярных путешествий и забав в родовых имениях.

В праздничные и торжественные дни выпусков юные снобы прохаживались в цилиндрах, фрачных парах, перчатках по каменной безлюдной площади со старым колодцем и церковью посредине, вызывая зависть и удивление своих неимущих сверстников.

Расположенный напротив колледжей, за зубчатой стеной, королевский дворец обещал итонским питомцам награды, выслуги, светский успех и подвиги во имя короны и Сити.

Итон, как и следующий за ним университетский Оксфорд, где некоторое время жили супруги Лонге, изготовлял и поставлял достойную замену титулованным реакционерам на парламентских скамьях.

Подобно Итону, два города, сохранившие в неприкосновенности свои строения времен Кромвеля — Кембридж и Оксфорд, — являлись важными учебными пропускными пунктами правящих классов.

Сделавшая привал на три-четыре года, молодежь возвращалась затем по домам. Богатые и знатные потомки колониальных владык переплывали моря, привозя на родину дипломы юристов, философов, строителей и врачей.

Колледжи городов-университетов похожи на магометанские богословские школы — медресе. Старые каменные здания обращены фасадами внутрь четырехугольных дворов. Нарушаемая дважды в день протяжным пением органа во время церковной службы тишина господствует среди темных, обвитых плющом сводов и каменных оград с пробивающимся в щелях ярко-зеленым мхом. Дома построены, как молельни, и учащиеся, по замыслу средневековых ученых, должны чувствовать себя избранниками божества, хранителями его тайны.

Часто студенты селились в дорого обставленных многокомнатных квартирах вместе с исполнительными лакеями, холеными псами и обязательным собственным выездом.

Шарль Лонге, преподававший французский язык, зарабатывал настолько мало, что не в силах был прокормить свою беременную жену. Впрочем, Женнихен и сама рвалась к работе. Хрупкая, болезненная, она совершенно не щадила своего здоровья. Кроме многочисленных уроков, она вела все хозяйство и постоянно что-нибудь изучала. Круг ее интересов непомерно ширился: она занималась математикой, литературой, в том числе и русской, музыкой и особенно увлекалась историей выдающихся женщин разных стран.

Женнихен хорошо играла на рояле и пела. Николай Даниельсон, с которым она переписывалась, прислал ей в подарок партитуры «Ивана Сусанина» и «Руслана и Людмилы». С тех пор к своим любимым композиторам: Бетховену, Генделю, Моцарту и Вагнеру — Женни Лонге присоединила и Глинку. Маркс слушал арии Антониды и Людмилы в умелом исполнении своей дочери.

Настал 1874 год. Маркс работал над вторым томом «Капитала», не замечая смены дня и ночи. Вокруг его глаз, окруженных густой сеткой мелких морщинок, залегли темно-синие тени. За обедом, поглощенный своими мыслями, он отвечал невпопад на строгие оклики Женнихен, весьма недовольной тем, что он ел мало, быстро и, главное, вовсе не то, что готовилось ему согласно диете

доктора Гумперта. Несмотря на репительный медицинский запрет Марксу писать по ночам, Женни находила мужа далеко за полночь склонившимся над письменным столом или прохаживающимся по кабинету с тем отрешенным и вместе сосредоточенным выражением лица, которое было ей так хорошо известно и означало, что мысль Маркса парит в иных сферах.

— Мое большое дитя, — говорила тогда Женни, подходя к мужу, не замечавшему ее появления, — я буду вынуждена увезти тебя из города подальше от книг, бумаг и перьев. — Она нежно гладила голову своего Чарли, а он, смущенный тем, что пойман с поличным, принимался целовать ее руки.

— Я чувствую себя превосходно, — убеждал он жену.

— И, однако, творчество — это страсть, которая сожжет тебя, Мавр, — беспокоилась Женни. — Я помню слова Микеланджело, что нерв искусства — страстная любовь художника к своей теме, — продолжала она. — Это, конечно, относится ко всем видам творчества, в любой области знаний и искусства. Но ты так безжалостно натягиваешь нить жизни, которую старательно пряли для тебя старухи парки, что она может легко порваться.

Действительно, Маркс настолько переутомился, что начал страдать невыносимыми головными болями и потерял окончательно сон, а затем на время и работоспособность. Однако его крепкий от природы организм обладал способностью быстро восстанавливать силы при благоприятных условиях. Поездка в Рамсгет, прогулки у моря, полный отдых победили бессонницу и излечили от головных болей. Когда Маркс вернулся снова домой, Ленхен долго читала ему наставления:

— Скоро ли ты образумишься, Карл, и подумаешь о себе, — поучала она, видя, что Маркс снова принялся за чтение и работу. — Ну, кто только тебя гонит к письменному столу? Правду говорят, что каждая вещь имеет свои слезы, а твои книги взяли у тебя немало крови и добрый кусок жизни. Словно лошадь, ты все куда-то стремишься, не видишь сам, что весь уже в мыле и пене. Я понимаю, что такой человек, как ты, без дела будто туча без дождя, но надо же и меру знать. Умерь свой пыл в труде, пока еще не поздно.

— Ладно, диктатор, отныне обязательно начну безделничать, — весело смеялся Маркс и, уходя в кабинет,

закрывал дверь на ключ, чтобы ему не мешали отдаться сладостно-каторжному творческому труду.

Отдыхая от промышленной экономики, он изучал в перерывах физиологию растений и теорию искусственного удобрения почвы. Вопросы эти глубоко его заинтересовали. Истощение кормилицы-земли и возвращение ей утраченной мощи плодородия казалось Марксу чрезвычайно важным делом. Хорошо знакомая ему книга Либиха давно уже привлекла его к этому предмету убедительными выводами и глубиной заложенных в ней знаний.

Время шло. Женни Маркс исполнилось шестьдесят лет. Лицо ее, чуть помеченное оставшимися после осны рябинками, было все еще очень привлекательным. Есть особая красота в преддверии наступающей старости. В последний раз природа собирает силы и на миг как бы оживляет, украшает то, что скоро должно отцвести. Так голые ветки старого миндаля покрываются сперва хрупкими и нежными цветами, и лишь затем появляется редкая зеленая листва. Все, что было смолоду прекрасным, сохраняется надолго. Время как бы щадит красоту. Обширный и глубокий духовный мир Женни облагораживал взгляд, улыбку и весь ее облик. Как и в молодости, величавой осталась ее осанка и легкой, плавной походка.

С тех пор как подросли дочери Женни, она лишь изредка исполняла обязанности секретаря своего мужа. Поль Лафарг, Лаура, а затем Тусси наперебой добивались поручений от Маркса, охотно писали под его диктовку, готовили в печать рукописи и вели деловую корреспонденцию. Но никто не мог заменить Марксу жену как советчика, помощника и друга. По-прежнему Карл делился с Женни каждой мыслью, планом действия, сомнением. Они были необходимы друг другу, как части единого организма, как два полушария одного мозга или два предсердия одного сердца.

Женни жила в той же атмосфере мышления и труда, что и Карл. У них все было общее: радости и печали. Чем бы ни занимался, где бы ни находился Маркс, его жена была мысленно с ним рядом. Если он выступал с трибуны, ей передавалось испытываемое им волнение, негодование, удовлетворение или усталость. У них сложилась одна жизнь, хотя каждый был занят своим делом и подчас, как это неизбежно бывает при постоянном общении, они спорили и даже ссорились. Ничто не омра-

чает так жизнь, как хронический недостаток денег и повседневные мелкие трудности, невзгоды. Но все это было так ничтожно по сравнению с их счастливой любовью.

Было ли когда-нибудь время, когда они не знали друг друга? Трир, детство — все это слилось для них в одно общее воспоминание. Оба любили одних и тех же людей: Людвига и Каролину фон Вестфален, юстиции советника Генриха Маркса... Они помнили все друг о друге: детские проказы, былые привычки, ошибки и радости. Жизнь спаяла их общими горькими потерями: они вместе схоронили своих четырех детей. Жизнь наградила их высшим редким счастьем — одной любовью от колыбели до гроба. Время поднимало их все выше к вершинам. И они постоянно убеждались в том, что любят друг друга так, что, взявшись за руки, пройдут сквозь любые испытания, какие несет с собой старость, когда дух мощен и мудр, а тело слабеет.

Все, чем был поглощен Маркс, составляло смысл бытия и для Женни. Вместе с ним она деятельно и мужественно в течение семидесяти двух незабываемых дней Коммуны боролась за победу парижских рабочих, делилась кровом, пищей, последними деньгами с коммунарами, помогала Марксу, когда он готовил свои выступления в Генеральном Совете и писал грозный доклад, разоблачавший бакунистов.

Нелегко было Женни Маркс вынести невзгоды и горести своих дочерей. Лаура похоронила троих маленьких детей, и у Лонге умер их первый сын. Нередко нервы Женни сдавали, она теряла прежнее самообладание, становилась придирчива, о чем почти всегда сама сожалела.

Она лучше других знала материнскую скорбь над могилой ребенка и писала как-то об этом друзьям:

«Я слишком хорошо знаю, как это тяжело и как много времени требуется, чтобы вернуть после таких потерь душевное равновесие, но на помощь приходит жизнь с ее мелкими радостями и большими заботами, со всеми мелкими, повседневными хлопотами и мелочными неприятностями. Серьезная скорбь постепенно заглушается ежедневными мимолетными страданиями, и незаметно для нас горе смягчается. Конечно, рана окончательно никогда не зарубцуется, особенно в сердце матери. Но постепенно рождается в душе новая восприимчивость и даже

ловая чувствительность к новым страданиям и новым радостям и продолжаешь жить с сердцем израненным, но в то же время полным надежды, пока оно наконец не остановится и не наступит вечный покой».

На пляже приморского Истборна под разноцветными тентами и зонтами, напоминавшими мухоморы, полевые цветы и опрокинутые денежные фарфоровые чашки, в дневные часы располагалось много всякого народа. Элеонора и Женни Лонге отправлялись к морю очень рано утром или в сумерки, когда на берегу бывало еще безлюдно.

Строгие скалы и дубрава на отлогой возвышенности, спускавшаяся к самому морю, были очень величественны. В маленькой овальной бухте неровный, уступчатый берег омывали зеленые глубокие, совершенно прозрачные воды. Морское дно выстлали там большие округлые камни, среди которых росли яркие, неутомимо покачивающиеся из стороны в сторону водоросли.

Истборн резко отличался от других прибрежных городов Англии более сумрачными очертаниями скалистых берегов, напоминавших скандинавские ландшафты. Сотни чаек кружились над волнами, окликая друг друга резкими, скрипучими голосами. Женнихен кормила их, бросая вверх куски хлеба и удивляясь тому, как ловко на лету птицы хватали добычу. С высоты бросались они в воду, разглядев зоркими круглыми глазами проплывавших рыбешек. Прекрасные чайки не уступали в ненасытной алчности кровожадному ястребу. Женнихен подолгу наблюдала за их морской охотой, любуясь белоснежным оперением и плавным полетом.

Но ни море, ни птицы не могли успокоить Женнихен. Совсем недавно схоронила она одиннадцатимесячного ребенка, болевшего холериной. Воспоминание о крошечном гробике и лежавшем в нем, точно игрушечном, мальчике терзало неотступно. Ее глаза покраснели, а веки заметно припухли. В это же время тяжело заболел и Маркс. Доктор Гумперт, которому он особенно доверял, потребовал неотлагательной поездки в Карлсбад на воды. Энгельс счел это правильным и убеждал друга ехать, пообещав снабдить деньгами на лечение. Однако Маркс и Элеонора, которая должна была сопровождать отца, воспротивились. Им не хотелось оставить Женнихен в столь горестные для нее дни.

«В этом отношении, — писал Маркс Кугельману, — я не такой стоик, как в других вещах, и семейные несчастья обходятся мне всегда дорого. Чем больше живешь, как живу я, почти совершенно замкнуто от внешнего мира, тем у́же становится круг твоих душевных переживаний».

Подле Женнихен остался Энгельс. Рано утром, появлялась в спортивном полосатом костюме, сапогах, тирольской шляпе с петушиным пером, размахивая надежной тростью, Энгельс уводил ее на далекую прогулку. В сандалиях, просторной серой юбке, белой блузке и в большой соломенной шляпе, с развевающейся голубой вуалью, она шла со своим вторым отцом вдоль моря по каменистым тропам. Прибой успокаивал расстроенные нервы Женнихен. Светлые краски воды и неба настраивали ее на более радостный лад. Энгельс говорил мало, больше молчал. Он понимал, как медленно залечиваются раны в сердце матери, потерявшей дитя, и надеялся на самого верного целителя людской печали — время.

Иногда Женни первая нарушала молчание.

— Есть героические натуры, твердые и мудрые, как эти скалы. Жаль, что я не из их числа.

— Тебя постигло наибольшее испытание, какое подстерегает женщину, и поэтому оно не мерило человеческой силы, — мягко отвечал Энгельс. — И все-таки горе твое пройдет. Помнишь кольцо Соломона? На нем мудрец выгравировал: «Все проходит». Будут у тебя другие дети, и боль этой потери смягчится.

— Ты прав, Генерал, но царица Савская прислала Соломону другой перстень, и на нем было написано: «Ничто не забывается». Да, я надеюсь, будут дети. Это не только удел, но и вознаграждение за все беды для нас, матерей, но никогда не исчезнет из сердца тот, которого больше нет. Зачем только я не умерла вместо него! — Слезы опять заблестели в глазах Женнихен.

Энгельс растерялся, он не мог видеть женских и детских слез без глубокого волнения.

— Успокойся, дорогая. Вспомни о том, как много пережили твои родители, потеряв четверых детей. Невозможно забыть умницу Муша и не оплакивать его, и, однако, Мавр и твоя мать не надломились.

— Но я ведь начала разговор с того, мой Генерал, что они-то натуры героические.

— Поверь мне, Дп, ты унаследовала полностью это их редкое свойство.

Внезапно, как это бывает на море, откуда-то налетел ветер и воды вспенились, огромные валы двинулись к скалам.

— Не кажется ли тебе, дорогой Энгельс, — сказала после долгого молчания Женнихен, — что в вое ветра и волн слышится музыка Вагнера? Я очень люблю его «Нибелунгов». Долгое время считала его гениальным. Но теперь, когда прочла статьи этого заносчивого «сверхчеловека», столь злобные, реакционные, самонадеянные, убедилась, что ошиблась. Гений, по-моему, совмещает в себе не только неиссякаемое творческое начало, великие новые мысли, но и обязательно высокие, благородные чувства. Есть ведь в мире совершенно чистые, прозрачные камни — горный хрусталь, алмаз и много других без пятнышка и изъяна. Такова сущность большого сердца и ума. Никакое зло, подлость, низменный расчет, пресмыкательство не смеют приблизиться к душе подлинно исполинской, какова, по-моему, душа гения. Он есть добро в самом значительном смысле этого понятия. Гений во всем прекрасен, как та великая цель, ради которой он живет и не щадит себя. Верно, Генерал?

— Пушкин писал о том, что гений и злодейство несовместимы. Да, гений — это начало добра для всего человечества. Его не может разъесть никакая кислота, подобно тому как это бывает с благородным металлом.

— Посмотри на волны, — вдруг вскрикнула Женни, — они захлестывают скалу, похожую на кипарис. Начинается шторм. Как он могуч! Это твоя стихия. Ты ведь любишь море бурным.

— Я хотел бы после смерти быть похороненным в суровой пучине, под гул морского прибоя, звучащего словно симфония вечности, — сказал многозначительно Энгельс.

Женнихен недоумевающе посмотрела на него.

— Что ты хочешь сказать этим? — спросила она и взяла его под руку.

— Ничего особенного, просто я считаю, что, как это водилось в античные времена, а теперь весьма разумно делают индийцы, необходимо ту горсточку праха, которая звалась некогда мистером Фридрихом Энгельсом, развеять, когда придет его час, над морем именно здесь, в Истборне, у остроконечной скалы, похожей на парус или кипарис,

согласно твоему поэтическому видению. Я бы ее назвал просто усеченным треугольником.

Волны налетали на скалы, разбивались, стекая пенистым водопадом. Женни вдруг ощутила призывную силу прибоя и подошла к самому морю. Навстречу ей двигался огромный бурый вал.

— Беги назад, — услышала она тревожный зов Энгельса, но не смогла двинуться с места, завороженная величественным и вместе с тем страшным зрелищем. И вдруг все вокруг нее завертелось, взвыло. Женнихен увидела над собой желто-серую, рушащуюся на нее огромным валом массу воды. Удар был так силен, что она на мгновение почувствовала себя раздавленной. Но волна, разбившись о берег, вдруг обессилела и отступила. Рядом с лежащей на гальке, совершенно оглушенной Женнихен стоял Энгельс. От волнения он заикался.

— Ты, ты могла сейчас погибнуть. Какое легкомыслие! Скорей назад!

Волосы, платье, обувь Женнихен были совершенно мокрыми. Соломенную шляпу унесли волны. Она виновато улыбнулась. И впервые за несколько недель в глазах ее снова запрыгали лучики. Ей стало вдруг весело. Это было начало душевного выздоровления после кризиса.

На пароходике по неспокойному морю Энгельс и Женнихен отправились затем на песчаный остров Джерси, где были многочисленные древние скалистые пещеры, привлекавшие туристов. Желтые дюны без всякой растительности и темные скалы напоминали близлежащую Нормандию. Немало жителей острова говорили на французском языке, как и их далекие предки, высадившиеся некогда в Британии.

В дни пребывания Энгельса на Джерси Маркс вместе с Элеонорой приехали в Западную Богемию, в Карлсбад, прославленный курорт, расположенный неподалеку от древней гостеприимной Праги. Они поселились в отеле «Германия», на улице Шлоссберг-Шлоссплот. Маркс, по совету местного врача, знавшего, кто он, назвался в гостинице не Карлом, а Чарлзом. Однако спустя несколько дней досужая курортная сплетница газета «Шпрудель» сообщила, что в Карлсбад прибыл сам «доктор красного террора», вождь грозного Интернационала. Полиция,

впрочем, и до этого следила за каждым его шагом, как делала это все годы не только на континенте, но и на острове, где он жил. Появление Маркса в Карлсбаде привлекло к нему внимание разнополменной праздной курортной толпы.

Ровно в шесть утра, под руку с Элеонорой, в темном костюме и просторном пальто-разлетайке, он отправлялся к целебным источникам. Марке был чрезвычайно добросовестным пациентом и строго исполнял все медицинские предписания. Он выпивал семь стаканов различной минеральной горячей или холодной воды, степенно прогуливаясь при этом по дорожкам парка, вокруг павильонов, то и дело поглядывал на большие луковичные часы, которые доставал из кармана жилета. Между приемами жидкости требовался пятнадцатиминутный перерыв. Последний, восьмой стакан он выпивал перед сном. Столь большое потребление воды утомляло сердце и вызывало общую слабость.

С завистью смотрел Маркс на Элеонору, которой врач рекомендовал для усиления аппетита кружку превосходного пильзенского пива, столь любимого им напитка. После диетического завтрака отец и дочь начинали обязательные прогулки.

Карлсбад, расположенный в холмистой местности, очень живописен и приятен для глаза. В окружающей природе нет резких, острых линий. Все там округло, радостно, доступно солнцу и свету.

Невысокие гранитные горы поросли густыми лесами, напоминающими, однако, большие одичалые парки. Среди деревьев в пригородах разбросаны уютные кафе, где подают отличный кофе с пышно взбитыми желтоватыми сливками. Страдавшему упорной бессонницей Марксу запрещалось спать днем после еды, и он проводил первую половину дня главным образом в ходьбе. Перед обедом приходилось менять туалет, прежде чем спуститься к табльдоту, за которым собирались люди из самых различных стран Европы. Всюду: в кафе, в курзале, городском парке, в театре — коренастый, стройный, седой, похожий на патриарха, пожилой человек, гуляющий под руку с красивой дочерью, неизменно привлекал всеобщее внимание и вызывал разговоры.

Маркс чувствовал себя с каждым днем лучше. Впервые за много лет он позабыл об изводивших его болях в

печени, снова крепко спал по ночам. Постепенно исчезали утомляемость и раздражительность. У Маркса и Элеоноры появилось немало новых знакомых. Обычным местом встреч был гейзером вырывающийся из земли, обжигающий Шпрудель и другие целебные источники. Художник Отто Кинлле, писавший исторические полотна, был интересным собеседником, и Маркс охотно говорил с ним об искусстве. Несколько профессоров, врачей и других ничем особенно не замечательных личностей сопровождали Маркса и Элеонору в загородных поездках и пеших прогулках.

Польский патриот, либеральный аристократ граф Платер, низенький, весьма неуклюжий и черный, как майский жук, человечек, был настолько же не похож на аристократа, насколько выглядел патрицием Маркс. Граф Платер, которого местная газета объявила главой русских нигилистов, был чрезвычайно подвижен и говорлив. Постоянной темой его нескончаемых разговоров служила порабощенная Польша и замысловатый план ее освобождения. Маркс решительно обрывал словоохотливого графа, настаивая на полном исключении серьезных политических или партийных разговоров во время прогулок и питья воды у источников. Утомлял его и раздражал также напыщенный и всем недовольный Людвиг Кугельман, значительно потускневший и изменившийся к худшему за те семь лет, которые прошли со дня, когда Маркс увидел его впервые. Ганноверский врач непрерывно жаловался на жену, заявляя после двух десятилетий супружества, что она не соответствует его духовным запросам и характеру.

— Мы совсем разные, — говорил он, закатывая выпуклые глаза. — Трудхен весьма посредственная женщина и меня никогда не понимала. Я бесконечно одинок, а так нуждаюсь в заботе и нежности.

— Твоя жена умница, и несколько лет тому назад ты считал ее вполне достойной тебя подругой.

— Она слишком примитивна. Мне нужна натура возвышенная.

— Долго же ты уточнял этот вопрос.

Марксу хотелось высмеять Кугельмана, но он знал, что тот лишен чувства юмора, не понимает шуток и может обидеться. Все более досадуя на то, что попусту теряет время на празднословные разговоры, Маркс многозначительно достал из кармана часы.

— Мавр, я гибну, — тяжело вздыхая, пзрек Кугельман.

Маркс не мог удержаться от веселой улыбки. Упитанный, краснощекий, Кугельман был менее всего похож на обреченного. Не только нудным многословием о пустяках изводил он Маркса, но и постоянным вмешательством в его дела и изнурлющей заботой.

— Надень пальто, дорогой Мавр, я чувствую, тебе холодно; друг Маркс, тебе пора спать, ты устал, я знаю; о, не пей так быстро воду, присядь; не встречайся с этими людьми, умоляю, — срывалось по десятку раз в день с уст почтенного доктора.

— Увы, скоро ли кончится это истязание вниманием и чуткостью? — уныло спрашивал Элеонору ее отец. — Я готов взбеситься.

По вечерам, особенно в жаркие дни, многоязычная, разноликая толпа отправлялась в курзал, где играл оркестр под управлением знаменитых дирижеров, пела хоровая капелла. Но интереснее всего были дальние прогулки. Особенно нравился Марксу таинственный, поэтический, овеянный легендами Эгерталь. Там горы и камни, причудливые в своих очертаниях, будят воображение и фантазию. В уютной долине по каменистому руслу, пенясь и шумя, несется горная речка, в которой, согласно старинной легенде, живет русалка Эгер, вечно плачущая над человеческим непостоянством. Ее обманул пастух Ганс Хейтлинг, поклявшийся в вечной любви. Охладев к русалке, он решил жениться на обыкновенной девушке. Тогда разгневанная Эгер жестоко ему отомстила и превратила свадебный кортеж в груду камней.

Марксу полюбилась легенда о мстительной русалке, и он с увлечением отыскивал в каменном хаосе застывшие очертания музыкантов с валторнами и трубами, свадебную карету, окаменевшую невесту в фате и злополучного Ганса Хейтлинга с широкой деревенской шляпой в руке.

В Даловице Маркс отдыхал в тени вековых дубов, воспетых в начале века воином и поэтом Кёрнером.

Несмотря на конец лета, в Карлсбаде бывало нестерпимо жарко. Река Тепль казалась высосанной до самого дна. Край обезлесел, и речка, полноводная в пору дождей, в летние месяцы совершенно высыхала. Однажды, когда жара спала, Маркс с дочерью и Кугельманами отправился смотреть производство фарфора в пригороде

Рыбаже. Любопытно было наблюдать, как мягкая серая масса режется веревками и вдавливается в разнообразные формы. Один рабочий обслуживал вертящийся станок, напоминавший прялку. На нем изготовлялись изящные, тонкие чашки и вазы.

— Вы всегда делаете эту операцию или у вас есть еще и другая работа? — спросил Маркс.

— Нет, — ответил рабочий, — я уже многие годы не выполняю ничего другого. Только путем длительной практики удается так наладить машину, чтобы эти трудные формы выходили гладкими и безупречными.

— Разделение труда приводит к тому, что человек становится придатком машины, — сказал Маркс Кугельману, когда они отошли от станка, — и умственные способности уступают место привычным движениям мускулов.

В особых залах производилось обжигание, покраска, позолота и сортировка сервизов, кружек и статуэток из фарфора. Маркс, как и Кугельман, накупил разных безделушек для Женни, дочерей и Ленхен.

Незадолго до возвращения в Лондон настроение Маркса внезапно было испорчено серьезной размолвкой с Кугельманом, приведшей к полному разрыву. Ганноверский врач снова попытался убедить Маркса отойти от того, что он называл, не без пренебрежения, политической пропагандой, и посвятить себя целиком разработке теории. Маркс давно уже испытывал большое разочарование в Кугельмане и с трудом терпел его пустые разглагольствования, желание выдать себя за никем не понятую натуру, живущую высшими интересами мироздания. Самовлюбленность и выспренность, присущие «Вецелю», — свойства филистеров, и они всегда были нестерпимы творцу «Капитала», как больно режущая слух фальшивая нота.

Кугельман также тяготился всеми признанным превосходством Маркса и особенно раздражался его способностью интересоваться и входить в нужды каждого отдельного человека из рабочего класса. По мнению чванливого врача, это умаляло подлинно выдающихся людей. Он требовал, чтобы Маркс восседал, как Зевс на Олимпе, был недоступен, но общался с простыми людьми, изображая из себя живого бога наподобие далай-ламы. Маркс жестоко высмеивал эту явную глупость и все больше

■ронялся презрением к тому, кто столь неумеренно преклонялся перед ним.

Человек, склонный к экзальтации, по мнению Маркса, никогда не бывает верным соратником и другом. Восторженность что пена над пивом — опадая, она открывает полупустую кружку. Разрыв с Кугельманом давно назрел и стал неизбежным.

По пути домой в Англию Маркс заехал в Лейпциг, чтобы повидаться с Вильгельмом Либкнехтом. В первый же день, пока отец отдыхал с дороги, Элеонора начала упрашивать старого друга всей ее семьи рассказать о былом.

— Что произошло с тобой, милый Лайбрери, Женихен и Лаурой в день похорон железного герцога Веллингтона? Как жаль, что меня еще не было тогда на свете. Я так любила в детстве, да и теперь, различные опасные происшествия.

— Пожалуйста, отец, исполни просьбу Тусси, — присоединилась к Элеоноре старшая дочь Вильгельма Либкнехта.

— Прошло ни больше ни меньше как двадцать три года, а я и сейчас не забыл тот проклятый день. Ну и стоил он нервов. Что ж, придется уступить вам, тем более что Тусси ведь обязательно поставит на своем. Итак, милые фрейлейн, я уступаю вашим настояниям. Да, это были чертовски неприятные минуты. Я, пожалуй, не подвергался бо́льшим испытаниям за всю свою жизнь, хотя, как вы знаете, судьба меня особенно не щадила. Представьте себе, чего стоят, например, те несколько шагов, которые приходится пройти, когда в первый раз в жизни взбираешься на трибуну, чтобы произнести речь перед взыскательными слушателями, или ожидание приговора, когда сидишь на скамье подсудимых в военном суде, ну и многое другое. Но то, что случилось восемнадцатого ноября тысяча восемьсот пятьдесят второго года, — как видите, я навсегда запомнил эту дату, и не из почтения к победителю в ста сражениях, знаменитому колонизатору Веллингтону, — то, что подстерегло меня тогда, превосходит все мною пережитое.

Вильгельм замолчал для пущего эффекта, видя, как раскраснелись лица жадно ловящих каждое его слово молодых девушек.

— Какое, однако, длинное, хотя и красноречивое вступление, — сказала с добродушной иронией госпожа Либкнехт, придвигая к своему креслу столик, заваленный ворохом нуждающегося в срочной починке белья.

— Лайбхен, не вздумай мучить нас паузами, которым позавидовал бы сам Вагнер. Он в своих операх изводит ими слушателей, — сказала Элеонора.

— Увы! Женщины нетерпеливы и не ценят прелести увертюры, — в тон ей, широко улыбаясь, ответил рассказчик. — Продолжаю. Внимание. Лорд Веллингтон, великий охотник, отправился к праотцам. Как вы знаете, веселая старая Англия превыше всего любит всяческие пышные церемонии. Парады, бракосочетания, королевские балы и похороны пользуются большим успехом, нежели любое иное представление. Многомиллионный Лондон выходит тогда на улицы, не считаясь ни с какой погодой. Сотни тысяч зевак прибывают ради этого из провинции, возвращаются из Франции. И организаторы не вышли подобных зрелищ и счета, по-видимому, не достигшие и десяти лет, одна черноволосая, с темными локонами, другая белокурая, с вздернутыми носами, заставили меня изменить прическу и помешали мне в такую сутолоку укрыться дома или в глухом парке.

Для Женихен и Лауры я готов был на любые жертвы. Это они облегчали мне не раз нежностью и живостью трудные дни изгнания. Им главным образом я обязан тем, что сохранил способность шутить и радоваться в дни, когда не имел куска хлеба и слонялся без крова. Госпожа Маркс и Елена Демут не раз отдавали мне свои два маленьких сокровища, и мы часто совершали великолепные прогулки.

«Будьте только осторожней с детьми. Не попадайте в самый водоворот», — сказала мне на прощанье твоя мать, когда с нетерпеливо прыгающими девочками я собрался идти на веллингтоновское шествие.

А внизу, при выходе, нас догнала Ленхен и, протянув забытый было пакет с бутербродами, снова наказала: «Только осторожно, милый Лайбрери!»

Погребальный кортеж должен был пройти по дороге вдоль Темзы, и мы отправились поэтому к набережной.

Держа девочек за руки, я шел по запруженным народом улицам и благополучно, без особой толкотни, добрался до заранее выбранного места. Я остановился на лестнице

вблизи старых городских ворот, отделяющих Сити от Вестминстера, а обеих девочек поставил ступенькой выше. Они крепко прижались ко мне, держа меня за руки. Наконец появился сверкающий позолотой катафалк, пешая и конная процессия поравнялась с нами и прошла. И вдруг я ощутил толчок. Спокойная доселе толпа зрителей сорвалась с места и бросилась за колесницей и провожатыми. Тщетно я пытался защитить детей, чтобы их не захватил поток. Стихийного напора масс не сдержать никакой человеческой силе. Я судорожно прижал к себе детей, стараясь спасти их от давки, но вдруг между нами врезалась, как клин, какая-то страшная сила. Я вынужден был отпустить Женихен и Лауру, чтобы не сломать или не вывихнуть им руки. Это была неповторимо чудовищная минута. Девочки исчезли. Передо мной были ворота с тремя проходами — посередине для экипажей и по бокам для пешеходов. Толпа запрудила их. Я решил пробиться. Если дети не были задавлены, — а громкие отчаянные вопли вокруг указывали мне на такую возможность, — тогда, быть может, они по ту сторону запруды. Я принялся пробиваться грудью и локтями и вскоре очутился по ту сторону ворот. Но Женихен и Лауры не было. Сердце мое сжалось от ужаса.

«Лайберри!» — услышал я вдруг. О, счастье! Не веря себе, я бросился к детям. Оказывается, людская волна, оторвав их от меня, благополучно пронесла через ворота и отбросила затем в сторону к стене, где они и остались, совершенно ошеломленные всем случившимся.

Наше возвращение домой было поистине триумфальным. В этот день на лондонских улицах и там, где мы находились, погибло много людей, и на Дин-стрит нас ждали в большом волнении и страхе.

— Увы, меня тогда не было еще на свете, — с шутливой грустью сказала Элеонора.

— Но зато я хорошо помню тебя совсем маленькой. Ты была веселым кругленьким, как шар, созданьицем, кровь с молоком. Не раз я катал тебя в колясочке и таскал на руках, покуда ты не стала бегать самостоятельно на толстеньких коротких ножках. Помнишь ли ты, как на лугу Хэмпстедских холмов мы нашли бледно-лиловые душистые нарциссы? То-то было радости! Твое детство, к счастью, прошло не на Дин-стрит. А когда тебе минуло шесть лет, я уехал в Германию.

В Лейпциге Маркс встретился с представителями лейпцигской партийной организации, чтобы обсудить политическое положение Германии и тактику рабочего движения.

Вели упорную борьбу за создание социалистических партий в различных странах, и Маркс и Энгельс особенно занимались германским рабочим движением, которое после франко-прусской войны и поражения Парижской коммуны стало ведущим в Европе.

Объединение страны, пятимиллиардная контрибуция, присоединение богатых железом и углем районов создало благоприятные условия для быстрого экономического развития Германии. В семидесятые годы она стала высокоразвитым индустриальным государством, однако заработок немецких рабочих был значительно ниже, чем в других передовых государствах. Внутренние противоречия вызвали обострение классовой борьбы. В 1873 году объявили забастовку ткачи Кельна, машиностроители Хемница, печатники Лейпцига. Кровавое столкновение рабочих с полицией и армией произошло во Франкфурте. Возросшее влияние социал-демократов сказалось во время выборов в рейхстаг в 1874 г., когда эйзенахцы и лассальянцы получили, вместе взятые, независимые партии пролетариата, более трехсот тысяч голосов.

Эйзенахцы, примыкавшие к Интернационалу, вели многократно переговоры об объединении с лассальянцами, но ничего не могли добиться. Расхождения и в теории и в практике были все еще велики.

Либкнехт подробно осведомил Маркса о заканчивающемся незадолго перед тем съезде Социал-демократической рабочей партии Германии в Кобурге и повторил господствовавшее в партии убеждение, что договориться с лассальянцами невозможно и самое большее, чего следует добиваться, это тактического блока с ними.

Маркс внимательно слушал друга, указывая ему на неувязки и путаницу в доводах, которые тот приводил. Марксу было присуще в споре, даже упрекая в чем-либо собеседника или отчитывая его строго, говорить с людьми так, чтобы не обескураживать, не подавлять человека.

— Надо думать логически и ясно выражать при этом свою мысль. Это всегда очень важно, и особенно в политике, — сказал он Либкнехту.

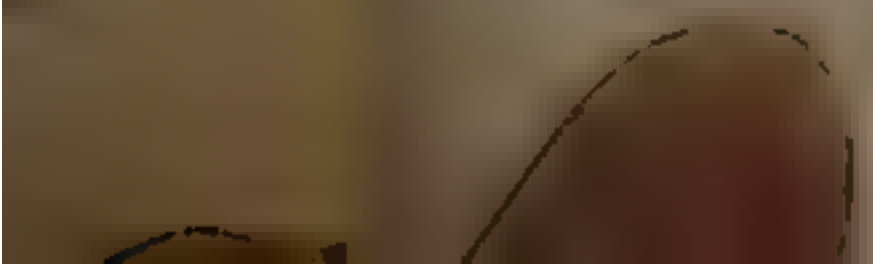
В Лейпциге Маркс с Элеонорой пробыли всего несколько дней. Затем через Дрезден, где они повидались

с Эдгаром фон Вестфаленом, и Гамбург, где ждал их пастырь Мейснер, добрались до Лондона.

В 1875 году Маркс с семьей переменил квартиру и переехал в дом под номером 41 возле полукруглого сквера на той же Мейтленд-парк роуд. В новой квартире, очень светлой и просторной, было меньше комнат, нежели в Модена-вилла. Но две старшие дочери, выйдя замуж, покинули родительский кров, и семья Маркса более не нуждалась в большом помещении.

До Ридженте-парк-стрит, где жил Энгельс, было все так же недалеко, всего десять минут ходьбы. По-прежнему не проходило дня, чтобы друзья не виделись. Это была счастливая пора совместного мышления и творчества, исканий и находок, согревающих и озаренных братской дружбы, которые делают жизнь полноценной и значительной. Маркс и Энгельс работали, беседовали, советовались друг с другом, радуясь, что находятся рядом. Все так же часто уходили они гулять. Бывало, над городом висел душный, непроницаемый черный туман, а на вершине Хэмпстедского холма сияло солнце и небо было голубым и ясным. Не хотелось спускаться в город, мрачный и зловонный, как преисподняя.

Много времени проводили вместе и две подруги — Женни Маркс и Лиззи Энгельс. Жена Энгельса была отзывчивым, умным человеком, живо откликавшимся на все вопросы современности. Как ирландка и работница, она испытала в молодости бесправие и бедность и по стремилась забыть об этом. Всем, чем могла, помогала Лиззи движению фениев, Парижской коммуне и Международному Товариществу Рабочих. Маркс предложил ей стать членом Интернационала, настолько глубоко и правильно понимала она его задачи. Как и Женни Маркс, в 1871 году Лиззи приняла в свой дом беглецов Коммуны и заботилась об их семьях и детях, не жалея для этого ни сил, ни средств. Недостаток знаний Лиззи умело восполнила самообразованием и чтением. Врожденные способности, чуткость и сердечность снискали ей симпатии всех, с кем она общалась. Лиззи была превосходная хозяйка и рукодельница. Снисходительная к людским слабостям, скромная, добрая до самоотверженности, понимающая шутки и сама склонная к юмору, она стала незаменимым соратником когорты революционеров.



В эти годы практическое руководство социалистическим движением во многих странах по-прежнему осуществлялось Марксом и Энгельсом.

«Ввиду разделения труда, существовавшего между мной и Марксом, — писал об этом Энгельс, — на мою долю выпало представлять наши взгляды в периодической прессе, — в частности, следовательно, вести борьбу с враждебными взглядами для того, чтобы сберечь Марксу время для разработки его великого основного произведения».

В конце отвратительного своими непрестанными туманами 1875 года в Лондоне Валерий Врублевский, деятельнейший руководитель левой польской эмиграции, и его товарищи собрали митинг, посвященный делам на их родине. Маркс и Энгельс были приглашены, но не могли принять участия из-за болезни. Маркс терпел карбункулы, а Генерала свалила простуда. В своем письме Маркс подчеркнул, что освобождение Польши по-прежнему считает непременным условием освобождения европейского пролетариата.

Энгельс писал по этому же поводу:

«Дорогой Врублевский!

...я, к моему большому сожалению, не смогу сегодня вечером присутствовать на Вашем польском собрании, особенно в такой вечер, который, по видимому, соединит все преимущества польского климата со всеми прелестями английского тумана.

Мои чувства по отношению к делу польского народа, которые я, к сожалению, не смогу выразить сегодня вечером, навсегда останутся неизменны: я всегда буду видеть в освобождении Польши один из краеугольных камней окончательного освобождения европейского пролетариата и, в особенности, освобождении других славянских национальностей. До тех пор пока будет продолжаться разделение и порабощение польского народа, до тех пор будет продолжать свое существование и с фатальной неизбежностью возрождаться Священный союз между теми, кто поделил Польшу, — союз, который не означает ничего другого, как порабощение русского, венгерского и немецкого народов, совершенно так же, как и польского народа. Да здравствует Польша!

Ваш *Ф. Энгельс*».

Красоцкая опасно занемогла. Болезнь сердца, впервые проявившаяся после разрыва с Бакуниным, когда, потрясенная всем, что от него услышала, она стояла под огромным тенистым каштаном на тихой улочке маленького швейцарского городка, сначала долго не повторялась и, казалось, вовсе исчезла, но затем так же внезапно, после пустячной размолвки с дочерью, возобновилась, и на этот раз Лиза слегла.

Сток, сам хворый и слабый, окружил ее сыновней сердечной заботой. Это было тем более необходимо, что Ася постоянно развлекалась с друзьями, приобретенными ею на модном курорте. Жан относился к Лизе как к матери. Он хорошо помнил, как в дни его детства она часто посещала его родителей.

В унылые дни болезни два коммунара — седая измученная женщина и в свои неполных сорок лет преждевременно состарившийся, но могилы выше́дший мужчина — подолгу бродили по следам уше́дшего времени.

— Ты был в Брюсселе озорным мальчуганом с не заживающими от драк царапинами на носу и коленях. Бедняжка Женевьева, твоя добрая, разумная мать, всегда находилась в тревоге. Уже тогда ты кричал громче всех ребятишек на улице: «Да здравствует республика!» — рассказывала Лиза.

— Позднее, в семьдесят первом году, я сказал бы — республика рабочих, — заметил Жан.

Он мог часами слушать воспоминания Красоцкой о превратностях ее жизни в Европе и Америке.

Но Лизе становилось хуже, боль в сердце усиливалась, и она вынуждена была лежать молча, без движения. Ася иногда заставляла себя сидеть у постели матери, но ей быстро становилось невмоготу в комнате со спущенными шторами, где полагалось молчать либо говорить шепотом. Девушка в это время возпамерилась выйти замуж за немолодого богатого англичанина — вдовца с двумя детьми, строившего в это время универсальный магазин на великолепной Оксфорд-стрит. Не желая волновать мать, которая терпеть не могла представителей буржуазии, Ася ничего не говорила ей о своем романе с мистером Гарольдом Даммеджем.

Даммедж незадолго до этого построил дом цвета вареной свеклы — излюбленная англичанами окраска, равно

как и серая, как домов, обезобразила неприглядный фасад неизбежными колоннами и орнаментами.

Девушки неестественными часами простаивали перед еще пустыми витринами, мечтали, глядя на цветные огни рекламы — «Стойте, здесь будет Ламмедж», — о своем будущем. Витрины пополнялись кроватями, столами, диванами, постельным бельем, кухонными принадлежностями и детскими игрушками — всем тем, что так необходимо при замужестве.

С утра то же движение наблюдалось у одного из кабинетов. Ламмедж принимал служащих. Директор и его помощница — старший надсмотрщик за женским персоналом — осматривали помещения так же внимательно, как в соседних залах элегантная покупательница перебирала привезенный из Парижа товар, дамское белье и парфюмерию. Продавщицы убирали полки магазина, путеводитель по каждому отделению и службам, чтобы скрывать разбросанный потерявшимися покупателями товар и соблазнительно расположить его на столах. Украшением витрин ведали специальные сотрудники отечественного дела.

День открытия нового дома был очень торжествен. Лакеи в ливреях с галунами распахнули двери перед праздной толпой, наслаждавшейся переполненными вещами залы.

— Новый дом немало стоил Ламмеджу, — сказал старик раньше построенных домов, — и эти деньги он надеется вернуть, взяв их у покупателя.

— В такое время не открывают магазинов, в такое время строят церкви, чтобы отмолить грехи, — заметила католическая монахиня и прошла в отдел «католического вероисповедания» выбирать четки... Она не знала, что Ламмедж, торгуя четками и Библией, снес две церкви: вместо них появился его новый универмаг.

Ламмедж и К° всячески завлекали покупателя. То объявлялась однодневная скидка, то премии, то распродажа. В праздничные дни магазин исчезал под сплошным покровом, сотканным из газовых фонариков. Зеваки сбегались на Оксфорд-стрит и, запрудив мостовую и тротуары, стояли, ослепленные, зачарованные такой феерией. В витрине мелькал искусственный снег, от которого седела коричневая крыша игрушечной избушки. Внезапно снег исчезал, освобождая траву и цветы.

Английские дети всплескивали ручонками в перчатках. Иллюминацию Даммеджа пересмотрело несколько десятков тысяч человек. Но лавочники всей округи обвинили новый универмаг в том, что он своей небывалой рекламой застопорил уличное движение и остановил тем самым торговлю прилегающих улиц. Суд принудил неосмотрительного купца к уплате убытков.

Случай этот и положил начало даммеджевским бедствиям. Английский обыватель не прощает торговцу каких бы то ни было судебных процессов. Это неизбежно подрывает доверие. Даммедж перестарался в увлечении и заискивании, и англичане, боящиеся, осуждающие все, что чрезмерно, насторожились, заподозрив неладцы в делах фирмы.

Рекламные огни потухли, многоэтажный магазин опустел, как отверженный, заброшенный храм. Продавщицы складывали и раскладывали товар, преследуя назойливым вниманием печального забредшего покупателя.

Конкуренты торжествовали. Они разнесли призывы к бережливости вместе с годовым балансом, в котором значился их чистый доход, и терпеливо ждали, когда задыхающийся, поверженный Даммедж в своем торговом падении дойдет до того, что протянет руку за помощью.

Задолго до того, как Даммедж перестал платить по векселям и признался в банкротстве, Лондон узнал о его несостоятельности.

Непосредственной причиной банкротства Даммеджа был отказ банков дать новые кредиты. Едва газеты разнесли по городу известие о крахе универмага, описанное с такими же подробностями, как год назад его открытие, началась невообразимая суета.

Витрины опять облепили человеческой толпой, выясняющей условия скорой распродажи. В проезжающих мимо омнибусах обязательно возникал один и тот же разговор:

— В какие времена мы живем! Такой богач и тот не выдержал.

Гибель Даммеджа приобретала символический смысл. Перед темным фасадом останавливались испуганные прохожие. Большие ленты, растянутые между этажами, извещали о предстоящем аукционе.

Неподалеку, на Риджентс-стрит, терпела убытки и древняя лавка детских игрушек, вдохновлявшая Диккенса,

тогда он писал «Сверчок на печи». Налоги и сокращение спроса оказались для нее таким же роком, как и для Ламмеджа.

Разорившись, мистер Ламмедж объявил Асе, что слишком беден для женитьбы, и отправился искать счастья в Австралию. Так неудачно кончилось и это сомнительное увлечение девушки. Впрочем, Ася не склонна была принимать неудачу трагически и очень скоро вышла замуж за молодого преуспевающего колониального чиновника, который тотчас же увез ее с собой в Индию.

— В том, какова Ася, есть и моя большая вина, — призналась Лиза Стоку. — Не следовало передоверять воспитание девочки другим людям. Швейцарский пансион фабриковал штампованную человеческую продукцию. Но могла ли я поступить иначе? Отказаться от общественной борьбы и не поехать в Париж в такие дни? Нет, это было бы невозможно, непростительно.

— Есть дочери, которые достойны своих родителей, — жестко заметил Жан. Он думал о семье Маркса.

— Ты прав, друг. Что-то главное не было сделано ни мною, ни Сигизмундом для Аси. Но теперь уже ясно одно, она — пустой орешек. Крепкая кожура, а ядрышка нет. Таких, к несчастью, еще много, и пусть, как сказано у Данте, каждый идет своей дорогой. Может быть, придет и для Аси время просветления.

После очень поспешного и суетного отъезда дочери в маленьком коттедже на Примроз-хилл остались только Красоцкая и Сток. Их часто навещали супруги Маркс, Валерий Врублевский и другие товарищи по Интернационалу, в опустевшей комнате Аси до самого отъезда в Венгрию жил Лео Франкель, к которому Лиза питала большое расположение.

Когда самочувствие Красоцкой бывало лучше и в столице устанавливалась сухая и ясная погода, она выходила в маленький, открытый солнцу садик и усаживалась в плетеном кресле под единственным деревцем, выросшим близ невысокой ограды.

Жан Сток в эту пору нигде не служил, так как часто болел. Но внешне он не изменился, лицо его, несмотря на седину, оставалось моложавым. А в глазах утвердилось доброе, почти детское выражение. Он любил одиночество, раздумья и воспоминания. Тоски коммунар не испытывал, но нередко он терял ощущение реальности, говоря

о мертвых так, как будто они были рядом и жили одной с ним жизнью. О жене Жан, сам не замечая этого, неизменно говорил в настоящем времени. Увидев как-то на столе корзинку с фруктами, бывший машинист пропанес обрадованно:

— Никто не любит так винии, как моя Жанетта.

И Лиза его не поправила. Она с грустью подумала о том, что не смогла удержать в своей памяти Сигизмунда и всегда чувствовала, что его больше нет.

Стока постоянно тревожила мысль о том, что история не отыщет подлинной правды о Парижской коммуне. Тьер, его сталенники и все реакционеры мира вытаптывали самую память о тех днях, лгали и клеветали, уничтожали документы с той же жестокостью, с какой убивали коммунаров.

Но Лиза была уверена, что ничто не сотрет священной памяти о первом пролетарском маяке на земле.

— История что золото по дну реки, и время, подобно быстрому потоку, отмоет и отдаст людям золото истины. Каждому воздастся по заслугам. Многим защитникам Коммуны удалось спастись. Они расскажут о величии того, что свершил трудовой народ Парижа, и о тех, кто пал за великое дело, — повторяла она Стоку.

— Да, мы не имеем права умереть, не оставив будущим поколениям правду о Коммуне. В этом наша миссия. Пусть историки, художники, поэты возьмут когда-нибудь незамысловатые, правдивые наши записки и создадут памятник бессмертным героям, — говорил Сток.

— Ты прав, Жан. Мы сегодня же начнем записывать все, что помним. И начнем словами одного из наших товарищей по боям, шапки долой, я буду говорить о мучениках Коммуны!

Раз в неделю к Лизе приходил доктор, который лечил также Маркса и всю его семью. Это был приятнейший человек, вдумчивый и даровитый. Он увлекался медициной, непрестанно учился и был крайне удручен, когда оказывался бессильным в борьбе с недугами. Лиза радовалась его появлению.

— Вот мне и лучше. Несомненно, в вашей науке многое зависит от внушения, — говорила она врачу, лицо которого было олицетворением доброжелательности и готовности помочь людям. — Порошки с железом, которые

вы мне прописали в прошлый раз, уже оказали положительное действие.

Лекарь верил главным образом в яблочное железо, в котором так нуждается кровь, и Лиза не хотела его огорчать своим скептицизмом.

— Как здоровье госпожи и господина Маркс? — переводила она разговор на другую тему.

— Увы, госпожа Маркс худеет, и я несколько обеспокоен ее состоянием, но она и слышать не хочет о настоящем лечении. Эта женщина живет только для других. Я никогда не видел такого диапазона интересов и подобной душевной глубины. Что до господина Маркса, то ему весьма помогают целебные карлсбадские воды. Если бы он не так много работал, то мог бы обходиться без нас, врачей. Природа дала ему великолепное здоровье, но он безрассудно расходует свои силы. Я не перестаю удивляться титанической работоспособности доктора Маркса.

Когда и как достигает человек предельной высоты своего развития, выходит на вершину, с которой зрит сквозь время, обогащая человечество познанием таинственного будущего?

Есть люди, которые останавливаются на полпути, оставаясь, в сущности, подростками по своему мышлению и познанию. Хорошо, если общество, случай, самопроизрение встряхнет их души и заставит сдвинуться с места. Спотыкаясь, падая и вновь поднимаясь, они устремятся тогда вперед. Трудно им. Но есть такие, которым и Гималаи кажутся всего лишь плоскими холмами. Их мысль быстрее звука беспрепятственно парит по земле и вселенной.

Маркс напряженно продолжал свои исследования для второго и третьего томов «Капитала», изучая новейшие явления в экономике, читая на разных языках все, что появлялось в печати о бурно развивающемся капитализме в Соединенных Штатах, о денежном рынке и банках, погружаясь в книги по геологии, физике, астрономии, истории, физиологии и математике. Чем больше он вбирал, тем ненасытнее стремился к познанию.

После прекращения деятельности I Интернационала, выполнившего свою великую задачу сплочения пролетарских сил, Маркс и Энгельс считали первоочередной

исторической задачей создание массовых социалистических рабочих партий. Их опорой в борьбе за формирование и укрепление первых пролетарских партий в Европе и Америке стали деятели Союза коммунистов и Международного Товарищества Рабочих. Два друга постоянно обобщали и пропагандировали опыт многолетней борьбы пролетариата, выделяя все наиболее существенное и поучительное. Они помогали рабочим-социалистам каждой отдельной страны находить единственно верную тактическую линию.

Весной 1875 года айзенахцы и лассальянцы, две рабочие партии Германии, договорились наконец о слиянии и принялись за выработку единой программы перед своим объединительным съездом в маленьком городке Готе. Маркс и Энгельс считали такое объединение насущно необходимым, но предупреждали Бебеля и Либкнехта, чтобы в столь важный момент они не отступали от своих принципов и не мирволили последователям Швейцера, запятнавшего себя угодничеством перед Бисмарком. Однако в проекте общей программы сохранилась вся накипь мелкобуржуазной идеологии. Лассальянство, как ржавчина, разъедало молодое рабочее движение. Сектантские догмы, общие рассуждения подменяли строгие истины научного социализма. Маркс решил подвергнуть проект программы обстоятельной и суровой критике.

Был канун 5 мая, дня рождения Маркса, которому исполнялось пятьдесят семь лет. На далекой окраинной Мейтленд-парк воздух был чист, по-весеннему свеж и ароматен. У стены дома № 41 в маленьком палисаднике расцвел куст жасмина. Хрупкие веточки, отяжелев от белоснежных звезд, широко раскинувшись, заглядывали в окна дома. Их сладковатый запах заполнил кабинет Маркса, напряженно работавшего за своим столом. Но он не замечал ни весны, ни ночи, сменившей ясный теплый день, ни цветов. Ему снова открылось великое таинство творчества, однако уловить миг, когда мысль, созрев, облекается в слова, не легче, чем заметить, как раскрываются на деревьях почки. Строчка стиха или математическая формула, художественный образ, мелодия или научное обобщение, если оно первозданно и значимо, возникает в мозгу всегда как итог сложных мучительных поисков и долгого труда, но иногда случайный повод

срывает как бы плотину в мозге, и мысль, кипучая, бурная, устремляется вперед с новой силой созидания.

От одного великого творения к другому Маркс, как по уступам, взбирался все выше и постигал то, чего не дано было узнать другим. Таков удел гения.

Маркс готовил замечания к программе Германской рабочей партии. Мысль его окрылилась и устремилась ввысь. Он писал о том, что будет через десятилетия, так уверенно и просто, точно переселился в иные, еще не наступившие времена. Карл, как опытный следопыт, различал тропы будущего, по которым неизбежно идти человечеству. Он увидел контуры грядущего, социалистическую революцию, диктатуру пролетариата, переходный период от капитализма к коммунизму. Гениальный мозг Маркса открыл неизбежность двух фаз коммунистического общества: первая, или низшая, фаза — социализм, а на ступени его полного развития высшая фаза — коммунизм. Это было величайшим прозрением. Маркс еще раз победил время. Подобно мифическому герою Акмете, он давно уже постиг прошлое и, как Прометей, имя которого значит Провидец, заглянул в будущее и объяснил своему поколению, как сложится жизнь у его потомков.

Гений поднялся на головокружительную высоту.

Подводя итог своему учению о государстве, основанному на опыте всех революций и всей борьбы пролетариата, Маркс предсказал неизбежность особой стадии перехода от капитализма к коммунизму с соответствующей формой государства.

«Между капиталистическим и коммунистическим обществом, — говорил он, — лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как *революционной диктатурой пролетариата*».

Государство при коммунизме должно постепенно отмирать, но сроки и конкретные формы будущего, по мнению Маркса, должна подсказать сама грядущая действительность.

В «Критике Готской программы» показаны преимущества социализма, основанного на общем владении

средствами производства, организованного на началах коллективизма, по сравнению с капитализмом.

В условиях социализма, подчеркивал Маркс, осуществляется равенство людей в смысле их одинакового отношения к средствам производства; ликвидируется частная собственность на средства производства и эксплуатация человека человеком. За равный труд люди получат равную оплату.

Маркс вскрыл и подверг критике вульгарное, присущее мелкобуржуазному социализму, представление о том, будто при социализме будет осуществлен уравнительный принцип распределения общественного продукта. Родившись из капиталистического общества, социализм поэтому будет нести на себе во всех отношениях — в экономическом, нравственном, умственном — следы старого общества, из недр которого вышел, претерпев все муки появления на свет. Учитывая неизбежное неравенство людей при социализме, когда еще не сможет быть устранено распределение общественного продукта по количеству затраченного каждым членом общества труда, а не по потребностям людей, Маркс писал: «...в собственность отдельных лиц не может перейти ничто, кроме индивидуальных предметов потребления. Но что касается распределения последних между отдельными производителями, то здесь господствует тот же принцип, что и при обмене товарными эквивалентами: известное количество труда в одной форме обменивается на равное количество труда в другой».

Таков будет социалистический принцип, основывающийся на достигнутом уровне экономического развития, а также на том, что люди еще не сумеют работать на общество без всяких норм права.

С вершин своего могучего мышления Маркс начертал принципы будущего:

«На высшей фазе коммунистического общества, после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуаз-

ного права, и общество сможет написать на своем знамени: Каждый по способностям, каждому по потребностям!»

«Критика Готской программы», непосредственно обращенная к Германской рабочей партии, представляла собой великую программу борьбы для всего международного рабочего движения.

Несмотря на беспощадную оценку, данную Марксом и Энгельсом проекту Готской программы, она с незначительными изменениями все же оказалась принятой на объединительном съезде в Готе. Нужно лишь немного отступить от чистой, принципиальной линии в политике, и одна уступка повлечет за собой другую. В личном и общественном господствует одинаковый непреложный закон ошибок, за которым следует неотвратимое возмездие. Идейное отступление эйзенахцев в Готе тяжело отразилось на дальнейшем развитии партии.

Теоретическая неразбериха после объединения с лассальянцами нанесла ущерб рабочему движению. Приват-доцент Берлинского университета Дюринг, весьма начитанный знаниями, но бездарный человек, вообразил себя новоявленным реформатором и объявил, что изобретенная им система взглядов произведет переворот в философии и политической экономии.

Евгений Дюринг был представительный пожилой господин, носивший щегольской, застегнутый на все пуговицы сюртук. Он был слепой и скрывал незрячие глаза под темно-дымчатыми стеклами очков. Отличительной чертой его характера было самомнение, отнюдь не соответствовавшее дарованиям. Чем невиннее и пошлее были высказывания Дюринга, тем убедительнее казались они тем, кто признавал значительным лишь то, чего не мог понять.

Идеи скучнейшего, узколобого педанта, типичного мелкобуржуазного социалиста пришлись по вкусу некоторым вождям германской социал-демократии, и они принялись усердно начинять ими головы рабочих. Хвалебные статьи о Дюринге появились в социалистической печати. Несколько невежд, опьяненных обилием туманных мыслей и неудержимым словоизвержением, восхищались новой «системой». Они убедили в этом тех, кто, ничего не читая, судил обо всем с чисто стадным неистовством.

Встревоженный Вильгельм Либкнехт обратился к Марксу и Энгельсу за теоретической поддержкой и получил ее. Чтобы не отрывать Мавра от работы над следующими томами «Капитала», неутомимый Генерал взялся сам сразить всеядного берлинского ученого. Однако, следуя незыблемому правилу помогать другу, Маркс не только внимательно прочел весь его труд, но и написал для книги против Дюринга одну главу по истории политической экономии.

В начале 1877 года в германской социал-демократической газете «Вперед» начала печататься серия статей Энгельса под заголовком «Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом». Годом позже те же статьи были изданы книгой, названной «Анти-Дюринг».

Так как Дюринг в своей «системе» попытался охватить весьма обширную область знаний, то и Энгельсу, опровергающему его и разбивающему одно за другим теоретические положения, пришлось писать о самых разнородных предметах: от концепции материи и движения до преходящей сущности моральных идей, от дарвиновского естественного отбора до воспитания молодого поколения в будущем обществе. Энгельсом в борьбе с Дюрингом была создана своеобразная новая энциклопедия, в которой отражены важнейшие вопросы естествознания, политической экономии, философии и других наук.

Энгельс блестяще защитил последовательное материалистическое мировоззрение от лжи и путаницы философского идеализма. На многочисленных примерах, взятых из математики, химии, физики, биологии, он показал, что в природе сквозь хаос бесчисленных изменений пробивают себе путь те же диалектические законы движения, которые и в истории господствуют над кажущейся случайностью событий.

Стиль «Анти-Дюринга» совершенен. Великолепные сравнения и отточенная ирония перемежаются с глубокими, чисто научными аналитическими рассуждениями и выводами. Страницы книг изобилуют сатирическими отступлениями и разящими боевыми выпадами. Тяжеловесному и схоластическому фиглярству Дюринга, совершенно запутавшегося в собственных мыслях, противопоставлен до прозрачности ясный, логический стиль

могучего публициста и литератора Энгельса. Выступая против абстрактных, туманных рассуждений противника, он разоблачал самую сущность его мнимой науки.

После падения Коммуны в мире стало душно и сумрачно. В России Александр II продолжал исподволь сжимать петлю на шее народа. Иногда он бросал жалкие подачки свободолюбцам, чтобы тут же обмануть. Политика, которую он утвердил во время своего царствования, создала ему лютых врагов и вызвала недовольство и неверие, особенно среди учащейся молодежи.

Маркс и Энгельс были отлично осведомлены обо всем, что происходило в России. В письме к Бебелю Энгельс писал: «Если не считать Германии и Австрии, то страной, за которой нам надо наиболее внимательно следить, остается Россия... Русская придворная партия, которая теперь является, можно сказать, правящей, пытается взять назад все уступки, сделанные во время «новой эры» 1861 года и следующих за ним лет».

Три года лечения карлсбадскими водами принесли Марксу большую пользу. Печень не напоминала ему о себе адскими резями, и Ленхен радостно отмечала, что аппетит Мавра не причиняет ей больше кулинарных огорчений. Не исчезал только кашель. В августе 1876 года Маркс сообщал Фридриху из гостиницы «Германия» в Карлсбаде:

«Только в полночь мы попали, наконец, в Вейден. Существующая здесь единственная гостиница опять-таки оказалась переполненной, и нам пришлось до четырех часов утра терпеливо ждать на жестких стульях железнодорожной станции. В общем, путь от Кёльна до Карлсбада отнял у нас двадцать восемь часов!..

На следующий день в Карлсбаде мы только и слышали со всех сторон жалобы на невыносимую жару (в течение последних шести недель не было ни одного дождя), в справедливости чего мы убедились на собственной шкуре... Впрочем, за последние три дня, чрезмерная жара немного спала, да и в самые жаркие дни мы находили давно знакомые мне лесные ущелья, где было сносно.

Тussинька, чувствовавшая себя довольно скверно в дороге, здесь заметно [illegible]лется, а на меня Карлсбад

действует, как всегда, чудесно. В течение последних месяцев у меня возобновилось неприятное ощущение тяжести в голове, которое теперь совсем исчезло.

Доктор Флеклес сообщил мне в высшей степени поразившую меня новость. Я спросил его, здесь ли его кузина из Парижа, мадам Вольман, — очень интересная дама, с которой я познакомился в прошлом году. Он мне отметил, что ее муж потерял все свое состояние и к тому же еще и состояние жены в спекуляциях на парижской бирже, так что обнищавшая семья вынуждена была удалиться на жительство в какое-то захолустное местечко Германии. Любопытно в этой истории следующее: господин Вольман нажил себе огромное состояние в Париже в качестве фабриканта красок; он никогда не играл на бирже, а деньги, которые ему не нужны были в деле (так же как и деньги своей жены), спокойно поместил в австрийские государственные бумаги. Вдруг на него находит какой-то стих: австрийское государство начинает ему казаться ненадежным, он продает все свои бумаги и *совсем тайком*, без ведома своей жены и дружественно расположенных к нему Гейне и Ротшильда, начинает спекулировать на бирже... турецкими и перуанскими бумагами! — пока не просаживает последнего геллера. Бедная жена была как раз занята устройством только что снятого в Париже дома, когда в одно прекрасное утро она, будучи совершенно не подготовленной, узнает, что она — нищая.

Профессор Фридберг (в Бреславльском университете, медик) рассказал мне сегодня, что великий Ласкер выпустил анонимный полуроман под заглавием «*Испытания одной мужской души*». Этим возвышенным переживаниям предшествует хвалебное предисловие или введение господина Бертольда Ауэрбаха. Испытания Ласкера заключались в том, что все представительницы прекрасного пола (в том числе и дочь Кинкеля) влюблялись в него, и вот он объясняет, почему он не только не женился на них всех вместе, но почему также ни с одной из них дело не дошло до развязки. Это, должно быть, настоящая «Одиссея» тряпичной души. Очень скоро появилась пародия (тоже анонимно), столь ужасная, что его великий брат, Отто, с весьма чувствительной затратой денег скупил все имевшиеся еще в продаже экземпляры «Испыта-

ний». «Долг» отрывает меня от письменного стола. А потому, до следующего раза, если магически одуряющее действие горячего щелочного пойла позволит мне еще нацарапать несколько строк.

Мой сердечный привет мадам Лиэзи.

Твой *Мавр*».

Энгельс тотчас же ответил Марксу из Рамсгета.

«Дорогой Мавр!

Твое письмо пришло сюда во вторник и циркулирует теперь среди твоих дочерей. Вашим странствованиям в течение двадцати восьми часов от Кёльна до Карлсбада здесь никто не завидует, зато рьяно держат пари насчет количества баварской «жидкости», которая помогла вам перенести все эти злоключения.

Лейхен приехала в понедельник, на прошлой неделе, из Гастингса, где она провела с Женни и Лафаргами воскресенье; она была не совсем здорова, но все же попыла купаться и схватила при этом ужасную головную боль, длившуюся два дня; вторая попытка еще более ухудшила дело, и она поэтому должна была отказаться от купанья. Во вторник она отправилась домой, а на следующий день, позавчера, приехала сюда твоя жена, которая выглядит во всяком случае значительно лучше, чем шесть недель тому назад. Она много бегает, у нее хороший аппетит и к тому же, кажется, вполне нормальный сон. Она и Лиэзи бродят по песчаному пляжу, после того как я подкрепил их на вокзале стаканом портвейна, и радуются, что им не надо писать писем. Лиэзи морское купанье удивительно пошло на пользу, надеюсь, она продержится на этот раз всю зиму».

Возвращаясь из Карлсбада, Маркс с дочерью посетил Крейцнах. Прелестный курортный городок-сад был ему издавна очень дорог. Там он женился и провел первые дни после бракосочетания. Каждый уголок в тенистом парке возле соленых источников напоминал Карлу о Женни и времени, когда после семи лет ожидания они наконец навсегда обрели друг друга. Маленький домик, где жила овдовевшая Каролина фон Вестфален, не изменился. Скорбные мысли охватили Маркса на улицах Крейцнаха. Много друзей его уже ушло навсегда. Умерли

и враги. Совсем недавно смерть навсегда усмирила Бакунина.

В Берне, куда Бакунин приехал перед смертью, он пользовался особым расположением и покровительством врача Адольфа Фогта, близкого родственника продажного клеветника Карла Фогта.

Узнав о кончине заклятого недруга своего учения, Маркс невольно задумался над противоречивой жизнью этого постоянно неудовлетворенного человека.

Маркс вспомнил письмо к нему покойного. Как не походило оно на все то, что последовало дальше. Сколько зла причинил Бакунин Товариществу. Поток его клеветы на Маркса долго еще несся по миру. А менее десяти лет назад Бакунин говорил Карлу:

— Мой старый друг, лучше, чем когда-либо, я понимаю теперь, как был ты прав, выбрав — и нас приглашая за тобой следовать — большую дорогу, осмеивая тех из нас, которые блуждали по тропинкам национальных или чисто политических предприятий. Я делаю теперь то дело, которое ты начал уже более двадцати лет назад. Со времени торжественного и публичного прости, которое я сказал буржуа на Бернском конгрессе, я не знаю теперь другого общества, другой среды, кроме мира рабочих. Моим отечеством будет теперь Интернационал, одним из главных основателей которого ты являешься. Ты видишь, следовательно, дорогой друг, что я — твой ученик, и я горжусь этим. Вот все, что я считаю необходимым сказать...

«Чего он хотел на самом деле, а не на словах, которые у него вовсе не отражали душевной правды?» — вспоминал Маркс.

Во время недолгого пребывания в Крейцнахе Маркс обошел вместе с Элеонорой памятные и дорогие ему места: тенистые уголки парка и достопримечательные пещеры, где кристаллы соли нависли сталактитами, образовали колонны и, сияя алмазным блеском, превратили камни в причудливые гирлянды. Воздух в крейцнахских садах был все таким же слегка солоноватым, напоенным цветами и травами, как в незабываемые годы молодости Карла и Женни.

Несколько раз ездил Маркс и в Прагу, любовался средневековыми дворцами, серым, гулким залом для рыцарских турниров, улочкой алхимиков, клиновыми ал-

леями бульваров и строгими линиями поздней храмовой готики.

В Карлсбаде Маркс проводил по двенадцать часов на воздухе, предпринимая странствия по окрестностям курорта. Иногда он отправлялся гулять один и, случалось, долго плутал в горных лесах, не находя дороги назад, что, впрочем, его очень забавляло. Как-то он познакомился, а затем и быстро сблизился с видным русским социологом, юристом Ковалевским, также лечившимся водами. Оба они совершали длительные прогулки по прекрасным горам Богемии, беседуя по самым различным вопросам науки, искусства, политики.

Нередко они заходили в таверну, славящуюся отменным пивом разных заводов. Там всегда было многолюдно.

— Публика здесь из года в год почти та же, и преобладают крайности: либо толстые как бочки, либо худые как жерди, — говорил Маркс, — как видите, все карлсбадские филистеры сегодня в сборе и опять бурно спорят, разделившись на партии. И знаете о чем?

Ковалевский не знал, и Маркс, подмигнув ему, продолжал с шутливой серьезностью:

— О сравнительных преимуществах старого пильзенского, бюргерского и «акционерного» пива. Я слышал, как один старичок только что заявил, что черного пива он выпивает подряд без всякого труда пятнадцать кружек. Другой же ему ответил, что раньше был приверженцем одной марки, то есть сугубо партийным человеком, но теперь поднялся над мелочными разногласиями, охотно пьет все сорта всех заводов.

Максим Максимович засмеялся так громоподобно, что все в пивной повернулись в его сторону и, пораженные видом мужественной громады в цегольском костюме, невольно поставили свои кружки на мраморные столики. Два переодетых шпика, неотступно сопровождавшие Маркса с самого его приезда, топтавшиеся в дверях пивной, начали перешептываться. Заметив их, Маркс продолжал с веселой усмешкой:

— Мой однофамилец — начальник полиции в Вене — так любезен, что и на этот раз приехал в Карлсбад одновременно со мной. Рьяный парень! Вот достойный пример ревностной службы и исполнения долга. Однако перенемся к напиткам. Уверен, что ... франты,

что сидят на террасе, обсуждают теперь тоже очень важный вопрос — о качестве кофе в здешних ресторанах. Но я согласен с тем из них, который утверждает, что лучшее подают в ресторации в саду Шенбруннен.

Максим Максимович Ковалевский производил на всех знавших его весьма внушительное впечатление не только своеобразием характера и необъятными знаниями, но и своей внешностью. Это был отлично скроенный, статный великан. Чрезвычайно высокий, широкоплечий, он мог бы служить моделью скульптуры мифических Атлантов, держащих на своих плечах небесный свод. Под стать телосложению был и голос Ковалевского, низкий, мелодичный и чрезвычайно сильный. Даже когда он пытался говорить шепотом, его бывало слышно из конца в конец главной улицы Карлсбада.

— Да это подлинный колосс, — удивилась Элеонора, когда в первый раз увидела величественного, барственно холеного русского.

Маркс, постоянно изучавший Россию, нашел в Максиме Максимовиче друга, но только «по науке», как он сам определил свои с ним отношения, подчеркнув при этом полное различие в социальном мировоззрении и целях.

В 1876 году Ковалевский, молодой, весьма одаренный русский ученый, часто посещал Маркса в Лондоне. Светский человек, благожелательный, обаятельный в обхождении, Максим Максимович стал желанным гостем в доме № 41 на Мейтленд-парк роуд, хотя люди туда допускались в эти годы с большим разбором. Маркс сторонился даже известных европейских писателей, добивавшихся знакомства с ним, ссылаясь на нескромность газет и журналов. К тому же время ему было крайне дорого. Но Ковалевский был радушно принят.

Он как раз незадолго до этого побывал в Америке, а Маркс намеревался во втором томе «Капитала» отвести значительное место вопросу о накоплении капитала в Соединенных Штатах и в России. Его также чрезвычайно интересовала русская экономическая и историческая литература, которую основательно знал Ковалевский. Не только Карлу, но и Женни были приятны посещения этого гостя из России. Жена Маркса настойчиво изучала в это время русскую литературу и даже писала о ней во «Франкфуртской газете».

Многознающий Ковалевский был умнейшим человеком, неиссякаемым в беседе. Особенно глубоко он знал всеобщую историю и юриспруденцию. Не будучи последователем Маркса, он, однако, оценил по достоинству его знания и трудолюбие, страстность в политической борьбе и почувствовал в авторе «Капитала» и вожде Интернационала душу гиганта, с которым не шли ни в какое сравнение все так называемые большие люди. Ковалевский был значительно моложе Маркса, но никогда не замечал с его стороны ни малейшей тени пренебрежения старшего к младшему. Он гордился знакомством с Марксом, радовался, что имел счастье встретиться с одним из тех, кто по праву может считаться великим.

Обычно на пороге дома, расположенного подле полукруглого сквера на Мейтленд-парк, Ковалевского радушно встречала Елена Демут. Она пополнела, но все еще выглядела значительно моложе своих пятидесяти с лишним лет и по-прежнему легко справлялась со всеми обязанностями по ведению дома. Как и в былые годы, Ленхен была неизменным партнером Маркса за шахматной доской и часто обыгрывала его. Искусный игрок в шашки, Маркс был не из сильных шахматистов.

Чаще всего Ковалевский находил Маркса в библиотеке, расположенной рядом с гостиной на первом этаже просторного светлого дома. Маркс бывал так погружен в работу, что не сразу замечал появление гостя. Он неохотно отрывался от рукописей, книг, газет на различных языках, которые читал. Среди итальянской, испанской, русской, немецкой, английской прессы Максим Максимович обнаружил и бухарестскую газету «Румын». Хозяин дома, впрочем, владел свободно не только румынским, но и сербским и русским языками. Библиотека, где проводил много времени Маркс, была большая, в три окна, комната. Вдоль стен стояли шкафы и полки, до отказа заставленные справочниками и книгами, исключительно такими, которыми пользовался Маркс для своей работы. Некоторые книги лежали раскрытыми на стульях и диване. Много времени в эту пору отдавал Маркс русской истории. Из «Исторических монографий» Костомарова он выписывал то, что рассказывало ему о Разине. Внимательно прочел он исследование Васильчикова о землевладении и земледелии в России и других европейских государствах.

Один из больших шкафов и открытые полки были отведены в кабинете особо под русские книги. В записную книжку типа каталога Маркс старательно внес все их названия. Он озаглавил свой список: «Русские книги в моей библиотеке».

Однажды Максим Максимович Ковалевский получил приглашение от Маркса встретить в его семье Новый год. К ужину ожидались также и другие гости. До их прихода Маркс расспрашивал Ковалевского о железнодорожном хозяйстве России, ссылаясь на полученную им из Петербурга книгу Чупрова. Затем беседа перешла на вопросы экономической истории мира. Ковалевский не без удивления узнал, что Маркс возобновил занятия математикой, дифференциальными и интегральными исчислениями, для того чтобы проверить значимость нового математического направления в политической экономии, которое возглавил англичанин Джевонс.

Как и все посещавшие Маркса, молодой русский ученый с первой встречи подпал под великое обаяние его жены. Благородство ее внешнего облика, стоицизм в борьбе с житейскими лишениями, манеры дамы из высшего общества и вместе с тем простота обхождения, ум, слегка насмешливый и ясный, привлекали каждого, кто узнавал Женни ближе.

В вечер проводов старого года, нарядно одетая, в темно-синем тафтовом платье и черной кружевной накидке, она казалась значительно моложе. Скорбь, залегшая в морщинках между крыльями носа и верхней губой, исчезла в улыбке, открывавшей красивые зубы, в блеске больших, все еще лучистых глаз.

— К счастью, Чарли здоров сегодня. Он несколько дней балансировал, подобно канатоходцу, между гриппом и плевритом, — сказала Женни, здороваясь с Ковалевским. — Зиму в Лондоне можно сравнить разве что с Дантовым адом. Это почти что вечная ночь. С двух-трех часов зажигаем лампы.

— Надеюсь, мы все будем достаточно сильны в наступающем году, чтобы достойно бороться с большими и малыми разновидностями гадюк и ехидн современной реакции, — ответил Ковалевский и галантно пододвинул Женни Маркс кресло.

— Прошу вас в новом году не дарить Мавру столько русских книг, как в предыдущем. Иначе он не сможет

закончить свое капитальное сочинение, и мне придется наказать вас, господин Ковалевский.

— И лишить за обедом самого лакомого блюда.

— Конечно. Я знаю, что вы гурман, и не дам вам бараньей котлеты.

— В таком случае доктор Маркс более не получит от меня ни одного казенного издания о ходе кредитных операций в России.

— Вот хорошо. А то господин Энгельс уверяет, что у моего мужа накопилось три кубометра русских книг.

Разговор продолжался в том же шутливом тоне.

Вскоре в гостиную вошли Энгельс с женой. Лиззи и Женни нежно расцеловались.

Ни малейшего стеснения, неловкости, скуки никогда не чувствовалось в доме Маркса.

Праздничный стол ломился от яств. Был тут и пензбежный плумпудинг, сухой, рассыпчатый, похожий на большую шляпную коробку. Ветка светло-зеленого остролистника с сакраментальными алыми ягодами, растущими прямо на листьях, украшала его глянцевитую, сахарную поверхность. Два превосходных продолговатых кекса с коринкой, которые так любил Энгельс, украшали обе стороны стола вместе с вазами, полными фруктов, и множеством бутылок вина и шампанского.

— Все чудесно, и как много ягод на остролистнике, — сказала Лиззи. — Мы недавно послали несколько пудингов друзьям в Германию, и Фридрих, который, как мальчишка, проказник, положил такие же колючие ветки под крышку ящика так, чтобы таможенные чиновники, вынюхивающие повсюду контрабанду, оцарапали себе носы. А сколько изюму кладете вы, Ленхен, в тесто?

Лиззи была непревзойденная стряпуха и никогда не упускала возможности узнать тот или иной кулинарный секрет.

Ленхен с гордостью посвятила ее в то, как именно следует приготовлять торты. Они увлеченно принялись спорить о том, нужно ли добавлять цукаты в миндальные пирожные.

Женни с доброй улыбкой прислушивалась к их оживленному разговору.

— В числе всяческих грехов, которые преследуются церковью, значится и чревоугодие, но я на месте римского папы не посягала бы на сласти, без них домохозяйки

...е прилется
...люда.
...е дам вам
...получит от
...нитых опе-
...ряет, что
...ских книг,
...топе.
...Лизэп и
...ап никогда
...ут и неиз-
...хожий на
...ного остро-
...ии, расту-
...витую, са-
...олговатых
...украшали
...руктов, и
...стнике, —
...ко пудин-
...как маль-
...ветки под
...ники, вы-
...себе носы.
...никогда не
...пиарный
...к именно
...рнялись
...идальные
...их опив-
...лсдуются
...сто рим-
...хозяйки

по знали бы, чем украсить свой стол, — сказала сидевшая среди дам сестра Маркса, госпожа Юта.

— Я слыхала, что самый лучший кондитер на свете служит теперь именно в Ватикане, — сообщила Елена Демут.

Маркс, Энгельс и Ковалевский стоя беседовали об общественных деятелях Европы. Когда Женни подошла, чтобы позвать их к ужину, Генерал заканчивал свой рассказ.

— Итак, сей муж, — говорил он, — спереди демократичен, сзади социалистичен и, следовательно, всесторонне ортодоксален и демократически социалистичен.

В ответ раздался дружный хохот. Особенно громыхал Ковалевский.

— Я знавал, — сказал он, вдоволь посмеявшись, — одного русского политического воротилу, который был столь дальновиден и так напуган Парижской коммуной, что, когда дарил свои фотографии, писал на них многозначительно и невразумительно всего два слова: «Сказано на словах».

И снова собеседники весело рассмеялись. Женни позвала их к столу.

За ужином Маркс заговорил с Ковалевским о его знакомой, Ольге Алексеевне Новиковой. Эта тридцатишестилетняя мужеподобная малоодаренная писательница пыталась приобрести влияние в дипломатических сферах, подобное тому, каким пользовалась некогда Дарья Христофоровна Ливен. Новиковой не хватало титула, ума, такта и женского обаяния покойной княгини. Однако ей удалось понравиться Гладстону. Этот осторожный, ловкий дипломат, строивший свою политику на постоянных уступках и сговорах, за год до этого ушел с поста руководителя либеральной партии и удалился от дел. Он заявил, что ни одному премьер-министру после шестидесяти лет не удавалось сделать что-либо выдающееся. Но уже в 1876 году он снова занял пост главы правительства.

— На днях, — рассказал Ковалевский, — господин Гладстон демонстративно в театре зашел в ложу к госпоже Новиковой, очевидно, как она мне говорила, чтобы подчеркнуть, что союз между Англией и Россией уже существует. Затем сей маленький, весьма похожий на

английского священнослужителя субъект под руку с дамой, похожей на каланчу...

— На драгуна... — вставил Маркс.

— Именно так. Проследовал к выходу. Толпа народа почтительно расступилась, чтобы пропустить достопочтенных представителей двух великих держав. Это было весьма знаменательное шествие.

— Скажите нам, господин Ковалевский, ваше мнение о восхитительной Элен Терри, — вступила в беседу Элеонора. — Не правда ли, это самая замечательная актриса нашего времени? Она неповторима, когда играет Офелию. Сам Шекспир не подобрал бы лучшего воплощения для этой роли.

— Мне больше по душе несравненная Дузе, — ответил Максим Максимович. — Но и Терри действительно превосходна. Ее фигура в смысле пропорций безукоризненна. Не знаешь, высока она или низкорослa, полна или худа, настолько точно природа отмерила ей все необходимое. Но голос, способность к перевоплощению у вашей тезки, мисс Маркс, у Элеоноры Дузе, волнуют меня значительно больше.

— О, — вскричала вдруг Тусси, — мы чуть не упустили торжественной минуты. Прощай, старый год! Мавр, Генерал, пора наполнить бокалы.

Раздался полуночный бой больших стенных часов.

— Салют тысяча восемьсот семьдесят седьмому году!

— Пусть исполнятся все наши желания!

— Виват, ура!

Все поднялись и чокнулись друг с другом.

— Выпьем за юристов, — предложила госпожа Юта. — За нашим столом двое: Карл и господин Ковалевский. Я очень хочу, чтобы мой сын также прибился к этой почтенной корпорации.

— Слов нет, — ответил Максим Максимович, — юристы должны быть весьма образованны и красноречивы. Не случайно они не раз возглавляли революции.

— Находясь, однако, по обе стороны баррикад, — поправил русского Маркс.

— Это верно. Со времен Цицерона и по наши дни. Достаточно вспомнить таких, как Робеспьер, Демулен, Бриссо.

— И честнейший коммунар Риго, — вспомнила Женнихен.

— А теперь, — сказала Женни Маркс, — я открою один семейный секрет. Новый год мы начнем с поздравлений нашего друга, дорогой мисс Демут, которая мудро избрала для своего рождения первое января.

С этими словами она крепко обняла подругу. В комнате стало шумно от радостных восклицаний и отодвигаемых стульев. Все устремились к Ленхен. Исчезнувшая было Элеонора вернулась с огромным круглым тортом, на котором, трепетно мигая, горели пятьдесят четыре тоненькие свечки.

Все члены семьи Маркса, включая недавно приехавшую погостить сестру Карла Луизу Юта и ее двух рослых добродушного вида сыновей, чинно подошли к Ленхен с заранее приготовленными подарками. Раскрасневшаяся от неожиданности, она растерянно благодарила, но, когда Карл от себя и Женни протянул ей маленькую коробочку, в которой на синем атласе лежали скромные часики на длинной цепочке, Ленхен сразу же нахмурилась и грозно зашушукала, наклонившись к его уху:

— Кто это тебе позволил сорить так деньгами? Сумасшедшие. Что ты, какой-нибудь министр финансов? Лучше дал бы мне их, чтоб я рассчиталась с нашими кредиторами.

Карл комически вздохнул и вскинул руки, но не стал отвечать. Его оттеснили Энгельс и Лиззи. Они принесли Ленхен кусок бархата на платье. Госпожа Юта подарила ей отличный шерстяной плед, а Элеонора — собственноручно вышитый мешочек для носовых платков, в котором лежало несколько кусков пахнущего лавандой мыла знаменитой английской марки «Аткинсон». Последним поздравил Елену Демут Ковалевский; склонив большую, красивую голову, он пожелал ей долголетия и назвал добрым гением семьи великого Карла Маркса.

Затем Энгельс весьма умело, не пролив ни капли, открыл одну за другой несколько бутылок шампанского, и новогодний праздник продолжался. Веселье нарастало. Тусси, командуя своими двумя кузенами, Генри и Чарлзом Юта, устроила общие игры. Стулья в гостиной были расставлены в круг. Сначала соревновались в находчивости. На внезапно брошенный, как мяч, вопрос следовало не задумываясь дать ответ.

— Куда делись руки Венеры Милосской? — хитро прищурившись, спросила Элеонора Ковалевского.

Он скользнул глазами по сидевшей с ним рядом сестре Маркса, заметил пухлую ямочку на ее полном локте и сказал галантно:

— Извольте, природа, похитив их у богини, приделала к торсу госпожи Ю-та.

Раздались аплодисменты. Игра продолжалась, но скоро наскучила. Тогда Элеонора вышла на середину круга и заявила:

— Я директор цирка.

— А мы кто? — заинтересовался Энгельс.

— Все вы, в том числе Мавр и ты, Генерал, всего лишь дрессированные звери. Прошу не смеяться. Сейчас каждому из вас я назову, под строгим соблюдением тайны, каким именно животным он будет.

— Тусси, оказывается, на самом деле Цирцея. Не прошу не превращать меня в свинью, — снова воскликнул Энгельс.

— И не в осла, их и так развелось на свете слишком много, — сказал Ковалевский.

— Успокойтесь, может быть, вам предстоит быть львами.

— Но я не умею рычать.

— Что до меня, я жажду превращения в слона. По общему мнению, мой голос годится для джунглей, — потребовал Ковалевский.

— Прошу слушаться директора цирка и главного укротителя! — крикнула властно Тусси.

Все замолчали, но, продолжая улыбаться, переглядывались друг с другом.

— Итак, молчание! Я скажу каждому на ухо, какой он зверь, а затем по счету «раз-два-три» буду вызывать вас на арену. Звери должны выскочить вперед, издавая при этом звуки, которые даны им природой. Тигр пусть рычит, а шакал воет.

Элеонора шепнула что-то каждому из играющих и остановилась в центре круга.

— Начинаю!

Энгельс, сделав комическую гримасу, подался вперед. Маркс, щурясь, откинулся на спинку стула.

Девушка медленно сосчитала до трех и громко крикнула:

— Собака!

В ту же минуту все сорвались со своих мест, бросились на середину круга и начали отчаянно лаять. Затем, сообразив, что с ними сыграли забавную шутку и все они должны были изображать одно и то же животное, покатились со смеху. Особенно неудержимо, до багровой краски в лице и слезинок в углах глаз, смеялся Энгельс. Ему вторили Маркс и Ковалевский. Госпожа Юта не знала, улыбаться ей или сердиться. Она так остервенело изображала пса, что чувствовала себя теперь неловко и хотела обидеться. Впрочем, поведение остальных тотчас же ее успокоило.

А Тусси уже приказала покорным ее воле юношам отодвинуть мебель к стенам, а сама подсела к роялю и сыграла марш. На первый тур танца Маркс пригласил свою жену. Оба они были великолепными танцорами. Маркс, правда, танцуя, всегда немного смущался, и это вначале несколько сковывало его движения. Но музыка постепенно увлекла всех, и, кружась, он как бы сбросил годы. Много воскресших нежных воспоминаний молодили его душу.

Он видел себя и Женни в Париже. Они кружились на веселых балах, и так же рука его лежала вокруг ее талии и совсем близко, рядом сияли любимые карие, с позолотой глаза. И Женни думала о прошлом, и ласковая улыбка задержалась на ее лице. Затем Маркс подошел к Лиззи и закружил ее в вальсе, а Ковалевский пригласил госпожу Лиззу Юта. После танцев он подвел ее к дивану и сел в кресло рядом.

— Поверьте, — сказала ему жена захолустного книготорговца из Капштадта, обмахиваясь веером из страусовых перьев, — Карл и мы все вовсе не какие-нибудь дети простолюдинов. Наш отец адвокат. Если вам придется побывать в Трире, то вы услышите, из какой мы хорошей, всеми уважаемой и к тому же не бедной семьи. Кто бы мог подумать, когда Карл был маленьким, что он попадет в такую страшную компанию, как все эти красные.

Максим Максимович, скрывая в пышной бороде усмешку, тщетно пытался успокоить госпожу Юта рассказом о том, каким огромным уважением среди всех лучших людей пользуется ее брат, какой он во всех отношениях неповторимый гигант мысли. Госпожа Юта все же продолжала грустно вздыхать и сетовать. Маркс,

краем уха слышавший жалобы сестры по своему адресу, не мог удержаться от веселого смеха.

Рядом с креслом, на котором сидел Максим Максимович, стоял маленький мозаичный столик. На нем играли в шашки, писали письма. Столик был покрыт плюшевой скатеркой с пышной бахромой по краям. Под стеклом, прижатым металлическими лапками, стояла позавая фотография Маркса. Ковалевский взял снимок в руки и пристально в него вгляделся. Маркс был снят сидящим в кресле, в одной из лучших фотостудий Майлса на Риджентс-стрит, 224, о чем сообщал штамп фирмы. Русского ученого снова поразили благородство и значительность львиной головы вождя рабочих.

— У вашего брата, — обратился Максим Максимович к госпоже Юта, — замечательные глаза. Обратите внимание на то, как приспущены книзу его веки у наружных углов. Интересная особенность, которую я замечал у многих выдающихся людей. Вспомните, например, портреты Ньютона, Гегеля, Бетховена.

Госпожа Юта с недоумением посмотрела на собеседника.

— Глаза такой формы — полуулыбками, — продолжал Ковалевский, — несомненно, присущи высокоодаренным натурам.

Было уже очень поздно, когда Энгельс и Ковалевский, отделившись от веселой компании дам и молодежи, последовали за хозяином дома в его кабинет покурить и выпить по чашке кофе с ликером.

Заговорили о том, что было дороже всего сердцам двух руководителей мирового рабочего движения, — о делах социал-демократии во всем мире и, в частности, в Германии. Маркс похвалил молодого революционера Бебеля, полушутя-полусердясь отозвался о Либкнехте как об упрямце, не вполне освободившемся от дурного влияния лассальянцев.

— Трудно, — заметил он, посмеиваясь, — внести свежую мысль в голову немецкого приват-доцента, а Либкнехт из той же породы.

Маркс заметно помрачнел, когда речь зашла о полученном известии из Берлина, что какой-то безумец анархист совершил покушение на престарелого германского императора Вильгельма.

— О, черт, будь проклят террорист и те, кто его пол-
бял на эту гнусную провокацию. Ведь зло капиталпзма
не в беззубом дрихлом коронованном осле. Легко можно
себе представить, как сегодня торжествует Бисмарк.
Теперь он имеет возможность под истерическпе вопли
юнкерских кликуш и барабанный бой объявить новый
поход на социалистов. Наверпяка уже начались пресле-
дования революцпоперов по всей стране.

Перед возвращепием в Москву, где Ковалевский
должен был занять кафедру в упиверситете, он провел
несколько прощальных часов у Маркса и Энгельса. В об-
щении с ними он черпал немало новых мыслей и знаний.
И в этот раз они много говорили об искусстве, литературе,
истории, политике. Без знакомства с Марксом Ковалев-
ский не занялся бы теми предметами, которые в дальней-
шем определили его научные достижения. Маркс, юрист,
советовал русскому ученому написать большое сочине-
ние об административной юстиции, а также заняться
прошлым земельной общины. Особо интересовала Маркса
научная критика. Он был одним из весьма взыскательных
читателей «Критического обозрения», издаваемого Кова-
левским.

Прощаясь с русским ученым, Маркс сказал ему в
упор:

— Помните, что логически можно мыслить, только
следуя диалектическому методу.

В самом начале 1877 года Маркс писал в Москву
Ковалевскому:

«Дорогой друг!

Я узнал, что одна русская дама, оказавшая большие
услуги партии, не может из-за недостатка в деньгах най-
ти в Москве адвоката для своего мужа. Я ничего не знаю
ни о ее муже, ни о том, виновен ли он или нет. Но так
как процесс может кончиться ссылкой в Сибирь, и так
как г-жа *** решила следовать за своим мужем, которого
считает невиновным, то было бы чрезвычайно важно по-
мочь найти ему хотя бы защитника. Г-жа *** предоста-
вила управление своим состоянием мужу и сама совер-
шенно не в курсе дела, таким образом, только адвокат
может ей в этом помочь.

Г-н Тапеев, которого Вы знаете и которого я с давних пор уважаю как преданного друга освобождения народа, — может быть, единственный адвокат в Москве, который возьмется за такое неблагодарное дело. Поэтому Вы меня очень обяжете, если от моего имени попросите его принять участие в исключительно тяжелом положении нашего друга.

Ваш *Карл Маркс*.

Дама, о которой ходатайствовал Маркс, была героиня Парижской коммуны Дмитриева, вышедшая замуж за обедневшего дворянина Давыдовского, оказавшегося на скамье подсудимых по уголовному делу «червонных валетов».

Иван Михайлович Давыдовский был управляющим имения ее фиктивного мужа Томановского, который после смерти оставил все свое состояние жене.

Давыдовский сумел внушить страстной и самоотверженной Елизавете Лукиничне не только большую любовь, но и полное доверие. Она не сомневалась, что муж ее ни в чем дурном не может быть заменан. Беда его только в слабохарактерности и чрезмерной доброте. То и другое было отчасти присуще этому неустойчивому человеку. Проучившись четыре года в университете, он бросил его накануне окончания.

Николай Исаакович Утин, друг Дмитриевой, тщетно отговаривал ее от этого брака. Она, не считаясь ни с чем, связала свою жизнь с Давыдовским. Когда его арестовали, Утин сообщил об этом происшествии Марксу, и тот немедленно откликнулся.

Защитник подсудимого в своей речи на суде выразил глубокую уверенность в невиновности Давыдовского.

На процессе «червонных валетов» с защитой мужа выступила и Елизавета Лукинична. Она утверждала, что он глубоко нравственный и совершенно честный человек, безвинно оговоренный врагами, а судебного следователя обвиняла в неправильных действиях.

Суд, признав Давыдовского виновным в том, что, напоив богача Еремеева, он заставил его подписать, а затем выманил беспечные вексельные бланки, а также вексель на двадцать тысяч рублей, приговорил его к лишению всех прав состояния и ссылке в Сибирь на

поселение. Елизавета Лукинична, верившая своему мужу, вместе с двумя детьми последовала за ним в Енисейскую губернию. Позже Давыдовский получил разрешение на поселение в Красноярском округе. В большом селе Заледеево на Московском тракте Елизавета Лукинична завела корову и лошадь, купила двухэтажный просторный домик и полностью отдалась семье и хозяйству. Пытливая и талантливая во всем, за что бы ни бралась, она сумела вырастить свой особый сорт морозоустойчивого картофеля, сама успешно обучала своих детей иностранным языкам, разным наукам и музыке.

Со свойственным ее натуре неистовством Елизавета Лукинична увлекалась астрономией. По ночам выходила из дому и подолгу смотрела на звезды, изучая небесный атлас. Неразговорчивая, суровая и даже мрачная, она избегала людей, которые за бодрствование, блуждание по ночам и пристрастие к небесным светилам сочли ее душевнобольной. По-прежнему она была очень хороша собой: высокая, умеренно полная, черноволосая, с необыкновенными крупными неулыбающимися глазами. Никто не знал ее прошлого, и когда очень редко она упоминала, что была другом Маркса и членом Интернационала, политические ссыльные, которых с каждым годом становилось в селе все больше, не верили ей.

За долгую жизнь человек привыкает к повторяющимся недомоганиям и не задумывается над тем, что в какой-то из облепляющих его болезней, как порох в гильзе, уже заложена смерть. После шестидесяти лет Женни Маркс начала хворать. Ничто не помогало: ни поездки к приморью и на курорты, ни советы врачей Лондона, Манчестера, Нейнара, Парижа. Маркс с беспокойством всматривался в дорогое лицо жены и замечал, как обострялись ее черты, серела и высыхала кожа, а иногда вдруг гасли лучи прекрасных темных глаз и в них появлялась тревога. Веки Женни напоминали отцветшую увядшую сирень. Она сильно похудела, старалась скрывать боли и нарастающую слабость.

Чахла и Лиззи. Тщетно Энгельс возил ее неоднократно из Лондона к морю в Истборн или Рамсгет. Все, что так помогает, когда болезнь преходяща, а не гибельна, — воздух, солнце, покой, забота и ласка близких людей, —

уже не приносило Лиззи исцеления. Ничем не могла помочь ей больше и медицина. Час перехода в небытие быстро приближался. Врачи не подавали более надежды. Смирившись, равнодушно глядя немигающими глазами на свечи в старых канделябрах, лежала она в постели. Энгельс, погруженный в печаль, сидел подле нее. Он мучительно искал средства, как бы продлить ее жизнь. Пассивность была чужда его натуре. Он изнывал от сознания бессилия.

— Дорогая, — сказал он вдруг после долгого раздумья, заметно оживившись. Лицо Фридриха просветлело. — Помнишь, давно это было, я поклялся обязательно сочетаться с тобой браком по закону. Если ты не будешь возражать, мы сегодня же обвенчаемся. Зачем откладывать, не так ли?

Он склонился к умирающей, охваченный надеждой, и заметил, как порозовело землистое лицо Лиззи.

— Спасибо, Фредди, я была бы очень счастлива, любимый мой, если бы мы действительно обвенчались, — прошептала Лиззи и закрыла глаза.

«Она мне не верит», — с горечью подумал Энгельс. Вскоре, препоручив жену сиделке, он ушел из дома.

Был уже поздний вечер, когда Энгельс вернулся с несколькими представителями мэрии. В черных костюмах с белыми накрахмаленными манишками, в начищенных до блеска штиблетах, эти джентльмены одинаково годились для любой церемонии: свадьбы, крестин либо похорон.

Лиззи была уже в полузабытьи. Сознание ее то светлело, то снова меркло.

Энгельс поцеловал маленькую обессиленную руку женщины, с которой в согласии и любви прожил целых пятнадцать лет, и окликнул ее. Сиделка сменила свечи в бронзовых канделябрах, Лиззи открыла подернутые дымкой глаза. Брак Энгельса и Лиззи Бёрнс был заключен согласно установленным законам. Затем свидетели распили в столовой бутылку шампанского, получили деньги и ушли восвояси.

Снова Энгельс занял свое место у изголовья умирающей. Последняя надежда, что радость хоть ненадолго отгонит от его жены смерть, не оправдалась. Агония Лиззи походила на дремоту, и она безропотно и тихо скончалась в половине второго следующего дня.

Смерть Лиззи была первым в жизни большим страданием для Элеоноры. В семье Энгельса был ее второй отчий дом. Как любила она с детства ездить в Манчестер, где ее ждали сюрпризы, подарки и ласки Лиззи, постоянной советчицы и поверенной маленьких секретов Тусси. Они объездили Ирландию, часто бывали на взморье и много времени проводили вместе в Лондоне. Элеонора горько плакала над гробом своей второй матери и друга. Думая о Лиззи, она видела себя подростком в большом манчестерском доме. Жена Энгельса терпеливо учила ее рукоделию и домоводству, укладывала спать в большой, обогретой металлическими грелками кровати под пологом, чтобы затем усесться в ногах и долго рассказывать о своем крестьянском, а затем рабочем прошлом, о родине и борьбе фениев. Часто дуэтом пели они ирландские песни или, взявшись за руки, уходили гулять по окрестностям текстильной столицы. С тем ожесточением, которое присуще молодости и здоровью, восставала Тусси против смерти, посмевшей вторгнуться в ее жизнь, и, прорыдав несколько часов, в изнеможении засыпала беспокойным, тяжелым сном. Постепенно она смирилась, но нервы ее были потрясены.

Красоцкая провожала прах Лиззи Энгельс. Был тихий осенний полдень, когда последняя горсть земли упала на могилу. Все было кончено.

Лиза медленно пошла по кладбищенской аллее. Она была безнадежно больна и знала это. Ноги ее распухли, и отекшее лицо резко изменилось. Но не смерти боялась Лиза, а немощи и бессилия. Быть в тягость людям казалось ей худшим из земных несчастий. Не желая, как всю свою жизнь, оставаться праздной, она учила бесплатно детей из бедных семей музыке и языкам. Деньги ее давно разошлись, и Лиза едва сводила концы с концами, но никто этого не знал, и, считая ее по старой памяти богатой, постоянно обращались со своими нуждами.

Невозможность помочь крайне угнетала старую, уставшую женщину, и впервые она начала думать, что ей пора уйти из жизни. Ася, забравшая после свадьбы все, что представляло какую-либо ценность, изредка писала матери, главным образом когда ей требовались деньги или происходила ссора с мужем. Жан Сток, несколько оправившийся от потрясений, служил сторожем. Он сты-

дился безделья, называя его паразитизмом, и по мере сил пытался скрасить жизнь старого друга.

Долго бродила Красоцкая по кладбищу, останавливаясь и читая надписи. На одной, давно заброшенной, осевшей от времени и непогод могильной насыпи стоял на покосившемся постаменте мраморный ангел с отбитым крылом. Под ним едва различимы были буквы:

Смелому в бою,
Твердому под пыткой,
Беззащитному в любви.

Лиза провела рукой по камню и, скорее осязая, чем видя, разобрала славянское имя, но дата смерти и фамилия стерлись навсегда. Очевидно, тут был похоронен соотечественник.

В какой схватке проявил он отвагу, каким истязаниям подвергался и кто нанес неизлечимую рану его сердцу? Бесцельно было бы искать ответа. К этой давно забытой могиле вряд ли неслись еще мысли и чувства живых.

Лиза отдыхала на кладбище. Оно возвращало ей мудрое спокойствие. Со времени гибели мужа и друзей-коммунаров мысль о неизбежности смерти не вызывала у нее ни малейшего недовольства и протеста. Это была та неизбежность, которая учила не только умирать, но жить так, чтобы наилучшим образом употребить ценнейший дар судьбы. Как и Женни Маркс, Лиза считала неблагодарность худшей чертой в человеке. Она понимала под этим словом не только отсутствие признательности за сделанное добро и одолжение, оказанное внимание, услугу, проявленную заботу, но и неблагодарность по отношению к человечеству и природе.

«Жизнь — свет во тьме, и благо нам, узревшим его, — писала Лиза в маленькой тетради. — Будем же благодарны за то, что имеем. Цветок или дерево, птица или бабочка наслаждаются бытием, отдают все, что имеют, и исчезают. Они ценят каплю влаги, луч света и тишину ночного неба. Человек — самое недовольное из всех существ на земле. А вместе с тем он получил от природы больше всех. Будем же признательны, недаром неблагодарность называют черной. Она звено в дьявольской цепи зла, такое же опасное, как зависть и лживость. Как много

дурного было бы предотвращено, если бы люди изгоняли прочь неблагодарность».

И Лиза стремилась отплатить сторицей жизни за то, что познала ее всю: веселую и горестную, тусклую и яркую, сложную и простую, легкую и трудную — всегда многообразную, неожиданную, несущую в себе неисчерпаемый кладезь познания, мыслей и чувств, стремлений и свершений, а значит, и счастья.

На земле шла своя напряженная, неспокойная жизнь, и редкий день где-нибудь не воевали люди.

Восстание славянских племен против турецкого ига в Боснии, Герцеговине и Болгарии побудило русского царя и его дипломатов ради укрепления своего влияния на Балканах, значительно подорванного после неудач Крымской войны, выступить с требованием предоставить автономию христианскому населению этих стран. Стремясь поднять утраченный престиж на международной арене и разрядить сгустившуюся политическую атмосферу внутри своей страны, царизм выступил против Турции «в защиту братьев-славян».

Англия и другие западные державы через своих послов в Стамбуле потребовали от турок беспощадной расправы с восставшими славянами. Бисмарк, который хотел отвлечь Россию от иных назревающих в Европе противоречий, всячески поощрял Александра II к войне на Ближнем Востоке.

В апреле 1877 года Россия объявила войну Турции, и в июне русская армия форсировала Дунай у болгарского берега. Героическая оборона Шипки, разгром турок у горы Аладуса, штурм Карса, падение Плевны и пленение турецких войск, оборонявших этот город, беспримерный, как некогда поход Суворова через Альпы, зимний переход главных сил русской армии через Балканские горы и, наконец, освобождение Софии, Филиппополя и Адрианополя, а также выход на подступы к турецкой столице — все эти победоносные действия русских обеспечили независимость Румынии, Сербии и Черногории, а также полное раскрепощение Болгарии. Из-под владычества турок ушли также Аджария с Батуми и многие селения Армении, которые отныне вошли в состав Российского государства.

Маркс и Энгельс, естественно, не могли быть на стороне русского царя, выступавшего неоднократно в роли жестокого гонителя революционного движения в своей стране и на Западе. Маркс тогда уже предвидел, что реакционному царскому режиму суждено погибнуть в огне военных катастроф.

«Этот кризис, — писал Маркс, — *новый поворотный пункт* в истории Европы. Россия, положение которой я изучил по *русским* оригинальным источникам, неофициальным и официальным (последние доступны лишь ограниченному числу лиц, мне же были доставлены моими друзьями в Петербурге), давно уже стоит на пороге переворота, и все необходимые для этого элементы уже созрели... Все слои русского общества находятся в настоящее время в экономическом, моральном и интеллектуальном отношении в состоянии полного разложения».

На протяжении почти двадцати лет Маркс и Энгельс, пристально изучая Россию, страстно ждали, что именно в этом великом, противоречивом государстве начнется революция, которая получит могучее мировое звучание. Ни на миг они не теряли веру в особую высокую миссию северной страны и мечтали дожить до поры, когда русские труженики сметут самодержавие и начнут создавать социалистическую новь.

Смерть Лиззи Энгельс нанесла тяжелую рану Женни. С этой поры и она осознала то, что не было еще понято многочисленными осматривавшими ее медиками: жизнь ее также близилась к концу. Наступало медленное, мучительное умирание. Открытие это Женни глубоко спрятала в себе, и внешне оно ее не сломило. Гордо и отважно смотрела она в будущее. Не случайно такие женщины, как мать героев древности братьев Гракхов, бесстрашная орлица Корнелия, казались Женни одними из наиболее значительных в истории.

Но близкие дрогнули и долго пытались обманывать себя и верить в ее возможное выздоровление. Любовь к ним и неистребимая потребность не причинять людям огорчений заставляли Женни крепиться и поддерживать эти иллюзорные надежды в Карле, детях и Ленхен. Даже когда не оставалось больше сомнений и диагноз, страшный, как смертный приговор, был произнесен, Женни

встретила его с улыбкой и постаралась развеять напис-
ший над домом ужас уверениями, что чувствует себя
значительно лучше и врачи ошиблись.

Рак! Женни сидела одна, погрузившись в тяжелую думу. Итак, это может тянуться еще год, два. Каждый живущий начинает с первого своего шага путь к могиле и не знает, когда он вздохнет в последний раз. Разве думают о ночи, проснувшись утром. И, однако, ей дана легкая, внезапная смерть. Жизнь стала затянувшейся агонией без проблеска надежды. Но не о себе тревожилась Женни. Бедный, измученный Мавр, Ленхен, дети. Женни вопросительно посмотрела на календарь. Есть ли в нем уже то число, которое станет роковым для нее, или будет отсрочка, на сколько?

«А если я проживу дольше, чем предполагают врачи? Кто знает, когда предстоит мне сорваться в бездну смерти с кручи, которой стала моя неизлечимая болезнь? Я обязана уберечь Чарли от постоянного страха за мою жизнь, защитить от соседства смерти, которую принесла в этот дом и тем превратила его в камеру смертника, ожидающего вызова на казнь. Нельзя омрачать в течение долгих месяцев и без того нелегкую молодость несчастной Тусси. О, мои бесконечно дорогие, любимые!» И, пользуясь тем, что в комнате никого не было, Женни разрешила себе слезы и горько беззвучно зарыдала.

Она была не из тех людей, которые всю силу воли направляют на то, чтобы не допускать мысли о гибели. Смелая и правдивая душа Женни никогда не боялась смотреть опасности и беде прямо в глаза. Страдала она жестоко не о себе, а о родных и нашла способ отогнать призраки, заполнившие ее дом. Никогда никто не видел Женни такой спокойной, оживленной. Она чаще, нежели раньше, стала посещать театры и концерты. Охотно отправлялась за покупками по лавкам, радуясь, если могла купить что-либо для дочерей и внуков. Дарить подарки было всегда ее страстью.

Но Маркс оцепенел. Этот человек, духовно высеченный из гранита, совершенно растерялся. Любовь к Женни, скопленная за всю его жизнь, выявилась теперь с новой острой, отчаянной силой. Только Ленхен умела так ходить за больной, развлекать ее, баловать, холить, как это делал Карл. Он упорно отгонял думы о разлуке с той, которая давно уже стала частью его самого. А когда

мысль о том, что спасения для Женни нет, грозила безумием, он бросался к математике и находил успокоение в решении самых сложных задач, в труднейших формулах этой науки, неисчерпаемой и поглощающей сознание до конца.

— Дитя мое, большой мой ребенок, — говорила больная, глядя на Карла, брови, борода и усы которого тоже совершенно поседели, — я чувствую себя все лучше и лучше. Ты ведь знаешь, что эскулапы видят все в черном свете.

Женни страдала за мужа так же сильно, как он страшился за нее. И оба они, скрывая, терзались тревогой предстоящей разлуки и жалостью друг к другу. Сидя вместе они словно прошли по всей своей жизни: все заново пережили, передумали, переговорили.

— Помнишь, Чарли, как мы переехали с Дин-стрит на Графтон-террас. Я была так счастлива, квартира стоила всего тридцать шесть фунтов в год, очень дешево. Нам повезло. Это было осенью. Дом был очень маленьким, а казался мне сказочным, огромным дворцом. Мы впервые имели там собственную, а не взятую напрокат у хозяйки мебель. Я и сейчас чувствую, как это чудесно было лечь в первый раз в свою кровать, сесть на собственный стул. А золоченая мебель в гостиной в стиле рококо, по правде говоря, была очень некрасива, но казалась прекрасной. Мы ведь купили всю обстановку из вторых рук.

— Да, мэмхен, это была изрядная рухлядь, и впты ножки у кресел постоянно ломались, — улыбнулся Карл.

— Однако не хватало только литавр и медных труб, чтобы прославить должным образом великолепие нашего замка. Мы были тогда еще так молоды и здоровы. — Сказав это, Женни внезапно запнулась, а лицо Маркса потемнело.

Иногда они вдвоем под руку поднимались на Хэмпстедские холмы. Чтобы Женни могла отдыхать в дороге, Маркс брал с собой плед и расстилал его на земле в наиболее красивых местах под деревьями.

Нередко туман, окутав Лондон, скрывал его, и с возвышенности казалось, что вдали плещется серое море.

На вершине стояла все та же харчевня дядюшки Джека Строу, и на окна, излюбленного Карлом и Жен-

ли, открывалось вдали Хайгейтское кладбище. Сквозь невысокие деревья белели памятники и надгробия. Карл поспешно увел Женни на противоположный конец уютного домика. Там, подле камина, он угостил ее черным пивом и бутербродами с сыром. Женни ласково улыбнулась, и Карл на время забыл о ее болезни. Обоим им казалось, что они не два больных старых человека, а влюбленные молодожены, вступающие в жизнь.

Женни и в эти годы медленной агонии живо интересовалась всем, что происходило в мире. Прикованная к постели, она не могла сама более участвовать в борьбе, но когда болезнь бывала к ней милостива и она не чрезмерно страдала физически, то просила мужа, чтобы к ней заходили посещавшие его единомышленники, и охотно слушала их разговоры и сама принимала участие в спорах.

В 1878 году Бисмарку удалось провести в немецком рейхстаге жестокий закон против социалистов. Он рассчитывал разбить до основания социал-демократическую партию и отдать рабочих на волю угольных и стальных магнатов, а также помещичье-юнкерской клики. Социал-демократическая партия была объявлена вне закона, и отныне насильственно обрывалась ее открытая деятельность. Руководство партии оказалось неподготовленным к этому удару.

Колеблющиеся перешли к анархистам, другие, занимавшие видное положение в партии, в особенности в парламентской фракции, попытались упразднить партию, вместо того чтобы сразу перейти на нелегальное положение.

Маркс и Энгельс послали циркулярное письмо Бебелю, Либкнехту и другим, выразив в нем свое непримиримое отношение к соглашательству, отстаивая единственно правильную политическую линию для Германской социал-демократической партии — уход в подполье и продолжение борьбы.

«Вместо решительной политической оппозиции, — писали Маркс и Энгельс, — всеобщее посредничество; вместо борьбы против правительства и буржуазии — попытка уговорить их и привлечь на свою сторону; вместо яростного сопротивления гонениям сверху — смиренная покорность и признание, что кара заслужена».

Со всей резкостью пролетарские вожди указывали на недопустимость такого поведения пролетарской партии.

«Если они думают так, как пишут, то должны выйти из партии или, по крайней мере, отказаться от занимаемых ими постов», — заявили Маркс и Энгельс, стремясь изолировать соглашателей от руководства партией.

Выступая против примиренческой позиции социал-демократического руководства, они показали классово-политические и идейные основы выявившегося оппортунизма. С необычайной силой обоснована в циркулярном письме пролетарская линия партии, позиция Маркса и Энгельса, их революционное кредо.

«Что касается нас, — писали они, — то, в соответствии со всем нашим прошлым, перед нами только один путь. В течение почти 40 лет мы выдвигали на первый план классовую борьбу как непосредственную движущую силу истории, и особенно классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом как могучий рычаг современного социального переворота, поэтому мы никак не можем идти вместе с людьми, которые эту классовую борьбу стремятся вычеркнуть из движения».

Под влиянием решительных выступлений Маркса и Энгельса соглашатели отступили. Классовый инстинкт рабочих масс, критика, советы и помощь со стороны Маркса и Энгельса выправили создавшееся было тяжелое положение в германской партии. Несмотря на исключительный закон Бисмарка, запретивший социал-демократическую партию в Германии и жестоко преследовавший ее деятельность, партия сумела укрепить свои ряды, перестроить организацию, найти верный путь в народ, используя и сочетая легальные и нелегальные формы работы.

Не только в Германии, но и во Франции рабочее движение, несмотря на трагическую развязку Парижской коммуны, снова окрепло.

Дряхлый Тьер ошибся, когда объявил социализм навсегда умершим. Зверски расправившись со ста тысячами коммунаров, он все же просчитался. Уже в 1876 году, хотя военные суды расстреливали каждого заподозренного, в Париже заседал первый рабочий конгресс. И хотя в повестке дня были самые безобидные вопросы,

французский пролетариат вновь напомнил о своем существовании и сплоченности.

По всей Франции росли фабрики и заводы, а с ними и количество промышленных рабочих. Появились и новые руководители тружеников. Одним из них был Жюль Гед, чье зажигательное красноречие, врожденный политический дар, остроумие действовали словно дрожжи, на которых поднималось пролетарское движение.

В Лионе собрался второй рабочий конгресс, испугавший правительство и фабрикантов, так как вовсе не походил на первый, отличавшийся покорностью и готовностью к сговору. Гед и его товарищи не сдались, несмотря на начавшиеся преследования, и в Марселе, на третьем съезде, завоевав большинство, выступили уже как Социалистическая партия Франции.

Весной 1880 года Гед приехал в Лондон, чтобы с Марксом, Энгельсом и Лафаргом составить проект избирательного документа народившейся партии. После долгих споров они сошлись на общей программе-минимум. В ней следом за небольшим введением, посвященным объяснению целей коммунизма, перечислялись требования, вытекавшие из особенностей рабочего движения.

Маркс считал программу мощным средством, рассеивающим туман фраз, который долгое время мешал рабочим понять свое действительное положение. Карл пришел к выводу, что наконец во Франции возникло настоящее, организованное рабочее движение вместо некогда главенствовавших хаотических сект. Он одобрил решение Поля Лафарга и Шарля Лонге, двух изгнанников Коммуны, вернуться на родину. Французское правительство в это время дало амнистию коммунарам.

В Париже Поль Лафарг начал работать вместе с Гедом, а Лонге занял влиятельное место редактора в газете «Справедливость», издаваемой Клемансо. Он поселился вместе с семьей в маленьком городке Аржантёй, расположенном в двадцати минутах езды от столицы.

В 1880 году в Париж вернулись амнистированные изгнанники-коммунары. Вышел из тюрьмы и Огюст Бланки. Ему было уже семьдесят четыре года, из которых более тридцати он провел в заключении. Бланки совсем сгорбился, ссохся и был ростом не выше десятилетнего ребенка, но в этом маленьком теле жил мощный разум и неукротимый дух. По-прежнему глаза его напо-

минали два зажженных факела и голос сохранил властность и силу, а речь — чеканную простоту.

Барбес, некогда его друг, оберпувшийся затем врагом, которого, намекая на смысл фамилии, Маркс звал «бородой революции», умер десять лет назад. Многое изменилось во Франции за годы заключения великого бунтаря, погибло немало его единомышленников, но он ни на мгновение не ощущал одиночества. Бланки давно стал не только легендой, но и знаменем отваги и преданности идее. Прожив долгие годы в кандалах и наручниках, он не сдался. И семьей его стало все человечество. Нет одиночества для кристально чистых революционеров.

В дни первой Великой революции французов 14 июля 1789 года, когда народ разрушил Бастилию, из каменного мешка на свободу вышел узник, который несколько десятилетий был погребен заживо в темнице. Он был осужден за казнокрадство и придворные интриги. Народ не знал его. Не было на свете ни его жены, ни детей. Он не нашел даже улицы, где стоял его дом, снесенный за столь долгое время. Старец почувствовал себя мертвецом среди живых и вскоре умер от одиночества и сознания бесцельности существования. Но не то было с Бланки. Каждый раз, когда открывались ворота его тюрем, народ восторженными криками, проявлениями сыновнего почтения встречал неустрашимого борца.

Выйдя на свободу, Огюст Бланки тотчас же, несмотря на немощь и преклонные годы, отправился в дорогу. Он объездил много городов родной страны, выступал на рабочих собраниях, неистово отстаивал идеи, которым сохранял верность более полувека, и призывал к борьбе с несправедливостью и произволом буржуазии.

За год до своей смерти Бланки основал газету, назвав ее «Ни бога, ни господина». В первом номере этой газеты редакция доводила до сведения подписчиков:

«Мы начнем завтра публикацию нигилистического романа «Что делать?» Чернышевского. Не присоединяясь к идеям великого русского мыслителя, мы констатируем потрясающий успех этого оригинального произведения».

В предисловии сообщалось, что автор русского романа, без сомнения, один из самых глубоких и умнейших мыслителей нашего века.

Коммунары-бланкисты возвестили, что возобновляют борьбу, начало которой положено было на баррикадах Парижской коммуны, и приняли на вооружение произведения великого русского революционного демократа.

В ту же пору из Америки в Париж прибыл Эжен Потье, а из Лондона вернулся на родину Жан Сток.

Автор стихов «Интернационал» был неизлечимо болен, но так же полон веры в будущую победу рабочего класса. В маленьком кабинетике главного редактора газеты «Ни бога, ни господина» встретились три единомышленника. Эжен Потье, припадая на правую ногу и стуча палкой, с трудом передвигал свое искалеченное болезнью тело. Жан Сток глухо кашлял, и только Бланки остался по-прежнему подвижен и бодр. Усевшись на стул перед заваленным бумагами столом, он потребовал, чтобы Сток и Потье поведали ему о своей жизни в последние годы.

— Я попытался снова стать рисовальщиком по тканям в проклятой заокеанской стране, — сказал поэт, — но для этого нужны были деньги, капитал. Там даже полотер и трубочист вынуждены платить посредникам, чтобы получить работу. После двух лет непосильной для моего возраста и здоровья черной работы меня разбил паралич, отняв половину тела. Что я пережил, будучи никому не нужным мешком из кожи, набитым одеревеневшими мускулами, вы можете легко себе представить. Но я надеялся вернуться на родину и дожить до победы Коммуны. И я здесь, с вами. И пусть черт меня возьмет, если коммунизм не победит на земле при мне или без меня.

— А ты, парнишка, — сказал Бланки, глядя своими запавшими, колючими глазами прямо в лицо Стоку, — уподобился мраморному ангелу с подбитым крылом. Тих и бледен. Я знал твоего отца, это был пороховой человек; если б ему посчастливилось, как тебе, вылезти из могилы, он знал бы, как прожить остаток дней. Ради пищи, раздумий без дел, сна не стоило спасаться на кладбище Пер-Лашез. Эх, если б я был так молод, как ты! Между нами, по крайней мере, тридцать лет разницы. Зажги свой потухший светильник и ступай к людям. Им нужен твой огонь. Мы не имеем права тлеть. Наше из гроба революционера должно вырываться пламя.

Бланки тут же предложил Жану работу в его газете и клубе, который он собирался учредить.

Выйдя из редакции «Ни бога, ни господина», Потье и Сток зашли в маленькое кафе и заказали по стакану аперитива. Поэт спросил бывшего машиниста о Лизе.

— Я обязан этой женщине спасением. Она помогла мне бежать из Парижа и затем в Лондоне, снабдив деньгами, отправила в Америку. Если б не ее отвага и доброта, я не избег бы пули версальцев или голодной смерти. Только в океане я вспомнил, что забыл поблагодарить за все это. Хотелось бы повидать ее снова.

— Теперь уже поздно, человече. Более года, как госпожа Красоцкая скончалась.

— Что ты говоришь? Не может этого быть! Она так любила и так тонко чувствовала стихи. Я хотел прочесть ей все мои новые поэмы. — Лицо Потье скривилось от неподдельного горя, и сходство с Эзопом еще усилилось. — Как она умерла?

— Без всяких страданий, внезапно, каждый хотел бы такого конца. Две маленькие девочки, ученицы, сидели с ней рядом у рояля. Она играла, но вдруг музыка оборвалась, голова старушки коснулась клавишей. Мы похоронили ее без всякого ритуала, на кладбище для бедных, как она того хотела.

— Это была праведная женщина. Иные пыжатся и воображают всю жизнь, что многого стоят, а другой цены себе не знает, как это было с Красоцкой.

— Ты прав, Потье. Я много думаю о цене человеческой. Вот, например, различие между стоимостью и ценой...

— Избавь меня, Жан, от лекции по политической экономии. Эта наука не созвучна душе поэта.

— Не перебегай дорогу моим мыслям. Так вот, думал я не раз о том, что цена человека может колебаться и падать, а стоимость его возрастать в это же время.

— Не понимаю, — с явной скукой отозвался Потье и поднялся.

— Нет, обожди, Эжен, ты должен понять меня, — горячился Сток.

— Ладно, старина, только говори покороче.

— Слушай, Бланки, к примеру. Его стоимость по большому счету велика, и об этом скажет история, а спроси вон хоть того буржуа, — я знаю его, это владелец

колбасной фабрики, — и он скажет, что Бланки грош ломаного не стоит.

— Э, нет, он назовет цену веревки, на которой хотел бы его повесить.

— Ну вот ты и понял мою теорию, — обрадовался бывший машинист и принялся восторженно трясти руку Потье. — Запомни, нередко цена падает на человека, особенно среди непожд и его врагов, а его стоимость бесконечно возрастает.

— Да ты не только эконом, но и философ, братец, — протянул поэт и снова сел. — Сколько великих творений поэзии и живописи были обесценены при жизни их творцов, а ныне принадлежат вечности и украшают землю, как лучшие ее цветы.

Деятели Социал-демократической партии Германии подвергались преследованиям и арестам, их семьи оставались без крова и пищи. Женни близко к сердцу приняла все эти события и, пользуясь своим большим опытом подпольной работы и нелегальной рассылки литературы, давала много важных советов посещавшим Маркса соратникам из Германии. Она радовалась, что, несмотря на произвол и террор на ее родине, ожесточенная борьба продолжалась. По указаниям Маркса и Энгельса была создана подпольная организация, и Бебель с Либкнехтом повели партию в новое наступление. Создавались нелегальные типографии, печатавшие листовки и воззвания. Возникали женские и молодежные организации, и снова в глубоком подполье собирались рабочие. Это было нелегко и опасно, но зато выковало мужественное племя революционных бойцов. Женни постоянно читала «Социал-демократ» — газету, издававшуюся в Швейцарии для немцев. Она восторженно приветствовала первый нелегальный съезд Германской социал-демократической партии, собравшийся в маленьком швейцарском городке Виден.

Революционная борьба немыслима без жертв. Германские тюрьмы были переполнены, в стычках с полицией гибли участники демонстраций протеста; некоторые революционеры оказались вынужденными бежать за границу. В Лондоне больная Женни всем, чем могла, как уже много раз до этого, помогала им в своем доме.

По-прежнему каждый, кто узнавал жену Маркса ближе, не мог остаться равнодушным к ее оригинальному уму, такту, знаниям. Как-то в эту пору в Лондон приехал Август Бебель. Женни пожелала его видеть. Самочувствие ее было очень плохим, и Маркс, провожая гостя в комнату к больной, просил его не засиживаться там более четверти часа. Но прошло значительно больше времени, а Бебель все не мог расстаться с Женни, в которой, неожиданно для себя, нашел действительно замечательного человека и блестящего собеседника, превосходно разбиравшегося в самых сложных политических перипетиях Германии.

Над семьей Маркса нависло черное, как лондонские туманы, отчаяние. Если бы можно было остановить время и этим продлить жизнь дорогого существа! Но с жестоким равнодушием убегали дни. Только Женни, не допускавшая уныния, заявляла во всеуслышание, что чувствует себя превосходно. Несмотря на все возраставшую слабость, она часто выезжала в театры и принимала гостей. Вместе с Карлом в постоянном беспокойстве за Женни пребывали Элеонора и Ленхен, Энгельс горевал вдвойне. Он страдал за Женни и видел, что ее кончина убьет Карла.

«Чековая книжка здесь со мной, — писал он Марксу, когда был в отъезде. — Если тебе что-нибудь нужно, не стесняйся и укажи сумму, какая приблизительно нужна тебе. Твою жену не следует урезывать ни в чем, она должна иметь все, чего ей захочется, или что, по вашему мнению, доставляет ей удовольствие».

Как раз в это время у Женнихен Лонге родился четвертый сын — Марсель. Обрадованный дедушка писал во Францию:

«Дорогая Женни!

Поздравляю тебя с благополучными родами; по крайней мере поскольку ты сама потрудилась написать нам, предполагаю, что все в порядке. «Женская половина» нашей семьи надеялась, что «новый приносец» увеличит собой «лучшую половину» человеческого рода; я же со своей стороны предпочитаю «мужской» пол для детей, рождающихся в этот поворотный момент истории. Перед ними — самый революционный период, какой когда-либо

приходилось переживать человечеству. Плохо теперь быть «стариком» и иметь возможность лишь предвидеть, вместо того чтобы видеть самому.

«Новый пришелец» появился почти точно к твоему, Джонни и моему дням рождения. Он, подобно нам, благоволит к веселому месяцу маю. Мне, разумеется, поручено мамой (и Тусси, хотя, быть может, она найдет все же время написать сама) передать тебе все самые лучшие пожелания, но не знаю, на что могут пригодиться «пожелания», разве только чтобы прикрыть папе собственное бессилие.

Надеюсь, что со временем ты подберешь подходящую прислугу и ваше «хозяйство» войдет в привычную колею. Меня несколько беспокоит, что у тебя как раз теперь, в такой критический момент, так много хлопот.

Судя по твоему последнему письму, здоровье Джонни улучшается. Он действительно самый слабый из трех мальчиков, с которыми я имею честь быть лично знакомым. Расскажи ему, что когда я вчера гулял в парке — нашем собственном Мейтленд-парке, — ко мне внезапно приблизилась величественная личность — сторож парка, он спросил меня, есть ли вести о Джонни и под конец сообщил важную новость, что «покидает» свой пост и уступает место более молодым «силам». Вместе с ним исчезает один из столпов «лорда Саутгемптона»...

В Лондоне в последнее время помешались на превознесении Дизраэли, что доставило Джону Булю удовольствие восхищаться собственным великодушием. Разве не «возвышенно» воскуривать фимиам покойнику, которого как раз перед тем, как он сыграл в ящик, те же люди приветствовали гнилыми яблоками и тухлыми яйцами? В то же время это учит «низшие классы», что, хотя их «естественные повелители» и набрасываются друг на друга в борьбе за «теплые местечки», смерть раскрывает ту истину, что вожди «правящих классов» всегда «великие и прекрасные люди».

Гладстон проделал очень тонкий трюк, — и только партия «твердолобых» этого не понимает, — в момент, когда должно произойти обесценение земли в Ирландии (как и в Англии), вследствие ввоза хлеба и скота из Соединенных Штатов, он предоставил в этот самый момент в распоряжение земельных собственников государ-

ственное казначейство, чтобы они могли продать ему эти земли по цене, которой они уже не стоят!

Действительные трудности земельной проблемы в Ирландии, которые вовсе не являются трудностями исключительно ирландскими, так велики, что единственный правильный путь — было бы дать ирландцам гомруль и таким образом заставить их самих разрешить ее. Но Джон Буль слишком туп, чтобы понять это.

Как раз пришел Энгельс. Он шлет тебе сердечные поздравления, и так как уже время сдавать почту и я не смогу отложить окончание письма, придется его оборвать.

Привет Джонни, Гарри и милому «Волку» (он действительно чудесный мальчик), а также папаше Лонге.

Твой *Олд Ник*.

Однажды темным унылым днем Женни почувствовала себя особенно плохо. Ленхен вязала у ее изголовья маленькие чулочки для своего любимца шалуна Джонни Лонге. Женни отдалась мыслям, и на ее резко исхудавшем пепельно-сером лице мелькала иногда, несмотря на боли, легкая, нежная усмешка.

— Знаешь, о чем я думаю, Нимми? — спросила она подругу.

— О том, чтобы скорее быть здоровой, — ответила Ленхен и закашлялась, чтобы скрыть волнение.

— Нет, Ленхен, нам-то незачем обманывать друг друга. Ты ведь не какая-нибудь сентиментальная барышня, ты очень сильная, но тебе понадобится быть еще сильнее. Ты должна поддержать бедного Мавра, когда меня не станет. Он ведь большой ребенок во многом житейском, и это для него ужасное испытание. Я так боюсь, выдержит ли он. Ты и Энгельс поможете ему устоять. Ну, не сморкайся так громко. Не будем говорить о будущем, когда вы останетесь без меня. Знаешь, Ленхен, я сегодня все время вспоминала стихи Мавра, посвященные мне. Он никогда не был хорошим поэтом, и, однако, как много искреннего чувства умел вложить в каждую строчку.

— Он любил, любит и всегда будет любить тебя, — сказала Ленхен. — И я тоже, моя дорогая Женни. А вот чем, хотелось бы мне видеть человека, который не любил бы такую женщину, как госпожа Маркс.

— Вот это уже глупости. Ладно, ладно, не сердись,

Я знаю, что нужна еще Карлу, тебе, детям и немногим другим людям, и вовсе не собираюсь умирать. Нет и нет. Я буду жить. Верь мне.

В это время раздался стук у входной двери, и Лен-хен, отложив вязанье, вышла из комнаты. Женни достала из-под подушки тетрадку с рукописными стихами, придвинула ближе лампу на ночном столике и начала читать посвященные ей девятнадцатилетним юношей Марксом сонеты.

Как часто вместо с мужем она смеялась над этими слабыми поэтическими опытами.

— Сочинительство, риторические беспомощные размышления, — говорил Маркс о своих стихотворениях.

«Но зато сколько в них большой любви», — возразила ему мысленно Женни.

Женни! Смейся! Ты удивлена:
Почему для всех стихотворений
У меня одно названье: «К Женни»?
Но ведь в мире только ты одна

Для меня источник вдохновений,
Спет надежды, утешенья, гений,
Душу озаряющий до дна.
В имени своем ты вся видна!

Имя Женни — каждой буквой — чудо!
Каждый звук его чарует слух,
Музыка его поет мне всюду,

Как волшебной сказки добрый дух,
Как весенней ночи трепет лунный.
Тонким звоном цитры златострунной.

Женни откинулась на подушку и полузакрыла глаза. Она чувствовала себя такой слабой, точно ей вскрыли вены и жизнь, как кровь, вытекала из ее тела. А в памяти громко звучали сонеты любимого. И она улыбалась.

Именем твоим, страниц по числя,
Тысячи могу заполнить книг,
Так, чтоб в них гудело пламя мысли,
Воли и деяний бил родник.

Бытия открылся вечный лик,
И весь мир поэзии возник,
И неистощимый свет эфира,
И восторг богов, и скорби мира.

Имя Женни я могу прочесть
В звездной зерни, и зефир небесный
Мне его несет, как счастья весть.

Я навечно буду вновь и вновь
Петь о нем — да станет всем известно:
Имя Женни есть сама любовь!

Женни подумала о том, что жизнь была к ней благосклонна, ниспослав такую любовь, которая могла бы равняться по силе и верности разве что чувствам Ромео и Джульетты, Паоло и Франчески.

Что слова?! Для суеты, для вздора!
Им ли чувств величье выражать?!
А моя любовь — титан, который
Может гор громады сокрушать!

О, слова! Сокровищ духа воры!
Все бы им мельчить и унижать:
Что нескромного боялось взора,
Любят напоказ они держать.

Женни! Если б голосами грома,
Если б речью сфер я овладел,
По всему пространству мировому

Я бы письменами ярких молний
Возвестить любовь к тебе хотел,
Чтобы мир навек тебя запомнил!

Пока Женни вслушивалась опять, как в юности, в обращенные к ней слова любви, Ленхен впустила в прихожую двух русских. Один из них, молодой и привлекательный Лев Гартман, друг Кибальчича, Желябова и Перовской, уже не раз бывал у Маркса, другой, так же как и Гартман, член подпольной организации «Народная воля», только что приехал из России. Он отрекомендовался Елене Демут Николаем Морозовым. Небольшие пытливые глаза его все время улыбались и жадно разглядывали окружающих.

Маркс был еще в читальне Британского музея, приехавших приняла Элеонора. Разговор с хорошенькой девушкой начался на английском языке, но скоро перешел на французский, которым русские владели увереннее. Элеонора расспрашивала о России.

— Что вам сказать, — заметил, между прочим, Морозов, — страна моя так же отстала, как, скажем, далек лондонский метрополитен, где вагоны идут, влекомые локомотивом, от конки, запряженной лошадьми, которая в России является высшим техническим достижением века.

Только на следующий день русские встретились с Марксом в его кабинете. Морозов со свойственной ему непосредственностью и прямотой сказал о том, что творец «Капитала» разительно похож на свой портрет. Маркс засмеялся и ответил, что часто слышит об этом.

Молодой народоволец был удивлен, что в столь выдающемся и знаменитом человеке, каким был Маркс, не замечалось никакой надменности и замкнутости. Простота его была удивительной. Разговор между Марксом, Гартманом и Морозовым шел о причинах раскола «Земли и воли» на две партии: «Черный передел» и «Народная воля». Маркс был хорошо осведомлен обо всем, что происходило в России, и заметил, что борьба с царским самодержавием представляется ему порой чем-то похожим на действия в фантастических романах. От имени партии «Народная воля» Морозов просил Маркса сотрудничать в ее печатном органе, который должен был издаваться в Женеве.

Несмотря на ранний час, в комнате горела лампа под зеленым абажуром, так как за окном было совершенно темно от черного тумана.

В кабинет, катя перед собой столик, на котором стоял чайный сервиз, вошла Элеонора. Она предложила гостям по чашке крепкого, несладкого, согласно английским обычаям, чая и тонко нарезанные сандвичи с маслом и сыром. Косы черноглазой девушки лежали, как две толстые цепи, вокруг головы. Румяная, круглолицая, смелая и вместе по-девичьи застенчивая, она чем-то напоминала Морозову гетевскую Маргариту.

На прощание Маркс подарил Морозову несколько своих книг и обещал написать предисловие к той из них, которую народовольцы выберут для перевода. Последние слова Маркса, запомнившиеся Морозову, были:

«Царя провозгласили главой европейской реакции. Теперь он — содержанцийся в Гатчине военнопленный революции, и Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе».

Эти слова Маркса появились двумя годами позже в его предисловии к русскому изданию «Манифеста Коммунистической партии».

За свою жизнь Маркс написал множество писем. Он не жалел на это времени, так как при разбросанности

по всему свету изгнанников-революционеров после поражения революции 1848—1849 годов Маркс считал весьма важным делиться со своими друзьями и соратниками мыслями по всем вопросам текущей политики, экономики и философии. Письма Маркса хранили приметы времени, неизменный интерес ко всему, что происходило в мире, и особенно в России. Его переписка с русскими людьми продолжалась около четырех десятилетий. Все без исключения в этой полуфеодальной стране волновало его мысль.

В 1881 году Вера Засулич, одна из основательниц революционного общества «Черный передел», недавно эмигрировавшая в Швейцарию, обратилась к Марксу с просьбой высказать свое мнение о русской сельской общине и ее значении в преобразовании общества на социалистических началах. Великий труд Маркса к этому времени уже был хорошо известен в кругах интеллигенции и вызывал неизменно пылкие споры.

«Следили ли вы за ожесточенной полемикой в русской литературе этого года вокруг имени Маркса? — спрашивал в ту же пору Петр Лаврович Лавров Энгельса. — Жуковский (ренегат) и Чичерин выступают против Маркса, Зибер и Михайловский за него. И все это длинные статьи Я думаю, что нигде в другом месте не было так много написано о его работе. Полемика еще не окончена: Зибер, которого я видел несколько дней тому назад в Париже, сказал мне, что он готовит ответ Чичерину... Работа Зибера о теории Маркса будет опубликована отдельно, вероятно, в конце года».

Полемика, о которой рассказывал Лавров, возникла между «Вестником Европы» и «Отечественными записками» и привела к тому, что «Капитал» и его автор стали широко известны в России. Труды Маркса и Энгельса оказали огромное влияние и на Веру Ивановну Засулич.

«Уважаемый гражданин! — писала Засулич Марксу в своем первом письме к нему. — Вам небезызвестно, что Ваш «Капитал» пользуется большой популярностью в России. Несмотря на конфискацию издания, немалое количество оставшихся экземпляров читается и перечитывается широкими кругами более или менее образованных людей нашей страны, и серьезные люди изучают его. Но что Вам, вероятно, неизвестно, — это роль, какую играет Ваш «Капитал» в наших спорах об аграрном вопросе в России и о нашей сельской общине».

Рассказывая Марксу о различных мнениях, сложившихся в это время в России о сельской общине, Засулич сообщила:

«В последнее время мы часто слышим мнение, что сельская община является архаической формой, которую история, научный социализм — словом, все, что есть наиболее бесспорного, — обрекают на гибель. Люди, проповедующие это, называют себя Вашими подлинными учениками, «марксистами». Их самым сильным аргументом часто является: «Так говорит Маркс».

Вы поймете поэтому, гражданин, в какой мере интересует нас Ваше мнение по этому вопросу и какую большую услугу Вы оказали бы нам, изложив Ваши воззрения на возможные судьбы нашей сельской общины и на теорию о том, что, в силу исторической неизбежности, все страны мира должны пройти все фазы капиталистического производства...

Примите, гражданин, мой почтительный привет.

Вера Засулич».

Маркс, чтобы ответить русской революционерке, произвел специальные изыскания по экономике пореформенного сельского хозяйства России и примерно месяц спустя направил ей письмо.

В десятую годовщину Парижской коммуны в Лондоне состоялся славянский митинг под председательством Льва Гартмана. Маркс и Энгельс послали приветствие этому собранию, в котором указывали на успехи международного рабочего движения как на доказательство того, что дело Коммуны не погибло и дало свои плоды. Они приветствовали заслуженную смерть деспотического Александра II.

«Когда Парижская Коммуна пала после свирепой бойни, устроенной защитниками «порядка», победители никак не предполагали, что не пройдет и десяти лет, как в далеком Петербурге произойдет событие, которое в конце концов должно будет неизбежно привести, быть может после длительной и жестокой борьбы, к созданию российской Коммуны», — писали Маркс и Энгельс.

Несмотря на то что две основные партии в России, «Народная воля» и «Черный передел», были совершенно

чужды учению Маркса и Энгельса и объявляли крестьянство силой, решающей исход борьбы в России, вожди пролетариата в своем предисловии к новому переводу «Манифеста Коммунистической партии» писали:

«Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития».

Думая так, Маркс всегда подчеркивал свое доброе отношение к бесстрашной и кипучей партии «Народная воля». К «Черному переделу», члены которого были малодейственны и ограничивались одной пропагандой, он отнесся значительно сдержаннее, но именно в этой партии оказались люди, которые примкнули к марксизму и слились его идеям.

Когда в Петербурге взорвались бомбы и Александр II был убит, Маркс и Энгельс не осудили народовольцев и с острым беспокойством следили за процессом Желябова, Перовской, Кибальчича и других народовольцев. Гибель несгибаемых, самоотверженных революционеров вызвала у них чувство большой горечи и сожаления.

Согласно настойчивому желанию Женни, муж и Елена Демут повезли ее во Францию, в Аржантёй, к дочери и внукам.

Истинно великое самообладание помогло жене Маркса не только перенести сравнительно легко путешествие, но и порадовать своим посещением дорогих ей людей. Она снова была в Париже, где все напоминало ей давно минувшие счастливые годы молодости.

— Какой удивительный город! — радостно говорила Женни. — Он настолько приветлив и прост, что кажется любому чужеземцу родиной. Французы пьют за каждой едой немного вина и всегда чуточку пьяны. На чисто галльское оживление заразительно, и даже самый заядлый ипохондрик не может не начать шутить и улыбаться под парижским небом. Как я счастлива сегодня!

Елена Демут, заменившая больной мать, сестру, сиделку, не оставляла Женни ни на час. Своим умелым уходом поочередно с Карлом она облегчала и скрашивала ей трагическое время болезни.

Расположенный неподалеку от пыльного раскаленного Парижа, маленький Аржантёй в июльскую жару казался оазисом. В домике, арендуемом семьей Лонге, недостаточно утепленном и мало пригодном для зимы, летом стояла освежающая прохлада. Было там по-особому уютно и оживленно благодаря здоровой, проказливой детворе, непрерывно снующей по комнатам, террасе и саду.

Женнихен ожидала шестого ребенка. Со времени смерти своего первенца она постоянно боролась с тревогой за своих мальчиков, каждый из которых отличался большой изобретательностью в шалостях и забавах.

Эдгар славился к тому же и как ненасытный лакомка. Однажды, приняв на кухне кусок сырой бычьей почки за шоколад, он, не задумываясь, разом проглотил его. С тех пор его прозвали Волком. Самый старший из мальчиков, Джонни, был любимцем своего деда и часто гостил у него. Как-то в Лондоне ему пришла в голову затея превратить Маркса в омнибус, и он тотчас же осуществил ее, взобравшись на козлы, то есть на плечи деда, и погнав его рысью в небольшом, почерневшем от копоти садике. В это время пришли Энгельс и Либкнехт. Без долгих слов Джонни приказал им считать себя лошадьми и впрячься в его выезд. Началась дикая скачка и громкое ржанье. Джонни понукал коней, переходя с французского на английский и на немецкий язык и закончил обычным: «Ура!»

Маркс скакал так старательно, что пот градом катился по его лицу, а когда запыхавшиеся Либкнехт и Энгельс попытались перейти с галопа на более медленный аллюр, на них посыпались удары кнута — сорванной с дерева веточки — и окрики неистового возницы. Бег продолжался до тех пор, пока Маркс окончательно не выбился из сил. После долгих и сложных переговоров малыш согласился наконец спуститься с плеч деда и дать лошадям заслуженный отдых.

Джонни очень баловала и Ленхен, которую он прозвал, когда ему было два года, Ними, мило исказив немецкое «няня».

В Аржантёе Женни Маркс приглядывалась к старшей дочери, стараясь не выдать возникшего у нее беспокойства. Женнихен выглядела нездоровой. Ее, очевидно, подтачивал какой-то опасный недуг. Шарль Лонге был хорошим человеком, однако, весьма вспыльчивый, легко

впадающий в апатию, он значительно уступал в силе воли и душевных качествах своей жене. Не он ей, а она ему была постоянной опорой. Вряд ли Женнихен была очень счастлива.

У Женнихен с Лаурой не сохранилось прежней сестринской глубокой привязанности. Они несколько отдалились друг от друга. Вторая дочь Маркса осталась все такой же красивой и обаятельной. Но потеря трех детей оставила неизгладимый след в ее душе, и она с горечью и болью вспоминала их. Под тяжестью этого страшного удара Лафарг навсегда забросил медицину, в которой разочаровался.

В один из вечеров в Аржантёе собрались все близкие Маркса и его жены. Не было только Элеоноры, оставшейся в Англии. Женни старшая полулежала в кресле подле клумбы с густо разросшимися настурциями. Восхитительная окраска этих желто-красных цветов, прячущихся под круглые темно-зеленые зонтики листьев, невольно заворожила больную, и она не могла отвести глаз от этого маленького чуда природы.

— Какое богатство оттенков каждого цвета! Красиво, очень красиво, — сказала Женни и добавила: — Помнишь, Мавр, милый, как в юности в Трире твоя сестра Софи разводила цветы. Она любила настурции. Бывало, мы сравнивали женщин с цветами, а мужчин с животными и птицами. Это была забавная игра.

— В таком случае моя Лора похожа на эту золотистую настурцию, — блестя глазами, весело сказал Лафарг. — Я вызову к барьеру каждого, кто будет это оспаривать.

— Я принимаю вызов. Ей более подходит чайная розы, сорт «Прекрасная Франция», — пошутил Маркс.

— Как мне, однако, жаль, что ты, Поль, изменил дедушке Эскулапу и не можешь помочь своей старой тещеУвы, моя шагреневая кожа превратилась в жалкий клочок. Ее так уже мало, что она не покрывает даже гвоздик, на котором висит. — Женни очень нравились философские повести Бальзака.

— Если б я и занимался далее врачебной практикой, то, во всяком случае, не стал бы лечить дорогих мне людей. Врач должен сохранять полное хладнокровие, иначе он промахнется. Но не будем говорить об этой темной пока еще науке. Если Немезида — дама с запозда-

ными глазами, то медицина слепа, глуха и беспомощна, как калека без рук и ног.

— Ты несправедлив, я и Мавр верим многим врачам, Гумперту и Донкину, например. Они приносят людям большую пользу. А как идут дела в твоем фотолитографском ателье? Насколько я знаю, оно далеко не процветает.

— Что ты, совсем напротив, если сегодня еще у меня не много заказчиков, то все изменится в самом ближайшем будущем. Ауспиции, поверьте, превосходные.

— Для Поля, — улыбнулась Женни, — мир всегда окрашен во все цвета радуги. Он и его жена счастливые оптимисты и готовы без устали строить воздушные замки и карточные домики. Мечтатели.

— Лафарг работает как негр, — заметил Лонге, не отдавая себе отчета в двойном смысле сказанных слов.

— А как же ему еще трудиться, это ведь предопределено самой его природой, — пошутила Лаура.

Женни смотрела на своих дочерей, и нежность, разливающая сердце, охватила ее. «Как часто в последние годы, — скорбно думала она, — из-за недостойных пустяков я придиралась к моим девочкам, бывала несправедлива и, может быть, недостаточно добра к ним. Ницета, трудности каждый день, ежечасно преследовали нас, расшатали. Я стала сварлива и нетерпима. Это тоже зло мира. Исподволь, незаметно калечат они характер, порождают обиды. Все это, конечно, мелочи, но и от них неснимаемая накипь остается на нашей душе».

Ленхен, не сводившая глаз с больной, заметила, что она осунулась, побледнела, и подошла к ней, говоря с обычной настойчивостью:

— Тебе пора бай-байен, дорогая.

Этим словом в семье Маркса называли дневной отдых, который англичане окрестили сном красоты. Женни безропотно поднялась. Муж и подруга проводили ее в комнату.

— Иди к детям, Мавр, пожалуйста, — попросила она Карла и осталась одна с Ленхен. Покуда та раздевала ее и разувала, Женни как-то по-детски жаловалась: — Ты одна знаешь, как бывает мне больно, как я в действительности страдаю, Ними, милая. — С невольным ужасом посмотрела она на предельную худобу своих босых ног, на мертвенно-палевый цвет тела.

Лепхен успокаивала ее и, пока Женни не задремала, крепко держала за руку.

Спустя три недели Маркс с женой и Еленой Демут пустились в обратный путь. Женни бодрилась, как делала это всегда на людях. Она жадно, точно человек, насыщающийся перед долгой дорогой, смотрела из открытого экипажа на исчезающие для нее навсегда парижские улицы. Подъезжая к Северному вокзалу, она с трудом обернулась назад. Лицо ее было цвета земли, и в глазах погасло обычное сияние. Они стали совсем тусклыми. Женни прощалась со своим прошлым, с городом, давшим ей некогда много счастья. Нарядная, шумливая толпа наполняла тротуары. И вдруг в мозгу Женни возникла тягостная мысль о том, что не пройдет и сотни лет, как ни одного из этих людей уже не будет на свете. И тот старик, и красавица женщина, и дети, бегущие впереди довольного, надменного отца, исчезнут навсегда. Был поздний вечер, и Женни невольно перевела глаза вверх. Звезды украсили небо.

— Но и они гибнут во времени, гаснут, как и мы, однодневки-люди, — прошептала Женни. Чувство полного покоя, почти оцепенения охватило ее душу. — Так есть и так будет.

Спустя несколько часов Женни была в Англии и снова легла на свою большую деревянную кровать, чтобы больше уже не встать никогда.

Здоровье Маркса было также очень плохо, как он ни старался крепиться. Однажды, когда Женни уже более не поднималась с постели, он занемог и, так как долго скрывал свой недуг, болезнь приняла дурной оборот. Обнаружилось жестокое воспаление легких. Преданный всей семье домашний врач Донкин счел положение Маркса почти безнадежным. Лепхен и Элеонора, едва держащиеся на ногах от переутомления, самоотверженно ухаживали за двумя тяжелобольными. Они не раздевались и почти не спали целых три недели.

В первой комнате лежала Женни, а в маленькой спальне рядом находился Карл. Оба они беспокоились и тосковали друг о друге. Отличный уход спас Марксу жизнь, и он поборол болезнь. Почувствовав себя несколько лучше, Карл направился к жене. Их свидание было трогательно нежным и полным безграничной влюблен-

ности. Женни и Карл как бы прощались перед скорой вечной разлукой. Ленхен и Тусси долго не входили в спальню, чтобы не нарушать торжественных трагических минут, протекавших в глубоком молчании. Женни гладила белоснежную голову мужа, шепча:

— Мой единственный, любимый. Дитя мое большое. Будь мужествен, каким ты был всегда. Не ты ли говорил, что день сменяется ночью, это и есть жизнь.

Когда к больной вошли Ленхен и Элеонора и она подметила скорбь на их лицах, то мгновенно улыбнулась и принялась подшучивать над ними, называя паникершами и заверяя, что никогда не чувствовала себя столь бодрой.

— Я намерена посрамить медицину и жить дольше Мафусаила, вопреки всем предсказаниям врачей, — повторяла Женни.

И, только оставаясь одна, она погружалась в печальные мысли о том, каким горем для Карла и семьи будет ее исчезновение. Она вспомнила слова Нинон де Ланкло, этой мудрой и легкомысленной Аспазии XVII века, которая, умирая, с улыбкой говорила горюющим друзьям:

Разве вы не смертны?
Право, по меньшей мере
Недальновидно ваше отчаяние —
Я только вас опережаю, и больше ничего.
Пусть тщетная надежда не появляется,
Чтобы нарушить мое спокойствие.

Закрывая усталые глаза и едва справляясь с усиливающейся мучительной болью, Женни видела перед собой коммунаров, павших на баррикадах, молодых и сильных.

«Они умерли такими юными. Это непреложный закон бытия, — думала она. — Я прожила не худшую из жизней и не хотела бы иной».

Чем ближе подступало то, что атеистка Женни называла «ничто», тем больше любви и сострадания к близким и всему человечеству пробуждалось в ней.

«Силы, силы, как много их нужно именно теперь, только бы они мне не изменили», — тревожилась она и продолжала успокаивать окружающих.

С покорной, тихой грустью прощалась Женни с небом, которое любила больше всего в природе за его краски, величие, даль, безбрежность; с деревьями, цветами, с жизнью во всех ее больших и малых проявлениях. Снова

в последний раз, вызвала она на память дорогие лица и голоса умерших родных, детей, друзей. Она уносила их с собой, как и они, исчезая, забрали частицу ее. Людвиг фон Вестфален умирал на ее глазах как истый философ и дал ей высокий образец не только того, как надо жить, но и как покидать землю достойно и мудро.

Но пока не наступило небытие, казавшееся ей сперва удушьем, а затем глубоким непробудным сном без сновидений, Женни не сокращала оставшиеся дни бесцельным страхом. Наоборот, она старалась побрать в себя все от жизни и радовалась, как дитя, общению с любимыми и дорогими существами. Как узник, потерявший свободу, она оценила заново, насколько чудесен мир и природа. Даже дождь и туман казались ей отныне прекрасными. Они были частью жизни. Ее по-прежнему интересовали действия людей и их идейная борьба. С детским нетерпением ждала Женни итогов выборов в германский рейхстаг и чрезвычайно обрадовалась, узнав о победе социал-демократов. Но Карл невыносимо страдал, тревожась за жизнь жены.

Второго декабря 1881 года Женни умерла. До последней минуты она сохраняла сознание. Когда ей стало трудно говорить, она, чтобы ободрить близких, попыталась пожать им руки. Ее последние слова, сказанные по-английски, были обращены к тому, кого она любила больше всего в жизни:

— Чарли, силы мои сломлены.

Глаза, устремленные на мужа, вдруг широко, удивленно раскрылись, стали снова яркими и лучистыми, как в ранней юности, и в последний раз отразили величие и глубину сердца этой необыкновенной женщины. В них была та безмерная любовь, которая одна облегчила ей смерть.

Когда Женни не стало, Карл как бы перестал чувствовать и мыслить. Он окаменел. Сила удара была чрезмерна. Это было тяжелее, нежели любой другой параксизм горя, и врачи тщетно старались вывести Маркса из состояния полной прострации. Энгельс опасался именно таких последствий и, страдая сам чрезвычайно, сказал убитым голосом:

— Мавр тоже умер.

Слова эти, показавшиеся жестокими, глубоко уязвили Элеонору, и только позднее она поняла, сколь проница-

телеп был Генерал. Какая-то наиболее жизнеспособная часть души Маркса погибла вместе с Женни. Горе сва-лило титана. Сам он все еще не был вполне здоров после только что перенесенного воспаления легких. Поэтому врачи и родные настояли на том, чтобы он не провожал умершую жену на кладбище.

Женни Маркс похоронили на несвященной земле кладбища Хайгейт, на которое так часто она смотрела с вершины Хэмпстедских холмов.

Сильно запинаясь от волнения и не стыдясь слез, над открытой могилой с прощальным словом выступил Энгельс.

— Друзья, — начал он и окинул взглядом скорбные фигуры собравшихся. — Женщина прекрасной души, ко-торую мы хороним, родилась в Зальцведеле, в тысяча во-семьсот четырнадцатом году...

Энгельс остановился. Горько рыдала, склонившись над гробом, Ленхен. Было темно. Черно-желтый туман на-полз на Лондон. Ленхен заглянула в большую яму, где, согласно желанию покойной Женни, когда-нибудь будет стоять гроб и с ее останками, и несколько успоко-илась.

Энгельс между тем рассказывал о Женни, делившей судьбу Маркса, о ее вдумчивости и отваге в революцион-ной борьбе, о силе духа в изгнании, о жертвах, принесен-ных ради рабочего движения.

— Но видеть, как все партии, правительственные и оппозиционные (феодалы, либералы, так называемые де-мократы), объединившиеся против ее мужа, возводят на него самую низкую и подлую клевету, видеть, как вся без исключения печать была для него закрыта, как он был беспомощен и беззащитен перед противниками, которых и он и она презирали, — это причиняло ей жгучую боль. А это продолжалось долгие годы. — Голос Энгельса окреп. — Но не бесконечно. Мало-помалу европейский ра-бочий класс оказался в таких политических условиях, ко-торые давали ему некоторую возможность действовать. Было основано Международное Товарищество Рабочих. Оно втягивало в борьбу одну цивилизованную нацию за другой, и в этой борьбе первым среди первых сражался ее муж. Наконец, наступило время, которое начало возна-граждать ее за пережитые страдания. Она дожила до того, чтобы увидеть, как была развеяна в прах всякого рода

низкая клевета, возводившаяся на ее мужа; она должна до того, чтобы услышать, как учение ее мужа, которое реакционеры всех стран пытались удушить, открыто и победоносно провозглашалось во всех цивилизованных языках. Она должна до того, чтобы увидеть, как революционное движение пролетариата, уверенного в своей победе, охватывало одну страну за другой, от России до Америки. Одной из последних ее радостей было полученное ею на смертном одре блестящее доказательство неукротимой жизненной силы, которая дала, наперекор всем репрессивным законам, немецкий рабочий класс на последних выборах.

То, что эта жизнь, свидетельствующая о столь ясном и критическом уме, о столь верном политическом такте, о такой страстной энергии, о такой великой самоотверженности, сделала для революционного движения, не выставлялось напоказ перед публикой, не оглашалось на столбцах печати. То, что она сделала, известно только тем, кто жил вместе с ней. Но одно я знаю: мы не раз еще будем сожалеть об отсутствии ее смелых и благоразумных советов; смелых без бахвальства, благоразумных без ущерба для чести.

Мне незачем говорить о ее личных качествах. Ее друзья знают их и никогда их не забудут. Если существовала когда-либо женщина, которая видела свое счастье в том, чтобы делать счастливыми других, — то это была она.

Марксу предстояло жить без Женни. Для больших сердец и умов не наступает поры увядания. Чем выше духовный мир человечества, тем дороже для них мудрость, опыт, знание жизни — все то, что должно нести с собой прожитое время.

Для гениев нет старости. Маркс с годами становился все более мощен духовно. Его мышление, творчество парило над человечеством. Но смерть жены подкосила его. Были месяцы, когда он вовсе не мог писать.

— Смерть — несчастье не для умершего, а для оставшегося в живых, — горестно повторял он слова Эпикура.

Чрезвычайно подавленный потерей, он не мог противостоять болезням, и они легко сваливали его. Через две недели после смерти Женни он писал за океан одному из своих друзей и соратников:

«Из последней болезни я вышел вдвойне инвалидом: морально — из-за смерти моей жены и физически — вследствие того, что после болезни осталось уплотнение плевры и повышенная раздражимость бронхов.

Некоторое время мне, к сожалению, придется целиком затратить на восстановление своего здоровья».

Всю нежность, которой так много было в его сердце, Маркс перенес на своих дочерей. Он всегда горячо любил детей. Все ребятишки прилегающего к Мейтленд-парк квартала знали, что в карманах Маркса для них обязательно найдутся леденцы и сахар. Оставшись без Женни, Карл надеялся заполнить бездонную пустоту, образовавшуюся в его сердце, обязанностями дедушки.

«Только что Тусси с помощью Энгельса отвезла на извозчике, — писал он Женнихен Лонге в том же декабре, когда похоронил жену, — в транспортную контору ящик с рождественскими подарками для наших малышей. *Елена* просит, чтобы я специально указал, что *от нее* одна курточка для Гарри, одна — для Эдди и перстяная шапочка для Па [1]; затем для того же Па «голубое платьице» от *Лауры;* от меня — матросский костюм для моего дорогого Джонни. Мемхен так весело смеялась в один из последних дней своей жизни, рассказывая Лауре, как мы с тобой и с Джонни поехали в Париж и там ему выбрали костюм, в котором он выглядел, как маленький «мещанин во дворянстве».

Маркс бежал от сердечного одиночества в семьи своих дочерей, но, несмотря на огромное желание быть всегда с ними, это не могло осуществиться. Здоровье его непрерывно ухудшалось. Климат Лондона был очень неблагоприятен для легочных и горловых заболеваний. Пришлось поехать на остров Уайт, в приморский курортный городок Вентнор. Но и там погода точно ополчилась на людей. Ливни и пронзительно холодные ветры не унимались. Маркс, и без того тяжело больной, схватил плеврит и слег. Подле него неотступно находилась Элеонора. Похоронив мать, она все еще не могла обрести душевный покой. Чрезвычайно впечатлительную девушку мучили бессонница и внезапные нервные конвульсии.

---

[1] Прозвище Марселя, сына Лонге.

Маркса огорчало, что Тусси вынуждена быть при нем чем-то вроде сиделки и молодость ее так печальна. Он, впрочем, скрывал от дочери свои невеселые мысли о ее судьбе, делясь ими только с Энгельсом. Элеонора не нашла еще своего назначения в жизни и металась, не зная, на чем ей остановиться: на театре ли, где она нередко уже с успехом выступала, стать ли писательницей или посвятить себя общественной и педагогической деятельности. Страстно любя с детства творчество гения из Стратфорда-на-Эвоне, она состояла деятельным членом шекспировского общества и перевела с немецкого на английский несколько статей о великом драматурге.

Склад характера и дарования Элеоноры Маркс открывали перед ней разные пути. У нее был проникновенный, гибкий голос, четкая дикция, незаурядная, привлекательная внешность. Знаменитая актриса Эллен Терри, которой гордилась Англия, как век назад великой Саррой Сиддонс, пленила ее своей игрой. Выступая иногда на сцене в ролях шекспировских героинь, Элеонора старалась чуть вздрагивающими и неестественно патетическими интонациями, а также особой, пластически совершенной жестикуляцией походить на этих великих исполнительниц. Маркс не возражал против того, чтобы дочь посвятила себя театру, и поощрял ее, когда она училась у известного в Лондоне педагога мадам Юнг.

В поисках тепла и солнца больной Маркс один отправился в Алжир. Но и там погода в это время оказалась для его здоровья весьма вредной. Жаркие дневные часы сменялись холодными ночами, а ветер приносил едкую разъедающую горло пыль из Сахары. Маркс задыхался. Начались песчаные бури, затем дожди, закончившиеся изнуряющими сирокко. Зима — опасное, климатически предательское время в Африке. Больной чувствовал себя все хуже; его душил режущий надрывный кашель с ползучей, густой мокротой, он испытывал гнетущее ощущение тупой боли в боку, постоянную тоску. Он признавался в этом Энгельсу:

«Ты знаешь, что мне более чем кому-либо чужд демонстративный пафос; однако было бы ложью не признаться, что мои мысли большей частью поглощены воспоминаниями о моей жене, которая неотделима от всего того, что было самого светлого в моей жизни».

Он искал сходства с нею во всех встречающихся ему женщинах, вздрагивал, когда слышал чей-то похожий смех. Время не отдаляло, а приближало к нему Женни.

В Алжире Маркс поселился на гористой улице Верхний Мустафа в гостинице «Виктория». Отвесные сады, алые кусты цветущего граната спускались к морю террасами, как легендарный цветник Семирамиды. Комната Маркса на втором этаже выходила на крытую галерею, с которой открывалась великолепная приморская панорама. Как-то, сидя в комнате, он услышал извне докающие резкие звуки и вышел посмотреть, откуда они доносятся. На улице, под самой террасой отеля нищий-негр, перебирая металлическими кастаньетами, извивался, принимая пластические позы, изображая нечто вроде восточного ритуального танца. Затем он стал просить милостыню. Закутанный в покрывало, будто в тогу, бронзовый мавр — уличный продавец кур и апельсинов — долго смотрел на это представление. Подле него прохаживался гордый павлин. Вдруг павлин взмахнул пестрым хвостом и раскрыл ослепительно яркий громадный веер. Невозможно было оторвать глаза от прекрасного оперения царственной птицы. Павлин охорашивался, поводил длинной сапфирово-синей шеей, и перья его, чуть шевелясь, как струны лютни, издавали странные волнующие звуки. Природа с удивительной щедростью одарила эту чудо-птицу, расписав ее множеством редчайших красок, которые вдохновляли художников и поэтов Востока.

Мавров в Алжире называли арабами. По мнению Маркса, любой из них превосходил величайшего европейского актера в искусстве драпироваться плащом и в умении выглядеть естественным, изящным и полным благородства — двигался ли он или стоял неподвижно.

«...*когда они едут* на своих мулах или ослах, — писал Маркс дочери, — а изредка и на лошадях, они, как правило, сидят на них не *верхом*, как европейцы, а спустив обе ноги на одну сторону и являют собой воплощенную ленивую мечтательность».

Алжир утомлял больного своей броской, ослепительной, режуще-яркой красотой. Маркс среди этого пиршества красок, света, ароматов острее чувствовал боль незаживающей в сердце раны. Он был один, навсегда один, без Женни. Если б они вдвоем совершили это великолепное путешествие в край сказок тысяча и одной ночи,

страну, барахтающуюся в когтях колониального рабства, полную резких контрастов: роскоши и нищеты, пестрой, шумной, библейской!

Из Алжира Маркс выехал на Французскую Ривьеру и остановился в княжестве Монако, в Монте-Карло. Осматривая все достопримечательности этого города игроков, расположенного на крутом выступе над Средиземным морем, Маркс зашел в казино, где в умопомрачении азарта мужчины и женщины, съехавшись со всего мира, ставили на рулетку свое состояние в надежде обогатиться. Позади игорного дома, в кипарисовой аллее, находился «обрыв самоубийц».

Рассматривая залы казино и людей, охваченных лихорадкой наживы, Маркс сказал себе: «Можно подумать, что ты попал в сумасшедший дом».

В читальне он нашел интересовавшие его итальянские и французские газеты, что показалось ему самым значительным в Монте-Карло.

Немного подлечив плеврит, Маркс наконец прибыл в желанный Аржантёй, к дочери и внукам. Там, среди детей, он несколько ожил и успокоился душевно. Лечение серными ваннами в соседнем Энгиене к тому же помогло его больному горлу.

В каждом новом городе его лечили одинаково. Мушки на спину, вынотные втирания, компрессы и без числа микстуры и настои утомляли его больше, нежели приносили облегчение.

Вместе с дочерью Лаурой Маркс поехал на шесть недель в Веве на Женевское озеро. Но разве можно уйти от самого себя. Куда бы он ни отправлялся, с ним оставалось неизбывное горе, мысли о Женни и сознание, что нет силы на земле, чтобы вернуть ее. Чего бы не отдал он за звук ее голоса, один живой взгляд, слово. Ничто не приносило ему забытья, убийственная тоска возрастала. От нее некуда было бежать. Болезнь усиливала остроту восприятия и переживаний. Роковой круг смыкался.

Утомившись кочевым образом жизни, Маркс рвался домой. И наконец медики разрешили ему вернуться в Англию, с тем, чтобы время туманов он проводил вне Лондона, на южном побережье острова.

И снова Маркс очутился в доме на Мейтленд-парк роуд, где жила и умерла Женни. Время, как чистая вода, намывает из золотоносного леска драгоценные крупинки,

и вот уже в памяти из прошлого не остается ничего случайного: пустячных размолвок, недовольства, обид, и во всем подлинном объеме встает то, что было присуще одному неповторимому человеку, которого нет и не будет никогда больше.

Маркс ходил из комнаты в комнату, как бы ища что-то. В своем кабинете он подолгу простаивал у окна, прислонившись спиной к косяку рамы. Лицо его, сильно похудевшее и состарившееся, перекосила гримаса страшного горя.

— Женни, Женни...

Наверху уже спали Ленхен и Элеонора. Ночь была непроглядно черна от густого липкого тумана, пробивающегося в щели стен. Остро пахло повсюду угольной копотью. Маркс медленно вышел из своей комнаты, прошел по коридору и с подсвечником в руке направился в комнату покойной жены. Все там осталось таким же, как было в пору долгой ее болезни. Об этом позаботилась Ленхен. Маленькие бархатные домашние туфли все еще стояли подле кровати. На одном из них не было пушистого шерстяного помпона. С зеркала не сняли белой кисеи. Все вокруг было то же, но у дома не было его души — Женни. Утром Маркс выглядел еще более больным.

Все это время Маркс мечтал приняться за работу и набело переписать второй том «Капитала». Он твердо решил посвятить этот свой труд покойной жене.

Но очень скоро, в ноябре 1882 года, из-за ядовитой осенней погоды, Маркс занедужил и вынужден был отправиться в Вентнор на острове Уайт. Однако и там слякоть и холод только ослабили его; одна простуда следовала за другой. Вынужденный оставаться дома, часто не вставая с постели, он заметно терял силы и работоспособность, но старался перебороть себя и продолжал много читать.

Как только здоровье его становилось хоть немного лучше, в краткие перерывы между болезнями Маркс напряженно работал над подготовкой третьего немецкого издания «Капитала». Одновременно он изучал математику, читал по-русски Воронцова — «Судьбы капитализма в России» и даже знакомился с состоянием финансов в Египте.

В январе в Вентноре шли дожди. С моря дул холодный ветер. В комнате отеля, где жил Маркс, было холодно и неуютно. Поленья в камине едва тлели.

Смутные мысли окутали больного. Он думал о Женни, испытывал горькую усладу, и о том, что люди умирают преждевременно, не дожив до естественного конца, до пробуждения инстинкта смерти, неизбежного в природе, как потребность жизни в цветущем возрасте.

Маркс вспомнил свою молодость и радужную веру в то, что будет жить в новом обществе, где станет властвовать труд. Увы, он давно осознал, что родился слишком рано и, хотя проник мыслью в будущее, обречен умереть, не увидев того, чему пожертвовал всем в жизни. Но, как всегда, он не отчаивался, уверенный в пришествии иной эры, несущей грядущим поколениям равенство и счастье.

«Если я, — размышлял Маркс, — избрав долю пролетария, познал все его унижения, лишения, страдания и даже болезни, то моим внукам предстоит разделить радости полной победы трудящихся».

Если б физические силы его не были в такой степени подорваны, он нашел бы исцеление в умственном труде, всегда его спасавшем, но болезнь развивалась, вынуждая работать не в полную меру. Мозг же его был в полном расцвете. Между тем жизнь готовила Марксу еще один смертельный удар. 11 января умерла Женни Лонге. Очевидно, не только астма, но и быстротечный рак привели ее к столь преждевременной могиле.

Получив страшное известие о смерти сестры, Элеонора бросилась к отцу в Вентнор. Много пришлось молодой девушке пережить горьких минут, но вряд ли они могли сравниться с тем, что перечувствовала она, переехав на маленьком катере море. Ей предстояло быть вестницей огромного несчастья. Покойной Женни Лонге минуло всего тридцать восемь лет. Она хотела жить, четверо ее сыновей были еще очень малы, и совсем недавно у нее родилась дочь, названная тоже Женни.

«Я везу отцу смертный приговор», — думала Элеонора, в черный дождливый день подъезжая к гостинице Вентнора. Войдя к Марксу, она не могла пропасти ни слова, тщетно ища, как бы ей подготовить его к столь неожиданному и страшному известию, но измученные, как бы оголенные нервы Маркса, его нечеловеческая проницательность были таковы, что, взглянув на искаженное отчаянием лицо дочери, он вытянул вперед руки, как бы загораживаясь от того, что случилось, и, задыхаясь, произнес:

— Наша Женнихен умерла.

С этого часа началась душевная агония Маркса. Но внешне он все еще сохранял самообладание. Собрав последние силы, отец велел дочери немедленно ехать в Париж к осиротевшим детям. Элеонора пыталась возражать, боясь оставить Маркса одного, — он был непреклонен.

Уже через полчаса девушка пустилась в безрадостный путь на континент. Вскоре в Лондон вернулся Маркс. Тоненькая цепочка, соединявшая его с жизнью после смерти жены, начала окончательно рваться.

Энгельс и Елена Демут, как все эти годы, пытались спасти Маркса, но, вернувшись домой, глубоко подавленный и замкнувшийся в себе, он слег в постель с бронхитом и воспалением гортани, от которого лишился не только голоса, но и возможности глотать. Маркс, стоически переносивший величайшие страдания, предпочитал питаться ненавистным ему молоком, нежели принимать твердую пищу, такие боли она ему причиняла. В феврале врачи обнаружили нагноение в легком. Маркс потерял аппетит и худел катастрофически. Хотя глотать ему стало легче, он мучился от резкого колотья в груди, кашля и гнойной пахнущей мокроты. Болел ли он гангреной или раком легких? Диагноз уже не имел значения. Он был обречен. Силы его стремительно падали, и впервые за всю сознательную жизнь он не мог более читать. Мысли об умершей дочери добивали его. Утомленный, спокойный, он равнодушно ждал вечной ночи.

Два верных друга упорно боролись за его жизнь и не теряли надежды, которую поддерживали и врачи. Ни одна мать не могла бы лучше ухаживать за своим ребенком, нежели это делала Елена Демут, окружившая больного лаской и заботой. Ей помогала Элеонора.

Энгельс призвал к постели Маркса известных врачей Лондона и советовался со многими научными светилами. Не довольствуясь этим, он изучил все относящееся к нарывам и другим опасным заболеваниям легких. Не доверяя другим, он сам рассматривал под микроскопом мокроту больного и выделяющуюся при кашле легочную ткань, зная, как велика опасность прободения стенки кровеносных сосудов. Для него не осталось более тайн в области подобных заболеваний.

В течение шести недель, каждое утро, поворачивая за угол Мейтленд-парк роуд и приближаясь к полукруглому

скверу, где жил Маркс, Энгельс в смертельном страхе, сдва успокоив отчаянно бьющееся сердце, смотрел, опущены или нет шторы в доме № 41.

Если бы можно было отдать за Маркса свою жизнь, он почел бы это великим счастьем. Энгельс горячо любил друга, гордился им и неоднократно подчеркивал со всей присущей ему скромностью, что величайшие открытия в области научного коммунизма принадлежат в первую очередь Марксу.

— Я не могу отрицать, — говорил Энгельс, — что я и до и во время моей сорокалетней работы с Марксом принимал известное самостоятельное участие как в обосновании, так и в особенности в разработке теории, о которой идет речь. Но огромнейшая часть основных руководящих мыслей, особенно в экономической и исторической области, и, еще больше, их окончательная резкая формулировка принадлежат Марксу. То, что внес я, Маркс мог легко сделать и без меня, за исключением, может быть, двух-трех специальных областей. А того, что сделал Маркс, я никогда не мог бы сделать. Маркс стоял выше, видел дальше, обозревал больше и скорее всех нас. Маркс был гений, мы, в лучшем случае, — таланты. Без него наша теория далеко не была бы теперь тем, чем она есть. Поэтому она справедливо называется его именем.

Четырнадцатого марта Маркс проснулся, чувствуя себя значительно лучше. Он с удовольствием выпил вина, молока и поел супа. Природа в последний раз собрала остаток сил и, как это часто бывает перед концом, обманула на одно мгновение мнимым выздоровлением. Вспышка надежды осветила дом, у Ленхен распрямились плечи. Гусси впервые за долгие месяцы улыбалась.

Но вдруг все переменилось. У Маркса появилось кровохарканье. Все засуетились, растерялись, заплакали. Только больной остался по-прежнему безразличен. Так как лежа ему было тяжело дышать, близкие усадили его в большом, обитом желтым полосатым репсом кресло подле незатухающего камина. Предельно ослабев от потери крови, он, казалось, задремал, когда Ленхен, стараясь не нарушать его отдыха, в мягких туфлях сошла вниз навстречу Энгельсу. Было около трех часов дня.

— Вы можете войти, он в полусне, — сказала она впотом и пропустила друга вперед.

За ней в комнату больного вошла на цыпочках и Элеонора. Маркс сидел, откинувшись на спинку, как две минуты до того, когда Елена вышла из комнаты. Веки его были опущены. Он выглядел безмятежно спокойным, погруженным в размышления, счастливым.

Маркс опочил навеки.

«Человечество стало ниже на одну голову и притом на самую значительную из всех, которыми оно в наше время обладало», — писал Энгельс соратникам.

Семнадцатого марта, в субботу, на Хайгейтском кладбище, в той самой могиле, в которой пятнадцать месяцев назад была зарыта Женни, похоронили Маркса.

Шарль Лонге прочел телеграммы от испанской и французской рабочих партий. От имени немцев простился с Марксом его друг и ученик Либкнехт. Было оглашено обращение русских социалистов:

«...Угас один из величайших умов; умер один из энергичнейших борцов против эксплуататоров пролетариата».

Весенний ветер играл красными лентами, обвивающими цветы, которых было очень много над свежей могилой. Их прислали рабочие и студенты, газеты и Коммунистическое просветительное рабочее общество Лондона. По просьбе петербургских студентов и курсисток, переславших для этого деньги, Энгельс возложил на гроб усопшего друга венки. Горе его было безмерным. Заметно осунувшийся, потерявший слух на левое ухо, но по-прежнему несгибаемо-волевой, он на похоронах друга как бы обратился ко всему миру, к будущим поколениям и векам. Только в заикании сказывалось его волнение, прорывалась душевная боль.

— ...Маркс был прежде всего революционер. Принимать тем или иным образом участие в ниспровержении капиталистического общества и созданных им государственных учреждений, участвовать в деле освобождения современного пролетариата, которому *он* впервые дал сознание его собственного положения и его потребностей, сознание условий его освобождения,— вот что было в действительности его жизненным призванием. Его стихией была борьба.

Энгельс провел рукой по гладким каштановым, без седины, волосам.

С Хэмпстедских холмов потер донес аромат весенних трав. Там вдалеке была харчевня дядюшки Дикека Строу, где так часто в течение нескольких десятилетий бывал Маркс с семьей и друзьями. Энгельс не мог отвести глаз от лица усопшего друга. Белые волосы Маркса были едва различимы на атласной подушке, усыпанной красными тюльпанами, узкие кренкие руки с тонкими удлиненными пальцами, желтые как туберозы, застыли на черном сукне сюртука. Их цвет больше, нежели разрытая могила, говорил о трагизме смерти.

В гроб друга Энгельс положил исполненный на стекле портрет его жены, фотографию дочери Женнихен и старинный пожелтевший дагерротип, на котором был изображен юстиции советник Генрих Маркс. Эти три человека были наиболее дороги Карлу Марксу.

Внезапно пароксизм горя подступил к горлу Энгельса. Наступило молчание, прерываемое чьим-то горестным всхлипыванием. Женхен и Элеонора громко рыдали. Возле гроба, не отрывая глаз от лица усопшего друга, стоял портной Лесснер, один из самых непоколебимых, надежных соратников и проводников идей Маркса.

Энгельс, переведя дыхание и несколько успокоившись, снова заговорил неожиданно громко и отрывисто. Он перечислял газеты, в которых сотрудничал Маркс, его работу в изгнании, рассказал о создании им Международного Товарищества Рабочих.

— ...Маркс был тем человеком, которого больше всего ненавидели и на которого больше всего клеветали. Правительства — и самодержавные и республиканские — высылали его, буржуа — и консервативные и ультрадемократические — наперебой осыпали его клеветой и проклятиями. Он сметал все это, как паутину, со своего пути, не уделяя этому внимания, отвечая лишь при крайней необходимости. И он умер, почитаемый, любимый, оплакиваемый миллионами революционных соратников во всей Европе и Америке, от сибирских рудников до Калифорнии, и я смело могу сказать: у него могло быть много противников, но вряд ли был хоть один личный враг.

Энгельс наклонился к гробу и вдохновенно пророчески предрек, что имя Маркса и его дело переживут века.

Последний взмах заступа над насыпью могилы положил конец напряжению, которое приходит вместе со

смертью. И тогда у близких появилось ощущение бездонной пустоты и потери, от которой леденеют сердца.

Спустились сумерки. Цветы покорно умирали на сырой земле могильного холмика.

У ограды кладбища стояло несколько карет. В одну из них сели Энгельс, Лесснер и Либкнехт.

— Мало нас осталось, старых ветеранов, совсем мало,— сказал после долгого молчания Фридрих Лесснер.— Раз-два, и обчелся.

— Похороны Мавра были такими, как он бы сам хотел,— тихо отозвался Либкнехт.— Он терпеть не мог помпезности, церемоний, как и вообще всякого проявления внешней популярности.

— Мавр был слишком велик для суетного честолюбия,— помолчав, продолжал Лесснер.— Теперь тебе, Генерал, предстоит много работы. Одному за двоих.

— Ничто и никто не заменит нам его,— заметил Энгельс.— Я всегда играл вторую скрипку и думаю, что делал свое дело довольно сносно, так как у меня была такая великолепная первая скрипка, как Маркс.

Больше никто не произнес ни одного слова.

Энгельс остановил извозчика и сошел у полукруглого сквера на Мейтленд-парк роуд. Входная дверь дома была незапертой. На вешалке в прихожей висело пальто покойного и в углу сиротливо стоял постоянный спутник многих лет его жизни — черный свернутый дождевой зонт.

Тяжело вздохнув, Энгельс прошел в кабинет Маркса. Там находились дочери Маркса, его зятья и Ленхен, уже вернувшиеся с кладбища. Энгельс грузно опустился на кушетку, возле которой стояло кресло Маркса.

Ленхен впервые за много лет никуда не торопилась, но хлопотала по дому. Лафарг раздувал пламя в камине. Никогда климат английской столицы не казался ему более отвратительным.

— Мавр умер преждевременно, в расцвете творческих сил,— сказал он громко.

— Как рано оба они ушли из жизни,— всхлипывая отозвалась Ленхен.— Проклятая нищета. Если бы не ломбард на Дин-стрит, не смерть малышей и вечные долги... Да Карл и не мог жить без Женни. Они давно уже стали единым существом и любили друг друга, как лебеди. Смерть одного из них означает гибель для другого.

Снова стало тихо.

Поздней ночью Энгельс вернулся к себе домой. Он нашел некоторое утешение в письмах к соратникам. Они были неразрывно связаны, как и он, с памятью Маркса. Им предстояло сообща нести его учение, создавать и укреплять пролетарские партии. Упадию и отчаянию не было места. Жизнь настоятельно звала к действию. Энгельс знал, что не имеет права на слабость, так как дружба обязывает и требует не одних слов, не только слез, но удвоенной силы и деятельности.

Некоторые труды Маркса, написанные в последние годы, нуждались в окончательном завершении. Два последующих тома «Капитала» были готовы лишь вчерне, а человечество ждало их. Надо было жить. Ради этого Энгельс, во имя дружбы и любви, крепился в часы испытания. Он сообщал друзьям в разные концы земли о страшной потере, понесенной пролетариатом.

«Старый дружище! — писал Энгельс шеффилдцу Беккеру в Лейпциг. - ...Самый могучий ум нашей партии перестал мыслить, самое сильное сердце, которое я когда-либо знал, перестало биться.

Теперь мы с тобой, пожалуй, последние из старой гвардии времен до 1848 года. Ну, что ж, мы останемся на посту. Пули свистят, падают друзья, но нам обоим это не в диковинку. И если кого-нибудь из нас и сразит пуля — пусть так, лишь бы она как следует засела, чтобы не корчиться слишком долго.

Твой старый боевой товарищ

Ф. Энгельс».

Разбирая страницы рукописного наследства друга, Энгельс чувствовал себя менее одиноким. Связь его с Марксом как бы не обрывалась. Часто после напряженного труда он подолгу смотрел в пылающее жерло камина, думая о том, что истинно гениальное проверяется временем и отныне люди вечно будут черпать мысли из бездонной сокровищницы ума Маркса, идти за ним, постигая глубинную сущность жизни.

1962

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОМЕТЕЙ

ВЕРШИНЫ ЖИЗНИ

Глава первая. Я работаю для людей 5
Глава вторая. Неукротимая Франция 164
Глава третья. Бессмертно 322

Галина Иосифовна
СЕРЕБРЯКОВА

Собрание сочинений, т. 4

Редактор В. Буланова
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
М. Позднякова
Корректор Г. Сурис

Сдано в набор 24/IV 1967 г. Подписано к печати 6/VIII 1968 г. Бумага типографская № 1. Формат 84×108¹/₃₂ — 14,5 печ. л. — 24,4 усл. печ. л. 24,8 уч.-изд. л. Тираж 350 000 экз. Заказ № 89. Цена 1 р.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Главполиграфпром Комитета по печати при Совете Министров СССР. Отпечатано в Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26 с матриц Ленинградской типографии № 2 им. Евгении Соколовой, г. Ленинград, Измайловский проспект, 29

ПОПРАВКА

На 399 стр., 2-ой абзац сверху, следует читать:

В условиях социализма, подчеркивал Маркс, осуществляется равенство людей в смысле их одинакового отношения к средствам производства; ликвидируется частная собственность на средства производства и эксплуатация человека человеком. За равный труд люди получат равную оплату.

ИИЕ
ий
мах

ТАЛИНА
СЕРЕБРЯКОВА
ТОМ ТРЕТИЙ

ПРОМЕТЕЙ

ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ

Роман

Книга вторая

Р2
С 32

Оформление художника
А. РЕМЕННИКА

7—3—2
Подп. изд.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В ИЗГНАНИИ

Невозможно отделить Англию от ее туманов. Они то же для нее, что солнце для тропических островов, что северное сияние и долгая ночь для Заполярья. В их мутной пелене таится вдохновляющая сила. Туман — творец сказок. Без него не могло быть ирландской саги, шотландских поэм, английских легенд. Туман-кудесник по своей прихоти изменяет окружающее. Окрашенный перегаром очагов, он нередко побеждает солнце и повисает над землей непроницаемой завесой. Тогда днем темнее, чем ночью. С мигающими фонарями бродят по улицам прохожие-невидимки. Туман пролез в щели и наполнил жилище дымом, свет в окнах от этого багровый, тусклый. Заунывно гудят повсюду сигнальные гонги, непрестанно визжат звонки. Человек идет на звуки. Небо — как опрокинутая чернильница.

Наиболее обманчив желтый туман. Он зловонен, жирен, ползуч, как гной. Огни бессильны и не могут пробиться сквозь его мельчайшие ядовитые клетки. В дни желтых туманов гибнут в столкновениях корабли. Пастухи и животные, потеряв дорогу, блуждают в горах, срываются в пропасти, поезда идут под откос, люди наталкиваются друг на друга. Все тонет беззвучно и невидимо в разъедающем глаза и горло желтом киселе. Ноет тело, сердце, тупеет мозг, не получая живительного кислорода. Человек вязнет в мокрой вате, слепой и оглохший. Туман лишает его основных двух чувств, обостряя лишь осязание.

Прекрасен белый туман, иногда легкий, прозрачный, иногда густой, но светлый, как внутренние стенки раковины.

Мглистая дымка никогда не исчезает, не рассеивается над Англией. Туманы выдают секрет своеобразной английской живописи, происхождение блеклых закатов и восходов солнца на полотнах великого британского художника Тернера.

Волшебный туман создает из золушки принцессу. Грустные, бесцветные озера в туманное утро величественны и безбрежны.

Пастух со стадом на бурых пастбищах, подобно путнику в пустыне, окружен миражами. Туман превращает дальнее дерево в башню, камни — в причудливые здания. Плеск ручья, приглушенный туманом, доносится говором толпы. Так рождаются сказки, стихи, легенды.

Поразителен в сумеречный туманный день Лондон. Ограды особняков вырастают внезапно на узкой улице, как войско, обнажившее мечи, укрытое щитами. Каждая рыбная лавчонка под пологом тумана — корзина, полная только что выловленных влажных, с матовым блеском жемчужин.

Великобритания в середине XIX века стала самой сильной колониальной и промышленной империей мира. Ничто, казалось, не угрожало ее процветанию. Фунт стерлингов был наиболее устойчивой валютой, и государственный банк Британии диктовал свои законы всем биржам. Не только британские деньги, но и печать обрела огромное могущество. Газета «Таймс» была настолько влиятельной, что к каждому ее слову прислушивались правительства Европы и Америки.

Чопорное самодовольство окутывало уверенный в себе Лондон.

В один из первых дней после переезда в Англию Маркс направился в Монтег-хаус, где в то время помещался Британский музей, затерявшийся в сложном лабиринте столичных улиц. В холодных, темных залах громоздились доставленные туда со всех концов земли трофеи Великобритании.

Карл внимательно осматривал один отдел этого святилища за другим. По особому закону вещь, попавшая сюда, никогда не может быть изъята.

Не Персия или Турция, позаимствовавшие для своих поразительных ковров цвета и краски у неба, у поэтов — сюжеты, у гаремных затворниц — их преувеличенное представление о недосягаемом для них мире, владеют совер-

шедевров. Лучший ковер мира, страшный по числу затраченных на его создание часов труда, висит не в мечети на Востоке, не в прославленном дворце шахов, а в одном из неприветливых, холодных залов Британского музея. В сокровищнице Великобритании есть величайшие алмазы и кровеподобные рубины Индии, неповторимые по раскраске вазы и священные древнейшие будды Китая.

Карл, размышляя о могуществе британского колониализма, медленно шел из зала в зал, пока не оказался в огромном египетском отделе. Справочные таблички перечисляли статуи, расставленные подряд вдоль стен, словно в антикварной лавке. Собранные здесь бесчисленные реликвии древней цивилизации потрясли Маркса, но в то же время вызвали чувство досады. Напыщенные фараоны, свирепые священные быки, звероликие Изиды и Озирисы, испещренные иероглифами двери и фасады храмов, куски колонн лежали здесь, немые, неинтересные, вдали от породившей их нильской культуры, оторванные от африканской земли и солнца. Так думал Маркс, наклоняясь над десятками мумий, которым узкие комнаты Британского музея заменили темные своды пирамид.

За смелую несосуществимую мечту – обрести бессмертие — властелины Египта спустя несколько тысячелетий расплачиваются тем, что превращены в интригующие экспонаты музеев. Миллионы человеческих глаз рассматривают, изучают, как древние письмена, иссушенные, вытершиеся оболочки некогда живых людей. Смерть лишена индивидуальности, и одинаково жалки и отталкивающе безличны трупы храбрых египетских полководцев и прославленных красотой танцовщиц храмов.

Мысли Карла были далеко, и он не сразу услышал, как толстый краснощекий старик сторож сказал ему, позевывая:

— Веселее жить среди дохлых крокодилов, чем сидеть на этом кладбище с утра до сумерек и следить, чтобы кто-нибудь не стащил эти чучела.

Маркс улыбнулся. Он всегда рад был случаю послушать человека, не лишенного чувства юмора. Сторож оказался в прошлом полисменом. Когда-то в течение многих лет этот рослый шотландец украшал своей величественной фигурой перекресток Сити. Стоило ему поднять руку,

вшую силу плотины, мгновенно задерживающую бурные потоки карет и омнибусов, как движение замирало. А теперь, в старости, он был приставлен охранять гробы египетской знати.

Расставшись с фараонами, Марке прошел в античный отдел музея. Он показался ему не менее обширным, утомительным и скучным. Лепные украшения, амфоры, надгробия должны были воссоздать быт римских патрициев и греческих деспотов. Среди изуродованных временем грустных обломков — останков далекого прошлого — Марке искал то, что рассказало бы о жизни миллионов рабов, ремесленников и крестьян. Это большинство человечества нередко лишено было исторического воскрешения.

Не только храмом искусства, не только неудачной иллюстрацией истории казался ему музей, но и образцовой рекламой великобританского колониализма.

Церковь и школа с малолетства приучали каждого островитянина думать о возвеличении империи королевы Виктории. Не случайно ее корону украшали и величайшая жемчужина Индии, и драгоценные камни, добытые в колониях. В Британском музее Карл видел, как ловко восхваляются благодеяния британ в порабощенных землях. Дикими и страшными показан был островитян Тихого и Индийского океанов до того, как там водрузили флаг Британской империи. Ничто не напоминает о зверствах завоевателей. Из-за стекол шкафов смеются и хмурятся языческие боги, восковые пигмеи в уродливых белых рубахах плетут из пальмовых листьев циновки, в то время как приветливый миссионер читает им полезные наставления. На картине английского художника изображена резвящаяся в день рождения королевы Виктории чернокожая детвора.

Карл вышел покурить. Многое открыл ему великий Британский музей, подобный сказочной пещере жадных разбойников, воспетых Шехерезадой, знаменитый сообщник знатных путешественников, безжалостных солдат и решительных миссионеров в грабеже колоний.

Тут же, в здании Монтег-хауса, находилась библиотека-читальня — мрачный, длинный зал с неисчислимыми богатствами. Карл был потрясен обилием книг, перечисленных в сотне огромных каталогов. Библиотекарь заполнил карточку Маркса на право постоянного посещения читальни, предварительно щепотом выяснив фамилию, имя, возраст.

— Ваша профессия или звание? — спросил он, не поднимая головы.

— Доктор философии, — ответил Карл.

Передавая Марксу книги, библиотекарь сказал с гордостью:

— Британский музей основан в тысяча семьсот пятьдесят третьем году и открыт для публики в тысяча семьсот пятьдесят девятом. Сейчас он не вмещает уже всего, что имеет, а новые исторические реликвии и книги непрестанно прибывают. Рад сообщить вам, что через несколько лет, я надеюсь, не только музей, но и вся библиотека, которыми так гордится Великобритания, будут находиться в великолепном помещении.

Маркс погрузился в чтение, радуясь тишине вокруг, нарушаемой только шелестом страниц.

За книжными переплетами жили мысли, фантазии, научные догадки, гениальные открытия многих столетий. Редко кто умел, подобно Карлу, чувствовать и понимать книгу. С ранних лет она была ему нужна, как хлеб, воздух, вода. Он не помнил себя без книги. Тысячи книг перебывали в его руках, будоражили мысли, смягчали горести, рождали негодование или улыбку. С годами, узнавая все больше и больше, он становился требовательнее. Все труднее было найти желаемое, и тем больше радости приносили те книги, которые помогали работе.

Маркс, как верного друга, полюбил читальню Британского музея.

Хрупкие листы бумаги, буквы обладают заманчивой тайной продления человеческого бытия. Перегруженные гигантские полки, упирающиеся в потолок, напоминают грандиозный колумбарий. Но в старинных кожаных или пятнистых матерчатых и обычных картонных переплетах — урнах — не хлопья пепла, а перепачкавшие века полнокровные, обжигающие, бодрящие, утешающие, звонкие, унылые, ропщие смех, деловые и мудрые слова.

Но, как и кладбище, книжные шкафы, наперекор былым раздорам, соединили на одном пространстве — полке — лютых врагов и разбросали верных друзей и угоду расчетливым, умело составленным каталогам.

В отделе французской революции опять встретились и поставлены рядом Дантон и Робеспьер, Марат и госпожа Ролан.

Однако, как и в жизни, многотомный Данте.

Маркс, тщательно знакомясь с драгоценностями библиотеки, узнал, что в особом тайнике хранится до двух тысяч папирусов, извлеченных во время раскопок. Десятки ученых посвятили себя их расшифровке, проводя в читальне Британского музея большую часть жизни.

Рядом с Марксом за узеньким столиком сидел молодой астроном. Он просматривал античные небесные карты и зачитывался средневековыми многословными и неясными записями астрологов о затмении солнца и загадочных нашествиях комет. Поодаль уезжающий в Индию чиновник знакомился с разнообразными проявлениями тропической лихорадки, описаниями охоты на слонов, правовыми преимуществами англичан перед индийцами.

Французский историк приехал в Лондон, чтобы перерыть письма и счета Марата, долго жившего в Англии, а заодно перечитать любовный бред и памфлеты неугомонного политикана Мирабо. Историк жаждал оклеветать великого революционера Марата и воспеть продажного болтуна Мирабо. Не найдя достаточно материалов в Национальной библиотеке Парижа, он пересек Ла-Манш. В архивных хранилищах Британского музея много редкостных документов.

Неудачливый компилятор с важным видом выдергивал цифры из справочников, чтобы подтвердить ранее выкраденные и плохо перетасованные размышления и анализы знатоков вопроса. Весьма напыщенная дама читала исследование об особенностях фламандской школы живопис-

Иосиф Молль, соратник и друг Маркса, пал героически во время Баденского восстания в битве при Мурге. Девятистотысячное прусское войско с трудом, ценой большой крови, одержало победу над пятнадцатью тысячами солдат революционной армии. Иосиф Молль сражался до последнего патрона. Его смерть была тяжелым ударом для всей партии коммунистов.

Энгельса потрясла гибель Иосифа Молля. Чуткая, сильная и вместе крайне отзывчивая душа Фридриха горевала.

«Тем жертвам баденского восстания, — писал Энгельс, — которые в той или иной мере принадлежали к образованным классам, в прессе, в демократических союзах воздаются всякого рода почести в стихах и прозе. Но

никто не помянет ни словом о сотнях и тысячах рабочих, которые вынесли на себе всю тяжесть боев и пали на полях сражений, о тех, которые заживо сгнили в раштаттских казематах, или о тех, которым теперь за границей, единственным из всех эмигрантов, приходится в изгнании испить до дна горькую чашу нужды... Наши «демократы» слишком невежественны и слишком пропитаны буржуазным духом, чтобы постичь революционное положение пролетариата, постичь будущее рабочего класса. Поэтому им ненавистны также те истинно пролетарские характеры, которые слишком горды для того, чтобы льстить им, слишком проницательны... Но если так называемые демократы не заинтересованы в том, чтобы оценивать по достоинству таких рабочих, то долг партии пролетариата — воздать им по заслугам. И к лучшим из этих рабочих принадлежал *Иосиф Молль из Кёльна*...

...После февральской революции он вернулся в Германию и вскоре вместе со своим другом Шаппером принял на себя руководство Кёльнским рабочим союзом. Эмигрировав в Лондон после кёльнских сентябрьских событий 1848 года, он вскоре вернулся в Германию под чужой фамилией, вел агитационную работу в самых различных местностях и принимал на себя выполнение миссий, которые отпугивали всех других своим опасным характером. Я снова встретил его в Кайзерслаутерне. И здесь он взялся за выполнение таких поручений в Пруссии, которые подвели бы его прямо под расстрел, если бы он был узнан. Возвращаясь из своей второй поездки такого рода, он благополучно пробрался через расположение всех неприятельских армий до самого Раштатта, где немедленно вступил в наш отряд, в безансонскую рабочую роту. Спустя три дня он был убит. Я потерял в нем старого друга, а партия — одного из своих самых неутомимых, бесстрашных и надежных передовых бойцов».

Прошло немного времени со дня гибели Молля. Фридрих Энгельс жил в Швейцарии. Он изнемогал от тоски. Но вернуться в Германию означало быть немедленно арестованным и, может быть, даже казненным. Его друзья и соратники решительно требовали, чтобы он оставался за границей.

Тихо плескались в каменных берегах серо-синие пустые воды озера Леман. Было воскресенье.

Швейцарские города в воскресные дни бывали пусты, безжизненны, как будто эпидемия чумы или холеры загнала в дома все живое. Пятьдесят два дня в году Швейцария вычеркивала из календаря — этого счетчика времени, пятьдесят два интервала, пятьдесят две долгие паузы в жизни — пятьдесят два воскресенья. Молчаливые тени людей в темной одежде с молитвенниками в руках дважды в день отправлялись в храмы. Редкие полицейские дремали на пустых улицах. Кофейни, рестораны, двери в ставни жилищ были наглухо закрыты. Казалось, что по воле бессердечного Кальвина, чья религия утвердилась в Швейцарии, смерть или опустошительное бедствие нависли над страной. Верующие или молиться, опустив головы, как беженцы или как сопровождающие похоронную колесницу.

Энгельс, отбрасывая носком узкого штиблета камешки, прогуливался по чистенькой набережной Женевы. Приближались прозрачные сумерки, ранние в этой горной стране. Жаркий день сменился прохладой. На пыльных кантанах созрели плоды; иногда они с шумом падали и раскалывались на песке приозерного бульвара.

Когда Энгельс подходил к пристани, его заметил молодой человек в поношенном, но тщательно вытюженном костюме, сидевший на скамье с газетой в руках. Юноша вскочил и, жестикулируя, бросился навстречу.

— Рад видеть вас, Энгельс.

— Добрый вечер, Либкнехт.

Они пошли рядом вдоль озера. У Вильгельма Либкнехта была очень привлекательная внешность. Особенно выразительны были большой нос с горбинкой и продолговатый овал лица. Выражение глаз и манеры молодого человека отражали застенчивость, маскируемую развязностью. Он часто краснел, то размахивал руками, то прятал их, вдруг замолкал в разговоре, как бы подыскивая нужные слова.

— Поймите меня правильно. Я считаю вас человеком чересчур резким, но ценю ваши знания и отвагу. Не только умом, но и талантом надо обладать, чтобы в столь молодые годы написать книгу о положении рабочего класса в Англии, быть таким колким публицистом, военным тактиком и теоретиком. Это удивительно.

— Вы говорите так высокопарно, точно готовите мне эпитафию, — попытался остановить похвалы собеседника Энгельс.

Но тот не унимался:

— Я видел немало так называемых великих мужей...

— Надеюсь, дорогой Либкнехт, вы не имеете в виду великих пигмеев, вроде Гейнцена и Струве, которых хорошо знавали, — расхохотался Энгельс. — Сравнение с ними я уж как-нибудь выдержу. Не огорчайтесь. У вас передо мной преимущество: шесть лет разницы в вашу пользу. Все приходит к тому, кто умеет ждать, — говорят французы, а я добавляю: бороться.

— Вы прозорливый человек. Я, право, хотел бы сражаться под вашим командованием.

— Не забывайте, что я всего лишь лейтенант Виллиха в пору Баденского восстания. Там сражались и вы, Вильгельм.

— Мне кажется, Фридрих, вы быстро ориентируетесь в любой сложной обстановке. Ваши статьи в «Новой Рейнской газете» о революционной войне в Венгрии всеми, кто их читал, приписывались крупнейшим военачальникам. Все, что вы в них предсказывали, сбывалось. Признайтесь, какими документами вы располагали? — допытывался Вильгельм.

Энгельс хитро прищурился. Широкие ноздри его слегка шевелились. Что-то ребяческое и задорное было в выражении энергичного лица.

— Я не имел ничего, кроме официальных сводок, печатавшихся в газетах австрийского правительства. Официозы постоянно врали, что австрийцы одерживают победы в Венгрии.

— Что ж, у вас талант ясновидца?

— Нет. Я просто брал факты, а не плутал за дымовой завесой газетных выдумок. Названия местности, расположение частей до и после боя, передвижение войск служили мне лучшим опровержением официальной лжи и помогали делать правильные выводы. Карта военных действий опрокидывала все фальсификации, по которым получалось, что австрийцы-победители наступают назад, а венгры отходят вперед.

— Благодаря вашим статьям мы знали: несмотря на фанфары австрийцев, объявивших о разгроме венгров, они фактически стремительно бежали от войск Кошута. Для

меня было счастьем познакомиться с вами во время баденских боев. Что сказать об этих днях? Хотя поход был бездарно организован и заранее обречен, мне он дороже всего в жизни. А теперь я прозябаю в этом рае дремлющего сытого буржуа.

— Не унывайте, Вильгельм. На нашей планете еще много для нас дел и свершений.

Долго прохаживались они в этот вечер по набережной Женевы.

Вскоре Энгельс отправился в Италию. Это был единственный путь, по которому он мог добраться до Лондона без риска.

Страна великих полководцев, революционеров, ученых и поэтов волновала его воображение с юности.

Братья Гракхи, Брут и Катулл, были так же дороги ему, как неистовый Джордано Бруно, проницательный Галилей, мечтательный Петрарка и мудрый Данте. Давно задумывался Энгельс над историей развития и гибели разных цивилизаций. Древний Рим, Венеция и пришедшая ей на смену Генуя не раз приковывали к себе его беспокойную, пытливую мысль.

Не отрываясь от окна почтовой кареты, любовался Фридрих величавым зрелищем горного перевала. Вот уже отошли снежные вершины. Потеплело. Открылся вид на озеро. На веревках вялилась на солнце рыба, высыхали на ветру макароны. Была чудесная осенняя пора.

Энгельс остановился на ночлег в придорожном трактире. До полуночи любовался он итальянским небом, на котором даже тусклый Млечный Путь казался россыпью алмазов. Когда он проснулся на рассвете, до его слуха донесся сильный, нежный мужской голос, поющий волнующую арию из «Нормы».

«Здесь, очевидно, остановился какой-то прославленный тенор», — подумал Фридрих и поспешил к окну. По улице, громко распевая, шел погонщик осла, запряженного в маленькую тележку. Обросший и загорелый, в коротких штанах и порванной, как после драки, белой рубахе, подхваченной кожаным старым поясом, он точно сошел с жанровой картины.

Ничто так не обогащает ум человека, не расширяет его горизонтов, как путешествия и знакомство с чужими странами. Энгельс жадно впитывал в себя новые впечат-

шения. Он совершенствовал и проверял также свое знание итальянского языка.

Италия переживала тяжелые времена. После яркой, озарившей на миг страну революционной вспышки 1848 года опустилась мрачная тьма реакции. Австрия метила за испадолго потерянное ею господство и требовала от маленьких государств раздробленной Италии повиновения и расправы с революционерами.

Террор свирепствовал в Венецианской и Ломбардской провинциях. Только в маленьком Пьемонте в Сардинии король Виктор-Эммануил сохранил основной статут — конституцию 1848 года. Этот молодой монарх не забыл уроков минувшего года, стоившего престола его отцу, и под влиянием министров — известного писателя и художника дальновидного Адзелью и либерала Санта-Роза — не уступал венскому двору в его требованиях отказаться от всяких национальных претензий. Понимая силу сопротивления народа наступившей реакции, он устоял против подкупа австрийцев, предлагавших значительные экономические уступки. Король Виктор-Эммануил мог проявить твердость, так как государство его было отлично защищено с тыла непроходимыми Альпами. К тому же он заручился поддержкой Наполеона III, который искал только повода для раздоров с Австрией. В ожидании часа, когда Италия попытается объединиться и раздвинет свои границы до Адриатики и Сицилии, Пьемонт превратился в центр объединения итальянских патриотов. Энгельс с особым интересом читал издававшиеся в Турине пьемонтские газеты и отмечал, как быстро развивались там промышленность и торговля, были построены крепости, перевооружалась армия.

В октябре Фридрих приехал в Геную. Невозможно остаться равнодушным к этому бело-голубому городу — большому порту на Средиземном море. Рощи кипарисов и тамарисков спускаются с холмов, смягчая зной улиц, где живут купцы, торгующие со всем светом. Голы и раскалены тунки и лаккуки вокруг порта, где ютится генуэзская голытьба, грузчики, разносчики, рабочие и матросы. Осмотрев домик Колумба и до утомления пробродив по городу, Энгельс спустился к пристани и занял в харчевне пообедать. Он любил, усевшись поодаль, наблюдать многоязычную портовую толпу. По не моряки

с чужеземных судов привлекли на этот раз его внимание. У ничем не покрытого стола, позабыв о тарелке с остывшими, причудливо рассыпавшимися макаронами в жирном томатном соусе, сидел смуглый итальянец с суровым лицом древнеримского гладиатора. Опустив голову, он рассматривал, прикрыв рукой, какую-то картинку.

«Ему бы плащ и широкополую шляпу — был бы типичный карбонарий, как его представляют себе слабонервные дамы», — думал Энгельс. Он доел уже вторую порцию превосходных макарон, а рабочий все еще о чем-то размышлял, не поднимая глаз.

— Ты, верно, очень любишь свою невесту, раз позабыл об обеде, — пошутил Энгельс.

Итальянец быстро закрыл большой грубой рукой картинку и ответил резко:

— А может, я молюсь пресвятой деве!

Затем он подвинул еду и принялся с громким присвистом, сложив губы трубочкой, ловко втягивать остывшие макароны. Покончив с ними, он искоса снова поглядел на Фридриха и, облизав измазанный пунцовым соусом рот, заговорил:

— Вы, синьор, из иностранцев, а ловко говорите на нашем языке. Если бы я не прожил много лет в чужих странах, то не разобрался бы в этом. Иной калабриец, к примеру, говорит по-итальянски так, точно щелкает орехи. Его и не поймешь сразу. Самый правильный язык - генуэзский.

— Корни языка одни и те же, а произношение может несколько отличаться. Я знаю некоторые ваши наречия.

Так завязалась беседа у Энгельса с Пьетро Диверолли, который, покинув около двух лет назад Париж, возвратился в Италию. Он был свидетелем объявления Римской республики, насладился недолгой свободой, едва не лишился жизни во время австро-итальянской войны и теперь скрывался под другим именем в родной Генуе.

Убедившись, что Энгельс заслуживает доверия, он показал ему яркий литографированный портрет, который прятал...

— Узнаешь? — спросил он, блеснув маленькими карими глазами.

Фридрих увидел грубо нарисованного высокого, узкого в талии человека с неестественно выпяченной грудью. Светло-коричневые волосы падали на брю-

зовом загорелом лице с густыми усами и бородой резко выделялись фиолетово-синие глаза. Маленькая, расшитая золотом ермолка, лихо надетая набекрень, и полосатый жилет были необычны и переняты, очевидно, у турок.

— Да кто же не знает теперь Джузеппе Мария Гарибальди, спроси любого. Необыкновенная жизнь у этого отчаянного храбреца. Многое повидал он, плавая на бригантинах «Констанция» и «Сперанца». Родись он тремя веками раньше, был бы великим конкистадором. Смелый мореходец и воин.

Дивероли от неожиданности обронил кисет с табаком. Он был уверен, что иностранец не знал в лицо Гарибальди.

— Откуда ты все о нем знаешь?

— Ну, не все. Но слыхал кое-что. Я уверен, что его не смутит поражение и он еще появится в Италии. Апрельские дни того года, когда его легионы вступили в освобожденный Рим, повторятся.

— Я был в головном отряде, — тихо признался Дивероли. — Ты прав, немец, это не забывается и повторится. Впервые я встретился с Гарибальди в Марселе. Его партийная кличка была тогда «Борель». Я был там с Мадзини.

Пришла очередь удивиться Энгельсу:

— Значит, ты член «Молодой Италии», мадзинист?

— Да, я друг великого итальянца, — последовал ответ.

До самого отъезда из Генуи Энгельс часто встречался с Дивероли, который посвятил себя борьбе за славное будущее вольной Италии и выполнял тайные поручения Мадзини.

Искренний и честный, Пьетро Дивероли не мог жить без поклонения кому-либо. В это время он страдал оттого, что не знал, кому отдать предпочтение: Мадзини, который привлек его к революции, или Гарибальди, казавшемуся генуэзцу чуть ли не полубогом.

— К сожалению, — доверчиво сообщал он Энгельсу, — оба эти великих человека не очень дружны. Я был свидетелем их жестокой размолвки. Один ученый и осторожен, проницателен, как Макиавелли, и настойчив, как Риенци, а другой — великий воин, закаленный бурями и крушениями, хочет возвеличить Италию не меньше, чем сам Гай Юлий Цезарь. Теперь посуди, могут ли эти два героя, достойные Ромула и Рема, ужиться в одной норе? Но это необходимо, они двое — опора нашего объединения.

— Чего ты хочешь, Пьетро, — спрашивал Фридрих, —

федерации всех государств твоей родины или одной Италии?

— Зачем нам федерация? Мы — кости одного тела. Мы умираем потому, что нас рассекли.

— Ты прав.

Как-то Дивероли показал Энгельсу свой любимый холм Санто-Камио, где некогда прощался с Мадзини. Внизу раскинулось Средиземное море. Долго сидели они молча на нескошенной траве. Кружевные тонкие ветви тамариска раскачивались над ними, словно опахало. В такие минуты хочется говорить о самом сокровенном.

— Ты одинок или женат? Вряд ли такой красивый парень не снится какой-нибудь девушке? — спросил ласково Дивероли.

— Женщину, которую я люблю, зовут Мери, — просто ответил Энгельс. — Ты слыхал про Ирландию? Эрин — зеленая страна, как называют ее ирландцы. Она бедна. Народ ее порабощен Англией и тоже непрестанно дерется за свою независимость. — Помолчав, он добавил: — У Мери глаза прекрасные, как кипарисовая роща у моря. Она меня, кажется, очень любит. А твоя жена где, Пьетро?

— Я вдовец, — начал Дивероли. — В Париже судьба свела меня с добрым и веселым юношей-французом Кабьеном, немцем Стоком и поляком Красоцким. Какие это были люди! Поляк был из твоей породы — ученый и вежливый. По вечерам играл он на скрипке, да так, что полюбился всей улице. Музыка переворачивает и потрясает душу. Я вот не могу жить без песни. И полюбил-то я раз в жизни не женщину, а ее голос. Однажды здесь, в Генуе, услышал за оградой сада чудесное сопрано и стал каждый вечер ходить к этому дому. Когда мы встретились наконец с певицей, она оказалась горбуньей, но мое сердце уже полюбило.

— Ты женился на ней?

— Да, и не жалел. Мы прожили всего один год. Бедняжка умерла, а я не могу утешиться. Голос ее звучит во мне до сих пор.

Вскоре Дивероли проводил Энгельса на парусное судно, идущее в Англию. В последний раз выпили они вязкое пряное «кьянти». Энгельс дал итальянцу свой адрес в Манчестере.

— Взялся за древко красного знамени, — сказал он с обычной приветливой улыбкой, — будь готов к странствиям.

До Лондона Энгельсу предстояло плыть около полутора месяцев. Трудолюбивый Фридрих не мирился с бесцельной потерей времени. Едва ступив на палубу, он решил тотчас же заняться изучением навигационных наук и приступился с присущей ему тщательностью и прилежанием записывать в дневник особенности погоды, направление ветров, состояние моря, изменения в очертаниях берегов.

Фридрих очень любил море. Оно больше, чем иная стихия, было созвучно его отважной, чуждой всему мелкому, мелкому душе. Он наслаждался и морским покоем, и всеразрушающими могучими штормами, которые сопутствовали ему в этом долгом осеннем путешествии. Подобно норвежским берсеркерам, не знавшим страха, радовался Энгельс буйству водной стихии, в которой звучала для него сама вечность.

Прекрасный, многогранный, смелый, он сам был как море.

В середине ноября он наконец добрался до Лондона и снова очутился у своего друга Маркса.

В первые дни пребывания в Лондоне Маркс чувствовал себя одиноким. Погиб Иосиф Молль. Не было в Англии ни Энгельса, ни Карла Шаппера, ни Вильгельма Вольфа. Вскоре приехал Георг Веерт, все такой же лихорадочно энергичный, легко загорающийся, насмешливый.

Карл ждал Женни. Она много странствовала в этом году, весной побывала во Франкфурте-на-Майне, где издавал газету Вейдемейер. Он и его домовитая жена Луиза встретили ее очень радушно. Там с их помощью она снова заложила в ломбард и превратила в деньги серебряную посуду с чеканными баронскими гербами. Сколько уже раз фамильное серебро Женни спасало от голода и холода ее детей и мужа! Совсем недавно Энгельс выкупил его из брюссельского ломбарда, и вот оно снова оказалось сданным под залог во Франкфурте-на-Майне. Затем Женни повезла детей в Париж, но и там семья осела ненадолго. Проводив мужа, больная, обеспокоенная неопределенным будущим в изгнании, ждала Женни переезда с детьми и Ленхен в Англию.

Был хмурый, слякотный день, когда она сошла на незнакомый, чужой берег. Лондон был окутан густым туманом.

Георг Веерт помог устроить Женни с детьми в крошечных меблированных комнатах у знакомого портного, проживавшего на Лестер-сквере. Но так как Женни была накануне родов, пришлось искать более просторную квартиру. Карл снял ее в Челси в небольшом потускневшем кирпичном здании.

Дома в Челси чрезвычайно похожи один на другой, будто отобранная по росту, ширине плеч, охвату талии британская полиция. В этом районе города, помимо иностранцев и мелких лавочников, жило в ту пору много клерков и продавщиц, которых так много в британской столице. В Челси, более чем где бы то ни было, становилось ясным, что Лондон — город по преимуществу среднего класса. Служащие торговых контор, банков и страховых компаний, приказчики, лавочники — таков был основной массив лондонского населения. Промышленность и заводской пролетариат преобладали в центре и на севере страны, ближе к месторождениям угля и железа.

Из унылых домов Челси по утрам отправлялись на работу степенные, поблекшие клерки. Они шли в конторы, на вывесках которых хвастливо подчеркивалось, что фирмы существуют пятьдесят — семьдесят пять лет. Давность служит гарантией их деловой добросовестности.

Неодолимая тоска охватывала каждого входящего под старые своды контор. Низкие потолки, пыльные доски полов, крепко сложенные, претендующие быть вечными, холодные стены, украшенные купеческими дипломами — похвальными листами, дипломами гильдий, когда-то полученными медалями на бархате в черных тяжелых рамах. Чернильные пятна проползли угрями в поры деревянных конторок. Желтый свет едва пробивался сквозь узкие окна со стеклом мутным, как слюда. Траурной вуалью лежали черные тени противоположных домов. Спертый воздух в непроветривавшихся десятилетиями комнатах одурял, как туман, затоплявший Лондон.

Бесполезно было бороться с мертвящей обстановкой старых «солидных» контор. Бесцельно сопротивляться цепкому, ядовитому, обвивающемуся змеей, черному туману, густому, как тропический лес. Контора, словно лондонский туман, засасывала.

Клерк, проводящий значительную часть жизни в своеобразной гробнице, не мог устоять перед гипнотической силой мумифицированного прошлого, тем более что, вза-

вращаясь домой, он продолжал то же условное, оторванное от настоящего бытие.

Все настойчивее, все громче было шуршание переворачиваемых историей страниц, но английский клерк слышал лишь скрип конторских половиц и крысиный писк под ними. Понимание исторических процессов не обязательно для клерка. Хозяину нужна была его точная цифровая память, исполнительность автомата. Английский клерк — наиболее безличное, после пасмного гвардейца короля, существо. Среди прочих примет он отличался также отсутствием возраста; жил без молодости, зрелости, старости — трех по-разному окрашенных стадий жизни — излюбленной темы в классической поэзии. Легче было, пользуясь системой Кювье, по одной кости определить весь облик ископаемого, чем по бездумному, застывшему лицу клерка определить количество прожитых им лет. Конторские служащие Англии были очень вежливы, очень уравновешены и очень упрямы. Каждый клерк мечтал жениться, в согласии с традицией диккенсовского романа, на дочери хозяина и иметь затем свою контору. Но обычно после долгих лет, ступая по узеньким ступенькам служебных повышений, он довольствовался скромной пенсией и доживал век на положении рантье. Консервативный, боязливый, но брюзжащий, он уважал короля и своего пастора.

Старость для клерка — венец дел и жизни, в особенности если наследство родителей и удачно выбранные процентные бумаги пополняли его скудные средства.

Тогда осуществлялись извечные стремления: появлялся счет в банке, карета, вмещающая всю его семью, включая внуков и собак, да выборный пост в церкви.

Уважая свою профессию и предназначая ей одного из своих наследников, клерк, однако, таил в замурованных конторских стенах точащую зависть к богатому, независимому господину. Но богатство и сознание английского клерка укладывалось только как случай необычный, вроде миллионного выигрыша на ирландских или калькуттских скачках, на которых он сам неизбежно проигрывал.

Хозяйка квартиры, снятой Марксом, была вдовой клерка. После смерти мужа она сдавала две из трех комнат в доме, который сама снимала. Это была дама, чья внешность полностью опровергала пословицу, что «лицо —

веркало души». Оно казалось высеченным из серого пористого камня, и на нем невозможно было уловить проявления какого бы то ни было чувства. Радость, испуг, удивление либо беспокойство не отражались на этой отталкивающей маске с узким загнутым подбородком и несколькими синими бородавками на сухих щеках, ухо-дящих под серые, как зола, волосы.

Пятое ноября — день «порохового заговора» — своеобразно отмечается в Лондоне.

Двести с лишним лет тому назад отчаявшийся в поисках справедливости смельчак Гай Фокс в сырых темных ямах погребах наполнил бочки порохом, мечтая взорвать продажный парламент. Выданный сообщником, он погиб на плахе Тауэра раньше, чем успел поджечь фитиль. С той поры призрак заговорщика пугает парламентариев. Каждый раз перед началом сессии традиционный обход всего здания парламента и его погребов служит как бы напоминанием несчастливого мятежника XVII века.

В день, когда Гай Фокс должен был осуществить взрыв парламента, на улицах столицы появляется молодежь в масках, верхом на ослиных чучелах. Раздаются громкие выкрики: «Да здравствует Гай Фокс!», рвутся в воздухе сотни хлопушек, гудят трещотки.

Пятого ноября 1849 года под гам, грохот и смех, раздававшиеся в Челси, у Женни Маркс родился четвертый ребенок — сын Генрих. В честь великого заговорщика ему дали прозвище — Фоксик.

Скромная квартирка стала еще более шумной. Несмотря на все возрастающие материальные лишения, теплоту, не было, казалось, предела гостеприимству и радушию хозяев. Из Швейцарии в лондонское изгнание прибыл и поселился у Маркса артиллерийский лейтенант Август Виллих, бывший командир отряда, доблестно сражавшегося под Баденом. Это был крайне неуклюжий, высокий, громоздкий, круглоголовый человек, с жидкими гладкими волосами, начинавшимися на макушке и покрывавшими только затылок, с светлыми живыми маленькими глазами.

По утрам Август имел обыкновение врываться к Женни и Карлу. Ему с ночи не терпелось продолжить нескончаемые дебаты обо всем, что надо предвидеть и учесть к тому скорому времени, когда коммунизм победит на земле. Долговязая фигура Виллиха, его серая фуфайка,

подпоясанная на испанский манер красным шарфом, напыщенность речи удивляли и смешили Женни.

— Вы настоящий Дон-Кихот, — говорила она шутливо.

— Может быть, и так, но прошу учесть, госпожа Маркс, что я никогда не воевал с ветряными мельницами, зато уже не однажды расправлялся с германскими мракобесами и намерен сражаться до конца жизни, как истый пруссак, — раскатисто гогоча, заявлял Вилли.

Присев в ногах постели Карла, он начинал бесконечный спор по поводу той или иной проблемы, которая может возникнуть при победе коммунизма. Маркс настороженно присматривался к этому человеку, большому путанику в вопросах теории.

Пока Женни, а затем и Ленхен не прекращали жарких дебатов о «естественном» коммунизме, напоминая Карлу и Августу о завтраке, они оба увлеченно разговаривали, шутили, курили или ожесточенно спорили.

В Лондон прибывали эмигранты. Большей частью без денег, без прибежища и работы, они встречали под осенним свинцовым небом Англии вначале одни только лишения и беды. Это было нелегким испытанием. Худшие чувства, такие, как мелочная зависть, злоба, у самых слабых быстро пускали ростки и развивались, отравляя и без того трудное существование.

Маркс деятельно принялся за организацию помощи политическим эмигрантам. Комитет помощи нуждающимся демократам, в который он входил, опубликовал воззвание:

«Теперь, когда в Германии в дикой суматохе военной расправы снова воцарились «порядок и спокойствие»... когда военные суды едва успевают отправлять в могилу с простреленной головой одного «мятежника» за другим; когда тюрьмы уже не в состоянии вместить всех «государственных изменников» и единственным существующим праном является право военно-полевых судов, — тысячи и тысячи немцев скитаются без крова на чужбине.

С каждым днем растет их масса, а вместе с нею и бедствия этих лишившихся родины людей; гонимые с места на место, они утром не знают, где им удастся найти ночлег вечером, а вечером не знают, где достанут себе кусок хлеба завтра утром.

Бесчисленное множество эмигрантов заполняет города Швейцарии, Франции и Англии. Со всех концов Германии стекаются несчастные. Кто сражался на венских баррикадах против черно-желтой лиги... кто бежал из Пруссии от военщины Вранген и Бранденбурга, кто в Дрездене с ружьем в руках защищал имперскую конституцию, кто воевал в Бадене в рядах республиканской армии против объединившихся в крестовый поход государей, — независимо от того, либерал он или демократ, республиканец или социалист, — все они сторонники самых различных политических учений и интересов, объединены теперь общей судьбой: изгнанием и нищетой.

Половина нации в лохмотьях с протянутой рукой просит милостыню у чужого порога.

И в Лондоне наши соотечественники-эмигранты ищут приюта на холодной мостовой блестящей мировой столицы. Каждый корабль, пересекающий канал, привозит из-за моря новые толпы людей, лишившихся родины; на всех улицах Лондона раздаются жалобы изгнанников на нашем родном языке.

Эта нужда глубоко взволновала многих немецких друзей свободы, проживающих в Лондоне. 18 сентября текущего года состоялось общее собрание Просветительного общества немецких рабочих и прибывших немецких эмигрантов для организации Комитета помощи нуждающимся демократам. Избраны следующие лица: *Карл Маркс*, бывший редактор «Новой Рейнской газеты»; *Карл Блинд*, бывший посланник баденско-пфальцского правительства в Париже; *Антон Фюстер*, бывший член австрийского рейхстага в Вене; *Генрих Бауэр*, сапожный мастер в Лондоне, и *Карл Пфендер*, живописец в этом городе.

Этот Комитет будет ежемесячно представлять публичный отчет общему собранию, а также — в сокращенном виде — на страницах немецких газет. Во избежание всяких кривотолков принято решение, что *ни один член Комитета впредь не должен получать какого-либо пособия из комитетской кассы*. Если кто-нибудь из членов Комитета вынужден-будет когда-либо обратиться за помощью, то он с того же момента перестанет являться членом Комитета.

Мы просим вас, друзья и братья, сделать все, что в ваших силах. Если вы хотите, чтобы поверженная и прикованная в цепи свобода снова воспрянула, если вы

сочувствуете страданиям ваших лучших передовых борцов, то вы откликнетесь на наш призыв без особых увещаний с нашей стороны».

Карл и Женни, сами на краю нищеты, делились с немецкими изгнанниками всем, чем могли. Ленхен надрывалась от работы. Ночами вместе с Женни она стирала пеленки, штопала чулки, чинила белье, днем шла за покупками, стряпала, топила камины, возилась с четырьмя детьми, из которых всегда кто-нибудь, а то и все разом бывали нездоровы.

Женни кормила грудью Генриха. Часто ребенок громко плакал и корчился от колик, так как молоко матери бывало испорчено чрезмерными заботами, бессонницей и переутомлением.

Нищета надвигалась и окутывала Маркса и его семью, как черный туман. Неприятности следовали одна за другой.

Эмигрантский мир, состоявший из разнородных, часто глубоко чуждых и враждебных друг другу людей, раскололся.

Счастье, как пестрый ароматный цветок, привлекает и украшает человека, несчастье испытывает и срывает с него покровы, будто лютая пурга. Лишь подлинная любовь и дружба, только крепкие, чистые души выдерживают проверку бедой и лишениями.

Маркс тотчас же по приезде в Англию занялся делами Союза коммунистов. Время было трудное. Революционный ураган, пронесшийся над Европой, раскидал по разным странам многих членов Союза. Слабые металась, теряли веру в будущее, сильные рвались к действию, к дальнейшей борьбе. Одни погибли, другие были в заточении. Больше чем когда бы то ни было передовому отряду требовался командир. Неутомимый, упорный, бодрый, вопреки возникающим и нарастающим трудностям, Карл Маркс властно понес вперед коммунистическое знамя.

Необходимо было перестроить работу внутри Союза. Реакционеры наступали. Переписка и связь с единомышленниками в других странах становилась либо невозможной, либо крайне затруднительной. Письма перехватывались, вскрывались, адресаты преследовались.

Благодаря энергии и влиянию Маркса уже в сентябре 1849 года был воссоздан Центральный комитет Союза ком-

мунистов. Энгельс обрадовался, когда встретил в числе членов Центрального комитета Августа Виллиха, с которым проделал всю баденско-пфальцскую кампанию.

К началу нового года было разослано извещение о выходе в Лондоне журнала «Новая Рейнская газета. Политико-экономическое обозрение» под редакцией Маркса. Ответственный издатель К. Шрамм опубликовал написанное Марксом и Энгельсом сообщение:

«Журнал носит название той газеты, *продолжением* которой его и следует рассматривать. Одна из его задач будет состоять в том, чтобы в ряде ретроспективных обзоров обрисовать период, прошедший со времени насильственного прекращения выхода «Neue Rheinische Zeitung».

То, что представляет наибольший интерес газеты — ее повседневное вмешательство в движение и возможность быть непосредственным рупором этого движения, отражение текущей истории во всей ее полноте, непрерывное живое взаимодействие между народом и ежедневной печатью народа, — все это неизбежно утрачивается, когда имеешь дело с журналом. Зато у журнала то преимущество, что он позволяет рассматривать события в более широком плане и останавливаться только на наиболее важном. Журнал дает возможность подробно и научно исследовать *экономические* отношения, которые составляют основу всего политического движения.

Такое время кажущегося затишья, как теперешнее, должно быть использовано именно для того, чтобы уяснить пережитый период революции, характер борющихся партий, общественные отношения, которые обусловливают существование и борьбу этих партий.

Журнал будет выходить раз в месяц отдельными выпусками объемом не менее *пяти* листов... Распространение взяла на себя книготорговая фирма Шуберт и К° в Гамбурге.

Просьба к друзьям «Neue Rheinische Zeitung» организовать подписку в той местности, где они находятся, и возможно быстрее переслать подписные листы нижеподписавшемуся...

Лондон, 15 декабря 1849 г.

К. Шрамм
Ответственный издатель.

Женни старалась скрыть от окружающих страх перед нараставшими трудностями. Огромная сила воли требовалась, чтобы терпеть бедность, придирки злой и недобросовестной квартирной хозяйки, заниматься нануряющей не только физически, но главным образом духовно домашней работой. Если бы не помощь Ленхен, она сломилась бы совсем под тяжестью быта. День обе женщины проводили в стирке, починке белья, бесконечном мытье посуды, уборке тесных, уставленных вещами комнат, ухаживали за четырьмя маленькими детьми. Тарелки, ложки, вилки, пеленки то и дело нуждались в том, чтобы их мыли и стирали. Женни понимала тех женщин, которые становятся раздражительными, опустошенными от постоянной однообразной, невидимой работы в доме, от борьбы с нищетой.

«Каменщик, — думала она, — трудится тяжело, но он знает, что из-под его рук поднимутся стены домов; плотник, столяр создаст много полезного для людей; красильщик, каретник — все видят плоды своих дел. Ученые, врачи, учителя обогащают, спасают, учат, воспитывают человечество, а я с утра до ночи думаю, как бы перебиться без денег, накормить, обшить и обстирать дорогих мне людей. Как колесо прялки, верчусь я на месте».

Ее мучила мысль, что она отстает от того, чем живет Карл, и недостаточно читает. По ночам беспокойные думы отгоняли сон. Она лежала, глядя в темноту большими карими глазами, стараясь скрыть от мужа свою бессонницу. Что делать, как найти выход из тупика? Женни страшилась надломиться, уподобиться ворчливым, погрязшим в засасывающей тине житейских мелочей и дряхлеющим женщинам, которых встречала в эмигрантских семьях. Нищета в чужой стране была великим испытанием. Выдержит ли она? Легко быть красивой, начитанной, блистательной, когда со всех сторон не подпирает бедность, заботы, неблагодарный домашний труд. Она старалась перенять у Карла его неиссякаемое жизнелюбие и титаническую волю. Но как только раздавался слабый крик Генриха-Фоксика в рядом стоящей колыбельке или капель и детский плач из соседней комнаты, нервы ее напрягались до боли. Она вскакивала и бежала к детям, страдая и думая о том, как уберечь их от опасностей, которых было так много у людей, терпящих недостаток во всем необходимом.

Хозяйка квартиры, где жили Маркеы, оказалась не менее подлой, нежели мисс Мардстон из романа Диккенса, на которую была так похожа. Получая деньги от жильцов, она, однако, ничего не платила домовладельцу. События разыгрались с быстротой, обычной в Англии при выселении неплательщиков. В сырой, черный от тумана день Маркс со всей семьей оказался на улице.

Женни Маркс писала об этом другу Вейдемейеру:

«Мой муж ищет для нас помещение, но с четырьмя детьми никто не хочет нас пускать. Наконец нам оказывает помощь один друг, мы уплачиваем за квартиру, и я быстро продаю все свои кровати, чтобы заплатить аптекарю, булочнику, мяснику и молочнику, напуганным скандалом с описью имущества и внезапно набросившимся на меня со своими счетами. Проданные кровати выносят из дома, погружают на тележку — и что же происходит? Было уже поздно, после захода солнца; вывозить вещи в такое время запрещается английским законом, и вот появляется домохозяин в сопровождении полицейских и заявляет, что здесь могут быть и его вещи и что мы хотим сбежать за границу. Не прошло и пяти минут, как перед нашей квартирой собралось не менее двухсот—трехсот зевак, весь сброд из Челси. Кровати вносят обратно; отдать их покупателю можно было лишь на следующее утро, после восхода солнца. Когда, наконец, продав все наши пожитки, мы оказались в состоянии уплатить все до последнего гроша, я переехала со своими милыми малышами в наши теперешние две комнатки в немецкой гостинице по адресу: Лестер-стрит, 1, Лестер-сквер, где мы более или менее сносно устроились за 5½ фунтов стерлингов в неделю.

Простите, дорогой друг, что я так подробно и обстоятельно описала один лишь день нашей здешней жизни. Я знаю, это нескромно, но сегодня вечером сердце мое переполнено, руки мои дрожат и мне захотелось хоть разлить душу одному из наших старейших, лучших и верных друзей. Не думайте, что эти страдания из-за мелочей меня сломили. Я слишком хорошо знаю, что мы далеко не одиноки в нашей борьбе и что ко мне судьба еще милостива, — я принадлежу к немногим счастливицам, потому что рядом со мной мой дорогой муж, опора моей жизни. ...Никогда, даже в самые ужасные минуты, он не те-

рял веры в будущее, всегда сохранял самый живой юмор и был вполне доволен, когда видел веселой меня и наших милых детей, с нежностью ласкающихся к своей мамочке...

До свидания, дорогой друг! Передайте самый сердечный привет вашей милой жене и поцелуйте вашего крошку от имени матери, уронившей не одну слезу на своего младенца... Наши трое старших детей прекрасно себя чувствуют, вопреки всему. Девочки красивые, цветущие, веселые, жизнерадостные, а наш толстый мальчуган полон юмора и самых забавных затей. Этот бесенок целые дни самым громким голосом распевает с необычайным пафосом забавные песни. Весь дом дрожит, когда он во весь голос поет слова из фрейлигратовской Марсельезы:

Приди ж, июнь, пора свершений!
Мы жаждем подвигов и дел.

Быть может, всемирно-историческое призвание этого месяца... состоит в том, чтобы начать гигантскую борьбу, в которой мы все снова будем сражаться рука об руку».

Пришлось ненадолго поселиться в немецком отеле на Лестер-стрит, возле Лестер-сквера, после чего Карл и Женни обосновались, прельщенные дешевизной, в двух маленьких комнатках на Дин-стрит — узкой и мрачной улице возле Сохо-сквера. Это был безрадостный квартал, расположенный неподалеку от центральной площади Пиккадилли.

В Сохо жила иноземная голытьба: ирландцы, немцы, французы, итальянцы. Они перебивались случайной работой и едва сводили концы с концами. Приземистые здания с небольшими окнами, вычурные фонари с грязными стеклами не украшали узкую Дин-стрит, на которой не росло ни одного деревца. В осенние и зимние дни вид этой серой, как и небо, улицы производил удручающее впечатление. Ленхен выводила детей в сквер Сохо — угрюмое подобие сада с низко подстриженными чахлыми деревцами и густым газоном. Над многочисленных каминов спускался на низко расположенную Дин-стрит и черной траурной каймой обводил дома. Воздух в кривых закоулках Сохо не проветривался, и дышать здесь было всегда как-то особенно тяжело. Англичане охотно сдавали квар-

тиры в этом проклятом мрачном квартале иностранцам, так как считали его небезопасным для своего здоровья.

Чума, появлявшаяся время от времени в эпоху позднего средневековья, в значительной мере избавляла город от бедняков, не имевших пищи и крова и, естественно, становившихся первыми ее жертвами. Трупы бродяг и нищих валялись тогда по немощеным улицам старого Лондона, распространяя страшную заразу и угрожая особнякам городских буржуа. Зажиточные семьи бежали из чумной столицы в свои поместья, но часто, зараженные, умирали по пути. Стоны, заглушаемые колокольным звоном, сигнализировавшим о бедствии, стояли над Лондоном.

Наиболее опустошаемым эпидемиями местом была припортовая часть английской столицы. Трупы чумных хоронили там, где теперь находилось Сохо. Они отравили воду квартала, и улица Дин-стрит считалась убийственным местом в Лондоне.

Карл и Женни не знали этого. Они были рады дешево стоившему пристанищу и полны надежд на удачливое будущее.

Когда дети бывали здоровы, Женни оставляла их с Ленхен и шла осматривать незнакомый громадный город.

Она никогда не бывала до этого в Англии, но язык, культура, история этой страны были ей с детства близки и знакомы.

Бабушка Женни, в память которой она получила свое имя, унаследовав также ее необычайную нежную красоту и статность, была чистокровной шотландской аристократкой из рода суровых и мятежных Аргайлей. Внешнее сходство между двумя Женни поражало. Волосы шотландской красавицы были светлые и походили на омытый морской водой, пропеченный солнечными лучами песок.

Все в Лондоне интересовало Женни. Вместе с Карлом осмотрела она Британский музей, картинную галерею, парки и тоскливые верфи порта. Однажды Энгельс предложил Женни пойти в паноптикум госпожи Тюссо, знакомый ей по рассказам родных с детства. Карл присоединился к ним.

Живописец воплощает жизнь, фантазию, эпоху на полотне, скульптор подчиняет резцу камень. В конце XVIII века мадам Тюссо с упорством пчелы попыталась отлить свой век из несопротивляющегося воска. Она родилась в царствование Людовика XV. Только фарфор и раскрашенный воск могли отразить фальшивую позолоту и мишуру быта, разнообразие многоцветных костюмов, завитушки париков, жеманство вырождающейся знати.

Ловкая, едва перебивающаяся, искавшая заработка Мари Трезхольд, по мужу Тюссо, одаренная торговым нюхом, искусными руками и точным глазом копировщика, быстро разбогатела, создав первый паноптикум в Париже. Придворные дамы, скрывавшие грязь плохо мытых тел и волос под слоем пудры, наперебой заказывали ей свои восковые изображения. Богачи третьего сословия подражали им. Восковых двойников наряжали в дорогие костюмы и ставили в нишах будуаров.

Так было до 1789 года. Налетевшая революция столкнула не одну куклу монархической Франции. Хозяйка паноптикума была разорена. Тщетно отклеивала она с розовых щек кукол мушки (измышление аристократических модниц), прицепляла им трехцветные кокарды на взбитые пышно волосы и переодевала королевских дам санкюлотками. На рынках и площадях редкий гражданин заходил в передвижной балаган смотреть на запыленного, скалящего восковые зубы Вольтера и дряблощеких светских дам, с которыми неподалеку сводила окончательные счеты гильотина.

Упрятав в ящики не приносившие более прибыли куклы, мадам Тюссо искала иных средств к существованию. Она декорировала революционные празднества и на заработанные деньги неустанно скупала вещи, которые, по ее расчетам, должны были со временем дать внушительные барыши.

Востроносая прыткая женщина стала неустанным посетителем всех аукционных залов, где за гроши распродавались конфискованные, подчас редкостные вещи гильотинированных и эмигрировавших контрреволюционеров. Палач Сансон после долгого торга продал ей один из притупившихся ножей «народной бритвы». На потемневшем лезвии мадам Тюссо нашла следы крови Марии-Антуанетты, Дантона.

В дни террора складной стульчик предприимчивой гражданки стоял у подножия эшафота. Она рисовала лица смертников, делала слепки с еще не остывших отсеченных голов. Хлам тюрем и моргов наполнял каморку неприятной собирательницы исторических лохмотьев.

После термидора мадам Тюссо оказалась владелицей многих «сокровищ», быстро возраставших в цене. У нее были ключ от главных ворот снесенной Бастилии, кафтаны и парики Робеспьера, книги с пометками Сен-Жюста, рукописные декреты Конвента, посмертные маски последних революционеров — кровавые отпечатки погибшей революции.

В начале XIX века мадам Тюссо напрасно пыталась соблазнить новую знать восковыми фигурами; раскрашенные куклы казались особенно уродливыми после прекрасных творений художника Давида и гениального скульптора Канновы.

Разочарованная и обедневшая мадам покинула Францию и увезла восковой груз через Ла-Манш в невозмутимую, медлительную Англию.

Не познавшие тревог революции британцы с интересом и страхом взирали с острова, огражденного водой, на смутный континент. Полубезумный, одноглазый Нельсон сторожил их покой, беспощадно расстреливая с морских судов все, что было помечено словами: свобода, равенство, братство.

В спокойном, непребовательном Лондоне хозяйка паноптикума нашла пристанище. Созванные многообещающими афишами богатые зеваки подолгу разглядывали французскую революцию в «приготовлении мадам Тюссо»: Марата под окропавленной простыней, наряду с Жозефину Богарне за тюремной решеткой, санкюлота, подозрительно похожего на герцога Конти — первого покровителя паноптикума. Картонная гильотина с поддельным ножом и корзинкой для голов собирала толпы зрителей. Англичане, после ста с небольшим лет, прошедших со времени кровопролитной революции их предков, охотно подставляли тугие нервы под ледяной душ чужих «ужасов».

Но и кровоточащие головы постепенно приелись. Неутомимая кукольная мастерица поспешила иначе потрафить публике. Паноптикум разросся: рядом с угрюмым Наполеоном появился модный цирковой клоун. Марата

оттеснил повешенный за подложные векселя и растрату денег английского банка дедди Генри Фоунтлерой, Мадрид-Антуанетту затмила леди Гамильтон, умершая как раз в это время в одной из лондонских трущоб.

Мадам Тюссо изо всех сил старалась подменить жизнь восковой копией. Англия служила ей благородной моделью.

Но и в глубокой старости основной интерес мадам сосредоточивался на преступлениях, на невообразимых злодеяниях и криминальных драмах.

Крошечная, высушенная временем старушка — постоянный гость беспощадных английских судов, жадный коллекционер всего, что пахнет и окрашено кровью. Отравители, детоубийцы, грабители, поджигатели служили ей моделями. Она скупала истрепавшиеся веревки висельниц, всевозможные орудия убийств и пыток, черепа жертв.

Ежегодно менялись экспонаты музея. Устаревшие театральные знаменитости, жертвы сенсационной катастрофы и, наконец, свергнутые революцией или ушедшие в отставку правительства безжалостно уничтожались. Прежде чем бросить в гроб недавних кумиров, им выковыривали стеклянные глаза, выщипывали волосы, ресницы, брови. Огонь мгновенно расплавлял желтые туловища и размалеванные головы.

Умелые руки специалистов перевоплощали восковую маску. Костюмерши кое-как перешивали платья, сообразно с размерами и привычкой одеваться новых героев, в изобилии поставляемых газетной шумихой, сменой власти, успехом или трагедией.

В полутемном зале экс-министры спешно освобождали места членам нового кабинета. В особых нишах стояли восковые фигуры видных общественных деятелей Великобритании: Пальмерстона, Гладстона и любимца королевы Дизраэли.

Карл, Женни и Фридрих подошли к восковым копиям подлинных властителей империи.

Ничто, даже льстивый резец скульптора госпожи Тюссо, не смогло уничтожить выражения надменности и властолюбия в обрамленном жиденькими седыми волосами хищном лице с губами скряги лорда Пальмерстона.

— Ему уже шестьдесят шесть лет, — заметил Энгельс. — Пальмерстон учился вместе с Байроном и тоже пытался писать стихи, но они были очень плохие.

— Вот как! — удивилась Женни. — Он вовсе не похож на поэта. Скорее ростовщик по виду. Но как удалось ему приобрести столь большое влияние на ход британской политики?

— Сумма свойств. Он отнюдь не Демосфен, но саркастической злости, расчета и хитрости у него в избытке. Он коварен. В начале карьеры он, подобно Пилю и Гладстону, был фанатичный тори, но после тысяча восемьсот тридцатого года, учуяв иное направление международной политики, перешел к вигам. Это подняло его акции. Он стал заигрывать с революционерами Италии и Венгрии, любызался с Кошутом, но, бьюсь об заклад, давно уже субсидирует всех реакционеров мира. Пальмерстон беспощаден и лжив, но кого он искренне ненавидит и боится, так это Россию.

— Его циничная наглость служит ему защитой от всяких неожиданностей, — вмешался в разговор Маркс. — Он умеет казаться покровителем, тогда как на самом деле предает; умеет ублажать явного врага и доводить до отчаяния союзника; умеет в надлежащий момент оказаться на стороне сильного против слабого и обладает искусством произносить смелые слова, обращаясь в бегство. По его мнению, масса народа не должна иметь никаких прав, и телесные наказания он всегда считал абсолютно необходимым благом.

В это время слуга музея, с мягкой тряпкой и щеткой в руке, подошел к восковой кукле и, почтительно наклонившись, почистил штиблеты министра Пальмерстона. Женни, Карл и Фридрих не могли удержаться от смеха.

— А вот и сам Уильям Юарт Гладстон, шотландский буржуа, полуархиепископ, полуделец. Он еще молод, ему не более сорока. Витая на словах в небесных сферах, он на деле отличается вполне земным практицизмом, скаредностью и редкой даже для политика изворотливостью, — снова заговорил Энгельс.

Из ниши недоверчиво и настороженно смотрел в зал высокий человек в черном сюртуке. Волевая линия жестокосердных подобранных губ, надменный нос, чуть раздутые истерпеливо ноздри и так называемый «чистый» лоб под откинутыми прямыми волосами протестантского пасто-

ра были у восковой копии, как и у живого оригинала. Чуть согнутые, крепкие плечи, которые мгновенно могут выпрямиться, деспотический жест сжатой в кулак руки, как бы едва удерживаемой от того, чтобы не подкрепить резким движением слова грубой команды, и в то же время выжидательный лженокорный наклон большой головы удачно раскрывали противоречивые черты характера Гладстона.

Иначе выглядел рядом стоявший его постоянный соперник, любимец королевы Виктории — Дизраэли.

Все в этом смуглом худом человеке с насмешливыми глазами, похожем на испанского гранда, отражало откровенное, сжигающее честолюбие. Политический задор, нетерпение избалованного удачами, не знавшего преград, цинично умного Дизраэли еще больше подчеркивали скрытность, притворство, точный расчет ждущего своей минуты, готового к прыжку купеческого сына Гладстона.

Карл тщетно искал среди восковых фигур, размещенных вдоль стен наперекор историческим былям и датам, любимого своего поэта Шелли. Его не было, так же как и могучего крестьянского поэта Шотландии Бёрнса и мечтательного Китса. Но Женни увидела Шекспира. Он стоял, подняв руку в кружевных манжетах, подле хмурого Свифта.

Восковой Диккенс с нескрываемой скукой отмечал в толпе те же надоевшие, слишком знакомые лица: тощую даму с шелковой суповой миской, опрокинутой на макушку; чинного болезненного мальчика, притуленного «хорошим воспитанием»; лысого скептика; любителя виски, дымящего трубкой отставного моряка; остроголового скрягу; напыщенного ханжу; неуклюжего блеклого клерка; одинокую немолодую девушку, отдающую непочтительную нежность конкам. Дольше чем перед другими куклами простаивали зрители возле шеренги выстроенных в исторической последовательности королей и королев Британии всех династий, от норманских завоевателей до современных Виндзоров. Рядышком Елизавета и ее соперница — королева шотландская стояли друг против друга. И тут же художники представили в воске сцену казни Марии Стюарт. Палач держал в руках отсеченную голову, из которой (грубый фокус) текла красная жидкость.

Сын шотландской королевы Яков, преемник рыжей распутной «девственницы» на англо-шотландском престоле

примирил убийцу с со жертвой, похоронив их в одной могиле в Вестминстерском аббатстве. «Музей», следуя тому же правилу, смирил былую вражду «усопших душ». Поэтому дюжий Генрих VIII опять соединен был со всеми шестью своими женами, из которых трех он отправил на эшафот. Нумерованные Георги, Вильгельмы и Шарлотты завистливо поглядывали на маленькую комку Виктории, нынешнюю королеву Великобритании.

Маркс с женой и Энгельс прошли вдоль этого своеобразного воскового парада истории, обмениваясь иронических репликами и взглядами.

— Англичане весьма гордятся произведениями госпожи Тюссо. Но мне это кажется народней на подлинное искусство, – сказала Женни.

— Помесь балагана с бульварной прессой, — заметил Карл.

— Это, пожалуй, подлинное отражение испорченных вкусов и представлений процветающей империи королевы Виктории, — добавил Энгельс.

В январе 1850 года Маркс начал работать над новой книгой о классовой борьбе во Франции последних двух лет. Это должна была быть, по его замыслу, летопись революции с 1848 по 1850 год.

В тиши читальни Британского музея Карл обдумывал и готовил каждый раздел этой книги.

«Нет, — думал он, — в этих поражениях погибала не революция. Погибали пережитки дореволюционных традиций, результаты общественных отношений, не заострившихся еще до степени резких классовых противоположностей, погибали лица, иллюзии, представления, проекты, от которых революционная партия не была свободна до февральской революции, от которых ее могла освободить не *февральская победа*, а только целый ряд *поражений*».

Эту мысль Карл решил изложить как вступление к новому труду. Записав ее на бумаге, он добавил:

«Одним словом, революция шла вперед и проклады-вала себе дорогу не своими непосредственными трагикомическими завоеваниями, а, напротив, тем, что она порождала сплоченную и крепкую контрреволюцию, порождала врага, в борьбе с которым партия переворота только и вырастала в подлинно революционную партию».

В этом глубоком диалектическом выводе сказался революционный вождь, мыслитель, гигант, вызвавший на бой все злые силы мира и видевший даже в поражении верный путь к победе.

Маркс, доказывая необходимость завоевания рабочим классом политической власти, впервые употребляет классическую формулу «диктатура пролетариата» и раскрывает ее политический и экономический смысл. Говоря об отличии революционного социализма и коммунизма от мелкобуржуазных утопических теорий, обанкротившихся во время революции, Маркс писал, что научный социализм есть объявление непрерывной революции, а классовая диктатура пролетариата — необходимая переходная ступень к уничтожению классовых различий вообще.

В это же время Маркс вместе с Энгельсом выпустил несколько номеров нового журнала. К сотрудничеству в нем они привлекли своих верных сторонников — Вейдемейера, Вильгельма Вольфа и других.

На ничем не примечательной обложке «Новой Рейнской газеты. Политико-экономического обозрения» наряду с Лондоном, где жили Маркс и Энгельс, значились в качестве места издания Гамбург и Нью-Йорк. Немало немцев — участников недавней революции — эмигрировало в Америку. Издатели надеялись, что за океаном журнал найдет большой спрос. Рассчитывая на новый подъем революционного движения, Маркс и Энгельс предполагали вскоре перейти к выпуску еженедельной и даже ежедневной газеты. Как всегда, Карл находил безмерное удовлетворение в многообразной работе, которой отдавался со всей присущей ему могучей страстью. Действие, как и мышление, несло для него всегда в себе то, что зовется на земле счастьем.

Ранним апрельским утром Энгельс ворвался к Марксу необычайно возбужденный.

— Не угодно ли? — торопливо глотая слова, начал он, сняв цилиндр и протягивая Марксу газету. — Австрийская «Abendpost» напечатала-таки всю гнусную речь господина Кинкеля в суде. Отрекшись от революции, этот подлец фактически выдал палачам пролетариев, обвиняемых по одному с ним делу.

— Что ж, надо разоблачить Кинкеля, невзирая на то, что все германские сентиментальные лжецы и демократи-

ческие фразеры отчаянно завопят. Впрочем, он-то в душе будет нам только благодарен. Своим нападением мы лишь улучшим отношение к нему прусских мракобесов-реакционеров. Они убедятся еще раз в том, что он был искренен на суде, уверуют в его благонамеренность и пригодность служить в любом королевско-юнкерском департаменте, — саркастически говорил Маркс.

— Этот слабодушный актер прикидывается мягкосердечным младенцем в то время, когда двадцать шесть его товарищей тем же судом приговорены к смерти и расстреляны. Я знал этих людей. Смело и гордо пошли они на казнь. Вся защитительная речь Кинкеля — прямой донос на взятых в плен повстанцев. На нем кровь Ипсена и Бернгау, которых казнили, — горячился Фридрих.

Карл прочитал речь Кинкеля и с отвращением отбросил газету.

— Кинкель выдал военному суду свою собственную партию! — воскликнул он. — Сообщил о ее намерениях отдать Франции левый берег Рейна. Ему ли не знать, что в момент решительных схваток между революцией и контрреволюцией пролетарский боец обязательно поддержит революцию, кто бы ее ни представлял — французы, китайцы или какая-либо иная нация.

В тот же день Маркс и Энгельс написали статью для «Обозрения», назвав ее «Готфрид Кинкель».

Готфрид Кинкель, посредственный немецкий поэт, мелкобуржуазный демократ, после суда над участниками революционных боев под Раштаттом бежал из тюрьмы и поселился в Англии, где его подняли на щит как героя и мученика недруги коммунистов из немецкой эмиграции, рьяно травившие Маркса и Энгельса.

После мрачной зимы, изнуряющей туманами и дождями, в марте в Лондоне наступила весна, хрупкая, окрашенная в нежные полутона. Стало светлее и суше. Даже узкая Дин-стрит в Сохо под блеклыми сиренево-розовыми лучами солнца казалась менее убогой и безрадостной. Лепхен с детьми отправлялась в скверик, огороженный железной решеткой с низенькими, еще безлистыми деревцами и яркой, как водоросли, травой. Маленькие Женни и Лаура, в шубках, из-под которых спускались оборки теплых панталончиков, бегали по серым дорожкам, пере-

брасываясь мячом. Возле Женхен играл Эдгар, которого в семье все звали ласково Муш. Иногда мальчик поднимал свое удивительно осмысленное личико с задумчивыми не-
детскими глазами.

— Муш, лови!— крикнула шалунья Лаура и бросила мяч.

Мальчик неуверенно поднялся на ножки, протянул вверх руки. Потеряв равновесие, упал, ударившись о скамью. Скривив от боли рот, он боролся с собой, чтобы не заплакать, и пытался улыбнуться. На большом выпуклом, как у отца, красивом лбу появился синяк. Женхен достала из кармана широкой юбки медный пенс и, приложив к ушибленному месту, другой рукой принялась шлепать скамеечку.

— Зачем ты ударила Муша, гадкая такая, — приговаривала девушка, хитро сощурив глаза и поглядывая вбок на Муша.

Успокоившись, он с удовольствием смотрел на этот акт отмщения, затем сказал снисходительно:

— Не надо. Ей ведь тоже больно.

Обе сестренки весело засмеялись, и снова началась игра.

В это время Женни Маркс, побледневшая от бессонной ночи, с пятимесячным Генрихом на руках, медленно ходила из угла в угол неуютной, нищенски обставленной комнаты. Было сыро и холодно. Горящий камин давал мало тепла. Малыш был снова болен. Он отказывался от материнской груди, извивался, старался высвободить худенькие, крепко спеленатые ножки. Обессилев от крика, ребенок жалобно стонал. Капельки пота выступили на восковом личике, и такое страдание отражалось в его глазах, что у Женни подгибались ноги и останавливалось сердце. Не было в мире жертвы, которую она не принесла бы сейчас, чтобы облегчить муки этого беспомощного существа. Сознание бессилия страшнее всего.

Дверь отворилась. Встревоженный, вошел на цыпочках Карл.

— Как наш маленький заговорщик? — спросил он шепотом с таким растерянным выражением, что Женни по решилась сказать правду.

— Ему лучше. Не тревожься, — успокаивала она мужа и крепче прижимала горячее детское тельце к груди.

Карл вздохнул с облегчением.

— Чем я могу тебе помочь?—спросил он, ободренный.

— Иди, ниин спокойно. Все хорошо. Закрой только, пожалуйста, окно.

Под квартирой, где жил Маркс с семьей, находилась прачечная, и тяжелые пары от лоханей, в которых намокало в мыле белье, проникали сквозь стены, поднимались наверх и отравляли и без того тяжелый воздух.

— Я жду вечером Фреда, Виллиха, Бауэра, — сказал Карл и вернулся во вторую, такую же сумрачную и душную комнатенку, чтобы продолжать работу за столом, заваленным книгами.

Вечером Генриху стало лучше. Обессиленная Женни по настоянию мужа прилегла подле заснувших детей. Ленхен возилась по хозяйству. Из комнаты Карла доносились оживленные мужские голоса.

Обычно заседания Центрального комитета Союза коммунистов происходили либо в помещении Просветительного общества немецких рабочих в Лондоне или в кабачках, малодоступных вниманию агентов тайной полиции, но в этот раз Марке был не совсем здоров, и решено было собраться у него на квартире.

— Итак, согласно общему решению, эмиссаром Центрального комитета в Германии будет Генрих Бауэр. Что скажет по поводу этого достопочтенный джентльмен? — подражая лишенному оттенков скрипучему голосу парламентского спикера, закончил по-английски Энгельс, повернувшись к давнишнему своему соратнику.

— Поехать-то можно, но хватит ли моего разумения? — ответил смущенно Бауэр по-немецки. — Во всяком случае, я такой человек: взялся за гуж, не говори, что не дюж. Кем нужно быть для нашего дела, тем и буду. С тех пор как не стало Иосифа Молля, мне нигде не сидится, а особенно в этом киселе — Лондоне. Очень рад поехать на родину.

— Отлично. Вопрос решен, — подвел черту Виллих. — Теперь послушаем обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов. Кто из двух авторов, Маркс или Энгельс, его зачитает?

— Тише, Август, с твоим голосом, подобным иерихонской трубе, командовать только на плацу. Разбудишь детей, — попросил Карл.

— Прости, дружище. Сам не рад своей глотке, — извинился Виллих.

Энгельс подкрутил фитиль мигающей лампы, уселся поближе к столу и начал:

— «Братья!»

Стало тихо. Из соседней комнаты донесся шепот Ленхен, укладывавшей Фоксика.

— «В течение обоих революционных лет, тысяча восемьсот сорок восьмого — тысяча восемьсот сорок девятого, Союз коммунистов вдвойне выдержал испытания: во первых, тем, что его члены повсюду энергично участвовали в движении, что они и в печати, и на баррикадах, и на полях сражений стояли в первых рядах единственного решительно революционного класса, пролетариата. Союз, далее, выдержал испытание и в том смысле, что его воззрения на движение, как они были изложены в циркулярных письмах конгрессов и Центрального комитета в тысяча восемьсот сорок седьмом году и в «Коммунистическом Манифесте», оказались единственно правильными и что высказанные в этих документах ожидания вполне оправдались, а понимание современного общественного положения — пропагандировавшееся раньше Союзом только тайно, — теперь у всех на устах и публично проповедуется на площадях».

Карл, стараясь не шуметь, поднялся, вышел из комнаты и вернулся со стаканом сладкого чая, который заботливо подвинул Энгельсу.

— «Мы говорили вам, братья, уже в тысяча восемьсот сорок восьмом году,—продолжал читать Энгельс своим ровным, приятным голосом, — что немецкие либеральные буржуа скоро придут к власти и тотчас же обратят свою только что приобретенную власть против рабочих. Вы видели, как это сбылось. В самом деле, именно буржуа после мартовского движения тысяча восемьсот сорок восьмого года немедленно захватили государственную власть и тотчас использовали эту власть для того, чтобы заставить рабочих, своих союзников по борьбе, вернуться в их прежнее, угнетенное положение».

Энгельс отпил чаю и снова наклонился к столу. Он читал медленно, четко, изредка поднимая глаза на слушателей. Маркс то вставал, то садился. Он заметно нервничал. Бауэр, положив на большие колени натруженные рабочие руки с короткими пальцами, казался очень довольным.

— Все было предсказано так, точно в воду глядели, — не выдержал он.

— «И роль, которую немецкие либеральные буржуа в тысяча восемьсот сорок восьмом году сыграли по отношению к народу, в предстоящей революции эту столь предательскую роль возьмут на себя демократические мелкие буржуа...»

— Святая правда, — снова не выдержал Генрих Бауэр.

— «Мелкобуржуазно-демократическая партия в Германии очень сильна. Она охватывает не только значительное большинство бюргерского населения городов, мелкого торгово-промышленного люда и ремесленных мастеров, за ней идут крестьяне и сельский пролетариат, пока он еще не нашел опоры в самостоятельном пролетариате городов...

Далекие от мысли произвести переворот во всем обществе в интересах революционных пролетариев, демократические мелкие буржуа стремятся к такому изменению общественных порядков, которое сделало бы для них по возможности более сносным и удобным существующее общество».

Виллих подошел сзади к Энгельсу.

— Но где же главные задачи Союза? — нетерпеливо и резко спросил он.

Фридрих недоуменно поднял голову.

— Терпение, старина, — ответил он сухо.

Прочитав больной абзац о вреде объединения с мелкобуржуазными демократами, он повысил голос, окинул всех, и особенно Виллиха, строгим взглядом и продолжал:

— «...наши задачи заключаются в том, чтобы сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоюет государственной власти...»

Энгельс читал все громче, подчеркивая слова и делая внушительные паузы:

— «Вместо того, чтобы еще раз опуститься до роли хора, одобрительно рукоплещущего буржуазным демократам, рабочие и прежде всего Союз должны добиваться того, чтобы наряду с официальными демократами создать самостоятельную тайную и открытую организацию рабочей партии и превратить каждую свою общину в центр и ядро рабочих союзов, в которых позиция и интересы пролетариата могли бы обсуждаться независимо от буржуазных влияний».

— Вот это по мне, — возбужденно заявил Виллих. Его удлиненное лицо с маленькими хитрыми глазками, окаймленное большой бородой, покраснело от возбуждения.

В соседней комнате было совершенно тихо. Спали жены и дети. Карл облегченно откинулся на спинку кресла и закурил. Чтение документа подходило к концу:

— «Если немецкие рабочие и не смогут достигнуть господства и осуществления своих классовых интересов, не пройдя полностью более длительного пути революционного развития, то на этот раз у них есть, по крайней мере, уверенность, что первый акт этой приближающейся революционной драмы совпадет с прямой победой их собственного класса во Франции и тем самым будет сильно ускорен.

Но для своей конечной победы они сами больше всего сделают тем, что уяснят себе свои классовые интересы, займут как можно скорее свою самостоятельную партийную позицию».

Когда Виллих и Бауэр ушли, Фридрих, оставшись наедине с Карлом, сказал:

— Приехал Бартелеми. Бежал до суда из тюрьмы Бель-Иль-ан-Мер. Он находился в камере рядом с Бланки.

— Бартелеми? Что же, этот мрачный парень снова бредит террором? Боюсь, если он не образумится, то бессмысленно сложит голову на плахе.

— Да, пожалуй. Бартелеми уже отсидел десять лет за никому не нужное убийство полицейского. Жаль, что у бланкистов он усвоил только их ошибки. Однако, как покавали июньские дни, он превосходный, испытанный баррикадный боец.

— Скорее заговорщик по профессии. В организованном им «Клубе баррикад двадцать четвертого февраля» этот парень показал полное невежество в какой бы то ни было теории и опасную путаницу в понимании революционного движения. Он легко может стать орудием любой провокации. Тем не менее он, видимо, честен в своих заблуждениях и отчаянно смел. Надо попытаться вернуть ему голову.

Пока Маркс и Энгельс говорили о Бартелеми, сам он находился неподалеку от лондонского порта в кабачке Джонатана Брауна.

Неизвестно откуда пришел в английскую столицу батчик. Он переменил немало разных профессий, прежде

чем осуществил свою мечту — основал большой кабак в лондонских доках.

Лицо Джо Брауна перекроили неисчислимые драки, запойное пьянство, наркотики, морские ветры и корабельные крушения. Каждая из десятков стран, мимо которых проходят английские корабли, поместила его. Он привез в лондонские доки низкий раболенный поклон содержателя опиекурилен Гонконга, прищуренный, настороженный взгляд японцев, изощренную ругань английских чиновников в Бомбее. На лице кабатчика, огромном и рыхлом как разваренная свекла, торчал отталкивающий нос со сломанной переносицей, свисающий продолговатым комком мяса и кожи к развороченному отвратительному р

В пивной Джонатана Брауна было всегда людно. Бо работный грузчик огромными руками, привыкшими удерживать многопудовые тюки колониальных товаров, осторожно подносил ко рту маленькую кружку пива, купленную на последний пенс. Его жена, с лицом узким и желтым, как подгнивший банан, жадно следила за его движениями в надежде, что и ей останется немного. Матросы, только что покинувшие пароходы, пришедшие из Норвегии и Китая, грубо прижимали к себе золотушных накрашенных девиц и угощали их виски. Табачный дым заволакивал пивную, скрывал деревянный потолок и стены.

Прорезая голоса, топот ног и смех, в кабак ворвался протяжный детский плач. Неровным шагом, стараясь не расплескать питье, мать шла на зов ребенка, оставленного в рваной соломенной коляске под окном дома. Вперемешку с пьяными ласками пошла она продрогшее дитя черным острым элем.

Рядом с пивной у Джо Брауна имелись еще две комнаты. Одной он особенно гордился. В огромном стеклянном шкафу находились заспиртованные остатки пестрых ядовитых змей, скорпионов, пауков, тарантулов, которые могли бы украсить не один балаган на базарах английской провинции. Напоминая о беспредельных просторах сухих американских прерий, смотанные лассо лежали возле почерневшего человеческого черепа и чучел редкостных тропических птиц.

Девушки ист-эндских доков, рожденные в семьях докеров и грузчиков, с детства познавшие только лишения, попадали в руки разных Джонатанов Браунов и ста-

вовались их агентами по заманиванию клиентов.

С утра сотни проституток ждали прилива Темзы — в часы солнечного заката обычно прибывали в доки корабли. Трепетно, будто заждавшиеся жены моряков, прислушивались они к сиренам с моря, волнуясь, читали на черных заборах дока бюллетени об ожидаемых судах, высеживали в дождь и ветер матросов у порта.

Обреченным созданиям в дешевеньких платьях ярких расцветок, скрывающим под пудрой больные, несвежие лица, обязан был Джо Браун своими сокровищами. На столах, полках, в витринах находились разноликие будды, неуклюжие языческие божки, многоцветные вазы, слоновые клыки, укутанные в кружево резьбы статуэтки белой, желтой, черной рас. Каждая вещь имела свою историю, одинаково запутанную. За бутылку виски или пива под залог в несколько шиллингов попали к Джо Брауну эти, иногда художественные, иногда грубо подделыные, предметы.

Хитро улыбающегося деревянного Будду спас из разрушенного канонадой тысячелетнего деревенского храма и отдал Джо Брауну за две кружки пива моряк.

Голую размалеванную танцовщицу — типичный рекламный товар парижских кафешантанов — хозяин пивной выиграл в карты у угрюмого пароходного повара, прибывшего в Лондон из Марселя. Из оттопыренного кармана кабатчика всегда вылезала колода грязных карт. Джо был азартный картежник.

Но как попала к Джо грациозная полная венецианская люстра, каменный многовековой идол с Огненной Земли, старинная ваза, увитая фарфоровыми хризантемами, с острова Формоза? Об этом хозяин пивной предпочитал не говорить.

За «музеем» Джонатана Брауна находилась полутемная комната-чулан. Там-то и собрал Бартелеми своих единомышленников — несколько французских и немецких эмигрантов. Он рассказывал им о своем смелом побеге и дальнейших планах.

У Бартелеми были звучный проникновенный голос и манеры светского человека, умеющего держать себя с достоинством в любом обществе. Односторонняя логика, упорство фанатика не могли не действовать на слушателей. Этот человек был сосем лишен гибкого мыш-

ления, но какая-то одержимость одной целью гипнотически заражала слабых. Спорить с ним было почти невозможно. Лицо синеватого оттенка, густые брови и ирреальные глаза с желтыми белками, вспыхивавшие недобрым блеском, — все это производило тяжелое впечатление.

— Мы должны сделать все, чтобы революция не была снова украдена из наших рук. Враг среди нас, в нашей семье. Тем легче его обезглавить. Его надо искать повсюду — за прилавком, за конторкой. Он прикидывается другом. Будем бить друзей насмерть, если они подозрительны. Самый страшный враг — это тот, кто маскируется другом и бродит среди нас. Не верьте никому, никогда. Я клянусь вот этими, уже не раз нанесшими смертельные удары по врагам, руками уничтожить диктатора буржуазии, предателя из предателей, одного из тех, кто объявлял себя другом нашим, — Ледрю-Роллена.

Кабатчик Джонатан Браун стоял у двери с видом опытного заговорщика. Слушатели сидели, завороженные мелодическим роковым голосом, страстностью и магнетической безумной силой этого странного человека.

— Всегда ли ты был таким неукротимым? — спросил молодой светлоглазый добродушный механик, работавший с Бартелеми до июня на одном заводе.

— Я был кротким щенком, как ты, пока, после участия в мятеже при Луи-Филиппе, жандарм, ударив меня, закованного, по лицу, не пробудил во мне — рабе — человека. Я убил его спустя три дня.

— Он пробудил в тебе тигра, — сказал кто-то.

— С врагами надо действовать их методами, — вмешался Бартелеми.

— Что ты намерен делать теперь?

— Попытаться освободить Бланки и других братьев из тюрьмы Бель-Иль и затем убивать тиранов и предателей. Первый в списке моей души — Ледрю-Роллен. Мы должны организовать тайное общество, найти верных людей. Без заговора нет революции. А теперь, братья, воздадим должное нашему усталому телу.

Кабатчик принес вино, и все собравшиеся по без удовольствия распили его.

— Смерть предателям и тиранам! — провозгласил Бартелеми.

В полночь все поднялись.

— Ты, Эммануэль, переночуешь здесь. Моя жена и дочь уже готовят тебе постель, — сказал Джонатан Браун, скривив лицо, что означало у него улыбку. Жена кабатчика — пухлая сводня — и хорошенькая дочь Нелси, которой Бартелеми понравился с первого взгляда, старательно разложили на нескольких лицах тюфяк и подушки.

Эммануэль почувствовал неудержимое желание пригрозить Нелси к новому заговору. Он начал с того, что крепко поцеловал ее в щеку. Нелси вспылила, но Эммануэль умел быть нежным и быстро получил прощение.

— Быть может, завтра я буду болтаться в петле виселицы, — говорил он. — Моя жизнь — вспышка пороха. Пусть же хоть мгновение да будет мое.

— Как можешь ты жить в непрерывной опасности? — спрашивала дочь кабатчика.

Из пивной все еще доносились топот танцующих, пиликанье скрипки и пьяные голоса.

— Опасности и составляют самую прелесть жизни заговорщика. На каждом шагу полиция ставит нам западню, мы не выходим из тюрем или каторги. Там, а не здесь проходит наша жизнь, там наш родной дом. Может быть, завтра я буду снова на баррикаде и где-то уже лежит пуля, которая прекратит биение моего сердца. Я хочу насладиться настоящим, — нашептывал Бартелеми, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Слова твои жгут, но сердце остается холодным, — сказала Нелси, вдруг поняв душу этого человека.

Он внимательно, даже подозрительно заглянул в ее глаза, чистые и добрые.

— Ты точно кувшинка, выросшая на этом кабацком болоте, — сказал он раздумчиво, — умная кувшинка. Ты права, сердце мое холодно. Я очень устал, но и это тоже только миг. Привычка играть жизнью, точно бильярдным шаром, притупила во мне страсти, хотя этого никто не видит. Я равнодушен даже к свободе, иначе как мог бы снова рисковать тем, что попаду в тюрьму. Я безразличен к жизни, иначе не мог бы убивать во имя революции и быть готовым к казни. Если бы я мог уничтожить всех наших врагов, всех тиранов, я, быть может, опять стал бы веселым и простым парнем.

— У тебя больная душа, — жалостливо сказала Нелси и погладила его пышные волосы.

Вскоре после приезда в Англию Бартелеми встретился с Марксом и Энгельсом.

— Я знаю вперед все, что вы оба мне скажете, — начал Бартелеми раздраженно. — Но мы никогда, как это ни жаль, не поймем, видимо, друг друга. Напрасный труд уговаривать меня. Мы с вами люди одной идеи, но разных методов ее осуществления.

Саркастические линии в уголках губ Маркса, четко обозначившиеся за последние годы, стали резче. Он слегка улыбнулся.

— Вам, Бартелеми, всегда были нужны революционные приключения, экспромты. Вы хотите жить и бороться вне времени и пространства, без необходимых исторических и экономических условий. Вы неизбежно обанкротитесь. Нельзя пренебрегать всем тем, что определяет исход борьбы и победу.

— Победу, — сказал Бартелеми, — определяют порой вовремя взорвавшаяся бомба, пуля, пробившая насмерть преступную голову.

Карл грузно подался вперед и облокотился на стол руками, пристально глядя в черные глаза говорившего.

— Феодализм и нынешний буржуазный строй — это тысячеглавые гидры, — произнес он сурово. — Уничтожьте одну голову, взамен тотчас же вырастут тысячи новых. Нужно быть умалишенным или одержимым, чтобы отрицать законы, движущие обществом. Вы чудовищно заблуждаетесь и тем вредите революции. Как средневековые алхимики, вы отрицаете теорию и обрекаете себя на бессмысленную гибель. Ваши заговоры, адские машины, пистолеты — это роковое недомыслие.

— Если идти за вами, то никогда не дойдешь до победной революции, — огрызнулся Бартелеми.

— Других дорог нет. Не мы их выдумали. Вы не остановите течения событий, — вмешался в разговор Энгельс. Его, как и Маркса, начало раздражать тупое упорство собеседника. — Вы много старше нас, Эммануэль, и петушиный задор вам не к лицу. Обуздайте свой опасный темперамент и примитесь за организацию революционных рабочих.

— Занимайтесь этим вы, мое дело повернуть течение истории так, как это нужно нам.

— Напрасные старания, история не рычаг, которым вы, механики, управляете в сопряжении. Она отбросит

и раздавит нас без пощады, — сказал Маркс. Чувство досады и острого раздражения против казавшегося ему неумным пожилого человека улеглось, сменившись чем-то похожим на сострадание.

— Вы все еще живете у Джонатана Брауна в его кабаке? — спросил Фридрих.

— Зря вы не доверяете этому почтенному человеку.

— Боюсь, что и в этом выборе вас ждут только одни разочарования, — усмехнулся Фридрих.

— Ерунда! — вспылил Бартелеми. — Вместе с Джонатаном прощупываем настроения рабочих, отыскиваем нужных людей, вербуем их для работы. Кабак — отличное место для секретных свиданий. Нас никто не выследит.

— В этих мерзких притонах члены ваших групп приобретают, очевидно, навыки не столько революционеров, сколько забулдыг, прожигателей жизни. Как же это увязать? — спросил Маркс и обменялся с Энгельсом взглядом.

— Зато мы одурачиваем шпионов прусского и здешнего правительства, которыми кишмя кишит Лондон, — упорно настаивал на своем Бартелеми.

До позднего вечера то затихал, то разгорался спор Маркса и Энгельса с нетерпимым проповедником терроризма. Было совсем уже темно, когда все трое вышли на улицу и тотчас же за ними увязалось несколько шпиков. Завидев плотного, широкоплечего Маркса, по-военному прямого Энгельса, долговязого Бартелеми, они устремились за ними, словно рыбы-прилипалы, шныряющие подле могучих обитателей океана.

— Бартелеми, как я и думал, Фрейер, — сказал Карл жестко, когда остался наедине с Фридрихом. Слово «фрейер» было одним из самых уничтожающих в его лексиконе. С людьми, которых Маркс считал краснобаями, он не хотел иметь никакого дела.

В омнибусе, кафе, читальне Карл уже много раз замечал пухленького господина с плоским бледным лицом, покрытым веснушками. Запомнилась не только его физиономия и крапинки, но и редкие, обтягивающий большой живот, и маленькая рыжая шляпа пирожком.

У Энгельса был также свой «хвост», как Виллих называл полицейских шпиков. И Маркс и Энгельс относились к полицейскому наблюдению с ироническим спокойствием. Иногда, пока Маркс и Энгельс работали вдвоем, оба

сыщика жаловались друг другу на неудобство своей профессии.

— Не знаю, — говорил кругленький веснушчатый шпик, — зачем только тратит правительство деньги на этого немца.

— У полиции бывают свои причуды или очень секретные соображения.

— Я под видом агента одной фирмы был в квартире Маркса, — продолжал веснушчатый. — Это совсем бедные люди. У них одна комната и чулан, который служит также спальней. Детвора не выглядит здоровой. Говоря честно, мой дом во много раз лучше.

— Ты хотел бы следить за каким-нибудь лордом или банкиром?

— Не в этом дело, но мой объект торчит иногда целый день в читальне. Можно разориться на том количестве бумаги, которую он исписывает.

— Что же ты делаешь, пока он набивает себе голову всякими науками?

— Вот в этом-то и дело. Мне приходится читать из-за него все газеты нашей империи. От этого болит голова. Только так и спасаюсь от сонливости.

— А я вот читаю, наоборот, чтобы спать. «Таймс» на меня действует очень быстро. В нашей профессии лучше выпить вовремя кружку эля.

Пока полицейские шпики изо дня в день делились своими невзгодами, Карл и Фридрих просматривали материалы для «Обозрения». Маркс заканчивал книгу о классовой борьбе во Франции. Энгельс работал над историей Крестьянской войны в Германии, он анализировал причины, ход и итоги великого антифеодального восстания крестьянства в 1525 году. Несмотря на то что Фридрих мастерски воскрешал далекое прошлое своей родины, в книге его звучали громовые раскаты современности.

Энгельс объяснил значение крестьянства в классовой борьбе. Он доказал необходимость для революционного пролетариата добиваться руководства крестьянством. Причины поражения крестьянского восстания в Германии в 1525 году крылись, по его мнению, в предательстве бюргеров — предшественников современной буржуазии — и в политической раздробленности страны.

Воскрешая могучие характеры бойцов Великой крестьянской войны, Энгельс писал о том времени, когда

Германия породила выдающиеся личности, равные лучшим революционным деятелям истории всех веков.

Немецкий народ проявил в ту войну стойкость и выдержку, развил великую энергию. У немецких крестьян и плебеев зародились тогда идеи, которые приводят и поныне в содрогание потомков бюргеров. На образах людей того времени и выводах о классовой борьбе XVI века Энгельс показал сущность революционных боев 1848 и 1849 годов.

Хэмптон-корт, расположенный неподалеку от Лондона, считается одним из живописнейших мест Англии. Негустые леса и луга примыкают к запущенному строгому парку угрюмого замка Генриха VIII, этого неукротимого, норочного человека и дальновидного политика, расцветившего историю Англии буйными празднествами, турнирами, религиозными и феодальными распрями, личными преступлениями и государственными завоеваниями.

Леса и холмы, просторы полей в Хэмптон-корте напоминали немцам-изгнанникам их родину. Может, именно поэтому Просветительное общество немецких рабочих часто избирало этот красивый уголок местом пикников.

Рано утром одного из летних воскресных дней 1850 года Ленхен разбудила Карла, Женни и девочек, чтобы отправить их поскорее на загородную прогулку. Долго разглаживала она накануне вечером ленты для кос и светлые платья. Сборы были короткими. Еще раз зорким оком оглядела Ленхен маленьких Женнихен и Лауру, поправила банты в их пышных, вьющихся волосах, распрямила умелыми пальцами оборки на платьицах.

— Наши девочки и их мама обязательно затмят всех красотой на празднике, — пророчески изрекла она и затем, что-то вспомнив, стремглав бросилась к ящику комода и осторожно извлекла оттуда четыре накрахмаленных носовых платка.

— Карл, не забудь, что билеты на дорогу лежат в правом кармане твоего сюртука, туда же ты положил и кошелек. Ох уж эта рассеянность ученых людей! — приговаривала она.

— Не рассеянность, а поглощенность более важным делом, — улыбнулась Женни.

— Нечего защищать мужа. Вот когда вас всех, как безбилетных, высадит в поле, тогда и объясняйте кондуктору. Носовые платки я дала всем. Пожалуйста, не теряйте их, — тем же наставительным тоном добавила Лекхен и заботливо еще раз оглядела Карла, Женни и детей.

Был на редкость теплый, яркий день, и праздник, сопровождавшийся песнями, музыкой, играми и танцами на поляне Хэмптон-корта, удался на славу.

Вильгельм Либкнехт, недавно приехавший из Швейцарии, где напоследок просидел несколько месяцев в тюрьме, чувствовал себя как дома среди этих мало знакомых ему людей.

Здесь, на солнечной поляне Хэмптон-корта, среди праздничио настроенных соотечественников отчетливо выявлялись обаяние, простота и вместе какая-то особенность Карла.

Есть люди, перед которыми нельзя не подтянуться духовно, не собрать волю и мысль, не сделаться чище и правдивее. Таким был Маркс. В его присутствии беседа становилась содержательнее, мысли окрылялись и очищались души.

Либкнехту казалось, что он не только по рассказам Энгельса и по сочинениям, но и лично давно знал Карла, хотя видел его впервые. Он заранее мысленно создал себе его живой образ. Обычно человек редко соответствует тому идеалу, который сложился в воображении другого. Маркс оказался еще более могучим, излучающим ум, веселье, волю, нежели о нем думал молодой и несколько восторженный Либкнехт.

«У него голова и могучая грива волос мифического небожителя. Какая бездна юмора и проницательности в каждом его слове», — думал Вильгельм, прислушиваясь к беседе, которую вел Маркс, шуткам и раскатистому, заражающему смеху.

«Отец Маркс», как его звали члены Просветительного общества, рассказывал с необычайным воодушевлением, что несколько дней назад осматривал на Риджент-стрит модель электрической машины, везущей железнодорожный состав.

— Я увидел в витрине, как проворный электрический локомотив тянет множество маленьких вагонов. Бездымно, бесшумно несся вперед этот великий вестник буду-

него. Отныне задача разрешена, но последствия открытия еще не поддаются учету. Технический прогресс поведет в дальнейшем к экономической революции, которая неизбежно окончится политической.

Царствование пара, перевернувшего мир в прошлом столетии, по мнению Карла, окончилось; его заменит неизмеримо более революционная сила - электрическая искра.

Речь зашла о естествознании, о достижениях в других науках. Маркс принялся высмеивать тупоумие европейских реакционеров, воображающих себя победителями.

— Нет, — говорил он, — революция не задушена насмерть, она воспрянет и победит. Наука, в частности естествознание, электрическая энергия исподволь готовят новый взрыв против мракобесов и реакционеров.

— Мне тоже казалось, когда я смотрел через стекло на модель электрического локомотива, что он похож на коня, который принес гибель священной Трое, — сказал Либкнехт и подошел к Марксу с робостью, которую всегда вызывает сознание, что перед тобой нечто выдающееся, значительно превосходящее обычные нормы. Он почувствовал неуверенность ученика перед учителем и заметно смутился.

У Маркса был проникновенный, глубокий взор; он имел обыкновение смотреть прямо, неотрывно, как бы разгадывая и проверяя внутренний мир собеседника. Либкнехт легко выдержал это безмолвное испытание. Между ними завязалась оживленная дружеская беседа. Вильгельм говорил по-немецки с резко выраженным верхнегессенским акцентом, и Карл стал, подшучивая, поправлять его.

Отыскав глазами среди играющих в жмурки у опушки леса Женни и детей, он направился туда и познакомил Либкнехта с ними. Обе маленькие девочки вскоре приняли бегать наперегонки и играть в прятки с новым знакомым.

В пять часов все участники пикника уселись на траве пить чай и закусывать бутербродами.

Ничто: ни смычок великого Паганини, ни парламентские расшаркивания, ни известие о начавшейся где-либо войне — не мешало жителям острова ровно в пять пить обязательно чай. В эти часы пустели концертные залы, палата

общин, редакции газет, редела толпа на улицах и площадях. Этот обычай переняли и немецкие изгнанники. И на лугу Хэмптон-корта чай и сандвичи казались особенно вкусными.

Маркс не допускал празднословия и пересудов. Он и в беседе всегда преследовал определенную цель: либо давать — и тогда он становился преподавателем, советчиком, либо брать — тогда он сам охотно выспрашивал и слушал того, с кем говорил. Либкнехт сразу ощутил эту особенность и понял, что встреча с Марксом обогащает его.

Карл любил людей и не уставал всматриваться, искать в них хорошее, самобытное, значительное.

— Вы, кажется, филолог? — поинтересовался он, когда Либкнехт окончил рассказ о своих злоключениях после Бадэнского восстания и о том, как с проходным свидетельством пробрался из заключения через Францию в Лондон. — Я тоже очень увлекаюсь языкознанием, — продолжал Карл. — И, представьте, старые языки интересуют меня не меньше новых. Кстати, знаете ли вы испанский?

Вильгельм не изучал этого языка.

— Жаль, знать его филологу обязательно нужно. Это ведь язык Сервантеса, Лопе де Вега, Кальдерона. Я помогу вам, приходите ко мне. Захватите дитцевскую сравнительную грамматику романских языков и повторите основы и структуры слов.

На другой же день Либкнехт, живший неподалеку — на Черч-стрит, пришел к Марксу и стал с тех пор бывать у него почти ежедневно.

Он принес грамматику и с помощью Карла принялся изучать испанский язык. Каждый день Маркс проверял его и требовал прочесть новые отрывки из «Дон-Кихота».

Всегда порывистый, легко вспыхивающий Маркс был чрезвычайно выдержан, терпелив и спокоен, когда становился преподавателем, чем крайне удивил Либкнехта. Великолепная память, необозримая начитанность и внутренняя цельность познаний Маркса не могли не поражать всякого, кому он хотел помочь и с кем делился сокровищами, которые вмещал его необычайный мозг. Он допытывался, по-новому видел, понимал и заставлял служить себе и тем самым людям прошлое и настоящее.

Зайдя однажды на Дин-стрит, Либкнехт услышал, что в этот день к Марксу явился Луи Блан. Женни, смеясь, рассказывала обо всех подробностях этого визита.

Дверь Блану открыла Ленхен и была чрезвычайно удивлена. Перед ней стоял франтоватый человечек, ростом не выше восьмилетнего ребенка, в высоченном блестящем цилиндре и обуви на таких высоких каблуках, каких не надевала ни одна модница.

— Доложите обо мне, — сказал он важно, с неохотой снимая головной убор, делавший его на вид более высоким.

— Итак, сам «великий» историк и политик, крошечный Луи Блан, которого за женственное личико Карл зовет Белой Лилией, пожаловал к нам. Ленхен ввела его в наши апартаменты, — рассказывала Женни, обводя рукой маленькую квартирку, первая комната которой служила приемной, рабочим кабинетом, гостиной, столовой и спальней, а вторая — кухней и детской. — Оставшись один, Луи Блан отыскал в углу наше маленькое плохонькое зеркало и подскочил к нему. В полуоткрытую дверь я увидела презабавную сцену. Господин Блан начал прихорашиваться, любуясь собой, принимал разные позы, проверял в зеркале жесты, стараясь придать себе наиболее внушительный вид. Карл и я едва удержались от смеха, сделавшись невольными свидетелями столь необычного спектакля.

— Да, мне пришлось капнуть, чтобы этот актеришка перестал наконец кривляться у зеркала, — добавил Маркс. — Надо было видеть, с какой грацией, достойной разве что герцога Сен-Симона, представляющегося Людовику Четырнадцатому, склонился этот шут перед Женни. Однако я дал ему понять, что поза и фиглярство мне кажутся отвратительными, и Луи Блан вынужден был заговорить естественным, достойным тоном.

Маркс был хорошо известен среди эмигрантов Лондона, и Луи Блан рассчитывал свести с ним близкое знакомство. Он надеялся произвести благоприятное впечатление своими многосторонними познаниями, красноречием. Но Маркс слишком хорошо знал этого вертлявого, честолюбивого, непоследовательного в политике человека, принесшего немалый вред революции. Луи Блан быстро понял, что не найдет в Марксе союзника. Больше они уже не встречались.

Вскоре Либкнехт начал посещать курс лекций по политической экономии, которые читал Маркс, разлагая в основных чертах цельную, совершенно новую систему.

Либкнехта все глубоко поражало в Марксе: манера необыкновенно ясно говорить, умение заинтересовать и дойсти до рабочего столь трудные понятия.

«Ясность языка, — думал Вильгельм, — конечно, результат ясного мышления, а ясная мысль неизбежно облекается ясную форму».

Во время лекций Маркс пользовался грифельной доской, на которой писал мелом формулы. Точно так же делал он и в Брюсселе, когда впервые начал преподавать в рабочем обществе политическую экономию. В конце занятий он обычно задавал вопросы, чтобы проверить не только слушателей, но и себя, а также выяснить трудности в изложении, которые остались непонятными. Он был врожденным педагогом и умел говорить языком, доступным любой аудитории, какой бы она ни была по уровню знаний и подготовленности.

Иногда после лекций на Грейт-Уиндмилл-стрит Маркс и Либкнехт отправлялись на Ратбонскую площадь. Там в одном из старых домов находились тир и зал для фехтования, снятые в аренду французскими эмигрантами. Обычно они встречали тут Бартелеми. Этот маниакальный террорист, не довольствуясь тем, что был отличным фехтовальщиком, подолгу упражнялся в стрельбе из пистолета.

— Когда-нибудь, - говорил Бартелеми, сумрачно сдвинув густые темные брови, — я пробью одну за другой головы всех тиранов и предателей, вроде Ледрю-Роллена.

— Бессмыслица, — раздражался Маркс. — Этот безумец дойдет до виселицы, воображая, что приносит себя в жертву революции. Какая ограниченность мышления! — Карл, досадливо тряхнув головой, шел из тира в фехтовальный зал.

С середины XIX века в Англии стало модным брить начисто лицо. Но все без исключения французы сохраняли если не бороды, то усы, которым придавали разнообразную форму: от густых щеток до тонких, фатовато закрученных вверх стрелок. В обтягивающих костюмах и масках они выглядели очень эффектно и ловко орудовали рапирой, шпагой или эспадроном.

Со времени счастливых дней в благословенном Бонне Карл увлекался фехтованием и метко наносил

удары противнику. Много раз в университетские годы участвовал он в лихих студенческих турнирах и всегда охотно выходил на поединок. Карл знал толк в отточенной шпаге и считал фехтование демонстрацией силы, ловкости и отваги.

После долгого перерыва он сначала чувствовал себя не совсем уверенным, состязаясь с французами, тем более что вначале не знал их приемов. Но, скоро освоясь, получал преимущество благодаря стремительной атаке и редкой находчивости. Карл припомнил приемы знаменитого в Бонне фехтовальщика Медведя и, подражая ему, ловко отступал, заманивая противника, и с удивительной для его комплекции и возраста легкостью носился по залу, пока не добивался победы в горячей схватке.

Вильгельм, который был значительно моложе Маркса, фехтовал тоже хорошо, но уступал ему в мастерстве и часто после долгого состязания бывал вынужден сдаться, не выдерживая неукротимого натиска.

Утомленные, возбужденные, в отличном настроении покидали они Ратбонскую площадь и выходили на расположенную рядом чинную Оксфорд-стрит.

Однажды вечером, ввиду редкой в Англии прекрасной погоды, Либкнехт уговорил Маркса взобраться на открытый империал омнибуса и прокатиться в сторону живописного зеленого Хэмпстед-хис, чтобы подышать немного свежим вечерним воздухом. На одной из остановок около пивной столпились люди, и чей-то женский голос отчаянно вопил: «Помогите, убивают!»

Мгновенно Карл, а за ним и Вильгельм спрыгнули с омнибуса на мостовую и очутились в самой гуще народа. Какая-то пьяная женщина, визжа, отбивалась от мужа, который, не жалея тумаков, тащил ее прочь. Мужья, избивающие жен, были в Лондоне не в диковинку и всегда вызывали ярость Маркса. Услыхав женские вопли, он бросился вперед, желая защитить жертву. Либкнехт последовал за ним. Но пьяная женщина тотчас же встала на защиту своего супруга и, подняв кулаки, перешла в наступление, тесня своих защитников, которым пришлось ретироваться.

— Это могло кончиться хуже. Вот уж поистине, где двое дерутся, третий не суйся. Но, признаюсь, мужа, бьющего жену, я и впредь готов буду побить до полусмерти, — сказал, смеясь, Маркс.

— Да, но мы могли дорого заплатить за филантропическую попытку вмешательства. Ваш порывистый характер порой бывает опасен, — заметил Либкнехт.

Недолго длилась относительно беспечная пора в жизни Маркса. Есть странная закономерность в нашествии бедствий, когда для них открылись двери дома. Как змея перед холодом, ползут они полчищами. С нищеты начинаются болезни, смерть, мелкие дрязги, отравляющие душу, обнажается сущность людей, разрушаются иллюзии. Первыми жертвами бедности становятся самые слабые.

Нищета изнуряет мужчину, калечит женщину, убивает детей.

Женни металась, видя, как хиреет Муш, гибнет маленький Генрих, часто хворает Карл.

Каждую неделю домохозяйка приносила ей счет за квартиру. Одна комнатка и каморка, какой, по сути, была вторая, стоили таких денег, за которые в Трире можно было снимать огромный дом. Цены в столице королевы Виктории были невероятно высокие. Забота о хлебе насущном для шести человек мучила Карла и Женни своей трагической неразрешимостью. Пришлось просить Иосифа Вейдемейера продать последние ценности семьи — фамильное серебро, заложенное во Франкфурте-на-Майне. Так как не было денег для выкупа его из ломбарда, Карл предложил занять их с немедленной отдачей после продажи.

Все свои деньги Маркс израсходовал на нужды революции и остался к этому времени нищим. Энгельс не имел возможности помогать ему, так как сам нуждался. С отцом своим, текстильным фабрикантом, он был тогда в ссоре и поэтому не переезжал в Манчестер, ожидая, чтобы старик сам попросил его поступить на службу в свою контору.

Маркс заканчивал трудно дававшееся ему письмо к Вейдемейеру, когда в комнату ворвались с веселым смехом две девочки и тотчас же взобрались на колени отца. Ни лондонские туманы, ни мрачная Дин-стрит не были в состоянии стереть румянец и ослабить блеск глаз этих здоровых, жизнерадостных малюток. Они потребовали сказок, и Карл, чья воля в каждом деле поражала его друзей

я врагов, покорно подчинился их требованиям. Не задумываясь, он принялся рассказывать о девочках, которые не слушались старших, чуть не попали из-за этого под омнибус, заболели, выпив воды без спросу из бочки в сквере, и в конце концов в наказание очутились у злого волшебника.

— Продолжение завтра, — сказал Карл и осторожно опустил Женнихен и Лауру на пол.

Девочки, все еще находившиеся во власти сказки, не решились спорить.

Хитро улыбнувшись, Карл сказал:

— Вы ведь не хотите попасть в мешок скверного колдуна?

Они действительно этого боялись. Затем он вернулся к письму, в котором попросил Вейдемейера продать все серебро, но сохранить маленькие нож, вилку, кубок и тарелочку, подаренные шестилетней Женнихен.

В эти гнетущие дни Карл совместно с Фридрихом работал с удвоенной энергией. Они писали рецензии на новые книги. Издания обоих интересовал Томас Карлейль. Он был единственным английским писателем, на которого оказала значительное влияние немецкая литература.

— Что ж, — заметил Карл, — мы хотя бы в порядке вежливости должны обратить внимание на его памфлеты.

Томас Карлейль после февральской революции во Франции стал ярым ее врагом. Он попытался утвердить культ отдельных героев, противопоставляя их народу. С презрительным пренебрежением отрицал он роль массы. Эти-то высказывания Карлейля заставили Маркса и Энгельса вооружиться пером для смелой и резкой отповеди.

Мелкобуржуазные демократы, их историки и литераторы придавали чрезмерное значение роли отдельной личности. Гай Юлий Цезарь и Наполеон, римские папы и всевозможные законодатели заслоняли для них истинного творца человеческой истории — народ. Преклонение перед отдельными лицами было свойственно и некоторым приверженцам Вейтлинга.

Карл и Фридрих понимали, какая опасность таится в этом противопоставлении отдельной личности трудовому народу.

Прежде чем писать статью, Карл и Фридрих весь вечер проговорили о Карлейле.

— Каковы его идеи, таков и стиль. В прошлых своих работах он находил новые слова в английском языке и дерзко переплавлял устарелые обороты и образы. Его стиль был часто слишком высокопарен, но подчас блестящ и уж, во всяком случае, всегда оригинален. А вот теперь совсем не то. Послушай-ка, как плохо написана его «Современные памфлеты». Это явный регресс, — сказал Маркс и прочел вслух несколько абзацев.

— Культ гения у Карлейля в его последних брошюрах покинут гением, остался один культ, — добавил насмешливо Энгельс. — Книга Карлейля начинается с заявления, что современность есть дочь прошлого и мать будущего. Это неплохо сказано, но в новой эре, начало которой Карлейль видит сегодня, первым значительным явлением отмечен — кто бы ты думал? — папа Пий Девятый, который с высоты Ватикана возвещает «закон правды». Какой продуманный идиотизм! Какое созпательное недомыслие!

Культ одной личности. Как выгоден он тем, кто рассчитывает получать титулы и богатство. Но сколько неисчислимых бед несет он народу. Произвол, каприз и прихоть постепенно узакониваются, и вот уже всех тех, кто творит историю, подменяет одна воля, одно имя, доброе или злое, кто может предугадать это? Народ вначале незаметно подталкивают к неведомой бездне, какой является всегда характер человека, получившего бесконтрольную власть в государстве. Десятки случайных влияний, подозрительность и распущенность, усиливающиеся вместе с самовластием, решают подчас судьбы не только отдельных зависимых людей, но и всего народа.

Работая над статьей о Карлейле, Карл и Фридрих отметили цитаты в рецензируемой книге, которые уточняли ту мысль, что обожествлением отдельных личностей и почитанием их Карлейль усугубляет все гнусности буржуазии, он видит в рабочих толпу, лишенную разума, которая должна подчиниться людям, самой природой наделенным силой власти. Карлейль узаконивает деление общества на рабов и господ. Напыщенными, восторженными фразами о героях он оправдывает угнетение народных масс, пытаясь лишить их подлинной и великой исторической значимости.

Покончив с памфлетом Карлейля, Карл и Фридрих принялись за рецензию на печатную клевету Шеню и Делаода — двух полицейских французских провокаторов.

В ней снова коснулись волновавшей их мысли о характерах и значимости тех, кто стал вождями революции, тайных обществ и государств. «Было бы весьма желательно, чтобы люди, стоявшие во главе партии движения, — писали Маркс и Энгельс, — ...были, наконец, изображены суровыми рембрандтовскими красками во всей своей жизненной правде. Во всех существующих описаниях эти лица никогда не изображаются в их реальном, а лишь в официальном виде, с котурнами на ногах и с ореолом вокруг головы. В этих восторженно преображенных рафаэлевских портретах пропадает вся правдивость изображения».

Карл и Фридрих неустанно сражались с представителями мелкобуржуазного эмигрантского болота. Злобная клевета отравляла воздух, мешала их большому делу.

Женни не раз приходилось успокаивать крайне раздраженного мужа. Когда дрязги и ложь касались Энгельса, ярости Карла не было предела.

— Всякие мерзавцы распространяют в немецких газетах слух, что наш Комитет помощи изгнанникам сам проедает эмигрантские деньги. Человеческие отбросы, вроде Теллеринга, бесчестно клевещут при этом на Энгельса. Я вызвал бы кое-кого из них на дуэль, если бы они были достойны этого, — гремел Карл. — Однако я еще встречусь с ними на ином поле и сорву с них маску революционной честности. Мир упорно отказывается замечать этих моллюсков, и они готовы с помощью грязной клеветы и травли тех, кого все уважают, привлечь и к своей особе внимание. Зависть, мелочность, ничтожество — вот что порождает всю их возню.

Он вскакивал с кресла и шагал из угла в угол маленькой комнаты, выкуривал одну за другой крепкие пахитоски.

— Этот Теллеринг, — сказал он, — лебезил передо мной и пытался навязать мне роль демократического далай-ламы, этакого нового владыки будущего. А когда я наотрез отказался, высмеяв подобную нелепость, он проделал немало всяческих трюков, пока наконец не обрушился на Фридриха.

Узнав о мерзком ударе в спину и попытке опозорить Комитет помощи, Энгельс писал Вейдемейеру:

«...импотентные «великие мужи» мещанства оказались настолько подлыми, чтобы распространять подобные гнусности. Наш Комитет уже три раза представлял отчеты, и каждый раз мы просили посылавших деньги назначить уполномоченных для проверки книг и расписок. Разве какой-нибудь другой комитет это делал? На каждый сантим у нас имеется расписка. *Ни один* член Комитета не получал никогда ни одного сантима...»

Карл и Фридрих шли к цели. Но время и силы, нужные для больших дел, приходилось тратить подчас вынужденную, и сознание этого угнетало обоих.

Что может принести отдохновение и творческий покой душе? Чем глубже духовный мир человека, тем шире простор для его мысли, тем легче поднимается он над мелочами, которые, как тина, грозят засосать его.

Вся противоречивая планета постоянно оставалась перед умственным взором Маркса и Энгельса, и по сравнению с этой громадой чуть видимыми пузырьками на болоте были дрязги Теллеринга и его группки.

Промышленный кризис 1847 года, подготовивший февральское восстание, в это время в большинстве европейских стран прекратился и сменился бурным подъемом. Работая над отчетами, прессой, экономическими обзорами, Маркс и Энгельс пришли к выводу, что их былые надежды на скорую революцию не имеют под собой в данное время никакой почвы. Этот вывод потребовал новой боевой тактики.

«При таком всеобщем процветании, — писали Маркс и Энгельс, — когда производительные силы буржуазного общества развиваются настолько пышно, насколько это вообще возможно в рамках буржуазных отношений, о действительной революции не может быть и речи».

Они утверждали, что подъем революционной волны будет следствием нового кризиса, который неизбежен, как и сама революция.

Совсем иными были настроения Виллиха и только что вернувшегося из Германии Карла Шаппера. Оба они увлекли за собой многих лондонских членов Союза. Как узник, заточенный в тюрьме, теряя ощущение действительности, постоянно ждет и верит в освобождение и строит несбыточные планы, так обреченные на изгнание немецкие революционеры жаждали нового восстания и считали, что могут ускорить его по своей воле. Они ра-

лись в бой, который неизбежно закончился бы поражением, и требовали действий, не считаясь с экономической и политической обстановкой. Это было опасное безумие, похожее на то, которое обуяло Гервега и обрекло затем на гибель горсточку храбрецов его отряда.

Тщетно Карл и Фридрих порознь и вместе со своими сторонниками пытались образумить Виллиха и Шаппера. Ничто не помогало. Доводы разума и логики только ожесточали их. Они не были ни достаточно образованны, ни предусмотрительны. Жизнь в эмиграции приводила их в отчаяние. Раскол среди членов Центрального комитета Союза становился неотвратимым, осложняя и без того трудные дни изгнанников.

Конрад Шрамм пришел к Марксу обедать, чтобы затем вместе с ним идти на заседание. Ничто в Конраде Шрамме не напоминало купца. Он скорее походил на романтического поэта. Худое лицо его было обрамлено копной длинных, вьющихся волос, и глаза, очень ясные и блестящие, смотрели дерзко и мечтательно. Вспыльчивый, прямолинейный, подверженный смене настроений, он был страстно предан идее коммунизма и самому Марксу. Женни и дети любили Шрамма, радовались его посещениям. В их квартирке молодой человек чувствовал себя непринужденно и легко.

Карл встречал его обычно шутливым приветствием:

— Салют, юный романтик коммунизма, какие виды на погоду?

— Если вы имеете в виду сегодняшнее заседание, то я предвижу, какой ураган словесной пыли поднимет Виллих.

— Да, у Виллиха ведь, как он любит повторять, все всегда просто. Он плывет по поверхности, не мучая себя ни изучением исторического и экономического материала, ни вообще глубоким мышлением. Он верит в наитие свыше, а для этого лучше иметь пустую башку. Таких демократических простачков сейчас появилось много. Шаппер упорся как осел. Это вполне первобытный коммунист, как его называет Энгельс. Беда в том, что, запутавшись вместе с Виллихом, он вообразил, что желаемое может сделаться действительным по мановению волшебной палочки.

После более чем скромного обеда и крепкого черного кофе Карл и Конрад собрались уходить. Женни настояла на том, чтобы Маркс взял с собой свой большой черный зонт.

Был ясный тихий день, каких немало бывает в сентябре на острове. Природа точно хочет дать людям возможность собрать силы, чтобы противостоять приближающимся туманам и слякоти. Но погоде в Лондоне нельзя довериться. И действительно, не успели они пройти по узким улицам квартала Сохо до площади Пиккадилли, где была стоянка омнибуса, как начался проливной дождь.

На заседание Центрального комитета явилось девять человек, в том числе Энгельс, Генрих Бауэр, Экариус, Шаппер и Виллих.

Маркс заговорил первым. Он предложил перевести Центральный комитет из Лондона в Кёльн, поручив кёльнскому округу создать новый Центральный комитет. Решение должно было быть сообщено немедленно членам Союза в Париже, Бельгии, Швейцарии и Германии. Далее Маркс настаивал на выработке новым Центральным комитетом устава и создании в Лондоне двух округов Союза коммунистов, не поддерживающих отныне друг с другом никаких сношений и связанных только тем, что оба принадлежали к одной партии.

— Мои мотивы, — сдерживая возрастающее возбуждение, продолжал говорить Маркс, — следующие: на место универсальных воззрений «Манифеста» ставится немецкое национальное воззрение, льстящее национальному чувству немецких ремесленников. Вместо материалистического воззрения «Манифеста» выдвигается идеалистическое. Вместо действительных отношений главным в революции изображается воля. В то время как мы говорим рабочим: вам, может быть, придется пережить еще пятнадцать, двадцать, пятьдесят лет гражданской войны для того, чтобы изменить существующие условия и чтобы сделать самих себя способными к господству, — им, вместо этого, говорят: мы должны тотчас достигнуть власти, или же мы можем лечь спать. Подобно тому как демократы употребляют слово «народ», так употребляется ныне слово «пролетариат», — как пустая фраза. Для того чтобы претворить эту фразу в жизнь, пришлось бы обуявить всех мелких буржуа пролетариями, то есть представлять мелких буржуа, а не пролетариев. На место

действительного революционного развития пришлось бы поставить революционную фразу.

— Вы не станете отрицать, Маркс, что без воли нет победы? Спросите любого военачальника. Все, право, так просто. Надо разойтись, нам не по пути! — зычно крикнул Виллих.

Маркс посмотрел на него уничтожающим взглядом и продолжал, повернувшись к Шапперу, который ерзал на стуле и лихорадочно записывал что-то.

— Эта дискуссия наконец ясно показала, какие принципиальные разногласия составляют подоплеку личных раздоров, и теперь уж пришло время принять меры, — не отвечая Виллиху, говорил далее Маркс. — Именно эти противоположные утверждения и стали боевыми лозунгами обеих фракций; некоторые члены Союза называли защитников «Манифеста» реакционерами, пытаясь таким путем сделать их непопулярными, что, впрочем, им совершенно безразлично, ибо они не стремятся к популярности. Однако ясно само собой, что оставаться вместе было бы просто вредной тратой времени. Шаппер часто говорил о разрыве, — что ж, я отношусь к разрыву серьезно. Я думаю, что нашел путь, на котором мы разойдемся, не вызывая раскола партии.

— Ну, а если мы думаем по-иному? Как это называется — изменой рабочему делу или борьбой за него? Мы не боимся раскола, — прорычал Шаппер.

— Призываю вас к порядку, — властно вмешался председатель и поднял маленький колокольчик.

Морщинка на переносице Маркса углубилась, черные с проседью волосы растрепались и, как грозный нимб, окружали лицо. Снова заговорил Шаппер. От волнения он побледнел и непрерывно вытирал потный лоб фуляровым платком.

— Я полагаю, что новая революция выдвинет людей, которые будут вести себя лучше, чем те, кто пользовался известностью в тысяча восемьсот сорок восьмом году. Я высказал подвергшийся здесь нападкам взгляд потому, что я вообще с энтузиазмом отношусь к этому делу. Речь идет о том, мы ли сами начнем рубить головы или нам будут рубить головы. Во Франции настанет черед для рабочих, а тем самым и для нас в Германии. Не будь этого, я, конечно, отправился бы на покой, и тогда у меня было бы иное материальное положение. Если же мы этого

достигнем, то сможем принять такие меры, которые обеспечат господство пролетариата. Я являюсь фанатическим сторонником этого взгляда. Но Центральный комитет хочет противоположного. Однако, если вы больше не хотите иметь с нами дела, что ж, тогда расстанемся. В предстоящей революции меня наверняка гильотинируют, но я поеду в Германию. Смерть так смерть! — Шаппер откашлялся и опустил глаза. — Я давнишний друг Маркса, но если придется идти на разрыв, что ж, тогда мы пойдем один.

— Что касается энтузиазма, — снова заговорил Маркс, — то немного его требуется, чтобы принадлежать к партии, о которой думаешь, что она вот-вот придет к власти. Пролетариат, если бы он пришел к власти, проводил бы не непосредственно пролетарские, а мелкобуржуазные меры. Наша партия может прийти к власти лишь тогда, когда условия позволят проводить в жизнь ее взгляды.

Маркс привел в пример Луи Блана, его провал и, обведя зорким взглядом всех присутствующих, спросил, почему же не высказывается никто из остальных членов меньшинства.

Виллих демонстративно поднялся и молча покинул помещение.

Спустя несколько дней на собрании Просветительного общества Шаппер снова отстаивал свою точку зрения. Он призывал немедленно приняться за конспиративную работу и делать революцию.

— Безумцы! — закричал Конрад Шрамм, терял терпение от пустозвонного многословия выступившего затем Виллиха. — Вы требуете немедленной революции или предлагаете уйти на покой. Вы призываете нас к немедленному вооруженному восстанию, лишь бы проливать кровь, заранее зная о поражении, только ради вашего нетерпения. Вы предлагаете игру в революцию и вредной болтовней вносите сумятицу в наши ряды вместо серьезного революционного дела.

— С каких пор всякие купцы будут учить нас, истинных бойцов, тактике? — бросаясь вперед и грозя кулаками Шрамму, завопил тощий Виллих. — Я командовал революционной армией на фронте, а вы, Шрамм, наверно, прятались в это время под прилавком. Трусы, здесь собрались трусы!

— В погоне за успехом вы уже готовы выносить помойные ведра мелких буржуа, прикрываясь при этом громкой фразой, — раздался голос портного Эккариуса, сторонника большинства Центрального комитета.

Все вскочили со своих мест.

— Позор меньшинству, ведущему нас в такую трудную пору к расколу! Мы не позволим этого. Виллих, Шаппер и компания будут нести отныне ответственность за то, что нет более должного единства в Союзе коммунистов, а в нем — наша сила! — повысил голос Энгельс.

В это время, не жалея бранных слов и наступая друг на друга, в углу комнаты схватились в крайнем раздражении Конрад Шрамм и Август Виллих. К концу словесной перепалки Виллих заявил, что вызывает на дуэль самого Маркса, вождя партийного большинства. При этом он не поскупился на клеветнические выпады.

— Я требую немедленной сатисфакции за оскорбление Маркса и моих друзей., Вы — раскольник и подлый лгун, к барьеру! — задыхаясь и кашляя, заявил Шрамм.

— Если бы вы не потребовали этого первым, я вынудил бы у вас согласие на дуэль поцечной. Мы будем стреляться на пистолетах! — заорал Виллих, который был превосходным стрелком и попадал на расстоянии двадцати шагов в любую мишень.

Несмотря на все попытки Маркса и Энгельса предотвратить дуэль, она состоялась вблизи Антверпена на берегу моря. Секундантом Виллиха был Бартелеми.

На Дин-стрит, в семье Маркса, в предполагаемый день дуэли царило большое волнение. Все боялись за жизнь Конрада Шрамма.

Неожиданно, когда Карла не было дома, раздался резкий стук во входную дверь, и перед Ленхен, бросившейся открывать, появился Бартелеми в черной пелерине и мягкой широкополой шляпе.

— Вы из Бельгии? Какие новости о Шрамме? — спросила Женни.

Низко поклонившись, Бартелеми ответил замогильным тоном:

— Пуля в голову!.. — и тотчас же удалился.

Женни, потрясенная столь трагической вестью, бросилась искать мужа, Либкнехта и всех остальных друзей Шрамма. Никто не сомневался в его гибели.

На другой день, когда на Дин-стрит все были безутеш-
ны, внезапно вошел сам мнимоумерший. Голова его была
забинтована, настроение бодрое. Оказалось, что Шрамм
был только контужен и потерял сознание. Но разобрав,
в чем дело, Виллих и Бартелеми распространили слухи о
смертельном исходе дуэли.

Большинство членов Центрального комитета с Марк-
сом и Энгельсом во главе постановили перенести место-
пребывание Центрального комитета Союза коммунистов
в Кёльн. К сторонникам Виллиха и Шаппера вскоре при-
соединились несколько французов, в том числе и Барте-
леми.

Не в силах дольше видеть лишения в семье Карла
Фридрих поступил конторщиком в фирму отца и пере-
лился в Манчестер. Без его помощи шесть человек ра
Дин-стрит были обречены на медленную гибель, а Карл
Маркс не мог бы довести до конца ни одного задуман
ного труда: помимо текущей работы, он продолжал соб-
рать материалы для книги по политической экономии.

В хмурый, серый, как пасть камина, день внезапно
умер Фоксик. За несколько минут до смерти он смеялся
и шалил. Вдруг личико его исказилось, по телу прошли
конвульсии, которыми он страдал с рождения, и дыха-
ние остановилось.

В одно мгновение в комнате, где играли дети, чинила
белье Ленхен и писала письма Женни, все переменилось.
Смерть впервые ворвалась в эту крепко спаянную лю-
бовью семью.

— Это родимчик. Его убил паралич! — закричала
Ленхен.

Мать остекленевшими глазами смотрела на мертвое
тельце.

— Мой мальчик, дитя мое! — шептала она, прижимая
его крепко к себе, желая отогреть и оживить своим
теплом.

Муш и девочки горько зарыдали, хотя меньше всех
понимали, что именно произошло. Вопли Ленхен и стоны
матери испугали их. На крики и плач прибежал Карл.
Сначала он не мог понять, какое горе обрушилось на
него.

— Наш маленький заговорщик, как это могло слу-
читься? — растерянно повторял он, но вдруг резкая
боль пронзила его. Это был испуг за Женни. «Ему, бед-

пяжке, уже все равно, он ничего не ощущает, надо помочь ей», — пронеслось в мозгу.

Смерть Генриха окаменила Женни. С мертвым ребенком на руках сидела она, глядя остановившимися, широко раскрытыми сухими глазами перед собой.

— Это я умерла, — едва выговорила она запекшимися губами.

Карл, едва сдерживая слезы, нежно коснулся ее руки.

— Побереги себя ради нас. — Он указал на испуганно жмущихся друг к другу детей.

Ленхен горько плакала, опустив голову на руки. На полу валялся моток шерсти и крючок, которым она вязала носочки Генриху.

Женни взглянула на побледневшее личико мертвого мальчика. Он казался ей живым и спящим. Мать коснулась губами лобика, и холод его, особый, ни с чем не сравнимый холод смерти, еще раз подтвердил ей, что все навсегда кончено. Ужас потери потряс Женни. Она закричала так протяжно, как в родах, когда давала ему жизнь. И тотчас же внутри ее забилось, затрепетало протестующе другое живое существо — ребенок, которого она в себе носила.

«Погибло одно мое дитя, а сейчас я, может быть, убиваю другое», — подумала она.

Карл, проникновенность и чуткость которого были постоянным счастьем для Женни, сказал ей ласково:

— Пожалей маленького, который скоро родится. Я его уже так люблю. Побереги себя для живых.

Но слова не заклятье для страдания. Скорбь окутала дом Карла и Женни.

Маркс писал Энгельсу 19 ноября 1850 года:

«Дорогой Энгельс!

Пишу тебе только несколько строк. Сегодня в 10 часов утра *умер* наш маленький заговорщик Фоксик — внезапно, во время одного из тех припадков конвульсий, которые у него часто бывали. Еще за несколько минут до этого он смеялся и шалил. Все это случилось совершенно неожиданно. Можешь себе представить, что здесь творится. Из-за твоего отсутствия как раз в данный момент мы чувствуем себя очень одинокими...

Твой *К. Маркс*».

Нет большего горя, нежели смерть детей. Генрих был тем более дорог матери, что она спасала его жизнь в ранних тяжелых условиях, ценой величайших усилий. Ее терзала мысль, что ребенок пал жертвой материальных лишений, нужды. Она кормила его сама грудью и ухаживала за ним, не щадя себя, днем и ночью. Он был ей особенно дорог и оттого, что она вложила в него так много забот и сил.

Женни впала в состояние нервного истощения и возбуждения, не спала, не ела и не хотела отдать мертвого ребенка, когда пришло время его хоронить.

— Моя скорбь так велика, — шептала она бескровными губами.

Ленхен, лицо которой распухло от слез, беспокоясь за Женни, принялась снова за домоводство и уход за всеми взрослыми и маленькими членами семьи. Она же взяла на себя все заботы по похоронам.

Карл стойко скрывал свою печаль, стараясь утешить жену. Все пережитое, глубоко спрятанное в сердце вскоре свалило Карла, и он серьезно заболел. В ответ на письмо Энгельса, полное искреннего сочувствия по поводу смерти сына, Женни спустя несколько времени, овладев собой, писала в Манчестер:

«Ваше дружеское участие в связи с постигшим нас тяжелым ударом — потерей нашего маленького любимого бедного, стоившего мне стольких страданий крошки, — принесло мне большое облегчение... Моему мужу и всем нам сильно недоставало вас, и мы часто тосковали без вас. Все же я рада, что вы уехали отсюда и идете на верном пути к тому, чтобы стать крупным хлопчатобумажным лордом... Но самое лучшее при этом все же то, что вы, несмотря на торговлю хлопком и прочее, останетесь прежним Фрицем и, говоря языком трех других демократов, Фридриха-Вильгельма (первого), Кинкеля и Мадзини, «не отойдете от *священного дела свободы*». Карл уже написал вам кое-что о здешней грязи, царь... Виллих Гогенцоллерн увеличил свою благородную свиту несколькими негодяями и разбойниками с большой дороги... На недавнем польском банкете, который сообща устроили французские, немецкие, венгерские и

польско *crapauds*[1] (Виллих, Фиески, Адан и др.), дело дошло до драки. Больше мы ничего не слыхали об этой шайке.

Вчера вечером мы были на первой лекции Эрнеста Джонса по истории панства. Его лекция была очень хороша и для англичанина является прямо выдающейся; для нас, немцев, прошедших мунтру Гегеля, Фейербаха и т. д., она была не вполне на высоте. Бедный Гарни был при смерти; у него был нарыв в дыхательном горле. Ему еще нельзя говорить. Английский врач дважды оперировал его и не попадал на больное место. Его «Red Republican»[2] превратился в «Friend of the People»[3]. Ну, на сей раз хватит. Дети много говорят о дяде Ангельсе, а маленький Тилль, следуя вашим уважаемым инструкциям, дорогой г-н Энгельс, великолепно поет песню о «старой шубе и лихом веники».

На рождество, я надеюсь, мы вас увидим».

Виллих и Шаппер нашли сторонников главным образом в Просветительном обществе среди немецких ремесленников. Тогда Маркс, Энгельс и их друзья решили выйти из этой организации.

В ноябре 1850 года в Гамбурге вышел последний, сдвоенный, пятый-шестой, номер «Новой Рейнской газеты». Издание журнала отныне прекращалось. Реакция продолжала свой победный марш по Европе. Средств на издание больше не было.

В последнем политико-экономическом обзоре за полугодие Маркс и Энгельс, говоря о причинах поражения революции, связывали их с экономическим подъемом в главных европейских государствах.

В это же время Мадзини, Ледрю-Роллен, Руге в своем воззвании писали, что сумерки, опустившиеся на Европу, объясняются честолюбием и завистью отдельных вождей и их взаимной враждой. Свою программу они полагали как веру и свободу, равенство, братство, семью, общину и видели спасение в общественном строе, первопой которого является бог и его законы, а основанием — народ.

---

[1] Обыватели (*англ.*).
[2] «Красный республиканец» (*англ.*).
[3] «Друг народа» (*англ.*).

В последнем номере «Обозрения» член Союза Эккариус писал о положении портняжного дела в Лондоне. Он работал закройщиком в одной из городских мастерских и сумел увидеть, что вытеснение большими фабриками мелких ремесленных мастерских является положительным историческим признаком. Ученик Карла и Фридриха, он понял то, чего не могли постигнуть многие ученые, помещики и «пророки», вроде Вейтлинга.

В развитии и процветании крупной буржуазии Эккариус увидел приближение пролетарской революции.

Материалистическое понимание современности скромным портным было большой радостью для Карла. Он восторженно приветствовал его.

— Еще до того как пролетариат завоюет свою победу на баррикадах и на полях сражений, он возвещает о наступлении своего господства рядом интеллектуальных побед, — заявил Маркс.

Со времени отъезда Энгельса в Манчестер между двумя друзьями завязался живой обмен в письмах мыслями, планами, оценками событий и людей.

В одном из писем о Луи Блане и Ледрю-Ролле Маркс писал Энгельсу:

«Луиза никогда не импровизирует своих речей. Он от слова до слова пишет свои речи и заучивает их *наизусть* перед зеркалом. Ледрю же, со своей стороны, всегда импровизирует, и в важных случаях делает себе некоторые заметки фактического характера. Совершенно независимо от их внешнего различия, Луиза уже по одному этому совершенно неспособен *рядом* с Ледрю произвести малейшее впечатление. Естественно, что он должен был ухватиться за всякий повод, который позволил бы ему вступить путь сравнения с этим опасным соперником!

Что касается его исторических работ, то он собирает их, как А. Дюма свои фельетоны. Он всегда изучает материал только для следующей главы. Таким образом, с одной стороны, это придает его изложению известную свежесть и либо то, что он сообщает, для него так же ново, как и для читателя, а, с другой стороны, в целом это слабо.

Это о Л. Блане».

Маркс и Энгельс были великими стилистами. Стиль всегда неповторим, как отпечатки пальцев человека, как его лицо и выражение глаз. Никогда на протяжении существования людей не появлялись на земле два одинаково мыслящих существа. Неисчерпаемы творческие силы природы. И так же многообразен и несхож с другими стиль человека, этот своеобразный отпечаток его души.

Величайшее правдолюбие, отвращение ко всему нечестному, предельное ощущение человеческого достоинства и внутренней честности особенно четко и явно выступают из различного и вместе с тем тождественного стиля Маркса и Энгельса.

Язык Маркса более порывист, жгуч, нежели у Энгельса, чей слог поражает изяществом и логической непринужденностью. В своих письмах Энгельс реже пользовался иноземными словами, в то время как в письмах Маркса их бывало много, и он любил перемешивать немецкий язык с английским и французским. Но особенно мастерски он владел родным языком. Оба друга полностью подчинили слово мысли. Сатирическая зарисовка, меткая характеристика, неожиданное сравнение, точный образ перемежаются в их произведениях и письмах с всесторонним анализом предмета и совершенными по форме и сути выводами.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОСТРОВ В ТУМАНЕ

Был теплый ветреный летний день. Фридрих после скучного рабочего дня в конторе бумагопрядильной фабрики «Эрмен и Энгельс» шел по улицам Манчестера. Старый промышленный город был грязен. Ветер поднимал и кружил тряпки, бумагу и мелкий сор, валявшийся и изобилии на мостовой.

По знакомым переулкам Энгельс направился на окраину и очутился на большой дороге, соединяющей Манчестер с промышленными городами Бирмингемом и Шеффилдом, а также с наступным Йоркширом и далекой Шотландией.

Северный путь растянулся посеревшим свитком между городами, храня невидимые отпечатки прошлого. Когда-то гладкие римские плиты покрывали здесь пыльную землю. Потом по неровным камням пробегали конники революционной армии Кромвеля, двигавшейся мимо Манчестера на север.

Энгельс думал об этом, вдыхая запах трав. По дороге мимо него шумно проезжали в близлежащие селения почтовые дилижансы, удобные кареты и нескладные омнибусы.

Фридрих был страстным охотником. Вдыхая широкими ноздрями доносящийся издалека сложный аромат леса, он подумал, как хорошо будет зимой отправиться с ружьем и сумкой за плечами, на охоту за лисами и мелким зверем.

Обычно по вечерам прогулка Фридриха длилась не более двух часов. Он возвращался домой легким шагом

тренированного альпиниста мимо однообразных домов зажиточных горожан. Небольшие палисадники были обнесены добротными решетками, на овальных клумбах цвели цветы. Дорожки, посыпанные гравием, вели к нарядному крыльцу. Из-за густых занавесок пробивался на улицу мягкий свет.

В полутьме резче выделялись контуры старой ратуши и пуританского храма на главной площади города. Вяло плескалась вода в канале.

Во всех английских городах, свято хранящих давние традиции, прошлое воскрешается не конструктивно по отдельному камню, а по всем деталям живой архитектуры и быта.

Дом, где жил Фридрих, был обычным двухэтажным коттеджем, воспроизводящим в улучшенных формах жилище феодальных времен, с лестницей внутри, ведущей на жилой чердак. Там в новые времена располагались маленькие спальни. Дом этот, с узкой кирпичной трубой на черепичной покатой крыше, недавно построенный, являлся точной копией такого же, существовавшего сотни лет назад.

В Манчестере, как и во всех городах острова, фантастически смешались века. Разве не средневековьем навеяна идея каминов? Точно так же тепло очага с тлеющими поленьями собирало вокруг себя семью скотовода или ткача в XIII—XIV веках, как привлекал людей камин в пору королевы Виктории. В маленьких домиках и в угрюмо-величественных усадьбах безмерно богатых английских лордов под каменным выступом разводятся костры, подобные тем, на которых беспабашный кутила Яков I, сын Марии Стюарт, король Соединенного Англо-Шотландского государства, задавая пиры, велел поджаривать кабанов, оленей, медведей — трофеи охоты, подношения придворных, крестьян.

Фридрих вошел в маленький дом, который недавно снял в Манчестере. Мори Бёрнс была в отъезде. Старуха — владелица домика — ежедневно убирала комнаты Энгельса и готовила ему пищу. У нее было отталкивающе безобразное лицо. Большой угристый нос, красноватые глаза одряхлевшей птицы, загнутый подбородок, костлявая шея вызывали в памяти Фридриха представление об одной из макбетовских ведьм. Но обладательница столь чудовищной внешности была совсем не таким уж

ловецким существом. Она состояла членом нескольких благотворительных обществ, верила, что бог — это Красота и Разум, и завещала все достояние своему священнику и дому призрения бездомных собак. Фридрих называл старуху ведьмой за то, что, стирая пыль с книг, она часто при этом творила беспорядок на его столе и полках. Нередко в груде бумаг не сразу находились нужные письма и документы, что вызывало раздражение и досаду у чрезвычайно аккуратного Энгельса.

Вечером, как всегда, старуха подала ужин и, пожелав квартиранту приятных сновидений, ушла. Большие стенные часы завозились, заохали и с трудом отзвонили девять раз. Энгельс тотчас же поднялся и вошел в маленькую комнату, служившую ему кабинетом. Там уже горела лампа на письменном столе. Было очень тихо. Где-то далеко, может быть в саду, трещали сверчки. Эти неожиданные живые голоски вызвали улыбку на лице Фридриха. «Не хватает только печи и чайника для полной диккенсовской идиллии», — подумал он, пододвигая кресло и раскрывая книгу. Осторожно разрезав красивым ножом слоновой кости несколько страниц, Энгельс принялся громко, слегка запинаясь, читать по-русски:

Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты...

Не поняв «мечты», он взял словарь и стал отыскивать значение этого слова, чтобы затем выписать его в особую тетрадь.

Совсем недавно Энгельс начал заниматься русским языком и, как это всегда бывало при изучении им иностранных языков, достиг уже очень многого.

«Евгений Онегин» пленил его. Хотя он слыхал немало о поразительном богатстве современной русской литературы, о гении Пушкина, но был еще больше поражен, когда смог черпать из самого родника, не довольствуясь отныне в нередко умерщвляющих оригинал переводах.

«Как в гербарии растение не может дать подлинного представления о прелести и аромате живого цветка, так только в подлиннике можно насладиться поэзией и прозой незнакомого народа», — думал Энгельс. С увлечением и редким прилежанием изучал он русский язык, откла-

дывая грамматику для того, чтобы прочитать неповторимые строки пушкинского романа.

Обычно после часа этих занятий Энгельс принимался за военные науки, к которым с юности имел призвание. Он доставал военные карты, руководство по артиллерии Бема, военную историю Монтекукули и множество других немецких, французских и английских книг. Особенно усердно изучал он англичанина Нейпира, француза Жомини и немца Клаузевица.

Со времени переселения в Манчестер Энгельс напряженно работал над материалами о наполеоновских и революционных войнах. Чрезвычайно требовательный к себе в любой области знаний, он считал, что недостаточно, еще поверхностно разбирается в тех или иных деталях, чтобы понимать и правильно оценивать военно-исторические факты. Элементарная тактика, теория укреплений, начиная с Вобана и кончая современными системами отдельных фортов, полевые укрепления, различные виды мостов и, наконец, история всей военной науки, меняющейся непрерывно в связи с развитием и усовершенствованием оружия и методов его применения, — все это глубоко изучал Фридрих. Он писал своему другу Иосифу Вейдемейеру, артиллерийскому офицеру, делясь сомнениями и спрашивая о новой организации армий, дивизий, корпусов, о лазаретах и военном снабжении, о различных конструкциях лафетов.

Большой атлас Штилера и всевозможные подробные описания сражений лежали на столах и стульях в рабочей комнате Энгельса.

«Если не работать систематически, то не достигнешь никаких серьезных результатов», — любил он повторять.

Все, чем бы ни занимался и что бы ни изучал тщательно и глубоко Энгельс, должно было служить одной конечной цели — пролетарско-освободительной борьбе. Как и Маркс, он считал, что знание иностранных языков необходимо.

Предвидя грядущие революционные столкновения в царской России, Энгельс начал систематически изучать русский язык. В то же время осложнения на Востоке привели его к мысли о необходимости знать восточные языки. Персидский язык показался ему необычайно легким, и он усвоил его структуру в несколько недель.

Изучение военных наук, помимо пристрастия к ним,

было вызвано также еще и тем, что Энгельс считал весьма значительной роль армии в предстоящих революциях. Пролетариату, по его мнению, не хватало опытных, знающих военачальников. О современных ему представителях офицерства он составил себе крайне отрицательное мнение.

— Этот сброд, — говорил Фридрих презрительно о прусских военных, — проникнут отвратительным сословным духом. Они смертельно ненавидят друг друга, завидуют один другому, как школьники по поводу малейшего отличия, но все — задорно по отношению к штатским.

Рано утром, тщательно одевшись и скромно позавтракав, Фридрих отправлялся в контору. Дела текстильных фабрик шли успешно. В 1851 году английская хлопчатобумажная промышленность потребляла еженедельно тридцать две тысячи кип хлопка против двадцати девяти в 1850 году. Манчестер торговал особенно широко с Остиндией и Китаем.

С глубоким вздохом принимался Энгельс за конторские и фабричные книги и работал до полудня, когда наступал час ленча.

Между часом и двумя прекращалась деловая жизнь Великобритании. Останавливались заводы, пустели конторы, запирались едва ли не все магазины. От часа до двух англичане ели горячий второй завтрак. В это священное время в близлежащие от контор харчевни, трактиры, таверны торопились клерки, чиновники, мелкие лавочники — многоликие представители среднего сословия. Фабриканты, владельцы больших магазинов, дельцы отправлялись домой в своих экипажах.

Энгельс заходил в маленький трактир, где бывал обычно самый разнообразный народ. Он заказывал бифштекс и с неиссякаемым интересом ко всему, что входит в понятие «жизнь», принимался рассматривать окружающих. Глядя, как едят вокруг него, он думал, внутренне улыбаясь, что только в церквах и за столом у мелкого буржуа появляется эта блаженная отрешенность от мирской суеты.

Англичане жуют медленно, сосредоточенно, будто читают Библию или тянут псалмы.

Отсутствие привередливости, крайняя непребовательность к качеству и привычка к однообразной, простой приготовленной пище являются завидной особенностью британской нации.

Эта особенность досталась современным бриттам от предков, странствовавших по морям в поисках земель и сокровищ. Впоследствии пуританская мораль также требовала поста и простоты обихода.

Гастрономическое гурманство изгонялось суровыми догмами протестантства.

Еда усложнилась позднее только внешним оформлением, появилась сложная сервировка и много столовых украшений. Континентальные скептики говорят, что англичанин, не поморщившись, съест котлету из соломы, если ее подадут с бумажными розетками на блюде, в сопровождении обязательных для обеда четырех ножей, трех вилок и двух ложек.

Клерк, которому в годы детства и отрочества подаваемые матерью к обеду пудинги разных сортов заменяли календарь, так как их сладкая подливка находилась в непосредственной зависимости от того или иного дня недели, естественно, всю жизнь полуавтоматически выбирает привычные ему блюда. В четверг пудинг всегда будет залит соусом из черной смородины, а в воскресенье — яблоками в желтках. Но разваренная картошка и линялая вкуса, как поджаренная трава, брюссельская капуста, так же как и пресная рыба, вписаны традицией в ежедневный английский обед.

Гастрономическим шедевром Англии являются сотнестнадцать сортов мороженого. На трогательных, украшенных цветами и голубками меню ресторанов мороженому посвящается особый раздел, в котором размещен на первый взгляд не столько перечень еды, сколько опись инвентаря неведомого сентиментального стихотворца: весна, грезы, рай, роза...

Когда после ленча Энгельс вернулся к своему рабочему столу в конторе, он открыл записную книжку и увидел, что ему следует отправить госпоже Маркс разноцветную бумажную пряжу для вязания, которую он обещал ей в последнюю встречу. Клубки были уже приготовлены и уложены в коробку. Оставалось сдать их на почту. Он позвал привратника и передал ему посылку для отправки в Лондон. Затем Фридрих принялся за отчеты, поступившие с текстильной фабрики.

К его столу подошел компаньон отца, Пит Эрмен, сухопарый старик представительной внешности с голубовато-серебристыми завитыми волосами, обрамлявшими узкое

бронзовое лицо с выпуклыми стреловыми прожилками на лбу и носу.

— Читали ли вы знаменитую Хатма Йоги, это великое открытие, исчерпывающий рецепт эликсира жизни, который тщетно искали алхимики? — начал он.

Фридрих знал, что Эрмен, недавно побывавший в Индии, увлекается учением йогов, и понял, что ему придется набраться терпения и выслушать очередную лекцию текстильного промышленника.

— Знаете ли вы, Фред, что во время эпидемии оспы в прошлом веке на английском судне погибли только те моряки, которые спали с открытым ртом?

— Поразительно, сэр! — удивился Энгельс. — Не могу понять, в чем же тут причина? Разве оспа проникает через рот? Дженнер иначе объяснил пути заражения.

— Они умерли потому, что не дышали носом. Как вы дышите, мой мальчик? Запомните раз и навсегда, что вам необходимо выучиться дышать носом. Для этого рекомендуется, втягивая воду, попеременно дышать одной ноздрей. Мудрые йоги узнали также, что, если во время душевных потрясений какие-либо органы перестали повиноваться нам, усилием воли можно и нужно заставить их правильно функционировать. Видите ли, все высшие йоги обладают способностью воздействовать на отдельные клетки. Повторяя одного или группы слов вы сможете также подчинить их себе. Для этого нужно твердым голосом многократно повторять приказание какому-либо органу, поглаживая или поколачивая его. Например: «Печень, исполняй лучше свою работу, ты слишком медлительна. Я тобой недоволен. Теперь ты должна работать лучше. Работай, работай, я тебе говорю, и чтобы больше не было этих глупостей». А вот сердце нельзя запугивать, с ним надо обращаться очень мягко и нежно. Его следует просить вот так. — Господин Эрмен постарался придать своему обветренному лицу умильное выражение и начал ласково приговаривать: — «Дорогое сердце, успокойся, бейся не так напряженно, будь добрым и умным, добрым и умным...»

Затем, ласково похлопав себя по жилету в том месте, где находилось сердце, фабрикант снова перешел на обычному тону и продолжал с непроницаемой улыбкой:

— Можно заранее дать срок, и даже довольно большой, для исправления отдельного нашего органа, и каж-

дый день надо мягко напоминать ему об оставшемся времени, чтобы он не торопился, но по мере приближения быть настойчивее. Однако все это требует практики, терпения и терпения. Советую заняться этим учением. Знаешь ли такую заповедь йогов? «Благо йогу, умеющему дышать своими костями. Учитесь направлять поток праны по всем семи жизненным центрам». Все это я узнал от мудрейшего йога в Бенаресе.

Вот каков мой вывод: если человек может управлять всеми своими органами, даже печенью, то, несомненно, он способен предотвращать все бедствия современной промышленности и торговли, такие, как колебание цен и кризисы сбыта. Как ты думаешь, Фред? Твой отец поседел не столько от нашей трудной эпохи, сколько от твоих упражнений в политической экономии и социализме. Но мое мнение, которое я имел удовольствие не раз уже высказывать моему достопочтенному компаньону, такое, что со временем, когда ты сам станешь фабрикантом, ты сумеешь достичь процветания и богатства... Кстати, как поживает твой неизменный друг и корреспондент господин Маркс?

При последних словах Фридрих нахмурился, так как давно уже подозревал, что кто-то в конторе вскрывает приходящие на его имя письма. Может быть, это был приказчик Эрмена, который докладывал все своему хозяину?

Посоветовав Фридриху дышать носом, компаньон отца степенно проследовал в свой кабинет.

К концу унылого рабочего дня Энгельс получил обширную почту. Письма были от Мери из Ирландии, от Иосифа Вейдемейера, от Вольфа и Маркса из Лондона. Убедившись, что жена здорова, Фридрих, отложив письма остальных друзей, сорвал сургучную печать и принялся за чтение письма с обратным адресом «Дин-стрит, 28».

Письмо Маркса было тревожным и кратким. Он сообщал об аресте в Кёльне коммуниста врача Даниельса. Вейдемейер вынужден в связи с репрессиями скрываться в окрестностях Франкфурта. Карл сообщал другу, что им обоим следует уничтожить или спрятать немедленно все письма ввиду возможного обыска.

«И ты тоже хорошо сделаешь, — писал он, — если все важные письма сожжешь, а остальные, заключающие в себе какие-либо данные и тому подобное, поместишь в запечатанном пакете у Мери или у вашего приказчика».

Сообщение о происходящих в Германии преследованиях коммунистов не застало Фридриха врасплох. Он постоянно читал немецкие газеты, в том числе и «Кёльнскую газету», которые сообщали о раскрытии «коммунистического заговора», готовившего акт государственной измены.

Энгельсу было известно, что 10 мая в Лейпциге был арестован эмиссар Союза коммунистов портной Нотъюнг. Полиция по отобранным у него бумагам узнала о существовании и действиях коммунистической партии.

Вскоре в Кёльне арестовали членов Центрального комитета Союза коммунистов. Фрейлиграт едва избежал ареста, благодаря тому что случайно, ничего еще не зная о подстерегающей его опасности, незадолго до этого уехал в Лондон.

С некоторых пор Фридрих заметил, что усилилась слежка. Он не мог шагу ступить без того, чтобы шпионы не следовали за ним по пятам.

«Прусский посол в Лондоне, фон Бунзен, этот попик во фраке, — думал Энгельс, — не упустит случая представить английскому правительству новые и важные объяснения об опасности нашего пребывания здесь, изображая нас чудовищами, способными подорвать благоденствие Великобритании».

В эти погожие летние дни 1851 года в Манчестер неожиданно приехал второй из двух владельцев бумагопрядильной фабрики — Фридрих Энгельс-старший. Появление отца в Англии не слишком обрадовало сына, но безукоризненное воспитание и выдержка помогли ему ничем не выразить подлинных чувств.

Несмотря на то что Фридриху-младшему было уже около тридцати одного года, отец держал себя с ним все еще как с вышедшим из повиновения подростком. Характер старика Энгельса никогда не отличался покладистостью, с годами же деспотизм и самонадеянность его значительно усилились. Сколь терпелива и чутка была мать Фридриха Элиза, столь же нетерпим, властен и ханжески религиозен отец. В этот приезд, однако, старик, упоенный победой реакции в Германии и возрастающими прибылями, был менее раздражительным и придирчивым.

— Итак, дорогой Фридрих, слава господу богу, я оказался прав! Стадо подчинилось пастырю своему. Революция потерпела крах, провалилась, как всякое исчадие ада, раз и навсегда. О, немцы не так глупы, чтобы поддаться болтовне недоучек, дураков и представителей «черноземной силы», — говорил Энгельс-старший, прохаживаясь по гостиной. Из кармана его черного длинного сюртука выглядывал переплет маленькой дорожной Библии.

Слуга доложил с порога о Питере Эрмене, который был приглашен к обеду.

Старик Энгельс не доверял своим компаньонам Эрменам и потому послал Фридриха в Манчестер, чтобы тот контролировал их деятельность как коммерсантов. Но, в свою очередь, он беспокоился и за сына, зная его безбожие и приверженность революционным идеям, и в этом отношении хотел бы, чтобы кто-либо сообщал ему о поведении Фридриха.

Оба Энгельса, старший и младший, пошли навстречу гостю. Высокие, широкоплечие, они очень походили друг на друга. Только совсем разное было выражение их глаз: одушевленные, ясные, поражающие умом — у сына, мутные и жестоко-тупые — у отца.

За столом Энгельс-старший стоя прочитал молитву и затем подал знак всем садиться за стол.

— Люблю Англию, — начал он, завязывая салфетку вокруг свекольно-красной шеи. — Это страна богомольных людей. Господь не посылает ей испытаний. Промышленность и торговля преуспевают, не правда ли, Питер?

Фабриканты разговорились о прибылях, о промышленном и торговом подъеме. Отец Энгельса признался, что с 1837 года, за четырнадцать лет, он удвоил свое состояние.

— При этих условиях можно претерпевать даже революции, особенно когда во главе государства стоят такие превосходные монархи, как наш прусский король.

— Не надо забывать, что английская королева Виктория его родная и достойная племянница, — присовокупил Эрмен.

После нескольких кровоточащих бифштексов, запиваемых рейнландскими винами, оба компаньона-фабриканта почувствовали прилив бодрости и заметно оживились.

— В Германии выскребают остатки коммунистического сора, — хитро сощурив глаза, начал Энгельс-старший. —

Никто из порядочных людей, впрочем, не боится больше красного призрака. С этим навсегда покончено. Король разделался с горсткой мятежников и сумасшедших, как некогда господь бог с вавилонянами.

Энгельс-младший закусил губу, чтобы сдержаться и не поссориться с отцом, который открыто вызывал на спор. Но глаза его загорелись недобрым блеском. Старик поймал брошенный через стол сердитый взгляд сына. Его расчеты на то, что в присутствии гостя Фридрих вынужден будет молчать, могли и не оправдаться. Энгельс-старший знал по опыту, каким даром речи, какой беспощадной находчивостью обладал его сын в словесном единоборстве. Всю эту немую сцену заметил наблюдательный и хитрый Питер Эрмен и пришел на помощь своему компаньону.

— Поп учат, что мысли оформляются в действии, а действие, в свою очередь, порождает их. Что ты думаешь об этом, Фридрих?

— Все это зависит, по-видимому, главным образом от того, дышит ли человек носом, — ответил все еще очень бледный Энгельс-младший. При этом он, едва слушая болтовню Эрмена, думал: «Мой старик становится вызывающим. За то, что я заставил его замолчать, он отомстит мне — сократит еще больше мое жалованье, а деньги так нужны сейчас Марксу. Необходимы они и для Мери. Впрочем, если эта стычка не будет иметь дурных последствий, то холодные, деловые отношения с отцом будут гораздо приятнее для меня, нежели душевное лицемерие. Мне ничего не остается другого, как заниматься этой собачьей коммерцией».

Энгельс постоянно помогал деньгами Марксу в это тяжелое время. Он хотел дать возможность другу не отрываться от работы над новой книгой по политической экономии, считая, что Маркс является гениальным мозгом партии. И, как всегда в жизни, Энгельс решил так не только по велению сердца, горячо любившего Маркса и его семью, но и потому, что этого требовал его целеустремленный ум, все подчинявший интересам революционного дела.

Во имя победы пролетариата Энгельс готов был принести себя в жертву, превратившись в рядового конторщика, а Маркс, подчинившись силе его убеждения, принял это самоотречение. Оба друга доказали этим величие

своего духа, ибо принимать жертву самого близкого человека бывает подчас для некоторых натур не менее трудно, нежели приносить ее.

После обеда подали кофе с ликерами и сигары. Фридрих Энгельс-старший встал, прошелся по комнате и начал играть на виолончели. Он сыграл с большим чувством мелодию Глюка и кое-что из Моцарта.

Господин Эрмен продолжал рассказывать о семи жизненных центрах йогов: лбе, затылке, мозге, солнечном сплетении, области крестца, верхушке и низе живота. Старик Энгельс слушал, едва скрывая зевоту, занятый своими думами. Внезапно он прервал разглагольствования друга:

— Оставим индусов, Питер. Прошу выслушать меня. Сколько раз я предлагал моему сыну отправиться в Индию. В Калькутте компании «Эрмен и Энгельс» особенно необходимо иметь доверенного человека. Как ты смотришь на это предложение, Фридрих?

— Я снова отказываюсь наотрез и не поеду из Манчестера никуда.

— В таком случае не рощи, что я плачу тебе жалованье, которое получает любой конторщик в этом городе. В твоем возрасте деньги только развращают человека. Впрочем, скорее господь и я простили бы тебе грехи, свойственные юности: чревоугодие, умеренный блуд и разные светские развлечения, нежели подрыв государственных и общественных устоев, подстрекательство к анархии, к господству дьявола на земле.

Энгельс-младший снова искоса гневно взглянул на отца, поднялся, извинился перед гостем и вышел из комнаты.

— Питер, мне остается сказать, как в Евангелии: имеющие уши да слышат, имеющие глаза да видят. Таково мое чадо. Ты лучше других понимаешь, что я спасаю сына от окончательного падения в греховную пропасть тем, что оберегаю от соблазнов, не давая денег. Три фунта в неделю — и ни гроша больше. Это, правда, мало, но так надо для спасения его души. Когда я уеду в Бармен, ты не должен уступать просьбам Фридриха о деньгах. Обещай мне.

— Будь спокоен, — ответил Эрмен торжественно, — мы не станем оплачивать топор, который подрубает наш сук. Помогать всякому революционному сброду через твоего

сына и наследника было бы слишком неблагоразумно. Надейся на меня. Я ведь не спускаю глаз с твоего мальчика. На наше жалованье ому особенно не развернуться. А ты, старина, дыши носом — в этом секрет долговечности и душевного спокойствия. Помни, главное — папа взяла!

Через несколько дней Фридрих проводил отца в Германию. В тот же вечер он писал Марксу:

«Провозившись целую неделю со своим стариком, я отправил его благополучно обратно и могу, наконец, послать тебе сегодня прилагаемый перевод на 5 фунтов. В общем, я могу быть доволен результатом моего свидания со стариком. Я ему нужен здесь, по крайней мере, еще года три, а я не взял на себя никаких постоянных обязательств даже на эти три года...»

Извиваясь и путаясь, убогие улицы Сохо, внезапно сплетаясь, обрывались у круглой, богатой площади Пиккадилли. Там находились нарядные театры, магазины и рестораны. От Дин-стрит, где жил Маркс, до Пиккадилли было не более пятнадцати минут хода.

Рядом с площадью Пиккадилли, в одной из кривых улочек, находился маленький ресторан, где по вечерам собирались чартисты и иноземные изгнанники. За небольшим общим залом была комната, выкрашенная в серый цвет, в которой помещался дубовый стол и несколько узких, очень неудобных скамеек. Газовый фонарь под потолком лил неприятный тусклый свет. Если бы не камин из кирпичей, комната походила бы на тюремную камеру. На каминном выступе стоял деревянный слон с отбитым хоботом, очень похожий на бегемота. В «комнате слона», как ее торжественно звали в ресторане, в холодный, слякотный декабрьский вечер собрались Маркс и оба Вольфа — Фердинанд, по прозвищу «Красный», и Вильгельм, которого в семье Маркса звали Люпусом. Ждали Веерта, но, простуженный, он не смог прийти и остался дома, где изгонял инфлюэнцу крепким грогом и медом.

Переворот Луи Бонапарта в Париже, подобно землетрясению, вызвал своеобразное колебание почвы и в британской столице. Но на бирже было пока спокойно, акции почти не дрогнули, хотя при дворе королевы Виктории

и в правительстве высказывалось недопольство — вспомнили, сколько тревог и бедствий принес некогда Великобритании Наполеон I. Только скрытный и дальновидный Пальмерстон потихоньку потирал руки от удовольствия и готовил приветствие Луи Бонапарту. Любопытство обывателей все возрастало, и у газетных киосков толпился народ.

В эти дни всех занимало одно — бонапартистский переворот в Париже. Со времени, когда Луи Бонапарт с большим перевесом голосов был избран президентом, возможность захвата им всей власти в стране казалась Карлу и Фридриху вполне осуществимой. «Елисейская братия» постоянно прочила его в императоры Франции. И, однако, между предполагаемым и свершившимся всегда большая дистанция.

— Лонго обделывает свои грязные делишки этот прохвост и король шутов, — сказал Фердинанд Вольф, разматывая ярко-красный шерстяной шарф, которым обычно повязывал шею.

Дрова в камине разгорелись и трещали. Стало жарко.

— Это уже не Страсбург и Булонь, — тихо заметил Вильгельм Вольф, неторопливо размешивая сахар в чашке с крепким кофе. — Переворот будет стоить жизни многим тысячам людей. Террор елисейских пиратов, купивших армию, только начинается.

Маркс курил. Фердинанд Вольф встал, подошел к камину и разворошил горящие поленья, чтобы убавить сколько жару. Это был рослый, здоровый человек сангвинического, порывистого характера, одетый небрежно и в то же время экстравагантно.

— Вечерние газеты сообщают, что новый Цезарь уже перетащил свои сундуки из Елисейского дворца в Тюильри. Кавалеристы приветствовали его криками: «Да здравствует император, да здравствует колбаса!» Луи Бонапарт не зря закармливал их, поил шампанским и пивом.

Маркс улыбнулся.

— Энгельс мне пишет, — сказал он, — что именно ты, Фердинанд, с твоим исчерпывающим знанием богемы и колючим пером создан быть историографом этого императора бандитов, люмпенов, сидельцев и рыбных торговок. Эти старые ослы из Национального собрания оказались захваченными врасплох, хотя постоянно вопили об опасности переворота. Самая хитрая бестия во всей Франции,

старый лис Тьер, и господин палач Каваньяк проспали восемнадцатое брюмера и провалились в волчьи ямы, которые вырыла им «елисейская братия».

— Хорошо сказал один из местных газетных писак, — отозвался Фердинанд, — что политические горничные Франции старыми вениками выметают раскаленную лаву революции и при этом отчаянно колотят друг друга. Одна светская дама уверяет, что Францией не раз правили мегеры, но впервые на трон забирается альфонс.

— Что ты думаешь, Карл, о происходящем? — прервал Фердинанда Вильгельм. — Несомненно, в самое ближайшее время этот проходимец коронуется императором.

— Да, в этом его цель, дорогой Люпус. Однако крот истории роет славно, — ответил Маркс, резким движением погасив сигару. — Революция проходит через чистилище. Она действует методически. Второе декабря отделило первую половину ее пути. Революция довела до кульминации парламентарную власть и ниспровергла ее. Теперь она перед всем миром вскроет, как гнойник, государственную власть буржуазии, чтобы собрать против нее всю силу разрушения. А когда будет закончена и эта вторая часть ее предварительной работы, тогда Европа поднимется и скажет: «Ты хорошо роешь, старый крот!»

Черный туман навис над Лондоном. На смену ночи не приходил рассвет. Отчаянно выли сирены, гудели гонги, бренчали звонки в руках прохожих и на облучках карет и омнибусов. Черный туман вползал, как змей, в щели домов. Он вызывал удушье, тошноту, головную боль. Казалось, никогда уже луч света не прорежет ночь и мрак преисподней навсегда окутал землю.

В двух комнатах в доме 28 на Дин-стрит было в эти дни особенно неуютно и печально. Дети притихли и реже принимались петь и бегать. Трем взрослым и четверым малышам было очень тесно в маленьком жилище, тем более что у Карла и Женни часто ночевали бездомные немецкие изгнанники.

Февраль — отвратительный месяц на острове. Желтый туман, зловонный и липкий, чередуется с черным.

Почти весь этот месяц Карл Маркс не мог посещать библиотеку Британского музея и вообще покидать квар-

тиру. Его сюртук и обувь были заложены в ломбарде. Денежный залог под его одежду, который пошел на уплату долга домохозяйке, спас всю семью от того, чтобы не очутиться на улице, под открытым небом. Давно уже Ленхен не готовила к обеду мяса и не покупала детям молока. Картофель, овсяная каша и хлеб составляли стол взрослых и детей. Зеленщик и бакалейщик грозили прекратить продажу в кредит, и призрак полного голода неустанно преследовал во сне и наяву измученную нищетой Женни. Нервы ее совсем расстроились, и она часто плакала. Это приводило Карла в отчаяние. Но снова и снова он собирал силы и с еще большим рвением отдавался работе.

В старых брюках, тщательно залатанных Ленхен, в теплой рубахе сидел он за своим письменным столом, поглощенный, несмотря на трагизм создавшегося положения, работой.

За окном была черная, непроницаемая пелена. Стонала на руках Женни маленькая болезненная от рождения Франциска, в доме было сыро, голодно и холодно, а мысль Маркса охватывала необъятные просторы, реяла над миром, заглядывала во все уголки и, как ураган, срывала завесы с будущего человечества. Ни бедность, ни кандалами сковывающий быт не могли ослабить могучую творческую энергию и яркое пламя мышления, неустанно горевшее в этом человеке.

После долгой изнурительной болезни, перенесенной в январе, Карл, похудевший, выглядел еще более смуглым. Он точно сошел с картины, изображавшей арабского шейха или неукротимого бедуина. За прекрасные сверкающие глаза, смолисто-черные, уже с проседью, волосы, за кожу оливкового цвета родные и друзья звали его Мавром. Это прозвище полюбилось маленьким Женнихен, Лауре и Мушу. Отныне они редко называли его иначе, заменив «Мавром» обычное «папа».

Библиотека Британского музея была любимым местом Карла в Лондоне. В ее величавом тихом зале он мог работать сосредоточенно и спокойно. Суета перенаселенной квартиры, смех или плач детей, окрики Ленхен — неизбежные помехи, всего этого не было в Монтег-хаусе, и Маркс проводил в его читальне иногда весь день, с девяти утра и до семи вечера. Это были самые безмятежные и плодотворные часы.

Но февраль 1852 года вместе с туманами, болезнями принес безысходную нужду. Небольшая сумма, которой щедро, отдавая большую часть заработанных денег, делился с семьей Энгельс, не могла существенно помочь. Заработка почти не было.

Несколько месяцев назад редактор «Нью-Йорк дейли трибюн» Дана прислал Марксу письменное приглашение сотрудничать в его большой газете.

В 1848 году предприимчивый Чарльз Дана приехал в Кёльн из Нью-Йорка с одним из корреспондентов издаваемой им газеты. Маркс произвел на американцев сильное впечатление. Они слушали его необыкновенно содержательные, ясные, воодушевляющие речи и поражались сочетанию крайней сдержанности и необычной страстности в молодом редакторе «Новой Рейнской газеты» с глубиной и многогранностью его души.

В Нью-Йорке Дана вспомнил о Марксе и, узнав его адрес в Лондоне, решил привлечь к сотрудничеству в своей газете. Получив письмо от Дана, Карл, поглощенный работой над книгой по политической экономии, обратился к Энгельсу в Манчестер, и тот за его подписью направил в «Нью-Йорк дейли трибюн» просимые статьи.

Не раз сплетались воедино мышление и творчество двух друзей. Но то, что опасно для людей с маленьким или неравным интеллектом, когда сильный поглощает более слабого, не могло грозить таким титаническим умам и душам, как Маркс и Энгельс. Настолько безмерно богаты духовно и умственно были они оба, что, сливая знания, мысли, чувства, каждый из них сохранял свою полную независимость и цельность натуры. Среди совершенно равных нет проблемы самолюбия или мелочных счетов.

Скованный отсутствием одежды и обуви, Маркс домонотрывно писал книгу о государственном перевороте, совершенном во Франции 2 декабря минувшего года.

Первую главу «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта», как назывался новый труд Маркса, он послал другу Вейдемейеру в Америку, куда тот переселился незадолго до этого с женой и двумя детьми. Преследования полиции, готовившей провокационный процесс коммунистов в Германии, а также материальные лишения вынудили Иосифа Вейдемейера искать пристанища и удачи за океаном. Не сразу Карл и Фридрих одобрили это реше-

ние преданного и дорогого им обоим друга. Но много выхода не было.

Осенью Вейдемейер с семьей выехал из Гавра в Нью-Йорк. Сорок суток трепали осенние штормы судно, идущее в далекую Америку. После многих мучений добрались немецкие эмигранты до Нового Света.

Едва устроившись на новом месте, Иосиф Вейдемейер энергично принялся за осуществление намеченного плана — издание политического еженедельника. Он попросил Маркса написать для этого предполагаемого журнала историю государственного переворота в Париже. До середины февраля Карл еженедельно писал для Вейдемейера статьи, которые озаглавил общим названием «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Он начал первую статью словами из письма к нему Энгельса:

«Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Кавеньяк вместо Дантона, Луи Блан вместо Робеспьера, Гора 1848—1851 гг. вместо Горы 1793—1795 гг., племянник вместо дяди. И та же самая карикатура в обстоятельствах, сопровождающих второе издание восемнадцатого брюмера!

Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории».

В течение зимы 1852 года Вейдемейеру ничего не удалось сделать. К весне, однако, дела его пошли лучше: он получил место землемера и одновременно приступил к изданию журнала «Революция». Первый выпуск должен был состоять из нового произведения Маркса, написанного под непосредственным впечатлением событий во Франции.

Все остающееся от домашних хлопот и неурядиц время и все силы Женни отдавала переписке «Восемнадцатого брюмера». Наиболее плодотворной для дела была ночь. Тогда спали дети и наступала наконец тишина. Часто Карл диктовал ей текст статей, прохаживаясь по комнате. Быстро записывая, Женни вслушивалась не только в слова, но и в чистый, глубокий голос, который так любила.

— Прошу тебя, родная, — говорил Карл тихо, чтобы не потревожить спящих детей и Ленхен, — отмечать абзацы незаполненными белыми промежутками, впрочем, я поставлю сам «галочки», чтобы Вейдемейер мог легче разобраться в тексте. На чем ты остановилась?

Женни раздумчиво, стараясь оттенить мысль мужа соответствующими интонациями, прочла несколько страниц текста, который переписывала.

Внезапно Женни остановилась. Лицо ее, обычно матово-бледное, осветилось изнутри и порозовело. Она лукаво улыбнулась и сказала шутливо по-английски:

— Секретарь и супруга доктора Маркса заявляет, что в книге «Восемнадцатое брюмера» много великолепных мыслей. Они изложены, Чарли, столь кратко и четко, как это умели делать только античные писатели.

От долгой ночной работы у Маркса болели глаза. Он то и дело закрывал их ладонью. Женни подошла к нему и заглянула в его усталое лицо. Вокруг покрасневших глаз залегли фиолетовые тени.

— Ложись сейчас же спать, — потребовала Женни. — Пишешь уже более месяца, не разгибаясь, с раннего утра до вечера. Дай я приложу тебе примочки из крепкого чая на глаза. Они так воспалены.

Карл очень страдал от болезни глаз, но продолжал много работать, часто до самого рассвета. В этот раз он обещал уступить просьбам жены, хотя прежде принялся за ответ на письмо Вейдемейера, в котором тот, между прочим, извещал о рождении сына.

«Желаю счастья новому гражданину мира! Нет более замечательного времени, чтобы родиться на свет, чем нынешнее,— писал Маркс. — К тому времени, когда из Лондона в Калькутту будут добираться всего за семь дней, у нас обоих головы будут давным-давно снесены или будут трястись от старости. А Австралия, Калифорния и Тихий

океан! Новые граждане мира не в состоянии будут понять, до какой степени мал был наш мир».

С неохотой подчинившись жене, Карл лег в постель, и Женни, позабыв обо всех лишениях и бедах, снова горячо принялась за переписку.

Некоторые мысли в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта» так нравились ей, что она готова была вскочить с места, разбудить Карла и сказать ему, как величествен его ум, как богат язык, необозрим духовный горизонт.

«Это превосходно стилистически. Тут нельзя убавить или прибавить ни одной мысли или слова», — думала Женни и снова перечитывала полюбившееся ей место из новой книги:

«Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со всяким суеверным почитанием старины. Прежние революции нуждались в воспоминаниях о всемирно-исторических событиях прошлого, чтобы обмануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственное содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы...

Буржуазные революции, как, например, революция XVIII века, стремительно несутся от успеха к успеху, в них драматические эффекты один ослепительнее другого, люди и вещи как бы озарены бенгальским огнем, каждый день дышит экстазом, но они скоропреходящи, быстро достигают своего апогея, и общество охватывает длительное похмелье, прежде чем оно успеет трезво освоить результаты своего периода бури и натиска. Напротив, пролетарские революции, революции XIX века, постоянно критикуют сами себя, то и дело останавливаются в своем движении, возвращаются к тому, что кажется уже выполненным, чтобы еще раз начать это сызнова, с беспощадной основательностью высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность своих первых попыток, сваливают своего противника с ног как бы только для того, чтобы тот из земли впитал свежие силы и снова встал во весь рост против них еще более могущественный, чем прежде, все снова и снова отступают перед неопределенной

громадностью своих собственных целей, пока не создастся положение, отрезывающее всякий путь к отступлению...»

Было уже три часа ночи. Проснулась и горько заплакала Франциска. Жалобный голосок младенца отозвался в сердце матери невыносимой болью. Таким же слабым, хворым был и Фоксик всю свою недолгую жизнь. Неужели и этого ребенка Женни суждено потерять? С некоторых пор страх за жизнь детей мучил ее неотвязно. Как им помочь? В доме не было ни гроша. Одни долги. Слезы не приносили Женни больше облегчения, не растворяли горя. Они только ослабляли. Ей казалось, что нервы обнажены, лишены покрова и вибрируют от каждого случайного прикосновения. Как вернуть себе прежнее спокойствие? Потеряв сына, она не могла оправиться. Иногда, под гнетом нищеты, она казалась себе совершенно раздавленной, и тогда только Карл возвращал ей волю к жизни...

Думая обо всем этом, Женни отложила переписку и поднялась, чтобы перепеленать Франциску. Но Ленхен опередила ее. С ребенком на руках подошла она к Женни и положила его к ней на колени.

— Опять слезы. От них молоко превращается в уксус, — укоризненно шепнула Ленхен.

— Ты права,— ответила Женни, расстегивая корсаж,— но мои дети лишены всего в этом мрачном проклятом городе, они хиреют от недоедания, от недостатка дневного света.

— У самой темной тучи всегда есть, однако, серебряная подкладка. После черных туманов таким ярким покажется нам чистое небо, — сказала Ленхен. — Я видела многих богатых людей, а не хотела бы быть и дня на их месте. Когда имеешь такое верное, любящее сердце, как сердце Карла, и таких друзей, как господин Энгельс, Вольф и кое-кто еще, право, нельзя гневить судьбу. А наши детки? Разве это не сокровища? Многие могут позавидовать нам. Ведь хорошие люди — это самое дорогое и редкое на свете.

Женни ничего не отвечала. Она вспомнила, что на одной из страниц рукописи мужа, которую только что переписывала, прочла замечательные слова об «эпохах малодушия». Неужели в ее жизни началось такое время? Малодушие... Нет и нет! Но сама ли она выбрала свой

жребий и не гордилась ли им всегда? Жена бойца, жена исполина. Этот удел был поистине счастливым.

Она познала такую любовь, о которой многие тщетно только мечтают. Душа ее, благодаря общению с Карлом, никогда не тускнела, не мельчала, не теряла человеческого величия. За годы замужества ни скука, ни пошлость, ни низменные интересы или мелкая ревность, ни оскорбительные подозрения не вовлекли ее в свой зловонный водоворот. Карл незаметно, самим своим присутствием поднимая ее все выше, открыл перед Женни весь мир, все видимые и незримые сокровища. Это ли не сказочное богатство, не вершина счастья?!

Когда Ленхен унесла Франциску, Женни, прежде чем пойти отдохнуть, переписала две страницы «Восемнадцатого брюмера Луи Бонапарта». Ей было жаль расстаться с рукописью.

«Конституция, Национальное собрание, династические партии, синие и красные республиканцы, африканские герои, гром трибуны, зарницы прессы, вся литература, политические имена и ученые репутации, гражданский закон и уголовное право, liberté, égalité, fraternité [1] и второе воскресенье мая 1852 г. — все исчезло, как фантасмагория, перед магической формулой человека, которого даже его враги не считают чародеем. Всеобщее избирательное право, казалось, продержалось еще одно мгновение только для того, чтобы перед глазами всего мира составить собственноручно свое завещание и заявить от имени самого народа: «Все, что возникает, достойно гибели».

Недостаточно сказать, по примеру французов, что их нация была застигнута врасплох. Нации, как и женщине, не прощается минута оплошности, когда первый встречный авантюрист может совершить над ней насилие. Подобные фразы не разрешают загадки, а только иначе ее формулируют. Ведь надо еще объяснить, каким образом три проходимца могут застигнуть врасплох и без сопротивления захватить в плен 36-миллионную нацию».

В середине февраля, раздетый и разутый нищетой, Маркс, не покидавший дома, вчерне закончил «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Женни переписывала

[1] Свобода, равенство, братство (*франц.*).

последние листы. Как бы утомлена она ни была, живое слово со страниц, густо исписанных мелкими сложными, рвущимися куда-то вперед буквами, мгновенно возвращало ей уверенность и внутреннее равновесие. Она писала бы не отрываясь до утра, если бы властная рука Лешхен или ласковый, но твердый голос мужа: «Пора, ложись спать, ты устала», — не возвращали ее к действительности и не заставляли прекращать работу.

Жанни переписывала одну из последних глав:

«Историческая традиция породила мистическую веру французских крестьян в то, что человек, по имени Наполеон, возвратит им все утраченные блага. И вот нашелся некто, выдающий себя за этого человека только потому, что он — на основании статьи Code Napoléon: «La recherche de la paternité est interdite» [1] — носит имя Наполеон. После двадцатилетнего бродяжничества и целого ряда веселых приключений сбывается предсказание и человек становится императором французов. Навязчивая идея племянника осуществилась, потому что она совпадала с навязчивой идеей самого многочисленного класса французского общества.

Но тут мне могут возразить: а крестьянские восстания в доброй половине Франции, а облавы, устраиваемые армией на крестьян, а массовые аресты, массовая ссылка крестьян?

...Династия Бонапарта является представительницей не революционного, а консервативного крестьянина, не того крестьянина, который стремится вырваться из своих социальных условий существования, определяемых парцеллой, а того крестьянина, который хочет укрепить эти условия и эту парцеллу, — не того сельского населения, которое стремится присоединиться к городам и своей собственной энергии ниспровергнуть старый порядок, а того, которое, наоборот, тупо замыкается в этот старый порядок и ждет от призрака империи, чтобы он спас его и его парцеллу и дал ему привилегированное положение. Династия Бонапартов является представительницей не просвещения крестьянина, а его суеверия, не его рассудка, а его предрассудка, не его будущего, а его прошлого...»

---

[1] Кодекс Наполеона: «Отыскание отцовства запрещается» (*франц.*).

Несколько раз перечла Женни страницу, где буквы то сплетались, то рассыпались в виде острых значков и точек и напоминали потопись. Нелегким делом было разобрать особый почерк Маркса. Но Женни это удавалось.

«У буржуазии теперь явно не было другого выбора, как голосовать за Бонапарта. Когда поборники строгости нравов на Констанцском соборе жаловались на порочную жизнь пап и вопили о необходимости реформы нравов, кардинал Пьер д'Айи прогремел им в ответ: «Только сам черт может еще спасти католическую церковь, а вы трете ангелов!» Так и французская буржуазия кричала после государственного переворота: «Только шеф Общества 10 декабря может еще спасти буржуазное общество! Только воровство может еще спасти собственность, клятвопреступление — религию, незаконнорожденность — семью, беспорядок — порядок!»

Хотя Женни всегда оберегала краткий отдых Карла, в этот раз ей не терпелось сказать ему, как мастерски написана его новая книга о событиях в современной Франции.

Разбуженный женой, Карл не сразу понял, что произошло. Щуря больные, переутомленные глаза, он недоуменно посмотрел на Женни.

— Что-нибудь случилось? — спросил встревоженно Карл, привыкший за последнее время ко всяким неожиданным невзгодам и напастям.

— Прости, дорогой. Но, право, я не могла дождаться утра. Ты написал замечательную книгу, которая намного переживет нас с тобой. Трудно запечатлеть в момент, когда еще льется лава, извержение вулкана, или когда еще колышется почва — землетрясение.

— Ты забыла об ученом Плинии, который описал гибель Помпеи, находясь у подножия пылающего Везувия,— улыбнулся Маркс.-

— То была всего лишь запись стихийного бедствия, и только. Ты же сумел объяснить причины, открыл подспудные силы, вызвавшие переворот авантюриста Бонапарта, так, что никто никогда не добавит к этому ничего более значительного.

Карл жил очень уединенно. Вейдемейер был за океаном. Веерт странствовал, Энгельс и Вольф находились в Англии, но вдали от Лондона.

В числе немецких эмигрантов, нашедших гостеприимный кров у Маркса, был двадцатишестилетний, ничем особо не замечательный, но весьма говорливый домашний учитель Вильгельм Пипер. Он чувствовал себя отлично, ночуя на тюфяке, постланном на полу на Дин-стрит, 28, и питаясь скромными, но очень вкусными обедами, которые приготовляла добросердечная Ленхен. Пипер играл с детьми, вмешивался во все дела Женни, повторял с важным и поучающим видом, словно эхо, все, что говорил тому или иному поводу Маркс, и охотно выполнял некоторые секретарские обязанности. Не имея собственной отчетливой индивидуальности, Пипер был подобен благообразной внешностью и характером луне, которая, являясь мертвым светилом, отражает свет солнца. Находясь возле Маркса, Пипер казался даже ярким, поскольку довольно точно использовал то, что перенимал у Карла.

Назойливый, шумный Пипер поступил в качестве домашнего учителя в семью одного из родоначальников династии банкиров Ротшильдов в Лондоне. Зимой 1852 года он снова зачастил на Дин-стрит.

Пипер, которого Карл иногда называл добрым малым, в последнее время возомнил себя теоретиком и надоедал всем поучениями. Самонадеянно, бестактно и намеренно громко он пытался излагать то, что сам довольно плохо усвоил, вмешивался в разговор, испытывал этим долготерпение Карла и Женни.

Шутки ради он принимался поддразнивать детей Маркса и как-то, подарив не по годам смышленому Мушу нарядную записную книжечку, пригрозил затем, что заберет ее обратно. Обеспокоенный малыш спрятал подарок в укромное место и с таинственным видом шепнул на ухо отцу:

— Знаешь, Мавр, теперь-то я книжечку так запрятал, что ее никто не найдет. А если Пипер спросит, я скажу, что подарил ее нищему.

Пипер, как и все, кто бывал в семье Маркса, любовался величавой прелестью Женни. Лишения не отразились на ее красоте. Скромная одежда не ослабляла впечатления, которое она производила на окружающих.

«Хороша, словно греческая богиня, и к тому же так умна, приветлива, учена и остроумна», — думал Пипер и охотно выполнял ее поручения. Он помогал ей в переписке рукописей Маркса и в разных маленьких домашних делах.

Покинув роскошный дом Ротшильда, Пипер еще окровеннее восторгался Женни. В самых богатых хоромах ему не довелось встретить равную ей по красоте и статности женщину.

«Ни один современный Крез не может похвалиться такой женой, как Маркс, — думал он. — И эта чудесная жемчужина находится в такой нищете, предпочла жизнь изгнанницы, отказалась от всего, что обеспечивали ей знатность и необыкновенная красота».

Кончилась зима. Женнихен и Лаура с утра уходили в школу. Прекратились черные и желтые туманы, и на площади Пиккадилли появились первые продавщицы лиловых фиалок и ярко-желтых нарциссов. Над городом повисла прозрачная дымка белого тумана.

После долгого вынужденного затворничества Карл, выкупив из ломбарда сюртук и штиблеты, вышел впервые на улицу. Он жмурился от яркого света и глубоко вбирал влажный и дымный, как всегда в столице Англии, воздух. От многодневного пребывания в четырех стенах у Карла кружилась голова. Он приподнял шляпу с квадратной тульей и широкими полями, радуясь прикосновению свежего ветерка к густым волосам.

Было воскресенье — унылый конец английской недели, день, предназначенный не только Лютером, Кальвином, но и английским парламентом для чтения Библии, размышлений о грехах и их искуплении. Более ста лет назад особым парламентским декретом в «божьи» дни были воспрещены под угрозой строгих кар всякие общественные увеселения, арелища, музыка, танцы.

В праздники Лондон казался опустошенным, как в средневековье эпидемией оспы или великим пожаром. Театры, против которых беспощадно боролся Кромвель, ненавидевший их, как потеху презренной аристократии, все еще несли на себе клеймо пуританского проклятия. Вышедшие из подполья в эпоху реставрации королевской власти, они, однако, никогда не смогли вернуть себе привилегии шекспировской поры и безропотно подчинялись в середине XIX века парламентским гонениям, имевшим почти двухсотлетнюю давность. В день отдыха закрыты были не только все без исключения магазины, читальни, но и рестораны. Зато в этот день, когда люди напивали от безысходной скуки, особенно бойко торговали пивные. Заглянув в одну из них, Маркс увидел за столом

с кружкой пива в руке Эрнеста Джонса, с которым был дружен последние годы.

— Алло, Карл, очень рад вас видеть, садитесь, дружище, — на чистом немецком языке весело приветствовал его Джонс — один из вождей чартистов, известный поэт и замечательный оратор. — Кончили ли вы книгу, ради которой ведете столь отшельническую жизнь? Не желая нарушать нашего творческого уединения, я не заходил к вам довольно долго. Надеюсь, вы подвели хорошую мину под дело дня Бонапарта? Никому это не удастся лучше подготовленным. Известна ли вам резолюция, вынесенная на нашем митинге в Национальном зале?

Джонс вынул из кармана печатный текст и прочел его не без пафоса. У него был чистый, громкий голос и энергичная декламационная манера.

«Митинг с ужасом и отвращением встретил победоносное шествование Луи Наполеона — узурпаторство, совершившееся с помощью целого ряда преступлений, начиная с измены и организованных убийств, не знающих себе равных во всей истории Европы. Мы глубоко сочувствуем героическому французскому народу, видя, как национальные права и свобода, завоеванные им с такими трудами и жертвами, грубо попираются военной силой, и мы уверены, что время вместе со всеми благомыслящими людьми скоро увидит конец этой узурпаторской власти, конец постыдный его царствования, достойный его преступления и его неблагодарности по отношению к французскому народу».

— Что ж, резолюция резка, и это хорошо, — сказал Карл.

За нее голосовало большинство присутствовавших. Между прочим, время оказалось хорошим учителем для господ вроде Карлейля. Второе декабря — великолепная иллюстрация к их теории о великих личностях, творящих историю. Если такое продажное и трусливое ничтожество смогло позаимствовать государство великих свободолюбцев, чего же стоят все разглагольствования о культе героев?

— На гребне исторической волны иногда может оказаться скорлупа от яйца или даже навоз, — саркастически улыбнулся Карл.

— Ого, сильно и точно сказано. — Свежее, приветливое лицо Джонса приняло чрезвычайно серьезное и даже несколько суровое выражение напряженно думающего

человека. Рука англичанина поднялась, напряглась и точно схватила что-то. — Я понял, Маркс, что вы, именно вы являетесь живым опровержением тех, кто считает решающей силой роль личности в истории. У вас проникновенный, почеловеческий разум, ваша самоотверженность почти божественного свойства. Не мешайте мне говорить. Оттого, что вы пришли в этот мир тогда, когда, согласно вами же найденной рычажке, экономические, исторические предпосылки для осуществления самых благородных целей человечества еще отсутствуют в должной степени, вы, Маркс, еще не стали душой и мыслью масс, вы, мудрый и сильнейший из сильных, не оценены пока по достоинству. Вы принадлежите будущему.

Маркс несколько раз пытался остановить пылкую речь Джонса, но ему удалось только задержать его руку, то и дело выбрасываемую вверх, как бы следом за словом.

— Не прерывайте меня, Карл. Для рабочего класса, когда он победит, будут святы имена революционеров и теоретиков.

Джонс припался за кружку эля и сандвичи. Вскоре Маркс и Джонс вышли на бельгийскую улицу. Было еще светло.

— Проклятое воскресенье, день, когда воистину некуда податься. Сидеть на скамейках в парках рискованно, легко осложнить себе жизнь ревматизмом. Давайте погуляем, — предложил Джонс.

— Отлично, — согласился Карл, любивший ходьбу.

Они медленно направились к Гайд-парку по широкой степенной улице магазинов — Оксфорд-стрит. Джонс был ростом ниже Маркса, но так же широкоплеч и крепко скроен.

— Вы так-таки ничего еще мне не сказали о своей новой книге, — заговорил снова англичанин. — Слыхали ли вы о двух французских сочинениях, посвященных, так же как и ваше, перевороту второго декабря?

— Да, я их читал. Переворот «елисейской банды» волнует и будет еще долго будоражить умы всех демократов мира. Одна из книг называется «Наполеон Малый». Автор — Виктор Гюго, другая — «Государственный переворот» небезызвестного вам Прудона. Гюго и я, как видите, эмигранты, и оба нашли прибежище на земле туманного Альбиона.

— Не хочу ставить вас, Маркс, в один ряд с другими. Нельзя не уважать таланта Гюго, он, в конце концов, смелый человек. Что же касается достопочтенного Прудона, то чем дальше, тем больше он становится похожим на свистульку, воображающую себя органом.

Карл принялся рассказывать Эрнесту Джонсу о двух французских книгах, посвященных столь волновавшей его теме.

— Для Гюго события второго декабря явились громом среди ясного неба. По его мнению, это чуть ли не рок. Он видит в случившемся лишь насильственное деяние одного человека и, пытаясь умалить значение политического прохвоста, каким, несомненно, является Луи Бонапарт, возвеличивает его, приписывая безмерную мощь личной инициативе. Это неизбежно, раз не объяснены и попросту обойдены молчанием истинные исторические и политические причины такого стремительного возвышения. Поэтому книга Гюго, по-моему, несмотря на едкие и остроумные выпады, неубедительна и легковесна, как карточный домик.

— А что получилось у Прудона? — поинтересовался Джонс.

— Прудон впадает в ошибку так называемых объективных историков. Незаметно для себя самого, он хотя и стремится представить государственный переворот результатом предшествующего исторического развития, но фактически непрерывно возвеличивает Луи Бонапарта.

— Понятно, а вы, Маркс, как разрешили загадку трагикомических событий во Франции? Я обязательно прочту «Восемнадцатое брюмера». К счастью, мне не придется ждать обещанного Пипером английского перевода, так как я хорошо владею немецким. Большое удовольствие прочесть ваше сочинение в оригинале.

— Спасибо, Джонс. Я в своей книге, в противоположность Гюго и Прудону, показываю, каким образом классовая борьба во Франции создала предпосылки для того, чтобы этот скоморох Луи-Наполеон смог сыграть роль героя.

Условившись с Джонсом о встрече на следующий день, Маркс свернул в квартал Сохо. Внезапно обернувшись, он увидел круглое веснушчатое лицо следовавшего за ним почтенного господина в шляпе пирожком.

«Мой шпик тут как тут. Долго же я водил его по городу», — подумал Карл. Это его рассмешило. Подойдя к своему дому, Карл еще раз посмотрел на несколько смущенного шпика, который сделал такой жест, точно хотел снять свою странного фасона шляпу и раскланяться.

Насвистывая шуточную немецкую песенку, Карл поднялся на второй этаж в свою квартиру. Едва он открыл ключом дверь, как услышал хор детских голосов:

— Ура, дядя Ангельс приехал, дядя Ангельс привез леденцы, конфеты и разные вкусные вещи!

Позади оживленных, разрумянившихся Женнихен и Лауры появился Энгельс с Мушем на руках.

— Ба, вот приятная неожиданность! У нас Фредерик, — радостно воскликнул Маркс, сбросив пальто.

Осторожно поставив мальчика на пол, Фридрих подошел к Карлу, ласково всматриваясь в его лицо.

— Как твои глаза? Кажется, тебе лучше. Наконец-то я вырвался опять к вам на несколько дней из проклятого Манчестера. Госпожа Маркс рассказала мне уже много интересного о твоей книге, а Ленхен напоила превосходным кофе. Я провел часок в обществе своих маленьких друзей. Мы выстроили великолепный вигвам и раскурили трубку мира.

Весь вечер, пока не улеглись дети, в квартире Маркса не смолкали смех и шутки. Когда Ленхен наконец удалось уложить спать Женнихен, Лауру и Муша и укачать покашливающую хилую Франциску, собрались все взрослые члены семьи. Карл и Фридрих заметно истосковались друг по другу и сели рядом. Улыбка не сходила с их лиц. Переписка могла лишь отчасти заменить им живое личное общение. В редкие встречи они старались возместить время, прошедшее в разлуке.

В разговоре оба друга как бы ковали на огне мысли те положения в политике, экономике, истории, которые не раз обдумывали и проверяли порознь, отделенные десятками миль. Но вначале беседа скользила лишь по поверхности. Они как бы отдыхали рядом.

— Джонс, несомненно одареннейший из чартистов, повсюду рекламирует твою корреспонденцию, Фридрих, сохраняя, однако, твое инкогнито. Завтра ты услышишь сам его мнение об этом. Кстати, я уже писал тебе, что неудавшийся Марат — достопочтенный Гарни, любитель

всяких театральных эффектов и рекламной шумихи, бесстыдно отбивает для своей газеты «Друг народа» подписчиков у Джонса. Черт знает где достает он деньги. Недавно Гарни нанял и пустил по Лондону фургон с объявлениями, призывающими подписываться на «Друга народа». Во всех витринах магазинов, хозяева которых объявляют себя социалистами, ты можешь полюбоваться рекламой газеты благородного чартиста Гарни Джорджа Джулиана.

— Думаю, что госпожа Гарни, его супруга, принимает во всех этих предприятиях самое деятельное участие. Я знавал только одну женщину столь же напористую, — сказал Энгельс. — Ты догадываешься, конечно, кого я имею в виду?

— Прелестнейшую из гадюк — Эмму Гервег, — смеясь, ответил Маркс. — Я теперь еще более убежден, что Гарни тщетно пыжится и хочет доказать, что мыслит и действует самостоятельно.

— Ты превосходно заметил, Карл, когда-то о Гарни, что в душе его живут три духа, — вмешалась в разговор Женни. — один усмирен вами, господин Энгельс, вот отчего мистер Гарни всегда отступает и как-то сжимается, когда вы с ним спорите, второй — это он сам в непривлекательном виде, но третий и к тому же самый могущественный — это семейный дух, его достойная супруга.

— Эта дама, — говорил, смеясь, Карл, — превосходит всех героинь Шеридановой «Школы злословия». Бекки Шарп из «Ярмарки тщеславия» по сравнению с ней новорожденный младенец. Даже меня и Женни она умудрилась впутать в свои мерзкие сплетни. Эта женщина сует свои длинные руки не только в кухонные кастрюли знакомых, но и во все политические начинания мужа. Немало хороших людей уже поплатились только за то, что встречались с ней когда-либо. Но довольно об этом. Хорошо, что Эрнест Джонс другой. Несмотря на некоторую мягкость характера и частые колебания, он, несомненно, последовательный, надежный борец. Читал ли ты его новую поэму?

— Стихи Джонса очень хороши, — заметила Женни, оживившись.

В соседней комнате раздались стопы и мучительный детский кашель.

— Франциска снова больна. У нее, по-видимому, бронхит. Как я боюсь за эту крошку! — Сказав это, Женни поспешно вышла из комнаты.

— Я разделяю тревоги госпожи Маркс, — произнес Фридрих. — Ребенок кажется мне очень слабеньким. Хорошо, если не будет воспаления легких.

Маркс помрачнел и нервно принялся отыскивать на столе коробку с пахитосками. Он тяжело вздохнул.

— Бедное дитя, — сказал Карл тихо. — Оно пришло в мир в тяжелое для нас время. Женни горестно оплакивала нашего умершего сынишку. После родов, как ты, наверно, помнишь, она долго болела. Ребенок находился у кормилицы. Здесь ведь к тому же очень тесно. Материальное положение мое так плачевно, что больная малютка не имеет необходимых лекарств и достаточной врачебной помощи. Если бы не ты, Фредерик, мы уже, должно быть, не существовали бы больше.

Энгельс не мог усидеть на месте. Он встал, прошелся по комнате, стиснул руки и сказал с горечью:

— Молчи, Карл. Я так мало могу сделать теперь для тебя и твоей семьи. Но терпение, друг! Когда я перестану быть всего лишь конторщиком и сделаюсь компаньоном фирмы отца, где бы она ни была — в Манчестере или Ливерпуле, — все сразу изменится в твоей жизни. Я не могу дождаться той минуты, когда твоя семья будет иметь все необходимое и ты спокойно сможешь писать свою столь важную для нашей борьбы и победы книгу по политической экономии. То, что ты мне показывал, нужно миру и человечеству как воздух. Ты допишешь свой труд, чего бы нам это ни стоило, а пока...

Голос Энгельса, всегда такой ровный, уверенный, дрогнул. Маркс посмотрел на него сверкающим благодарным взглядом. Они молча закурили. Вскоре разговор возобновился, сначала отрывисто, вяло, затем с нарастающей силой и увлечением. Оба друга как бы домысливали в беседе все, что было не до конца ясно. Взаимопонимание Карла и Фридриха было так велико, что, едва один начинал говорить, другой мгновенно безошибочно мог продолжать его мысль. В этом отчетливо сказывались их сокровенная близость и единство.

Оба они отлично знали все, что касалось развития английской экономики и важнейших политических событий. Маркс и Энгельс жили интересами всей планеты, и

разговор их был подобен кругосветному путешествию. Индия, Америка, Китай и европейские страны — все это было в поле их зрения и мысли.

Но вот беседа перешла к волновавшим их особенно делам Союза коммунистов. Маркс, негодуя, рассказывал о подлом прусском провокаторе Гирше, втершемся в Союз коммунистов.

— По моему предложению, — говорил он, — этот юркий негодяй был исключен на очередном собрании коммунистов Лондонского округа. Пришлось изменить адрес и день еженедельных собраний, чтобы скрыться от полиции. Вместо Фаррингтон-стрит в Сити, где мы собирались по четвергам, отныне встречаться будем в таверне «Роза и корона», неподалеку отсюда, в Сохо, на Крауи-стрит. Как видишь, Фред, мы окружены шпиками. Наши письма перлюстрируются. Необходима осторожность, чтобы ничем не подвести арестованных в Кёльне братьев по партии.

Борьба за соратников, которых привлекли к суду, обвиняя в участии в так называемом немецко-французском заговоре, была кровным делом Маркса и Энгельса, и они долго обсуждали, как следует им ее вести. Было уже далеко за полночь, когда они заговорили об американских друзьях Вейдемейере и Клуссе, который недавно сообщал в письме много важных сведений о деятельности за океаном мелкобуржуазных политических дельцов, таких, как Кинкель и Гейнцен.

— Ну, а как ведут себя эмигрантские инфузории здесь, в Лондоне? — спросил насмешливо Энгельс.

— Коношатся. Чтобы различить их деятельность, требуется сильнейший микроскоп. Но переступим через них. Я уже знакомил тебя с тем, что установил для самого себя со всей ясностью в сложном вопросе о классах и классовой борьбе в истории. Существование классов связано лишь с определенными фазами развития производства — это первое; классовая борьба неизбежно ведет к диктатуре пролетариата — второе, и, наконец, третье — эта диктатура сама собой составляет лишь переходную ступень к уничтожению всяких классов и к обществу без классов вообще.

На следующий день Фридрих пришел на Дин-стрит в холодные серые сумерки. Здоровье Франциски ухудшилось, и в квартире царило беспокойство. Женни и Лепхен не отходили от больного ребенка. То они принимались

обогревать его, закутывая в теплую шаль, то, не добившись облегчения, бросались поднимать раму окна, чтобы освежить комнату притоком воздуха. Ничто не помогало.

Старшие дети, Карл и Фридрих перешли в соседнюю комнату. Камин чадил, и Карл принялся сам растапливать его. У огня на рваном полосатом пледе лежал хилый котенок. Все в семье Маркса и он сам трогательно жалели и любили этого принесенного с прогулки бездомного котенка.

Энгельс раскладывал на тонких ломтиках белого хлеба сыр. Он был большим мастером делать сандвичи. Женнихен и Лаура с детской беспечностью помогали ему. Потом они окружили Энгельса, требуя сказок. Только Мавр, по мнению детей, умел сочинять их лучше Фридриха. Но в этот печальный день они не решались просить о чем-нибудь отца.

Прежде чем начать рассказ, Энгельс прошел в соседнюю комнату.

Женни бросилась к нему навстречу, тревожно говоря:

— Малютка очень страдает. Она задыхается. Я никогда не видела, чтобы бронхит был столь мучительным. Не знаете ли вы какого-либо исцеляющего средства?

— По моему разумению, надо искупать ее, — вмешалась решительно Ленхен. — Когда-то господин Гейне спас горячей ванной от смерти нашу крошку Женнихен.

— Что ты думаешь о ванне, Фред? — с надеждой в голосе спросил Маркс, взяв на руки хрипящую потную Франциску.

Маленькие ноздри девочки раздувались. Иногда она открывала мутные тоскливые глазки, глядя в пространство. Впервые в жизни Карл вдруг почувствовал желание закричать о помощи. Он крепко закусил губу и отвернулся, чтобы скрыть слезы.

— Конечно, это не может причинить вреда малютке. Ванна, во всяком случае, совершенно безвредна, — ответил Энгельс и принялся деятельно помогать Ленхен готовить горячую воду. Про себя он думал: «Ребенок очень болен. Неужели и он, как Фоксик, погибнет в Лондоне?»

После ванны Франциске стало лучше, и надежда — эта злейшая и желаннейшая обманщица — снова вселила успокоение в семью Маркса.

Фридрих вернулся к терпеливо поджидавшим его детям. Он пододвинул единственное кресло к камину, и

Муш тотчас же забрался на его колени, а девочки уселись рядом. Насытившийся котенок улегся у их ног, поближе к огню.

— Надеюсь, я не помешаю импровизации? — спросил Маркс и подошел к рабочему столу, чтобы просмотреть свежий номер «Таймса».

— Нет, Мавр. Но, увы, я не обладаю твоим даром фантазии. Хорошо, что мои слушатели весьма снисходительны. Итак, хотите ли вы, высокочтимые леди и джентльмены, послушать миф о Прометее? — сказал Энгельс, обняв одной рукой Муша, другой — Лауру и Женнихен.

— Да, да, о Прометее! — закричали дети, которым понравилось звучное, никогда ранее не слышанное имя.

Фридрих понизил голос и медленно, таинственно, как надлежало, начал рассказывать сказку:

— Это было давным-давно, на далеком рубеже земли, принадлежавшей жестокосердным скифам. Там всегда грохотало и пенилось море. Узкие и острые скалы, будто ножи и кинжалы, торчали на берегу, омываемые волнами. Никогда не ступала в этой дикой и пустынной местности нога человека. Но вот однажды появились там страшные стражи сурового греческого бога Зевса. Их звали Власть и Сила. Они гнали перед собой титана — Прометея, чтобы приковать его навеки к вершине самой высокой скалы. Позади Прометея, печально понурив голову, брел его друг, сын Зевса, кузнец Гефест. Ему было приказано приковать к скале руки и ноги пленника. Но мало показалось Зевсу этого наказания, и он велел также пронзить грудь титана стальным острием. «Сильней бей молотом! Крепче стягивай оковы!» — приказывали Власть и Сила Гефесту. «О Прометей! — шептал тот печально. — Я страдаю, видя твои муки, но не могу ослушаться грозного бога Зевса». — «Торопись, бей крепче, иначе и ты тоже будешь закован!» — прервала Гефеста суровая Власть.

И вот все было кончено. Титана приковали к скале и в грудь воткнули стальное копье.

«Безумец, ты помог людям и навлек гнев богов, а эти жалкие однодневки на земле не придут облегчить теперь твои страдания. Зачем ты пожалел их, дерзкий?» — насме-

Маркс давно отложил газету и, опершись головой на руку, то ли слушал, то ли думал о чем-то.

— Распростерт на высокой скале, — продолжал Энгельс громчо, — пригвожден и опутан оковами Прометей. Жгут его тело палящие лучи солнца, проносятся над ним бури, по измождённому телу хлещут дожди и град, зимой леденящий холод сковывает искалеченное тело. Каждый день громадный орел прилетает и садится на грудь Прометея и рвет клювом его печень. Потоками льется кровь, обагряя скалу. За ночь заживают раны и вновь отрастает печень, по утром прилетает орел и клюет ее снова. Многие сотни лет длятся эти муки, но не сломлен гордый дух Прометея страданиями. Бессильны перед ним его лютые враги.

— Какая страшная сказка! — говорит Лаура.

— А за что приковали Прометея к скале? — спрашивает Женнихен, блестя черными, в голубой оправе белков, такими же яркими, как у отца, глазами.

Муш силится понять сказку и напряженно морщит лобик.

— Могучий Прометей, вопреки воле Зевса, похитил с божественной горы Олимп небесный огонь и передал его людям, — продолжает Энгельс. — Полудикие, жалкие, несчастные люди благодаря огню обрели письменность, числа и ремесла. Прометей принес им счастье и подорвал безграничную власть над человеком мстительных богов.

За помощь сильную
Главарь богов неистовыми пытками
Мне отомстил наградою чудовищной, —

декламировал Фридрих строфы из Эсхилова «Прикованного Прометея».

Ведь такова болезнь самодержавия:
Друзьям не верить, презирать союзников.
Вы спрашивали, почему постыдно так
Меня калечит, — ясный дам, прямой ответ.
Едва он на престол сел родительский,
Распределять меж божествами начал он
Уделы, власти, почести: одним — одни,
Другим — другие. Про людское горькое
Забыл лишь племя. Выкорчевать с корнем род
Людской замыслил он, чтоб новый вырастить.
Никто за них не заступился, я один!
Один лишь я отважился! И смертных спас!

Энгельс помолчал.

— Вот что еще говорил Прометей, — сказал он затем: — «Я людям подарил огонь...»

Женнихен протянула ручки к камину.

— Он стащил с неба огонь? — сказала она, удивленно вскинув вверх черные ресницы. — Но как стали бы люди жить без него? Они замерзли бы, наверное?

Никто ей не ответил. Мун дремал на руках Энгельса. Лаура прикорнула, положив голову на его колено. И Женнихен одна, пораженная загадочной сказкой, смотрела не мигая в пасть камина. Ей казалось, что сквозь пунцовые языки пламени она видит распластанное тело Прометея, которое разрывает острый птичий клюв.

В тихой комнате снова зазвучал мужественный голос Энгельса. Он продолжал читать наизусть столь любимые Марксом и им стихи Эсхила:

...Врагу от врагов
Казнь и муку терпеть — в этом стыдного нет,
Ну так пусть двухлезвийные кудри огня
В грудь мне рвутся, в клочья пускай разорвут
Воздух — громы и дурь сумасшедших ветров!
Пусть тяжелую землю до самого дна,
До кремнистых корней потрясет ураган.
Пусть в кипенье и бешенстве хляби морей
Вперемежку сплетутся с дорогами звезд.
Пусть швырнут мое тело в бездонный провал
Чернокрылого тусклого Тартара, пусть
Заклубит меня круговерть медной судьбы,
Умертвить меня все же не смогут!

Энгельс опустил глаза и увидел, что только Женнихен по-прежнему жадно слушала, раскрасневшись, миф о Прометее. Мун и Лаура тихо спали.

— Несчастный титан. Неужели всегда Зевс будет его так жестоко мучить? — спросила Женнихен испуганно.

— Прометей — огненосец и провидец. За это-то больше всего и ненавидел его злобный бог. Прометей предсказал, что Зевс должен погибнуть.

Пускай сейчас надменен Зевс и счастьем горд,
Смирится скоро!..
...Пускай царит, небесными гордясь громами.
Пускай царит,
В руке стрелою потрясая огненной!
Нет, не помогут молнии. В прах рухнет Зевс
Постыдным и чудовищным крушением.

— сказал он за.

а она, удивленно
к стали бы люди
е?

руках Энгельса.
на его колено.
ой сказкой, смот-
лось, что сквозь
пластающее тело
ний клюв.
ественный голос
столь любимые

от врагов
го нет,
я
разорвут
етров!

рей
.
ровал

ы,

только Женни-
аснувшись, шеф

Зевс будет его
ни испуганно.
За это-то боль-
Прометей пред-

горд

ания.

Зевс

Соперника на горе сам себе родит,
Бойца непобедимейшего, чудного!
Огонь найдет он гибельней, чем молния,
И грохот оглушительнее грома гроз...
И содрогнется в страхе Зевс.

Наступило молчание. Затем, улыбнувшись широкой ласковой улыбкой, Фридрих продолжал, обращаясь к своей единственной слушательнице:

— Запомни, малютка, Прометей был великий и благородный мученик, как сказал некогда наш Мавр. Он принес себя в жертву потому, что больше всего на свете любил людей. Ничто и никто не мог сломить его волю. Только божественный огонь мог принести счастье людям. И раз боги не отдали добровольно, Прометей его похитил.

Тринадцатого апреля, после нескольких дней пребывания в столице, Фридрих уехал в Манчестер. А днем позже в тяжких страданиях умерла маленькая дочь Маркса.

Снова светило лондонское солнце сквозь прозрачную дымку. Наступила пасха. Продавщицы цветов вывезли на улицу тележки с букетиками разноцветных голландских тюльпанов и серебристых нарциссов. Звонили колокола. В сквере Сохо зеленела свежая трава, веселились воробьи. Только в квартирке на Дин-стрит, 28, стало еще мрачнее. Крохотное бездыханное тельце умершей покоилось в маленькой комнате. Трое детей и трое взрослых горько оплакивали Франциску.

Смерть вошла в дом, где господствовала нищета. Ленхен первая, со свойственной ей трезвостью и силой перед лицом всяких страданий, вспомнила о том, что нужен гробик, но в кошельке Маркса не нашлось ни гроша для его покупки. Эрнест Джонс хотел достать денег, но и ему это не удалось. Мертвое дитя, у которого никогда не было при жизни колыбельки, лежало на столе, не имея последнего прибежища. Ночью вся семья укладывалась вместе в соседней комнате.

Будущее не предвещало ни скорого избавления от страшных лишений. Закрыв глаза, без сна лежала Женни возле своих детей. Мысли, одна мрачнее другой, возникали в ее утомленном мозгу. Что будет с Мушем? Не по летам развитой, необыкновенно одаренный мальчик заметно слабел, прозрачно бледным было его личико,

темные круги лежали вокруг прекрасных, глубоких, полных мысли глаз.

Женни поднялась с постели, похожая на смелую пеструю орлицу, готовую погибнуть, но спасти своих птенцов. Дети спали. Стараясь не разбудить мужа и Ленхен, со свечой в руке прошла она в соседнюю комнату, где лежало уже три дня ее мертвое дитя. Здесь, в полном одиночестве, окаменев от горя, глядя без слез на застывшее белое личико, она вдруг вспомнила Трир и огромный сад с беседкой, обвитой виноградными лозами, где так любила сидеть в знойный день ее мать, баронесса Каролина фон Вестфален. Девочка, бегавшая среди цветов в белоснежном платье с оборками и бантами, похожими на стрекоз, веселая, нарядная, неужели это была она? Если бы Муш, Лаура, Женнихен росли в достатке, если бы маленькая Франциска и бедный Фоксик резвились в старом вестфаленском доме, может быть, смерть не осмелилась бы приблизиться к ним.

Больному воображению Женни послышались звуки музыки. Кто это играл обычно Моцарта на белом клавесине в зале, убранной в шотландском стиле? Это ее брат. Теперь Фердинанд фон Вестфален стал главным прусским министром. Он богат, но никогда сестра не обратится к нему за помощью.

Снова далекий Трир приблизился к Женни. Как беспечно начиналась ее жизнь в отчем доме! Вот и платан на Римской улице, свидетель счастливых свиданий. Часто стояла она в его тени, слушая Карла. Впереди, казалось ей тогда, была одна только радость. Женни закрыла лицо руками.

— «Нет горя горше, чем в несчастье о счастии минувшем вспоминать», — прошептала она слова поэта.

В это время знакомая, бесконечно дорогая рука легла на ее плечо.

— Карл, — прошептала она погибшему незаметно мужу, — мне трудно, невыносимо. Как нам быть дальше? Поддержи меня, я слабею. Сколько раз ты уже возвращал мне силы. Откуда только ты их черпаешь?

— Это и есть жизнь, Женни. Будем сильны в час испытаний. Рождение и смерть чередуются и неизбежны, как ночь и день, покой и буря, прилив и отлив.

— Пусть мы только однодневки на земле, — печально сказала Женни, — но все-таки дороже всего для нас дети.

Скоро ли наступит время, когда на свете не будет больше столь несчастных, как мы с тобой, родителей, которым не на что похоронить своего умершего от бедности и лише-ний младенца?

Немного успокоив и уложив жену, Маркс подошел к чуть тлеющему камину и закурил. Скоро горка окурков выросла в пепельнице. Он взволнованно зажигал и раскуривал одну за другой тонкие пахитоски. Мысли, тяжелые, как жизнь на Дин-стрит, давили его. Облокотясь головой на крепкую руку, Карл думал о том, имел ли он право обречь на столь тяжкие испытания Женни и детей. Может быть, следовало, избрав столь тернистый боевой путь, идти в жизни одному?

С юности Карл выбирал только трудные дороги, был верен одной цели — сделать наибольшее число людей счастливыми. Бесстрашно ради этого он спустился в ад, где жило большинство человечества. В философии, истории, экономической науке искал он упорно средства вывести людей к счастью. Нищета, потери детей, голод, болезни — удел тех, кому он посвятил себя, — стали и его судьбой. Иначе быть не могло. Вместе с Карлом терпели лишения Женни и их дети.

Мог ли Маркс с его чуткой душой, строгим, правдивым сердцем и титаническим умом избрать иную жизнь? Тогда это был бы другой человек.

Возле умершего ребенка Карл сурово допрашивал свою совесть: был ли он прав, не жесток ли к семье? И совесть отвечала без колебаний: «Иди дальше той же тропой. Она ведет к тому, чтобы победить все несчастья. Эта потеря еще раз поможет тебе понять безмерность горестей на земле, твои слезы — одна зримая капля в море других».

Карл отошел от камина, глаза его были подернуты страданием и грустью. Вокруг все спали. На одной из кроватей лежали вместе Женнихен, Лаура и Муш. Склонившись над ними, едва сдерживая желание обнять их, Маркс вглядывался в спящих. Как горячо любил он детей! Не размышляя, пожертвовал бы отец ради них своей жизнью, но отступиться от своей совести, целей, идей не смог бы никогда.

Женнихен и Лаура спали, раскинувшись на постели, порозовевшие, как бы готовые улыбнуться, и тем более бледным казался маленький Муш. Мальчик видел, верно, тяжелый сон, и его умное, нежное, вдохновенное личико

горестно кривилось. Подле олицетворявших здоровье сестер он казался хрупким стебельком, растущим без достаточного дневного света.

Нервы Карла были крайне напряжены, и он внезапно содрогнулся от тяжелого предчувствия и боязни за сына. Это длилось только мгновение. Отогнав страшную мысль, отец не сдержался, наклонился и осторожно, ласково коснулся губами трех пушистых головок, пахнувших свежескошенной травой.

Настало утро.

Маленькую Франциску все еще не на что было похоронить.

Обезумев от отчаяния и смятения, Женни бросилась к одному французскому эмигранту, жившему в квартале Сохо, и попросила о помощи. Это был добрый, отзывчивый человек. Он тотчас же дал ей два фунта стерлингов. На эти деньги куплен был гробик. Годовалую Франциску похоронили на кладбище для бедных.

Неудачи преследовали Маркса, и казалось, судьба удавом обвилась вокруг его дома. Из Америки шли вести одна печальнее другой. Издание брошюры «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» задерживалось — у Вейдемейера не было средств.

И только в конце апреля, прекраснейшего месяца на острове, до Дин-стрит добрался первый луч надежды. Благодаря помощи одного немецкого рабочего-эмигранта, отдавшего все сорок долларов своих сбережений, можно было опубликовать книгу в виде выпуска журнала «Революция».

Горе как бы отхлынуло на время от семьи Маркса. Издатель «Нью-Йорк дейли трибюн» Дана предложил Марксу написать для его газеты статьи о текущих английских делах, а Энгельс прислал другу денег и ободрил его сообщением, что, получив прибавку жалованья, сможет отныне несколько увеличить материальную помощь. В бессолнечной квартирке на Дин-стрит, 28, снова стало веселее. К обеду Ленхен жарила мясо и пекла детям сладкие пирожки. Женни смогла купить себе и детям новые платья, и Муш получил игрушки.

Вильгельм Либкнехт достиг того чудесного возраста, когда человек с особой силой вбирает в себя все, что может, и неутомимо действует. Хотя перед ним было еще

очень много полноценных лет жизни и он знал это, как всякий совершенно здоровый физически и духовно человек, ощущение не до конца использованного времени, нетерпение, желание все испытать постоянно томили его. Этим-то он особенно нравился Карлу и Фридриху, так как был им сродни.

Мысли о любви тревожили Вильгельма. Он смотрел на каждую привлекательную женщину с необъяснимой грустью и растерянностью. Рано лишившись матери, Вильгельм получил суровое воспитание и особенно стеснялся женщин. Но в Женни с недавнего времени он нашел заботливую сестру и мать и делился с ней всем, что волновало и мучило его в печальном изгнании. По его мнению, Женни совмещала в себе все самое лучшее: красоту, слегка насмешливый, глубокий ум, душевное благородство.

— Я уверен, — сказал Вильгельм Женни, помогая ей складывать переписанные листы рукописи Карла, — что вы поймете то, о чем я часто думал в последнее время, и не сочтете меня чудаком. Я попытаюсь заглянуть в будущее, теоретически обобщить ряд житейских наблюдений и кое-каких фактов.

Женни вопросительно посмотрела на Либкнехта, отложив работу.

— Короче говоря,—продолжал он,—речь идет о семье и браке в будущем.

— Вот как! И что же вы об этом думаете? — заинтересовалась Женни.

Вильгельм, собрав всю силу воли, чтобы преодолеть нахлынувшее смущение под прекрасным сияющим и ободряющим взглядом, заметно повысил голос и принялся говорить очень быстро:

— Литературные образы и ситуации, всякий случай из жизни и думы об этом извечном вопросе, который притягивает и вбирает в себя много духовных и физических сил человека, говорят мне, что многое изменится в будущем. В подлинно человеческом, то есть коммунистическом, обществе не будет любовных драм с кровавой развязкой. Яснее: между любовью и семейными узами не возникнет роковых противоречий. Ведь главное, что порождает драму, — это судьба детей. А при коммунизме люди будут так богаты, что дети найдут заботу не только семьи, но и общества, благоденствие и счастье. Исчезнет

в литературе и искусстве тема о брошенных детях. Человек подчинится в любви только велению сердца. Сгинет ревность, и ничье чувство собственного достоинства не будет более уязвлено. И, говоря библейскими оборотами, сбросит человек последнее иго, и увидит он, как хорошо быть вечно молодым.

— Вы еще не любили,— сказала тихо Женни.— Когда вам посчастливится отыскать единственную любимую, вы воскликнете, как Фауст: «Остановись, мгновенье!» Никогда ничто не сможет сравниться для вас с многообразием и глубиной охватившего сердце великого чувства.— Женни помолчала.— Вы правы в том, что люди при коммунизме будут прекрасны, одухотворены и цельны. Любовь к одному или одной подчинит все instincts. Как духовно постоянно развивается человечество, стремясь достигнуть совершенства, так в коммунистическом обществе будет углубляться и шириться способность любить преданно и верно одно существо.

— Нет,— все более удивляясь своеобразию и новизне мысли Женни, оживился Либкнехт,— я не согласен с вами, хотя то, что вы говорите, и очень заманчиво. По правде говоря, меня пугает однообразие в любви, моногамия кажется мне пресной и тягостной, от нее веет пуританством.

— Милый теоретик, вы чрезмерно умствуете,— засмеялась Женни.— Пуританская мораль — это провозглашение устоев собственности. При коммунизме, я думаю, все будут настолько свободны, что человек сможет связать себя таким чувством, которое, раз родившись, умрет только вместе с ним самим. Когда вы полюбите, то поймете без всяких теоретизирований, как многогранна, безгранична и всегда нова подлинная любовь. Впрочем, предоставим будущим поколениям устраивать свою жизнь так, как будет диктовать им их время и сердце.

В немногие свободные часы Вильгельм отправлялся бродить по огромному Лондону. Иногда он встречался с Бартелеми, который уводил его на окраины. Как-то они попали на излюбленное зрелище столичных жителей — собачьи бега. Как и петушиные бои, эти бега привлекали множество зрителей.

Невозмутимая в повседневности толпа, к изумлению Либкнехта, совершенно преображалась на игрищах и состязаниях. Вой, стоны, крики сопровождали бегущих к

финишу собак, догонявших зайца. Не оставалось тогда и следа от пресловутой английской чопорности, сдержанности, контроля над жестом и словом.

Бартелеми был весьма охоч до таких зрелищ и, если были деньги, ставил на тотализатор. Еще больше нравились ему петушиные бои в лондонских трущобах, устраиваемые в больших старых сараях. Либкнехта возмутила эта странная садистская забава. Петухи, обреченные на взаимное растерзание, бились с чудовищной отвагой и смертельным упорством. С подсказанной инстинктом предельной злобой кололи они один другого шпорами, клювами, бились общипанными крыльями, грудью. Диким криком одобрения сопровождали зрители удар старого, хромого, израненного петуха, мгновенно ослепившего соперника. В этом бою не было победителей и финиша. Это была война насмерть. И слепой петух, кровоточащий, общипанный, собрал последние силы, чтобы умереть отомщенным. Внезапно, высоко закинув костлявую шею, он взлетел над противником, повалился на него корпусом и ударом клюва пробил ему голову. Птицы сплелись и издали победный хриплый клич. Оба победили, оба были мертвы.

Вильгельм с отвращением отвернулся. Его тошнило. Бессмысленными, жестокими показались ему озверелые лица присутствовавших, их открытые слюнявые рты, их сладострастно сожмуренные глаза, их вздохи и рев. Чувствуя нарастающее омерзение, Вильгельм потребовал, чтобы Бартелеми вышел с ним из зловонного сарая.

— Как можешь ты, Эммануэль, развлекаться зрелищем, достойным людоедов Соломоновых островов? — спросил он раздраженно.

— У нас с тобой разные вкусы, да и взгляды тоже. Как видишь, здесь всегда тьма народу. Я люблю толпу. К тому же нужно ожесточить сердце, чтобы принести кровавые жертвы во имя победы. Нельзя в наше время бояться крови. Не ты ее прольешь, так тебя обескровят. Недавно я читал, что где-то на Кавказе, в горах, есть люди, поклоняющиеся дьяволу. Они рассудили, что бог — начало добра, его бояться нечего и молиться ему не стоит. Другое дело дьявол. Он беспощаден и потому опасен.

— Это секта езидов, — подтвердил Либкнехт.

— Мне все равно, как она называется. Зло торжествует в современном мире. Бедные перепуганные человечки пытаются молениями и жертвами умилостивить черта. Я не их единомышленник и поднял меч. Со злом я буду бороться злом и уничтожу тиранию.

— Ого, ты вообразил себя безмерно могущественным и хочешь всех чертей перебить из одного своего пистолета. Ты безмозглый петух и не видишь ничего дальше своего клюва.

Бартелеми вспылил и разразился бранью, как всегда, когда у него не было аргументов. Рассорившись с Либкнехтом, он отправился в трактир Джо Брауна, где его давно уже поджидала юная Ненси.

В эти дни Маркс часто уходил в Гайд-парк. Он и во время прогулок не расставался с записной книжкой, чтобы не потерять мелькнувшую мысль, подчас счастливую находку, подводившую итог многим часам работы за письменным столом или в читальне Британского музея. Его мозг работал неутомимо, с величайшей основательностью. Ночь или день не имели для него решающего значения. Все больше часов проводил он в это время без сна. Его организм, созданный для большого напряжения и творчества, настойчиво требовал также и физических упражнений. Карл уходил в далекие прогулки пешком. По длинной Оксфорд-стрит, одной из нарядней ших улиц Лондона, расположенной неподалеку от Сохо, он шел до Марбль-Арч, где начинался просторный, зеленый Гайд-парк.

Памятником, напоминающим о средневековом простолюдине, служит не Ченсери-корт, где его судили, не парламент, где его обращали в рабство, не Вестминстерское аббатство, где отпевали его королей, а обширные городские парки — общинные луга средних веков. Таков Гайд-парк, широкая оголенная лужайка посреди города. Там пасутся отягощенные сваляв шейся серо-желтой шерстью бараны — последнее напоминание о детских годах нации.

В Лондоне, объединившем много отдельных городов, слившихся вследствие в процессе роста, о былом разделении существовании напоминают парки-луга.

Карл, у которого была необычайно живая фантазия, любил представлять себе, усаживаясь на взятом под залог стуле под древним дубом, как на светлой траве возле ис-

чезнувших теперь колодцев танцевала в праздники молодежь средневековья, как бродячий зверинец выгружал тут свои клетки и медведь потешал публику кривлянием и фокусами.

Иногда, встречая на прогулке своего молодого ученика и друга Либкнехта, он охотно рассказывал ему о средневековом Гайд-парке, где в дни праздников ставились на лугу мистерии, а девушки, одетые ангелами, визжа, убегали от заигрывающих с ними юношей — чертей. Божья матерь дискутировала с сатаной, а зрители, рассевшись на траве, то и дело вмешивались в театральное действие, вставляли свои замечания, ругали актеров, кидали им яблоки и букеты цветов. Раскатистый смех непрерывно сотрясал навес — защиту от дождя. Нередко цеховые главари собирали на этом лугу своих членов и устраивали торжественные шествия с знаменами и цеховыми отличиями. Цирюльники несли символическое мыло, бритвы, миски и полотенца, портные — иглы, нитки и ножницы. В дни частых ярмарок траву Гайд-парка вытаптывали выведенные на продажу кони, коровы, бараны и свиньи. Зазывно кричали лоточники, и неутомимый гигант дни и ночи вертел визжащую карусель, а пивовары не успевали выкатывать бочки.

В годы чумы на лугах жгли трупы.

Гайд-парк ничем не был похож на кичливые общественные сады континентальной Европы.

Нарядные парки Парижа или Вены стесняли, как богатая гостиная, заставленная хрупкой мебелью и тончайшим фарфором. Там на каждом шагу ковровые клумбы, плетеные ограждения, начищенные, разглаженные дорожки, печатные угрозы и правила поведения, полные забот не о людях, ищущих отдыха, а об изнеженных и дорогих растениях. В венском Шенбрунне или парижском Люксембургском саду люди — только невольное и нередко досадное дополнение к траве и цветам.

Ницца нигде не кажется такой уродливой, как на фоне какого-либо старого фонтана, статуй или цветочных узоров берлинского Тиргартена.

В Гайд-парке почти нет фонтанов, нет клумб, нет дорог. Есть трава и проложенные по ней тропинки. Гайд-парк — не пестрое городское украшение. Расположенный в самом центре Лондона, окаймленный наиболее людными улицами, он, однако, достаточно просторен и

безыскусствен, чтобы тотчас же заставить позабыть о городе. Нет оград, нет запрещений. Трава городского сада доступна, как скамейка. Умело посаженные по краям парка тополя, ольхи, липы, дубы скрывают городские постройки, поглощают городские шумы.

Покидая Гайд-парк, один или с друзьями, Карл всегда останавливался на углу маленькой площади Мраморной Арч, чтобы послушать ораторов.

В Англии, где парламент существовал более шестисот лет, каждая деталь городского быта насчитывала века. Под бесстрастными ольхами представители социальных и богословских идей вербовали себе сторонников. Не было ни одного общественного течения, которое не заявило бы о себе на углу Гайд-парка. Дождь и туман не препятствовали ораторам и слушателям, запасшимся огромными черными зонтами и калошами.

Карл наблюдал за высушенным, коричневым, как гусеница, старичком квакером, воодушевленно дирижировавшим хором из десяти — пятнадцати доисторических персонажей с лицами закоренелых грешников.

— «Вечность, вечность, где мы проведем вечность?» — надрывались певцы псалмов.

Двое безработных в рваной одежонке обратились к Марксу и, показывая на поющих, сказали презрительно:

— Черт с ней, с вечностью, хотели бы мы знать, где провести ночь сегодня на земле.

Маркс остановил их, и вскоре разговор стал таким интересным и важным для всех троих, что они пошли вместе прочь от квакеров, католического священника, дающего справки о чудесах, совершенных святым Сульпицием, и охрипшей дамы неопределенного возраста, призывающей вернуться к библейским заветам и презреть римского папу.

Один из безработных, с характерным для уэльсцев горташным произношением, метко и зло шутил по адресу правительства, описывая печальную судьбу своих братьев-углекопов.

— Уэльса не обдуришь, мозги у него шевелятся, как добрый эль, — сказал второй безработный, шотландец из города Глазго.

Маркс пригласил обоих рабочих в маленькую харчевню и, хотя был крайне ограничен в деньгах, накормил их скромным ужином. Слушал он шотландского грузчика,

и ему казалось, что Глазго, в котором он никогда не был, исхожен им, как Манчестер и Лондон.

Рабочий говорил о том, почему покинул родные места. Глазго — второй по населенности город Великобритании, столица нищеты. Там живут рудокопы, грузчики, металлисты, передавая свою профессию по наследству из поколения в поколение.

— От нашей бедности, ядовитых газов земного нутра фабриканты и заводчики бежали прочь. Они знают, где жить. Их замки расположены в тридцати милях от города. Хорошо на берегах суровых озер, среди заповедных лесов, в шотландских горах, густо поросших папоротником, — рассказывал случайный знакомый Карла.

Маркс слушал и думал о мрачном городе Шотландии:

«Есть на свете города, возникшие как пристань в укрытой от ветров бухте. Есть города-базары, родившиеся на месте обычного привала кочевников; там травы бывших пастбищ погребены под камнями улиц, древние реки, служившие водопоем для скота, давно высохли. Есть города, которые теперь только памятники былой культуры, тоскливые кладбища, напоминающие о давних событиях. Черный Глазго, видно, не похож ни на один из этих городов. Его построили на каменноугольных пластах близ моря, как строят шахту. Построили, чтобы вырвать из недр земли ее сокровища и тотчас же услать их прочь».

Глазго — город тружеников. На расстоянии многих километров тянутся низенькие домики рабочих кварталов. Тусклые стекла и заштопанные занавески напрасно пытаются скрыть убогую пустоту комнат, почерневший от ветхости очаг и худобу босоногих светловолосых ребят, играющих на полу.

Город не раз попадал в когти свирепой безработицы. Казалось тогда, что по огромным судостроительным заводам и верфям пронесся страшный опустошительный смерч, потопивший корабли, разметавший грузы и разогнавший людей. Работа в порту почти замерла. Кое-где прямо на земле валялись неубранные бревна, недоделанные мачты, куски заржавевшего железа и гнилого каната, пустые бочки. В сухих доках крюки кранов напоминали петли виселиц... С моря почти не приходили суда. Огромнейшие портовые склады были переполнены товарами.

Тщетно отборные силачи-грузчики, толкаемые искоркой надежды, собирались под серыми стенами грузохра-

линии. Двери контор по найму были наглухо закрыты, напрасно стояли здесь толпы высоких рыжих шотландцев и худощавых подшибных темноволосых ирландцев. Это были матросы, не нужные ни одному кораблю. Они стояли здесь, пока не спускались сумерки, и только тогда молчаливо и согбенно плелись к своим лачугам. Многие шли в зловонные закоулки. Там была жалкая утеха нищеты: пивные, курильни опиума.

Лишь немногие одиночные гудки будили утром окраины. Большинство труб не дымилось. Хмурые заводские строения, окружающие Глазго, как крепостные бастионы, были темны и безлюдны.

Только в центре города жизнь текла по-обычному. Горожане побогаче, купцы и коммивояжеры посещали скучные театры и парк с искусственным прудом и гротами, покупали в магазинах пестрые шотландские пледы, клетчатые юбки шотландских стрелков королевской армии, шапочки с перышками, воющие шотландские волынки — сменные побрякушки прошлых лет.

Маркс пристально наблюдал, как из страны скотоводства, домотканой шерсти и крестьянского труда Шотландия превращалась в страну больших и малых Глазго, угрюмых промышленных городов.

Вильгельм Вольф знал жену Энгельса со времен брюссельского изгнания. Приехав в Манчестер, Люпус пришел к Мери. Как все люди, познавшие с детства нужду, выросшие среди народа, она была очень наблюдательна, по особому ума, чутка и чрезвычайно благожелательна к простым людям. С ними ей было легче и проще, нежели с теми, чья культура, воспитание и знания намного превосходили ее собственные.

Люпус увидел на столике в гостиной, кроме рукоделия, много книг. Желая вызвать улыбку на хмуром лице вначале упорно молчавшего гостя, Мери с присущим ей ирландским юмором начала рассказывать о скупости седого лавочника-шотландца.

— Он, вероятно, пишет своей невесте, что готов был бы умереть от любви к ней, если бы похороны не стоили так дорого, — шутила Мери. — Нельзя о каком-нибудь народе судить строго, люди ведь бывают разные, однако «сендей маки», как англичане называют шотландцев,

очень уж мелочны. Я работала когда-то в Манчестер у хозяина-шотландца и натерпелась немало горя.

— «Сендей маки»? — спросил, улыбнувшись, Вольф.

— Я и забыла, что вы иностранец. У шотландцев волосы «сендей», то есть песочного цвета. Их фамилиям обычно предшествует слово «мак».

Разговорились. Мери с добродушным юмором описывала годы, когда она работала на фабрике «Эрмен и Энгельс».

— Ни одна леди в Виндзорском дворце не гордится так своим происхождением, как я. Было время, когда я стеснялась этого, но теперь многому хорошему научил меня Фридрих.

В комнату с корзиной для рукоделия вошла молодая темноволосая девушка.

— Это моя сестренка Лиззи, — сказала Мери.

В конце мая Маркс уехал к Энгельсу в Манчестер и пробыл у него почти весь день. Оба друга собрались совместно писать памфлет о «великих мужах эмиграции», для которого собрали задолго до этого различные материалы.

Эрнест Джонс также находился в Манчестере, где происходила конференция чартистской партии.

Ирландец Фергюс О'Коннор, вождь английских рабочих, был безнадежно болен и лежал в больнице. Чернокудрый красавец доктор Тейлор умер, Джулиан Гарни не пользовался больше популярностью; в погоне за успехом и карьерой он промотал доверие масс.

Хартия из шести пунктов, содержавших требование всеобщего избирательного права, все еще не была претворена в жизнь, и борьба за нее, несколько видоизменившись, продолжалась. Всеобщее избирательное право в Англии, где пролетариат составлял большинство населения, угрожало политическому господству правящих классов и встречало их бешеное сопротивление.

Эрнест Джонс был родом из Уэльса, но рос и получил образование в Германии. Он принадлежал к старинному аристократическому роду. С детства Эрнест проявлял необычайное поэтическое дарование и, вернувшись в Англию, делил время между адвокатурой и литературой. Он вскоре стал известен как поэт, но в 1846 году, познакомившись с Фергюсом О'Коннором, вступил в ряды

чартистов и отдался борьбе за права народа. Его необыкновенный дар, знания, ум высоко оценили рабочие. Народ поверил и полюбил его. Джонс был готов бесстрашно встретить и дать отпор любой враждебной атаке заступников старой Англии — важных тори, хитрых вигов.

Всегда жизнерадостный, обходительный, исключительно выносливый, Джонс мог говорить с трибуны много часов подряд при невероятной жаре или под рев бури. Он умел, как никто, ладить с людьми, нравиться с первого взгляда, щедро делился всем, что имел, будь то материальные или духовные ценности. В то время как Гарни приступил к изданию «Звезды свободы» О'Коннора, Эрнест Джонс, преодолев многочисленные препятствия, создал «Народную газету». Первый номер ее вышел в мае 1852 года. Маркс и Энгельс стали деятельнейшими сотрудниками этого органа. Газета полюбилась народу, число подписчиков ее возрастало, и она приобрела большое влияние.

В середине мая в спорах и обсуждениях пять дней заседала конференция чартистов в Манчестере. Джонс, несмотря на самоотвод в связи со своей издательской работой, был избран во Временный исполнительный комитет партии.

Завистливый Гарни, отброшенный от руководства, в своей газете «Звезда свободы» тщетно нападал на Джонса и новый Исполнительный комитет. Джонс был выдвинут кандидатом в парламент от Галифакса.

Чтобы иметь право избирать в британский парламент, мужчина должен владеть домом, дающим к тому же значительный доход. Этот закон, естественно, лишал большинство рабочих права голоса, но в первый день выборов, когда кандидаты публично обращались к народу, за них могли голосовать все собравшиеся простым поднятием рук, независимо от того, избиратели это были или неизбиратели. Такова была традиционная церемония. Затем начиналась баллотировка, и в ней участвовали только привилегированные избиратели. Тогда-то и решался исход выборов. Иногда достаточно было быть выдвинутым в кандидаты поднятием рук народа, чтобы провалиться при баллотировке. А избрание в кругу имущих сопровождалось взрывом негодования тех, кто был слишком беден, чтобы иметь право голоса.

Именно так произошло летом 1852 года в промышленном городе Галифаксе, где Эрнест Джонс был избран

двадцатью тысячами рук под ликующие крики народа, а затем провалы пятьюстами голосов тех, кто являлся прачечным избирателем от зажиточных горожан.

Это, однако, был незабываемый день, о котором долго не могли забыть английские рабочие. Джонс произнес тогда одну из лучших, самых ярких речей и превзошел в ораторском искусстве О'Коннора и Тейлора.

Вторым кандидатом в парламент от Галифакса был богатый, знатный буржуа Чарльз Вуд. Его косноязычная, самонадеянная речь не имела никакого успеха у слушателей.

Немало часов, готовясь к своему выступлению, провел Джонс на Дин-стрит, внимательно вслушивался, запоминал, вписывал в записную книжку поразившие его простотой, новизной и неоспоримостью мысли своего друга о труде и капитале.

Встреченный взрывом восторга, Эрнест Джонс сказал:

— Избиратели и неизбиратели! Вы собрались сюда по случаю великого и торжественного праздника. Перед вами стоят сегодня представители двух систем, и вам надлежит решить, которые из них должны управлять вами в течение семи лет. Семь лет — это целая небольшая жизнь! Вы, двадцать тысяч человек, примете сегодня решение, может быть, только для того, чтобы завтра пятьсот человек нарушили нашу волю! Итак, перед вами представители двух систем. Правда, налево от меня находятся виги, тори и фритредеры, но, по существу, между ними нет никакой разницы. Богач предприниматель говорит: дешево покупайте и дорого продавайте. Торп говорит: дорого покупайте и еще дороже продавайте. Для рабочих оба они одинаковы... Труд — вот создатель всех богатств. Для того чтобы выросло хотя бы одно зерно или был выткан хоть один ярд ткани, человек должен трудиться. Труд тоже является товаром, который отдается внаем, труд выступает на рынке как предмет купли-продажи; поскольку же труд создает всякое богатство, его и необходимо прежде всего покупать. «Покупайте дешево, покупайте дешево!» Труд покупается на самом дешевом рынке. Но за этим следует: «Продавайте дорого, продавайте дорого!» Что продавать? Продукты труда... Предприниматель дешево покупает труд, он затем продает товары и при этом должен получить прибыль. Он продает самому рабочему, и в результате каждая сделка между предпринимателем

и напиравшимся представляет собой преднамеренное молчание со стороны предпринимателя. Так труд от непрерывного ущерба опускается все ниже, а капитал от постоянных обманов поднимается все выше...

Эрнест Джонс стал развивать свои взгляды на политическое и экономические реформы и затем продолжал:

— Избиратели и неизбиратели! За то, что я пытался расширить нашу свободу, меня лишили моей. За то, что я стремился воздвигнуть для всех вас храм свободы, меня бросили в тюремную камеру для уголовных преступников. За то, что я пытался поднять голос в защиту истины, я был осужден на молчание. Два года и одну неделю меня держали в тюрьме в одиночном заключении... Могут сказать, что это не общественное дело. Но это именно такое дело! Это — общественное дело, ибо человек, который не сочувствует жене арестованного, не станет сочувствовать и жене рабочего. Тот, кто не желает сочувствовать детям заключенного, не станет сочувствовать детям наемного раба...

— Слушайте, слушайте! — раздались тысячи голосов в толпе.

— Кто голосовал против понижения пошлин на сахар и отмены налога на солод? — продолжал Джонс. — Вот! Вот он! Долой его! Кто голосовал против сокращения полного труда рабочих, против обследования положения вязальщиков на фабриках, против запрещения начала работы малолетних ранее шести часов утра, против помощи беременным женщинам из бедноты, против билля о десятичасовом рабочем дне? Вот! Вот он! Долой его! Долой его во имя бога и человечности! Граждане Галифакса! Граждане Англии! Обе системы перед вами. Судите и выбирайте!

«Дорогой Энгельс!

Твое письмо попало сегодня в весьма возбужденную атмосферу.

Моя жена больна, Женнička больна, у Лепхен что-то вроде нервной лихорадки. Врача я не мог и не могу позвать, так как у меня нет денег на лекарства. В течение 8—10 дней моя семья питалась хлебом и картофелем, а сегодня еще сомнительно, смогу ли я достать и это. Разумеется, при теперешних климатических условиях эта диета не была полезна».

Карл невольно взглянул в окно. Шел проливной дождь. Смывал с карнизов пласты угольной пыли, по стеклам текли грязно-серые потоки воды. Стиснув челюсти, сведя в одну широкую скорбную линию темные брови, Карл снова взял перо.

«Статью для Дана я не написал, так как не имел ни одного пенни на чтение газет».

Карл откинулся на спинку стула. Он испытывал гнетущую усталость. Несколько пахитос, выкуренных одна за другой, успокоили его. Карл думал о неудачах, преследовавших его в последнее время. Вейдемейер не выслал ему всего гонорара. В Германии, напуганный расправами с коммунистами, издатель Брокхауз в очень вежливом письме отверг статью Маркса. Тщетно пытался Карл с помощью знакомого англичанина добиться учета векселей на имя нью-йоркского издателя Дана. Круг бедствий замыкался. Ему ничего не удавалось.

«Самое лучшее и желательное, — писал Марксу Фридриху, и скачущие вкривь и вкось буквы отразили предельное нервное напряжение, — что могло бы случиться, это — если бы хозяйка дома вышвырнула меня из квартиры. Тогда я расквитался бы, по крайней мере, с суммой в 22 фунта стерлингов. Но такого большого одолжения от нее вряд ли можно ожидать. К тому же еще булочник, торговец молоком, чаеторговец, зеленщик, старый долг мяснику. Как я могу разделаться со всей этой дрянью? Наконец, в последние 8—10 дней я занял несколько шиллингов и пенсов у кое-каких обывателей, что мне неприятнее всего, но это было необходимо, чтобы не подохнуть с голоду».

Карл закончил письмо, с искаженным горечью лицом запечатал конверт и опять закурил.

Нищета — испытание на медленном огне, которое он избрал добровольно, — изнуряла его. В это же время Прудон за свою псевдокритическую, а в действительности возвеличившую Луи Бонапарта книгу получил несколько сот тысяч франков.

Никто лучше Маркса не знал, как добываются и накапливаются богатства в буржуазном мире, но ни разу

мысль о возможности сговора, уступке своей совести не промелькнула в его неукротимой голове. Жребий был брошен им раз и навсегда.

Карл не заметил, как, встав с постели, к нему подошла больная, исхудавшая жена. Глаза ее лихорадочно блестели, она ежилась от озноба, куталась в шаль. Тщетно Карл попытался уговорить ее снова лечь.

— Родная моя,— говорил Карл, укутывая ноги Жении стареньким клетчатым пледом, — поверь, все будет в конце концов хорошо. Только бы ты была здорова. Я знаю, как малейший луч надежды возвращает вновь силы твоей гибкой, чуткой душе. Ты подлинный феникс, возрождающийся еще более прекрасным из всеразрушающего пламени. Ты - мое сокровище... — Карл прижался лбом к горячим рукам Жении.

— Это не моя, а твоя сила духа, Мавр, побеждает все испытания. Как меняется с годами представление о счастье! В юности оно сытно, полно тщеславия, жажды сверхъестественных приключений, побед и блеска, в зрелости — гораздо более человечно, скромно и глубоко.

— Не у всех, — улыбнулся Карл.

— Помнишь, мы читали о китайском мудреце Тао. Он говорил, что счастье, во-первых, в том, чтобы обрести истинного друга, и, во-вторых, в чистой совести. Хотя нам очень тяжело сейчас и в доме нет ни гроша, я добавила бы к этим заветам Тао также любовь — такую, которая с каждым днем становится ярче и сильнее, как у нас с тобой. Только неудачник может говорить о том, что время убивает чувство. Мне кажется, что я уже с детских лет полюбила тебя, но настоящая, большая привязанность пришла только после свадьбы. Как заблуждается тот, кто думает, что лучшие мгновения любви — до брака. Союз двух влюбленных — это только начало настоящего счастья, и ни бедность, ни лишения не в силах его ослабить. Стоит мне подумать, что тебя может не быть рядом со мной, и ужас холодит сердце. Разлука убила бы меня. А вдвоем нет ничего непреодолимого.

Жении умолкла, внимательно вглядываясь в лицо мужа, обеспокоен. Из-за болезни я не знаю твоих дел. Но думаю, что это не только проклятые долги и кредиторы. Прошу тебя, расскажи все сейчас же. Ты ведь знаешь, что неизвестность всегда гнетет.

Карл уступил.

— Что ты думаешь о венгерском эмигранте Бандья, который заходил к нам несколько раз?

— Ты как будто не особенно доверял ему?

— Да, мне внушала подозрение его близость с орлеанистами, бонапартистами и всякой иной нечистью. Однако он рассеял мои сомнения, представив подписанный самим Кошутом приказ о назначении его в пору венгерской революции шефом полиции. Это в корне меняло дело. Но до конца я все же не доверял этому субъекту и, кажется, был прав. Все же ему удалось взять у меня для издания в Берлине наш с Фредериком памфлет «Великие мужи эмиграции». И что бы ты думала? Он попросту украл эту рукопись, направленную против «великолепных» Кинкеля, Руге, «рыцарственного» Виллиха и других жаб нашей эмиграции. Я подозреваю теперь, что он продал эту рукопись прусскому правительству.

Женни всплеснула руками:

— Значит, Бандья подослан к тебе прусской полицией? Карл, милый, как много шпионов уже было возле нас. Они, как змеи, вот уже сколько лет вьются вокруг тебя. Уверена, что и сейчас этот веснушчатый толстячок стоит под нашими окнами. Ты, видимо, чрезвычайно тревожишь полицию различных государств. Но ведь ваш памфлет никак невозможно пробить к кёльнскому делу в качестве адской машины коммунистов?

— Да, Бандья просчитался, и очень скоро его хозяева обнаружат надувательство. В нашем памфлете нет никаких новых данных, ничего такого, что можно было бы использовать против членов нашей партии. Все характеристики и факты против «великих мужей» хорошо известны международным шпикам. Я разоблачу Бандья в прессе, и Кошут откажется от услуг этого шпиона. Карьера Бандья в Лондоне отныне кончена, ему придется искать для своего «таланта» подмостки в других странах. Все обвинения против Бюргерса, Лесснера, Даниельса и остальных узников построены на подлогах. Их не посмеют осудить. Они будут оправданы. Никакой закон в мире не может дать основания называть Союз коммунистов заговорщической организацией, тайным сообществом.

Карл встал, резко отставил в сторону стул, заговорил возбужденно:

— Уже полтора года сидят в кёльнской тюрьме одиннадцать невиновных, весь механизм прусского государства, посольств в Лондоне и Париже работает без устали, чтобы сфабриковать обвинение, не имея при этом ничего, кроме собственных измышлений. Прусское посольство здесь, в Лондоне, превращено в настоящее отделение тайной полиции. Атташе посольства Грейф — матерый шпион и провокатор. Они идут на все. Кражи со взломом, подлоги, подделки стали их профессией. Прусские почтовые чиновники перехватывают наши письма и разоблачительные документы, которые мы посылаем в немецкие газеты и адвокатам обвиняемых. Нам предстоит сейчас очень много дел. Борьба в разгаре. Тем печальнее, что наша квартира превращена, по сути, в лазарет.

Как бы в подтверждение слов Карла, жалобно попросила воды мятущаяся в жару Лаура и громко начала бредить тяжело заболевшая Ленхен.

Уложив жену в постель, Маркс принялся исполнять обязанности сиделки. Ему старательно помогал маленький Муш. Это был чрезвычайно сообразительный, отзывчивый мальчик. Не по летам развитой, он всячески старался помогать взрослым. Все в доме горячо любили ласкового и веселого мальчугана.

В этот день, утром, у наружной двери, ведущей с улицы на лестницу, раздался резкий звонок. Муш бросился открывать. Ему очень нравилось отодвигать засов — дело весьма трудное для четырехлетнего мальчика. Когда дверь наконец была отперта, Муш увидел на пороге булочника с хмурым, злым лицом.

— Где твой отец? Он задолжал мне уже много денег, — сказал он грозно.

Муш вообразил, что перед ним сам людоед из сказки «Мальчик с пальчик», но не оробел и решил перехитрить его. Увидев в руках булочника корзину, он выхватил из нее несколько хлебцев и, крича на ходу: «Отца нет наверху!» — бросился бежать по лестнице. Булочник улыбнулся, достал из кармана замусоленную записную книжку, прибавил к счету Маркса еще несколько пенсов, имевшей в этот день ни гроша, оказался хлеб.

махнул рукой и пошел восвояси. Так в семье Маркса, не было наконец уплатить самые неотложные долги, пригласить врача, которому пришлось лечить почти всех обита-

телей квартиры. Совершенно ослабевшим Женни и Лен-хен был прописан крепкий бренди, целебные свойства ко-торого исстари высоко ценились на сыром острове. Доль-ше всех болела Лаура, но и она поправилась.

С тех пор как шпион прусской полиции Вильгельм Гирш, молодой приказчик из Гамбурга, в начале 1852 года был разоблачен и с позором изгнан из Союза коммуни-стов, он не находил себе покоя. Слабовольный, ничем не примечательный, как песчинка, он с детства жаждал хоть чем-нибудь да прославиться. В мыслях Гирш часто видел себя героем, но каждый раз, когда жизнь давала ему воз-можность проявить лучшие свойства, он тотчас же начи-нал колебаться, бояться расплаты, и оказывался трусом. Агенты прусской тайной полиции в Лондоне издевались над разоблаченным шпионом, угрожали ему и требовали, чтобы он своим усердием возместил потери от неудав-шейся игры. В то же время те, кто еще недавно считал его своим единомышленником-коммунистом, при виде Гир-ша шарахались в сторону, точно он был чумной бакте-рией. Нечто подобное черному туману окутало его. К тому же он не мог ничего более разведать о том, что делалось в Союзе. Он не знал, что тотчас же после его исключения собрания коммунистов по предложению Маркса были пе-ренесены в Сохо, на Крауи-стрит, в таверну «Роза и ко-рона», а день собраний — с четверга на среду.

Гирш между тем продолжал барахтаться в сетях, ко-торые накинула на него полиция. Прямым его начальни-ком был крупный немецкий агент — провокатор Флёрп, известный в лондонском Сити зажиточный купец-демо-крат. Жена, англичанка, и тесть, квакер, сами того не зная, превосходно маскировали Флёрп, который прослыл почтеннейшим и весьма скромным человеком. Именно он вызвал шпика к себе в контору в Сити и тоном, не тер-пящим никаких возражений, приказал ему срочно сфаб-риковать для предстоящего процесса в Кёльне книгу про-токолов собраний Союза коммунистов.

— Но, господин Флёри, вы ведь знаете, что меня не пускают более на коммунистические четверги на Фар-рингтон-стрит, — плачущим голосом взмолился Гирш. — От меня бегут эмигранты, как от прокаженного. Когда не-давно я встретил доктора Маркса на набережной Брай-

тона и окликнул его, то я чуть по сгорел от молнии, которую метнули его глаза. Смилуйтесь, господин Флёри, и ведь не писатель, книга получится никуда не годной, а мне, как козлу отпущения, придется отвечать за все.

— Ты неплохо писал недавно протоколы заседаний в Рабочем обществе, — рассмеялся Флёри. — Кроме того, тебе помогут опытные специалисты по составлению всяких важных документов. Приказание передано мне из Пруссии через лейтенанта Грейфа. Ты знаешь, что он — шеф всех прусских полицейских агентов в Лондоне, прикомандирован к прусскому посольству в качестве атташе, и нам с тобой не поздоровится, если все не будет чисто сработано. Я тоже только исполнитель. Присяга королю требует от нас дела, а не слов.

— Но поймите, что Маркс — юрист по образованию и не даст никому обвести себя вокруг пальца. Этот человек видит на три метра в землю. Будем откровенны, господин Флёри, где уж ослам из Берлина и Кёльна тягаться с этим черногривым львом...

— Помалкивай, олух, пока цел... Наше дело доказать, что партия Маркса готовила и готовит вооруженные восстания в Рейнской провинции и что обвиняемые в Кёльне — его агенты. Приказы Маркса и сейчас проникают к бунтовщикам сквозь тюремные стены. Он будет пытаться влиять на судебный процесс. Наша пресса подняла такой шум на весь мир о коммунистическом заговоре, что отступать некуда. Нужны доказательства, что партия Маркса стоит за немедленное вооруженное восстание...

— Господин Флёри, остановитесь, ради бога, ведь вы ничего в этом не смыслите. Партия Маркса категорически выступает против всяких авантюр. Марке и его друзья, наоборот, считают такие действия исторически преждевременными...

— Забудьте, Гирш, об этом раз и навсегда! Или вы хотите, чтобы мы дождались, пока Маркс скажет, что уже пришло время всех нас зарезать?.. Вы, кажется, сами заразились коммунистическими идеями. Нам угрожает постоянная опасность из Лондона, а вы еще колеблетесь!

— Но, господин Флёри...

— Приступайте к делу, иначе мы будем вынуждены рассчитаться с вами, как с изменниками, и при этом более жестоко, чем это сделал Маркс. Протоколы и письма, которые вам следует написать, должны быть такими, чтобы

суд не решился усомниться в их подлинности. Нам нужно помочь присяжным осудить эту банду. — И, снова смягчившись и перейдя на «ты», Флёри сочувственно добавил: — Ты неплохой парень, Гирш, но в политике ничего не смыслишь. Не будь мягкотелым. Сам знаешь, что закон для таких, как мы с тобой, суров и беспощаден. Или ты вам поможешь, или...

Гирш почувствовал себя в аду, которого так боялся с детства. Выхода не было, и он принялся за сочинительство. В течение восьми месяцев в рабочем кабинете Флёри под его надзором фабриковал Гирш подложную книгу. Для крючка это было тягчайшим делом, но страх иногда подобен вдохновению. Кое-как книга мнимых протоколов была сфабрикована, переплетена в красный сафьян и отправлена прусской полиции.

Вскоре Грейф и Флёри вызвали Гирша и предложили ему выехать в Кёльн, чтобы подтвердить под присягой на процессе подлинность протоколов.

— Вам щедро заплатят. Затем вы получите пожизненную государственную пенсию, — уговаривал Флёри.

Но полицейский инстинкт у Гирша был слишком точен. Он понимал, что клятвопреступление осложнит его положение, если дело примет плохой оборот. Будь он прокурор или полицейский советник, вот тогда бы за него вступились. Но, маленький винтик в прусской полицейской машине, Гирш легко может быть заменен. Он сознавал это и наотрез отказался клясться в подлинности подложных документов. Рассорившись с Флёри и Грейфом, всеми отвергнутый, Гирш потерял покой, сон, аппетит. Жизнь для него больше не имела смысла. Сначала совесть и страх едва не вогнали его в петлю, затем он бросился на Боу-стрит в английский суд и там, поклявшись на Библии, сознался, что под руководством Грейфа и Флёри сфабриковал фигурирующую на Кёльнском процессе коммунистов книгу протоколов. В тот же день лейтенант Грейф упаковал свои чемоданы и бежал из Лондона.

К началу процесса коммунистов в Кёльне вокруг Маркса сгруппировались все его друзья и соратники. Огнище темные комнаты на Дин-стрит напряженной атмосферой напоминали редакцию «Новой Рейнской газеты». Позабыв о хандре и недовольстве жизнью, спина с бумагой

и карандашом в руках на подоконнике расположился Георг Веерт, степенно прохаживался темноволосый блед-ный Фрейлиграт, весело смеялся и балагурил добродуш-нейший Дронке, прозванный Малышом за низкий рост и детское выражение гладкого лица. Он был очень весел и, как часто с ним бывало, только что выбрался счаст-ливо из беды. Когда Малыш пробирался через Францию в Лондон, его опознали и арестовали, как рьяного немец-кого революционера. Но случайная удача вывела Дронке из Мазасской тюрьмы. Через Булонь он был выслан в Англию.

Приехал и Вильгельм Вольф. Он очень изменился за последние годы. Жизнь в эмиграции, стесненные обстоя-тельства заметно состарили его. Он стал угрюм, вспыль-чив и обидчив. Глубоко уважая и любя Люпуса, Маркс всячески старался предотвращать легко возникавшие по мелочам раздоры, а Женни и Ленхен окружали его неж-ной, чисто родственной заботой.

В дни приближающегося суда над соратниками все, кого называли «марксманами», снова помолодели и стали плечом к плечу, чтобы отразить удары и спасти аресто-ванных коммунистов. Карл совершенно позабыл о сне и отдыхе. Он ел на ходу, к большому огорчению Ленхен, и был весь поглощен делом. Под его руководством Женни, Дронке, Пипер и нанятые писцы непрерывно размножали, по шесть — восемь копий, различные документы, которые должны были разоблачить клевету, подлоги, лжесвиде-тельства полицейского процесса. Отправка корреспонден-ции из Англии в Германию была крайне сложной. Цен-зура неистовствовала, и письма Маркса вылавливались, вскрывались и похищались. Посылать почтой что-либо из Лондона стало невозможным.

Фридрих Энгельс и приехавший в Манчестер Георг Веерт, имевшие обширные знакомства среди английских купцов, принялись собирать адреса фирм, торгующих с Германией. Через Париж, Франкфурт и другие города от-правлялись отныне вместе с грузом или прейскурантами документы, доказывающие невиновность обвиняемых, а также опровержения для немецких газет и адвокатов.

Адреса купцов и коммивояжеров лежали на столе Женни. Под видом коммерческих писем, не вызывая лич-ных подозрений плыли через Ла-Манш и пересекали реакционнейшую Францию словесные мины, которые

разрушали все хитроумные, провокационные измышления полиции, действовавшей по указу прусского правительства и короля.

Ни у кого из тех, кто боролся в крошечной бедной квартирке на Дин-стрит с могучей германской реакцией, не было достаточно средств для оплаты почтовых расходов и услуг разных лиц, к помощи которых прибегали, чтобы следить за всем происходившим по враждебном лагере, особенно среди прусских шпионов в Лондоне.

Женни, у которой от постоянной работы пером немели пальцы, писала в Вашингтон другу Адольфу Клуссу:

«Вы, конечно, понимаете, что «партия Маркса» работает днем и ночью... Все утверждения полиции — чистейшая ложь. Она крадет, подделывает, взламывает письменные столы, приносит лжеприсяги, лжесвидетельствует и, вдобавок ко всему, считает, что ей все дозволено по отношению к коммунистам, которые стоят вне общества!»

Муш, Лаура и Женнихен особенно радовались, что их дом полностью превратился в канцелярию. Карандаши и бумага были отныне в неограниченном количестве, и Женнихен, которой то и дело приходилось нянчить кого-нибудь из работающих чаем, не мешала детям играть на полу или пускать бумажные кораблики в бадье, где она стирала белье. Входная дверь на Дин-стрит, 28, не запиралась. Дети радостно вертелись среди малознакомых людей, громко сообщавших о том, удалось ли достать деньги, отправить почту, узнать последние новости из Кёльна, проследить за действиями прусских агентов.

Трое малышей, взбудораженных нашествием множества чужих людей, беспорядком и суматохой в доме, вдруг принимались петь, свистеть в свистульки и бегать взапуски, отчаянно шуметь. Тогда их усмирял грозным окриком отец и бесцеремонно выдворял в другую комнату. Но вскоре неугомонные ребятишки, которых не пугали ни нахмуренные брови Маркса, ни его угрозы, снова врывались в накуренную, переполненную людьми комнату, где все было так необычно и интересно.

Много дней и ночей отдал Карл борьбе за кёльнских собратьев-коммунистов и, как всегда, сделал все возможное в столь неравных условиях в изгнании, без гроша, тра-

нимый не только реакционерами, но и предателями-отщепенцами, он вложил в это дело всю свою энергию, страстность, знания юриста и опыт политического вождя.

Маркс и Энгельс фактически направляли ход судебного процесса в Кёльне: давали указания, как выступать подсудимым, руководили защитниками и неоднократно вынуждали прокуратуру отказываться от вымышленных материалов обвинения.

Пять недель длилось судебное разбирательство. Разоблачения прусское правительство и полиция были опозорены. Но оскорбленная буржуазия и государство требовали искупительных жертв. Семь обвиняемых были осуждены.

Двадцать девятого ноября Энгельс, Фрейлиграт, Маркс и Вольф опубликовали в английской газете заявление:

«Нижеподписавшиеся, выполняя свой долг перед собой и перед своими ныне осужденными друзьями в Кёльне, считают необходимым привести для английской публики следующие факты, связанные с недавним процессом-монстр, который происходил в упомянутом городе и не получил достаточного освещения в лондонской прессе.

Потребовалось восемнадцать месяцев только для того, чтобы добыть улики для этого судебного процесса. В течение всего этого времени наших друзей держали в одиночном заключении... заболевшим отказывали в необходимой медицинской помощи... А каковы же были предлоги для того, чтобы держать их в столь затянувшемся суровом заточении?

...Истинной причиной всех этих проволочек была боязнь прусского правительства, что объявленные им с такой помпой «неслыханные разоблачения» не выдержат испытания перед лицом столь скудных фактов. В конце концов правительству удалось подобрать такой состав судебных присяжных, какого еще досель не видывали в Рейнской провинции: в него входили шесть реакционеров-дворянчетыре представителя haute finance [1] и два лица, принадлежащих к высшему чиновничеству.

Каковы же были улики, представленные этому суду присяжных? Один лишь исцененные воззвания и письма,

---

[1] Финансовой аристократии (*франц.*).

принадлежащие кучке невежественных фантазеров, жаждущих приобрести вес заговорщиков, которые являлись одновременно и сообщниками и орудием некоего Шерваля, явного агента полиции. Бо́льшая часть этих документов находилась до того в руках некоего Освальда Дица в Лондоне... прусская полиция, когда Дица не было дома, взломала ящики его стола и, таким образом, завладела нужными ей документами путем обычной кражи... Была пущена в ход вся полицейская машина под руководством некоего Штибера, главного свидетеля обвинения в Кёльне, королевского полицейского советника и начальника берлинской уголовной полиции. На заседании 23 октября Штибер объявил, что экстренный курьер из Лондона привез ему особо важные документы, неопровержимо доказывающие участие обвиняемых, совместно с нижеподписавшимися, в инкриминируемом им заговоре. «Среди других документов курьер доставил ему подлинную книгу протоколов заседаний тайного общества, проводившихся под председательством д-ра Маркса, с которым обвиняемые вели переписку». Однако Штибер запутался в своих противоречивых показаниях относительно даты приезда к нему его курьера. И когда д-р Шнейдер, главный защитник обвиняемых, прямо обвинил Штибера в лжесвидетельстве, последний не решился дать какой-либо другой ответ, кроме ссылок на свое достоинство как представителя короны, которому доверена важнейшая миссия со стороны высочайших властей в государстве. Что касается книги протоколов, то Штибер дважды показал под присягой, что она является «подлинной книгой протоколов лондонского коммунистического общества», но потом, окончательно прижатый к стене защитой, он признал, что она, возможно, является только записной книжкой, захваченной одним из его шпионов. В конце концов из его же собственных показаний выяснилось, что книга протоколов является преднамеренным подлогом и что следы ее происхождения ведут к трем лондонским агентам Штибера — Грейфу, Флёри и Гиршу. После этого последний сам признался в том, что он составил книгу протоколов под руководством Флёри и Грейфа. Это было с такой очевидностью доказано в Кёльне, что даже государственный обвинитель объявил столь важный штиберовский документ «в высшей степени злополучной книгой», простым подлогом. Это же лицо отказалось признать заслуживающим

нимания письмо, которое являлось одним из доказательств, выдвинутых обвинением, — в этом письмо был подделан почерк д-ра Маркса; документ этот также оказался свидетельством явного и грубого подлога. Подобным же образом всякий другой документ, предъявлявшийся для доказательства не революционных стремлений, а действительного участия обвиняемых в чем-то, хотя бы издали напоминавшем заговор, превращался в доказательство совершенного полицией подлога. Страх правительства перед разоблачениями был так велик, что оно не только заставило почту задерживать все документы, адресованные защитникам, но и поручило Штиберу запугивать последних угрозами преследования за «преступную переписку» с нижеподписавшимися.

Если, несмотря на полное отсутствие убедительных судебных доказательств, тем не менее был вынесен обвинительный приговор, то это стало возможным — даже при подобном составе присяжных — лишь в результате того, что новый уголовный кодекс был применен как закон, имеющий якобы обратную силу... Кроме того, кёльнский процесс по своей продолжительности и по тем необычайным методам, к которым прибегла сторона, возбудившая обвинение, принял характер такого громкого процесса, что вынесение оправдательного приговора было бы равносильно осуждению правительства...»

Маркс писал 19 ноября 1852 года в Манчестер Энгельсу:

«В прошлую среду Союз здесь, по моему предложению, *распустил себя и объявил несвоевременным* дальнейшее существование Союза также на континенте. Вкратце, на континенте он фактически уже не существует... Кроме того я пишу еще литографированную корреспонденцию с подробным изложением *подлостей, совершенных полицией* [«Разоблачения о кёльнском процессе коммунистов»], а для Америки воззвание о пожертвованиях в пользу арестованных и их семей. Кассиром является Фрейлигграт. Подписано всеми нашими».

Рейнское судилище продолжало волновать Маркса, и он написал о нем книгу «Разоблачения о кёльнском процессе коммунистов».

«В лице обвиняемых перед господствующими классами, представленными судом присяжных, стоял безоружный революционный пролетариат; обвиняемые были, следовательно, заранее осуждены уже потому, что они предстали перед этим судом присяжных. Если что и могло на один момент поколебать буржуазную совесть присяжных, как оно поколебало общественное мнение, то это — обнаженная до конца правительственная интрига, растленность прусского правительства, которая раскрылась перед их глазами. Но если прусское правительство применяет по отношению к обвиняемым столь гнусные и одновременно столь рискованные методы, — сказали себе присяжные, — если оно, так сказать, поставило на карту свою европейскую репутацию, в таком случае обвиняемые, как бы ни была мала их партия, должно быть, чертовски опасны, во всяком случае их учение, должно быть, представляет большую силу. Правительство нарушило все законы уголовного кодекса, чтобы защитить нас от этого преступного чудовища.

...Рейнское дворянство и рейнская буржуазия своим вердиктом: «виновен», присоединили свой голос к воплю, который издавала французская буржуазия после 2 декабря: «Только воровство может еще спасти собственность, клятвопреступление — религию, незаконнорождение — семью, беспорядок — порядок!»

Весь государственный аппарат Франции проституировался. И все же ни одно учреждение не было так глубоко проституировано, как французские суды и присяжные. Превзойдем же французских присяжных и судей, — воскликнули присяжные в суд в Кёльне... Превзойдем же присяжных государственного переворота 2 декабря».

В то же время, когда Маркс работал над «Разоблачениями о кёльнском процессе коммунистов», прусский министр внутренних дел с напряженным вниманием просматривал каждое новое донесение своих лондонских агентов.

Особая папка «Дело королевского полицейского управления в Берлине о литераторе докторе Карле Марксе, пожде коммунистов» непрерывно пополнялась и становилась все более громоздкой.

«Вчера вечером я был у Маркса, — сообщалось в одном из донесений от ноября 1852 года, — и застал его за работой над составлением очень подробного резюме

дебатов кёльнского процесса: это — своего рода критическое освещение с юридической и политической точек арения; само собой разумеется, что при этом сильно достается правительству и полиции... Вам известно его гениальное перо, и мне нечего говорить вам, что этот памфлет будет шедевром и привлечет к себе в сильной мере внимание масс».

Несколько месяцев спустя после кёльнского процесса на Дин-стрит под вечер в гости к Марксу пришел Либкнехт с молодой женой. У Маркса весь день адски болела голова, но, выпив чашку кофе, он почувствовал себя лучше и присел к общему столу.

Либкнехт сообщил, что Бартелеми вызвал на дуэль Ледрю-Роллена, но тот отказался стреляться. «Я заставлю вас принять вызов испытанными средствами — клевком в лицо, пощечиной, публичным оскорблением», — отвечал строптивый дуэлянт. Ледрю-Ролен собирается избить его палкой и обратиться в суд за защитой.

— Этот сумасброд, по-видимому, поставил себе целью стать Риальдо-Риальдини эмиграции. Бывает же и такого рода честолюбие, — заметил Карл.

Разговор перешел на Виллиха, который прибыл в Нью-Йорк, где его друг Вейтлинг устроил по этому случаю банкет.

— Я уже слыхал об этом, — оживился Карл. — Обвязав себя огромным красным шарфом, наш Виллих затянул длиннейший спич о том, что хлеб дороже свободы, затем Вейтлинг поднес этому герою саблю и выступил с речью, в которой доказывал, что первым коммунистом был Иисус Христос, а его прямым преемником не кто иной, как он сам, знаменитейший Вильгельм Вейтлинг.

Все рассмеялись.

— Знаете ли вы, доктор Маркс, что Шаппер ищет к вам путей? Он понял, что ошибался и залез в грязь по уши, — сказал Либкнехт.

— Это хорошо, — обрадовался Карл, — это очень хорошо. Бедой многих эмигрантов являются иллюзии. Они, как мираж в пустыне, сбивают путников с пути и заводят в безводные пески. Мне всегда казалось, что Шаппер разберется во всем сам и найдет нас. Не случайно он был настоящим человеком, другом Иосифа Молля, Генриха Бауэра. В нем нет подлости, иногда его, впрочем, охва-

тывало этакое смутное томление нетерпеливой души, свойственное и неплохим людям.

— Карл наиболее требователен к тем, кого особенно ценит и уважает, — заметила Женни, — и гораздо снисходительнее к безразличным ему людям.

— Вот уж поистине про Карла можно сказать словами Евангелия: «Кого люблю, того изобличаю и наказываю». Он и ко мне бывает придирчив. А я не сержусь и не боюсь его вовсе, — сказала, вызвав всеобщий смех, Ленхен, убиравшая посуду со стола.

— Ну, ты-то уж доподлинно верховная власть в доме, диктатор. Но я тебя, а ты меня всегда изобличаешь, — продолжал смеяться Карл.

Приближались рождественские праздники. Их, как никогда доныне, радостно ждали в семье Маркса. Больную елку, спрятанную до времени от пытливых детских глаз, украшал с веселым рвением Эрнст Дронке. Он взобрался на высокий табурет, чтобы подрузить на ветках бумажные флажки, звезды, яркие украшения и золоченые орехи, которые ему подавала Ленхен. Куклы, ружья, барабаны и трубы лежали под елкой среди пакетиков с фруктами и конфетами. Наконец все было готово и елка освещена разноцветными свечками. Карл торжественно позвонил в колокольчик и широко распахнул дверь, приглашая остолбеневших от счастья малышей. Лаура стремительно бросилась вперед со свойственной ей решительностью, Женни и Муш растерянно застыли на месте. То, что они увидели, казалось сказочным. Они едва узнавали комнату, заставленную старой мебелью. Сверкающая елка все в ней затмила.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
РУССКИЕ ДЕЛА

Граф Орлов, брезгливо оглядывая камеру, поднес к большому, самоуверенно вздернутому носу надушенную перчатку и сказал, отчеканивая каждое слово:

— Его императорское величество желает, чтобы вы исповедались перед ним во всех своих прегрешениях. — Затем, понизив голос, шеф жандармов добавил: — «Пусть сей блудный сын, — сказал государь, — пишет ко мне так, как ежели бы он говорил со своим духовным отцом».

Орлов, не взглянув больше на узника, покинул камеру. За ним гуськом вышли комендант Петропавловской крепости, смотритель и два жандармских ротмистра. Дверь захлопнулась, тяжело лег засов, и проскрипел ключ.

Онемевший неожиданным посещением, Бакунин прижался густо обросшей щекой к каменной стене, но мгновенно отпрянул. Могильным холодом повеяло на него. Гробовая тишина царила вокруг. Сжав голову исхудавшими прозрачно-желтыми руками, он уткнулся в жесткую, колючую подушку.

Более двух лет Бакунин находился в одиночном заключении, сначала в прусских и австрийских крепостях, а в мае 1851 года он был доставлен в пятую камеру страшного Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Где-то за степями кропостных тюрем неудержимо неслась многоликая, многоголосая жизнь. Но он был заживо похоронен. Гряда камня и цепко прутья решеток отделяли его от таких же обреченных. Время перестало существовать и неслось с невероятной быстротой, лишен-

пое каких бы то ни было примет и событий. Только память, только мозг — эти необъятные сокровищницы и тайники — помогали ему не сойти с ума, но они же рождали непреодолимую тоску.

В последнее время Бакунин искал путей спасения. Жажда жизни усиливалась одновременно с мыслью о приближении небытия.

Дважды приговоренный в чужих странах к казни, он был выдан царю, чтобы быть повешенным в Петропавловской крепости.

В забранное решеткой окно, точно нарочно, чтобы мучить, врывался теплый, освеженный рекой и напоенный летними травами ветер.

«Орлов прав, советуя писать царю. Кто еще может отвести от меня руку палача? — думал Бакунин. — Только сам палач Николай Первый. А что, если разжалобить его?»

Бакунин и раньше не отличался разборчивостью в средствах для достижения цели, а по отношению к своим тюремщикам он считал возможным и вовсе не церемониться. И он задумал обмануть своего «высочайшего духовника».

Но сомнения точили его. Возможно ли ему, руководителю защиты Дрездена, участнику Пражского восстания, называвшему себя социалистом, ползать на коленях перед престолом?

Стыд на мгновение ледяной струей окатил сердце, но мысль о том, чтобы любой ценой получить помилование, уже не вызывала более содрогания.

Бакунин понимал, что Николай не удовлетворится малым, потребует полного покаяния и заставит узника обнажить свою душу. Исповедь навсегда покроет его, революционера, позором. Но что, если она останется тайной? Какой смысл царю оглашать ее? Раскаяние, быть может, спасет ему жизнь, даст свободу и возможность снова, только с большей осторожностью, заняться революционной борьбой. «Пасть по мнению немецких и прочих революционеров вовсе не означает еще стать действительно подлецом, — думал он. — Что толку в том, что меня вздернут на виселицу или сгноят в каземате? Какая будет в том польза для процветания славянских народов? Им я посвятил себя и ради них несу крест на Голгофу. Делами невиданными сотру я в будущем горькую необходимость стать сейчас на колени и постыдно

вымаливать жизнь. Нет, история не бросит в меня камнем, тем более что я не назову ни одного русского имени и не выдам никого».

Но нетущее недовольство собой все нарастало. Бакунин взял со стола Библию, единственную книгу, которая находилась в каменном мешке, и, загадав, раскрыл наугад страницу. «Живой пес лучше мертвого льва». Узник вздрогнул и снова погрузился в размышления.

«Исповедаться перед тираном — значит зачеркнуть все былое, из бунтаря превратиться в жалчайшего раба, вбить кол во все, чему верил и поклонялся. Что бы сказал Станкевич, который был моей совестью?»

— Нет, ты не трус и не отступник, — произнес он вслух, не замечая, что говорит о себе во втором лице.

Бакунин вдруг почувствовал облегчение. Смерть перестала пугать, и внезапно чувство силы и спокойствия наполнило все существо узника. Простые, не новые мысли о неизбежности конца для всего живущего успокаивали, как речные волны. Сотни тысяч человеческих поколений прошли по земле, исчезли, будто неисчислимые листья деревьев и лепестки цветов. Бакунин вспомнил строки из письма к нему Белинского в счастливые годы молодости: «Чудная вещь жизнь человеческая, любезный Мишель, — писал Белинский. — Никогда так не стремилась к ней душа моя и никогда так не ужасалась ее. В одно и то же время я вижу в ней и очаровательную девушку, и отвратительный скелет. И хочется жить и страшно жить, и хочется умереть и страшно умереть. Могила то манит меня к себе прелестью сного безпробудного покоя, то леденит ужасом своей могильной сырости, своих гробовых червей, ужасным запахом тления».

За окном камеры, бойко чирикая, завозились воробьи. И тотчас же тоска тысячами игл впилась в сердце и мозг заключенного.

Тишина ослабила его слух, полумгла — зрение. Руки и ноги все еще болели от оков, в которых его держали в прусских и австрийских тюрьмах.

— Умереть, чувствуя себя до краев полным мыслей, слов, желаний, — это было бы безумием, — шептал он, слушая пение птиц. — Во имя чего? Ради призрачных понятий о долге и мужестве? Нет! Жить, быть свободным! Ведь еще ничего не сделано. Белинского уже нет в живых, но свет от него, как от погасшей звезды, еще мно-

гие сотни лет будет изливаться на человечество. Впрочем, зачем мне слава? Хочу солнца, воздуха, сельского покоя, ласки близких, свободы двигаться, права идти куда глаза глядят. О, пусть только откроются двери тюрьмы, — и я пойду в леса, поля, пока не подкосятся ноги от сладкой усталости. Свобода — вот высшее счастье бытия. Погибнуть только ради того, чтобы какой-то историк обронил обо мне два-три добрых слова? Не хочу! Я рожден для другого.

На секунду в памяти Бакунина всплыли образы пяти казненных декабристов, которых он чтил с юности. Стремительно он отогнал прочь эти видения.

«Нет, я не мечтатель, как Рылеев, не стоик, как Муравьев-Апостол. К тому же, где моя Сенатская площадь? Ее не было».

В тот же вечер Бакунин принялся за исповедь. Торопливо набрасывал он лист за листом, позабыв о еде и сне. Не находя должных слов, он то перечеркивал написанное, то рвал страницы и наконец придумал начало, которое показалось ему достаточно убедительным.

«Ваше императорское величество!

Всемилостивейший государь!

Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная Вашу непреоборимую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте против воли Вашего императорского величества, — зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, — я сказал себе, что мне остается только одно — *терпеть до конца*, и просил у бога силы для того, чтобы выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. Я знал, что, лишенный дворянства тому назад несколько лет, приговором правительствующего сената и указом Вашего императорского величества, я мог быть законно подвержен телесному наказанию и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть, как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний».

Бакунин положил перо. Лицо его горело. Выпив воды, он принялся писать о том, как тронут был снисходительным обращением стражи при въезде на русскую границу и затем в продолжение всей дороги от Царства Польского до Петропавловской крепости. Бакунин благодарил царя за

милостивое отношение к нему в течение двухмесячного пребывания в крепостном заключении в России. Почти два года до того провел он прикованный к стене в тюрьмах Пруссии и Австрии.

«Граф Орлов объявил мне от имени Вашего императорского величества, что Вы желаете, государь, чтобы я Вам написал полную исповедь всех своих прегрешений. Государь! Я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив все, что дерзал говорить и писать о неумолимой строгости Вашего императорского величества... Государь! Я кругом виноват перед Вашим императорским величеством и перед законами отечества. Вы знаете мои преступления, и то, что Вам известно, достаточно для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте против Вас, государь, и против Вашего правительства: дерзал противостать Вам как враг, писал, говорил, возмущал умы против Вас, где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, государь; и суд Ваш, и казнь Ваша будут законны и справедливы! Что же более мог бы я написать своему государю?

...Да, государь, я буду исповедоваться Вам, как духовному отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для другого мира прощения; и прошу бога, чтобы он мне внушил слова простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, достойные одним словом найти доступ к сердцу Вашего императорского величества...»

И тут же Бакунин выдвинул первое требование к царю, смелое для обреченного узника:

«Государь, не требуйте от меня, чтобы я Вам исповедовал чужие грехи. Ведь на духу никто не открывает грехи других, только свои... Из совершенного кораблекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо: честь и сознание, что для своего спасения или для облегчения своей участи нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии, не был предателем».

Предупредив таким образом царя, Бакунин перешел к подробному описанию своей жизни и деятельности. Высказывая заветные мысли, соображения прямо в лицо своему заклятому врагу, он отчетливо представлял, в какую форму нужно облечь свои записки, чтобы царь прочел их. И форма его «покаяния» была крайне унизительной.

Бакунин понимал, что царь ждет от него выдачи русских революционеров, и осторожно, но вразумительно отказывался от предательства:

«Видел также иногда и русских, приезжавших в Париж. Но молю Вас, государь, не требуйте от меня имен. Уверяю Вас только... и теперь клянусь Вам, что ни с одним русским ни тогда, ни потом я не находился в политических отношениях и не имел ни с одним даже и тени политической связи ни лицом к лицу, ни через третьего человека, ни перепиской. Русские приезжие и я жили в совершенно различных сферах: они — богато, весело, задавая друг другу пиры, завтраки и обеды, кутили, пили, ходили по театрам и балам, — образ жизни, к которому у меня не было ни чрезвычайной склонности, ни еще менее средств. Я же жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и с своими внутренними, никогда не удовлетворенными потребностями жизни и действия, и не разделял с ними ни их увеселений, ни своих трудов и занятий. Я не говорю, чтобы я не пробовал никогда, — а именно начиная с 1846 года — обратить некоторых к своим мыслям и к тому, что я называл и считал тогда добрым делом; но ни одна попытка моя не имела успеха; они слушали меня с усмешкою, называли меня чудаком, так что после нескольких тщетных усилий я совсем отказался от их обращения. Вся вина некоторых состояла в том, что, видя мою нищету, они мне иногда, и то весьма редко, помогали...»

Много дней и ночей писал Бакунин свои признания, рассказывая о своей жизни за границей. Был вечер. Солдат-инвалид, исполнявший обязанности надзирателя, подлил масла в ночник и поставил его на стол, заваленный кипою исписанной бумаги. Бакунин встал и принялся ходить по узкой и зловонной камере. Странная усмешка временами появлялась на его лице, которое и в прежние годы всегда вызывало двойственное впечатление: одни считали это лицо красивым, другие — отталкивающим. Он думал о родном Премухине, отцовском имении, где провел детство, но более всего о сестре Татьяне. Необычно любил он ее, предпочитая всем остальным женщинам. «Не знаю, как назвать мое чувство к Танюше, — думал он, мечтал о возможном свидании, — но оно из тех, что испытывали, верно, греческие боги, сочетавшиеся браком даже с сестрами и матерями. Ревность ко всем,

кто ей нравился, изглодала всю мою душу, чуть не рассорила навек с Виссарионом Белинским. Эта страсть опустошила мое сердце, и я не мог больше никого любить. Привязанность Лизы только бесила меня».

Потом Бакунин вернулся к «Исповеди».

Отводя от себя обвинение в намерении убить царя, узник изощрялся в выражении верноподданнических чувств:

«Государь, я преступник перед Вами и перед законом, я знаю великость своих преступлений, но знаю также, что никогда душа моя не была способна ни к злодейству, ни к подлости. Мой политический фанатизм, живший более в воображении, чем в сердце, имел также свои крепко определенные границы, и никогда ни Брут, ни Равальяк, ни Алибо не были моими героями. К тому же, государь, в душе моей собственно против Вас никогда не было даже и тени ненависти. Когда я был юнкером в Артиллерийском училище, я так же, как и все товарищи, страстно любил Вас. Бывало, когда Вы приедете в лагерь, одно слово: «Государь едет», — приводило всех в невыразимый восторг, и все стремились к Вам навстречу. В Вашем присутствии мы не знали боязни; напротив, возле Вас и под Вашим покровительством искали прибежища от начальства; оно не смело идти за нами в Александрию. Я помню, это было во время холеры. Вы были грустны, государь, мы молча окружали Вас, смотрели на Вас с трепетным благоговением, и каждый чувствовал в душе своей Вашу великую грусть, хоть и не мог познать ее причины, и как счастлив был тот, которому Вы скажете, бывало, слово! Потом, много лет спустя, за границей, когда я сделался уже отчаянным демократом, я стал считать себя обязанным ненавидеть императора Николая; но ненависть моя была в воображении, в мыслях, не в сердце...»

А заканчивал он эту ■олную любви и преданности царю тираду необычным образом: «...я ненавидел отвлеченное политическое лицо, олицетворение самодержавной власти в России, притеснителя Польши».

И, словно почувствовав, что высказался более чем откровенно, Бакунин, исповедуясь дальше, осуждал свою былую революционную деятельность. Грехом, преступлением, безумием называл он прекраснейшие годы исканий и борьбы. Он благодарил бога за то, что тот помешал ему вызвать революцию в России и тем самым, как он писал, сделаться извергом и палачом соотечественников.

Но обличением самодержавия прозвучало то место «Исповеди», где Бакунин характеризовал обстановку в России, которую он знал с детства..

«Когда обойдешь мир, везде найдешь много зла, притеснений, неправды, а в России, может быть, более, чем в других государствах. Не оттого, чтоб в России люди были хуже, чем в Западной Европе; напротив, я думаю, что русский человек лучше, добрее, шире душой, чем западный; на Западе против зла есть лекарства: публичность, общественное мнение, наконец свобода, облагораживающая и возвышающая всякого человека. Это лекарство не существует в России. Западная Европа потому иногда кажется хуже, что в ней всякое зло выходит наружу, мало что остается тайным. В России же все болезни входят вовнутрь, съедают самый внутренний состав общественного организма. В России главный двигатель — страх, а страх убивает всякую жизнь, всякий ум, всякое благородное движение души. Трудно и тяжело жить в России человеку, любящему правду, человеку, любящему ближнего, уважающему равно во всех людях достоинство и независимость бессмертной души... Русская общественная жизнь есть цепь взаимных притеснений: высший гнетет низшего; сей терпит, жаловаться не смеет, но зато жмет еще низшего... Хуже же всех приходится простому народу, бедному русскому мужику, который, находясь на самом низу общественной лестницы, уж никого притеснять не может и должен терпеть притеснение от всех...»

Сбросив тюремный халат, в одних грубых штанах и туфлях на босу ногу, он в жаркие, душные летние дни и ночи, взлохмаченный, возбужденный, писал свое покаяние.

Он вспоминал о последних месяцах пребывания за границей, когда возмечтал один объединить славян под главенством России.

«Я вздумал вдруг писать к Вам, государь, — продолжал исповедоваться Бакунин, — и начал было письмо; оно также содержало род исповеди, более самолюбивой, фразистой, чем та, которую теперь пишу — я был тогда на свободе и не научен еще опытом, — но, впрочем, довольно искренней и сердечной: я каялся в своих грехах; молил о прощении; потом, сделав несколько натянутый и напыщенный обзор тогдашнего положения славянских народов, молил Вас, государь, во имя всех утесненных славян, прийти им на помощь, взять их под свое могучее

покровительство, быть их спасителем, их отцом, и, объявив себя царем всех славян, водрузить, наконец, славянское знамя в Восточной Европе на страх немцам и всем прочим притеснителям и врагам славянского племени! Письмо было многосложное и длинное, фантастическое, необдуманное, но написанное с жаром и от души; оно заключало в себе много смешного, нелепого, но также и много истинного, одним словом, было верным изображением моего душевного беспорядка и тех бесчисленных противоречий, которые волновали тогда мой ум.

Я разорвал это письмо и сжог его, не докончив. Я опомнился и подумал, что Вам, государь, покажется необыкновенно как смешно и дерзко, что я, поддавный Вашего императорского величества, еще же не простой подданный, а государственный преступник, осмелился писать Вам, и писать, не ограничиваясь мольбою о прощении, но дерзая подавать Вам советы, уговаривая Вас на изменение Вашей политики!.. Я сказал себе, что письмо мое, оставшись без всякой пользы, только скомпрометирует меня в глазах демократов, которые неравно могли бы узнать о моей неудачной, странной, совсем не демократической попытке...»

Мысли обгоняли перо. Внезапно перед узником встало лицо Маркса. Он лег на койку, вперив жесткий взгляд в грязный потолок. Всегда Маркс, этот загадочный своей несокрушимостью исполин с всевидящим горящим взором и саркастической улыбкой, вставал на его пути. Вот и сейчас в тюремной камере проклятая память вызвала его образ как убийственный упрек.

— Все погибло. Июньские дни в Париже стали роком для революции. Она невоскресима, — шептал Бакунин. — Сколько бы Маркс и все коммунисты ни старались, ни боролись, они обанкротились...

Но Маркс снова и снова вставал в разгоряченном мозгу узника. Бакунин вдруг понял, что боится, как бы этот могучий немец когда-нибудь не узнал о его «Исповеди». Схватив дрожащими пальцами перо и обмакнув его в густые темные чернила, он написал русскому царю:

«Д-р Маркс, один из предводителей немецких коммунистов в Брюсселе, возненавидевший меня более других за то, что я не захотел быть принужденным посетителем их обществ и собраний, был в это время редактором «Новой Рейнской газеты», выходившей в Кёльне. Он первый

напечатал корреспонденцию из Парижа, в которой меня упрекали, что будто бы я своими доносами погубил много поляков; а так как «Новая Рейнская газета» была любимым чтением немецких демократов, то все вдруг и везде, и уже громко заговорили о моем мнимом предательстве».

Еще несколько дней и ночей неотрывно письменно исповедовался Бакунин. Стояли погожие дни бабьего лета, когда он дописал последние строки:

«Я благословляю провидение, освободившее меня из рук немцев для того, чтобы предать меня в отеческие руки Вашего императорского величества.

Потеряв право называть себя верноподданным Вашего императорского величества, подписываюсь от искреннего сердца

Кающийся грешник *Михаил Бакунин*».

В сентябре «Исповедь» была передана Николаю I. С карандашом в руках, делая пометки на полях, внимательно читал ее царь. Эти пометки ясно показывали, что Бакунин правильно угадал характер своего «духовника» и взял тот тон в «Исповеди», который польстил царю. 27 сентября он вызвал генерал-лейтенанта Дубельта, к которому особенно благоволил, и, передавая «Исповедь», сказал ему, глядя в упор выпуклыми белесыми глазами:

— Передайте великому князю Александру, пусть почитает. Что до Бакунина, повинную голову меч не сечет. Уповаю на господа, что с годами сей путаник и смутьян в надежной крепостной тюрьме образумится, искупит свои прегрешения великим терпением. На свидание с отцом и сестрой согласен, конечно, в присутствии Набокова.

Дубельт прочел собственноручную надпись Николая на первом листе «Исповеди». Она относилась к наследнику престола: «Стоит тебе прочесть: весьма любопытно и поучительно».

Спустя несколько дней Дубельт, один из влиятельнейших людей в государстве, человек с сухощавым, бездушным, хитрым лицом, на докладе у царя снова упомянул об «Исповеди».

— Ныне кающийся грешник Бакунин правильно судит о коммунизме, как изволили о том мы, ваше величество, отметить на полях покаянной его рукописи, —

заговорил управляющий Третьим отделением, почтительно наклоняясь к столу, за которым сидел Николай.

Царь посмотрел рыбьими глазами на новенький голубой мундир с золотыми нашивками, аксельбантами и шнурами рьяного гонителя революционеров и сказал с подчеркнутым безразличием:

— Кому, как не Бакунину, знать в совершенстве сей предмет? Пусть господь просветит его смутную душу.

— Ваше величество, — оживился Дубельт, — этот преступник пишет о Западной Европе, что дряхлость и развратт, происходящие от безверия, приведут ее к гибели. Все шарлатанят и обманывают там друг друга. Привилегированные классы держатся у власти эгоизмом и привычкою. Сие есть слабая препона против возможной бури. И, что хуже всего, посреди всеобщего гниения одна только непросвещенная, грубая чернь сохраняет силу. Она особенно опасна, потому что является оплотом чудовищнейшей из идей — коммунизма. Беспрестанный шум и страх перед коммунистической ересью, по мнению преступника Бакунина, будто бы помогли ее распространению более, чем пропаганда тайных и явных коммунистических обществ.

— В Богемии, отчасти в Моравии, да и в Шлезии ядовитый корень коммунизма пустил ростки. Надо вытаптывать его без пощады и сжигать дотла.

— Вы, государь, весьма милостивы к Бакунину. Он ревностно сеял смуту в сих землях.

Царь потемнел лицом.

— Бакунин безволен и одинок. За ним никого нет. У подножия эшафота не первый раз вижу поверженных в прах. Не все, однако, молили о продлении жизни своей. — Николай презрительно и зло усмехнулся.

Но настроение царя резко ухудшилось. Он вспомнил о петрашевцах, мужественно стоявших перед казнью и не просивших пощады. Они испугали его, как отзвук страшного революционного шквала 1848 года. Николай мгновенно терял самообладание, когда вспоминал отвагу этих людей, томившихся теперь на каторге. Как все жестокосердные, мстительные люди, он был труслив.

Несмотря на исповедь и прошение родственников, Бакунин оставался в заточении в Алексеевском равелине. Когда он купил себе унизительными признаниями жизнь, страх казни наконец исчез. Бакунин почувствовал

м, почтитель-
Николай.
а новенький
ельбантами и
в и сказал с

ршенстве сей
ую душу.
г, — этот пре-
хлость и раз-
ес к гибели.
га. Привле-
измом и при-
можной бури.
и одна только
лу. Она осо-
чудовищней-
шум и страх
преступника
дснию более,
тических об-

Шлезии ядо-
ядо вытаты-

акуппину. Он

пикого нет.
поверженных
жизни сво-
.
Он вспомнил
ед казнью и
как отзвук
ия. Николай
шпал отвагу
Как все же-
нив.
ников, Ба-
м равелине.
прпзнаниям
почувствовал

собя почти счастливым. «Я дышу, ем, пью, и так будет еще долго!» — думал он.

Но свидания с родственниками, разрешенные царем, вернули ему ясное понимание пропшедшего. Каждый раз после редких желанных встреч с близкими Бакунин чувствовал с еще большей горечью и мукой, что произошло нечто непоправимое.

Страшный миг расставания, когда два конвоира уводили его назад в сумрачную камеру, был подобен чтению приговора. Сознание погребенности заживо в каменном склепе требовало душевных сил, которых он в себе уже не находил. Однако нужно было смиряться, являть полную покорность. Постепенно вернулось утерянное чувство человеческого достоинства.

Шли дни, недели, месяцы, годы... Михаил Бакунин, обрюзгший, бледный, больной, то раздираемый противоречиями, то впадавший в длительную апатию, все еще сидел в секретной камере Алексеевского равелина.

Только в марте 1854 года по указанию царя начальник Третьего отделения собственной его величества канцелярии генерал-адъютант граф Орлов отдал распоряжение о переводе арестанта в Шлиссельбургскую крепость.

Одиннадцатого марта комендант Санкт-Петербургской крепости докладывал в рапорте:

«Весьма секретно.

Во исполнение высочайшего его императорского величества повеления содержавшийся в доме Алексеевского равелина преступник Михаил Бакунин сего числа в 9 часов вечера передан подполковнику корпуса жандармов Гизенгаузену для доставления в Шлиссельбургскую крепость и из списка об арестантах исключен...»

Лиза вернулась в Россию. В Петербурге она провела несколько безрадостных дней, так ничего и не узнав о судьбе Бакунина. Глядя на Петропавловскую крепость, где, думалось ей, томится или погиб уже Мишель, она вспомнила вдруг стихи Огарева:

А там далеко за Невой
Еще страшней, черней здание
С зубчатой мрачною стеной
И рядом башен. Вопль, рыдания
И жерла напрасных стен глухой,
Проклятий полный и страданий,

Из Петербурга Лиза отправилась в Москву и поселилась у своей тетки княгини Евпраксии Александровны, женщины властной и скупой. В детстве Евпраксия Александровна долго жила в Англии и прослыла в Москве англоманкой и «синим чулком». Особенно старалась она убедить всех, что бедна, и добилась этого. Замолкли слухи, будто Евпраксия Александровна унаследовала от отца большие деньги, которые хранила в заграничных банках.

После нескольких лет разлуки Лиза с любопытством всматривалась в большое теткино лицо с крупными, мужскими чертами, с бородавками на обвислых щеках. Евпраксия Александровна много лет носила одно и то же клетчатое платье, похожее покроем на мужской редингот, и курила почти без перерыва толстые заграничные пахитоски. Говорила она низким голосом и преимущественно по-английски, а не по-французски, как было принято в высшем обществе. К Лизе она благоволила за то, что та, подобно ей, не была замужем и, главное, не просила денег.

Тетка Лизы была привержена к английской кухне. Повар, крепостной Лука, славился приготовлением пудингов, острых подливок и кровавых бифштексов.

— Вернулась наконец к родным пенатам, — начала Евпраксия Александровна. — Предупреждаю тебя, моя дорогая, что ты в России. Следует из этого сделать все необходимые выводы и, во-первых, попридержать язык и вести себя тише. Здесь, увы, не благословенная земля королевы Виктории. Каждый пятый, будь то даже дворянин, с которым ты встретишься, обязательно шпион и служит не богу, а дьяволу, то бишь Дубельту. Не доверяйся никому. Живем мы в опасное время. Не вхожу в то, нужно ли это и правильно ли, так как политикой не интересуюсь, но прошу тебя душевно: запомни мои советы и руководствуйся ими. Вольнолюбивыми и всяческими вольтерьянскими идеями можешь делиться только с одной своей подружкой — подушкой. Ну и со мной, если уж от молчания голова разболится. Остроги наши битком набиты всяким народом, и декабристы до сих пор не прощены. Государь — человек права необыкновенного и шутить не любит. Готовится ныне и туркам нос утереть. — Затянувшись пахитоской и переходя снова на русский язык, она продолжала: — Царь наш, истинный помазанник божий, спас Русь от мятежа и революции, чего не

сумели ни Бурбоны, ни Габсбурги. Жандармы его, подлипло как легавые псы, мгновенно чуют крамолу.

Позавтракав, Евпраксия Александровна прогнала из столовой всех слуг, многозначительно сощурила смышленые, быстро перебегавшие с предмета на предмет глазки, улыбнулась широким, по-жабьи смыкавшимся выпуклым ртом и сказала Лизе:

— Не скрою от тебя, мой друг, что графиня, вернувшись из Брюсселя, заезжала ко мне жаловаться на тебя. Говорила, что ты в Париже с простонародьем баррикады возводила и в каких-то революционных притонах «Марсельезу» пела. Но я ее пыл быстро охладила. Сами, мол, не лыком шиты, тоже, чай, столбовые дворяне, и не по мужьям, а по крови, и как себя вести знаем, просим не учить. Но графинин язык до Третьего отделения доведет, так что береженого бог бережет, а особенно на родной сторонке. Надеюсь, дневники ты свои сожгла. Не те времена, чтобы бумаге доверяться. Да и возраст у тебя не тот, оставь это развлечение провинциальным барышням, мечтающим о гусарах.

Лиза скрыла улыбку и пообещала тетке не вести более дневника.

Успокоенная Евпраксия Александровна продолжала:

— Теперь о твоих делах поговорим. Денег от меня не жди. Все свои имения я заложила и перезаложила. Крестьянам оброк поуменьшила. Толку от этой благотворительности ни для них, ни для себя, по правде говоря, не вышло. Словом, бедна я, совсем бедна. Тебе же от отца-покойника осталась в наследство только одна душонка, да и та безземельная, — девка Машка. Пребестолковое создание. Живите покуда обе в моей избе, авось места хватит (избой Евпраксия Александровна называла свой двухэтажный, окрашенный режущей глаза охрой, огромный особняк в одном из кривых узких переулков возле Спиридоновки).

Лиза молча выслушала тетку, чем очень той угодила, и пошла к себе.

Девке Машке было лет под пятьдесят. Глядя на свою крепостную, Лиза вспомнила, что Маша долгое время была сожительницей отца, родила от него ребенка и одна в течение долгой болезни ухаживала за стариком с удивительным терпением и старательностью.

— Что же, Маша,— сказала Лиза мягко,—я, конечно, сейчас же дам тебе вольную. Какая же из меня владелица? Такой бесчеловечности я не допущу.

Маша, горько зарыдав, бросилась в ноги Лизе, умоляя не гнать ее прочь.

— За что это вы решили от меня отделаться, барышня? Не хочу я на старости лет побираться и умереть под чужим забором. Ем я мало, да и одежкою запаслась при покойном барине. Свое отработаю, вот те крест святой, отработаю. Смилосердствуйтесь!

Лиза смотрела со все возрастающим состраданием на женщину, смертельно испугавшуюся свободы, и едва успокоила ее, пообещав повременить с вольною.

За обедом она рассказала тетке об испуге и причитаниях Маши.

— Она права, — сказала Евпраксия Александровна уверенно. — Куда ей податься, горемычной ниценке? В деревне и без нее бедняков много, в городе — по старости только что в воду или петлю. Мне вот недавно один наш дипломат презентовал забавную американскую книгу, тоже о рабах, только не белокожих, как наши, а черных. Они, впрочем, хоть и негры, а вызывают, представь, сострадание. В Америке рабы, оказывается, очень религиозны и не воруют. Это весьма выгодно их господам. Да не верится что-то. Чувствительная, сентиментальная книга.

— Не знаете ли, тетенька, кто ее автор? — поинтересовалась Лиза.

— Сама впервые слышу это имя. Какая-то мещаночка, дочь пастора, по фамилии, кажется, Бичер-Тоу. Вот эта книжонка, дарю тебе. Я не любительница повестей о рабах, они меня расстраивают. Твоя графиня говорит: это то же, что читать о животных, некоторые из них, мол, умны и преданны человеку, но, однако же, далеки от нашей породы. Я так не думаю. Но не люблю чувства жалости, оно вызывает у меня головную боль и тошноту.

Лиза прочла на скромной обложке: «Хижина дяди Тома. Сочинение госпожи Гарриет Бичер-Стоу».

Возвратившись в свою комнату, Лиза сперва равнодушно заглянула в книгу, но вдруг жизнь ее как бы переместилась. Внезапно она очутилась на диком материке, в мало известной ей досель стране, на севере, затем на юге Америки. Том, Хлоя, Ева и другие герои потрясю-

щей книги о рабстве окружили ее. Лиза то бежала по льдинам, спотыкаясь, рядом с преследуемой по пятам негритянкой, то рыдала с тетей Хлоей или умирала, как Ева, на руках человечнейшего из негров.

Никогда ни один рассказ не поглощал ее так и не причинял ей столько страданий. Она читала об Америке и видела в то же время крепостную Россию.

Тщетно Епраксия Александровна вызывала ее к себе. Лиза как во сне слышала голос слуги. Точно так же не замечала она, как разрезывает костяным ножиком и перелистывает страницы. И только когда прочла все, к ней снова вернулось ощущение времени и места. Лиза долго не вытирала мокрых от слез глаз. Маша на цыпочках входила и выходила из комнаты и молилась о том, чтобы Лиза начала снова спать, есть, разговаривать и двигаться. Наконец чары окончательно рассеялись.

— Эта книга писана кровью, а не чернилами. Она пробуждает совесть и стыд даже в душе палача, — повторяла Лиза. — В могучем девятнадцатом веке открыто и законно процветает рабовладельчество в России и Соединенных Штатах Америки.

Впечатлительная, исстрадавшаяся душа Лизы не могла примириться со всем, что она видела вокруг. Но, одинокая, без друзей и почти без знакомых, она была совершенно бессильна. К тому же бедность с каждым днем все более угнетала ее.

Узнав, где живет сестра Бакунина, Лиза поехала к ней с визитом. Варвара Александровна Дьякова встретила гостью хотя и с некоторым недоумением, но весьма дружелюбно, особенно когда узнала, что за границей брат Михаил был дружен с ней. Курносое личико Дьяковой, с вопросительно смотрящими на мир светлыми глазами, располагало к себе всякого, и Лиза обрадовалась новому знакомству.

Младшая из сестер, Александра Александровна, подозрительно и даже враждебно окинула Лизу пристальным взглядом необычайно узких глаз и замкнулась, но Татьяна, которую пылко любил Мишель, отнеслась к ней с любопытством и доверием.

Несколько дней Лиза и Татьяна провели вместе. Обеим хотелось говорить только об одном — об обожаемом ими Мишеле. Осторожно, многое скрывая, Лиза описывала свои встречи с ним в Париже, Брюсселе и Берлине.

Татьяна, раскрыв большие, печальные и добрые глаза, заметно волнуясь, не уставала выспрашивать у новой знакомой все, чего не знала о своем брате. Лиза отвечала, испытывая от этого то боль, то радость, но главное, надеясь, что услышит сама многое от сестры любимого человека. В этом она не ошиблась. Татьяна после долгой беседы принесла коробку с письмами брата, которые он прислал ей еще до отъезда за границу. Читая их, Лиза как бы заглянула не только в прошлое, но и в душу Мишеля.

В 1836 году Бакунин писал сестрам:

«На душе светло, ясно; я сознал себя, я никогда еще не сознавал себя так верно, так определительно, как теперь. Человек, который не страдал, — не жил; одно только страдание может привести к сознанию жизни, и если счастье есть полное сознание жизни, то страдание есть также необходимое условие счастья. Не страдание безответное, бессознательное, апатическое — нет! Но страдание... происходящее от беспредельности целей и желаний и конечности способов к удовлетворению и достижению их. Все это время во мне происходило сильное борение. Я начинал удостоверяться, что жизнь внешняя не должна быть целью даже практической деятельности человека; но не так легко от нее отречься. Душа иногда так слаба, что не умеет довольствоваться внутренним сознанием своего достоинства, так слаба, что иногда требует наград от внешнего мира. Трудно, тяжело разбивать друг за другом все эти фантастические образы, которые составляют поэтическую сторону жизни, в которые так прекрасно, так гармонично слились оба элемента всеобщей жизни: духовная и внешняя. Но, наконец, я дошел до этого, я сознал всю пустоту этих желаний, я сознал, что вне духовного мира нет истинной жизни, что душа должна быть собственною своею целью, что она не должна иметь другой цели. Путь, может быть, безотрадный, но зато достойный человека! О, я много выстрадал за это время, много потерял очарований — тем лучше: чем менее их, тем путь вернее, чем менее человек зависит от внешнего мира, тем более ему доступен внутренний. Все, что я сказал, может выразиться очень простою формулою: не ждать чудес от внешнего мира. О, это необходимо, необходимо для усовершенствования духовной жизни. Должно оторвать себя от за-

конов спета, и я начинаю тем, что решился не делать шагу для успеха в своей политической жизни и жить по-кавсет преподаванием математики. Итак, я для света — ничтожное творение, нуль, учитель математики, а для себя собственно, для друзей, меня понимающих, я стал гораздо выше прежнего, я убил мелкий эгоизм самосохранения, я стряхнул с себя иго предрассудков, я — человек!»

Прочитав это письмо, Лиза сказала:

— «Человек, который не страдал, — не жил». Какое счастье, что Мишель так думает. Ему выпало великое испытание страданием, и он выдержит его, не сгибаясь, ибо, по его же теории, он познает жизнь. Страдание закалит его на новые подвиги. Теперь я за него совсем, совсем спокойна.

Татьяна рассказала Лизе о том, каким трудным был характер Бакунина, и о своей давнишней размолвке с ним.

— Когда мы теряем близких, а тюрьма страшна, как и могила, нас мучает раскаяние. Мне так больно, что я когда-то ссорилась с братом, но он, увы, не щадил отца и мать и причинял им немало горя. Однажды я вынуждена была даже написать ему жестокое письмо. Как мучительно теперь, когда он так страдает, вспоминать об этом! Бедный Мишель! Мы так любим друг друга. Но тем более мне следовало сказать ему все, что я думала о его безжалостном отношении к нашей семье. Он решил уехать и жить на средства посторонних людей. Вот прочтите мое суровое послание. Была ли я права? Судите меня теперь.

Лиза жадно впилась глазами в узкий белый листок бумаги.

«Могли ли родители согласиться, чтобы их сын жил на счет посторонних? — писала Татьяна. — Мишель, Мишель, твоя видимая бесчувственность раздирает мое сердце. Я знаю, что это письмо навлечет на меня твое негодование и презрение; я на это себя обрекаю. Ты считаешь меня неспособной понять тебя. Увы! Я поняла тебя больше, чем хотела бы. Я должна была бы (по-твоему) почувствовать важность того, что подвигло тебя на этот последний шаг; я должна была бы верить, что ты принужден к нему чувством чересчур сильным, чересчур страстным, чтобы можно было с ним бороться, а я не вижу в твоем поступке ничего этого, я в нем вижу лишь

проявление твоего эгоизма, твоего равнодушия к твоей семье... Мишель, до сих пор мы всегда тебя защищали, может быть, мы даже слишком горячились, говоря в твою пользу, но я не могла слушать, как тебе приписывали холодное, эгоистическое сердце, и забывала, что говорю с моими родителями. И вчера, когда отец сказал мне: «Я тебе повторяю, что Мишель не способен любить», я не находила слов, чтобы оспорить его мысли о тебе. Мишель, если бы ты знал, в каком ужасном положении я себя чувствовала. Возможно ли, чтобы то, что говорит отец, была правда?..

...Мишель, я открыла тебе мое сердце... Я знаю наперед, что ты подумаешь, что ты, может быть, скажешь, прочитав мое письмо. Я не могу с тобой быть неискренней. Лучше потерять твою дружбу, нежели молчать и таить что-либо против тебя на сердце».

Дочитав письмо, Лиза с укоризной посмотрела на Татьяну, которая едва удерживала слезы.

— Как я была неправа в отношении брата! Он истинно велик в своей любви и служении людям, но его с юности не понимали окружающие. Это натура столь сложная и необыкновенная, что не всем дано оценить ее по достоинству.

— Да, — подтвердила Лиза, — за границей было то же. Мишель претерпел много несправедливого и жестокого. Но он отважен, это герой, и люди поймут и поклонятся ему. Я уверена, что ни пытка, ни муки заточения не могут сломить его воли, он останется до конца верен своим идеалам.

Короткое знакомство и взаимное расположение Татьяны Бакуниной и Лизы Мосоловой оборвались так же внезапно и необъяснимо, как и начались. Они исчерпали полностью то, что свело их. Каждой хотелось как можно больше узнать от другой о предмете их любви и тоски, а достигнув этого, они расстались с некоторым недовольством собой и друг другом. Не будь на свете Мишеля, они, совершенно разные по характерам, не сблизились бы даже и на несколько дней.

Татьяна уехала в Премухино, Лиза осталась снова совсем одна в отдаленной комнате особняка тетки, с которой встречалась лишь изредка.

— Друг мой, дистанция — залог добрых отношений между людьми, — сказала Евпраксия Александровна и предложила, чтобы Маша брала для своей барышни еду прямо из кухни. — Я буду рада видеть тебя по воскресеньям. В этот день являются ко мне гости и тем, собственно, вычеркивают его для меня. Терпеть не могу сусловия, и с тех пор, как все уверились, что я действительно бедна; и перестали интересоваться мною, живу куда привольнее и спокойнее. Однако те, кто еще более обойден фортуной, нежели я, толкутся в моей избе по праздникам. А вообще, бедность, скажу тебе, Элизабет, великий друг человека. Когда я была в твоих годах и считалась богатою, от женихов, от так называемых друзей и прихлебателей проходу не было. Вокруг меня были суета и великая возня праздная. Потом, когда узнали, что я нищенка, всех точно вихрем сдуло. Никто более не сватался, не льстил, не обхаживал меня. Тут-то я всех и рассмотрела, точно на зубок испробовала. Мало кому оказалась нужна я сама по себе. Так вот и живу: гол как сокол, зато не обманута людьми.

После такого странного разговора с теткой унылой чередой проходили ничем не расцвеченные дни в жизни Лизы. Она поняла, что бесполезно далее добиваться сведений о Бакунине, и в полном одиночестве сызнова проверила, строка за строкой, свое прошлое: «Мишель меня не любил и никогда не полюбит. Даже в несчастье он ни разу не вспомнил обо мне, я поняла это, видясь с его родными. Но я не перестану о нем думать, пока он не будет на свободе».

Постепенно ей стало ясно, что в России никто не сможет помочь узнику. Ничто не могло пробить стены Петропавловской крепости и царского дворца. Ни оказавшиеся призрачными надежды на высокие связи, ни мольбы престарелых родителей не изменили судьбы Мишеля. Чудом было уже то, что, дважды приговоренный за границей к смертной казни, он, однако, был помилован императором Николаем.

Лиза решила искать в России людей, подобных тем, кого знавала и уважала в Бельгии. Но и это было весьма трудным делом, особенно для женщины.

Недоверие и настороженность, трусость и порождаемая ею подлость господствовали в той среде, где вращалась

Лиза. Люди прятали истинные мысли и чувства иногда так глубоко, что затем теряли их вовсе.

Лиза томилась в полном одиночестве. Иногда ей казалось, что, будучи свободной, она в действительности так же отрезана от всего живого, как Бакунин в тюрьме. Случались дни, когда ей не с кем было молвить слово. Лизе стало казаться, что с каждым годом она все больше уходит в себя. У нее не было никого близкого на свете. «Неужели, — думала она с тревогой, — мне суждено навсегда остаться одинокой? В конце концов, перейдя черту молодости, я останусь единственным свидетелем исчезнувшего своего прошлого и никто не сможет более понимать меня».

Как-то к Евпраксии Александровне приехала из провинции молодая женщина с двенадцатилетним сыном.

— Знакомься, Лизонька, с хорошими людьми, — сказала племяннице тетка и подвела ее к молодой даме и худенькому, светловолосому мальчику с внимательными, не по летам умными глазами.

— Это Писарева Варя, — продолжала хозяйка дома с несвойственной ей ласковостью, — чистая душа. Отдалась вся, как римская матрона, воспитанию детей и заперлась в своем имении в Елецком уезде... А Митя все тот же скороспелка? — спросила гостью Евпраксия Александровна. — Как бы чрезмерное развитие ума не повредило его здоровью. Помнится, четырех лет он бегло читал по-русски и по-французски. Теперь, верно, уж так учен, что боязно вступать с ним в беседу. Ты бы, Варенька, больше заставляла его резвиться, бегать, а то рыхловат он и бледен.

— О нет, Митя здоров и очень благонравный и послушный мальчик.

— Как же, этому я сама свидетель. Представь себе, Лизонька, однажды, когда он был еще очень мал, я предложила ему конфету и варенье. Матери в комнате не было, и малыш, который никогда не делал ничего без ее разрешения, не желая меня обидеть, положил сладости в рот и продержал их, не проглотив, пока не вошла Варя. То-то было смеху, когда он, не решаясь раскрыть губы, чтобы не выронить варенья, ждал, чтобы мать дала ему знак, как же ему быть. Признайся, Митенька, учиться тебя тоже принуждают?

Мальчик, сильно покраснев, ответил с большим достоинством:

— Силою учиться никого нельзя заставить. От этого только противнее стали бы науки.

«Умен», — подумала Лиза, глядя на Митю с возрастшим интересом.

— Он всегда беготне и шалости предпочитал чтение, — добавила смутившаяся было госпожа Писарева. — Митя очень прилежен, не то что его сестренка Верочка. С трех лет он полюбил, сидя за своим столиком, перебирать картинки, раскрашивать их и готов был до полуночи слушать рассказы или читать книги. У него счастливая память: схватывает все на лету и хранит без труда. Ученье, слава богу, дается ему так же легко и приятно, как иным детям игры.

— Тем более надо бы поудержать его. И так развит сверх меры, — назидательно заметила Евпраксия Александровна и позвала Митю прокатиться с ней по городу.

Лиза и Варвара Дмитриевна остались одни и все еще продолжали беседовать о детях и их воспитании.

— Я только в одном неумолима и готова к принуждению, — сказала, все более воодушевляясь, мать Мити, — чтобы заставить сына быть всегда правдивым и искренним. Мы дома прозвали его «хрустальной коробочкой». Он не лжет, не утаивает мыслей своих и чувств. «Говорить только то, что думаю, что чувствую» — вот его девиз, и я бога благодарю, что сумела отвратить навсегда Митю от лжи и сделала его искренним.

— Вы страстно любите сына.

— Да, я боюсь, что любовь моя может стать эгоистичной.

— Такая любовь близка к деспотизму, — тихо заметила Лиза.

— Но это деспотизм материнский. Я требую, чтобы мой мальчик делился со мной всеми помыслами, сомнениями. Вся моя жизнь ведь посвящена Мите, а мне нужна только его дружба. Он плоть от плоти моей, лучшая часть моей души. Его горести и радости должны быть также и моими. Скоро он поедет в Петербург. Страшно подумать о том, как буду я жить вдали от него.

— Но мальчику предстоит рано или поздно начать свою жизнь. Не надо мешать его полету.

— Увы, таков удел матерей: всем пожертвовать для детей и остаться к старости одинокими.

Лизе нравилась с каждым часом все больше новая знакомая.

Внешность Варвары Дмитриевны не привлекала к себе внимания. Неправильные черты лица, бледность — все было обыкновенным. Но стоило заглянуть, не просто посмотреть, а углубиться в широко раскрытые, вопрошающие глаза Писаревой, как захотелось бы еще и еще видеть их. Большие глаза смотрели как бы из самой глубины души, и было в них отражено столько внутренней моральной силы, искренности и любви, что они совершенно заслоняли невыгодное первоначальное впечатление от внешности.

Варвара Писарева была так же правдива, как и Лиза, и это редкое качество, свойственное обеим, естественно, сблизило их в те несколько дней, что они пробыли вместе. Очень полюбился Лизе и маленький Митя.

«Общение с искренними людьми, — писала она в своем дневнике, когда Писаревы уехали, — делает нас нравственнее и чище. Я прочла у Карлейля, что говорить правду — это счастье, выпадающее на долю немногих избранных. Как часто мы лжем из выгоды, самолюбия, вежливости, жалости, притворства, страха. Мы стремимся казаться иными, чем являемся на самом деле, и это тоже ложь, которая заводит нас в непроходимые дебри. Мы обманываем подчас и самих себя. Мы сознательно выдаем иногда желаемое за бывшее.

Неужели правда, что

Мы на ложь обречены:
Роковым узлом от века
В слабом сердце человека
Правда с ложью сплетены.

Только трусы лживы. Сильные и благородные натуры вытравляют ложь, как ржавчину, всемогущей правдой. Все великое всегда правдиво. Варвара Дмитриевна это, и, внушая сыну отвращение к неискренности и лжи, она воспитывает смелого человека».

Вдруг все изменилось в жизни Лизы. Однажды Маша вызвала ее на половину старой барыни.

В пышной, мрачной кровати без сознания лежала Евпраксия Александровна. Лицо ее было иссиня-пунцовым. Она хрипела. Перепуганная горничная рассказывала, что

барыня внезапно упала и сильно ушибла голову. У нее парализовало правую руку и отнялась речь.

— Апоплексический удар. Я неоднократно предупреждал княгиню, что от английских кровавых бифштексов и острых подливок не будет проку. Они для русского желудка пстпнно смертельны, — объявил врач, рьяный сциенофил, демонстративно посивший поддевку, подпоясанную красным кушаком, и широкий картуз.

Несколько дней провела Лиза без сна у ложа больной. Ни уход, ни лекарства не помогали.

На рассвете весеннего утра Евпраксия Александровна умерла. Она была последним близким человеком Лизы. Ничто отныне больше не связывало Лизу Мосолову с Москвой. В час, когда она думала, где им с Машей приклонить голову и как зарабатывать на жизнь, Лиза узнала, что тетка оставила ей огромное наследство. Она стала отныне очень богатой женщиной, обладательницей большого капитала в Английском банке. Едва весть об этом облетела Москву, множество ранее не замечавших Лизу людей появилось на пороге ее дома. Им отвечали, что барышня больна и никого не принимает.

Столь резкая перемена ошеломила Лизу. Она считала, что безнравственно наслаждаться материальными благами, полученными из-за того, что близкий человек умер. Ей не пришлось быть свидетельницей отвратительных ссор, сопровождающих, как обычно, раздел добычи наследниками у свежей могилы, так как у Евпраксии Александровны не нашлось других близких родственников. Вещи, хранившие на себе как бы отпечаток умершей, вызывали у Лизы только грусть, сожаление и мысли о бренности земной.

Наследство искажало естественную печаль о смерти. Лиза поспешила отпустить на волю крестьян, принадлежавших ее тетке, обеспечила слуг и старую Машу и покинула Россию, направляясь в Париж.

Все столичные газеты в отделе великосветской хроники сообщили о большом наследстве, полученном мадемуазель Мосоловой. Из золушки она внезапно превратилась в принцессу и, сделавшись очень богатой, вскоре поняла чудовищную силу денег в том обществе, где жила. Ничто не изменилось в ее внутреннем мире или внешнем облике, однако, ранее никем не замечаемая, подчас откровенно презираемая, она вдруг стала всем необходимой. Ее начали считать красивой и весьма оригинальной. Особен-

по поразило Лизу, когда она приехала в Париж, письмо княгини Дарьи Христофоровны Ливен, высокопоставленной, весьма известной в высшем свете нескольких государств дамы, с которой была в дальнем родстве. Впрочем, никогда раньше княгиня не признавалась в этом.

«Милая Лиза, — писала ей по-французски княгиня Ливен. — Ваше светское положение позволяет мне представить вас в том кругу, к которому мы принадлежим по рождению. Злая фортуна подшутила жестоко над вашим отцом и вами. Однако божественный промысел восстановил справедливость, и вы снова среди нас, бедное дитя. Сколько пришлось вам выстрадать среди людей иных каст! Тем более я, познавшая многие горести и гонения, рада познакомиться с вами. Надеюсь, вам будет хорошо в моем доме. Приезжайте».

Лиза вспомнила все, что многократно слышала о княгине Ливен. Дарья Христофоровна приходилась родной сестрой могущественному Александру Христофоровичу Бенкендорфу. Она была женой князя Ливена, бывшего в течение многих лет русским послом в Лондоне и затем воспитателем наследника престола. После тридцати семи лет супружества княгиня Ливен, вопреки воле царя Николая, уехала одна за границу и не пожелала больше возвращаться к мужу в Петербург.

Несколько лет пылкое увлечение связывало ее с Меттернихом, но затем оно сменилось взаимной ненавистью.

Дарья Христофоровна до разрыва с мужем пользовалась особым благоволением государя и постоянным покровительством королевы Виктории. Пальмерстон был с ней в дружеской переписке, а знатные, богатейшие лорды Абердин и Грей не скрывали своего преклонения перед этой своеобразной женщиной. Княгине Ливен было за пятьдесят, когда ее по-юношески страстно полюбил уже не молодой Гизо. Их связь, длившаяся не один год, не оставалась тайной в высшем свете. Врожденный талант дипломата и превосходное знание закулисных дел в политике в соединении с ловким холодным рассудком обеспечили ей в течение всей жизни особое положение в Петербурге, Берлине, Париже и Лондоне.

Дарья Христофоровна была беспредельно честолюбива. Однако на пути ее постоянного возвышения встала запоздалая любовь. Из-за Гизо, несмотря на уговоры Бенкендорфа и мужа, приказы и угрозы царя, она осталась

ва границей. Ссылаясь на болезни и душевные страдания, вызванные смертью двух сыновей, княгиня Ливен отказалась вернуться в Петербург и жила то в милом ее сердцу Лондоне, то в Париже, вблизи любимого человека. Ее салон считался могущественным в дипломатическом и светском мире Европы, и она продолжала выполнять сложные и важные поручения Николая I.

Шли годы. Воспитатель наследника, князь Ливен, умер, но, и овдовев, Дарья Христофоровна не вышла замуж за Гизо.

— Могу ли я, наследница древнего рода, соединиться браком с буржуа? Это невозможно даже в век процветающего третьего сословия. Между нами кастовая пропасть.

Умный, светски обаятельный, политик и ученый, Гизо не настаивал на венчании, хотя взаимная любовь его и Дарьи Христофоровны крепла с годами.

Все эти подробности из жизни княгини Ливен стали известны Лизе от покойной тетки.

Прочитав письмо Дарьи Христофоровны, Лиза захотела увидеть женщину со столь незаурядными биографией и характером. Она охотно приняла приглашение Дарьи Христофоровны поселиться в великолепном особняке в Сен-Жерменском предместье.

Княгиня Ливен оказалась худенькой старой дамой, которую не могли омолодить ни притирания, ни белила, ни строго продуманный туалет — ничто не могло скрасить разрушения времени, особенно сказывающиеся в линиях когда-то стройной шеи. Стоячий воротник не мог уже скрыть дряблости кожи и поддерживать слабый подбородок и щеки. Княгиня Ливен никогда и не была красивой. На тонком неправильном лице поражали, однако, необычайно проникновенные, полные ума, задора, проницательные глаза. В старости, как это обычно бывает, яснее обозначились и недостатки и достоинства ее внешности.

Превосходный знаток людей, княгиня Ливен быстро разобралась в наиболее определившихся чертах характера Лизы, но постаралась ничем не проявить этого и заговорила о том, к чему, зная по опыту, никакая женщина не может остаться совершенно равнодушной.

— Вам надо заняться собой, милая Лиза. О душе поговорим позднее, сначала подумаем о бренных предметах. Я прикажу вызвать сюда мою портниху, и мы обсудим ваш будущий гардероб. Моя кузина Евпраксия, эта заме-

чательная пелепица, как ее звали в детстве, наверно, не сказала вам, что следует не только читать Шатобриана, но также класть на ночь на лицо маску из сырого мяса, земляники или огуречного сока, чтобы кожа не была сухой и серой. Моя камеристка займется этим. Увы, дитя мое, фен, присутствовавшие при вашем рождении, не позаботились о цвете вашего лица. А это главное, особенно при вечернем освещении. Свечи были гораздо милостивее к женщинам, чем газовые лампы, которые жестоко подчеркивают наши недостатки — морщины и вялость век.

Лиза, слушая княгиню Ливен, не могла скрыть своего удивления. Ей казалось, что эта женщина, которую считали отличным политиком и дипломатом, сразу же начнет разговор о чем-нибудь особо важном для судеб Европы, военных приготовлениях Турции и России и угрозе большой войны или, по крайней мере, о Наполеоне III и его раздорах с царем Николаем I.

Решив приблизить к себе Лизу, Дарья Христофоровна имела затаенную цель. Подпав под влияние католической церкви, она стремилась, считая это особо богоугодным делом, уловить в ее лоно как можно больше душ. Лиза, скромная, замкнутая, страстная, много страдавшая, как сразу определила княгиня Ливен, и, главное, очень богатая, была, по ее мнению, создана для того, чтобы увлечься пышной мишурой католической церкви. Надо было, однако, исподволь, незаметно подвести ее к этой мысли. И Дарья Христофоровна, посоветовавшись со своим духовником, решила действовать без торопливости и заслужить любовь и полное доверие своей родственницы.

Однажды во время утреннего туалета графиня Ливен сказала Лизе:

— С тех пор как судьба лишила меня двух любимых сыновей, я поняла всю тщету земной жизни и бесполезность борьбы с тем, что предначертано нам свыше. Смирение, покорность, вера в грядущее соединение с любимыми — вот чем живу я отныне. Но это вовсе не значит, что надо посыпать главу пеплом и предаваться печали. Наоборот, дитя мое, святая католическая церковь и ее духовники помогли мне преодолеть страдания. Но надо отказываться от мирских благ и дел. Основное — это вовремя искупить грехи.

Не подметив ни малейшего интереса у Лизы к тому, чтобы получить отпущение прегрешений, и почувствовав

в ней полное безразличие к делам церкви, Дарья Христофоровна перешла к тому, чего ждала от нее Лиза с самого начала их знакомства. Она заговорила оживленно о политике.

— Гроза в мире приближается, — сказала уверенно княгиня Ливен. — Многие важные события в Европе начинались с мелочей. Наш дорогой государь вполне прав, когда пишет императору Наполеону, человеку, между нами говоря, с весьма сомнительным прошлым, не «любезный брат», как полагается по этикету между царствующими лицами, а просто «друг». Это тоже не малая честь для вчерашнего арестанта. Луи Бонапарту не удалось политических выгод ради породниться ни с одним из царствующих домов Европы. Слава богу, наш царь разрушил его хитроумный план.

— Разве это тоже дело рук Николая Первого? — поинтересовалась Лиза.

— Да. Его величество использовал все свое влияние, чтобы предотвратить позор подобного соединения.

— Однако Наполеон Третий женат...

Княгиня Ливен презрительно улыбнулась.

— Да, на испанке незнатного и бедного рода, графине Евгении Монтихо-и-Теба. Она посетила меня незадолго до того, как стала императрицей Франции, и, представьте, вела себя в моем салоне как истая аристократка. Не будем, однако, вспоминать сомнительное прошлое этой красотки. До замужества она успела насладиться жизнью. Но ведь мать и бабушка Наполеона Третьего тоже не были образцами морали. Как ни старается Бонапарт создать теперь культ Гортензии и Жозефины Богарне, ему это не удастся. Не правда ли, забавно, что гимном империи стала песенка, написанная когда-то его матерью? Увы, мой друг, все эти люди принадлежат к полусвету. Это слово отлично придумано господином Александром Дюма-младшим. Все в современной несчастной Франции, как в «Даме с камелиями», только полусвет, все на грани приличия и непристойности. Двусмысленны и ложны императорский двор и политика, биржевые спекуляции и даже литература. А нравы? От дикого пляски канка европейцы перешли омерзительный, неприличный танец и назвали его «канкан». В кафешантанах всей Франции его пляшут, вскидывая ноги до самого носа и выше. И, представьте, это вовсе не весело и, значит, вовсе уж непри-

стойно. Наш строгий вальс доставлял, право же, гораздо
больше радости. Я часто говорю об этом с господином
Гизо. Ничто, запомните, не вызывает такого волнения, как
видимость целомудрия.

За ужином Дарья Христофоровна вновь заговорила об
угрозе войны.

— Недавно Наполеон Третий сказал многозначитель-
ные слова: «Если мои военные суда появятся в восточ-
ных водах, то знайте, что я иду, чтобы победить Россию.
На этот раз сражаться нам придется в менее суровом
климате, чем это было под Москвой». Не правда ли, какой
недвусмысленный и зловещий намек на наше Черное
море? Я не могу остаться безразличной к такой угрозе.
В ближайшие дни мы отправимся с вами, милая Лиза, ко
двору королевы Виктории. Есть все основания беспоко-
иться, что королева и ее правительство присоединятся к
враждебной России коалиции. А я, что бы обо мне ни го-
ворили, родилась и умру верноподданной обожаемого
мною царя Николая.

Через несколько дней Лиза вместе с княгиней Ливен
отправилась через Дувр в Англию.

Дарья Христофоровна стремилась в Лондон еще и для
того, чтобы повидаться с Гизо. Княгиня Ливен самоотвер-
женно заботилась о любимом человеке, спутнике ее ста-
рости, и тяготилась разлукой с ним.

В Булони, на пристани, в ожидании маленького суде-
пышка, идущего к берегам Англии, Лиза спросила Дарью
Христофоровну, почему ее близкая дружба с Меттерни-
хом обернулась враждой.

— О милый друг, — прикрыв глаза, улыбнулась кня-
гиня Ливен, — в нашем кругу мужчины, а тем более вы-
дающиеся, не любят умных женщин. Они привыкли
только к поклонению. Ум в женщине повышает для че-
ловека, который считает себя гениальным и не желает
слышать ничего, кроме лести. Жена австрийского канцле-
ра, очаровательная дурочка, постоянно курит ему фимиам
и совсем не интересуется политикой.

Был конец мая. Начинался великосветский сезон. Ко-
ролева давала свой первый бал во дворце, подаренном ей
около двадцати лет назад герцогом Букингемским. Этот
невзрачный плоский серо-желтый замок, опоясанный гу-

стым парком, она предпочитала всем другим, за исключением разве только Виндзорского.

Княгиня Ливен, пользуясь обширными связями при дворе, без труда включила Лизу в список приглашенных на бал во дворце.

Лизе хотелось посмотреть это необычайное, почти театральное зрелище. Королева объявила, что в этом сезоне ее любимым цветом будет голубой, и платья приглашенных на бал шились из самых дорогих материй только этого цвета или его оттенков.

В полдень и сумерки у сквозной железной дворцовой ограды и глухих ворот всегда собирались любопытные.

Развод караула, о котором возвещали гулкие барабаны, сопровождался сложной церемонией: салютованием шпагами, рапортами.

Гвардия королевы, как и великобританская полиция, вербовалась преимущественно в Шотландии. Только там, среди угрюмых озер и гор, вырастали такие широкоплечие, рыжекудрые силачи. Бывшие пастухи, похожие на викингов, служили также главным украшением уличных перекрестков, где их стадами были отныне омнибусы и кареты. Они же живыми статуями стояли у парадных королевских подъездов, рядом с трехцветной сторожевой будкой. В полицейских темных касках и меховых гвардейских шапках, почти скрывавших лица, в черных форменных шинелях с эполетами они были декоративны, безжизненны и лишены всякой индивидуальности, как каменные львы и вазы на дворцовых фронтонах.

Смена караула у ворот Букингемского дворца была излюбленным зрелищем детей. Наемные воины короля казались им большими оловянными солдатиками, и нередко малыши просили матерей купить им таких же. Нелегко было поверить, что подобная автоматичность движений доступна живым людям. Даже лошади у двух всадников, занимавших посты главных ворот, подчинены были механическому ритму барабанов и топоту караульных, этих выстроившихся попарно маскарадных воинов.

Но излюбленнейшую пищу для любопытства английских обывателей доставляли дни дворцовых балов.

Королевский прием еще не начинался, но вереницы карет с приглашенными уже тянулись в прилегающие к Букингемскому дворцу кварталы. Английские богачи

и знать подъезжали в слюдообразных, покачивающихся в такт лошадиному бегу, обитых сукном или шелком рыдванах и черных каретах с лакеями на запятках. Фырканье и ржание великолепных лошадей нарушали покой улиц. Зеваки, дежурившие на путях ко дворцу, рассматривали кареты, в которых сидели дамы в придворных туалетах.

Длинные, широкие платья шились для дворцового бала из заткапной золотом парчи и тафты, блестящего атласа или из индийского легкого муслина. В моде были кринолины, растянутые благодаря десятку тонких металлических обручей, образующих под юбкой подобие каркаса для абажура. Те, кто должен был представляться королевской чете, носили тяжелые четырехметровые шлейфы, прикрепленные к плечам. Нелепым пучком торчали страусовые перья поверх фаты, наброшенной на прически дам; в их руках тихо покачивались большие мохнатые веера.

Пытаясь скоротать долгие часы ожидания, придворные леди играли в вист со своими позолоченными, затянутыми в тугие набрюшники кавалерами. Иногда уже с двух часов дня выстраивались чередой кареты королевских гостей, надеявшихся, что к десяти часам вечера им удастся добраться до желанного подъезда.

Приехавшая из Индии графиня беспокоилась, как бы не увяли белые, укутанные листьями лилии, с которыми сегодня предстанут перед троном три ее чахлые, непомерно долговязые дочери. Чтобы утомление не пробилось сквозь румяна и пудру на щеки молодых «дебютанток», впервые представляемых королевской чете, отец и брат, оба в орденах и придворных костюмах, старались развлекать их веселыми шутками. Однако ни атлас дорогих платьев, ни прославленные, многократно описанные всей столичной прессой драгоценности, ни тонкие лилии не смогли украсить этих дурнушек.

В противовес английскому мелкому буржуа, вовремя спрятавшемуся и уцелевшему от тяжелой дубиной пуританства, английская знать дорого заплатила за свое господство и силу. Со времен средневековья она была заражена и разъедена пороками, привезенными со всех концов мира. И парад старой аристократии у Букингемского дворца нередко казался унылой выставкой физического уродства.

Шпалерами растянувшиеся, дисциплинированные зрители вливаются, позабыв о дожде, о режущем глаза тумане, в окна карет, обсуждая туалеты.

Темзсет. В некоторых движущихся бонбоньерках зажигают свечи. Вист в разгаре. Мимо медленно подвигающихся к цели приглашенных англичан проносятся шаланы иностранцев — представителей дипломатического корпуса. Их вправе обогнать и задержать только громоздкие, пестрые, похожие на дилижансы кареты придворных и членов королевского дома.

С девяти часов вечера двери дворца раскрыты. Мраморные ступени ведут из обширного желтого холла в анфилады зал. Шаги разодетых, едва влачащих расшитые шлейфы женщин бесшумны на коврах. Одинаковые перья в их волосах покачиваются монотонно, как султаны на гривах унылых лошадей похоронных процессий. Чопорная скука ползет со стен, увенчанных гобеленами, картинами, невыразительными портретами королей в мундирах и мантиях. Застывшими восковыми фигурами кажутся повсюду у дверей расставленные солдаты и офицеры конвоя его величества — причудливая иллюстрация английской истории костюма. Тут и короткие шаровары, кафтаны времен Генриха VIII, со сборчатыми, «фонарем», рукавами из разноцветных полос, и белые, гармошкой плиссированные воротники, привезенные в Шотландию и Англию из Франции злосчастной королевой Марией Стюарт. Тут и елизаветинские пажи в атласных туфлях с большими медными пряжками, и солдаты Карла I в сапогах с отворотами. У портьер, в красных мундирах и меховых шапках, неподвижные солдаты.

Дарья Христофоровна в придворном платье из тяжелой голубой парчи, с трудом поддерживая рукой длинный шлейф, усеянный драгоценными камнями и обшитый соболем, со страусовыми перьями поверх прически и белого тюля, спускающегося по плечам, отвечает на бесчисленные поклоны. Лиза поднимается за ней вверх по лестнице, устланной коврами.

На лицах проходящих мимо дам Лиза с удивлением замечает однотипные, застывшие, ничего не говорящие улыбки, выученные, по-видимому, с самого детства.

— Посмотрите, Лиза, на эту новоиспеченную викотессу. Ее муж, вероятно, какой-нибудь денежный мешок,—говорила княгиня Ливен, не снимая с лица улыбки.

В дорогом платье павой проплывает по залу жена крупного текстильного фабриканта, купившего титул виконта. Мечты ее наконец осуществились.

Пухлые красные плечи виконтессы вылезают угрожающими лопнуть помидорами из овального выреза бледно-голубого, заткапного золотом платья. На надменно откинутой голове качаются три страусовых пера. Величественно напыжившись, берет она уроненный веер из рук подоспевшего слуги. И тотчас же выражение высокомерия сменяет маска раболепства, когда она клапяется сухопарой герцогине. С каким беспокойством и чванством оглядывает себя новая аристократка в зеркале!

Все расступаются, пропуская вперед титулованную даму, обладательницу огромных земель в колониях, одну из прославленных интриганок и политических кумушек, окружающих королеву. Ее пронырливость вошла в поговорку.

Лиза посмотрела на знатную плантаторшу, которая внезапно остановилась, чтобы влюбленным взглядом проводить близкую родственницу королевы.

— Напрасные старания! — сказала Дарья Христофоровна, дружелюбно ответив кивком головы на чей-то поклон. — Эти пройдошливые ничтожества из купцов и дельцов никогда не станут своими в степах Букингемского дворца. К счастью, никакая подлость и угодливость не превратятся в мостик между кастами. Английская аристократия принуждена и умеет благодаря прекрасному воспитанию терпеть простолюдинов, но не растворит их в своей среде.

— Однако в парламенте они сидят и вершат дела государства вместе, — удивилась Лиза.

— Вы наивны, дитя мое. Палата лордов — только отчасти парализованная пасть британского льва. Она непременно жаждет проглотить палату общин. Точно так же подлинная аристократия голубой крови не допустит, чтобы разные выскочки из среднего сословия стали чем-нибудь большим, нежели прислужниками старой знати.

Княгиня Ливен была права. Поколениями пробивались разбогатевшие буржуа сквозь щиты и пики геральдических гербов. Долгие годы длилось это медленное смешение и одновременно золочение титулов.

Английская аристократия, наиболее замкнутая и потому вырождающаяся, в большинстве своем сказочно

богатая, сохраняла за собой сокровища, земли, акции, торговые капиталы в колониях и в самой Англии.

По большим и малым залам прогуливаются придворные. Мимо тропа с поклонами сегодня пройдет их более тысячи. Зеркала во много раз умножают соединяющиеся друг с другом валы и чопорную толпу.

Как в паноптикуме, здесь все призрачно и перепутано. Тот старик с голым черепом, восковым лицом, увешанный смешными, дутыми, как елочные украшения орденами, цветными лентами, — человек он или карикатурное изваяние? Люди вокруг похожи на кукол, куклы здесь сошли бы за людей.

Сухопарый Пальмерстон сменил скромный костюм на коротенькие штанишки — подражание французскому двору Людовика XV, — шелковые чулки, плотно обтянувшие икры, и лакированные туфли с черными тафтовыми бантами. Волосы его натурально седые, в противоположность густо напудренным головам важных лакеев.

Седина в Англии, как и на Востоке, признается большим достоинством, метой прожитых лет, свидетельством мудрости, признаком «хорошего тона». Нигде в мире не встречается подобная английской холеная, чуть желтая седина.

С каким нескрываемым удовольствием прохаживается по королевским покоям Дизраэли — лорд Биконсфилд. Его плечи выпрямлены, но полы фрака висят жалкими мертвыми крыльями.

— Очарователен, — шепчут ему вслед дамы. Он нравится в свете. Королева часто посылает ему фиалки из своих оранжерей.

Лиза вошла в тронный зал.

Под тяжелые аккорды «God save the king» [1], монархического гимна, в полупустой тронный зал вошли, держась за руки, королева и ее муж принц-консорт Альберт. За ними вразброд двигались принцы и герцоги.

Маленькие пажи долго и тщательно расправляли многометровый, заткапный золотом шлейф королевы на тронных, покрытых ковром подмостках. Вышитые по бархату звезды, цветы и птицы переливались и сияли.

Маршал двора, существо неразличимое, затменное собственными же медалями, галунами, эполетами, отдал последние распоряжения своей армии адъютантов —

[1] «Боже, храни короля» (*англ.*).

десятку порхающих пестрых «божьих коровок» в красных мундирах и белых брюках. Из дворцового полкопода маршал превратился в оперного дирижера.

Один взмах его рыжей руки открыл шествие.

В дверях между тронным залом и «загоном», где жда-ли выхода статисты-гости, опытные пажи подхватывали, расправляли непокорные, то ползущие, то скачущие и пе-вивающиеся дамские хвосты — шлейфы.

Королевская чета стояла у золоченых бархатных кресел.

Шурша атласом, склонилась в замысловатом реверан-се жена русского посла. Королева и ее муж кивнули в от-вет головами.

Фамилии и титулы знатных дам, отдающих поклон королевской чете, наспех объявлял глашатай.

Шли упитанные светловолосые немки, стройные швед-ки и датчанки, томные испанки и смуглые итальянки.

Королева и ее муж важно кивали им.

Жена американского посла представила трех расфран-ченных соотечественниц. Чтобы появиться при дворе, они в течение нескольких недель переплывали на небольших судах океан. Жены богачей Нового Света не могли скрыть теперь растерянности, трепета и горделивого восторга. Среди них была ирландка, познавшая некогда жестокую нищету и унижения, измышленные Англией против упрямого, непокорного соседнего острова, на котором она родилась. Но разбогатевшие рабы незлопамятны. Тщесла-вие ослепляет.

Заокеанские миллионерши соперничали между собой в пышности туалетов и драгоценностей, однако они были бессильны превзойти в этом английских леди и в особен-ности жен индийских магараджей.

— Мы тоже некоронованные королевы, — сказала раз-досадованно одна из них, — и платим мы за все наличны-ми. Наши предки не грабили своих подданных столе-тиями.

Кивок короля и королевы обошелся им недешево. Придворные дамы, бывшие посредницами, получили под видом оплаты за обучение этикету очень дорогие подарки. Добиться пригласительного билета на королевские при-емы — сложное и щекотливое дело; но деньги — ключ, открывающий и дворцовые двери. И когда приглашение было получено, жены и дочери американских бизнесме-

нов и плантаторов Юга покупали себе роскошные при-
дворные одеяния.

С тех пор как появилась фотография, стало модным заказывать портреты в придворном туалете. Они предназначались для того, чтобы висеть, изумляя и впушая зависть знакомым, где-нибудь в парадных залах нью-йоркской, чикагской, филадельфийской резиденции. Ради этой чести безмерно тщеславные жены американских буржуа готовы были на любую трату и жертву.

Когда пригласительный билет был получен, жена американского посла отвозила счастливую дебютантку во дворец на бал, где она с особым усердием и старательностью клалась королевской чете, доказывая этим, что не напрасно в течение двух недель брала специальные уроки реверансов.

Откланявшись, все приглашенные занимали предназначенные им места в полукруглом тронном зале и продолжали разглядывать последующий парад.

Следом за дамами двигались члены дипломатического корпуса: послы, секретари, военные атташе. На них были придворные костюмы либо яркие, без меры увешанные орденами мундиры. Дипломатов сменяли министры.

Прикомандированные парламентом казначей его величества и контролер королевских расходов тоже пришли выразить верноподданнические чувства.

Вслед за министрами и вельможами начинался «выход» юных английских аристократов, впервые представляемых королеве.

Оркестр играл марши. Приглашенные дефилировали по тронному залу.

Одеяние и украшение каждой из проходящих женщин стоили много десятков тысяч фунтов стерлингов. Знатоки находили тут неповторимые, прославленные кружева, созданные при свете сальных свечей в феодальных замках и монастырях. Соболя, горностаи, серебристые лисы отягощали атласные, парчовые шлейфы, то каскадами пенясь, то языками пламени разбегающиеся по полу. Женские лица являлись бесчисленными рекламами косметических изделий, без слов прославлявшими французские белила, румяна, карандаши для бровей, пудру.

При дворе господствовал французский язык. Парижские предметы роскоши, курорты в Пиренеях, игорные дома на Ривьере были излюбленной темой разговоров.

Полторы тысячи раз кивнула приглашенным за вечер королева Виктория. У нее заболели шея и голова, и когда церемония поклонов окончилась, прежде чем снова появиться в залах, где чинно танцевали и закусывали, она отдала себя во власть опытной массажистки, поджидавшей ее в туалетной.

Княгиня Ливен, по-девичьи подвижная и неутомимая несмотря на преклонный возраст, под руку с французским послом шла по дворцовым апартаментам.

— Моя супруга, представьте, княгиня, ехала из Рима в Париж почти две недели. Я слышал, что скоро появятся спальные вагоны, иначе пользоваться железной дорогой станет невозможно для людей из общества.

— Две недели, какой ужас! — отыскивая глазами узкую, длинную фигуру Пальмерстона и не находя его, отвечала Дарья Христофоровна. — Я, впрочем, всегда предпочитала море суше.

— К сожалению, княгиня, вскоре некоторые моря могут оказаться небезопасными для путешествий, — многозначительно заметил французский дипломат.

— Как будто с пиратами и корсарами покончено навсегда, к огорчению писателей, которым в течение нескольких столетий была особенно близка эта тема. Теперь многие государства похваляются своим флотом. Россия помалкивает, но она очень могущественна, — с нарочитой небрежностью говорила Дарья Христофоровна, входя в зал, где были сервированы столы.

Безвозвратно ушла в прошлое полулегендарная пора обжорливого Генриха VIII, когда на королевских празднествах гостей потчевали необъятными тушами кабанов, быков, сладким мясом лебедей, горькой дичью и запивали сду бочками лучшего вина. Королева Виктория угощала гостей богато, но без излишеств. Особенно гордилась она серебряной с позолотой сервировкой, бесценным фарфором и белоснежными скатертями из тончайшего полотна.

Княгиня Ливен отказалась от ужина, и разговор с французским послом возобновился.

— Его величество русский царь, — говорил французский дипломат, — естественно, стремится упрочить свое влияние на Балканском полуострове и обеспечить проход своим кораблям в Эгейское море через черноморские проливы. Но вряд ли Турция, Англия и Франция поддержат его в этом стремлении. Скажите, княгиня, вы, верно, как

...лапенными за вечер
...ея и голова, и когда
...жде чем снова по-
... и закусывали, ба
...кистки, поджимая
...ная и неутомимая
...ку с французским
...ия, ехала на рын
...то скоро появятся
...железной дорогой
...ва.
...кивая глазами у-
...не находя его, от-
...чем, всегда пре-
...некоторые моря
...ешествий, — мно-
...омат.
...ии покончено на-
...м в течение не-
...эта тема. Теперь
... флотом. Россия
...а, — с парочкой
...оровна, входя в
...егендарная пора
...олевских празд-
...ушами кабанов,
...чью и запивали
...ктория угощала
... гордилась она
...денным фарфо-
...йшего полотна
... и разговор с
...орил француз-
...упрочить свое
...печить прохол
...оморскую про-
...ния поддержат
...ы, верно, как

и вся придворная аристократия Петербурга, беспокоится теперь о своих поместьях на Крымском полуострове? Говорят, это райский уголок.

— Нет, не судьба дворцов в благословенной Тавриде беспокоит меня, — сказала Дарья Христофоровна. — Опасная авантюра — пытаться подорвать величие и военную мощь России и мешать ей выйти в Средиземное море. Мне жаль не крымские парки и замки — им ничего не угрожает, а те страны, которые осмелятся поднять против двуглавого орла. Он клюет жестоко, смертельно.

В конце этого разговора в зале появилась приметная сутулая фигура седовласого старика, которого тотчас же окружила подобострастная толпа гостей.

Это был министр иностранных дел королевского правительства, вождь непрерывно богатеющей, идущей в гору, алчной, самонадеянной и воинственной английской буржуазии.

Княгиня Ливен, сказав какую-то светскую любезность собеседнику, отошла от него и прямо направилась к Пальмерстону. Перед ней почтительно расступились.

— Сэр Генри, — сказала она повелительно, — мне хотелось бы узнать, как ваше самочувствие.

Могущественный государственный деятель Англии некогда был увлечен женой русского посла Ливена. Прошло много лет, но Дарья Христофоровна, давно состарившаяся, совершенно преображалась, встречаясь с тем, над кем приобрела некогда особую власть. Даже тембр ее голоса менялся.

Княгиня Ливен и Пальмерстон были одного возраста, но министр королевы Виктории, удачливый соперник Гладстона и Дизраэли, выглядел куда более дряхлым. Между его белой шевелюрой и бакенбардами торчали необычайно большие, настороженно растопыренные уши. Рот старика походил на рубец, и все лицо казалось обтянутым мятым потемневшим пергаментом. Взор запавших, без всякого блеска глаз был надменен и тяжел.

— Я очень рад видеть вас, княгиня, — сказал Пальмерстон по-французски, без улыбки. — Вы, как всегда, отлично выглядите и все так же очаровательны. Что привело вас в Лондон и почему я узнаю об этом по первым?

— Меня погнала из Парижа тревога. Мы старые друзья, не правда ли, сэр Генри? — сказала Дарья Христофоровна, то открывая, то закрывая надушенный веер. —

Я всегда молодею, глядя на вас. Когда-то на королевских балах мы проводили незабываемые часы. Вы читали мне свои стихи и убивали наповал наших недоброжелателей разящей иронией.

— Это было, увы, так давно, дорогая леди Долли.

— Да, сэр Генри, как меняются времена, нравы и люди. Вы не были тогда так враждебны ко всему, что мне дорого. Мы понимали друг друга с полуслова. Вы не терпели ничего сомнительного и неверного в политике.

Пальмерстон слегка нахмурился. Он знал, что слова княгини Ливен всегда полны скрытого смысла. Не намекает ли она на его стремление ускорить войну с Россией?

«Эта колдунья Ливен все знает, с ней надо говорить, как мужчина с мужчиной, — думал хитрый, расчетливый политик. — Она к тому же все сообщит в Петербург. Тем лучше». Пальмерстон молчал, выигрывая время и предоставляя говорить княгине.

— Вы некогда безошибочно предсказывали будущее по линиям руки; еще лучше вы разгадывали судьбы государств. Что видите вы на горизонте? — спросила Дарья Христофоровна небрежно.

— Будем надеяться, война не начнется.

— Когда дипломат говорит «нет», это означает «может быть».

— Англия первая никогда не возьмет на себя столь ответственный почин, но и не потерпит, если обидят ее верных союзников. Правительство ее королевского величества всегда стоит на страже угнетенных наций, где бы они ни находились.

— Турции, например, — чуть вспыхнула Дарья Христофоровна, — дикой, невежественной страны, которая издевается над проживающими в ее пределах христианами.

— Балканы созданы богом как яблоко раздора. Но я не хочу, чтобы они поссорили нас, леди Долли. Дружба с вами была для меня всегда выше политики. Она выше распрей мира. Верьте мне и располагайте мною.

Пальмерстон прошел с княгиней Ливен по длинной картинной галерее до холла, где ее ждал слуга, держа наготове широкую, подбитую горностаем ротонду с огромным капором.

— Карету ее сиятельства княгини Ливен! — выкрикнул лакей.

В закрытом экипаже, подъехавшем к устланному пурпурными коврами подъезду, княгиню ожидала Лиза, покинувшая тронный зал несколько раньше. Дарья Христофоровна была в дурном расположении духа и молчала.

Княжеский выезд в ряду других медленно двигался к ограде Букингемского дворца. Хотя было уже далеко за полночь, толпа зевак не поредела. Ее праздное любопытство возрастало от невозможности заглянуть внутрь, пробить взглядом каменные дворцовые стены... Воображаемое обычно увлекательнее действительно существующего.

«Итак, быть большой войне», — думала Дарья Христофоровна. Она содрогнулась, представив себе, как осложнится тогда ее жизнь. Чистокровная немка по происхождению, русская по воспитанию, космополитка по всем своим симпатиям и привычкам, по зависевшая целиком от царского дома Романовых, как останется она во время войны за границей? Ей предстояло увидеть, как будут рады карлики тому, что начался поход против Восточной Европы. Рьяной приверженке деспотического правления Николая I, русской княгине придется молча смотреть на то, как демократы и революционеры будут восторженно приветствовать борьбу со страной крепостников, которую они называют палачом польского народа и свободы в Европе. Но о возвращении в Россию она не могла и не хотела думать.

«Как, однако, предотвратить войну?» Острый ум княгини Ливен лихорадочно работал. Но она сознавала свое бессилие.

Лиза искоса посматривала на Дарью Христофоровну, но так и не могла прочесть ее мыслей. Она была очень рада, что бал у королевы кончился.

Весь вечер Лизе не везло. Сначала она чуть не упала, склонившись в реверансе в тронном зале, причем упершаяся коленом в пол, чтобы подняться (верх неприличия!), затем, добравшись до своего места у стены, вместо того чтобы остаться стоять, покуда шло представление у трона, опустилась на стул. Какой-то дюжий придворный, стоявший сзади, с окриком: «Встаньте!» — приподнял ее с сиденья и при этом оторвал оборку платья. Прикрывшись шлейфом, Лиза сле пробралась в дамскую комнату, где дворцовая горничная кой-как запила прореху на талии и прикрепила кружева. Наконец усталая Лиза выбралась из толпы королевских гостей.

В карете княгиня просидела она более часа, удивляясь, зачем пошла на этот бал. Чтобы по собственной охоте изображать одного из статистов в суетном, нелепом и устаревшем дворцовом спектакле?

«Так далее жить нельзя. Вот уже месяц, как я растрачиваю все, что накопила некогда душа, ем слишком обильно, много сплю и в полной праздности теряю время. И ничего еще не сделано для Мишеля».

Невеселые мысли Лизы прервала Дарья Христофоровна:

— Отменный бал. Вам удалось повидать сегодня лучших людей империи. Королева выглядела очаровательно, немножко только потолстела. Каждый год ее величество дарит Великобритании нового царственного отпрыска, но теряет из-за этого грациозность линий. Нельзя же превращать деторождение в профессию, особенно когда твое чело увенчано короной...

Лиза рассмеялась.

— Однако вы можете быть беспощадной и даже по отношению к коронованным особам, — сказала она, вспомнив о размолвке княгини Ливен с Николаем I.

— Итак, дорогая Лиза, теперь, представившись ко двору, вы можете начать визиты в высшем свете. Все без исключения будут рады вам. Можно подумать и о браке. Но не торопитесь и будьте осмотрительны. Особенно бойтесь неравенства в чем бы то ни было. Когда мне стало невмоготу бремя брака и муж чинил мне препятствия к отъезду за границу, мой брат Александр Бенкендорф сказал о князе Ливен: «Он мстит тебе за то, что так долго терпел над собой твое умственное превосходство». Если это и было так, то ведь я посвятила себя служению мужу в продолжение очень многих лет, и он прослыл прекрасным дипломатом и ученейшим человеком. Но ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Люди не прощают другим сознанию своего ничтожества. А это познается сравнением...

— Я вовсе не собираюсь выходить замуж, — решительно заявила Лиза.

— Тем лучше. Раз вы дорожите независимостью, мы можем не расставаться с вами и поехать в сопровождении господина Гизо в Рим, а затем снова в Париж.

— Нет, дорогая княгиня. Я очень многое повидала и поняла благодаря вам. Но я остаюсь в Лондоне. У меня здесь важное и трудное дело.

— Быть может, я могла бы вам помочь в чем-либо, мой друг? Имя княгини Ливен еще не совсем потускнело среди избранных этого мира.

— Тогда разрешите просить вас о помощи моему другу. Он очень страдает. Его имя — Михаил Бакунин. Он заточен в Петропавловскую крепость. Вы, вероятно, слыхали о нем.

Если бы в эту минуту карету княгини окружили разбойники, то и тогда на ее лице не отразились бы больший ужас и возмущение.

— Вы сошли с ума! — прошептала она. — Государственный преступник, замышлявший цареубийство! Позор своей родины и семьи! Я скорее простила бы вам увлечение каким-нибудь шулером из Монте-Карло. Но Бакунин...

— Я обращусь к тем, кто захочет ему помочь. И прежде всего к Герцену. Это самый замечательный и решительный из русских людей.

Лиза говорила очень вежливо, четко и тихо. Но в голосе ее была непреклонная решимость.

Оставшись одна, Дарья Христофоровна дала волю своему негодованию. «Долгие годы бедности и нужды растлили ее. Это погибшее создание, — думала она с бешенством. — Я жестоко ошиблась в этой молчальнице и смиренице с лицом испанских грешниц, ставших затем святыми. Нет, она отнюдь не Тереза из Гренады, как сказал о ней мой аббат. Я становлюсь глупее к старости и все чаще ошибаюсь в людях. Я мечу бисер перед свиньями. Не пора ли скрыться на время в монастыре или, пожалуй, лучше объявиться больной и не принимать никого, кроме тех, кто мне действительно дорог».

Княгиня с нежностью подумала о Гизо. Его долгая, верная любовь делала ее моложе. Она тосковала о нем в Париже, радуясь, что почти в семьдесят лет способна еще так остро по-женски страдать в разлуке. В Лондоне Гизо проводил в ее доме большую часть дня. Они иногда ездили вдвоем в приморский Брайтон, где, к своему неудовольствию, встречали поселившегося там на покое Меттерниха. Вечера проводила обычно Дарья Христофоровна с Гизо наедине в нескончаемой беседе. В день королевского бала они не смогли встретиться, и, прежде чем лечь, графиня Ливен на голубом листке бумаги с оттиском короны написала своему возлюбленному несколько строчек.

«Как всегда, — закончила она письмо, — я благодарю вас за долгие годы привязанности и счастья, которое вы мне дарите».

Затем княгиня позвонила и, поддерживаемая под руки камеристками, направилась в опочивальню.

Лиза переселилась в строгий и удобный отель и почувствовала себя снова свободной.

Наконец-то оказавшись в Лондоне, она получила возможность познакомиться с Герценом и посоветоваться с ним о том, как приняться ей за освобождение Бакунина.

Герцен казался Лизе человеком особого склада, необыкновенным, как Станкевич, Белинский, Грановский и Бакунин.

В 1848 году в одной из книг «Современника» Лиза запоем прочла и запомнила навсегда повесть Герцена «Сорока-воровка». Позднее, размышляя над книгой Бичер-Стоу, она снова вспомнила о печальной участи крепостной русской актрисы.

Нанявкеб, она назвала кучеру адрес. Лошадь медленно двинулась по улицам Лондона, и Лиза стала рассматривать город, который ей показался величественным, но мрачным. В эту пору года он был весь в зелени, яркой и омытой теплым дождем. Некоторые дома были доверху обвиты плющом, диким виноградом и другими ползучими растениями. Особенно хорош был огромный, густолиственный Ричмондс-парк, возле которого жил Герцен. Но вот по гулкой мостовой подъехали к его дому. Кучер, в огромной шинели со множеством воротников, один больше другого, остановил лошадь у больного, чистого дома и слез с облучка. На резкий звонок вышла пожилая привратница и с учтивым приветствием открыла калитку. Лиза пошла к дому по нарядной, обсаженной по краям цветами дорожке. С крыльца в это время спустился слуга, низкорослый пожилой итальянец.

Еще раньше, нежели Лиза назвала себя, он на ломаном французском языке сказал ей, что хозяина нет дома и вообще господин Герцен никого не принимает.

Лицо Лизы отразило сильное огорчение, но слуга оставался неумолим. Разбрасывая гравий кончиком кружевного зонтика, испытывая полное разочарование, Лиза по-

корпо двинулась обратпо по дорожкс. В это время из-за дома вышла дама, ведя за руки двух маленьких девочек. Одной из них, смуглой и очень хорошенькой, было на вид не более трех лет, другой, светловолосой, с грустными, широко расставленными серыми глазами, едва ли более девяти. Лиза встретила настороженный и недоброжелательный взгляд дамы, но не смутилась.

— Но может ли господин Герцен принять меня? Мне так нужно его видеть, — просительно обратилась к ней Лиза.

— Вы, наверно, не знаете, что недавно он потерял безгранично любимую жену. Здоровье его с тех пор оставляет желать лучшего. Мы стараемся всячески оградить его от ненужных и утомительных разговоров.

— Я недавно из России,— настаивала Лиза.— По делу Бакунина. Быть может, это имя что-либо ему скажет.

Мальвида Мейзенбуг, воспитательница детей Герцена, несколько смягчилась.

— Я попробую помочь вам, хотя это расходится с моим решением оградить господина Герцена от всего, что может его взволновать. Прошу вас: в разговоре не касайтесь драмы, им пережитой.

Спустя несколько минут Лиза вошла в кабинет Герцена.

Прошло три года после того, как Александр Иванович Герцен отказался вернуться на родину и был заочно приговорен царским судом к лишению всех прав состояния и объявлен вечным изгнанником из пределов Российского государства. Имение его под Москвой было конфисковано. Герцен принял швейцарское гражданство, подчинившись неизбежной формальности, облегчавшей в дальнейшем его борьбу с царским деспотизмом.

Он был богат, деньги, доставшиеся ему в наследство от покойного отца, Ивана Алексеевича Яковлева, были своевременно переведены за границу и тем спасены. Отныне, став эмигрантом, Герцен мог выступать с поднятым забралом против русского царизма. Под своим, широко известным уже к этому времени в России, псевдонимом — Искандер — он следом за «Письмами из Франции и Италии» выпускает книгу «О развитии революционных идей в России» и одну за другой статьи, которые сжигают плот-

ную завесу лжи, скрывавшую русский народ от глаз западноевропейской демократии.

«Никто, однако, не знает, что же собой представляют эти русские, — пишет он в статье «Россия», — эти варвары, эти казаки, что собой представляет этот народ, мужественную юность которого Европа имела возможность оценить в бою, из коего он вышел победителем... Цезарь знал галлов лучше, чем Европа знает русских... В книгах о России недостатка нет, большую часть из них, однако, составляют политические памфлеты; они писались не с намерением лучше ознакомить с предметом, они служили лишь делу либеральной пропаганды то в России, то в Европе. Картиной русского деспотизма старались пугать и просветить последнюю...»

Предвидя великую миссию своей родины, Герцен писал:

«Множество народов сошло с исторической сцены, не изведав всей полноты жизни, но у них не было таких колоссальных притязаний на будущее, как у России. Вы знаете это. В истории нельзя сказать: tarde venientibus ossa [1], наоборот, им-то предназначены лучшие плоды, если только они способны ими питаться».

Лиза не читала ни одной книги или статьи Герцена, кроме его повестей. Она знала и сочувствовала его трагически сложившейся личной судьбе последних нескольких лет, исполненной разочарований, скорби, ревности и потерь.

Поздней осенью 1851 года погибли во время кораблекрушения мать Герцена, добрейшая Луиза Ивановна, и маленький сын Коля. Прошло всего полгода после этого страшного удара, и смерть снова ворвалась в его дом. Скончалась вместе с новорожденным ребенком молодая, обаятельная и умная жена Герцена — Наталья Александровна, которую, после недолгой, но сложной драмы, вызванной ее увлечением поэтом Гервегом, обрел он снова, чтобы пережить со всей остротой счастье любви и муку окончательной утраты.

Лиза с добрым чувством прикоснулась к широкой крепкой руке Герцена. Ей хотелось вложить в рукопожатие всю силу своего уважения, сочувствия, дружеского расположения. Герцен, чьи нервы за последние годы были

---

[1] Позднему гостю — один лишь кости (*лат.*).

в постоянном болезненном напряжении, отупил искренность и прямоту незнакомки. Нахмуренное, припухшее лицо его смягчилось, глаза подобрели, улыбнулись.

Сначала разговор не налаживался. Лиза несколько робела. Перед нею был человек необычного склада, как она сама определила его. К тому же Герцен был нетерпелив и, как бы предугадывал мысли другого, вторгался в разговор и сам направлял его по своей воле. Однако выдержка и благожелательность, исходившие от Лизы, победили, и он вдруг откинулся на спинку большого кожаного кресла и как-то успокоился. Началась плавная и неторопливая беседа, поглотившая обоих.

Герцен с презрением говорил о современном Париже, который ранее был ему очень мил и дорог. Город этот, колыбель великих революционных традиций, отныне воплотил буржуазное лицемерие, жестокость и тупоумие.

Второе декабря — день переворота Луи Бонапарта — был страшен для Герцена, как удар молотка, вбивающего гвоздь в крышку гроба обманутой Франции. Революция 1848 года, которой он радовался, словно пришествию великой правды и счастья на землю, казалась Герцену отныне погребенной.

Лондон, куда, потеряв жену, снова вернулся Герцен, произвел на него большое впечатление. Столица отражала и могущество Англии, и ее бесчисленные противоречия. Богатство, излишества немногих, нищета большинства, социальное неравенство и технический прогресс, предрассудки, узость воззрений, ханжество уживались мирно с свободой собраний, правом убежища чужеземных изгнанников и сравнительным отсутствием полицейских стеснений. Город был подавляюще велик, будто отдельная страна; в нем безостановочно, оглушающе, размеренно, как паровая машина или локомотив, двигалась, перемалывалась неукротимая жизнь.

Герцен искал полного одиночества и нашел его в многолюдном человеческом потоке, где так легко можно было затеряться со своими думами, тоской и жаждой действия.

Почти что в сельском уединении Чомлей-лоджа, этого густо обвитого жимолостью тихого дома, возле буколически прекрасного Ричмонде-парка, Герцен принялся за обессмертившую его работу, создав вольную русскую печать.

— Это кротовый труд, но как знать, быть может, удастся подрыть и опрокинуть могучие вековые своды, — сказал

Герцен, провожая Лизу к калитке сада. Он еще раз пообещал ей сделать все возможное, чтобы как-нибудь помочь Бакунину.

В своем дневнике Лиза писала:

«Самая мучительная борьба, которую приходится редко выдерживать человеку, — это борьба с самим собой. Годы проходят, и я кажусь себе ни на что не годной неудачницей. Высшее образование наглухо закрыто для женщин, служба гувернантки меня изнурила и унизила. Несчастливая любовь к Бакунину была тем страшна, что подорвала во мне веру в себя как в женщину.

Жизнь на родине казалась мне лживой и жестокой, как в большом водоеме, где в зеленоватой воде веселые большие рыбы с леденящим душу коварством нагоняют и пожирают более слабых. Чтобы преодолеть отчаяние, я искала поддержки у природы: гладила незащищенные, детски чистые кусты цветов летом, нежный снег — зимой и подолгу благоговейно погружалась в гамму красок восходов и закатов солнца.

Я говорила себе тогда: прекрасное в природе примиряет нас, смягчает, как гениальная музыка, и заставляет любить жизнь, этот яркий, непостижимый сон. Но и смерть тоже сон, только без сновидений, тяжелый, лишенный цвета и звука.

Богатство изменило всю мою жизнь, однако неудовлетворенность не только осталась в душе, но и неизмеримо возрастает. Мне не угрожает больше каждодневная притупляющая борьба за существование, и тем напряженнее и свободнее работает неспокойная мысль».

Встреча с Герценом глубоко поразила Лизу. Переняв от Бакунина некоторое пренебрежение к общепризнанным авторитетам и нежелание подчиняться кому бы то ни было, даже если это было во благо, она со свойственной ей настороженностью приглядывалась к этому тучному человеку с острым и вместе печальным взглядом темных глаз. Ей показалось, что уж очень гладка и красива его увлекательная речь, изысканна и нарочита манера поведения, какое-то почти ощутимое излучение таланта, яркость и быстрота мысли, полемический темперамент и, главное, отвага и горячность, с которой он говорил, пленили ее.

«Борьба — моя поэзия», — сказал он между прочим. Эти чудесные слова долго вспоминались Лизе. Ей даже начало казаться, что в них есть особое звучание, как у

песни. И она решила, что такие люди, как Герцен и те, кого ранее она знавала в Брюсселе, подобно величию и прелести неба, природы и музыки, созданы для того, чтобы опровергнуть дикость и жестокость современной ей жизни, чтобы показать, каким должно стать и будет когда-то человечество.

«Такие именно люди построят царство божье на земле, когда не будет больше зла и горя, — записала Лиза в своем дневнике. — Если бы их не было, над миром зазвучали бы слова Данте в надписи при входе в ад: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

В мае 1853 года Вольная русская типография, устроенная Герценом, была открыта. Управляющим типографией стал польский эмигрант Людвиг Чернецкий, друг и сотрудник Герцена. Наборщики были также поляки, и среди них оказался Сигизмунд Красоцкий, нашедший убежище в Лондоне.

В газете польской демократической эмиграции в том же мае появилась заметка: «Герцен понял долг русского народа; честь ему! Мы же делаем свое дело. Пришло время показать, что с правительством Николая — никогда, создать братский союз с русским народом против его дьявольского правительства — всегда!»

Лиза часто бывала в доме у Герцена. Трое его детей, особенно четырнадцатилетний сын Александр, встречали ее очень радушно. Только их воспитательница Мальвида Мейзенбуг, обожавшая Герцена и ревновавшая его ко всем без исключения посетителям, отнеслась к ней холодно и настороженно. Эта весьма образованная немка, сочувствовавшая освободительным идеям своего времени, происходила, как и Лиза, из древнего аристократического, но обедневшего рода и вынуждена была ради заработка давать уроки, заниматься переводами, служить гувернанткой. Близость к демократическому движению и жизнь в семье Герцена дали ей возможность встречать и хорошо узнать многих выдающихся людей разных национальностей, и она очень гордилась этим.

В июне в Вольной русской типографии в Лондоне вышла прокламация «Юрьев день!», написанная Герценом. Лиза нашла в листовке все, о чем непрестанно думала с той ночи, когда читала «Хижину дяди Тома».

Герцен писал, что необходимость освобождения крестьян назрела. Будучи дворянином и революционером, он

верил, что именно среднее дворянство отзовется на его призыв. Он не распознал тогда на Руси новую силу — разночинцев-революционеров — и писал, обращаясь к аристократии:

«В вашей среде развилась потребность независимости, стремление к свободе и вся умственная деятельность последнего века.

Между вами находится то самоотверженное меньшинство, которым искупается Россия в глазах других народов и в собственных своих.

Из ваших рядов вышли Муравьев и Пестель, Рылеев и Бестужев.

Из ваших рядов вышли Пушкин и Лермонтов.

Наконец, и мы, оставившие родину, для того чтоб хоть вчуже раздавалась свободная русская речь, вышли из ваших рядов».

Но далее, как бы предвидя, что его надежды на дворянство не оправдаются, Герцен смело предупреждал:

«Мы еще верим в вас... вот почему мы не обращаемся прямо к несчастным братьям нашим для того, чтоб сосчитать им их силы, которых они не знают, указать им средства, о которых они не догадываются, растолковать им вашу слабость, которую они не подозревают, для того, чтоб сказать им:

«Ну, братцы, к топорам теперь. Не век нам быть в крепости, не век ходить на барщину да служить во дворе: постоим-те за святую волю, довольно натешились над нами господа, довольно осквернили дочерей наших; довольно обломали палок о ребра стариков... Ну-тка, детушки, соломы, соломы к господскому дому, пусть баричи погреются в последний раз!»

Лиза была потрясена, прочитав в «Таймсе» о дуэльном убийстве, которое совершил французский изгнанник, рабочий Бартелеми. Этого человека она встречала у Герцена и запомнила его привлекательное, слегка отмеченное оспой смуглое лицо, с резкими чертами и упрямым, мрачным взглядом лихорадочно блестевших глаз.

Прошло всего два года, как Бартелеми убил на поединке одного из близких друзей Ледрю-Роллена — эмигранта, лихого гуляку и неуемного дуэлянта Курио. Тогда ему

удалось отделаться лишь двухмесячным тюремным заключением.

В этот раз Бартелеми после шумной ссоры убил фабриканта содовой воды, с которым вел какие-то дела. Он зашел к нему домой вместе со своей возлюбленной, направился на вокзал, чтобы уехать в Голландию, а затем в Париж, где собирался произвести покушение на Наполеона III, как о том говорил своим друзьям. Однако вместо императора он разрядил свой пистолет в головы сначала купца, затем полицейского, который первым попытался его задержать. Обоих уложил насмерть.

Ежегодно немало людей гибнет на острове под колесами карет, омнибусов, поездов, каждый день огромные черные катафалки увозят на кладбище сотни гробов, щедро осыпанных венками из английских, голландских, бельгийских цветов. Живущие не проявляют к этой регулярной «чистке» никакого интереса. Мелким шрифтом «Таймс» перечисляет адреса и имена умерших естественной смертью, тех, чей доход был не ниже десяти тысяч фунтов стерлингов в год; под завывающими заголовками в кратких словах поминаются погибшие от катастрофы или неосторожности. Последним некрологи ничего не стоят, и их материальный уровень не всегда определяется упоминанием на одной из двадцати четырех страниц почтенной газеты промышленников и биржевиков. Читатели пробегают статистику несчастных случаев между прочим. Зато в дни судебных процессов, обещающих человеческую жертву дряхлому богу англосаксонской юстиции, Лондон подобен Древнему Риму.

На центральные улицы десятки, сотни газет вынесли свои обещающие рекламы: «Бартелеми сознался...», «Жуткая мистерия Бартелеми...», «Как Бартелеми убил...» Точки и обрубленные на полуслове фразы должны подстегнуть любопытство. Газетам в дни сенсационных процессов обеспечен повышенный сбыт. Еще продолжается следствие, еще не совещались члены суда, но статьи, заголовки в газетах, выдумки и враки репортеров предрешают судьбу обвиняемого. Не его последнее слово, не красноречие адвоката, а вой уличных газет формирует убеждение присяжных, которые должны сохранять беспристрастие.

Напрасно отдельные судебные деятели протестуют против английского суда Линча, против улюлюканья

бульварной прессы, — она не желает и не ищет лучшего материала для первой страницы.

Сквозь решетки печатных букв английский обыватель, как некогда древние сквозь ограду клеток, пытается увидеть и учуять запах хищников, которые вскоре оглася ревом арену и разорвут осужденного. Спортивный азарт побеждает добытую воспитанием сдержанность. Одна предпидят традиционно уважаемый эпафот, другие — шумное оправдание.

Только предрассудки мешают устраивать на углах, у подъездов домов тотализаторы. «Осудят или нет?» — этот вопрос порожден совсем не состраданием или жаждой справедливости, а единственно желанием угадать, предвосхитить исход.

Даже парламентские выборы превращаются в Англии в разорительную игру с обязательным тотализатором. Чье будет большинство, какая партия победит? Заключаются пари, букмекеры собирают ставки. Как в дни национальных великобританских празднеств — скачек, люди окружают редакции газет и бюро по подсчету голосов. Клерки и лавочники добросовестно подражают спортивному безумию дворянской знати и игорному азарту биржевиков Сток-Экскейнджа.

Во время выборов в парламент каждая зажиточная семья, улица в квартале ранье, знакомые и незнакомые охвачены этой эпидемически распространяющейся болезнью — спекулятивным безумием.

— Ставлю на большинство у тори в триста мандатов.

— Ставлю... Ставлю... Ставлю...

В последние дни суда над Бартелеми напряжение читателей газет достигло предела. Переживания их не уступали по силе чувствам, охватывающим зрителей петушиных боев. Прошлое, да и вся жизнь подсудимого были крайне увлекательно представлены читателям английских газет. Бартелеми был недурен собой, ему не было еще пятидесяти лет. Он некогда убил полицейского, затем на дуэли — бывшего мичмана Курше, сражался на баррикадах, бежал из тюрьмы Биль-Иль.

Двенадцать присяжных загадочно молчали на своих огороженных деревянной решеткой скамьях. Все они были мелкими купцами и дельцами. Никто не смог бы пред-

посягнуть их решение. Гражданский долг извлек в порядке очереди этих двенадцать мужчин из их однообразной ежедневности, поручил им решение этого «вопроса».

Бартелеми не отрицал вины, но отказался объяснить причины. Судья, слушая прения сторон, меланхолически сдувал пылинки с мантии, и только общественный обвинитель, блистательный оратор, окончивший аристократический Оксфорд, без устали обрушивал на подсудимого булыжники беспощадного, всеразоблачающего обвинения. Репортеры предвкушали приближение казни и предшествующую ей прибыльную суету. Смертный приговор для них — наилучшая концовка процесса. Впереди вертятся бесчисленные интервью, сенсационные разоблачения, чувствительные бытовые картины. Священник доведет осужденного до истерики, премьер-министр откажет в помиловании, смертник напишет исповедь и в бессознательном состоянии будет гуманно повешен. «Гуманность» в данном случае означает высокое качество висельной веревки.

Бартелеми сумел заинтересовать собою всю Англию. Миллионы глаз приковало к себе каменное, скромного вида здание уголовного суда.

Лиза решила пойти в суд в день, когда должны были вынести приговор. В огромном грязноватом здании она сначала по ошибке попала в зал, где разбирались гражданские дела.

Трое судей второй инстанции были завернуты для пущего почета и страха в широкие черные тоги. Судьи, с их бабьими бритыми лицами и седыми космами криво надетых париков, показались Лизе живым олицетворением сотнями лет не проветривавшихся английских законов, годных более для эпохи ручного веретена, таранов, чернокнижья, сжигания колдунов и ведьм.

Подобострастно взирали на судей писцы, закинув вверх мышино-серые тупоносые лица. Судейские канцеляристы — особая порода людей, как и наемные гвардейцы королевы Виктории или английские полицейские. Если основным, иногда единственным условием для двух последних профессий служили рост и физическая сила, то суд являлся убежищем согбенных рахитиков, потомков судейских чиновников, имеющих ряд наследственных телесных и умственных примет, профессиональных болезней.

Судейские стены — ловкая подделка под церковную готику — были совершенно непроницаемы. Уличный шум

отскакивал от них, не оставляя следа, как рыцарские мечи от феодальных крепостей.

Бормотанье адвокатов и судей под этими средневековыми сводами омолаживало мир на несколько столетий.

Почтенный буржуа-истец, положивший под скамью черный цилиндр, немного превращался в глазах Лизы в богатого суконщика в коротких штанах и ярком кафтане, поссорившегося со своим подмастерьем, который тоже здесь, не в сером холстяном переднике поверх кожаного костюма, а в сереньком сюртучке и табачного цвета брюках. Их сменила сиплоносая пожилая девушка, доказывавшая, что тетка, оставив домик и состояние своей кошке, имела в виду ее, говоря о надежной попечительнице.

— Я обожаю котек, — шептала мяукающим голоском обойденная племянница.

— Не думают ли достопочтенные джентльмены, что покойная отдала имущество кошке, чтобы не оставить его племяннице, которая, как достопочтенные джентльмены слыхали ранее, ей часто досаждала непослушанием? — спрашивал коллег один из трех судей второй судебной инстанции.

Девушка трагически замахала руками и с трудом согласилась уступить слово своему защитнику. Его скучное словоизлияние падало в зал каплями английского мелкого дождя.

Эпоха сжигания кошек под видом ведьм и оборотней в Англии прошла. Об этом, кроме частого завещания им имущества, говорит и кошачье кладбище, где надписи на могильных плитах, портреты и памятники на все лады пытаются выразить израсходованную на кошек нежность.

Лиза вышла из зала.

Чопорно встряхивая мелкими седыми локонами, беспрестанно прохаживались в холодных «кулуарах» — каменных залах — адвокаты, представители высшего сословия. Их низшие по чину коллеги лишены права выступать в судах, но в действительности продрепали часто исход дела. Они вели следствие, выискивали улики обвинения или защиты, умело нащупывали слабые места противника. Эти подлинные вдохновители, «закройщики» процессов, бозгласны в момент решающей схватки. Вместо них скрещивают словесные шпаги адвокаты и прокурор. Разделение обязанностей между адвокатами и их помощниками —

одно из бесчисленных ухищрений, обреченная на неудачу попытка предотвратить подкуп, уничтожить опасное пристрастие — введено в незапамятные времена каким-то нашим англосаксонским Солоном.

В хламе английского судебного права продолжал гнездиться закон о телесных наказаниях для несовершеннолетних. Отец, подавший в суд жалобу на непокорного сына, добился того, что семнадцатилетний юноша был бит плетьми. Непочтительный сын был высечен по всем правилам, предусмотренным понимавшим толк в подобном деле средневековьем.

Лиза прошла в огромный зал, где судили Бартелеми.

Лицо обвиняемого было совершенно спокойно, и только еще нестерпимее горели глаза на иссиня-смуглом обросшем лице.

— Вы будете повешены за шею и провисите так, покуда не умрете. Да смилуется господь над вашей душой! — заключил чтение приговора судья, жестом облегчения сорвал с себя пыльный седой парик и медленно опустился в кресло.

Придерживая рукой конвульсивно бьющееся сердце, Лиза вышла на воздух. Она задыхалась.

«Какой конец у этого странного и, видимо, душевнобольного человека! Какая трагическая, кровавая бессмыслица! — думала Лиза. — Хотел быть Брутом, а умрет, как убийца, как опасный для общества зверь, бессмысленно отнявший жизнь у двух человек».

Ей стало жутко. Она закуталась в меховой салоп, подозвала проезжающий мимо кеб и поехала домой, но и там все еще не могла найти душевный покой. В тягостном недоумении и раздумье у камина, то и дело гаснувшего, провела Лиза бессонную ночь.

У ворот тюрьмы с рассвета, как всегда в часы казней, стояли тысячи людей: женщины в меховых ротондах и рваных драповых жакетах, мужчины, приехавшие прямо из ресторана, во фраках, и рабочие, направляющиеся на заводы. За оградой беспумно пепали человека, и бесцельно стояла, впившись глазами в кирпич стены, толпа.

Бартелеми умирал мужественно. Он попросил локон девушки, которую любил, и сжал его в руке, когда палач подошел к нему.

В момент казни, в восемь часов тридцать минут, мужчины сняли кепи, цилиндры, шапки и шляпы. Вскоре

заскрипел замок, и на пороге калитки появился полицейский. Виден был только надвинутый козырек его каски и острый подбородок. Он прикрепил на темной деревянной двери белый лист бумаги, который в нескольких весьма вежливых словах сообщал, что приговор над Бартелеми приведен в исполнение «самым человечным образом».

В восемь часов сорок пять минут улица перед тюрьмой опустела. Удовлетворенные зеваки спешили к дневным делам. Те, кто не стоял с ночи у тюремной стены, черпали в свою чашу кровь из газет, перечитывая смачные подробности, доставленные присутствовавшими при казни репортерами. Судья и прокурор лишний раз посетили свои церкви.

«Человек сотворен богом и ему принадлежит». Эта мудрость с колыбели и до гроба должна руководить британцем, кем бы он ни был: католиком, сектантом или приверженцем государственной англиканской церкви, потому что этим изречением руководствуется английский суд.

Вместе с Бартелеми был повешен еще один человек.

В Англии самоубийца считается посягателем на чужую собственность, поскольку его жизнь принадлежит не ему. Горе несчастным, спасенным из воды, куда они попали при необъяснимых обстоятельствах, вынутым из добровольной петли, подобранным с простреленной грудью или ядом в желудке. Их оживят, чтобы судить с неописуемой жестокостью и часто умертвить опять. Они считаются убийцами, убийцами самих себя, и отвечают перед законом, как совершившие непростительное преступление.

Сострадание к отчаявшимся, потерявшим желание, силы жить здесь чуждо. В лучшем случае это оценят как проявление безумия.

Страшнее, чем всплеск воды, долго вздрагивающей от прикосновения человеческого тела, пошедшего ко дну, равнодушный смех и юмор прохожих на набережной.

— Ждал бы теплой погоды, охота умирать в этакий холод.

— Авось откачают и согреют на виселице...

— Сумасшедшим дорога в воду.

Суд думал так же.

— Да смилуется господь над вашей душой, — сказал судья, когда был вынесен смертный приговор.

В день казни Бартелеми Лиза пришла к Герцену. Она была подавлена, мрачна, немногословна. Смертная казнь, как и война, накаляет самый воздух, создает давящую, удушающую атмосферу.

— Какой плачевный и жалкий конец! — прошептала Лиза. — Повешен как убийца мелкого купца и случайно подвернувшегося полицейского.

— Да, Бартелеми был подлинно маньяком терроризма. Он мечтал убить Наполеона Третьего и целью своей жизни ставил свержение не деспотизма, а деспота. Его сгубило безрассудство и узость фанатика. А жаль. Он мог бы принести большую пользу революции, храбро дрался на баррикадах и умел говорить мастерски. Его речи были свободны от трех проклятий современного французского языка: революционного жаргона, адвокатско-судебных выражений и развязности сидельцев.

Помолчав, Александр Иванович сказал, горестно скривив большие губы и отойдя к окну, за которым павис темно-серый туман:

— Когда Бартелеми был схвачен, нашелся адвокат, который согласился защищать его бесплатно, несмотря на то что это было заранее проигранное дело. После суда он посетил Бартелеми, и тот предложил ему в знак благодарности свое пальто. И что бы вы думали? Адвокат, оказывается, сам хотел просить его об этом.

— Зачем? — удивилась Лиза. — Помнится, Бартелеми был одет более чем скромно.

— Так вот, послушайте, — продолжал рассказывать Герцен. — «Я, конечно, не собираюсь его носить, — сказал осужденному сей предприимчивый защитник. — Но оно уже запродано мною, и весьма выгодно». — «Кому?» — удивился Бартелеми. «Мадам Тюссо для ее особой галереи», — нисколько не смутясь, ответил юрист. Бартелеми содрогнулся. Когда его вели на казнь, он попросил шерифа ни в коем случае не отдавать пальто адвокату.

Мысль о бесславном, постыдном конце Бартелеми еще долго преследовала Лизу. Чувство одиночества ее все обострялось, хотя она стремилась не думать об этом и заполнить до краев свои дни заботами о нуждах эмигрантов, выполнением мелких поручений Герцена и просто повседневной суетой.

В Вольной русской типографии Лиза познакомилась с польским эмигрантом Ворцелем. Худой, изможденный,

с тонким аристократическим лицом, он напомнил ей братьев Гракхов, стойко переносивших все испытания. Она мысленно видела его в тоге у портика Форума, поднимающего народ зажигательной бунтарской речью.

Граф Станислав Ворцель родился богатым и знатным. Природа щедро наградила его здоровьем, привлекательной внешностью, способностями. С детства польскому магнату было дано все, о чем может мечтать человек. Гувернеры и отборные учителя с первых лет жизни обучили его французскому, английскому и немецкому языкам. Он был энциклопедически образован и глубоко изучил математику. Красавица Саломея, из шляхетского рода Кашовских, стала его женой, и, в довершение семейного счастья, у них родились сын и дочь. Казалось, что жизнь Ворцеля протекает под счастливой звездой. И, однако, к тридцати годам с ним случилось то же, что рассказывает легенда о принце из рода Саккиев, ставшем затем Буддой. Он вдруг прозрел, увидел страдания народа, порабощенной родной Польши, которая отныне стала навсегда его мистическим божеством. Ему опостылела роскошь, праздность людей его касты. Польское восстание 1830 года решило будущее молодого графа. Ворцель дрался в повстанческом войске за свободу Польши. После поражения он отступил с частями славного полководца Ромарино в Галицию. С тех пор навсегда лишился Станислав Ворцель родины и вынужден был искать пристанища в чужих странах. Жена и дети забыли его и никогда с той поры не произносили его имени.

Для Ворцеля началась кочевая, неустроенная жизнь. Он решительно принес в жертву все, чего так настойчиво обычно добиваются люди: общественное положение, богатство, любовь.

В тридцатых годах в Париже судьба послала ему друга на всю жизнь, такого же фанатика, как и он, — Мадзини.

Оба они были религиозны, непреклонно целеустремленны, способны к полному самоотречению. Порыв и вдохновение ценили они выше какой бы то ни было теории и научного обобщения. Оба верили не только в судьбу отдельного человека, но и в предопределение для всего народа, для путей революции. Себя они считали миссионерами свободы или рыцарями крестовых революционных походов. В синих глазах Ворцеля, так же как в черных

Мадзини, никогда не потухал жгучий огонь фанатического энтузиазма. Сблизившись с вождем «Молодой Италии», Ворцель хотел соединить польское дело борьбы за освобождение с общеевропейским республиканским и демократическим движением. Порвав с польскими аристократами Чарторыйским и Потоцким, Ворцель сблизился с Лелевелем.

В 1848 году Станислав возглавлял депутацию к Ламартину и требовал от правительства Франции действенной помощи порабощенной русским царизмом родине.

— На всякой перекличке народов в годину боя, — сказал он тогда министру иностранных дел республики, — на всякий призыв к борьбе за свободу Польша отвечает: я здесь! Она готова по первому зову идти на помощь всем угнетенным народам и видит в их освобождении освобождение Польши.

После июньского поражения изгнанный из Франции Станислав Ворцель нашел пристанище в Лондоне. Он нищенствовал, тяжело болел астмой, но, погибая физически, был непреклонен и крепок духовно. Седой, изнуренный, худой и прямой, как посох, он, всю жизнь боровшийся с царизмом за освобождение Польши, задыхаясь от счастья, говорил Герцену в день выхода первого русского революционного воззвания из-под типографского станка в Лондоне:

— Мы пойдем вместе, у нас одна цель, один и те же враги!

И Вольная русская типография соединилась тогда с польской.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ИСПЫТАНИЯ

В дневнике, которому Лиза поверяла свои мысли и сомнения, она писала: «Мне кажется, что я сижу на приставном стуле у жизни и могу каждое мгновение очутиться без места. Если бы я была мужчиной, то знала бы, что делать. Однако, помимо стремления стать равноправной, у женщины есть и другая великая цель. Она должна, если уж не дано ей родить, воспитать ребенка так, чтобы в мире прибавилось действительно доброе существо; если бы все женщины поняли это, какие прекрасные люди появились бы на земле».

После долгих колебаний и размышлений Лиза решила взять на воспитание новорожденную сиротку.

Над почерневшим от угольного чада низким зданием родильного дома «Королева Шарлотта» на одной из окраин столицы грязный каменный аист держал в клюве ребенка. Лиза вошла в узкую палату. На желтых замусоленных стенах над убогими койками рожениц были прибиты дощечки с именами благотворительниц.

«Какая мерзость, — подумала Лиза, — богачи никогда не лишают себя удовольствия напомнить облагодетельствованным о их зависимости. Новорожденные в родильном доме «Королевы Шарлотты» сразу же получают жизнь как подаяние».

Женщины в палате приняли Лизу за одну из благотворительниц, чье имя преследует их неотступно, даже в бреду родильной горячки, в агонии. Они заискивающе улыбались и благодарили ее.

В плетеных гамаках, прикрепленных к изголовью матерински постели, лежали серые свертки — дети. В от-

ной из палат пожилая леди и сопровождающий ее духовник предлагали роженицам окрестить младенцев. Сиделка внесла в палату чан с водой, и после недолгого невнятного бормотания молитвы аббат приобщил новую душу к своей церкви.

Большие, низкие, сырые, всегда холодные палаты казались угрюмыми и запущенными, как почлежные помещения на нищенской окраине Уайтчапел. Несвежее белье, потерявшие окраску одеяла, выщербленные табуретки и потрескавшиеся кружки больше, чем больничный опросный лист, говорили о нужде тех, для кого были предназначены.

Лизе представили на выбор несколько детей, матери которых умерли после родов.

— Я хочу взять самую слабенькую, — попросила Лиза. — Видите ли, — продолжала она, — борьба за жизнь этого крошечного создания сразу же соединит меня с ним крепкими узами привязанности. Кроме того, я окружу больного ребенка заботой, которая поможет ему выжить.

Англичанка недоуменно покачала головой.

— К какой христианской секте вы принадлежите? — спросила она Лизу, когда та решила взять хилую малютку по имени Анна.

Лиза не могла сдержать улыбку:

— Представьте, я не исповедовалась уже более пятнадцати лет.

В течение месяца Лиза боролась со смертью, кружившей над Ассей, так назвала она удочеренную девочку. Когда победа была одержана, Лиза записала в дневнике:

«Если этот ребенок и не был рожден мною, я отвоевала его у смерти и как бы снова дала ему жизнь. Вряд ли я люблю его меньше, нежели родная мать. Вдения почали у колыбельки, радость при виде косенькой, первой детской улыбки, сосущая сердце тревога, мелкие ежечасные заботы и, наконец, счастье от того, что она будет жить, — вот та невидимая, нерассекаемая пуповина, которая связала меня с моим ребенком навсегда. Всякая новая нежданная опасность увеличивает мое чувство к маленькому беспомощному существу, защитой которому служит только любовь».

Занятая ребенком, Лиза несколько месяцев нигде не бывала. В это время Герцен сообщил ей в кратком письме о перемене своего адреса. Он оставил дом возле тонистого

нарядного Ричмонде-парка и переехал на противополож-
ный конец Лондона.

В один из особенно светлых осенних дней Лиза отыска-
ла Герцена на Финчли-роуд. Ей не понравился плос-
кий неприветливый, усыпанный галькой палисадник и
серое угрюмое здание без особых примет, каких в Лонд.
не тысячи.

Француз-слуга проводил гостью в кабинет.

Завидев Лизу, Герцен поднялся из-за громоздкого
письменного стола и дружески сжал двумя большими
мягкими ладонями ее тонкую руку в тугой перчатке.

— Добро пожаловать, милая соотечественница, — ска-
зал он приветливо. — Дети и даже наш сухарь фрейлейн
Мейзенбуг соскучились по вас. Я рад, что вы увидите се-
годня самого Мадзини. Мы собираемся с ним в док на
корабль к бесстрашному Гарибальди, который только что
приплыл из Южной Америки. Вы, верно, слыхали, что
сей великий воин снова встал у штурвала бригантины.

Лиза обрадовалась:

— Вот удача. Я давно хотела увидеть вождей ита-
льянского освобождения, и особенно Мадзини. Это, кажется,
непревзойденный оратор, фанатик, патриот.

— И организатор, — оживился Герцен. — Мадзини
вкинул в свое время на всю Италию сеть тайных обществ,
связанных между собой единой целью объединения и
свободы. Такой беспримерно храброй организации еще не
было нигде. Полиция оказалась бессильной проникнуть в
ее ряды. Еще бы! Контрабандисты, воры, кондукторы
почтовых карет, кормчие, аристократы, купцы, светские
дамы и поселянки так или иначе примыкали к «Молодой
Италии», помогали и повиновались ей.

— Мне говорили, что многие мадзинисты сблизились
с чиновниками Наполеона и откололись от «Молодой Ита-
лии». Слава Мадзини была в зените в сорок девятом году,
и сейчас она меркнет, не правда ли? — спросила Лиза.

— Да, отчасти. Неудачи после поражения в сорок де-
вятом году состарили Мадзини, даже озлобили. Но такие
люди, как он, не отступают. Чем хуже складываются их
дела, тем выше поднимают они знамя. Теряя все, они
изыскивают новые средства для борьбы. В этом непре-
клонном постоянстве и вера, подчас наперекор судьбе, в
неутомимой деятельности, которую подстегивает неудача,
есть что-то маниакальное, действующее магнетически на

толпу. Великий человек иногда бывает на грани безумия. Я уверен, что не разум и логика, а вера, любовь, ненависть ведут к победе народа.

В это время в кабинет Герцена необычайно легкой походкой вошел высокий, стройный, пожилой человек с низко опущенными плечами, прямой шеей и суровым спльным лицом, обрамленным белоснежной бородкой. Глубокие упрямые морщины избороздили его выпуклый лоб и щеки. Блестящие большие глаза смотрели властно и вместе грустно. В руке он держал зажженную сигару.

— Эввива Мадзини, эввива Италия! — сказал весело Герцен и устремился навстречу гостю.

— Эввива Руссия! — широко улыбнулся Мадзини. Выражение его лица сразу смягчилось и прояснилось. — Гарибальди ждет нас к завтраку, — напомнил он, — не будем медлить.

Вскоре Герцен, Лиза и Мадзини приехали в истэндские доки.

Лиза не могла побороть волнения, когда представляла себе Гарибальди, чье имя, овеянное славой, было известно всему миру. Каков этот мужественный человек, то воин и предводитель римского ополчения, то моряк? Тем более она не смогла скрыть разочарования, когда, войдя на палубу, увидала коренастого, невысокого человека, с ничем не замечательным лицом, в светлом пальто, какие носили коммивояжеры и клерки, в пестром шарфе на шее и полинялом картузе. Гарибальди и его экипаж, состоявший из итальянцев, по-южному энергично жестикулируя, встретили гостей.

В капитанской каюте был сервирован завтрак. Ананасы, бананы, кокосовые орехи и плоды манго украшали стол и подчеркивали, что корабль совсем недавно пересек экватор. Гарибальди оказался на редкость радушным хозяином и приятным собеседником. Он красочно, живо описывал приключения, которые встретились на пути из Южной Америки в Англию, и Лизе казалось, что она сама побывала в океане во время шторма, любовалась густо-зелеными, как малахит, тяжелыми экваториальными водами, наблюдала необычные нравы обитателей островов и далеких стран Нового Света.

Постепенно она начала понимать значительность и одаренность итальянского народного вождя. «Гарибальди

еще покажет себя. Он набирает силу и, как лев, приготовился, чтобы броситься на добычу», — подумала Лиза.

Подали устриц и вино. Мадзини предложил тост за гостей с севера. Когда бокалы были осушены, Герцен сказал:

— Мы, русские, и вы, итальянцы, во многом схожи между собой. Есть у нас и одинаковые пороки.

— Да, итальянцы тоже не считают работу за наслаждением. Они не любят ее тревог, усталости и недосуга.

— Дольче фар ниенте — сладостное ничегонеделание, размышления — вот о чем мы мечтаем со времен Ромула и Рема, — пошутил Мадзини.

Все рассмеялись.

— Промышленность у нас в России отстала, как и в Италии, — снова заговорил Герцен. — В недрах нашей прекрасной земли хранятся, как и в нашей, клады, которых не коснулась еще рука человеческая. Зато правительства итальянцев и русских не заражены еще той пошлостью, которая разъела другие европейские страны.

— Наши оба народа, не щадя голов своих, дерутся с тиранами. Свобода или смерть! — громко провозгласил свой тост Гарибальди.

— Свобода или смерть, — сумрачно повторил Мадзини. — Хорошие слова... а долго ли ты собираешься странствовать по морям, Джузеппе? Твое место на суше, сын стен Рима.

— Время не приспело. Подожди еще, — примиряюще ответил Гарибальди.

— Не могу и не хочу ждать. Не хочу быть изменником нашего дела.

— Когда же ты поймешь, друг, что поражение ослабляет не только тело, но и дух армии. Я решительно против всяких попыток восстания, если оно обречено, как сейчас, на поражение. Хороший воин знает, когда следует выстрелить.

— Чепуха. Время уже упущено. Оружие без употребления ржавеет. Италия давно готова. Мы медлим и этим укрепляем не себя, а врагов — Австрию, а не Италию. Промедление позорно и пагубно! — Мадзини встал и порывисто отбросил стул. Лицо его побледнело, глаза потускнели, как у тяжелобольного. Он так сжал пальцами окурок сигары, что раскрошил его в порошок. Лиза слыхала от

Герцена, что Мадзини совершенно не выносит возражений.

Гарибальди поднялся тоже. Он казался спокойным и даже пытался улыбаться, но брови его сомкнулись на переносице, образовав одну сплошную темную, широкую линию от виска к виску. В каюте воцарилась тяжелая тишина. Два недавних соратника стояли насупившись, едва сдерживаясь, чтобы не кинуться друг на друга. Лизе казалось, что она задыхается.

Желая предотвратить грозу, Герцен достал из жилетного кармана большие золотые резные часы луковицей и принялся многословно благодарить Гарибальди за гостеприимство.

Все, кроме Мадзини, вышли на палубу. Провожая в карете Лизу к ее дому, Герцен снова заговорил о двух замечательных итальянцах, с которыми только что они расстались:

— Такие личности, как Мадзини и Гарибальди, появляются только на итальянской почве, и притом во все эпохи. Это заговорщики, патриоты, искатели приключений, мученики, кондотьеры, кто хотите, но только не будничные, пошлые мещане. Они удивляют мир добром, злом, поражают силой воли и страстей. Беспокойная закваска бродит в них с ранних лет. Самоотверженность уживается в них с мстительностью. Они не дорожат своей жизнью, так же как и жизнью ближнего. В них бездна пороков и чисто античной добродетели. Они велики своей отвагой и преданностью родной Италии, и без них ей не быть ни единой, ни свободной.

Немало жестоких войн было в XIX столетии.

К середине века Англия стала самой мощной индустриальной державой мира. Страх перед экономическими кризисами толкал английскую буржуазию к поискам новых рынков сбыта. Английские и французские промышленники, финансисты, купцы с вожделением посматривали на раскинувшиеся по берегам Черного и Средиземного морей владения одряхлевшей Оттоманской империи, а также на бескрайние просторы отсталой крепостнической России. Они стремились как можно быстрее полностью подчинить себе султанскую Турцию и обратить ее в колонию, а Российскую империю вытеснить с берегов

Черного моря и установить свой контроль над проливами.

Николай I также желал воспользоваться ослаблением некогда могущественного восточного соседа. Он стремился обеспечить выгодный для русских помещиков и купцов режим черноморских проливов и упрочить свое влияние среди славянского населения балканских провинций Турции. Победоносная война должна была помочь русскому царю укрепить внутри страны крепостнический строй.

Султан, находившийся под сильным воздействием западных держав и распаляемый ими, мечтал между тем захватить Крым и Кавказ. Так Оттоманская империя и Балканы стали узлом острых противоречий между империалистическими державами и в то же время ареной напряженной борьбы балканских народов против иноземных поработителей.

После поражения февральской революции 1848 года Николай I владычествовал в Средней Европе. Его сразивали с Наполеоном I. Однако угроза николаевскому господству приближалась со стороны Англии и Франции. Под их нажимом Турция объявила войну России. Так сбылось давнишнее желание всесильного тогда Пальмерстона. Синопский бой — последнее в истории крупное сражение военных парусников, во время которого эскадра адмирала Нахимова потопила в течение четырех часов весь турецкий флот, захватив в плен командующего флотом Осман-пашу и его штаб, — явился предлогом для открытого вступления Англии и Франции в войну против России.

Правительство Англии хотело не только полностью подчинить себе Турецкую империю, но и захватить Крым, высадиться на Кавказе и оторгнуть Грузию. Император Франции решил воевать с Россией, так как он и его банкиры были связаны с Турцией могучими узами финансовых отношений. Ненависть к Николаю, столпу всемирной реакции, была также очень сильна среди народов Франции и Англии.

Маркс и Энгельс во всех деталях вникали в сложнейшие перипетии затянувшейся военной схватки. Из «Русского инвалида» и петербургской «Северной пчелы», из «Римской газеты» и «Бельгийских обозрений», из прессы Англии, Америки и Германии черпали они многообразную военную информацию, сопоставляя противоречи-

вые подчас сообщения и сводки, изучали военные карты и следили за передвижением частей всех воюющих армий. Маркс и особенно Энгельс регулярно писали о ходе крымских операций статьи и обзоры для «Нью-Йорк дейли трибюн», которые издатель Дана часто помещал в качестве передовых своей газеты.

Сравнительно недалеко от Дин-стрит проживал Александр Иванович Герцен.

Несколько лет уже Маркс и Герцен жили на острове. Они никогда, однако, не встречались и враждебно судили друг о друге.

Во время Крымской войны Герцен доказывал, что завоевание Николаем I Константинополя приведет к падению самодержавно-крепостнического строя в России и объединит наконец всех славян. Магометанский стяг с полумесяцем и звездой будет сорван со святой Софии, и к столице Византии снова вернется былое величие и слава. Тогда-то начнется новая эра — эра всеславянской демократической и социальной федерации.

— Время славянского мира настало... Где водрузит он знамя свое? Около какого центра соберется он? — восклицал Герцен. — Это средоточие не Вена, город рококо — немецкий, не Петербург — город новонемецкий, не Варшава — город католический, не Москва — город исключительно русский. Настоящая столица соединенных славян — Константинополь.

Маркс зло высмеял эти высокопарные панславистские фразы. Он не мог обойти молчанием ошибки Герцена, опасные для международного рабочего движения.

Частые идейные колебания Герцена, его близость и долгая связь с либералами — дворянами, наивные, хоть и дерзко отважные, письма к царю, предназначенные для того, чтобы показать ему вред российского самодержавия, настораживали и отпугивали от русского революционера лондонских коммунистов. К тому же Герцен не таил своей неприязни ко всей немецкой эмиграции, подозревал ее в шовинизме. Он не понимал, что, отвергая панславизм, Маркс не менее жестоко борется с немецким национализмом, прусской военщиной и всем, что окрещивалось пышным понятием «прусский дух».

Идейные расхождения, как трещины, постепенно создали пропасть между двумя большими людьми, которые, как никто, по духовной сущности и широте мысли могли

бы понять друг друга и сблизиться. Некритическое отношение Герцена к идеологам буржуазной демократии и мелкобуржуазного социализма, его народнические воззрения обострили враждебное чувство к нему Маркса.

Всего несколько городских улиц, полоска земли отделяла их, и никогда они не преодолели этого ничтожного препятствия. Неприязнь придавала им особую взаимную зоркость и обостряла критическое чутье.

Маркс писал Энгельсу:

«Насколько я знаю, ты не читаешь «Morning Advertiser»[1]. Эта газета «объединенных трактирщиков» поместила статью одного «иностранного корреспондента» (полагаю, г на *Головина*), содержащую апологию Бакунина. В ответ на это некий аноним Ф. М. в этой же газете объявляет Бакунина русским шпионом, рассказывает о том, как хорошо ему сейчас живется, и т. д. На это последовал ответ *Головина* и *Герцена*, которые заявляют при этом, что еще в 1848 г. одна «немецкая газета» пустила в ход эту клевету «и даже осмелилась сослаться на свидетельство Жорж Санд».

...Вчера я напечатал в «Morning Advertiser» следующее заявление:

«Господа Герцен и Головин пожелали замешать выходившую в 1848 и 1849 гг. под моей редакцией «Новую Рейнскую газету» в свою полемику с Ф. М. по поводу Бакунина и т. д. Меня нисколько не трогают инсинуации гг. Герцена и Головина. Но и т. д. и т. д. позвольте мне установить, как фактически обстояло дело». Затем следует перечисление фактов:

Наконец, *в сегодняшнем* номере «Morning Advertiser» этот негодяй Головин, не осмеливаясь назвать себя, помещает от имени «иностранного корреспондента» следующее:

КАК СЛЕДУЕТ ПИСАТЬ ИСТОРИЮ
(От иностранного корреспондента)

Бакунин русский агент, — Бакунин не русский агент. Бакунин умер в Шлиссельбургской крепости, подвергнувшись там чрезвычайно суровому обращению, — Бакунин не умер, он еще жив. Его отдали в солдаты и сослали

---

[1] «Утренний вестник» (*англ.*).

на Кавказ, — нет, его не отдавали в солдаты, он все еще сидит в Петропавловской крепости. Таковы те противоречивые сведения, которые поочередно появлялись в печати относительно Михаила Бакунина. В наши дни, когда все предается широкой огласке, мы приходим к истинному, лишь утверждая ложное. Но доказано ли наконец, что Бакунин не находится на жалованье у русского военного ведомства?

Есть люди, которые не знают, что гуманность делает людей записимыми друг от друга, что, освобождая Германию от влияния, которое имеет на нее Россия, мы оказываем также *обратное воздействие* на последнюю, *снова* толкая ее в объятия деспотизма, до тех пор пока она не станет уязвимой для революции. Таких людей напрасно было бы убеждать, что Бакунин является одним из самых чистых и великодушных представителей прогрессивного космополитизма.

«Клевещите, клевещите, — гласит *французская* пословица, — и от клеветы всегда что-нибудь останется». Клевета на Бакунина, поддержанная в 1848 г. одним из его друзей, в 1853 г. вновь распространяется неизвестным лицом. «Предает всегда свой, — говорит другая пословица, — и лучше иметь дело с умным врагом, чем с глупым другом». Не консервативные газеты взяли на себя распространение клеветы на Бакунина, эту заботу взяла на себя дружественная газета.

У людей, которые могут хотя бы на мгновение забыть, — как забыл г-н Маркс, — что Бакунин сделан не из того теста, из которого делаются полицейские шпионы, очевидно, слабо развито революционное чувство».

...Я, с своей стороны, предложил бы *по существу* заявить следующее:

«Лучше иметь дело с умным врагом, чем с глупым другом», — воскликнул бы Бакунин, если бы ему когда-нибудь довелось читать письмо того «иностранного» Санчо Пансы, который в субботнем номере Вашей газеты упражняется в цитировании избитых пословиц.

Разве не «глупый друг» тот, кто упрекает меня в отказе сделать что-либо такое, благодаря чему, согласно его же собственным словам, мне «не пришлось бы сожалеть о том, что мое имя связывается с ложным обвинением».

Разве не «глупый друг» тот, кто удивляется тому, что знает каждый школьник, а именно — что истина устанавливается благодаря полемике и что исторические факты извлекаются из противоположных суждений.

Когда «Новая Рейнская газета» поместила письмо из Парижа, Бакунин был на свободе. Если он был прав, удовлетворившись публичными объяснениями «Новой Рейнской газеты» в 1848 г., разве не «глупый друг» тот, кто позволяет себе придираться к ним в 1853 году. Если он был неправ, возобновив свои тесные дружеские отношения с редактором «Новой Рейнской газеты», то разве не «глупо» со стороны человека, претендующего на то, чтобы именоваться другом, разоблачать его слабость перед публикой».

Веря в честность шлиссельбургского узника Бакунина, Маркс и Энгельс, как и Герцен, прилагали все усилия, чтобы облегчить его участь. Никто из знавших Бакунина прежде людей не сомневался в том, что он ведет себя в заточении непреклонно, как и подобает отважному защитнику дрезденских баррикад, страстному поборнику боевых, революционных действий.

Зная о статье Маркса, посвященной Бакунину, Лиза обрадовалась, когда однажды встретила Женни на популярном концерте классической музыки в Уайт-холле. Исполнялись произведения Моцарта, Глюка и Генделя.

— Не феминистические ли искания привели вас на родину Мери Вулстонкрафт и синих чулков? — спросила Женни, вспомнив их памятный разговор в Брюсселе в Стеклянном пассаже.

— О нет, да и, по правде говоря, я охладела к феминизму.

Лиза вкратце рассказала Женни обо всем, что произошло с нею, а также о судьбе Бакунина, которого назвала своим близким другом.

— Я не теряю надежды помочь ему бежать из крепости и из России.

Увертюра к «Свадьбе Фигаро» прервала их беседу. После концерта они встретились снова у выхода и пошли вместе по широкой светлой Оксфорд-стрит.

— Мы живем в очень скверном месте, — сказала Женни, — но зато в самом центре Лондона. Мне очень нравятся продолжительные прогулки по оживленным ули-

цам Вест-Энда. Я забываю тогда житейские невзгоды так же, как сейчас, когда слушала музыку. Это мой лучший отдых. А вы где бываете, с кем встречаетесь?

Лиза восторженно отозвалась о Герцене.

— Это замечательный человек. Я так рада знакомству с ним. Он ведь тоже очень обеспокоен судьбой Бакунина, — добавила она.

— Мой муж и я читали многое из того, что Герцен напечатал в эти годы, — сказала Женни.

— Посмотрите, пожалуйста, также и его книгу «Тюрьма и ссылка». О Герцене говорят, что он сочетает в себе немецкую философию с французской политической теорией, английский здравый смысл с русским своеобразием. Мне кажется, он очень близок по духу вашему мужу. Ведь все его помыслы тоже о счастье человечества.

— Пути к счастью людей столь различны, — любезно, но холодно ответила Женни.

Она заметно не пожелала продолжать разговор о Герцене. Лиза ощутила это и спросила о Вильгельме Вольфе, которого потеряла из виду после своего отъезда из Брюсселя.

— О, Люпус, — просияла Женни, но тут же погрустнела. — Он живет в Манчестере, вдали от нас, и часто хворает. Ему тоже нелегко приходится в изгнании. Но он бодрится, хотя и стал значительно более угрюмым и иногда брюзжит. Ему ведь уже немало лет, да и тяжело под старость без семьи. Дорогой наш друг похож теперь уже не на волка, а больше на благородного старого зубра. Вы знаете, что эти редчайшие царственные животные, старея, ищут полного одиночества и блуждают по лесам одни, как бы предаваясь глубокому раздумью. Они не желают больше никого обременять. У Вольфа все та же чистая и глубокая душа, какая бывает только у детей и мудрецов. Мы его очень, очень любим.

До самой площади Пиккадилли беседовали Женни и Лиза и расстались у поворота в квартал Сохо. На прощание Лиза пригласила Женни к себе и обещала побывать на Дин-стрит, 28, но долгое время обе женщины не могли встретиться.

В самом начале напряженного 1855 года у Женни Маркс родилась дочь — Элеонора. Младенец был настолько хил, что в первые месяцы смерть неотступно стояла подле его колыбельки. Однако маленькая Тусси,

как прозвали Элеонору, окрепла и превратилась в упи-
танного, цветущего, жизнерадостного ребенка.

Остров, куда Маркс прибыл в изгнание, стал ему со временем второй родиной. С роспуском Союза коммунистов не порывались нити, связывавшие Маркса с Германией. Революционер, каким прежде всего и всегда он был, не мог отдаться только научной деятельности, стать вынужденным отшельником. Без революционной борьбы для него не было жизни.

Душевные силы и удовлетворение он черпал также, работая без устали над книгой по политической экономии, начатой много лет назад. Средства к существованию, весьма незначительные и, главное, не постоянные, приносило сотрудничество в заокеанской газете «Нью-Йорк дейли трибюн».

Основной заботой этих трудных лет для Маркса было сохранить революционный огонь, вспыхнувший столь ярко в сороковые годы. Маркс руководил из Лондона уцелевшими в подполье коммунистическими общинами в родной Германии и поддерживал каждого бойца, как и он поневоле нашедшего приют в чужих землях. Расстояние не служило ему препятствием. Из-за океана, так же как с родины, он получал непосредственно или через соратников сообщения обо всем, что делалось для грядущей революции. Знакомый Маркса, Энгельса, Вольфа, испытанный боец 1849 года, рабочий, оловянщик по металлу Карл Вильгельм Клейн в большом письме сообщал лондонским руководителям коммунистического движения о подпольных организациях в Золингене, Эльберфельде-Бармене и Дюссельдорфе. Он еще в пятидесятом году доставил туда и успешно распространил среди наиболее надежных рабочих обращение коммунистического центра, руководимого Марксом. Связиста выследила полиция. Но все обыски, произведенные на местах явок, где он бывал, не дали никаких результатов, и Клейн остался невредим. Его преследовали по пятам, и он вынужден был на время с фальшивым паспортом скрыться в Бельгии. На родине против него выдвинули грозное обвинение в государственной измене. Когда пребывание в Бельгии стало грозить ему разоблачением и выдачей рейнландским властям, он бежал в Америку. Но огонь в глубоком германском подполье не угасал. Коммунистические рабочие тайные организации продолжали суще-

ствовать, и связь их с Марксом, несмотря на огромные трудности пересылки документов и информации, не только не рвалась, но становилась все более прочной. Смелый связист Клейн заканчивал свое письмо, переслапное в Лондон Марксу Фрейлигратом, так:

«До меня дошли разговоры, что в Лондоне считают, будто в Кёльне все наши перетрусили, что им так и не удалось до сих пор установить какие-либо связи в Германии. Это ложь. Общины Золингена, Эльберфельда и Дюссельдорфа посылали несколько раз своих представителей в Кёльн... Эти общины уполномочили меня установить прямую связь с нашим центром в Лондоне, что я и делаю этим письмом. Вышеуказанные общины могут послать своего делегата в Лондон. Я прилагаю кусок карты с следующей целью: делегат, который прибудет в Лондон, должен в качестве документа предъявить другую часть карты, а если при случае кто-либо из Лондона отправится в Эльберфельд, то он представит свою часть карты. Мы имеем в виду, как и прежде, распространять наши связи в Германии.

Я прошу наших друзей при первой возможности направить в Эльберфельд по нижеследующему адресу несколько строк и поставить меня об этом в известность, так как считаю необходимым также поддерживать с ними связь.

Карл Вильгельм Клейн из Золингена».

Ко всем трудностям и заботам, непрерывно обрушивавшимся на семью Маркса, присоединился спор с прусским министром внутренних дел Фердинандом фон Вестфаленом, сводным братом Женни, который не пожелал выделить своей сестре ничего значительного из присвоенного им наследства престарелого дяди, скончавшегося в Брауншвейге. Оно состояло из ценных книг и рукописей времен Семилетней войны, в которой деятельно участвовал дед Женни, тогдашний военный министр герцогства Брауншвейгского. В патриотическом рвении Фердинанд фон Вестфален присвоил их себе, чтобы подарить прусскому королевскому правительству. Из уважения к матери Женни не решалась на открытую тяжбу и скандал. Она удовольствовалась несколькими талерами, которые

получила от брата в уплату за цеппейнпй архив. А деньги были нужны ей больше, чем когда бы то ни было.

Медленно угасал Муш. В марте болезнь его приняла угрожающий характер. Карл не ложился и ночи напролет проводил у постели удивительно кроткого и веселого ребенка. Карл написал в Манчестер Фридриху:

«...в течение болезни наблюдались то резкие улучшения, то резкие ухудшения, и мое собственное мнение менялось тоже чуть не ежечасно. Но в конце концов болезнь приняла наследственный в нашей семье характер изнурения желудка и кишечника, и, по-видимому, даже врач потерял всякую надежду. Моя жена вот уже с неделю сильнее, чем когда-либо раньше, больна от душевного потрясения. У меня самого сердце обливается кровью и голова как в огне, хотя, конечно, я должен крепиться. Ребенку в течение всей болезни ни на минуту не изменяет его оригинальный, приветливый и в то же время независимый характер.

Не знаю, как благодарить тебя за дружескую помощь, которую ты мне оказываешь, работая вместо меня, и за твое участие к ребенку.

Если произойдет какое-либо улучшение, напишу тебе тотчас же.

Весь твой *К. М.*

Горе неотступно сторожило Карла и его семью. После изнурительной болезни, явившейся следствием плохого питания, пребывания в проклятой бессолнечной дыре на Дин-стрит, где даже воздух был ядовит, посьмилетний Эдгар-Муш скончался. Необыкновенно одаренный, красивый, чуткий мальчик умер на руках своего отца.

Муш олицетворял счастье всей семьи. Не по летам развитой, очень веселый, общительный маленький «шахматовник», как прозвали его за пристрастие к восточным забавам, Эдгар делил с родителями все их тяготы и заботы и радовался, как взрослый, удачам, если такие бывали. Казалось, что с его смертью горе и отчаяние навсегда прочно утвердились в опротивевшем доме.

В той же полутемной комнате, на том же узком столе, где покоились так недавно тела маленьких Генриха и Франциски, лежал бездыханный Эдгар. Снова в Лондон пришла весна, но Дин-стрит казалась мрачной и темной,

как склеп. Восковое личико Муша покоилось среди желтых нарциссов и светлых тюльпанов.

Подкошенная отчаянием Женни тяжело заболела. Собрав последние силы, Ленхен, полуслепая от слез, старалась оградить от болезней трех девочек, предоставленных полностью ее попечению. Малютке Тусси было всего три месяца от роду.

Маркс, крепко сжав обеими руками голову, сидел подле гроба сына.

«Никогда не найду я полного успокоения и не примирюсь до конца с утратой моего ребенка. Никогда! С каждым днем и годом его будет мне недоставать все больше», — проносилось в измученном мозгу. Карл страдал все сильнее. Еще несколько глубоких морщин-шрамов пролегло на могучем лбу, и в глазах появилось выражение скорби, сосредоточенности и отчуждения. Он заметно поседел.

Одна человеческая душа может выстрадать столько же, сколько все человечество, и устоять.

«Дом, разумеется, совершенно опустел, — писал Маркс Энгельсу, — и опротел со смертью дорогого мальчика, который оживлял его, был его душой. Невозможно выразить, как нам не хватает этого ребенка. Я перенес уже много несчастий, но только теперь я знаю, что такое настоящее горе. Чувствую себя совершенно разбитым. К счастью, со дня похорон у меня такая безумная головная боль, что я не мог ни думать, ни слушать, ни видеть. При всех ужасных муках, пережитых за эти дни, меня всегда поддерживала мысль о тебе и твоей дружбе и надежда, что нам вдвоем предстоит сделать еще на свете кое-что разумное».

Поздней осенью, после смерти сына, Карл гостил в Манчестере у Энгельса, где он всегда мог отдохнуть в благоприятных условиях налаженного зажиточного быта в доме своего друга. Как всегда, утром он посещал Чэтамскую библиотеку и любовался ее старинной необычайной архитектурой, рассматривал книгохранилища, размещенные в бывших кельях и в строгой часовне святой Мери. Стеллажи, впервые в XVII веке, по рассказам, всего три полки, поднялись до самого потолка.

Два столетия оставалось неизменным убранство читальни, просторной комнаты под низкими сводами, с панелями из превосходного темного дуба. Карл просматривал газеты на большом столе с овальным верхом из цельной доски — торца могучего дерева, вокруг которого стояли тяжелые, мрачные стулья — современники Кромвеля. Выбрав книги, он проходил в четырехугольный выступ в виде фонаря со стрельчатыми окнами и четырехскатным столом-конторкой. В этом, освещенном наподобие средневековых храмов разноцветными оконными стеклами, помещении он работал всегда, когда посещал библиотеку.

Главный библиотекарь Томас Джонс, высокий сухощавый старик с покрасневшими утомленными глазами и неслышной легкой походкой, охотно помогал Карлу в подборе нужных ему книг. Джонс особенно гордился своими знаниями каталогов библиотеки и литературы по истории Реформации.

В одном из окраинных рабочих трактиров «Пегая лошадь» Карл познакомился с мастером-сталелитейщиком Вильямом Беккетом, бывшим лондонским докером. Это был толстый, хорошо одетый человек, раскрашенный природой тремя сладкими красками: розовой, голубой и кремовой. Когда Маркс увидел его в первый раз, Беккет, собрав в комок расползающийся носик, рассказывал увлеченным голосом рабочим, медленно распивающим черное пиво, о счастливом исходе родов королевы Виктории. Когда эта тема была им исчерпана, мастер принялся методично расписывать все преимущества тред-юнионов и высмеивать чартистов.

— Сговор с предпринимателями, которые ведь такие же, как мы, рабочие люди, а многие из них не так давно были бедняками, — вот это правильное дело. Право же, довольно раздоров между разными классами. Я уверен, что рабочие союзы будут способствовать развитию промышленности, а не ставить палки в колеса, как это делали чартисты. Они устарели. — Беккет достал из кармана томик Священного писания в черном кожаном переплете — источник его плоских, не лишенных, однако, хитрости, мыслей. — Библия учит нас, как жить в мире и благоденствии, — изрек он торжественно.

Маркс заинтересовался этой только что народившейся разновидностью преуспевающего рабочего и даже решил посетить его дом. Спустя несколько дней, в воскресенье, вместе с Энгельсом он побывал у зажиточного механика.

На смену грубым тяжелым ящикам, среди которых прошла в доках молодость Вильяма Беккета, к нему пришло к сорока годам поистине «деревянное» благополучие. Подкупленный капиталистами, мастер, деятельный профсоюзный руководитель, поселился с семьей в собственном двухэтажном коттедже с тяжелыми резными дубовыми панелями на стенах комнат.

Угощая гостей чаем, Беккет сообщил, что надеется скоро быть избранным в парламент, и тогда значительно увеличится его достаток.

Маркс и Энгельс знали, что английские капиталисты, получая огромные сверхприбыли, хорошо оплачивали труд верхушки рабочего класса. Беккет оказался в числе немногих избранных.

— Надо иметь голову на плечах, — говорил он смиренно, покуда его дородная жена, дочь фермера, разливала чай. — Надо понимать современные национальные задачи. Чартизм отсох, как старая ветка на подгнившем дереве. Тред-юнионы — вот путь рабочих в землю обетованную. Заверяю вас в этом, джентльмены, а я не дурак. Мы с миссис Беккет надеемся еще побывать в Букингемском дворце. — Он шлепнул жену по широкой спине. — Что скажешь, леди Беккет? Почему бы и нет? Мы назвали нашу дочь в честь ее величества Викторией. Может быть, нашей девочке суждено быть дочерью пэра. А? Времена ведь меняются. Надо иметь голову на плечах. Мой отец был убит в Бирмингеме во времена борьбы за хартию, лед. луддит, погиб, сражаясь с машинами. А я, вот видите, живу неплохо и делаю, поверьте, много добра для общества. Главное, — и я уверен в этом, — надо уметь жить в мире с промышленниками. Почему бы и нет? Они нужные для нации люди, умнее и опытнее нас и к тому же христиане.

Множество мыслей вызвала у Маркса и Энгельса встреча с преуспевающим и обласканным буржуазией мастером Беккетом.

Итак, буржуазнейшая страна, какой была Англия, страна колониальной и промышленной монополии, по-видимому, стремится наряду с буржуазией, буржуазной

аристократией создать также и прослойку буржуазного пролетариата. Это было очень важным открытием для обоих друзей.

По воскресным дням Карл ездил в Манчестере верхом, но хорошим наездником он не был, хотя и убеждал друзей, что в студенческие годы брал уроки верховой езды и овладел этим искусством.

Фридрих, беспокоясь за друга, предоставил ему смирную лошадь, которую назвал Росспнантом.

Но лучшим временем были вечера, когда, придя из конторы домой, Фридрих делился с Карлом новостями, заботами и творческими планами. После позднего обеда обильно запиваемого рейнским вином, после выкуренной толстой гаванской сигары они часто обсуждали политические события на разных материках. Индия и Америка Малайские острова и славянские земли были так же знакомы им, как промозглый остров, ставший их вынужденной родиной.

В Манчестере в это время находился вернувшийся недавно из долгого путешествия по Америке, Вест-Индии и Европе неугомонный странник Георг Веерт. Он снова рвался обратно за океан. После поражения революции он часто боролся с приступами меланхолии и нуждался в новых впечатлениях.

— Вы закисаете здесь, друзья мои, этот климат годен только для рыб и жаб. Жить здесь — безумие и слабость. Немногие годы, отпускаемые нам жизнью, терять в таком проклятом богами месте! Да и люди здесь, скажу я вам, такая же слякоть, как и все остальное. А знаете ли вы, что именно сейчас в лесах близ древней столицы Колумбии Санта-Фе-де-Богота тигры поют арии из «Волчьего ущелья». Я вижу, как они повернули морды к луне, которая шагает по верхушкам кедров и вековечных пальм. Лима — город-мечта. Какие там женщины! Они так малы, что их можно спрятать среди лепестков огромных тамошних роз. Мне нравятся перуанцы. Этот народ не даст вам скучать и доставит множество развлечений. В первый день я пережил в Лиме землетрясение, на второй — пожар, а на третий — революцию.

— За исключением землетрясения, все это можно было видеть и в Париже, — вставил Энгельс.

Веерт продолжал рассказывать о своих многочисленных приключениях в тропических странах. У него был

особый подражательный и мимический дар, и лицо его непрерывно меняло выражение.

Задорный хохот Георга был так же приятен и чистосердечен, как и у Карла и Фридриха, которые до слезинок в глазах смеялись, слушая его рассказы.

— Представьте себе перуанский остров Чинча. Главное его богатство — птичий помет, скопившийся за много тысячелетий. Он составляет главную статью дохода всего государства. Вот вам достойный предмет для размышления философам. Дерьмо превращается в золото, и потомки гордых инков спасаются от нищеты благодаря гуано. Ах, друзья мои, когда с вершины Кордильеров, залитой солнцем, смотришь на воды, низвергающиеся с глетчеров, чтобы на западе влиться в Тихий океан, а на востоке — в Атлантический, поражаешься необъятной мощи великой фабрики природы. Я мог бы до утра говорить о Калифорнии. Хотите, я повезу вас мимо Антильских островов. Мы отдохнем и освежимся кокосовым молоком на Кубе и через Мексиканский залив доберемся затем в Веракрус. Через заросли кактусов мы спустимся в серебряные рудники Рахаса и в Сан-Хуан-де-Лагос. Там буйствуют пьяные мексиканские барышники, игроки и воры. Я предлагаю также посмотреть на бой быков.

Веерт вскочил со стула, сорвал красную плюшевую салфетку с курительного столика, изогнулся и, размахивая ею, принялся изображать сцены корриды.

— Вива эль тореадор! — аплодировали Маркс и Энгельс. Оба они приняли участие в импровизированной живой картине, изображая то зрителей, то пикадоров и матадоров.

Вдоволь посмеявшись, все трое снова уселись за стол и принялись допивать остывший черный кофе. Но Веерт уже снова изображал в лицах, как индеец снимает скальпы и привязывает их к поясу. До полуночи не прерывалась оживленная беседа трех друзей.

Вскоре Энгельс остался один в Манчестере. Георг уехал в Вест-Индию, а Карл вернулся в Лондон.

Настала зима. Черные и желтые туманы по-прежнему окутывали Лондон своей ядовитой пеленой. Карл хворал. Помимо болезни печени, его мучили нарывы. Один из них появился над верхней губой и вызывал острую флегмонозную боль. Лицо распухло.

— Я похож на бедного Лазаря и на крупного черта одно и то же время, — пошутил Карл, увидев себя в зеркале.

— Неправда, ты очень хорош, ты просто больной ажирский Мавр, — сердились на него старшие дочери.

Врачи считали болезнь Карла очень серьезной. Карбункул на лице, сопровождавшийся лихорадкой, был опасен.

— Мой дорогой повелитель, — со свойственным ей юмором сказала Женни, — отныне вы находитесь под домашним арестом вплоть до полного выздоровления. — И она спрятала пальто и шляпу Карла, чтобы он не мог совершить в ее отсутствие побег в библиотеку Британского музея.

Карл сдался:

— Я подчиняюсь, но только в том случае, если за мной останется право работать дома.

Однако множество повседневных мелочей и забот, как всегда на Дин-стрит, мешали ему сосредоточиться. Он тосковал и рвался в тихую, покойную общественную читальню в Мопгег-хаус, где привык проводить время за работой с утра до позднего вечера.

Домашний рабочий стол Карла был завален книгами и рукописями. Карл много читал о России, так как Энгельс просил присылать ему материалы об этой стране для статей о панславизме.

Крымская война еще больше усилила интерес Карла к северной могущественной державе и ее прошлому. По своему обыкновению, не довольствуясь поверхностным ознакомлением, он принялся глубже пробивать толщу избранного им для изучения предмета. Таков был Карл всегда и во всем. Труд был его стихией, радостью, отдохновением, и чем больше требовалось усилий, тем удовлетвореннее он себя чувствовал.

После многих французских и немецких книг о славянских странах и особо о России Маркс, углубляясь в малоисследованную чащу истории, добрался до истоков русской культуры. Его поразило «Слово о полку Игореве», приведенное в книге Эйххофа на русском и на французском языках.

Безошибочный глаз и ухо поэта, каким всегда оставался Карл, мгновенно уловили великолепие стиха древнего сказителя:

«На Дунаи Ярославиић глас слышитъ, зегзицею незнамь рано кычеть: «Полечю, рече, зегзицею по Дунаеви, омочю бебрянъ рукавъ въ Каялъ рѣцѣ, утру князю кровавыя его раны на жестоцѣмъ его тѣлѣ».

«Вся песнь носит героически-христианский характер, хотя языческие элементы выступают еще весьма заметно», — думал он, снова и снова перечитывая плач Ярославны и призыв князей к единению перед нашествием монголов.

Карл наслаждался поэзией, воскресившей Древнюю Русь, ее героику, удаль, скорбь и победы. Он вслух читал Женни наиболее пленившие его строфы и тотчас же сообщил Энгельсу об открытом им сокровище. Одновременно он жадно читал книгу Гётце «Князь Владимир и его дружина», а также «Голоса русского народа».

Здоровье Карла несколько улучшилось, но он все еще не выходил из дома. В безнадежно сырой и темный, будто над Лондоном спустился вечный мрак, день раздалось несколько громких ударов во входную дверь дома 28 на Дин-стрит. Лаура, на ходу заплетая золотистую косу, быстро сбежала по лестнице вниз, чтобы открыть дверь. Подумав, что, верно, булочник или бакалейщик принесли свои товары, Карл продолжал работать, не обращая ни на что внимания. Однако Лаура вернулась не с кульками и пакетами. В убогую квартирку она ввела двоих пожилых людей. В одном Карл тотчас же узнал Эдгара Бауэра. Другой, в длинном, по щиколотки, вышедшем из моды в Англии рединготе и лоснящемся цилиндре, сначала показался ему незнакомым. Маркс с недоумением смотрел на неторопливо разматывавшего связанный из шерсти шейный платок гостя, который принялся развешивать раскрытый, мокрый, черный зонт над вешалкой и при этом говорил брюзгливым тоном:

— Проклятый остров. За всю свою жизнь я не видывал такой погоды. Только в Дантовом аду ею могли пугать грешников.

— Ба! Ты ли это, старый ворчун Бруно? — воскликнул радостно Карл и торжественно представил гостей своей семье.

— Вот — сам глава Святого семейства, друг моей юности столько же, сколько и лютый враг моих воззрений на философию и пути человечества. Прошу, однако, любить и жаловать его. Позволь, Бруно, представить тебе мою

семью. Это моя дочь Женни, она же Ди, она же Кви-Кви — император Китая.

— Женнихен — вылитый твой портрет, Карл, — сказал Бруно, любуясь черноглазой румяной девочкой, затем он перевел взгляд на ее сестренку, встретившую его на пороге входной двери.

Карл, подталкивая Лауру, порозовевшую от смущения, представил и ее.

— А это наш милый Готтентот и пестрый Какаду, любительница всего экзотического, путешественник по Африке в мечтах.

— Красавица в полном смысле слова, — сказал старый профессор.

— Фея из гофманской сказки, — галантно добавил его брат, Эдгар Бауэр.

— Ты, однако, разбогател, Карлхен. У тебя две прелестные дочки и царственно прекрасная жена.

— У меня не две, а три дочурки. Тусси еще совсем мала и сейчас спит. А ты, Бруно, женат ли, обзавелся ли семьей?

— Нет, увы, я старый холостяк. Наука — вот моя верная возлюбленная и подруга. А помнишь, как мы прозвали тебя в счастливые годы наших теоретических битв? «Магазин идей»! Да, Карл, справедливость требует признать, многое мы почерпнули у тебя.

— Мавр и для нас магазин сказок. Вы не можете себе представить, сколько он их знает, и не только одних сказок, — вторглась в беседу бойкая Лаура.

— Да, ты был неиссякаем и, видимо, немало пополнил запасы в своем складе, — Бруно показал на голову и, помолчав, достал большой портсигар. — Как много лет, однако, мы не виделись. Курп, великолепный немецкий табак. Он напомнит тебе нашу родину.

— Никогда не курил я таких сигар, как те, которыми угощала меня тетушка Бауэр, — сказал Карл. — Дни в ваниом обвитом жимолостью домике так же живы в моей памяти, как воспоминания о Трире, где прошла моя юность.

— Помнишь, как весело справляли мы день твоего рождения у нас, в Шарлоттенбурге? — спросил Эдгар Бауэр, раздув ноздри и выпуская табачный дым.

— Увы, праздник был омрачен смертью профессора Ганса. А где теперь краснобай Рутенберг, книжный червь

Кёппен и крутоголовый Шмидт — Штирнер? — спросил Карл, с наслаждением затягиваясь сигарой.

— Кёппен пишет очередную книгу о буддизме. Он не-возмутим, аскетичен, презирает все неиндийское, а Рутенберг тучен, самоуверен и все та же нафарширована цитатами колбаса. К тому же сей почтенный буржуа издает газету, в которой удивляет трактирщиков и отставных канцелярских писарей своей конечной ученостью. А наш философ Шмидт, обладатель лба, похожего на купол святого Петра в Риме, при смерти. Жаль, он подавал блестящие надежды. Никто не умел так любить, так возносить свое «я», как он.

— Это «я» заслонило Штирнеру весь горизонт. Бедняга провел жизнь в бесцельном созерцании и обожании своего «я», точно йог в разглядывании собственного пупа, — досадливо морщась, произнес Маркс. — И вот на краю могилы это «я» может подвести унылый итог прошедшей попусту жизни.

Сквозь столб сигарного дыма, поднимавшегося к потолку, Карл внимательно разглядывал Бруно Бауэра. Ему было около пятидесяти лет, но он выглядел значительно старше. Резко очерченное лицо — три острые линии, образующие лоб, нос и подбородок, сухая пористая кожа, серые сморщенные веки и выцветшие глаза не отражали больше никакого внутреннего горения. Он казался нависшей потухшей пыльной сопкой. Особенно неприятен был огромный плоский лоб. Волосы на голове Бруно вылезли и оголили череп до самой макушки. В его лице не осталось больше сходства с фанатиком Лойолой, как это было в молодости.

— Да, после Берлина, этого величественного и светлого города, Лондон — мерзкая тюрьма, — говорил между тем Бруно, шепелявя и едва раскрывая губы. Ему мешали говорить вставные зубы зеленовато-желтого цвета.

— Правда, в Германии мы наблюдаем гибель городов и пышный расцвет деревень, но все же там истинная цивилизация. А здесь я живу в каком-то логовище. Люди на этом острове под стать всему окружающему уродству. Жалкие создания эти хваленые британцы. Это гомункулусы — автоматы. Язык английский, да ведь это пародия на человеческую речь. Если бы не заимствованные галлицизмы, англичане не имели бы вообще человеческого языка и пользовались бы для общения друг с другом

нечленораздельными звуками и междометиями. По сравнению с нами, германцами, бритты — дикари.

Маркс широко, лукаво улыбнулся.

— Дорогой профессор, — сказал он, весело блестя глазами, — в утешение вам должен сказать, что голландцы и датчане говорят то же самое о немецком языке и утверждают, что только исландцы являются единственными истинными германцами. Их язык будто бы не засорен иностранщиной.

По Бруно возмущенно замахал руками.

— Ерунда, Карлхен. Поверь, я вовсе не узкий педант и вполне беспристрастен. Изучив множество языков за последние годы, могу смело отдать пальму первенства польскому. Великолепный по богатству и звучанию язык. Послушай, например, как красиво: «Нех жие нецька польска мова».

Лецхен и Женни внесли подносы с чашками кофе и бутербродами с ветчиной и сыром. Карл познакомил Бауэров с Еленой Демут, назвав ее «нашей Нимфой».

— Сказочный дом, — заметил добродушно Бруно, — все имеют необыкновенные мелодичные прозвища, обойдена, кажется, только госпожа Маркс.

— Нашу мамочку зовут Мэмэ, — пояснила все та же пустроглазая Лаура.

— Счастливец, Карл, ты окружен любящими тебя созданиями. Я же одинок, со мной только мысль, — с нескрываемой завистью признался Бруно.

— Мысль — раба жизни! — вдруг торжественно изрекла Лаура.

— А жизнь — шут времени! — продолжила Женнихен.

— Чудесно! — вскричал Бауэр. — Эти юные прелестные фрейлейн цитируют «Макбета» не хуже старого Шлегеля.

— Они унаследовали от отца и матери любовь к Шекспиру и знают превосходно его драмы, — произнесла с чуть заметной гордостью Женни Маркс.

После скромной трапезы, когда, по английскому обычаю, мужчины остались одни, Бруно Бауэр стал особенно разговорчив. Он объяснил, что в экономике предпочитает учение физиократов и верит в особо благодатные свойства земельной собственности. В военном искусстве его идеалом стал Бюлов.

— Это гений, истинный, божественный Марс в современной военной науке.

Карл не мог поверить своим ушам.

«Как застоялась его мысль, как он отстал от времени, запутался», — думал он, и чувство жалости смягчило раздражение. Бруно Бауэр походил на руины некогда интересного сооружения. Он изжил то немногое, что было в нем оригинального, и, хотя казался по-прежнему самоуверенным, на лице его помимо воли появлялась иногда жалкая улыбка.

Карлу казалось, что этого педантичного, ссохшегося умом и сердцем человека продержали в глухом сейфе долгие годы. Он как бы и не заметил грозной революции и всех последующих событий и не сделал поэтому никаких выводов. Да мог ли он их сделать вообще?

— Рабочие — это чернь, которую отлично можно держать в повиновении с помощью хитрости и прямого насилия, — развалившись в кресле, говорил Бауэр. — Изредка следует, впрочем, кидать им кость со стола в виде грошовых прибавок к заработной плате, и они будут лизать хозяйскую руку. Меня все ваши иллюзии, называемые классовой борьбой, вовсе не интересуют. Я ведь чистый теоретик, мыслитель, а массой, этим полузверьем, пусть управляют те, у кого сильны не мозги, а мускулы. Я же достиг своей цели и нанес смертельный удар по научному богословию. В Германии оно перестало существовать. Вот колоссальная победа, да, ради нее стоило родиться... Моя сфера — чистая наука, проблемы вечные, а не суета сегодняшнего дня.

Карл не стал спорить. Это было бесполезно. Различие в мышлении обоих было таким значительным, что никакое слово Маркса не могло коснуться сознания Бруно Бауэра.

«Стоит ли переубеждать этот застывший камень, который некогда, прежде чем затвердеть, был живым существом. Но я рад нашей встрече. Нет ничего на свете, что не заслуживало бы внимания и размышления, раз оно существует. И этот старик тоже по-своему занимателен». Таковы были думы Карла, когда позднее он остался один за своим рабочим столом.

В те же дни радостные вести с родины привез Марксу уполномоченный от дюссельдорфских рабочих Леви. Он передал Карлу сведения о состоянии рабочего движения в Рейнской провинции.

«Однако во главе угла, — сообщал Маркс Энгельсу о своих беседах с Леви, — стоит теперь пропаганда среди

фабричных *рабочих в Золингене, Изерлоне и окрестностях, в Эльберфельде* и герцогстве Вестфальском. В железоделательных округах ребята эти хотят начать восстание, и удерживает их только надежда на революцию во Франции, а также то, что «лондонцы считают это пока несвоевременным»... Люди эти, видимо, твердо уверены, что *мы и наши друзья немедленно же поспешим к ним.* Они, естественно, испытывают потребность в политических и военных руководителях. Это, конечно, ни в коем случае нельзя ставить в укор этим людям. Но я боюсь, что, при их весьма упрощенных планах, их четырежды успеют уничтожить, прежде даже чем мы сможем покинуть Англию. Как бы то ни было, нужно точно разъяснить им с военной точки зрения, что можно и чего нельзя делать. Я заявил, разумеется, что *в случае, если обстоятельства позволят*, мы явимся к рейнским рабочим... что я серьезно посоветуюсь со своими друзьями по вопросу о том, какие шаги могут быть непосредственно предприняты рабочим населением в Рейнской провинции; и что через некоторое время им следует снова прислать кого-нибудь в Лондон, но *ничего* не делать без предварительной договоренности».

Личные горести в семье Маркса продолжались. Тяжело больная баронесса призвала летом 1856 года в Трир свою дочь. Женни поехала с девочками на родину и застала мать при смерти. После одиннадцатидневных страданий Каролины фон Вестфален не стало.

Когда умер Муш, Женни казалось, что ей нечем больше страдать. Душа ее изныла и как бы потеряла чувствительность. Однако смерть матери причинила ей снова мучительную боль. Женни удивлялась тому, как много может вытерпеть человек. В молодости болезни и горести проходят, как бы коснувшись только кожи и не оставив глубокого следа, в зрелые годы они потрясают, но не ломают волю, не ослабляют навсегда, в старости же несчастья разрушают и сокращают самую жизнь.

«Как глубоко прав Карл, когда говорит о потерях, которые нельзя забыть никогда, — думала Женни. — Какой-то мудрец утверждал, что подлинно выдающиеся люди легко переносят утраты. Их будто бы спасают и отвлекают от личных бед тесная связь с природой и человечеством, а также бесчисленные объекты познания. Мудрец

был неправ. Никто не может забыть любимого ребенка или нежную мать».

Забыть! Страшное слово, в котором таится покой, измена и грусть. Нельзя жить, не забывая, не примирившись с потерей, но невозможно также утешиться навсегда. Маленькие Фоксик, Франциска, Муш и родители никогда не уйдут окончательно из сердца и памяти Женни. И, вспоминая о них всех или о каждом порознь, она с трудом будет скрывать горечь и боль.

Стоя в слезах над могилой матери, Женни Маркс вспоминала свое детство и юность. Нет больше в живых ни Людвига и Каролины фон Вестфален, ни советника юстиции Генриха Маркса. Умер директор гимназии, где учился Карл, старик Виттенбах, гордившийся исторической славой родного Трира и своим знакомством с великим Гете. Исчезла с улицы вывеска книготорговца Мон-тиньи, в лавке которого столько часов провел некогда юный Маркс.

Возвращаясь с кладбища, Женни долго смотрела на зеленеющие виноградники, спускающиеся к городу с окрестных холмов, на светлые, медленно текущие воды Мозеля, на пожелтевшие от знойного солнца луга.

На улицах Трира она встречала много знакомых. Юноши и девушки стали уже зрелыми людьми, женщины, которых она знала в цвете лет, заметно состарились. Черные шляпки с матерчатыми цветами поверх седых буклей, подвязанные под отвислым подбородком, особенно подчеркивали их преклонный возраст. Все в городе выражали Женни сочувствие по поводу смерти баронессы Вестфален. Старики при этом заметно мрачнели.

— Подходит и наше время, — говорили они робко.

Траурные платья с плерезами и черные вуали нисколько не портили внешности старших дочерей Женни. Они казались еще миловиднее. Двенадцатилетняя Женни была похожа на своего отца. Те же темные, густые, блестящие волосы и яркие, умные, ласковые глаза. Смуглое лицо, маленькие, полные губы придавали ей сходство с креолкой.

Десятилетняя Лаура красотой пошла в мать. Пышные, волнистые, светло-каштановые локоны обрамляли ее точеное личико. Большие зеленовато-карие глаза ее всегда светились улыбкой.

Но любимицей всей семьи, баловнем стала малютка Тусси. Ребенок родился в тот год, когда умер Эдгар, и

вся любовь к брату, вся нежность к нему были теперь перенесены на маленькую сестренку, которую старшие девочки нянчили с почти материнской заботливостью.

Карл тосковал по жене. Письма его к ней становились все более пылкими:

«Моя любимая!

Снова пишу тебе, потому что нахожусь в одиночестве и потому, что мне тяжело мысленно постоянно беседовать с тобой, в то время как ты ничего не знаешь об этом, не слышишь и не можешь мне ответить. Как ни плох твой портрет, он прекрасно служит мне, и теперь я понимаю, почему даже «мрачные мадонны», самые уродливые изображения богоматери, могли находить себе ревностных почитателей, и даже более многочисленных почитателей, чем хорошие изображения. Во всяком случае, ни одно из этих мрачных изображений мадонн так много не целовали, ни на одно не смотрели с таким благоговейным умилением, ни одному так не поклонялись, как этой твоей фотографии, которая хотя и не мрачная, но хмурая и вовсе не отображает твоего милого, очаровательного, «dolce» [1], словно созданного для поцелуев лица. Но я совершенствую то, что плохо запечатлели солнечные лучи, и нахожу, что глаза мои, как ни испорчены они светом ночной лампы и табачным дымом, все же способны рисовать образы не только во сне, но и наяву. Ты вся передо мной как живая, я ношу тебя на руках, покрываю тебя поцелуями с головы до ног, падаю перед тобой на колени и вздыхаю: «Я вас люблю, madame!» И действительно, я люблю тебя сильнее, чем любил когда-то венецианский мавр...

...Временная разлука полезна, ибо постоянное общение порождает видимость однообразия, при котором стираются различия между вещами. Даже башни кажутся вблизи не такими уж высокими, между тем как мелочи повседневной жизни, когда с ними близко сталкиваешься, непомерно вырастают. Так и со страстями. Обыденные привычки, которые в результате близости целиком захватывают человека и принимают форму страсти, перестают существовать, лишь только исчезает из поля зрения их непосредственный объект. Глубокие страсти, которые в

---

[1] сладостного (*итал.*).

результате близости своего объекта принимают форму обыденных привычек, вырастают и вновь обретают присущую им силу под волшебным воздействием разлуки. Так и моя любовь. Стоит только пространству разделить нас, и я тут же убеждаюсь, что время послужило моей любви лишь для того, для чего солнце и дождь служат растению — для роста. Моя любовь к тебе, стоит тебе оказаться вдали от меня, предстает такой, какова она на самом деле — в виде великана; в ней сосредоточиваются вся моя духовная энергия и вся сила моих чувств. Я вновь ощущаю себя человеком в полном смысле слова, ибо испытываю огромную страсть.

...Ты улыбнешься, моя милая, и спросишь, почему это я вдруг впал в риторику? Но если бы я мог прижать твое нежное, чистое сердце к своему, я молчал бы и не проронил бы ни слова».

Женни много раз перечитала письмо Карла. Ей было уже сорок два года, нелегкая жизнь, смерть детей и матери наложили след на прекрасное ее лицо, но ничто не могло охладить Карла. Он любил жену так же горячо и верно, как двадцать два года назад, когда впервые признался ей в этом.

«Лишенный возможности целовать тебя устами, я вынужден прибегать к словам, чтобы с их помощью передать тебе свои поцелуи. В самом деле, я мог бы даже сочинять стихи и перерифмовывать «Libri Tristium» Овидия в немецкие «Книги скорби». Овидий был удален только от императора Августа. Я же удален *от тебя*, а этого Овидию не дано было понять.

Бесспорно, на свете много женщин, и некоторые из них прекрасны. Но где мне найти еще лицо, каждая черта, даже каждая морщинка которого пробуждали бы во мне самые сильные и прекрасные воспоминания моей жизни? Даже мои бесконечные страдания, мою невозместимую утрату читаю я на твоем милом лице, и я преодолеваю это страдание, когда осыпаю поцелуями твое дорогое лицо. «Погребенный в ее объятиях, воскрешенный ее поцелуями», — именно, в твоих объятиях и твоими поцелуями. И не нужны мне ни брахманы, ни Пифагор с их учением о перевоплощении душ, ни христианство с его учением о воскресении».

Покуда Женни была в Трире, Карл вместе с Пипером побывал в портовом городе Гулль, видел в пути много английских и шотландских городов, расположенных по сторонам Великого северного пути — Грейт-норс.

Замки шотландских лордов мелькали за оградами, на пригорках, среди могучих дубов. Редко разбросанные встречные пограничные шотландские деревни были неприветливо серы, как шерсть овечьих стад на горах, как перевал, почти всегда тонущий в тумане. Вливаясь в города, Великий северный путь обрастал ровными коттеджами, просыпающимися на рассвете и засыпающими в сумерки. С заходом солнца быстро пустели улицы провинциальных местечек, и после девяти часов вечера дома без света казались покинутыми. Тогда в полутьме отчетливо воскресало средневековье. Резче становились контуры пуританских неукрашенных храмов на площадях и в дряхлых закоулках. В Линтингтоне, укрытый ратушей и многостолетними домами, опирающимися на костыли из балок и столбов, внушительной крепостью стоял над рвом выветрившийся пожаром, жалкий при дневном свете замок Марии Стюарт, шотландской бесцветной королевы, прославленной плахой.

Эдинбург расположен на холмах и с моря кажется столицей феодального княжества. Уцелевшие сторожевые башни с бойницами в стенах кремля все еще являют мощь и неприступность. В осушенный ров вокруг дворца крепости в течение многих веков падали пылающие бревна. Трава внешнего вала умирала под тяжестью сотен человеческих тел и лошадиных крупов, захлебывалась кровью, сгорала в кипящей воде, которой поливали врагов сверху наймиты шотландских королей, боровшихся с Англией. Тараны английских баронов, копья, громоздкие шарыснаряды оставили, впрочем, едва заметные шрамы на каменной броне.

Эдинбург в равной мере жил средневековьем и современностью. XV век без ущерба уживался с XIX.

Безжалостен климат Шотландии. Всего на два-три месяца пробивается сквозь плотные завесы испарений ласковое солнце.

В тусклом, будто слюда, тумане оживают призраки. То, что при ярком свете ужаснуло бы, как разрытая могила, в полутьме шотландского дня вызывает лишь сладостный трепет.

В Великобритании прошлое только в небольшой мере эксплуатируемый товар — оно еще слишком тесно связано, сплетено с настоящим. Знаменитые древнейшие замки все еще обитаемы, и владельцы их спят на постелях времен крестовых походов.

На старых улицах Эдинбурга взамен развалившегося дома, в котором останавливалась по дороге к своему двору Мария Стюарт, строится новый — точное воспроизведение погибшего.

Тут нелегко отыскать, как и в Италии и Греции, неприкосновенными развалины храмов, жилищ и улиц, одиноко пробивающихся сорными злаками между чуждых громад позднейших времен.

Шотландцы, как и англичане, при всей своей консервативности, сохраняя многое из быта предков, не отказываются совершенствовать его тем, что поставляет технический прогресс.

Не все ли равно, что дом с дымящей трубой, прилепленной к черепичной, покатой «готической» крыше, точная копия вчерашнего и позавчерашнего, что это плод фантастической смеси веков?

Шотландцы отличаются от англичан не только иным произношением тех же слов, внешним типом, темпераментом, но и характером. Антагонизм между «двумя ветвями одного дерева» необычайно силен. Англичане постоянно высмеивают шотландцев, за что те им платят сторицею. Шотландские остроты попадают прямо в цель, так как их изыскивает ум более подвижной и гибкий, глаз более зоркий, язык острый и меткий.

Враждебность англичан обострена неравенством. Шотландским банкирам, промышленникам, помещикам принадлежат основные богатства страны. Они владеют неизмеримыми землями, стадами и поместьями на родине, подземными сокровищами, плантациями в колониях.

Карл часто перечитывал романы Вальтера Скотта, и сейчас ему казалось, что он раньше уже видел и хорошо знал природу, нравы и людей этого горного, сумрачного края. Глядя на удивительный цвет волос местных жителей, позаимствовавших краски у пунцового северного солнца и золотого приморского песка, он сравнил его с таким же у маленькой дочери Лауры, унаследовавшей оттенок от своей прабабушки, шотландки Женни оф Питтарроо.

Многое в Шотландии напоминало Карлу рассказы, слышанные в семье Вестфален об их предках-бунтарях Аргайлях и Кемпбл, героях многих книг Вальтера Скотта. Бесконечны парки и леса вокруг замков шотландской знати. В охотничью пору кавалькады помощников скачут на чистокровных жеребцах в сопровождении собачьей своры и загонщиков. Эхо в горах повторяет собачий лай и вой охотничьего рога в пустых бесконечных пространствах Шотландии, где черную землю сосут только травы, которые не всегда успевают выполоть ленивые овечьи стада.

Карл приехал в Лондон отдохнувшим. Вскоре, закончив свои дела в Трире и получив небольшое наследство, вернулась домой также и Женни.

Летом того же года, после четырех с половиной лет тюремного заключения, в Англии очутился портной Фридрих Лесснер, один из обвиненных по Кёльнскому процессу коммунистов. В тюрьме, как и на протяжении всей своей жизни, девизом коммуниста Лесснера было: мужество, выдержка и надежда. Он называл их своими верными спутниками.

В Лондоне Лесснер отыскал Фрейлиграта, служившего в одной из контор столицы. В беспорядочной шумной квартирке, где жили поэт, его жена и пятеро резвых детей, Лесснер встретил Вильгельма Либкнехта и с ним отправился на Дин-стрит, 28.

Ему обрадовались там, как долгожданному, родному человеку. Карл тотчас же принялся помогать Лесснеру в поисках жилья и работы и успокоился только тогда, когда все это было устроено.

В первое же воскресенье портной был приглашен провести день вместе с семьей Маркса за городом.

Было жарко, и участники прогулки решили отправиться на холмистые луга между Хэмпстедом и Хайгейтом.

С самого утра Ленхен занималась приготовлением еды для пикника. Она достала свою вместительную корзину, которую хорошо знали все домочадцы и друзья Маркса. Соломенная корзинка сопровождала семью во всех их поездках и прогулках.

К одиннадцати часам пришли Лесснер и Вильгельм Либкнехт, частый попутчик в этих походах. Ленхен без долгих слов нагрузила его своей заманчивой кладью.

Веселая компания двинулась в путь. До намеченного места на Сохо было добрых два часа ходу, но это никого не смущало. Все были большие любители пешего передвижения и рвались прочь из пропахшей пылью и угольным перегаром столицы.

Воскресный город томился от безысходной скуки. Людно было только у пивных и церквей. По улицам проезжали экипажи с нарядными господами и дамами, прячущими лица от солнечных лучей под широкими полями шляп и куполообразными разноцветными маленькими зонтиками. За Примроз-хилл город как бы отступал, и начинались пустыри, рытвины, холмы, проселочная неровная дорога. Дети мгновенно преображались и принимались на лужайках со смехом и песнями отплясывать негритянские, шотландские и главным образом импровизированные танцы. Взрослые подтягивали знакомые мелодии и хлопали в ладоши.

Пели шуточные, смешные своей чувствительностью и напыщенностью романсы, арии из модных опер, народные песни. С притворной важностью тянули медленные патриотические гимны. Особенно старались заглушить друг друга Карл и Вильгельм. У первого был густой баритон, а у второго — жидковатый тенор.

— «О Страсбург, Страсбург — дивный город», — запевали они дуэтом, и все хором подхватывали эту полюбившуюся им немецкую песню.

Девочки просили отца рассказать им какую-нибудь фантастическую историю. Никто не умел так искусно выдумывать чудесные, полные необычайно сложных приключений сказки, как Мавр. Они подразделялись по на глапы, а на мили — по количеству пройденного пути.

— Расскажи еще одну милю, Мавр, пожалуйста, — просила Лаура, — мы к этому времени как раз доберемся до Хэмистед-хис.

Если отец отказывался, девочки обращались к матери:

— Мэмэ, Мэмэ, попроси Мавра. Тебе он не откажет.

Карл сдавался, и сказка продолжалась.

Дорога на Хэмистед-хис пролегала по отлогим холмам и пустырям, поросшим густым дроком и шиповником. Множество горожан устраивали тут пикники, расположившись на хилой траве.

С пустынного, незастроенного крутого холма Хэмистед-хис хорошо был виден Лондон — могучий колони-

ный штаб, город банков, роскошных магазинов, дворцов и особняков, мощной промышленности, черных лачуг и мрачных трущоб.

Вдали над крышами домов поднималось строгое, готическое Вестминстерское аббатство и круглый купол англиканского собора святого Павла. Серой лентой вилась Темза.

Хороши окрестности британской столицы. До самого горизонта тянутся зеленые пологие холмы, пересеченные добротными проезжими дорогами. Даже в редкие солнечные дни прозрачная дымка испарений никогда не исчезает, не рассеивается над Англией.

После серости Дин-стрит, после нагромождения каменных домов все вокруг казалось прекрасным, хотя растительность была чахлой и неказистой. Веселясь и шаля, добирались путники до тенистой холмистой местности, где можно было расположиться и позавтракать.

Домовитая Ленхен мало интересовалась открывшимся пейзажем и принималась выкладывать на клетчатую скатерку, постланную под низким дубом, провизию из своей заветной корзинки. Карл и Женни слушали, усевшись на траву, волнующий рассказ Лесснера обо всем пережитом в заключении.

— Мое прошлое в заключении — это сплошная цепь несчастий и неприятностей, — говорил недавний заключенный, — но я благодарен и за это судьбе, я стал сильнее, еще глубже понял свое положение и свою жизненную задачу. Нужно всегда помнить, что жизнь рабочего от колыбели до гроба — это непрерывная борьба, без борьбы нет жизни.

— Видел ли ты в тюрьме Даниельса? Этот настоящий человек и борец не вынес заключения, заболел смертельной формой чахотки, — заметил Маркс грустно.

— В этом нет ничего удивительного. Условия, в которых нас держали, были невыносимыми. Голод, насекомые, холод. В камере, где я некоторое время находился с Даниельсом, было так холодно, что у меня возникло ощущение, что я никогда больше не смогу согреться. О том, что нам пришлось и физически и морально выстрадать в тюрьмы могут засвидетельствовать четыре голые и сырые стены тогда люди... В особенно нетерпимых условиях находились мы все, осужденные по процессу в Кёльне.

Покуда шел этот разговор, девочки повели Либкнехта в соседнюю рощицу.

— Скажи, Лайбрери, как называется это растение? — спрашивали его то Женнихен, то Лаура.

За точные, исчерпывающие ответы на все вопросы дочери Маркса давно прозвали Либкнехта «Библиотекой» — Лайбрери.

— Что за чудесные цветы! Я уверена, что венок Титании был сплетен именно из таких же! — крикнула Женнихен.

— А я думаю, что венок царицы ночи был из темных роз, — возразила Лаура.

— Это незабудки, очевидно, здесь где-то заводь, — сказал Либкнехт, любуясь сорванными цветами.

— Лайбрери, как всегда, прав, вот и пруд. Как здесь красиво! — шумно выражали свое восхищение девочки.

С букетом быстро вянущих незабудок все трое повернули назад. Их уже громко звали.

Подкрепившись едой и питьем, взрослые участники прогулки, выбрав местечко поудобнее, расположились кто подремать, кто почитать газеты. Женни и Лаура отыскали сверстников и принялись играть в прятки, перегонки и жмурки. Внезапно Карл увидел неподалеку каштан со спелыми плодами.

— Посмотрим, кто собьет больше, — громко вызвал он всех на состязание.

С криками «ура» пошли на приступ Либкнехт и Лессинер, но Карл, к сожалению, не был специалистом по сбиванию каштанов. Он рьяно целился, бросая камешками, и, если не попадал в каштаны, неистовствовал. Когда под победные возгласы последний плод упал на землю, бомбардировка наконец прекратилась. Тут только Карл, изрядно вспотевший, почувствовал, что не может больше двинуть правой рукой. В пылу обстрела дерева он не заметил, как перенапряг мускулы.

В этот счастливый день выпало и другое чудесное развлечение — катание на осликах. Карл ликовал не менее своих детей. Взобравшись на осла, он изображал то Санчо Пансу, то самого Дон-Кихота.

У самой вершины холма находилась старая харчевня — «Замок Джека Строу», очень нравящаяся Марксу. Он обычно выбирал столик у низкого окна, выходящего на запад. Хозяин разносил посетителям кружки с имбирным

нипом и тарелки с хлебом и сыром. Из окон открывался вид на Хайгейтскую возвышенность, поросшую деревьями и диким кустарником. На ней находилось кладбище Хайгейт. Белые памятники и надгробья четко вырисовывались среди свежей зелени. Карл подолгу смотрел на эту тихую обитель мертвых.

Женнихен и Лаура играли в лапту на густой траве. К ним часто присоединялись и бегали взапуски Мавр и его товарищи. Долго не умолкал тогда веселый смех.

Совсем уже стемнело, когда, насладившись в полной мере воскресным отдыхом, все отправились домой. Усталые девочки шли подле отца и матери. Легкая грусть о том, что все уже прошло, подкрадывалась к ним вместе с утомлением. Зажигались одна за другой на потемневшем чистом небе звезды. Женнихен запрокинула темноволосую головку. Не отрываясь она смотрела вверх и вдруг начала говорить быстро, как бы в каком-то необъяснимом экстазе импровизации:

— Когда-то, давным-давно, звездные люди слетели на землю. Их крылья сломались. Тщетно рвались они назад в небо. С тех пор на звездах всегда по ночам мигают маяки. Зовут их и указывают обратный путь.

Глаза Женнихен расширились и блестели, она продолжала декламировать.

— Сокровище мое, — встревоженно прервала вдохновенные стихи дочери Женни Маркс и провела дрожащей рукой по лбу девочки. — Не больна ли ты? Она не по годам развита. Таким же был наш дорогой Муш, — продолжала испуганно мать, обращаясь к мужу.

А Женнихен уже вприпрыжку бежала догонять сестру.

— Успокойся, дорогая. Наша пифия, как ты видишь, воплощенное здоровье, — взяв руку жены, ласково и тверда сказал Маркс.

Воскресенье проходило быстрее всех других дней недели.

В 1856 году несколько сот талеров, доставшихся по наследству после смерти Каролины фон Вестфален, дали возможность семье Маркса переехать из «старой дыры», как называл Карл Дин-стрит, в более здоровую, отдаленную от центра, расположенную в холмистой и зеленой части города местность и поселиться впервые за все годы пребывания в Лондоне в отдельном, удобном небольшом

домике. Арендная плата за квартиру в районе Риджентс-парка в северной части столицы составляла тридцать шесть фунтов стерлингов в год. Это была дорогая цена, но Женни получила еще одно небольшое наследство от родственников в Шотландии, и вся семья смогла пенадолго передохнуть в более сносных условиях.

Добраться к миниатюрному домику, где поселился Маркс, было трудно. Графтон-террес Мейтленд-парк совсем не походил на обычную улицу большого города. Это был пустырь, на котором среди нагромождения камня, глины, выкорчеванных пней и мусорных куч стояло несколько домов. Настоящей дороги к ним не было. Все вокруг находилось в процессе возникновения и стройки.

Если шел дождь, столь частый в Лондоне, пройти по глинистой, скользкой почве было сущим испытанием для жителей Графтон-террес. Грязь густо облепляла ноги, мешала двигаться. С сумерек улица погружалась в непроглядный мрак, так как ни одного газового фонаря на ней еще не было. Но Женни с добрым юмором относилась ко всем неудобствам нового местожительства и радовалась от всей души светлому домику, казавшемуся ей дворцом после темного жилища на Дин-стрит.

«Это поистине княжеская квартира, — писала позднее Женни Лунзе Вейдемейер, — по сравнению с прежними дырами, в которых нам приходилось жить, и хотя все ее устройство обошлось не многим больше 40 фунтов стерлингов... я казалась себе прямо-таки величественной в нашей уютной гостиной. Все белье и другие остатки прежнего величия были выкуплены нами из ломбарда, и я с удовольствием вновь пересчитала камчатные салфетки еще старинного шотландского происхождения. Вскоре, великолепие длилось недолго; вскоре пришлось снова нести одну вещь за другой в «поп-хаус» (так дети называют таинственный дом с тремя шарами): все же мы успели порадоваться окружавшему нас житейскому уюту».

Покуда Женни Маркс относит снова в ломбард, вещи, Карл которого служат три золоченых шара, до поздней ночи пишет книгу по политической экономии, корреспонденции для газеты «Нью-Йорк дейли трибюн»,

письма в Манчестер Энгельсу и единомышленникам. Иногда статьи по разным вопросам за подписью Маркса посылает за океан Фридрих Энгельс. Больше трети всех статей, помещенных в «Нью-Йорк дейли трибюн», написаны этим бескорыстным и верным другом. Точно так же и Карл помогает Фридриху то советами, то тщательным подбором в Британском музее необходимых материалов по различным теоретическим вопросам. Оба они подчас целыми днями работают друг для друга. Каждый дополняет другого.

«Нью-Йорк дейли трибюн», одна из наиболее читаемых в Соединенных Штатах газет, имела до двухсот тысяч подписчиков. С 1851 года Маркс был ее постоянным сотрудником. Издатель газеты и один из ее редакторов, социалист Дана, безжалостно эксплуатировал его, зная, как Маркс нуждается в деньгах.

«Tribune» ведет себя, как настоящий грошовый листок. Ее социализм сводится на деле к самому отвратительному надувательству, свойственному мелкому лавочнику», — говаривал Энгельс

Дана, случалось, платил Марксу только половину полагавшегося гонорара, хотя повсюду хвастался его участием в газете и сам отлично знал, какого необыкновенного автора приобрел. Имя Маркса увеличило сбыт газету. Он становился все более известен в Америке.

Тщетно Карл стремился к тому, чтобы получить возможность заниматься исключительно наукой. Он страдал и часто жаловался Энгельсу и Женни:

— Ух! Как надоело мне газетное бумагомарание. Оно отнимает много времени, рассеивает внимание и ничего не даст. Чисто научная работа — совсем другое дело. Обе мы с тобой, Фридрих, заняты не тем, чем следует. Каково тебе в конторе и на бирже! Представляю, как воешь ты между волками, куда занесли тебя обстоятельства.

Ежедневно по утрам, после завтрака, выкурив сигару, Карл брал черный дождевой зонтик, без которого трудно обойтись в Лондоне, и отправлялся в читальный зал Британского музея. До остановки омнибуса его провожала старшие дочери. Они горячо любили отца, обращались с ним запросто, как с равным, и называли неизменно Мавром.

Только к вечеру возвращался Маркс домой. За обедом, когда собиралась вся семья, бывало всегда шумно. Уста-

лый Карл ел очень мало, и это вызывало беспокойные расспросы Женни и заботливой Елены Демут. Болезнь печени, которой много лет уже страдал Карл, требовала строгой диеты, но он предпочитал острую пищу, соленья, копченую рыбу, пикули и пряности.

Поднявшись из-за стола, Карл долго прохаживался из угла в угол маленькой гостиной. Каждую свободную минуту он посвящал детям, радуясь, как и они, наступающим воскресеньям. Если изредка в праздничный день в домике Маркса появлялся Фридрих Энгельс, все три девочки встречали его радостными возгласами. Не только Женни, но и Лепхен торопилась поделиться с Фридрихом всеми событиями последнего времени. И для каждого у него было ободряющее слово и шутка.

В июле 1857 года Женни родила седьмого ребенка, но лишь для того, чтобы тотчас же похоронить его. Он прожил всего несколько минут после рождения.

Из Америки вернулся в Лондон тяжело больной чахоткой Конрад Шрамм. Его появление столько же обрадовало, сколько и опечалило Карла и Женни. Их верный друг быстро приближался к могиле. Душный и пыльный Лондон был невыносим для умирающего, и друзья уговорили его поехать на цветущий остров Джерси, где находился в это время больной Фридрих Энгельс.

К осени Карл отправился проведать своих друзей. Он застал Энгельса окрепшим и деятельным, но Конрад доживал последние месяцы. Сжигаемый лихорадкой, крайне возбужденный, совсем еще молодой, пылкий, отзывчивый, искренний, он напоминал чем-то Георга Веерта, умершего немногим более года назад в Гаване.

Карл был все еще весьма опечален преждевременной смертью молодого поэта и считал ее невозвратимой потерей для коммунистического движения, поэзии и литературы.

Тяжела была для него и вскоре наступившая кончина Конрада Шрамма.

Совершенно оправившись от затянувшейся болезни, Энгельс вернулся в Манчестер с острова Джерси. Была глубокая осень. Шли дожди. По настоянию врачей Энгельс проводил в конторе всего несколько часов в день. Он предался давнишней страсти — верховой езде и охоте.

Слякоть и туманы не останавливали его. Он носился на крепком коне по особенно угрюмым в эту пору года полям и перелескам вокруг текстильной столицы, подстреливая лис и зайцев.

Редкий день не появлялся он на бирже. Тщательно одетый, подтянутый, он заметно выделялся среди спешащей по залу возбужденной толпы биржевиков. Маклеры почтительно кланялись и расступались перед молодым купцом. Биржевые шакалы старались по настроению Энгельса определить, каков был разбушевавшейся стихия кризиса. Они сердито перешептывались, подметив его хорошее, бодрое настроение. Действительно, в эти дни биржа мгновенно разгоняла у Энгельса скуку. Он охотно поддразнивал и вызывал ярость у купцов и биржевых игроков, предсказывая мрачное будущее их акциям.

Энгельс, исполненный надежд, что кризис всколыхнет пролетариат, жадно изучал приметы экономического тупика, в который зашла буржуазия на обоих полушариях.

«Кризис будет так же полезен моему организму, как морские купанья, я это уже сейчас чувствую, — думал он весело. — За последние семь лет меня все же несколько затянула буржуазная тина; теперь она смывается, и я снова становлюсь другим человеком».

Экономические потрясения несли Энгельсу, как промышленнику, значительные материальные потери, но безмерно радовали революционера и ученого-экономиста, каким он был прежде всего. Энгельс с удовольствием подмечал панику, растерянность и удрученные мины текстильных фабрикантов, когда приходил в замызганный каменный сарай, превращенный в святилище торговли — биржу. Он подолгу задерживался у огромной грифельной доски, исписанной белыми цифрами. Это были последние сводки с поля биржевых боев — цена акций. Каждая из цифр раскрывала Энгельсу тайну бесчисленных житейских драм. Именно она принесла банкротство почтенной старинной фирме Беннох. Это повлекло за собой гибель пяти других фабрикантов в недавно столь богатом промышленном Ковентри.

Энгельс предвидел, как по всей стране, вплоть до черного Глазго, вследствие краха столь влиятельных фирм разорится множество средних и малых предпринимателей, чьи имена так незначительны, что не указаны в толстом справочнике промышленников и торговцев острова.

В Ливерпуле прядильщики лишились почти всех заказов. На всех фабриках Манчестера введена была неполная рабочая неделя.

Биржа отвечала на кризис, как водная гладь на падение камня и поднявшийся ветер. Пошли круги по вспенившейся воде, закружились акции. Особенно трудно приходилось текстильным фабрикантам. Хлопок, который считался белым золотом века, упал в цене.

Как всегда, в эту кризисную осень там, где жарко грело солнце и редко проливались дожди, миллионы хлопковых коробочек, напоминавших бутоны крупных цветов, созрев и растрескавшись, выбросили комья белой ваты, которая, как пушистые стрелки одуванчика, повисла, зацепившись на жестких кустах. Хлопковые поля, поглотив тяжелый человеческий труд, дали пышный урожай, и, однако, цена на хлопок стала неустойчивой, сбыт упал. Начались затруднения и с продажей шелковичных червей. Из Америки кризис перебросился в Европу и втянул в свой жестокий круговорот Англию, Германию, Францию и Италию. Промышленный застой вызвал осложнения в торговле.

У биржи были свои законы и цели. Чиновники и рантье, вложившие сбережения в бумаги хлопковых и шелковых компаний в Европе и Америке, внезапно обеднели, прядильщики и ткачи находили закрытыми ворота фабрик.

Как-то, возвратившись с биржи, Энгельс записал свои мысли и поделился ими с Марксом. «В четверг положение было отчаяннейшее, в пятницу... так как хлопок снова поднялся в цене на один пенс, то это значило, по их мнению, что самое худшее миновало. Но ко вчерашнему дню уже снова наступило самое отрадное уныние; все ликование основывалось, следовательно, просто на болтовне, покупателей же почти не было; так что состояние здешнего рынка осталось таким же скверным, каким было раньше».

Не желая лишаться русского подданства, Лиза решила покинуть Англию, войска которой уже около года осаждали Севастополь.

Поразительный героизм и стойкость русских войск вызывали все большее изумление и раздражение английского

правительства. В русском воинстве особенно четко выявились черты национального характера. Все понимали, что солдаты под Севастополем самоотверженно отстаивают не крепостнический режим, а свою национальную независимость. Оборона Севастополя становилась легендой, и подвиги русских напоминали величавые сцены Гомеровой «Илиады».

Перед отъездом Лиза зашла попрощаться к Герцену.

— Вы едете в блаженную и скучнейшую Швейцарию? Это страна процветающего мещанства, этакая Аркадия лавочников и фермеров! Вам, верно, встретится там Николай Иванович Сазонов, с юношеских лет мой приятель, человек не без дарования и своеобразия. Что ж, поклонитесь ему от меня, хотя мы теперь охладели друг к другу. Первая размолвка произошла у нас еще в тысяча восемьсот сорок седьмом году. Это было в день моего прощания с Белинским в Париже, — говорил Герцен, мягко ступая по дорогому ковру своего нарядного кабинета. — Случилось так, что, возвращаясь от тяжело больного Виссариона Григорьевича, я встретил на Елисейских полях Сазонова. Был я тогда очень подавлен гиппократовой маской — маской смерти, которая легла уже на лицо погибавшего от чахотки друга. Я едва удерживал слезы.

«Жаль, — поняв мое состояние и сам огорченный, произнес Сазонов, — жаль, что Виссариону не нашлось другой деятельности, кроме журнальной, и к тому же подцензурной». — «Ну, знаешь, трудно упрекать его, что он мало сделал», — возразил я в сердцах. «С такими способностями, как у Белинского, при других обстоятельствах и на другом поприще он сделал бы куда больше», — продолжал Сазонов.

Я был весьма раздосадован таким замечанием и спросил его, что сделали, к примеру, русские, живущие вне отечества, полные сил телесных и талантов, но знающие гнета цензуры. Прогуливались, подобно Сазонову, из одного конца Парижа в другой, болтали в кафе, где одни дураки их слушали и, ничего не понимая, молчали, а другие ничего не понимали, но поддакивали. Вот и вся эта слуга. Экие герои. Живут на воле долгие годы и без особых трудностей. Положения создаются людьми, сильные обязательно преодолевают препятствия и утверждают себя. А все эти болтуны, зарубежные бродяги пребывают в каком-то бреду и лунатизме, в оптическом обмане. Одна кри-

тическая статья Белинского во много раз полезнее для нового поколения, нежели игра в конспирацию, в государственных людей, вся напыщенная болтовня многих из наших изгнанников.

— И все-таки, — закончил Герцен спокойнее, — таких людей, как Сазонов, так просто нельзя сдать в архив. Он по природе своей бунтарь, кой-что полезное делал в февральскую революцию, и не случайно вечный странник. Вот только великого значения Белинского не понял достаточно. — Помолчав, Александр Иванович добавил многозначительно: — Государство Российское поставило многих из нас на пьедестал, загнав в тюрьмы и ссылки. Петрашевцы — это наши меньшие братья, как декабристы — старшие.

По пути в мирную Швейцарию Лиза остановилась в Париже, но и там ее национальность вызвала подозрение. Пришлось давать объяснения в полиции.

В первый же вечер, оставив маленькую приемную дочь Асю с няней в отеле, Лиза поехала послушать нашумевшую оперу Адольфа Адана «Жизельда, или Новая Психея».

Музыка удивила ее убогостью гармонии, отсутствием подлинной мелодичности и досадным подражанием в инструментовке замечательным мастерам Доницетти и Россини. Однако публика шумно выражала свое восхищение. Адольф Адан был в большой моде и затмил в то время Верди, Гуно и Мейербера. Могущественный журнал «Музыкальная Франция», возносивший или низвергавший композиторов, объявил его гениальным.

Во время антракта Лиза невольно прислушивалась к тому, о чем говорилось вокруг нее в партере:

— Ламартин разорен, не то продал, не то продает свое поместье Милли.

— Виктор Гюго в ссылке пишет «Отверженных». Первые главы великолепны.

— На императрице Евгении на последнем балу был атласный кринолин на двадцати четырех металлических обручах, украшенный ста десятью тюлевыми волнами.

— Александр Дюма-отец собирается в Китай.

— Ротшильд подарил певице Эмме Лаури бабочку, усеянную огромными бриллиантами.

— Французские и английские войска, несомненно, отпразднуют пасху в Севастополе. У русских нет больше ни снарядов, ни продовольствия.

— Парижский «Буфф» готовит оперетту Оффенбаха. В каждом действии танцуют канкан. Особенно отличается Селина Монталон; она сбивает носком своей туфельки цилиндр с головы партнера.

Центральные улицы Парижа показались Лизе неузнаваемыми. Всюду шла стройка, возводились леса. Наполеон III, несмотря на большие расходы, связанные с Крымской войной, которой не предвиделось конца, был охвачен лихорадочным стремлением прославить себя градостроительством. Он предпринял перестройку старинного города и пытался украпать его наподобие своего предшественника по династии — Наполеона I.

Бонапарт задумал создать Большой Париж и расширить его границы до окрестных укреплений, расположенных на расстоянии нескольких лье от центра. Сносились старые дома, уничтожались узкие улочки и тупички, прокладывались широкие проспекты, засаживались деревьями новые бульвары.

— Нужно уничтожить кварталы и предместья, которые созданы, будто нарочно, только для баррикадных боев и народных восстаний, — говорил император в кругу доверенных лиц. — Я приказал проложить громадную артерию, пересекающую Париж с севера на юг. Это будет удобно также для парадов. Я украшу мою столицу великолепными бульварами и домами, достойными Бонапартов.

Для гражданского строительства широко применялось, помимо камня, железо. Перестройка главного городского рынка преобразила весь квартал. Наполеон ассигновал двадцать миллионов франков на строительство оперного театра.

В лавках торговали суконами, зонтами, макинтошами из Англии, женевскими часами, китайскими и персидскими коврами, поддельной бронзой, почтовой и иной бумагой, автокарскими товарами из Германии. Но кое-где на дверях магазинов появились надписи: «Все, что здесь продается, — французское».

Купив несколько платьев и странное, никогда доселе не виданное в женском обиходе одеяние, состоящее из юбки и жакета и называемое, как и у мужчин, костюмом, Лиза поехала в Лозанну. Там она поселилась на спускающейся к озеру улице, самой чистой, доброприличной и скучной, какую ей приходилось видеть за всю свою жизнь.

Хозяйка отеля была весьма почтенная вдова. Она сообщила постояльце, что свежим цветом своего лица, глубокомыслием и отличным пищеварением она обязана тому, что шестьдесят восемь лет жизни ложилась спать ровно в десять часов вечера. В этот час засыпали швейцарские города.

Для Лизы начались томительные, скучные дни. В том же благонамеренном отеле, где она поселилась, снимали комнаты обеспеченные рентами старые холостяки и вдовы. Среди них было немало сумасбродов и чудаков. Бывший педагог, как скоро узнала Лиза, в течение многих лет был влюблен в свою собственную шляпу: он обращался с головным убором, как с живым существом, называл ее «мадемуазель», клал на отдельный стул во время еды, покупал ей особое место в театрах и всячески подчеркивал вежливостью и вниманием силу своих «шляпных чувств». Брат хозяйки отеля, красивый старик с представительной внешностью патриарха, оказался знатоком и составителем ядов, которые для большей точности исследования то и дело проверял на самом себе. Каждые несколько дней все жильцы меблированных комнат бывали охвачены чрезвычайным беспокойством ожидания — останется ли жить или умрет неусыпный ядоиспытатель от найденного им нового ядовитого соединения?

Знаменитый ядоиспытатель проникся к Лизе большой симпатией и однажды уговорил ее поехать к своему другу, специалисту по рыбам. Лиза очутилась в огромном стеклянном домо у озера Леман на окраине Лозанны, превращенном в необычайный аквариум, воссоздающий пестрое, узорчатое морское дно.

Щупленький, необычайно верткий старичок без всяких околичностей принялся, поребегая с места на место, восхищаться тем, что составляло главный предмет его жизни.

— Рыбы — самое прекрасное из всего существующего на земле, — говорил он, задыхаясь и просительно заглядывая Лизе в лицо. — Согласитесь, что я прав, не случайно человеческое воображение наделило искусительниц-сирен рыбьей чешуей. Они полурыбы. С рыбьей чешуей и окраской не могут равняться ни животные, ни тем более неуклюжие, бесцветные люди.

Лиза и не пыталась оспаривать слова столь вдохновенного апатока естественных наук. Но когда в течение нескольких часов подряд он читал ей лекцию о великолепии

обитателей рек, озер, морей и океанов, она ощутила приступ острой меланхолии и ненависти к рыбам. На помощь ей пришел слуга с докладом:

— Господин Сазонов.

Лиза вздохнула с облегчением. Неожиданный гость избавил ее от водного многословия хозяина дома.

— Я много слышала о вас, Николай Иванович, — приветила Лиза воспедшего господина лет сорока, в протеционном одеянии, состоявшем из чрезмерно узких светлых брюк и ярко-рыжего длинного сюртука. Большой бант под подбородком довершал вычурность его костюма. Манеры и осанка у Сазонова были барственные и внушительные. Но холеное болезненно-бледное лицо с широкими скулами, вялыми щеками казалось усталым и вместе брюзгливо-избалованным. Кожа на широком посу была словно покрыта паутинкой из лиловых и пунцовых прожилок.

Лиза знала многое о Сазонове по рассказам Бакунина и Герцена: этот человек крайних взглядов, мятущийся, участвовал в революции 1848 года в Париже и вместе с тем, в кутежах промотав свое состояние, дошел до долговой тюрьмы.

— Из России-матушки? — спросил Сазонов Лизу несколько глуховатым голосом и улыбнулся неожиданно грустной, старящей его улыбкой.

— Нет, из Лондона. Герцен говорил мне как-то, что вы были высланы из Франции в тысяча восемьсот пятидесятом году и в ту же пору Николай Первый лишил вас всех прав состояния и изгнал навечно из пределов своего государства.

— Да, было дело, — как-то смущенно ответил Сазонов и с явным беспокойством посмотрел на Лизу.

«Знает или не знает, что я под псевдонимом Штахеля печатаюсь ныне в петербургских «Отечественных записках», а не в «Современнике», где всем заправляет Чернышевский?» — подумал он. Но нет, Лиза ничего об этом не знала. Сазонов быстро успокоился.

— Для лучшего знакомства не угодно ли нам прочесть на досуге, как мой друг, почтеннейший Флокон, заступался за меня в своей газете. Я ведь тоже был ее редактором в тысяча восемьсот сорок восьмом году и ведал иностранным отделом. Да, это были лучшие дни жизни человечества, горячие, неповторимые годы.

Сазонов достал из сафьянового портфельчика измятый номер «Реформы» далекого 1850 года и отдал его Лизе. Он не скрывал, что гордился своим прошлым. Только днем позже Лиза прочла статью во французской газете о своем новом знакомом:

«Гражданин Сазонов, русский демократ, мирно жил во Франции в течение десяти лет, он женился здесь и три месяца тому назад предложил нам свое сотрудничество в деле всеобщего возрождения. Его обвинили в том, что он злоупотребил правом убежища, вмешиваясь во внутренние дела приютившей его страны. Это — или ошибка, или ложь. Сазонов занимался иностранной политикой, а так как теперь вся европейская политика совершается на севере, то кто же лучше, чем северяне, мог объяснить ее главную идею и цель. К этому прибавили упрек, несколько странный в демократической республике, в том, что русский изгнанник участвовал в велпком демократическом европейском комитете. Этот комитет никогда не существовал. Наш гость был редактором «Реформы». «Реформа» приговорена к смерти».

Лиза и Сазонов стали часто встречаться. Однажды они совершили прогулку по озеру Леман к Монтре, откуда открывается величественный вид на альпийские вершины. Сазонов был особенно разговорчив в этот день. Он многое изучил и повидал на своем веку, был дружен со многими интересными людьми. Лизе нравилась его манера говорить, несколько, впрочем, излишне гладкая и самоуверенная. «Точно с листа читает», — дивилась она про себя.

— Вам не надоели еще англичане? Они ведь переживают идеи и всяческие новшества веками, поколениями, воспринимают, как бы это точнее выразиться, атавистически.

— Нельзя, право, делать такие обобщения обо всей нации в целом. Англия дала миру Шекспира, Шелли, Ньютона, — попыталась возразить Лиза.

— Это исключения, подтверждающие правило, — настаивал Николай Иванович. — Революционная искра, скрытая сухно леса и степи на материке, еле тлеет в сырой траве острова, погруженного в туман. Сильна там броня традиций, застывших истин, переходящих от поколения к поколению. Швейцария, впрочем, в этом смысле младшая сестра Альбиона. Консерватизм и недоверие мелких буржуа безграничны. Это худшие из человеческих тварей.

Я выходец из помещичьей среды. И, признаюсь, рад, что не родился в семье лавочника или фабриканта. Узнав с детства крепостнический строй, сам по рождению дворянин, я смог подняться над своим классом и бросить ему вызов, да, именно перчатку. По образу мыслей и по направлению своему я, да будет вам известно, принадлежу к числу тех, которые верят, что наука и промышленность один только могут привести нас к завоеванию свободы, что в последующем своем развитии они дадут нам новые верования, новое искусство и гражданское устройство, согласное с требованиями и нуждами современного человека.

— Позвольте, — раздумчиво произнесла Лиза, — эти слова ваши не навеяны ли книгою, которую я читала давно, лет восемь назад, в Брюсселе? Она называлась, кажется, катехизисом коммунизма.

— Вы ошиблись названием. Это не катехизис, а «Манифест Коммунистической партии». Я не стихотворец, но считаю сей документ чистейшей, великолепнейшей поэзией. Хотите послушать его по-французски? Это мой перевод.

И Сазонов принялся наизусть читать отрывки из «Манифеста».

Закат, похожий на огромную радугу, перекинулся с горы на гору. Вода озера казалась такой плотной, что хотелось коснуться ее ногой и пойти к отлогому берегу. В Монтре один за другим вспыхивали огни. Становилось прохладно. Пароходик обратным рейсом повез Лизу и Николая Ивановича в смирную, чистую Лозанну.

— Я мечтал организовать журнал и привлечь в него Маркса, Герцена и Мадзини.

— Возможно ли? — удивилась Лиза. — А впрочем, это было бы очень хорошо. Все они, да вот еще Бакунин, самые замечательные человеколюбцы на земле.

— Вы ошибаетесь, я знаю всех троих, они совсем разные, — оживленно заговорил Сазонов. — Искандер — Герцен — не столько человек убеждений, сколько пылких увлечений; я знаю его больше четверти столетия, он порывист, неустрашим, но это не теоретик, хотя весьма способный, честный. Мадзини во многом с ним схож, но к тому же еще и непстовый фанатик. А Маркс... — тут Сазонов поднял руки, ему, казалось, не хватало слов, — гигант! Для него нужны иные мерила. Тут масштаб вселенский. Я враг авторитетов и вообще терпеть не могу немцев. Но

тут ничего не скажешь, он человечище, каких не сыщешь сейчас.

Сазонов весьма редко отзывался безоговорочно хорошо о ком-либо. Тем более неожиданно для Лизы прозвучала эта его похвала. Она смолчала; ее всегда настораживала чрезмерная похвала кому-либо. К тому же Бакунин передал ей двойственное, скорее неприязненное чувство, которое сам испытывал к Марксу.

Желая перевести беседу на другое, Лиза спросила Сазонова, какими путями, по его мнению, следует идти России.

— Извольте, я повторю то, что напечатал в своей брошюре, изданной Герценом недавно в Лондоне.

— «Родной голос на чужбине»? Я слыхала об этой вашей статье, но еще не читала ее.

— Я адресовал ее нашим пленным, привезенным из-под Севастополя во Францию. Я выдвигаю следующие три задачи:

Первая. Свергнуть иго царского правительства, сплошь из немцев, которое давно, с тысяча восемьсот пятнадцатого года, изменило народности и действует только в пользу царской фамилии и ее немецких родственников, забывая истинное величие России и счастье ее и все указания великого Петра. Для этого не надо нам иностранной помощи, мы и одни справимся, а отечество освободит от присяги и войско и народ.

Вторая. С новым русским правительством во главе мы все уладим у себя дома и по соседству. Дома мы немедля и без оговорки дадим всем крестьянам нашим разом и вольность и землю.

Третья. По-соседски мы подадим полякам братскую руку, и когда их независимость будет восстановлена, то вместе с ними займемся устройством всего славянского мира.

— Как прекрасно то, что вы сказали! Вот и Бакунин хотел того же, — не скрыла своего восхищения Лиза.

Давно уже сумерки растворились в черной ночи. Исчезло во мгле озеро и горы. Фальшиво играл оркестр в ресторане. Уныло перекликались пароходные сирены. Вдалеке, как сквозь густую вуаль, поблескивали огни маленьких швейцарских селений и городов.

Сазонов укутал Лизу клетчатым пледом и заговорил о том, как она привлекательна. Лиза не прерывала его.

Долгое одиночество измучило ее и невольно подстрекало, пробуждало желание чьей-либо близости. Лизе было уже больше тридцати лет. Она любила Бакунина долго и безответно, но не была никогда им по-настоящему любима. Что-то кошачье, ласковое, неверное и вместе капризное детское появлялось в Сазонове, когда он хотел понравиться женщине.

— Вам, конечно, говорили, что вы, как цыганка, зазывны и хороши. Жизнь наша стремительно несется к своему концу, и время цветения так коротко. Зачем же бежать от счастья? — нашептывал он вкрадчиво.

С большим трудом Лиза превозмогла себя и, отпрянув, вырвала руку, которую Николай Иванович пытался поцеловать.

Пароход причалил к голубой пристани Лозанны. На следующее утро в букете левкоев Лиза нашла письмо. Это было признание в любви. Она с ужасом поймала себя на том, что без конца перечитывает напыщенные, где-то как будто уже слышанные ею фразы, четко и красиво выписанные на листе кремовой веленевой бумаги:

«Вы похожи на южный цветок с чуть опавшими от засухи лепестками. Вам нужна живительная влага нежности и любви. Не отбрасывайте того, кто протягивает вам такое же усталое от жгучего одиночества сердце».

«А что, если не отринуть его, поверить, полюбить?» Лиза сидела в глубоком раздумье. И в это именно время к ней постучалась и вошла жена Сазонова. Это была дебелая, толстая перусская дама с отвисшими щеками, сухой нечистой кожей и густой растительностью над верхней губой, которую не мог скрыть густой слой белой пудры. Заняв половину плюшевого дивана своей особой, она приняла оживленно и даже с видимым удовольствием рассказывать Лизе о донжуанских похождениях своего мужа. Говорила она долго, но скупясь на разные подробности.

— А про Сибиллу Гесс и то, как поступил с ней мой Николя, вы, верно, слыхали в Лондоне? Он тогда и женился на мне. Так ей и надо. Все знают, что Мозес Гесс, ее муженек, уже не в силах поднять свою отяжелевшую голову, так много на ней выросло рогов.

— Что вам нужно от меня? — сильно пожелтев, как всегда, когда волновалась, спросила Лиза госпожу Сазонову.

— Ничего. Мне вас попросту жаль. Русские очень странные люди, и как они поступят, никогда нельзя знать. Но считаю нужным предупредить вас: если бы не Гесс, а потом я, Николя снова очутился бы в долговой тюрьме. Он в долгах, как в цепях.

Сазонова с трудом подняла свое пышное тело с дивана и важно покинула комнату. Лиза погрузилась в невеселые размышления. В висках у нее стучало. В это время, как апофеоз удручающего фарса, участницей которого она едва не стала, на улице перед окнами отеля раздались звуки шарманки. Слабый, довольно приятный мужской голос запел арию из модной оперетты «Корневильские колокола»:

И англичанки, немки, испанки,
И португалки, словом, весь мир,
Меня влекли, любовь дарили,
Создать сулили мне мой кумир.

А Лиза думала: «Отчего Сазонов, талантливый, знающий, в то же время никчемен? Вино, лень или безвременье растлили его? Какую бездну сил душевных сгубил он в себе попусту!»

Ей припомнился Бакунин. Было что-то схожее и вместе разное в этих людях, близко знакомых друг с другом, родившихся в одну пору и взращенных как бы в одной колыбели. Лиза содрогнулась и отогнала испугавшую ее мысль о тождестве этих двух людей.

«Бакунин стоик, самоотверженный боец, овеянный славой, а Сазонов, с его знаниями политики, истории, четырех языков, — краснослов и позер, неудачник, пустоцвет, жеполюб и кутила, — написала Лиза в своем дневнике. — Но виноват ли он в судьбе своей, в том, что стал таким? Как определить ту долю вины, что падает на каждого из нас, и ту, что зависит от нашего окружения и времени? Юность Сазонова, да и мою, определить можно только горценовскими словами — «нравственное душегубство». Оно убивает душу не только Алексеевским равелином и рудниками, но и бездушностью своей, страхом и подавленностью, и дивуешься, как могли у нас сложиться такие героические души, как декабристы, Белинский, Огарев, Герцен, Бакунин и все те, кто томится сейчас по делу Петрашевского на каторге. Эти люди всему учились, дерзали и гибли ради святого дела пробуждения и счастья России. Идеи их были романтичны и прекрасны. Они твердили людям

о героизме монтаньяров, пересказывали учение утопистов, проповедовали необходимость революции, сверхчеловеческого самодержавия, а главное, учили ненавидеть всяков насилие и произвол».

В феврале 1855 года умер Николай I. Крымская война окончилась для царской России тяжелым поражением. Падение геройски сопротивлявшегося Севастополя стало неизбежным. Одна неудача следовала за другой. Деспотичнейший из монархов оказался перед позором банкротства всей его системы. Умер ли он естественной смертью или отравился, как упорно говорили при дворе и в народе, но Николая I наконец не стало. Вздох облегчения вырвался из груди многих русских людей. Дышать стало легче. Точно вериги свалились с измученного тела России. Ждали амнистии, освобождения крестьян и верили в доброе будущее.

Вскоре весть о смерти Николая I дошла до Швейцарии и, воскресив заглохшие было надежды, всколыхнула русских людей в изгнании

Согласно Парижскому мирному договору, Россия лишалась права держать военный флот в водах Черного моря, но, за исключением небольшого района в устье Дуная, не потеряла других земель. Немногие оставшиеся в живых декабристы после двадцати девяти лет каторги и изгнания возвращались в Петербург и Москву. Шли смутные слухи о реформах, но ничего определенного не было. Лиза смогла наконец оставить постылую страну гор. Помочь Бакунину выбраться на свободу становилось отныне осуществимым делом. После краткого увлечения Сазоновым Лиза испытывала угрызения совести. Ей все время казалось, что она чем-то провинилась перед Бакуниным.

— Изменить можно и в мыслях, — говорила она себе с укором.

Тотчас же по приезде в Лондон Лиза узнала, что Бакунина из Шлиссельбургского каземата, где он находился, увезли на поселение в Сибирь. Местом жительства была определена Нелюбинская волость Тобольской губернии.

Утром в красивый коттедж в Примроз, где поселилась Лиза Мосолова, пришел Сигизмунд Красоцкий. Этот немолодой седоволосый поляк давно был ей очень симпати-

чей; но никогда обстоятельства не давали им возможности ближе познакомиться.

— Умер Ворцель. Гордость польских патриотов и святой человек. Не имея сил уже говорить, он написал за день до смерти своей: «...я выстоял мой черед, как слодует человеку, я донес мой крест, пусть другой меня сменит».

Не совладав с собой, Красоцкий зарыдал. И сразу сметская отчужденность, неуловимая преграда, встающая между душевно чистым мужчиной и женщиной, рухнула. Слезы человека, который плачет в жизни считанное число раз, тяжелы, как горные обвалы. Подавленный собственной слабостью, Сигизмунд смущенно сказал:

— Я проливаю слезы сегодня не один.

Вместе с Герценом, Мадзини и Красоцким Лиза пошла в один из первых дней февраля за гробом Ворцеля, этого замечательного демократа, участника польского восстания 1830 года. Он умер в бедной комнатке, находясь на грани полной нищеты. Английские друзья оплатили его похороны, итальянцы, русские, поляки, немцы, сменяясь, понесли его тело к могиле. Малиновое знамя обвивало простой гроб.

После похорон Красоцкий рассказал Лизе о последних часах Ворцеля.

— Приступы астмы окончательно добивали его хрупкое тело. Я не отходил от больного. Он жестом подозвал Мадзини. Тот приблизился. Мой учитель и друг едва слышно потребовал от нас обета, что до последнего вздоха мы будем бороться за то, чтобы Польша не была забыта при освобождении всех народов мира. «Клянитесь!» — приказал он, приподнявшись с узкого дивана, и лицо его преобразилось. Вдохновенная надежда, несокрушимая убежденность отразились в очах вспыхнувших и посветлевших глазах.

После долгой паузы Лиза спросила, хотел ли он что-либо передать жене и детям.

— Мадзини, его душеприказчик, когда писал под его диктовку завещание и последние письма к друзьям, задал ему этот вопрос. «Мне им нечего сказать», — ответил умирающий и отвернулся к стенке.

— Какой суровый приговор, он звучит, как проклятие, — заметила Лиза.

— Сын Ворцеля — видный русский чиновник, дочь, вышедшая замуж за графа, и жена, сохранившая богат-

ство мужа, никогда не только не протянули ему руку помощи, но и отреклись от него. Герцен о таких людях справедливо говорит, что они выжили из сердца, подобно тому как выживают из ума, — печалился Красоцкий.

Лиза заговорила о Бакунине.

По ее мнению, с которым соглашался и Герцен, новый российский самодержец, сорокалетний Александр II, не решится на такие реформы, которые освободили бы людей, подобных Бакунину, и ему не дождаться полной амнистии. Он обречен влачить жалкое существование в глуши, не принося пользы человечеству.

— Мы должны вырвать его из рук царя и его приспешников. Я ничего не пожалею для этого. Пошлите ему деньги.

Красоцкий обещал Лизе все разведать и помочь побегу ссыльного. Он чаще и чаще стал приходить теперь к Лизе Мосоловой в нарядный, окруженный зеленым палисадом домик, один из типичных в зажиточном квартале Примроз. Жизнь всех обитателей проходила в гостиной среди плюшевых гардин, штор, диванов, подушек и тяжелых кресел в дорогих чехлах. По стенам висели в золоченых рамах картины и литографии, изображающие охоту, бега и собак.

Лиза сняла дом и ничего не изменила в его обстановке. Ей казалось, что она в привокзальной гостинице, откуда вот-вот можно будет тронуться в дальнейший путь.

Красоцкий обычно находил Лизу в детской, где на полу, щебеча и смеясь, играла с шотландским черно-серым терьером Вудлсом маленькая курносенькая Ася. Худая веснушчатая Пэгги, ирландка-няня, обычно тут же что-либо шила за столом.

Сигизмунд, которому всегда были рады, усаживался постоянно на одном и том же низеньком детском табурете у камина. Лицо его прояснялось в этой уютной, благожелательной атмосфере, которой он был лишен уже более двадцати пяти лет.

— Я все еще думаю о Ворцеле и ему подобных, — сказала ему как-то Лиза. — Мне хотелось бы заглянуть в их души, такие глубокие и почти таинственные.

Она подошла к жардиньерке, в которой стояли вазоны с хрупкой сиренью, выращенной в оранжереях.

— Посмотрите, в этих соцветиях всего четыре лепестка. Это наши обычные сердца. А вот цветы с пятью лепестками; их мало, и считается доброй приметой, счастьем найти их. Это души избранных.

Лиза прижалась лицом к цветам и замолчала. Пэгги отложила шитье и отправилась в кухню готовить ужин. Ася уже уснула на ковре, прижав к груди плюшевого зайца. Красоцкий сидел не шевелясь. На его усталом лице отражалось недоумение. Но не только о Лизе думалось ему, а о том, что он внезапно понял и ощутил.

«Я люблю эту женщину и не могу больше обходиться без нее. Она не знает и не поверит тому, что и ее сердце — маленькая скромная звездочка сирени, состоящая не из четырех, а из пяти лепестков».

В 1857 году новый читальный зал Британского музея обосновался в специально выстроенном для него огромном здании. Многочисленные колонны украсили вход в эту сокровищницу Великобритании. Там все восхваляло мощь империи, силу колониализма.

Карлу очень понравился величественный читальный зал богатейшей из библиотек мира. Куполообразный потолок увенчивал круглый своеобразный храм, посвященный всему, что создано неповторимым произведением природы — мозгом человека.

Все постоянные посетители читальни имели определенные места, которые закреплялись за ними. Маркс выбрал пятый стол направо от входа, примыкающий непосредственно к стендам со справочниками. Он был обозначен буквой «С» и «№ 7».

Могучая черноволосая с густой проседью голова Маркса, его крепкий короткий нос, его глубокие блестящие глаза привлекали внимание посетителей читальни Британского музея. Но он не замечал в эти часы никого. Он был во власти дум и творческих порывов.

Марксу испытывал наивысшее наслаждение, отдаваясь мышлению. Способность эта казалась ему вершиной человеческого духа. Нередко вспоминались ему слова Гегеля: «Даже преступная мысль злодея возвышеннее и значительнее, нежели все чудеса неба».

Но мысль Маркса всегда была началом действия, творчества. Маркс готовил книгу «К критике политической

экономии». Он исследовал капиталистический способ производства от самого его возникновения.

Решение написать эту книгу возникло у Карла еще весной 1844 года в Париже, и это стало делом всей его жизни. Маркс говорил, что готов даже отказаться от плоды, в которой так нуждалась его семья, лишь бы издать труд.

В тишине читального зала Маркс просматривал десятки книг по истории политической экономии, перечитывая снова Адама Смита и Давида Рикардо, многочисленные новейшие исследования, статистические отчеты, статьи о состоянии промышленности и техники, сообщения о недавнем открытии золотых приисков в Калифорнии и Австралии.

Энгельс также глубоко проник во внутреннюю сущность капиталистического общества, и Маркс высоко ценил его выводы.

Лондон был в ту пору отличным наблюдательным пунктом для изучения противоречий и кризисов в буржуазном обществе. С этой вершины Маркс снова и снова обозревал мысленно весь мир, с потрясающей проникновенностью вскрыл и объяснил законы развития и гибели капитализма.

Обычно до семи часов вечера просиживал Маркс за книгами в читальне Британского музея. Непреодолимая тяга к курению заставляла его часто подниматься с удобного кресла, уходить в прилегающий курительный зал. С наслаждением затягивался он плохонькой, дешевой сигарой и медленно выдыхал горьковатый дым.

Иногда после долгого напряженного умственного труда Маркс отдыхал, перечитывая любимых поэтов. С юности помнил и любил боевые гордые слова Архилоха:

Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой,
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады, — твердо стой, не трепещи!

Иногда его захватывали увлекательные, изобилующие невероятными приключениями романы Лесажа, Поль де Кока и Дюма-отца. Это всегда давало отдых его переутомленному мозгу. Не меньше нравились ему исторические романы Вальтера Скотта, в которых он находил многое из истории шотландских предков своей жены.

Домик, снятый Марксом на Графтон-террес, был просторен и уютен. После мучительных лет нищеты и лишений на Дин-стрит Карл и его семья впервые жили в сносных условиях. Но страшные потери последних трех лет все еще угнетали душу Женни, хотя она и старалась не огорчать близких воспоминаниями. С особой нежностью брала она на руки трехлетнюю прелестную, всегда улыбающуюся Тусси, родившуюся за три месяца до смерти Муша. Тосковал по умершему мальчику и отец.

Лето и осень 1858 года были снова тяжелы для Маркса. Он работал часто до четырех часов утра, и не раз острые приступы болезни печени укладывали его в постель. Долги росли: газетчик, мясник, зеленщик, доктор, взнос в ломбард, башмачник и угольщик преследовали семью, как неотступный кошмар.

В 1858 году Бакунин поступил на государственную службу в Томске канцеляристом четвертого разряда, купил себе небольшой деревянный домик в этом тихом городе. Обо всем этом Лиза узнала от Герцена и тотчас же написала в Сибирь. Но Бакунин ей ничего не ответил. Это, однако, не изменило решения Лизы во что бы то ни стало помочь ему бежать из Сибири. Герцен и Красоцкий принимали в разработке плана побега живейшее участие.

Однажды Лиза услыхала, что Вильгельм Вольф в Лондоне, и решила повидаться с ним. Она нашла его значительно изменившимся и внешне и внутренне. Долгое изгнание и болезни, несбывшиеся надежды на более скорую революцию состарили Люпуса, он стал угрюм и раздражителен.

Поражение революции — испытание, которое трудно вынести бойцу. Пусть он знает и верит, что впереди неизбежна победа, но годы проходят, силы слабеют. Мысли о том, что не увидишь воочию то, чему отдал всю жизнь, зрелище предательства, трусости, отступничества, невозможно возникающее в момент разгрома, — все это нелегко пережить. Тоска по родине в старости, на краю могилы, особенно разрушительна и невыносима. Люпус напряженно трудился, много читал, стараясь не отстать от жизни, осмыслить все происходящее. Он был так же непреклонно уверен в правоте коммунистических идей, как и в дни создания Союза коммунистов, но часто грустил.

«Я не увижу рассвета человечества и обречен умереть беззвездной ночью», — думал он.

Вся неизрасходованная нежность и любовь одинокого холостяка, раздражительного в старости, сосредоточивалась теперь на Марксе и его семье, на Энгельсе и немногих оставшихся верными общему делу друзьях. Он жил более чем скромно в Манчестере и редко приезжал в Лондон. Лиза письменно условилась встретиться с ним на колониальной выставке в «Хрустальном дворце», который так напоминал обилием стекла брюссельский пассаж Гюбера, где они когда-то в кафе провели несколько замечательных часов более десяти лет назад.

В длинных залах с застекленными полками посетители выставки знакомились с самой мощной в мире промышленностью и завоеванными богатствами империи.

Непосредственно у входа расположен был индийский отдел — «непревзойденный алмаз великобританской короны». Образцы подземных сокровищ — угля, серебра, драгоценных камней, меди, золота — лежали под стеклом шкафов и витрин. Рис, фрукты, чай — все, что выращивает индийская земля, — было заключено в прозрачные банки и выставлено тут же, снабжено поясняющими этикетками. Панорамы демонстрировали «счастливый» быт порабощенного, страдающего населения. Даже страшный промысел — вылавливание с морского дна жемчужин — показан был приятным, как купание, легким, как ловля рыб на удочку, занятием.

— На свете есть еще только один, равный по хитрой лживости музей. Знаете ли вы, где он находится? Нет. Так я скажу вам. В Латеране, бывшем папском дворце в Риме, — сказал Вольф Лизе, когда они шли по выставочным залам. — Там почтенные монахи восхваляют подвиги миссионеров в Азии, Африке и на островах. Они рекламируют благодать, нисходящую на язычников, буддистов, магометан после того, как они признали церковное владычество римского папы. Точно так же и здесь, на выставке, выразительно разложив вещевой прейскурант непрерывно похищаемых колониальных богатств, развесив фотографии и цветные картины, нас стараются убедить, как много выигрывают туземные народы от проникновения английского капитала.

Вольф сначала с презрением, а затем и раздраженно осматривал выставку.

— Посмотрите на посетителей. Англичане, очарованные и польщенные размерами и сплой своей империи, узнают, откуда вывозится асфальт, масло, меха, уголь и где бурлит столь необходимая Британскому острову, порождающая мировые раздоры нефть.

Лиза с удивлением прислушивалась к словам Вильгельма Вольфа. Ей никогда раньше не приходилось сталкиваться с таким взглядом на развитие и экономику Англии.

— Видите, переходя от стенда к стенду, будущие купцы и промышленники соображают, чем и как выгодно торговать, будущие солдаты и колониальные чиновники изучают имперские границы, будущие мореплаватели отыскивают острова — причалы. Будущие политические деятели воспользуются, когда вырастут, этим «наглядным пособием» для пропаганды за или против существующего строя.

От витрины к витрине, с Мальты в Южную Африку, с острова Новая Зеландия, где климат и растительность так сходны с английскими, от Австралии к Тринидаду и к Ямайке переходили Лиза и Вольф, рассматривая неисчислимые колониальные богатства Британии. Долго стояли они перед картой и образцами ископаемых Индии.

— Хотите, я объясню вам в самых общих словах суть колониальной политики Пальмерстона? Пам заявляет: «Англия, не жалея затрат, несет цивилизацию миру. Ни фабрики, плантации и доки дают порабощенным народам кусок хлеба. Мы, британцы, облагодетельствовали их нашей культурой». А миссионеры, по мнению англичан, — это факелы на дне темной пропасти. Но в действительности Индия разорена и страдает.

— Вы правы, — широко открыв свои грустные глаза и благодарно сжав старчески сухую руку Люпуса, сказала Лиза. — Но как это раньше никогда не приходило мне на ум!

После осмотра выставки Лиза и Вольф зашли в кафе. Вольф казался крайне усталым и начал беспричинно раздражаться. Одышка мешала ему говорить; он достал флакончик с лаудышевой настойкой и, отсчитав несколько капель в стакан с водой, выпил их залпом. Когда ему стало лучше, разговор возобновился. Лиза рассказала ему о положении Бакунина.

— Вы правы, ему надо помочь вырваться из Сибири. Царь вероломны, а политика — стихия капризная и полна

казуистических превратностей. В свое время я сам бежал, как вы знаете, и этим вовремя спасся. Я поговорю с купцами, которые отправляются на Дальний Восток, и узнаю, что можно предпринять.

— От Томска до Владивостока, кажется, не очень далеко, — размечталась Лиза. Ей было так легко и приятно в обществе Вольфа, который с умной чуткостью понял все, о чем она умолчала. — Не знаете ли вы, как живет госпожа Маркс? Мне рассказывали, что она и ее муж перенесли немало горя и утрат за последние годы. Я несколько раз собиралась посетить их, но боялась явиться некстати.

Лицо Вольфа стало печальным.

— Древние говорили, — ответил он строго, — что боги подвергают особенно жестоким преследованиям именно своих избранников, чтобы испытать и закалить их души. Карл Маркс легко мог бы стать обеспеченнейшим человеком, но никогда он не отступит от своих железных принципов и мировоззрения. Такие люди, как он, только крепнут в беде и предпочтут любые лишения и неустроенность, лишь бы остаться верными себе и своим политическим взглядам.

Лиза подтвердила слова Люпуса кивком головы и подумала при этом о Бакунине.

— Недавно, — продолжал Вольф, — Маркс высказал свое кредо: «Несмотря ни на какие препятствия, я пойду к своей цели и не позволю буржуазному обществу превратить меня в машину для выделки денег».

— О чем пишет сейчас доктор Маркс?

— Он работает уже много лет над книгой по политической экономии. Там немало сказано о предмете, которого ему особенно не хватает.

— Что же это?

— Деньги. Вряд ли кто-либо так хорошо знает о них столько, сколько он, и не имеет их при этом вовсе, — с улыбкой закончил Вольф.

Из кафе Лиза и Вольф направились в расположенный неподалеку Кенсингтонский сад. Погожий осенний день был на редкость приятен. Белая прозрачная дымка тумана, смягчая краски, окутывала небо. Желтые, как песок на дорожках, листья деревьев слегка раскачивал свежий ветерок с моря. Пасущиеся на маленьких полянах овцы вяло выщипывали траву. Почти не разговаривая, любуясь

окружающим, Вольф и Лиза подошли к самому концу сада, непосредственно соединяющемуся с огромным Гайд-парком. Там был пруд, где множество бывших и будущих моряков, старцев и мальчиков, спускали на воду игрушечные лодки, пароходы и яхты. Дисциплинированные собаки на берегу с важным видом наблюдали за действиями своих хозяев, одобрительно махая хвостами. Покуда республики, опрокидывая попутные парусные челны, пересекали водное пространство, судохозяева бежали на противоположную сторону пруда, чтобы помочь им причалить. Несколько пешеходов самоучек-конструкторов в резиновых сапогах влезли в воду, чтобы испробовать свои модели. Порыв ветра вызывал внезапную бурю и аварию. Белые пароходики на воде были едва отличимы от тут же барахтавшихся чаек.

Лиза и Вольф долго простояли у пруда, наблюдая за игрушечным флотом. Они расстались у ворот Гайд-парка, договорившись о следующей встрече, когда Люпус еще раз приедет в Лондон.

Мысль о Бакунине не давала Лизе покоя. Однажды он приснился ей таким, каким она знала его в Брюсселе: огромного роста, полный, с холодными, светлыми глазами, с вьющимися каштановыми волосами, в которые приятно было погрузить руки. Во сне он был так ласков и нежен, как никогда в действительности, и, тяжело опустившись на колени, поднес Лизе желтые нарциссы.

Проснувшись поутру, она долго не могла понять, что мог значить этот сон. Ее преследовало ощущение близости Мишеля.

«Он, верно, сомневается в моей дружбе, удивляется, отчего я не еду к нему», — думала Лиза.

Когда Красоцкий пришел к ней в полдень, чтобы вместе пойти к Герцену, она сказала ему решительно:

— Бакунин ждет меня. Он горд и потому не пишет об этом. Мое место рядом с ним в ссылке. Я уезжаю в Сибирь.

— Так поступали жены и подруги декабристов. Вы им сродни, — не скрывая своей печали, сказал Сигизмунд и больше не говорил об этом столь огорчившем его решении.

В этот день они оба были приглашены к пятичасовому чаю на Финчли-роуд.

В небольшом садике перед двухэтажным домом за круглым столом собралась вся семья хозяина. Наталья

Алексеевна Огарева, прозванная некогда в семье Герцена «Консуэло», стройная молодая женщина с малопривлекательным, каким-то сплющенным лицом, на котором резко выделялся большой утиный нос, разливала чай. Мальвиды Мейзенбуг больше не было. После приезда Огарева и его жены она почувствовала себя лишней и покинула дом Герцена, оставшись, однако, его верным и самоотверженным другом.

Лиза, очень симпатизировавшая Николаю Платоновичу Огареву, почти все стихи которого знала наизусть, не могла преодолеть свою неприязнь к Наталье Алексеевне. Та отвечала ей обидным равнодушием, еще усилившимся, когда она узнала, что Мосолова сродни покойной Марии Львовне, первой жене Огарева. И сейчас дамы холодно раскланялись. Герцен же с нескрываемой радостью усадил Лизу рядом с собой. Красоцкий заговорил с Огаревым.

— «Колокол» гремит, это подлинный набат, — сказал он о боевом органе, издаваемом Герценом и его другом в Лондоне.

— Я получила письмо из Варшавы. Доставка наших изданий туда пока еще очень затруднена, — вмешалась Наталья Алексеевна, желая дать понять гостям, что и она принимает во всех делах прямое участие.

Лиза привлекла к себе сидевшую рядом старшую дочь Герцена — Тату, миловидную девушку с задумчивым и рассеянным выражением грустного лица, и начала спрашивать об успехах в живописи. Тата отлично рисовала.

Когда слуга унес чайник и посуду и все встали из-за стола, Герцен заговорил с Лизой, понизив голос:

— Я приготовил вам сюрприз — письмо, и как бы вы думали, от кого?

— От Бакунина, — едва выговорила Лиза и приложила руку к разбушевавшемуся сердцу. — Нет ли там чего-нибудь мне?

— Нет, но зато есть кое-что другое, весьма неожиданное.

— Что же это? — побледнев и как-то сжавшись, спросила Лиза.

И Герцен вдруг понял все, о чем она никогда никому не говорила.

«Вот осел, — мысленно обругал он себя, — да ведь тут драма. Пусть, однако, знает все, как оно есть». Скорбные

складки, четко видимые на энергичном и мужественном лице Герцена, от крыльев носа спускающиеся к губам и прячущиеся затем в усах, стали резче, темнее.

«Я жив, здоров, крепок, я женат, я счастлив...» — первое, что бросилось в глаза Лизе. Едва устояв на ногах, она вернула письмо, не в силах читать дальше.

Герцен, видя явное смятение гостьи, взял ее под руку и повел из сада в свой кабинет.

— Не хотите ли посмотреть альбом репродукций великого Терпера? Никто, как он, не передает блеклые краски английского неба, — нарочито громко заговорил он, увидев приближающуюся Огареву, которая ревниво наблюдала за ними.

— Да, Терпер в своих портретах хорош. Его краски так же нежны, как на полотнах великого Левицкого, — ответила Лиза, с благодарностью глядя на Герцена. Самообладание постепенно вернулось к ней. Сославшись на болезнь своей маленькой дочери, она вскоре распрощалась и, попросив Красоцкого не провожать ее в этот раз, уехала домой.

Она достала свой дневник, который не брала в руки уже много месяцев.

«Самое главное — научиться владеть собой, учил Гете, — писала Лиза. — Настоящая любовь думает не о себе, а о счастье любимого, даже если это разбивает сердце. Мне не пристало жаловаться на судьбу. Девять лет я жила одним чувством любви к Мишелю и черпала в этом не только одно горе... Спасибо ему! Не хочу уподобиться злой принцессе из сказки, которая от обиды и ревности коварно послала своего возлюбленного в шатер, где его ждала не желанная невеста, а голодная тигрица — смерть. Не только ради Мишеля, но ради себя самой не успокоюсь я до тех пор, покуда не увижу его свободным...»

Все письма на имя царя, которые посылала мать Бакунина с просьбой об облегчении участи сына, оставались без ответа. Новому царю нужно было еще одно унижение Бакунина, нужно было еще одно покаяние.

Через два года после восшествия на престол Александр II получил от Бакунина пространное прошение о помиловании. Узник писал:

«Государь! Одиночное заключение есть самое ужасное наказание; без надежды оно было бы хуже смерти: это — смерть при жизни... Но это жестокое одиночество заключает в себе хоть одну неоспоримую и великую пользу: оно ставит человека лицом к лицу с правдою и с самим собою. В шуме света, в чаду происшествий легко поддаешься обаянию и призракам самолюбия; но в принужденном бездействии тюремного заключения, в гробовой тишине беспрерывного одиночества долго обманывать себя невозможно: если в человеке есть хоть одна искра правды, то он непременно увидит всю прошедшую жизнь свою в ее настоящем значении и свете; а когда эта жизнь была пуста, бесполезна, вредна, как была моя прошедшая жизнь, тогда он сам становится своим палачом; и сколь бы тягостна ни была беспощадная беседа с собою, о самом себе, сколь ни мучительны мысли, ею порождаемые, — раз начавши ее, ее уж прекратить невозможно. Я это знаю по восьмилетнему опыту.

Государь! Каким именем назову свою прошедшую жизнь? Растраченная в химерических и бесплодных стремлениях, она кончилась преступлением... а раз вступивши на ложный путь, я уже считал своим долгом и своею честью продолжать его дальше. Он привел и повергнул меня в пропасть, из которой только всесильная и спасающая длань Вашего величества меня извлечь может...

Государь!.. Если бы мог я сызнова начать жизнь, то повел бы ее иначе; но — увы! прошедшего не поротишь! Если бы я мог загладить свое прошедшее делом, то умолял бы дать мне к тому возможность: дух мой не устрашился бы спасительных тягостей очищающей службы: я рад бы был омыть потом и кровью свои преступления...

...Каков бы ни был приговор, меня ожидающий, я безропотно заранее ему покоряюсь, как вполне справедливому, и осмеливаюсь надеяться, что в сей последний раз дозволено мне будет излить перед Вами, государь, чувство глубокой благодарности к Вашему незабвенному родителю и к Вашему величеству за все мне оказанные милости.

Молящий преступник *Михаил Бакунин.*

Царь повелел отправить Бакунина в ссылку на поселение.

По пути из крепости в Сибирь конвоир, жандармский поручик Медведев, с разрешения своего шефа князя Долгорукова привез арестанта в город Торжок, подле которого было расположено имение Бакунины. И вот в течение нескольких часов Михаил Александрович снова находился в премухинском раю, о котором мечтал во сне и наяву, на чужбине и в каменной щели тюрем. Не было в живых отца, недавно скончалась несчастливая Варенька Дьякова, но две другие сестры встретили его слезами и объятиями. Все так же замкнута, насмешлива и надменна была Александрина; нервна, экзальтированна и злаксива его любимица Татьяна. Она так и не вышла замуж, хотя перешагнула уже за сорок.

Мать, к коленям которой, как это бывало в детстве, припал сын, стала дряхлой, намученной старушкой. Михаил понял это, целуя сморщенную, узкую, как древний свиток, руку, которую он помнил такой гладкой, красивой. И в саду у дома состарились и медленно умирали березы; их он знал столько же лет, сколько самого себя.

Оглушенный пением птиц, голосами людей после восьмилетнего безмолвия, ослепленный светом и красками после мрака тюрем, едва державшийся на ногах, беспомощный, растерянный и нежный, как новорожденный, он вызывал жалость и беспокойство.

Освобождение из каземата. Наконец-то! Сколько крови, жертв, героизма, подвигов, преступлений, больших и мелких подлостей, отступничества совершается ради этого. Но Бакунин отгонял такие думы. Это омрачило бы долгожданную радость. Он вбирал всеми чувствами жизнь, наслаждался правом двигаться, дышать свежим воздухом, возможностью смотреть в окно без решеток и оставлять все двери открытыми настежь. Будущее казалось прекрасным, как и все окружающие люди.

После восьми лет существования по ту сторону жизни он снова гладил стволы деревьев, удивлялся красоте каждого растения, ложился на землю, чтобы коснуться щекой травы, смотрел на забытые было звезды и громко смеялся.

Он казался немного безумным, но сам не замечал этого. И говорил, говорил, говорил. Все его тело болело от слишком яркого освещения, шума. Сердце его вдруг

начинало биться быстро, неукротимо. Но время растворялось, прошло, и снова под охраной тактичного и молчаливого жандарма Бакунин отправился на восток.

В Омске секретный арестант был сдан начальнику штаба отдельного Сибирского корпуса.

Высылая в тайгу на поселение, Бакунин писал шефу жандармов генерал-адъютанту князю Долгорукову:

«Ваше сиятельство!

Пользуясь отъездом поручика Медведева, беру смелость писать к вам еще раз для того, чтоб в последний раз благодарить Ваше сиятельство за могучее ходатайство, спасшее меня от крепостного заключения, и за великодушное снисхождение, которое я имел счастие испытать в продолжение моего кратковременного пребывания в Третьем отделении и которое сопутствовало мне до самого Омска в лице поручика Медведева».

После недолгого пребывания в глухой Нелюбинской волости Бакунин был переведен в Томск, живописнейший городок. На новом месте Михаил Александрович устроился сразу же очень хорошо. Местное общество — богатые золотопромышленники, кой-кто из нищих на окраине империи наживы дворян — отнеслось к нему сочувственно и доверчиво. Получив немного денег от родных, Бакунин купил себе бревенчатый, уютный домик, предался счастливому отдыху и, главное, наслаждался созданием хотя не полной, но все же свободы.

Наконец-то он мог ходить, сколько хотел, по широким просторам, правда, в пределах нескольких верст вокруг города. Но и это было восхитительно. Он все еще бурно радовался окружающей природе. Долгое время глаза его болели, он плохо различал отдельные звуки. Его большое тело было расслаблением, и лоб постоянно покрывался испариной. Но постепенно он становился крепче, здоровее. Исчезла гримаса горечи, расправились могучие плечи. Он помолодел. Ему нельзя уже было дать его сорока четырех лет. Неодолимая жажда жизни охватила его в эту пору физического возрождения. Он как бы скинул с себя прошедшие в крепости годы.

Давая уроки французского языка, Бакунин часто бывал в семье обедневшего белорусского дворянина Кияковского, который в надежде на богатство променял род-

пую Могилевскую губернию на холодную Сибирь. Так и не сделавшись старателем, он поступил на службу к удачливому золотопромышленнику и жил безбедно с большой семьей. Его жена, полька, благоволившая к русским, охотно принимала гостей, тем более что в доме подрастали три дочери, миловидные, жизнерадостные яркие блондинки — Софья, Антония и Юлия. С двумя старшими девушками занимался французским языком Михаил Александрович.

Обе ученицы быстро поддались очарованию этого столь много видавшего и испытавшего человека. Ему же понравилась Антония. Убедившись в том, что встречает взаимность, Бакунин решил жениться. Он объяснился в любви и поведал девушке, как влечет его к себе тихая семейная жизнь. Был ли он искренен, говоря об этом, хотелось ли ему действительно после долгого одиночества и страдания иметь наконец свой семейный очаг? Любил ли он Антонию, которой годился в отцы, или надеялся отвести от себя подозрения правительства, с помощью брака заслужить доверие царя и Третьего отделения и быть прощенным? Мечтал ли о побеге, или, наоборот, собирался навсегда обосноваться в крае, сулившем многие служебные выгоды и быстрое обогащение?

Бакунин просил Антонию быть его спасительницей. Она, не скрывая своей любви, согласилась идти с ним под венец.

— Верьте мне, — убеждал ее Мишель вкрадчиво и пылко, — хотя я и мог бы называться ровесником самого гетевского Фауста и слишком стар, чтобы забавляться пустяками, я в то же время достаточно молод, чтобы любить вас и сделать счастливою.

Антония, с ее прозрачной кожей, ясными, ничего не выражающими огромными голубыми глазами и пышными волосами, напоминавшими цветом золото и платину, казалась ему то Прекрасной Еленой, то чистой Гретхен.

Родители невесты, особенно отец, сначала поражали против этого брака. Бакунин был ссыльным, без будущего, без положения в обществе, без состояния. Но то, что он приходился по матери родным племянником могущественному губернатору Восточной Сибири Муравьеву-Амурскому, положило конец их колебаниям.

Антония не сомневалась, что ее муж добьется в жизни всего, чего захочет, и слепо ему доверяла. Пышная,

шумная, хмельная, как принято в Сибири, свадьба состоялась без промедления, и молодожены поселились у Квитковских.

Прошел год. Бакунин все больше тяготился нудной повседневностью отдаленного северного городка. Мятущийся, честолюбивый характер не мирился с провинциальным прозябанием. В Томске некому было восхищаться его красноречием и начитанностью. Он изнывал от скуки в обществе болтливого тестя. Антония, пустенькая, добрая, не могла заполнить собой затянувшийся досуг Бакунина. Наконец хлопоты всесильного в этом крае Муравьева-Амурского увенчались успехом, и его родственник смог переселиться из Томска в Иркутск. Вся семья Квитковских последовала туда за дочерью и зятем. В большом торговом городе, резиденции губернатора Восточной Сибири, ссыльный, бесправный Бакунин попал снова к людям своего круга. Дома сановников Муравьева и Корсакова, а вслед за ними и другие открылись для него. Он был там желанным гостем и быстро прослыл человеком душевным, весьма образованным, всем сердцем раскаявшимся в своем прошлом и преданным российскому престолу. Купцы почитали за честь потчевать его у себя и помогать займом. Но с ссыльными революционерами Бакунин не поладил, всячески их избегал, обзывал сутягами и доносчиками.

Прямолинейный, крайне несговорчивый с власть имущими Петрашевский, живший в ссылке в Иркутске, бывшие декабристы и другие поселенцы презирали Бакунина. Ему это как будто было даже приятно. Чем руководился он в своем поведении? Хотел ли выслужиться, рассчитывал ли на царское прощение и милости, отводил ли от себя всяческие подозрения жандармов, чтобы осуществить побег?

Когда появилась у Бакунина мысль покинуть тайно Россию? Может быть, он решил это еще в Петропавловской крепости, в одиночной мрачной камере или уже в Томске, дав себе отчет, что обречен на жалкое существование отверженного.

Понял, что на родине нет применения его энергии и впереди ждет постылая зависимость и безденежье, он решил вырваться из ссылки. Переезд на глухого Томска в Иркутск значительно облегчал достижение этой цели. Осмотревшись, Бакунин увидел, что бескрайние просторы

Сибири, а главное, близость Амура и морской границы облегчает побег. Далеко, с противоположного конца материка, к нему протянулась рука помощи. Лиза после женитьбы Бакунина с еще большим жаром принялась искать путей для его освобождения. Она считала, что это ее долг — преодолеть чувство ревности. Деньги Лизы значительно облегчали бегство, о котором неотступно думал недавний арестант Шлиссельбургской крепости.

Завязав самые тесные отношения с местными чиновниками и богатыми золотопромышленниками, Бакунин принялся добиваться права передвижения по Сибири. Униженно описывая бедность свою и своего семейства, он убеждал начальство, что нуждается в разъездах, дабы, промышляя и торгуя, зарабатывать этим средства к существованию. Упорство его преодолело колебания администрации, и наконец сам генерал-губернатор Сибири Корсаков уважил просьбу Бакунина, взяв с него честное слово, что он ничем не нарушит закона. Бакунин охотно поклялся в этом. Разрешение было дано. Вплоть до самого моря мог он отныне свободно передвигаться по великой Сибири. Ему даже разрешалось плавать на казенных судах по Амуру.

Кяхтинский купец Сабашников нанял Бакунина к себе на службу и предложил ему отправиться на Амур для осмотра тамошних мест и выяснения, годны ли они для промышленных и торговых предприятий. Получив разрешение от Корсакова, Михаил Александрович стал готовиться к отъезду. Его белокурая красавица жена была посвящена им во все планы. Он всегда доверял женщинам, которые его любили, и не имел повода раскаиваться в этом. Накануне расставания Бакунин заверил Антонию, что он любит ее безмерно.

— Если, бог даст, все удастся и судьба будет ко мне благосклонна, мы встретимся в Англии. Поезжай туда через Петербург. Я буду ждать тебя, мой ангел-хранитель, у Герцена.

На рассвете, заверив родственников жены, что через два месяца воротится, Бакунин отправился по Ангаре к Байкалу. Было ослепительное утро. Белокаменный Иркутск на горе выглядел особенно красивым. Ярко блестели золоченые купола его собора и церквей. Ангара казалась волководной настолько, что в совершенно прозрачной воде отчетливо видно было серо-зеленое каменистое

дно. Скоро, как-то совсем неожиданно, появился обманчиво спокойный, огромный Байкал. Бакунин, несмотря на тщательно скрываемое беспокойство и поглощенность тем, что его ожидало, все же отдавался созерцанию величавой, неповторимой красоты окружающей природы. Исполинские сосны, подступившие к самому озеру, пронизанные потоком солнечного света, подавляли своим совершенством и величиной. Так теряется человек перед зрелищем горных вершин и бушующего океана. Природа достигла творческого предела. Это лучшее из того, что ею создано. Таковы сибирская тайга и озеро Байкал.

Вместе с Бакуниным ехали несколько видных иркутских чиновников и военных, а также инженер-механик Маюров, человек с толстым красным лицом, любитель выпить, поиграть в карты, ищущий возможности быстро, легко разбогатеть. Природу он рассматривал жадно и презрительно, как тряпичник мостовую.

— Скажите, господин Бакунин, что можно извлечь из этой штуки? — Он указал на стройную, уходящую в небо сосну с ярко-зелеными пушистыми ветками, которые раскачивал, будто исполинское опахало, теплый ветер с Байкала.

— Из нее, пожалуй, выйдет корабельная мачта, — без удивления ответил Михаил Александрович, — да и сотня других полезных предметов. Думаю, она не менее щедро способна облагодетельствовать человека, нежели кокосовая пальма, к примеру. А первенство по красоте я без колебания отдам нашей царице лесов.

— Красота, батенька, как сказал философ, есть потрясение нервов. Из нее шубы не сошьешь, и признаю я эту самую красоту только у женщин, — пробурчал Маюров и предложил своему спутнику распить бутылку водки. Бакунин отказался. Полное самообладание и ясность мысли были сейчас ему совершенно необходимы.

— Ну, одной красоты маловато и у женщин. Им еще и знания нужны.

— А я, знаете ли, тут полностью разделяю таежные взгляды: «Поменьше учености, побольше бюста». Скажу я вам, батя Михаил Александрович, — захохотал Маюров, — опротивел мне этот будто бы богатейший край. Живут тут одни только каторжники, отщепенцы, забулдыги и всякое отребье рода человеческого. Заметили ли вы на знания селений здешних, вот хоть бы от Иркутска к Крас-

поярску: Решеты, Кандалки, Каписки, Железы. Простите, я, кажется, па больное место ваше наступил. Но дворяне и в кандалах благородства не теряют. Скажите, однако, орел мой, что думаете вы о Сибири в смысле, так сказать, экономическом?

— Это край благословенный, хранящий неиссякаемые, необъятные богатства в дебрях своих, в лесах и на поверхности земли, — оживился Бакунин. — Он таит в себе силы свежие, будущность великую. Для умелого и даровитого человека здесь на каждом шагу кладези. Это, если хотите, земля сокровищ. А что до отверженных и заблудших сынов России, то Сибирь самим провидением создана для возрождения их судьбы. Она не может не обновить человека, и все, кто посреди преступных заблуждений сохранил душу свою неприкосновенною, а также силы и волю для правильной жизни, находят в сем сказочном диком краю свое счастье и благосостояние. Надеюсь и я быть в их числе.

Маюров вслушивался в слова собеседника, как в песню.

— Как вы, Михаил Александрович, речь ведете. Родится же человек эдаким краснословом! А я дипломи и знания кой-какие имею, на Амуре рысь либо тигра кладу наповал с одного выстрела, да вот говорить не мастак. Беден мой язык. Не Демосфен я и не Гизо. Значит, говорите, разбогатеть в Сибири можно даже и порядочному человеку?

Так, в беседах, развлекаясь на частых и длительных остановках рыбной ловлей, охотой, собиранием ягод, игрой в карты, медленно подвигались Бакунин и Маюров по Амуру к Николаевску и прибыли туда на пароходе лишь в самом начале июля.

Вместе с ними в тот же день приехал в Николаевск и молодой мичман Бронзерт, которому в Иркутске был дан секретный пакет с обозначением «нужное» для передачи по приезде генерал-губернатору Приморской области Восточной Сибири. В нем находилось сообщение о том, что Бакунин находится под надзором полиции. Но вместо того, чтобы передать пакетный документ непосредственно по назначению, мичман оставил его в Иркутске своему другу, который на другой день внезапно тяжко заболел. Лишь спустя два месяца дошло уведомление о поднадзорности Бакунина до адресата.

Ровно неделю находился Бакунин в Николаевске и завел много знакомств среди чиновников и купцов.

В маленьком скромном домике с палисадником и мансардой на речной набережной жил старый аудитор военно-посудной комиссии при штабе Приморского округа, коллежский асессор Фамилии Котюхов. Это был старательный чиновник, скрупулезный, богобоязненный и весьма надоедливый желанием все соваться и изобличать. Комнаты его были увешаны портретами усопшего и ныне здравствующего императоров, иконами, патриотическими картинками на время Отечественной войны и покорения Кавказа. Любимым героем считал он Кутузова, молился Георгию Победоносцу. Немногие ссыльные, живущие в Николаевске, уважали аудитора за его отзывчивость, трудолюбие и честность. Он не брал взяток, не пьянствовал, не играл в карты и не развлекался жестокостью.

Июльским вечером накануне исчезновения Бакунина из города к домику аудитора дважды приходил весьма взволнованный старик в поношенном картузе и ветхом платье. Примечателен он был тем, что лицо его до бровей заросло волосами. Во второе свое посещение, узнав, что хозяина дома все еще нет, он обратился к широкоскулой пожилой прислуге с просьбой:

— Почтеннейшая, обещайте мне тотчас же, как только Василий Григорьевич вернется, вручить ему мое письмо. Сие очень важно и не терпит отлагательства.

Женщина, ответив что-то маловразумительное, вытерла о фартук руки, осторожно взяла запечатанный конверт, понесла его в комнату и положила на стол у хозяйской постели. Позднее она вошла снова, взяла лампу, подлила керосину, зажгла ее и поставила, не заметив, что при этом прикрыла письмо. Только на другой день, вернувшись из присутствия, старый аудитор случайно обнаружил его.

«Небезызвестный нам Бакунин приехал сюда затем, чтобы бежать за границу. Это я знаю достоверно, — писал хорошо знакомый Котюхову ссыльный Гиляр Вебер. — Если бы я, лицо частное, явился к лицу официальному и вздумал рассказать, что мне известно о планах Бакунина, то это не только имело бы вид доноса, но и было действительным доносом; заслужить же на старости лет название доносчика мне бы страх как не хотелось. Вы дело другое. Вас я знаю...»

Далее подробно описывался план побега Бакунина. «Чтобы вам не показалось странным и непонятным мое желание удержать от побега Бакунина, я в кратких словах расскажу вам причины, заставившие меня вмешаться в это дело. Эти причины заключаются в следующем: 1) Я чувствую нелицемерную благодарность к нынешнему царю за многие милости, излитые на моих соотечественников и на меня самого. 2) Я глубоко убежден, что побег Бакунина сделает много зла его жене, семейству его и генералу Корсакову, а не принесет решительно никакой пользы ни человечеству, ни России, ни даже ему самому. Бакунин не в состоянии сделать никому добра: это олицетворение эгоизма. 3) Побег Бакунина повредит многим из моих соотечественников, находящимся в изгнании, потому что правительство из опасения, чтобы подобные случаи не повторялись между политическими преступниками, усугубит, без всякого сомнения, надзор за этими несчастными».

Прочитав сообщение Вебера, не теряя ни минуты, Котюхов побежал на пристань.

— Где капитан Сухомлин, где клипер «Стрелок»? — крикнул он, остановив первого проходившего мимо матроса.

— Эка вспомнили! — удивился тот. — Повел на буксире иностранное судно к морю.

— Далеко ли ушли?

— По лиману быстро не пойдешь.

— Какое судно повел «Стрелок»?

— Американский барк «Викерн».

Старый аудитор схватился за голову.

— Предатели, взяточники, царя обманули, — бормотал он. — Конечно же, не без Хитрово и Филиппеуса дело сотряпалось. Немалый, видно, куш отхватили, ну и обдурили юродивого своего начальника. Не губернатор, а стыд и горе края.

Охая и вздыхая, Котюхов бросился к начальнику штаба Приморского округа Афанасьеву и рассказал все, что знал о намерениях беглеца.

— Если выслать готовый к отплытию «Амур», на котором Бакунин прибыл к нам, легко можно нагнать клипер, — настаивал он. Но Афанасьев слушал его рассеянно и отпетил с подчеркнутым равнодушием:

— А нам с вами что за дело до Бакунина, пусть себе бежит. В ответе за него не мы будем, а генерал Корсаков.

— Да ведь Бакунин государственный преступник, ссыльный, состоит под гласным надзором полиции.

— Откуда, сударь, вам это известно? Никаких предписаний на этот счет из Иркутска к нам не поступало, а вот разрешение генерал-губернатора ездить ему по всей Сибири и даже на казенных судах я сам видел.

Котюхов с присущим ему упорством не отступал:

— Вам, начальнику штаба, не пристало равнодушно относиться к побегу. Каждый благонамеренный русский обязан помочь поимке Бакунина. Снарядите погоню.

Афанасьев внимательно посмотрел на горячившегося аудитора и вдруг сказал твердо:

— Вы, пожалуй, правы. Время еще не упущено. Командир «Стрелка» не скоро доберется до Де-Кастри, потому что, по своему обыкновению, посетит все бухты на лимане, а я между тем успею послать предписание «Амуру» плыть на Кызи и дальше.

— Слава богу, — облегченно вздохнул Котюхов и вышел.

«Амур» разводил пары. На фонарных столбах висели объявления, что пароход отправляется в Благовещенск.

Прежде чем идти домой, неуемный аудитор отыскал Вебера и допросил его сурово:

— Откуда узнали вы все о Бакунине? То-то теперь начнется дознание, притеснения и неприятности. Кто же способствовал его побегу?

— Извольте, добрейший Василий Григорьевич, я вам все как на духу расскажу. Бакунин, о котором писали мне друзья неоднократно из Иркутска, право, отвратителен, и не хочу я, чтобы ради его тщеславия и мерзавтильности страдали ни в чем не повинные люди. Вчера сей самовлюбленный краснобай запел ко мне. Я ведискал с ним сближения и встретил недружелюбно. «Вы мне не верите и относитесь апатично, но я готов сделать вам преважное признание», — начал он и рассказал далее о том, что, давая честное слово Корсакову не бежать из Приморья, твердо решил сделать обратное. В Лондон зовут его, мол, Герцен и другие единомышленники. Много произнес он выспренних и пустозвонных фраз, любуясь собой и своим красноречием. Человек он путаный, вредный,

Аудитор, расставшись с Вебером, хоть и был он очень утомлен, снова свернул к пристани. Прошло уже несколько часов после разговора Котюхова с Афанасьевым, давно стемнело, а «Амур» не только не двинулся с места, но и огни на нем погасли.

Только спустя двое суток поплыл пароход в Кызи и повез предписание начальника штаба округа задержать и вернуть в Николаевск беглеца. В это время американское судно увозило Бакунина далеко прочь от российских берегов. Сидя в кают-компании за стаканом вина, раскрасневшийся, счастливый, самонадеянный Бакунин громко рассказывал историю своей жизни нескольким пассажирам и капитану корабля:

— Кто я такой? Сын помещика Тверской губернии, воспитывался в артиллерийском училище, произведен в прапорщики и тут же уволен в отставку. Как видите, чин не велик, да я и не метил в генералы. Слыхали ли вы о повешенном царем декабристе Муравьеве-Апостоле? Это близкий родственник моей матери. Родившись аристократом, я, подобно ему, не мог покорно терпеть произвол государей и рабство, в котором находится простой народ на моей родине.

Бакунин встал. Он казался гигантом в небольшой каюте и, рисуясь своим ростом и внушительной внешностью, прошелся по ковру к иллюминатору.

— Самая большая загадка на земле — это судьба человека. Мог ли думать я, дважды осужденный на смерть, прикованный цепью к стене прусской тюрьмы, восемь лет погребенный заживо в крепости палача-царя, что буду свободен, как океан. Жизнь моя начинается снова.

Когда Бакунин ступил на землю Великобритании, аудитор Котюхов подал прошение об отставке, так как навлек на себя жестокую немилость начальников и в первую очередь Афанасьева.

Но следствие по делу о побеге Бакунина только начиналось.

Приближалось рождество — Христмас — самый любимый и веселый праздник на Британском острове. Лиза заперлась в своей комнате, чтобы составить список необходимых подарков. Маленькой Асе и Оле Герцен предназначались куклы и мячи, Красоцкому новая скрипка,

нис Нэгги клетчатая шотландская шаль, различным знакомым нарядные курительные ящички, флаконы с цветочными эссенциями или торты. Для Герцена и Огарева Лиза давно заказала два настольных золоченых колокола, издававших мелодичный звон.

Проверив, не забыла ли кого в длинном перечне, Лиза отправилась в наемном старом, скрипящем кебе, запряженном меланхолической лошаденкой, на Бонд-стрит, в большой пассаж и многоэтажные дорогие магазины.

«В Лондоне, — утверждали яркие, расклеенные на тумбах рекламы, — вы можете купить все, что производится на нашей планете».

В лавках, торгующих собаками, были представлены все существующие на земле породы: от китайских плосконосых мохнатых пекинезов, тибетских бесшерстных узкоглазых сторожевых псов, запрещенных к вывозу самим далай-ламой, до обрюзгших, насмешливых французских бульдогов и нушистых ньюфаундлендов.

Индус без труда мог отыскать в английских магазинах шаль, сотканную и расшитую на его родине, житель Малайских островов — знакомые бамбуковые плетенья.

Лондонские лавки имели свои особенности и разнились от таких же во Франции или Германии. Там — шум ярмарки, пестрота, путаница, загроможденность рынка, в Англии — тишина, порядок, простор хороших контор или банка.

В огромном магазине поставщика королевы молодой титулованный денди легко отбирал все, без чего не мыслил он жизни: полное снаряжение для лодочных гонок, костюмы для верховой езды и ужения рыбы, набор трубок, модные галстуки и носовые платки, ручную обезьянку для скучающей кузины, старинный портсигар для клубного приятеля. Придворная дама узнавала там творения французских портных, законодателей моды. Знатная невеста находила для своего приданого белье, перчатки, чулки, одеяла и обстановку, ручной работы вышивку, старинную мебель, картины и породистых собак «поставщика ее величества».

Другие лавки отдавали предпочтение английской шерсти, ярким тканям, к которым такое пристрастие у народа, погруженного в серый кисель неба, моря и камня. На их витринах разложены были светлые, сборча-

ные в полсе брюки, рыжие сюртуки и огромные кастрюли из бархата — дамские шляпки, похожие на воронье гнезда, и надевасмые па кончик головы «свиные пирожки», опрокинутые на лоб, оставляющие открытым затылок.

В отделе «роскоши» седоволосые, всегда улыбающиеся приказчики из породы «верных, послушных слуг», кроме серебряных сервизов и фруктовых ваз, тяжеловесных и унылых, как керосиновая лампа, показывали многочисленные колониальные творения: костяных божков, звериный колониальные творения: костяных божков, звериный, жриц индийских храмов, плетенья, циновки и кружева с острова Мартиники, шкуры животных и драгоценные камни из Южной Африки.

Черногорские, лапландские и венгерские крестьянки вышивали для англичанок блузки, мережили бельс, вязали платки и детские платья. Австрийские и немецкие кустари также доставляли в Англию свою продукцию. Большие многоэтажные магазины хищно скупали товар разорившихся фирм и ловко опутывали, забирая в рабство, мелкие обувные, одежные, столярные, шляпные мастерские в Уайтчапеле и Сохо и продавали всю их не находящую сбыта продукцию под своей маркой.

Лизе доставляло большое удовольствие рассматривать красивые безделушки и покупать то, что ей нравилось. Как настоящая женщина, она не удержалась от примерки тафтового кринолина модного, переливающегося от зеленого к красному, цвета. Радостно было одаривать друзей и мечтать о том, как обрадует их тщательно продуманный подарок. К вечеру, усталая, оживленная, нагруженная всевозможными пакетами и свертками, Лиза вернулась домой.

В детской она услышала веселый визг и гомон. На ковре животом вниз, поджав ноги, полз, изображая черепаху, Сигизмунд Красоцкий.

Завидев мать, раскрасневшаяся Ася бросилась к ней.

— Дядя Сиг такой смешной. Он хотел, чтобы я была обезьянкой.

Лиза прижалась губами к маленькой головке, чуть вспотевшей от беготни девочки. Запах, исходивший от мягких детских волос, напоминал ей своей нежной при-

— Я купила тебе подарки, дарлинг. Что бы ты хотела?

— Папу, — сказала девочка.

— Кого, кого? — растерялась Лиза.

— Только дядю Сига. Я хочу, чтобы он был не чужим папой, а моим папой.

Ася вприпрыжку побежала к Красоцкому и охватила его ручонками. Совершенно смущенный, он продолжал все еще лежать на полу.

— Иди и позови Пэгги, — напялась Лиза.

Тогда Красоцкий поднялся и подошел к ней.

— Пусть наивные пожелания ребенка вас не смущают, — сказал он, заикаясь от волнения.

— Послушайте, друг мой, вам под пятьдесят, а мне под сорок. Позади большая жизнь и опыт. Нам не пристало говорить языком юности. Если вы любите меня, какая я есть, со всеми моими непоправимыми ошибками... Но что с вами, отчего вы так бледны? Не больны ли вы?

— Нет, Лиза, я, верно, принадлежу к племени Азра, люди которого, как пишет Стендаль, умирают от любви.

В этот особенный для Сигизмунда и Лизы вечер они решили повенчаться в день Нового года, без оглашения и гостей.

Рассылая визитные карточки в традиционные дни рождества, Лиза нашла у себя адрес Женни Маркс, который взяла у Вольфа. Ей вдруг сильно захотелось увидеть эту женщину, в которой все внушало уважение и симпатию. И, поддавшись этому когда-то вспыхнувшему чувству, Лиза без долгих размышлений решила отправиться с визитом на Графтон-террес Мейтленд-парк.

На столичной окраине, где жила Женни Маркс, наемный фиакр с трудом продвигался вперед. Здесь был хаос созидания и стройки. Кучи щебня, глины, балки с раствором, ухабы и рытвины препятствовали всякому передвижению. Был праздник, и рабочих не было видно возле начатого строительства. На большом пустыре среди нескольких недостроенных зданий Лиза отыскала дом № 9.

Задержав кебмена, она поднялась по нескольким ступенькам и на квадратной, каменной площадке принялась о скобу счищать грязь, густо облепившую ее высокие шнурованные ботинки. Заметив висевший на цепочке молоточек, постучала по металлической пластинке. Спустя в боковом узком окне появилась женская голова,

повязанная платком, и затем входная дверь отворилась. Елена Демут вопросительно смотрела на гостью. В это время позади нее раздался голос Женни:

— Входите же, пожалуйста. Очень рада видеть вас. Это та русская дама, с которой Люпус познакомил нас еще в Брюсселе. Помнишь, я тебе рассказывала, — пояснила она Ленхен, которая недоверчиво продолжала рассматривать Лизу, сразу почувствовавшую неловкость оттого, что была столь богато одета. Шуба, отделанная соболями, доставшимися ей по наследству, заняла всю вешалку в маленьком холле.

Комнаты в доме, которые Женни показала Лизе, были очень миниатюрны, светлы и уютны. В полуподвале находилась кухня, на первом этаже по одну сторону — большой кабинет Маркса, а по другую — крошечные столовая и гостиная. Крутая лесенка вела наверх, где были узенькие спаленки для взрослых и детей. По сравнению с двумя каморками на Дин-стрит этот домик казался его обитателям пределом возможной роскоши, простора и удобств.

Когда Женни усадила Лизу в гостиной и Ленхен подала скромно сервированный чай с сандвичами, с прогулки вернулись Женнихен, Лаура и Тусси.

Обе старшие девочки несколько смутились, когда мать представила их незнакомой даме, но Тусси, прелестный трехлетний ребенок с румянцем во всю щеку и озорными глазенками, тотчас же очутилась на коленях у Лизы. Так же сердечно приветствовал ее большой черный кот с зелеными дикими глазами, пришедший вместе со своими юными хозяйками.

— Вас любят дети и животные, а это безошибочно хороший признак, — сказала громко Женни, искоса поглядывая на недовольную Ленхен.

— Вы русская? — зардевшись от смущения, спросила Женнихен. — Значит, вы рабовладелица. Вы привезли, верно, своих невольников с собой? Мне очень жаль этих бедных людей.

— У меня нет рабов, — тоже покраснев, отвечала Лиза, — я уверена, что этот позор кончится на моей родине и все люди будут свободными.

Лаура, неотрывно рассматривавшая гостью, вдруг сказала по-русски, четко выговаривая слова:

— Вы красавица.

Лиза широко раскрыла глаза, услыхав слегка искаженное лишней буквой «ш» лестное русское слово, обращенное к ней тоненькой очаровательной девочкой.

— Красавица не я, а вы, Лаура, — ответила она по-русски.

— Я знаю только это одно слово на вашем языке — красавица, Бьюти. Дядя Энгельс научил меня. Он хорошо говорит по-русски и переводил как-то мне и Квиш, — она указала на старшую сестру, — стихи Пушкина.

Лиза взяла со стула огромную соболью муфту и вынула нарядную бонбоньерку с конфетами.

— Это мне, я маленькая! — крикнула Тусси, вскочив со стула.

Госпожа Маркс сурово посмотрела на дочь и приказала ей выйти из комнаты, но та в ответ только надула губки:

— У Мавра совсем нет денег, и на рождество никому не купили подарков.

— Гадкая девчонка, — со слезами на глазах произнесла Лаура, — у нас есть все.

— Нам ничего не надо, — добавила старшая из трех девочек.

— Муж на этих днях заканчивает большую многолетнюю работу по политической экономии, а «Нью-Йорк дейли трибюн», где он печатает постоянно свои статьи, платит очень неаккуратно и мало. В новом году все будет по-другому. Господин Лассаль, о котором вы, верно, слыхали, уже договорился с издателем в Германии, и книга на днях будет туда отправлена.

Женни пыталась казаться беспечной, но ей это плохо удавалось. Она вспомнила, что в доме нет денег даже для отправки издателю рукописи, дописываемой Марксом. Лизе становилось все более тяжело, и чувство стыда за свое богатство вдруг проснулось в ней с новой силой. Глядя на усталое, бледное лицо Женни, на ее более чем скромное будничное платье, она думала, как бы помочь Марксу и его семье, но понимала, что от чужого, мало знакомого им человека они никогда ничего не примут. Помогать им было привилегией только самых дорогих и близких единомышленников.

— Прошу вас, не забудьте, что во мне вы имеете преданную душу, не могу ли я быть вам полезной? — не-

смело предложила Лиза, собираясь уходить после короткого визита.

Но Женни ответила ей только вежливым и холодным изъявлением благодарности.

— Я очень признательна, но, право же, нам сейчас ничего не нужно.— Она не сказала больше ни одного слова, но Лиза прочла невысказанную мысль: «От вас, богатой дамы, такой же нам далекой, как все ваши друзья».

Когда Лиза ушла, Ленхен смогла наконец высказать свое недовольство.

— Пустозвоны, бездельники, являются показать нам свои меха и бриллианты. Последний сахар ставь им на стол и чай заваривай. А вы, по своей слабости, готовы тратить на них время. Кто только не приезжал и не торчал у нас бог весть сколько, а откуда что берется, не спрашивал. Сколько стоило нам пребывание всяких гостей? Можно было бы за год уроки музыки наших девочек оплатить этими деньгами. Тратитесь, точно миллионеры, как только появится хоть один лишний пенс в доме. Говорю все это я, впрочем, попусту. Горбатого могила исправит, — сердито бурчала Ленхен и, махнув безнадежно рукой, спустилась по крутой лесенке в кухню, где было холодно и пусто. — Праздник, а у нас ни гуся, ни пирога, ни ломтика ветчины, которую так любит Карл, — горевала она.

Лиза, вспоминая свой визит на Графтон-террес, долго испытывала тягостное чувство. В день Нового года она вышла замуж, но вскоре Сигизмунд Красоцкий тяжело захворал. Черные и желтые туманы, сырой, бессолнечный климат острова, где он жил изгнанником, воскресили старую болезнь, нажитую после поражения польского восстания 1830 года. Лютая чахотка грозила свести его в могилу, и, по совету врачей, Лиза покинула Англию. Она увезла больного мужа и маленькую приемную дочь на прославленные воды французских и немецких курортов. Но целебные источники не помогали. Ни один медик в мире, впрочем, не знал точно, что за болезнь туберкулез, откуда он берется и как лечится.

Более года ездила Лиза со своей семьей из одной местности в другую, меняя море на горы, леса на степи. Красоцкий понемногу начал поправляться, но все еще

был слаб. Он горько страдал оттого, что причинял столько хлопот и беспокойства беззаветно любимой им женщине. Уговоры Лизы, ее нежность не помогали. Больной стал угрюм и молчалив.

Лиза тосковала по соотечественникам и искала их всюду, куда заносила ее судьба в пору вынужденного кочевничества. Бывая в Париже, Красоцкие неизменно останавливались на улице Мишодьер, неподалеку от Пале-Рояля, в маленьком отеле Мольера, который содержала рьяная сторонница женского равноправия мадам Максим. Это была тучная, чрезвычайно подвижная, говорливая дама, в мужского покроя костюме, курившая сигары. Под напарочитой развязностью и грубостью она с трудом скрывала простосердечие и чисто женскую отзывчивость. Постояльцы ее отеля обычно легко знакомились друг с другом и становились как бы членами одного кружка, возглавляемого пылкой и доброй мадам Максим.

По случаю приезда Красоцких она решила устроить вечеринку в большом незанятом номере бельэтажа. Как раз в эту же пору в Париже вышла в свет новая книга Прудона «О правосудии», в которой он, между прочим, коснулся и женского вопроса, пытаясь определить роль женщины в новом обществе. Прудон отрицал возможность равенства полов и объявил, что в семье, как и в обществе, мужчина по сравнению с женщиной то же, что цифры «три» и «два».

В отеле Мольера, где проживали ретивые поборницы женских прав и полной свободы, взгляды Прудона были восприняты как оскорбление и вызвали возмущение и протесты.

Когда Красоцкие вошли в большую комнату, где ввиду предстоящей вечеринки вся остальная мебель, кроме столов и стульев, была нагромождена в алькове, там стоял такой шум, что они с трудом смогли расслышать слова писательницы Жени д'Эрикур, друга мадам Максим, которая читала свое письмо Прудону.

— Женский вопрос — это вопрос вопросов, но он неотрывен от свободы для всех людей на земле, независимо от их пола,— детски звонким голосом, встряхивая вышитыми стриженными волосами, выкрикнула Жени д'Эрикур.— Какое нам дело до мужчин! Это деспоты, которых надо навсегда лишить их привилегий! — возразила одна из фемини́сток. — Я их ненавижу!

— Сделай
рассмеявшись
книга, которую
латки Прудона
— «Освобо
остроницая м
зать. Моя не
Госпожа
стола и, сдел
хо прикрыла
— Здесь
ции, она ведь
Кто-то за
революцию. К
ди этих горяч
недавно прие
Шелгунов, по
ший профес
показалось н
дое, с впалы
глаза с прищ
густых навис
лимый защи
нова это вп
вечер провел
— Вы ос
колаевским
Многое изме
дов и копе
у всех точ
небо.
— Да, я
нитал возду
Печать не с
налы восхва
всех знаком
— А теп
такой Уйм
пятьдесят
вместе с об
ли не осуд
вых людей.
можно окло

— Сделай исключение для своего мужа и сыновей, — рассмеялась мадам Максим. — Женни, как называется книга, которую ты пишешь, чтобы положить на обе лопатки Прудона?

— «Освобожденная женщина», — ответила тоненькая остролицая молодая писательница. — Я должна все сказать. Моя ненависть к Наполеону также требует выхода.

Госпожа Максим при этих словах поднялась из-за стола и, сделав собравшимся таинственный знак, паглухо прикрыла ставни на окнах и задернула тяжелые шторы.

— Здесь только те, кто жаждет свободы для Франции, она ведь тоже женщина.

Кто-то затянул «Марсельезу». Подняли бокалы за революцию. Красоцкие чувствовали себя великолепно среди этих горячих голов и сердец. На вечернике находился недавно приехавший из Петербурга Николай Васильевич Шелгунов, полковник из Лесного департамента, ученейший профессор лесного законодательства. Лизе вначале показалось непривлекательным его монгольское лицо, худое, с впалыми щеками и бородкой лопаточкой. Строгие глаза с припухшими веками смотрели испытующе из-под густых нависших бровей и как бы возводили непреодолимый защитный барьер. Но с первых же слов Шелгунова это впечатление рассеялось у Лизы, и она весь вечер провела с ним в увлекательной беседе.

— Вы оставили Россию, еще когда она была под николаевским прессом, — говорил Николай Васильевич. — Многое изменилось за эти годы. Начало пятидесятых годов и конец их весьма различны. После смерти царя у всех точно выросли крылья. Так бы и взлететь в небо.

— Да, я была в Москве в глухое время. Страх пропитал воздух. Все боялись друг друга и вольной мысли. Печать не смела сказать ни одного живого слова. Журналы восхваляли царский режим и предавали анафеме всех инакомыслящих, — вспоминала Лиза.

— А теперь совсем иное. Никогда на Руси не бывало такой уймы листков, газет, журналов, как начиная с пятьдесят шестого года. Вся печать нынче достигает, вместе с официальной, двухсот пятидесяти изданий. Это ли не осуществление самых смелых мечтаний передовых людей. Одними объявлениями об этих изданиях можно оклеить башню собора Ивана Великого. А к тысяча

восемьсот шестидесятому году будет их еще больше. Как грибы после дождя, растут все виды слова печатного.

— И все это, наверно, главным образом в Петербурге издается.

— Нет, и в Москве в равной степени. Эти города — голова и сердце России. А сколько новых имен, замечательных людей выросло на родной нашей земле. Таланты что дубы могучие. Сейчас поистине пора молодых, их время, — сказал с неожиданным воодушевлением Шелгунов.

— А вы тоже пишете? — спросила Лиза.

— Я пока только еще начинающий литератор, пласт до сих пор я по научному лесоводству, — улыбнулся Николай Васильевич, и лицо его стало значительно привлекательнее. — Сейчас есть нам над чем размышлять, что чувствовать, — значит, есть чем поделиться с другими людьми. Помимо лесной технологии, живому человеку нужно живое, то, чем поглощен он сполна, что заставляет его мучиться в поисках ответа. Каждый в наши дни хочет читать и учиться и высказать громко думы свои. Долго были мы скованы и погружены точно в сон летаргический.

— Я много слышу в последнее время о Чернышевском. Видели ли вы его вблизи? Скажите, прошу вас, каков он, хотя бы по внешнему виду?

— Сила его не в наружности. Роста он небольшого, белокурый с рыжинкой, худощав. Говорит негромко и слегка потупившись. Голубые глаза у него заметно близоруки, внимательны и умны. Есть в нем большая внутренняя сила, так что невольно подчиняешься ему, хотя он к тому как будто и не стремится. Подлинно это пророк университетской молодежи, истинный продолжатель идей и деятельности Белинского, но подиявший теоретическую мысль на новую высоту. К тому же это человек действия.

— Как вы стали сразу красноречивы, говоря о Чернышевском.

— Да, это человек весьма необыкновенный, и дорог он мне тем, что стремится к преобразованию нашей общественной жизни и к борьбе за интересы крестьянские. О нем можно сказать словами Сиэса: «Он прочитал все, он знает все, он помнит все».

Николай Васильевич, в свою очередь, принялся расспрашивать Лизу о революционерах-изгнанниках, проживающих в Лондоне. Они долго говорили о Герцене, затем Шелгунов спросил:

— Не приходилось ли вам когда-либо встречаться с выдающимися и благороднейшими немецкими учеными Фридрихом Энгельсом и доктором Карлом Марксом?

— Авторами «Коммунистического манифеста», — досказала Лиза. — Энгельса не знаю, а Маркса пришлось дважды видеть. Бакунин был с ними коротко знаком, и от него я часто слыхала об их деятельности.

— Читали ли вы «Положение рабочего класса в Англии» Энгельса?

— Нет. Не пришлось.

— Читайте неотлагательно. Европейская экономическая литература не знает лучшего сочинения. Я захвачен этой замечательной книгой, собираюсь перевести ее, чтобы русские люди знали и автора, и его редкостный по глубине труд о рабах.

— О ком? — не поняла Лиза.

— Я говорю вслед за Энгельсом о классе рабочих. Это действительно новые невольники, которые продаются как товар тем, на кого работают, и цена на них падает или поднимается в зависимости от запроса.

Николай Васильевич Шелгунов был, по мнению Лизы, очень умным и значительным человеком. Он был вовсе не похож на тех русских, которых она знала раньше. В чем было различие, она не могла себе уяснить и отнесла Шелгунова к новым людям, появившимся в России после Крымской войны и смерти Николая I. Тоска по родине охватила Лизу. Но о возвращении нельзя было думать. Сигизмунд Красоцкий был все еще очень болен.

В Ахене, куда в 1860 году приехали Красоцкие, находилось много русских, свято веровавших в исцеляющую силу этого тенистого курорта. В отеле, где Лиза сняла комнаты для своей семьи, за табльдотом она заметила старого господина с окладистой пепельно-серой бородой и жгучими монгольскими глазами на волосатом скуластом лице. С ним всегда была девушка, точно сошедшая со страниц романов Тургенева, которыми

вачитывалась Лиза. Русая коса, строгие, нежные черты лица, тонкий стан — все в ней было красиво. Бородатый господин оказался рўсским помещиком Солнцевым, а девушка — его дочерью Ольгой.

Красоцкие и Солнцевы быстро подружились и провели много времени вместе, тем более что старый помещик оказался отчаянным либералом, подписал петицию царю о необходимости освобождения крестьян, ораторствовал о пользе строительства железных дорог и заводов по типу английских. Сам он был пайщиком нескольких предприятий, от которых покуда, как говорил, большой барышей еще не имел, но надеялся на них в будущем. Ольга играла на рояле, любила мечтать, много читала, особенно французские романы, верила в бога и знала о жизни женщин, смутно представляя себе, впрочем, что это означает. Но, наивная во многом, она не была лишена здравого смысла и врожденного юмора. Как это часто бывает с очень молоденькими девушками, Ольга страстно привязалась к сдержанной, чуткой Лизе и поверяла ей все свои мысли и маленькие секреты.

Почти в то же время в Ахен приехал лечиться Фердинанд Лассаль и тотчас же привлек к себе внимание. Высокий, великолепно, по самой последней моде, одетый, всегда в цилиндре и с дорогой тростью, он выделялся даже в толпе самых изощренных щеголей. Лизе его красивое, правильное лицо приводило на память портреты знаменитых тореадоров, итальянских теноров и актеров, исполнявших роли роковых для женского сердца любовников.

Лассаль со скучающим и вместе победоносным видом прогуливался по аллеям парка. Лизе он не понравился.

— Бог мой, — сказала она, когда Ольга спросила ее мнение, — в шестидесятых годах нашего века допусканы кажутся только смешными! Их время прошло. Сейчас другие герои.

— Не Растиньяк ли? — улыбнулась Ольга.

Каково же было удивление Лизы, когда несколько дней спустя старик Солнцев рассказал, что познакомился у источника с отчаянным революционером, о котором уже много слыхал в связи с делом своей знакомой, графини Гацфельдт.

— Это сам Лассаль, пороховой человек, — закончил он свой рассказ.

— Я так и думала. Он не может быть обыкновенным, — сказала Ольга. — Ты познакомишь меня с ним, папа?

Вскоре Лассаль стал завсегдатаем у Солнцевых и Красоцких. Он не скрывал, что глубоко увлечен Ольгой и добивается взаимности, чего бы это ему ни стоило. Лиза не придавала большого значения его влюбленности.

— Лассаль слишком любит самого себя. Себялюбие может довести его до безумных поступков.

— О нет, вы не правы. Как же тогда понять его борьбу за народ? — оспаривала Ольга.

— Это поприще, на котором он выступает особенно блестяще. Разве революционер не может быть честолюбцем?

— Не должен, — возразила Ольга.

— Пожалуй, но жажда славы, известности не раз приводила людей на эшафот и в ряды повстанцев за правое дело.

На террасу, где происходил этот разговор, вошел Фердинанд Лассаль, гладко выбритый, розовокожий. Большие, немного выпуклые глаза его смотрели томно и нагло в одно и то же время, слишком маленький рот был ярок и свеж. Легкий запах амбры исходил от его элегантного костюма.

— Скажите, что привело вас к борьбе за тружеников? — спросила Солнцева.

— То же, что заставило отвоевывать в течение многих лет права графини Гацфельдт, так грубо попранные ее мужем. Сызмала я тосковал по справедливости. Как орел, я был одинок среди людей своей среды. Вы ведь знаете, я с детства был баловнем.

— Вы им остались и теперь, — улыбнулась Лиза, глядя на выхоленные руки Лассаля.

— И тем не менее, воспитываясь в роскоши, я был и остаюсь рабочим. Не выражайте удивления. К рабочим я причисляю всякого, кто умеет быть полезным обществу. Причислять себя к рабочим в ином, внешнем смысле я не имею, увы, ни возможности, ни основания. Я, напротив, буржуа, так как мои доходы дают мне возможность вести жизнь, посвященную науке, борьбе за социальную справедливость, и приносить этой цели значительные жертвы.

— Есть ли у вас настоящие друзья? — спросила Ольга.

— Да, но я иду своим путем в общество, преследуемый, не раз осужденный судом, ненавидимый либеральной прессой, которая глядит на меня с еще большим ужасом, нежели все прокуроры и суды, вместе взятые.

— Скажите, господин Лассаль, — внезапно вспомнила что-то, спросила Лиза, — знакомы ли вы с доктором Марксом?

— Конечно, я даже недавно кое-что сделал для этого безусловно выдающегося, образованного человека. Мой близкий друг, издатель Франц Дункер, кстати, женатый на очаровательной Лине, дочери самого художника Генриха Лаубе, издает его новую книгу по политической экономии. Маркс так дорожит этим своим детищем, что соглашался, лишь бы оно увидело свет, издать его бесплатно, без гонорара. Но я возмутился таким самопожертвованием и добился для него кой-каких денег. Это даст возможность его семье прожить безбедно некоторое время. Не все такие отзывчивые и честные люди, как Дункер. Другой издатель — Дана — платит ему гроши. Будь я на месте Маркса, немедленно начал бы тяжбу и выиграл бы, конечно. Некоторые родятся победителями. Для меня нет больших и малых дел, как рассуждает Маркс, все зависит от того, кто за них берется.

Лассаль долго говорил в этот день о себе, о своих жизненных принципах, но прежняя настороженность Лизы по отношению к нему не только не рассеялась, а возросла.

«Нарцисс самовлюбленный и глядящийся в людей, как в зеркало. Он ищет только восхищение и видит только самого себя, о чем бы ни говорил», — думала она.

Через несколько дней Солнцевы должны были ехать назад в Россию. Накануне расставания Ольга вошла к Лизе и, не говоря ни слова, положила перед ней огромную тетрадь. В ней было более сотни мелко исписанных страниц.

— Что же это, исповедь господина Лассаля? — спросила Лиза иронически, увидев подпись.

— Он просит меня стать его женой, — сказала Ольга вспыхнув.

— Каков же ответ?

— Я дам его через год. Весной мы встретимся снова. Надо проверить себя и его, так советует папа. Мне страшно выйти замуж за такого человека. Он баловень женщин, любимец своего народа, а я скромная девушка, равнодушная к политике, к революции. Ему орлица нужна, он ведь орел...

— Павлин он, а не орел, — досадливо, не сдержась, прервала Лиза. — С ним счастья не будет.

— Папа так же говорит. Но письма он пишет великолепно. Прошу вас, прочтите. У меня нет тайн, но вас, кажется, отпугивает количество страниц.

— Да, простите, Оленька, но, право, жестоко писать столь длинные послания. Надо бы и про адресата помнить. Это бумажный садизм какой-то.

— Не судите столь беспощадно. Но раз вы не склонны вникать во все рассуждения Фердинанда, я прочту вам маленький отрывок. Признаюсь, он мне льстит.

«До сих пор моя любовь была только пожирающим пламенем, в которое бросались женщины. Я не знаю ни одной, которая не постаралась бы захватить меня. Я говорил вам, что всегда избегал молодых девушек. Два раза только говорил я о любви молодым девушкам, которые любили меня страстно и вызвали во мне желание обладать ими. И в обоих случаях я начинал с полного признания, что никогда не женюсь на них. За исключением этих двух случаев, я всегда сближался только с замужними женщинами, у которых я был, как вы однажды выразились, «баловнем». И некоторые из них действительно любили меня. Вы знаете, что женщины, когда любят, имеют привычку всегда задавать вопросы. И не было ни одной, которой бы я не ответил с своей обычной откровенностью, что, будь она свободна, я все же не женился бы на ней. Но, несмотря на это, а может быть, именно вследствие этого, меня сильно любили. Я хотел брать, но не отдавать себя».

После отъезда Солнцевых Лиза больше не видалась с Лассалем и не жалела об этом. Заметив ее пренебрежение, он платил ей откровенной ненавистью.

К зиме Сигизмунд настолько поправился, что праздная жизнь на курортах могла для него наконец окончиться. Истомившийся болезнью и бездеятельностью, он

настоял на возвращении в Лондон, откуда рассчитывая вместе с Лизой и ребенком направиться на родину. Но все старания бывшего польского повстанца получить разрешение на въезд в Варшаву не увенчались успехом.

Тогда Красоцкие решили отправиться за океан, в Северную Америку. Там начиналась борьба с южанами. Лизе очень хотелось принять хоть какое-либо участие в великом деле освобождения негров. Наконец могла сбыться давнишняя мечта, впервые посетившая ее в ночь чтения «Хижины дяди Тома».

Мировой эко
ный обвал. Сотр
и летит неудерж
снежной пыли,
отвесным скала
замедляющпе бе
гом, почвой. Од
падающих в доли
нее и протяжнее
они раскачивают

Когда в 1857
нейших француз
европейских тор
гару изо рта, по
ляющий камин
сном он перечпс
рявших все сос
повторил при э
Англия, и в Ан
вого в истории м
в свой все ускор
Гроэил упаст
от скалы обвало
мепности напцп
Буржуа вапроги
и страхо. Так на
ной катастрофы,
Разорилось мн
ских банкиров, в

рассчитывал
родину. Но
олучить раз-
спехом.
ва океан, в
с южанами.
о-либо уча-
копец могла
ая ее в ночь

ГЛАВА ПЯТАЯ

ОГНЕНОСЦЫ

Мировой экономический кризис начинается как горный обвал. Сотрясая вершины, отрывается могучая глыба и летит неудержимо, низвергая камни, поднимая столбы снежной пыли, кроша лед и гранит. Подпрыгивая по отвесным скалам, одолевая препятствия, лишь немного замедляющие бег, бесформенное чудовище облипает снегом, почвой. Один обвал влечет другие. Грохот глыб, падающих в долины на головы людей, скот, на дома, сильнее и протяжнее канонады. От обвалов некуда скрыться, они раскачивают горы и оглушают мир.

Когда в 1857 году потерпел банкротство один из крупнейших французских банков, а следом за ним несколько европейских торговых фирм, английский буржуа вынул сигару изо рта, поразмыслил и подбросил уголь во всеотдаляющий камин уютного холла. Натянув перину, перед сном он перечислил по пальцам предпринимателей, потерявших все состояние и покончивших самоубийством, и повторил при этом, мысленно тыча в глобус: это мир, а это Англия, и в Англии — мир. Но неодолимая глыба первого в истории мирового экономического кризиса вовлекла в свой все ускоряющийся полет вина и Великобританию.

Грозил упасть, как сваливается камешок, оторванный от скалы обвалом, золотой фунт — символ силы и надежности нации. Поколебались цены и на все товары. Буржуа вздрогнул, озираясь по сторонам в недоумении и страхе. Так вздрагивает беспечный путник от гула горной катастрофы.

Разорилось много американских, английских и французских банкиров, владельцев магазинов, фабрик, плантаций.

Началась безработица. Правители европейских государств искали, как предотвратить возможные восстания, спастись от краха. Никто не знал, откуда взялось это стихийное бедствие.

Маркс воочию наблюдал и проверял то, к чему он пришел умозрительно, исследуя анатомию капиталистического общества.

Подобно тому как в прошлые столетия великие физики открывали законы возникновения грозы или вращения планет, так Карл вывел незыблемость силы, управляющей явлениями в экономике капиталистического мира. Кризис не был для него ни загадкой, ни неожиданностью. Он и Энгельс его предвидели.

В середине июня 1859 года в Берлине вышел первый выпуск книги Маркса «К критике политической экономии».

Карл часто и тяжело болел в это время. Однако он всеми силами стремился преодолеть естественную в связи с недомоганием слабость, мучаясь мыслью, что плод его пятнадцатилетних упорных исследований и напряженного труда может быть в чем-либо несовершенен. Требовательность к себе возрастала непрерывно с годами, и он взыскательно и кропотливо отделывал каждую фразу. Сознание ответственности перед своей партией также не покидало его ни на один миг.

«Я надеюсь добиться научной победы для нашей партии, она должна быть вооружена так же неотразимо теоретически, как и практически», — думал он.

Сквозь густую пелену тумана, окутавшего мир после победы реакции, Марке видел грядущее торжество труда в борьбе с капиталом.

Сейчас же он старался сохранить тех борцов за Союза коммунистов, которые рассеялись по обеим сторонам Атлантики и вели трудную, полную лишений жизнь.

Книга «К критике политической экономии» в первую очередь предназначалась им. Она должна была выместовать хорошо вооруженных теорией людей. Уже в самом предисловии Маркс сформулировал материалистическое понимание истории и опрокинул при этом все былые научные представления о развитии человечества:

«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения,

которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, или — что́ является только юридическим выражением последних — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции».

Материалистическое понимание истории явилось огромным торжеством научной мысли. Оно открыло путь к научному объяснению процессов общественного развития, которые до сих пор оставались вне рамок точного познания.

С помощью непреложного научного анализа Маркс вынес смертный приговор капиталистическому строю. Он не указывал дат и географических точек, где разыграются будущие решающие схватки между трудом и капиталом, но предрек победу рабочему люду. Капитализм, утверждает он, представляет собой последнюю антагонистическую форму общественного производства, и в недрах буржуазного общества производительные силы создают материальные условия для разрешения этого антагонизма.

«Поэтому, — писал Маркс, — буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества».

Берлинский издатель Дункер, приятель Лассаля, выпустил часть книги «К критике политической экономии» тиражом только в одну тысячу экземпляров. Заключить договор на весь труд он отказался и поставил это в зависимость от спроса на первый выпуск.

Появление книги Маркса буржуазная пресса встретила нарочитым, обдуманным гробовым молчанием. Это был испытанный и убийственный маневр, более уничто-

жающий, нежели злословие и клевета, могущие встретить отпор, справедливые возражения или любопытство. Необыкновенные книги имеют нередко трудные и сложные судьбы.

В это же время Маркс неотрывно готовил пятнадцать печатных листов текста для выходящей в Нью-Йорке американской энциклопедии.

Год был на исходе. В связи с кризисом издатель Дана за статьи для «Нью-Йорк дейли трибюн» платил Марксу половинный гонорар. Женни нервничала. Кредиторы грозили судом и долговой тюрьмой. Печалили Женни и ухудшившиеся отношения Маркса с Эрнестом Джонсом, который своими промахами сильно ослабил чартистскую партию, с Адольфом Клуссом, поддерживавшим Виллиха, и с Фрейлигратом, сблизившимся с врагом Маркса по эмиграции, подлым, пустозвонным и напыщенным Кинкелем.

В немецком журнале «Беседка» один из литературных прихлебателей самодовольного Кинкеля, превознося в неумеренных похвалах стихотворный дар Фрейлиграта и желая поссорить его окончательно с Марксом, объявил, что поэт перестал творить, потерял поэтический голос и свободу, подпав под влияние «виртуоза ядовитой злобы». Назвав так Маркса, он разразился против него изощренной бранью.

Карл, прочитав статью, был подавлен не столько грубыми выпадами — к этому он относился всегда спокойно, — но тем, что Фрейлиграт своим молчанием как бы согласился с таким мнением.

Многосемейный, сильно постаревший и поблекший поэт, устроившись на весьма доходную должность, жил в достатке, изредка писал бесцветные стихи и чувствовал себя обиженным тем, что его не восхваляют друзья и соратники, как некогда в славной «Новой Рейнской газете», когда он достигал творческого совершенства. Прельщенный похвалами и посулами из другого лагеря, он постепенно отошел от коммунистов.

Женни трудно давались разочарования в близких людях. Она была легко ранимой, долго и тягостно переживала потери. Вместе с тем она не довольствовалась половинчатостью решений и, отойдя от ранее дорогих ей людей, уже не возвращалась к ним обратно.

— Я не признаю полумер, — говорила она часто.

В дни душевных неурядиц в связи с поведением Фрейлиграта к Женни пришло на помощь письмо Энгельса.

«Дорогая г-жа Маркс!

Сегодня вечером я настолько свободен, что могу послать вам к празднику дюжину бутылок вина. Надеюсь, что оно вам понравится и поднимет настроение всей семьи...

На всю фрейлигратовщину я форменным образом зол. С этим сбродом беллетристов все та же старая история: всегда им хочется, чтобы им курили фимиам в газетах, чтобы печто о них твердили публике, и самый дрянной стишок, сфабрикованный ими, важнее для них самого большого мирового события. А так как все это без интриганской организации не проведешь, то вполне естественно, что таковая становится насущнейшей потребностью, а ведь мы, несчастные коммунисты, к сожалению, для этого совершенно не пригодны, и более того: мы видим насквозь все это жульничество, высмеиваем такого рода организацию du succès[1] и испытываем почти преступное отвращение к популярности».

Письмо друга ненадолго развеселило Женни; каждый последующий день приносил ее семье какие-либо неприятности. Она пыталась скрыть их от Маркса, но тщетно: он все знал, все понимал, мучился, как и она.

«В будущий понедельник у меня снова срок платежа 1 ф. ст. в Мэрилебонский суд графства. Одновременно получил из Вестминстерского суда графства (от имени булочника) прилагаемую здесь бумажку, — делился Карл невзгодами с Фридрихом. — То, что я предвидел, начинает сбываться. Если один обыватель найдет дорогу в суд графства, ее найдут туда и другие. Если так будет продолжаться, то я, право, не знаю, как дальше выдержу. Эти беспрерывные неприятности особенно невыносимы потому, что я абсолютно не подвигаюсь в своей работе».

Нет большей страсти, нежели одержимость творчества и труда. Ни жажда в раскаленных песках пустыни,

---

[1] успеха (*франц.*).

ни власть инстинктов, ни многодневный голод не могут сравниться в своей изнуряющей силе и длительности с мучениями ученого, обремененного великим научным открытием, художника, отягощенного образами, мысль, звуками и не имеющего возможности выявить их, воссоздать в зримой и слышимой форме. Так созревшее семя пробивает толщу почвы, чтобы вырваться к свету, расцвести.

Карл изнемогал. Он вступил в пору зрелого творчества. Все было выношено, внутренне проверено. Мысль его постигла законы, двигавшие обществом, а жизнь, издеваясь, тащила его вниз, в смрадное болото мелочных забот.

Шли годы. Целое десятилетие уже он бился с препятствиями. Это была худшая, изнурительнейшая из войн, в которой Маркс потерял четверых детей, здоровье и несчетное количество часов, необходимых для больших творческих свершений. Война эта не сулила ему побед, она убивала тех, кого он любил, калечила их, наполняла горечью его дни и ночи. Борьба за высокие идеи окрыляет, но безгранично тяжело, когда приходится ежечасно отбиваться от ушлкающих тебя кредиторов: булочника, мясника, зеленщика, бакалейщика. И при этом знать, что иной дорогой никогда не пойдешь. Она одна ведет к намеченной цели.

Как едва видимые москиты способны обескровить человека, так нужда, постоянное безденежье и лишения незримо подтачивали здоровье Карла именно тем, что мешали ему целиком отдаться научной работе, отрывали его от творчества, отдаваясь которому, он вновь обретал силы. Женни, будучи постоянной помощницей мужа и захваченная одной с ним идеей, находила в его творческих радостях некоторое успокоение. Поддерживали и утешали ее дети, их успехи, их любовь.

Несмотря на все трудности, старшие девочки учились сначала в колледже в Саутгемптоне, затем в женской гимназии. Они неизменно переходили из класса в класс с наградами. Кроме школьных занятий, обе брали уроки итальянского и французского языков.

Женнихен хорошо декламировала и рисовала. На мольберте в гостиной подле палитры с красками стояла неоконченная картина. Недавно Женнихен послала в Манчестер традиционные рождественские подарки. Энгельсу досталась удачно исполненная копия Рафаэлевой

мадоны, а Вильгельму Вольфу — картина «Два раненых французских гренадера».

Лаура с детства была очень музыкальна. Заслышав пение дочерп, Карл открывал дверь своего кабинета и, откинувшись в кресле, слушал с нескрываемым удовольствием романсы Шуберта, Бетховена, арии Моцарта и протяжные волнующие народные напевы. Лицо его разглаживалось, светлело, в глазах появлялось выражение полного покоя и мечтательности. Он отдыхал, радуясь музыке, и, случалось, терпеливо перепосил также и однообразие гамм, вокализы и сольфеджио, которыми подолгу занималась юная певица.

Карл перешагнул за сорок. В его смолисто-темных волосах появилось много седых прядей. Еще более проницательным стал взгляд легко загорающихся смехом или гневом темных глаз. Углубились саркастически скорбные складки по углам губ. Все так же прекрасны и выразительны были его небольшие крепкие кисти рук с длинными гибкими пальцами. Маркс был из числа тех немногих людей, которые, несмотря на тяготы жизни, титанический умственный труд, болезни, бессонницы, горькие утраты, становятся краспвее, внешне значительнее с возрастом. Так удивляют нас величавой красотой могучих стволов и кроны многолетние ливанские кедры. Во сколько раз великолепнее они, нежели неокрепшие молодые деревца. В пору своей зрелости Карл был похож и одно и то же время и на это несокрушимое гордое дерево, и на смуглого араба, отдыхающего в его тени.

В доме на Графтон-террес бывало немного посетителей. Энгельс оставался в Манчестере. Там же находился и Вольф. Он считался отличным педагогом и давал уроки. В свободные часы Люпус предпочитал уединение в скромном домике, где о нем неусыпно заботилась молчаливая старуха экономка. Малыш — Дронке — служил в купеческой фирме в Ливерпуле, куда недавно перебрался из мрачного Глазго.

Карл в дни, когда не мог бывать в читальне Британского музея, большую часть времени проводил за книгами и бумагами в своем кабинете. Уже много лет он страдал отсутствием аппетита и в часы работы совершенно забывал о еде. Привычка писать по ночам породила жестокую бессонницу. Долгие годы лишений принесли всевозмож-

— Что ж, — сказал он как-то полушутя, — я познал на самом себе многое из жизни пролетариев, в том числе и их болезни.

Обычно, не дождавшись Маркса в столовой, жена или кто-либо из дочерей отправлялись за ним в кабинет. Маленькая Тусси особенно энергично и бесцеремонно отаскивала отца от заваленного книгами бюро.

— Скорее, Мавр. Ты позабыл об обеде. Ленхен очень сердится. Она приготовила тебе рыбу, соленую, как море. Уже дважды пришлось разогревать твой острый суп. Я хочу покататься верхом.

Карл послушно поднимал дочь и усаживал ее на свои плечи. Затем вприпрыжку он обегал кабинет несколько раз, подгоняемый маленькой ручонкой, и с протяжным ржанием врывался в столовую.

Так весело и беспечно начинался обед. Нередко разговор за едой касался злободневных политических вопросов, которыми постоянно интересовались Карл и его жена.

— Читал ли ты уже газеты, Чарли? Что нового?

— Самым значительным событием, несомненно, остается движение чернокожих рабов в Америке и невольников в России. Заметь, милая Женни, что русское дворянство домогается конституции. Это будет толчком для тамошних крестьян. Тем более что царь Александр уже основательно испортил свои отношения с ними, объявив в своем последнем манифесте, что «коммунистический принцип» должен исчезнуть навсегда вместо с их освобождением. Все это чревато великими последствиями. Кстати, в Миссури снова восстали рабы.

— На чьей стороне победа, Мавр?

— Восстание жестоко подавлено. Но сигнал дан. Дело осложнится, и, несомненно, впереди предстоят кровопролитные схватки.

— Что-то будет с «Нью-Йорк дейли трибюн»? Вероятнее всего, в связи с возможной войной Севера с Югом ты окончательно лишишься корреспондентского заработка, — грустно заметила Женни и провела рукой по лбу, как бы снимая давящую мысль.

— В Индии все симптомы колоссального кризиса. Это, несомненно, отразится на манчестерской хлопчатобумажной промышленности. Контора «Эрмен и Энгельс» тесно связана с Калькуттой. Пряжа дорожает, а хлопок падает в цене.

Во время этого разговора Ленхен поставила на стол блюдо, политое пряной подливкой.

— Не знаю, как и кормить мне Карла, — ворчливо сказала она. — Он ничего не хочет есть без приправы и соленый, а потом страдает от болей в печени. Я пробовала кормить его, как велят врачи, — ничего не ест, а когда даю то, что он любит, — не могу потом смотреть на его болезни. Ему бы ромашкового настоя попить, как учила покойница баронесса, а он требует крепкий кофе. Вот еще наш Люпус, тоже мое мучение. Жирная ветчина и эль сведут его в гроб. А скажешь об этом — ты же и плоха.

Вдруг Ленхен прервала свои сетования. Опустив руку в карман, она нащупала в нем большой, плотный конверт и вспомнила, что с утра еще получила его от почтальона.

— С вами, право, голову потеряешь, — рассердилась она на свою забывчивость, — покуда придумаешь, что готовить, себя забудешь. Вот таскаю несколько часов пакет, и все из-за забот о вашем питании.

Карл, улыбнувшись в бороду, проводил добрым взглядом Ленхен; Женни внимательно рассматривала крупный, ровный почерк.

— От Лассаля, кажется, и, вероятно, насчет издания «К критике политической экономии», — сказал Карл, взглянув через плечо жены на четко выведенные буквы. — Так и есть — от него, — сказал он, читая письмо.

— Мавр, — настойчиво домогалась Тусси, едва он отложил почту, — расскажи мне про американскую войну. А в Миссури много белых?

Маркс терпеливо принялся объяснять пытливой малютке то, что ее так интересовало.

— Авраам Линкольн — замечательный человек, не правда ли? — сказала между тем Лаура.

— Я хочу написать ему длинное-предлинное письмо, чтобы он скорее победил южан и все негры были свободны, — затараторила снова Тусси. — Ты отправишь его по почте, правда? — Тусси заглянула просительно в глаза отцу.

С совершенной серьезностью Карл обещал дочери послать за океан ее советы и размышления президенту Северных штатов.

— Но, надеюсь, ты разрешишь и мне ознакомиться с твоими письмами? — сказал он.

— Конечно, — ответила важно маленькая Элеонора и вдруг, вспомнив что-то, схватила отца за руку, стремясь скорее увести его из столовой. — Мавр, ты обещал мне прочесть сказку про умную лисицу, — капризно потребовала она.

— Ты права, слово надо держать. Я уже достал с полки книгу «Рейнеке-Лис».

— Как жаль, Мавр, что мы с Лаурой уже такие взрослые и ты не читаешь нам больше вслух ни Гомера, ни «Дон-Кихота», ни «Песни о Нибелунгах», — сказала Женнихен.

— Приглашаю вас, сеньориты, сегодня вечером в пределы. Мы прочтем вслух что-либо из Купера или Майн Рида. Не забудьте взять с собой лассо. Может быть, нам удастся поохотиться на диких лошадей, — прищурив глаза, с нарочитой серьезностью объявил Маркс.

— Наконец-то мы снова поохотимся сумрачный Лондон, — обрадовались Женнихен и Лаура.

— А пока мы с Тусси отправляемся в дебри леса к царю зверей.

Но таких беспечных, счастливых часов у Маркса бывало не много.

Новый 1860 год был не лучше для Маркса и его семьи, нежели его трудный предшественник. В феврале туманы подолгу не рассеивались над Лондоном. Казалось, никогда не пробиться солнцу сквозь их многослойную разъедающую пелену, и черная мгла сменилась желтой. Уныло гудели гонги и колокольчики, чуть виднелся свет фонарей на облучках карет и в руках прохожих. Всюду по взрастали бациллы таинственных болезней. Карл часто хворал.

На Графтон-террес было невесело. Даже маленькая резвушка Тусси, кумир всей семьи, приутихла и часами одна перелистывала иллюстрированные томики Шекспира, из которого в пять лет знала уже кое-что наизусть. Чуткая девочка не решалась теперь без спроса врываться в кабинет отца и забрасывать его бесчисленными «почему». Не просила она также, чтобы Мавр покатал ее верхом до поздней ночи. Однажды перед сном он сказал Женни: — Эккарпус очень болен. В доме у него, как ты сама понимаешь, нет ни одного цента. Представь себе горе его

жены и детей, бедняге не на что купить лекарств. Чем бы мы могли помочь ему, родная?

Женни задумалась. Все ценное давно уже было в закладе. Денег также не хватало. Вдруг взгляд ее упал на единственное добротное платье, одиноко висевшее на вешалке.

— Я нашла выход, Чарли, — сказала она живо. — Мы поможем старине Эккариусу.

На другой день было заложено последнее «свободное» платье Женни, чтобы оказать помощь нуждающемуся другу. Карл сам отправился навестить Эккариуса и с нескрываемым удовольствием вручил ему полученные в ломбарде деньги.

Снова клевета — эта смертельным ядом пропитанная стрела, крапленая карта, порождение подлости и лжи, испытанное средство политической борьбы не на жизнь, а на смерть буржуазии с коммунизмом, — подобно зловонному желтому туману, окутала Маркса.

В 1859 году, в Париже, в одном из кабинетов дворца Тюильри, в личной канцелярии императора происходил следующий разговор:

— Выплатите немедленно через доверенное лицо сорок тысяч гульденов господину Карлу Фогту на пропаганду идей императора за границей. У нас не будет промаха, как это случилось с прусской полицией на Кёльнском процессе коммунистов.

— Фогт вне всяких подозрений в кругах немецкой эмиграции. У него солидная репутация добропорядочного демократа, талантливого ученого-натуралиста и неподкупного политического деятеля. Можно ли желать лучшего?

— Его отец — профессор медицины и славится своей больницей в Швейцарии, братья — почитаемые адвокат и врач. В Лондоне Фогт близок с Кинкелем и Герценом, с которым скоро, кажется, породнится. Сын этого богатого русского «аристократа» влюблен в мадемуазель Фогт и собирается на ней жениться.

— Великолепно. Все, что вы говорите, служит надежной гарантией. Наше нападение на коммунистов, главное, на их вожака Маркса, одержимого манией ниспровержения существующего порядка, будет уничтожающим.

— Если этот неуемный Спартак заподозрит в Фогте нашего друга и единомышленника, сами эмигранты сводут

с ним счеты и разорвут его на части, отстаивая честь бе-
зукоризненного господина Фогта. Главное — полнейшая
конспирация.

— Вы можете быть спокойны. Карл Фогт в этом
лично заинтересован.

Вскоре Фогт, не теряя времени, принялся за бесчест-
ное дело. Всю жизнь любой ценой он добивался популяр-
ности и видного общественного положения и кое-чего до-
стиг, когда революционная волна 1848 года вынесла на
поверхность немало человеческой пены. Избранный во
Франкфуртское собрание, Фогт считался там лидером
левых демократов и даже в последние дни агонии
этого болтливейшего из парламентов оказался одним из
пяти его регентов. Это была вершина его карьеры.

Маркс и Энгельс, прислушиваясь к его многословию,
сначала обзывали Фогта просто болтуном, но после 1849
года вынесли ему суровый приговор, так же как всем, кто,
отстаивая интересы лавочников и мелких фабрикантов,
обнаружил трусость, близорукость и приспособленчество.
Фогт в статьях «Новой Рейнской газеты» был изобличен
как один из демократов, который своим противодействием
задушил все подготовлявшиеся революционные реформы.
С той поры Карл Фогт затаил ненависть к коммунистам
и ждал только часа, когда сможет отомстить. Близость к
бонапартовской клике, сочувствие ее идеям и полученные
тайно деньги из императорской кассы дали ему эту дол-
гожданную возможность.

Карл Фогт, шарообразный пузатый господин среднего
роста, предпочитал костюмы черного цвета и высокие на-
крахмаленные воротнички, на которых важно лежали
отвислые щеки. Сюртук его был всегда тщательно разу-
тюжен и застегнут на все пуговицы, штиблеты начищены.
Он напоминал пивовара или сельского кюре.

После разгрома мартовской революции Фогт эмигри-
ровал из Германии в Швейцарию, где постоянно жили его
родные, преподавал в качестве профессора геологию, хо-
тя специальностью его всегда была зоология. Студентам
нравились его вольномыслие и остроумие, всячески оговариваясь, что верит в бога, по-
умудрялся, вторять на своих лекциях вольнодумствующие утвержде-
ния о человеческом происхождении Иисуса.

— Христианство, — заявлял Фогт, — явилось страшной
помехой для человеческого ума. Оно создало мрак средне-

вековья, в котором человечество едва не осталось навсегда, и породило глупость и невежество... Нет ничего опаснее суеверия для грядущих судеб человечества; нет ничего пагубнее уверенности не только в собственной правоте, но и в необходимости помешать другим мыслить иначе. Это грозит смертью человеческому уму.

Такие разговоры создали зоологу Фогту репутацию независимого и смелого ученого. Герцен назвал его своим другом. Однажды Фогт поразил слушателей заявлением, что мысли находятся в таком же отношении к мозгу, как желчь к печени и моча к почкам.

Так, орудуя поверхностным, вульгарным материализмом, господин Фогт приобретал известность и доверие. Он отправил из Женевы некоторым лондонским немецким изгнанникам, в том числе и Фрейлиграту, приглашение сотрудничать в швейцарском еженедельнике и изложил заодно свою программу. Ознакомившись с нею, Маркс сказал кратко:

— Словоизвержение.

Но, вернувшись домой, тотчас же написал об этом Энгельсу:

«О революционном движении в Германии, как Фогт «знает из самого лучшего источника», при жизни нашего поколения нечего и думать. Следовательно, лишь только Австрия будет уничтожена Бонапартом, как в отечестве само собой начнется имперско-регентское умеренное либерально-национальное развитие, и Фогт, пожалуй, будет еще прусским придворным шутом».

Внимательно продумав «программу» Фогта и ознакомившись с его книгою «Исследования о современном положении Европы», Маркс все более склонялся к мысли о тесной связи взглядов Фогта с бонапартистскими лозунгами.

«Что бы это могло значить?» — думал он.

Помимо Фрейлиграта, Фогт прислал программу и свои «Исследования о современном положении Европы» также старому знакомому Маркса, баденскому эмигранту Блинду. Это был убежденнейший республиканец с очень узким, однако, кругозором. Собственная персона казалась Блинду столь неизмеримо важной и великой, что совершенно закрывала собой весь мир. Этот человек являлся постоянным

объектом подкупания Энгельса, который отлично понял всю его сущность. Прочитав произведение Фогта, Блинд впал в ярость. Программа, восхваляющая Бонапарта, оскорбила в нем баденца и республиканца. Кроме того, незадолго до этого он каким-то образом узнал, что Фогт получил из Франции субсидию и пытался подкупить одного южнонемецкого писателя, предложив ему крупную сумму денег. Все это Блинд без обиняков написал Марксу, а затем и Либкнехту.

Спустя некоторое время в анонимной статье появилось сообщение о подкупе Фогта бонапартистами. Рассчитывая на то, что доказательств нет, Фогт, желая защититься, перешел в открытое наступление, а Блинд, испугавшись, упорно отмалчивался. В декабре появилась брошюра Фогта против Маркса. Профессор зоологии, казалось, собрал под переплетом своего произведения, как в чудовищном террарии, все виды пресмыкающихся и бросил им на съедение ни в чем не повинных людей. Подтасовывая факты, щедро пользуясь клеветой и ложью, он распространял злобный и грязный вымысел о деятельности Союза коммунистов, который будто бы преследует только корыстный расчет и преступные цели и с помощью шантажа вымогает деньги для личного обогащения. Как восемь лет назад прусская полиция фабриковала несуществующие преступления для коммунистического процесса в Кёльне, так ныне Фогт выступил вооруженный клеветой.

В феврале Маркс наконец получил из Германии провокационную книгу. Даже столь закаленный боец, как он, содрогнулся. В книге Фогта Маркс изображен главой шайки вымогателей, которая существовала тем, что грозила выдачей полиции всем принимавшим участие в революционной борьбе.

«В Германию было послано не одно, а сотни писем, — писал Фогт, — с угрозой разоблачить в причастности к тому или иному акту революции, если в определенный срок по указанному адресу не будет доставлена известная сумма денег».

Это была не единственная клевета, ею дышала вся книга. Фогт дошел до того, что обвинил Маркса и его единомышленников в фальшивомонетничестве и тайной связи с полицией.

Карл Маркс, сколько мог, скрывал от жены брошюру Фогта, зная, как она чувствительна к подобной клевете, но в конце концов Женни прочла ее.

— Есть мера вещей, мера даже лжи, но в этой чудовищной басне нет меры подлости, — сказала Женни, едва владея собой. Она была ошеломлена.

Несмотря на всю очевидную лживость, для вящей убедительности, как это всегда бывает в клевете, рассказывались кое-какие подробности быта лондонской эмиграции. Очевидно, Фогт был осведомлен о жизни немецких изгнанников и состряпал на этом основании ядовитейшее блюдо.

— Нет более сомнения, Блинд был прав. Фогт состоит на службе у бонапартистской клики, — сказал Карл после долгого тяжелого раздумья. — Так писать могут только оголтелые продажные души. В честной борьбе есть ожесточение, но нет необходимости уподобляться взбесившемуся зверю. Я не имею права, не могу и не должен молчать.

Отвращение и ужас попеременно сжимали сердце Женни.

— Ни слова правды, какая зоологическая ненависть!

— Не только ненависть, но и зоологическая совесть, — вставил Карл.

— Он мстит, — продолжала Женни, — он мстит за то, что ты и Энгельс осмеяли его в «Новой Рейнской газете» за бесславную деятельность во франкфуртской говорильне. Но как, какими средствами сводит он свои счеты? Во время Кёльнского процесса на коммунистов обрушилась вся прусская полиция, а тут один человек.

— Ты ошибаешься, он не один. За его спиной банда второго декабря и вся «елисейская братия».

Германская буржуазная пресса восторженно приветствовала книгу Фогта, и «Националь цайтунг» посвятила ей статью, глубоко поразившую всю семью Маркса.

Женни не могла успокоиться. Для ее правдивой, смелой души была непереносима всякая ложь — следствие подлости либо продажности и трусости. Она и Карл болезненно ощущали отклонение от простой правды в обыденной жизни, борьбе, искусстве, поведении. Даже самые мелкие разновидности лжи — напыщенность, выспренность, экзальтация — воспринимались ими с насмешкой, вплоть до штыка юмора. Они оба не переносили ложного

пафоса и какой бы то ни было искусственности, мгновенно отличая подлинно значительное от подделки.

Тем невыносимее было для Женни видеть, в какие силки клеветы попали ее муж и его друзья.

— Так лгать, так выдумывать! — повторяла она в отчаянии.

Женни бесцельно бродила по дому, страдая. В сердце поднимались возмущение и ужас перед людьми, подобными Фогту. И тогда с особой страстной силой приходила к ней мечта о будущем, о том времени, когда не будет наемных убийц и клеветников. А за окнами дома, как бы для того чтобы жить было еще труднее и страшнее, все рассеивался тяжелый, как пласты каменного угля, туман.

Бедность объединилась с клеветой и провокацией, чтобы ослабить, уничтожить Маркса. Ему стало ясно, что отвечать Фогту необходимо, хотя обычно он не был склонен обращать внимание на самую отборную брань. Печать, по его мнению, нельзя возбранять нападать на писателей, актеров и политиков. Но опытный глаз Карла распознал в этот раз, что целью Фогта было оклеветать и опозорить все коммунистическое движение. Карл взялся за оружие. Он считал также своим долгом перед женой и детьми разоблачить клеветника и очистить свое имя от грязи.

Сколько времени, здоровья, творческих сил, энергии пришлось отдать Марксу, чтобы разбить еще одного видимого врага, за которым стояла могущественная, тщательно скрытая сила — французский цезаризм. И снова, как в дни Кёльнского процесса, из нищенской квартирки, где часто не было гроша, чтобы оплатить почтовые расходы, полстели письма, документы по разным городам Европы.

— Объясни мне, Чарли, что такое «серная банда», к которой, по словам Фогта, принадлежал ты, Люпус и другие? Я впервые слышу это мерзкое название.

Карл рассказал жене, что так называлось общество молодых немецких эмигрантов, которые в 1849 году поселились в Женеве.

— Знал ли ты кого-нибудь из этой компании? — спросила встревоженно Женни.

— Никого. Все, что сейчас ты от меня слышала, я сам на днях узнал в подробностях благодаря любезности некоего пижепера Боркхейма, главы одного крупного предприятия в Сити. Я познакомился с ним после того,

как выяснил, что он десять лет назад имел отношение к этому злополучному кружку. Вот послушай кое-что из того, что он пишет мне:

«Лондон, 12 февраля 1860 г.

Милостивый государь!

Хотя мы, — несмотря на девятилетнее пребывание в одной и той же стране и большей частью в одном городе, — три дня тому назад еще не были лично знакомы друг с другом, Вы совершенно правильно предположили, что я не откажу Вам, как товарищу по эмиграции, в разъяснениях, которые Вам угодно было получить.

Итак, о *серной банде*.

В 1849 г., вскоре после того, как мы, повстанцы, покинули Баден, несколько молодых людей оказались в *Женеве*, — одни были направлены туда швейцарскими властями, другие — по собственному выбору. Все они — студенты, солдаты или купцы — были приятелями еще в Германии до 1848 г. или познакомились друг с другом во время революции.

Настроение у эмигрантов было совсем не радужное. Так называемые политические вожаки взваливали друг на друга вину за неудачу. Военные руководители критиковали друг друга за отступательные наступления... При таких-то печальных обстоятельствах... молодые люди составили тесный кружок...

Мы весело бражничали и распевали...

«Филистеры»... прозвали нас *серной бандой*. Иногда мне кажется, что мы сами так окрестили себя. Во всяком случае, применялось это прозвище к нашему обществу исключительно в добродушном немецком смысле этого слова...

Это единственная *серная банда*, которую я знаю. Она существовала в Женеве в 1849—1850 годах...

Остаюсь с уважением преданный Вам

Сигизмунд Л. Боркхейм».

Я обязательно присоединю это письмо к своему ответу Фогту. Каждому станет тогда ясно, как далеки мы были от этих молодых людей, — сказал Маркс, и Женни, несколько успокоившись, одобрила такое намерение мужа.

Большим огорчением для Карла являлся отход Фрейлиграта от коммунистов. Поэт сблизился с Кинкелем и другими представителями буржуазных кругов эмиграции,

которые приплекли его вначале лестью и захваливанием. Глубокая трещина пролегла в старой дружбе Маркса и Фрейлиграта. Поэт был одним из первых, кому Фогт прислал свое сочинение.

Маркс обратился к Фрейлиграту с письмом и, указывая, какое важное значение имеет ответ Фогту для исторического оправдания партии и для ее будущего положения в Германии, просил включиться в борьбу с клеветником.

«Постыдное нападение Фогта, — писал Маркс поэту, — дало мне во всех странах — в Бельгии, Швейцарии, Франции и Англии — неожиданных союзников, даже в лице людей, принадлежащих к совершенно иному направлению. Но в наших общих интересах и в интересах самого дела, конечно, лучше действовать согласованно.

С другой стороны, откровенно признаюсь, что я не могу решиться из-за незначительных недоразумений потерять одного из тех немногих людей, кого я любил, как *друга* в лучшем смысле этого слова.

Если я чем-либо перед тобой виноват, то я в любое время готов признаться в своей ошибке. Ничто человеческое мне не чуждо...

Если мы оба сознаем, что мы, каждый по-своему, отбрасывая всякого рода личные интересы и исходя из самых чистых побуждений, в течение долгих лет несли знамя «самого трудолюбивого и самого обездоленного класса», подняв его на недосягаемую для филистеров высоту, то я счел бы за недостойное прегрешение против истории, если бы мы разошлись из-за пустяков, которые все в конце концов сводятся к недоразумениям».

Фрейлиграт не замедлил с ответом. Утверждая, что желает сохранить добрые отношения с Марксом, он тем не менее категорически отказался присоединиться к тем, кто выступал против Фогта:

«Все эти семь лет (с того времени, как прекратил свое существование Союз коммунистов) я далеко стоял от партии. Я не посещал ее собраний, ее постановления и действия оставались для меня чуждыми. Фактически, следовательно, мои отношения с партией были давно нарушены. Мы никогда в этом отношении не обманывали друг друга. Это было своего рода молчаливое соглашение между нами. Я могу только сказать, что я себя при этом хорошо чувствовал...» . . . . . .

Письмо Фрейлиграта, после многих размолвок последних лет, не удивило Маркса. Каким пигмеем казался поэт по сравнению с другими соратниками Карла по партии! Фрейлиграт откровенно искал покоя и поддержки богатых, политически мелких, недалеких, но преуспевающих людей. Карл вспомнил название одного из стихотворений Фрейлиграта — «Наперекор всему».

«Итак, наперекор всему, автор прощального слова «Новой Рейнской газеты» отказался публично вместе с нами выступить против негодяя», — подумал он с горечью.

Когда на человека обрушивается беда, то ему открывается тогда же и истинная сущность отношения к нему тех, кого он считал друзьями.

Много раз испытывала сама жизнь душевные качества окружающих Маркса людей. Фрейлиграт пришел к нему в бою, на подъеме, но не мог выдержать проверки поражением.

Еще раз Маркс написал Фрейлиграту. Карл терпеливо разъяснил ему, что под словом «партия» вовсе не значился ни Союз коммунистов, ни редакция газеты, давно уже не существовавшие. «Под партией я понимал партию в великом историческом смысле».

Маркс привлек Фогта к ответственности за клевету и решил выступить с разоблачающей его брошюрой. Борьба с Фогтом была еще одним этапом многосторонней и постоянной войны Маркса с бонапартистской идеологией, которая из Франции перекинулась в другие страны и заражала мелкобуржуазных демократов.

Оценил он по достоинству и политический смысл выступления Фогта:

«Суть ведь в том, что банда имперских мерзавцев... и, наконец, либеральная банда употребляют все усилия, чтобы морально уничтожить нас в глазах немецкого филистера... Во всяком случае, международные отношения столь сложны, что для вульгарной демократии и либерализма чрезвычайно важно закрыть для нас уши немецкого филистерства (то есть публики) и доступ к нему... К случаю с Фогтом нельзя относиться точно так же, как к какому-нибудь Теллерингу... Этот проповедатель считается в Германии научным светилом, он *был* имперским регентом, его *поддерживает* Бонапарт».

Карл принялся за отповедь клеветнику Фогту. На учено-

мые законы, он превратился в бесстрашного бойца, неутомимого полемиста. Сарказм несет в себе разрушительную силу, и он вооружился им. Творческое многообразие заставляет дочитывать книгу до конца, и Карл сумел сделать свою брошюру увлекательной. Он без труда отыскал в необъятной памяти литературный прототип для своего противника. Тучный, самодовольный, наглый и хвастливый профессор зоологии более всего напоминал шекспировского сэра Джона Фальстафа. Фогт, по словам Маркса, «нисколько не убавился в *весществе* в своем новом зоологическом перевоплощении».

Спутники всей сознательной жизни Карла, его самые близкие друзья — книги явились на помощь в этой справедливой борьбе. Много претерпевший от вражьей клеветы Данте, великий человековед Шекспир, шутник Рабле, проницательный Кальдерон, трагический Шиллер и многие другие подсказали ему меткие, колкие слова и образы.

Маркс снова отдался творческой и боевой страсти. Где бы он ни был — с рапирой в руке на фехтовальной арене, среди книг и мыслей с пером за рабочим столом, на трибуне, — он проявлял бесстрашие, знания, живость, натиск, пылкость и целеустремленность.

Шли дни, недели, а Маркс большею частью сидел над книгами и рукописями. Перед ним часто лежала испещренная пометками книжка Фогта. На отдельных листках были выписки, которые следовало внести в книгу для контратаки:

«...в Лондоне шайка изгнанников... Их глава — Маркс... их лозунг — социальная республика, диктатура рабочих, их занятие — организация союзов и заговоров».

Карл, желая отдохнуть, звал свою маленькую дочь, и Тусси вприпрыжку, волоча куклу, врывалась к отцу, властно требуя исполнения ее желаний. Маркс сдавался.

— Ты должен рассказать мне ту сказку, которую начал давным-давно.

— Не про Ганса ли Рекле? — покорно спрашивал Карл и сажал Тусси к себе на колени.

— Ты все еще пишешь про этого гадкого Фальстафа? — спрашивала она, указывая на ворох бумаг и книг, лежащих на столе и стульях.

— Да, пишу, а ты, кажется, не любишь «Виндзорских проказниц»?

— Мне нравится «Сон в летнюю ночь». Но мы снова забыли про плутишку Ганса.

— У бедняжки опять очень запутаны денежные дела, — сказал Карл, притворно вздыхая. — Я боюсь, что ему придется продать свою чудесную лавку, где живет столько веселых игрушек, и оставить их всех на произвол судьбы. У него нет больше денег, чтобы кормить и одевать игрушки.

— Сделай так, чтобы он смог заплатить свои долги. Ганс Рекле ведь колдун, он все может, — просила Тусси жалобно. — Ну, куда же денутся, если он попадет в долговую тюрьму, все его деревянные куклы, великаны и карлики, королевы и короли, стулья и ящики!

— Ты права, мой маленький карлик Альберих [1], у Ганса в лавке находятся также собаки, кошки, львы, голуби и попугаи. Их не меньше, нежели у старого Ноя в его сказочном ковчеге. И все же, несмотря на то что Ганс добрый волшебник, его преследуют зеленщик, бакалейщик и особенно мясник и булочник. Сегодня я расскажу тебе удивительное приключение Ганса Рекле, когда он отправился к дьяволу, чтобы тот ссудил ему немного денег.

И Маркс рассказал дочери увлекательную историю, чем-то напоминавшую страшные сказки Гофмана. Но Тусси требовала все новых и новых сказок. Особенно ей нравился рассказ о ежике:

«В маленькой норке у ежика родился сынишка. Был он мягонький и нежный, как одуванчик, и мать ласково поглаживала язычком его тельце. Вскоре ежик выполз в сад. Ему приветливо кивали цветы с больших клумб, и он весело прогуливался среди трав. Кожица его все еще была не жестче, чем лепестки пиона, который надменно поглядывал на него сверху. Но шли дни, и на шкурке его выросла жесткая щетинка. Ежик приуныл.

— Мои иглы будут царапать лепестки пастушьей и анютиных глазок. Не хочу я быть точно металлический скребок, о который люди чистят свои грязные подошвы у порогов домов. Не хочу быть как подушечка с булавками. Хочу остаться мягким.

— Глупый ежик, — сказал хмурый зеленый репейник, покачав колючей головой с лиловым чубчиком, — не проживешь ты на свете без игольчатого панциря.

---

[1] Один из героев «Песни о Нибелунгах».

— Конечно, проживу, — ответил упрямый ежик, — разве цветам жить не легче? Их гладит ветерок и солнце, а их головки ничем не прикрыты, и даже у розы шипы не защищают цветка.

И он бросился к толстому угрюмому дубу.

— Позволь мне потереться о твои мощные корня и ствол; я не хочу, чтоб скверные иглы выросли на моей спинке и поранили цветы. — Он стал кататься кубарем по земле и прижиматься к коре старого дерева. Но когда ежик вернулся в сад, то, к ужасу своему, увидел, что все цветы были сорваны. Только мудрый репейник спрятался в свою зеленую крепость.

В то же время большой бурый кот спрыгнул с крыши дома и, выставив все десять коготков, приблизился к ежику. Однако сотни иголочек, отвердев, грозно поднялись навстречу страшному врагу. Тщетно пытался кот выщипать ежика из его неприступной колючей брони.

Оцарапав нос и лапы, кот бежал, а маленький ежик гордо высунул свою крошечную головку.

Репейник дружески кивнул ему сверху своим лиловым вихром.

— Да, — сказал ему ежик важно, — чтобы быть мягким, надо иметь наготове иголки!»

Ежедневно по утрам маленькая Тусси вместе с двумя старшими сестрами занималась гимнастикой, которую англичане называли калисфеновской. Все три дочери Маркса любили трудные физические упражнения. Они с наслаждением бегали взапуски, играли в мяч и соревновались в прыжках и лазании по деревьям. Но никто не мог превзойти в этих занятиях Женнихен. Чрезвычайно гибкая, она упорными занятиями достигла в гимнастике замечательных успехов и удивляла близких своей ловкостью. В свободные вечера дети демонстрировали такой трюк: сестры тщательно привязывали Женнихен веревкой к стулу. Эта процедура длилась не менее четверти часа и сопровождалась веселой суетой. Руки, ноги, шею, голову девушки прикрепляли к высокой спинке и ножкам. К всеобщему изумлению, Женнихен в течение одной минуты, ловко изгибаясь, освобождалась, сбросив с себя веревку, опутывавшую ее, как сеть. Тусси тщетно пыталась подражать в этом старшей сестре.

Женнихен была не только внешне, но и по складу ума похожа на своего отца. Жизнерадостная, настойчивая,

она удивляла обширностью знаний, сообразительностью, полетом мысли и фантазии. Хорошая художница, она была одарена большим актерским дарованием и превосходно декламировала. Низкий грудной голос Женни был создан для сцены, как и вся ее незаурядная внешность. Она легко изучала языки и любила заполнять памятные тетрадки поэмами и стихами, записывая их в оригинале: Гете, Шиллера, Гейне — по-немецки; Корнеля, Вольтера, Беранже — по-французски; Шелли, Байрона, Мильтона — по-английски; Кальдерона — по-испански и Данте, Петрарку и Тассо — по-итальянски. Шекспир был ее самым любимым писателем, и она не уставала находить в его творениях все новые и новые сокровища. Так же пылко и нежно любила Женнихен цветы. Она сама их выращивала, радуясь каждому новому бутону и листику. Из Голландии родственники отца присылали ей луковицы и семена разноцветных тюльпанов, серебристых нарциссов и редких растений далекой Индонезии.

Золотоволосая Лаура к пятнадцати годам стала настоящей красавицей. Как и у Женни, ее духовный мир был многогранен и глубок, и она не искала для себя легких жизни исхоженных и легких дорог. Обе старшие дочери стремились помогать отцу и поочередно заменяли ему секретаря.

В одном из писем к Энгельсу их мать с мягкой иронией сообщала: «Я думаю, что мои дочери скоро уволят меня в отставку, и я попаду тогда в список «имеющих право на обеспечение». Жаль, что нет перспективы на получение пенсии за мою долголетнюю секретарскую службу».

Маркс напряженно работал над памфлетом против Фогта. В это время он получил письмо из Парижа от своего давнишнего знакомого Сазонова. Взволновавшие слова русского были настолько значительны, что Маркс решил включить это письмо в один из разделов своей работы о Фогте.

Сазонов писал из Парижа в мае 1860 года:

«Дорогой Маркс!

С глубочайшим негодованием я узнал о клеветнических вымыслах, которые распространяются на Ваш счет

и о которых я прочитал в напечатанной в «Ревю контем-
порен»[1] статье... В особенности меня удивило то, что
Фогт, которого я не считал ни глупым, ни злым, мог так
низко морально пасть, как это обнаруживает его брошюра.
Мне не нужно было никаких доказательств, чтобы быть
уверенным, что Вы неспособны на низкие и грязные ин-
триги, и мне было тем более тягостно читать эти клевет-
нические измышления, что как раз в то время, когда они
печатались, Вы дали ученому миру первую часть прекрас-
ного труда, который призван преобразовать экономичес-
скую науку и построить ее на новых, более солидных ос-
новах... Дорогой Маркс, не обращайте внимания на все
эти низости; все серьезные, все добросовестные люди на
Вашей стороне, и они ждут от Вас не бесплодной поле-
мики, а совсем другого, — они хотели бы иметь возмож-
ность поскорее приступить к изучению продолжения Ва-
шего прекрасного произведения. Вы пользуетесь огром-
ным успехом среди мыслящих людей, и если Вам может
доставить удовольствие узнать, какое распространение
Ваше учение находит в России, я могу Вам сообщить, что
в начале этого года профессор Б... прочел в Москве пуб-
личный курс политической экономии, первая лекция ко-
торого представляла не что иное, как изложение Вашей
последней книги. Посылаю Вам номер «Газетт дю норд»,
из которого Вы увидите, каким уважением окружено Ва-
ше имя в нашей стране. Прощайте, дорогой Маркс, бере-
гите свое здоровье и работайте по-прежнему, просвещая
мир и не обращая внимания на мелкие глупости и мелкие
подлости. Верьте дружбе преданного Вам.. »

Усиленно помогали Марксу в работе над разоблаче-
нием Фогта Вильгельм Вольф и Энгельс. Фридрих тща-
тельно просматривал все имеющиеся документы за 1850—
1852 годы. Но в конце марта, в связи со смертью отца от
тифа, он вынужден был спешно отправиться в Бармен
вало от Маркса кропотливой, чисто следственной и юри-
дической работы. Так некогда разоблачал он кёльнскую
судебную провокацию. Шаг за шагом прослеживал он
идейный путь бонапартистского агента Фогта. Гриль, ко-
торой попытался сей зоологический ученый замарать ком-

[1] «Современное обозрение».

мунистов, падала на самого провокатора. Карл располагал неопровержимыми доказательствами своей правоты и не сомневался, что нанесет Фогту сокрушительное, непоправимое поражение. Политическая карьера Фогта должна быть навсегда кончена. Клевета всегда убийственна для клеветников, когда их разоблачают. Карл был подобен льву, растаптывающему лапой змею.

Ему приходилось очень много трудиться в эти месяцы. Чтобы иметь хоть мизерный заработок, Маркс писал для «Нью-Йорк дейли трибюн» статьи на злободневные темы.

Снова широко и победно развернулось национально-освободительное движение на Апеннинском полуострове. Отряды Гарибальди с боями двигались по Италии.

В эти же месяцы французские и английские войска свирепствовали в почти безоружном Китае. Они осадили Пекин и зверски разграбили величайший памятник китайской архитектуры — Летний дворец. Командующий французской армией генерал Кузен-Монтобан ворвался со своими офицерами в императорскую резиденцию и принялся грабить прославленные китайские драгоценности, как самый отъявленный мародер и бандит. Затем он распорядился сжечь Летний дворец, что и было исполнено с вандальской изощренной жестокостью. Никто не пытался подсчитать количество жертв среди китайского населения — так много их было. В октябре китайское правительство вынуждено было подписать предложенные союзниками условия, обеспечивавшие, помимо огромной контрибуции, свободный доступ европейцев во все города Китая.

Когда усмиритель и вор генерал Кузен вернулся в Париж и отдал императору часть награбленных сокровищ, тот внес предложение в законодательные органы о присвоении ему титула графа и назначении огромной пожизненной пенсии. Однако разбойничьи подвиги генерала возбудили столь сильное негодование в народе, что даже палата отказалась исполнить пожелание императора.

— Генерал свое вознаграждение привез из Китая, — заявили депутаты.

Наполеон в отместку палате распорядился, чтобы к военным издержкам, которые обязывалось уплатить китайское правительство, приписали еще около шестисот тысяч франков в пользу командующего французскими войсками.

Маркс пытливо заглядывал во все уголки планеты. Он не замечал переутомления, исподволь подтачивавшего его. Он черпал силы в неумеренно напряженном, всепожирающем умственном труде, который всегда был его стихией.

Женни, однако, едва держалась на ногах. Мерзкие нападки Фогта, многолетняя беспросветная борьба за существование, постоянные долги и лишения стоили ей немало бессонных ночей и унылых размышлений, подрывали силы. Дочери подрастали. Детство и отрочество их были нелегкими. Женни хотелось не только наряжать их, баловать, но, главное, дать им возможность учиться всему, к чему у них была склонность: музыке, живописи, языкам. Ее пугала их будущность, их полная необеспеченность.

Женнихен и Лаура, довольствуясь всегда немногим, отлично физически развивались и выделялись своими интересами и знаниями среди сверстниц. Но мать горевала, не имея возможности купить им самое необходимое из одежды и обуви, вывозить их на концерты и в театры, отправиться путешествовать, что значительно обогатило бы молодые восприимчивые души. Хотя Тусси росла на редкость здоровым и удачным во всех отношениях ребенком, Женни, вспоминая четверых умерших детей, постоянно боялась за нее. Накопившаяся за много лет усталость все чаще сменялась внезапным нервным напряжением и необъяснимой мучительной тревогой. Женни жила в состоянии постоянного ожидания неудач и неприятностей. Шли годы. Ей исполнилось уже сорок шесть лет.

«Неужели жизнь прожита? — спрашивала она себя и тут же отвечала: — Нет, не может быть, я все еще у ее порога. Лучшее у нас впереди».

Но почему ей стало не под силу нести жизненное бремя именно теперь? Бывало ведь значительно труднее? Женни с содроганием представляла себе Дин-стрит, Маркса без обуви, пригвожденного нищетой к дому, голодного, смерть Фоксика, Франциски и Муша. Ей казалось, что небо было тогда затянуто густым черным туманом. Как смогла она пережить эти утраты? На кладбище для бедных, над черной ямой, куда опустили гроб Муша, губы Женни судорожно перекосились, и она думала, что никогда больше не будет улыбаться. Но она смирилась, продолжала жить, начала улыбаться и обрадовалась, когда снова услышала веселый смех Карла и девочек.

— Человек все может выстрадать, — поучала Лепхен.— На то он и царь земли. Птицы и звери, те вот слабые. Они, чуть что, и гибнут. А люди как камни. Да и если бы не было несчастья, как знали бы мы, что такое счастье? Вам жилось хуже, нежели теперь. Вспомните Дин-стрит.

Но Женни слушала ее безучастно. Да, у нее была наконец светлая квартира, три дочери действительно отличались здоровьем, приветливым нравом, умом. Семья была спаяна крепкой любовью и дружбой. Но Женни как бы потеряла всякую сопротивляемость огорчениям, лишениям, испытаниям. Их было, видимо, слишком уж много позади. Ей нечем было больше страдать. Каждый удар, даже самый незначительный, больно задевал израненное сердце и причинял нестерпимые муки. Женни начала терять столь присущую ей раньше выдержку. Она часто плакала, иногда из-за пустячного повода, и едва сдерживалась, чтобы не повышать голоса. Лепхен не понимала ее.

— Ну чего вы так убиваетесь по мелочам? Пора бы привыкнуть ко всему и не обращать внимания. Не такое вы уже хлебнули. Эка беда, что кредиторы грозятся судом. Уймутся. Господин Энгельс поможет, а там Карл книгу допишет, и уж обязательно ему хорошо заплатят. А что разные мошенники клевещут, так без этого не бывает жизнь у хорошего человека. Вспомните притчу о Иове. Не то еще терпел, Карл и его друзья - все как есть праведники. Им рано или поздно все сторицею воздастся.

Женни, не дослушав Лепхен, торопливо одевалась и в омнибусе уезжала в Вест-Энд, желая побороть беспокойство и рассеяться на шумных улицах столицы. Она посещала магазины не столько ради покупок — у нее почти не было денег, — но чтобы посмотреть на модные наряды, которые так подошли бы ее красивым дочерям, заглянуть в каталоги нотных и книжных новинок.

Ей не сиделось на одном месте. Она не могла совладать с собой и с горечью и смущением впервые в жизни заметила, что с трудом сосредоточивается, переписывая по вечерам объемистую рукопись мужа.

Когда книга о Фогте подошла к концу, как это бывало всегда, Карл попросил Фридриха и Женни помочь ему окрестить новое свое детище. Энгельс предложил назвать памфлет «Господин Фогт».

Женни возразила:

— Мне не нравится. Я предлагаю название «Дя-дя, Фогт».

— Но позвольте, друзья, это как-то непонятно на первый взгляд и не связано с текстом, — настаивал на своем Фридрих.

Карл слушал спор молча. Он любил сопоставлять разные мнения. Это помогало ему найти правильное решение.

— Возможно, — сказала Женни, — но даже в греческих трагедиях часто на первый взгляд нет никакой связи между заглавием и содержанием. Это заинтриговывает читателя. Впрочем, пусть решает сам Маур.

Поразмыслив, Карл склонился к предложению Фридриха. Книга была названа «Господин Фогт».

Спустя несколько дней после этого разговора, когда работа над брошюрой подошла к концу, Женни внезапно слегла.

Появились лихорадка и общее недомогание, боль в горле и резь в глазах, как это бывало обычно во время инфлюэнцы, столь частой в ноябре, когда Лондон с его непрерывными дождями, сыростью и яркой вечнозеленой травой становится похожим на огромный аквариум.

Женни тщетно попыталась превозмочь болезнь. Самочувствие ее непрерывно ухудшалось, головная боль и жар усиливались, и обеспокоенный Карл решил вызвать врача.

— Аллен знает отлично свое дело и не раз уже лечил нас всех успешно, — сказал он, но Женни с необычайной горячностью воспротивилась.

Решили прибегнуть к испытанным при простуде средствам. Ленхен напоила Женни горячим грогом, растерла с материнской нежностью и усердием теплым оливковым маслом ее грудь и спину и заставила надеть шерстяные носки, насыпав туда горчичного порошка. Но Женни не стало лучше. Лицо ее распухло, пылающие глаза начали слезиться, кожа приобрела странный пунцовый оттенок. Она совершенно потеряла сон и аппетит и впала в крайне возбужденное состояние, громко жалуясь на боль в пояснице, голове и горле. Карл послал за врачом.

— Мне холодно, точно я лежу на льду, — задыхаясь и дрожа всем телом, твердила Женни, но, когда ее пытались обогреть металлическими грелками, она отбрасывала их в сторону. — Жарко, душно, нечем дышать. Погасите камин, откройте окна, тело мое горит, как на угольях.

Куда девать голову? Она такая тяжелая и так мешает. Если бы можно было ее снять и положить куда-нибудь, как шляпу. Опустите шторы, мои глаза видят все в багровом свете, точно вокруг пожар. Ах, Чарли, теперь я знаю, как больно бывает твоим глазам. Но почему так отчетливы и объемны мои мысли, я могла бы коснуться их руками. Хочешь, Мавр, я проведу тебя шаг за шагом по всей нашей прошлой жизни от самого детства...

Но вдруг Женни вспомнила Фогта и кредиторов. Ничто не могло ее успокоить; казалось, что она бредит и никак не может отбросить прочь навязчивые мысли. Они, как репейник, цеплялись и ранили ее сознание. Она отбивалась от них, вскакивала с постели, неистовствовала, пока, обессиленная, не падала на подушку и не затихала в горячечном полусне.

Доктор Аллен отнесся к болезни Женни чрезвычайно серьезно. Он потребовал, чтобы тотчас же дети покинули дом. Вызванный Ленхен Либкнехт предложил увести девочек к себе и обещал окружить их родственной заботой. Маркс, зная о стесненном его положении, обещал ежедневно отправлять семье Либкнехта необходимые Женни-хен, Лауре и Тусси съестные припасы. Заботу об этом взяла на себя Ленхен. Когда врач предложил, опасаясь заражения, и ей отправиться вместе с детьми, она вознегодовала:

— Вы злой человек, господин доктор, и, верно, не знаете, что для меня госпожа Маркс больше, чем моя жизнь, ближе, чем сестра, а со времени смерти баронессы Вестфален дороже, чем дочь. Что с того, что я моложе ее годами. Женни во многом сущее дитя. С ней сравнить можно разве только Карла. Я умру, как только оставлю этих двух беспомощных детей одних, ведь дорогой Карл позабудет, что надо есть и пить. Он питается одними книгами и сигарами. Умоляю вас, доктор, не делайте меня несчастной, я все равно буду стоять день и ночь у дверей и окон этого дома.

Доктор Аллен внимательно посмотрел на Елену Демут. Он постоянно лечил всех членов семьи Маркса и хорошо знал обо всем, что в доме делалось. Ленхен всегда нравилась ему. Она выглядела значительно моложе своих сорока лет и была очень миловидна. Стройная, белокурая, с чудесным румянцем на лице, умная и находчивая в разговоре, она легко могла выйти замуж и зажить своей

семьей, но решительно отклонила несколько брачных предложений. В Женни, Карле и их девочках сосредоточился весь смысл ее жизни. И Аллен знал, что не в его власти заставить ее покинуть этот дом, как бы ни была велика опасность заражения тяжелой болезнью.

Елена и Женни горячо любили друг друга.

— Если я умру, — сказала Женни, — похороните меня так, чтобы рядом оставалось место также для Карла и для тебя, Лепхен. Мы были неразлучны в жизни, пусть же наши бренные останки будут вместе в земле.

Аллен согласился оставить Лепхен в помощь Карлу, который не отходил с этой минуты от больной и старался быть самой терпеливой и внимательной сиделкой.

Со слезами на глазах Женнихен и Лаура покидали родителей. Глубокая грусть охватила всех. Карл вышел на крыльцо, чтобы еще раз поцеловать дочерей. Только проказница Тусси не понимала постигшего дом несчастья.

— До свидания, старина. Я скоро вернусь, ты доскажешь мне тогда сказку о Гансе Рекле, — сказала она, крепко целуя колючую щеку отца и маленькими ручонками ласково растрепав его мягкие густые волосы.

Когда доктор Аллен дал последние наставления Лепхен и вышел из комнаты больной, Карл с неровно бьющимся, встревоженным сердцем, крепко сжав руки, обратился к нему с просьбой не скрывать правды о состоянии больной.

— Я вижу по всему, — произнес он дрожащим голосом, — что опасность очень велика, но есть ли надежда на спасение? Лишь бы ничего не грозило ее психике. Моя жена в последнее время была столь возбуждена, что, вероятно, нетрудно сойти с ума. Только бы не это.

Врач с глубоким сочувствием посмотрел на осунувшееся, болезненно-бледное лицо Маркса.

— В одном отношении дело обстоит лучше, чем вы думаете, — ответил он, — это не первая горячка, и рассудку госпожи Маркс ничто не угрожает, но в другом — приготовьтесь к худшему из того, что могло вас постигнуть. Очевидно, тяжелые переживания последних лет истощили организм вашей жены и где-нибудь — в лавке, в омнибусе, в толпе — она заразилась болезнью, весьма частой в прошлые века...

— Какой? Неужели... — потрясенный страшной догадкой, вскричал Маркс.

— Черной оспой.

Карлу показалось, что врач исчез из поля его зрения, что он на мгновение ослеп и оглох.

«Оспа, оспа, оспа, оспа, смерть, смерть, смерть», — рвались, как гранаты, в мозгу два слова.

Где-то далеко-далеко снова зазвучала для Карла монотонная речь врача.

— Я сделаю госпоже Маркс, вам и почтенной мисс Демут по две прививки, как учил нас великий Дженнер. Надо надеяться, что вы оба еще не заразились.

— Спасите Женни, — беззвучно сказал Карл, — не могу ли я что-либо сделать? Располагайте мной, моей жизнью, доктор Аллен. Останется ли она жива?

Доктор Аллен принялся основательно мыть руки в фаянсовом тазу, принесенном Лепхен.

— Оспа — младшая сестра чумы, но не все заболевающие ею умирают, — спокойно объяснял он, — будем надеяться на лучшее. Дженнер дал нам могучее средство, правда, в качестве профилактики, но и во время болезни оно иногда помогает. Жизнь вашей супруги теперь зависит более всего от ее природы. Медицина одна тут бессильна. Госпожа Маркс не стара, у нее хорошая наследственность, и я не замечал, чтобы сердце ее, печень и почки были нездоровы. Крепитесь, друг мой, терпение и время — вот наши с вами подручные.

Врач прописал больной красное вино для поддержания сил и сделал Карлу и Лепхен прививки.

— Твердо надеюсь, что организм вашей жены победит эту отвратительную болезнь и оспе не удастся обезобразить одно из самых прекрасных лиц, какие я знаю.

Врач ушел. Карл отыскал и прочел в справочнике все, что было известно об одном из самых заразных и тяжелых заболеваний, об оспе. То, что красота Женни также находится под угрозой и она может ослепнуть, не показалось Карлу столь страшным, как процент смертности от этого бича, вырванного у природы около ста лет назад скромным сельским лекарем.

Образ Женни навсегда запечатлелся в любящем сердце Карла, и, какой бы она ни стала, для него она навсегда была единственной, незаменимой, прекрасной. Настоящая любовь не исчезает оттого, что идут годы, чередуются

болезни, наступает старость и стирает краски, сушит кожу, прокладывает морщины, искажает черты, обесцвечивает волосы. Это неизбежность, на которой закаляется чувство. Внешнее разрушение не охлаждает истинной привязанности. Любовь всегда мудра. Женни и Карл стали как бы единым физическим существом. И обоим им показалось бы странным даже самое предположение, что они могут разлюбить друг друга из-за поседевших волос, рябин на лице или рубцов от нарывов.

— Живи, только живи! — заклинал Карл, сжимая горячую сухую руку жены и заглядывая в ее воспаленные глаза.

Болезнь развивалась, беспощадная, уродливая, жестокая, изощренная, как камера пыток.

Лицо Женни напоминало багрово-синий кровоподтек. По всему телу разлилась темно-красная мелкопятнистая сыпь, которая затем превратилась в множество пузырьков, похожих на жемчужины, окруженные пунцовой каемкой.

Женни с трудом дышала, глухо кашляла и почти лишилась голоса, а затем и зрения. Во рту появились язвочки, мешавшие ей глотать. Карл поил ее по капельке с ложечки портвейном, чтобы хоть немного подкрепить. Она заметно слабела с каждым часом. На девятый день температура достигла возможного предела. Началась стадия нагноения. Кожа больной покрылась как бы чешуей из темно-бурых пустул. Сознание Женни затемнилось, она металась и вскрикивала. Глаза ее непрерывно слезились, веки отекли.

Приходя в себя, больная ясно чувствовала, что тело ее состоит из миллионов клеточек и каждая из них жжет, болит. Постель чудилась ей утыканной гвоздями, и она извивалась, чтобы как-нибудь лечь, причиняя себе меньше страданий. Начался адский зуд. Женни, казалось, обезумела. Чаша страдания переполнилась. Она ненавидела ее до тех пор.

День и ночь напролет Карл старался успокоить зуд, обмахивая воспаленную кожу пером. Это не помогало. Женни принималась расчесывать ранки и срывать черные подсыхающие струпья. Она, казалось, впала смерть. Сознание ее было снова ясным и тем более усиливало мучения. Карл и Лехен силой удерживали ее руки, чтобы она не расчесывала лицо и тело. Догадавшись, чем именно болеет, Женни испугалась, что заразит оспой мужа, и начала умолять его поостеречься и не прикасаться к ней.

Но Карл никому не доверял ухода за женой. Несколько ночей были поистине страшны. Женни не засыпала ни на мгновение, и отек гортани не давал ей ни есть, ни пить. Одышка все усиливалась, пульс слабел.

Бесстрашная душа Карла дрогнула. Он подумал, что Женни обречена и погибает. Чувство душераздирающего бессилия и отчаяния, как тогда, когда на его руках умирал маленький Муш, охватило его. Карл заплакал. Искаженное, бесформенное, бураково-фиолетовое лицо, заплывшие, незрячие глаза Женни были ему дороже всего на земле. Вряд ли он любил жену больше, когда красота ее изумляла. Без Женни не было жизни для Карла. Но он чувствовал всю свою беспомощность, оказавшись свидетелем единоборства со смертью самого любимого им существа.

Что предпринять? Чем помочь? Все было напрасно. Болезнь неумолимо продолжалась. Зуд не прекращался, хотя жар спадал, глаза прозрели и пустулы подсохли. Карл едва держался на ногах. Многодневная бессонница, постоянные опасения грозили тяжелыми последствиями. В дни наибольшего напряжения судьба пришла ему на помощь. У него разболелись два зуба. Дантист вырвал их столь неудачно, что в десне остались корни. Щека Карла распухла. Он потерял способность думать, все исчезло и растворилось в невыносимой боли.

Это неожиданное переключение спасло его от опасного психического напряжения, точно так же как оспа, по мнению доктора Аллена, предотвратила для Женни тяжелое нервное заболевание.

Женни начала медленно поправляться. Карл и Лепхен были оба так переутомлены, что пришлось нанять для нее сиделку. Дети все еще жили у Либкнехтов. Несколько раз родители предлагали им переселиться в учебный пансион, однако Женнихен и Лаура отказывались, так как обе были атеистками и не хотели лицемерно исполнять обязательные в учебных пансионах религиозные обряды.

Карл и Женни переживали счастье возрождения. Они не могли наглядеться друг на друга и не замечали вынужденной из-за болезни изоляции от всего мира. Их вечно молодая любовь, пройдя через испытание и опасность, еще больше спаяла их.

Карл, радуясь, что жена спит целебным сном выздоравливающих, сидя подле нее, находил отдохновение в

ыслей математике и подолгу решал мудреные, сложные задачи. Каждые два-три дня он писал письма в Манчестер, где Фридрих Энгельс и Вильгельм Вольф с волнением ждали известий о ходе болезни.

Однажды Женни попросила зеркало. Оспа, однако, не смогла обезобразить ее точеного лица, ярких карих глаз. Но кожа напоминала пчелиные соты. Заметив смущение и беспокойство жены, Карл сказал ей со всей присущей ему силой убеждения:

— Милая, ты была, есть и будешь для меня самой красивой женщиной в мире. Доктор Аллен заверяет, что на твоем лице скоро не останется и следа болезни. Если даже несколько рябинок не совсем исчезнут, они украсят тебя, как родинки, воспетые восточными поэтами.

Дни на Графтон-террес потекли обычной чередой. Но потрясения последней поры не прошли для Карла бесследно, он тяжело заболел и слег.

Большой радостью были для него похвалы книге «Господин Фогт», которая вышла из печати и раскупалась в разных странах. Каин был заклеймен: Фогт получил удар, от которого никогда уже не оправился как политический деятель.

Энгельс многократно в восторженно высказывался о работе друга:

«Вещь эта превосходна... это сокрушительно..», «Это, конечно, лучшее полемическое произведение, какое ты когда-либо написал; его стиль проще, чем в «Бонапарте», и все же, там, где это нужно, оно так же эффектно».

В течение четырехнедельного карантина в связи с оспой Карл, когда опасность для жизни Женни миновала, прочитал множество книг. Особенно заинтересовал его недавно изданный труд Чарлза Дарвина о естественном отборе. Он не замедлил поделиться своим впечатлением об этом необыкновенном произведении с Женни, а затем и с Фридрихом.

«...Эта книга дает естественно-историческую основу для наших взглядов», — писал он между прочим.

Энгельс приветствовал труд Дарвина, как первую грандиозную попытку успешно доказать историческое развитие в природе.

В то время как недоступный аристократический Оксфорд готовил Англии преимущественно политических

деятелей консервативной партии, Кембридж вооружал профессиональными знаниями юристов, физиков, врачей и естествеников. Дарвин получил ученую степень в колледже Кембриджа, похожем на магометанскую богословскую школу — медресе. Глубокая тишина нарушалась там дважды в день протяжным пением органа во время обязательной церковной службы. Но смелость научных выводов Дарвина испугала кембриджских ученых. Его книга была вызовом городу, где все жило завстами англиканской церкви.

Внутренняя политика Наполеона III возбуждала недовольство не только простого народа и рабочих, но и крупной буржуазии. Не мирились с новым режимом интеллигенция, торговцы и мелкие фабриканты. Император опирался на военную силу, полицию и духовенство. Католическая власть широко раскинула свои ловушки по всей стране. Печать билась в сетях цензуры. Свобода собраний и слова всячески попиралась. В Париже и провинции возникали тайные революционные общества, за которыми ретиво охотилась полиция.

Многолетний префект Парижа, барон Осман, согласно воле императора, рьяно занимался перестройкой столицы, прокладкой новых, широких улиц и бульваров. Сносились старые кварталы, возводились вычурные, дорогостоящие здания.

Старый средневековый Париж узеньких, непроезжих улочек и тупичков, маленьких квадратных площадей, готических домов с острыми отвесными крышами, продолговатыми глубокими окнами с резными наличниками и тяжелыми входными дверями в низких подворотнях, города цеховых корпораций, торговых рядов, защитных стен, башенок и рвов, подъемных мостов, площадок для дуэлей на ппагах, чумных нашествий и всеуничтожающих пожаров исчезал. Ему на смену вырастали просторные проспекты, великолепные площади, парки и дворцы с множеством крикливых лепных украшений, орнаментальных колонн, которые беспощадно облепляли пыль и сажа. Париж стал нарядным, комфортабельным городом буржуазной Европы. Но Бонапарт и его слуга префект Осман преследовали не только эстетическую цель украшения

столицы, они решили смести улицы, столь удобные для баррикадных народных боев. К тому же большое строительство предотвращало безработицу и давало заработок труженикам.

Водитель локомотива Жан Сток доставлял железо, мрамор, туф и много других материалов для возведения богатых домов в центре Парижа.

В свои двадцать с небольшим лет машинист был так мужественно хорош собой, так привлекательна была его улыбка, открывавшая зубы, белые, как рис, что, даже когда он выглядывал с паровоза вымазанный, будто сажей, боярский трубочист, молодые девушки кричали ему приветствия и махали платочками, останавливаясь у полотна дороги. Жан замечал их и был доволен, но не потому, что ему это льстило или он сам заглядывался на женщин. Досадная мысль волновала его постоянно: «Почему я нравлюсь всем, кроме одной?»

Жаннетта встречала его, когда он возвращался с работы, сурово и придирчиво:

— Ну и гадкую же ты выбрал профессию, мальчик. И что хорошего в дымящем утюге, которым ты приглаживаешь дорогу. Я не успеваю отстирывать твою одежду от грязи. У тебя всегда воспалены глаза, ты пропитан мазутом, машинным маслом и угольной пылью. А твои ногти черны. По ком только носишь ты траур?

— По любви, которой не смог добиться. Знаю, Жаннетта, как я тебе противен. Ты можешь обижать меня как хочешь, но профессию машиниста не задевай. Она, право, лучше всякой другой.

В этом мнении Жан был непоколебим. Он любил свой локомотив, как кавалерист лошадь и кочевник верблюда. Ему казалось, что на свете нет машины более величественной и сильной. Жану никогда не надоедало чистить огромный остов железного великана, и если бы он не стеснялся рябого насмешливого кочегара, то громко говорил бы с локомотивом, как с живым существом. Но и так он нередко обращался к нему мысленно:

«Ну, поторапливайся же, что это ты, дружище, поскрипываешь и замедляешь ход, — видно, просить больше пару. Потерпи немного, до водокачки осталось десяток миль, а уж там я напою тебя славно. Не пали, голубчик, давай-ка припажмем. Быстрее... еще... еще... Молодец!»

Жан уверенно управлял громадным чудовищем, которое с трудом тащило за собой много груженых тяжестями и людьми деревянных коробок, поставленных на колеса. Отвага, сознание силы и чувство собственного достоинства всегда были присущи сыну Женевьевы и Иоганна Стока. Профессия укрепила эти черты его характера. Он был господином одного из лучших изобретений века, и новая, впервые зародившаяся гордость открылась ему. Быть машинистом локомотива было почетно и свидетельствовало о смелости. Железнодорожные катастрофы случались часто. И если бы Жан был опытнее и наблюдательнее, то заметил бы, что Жанетта часто в часы его возвращения стояла у порога дома. Вздох облегчения при виде юноши предшествовал ее угрюмому приветствию и придиркам.

Жанетте было за тридцать, и она считала себя старухой, хотя выглядела совсем юной и была очень привлекательна. Прошло много лет со дня смерти Иоганна Стока: его дочь, Катрина, стала послушным, трудолюбивым подростком и училась шить у одной солидной портнихи на улице Мира, где одевались только богатые буржуа, модные актрисы и содержанки. Жанетта мечтала о том, что Катрина откроет со временем собственную мастерскую и будет жить безбедно.

— Тогда и я отдохну подле моей приемной дочери. Моя жизнь ведь кончена, и я надеюсь, что старость вознаградит меня за все былые неудачи и горести, — любила говорить Жанетта, вызывающе и зло глядя при этом на Жана. — Ты ведь не оставишь меня, Катрина?

Девочка кидалась на шею своей названной горячо любимой матери и покрывала ее лицо и руки поцелуями, а Жан отодвигал тарелку с превосходным супом и вставал из-за стола. Последнее время отношения его с Жанеттой ухудшались непрерывно.

— Зачем ты ходишь поденно стирать тряпье и мыть полы ко всем старым холостякам и вдовцам нашей улицы, разве моего заработка не хватает на нас троих? — возмущался молодой машинист.

— Кто дал тебе право шпионить за мной? Я не привыкла давиться чужим хлебом и, пока гнется спина и не трясутся руки, буду работать на себя. Какое мне дело до твоих заработков? Может, завтра ты приведешь молодку, и нам с Катриной надо будет искать себе другую кровлю.

Жан испытывал желание избить Жанетту и уходил из дома в соседнюю таверну, где читал газеты, пил аперитив и вступал в беседы и споры.

Противоправительственные настроения все нарастали. Народ знал, что у кормила власти собрались авантюристы и мошенники, получившие после бонапартистского переворота чины, богатства и земли. Духовенство прибрало к рукам неграмотное, темное крестьянство. Биржевые спекулянты во главе с братом Бонапарта, графом Морни, преуспевали и тянули деньги из казны. В государстве не чувствовалось устойчивой продуманной линии правления. Одна прихоть сменяла другую. За исключением крупной буржуазии и бюрократов, никто не был уверен в своем завтрашнем дне и не верил ни одному начинанию императора, о котором шумели подкупленные им газеты и чиновники. Слова резко расходились с делами. Неустойчивость и недоверие к властям породили у одних безразличие, у других — возмущение. По-прежнему барон Осман тратил большие деньги на украшение Парижа и строительство зданий. Но в нарядные дома и особняки въезжали зажиточные люди, а рабочий люд продолжал по-прежнему ютиться в подвалах и конурах на окраинах. Благоустройство столицы не было рассчитано на улучшение жилищ бедняков.

Домовладельцы получали неимоверные барыши, наживаясь на своих земельных участках и зданиях, предназначенных на слом. Искусственно вздувались цены и заключались фиктивные сделки. Правительство потворствовало шантажу, спекуляции и мошенничеству.

Жан Сток не держал языка за зубами и не боялся говорить о том, что думал о правлении Бонапарта. Уроки отца не забылись. Жаннетта, потерявшая мужа на баррикадах и сама участвовавшая в июньском восстании 1848 года, оказалась во власти противоречивых чувств, когда узнала, что Жан посещает тайные собрания рабочих и часто выступает на них, призывает на борьбу с произволом цезаризма. Она понимала, что сын расстреляного второго декабря коммуниста не должен трусить и покоряться ненавистному режиму буржуазии, возглавляемой авантюристом, но страх за жизнь Жана и его безопасность подсказывал ей другое.

«Если ты погибнешь, я этого не переживу», — хотелось ей крикнуть Жану, но тогда обнаружилась бы тайна,

которой она стыдилась. И, хитря, Жанетта принималась говорить, что рабочим вовсе не так уж худо в Париже. Чем тебе плохо? Платят хорошо, живешь, как не снилось твоим родителям. По праздникам одет, как будто имеешь бакалейную лавку. Можешь выбрать невесту, даже с хорошим приданым.

Жан досадливо морщился.

— Женщину всегда можно купить. Я не ожидал, что ты, друг моего отца, можешь болтать, как торговка.

Жанетта не умела лгать и притворяться.

— Ты прав, мальчик, все это я выдумала, но у тебя есть сестра. Ты не захочешь, чтобы она торчала под стенами тюрьмы или — еще чего хуже — у подножия гильотины.

— Ну, дальше Гвианы для рабочего дороги заказаны. Мы не безумцы террористы, чтобы нас обезглавили на радость Бонапарту, который воображает себя и впрямь Цезарем. Нужна социальная революция, а не бомба, взрывающая один экипаж. Эх, Жанетта, если бы ты меня любила, как силен я был бы в борьбе.

— Тебе пора жениться, а я, чтобы показать тебе, как это делается, выхожу скоро замуж за нашего соседа, портного. Хорошая у него профессия. Тихий, непьющий, добрый человек, да и по годам мне подходит.

Жан схватил Жанетту за плечи:

— Ты все шутишь, но смотри, как бы не выплакать тебе глаза.

Жанетта действительно дала согласие вдовцу, который был когда-то приятелем Кабьена и Стока. Она решила создать искусственную преграду между собой и молодым машинистом, который с каждым днем становился ей дороже.

«Брак, — уговаривала она себя, — навсегда разлучит нас с Жаном и утихомирит мое сердце».

Но мысль о другом приводила ее в отчаяние и снова она принималась внушать себе, что не должна любить Жана.

«Я стара. Десять проклятых лет. Зачем родилась я раньше его. Он будет еще молод, когда я высохну, как мочалка».

Вне себя от ревнивой горечи, досады и женского презрения к самому себе, Жанетта решила выйти замуж за другого.

Отчаянию Жана не было предела. Всю ночь до утра на все лады умолял он любимую женщину стать его женой, даже если она к нему равнодушна.

— Я не верю, чтобы ты полюбила этого облезлого козла. Тут кроется иное. Может, тебе не хочется ходить на подсиную работу? Но я давно прошу тебя тратить его деньги, что я приношу в получку. Ты не можешь, не смеешь оставить меня и Катрину. Вспомни клятву, данную моему отцу.

— Девочка будет жить со мной, а тебе давно пора свить свое гнездо.

— Я никогда не женюсь.

Жаннетта вся засияла от радости, но, тотчас же испугавшись, что выдаст себя, сказала с напускным равнодушием:

— Тоже нашелся монах. О-ла-ла! Слишком ты красив и силен, чтобы выстричь на макушке тонзуру. Вспомни лучше, как я шлепала тебя, когда ты был балуш или дрался с мальчуганами на улице, а я была уже замужем. У тебя был тогда голосок, как у пискливой девчонки. Я гожусь тебе в тетки, парень.

— Для меня на свете нет и не будет более молодой и желанной.

Жаннетта закрыла лицо руками. Она была счастлива этим признанием, но снова тревожные сомнения из-за разницы в годах и женское самолюбие победили.

— Не дури, ищи своей судьбы. Твои родители проклянут бы меня, если бы я пошла с тобой под венец. Я выйду замуж за ровню. Мужу моему будет сорок лет, и никто не скажет, что Жаннетта соблазнила мальчишку. Мужчине положено жениться на молоденькой.

— Кто сказал? Турки. Я читал, что они покупают в свои гаремы сопливых девчонок. Вот, верно, скучища с ними. Хотел бы я знать, о чем с ними говорить? Я не пянька, не учитель приходской школы; мне нужна жена с головой, с характером. Знаешь, Жаннетта, когда я полюбил тебя? На баррикаде. Ты подхватила знамя, упавшее из рук Кабьена, и была прекрасна и бесподобна, как революция.

— Твои слова так красивы, точно ты выучил их из книжки.

— Пуля свалила тебя. Окровавленную, я вынес тебя из пекла, каким стала баррикада. Мне казалось, что ты

убита, и я решил умереть тоже. Не бросай меня, Жанетта. Не поступай со мной как враг. Ты ведь решила выйти замуж не по любви. Что-то другое толкает тебя и нетлю. Мой отец, помню, внушал мне стараться не делать ошибок. «Есть закон ошибок, это палка о двух концах, — говорил он, — и обязательно рано или поздно она стукнет по голове».

На рассвете Жан добился от Жанетты обещания повременить со свадьбой еще несколько месяцев.

— Мало ли что может случиться, — сказал он ей пророчески, собираясь в железнодорожное депо, на локомотив.

Более трех дней Жан был в отлучке, он вел состав в Лион и обратно. Вернувшись, он застал Жанетту угрюмой и неразговорчивой. Снова ее обуяли сомнения. К тому же с некоторых пор, когда Жан был в поездках, ее грызла ревность.

Расстроенный и недоумевающий, молодой машинист, как всегда по вечерам, отправился в знакомую таверну, где собирались рабочие, в большинстве столяры, каменщики и маляры, работавшие на строительстве Большого Парижа. Работы подходили к концу, и они тревожно ждали будущего, предвидя безработицу и скитания.

— Вот кончаем строить хоромы. А никогда и на черную лестницу этих домов нас не пустят. Сегодня я красил стены ресторанного зала, а кто будет любоваться моей работой? Пузатые банкиры, биржевики и фабриканты.

— Да, в твоей одежонке да с пустыми карманами тебя швейцар так шуганет с порога твоего ресторана, что костей не соберешь.

— А хороший театр мы недавно сдали, жаль, что не придется смотреть, как будут в нем петь, плясать актеры и представлять всякие пьесы. В сорок восьмом году я бывал в «Комеди Франсез» и, по правде сказать, без памяти влюбился в одну актрису, которая читала «Марсельезу» так, что мы все плакали. С тех пор я часто во сне вижу сцену, меня дома жена так и прозвала театралом. Но купить билет мне не по карману, разве только на ярмарке.

— Барон Осман кидает нам подачки с барского стола, чтоб не подохли с голоду. А мы трудимся с рассвета до сумерек.

— Так было, есть и будет, покуда императоры и прочая нечисть будут управлять страной, принадлежащей всему народу, — веско произнес Жан, окидывая сидевших за столами людей цепким, острым взглядом.

На мгновение все стихли, заворожённые столь смелыми словами.

— Ты на что намекаешь? — вдруг спросил худой человек в одежде простолюдина и серой кепке, которую он не снял, хотя давно уже сидел за столом, изредка прихлебывая из кружки кислый сидр.

— А я не намекаю, я говорю прямо то, что думаю. Нет для нас иного выхода на волю, кроме рабочей революции.

— Ого, вот ты каков, — тихо огрызнулся человек в кепке; но Жан не слыхал его слов. К нему подошел старик с седой головой, изможденным лицом, на котором поражали молодые, дерзкие, умные глаза.

— Ты сын Иоганна Стока, — сказал он, присаживаясь к столу Жана. — Я не раз видал тебя, паренек, да не ронял тогда, нужно ли знакомиться. Бывает, что дети не стоят своих родителей. Но ты не таков. Я хорошо знал твоего отца. Это был человек. Мы жили в одном домишке на улице Вожирар. Ты, верно, слыхал: Кабьеи, Красоцкий и я.

— Значит, вы и есть итальянец-прядильщик по имени Пьетро. Мой отец и Кабьеи искали вас в годы революции и решили, что вы погибли. Отец говорил: такие, как он, своей смертью не умирают.

— Иоганн знал толк в людях, но время умереть для меня еще не настало. Сейчас люди, как никогда, нужны, много нас погибло. Я еще могу пригодиться. Сегодня ночью я отправляюсь на родину. Ты, верно, слыхал о доблестной тысяче Гарибальди?

— Теперь будет уже тысяча и один? — улыбнулся Жан. — Газеты пишут, что война с Австрией на носу. Наш цезарь обязательно ввяжется в это дельце. Трон его качается, нужно укрепить сиденье.

— Ты прав. Он хочет показать, что был карбонарием, когда участвовал в заговоре братьев Бандьера и едва унес целыми свои кости. Сейчас ему выгодно похваляться этим перед итальянцами. Пускай! Нам тоже это на руку. Хоть с самим чертом, лишь бы выгнать Франца-Иосифа с на-

лей родной земли. А там и его выставим пинком в зад, — горячо произнес Дивероли.

Жан, повысив голос, обратился не столько к своему собеседнику, сколько ко всем в таверне:

— Бонапарт рад случаю таскать каштаны из огня чужими руками, тут беспроигрышная комбинация: поможет сардинскому королю Виктору-Эммануилу и оттяпает за это жирный кусок. А главное — уладит все свои темные делишки внутри страны и скроет, что в казне не осталось ни гроша. Недаром Бонапарт сказал, что нет ничего легче, чем управлять французами: каждые четыре года им нужна война, и тогда они будут довольны. Что же, после Крымской войны прошло именно столько времени.

— Замолчи, — схватил машиниста за руку итальянец. — Будь сдержан, а то дойдешь до беды. Ты забыл, что недавно издан суровый закон об охране личности императора. Легко попасть в Гвиану, но нелегко выбраться оттуда живым. Не забывай этого. Ну, а мне пора, сынок.

Жан крепко обнял Дивероли. Итальянец вышел. К машинисту тотчас же подсели рабочие. Какой-то извозчик, изрядно выпив, принялся задираться и возносить Наполеона III. Завязался спор. Слегка охмелевший от нескольких рюмок аперитива, Жан вспылил.

— Наполеон подлился оттого, что французский народ пал. Его слава — наш позор! — крикнул он.

— Врешь, — сказал владелец таверны, — император выиграл войну в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году. Он отличный воин, дипломат и правитель. При нем у рабочих всегда хлеб и жирный суп на столе. Я считаю, что он достойный преемник своего дяди.

— Кнутолюбцы! — рассвирепел Жан, окончательно потеряв самообладание.

— Глядите, парень от похвалы императору взбесился, как бык при виде пунцовой тряпки, — сказал многозначительно худощавый сутулый человек и надвинул до самых бровей мятую кепку.

— Вы называете великим того, кто превзошел предшественников в произволе! — вскричал Жан. — Сила кулаков не есть сила справедливости, и вы, плавающие в крови революции, братья и сыновья тех, кто жизнь отдал за ваше счастье и свободу, превозносите кого? Палача и мошенника, обманувшего народ.

В ту же ночь Жан был арестован. Управляющий министерством внутренних дел генерал Эспинас, пользуясь военной диктатурой, введенной после попытки покушения на императора, располагал отныне всей полнотой власти. Он имел право, утвержденное услужливым большинством Законодательного собрания, арестовывать, ссылать, держать в тюрьме без суда каждого заподозренного в неповиновении и критике бонапартистского режима и особы императора.

Жан подпал под этот закон. Он отнесся к аресту с редким хладнокровием и проявил горячность только тогда, когда Жанетта бросилась к нему на грудь и, заливаясь слезами, сказала:

— Миленький мой, я люблю тебя больше всего на свете и, как только мы будем вместе, буду твоей женой, что бы ни сказали об этом все кумушки Франции.

Жан часто слыхал от отца о тюремных нравах верхнегаронских тюрем. Но большая камера, куда его заперли, ничем не походила на каменный мешок, где два года томился портняжный подмастерье в тридцатых годах XIX века. В помещении, годном вместить двадцать человек, находилось свыше сотни. Для Жана нашлось подобие места возле огромной зловонной бочки у самой двери. Там он мог примоститься, только сидя боком. В камере был такой назойливый шум, что даже привыкший к грохоту локомотива и поездов Жан очень скоро почувствовал боль в висках и головокружение. Маленькое окошко, забранное решеткой, находилось под самым потолком и почти не пропускало света. В камере царил полумрак и было так душно, что арестованные сидели (лечь было негде) полуголыми, задыхаясь от вони.

Кормили в тюрьме плохо и мало, и скоро Жан начал испытывать отвратительное, непрерывно сосущее чувство голода. Силы его стали быстро падать. Все арестанты этой камеры — рабочие — предназначались к отправке на каторжные работы в Гвиану, где свирепствовала смертельная желтая лихорадка. Как некогда в Кайенне, каторжане, имевшие несчастье быть высаженными на этом острове, очень скоро умирали.

Разговоры узников велись об ожидавшей их участи и о возможности побега. Но вырваться из тюрьмы было невозможно. Жан изнемогал от голода, тоски по Жанетте. Никогда раньше он не предполагал, что человек

так нуждается в том, чтобы быть одному. В тюрьме он ни на мгновение в течение суток не оставался без людей, и это стало для него мученьем таким же, как полное одиночество. Теснота и смрад притупляли ощущения. Он научился спать сидя и привык к зуду, появившемуся от грязи и множества насекомых, ловлей которых развлекался иногда много часов подряд.

Плохая еда, голод и теснота озлобили людей.

Непрерывно в камере возникали шумные ссоры и стычки. Жан, как и все остальные арестанты, мечтал об отправке куда угодно. Даже острова с убийственным климатом больше его не пугали.

Заключенные были как бы заживо похоронены и ничего не знали о том, что творилось за стенами тюрьмы. А в это время Франция начала войну.

Однажды после нескольких месяцев пребывания в тюрьме Жана вызвали на допрос.

— Ты сын коммуниста, пытавшегося второго декабря тысяча восемьсот пятьдесят второго года убить императора. Злоумышленник прятался на одной из разрушенных баррикад, когда его императорское величество объезжал ликующую столицу. Убийцу звали Поганом Стоком.

Жан не знал, где и когда погиб отец, куда зарыли его тело.

— Мой отец всегда порицал террор, он был коммунистом, — гордо ответил молодой машинист.

— Не оспаривай доказанных фактов. Твой отец был негодяем и бунтовщиком. Он расстрелян на месте преступления, хотя заслуживал не пули, а четвертования, как, впрочем, и ты, его отродье!

— Вы можете делать со мной что хотите, но не смеете оскорблять память честнейшего из людей.

— А, вот как ты говоришь об отъявленных врагах своего императора. Так получай же прежде, чем тебя сгноят в каземате. — И следователь плетью ударил Жана по лицу.

В ту же минуту арестант поднял руки в кандалах и с размаху опустил их на голову дорапнивающего его жандарма.

Через час избитый, обливающийся кровью рабочий был водворен в подвальный карцер, где и пролежал больным более полугода. В это время ушел этап на Гвиану. Жан Сток остался в парижской тюрьме.

Весной Австрия предъявила ультиматум сардинскому королю, требуя разоружения его войск в течение трех дней, и получила отказ. Войска Франца-Иосифа вступили в Пьемонт. Наполеон тотчас же двинул свою армию. Пруссия объявила нейтралитет. В Англии друг Наполеона III старик Пальмерстон снова стал премьер-министром.

Политика — ремесло сложное и хитрое. Гарибальди, который в 1849 году во имя Римской республики сражался против Франции, теперь явился ее союзником, как и сардинское правительство.

Восьмого июня союзная армия вступила в Милан, который австрийцы, боясь мести населения, должны были поспешно очистить. К этому времени во всей Верхней Италии, вплоть до папской области, вспыхнуло народное восстание. В Тоскане уже в конце апреля было создано временное правительство; то же произошло в Парме и Модене, а в различных областях папской области — Болонье, Ферраре, Анконе — была провозглашена диктатура сардинского короля Виктора-Эммануила. Вскоре произошло решительное сражение при Сольферино.

Австрийцы расположились на высотах под прикрытием четырех больших крепостей. Император Франц-Иосиф, подоспевший со свежими силами, принял главное командование. Однако, несмотря на превосходную позицию и большую численность армии, австрийцы после жаркой битвы с французско-пьемонтской армией под начальством Луи-Наполеона должны были отступить. Наполеону удалось пробить центр вражеской армии и занять многие высоты. Наступившая к вечеру гроза помешала, однако, полностью использовать победу. Австрийцы успели отступить. После нескольких маленьких стычек было заключено перемирие, и через три дня Франц-Иосиф и Наполеон III встретились в Вилла-Франка, близ Вероны, и выработали главные условия мира. Австрия уступала Ломбардию Франции, которая должна была передать ее Сардинии; мелкие итальянские провинции оставались во владении своих князей; основывался союз итальянских государств под верховной властью папы. Венеция оставалась в руках Австрии.

С горьким чувством разочарования итальянские патриоты встретили эти условия мира. Доблестный Гарибальди, доставивший своими вольными дружинами много беспокойства Австрии, не мог удовлетвориться подобными

результатами борьбы. Он отправился в Романью и принялся формировать народную милицию.

Наполеон, давший невольный толчок итальянскому народно-освободительному движению, отныне не был в силах остановить его. Пруссия между тем мобилизовала свою армию и объявила, что в момент, когда война Франции с Австрией выйдет за пределы Ломбардии, она исполнит долг союзника Австрии и во главе немецких войск двинется во Францию. Наполеону не оставалось ничего другого, как удовлетвориться добытыми землями. Племянник не посмел, не мог решиться на то, на что отважился бы, вероятно, его дядя. Всякое дальнейшее покровительство освободительному движению в Италии к тому же неминуемо привело бы его к открытым столкновениям с папой и французскими клерикалами. Из опасения нанести удар своей династии, он отступил и потребовал Ниццу и Савойю в виде «вознаграждения» за помощь, оказанную соседнему королевству Сардинии.

Поднявшаяся в Италии волна народного движения не утихала. Гарибальди со своей «тысячей» высадился в Сицилии; в течение немногих месяцев знаменитый уроженец Ниццы, вокруг которого собрались добровольцы из всех стран мира, положил конец господству Бурбонов в обеих частях Сицилии. Вскоре в Турине Виктор-Эммануил был официально провозглашен королем всей Италии. Австрия была навсегда вытеснена с Апеннинского полуострова.

В конце лета 1859 года, ввиду победы в Италии, Наполеон III дал амнистию заключенным.

Жан Сток вернулся домой совершенно больным. Спустя несколько месяцев, оправившись немного, он женился на Жаннетте. Потерявший место в депо, изможденный и внешне изменившийся настолько, что выглядел теперь старше своей невесты, Жан хотел отложить брачную церемонию до лучших времен, но Жаннетта сама настояла на свадьбе.

Наконец-то Жан был вознагражден за долгие годы, когда считал себя нелюбимым и отверженным. Благодаря заботам жены, молодости и природному здоровью, Жан Сток скоро окреп настолько, что смог приняться за поиски работы. Тщетно обивал он пороги частных железнодорожных компаний. Его бесцеремонно выпроваживали.

— Тебе надо пойти к Плонплону, — сказала мужу

как-то Жаннетта. — Он, как и граф Морни, хозяин крупных акционерных железнодорожных обществ.

— Ты сошла с ума. Ведь он двоюродный брат коронованного прохвоста. Та же погань. Зачем мне пачкаться об таких людей? Лучше подохнуть, чем просить у них работы.

— Ты не знаешь его. Не зря этого толстяка прозвали «красным принцем». Он с рабочими запанибрата.

— Волк овце не товарищ.

— Я говорю тебе, что Плонплон терпеть не может Луи-Наполеона и даже не считает его своим родственником. Люди правильно говорили, что императорская мамаша Гортензия и папаша Веруэл ничего общего не имели с Бонапартами.

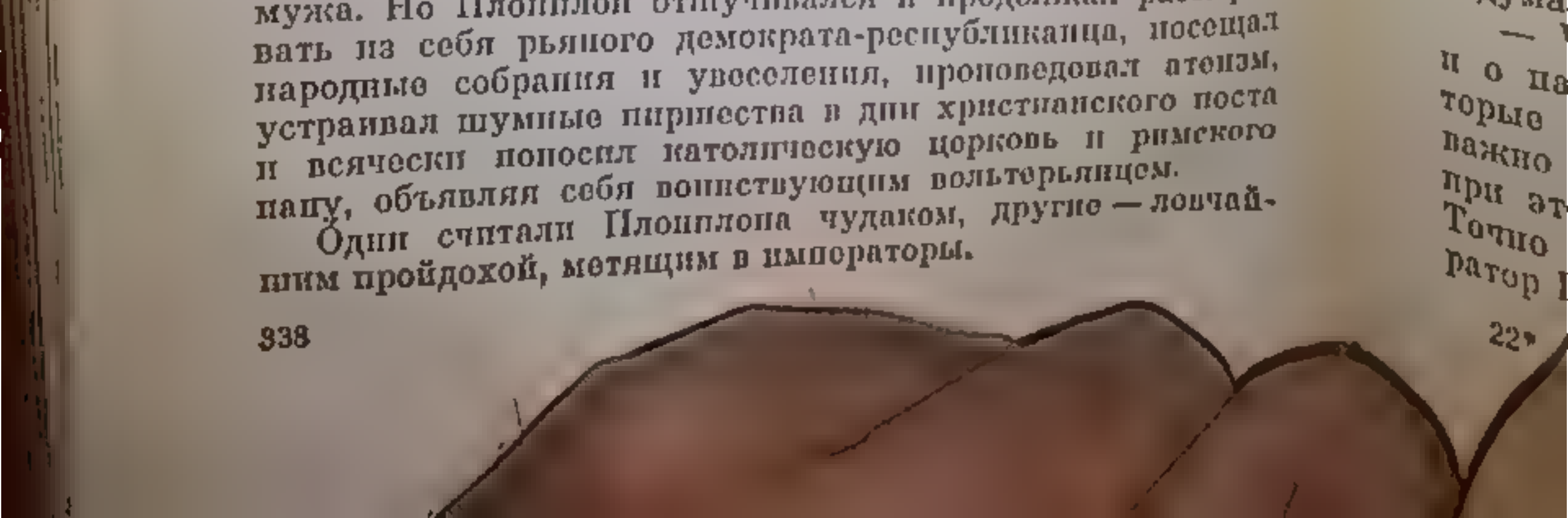
— Какая нам разница, чьим именем прикрывается деспот, — прервал Жан.

— Но Плонплон распоряжается французскими железными дорогами, а тебе нужно снова водить локомотив. Моя подруга служит горничной у жены «красного» Бонапарта — Плонплона. Эта сардинская принцесса не гнушается говорить с простыми людьми. Может, она якшается с нами назло императрице Евгении, которая спесива, как гусыня. Но какое тебе до этого дело. Я уже попросила эту знатную даму, чтобы принц поговорил с тобой, и представь, когда она узнала, что ты сидел в тюрьме, то сейчас же согласилась помочь.

Жан поморщился, но, подумав и посоветовавшись с друзьями, уступил настоянию жены и отправился на прием к Плонплону.

Принц Наполеон, прозванный Плонплоном, считался опасным уродом в роду Бонапартов и бедствием императорской династии. Его все возрастающая, искусственно подогреваемая популярность среди простых людей вызывала беспокойство в правительственных сферах. Императрица резко обвиняла его в посягательстве на корону ее мужа. Но Плонплон отмучивался и продолжал разыгрывать из себя рьяного демократа-республиканца, посещал народные собрания и увеселения, проповедовал атеизм, устраивал шумные пиршества в дни христианского поста и всячески поносил католическую церковь и римского папу, объявляя себя воинствующим вольтерьянцем.

Одни считали Плонплона чудаком, другие — ловчайшим пройдохой, метящим в императоры.



. . «Красный принц» жил в небольшом особняке, открытом для всех. Плутоватого вида разбитной швейцар проводил Жана Стока в большой кабинет хозяина, где собралось несколько молодых светских людей, державшихся очень развязно.

Принц оказался низким тучным человеком, удивительно похожим на корсиканца Бонапарта. Желая подчеркнуть свое большое сходство с ним, Плонплон причесывал волосы на пробор и носил мундир, подпиравший короткую шею и второй подбородок круглым высоким воротником.

— Вы провели год в тюрьме за то, что нелестно отозвались о царствующей особе? — без обиняков спросил принц Наполеон. — Какие, однако, нравы! А как же свобода слова, эта основа прогресса и счастья народа? Что же, однако, сказали вы такого еретического? Уверен, что одну только правду, и поэтому сочувствую вам. Потерять год жизни в вашем возрасте весьма, должно быть, досадно. Если вы действительно смелы, то скажите ваше мнение о режиме, господствующем во Франции.

Жан коротко сказал:

— Я коммунист, сын коммуниста и враг цезаризма.

— Что ж, это, правда, крайность, но, значит, вы республиканец. Уже в древности люди отдали республике предпочтение перед всякой другой формой правления, — сказал Плонплон громко, чтобы его слышали все собравшиеся. — Итак, очевидно, вы смелый человек и, главное, свободолюбивый галл. В век пара и электричества люди должны иметь достойных представителей у кормила власти. Не правда ли, господа?

Все громко согласились с мнением Плонплона, а он, слегка приподнявшись на носки лакированных сапог, принялся охорашиваться перед стенным зеркалом. Он был собой весьма доволен. Жан едва удержался от улыбки и подумал: «Этот толстый павлин нарядно-таки глуп».

— Что вы, представитель народа, думаете о религии и о папских прелатах, этих выжигах и лицемерах, которые сейчас так могущественны в нашей стране? — важно изрек Плонплон, обратившись к Стоку, и выпятил при этом маленькую нижнюю губу, прикусив верхнюю. Точно так же делал, по рассказам современников, император Наполеон I.

— Я не люблю ничего темного, ваше сиятельство, — сухо ответил Жан. — Религия, по словам одного ученого, всего лишь опиум народа.

— Блестящее определение. Поздравляю вас и вашего ученого. Именно дурман, наркотическое средство. Суеверия всегда ввергали Францию в ужасающие бедствия. Вы, очевидно, философ, господин Сток, и деласто этим честь трудовому классу. Я с удовольствием помогу вам получить место машиниста на одном из наших паровозов.

Плоншон прошелся по комнате, заложив руку за спину. Жан выжидал, пока он остановится, поклонился и вышел.

Он снова начал водить поезда. Прошло немногим более года, и внезапно Сток получил приглашение к «красному принцу». Он застал у него несколько десятков рабочих.

— Я стою во главе комитета, ведающего отправкой рабочих делегаций на Всемирную выставку, — сказал Плоншон собравшимся. — Несмотря на противодействие министра торговли, мне удалось добиться разрешения для трехсот французских тружеников на поездку в Англию. Надеюсь, вы оцените мои усилия и добрую волю. Я всегда был другом прогресса и труда. Уверен, господа, что вы сумеете поддержать престиж Франции перед всеми странами мира, которые соберутся по ту сторону Ла-Манша.

Принц произнес еще несколько слов о своей готовности защищать интересы народа перед правительством.

Жан Сток был очень удивлен и обрадован неожиданной возможностью побывать в Англии.

Когда рабочие вышли от «красного принца», Стока охватили сомнения, и он поделился ими с товарищами:

— Противно что-то пользоваться милостью этого отродья Бонапартов. Не верю я им, хоть и терплю, как всех эксплуататоров и хозяев. Как он ни заискивает перед нами, — хочет быть императором и тем же миром мазан. Знаем мы таких республиканцев.

— Ты не прав. Это добрый человек, — сказал чеканщик Толен, молодой парень с веселыми глазами. — Ехать нам все равно надо. Повидаем рабочих других стран, да и своих французских нагнанников. Давно пора искать путей к нашему объединению. Есть ли у тебя знакомые в Лондоне, Жан?

— Там живет учитель и друг моего отца, ученый, немец-коммунист Карл Маркс. Ты слыхал о нем?

Толси отрицательно покачал головой.

Большой рыжий бульдог, зарычав, бросился вперед и оскалил острые желтоватые зубы. Галчонок отчаянно закричал и угрожающе взмахнул одним грифельно-серым крылом с черной каймой. Второе было сломано и бессильно свисало. Бульдог напал на птицу, но тотчас же отскочил прочь. Острый, длинный клюв нанес ему несколько быстрых колких ударов по тупому широкому носу и мягким, морщинистым, отвислым, седеющим щекам. Бульдог от неожиданности застыл на месте. Глаза его зловеще налились кровью, шерсть на затылке встала дыбом, и по спине до самого обрубленного толстого хвоста пролегла волнообразная коричневая полоса — свидетельство гнева. Но маленький галчонок не только не отступал, а даже перескочил на тоненьких лапках ближе к неожиданно возникшей опасности. Взгляд его совершенно черных круглых глаз выражал неописуемую отвагу и готовность биться до последнего издыхания. Мгновение простояли они оба неподвижно: один — нахохлившийся, обороняющийся, маленький, другой — пугающе мощный, рассвирепевший, готовый к прыжку.

Бульдог вдруг показал все зубы, грозившие мертвой хваткой, и, рыча, снова пошел на галчонка. Он распластал его на земле одним движением крепкой лапы и приготовился перегрызть птице горло. Но галчонок, барахтаясь под брюхом пса, смотрел на врага гипнотически блестящими, широко раскрытыми глазами, зычно кричал, отбивался клювом и крылом. Встревоженные птицы, заслышав его призыв о помощи, грозно каркали и вились над бульдогом, стараясь отвлечь его на себя и запугать. И пес снова остановился в нерешительности.

С маленькой террасы дома, завидев столь неравный поединок, сбежала в сад пожилая женщина. Позади нее тотчас же показался Энгельс.

— Какое мужество! Обреченный галчонок не трусит и не сдается, — слегка заикаясь, быстро выговорил он и схватил пса за ошейник. — Не всякий мог бы похвалиться таким героизмом в подобных условиях. Ни с места, Догги!

Бульдог покорно опустил обрубок хвоста и коротко обрезанные уши. Фридрих приказал ему идти в комнаты, затем с трудом поймал копыляющего и отбивающегося галчонка, очевидно выпавшего из гнезда, и передал его домовладелице. Женщина шумно выразила свою радость по поводу того, что птенец остался непредим.

Фридрих любил собак и лошадей. С детства он страстно увлекался верховой ездой и был отличным наездником и объездчиком норовистых, лихих коней. Головокружительная отчаянная скачка с рискованными препятствиями была для него истинным наслаждением. Он ловко брал барьеры и без труда преодолевал препятствия. Эти упражнения были для Фридриха полны особого смысла, как физическая тренировка его военных занятий, школа выдержки и отваги.

Как бы ни был он утомлен или раздражен, стоило ему вскочить на коня и помчаться по проселочным дорогам, чувство силы и беспредельной воли до краев наполняло его душу, освежало мозг. Конь беспрекословно подчинялся всаднику, чутко отвечал на малейшее повелительное движение ноги в стремени.

Как хорошо, отпустив поводья, где-нибудь в лесной чаще чуть покачиваться в плоском английском седле, доверившись четвероногому другу. Чуткий конь безошибочно выбирает лучшую дорогу. После доброй передышки Фридрих снова гнал коня и летел вперегонки с ветром.

Маркс знал бесстрашие Фридриха, его кавалерийскую удаль и постоянно беспокоился, как бы он не расшибся.

— Прошу тебя, Фридрих, не рисковать головой. Право, будет еще много более существенных поводов для этого и будущем, — говаривал он.

Энгельс весело смеялся в ответ и заверял, что если он и сломит себе шею, то уж, наверно, не при падении с лошади. Он всегда бывал совершенно спокоен в седле и чувствовал себя в своей стихии, когда послушный конь переходил с рыси на галоп.

Энгельс знал особенности собак, с которыми ходил на охоту и проводил нередко часы досуга. В большом барменском купеческом доме всегда жили борзые, овчарки и таксы.

День, когда ранним утром в манчестерском садике разыгралась короткая драма, чуть не стоившая жизни гал-

чонку, был обычный, серый. Холодный мелкий дождь несколько раз шел, прекращался, чтобы начаться снова. Небо темное, как вода в канале, казалось, спустилось до самого шпиля ратуши.

Двадцать восьмого ноября рано наступает вечер. Фридрих долго возился в этот короткий день с иностранной перепиской своей коммерческой фирмы, которую вел один в конторе. После долгой тревожной недели он наконец почувствовал себя успокоенным. Из Лондона пришло письмо от Карла о том, что Женни вне опасности. Критический период болезни прошел. В сумерки Энгельс пешком отправился домой. К обеду, который, согласно английскому обычаю, бывал в восемь часов, он ждал Вильгельма Вольфа, одного из самых близких и дорогих ему людей. В промозглый вечер поздней осени приятно вернуться в обогретый, уютный дом, и Фридрих испытал это чувство, когда поставил сырой зонт, снял калоши и вошел в свою спальню, где ярко горели огонь в большом камине и свечи в старом, чуть позеленевшем канделябре.

Переодевшись и тщательно приведя в порядок окладистую, шелковистую бороду цвета бронзы, Фридрих прошел к жене. Мери была нездорова и, по настоянию врача, лежала на диване. Завидев вошедшего Фридриха, она попыталась встать. Ее бледное опухшее лицо слегка порозовело и запавшие больные глаза оживились.

— Прошу тебя не делать резких движений, дорогая, — забеспокоился Энгельс, — как ты себя чувствуешь? Покой — самое главное для сердца, когда оно начинает шалить.

Фридрих пододвинул кресло поближе к жене, поправил на ее плече ворсистый теплый платок и сел, вытянув ноги.

— Увы, даже радость в последнее время причиняет мне физическую боль и усиливает одышку, — тихо и печально сказала Мери, — но я не теряю надежды пожить еще немного. Я так люблю тебя, Фредди.

— Гони от себя мрачные мысли, они ведь тоже следствие недомогания, — сказал, волнуясь, Энгельс.

В дверь постучали, и появился Вольф. Вслед за ним в комнату, всем своим видом изображая покорность и мольбу о прощении, вошел рыжий бульдог и улегся возле Мери.

Вильгельм Вольф выглядел необычно торжественным. На нем был новенький сюртук до самых колен, а бело-

снежную манишку украшал под подбородком черный бантик. В руках он держал большую деревянную коробку с золотым бумажным ободком.

— Дорогой Фридрих, друг мой, поздравляю тебя от всего сердца, — начал он, сильно покраснев. — Как и все любящие тебя, я счастлив, что сорок лет тому назад в осенний день ты появился на свет. Человечество стало от этого богаче. Прими мой скромный подарок — колониальные сигары.

Энгельс горячо обнял Вольфа, поставил коробку с сигарами на стол и сказал, широко улыбаясь:

— Ты и Мери, которая сегодня утром напомнила мне о том, что хотелось бы забыть, ввергаете меня в смущение. Сорок лет! Да надо ли радоваться тому, что начинаешь седеть, и отмечать столь печальное обстоятельство. Главное, что в сорок лет я чувствую себя все еще юношей. И все-таки четыре десятилетия долой со счета. Тут есть о чем призадуматься. Байрон, помнится, говорил, что, примирившись с двадцатью пятью годами, мы примиримся со всем в жизни. А каково же перешагнуть через сорок?

— Пустое, — живо отозвался Вольф, — пусть поэты боятся старости, они педальновидны. Есть какая-то своя прелесть в накоплении лет, опыта и мыслей. Это тоже капитал. Мне уже за пятьдесят, а я, старый брюзга, хотел бы еще жить и жить, но прошлого не отдам.

— Ты прав, дружище. Глядя на тебя, я бодро вступаю в пятое десятилетие, тем более что рассчитываю прожить еще минимум лет так приблизительно до ста. Скромное желание. При коммунизме люди будут наслаждаться бытием не менее чем до ста пятидесяти. Не правда ли?

Люпус спросил с тревогой о здоровье Женни. Узнав, что наступило улучшение, он очень обрадовался. Энгельс передал Вольфу письмо из Лондона.

— Все хорошо. Мы вправе выпить сегодня лишний бокал. Женни будет жить. Карл просит меня немедленно сообщить тебе об этом и передать поклон. Прочти сам.

— Бедная Женни, — с большим чувством произнес Вольф, дочитав письмо, — по мнению врача, лучшее, что могло выпасть ей на долю, была оспа, настолько напряжена была ее нервная система. Если бы не эта болезнь, ее подстерегала жестокая горячка или что-либо другое, ведущее только к смерти.

Наступило продолжительное молчание. Энгельс механически гладил круглую голову пса, который не отрывал от него любящих глаз. Мери сказала:

— В книге об оспе, которую мы прочли, узнав о болезни госпожи Маркс, сказано, что в Англии сто лет назад, до открытия вакцины, девушка, не переболевшая оспой, рисковала остаться старой девой.

— Непонятно, — очнувшись от глубокого раздумья, сказал Люпус.

— Видите ли, женихи предпочитали рябых невест. Ведь после болезни, которая считалась неизбежной, их избранница могла оказаться слепой или обезображенной до неузнаваемости.

— Так-так. Логика рыночная. Товар лицом.

В это время рыжий бульдог подошел к Энгельсу и несколько раз потерся головой о его ногу, затем встал на задние лапы и, подскочив, внезапно лизнул в щеку.

— Что это, поздравление или просьба о прощении? — рассмеялась Мери.

Фридрих погладил бульдога за ухом. Пес облегченно вздохнул, приоткрыл пасть и обнажил зубы. Он счастливо улыбался. Энгельс между тем рассказал о происшествии в саду.

— Древние германцы в обмен за хорошую собаку отдавали двух коней, — сказал Люпус, тоже большой любитель собак.

— Я не знаю, кому из этих животных отдать предпочтение, — заметил Фридрих, — человек многим обязан им на протяжении всей своей истории.

— В деревне, где я родилась, была собака, которая вытащила во время пожара из огня двоих детей. Она пасла большое стадо, и моя мать утверждала, что она понимает овечий язык и знает каждую овцу и ее привычки.

— Щенка для этого кладут на выкорм овце, как только он родится. Пес питается овечьим молоком и действительно вырастает полноправным членом, а затем поводырем стада, — пояснил Люпус. — Я читал у Плутарха и Плиния замечательные страницы о том, как ценили собак древние греки.

— Еще бы, — сказал Фридрих, — собаки и в военном деле имеют большие заслуги. За пять тысяч лет до нашей эры они уже надежно охраняли крепости, были наилуч-

шими караульными и будили стражу при малейшей опасности громким предостерегающим лаем. В войнах рабовладельческого периода собаки в бою всегда шли в первой шеренге, за ними рабы и лишь затем воины. Древние римляне, гунны, кельты и тевтоны широко пользовались собаками для сторожевой службы. То же было и в средние века. Собак, сопровождавших обозы и военный транспорт, одевали в особые панцири с остриями для защиты от нападения неприятельской конницы. Во время войны Испании с Францией четыре тысячи обученных военных собак оказали решающую помощь испанской пехоте.

— Для меня собака олицетворяет не воинскую доблесть, а верность, — заговорила Мери. — Недавно я слышала о бульдоге, который не пережил смерти своего хозяина и умер на его могиле, отказавшись есть и пить.

— Помнишь ли ты, Люпус, имена преданных четвероногих друзей двух замечательных якобинцев? — спросил Фридрих.

— Нет, — чуточку насупился Вольф.

— Собаку Робеспьера, с которой он не расставался, звали Брунт, а у Филиппа Леба, достойнейшего из революционеров, покончившего с собой в роковую ночь девятого термидора, был пес Шилликем, он привел на могилу Филиппа его вдову и затем издох от горя.

— Ну, вот видите, я же права, когда говорю о собачьей привязанности и верности до гроба.

Часы показывали восемь. Мери осторожно поднялась с дивана и под руку с мужем прошла в столовую. Она старалась скрыть начавшуюся при этом одышку.

На столе, покрытом накрахмаленной белой скатертью, среди множества хрустальных графинов и серебряных ваз стоял традиционный пирог с шоколадными инициалами «Ф. Э.», утыканный сорока ярко горящими маленькими свечами. По настоянию Мери Фридрих загасил их одним выдохом, и затем все трое заняли свои места. У ног хозяина улегся рыжий пес. Приподняв голову и поводя большими черными ноздрями, он вдыхал соблазнительные запахи, однако притворялся, что совершенно безразличен к множеству вкусных блюд и закусок, которыми изобиловал стол. Энгельс налил в бокалы густое, багровое рейнское вино и предложил выпить за отсутствующих друзей и за Люпуса. Затем Вильгельм, при-

ладив негнущуюся салфетку под подбородком, произнес тост в честь Фридриха и Мери.

— А теперь пьем за то, ради чего стоит жить на земле, — за коммунизм! — провозгласил Энгельс.

Когда ужин был съеден и на столе появились фрукты, кофе и сигары, Мери, сославшись на свою болезнь, вышла из столовой. Рыжий бульдог проводил ее и вернулся, чтобы снова занять свое место подле Фридриха. Шел дождь, усилившийся к ночи, ветер ворвался в трубу и, шипя, загасил огонь. Энгельс разжег камин, а Вольф молча курил, наслаждаясь покоем и обществом друга.

Фридрих заговорил, все более воодушевляясь, о том, что с каждым днем заметно ширится в Европе национально-освободительное движение. Шестидесятые годы должны принести важные перемены. В связи с войной, затеянной Бонапартом против Австрии на итальянской земле, обострились социальные противоречия в Германии. Стремление немцев к объединению усиливается с каждым днем.

В своей брошюре «По и Рейн», изданной год назад, Фридрих выступил пылким сторонником освобождения Италии, беспощадно срывал маску с Бонапарта, притворившегося освободителем итальянского народа, а по сути, готовившего ему новое закабаление. Энгельс показал, что, ведя войну на реке По, император замахнулся на германский Рейн. Бонапартистская клика хочет экономической и политической раздробленности немцев. Энгельс разоблачал тайные замыслы Наполеона III, надеясь, что война Пруссии против французского императора вызовет могучее народное движение, которое сметет берлинских реакционеров, захвативших власть, а затем вся Германия объединится наконец благодаря революции. Свои взгляды Фридрих облек в форму строгого военно-стратегического исследования и, по совету Маркса, издал книгу анонимно. Безымянный труд обратил на себя внимание и вызвал толки в Берлине. Автора сочли одним из видных германских генералов.

Энгельс, также без подписи, издал продолжение своей брошюры, назвав ее «Савойя, Ницца и Рейн».

— Представь себе, — говорил Фридрих Вольфу, — с кем у нас разногласия? С Лассалем. Ни Мавр, ни я не можем согласиться с его позицией в отношении австро-итало-французской войны.

— Этот напористый малый мне вообще не по душе. Честолюбец, который хочет в одно и то же время возглавить восстание плебса и быть признанным патрицием. Слыхал ли ты, что он придумал? Для пущей аристократичности приставил французское «де» к своей фамилии, — ало заметил Вольф, допил чашку черного кофе и встал, чтобы налить себе еще одну.

— Ты прав, Люпус. Ему, несомненно, где-то в глубине души нравится авантюрист Бонапарт и особенно его головокружительная карьера. Этот верный рыцарь графини Гацфельдт выпустил недавно памфлет, направленный, по сути, против моей брошюры «По и Рейн».

— Разве? Мне ничего об этом не известно. Что же он тщится доказать?

— А то, что Пруссии следует поддержать Францию и выступить против Австрии. Все это облечено, как всегда у Лассаля, в пышные фразы. Франция, мол, освобождает итальянцев от чужеземного ига, а Пруссии представляется возможность при этом свести счеты со своей старой соперницей Австрией. Вреднейшая пропаганда. Лассаль утверждает далее, что если прусское правительство возьмет на себя такую миссию, то сами немецкие демократы поднимут прусское знамя и опрокинут на своем пути все преграды. Какая чепуха!

— Я ничего другого и не ждал от Лассаля. В то время как мы последовательно боремся за революционный путь к объединению Германии снизу, через демократическую республику, этот напыщенный краснобай предлагает нам не только признать современное прусское правительство Бисмарка, но и объявляет его носителем идеи объединения всей нашей родины. Разве ему не ясно, что значит это объединение сверху? Что это, глупость, наивность или расчет?

— Верно, Люпус, Лассаль скоро полностью раскроет свою истинную сущность вульгарного прусского демократа с ярко выраженными бонапартистскими наклонностями.

— Да, эта порода человеков мне известна, они вроде водомерок, которые важно ходят по воде, яко Христос по Геннисаретскому озеру, и умудряются не замочить при этом лапок.

— Паучок-то паучок, но беда в том, что Лассаль фактически поддерживает захватнические планы Бонапарта. И снова нам приходится разрушать иллюзии, которые

Лассаль питает относительно коронованных освободителей. Луи Бонапарт хочет главенствовать во всей Европе. Это несомненно. А раз так, итальянцам надо быть настороже и знать, что национальное освобождение — дело их собственных рук. Гарибальди понял это. Но среди немцев Лассаль может замутить воду.

— Не беспокойся, Фридрих, — веско сказал Вольф. — Памфлет Лассаля вовсе не отражает взглядов наших партийных друзей. Маврр, конечно, в этом уверен. Как я, однако, соскучился по нем! Жаль, что мы не живем все в одном городе. Изгнание не было бы столь гнетущим. Я часто подолгу думаю о Марре. Какую безмерную силу духа надо иметь, чтобы вынести все, что свалилось на его плечи, и, однако, он продолжает поставлять миру необычайные, все новые и новые мысли. Поистине неиссякаемы мозг и душа этого человека. И все же жизнь его трагична.

— Ты мрачен, Люпус. Мы доживем до осуществления мечты, которая теперь уже стала учением, теорией и находит себе больше и больше сторонников. К тому же как много в истории примеров того, что гениальные открытия опережают время. Но как бы трудна ни была судьба гениев, они черпают силы в сознании добра, сделанного людям, даже если всходят на костер.

— Карл видит сквозь года и земные толщи. Перед ним как бы раскрываются недра, и он черпает из них то, что нужно, чтобы человечество шло к своей цели, к жизни без насилия. Как астроном открывает светило иногда раньше, чем оно появляется на небосводе, так он открывает неведомые, таинственные созвездия будущего. Пройдут годы, и народы земли удивятся величию сердца и ума Карла Маркса и будут чтить его, недоумевая и горюя о том, что он был нищ, преследуем и часто оклеветан. И ты, Фридрих, тоже, не отрицай, награжден необыкновенной душой.

— Не надо сравнений, Люпус. Мы в лучшем случае только кой в чем разбираемся, для Карла же нужны другие мерила.

Было около одиннадцати, когда Вольф собрался уходить. Фридрих с собакой пошел его проводить. Город крепко спал. Грязные газовые фонари скупо освещали безлюдные мокрые улицы. Люпус шел медленно, покашливая и ежась от сырости.

— Я стал ужасно раздражителен и часто хвораю, то ли печень, то ли незаметно подкралась худшая из всех болезней — старость. Хотелось бы еще хоть одним глазком взглянуть на Бреславль, даже и на тюрьму, где потерял несколько хороших лет. Во сне только и вижу что родную сторонку и тюремный каземат. И даже он любстал мне. Я был тогда молод, здоров и боролся в Германии.

Фридриху стало жаль друга. Он попытался утешить его, ободрить, но Вольф с сомнением покачал головой. На холодном ветру он как-то сжался, посинел и выглядел одряхлевшим и тяжело больным.

— Только и спасаюсь от этого климата крепким кофе и пивом, хотя они и вредят моей печени. Кстати, Фридрих, о многом мы поговорили сегодня, а про военные действия в Апеннинах ты умолчал. Как же так? Тебя не зря прозвали нашим военным ведомством. Ты и впрямь первый военный теоретик нашей партии и замечательнейший военный знаток революционного пролетариата.

Энгельс воспринял эти слова Люпуса как шутку, чем крайне раздосадовал его. Старик вспылил, и Фридрих едва потушил его гнев.

— Как тебе угодно, Фридрих, а сегодня, в день твоего сорокалетия, я предсказываю, что именно так о тебе скажут и через сто лет.

У моста через узкий, неспокойный в эту ветреную ночь канал оба друга, условившись о скорой встрече, расстались. Фридрих, тихо насвистывая, свернул в переулок и скоро очутился возле ратуши. Рыжий бульдог гордо шел с левой стороны, сурово поглядывая на немногих случайных прохожих. На площади, где не было ни души, Энгельс вынул из кармана перчатку и бросил ее далеко перед собой. Обрадованный пес во всю прыть побежал за ней и, вернувшись обратно, положил перчатку к ногам хозяина.

— Отлично, хвостомахатель, — похвалил бульдога Фридрих и погладил ладонью собачью голову, проведя при этом пальцем между глаз. — У тебя, однако, Догги, прямо-таки рембрандтовские, портпкальные морщины на лбу, — удивленно пробормотал Фридрих, — ты, видимо, среди собак настоящий мыслитель.

Вернувшись домой, Энгельс долго сидел за рабочим столом.

В этот раз он просмотрел свои статьи о волонтерах-саперах, их значении и деятельности, которые печатались в одном из военных журналов, и затем принялся писать продолжение начатой «Истории винтовки». Совсем по-новому прослеживал Энгельс развитие основного вида ручного огнестрельного оружия. Затем, отложив перо, Фридрих погрузился в увлекательные размышления о будущем социалистическом обществе и его несокрушимой военной силе. Новая, никогда не виданная доселе армия, состоящая из замечательных, ловких, даровитых, интеллигентных людей, будет стоять на страже своих завоеваний. И горе тем, кто посягнет на социалистические страны. Их войска никогда не будут знать поражения.

Энгельс, прикрыв глаза ладонью, видел эти армии. Они были оснащены небывалой, поразительной военной техникой.

«И подобно тому, — думал он, — как предпосылкой наполеоновских походов был рост производительных сил начала XIX века, основой новых усовершенствований в военном деле будут новые производительные силы. Это будет грандиозно».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

КОГДА РАСКРЫВАЮТСЯ НЕДРА

Почти всю зиму Маркс болел. Сырой, пронизывающий воздух английской столицы вызывал у него неудержимый кашель и боли в груди. Не имея денег на оплату счетов доктора, он лечился сам, старался не курить, пил лимонад и снадобья, приготовленные Ленхен, не выходил в туман из дома. Болезнь развилась, однако, настолько, что он не мог более писать. Всякое движение причиняло ему физические страдания. И все же он бодрился и шутил.

— Я столь же многострадален, как Иов, но не столь богобоязнен, — смеясь, говорил он.

По вечерам, после изнурительного дня, Карл читал для отдыха Аппиана о гражданских войнах в Риме, в греческом оригинале.

По своему обыкновению, он делился с Энгельсом впечатлениями о казавшейся ему ценной книге. Он писал другу, что Спартак в изображении Аппиана является «самым великолепным парнем во всей античной истории» и был, несомненно, великим полководцем с благородным характером, как и подобало истинному представителю античного пролетариата. Зато римский военачальник Помпей выглядит у Аппиана неказистым и бездарным. Гай Юлий Цезарь намеренно допускал в борьбе с ним военные промахи и капризы, чтобы сбить с толку самодовольного противника. По мнению Аппиана, которое разделял и Маркс, любой римский генерал, даже столь посредственный, каким был Красс, уничтожил бы Цезаря в первом бою во время Эпирской войны. Но Помпей был глуп и нелальновиден. С ним можно было ошибаться безнаказанно.

Маркс так увлекся перипетиями борьбы, происходив-шей в античном мире двадцать веков назад, что каза-лось, переселился в Древний Рим, где с детских лет ему было многое знакомо.

Размышляя над Аппианом, Карл решил, что Шек-спир, когда писал комедию «Бесплодные усилия любви», правильно судил о Помпее как о бесхарактерном ничто-жестве.

В конце января работа для «Нью-Йорк дейли трибюн», которая была главным источником существования семьи Маркса, из-за экономического кризиса и назревавшей вой-ны Севера с Югом временно прекратилась.

Приостановилось и издание американской энцикло-педии. В ней особенно часто под именем Маркса печа-тался Энгельс, а гонорар за эти статьи шел на Графтон-террес. Денежные возможности Энгельса были несколько ограничены. Эрмен после смерти Энгельса-старшего никак не соглашался признать право его сына на определенную долю доходов всей фирмы. Фридрих все еще числился конторщиком и получал небольшое жалованье.

Весной Маркс нелегально, с паспортом на имя Бю-ринга, решил отправиться в Германию. Он хотел еще раз попытаться вернуть себе прусское подданство.

Энгельс смог дать Марксу на поездку всего десять фунтов, но обеспечил оплату векселя на тридцать, кото-рые удалось получить у других лиц. Оставив часть этой суммы семье, Карл уехал из Англии. Он рассчитывал, не без оснований, на денежную помощь дядюшки в Голлан-дии, управлявшего имуществом его матери.

Маркс бывал в Голландии многократно и знал хорошо ее быт, нравы, песни и эпос.

Амстердам, несмотря на весну, встретил Карла холод-ным проливным дождем и серым туманом.

Исстари этот город прозван северной Венецией. Ти-хие каналы рассекают Амстердам по всех направлениях. Медленно движутся по ним барки и лодки с рыжими па-русами, крепко проваренными в дубильной воде. Красивы и разнообразны мосты, соединяющие маленькие островки, застроенные хмурыми домами в три-четыре яруса. По удивительно чистым улицам степенно проходят женщины в тяжелых пышных платьях и белых накрахмаленных чепцах. Проезжают малыши в колясочках, запряженных

козлами и собаками. Со всех сторон непрерывно доносится трудный, цокающий голландский говор.

На торговых улицах перед лавками в ясные дни сидят на деревянных табуретах купцы в стеганых жилетах и шапочках, важно посасывают трубки, неторопливо читают газеты и изредка перекидываются словом.

В бывшем гетто, где улицы особенно узки, темны, мощены круглым большим булыжником, жил некогда шлифовальщик алмазов Спиноза. Марксу захотелось побывать там, где вырос этот великий философ, где подвергался он гонениям мракобесов, где много страдал и думал. Он нанял первого встречного извозчика и попросил отвезти его к дому знаменитого амстердамца. Возница долго размышлял, кто бы это мог быть, и, наконец, взмахнув кнутом, погнал лошадь по однообразным улицам преимущественно с кирпичными зданиями, зелеными парками и небольшими площадями. Наконец старая, тряская, потрепанная от времени и непогоды карета остановилась у дома великого философа.

Погостив несколько дней у своего двоюродного брата, образованного адвоката, весьма интересующегося теоретической юриспруденцией, в его зажиточном, благоустроенном доме на нарядной улице Кайзерграфт, возле Западного рынка, Карл отправился в Залтбоммел, к брату своей матери, богатому купцу Филипсу.

В Голландии нет больших расстояний, и путь был недолог. Поезд шел по равнине. Вокруг были бескрайные поля, засаженные цветами. На длинных поливных грядках росли разноцветные тюльпаны, дефидолл, гиацинты, нарциссы — весьма ходкий товар национального экспорта.

Необычные, превосходно содержащиеся огороды выглядели чрезмерно прозаическими. Глаза тщетно искали на горизонте горы и леса. Иногда на смену цветочным полям за окном появлялись луга, на которых паслся отборный молочный скот.

Карлу быстро надоели коровы и тюльпаны, падали очень похожие на огромный редис, и он погрузился в чтение газет.

В маленький живописный зеленый Залтбоммел Карл приехал рано утром в субботу. На улицах города царило необычайное оживление. Это был день чистки города. Домохозяйки и прислуги в огромных фартуках и чепцах, обутые в деревянные сабо, вооружившись щетками,

тряпками, ручными пожарными трубами, окатывали стены домов струей воды, протирали двери, оконные рамы, пороги. Вода, журча, стекала, очищая тротуары. Сутолока и трудовой азарт передавались детям, которые, несмотря на окрики взрослых, старались также принять участие в этом ежедельном общегородском служении божку чистоты.

В доме дяди ничто не изменилось с той поры, когда Карл юношей приехал к голландским родственникам в первый раз. За обильным обедом велись бесконечные беседы о сбыте голландских товаров, о колебании цен на табак, сыр и пряности, о наглости Бельгии. Тетушка Маркса, лучшая из домохозяек, исчерпывающе знала весь Готский альманах и могла без устали говорить обо всех королевских домах Европы и особенностях той или иной коронованной особы. Предпочтение перед всеми династиями она безоговорочно отдавала голландскому королевскому двору, о котором знала все до мельчайших подробностей.

— Наша дорогая королева, — говорила за обедом госпожа Филипс, раскладывая куски гусятины по тарелкам, — вынуждена экономить на газовом освещении и гасить лампы на приемах, когда гости переходят из одного зала в другой, настолько туго ей сейчас приходится.

— Профессия королей теперь вовсе не так уже прибыльна. Наш парламент все время сокращает ассигнования для двора, а расходов много и жизнь непрестанно дорожает, — пошутил дядя Филипс.

Карл отдыхал в кругу своих родственников. Часто он отправлялся на прогулки вдоль живописно обсаженного деревьями канала или усаживался на скамье близ дома под большими каштанами у самой воды и принимался за чтение. Его обычно сопровождала резвая ватага мальчуганов. Где бы Маркс ни бывал, к нему всегда льнули дети. Их влекли к этому седоголовому человеку с густой окладистой бородой его задушевность, простота и особенное, проникновенное знание детской души. Как никто, он умел держаться с детьми на равной, дружеской ноге. Голландским ребятишкам он рассказывал увлекательные истории о прошлом их родины, о войнах за независимость от испанского ига и огромных каравеллах Непобедимой Армады. Это было захватывающе интересно. И кудесник, переносивший их в подлинный и вместо сказочный мир

истории, был Маркс. Он знал также все их игры, заботы и с самым серьезным видом разбирал возникавшие между ними раздоры.

Из Голландии Маркс отправился в Берлин, где встретился с Лассалем, предложившим ему издавать совместно газету.

— Вы, Маркс, и я будем ответственными редакторами, — сказал при этом Лассаль.

— А Энгельс как же? — спросил Маркс.

— Что же, если трое не слишком много, то и Энгельс может быть ответственным редактором. Только вы оба вместе не должны иметь больше голосов, нежели я один, так как в противном случае я по каждому вопросу буду оставаться в меньшинстве.

Карл подробно уведомил друга об этом разговоре с Лассалем в полном иронии письме:

«В качестве аргументов за то, что ему необходимо вместе с нами быть во главе дела, он привел следующее. 1) он, по всеобщему мнению, ближе стоит к партии буржуазии, и поэтому ему легче будет доставать деньги, 2) ему придется пожертвовать своими «теоретическими занятиями» и своим покоем, необходимым для этих занятий, а за это ему нужна ведь какая-нибудь компенсация и т. д. «Впрочем, — добавил он, — если вы не согласны, я все же готов и впредь, как до сих пор, помогать газете в денежном и литературном отношении; для меня это было бы даже лучше: я пользовался бы всеми выгодами от газеты, не неся за нее никакой ответственности и т. п.». Все это, конечно, сентиментальные фразы. Лассаль, ослепленный тем успехом, который ему принесли в кругу некоторых ученых его книга о Гераклите, а в кругу паразитов — его вино и кухня, не знает, разумеется, какой незавидной славой он пользуется среди широкой публики. Кроме того, его мания считать себя всегда правым; его пребывание в мире «спекулятивных понятий» (парень мечтает даже о новой гегелевской философии в квадрате, которую он намеревается написать); его зараженность старым французским либерализмом; его бахвальство, навязчивость, отсутствие такта и т. д.

Лассаль мог бы быть полезен как один из редакторов при условии строгой дисциплины. В противном случае он только осрамил бы нас. Ты понимаешь, конечно, что мне

было очень трудно высказать ему все это откровенно... Поэтому я держался в рамках общей неопределенности и сказал, что не могу ничего решить, не переговорив предварительно с тобой и с Люпусом...»

Энгельс вполне разделял колебания Маркса и отклонил предложение Лассаля.

Берлин поразил Карла своей казарменной атмосферой, чванливым самодовольством и преобладанием военных мундиров над штатским платьем. На заседании палаты депутатов Карл, сидя в ложе журналистов, думал о том, что окружающее напоминает канцелярию и школу одновременно.

В тесном зале на деревянных скамьях сидели депутаты, на которых бесцеремонно покрикивал председатель. Угодливо пресмыкался он перед развалившимися тут же в мягких креслах лож министрами бравого короля Вильгельма. Карл поражался бессловесной жалкой роли, которую соглашались добровольно играть тут «избранники» народа. Поведение председателя, воплощавшее лакейское пахальство, по мнению Карла, заслуживало не только сопротивления, но и доброй оплеухи.

Приятельница Лассаля, графиня София Гацфельдт, несколько раз чрезвычайно почтительно принимала у себя Карла и раз даже уговорила его, желая подразнить королевскую семью, поехать с нею в театр. Король Вильгельм и его свита сидели в соседней ложе, и Маркс мог вдоволь наглядеться на правителя Пруссии, который отличался от многочисленной смиренной чиновничьей массы, заполнившей зал, только тем, что еще выше, чем другие, поднимал узкую, большую голову и сидел прямо, точно проглотил палку. Несколько часов подряд на королевской сцене шел весьма посредственный балет, и Марксу все это показалось скучным. В антракте графиня Гацфельдт веером указывала Карлу на наиболее видных деятелей столицы

«Экий хлев пигмеев», — подумал Карл, прислушиваясь и присматриваясь ко всему вокруг.

Из бывших друзей далекой университетской поры Маркс повидал Фридриха Кёппена, который жил замкнуто, одиноко в пыльной большой квартире, заставленной шкафами с книгами. Его уже нельзя было, как в молодости, называть йогом. Полнота придала ему представительности и разгладила морщинки на лице. Только в

опустившихся линиях узкого рта и в выражении глаз сквозила иногда грустная ирония.

— Ты все еще очень молодо выглядишь, годы тебя не тронули, — удивился Маркс.

— Да и ты, Карл, хоть и поседел, но стал значительнее и мужественнее. Очевидно, наша шкура, как хорошо скроенные сюртуки, не теряет вида и после долгой носки, — пошутил Кёппен и рассказал затем, что по-прежнему смыслом всей его жизни и деятельности осталось изучение индийских верований. Он показал Карлу объемистые тома своих исследований о Будде.

Встреча друзей юности была сердечной, и они отметили ее доброй выпивкой. Весь вечер, наслаждаясь отличным вином и сигарами, Маркс и Кёппен вспоминали прошлое, как бы перевоплощаясь во времени и молодея; обсуждали также настоящее и особенно подробно и долго делились мыслями об Индии, которою оба горячо интересовались.

— Ты все еще пишешь в буддизме решение всех проблем? — спросил между прочим Карл.

— Видишь ли, — ответил Кёппен, — я ненавижу филистерскую Германию, да и всю современную Европу, и чувствую себя совершенно чужим в девятнадцатом веке. Я нашел для своей души другую родину и наслаждаюсь величием и чистотой ее помыслов и устремлений. Что за того, что я переселился на несколько тысяч лет назад? Пусть это только утопия, повернутая не вперед во времени, а назад, в глубь веков, она дает мне спокойствие и радость.

— Утопия наизнанку, — не мог не улыбнуться Маркс.

— Мудрецы Древней Индии постигли самую суть взаимоотношений людей. О, если бы их правила поведения внедрились хоть когда-нибудь на земле. Но мы сейчас обречены жить среди двуногих хищников и их жертв. Мы точно в тропическом лесу, и мне бывает страшно.

— Боюсь, друг, древние книги, вместо того чтобы расчистить пути твоему мышлению и вывести тебя на простор, превратились для тебя в непроходимые заросли и загородили действительность.

— Я пребываю в гостях у мудрости. Она всегда юна. Вслед за мудрыми индийцами я повторяю: когда исчезнут все личные желания, может еще остаться желание увидеть плоды своей работы. Возьми, Карл, мои книги, это все, что я сделал путного в жизни, прочти их, пожалуйста.

— Спасибо, старина, я уверен, что это весьма поучительный труд. Я вспоминаю изречения индийских мудрецов о том, что надо трудиться ради самого труда.

— Это верно, однако я дополню твои слова еще одной истиной: когда ты отдашь все свои силы для блага других, плоды появятся независимо от того, увидишь ты их или нет. И потому не предавайся унынию, которое способно заражать других и тем увеличивать бремя их жизни. Пусть же наш разум будет спокоен, ибо это означает мужество и умение без страха встречать испытания и горести.

— Зачем же ты сам не живешь, как мудрец, и предаешься меланхолии?

— Увы, наша действительность очень мрачна и смрадна... А ты, Маркс, как мне известно, создаешь сам новые философские теории. Стоит ли? Ведь мир так уже стар, так непоправимо несчастен, — печально произнес Кёппен. — Что можешь ты сделать для людей, раз они обречены с самого рождения на болезни, старость и смерть? Познав это, Будда некогда ушел на гору и размышлял там целых шесть лет.

— В этом мало утешительного,—усмехнулся Маркс,— нельзя изменить человеческую природу. Но можно из того недолгого срока, когда человек живет, изъять голод, холод, непереносимые мучения, унижения, скорбь и обиды. Насколько я помню легенду о Будде, он был принцем и провел тридцать завидных лет в сказочной роскоши своего дворца. Буддизм, как и другая любая религия, учит смирению нищих и утверждает право на наслаждение для богатых.

— Я другого мнения, но не будем спорить. Несомненно одно — ты, как и мой Будда, всегда искренне жалел человечество и хотел ему блага.

— Буддизм зовет к нирване и этим ослабляет в нас желание бороться за счастье и радость при жизни. Живая современная Индия чрезвычайно интересует меня уже давно. Тебе, верно, неизвестны мои статьи о ней, написанные, правда, несколько лет назад.

— Нет, к сожалению. Я очень хотел бы услышать твои мысли об этой дорогой моему сердцу стране.

— Индия кажется мне замечательной и по величию своего прошлого и, несомненно, будущего. Но пока что Джон Буль нарядно грабит, разоряет и жестоко эксплуа-

тирует свою богатейшую колонию. Однако и здесь диалектика может служить ключом к пониманию многих мистических загадок. Вот тебе пример. Английская промышленная буржуазия стремится покрыть Индию железными дорогами исключительно только ради своих хищных замыслов, для того чтобы удешевить доставку хлопка и другого сырья на свои фабрики. Но раз введены машины в страну, обладающую железом и углем, никто не сможет помешать народу этой страны вскоре самому производить такие же машины, например локомотивы. Появление железной дороги вызовет необходимость доставки других машин, и мы скоро увидим, как локомотив явится предвестником современной промышленности в этом сказочном далеком краю. А жители Индии, по признанию самих англичан, отличаются редкими способностями. Они усваивают с необычайной легкостью знания и отлично применяются к современным новым условиям труда. Им нетрудно будет управлять любой машиной, а впоследствии и создавать ее.

— Мне никогда не приходило это в голову. В моем сердце живет старая Индия, страна чудес, священных Вед, баядерок.

— Я недавно снова много работал, изучая финансы Индии, которые, кстати, сейчас англичане привели в большое расстройство. Во всяком случае, я уверен, что можно ожидать в более или менее отдаленном будущем возрождения этой великой и интересной страны. Я читал в «Письмах об Индии» князя Салтыкова, хорошо знавшего индийцев, что они даже в самых низших классах отличаются большей утонченностью и любовью к прекрасному, нежели итальянцы. Да, у Индии поразительная стать и культура. Жители ее даже свою покорность уравновешивают каким-то особым, невозмутимым благородством. Несмотря на природное долготерпение, они необычайно храбры. Брамин напоминает мне и осанкой, и внутренним складом древнего грека, а то, что я узнал о племени джат, кажется мне чрезвычайно похожим на древних германцев.

— Да, да, ты совершенно прав, дорогой Маркс, и, как в нашей молодости, поражаешь меня своим проникновением в самую сущность предмета. Когда и как постиг ты Индию? Ты сыплешь мыслями с щедростью тучи, разливающейся животворящим дождем. Го[illegible] мой друг, я же

угощу тебя наивной легендой, которую отыскал в старой индийской книге. Но прежде скажи мне, прав я или нет, утверждая, что буржуазный мир, в отличие от древнего, не способен создать никаких ценностей для человечества?

— Это неверно. Напротив. Повторяю тебе сделанный мною применительно к Индии вывод по этому вопросу. Буржуазный период истории призван создать материальный базис нового мира: с одной стороны, развить мировые сношения, основанные на взаимной зависимости всех представителей рода человеческого, а также и средства этих сношений; с другой стороны, развить производительные силы человека и при помощи науки обусловить превращение материального производства в господство над силами природы.

— Остановись. Я должен подумать над тем, что ты сказал, — прервал Кёппен. После недолгого раздумья он попросил Карла продолжать.

— Извольте. Буржуазная промышленность и торговля создают материальные условия нового мира подобно тому, как геологические революции, извержения вулканов, землетрясения, наступления льдов и смена эр создали поверхность Земли. После того как великая социальная революция овладеет всеми достижениями буржуазной эпохи, производительными силами и мировым рынком и подчинит их общему контролю, наступит расцвет. Человеческий прогресс не будет подобен больше кровожадному Молоху, который за каждое благодеяние требовал жертвы... Теперь отдохнем на твоей легенде. О чем она?

— Об опиуме, который повлек за собой недавно жестокую войну в Китае. Цветок мака грозит вырождением местному населению и безмерно обогащает колонизаторов. Я расскажу тебе, откуда и как, согласно старинной легенде, появилось это опьяняющее растение. Знаю, Карл, что ты не только трезвый экономист, новатор, ученый, истовый революционер, но и вдохновенный поэт. Ты оценишь глубину фантазии древних индийцев. Итак, ты ведь знаешь, что они верят в перевоплощение душ. На этом веровании основан также и их эпос. Ничто так не открывает истинный дух народа, как его сказки.

И Кёппен поведал Карлу старинную легенду.

— Жил на берегу священного Ганга мудрец. Он был стар, и никто не знал, сколько ему лет, так как те, кто родился в одно с ним время, давно исчезли

Лежа на песке, мудрец думал о бренности людских желаний, о суете жизни. И был у него только один друг — плешивая мышь. Она прибегала к нему и жаловалась на изнуряющий страх перед котом.

«Если б я сама была котом! Преврати меня в кота», — попросила она мудреца.

«Я исполню твое желание, но клянись, что никогда не пожелаешь мне зла».

Мышь обещала. Старец превратил ее в огромного кота. Воинственно мяукая, кот ушел в лес.

Прошло немного времени, и пришел кот к мудрецу. Он был печален, уныло повис его пышный хвост.

«Увы, — сказал он, — я несчастен. Жалка судьба кота, так как есть на свете тигры. Если б я был тигром!»

И кот принялся умолять мудреца сделать его тигром.

Мудрец, удивляясь постоянной неудовлетворенности всех живых существ, потребовал вновь повторить клятву и превратил кота в тигра. Это был великолепный хищник, наполнивший смертельным страхом леса и деревни. Но однажды тигр встретил слона, который не удостоил его даже взглядом. И загрустил, поник головой могучий тигр.

«Тигр — ничто в мире, — сказал он мудрецу, — слоны — вот кто владыки среди зверей. Преврати меня в слона».

И стал тигр слоном.

Богатейшие государства мечтали завладеть слоном. Народ поклонялся ему, как святыне. Сотни слуг обмывали и кормили его. Но однажды на спину слона водрузили позолоченные носилки, и маленькая женщина гордо уселась на пышных подушках. Слон был оскорблен и, вырвавшись, тайком убежал на берег Ганга. Он бушевал.

«Женщина сильнее слона. Сделай меня женщиной или умертви».

Подумал старец и решил помочь слону, но потребовал снова клятвы, что тот никогда не пожелает ему зла. Затем, окунув его в воды Ганга, он превратил слона в красивую женщину. Молва о ее красоте понеслась по Индии, и начались войны за обладание ею. Кровь полилась ручьями, народ стонал от военных поборов и голода. И наконец богатейший и храбрейший магараджа овладел красавицей. Все ее прихоти мгновенно исполнялись, и не было счастливее и любимее женщины на свете.

Но мысль о том, что откроется тайна ее происхождения, отравляла дни и ночи прекрасной магарани. И однажды она потребовала умертвить старца с берега Ганга, которого чтила вся страна. Долго магараджа не решался исполнить желание жены, а когда он уступил и послал убийц к старцу-кудеснику, потускнело солнце и исчезла магарани, а на том месте, где она стояла, копошилась, лишь, облезлая мышь. С отвращением придавил ее сапогом пораженный магараджа. Там, где пролилась кровь мыши, вырос пунцовый мак. Тщетно призывая исчезнувшую красавицу, магараджа сорвал маковку и вдохнул пряный запах черных семян. В охватившем его полузабытьи увидел он превращения мыши, нарушившей клятву и отплатившей злом за добро. Сила опиума в том, что в его чаду человек видит все перевоплощения живых существ и причину всех причин.

Далеко за полночь засиделся Карл у товарища своей юности.

На следующий день Маркс узнал, что ему отказано в восстановлении прусского подданства и тем самым в возвращении на родину.

В Берлине Маркс попытался наладить отношения с венской газетой «Пресса». Редакция обещала ему оплачивать статьи значительными суммами. Из Америки «Нью-Йорк дейли трибюн» запросила снова его корреспонденции. Карл воспрянул духом, надеясь, что отныне его семья перестанет терпеть непрерывные бедствия, а он сможет наконец отдаться работе над книгой о капитале и труде.

Из прусской столицы Карл проехал в Кёльн. Он рассчитывал забрать оттуда большое количество своих книг, которые вынужден был оставить у врача Даниельса в 1849 году. Но Даниельс был вскоре арестован по делу кёльнских коммунистов, в тюрьме он заболел чахоткой и умер после освобождения. Книги Карла пошли по рукам, и большую часть их разворовали. Безвозвратно исчезли сочинения Фурье, Гете, Гердера, Вольтера, очень ценимое Марксом издание «Экономисты XVIII века», книги Гегеля и много других.

Совершенно равнодушный ко всяким ценностям и вещам, Маркс всегда очень дорожил своей библиотекой и не смог скрыть своего огорчения, узнав о ее пропаже.

Из Кёльна Карл отправился в Трир, чтобы повидаться с матерью. Снова очутился он на берегу Мозеля, усеян-

ном красными маками и бледно-лиловым переском, взбирался на вершину горы Марка, гулял по Симсонштрассе. Родной ветер играл его густыми волосами, но были они сейчас не черными, как когда-то, а совершенно белыми, с тем особенным голубоватым отливом, который свойствен седине брюнетов.

Трир был прекрасен в убранстве весенних цветов. В укрытом маленьком дворике при доме Генриетты Маркс росли лавровые деревья. Карл обрадовался им, как старым друзьям. Он любовался их цельными блестящими темно-зелеными листьями, нравился ему их ни с чем не сравнимый сильный аромат.

Карл осторожно сорвал ветку, любуясь декоративной красотой растения. Благоухающий лавр Аполлона воспевали поэты и писатели, он стал эмблемой почета. Римские генералы венчались лавровыми венками и, как символ победы, поднимали их перед собой. Существовало поверье, что лавр защищен от молнии и предохраняет от болезней. Больше всех других деревьев Карл любил упругий лавр.

Из окна дома раздался старческий, слабый голос. Генриетта Маркс звала к себе сына. Карл поднялся по ступенькам на террасу и пошел по коридору. Неприметно для себя он смял в руке листок лавра и с удовольствием вдохнул его острый, пряный запах.

В комнате матери было душно и мрачно. Генриетте Маркс минуло уже семьдесят четыре года. Боясь простуды, она запрещала проветривать комнату и считала, что болезни — следствие свежего воздуха. По той же причине старуха носила поверх теплого платья пуховую шаль, голову укутывала большим капором, а ноги прятала в меховые ботинки. Из-за болезни глаз она нуждалась в полутьме, и окна были затянуты темными шерстяными портьерами.

— Дитя мое, — сказала Генриетта Маркс глухо и ласково, — я так рада, что дожила до встречи с тобой. Софи обещала распорядиться, чтобы к обеду приготовили форель. Ты ведь так любишь рыбу. С тех пор как я стала немощной, никто в доме не может испечь лимонные коржики так, как это надо. Они горчат. Как охотно ты ел их, когда был маленький.

Карл ощутил прилив волнующего чувства нежности к матери и взял ее опухшую руку. Но рука уже не пахла,

как много лет назад, корицей и мускатным орехом. Пальцы, изуродованные в суставах, походили на оплывшие желтые свечи.

— Видишь, какой у меня ревматизм, — сказала Генриетта тихо. — Мазь из лаврового масла облегчает мои боли, но ничто не исцеляет в старости.

И старушка начала пространно описывать свои недуги. Говорила она смиренно и не жалуясь. Не было в ней больше ни сварливости, ни горячности. Даже скупость, отличавшая ее в былые годы, заметно уменьшилась.

— Кое-какие твои векселя я решила немедленно порвать. На том свете мне они все равно не понадобятся, да и тебе ведь нелегко живется. Когда-то я мечтала видеть тебя богатым, но ты был своеволен и хотел жить только своим умом. Может быть, ты и был прав, да и вообще, кто знает, что лучше на земле? Столько знатных и обеспеченных людей после революций и войн обеднели. По правде сказать, я ничего больше не понимаю в том, что делается на свете. К счастью, у меня на родине, в Голландии, живут тихо и степенно, и мои гроши у Лиона Филипса будут целы. В Германии я могла бы остаться нищей. Но, слава богу, дочери уже замужем и мы прожили жизнь, не прося милостыню. Все, впрочем, в божьей воле.

Карл вспомнил рассказы сестер о чрезвычайной набожности матери и ее частых посещениях протестантской кирхи. Но не вера, а старость изменила ее к концу жизни, пришло сознание бренности всего того, что казалось ей столь незыблемым и ценным.

Карл молчал, изредка поднимая глаза на старую мать, которая смотрела на него с нежностью.

— Ах, Карльхен, каким ты был необыкновенным ребенком! Мы с покойным отцом не могли надивиться твоей памяти и уму. А сказки, которые ты рассказывал! И даже шалости твои не были злыми.

Генриетта погрузилась в воспоминания. Эта женщина олицетворяла его детство. Она одна сохраняла в своей памяти его словечки, проказы. И Карл остро почувствовал неразрушимую связь с матерью, вынесшей его и некогда приведшей в жизнь. Прежнего многолетнего недовольства и досады на нее более не оставалось. Генриетта была разрушена старостью. Глядя на ее изборожден-

ное морщинами лицо и согбенную фигуру, Карл испытывал острую жалость и томящую грусть. Такое чувство рождается в душе человека перед руинами или на пепелище родного дома.

Мать заговорила о давно умершем Генрихе Марксе, и еще грустнее и тише стало на душе Карла. Когда пришло время обедать, он осторожно взял старушку под руку, чтобы проводить в столовую. Вдруг она остановилась и всплеснула руками:

— Какой, однако, ты стал высокий, я едва достаю головой до твоего плеча. А раньше мы были одного роста. Как же это случилось?

За столом в первый день приезда Карла собралось много родственников. Он увидел своих племянников. Многие из них были уже почти взрослыми.

«Вот они, ушедшие годы», — думал Маркс, глядя на шумную молодежь и на приближавшихся к старости сверстников. Сестра Софи была уже седой женщиной с круглым полным лицом, двойным подбородком и усталыми выцветшими глазами. Все ее мысли вращались вокруг семьи и каждодневных личных забот, как, впрочем, и у остальных членов семьи.

Пробыв в Трире всего два дня, Карл собрался в путь.

— Я чувствую, что вижу тебя в последний раз, дорогой мой сынок, — сказала ему мать и заплакала.

Карл испытал вдруг страх разлуки с нею. Он крепко обнял старушку. С матерью исчезали для Карла не только годы юности, но и воспоминания о них, и тем самым умирала часть его самого.

Покуда Карл был в отъезде, Женни, пережившая после страшной болезни второе рождение, радовалась весне. Каждый цветок казался ей чудом. Обостренное ощущение жизни давало счастье. Все вокруг было так замечательно и прекрасно: небо, столь часто меняющее свои краски, полет облаков, пение птиц и великолепие растений. В это время к ней пришло сердечное письмо из Америки от жены Вейдемейера, Луизы, с которой она подружилась более десяти лет назад во Франкфурте-на-Майне. Тотчас же Женни засела за ответ, в котором в мельчайших подробностях делилась тем, что пережила.

«Да и разве это возможно, — писала она, — чтобы такие старые партийные товарищи и друзья, которым судьба уготовила почти одни и те же страдания и радости, одни и те же светлые и мрачные дни, стали когда-нибудь чужими друг другу, несмотря на время и океан, разделившие нас. И вот я протягиваю Вам руку издалека, как мужественному, верному товарищу по борьбе, страданиям и испытаниям. Да, моя дорогая госпожа Вейдемейер, у нас обеих довольно часто бывало мрачно и тяжко на душе, и я слишком хорошо представляю себе, что Вам пришлось пережить за последнее время! Я представляю себе всю Вашу борьбу, заботы и лишения, ведь я часто переживала то же самое. Но страдания закаляют, а любовь служит нам поддержкой!

...Позвольте мне сегодня рассказать Вам о новом периоде нашей жизни, в котором наряду со многими мрачными сторонами имеются все же и некоторые радостные, солнечные моменты.

...Рискуя прослыть в Ваших глазах самодовольной, слабой матерью, я должна все же похвастать достоинствами милых девочек. У них обеих чрезвычайно доброе сердце, хорошие наклонности, поистине очаровательная скромность и девическая застенчивость. Женни 1 мая исполнится семнадцать лет. Она чрезвычайно миловидная девушка; со своими темными, блестящими густыми волосами и такими же темными, блестящими и ласковыми глазами, со своим смуглым лицом креолки, которое приобрело, однако, свойственную англичанкам свежесть, она выглядит даже красивой. Глядя на милое добродушное выражение круглого, как яблоко, детского лица, забываешь о некрасивом, вздернутом носике и радуешься, когда открывается прелестный ротик с красивыми зубами.

Лауре в сентябре прошлого года исполнилось пятнадцать. Она, пожалуй, более красива и у нее более правильные черты лица, чем у ее старшей сестры, полной противоположностью которой она является. Она так же высока ростом, так же стройна и изящна, как Женни, но во всем светлее, легче, прозрачнее. Верхнюю часть ее лица можно назвать красивой, так хороши волнистые, пышные, каштановые волосы, так очаровательны милые золотистые глаза, в которых всегда как бы светится радост-

ный огонек, так благородна и красива форма ее лба. Только нижняя часть лица менее правильна и еще не вполне оформилась. Обе сестры отличаются поистине цветущим видом, и обе так мало кокетливы, что я часто про себя дивлюсь этому, тем более что не могу сказать того же об их матери во времена ее молодости, когда она еще носила легкие, воздушные платья.

...Они свободно владеют английским языком и довольно хорошо знают французский. По-итальянски понимают Дante, немного читают также по-испански. Только с немецким дело никак не идет на лад; хотя я стараюсь всеми силами время от времени разговаривать с ними по-немецки, они всегда неохотно идут на это, и здесь не помогает даже мой авторитет и их уважение ко мне. У Жении особые способности к рисованию... Лаура относилась к рисованию так небрежно, что мы, в наказание, перестали ее учить рисовать. Зато она прилежно учится играть на рояле и очень мило поет с сестрой немецкие и английские дуэты. К сожалению, девочки очень поздно стали учиться музыке — примерно лишь года полтора назад. Достать для этого денег было выше наших сил, к тому же у нас не было рояля, да и наш теперешний, который я взяла напрокат, настоящая развалина.

Девочки доставляют нам много радости своим милым скромным характером, а их младшая сестренка — кумир и баловень всего дома.

...Да и трудно себе представить более очаровательного, красивого, как картинка, наивного, забавного ребенка. Девочка особенно отличается своей удивительно милой болтовней и своими рассказами. Этому она научилась у братьев Гримм, ставших ее неизменными спутниками. Мы все до одурения читаем сказки, и горе нам, если мы пропускаем хоть один слог в «Белоснежке», у «Румпельптильцхена» или у «Короля-дроздовика». Благодаря этим сказкам девочка, наряду с английским, научилась немецкому и говорит по-немецки необычайно правильно и точно. Девочка — поистине любимица Карла и своим смехом и щебетанием отвлекает его от множества забот. В хозяйстве мне по-прежнему верно и добросовестно помогает Ленхен. Спросите о ней Вашего мужа, он Вам скажет, какое это для меня сокровище. В течение шестнадцати лет она делила с нами и радость и горе».

Далее Женни рассказывает о мучительной поре борьбы с клеветой Фогта и о полной победе Маркса в этом неравном бою, о своем заболевании черной оспой, едва не кончившемся смертью.

«Однако мой организм победил, нежнейший и преданнейший уход сделал свое дело, и вот я теперь снова сижу совершенно здоровая, но с обезображенным лицом, со шрамами темно-красного цвета вроде теперешнего модного цвета маджонты. Только в сочельник бедные дети смогли вернуться в родительский дом, по которому они страшно тосковали. Первое свидание было неописуемо трогательно. Девочки были глубоко потрясены и с трудом сдерживали слезы, увидев меня. Пять недель назад я еще вполне прилично выглядела рядом с моими цветущими девочками. У меня, как это ни удивительно, не было седых волос и зубы и фигура тоже еще остались хорошими, так что меня считали хорошо сохранившейся — и вот теперь всему этому пришел конец! Я сама себе казалась диковинным зверем, которому место скорее в зоологическом саду, чем среди представителей кавказской расы. Однако не пугайтесь: теперь вид мой не столь ужасен, и шрамы начинают заживать.

...Мои девочки сердечно кланяются Вашим милым детям и целуют их — одна Лаура целует другую, — а я мысленно целую каждого из них. Вам, мой дорогой друг, я шлю сердечнейший привет. Будьте мужественны и стойки в тяжелые дни. Мужественным принадлежит мир. Оставайтесь твердой, верной опорой Вашего мужа, будьте крепкой духом и телом, будьте верным, не требующим чрезмерного почтения товарищем Ваших милых детей и при случае снова дайте знать о себе.

Ваш искренний друг *Женни Марке*».

Красоцкие прибыли в Америку незадолго до начала великой войны между Севером и Югом. Переезд через океан длился более двух недель и, несмотря на то что Лиза и ее семья ехали в каютах первого класса, оказался чрезвычайно тяжелым. Помимо штормов и трудностей преодоления небольшим судном Атлантики, Лизу удручало зрелище нищеты переселенцев, находившихся в трюме, где везли также скот. Несчастнейшие из несчастных, ирландцы, немцы и выходцы из разных славянских

страп устремлялись в Новый Свет в поисках хоть какого-либо заработка и угла. Они тяжело болели не только из-за лютой качки, но и от длительного недоедания. В пути умерло несколько детей и стариков. Наконец пароход добрался до Нью-Йорка. Жутко ступить на новую, незнакомую землю, которая должна заменить тебе навсегда родину. Чувство гнетущей тоски испытала и Лиза, сойдя на берег. Все было здесь чужим и казалось недружелюбным. Через несколько дней Красоцкие встретились с Иосифом Вейдемейером, которому они привезли письма от Вольфа.

— Когда я в ноябре тысяча восемьсот пятьдесят первого года, подобно вам, впервые коснулся ногой материка, несправедливо названного Америкой, а не Колумбией, то испытал великое разочарование. Прошло немало лет, а все еще нет во мне расположения к этому краю. Не потому, что он плох. О нет. Источники богатства этой страны бесчисленны. Она обладает плодороднейшими равнинами, богатейшими каменноугольными залежами, нефтяными источниками и различными рудами. Она производит огромную массу хлопка, убойного скота, зерна. Вы увидите здесь большие судоходные реки и озера с прекрасными берегами, безопасные гавани не только на побережье Атлантического океана, но и Тихого.

— Но что же тогда отравляет вам пребывание здесь?

— А то, что я не думаю, чтобы было еще какое-нибудь место на свете, где бы мышление лавочника встречалось в более отвратительной наготе. Всякая цель в жизни, кроме делания денег, считается здесь нелепостью, глупостью. Вы прочтете это на каждом встречном лице, на каждом камне. Это одна сторона медали, а вторая — нищета, крах многих надежд, тоска по родине

— Ну, а вы как живете и устроены ли сейчас? — с истинным сочувствием спросил Сигизмунд. Ему, как и его жене, очень понравился Вейдемейер с первых же его слов. Лиза дружелюбно вглядывалась в большое, обветренное, сильное лицо бывшего артиллерийского офицера, о котором с любовью говорил ей Вильгельм Вольф.

— Все бывало. Пытался организовать издание еженедельника. Это было азартной, отчаянной затеей, — рассказывал доверчиво Вейдемейер. — Представьте, без денег, без основательной поддержки все-таки издал «Восемнадцатое брюмера» Маркса. Великолепное произведение. Затем служил землемером, нотариусом, читал и читаю лек-

ции по рабочему вопросу. Боролся и борюсь за свои коммунистические идеи. Я ведь из Вестфалии. Мы народ упорный.

— Что же, хотели вызвать революцию в Соединенных Штатах? — чуть улыбнулась Лиза.

— Нельзя, увы, искусственно создавать революции при помощи заговоров и каких-либо рецептов. Социальные кризисы обусловливают ее наступление, а они являются объединенным результатом борьбы классов скорее, чем мелких стараний отдельных людей, — сказал Вейдемейер очень серьезно.

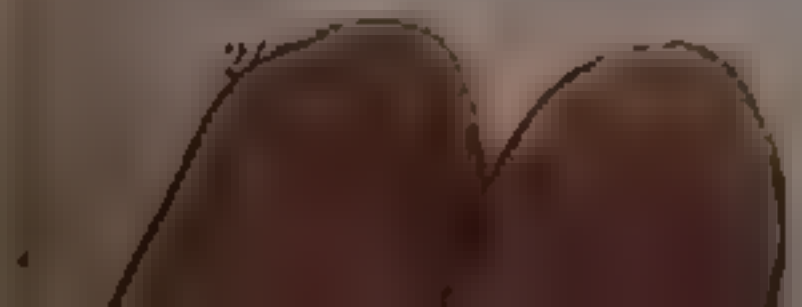
— Узнаю друга Маркса или, как о вас писали, его «агента».

— Я не хотел бы повторять вам то, что писал в ответ на это прозвище, но придется, раз вы запомнили этот термин. «Агенты» знают, что единство действия, твердость и согласие в мыслях, которые всегда характеризовали их, поддерживали их во все времена, — не будут понятны их оппонентам, потому что у этих последних самих никогда не было твердо обоснованных принципов. Мы не агенты, мы верные друзья Маркса.

Хорошо изучивший Америку, отзывчивый Вейдемейер советами во многом помог Красоцким на первых порах их обоснования в Новом Свете.

Время было трудное. Маркс называл XIX век веком хлопка, и более всего название это подходило именно к пятидесятым и шестидесятым годам в Америке. «Царь-хлопок», как называли его американцы, господствовал безраздельно, и носителями этой силы были рабовладельцы. Хлопок, пользовавшийся огромным спросом на рынке, возделывался неграми-рабами в Южных штатах. Чем выше был спрос на хлопок, тем больше завоевывал он земель. Росли прибыли и вместе с ними потребность в рабах для владельцев хлопковых плантаций. Пиратская торговля захваченными в плен африканскими неграми бойко велась на рынках Виргинии, Миссури, Нью-Орлеана и многих других городов. Большие корабли снаряжались в Нью-Йорке и в гаванях Новой Англии за рабами. Ежегодно рабовладельческие штаты доставляли на хлопковые плантации не менее сорока тысяч рабов.

«Жители Виргинии, — как говорили американцы, — разводят рабов точно так же, как в Вермонте разводят лошадей».



Лиза содрогалась, видя воочию то, о чем читала в «Хижине дяди Тома». Но кроме черных невольников, она увидела и белокожих. Это были рабочие.

Очень скоро Красоцкие поняли истинное положение жителей Америки. Возделывание хлопка обогащало рабовладельцев, а обработка его и превращение в ткани — фабрикантов. Они были едины, пока дело шло о наживе, но начинали драться, когда приходило время делить добычу. Рабовладельцы требовали свободы торговли, чтобы ввозить дешевые иностранные товары и без всяких ограничений наслаждаться плодами труда своих черных невольников, а фабриканты настаивали на высоких охранительных пошлинах. Они стремились обогатиться благодаря дешевому труду закабаленных рабочих и урвать у рабовладельцев часть их добычи. Борьба между братьями-врагами непрерывно велась в конгрессе Соединенных Штатов, приближая войну.

Борясь с плантаторами Юга, буржуазия Севера громко заговорила о необходимости уничтожить рабство. Недавно образованная республиканская партия благодаря агитации за освобождение негров приобрела громадное влияние. В 1860 году, после горячей избирательной схватки, республиканцы получили большинство в конгрессе. Их кандидат Авраам Линкольн был избран президентом. Начался экономический кризис. Вскоре Южные штаты объявили о своем выходе из Союза. В апреле 1861 года разразилась гражданская война между Севером и Югом.

Иосиф Вейдемейер тотчас же ушел добровольцем на фронт. Он был назначен командиром второго артиллерийского полка и получил чин подполковника. Красоцкий, также хорошо знавший военное дело, последовал за ним в качестве офицера. Лиза с дочерью осталась в Миссури вместе с семьей Вейдемейера.

Все свое время и силы Лиза посвящала устройству госпиталей в наспех сооруженных бараках. Это было трудным делом. Не хватало медикаментов, белья, врачей.

Уже много лет Лиза была полностью оторвана от России, и тем более поразило ее письмо от дальней родственницы, сообщавшей о заточении в Петропавловскую крепость Дмитрия Писарева.

Лиза вспомнила Варвару Дмитриевну и ее слова: «Я хочу, чтобы у моего сына был талант правды, чтобы он никогда не лгал».

Митя вырос и, как предполагала некогда Лиза, стал незаурядным человеком. Он оказался прирожденным журналистом, страстным правдолюбцем, своеобразным оригинальным стилистом, неотразимым в полемике.

Нельзя петь, если нет от природы данного голоса, танцевать без чувства ритма, рисовать, не имея зрения, различающего тончайшие оттенки цвета. Нельзя истинно служить искусству без творческого дара и быть писателем, не имея своего особого видения, слуха, мышления и слога. И Писарев нашел в себе дар созидателя мыслей, образов, идей. Он отличался разительным трудолюбием и жадностью к знаниям, и его дарование благодаря этому окрепло и раскрылось. Время ему благоприятствовало.

Литературный дебют Писарева был блестящим. Его пригласили сотрудничать в «Современник», журнал Некрасова и Чернышевского, владычествовавший над думами новых людей России. Но он продолжал печататься в «Русском слове» с неизменно возрастающим успехом. Весной 1861 года Писарев закончил университет и получил степень кандидата.

Юный, красивый, стройный, безыскусственный в обращении, весь какой-то вдохновенный и приподнятый, он производил необычайное впечатление. Истинно талантливый человек всегда как бы излучает свой свет, и Дмитрий Писарев был таким.

Его творчество было уже вполне зрелым. Почти в каждом номере журнала появлялись статьи Писарева, посвященные наиболее волнующим вопросам литературы и политики, которыми жили его современники. Казалось, этот орленок — весь порыв, упоенье жизнью, готовность взвиться ввысь — не может встретить непреодолимых препятствий. Им должна была бы гордиться отчизна. Но тюрьмы не пустовали ни при Николае I, ни при его преемнике. Двадцатидвухлетний Писарев был погребен в Петропавловской крепости. Причиной заточения была написанная им прокламация для «карманной» нелегальной типографии. В ней он призывал к свержению самодержавия и разоблачил клевету на Герцена петербургского барона Фиркса, скрывавшегося под псевдонимом Шедо-Ферроти.

Тюрьма оказалась для Писарева огнем, закалившим сталь. Все, что успел он добрать, продумать и перечувствовать за свою короткую жизнь, снова и полутьме

и полном одиночестве камеры прошло перед ним. Он обрел новые силы в страсти творчества.

Петербургский генерал-губернатор Суворов, внук великого полководца, не раз своей властью облегчал режим крепости для политических заключенных. И Писарев мог писать.

Настойчивым, неутомимым ходатаем за Дмитрия стала его мать. Ни унижения, ни долгое выстаивание в сановных приемных, ни отказы не ослабляли ее энергии. После ареста Дмитрия она поселилась в Петербурге, напротив Петропавловской крепости. От передачи к передаче, от редкого свидания к свиданию медленно тянулось для Варвары Дмитриевны жестокое время. Каждый день приходила она к крепостным воротам, не замечая дождя, снега, жары, подолгу стояла у тюрьмы, сжав руки, с тем выражением лица, которое появляется над свежей могилой. Из окна ее квартиры была видна та же безрадостная гряда серого камня. Накануне коротких свиданий с сыном мать заново училась улыбаться, чтобы скрыть свои страдания. Однажды Дмитрий сунул ей записку. Небольшой листок бумаги был покрыт крошечными, как маковые зернышки, буквами. Не растерявшись, Писарева сделала вид, будто с ноги ее свалилась туфля, и, быстро наклонясь, спрятала в нее записку. Не раз выносила она из крепости таким образом письма.

«Героические матери революционеров, — думала Лиза о Писаревой. — Каждая из них без размышлений приняла бы на себя удар, нанесенный ее сыну, закрыла бы его своим телом в момент смертельной опасности». Лиза написала в далекую Россию Варваре Дмитриевне исполненное нежности и почтительности письмо. На другом материке земли она непрестанно мечтала о родине. Из Лондона из «русской печати» ей присылали «Колокол». В нем как-то прочла она письмо за подписью «Русский человек».

«Наше положение ужасно, невыносимо, — писал он, — и только топор может нас избавить, и никто, кроме топора, не поможет! Эту мысль уже вам, кажется, высказывали, и она удивительно верна, — другого спасения нет. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела, переменить же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! К топору зовите Русь».

Лизе казалось, что автор нашел слова для ее собственных чувств.

«К топору, к борьбе, к революции! — повторяла она. — Больше нет иллюзий. Один коварный тиран сменил другого. Освобождение крестьян всего лишь подлый, злой обман. Эшафот, каторга, ссылка подстерегают по-прежнему каждого, кто возвысит свой голос за права народа, за вольность».

Герцен прислал Лизе напечатанную в Лондонской русской типографии прокламацию «К молодому поколению». Автором ее был Николай Васильевич Шелгунов.

«Проснулась моя Россия. Ничто не в силах остановить более лаву, льющуюся из вулканического кратера, — писала, ликуя, Лиза, повторяя затем вслед за автором зажигательного воззвания: «Нас миллионы, а злодеев сотни... если каждый... убедит только десять человек, наше дело и в один год подвинется далеко. Но этого мало. Готовьтесь сами к этой роли, какую вам придется играть, зрейте в этой мысли, составляйте кружки единомыслящих людей, увеличивайте число прозелитов, число кружков, ищите вожаков, способных и готовых на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны тени мучеников 14 декабря! Ведь в комнате или на войне, право, умирать не легче!»

В это же время в Петербурге появилась на русском языке книга Гильдебранда «Политическая экономия настоящего и будущего», в которой автор, нападая на книгу Энгельса о положении английских рабочих, в самых радужных красках описывал житье тружеников по Франции и Великобритании. Петербургские реакционные журналы всячески расхваливали книгу Гильдебранда. И только «Современник» решительно стал на защиту Энгельса.

В просторном кабинете Некрасова шла оживленная беседа. Николай Васильевич Шелгунов, нервно размахивая рукописью только что законченной статьи, говорил громко и быстро:

— Господа Катков и Достоевский не унимаются и продолжают нападать на нас за непочтительность к Гильдебранду. Но сей ученый муж, как точно высказался об этом Чернышевский, обнаруживает крайнюю несостоятельность в своих суждениях и наклонность к пустому словоизвержению всякий раз, когда пытается бороться с социалистами. Как вы знаете, в числе писателей, на

которых подпял меч Гильдебранд, есть и Энгельс, один из лучших, замечательнейших немцев. Наш это у нас до сих пор еще неизвестно, а между тем европейская экономическая литература обязана ему лучшим сочинением об экономическом быте английского рабочего. Разница между Гильдебрандом и Энгельсом в том, что Энгельс худое называет худым и хочет, чтобы его не было, а Гильдебранд находит, что дурное не только не дурно, но что оно так и должно быть.

— К чему же еще сводятся мысли Энгельса? — более-менее-слабым голосом спросил Некрасов. Лицо его было нездельно-тусклым. Он встал и принялся сутулясь ходить по комнате. Подтачивающий его недуг превращал сорокалетнего поэта, полного творческой мощи, в дряхлого старика. Было нечто общее во внешнем облике великого певца русского народа с немецким поэтом Гейне.

— Фридрих Энгельс, — ответил Шелгунов, — доказывает, что все промышленного переворота английские рабочие стали самым прочным, постоянным классом населения, тогда как прежде они были подобны проклятым в средние времена. Оба эти класса ныне весьма нравятся Господину Энгельсу вдвое, полагая, что английские рабочие раньше или позднее добьются прав для себя. Однако, я полагаю, Россия страна особенная. Русский мужик топором прорубит себе дорогу к социальной справедливости.

— Отлично сказано, Николай Васильевич, — продолжая медленно ходить по кабинету, тихо произнес Некрасов. — Вы смелы. То-то разъярятся все наши российские мракобесы. Отредактируйте эго обязательно нашу статью для ноябрьской книжки «Современника».

Гражданская война в Соединенных Штатах чрезвычайно интересовала Маркса и Энгельса. Читатель помнит, они причину ее возникновения. Симпатии их были естественно, на стороне северян, о чем они писали в своих статьях и письмах друг другу.

Борьбу против рабства негров Маркс и Энгельс считали кровным делом трудящихся классов. Рабство в южных штатах препятствовало успешному развитию рабочего движения за океаном. Покуда труд черных несет на себе позорное нестираемое клеймо, не может быть свободным и труд белых. По мнению Маркса, идеалом рабочего на-

ческого строя старались доказать, что цвет кожи не имеет решающего значения и трудящиеся классы вообще созданы для рабства.

Война в Америке приняла затяжной и трудный характер. В связи с этим Маркс окончательно лишился своего постоянного заработка в «Нью-Йорк дейли трибюн». Но эта личная неудача нисколько не повлияла на его все возрастающий интерес ко всему происходящему в Новом Свете. Он от всей души желал победы северянам и неотрывно следил за развитием военных действий. Считая себя не особенно сведущим в военном деле, Карл постоянно расспрашивал Энгельса о значении событий на далеких фронтах, и Фридрих с глубоким, чисто профессиональным знанием дела подробно сообщал ему свои выводы и предположения по поводу военных действий в Америке.

— Ты отличный тактик и стратег, — сказал как-то Карл, когда Фридрих объяснял ему и Женни сложность войны внутри одного государства.

Было это летом, когда Энгельсу на несколько дней удалось вырваться в Лондон. Окна домика на Графтон-террес были настежь открыты. В палисаднике цвели жимолость и желтые лилии. На рабочем столе Карла лежала большая карта Америки, и над ней склонились три головы — седая Карла, темно-русая Фридриха и каштановая, как бы чуть посыпанная кое-где пеплом, Женни.

— Северяне допускают непростительную ошибку, — чуть запинаясь от волнения, объяснял Энгельс, — они не освоили еще методов ведения гражданской войны. Смотрите, как оголены их фланги. Необходимо немедленно ввести в дело вновь образованные корпуса, а вместо этого они вот уже больше месяца держат их на расстоянии почти что пятисот миль от поля боя.

— Право же, вы подмечаете каждый стратегический промах, пользуясь информацией и картой, так, точно находитесь непосредственно на поле боя, — заметила Женни, ласково поглядев на возбужденное лицо Энгельса.

Как всегда, дни, проведенные друзьями вместе, промелькнули с досадной быстротой. Фридрих уехал. Помчались письма из Лондона в Манчестер и обратно. Маркс писал чаще, нежели Энгельс. Это объяснялось тем, что в столице он бывал иногда лучше осведомлен обо всем, интересовавшем обоих.

Летом 1861 года Маркс участвовал в устройстве митинга протеста против ареста Бланки и тяжелых условий его заключения. Судьба этого великого революционера постоянно волновала Маркса. Позднее он переслал в Париж деньги, собранные немецкими эмигрантами, на издание брошюры о процессе Бланки, на котором старый боец держался, как всегда, героем.

Осенью до Энгельса дошла весть об изменившейся судьбе одного из знакомых ему русских узников, Бакунина, бежавшего в Америку.

«Побег Бакунина меня очень обрадовал, — тотчас же написал он Карлу. — Бедняга, наверное, порядком настрадался. Совершить таким способом путешествие вокруг света!»

Венская газета «Пресса», на которую Маркс возлагал столь большие надежды, подвела его. Вопреки обещаниям, она не только редко печатала его статьи, но к тому же платила только за одну из пяти.

Маркс и его семья уже не раз находились на краю бездонной нищеты, но 1862 год грозил стать для них еще более катастрофическим, нежели все предыдущие.

«Если он будет походить на старый, то, по-моему, пусть лучше отправляется к черту», — писал Карл в Манчестер в конце декабря.

Новый год оказался действительно хуже того, которому пришел на смену. Снова над домиком № 9 по Графтон-террес нависли унизительные лишения и угроза долговой тюрьмы. Прекращение сотрудничества в «Нью-Йорк дейли трибюн» тяжело сказалось на жалком бюджете Маркса. Долги росли. Семья из шести человек требовала больших расходов. Энгельс посылал непрерывно, но небольшие суммы, так как сам был денежно все еще не устроен.

Носильные вещи Карла, Женни, всех детей и даже Ленхен были давно заложены в ломбарде. Но было больше денег не только на то, чтобы оплачивать взятый в лучшие времена напрокат рояль, но и рассчитаться с мясником и булочником. Попытка расплатиться с одними долгами влекла новые. Нужно было изловчаться, хитрить, просить об отсрочках, чтобы продотвратить выселение из квартиры и накормить детей. Здоровье Карла было подорвано. Тело покрылось карбункулами, начались тяжелые недомогания, связанные с застарелой болезнью по-

чин. Раздражительность возрастала тем больше, чем мучительнее тянуло его к работе над продолжением книги по политической экономии. Нищета порождала горестные вспышки.

Это утро началось с подсчета долгов, не терпящих отлагательств с оплатой.

Женни, посеревшая, измученная, вошла в кабинет мужа с большой пачкой счетов. Ее голос необычно дрожал:

— Вот газовое общество прислало последнее предостережение. Если сегодня мы не внесем одного фунта десяти шиллингов, газ будет немедленно выключен. Ты не сможешь больше работать по вечерам. В доме нет ни одной свечи, и купить тоже не на что.

Карл поднялся из-за стола. Ему мучительно хотелось курить, но не было денег даже на самые дешевые сигары или табак.

Женни продолжала говорить все быстрее, и голос ее казался Карлу необычно высоким и странным. Он хотел остановить ее, но это было уже невозможно.

— Мы отказались давно от того, чтобы Лаура брала уроки музыки, но все еще не расплатились с учителем. Семь шиллингов. Как их достать, ведь он беден и нуждается в них. Домохозяин вчера орал во все горло на улице, что мы должны ему за целый год и он подаст в суд. Это был спектакль для кумушек всей округи.

— Но Энгельс ведь прислал нам на днях немного денег.

— Да, немного; этого не хватило даже для булочника. Мясник, зеленщик и бакалейщик грозят, что засадят тебя в тюрьму. Мы все страдаем. В городе открылась Всемирная выставка, а наши бедные девочки сидят дома. Все до последней пары обуви я заложила в ломбарде. И так уже много лет. Ни малейшего просвета. Почему? За что?

И вдруг, потеряв самообладание, Женни закричала:

— Я не могу больше, не могу! Лучше умереть, нежели дальше жить. Видеть детей и тебя голодными я больше не в силах.

Карл бросился к жене и прижал ее голову к своей груди. У него дрожали скулы и страшная гримаса горя искажала его мужественное лицо. Он умолял Женни успокоиться и еще раз набраться терпения.

— Ты ведь такая сильная, — заговорил он тверло. — Потерпи немного, и все наладится, я уверен в этом. И мы перейдем от страдания к радости. Помнишь наш любимый финал бетховенской Девятой симфонии? Она зазвучит и для нас, моя любимая.

Но Женни не успокаивалась. Карл молча гладил ее волосы. Что мог он сказать ей еще?

Снова горе переплюсь через край, и нервы Женни больше не могли выдержать непрерывного напряжения. Во время этой печальной сцены в комнату родителей вошли Женнихен и Лаура. Лица девушек были необычно серьезными и решительными.

— Я достаточно взрослая, чтобы помогать своей семье, — сказала Женнихен, — вы не захотели знать, чтобы я поступила в театр. Это к тому же оказалось нелегко, да и не знаю, достаточно ли я талантлива, чтобы быть на сцене. Теперь мы обе — ведь Лаура всего на год моложе меня — решили искать место гувернанток.

— В этом нет ничего плохого, — вмешалась Лаура, — нам пора зарабатывать. Двумя ртами будет в доме меньше, а главное, мы с Женнихен сможем помочь вам, отдавая все, что заработаем. Пожалуйста, Мавр и мамочка, не возражайте.

— Нет, нет, — в слезах ответила Женни, — вы обе еще так молоды, вам надо учиться. Я знаю, чем помочь. Разреши мне, Чарли, продать твою библиотеку.

Карл невольно ухватился рукой за спинку кресла. Он любил свои книги и привык к ним. Они были всегда его послушными и верными помощниками, со многими из них он странствовал с юности. Карл хотел возразить, но тотчас же, внутренне устыдившись, что колеблется, поспешил одобрить решение жены распродать то единственное, что было ему так нужно и так дорого.

— Конечно, родная. Делай, как считаешь нужным. Продай книги, на что они нам? Мне останутся все сокровища библиотеки Британского музея. Я постепенно окончательно отучусь полемизировать с авторами на полях книг и делать пометки карандашом и ногтем.

— Мавр, дорогой, разве ты сможешь жить без возможности рыться в книгах? Конечно, нет. Отцу они необходимы. Не надо, мамочка, лишать его надежнейших друзей. Позволь же нам с Лаурой искать себе место гувернанток, — настаивала Женнихен.

— Позже, мои девочки, позже, когда вы будете старше. Сейчас это слишком трудно для вас и опасно.

Женни продолжала горько плакать. Карл настойчиво уговаривал ее скорее распродать библиотеку.

Не признавая фетишей и не привязываясь к вещам, Карл делал исключение только для книг. С молодых лет он собирал их и берег. Книги были для него насущной необходимостью, такой же, как хлеб и вода. Однако попытка Женни продать библиотеку мужа оказалась тщетной. Не нашлось покупателя. Других источников добыть денег не оставалось. Карл писал Фридриху 18 июня 1862 года:

«Дорогой Энгельс!

Мне в высшей степени неприятно вновь занимать тебя своими злоключениями, но что поделаешь? Жена говорит мне каждый день, что лучше бы ей с детьми лежать в могиле, и я, право, не могу осуждать ее за это, ибо унижения, мучения и страхи, которые нам приходится переносить в этом положении, в самом деле не поддаются описанию. Все 50 фунтов пошли, как тебе известно, на покрытие долгов, из которых не удалось уплатить и половины... Я не хочу уж говорить о той по-настоящему опасной в условиях Лондона ситуации, когда приходится в течение 7 недель оставаться без единого гроша, поскольку это стало у нас хроническим явлением. Но ты хорошо знаешь по собственному опыту, что всегда имеются текущие расходы, по которым надо платить наличными. Для этого пришлось вновь заложить вещи, взятые из ломбарда в конце апреля... Бедных детей мне тем более жаль, что все это происходит во время выставочного сезона, когда их знакомые развлекаются, а они только страшатся, чтобы к ним кто-нибудь не зашел и не увидел всей этой мерзости.

Что касается остального, то я теперь усиленно подвигаюсь вперед, и, как это ни странно, моя черепная коробка уже несколько лет не работала так хорошо, как сейчас, при всей окружающей меня нищете... Заодно я, наконец-то, разделался также с поганой земельной рентой... У меня уже давно были сомнения относительно полной правильности теории Рикардо, а теперь я, наконец, раскрыл обман. С тех пор как мы не виделись, сделал также еще несколько интересных и неожиданно новых открытий...

У Дарвина, которого я снова просмотрел, меня забавляет его утверждение, что он применяет «мальтусовскую» теорию *также* к растениям и животным, между тем как у г-на Мальтуса вся суть заключается как раз в том, что эта теория применяется *не* к растениям и животным, а только к людям — численность которых возрастает, мол, в геометрической прогрессии — в противоположность растениям и животным. Примечательно, что Дарвин в мире животных и растений узнает свое английское общество с его разделением труда, конкуренцией, открытием новых рынков, «изобретениями» и мальтусовской «борьбой за существование».

Энгельс тотчас же пришел на помощь другу и его семье, выслав деньги, и на короткое время обитателям дома № 9 на Графтон-террес жить стало легче.

В Лондоне было, как никогда, шумно в это лето. Позади «Хрустального дворца» вырос целый квартал наскоро построенных на одном из пустырей павильонов. В июне там открылась Всемирная промышленная выставка. Вереницы карет, наемных кебов, толпы людей направлялись со всех сторон столицы посмотреть все то, что из разных стран было привезено напоказ ради купли, продажи и рекламы.

Вместе с делегацией французских рабочих на выставку прибыл и Жан Сток.

Жером Бонапарт сдержал свое слово и организовал пятьдесят избирательных бюро в Париже, с помощью которых были устроены выборы заранее намеченных им делегатов. Рабочие эта с лишним профессий были приглашены на голосование. От железнодорожных машинистов Жан Сток был избран единогласно. Большой успех на выборах пал и на долю чеканщика Толена. Расходы на поездку столь необычной делегации взял на себя «красный принц» Наполеон. Он провел добровольную подписку и получил благодаря своим связям кое-какие суммы из имперского и городского казначейства.

В Лондоне Жан вместе с Толеном тотчас же отправился на Графтон-террес к Марксу.

— Сын Иоганна Стока. Отлично. Я очень, очень рад тебе. Весть о гибели твоего отца глубоко поразила всех

пас. Он был лучшим среди лучших бойцов пролетариата. А ты, парень, как прожил свои два с небольшим десятилетия?

Жан вкратце рассказал Карлу свою жизнь, все время оговариваясь, что она проста и незатейлива.

— Хорошее прошлое и добрая закалка у этого парня, — сказал Карл жене, когда она позвала их к чаю. — Это — сын, достойный своего мужественного и умного отца.

— Скажите, Жан, — спросила Женни, узнав, что он перенес заключение, — вас не испугала тюрьма? Отважились бы вы на поступки, которые грозили бы вам снова скандалами?

Сток широко улыбнулся. Блеснули его прекрасные белые зубы.

— Тюрьма — что роды у женщины — быстро забывается. Ведь с ней знакомишься ради доброго дела, ради людей, — значит, нечего и пугаться. Страшновато только по первому разу.

Все дружно рассмеялись. Сток заговорил о разрозненности рабочих и необходимости им скорее объединиться.

— Помню, мать учила меня в детстве притче о том, как уничтожать зло! Каждый отдельный человек слаб, он как прутик, но, если связать их вместе, получится веник, которым ничего не стоит вымести любую нечисть. Почему бы нам не объединиться, чтобы быть силой в борьбе за права свои? Взять хотя бы, к примеру, английских промышленников. При всякой попытке рабочих добиться повышения заработной платы и сокращения рабочего дня они тотчас же везут к себе французских, германских, бельгийских или других иностранных трудящихся. Не раз мог и я перебраться через Ла-Манш. А когда мы будем едины, то не позволим разжигать между нами розень и грязную конкуренцию. Французы, немцы, англичане, поляки — мы трудимся на одних и тех же машинах, шьем теми же иглами, куем на одинаковых наковальнях, рубим теми же топорами. Посмотрел я машины на выставке; какая бы ни была на них марка — все один черт. Вот хотя бы локомотив. Он теперь всюду один, и каждый машинист знает, как его водить. Одно у нас оружие, одна доля, один труд. Пора связать нам себя в один пук, и тогда все пойдет сразу по-другому. Я давно

рился в Лондон, чтобы повидаться с вами, отец Маркс, и с нашими братьями, французскими эмигрантами.

Карл с волнением слушал молодого рабочего, ищущего путей к объединению с иноземными трудящимися в совместной борьбе. Это предвещало воскрешение великих дней, когда был создан «Коммунистический Манифест».

Французские рабочие расспрашивали Маркса об особенностях развития британской индустрии.

— В Англии, в стране машин и пара, существуют и поныне многие отрасли промышленности, где полностью сохраняется ручной труд, — ответил им Карл. — Кое-где вы можете увидеть, что работают так же, как в стародавние времена. Вот хотя бы изготовление хлеба. Английская пословица гласит, что каждый человек должен в своей жизни съесть мерку грязи, а Джон Буль и не подозревает, что ежедневно, не в переносном, а в прямом смысле слова, поглощает невообразимую мешанину из паутины, муки, квасцов, тараканов и человеческого пота. Зная отлично Библию, англичане повторяют, что человек должен добывать хлеб в поте лица своего, но не предполагают, вероятно, что человеческий пот является обязательной приправой к хлебному тесту. Теперь, однако, приближается, видимо, час гибели небольших пекарен и наступает эра хлебных фабрик.

— Я хотел также посоветовать вам побольше читать, — сказал Жану и Толену Маркс, когда они собрались уходить. — Один из великих французов в своих увлекательных книгах вывел целую плеяду живых людей, вы их, наверное, встречаете сейчас в Париже. В империи Бонапарта они процветают. В эпоху толстого Луи они были только в зародыше. Я говорю о Бальзаке.

Карл долго размышлял над тем, что говорили ему два француза. Он давно не чувствовал такого прилива сил, как сейчас.

В эти же июньские дни на Графтон-террес прибыло коротенькое письмецо. Лассаль извещал о своем приезде к Лондон на Всемирную выставку и обещал быть в тот же вечер. Узнав об этом, Женни разволновалась и засуетилась. Ей не хотелось, чтобы Лассаль заметил, какая нужда господствовала в ее доме.

— Мы, конечно, не в состоянии принять этого балованного графини Гацфельдт так, как он это сделал в своей роскошной берлинской квартире, когда у него был Карл, но

тем не менее все должно быть безупречно, — говорила она, вытирая торопливо пыль с многочисленных книг и наводя в квартире порядок.

Лепхен отнеслась к словам Женни недоброжелательно и не скрыла этого:

— Только немного расплатились с долгами и вздохнули свободно и снова лезете в западню. Стоит только появиться лишнему центу в доме, как он у вас вызывает нестерпимый зуд. Так и ищете, кому бы дать или на что бы потратить. Нет чтобы одеть девочек как положено. Я бы гогда слова не сказала. Лондон завален всяким добром. Так нет же, нужно откармливать этого приезжего гуся, да еще так, чтобы он, боже сохрани, не догадался, что съедает последние куски в нашем доме.

Но Женни обняла Лепхен и так ласково принялась уговаривать не восставать против ее плана, что та быстро уступила.

— Вы сатану и того уломаете, когда захотите, — сказала она, смягчаясь, и отправилась в бакалейную лавку. Лаура и Женнихен побежали в цветочный магазин, и скоро маленькая столовая на Графтон-террес совершенно преобразилась. Женни достала из комода недавно выкупленные из ломбарда старинные скатерти шотландской работы и кое-что из посуды. Она внимательно осмотрела дочерей. Молодость и свежесть служили им великолепным украшением. Женни приоарядилась, набросив материнскую кружевную шаль поверх старого поношенного платья. Лассаль вовсе не заметил следов бедности в этом гостеприимном, приветливом семействе.

С тех пор как в начале века лорд Денди посвятил всю свою жизнь возведению в культ мужского туалета и приобрел много последователей, Англия считается первой страной по искусству наряжать мужчин. Лассаль, и до этого щеголь, приехав в Лондон, отправился на Бонд-стрит, где приобрел все самое модное, начиная от зонта, превращающегося в трость, и кончая сюртуками и шляпами всех фасонов.

Надушенный эссенцией лаванды, блестящий, как его цилиндр, Лассаль обнял Карла, называл его «дорогим другом», затем красиво склонил перед Женни и ее старшими дочерьми густо смазанную душистым маслом голову.

— Ах, какое прелестное бэби, — сказал он и поцеловал в румяную щечку Тусси, которая пытливо и смело разглядывала этого фатовски одетого господина.

За столом, когда Ленхен разносила великолепно сервированный чай с вкусными печеньями, Лассаль не преминул сообщить, что привык ни в чем себе не отказывать и жить на широкую ногу.

— Ничего не поделаешь, нужно всегда выставлять себя богатым человеком, это все идет на пользу нашему общему делу. Деньги при всей мерзости, которую они порождают в руках буржуа, великая сила, когда они в кармане социалиста. На днях одно дельце обошлось мне в пять тысяч талеров. Что ж, потери неизбежны, когда приходится быть также дельцом. Хорошо тебе, Карл. Ты занят только теоретической работой и поэтому свободен. Я не только теоретик, но и практик. Ну, подумайте сами: с одной стороны, моя внешняя форма...

— Да, ты похож на прирожденного барона, — сощурив глаза и не глядя на Женни, чтобы не рассмешить ее, сказал Карл.

— Кому, как не тебе, имеющему жену баронессу, знать это, — сказал весьма довольный Лассаль, так и не заметив насмешки в тоне Маркса. — Вы ведь знаете, — продолжал он, — что я посетил Цюрих. Это была поистине триумфальная поездка. Рюстов, Гервег и много других замечательных людей приветствовали меня. Затем Италия. Я дал немало советов Гарибальди. Результаты тотчас же сказались. Кстати, вы, надеюсь, уже прочитали мою книгу «Юлиан Шмидт»? Мне не хочется повторять всего, что говорится в разных сферах об этой вещи. Не хочу показаться нескромным, но факт остается фактом. Я мог бы возгордиться, если бы не был от природы защищен от тщеславия мудростью. Но все-таки трудно удержаться, когда почтенные и вполне искренние люди постоянно трубят тебе, что ты великий ученый, мыслитель.

Лассаль встал, он был в упоении. Голос его звучал неестественно, он некрасиво размахивал руками, прохаживаясь по комнате. Всем стало неловко, но он этого не замечал.

— Меня считают жестокосердным донжуаном, но я фактически скорее нежен и чувствителен, как Вертер. Я был любим многими женщинами, но, увы, не любил сам и превыше всего ценю свою свободу. Скажите, гос-

ложил Маркс, что такое брак? Я имею в виду людей моего воспитания.

Женни прикусила на мгновение нижнюю губу, чтобы не выдать чувства, которое внушал ей этот фразер, но затем, овладев собой, ответила:

— Французы говорят, что брак — это разговор. Выбирая супруга или супругу, нужно прежде всего проверить, долго ли будут они удовлетворять друг друга как собеседники. Я убедилась, что в этом много правды. Если бы мне предстояло прожить несколько жизней, я была бы неизменно счастлива с моим мужем, потому что мысль его неисчерпаема и разговор с ним всегда доставляет высшее наслаждение.

Лассаль слащаво, неискренне улыбнулся:

— Великолепно. Карл нашел достойную себя собеседницу. Ему повезло больше, чем мне.

Лассаль бесцеремонно отнимал у Карла его время, утомляя неуемными разглагольствованиями о себе, своих достоинствах и преуспеянии. Как-то он явился, когда Женни была одна дома, и тотчас же доверил ей под величайшим секретом свои сугубо важные дела «мирового значения».

— Вам, мадам, как весьма незаурядному человеку, могу признаться, что благодаря именно мне, моему неоспоримому убеждению, Гарибальди не пошел на Рим, а отправился в Неаполь. Я убедил его стать там диктатором, но не затрагивать при этом интересов сардинского короля Виктора-Эммануила. Затем, по моему же совету, старый полководец должен собрать народную армию, чтобы двинуть ее на Австрию. Вы понимаете, что это означает для Германии? Свободу. Я полагаю, что Гарибальди соберет без всякого труда не менее трехсот тысяч добровольцев. После этого особый корпус переправится на Адриатический берег, в Далмацию, и поднимет восстание в Венгрии. Это будет грандиозно, уверяю вас.

Лассаль подробно описал Женни свой план, который, по его словам, он как представитель немецкого революционного рабочего класса, сообщил не только Гарибальди на острове Капрера, но и в Лондоне теперь самому Мадзини.

— Этот великий революционный аскет тоже восхищен тем, что я ему сказал, и вполне одобрил мои предложения. Если так пойдет, как я указал, все кончится скорой

и блестящей победой итальянского народа. Я кладу на нее операцию ровно шесть недель. К тому же мое политическое влияние в Берлине сейчас очень велико. Я смогу многое там предпринять. Ни для кого более не тайна, что именно моя брошюра об итальянской войне предотвратила вмешательство Пруссии в войну на Апеннинском полуострове.

— Вы, верно, очень устаете от столь больших и ответственных дел? — с едва уловимой иронией спросила Женни.

Лассаль не заметил насмешки в тоне собеседницы и ответил важно:

— Еще бы!

Женни постепенно отвернулась, чтобы гость не видел ее лица. Ей, как и Карлу, Лассаль стал смешон. Ленхен презирала его не только за самоуверенность и самовлюбленность, но и за эгоизм и обжорство.

Называя Маркса своим интимнейшим, дорогим другом, Лассаль снова говорил ему:

— Ты свободный человек. Теоретическая работа берет меньше времени. Право, я завидую тебе: будучи постоянно занят важными практическими делами, я вынужден писать лишь урывками.

Целыми часами Лассаль просиживал на Графтон-террес, часто к отчаянию всех обитателей маленького дома, которых он отрывал от занятий. Нередко Карл и Женни открыто высмеивали ничем не обоснованные политические проекты Лассаля и его утомительную спесь.

— Я разработал до мелочей и предложил поход от Надуи на Вену с целью выбить оттуда Габсбургов. Гарибальдийский полковник Рюстов одобрил мой план и согласился с тем, что все это осуществимо. Мы освободим Германию таким же образом.

— В таком случае, — щурясь, заметил Маркс, — полковник Рюстов тоже выжил из ума.

— Ты хочешь сказать, что я настаиваю на нелепости, что я глуп? — рассвирепел Лассаль, вскочив со стула. Затем он произнес с апломбом, взмахнув при этом худлатой негритянской шевелюрой: — Я напрасно горячусь. Ты, Карл, живешь в мире абстракции, и я прощаю тебе, ты ничего не смыслишь в реальной политике.

— Однако то, что вы теперь постоянно проповедуете, весьма напоминает мне статьи некоторых просвещенных бонапартистов, — подала гостя Женни.

Чем больше Маркс и его жена высмеивали «теории» Лассаля, тем сильнее было его бешенство и все меньше находил он возражений. Напористость и многословие не имели никакого успеха на Графтон-террес.

— Если бы мы не были в таком ужасном положении и этот субъект не забирал у меня так много времени и тем не мешал работе, он доставил бы мне истинно царское развлечение. Жаль, что Фридриха нет с нами. Послушав и повидав Лассаля, он запасся бы материалом для смеха, по крайней мере, на целый год, — сказал как-то Карл, когда поздно вечером остался наконец наедине с женой после многочасовой беседы с Лассалем.

— Я очень устаю от его постоянной похвальбы и противных манер откровенного карьериста, — ответила Женни.

Перед отъездом из Лондона Лассаль еще раз зашел к Марксу, чтобы поделиться очередным замыслом.

— Я, быть может, вскоре создам-таки свою газету, — сказал он, бесцеремонно рассевшись в единственном кресле за столом Маркса, в то время как тот расхаживал по комнате. - Я предлагаю тебе, Карл, быть участником этого грандиозного предприятия. Что ты думаешь об этом, дорогой друг?

Маркс мельком глянул на Лассаля и ответил равнодушно:

— Я охотно стану английским корреспондентом твоей газеты, не принимая на себя, однако, никакой ответственности. Политически, как я не раз тебе уже говорил, мы решительно ни в чем не сходимся, кроме некоторых весьма отдаленных конечных целей.

На этом разговор оборвался.

Поглощенный самим собой, мотовски тративший на себя деньги, безотказно предоставляемые ему графиней Гацфельдт, Лассаль долго не замечал нужды, в которой жили Маркс и его семья. Когда же он понял, что из-за американских событий Карл остался без всякого заработка и находится в критическом материальном положении, то с обычной напыщенностью предложил юной Женнихен место компаньонки у графини Гацфельдт в Берлине. Маркс едва стерпел это проявление черствости, бестактности и наглости. Узнав, что Марксу грозит выселение из квартиры, Лассаль согласился ссудить его небольшой суммой под вексель при условии, если Энгельс даст

поручительство. С горечью согласился на это Карл. Лепхен припомнила тогда, что на одни только сигары и извозчиков Лассаль, как он сам похвалялся, тратит в день более одного фунта стерлингов.

В конце лета Карл получил постоянный пропуск корреспондента венской газеты на Всемирную промышленную выставку в Лондоне.

Наконец Карл, Женни и их дочери смогли отправиться туда, куда в эти дни устремлялись толпы людей всех сословий. Всемирная промышленная выставка привлекла к себе посетителей всех стран Европы. Лондон был переполнен приезжими. Газеты посвящали целые полосы описанию павильонов, индустриальных товаров и знатных особ, прибывших на остров.

Дамы, затянутые в тугие корсеты, в пышных кринолинах на металлических обручах, с плоскими шляпками поверх локонов, напоминали большие опрокинутые цветные бокалы. Их юбки едва умещались в каретах, шарабанах и омнибусах, непрерывно подъезжавших к украшенной разноцветными флагами арке у входа на выставку. Из совершенной по акустике оркестровой раковины лились по всей площади звуки симфонической музыки.

— «Травиата», — обрадовалась Лаура, — не правда ли, нет ничего лучшего в мире звуков, чем Верди?

— Есть, — ласково ответила ей мать, — бессмертная музыка Рихарда Вагнера. Ничто не может сравниться с «Тристаном и Изольдой».

— Кроме «Лоэнгрина», возразил Карл. — Я люблю эту оперу больше. Впрочем, мне кажется, что Верди такой же титан и революционер в оперной музыке, как и Вагнер.

— Досадно, что творец «Тристана и Изольды» порвал со своим предтечей — Глюком. Вагнер,— пояснила Женни дочерям, — восстал против утверждения автора «Орфея и Эвридики», будто истинное назначение музыки — помогать поэзии. «Я больше не пишу опер,— заявил Вагнер.— Не желая, однако, изобретать произвольного названия для своих произведений, я называю их отныне драмами».

По странной случайности во время рассказа Женни о Вагнере симфонический оркестр исполнял марш из «Лоэнгрина».

— Чудесно! — прошептала Лаура. — Мне слышится призыв к героическим поступкам, религиозный экстаз, томление...

— И чисто языческая страсть, — подсказала Жени.

Карл предложил начать осмотр выставки с индустриального павильона. Он очень интересовался технологией машин, изучал ее, посещал лекции, знакомился с практическим курсом машиностроения, делая множество выписок. Пытливо и внимательно рассматривая всевозможные инструменты и станки, он обстоятельно объяснял жене и дочерям их назначение и историю. Его интересовала каждая деталь и особенно технические новинки.

— Посмотрите на эти великолепные послушные орудия труда, — говорил он увлеченно, — здесь можно воочию убедиться в том, что, если оставить в стороне изобретение пороха, компаса и книгопечатания — того, что послужило предпосылкой современного буржуазного прогресса, — все в индустрии началось с изобретения часов и ветряной либо водяной мельницы.

— Как же так? — удивилась Жени. — Что общего у этих машин с часами?

— А откуда взялась водяная мельница? — спросила Лаура.

— Она попала в Рим из Малой Азии во времена Гая Юлия Цезаря, — ответил Карл. — Несомненно, что именно часы подсказали в восемнадцатом веке изобретение автоматов в производстве. Все в индустрии началось с заводных и пружинных механизмов и от мельницы с зубчатой передачей и прочими деталями. Взгляните на этот механический молот или на тот огромный пресс. Как и в мельнице, в этих удивительных машинах все процессы производятся без непосредственного человеческого труда. Другое дело — источники энергии, но, я вижу, вам скучно, мои дорогие.

— Нет, что ты, Мавр, — возразила скорее из любви к мужу, чем из подлинного интереса к индустрии Жени.

Карл с восхищением наблюдал за электрическим локомотивчиком, ведущим длинный состав, за неуклюжим двигателем и светильником, которые должны были прийти на смену газовым фонарям.

В павильоне Австрии Лаура увидела среди музыкальных инструментов выстроившиеся в ряд великолепные рояли. Их отполированные деки отражали все окружающее, как зеркала. Тонкими пальчиками Лаура прикоснулась к клавишам. Они ответили ей звонким мелодичным звуком. Тогда она присела на круглый винтовой табурет

и сыграла «Песню без слов» Мендельсона, вложив в исполнение всю нежность юной души. Вдохнув, Лаура отошла от инструмента, иметь который было ее давнишней несбыточной мечтой.

В каждом павильоне, отведенном какой-нибудь стране, промышленные фирмы разложили образцы своих товаров, усиленно рекламируя их. Агенты различных фабрикантов и купцы состязались в переманивании заказчиков и покупателей.

Великолепные ткани, ковры, вычурная, громоздкая, украшенная резьбой мебель, сложная парфюмерия и изысканные предметы туалета и обихода мало чем внешне отличались, были ли они изготовлены во Франции, Германии, Австрии или Англии. Все они были рассчитаны на угождение вкусам богатых людей и стоили дорого. Еще менее разнились товары «для народа», которые изредка попадались на выставке. У Женни разболелась голова от назойливого гула, мелькания множества лиц и возбуждения, которое господствовало на этом параде вещей и людей, охваченных нарастающим азартом купли и продажи.

Лаура и Женни увлекли мать и отца послушать музыкальные выступления на открытом воздухе под большим серо-зеленым тентом.

Мюзик-холл — творение Англии — полон традиций, как цирк. Его клоун — рыжий, нелепый, полутрезвый шотландец — потешал публику особым выговором, кривляньем и рассказами о пресловутой «национальной» скупости. Затем на сцену выскочил забулдыга матрос, лихо отплясывая матлот. Томная жирафообразная девица, переминаясь с ноги на ногу, взывала к публике: «Приди же поскорее, я нежная возлюбленная». Самый большой успех выпал на долю бочкой катившейся на сцену комической старухи; она выкрикивала что-то непонятное, шепелявя на чистейшем лондонском простонародном жаргоне «кокни», и была, казалось, пропитана терпкой водью пивных. Ее волосы растрепались, на лице застыло выражение блаженства. Бессмысленная болтовня, бесстыдные ужимки актрисы, изображающей то торговку рыбой, то портовую сводню, сопровождались довольным ревом и хохотом толпы.

После фокусника, проглатывающего тлеющие папиросы, после китайцев-жонглеров и монотонно поющего

гимны негра наступила очередь выступлению зрителей. Комическая старуха и матрос, на этот раз припомаженный, натянувший на лицо постную масторскую мину, пели куплеты под аккомпанемент оркестра, приглашая публику присоединиться. Сначала припев подхватило лишь несколько голосов. Оркестр ускорил темп. «Матрос», размахивая руками, отсчитывал такт. Зрители набирались решимости, — все новые и новые голоса подхватывали припев:

Стоит мне забыть свой зонтик дома,
И тотчас же дождь пойдет.
Дождик, дождик, переста-ань.

Из мюзик-холла, мимо дорогого ресторана, на открытой террасе которого сидели нарядные посетители, оставив дочерей у выставки цветов, Карл и Женни пропали по пыльной дорожке к маленькому пруду. Два белоснежных лебедя, обогнув камышовые заросли, медленно плыли по светлой поверхности воды, почти прикасаясь друг к другу блестящими крыльями. Женни не отрывала глаз от величавых, прекрасных птиц. Она думала о их любви и верности, о том, что пара лебедей, соединившись, никогда уже не расстается. Если один из них умирает, другой также обрекает себя на гибель.

Лебеди подплыли совсем близко к берегу, на котором стояли Женни и Карл, взявшись за руки.

Маркс мучительно искал способа, как бы вырваться из создавшегося безвыходного, бездепежного, положения.

Он решил поступить служащим в железнодорожное общество. Голландский адвокат Филипс имел большие знакомства в Лондоне и взялся походатайствовать за своего двоюродного брата. В одно обыкновенное сырое сентябрьское утро, надев сюртук, шляпу, вооружившись большим дождевым зонтом, Карл пошел наниматься на работу. Он произвел хорошее впечатление на почтенного управляющего канцелярией.

— Видите ли, в нашем деле все решает почерк, — сказал тот важно. — Наше дело — бумаги. Приходилось ли вам, мистер Маркс, писать?

Карл ответил, что случалось.

— Вот текст. Прошу вас переписать его с возможной тщательностью и четкостью.

Карл отошел к соседнему столу и принялся списывать документ. Он старался во много раз больше, нежели на уроках чистописания в гимназии Фридриха-Вильгельма, осторожно выводил буквы, пытаясь сделать их разборчивыми и красивыми. Ему показалось, когда он закончил это испытание, что никогда еще не достигал такого каллиграфического совершенства. На лбу Карла выступил пот. И, однако, выражение презрения и негодования появилось на лице канцелярского начальника.

— Мистер Маркс, человек с таким почерком обречен в Англии, если он не наследный лорд, на жалкое существование. О чем думали ваши родители и вы сами? Готов держать любое пари, что для того, чтобы разобрать хоть одно ваше слово, нужны ученые, расшифровывающие древние письмена на камнях. Сожалею, но мы не можем предоставить вам никакой работы.

Карл вернулся домой крайне удрученный. Но как бы ни было тяжело у него на душе, он отдавался весь работе и быстро находил удовлетворение и покой.

В эти поистине кошмарные дни, критически анализируя труды Рикардо, Маркс в «Теориях прибавочной стоимости» развивает свои выводы о капиталистическом накоплении и экономических кризисах. Ничто не могло помешать его мозгу творить и делать величайшие открытия.

Несмотря на все тяготы и заботы по дому, Женни постоянно выполняла секретарские обязанности. Нелегко было переписывать рукописи Маркса, а когда он диктовал, трудно было успевать записывать. Это было ответственным делом и требовало, как и ответы на письма, основательных, разносторонних знаний. Такт и деловитость Женни были поразительны. Она нередко вела вместо Карла деловые переговоры с типографиями и издателями. Чтобы добиться в Париже издания на французском языке книги «К критике политической экономии», Женни решила сама отправиться на континент, в страну, откуда ее когда-то выслали. Однако невезение, которое могло бы вызвать немало мистических страхов у суеверных людей, преследовало ее на всем протяжении этого короткого пути. Сперва корабль попал в сильную бурю и случайно уцелел, в то время как идущий побли-

зости пошел ко дну. Локомотив поезда, в котором находилась жена Маркса, испортился и долгое время простоял в пути. Свалился омнибус, в котором она ехала по улицам Парижа. Когда Женни пересела в наемный кеб, тот столкнулся с другим экипажем. Знакомого, ради которого она предприняла это путешествие, как раз перед ее приездом хватил удар.

В это же время Маркс в Лондоне пережил немало волнений. Сестра Ленхен, Марианна, еще молодая женщина, приехала погостить в семью Маркса и серьезно заболела сердцем. Целую неделю Карл и Ленхен выхаживали ее попеременно. Но ничто не помогло. За два часа до возвращения Женни из злополучного и безрезультатного путешествия во Францию Марианна скончалась.

В дом, не видевший давно ни одного беспечного дня, вошло еще одно несчастье. Марксу пришлось войти в новые долги, чтобы добыть необходимые деньги на погребение Марианны. Таковы были рождественские каникулы в доме № 9 на Графтон-террес.

Карл постоянно заботился о своих соратниках и готов был отказать своей семье в самом необходимом, лишь бы помочь нуждающемуся товарищу. В эти дни нагромождения неудач он писал Энгельсу о том, что у их соратника, коммуниста Эккариуса, от скарлатины умерли один за другим трое детей и сам Эккариус находится в нужде. «Собери немного денег среди знакомых и пошли ему», — просил друга Карл, хотя в это время в его доме не было ни угля, ни провизии и лавочники наотрез отказывали ему в кредите.

Лассаль злобно и настойчиво требовал выплаты ничтожно малой денежной суммы, которую дал Марксу под вексель. С большим трудом расплатился с ним Энгельс, снова спасши этим Карла от немилучей беды.

Мери Бёрнс внезапно умерла. Вечером, в ночь смерти, она выглядела здоровой, цветущей, как в ранней молодости. Фридриха не было дома, и Мери рано ушла в свою комнату, чтобы лечь спать. В полночь младшая сестра, Лиззи, нашла ее уже мертвой. Энгельс узнал о случившемся только утром следующего дня. Помимо общей квартиры с Мери Фридрих снимал также отдельно

две комнаты. Он принимал там по делам фирмы посторонних ему людей и своих многочисленных, не всегда симпатичных ему родственников, часто наезжавших в Манчестер.

Смерть Мери потрясла Энгельса. Он чувствовал, что с этой горячо любившей его женщиной хоронит последнюю частицу своей молодости. Мери Бёрнс была добрая душа, остроумна и на редкость приветлива. С ней Фридрих отдыхал и чувствовал себя освеженным и набравшимся сил. Она никогда ничего не требовала и ни о чем не расспрашивала.

С тех пор как судьба свела их в этом же Манчестере почти двадцать лет назад, Мери привязалась к Фридриху всем своим простым, бесхитростным сердцем и через всю свою жизнь пронесла непрерывно возраставшее беспредельное чувство. Она нашла в Фридрихе свое счастье и благодарила случай, давший ей, маленькой скромной работнице из порабощенной Ирландии, такого необыкновенного, доброго, чуткого мужа и друга.

Мери была подобна резеде, неприметной, незатейливой и, однако, благоухающей, как лучший из цветов. Энгельс понял возле ее гроба, что лишился огромной, совершенной по силе и чистоте любви. Мир для него, казалось, опустел. Сердцу стало холодно, одиноко. Никто, думал он, не будет уже так любить его, как Мери. В гробу, как-то сразу похудевшая, она казалась снова очень юной.

«Бедная девочка, — думал Фридрих, — любила меня всем своим сердцем». Всегда мысль о ее огромном чувстве вызывала в нем нежность и грусть. Но только потеряв жену, он понял, как она была ему необходима и сколь велика была и его привязанность к ней. Сестра умершей, Лиззи, понимала переживания Фридриха. Она сама горько оплакивала Мери.

Огромная выдержка помогла Фридриху внешне не выразить своего смятения и отчаяния. В поисках душевной опоры он тотчас же написал Карлу. Тяжесть свалившегося неожиданно горя была так сильна, что нужно было плечо друга, чтобы устоять.

Письмо Энгельса, однако, попало в накаленную другими бедами атмосферу. Когда Карл, вскрыв конверт из Манчестера, сообщил о смерти Мери, вся его семья была вначале потрясена этим неожиданным известием. Но в тот день до вечера в рабочей комнате Карла пр[illegible]

сидел судебный пристав, присланный домовладельцем. Перехватив на крыльцо Женни, мясник представил ей опротестованный вексель. В нетопленной комнате верхнего этажа уже несколько дней лежала в постели больная Женнихен. Лаура и Тусси давно не выходили из дома, так как не имели ни одежды, ни обуви.

Оставшись поздно вечером один, Карл взялся за перо.

«Чудовищно эгоистично с моей стороны, — писал Карл в Манчестер после нескольких формальных слов соболезнования по поводу смерти Мери и описания подробностей своего критического положения, — в такой момент рассказывать тебе об этих кошмарах... у себя же дома я играю роль молчаливого стоика, чтобы уравновесить бурные взрывы с другой стороны».

Прочитав письмо Карла, Фридрих почувствовал себя обиженным и огорченным. Мери еще не была похоронена, а друг не нашел для него слов утешения и сочувствия. Впервые омрачилась светлая дружба этих людей.

Энгельс высказал на бумаге Марксу все, что думал. Ему было особенно больно оттого, что даже городские обыватели проявили в тяжелые дни душевное участие, только Карл этого не сделал.

Расстроенный письмом друга, Маркс ему объяснил, как сложившиеся неудачно обстоятельства привели их к этому удручающему недоразумению, и просил извинить и понять его. Одновременно он сообщал о своем решении резко изменить образ жизни, объявив себя банкротом и несостоятельным плательщиком, чтобы избавиться от кредиторов и судебного преследования. Он намеревался также уговорить Ленхен Демут поступить на другое место и согласился подыскать подходящие места гувернанток старшим своим дочерям. Сам Карл с Женни и Тусси думал переселиться в один из казарменных домов, построенных для бедняков столицы.

«Послать детей в школу в новой четверти я не смог, так как не заплатил еще по старому счету, да и, кроме того, у них совершенно непрезентабельный вид.

Благодаря вышеизложенному плану я надеюсь, по крайней мере без какого-либо вмешательства третьих

лиц, вновь обрести покой, — писал Карл в своем исповедальном письме и, верный себе, своей постоянной жажде знания и творчества, даже в столь мрачных обстоятельствах, заканчивал: — В заключение нечто, с предыдущим не связанное. Подойдя к разделу своей книги, трактующему о машинах, я оказался в большом затруднении. Мне всегда было не ясно, как сельфакторы изменили процесс прядения, или, вернее, так как уже и раньше применялась сила пара, в чем выражаются функции двигательной силы прядильщика, помимо силы пара? Был бы рад, если бы ты мне это разъяснил».

В другом письме по поводу размолвки Карл подробно объяснял, как могло возникнуть это тягостное недоразумение.

«Могу тебе теперь также откровенно сказать, что, несмотря на весь тот гнет, под которым я жил все последние недели, ничто меня и в отдаленной степени так сильно не угнетало, как боязнь, что в нашей дружбе образовалась трещина. Я много раз говорил своей жене, что для меня вся эта мерзость — ничто по сравнению с тем, что мне пришлось еще из-за всех этих житейских дрязг и ее крайнего возбуждения надоедать тебе своими личными нуждами вместо того, чтобы утешать тебя в такой момент. В результате домашний мир был сильно нарушен и бедной женщине пришлось поплатиться за эту историю, в которой она была совершенно неповинна; ведь женщины вообще привыкли требовать невозможного. Она, конечно, не имела представления о том, что́ я тебе пишу, но если бы немного подумала, то могла бы догадаться, что выйдет нечто подобное. Женщины, даже те из них, которые одарены большим умом, забавные создания. Утром моя жена так плакала над Мери и над твоей утратой, что совершенно забыла свои собственные горести, которые как раз в этот день дошли до своего апогея, а вечером она была уверена, что, кроме нас, нет ни одного человека, который мог бы так же страдать, если у него в доме нет брокера и нет детей».

Письма Маркса полностью устранили то, что причинило боль обоим друзьям. Фридрих признался, что его мучила мысль о возможности потери вместе с Мери самого лучшего своего друга.

Эта печальная размолвка была единственной во всей истории дружбы Карла и Фридриха.

С помощью сложной и необыкновенно рискованной деловой комбинации Энгельс собрал 100 фунтов и отправил их в помощь Марксу. Одновременно Эрнст Дронке, бывший член редакции «Новой Рейнской газеты» и многолетний друг Маркса, ставший ныне богатым купцом в Ливерпуле, согласился, под поручительство Энгельса, ссудить ему двести пятьдесят фунтов стерлингов. Деньги эти впоследствии выплатил также Фридрих.

С тремястами пятьюдесятью фунтами на руках Карл наконец смог расплатиться со всеми долгами, закупить для семьи необходимое и приняться за работу над «Капиталом».

В конце 1862 года прекратилась переписка между Лассалем и Марксом. Лассаль продолжал упорно внушать рабочим мысль о возможности мирного преобразования прусского юнкерского государства в свободную, управляемую народом Германию. Для этого он рассчитывал договориться с королем о всеобщем избирательном праве и организации производственных товариществ.

Фердинанд Лассаль, как никогда, обольщался собственными успехами. В Берлине, в Ораниенбургском предместье, в квартале машиностроительных рабочих, он выступил с речью, которую горячо одобрила графиня София фон Гацфельдт, сидевшая в первом ряду в ложе, утыканной разноцветными страусовыми перьями. Она не опускала лорнета, любуясь своим другом, защитником, своим «Буддой» — Фердинандом.

Лассаль, прохаживаясь по маленьким подмосткам, отбрасывая рукой в перстнях мелко завитые черные волосы, великолепно одетый, держался важно и самоуверенно.

— Рабочие, вы должны отдаться историческому развитию с личной страстью!

София фон Гацфельдт вслушивалась в чрезвычайно туманно изложенные мысли и пожилась в переливах густого, волнующего баритона Лассаля. Она думала: «Все, что он говорит, великолепно; на свете нет равного ему оратора и мыслителя».

А Лассаль продолжал:

— Пусть же нравственная строгость охватит все ваше существо, пусть ваша жизнь станет достойной этой строгости. Пороки угнетенных, праздные развлечения людей не мыслящих, даже невинное легкомыслие пустожных — все это теперь недостойно вас. Вы — рабочее сословие. Вы — скала, на которой зиждется церковь настоящего.

Все, что Лассаль говорил далее в лекции, названной им «Программой работников», было грубой вульгаризацией «Коммунистического Манифеста» и других произведений Маркса и Энгельса, ставших к этому времени широко известными. Погоня за красивостью речи была так велика у Лассаля, что ради цветистости фразы он, сам того не замечая, часто лишал ее смысла и говорил смешные и нелепые вещи.

Лассаль оглушал красноречием, лишенным вкуса и нередко ума. Не мысль, а слова пленяли его. Тороплливый, тщеславный, он жаждал славы, не гнушаясь средствами, какими мог ее добыть, и не желая затрачивать ради этого большого труда. Быть первым повсюду и во всем — таков был девиз этого не лишенного дарований и, главное, обладавшего великолепной памятью человека. Не будучи по рождению ни богатым, ни знатным, он должен был пробиваться в жизни без чьей-либо поддержки, и делал это мастерски.

Бракоразводный процесс графини Гацфельдт, который Лассаль, не будучи юристом, вел много лет с необычайной изворотливостью и упорством, принес ему знакомства в среде немецкой знати и репутацию неподкупного идеалиста, защитника слабых. Выиграв дело, он получил большие деньги и вечную преданность влиятельнейшей придворной дамы. Ловкий, пронырливый, болтливый, чрезвычайно суетливый, он безошибочно определил для себя поле деятельности и решил возглавить германское рабочее движение, грозившее власть имущим, которые никогда не подпустили бы к себе как равного сына купца из Бреславля. С азартом игрока бросился Лассаль к намеченной цели, и графиня Гацфельдт помогала ему во всем. Он переходил от одной женщины к другой, предпочитая замужних, так как для брака искал объект с особенными достоинствами. Графиня терпеливо выслушивала его исповеди о довольно однообразных приключениях. В благодарность за это Лассаль говорил своим случайным любовницам:

— Графиня сделала меня гораздо лучше и чище, нежели я был до встречи с ней. Во мне бушевали дикие страсти, я нередко впадал в страшный гнев, становился жестоким, забывал о всяком сострадании. Она отучила меня ото всего этого и пробудила во мне добрые инстинкты, подавив дурные. Нет возможности оценить величие и возвышенность ее души. Если мне суждено надеть цепи Гименея, я смогу быть счастливым только с той женщиной, которая полюбит моего друга Софию фон Гацфельдт с истинной нежностью.

Лассаль оценивал людей часто только по тому, как они относятся к нему. Хорошими были те, кто восхищался им. Беспристрастие было ему чуждо. Он враждовал с каждым, кто его критиковал и осуждал.

Тщеславный — тщеславен во всем. Успех ли это в деле, творчестве, у женщин или у случайных прохожих — ему все равно. Это низменное свойство обладает способностью смещать в человеческом сознании все масштабы. Честолюбец не различает степени успеха, он наслаждается одобрением достойных и недостойных, значительных и ничтожных. Лассаль любил собирать дань восхищения. Он не гнушался спекуляциями, если это обещало выгоду, и жил приневаючи, мысленно видя себя уже на вершине власти и бешено прокладывая к этому пути. Он хотел возглавить низшее сословие, и ему был выгоден шум вокруг его персоны.

Суды, которым он подвергался, превращались в желанную и важную рекламу. Обычно, будучи осужденным за выпад против власти к нескольким месяцам тюремного заключения, Лассаль начинал длительную тяжбу, переходя из судебной инстанции в инстанцию, и отделывался денежным штрафом. А слава революционера, мученика и героя прочно сопутствовала ему, и высшие чиновники королевства должны были считаться с растущим авторитетом противника, живущего в изысканной, чисто аристократической роскоши.

Игра становилась для Лассаля беспроигрышной. Когда за издание брошюры «Программа работников» он был привлечен к ответственности, то с обычным бесстыдством плагиатора, приписывая себе некоторые идеи «Коммунистического Манифеста», заявил на суде:

— Я утверждаю далее, что эта брошюра является таким же научным произведением, как многие другие,

произведением, излагающим уже известные результаты, но что она во многих отношениях является даже научным открытием, развитием новых научных мыслей. Я напечатал ряд обширных трудов в различных и трудных областях науки, не жалея сил и бессонных ночей, чтобы расширить пределы самой науки, и я, может быть, имею право сказать, подобно Горацию: «Я боролся не без славы!» Но я сам вам заявляю: никогда ни в одном из своих обширных трудов я не написал ни одной строки, которая была бы по своему замыслу более строго научной, чем это произведение от первой строки до последней. Бросьте взгляд на содержание этой брошюры. Это содержание состоит ни в чем ином, как в философии истории, сжатой на пространстве сорока четырех страниц... Это есть развитие объективного, разумного хода мыслей, лежащего вот уже более тысячи лет в основе европейской истории, развитие внутренней души мира.

Лассаль решил возглавить движение по организации Германского рабочего союза. В мае 1863 года во Франкфурте-на-Майне он выступил на собрании членов и делегатов многочисленных рабочих союзов. Он использовал для своей речи громадный литературный и статистический материал и забросал слушателей бесчисленными цитатами. Речь его длилась более четырех часов и подавила слушателей. Из зала раздавались голоса, что пора кончать. Лассаль оборвал выступление на полуслове, и один из его сторонников объявил, что продолжение ее будет через два дня.

Не найдя общего языка с делегатами и испугавшись, что потерпит поражение, не будет никуда избран и останется за бортом рабочего движения, Лассаль изменил тактику и на общем собрании рабочих коснулся злободневных вопросов и резко обрушился на прогрессистскую партию.

Он подчеркнул, что не собирается основывать какой-либо особой классовой партии рабочих, но хочет развернуть знамя демократии, под которое одинаково призывает и буржуа и рабочих. Но рабочие в силу своего классового положения призваны быть главной опорой демократии.

Эти слова, сказанные Лассалем с большим жаром, привлекли на его сторону значительную часть тех слушателей, которые до этого не были его последователями.

В течение нескольких недель до собрания во Франкфурте-
пелась усиленная устная и письменная агитация в пользу
Лассаля.

Через три дня после этого в Лейпциге, в зале Пантео-
на, состоялось основание Общегерманского рабочего сою-
за. Одиннадцать городов были представлены двенадцатью
делегатами. Союз был организован на строго централист-
ских началах. Произошло это отчасти потому, что немец-
кие законы не допускали сношений между политическими
союзами. Руководство принадлежало председателю, каким
на пять лет был избран Фердинанд Лассаль. Мечта его
стала наконец явью. С Лассалем теперь нельзя было не
считаться даже таким всесильным в Германии лицам,
как сам железный канцлер Отто Бисмарк. И Лассаль ре-
шил предпринять поход на Берлин. Осада прусской сто-
лицы не увенчалась большим успехом. Союз имел в ней
очень мало членов, и то не из рабочих. Лассаль прочел
лекцию, рассчитанную на сенсацию, где всячески поносил
правящие круги. В зале находилось всего несколько де-
сятков человек. Противники из так называемой прогрес-
систской партии не явились; собрания потеряли для них
интерес новизны, а Лассаль не казался опасным.

Гораздо удачнее для председателя Рабочего союза сло-
жились его другие дела. Он не только был представлен
благодаря связям графини Гацфельдт одним из генералов
канцлеру Бисмарку, но сумел понравиться, стал часто бы-
вать в его доме, где они часами дружелюбно беседовали.
Все это Лассаль держал в глубокой тайне, понимая край-
нюю двусмысленность своего поведения. Он старался убе-
дить Бисмарка, что, несмотря на все различия их точек
зрения, оба они одинаково заинтересованы в том, чтобы
заменить трехклассную избирательную систему всеобщим
избирательным правом. Лассаль рассчитывал при этом на
свой дар убеждать людей, в который он бесконечно верил.
Он писал Бисмарку:

«Ваша светлость!

Циркулируют слухи о предстоящем вскоре роспуске
палаты депутатов и предоставлении права всеобщих и
прямых выборов.

Если эти слухи хоть сколько-нибудь обоснованы, то
прошу Вашу светлость срочно, во всяком случае до опуб-
ликования закона о выборах и даже до окончательного

установления текста его, переговорить со мной. Весьма важные причины заставляют меня обратиться с этим к вам и прошу в утвердительном случае сообщить мне наиболее удобное для вас время для беседы».

Не получив ответа, Лассаль вновь продолжает добиваться встречи:

«Ваша светлость!

Я бы не стал настаивать, но события таковы, что прошу извинить мою настойчивость. Я уже писал вам несколько дней назад, что нашел «волшебный рецепт» всеобщего избирательного права и этим хочу ниспровергнуть конституцию. Но я возвещаю вам с этого мирного места, что, быть может, не пройдет и года, и господин фон Бисмарк сыграет роль Роберта Пиля, и всеобщее избирательное право будет даровано! Я знал это уже в тот первый день, когда начал эту агитацию... И кто ясным взором смотрел на положение вещей, тот не мог не видеть этого...

Как бы объясняя себе самому свою тесную связь с лютым недругом рабочего класса, Лассаль в той же речи говорил далее:

— Это старый закон истории, что враждебные партии притягивают друг к другу своеобразное тяготение, словно какое-то химическое сродство заставляет их поддерживать друг друга и борьбе...

Лассаль хотел привлечь короля и консервативную партию, чтобы они оказывали ему содействие, как своему невольному союзнику. Но у него и в мыслях не было отка-

зываться от роли представителя крайней левой. Несомненно, Лассаль знал, что своей тактикой он ведет очень опасную игру. Но он верил, что в его руках достаточно много козырей, чтобы можно было рискнуть. Он считал себя достаточно сильным, чтобы в любую минуту по своему желанию вернуться назад. Но он упустил из виду, что для политика существует закон последовательности, что лишь в первом шаге он имеет полную свободу действия, а все последующие шаги уже предопределены первым.

В одном из писем Бисмарку Лассаль писал: «...рабочее сословие было бы склонно... видеть в короне естественного носителя социальной диктатуры, если бы корона со своей стороны когда-либо могла решиться на, конечно, весьма маловероятный шаг, а именно, если бы она пошла воистину революционным и национальным путем и превратилась из монархии привилегированных сословий в социальную и революционную монархию».

Но не столько Лассаль был нужен Бисмарку, который в любой момент мог сменить милость на гнев, сколь Бисмарк являлся основной надеждой честолюбца в его стремлении возвыситься. Покуда же полиция, прокуратура и суды не щадили председателя Рабочего союза. Его крупная азартная игра во имя славы далеко не была еще выиграна.

Желание упрочить свое положение, сознание политической непорядочности, боязнь разоблачения побудили Лассаля добиваться, чтобы Союз был в безусловной зависимости от своего председателя. Он резко восставал против того, чтобы какое-либо из отделений Союза решало вопросы без его позволения и указаний, переданных им лично через уполномоченных. Деспотически, единовластно вторгался он, несмотря на очень короткий срок пребывания на посту главы Рабочего союза, во все поступки его членов. Стоило кому-нибудь возразить ему, как Лассаль требовал его исключения и преследования. Так было с рабочим Юлиусом Фальтейхом, который осмелился выступить против одного его проекта. Особенно рассвирепел Лассаль, узнав, что Фальтейх требовал большей самостоятельности для отделений. Не ограничившись пространным посланием об исключении ослушника, Лассаль послал в Дрезден, где тот работал, доверенного человека, приказал собрать там членов Союза и заставить их изгнать Фальтейха из своей среды. Точно так же своей властью

председателя Лассаль, часто по прихоти, смещал и назначал членов правления Союза. Желание восхваленный дошло у Лассаля до мании. Он обратился к Фрейлигграту с просьбой воспеть его в стихах, но поэт благоразумно отказался. Тогда он нашел другого стихотворца и щедро оплатил его творение:

Сюда, немецкий пролетариат,
Сюда! Призыв не оставляй бесплодным:
Ведь ты стоишь пред мужем благородным,
Который путь тебе расчистить рад.
Он не сидит в парламентском собрании,
Чуждается крикливых излияний;
Дитя народа Фердинанд Лассаль
Кует слова, могучие, как сталь.
«Довольно вы других обогащали,
За них обильно проливая пот,
Довольно роскошью их окружали,
А сами пальцем от забот!
Пусть впредь не издеваются над вами:
Плоды трудов должны вкушать вы сами!» —
Так говорит вам Фердинанд Лассаль,
И клич его ко всем несется вдаль.

Со времени вступления в тайный союз с Бисмарком Лассаль резко изменился. Он боялся, что связь эта станет известной, и уже подумывал о том, чтобы отойти от рабочего движения. Прежде всегда рвущийся к деятельности, он начал искать путей, чтобы отступить в сторону от опасной политической игры. В это время Лассаль встретил на курорте Елену фон Дённиges и в первый же вечер знакомства влюбился в нее. Все в этой девушке с лицом, не отвечавшим требованиям классической красоты, но привлекательным и волнующим своей русалочьей прелестью, понравилось любимцу графини Гацфельдт. Рыжевато-золотые длинные волосы и зеленые, узкие, дерзкие глаза Елены, прекрасные плечи и руки, живой южный темперамент и смелая речь резко отличали ее от барышень, искавших только развлечений. После неудачного сватовства к Ольге Солнцевой Лассаль не пытался более устроить свою семейную жизнь и довольствовался случайными, короткими связями.

Отец Елены фон Дённиges, друг Рутенберга, некогда в Берлине знавший Маркса, в эту пору был баварским уполномоченным при швейцарском правительстве и жил в Женеве. О легкой интрижке с его дочерью не могло

быть и речи, и Лассаль, со своей обычной быстротой действий, решил жениться.

Елена была родственной ему натурой. Честолюбивая, поглубокая, порывистая, пылко любившая всякие приключения, она, благодаря рассказам о победах Лассаля у женщин и в политике, увлеклась им еще раньше, чем увидела. Среди скучнейших людей, которые бывали в доме ее отца, он казался личностью особо выдающейся.

У Елены был жених, богатый молодой аристократ фон Раковиц, но она сделала все возможное, чтобы оболыстить Лассаля. Это было вовсе не трудно. Он добровольно влетел в ее сачок. Очень скоро Елена согласилась стать его женой. Во время помолвки с нею Лассаль писал графине Гацфельдт:

«Вы очень ошибочно судите обо мне, полагая, что я не могу довольствоваться некоторое время паукой, дружбой и красивой природой. Вы думаете, что мне необходима политика.

Ах, как мало вы меня, в сущности, знаете! Я ничего не желаю так сильно, как окончательно развязаться с политикой, и сыт ею по горло. Правда, я вновь воспылал бы к ней большей страстью, чем когда бы то ни было раньше, если бы наступили серьезные события или если бы я получил власть или имел в виду средство приобрести ее... Ибо без высшей власти ничего нельзя сделать. А для ребяческой игры я слишком стар и слишком велик. Оттого я в высшей степени неохотно принял на себя председательство. Я уступил лишь вашим настояниям. И это положение сильно гнетет меня теперь. О, если бы я мог отделаться от него!

Боюсь, что события будут развиваться медленно, очень медленно, а моя страстная душа не терпит этих детских болезней и хронических процессов. Политика для меня — это активная деятельность настоящей минуты. Все другое можно сделать, оставаясь в рамках науки! Я попытаюсь в Гамбурге произвести давление на ход событий. Но насколько это подействует, я ничего не могу сказать. И сам я не на многое надеюсь!

Ах, если б я мог бросить все!

Эти строки были мною уже написаны, когда я получил письмо от Елены, в высшей степени серьезное письмо!

Положение вещей становится серьезным, очень серьезным. И снова падает тяжелым бременем на меня. И в то же время я не могу уже отступить назад. Но я и не понимаю, собственно, чего ради я должен отступить! Это прекрасная женщина и по своей индивидуальности единственная женщина, которая вполне ко мне подходит. И вы сами признали бы ее таковой. Итак, вперед, через Рубикон! Это путь к счастью! И для вас, добрая графиня, по крайней мере так же, как и для меня.

Положение вещей в высшей степени запутано. Меня вновь охватывает сильное любопытство, как доведу я все это до конца. Когда я вел ваш процесс, я часто испытывал это совершенно безличное, объективное любопытство — словно я читал роман, — как-то мне удастся спасти и себя и вас из этого положения!

Ну, прежние силы еще целы, цело и былое счастье! Я приведу все к блестящему успеху. Прибой волн подхватывает меня... Вынесет ли он меня наверх, как шиллеровского водолаза?»

Прибой, однако, не вынес его наверх.

— Елена, вы созданы быть женою цезаря, — говорил он девушке, которую решил назвать своей женой, — со мной вы подниметесь высоко. С вами вместе мы завоюем мир. Уже сейчас сотни газет разносят ежедневно мое имя по самым отдаленным уголкам Германии. Но любите ли вы меня, моя сирена?

— Люблю. Я ведь сама искала с вами встречи, наслушавшись о вашем необыкновенном мужестве. Так увлекательно быть женой цезаря. — Елена засмеялась игриво. — Однако мне предстоит совершить убийство. Сердце моего жениха Янко фон Раковица отдано мне навеки. С чудовищным эгоизмом должна я уничтожить его, а могла бы дать счастье этому благородному, скромному человеку. Как же мне быть?

— Моя будущая жена, я буду всегда твоей силой и волей, — сказал Лассаль, снова пылко целуя невесту.

Однако брак так и не состоялся. Родители Елены были в высшей степени предубеждены против Лассаля. Не только его политическая деятельность казалась им двусмысленной, но и личная репутация. Много лет Лассаль считали любовником графини Гацфельдт, живущим у нее на содержании. Зная об этих слухах, фон Деннигес, когда

дочь сказала о своей любви к Лассалю, решительно отказал в своем согласии на брак. Чтобы сломить сопротивление родных, Елена и Фердинанд разработали сложный план действий. Но прежде чем Лассаль переступил порог дома господина фон Дённиге́са, чтобы еще раз попытаться уговорить его, Елена убежала из дома, поссорившись с матерью. Она заявила Фердинанду, что отдает себя и свою судьбу в его руки и предлагает, не дожидаясь согласия родителей, обвенчаться или бежать за французскую границу. Однако Лассаль категорически отказался действовать таким образом. Его испуг, колебания поразили девушку.

«Так вот каков на самом деле этот прославленный за бесстрашие и энергию герой, — думала она в отчаянии. — Боится общественного мнения пуще всего на свете».

— Вы даже не авантюрист, каким мне казались иногда, — сказала Елена, чувствуя, что любовь ее уходит так же внезапно, как зародилась. По настоянию Лассаля она должна была вернуться к матери.

— Я старше вас, дорогая, и уверен, что, благодаря свойственному мне обаянию, встретившись с вашей матерью и отцом, смогу без труда победить все их предрассудки. Но для этого надо показать им все мое великодушие и честность. Я возвращаю невинным их сокровище. Всю свою жизнь я был чужд распутства, вопреки дурной молве обо мне.

Елена безразлично слушала того, кто еще недавно казался ей столь замечательным человеком. Она хотела поскорее увидеть своего прежнего жениха Раковица. По сравнению с Лассалем тот значительно выиграл в ее мнении. Восхищенный возможностью показать себя фон Дённиге́су с лучшей стороны, Лассаль не замечал, как изменилась к нему девушка. Они холодно расстались. На другой день Янко фон Раковиц приехал к своей невесте.

Лассаль лишился возможности встречаться с Еленой. Он скоро понял всю несуразность своих поступков и то, что потерял любовь своей невесты. Самолюбие его было уязвлено. Он считал делом чести вернуть себе Елену. Лассаль решился теперь на все, даже на то, чтобы перейти в католичество, если это нужно для брака. Он хотел привлечь к своему сватовству баварского короля

Людовика II, лишь бы тот воздействовал на строптивого отца. В это дело вмешалась и графиня Гацфельдт.

В Мюнхене, куда помчался Лассаль, баварский министр иностранных дел после нескольких бесед, во время которых речь шла и о политике, помог несчастливому жениху встретиться со своим подчиненным фон Дённиге-сом. Но препятствием к браку отныне была уже сама Елена. Она написала Лассалю, что раскаивается во всем, что между ними было, и решительно отклонила его домогания.

«Я счастлива, что господин Янко фон Раковиц вернул мне любовь и простил. Я отдала ему навсегда свою верность и сердце».

Лассаль разъярился. Он обзывал ее бранными словами, заявляя повсюду, что она порочна. Вскоре он послал оскорбительное письмо и вызов ее отцу. Старик фон Дённигес почел за лучшее уехать, а Янко фон Раковиц заменил его на дуэли.

Лассаль был смертельно ранен пулей в живот и через три дня после тяжких страданий скончался.

В слякотный февральский день 1863 года в Варшаве вспыхнуло восстание. Маркс и Энгельс с горячим сочувствием отнеслись к повстанцам. Они придавали исключительное значение этому событию и решили выступить от имени Лондонского просветительного общества немецких рабочих с воззванием. Подробно изложить свои взгляды они намеревались в брошюре «Германия и Польша». Маркс готовил политическую часть этого произведения, а Энгельс — военный разбор. Так как Фридрих знал лучше русский язык, то Карл просил его в связи с событиями в Польше следить за тем, что печатает орган русской революционной эмиграции в Лондоне — «Колокол».

Маркс писал в Манчестер:

«Теперь Герцену и К° представляется случай доказать свою революционную честность».

Еще в период подготовки восстания, осенью 1862 года, Герцен уже вел переговоры с представителями польских революционных организаций. Он требовал, чтобы поляки в своей программе оговорили право крестьян на землю и свободу каждого народа решать вопрос своего государственного устройства. «Колокол» напечатал обра-

щение Центрального народного комитета в Варшаве к издателям газет и затем ответ на него.

«Да воздвигнется Польша, — писали Герцен и Огарев, — независимая, искупленная в несчастьях, окрепшая в бою, да воздвигнется она бессословная, отбросив средневековые доспехи, без кольчуг и аристократического щита, пусть явится славянским полоневшим атлетом, подающим одну руку — бедному холопу, а другую — равноправному соседу. Во имя их примите нашу дружескую руку... мы ее подаем вам, как русские, мы любим наш народ, мы верим в него и его будущность и именно потому подаем ее вам на дело справедливости и свободы».

Герцен постоянно защищал Польшу. Он не раз обращался к русскому войску, призывая его не поднимать оружия против поляков в защиту царского правительства, которое является несчастьем не только Польши, но и России. Герцена не смутило, что в связи с этим вся орава русских либералов отхлынула от «Колокола». Он до конца мужественно отстаивал свободу поляков и бичевал карателей, палачей и вешателей.

«Мы с Польшей оттого, что мы за Россию, — говорил Герцен. — Одна цель сковывает нас, и мы можем рука об руку идти одной дорогой к свободной жизни».

Маркс и Энгельс в это же время напряженно собирали необходимые сведения для предполагаемой брошюры. В подготовительных набросках Карл подробно прослеживал захватническую политику не только царской России, но и Пруссии по отношению к Польше. Работая, Карл забирался в глубь предмета все дальше и дальше. Ради самого незначительного факта или возникшего у него сомнения он мог перерыть десятки книг и проводить в Британском музее без перерыва по десяти часов в день. Никогда ни один противник не мог обличить его в опрометчивости или искажении.

Научная совесть Карла была чрезвычайно сурова. Он не позволял себе говорить о предмете, покуда досконально не изучил его, и не публиковал ничего до тех пор, пока не добивался ясности, точности, наибольшего совершенства формы изложения. Он не выносил на люди незаконченных произведений и, покуда не сверял всего до последней запятой и точки, прятал рукопись от постороннего ока.

«Лучше сжечь свой труд, нежели издать его недоделанным», — считал он. Добросовестный в мелочах, как и во всем значительном, Маркс обязательно тщательно выписывал в свои книги имена тех, чьими мыслями или цитатами воспользовался.

— Я воздаю каждому по его заслугам, — любил он повторять шутя.

Постоянно неудовлетворенный тем, что сделал, и потому заново отчеканивающий тексты, Карл летом 1863 года решает опять иначе изложить теоретическую часть своего экономического труда в более, как ему казалось, систематизированном виде и приступает к новому варианту. Так, в ходе работы, он постепенно создавал новую рукопись трех томов труда о капитале.

Маркс почти неотрывно проводит дни в тиши читального зала Британского музея либо в своей комнате, где работать, однако, ему труднее. То одна, то другая дочь отрывает его от занятий.

Маркс был кротким отцом и тщетно пытался иногда прибегнуть к отцовской власти.

— Тусси, милочка, сделай одолжение и дай мне дописать эту страницу, — упрашивал он дочь.

— Мавр, не ты ли говорил, что дети должны воспитывать своих родителей? — последовал ответ. — Посмотри, какой беспорядок на камине. Чего только там нет: какие-то свертки бумаг, книги, сигары, табак, пресс-папье и горы спичечных коробок. За всем этим совсем не видны наши фотографии. Ты, наверно, сам не можешь тут разобраться. Помочь тебе расставить все это в порядке?

— О нет. Вещи, что здесь, являются ко мне по первому слову, как по мановению волшебной палочки.

— Да ты колдун! — рассмеялась Тусси.

Старый мавр, старый мавр,
Мавр с пушистой бородой,
Мавр с пушистой бородой, —

запела она испанскую песенку, которой научил ее Энгельс, и, вдруг засвистев в два пальца, как заправский озорник, через окно выскочила в палисадник.

— Вот уж действительно тебе следовало, как всегда говорит об этом наша мама, родиться не девчонкой, а мальчишкой, мой Бэби, — крикнул Маркс вдогонку дочери.

Война Северных и Южных штатов Америки, проходившая с переменным успехом, неудача польского восстания чрезвычайно волновали Маркса. По поручению Просветительного общества немецких рабочих он написал воззвание с призывом собрать средства в пользу участников польского восстания. Маркс подчеркивал в этом документе, что без независимости Польши не может быть независимой и единой Германии. Воззвание, подписанное также Вильгельмом Вольфом, Лесснером, Эккариусом и другими, было издано отдельной листовкой и разослано в разные страны мира.

В 1863 году умерла престарелая Генриетта Маркс, и Карл поехал в Трир для урегулирования вопроса о наследстве. Стояли холодные декабрьские дни. Город утонул в снегу. Маркс был болен карбункулезом и с трудом двигался из-за не зажившей еще раны. Тем не менее он, вопреки уговорам родных, ежедневно выходил из дома и писал об этом в письмах к Женни:

«Каждый день совершаю паломничество к старому дому Вестфаленов (на Римской улице), который интересует меня больше, чем все римские древности, ведь он напоминает мне о счастливейшей поре юности, в нем же таилось мое самое драгоценное сокровище. Кроме того, со всех сторон меня то и дело спрашивают о quondam [1] «самой красивой девушке Трира» и «царице балов». Чертовски приятно мужу сознавать, что жена его в воображении целого города продолжает жить как «зачарованная принцесса».

На обратном пути из Трира в Лондон Карл заехал в Залтбоммел к дяде и вынужден был задержаться там на два месяца ввиду резкого обострения болезни. Только в конце февраля очутился он наконец снова дома.

Получив небольшое наследство, Маркс решил переменить квартиру, где столько раз находился под угрозой долговой тюрьмы и пережил много горя.

Дом № 1 Модена-вилла, Мейтлепд-парк, Хаверстокхилл, был большой, вместительный, удобный и примыкал

[1] Некогда (*лат.*).

к тенистому парку. Рабочая комната Карла помещалась во втором этаже. В широкое окно врывался чистый воздух, напоенный ароматом деревьев и трав. Вдоль стен стояли шкафы, полные книг. До самого потолка лежали на них свертки газет, рукописей и стопки тетрадей в черных клеенчатых переплетах. На камине Карл поставил в рамках под стеклом портреты дорогих ему людей: жены, дочерей, Энгельса и Вольфа. Посреди комнаты стояли простой небольшой стол и деревянное кресло. Напротив окна был кожаный диван. С тех пор как Карл вот уже более года не переставал болеть, он вынужден был в течение дня ложиться, чтобы дать отдых истомленному телу и глазам.

В комнате повсюду лежали табак, трубки, сигары и десятки спичечных коробок.

— Мои книги не вернули мне даже тех денег, которые я прокурил, работая над ними, — посмеивался Маркс.

Ни одна вещь в его комнате не стояла без определенного назначения. Книги в шкафах он расставил отнюдь не в соответствии с их форматом. Брошюра прижималась к тяжелому объемистому фолианту, если это определялось их содержанием, маленькая книжка подпирала большую.

— Они мои рабы и служат мне так, как я этого хочу.

Память Карла постоянно приходила ему на помощь, когда он искал ту или иную выписку в своих тетрадях или нужную страницу в книге. Он не напрасно изощрял ее всячески с самых юных лет, выучивая, как это делал Гегель, наизусть стихи на незнакомом ему языке. Читая книгу, Карл, чтобы вернуться к чему-либо снова, загибал углы страниц, покрывал поля карандашными пометками и подчеркивал строчки. Его вопросительные и восклицательные знаки бывали красноречивее всяких слов.

В большом светлом кабинете мужа Женни покрыла пол недорогим зеленым ковром, и вскоре на нем от дверей до окна пролегла полоса, узкая, как лесная тропка. Это Карл, который, подобно Аристотелю, часто, прежде чем присесть к рабочему столу, в ходьбе обретал искомые мысли, вытоптал ее, двигаясь по комнате. И, как на Графтон-террес, из соседней гостиной, где стоял теперь хороший рояль, часто в рабочую комнату Карла доносился нежный голос поющей Лауры. Отец широко открывал дверь

л слушал. Особенно большое удовольствие доставляли ему песни на слова поэта Бёрнса, которого он очень любил.

Мельник, пыльный мельник,
Мелет нашу рожь.
Он истратил шиллинг,
Заработал грош.

Пыльный, пыльный он насквозь,
Пыльный он и белый,
Целоваться с ним пришлось —
Вся я поседела!

Мельник, пыльный мельник,
Белый от муки.
Носит белый мельник
Пыльные мешки.

Достает на котелька
Мельник деньги белые,
Я для мельника-дружка
Все, что хочешь, сделаю.

Женни-младшей исполнилось уже двадцать лет; более хрупкая, чем Лаура, она была очень хороша собой. Обе старшие дочери Маркса вступали в жизнь цельными, широкообразованными, самоотверженными людьми. Как их отец и мать, они были чужды эгоизма и всякой фальши, в чем бы она ни проявлялась. Смысл жизни обе девушки видели в духовном совершенстве, в борьбе за счастье наибольшего числа людей. Вырастая в атмосфере большой любви родителей друг к другу, с детства вплетая в речь мысли и строки Шекспира, Данте, Шелли, Гейне, зачитываясь Бальзаком и Диккенсом, юные девушки мечтали о том времени, когда и в их жизнь войдет таинственное и вечное чувство. Любовь представлялась им, как всем чистым и высоко парящим душам, потрясением, подобным удару молнии, превращающей зыбкий песок в прозрачное стекло.

Карл и Женни внимательно и бережно наблюдали за своими прелестными, ставшими взрослыми дочерьми. А Ленхен, чей меткий и лаконичный язык не раз удивлял всех, кто ее знал, как-то заметила:

— Люди говорят: с малыми детками горе, с подростками вдвое. А про наших девочек я скажу: чем они старше, тем радости нам больше.

Возле дома Женнихен устроила прекрасную оранжерею. Таким же страстным цветоводом, как и она, был

Фридрих Энгельс. Нередко Женнихен посылала ему семена особо редких растений и давала советы, как следует их выращивать. Каждое утро спешила она в свой застекленный чудесный сад, волнуясь и радуясь. И всегда находила что-либо новое. То наконец расцвели долгожданные розовые азалии, то желтые вьющиеся розы, то лиловый гелиотроп. Женнихен склонялась над чашечкой цветка, и ей казалось, что она слышит его дыхание. Она всегда была очень мечтательна и вдохновенно сочиняла сказки.

Однажды Женни-старшая, побывав в оранжерее, вернулась оттуда и сказала мужу с нескрываемым восхищением:

— Девочка создала вмиг не сады Семирамиды. Это, право, поразительно, Карли. Туматы и слякоть бессильны перед чарами Женнихен. У нее все в цвету.

Художественное чутье помогло Женнихен на удивительных отвесных клумбах рассадить растения так, что они образовали сложную гамму оттенков от палевого до алого.

— Итак, теперь в нашем доме две Флоры. У тебя появилась сильная, серьезная конкурентка. До сих пор ты одна была богиней цветоводства, — пошутил Карл.

Тысяча восемьсот шестьдесят четвертый год был омрачен для Маркса и Энгельса смертью их любимого друга Вильгельма Вольфа. Люпус умер, не достигнув и пятидесяти пяти лет, от кровоизлияния в мозг. Более месяца до этого страдал он бессонницей и тяжелейшими головными болями. Врачи не знали, чем ему помочь, и путались в определении болезни. Именно тогда, когда ясно было, что Вольф болен почками, он потерял сознание, и обнаружилась их ошибка. Энгельс не отходил от ложа больного и сообщил об опасном положении Карлу, который тотчас же приехал в Манчестер. Кончина Люпуса повергла обоих его друзей в глубокую печаль. Карл произнес на могиле Вольфа речь, вылившуюся из любящего сердца. Вместе с Фридрихом он задумал написать биографию покойного и решил посвятить его памяти самое значительное из своих произведений. Когда удрученный Карл вернулся в Лондон, он узнал, что Вольф завещал ему все свое небольшое, скопленное тяжелым трудом состояние.

Маркс смог без помех отдаться работе. Книга о капитале, над которой он работал вот уже двадцать лет, поглотила всю его душу и время. Он считал, что завершение этого главного труда всей его жизни наиболее важно именно для рабочих, нежели что-либо другое им совершенное. Все написанное прежде казалось ему всего только мелочью. Однако до окончания всей работы было еще далеко. Безжалостная придирчивость и нечеловеческая добросовестность непрерывно толкали его к новым исследованиям, аналитическим проверкам, размышлениям. Увещевания Фридриха работать, не возводя столько барьеров и препятствий на своем творческом пути, не возымели никакого действия. Маркс был верен себе. Рукопись росла неимоверно и была далека от намеченной цели. То одна, то другая ее часть подвергались коренной переделке. Работоспособность Карла достигала баснословных размеров. Чтобы написать одно какое-либо теоретическое положение, он перечитывал десятки, а то и сотни книг, отчетов и углублялся в длиннейшие статистические справочники и таблицы. Цифры были для него нередко полны особого магического смысла, и за их простой изгородью он открывал картины целой эпохи в жизни людей или народа во всей неприглядности и значительности. Маркс творил. Эти периоды всегда были для его души как оазисы в пустыне.

Многолетняя убийственная каждодневная война с нищетой временно кончилась. Но ничто уже не могло вернуть ему потерянного, некогда могучего, здоровья. Сопротивляемость организма была утрачена. Помимо хронической мучительной болезни печени, он часто простуживался и вынужден был лежать в постели. Даже в жаркие летние дни 1864 года его снова как-то свалила изнурительная инфлюэнца. Но и во время болезни, вопреки указаниям врача и просьбам родных, он не переставал читать. Что только не привлекало его пытливый умственный взор! Несмотря на головную боль, озноб, потерю обоняния и вкуса, он зачитывался книгами по физиологии, учением о тканях и клетках, а также анатомией мозговой и нервной системы. Он решил тогда же серьезно заняться этими предметами, начать посещать лекции и анатомический театр. Энгельс в этих вопросах значительно опередил его и к этому времени уже глубоко и разносторонне изучил естествознание.

Когда Карл выздоровел, то часто в перерыве между работой, под вечер, уходил один гулять. Неподалеку от его дома начинались поля. Как-то ранней осенью выдались теплые тихие сумерки. Карл отправился в сторону столь любимого им Хэмпстед-хис. Навстречу, подпрыгивая на одной ноге и распевая, появился мальчуган в рваных штанах и ботинках.

— Послушайте, сэр, я уверен, что в кармане у вас есть перочинный ножик. Не хотите ли поменяться вслепую? Мой, будьте уверены, гораздо новее и лучше вашего. Ну что, рискуете или нет? Я готов просчитаться.

Карл нисколько не удивился такому предложению. Он знал детскую игру в меняльки. С той же быстротой, как это сделал маленький незнакомец, он достал ножик и с опаской прикрыл его ладонью.

— Раз, два, три, мена состоялась, — важно и хитро заявил мальчишка.

Оба игрока передали друг другу свои ножи. Карл тотчас же обнаружил, как, впрочем, и предполагал, что обманут: в руках у него лежало совершенно ржавое подобие перочинного ножа. Мальчик убежал так стремительно, что Карлу осталось одному весело посмеяться над этим забавным происшествием.

Вернувшись домой, он застал у себя гостей. Французы — чеканщик Толен, машинист Сток, учитель Лесс Любс — и несколько незнакомых англичан-рабочих поджидали его в столовой, где Женни и Ленхен хлопотали, радушно угощая их чаем.

— Привет и братство, отец Маркс, — сказали они чинно.

— Очень, очень рад вам, друзья. Что привело вас ко мне?

Толен заговорил первым:

— Мы приехали по приглашению английских тружеников на переговоры с дружески протянутой рукой, чтобы наконец объединиться.

— В добрый час. Давно пора, — ответил Маркс.

— Я Оджер, — сказал один из англичан, — председатель местного союза лондонских профсоюзов, и пришел, чтобы пригласить тебя, Маркс, выступить на митинге от имени немецких рабочих. Мы сняли под собрание большой Сент-Мартинс-холл. Помимо войны в Северной Америке и дел в Италии, рабочие — англичане, фран-

цузы, итальянцы и немцы — имеют много болячек, к которым давно следует совместными усилиями приложить лечебный пластырь. Дальше нам жить так на свете нельзя. Мы знаем тебя, Маркс, и ждем твоего слова.

Карл дал согласие прийти на митинг, однако решил, что с речью в этот раз выступит не он, а портной, коммунист Эккариус.

Двадцать восьмого сентября 1864 года в Сент-Мартинс-холле собрались тысячи рабочих. Огромный светлый зал не смог вместить всех желающих. Духота была удручающая, и у Карла кружилась голова. Он думал, глядя на волнующуюся, охваченную одним вдохновенным добрым порывом толпу, о прошедших долгих годах затишья в борьбе.

«Разные мещанишки, меряющие мировую историю своим локтем и масштабом последних газетных сообщений, могут воображать, что для огромных исторических процессов десятилетие больше, нежели один миг. Они не в силах представить себе и того, что может снова наступить день, в котором сконцентрируется все прошедшее десятилетие».

Подперев голову кулаками, Маркс внимательно слушал Эккариуса. Лицо его просветлело. Портной чуть глуховатым низким голосом толково, увлеченно говорил о том, как после мирового экономического кризиса обострились отношения между капиталистами и людьми труда. Рабочие защищались стачками. Фабриканты ответили на это ввозом иностранной рабочей силы.

— У нас, пролетариев, одни судьбы и страдания, кто бы мы ни были, к какой бы расе ни принадлежали, — продолжал Эккариус.

Он подошел к краю рампы. Свет круглых газовых ламп осветил худую сутулую фигуру оратора в поношенном костюме, простертого вперед большие, темные, исколотые руки.

— Во всех европейских странах рабочие стремятся к солидарности в борьбе за свои права.

— И в Америке тоже, — крикнул кто-то из зала.

— В этом наше спасение и сила, — продолжал Эккариус.

— Да здравствует интернациональное соединение! — ответили десятки голосов. — Продолжай, старина, ты говоришь дело.

— Английские рабочие прошли суровую, трудную школу чартизма. Они знают, где зарыта собака. Это они помешали старому ненасытному хищнику Пальмерстону ввязаться в войну на стороне рабовладельцев Юга и напасть с ними на северян, которые не хотят торговать людьми, как скотом, и дают неграм свободу. Борьба за освобождение, где бы она ни велась, вызывает горячий отклик и сочувствие в наших пролетарских сердцах. Слава отважным братьям — польским повстанцам, восемнадцать месяцев боровшимся за свободу. Мир меняет наконец свою шкуру. Французские рабочие вновь начали политическую борьбу. В Германии организовались профессиональные союзы. Участились забастовки. И наш великий, огневой призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — снова звучит над землей.

Полукруглый зал Сент-Мартинс-холла напоминал большой храм. Люди многих национальностей собрались в нем на торжество международного братства. Они ликовали, радовались, пели. Молодой француз Толен, сидевший подле Маркса, сказал ему, восторженно улыбаясь:

— Не правда ли, отец Маркс, сегодня рухнула башня вавилонская? Согласно библейской сказке, люди, построив ее, заговорили на разных языках, сегодня же они снова обрели и поняли друг друга.

— Скажи проще, — вмешался Жан Сток, слышавший эти слова своего земляка, — рабочие объединяются, чтобы расправить спины и не дать буржуазии выжать из них все жизненные соки.

На митинге в Сент-Мартинс-холле было решено создать Международное Товарищество Рабочих. В организационный комитет вошли от немецких тружеников Карл Маркс и Эккариус.

Спустя некоторое время на дому у Карла собралась подкомиссия, чтобы составить Учредительный манифест и временный Устав Международного Товарищества. После долгих обсуждений Марксу было поручено написать их одному.

В письме в американскую действующую армию полковнику Иосифу Вейдемейеру Маркс писал:

«Недавно созданный международный рабочий Комитет... не лишен значения. Его *английские* члены являются... настоящими рабочими королями Лондона; это то

самые люди, которые устроили грандиозную встречу Гарибальди и посредством колоссального митинга в Сент-Джемс-холле... помешали Пальмерстону начать *войну против Соединенных Штатов*, что он собирался сделать. Французские члены Комитета — незначительные фигуры, но они являются непосредственными представителями ведущих «рабочих» в Париже. Существует также связь с итальянскими обществами... Хотя я в течение ряда лет систематически уклонялся от какого-либо участия во всевозможных «организациях» и т. д., тем не менее *на этот раз* я принял предложение, так как в данном случае имеется в виду такое дело, в котором можно действовать со значительным успехом».

Революционер, каким всегда и прежде всего был Маркс, отдал все силы нелегкому делу укрепления Международного Товарищества Рабочих. Надо было объединить рабочее движение разных стран, весьма разнородных по уровню развития, преодолевая при этом много неожиданных препятствий.

Всего шесть дней писал Маркс временный Устав и большой Учредительный манифест интернационального товарищества рабочих. Заканчивая его, он заклеймил преступный замысел и безумие господствующих классов, готовивших крестовый поход за океан и равнодушно взиравших на умерщвление польского восстания. Все это также указывало, гласил Манифест, «...рабочему классу на его обязанность — самому овладеть тайнами международной политики, следить за дипломатической деятельностью своих правительств и в случае необходимости противодействовать ей всеми средствами, имеющимися в его распоряжении; в случае же невозможности предотвратить эту деятельность — объединяться для одновременного разоблачения ее и добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами.

Борьба за такую иностранную политику составляет часть общей борьбы за освобождение рабочего класса.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Так зародился I Интернационал, и Маркс стал его душой.

Человеческий мозг — чудо, которому нет равного в мире. Неисчерпаемый, бездонный, он несет в себе исполинскую силу, создающую все на земле: искусство, науки и ремесла, добро и зло, любовь и жестокость. Он обегает вселенную и проникает недра земли. Необъятная, как Галактика, память хранит в себе всю историю человечества.

Мозг — фабрика всех фабрик и книга всех книг. Нет в мире ничего, что не было бы произведено его гением. Человеческий мозг — родина богов, и он же величайший богоборец.

Труд создал мыслящего человека, и ему обязан мозг своим развитием и могуществом, смелостью, с которой он открывает тайны природы.

Тысячелетиями билось человечество над разгадкой того, что же управляет миром, каковы непреложные законы развития общества и есть ли они вообще?

Одним мир казался демоническим хаосом, другим — стройным, неизменным творением божества. И только гениальный мозг Маркса сорвал покров с тайны рождения и развития общества.

1960

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОМЕТЕЙ

ПОХИЩЕНИЕ ОГНЯ

Книга вторая

Глава первая. В изгнании 5
Глава вторая. Остров в тумане 74
Глава третья. Русские дела 142
Глава четвертая. Испытания 200
Глава пятая. Огненосцы 291
Глава шестая. Когда раскрываются недра 352

Галина Иосифовна
СЕРЕБРЯКОВА
Собрание сочинений, т. 3

*

Редактор В. Буланова
Художественный редактор
Ю. Болрский
Технический редактор
М. Поздняков а
Корректор Г. Сурис

*

Сдано в набор 8/XII 1967 г. Подписано к печати 22/II 1968 г. Бумага типографская № 1. 84×108¹/₃₂—13,25 печ. л. 22,26 усл. печ. л. 22,35 уч.-изд.л. Тираж 350 000. 1-й завод: 1—175 000 экз. Заказ № 992. Цена 1 р. 10 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой
Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете Министров
СССР. Измайловский пр., 29.